



t.me/marketologmanager

Алан Мур

Иерусалим

*Посвящается моей семье, всем людям из
Боро, а также Одри Вернон, лучшей
аккордеонистке, которую знали наши
потрескавшиеся улицы*

© Alan Moore, 2015.

© Сергей Карпов, перевод, 2021

Дизайн обложки: 2021 © R. Perin

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Прелюдия

Неоконченный труд

Альме Уоррен, пяти лет от роду, казалось, что они, похоже, ходили за покупками – она, ее брат Майкл в коляске и их мамка Дорин. Наверное, они были в «Вулворте». Не в том, который на Золотой улице, нижнем «Вулворте», а в верхнем, на полпути по склону освещенной витринами Абингтонской улицы, где еще есть кафе с мятно-зеленой плиткой и огромный циферблат весов успокаивающего красного цвета, как у магнита, которые стояли у деревянной лестницы в дальнем конце.

Девочка – маленькая крепышка, плотная, словно отлитая под давлением, – не помнила, чтобы придерживала перед Дорин двойные створки захватанных латунно-стеклянных дверей, пока та выкатывала коляску в бархатную суету светящейся снаружи главной улицы. Альма пыталась восстановить в памяти хоть какую-нибудь примету, которую могла увидеть на этом проторенном маршруте, – возможно, горящий знак, торчащий над магазином дождевиков Кендалла на углу Рыбной улицы, где «К» отважно шагала против шквалистого ветра, раскрыв мультяшный зонтик в вытянутой руке-палке без ладони, – но ничего не шло на ум. Более того, если задуматься, Альма не помнила о походе практически ничего. Все до освещенной фонарями мостовой, на которой она теперь оказалась и шагала под скрип коляски Майкла и ритмичный цокот каблучков матери, – все скрывал таинственный туман.

Спрятав подбородок от вездесущей закатной прохлады в застегнутый воротник макинтоша, Альма разглядывала поблескивающие камни, мерно ложившиеся под гипнотизирующие шаги тупоносых башмаков с пряжкой. Ей казалось, что самое вероятное объяснение провала в воспоминаниях – это обычнейшая

рассеянность. Вероятнее всего, в течение всей скучной вылазки она витала в облаках, и, хотя видела все знакомые места, не обращала на них внимания, ее увлекло ленивое течение собственных мыслей, омут фантазий и сора, что баламутился между болтающихся косичек, под заколками-бабочками поблекшего розового цвета и хрупкими, как карболка. Практически каждый день она выходила из транса, вырывалась из кокона замыслов и воспоминаний и понимала, что оказалась уже в нескольких террасах [1] от последнего места, которое заметила, так что отсутствие памятных деталей нынешней прогулки по магазинам отнюдь не было поводом для беспокойства.

Абингтонская улица, думала она, – вот самый подходящий вариант для стартовой точки, именно поэтому теперь они держат путь вдоль южного края опустевшей Рыночной площади к переулку по соседству с «Осборном», откуда дальше начнут взбираться по Швецам, толкая Майкла мимо кирпичного блока Рыбного рынка с его морским запахом и высокими завешанными пылью окнами, затем скатятся под горку по Серебряной улице, перейдут площадь Мэйорхолд и попадут напрямик в Боро – родной дом среди скособоченных переплетений узких проходов.

Каким бы успокаивающим ни казалось Альме это объяснение, ее по-прежнему снедало ощущение, что в рассуждениях что-то не сходится. Если они только что вышли из «Вулворта», значит, сейчас не может быть позже пяти часов, когда все магазины в городском центре еще открыты, – так почему же в Рынке не горит ни одно окно? Не сочтется бледно-зеленоватое свечение из пасти ворот в пассаже «Эмпорий», что находится в верхней половине наклонной площади, черным-черна витрина «Липтона» на ее западной границе – без обычного тепла цвета сырной корки. Если на то пошло, разве не должны рыночные торговцы прямо сейчас убирать свои товары, закрывать на ночь лотки, весело перекликаться, пиная испорченные фрукты или папиросную бумагу, складывать столики, чтобы забросить их с оглушительным дребезгом и лязгом в угловатые

фырчащие фургоны, напоминающие кареты скорой помощи, кузова которых звенят, словно гонги, с каждой новой порцией груза?

Но нет никого на широком пространстве, уходил в пустую темноту открытый ветрам склон. Лишь торчали из гусиной кожи влажной брусчатки покосившиеся столбы, разделяющие отсутствующие лотки, – промокшие оглобли, пожеванные с одного конца, как карандаши, и вкопанные с другого в ржавые дыры меж горбатых булыжников площади. Остался всего один растрепанный навес – слишком жалкая добыча для вора, – время от времени влажно шлепающий осиротелым крылом поверх тихого полусонного бормотания ветра, и этот звук резко отражался от высоких зданий, стеной окружающих площадь. В ее центре, черный на сажисто-сером, вонзался в помойную лужу ночи железный памятник – ажурный викторианский стебель, что расцветает фестончатым бутонем, увенчанным медным шаром, словно какой-то доисторический чудовищный цветок, одинокий и окаменевший. У его ступенчатого постамента, как знала Альма, из щелей и трещин упорно пробивались незаметные клочки изумрудной травы – наверное, не считая матери, брата и ее самой, тем вечером единственные живые существа на площади, хоть она их и не видела.

Где же остальные матери, волочащие детей по сияющим и зазывным озерцам у витрин по пути домой, к чаю? Где же уставшие мужчины с несчастными лицами, которые поодиночке плелись от фабрик, держа одну руку в пустом кармане синих брюк, а в другой – потертую лямку наплечного вещмешка? Над черепичными крышами, нависшими над площадью, не виднелось ни жемчужной ауры подбрюшья черного неба, ни белых электрических лучей, льющихся от изящного фасада «Гамона», словно бы весь Нортгемптон разом выключили, словно бы наступила полночь. Но что Альма и ее брат с матерью делали здесь в такой поздний час, когда магазины закрыты, а вытянутые стеклянные глаза их запертых дверей становятся недружелюбными, холодными, отсутствующими, как будто они тебя не признают, не желают видеть?

Семеня вслед за мамкой, вцепившись жаркой ладошкой в прохладную металлическую ручку коляски и не поспевая, так что Дорин приходилось волочить ее за собой, Альма уже начинала волноваться. Ведь если все не так, разве не может случиться что угодно? Бросив взгляд на полускрытый шарфом профиль матери, Альма не увидела и следа беспокойства в добрых, чутких голубых глазах, прикованных к мостовой, или в безропотной линии, в которой сомкнулись ее розовые губы. Если есть повод бояться, если они в беде – кому знать, как не мамке? Но что, если рядом таится что-то ужасное – призрак, или медведь, или убийца, – а матери никто не сказал? Что, если оно их поймает? Кусая нижнюю губу, Альма снова попыталась вспомнить, где они втроем были перед тем, как выйти на жуткую мощеную площадь.

В тених, лужей разлившихся в южной части рынка, грузная девочка с облегчением заметила, что в безлюдном мраке все же горит хотя бы один огонек – прямоугольник снежного света, который падал из большого окна газетной лавки на углу Барабанного переуллка, изгибаясь на вытертых желтеющих камнях улицы. Словно уловив нарастающие дурные предчувствия дочери, мать Альмы взглянула на нее и улыбнулась, кивая на витрину лавки – теперь та находилась не более чем на расстоянии трех колясок.

– Глянь. Свято место пусто не бывает, кто-т ищо работает, а?

Альма кивнула, обрадованная и успокоенная, а в скрипящей коляске одобрительно пнул изножье Майкл, качая головой с золотистыми кудрями, совсем как у мальчика с картины «Мыльные пузыри» [2]. Поравнявшись с лавкой, малышка заглянула через высокие чистые стекла в сияние необставленного помещения, где, похоже, вовсю кипела работа – в ночные часы корпели над ремонтом плотники, видимо, не желая в обычные часы прерывать торговлю. За ко́злами на голом новеньком паркете трудились четверо или пятеро, стучали и тесали под голой лампочкой, и Альма заметила, что они стояли босыми в опилках и стружке, похожей на тонкие завитки масла. Плотники что, не боятся заноз? На всех были

простые белые балахоны, доходившие до щиколоток. У всех – коротко подстриженные ногти, гладкая кожа – лучисто-чистая, словно они только что вышли из хорошей бани, а на влажных плечах еще лежала корочка лавандового талька в форме континентов. Все рабочие казались строгими и сильными, но не злыми, а волосы у многих, склонивших головы во время нелегкого и шумного занятия, опускались до самых плеч стиранных роб.

Один из артели стоял в стороне от своих четырех коллег, наблюдая за их работой. Альма решила, что он главный. В отличие от остальных, его робу венчал капюшон, скрывавший все лицо над носом. Волос не было видно, но почему-то Альма не сомневалась, что они темнее и короче, чем у его товарищей, а затылок под складками сизого капюшона выстрижен почти под ноль. Он был чисто выбрит, как и остальные, по-мужски красив, судя по чертам, что она разглядела в чернильной тени капюшона, заполняющей глазницы и прячущей глаза под прозрачной маской грабителя. Словно почувствовав взгляд ребенка из-за стекла, мужчина обратил улыбку в их сторону, буднично подняв руку в приветствии, и с замиранием сердца, не веря своим глазам, Альма поняла, кто это такой.

Размеренный скрип коляски и звенящие пистонные выстрелы каблуков матери замедлились и остановились, когда Дорин тоже взглянула в освещенное окно на ночных работников и их бригадира в капюшоне.

– Вот те номер. Гляди-к, детки, Фрит-Бор с евойными англами.

«Англы», наверное, выражение из Боро, так плотников или белодеревщиков зовут, подумала Альма, но другое имя было ей незнакомо, и она озадаченно нахмурилась, глядя в нежные смеющиеся глаза Дорин – словно мамка решила, что Альма туго мыслит и в ее возрасте должна бы уже знать, что значит «Фрит-Бор».

Дорин легонько цокнула языком.

– И, што за стих на тя нашел. Этш Фрит-Бор. Третий Бора то бишь. Скок раз я об нем грила, да лутше раз самой увидеть.

Альма действительно слышала о Третьем Боро – или, по крайней мере, так ей казалось. Эти два слова так и дразнили память, и она поняла, что это имя носил тот, кого она узнала в тот же миг, когда он помахал ей, – так плотника называли, когда не хотели упоминать другое его имя. Третий Боро [3], если она поняла правильно, означало что-то наподобие «сборщика податей» или «урядника», только с бо́льшим дружелюбием и уважением, куда величественней, чем даже Рыжий граф – граф Спенсер, болтающийся на вывеске одного паба. Она перевела взгляд с матери на диораму частично перестроенной газетной лавки, людей за честным трудом, залитых сиянием, – из-за витрины, похожей на стекло аквариума, казалось, словно стройка велась в теплой и светящейся воде. Человек в капюшоне, Третий Боро, все еще улыбался Дорин и ее детям, но уже не махал, а манил, приглашая войти.

Мамка со скрипом развернула на четверть оборота коляску на тротуаре, обрамляющем затихший заброшенный рынок, и направила Майкла в стеклянную дверь лавки, вкатив по пандусу с мозаикой из исхоженных бежевых и бирюзовых стекляшек между дверным проемом и скользкой улицей. Все еще держась пухлой ручкой за коляску и волочась вслед за матерью, Альма, неуверенно шаркая, замедлила шаг. Она где-то слышала или у нее откуда-то создалось впечатление, что такой аудитории удостоиваются только те, кто умер – она еще не до конца понимала, что такое смерть, но знала, что ей бы она не понравилась. Один из работников с ниспадающими локонами – такими светлыми, едва ли не белыми, – теперь отложил пилу и подошел придержать дверь, а в уголках его глаз возникли добродушные морщинки. Заметив нерешительность девочки, мать обернулась и заговорила ободряющим тоном:

– Ох и нюня ты, Альма, ей-ей. Он тя не укусит, а с людьми редко када выдается. Заглянь поздоровкаться, а то примет за невеж.

Наклоненной головой с коричневыми кудряшками от бигуди под краешком черного шарфа и напористо оттопырившимся бортом зимнего пальто на полном бюсте Дорин чем-то напоминала Альме

голубей: их беззаботное спокойствие, их разноцветные рябые шейки, воркующую музыку их голосов. Альяма вспомнила, как однажды ей приснилось, что они с матерью были в их гостиной на дороге Андрея, на западной границе Боро. Во сне Дорин гладила, а ее дочка сидела на коленях в мягком кресле, рассеянно сосала протертую ткань спинки и глазела в сумерки на заднем дворе за окном. Над забором со стороны соседей проступала заброшенная конюшня с черными дырками, словно вымаранными словами в секретных документах, там, где в крыше не хватало черепицы. В дырки взлетали и садились трепещущие голубиные силуэты, почти невидимые – бледные завитки дыма на фоне темноты холма со школой, что высился позади. Мамка обернулась к Алье от гладильной доски и торжественно сказала о птицах, искавших ночлег.

– Они – куда уходят мертвые.

Девочка проснулась раньше, чем успела спросить, что это значит: то ли голуби – призраки людей, человеческие души, которые принимают такой вид после смерти, то ли они каким-то образом одновременно существуют на небесах, куда уходят мертвые, и среди стропил обветшавшего сарая в соседском дворе. Она понятия не имела, почему этот сон пришел на ум именно сейчас, когда она следовала за Майклом и матерью из ночи в омытую светом лавку через дверь, которую терпеливо придерживал сребровласый столяр, облаченный в халат.

Лавка, куда вели два входа – с рынка и за углом, с Барабанного переулочка, внутри была просторнее, чем ожидала Альяма, – хотя девочка поняла, что отчасти так казалось потому, что здесь не было полок для газет, кассы или стоек; ни единого покупателя. Помещение наполняло благоухание свежеструганого дерева – что-то среднее между ароматами консервированного персика и табака, – новенький паркет под ногами был приятно упругим, как охотничий лук, в углах скопились невыметенные опилки. Стоило женщине, девочке и младенцу ступить внутрь, как беловолосый мастеровой,

придерживавший дверь, отправился к недопиленной доске, но, прежде чем вернуться к прерванному занятию, улыбнулся Альме и ее брату с озорной лукавинкой, словно они все вместе участвовали в какой-то секретной, но чудесной игре.

Не зная, каким выражением на это ответить, Альма скорчила вялую гримасу, которая не говорила ни о чем, затем оглянулась на Майкла. Тот воодушевленно выпрямился в коляске, растягивая пожеванные ремни безопасности – те самые, которые несколько лет назад берегли Альму: из красной кожи, с шелушащимся и расколупанным позолоченным узором в виде головы коня, что постепенно исчезал из виду. Майкл заливался довольным смехом, подняв руки, смыкая и размыкая пальчики, словно старался ухватить молочный свет, воздух, щекочущую рождественскую атмосферу этого необычного мгновения в уголке страшноватой полуночной площади, словно хотел поймать это все, затолкать в ротик и слопать. Его огромная голова с профилем мальчика с мыла «Фейри Соуп» запрокидывалась назад, он подпрыгивал, озирался, моргал и гугукал с тем удовольствием, из-за которого сестра втайне считала, что, даже для двухлетнего, Майкл – довольно поверхностный ребенок, слишком увлеченный простыми радостями, чтобы относиться к жизни всерьез. Позади него, за витриной лавки, стояла сплошная тьма – рынок исчез, пропало все, кроме их слабых отражений, висящих в темноте, будто магазин газет и журналов остался один-одинешенек и летел в пучинах космоса. Над ее головой, где-то у штукатурки высокого потолка, раздались взрослые голоса – мамка благодарила человека в капюшоне за то, что он пригласил их войти и разрешил представить его детям.

– Эт архаровец в коляске – Майкл, а эт Альма. Она у нас в школу ходит, да, в Ручейном переулке. Не стой столбом, поздоровкайся с Трёшным Борой.

Альма застенчиво подняла взгляд к Третьему Боро, выдавив неслышное «Здравствуйте». Вблизи он казался постарше матери – наверное, лет тридцати. В отличие от остальных работников, белых,

как церковный мрамор, он был куда смуглее – коричневый от тяжелой работы под солнцем. А может, он родом из каких-нибудь жарких и далеких краев, вроде Палестины – страны, о которой пели старшеклассники в школьном актовом зале, куда ходили на утренние молитвы, а тот находился всего в трех каменных ступенях от детской раздевалки первогодки Альмы, где крючки обозначались паровозиками, воздушными змеями и котиками, а не именами мальчиков и девочек. «Квинквиремы Ниневии и далекого Офира...» [4] – так начиналась песня, с названиями и словами, такими красивыми, печальными и давно ушедшими.

Третий Боро присел на корточки к Альме, с той же доброй улыбкой, и она почувствовала запах его кожи – немножко похожий на тост с мускатным орехом. Увидела ковбойскую ямочку на подбородке, будто кто-то бросил в него дротиком, но глаз в ленте тени от заостренного края капюшона разглядеть по-прежнему не могла. Позже Альма не могла вспомнить, каким был его голос, двигались ли губы, когда он к ней обратился. Только в одном она была уверена – это был мужской голос, глубокий и искренний, и звучал он не аристократически, но в то же время без неряшливых кухонных акцентов Боро. Скорее, вспоминался голос диктора по радио, и она его словно не слышала ушами, а чувствовала нутром, теплый и уютный, как воскресный ужин. *Здравствуй, малышка Альма. Ты знаешь, кто я такой?*

Альма вздрогнула, ее мысли вдруг наполнились громом, звездами и нагими плачущими людьми. Слишком стесняясь назвать по имени, но желая дать ему понять, что узнала его, она попыталась напеть первый куплет песни «Все яркое и прекрасное» [5], которая всегда напоминала ей о маргаритках, надеясь, что он поймет ее неуклюжую робкую шутку и не рассердится. Его улыбка стала чуть шире, и Альма с облегчением поняла, что он разгадал ее намерение. Все еще на корточках, мужчина в робе на миг повернул покрытую голову, чтобы изучить Майкла, прежде чем протянуть бронзовую от солнца руку и пригладить золотые пружинки младенческих волос. Ее братик

захлопал в ладоши и захихикал, довольно лопоча, как попугайчик, и Третий Боро разогнулся и поднялся во весь рост, чтобы продолжить беседу с мамкой.

Вполуха слушая взрослый разговор над головой, Альма празднично разглядывала лавку и четверых работников, орудующих молотками, рубанками и пилами. Несмотря на одинаковые белые халаты и стрижки одного фасона, между собой они похожи не были – у одного посередине лба торчала большая родинка, тогда как другой был темный, с ежиком на голове и каким-то заморским видом, – и все же казалось, что они из одной семьи, братья или хотя бы близкие родственники. Ей стало интересно, из чего сделаны их халаты. Материал был простым и прочным, как хлопок, но мягким на вид, с синими, как лед, тенями в складках, – так что, наверное, дороже хлопка. Должно быть, такие рабочие фартуки носят старшие плотники, или «англы», рассудила Альма, и насилу припомнила то ли название ткани, то ли название фирмы, которое когда-то слышала. «Анчар» или «Бахча»? Что-то в этом духе.

Дорин обходительно беседовала со старшиной в капюшоне и время от времени вежливо поддакивала – Альма вспомнила те случаи, когда пыталась объяснить ей самые сложные свои рисунки, и поняла, что мамка на самом деле не имеет ни малейшего представления, о чем ей толкуют, но не хотела никого обидеть или показаться равнодушной. Наверное, она, между прочим, поинтересовалась у Третьего Боро, как продвигается работа, решила Альма, и во время ответа была поневоле вынуждена стоять и подавать уместные – как надеялась Дорин – междометия удивления, одобрения или озабоченности. Как и во многих других разговорах между старшими, Альма улавливала суть только отдаленно, и то сомневалась, правильно или нет. Странные обороты и случайные выражения закреплялись в сознании, из них получалась вешалка с ненадежными крючками, на которые Альма накидывала приблизительные нити связей, соединяя один факт с другим в полотне домыслов и откровенных гаданий, пока либо не получала

пунктирное представление о подслушанном, либо не забивала голову запутанными и абсурдными недоразумениями, в которые впоследствии верила еще долгие годы.

В этом случае, стоя и слушая аккомпанемент матери – без слов и разной тональности – к монологу Третьего Боро, она пробиралась между шаткими валунами взрослой речи и изо всех сил старалась представить общую картину происходящего – одну из своих диорам цветными мелками, но в голове, где все разрозненные части встали бы в сколько-то вразумительном порядке. По догадке Альмы, мать спросила, что здесь строят, и, судя по ответу, плотники готовили нечто под названием Портимот ди Норан – Альма знала, что никогда прежде не слышала этих слов, но в то же время звучали они так верно, словно она знала их всю жизнь. Это же какой-то суд, этот Портимот ди Норан, да? Где разберут все прения, и каждый получит по заслугам? Хотя в данном случае Альме казалось, что Третий Боро имел в виду что-то из столярничества, словно «Портимот ди Норан» – название какого-то замысловатого стыка. Говорилось, что в нем совокуплялись поднимающиеся линии – Альме показалось, это значит, что линии «сходятся», и потому она представила осьминожье соединение, как, наверное, в деревянном куполе церкви, где в середине одним ловким узлом связываются все изогнутые лакированные балки. Почему-то ей показалось, что в самом сердце постройки, в обрамлении из полированного палисандра будет заложен крест из грубого камня.

Словно в подтверждение такой трактовки Третий Боро теперь говорил, как хорошо, что здесь, в центре, есть столько дубов, которые выдержат распределяющиеся вес и напряжение. С этими словами он положил бронзовую руку на плечо Дорин, из-за чего реплика показалась Альме двусмысленной. Он говорил о дубах, что усеивали городские луга, или же делал Дорин какой-то комплимент, подразумевая, что их мать – дуб, древесный столп, который безропотно понесет на себе любые тяготы? Маме так или иначе слова пришлись по душе – она стыдливо сложила губки и хмыкнула,

словно ей было смешно от самой мысли, что она достойна такой похвалы.

Человек в капюшоне убрал ладонь с рукава Дорин, продолжая объяснять, что начинание под его руководством необходимо воплотить к определенному времени, и потому работникам приходилось работать не покладая рук день и ночь, чтобы закончить подряд. Альме это показалось нелогичным. Она была уверена, что предприятие Третьего Боро – одно из самых многолетних в городе, старше компаний с участками на Медвежьей улице, с разохшимися воротами, которые ведут в таинственные дворы причудливых форм и на облезавших табличках над ними все еще можно различить имена былых владельцев. Некоторые пабы, говорил ей папка, стоят здесь со времен короля Якова, и Альме казалось, что постройка этого самого Портимот ди Норана длится не меньше, и продлится еще сотню лет, пока Третий Боро, как прежде, будет выверять каждый пустяк, лишь бы убедиться, что все правильно. Почему же тогда его тон казался таким безотлагательным, спросила она себя. Если до окончания оставались целые столетия, почему идет речь о тягостных сроках? Альма решила, что человеку под капюшоном приходилось планировать наперед дальше, чем большинству, – возможно, из-за более серьезной долгосрочной ответственности.

Она стояла на новеньких пружинистых досках пола, напоминающих палубу корабля – из той же песни, что она слышала у школьников в актовом зале: «гордые испанские галеоны, плывущие от перешейка», или как-то так. По-прежнему сжимая ручку детской коляски, она наблюдала за усердием не жалеющих сил прилежных плотников, чем-то неуловимо напоминающих внешностью моряков, хотя их длинные белые фартуки наводили на мысли о пекарях. Она уже почти не обращала внимания на беседу прораба с матерью, потому что запоздало и неожиданно осознала, что пилы, молотки и дрели работников выглядели так, будто отлиты из настоящего золота, а в рукоятках на местах, где полагалось быть головкам шурупов, блистали бриллианты. Удивляясь сама себе, что

не заметила этого раньше, Альма вспомнила о Третьем Боро и матери, только когда в их тихих переговорах всплыло знакомое имя.

Они говорили о чем-то под названием «Дознание Верналлов» – насколько она смогла понять, каком-то слушании, где решалось, где находятся и кому принадлежат все закоулки, подворотни, стены и углы мира. Судя по тому, что говорили Дорин и господин в капюшоне, единственно эти тяжбы и предназначалось вместить незавершенному сооружению – только с ними в уме оно и воздвигалось, – но внимание девочки привлек не столько смысл дознания, сколько его наименование. Верналл – фамилия ее родственников по папиной линии. Хорошенько покопавшись в памяти, Альма поняла, что не так уж мало знает о семейной истории из подслушанных разговоров взрослых – даже то, о чем она ранее и не знала, что знала. К примеру, Мэй – мама папы, неумолимая и грозная бабка Альмы и Майкла, – была Верналл до замужества с Томом Уорреном, дедушкой Альмы, – он умер за несколько лет до того, как она родилась. Второй ее дедушка тоже умер, вспомнила она, папа Дорин – Джо Свон, жизнерадостный широкоплечий малый с моржовыми усами, умерший от туберкулеза, который он заработал, когда ходил на баржах, и известный Альме только по выцветшей овальной фотографии, висевшей на стене в гостиной и скрывавшейся во мраке под рейкой для картин. Девочка не знала своих дедушек, потому не ощутила на себе их влияния и не скучала по ним. Однако того же нельзя было сказать о бабушках – ни о бабуле Кларе, матери Дорин, с которой они жили, ни о бабке Мэй, обосновавшейся в доме за поляной рядом с церковью Святого Петра, на заросшей юго-западной окраине Боро.

Мэй Уоррен, в девичестве Мэй Верналл, была сущим дредноутом с веснушками – почти каждую субботу она плыла по кафелю крытого Рыбного рынка, рассекая толпу и оставляя в кильватере лишь пустоту, набирая скорость с каждым тяжелым шагом, словно нарастающий снежный шар жизнерадостной зловредности: конопатые брыли, на которых покоился подбородок, содрогались

при всяком движении, а внимательные смородинки глаз, вдавленные в пышный кровяной пудинг лица, поблескивали в предвкушении очередного несъедобного лакомства, за которым она пожаловала на рынок. За требухой ли, за трубачами ли, похожими на мускулистых рыжих слизняков, а то и за нарубленными угрями в лярде. Альма верила, что бабка съест что угодно и не поперхнет – если придется, даже другого человека, – но ведь Мэй была смертоведкой на Зеленой улице и в окрестностях. Смертоведками звались женщины, которые приводили людей в этот мир и помогали им уйти, когда те заканчивали свои земные дела, так что они явно немало видали на своем веку. Как гласила легенда, родилась Мэй прямо на Ламбет-уок среди плевков и сора в канавах. Теперь она жила в одиночестве на углу Зеленой улицы в заплесневевшем домике с газовым освещением и входной дверью над перекошенными ступеньками, который словно выдумало нечеловеческое воображение и где когда-то выросли папа Альмы – Томми – и половина ее тетушек и дядюшек. В семье считалось, что Мэй стала сварливой и огроподобной с возрастом – после жизни, полной разочарований, но еще в семье считалось, что Верналлы страдают от наследственного безумия.

У Снежка Верналла – папы Мэй, прадедушки Альмы, – как говорили в семье, «ум за разум зашел», и под конец жизни он ел цветы; для Альмы это звучало сочно и сказочно, но не так уж и плохо. Рассказывали, что в детстве у Снежка были рыжие волосы, но со временем они лишились цвета примерно в то же время, когда отец Снежка Эрнест, прапрадедушка Альмы, лишился разума и тоже побелел во время работы художником и реставратором в лондонском соборе Святого Павла еще в девятнадцатом веке. Безумие Эрнеста передалось и Снежку, и сестре Снежка, Турсе Верналл. Турса, как говорили, несмотря на помешательство, виртуозно играла на аккордеоне, как и красавица кузина папы Альмы – Одри Верналл, дочь Джонни, сына Снежка. В конце войны Одри выступала в танцевальном ансамбле под управлением своего

отца, а сейчас обитала в дурдоме на углу, если свернуть по дороге к Берри-Вуд.

Повернуться, свихнуться, ум за разум, шарики за ролики: в семье Альмы многие делали этот мысленный поворот. Она воображала, будто при этом внутри разума вдруг появляется угол, который нельзя заметить издали, в отличие от сгиба улицы. Он невидимый или почти невидимый – возможно, прозрачный, как теплица или привидение. Линии угла по отношению ко всем остальным линиям мыслей лежат совершенно непредсказуемо, а потому вместо того, чтобы пойти прямо, вниз или вбок, они ведут куда-то еще – в таком направлении, что нельзя ни нарисовать, ни даже вообразить, – и стоит завернуть за этот скрытый угол, как ты потерян навек. Оказываешься в лабиринте, который прежде не видел и о котором даже не догадывался, и все тебя жалеют, когда видят, как ты в нем блуждаешь, но, наверное, уже вряд ли захотят водиться с тобой так же, как раньше.

Ум за разум, очевидно, заходил у очень многих людей, но Альма по-прежнему была уверена, что за этим незримым поворотом одиноко, пусто и никогда никого нет, кроме тебя самого. Ты в этом не виноват, но все равно это почему-то стыдно, почему-то бабуля Клара такого не одобряет, это позор для семьи. Вот почему о Верналлах никто не говорил, и вот почему Альма едва ли не с испугом слушала, как мамка и Третий Боро в почтительных тонах обсуждают запланированное «Дознание Верналлов» – это слушание по межеванию, из-за которого столько хлопот. Неужели эта семейная линия Альмы на самом деле особенная, или же наименование дознания – простое совпадение? А если речь не о семье Альмы, то что же такое Верналл?

Ей показалось, что это похоже на название какого-нибудь стародавнего ремесла, которое по прошествии многих лет осталось в памяти в виде одной только фамилии. Например, отец Альмы Томми Уоррен, работавший на пивоварне, однажды рассказал ей, что словом «купер» много лет назад называли людей, ладивших

бочки, так что предки ее лучшей подруги Дженет Купер, скорее всего, были бондарями. Конечно, это все равно не объясняло, что такое Верналл или что Верналлы делают. Возможно, имя связано с дознанием об углах, потому что дело Верналлов – присматривать за межами и углами? Альме стало интересно, нет ли среди углов, за которыми они следили, того, за который зашли умы Эрнеста, Снежка, Турсы и несчастной Одри Верналл, но мысль ни к чему не привела и затухла сама по себе.

Еще без всякой видимой причины имя Верналл напоминало ей о траве и о том, как пах после покоса заросший пятачок на дороге Андрея близ Спенсеровского моста, о зеленых травинках, пробивающихся из подземной темноты в солнечный мир, – хотя как это соотносится с межами и углами, она и сама объяснить не могла. В воображении она видела дом бабки в обшарпанном конце Зеленой улицы, между кирпичей которого росли сорняки и даже маки, пустившие корни в железнодорожную сажу – истинные уличные обои Боро: черная квашня, висящая гармошкой на обожженных оранжевых кирпичных стенах, как вуаль на вдовствующем районе. Через улицу к тылам церкви Святого Петра, у задних ворот во двор «Черного льва», поднимался зеленый склон за низкой оградой сухой кладки. Этот травянистый откос она всегда представляла, когда слышала в песне, что Иисус идет по зеленым лугам ^[6]: в длинном одеянии, со светом вокруг головы и с босыми ногами, вниз от ворот паба к началу переулка Узкого Пальца и магазину сладостей Готча, что на другом конце Зеленой улицы от дома бабки. Поймав себя на том, что она начала гадать, какая сласть нравилась Иисусу больше всего, Альма поняла, что снова с головой ушла в фантазии, и кое-как принудила беспокойное облако внимания вернуться к тому, что обсуждали мамка и человек в белом капюшоне.

Третий Боро заканчивал свой рассказ о положении дел, заверяя Дорин, что работа по дереву с незапамятных времен была ремеслом его семьи. Он говорил, что, хотя труд предстоит долгий и немало еще

человек надорвет над ним спину, идет он по плану и завершен будет вовремя. Альма сама не могла объяснить, почему эти торжественные слова отозвались в ней такой радостью. Как будто можно больше не беспокоиться ни о чем на свете, ведь в конце концов все будет хорошо – как когда родители заверяют тебя, что герой не умрет и к концу сказки добьется своего.

Вокруг в блеске лавки плотники в поте лица продолжали свой неустанный труд, строгая доски против волокон, но Альма заметила, как они посматривают на нее с вопросом в глазах, поняла она или нет, какие это для всех хорошие вести, и с молчаливым удовлетворением улыбаются, заметив, что поняла, – гордые собой и в то же время зардевшиеся от стыда за свою гордыню. Портимот ди Норан будет построен – в каком-то смысле уже построен. Она оглянулась на Майкла, внимательно привставшего в коляске. Словно даже малыш понимал, что происходит нечто особенное, и он с готовностью встретил взгляд сестры большими голубыми глазами с танцующими искорками, сообщая по их личной бессловесной связи свою радость, возбужденно дергая ремни. Альма видела, что, хотя брат еще мал и не умеет называть вещи своими именами, каким-то образом он все-таки осознал, кем на самом деле был бригадир в накидке. При встрече его невозможно было не узнать, даже если ты младенец. По натуре Майкл был спокойным ребенком, но сейчас его распирало от изумления, словно он в точности знал, что означает для всех грандиозная стройка. Откуда ни возьмись к Альме вдруг пришла мысль, что однажды, когда они с Майклом будут взрослыми, они обязательно усядутся на забор и посмеются при воспоминании об этой встрече.

Теперь Дорин благодарила бригадира за то, что он позвал их к себе, и в то же время готовилась уходить – проверяла застежки ремней Майкла и велела Альме подтянуть пояс макинтоша. То ли свет в лавке становился ярче, думала Альма, то ли тьма пустой площади снаружи сгустилась до неизвестного цвета хуже черного. Она думала о дороге домой без воодушевления – и о необъяснимом

приглушенном ужасе, который иногда нападал на нее на Банной улице, и о входе в проулок, узкий, словно сбойка, похожий на челюсти ночи, что бежал позади сплошного ряда домиков, построенных стена в стену между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца, – но ей казалось, что она покажется неблагодарной, если признается в этом вслух. Ведь для Альмы эта встреча стоила даже прогулки по холодным улицам – хотя она все же была не прочь проскочить следующие двадцать промозглых минут жизни, чтобы сразу оказаться в своей уютной постельке.

Но свет в лавке определенно становился ярче, решила она, пока с трудом теребила вдруг ставший таким неподатливым пояс макинтоша. Пока она стояла у коляски и возилась с пальто, перед ней – или, возможно, над ней – зависли блестящие прямоугольники яркой белизны – как поняла Альма, отражения окон за ее спиной. Только какие-то неправильные. Освещенная комната иногда может отражаться в окне, но только не окна – в пустом пространстве комнаты, повиснув в воздухе, все белее и ослепительнее с каждым мигом. Где-то рядом Дорин говорила ей поторопиться с поясом, чтобы уйти и не мешать дядям работать. Альма выпустила из пальцев пряжку и потеряла ее в сложном узле, которого всего пару секунд назад как будто бы не было. Чем старательней она распутывала ремень, тем больше из неожиданных складок пальто, в которых разбираются только галантерейщики, в руки лезли новые лоскуты габардина и обвивали Альму своими полосатыми хитросплетениями. В глаза все сильнее били листы света, парящие над ней – или, возможно, перед ней. Мамка где-то поблизости велела пошевеливаться, но ситуация с макинтошем становилась только отчаянней. Альма боролась с бесконечной, всепоглощающей тканью, лежа на спине, когда вдруг заметила, что замершие перед ней светящиеся пятна задернуты шторами. Шторами с узором из серых роз, точь-в-точь как те, что висели в спальне Альмы.

* * *

Вот такой, если вкратце, сон увидела одной февральской ночью 1959 года, когда ей было пять лет, Альма Уоррен, впоследствии ставшая достаточно знаменитой художницей. Спустя год после сна ее брат Майкл задохнулся и умер, но всего через день-другой каким-то образом вернулся к жизни и к ним домой на дорогу Андрея невредимым, о чем в дальнейшем ни он, ни Альма особо не распространялись, хотя в то время вся семья натерпелась страха.

Их отец Томми Уоррен умер в 1990 году, а вскоре, в знойное лето 1995-го, за ним последовала Дорин. Чуть меньше десяти лет спустя, с Миком Уорреном произошел несчастный случай на работе, где он утилизировал стальные баки. Довольно комично лишившись сознания и придя в себя только под струями холодной воды, которыми коллеги смывали едкую пыль с его глаз, второй раз Мик восстал из мертвых со множеством тревожных мыслей в голове – странных воспоминаний, всплывших на поверхность, пока он лежал в отключке. Кое-что из того, что он якобы вспомнил, казалось таким странным, что явно не могло произойти наяву, и Мик начал опасаться, что в нем просыпается таящаяся в семейной крови болезнь, которой боялись и потому обходили молчанием, – что у него заходит ум за разум.

Когда он наконец набрался смелости поведать о своих страхах жене Кэт, она с ходу предложила поговорить с Альмой. Семейю Кэти, как и семью Мика, выселили с прокоптившихся пустырей Боро – квадратной мили грязи у железнодорожной станции, – когда в начале 1970-х управа вычищала последние остатки района. Надежная, здравомыслящая и все же не стыдящаяся своих причуд, Кэт, на взгляд Мика, могла похвастаться всеми чертами женщин Боро: решительностью и непоколебимой верой в интуицию, в собственную способность решить, как лучше поступить в любых обстоятельствах, какими бы они ни выдались необычными.

Кэти и Альма ладили замечательно, вопреки – а может быть, благодаря – пропасти между их характерами, при этом Кэти открыто считала Альму юродивой, которая жила на помойке, а Альма в ответ язвила о любви невестки к Мику Хакнеллу из Simply Red. Тем не менее обе испытывали друг к другу исключительное уважение как к специалисткам в непересекающихся областях знаний, и, когда Кэт рекомендовала мужу обратиться к Альме, раз уж он решил, что у него начала протекать крыша, Мик знал: это потому что жена верила, будто его старшая сестра – настоящий эксперт не только в том, как объесться белены, но и вообще в пожизненном вегетарианском рационе из этого растения. Более того, он и сам полагал, что Кэти недалеко от истины. Мик сговорился с Альмой о встрече за кружечкой пива в следующую субботу, причем без всякой вразумительной причины назначил ее в «Золотом льве» на Замковой улице – одном из редких сохранившихся пабов из дюжин, которыми когда-то могли похвастаться Боро, и, по совпадению, том самом, где он познакомился с Кэт, когда она там работала, перед тем как воплотил в жизнь мечту жениться на барменше.

На встрече с Альмой он обнаружил, что некогда забитое до отказа заведение теперь оставалось практически пустым даже по субботам. Очевидно, те обитатели квартир распотрошенного района, что не были прикованы к спальням домашним арестом по ASBO, обычно предпочитали зоопарк городского центра, терпимый к справлению естественных потребностей и выделению жидкостей из любых отверстий, включая проделанные ножом, нежели чем терпеть замогильную тишь родных окрестностей. Его сестра сидела за угловым столиком в излюбленном черном ансамбле: джинсы, жилет, ботинки и кожаная куртка. Как Альма недавно объяснила Мику, сейчас черный – это новый iPod. Она заказала себе бокал с газированной минералкой и сейчас пыталась поставить на ребро бирдекель «Strongbow», пока за ней с выражением, как показалось Мику, клинической депрессии наблюдал мужчина за стойкой.

Единственный посетитель за всю ночь – и то непьющее страшное чучело.

Мик правда, считал, что Альма скорее, как говорится, импозантная, чем страшная, даже в ее возрасте, правда в лицо бы он ей такого не сказал. Сколько ей, пятьдесят один? Пятьдесят? Импозантная, определенно, если на самом деле иметь в виду «пугающая». Ростом она была метр восемьдесят – на пару сантиметров ниже брата, но на каблуках – добрых метр девяносто; длинные нестриженные русые волосы, поседевшие до цвета пыльной меди, скрывали скуластое лицо неровными защитными шторами в стиле, который она однажды описала при Мике как «постапокалиптично-мародерский». И, конечно, глаза – жуткие и огромные, если, конечно, она не щурилась близоруко, со зрачками теплого грифельного цвета, вокруг которых потусторонним лимонно-желтым расцветали радужки, словно короны во время полного затмения, и с толстыми ресницами, скрипящими под тяжестью туши.

За долгую жизнь у нее было немало поклонников, но на деле подавляющее большинство мужчин считало Альму «в целом неприятной», как выразился один знакомый, или «гребаным ходячим кошмаром с климаксом», как проще сформулировал другой, хотя даже это говорилось почти благоговейным тоном. Иногда Мику казалось, что его сестра просто не подпадала под общепринятые стандарты красоты, но куда смешнее было настаивать, что она похожа на Лу Рида с обложки «Трансформера» или на «глэм-Франкенштейна из солярия», как с удовольствием перефразировала Альма, пообещав процитировать это в своей биографии для каталога, когда в следующий раз устроит выставку. С одинаковой страстью наслаждаясь как выслушиванием оскорблений, так и их раздачей, Альма могла постоять за себя, в отместку с непрошибаемой искренностью утверждая, что ее младший братец с ангельским личиком был жеманным и изнеженным с самого рождения – более того, на самом деле родился девочкой, даже в какой-то момент удостоился звания «Мисс Пирс» ^[7], но затем лег на

операцию, потому что мамке с папкой хотелось иметь по ребенку каждого пола. Впервые она испытала эту пугающе серьезную репризу на само м Мике, когда ему было шесть, а ей – девять, чем довела его до слез от стыда и шока. Когда же он однажды сообщил Альме, практически без преувеличений, что большинству она кажется гомосексуалом, застрявшим в жалком подобии женского тела, она парировала: «Да, и ты тоже», – а потом хохотала, пока не поперхнулась, и ее чуть не стошнило – как обычно, не в меру довольная собственной остро той.

Остановившись у бара, чтобы обхватить ладонью освежающую сосульку первой пинты, Мик прошел по протертому ковру с цветочным узором, больше похожим на диаграмму уровня самоубийств, к столику, облюбованному сестрой, – что неудивительно, тот находился в самом дальнем углу от дверей, неизбежный выбор мизантропа. Когда он со скрипом отодвинул стул напротив Альмы, она подняла взгляд от влажной поверхности с разрозненным архипелагом бирдекелей. Выкатила обычную приветственную улыбку, которая, наверно, была предназначена передать, что ее лицо озаряется радостью при его виде, но из-за привычки Альмы перегибать палку стала очередным экспонатом в гран-гиньоле ее выражений, из-за чего сестра напоминала скорее серийную убийцу с религиозными мотивами или пироманьячку – особенно из-за желтых пожаров, бушующих в глазах.

– Надо же, сам Уорри Уоррен. Как ты там поживаешь, Уорри, черт тебя дерит?

Голос Альмы был прокурен до зловещего баса орга́на, гудящего в готическом соборе, и иногда опускался даже ниже голоса Мика. Несмотря на беспокойство о своем душевном здоровье, он не мог не улыбнуться и искренне порадоваться свиданию с сестрой, восстановлению их таинственной связи, успокаивающей беседе с человеком, который зашел по дорожке безумия куда дальше него. Отвечая, Мик положил сигареты с зажигалкой рядом с усеянной каплями кружкой, готовясь к долгому вечеру.

– На грани, Уорри, если по правде.

С самого момента в 1966-м, о котором никто из них не мог вспомнить ничего определенного, оба звали друг друга Уорри. Возможно, начало этому положила Альма в тринадцать лет, придумав младшему брату такое уничижительное прозвище – Уорри, а тот, возможно, отвечал тем же, потому что, как она всегда в глубине души подозревала, слишком легкомысленно относился к миру, чтобы выдумать собственное оскорбление, даже такое дурацкое как Уорри. Стоило парочке начать так обращаться друг к другу, как скоро разгорелась идиотская война на истощение, об истоках которой никто уже не помнил, но тем не менее оба чувствовали, что уступить и первым назвать другого по имени покажется невыносимым поражением. Этот номинативный теннисный матч жалким образом тянулся всю их жизнь, даже когда кличка уже стала казаться милой и они напрочь позабыли его нелепое происхождение. Если Мика спрашивали, почему они звали друг друга Уорри, он обычно отвечал, что в таком неблагополучном районе, как Боро, мамка с папкой не могли позволить для детей два разных прозвища, так что пришлось как-то делить одно. «Не то что у богатых ребятешек», – иногда добавлял он с непритворной горечью. Если же рядом была Альма, она смотрела на вопрошателя обвиняющим коровьим взглядом и печально просила не смеяться. «Только это прозвище мы однажды и получили на Рождество».

Теперь его сестра уперлась потертой кожей на локтях в пленку жидкости, покрывающую стол, примостила подбородок на длинные пальцы и вопросительно подалась вперед в воздухе цвета разбавленного чая, склонив голову так, что самые длинные пряди подмели влажный мениск стола и их кончики стали острыми, как колонковые кисточки.

– По правде? А на что мне твоя правда? Я просто разговор завожу, Уорри. Зачем мне «Илиада»?

Они оба восхитились ее черствостью, а затем Мик поведал о несчастном случае на работе, о том, как лишился сознания и обжег

лицо, как ослеп на час-другой и с тех пор волновался, что сходит с ума. Альма смотрела на него пару секунд с жалостью, затем покачала непропорционально массивной головой и вздохнула:

– Ох, Уорри. Вечно ты важнее всех, да? Я уже много лет страшная, полуслепая и долбанутая, но что-то не припомню, чтобы кому-то жаловалась. А стоит тебе принять душ из едких химикатов для чистки крейсеров – так сразу в соплях.

Мик затушил сигарету в иллюминаторе пепельницы цвета морской волны и закурил новую:

– Это не шутки, Уорри. Я как проснулся во дворе под водой из шланга, так меня преследуют странные мысли. Не из-за гадости, которая в глаза попала, и не из-за того, что я головой ушибся, а уже когда очухался. Я даже сразу не вспомнил, что мне сорок девять или что я работаю в ремонтной мастерской. Не помнил о Кэти, ребятах – ни о чем.

Он замолчал и отпил лагер. Альма сидела напротив за промокшим столом, немо вперив в него взгляд, – неподдельно увлеченная, осознав, что он не шутит. Мик продолжал:

– Когда я только прочухался, я вдруг подумал, что мне три года и я проснулся в больнице – после того случая с драже от кашля во время ангины.

Бунтарски невыщипанные брови Альмы озадаченно нахмурились.

– Когда ты подавился и сосед Даг отвез тебя по Графтонской и через Маунтс в больницу на своем овощном грузовике? Мы все думали, что тогда-то ты и получил травму мозга, – по крайней мере, я так думала.

– Все нормально у меня с мозгом.

– Да брось. А как же. Тут только три минуты без кислорода – и пожалуйста. А все говорили, что ты не дышал с самой дороги Андрея до Чейн-уок, а в ржавом драндулете Дага это не меньше десяти минут. Десять минут без воздуха – это смерть мозга, дружок.

Мик фыркнул от смеха в кружку и смочил нос пеной:

– Ты же вроде у нас за интеллектуала, Уорри? Попробуй десять минут не дышать и наверняка заметишь, что это смерть вообще всего.

На этом оба притихли и задумались – но ни к чему определенному, впрочем, не пришли. Наконец Мик продолжил повествование:

– В общем, к чему это я. Когда я проснулся в больнице тогда, в три года, то понятия не имел, как туда попал. Не помнил, ни как подавился, ни как ехал в грузовике Дага, хотя он и говорил, что всю дорогу я был с открытыми глазами. Но когда я проснулся теперь, все было по-другому. Как я уже говорил, мне на минуту показалось, что я опять в больнице и мне снова три – но только теперь я вспомнил, как туда попал.

– В смысле, наш двор и драже от кашля? Или грузовик Дага?

– Ничего подобного. Нет, я вспомнил, как был в потолке. Я пробыл там полмесяца, питался феями. Наверное, это какой-то сон, хотя на сон и не похоже. Куда реальней, но при этом и куда безумней, и все про Боро.

Альма пыталась перебить и спросить, заметил ли он сам, что только что во всеуслышание заявил, будто полмесяца жил в потолке и питался феями. Но Мик пропустил все мимо ушей и продолжил рассказывать о своем приключении, вернувшаяся память о котором так его встревожила. К завершению рассказа Альма сидела с открытым ртом, пораженно уставившись на брата своими глазами панды под таблетками. Наконец она выдавила свой первый серьезный ответ за вечер.

– Это же не сон, дружок. Это же видение.

Пара продолжила беседу – на этот раз для разнообразия без дураков – в сумраке обезлюдевшего паба, время от времени повторяя заказ: Альма все пила минеральную воду – из отравы она предпочитала полдюжину брусков гашиша размером с батончик «Баунти», разбросанных по ее чудовищной квартире на Восточном Парковом проезде. «Золотой лев» вокруг них погружался в

противоположность сумятицы, антигвалт, в котором царствовал неумолимый стук настенных часов. Время от времени свет в баре малоозаметно мерцал, словно в помещении кишели отсутствия посетителей, коричневые и прозрачные, как старая целлулоидная пленка, и изредка несколько засиженных мухами не-тел накладывались друг на друга и заслоняли свет, хотя и неощутимо. Долгие часы Мик обсуждал с сестрой Боро и их сны – Альма рассказала о своем, про освещенную лавку на запустелом рынке, где в ночи стучали молотки плотников. Она даже рассказала, как в том сне вспомнила другой сон, в котором Дорин заявила, что голуби – куда уходят умершие, хотя Альма призналась, что, проснувшись, не могла сказать с уверенностью, действительно ли ей это когда-то снилось – или только приснилось, что снилось.

В конце концов, когда немного погода они вышли на буйство ветра За́мковой улицы, Альма гудела от возбуждения, а Мик нажрался. После разговоров с сестрой и ее воодушевленных тирад ему полегчало. Пока они спускались по За́мковой улице к Фитцрой по призрачному району, Альма рассказывала, что собирается написать целую серию картин, основанных на опыте клинической смерти Мика (а она уже верила, что именно этим и являлись вернувшиеся воспоминания) и своих собственных снах. Она подняла на смех страхи брата за свое психическое здоровье, заявив, что это очередной пример его девчачьей натуры, цепенящего ужаса при виде чего угодно, хотя бы отдаленно напоминающего творческое мышление. «Твоя проблема, Уорри, в том, что, когда тебе в голову приходит мысль, ты думаешь, что это внутримозговое кровоизлияние». Слушая, как она тараторит, словно захлебывающаяся пишмашинка, о нереализуемых и трансцендентальных концепциях картин, он чувствовал, как гора падает с плеч, как он парит в нежном и приторном облаке пердежа с привкусом лагеря и растворяется под звездной обсидиановой миской времени закрытия, которую опрокинули на Боро, как будто не хотели подпустить мух.

Они побрели вниз от входных дверей «Золотого льва» и его кариозной светло-зеленой плитки: справа через улицу, о которой давно позабыли автомобилисты, проплывали поблекшая китайская головоломка струпных кирпичей из 1930-х – тылы многоквартирников на Банной улице под названием Дом Святого Петра, – и проемы в невысокой стенке, выходящие на треугольную каменную лестницу в виде зиккурата, с расширяющимися ступеньками от вершины к основанию с каждой стороны. За ней стояли сами многоквартирники с высеченными щелями баухаусной тени на фасадах, с двойными дверями в нишах портиков; окна с катарактами тюля – большинство без света. От поймы Конца Святого Джеймса к западу от реки завизжали полицейские сирены, как баньши из Radiophonic Workshop [8], и Мик задумался о своем недавнем откровении, осознавая, что, несмотря на духовный подъем при виде пылкой, почти фанатичной реакции сестры, где-то глубоко по-прежнему засел жесткий комок беспокойства, хотя и затопленный в озере отупляющего янтарного пойла. Словно уловив смену его настроения, Альма прекратила заливаться соловьем о том, какие невиданные пейзажи ей предстоит запечатлеть, и бросила взгляд мимо него в ту же сторону – на зады немых многоквартирников, объятых ночью.

– Да уж. В этом и проблема, да? Не «Что, если у Уорри ум за разум зашел», а «Что, если нет?» Если то, что ты видел, значит то, о чем я думаю, тогда вот с чем нам придется иметь дело, – Альма кивнула на темные многоквартирники и Банную улицу, а может, и куда-то еще дальше. – Со всем, что ты повидал, когда разгуливал с бандой мертвых детей, – Деструктором и всем таким. Вот против чего нам придется выступить. Вот почему мне придется расстараться с картинами и изменить мир до того, как его окончательно угробят.

Мик с сомнением взглянул на Альму:

– А тебе не кажется, сестричка, что уже поздно? Сама посмотри.

Он пьяно обвел рукой округу, когда они дошли до основания приблизительной трапеции горбатого пригорка под названием

Замковый Холм, куда выходила былая улица Фитцрой. Теперь она превратилась в расширенное шоссе, ведущее в стопку обувных коробок застройки шестидесятых, где когда-то пролегали феодальные коридоры улицы Рва, Форта и прочих. Кончалось шоссе клаустрофобным тупичком с парковкой, зажатой с двух сторон зданиями, а с третьей – переливающимися через бордюры черными грязными кустами, последней линией отчаянной обороны природы Боро.

До постройки этого жалкого жилищного комплекса, еще в юные годы Мика и Альмы, в тупике находилась безобразная пародия на детскую площадку с маленьким лабиринтом из синего кирпича в центре, как будто созданным для скудоумных лепреконов, и с вечно маячившим над душой творением кубиста-аутиста – бетонным конем, слишком угловатым и неудобным, чтобы его оседлать, с пустой дырой вместо глаз, просверленной в голове на высоте висков. Но даже такая абстрактная скульптура была не столь омерзительна, как это место для изнасилований на свидании и для слета извращенцев-вуайеристов, с наспех размазанной по розовым тротуарным прямоугольникам жижей асфальта, похожей на дешевую просроченную икру, которая, в свою очередь, покрывала и ухабистые переулки, и каменные плиты дворов. Только в канавах у обочин, где все эти слои шелушились под жаром солнца, можно было разглядеть страты утрамбованного человеческого времени – кольца на давно срубленном цементном пне Боро. Из-под холма, с другой стороны автостоянки и дешевых, сердитых надгробий обрамляющих ее многоквартирников доносились траурные визг и лязг товарняка, с рокотом и ропотом карабкающегося по склону впадины прочь от сетки железнодорожных рельс на дне, похожих на шрамы от самовредительства.

Альма смотрела туда, куда показал Мик, сложив замалеванные ресницы в презрительном прищуре из спагетти-вестерна, так что глаза казались пауками-скакунами, изготовившимися к смертельному броску.

– Ну конечно еще не поздно, девочка моя. Какой смысл посылать тебе видение, если поделаться ничего нельзя? И слушай, я же гений. Это не кто-нибудь, а NME [9] так написал. Сделаю картины – и все разрулим. Можешь поверить.

И он безоговорочно поверил. Хотя даже слепому было понятно, что сестра Мика – самовлюбленная фантазерка, его опыт все же говорил, что часто она оказывалась права. Если Альма заявляла, что остановит катаклизм тюбиками с краской, Мик скорее бы поставил на ее успех, чем на падение метеора или что там уготовано Боро. Все свою жизнь она принимала парадоксальные решения, которые, вопреки всему, окупались, и любой мог сказать, что для ребенка из Боро Альма устроилась довольно неплохо. Мик в нее верил – хотя и не так непреложно, как ее преданные фанаты, многие из которых, похоже, считали, что она явилась на свет благодаря потусторонним силам или же таинственным генетическим экспериментам – ниспосланный Богом мутант, умеющий говорить с камнями и оживлять нерожденных, не говоря уже о мертвецах.

«Поверить не могу, что вы брат Альмы Уоррен», – этого он наслушался от поклонников сестры, в основном от женщин, – коллег его супруги, которых Альма интересовала только в роли «непонятой лесбийской иконы», как была убеждена она сама. Иногда, если они знали о происхождении Мика, то сидели с задумчивым видом, а потом спрашивали, как же такой человек, как Альма Уоррен, мог вырасти на такой скудной гнилой почве, как Боро. Вопрос ему казался дурацким – будто она могла вырасти где-то еще. Где – в аду, в Нарнии? Сколько же времени прошло с тех пор, как бесследно сгинул настоящий рабочий класс, если даже очевидные выходцы из него ныне неузнаваемы, как додо? Что случилось с этой культурой? Те, кто не соблазнился перейти в нижние ряды среднего класса и не слился окончательно в джунгли картонных коробок, – как они умудрились пропасть из виду так, что если в наши дни кто их и встретит, то не поймет, кого видит? Куда они ушли? Почему никто не жаловался?

Уоррены повернули налево и пошли по самому нижнему краю Замкового Холма, к стене церкви Доддриджа по направлению к Меловому переулку, улице Лошадиной Ярмарки, их любимой дороге Андрея, которая выходила к вокзалу и ряду такси подле него. Альма как ни в чем ни бывало снова расписывала очередной еще не существующий шедевр, уставившись в пустое чернильное пространство, словно так и видела картину перед собой, уже в раме.

– Пока мы болтали, да, мне в голову пришла такая мысль. Можно написать мой сон, который про плотников на углу ночного рынка. Можно сделать огромную картину, как у Стенли Спенсера, с гигантскими фигурами над рубанками, лицом от зрителя. Некоторые части выпишу подробно, с любовью, а остальное недоделаю, как бы оставляю в карандаше. И назову «Неоконченный труд»...

Альма осеклась, замерла на месте и подняла взгляд на нонконформистскую церковь восемнадцатого века, мимо которой они проходили. На верхнем этаже в обрамлении светло-коричневого кирпича виднелась закрытая просмоленная дверь, выходящая в пустоту: очевидно, какое-то место для разгрузки, только кому оно понадобилось на такой высоте, да еще в церкви? Казалось, будто дверь должна вести на невидимый верхний этаж нищего квартала, снесенный без следа, или же, наоборот, на запланированную пристройку, которую только предстояло возвести. Альма перевела взгляд с бессмысленной ангельской двери на Мика, и, когда заговорила, ее обычно гремящий голос оказался тихим и благоговейным – больше похожим на голос маленькой девочки – таким он не был даже в ее детстве.

– Одно из тех мест, Уорри, да? Из этого твоего припадка?

Брат Альмы кивнул и показал на высланный дерном пустырь за очередной парковкой, в Меловом переулке, приближающийся к ним справа, когда оба сдвинулись с места.

– Ага. А вот еще, где валы. Но там оно куда больше, и древнее, и все лужи как будто слились в одну – не знаю, лагуну, что ли.

Сестра медленно кивала, запоминая каждую деталь пригорка за автомобильными яслями, где за своими подопечными присматривала из заплывающего уголка нянька – камера слежения. На фоне света от натриевого фонаря, кровоточащего над близлежащим вокзалом, на земляном кургане высился силуэт раздвоенного дерева – или двух деревьев, выросших впритык друг к другу. Деревья были непреходящими чертами ландшафта, истинным лицом под размазанным гримом развлекательного центра и магистрали, под местами стершейся косметикой. Дуб и вяз издавна определяли здешний вид, были жизненно важными несущими элементами, неизменными, как облака, – и, как облака, по большей части незамечаемыми.

Когда Уоррены дошли до начала Мелового переулка, к востоку от них за травяным холмом церкви Доддриджа показались многоквартирники и здания на улице Святой Марии, где начался Великий пожар, а дальше – оживленное автомобильное движение на Конном Рынке, эта улица взбиралась на холм и растворялась в мертвом угаре дорожной развязки, где когда-то была Мэйорхолд. Расщелина Мелового переулка окуналась в темноту – вела под горку на юг, к ленте автомобильных огней на Лошадиной Ярмарке, украшенным дьяволами карнизам церкви Петра через дорогу, а еще к отелю ibis и развлекательному комплексу по левую руку. Неоновая опухоль в стиле Фаберже – ее возвели на месте снесенного штаба «Барклейкард», а еще раньше тут был хитросплетенный узел из фирмочек и узких проходов, вроде Пикового переулка, Квартового, улицы Доддриджа, а задолго до него здесь располагалась королевская резиденция, откуда правили всей Мерсией, а также большей частью дремучей саксонской Англии. Здесь не было привидений; здесь остались только ископаемые слои призраков, спрессованные до эмоционального угля или нефти, черных и огнеопасных.

Альма попыталась вообразить весь перекошенный квартал от Пути Святого Петра до Регентской площади, от дороги Святого

Андрея до Овечьей улицы и церкви Храма Господня: окаменевший бок кабана с все еще торчащими стрелами высоток, что пронзили и повергли его, все еще со щетиной уличных фонарей и коростой таверн; пыталась вообразить в контексте видения Мика, словно болезненная топография и ломаная линия горизонта до сих пор были подключены к чему-то гудящему и неосязаемому, каким-то легендарным механизмам, давно исчезнувшем из виду, но, похоже, все еще пребывавшим в рабочем состоянии. От этого мурашки шли по коже и хотелось забить косяк. Активисты говорили, что от старомодного гашиша впасть в зависимость невозможно, но, на взгляд Альмы, они просто не пробовали.

Брат и сестра вышли из Мелового переуллка на Холм Черного Льва – миллионлетнее наслоение, увенчанное четырехсотлетним пабом в заднице Лошадиной Ярмарки. У входа в переулок торчала еще одна газетная лавка, где Альма с семи лет покупала ради красивых картинок комиксы – аляповатый плавник привозили из Америки в качестве корабельного балласта, страницы с запахом небоскребов и электризирующими надписями: «Путешествие в тайну», «Запретные миры» и «Мое величайшее приключение». Над заново асфальтированной улицей стояла, прячась за ширмой бузины, меланхоличная маленькая гостиница, где в холле висели стародавние фотографии напоминающего мельницу здания с округлым куполом, что ранее господствовало в округе. Теперь же здесь угнездился короткий ряд безликих домов из 1960-х, поглядывающих из-за высокой стены на дорогу, жильцы которых держались до последнего, пока еще не пришла джентрификация в рамках «Культурной мили» – ее проект протолкнули и восхваляли господа из управы, прежде чем загнать недвижимость по завышенной цене и смыться в края, где каждый угол не смотрит с укором, где фундаменты не разъедает астральная сырость просочившихся кошмаров. У Альмы откуда-то возникло впечатление, что когда-то в одном из этих зданий жил местный депутат, но съехал он с тех пор или нет – она не знала. Завернув за угол направо, они

спустились к светофорам и перешли дорогу Святого Андрея, постепенно приближаясь к Замковой станции.

Здесь по выходным останавливались секс-работницы, выездные отряды проституток из Милтон-Кейнса или Регби сгружались с экспресса «Сильверлинк» и отправлялись в разрекламированную зону красных фонарей Боро – их богатый ассортимент ждал всех на круглосуточной остановке дальнобойщиков, что находилась на северо-западном углу Боро, где горб Спенсеровского моста встречается с Журавлиным Холмом у начала Графтонской улицы, северной границы района. Ходячие переносчики СПИДа и их кураторы по обыкновению проходили через двор станции, через некогда бывший здесь средневековый замок, в котором начинается действие шекспировского «Короля Иоанна», в котором еще в тринадцатом веке впервые в мире собрался парламент и тут же поднял подушную подать, распалив восстание Уота Тайлера 1381 года, в котором планировались Крестовые походы, в котором приговорили Беккета – и именно здесь в конце черной от сажи дороги росли Мик и Альма; в своей затопленной Летой Аркадии. Спускаясь к черным такси, кружащим по двору станции от главных ворот, Альма размышляла о непосильной тяжести задачи, которую на себя взвалила. Она не просто напишет картины. Она их просто-таки захреначит.

* * *

Так и случилось. Четырнадцать месяцев спустя, в холодную весеннюю субботу 2006 года, Мик пообедал с женой и мальчишками дома в Уайтхиллс, затем спустился по Кингсторп к Баррак-роуд, подходя к Боро с северо-восточного угла и кратера, когда-то носившего название Регентская площадь. Он давно сдал на права, но по-прежнему предпочитал передвигаться пешком, разделяя семейную антипатию к моторному транспорту. Ни у его сестры, ни у

родителей, ни у единого из многочисленных дядюшек и тетушек не было своей машины, и сам Мик по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке в тех редких случаях, когда его доверенная водительница Кэти отсутствовала, и он был вынужден забираться за баранку самолично.

Несколько недель назад ему позвонила Альма и сказала, что закончила картины, задуманные на прошлогодней встрече в «Золотом льве». Она собиралась начать выставку с маленького просмотра для своих, организованного в детском саду, где когда-то была школа танцев Питт-Драффен, – на урезанной угловой окраине Замкового Холма. Сестра приглашала взглянуть на образы, вдохновленные его видением, включая «Неоконченный труд» с полуночными плотниками, «Должностную цепь», картину, которую ей особенно не терпелось показать именно брату, и еще один труд – его Альма звала «трехмерным» и он, возможно, будет доступен только в этот вечер премьеры.

В слаксах, лоферах и простой коричневой рубашке под пиджаком – насчет уместности которого Мик до сих пор сомневался, – он шагал навстречу ветру по Графтонской улице: подтянутый и привлекательный сорокадевятилетний мужчина, не утративший блеска ребяческого оживления в светло-синих глазах, которые были хотя бы нормального цвета, в отличие от глаз Альмы, прямиком из «Деревни проклятых». Она-то, конечно, возразит, что зато у нее на месте волосы, а его – сдали позиции и окопались облачком золотистого пушка высоко над загорелым лбом, впрочем, все еще отдаленно напоминая блестящие одинокие завитки из младенческих времен. Тут его черт за язык дернет, и в ответном выпаде он заметит, что у него на месте все зубы – буквально больная тема Альмы с ее вечной страстью к сладостям и страданиями от периодонтита, и тогда она наверняка обожжет его взглядом, угрожающе промолчит и замнет на этом разговор. Он осознал, что репетиция встреч с сестрой и мысленная постановка их стычек, которых может и не

быть, – признак неуверенности в себе, однако прошлый опыт говорил Мику, что к Альме лучше всегда приходиться во всеоружии.

Графтонская улица сбегала вниз ревушей сталью и резиновой стремниной – река машин, разбухшая от дождя обеденных выпивох, шопоголиков на выходных выездах и зажиточных любителей померяться пенисами, грозила затопить берега. Слоистая анаконда от расплавленной крыши, змеящаяся по тротуару перед Миком, свидетельствовала, что наемники как раз и свершился подобный разлив, не далее как в минувший вечер пятницы. По-видимому, какая-то волна попала под управление заносчивого смертника с кровью из Burberry [\[10\]](#), что сплавлялся по стрезени меж островков безопасности на прокачанном каяке домой, в Конец Джимми [\[11\]](#) за мостом на западе, – в башке одни лошадиные транки и «ГТА Сан-Андреас», а съездившиеся зрачки шурят в брызгах встречных фар.

Прогулочным шагом по ветреному склону под панорамным небом Мик миновал здание «Санлайт» на противоположной стороне улицы – китайской прачечной, которая когда-то дышала одиноким холостяцким паром, а теперь стала промасленной автомастерской, хотя на белом фасаде ар-деко так и остался неуместный фирменный рельеф солнца от предыдущего заведения. Чуть дальше на той же стороне большим зубом торчала гнилая шелуха Центра занятости, где когда-то и Мику, и Альме, и большинству их сверстников приходилось стоять в шаркающей и словно в чем-то виноватой процессии, как на убой, пока их не примет безжалостный девятнадцатилетний пацан с темпом речи, как у гвоздомета. Мик с мрачным удовлетворением отметил, что угрюмый судья рабочих судеб в эти дни сам простаивал без дела, а некогда безучастный взгляд тюремщика, которым встречали его окна, застил дрожащий, потерянный страх, неизбежно приходящий со старостью в упадочном районе. Не нравится им, когда приходит их черед, подумал Мик, минуя слева улицу Святого Андрея и спускаясь дальше по холму против ветра.

Улица Святого Андрея, удаляющаяся позади, когда-то вела к кочке, где стояла церковь Святого Андрея, давно уже снесенная и сама в свое время построенная на месте приората Святого Андрея, который простоял там сотни лет и объяснял засилье призраков-ключийцев [12] среди засвидетельствованного призрачного населения района. Когда-то, припомнил Мик, почти во всех пабах на этой квадратной полумиле – сколько их там было, восемьдесят с чем-то? – хоть раз да видели в уголке фантома, распевającego молитвы в поисках отпущения грехов или усердно малюющего светящиеся члены с позолоченными рольверками на стенах нужников. Мик спросил себя, куда же подевались все выходцы с того света где-то в 1970-х, когда смели последние окурки и огрызки района. Смертные обитатели Боро перетекли в жилкомплексы в Кингс-Хит, вроде того, где умерла бабка Мэй, или в генетические выгребные ямы Абингтона, вроде Норманнской дороги, где преставилась его и Альмы бабушка с маминой стороны, Клара, – причем обе бабушки скончались через несколько недель после того, как их выкорчевали из Боро, где они хоронили мужей, где они хоронили детей. Мика всегда поражало, что никто и никогда всерьез не задумывался над тем, как бы комфортно переселить отребье из Боро, вроде него, Альмы и их семьи, – а ведь они, может, и потрепанные, но все же живые. Что уж говорить о местных призраках, которые были весьма и весьма мертвы уже много лет? Неужели привидения из пабов, что сровняли с землей, дрожат и кутаются в свои светящиеся простыни под дверями в магазины нортгемптонского центра, как и прочие обездоленные? Строит ли кто-нибудь приюты для бесплотных, как для бездомных; создают ли им в поддержку системы распространения уличных листов, какой-нибудь «Дохлая номер» [13]?

Сорок лет назад они с Альмой знали парикмахера с улицы Святого Андрея с необычным именем Билл Баджер, то есть Барсук. Они вечно говорили друг другу, что он один из товарищей Медвежонка Руперта [14], только вырос и под давлением обстоятельств был

вынужден побриться, чтобы сойти за человека, и найти настоящую работу. Его цирюльня походила на настоящую кунсткамеру – тесные стены до потолка заставлены непостижимыми вещицами, от которых почему-то было трудно оторвать глаз: какие-нибудь лосьоны Bay Rum и кровоостанавливающие карандаши, лечившие порезы, – такие, считал Мик в детстве, стоит всегда иметь под рукой на всякий случай, если тебе отрубят голову гильотиной. Конечно, уже не было ни цирюльни, ни церкви, их заменили одинаковые спальные кварталы, которыми медленно, но верно закладывали округу с самого 1921 года. В прошлом году на улице Святого Андрея вооруженные полицейские взяли в осаду молодого душевнобольного сомалийца, угрожавшего покончить с собой, а совсем недавно улица вновь угодила в новости благодаря двоюродной сестре любимой жены и опоры Мика, Кэти, доброкачественного побега печально известного в городе гидроголового клана Девлинов, – когда свояченица задушила своего супруга. По ее заявлению, она «вправляла ему мозги».

Гиблое место. Буквально за обедом Мик видел плакат местного издания «Хроникл энд Эхо», где сообщалось об изнасиловании и избиении прошлой ночью очередной проститутки, ее бросили на верную смерть в начале улицы Алого Колодца и спасли только благодаря вмешательству местного жителя, – такие инциденты попадали в газеты каждый месяц, хотя происходили каждую неделю. Ничего хорошего в Боро не случалось с тех самых пор, как, по рассказу начальницы почтамта мисс Стармер, местная женщина, которая жила на Графтонской улице по дороге к Журавлиному Холму, вышла на свой порог, а прохожий незнакомец сунул ей в руки младенца и скрылся, и с тех пор его больше никто не видел. Ребенка усыновили и вырастили, как своего, и он сражался на полях Первой мировой войны. «Какая добросердечная семья, сразу видно, – говаривала мисс Стармер, – но родом-то они были из Боро. Вот какие раньше в Боро жили семьи». И это правда. Даже несмотря на страшное зрелище, в которое теперь превратился район, – грязный

плевок на лице города, где на сегодняшний день поразительный альтруистический акт женщины был немыслим, – Мик знал, что это правда. Когда-то здесь жили совсем другие люди, словно другая раса с другими обычаями, другим языком, в которую теперь поверить было не проще, чем в кентавров.

Он свернул с Графтонской улицы налево и попал на Нижнюю Хардингскую улицу, длинную и прямую, как стрела, которая доставит его на выставку Альмы в противоположном конце Боро самым простым маршрутом. Здесь жил приятель его сестры – левый активист Роман Томпсон, очередной кровожадный камикадзе из шестидесятых, под стать самой Альме. «Левеллер Томпсон», как ласково отзывалась о нем Альма, – наверное, очередная ее заумная отсылка, – жил со своим страстным строптивым бойфрендом как раз на Нижней Хардингской улице. Роман был смутьяном с самой забастовки корабельщиков UCS сорок лет назад, как-то раз прорвался через полицейские кордоны, чтобы врезаться одному из лидеров марша Национального фронта на Брик-лейн, а однажды учинил ужасное возмездие над компанией пьяных солдат, которые совершили роковую ошибку, когда решили, что этот сушеный терьер не представляет для них никакой угрозы – с их численным превосходством и армейской подготовкой. Теперь Ром разменял шестой десяток, был старше сестры Мика лет на десять, но по-прежнему твердо смыкал зубы на заднице угнетателей с неугасающей яростью. Сейчас он состоял в воинственной ячейке местной группы активистов из Боро по защите последнего муниципального жилья от продажи и сноса. Альма рассказывала брату, что несколько раз консультировалась со старым другом по поводу новой серии картин, так что он бы вовсе не удивился, если Томпсон и его парень заявятся на выставку, куда держал путь Мик.

На другой стороне узкой дороги парковка автосалона заняла место пустыря, где они с Альмой играли в детстве – с возбужденным видом носились по «Кирпичам», как они прозвали свой импровизированный постапокалиптический парк развлечений, даже

не задумываясь, что там, где они лазают, когда-то мужчины и женщины закатывали дебоши, занимались сексом, растили детей. Дальше находились заводские помещения, которые раньше принадлежали «Стеклу Кливера» – государственной компании, где их прапрадедушка, тронувшийся Снежок Верналл, во время основания отказался от должности содиректора, отринув жизнь миллионера по причинам, которые никто не мог и вообразить, и вернулся в родовые трущобы в конце Зеленой улицы, где несколько десятков лет спустя и окончил дни в бреду, сидя между двумя параллельными зеркалами в бесконечном коридоре отражений и поедая цветы.

За южной границей фабрики к дороге Андрея сбегал Ручейный переулочек – позади Ручейной школы и сохранившегося флигеля смотрителя, мимо фабрики до самого подножия, где высился непонятный и шаткий кирпичный шип с одной-единственной комнатой на вершине, что была чуть шире самой башни, поддерживали ее здоровые деревянные брусья. Эта странное сооружение напомнило Мику о возрожденных годом ранее воспоминаниях и о бессмысленном чердаке в церкви Доддриджа – а такие темы крылатым шепотом парили в голове, заставляя усомниться в собственном здоровье, так что Мик переключил внимание на саму школу на склоне холма, благо ее забор как раз шел справа от него.

Жалкое зрелище, но хотя бы без потусторонних обертонов, навеванных необъяснимой кирпичной каланчой. В конце концов, здесь учились Мик с Альмой, а до них – их мамка Дорин. Они все любили скромное здание из красного кирпича, которое немислимыми усилиями поддерживало теплящийся светоч знания в этом темном неблагоприятном краю, и были расстроены до глубины души, когда старинную постройку снесли и заменили полуфабрикатом из сборных модулей. Впрочем, учили там все так же на совесть, сохранив часть качеств из детства Мика. Теперь в начальную школу в Ручейном переулочке ходили его дети – Джек и

Джозеф – и ни на что не жаловались, но все же Мику не хватало крутых черепичных скатов, круглых окошек, зорко наблюдающих из-под острого конька, гладких металлических шлагбаумов у каменных ворот.

У подножия холма, за школой и ее стадионом, на дороге Андрея тянулась полоса травы, где когда-то стоял дом Мика и Альмы: пугающе узкая лужайка между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца, которую и обочиной не назовешь, где, по некоторым оценкам, обитали до ста тридцати человек. А теперь там остались только дерн – из-под него кое-где еще проглядывал кирпичный пенек садовой ограды – и несколько деревьев, обозначающих приблизительное местоположение своих былых домов-хозяев. Мика всегда поражали их размер и толщина, но, если подумать, все-таки они росли там уже больше тридцати лет.

Удивительно, но у южного края неухоженного участка, в одиночестве посреди голой земли, по-прежнему стояли целыми и невредимыми два дома из блока Уорренов, слепленных в один и выходящих на улицу Алого Колодца, – словно вернувшись на восемьсот лет назад, на безликие зеленые пастбища приората. Мик решил, что эти жилища построены позже прочих – возможно, на месте бывшего пустого двора, – и принадлежали какому-нибудь другому владельцу, который воспротивился, когда окружающую собственность продали поперек воли обитателей и затем сравняли с землей. До Мика доходили слухи, что когда-то аномальный выживший дом был приютом – видимо для людей под социальным попечением, – но он не знал, насколько это верно. Единственная постройка, как прежде занимающая свой угол на травяной окраине, где когда-то родился Мик, всегда казалась ему какой-то потусторонней, но после видения это туманное беспокойство приобрело новое измерение. Теперь это место напоминало ему о бессмысленной небесной двери в церкви Доддриджа и о невероятной кирпичной опухоли, растущей из фабрики в Ручейном переулке; остатки преданного земле прошлого, которые невпопад

торчали в настоящем, «дома на полпути» с порталами, ведущими в многозначительное ничто.

Сразу за пересечением с Ручейным переулком Нижняя Хардингская улица поворачивала на Криспинскую. Слева высились два громоздких монолита, архитектурные близнецы-братья Крэй – Бомонт-корт и Клэрмонт-корт, загаженные птицами и поросшие лишайником надгробия, медленно разлагающиеся посреди местности, которую специально расчищали, чтобы их возвести. Тогда еще не расселенных кто куда жителей Боро было легко впечатлить, и они долго охали и ахали над тем, что приняли за двенадцатиэтажные пиццы космического века, но не сообразили, чем на самом деле являлись высотки: два благоухающих мочой саркофага, поднятых на попу, призванных подменить соседскую болтовню через заборы и летнюю идиллию на крыльце вертикальными порядками, картонными стенами и растущим напряжением с каждой новой цифрой, загорающейся в ночном лифте комендантского часа, вид с высоты на неизбежность измывательств над землей вокруг, открывавшийся лишь самоубийце.

В момент какого-то просветления два-три года назад город запоздало пожалел о беспардонности убогих пролетарских штабелей и предложил их снести, отчего Мик даже воспрял духом, хоть и ненадолго, при мысли, что им с Альмой, может, еще повезет пережить чудовищные бетонные блоки, которыми их родной район раздолбили на притоны наркоманов, бытовки демонстражников и пыль отчаяния, осевшую на сердцах людей. Его необоснованный оптимизм протянул недолго – какие-то силы в управе взамен остановились на варианте спихнуть двойное бельмо на глазу района частной жилконторе едва ли не по пенни за здание, как слышал Мик. Приятель его сестры, активист Роман Томпсон, делал громкие заявления о кулуарных сделках и о бывших членах управы, которых ныне приютил совет жилищной компании, но Мик давно уже об этом ничего не слышал и пришел к выводу, что протесты сошли на нет. Компания «Бедфорд Хаусинг» провела косметический ремонт в

купленных за безделицу зданиях, и теперь они соответственно стояли без дела в ожидании обещанного притока бюджетников – копов, медсестер и прочих, которых завезут в город. Оказывается, если у вас есть несчастное и ропщущее население, недовольное жилищными условиями, то лучше не тратить деньги на улучшение условий, а нанять побольше полицейских на случай эксцессов и заселить этих новых мирмидонцев туда, откуда по счастливому стечению обстоятельств изгнали вонючие и злые стада местных жителей.

Из-за переподчиненного и навиагреного убожества двух вставших на дыбы гигантов, откуда-то из жилья более человеческих пропорций, раскинувшегося у их ног, и от постоянного шума Мэйорхолд позади них Мик расслышал что-то вроде придушенного крика, потом сразу же хлопнули дверью – стук зажевали расстояние и мертвая акустика плоских бетонных фасадов. На облысевший газон вокруг многоэтажных истуканов выбежал, а вернее, вывалился обуянный паникой долговязый человек – на слегка прищуренный взгляд Мика подросток не старше девятнадцати, с каштановыми волосами и бледной кожей, всего на пару лет старше первого сына Мика. Всклокоченный парнишка был бос, одет в джинсы – словно поставившие целью соединить пах и лодыжки – и топ от FCUK, слишком свободный и наверняка с чужого плеча, смотревшийся на паникующем молодом человеке как сорочка эдвардианской эпохи. Он задыхался и сипел, в ужасе что-то отрицал, повторяя «н-н-е-т», и на бегу бросал за спину отчаянные взгляды.

Позже Мик не мог объяснить, то ли это лопочущее перекаати-поле заметило его и свернуло специально, то ли их траектории пересеклись по воле случая. Бегство юнца от каких бы то ни было кошмаров с хрипом закончилось в паре шагов перед Миком, из-за чего тот встал как вкопанный и смерил взглядом неожиданного и пока что загадочного встречного. Испуганный мальчишка сломался пополам, оперевшись ладонями в колени, уставившись на землю под

ногами, и одновременно пытался вдохнуть и всхлипнуть – равно безуспешно. Мик почувствовал себя обязанным что-нибудь сказать.

– Что с тобой, пацан?

С испугом воззрившись на Мика, словно не осознавая, что рядом кто-то есть, пока не раздался голос, паренек скорчил не просто гримасу, а форменную физиогномическую побирушку, которая пыталась нацепить все свои платья-выражения разом. Восковая кожа в уголках глаз и губ подергивалась и содрогалась в веренице попыток изобразить эмоции: стыд, удивление, отсутствующий ступор – каждая без всякой уверенности, каждая отбрасывалась через миг, пока трепещущий парнишка неистово рылся в перевернутом вверх дном гардеробе реакций. Это все наркотики, решил Мик, причем наверняка какие-нибудь синтезированные в прошлый вторник, а не из того репертуара субстанций, с которым он сам был знаком – весьма отдаленно, в основном через посредничество Альмы, приударившей в школьные годы по психонавтике. Но явно не кислота, когда выделяющийся пот испарялся в раскаленное павлинье сияние ауры, и явно не всезнающая ухмылка после волшебных грибов. Что-то совершенно другое. Случайные порывы ветра гладили худосочную траву, бестолково бились о стены башен, теряясь, плутая, затихая в удрученных завихрениях, обращаясь на самих себя. Голос мальчишки, когда он наконец его обрел, оказался пронзительным визгом, который Мик как будто когда-то слышал – точно так же его теперь начала донимать как будто знакомая в прошлом тень бледного лица подростка с щепоткой корицы на крыльях носа.

– Да. Нет. Ох блядь. Ох ебаный. Я в пабе был. Паб все еще наверху. А я был в нем. Он все еще наверху, и они еще наверху. Мой друган все еще наверху. Мы были наверху всю ночь – блядь, паб. Они не отпускали нас. Бля. Мужик, блядь, выручай. Ебучий паб. Ебучий паб, он еще наверху. Я был в пабе наверху.

Все это он выпалил с диким взглядом и напором, не замечая сбивчивости и навязчивых повторов, зримого отсутствия смысла.

Мик обнаружил, что не может сделать никаких выводов из ломаного языка тела или протараторенной тирады уже раздражающе знакомого подростка. На противоположной стороне улицы у коттеджей на Верхней Перекрестной улице прошла гномоподобная пожилая женщина в головном платке, сплетя лишенные циркуляции пальцы на ручке пластиковой сумки с продуктами. Она уставилась на Мика и его непрошеного собеседника с негодующим неодобрением, и Мик пожалел, что не существует какого-то подходящего жеста, чтобы просемафорить: я лишь случайная жертва этого бесноватого незнакомца. В голову не шло ничего, кроме как покрутить пальцем у виска и указать на рыжеватого мальчугана, так что он перевел глаза со старушки обратно на невразумительного оппонента и наткнулся на беспомощный взгляд. Мик попытался вызволить суть словесной лавины, вырвавшейся из молодого человека.

– Не пойму, пацан, постой. Закрытый праздник был там, что ли, где ты был всю ночь? И где твой паб такой? Где наверху?

Паренек – все же не старше восемнадцати, решил Мик, – умоляюще уставился из-за стекла бессилия донести мысль. Он махнул тощей рукой в мешковатом, хлопающем на ветру рукаве в направлении Мэйорхолд. Пабов на Мэйорхолд не было вот уже несколько десятков лет.

– Наверху. Он в крыше, паб. Паб в крыше. Паб все еще наверху, в крыше. Они все еще там. Мой дружбан еще там. Мы были наверху всю ночь. Они не отпускали нас. Ох бля, я был в пабе наверху, паб в крыше. Ох бля, что это было? Что-то было.

Мик напрягся и почувствовал, как зашевелились волосы на затылке, но с усилием не выдал своих чувств. Не стоит нервничать, когда пытаешься кого-то вразумить, хотя эти слова про крышу его задели. Живо напомнили, как он описывал свои вернувшиеся воспоминания Альме о приключениях в потолке. Очевидно, это просто стечение обстоятельств – невольный оборот, который неожиданно зловеще срезонировал с его детскими переживаниями, – но вкупе с гнетущим ощущением, что он уже где-

то встречался с этим юнцом, такие странные слова его встревожили. И, конечно, заодно подарили хотя бы воображаемое чувство товарищества с молодым человеком, так что Мик смог ответить на жалкий лепет с сочувствием.

– А, в крыше? С этим я знаком. Это когда человечки в углах пытаются затащить тебя в потолок?

Малец вдруг опешил, красные глаза раскрылись, а челюсть отвалилась. Панику и замешательство словно рукой сняло – взамен он уставился на Мика с недоверчивым пиететом, словно зачарованный.

– Ну да. В углах. И тянутся к тебе.

Мик кивнул, поискал в куртке новенькую пачку сигарет, которую прикупил полчаса назад на Баррак-роуд. Сорвал кутикулу целлофана, державшую пластиковую обертку пачки, отшелушил верхушку и стянул фольгу, под которой прятались тесные ряды в коричневых киверах, – хрустящая прозрачная упаковка и ненужная серебряная бумага беспечно смялись в ком и отправились в карман штанов. Вытянув одну себе, он приветливо направил пачку с откинутой крышкой благодарному подростку и зажег им обоим сигареты с помощью хмельной Zippo с заикнувшимся огоньком. Как только они выдохнули корчащихся, незамутненных ядозубов из сине-бурого дыма в небо Боро, мальчик немного отошел от шока, позволив Мику продолжить ободряющую речь.

– Ты, главное, не поддавайся, пацан. Я тоже там бывал, так что представляю, на что это похоже. Сперва не можешь поверить, что это произошло, и думаешь, что сходишь с ума, – но на самом деле нет. Ты в порядке, пацан. Просто когда оттуда возвращаешься, мир вокруг не сразу становится реальным и привычным. Не парься. Скоро пройдет. Просто не волнуйся, подумай обо всем хорошенько, и постепенно все встанет на свои места. Может, через месяц или два, но рано или поздно – обязательно. Вот.

Мик вытащил пучок сигарет из пачки, приблизительно полдюжины, и выдал в горсти босоногой жертве психотропов.

– На твоём месте я бы нашёл себе тихое местечко, где можно посидеть и оклематься – на улице, где нет ни потолков, ни углов, ничего такого. Вообще слушай, на другом конце улицы Алого Колодца есть длинный лужок с мягкой травкой и тенистыми деревьями. Там все как раз в цвету. Давай, пацан. Пойдет тебе на пользу.

Ошеломленный от благодарности подросток с обожанием уставился на Майкла, как на что-то мифическое и невиданное – Сфинкса или Пегаса.

– Спасибо, приятель. Спасибо. Спасибо. Ты хороший мужик. Так и сделаю, как ты сказал. Так и сделаю. Ты хороший мужик. Спасибо.

Он повернулся и зашагал голыми ступнями по мусору и стеклу разбитых фар на угол улицы Алого Колодца, где та встречалась с Криспинской и Верхней Перекрестной, которой технически становилась в этом месте Криспинская. Мик смотрел, как паренек осторожно выбирает себе путь по жесткому асфальту вдоль рабицы Ручейной школы, словно контуженный фламинго, запихивая пожертвованные сигареты в непривычно расположенный карман низко висящих штанов. Когда пацан стал спускаться по холму к рекомендованному тихому местечку, он остановился у школьных ворот и оглянулся. Мик с удивлением увидел, что по его щекам, похоже, бежали слезы. Подросток бросил исполненный благодарности взгляд на Мика и через силу растянул губы в подобии улыбки. Беспомощно пожал плечами.

– Я был в пабе наверху.

Затем он понуро побрел вдаль и вскоре скрылся из виду. Мик покачал головой. Хрен знает, что все это значит. Продолжая свой путь по Верхней Перекрестной, время от времени крепко затягиваясь сигаретой, он вдруг с удивлением заметил, как необычно благоприятно подействовала на него эта безумная встреча. Не просто из-за сомнительных теплоты и оживления от того, что протянул руку помощи человеку в нужде, но из-за труднообъяснимой уверенности, которую придал ему сумасшедший

малец. Подлинный юродивый из Боро – прямо как те, что попадались в детстве, когда сумасшедших отличить было куда проще, и у человека, который идет по пустой улице тебе навстречу и что-то сердито вопит наверняка было параноидное расстройство, а не гарнитура в ухе. Мик только жалел, что не может вспомнить, где же встречал этого паренька.

Его слова о крыше выбили Мика из колеи, но это наверняка просто совпадение – или «синхрония», как пыталась втолковать ему Альма, когда ей было двадцать и она втюрилась в Артура Кестлера [15], пока не узнала, что он был насильником и домашним тираном с биполярным расстройством, после чего наконец заткнулась. Насколько Мик понял, согласно этой концепции, совпадения – это события, которые чем-то схожи или кажутся связанными, но не соотносятся друг с другом никоим рациональным образом – например, благодаря причинности. Тем не менее люди, придумавшие слово «синхрония», все равно считали, что между этими интригующими происшествиями есть корреляция, которую мы со своей точки зрения не видим или не понимаем, хотя она по своему явственна и логична. Мик представил себе парчового карпа, взглянувшего со дна пруда и увидевшего человеческие пальцы, протыкающие потолок его вселенной. Рыба думает, что это несколько разных необычно откормленных червяков-наживок, и понятия не имеет, что отдельные пришельцы – часть одной и той же невообразимой сущности. Мик не знал, как это касается его встречи с босоногим мальчишкой или темы совпадений в целом, но в каком-то расплывчатом смысле образ казался уместным. Последний раз затянувшись сигаретой, он метнул тлеющий бычок на землю перед собой – полет окурка напомнил сгорающий в атмосфере космический мусор, – затем затушил потерпевший жесткую посадку уголек под каблуком, не сбавляя шага. Все еще бессвязно размышляя о совпадениях и карпах, он поднял взгляд и с удивлением обнаружил, что оказался на Банной улице.

Он ошибался. Как же он ошибался, когда думал, что его тревожный сон, путешествие в потолок остались в прошлом. Как он ошибался, когда обещал дерганому подростку, что у него все пройдет – потому что не пройдет. Только затихнет до зажатой низкой ноты, гула от педали орга́на за фоном обычного шума жизни, – сколько хочешь забывай и считай, что все прошло, но оно по-прежнему там. По-прежнему.

Он взглянул через улицу на многоквартирники Банной улицы – их передний фасад, а не задний, который видел в темноте год назад с Альмой. Так как с той ночи ему не приходилось возвращаться в Боро, он осознал, что, должно быть, впервые столкнулся с темной стороной своего видения с тех пор, как ослепился, потерял сознание и пережил его заново столько месяцев назад. Удар в подвздошь, от которого перехватило дух и подурнело, оказался куда хуже, чем он ожидал. На свинцовых ногах, словно поднимаясь на эшафот, Майкл Уоррен перешел дорогу.

Конечно, необязательно было срезать путь через многоквартирники по широкой центральной дорожке с газонами по бокам, кончающейся широкой, обложенной кирпичом лестницей, что привела бы Мика напрямик на порог выставки сестры. Он мог и свернуть направо, спуститься до Малой Перекрестной улицы, где коснулся бы только южной стены корпуса вдоль Замковой улицы и избежал бы всей этой ерунды, но тем самым он бы лишь подтвердил точку зрения Альмы, что она всегда была мужественнее его, – а этого он стерпеть не мог. Кроме того, все равно это чушь, и Мик даже не знал наверняка, правда ли то, что он увидел, относилось ко времени, когда он подавился в детстве, или ему только приснилось, что приснилось, что приснилось, – судорожный прилив образов, накативший только тогда, когда он распластался на асфальте мастерской с огненными пятнами перед глазами. Даже младший сын Мика, Джозеф, давно не позволял кошмарам определять явь и запомнил, что две этих реальности не сходятся, что ночные визитеры не могут достать тебя посреди бела дня, когда глаза

открыты, – а Джо только-только исполнилось двенадцать. Напустив на себя беззаботность, Мик пружинисто вошел в проем в низком заборе и на просторную тропинку, ведущую к ступенькам в каких-то шестидесяти футах, каких-то двадцати шагах. Да и что он себе выдумывает? Твою мать, это же всего лишь два дома с квартирами, причем во многом куда приятней глазу, чем некоторые из виденных по пути сюда.

Не успел он сделать и пары шагов, как скривился от ужасной вони из-за горящего мусора и завертел головой, оглядывая окружающие терракотовые дымоходы, но ее источника так и не нашел. Альма однажды сказала ему, что беспричинный запах гари – один из симптомов шизофрении, добавив: «Но, в конце концов, шизики и так наверняка сами поджигают все вокруг, так что это каверзный критерий». Как ни странно, он обнаружил, что предпочел бы шизофрению и вытекающие из нее обонятельные галлюцинации, чем худшую альтернативу, пришедшую на ум. Вспомнилось, как на их встрече в прошлом году Альма заметила, что главной причиной беспокойства для него служит не то, что он свихнулся, а скорее тревожная вероятность, что нет. Зажав ноздри из-за вездесущего смрада, Мик направился к лестнице – когда он к ней приблизился, выяснилось, что за прошедшие несколько лет ее заменили более дружелюбным к инвалидам пандусом.

Сгусток черноты на гравийной дорожке впереди рассыпался на мельтешащие угольные пятна, словно предвестник мигрени, ненадолго обнажив спиральную охряную какашку с отпечатком ноги, зияющим на ее хребте и подножии, прежде чем туча мясных мух перегруппировалась и успокоилась. Зря он сюда пошел. Пышные лужайки по краям утыкались в длинные стены, которые шли параллельно центральной тропинке и окаймляющим ее полоскам травы. Стены, сложенные из того же темно-красного рябого кирпича, что и весь комплекс, разбавляли полумесяцы окон в стиле лже-баухауса, которые открывали частичный вид на широкие пустые просторы ровного бетона – дворы многоквартирников,

хмурые без единой живой души, даже без птиц. Когда Мик впервые узнал про Чистилище, перед его глазами встали именно эти два двора – отвратительный край, где мертвые проводят в заточении целую вечность, сидя на гранитных ступеньках под однообразным белым небом. Полукруги в стенах недавно украсили веерами железных спиц, отчего те стали похожи на мультяшные глаза, где черные прутья образовывали лучи на радужках негативного пространства. Парно они напоминали верхние половины ликов с острова Пасхи, вкопанных по уши в землю, но все еще живых, с умоляющими, задыхающимися взглядами. Молодые деревца на обочинах – снова современное нововведение – отбрасывали на застывшие маски глянцево-черные тени, жидкие и паучьи, словно чернильные капли, раздутые соломинкой карапуза, чтобы расползлись кляксами потекшей туши.

Несмотря на скорость, с которой его захлестнула волна удушающей депрессии, Мик не заметил ее появления и тут же поверил: то, что закружилось токсичным паром в разуме, всегда и было его мировоззрением, а обычный оптимизм – не более чем подделка, тончайший платок, который он накидывал на неотвратимую истину. Смысла нет. Смысла нет и не было, ни в страданиях, ни в стенаниях, ни в стараниях, ни в существовании. Мик всегда знал, что стоит подвести сердцу или умереть мозгу, как мы просто перестаем думать. Всем это известно в самой темной пучине души, что бы они ни говорили. Мы перестаем быть теми, кем были, просто отключаемся и никуда после этого не деваемся – ни в рай, ни в ад, ни реинкарнируемся в виде нового, хорошего человека. После смерти нас ждет ничего – ничего, кроме ничего, и для всех и каждого с последним вздохом вселенная исчезнет без следа, будто ее никогда и не было. На самом деле он никогда не ощущал рядом тепло и присутствие родителей – только время от времени тешил себя иллюзиями. Том и Дорин умерли – папка от сердечного приступа, мамка от рака кишечника, и ей было очень больно. И больше он никогда их не увидит.

К этому моменту Мик достиг подошвы пандуса, и амбре крематория витало уже повсюду. Он пытался оказать хотя бы жалкое сопротивление рухнувшему на него неопровержимому осознанию, пытался призвать на помощь всяческие аргументы, которые у него как будто когда-то были против этой черной безнадёги. Любовь. Любовь к Кэти и детям. Вот его верная защитная мантра, Мик был в этом уверен, – да только любовь лишь обостряла мучения, из-за нее ты терял намного больше. Один партнер умирает первым, а второй проводит остаток лет в одиночестве и скорби. Любишь детей, смотришь, как они растут и расцветают чудесным образом, а потом покидаешь их и больше никогда не видишь вновь. И все так быстро – всего лет за семьдесят, причем ему уже пятьдесят. Осталось всего двадцать – и это если повезет, – меньше половины того, что уже утекло безвозвратно, и Мик с уверенностью почувствовал, что последние десятилетия пролетят мимо в мгновение угрюмо накупившегося ока.

Все уходит. Все исчезает. Люди, места превращаются лишь в болезненные тени былых себя, а потом их усыпляют, как усыпляют и сами Боро. Все равно это всегда был бестолковый район – взять хотя бы название. Боро. Место одно, а название во множественном числе – много. Что еще за чепуха? Никто даже не знал, откуда название взялось: кто-то предполагал, что правильно писать не *Boroughs*, а *Burrows* – не «Боро», а «норы», – из-за того, что с высоты улицы похожи на лабиринт, а их обитатели размножались как кролики. Ну бред же сивой кобылы. У людей вроде его бабушек с дедушками было по шесть или семь детей только для того, чтобы хоть кто-то дожил до совершеннолетия. Всегда плохой знак, когда обеспеченные люди проводят сравнения между неказистым населением гетто и каким-нибудь животным – а особенно тем видом, который нам нехотя приходится периодически травить. Вот почему бы им не держать свои никчемные догадки при себе?

Мик осознал, что уже не думает о смерти, в тот же самый миг, когда добрался до вершины пандуса и ступил на Замковую улицу. Он

остановился, как громом пораженный внезапной переменой со скоростью «вкл/выкл», и оглянулся на Банную улицу за залитой солнцем тропинкой между двумя половинами многоквартирника, по которой только что прошел. Лужайки казались зелеными и дружелюбными, сажены шелестели и шептали на убаюкивающем ветерке. Мик оторопело воззрелся на них.

Твою налево.

Театрально поморгав, словно чтобы прогнать сон, Мик отвернулся от многоквартирника и направился по Замковой улице к основанию Замкового Холма – прямоугольному кургану, сильно стесанному со времен молодости Мика, где когда-то мужчина и женщина пытались затащить его семилетнюю сестру в черную машину, отпустив, только когда она закричала. Он надеялся, что картины оправдают надежды, которые Альма на них возлагала, ведь то, что с ним сейчас произошло, – только демонстрация силы, грозившей пожрать все, что им было дорого, а кроме сестры и ее сомнительной контрстратегии, Мик не видел никого, кто знал, что делать, или хотя бы понимал, что надо как-то с этим бороться.

Выходя из-за Замкового Холма на улицу Фитцрой, он увидел, что маленькая выставка уже в самом разгаре. Сестра в просторном бирюзовом свитере из ангорской шерсти прислонилась к деревянному косяку открытой двери яслей, с нетерпением выглядывая, появится он или нет, и когда наконец его увидела, просияла и замахала руками, словно пастельная кукла из детской телепередачи. С Альмой стояла седая карикатура на человека, в которой Мик признал Романа Томпсона, а подле него празднично шатался тридцатилетний парень вальяжно-развратного вида с кошачьими повадками, в кремовом жилете и с открытой пивной банкой – очевидно, бойфренд Романа, Дин. На ступенях у ног Альмы восседал Бенедикт Перрит, странствующий поэт с хмельной ухмылкой и трагическим взглядом, когда-то учившийся с ней в одном классе на два года старше Мика. Были там и другие знакомые лица. Он решил, что черный мужчина приятной наружности с

седеющими волосами – наверняка старый друг Альмы Дэйв Дэниэлс, с которым она разделяла многолетнее увлечение научной фантастикой, а также заметил бывшего поделщика сестры из 1960-х, загорелого и поджарого Берта Рейгана, стоящего вместе с пожилой, но крепкой на вид женщиной – ее Мик принял за мать Берта или, возможно, тетю. Были там еще две женщины примерно тех же лет, болтались на краю компании, хотя они казались сущими старыми горгульями – скорее всего, подруги старушки, которую привел Берт Рейган. Подходя к входу, Мик поднял руку и улыбнулся, отвечая на приветствие Альмы. «Ох, сестричка, – подумал он. – Ох, Уорри. Ты уж постарайся.»

Книга первая

Боро

Он (Людвиг Витгенштейн) однажды встретил меня вопросом: «Почему люди говорят, что естественно предположить, будто Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вращается вокруг своей оси?» Я отвечала: «Наверное, потому, что зрительно кажется, будто Солнце вращается вокруг Земли». «Ну, – спросил он, – а как должно зрительно казаться, что Земля вращается вокруг своей оси?»

*Элизабет Энском. Введение к
«Трактату» Витгенштейна*



Сонм англов

Было утро 7 октября 1865 года. Из узкого чердачного оконца дождь и сопровождающий его свет казались грязными, когда Эрн Верналл в последний раз проснулся в здравом уме.

Внизу завывал младший ребенок, и было слышно, что уже встала и кричала на двухлетнего Джона жена Верналла, Энн. Простыни и подушка, перешедшие по наследству от покойных родителей Энн, превратились в вонючий узел там, где запуталась в дырке нога Эрнеста. От постели несло по том, скупостью, газами, им самим и его жизнью в лачугах Ламбета, и зловоние поднималось обреченной и мрачной мелодией, пока он вычищал слизь из разлепившихся глаз и вылезал из кровати, готовый понести бремя мира.

Поморщившись от укола под левой грудью – он надеялся, всего лишь от изжоги, – Эрн, избавив ногу от рваных простынь, сел, уперся босыми ступнями в домотканый половик у койки. Лишь миг Эрн упивался мягкими комками вязальной шерсти между пальцев, затем поднялся под протестующий стон кроватной рамы. Осоловело обернулся к беспорядку из угольно-черного армейского одеяла и соскользнувшего на пол стеганого покрывала, под которым храпел только что, затем встал на колени на лоскутную прикроватную подстилку, словно для творения молитвы, как когда-то в семилетнем возрасте четверть века назад.

Он запустил обе руки во тьму под кроватью и осторожно вытянул по голым половицам плещущий ночной горшок, установив перед собой, словно шляпу попрошайки. Нашупал своего старичка в колючей прорези серых фланелевых кальсон, слепо уставившись на озерцо цвета сиены и кровавого апельсина, что уже томилось в потрескавшейся фарфоровой вазе, и задумался, не снилось ли ему чего-нибудь. Выпустив прямую и твердую, как стрела, струю мочи в наполовину полную емкость, припомнил, будто был во сне актером, скрывався за кулисами какой-то то ли мелодрамы, то ли сказки о

привидениях. Драма, прояснялось понемногу, была о проклятой часовне, и он играл плута, которому пришлось прятаться за таким портретом с вырезанными глазами, – они часто встречаются в подобном жанре. Только Эрн не подглядывал, а говорил из-за полотна напускным устрашающим тоном, дабы напугать человека по ту сторону, столкнувшегося с волшебной картиной. Малый, над которым он подшучивал, казался столь потрясенным, что Эрн даже хихикнул во время мочеиспускания, все еще коленопреклоненный у кровати.

Чем больше он вдумывался, тем сильнее сомневался, что снилось ему театральное выступление, а не подлинный розыгрыш обычного человека. По-прежнему казалось, что он таился за декорациями пантомимы и произносил реплики, как актер, но не похоже было, чтобы жертва хохмы тоже служила в какой-нибудь труппе. Беловолосый пенсионер, хотя и с молодежьим лицом, стоял перед зачарованной мазней с таким неподдельно несчастным видом, что Эрн пожалел бедолагу и прошептал в сторону, что сочувствует, что знает – тому придется очень тяжело. Затем Эрн вернулся к словам спектакля – их он, по всей видимости, тогда знал назубок: леденящие кровь речи, которые Верналл сам толком не понимал и сейчас не мог вызвать в памяти, не считая отрывка как будто бы о молнии и другого момента – про числа и каменщиков. Тут он либо проснулся, либо теперь концовка уж выветрилась из головы. Сны Эрн ни во что не ставил, в отличие от некоторых – например, его отца Джона, – просто нередко они оказывались увлекательными развлечениями, притом дармовыми, а такие поди сыщи.

Стряхнув с конца последние капли, он с удивлением взглянул на вьющиеся над крынкой клубы пара, задним умом замечая, как зябко в октябрьской мансарде.

Задвинув согретый сосуд под кроватные доски, он поднялся на ноги и со скрипом двинулся по чердаку к фамильному умывальнику у стены напротив окна. Согнувшись, чтобы приспособиться к резкому уклону скатов по краям крыши, Эрн налил холодной воды из

мамино кувшина с нарисованной молочницей в эмалевый таз с ржавыми кромками, плеснул пригоршню себе на лицо, зафыркав, как конь, от ее злого укуса. От умывания бачки из сухой рыжей щетины стали свежеполитыми кудрями-завитками, капелью под торчащими ушами. Он вытер лицо насухо льняным полотенцем, затем всмотрелся в слабое отражение, выглядывавшее из мелкой лужицы на дне тазика. Угловатый, сухощавый, с выбившимися перечными прядями на челе, на котором он видел в приблизительных эскизах будущие печальные морщины и борозды – так он будет выглядеть однажды, тощим котярой после бури.

Эрн оделся – от холода поношенное платье не на шутку промозгло, – а затем слез с чердака в нижние пределы материнского дома, сползая задом наперед по узким ступенькам – таким крутым, что для спуска или подъема неизбежно приходилось хвататься руками, как на приставной лестнице или скалистом утесе. Он попытался прокрасться по площадке мимо двери в мамину комнату и спуститься, прежде чем она заслышит, но тут удача его покинула. Словно трусящего, трясущегося за занавеской жильца во время визита хозяина, его удачи никогда не было на месте.

– Эрнест?

Голос мамы, словно проржавевший грандиозный механизм, обратил Эрна в истукана с рукой, застывшей на шарике балясины. Он обернулся и увидел мать в открытой двери, ведшей в ее спальню, где стояли запахи дерьма и розовой воды, что казались еще противнее, чем запах дерьма сам по себе. Все еще в сорочке, с заколотыми редующими волосами, мама сгорбилась у тумбочки, опустошая собственный горшок в цинковое ведро, с которым потом обойдет комнаты малышей и его с Энни, опустошит и их горшки и отправит весь улов в выгребную яму в конце двора. Эрнест Джон Верналл был тридцатидвухлетним жилистым мужиком со вспыльчивым норовом, с которым не захочется ввязаться в драку, женатый и с детьми, с работой, где его молча уважали, но под презрительным, разочарованным взглядом матери он шаркал

башмаками по лакированному плитусу, словно нашкодивший мальчишка.

– Ты седни работаешь? А то ежели нет, мне надобно в ломбард. Малышка сама себя не покормит, а Энн твоя есть доска доской. Не может их кормить, ни Турсу, ни твоего Джона.

Эрн кивнул и опустил взгляд на протертый ковер цвета липучки для мух, накрывающий лестничную клетку от ступенек до входа на чердак.

– Работаю всю неделю в Святом Павле, но заплотят тока в пятницу. Коли чего заложила, я потом выкуплю честь по чести, с жалованья.

Она отвернулась и пренебрежительно покачала головой, затем продолжила шумно наполнять ведро зловонной золотой жидкостью. Поджав хвост и ссутулившись, Эрн затрусил по лестнице в облезлую умбру коридора, затем налево в спертую тесноту гостиной, где Энни разожгла огонь в печи. Присев у детского стульчика и пытаясь накормить девочку согретым коровьим молоком в приспособленной для этого дела бутылке из-под имбирного эля, Энни едва ли подняла голову, когда за ее спиной в комнату вошел муж. Только их мальчишка Джон оторвался от очага, где без толку ковырялся в овсянке, взглянув на отца и даже не улыбнувшись.

– На кухне тебе на завтрак жареный хлеб, но и не знаю, что будет, как вернешься. Ну давай же, капельку молока за мамочку.

Последние слова Энн обратила к их дочери, Турсе, которая, все еще раскрасневшаяся и заплаканная, решительно отворачивалась от растрескавшейся резиновой соски, что жена Эрна пыталась пристроить в округленный от криков ротик малышки. Было немногим позже семи, отчего мрачную каморку еще окутывали тени – где начищенная бронза камина обращала волосы маленького Джона в расплавленный металл, поблескивала на заплаканной щеке младенца и окрашивала худощавое лицо его жены светом, как подливой.

Эрн спустился по двум ступеням в узкую кухню, где теснились призраками в расветном сумраке неровные беленые стены, а в голубоватом воздухе – туманном, словно бы мыльном, – все еще висело воспоминание о луке и кипяченых платках. Шумела дровяная плита, с двумя горбушками на спине. В черной, как упавший из звезд метеор, сковороде шипел прозрачный жир, плюясь на пальцы Эрни, осторожно подцепившего куски хлеба вилкой. В соседней комнате малышка, нарыдавшись вдоволь, взамен принялась укоряюще икать с сердитыми паузами. Отыскав блюдце с кракелюрами, которое лишилось парной чашечки и было повышено до должности полноценной тарелки, он взгромоздился на стул подле расцарапанного ножами стола и позавтракал, жуя правой половиной рта, чтобы пощадить больные зубы слева. Когда он вгрызлся в хлеб, из ноздреватых пор хрупкой корочки вырывался вкус подпаленного сала, горячо и смачно прокатываясь по языку и пробуждая фантомные оттенки блюд прошлой недели: капустный привкус бабл-энд-сквик, легкую сладость свиной щечки, хрустящую эпитафию памятной свиной сосиски со вторника. На последней крошке Эрн с удовольствием отметил, что его слюна загустела, как солоноватый студень, в котором воскрешенная суть каждого блюда праздновала свое кулинарное посмертие.

Возвращаясь через уже затихшую гостиную, он попрощался со всеми и предупредил Энн, что будет к восьми. Знал, что некоторые перед работой целуют жен на прощание, но вместе с подавляющим большинством почитал это за телячьи нежности, как и его Энн. Брезгливо соскребая последние ложки каши из плошки, двухлетний Джон, их маленький рыжик, привычно наблюдал за тем, как Эрн вынырнул из озаренной огнем комнаты в темный коридор, где, как обычно, снимет шляпу и куртку с деревянных крючков и отбудет по делам в центр города, о котором Джон только смутно слышал, но пока не видывал лично. Послышался голос Эрни, криком прощавшегося со своей мамой, все еще занятой обходом ночных горшков, затем повисла выжидательная пауза, так и незаполненная

ответом матери. Вскоре после этого Энн и дети услышали, как затворилась передняя дверь – упрямый скрип, с которым ее втискивали в перекосившийся косяк, – и то был последний раз, когда семья могла с чистой душой сказать, что видела Рыжего Верналла.

Эрн отправился по Ламбету на север; небо, похожее на мрачный лесной полог, колыхалось на миллионе деготно-черных столбов дыма, растущих из каждого дымохода, а разбавлялась эта прокопченная чернота только с восточного края, над кабаками Уолворта. Выйдя из материнского дома на Ист-стрит, Верналл свернул направо в конце террасы на Ламбет-уок, затем на Ламбетскую дорогу и отправился к площади Святого Георгия. Слева миновал Геркулес-роуд, где вроде бы когда-то проживал поэт Блейк: судя по всему, тип забавный, хотя, разумеется, Эрн ни разу не читал ни его сочинений, ни кого-либо другого, до сих пор не понимая, что же такого интересного все находят в книгах. Рокотал дождь в выгнутых стоках у необычно притихшего Бедлама, где всего год назад обитал сказочный художник Дадд и куда, как опасалась семья Верналлов, пришлось бы сослать отца Эрна, хотя старик Джон умер, прежде чем до этого дошло дело. Случилось это где-то лет десять назад, когда Эрн еще не познакомился с Энн и только-только вернулся из Крыма. Папа постепенно перестал разговаривать с людьми, заявляя, что их разговоры слышат «те, что на крышах». Эрн раз любопытствовал, не о голубях ли ведет речь папа или же он все еще ищет русских шпионов, на что Джон только фыркнул и поинтересовался в ответ, для чего еще нужны слуховые окна, ежели не слушать, и для чего еще нужны подзоры, ежели не подглядывать, после чего отказывался отвечать на любые расспросы.

Эрн прошел мимо залитой дождем лечебницы на противоположной стороне улицы и рассеянно задумался, не породил ли Бедлам какого-то древнего духа, который расселся, вращая глазами, над Ламбетом и заражает окрестную атмосферу своими испарениями помешательства, сводящими с ума людей, как

сошли с ума папа Эрнеста или мистер Блейк, – впрочем, сам он полагал, что это глупость, а для того, чтобы довести человека, довольно и обычной жизни. На дороге Святого Георгия по направлению к Элефант и Касл уже кишели несметные числа omnibusов, тачек, углевозов и торговцев печеной картошкой, волочивших печки, напоминавшие раскаленные толстопузые комоды на колесиках, – море людей в черных шляпах и куртках, таких же, как сам Эрн, шагавших по делам под безжалостными небесами, опустив очи долу. Задрав воротник, он влился в топчущее столпотворение живой растопки для дурдома и направился к площади Святого Георгия, откуда ему предстояла долгая прогулка по Блэкфрайарс-роуд. Он слышал, что нынче из Паддингтона под землей пустили поезда, и представил, насколько быстрее докатил бы на такой штуковине до собора Святого Павла – вот только денег у него не было, а кроме того, от самой мысли по коже бегали мурашки. Залезать под землю – как вообще можно привыкнуть к этакой чертовщине? Сам Эрн слыл верхолазом, готовым, не поведя и бровью, работать на любой вышине, но спускаться под землю – совсем другое дело. Под землю отправляются только мертвецы, да к тому же случись что, например пожар, что тогда? Эрнест выкинул из головы такие мысли и решил оставаться тем, кто он есть, – прирожденным пешеходом.

Народ и транспорт бултыхались на слиянии полудюжины улиц, как пена у стока. Пройдя круглую площадь по часовой стрелке, увернувшись от грохочущих колес и распаренных лошадей при пересечении Ватерлоо-роуд, Эрн далеко обошел газетчика и сбившуюся рядом с ним перешептывавшуюся толкучку зевак. По обрывкам разговоров, подхваченных у окраины окутанной трубочным дымом толпы, он понял, что речь о вчерашних новостях из Америки, где дали свободу черным и застрелили премьер-министра, прямо как беднягу Спенсера Персиваля в те времена, когда папа Эрна и сам был мальчишкой. Насколько помнилось Эрну, Персиваль был родом из Нортгемптона, захолустного городишки

сапожников, расположенного в шестидесяти милях к северу от Лондона, где до сих пор проживали родные Эрн со стороны отца – двоюродные, троюродные и прочая седьмая вода на киселе. Прошлым июнем проездом в Кент, на сбор хмеля, в Лондоне останавливался его кузен Роберт Верналл, и он рассказывал Эрнесту, что сапожники Мидлендса – а в их числе и он – остались без хлеба, когда серые из Америки, для которых Нортгемптон тачал армейские сапоги, проиграли свою Гражданскую войну. Эрнест понимал, почему Бобу обидно, но, как он уразумел, как раз серые и держали рабов, негров, а Эрн подобного не одобрял. Неправильно это. Они такие же бедняки, как любые другие. Он перешел пустынный клинышек на углу улицы, где не умещались дома, затем свернул налево и начал подъем на север по Блэкфрайарс-роуд, пересекая дымящиеся ряды Саутуарка на пути к реке и мосту.

Через три четверти часа на приличной скорости Эрн выбрался к Ладгейт-стрит на другом берегу Темзы, выйдя на дорогу к западному фасаду собора. За это время его посетило немало дум: о свободных рабах в Америке, многих из которых хозяева клеймили, будто скот, о черных и бедных в общем. Социалист Маркс и его Первый Интернационал уже просуществовали больше года, но насколько видел Эрн, лучше рабочим не стало. Быть может, теперь будет полегче, раз умирает Палмерстон, ведь именно лорд Палмерстон противился реформам, но, если честно, сильно Эрн не обнадеживался. Потом какое-то время он тешил себя воспоминаниями о том, как Энн далась ему на кухонном столе, пока не было мамы: уселась на краю, задрал панталоны и обхватив его ногами, – от этих мыслей у него аж натянулись брюки и фланелевые подштанники, пока он торопился под проливным дождем по мосту Блэкфрайарс. Думал он и о Крыме, и как ему повезло вернуться домой без единой царапины, а потом о матери Сикол [\[16\]](#), о которой столько слышал на войне, и снова вернулся мыслями к черным.

Больше всего Эрна заботили дети, которые родились рабами на плантации, а не были завезены во взрослом возрасте, и которых

теперь отпустили, – несмышленные ребята десяти и двенадцати лет, не знавшие другой жизни и куда им податься дальше. Интересно, задумался Эрн, клеймят ли детей? И в каком возрасте? Пожалев, что углубился в такие мысли, и выбросив из головы незваную жуткую картину юных Джона или Турсы под каленым железом, он поднялся по Ладгейт-стрит, за пологим пригорком которой раздувался великолепный псалом в камне – собор Святого Павла.

Сколько раз Эрн его видел, столько поражался, как же такое совершенное благолепие могло родиться в скопище грязных дворов, трактиров и узких проходов, среди проституток и порнографов. Над посеребренной лужицами мостовой, словно руки в осанне, возносились две башни к забродившим небесам – которые только помрачнели с тех пор, как Эрн вышел на работу, несмотря на то, что наступал день. Двумя пролетами – напоминая два бивня, торчащих из-под полы подризника, – широкие ступени собора с танцующими на них каплями дождя поднимались к краю, где ниспадали колыхающимися складками, чумазыми из-за чада городского кострища, шесть пар белых дорических колонн, державших портик. Шпили больше пятидесяти метров в высоту по обе стороны широкого фасада как будто собрали на карнизах под капающими каменными козырьками всех лондонских голубей, оберегая их от непогоды.

Среди птиц ютились, словно сами слетели с неприветливых небес на жердочки собора, каменные апостолы, а святой Павел взмогился на высокий конек портика и подобрал свою резную рясу, дабы не запачкать в грязи и сырости. На правом конце самой южной башни стоял апостол – Эрн не знал его имени, – закинувший голову и как будто сосредоточенно наблюдающий за башенными часами в ожидании окончания своего дозора, чтобы слететь через морось домой на Чипсайд, в сторону Олдгейта и Ист-Энда. Взбираясь по мокрым и скользким ступеням, пока по полям шляпы с новой силой забарабанил дождь, Эрнест не мог не усмехнуться кощунственной мысли, будто статуи время от времени производят жидкий

мраморный помет – святые испражнения, за уборку которых платят бурчащим приходским работникам. Бросив последний взгляд на кипящие облака с мятыми боками над головой, прежде чем проскользнуть между левыми колоннами к северному приделу, он прикинул, что дождь и не подумает униматься и что сегодня времяпрепровождение в четырех стенах вне всяких сомнений пойдет только на пользу. Потопав башмаками и встряхнув промокшую куртку, Верналл переступил порог собора и тут расслышал первый приглушенный раскат грома, доносящегося с горизонта, что только подтвердило подозрения.

В сравнении с хлещущим снаружи октябрьским ливнем в соборе было тепло, и Эрн даже уколото чувство вины при мысли об Энн и детях, оставшихся дрожать у бессильного огонька дома на Ист-стрит. Эрнест направился к стройке и активной деятельности в дальнем конце северного придела под подозрительными взглядами хмурых священнослужителей и только в последнюю минуту сообразил сдернуть вымокшую шляпу, чтобы почтительно понести ее в обеих руках перед собой. С каждым звенящим шагом чувствуя, какие шири и скрытые пространства ошеломительного сооружения разворачивались над ним и со всех сторон, он свернул от полукруглых ниш северного придела слева и вышел между высокими несущими колоннами в неф.

Меж давящими опорами собора, в центральном трансепте под куполом мельтешили такие же работники, как и Эрн, в протертых куртках и штанах тусклой осенней палитры пыльно-серых и бурых цветов, убогие на фоне богатого убранства, величественности монументов и статуй. Некоторых ребят Эрн знал издавна – так ему и досталась эта завидная работа по чистке и реставрации, когда они замолвили за него словечко. Одни скоблили мягкими тряпками покрытые обильной резьбой хоры в конце капеллы, украшенные виноградными лозами и розами, а другие – у антревольтов между сводами, под огороженным перилами ободом Шепчущей галереи – намывали и приводили в достойный вид мозаичных пророков и

четырех авторов Евангелия. Но основная деятельность, как казалось Эрну, была сосредоточена вокруг механизма, свисающего в тридцатиметровом пространстве под зияющим куполом. Кажется, ничего изобретательней Эрн в жизни не видел.

С вершины купола, со дна маковки – по предположению Эрна, самой крепкой точки грандиозного здания, у ней самой масса исчислялась десятками тысяч тонн, – отвесно свисало веретено не меньше двадцати этажей в высоту: с одной его стороны было такое же высокое сооружение из шестов и досок, а с другой – наверное, самый большой мешок с песком в Лондоне, болтавшийся на гигантской поперечной балке для противовеса. Мешок находился на канате слева от Эрна, а справа им поддерживались на веревках тяжелые леса в форме высоченной дольки пирога, острым концом направленной к центру, где она накрепко соединялась с вертикальной центральной осью. Впечатляющая этажерка представляла собой приблизительно четверть окружности, которую можно было поднимать и опускать лебедками по ее углам, чтобы добраться до нужной поверхности на любом уровне зала. Почти ровно над декоративным солнечным компасом в середине трансепта висела мачта центрального стержня, а на ее нижнем конце находилось нечто наподобие лежавшего на боку маленького мельничного колеса, при помощи которого вручную вращалось все скрипучее сооружение, чтобы занять любую четверть средокрестия. Если все пойдет, как задумано, остаток рабочего дня Эрн проведет на подъемной платформе в гуще этих балок и распорок.

Из окон Шепчущей галереи на пол собора внизу падал толстый жемчужный цилиндр дневного света, окрашенного ухудшающейся грозой, в его зыбком столбе взвесью кружилась поднятая бурной деятельностью пыль. Мягкое сочащееся сверху освещение красило теплом карандашей Конте работников, усердно погруженных в свои разнообразные обязанности. Эрн замер, почти замороженный, упиваясь живописным эффектом, когда справа от него с лестницы на

трифорий в южном приделе широкими шагами вышел знакомый толстяк и окликнул Эрн по имени.

– Эгей, Рыжий. Рыжий Верналл. Сюда, бестолочь.

То был Билли Маббут, которого Эрн знал по множеству пабов в Кеннингтоне и Ламбете и который по-приятельски предоставил ему эту возможность подзаработать на хлеб с маслом. Эрну было радостно видеть румяного, будто бы пропеченного Билла Маббута с приспущенным занавесом редких песочных волос, убранных за уши, лысой вишневой макушкой, с натянутыми подтяжками на рубашке с пуговицами до воротника, с лихо закатанными рукавами, обнажающими мясистые предплечья. Энергично работая ими, словно поршнями локомотива, он покатился к Эрну, петляя между другими работниками, снующими по разным поручениям в шуршащей, гулкой акустике. Улыбаясь от радости – она всегда охватывала его при встрече с Билли, – смешанной с облегчением, что жизненно необходимая подработка не оказалась пшиком, Эрнест двинулся в сторону старого знакомца и издали приветствовал его. Эрн всегда удивлял высокий перелив голоса Билла – и это от рожи, напоминающей вареный бекон, изборожденной морщинами после шестидесяти лет жизни и двух кампаний – в Бирме и Крыму, где они как раз и повстречались. Квартирмейстер Билл, будучи старшим товарищем, держал при себе Эрнэ таким рыжеволосым оберегом – тот как будто отводил любые напасти, включая пули и снаряды.

– Чтоб меня, Рыжий, да ты услада глаз. Я как раз был наверху, в Шепчущей галерее, глядел на работу, да тут влез в спор, божился на чем свет стоит, что ты к нам и носу не покажешь, а ты пришел и выставил меня дураком.

– Здравствуй, Билл. Значится, я не сильно запоздал?

Маббут покачал головой и махнул рукой между могучими опорами в сторону бригады, та с трудом вращала огромное устройство в сердце собора, державшееся на куполе.

– Нет, ты как нельзя кстати, мало й. Нам покамест задали шороху подвижные подмости. Как они тока не капризничали. Так что припрись ты спозаранку, пришлось бы бить баклуши. Теперича, по всему видать, как раз закончили, так что если готов, то вскорости мы тебя подыдем.

Толстый и тонкий – один бледнокожий и рыжий, другой – его противоположность, – прошли по звонким и блестящим плитам нефа и мимо двух колонн, за которыми кипела вся работа. Приближаясь к болтающемуся чудовищу, названному Биллом подвижными подмостями, Эрн с каждым новым шагом переоценивал его размеры. Вблизи двадцать этажей лесов казались тридцатью, из чего он понял, что трудиться придется на высоте пятидесяти, а то и ста метров над землей – обескураживающая перспектива, даже учитывая известное бесстрашие Эрнеста перед высотой.

Раздевшись до маек, двое строителей, – в одном из которых Эрнест признал задиру Альберта Пиклса с Кентавр-стрит, – толкали шестереночное мельничное колесо на пару оставшихся шагов, сдвигая все чудо инженерии по оси, описывая вокруг него орбиту и топча мозаичное солнце ровно в центре трансепта, раскинувшее лучи по сторонам света. Благодаря их усилиям стонущие леса справа от веретена поворачивались, пока не оказались ровно под одной из оранжевых секций, на которые был поделен нависающий свод купола. За огромным каркасом плыл и исполинский мешок-противовес слева от осевого стержня, закрепленный на балке высоко над головой. При нем находилось четверо или пятеро чернорабочих, следовавших за свисающим тряпичным валуном и державших его ровно, пока он качался в каком-то полуметре от пола церкви.

Эрн обратил внимание, что у мешка образовалась утечка – маленькая прореха в ткани на подбрюшье, которую пытался залатать ниткой и иголкой подмастерье лет четырнадцати, что полз на коленях за противовесом, потев и ругаясь на чем свет стоит. Мальчишку уродовала, как это называлось в народе, «клубничная

отметина», расплзшаяся вокруг глаза по лбу и щеке, будто пятно на морде дворняжки, – то ли от рождения, то ли от ожога, этого Эрн различить не мог. Пока малец мучился с шитьем, сверху на него падал молочный, мутный от грозовых туч свет, словно в греческих драмах, а между бегающих пальцев сыпались крупички, падая струйкой песочных часов на сияющие плиты пола. Праздно окинув взглядом эту сцену, Эрн не мог не вспомнить о песках времени, когда вдруг освещение картины скакнуло и исказилось, а всего пару секунд спустя подоспела пушечная канонада грома. Центр бури, очевидно, подошел совсем близко.

Билли Маббут провел Эрна мимо людей, закреплявших ползущие за подмостями растяжки к якорю, – теперь подмости были установлены верно, возле стола на козлах между статуями лорда Нельсона и покойного вице-короля Ирландии лорда Корнуоллиса, который капитулировал во время Войны за независимость перед генералом Вашингтоном, если Эрн не путался в истории. Бог знает, чем он тогда заслужил такой грандиозный мемориал. Инструменты, что понадобятся Эрну для реставрации, лежали на верстаке, где другой юный подмастерье – чуть постарше первого – уже отделял белки от желтков, переливая из одной потрескавшейся фарфоровой чашки в другую. У стола торчали в ожидании дела работяги, и Билли громко представил Эрна, когда парочка присоединилась к бригаде.

– Все в порядке, народ, маляр явился. Это мой старый дружок Рыжий Верналл. Ему никакой Рембрандт в подметки не годится, моему Рыжему.

Эрн пожал всем руки и понадеялся, что они не держали обиды: ему как мастеру оклад полагается больше. Скорее всего, они понимали, что следующую прибыльную оказию он может прождать месяцами, тогда как ражие трудяги нужны всегда, да и в любом случае всем платили такие смешные деньги, что настоящего повода для зависти не было ни у кого. Эрн коротко посоветовался с Билли Маббутом о мелочах предстоящего дела, а затем принялся нагружать материалами и инструментами со стола деревянную подставку в

форме четвертины сыра, подвешенную внутри каркаса подвижной конструкции.

Он выбрал несколько беличьих кисточек из жестянки, предоставленной священниками Святого Павла, а также сложил на картонной крышке старой обувной коробки вычищенные лотки из-под лака, где теперь были порошковые краски собора. От сырости пурпурная и изумрудно-зеленая слепились ломкими комками-самоцветами, но Эрн и не собирался ими пользоваться, а прочие пигменты сохранились в куда лучшем состоянии. Угрюмый юнец, поставленный заниматься яйцами, как раз закончил с последней полудюжиной, когда Эрн попросил желтки. Они лежали целыми в ванночке, в то время как в соседнем горшке плескался ненужный белок – вязкая слизь, противно напоминающая слюну, которой наверняка найдут другое применение и не выкинут зря. Аккуратно подняв тару с шестью желтыми сгустками, скользящими друг вокруг друга по дну, Эрн водрузил ее на лебедочную платформу рядом с кистями и красками, затем прихватил миски для смешивания, двухфунтовый мешок с гипсом и кувшин из-под сидра на полгаллона, промытый и наполненный водой. Добавив к этому шкурку и три или четыре чистые тряпки, Эрн взобрался на качающийся край лифта рядом с орудиями своего ремесла и, крепко ухватившись за одну из угловых веревок, дал сигнал людям Билла Маббута.

Первый рывок опоры под ногами сопровождал очередной мимолетный всплеск серебра снаружи – его всего мгновения спустя не преминул подчеркнуть растянутый грохот приближающейся бури. Один из ражих молодчиков, тянувших за веревку с усердием звонаря, отколол шутку про то, что Господь снова взялся переставлять у себя наверху мебель, на что другой из артели заявил, что подобные слова в великой Матери Всех Церквей – богохульство, хотя Эрн слышал эту поговорку с самого детства и ничего дурного в ней не видел. Его забавляла подспудная практичность фразы, поскольку, хотя в глубине души Эрн все же сам не знал, верит ли в

Бога, ему нравилась представлять Господа существом приземленным, которое время от времени, как и все мы, грешные, наводит в своих вещах порядок, чтобы они лучше отвечали Его целям. Завизжали лебедки, и Эрн начал возноситься мерными этапами – по сорок пять сантиметров за раз, – а когда молния в следующий раз очертила все вокруг резким мелом, оглушительный взрыв последовал практически немедленно.

Широкий изгиб дальнего края платформы затмевал зал под ногами с каждым полуярдом, со скрипом отвоеванным у высоты. Большая часть коллег Эрнеста уже скрылась из виду под шатким дощатым плотом, в который он упирался ногами, и вот поднял в прощании красную руку Билли Маббут и тоже пропал. Теперь Эрн оглядел деревянный пол под ногами и вдруг осознал, что тот куда шире, чем показалось сперва, – почти не меньше театральной сцены, а кучка банок, горшков и кисточек в середине выглядит сирой и жалкой. На самой верхотуре, думал он, ему станет невидима целая четверть трансепта – как и Эрн для нее. Исчезли голова Корнуоллиса, затем лорда Нельсона, проглоченные периметром вздымающегося подиума, и Эрнест оказался в одиночестве. Задрал голову, он разглядывал восемь огромных фресок сэра Джеймса Торнхилла на куполе, пока постепенно не присоединился к их обществу.

Эрн немного выучился рисовать еще мальчишкой в 1840-х, когда рисковал заработать геморрой, сидя на холодной каменной ступеньке, и день за днем, словно околдованный, наблюдал, как Наперсток Джеки воссоздает мелом гибель Нельсона в Трафальгарской битве на брусчатке на углу Кеннингтонской и Ламбетской дорог. Джеки тогда было под семьдесят – ветеран Наполеоновских войн, лишившийся из-за гангрены двух кончиков пальцев на левой руке и скрывавший обрубки парой серебряных наперстков. Прозябая теперь художником по мостовой, старик вроде бы только радовался ежедневной компании Эрна и оказался настоящим кладезем знаний об искусстве. Он разливался перед

мальчишкой с тоской в голосе о новых масляных красках, с которыми можно творить чудеса, будь на них деньги: ярко-желтой, как ракитник, роскошной лиловой и фиолетовой, как сумеречная куща. Джеки наловчил Эрна смешивать реалистичный цвет кожи из таких оттенков, о которых при виде розового тела вовсе не подумаешь, и показал, как незаменимы пальцы для игры оттенками на картине, мягко пятная белым отблеском горящих фрегатов щеку умирающего адмирала или полированные шпангоуты «Победы». Эрнест почитал своего ментора за самого талантливого из художников, но теперь, глядя на шедевры Торнхилла, он понимал, что они настолько же возвышаются над омытыми огнем и кровью палубам Наперстка Джеки, как небесные чертоги – над улицами Ламбета.

Когда шаткий лифт вознес Эрна, того окружили сцены из жизни святого Павла, от обращения в Дамаске до живо изображенного кораблекрушения, с множеством апостолов, подсвеченных как будто домной или раскрытым сундуком с сокровищами, и кипящими за их спинами облачными пейзажами, пронзенными лучами. Фреска, которую он намеревался чистить и ретушировать сегодня над гулкой юго-западной стороной зала, оказалась незнакома ему по проповедям. На заднем плане была стена из теплых грубых камней, – возможно, темница, – а перед ней стоял измученный человек: в его распахнутых глазах читалось благоговение, граничащее с ужасом, с которым он взирал на святых с нимбами или ангелов, глядевших в ответ с опущенными взглядами и кроткими загадочными улыбками.

Деревянный помост Эрна вскарабкался мимо Шепчущей галереи, где, если дать волю воображению, можно было увидеть, что стены прокоптились молитвами столетней давности, а окна подарили Эрну последний взгляд через промокший Лондон на колокольню Саутуаркского собора на юго-востоке, прежде чем его подняли выше, под самый купол. Вдоль нижнего края – на барабане над самой галереей – он с отвращением заметил, что целые куски внизу

каждой фрески покрывала краска цвета камня – несомненно, чтобы как спрятать ущерб от воды, обнаруженный в ходе предыдущих реставраций. Эрн проворчал себе под нос что-то о позорном наплевательстве на собственное ремесло, очевидном в сей нерадивой работе, когда вокруг взорвались ослепительный свет и раскатистый грохот – так близко, что слились воедино, – и платформа ухнула вместе с сердцем вниз, хотя и всего на дюйм-другой, когда дрогнувшие мужики далеко внизу упустили, но снова перехватили веревки лебедек. Сердце Эрна билось, а его вдруг ставшая ненадежной подставка возобновила визгливый подъем ввысь, и тогда он осторожно приблизился к правому заднему краю, хотел рискнуть и взглянуть, все ли внизу в порядке.

Сомкнув кулак на веревке, Эрн обнаружил, что его руки стали скользкими от испарины, хоть выжимай, пришлось признать, что он все-таки боится высоты вопреки всему, что о нем толкуют. Он всмотрелся за необработанные края досок и, хотя не видел работников, поразился тому, на какую верхотуру забрался. Священники Святого Павла казались отсюда ухвертками, еле ползущими по далекому белому полу, и Эрнеста немало позабавило то, как два клирика, ни о чем не подозревая, шли навстречу друг другу вдоль сходящихся стен огромной опоры, пока не столкнулись на углу в завихрении черных ряс. Эрн рассмешило не одно только зрелище барахтающихся на спине священников, но и то, как он раньше их самих знал, что они врежутся, исключительно благодаря превосходящей точке обзора. В какой-то мере он мог теперь прозревать судьбы прикованных к земле людишек, бегающих по двумерной плоскости, с возвышенной позиции третьего измерения у них над головами, о котором они редко вспоминали или задумывались. Эрнест спросил себя, не потому ли преуспевали в свое время в завоеваниях римляне: захватывая высоты для дозорных постов и вышек, они завладевали отменным преимуществом в понимании и планировании стратегии.

Теперь настало время достигнуть уровня, о котором они условились с Билли Маббутом, где и замер, надежно привязанный – как надеялся Эрнест – более чем в пятидесяти метрах внизу. Художник находился у верхних пределов первой фрески, где прямо над головой колотилось сверкающее, сотрясающее мир сердце грозы. Как только его личный пол прекратил движение, Эрн решил приняться за реставрацию фигуры с нимбом в верхнем левом углу картины – какого-то ангела или святого, черты которого омрачили десятилетия дыма от кадил и свечей. Эрн принялся аккуратно промокать фреску тряпками, стоя у самого обрыва подъемника, и, пока стирал с нее пыль, с удивлением отметил, что у лика от темечка до подбородка было не меньше метра, и понять это можно было, только взглянув на него вблизи: почти девичье лицо было скромно обращено чуть вправо и смотрело вниз, поджав губы все в той же самоуверенной знающей улыбке. Ангел, решил Эрн, так как все святые, которых он помнил, носили бороды.

Эрн остался в одиночестве на дощатом чердаке мира, что был куда богаче и просторнее, чем его собственный в мамином доме на Ист-стрит. Счистив, сколько мог, поверхностный налет с профиля в три четверти ростом с него самого, Эрнест перешел к задаче посерьезнее – начал составлять смесь для оттенка, который точно совпадет с поблекшей персиковой кожей небожителя. Самой чистой рукояткой кисточки, что только нашлась, Эрн взболтал шесть желтков в ванночке, затем перелил жалкие капли получившегося медноцветного крема в одну из мисочек. Другая рукоятка кисточки послужила тонкой ложкой, ею Эрн отмерял крохотные порции необходимых, на его вкус, красок из лотков, вытирая рукоятку после каждой порции тряпкой и размешивая разные количества ярких порошков в миске с взбитым яйцом.

Начал он с землистой, сочной жженой охры, добавил неаполитанский желтый пигмент летнего полдня, за чем последовала щепотка краппа. Далее он решительно замешал в кашу кровавую и прозрачную толику насыщенного алого – комочки

желтка, тронутые красками, сталкивались друг с дружкой под действием беличьего волоса. И без того удовлетворительный состав Эрн дополнил собственным секретным ингредиентом, о котором узнал от Наперстка Джеки, а именно бросил щепоть кобальтовой сини, чтобы изобразить на обескровленных ликах венозную жидкость, циркулирующую под человеческим эпидермисом. Переусердствуй он с красным и синим, всегда можно разбавить их каплей белого, но пока что Эрн остался доволен результатом и приступил к приготовлению легкого левкаса, вытряхнув из мешка белый гипс в миску с парой ложек воды, а размешав, добавил свою температуру, чтобы расцветить тонкий слой грунтовки. Распихав по карманам кисти, Эрнест прошел по воздушным подмосткам с плоской в руках, где плескался тщательно состряпанный раствор, назад к юго-западному краю, где занялся работой над гигантским лицом, закидывая голову и протягивая руки к изображению на вогнутой стене над ним.

Наложив сперва тонкий слой левкаса цвета кожи вдоль длинного изгиба подсвеченного подбородка, Эрнест подождал, пока тот высохнет, прежде чем затер до едва шероховатой поверхности шкуркой и приготовился к следующему слою. Он еще даже не начал покрывать огромное лицо торопливыми мастерскими мазками, как в цепенящем ужасе заметил, что та часть лика, к которой он еще не притрагивался, потекла. Буря снаружи дошла до высшей точки, разразившись целой серией потрясающих громовых раскатов, когда Эрн, встревоженный и пораженный, прищурился и в нескончаемой морзянке молний увидел, как жидкие краски двигаются по плоским и впалым голове и плечам ангела.

По внутренней поверхности купола вокруг ангельского лица бегали вверх, вниз и во все стороны корчащиеся капли разных оттенков, а их траектории возмутительным образом противоречили всем законам здравого смысла. Более того, роящиеся ручейки, на взгляд Эрна, не блестели, как если бы отсырели. Напротив, по рисованным чертам лица словно струились сухие течения песчинок,

ничтожных и торопливых, они подчинялись изгибу потолка, словно многоцветные опилки возле слабого магнита. Это было невозможно, а хуже того – за это наверняка вычтут из жалованья. Эрн невольно и неловко отшатнулся, и с этим шажком если не осознал, то оценил размах лихорадочного неистового движения и активности, разворачивающихся перед ним.

Нейтрально-серый цвет и умбра с дальней стороны гигантского лика взбирались по крутой диагонали влево, где скапливались в кляксу светотени, какая появляется у крыла носа, когда его владелец смотрит на вас. С нимба лились лучезарный желтый крон и свинцовые белила, образуя неравномерное яркое пятно, походившее на правую щеку ангела, если бы та сдвинулась и попала под лучи света. Чувствуя, как по спине крадется липкий холодный страх, Эрн понял, что массивное лицо ангела, не разрушая штукатурку на почти плоской стене, где было изображено, и не вырываясь из пределов двумерного царства, медленно поворачивалось на поверхности фрески, чтобы взглянуть ему прямо в глаза. В уголках очей сгустились новые складки серого Пейна, и веки размером с краюхи хлеба, прежде скромно потупленные долу, сморгнув, разверзлись, хлопья краски со свежих морщинок сыпались прямо в распахнутый рот Эрнеста, обомлевшего из-за невиданного зрелища. Обстоятельства были столь невероятными, что ему даже не пришло в голову вскрикнуть – лишь отступить еще на шаг, зажав ладонью свой раскрытый рот. В далеких уголках эпических губ фигуры, также переместившихся выше и левее, растрескались ямочки жженой кости и киновари – бледные метровые уста разомкнулись и нарисованный ангел заговорил.

– Тиббе предидотца воочень тисжелов, – промолвил он с озабоченным тоном.

То, что будет или видится тебе уже бывающим, предстанет действительно ошеломительным и тягостным испытанием для твоего сердца, ибо ты воочию узришь и многое поймешь о четвертом угле существования, что несет тебе множество

жестоких трудностей в смертной жизни мужа и отца, тем паче конец ее лежит на темном погосте в окружении железа оград и листьев жимолости и тисов, и тебе придется очень тяжело. Эрн понял это мудреное послание, понял, что его каким-то образом втиснули всего в четыре по большей части незнакомых слова, развернувшихся и распаковавшихся в мыслях, словно детская бумажная головоломка или китайское стихотворение. А пока он пытался постичь весь смысл, заряженный в это взрывающееся предложение, его покорила даже сам голос. Он отличался полнотой и многомерностью, словно целый оркестр, играющий в консерватории, по сравнению с жестяным свистком, в который дуют в набитом шкафу. Каждая нота как будто неслась по бесконечным и все более далеким виткам в спирали повторений – одних и тех же тонов уменьшающегося масштаба, разбивающихся в итоге на мириады меньших эхо, бурных миниатюрных завихрений звука, что уносились в неумолчный фон из раскатов грома и исчезали.

Теперь, завершив пугающий поворот, неохватное лицо, кажется, практически утвердилось в новом положении. Только по краям у подвижных рта и глаз еще ползали частички – точки пигмента соскальзывали песчаными осыпями по изгибу фрески и торопились отобразить все самые малозаметные и естественные движения ангельской головы, перелив света и тени на ее открывающихся и закрывающихся губах.

В те немногие мгновения, что на деле минули с начала эпизода, Эрнест хватался за отчаянные рациональные объяснения всей ситуации и так же скоро отбрасывал их. Все это сон, думал он, но тут же понял, что нет, что он бодрствует, что зубы на левой стороне рта по-прежнему ноют, а в правых застряли крошки жареного хлеба с завтрака. Он решил, что это розыгрыш, возможно, его как-то сделали с помощью волшебного фонаря, но тут же напомнил себе, что спроецированные подобными устройствами картины не двигаются. Тогда, выходит, это Призрак Пеппера, как в пабе «Хайбери-Барн», когда на сцену как будто выходит тень отца Гамлета, – но нет, нет,

для такого эффекта требовался наклонный лист стекла, а в рабочем пространстве Эрна не было ничего, кроме его материалов и самого Эрна.

С каждой новой версией, расползающейся в руках, словно мокрая бумага, в Эрнесте наливался панический ужас, пока не переполнил Верналла до краев. Горло схватило, из него вырвался всхлип, показавшийся ему самому женственным, и Эрн, отвернувшись от призрака, бросился уже бежать, но дрогнувшая от первого же шага опора с ошеломительной силой напомнила о страшном положении – об одиночестве на головокружительной высоте. Ненастье над головой достигло сверкающего и сокрушительного пика, и даже сумей Эрн превозмочь паралич, стиснувший голосовые связки, и закричать, внизу бы его ни за что не услышали.

Тогда он просто прыгнет, покончит с этим – уж лучше беспомощный полет, костоломное падение, нежели это – это существо; но он уже слишком долго колебался, понимал, что не способен на такой шаг, знал, что в конечном счете всегда был и остается трусом, когда дело доходит до смерти и боли. Он через силу обернулся к ангелу, надеясь вопреки всему, что игра света или звука уже улеглась, но колоссальная физиономия все так же буравила его взглядом, по-прежнему слегка корчились периферийные линии, а отблески на веках быстро сползли, чтобы поменяться местами с белками глаз, когда она моргнула раз и другой. Розоватые тона, которыми изобразили губы, закружились и сгустились, словно передавая ободряющую улыбку. Эрн тихо захныкал, как хныкал в детстве, если не оставалось ничего, кроме слез. Он сел на доски, опустил лицо в ладони, и вновь раздался пронизывающий голос, бесконечные пучины и витиеватые реверберации которого разлетались прочь, чтобы с блеском исчезнуть.

– Пбравосутия нац ерулицей.

Будь бравым, о создание, – право, это суть я, во плоти, надзирающий и оценивающий зрак небес, сред голубей, иерархий и

иерофантов сего надземного Ерусалима, где поверх цельносердечной руды утлой землицы и лиц падшего ниц люда – мой суд, и я провозглашаю: да будет Правосудие над Улицей.

Эрн зажмурил горящие глаза и прижал к лицу руки, но обнаружил, что все равно видит ангела, и не между пальцами или сквозь веки, как яркий свет, но так, словно лучи огибали эти препятствия неведомым Эрну способом. Его попытки закрыться от зрелища оказались бесплодными, и тогда он прижал руки к ушам, но результат остался неизменным. Вместо того чтобы покорно заглушиться подушками из хряща, кости и мяса, каскад ангельского голоса обходил с кристальной ясностью любые препоны звуку, как будто его источник находился у Эрнеста в черепе. Вспомнив о безумии отца, Эрн стремительно пришел к выводу, что в этом все дело. Говорящая фреска – лишь бред, а у Эрна зашел ум за разум, как у его старика. Или же, с другой стороны, он по-прежнему оставался в здравом уме, а невероятный посланец – реальное событие, действительно происходящее у хлипкого лифта над собором Святого Павла, в мире Эрна, в его жизни. И тот и другой вариант были ему невмоготу.

Блесткая музыка каждого ангельского слова, ее дрожащие гармоничные вайи и растворяющиеся арабески звучали так, чтобы звуки бесконечно разделялись на меньшие копии самих себя – как каждая ветка на дереве является его миниатюрной копией, а каждый сучок – масштабированной репродукцией своей ветки. Река, разбивающаяся у дельты на рукава, а затем на протоки, – каждый слог протекал через тысячу пор и капилляров в самую суть Эрна, самую его ткань, а их смысл перенасыщал так, что невозможно было недослышать, недопонять или недоуметь даже их мельчайший нюанс.

«Правосудие над улицей», – вот что молвил великий лик, или же молвил среди прочего, и откликом на фразу в голове тут же возник мощный и внезапный визуальный образ. Пред мысленным взором предстали, весы, висящие над петляющей полоской дороги, но

неприкрытая грубость изображения только сбила Эрна с толку, ведь он всегда считал, что может похвастаться богатым воображением. То было не всемирное мерило, застывшее в светозарных ветреных небесах над живописным проселком, словно из библейской иллюстрации, но жалкий набросок ребенка или имбецила. Висящие чашечки на поддерживающих цепочках были не более чем кривыми треугольниками, на вершинах их неумело соединял овал, нарисованный нетвердой рукой. Под ними же был волнующийся и вытянутый прямоугольник, который с одинаковым успехом мог обозначать как улицу, так и завивающуюся ленточку.

Немного было черт в простом рисунке, как и слов в речах ангела, но и они загрузили в разум Эрна всевозможные толкования тем же образом, какой применял голос существа, внедряя в мысли скромные узлы осознания, что разворачивались в нечто куда большее и сложное. Изучая воображаемые каракули, Эрнест понял, что они таинственным образом связаны с каждой праздной мыслью, что посетила его сегодня по пути на работу, словно бы эти мелочи были туманными и преждевременными воспоминаниями об этом откровении, такими воспоминаниями, что необъяснимо появляются раньше их источника. Он понял, что образ в голове имел отношение к прошлым размышлениям о тяготах бедноты, к сочувствию сапожному ремеслу Нортгемптона и даже каким-то образом был связан с грубоватыми, но теплыми мыслями о жене. Вызвал он в памяти и думы о его отпрысках, Джоне и малышке Турсе, о том, что с ними будет, а также скоротечную фантазию о рае, словно бы расположенном на огромной высоте над улицами Ламбета. Но главным образом Эрн вспомнил о черных в Америке, освобожденных рабах и жуткой картине с заклеятыми детьми. Он по-прежнему плакал, беспомощно сидя на грязном дощатом полу, но теперь лил слезы не только о себе.

Портрет привлек внимание Эрна и теперь продолжил свой урок среди треска гнева и ярости, которые словно не могли вырваться из хоровода вокруг шпиля. Судя по постоянным и легким переменам

настроения, ангелу не терпелось вложить человеку в голову указания чрезвычайной важности по умопомрачительному количеству тем, многие из которых как будто относились к областям математики и геометрии, а к ним Эрн всегда притягивало, несмотря на неграмотность. Однако знания вливали в него без спросу, и у него не оставалось выбора, кроме как терпеливо им внимать.

Сперва видение объяснило своими исковерканными и сжатыми словами-бульонами, что бушующая кругом буря возникла в результате перемещения из одного мира в другой – в данном случае перемещения ангела. Одновременно Эрн услышал о том, что в самих бурях есть геометрия, непостижимая для человеческих чувств, что молнии, бьющие в разных местах и в разные дни, на самом деле один и тот же разряд, но преломленный, отражения которого рассыпаются по времени в прошлое и будущее. Передавая это знание фраза звучала так: «Иббо пирьувходы ноши отмечетырца мольбнемли...» Ибо переходы наши отмечаются молниями...

Щеки у Эрнеста блестели, озаренные вспышками, и он в отчаянии воззрился на квартет архангелов, выполненных в голубом и золотом на своде купола в вышине. Безмятежные и безучастные, они не дарили ни помощи, ни утешения – но хотя бы не шевелились. Когда его взгляд упал обратно на медленно копошащиеся пятнышки на лице собеседника, Эрн осознал, что преобразилась одна-единственная область на одной-единственной фреске. В каком-то смысле от этого стало только хуже, ведь если бы он обезумел, разве бы галлюцинации не лезли отовсюду, а не только в одном месте? Он пожалел, что не может упасть в обморок или даже набраться духу и умереть, сорваться и оборвать нестерпимый ужас – но тот все тянулся и тянулся. Терпеливо глядя на человека поверх досок, обрезавших все ниже груди, большая голова словно сочувственно пожала плечами в рубище – энергичная рябь стронутого пурпура и жженой умбры прокатилась по складкам одеяния и вновь успокоилась, а чудо с того света продолжало просвещать Эрн Верналла, по большей части в области архитектуры.

– ...ил угл Вэсчастмжсти раскрылздрить.

И в «или» уклада вещей, в высшем слиянии несчетных эпох – что, четверомерное, помещается на темных участках, ночных межах Небес, – есть мистический стержень вероятности, на чем в этот час – когда счастливая черная раса, окрыленная, освободилась, – распаивается крышка вечного «здесь и сейчас» истории, которая уже случилась, развернулась, поистине кончилась за здравие или за упокой или – для тебя – есть все еще незавершенная, но возрадуйся Правосудию над Улицей, ибо переходы наши отмечаются молниями и углы Вечности раскрылись.

Так продолжалось два часа и три четверти.

Лекция оказалась многосторонней, познакомила Эрн с такими мнениями, о которых он раньше и не задумывался. Ему предложили представить текущее время в категориях планиметрии и указали, как ущербно человеческое понимание пространства. Особое ударение сделали на углах, якобы несущих незримое структурное значение: будучи расположены в одних и тех же местах объекта, смотри на него хоть сверху, хоть в развертке, они постоянны, во скольких бы измерениях ни выражались – двух, трех или более. Далее последовало рассуждение о топографии, но не обычной, а в метафизическом русле. Ему объяснили, что Ламбет прилегает к далекому Нортгемптон, словно оба находились на сложенной определенным образом карте, так что далекие друг от друга пункты в каком-то смысле находятся в одном месте.

В том же топографическом дискурсе Эрн ознакомился с новым пониманием тора, или «спасательного круга», как он звал его про себя, – пышного бублика с дыркой посередине. Вскользь было замечено, что и человеческое тело с его пищеварительным трактом, и скромный дымоход с центральной трубой являются вариациями сей основополагающей фигуры, а также что человека можно представить в виде обратного камина, в который топливо закладывают сверху, тогда как снизу выходят коричневые облака твердотельного дыма, извергающиеся на землю или в море, но

никак не в небо. В этот момент, вопреки струящимся по щекам слезам, вопреки ощущению, будто он тонет, Эрн начал смеяться. Мысль о мужчине или женщине как о перевернутом дымоходе оказалась такой комичной, что он ничего не мог поделать, не в силах отделаться от картины с высокими клубящимися фекалиями, стройно поднимающимися из городских литейных цехов в небо Лондона.

Эрн смеялся, а с ним смеялся и ангел, и каждый его искрометный перелив был полон до краев Радостью, Радостью, Радостью, Радостью, Радостью.

Только когда ближайšie церкви пробили полдень и Билли Маббут понял, что слышит звон, он заметил, что гроза окончилась. Отложив доску с остатками раствора, которым промазывал швы между некоторыми сомнительными плитами, он обернулся и хлопнул руками-окороками, привлекая внимание подчиненных. Когда он объявлял шабаш на чай с хлебом, его легкий тенор отдался эхом в галереях, пронесся по приделам заблудшей чайкой.

– Ладно, молодцы, полчаса на роздых. Заморим червячка и соорудим чаю.

Вспомнив о декораторе, Маббут кивнул розовой блестящей головой в сторону лесов.

– И старину Рыжего вниз смотаем. Я уж насмотрелся, как он лютует, – поверьте на слово, вам видать не захочется.

Здоровяк Альберт Пиклс, топая по полированным шашкам пола, в котором меж его башмаков плыло мыльное неполное отражение, глянул исподлобья на Билла и ухмыльнулся, занимая место у одной из угловых лебедек лифта.

– Твоя правда. Рыжий-конопатый, прибил папку лопатой.

Некоторые работники хмыкнули над старой уличной дразнилкой, разбирая оставшиеся веревки, но Билл этого не стерпел. Может, на вид он и казался пищащим рохлей, но недаром заслужил медаль в боях с бирманцами, и все работники, включая Альберта Пиклса, знали, что его лучше не злить.

– Его папаша помер, Берт, так что не надо этого, лады? Имей жалость. Он мужик свой в доску, но теперь ему пришлось худо, да еще и ребенок родился. А теперь тащи его с небес на землю, чтоб идти отдыхать с чистой совестью.

Стропальщики выслушали отповедь добродушно, затем взялись за тали, пока Билл огласил великолепный колодец над головой криком, чтобы Рыжий готовился, не разлил и не поронял свои горшки, когда тронется платформа. Ответа не последовало, но подъемное устройство болталось на такой высоте, что Маббут и не ожидал, что его возглас будет услышан. Он мотнул румяным подбородком в сторону мужчин, и те принялись спускать широкий деревянный клин из-под шепчущей золоченой тверди собора к деловому оживлению и приглушенному гомону нефа.

Лебедки над головой размеренно издавали прерывистые взвизги, как толпа баб, дюйм за дюймом опускающихся в холодную воду общественной бани. Выдернув из кармана штанов платок, Билли Маббут промокнул жидкую пленку пота на розоватой макушке и вспомнил, как Рыжий Верналл в крымской казарме свернул скулы одному из сослуживцев за то, что тот отпустил какую-то шутку о его родословной. Билл, если начистоту, жалел приятеля – жалел, каким он был гордым во время войны и как опустился теперь. Не успел он вернуться из сражений с русскими, как старик Джон, его папка, рехнулся, а не прошло много лет, как и умер. Немудрено, что, все еще потрясенный, Рыжий сошелся со своей девчонкой, женился и не успел глазом моргнуть, как она народила одного за другим двоих ребят. Билли никогда не везло с женщинами – всегда было проще в мужской компании, но он посмотрелся на бойцов, которые прошли всю грязь и мушкетные пули, только чтобы их одолели жена и семья.

У Рыжего были голодные рты, но не имелось собственного дома – он все еще сидел у мамки в Ламбете, а по единственной встрече с ней Маббут знал, что она та еще противная старая карга.

В тридцати метрах над головой под ритмичный аккомпанемент стонущих канатов, ухающих трудяг и писк лебедек надвигалось дно подиума. Сунув платок на место, Билл отвернулся к ко́злам, где оставил доску для растворов, чтобы теперь вытереть ее начисто и отправиться за чаем. Священников Святого Павла после неподобных сану торгов таки убедили вскипятить котел воды над одной из плит собора, чтобы наполнить два вместительных глиняных чайника для работников. Теперь чайники дымились на дальнем конце стола в окружении самых грязных жестяных кружек, что доводилось видеть Биллу, – очередной заем у скаредных клириков. Помятые и потемневшие кружки покрывали пятна внушительнее, чем у бедняги Клубничного Сэма, юного подмастерья Билла в соборе. У их краев запеклась ржавчина цвета дерьма, а одну коррозия поела так, что просвечивало солнце. Стирая последние комки затирки с доски, Билл напомнил себе уберечь от чашки с дыркой и себя, и Рыжего, чтобы она не нассала им горячим чаем на колени.

Постепенно он заметил поднявшийся где-то за спиной галдеж, так что оглянулся к лесам как раз вовремя, чтобы увидеть, как платформу опустили ниже человеческого роста – остановили всего в метре-полтора от пола. Старик Дэнни Райли с бородой, как у мистера Дарвина, и пастью, как у одной из обезьян сего ученого мужа, снова и снова восклицал, как деревенский дурачок: «Кто это? Пресвятая дева Мария, кто это?» – так что Билл поискал взглядом, не вышел ли из-за столба в их ряды какой-нибудь архиепископ или другая важная особа. Никого не обнаружив, он вернулся взглядом к дощатой полке, как раз зависшей в каких-то дюймах от напольных плит и под очередной вопль четырех лебедек готовой стукнуться дном о камень.

От фигуры, усевшейся посреди конструкции, доносилось заикающееся «ху-ху-ху» – это стало слышно, только когда лебедки

оставили в покое, но даже тогда не прояснилось, то ли это смех, то ли плач. По небритым щекам человека действительно катились слезы, но сбегали они в морщины, что напоминали бы блаженную улыбку, не вытекай из глаз, наполненных смятением или болью. На досках перед ним палец, окунувшийся в венецианский желтый, вывел нестройными буквами, напоминавшими почерк ребенка, слово TORUS – Билл знал этот термин из астрологии благодаря тому, что сам родился в мае. Но Маббут представить не мог, почему это слово вообще оказалось на тесе, ведь он отлично знал, что Рыжий не смог бы написать и собственного имени, разве что скопировать формы букв под чужим надзором – впрочем, очевидно, вряд ли это произошло под одинокой крышей собора.

Ноги Билли налились свинцом, как в кошмарах с погонями, но он подошел к клетки у лесов, расталкивая застывших и глазающих наймитов. В ропоте и шепоте вокруг он уловил, как Берт Пиклс воскликнул: «Охренеть! Охренеть на хрен!» – и услышал цокот священников по плитам, сбегających взглянуть, что приключилось. Рядом с человеком, который скорчился, словно жертва кораблекрушения на утлом плоту, кто-то заплакал. По голосу Билл вроде бы узнал юного Сэма.

Поднимая взгляд от разбросанных горшков и кистей, среди которых он сидел, и от необъяснимой яркой надписи, человек, спустившийся с вершины высоких подмостей, уставился на Маббута и прочих работников, а потом захихикал, захлебываясь слезами. Не то чтобы из его глаз целиком пропало узнавание – скорее казалось, будто его не было так долго, что бывшее занятие и товарищи стали казаться ему сном, и потому он удивился, что они все еще здесь. Билли сам почувствовал прилившие к глазам горячие слезы, когда ответил на этот уничтоженный, непонимающий взгляд. Когда Билли открыл рот, его голос надтреснул и стал на октаву выше обычного. Но он ничего не мог с собой поделать.

– Ох, бедолага. Ох, бедный мой старый друг, что же с тобою случилось?

Ясно было одно. До конца жизни Эрнеста Верналла больше никто не назовет его Рыжим.

Билли отвел сломленного товарища домой через мост Блэкфрайарс и ненадолго остался с разбитой горем семьей Эрна – они не сразу узнали незнакомца, вернувшегося с работы пораньше. Даже мама Эрна заливалась слезами, что удивило Билла, уверенного, что в женщине нет ни йоты жалости, – впрочем, состояние ее сына выжало бы слезу и из камня. Пугало не столько то, как Эрн выглядел, а то, о чем говорил: о деревьях, голубях, молнии, углах, дымоходах – мешанине из самых обычных, каждодневных вещей, о которых он отзывался с тем же суеверным шепотом, с каким иные обсуждают русалок. Единственным не проронившим слез человеком в хозяйстве оказался двухлетний Джон, который сидел и смотрел на преобразившегося отца большими темными глазами, пока убивались мать, бабушка и младшая сестра, и за все время не издал ни звука.

Эрнест наотрез отказывался рассказывать, что произошло в грозовых тучах над Лондоном, – только спустя много лет поведал об этом Джону и Турсе, когда сыну исполнилось десять, а девочке всего восемь. Дети Эрнеста, в свою очередь, тоже не раскрыли того, что слышали, даже родной матери или собственным детям Джона, когда он женился спустя десятилетие под конец 1880-х.

На следующее утро, да и каждый день на той неделе, Эрн Верналл, пришедший в чувства хотя бы частично, предпринимал отважные попытки вернуться на работу в собор Святого Павла, настаивая, что с ним все в порядке. Каждое утро он выходил к началу Ладгейт-стрит и стоял там, не в силах сдвинуться дальше, пока наконец не сникал и не плелся восвояси в Ламбет. Какое-то время он еще находил работу, поденную, но уже не в церквях и точно не на высоте. Энн родила от него еще двоих – сперва девочку по имени Аппелина, затем мальчика, которого по настоянию Эрнеста окрестили Посланцем. В 1868 году жена и мать Эрна впервые в жизни хоть в чем-то сговорились и позволили забрать его в Бедлам,

где сперва ежемесячно, а затем ежегодно Эрн навещали Турса, Джон, а иногда и двое младших, до июля 1882 года, когда в возрасте всего сорока девяти лет Эрн скончался во сне от сердечного приступа. Не считая старших детей, никто так и не узнал, что он имел в виду под словом TORUS.

Страсти по ASBO

Вот Марла думала, что все началось, когда королевская семья убила Диану. И потом уже не было ничего хорошего. Все знают, кто ее убил, потому что она там письмо написала, что, типа, ее наверняка убьют в аварии. Вот вам и доказательство. Диана сама все знала, что с ней будет. Марла гадала, было ли у нее в ночь перед убийством это, как его, предчувствие, ну, предсказательная штука. Тот момент, который всегда показывают, – как она, Доди и водитель выходят из «Ритца», на отельных камерах, через крутящуюся дверь. Наверняка она что-то да знала, думала Марла, но такая уж у нее, как бы, была судьба, а судьбы не избежать. Марле казалось, что Диана точно все знала, когда садилась в машину.

А ей самой сколько было, десять? Десять, когда случилась авария. Она помнила, как проплакала все воскресенье на диване под одеялом, дома у своей сраной мамы в Мейденкасле. Помнила, хотя еще ей казалось, будто она помнит, как смотрела телик в младенчестве, когда принц Чарльз и принцесса Ди женились в соборе Святого Павла. Свадьба стояла перед глазами ясно как день, и она все рассказывала про это подружкам, а потом, типа, Джемма Кларк такая, мол, это 1981-й, а Марле девятнадцать, значит, она родилась в 1987-м или где-то рядом, значит, если что и видела, то в записи. Или, типа, перепутала с Эдвардом и Софией, но Марла и слушать не хотела. Сейчас ведь умеют что угодно, все подделывать, типа? По типу 11 сентября или высадки на Луне, или этого – как же его? – Кеннеди. Кто знает, вдруг они женились после 1987-го, но потом все прикрыли, а фотки отредактировали в ЦРУ? Никто же ничего не знает, а если говорят, что знают, – пиздят.

Про Ди она задумалась, когда заскочила в квартиру, вернувшись с Овечьей улицы, с тех краев, – просто заскочила, потому что вспомнила, где у нее наверняка еще осталось, а когда полезла искать под софой, наткнулась на свои альбомы с Дианой. Были там и

книжки про Джека-Потрошителя, и ее тетрадка с Ди, а она думала, что потеряла их или кому-нибудь дала. Но кроме этого, ничего там больше не оказалось, хотя она сперва обрадовалась при виде того, что в итоге оказалось обрывком целлофана с сигаретной пачки, – наверно, со всеми время от времени бывает, когда видишь, как блестит на ковре, и думаешь, что сам обронил или еще кто. Но в квартире было шаром покати, не считая Джека Потрошителя с Дианой. Что, если так хочется, пойди и заработай, да?

Она сожрала «Сникерс Кинг-Сайз», потом заставила себя заварить чайник для лапши Pot Noodle, чтобы с чистой совестью сказать, что у нее был здоровый обед, хотя кому сказать-то, когда Кит с остальными ее послал? Твою ж мать. Стоит только об этом подумать, как желудок типа переворачивается и она тут же загружается, начинает думать про то да про это, как все могло повернуться, что надо было сказать и все такое, ну как обычно, – а от этого только больше хочется дунуть. Она сидела на кресле с продавленными ремнями под поролоновой подушкой, пихала в рот червяков с хрящами в помойном кипятке и пялилась на обои, которые начали отходить в уголке, будто книга открывается. Что угодно, лишь бы не выходить сегодня в ночную, только не в Боро. Пойдет попозже, будет ловить народ по дороге домой с работы, но только не ночью. Она дала себе слово. Лучше перетерпит, чем так рисковать.

Чтобы мозгу было чем заняться, пока она все не разрулит, Марла стала вспоминать, когда ей последний раз было в кайф. Очевидно, не в этот четверг, не вчера, когда был реальный последний раз, – потому что вчера-то получилась херня. И вообще ни разу за последние пять месяцев, когда хоть что ты делай, ни хера не брало, – нет, нужно последний раз, когда было именно в кайф. Это, значит, в январе, сразу после Рождества, когда ей волосы пришла заплести подруга Саманта, которая работала дальше на дороге Андрея в Семилонге. Марла тогда еще была с Китом – они обе были с Китом, – и все было нормально.

Когда разобрались с волосами Марлы – целую вечность просидели, зато получилось зашибись, – они забили трубочку и отлизали друг другу. Она не лесба, и Саманта тоже, но все же знают, что от этого кайф только круче. Просто вообще другой уровень – сосешь трубочку, пока сосут тебе, потом меняетесь. Прямо на ебаном старом коврике с ямайским флагом, который подарила мама, когда Марла съезжала, прямо в десяти сантиметрах от ее ног сейчас, когда она сидит и жрет лапшу. Был январь, так что они включили обогреватель на полную, поскидали трусики, сидели в одних футболках. Марла уступила подвзрывать Саманте – она же заплела ей волосы, – так что то и дело слышала над головой свист, будто кто-то дует в пустую шариковую ручку, пока Саманта всасывала дым, а Марла вылизывала ей на полу. На вкус было как лимон из джинтоника, по радио – или кассете, пофиг, – рубил «Франц Фердинанд», Walk Away. Когда пришла ее очередь, Саманта уже улетела и накинулась на нее, как собака на мясо, пока Марла стояла и наслаждалась, и было просто охренеть – конечно, не как первый раз, но все равно волшебю.

Когда в кайф, то кажется, что это вот и есть ты, для таких чувств ты и создана, такую жизнь и заслуживаешь, а не это вот – это блуждание, как во сне, будто ты уже умерла. А под кайфом так хорошо – как будто ты в огне и можешь все, даже в одной футболке рядом с двухполосным обогревателем, красными точками на ногах и чужой волосней в глотке. Чувствуешь себя, прямо как, блядь, Холли Берри, реально. Просто, блядь, как Бог.

Что-то лучше не стало. Марле только захотелось еще больше. Отложив пустой пластиковый контейнер на кофейный столик, который она застелила подарочной упаковкой и накрыла стеклом, как видела в передаче про ремонт, Марла взялась за альбом про Диану, который пока бросила на софу с книжками в мягкой обложке про Джека Потрошителя. Офигительная штука с цветными страницами, как из сахарной бумаги, – Марла начала собирать для него вырезки с десяти, когда умерла Диана. На обложке была

картинка, которую она приклеила клей-карандашом, так что та вся пошла волнами. Старая фотка, Марла вырезала ее из журнала Sunday, с каким-то пейзажем из Африки на закате, когда все облака горят золотом, но Марла еще вырезала лицо принцессы Ди с другой страницы и приклеила вместо солнца, так что это будто Ди озаряет все из рая. Такая красота – она сама не могла поверить, что когда-то сама такое сделала, тем более в десять, и с тех пор ни разу не видела, чтобы хоть кто-нибудь придумал так же прикольно, как она. Да она тогда, похоже, была гений, пока все не начали на нее наезжать.

Она еще раз глянула у софы, на всякий пожарный, и под ней, потом села обратно в кресло, вздохнула, провела рукой по голове, по афрокосичкам, которые уже стали распутываться. Это потому что Саманты больше рядом нет. Марла слышала, она вернулась к родакам в Бирмингем, когда выписалась из больницы, так что некому теперь заплести Марле косички. Денег-то на нормальную прическу нет, так что пусть распутываются, пока Марла не сможет на них потратиться. Она знала, что выглядит, будто упала с самосвала, и что это плохо для бизнеса, но что остается-то? У нее три недели назад зуб выпал от того, что сладким питается, тоже ничего хорошего, но тут хотя бы можно научиться улыбаться с закрытым ртом.

Ей вообще не свезло, Саманте. Села не в ту машину – или ее затащили. Марла с тех пор ее не видела, не спрашивала. Два мужика увезли ее за Спенсеровский мост, за парк Викки, и бросили полудохлой в кустах, суки блядские. И так каждую неделю попадала хотя бы одна девушка, но сообщали только об одной из четырех. Если только не поднималась шумиха, как в прошлый август, когда банда насильников на БМВ увозила женщин с улицы Доддриджа и Конного Рынка, и там еще потом девушку украли прямо от бильярда на Подковной, повезли по Ярмарке за поляну у церкви Святого Петра. Пять изнасилований за десять дней, во всех новостях было, все трезвонили, типа надо что-то делать. Это за добрых полгода до

Саманты. Марла сидела в продавленном кресле и вспоминала, как Саманта поднялась с пола, вытирая подбородок, когда Марла кончила, а потом они сосались, пока не отпустило, чувствуя друг у друга на губах дым и любовные соки. Той же ночью они угостились еще разок, потому что ведь Рождество, но уже не так торкнуло и никто больше не кончил, просто лизали, пока челюсть не свело и обе не задолбались.

Если подумать, – а об этом думать хотя бы нестрашно, – Марла была уверена, что в ее многоквартирнике нет ни единой комнаты, где никогда не трахались. Ни кухни, ни туалета – ничего, везде кто-нибудь стоял со спущенными штанами и что-нибудь да делал – или что-нибудь делали с ним. Она до сих пор так их и видела – себя с Самантой, работавших языком на ямайском флаге, а если постараться, можно представить и других, в той же комнате, но только из давних времен, какого-нибудь 1950-го лохматого. Что, если здесь жила тетка наподобие ее мамы, какая-нибудь тварь под сорок, и стоит ее мужику за порог – бам, уже тащит бомжа с улицы, чтобы отодрал ее у стенки? Марла так и видела: баба старая, толстая, колыхается, упираясь в стенку руками над самой каминной полкой возле обогревателя, жопу жирную отклячила, юбку задрала, а какой-то смешной бродяга в старом трилби на плечи пыжится сзади, даже не снимая шляпу. Марла хохотала в восторге, как подробно все это представила, хотя обычно такие картинки в голову не приходили, даже сны не снились. Если и удавалось заснуть, во сне была только пустая тьма, будто проваливаешься в огромный черный сигаретный ожог, а потом вылазишь и ни черта не помнишь. Она по-прежнему глядела на воображаемых жируху и бродягу, как они развлекаются у стены и камина, когда аж подскочила от звонка в дверь.

Она крадучись прошла по коридору к двери, мимо туалета и бардачной спальни, и спросила себя, кто это может быть. Вдруг это Кит вернулся сказать, что опять берет ее к себе – но это может быть и Кит, вернувшийся сказать, что она ему до сих пор торчит, и избить.

Она одновременно почувствовала облегчение и разочарование, когда открыла дверь на цепочке – а там всего лишь этот самый Томпсон с улицы Андрея по соседству, странный дедок, который триндел за политику и все такое. Он ничего – главное, вроде бы добрый, никогда не смотрел на тебя сверху вниз, как другие политические – что черные, что белые. За прошлый год-полтора он обходил раз или два квартиры, собирал подписи на какие-то петиции или рассказывал про собрания, чтобы не дать чинушам продавать муниципальные дома и все такое, и Марла всегда говорила, что придет, но не ходила, потому что или работала, или курила.

В этот раз он что-то плел про какую-то выставку картин его знакомой художницы, в яслях на Замковом Холме в пяти минутах ходу. Пока он объяснял, она особо не слушала, но это все как-то было связано с тем, что художница поддерживала одну его политическую кампанию в Боро и что она сама отсюда родом, будто это что-то меняет. Боро – помойка, полная гнилых ублюдков, как эти уроды по соседству, из-за которых на ней висит ASBO, и если б она здесь не работала и не жила, то хоть сейчас снесите всю эту срань ко всем чертям и прикопайте потом. Дедок Томпсон рассказывал, что выставка завтра днем, в субботу, и Марла ответила, что обязательно придет, хотя оба понимали, что ни фига, просто отболталась, чтобы закрыть дверь и его не обижать. Завтра днем Марла будет или в порядке – то есть сидеть в квартире и кайфовать, – или не в порядке, и на картины смотреть ей в любом случае не захочется. Все равно это наеб – люди говорят, что видят что-то там глубокое, только чтобы поумничать.

Захлопнув дверь за дедком, Марла понадеялась, что завтра днем все же будет в порядке, а не не в порядке – что бы это ни значило. Вообще наверняка ничего страшнее, чем наматывать круги по Графтонской и Овечьей улицам, как сегодня, в надежде, что перепадет обеденный клиент. Ничего хуже с ней не случится, говорила она себе. Она знала, что точно не пойдет сегодня вечером

на Алый Колодец, как бы плохо ни было, ни за что, так что об этом варианте можно не переживать.

Когда она избавилась от Томпсона или он там ушел к соседям, то вернулась в гостиную и села, где сидела, но обнаружила, что больше не может, как раньше, представить, как люди трахаются у камина. Пропали напрочь. Она снова поискала у софы и под ней, потом опять села и подумала, что это все виновата ее блядская мамаша Роуз. Тощая белая проשמандовка, вечно гонялась за ниггерами с дредами, болтала как Али Джи, постоянно лезла со своим «Боб Марли хуё, Боб Марли мое». Даже свою родную коричневую дочь назвала Марлой, а второе имя – Роберта. Марла-Роберта Стайлс, и Стайлс – фамилия ее мамы, а не папки Марлы. Он-то давно свалил, и Марла его нисколько не винила, просто ни разу. «Ноу факинг вуман – ноу край».

Все время, пока росла Марла, мамаша варила ебаный карри в наушниках и подпевала «оживи себя» или еще что. Или сидела перед теликом, пыхала паршивую травку по крошке и говорила, что это, блядь, ганджа. И еще ее хахали, сплошные долбаные ниггеры, которые утекали уже через шесть недель или шесть минут, как только узнавали, что у нее ребенок. Когда Марле было пятнадцать, она с одним перепихнулась, с хахалем Роуз, косоглазым Карлтоном, просто чтобы отомстить Роуз за... да за все. Просто за все. Марла до сих пор не знала, поняла мамаша про нее с Карлтоном или нет, но месяца не прошло, как его выпнули из дома в Мейденкасле, да и атмосфера стала такая, что Марла сама долго не задерживалась и съебалась, как только стукнуло шестнадцать. Примерно тогда она повстречала Саманту, и Джемму Кларк, и остальных, и Кита.

С тех пор мамаша заезжала только раз, когда Марла нашла хату. Посидела на этом диванчике с хлипким косячком, – Марла так ее сейчас и видела, – и сказала, что, на взгляд Роуз, все дочка делает неправильно, ломает себе жизнь. «Это всё наркотики. Это тебе не чуток травки. Потом к ним попадешь в рабство». Ага, а ты у нас не в рабстве у сидра и черного хрена, лицемерша гребаная. Но Роуз бы

ответила что-нибудь типа: «Я хотя бы не торгую собой на Графтонской». Мам, да ты и не можешь. Тебе никто не заплатит, и даром не возьмет, ты просто – просто не можешь. «Ты живешь без любви». Да еб твою мать. Тупая ебаная... что, а у тебя любви до херища? А у кого она вообще есть? Она только в ЕБАНЫХ ПЕСНЯХ и ЕБАНЫХ ОТКРЫТКАХ, пизда ты тупая, тупая старая пизда. НЕ СМЕЙ МНЕ ПИЗДЕТЬ, ПОНЯЛА, даже не смей мне пиздеть, потому что у ТЕБЯ – у тебя вообще НЕТ ПРАВА, ни хуя нет права. Сидишь с ЕБАНЫМ КОСЯКОМ, ебаной своей ГАНДЖЕЙ, лыбишься, сука, потому что упоролась, говоришь успокоиться. ЧТО? Что, НА ХУЙ? Я ТЕБЯ сейчас успокою, пизда старая. Оставлю со швами на лице и переломанными ребрами, посмотрим, как ТЕБЕ это понравится, ебаная, ЕБАНАЯ...

Там никого нет. Она здесь одна. Бля, отвечаю, тебе пора башку прочистить. Seriously. Она же орала, и не просто в мыслях, а вслух. У Марлы это уже входило в привычку – крики, в смысле. Орала на мисс Пирс, бывшую училку из Лингс. Орала на Шэрон Моусли, с которой училась в первый год, орала на мамашу, орала на Кита. Ага, конечно. Мечты-мечты. Но хотя бы это были настоящие люди, которых она лично знала, – по крайней мере, по большей части. По крайней мере, пока. А был раз – нет, два раза, – когда Марла орала на дьявола, хотя это со многими бывает. У Саманты было. Она говорила, что для нее он красный и мультяшный, с вилами, но у Марлы все было по-другому.

Это было посреди ночи месяца три назад, после того, что случилось с Самантой. Курить было нехрен, потому что рядом никого не было, но кто-то – кто ж это был? – подогрел ее колесами, хер знает чем, просто чтобы перебиться. Она сидела в этой самой квартире, там же, где и всегда, сидела на кровати в темноте с сигаретой, надо было покурить хоть что-то. Таращилась на конец сигареты, обычное дело, и в темноте тот походил на мелкую рожицу, рожицу мелкого старичка с розовыми щечками и розовым ротиком, и двумя черными пятнышками вместо глаз. Хлопья серого и белого

пепла стали его волосами, бровями и бородой. Наверху горели две искры – ярко-красные, так что напоминали рога, маленький демон на конце сигареты, причем казалось, он ухмыляется. Там, где огонек прожигал бумагу изнутри, казалось, он скривил рот, и Марла ему такая, типа: «Да? Чего смешного, козел, бля?» А он такой: «А ты как думаешь, что тут смешного? Ты смешная, разве непонятно? Потому что когда ты умрешь, то попадешь в ад, если не возьмешь себя в руки».

Тут рассмеялась сама Марла, ну, фыркнула. «Да что такое ад, уебок пепельный? Я тебе скажу, что такое для меня ад: застрять навечно здесь, на Банной улице», – а он ей: «Совершенно верно», – и вот тут она реально психанула, на хуй. Где она такого набралась? Если она в мыслях трепалась с людьми, они говорили так же, как она, а она ни разу в жизни не сказала «Совершенно верно». Она его затушила, размазала мелкие горящие мозги по пепельнице у кровати, а потом лежала до утра, все гоняла в голове то, что он сказал. Она ничего не понимала, и не понимала, почему так себя накручивает. Ебать, да он-то что понимает? Он же ебанный окурочок.

Когда Марла увидела его второй раз, это было всего неделю-две назад, когда Кит сказал, что больше дел с ней не имеет. После этого она вернулась сюда, стояла в ванной, смотрела, что у нее с лицом, которое только на вид страшное, а так вроде без травм. Но на душе стало так поганно, что она вспомнила про сигаретного демона и про то, что он сказал, – это ебаное «Совершенно верно» и все такое, – и так много думала, что он стал у нее в голове как настоящий человек, как мисс Пирс или Шэрон Моусли, и, как все люди в ее мыслях, он стал наезжать. Он как будто сидел на краю маленькой ванны, пока она стояла над раковиной сбоку и мазала подбородок Деттолом. Только в этот раз он уже был не красным кончиком сигареты, хоть и с таким же, типа, лицом. Он стал целым человеком, как ее мамаша или похотливый бродяга, которого она придумала. И весь разодетый в какую-то монашескую рясу, что ли, или старые тряпки какие-то, и они были красные, или зеленые, или и то и другое. С кучерявыми

волосами и рогами, и бородой, и бровями, прямо как когда был сделан из пепла, и, как Марла видела его в своих мыслях, он по-прежнему лыбился, рассмеялся, когда Деттол стал жечь, и она снова расплакалась и перестала мазать, только чтобы собраться с силами.

Он так и угорал, этот старый дьявол, и она прямо сорвалась. Сорвалась к хренам и орала: «Почему ты от меня не отстаешь?» А он просто посмотрел на нее и скорчил рожу – типа, издевался, – и повторил ее же самые слова, тонким хнычущим голоском, чтобы как бы передразнить. Он только сказал: «Почему ты от меня не отстаешь?» – и тут она разрыдалась, а когда успокоилась, его уже не было. С тех пор она его не видела, и желанием не горела, но другие, кого преследуют демоны, говорят, что реже их посещения не становятся, только чаще. Он стал ее личным противным сигаретным дьяволом-оракулом, и она даже имя ему придумала. Пепельный Моисей, вот как она его называла. Иногда, когда чувствовала запах гари, – а это бывало часто, когда Марла сидела без дела в квартире: она думала, это так у нее нервы поджариваются, – она посмеивалась и говорила: «Во, Пепельный Моисей мимо проходил». Но это когда у нее было дунуть, и сама она была в хорошем настроении, и жизнь казалась веселей.

Марла снова копошилась у дивана, когда подняла глаза на каретные часы на каминной полке и увидела, что просидела здесь уже полтора часа, хотя только хотела забежать на всякий случай, если вдруг где-то затерялась хотя бы крошка. Бля. Если не поторопится, скоро закончится вечерний поток, когда мужики возвращаются домой на выходные с мест работы – в Милтон-Кейнсе, Лондоне или еще где. Уж лучше бы народу было погуще, чем она видела в обед на Регентской площади, Овечьей улице и там в округе, потому что если она не найдет деньги быстро, то – ну, она останется дома. Останется, почитает свой альбом с Ди, книжки про Потрошителя и потерпит – вот и все дела. Она железно, железно не выйдет сегодня ночью, ни за что. Ни за что.

Она прихорошилась, как могла, но с волосами поделаться было нечего. Убрала альбом и книжки про убийства в комод в спальне, в ящик с чистой одеждой, чтобы не забыть, где они, потом прошла через черный ход на маленькой кухне, в большой бетонный двор многоквартирника. День был неплохой, но от одного вида гравийных дорожек, кустов и ступенек, ведущих к черным дверям квартир в противоположном здании или большим кирпичным аркам у дорожки между корпусами, у нее всегда падало настроение и в нос било воню Пепельного Моисея – хотя и не сегодня. Место просто отвратное. Ей просто не верилось, что здесь хоть когда-то могло быть что-то хорошее, а не ужасное.

Одной девчонке по соседству всего тринадцать, и весь прошлый месяц она была очень популярна у сомалийцев, эта везучая сука убогая. Ну, это ненадолго. Она недолго протянет. Потом еще один чудила – жил в корпусе за средней аллеей, умственно отсталый какой-то, которого отправили жить среди людей. А потом он встретил какого-то козла в пабе, да, козел напрашивается в гости, говорит, какое у отсталого отличное жилье и что он приведет друзей, вместе-то веселее, да? И внезапно к хозяину въезжает банда убанов, захватывают квартиру, говорят, убьют его на хер, если до них кто доебется, а он-то что, он отсталый и не врубается, и кроме того, вполне могут и убить. Теперь на хате отсталого банчат и устроили бордель, а сам он живет на улице. Здесь, в многоквартирниках на Банной улице, жили все отбросы, которых управе было некуда спихнуть: психи, косовары, албанцы и все такое – сюда можно было слить все говно и просто ждать, пока оно само исчезнет, испарится в тумане, как тут рано или поздно происходит со всеми, как с Самантой и другими девчонками, Сью Беннет и Сью Пакер, и той еще, со здоровой щербинкой, – они еще шутили, что она зубы струной от банджо чистит. Керри? Келли? Короче, та, которую нашли на улице Монашьего Пруда, белобрысая с зубами. Насмерть еще никого не убили, но часто было на грани. Саманта,

судя по всему, была на грани. Так что Марла ни за что не выйдет на улицу сегодня ночью.

В конце концов, на нее есть ASBO. Вот тоже причина не казать носу из дома, даже не считая всего остального, вроде дел с Самантой там. Блядские соседи Робертсы, вот кому надо сказать спасибо, вот кто удружил. Это было, типа, три-четыре месяца назад, когда Кит еще находил ей работу. И были, ну сколько, две-три ночи, пять ночей самый максимум, когда она водила клиентов в квартиру. Даже не поздно, ну часа в два где-то, и каждый раз блядские Уэйн и Линда Робертсы тут как тут у нее на пороге, каждый ебаный раз колотят в дверь и вопят про шум, пиздят про своего ребенка, и все это, пока клиент смотрит и слушает, как ее крошечным матом кроют, – ну и чего удивительного, что она отвечала? Пять, сука, раз. Ну шесть самый максимум, и вот на шестой они выбили на нее предписание за нарушение общественного порядка.

Ебанные ASBO. Это что? Это просто хуйня, которой они держат места вроде Боро под контролем, не тратя денег на лишних копов. Просто расклей на каждую паскуду ASBO, а потом пусть ебанные камеры присматривают. А у камер, как там это называется, нулевая терпимость. Если кто на записи нарушает свои условия ASBO – все, хана, закрывают тут же. И похер, за настоящее правонарушение или нет. Марла слышала про какую-то телку, которая схлопотала ASBO за то, что загорала – да – у себя во дворе. Это что, блядь, за херня? Какая-то хитрожопая сука по соседству, какая-то старая пизда, у которой свербит каждый раз, когда кто-то наслаждается жизнью, когда видит человека с сиськами наружу, и вот они, блядь, они что, суки, делают, они выбивают на тебя ебаный ASBO, а потом...

Жирный Кенни. Вот кто подкинул ей колеса в ту ночь, когда она впервые увидела Пепельного Моисея, большой лысый пацан, который жил в многоквартирнике на Мэйорхолд за Клэрмонтом, за Бомонт-кортом – их еще называют Башнями-близнецами. Она заходила к нему на хату и дрочила, а он расплатился колесами. Смешно, когда какую-нибудь мелочь вспоминаешь-вспоминаешь, а

потом бросаешь стараться и думать забываешь – и тут она и всплывает. Она прошла по двору до ворот одной из кирпичных арок, где видела, что открыто и ключ не понадобится, потому что свой она посеяла или куда-то положила и забыла, куда. В своем сексуальном плащике, который не снимала все время, пока заходила домой, она прошла по средней тропинке к пандусу и по пути послала на хуй псину, откладывавшую там здоровую личинку.

Поднявшись на пандус и выйдя на Замковую улицу, она откуда ни возьмись почувствовала прилив бодрости, когда на минутку вышло солнце, показалось из-за облака. Почувствовала прилив позитива и все дела, и подумала, что это хороший знак, к добру. Не настоящая примета, но все-таки. Все будет хорошо. Найдет кого-нибудь себе на Конном Рынке или Лошадиной Ярмарке, а потом – кто знает, может, и вообще жизнь наладится. Если приведет себя в порядок, тогда и Кит может снова позвать к себе, ну или на хуй его – найдется кто-нибудь еще, косовар какой-нибудь, ей пофиг. Когда она вышла из-за отбойников в конце Замковой улицы на Конный Рынок, было полчетвертого. Ладненько. Посмотрим, кто тут у нас.

Трафик был активный, но все шли быстро и торопились домой, никто не тянул, поглядывая на тротуар. За оживленной дорогой она видела задницу Садов Катерины, которые местные старперы зовут «Садами Отдыха», за улицей Колледжа и этой самой мрачной церковью. В многоквартирнике на Банной улице жили бабульки, которые стояли на панели в старые времена, в лохматые шестидесятые. Марла-то не могла себя представить даже в тридцать. Так эти божьи одуванчики рассказывали, что раньше, в 1950-х и 1960-х, во время войны или когда там, все дела делались в Садах Святой Катерины и верхах улицы Колледжа. Где Колледжная встречалась с Королевской, стоял паб под названием «Критерион» и другой прямо через дорогу – «Митра». Там-то девки и работали, в те времена. Делом занимались либо прямо в кустах в Садах Катерины, либо у них рядом с «Митрой» был таксопарк, оттуда машины гоняли их с клиентами на Банную улицу, ждали ровно пять

минут, пока мужик дела доделает, а потом мчали обратно в паб. Марле это даже нравилось, как-то все уютно и дружелюбно. Всегда было кому за тобой присмотреть.

Конечно, в те времена и коп был другой. Какой тогда был план: все разные виды швали рассовать по разным пабам. Так что все хиппи и торчки зависали в одном пабе, все байкеры – в другом, пидоры и лесбы – где-то на дороге Уэллинборо, а все девки – здесь, в конце улицы Колледжа. Судя по всему, работала схема на ура, а потом приперлись новые копы с новыми идеями, которые, наверно, просто хотели выслужиться и покрасоваться в газетах. Пришли и разгромили все пабы, и рассеяли народ по ветру, так что теперь шваль сидела в каждом пабе города. Марле казалось, что это чем-то похоже на Афганистан, когда все террористы сидели в одном месте, а потом туда заслали солдат – и эти гады теперь, сука, всюду. Охуеть результаты. Марла все представляла, каково работалось Элси Боксер и другим старушкам из многоквартирников, еще в 1960-х – когда все было, как его там, диккенсовское такое. Наверняка же просто зашибись.

Элси говорила, что у «Критериона» на окраине Садов Катерины раньше стояла статуя, как бы такая телка с голыми сиськами и рыбой в руках, но люди все время над ней прикалывались: то сиськи краской покрасят, то еще что, а потом ей голову отбили. После этого люди наверху, наверно, подумали, что не заслужил такой народ статую, так что перенесли ее в Делапре, Аббатство Делапре, где все шикарное и старинное, – это за парком Беккетта, который, как сказала Элси, раньше звался Коровий Лужок. Марле было жалко статую эту. Самая типичная хуйня. Всегда так с чем-то сексуальным, да? Есть какая-нибудь женщина или там статуя, с сиськами и все такое, – значит, обязательно найдется какая-нибудь сволочь, какой-нибудь мужик, который захочет ее сломать. Все самое красивое, вроде принцессы Дианы или Саманты. Убить на хуй. Оторвать башку. Таков порядок вещей, и так было всегда. Некоторые бляди – ничего на свете не уважают.

Она постояла с минуту, прикидывая свои перспективы. На холме слева была Мэйорхолд – там тоже, по словам Элси, раньше было отлично, что-то вроде деревенской площади, где теперь всего лишь дорожная развязка. Хорошее место для работы – ну, раньше не подводило, – хотя только по темноте, а не в это время дня. Лучшим вариантом было пойти вниз к светофору у подножия, на угол, где Золотая улица и Конный Рынок встречались с Подковной улицей и Лошадиной Ярмаркой. Там она будет ловить клиентов, что идут по Лошадиной Ярмарке с вокзала, и поток в другую сторону, вниз по Конному Рынку и Подковной улице в сторону Пути Святого Петра и из города. Плюс, да, там еще ibis, на месте, где на Ярмарке снесли «Барклейкард». Люди вдали от дома в отеле – как знать, как знать. Сунув руки в карман винилового плащика, она зашагала вниз по холму.

У подножия Марла перешла Конный Рынок на сторону Золотой улицы, где пиццерия, затем пересекла Золотую улицу до угла, где та соединялась с Подковной, там постояла, закуривая. Вот единственный плюс в этих самых законах против курения. В офисах и вообще работают столько женщин, которые бегают на перекур, что если в наши дни стоять на углу с сигаретой, то никто не решит автоматически, что ты тут по делу и все такое. Она оглядывала толпу, перебегающих стайками по зебрам людей, идущих с работы, торопившихся заварить детишкам дома чай. Марле было интересно, что у них в головах, наверняка какая-нибудь тухлая ебанина типа футбола и телика, не то что у нее, всякие охуенные чудеса и воображение, все дела, – будто кто-то еще додумается приклеить принцессу Ди на солнце. Выглядывая в толпе клиентов, она позволила себе замечаться, представляя, какого бы парня она сейчас хотела увидеть, если б могла выбирать, типа любого.

Не амбалистый мужик, и вообще не мужиковатый. Не гей, но миленький. Немножко женственный – по виду, не по поведению. Глаза красивые. Ресницы красивые и все такое, и чтобы реально накачанный, поджарый такой, и, типа, танцует заебись и в постели

заебись. Черные кучерявые волосы и, типа, такая бородка... не-не, такие усики... и чтобы с ЧЮ, как в объявлениях пишут, с чувством юмора, чтобы ее смешил, а то она ни разу не смеялась уже охереть сколько месяцев. С ЧЮ, но без ЧСВ. И некурящий, и белый. Просто так, без причины, просто белый и все. Подойдет к ней прямо тут, на этом углу, и познакомится, пофлиртует, а не сразу в лоб – почем стоишь. Ресницами похлопает, будет шуточки отпускать и смотреть на нее так – типа оба знают, к чему все идет, как бы реально развратно по-реальному, а не как на DVD. Ох ебать. Марла сейчас от собственных фантазий потечет. Она крепко затянулась и уставилась в землю. Этот чувак – этот чувак такой накачанный, что даже денег взять рука не поднимется, да? Сама будет готова заплатить. Этот чувак – она отведет его на квартиру, а по дороге он полезет целоваться, поцелует ее в шею и, может, чутка полапает за задницу, а она скажет «нет», а он на нее только так посмотрит своими глазами, да? Глянет из-под ресниц, как мальчишка, и ляпнет что-нибудь охуительно смешное, и пусть тогда делает все, что захочет, она не против. Все. Когда придут к хате, он наверняка прижмет ее к двери квартиры, прямо в коридоре, и сунет руку ей в штаны, и они будут сосаться, а она типа – нет, ох, твою мать, дай хотя бы дверь открыть.

А потом Робертсы засадят ее в тюрьму.

Она услышала, как часы на колокольне Всех Святых в конце Золотой улицы пробили три четверти часа – без пятнадцати пять, и раздавила туфлей окурок. Обвела взглядом толпу прохожих, но хуй там. Впереди идет какая-то белая красотка с рыжими волосами и пиздец красивым малышом в этом таком слинге на груди. Ага, неплохо, девочка. Классные сиськи. Все у тебя заебись, да? Ты небось даже не заслуживаешь малышку, просто запорешь ей жизнь, и она вырастет и будет жалеть, что ты ее рожала, что она не умерла, пока была маленькой и счастливой, – а ты как хотела. Так и бывает. Так, блять, всегда и бывает.

Славный черный дядька на велике, с белыми волосами и белой бородой, отработал и катит домой, встал на своем велике, уперевшись одной ногой, ждет светофора, и какие-то пятнадцатилетки со скейтбордами под мышками, но перспектив ноль. Марла бросила взгляд на Подковную улицу слева и задумалась, не стоит ли нанести визит в бильярдную, которая была на полпути к пабу «Веселый придурок» или как его там – он, по словам Элси Боксер, раньше был байкерским пабом с чем-то там портовым в названии. «Портовые огни». Хорошее название, уютное такое, лучше, чем, блядь, «Веселый придурок». В бильярдной может кто и оказаться, например победитель при деньгах и на кураже.

С другой стороны, ей не очень нравилось в бильярдной. Не потому что там темно или гадко, но... ладно, блин, это полный бред, конечно, но зашла она туда как-то раз днем, да? И там почти никого не было, и везде темно, и большие лампы над столами светили большими прямоугольниками, как бы, просто света, белого света, и Марле стало так стремно, что она, как бы, тупо сразу ушла. Даже потом объяснить не могла, что на нее нашло, какое-то жуткое чувство, с которым она уже когда-то сталкивалась, и только потом поняла, что все было, как когда она в детстве зашла в церковь. Она рассказала про это Киту, однажды ночью в постели, а он сказал, что она ебанулась, что это тараканы. «Это тараканы, девочка. У тебя в голове тараканы». Она ненавидела церкви. Бог и все такое, всякие мысли про смерть, про то, как живешь, вся эта хренотень – до депрессии доводит. Если ей хотелось чего-нибудь религиозного, она думала о принцессе Ди. Так что все клиенты в своем святом бильярде могут идти строем на хуй, решила Марла и сунула руки в карманы, спрятала подбородок в воротник и подождала, пока светофор сменится на зеленый, чтобы перейти по верху Подковной улицы на Лошадиную Ярмарку. На вокзале что-нибудь да обломится.

До Ярмарки, по противоположной от отеля и досугового центра стороне улицы, Марла шла спокойно. Чего торопиться, это людей только с толку сбивает – будто ты против, если тебя остановят

поговорить. Она шла мимо ресторанов убитого вида, а когда была возле улочки рядом с Ярмаркой – Школьной, миновала одну парочку женатиков лет сорока – и какие же у них были рожи. Такие унылые, будто мир рухнул, перлись на Ярмарку со Школьной улицы, на север к городскому центру. Не держались за руки, не разговаривали, даже не смотрели друг на друга, ничего. Марла даже не знала, с чего взяла, что они женаты, но такое уж складывалось впечатление. Шли, пялились перед собой в пустоту, словно прямо сейчас случилось что-то ужасное. Только она задумалась, что у них за беда, как чуть не влетела в мужика, вставшего посреди дороги у начала Школьной улицы, разглядывая улицу так, будто что-то потерял, собаку там, например.

Мужик был высоченный, белый мужик, в годах, но и в хорошей форме, с черными кучерявыми волосами, которые еще не поседели, – но больше на мужчину мечты Марлы он ничем не походил. Ни тебе красивых ресниц, ни усиков, зато нос огромный, и грустные глаза, а над ними бровки домиком, как будто так и застряли навсегда, и широкая грустная улыбка. И одет как-то смешно, в какой-то оранжево-желто-красный жилет поверх древней рубашки с закатанными рукавами, и с такой повязанной на шее штуковиной – не галстук, не шарф, а как бы крашенный платок, как у фермеров в книжках. Из-за большого носа и кудрей вид у него был цыганский, и вот он торчал и ждал на Школьной улице собаку, свою старушку или кого там он потерял. В общем, не красавчик, и в отцы Марле годился, но у нее бывали и постарше – и, как она отлично знала, бывали и пострашнее. Когда она отступила, чуть не налетев на него, сперва улыбнулась, но тут вспомнила, что у нее зуба-то нет, и тогда вместо улыбки как бы поджала губки, скусила, как для поцелуя.

– О-о, прости, мужик. Не вижу куда иду.

Он оглянулся на нее с грустными глазами, но натужной улыбкой. Она поняла, что он явно заложил за свой платок кружку-другую, но так даже лучше. Когда он ответил, оказалось, у него смешной

высокий голос с какой-то гнусавостью. И даже не всегда высокий, иногда опускался – как говорил «Ар-р-р» Фермер Джайлс [17], – в тему шарфа на шее, весь какой-то деревенский, что ли, Марла не поняла. Но потом он вдруг рассмеялся, странно захихикал, как будто бы нервно. Ну точно нажрался.

– А-а, ничего, милая. Все в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Ох сука. Она изо всех сил сама сдерживала смех, как когда еще в Лингс ей выговаривал какой-нибудь учитель, а она старалась не заржать, с таким звуком, когда хрюкаешь носом и скрываешь за кашлем. Ну и цирк, блядь. У него реально мозги не в порядке – не то чтобы он опасный или, типа, дурик, которых отправляют жить на общественное попечение, но просто не от мира сего, или, типа, следующий Доктор Кто. В любом случае, главное, что не кусался, так что она перешла сразу к делу.

– Не хочешь развлечься?

Как он среагировал – она в жизни ничего подобного не видала. Как будто вопрос его не шокировал по-настоящему, а он только разыгрывал шок, преувеличенно, переводя в шутку. Отдернул голову назад и раскрыл глаза, как от испуга, так что взлетели большие черные брови. Он как будто был из фильма, который она не видела, какого-нибудь старомодного, или из какой-нибудь пантомимы, или – как это называется – мюзик-холла, все дела. Нет. Нет, не то, что-то другое. Скорее, как в фильмах, когда в них еще не было разговоров, а только музыка и все черно-белое. Они так же перебарщивали с каждым выражением, чтобы точно было понятно, что происходит, раз все молчат. С удивленным лицом он покачал головой, чтобы казаться пораженным до глубины души. Они как будто вместе играли в школьном спектакле – по крайней мере, так думал он, – когда все уже написано и разучено заранее. Не, он себя вел так, будто рядом были телекамеры, снимали какую-то новую комедию. И вел себя так, будто она в курсе происходящего. Он сбросил удивленную маску, и глаза снова стали грустными и добрыми, как бы сочувствующими, потом картинно отвернулся в сторону, будто глядел

на зрителей или камеры, которые она не видела, и снова повторил свой хохоток, будто ни хрена смешнее в жизни не слышал. Марле отчего-то показалось – наверно, потому, что она давно не дула, – что в этом-то он может быть прав. Если подумать, все это охуеть смешно.

– Ах-ха-ха-ха. Нет-нет, все в порядке, милая, спасибо. Нет, бог с тобой, все в порядке. Я в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Смешок в конце взлетел реально высоко. Как будто ему за что-то стыдно, но он был весь такой из себя, что она не могла врубиться. Не ее профиль. Вот это промах так промах. Она попробовала еще разок, на случай, если чего-то не так поняла.

– Точно?

Он наклонил голову назад, выставив здоровый скачущий кадык, а потом покрутил ей из стороны в сторону, все это время смеясь по-своему. Она знала выражения типа «закинул голову и расхохотался», но только по книжкам. Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь так делал в жизни. Выглядело пиздец как ебануто.

– Ах-ха-ха-ха. Нет, милая, я в порядке, да. И всё в порядке. Чтобы ты знала, я публикующийся поэт. Ах-ха-ха.

И стоит с видом – типа, что же тут непонятного. Все же, типа, сразу встало на свои места. Она ему как бы кивнула с натянутой улыбкой, которая говорила: «Ага, чувак, прикольно, ну тогда бывай», – а потом Марла сдригнула к церкви Петра, мимо всяких домов из коричневых камней с окнами со свинцовыми переплетами, мимо Хэзел-как-там-его-хауса и всего такого. Оглянулась раз – он так и торчал на углу, вылупился на свою улицу, будто ждал, когда на холм прибежит собака или кто там от него сбежал. Поднял взгляд, увидел, как она смотрит, и снова закинул голову. Даже издали она поняла, что он и посмеяться не забыл. Она отвернулась и прошла мимо церкви Святого Петра к вокзалу, где уже было видно, как возвращаются домой люди: на противоположной стороне Ярмарки вверх по склону двигала целая толпа, и никто не смотрел ни друг на друга, ни на Марлу.

Слева, за черной оградой и травой вокруг, церковь Петра казалась реально древней стариной, да? Реально тюдоровской, или эдвардианской, или какие там еще бывают. Марла глянула, не спит ли кто на крыльце у дверей, но там никого не было. Она вспомнила, что сейчас уже время к вечеру, часов пять или около того, а в дверях больше на ночь спать не пускают, только днем. Ночью всех спроваживают, хотя где тут логика. Она проходила вчера в обед у церкви Петра, и у двери дрыхли два чувака. А, или нет, минутку, ни фига же не два, да? Только один. Как-то странно, если теперь подумать.

В дверях она видела двух человек, или по крайней мере две пары пяток, торчащих из-под спального мешка. Носки смотрели друг на друга, внутрь, так что она решила, что они спят лицом друг к другу, и больше не заморачивалась. А когда оглянулась опять, поравнявшись с воротами, увидела уже только одну пару ног. Вторая исчезла напрочь. Мистика какая-то. Она долго шевелила мозгами по-умному, пытаюсь разобраться, типа, куда делись вторые ноги. Может, типа, вся фишка в том, что, когда она смотрела в первый раз, ноги были босые, и чувак просто снял ботинки и положил их к ступням, носками к себе. А между тем, как она смотрела первый и второй раз, уже надел ботинки, вот она и видела только две ноги, и решила, что его напарник исчез или был призраком, хэээ. Не то чтобы Марла верила в призраков, но если бы они были, где им тусить, как не в церкви Петра, а? Где-нибудь в местах из их времен, Тюдоров, Эдуардов и их друзей.

Проходя теперь мимо ворот, Марла не могла не бросить взгляд внутрь, просто проверить, но порог под сводом перед закрытой черной дверью оказался пустым, только понаклеили на дверь плакаты какой-то другой религии, которая арендовала помещение, то ли греческих киприотов, то ли пакистанцев, кто их разберет. Она прошла мимо, оказалась у «Черного льва», где остановилась и окинула взглядом огромный просторный перекресток перед самым вокзалом в час пик. Из него так и перла куча народу, поднималась

на Холм Черного Льва и по Лошадиной Ярмарке в город, и от двора вокзала на этой стороне Западного моста разъезжались такси всех цветов, чтобы торчать на светофорах бок о бок с фургонами и грузовиками. Ну и безнадега. На хера она приперлась? Двор вокзала всего лишь через дорогу, но она не может туда пойти – с таким же успехом могла бы туда слетать.

Сегодня же вечер пятницы. Понаедут девчонки из Блетчли, Лейтон-Баззард, даже ебаного Лондона, почему бы и нет, – девчонки со своими сраными папочками, и все лучше ее, потому что за ними-то приглядывают, и они будут на нее смотреть, зная, кто она – что она одна из них, но только хуже. С этим своим блядским взглядом, да? Ну и, конечно, Кит. Кит наверняка будет поблизости, искать новых звезд. Он иногда этим занимался по пятницам, и она знала, что не выдержит, если Кит увидит ее в отчаянном состоянии. Ебать, да все равно никто не работает на вокзале, где сплошные камеры. Она чем думала? Эй, есть кто дома? Земля вызывает Марлу. Туда она не пойдет, но тогда у нее ничего не будет на ночь, ну и хрен с ним, все равно туда она не пойдет. Но тогда ничего не будет на ночь. Ну блять.

А что тогда остается. Остается Жирный Кенни. Ничего хорошего у него нет, но наркоту он любит не меньше ее, вдруг что найдется. Он ее подогреет, тогда она протянет до завтра, даже если опять всю ночь проговорит сама с собой, не сомкнув глаз. Ничего, бывают ночи и похуже. Она подождала, пока сменится в ее пользу свет светофора, затем поцокала между ожидающими машинами через Холм Черного Льва на другую сторону Ярмарки, где Меловой переулок шел к Замковой улице и туда, где она жила в многоквартирниках на Банной улице.

Из-за Мелового переулка Марла всегда вспоминала о Джеке Потрошителе, по крайней мере с тех пор, как прочитала пару лет назад в «Хроникл энд Эхо», как какой-то местный типок думал, будто Потрошитель из этих мест. Маллард, так его звали, – и того, кто написал статью, и того, кто типа совершил все убийства. Мужик

исследовал свое фамильное древо и нашел другую семью Маллардов, с той же фамилией, но не родственников, – они жили у церкви Доддриджа в Меловом переулке, где-то в этих местах. У них в семье водились психи: папаша покончил с собой, а один сын поехал в Лондон, работал мясником в Ист-Энде как раз в то время, когда произошли убийства. Марла уже начиталась теорий и сомневалась, что эта чего-то стоит. Просто прикольно, что вот она такая фанатка Джека Потрошителя, а люди думают, что он чуть ли не с ее улицы родом.

Некоторые девчонки спрашивали, типа, на фига тебе такое читать, особенно с твоей-то профессией, но Марла такая, типа... блин, ну не знает она, на фига. Не знает, почему увлекалась Джеком Потрошителем почти так же, как принцессой Ди. Может, потому, что это все преданья старины, типа из времен «Властелина колец». Может, потому, что это все было не про 2006-й и не про панель ее времени. Как его, эскапизм – викторианские времена, «Бархатные ножки» [\[18\]](#) и все такое. Ненастоящее. Поэтому ей и нравилось. А если залезть поглубже, то реально, реально интересно разбираться во всякой начинке: как королевская семья приказала убить столько женщин прямо так же, как Диану. Ее, конечно, не порезали, но суть одна.

Теперь, когда она задумалась, вспомнила, что в Нортгемптоне бывали проездом и другие возможные Потрошители, не только этот самый Маллард из местной газеты. Герцог Кларенс – он приезжал на открытие старой церкви Святого Матфея на севере в Кингсли. Был еще какой-то ебанашка, какой-то долбанутый поэт, который ненавидел женщин. С инициалами «Дж. К.». Дж. К. Стивен. Он умер в психушке на Биллингской дороге, пафосной – где, говорят, лежали всякие Дасти Спрингфилд, Майклы Джексоны и прочие. Этот самый Стивен – он писал стихи, в которых опускал женщин. Это же он написал «Кафузелум»? Там было что-то типа: «Слава Кафузелум, блуднице иерусалимской». Запомнилось, потому что имя прикольное. Бля, уж лучше бы ее звали Кафузелум, чем Марла.

Она подошла к входу в Меловой переулок с Холма Черного Льва и, типа, пару секунд думала: обойти, что ли, все двери домов в переулке слева. Иногда знакомые девчонки, когда работа стояла или дальнобои в автопарке «Суперсосиска» не проявляли интереса, – они этим занимались. Обходили округу, типа, от двери к двери, по знакомым домам с холостяками, вдовцами и кем там еще, или просто стучали наугад в любую дверь и спрашивали, не интересуется ли развлечься, – прямо как цыгане, которые торгуют прищепками. Вот Саманта один раз, да, – она говорила, как стучалась в дома на Холме Черного Льва, где никого не знала, тупо наудачу, и встретила того самого Кокки, депутата, у которого жена тоже депутат. Жена была дома, хай поднялся до небес, говорили, что Саманту и всех ее знакомых проверят, так что она взяла ноги в руки и слиняла.

Не, Марле пиздец, если она начнет обходить Холм Черного Льва. Уж лучше подрочить Жирному Кенни. Может, у него хотя бы лишнее экстази найдется.

Она проходила слева парковку, когда услышала шум – голос или голоса с другого ее конца. На противоположном конце парковки – на склоне с сорняками за высокой стеной на дороге Андрея, где, говорят, когда-то старый замок стоял, – на пригорок карабкались дети. Она не видела, сколько, потому что последний залез как раз тогда, когда посмотрела Марла, но она как-то раз работала на этом пустыре, и ей стало неприятно, что теперь там играют дети. Им же восьми нет, как вообще таких мелких отпускают мама с папой, когда на улицах сплошные гребаные извращенцы. А через час совсем стемнеет – уже когда она была на Ярмарке, ей показалось, что дело к закату, судя по небу за вокзалом.

Последний ребенок на заросшем бугре, которого и увидела Марла, была совсем карапеткой с грязным личиком, но реально красивой, как, блядь, эльф какой-то, с неровной челкой и умненькими глазками – ими она зыркнула через плечо прямо на Марлу. Наверняка из-за расстояния и из-за того, что Марла видела ее всего минуту, не больше, – и ведь уже путалась с количеством ног

в дверях у церкви Петра, – но Марле показалось, будто девочка была в меховой шубке. Не шубке, не, только на шее, как норковая накидка. Накидка. Девочка как будто была в накидке, с чем-то меховым на плечиках, но Марла видела-то ее всего секунду, а потом она скрылась и Марла пошла себе дальше, вверх к церкви Доддриджа. Наверное, какая-то пушистая футболка, пришла к выводу Марла.

Церковь Доддриджа была ничего, не такая унылая, как все остальные церкви, потому что без шпиля – просто обычное такое здание. Не, конечно, там была дверь на стене, от которой у Марлы всегда заворот мозгов. В чем прикол? Она видела двери наверху на местных старых фабриках, чтобы разгружать грузовики, но что в церкви разгружать? Псалтыри и все такое можно и тупо в дверь занести.

Она поднялась по Замковой улице и оказалась у перекрытой улицы, с которой раньше выходила на Конный Рынок, но в этот раз двигалась в другую сторону – наверх, к Мэйорхолд, мимо подземных переходов и мимо офиса церкви Царства Небесного к многоквартирникам за Башнями-близнецами, где жил Жирный Кенни. Он был дома, и когда наконец открыл дверь посмотреть, кто звонит, то в руках держал тарелку с бутербродом с фасолью. На огромном брюхе натянулась брендовая толстовка – казалось, она минимум на размер меньше, чем надо. Как и его лицо казалось на размер меньше лысой башки, с большими ушами и серьгой в одном ухе. Он начал: «О, привет...» – а потом осекся, она поняла, что он не представляет, как ее зовут, и почти ее не помнит – ну спасибо, блядь, большое. Двадцать минут кочевряжилась с его хуйцом – и вот тебе благодарность. И все-таки она ему улыбнулась в духе флирта, вклинилась и напонила, кто она и чем однажды услужила.

Она спросила, нет ли у него чего, что поможет расслабиться, но он покачал своей большой лысой башкой и сказал, что теперь у него только легальный стафф, который можно купить у черного входа Bizarre, и стафф, который он выращивает сам. К нему скоро придет

друг. Они собирались сами пробовать эту реальную тему. Марла сказала, что ей ну очень надо, и если он ей даст хоть что, то она будет очень благодарна, даже больше, чем в прошлый раз. Она думала ему отсосать, но он подумал-подумал и ответил, что можно, если только анал, а она сказала ему идти на хуй, иди на хуй и сдохни, гондон жирный. К тебе друг приходит, вот его в пердак и жарь, а она лучше перебьется. Он пожал плечами и пошел дальше доедать фасоль на тосте, а она развернулась и потопала перед Башнями-близнецами, по Верхней Перекрестной улице и назад на Банную.

Блядь. Она вошла в калитку в невысокой стенке, по средней дорожке между двух полосок травы. Блядь. Сука, ну и что делать? Целая ночь без всего, даже без Пепельного Моисея на конце сигареты, чтобы было с кем попиздеть. Блядь. Черные железные ворота под кирпичным сводом, из которых она выходила, все еще были открыты. Она спустилась по трем ступенькам во двор и почувствовала запах – запах Пепельного Моисея, будто кто-то говно жжет, или обосранные подгузники – наверняка ЕБАНЫЕ РОБЕРТСЫ. Суки. Мимо кустов – серая дохлая херня, а не кусты, – и по ступенькам под крышу галереи, оббегавшей все черные ходы. Марла увидела голову Линды-поганой-суки-Робертс, когда проходила мимо их кухонного окна, но раньше, чем паскудная падла оглянулась и тоже ее заметила, уже открыла свою дверь и вернулась в квартиру. Блядь. Говно полное. Целая ночь. Целая, сука, ночь и даже утро – кто сказал, что завтра она сразу же надыбает?

Все дело в том, что когда пробуешь, то лишь первый раз кажется, будто тебя возносят, внутри тела и внутри головы, куда-то наверх, где твое место, где ты себя чувствуешь, как должна чувствовать, как себя ангелы блядские чувствуют. После первого раза так хорошо уже не бывает, а ближе к концу все херовей, пока не мечтаешь уже вернуться хотя бы к тому уровню, который был до первого раза. Какой там быть пылающим ангелом – хер там, этого больше не дождешься, нет, нет, – а просто почувствовать себя ебаным

человеком, как раньше, хотя бы на десять минут, вот и все твои охуенные амбиции. Рай, где ты была в первый раз, давно закрыт. Обычный мир, где ты жила – он тоже по большей части закрыт, а ты застряла где-то еще, где-то ниже всего, как, сука, под землей.

Марле казалось, что это и есть ад – как она и сказала в разговоре с Пепельным Моисеем. Застрять вот так на Банной улице, только навсегда.

Запах в ее квартире – спертый запах сидения взаперти – он так и ударил в нос, когда она вернулась с улицы. Она знала, что мылась редко, и последний раз был давно, и всегда думала, что одежда протянет еще денек, но внутри уже стоял натуральный пиздец. Она уже как будто почти не отличала свой запах от запаха Пепельного Моисея, запаха горящего говна. Он стал ей, а она стала им. И что она будет делать всю ночь? Потому что тут она и просидит, это, блядь, факт. Она никуда не пойдет – ТЫ НИКУДА не пойдешь, СУКА тупорылая. Будет сидеть дома. Всю ночь. Без всего, на хуй.

Как задумала, так и сделает. Почитает книжки про Потрошителя, полистает альбом про Диану... так, идея. Альбом про Диану, склеенная аппликация на обложке, самая лучшая картинка в ее жизни. Это же искусство, на хуй. Люди только что и отваливают бабло за искусство, и часто за полное говно – всякие банки с маринадом или кровати, которые даже не они сделали. Картинка с Дианой как минимум не хуже, как минимум стоит столько же. Если она живет на Банной улице, это еще не значит, что из нее не выйдет художницы. Этот мужик Томпсон, который тут все ходит, до хера политик, – он сказал, что его знакомая художница завтра устроит на Замковом Холме свою выставку, сказал, что она родом из Боро – точь-в-точь, блядь, как Марла. Это же долбаная судьба, ебические совпадения, типа, что он пришел и зародил у нее такую идею. Значит, так все и будет. Еб твою мать, иногда говорят, что люди отдают за какую-нибудь картину тысячи. Ебанные миллионы.

Только подумай, что на это можно закупить. Больше не придется идти на панель, не придется пресмыкаться перед Жирным Кенни,

Кит вообще может чесать на хуй. Да, ты. Ты слышал. Просто пиздуй. На хера ты мне, пизденый, когда у меня столько бабла? Катаюсь в капусте. Да я тебя заказать могу, дружок. Как два пальца – ебанный киллер, бац-бац, и я пойду бухать с Лизой Мафией. Она будет вся такая: «Это же ты Марла, да, охрененная художница, которая намутила картину с Дианой на солнце, все дела? Охерительно. Охуительно, ну? Вперед, подруга, бля». Как же будет заебись. Марла пошла за альбомом с картинкой, который оставила на кофейном столике, и вот тут осознала, что ее ограбили.

Что за хуйня? Здесь кто-то побывал, хотя замки целы. Она запирала? Запирала дверь, когда уходила? Отпирала, когда вернулась? Ну пиздец. Пока ее не было, кто-то приходил. Приходил, и забрал не телик, не битбоксовую эту херню, даже не каретные часы. Нет, теперь она огляделась и видела, что не забрали ничего, кроме альбома Марлы. И книжек с Потрошителем. Их она тоже оставила здесь, прямо на кофейном столике, чтобы потом сразу найти. Ох блядь. Кто-то приходил, забрал ее альбом с картинкой Дианы, и хуже всего – она ведь была права. Права насчет картинки. Зачем ее спиздили, если она неценная? Ох ебанный в рот, какие она бы огребла миллионы. И что теперь. Теперь сидит и рыдает. Рыдает, блядь. Кит считает ее сукой и Лиза Мафия считает ее сукой. Принцесса Диана считает ее сукой.

Плачь, сколько хочешь. Плачь, сколько хочешь, тупая, тупая ты пизда. Плачь, сколько хочешь, потому что все равно никуда не пойдешь.

Луна была молодая – когда, вся четкая и острая, – висела над улицей Алого Колодца, что спускалась по склону к дороге Андрея. Это единственное место, где не только ходили клиенты, но и не было камер, хотя все говорят, что скоро их и сюда поставят. Слева через дорогу от Марлы были коттеджи, которые выходили на Верхнюю Перекрестную улицу. Большинство балконов темные, но в некоторых квартирах свет горел, проходил сквозь цветные занавески. Справа за забором в ромбик был газон над школой в Ручейном переулке.

Марле всегда казалось, что по ночам, когда детей нет, школа похожа на дом с привидениями. Видимо, это потому, что днем в школе всегда стоит шум и всюду носятся дети, так что только больше обращаешь внимание, когда темно, тихо и ничего не движется.

Она прошла мимо школьных ворот и спускалась к нижней спортивной площадке. Теперь над дорогой высились другие многоквартирники – кажется, она слышала, что это «Серые монахи»? На вид они были такие же, как корпус Марлы, такие же старые, может, чуть в лучшем состоянии, ночью не очень-то понятно. Хотя у некоторых балконов были закругленные углы, и это как-то покрасивше, чем у нее. Она спускалась ниже, на противоположной стороне уже кончились «Серые монахи», а нижний конец Банной улицы закруглялся, чтобы влиться в Алый Колодец. Прошла мимо пустой спортивной площадки за оградой справа, и кроме машин в отдалении на Спенсеровском мосту слышала только собственные шаги по ухабистой дороге, где между камнями прорастали сорняки.

Тут стоял на отшибе маленький домик – домик из красного кирпича в конце полоски травы вдоль дороги Андрея, на самом пересечении с улицей Алого Колодца. Небольшой, но выглядел так, будто это два дома слепились в одном. Он стремал Марлу, стремал каждый раз, как она его видела, и она сама не понимала, почему. Может, потому, что не въезжала, чего он остался стоять, если его микрорайон снесли много лет назад. Из-за плотных штор пробивался свет, так что там кто-то да жил. Она подняла воротник плащика и, щелкая каблуками, прошла мимо странного дома, завернула за него направо, на тротуар дороги Святого Андрея между дорогой и длинной, убегавшей к Ручейному переулку полосой травы – пустырем, где, видимо, когда-то стояли дома. В небе, тут и там между бурыми пятнами уличных фонарей, она видела все-все звезды.

Она знала. Она точно знала, что случится, знала нутром. Сейчас подъедет машина, в любую минуту. Та самая. Она ничего не может сделать, чтобы помешать, ничего, чтобы оказаться в другом месте.

Все как будто уже случилось, уже было в тексте комедии того мужика в жилете, и она ничего не могла поделать, кроме как подыгрывать, исполнять все то, что должна, идти шаг за шагом вдоль травы к Ручейному переулку, затем в конце повернуть назад и вернуться к улице Алого Колодца, где на углу стоит темный дом – с этой стороны без огней.

Возвращаясь к Алому Колодцу, она слышала шум с сортировочной станции, за стеной за дорогой Святого Андрея, обычное дребезжание вагонов, но слышала она и детей, детский смех. Он доносился из длинного темного кустарника слева от Марлы, на противоположной стороне той полосы травы, которая шла вдоль нижних спортивных полей у школы. Наверняка именно этих детей она видела раньше – ту маленькую девочку в меховой накидке. Что они здесь делают так поздно? Она прислушалась, но больше голосов из-за изгороди не доносилось. Может, она их выдумала.

Маленький домик чернел на фоне серого неба над холмом, где был железнодорожный вокзал и Путь Петра. От вокзала навстречу ей по дороге Святого Андрея спускалась машина – медленно, ее фары приближались медленно. Марла знала, что произойдет, но, типа, оно произойдет так или иначе. Все уже уготовано, с той же минуты, как она вышла из квартиры, все выбито в камне, как какая-нибудь там церковь, которая уже построена и ничего изменить нельзя. Машина остановилась, переползла через дорогу и встала на углу на другой стороне улицы Алого Колодца, напротив этого дома. Детей Марла больше не слышала. Никого вокруг не было.

Она пошла к машине.

Неприкаянные

В каком-то смысле минуло сорок лет с тех пор, как Фредди Аллен оставил старую жизнь позади. Может, однажды он к ней вернется, такая вероятность есть всегда. Как оказалось, дверь всегда открыта, но пока что ему и так неплохо. Не сказать, что счастлив, но среди знакомых лиц, знакомых обстоятельств, в привычных местах. Неплохо. Всегда можно перекусить, если знать, где искать, всегда можно как бы выпить или время от времени заняться еще каким делом, хотя время от времени от этого больше головной боли. Но и всегда был бильярд, в бильярдном зале, а Фредди ничего не уважал крепче, чем поглядеть на залихватскую партию в бильярд.

Он помнил, как оставил ту жизнь, все дела – «Двадцать пять тысяч ночей», как это здесь прозвали. Для самого Фредди это было как вчера. Он был под арками у Лужка Фут, дрых на улице, как тогда было в его обычае, и вдруг Фредди что-то разбудило. Он как будто услышал грохот, который его и поднял, или как будто вдруг вспомнил, что наутро надо к чему-то готовиться. Проснулся так резко, что вскочил на ноги и успел дойти из-под арок железной дороги по траве до речного берега, прежде чем сообразил, куда его понесло. На полпути к реке он словно проснулся до конца, задумался – минутку, что за вожжа мне под хвост попала? Замер как вкопанный и оглянулся под мост, а там глядь – а место, где он кемарил, – на земле под кирпичным сводом, – уже занял другой бродяга, старик, привалился к стенке и даже прибрал набитую травой целлофановую сумку, что у Фредди была вместо подушки. Не щелкай клювом, называется. Он сделал несколько шагов назад к арке, чтобы рассмотреть, что же это за засранец такой, и запомнить его на потом. Прошла минута, прежде чем Фред узнал потрепанного жизнью типчика, но как узнал, сразу понял, что своего места ему больше не видать как своих ушей. Его выселили – и к этому придется привыкать.

Вот Фредди и привык со временем. Или не тратя времени, это как посмотреть. В здешних условиях жизнь не так уж плоха, что бы ему там ни рассказывал друг – хозяин дома на нижнем углу улицы Алого Колодца. Фредди видел, что хозяева желают добра, когда советуют не засиживаться, а подниматься, расти над собой, но им же попросту не дано понять, что Фредди и так неплохо. Не надо ни о чем переживать, как при старой жизни, – но разве они поймут, учитывая их положение в настоящем. Когда живешь там, внизу, у тебя другая точка зрения, не как сейчас у Фредди.

Сейчас была пятница, 26 мая 2006 года, если верить календарю за стойкой в «Черном льве», куда Фредди зашел просто глянуть, нет ли кого знакомого. Он только что поболтался в двадцать пятом и двадцать шестом, в краях повыше, в корпусе Святого Петра, где тамошняя знаменитая цветная женщина со страшным шрамом работала с проститутками и всяческими наркоманами и беженцами с востока. Нравилось ему там выше – все такие конструктивные, свое дело знают, – но знакомых поблизости не нашлось, так что он спустился пониже, где теперь и сидел за столом с Мэри Джейн напротив. Оба подпирали подбородки руками и опустили взгляд, малость пасмурный, на пустые стаканы на столешнице из клееной фанеры, мечтая по-настоящему выпить, но зная, что нельзя, что взамен им придется по-настоящему беседовать. Мэри Джейн подняла вечно прищуренные и подозрительные глаза и зыркнула на него поверх пустых стаканов.

– Значит, в двадцать пятом был, говоришь? Сама я туда не ходила, слыхала, там вроде как пабов нету. Правда, что ль?

Голос у Мэри Джейн был грубый, как у мужика, но Фред знал ее уже давно, чтобы понимать: это напускное. Звучит ее голос легко, но она нарочно басила изо всех сил, чтобы никто не принял ее за слабачку, хотя с чего людям так думать – Фредди понятия не имел. При одном взгляде на Мэри Джейн, с таким лицом и шрамами на костяшках, большинство и без того смекнет держаться подальше. А кроме того, все возможности влезть в драку давным-давно иссякли.

Больше незачем отпугивать людей. Фредди думал, что это просто пожизненная привычка, и Мэри Джейн ее уже не сменит, потому что и сама больше не изменится.

– Нет, пабов нет. Только что корпус Святого Петра, так он зовется, там за людьми призирают. По правде сказать, тамошние места вряд ли тебе угодят. Знаешь, бывают такие, где погода всегда скверная? Вот и там так. Народ хороший, есть даже совсем приличные, как в старые времена, но знакомого лица никогда не встретишь. Ну, не считая детских банд, но они везде шастают, мелюзга эта. Видать, все похожи на нас – бирюки, никогда свой клочок земли в Боро не покидают и выше четырнадцатого или пятнадцатого не ходят.

Она выслушала, что сказал Фредди, а потом скорчила рожу – такую, словно ее нарисовал ребенок на боксерской перчатке, – и вперилась в него глазами. Но она со всеми так. На Мэри Джейн обижаться глупо.

– На хер пятнадцатые. Мне даже тут не по нутру.

Она махнула рукой со сбитыми костяшками, показывая на маленький приятный бар с разделенным помещением – в одной половине сидели они, вторая была выше по короткой лестнице. Там два парня болтали с девушкой за стойкой, пока она их обслуживала, и миловалась в углу парочка лет двадцати, но никого из знакомых Мэри Джейн или Фредди. «Черный лев», в этот его момент, еще оставался приличным местом, но с Мэри Джейн, когда она в таком настроении, спорить без толку, а она в таком настроении всегда, вот с ней никогда и не спорили.

– Как по мне, эти новые места – хренова трата времени. Вот сорок восьмой да сорок девятый – это да, там люди из другого теста, с огоньком. А если это не по тебе, может, сходишь со мной ночью в «Курильщики», над Мэйорхолд? Там до сих пор старая гвардия, и все тебя знают, так что без компании не останешься.

Фредди только покачал головой.

– Это не про меня, Мэри Джейн. Они для меня крутоваты, народ вроде Мика Мэлоуна и прочих. Я не брюзга, просто привык быть сам

по себе. Иногда нет-нет, а загляну на Алый Колодец к тамошнему приятелю, но на Мэйорхолд по большей части не ходок, и сейчас не собираюсь.

– А я не говорю – сейчас, я говорю – ночью. Погуляем – дым коромыслом, в наших-то «Веселых курильщиках». Ну а для меня всегда напротив имеется «Дракон», как стих найдет.

При этих словах на лице Мэри Джейн расплылась грязная и похотливая ухмылка, и Фредди даже обрадовался, когда женщина из-за стойки подошла, прервав разговор, и забрала грязные стаканы, так что развивать мысль не пришлось. Барменша двигалась так быстро, что словно размазывалась в пространстве, – смела стаканы со стола и юркнула за стойку, не обратив на них никакого внимания. Так уж водится с такими, как он и Мэри Джейн, – неприкаянными. Люди тебя и в упор не замечают. Просто смотрят сквозь.

Мэри Джейн, вернувшись к разговору, ушла от темы «Дракона» и своей половой жизни – уже хлеб, – но в отсутствие выпивки, которая бы ее заткнула, продолжала предаваться воспоминаниям на общую тему Мэйорхолд, драк, где помахала кулаками.

– Боже, а помнишь Лиззи Фоукс, как мы с ней махались на улице перед «Зеленым драконом», прямо на Мэйорхолд? Мы не поделили Джин Доув, да так увлеклись, что даже копы не смели нас разнять. Ничего не скажешь о старушке Лиззи – крепкая как гвозди. Уже одно веко болтается и слова вымолвить не может, так я ей челюсть свернула, но даже не думала мне это спускать. А мне-то, мне-то и самой пришлось не легче, голову раскроила, а потом оказалось, что еще и большой палец сломала, – но так славно раззудили плечи, что не хотелось и прекращать. На другое утро мы вернулись на Мэйорхолд и думали продолжить, но она запрягала в ладони болт да как отоварит меня по голове – тут я и отключилась, как лампочка. Красота, мать ее, да и только. Так и тянет вернуться и пережить все заново. Не составишь компанию, Фредди? Зуб даю, это будет загляденье.

Было время, когда Фредди пошел бы за Мэри Джейн из страха перед тем, что она учинит, если он откажется, но эти дни давно минули. Теперь она только лаяла, да не кусалась, и никого бы не тронула. И никто из них теперь никого не трогал и тронуть не мог. Давно прошло время, когда за ними приглядывали копы – за Фредди, Мэри Джейн, старым Джорджи Шмелем и остальными из гоп-компании. Впрочем, у копов и юрисдикции не было над местами, где теперь проводили все время Фред и Мэри Джейн, так что редко, редко в округе завидишь бобби, да и то они шли своей дорогой. Единственный, кого Фредди знал хотя бы шапочно, это Джо Болл – суперинтендант Болл, а он был мужичок ничего. Старомодный коп из старых деньков, давно ушел в отставку, хотя как его ни встретишь – всегда в форме и при параде. Он часто болтал с преступниками вроде тех, кого когда-то засадил в холодную, в том числе и Фредди, который однажды в лоб спросил Джо, почему он не проводит пенсию в местах получше, где-нибудь там, куда советовал отправиться Фредди его знакомец с улицы Алого Колодца. Старик суперинтендант только улыбнулся и ответил, что всегда любил Боро. Тут ему нравится, а иногда выпадает шанс сделать хорошее дело. Старику Джо Боллу больше и не надо. Он больше никого не гонял – ни Фредди, ни даже Мэри Джейн. Она, конечно, гром-баба, но порох в ее пороховницах отсырел уж с тех пор, как закончилась после сердечного приступа старая жизнь. Пришлось ей по-новому взглянуть на вещи и перевоспитаться, потому Фредди не переживал, когда отказывался, хоть и вежливо, от ее приглашения вернуться на места боевой славы.

– Если тебе все равно, Мэри Джейн, то я пас. Это больше тебе по вкусу, а не мне, и у меня своих старых дел хватает, к которым стоит вернуться. Но я тебе так скажу: если сумеешь отвадить от меня старика Мэлоуна с его зверюгами, так и быть, я забуду про привычку всей своей... ну, очень давнего времени... и, пожалуй что, загляну в «Курильщиков», когда пойду смотреть сегодня ночью бильярд, – что на это скажешь?

Похоже, это ее удовлетворило. Она встала и протянула мозолистую руку, чтобы Фредди ее пожал.

– Вот это по мне. Ну, береги себя, Фредди, – хотя, видать, все самое страшное с такими, как мы, уже случилось. Если свидимся в «Курильщиках», расскажу, как была драка. Только ты уж приходи.

Она выпустила его руку и скрылась. Он еще посидел один, глаза на барменшу. Шансов у него нет, Фредди и сам знал. Теперь он старше, облысел, и, хоть все же сохранил какую-то смазливую внешность с молодых лет, для блондинки-барменши он был все равно что пустое место. Он взял шляпу со стула по соседству, нацепил на плешь и поднялся сам. Выходя через дверь на Холм Черного Льва, из вежливости и привычки он окликнул барменшу, пожелав доброго дня, но она и бровью не повела, – впрочем, он другого не ожидал. Продолжала себе надраивать стаканы спиной к нему, как ни в чем не бывало. Фредди вышел из паба и повернул направо, к церкви Петра, где облака бежали так быстро, что свет на старых камнях мигал, будто от чудовищной свечи.

Проходя мимо церкви, он бросил взгляд на ее двери, просто проведать, не спит ли в портике молодой парень или девушка – в эти дни они все сплошь молодые, а девушек не меньше, чем парней, – но там было пусто. Иногда, если ему бывало одиноко или просто хотелось человеческого общества, он присосеживался рядом – ничего плохого не делал, просто лежал лицом к лицу и слушал, как они дышат, делал вид, что чувствует их тепло. Все равно они были слишком пьяными или не в себе, чтобы кого-нибудь заметить, и в любом случае он уходил задолго до того, как они просыпались, просто на тот случай, если кто однажды откроет глаза, а там он. Пугать – последнее, чего ему хотелось. Ничего плохого он не делал, и в мыслях не было их трогать или что-нибудь стянуть, ни у кого. Он и не мог. Он сильно изменился.

От Лошадиной Ярмарки Фредди поплыл по Конному Рынку. Пересекая улицу Святой Марии, уходящую налево, бросил туда взгляд. Иногда там до сих пор можно было увидеть сестер – сущих

дракониц, о которых в разгаре их сил знали и говорили все: дикие, горячие и вспыльчивые. Все помнят, как однажды они пронеслись голыми по городу – скакали и кружились, плевались, мчались по крышам – отсюда до самых Крайних Ворот всего за десять минут, такие опасные и прекрасные, что люди рыдали при их виде. Фредди иногда замечал их на улице Марии – тоскливо слоняющихся у куч сухих листьев и мусора, прибитых ветром к стенке подземной автопарковки; сестер снова загнали туда, где однажды они затеяли свою памятную пляску. По блеску в их глазах видно, что, выпади им шанс, они даже в своем возрасте повторят ее вновь. Так и вспыхнут от радости. Черт их дери, вот это будет зрелище.

Сегодня на улице Святой Марии было пусто, не считая дворняжки-побирушки. Фредди поднялся – и не в первый раз, подумал он, – до вершины Замковой улицы, где свернул налево, туда, где теперь стояли многоквартирники.

Это все Мэри Джейн с ее походом в «Дракон» – «Зеленый дракон» на Мэйорхолд, где собирались лесбиянки. И хоть мысль была незваной, но Фредди завелся, снова стал думать о сексе. Вот чего он так глазел на барменшу в «Черном льве». Признаться как есть, теперь секс был скорее уж разочарованием и неудобством, нежели чем еще, но стоило этой мысли найти на него, как она донимала, пока Фредди не удовлетворял ее назойливый голос и утомительные требования. Впрочем, если задуматься, так и при старой жизни было. Нечестно бранить обстоятельства за то, что ему просто осточертело. В свое время ему перепало немало, по зрелом размышлении решил Фредди. За то, как он себя вел в отношениях, пенять не на кого, кроме него самого, и он видел справедливость в том, кем закончил. Правосудие над улицами.

Стоило ему задуматься, что давно нигде не видать местных священников, чернецов или как они там себя зовут, как кто бы выдумали взбирается ему навстречу по улице, как не один из их братии: коренастый мужичок, как будто распаренный под рясой и прочим шмотьем, с видимым трудом тащивший на горбу старый

мешок. Фредди усмехнулся про себя, подумав, что не иначе как в мешке свистнутые церковные свечи или подносы для подаяний, а то и свинцовая черепица с крыши, судя по тяжести.

Стоило им сблизиться, как мужичок поднял покрасневшее употевшее лицо и заметил Фредди, поприветствовав его такой теплой улыбкой, что сразу же пришелся Фредди по сердцу. Он выглядел точь-в-точь как тот молодой актер из телеящика, который играл Стилягу Смита в «Машинах Z», только что постарше – как бы тот выглядел в пятьдесят или шестьдесят, с бородой и сединой. Их дорожки встретились между Конным Рынком и тропкой – или пандусом, или лестницей, что бишь там теперь, – ведущей в тутошные дома, многоквартирники. Оба стали и любезно поздоровались, причем оказалось, что у этого краснолицего братца Тука рокочущий глубокий голос и какой-то акцент, который Фредди не признал. Какой-то дедовский, как будто деревенский, если ты к нему непривычен, – и Фредди подумал, что путник мог быть из Таучестера или тех краев, с их «ежели» да «кабы».

– Я как раз помышлял, что для гуляний днесь жарковато. Как живешь-поживаешь, честный человек?

Фредди задумался, неужто этот мужичок о нем слышал, как он умыкал хлеб и пинты молока в стародавние времена, и не сказано ли это «честный человек» в той пасторской манере, когда священник подшучивает над грешником. Но большей частью монах казался человеком прямодушным, и Фредди решил принять слова за чистую монету.

– Да, кажись, и в самом деле жарковато, а поживаю вроде что ничего. А ты что же? Мешок этот твой на вид та еще тяжесть.

Уложив грубый куль на землю с тихим стоном благодарности от облегчения, пастор покачал шевелюрой и улыбнулся.

– Что ты, благослови тебя Боже, нет... а ежели и так, тяжесть та не тянет меня к земле. Мне велено принести его в центр. Ведомо ль тебе, где он есмь?

Фредди на миг запнулся, обдумывая услышанное. Единственный центр, что он знал, был центром спорта и отдыха на полпути вниз по Подковной улице, где играли в бильярд и куда Фредди отправится позже, если чего не случится. Решив, что об этом и спрашивает старичина, Фредди объяснил ему дорогу.

– Если я верно понял, то тебе поворачивать направо у того дерева в конце, – Фредди показал на конец Замковой улицы. – Спускайся, пока не выйдешь на перекресток внизу. Если покатишь и дальше с холма, увидишь центр налево от тебя через дорогу, всего на полпути вниз.

Лицо старика, и так блестящее от пота, при этих новостях засияло. Должно быть, он прошел долгий путь, подумал Фредди, с этим своим мешком на спине. Рясник любезно отблагодарил Фредди – так он был рад слышать, что бильярдный зал всего лишь дальше по дороге, – затем спросил, куда держит путь сам Фред. «Верю, твоя стезя лежит к праведной и богоугодной цели?» – так он сказал. Фредди-то подумывал сходить к жилью у Банной улицы и присунуть Пэтси Кларк, как в старые времена, но этого служителю Господа говорить не следовало. Так что Фредди на лету выдумал, будто направляется к старому приятелю, пенсионеру без семьи, что живет в нижнем конце улицы Алого Колодца. В этом была правда, хотя изначально Фредди намеревался спуститься туда после обыденного randevu с Пэтси Кларк. Ну, делать нечего. Разнообразить маршрут все равно не помешает. Он пожелал коренастому священнику удачи, затем бодро прошел мимо входа в многоквартирники на Банной улице, к Малой Перекрестной. На пути вниз Фредди остановился и оглянулся на святого отца. Тот снова взвалил мешок на плечо и побрел по Замковой улице к Конному Рынку, оставляя за собой зримый след. Все оставляют след, думал Фредди. Так уж ему всегда говорили фараоны, если его ловили, еще в старой жизни.

Он мог бы сделать петлю и вернуться к многоквартирникам Банной улицы, как только старичок скроется из виду, но какой из него тогда честный человек. Нет уж, спустится по улице Алого

Колодца туда, где его всегда рады видеть. Сказать по правде, только там еще и живут те, кто нынче вообще будет видеть Фредди. Вспомнив, что в эти дни спуститься до Бристольской улицы без труда невозможно, Фредди взамен дошел по Малой Перекрестной до другого конца многоквартирника, где она соединялась с Банной, затем свернул налево и отправился вниз по Банной к ее основанию, вихляющему вправо на Алый Колодец.

Он двигался в тумане, когда свернул направо и прошел место, где когда-то, много лет назад, до Дороги Андрея шел Банный ряд. Теперь там были только гаражи, рядом с бывшими улицей Форта и улицей Рва. Проходя мимо, Фредд вгляделся в асфальтовый уклон, спускавшийся на дворик – грубый овал, куда выходили только ворота гаражей. Хоть это необычно для людей его сорта, Фредди не верил в суеверия, но все же что-то там чувствовалось, у гаражей, где когда-то стояли террасы Банного ряда. Либо там что-то случилось очень давно, либо случится в будущем. Подавив первый слабый призрак дрожи, что он почувствовал за очень долгое время, Фредди продолжил путь на Алый Колодец, перейдя на другую сторону улицы у подножия холма к спортивным площадкам школы Ручейного переулка. Там до сих пор было видно мостовую у начала джитти, что шел за террасой на Дороге Андрея, но больше от джитти ничего не осталось. Фредди казалось, будто место, где когда-то был джитти, захватили густые кусты у нижнего края школьного стадиона, скрыв под черными листьями гладкие серые камни. Хотя это Фредди думал, что они еще серые, но почти все вокруг так и так казалось Фредди серым, черным или белым, как на старой фотографии – где и видно четко, и свет яркий, но цветов нет как нет. Фредди не видел обычного земного цвета уже сорок с чем-то лет, если судить о времени, как судят живые люди. Цветовая слепота была частью его состояния. Фредди не возражал, цветочки вот только жалко.

Он спустился по нескольким ступенькам туда, где стоял в одиночестве на углу у тракта дом, а за ним – только травяная полоса, уходящая до Ручейного переулка, на месте которой когда-то

была терраса и жили многие знакомые Фредди, Джо Свон и прочие. Он поднялся на порог и вошел. Здесь перед Фредди двери всегда были открыты, и он знал, что желанный гость, а потому просто протопал по коридору в гостиную, где за столом у стены, листая фотоальбом, полный приморских снимков и многого другого, сидел жилец дома на углу, который с удивлением поднял взгляд, когда к нему без объявления кто-то заявился, но тут же расслабился, осознав, что это всего лишь Фредди.

– Привет, Фред. Черт возьми, напугал ты меня. Превращаюсь в Джека Попрыгунчика на старости лет, не иначе. Мне уж показалось, это мой старик. Не то что он страшный, просто доводит, чтоб его. Каждую неделю является – прости меня за то, прости за это. На нервы действует. Ну-ка, поставлю я вам чайник.

Фред занял пустой стул за столом напротив места с фотоальбомом и крикнул на кухню, куда ушел заваривать чай его друг.

– Ну, он тот еще плут, старый Джонни. Чего ж удивляться, что он ищет прощения.

Голос его знакомого донесся из кухни, перекрикивая клокотание чайника – современного, электрического, который вскипает за минуту.

– Ну, я ему твержу, как и тебе твержу по другим причинам, что прощения ему надо просить у себя. Ко мне-то что ходить? Я никакой обиды не держу и повторяю это неустанно. Для меня все это было уже давным-давно, хоть и понимаю, ему-то кажется, что это было как вчера. Эх, что уж тут.

Хозяин – лет семидесяти, но по-прежнему со стальным взглядом, – вернулся из кухни с дымящейся чашкой во все еще верной руке и сел напротив Фредди у раскрытого альбома, поставив чай на выцветшую скатерть.

– Прости, что не предлагаю, Фредди, но знаю, что и спрашивать бесполезно.

Фредди понуро пожал плечами в согласии.

– Ну, в эти дни кишечник у меня в таком состоянии, что стоит хлебнуть, как все уже хлещет наружу. Но благодарствую за предложение. Ну а как вы живете-можете? Кто-нибудь навещал, кроме старого Джонни, с моего последнего прихода?

Хозяин отвечал, сёрбая чаем.

– Ну-ка, поглядим. Влезали ко мне эти чертовы детишки – о-о, уже несколько месяцев минуло. Наверняка думали срезать до Ручейной Террасы, как оно раньше было. Вредные сопляки. Как и вся молодежь в наши дни – мнят, что им все сойдет с рук, знают, что их никто пальцем не тронет.

Фредди задумался о своем последнем чае: капля молока, два кубика сахара, подождать, пока не сойдет пар кипятка, а потом можно хлебать. Чай не для того придуман, чтобы неспешно потягивать. Вылебай залпом и чувствуй, как в животе распространяется тепло. Эх, какие были деньки. Он вздохнул, отвечая:

– Я уже их видал, когда был в двадцать пятом, в корпусе Петра, где работает смуглая тетка со шрамом на глазу, что лечит проституток и всех прочих, вместе с беженцами. Это та самая шайка дьяволят Филлис Пейнтер. Они ввалились через старый «Черный лев», когда тот был против вишневого сада, поблизости от Доддриджа, а потом вскарабкались в двадцать пятый, что твоя стая мартышек. Вот честно, вам бы слышать, каким языком они выражаются. Филлис Пейнтер обозвала меня старым пердуном, а ее подпевалы только за животики хватались.

– Ну, тебя наверняка и похуже звали. А что там с беженцами в двадцать пятом? Они с какой-то войны? А то двадцать пятый на носу, жутко. Рукой подать дальше по дороге.

Фредди согласился, затем объяснил, что это не из-за войны, а из-за наводнений, и что, судя по акцентам, все беженцы с востока. Его старый друг кивнул с пониманием.

– Ну, не сказать, чтобы люди такого не ожидали, но все верили, что до этого еще жить и жить. Двадцать пятый, а? Вот как. Подумать

только.

Настала пауза для очередного глотка чая, прежде чем тема сменилась.

– Ну, рассказывай, Фредди, видал ли Джорджи Шмеля? Он раньше заходил в гости послушать мои уговоры отправляться в места получше, чтобы благополучно пропустить их мимо ушей, – как и все вы, старые разбойники, любите. Но его не было уже с год или больше. Он все еще на своем посту, в кабинете на Мэйорхолд?

Фредди пришлось задуматься. Неужели прошел год, а то и годы, когда он сам видел Джорджи? Фредди знал, что порой терял счет времени, но разве может быть, чтобы он так давно проведывал старого хрыча?

– А знаете, не могу сказать. Небошь, еще на месте, хотя сам я туда захаживаю нечасто. По правде говоря, теперь там грязная дыра, но вот что я вам скажу: как пойду от вас, поищу старика Джорджи и узнаю, как он поживает.

Ведь никто Фредди не тянул за язык, тем более что это было физически невозможно. А теперь, раз назвался груздем, придется идти, а значит, к Пэтси Кларк его занесет еще ой как нескоро, где-то ближе к вечеру. Ну ладно. Обождет. Все равно ей торопиться больше некуда.

Как и ожидал Фредди, разговор обратился к его собственному упрямому нежеланию покидать нижние пределы Боро.

– Фредди, если б ты только думал о себе получше, давно бы поднялся повыше. А если бы сделал, как мой прадедушка, поднялся бы совсем высоко. Нам пределов нет.

– Мы все это уже проходили, друг мой сердечный, и я свое место знаю. Там я никому не сдался. Буду только воровать молоко с хлебом с порогов или влезать в неприятности с бабами. Да к тому же разве могут такие, как я, сказать, положив руку на сердце, что заслужили повышение? За всю жисть я ничего не заслужил. Что я сделал, чтобы доказать, что человек я стоящий, или что я хотя бы изменил? Да ничего. Вот будь иначе, вот мог бы я держать голову

высоко, как народ получше, тогда бы еще призадумался, да только думаю, что теперь это все уже навряд ли. Раньше надо было себя вести как следует, когда еще был шанс, потому как теперь не вижу, чтобы мне еще подвернулась возможность.

Хозяин ушел на кухню за новой чашкой, продолжая разговор громким голосом, чтобы Фред дослышал, хотя необходимости в этом не было. Фредди обратил внимание, что этот человек не оставляет за собой следа наперекор тому, что ему говорили фараоны. Ясно, что с такими, как знакомец Фреди, другого ждать не приходится, но Фредди иногда так увлекался беседой, что забывал одну большую разницу между ними: он-то больше не жил на улице Алого Колодца. Вот почему он оставлял за собой свой неряшливый след, а хозяева – нет. Немного погодя его друг вернулся из кухни и снова присел напротив.

– Фредди, никогда ведь не знаешь, какой оборот примут дела минута за минутой, день за днем. Сам вспомни дома, что стояли в округе, с неожиданными поворотами и дверями, которые вели бог весть куда. Но у всех мелких закоулков и лестниц в планах зодчих есть свое предназначение. Я говорю, совсем как Пылкий Фил на проповеди, правда? А только что хочу сказать – никогда не знаешь, как оно повернется дальше. Это знает только один малый на всем белом свете. Если когда устанешь мотаться неприкаянным, Фредди, ты знаешь, что всегда можешь прийти ко мне и отправиться напрямиком наверх. А тем временем не будь так строг к себе. Были люди и куда хуже тебя, Фред. Мой старик, например. Что бы ты ни наделал, это в конечном счете не так уж и страшно. Каждый сыграл свою роль так, как должен. Даже кривая лесенка куда-то да ведет. О. Как это из мыслей выскочило! – фразу доканчивали, уже вскочив с кресла, как будто в испуге. – Чаем-то я тебя угостить не могу, но давай выйдем на задворки, и ты поищешь, вдруг уже показались новые побеги, – заморишь червячка.

Совсем другое дело. От разговоров о старых прегрешениях Фредди всегда вешал нос, но любое дело поправимо сиюминутным

перекусом. Он последовал за своим давнишним товарищем через кухню на маленький двор, замкнутый кирпичным забором, где ему показали на стык северной и западной стенок.

– Прошлой ночью прибираю мусор в бачок и тут краем глаза замечаю – мельтешит что-то. Я-то знаю, что это значит, а тебе может быть любопытно взглянуть между кирпичей, поискать, есть ли там корешки.

Фредди присмотрелся поближе к месту, на которое ему указали. Очень многообещающе. На уровне глаз из трещины в цементе торчал жесткий паучий протуберанец, в котором он признал корневую луковицу Шляпки Пака, хотя какого вида, еще было непонятно. Явно не из темно-серых, это видно и так. Из-за спины донесся голос приятеля, высокий и дрожащий от возраста, но все еще с внутренним стержнем.

– Как, видишь? У тебя на это глаз наметан, в отличие от меня.

– Ага, есть одна. Ее лепестки вам и попались прошлой ночью. Погодите минутку, я ее выкорчую.

Фред запустил чумазые пальцы в расщелину и подцепил луковицу у толстого белого стебля, уходящего в глубину кладки. Одна из странностей Шляпок Пака – корневище у них торчало снаружи, а единый побег вращал в любые щели, что мог отыскать. Когда он ее выщипнул, послышался тонкий писк – скорее, жестяной звон, что раздался на миг, а потом пропал. Он достал растение, чтобы рассмотреть поближе.

Большое, с ладонь человека, оно было из беловатой разновидности, с жесткими лучевидными отростками, все разной длины, они раскидывались, как спицы, от середины. Поднеся под нос, он с удовольствием отметил, что у этого сорта был запах – одновременно изысканный и сладкий, один из редких, что он еще мог вдохнуть полной грудью в эти дни. Вблизи он различал даже цвета.

Сверху это было похоже на тринадцать голых баб, в два дюйма каждая, сросшихся темечками в сердцевине овоща, откуда торчал

клочок рыжих волос – маленькая яркая точка, обозначающая середину, из которой лепестками распускались головы. Маленькие девицы как бы накладывались друг на дружку, так что на каждую пару лиц было три глаза, два носа и два маленьких ротика. Выглядело это так: вокруг центрального рыжего пятнышка шло кольцо миниатюрных голубых глазок, как осколки стекла. За ними гусиной кожей торчало колечко носиков, затем темные розовые щелочки, почти незаметные глазу, – это губы. Ответвлялись отдельные шеи, перераставшие в плечи каждой женской формы, отчего между соединенными плечами и соединенными ушами оставались отверстия. И снова на каждые два тела приходилось по три руки, образующих внешнее концентрическое кольцо, причем каждая конечность разделялась в конце на крошечные пальчики. Женские тела вниз от шеи были самыми длинными частями растения, по одному телу на голову, образуя таким образом раскинувшийся круг лепестков, каждый из которых раздваивался на крошечные дрожащие ножки, с точками рыжего меха между ними, – они образовывали, в свою очередь, последний декоративный круг в изящном симметрическом узоре.

Он перевернул растение, чтобы увидеть кольцо ягодиц и скопище прозрачных лепестков вокруг сорванного стебля в центре, напоминающих крылья стрекоз. Позади снова задал вопрос его друг.

– Знаю, показать ты мне не можешь, но если скажешь, что это за вид Шляпок Пака, то будет тебе моя признательность. С пришельцами, феями или чем-то еще?

– Феи – здесь феи. Любо-дорого посмотреть, добрых восемь дюймов с одной стороны до другой. Этого мне надолго хватит, а вам не придется варить четырехминутное яйцо и тут обнаружить, что полдня пролетело, как и не было. Знаете ведь, как из-за них выпадают куски времени. Так уж они растут.

Он откусил. По консистенции плод напоминал ему грушу, но на языке был великолепнее – душистый вкус, как у шиповника, но с новыми измерениями, пробуждающий рецепторы, о которых даже

не подозреваешь, пока не попробуешь. Он почувствовал прилив энергии, когда вместе с изумительным соком по телу побежала бодрость, что придают плоды. Слава богу, что это Шляпа Пака с феями, славная и спелая, а не пепельные пришельцы, которые твердые и горькие, так что приходится ждать, пока они созреют до более сладких фей. Замечательное лакомство – если ты не прочь сплунуть пару дюжин твердых и безвкусных глазков. Если повезет и те попадут на добрую почву, то через полгода можешь вернуться за новым кольцом Шляпок Пака, хотя Фредди подумал, что его другу лучше об этом не говорить.

Они вместе вернулись назад – кто за новой чашкой чая, а кто – доедать Шляпку Пака. Еще поболтали о том о сем, и Фреду показали фотоальбом. Некоторые из старых снимков с маленькими черными уголками были цветными, но Фред не различал, какие. Был один хороший с девушкой лет двадцати с удрученным видом, на лужайке и со зданиями на заднем фоне, вроде больницы или школы. Беседа текла, пока настенные часы в коридоре не пробили два дня, тогда Фредди поблагодарил хозяина за уделенное время и чудесную трапезу, затем направился через входную дверь обратно на улицу Алого Колодца.

Воспрянув духом после импровизированного обеда, Фред честно поднялся по улице Алого Колодца мимо невероятно высоких многоквартирников в ее конце, а оттуда – на Мэйорхолд. После Шляпки Пака такого размера Фред будет бодрым и оживленным на полмесяца. С некоторой развязностью он презрел барьер вокруг широкого автомобильного перекрестка и прошел прямо через него, сквозь несущиеся машины. К черту авто, подумал он. Фредди уже слишком стар, чтобы ждать на обочине, как малое дитя, – хотя он отступил, когда к Конному Рынку проехали лошадь и телега Джема Перрита, потому что они оставляли за собой следы, прямо как он сам, – блекнувшие изображения самих себя на разных этапах движения, пока конь беззаботной трусцой выступал среди грузовиков и вседорожников. Конь и телега были дух от духа из

мира Фредди, и, хотя их столкновение не приведет к несчастному случаю, могут быть другие осложнения, которых лучше избежать по мере сил. Фредди постоял посреди автодвижения, наблюдая, как повозка сползает по холму к Лошадиной Ярмарке – Джем Перрит дрых, пьяный, за поводьями, доверяя лошади доставить его домой, на Школьную улицу. Покачав головой с любованием и улыбкой из-за того, как долго уже исполняла этот трюк лошадь Джема Перрита, Фред продолжил путь до угла, где в перекресток вливалась расширенная Серебряная улица.

Там, где были главные магазины и лавки Мэйорхолд – «Кооп» и мясник, газетная лавка Боттериала и все остальные, – теперь стояла очередная новомодная парковка с этажами из цемента, раскрашенного в уродливый желтый цвет, – так, по крайней мере, Фреду говорили. У ее основания со стороны Мэйорхолд росла колючая живая изгородь, прямо на углу, где когда-то был кабинет Джорджи Шмеля. Со времен Джорджи растительности только прибавилось, и Фреду придется засучить рукава, чтобы докопаться до цели. Сойдя с оживленной дороги в кустарник под нависавшей коржами свадебного пирога автопарковкой, Фредди принялся сдвигать настоящее в сторону. Сперва кустарник, который развеивался, как дым, а затем механизмы, компрессоры, бетономешалки и копалки, которые можно было сплющить и выгнуть в сторону, словно они из цветной глины. Наконец, прокопавшись через все слои, Фредди наткнулся на большой гранитный подъезд, ведущий в кабинет Джорджи, с названием заведения, элегантно высеченным в камне над входом: «Мужской». Смахивая с рукавов пятна залежавшегося времени, которые неизбежно налипали во время раскопок, Фред выбрел на шахматное поле из потрескавшегося влажного кафеля и крикнул прямо в вонючее эхо:

– Джорджи? Есть кто дома? Встречай дорогих гостей.

В основном помещении с писсуарами, протекающими стенами и отклеивающимся плакатом с предупреждением о венерических болезнях, где изображались мужчина, женщина и черный силуэт

зловещих инициалов В. З. – как помнил Фред, на болезненно-красном фоне, – были двери в две кабинки. Одна закрыта, вторая открывалась на переполненный унитаз с дерьмом и туалетной бумагой на полу. Такими уж эти места люди видят во сне, знал Фредди. Ему и самому снились ужасные затопленные уборные, еще при жизни, в одну из Двадцати пяти тысяч ночей, когда ищешь, где бы отлить, а находишь только такие кошмарные дыры. Именно из-за того, как годами накапливались грезы-образы людей, словно осадочная порода, эти места и преобразались в выгребные ямы, казалось Фредди. Джорджи тут ни при чем. Из-за закрытой двери донесся плевок, затем смыл туалета, а затем шорох щеколды на цинковой двери, открывшейся изнутри.

Показался монах, сухопарый, скорбный и чисто выбритый, с лысиной на макушке – тонзурой. На взгляд Фреда, он был вылитый клуни из монастыря Святого Андрея, или как их там звали. Он протопал прямо мимо Фреда, даже на него не взглянув, через дверь общественного туалета в спутанные годы и мгновения, загораживающие проем, словно заросли. Монах ушел, оставляя в кильватере неподвижные черно-белые изображения самого себя, что через мгновения обращались в ничто. Фред вернулся взглядом в уже открытую кабинку, которую только что освободил насельник, и обнаружил, что наружу в выхлопе монаха с извиняющейся полуулыбкой выбредает Джорджи Шмель, оставляя за собой собственный шлейф автопортретов.

– Здравствуй, Фредди. Давненько не виделись. Между прочим, прошу за это прощения. Ты меня застал прямо во время работы. Ну, если это можно назвать работой. Видал, что он мне выдал? Прижимистый старый мерзавец.

Джорджи протянул руку, раскрыв короткие пальцы с пожеванными ногтями, чтобы показать Фреду маленькую Шляпку Пака, самое большее три дюйма в диаметре. Она и близко не созрела – круг составляли сине-серые тельца-зародыши, которые напоминали людям пришельцев с другой планеты. Вокруг

центрального прыща, где еще не пророс клочок цветных волос, поблескивали несъедобным кольцом большие черные бусины глаз – плохой признак, если выбирать высшие растения этого типа. Так сразу видно, можно их уже есть или нет. Если Джорджи услужил монаху за такую мелочь, его поймали больше чем в одном смысле.

– Ты мертвецки прав, Джорджи. Совсем никчемная пустяковина. Ну, на то они и французы, эти ребятки из Святого Андрея, чего же ты ждал? Будь они хотя бы вполнину такие набожные, как их малюют, они бы не куковали тут с нами, грешными, верно?

Джорджи горестно опустил большие влажные глаза на неаппетитный деликатес в ладони. Меланхолично капал бак, звук усиливала необычная акустика: эхо разбегалось по всем направлениям и отражалось с больших расстояний, чем открывалось глазу в сыром замкнутом закутке.

– Да. Твоя правда, Фредди. Как есть твоя правда. С другой стороны, никаких других клиентов нынче у меня больше нету, одни монахи.

Одетый в яркий костюм, подпоясанный в петлях веревкой, захудалый шаромыжник откусил волокнистый кусок от кислого серого овоща и скорчил рожу. Пожевал миг, пока его резиновые и заунывные черты комично ходили вокруг скусившихся губ, затем сплюнул в лохань писсуара жесткий стеклянный глаз, как яблочное семечко. Тот лениво пошел ко дну пенного водоема, чтобы приткнуться к круглым белым пирогам дезинфектанта, примостившимся у слива, откуда безразлично уставился на Фреда и Джорджа.

– И ведь верно говоришь. Чертовы лицемеры, вот они кто. Самая мерзкая Ведьмина Титька, что я пробовал, – Джорджи еще раз откусил и прожевал, скривил новую мину и выплюнул очередную агатовую бусину в эмалированный белый желоб. «Ведьмина Титька» – так иногда называли Шляпки Пака, а еще Бедламскими Дженни, Шепотом-В-Лесах или Дьявольскими Пальчиками. Все это одно и то же, и, даже если попалась полная гадость, Фредди знал,

что Джорджи Шмель обязательно доест все до крошки и ничего не оставит, так уж тонизировали эти штучки. Почему – Фреду было неведомо. Было у него соображение, что это связано с тем, как побеги луковицы вмешивались во время, из-за чего люди теряли целые часы или дни, пока плясали с феями или что они там себе еще воображали. Как низшие овощи сосут питательные соки того вещества, в котором растут, так и, поди, Шляпка Пака сосала время – или хотя бы то время, как его понимают люди? А если так, возможно, потому-то они так хорошо и заряжали неприкаянных, вроде Фредди или Джорджи. Возможно, для людей их сорта человеческое время было как витамин, дефицит которого они испытывали с тех пор, как оставили старую жизнь. Возможно, потому они все чертовски бледные. Обо всем этом Фред размышлял в свободные, досужные моменты, а их у него теперь было более чем предостаточно.

Джорджи прожевал и проглотил последний кусочек, отхаркнул глаз прищельца и теперь вытирал губки-розочку, а сам уже казался много живее. Фредди начинал чувствовать себя стесненным в сумеречной уборной, и сквозь плакат о В. Д. видел слабозаметные размазанные силуэты современных машин, стоящих рядами под лампами дневного света. Он решил перейти к причине, почему наведаясь к Джорджи в кабинет, чтобы исполнить свои обязанности и поскорее отсюда убраться.

– Я зачем заглянул, Джорджи. Только что навещал наших знакомцев на углу улицы Алого Колодца, и они упомянули вскользь, что давненько тебя не видали и начинают беспокоиться, вот я и обещался заскочить и убедиться, что все в ажуре.

Джорджи поджал губы в улыбочку, в его жидких глазах играла искорка, говорившая, что он уже почувствовал легкий эффект незрелой Шляпки Пака, которую только что употребил.

– Что ж, благослови вас бог обоих за то, что не забываете, но у меня вашими молитвами тишь да гладь. Просто я больше никуда не выбираюсь из-за нынешнего движения на Мэйорхолд. Для меня это натуральный кошмар, но если повезет, то еще годков через сотню-

другую здесь останется один только пустырь или воронка от бомбы. Как будет там вместо отбойников и знаков левого поворота один иван-чай и прочая, вот тогда я и начну выглядывать почаще. Любезно с твоей стороны заглянуть, Фредди, и передавай приветы сторожу угла, но со мной все хорошо. Все еще отсасываю монахам, но oprичь того жалоб не имею.

На это Фредди ответить было нечего, так что он обещал Джорджи, что в другой раз не будет столько тянуть с визитом, и они пожали друг другу руки, как сумели. Фред продрался на выход из туалета через податливые машины и мусоровозы, через колющие месяцы и годы с шипами из болезненных моментов обратно в угарный гром Мэйорхолд и в тень многоэтажной парковки за спиной. Из-за все еще цепляющейся памяти о вони, стоявшей в кабинете Джорджи, и вопреки чаду транспортных выхлопов над переулком Фредди пожалел, что не может вдохнуть полной грудью. Удручающее зрелище – как некоторые из них влачили в эти дни жалкое существование, сидя сиднем в своих берлогах или тенях былых берлог. Но все же Фредди долг отдал, так что мог с чистой душой отправляться на Банную улицу. Он повидается с Пэтси и оставит Джорджи Шмеля и весь день, как он сложился до этой поры, за спиной. Вот только это невозможно, верно же? Ничего нельзя оставить за спиной, провести черту и притвориться, что оно ушло. Ни дело, ни слово, ни мысль. Они так и болтались позади, вечно. Фред размышлял об этом, шагая в поток автомобилей и волоча хвостом серые снимки предыдущих секунд, чтобы наконец поспеть на свои шашни.

На противоположной стороне Мэйорхолд, на юго-западном углу, он прошел сквозь заграждение и напрямик на Банную улицу, чувствуя возбуждение в фантомных останках штанов – то ли от Шляпки Пака, то ли при мыслях о Пэтси. Добравшись до входа в сады, он сбавил шаг, зная, что, если хочет попасть туда, где она его ждет, потребуется снова покопаться. Фредди бросил взгляд на безлюдный проход между двумя половинами многоквартирника, с

травяными полосками и кирпичными заборами с отверстиями-полумесяцами по бокам, ведущий к тропинке, или ступеням, или пандусу, что там сейчас в конце дорожки. Бездомная псина побирушного вида, встреченная раньше этим днем на улице Святой Марии, ошивалась тут же, обнюхивала бордюры, окаймляющие траву. Фред собрал волю в кулак, а затем начал протискиваться через накопившийся хлам напрямки в пятидесятые. Он протолкнулся и мимо славных деньков Мэри Джейн, и еще дальше, через затемнения и сирены, раздвигая довоенные бельевые веревки и продавцов закусками [\[19\]](#), как камыши, пока внезапный смрад и смог не подсказали Фредди, что он достиг пункта назначения – конца двадцатых, где его ждала чужая жена.

Шибанувший запах, а также завеса дыма, сквозь которую едва можно было разглядеть собственную руку перед носом, – все это по милости Деструктора, что находился ниже по холму, возвышался так, что страшно взглянуть. Фредди зашагал через отведенный под зону отдыха пятачок с качелями, горкой и майским столбом, раскинувшийся там, где мгновения назад лежал центральный проспект многоквартирника на Банной улице – или где он будет через восемьдесят лет, как посмотреть. Фредди знал, что мрачная площадка звалась «Сквером», но всегда с долей иронии и горечи. Что верно, то верно – место было скверным. По сторонам от него исчезли корпуса квартир из темно-красного кирпича, а там, где стояли заборы с дырками-полумесяцами, остались две россыпи домов стена в стену, глядящих друг на друга через чахлый пустырь в удушающем молоке дыма.

По проторенной тропинке, бежавшей по твердой голой земле от Замковой улицы к Банной, приближалась мутная фигура, толкая детскую коляску. Фредди знал, что когда она выйдет к нему из окуренного воздуха, то окажется юной Кларой, женой Джо Свона, везучего засранца. Фред знал, что это будет Клара, потому что она была здесь всегда, везла ребенка между качелей и деревянной каруселью, когда он приходил повидать Пэтси. Она была здесь

всегда, потому что была здесь в тот день, когда между ним и Пэтси Кларк все случилось в первый раз. Да и единственный, если задуматься. Выступая из едкого тумана с коляской, толкая ее по тропинке из утопанной грязи, Клара Свон с малышкой не оставляли за собой изображений. Здесь их никто не оставлял. Здесь все еще были живы.

Клара была красавицей – женщиной тридцати лет, в самом расцвете сил, справной, как на картинке, с длинными каштановыми волосами, на которых, как однажды сказал Джо Свон, она могла сидеть, если не сплетала в узел, как сейчас, прикрыв маленьким черным чепчиком с искусственными цветочками за лентой. Она остановила коляску, завидев Фреда и признав в нем приятеля мужа, уронила подбородок и посмотрела на него исподлобья неодобрительным и все же сочувственным взглядом. Фред знал, что это отчасти ради того, чтобы посмешить его и себя. Клара была женщиной честных правил и не терпела шалостей и хулиганства. Перед тем как выйти за Джо, она работала служанкой – как и многие из Боро перед тем, как их распустили, – в Олторп-Хаус у Рыжего графа или кого-то в этом роде, и переняла манеры и повадки, которых от нее ожидали хозяева. Не то чтобы она зазнавалась – скорее, стала благородной и справедливой, иногда посматривала сверху вниз на тех, кто не мог этим похвастаться, хоть и не без симпатии. Она знала, что у большинства людей хватало причин, чтобы жить так, как они живут, вот никого и не осуждала.

– Надо же, Фредди Аллен, юный повеса. Что ты тут затеял? Бьюсь об заклад, ничего хорошего.

Это Клара говорила всегда, когда они встречались здесь, в этот задымленный день, у конца грязной тропинки с Замковой улицы, ведущей к Банной.

– О-о, ты же меня знаешь. Как всегда, испытываю удачу. А кто это у тебя такая сидит? Неужто маленькая Дорин?

Теперь Клара улыбалась наперекор себе. На самом деле, несмотря на все викторианское порицание, Фред ей нравился, и он это знал.

По-птичьи кивнув вбок, она позволила Фредди подойти к коляске, чтобы заглянуть внутрь, где спала, заткнув ротик большим пальцем, Дорин – годовалая дочь Джо и Клары. Она была душка, и Клара ей гордилась – это читалось в том, как она сподобила его чести посмотреть. Он, как всегда, сделал комплимент ребенку, а потом они вместе мило поболтали – как всегда. Наконец дошли до места, где Клара говорила, что некоторых дома еще ждут дела, и желала хорошего дня, отпуская на те нечистые дела, что он задумал.

Фредди смотрел, как она толкает коляску в дым – который, естественно, был гуще всего над Банной улицей, где и торчала башня Деструктора, – а затем отвернулся и пошел по тропинке на Замковую улицу, ожидая, что Пэтси окликнет его, как тогда, впервые, и как окликала каждый раз.

– Фред! Фредди Аллен! Сюда!

Пэтси стояла у входа в узкий переулочек, что обходил дома по правую руку у конца Банной улицы и выводил на задворки этих зданий, сгрудившихся большим квадратом у тылов Деструктора. Насколько Фредди видел в клубящемся дыме, Пэтси выглядела как конфетка – фигуристая блондиночка с мясцом везде, где надо, прямо как любил Фред. Она была старше Фредди – хотя это вовсе не отталкивало – и встречала со знающим взглядом, стоя в устье переулка с улыбкой. Может, из-за дыма, а может, из-за того, что чем дальше назад уходишь, тем сложнее сосредоточиться, но Фредди видел вокруг Пэтси слабые проблески: переулок на секунду сменялся кирпичной отгороженной аркой, через голову и торс Пэтси проходил черный железный забор, потом снова превращался в задние стенки дворов, и оранжевые кирпичи становились ярче, но и закопченнее, чем будущие корпуса многоквартирников Банной улицы. Фредди подождал, пока картинка перед глазами утвердится, затем двинулся к Пэтси развязной походкой, засунув руки глубоко в карманы драненьких штанов, и сдвинул шляпу на голове, чтобы скрыть лысину. Здесь, в 1928 году, другие его изъяны были еще невидимы глазу... например, не болтался пивной живот... но волосы

у Фреда начали сдавать уже в двадцать лет, потому с тех пор он и носил шляпу.

Когда он подошел к Пэтси поближе, чтобы можно было друг друга хорошенько разглядеть, он остановился и ухмыльнулся, как в тот первый раз, только теперь многозначительнее. В первый раз это значило просто «Я знаю, что я тебе нравлюсь», тогда как теперь это значило что-то вроде: «Я знаю, что я тебе нравлюсь, потому что прожил это тысячу раз и мы оба уже мертвы, и даже забавно, что мы вдвоем все так и возвращаемся сюда, в этот момент». И таким теперь стал каждый миг их разговора – всегда одинакового, слово в слово, но все же с иронией за фразами и жестами, вызванной новой ситуацией. Взять, к примеру, то, что он как раз собирался сказать:

– Привет, Пэтси. Пора нам уже прекращать так видеться.

Когда он говорил это в первый раз, думал только потешиться. По правде сказать, они и видели-то друг друга всего раз или два из разных концов паба или рыночной палатки, и когда он заявил на такой манер, что им нужно прекращать видеться, словно у них давно завязался роман, то и пошутил на эту тему, и поднял ее в разговоре. Теперь же у реплики появились иные коннотации. Пэтси расплылась в улыбке, поиграла с жирной прядью и ответила:

– Ну, как знаешь. Но скажу тебе прямо: еще раз пройдешь мимо, упустишь свой шанс. Я вечно ждать не буду.

И снова – очередной каламбур, о котором они оба и не подозревали в тот первый раз, когда произносили эти слова. Фред ухмыльнулся Пэтси из-за дыма:

– Надо же, Пэтси Кларк, и как тебе не стыдно. А еще замужняя баба, пока смерть не разлучит вас и тому подобное.

В ответ она не спрятала улыбки и не отвела от него взгляда.

– Ах, он. Его нет в городе, по работе. Я уж и забыла, когда в последний раз его видела.

Когда она говорила это Фреду попервоначалу, то явно преувеличивала, но теперь уже нет. Фрэнк Кларк, ее муж, давно не околачивался по нижним этажам Боро, в отличие от Фреда и Пэтси.

Он вознесся к лучшей жизни, этот самый Фрэнк. Поднялся по карьерной лестнице, так сказать. Ему-то хорошо. Его совесть ничто не отягощало, чтобы удерживать внизу, тогда как Фреда чего только не пускало, как он уже ранее распространялся на улице Алого Колодца. Что же до Пэтси – у нее был Фред и вдобавок еще несколько мужиков из окрестностей. Она была щедрой женщиной, притом щедро наделенной от природы, и бесчисленные срамные деньки с порочными удовольствиями стали словно жернова, что тянули ее вниз и препятствовали уходу. Теперь, глядя на Фредди, она стерла улыбку с лица, заменив на серьезное выражение, почти бросая вызов.

– Без него я толком и не ем. Целую вечность живу без горяченького.

Это – с нечаянной иронией – явно прозвучало отсылкой к Шляпкам Пака, основному рациону обитателей нижнего Боро, вроде Фреда и Пэтси. Она продолжала:

– И как раз думала, как давно я себя не набивала чем-нибудь теплым. Знаючи тебя, ты наверняка тоже изголодался. Может, зайдешь ко мне на кухню, сюда? Вдруг найдем, чем утолить голод.

Фред уже встал в стойку, готовый к делу. Услышав шаги по грунтовой тропинке позади, он выгнул шею как раз вовремя, чтобы увидеть Филлис Пейнтер, восьми лет, скакавшую по игровой площадке к Банной улице. Она бросила взгляд на него с Пэтси, понимающе хмыкнула и подалась своей дорогой, пока не скрылась в ползучих серых тучах по пути домой на улице Алого Колодца, сразу рядом со школой. Фред не понял, что значила улыбка девочки: не то она знала, что они с Пэтси задумали, не то малышка Филлис сама была призраком, вернувшимся в знакомые сцены, как он, и улыбалась тому, что Фред и Пэтси Кларк застряли в петле этого дня, пускай и добровольно. Филл Пейнтер и ее банда носились по всей длине, ширине, глубине и когдате Боро. То шастали по двадцать пятому, где работала та черная женщина со страсть какой прической и скверным шрамом на глазу, которую еще называли святой, то

Пейнтер со своими подручными хулиганами в очередных приключениях срезала дорогу через дом его друга на Ручейную Террасу в глухую ночь. Может, в округе двадцать восьмого они обдирали Шляпки Пака – но, с другой стороны, при жизни в этом году Филл Пейнтер, когда шла вприпрыжку мимо, была лишь восьмилетней девочкой, а не заправилой шайки-лейки. Скорее всего, Фредди видел живого ребенка – или, по крайней мере, свое воспоминание о ней в тот ушедший день, – а не маленькую шкодницу, какой она стала, стоило оставить старую жизнь.

Он обернулся к Пэтси – теперь его глаза смотрели в том же направлении, что и елда. Он произнес последнюю ненамеренно двусмысленную реплику – «Ты же меня знаешь, я никогда не говорю “нет”», – и она уволокла его в переулок под смех обоих, и на задний двор третьего дома справа, по соседству с бойней за лавкой мясника, мистер Буллока, стоявшей прямо у Деструктора. Судя по воплям, в соседнем помещении как раз были подвешены и истекали кровью свиньи – они, как обычно, прикроют звуки, которые будут издавать они с Пэтси. Она распахнула черную дверь и втянула Фреда на кухню – потащив его за твердый хрен в грубых штанах и трусах, стоило им зайти внутрь, подальше от любопытных глаз. Так они перебрались в тесную и темную гостиную, где у Пэтси в камельке горел огонь на углях. Как помнилось Фреду, за окном стоял свежий мартовский день.

Он полез целоваться, зная, что она тут же скажет, что у него изо рта воняет так, будто кто-то сдох. Новые значения появились не у какой-то пары фраз, произнесенных в тот день. А у всех. Во всяком случае, насчет поцелуев Пэтси мнения не переменяла, как и во все другие разы.

– Не принимай на свой счет. Всегда пропускала все эти слюни-сопли. Просто доставай и вставляй, так я люблю говорить.

Они оба задышали тяжелее – по крайней мере, так казалось. Фред знал Пэтси с тех времен, когда они оба были школьниками с серыми коленками в Ручейной школе. Задрав юбки, она отвернулась

к камину, глядя на Фреда через плечо с зардевшимся лицом. Под юбкой не было трусиков.

– Давай, Фред. Жарь как черт.

Фреду подумалось, что это недалеко от правды. Сами посмотрите, где он – кем ему еще считаться. Она снова отвернулась и уперлась ладонями в стены по бокам от зеркала, висящего над каминной полкой. В стекле он видел и ее лицо, и свое, оба возбужденные. Фредди повозился с пуговицами ширинки, затем освободил свой напряженный хрен. Сплюнув серое вещество в грязную ладонь, втер его в блестящую грибовидную головку, затем вставил до упора в суксившуюся щелку Пэтси, уже увлажненную собственными призрачными жидкостями. Он грубо вцепился в ее талию, а там начал биться об нее что было мочи. Все было так же чудесно, как помнилось Фреду. Ни больше ни меньше. Просто сам опыт набил оскомину, блекнул с каждым повторением, из него ушло почти все удовольствие, – как если выжимать раз за разом старое чайное полотенце, покуда на нем не пропадут все узоры. Лучше, чем ничего, – но. В тот самый момент, как всегда, он снял правую руку с бедра Пэтси, облизал большой палец и сунул ей в задницу по костяшку. Теперь она перекрикивала визг с соседнего двора.

– О боже. Ох бля, я в раю. Еби меня, Фредди. Заеби меня до смерти. Ох. Ох блядь.

Фредди опустил взгляд от пойманного в зеркале напряженного лица Пэтси с гулявшими желваками к собственному гулявшему туда-сюда в хлюпающей, мохнатой дырке толстому твердокаменному органу.. вот же было время... который блестел серым, как влажный песок на приморской фотографии. Он сам не знал, какое зрелище ему больше нравилось, даже после стольких лет, потому то и дело переводил взгляд. Как он был рад, что со своего ракурса не видел в зеркале собственного лица, знал, что выглядел по-дурацки – по-прежнему в шляпе, – и что тут же засмеется и собьется с ритма.

И тут Фредди что-то заметил краем глаза. Он не мог повернуть голову и приглядеться, потому что не повернулся в том первом

случае. Что бы это ни было, тогда оно не появлялось. Какая-то новинка, способная разнообразить приевшееся занятие.

Скоро он определил, что это тот самый эффект мерцания, который Фредди заметил, когда Пэтси поприветствовала его в переулке, превращавшемся в арку за перилами. Иногда такое бывает, если закопаться в прошлое. Как будто настоящее держало тебя на резинке и тащило назад, так что перед глазами мелькали его прорывающиеся кусочки, влетающие в то время, куда ты забурился. Сейчас Фредди краем глаза увидел красивую, но тощую смуглую девчонку, сидящую в кресле с продавленной подушкой из-за прорванных снизу ремней. Волосы у нее были уложены рядками с лысыми промежутками, а сидела она в блестящем дождевике, даром что была в помещении. Самое странное – она уставилась прямо на него с Пэтси, с улыбочкой и небрежно положив руку на подвернутую под себя ногу, так что казалось, будто она не только могла их видеть, но еще и получала от этого удовольствие. Мысль, что за ними наблюдает молодая девушка, придала Фредди дополнительный заряд энергии, хотя он и знал, что ему не кончить раньше назначенного времени. А кроме того, ощущение вины из-за ее возраста затушило молнию возбуждения, что сперва подарила цветная девица. Она казалась не старше шестнадцати или семнадцати, несмотря на потасканный вид, – вчерашний ребенок. К счастью, когда Фредди в следующий раз откинулся с Пэтси настолько, что мог снова поймать ее краем глаза, девицы и след простыл, так что он сосредоточился на деле как следует.

Но где же он ее недавно видал, эту девчушку? Откуда-то лицо было знакомо, это точно. Наталкивался на нее сегодня? Нет. Нет, смекнул, откуда. Это было вчера, когда время шло к обеду. Он был под портиком церкви Петра. Там лежал мальчишка, живой, спящий и пьяный, так что Фредди заполз к нему и прилег рядом. Мальчонка был совсем юный, с жирными волосами, в большом мешковатом джемпере из шерсти и таких ботинках, которые еще называли «бамперы», и Фредди решил, что спящий не будет против, если он

приляжет рядом просто послушать дыхание – очень уж скучал Фред по этому звуку. Он провел там час-другой, когда услышал, как по Лошадиной Ярмарке и мимо церкви, приближаясь, цокают высокие каблуки. Он сел и увидел ее – девчонку, которая только что наблюдала за ним с Пэтси с фантомного кресла. Когда она проходила мимо, а под юбкой туда-сюда двигались ее голые коричневые ножки, она его не заметила, но что-то подсказало, что могла и заметить, и Фред решил лучше убраться подобру, пока она снова не обернулась. Вот где он ее видел. Вчера, не сегодня.

Приближался его момент. Пэтси начала кричать в оргазме.

– Да! О да! О блядь, я умираю! Сейчас умру! О боже!

Фредди еще думал о смуглой девушке с длинными ногами и возмутительно короткой юбкой, когда выстрелил в Пэтси три или четыре холодных струи эктоплазмы. Хоть убей – так сказать, – он был не в силах вспомнить, о чем думал, когда отстрелялся в тот первый раз, когда его сперма еще была теплой. Он вынул палец из ее зада, выскользнул капающим, сдувшимся пенисом и задумался о том, что хотя вещество, которым брызгал его член сейчас, было жидкостью похолоднее, чем семя когда-то, но выглядело оно в аккурат так же. Он заткнул поблескивающее разряженное оружие обратно в трусы и штаны, застегнул ширинку, пока Пэтси натягивала юбки и приводила себя в порядок. Обернулась к нему от каминной полки и зеркала. Оставалось произнести всего одну-две реплики диалога.

– Боже, чудо как хорошо... только не подумай, будто каждый день можешь сюда вваливаться. Это было единоразовое предложение. А теперь давай, лучше уноси ноги, пока соседи не принялись разнохивать. Наверняка еще увидимся в округе.

– Ну, увидимся – значит, увидимся, Пэтси.

Вот и все. Фред вышел через кухню на улицу, где уже оборвались вопли забоя из-за высокой кирпичной стены. Открыв калитку со двора, вышел в проулок, потом в задымленную зону отдыха – Сквер. Здесь он всегда и возвращался из воспоминаний в свое

существование в настоящем – стоя у входа в переулок и глядя на мгlistую игровую площадку с горкой и майским столбом, смутно торчащим в бурлящем смоге. Собственный майский столб Фредди уже впечатлял не так, как всего пару минут назад, когда бродяга стоял тут в прошлый раз. Опустив взгляд, он увидел, что снова вырос пивной живот. Обреченно крикнув, Фредди позволил пейзажу вернуться к тому виду, каким он был 26 мая 2006 года. Мигом сгнули тающие стены и качели, вспенился из ниоткуда закопченный кирпич, выстроивший из пустого места многоквартирники, и вот Фредди уже у закрытой арки, глядит на траву и пустую центральную дорожку, где еще слонялась собака-побирушка, что он видел раньше. Фредди она казалась взбудораженной, бегала туда-сюда, словно давно не опорожняла кишечник.

Фред ей сочувствовал. На удивление именно по этому ощущению, среди прочего, он скучал больше всего, – благословенное чувство облегчения, когда из человека могучим потоком выливалась вся зловонная отравка и гадость, чтобы смыться с глаз долой. Фред, наверно, страдал запором духа. Вот что держало его здесь и не давало двигаться дальше – он не мог просто расслабиться и разом избавиться от вонючей кучи. Фредди так и носил все в себе, все это говнище, отчего с каждым десятилетием чувствовал себя все тяжелее на подъем и раздражительнее. Он сомневался, что еще через век вообще будет чувствовать себя собой.

Он перешел через газон и поплыл по дорожке к пандусу мимо покрытой струпьями псины, которая отскочила и гавкнула на него дважды, пока не решила, что он не опасен, и продолжила нервно метаться взад-вперед. Войдя на Замковую улицу с вершины пандуса, Фредди пролетел по закрытой от большака дороге на Конный Рынок, а там повернул направо. Может, он и обещал Мэри Джейн наведаться попозже в «Веселых курильщиков», но это может обождать. Сперва надо посмотреть бильярд, в центре на Подковной улице, куда ранее он направил почтенного капеллана.

Фредди скользил вниз по Конному Рынку и с уколом стыда вспомнил, как некогда, прежде нынешней автострады, здесь стояли красивые домики, принадлежавшие врачам, стряпчим и прочим птицам высокого полета. Стыд, который его охватил, был вызван красавицами дочками некоторых джентльменов с этой улицы. А особенно одной, докторской дочкой по имени Джулия – к ней у Фредди были сильные чувства, хоть он с ней ни разу не заговаривал, лишь наблюдал издали. Он знал, что она с ним никогда и не заговорит, ни за что на свете. Вот почему и хотел ее изнасиловать.

Теперь он весь горел от одного только намерения, хотя так ничего и не сделал. От самой мысли, что он это обдумывал, даже начал планировать, как будет подстергать ее, когда она пересечет Конный Рынок по дороге на работу на Швецах, а затем схватит, когда она свернет на привычный маршрут у Садов Святой Катерины. Он даже однажды встал с петухами и отправился поджидать, но когда увидел ее, то пришел в чувство и сбежал, весь в слезах. Ему было восемнадцать. Вот твердый и тяжкий стул, что он носил в себе и не мог выдать, – самый твердый и тяжкий из всех.

Фредди перешел Лошадиную Ярмарку у основания, сперва подождав, пока светофор сменится с серого на серый, чтобы идти вместе с другими людьми, хотя ему это и не требовалось. Проплыл на Подковной улице через продолжение ревущего металлического водопада, изливавшегося из Конного Рынка, затем поворотил направо и направился в центр и бильярдный зал. По дороге Фредди прошел мимо и частично сквозь пухлого малого с кудрявыми белыми волосами и бородкой, с глазками за очками, в которых мелькали попеременно то самодовольство, то опаска. Этого Фред тоже узнал и принялся вспоминать. Их встреча случилась несколько ночей назад, около четырех утра. Фредди с ленцой кружил по предрассветной Лошадиной Ярмарке, просто наслаждаясь безлюдностью, когда услышал зовущий мужской голос, боязливый и дрожащий.

– Эй? Эй, вы? Вы меня слышите? Я что, умер?

Фредди обернулся, чтобы узнать, кто прервал его ночные блуждания, и увидел толстого коротышку – того самого, которого только что задел среди бела дня на углу Золотой улицы. Пятидесятилетний мужчина при очках и бородке стоял в ранний час на свободном от движения пустом горбе Холма Черного Льва в одних только майке, трусах и наручных часах. Он нервно всматривался во Фредди с потерянным и перепуганным видом. Фредди решил на миг, что человек недавно оставил жизнь, вот потому и кажется сбитым с толку, стоя в свете фонарей и тенях, пока улица и здания вокруг сгущаются в формах разных веков. Затем, обратив внимание на то, как одет ротозей – в одно нижнее белье, – Фред понял, что это кто-то спит. Неприкаянные поголовно разодеты в самое лучшее, о чем помнят, и даже те, кто мертв всего десять минут, не будут шарахаться по округе в грязных заляпанных трусах. Как завидишь кого голого, в трусах или пижаме, можешь не сомневаться, что он еще дышит, просто ненароком наткнулся на эти края во сне.

Фред тогда невзлюбил мужичка, нарушившего славную одинокую прогулку, и решил нагнать на него страху. Нечасто выпадает случай произвести памятное впечатление на тех, кто еще там, внизу, в маете бытия, а кроме того, этот напыщенный выскочка и сам напросился. Поразмыслив, стекая по склону Подковной улицы навстречу бильярдному залу, Фред признал, что шутка, которую он той ночью сыграл над соней, выдалась злой – он бросился на малого бурным жутким облаком размазанных остаточных изображений, – но стоило об этом вспомнить, как его так и пробивало на смех. Такова уж жизнь, наконец заключил он. И шуток бояться – в жизнь не рождаться.

Он незамеченным проскользнул в бильярдный зал и там нашел дорогу вглубь и наверх, на последний этаж. Оттуда поднялся еще выше – по-настоящему наверх, – воспользовавшись тем, что такие, как он, звали глюком; в этом случае он был спрятан в углу чулана, при неведении живых хозяев. Сразу за четырехмерным порогом

гляка шла лестница Иакова с затертыми старыми половицами, которая, как знал Фред, вела до самого верха. Но все равно полез, памятуя, что ему надо сойти на полпути. Не придется и близко подбираться к верхним балконам – Чердакам Дыхания. Не придется переживать, будто забрался выше головы.

По лестнице Иакова – конструкции как будто намеренно несподручной, помеси обычной и кровельной лестницы, – всегда подниматься неловко и утомительно. Ступени у нее не больше пяти сантиметров в глубину, а в высоту – добрых полметра. Приходилось карабкаться, прямо как по приставной лесенке, как бы вертикально и на четвереньках, работая и руками, и ногами. С другой стороны, повсюду окружали стены в белой штукатурке, и лестничный колодец был не шире полутора метров, с наклонным крутым потолком над самой головой, тоже в белой штукатурке. Нелепая непрактичность подобного угла лестничного пролета будто вышла прямым из снов – Фред думал, так оно и есть. Чей-то сон, где-то, когда-то. А на узких, как карнизы, деревянных ступенях под кончиками пальцев рук и ног – очередная сновидческая деталь: старый ковер, коричневый с темными завитушками цветочных узоров, поблекших почти до невидимости, и укрепленный потертыми латунными прутьями. Пыхтя от, можно сказать, духовных усилий, Фред все карабкался и карабкался.

Наконец он достиг истинной вершины этого скалолазного предприятия – высшего бильярдного зала, – и ввалился через люк в заставленный пыльный кабинет, который выходил в главное помещение с единственным гигантским столом для снукера – столом расширенным и удлинненным. Если судить по следам в слабо фосфоресцирующей лунной пыли на грязном паркете и гомону, что слышался из главного зала, открывая скрипучую дверь кабинета, то все говорило, что он припоздал. Сегодняшняя игра уже началась. Фредди прокрался на цыпочках по краям огромной темной игровой, стараясь не сбить игроков с удара, и присоединился к маленькой

кучке зрителей в конце комнаты, наблюдающих с отведенного места за профессионалами в деле.

Так уж все устроено. Таковы правила заведения. Неприкаянных, вроде Фредди, привечали в качестве гостей и болельщиков, но не игроков. Если честно, никто бы сам и не взялся играть – с тем, что на кону. Нервы были на пределе от одного только взгляда сквозь пальцы на обширный стол в ярком столпе белого света, падающего сверху, где шло состязание. Вокруг сукна ходили туда-сюда принимающие участие зодчие, излучая уверенность, натирали алебастровые кии мелом и настороженно изучали непростые углы, шагая вдоль границ стола в семь метров с половиной длиной и три с половиной – шириной. Только зодчим дозволялось играть в снукер – или как там называлась их изощренная версия игры. Сброд вроде Фредди переминался тихой толпой в дальнем конце и изо всех сил старался не охнуть и не ойкнуть слишком громко.

В толкучке сегодня были лица, которые Фредди признал. Например, Трехпалый Танк, владелец лотка на Рыбном рынке, и Нобби Кларк, разодетый в костюм Грязного Дика [\[20\]](#), который он надевал на велопарад, со старым плакатом с рекламой мыла «Пирс»: «Десять лет назад я попробовал ваше мыло и с тех пор другим не пользовался». И как только Нобби заволок его по лестнице Иакова, подивился Фред. Заприметил он на периметре толпы Джема Перрита, с наслаждением наблюдавшего за снукером. Фредди решил, что стоит присоединиться к нему.

– Здравствуй, Джем. В обед видал тебя сегодня на Мэйорхолд. Бесси везла тебя домой, пока ты задавал храпака, – Бесси звали призрачную лошадь Джема.

– А-а. Захаживал в «Курильщикова», хлебнуть Пакова пуншу. Никак переутомился от стараний. Тада-то ты мя и видал окрест Мэрролд.

Джем говорил с настоящим говором Нортгемптона, правильным акцентом Боро, которого больше в округе не услышишь. На жизнь – когда у него еще была жизнь – Джем – жилистый малый работающего вида с носом крючком – зарабатывал торговлей древесиной; его

темный и меланхоличный силуэт вечно сидел на козлах телеги с поводьями верной Бесси в руках. В эти дни работой Джема, хоть и не заработком на жизнь, стало ремесло искателя необычностей и коробейника фантазмагорий. Они с Бесси обходили менее физические территории округа, а Джем собирал артефакты-привидения, буде такие попадались по дороге. Это могли быть и брошенные призрачные одежды, и яркое воспоминание о чайной коробке из чьего-нибудь детства, а могла быть и вообще какая бессмыслица, оставшаяся после чужого сна. Фредди помнил, как Джем однажды нашел что-то вроде загнутого альпийского рожка, выделанного в виде длинной рыбы во всех подробностях, но с хоботом, как у слона, и полосками по бокам из чего-то вроде стеклянных глаз. Они пытались на нем сыграть, но труба оказалась напрочь забита опилками с забавными пластмассовыми побрякушками. Несомненно, она присоединилась к другим курьезам в призраке дома Джема, на середине призрака Школьной улицы. Сейчас – когда бы это ни было, ведь наверху этого по-настоящему не знаешь, – рыбный горн наверняка выставлен в переднем окне Джема вместе с фантомным мундиром гренадера и памятью о креслах.

Пунш из Шляпок Пака, упомянутый Джемом, – именно то, что можно подумать: что-то вроде алкоголя, который гнали из высших овощей и употребляли внутрь. Фред никогда его не уважал и слышал байки о том, как некоторые бывшие живые сходили от него с ума, и потому обходил пойло стороной. От мысли распасться и растерять всякие остатки личности до самого конца почти вечного существования у Фреда бежали мурашки по спине, которой у него больше не было. Но Джем все было как будто нипочем. Возможно, если Фред будет в духе, позже, когда он оставит бильярд и пойдет в «Веселых курильщиков», как обещал Мэри Джейн, еще принюхается к этому самому пуншу, распробует. От одного стаканчика не убудет, а до того можно расслабиться и следить за игрой.

Он стоял в тени рядом с Джемом и остальными, разделяя благоговейную тишину потрепанного сборища. Фредди прищурился, изучая стол в луче света и тотчас понял, почему этим вечером зрители казались необычно увлеченными. Четверо игроков вокруг бильярда были не обычными зодчими, если зодчих вообще можно назвать обычными. Эти ребята были четырьмя бригадирами, мастерами-зодчими, а значит, сегодняшний матч – не шутки. Считай, чемпионат.

Обходя массивный бильярдный стол босыми ногами, старшие зодчие в длинных белых балахонах оставляли за собой следы, хотя не такие, как у Фредди и его друзей. У Фреда и остальных в испаряющемся хвосте, что они волочили за собой, были лишь блеклые серые снимки, тогда как зодчие выжигали воздух после себя, от них оставались пылающие образы, как если посмотреть на солнце или уставиться на нить накаливания лампочки, а потом закрыть глаза. Такими были «обычные» зодчие, но сегодняшний квартет казался вдесятеро хуже, особенно вокруг голов, где эффект был еще отчетливей. Сказать по правде, на них было больно взглянуть.

Безразмерный стол, за которым они играли, имел всего четыре лузы, по одной в каждом углу. Так как он стоял параллельно стенам клуба, Фред знал, что углы приблизительно соответствовали четырем углам Боро. В обильно лакированной древесине стола над каждой лузой виднелся символ. Их грубо вырезали посередине деревянных дисков, украшавших четыре угла, безвкусно выбили, словно метки бродяг, но при этом выложили золотом, словно самое драгоценное и обожаемое священное писание. Символ в юго-западном углу был детским наброском башни замка, а в северо-западном оказался здоровый член, какие рисуют на стенах туалета. Приблизительное изображение черепа обозначало северо-восток, а на юго-востоке – в углу, ближайшем к месту, где стоял он с Джемом, – Фред увидел скособоченный крест. Так как стол был больше обычного, то и шаров в игре участвовало много, и хорошо,

что зодчие объявляли цвет шара, по которому били, потому что Фредди и его друзьям все казалось серым, черным или белым.

По правде говоря, Фред никогда по-настоящему не понимал, во что играли зодчие – не понимал головой и не смог бы объяснить правила, но эмоционально, нутром, так сказать, знал, что игра за собой влечет. Четверо игроков били по очереди, каждому отводилась своя угловая луза, а целью было загнать в нее все шары, какие можешь, не дав оппонентам достать те шары, на которые они положили глаз. Наблюдать за игрой было приятно хотя бы потому, что шары оставляли за собой следы, когда летели по сукну или сталкивались друг с другом, рикошетили от борта в остроугольных пентаграммах пересекающихся траекторий. Но еще больше волновало и тревожило то, что каждый шар обладал своей аурой, и ты понимал: он что-то или кого-то обозначает. Пока стоишь и смотришь, как они скачут и катаются по столу, в голову, прямо в мысли, самой собой приходит озарение, что значит каждый из них. Фредди сосредоточился на сегодняшней игре.

Самая заваруха происходила на восточной половине стола – по счастью, на этой стороне и находилась публика с Фредди и его собратьями. Западные зодчие, стоя у луз с членом и замком, как будто на время остались не у дел и опирались на кии, пристально наблюдая за тем, как бились их коллеги у восточных углов. Фред все смотрел, уже давно забыл, как дышать, а зодчий, игравший в юго-восточную лузу, с крестом, готовился нанести удар. Из четырех мастеров, собравшихся за игрой этой ночью (и насколько Фредди знал, в этой лиге их только четверо и было), юго-восточный был среди местных популярнее всех, ведь остальные трое были неместными и редко появлялись в окрестностях. Местный любимчик был крепким, дюжим малым с белыми волосами, хотя лицо его казалось молодым. Звали его Могучий Майк – так слышал Фред. Он так славился своей игрой в снукер, что о нем прослышали даже ребята внизу, в жизни, даже поставили в честь него статую на двускатной крыше Гилдхолла.

Сейчас он припал к сукну, низко склонившись над кием, прищурился, смотря вдоль него на шар, в котором даже Фредди узнал белый. Этот белый шар и представлял, как понял Фредди, кого-то белого, о ком Фредди ничего не знал, разве что он не из этих краев. Белоголовый зодчий по имени Могучий Майк теперь объявил: «Черный в угол креста», – а затем раз ударил кием, резко, по белому шару, послал его на огромной скорости через простор необъятного стола, а тот оставил за собой след словно из ярких жемчужин, тесно нанизанных на нитку. Шар ударился в западный борт стола... вроде бы он представлял всех тех, кто уехал отсюда в Америку после Гражданской войны с Кромвелем, так показалось Фредди... затем столкнулся с черным шаром, в который и целился беловолосый ремесленник, с резким стуком, прозвеневшим на весь тусклый зал. Черный шар, с внезапной ясностью осознал Фредди, – это Чарли Джордж, Черный Чарли, и Фред испытал необыкновенное облегчение, которое и сам не мог объяснить, когда шар аккуратно упал в юго-восточную лузу, где на круглой выпуклости с краю стола был халтурно вырезан золоченый крест.

Местный герой с волосами цвета мела изобразил то, что повторяли все зодчие, когда любому из них удавался успешный удар: воздел оба кулака над головой со все еще зажатым кием и издал восторженное «Да!», прежде чем одновременно уронить руки по бокам. Так как обе руки оставляли в пространстве раскаленные добела следы и при подъеме, и при падении, конечным эффектом стали горящие зубцы, раскинувшиеся вокруг него в виде сияющих распушенных крыльев. Странно, что зодчие делали так всякий раз, когда любому удавался успешный удар, как будто по природе своей игра не требовала соревнования друг с другом. Когда черный шар угодил в юго-восточную лузу, они все разом, по четырем углам стола, подбросили руки в воздух и воскликнули в ликовании «Да!». Теперь, судя по всему, пришел черед зодчего за северо-восточным углом бить в лузу, украшенную черепом.

Зодчий был чужеземцем и далеко не так любим зрителями, как Могучий Майк. Фред слышал, что его звали каким-то там Юрием, и в его лице были такие жесткость и целеустремленность, что Фред не удивился бы, если бы тот оказался русским. Сам он был смуглый, а волосы его короче, чем у местного любимца. Он долго обходил край стола в поисках самой удобной позиции, склонился над кием и прицелился в белый шар. Как бывает с голосами всех зодчих, когда он заговорил, послышалось странное эхо, которое дробилось на кусочки и дрожало, пока не становилось звенящим ничем.

– Серый в угол черепа, – вот приблизительное значение того, что он молвил.

Становилось интересно. Фредди не понимал, кого ему напоминает серый шар. Кто-то лысый, даже лысее Фредди, а еще кто-то серый – серый в моральном смысле, и возможно, тоже серее Фредди. Мрачный зодчий русской внешности нанес удар. Белый шар размазал по столу бледный кометный след, чтобы громко треснуться о другой шар – его цвет Фредди не разобрал. Тот ли это серый, который наметил Юрий-как-его-там, или другой? Какого бы цвета ни был, он и отлетел в угол, помеченный черепом.

О нет, вдруг подумал Фред. Ему только что пришло в голову, кого представляет мчащийся шар. Молоденькую смуглую девчужку с красивыми ножками и жестким лицом, которую он видел вчера днем у церкви Петра и еще раз сегодня, когда она наблюдала за его свиданием с Пэтси на Банной улице. Она отправилась в угол черепа, и Фредди знал, что для бедного дитя это не значит ничего хорошего.

На волоске от бездны под головой смерти летящий шар соприкоснулся с другим. Этот-то, подумал Фредди, и был тем самым серым, который объявил своей целью игрок русского вида. Его столкнуло в лузу под начало Юрия-как-его-там, вслед за чем Юрий и остальные мастера взметнули руки в ослепительном веере оперенных лучей и в унисон прокричали свое «Да!» с дробящимися, измельчающимися реверберациями. Но крик так же внезапно угас, когда все заметили, что шар, которым Юрий отправил в лузу серый,

теперь сам завис на краю. Он у Фредди ассоциировался с виденной ранее смуглой девушкой. Плохо дело. Мрачный игрок, который только что бил, пригляделся к шару, балансирующему на краю лузы с черепом, что он выбрал своей, затем посмотрел через стол на Могучего Майка, местного беловолосого чемпиона. Метнул в него холодную улыбочку и принялся наигранно натирать мелом кий. Фред его возненавидел. Как и зрители. Он был как Мик Макманус или еще какой злодей из реслинга, которого зрители освистывают, – хотя, конечно, в этом случае не осмелятся, несмотря на бурю чувств. Зодчих не освистывал никто.

Теперь настала очередь бить всеми обожаемому белоглавному крепышу, но вид у него был озабоченный. Оппонент явно задумал следующим же ходом положить зависший шар в собственную лузу, если только Могучий Майк не сумеет вывести его из-под удара. Но он был так близок к отверстию, что мог упасть вниз от легчайшего дуновения. И не подступишься. Фред так испереживался, что едва ли не слышал, как сердце бьется в груди. Местный герой нарочито медленно обошел кругом чудовищный стол для снукера, занял позицию на противоположной стороне и присел, чтобы сыграть чреватую опасностями и важную игру. При этом он посмотрел из-за сукна прямо в глаза Фредди, и тот едва не подскочил от неожиданности. Взгляд был хладнокровный, тяжелый и явно неслучайный, так что даже Джем Перрит, стоявший подле Фреда, повернулся и зашептал:

– Гля-к, Фред. Верхи на тя глаз ложат. Эт че ты там натворил?

Фред оторопело покачал головой и ответил, что ничего не натворил, на что Джем склонил голову и взглянул на Фреда с подозрением и лукавством.

– Ну а че тада бушь натворить?

Фред не знал, как на это ответить, и оба обернулись обратно, смотреть, как делает удар зодчий. Тот уже не смотрел на Фредди – его глаза зафиксировались на белом шаре, насчет которого он делал прикидки. Среди толпы наблюдателей стало так тихо, что было бы

слышно упавшую иголку. Это же связано со мной, подумал Фред. Как он на меня только что посмотрел. Это связано со мной.

– Коричневый в лузу креста, – сказал беловолосый мастер, хотя на самом деле то, что он произнес, было куда многосложней.

Его кий выстрелил прямо – боксерским джебом – и белый шар, оставляя за собой поток лопающихся пузырей от остаточных изображений, полетел вперед. Громоподобно припечатал еще один, чей серый цвет был слегка теплым и показался Фредди красным, и отправил его, как ракету, прямо между коричневым шаром и лузой-ловушкой со звуком, отдавшимся болью, так что вся потрепанная публика разом дрогнула. Коричневый вылетел в юго-восточный угол стола к лузе, помеченной крестом, подобно шаровой молнии, и тут все в зале – не только четверка в робах за столом – подбросили руки над головой и единогласно прокричали «Да!» Единственной разницей между игроками и зрителями было то, что веерные фигуры первых были ослепительно-белыми, тогда как у публики они оставались серыми и больше напоминали голубиные крылья. Продемонстрировав столь впечатляющий удар, беловолосый зодчий снова посмотрел прямо в глаза Фредди. В этот раз перед тем, как отвернуться, он улыбнулся, и по Фредди с головы до пят пробежала восторженная дрожь.

Когда возможности для игры на восточной стороне стола, очевидно, исчерпали себя, подошел черед вернуться в дело двух мастеров с западной стороны. Фредди понятия не имел, что только что произошло между ним и ледовласым игроком, но все равно чувствовал возбуждение. Ему не терпелось досмотреть, как пройдет остаток чемпионата, а затем направиться в «Веселых курильщиков» на Мэйорхолд, чтобы сдержать слово, данное Мэри Джейн. Фред разулыбался и оглядывался на остальных конченных людей с конченной жизнью, которые тоже улыбались и пихали друг друга под ребра, шепча в изумлении от ошеломительного удара виртуоза, исполненного у них на глазах.

Похоже, сегодня будет та еще ночка.

Место обозначено крестом

О той поры как оставил он за спиною утесы белые, шел он римскою дорогою иль тряся на ухабах, лежа в телегах, буде удача на его стороне. Видел он ряд понурых деревьев, точно тягченные уловом удила у реки. Видел он великого красного коня из соломы, полыхающего за полем мгlistым, и видел голых персей немало, тем разом как дразнили его блудницы у кабака недалече от Лондона. В ином кабаке на виду был дракон, в яме выгребной выловленный: приплюснутый броненосный змей о зубищах и глазищах страхолудных, но лапами короче ножки стула. Видел он узкую речку, запруженную скелетами. Видел он, как средь кивающих полей ячменя сонм в сотню грачей ринулся и убил одного из их числа, и другим разом казали ему тис, на коре коего проступил лик Христов. Имя ему было Петр, но прежде звался он Эгбертом, а во Франции окрестили его Le Canal, что на их наречии «канал» означало, за то, как он потел. Было это в год осьмисот десятый от Рождества Господа нашего, в канун дня весеннего равноденствия – Vernal Equinox.

Он обогнул полмира, ступал по окраинам Византии и следовал по стопам Карла Великого, крылся в тени языческих куполов в Испании, где внутри мириады звезд синих рассыпаны и нет креста ни единого. И вот вновь он воротился к сим тесно опоясывающим горизонтам, к черной почве и серому небу, к суровой земле сей. Он возвратился в Мерсию и сотню Спелхоу [\[21\]](#), но еще не в Медешемстед – свою луговую родину в болотах Питерборо, где ныне его, должно, почитают за покойника и уже пустили в келью другого. Скоро, скоро ступит Петр на монастырскую землю, но вперед надлежит на совесть исполнить долг, который он взял на себя в странствиях своих. Содержимое джутового мешка на правом плече, где от долгого обременения уж натерлась мозоль, должно доставить точно и неукоснительно по назначению. Таков нарек, данный встреченным на чужбине другом, и ныне решимостью претворить их в жизнь

ведом Петр по сухой земляной тропе, с травинками острыми и былем по бокам, к мосту далекому.

Стопы холодила утренняя роса, подымая дух шерстяного жира с влажного влачащегося подола рясы. Безропотно держал он путь посередь гула и трепета трудолюбивого, чрез зеленый запах трав, по грудь доходивших. Впереди мало-помалу надвигался, мало-помалу рос деревянный мосток, что приведет к южному воскраию гамтунского села, и он ускорил ноги, схоженные в грубых веревочных сандалиях, с мыслию, что труд их к завершению близок – труд десяти солдатиков с пунцовыми и стертыми лицами в изнурительном походе, выступавших упорядоченными фалангами шаг за шагом, миля за милей. Под низким облаком застоялась духота, и упарился он под облачением: спину и живот покрывала корка соли, теплые ручейки натекали в складках паха и сбегали по внутренней стороне мясистых бедер. Томленный в собственном соку, медленно шагал он к берегу реки, сам серый как камни, окружавшие его в зелени.

Неподалеку от моста был широкий квадратный пригорок со следами угловатой канавы кругом, края и черты коей округлились веками наметей и зарослей. Пышная земляца казалась периною взбитую, где можно прислонить главу, но он заказал себе подпасть соблазну. Был тот бугорок в двадцать пять шагов длиной и двадцать пять шагов шириной, и казалось, будто служил он некогда основанием речного форта – быть может, еще временем римского гнета, когда подобные близстоящему укрепления украшали шейку реки Ненн, как обереги. На дне извилистой полосы рва, там и сям средь бурьяна и лужиц стоялых, копился всякий сор, навроде бараньего черепа и рваного кожаного башмачка, обломков дощника и дешевой брошки без застежки. Так проходит слава мирская, подумал Петр, но в глубине души обиновался, что новая Священная Римская империя, вопреки притязаниям своим, простоит хоть столь много, коль отведено было ее более приземленной предшественнице. Однажды, помышлял Петр, там, средь расколотых

посохов и комочков кроличьих говен, возлежать быти рукописям позолоченным и мантиям княжьим, когда время перемелет мир в единую кашу.

Минуя высокие дубовые стойки моста, ступил он на висящие бревна, крепко вцепившись рукою в толстую бечеву, равновесие храня, а вторую, как прежде, горловину джутового сака сжимаючи. Среди колебаний и скрипа замер он на мгновение на середине сооружения, по-над тиховодной бурой речкой на запад взглянув, где та изгибалась за купу плакучих ив и скрывалась из глаз. Там, на берегу излучины, вроде бы играли мальчишки – первые живые души, что повстречал он за два дня пешего пути, но далече, не кликнешь, и посему он лишь поднял руку, а они махали в ответ – как казалось Петру, ободрительно. Он продолжил путь с собравшимся в лютой нимб у чела его водяным гнусом, что тотчас рассеялся, лишь сошел он с противного конца моста и удалился от кромки реки по тропе, ведущей меж россыпи жилищ к южным воротам поселения.

Вырытые в земле, под камышовым кровом, остро торчащими над каждой уютной кущицей, лачуги погрузились в клубы грязные, из дыр извергавшиеся, что такой вид давали, будто дома из дыма сложены, а не палок и глины. Из одного чадного гнезда в мир выходила старуха и ухмыльнулась остатними зубами, завидя его, покамест тяжело взбиралась по трем иль четверем плоским камням на ступенях из утоптанной грязи, что вели от крытой землянки. Кожа ее растрескалась подобно илу на дне пруда в засуху, а пепельные косы в пояс напоминали видом поникшие ивы, потому виделась она ему плоть от плоти тварью речною, коей место под мостом, нежели в обителище у сей пыльной тропы. Глас ее, когда отворила уста она, булькал от слизи и равно напоминал плеск воды, по камням ползущей. Очи ее были лукавыми панцирями улиток, влажными и поблескивающими.

– Ужо сволок?

Так рекущи, кивнула она, понятности ради дважды, на мешок, что лежал на раменах его. В бледных узлах ее волос что-то прыгнуло. Он

смешался и подумал было, что не иначе как ей известно о его паломничестве; затем же решил, что принят за того, с кем условилась она встретиться на пороге своей неказистой хижины, либо что безумна она. Не зная, что и думать, лишь воззрился он на старуху и недоуменно покачал головой, за что вновь та нагнала жути своею улыбкою беззубою, забаву там найдя, где он не видел и ее помину.

– То, што о четырех углах, но метит середину. Ужо сволок?

Он не мог уразуметь слова ее, мог лишь вызвать в мыслях расплывчатый образ, ничего ему не говоривший, – манускрипта страницу с заложенными к центру углами. Петр непокойно пожал плечами и решил, что не иначе как кажется ей недалеким.

– Добрая женщина, неведомо мне, о чем ведешь ты речь. Я пришел сюда из-за моста, на пути издалече. В твоих краях не бывал я ране.

Теперь настал черед карги качать главой, и косы грязные колыхнулись подобно мавританской занавеси из бус, а ухмылка скверная не сошла с прежнего места.

– Мово мостка ты не прешел, нет ишо. Инда форт мой не минул. И знакомый ты мне сыздавна, – с этими словами она воздела руку, аки хрупкую клешню, и хлестнула ему по розовой блестящей щеке.

Он сел.

Он почил на невысокой бровке рва, обегавшего древний речной форт, а южный конец моста стоял близ него по левую руку. В щеку, к земле припавшую, покамест Петр прикорнул, впился жук иль паук, и ощупью нашел он распухшую шишку, перст поднеся разыскать источник зуда назойливого. На миг он перепугался, заметив, что уже не держит джутового куля, но, найдя его на склоне сбоку, был покоен, хотя по-прежнему не мог опамятоваться после произошедшего. Он с трудом поднялся на ноги в ризе, волглой на заду от сырой травы, хмуро оглянул сперва останки римского секрета, а затем близстоящий мост, покуда наконец не разразился смехом.

Так, значит, это и есть Гамтун. Таков его нор, тако шутит он с путешественниками, кои было думали, что проникли суть его. В древнем сердце страны таилась от чужих очей ее необычайная неотъемлемая природа – лукавая, вкрадчиво дивная и грозная в прихотях, словно бы она сама не знала собственной устрашающей силы или же притворялась, что не знала. За блажным блеском глаз, за гнилой улыбкой, думал он, хранилось знание, что страна прятала проказами, ужимками и призраками. Разом чудовищная и игривая, старая даже в обличье своих ужасов, – что-то в ее натуре не то пугало, не то восхищало Петра, хотя он все же посмеивался, даваясь диву от ее вызывающей причудливости. Тряхнувши кудрявой седеющей головою, добродушно признавая, как потешно его провели, он снова закинул груз за спину и направился к мосту – по его счету, во второй попытке.

На сей раз сооружение оказалось целиком из дерева – прочный горб, изгибающийся над мутным потоком, опершийся на крепкие сваи, а не висящий на вервее, как в наваждении. Хотя Петр мог утешить себя тем, что вокруг гудящей тучей как прежде кружил водяной гнус, а когда Петр замер на середине и взглянул на запад, над извивом реки как прежде кручинились ивы, хоть под ними и не резвились дети. Над головой обращался великий диск небес со скомканным руном, что растрепалось в длинные очески на краю кругозора, и он продолжал путь чрез реку с развевающейся назади пышной бородой из мошкары.

По обочинам хоженной тропы, стелившейся от моста до южных ворот, не виднелись земляные домишки, лишь делянки турнепса с гребенкой вязов и берез за ними по обе руки. Опушку тут и там прерывал гнилой пень, так что наводила она на ум призрачное подобие улыбки карги из грез, ино теперь ее знающей насмешке вторил окружавший пейзаж – или так уж он себе вообразил. Петр решил не потакать мысленным играм теней, так что обратил свой взгляд от природы, замечая взамен истинно земной лужок под ногами, обыденный и покрова тайн лишенный. На стебельках

трепетаящих кивал первоцвет, или же «коровяков цвет», – зелено-золотой, как навоз, за что и заслужил свое прозвание, – и слышались трели жаворонков в травах, обрамляющих посаженный урожай. Славный денек для завершения странствия, и никаких привидений, не считая тех, что он сам нес с собой за компанию.

Округа эта лежала там, где река, несущая воды с запада на восток, вдруг юлила к югу, свисающий кус земли оставляя, прежде чем возобновить свой путь, – опухоль, как на ужаленной ланите Петра. Через мыс прокопаны были четыре канавы – должно думать, ради орошения, – перекинутые бревнами широкими, которые бревна был принужден он перейти, неловко шатаясь, одной рукой драгоценную ношу к сердцу прижавши, а вторую выкинув далеко на отлет и болтая вверх-вниз для равновесия, прежде чем подступиться к южным воротам Гамтуна. Те чуть выдавались из палисада высоких и прочных шестов, забравшего село с юга, и имели при себе на страже единственного тощего детину вида сумрачного, державшего копье. Серым пятном у губ его напылилась борода одного дня роста, отчего был он ликом схож с псом облезлым и равнодушным. С ленцой к воротам привалившись, он не удосужился приветствовать гостя, а только наблюдал за приближением монаха взором безучастным, тем приневолив Петра представиться.

– Исполать тебе, мо́лодец. Я брат благословенного Бенедикта из ордена в Медешемстеде, что у Питерборо, недалече отсюда. Идущу мне за морями и за долами, я послан был в Гамтун, куда несу дар...

Он копался в котомке, готовый извлечь на свет Божий ее содержимое в доказательство, когда сторож отвернулся от створок, сплюнул ярко-зеленую харчу бледными нитями, затем вновь взглянул на Петра и грубо оборвал на полуслове.

– Тама топор?

Голос караульного был скучливым, без подлинного любопытства, и бубнил он отчасти из-под длинного клюва носа. Петр оторвался глазами от темного устья джутового мешка и глянул на вопрошающего, недоумевая и удивляясь.

– Топор?

Привратник многосложно вздохнул, подобно родителю, дитя неразумное устало научающему.

– Ну. Топор. И ежели я тя пущу, падешь им бошки мозжить, мужиков живота лишать да детвору и баб насильничать, а опосля нас огнем пожжош?

Тут Петр лишь моргнул недоуменно, затем впервые заметил, что по стене и ближайшей верее от основания до почти самой верхушки тянулись рвано-волнистые языки сажи. Он перевел взгляд обратно на вялого дозорного и в исступленном отрицании затряс головой, вновь потянувшись в мешок, дабы достать свое сокровище, на сей раз для успокоения.

– О нет. Нет, не топор. Я божий человек, и все, чего ищу я ...

Приставник с измученным выражением затворил скорбные очи и поднял перед пилигримом ладонь, не сомкнутую на древке копья, небрежно махнув из стороны в сторону в отказе видеть, что крылось в узле Петра.

– А хоть бы леву ногу Иоанна Христителю – лишь бы бошки евойным мослом не мозжил да головней нас не запалил, пожару для. А не дале как тем месяцем хаживал тут один кое-какой, навроче тебя, с черепком Хасподним, и я спрашал, почто, мол, он крохотный такой, а он мне – мол, это Христов череп, когда тот был совсем ди тятком. Слыхивал я, добры люди, што у церкви Святого Петра живут, в навоз да деготь его макнули да услали в слезах восвояси.

Теперь его глаза, не моргая, вперились в монаха, словно рек он простые истины, не требуя при том от Петра иного ответа, кроме как ступать своею дорогою и оставить вратаря на тоскливом посту у турнепсовых грядок.

– Тогда благодарствую за совет. Нипочем не стану торговать мощами, равно пребуду добрым человеком и не стану мозжить голов либо предавать народ лютости да пожарам, даже по недогляду, покуда не миную Гамтун. Будьте здоровы.

Охранник обратил взоры на далекие вязы и буркнул что-то неразборчиво, что кончалось словесами «...иди быка подои», и так Петр снова взвалил вьюк на натертое плечо и вошел чрез притворенные ворота на дорогу к холму, что взбиралась от моста к верхним пределам поселения. Здесь вдоль косо́й улочки встречал он ряды окопавшихся домиков с соломенными крышами, видом сродни землянке ведьмы из мо́рока, но не столь дымом окутанные. И несколько обитателей лачуг, попавшихся на глаза, были без причуд, а сходили обликом за обычных мужей и дев, в шапках и чепцах, тянули за собой по переулкам детей, телеги или псов либо же трусили на кобылах, щедро унавоживающих колеи. Однако разум его еще занимало уделенное видение, и потому решил он не почитать местных за простой люд, покамест не уйдет из них целу. Он брел по дороге, обойдя лужу, какую давешний дождь и мимопроходящие кони сговорились превратить в мерзкую тряси́ну. Невдалеке за хижинами, направо от Петра, вместе с ним к вершине холма на севере взбирался частокол – восточная стена поселения.

За зарывшимися домами, одаль на некошеном склоне, имелись жилища и повыше, хотя и в немногом числе, а близ стены с воротами он прошел мимо земли, где на отшибе стоял чумной сарай: там промеж костерков, ядовитые гуморы в воздухе очищать предназначенных, лежали те, кто стenal, и много хуже – те, кто молчал. Некоторые фигуры казались незаконченными из-за того, что члены у кого сгнили, а у кого были отсечены – не иначе в злосчастной оказии, – и меж циновками туда-сюда ковыляли старухи-ведуньи с лицами, отмеченными хворями, кои они на своем веку пережили и коих не страшились боле. Петр преисполнился благодарностью, что сегодня ветер дул с запада, но с предосторожностью оборотил лицо от больных, их минуя, и далее подымался на холм, где дюжинами бурлили люди, чего ему давно не доводилось видать. Под конец пути его схватила одышка из-за душного дня с теплом, спертым под низким одеялом неба, и Петр потел поверх старого пота, и все же было ему отраднo вновь ходить

среди мужчин и женщин, и пребывал он в благом расположении духа, с непривычки дивясь великому людскому разнообразию.

Старики, морковные носы которых едва не упирались в торчащие подбородки, тягали сани, наваленные дубовыми поленьями, обратные стороны коих поленьев темно-красными были и кишели комашками. Петру пришлось ждать на углу перепутья у элеварни с высокими каменными стенами, пока мимо грохотала влекомая лошадей телега, наложенная лоханями свежедобытого мела, и состарила всех за спиной в клубящейся взвеси на десять лет в толико же мгновений. Наконец прейдя поперечную улицу, чтобы на холм подняться, бросил он взгляд вослед уходящей лошади и повозке. По бокам ее было еще грубых жилищ немало, а одаль – черный тернистый кустарник, где увидал Петр мать со стайкой детей, аккуратно выбирающих что-то среди колючек и складывающих находки в кошелку на плече женщины. Он предполагал, что они собирают хлопок и что это семья жившего поблизости шерстяника [22] – столь оживленным и предприимчивым ему показался городок на холме.

И он этому дивился, шагая по склону к перекрестку на его верху. Когда был он мальчишкой по имени Эгберт и рос в Хелпстуне близ Питерборо, а позже остригся в том же Питерборо и принял имя Петр, он слышал рассказы о Гамтуне, но изредка. У него слагалось впечатление, что город всегда был здесь, но и каким-то нездешним, и был замечателен только тем, что никто его не замечал. Вестимо, в этих краях бывали римляне, а до того, верно, дикие племена, но больше о Гамтуне никто ничего не знал, кроме летучих слухов о месте, куда никто не ходил. Найдя здесь меновую торговлю и суматоху, восхотелось не без причины любопытствовать, отколе все это взялось. Словно бы когда с земли после кончины Рима наконец спали ночь и зима, они вдруг разоблачили Гамтун, уже шумящий в настоящем виде, явившийся из пустоты и с тех пор процветающий на высоте. И по-прежнему обходимый молчанием.

Петр ведал, что король Оффа, когда не копал свой великий ров на краю Мерсии с Уэльсом, сеял по этим землям новые городки, пускавшие теперь всходы, но Гамтун был не из их числа и носил меты дряхлых времен. Сохранил Оффа и Торп, село на северном конце города, которому ближайшим рынком сбыта служил Гамтун, однако Петр полагал справедливым, что свое выдающееся положение Гамтун заслужил еще прежде владчества Оффы. Петр упомянул, как его дед в Хелпстуне упоминал о значимости сего края, когда правил еще предшественник Оффы, Этебальд, – да и того раньше, во мраке седой старины, люди знали о местном поселении, вот только сами не знали, о чем знали. Быть может, Гамтун подобен кругу, очерченному куском мела по нитке: у него замечают только периметр, а центр, на коем основана вся фигура, небрегут вовсе или принимают за дырку, как у калача. Но как же в пустой дырке может разразиться столь бурная деятельность?

Проходя давеча Вулич, к востоку Лондона, Петр повстречал гуртовщика родом из этих краев, который, раз прослышав, куда намерен податься Петр, сказал, что слышал о Гамтуне. Знал он его по большей части за овечьи отары, что гнали отсюда во тьмах великих, но прибавил, что в поселении стоит поместье какого-то из родни Оффы, с построенной вблизи собственной славной церковкой. Ежели глаголал он правду, то, мыслил Петр, быть им во глуби города, какую он еще не повидал, хотя может статься так, что вся земля вокруг Петра принадлежала поместью, и, вернее всего, хозяин имал свою долю от дохода горожан при посредстве так называемого Фрит-Бора – этакое десятичника, сборщика податей. Интуиция по сию пору не плошала, думал Петр, ежели довела до града, хотя все указания он получал на чужом наречии, которое понимал не вполне, – безотлагательные и расплывчатые увещания, что предмет в мешке должен быть доставлен «в центр твоей земли». Он знал, что Мерсия – сердце Англии, а увидав толпы людей в работе и досуге вокруг, удостоверился, что, в свой черед, нашел сердце Мерсии. Но где же, задумался он, сыскать сердце Гамтуна?

Теперь тропа его от моста достигла перекрестка, где косогор выравнивался, прежде чем вновь круто взобраться на север. Облегчив плечо от ноши, Петр озирался, набираясь и сил, и знаний об округе, и отер мокредь со лба шерстяным рукавом. Впереди тропа, которую топтал Петр, за большей частью шла ровно, но потом возобновляла многотрудный подъем мимо хижин и сараев, где, судя по запаху, жили дубильщики, тогда как слева и ниже по холму, куда тянулась вторая дорога перекрестка, дымили кузни и неслись звонковки горячего металла. По правую руку, за домами и загонами со свиньями, курами и козами, стояли открытые восточные ворота поселения, за дощатым зевом которых виднелась построенная из дерева церковь, вне пределов Гамтуна. Петр радушно привечал шедшую мимо женщину и, когда та улыбнулась в ответ, спрашивал, что известно ей о церкви и не та ли это будет церковь, что принадлежит поместью. На шее женщины он заметил камень-талисман с узором, в котором признал руну, демону Тору посвященную, хотя и не думал, что это больше чем крестьянский оберег от бурь. Женщина покачала головой:

– Ты спрашаешь про церкву Святова Петра, она тама вон.

Тут она указала в сторону, из которой пришла, – на другую тропу перекрестка, за искрящие и пышущие горнила, – после чего вернулась взглядом к постройке у восточных врат, о которой сведывал Петр.

– А то бишь церква Всех Святых – ее срубили, еще када моя мама была дитятей. Ежли церквы ищешь, у нас того в достатке: Святова Хригория, што близ Святова Петра, аль старый храм на овечьей тропе, невдали по твоей дорожке.

Петр отблагодарил деву и отпустил своим путем, стоя на углу и раздумывая, не этот ли центр он искал, помыслив, что перепутье или подобное ему место под стать предмету в суме. Он спросил едва слышно, чтобы люди не приняли его за юродивого: «Это здесь?» Когда же ответа не последовало, попробовал вновь, с окрепшим голосом, да так, что зареготали мальчишки-лоботрясы через дорогу.

– Это ли центр?

Ничего не случилось. Петр не знал, какой знак ждать, чтобы узнать нужное местоположение, ежели знак вообще следует ждать, но его чутье не проничало вблизи никаких намеков. Теперь, когда другие поглядывали на него со смехом в глазах, он почувствовал, как крепче багрятся щеки, так что подхватил узел и двинулся дальше, чрез перекресток – второпях, чтобы избежать грохочущих телег, – и выше по холму, где промышляли кожемяки и швецы.

В местах сих после долгих переходов, скудных на зрелища, теперь что ни шаг, то диковинка. Подле зловонных дубильных ям, чей смрад он учуял еще с подножия холма, на досках строились башмаки, перчатки, сапоги и кожаные штаны такой прорвы мастей, цветов и размеров, какой не сыскать и во всем белом свете, думал он. Дурманил уже один их наваристый аромат, пока Петр карабкался вверх меж лавками и лотками, влача тяжелый мешок, что кое-когда бился о сгорбленный хребет. Его глаза и уши разве что не ослепли и не оглохли от зрелищ и звуков, кутерьмы и болтовни. Люди сбивались толпами у полок с выставленными товарами так, что не продохнешь, расхватывали вещички дешевые и сердитые, лежавшие у образца высшего качества – черного кожаного доспеха в полном наборе, разукрашенного серебрянными птичьими черепками. Петр не верил, что подобное облачение когда-либо обрящет своего купца и окажется на плечах, но по толчее оценил, что оно наверняка уже окупило затраченный труд сторицей в виде покупок без счета безделиц поменьше. Не преминув рассмотреть местных, пока они заняты делом и не оскорблены будут, в сборище он увидел больше простых или уродливых лиц, нежели чем красивых, и подивился тому, сколько мужчин, что поскидали одежды в душный день и обнажили кожу, носили на руках выведенные пигментом дикие узоры. На плечах были намалеваны не одни только кривые линии, но и грубые рисунки – блудниц, Спасителя, а порою всех вместе в обнимку с одной набедренной повязкой промежду них. Он усмехнулся в своих мыслях и продолжил путь по тропе, где руки,

заляпанные красками, всучивали ткани – такого насыщенного багряного цвету, какого он не видывал и в самой Палестине.

Чуть погодя он поднялся с рыночной улицы, хотя и не на самую вершину – холмы на юго-востоке побивали его возвышенность в состязании роста. Одесну ю подле ног его продолжала взбираться по склону восточная стена поселения с брешами там и сям, тогда как ошу юю вниз по холму сбегало великое множество улочек и переулков. Хотя он сам бы признал, что в его блужданиях нет цели, Петр решил, что, быть может, ежели обогнет город вдоль стены, то охватит его размеры и формы, чтобы исходя из знаний высчитать середину. Так, план был столь расплывчатым и чахлым, что его как и не было, а теперь Петр чувствовал, что от его завершения отвлекают и напряжение в мочевом пузыре, и голод в животе. Он все еще следовал по тропе на север, каковой не уклонялся от самого моста, но теперь вновь достиг ровных лугов, над склоном со швецами. Здесь молчаливые мужчины с былинками во рту и шумными псами вели в загоны уйму овец, и он тотчас вспомнил о деве с камнем Тора, с которой взял ответ о старом храме на овечьей тропе дальше по дороге. Хотя церковь еще не повстречалась, он не обиновался, судя по пешеходам на тропе, что движется верным путем.

Пока он спускался в неглубокую низину, вокруг и всюду, куда ни посмотри, топтались блеющие твари, которых сгоняли с запада Мерсии и Уэльса великими ордами, вызывая в воображении картины белой во все края земли – летом, а не в зимнюю пору. Теперь задумавшись, Петр вспомнил: еще с детства он знал, что западная скотная тропа завершается недалеко от Хелпстуна или же Питерборо, в срединных деревеньках страны, но думать не думал, что окончание ее лежит в Гамтуне. Отсюда погонщики водили стада в другие края по римской дороге, что привела Петра от Лондона и крутого белого побережья, либо мимо района Святого Неота к Норичу и восточнее, тем самым прокармливая бараниной всю страну. Ужели здесь, в Гамтуне, сходятся все дороги Англии, подивился он, сплетенные в узел какой-то исполинской повитухой,

точно пуповина страны? Петр брел в шерстяном приливе по широкой улице, мощенной черным пометом, все так же двигаясь на север, теперь свесив мешок в руке, чтобы дать отдохнуть ноющему плечу.

Почти прошед через остолопство животных, впереди на кургане справа увидал он грубую церковку, сложенную из камней, – она-то, понадеялся Петр, и будет тем храмом, о котором поведала женщина, хотя виду церковка была заброшенного и запустелого. Подумав перевести там занимавшийся дух и перекусить нехитрой снедью, запрятанной с парой монет в потайной карман рясы, он свернул на восток от вонючей жижи овечьей дороги и скоро поднялся под сенью ветвей и порошей лепестков к постройке наверху пригорка, принятой за церковь.

Под кровом раскинувшихся деревьев паслось несколько плосколицых и безразличных шерстяных созданий, возле них-то Петр и опустил свой груз на землю и отринул рясу, чтобы выпустить в узловатые корни бука струйку тоньше, чем он было ожидал. Ее поток казался густым и оранжевым, хотя и кратким, и он предположил, что бо льшая часть жидкости уже испарилась через хлещущие поры кожи. Петр стряхнул с уда последние капли скупого ручейка и оправил одеяние, поискавши глазами место, где можно бы приступить к трапезе. Наконец он остановил выбор на зеленой цветистой поляне под древним дубом, на него и оперся спиной всего в паре шагов от нагромождения камней храма.

Теперь, когда он присмотрелся, присемши на мураву с мешком поблизости и вгрызаясь в корочку, извлеченную из подкладки за пазухой, Петр уже не был столь уверен в христианском происхождении низкого сооружения и наострил глаза к необычности его. Он раскинулся на своем дубовом троне и медленно перемалывал зубами ломоть и козий сыр во влажный серый мякиш, размышляя, что же за одинокое строение перед ним или какую службу оно некогда служило. На старых каменных столбах дверного проема заплетались выбитые драконы – куда

длиннее, чем несчастное создание, в помойной яме у Лондона пойманное. Ежели то вправду дом христианских богослужений, Петр смекнул, что христианство то старше его собственного и произрастало из традиций трехсотлетней давности, когда предшественники ордена Петра были вынуждены поневоле идти на уступки перед последователями языческих богов, смешивая учение о Христе с обычаями невежественными и суеверными да проповедуя с курганов, где некогда святилища демонов высились. Змеящаяся по столбам резьба изображала аспида, который объял мир, из старых религий, что помещали обиталище смертных посередине других двух – Хелем внизу и нордическим раем за мостом – наверху.

Исключая такие подробности, как мост, рай тот не разнствовал с раем его собственной веры: жизнь, что простирается далее краткого срока на земле и в каком-то роде помещается над ним, на горней вышине, а оттоле видишь и ведаешь силки и капканы мира сего. Хотя Петр никогда не произносил этого вслух в монастыре Святого Бенедикта, он не усматривал столь уж важным, ведет к раю мост ли, лестница ли, какие имена носят обитающие там персонажи, что за истории у богов. По мысли его, в том-то и ошибка христианства в Англии, что ныне народ увлечен поисками истины в писаниях, кои почитают лишь за притчи в других землях, и оттого у них все ладно. Судя по тому, что слышал он о магометанах, их библия была сборником историй, что лишь окормляли и научали примером, а вовсе не считались пересказом исторической были. Так толковал христианскую Библию и Петр, прочтя ее от доски до доски, – подобно истории Беды, подобно втайне подслушанным байкам о чудищах из скандинавских земель, – но, когда бы он сам ни оглашал христианскую доктрину, всюду сталкивался с узколобостью, пустозвонными требованиями ответственности, взаправду ли мир сотворен за шесть дней.

Петр веровал в сиятельный идеал, и идеал сей олицетворял Христос, фигура учителя. Вера для Петра была добровольным

признанием священного. Ежели вера меньше того или больше того, то она лишь верование – так дети верят в сказку о гоблинах, покамест не умчатся к другим потехам. Хранить веру в материальный факт – лишь тщета, которую легко разбить, тогда как идеал остается вечной истиной в любом выражении. Верование, как его видел лично Петр, немногого стоило. Вечный, невоплощенный идеал – вот что главное, вот свет, что ордены, подобно его ордену, сберегли в ночи, а теперь стремились пролить на темный, павший мир. Он не верил в ангелов как в материальных существ, а как в идеалы ему не нужно было в них верить: он знал их. Он встречал их в своих хождениях и видел их, хотя его и не заботило, видел он их глазами смертного или же мысленным взором, подобающим идеалу. Он встречал ангелов. Он не верил. Он знал и чаял, что сотню лет вперед его исповедание не завязнет в болоте верующих. Не эта ли участь постигла старых богов, у храма которых теперь хлеб с сыром он вкушает?

С думами покончивши, смахнул он крошки с бороды на откуп голубям, собирающимся вокруг развалин. Встав на ноги и вновь подымая мешок, спустился он по взгорку обратно к овечьей тропе, взбивая поношенными веревочными сандалиями иней лепестков, с высящихся над главою деревьев опавший. Опустел теперь скотный прогон, не считая ковра из помета и узоров копыт, как на пощипанном глиняном горшке. Петр обновил путь на север, но тут же уткнулся носом в северную стену города и просмоленные бревна северных ворот, стоявших приоткрытыми, как и их собратья на юге у реки.

В этом квартале поселения царила иная атмосфера, с чувством лютым и зловредным, которой немало споспешествовали отрубленные головы на кольях над воротами. Судя по светлым волосам в нестриженной манере, еще свисающим клоками с истлевающих черепов, Петр принял их за душегубов из Дании или прочих северных краев, удивленных открытию, что в Гамтуне хватает своих душегубов. Одна из голов мельтешила, и ему

подумалось, что его подводят глаза, но то оказался лишь рой мясных мух, из распахнутого рта вылупившихся.

Значит, поселение пройдено из конца в конец, с юга на север. Немного же времени это заняло. Перед преградой из бревен он правил путь на запад, налево, и покатился вниз по холму, чтобы найти еще не виданный край Гамтуна. Во время спуска по склону дола – снова, как выяснилось, в направлении реки – перед ним раскинулся великолепный простор земли, где подымались завитки дыма, обозначая пределы жилья на западе Гамтуна и на противоположной стороне Ненн. Та казалась серою и серебряною косичкою, петлявшею промеж желтых и зеленых полей под далекими древами, а над ней деревянной дугой накинута мост, черезкакой, по его мысли, и гуртовали овец из Уэльса. Заметил он недалеко от реки, на ближнем берегу, и высокую стену, выстроенную из жердей, как городские стены. Может статься, там монастырь или владения лорда, и тогда их восточный забор обозначает западную границу городка.

Вывод, хотя и голословный, что поблизости служат другие монахи, навел мысли на его собственный монастырь в тихих полях у Питерборо, где Петр не бывал вот уже три года или того боле. Его укололо воспоминание о келье и постели в Медешемстеде, как и память о друзьях среди братства, и с окрепшей душой он обещал себе поворотить туда стопы, когда труд в Гамтуне будет окончен, а долг – исполнен. А значит, сказал он себе, не прежде, чем отыщется центр поселения и точно на нем талисман водворится, в джутовую ткань обернутый. Тоска же по луговой отчизне не приблизит к цели, послужит лишь тому, чтобы расстроить скорейшее ее достижение.

Ошуюю теперь были узкие проходы, убегавшие меж домов теснящихся, изгибаясь за углы и скрываясь, чтобы переплестись в узел – узел кишок Гамтуна, помышлял теперь Петр, сырых и цвета дивного, – в то время как, обойдя Гамтун повдоль стен, он видел не более чем разукрашенную и пигментированную шкуру града. Желание углубиться в лабиринт улочек вводило Петра в искушение,

сулило, что отыщет он нужное место, будучи вспомагаем одним лишь чутьем, и все же верх одержало здравомыслие. Тут он вспомнил погонщика, встреченного дорогой в Вуличе, который знал о Гамтуне и обронил среди прочего: «Там сплошь тропинки и перекрестки, что в твоём кроличьем гнезде. Внутрь попасть непросто, но скажу тебе без утайки – обратно выбраться стократ тяжелей». Петр может заплутать среди узких улочек, а потому лучше повременить и обойти попервоначалу границы поселения, как он и задумал, дабы снять мерку. Так Петр продолжал шагать по холму, пока почти не уперся в стену, с пика виденную, посему отметил про себя, что Гамтун с востока на запад оказался вдвое меньше, чем с юга на север, и представил его форму в виде узкого обрывка коры либо пергамента. Начертано ли на нем что-либо и хватит ли Петру смекалки прочесть послание – этого он еще не наблюдал.

Стена из жердей, бежавшая по берегу реки, оканчивалась мостом, что вел из поселения к Уэльсу. Под деревянным настилом Ненн тоже брала поворот в том направлении, и стена между Петром и кромкою реки, послушно загибавшейся на запад, сменялась здесь высокой и черной живой изгородью, укреплением служившей. Так, очутившись в очередном углу Гамтуна, снова свернул Петр и поплелся книзу – навстречу, как теперь ему было ведомо, долгой прогулке до южных пределов, откуда пустился он в обход стороною некоторыми часами ранее. Направо его был серебристый квадрат низкого серого неба, где брезжило солнце, готовясь к долгому провалу в ночь. Начал же он путь около полудня.

Подавшись на юг, у нижней части поселения нашел он немного домов, только крофты – огороды со скромной лачугой. На отлогих склонах впереди подымалась тонкая пряжа дыма и в бледный покров вязалась, потому решил он, что пастбища там населены гуще. Вдоль реки же на своем пути Петр видел одно-единственное жилище, поставленное как будто на углу развилки – второй из двух на его пути, уводивших на восток, наверх, меж пустыми выгонами.

Он приблизился к близлежащему ответвлению, остановился и окинул его глазами. Подымавшееся от него вверх, оно казалось протоптанным, но вид имело древний, как и канава вдоль него, где журчал ручеек, точившийся, по мысли Петра, из родника или ключа наверху. Петр прошел основание проселка, болтая сумой за спиной, и зашагал к каменной хижине-крофту на углу, где к дороге льнула вторая боковая тропа. Приземистое зданье селения смотрелось нелюдимым, одинокое на западном отшибе поселения, без всяких признаков огня в очаге. За грязным проездом направо от Петра из камней был сложен славный колодезь, над которым поставили деревянный ворот с веревкой и висящим ведром. У Петра не было ни капли во рту с самой остановки у пруда со свежей водой – около полудня, в нескольких лигах к югу от Гамтуна, – засим Петр сошел с прямого пути в сторону криницы, на ходу насвистывая песенку, которую смутно помнил откуда-то с дороги.

Когда он подошел, колодезь оказался больше, чем мнилось издали: кольцо из камней доходило до груди, и было не меньше двух шагов от одной стенки до другой. Он обернул рукоятку лебедки, чтобы стравить веревку, после чего весело раскрашенное деревянное ведро нырнуло с глаз долой в бездонную дыру. Через несколько мгновений спуска снизу раздался слабый плеск, и скоро он уже вытягивал емкость куда тяжелее, чем опускал. Намокшее вервие скрипело, и Петр слышал и чувствовал волнение у стенок качающегося сосуда, из темного жерла на белый свет возносящегося. Привязавши веревку, он подтащил ведро к себе и заглянул, мучимый жаждой.

Кровь.

Страх ударил в голову, весь мир закружил перед глазами, он даже не слышал собственных мыслей. Чрез разум, точно конницей, пронеслось множество разных толкований, в смятенном испуганном порыве топча рассудок. Это его собственная кровь – ему перерезали глотку, а он того и не заметил. Это кровь Гамтуна, многих поколений жителей, стекшая по склонам, дабы в одном подземном водоеме

скопиться. Это кровь святых, которую, по словам святого Иоанна Богослова, следует пригубить при наступлении конца света, что наступит через две сотни лет. Это кровь Спасителя, знамение Петру, что сами земля и почва есть плоть Иисусова, ибо разве не был пресечен цвет его, дабы взрасти вновь, подобно ячменю и прочим дарам земли? Это сердечные соки внушающего ужас Таинства, алее, чем ягоды падуба, чудо из чудес толикого масштаба, что христианам сей эпохи рано знать о нем, и знать о Петре, ибо воистину благословлен он Господом, раз узрел чудо сие, нетварное явление сие...

Краска.

Как он мог быть таким глупцом? Он же видел яркие ткани, выставленные на улице шведов, однако не задумался, откуда они берутся. Он спустил в колодец ярко-красное ведро, однако счел, что оно раскрашено для непроницаемости, а не обагрено нескончаемым использованием. Все это было ясно как день, разве что не дураку, однако в пылу своем он ослеп и едва ли не канонизировал самого себя. Он твердо порешил не рассказывать о своей постыдной ошибке братьям в Медешемстеде даже ради шутки на свой счет, на счет самовлюбленной глупости и тщеславия, иначе навеки предстанет в их глазах толоконным лбом.

Посмеиваясь теперь из-за того, как ловко его второй раз провел Гамтун, выплеснул он содержимое тары обратно в черное и бурлящее горло, откуда его подчерпнул. Вспомнив о брате Матвее из Питерборо, который писал иллюстрации на манускриптах и немало поверил о ремесле своем Петру, он составил мнение, что, надобно думать, цвет воды получен благодаря железной ржавчине из почвы. Хотя это и не сделает большого вреда, он все равно был рад, что не хлебнул, не заглянув наперед внутрь. Как-никак, красная охра не единственный элемент, красную краску дающий. Был, к примеру, порошок ртути, и на луговой родине братьев-бенедиктинцев он слышал о монахах, которые облизывали кисточки с остатками красного пигмента, чтобы смочить их и заострить. День за днем

монахи, сами того не зная, отравляли свое тело. Сказывали об одном, чьи кости стали толико хрупкими, что, когда возлег он отойти и на него милосердия ради накинули одеяло, под весом переломились все кости его и монах погиб. Правда это или нет, Петру было неизвестно, как неизвестно, отравлена ли вода в этом колодце, но все одно он чувствовал облегчение, что не стал ее испытывать, иначе нелепый промах мог бы стать роковым.

Теперь, когда испуг сошел и Петр возмог рассуждать здраво, он больше не клял себя как великого глупца. Пускай святая кровь по материальному существу своему оказалась не чем иным, как краской: разве подобно забывать о ее существовании идеальном, когда цвет из недр земли не иначе как символ, обозначающий все неземное, а значит, не имеющее мирского обличия? Разве одна вещь не может иметь несколько значений, и то, что по мерилу истины кажется ржавью, по мерилу сердца есть само вино Христово? Прежде он слыхом не слыхивал о колодцах краски такого оттенка, а значит, на деле это чудо, не меньшее, чем жидкость, которую он сперва выдумал. Что бы ни явило знак, это все же знак, и его следовало истолковать.

Когда вновь Петр навьючил на себя поклажу, ему вспало на ум, что он был слишком нерасторопен и робок как в помыслах, так и в поисках. Сторожко обходя Гамтун кругом, Петр видел его лишь фигурой или плоским наброском, начертанными на пергаменте, тогда как сейчас он понял, что в граде больше от живого существа со своими гуморами и телесными соками – не территория, которую меряют шагами, а незнакомец, которого судят по словам. Откроет ли град свою душу, ежели Петр позабудет о настороженности и сдержанности в своем подступлении? Возвращаясь на ведущую к югу колею, задумался он и наблюдал пользу пуститься на восток, мимо одинокого жилища у тропы в само поселение на холме, в путаницу приземистых домов наверху и справа от него, где очаги чадащи чернили облака прокопченны.

Он оставил каменный сарай позади и начал подъем, и тут-то на него нашло ощущение, которое, как он однажды слышал, звалось «виденное допрежь», когда новые обстоятельства приносят с собою чрезъестественное убеждение, что уже пережиты были в прошлом. Заметил он, что не просто знал сей схожий момент, когда уже миновал одинокую хижину, восходя на горы в незнакомом краю. Нет, он не в первый раз очутился именно в этом мгновении во всех его подробностях: бледные малые тени, отброшенные на траву солнцем запеленатым, оставившем зенит позади, и мох, выросший в виде пятерни возле дверного проема немого деревянного дома; звон птичьей песни из темных кустов на западе – вот эти три резкие ноты и затихающий плач; парящий в воздухе свиной запах его собственного пота, бегущий из-под рясы; гудящие гудом ноги, ароматы отдаленной невидимой реки и жесткие узлы мешка, казнящие согбенную спину.

Петр стряхнул с себя наваждение и миновал известняковую груду крофта, подымаясь на холм. Он ничего не видел в темных дырах окон, но столь неизъяснимым ощущением окатывали они, что мимолетно помстилось, будто бы за ним наблюдают. Подлый уголок разума, что вздумал стращать его, сказал, что это все карга с глазами-улитками из сна, сидит сама-одна в тени немой лачуги и блюдет каждое его движение. Хоть это мог быть не более чем фантом, которого он сам себе вообразил на горе, все же обробел Петр и заторопился оставить хутор далеко за спиной. Так, оторвавшись от восточной дороги, по которой он взбирался, Петр пошел наискоски на юго-восток по узенькой тропинке – не более чем бесцветной полоске примятого бурьяна по колено.

Более всего на крофте сердце Петра растравила мысль, что его тамошнее появление мимоходом – не единственное событие, а только одно из многих повторений, так что в разуме возник образ бесконечного ряда Петров, и всякий по отдельности раз за разом проходит один и тот же медвежий угол, и на миг узнает друг о друге и странной оказии их повторений, о том, что мир и время вокруг

равно повторяются. Охватили его призрачные ощущения: будто он уже мертв и переглядывает скитания жизни своей, да позабыл только, что это не более чем второе, а то и сотое чтение, доколе не наткнется на пассаж, знакомый описанием хибары на отшибе, песни черного дрозда либо лишайника в виде длани. Мысли эти были для него внове, и посему он сомневался, что умел охватить их во всей полноте. Аки слепец, хватался он ощупью за края их и выступы странные, понимая, что целиком фигура вне досягаемости.

Пока он карабкался по склону и подчинялся повороту тропы снова на восток, Петру вспало на ум, что нашедшая небывалая блажь – дух или миазмы, разлитые в этой местности, и эффект их становится тем паче, чем глубже он вникнет. Настроение окрасилось в оттенок, который не умел он назвать, ибо был он словно цвет, смешанный из многих ингредиентов: из страха и благоговения, из радостной надежды, но и печали, и дурных предчувствий, какие ему было неспособно объяснить или описать. Обязанность, явленная в виде мешка из джутовой ткани, точно бы разом и позволяла душе воспарить в ликование, и так гнула к земле в три погибели, что быть ему переломлену и подмяту под нею. От чувств прекоречивых ощущение его казалось катышком из всех человеческих состояний, вместе взятых, и распирало оно так, что Петр, не ровён час, треснет. Сие волнительное, но неловкое ощущение, наверное, знакомо всем существам, Божье воление исполняющим, заключил Петр.

Он брел по высокой траве и теперь вступил на иную земляную тропинку – она подымалась прямо по холму в том же направлении, что и дорога от колодца красильников, но в стороне. Сей новый путь вел к скоплению жилищ по бокам, похожих на крытые ямы, где промеж смеющихся мужиков и бранящихся баб с выводком детей бродили, принюхиваясь, собаки со свалывшимися шкурами. В самом конце видел он растущие крыши иных зданий, а под ними – множества телег движенье, и так увидел, что лежит там главная площадь поселения. Поодаль на холме, по правую сторону от дороги, посередь низких домов и их населения, топился большой

костер на пяточке голой и почерневшей земли. Сюда в волокушах и мешках люди сносили сор, какой не могли пожечь дома из-за его обилия или вони. Он видел, как с повозки вилами мечут грязные ворохи ветоши – чумного тряпья, помыслил он. Была тут и телега золотаря, которую возница под крики и заминки подавал к огню, дабы старикам, зарабатывавшим черной работой на житье-бытье, было легче кидать лопатами навоз в полымя. От жара до небес клочкотала мерзкая башня вони и марева, потому как стояло безветрие, но Петр знал, что в иную погоду все сгрудившиеся здесь дома терялись во смрадной мгле.

Думая избежать самой гущи зловония, он сошел с дороги на восток, коль скоро подвернулась небольшая перекрестная улица. По обе руци здесь тоже были хижины, но встречалось не в пример меньше людей и костров. Вдалеке по пологой дороге увидал он широкую соломенную крышу – похоже, что зала общин, замкнутого стенами. Осиянная область небес снова оказалась направо – это значило, что Петр опять шел на юг, но не успел пройти долго, как препятствовала ему очередная помеха. Через несколько времени на его пути вырос двор, а над ним подымалась огромная туча, как на дворе, где жгли отбросы, но как те клубы были черным-черными, так эти оказались целиком белыми. Он увидал повозку, на которую сзади с небольшого взгорка на огороженном клочке грузили мел, и вспомнил о подобной телеге, что пересекла путь его от южного моста этим утром, и поднятую пыль, до сих пор лежавшую на волосах и складках одеяния. Он желал остаться первозданного цвета, какого был, когда впервые вошел в Гамтун, и не краснеть из-за краски или чернеть и белеть из-за окуриваний, так что теперь стоял и озирался, дабы понять, куда править путь далее.

Вновь он был на каком-то углу, и от стези, пройденной только что, вновь на восток бежала улица. Слияние дорог отмечалось горбом посреди площади, с одной стороны короче других. Вкруг площади шла канава, вырытая столь давно, что уж затравенела, как римский речной дозор внизу. Покатый пригорок давал впечатление, что

когда-то обладал некой важностью, хотя и не было на нем зданий, а только лишь золотые гроздья одуванчиков, еще в пушистые шарики семян не превратившихся.

Оглянув всхолмье, вдруг увидал Петр переполох у его нижней границы – на стороне, где находился Петр, а значит, меж ним и складом мела. На обочине стала лошадь с повозкой, а за бразды ее держался уродец. Лицо его было широкое, с далеко посаженными глазами, и казался он сильным, но осадистым, будто бы приплюсненным. Сидючи на низких козлах, он состоял в беседе с ребенком – девочкой не старше дюжины годков, на земле сбоку окружной канавы переминавшейся и на малого нерешительно поглядывавшей. Казалось, она побаивается его, словно он чужой ей, качала головой и порывалась уйти, и тут приземистый возчик бросился и крепко схватил ее за пухлое запястье, чтобы пресечь побег.

Петру было дано лишь мгновение на раздумья, что предпринять. Ежели это ссора промеж разгневанным родителем и норовистым чадом, он бы возгнушался мешаться, однако не то мнилось Петру, и в скитаниях он повидал немало надругательств, чтобы со спокойною душою отвернуться и льститься надеждою, что все обернется добром само собою.

Будь на то его воля, умел Петр возопить гласом могучим, и даже братья в Медешемстеде, хотя и любили его, не любили с ним маливаться. Этот зычный рев он и пустил в ход теперь, что было мочи, и глас разразился громом по невозделанной земле меж ним и негодяем, залучившим девицу.

– Ну-ка! Погоди сию минуту! Человече! Я кому говорю!

Длинными шагами Петр направился к телеге, а мешок теперь тяжело болтался в ладони у ног, чтобы нельзя было взглянуть на него без страха, в какой грозный кистень может превратиться скромная котомка, ежели орудовать ею размахисто. Петр был мирный человек, но ведал, какое впечатление производит мощными руками и рдящимся лицом, буде то истребно: он бы не обошел полсвета

невредимым, не знаячи, как употребить столь страшный лик к своей пользе. Мужик на повозке, тело которого точно придавили, тут же вперил взгляды в Петра, что несся к нему по осоке с болтающейся булавой в раскрасневшейся руке. Выпустив девицу, плут задрожал и заозирался в поисках спасения. Прикрикнув, чтобы разбудить кобылу, он стронул ее прочь, а его транспорт заскрипел по короткой стороне пригорка и завернул за угол, откуда он бросил последний заполошный взгляд на монаха, прежде чем во весь опор скрыться из виду.

Спасенная девица замерла столбом на краю округлого рва и наблюдала, как удирает истязатель ее, затем повернулась к Петру, ставшему на полпути от нее, согнувшись пополам и громко пыхтя от усилий, подняв руку в ее сторону, словно желая успокоить перепуганное дитя. Мгновение она смеряла взглядом освободителя своего с мокрым лицом-брюквой и чудовищным хрипом, вырывавшимся из глотки, прежде чем придумала бежать в другом направлении, нежели выбрал нападавший, и понеслась стремглав вниз по холму, словно бы к южной дороге, где стояли одинокая хижина и кровавый колодец. Приходя в чувства среди дремлющих стеблей, Петр видел, как она удалялась, и отринул обиды из-за того, что девчонка опасалась собственного избавителя. Не все монахи делали жительство с Петра, и, хотя Петру было ведомо, что большей частью сальные песни о блудливых аббатах – лганье, встречал он на своем пути и братьев с неприятными аппетитами, что ухитрялись претворять все наветы в жизнь. Девочка выказала мудрость, нимало не доверяя никому в эти смутные новые времена, и он не серчал на ее безблагодарное исчезновение, пещася только, что милостию божией оказался рядом впору, дабы отвести зло.

Оттого пребывал он в благом гуморе, когда наострился снова вернуться на восточную дорогу, которую оставил, чтобы обойти мусоросжигание и его испарения. Вернув дыхание, он зашагал по тропе на северную сторону кургана, в пути углубляясь мыслями в произошедшее. Не реши он у колодца избрать иной путь в

поселение, могло выйти так, что быть девице жертвою убийства и найтись бы в виде безобразном под кустом. Кто теперь знает, скольких детей и внуков она принесет на свет или какие перемены в путях мира повлечет результат сей? Даже окажись его первоначальная причина найти Гамтун миражом и химерой, вызванными палящим чужеземным солнцем, то теперь с легкою душою скажет Петр, что все же послужил воле Господа. Хотя и билось сердце точно громкий барабан, вселилась в него радость, когда Петр устремился по каменистому подъему с мешком через плечо и в поту лица, что каскадом бежал по челу.

Он отмечал внутренне, что духота наваливается все сильнее, когда возвел глаза и узрел другого перехожего оборванца, поспешавшего навстречу ему, – не такого старика, как Петр, но внешности потешной из-за платья несообразного. На голове его уселась кепка, как перевернутый мешок для пудинга с краем для размазывания, а одеяние пестрило в глаза несходными предметами, словно выброшенными другими, – хотя чего Петр не мог взять в толк, так это их странный вид. Короткая куртка и широкие штаны из легкой ткани, тогда как на ногах незнакомца были маленькие кожаные туфли, скроенные на неизвестный Петру манер, – не виданные даже на лотках дубильщиков у восточных ворот Гамтуна. Столь несусветное убранство нес убогий путник, что монах не мог не улыбнуться при сближении. Хотя в человеке бросались в глаза бледность его и седина, не казался он злодеем, в отличие от возницы на телеге, что вознамерился умыкнуть ребенка несколько мгновений пред ними. Это бедняк, и может статься, на совести его немало проказ, но сердце его доброе, и, когда пути пересеклись, они ухмылялись один другому, хотя никто не мог сказать, то ли из дружелюбия, то ли из-за того, что оба полагали наряд второго смехотворным. Петр поздоровался первым и заговорил:

– Я как раз помышлял, что для гуляний днесь жарковато. Как живешь-поживаешь, честный человек?

Второй тут закинул голову и сузил глаза, прищурившись на Петра, точно бы думая, что тот его дразнит, но наконец уверился в обратном и отвечал доброжелательным тоном:

– Да, кажись, и в самом деле жарковато, а поживаю вроде что ничего. А ты что же? Мешок этот твой на вид та еще тяжесть.

Произнесено это было с плутовским подмигиванием и кивком на джутовый тук на плече Петра, словно скрывались в нем краденые ценности. Улыбнувшись сей мысли, монах опустил ношу на разбитую колею у их ног. С превеликим облегчением вздохнул и покачал головой:

– Что ты, благослови тебя Боже, нет... а ежели и так, та тяжесть не тянет меня к земле.

Малый поднял одну бровь, точно бы с интересом или ожиданием продолжения речи, отчего Петр решил, что ему выдалась еще одна оказия узнать путь к месту, о котором помыслы его были. Прежде всем сретениям сего дня словно бы радели высшие силы – возможно, и эта их рук дело. Воодушевленный такими соображениями, он открылся и задал вопрос – на который, как думал, не суждено ответить никому, кроме него самого, – указуя при том на сложенный с плеч узелок.

– Мне велено принести это в центр. Ведомо ль тебе, где он есмь?

Интерес Петра вызвал немало задумчивого мурлыканья и оглаживания губ, когда его новый знакомый заломил чудную кепку, обнажив редующие волосы, и поглядывал горе то так, то эдак, точно надеялся узреть искомое место в выси небесной. После молчания, когда монах уж было думал разочароваться, Петр взял свой ответ. Странник повернулся от Петра и указал дальше по улице за своею спиною, куда и без того держал путь Петр. Там холм, куда он подымался, становился плоче, так что ныне дорога вилась меж жилыми землянками и пастбищами на широкий поперечный проезд, что сбегал с севера на юг и кипел далекими телегами и животными невпворот. На пересечении дорог возвышался толстый вяз, и к нему-то обращали внимание монаха.

– Если я верно понял, то тебе поворачивать направо у того дерева в конце, – втянув со шмыганьем соплю, мужчина цыркнул, словно бы сказанное подкрепивши. – Спускайся, пока не выйдешь на перекресток внизу. Если покатишь и дальше с холма, увидишь центр налево от тебя через дорогу, всего на полпути вниз.

Радость обуяла Петра и толико же удивление великому Божьему Промыслу и тому, что решение его загадки отыскалось столь легко и ловко. Стало быть, в конце пути от него истребовалось лишь спросить. Он с благодарностью воззрился на нищего в лохмотьях, даровавшего избавление, и только тогда впервой постиг, чем же поистине необычен был сей человек. Оказался он не сер и не блед, как мерещилось Петру на первых порах, но, вернее, бесцветен совершенно – образ, начертанный углем, нежели существо живое и теплокровное. Был он не только лишь бледен, но воде илистой обличьем подобен, так что когда монах пригляделся пытливей, обнаружил, что различает в фигуре ползучие темные пятна, принадлежавшие движению на дороге, пересекающей холм дальше, – словно бедолага сотворен был с тем умыслом, дабы смотреть сквозь него можно было, хотя и смутно. С холодком, напомнившим ручей пота по ноющему хребту, Петр осознал, что любезно беседовал с призраком.

Петр приложил все старания, дабы неожиданный испуг не отразился на лице и нимало не оскорбил того, кто по сию пору находился в расположении самом теплом и доброхотном. Опречь того, монах еще оставался неуверен, с чем именно завел он разговор, хотя не принял встречного за нечистую силу. Возможно, то заблудшая душа – ни благословленная, но и не окаянная, засим пребывающая в ином состоянии в облюбованных местах. Он задался вопросом, обречен ли дух вечно скитаться по земле или же знал дальнейшее направление, будь то рай или противное место, и по сей причине спрашивал, куда тот держит путь.

– Верю, твоя стезя лежит к праведной и богоугодной цели?

Привидение тотчас глянуло виновато, затем лукаво, а в конце концов спокойно. Петр про себя наблюдал, что выражения морока видны насквозь так же, как его тело. Существо несколько помялось вперед того, как дать ответ.

– Я... ну, сейчас я спешу проведать друга, если сказать как на духу. Несчастливая живая душа, живет одна-одинешенька на углу улицы Алого Колодца без всяких родных и близких. Теперь спешу откланяться, отче, или как вас лучше звать-величать. Удачно дотащить вещмешок до центра.

На этом привидение прошло мимо Петра и дальше по холму, туда, где Петр только что укоротил стервеца на телеге пред девушкой. Монах стоял на месте и смотрел вслед – дивиться надо было, что за странная воля вела потустороннего оборванца к крофту одинокого фермера у красивого колодца, ибо, судя по речам, другого места в его мыслях быть не могло. С той самой поры как Петр вошел в Гамтун, ни одно из встреченных происшествий не казалось пустым случаем. Напротив, мстилось, что все события уже были расставлены по своим местам и временам, а их стыки и прикрасы давно условлены. Хотя вновь чувствовал он, точно на углу у колодца, что лишь пересматривает читаное повествование, теперь оно смотрелось скорее чертежом на пергаменте из-под руки плотника. Каждый шаг Петра следовал вдоль линий, служивших частью неведомого ему замысла. Блуждающий фантом, что соизволил способствовать в деле монаха, теперь был одаль, и разглядеть его становилось все трудней, так что Петр вновь поднял свое бремя и приновил на спину, а затем оборотил стопы туда, где рос вяз. От него повернул к югу и зашагал вдоль широкой улицы, где водили табуны коней, – навстречу перепутью в нижнем ее конце, как было указано.

Жеребцы, кобылы и лошада всех мастей стояли вокруг в загонах у дороги или трусцой выходили из них, чтобы месить грязь на грязном косогоре, потому решил он, что здесь свои дела вели заводчики. Купный запах навоза был сладким или подобным фруктовой каше,

хотя сладость та не услаждала нос и повсюду шепчущими грозowymi тучами роились черные мухи. От пахучего воздуха и растущей духоты по его ногам и рукам сбегали соленые потоки, а сердце и дыхание стали тяжелее – или так уж ему казалось. Возведя взгляд, он увидел, что облачный покров казался ближе и, хуже того, куда темнее. Петр чаял, что скоро его странствие будет окончено, чтобы скорее отыскать кров и не мыкаться на улице, если прольется дождь.

Перекресток, когда он до него дошел, снова прикинулся знакомым местом, а голова Петра теперь казалась легче, в ушах звенело эхо. При том, сколько он ссал и потел, губы его с самого рассвета не смочила и капля воды. Он стоял на северо-западном углу развилки и смотрел на восток повдоль новой улицы, на кромке коей замер. Тут он лицезрел вид дымный и слепящий и вмиг смекнул, где находится. То был дальний конец улицы с кузнями, чье начало он видел этим утром, когда только что прибыл и поднялся с моста. Ежели поблизости воистину находится центр Англии, тогда сколь же часов назад он был в считанных шагах от цели? А впрочем, приди он к нему сразу, не повидать ему ни древний храм на овечьей тропе, ни кровавый колодец, ни оказаться бы поблизости, чтобы уберечь дитя от зла. Он не сводил очей, точно умалишенный, с искрящейся и тлеющей улицы, и поражался тому, куда его завела судьба.

Петр видел перепачканных сажей мужчин, работавших с жидким золотом, и стариков, почти ослепших от своих лет, согбленных над серебряными украшениями. Мужчина размерами с карлу стоял, раздувая щеки и вытянув губы, сомкнув их на длинной трубе или горне, где с другого конца надувался пузырь, словно мыльный, но весь горящий, и Петр признал в растущем пузыре раскаленное стекло. Он видел улыбающихся купцов с глазами ярче, чем самоцветы в их калитах, которые они проливали сверкающими каплями на подставленную разверстую ладонь. Он видел богатства мира с пылу с жару из печи, и знал, что все эти чудеса не годятся в сравнение жемчужине в его джутовом мешке.

Петр отвернулся в противную сторону и всмотрелся на запад, вдоль улицы, куда теперь люди вели множество лошадей с холма за его спиной. На немалом расстоянии на своей стороне Петр завидел возвышенную над другими соломенную крышу и понял, что это тот дом общин, чей зад он успел повидать от удушающего двора торговца мелом. Противу дома общин над вершинами крыш виделась церковная башня. Быть может, великий зал под соломой и был тем помещьем, о котором он наслышан, где жил наместник и кровник Оффы, построивший на своей земле церковь. Добрая женщина, говорившая с ним на верхнем конце улицы золотарей, утверждала, что здесь есть церковь Святого Петра, – он верил, что теперь она и предстала его глазам.

Спускайся, пока не выйдешь на перекресток внизу, так велел ему призрак, затем двигайся прямо, где по левую руку, на другой стороне улицы, ежели все делать правильно, и будет поджидать место, что он искал. Все еще с колотящимся сердцем и в угасающем свете из-за дождевых туч, собирающихся в небесах, Петр с заминками перебирался через оживленный прогон, избегая колес гремучих телег, покамест не оказался невредимым на другой стороне. С этой новой точки он с тревогой глянул вниз, на восток, – не подскажет ли какой знак, что там-де лежит центр, о котором сказала душа-бродяга. Но не было там ничего, oprичь новых пастбищ и забранного оградой двора, откуда лязг оглашал всем, что он принадлежит ковалю, – хотя даже тот двор не стоял и близко к середине уклона, где, по уверениям, быть центру. С пускающим корни волнением Петр начал спуск, пока усталые глаза с ожиданием бегали по землям на соседней стороне.

Двор коваля, как он и думал, был ближе к подножию, тогда как у перекрестка в другом конце, на углу с улицей золотарей, стояла вторая кузница. Меж ними и их черными печами ничего не было, кроме пустой и неухоженной луговины, а теперь на щеке Петр почувствовал первую каплю дождя, жирную и холодную.

Дошед, как ему казалось, до середины спускающейся дороги, он стал на ее краю, и взглянул чрез нее на одни только заросли. Гром в груди становился сильнее, и Петр знал, что прибывал сюда уже один, другой или еще множество раз, чтоб не обрести ничего. Он вечно находился в потоке прибытия и обреченного поиска. Ничего, лишь только всадники и их кони сновали по широкой дороге под дождем, что лил все тяжелее. Ничего, лишь только человек слонялся без дела у двора кузнеца на углу пересечения с улицей мастеров золотых дел. Ничего, лишь только чертополох, дерево и голая земля там, где думал он найти престол души всей своей земли. Не ведал он, что сбегало по лицу его – слезы, пот или дождь, – когда запрокинул лицо безнадежно к мрачному небу и вопрошал вновь то, что вопрошал на другом перепутье, но теперь голос его звучал зло, устало, словно Петру было едино, будет услышан он или нет.

– Это ли центр?

И в тот же миг все остановилось. Эхо в ушах его стало каким-то гулом, словно бы само замершее мгновение звенело и пело драгоценностями обстоятельств, из коих сложено было. Дождь неподвижно замер или падал совсем медленно, а жидкость его была сродни несметным опаловым камням и застыла повсюду в воздухе, и каждая щетинка на конских шкурах стала пылающей латунной нитью. Даже навоз излучал сияние, яко был великой наградой всей земли и даром полям, а мухи, облепившие его, всплеснули крылами-вitraжами, яко из окон великих церквей. На пустыре за пресеченным самоцветным селем улицы, промеж сорняков, возгоревших изумрудным пламенем, стоял человек, весь в белом, и в руке держал он полированный жезл, из светлого дерева выточенный. Волосы его молоку были подобны, как и риза его, и так он стоял, словно маяк сей сцены, будучи источником всего света, нарисовав изящный блеск в глазах всякого существа. Его добрые очи встретились с очами монаха, и Петр узнал в нем друга, что явился в Палестине, вверил задание и отправил в путь-дорогу. Альфа странствия стала его же омегой, а слышал Петр теперь лишь рев,

биению великих крыл подобный, в котором Петр признал собственный убыстренный пульс. Сим оглашался ответ на его вопрос.

За волшбой всепокоя, заморозившей улицу, горящий силуэт в ликовании воздел руци горе, и с каждой стороны его раскрылось яркое и ослепительное крылие. Раздался могучий глас, восторженно вещаяй, аки середь кряжей великих, от коих отразился тысячекратно. То была речь чужестранная, кою Петру однажды довелось уже слышать, со словами, что лопались, точно выросшие на разуме мухоморы, сея новые идеи спорами по ветру.

– Дйааэстть.

Да! Да! Да, это я! Да, я есть! Да, здесь, на сем месте достатка да будет установлен крестом центр. Да, здесь исход твоей стези, которую мы с тобой пространствовали вместе. Да, да, да, до самых стен и пределов сути – да!

Теперь существо вскинуло закругленный жезл, словно указуя на Петра. Длинный и бледный, как если бы из сосны выточенный, – он увидал, что ближний конец его заострен, а набалдашник изукрашен голубым цветом васильков. Монах был сбит с толку, не зная, почему стал предметом для указания, затем узрел, что не на него пал конец посоха, а куда-то позади него. И обернулся он, и стоило ему сделать так, как чары спали. Грохот в ушах не улегся, однако мир вновь пришел в движение, и дождь сыпал споро там, где только что еле полз.

Позади, меж денниками и владением очередного коваля, Петр увидал каменную стену, где из трещин росли фиалки, а в ней – приоткрытый створ калитки деревянной с железной отделкой. За нею Петр увидал поляну с распухшими могилами и встающими из почвы надгробиями, а за ними – смиренное здание, сложенное из серого и щербатого камня, где подле стояли в мирной беседе два монаха. Он пришел к церкви. Женщина, носившая камень Тора и давшая ему советы, обмолвилась ранее, что есть другая церковь – ближе, чем церковь Святого Петра, – святому Григорию

посвященная. Левая рука, в которой лежал мешок, уже ныла, и он переложил вес в правую, но не унялась боль. Точно громом пораженный, он ступил на двор в калитку церкви, чуть дальше от него по дороге, чрез обложной дождь, уже переросший в ливень. Священники прервали беседу и увидали его, и пошли к нему – сперва медленно, затем скоро, – с написанной на лицах тревогой. Петр повергся на колени, но не в благодарной молитве за избавление, а оттого, что его уж не держали ноги.

Два брата, что пришли к нему, принимали в нем участие и уводили с ненастью, как могли, но то были молодые и щуплые мужи, для них он оказался непомерно грузен. В споруке своей они сумели лишь опустить его на спину для удобства, к выпирающей стороне могилы голову прислонивши. Присели над ним, рясы расправивши, словно надеялись уберечь от дождя, хотя лишь стали похожи на воронов, а старание их было тщетно. Над ними Петр видал подбрюшье закипающей бури – точно темные жемчужины, что кипели и бурлили, и становились переливчатым и фантастическим потоком ряби.

В этот миг все озарилось, и затем загрохотал страшный гром, и монахи вскрикнули и торопились пытаться его расспросами, визнаваючи, откуда он и что привело его. Снова молнии выжимали небо досуха вспышками, и Петр воздел руку – но не левую, что онемела, – и указал на свою суму на мокрой траве.

Когда его поняли, то раздвинули джутовую горловину и достали то, что хранилось внутри, на ветер и ливень. Он был в полторы человеческих ладони вширь и ввысь, грубо выбитый из буроватого камня, так что человеку было не под силу поднять его одной рукой. С углов и граней скатывался серебрящий дождь, и теперь священники пребыли равно в недоумении и изумлении.

– Что сие такое, брат? Можешь сказать, где нашел ты сие?

Петр заговорил, но речь далась тяжело, и, по лицам судя, слова его принимали за лепет горячки. Они услышали, что сей человек странствовал за моря и был у места черепов, где и нашел это

закопанное сокровище. Когда он извлек камень на свет, ему словно привиделся ангел, промолвивший, что шественнику должно взять реликвию и доставить в центр своей земли. Им показалось, тот утверждал, будто теперь вновь видел ангела, и ангел заверил, что их маленькая церковка и есть назначение пилигрима. Многие из речей несчастного затерялось в рокоте небес, и тогда они наконец взмолились, чтобы отвечал он, из какого края явился, где то место черепов и где земля родила святыни.

Их голоса слились с наполнявшим его всемогущим трепетом, точно долетали издалека, и он едва их слышал. Петр умирал. Не увидеть ему Медешемстеда, и теперь он твердо знал это. Над головой вздымающиеся валы сырого неба стали черным восточным шелком, в растрескавшуюся сложносочиненную фигуру смятым, разломами и ползущими расщелинами изборожденную. Теперь видел он то, чего не видел раньше: что облака столь гротескных форм оттого, что их подоткнули в себя и хитро сложили. Теперь он видел, что сколь скоро они развернутся, как обретут тотчас более обычную, но и более сложную форму, не покоряющуюся человеческому взгляду. Он не мог взять в ум, ни что означает эта странная мысль, ни откуда явлено ощущение, но мнилось Петру, что все годы скитаний были ничем, кроме как единственным коротким шагом, который он завершил только что.

Ему казалось, что в последние мгновения он сомкнул глаза, однако все же видел – быть может, лишь грезы или воспоминания, под трепетными веждами кроющиеся. Он возвел взгляд на присевших над ним перепуганных братьев и церковку за ними. Благодаря новообретенному пониманию клокочущей, неистовой тверди впервые он увидал, что углы здания сделано мудрено, что их возможно развернуть многоумным образом, отчего их внутренности окажутся вовне. То, что раньше принимал он за резьбу на карнизах церкви, людьми теперь предстало, маленькими, как водяной гнус, – однако знал он, что они столь же велики, как он сам, только полагаются вельми далеко. Они махали и тянулись к нему, эти

коротыши. Ему казалось, что он знал их всегда. Больше Петр не видел монахов по сторонам себя, хотя слышал, как они говорили с ним, снова и снова спрашивали, откуда же он явился, принес сей совершенный знак.

Последнее слово, слетевшее с уст его, было «Иерусалим».

Новые времена

Сэр Френсис Дрейк привалился к стене с афишами у Дворца Варьете и примостил маслянистый родничок к гигантским именам красных и черных цветов. Согласно карманным часам, ему оставалось еще добрых минут тридцать, прежде чем придется замалевать лицо горелой пробкой для роли Пьяницы. До того момента он мог позволить себе побездельничать на углу и понаблюдать за телегами, велосипедами и юбками – быть может, с «Вудбайном» за компанию.

Прозвали его сэром Френсисом Дрейком в ламбетской школе, когда он был шестилетним мальчишкой. Мать как раз начинала скатываться в нищету, и ему приходилось носить ее красные сценические колготки, подрезанные, чтобы казаться чулками, хотя все равно ими не казались из-за плиссе и ярко-алого цвета, от которых и пошло прозвище. Во многом, если подумать, он еще легко отделался. Сидни, его старшему брату – или «старшо́ му», как звали братьев в Ханвелльской школе для бедных, – достался блейзер, ранее – бархатный жакет их матери, с рукавами в красно-черную полосу. Десятилетний и потому куда более застенчивый, чем младшенький, Сидни ославился под именем «Иосиф и его разноцветный плащ снов».

Стоя на перекрестке оживленных улиц, он поймал себя на том, что посмеивается над прозвищами, – по крайней мере, над прозвищем Сидни, – хотя в то время они смешными вовсе не казались. Все еще улыбаясь, он утешил себя мыслью, что Френсис Дрейк хотя бы слыл красавцем и лихим героем, тогда как Иосифа бросили в яму и оставили умирать брата, возмущенные его вкусом в моде. Так или иначе, сэр Френсис Дрейк – лучше других прозвищ, которые он носил за годы и которые приставали надолго. Одно из них – Оатси, или же Овсень: просто рифмующийся сленг кокни, соединение овса и ячменя. Он это прозвище терпел, но восторгов не испытывал.

Всегда казалось, что с ним он как деревенский дурачок, а вовсе не таким он желал представать перед людьми.

Направляясь на холм, к его углу подъехала пивная подвода в ливрее «Фиппс» – фыркающий тяжеловоз в яблоках с мохнатыми копытами размером с подносы, волокущий звенящую и гремящую телегу и вставший на перекрестке прямо перед ним. Побитая откидная доска на цепи удерживала на месте груз: старые ящики из сырого дерева, припорошенного зеленью из-за плесени, что выставлялись пустыми у пабов и в дождь, и в зной, чтобы их снова набили коричневым и поблескивающим содержимым и отвезли к очередной харчевне, очередному ветреному углу брусчатого двора пивной. Телега замедлилась у перекрестка в ожидании, пока поперек проедут неторопливый фургон и мальчуган на велосипеде, прежде чем тронуть дальше на холм. А сэра Френсиса Дрейка, прислонившись к плакатам и разглядывая телегу, решил в шутку на миг войти в роль Пьяницы.

Он задрал глаза, приспустив веки, чтобы казаться полусонным, а рожу скривил в кривобокой ухмылке. Лицо пошло такими морщинами, что даже без пробки он казался лет на десять старше своего настоящего возраста – двадцати лет. Глубоко заклокотав горлом в нечленораздельном желании, он приковал мутный алчущий взгляд к фургону пивовара и пустился в вихляющий, но уверенный шаг забулдыги в его сторону, словно отчаянно пытался изобразить повседневную походку, но ноги едва слушались. Он скатился на три шага в сторону, вниз по склону, но оправился и снова нашел прищуром свою цель, соскочив с тротуара на почти пустую мощеную дорогу и приближаясь к пивовозу на противоположной стороне. Протянув руки как будто к позвякивающим бутылкам, он промямлил: «Кажись, я в раю», – вслед за чем перепуганный возничий оглянулся и тут же принялся понукать лошадь, заворачивая за хвост еще не освободившего улицу фургона, и зазвенел вверх по холму так быстро, как только позволял транспорт. Вернувшись небрежным шагом через проезд обратно к

своему посту у угловой стены, Овсень смотрел телеге вслед и испытывал в равных долях гордость за успех своего номера и стыд – по той же самой причине. Слишком хорошо ему давались пропойцы.

Конечно, всеми этими пропойцами был его отец. Чарльз, в честь которого и назвали Овсенья, помер от водянки десять лет назад, в 1899-м. Четыре галлона. Вот сколько жидкости откачали из колена его отца, и вот почему чем лучше удавался Пьяница, тем виноватее Овсень себя чувствовал. Он наблюдал, как лучи сентябрьского солнца косо падают на старые грязные здания Нортгемптона, сгорбившиеся на углах перекрестка, превращая кирпичную кладку с коростой сажи в рыжее пламя, и вспоминал последний раз, когда разговаривал с папой. Это было в пабе, отметил он без большого удивления. «Три жеребца», верно? На Кеннингтонской дороге? «Жеребцы», «Рога», «Кружка», где-то там. Примерно в тот же час – конец дня или начало вечера, по возвращении домой на Террасу Паунэлл, где они жили с Сидни и матерью. Проходя мимо паба, он вдруг ощутил необъяснимый порыв толкнуть болтающиеся двери и заглянуть внутрь.

Отец сидел сам-один в углу, и через щель приоткрытой на пару дюймов барной двери Овсень удостоился редкого шанса невидимым наблюдать за человеком, который его породил. Зрелище было жуткое. Чарльз-старший сидел на протертом диванчике и покачивал короткий стакан портвейна. Одна рука лежала за бортом пиджака, словно чтобы держать под контролем рваное дыхание, так что он по-прежнему смахивал на Наполеона, как всегда говорила мать, но опухшего, словно надутого велосипедным насосом. Раньше у него был лоснящийся, отъевшийся вид, но теперь он превратился в огромный булькающий бурдюк с водой, в котором захлебнулась и утонула былая обаятельность. Однажды он мог похвастаться гладким овальным лицом, как у Сидни, хотя отцом Сидни был совершенно другой мужчина, какой-то лорд-путешественник – по крайней мере, если верить уезжавшей за ним в Африку матери. Но даже при этом

брат все равно больше походил на Чарльза-старшего, чем Чарльз-младший, – последний напоминал их мать, с ее темными кудрями и красивыми выразительными глазами. Глаза отца тем днем в «Трех жеребцах» глубоко запали в поднявшееся тесто лица, но они осветились – Овсень даже не сразу поверил – радостью, когда опустились на мальчонку, подглядывавшего через полуоткрытую дверь и ленивые волны дыма, висевшего между ними в воздухе.

Даже сейчас, в нижнем конце – как ее – Золотой улицы, у гиблого зала Нортгемптона, в ходе очередного разочаровывающего тура с «Ряжеными пташками» Карно, даже сегодня Овсень чувствовал волнение из-за того, как же ему обрадовался отец в тот последний раз. Господь знает, до того он не выказывал интереса к сыну, и Чарльзу-младшему исполнилось уже четыре года, когда он впервые осознал, что у него вообще есть отец. Но тем вечером в «Жеребцах» некогда сногшибательный актер водевилей рассыпался в улыбках и добрых словах, расспрашивал о Сидни и матери, даже взял десятилетнего отпрыска на руки и – в первый и последний раз – поцеловал его. Уже через несколько недель старик умирал в больнице Святого Фомы, где этот чертов евангелист Макнил в качестве утешения предложил только «что посеешь, то и пожнешь», бессердечный ублюдок с песьей рожей. «Старик». Чарльз-младший горько усмехнулся и покачал головой. Его отцу было тридцать семь, когда он лежал в белом атласном ящике на Тутингском кладбище, с бледным лицом, обрамленным маргаритками, которые Луиза, его содержанка, выложила вдоль края гроба.

Возможно, отец знал, что там, в чаду и бубнеже «Трех жеребцов», держит своего сына в последний раз. Возможно, так или иначе это чувствуется заранее, словно все уже решено – каким будет твой конец. Овсень поднял взгляд на пестрое облачко птиц, нырнувших, взметнувшихся и рассеявшихся серым пламенем на фоне заката, порхая над местными тавернами и скобяными лавками перед возвращением в гнезда, и подумал: какая жалость, что нельзя наперед знать, как повернется твоя жизнь, и даже бог с ней, со

смертью. В настоящем для него все может пойти как угодно, и фишки лягут так же непредсказуемо и случайно, как движения этих голубей. Если не повезет, его будет мотать по северным городишкам, пока он не сдуется, а все его мечты не окажутся всего лишь горячим воздухом. И тогда остается только воплотить мрачное предсказание матери, которое он слышал всякий раз, когда возвращался домой, дыша перегаром: «Закончишь свои дни в канаве, как твой отец». Скажем так, он знал, что стоит на перепутье во многих смыслах.

Теперь, когда город возвращался с работы на чай, по перекрестку торопилось больше телег с фургонами и больше пешеходов. Женщины с колясками и мужчины с вещмешками, шумные мальчики, увлеченные жестокой и болезненной игрой в кулачки в ожидании начала сезона каштанов [23], – все спешили по улицам, ведущим на все четыре стороны света, и переходили их пересечения, трусцой танцуя между угольными повозками, атоллами из лошадиного дерьма и – как раз сейчас – красным трамваем с рекламой перчаток «Аднитт» спереди. Трамвай появился с запада с надутым, проседающим солнцем позади него, и продолжал путь по железным рельсам направо от себя, чтобы гудеть вдаль по Золотой улице. Да уж, Овсень жил в новом мире, да только не всегда чувствовал, что он здесь на своем месте – в первые годы нового и ошеломительного века. Ему казалось, многие нервничали и чувствовали себя не в своей тарелке и что оптимистичные новые эдвардианцы существуют только в газетах. Оглядишься на прохожих – и по их лицам и одежде и не скажешь, что королева умерла восемь лет назад; впрочем, когда все вокруг бедные, они обычно выглядят одинаково в любую эпоху или правление. Бедность вечна, на нее можно положиться. Никогда не выходит из моды.

И никогда не выйдет – только не в Англии. Только вспомните дело с так называемым народным бюджетом, когда предлагали взять деньги из подоходных налогов и потратить на улучшения в обществе, а потом Палата лордов взяла и зарубила его. Их бы самих кто-нибудь зарубил, думал Овсень, копаясь в пиджаке в поисках

сигарет. Англия катилась под горку, и он сомневался, что двадцатый век обойдется со страной так же ласково, как девятнадцатый. Для начала – немцы с их жуткими заявлениями и жуткими кораблями. В прошлом году они похвалялись, сколько произвели аммиака, а теперь так же хвалятся бомбами. Затем Индия, ропщет и требует реформ. Не то чтобы он винил индусов – только думал, что это знак и что в ближайшие годы в школьных атласах будет меньше розовых областей. Британская империя находилась в упадке, даже если это кажется невыносимым. На его взгляд, она уже умерла вместе с Викторией, а теперь лишь вошла в долгий медленный процесс смирения со своей кончиной, процесс тихого распада.

Задумавшись о старых временах, глядя, как мусорщик костерит сынишку бакалейщика, проскочившего на велосипеде перед лошадью и повозкой, он вспомнил первый раз, когда приехал в Нортгемптон. Ему стукнуло девять, значит, когда это было, в 1898-м? Достав из кармана пачку с десятком «Вудбайнов Уиллса», он извлек одну сигаретку из оставшихся шести и уложил на нижнюю губу, возвращая узкую упаковку в куртку. Тогда он выступал в том же самом театре, больше десяти лет назад, с труппой мистера Джексона из детей-чечеточников – «Восемь ланкаширских мальцов». Он стоял на этом самом углу с лучшим другом из труппы, Бойси Бристолем, и обсуждал двойной номер, который их прославит, – Миллионеры-бродяжки с фальшивыми усищами и большущими бриллиантами в кольцах. Тогда это место звалось Большой зал варьете, а управлял им еще Гас Левайн, но в остальном ничем не отличалось. И вот они вдвоем, Бойси и Овсень, сбегали с репетиций, чтобы убить время на этом пяточке и помечтать о славе и богатствах, что так и лежали у их ног, – так же, как сбежал сегодня он, столько лет спустя. Наперекор ощущению, что отец знал, как скоро умрет, теперь ему больше казалось, что люди только безнадежно гадают, что их ждет за поворотом. Хотя он не мог говорить за Бойси Бристоля, которого не видел уже пять лет, на свой счет он точно был уверен: какие бы новые роли ни таило будущее, Миллионера-бродяжки в их числе

нет. Овсень достал из другого кармана коробок спичек, повернулся в сторону и поднял лацкан от ветра, раскуривая сигаретку.

Выпустил синий дым, и западный ветерок подхватил его и потащил за плечо, наверх по Золотой улице. Теперь Овсень смотрел на небольшой пустырь ниже по холму, через дорогу, и отвлеченно вспоминал «Восемь ланкаширских мальцов» – четверо из них родились не в Ланкашире, а один вовсе был короткостриженной девчонкой, но их и впрямь было восемь. Именно здесь они повстречали черного человека – первого, которого он видел в жизни, не считая картинок в энциклопедиях.

Они с Бойси околачивались тут, обсуждали логистику двойного номера, думая, что кольца с бриллиантами придется делать из пластилина, пока те, в свой черед, не сделают ребят миллионерами, как вдруг вниз по холму скатился он на своем смешном велосипеде, через перекресток им навстречу. Кожа у малого была черна как уголь, а не какого-то оттенка коричневого, а волосы и бороду уже припорошило сольцой, так что мальчишки решили, что ему под пятьдесят. Он ехал на прелюбопытном устройстве, которого ни один из них еще не встречал. Это был велосипед с привязанной сзади двухколесной тележкой, но больше всего в глаза бросались шины, две на самой машине и две на повозке позади. Они были из веревок. Железные ободья были обмотаны той же некогда белой бечевой, что тащила прицеп, но уже побывавшей в стольких лужах с сажей, что стала ненамного ярче самого наездника.

Негр, увидев, как мальчишки уставились на него, пока он катил через перекресток, улыбнулся и остановил велосипед с тележкой у тротуара чуть ниже по холму. Сделал он это с помощью деревянных брусочков, привязанных к стопам: снял ноги с педалей, чтобы они свесились и скребыхали по булыжной мостовой, пока таким манером транспорт не замер на месте. Водитель оглянулся через плечо, ухмыляясь двум мальчишкам, которые так беззастенчиво его разглядывали, и дружелюбно их окликнул:

– Надьеюсь, вы, малечышки, вэдете себя карашо!

Какой же чудной у него был голос, ничего подобного они еще не слышали. Они сбегали к нему по холму и рассказали, что ждут своей очереди выступить чечеточниками, что было почти правдой, а потом спросили, откуда он. Сейчас бы Овсень постеснялся спросить это у черного прямо, но в детстве ты просто говоришь все, что думаешь. У мужчины были черная кожа и заморский акцент. Вполне естественно, что они спросили, откуда он, и отреагировал он тоже естественно, без всяких обид. Рассказал, что родом из Америки.

Конечно, после этого мальчишки ударились в расспросы об индейцах и ковбоях, и правда ли дома в городах такие высоченные, как рассказывают. Он рассмеялся и сказал, что Нью-Йорк «большой-большой», хотя, оглядываясь назад, не сказать, чтобы его собственные корни впечатляли хотя бы в половину так же, как мальчишек. Он рассказал, что уже живет в Нортгемптоне около года, «на Алом Калодэце», что бы это ни значило, а поболтав еще немного, объявил, что ему пора возвращаться к работе. Подмигнул и велел вести себя хорошо, потом поднял деревянные бруски с земли и покатился по склону туда, где на фоне неба стоял стоймя вычурный серый барабан газгольдера. Когда он уехал, они долго еще фантазировали об Америке, а потом изображали акцент, с которым говорил черный, и Бойси хватался за живот от его пародии. Потом они опять вернулись к своим золотым мечтам о Миллионерах-бродяжках, и с того дня Овсень больше ни разу не задумывался об этой удивительной встрече.

Он сделал такую затяжку «Вуди», что больше была похожа на глоток, затем выдул дым через нос – это он подсмотрел у других и считал очень стильным. Теперь по перекрестку сновало немало народу, как на колесах, так и на ногах, а он перебирал в памяти, что еще мог позабыть из тех времен. Явно не миссис Джексон с лицом-черепом, жену бывшего учителя из Ланкастера, организовавшего театральную компанию, которая кормила младенца грудью, наблюдая за репетициями танцевальной труппы. Уж этот вид он будет помнить, даже если доживет до ста. Если задуматься, хватало

немало случаев вроде встречи с тем негром, которые он позабыл ненароком, но не меньше всего он позабыл, так сказать, нарочком.

Не то чтобы он стыдился своих корней, но во многом его ремесло зависело от видимости. Придется следить за тем, как подавать события, если он все же чего-нибудь добьется. Выйти из бедноты – это еще неплохо: все любят истории «из грязи в князи». Но вот «грязь» – ее надо представить правильным образом, приукрасить и сделать презентабельной, закрасив всякие гадкие подробности. Никто бы и слезинки не пролил по Малышке Нелл, если бы она умерла при родах или от сифилиса. Публику привлекают печаль и сантименты, так называемый колорит бедных классов, но привкус нищеты не нравится никому. Пьяница будет идти на ура, только пока висит на фонаре в обнимку и беседует с ним, как с закадычным приятелем. Номер заканчивается куда раньше, чем Пьяница обосрет штаны или вернется домой и отправит жену в больницу, выпоров ремнем так, что она не сможет ходить.

Вот еще момент, от которого нужно избавляться, если хочешь представить свою историю бедности в правильном свете, – всякие драки и избиения. Если в какой-то неопределенный момент неопределенного будущего его попросят углубиться в воспоминания, поделиться чем-нибудь для журнала о театре, то он с превеликим удовольствием расскажет о «Ряженных пташках», расскажет о «Футбольном матче», где появлялся с Гарри Уэлдоном, и даже о «Восьми ланкаширских мальчиках» расскажет. Но годы, когда они с Сидни были шутами и талисманами Пацанов из Элефанта, – они не заслужат упоминания. Ни паршивого словечка.

Внезапный порыв ветра с западной стороны перекрестка сдул сигаретный дым в глаза, так что на секунду они заслезились, и Овсень словно ослеп. Он переждал, затем утерся рукавом, надеясь, что прохожие не подумают, будто он плачет; что к нему так и не пришла девушка или еще что.

Когда он рос, в Лондоне, куда ни плюнь, везде были банды. Вступать в них было необязательно, а если хотелось держаться

подальше от неприятностей, то лучше об этом и не думать, но все же надо отдать должное и преимуществам дружбы с бандой и стараний ошиваться на ее краю. Если выбрать шайку, заслужившую репутацию пострашнее, тогда, если повезет, другие банды постараются с тобой руки не распускать. Во всем городе и боро не было никого страшнее мальчишек из Элефант и Касла, потому Чарльз с Сидни и задружились с ними.

К этому возрасту они со старшим братом умели и петь, и танцевать, и по очереди устраивали представления на улицах ради пенни-другого, когда их матери не везло с заработком, что случалось часто. Пацаны из Элефант, которые, не моргнув глазом, увечили или грабили взрослых мужиков, остались от него с Сидни под впечатлением, прозорливо заметив очевидный сценический талант братьев. На них смотрели как на дрессированных мартышек, либо как на средство заработать пару медяков, если мелел общак, или поднять мораль до и после какой-нибудь кровавой стрелки с соперничающей подростковой бандой, например Кирпичниками из Уолворта и прочими. Специальностью Овсеня было впихнуть ноги в ручки крышек от уличных урн, а затем отбивать чечетку на металлических решетках с оглушающим грохотом. Он буквально прогремел со своей Чечеткой Овсеня. На самом деле, если подумать, именно Пацаны из Элефанта первые прозвали его Овсенем.

Кошмар во плоти. Он отбивал свою Чечетку Овсеня, а Сидни вступал на ложках, гребне или бумаге – да всем, что попадалось под руку, пока самые здоровые мордovorоты банды, сидя на тротуаре, скрупулезно затачивали крюки рыночных грузчиков и свистели или хлопали, если думали, что они со Стечкой выступают особенно хорошо. Стечкой – или Стейки – называли в те дни его брата, в честь стейка и почек. И вот они на пару, Стечка и Овсень, прятались за углом, наблюдая за стычкой или побоищем, а потом выходили на победный танец с лицами, побелевшими от всего увиденного – мальчишки, бегущие домой с болтающимся на нитке ухом, вопящий паренек четырнадцати лет со струящейся по ногам кровью от крюка,

подцепившего за задницу, – и все мысли Чарльза были только об этом, пока он топал по железным стокам с крышками помоек на стопах, поднимая тарарам, как на Судный день, высекая горячие искры лязгающим металлом до самых голых коленей. И сколько ему было, лет семь-восемь?

Если он чему-то после всего этого и научился, так это что не выносит мысли о боли, о том, чтобы с его телом и особенно лицом сделали что-то страшное. Только на них и оставалось надеяться, только они и могли вытащить из этой гнусности и заработать на хлеб с маслом. Случись что с ними, тут и конец всему. Ему. Однажды он стоял и смотрел, сгорая от стыда, как Сидни лупил старший член банды, которого раздосадовали какие-то слова Сида. Овсень знал – и Сидни позже его заверил, – что ничем не мог помочь, и все же чувствовал себя последним трусом. Можно было хотя бы что-то сказать – но так он лишь стал бы следующим, и потому просто стоял и смотрел, как Стечке рассекают щеку. Если – хоть в это и трудно поверить – он когда-нибудь напишет мемуары, ничего из этого в них не просочится.

Споры или свары – это еще куда ни шло, но он пойдет на все, чтобы избежать драки. Шоумены постарше, с которыми он терся в одном цеху, говорили, что дела между Англией и Германией совсем разладились, рано или поздно быть войне. В следующем апреле ему исполнится всего двадцать один, и, как поется в песенке, «двадцать один бывает только раз, все двери открываются тотчас», но вот начнись что – а он как раз призывного возраста. Идти в армию ему нисколько не улыбалось, и он еще надеялся, что если и когда что-то начнется, то найдется какой-то способ отлежаться в безопасности в другой стране. Ранее в этом году его на месяц ангажировали играть в *Folies Bergère* у Карно, и ему так понравилось, что даже не тянуло возвращаться домой. Там он повидал больше красавиц, чем мог мечтать, а это что-то говорило о его мечтах. Там он повстречал мсье Дебюсси, композитора, и единственный раз в жизни по-настоящему подрался с бойцом Эрни Стоуном у того в гостиничном номере,

перебрав абсента. Конечно, Стоун победил, но и Овсень был не лыком шит, и сдался только тогда, когда боксер легкого веса заехал ему по зубам так, что он уж думал, совсем останется без них. После такого возвращение к старым номерам «Ряженных пташек» и гастролям по мрачным северным городишкам оказалось настоящим разочарованием, и он надеялся, что уже скоро вернется за границу – и лучше не в каске призывника. Карно все болтал об Америке, но Фред Карно много о чем болтал, а плоды его разговоры приносили редко. Овсень скрестил пальцы и верил в лучшее.

Он легко затыкнулся еще пару раз, потом бросил окурочек и раздавил ботинком, прежде чем пнуть с тротуара. Канавы наполнились пустыми пачками – «Вудбайнами», «Пассинг клаудс» – и неаппетитным салатом опавших листьев. Пришлось поозираться, прежде чем он нашел деревья, с которых, очевидно, налетели эти листья, – некоторые стояли дальше на запад от перекрестка, так что виднелись только кроны, золотые в заходящем солнце. Приглядевшись, он заметил и молодые деревца, растущие из пары ближайших дымоходов, пустив корни в грязную кладку, – например, на крыше питейного заведения через улицу, «Вороне и Подкове». Заметив знак, прикрученный на противоположном углу и почти нечитаемый из-за сажи и ржавчины, он узнал, что стоит на Подковной улице – это объясняло хотя бы вторую половину названия паба. А если деревья, верхушки которых он заметил вдали, росли на кладбище, то это, пожалуй, объясняло и первую. Он представил пухлых падальщиков, рассеявшихся и каркающих на надгробиях, чьи имена поросли мхом, и тут же пожалел об этом.

В конце концов, ему всего лишь двадцать. Еще долго не придется думать о мрачном – хотя в Бурской войне убивали ребят и куда моложе. Да что там, в Ламбете некоторые мальцы не дожили и до десятого дня рождения. Ему бы хотелось поверить в Бога так же, как той ночью в подвале на Оукли-стрит, где он выздоравливал от лихорадки, пока мать на разные лады исполняла самые драматичные сцены из Нового Завета, чтобы занять его мысли. Она

вложила в игру весь талант из сценической карьеры, брошенной только недавно, и даже перестаралась – он в итоге надеялся, что у его болезни случится рецидив и он умрет, чтобы встретиться с этим самым Иисусом, о котором столько рассказывают. Она пропускала притчи через себя с такой страстью, что он ни на миг не сомневался в их правдивости. Впрочем, это все было до того, как они вместе с ней и братом прошли работный дом, и до того, как ее ненадолго положили в психиатрическую лечебницу. Сегодня он уже не был так уверен в рае, который ему расписывали той ночью в красках столь живо, что не терпелось к нему прикоснуться.

Но теперь он в целом занизил ожидания, и если и думал о том, что его ждет после смерти, то только с той точки зрения, как его запомнят и скоро ли забудут. Ему хотелось, чтобы его имя осталось жить – и не просто имя завсегдатая пабов Уолворта и Ламбета, чего посмертно заслужил его отец. Ему хотелось, чтобы после смерти о нем хорошо думали и отзывались, как о ком-нибудь вроде Фреда Карно. Ну, ладно, это малость амбициозно, учитывая положение Карно в бизнесе, но хорошо было бы оказаться где-то рядом, пусть даже пониже. Он мог представить, что в будущем, когда людей везде будет намного больше, жанр мюзик-холла станет куда важнее, чем сейчас, и Овсень надеялся, что за вклад в становление традиции где-нибудь скромно упомянут и его – если, конечно, он умудрится не погибнуть на войне до прихода славы.

Из-за этих мыслей он заметно пал духом. Скользнул девчачьими из-за длинных ресниц глазами по толпе прохожих в надежде отдохнуть взглядом на внушительном бюсте или красивом личике и отвлечься от мыслей о смерти, но ему не повезло. Приличных женщин хватало, но примечательными никого не назовешь. Да и с грудями та же история. Ничего выдающегося, и пришлось вернуться к тяжелым думам.

Больше всего в смерти его пугало то, что из-за нее он как будто заперт в трамвае, который идет строго по одному маршруту, что рельсы впереди уже выложены, что все неизбежно, – впрочем, это,

по размышлении, пугало его и в жизни. Иногда жизнь казалась прописанной репризой с припасенной заранее шуткой. Остается только следовать всем поворотам и твистам, пока тебя тащит сюжет, сцена за сценой. Ты родился, твой отец сбежал, ты пел и танцевал на сцене, чтобы спасти семью от работного дома, но она все равно там оказалась, брат выбил тебе место у Фреда Карно, ты ездил в Париж, вернулся, упустил из-за ларингита бывшую звездную роль Гарри Уэлдона в «Футбольном матче», застрял в «Ряженных пташках» и вернулся в Нортгемптон, а потом через какое-то время – если повезет, долгое, – умер.

Его тревожило это сплошное «а потом, а потом, а потом», сцена за сценой, когда одно событие предопределяет, как развернутся следующие акты, – прямо как долгая падающая череда домино, и словно ничего нельзя поделаться с тем, как упадут костяшки, с подготовленной их точностью, отлаженной как часы. Как будто жизнь – какой-то большой безличный механизм, как всякие штуковины на фабриках, которые крутятся себе несмотря ни на что. Родиться – как угодить полый куртки в шестерни. Жизнь затянет – и готово дело, тебя перемалывает во всех ее обстоятельствах, шестернях, пока не протащит до другого конца и не сплюнет – если повезет, в красивый ящик. Как будто не было места выбору. Полжизни диктовала финансовая ситуация семьи, а другую половину – его собственные хотения, потребность в том, чтобы его обожали так же, как обожала мать, паническая спешка чего-то добиться и кем-то стать.

Но это же еще не все, правда? Овсень знал, что так о нем про себя думают все – все так называемые приятели в бизнесе: что они считают его за честолюбца, будто он вечно за чем-то гонится – за женщинами, за любой халтурой, которую учует, за славой и богатством, – но он же знал, что они ошибались. Конечно, он всего этого жаждал, жаждал отчаянно, но ведь жаждали и остальные, и вовсе не погоня за признанием подталкивала его в жизни, а рокочущий позади огромный черный взрыв происхождения. Мать,

что сошла с ума от голода, отец, что раздулся до размеров вонючей водяной бомбы, все картины, что мелькали под перкуссию кулаков по мясу и помоечных крышек по решеткам, гремящих и дребезжащих в снопах искр. Он знал, что не стоит на месте не потому, что гонится за судьбой, а потому, что убегает от рока. Другие думали, что он хочет залезть повыше, но на самом деле он пытался не сорваться.

Поток транспорта и людей на перекрестке скользил, как челнок на ткацком станке: сперва с шумом с севера на юг, вниз и вверх по холму перед ним, затем с грохотом с запада на восток вдоль дороги, на которой были «Ворона и подкова» и Золотая улица. На углу, где стоял Овсень, вихрились все запахи, подогретые не по сезону солнечным днем и с закатом опускающиеся одеялом, повисшим над перепутьем. Довлел в компоте ароматов конский навоз, составляющий основание букета, но вмешивались в него и другие эссенции: слабо пахнувшая перцем и электричеством угольная пыль, выдохшееся пиво, занесенное из таверн, и какой-то другой сладковатый, но тлетворный дух, что-то среднее между смертью и грушевым монпансье, который он сперва не признал, но в итоге списал на множество дубилен Нортгемптона. Как бы то ни было, все это он тут же выкинул из головы, потому что как раз в эту минуту сбоку на Подковной улице показалось то, от чего он точно не собирался воротить нос.

Ее бы никто не назвал классической красавицей – не такой, на каких он насмотрелся на Champs-Élysées, это было понятно даже на расстоянии, и все же она словно бы вся лучилась. Вверх по склону навстречу ему прогуливалась девица, в которой он отметил пухлость, что с годами наверняка станет заметнее, но пока что проявлялась неотразимыми пропорциями ладных и пышных изгибов. Ее контуры были щедрыми и приятными глазу, как пышный сад, – несколько напоминали о саде или сквере и ее походка под дешевой тонкой тканью хлопающей летней юбки, и толстые бедра, сужающиеся к крепким икрам и изящным фарфоровым ступням,

выглядывающим в ленивом шаге из-под трепещущего подола, пока она, никуда не торопясь, взбиралась по холму.

Платье ее было невзрачным и в основном коричневым, но зато гармонировало с палитрой ландшафта, где она дефилировала: листья, забившие канавы пламенем и шоколадным крошевом, афиши цвета поблекшей сепии, что шуршали обрывками на фасаде старинного театра-конкурента в основании Подковной улицы. Выбивались из композиции волосы женщины. Насыщенно-рыжие, как миска полированных каштанов, и как лава там, где ловили предвечерний свет, ее кудри ниспадали на розовые щечки пружинистыми горстками кремовых трубочек. Чуть выше полутора метров – карманная богиня, – она полыхала, как огонек в лампе: слабый, но все же озаряющий прокопченные закоулки, которые она миновала.

Когда эта молодая услада глаз подошла ближе, он разобрал, что она несет что-то у левого плеча, поддерживая рукой снизу и положив на полную грудь, а второй рукой прижимая сверток к себе, – на манер, как ходят с продуктовыми сумками, у которой оторвались ручки. На полпути по крутому холму от Овсеня она остановилась, чтобы поудобнее перехватить кулек и поднять повыше. Пушистое окончание предмета вдруг зашевелилось и обернулось прямо к нему – тогда он и осознал, что это малышка.

А если точнее, не просто малышка, а, несмотря на размер и возраст, наверное – нет, не наверное, совершенно точно самое очаровательное создание, что он встречал. На вид ей было не больше года, ее локоны белого золота струились водопадом обручальных колец, а огромные глаза были уютного голубого цвета полицейских фонарей в опасную ночь. Этот ангелок с печатки встретил его взгляд не моргая, удобно устроившись в объятиях приближающейся женщины. Может, Овсень и мечтал, что из болота происхождения поднимется только благодаря своей красоте, но сейчас он удостоился встречи с великолепием, о котором однажды заговорят с тем же придыханием, что о Елене. Ничто не помешает

этому чаду стать бриллиантом своего века с этим личиком – стоит лишь раз поймать его взгляд с плаката, оно будет преследовать тебя вечно. Ей не грозит остаться в жизни без уважения или любви – уже в таком возрасте это читалось в ровном, непритязательном взгляде, в неколебимой уверенности небесной орхидеи, выросшей среди клеверов и сорняков. Если на что-то в этом мире и можно рассчитывать, так это что имя крошки стяжает такую славу, какая не светит ему с Карно, вместе взятым. Это неизбежно.

Если девочку несет эта фигуристая дамочка, это еще не значит, что они мать и дитя, думал он с неугасающим оптимизмом, хотя даже с такого расстояния нельзя было не заметить сходства. И все же оставался шанс, что эта краля приходилась юному видению тетушкой, которая присматривает за ребенком, пока родители на работе, а значит, несмотря на внешность, может быть свободной. В долгосрочной перспективе это даже было не важно, ведь все, чего ему хотелось, – провести десять минут в приятном флирте, а не подорваться с ней в Гретну, – но ему отчего-то всегда было беспокойно, если он заигрывал с замужней женщиной.

Взбираясь по холму, женщина смотрела на противоположную сторону и пустырь, мечтательно созерцая запущенную буддлею, прорывавшуюся из обломков старого кирпича, и как будто не замечая существования Овсеня. Впрочем, он уже привлек внимание деточки, так что решил работать с тем, что есть, и плясать от этого. Опустил подбородок, коснувшись им воротника и толстого узла галстука, затем вскинул глаза на младенца из-под страусиных ресниц и угольно-черных дефисов бровей. Одарил смертельно серьезную красу своей самой бесовской улыбкой, сопроводив ее коротким, застенчивым трепетом век. И вдруг ударился в профессиональную чечетку на потертых бежевых булыжниках, не продлившуюся и трех секунд, после чего замер как вкопанный и отвернулся к вершине холма с невозмутимым видом, будто танцевальной интерлюдии и не было.

Далее он время от времени скрадывал робкие взгляды через плечо, словно чтобы убедиться, что херувимчик смотрит на него, хотя сам в этом не сомневался. Всякий раз, наталкиваясь на ее глаза, теперь повеселевшие и заинтригованные, он прятал лицо, словно от стыда, и миг подчеркнуто таращился в противоположном направлении, прежде чем позволить взгляду, хотя и с заминками, подкрасться для очередной встречи, как в игре в «ку-ку». На третий раз он увидел, что красавица заметила лопотание малютки и тоже поглядывала на него со знающей улыбкой, которая казалась и одобрительной, и в то же время какой-то испытывающей, словно Овсеня мерили по не знакомой ему мерке. Теперь, когда день остывал, ветерок задувал сильнее, разбивая циферблаты одуванчиков на свалке и разнося по улице их невесомые шестеренки. Он же восторженно кудри женщины, словно глянцевые сережки на березе, пока она изучала его и решала, одобряет ли увиденное.

Похоже, что одобряла, пусть и не без оговорок. Будучи уже всего в нескольких шагах, она приветливо окликнула Овсеня.

– А у тебя есть почитатель, – очевидно, она имела в виду ребенка.

Забавно, но ее голос тек, как варенье из черной смородины, от которого Овсень в те дни просто не мог оторваться. Одновременно уютный в своей обычности и фруктовый от полунамеков-полутонув, он отличался сладостью с обещанием темного густого наслаждения и – куда без этого – намеком на колкую остринку. Но акцент ее оказался без той странной нортгемптонской интонации, которой он ожидал. Если бы он не знал, мог бы поклясться, что она родом из Южного Лондона.

К этому времени она дошла до угла, где и остановилась всего в футе от него. Вблизи, где он смог подробнее разглядеть женщину и ребенка, они нисколько не разочаровывали ожиданий. Будь дитя еще прекраснее или совершеннее, Овсень бы возрыдал, тогда как старшую спутницу, на которую он положил глаз, словно окружали сияние и тепло – они, если уж на то пошло, только усилили первое

впечатление, произведенное на расстоянии. Выглядела женщина одних лет с ним, а подходившее к концу жаркое лето вырастило на лице и руках урожай веснушек, казавшихся миниатюрными версиями пятнышек на лилиях. Овсень поймал себя на том, что откровенно пялится, и решил что-нибудь ответить.

– Ну, главное, чтобы моя почитательница знала, что я стал ее почитателем намного раньше, – речь не обязательно шла именно о малышке, но он был только доволен двусмысленностью. Женщина рассмеялась – и он услышал музыку: правда, больше пианино в пабе в пятничную ночь, нежели Дебюсси, но тем не менее. Когда она отвечала, западное небо уже обмакнули в новые краски – меланхолия золотых куч, словно просыпанной казны, над газгольдером, пастельные мазки палево-лилового и мятой мальвы по краям.

– Ой, ну ты. Расхвалишь ее – она избалуется, и больше никто не захочет с ней водиться, – тут она сменила хватку, переместив вес младенца в другую руку, так что теперь Овсень ясно видел ее левую руку и простое кольцо на третьем пальце. Ну что ж. Он понял, что все равно получает удовольствие от компании, и не расстроился, что встреча ни к чему не приведет. Сменил прицел комплиментов, чтобы теперь направлять их исключительно на детку, и, освободившись от необходимости произвести впечатление на женщину, Овсень с удивлением обнаружил, что хоть раз для разнообразия говорит их от всей души.

– Ни за что не поверю. Чтобы ее испортить, одной лести мало, и ставлю пять фунтов, что вокруг нее и без того увиваются толпы, куда бы она ни пошла. Как ее зовут?

Здесь брюнетка обратила лицо к девочке на руках, чтобы мягко соприкоснуться с ней лобиками с гордой и доброй улыбкой. Над газовой станцией полетели гуси.

– Звать ее Мэй, как и меня. Мэй Уоррен. А ты как? И че торчишь на углу Дворца Винта с бесстыдными глазищами?

Овсень так поразился, что у него отпала челюсть. Еще никто не отзывался так о взгляде, который он по-прежнему считал огненным. Впрочем, после мгновения оторопелого молчания он рассмеялся с неподдельным восхищением пронизательностью и беспощадной честностью женщины. Оскорбление казалось тем смешнее, что, когда его произнесли, малышка повернулась и воззрилась прямо на него с вопросительным и участливым взглядом, словно присоединяясь к вопросу матери и интересуюсь, чего это он торчит на углу с бесстыдными глазищами. От этого он смеялся только дольше и пуще прежнего, а к нему с удовольствием присоединилась и девушка, и наконец вступила ее дочурка, не желая показаться непонятливой.

Когда все замолчали, он осознал с каким-то удивлением, как же приятно после месяцев и лет загодя продуманной комедии по-настоящему, произвольно рассмеяться, особенно над шуткой в его же адрес. Шуткой, которая напомнила ему, что он задирает нос и что серьезные переживания из-за карьеры, донимавшие его не далее пяти минут назад, скорее всего, такие же раздутые и преувеличенные. Все встало на свои места. Для того-то, наверно, и нужен смех, решил он.

Он кивнул, как можно менее самодовольно, на свое имя на плакате, к которому привалился, но просил называть его Овсенем. Так делали все его друзья, к тому же ему казалось, что имя «Чарльз» прозвучит для такой простой девушки слишком заносчивым. Когда они с Сидни были маленькими, их мать еще жила на широкую ногу и выводила своих мальчишек прогуляться по Кеннингтонской дороге в таких костюмах, которые, знала она, никто в округе не мог позволить даже в самых ярких мечтах. Оттого-то, конечно, падение в нищету и к плиссированному алому трико вместо колготок стало еще невыносимее, и с тех самых пор он всегда боялся, что его принимают за воображалу, потому что в случае нового падения не перенес бы излишней жестокости. Сойдет и «Овсень», подумал он. В их именах даже звучали отголоски от праздничного стола в честь урожая – Овсень и Май.

Женщина присмотрелась к нему, вопросительно сузив глаза, у уголков которых раскрылись и сомкнулись миниатюрные веера декоративных морщинок.

– Овсень. Овес и ячмень. Да ты никак с Лондона.

Она склонила голову чуть назад и набок, смеряя его как будто с глубоким подозрением, так что на минуту он забеспокоился. Девушке чем-то не угодил Лондон? Затем ее лицо снова расслабилось в улыбке, только у этой улыбки было какое-то хитрое, кошачье свойство.

– С Ламбета. Западная площадь, у дороги Святого Георгия в Ламбете. Как, угадала?

Малышка уже потеряла интерес к Овсеню и развлекалась, хватая в маленькие кулачки медные пряди волос ее матери – судя по виду, довольно больно. Он же почувствовал, как роняет челюсть уже второй раз на второй же минуте, хотя в этот раз не в прелюдии к смеху. Если честно, эти слова нагнали на него страху. Кто эта женщина, откуда она знает то, чего знать не может? Цыганка? Все это только сон, который снится ему в шесть лет, о странном мире, что ждет в будущем, пока сам он беспокойно мечется, а бритая головка шуршит по грубой ткани подушки в работном доме? В этот миг он почувствовал, словно мир ускользает из пальцев, на него нашло мимолетное головокружение, так что дороги перекрестка чуть не завертелись, как иголка сломанного компаса, а дым из труб и золоченые облака завихрились в километровых кольцах, пойманные центрифужным бегством горизонта. Он больше не знал, где он и что происходит между ним и этой пугающей молодой матерью. Даже издали он понял, что она окажется интересной женщиной, но реальность превзошла все его ожидания. Она сбивала с толку и с ног – и она, и ее неземная дочка.

Увидев в его глазах панику и смятение, она снова рассмеялась – горловое журчание, лукавое и одновременно несколько распутное. Он почувствовал, что ей нравилось время от времени пугать людей, как ради смеху, так и чтобы показать свою силу. Хотя его уважение

росло с каждой секундой, желание, которое он испытал при ее виде, съезживалось в противоположном направлении. Этот человек, несмотря на скромное сложение, был больше его самого. Эта девчонка, подумал он, может его слопать, сыто отрыгнуть и отправиться дальше по своим делам как ни в чем не бывало.

Наконец она его пожалела. Выпутывая колечки волос из пальчиков девочки, пока юная Мэй как раз отвлеклась на проплывающий и позвякивающий трамвай, она доказала, что никакая не профессиональная фокусница, объяснив, как сумела прочесть мысли.

– Я сама с Ламбета, с Регентской улицы у Ламбет-уок – маленькой такой террасы. Верналл. Это я по матушке. Помню, как наши мамка с папкой гуляли со мной по округе, когда я была совсем маленькой. Они там ходили в один паб на Лондонской дороге, а домой мы срезали через Западную площадь. Там-то я ты и видала пару раз. С тобой был еще старший братец, верно?

Он почувствовал облегчение, но и не меньшее удивление. Цепкая память женщины, хотя и куда более впечатляющая, чем его собственная, была вполне типична для тех, кто рос в тесных кварталах, где все знали имена всех в радиусе двух миль, а также имена их детей и родителей и запутанные капризы и нити обстоятельств, связывающих поколения. Так и не выучившись этому трюку, – Овсень всегда надеялся, что не задержится в тех местах надолго, – он был застигнут врасплох, когда трюк провернули с ним, в этом маловероятном месте, захолустном городишке. В отличие от девушки, он, хоть убей, не помнил никаких детских встреч.

– Да. Ты права, у меня был брат Сидни. Собственно говоря, до сих пор есть. А когда ты там была? Сколько тебе лет?

В этот момент она с укоризной подняла бровь из-за отсутствия манер – негоже спрашивать девушку о возрасте, – но все же ответила:

– Как тут у нас гряд, молодая, как мой язык, но старше й, чем зубы. Мне двадцать лет, если так уж интересно. Родилась десятого марта

1889 года.

Чем больше она убеждала, что в том, как она узнала его адрес, нет ничего загадочного, тем более жуткой казалась их случайная встреча. Эта удивительно внушительная женщина родилась с ним в один месяц и все детство жила, наверное, всего в двухстах ярдах. И вот они оба здесь, в шестидесяти милях и двадцати годах от места, где начинали, стоят на одном из сотен углов в одном из сотен городов. Он снова задумался о предыдущих сомнениях по поводу судьбы и того, могут ли люди предугадать свой путь. Теперь он видел, что это два разных вопроса, которые требуют двух разных ответов. Да, возможно, за тем, как складываются события, стоит заблаговременно очерченная схема, или на худой конец иногда так кажется, но в то же время если подобный замысел есть, то он слишком великий и неземной, чтобы прочесть или понять его, так что никто не может предсказать, чем разрешатся все его завитушки, разве что по случайности. С тем же успехом можно пробовать предсказать все формы фиолетового закатного облака, которые оно примет перед тем, как догорит, или какая телега кому уступит дорогу при встрече на перекрестке. Слишком сложно, чтобы охватить, что бы там ни говорили всякие пророки или знатоки кофейной гущи. Он потрянул головой и ответил ей, пробормотав невпопад какую-то нелепость про тесный мир.

Очаровательная крошка теперь беспокойно ерзала, и Овсень испугался, что мать воспользуется этим поводом, решив забрать ее домой и закончить разговор, но та только спросила, что он делает у Дворца Варьете, или Дворца Винта, как она продолжала его называть. Он рассказал, что в общем занимается всем понемногу, но сегодня выйдет с «Ряжеными пташками» Фреда Карно в роли Пьяницы. Она сказала, что это наверняка смех да и только, и добавила, что всегда хотела познакомиться с кем-нибудь из театра.

– Это все наш пострел, наш Джонни. Ток и твердит, как ему нейметя на сцену. Эт мой младшенький братец. Мнит, что попадет в

театр или музыкальную группу, да ток это все пустозвонство. Учиться не хочет, да и на какие шиши. Слишком это тяжко.

Он кивнул в ответ, глядя, как на свой склад в конце улицы, у подножия за ее спиной, торопится молоковоз. С места Овсеня он казался всего в дюйм высотой – унылая крошечная кобыла тащила телегу по правому плечу девушки, затерявшись на какое-то время в осеннем лесу ее волос, прежде чем снова показаться слева и устало уплестись из виду.

– Да уж, если твой брат не хочет попотеть, на подмостках он недалеко пойдет. Впрочем, он еще может стать управляющим или импресарио, а там пусть ленится, сколько захочет.

На это она посмеялась и сказала, что откажется от совета. Он воспользовался паузой, чтобы поинтересоваться, почему она называла зал Дворцом Винта.

– О, его как ток не звали. Семья нашего папы жила в Нортгемптоне, скок себя помню, вечно болталась между домом и Ламбетом, вот и следили за переменами. Попервоначалу он был мюзик-холлом «Альгамбра», как говорил папка, потом, как я родилась, название поменяли на «Гранд-варьете». Немного погодя, если верить папе, началась черная полоса, когда и театра никакого не было. Пять лет тут каждый месяц открывалось что-то новое. То бакалея, то велосипеды продавали. Был паб под названием «Ворона», потом переехал через улицу и стал «Вороной и подковой», а еще помню, как десять лет назад здесь стояла кофейня. Туда ходили все вольнодумцы, как они ся звали, и могу те сказать – были среди них те еще герберты. А в год, когда умерла королева, его освежили и окрестили Дворцом Варьете. Старый мистер Винт – год назад он купил заведение, но вывеску так и не сменил.

Овсень кивал, рассматривая старое здание в новом свете. Из-за того, что он выступал здесь «Ланкаширским мальцом» столько лет назад, казалось, ничего не изменилось и варьете стояло как было, что оно всегда было одно-единственное и, скорее всего, таким и останется. Небрежное перечисление девушкой назначений, для

которых употребляли помещение за годы, его покорило, хотя он бы и не смог объяснить, чем именно. Овсеню показалось, это потому, что мир, где он вырос, хотя и ужасный и душный, стоял неизменным из года в год, а часто и из века в век. Даже в этом занюханном углу Нортгемптона, таком же нищем, как Ламбет, где он родился, – даже тут можно видеть, что в большинстве зданий до сих пор находятся те же заведения, что и сотню лет назад, даже если у них сменялись названия или руководство. Вот почему рассказ о переменчивой судьбе зала вывел его из душевного равновесия: потому что, хотя подобная история еще была редкой, с каждой неделей она слышалась все чаще. А что будет, спросил он себя, когда эти второразрядные театрики-однодневки станут правилом, а не исключением? Если он вернется, скажем, через сорок лет и обнаружит, что здесь продают – он даже не знает – электрические пушки или еще что-нибудь такое, а варьете нет и в помине? Вдруг тогда вообще не останется жанра варьете? Ну ладно, это он, конечно, махнул, но именно так себя почувствовал из-за бесцеремонного повествования Мэй – беспокоило из-за порядка новых дней, нового мира. Овсень сменил тему, спросив о ней самой:

– Ты так говоришь, словно все здесь знаешь. Сколько ты уже тут живешь?

Она задумчиво воздела глаза к обрывкам сиреневых перистых облаков на темно-синем поле, пока ее поразительно воспитанная и терпеливая дочь сосала блестящий палец и смотрела, как будто бы безразлично, на Овсеня.

– Кажись, в девяносто пятом, когда мне было шесть, мы сюда и приехали, хотя наш папа – он-то всегда мотался туда-сюда в поисках работы. Ходит пешком всю дорогу до Лондона и обратно, старый черт. Частенько мы не видали его по шесть недель кряду, ни слуху ни духу, и вдруг он заявляется с гостинцами, пустячками для всех и каждого. Не, здесь не так уж скверно. Здешние места – как тот же Ламбет, люди те же. Иногда кажется, будто и вовсе не переезжали.

Теперь некоторые узкие лавки на той стороне Подковной улицы зажигали огни – тусклый свет, подернутый зеленым по краям, между редкими и темными витринами. Опустив взгляд от дымоходов, старшая Мэй с гордостью посмотрела на младшую, стиснутую в крепких руках цвета тигровой лилии.

– Кажись, я тут надолго. Во всяком случае, на то моя надежда, а еще на то, что малая тож будет жить тут. Тут народ открытый, и бывают совсем старомодные особы. Тут я познакомилась со своим милым, Томом, и мы венчались в Гилдхолле. У него все местные, все Уоррены, и с нашей стороны Верналлов тут живут многие. Нет, тут ничего, в Нортгемптоне. Свиной пирог пекут на славу, и парки один другого краше – Виктории, Беккетта и Абингтонский. Ток-ток свою туда сейчас и водила, к речке. Смотрели лебедей и гуляли по островку, да, уточка моя?

Это было адресовано ребенку, который наконец начал проявлять беспокойство в открытую. Ее мать выпятила нижнюю губу и сложила брови домиком, передразнивая плаксивое выражение дочки.

– Голодная, значит. Как в парк шли, заглянули к Готчеру Джонсону, взяли две унции радужных конфет [24], но я тож перекусила, вот надолго их и не хватило. Пора нам уж с ней домой на улицу Форта, на чай. Там и тушенка в консервах ждет, ее любимая. Славно было познакомиться, Овсень. Удачи те с номером.

На этом Овсень раскланялся с обеими Мэй и сказал, что ему было не менее приятно встретить их обеих. Взял влажную крошечную ладошку малышки и заявил, что надеется однажды увидеть ее имя на большой афише. Матери он только сказал: «Присматривай за ней», – а когда женщина усмехнулась и ответила, что это уж преобязательно, сам задумался, зачем такое ляпнул. Какая глупость, как можно не присматривать за такой деточкой. Воспитанница и родительница подождали, когда дорога освободится, затем пересекли основание Золотой улицы и поднялись по холму на север. Он стоял на своем углу и наслаждался видом на зад женщины, плывущим под болтающейся юбкой, представляя ягодицы в виде

прижавшихся друг к другу лиц танцоров, скачущих в жарком тустепе. Или, быть может, двух мускулистых борцов в ближнем бою, и стоит одному отвоевать дюйм, как второй тут же отбивает его обратно, так что они только покачиваются в клинче. В этот момент он заметил, что ребенок, удаляясь прочь, серьезно смотрит на него через плечо девушки. Почувствовав неожиданный стыд из-за того, что девочка поймала его за любованием прелестями ее матери, он быстро отвернулся к заросшему пустырю ниже по холму, а когда всего через минуту поискал глазами, их уже не было.

Овсень посмотрел, который час, затем выудил из убывающей пачки очередную «Вуди» и закурил. Если подумать, разговор вышел тот еще. Произвел на него такое впечатление, которое в полную силу почувствовалось только сейчас. Эта женщина, Мэй, родилась всего через несколько недель после него и выросла меньше чем в полдюжине улиц, – а встретились они на углу в другом городе двадцать лет спустя. Кто бы мог поверить? Один из тех случаев, что, думал он, обязаны время от времени происходить вероятности вопреки, и все же каждый раз казались необыкновенными. В том, как устроен мир, всегда чувствуется какая-то подоплека, которую можно почти что угадать, но стоит только попытаться вычленить значение или смысл, как они просто затухают, и ты остаешься в тех же потемках, что и раньше.

А возможно, единственный смысл таких событий – тот, что налагаем мы сами, но даже если знать, что так наверняка все и обстоит, то помогает это, честно говоря, слабо. Не мешает нам гоняться за смыслом, носиться, как хорькам, в лабиринте нор своих мыслей и иногда теряться впотьмах. Овсень не мог не думать о женщине, которую только что встретил, как их разговор взбаламутил двадцатилетний осадок на дне памяти, какие чувства вызвал. Суть его волнения, думал он, – как на фоне сходств между его и ее историями не менее резко выдавались различия.

В первую очередь, он был на грани побега – по крайней мере, надеялся на это, – из затхлой от копоты тюрьмы их общего

происхождения, из бедноты, малоизвестности и таких вот улиц, где небо уже нарезано на насыщенно-синие ромбы железными опорами газгольдера. Побега даже из Англии, если удастся. В случае грядущей стычки с Германией сэр Френсис Дрейк надеялся валяться в гамаке где-нибудь в тысяче миль отсюда. А у полной жизни молодой матери, Мэй, – у нее такой оказии не было. Без талантов, унаследованных или усвоенных у родителей из мира развлечений, ее жизнь была ограничена как в плане ожиданий, так и возможностей, а ее горизонты, к которым она вовсе не стремилась, были куда теснее, чем его собственные границы. Она сама сказала, что думала прожить в этом районе всю жизнь и желала того же своей прелестной дочери. Она не гналась ни за надеждами, ни за мечтами, знал Овсень. В подобных кварталах это попросту непрактично – только отягощающие и мучительные слабости. И эта бойкая девчушка, похоже, обречена жить и умереть в маленькой клетке своих обстоятельств, даже не зная, что она в клетке, и не замечая грязных прутьев. Он благодарил своего ангела-хранителя, если он был, за дар хотя бы призрачного шанса избежать пожизненного заключения, в котором обреталась она. Каждая женщина, мужчина или ребенок, проходившие мимо в пропахших дубильными трущобах, были во всех отношениях каторжниками, мотающими срок в суровых условиях без всякого шанса на снисхождение или помилование. Они пылились в шкафу, где тепло и мухи не кусают.

Но Мэй казалась довольной, а вовсе не обреченной. Мэй казалась довольнее жизнью, чем Овсень.

Он задумался над этим, выдувая дрожащий сизо-серый папоротник дыма красивыми губками, сложенными в трубочку. Некоторые экипажи, ползущие через перекресток, уже засветили фонари, а ляпис небес постепенно углублялся в оттенках. Улитки с люстрами ползли вверх по холму и искрили в тупике сумерек.

Он увидел, что в бедности – в том, чтобы не иметь ничего, даже амбиций, – было две стороны. Да, правда, у Мэй и других вроде нее

нет его напора, его талантов или возможностей добиться лучшей жизни, но нет у них и его сомнений, страхов перед неудачей или гложащей вины. Эти люди, опустив головы и хрустя осенней облицовкой брусчатки, ни от чего не бежали, особенно от улиц, с которых были родом, а значит, не приходилось им и чувствовать себя все время дезертирами. Они знали свое место – во многих смыслах. Да, они отлично знали, где полагались относительно всего общества – на дне, – но самое главное – знали свое место: знали кирпичи и цемент вокруг так близко, что почти любили. Он понимал, что многие из несчастных душ, лившихся через шлюзы перекрестка, происходили из семей, которые проживали в этих краях поколениями, просто потому что расстояние для путешествий до появления железных дорог было сильно ограничено. Они топтали тротуары, зная, что сотни лет назад то же самое делали их деды и прадеды, топили беды в тех же пабах, затем изливали их в тех же церквях. Каждая грубая и ничтожная деталь района была у них в крови. Эти спутанные переулки и покосившиеся пекарни были разжиревшим телом, из которого они появились на свет. Они знали все заплесневелые подворотни, все дождедборники, где краны проржавели до толщины бумаги. Все запахи и изъяны округи были им знакомы, как родинки матери, а если лицо у нее и перепачканное, и морщинистое, они не могли просто ее бросить. Даже если она давно лишилась разума, они...

В его глазах стояли слезы. Овсянь сморгнул и сделал три короткие затяжки, прежде чем стереть лишнюю влагу кончиками пальцев, притворившись, что его ослепил дым. Все равно никто из пешеходов на него не смотрел. Он вдруг разозлился на себя за то, что по-прежнему хранил сопливые сантименты, и за то, как легко рассиропился. Он уже мужчина, ему двадцать, а иногда он чувствовал себя на все тридцать, и нечего хлюпать носом как мальчишка. Ему не шесть лет. Он плачет не по остриженным кудрям в ламбетском работном доме, сейчас не 1895 год. И хотя он понимал, что еще не осмыслил это целиком, но на дворе двадцатый

век. И этому веку нужны умные, идущие в ногу со временем и дальновидные люди, а не те, кто льет слезы над прошлым. Если он собирался чего-то добиться в жизни, лучше взять себя в руки – и в темпе. Глубоко затянувшись сигаретой, Овсень задержал дым и оглянулся на медленно темнеющем перекрестке, пытаясь взглянуть на него с современной, реалистической точки зрения, а не плаксивой и ностальгической.

Да, в этой торчащей вкривь и вкось куче выветренных остовов можно увидеть мать, он мог это представить. И в то же время, как и мать, эти дома не будут вечны. Возраст развел их переменами и не собирался сбавлять аппетиты. Как он только что думал о предыдущих поколениях, ограниченных в возможности перемещаться, так же он понимал, что в этом новом, просвещенном веке все должно быть иначе. Паровой двигатель изменил мир, на улицах Лондона уже можно встретить безлошадные экипажи, и надо думать, со временем их будет только больше. Сообщества, простоявшие бесчисленные десятки лет, как вот это вокруг, окажутся не такими спаянными, когда арестантам дадут шанс легко и дешево сбежать, отправиться туда, где работа лучше и не надо идти шестьдесят миль пешком, как папе этой девушки. Даже если не будет войны, истребляющей молодежь, он сомневался, что узы, привязывающие людей к таким местам, выдержат еще сотню лет. Подобные районы отмирают. И это никакое не предательство – желать выскочить из них на твердую почву, пока они не пошли ко дну. Любому, кто повидал мир, кто почувствовал, что волен отправиться куда захочет, – зачем ему сидеть взаперти в такой дыре, таком городишке, да даже такой стране? Любой здравомыслящий человек с возможностями вылетит отсюда пулей, как только выпадет шанс. Их здесь ничего не держало, и...

В сгустившейся темени внизу холма показался черный человек на велосипеде с веревками вместо шин, тащивший прицеп с такими же колесами, дребезжа по булыжникам, как скелет из страшной сказки.

Овсень второй раз за полчаса спросил себя, не спит ли он. Это был тот же самый человек на том же самом несуразном костотрясе, как и двенадцать лет назад, когда он стоял с Бойси Бристолем здесь, на том же самом углу, и говорил: «Да, но вот зачем миллионерам вести себя как бродяжки?»

Негр остановил странное изобретение наверху Подковной улицы, на углу напротив Овсеня, ожидая, пока поперек пройдет конка. Конечно, минувшие годы взяли свое, волосы и борода стали белыми пучками, но это, вне всяких сомнений, был тот же самый человек. Он же на сей раз не заметил Овсеня, но остался сидеть верхом на велосипеде, ожидая, пока конка уступит дорогу, чтобы продолжить свой путь на холм. На его сильном широком лице было отсутствующее и несколько озабоченное выражение, он явно пребывал не в том же общительном настроении, как когда они встречались в последний раз – когда еще не умерла старая королева, а мир был совсем иным. Даже если бы Овсень по-прежнему оставался тем же ретивым и изумленным мальчишкой восьми лет, он сомневался, что черный бы его заметил, таким меланхоличным и отстраненным он теперь казался.

К этому моменту омнибус прогрохотал мимо, и мужчина поднял ноги – на них по-прежнему были привязаны деревянные бруски. Он уперся ими в педали, привстал и наклонился вперед, натужно покотив вперед, постепенно набирая скорость, которая перенесла его с тележкой через перекресток на вершину холма, в опускающуюся темноту, где он скоро и потерялся из виду.

Глядя, как исчезает черный малый, Овсень пососал сигарету, не замечая, как сильно та прогорела, так что она обожгла пальцы, и он вскрикнул, бросив дерзкий уголек на землю и растоптав в гневном возмездии. Даже чертыхаясь и размахивая пальцами, чтобы ветер остудил ожог, он испытывал удивление из-за того, что сейчас случилось, из-за всей атмосферы этого необычного места, где подобное как будто происходит все время. Подумать только: весь десяток лет с тех пор, как он был здесь в последний раз, пока

Овсень колесил Англию вдоль и поперек и участвовал в парижском приключении, во все разные вечера в разных городах и селах, – все это время черный был здесь, каждый день ездил взад и вперед по одному и тому же маршруту. Овсень сам не знал, почему это казалось таким удивительным. А что, он думал, будто люди исчезают, если от них отвернуться?

С другой стороны, этот человек уже повидал Америку, по которой тосковал Овсень, и все-таки решил остаться здесь.. может, это и не диво, но уж точно загадка. Подняв одновременно брови и плечи, чтобы, не обращая ни к кому в особенности, театрально выразить переигранное изумление, Овсень бросил последний взгляд на перекресток, тонущий в индиго, затем поднялся по ступенькам к крошечной парадной двери Дворца Варьете. Толкнул и вошел туда, где было ненамного теплее, миновал кассу с кивком и хмыком безразличному тучному типу внутри. Он задумался, прибыльный ли будет вечер, много ли они соберут народу, но такое не предскажешь. Прежде чем подняться в рай зрительского признания, сперва надо заполнить раек.

Побеленный сарай, который служил ему гримеркой, стоял за короткой, но запутанной серией коридоров из голых досок на тесном и древнем дворике, где протекал туалет и блестели стоячие лужицы, занявшие непоколебимую позицию в углублениях проседающих горбатых плит. Овсень уже заскакивал в примерочную, чтобы занести реквизит, но не успел по-настоящему осмотреться. К его немалому удивлению, в нежилом на вид помещении на середине облупившейся стены был газокалильный фонарь, который он тут же запалил спичкой, чтобы пролить свет истины на окружение.

Видал и хуже. Желтая каменная раковина в углу, с латунным краном, свернутым наперекосяк, и с жидкими венами медянки цвета шпината, отчего кран был похож на испорченный сыр. Овсень нашел треснувшее зеркало размером с книгу, висящее на двери в деревянной раме на гнупом гвозде, и встал перед ним, нашаривая в нагрудном кармане пробку. Отыскав, он зажег очередную спичку и

подержал и без того почерневший конец затычки, чтобы она обуглилась заново и черный цвет видели даже с галерки. Отмахнувшись от дыма и пережидая миг-другой, пока импровизированный грим остынет, взглянул в разбитое стекло. Не обращая внимания на черный разлом, пробегающий крутой диагональю по лицу его отражения, он расслабил свои черты в мешковатой, блаухаундовской осоловелости Пьяницы, его испитой скособоченной ухмылке со слезящимися глазами, что так и норовили закрыться.

Сперва Овсень раскрошил пальцами жирный пепел пробки в пыль, затем начал накладывать ее под подбородком, размусолив черную пудру вокруг сжатого рта и по щекам под самыми скулами, где та превратилась в грязно-серую щетину запойного гуляки, что не один день не мылся и не брился. Самим огарком пробки он подчеркнул складки второго подбородка, ради которого поджал челюсть, затем поработал у глазниц, добиваясь помятого вида, прежде чем перейти к тяжелым, лихо вскинутым бровям. На верхней губе, где ничего не росло, нарисовал обвисшие квелые усы, концы которых кривыми линиями сбегали у уголков рта. Практически удовлетворенный новым лицом, он втер уголь с пальцев прямо в жирные волосы, нарочно взъерошив их торчком, чтобы кудри раскинулись всюду, как маслянистые гребни на бурном море.

Он смерил взглядом облик в расколотом зеркале, выдержав собственный взгляд. Решил, что почти закончил. Приступил к мелким деталям, углубляя морщины у уголков рта и глаз. Из-за щедрых мазков пробкой его лицо стало приобретать пепельную бледность. Иногда это пугало – сидеть в тихой, пустой, незнакомой комнате и смотреть в собственные глаза, превращаясь в кого-то другого. Осознаешь, что вся личность, все, что ты считаешь собой, в основном написано на твоём лице.

Овсень наблюдал, как исчезает из виду образ, который он аккуратно создал для себя. Живой взгляд, привлекавший симпатию женщин или передававший энергию и ум, скрылся в тумане

хмельного прищуря. Аккуратность, с которой он следил за своими выражениями, чтобы сообщать легкомысленную самоуверенность молодого человека в молодом веке, – заштукатурена, заляпана чумазым пальцем, стала сальной усмешкой викторианского Ламбета. Все вехи окультуривания и прогресса, которых он достиг, работая над собой, тяжело выбредая из трясины родословной, – стерты. На разделенном лице, что взирал на него из-за растрескавшегося стекла, его стесненное настоящее и большое будущее уступили место засасывающей, цепляющейся жиже прошлого. Его отцу и тысяче барных дверей, куда Овсень заглядывал в детстве, когда посылали найти отца. Лопнувшим кровяным сосудикам на щеках выпивох, прижавшихся к холодной подушке тротуара. Крови, смытой с крюков в лошадиных лоханях. Все это так и поджидало, чтобы он только расслабил свою озорную, задорную улыбку всего на миг, всего на полдюйма.

В комнате висел запах сырости и ветхости. В бессильном неровном свете у лица под размазанным и растертым пеплом больше не было красок. На серебристо-серой коже выделялись черные волосы и глаза. В рамках зеркала оказалась поблекшая фотография человека, навек застрявшего в определенном времени, определенном месте, в характерном персонаже, от которого нельзя сбежать. Навсегда застывший в бледной эмульсии портрет родственника или театрального кумира из затерянных времен, когда родители были молоды.

Овсень надел мятый пиджак на размер больше, который носил в роли Пьяницы, и наполнил из-под крана бутылку «Сан-Диего» из зеленого стекла. Где-то недалеко, надеялся он, ждет публика. Фонарь прошипел дурное предвестие.

Был слеп – и вижу свет

Знак великого человека, как думалось Генри, – это то, как он поступает при жизни и какую славу оставляет по себе после смерти. Вот отчего Генри не удивился, когда узнал, что Билл Коди предстанет перед вечностью украшением крыши из грязного камня, на котором свои дела птицы делают.

Когда он глянул вверх и увидел выпуклый лик на оранжевых кирпичях крайнего дома в ряду, вырезанный на какой-то табличке под самой крышей, то принял его сперва не иначе как за Господа. Налицо и длинные волосы, и борода, и даже, как сперва почудилось, нимб – только потом он понял, что это ковбойская шляпа, когда смотришь на поля снизу, как если мужик закинул голову. Тогда он и раскумекал, что это Буффало Билл.

Перед рядом домов – здесь их прозывали террасами, – шла улица, а позади лежали акры зеленого поля, где устраивали скачки и все такое прочее. Сам Генри стоял в коротком переулке, что вел за дома и на ипподром, и вот сюда-то и глядело лицо, вырезанное на стене. Он слышал, будто «Шоу Дикого Запада» Коди приезжало на ипподром в Нортгемптон – где-то за пять-десять лет до того, как Генри самого принесло в город, а это было в девяносто седьмом. Рассказывали, выступала и Энни Оукли, и индейские воины. Видать, кто-то из местных жителей побогаче проникся шоу Коди и решил, что ему самое место в углу под крышей. Ну и пожалуйста, на здоровье. Если спросить Генри, пусть люди делают, что вздумается, лишь бы ничего худого.

Резьба при всем при этом не очень-то походила на Коди – по крайности, не на того Коди, как его помнил Генри по одной-двум встречам. Конечно, было то давным-давно, в Маршалле, штат Канзас, в подсобке прачечной у Эльвиры Конли. Это, значит, семьдесят пятый, семьдесят шестой, что-то такое, когда Генри еще ходил юным красавцем двадцати лет – хоть только он один так и

считал. Штука в том, что тогда он не очень-то присматривался к Буффало Биллу, потому как не отводил глаз от Эльвиры. И все равно Генри сомневался, что Уильяма Коди, которого знал он, можно было спутать с Иисусом Христом, Господом нашим, как там ни приглядывайся снизу вверх, пока он будет стоять, задрав нос. Правду сказать, пустой он был человек – или так уж показалось Генри. И Генри сомневался, что Эльвира хоть бы слово сказала Биллу, не будь важно, как на нее все посмотрят в Маршалле. У цветных женщин много знаменитых белых друзей не бывает.

Генри толкнул велосипед с тележкой по мощеному переулку от ипподрома, и веревки, намотанные на обода колес, захрустели листьями, сваленными в канавах. Бросил последний взгляд на полковника Коди, у которого из-за дыма от ближайшей трубы как будто горела шляпа, затем взгромоздился в седло с брусками-тормозами на ногах и пустился по боковым улочкам на большак, что уходил в самый Кеттеринг и что приведет его обратно в центр Нортгемптона.

Сегодня ему не хотелось мотать сюда крюк, а думал Генри просто объехать деревни на юго-восточной стороне города. Но по пути повстречал одного малого, который сказал, будто бы у ипподрома на дворе с железным забором, где обвалился сарай, найдется хорошая черепица, да только он оказался дурак, а вся черепица лежала побитая и не стоила ни гроша. Вздохнул Генри, несолоно хлебавши, да и покрутил педали прочь с улицы Худ и вниз по холму к городу, но потом подумал, что лучше взять себя в руки и не хныкать. Не весь же день прошел зазря. Солнце на востоке большое и алое, низко висело в молочном тумане, который мигом прогорит, стоит сентябрьскому утру как следует продрать глаза и заняться делом. Еще вдоволь было времени повернуться туда, куда душа желает, и обернуться к Алому Колодцу задолго до вечера.

Вдоль по Кеттерингской дороге в город крутить педали не пришлось. Генри надо было только катиться под горку да касаться тут и там тормозными брусками улицы, чтобы не лететь сломя голову

и не растрясти вдребезги на ухабистых булыжниках волочившийся позади прицеп. По бокам рекой протекали дома и лавки со всяческими вывесками и витринами, а он дребезжал себе к центру. Вся дорога досталась ему одному, в такую-то рань. Чуть дальше в город шла попутная конка, а по холму навстречь поднимался малый, толкавший перед собой тележку, доверху полную щетками для дымоходов. Окромья них, окрест были еще человек-другой, шли по ихним делам по тротуару. Одна старушка, которая очень удивилась, когда мимо проехал Генри и два мужичка в кепках, как будто по пути на работу, которые на него выпучились в оба глаза, но он прожил в округе довольно, чтоб не обращать внимания. Впрочем, все же на улице Алого Колодца ему больше по душе. Там народ, по большей части, даже бедней его, так что никто не смотрел на него сверху вниз, а когда встречали в округе, только кричали: «Эй, Черный Чарли! Как везет, что везешь?» – и всякое такое.

Поднялся небольшой ветерок, наигрывал на проводах трамваев над головой, куда он катил себе под ними. Объехал церкву на углу Гроув-роуд справа и вильнул, чтобы не угодить в конское дерьмо, лежавшее на улице дорогой к площади. Еще один поворот он заложил, когда объезжал унитарную часовню с другой стороны, а там уж сплошняком пошли лавки, питейные заведения и большой старый кожевенный склад, что позади статуи мистера Брэдлоу. Кожа в местной торговле была большим делом, так сыздавна повелось, но в остальном у Генри до сих пор было невдомек, как это город сделан из одних баров да церквей. Никак пошив обуви сидел у всех в печенках настолько, что оставалось проводить досуг либо за выпивкой, либо за молитвой?

На огороженном острове слева, где на подставке стояла статуя, посапывал какой-то пьянчужка. Генри сомневался, что мистер Чарльз Брэдлоу такое одобряет, если смотрит с небес, до того он был непреклонный в вопросе алкоголя, но, обратно, раз мистер Брэдлоу не верил в Господа Всемогущего, вряд ли он и небеса одобряет. Этого у Брэдлоу Генри не мог ни понять, ни принять. Так посмотреть

– этот господин был атеист, а если спросить Генри, так это только другое название для дурачка. А так посмотреть – он вот был строжайше против крепких напитков, что Генри мог только уважать. Или еще как Брэдлоу защищал цветной народ в Индии, когда даже думать не думал о бедняках у себя дома. И все же, по всему виду, он говорил, что у него на душе, и делал то, во что верил. Брэдлоу был хороший человек, и Господь наверняка простит атеизм, если взять в расчет все остальное, потому и Генри не след об этом переживать. Этот господин заслужил себе красивую белую статую, которая кажет пальцем на запад – на Уэльс, Атлантический океан и Америку за ним, и точно так же можно сказать, что Буффало Билл заслужил свой покоцанный камень под крышей. Пусть этот Брэдлоу говорил, что не христианин, а вел он себя как есть по-христиански – и, хоть мысль была неприятная, Генри понимал, что нередко бывает и ровно наизусть.

Он проехал мимо магазина, где был шоколад «Кэдбери», а наверху стены нарисован знак с бальзамом «Лангворт» от Стортонна. В последнее время Генри начал подкашливать, и уже подумывал, может, что ли, попробовать и эту штуковину, коли не слишком дорогая. Дальше был магазин с женскими вещичками, потом заведение мистера Брюггера с часами всех мастей на витрине, настенными и наручными. Впереди Генри чуть-чуть не нагнал трамвай – теперь он видел, что это шестой, который ходил до Конца Святого Джеймса, что еще прозывали Концом Джимми. На заднем сиденье трамвая была оплаченная реклама увеличительных очков, с двумя большими круглыми глазами под названием предприятия, отчего казалось, будто у вагона на хвосте лицо. Тот доехал по рельсам до ближайшего перекрестка и со звоном колокольчика миновал его, тарачась на Генри, словно в удивлении или со страху, отправился себе книзу по Абингтонской улице, тогда как велосипедист свернул налево и помчал с ветерком по Йоркской дороге в направлении больницы, то и дело шаркая брусками по булыжникам, чтобы замедлиться.

Близ больницы был еще перекресток – с дорогой, что уходила в Грейт-Биллинг. Он его прокатил и продолжал ехать прямо по холму, как и ехал. На углу больничного двора, пока он проезжал мимо, у тамошней статуи головы Короля какие-то ребятенки посмеялись над евойными колесами с веревкой. Один еще крикнул, что по Генри баня плачет, но тот сделал вид, будто это не об нем, и дул себе до парка Беккетта – это который Коровий Лужок, по-старому. Невежды они, и растили их невежды. Если не слухать, они пойдут себе дальше и найдут другую глупость, чтобы посмеяться. Зато, думал Генри, они его не вздернут и не подстрелят, а раз так, то пускай себе кричат любую чепуху, что на ум взбредет. Раз ему хоть бы хны, то они только себя выставляют полудурками, вот и весь сказ.

У подножия он взял налево, объезжая старую стену из желтого камня и попав на Бедфордскую дорогу от парка, где опустил деревянные бруски и подтащил велосипед с тележкой к питьевому фонтану, что был в тамошней нише. Генри слез с седла и приставил машину к обветренным старым камням, между которых росли одуванчики, а сам подошел к фонтану и напился. Не то чтобы его замучила жажда, но коли он бывал здесь проездом, то любил сделать пару глотков, на удачу. Тут, говорят, утолил жажду святой Томас Беккет, когда проезжал через Нортгемптон много веков назад, и Генри этого было достаточно.

Нырнув в альков, Генри нажал бледной ладонью на захватанный латунный кран, а второй ловил в пригоршню изогнутую серебряную струйку и подносил к губам – так он повторил три или четыре раза, прежде чем промочил горло как полагается. Вода была что надо и со вкусом камня, латуни и евойных собственных пальцев. По мысли Генри – как есть святой вкус. Вытерев мокрую ладонь об блестящую штанину, он выпрямился и залез обратно на велосипед, привстал, чтобы привести его в движение. Генри понесло на юго-восток по Бедфордской дороге, сперва с парком и деревьями через дорогу, а потом пустыми полями до самого аббатства в Делапре. Стены и углы Нортгемптона отвалились назад, как ноша со спины, и между Генри

и игрушечными деревнями в дымке на горизонте легла лишь плоская трава. Облака нашлепали, как картофельное пюре в синюю подливу, и Черный Чарли поймал себя на том, что насвистывает на ходу что-то из Сузы.

Марш снова вернул в мысли Буффало Билла – таким же он был надутым и важным, – а это навело на воспоминания о Канзасе и Эльвире Конли. Господь Бог ты мой, а не робкого десятка была эта женщина – открыла прачечную в Маршалле куда раньше массовой миграции и неплохо поживала. Она и Билла Хикока знавала, но Хикок под конец 1870-х уже лежал в могиле, когда Генри с родителями попали на Средний запад. Так Эльвира отзывалась об этом малом – нельзя не подумать, что в Диком Билле было немало доброго и свою репутацию он заслужил. Хотя, конечно, по-тихому, промеж своих она признавала, что Бриттон Джонсон, которого она тоже знавала и который к тому времени тоже был покойник, мог хоть штаны сострелить у Дикого Билла Хикока. Чтобы одолеть Бриттона Джонсона, понадобилось аж целых двадцать пять команчей, а не какой-то одинокий забулдыга и удачный выстрел в салуне. И все же даже малые дети знали о Буффало Билле и Диком Билле Хикоке, а о Бриттоне Джонсоне ни одна душа не слыхивала, и тут не надо долго думать, почему. Выглядел он – ну есть фараон, так говорила Эльвира. Без рубашки – настоящий красавец, вот ее точные слова.

Выше и левее, за огороженным пастбищем и черными лесными просторами, Генри едва различал верхушки крыш красивой больницы, которая там была для тех, у кого с головой не в порядке, но хватает денег на лечение. А кому не хватает, тем прямая дорога в работный дом в старом приходе Святого Эдмунда, на дороге Уэллинборо, или же в лечебницу в Берри-Вуд за поворотом на пути в Дастон. Оставив здание позади, Генри навалился на педали, когда мост вздыбился над речным притоком, и почувствовал щекотку в животе, будто ничегошеньки не весил, когда на другой стороне слетел вниз навстречу Большому Хафтону. Мыслями он еще был с

Эльвирой, восхищался ею на понимающий и уважительный манер, не то что в юные деньки.

Так-то, конечно, она была только одна из многих выдающихся дам в тех краях и в те времена, но все же оказалась первой, кто в шестьдесят восьмом поднялся в Канзас, и Генри казалось, многие добрые женщины потом только шли по пути, проложенному Эльвирой, – хотя это ни в коей мере не преуменьшало их подвиг. Была там мисс Сен-Пьер Раффин – помогала людям деньгами со своей Ассоциацией облегчения. Была миссис Картер, супружница Генри Картера, – она уговорила мужа проделать с ней весь путь от Теннесси, пока он нес инструменты, а она – одеяла. Как подумать, так все переселение – женских рук дело, а мужья только плечами пожимали да делали вид, будто им и у себя неплохо. Нынче Генри видел, чего не видал раньше: это все потому, что тяжче всего на юге приходилось женщинам, из-за тамошних насилий и того, как приходилось взводить детей. Мамка самого Генри тогда сказала евойному папке, что коли он не мужик и не может перевезти жену с сыном туда, где безопасно и прилично, то она возьмет Генри и отчалит в Канзас самолично. Сказала, что если придется, то и пешком туда дойдет, как Картеры, – хотя, когда папаня наконец уступил, поехали они ладком на фургоне, как и все люди. От мыслей о тех временах у Генри, как обычно, раззуделось плечо, так что он оторвал руку от руля, чтобы почесать через куртку и рубашку, как получится.

Справа прошла водяная мельница, где всю расшумелись утки, поднимаясь с близлежащего пруда, от которого так отражалось утреннее солнце, что глаза режет. Шеридан, окрест Маршалла, – вот где обосновалась Эльвира Конли, когда рассталась с мужиком из армии, за которым была замужем в Сент-Луисе. В те деньки Шеридан считался хуже Доджа из-за картежных игр, смертоубийств и распутных женщин, но Эльвира стала там как королева – с высоко поднятой головой, статная, черная как смоль. Когда она пошла в гувернантки к старому богатей мистеру Булларду и евойной семье,

детки Булларда хвалились, что она не меньше как родня каких-то африканских царей, а Эльвира знай себе помалкивала и слова поперек тому не говорила. Последнее, что дошло до Генри, – что она живет в Иллинойсе, да добра наживает, надеялся он.

Он продолжал путь с взбирающимся солнцем за спиной и придорожными лужами, сверкающими в глазах. По мохнатым полям понемногу ползли тени от гор облаков, словно лето уже валилось с ног, ковыляло, небритое, как бродяга. Бурьян в канавах вскипел и пролился на дорогу или целиком проглатывал заборы, где в умирающей жимолости болтались умирающие пчелы, стараясь растянуть сезон подольше и не дать ему ускользнуть. Справа он миновал узкую дорогу, которая завела бы его в Хардингстоун, и поднажал вдоль верхнего края Большого Хафтона, где встретил пару ползущих в другую сторону фермерских телег, груженных сеном. Мужик на козлах первой отвернулся от Генри, словно видеть его не хотел или не мог, но второй телегой правил краснолицый фермер, что знал Генри по прошлым заездам в эти края, и он натянул поводья, с улыбкой остановившись, чтобы поздороваться.

– Эй, Чарли, черный ты чумичка. Снова к нам воровать пожаловал? Эх, чудо, что у нас хоть два кола осталось, так ты нас ужо разорил.

Генри рассмеялся. Ему нравился этот малый, который звался Боб, и он знал, что сам в обратную нравился Бобу. А подначки – так в округе просто показывали, что ты человек свойный и с тобой можно посмеяться, так что отвечал он на тот же лад.

– Как же ты это не знаешь, что я давно приглядываюсь к твоему золотому трону – здоровому, на котором ты восседаешь, покуда слуги подают тебе оленину с разносолами.

Боб так зареготал, что спугнул кобылу. Когда он успокоился, оба узнали друг у друга, как поживают их жены с семьями и все прочее, затем пожали руки и каждый пустился своей дорогой. В случае Генри – до ближайшего поворота направо на верхнюю улицу Большого Хафтона, мимо школы с кустами ежевики, нависающими над

забором. Проехал мимо деревенской церкви, затем загнал велосипед в карман у флигеля священника, где тамошняя старушка, что вела хозяйство, иногда отдавала ему что-нибудь негодное. Слезая с седла, Генри подумал, как красиво выглядел флигель – свет лежал на грубых коричневых камнях и плуще, раскинувшемся зеленым крылом над входом. Вся площадка пряталась в тени дуба, так что солнце падало через листья горящими детальками мозаики, разбросанными на булыжниках и тропинках. Кругом по веткам скакали пташки, что нисколько не испугались и не оборвали песню, когда он поднял железный молоточек с головой льва и опустил на большую дверь, крашенную в черный.

На стук ответила женщина, что звалась миссис Брюс и привечала его с радушным видом. Она пригласила Генри – главное, чтобы оставил башмаки на пороге, – и подала ему в зале чашку слабого чая и тарелку с бутербродами, покуда сама разыскивала мелочишку, отложенную впрок к евойному приезду. Он сам толком не знал, почему принимал миссис Брюс за старушку, хотя она не могла быть сильно старше самого Генри, – а значит, ей где-то лет под шестьдесят. Волосы у нее были белые, как снег, но так и у него такие же, – так что он был уверен, что это все из-за ейного поведения: имелось что-то у нее в манерах от матери Генри. Наливая ему чая, она улыбалась и, как водится, спрашивала всякое-разное про религию. Она часто ходила в церкву, как и он, – только еще миссис Брюс пела в хоре. Покуда она хлопотала по комнате и собирала для него нестаточную одежду, пересказала все свои самые любимые гимны.

– «Окончен день, что даровал Господь» [\[25\]](#). Этот мне тоже весьма угоден. А поют ли гимны там, откуда вы родом, мистер Джордж?

Опуская кукольную фарфоровую чашечку от губ, Генри подтвердил, что еще как.

– Да, мэм. Но церкви у нас и в помине не было, потому мои родители пели за работой или еще у костра ввечеру. Ох и любил я эти песни. Мне их напевали на ночь.

Приглаживая кружевные тряпицы на подлокотниках, или как бишь они называются, миссис Брюс взгляделась в него с сочувствующим выражением на лице:

– Бедняжка. А вам нравились какие-нибудь больше других?

Генри кивнул, посмеиваясь, отставляя пустую чашку на белое блюдце.

– Мэм, как по мне, так одна обходила все другие напрочь. Милей всех мне была «Изумительная благодать» – не знаю, слышали вы про такую?

Старушка просияла улыбкой:

– О-о, да, замечательная песня. «О, благодать, спасен Тобой я из пучины бед». О-о, да, знаю-знаю. Замечательная.

Она подняла взгляд к планке с ейными фотографиями, чуть ниже потолка, и наморщилась, будто о чем задумалась.

– А знаете ли, кажется мне, словно тот, кто ее написал, жил неподалеку отсюда, если только я не путаю с кем-либо еще. Джон Ньютон, ведь так его звали? Или же Ньютон срубил яблоню и говорил, что не может врать?

Переварив все это и распутав, он объяснил, что, по евойному разумению, человек по имени Ньютон сидел под яблоней и разгадал, почему все падает книзу, а не кверху. А малый, что сказал, будто не может врать, это президент Джордж Вашингтон, и насколько знал Генри, срубил он вишню. Она, кивая, слушала:

– Ах. Вот где я ошиблась. Его семья тоже отсюда родом, этого генерала Вашингтона. А автор «Изумительной благодати», стало быть, мистер Ньютон. Насколько я помню, он был приходским священником выше по дороге, у Олни, – впрочем, поклясться в этом не могу.

Генри это взбудоражило так, как он сам не ожидал. Он искренне сказал, что это его любимая песня, а не просто потрафил пожилой даме. Генри вспомнил, как женщины пели ее в полях, вместе с евойной мамкой, и в припеве как будто было пол евойной жизни. Он слышал песню с самой колыбельки и с давнишних пор думал, будто

это песня черных, будто она есть испокон. От слов об этом самом пасторе Ньютоне у Генри аж голова пошла кругом – подумать только, как далеко он прошел с той поры, как впервые услышал песню, только чтобы оказаться по случаю у порога того, кто ее написал.

Ему и самому было невдомек, откуда они с Селиной взяли в голову поселиться в Нортгемптоне и растить тут детей после того, как прибыли сюда с большим гуртом овец из Уэльса, пробираясь в сером живом море животных; о таких огромных стадах Генри даже не слышал в тех краях, откуда был родом. Жизнь помотала его по всему свету, но он не тужил и всегда думал, что это промысел Божий и что не дело Генри – знать Евойную цель. И все же чувство, что нашло на них с Селиной, когда они впервые увидели Боро – с Овечьей улицы, куда прибыли и откуда перешли к улице Алого Колодца, что и стала им родным домом, – когда они увидели низенькие крыши, им почудилось, будто что-то в этом месте да есть, теплилась какая-то душа под дымом из труб. Теперь для Генри все складывалось, стоило услышать о мистере Ньютоне, «Изумительной благодати» и прочем. Может, это какое святое место, раз отсюда вышел такой святой народ? Он сам понимал, что, обычным делом, раздувает из мухи слона, словно круглый дурачина, – но от этих вестей Генри воспарил душой, как не воспарял с самого детства, и не сойти ему с этого места, коли не так.

Они с миссис Брюс еще поболтали о том о сем в зале, доканчивая чай с хлебом, пока в свете из-за тюля блестели пылинки, а в углу покладбищенски тикали напольные часы. Как закончили, она всучила ему отобранное шерстяное тряпье, а потом проводила до двери, где он все сложил в тележку, волочившуюся за велосипедом. Он тепло отблагодарил ее за одежду, а еще за чай и беседу, и сказал, что обязательно наведается, когда будет здесь проездом другим разом. Они помахали друг дружке и пожелали самого лучшего, затем Генри погрохотал назад по верхней улице на своих обернутых веревкой

колесах, а за ним в кувыркающихся листьях и ярких лучах полудня тянулся не в лад мотив «Изумительной благодати».

Выехав с большой улицы и воротившись на Бедфордскую дорогу, он направился вдоль по ней на восток. Солнце теперь было без малого у него над головой, так что по пути он почти не отбрасывал тень, пыхтя, когда налегал на педали, и припеваючи, когда катился сам по себе. Справа, когда он отбыл из Большого Хафтона, виднелось деревенское кладбище с белыми надгробиями, горевшими на солнце ярко, как подушки на одеяле из дремлющей зелени. Через какое-то время слева он миновал дорогу, которая привела бы в Малый Хафтон, но там ему делать было нечего, так что он отправился дальше, подчиняясь изгибу дороги на юго-запад, к Брэфилду. Вдоль пути Генри поднимались стоймя живые изгороди, порою такие высоченные, что когда он спустился в ложину, то ехал в их тени. Низко в зарослях орляка тут и там виднелись прогалины, которые наверняка вели в логовища – то ли зверей, то ли деревенских мальчишей, то ли еще какой дикости. Как ни крути, а кого-то с кровью на рыле и черной грязью на лапах.

Земля здесь была по большей части сельскохозяйственными угодьями, и до того плоской, что должна бы напоминать Канзас – но так, да не так. Примерно сказать, в Англии куда зеленей и всяких цветов будто бы куда больше, просто пропасть – может, из-за того, как местные любят разводить сады, даже жители улицы Алого Колодца в свойных маленьких кирпичных двориках. А еще у местных прошло куда больше времени, чтобы стать дошлей и смекалистей в самых простейших делах: если собирали ометы, то умели уложить солому сверху, чтобы сделать крышу, а стенку из камней без цемента умели построить так, что она три сотни лет простоит. Он видал такое на всем просторе страны – всяческие пустыки, которые смекнул чей-то прапрапрадед, когда на троне еще сидела какая-нибудь королева Елизавета. Мосты и колодцы, и каналы с запорными шлюзами, где мужики в сапогах до колен бредут по глине, чтобы заняться чинкой. Всюду налицо хитрая наука,

даже там, где человека будто и в помине нет. Одинокие деревья по пути, что на вид будто росли по одному только хотению слепой дикой природы, на самом деле насадили много лет назад по каким-то нарочным причинам, не сомневался Генри. Может, защита от ветра для полей, которых там уже не было, или для урожая твердых кислых дикушек, чтобы кормить свиней мешанкой. Окрест раскинулось лоскутное одеяло полей, и каждый неровный стежок был неспроста.

Он проехал через Брэфилд, когда на церкви Святого Лаврентия раз ударил колокол, обозначив час дня, и задержался на несколько минут на выезде из-за овец, заполонивших дорогу, так что пришлось ждать, пока их отправят по прогону на пастбище. Человек, который гнал блеющий скот, с Генри не заговорил, но как бы кивнул и малость приподнял козырек кепки, поблагодарив за долготерпение. Генри улыбнулся и кивнул в ответ, словно говоря, что ему не в тягость, как оно по правде и было. Пастуху следить за скотом помогал английский колли, и Генри подумал, что они всегда были приятны его глазу. Ничего не поделаться, к гончим у него неровно лежала душа с тех самых пор, как он впервые увидел их в Уэльсе в девяносто шестом. Его поражало, какие у них голубые глаза и как они всё-всё понимают, что ты им ни скажи. Там, откуда Генри приехал, – а это Нью-Йорк, а перед тем Канзас, а еще раньше Теннесси, – таких собак и в помине не было. Он почесал плечо, глядя, как последние овцы волочат свои вонючие задницы через калитку на пастбище, где им и место, и затем продолжал путь. В Брэфилде не жило никого, кого бы он по-хорошему знал, и вдобавок ему была охота ехать в Ярдли долгой дорогой – куда лучший путь, покуда день не пошел к концу.

Облака над головой плыли, как корабли, будто ты ехал на велосипеде с прицепом по дну прозрачного океана, не нахлебавшись воды. Генри слушал звенящий ритм колес и мерное умиротворяющее шелканье кривой спицы. Дорога шла напрямки мимо Дентона, так что думать о пути было без надобности, только

знай себе слушай сплетни деревьев или воронье в отдалении, хохочущее над чем-то скверным с голосами, как ружейные выстрелы.

Ему не понравилось путешествие по океанским волнам, на борту «Гордости Вифлеема», отчалившей из Ньюарка в Кардифф. Генри уже тогда было под пятьдесят, а в таком возрасте в море не тянет. Покуда мамка с папкой были живы, он оставался в Маршалле – провел там, можно сказать, лучшие годы, приглядывая за ними, хоть и не жалел ни об едином дне. Но когда они скончались, больше его в Канзасе ничего не держало, раз не осталось семьи или близких людей. Эльвира Конли – она тогда уже работала у Буллардов, проводила с ними много времени в отпускных разъездах, так что Генри ее почти не видал. Его понесло на восток, на побережье, в скрипучих трясучих железнодорожных вагонах, а когда подвернулась оказия отработать проезд на старом грязном пароходе с грузом стали, уходящем в Британию, он схватился за нее обеими руками. Безоглядно – хотя это не из-за какой великой смелости, а просто потому, что он и думать не думал, как далеко окажется эта самая Британия.

Генри не знал, сколько целых недель провел на воде – может, не больше парочки, да только казалось, что это тянется целую вечность, и временами ему так плохело, что он уж думал, помрет, так и не повидав снова твердой земли. Сколько мог, он держался на нижних палубах, чтобы глаза не видели бесконечных железных бурунов, – швырял уголь лопатой в котельной, где белые кочегары все спрашивали, как это он не снимает евойную рубашку, как они, хотя стоит такая жара и духота? А Генри только улыбался и говорил: нет, сэр, ему не жарко, он видал места и потеплее, – хотя, очевидно, взаправду не это была причина, отчего он не работал наголо. Кто-то пустил слух, будто он стыдится третьего соска, и Генри казалось, пусть уж лучше так говорят, раз это кончало все расспросы.

На «Гордости Вифлеема» везли листовой металл, а вместо балласта – что угодно, от конфет до детских книжек и грошового

читива. Тогда Соединенные Штаты выпускали больше стали, чем Британия, так что и продавать могли дешевле, даже с ценой отправки через море. Вдобавок на возвратном пути они везли домой шерсть из Уэльса, так что владельцы имели замечательный куш с обоих концов маршрута. Когда он не трудился в поте лица и не лежал с дурнотой, Генри проводил время за чтением баек с Дикого Запада на уже пожелтевших страницах брошюр, предназначенных для пятилетних и десятилетних детей. Во множестве историй героем был Буффало Билл – стрелял бандитов и защищал караваны от ренегатов, хотя взаправду был всего лишь клоуном в странствующем цирке. Уильям Коди. Если и есть другой какой человек, достойный каменной рожи с одними только трубами в соседях, что пускают дым в глаза, то Генри о нем не слыхивал.

Черные поля справа от него, на которых совсем недавно жгли стерню, принадлежали Грэйндж-Фарм, что будет впереди. От одного обугленного корешка к другому скакали белые птицы, и Генри принял их за чаек, хотя эти края так далеко от моря, как только может быть в Англии. Впереди проезд разваливался надвое – к деревенской площади Дентона уходила дорога, что прозывалась Нортгемптонской. Дентон – славное местечко, но много там не соберешь. Генри туда лучше наведываться раз или, может быть, два в год, чтобы не проездить впустую, и теперь он выбрал правую тропу, чтобы объехать деревню с юга и продолжать к Ярдли – до местечка, что прозывалось Ярдли-Хастингс. У самого Дентона его застал грибной дождик, но накрапывал так слабо, что, проехав наскрозь, Генри не почувствовал и двух капель на лбу. Теперь в облаках над ним стояла пара башен из гладкого серого мрамора среди белизны, но все одно по большей части небо оставалось ясно-голубым, и старьевщик сомневался, что дождик соберется во что пострашнее.

Далеко слева Генри различал темные лоскуты лесов вокруг Касл-Эшби. Он бывал там раз, когда повстречал местного, который все уши прожужжал об этом селе и о том, как, когда в древнем Лондоне хотели поставить у ихних городских ворот двух деревянных

великанов по имени Гог и Магог, деревья завезли именно из Касл-Эшби. Тот малый гордился родиной и ейной историей, как и многие в округе. Он говорил Генри, что, мол, это священный край, потому-то в Лондоне и хотели деревьев отсюда. Генри сомневался насчет святости Нортгемптона, что тогда, что сейчас, даже прослышав о преподобном Ньютоне и «Изумительной благодати». Вестимо, место особенное, но «священное» – у Генри так язык не повернется сказать. Перво-наперво, когда что-то священное, оно малость почище, чем было на улице Алого Колодца. Но, с другой стороны, думалось ему, малый хоть в чем-то прав: если что здесь и есть священного, то это деревья.

Генри помнил, и как впервые прибыл в эти края со своей новой женой, и то дерево, что они тогда увидели, когда он прожил в Британии уже больше шести месяцев. Сойдя с корабля в Кардиффе и твердо порешив, что обратного морского путешествия нипочем не снесет, Генри нашел себе кров в местечке под названием Тигровая бухта, где жили и цветные. Но оказалось, к этому душа Генри не лежала. Он как будто вдругорядь оказался в Канзасе, где все цветные сгрудились в одном районе, который гнил, покуда в Канзасе не стало прямо как в Теннесси. Да, свой народ он любил, но не когда их отмежуют от всех прочих, словно они в чертовом зоопарке каком. И Генри пешком пустился в глубь Уэльса, и там-то на пути в одном местечке – Абергавенни, что на речке Уск, – повстречал Селину. Они так скоро влюбились и без промедления женились, что от одной мысли голова кругом. И еще от того, как тут же отправились в Билт-Уэллс, на перегон скота. Не успел Генри и глазом моргнуть, как понял, что женат на белой красавице вдвое младше его, лежит в поле под растянутым брезентом с ней под боком, а в ночи снаружи кричали и ворочались сто тысяч овец, что они оба пособляли гуртовать в Англию. В дороге они провели не меньше, чем «Гордость Вифлеема» шла в Британию, но в конце концов перешли, как он теперь знал, через Спенсеровский мост, потом поднялись по

Журавлиному Холму и Графтонской улице на Овечью, и там-то увидели дерево.

Генри пробрел через отару, что кишела на широкой улице, и встретил старшего погонщика в воротах церкви, что прозывалась церковь Храма Господня, – самая древняя и страховидная церковь, что он видал в жизни. Начальник выдал ему расписку и велел отнести в место, что прозывалось Валлийский дом, на рыночной площади, где Генри и выдадут жалованье. Они с Селиной отправились по Овечьей улице в центр города, и на открытом дворе справа и стояло то дерево: здоровый бук, да такой огромный и древний, что они замерли и дивились ему, раскрыв рот, хоть расписка жгла карман Генри из-за мешканья. Оно было таким широким, то дерево, что его бы только четверо или пятеро человек охватили, вытянув руки, и позже он слышал, что ему семьсот лет возрасту, а то и пуще. Коли видишь такое старое дерево, как тут не задуматься, чего оно успело насмотреться за все время. Рыцарей на конях, как здесь раньше были, и всякие битвы, как в английской Гражданской войне, что разгулялась сильно раньше американской. Как тут не стоять с распахнутыми глазами, как они тогда с Селиной, и не задуматься, откуда взялись все отметины и шрамы – от пики ли, а то и от мушкетной пули. Поглядели они недолго, а затем забрали оклад Генри, походили по городу и нашли себе местечко на улице Алого Колодца, что и сама была видами видная, но только Генри верил, что то дерево не хуже всяких разумных доводов сыграло важную роль в том, как они с Селиной порешили тут поселиться. От него весь город казался прочным и глубоко пустившим корни. И на ветках никто не болтался.

Было уже за два часа дня, когда он добрался до Ярдли. На первом повороте налево он поднялся на север – по дороге под названием Нортгемптонская, прямо как в Дентоне, – и въехал на деревенскую площадь, где стояла школа – красивый дом из камней цвета масла и со славной аркой, что вела на игровую площадку. В окнах школы виднелись детишки, занятые уроками – что-то вырисовывали на

листах оберточной бумаги за длинным деревянным столом. У Генри было дело до смотрителя школы, так что он остановил велосипед напротив главного корпуса, рядом с местом, где тот жил. Генри опережал этого малого на несколько годков, но тому не повезло лишиться почти всех полос, так что он казался старше Генри. Он ответил на стук, но внутрь не приглашал, хотя уже имел под рукой заготовленный мешок с негодными вещичками, который и вынес на порог, прибавив, что Генри может их забирать, коли хочется. Там нашлись пара пустых фоторамок – Генри стало джуже интересно, что же в них было раньше, – пара старых башмаков и штаны из рубчатого плиса, рватые сзади почти до половины. Он вежливо отблагодарил смотрителя, сложив все в телегу вместе с тем, что забрал в Большом Хафтоне, и только было собирался пожимать руки да отбывать, как ему пришло в голову спросить, далеко ли до Олни.

– Олни? Это рукой подать.

Смотритель смахнул пыль с рамок о комбинезон, потом показал через деревенскую площадь налево.

– Видишь там Малую улицу? Тебе нужно проехать по ней до Верхней, которая вернет на Бедфордскую дорогу. Держи по ней, пока не выедешь из Ярдли, и уже скоро увидишь по правую руку проселок от большой дороги. Сворачивай – это дорога Ярдли, прямиком вниз по холму до Олни. Но надо сказать, путь выйдет в три мили туда – и пять миль обратно, учитывая, какой крутой склон.

Это и в самом деле казалось совсем близко, знаючи, что сюда он подоспел мигом. Генри был признателен за подсказку и ответил, залезая обратно на велосипед, что повидает смотрителя еще раз до Рождества. Они распрощались, а он с силой встал на педалях и покатил по Малой улице между лавками, по которым сновали женщины – с темными узлами под чепчиками, на золотых тротуарах полудня.

Он свернул направо, на Верхнюю улицу, и она вернула его на Бедфордскую дорогу, как и обещал смотритель. Он покинул деревню, миновав таверну «Красный лев» у поворота, куда с полей

уже стягивались фермеры с сухими глотками и молча поглядывали на него, проезжавшего мимо. Но косые взгляды могли быть и от евойных веревочных шин, а вовсе не от цвета кожи. Генри потешало, как местные со всякими учеными способами ложить стены, вязать изгороди и всем таким вечно делали вид, будто веревка на ободах – самое дивное диво, что они видали. Он так мог бы вместо шин накрутить на колеса дрессированных гремучек, чтобы послушать соседские пересуды. А ведь Генри всего-то подсмотрел этот трюк у других цветных в Канзасе. Веревки дешевле, не сносятся, как резина, и не прокалываются, а Генри только того и надо. И ничего другого он не задумывал.

За Бедфордской дорогой, ровнехонько напротив съезда с Верхней улицы, земля проваливалась книзу, а за ней следовал и речной приток, так что получался водопад. Разлетавшиеся брызги ловили скошенный свет и светились чахлой радугой, зависшей в воздухе, с такими бледными красками, что они то и дело пропадали из глаз. Генри свернул налево на большак и проехал от Ярдли с четверть мили, прежде чем нашел крутую дорожку, убегающую направо, под знаком с надписью «Олни», да только сказать, что дорожка была крутая, – ничего не сказать. Он понесся по ней как ветер, поднимая стеклянную пелену воды, когда не мог объехать лужи на трети пути донизу, где кругом были целые разливанные пруды с мошкаррой в парящей скверной мари. На такой-то скорости и пяти минут не прошло, как он уже видел впереди деревенские крыши. Генри скользил деревянными брусками по проселку, мало-помалу замедляясь, чтобы не сверзиться, прежде чем доберется по назначению. Задним умом уже думал, как много тяжче будет карабкаться назад, но отбросил такие мысли заради большого приключения, когда мчался, как бутылочная ракета, а веревочные шины шипели в высохших коровьих лепешках.

Олни, когда он доехал, оказалось побольше, чем ему думалось. Но единственное, что смахивало на церковный шпиль, было на другом конце поселения, так что туда Генри и направил велосипед. Все, кого

он проезжал, на него пялились, ведь раньше Генри в их краях не бывал и, понятно, на их глаз был знатной диковинкой. Он пригибал голову и глядел на камни, по которым ехал, чтобы никого не обидеть часом. Улочки были тихие, без дневного конного движения, так что ему стало совестно за шум, с которым гремела тележка, скача по мостовой позади. Однажды он поднял голову и уловил собственное отражение, проносящееся через витрину лавки кузнеца: черный с белыми волосами и бородой на необыкновенной машине, что проскользил в висящих на обозрении горшках и сковородках, словно был не тверже призрака.

Но когда он наконец достиг церкви, все было не напрасно. Вид ее в самом нижнем конце Олни, у реки Грейт-Уз и озер, раскинувшихся на юге, был самый что ни на есть величественный и одухотворяющий. Сегодня она, естественно, была закрыта, потому как пятница, так что Генри прислонил велосипед к дереву и раз-другой обошел здание, любясь высокими окнами со всяческими витражами и прищуриваясь на шпиль – до того высокий, что виднелся с другого конца деревни. Часы на башне говорили, что уже подходит к половине четвертого, или, как выражались на Алом Колодце, «надцать пять четвертого». Он сосчитал, что успеет и здесь осмотреться, и вернуться домой дотемна и раньше, чем примется переживать Селина.

Пожалуй, его огорчило, что на церкви ничего не нашлось о пасторе Ньютоне или «Изумительной благодати». Генри, конечно, чего только не навывдумал о повадках английского люда, но он уж ждал, что будет какая-нибудь статуя – может, с пером в руке. А тут и взглянуть не на что. Даже жалкое подобие под трубы не подвесили. Но сразу через улицу Генри заприметил кладбище. Хоть он и не ведал, тут похоронен пастор Ньютон или не тут, он решил попытать удачу, а потому перешел дорогу и вошел на кладбище через верхние ворота за тропинкой, бежавшей по лужку. В высокой траве под ногами все шуршало и скакало, но, как и в Боро, Генри не знал, то ли это крысы, то ли кролики, но приглядываться уж не стал.

Не считая Генри и деревенских покойников, погост казался безлюдным. Потому он немало удивился, когда завернул за угол по тропинке, что бежала между могильными камнями, – сразу у ангела без носу и челюсти, как у ветерана какой-то войны, – и обнаружил, что у могилы на корточках полел сорняки коренастый человек в жилете и рубашке с закатанными рукавами да в плоской кепке на посеребренных волосах. Тот воззрился еще пораженной, чем сам Генри. Это был совсем старик, осознал Генри, старшей его – поди, к семидесяти. Но еще крепкий, с пышными белыми бачками по бокам от покрасневшего на солнце лица. Под козырьком кепки на кончике носа сидели маленькие проволочные очки, которые он задвинул выше, чтобы разглядеть Генри.

– Господи боже, я так и подскочил. Уж думал, сам Старый Ник пришел по мою душу. Что-то я тебя раньше в наших краях не видел, а? Дай-ка я на тебя погляжу.

Он с натугой поднялся на ноги от могилы, и Генри предложил руку помощи, которую старичок с радостью принял. Когда он наконец встал, оказалось, что росту в нем метр семьдесят, немного ниже Генри. Евойные синие глаза поблескивали из-за линз очков, когда он оглядывал Генри с ног до головы, лучась улыбкой, словно от радости.

– Ну что ж, кажется, ты приличный малый. Что же тебя привело в Олни, если позволишь узнать? Разыскиваешь чью-нибудь могилку?

Генри признался, что это так:

– Я с улицы Алого Колодца в Нортгемптоне, сэр, где меня чаще всего кличут Черный Чарли. Только сегодня прослышал о преподобном, который когда-то проповедовал в Олни, по имени Ньютон. Вроде как это он написал «Изумительную благодать» – песню, что я очень люблю. Я как раз обходил церкву через дорогу, надеялся увидеть какие его следы, как вдруг пришло в голову, что он может покоиться где-то поблизости. Если вам хорошо знакомо это кладбище, сэр, буду признателен, если вы укажете мне на евойную могилу.

Старик выпятил губы с наморщенным лбом и покачал головой:

– Что ты, бог с тобой, его здесь нет. Кажется, преподобный Ньютон в самом Лондоне, в церкви Святой Марии Вулнот, куда его отправили после Олни. Но вот что я тебе скажу. Я служу здесь церковным старостой. Дэн Тайт – это я. Я тут взялся прибирать участки, чтобы чем-то занять руки, но с радостью провожу тебя в церковь и пушу, чтобы ты осмотрелся. Ключ как раз у меня в кармане.

Он извлек из жилета большой черный железный ключ и поднял, чтобы Генри мог его изучить. И верно, ключ. Тут спору нет. Из того же кармана староста достал глиняную трубку и евойный кисет с табаком. Набил чашу и подпалил спичкой, когда они шагали к калитке, так что за ними среди тисов и могил тянулся сладкий кокосовый и деревянный запах. Дэн Тайт громко пыхтел с глиняным мундштуком, пока не раскурил трубку как следует, затем продолжил беседу с Генри.

– А что это у тебя за акцент? Не сказать, чтобы доводилось слышать подобный раньше.

Он кивнул, когда Дэн закрывал за ними калитку, и они двинулись по тропинке обратно к Церковной улице. Теперь Генри ясно видел, что шебуршали в траве кролики – так и торчали носики из всяких нор, что они вырыли на поляне, и виднелись ушки, что твои детские тапочки, забытые в росе.

– Нет, сэр, ничего удивительного в этом нет. Я приехал сюда из Америки всего двенадцать или тринадцать лет назад. Уродился я в Теннесси, а после того довелось пожить в Канзасе. На свой-то слух, я теперь говорю, как и все в Нортгемптоне, хотя жена с детьми замечают, что нет.

Церковный староста рассмеялся. Они как раз шли через мощеную дорогу к церкви, где к дереву прислонились велосипед и телега Генри.

– Ты их слушай. Они правы. Твой голос – в Нортгемптоне ничего подобного не услышишь, и как по мне – это к лучшему. Им же лениво лишний раз языком пошевелить, нашим местным. Им

плевать на буквы на конце слов, а нередко и в середине, вот и получается каша кашей.

Здесь староста помедлил, не дойдя по тропинке до большой церковной двери, и надвинул очки, которые снова соскользнули, чтоб изучить велосипед с прицепленной тачкой, подпиравшие тополь. Он перевел взгляд с устройства на Генри и в обратную, затем покачал головой и отправился отпирать дверь, чтобы пустить их внутрь.

Первым делом замечаешь холод от каменного пола и еще как даже от самой мелочи шло эхо. В помещении впереди церкви, что называлось притвор, было большое украшательство из цветов, пшеничных венков и горшков с вареньем и прочим, что приносили дети на свойный праздник урожая, как понял Генри. От этого по церкви шел утренний дух, хотя внутри было зябко, серо и тенисто. В раме над раскинутой скатертью висела картина, и стоило ее увидеть, как Генри мигом узнал, кто на ней, – и все равно, что картина была темная и висела в комнате еще темней.

Голова у него была почти квадратная и слишком большая для тела, хотя Генри признавал, что это мог быть и огрех художника. На человеке были одежды пастора и парик, прямо как носили во времена восемнадцатого века, – короткий с серыми войлочными валиками, круглыми, как рога барашка, по бокам. Один глаз казался каким-то тревожным, но все же полным, так сказать, опасливой надежды, тогда как на другой стороне, без света, глаз казался плоским и мертвым – с выражением, как у человека, что несет скорбное бремя и знает, что никак не может его сложить. Наверно, из-за чересчур тугого пасторского воротничка жир под подбородком вспучился, как подушка, а над ним были губы, что будто бы не знали, то ли плакать, то ли смеяться. Джон Ньютон, уродившийся в тысяча семьсот двадцать пятом году, отошедший в тысяча восемьсот седьмом. Генри вытаращился на портрет своими глазами – что, как он знал, были цветом как клавиши пианино, – широкими и почти светящимися в здешнем мраке.

– Ах да, это он самый. Ты правильно его заметил, преподобного Ньютона. Лично мне всегда казалось, что у него измученный вид – словно у овечки, которую пустили попасться.

Дэн Тайт вытаскивал в углу что-то из стопки тамошних гимнариев, пока Генри стоял и всматривался в мрачное изображение Ньютона. Церковный староста обернулся и заковылял по звенящим и шепчущим плитам в обратную к Генри, на ходу сдувая пыль с обложки какой-то старой книжки.

– Вот, взгляни-ка. Это «Гимны Олни», впервые отпечатанные еще до тыща восьмисотых. Все это написал он со своим большим другом поэтом мистером Купером – может, тебе и о нем слышать доводилось?

Генри повинился, что не доводилось. Хотя он не видел проку признаваться без особой на то нужды, на самом деле читать он умел плохо, не считая уличных знаков и тех гимнов в церкви, слова к которым знал и без того, а уж писать за всю жизнь ни буквы не выучился. Дэна, впрочем, нимало не озаботило, что Генри не знаком с этим самым малым Купером, и он дальше листал пахнущие желтым страницы, покуда не разыскал, чего надобно.

– Что ж, пожалуй, это и неважно, разве что мистер Купер тоже был родом из Олни и они писали стихи вместе – хотя мистер Ньютон и сочинил большую часть. Тот, который тебе нравится, – мы почти окончательно уверены, что это работа одного только Ньютона.

Сторож подал книжку с гимнами Генри, который осторожно принял ее обеими руками, будто это какая-то религиозная святыня, – а как по нему, так оно и было. Заголовок на странице, где она была открыта, он не сразу разобрал толком, потому как там не было сказано «Изумительная благодать», как уж Генри ожидал. А вместо того было написано, как он наконец уяснил, «Обзор веры и ожидание», а под этим шли строчки из Библии, из первой книги Хроник, где царь Давид вопрошает Господа: «Что я, Господи Боже, и что такое дом мой, что Ты так возвысил меня?» И, наконец, подо всем под этим и были напечатаны слова «Изумительной благодати».

Он просмотрел их, как бы напевая про себя в голове, чтобы легче читать. И неплохо справлялся, пока не дошел до последней строфы, не похожей на ту, какая была ему знакома. Та, что он знал, говорила, мол, пройдут еще десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день. А эта, в книжке, как будто не ожидала никаких десятков тысяч лет и слыхом не слыхивала, что про смерти тень надобно забыть.

Земля истает словно снег,
Иссякнет солнца свет,
Тобой, призвавшим меня здесь,
Навеки я согрет.

Хорошенько поразмыслив, Генри решил, что та последняя строфа, что известна ему, куда лучше, хотя он и догадался, что ее написал не сам преподобный Ньютон. Верней всего, думал он, та, где про десятки тысяч лет и смерти тень, придумана уже в Америке, ведь там и страна моложе, чем сама Англия, и взгляд на мир будет поярче й. А здесь земля старше, повидала приходы и уходы всяческих великих царств и государств, в этих краях Конец света будто уже на носу, земля под ногами того гляди рассыплется от старости в прах, а солнце над головой в любую минуту догорит. Генри же пуще нравилась та песня, которой его научили раньше, из-за внушения, что все будет хорошо, но в глубине души он чувствовал, что то, как писано мистером Ньютоном, может быть куда вернее. Он постоял

еще несколько минут, доканчивая чтение, затем отдал книгу в обратную Дэну Тайту, промямлив, что мистер Ньютон был великий человек, как есть великий.

Сторож взял у Генри «Гимны Олни» и вернул, где они и были. Миг он с пристрастием глядел на Генри, будто над чем задумался, а когда заговорил опять, голос у него был мягче, оттого задушевней, будто вот теперь они заговорили о деле нешуточной важности.

– Так и есть. Он был великим человеком, и мне кажется, признавать это с твоей стороны – очень по-христиански.

Генри кивнул, хотя и сам не знал, зачем. По-всамделишному ему было невдомек, почему это делать обычные комплименты – такой уж христианский поступок, но он не хотел, чтоб Дэн Тайт принял его за неграмотного черного, так что не вымолвил ни словечка. Только стоял, переминая ноги, пока сторож испытывал его взглядом из-за круглых очков. Дэн заглянул в бегающие и неуверенные глаза Генри и как-то этак вздохнул:

– Чарли... Чарли же, верно? Ну, Чарли, дай-ка я кое-что у тебя спрошу. Много ли ты слышал о мистере Ньютоне там, откуда ты родом? О его жизни и прочем?

Генри повинился, к стыду своему, что до сегодняшнего полудня не слышал ни имени Ньютона, ни даже того, что это он написал «Изумительную благодать». Церковный староста заверил, что это не имеет значения, и продолжал мысль.

– Ты должен давать себе отчет, что мистер Ньютон пришел к своему религиозному призванию только к сорока годам, а до этого возраста беспутствовал вдосталь, если меня понимаешь.

Генри сомневался, что понимает, но Дэн Тайт продолжал как ни в чем не бывало:

– Видишь ли, отец его ходил капитаном торгового судна, вечно в море, и впервые юный Джон Ньютон отправился с ним в плавание в возрасте всего одиннадцати лет. Несколько раз, так сказать, путешествовал с папой, прежде чем папа отошел от дел. Кажется,

ему не было и двадцати, когда его завербовали на службу на мановаре, откуда он дезертировал и был высечен.

Генри почесал руку и передернулся. Он насмотрелся на то, как драли людей. Дэн Тайт развивал свою историю, пока в углу притвора бормотало эхо, словно какой-то престарелый родственник, тронувшийся умом.

– Он просил, чтобы его перевели на службу на другом корабле. И то был невольничий корабль, отправлявшийся в Сьерра-Леоне, на западное побережье Африки. Он служил на этом судне, и третировали его жестоко – можешь представить, паренек таких-то лет. Однако ему повезло, и его выручил один капитан, знакомый отца.

Теперь Генри понимал, почему Дэн Тайт ему все поведал, несмотря на то, какая это горькая история. Он немало удивился, когда узнал, что это белый сочинил «Изумительную благодать». Ему всегда казалось, только черный мог познать такую тоску, что звучала в песне, но теперь все складывалось. Мистер Ньютон сам побывал пленником на невольничьем судне, аккуратно как мамка и папка Генри. Он натерпелся от рук дьяволов и бесов, аккуратно как они. Вот отчего он написал все эти слова – о том, как славно найти утешение в Господе от подобных страданий. Староста хотел, чтобы Генри знал, что к «Изумительной благодати» мистер Ньютон пришел через горький опыт, ясно как день. Генри был благодарен. От этого он только пуще исполнился уважением к доброму человеку, стоявшему за гимном. Теперь, когда он будет петь «Изумительную благодать», непременно вспомнит о пасторе Ньютоне и тяготах, что тот превозмог. Генри расплылся в улыбке и протянул Дэну Тайту руку:

– Сэр, я вам очень благодарен за эту историю и за то, что уделите время и пересказали ее. Похоже, мистер Ньютон хлебнул горя, как есть, но, слава богу, все пережил и написал такую чудную песню. Услышав ваши слова, я стал думать о нем только лучше й.

Сторож не взял его руки. Он только сам поднял ладонь лицом к Генри, словно в предупреждение. Теперь вид на розовом лице

старика стал совсем серьезный. Он покачал головой, так что бакенбарды захлопали, как паруса.

– Ты еще не дослушал всего.

Где-то – то ли в Ярдли впереди, то ли в Олни позади, – церковные часы пробили половину пятого, когда Генри наконец вывел пешком евойный велосипед с прицепом до самого крутого склона по дороге в Ярдли, топая по лужам, которые взбаламутил на пути сюда.

Генри был разбит, не знал вовсе что и думать. Он прошел немного, потом встал и потер толстой ладонью глаза, смахивая слезы с щек, чтобы видеть, куда идет, а не сплошной один туман буро-зеленого цвета. На самом верху проселка, как раз когда пробили часы, он забрался в седло и начал долгий путь до Алого Колодца.

Джон Ньютон сам стал работорговцем. Вот что открыл ему Дэн Тайт. Хоть того и спасли с невольничьей посуды, хоть он и узнал на собственной шкуре, что творится на борту таких кораблей, он все ж таки взял и купил судно, чтобы собственноручно заниматься этим ремеслом. И озолотился на нем – озолотился на работорговле, а уж только потом раскаялся, стал священником и написал «Изумительную благодать». Господи боже, святой Господи боже на кресте, «Изумительную благодать» написал работорговец. Генри пришлось опустить деревянные бруски на землю, чтобы сызнава утереть глаза.

Как же так? Как можно претерпеть порку мальчишкой девятнадцати лет, бог весть чем заниматься на службе при работорговце, как можно все это пройти, а потом причинять то же самое остальным ради корысти? Теперь Генри знал, что это за взгляд – что он увидал в глазах на портрете. Джон Ньютон был грешником, человеком с кровью, дегтем и перьями на руках. Джон Ньютон наверняка был проклят.

Теперь Генри взял свои чувства в кулак, так что разогнал велосипед и помчал обратно по Бедфордской дороге и мимо «Красного льва», что уже видал раньше, только теперь тот был справа. Казалось, в пабе полным-полно народу, битком, мужики

реготали, распевали песни, отрывки которых плыли над пустыми полями. Налево уже и в помине не было радуги, что висела над щебечущим водопадом. Солнце опускалось на западе впереди, когда он проходил второй поворот на Ярдли и направился в Дентон с душой не на месте.

Генри, обмозговав все хорошенько, понимал, что дело не только в том, как Ньютон перешел с одного конца кнута на другой. Теперь, задумавшись, Генри допускал, что наверняка хватало и других, поступивших ровно так же. Что там, он и сам знавал немало народу, к кому относились плохо, а они, в свой черед, вымещали это на других. Не это исключительно в жизни Джона Ньютона, не то, что он начинал не лучше раба, а потом взял работорговлю в свои руки. Тут-то голову ломать не приходится – или, по крайности, не приходится ломать долго. А что точило мысли Генри – так это как Ньютон мог чинить такое злодейство, а потом взять да написать «Изумительную благодать». Неужто это все обман – все строчки, что так трогали Генри и евойный народ? Неужто это то же «Шоу Дикого Запада» Буффало Билла, только с це́рквой и сантиментами вместо краснокожих у Коди?

Справа от него, далеко на севере, из темных чащ у Касл-Эшби черными пятнышками поднялись брызги птиц, словно пепел, что сдули с лесного пожарища. Генри приналег по Бедфордской дороге, нахохлившись над рулем, точно ворон. С высоты, думалось ему, он, должно быть, напоминает такую жестяную игрушку, где крутишь ручку, и человек на велосипеде движется дюйм за дюймом по прямой проволоке, переминая только евойные колени, вверх-вниз.

Даже зная о Ньюtone то, что он теперь знал, Генри никак не мог понять, как же такие прочувствованные слова могли быть от начала до конца притворством. Дэн Тайт сказал, что многие-де полагали, будто песня написана об ужасном шторме, в который Ньютон угодил на невольничьем корабле на пути домой в мае тысяча семьсот сорок восьмого года. Он сам назвал тот день своим великим спасением и говорил, будто на него снизошла благодать Господня, хотя прошло

еще добрых семь лет, прежде чем он бросил работорговлю. Судя по тому, что говорил церковный староста, к рабам он относился достойно, но Генри на самом деле и не знал, можно ли ставить «достойно» по соседству со словом «рабы». Все равно как говорить, что пауки заботливо относятся к этим ихним мухам, так мыслил Генри. И все же он уступал одному: коли малый не обратился враз или за ночь, как он сам уверял, одно это еще не значит, что его обращение неискреннее. Может быть, ко времени, когда Ньютон написал «Изумительную благодать», он уже раскаивался во многом, чего наделал. Может быть, это он и имел в виду, когда писал, что спасен из пучины бед. Раньше Генри думал, что речь идет про спасение обычного грешника, любого из нас, но теперь видел, что Джон Ньютон, пожалуй, придавал словам особый смысл, личный для себя. Не обычный грешник. А блудящий, пьющий, гулящий, богохульный грешник-работорговец. Никогда раньше Генри не задумывался о словах, слышал только самое хорошее и не слышал ничего ожесточенного или страдальческого. Прежде сего дня он не слышал стыда.

Теперь он подъезжал к Дентону, его тень на дороге позади становилась длиннее. Здесь ждала развилка, как на противной стороне деревни, и Генри выбрал путь слева от себя, чтобы обогнуть поселение. Съехал на юг по боковой дороге, что бежала к Хортону, а потом миновала соломенные крыши Грэйндж-Фарм, чуть дальше по пути. Черные борозды после плугов, что разграфили поля, на верхушках гряд припорошило золотом, где их касались лучи низкого солнца. В спине раскрипелись пружинки и шарнирчики – заявлял о себе возраст, пока Генри крутил педали к Брэфилду под надзором безмятежных лошадей за изгородями.

Если верить Дэну Тайту, Джон Ньютон оставил мореходство и работорговлю через несколько лет после женитьбы, что состоялась в тысяча семьсот пятидесятом. Но даже так больше казалось, будто он взялся за ум из-за болезни, а не убеждения. Затем, под тысяча семьсот шестидесятый, его рукоположили в священники Олни, где он

и повстречал этого самого поэта, которого правильно писать «Коупер», а говорить «Купер», что приехал в деревню через несколько лет после Ньютона. Из того немногого, что сказал о Купере Дэн Тайт, Генри извлек, что поэт страдал и сердцем, и разумом – можно понять, почему Джон Ньютон потеплел к нему душой. Они вместе сочиняли песни для ихних служб, молитвенных собраний и прочего, но пуще всего расстарался Ньютон – написал по четыре на каждую одну куперовскую. По всему видать, язык у пастора Ньютон был подвешен что надо – понаписал не только гимны, но и дневники, и письма. Церковный староста говорил, что если б не писания Ньютона, то сегодня бы никто ничегошеньки не знал о работорговле во времена восемнадцатого века. Генри так понял, Дэн Тайт имел в виду – никто белый.

«Изумительную благодать» Ньютон написал, считается, к тысяча восемьсот семидесятому, когда ему было сорок пять или окрест того. Десять с чем-то лет спустя он уехал из Олни в Лондон, где стал пастором в церкви, что прозывалась церковь Святой Марии Вулнот. Там он с успехом читал проповеди, потом ослеп и умер, как было ему восемьдесят два. Может, ему мнилось, будто он искупил грехи, но Генри не знал преступления хуже, чем продавать других людей в рабство. Даже Господь при всем своем милосердии наслал на Египет казни, когда иудеи были ихними рабами, и Генри не знал, какое же искупление истребно для такого смертного греха.

Он так погрузился в мысли, что был ни сном ни духом, как уже проехал Брэфилд и налегал на педали на запад к Хафтонам, а красное солнце опускалось, как головешка, что готовится запалить деревья на горизонте впереди. Генри все думал о Ньютоне и как это странно, что он ослеп, хотя в «Изумительной благодати» писал ровно наоборот. Еще он все крутил в мозгах слова Дэна Тайта о времени, когда Ньютон служил в лондонской церкви Святой Марии Вулнот, читал проповеди. Почтенный староста сказал, что промеж паствы был такой мистер Уильям Уилберфорс, который после стал аболиционистом и много чего сделал, чтобы прочно покончить с

рабством. Оказалось, особенную опору и вдохновение он нашел в проповедях пастора Ньютона. Может статья, кабы не Ньютон и евойное великое раскаяние, подлинное оно или нет, то и рабство отменили бы не раньше, а позже, а то и вовсе бы не отменили. Доброе и худое так и качались из стороны в сторону, пока Генри проехал поворот на Малый Хафтон справа и потом, милю спустя, поворот на Большой Хафтон слева. Небо над Нортгемптоном было как драгоценность в ложе из розовых лепестков.

Генри знал, что это по-христиански – простить мистера Ньютона за его дела, но рабство – не какое-то слово из учебников про историю, которые он все одно читать не умел. Он почесал руку и задумался, что помнит о тех днях. Было ему около тринадцати годков, когда мистер Линкольн победил в Гражданской войне и отпустил рабов. Генри к этому времени уже шесть лет как аклеймили в рабство, хотя из этого события в возрасте, когда ему было семь, он не помнил ничего, кроме как плакала евойная мамка и говорила «тише». А о дне, когда их раскабалили, он помнил только то, как всем было страшно. Как будто в глубинах душ все знали: цветных после освобождения ждут одни беды – да так оно и вышло. Бывшие надзиратели с плантаций говаривали, что рабы были счастливей до того, как их отпустили, а друзья-приятели надзирателей уж позаботились, чтобы так и было. Те десять лет, что Генри с родителями провели в Теннесси перед отправкой в Канзас, – все сплошь насилия и избиения, вешательства, убийства, поджоги; Генри было гадко на душе от одной только мысли. Их наказывали всего лишь за то, что их освободили, вот и вся честная истина.

На горах облаков на западе умирало пламя, и небо позади него замарали темно-синие оттенки, когда он проехал мимо Летнего Лужка в сторону парка Беккетта. Или в сторону Коровьего Лужка, как до сих пор звали поля окрест местные с Алого Колодца, подсыпая еще щедро свойного акцента – «midder» вместо «meadow». Генри сказывали, что здесь кончилась еще одна английская война. Не Гражданская, хотя у той последнее большое сражение тоже грянуло

поблизости. А то была война еще раньше, прозывалась Войной роз, хотя Генри и не знал толком, ни за что воевали, ни каким годом замирились. Он не мог не думать, что будь Англия Америкой и приди ты в такое место, где кончились и Война за Независимость, и Гражданская, то ты бы это точно заметил. Надо думать, такой уж местный обычай – умялять события, хотя Генри всегда казалось, что англичане любят прихвастнуть ихним прошлым не меньше других, а то и поболее многих. Просто как будто те, кто пишет всякие книжки об истории, в упор не замечали Нортгемптона, словно на нем лежала пелена, либо они были как кони с шорами, а город целиком попадал в слепое пятно.

Когда Генри доехал до перекрестка с больницей по правую руку и местом, что прозывалось Крайние Ворота, впереди, он остановился у питьевого фонтана рядом с колодцем святого Томаса Беккета и прислонил велосипед к шероховатой стене, а сам слез и попил, как раньше. Вода уже не казалась такой сладкой, как утром, хотя Генри признавал, что причиной тому мог быть евойный душевный разброд. Теперь на вкус вода была горькой. Как металл на языке.

Он снова оседлал велосипед и на перекрестке повернул налево, вдоль променада Виктории, что шел по северной стороне парка. Генри прокатил среди телег, трамваев и прочего, правивших путь домой под небом почти лилового цвета, и оставил луга позади, притаптывая брусками листья, нападавшие в канавы, катил дальше через сладкую вонь со скотных дворов. Загоны, где держали животных, были слева от Генри, оттуда в сумраке то и дело слышались мычание и бляение. Проезжая мимо, он задумался, как днем видал, что все овцы, коровы и прочие помечены краской – пятнышками на спинах, красными да синими. Если подумать, за все разы, сколько он здесь проезжал, ни одного животного не видал с клеймом. Он дал этой мысли устаканиться, минуя гостиницу «Плуг», что стояла на перекрестке с улицей Моста справа, и покатил навстречу железной махине газгольдера на фоне серого света над Газовой улицей. Здесь поднял правую руку, чтобы обозначить

поворот, а потом с тяжелым сердцем принялся подниматься на север по Подковной улице.

Мысли Генри все еще бередил пастор Ньютон. Он уже сомневался, сможет ли наслаждаться «Изумительной благодатью», как раньше, зная то, что узнал. Что там, он уж даже сомневался, сможет ли заставить себя молиться в церкви, коли церковники богатели бог весть на чем. Генри ни в коем случае не изверился в Боге, это и подумать смешно, но, скорее, он изверился в его служителях. Неужто в будущем Генри опять, как когда-то евойный народ в Теннесси, вернется творить молитвы в сараях да амбарах, где потише й? Когда встаешь на колени в сарае, знаешь, что Господь рядом с тобой точно так же, как и в церкви. Разница в том, что в сарае ты знаешь, что за кафедрой не стоит дьявол.

Генри понимал, что нечестно судить всех преподобных по грехам одного, но так уж пошатнулось его доверие к профессии. Он даже не знал до конца, как осуждать Джона Ньютона, при всех-то противоречиях в его истории, но, что ни говори, а имел полное право в нем сильно разочароваться. Мерка, с которой Генри подходил к таким вещам, была меркой обычных людей, а он знал, что ни он, ни его какие знакомые ни разу не продавали в рабство живую душу.

Конечно, никакие его знакомые в жисть не писали «Изумительную благодать» и не производили впечатления на мистера Уильяма Уилберфорса. Тут было об чем задуматься. Под грохот по мостовой, пока он насилу взбирался по Подковной улице, внутри него туда-обратно качались аргументы, но так и не приходили ни к какому выводу. Наверху, где путь пересекал Золотую улицу, с Лошадиной Ярмарки показалась большая старая конка, так что пришлось опустить деревянные бруски на улицу и стоять, пока она не пройдет.

В ожидании он краешком глаза заметил юного тощего малого, болтавшегося на углу у Дворца Варьете. Паренек таращился во все глаза на Генри, который, будучи в удрученном состоянии ума, решил, что это обратно из-за цвета кожи, веревок на колесах или еще каких

глупостей. Он сделал вид, что не заметил, как на него вылупился молодой зевака, а потом, когда конка протащилась на Золотую улицу, Генри навалился на педали и поднялся дальше за перекресток и выше по холму, по дороге, что прозывалась Конным Рынком. Покуда Генри ехал по восточному краю Боро, на них опускались мелкой сажей потемки, и в окнах уже горели газовые огни. Запаляли фонари фургоны, и он порадовался, что у него белые хотя бы волосы и борода – люди завидят издали и не раздавят.

Конный Рынок показался круче обычного. Слева устроились всякие докторские домики уютного виду, а через дорогу все заросло деревьями в Садах Святой Катерины. Поднявшись до улицы Марии, на нее он и свернул. С лязгом и скрипом забрался в сереющий узел такого старого района, что когда-то он был весь город разом.

Хоть любил Генри квартал, где жил, а все же лучше бы не видеть его в сумерках. Тогда все окрест теряло очертания и формы, и то, что днем знаешь за ненастоящее, уже казалось натуральным. Хобгоблины, бесы и всякое такое прочее – в такое время их и видишь, когда краска, слезшая с деревянных ворот, кажется силуэтом, будто стоит там кто, а тени в зарослях крапивы слагаются в большое лицо, что волнуется на ветру и щурит глаза с ехидцей. Закат повсеместно играет такие шутки, это Генри знал, но иногда чудилось, будто Боро построили особливо коряво, чтобы весь сумрак и страх таить в углах – вертепах, где плодятся призраки в лохмотьях. Веревоочные шины содрогались на камнях, покуда он поскрипывал по вечерним улочкам, где – как знать – в дождеборниках плескались безобразные фейри, а в стоках подстерегали упыри. Над ним кренились скособоченные лавочки и дома, бледные в сумерках, словно шипы известняка, что выросли в пещере. Славное по утрам, ленивое днем, а как придет мгла – это место вовсе не узнать.

Но только не по той причине, что здесь могут напасть и ограбить – Генри знал, за что держал Боро народ в районах побогачей. Если спросить Генри, нигде не найдешь места благонадежней, и никто никого не грабил, потому что знали, что все вокруг такие же – без

гроша в кармане. А что до нападений или там избиений – тут спору нет, не без них; но вовсе не так, как в Теннесси. Примерно сказать, в Боро жило много народу, кто так сам себя до печенок ненавидел, что любил напиться и лезть в драку, чтобы злость выплеснуть. Непросто на это смотреть и спокойно сидеть, покуда молодые парни, да и девушки, попросту сводили друг друга в могилу – но все же это не Теннесси. Это не одна шайка-лейка, взявшая себе всю власть и вымещающая злобу на беспомощном люде, у кого ничего за душой нету. Здесь бедняки не учинят вреда никому, кроме себя самих, хоть Генри и признавал, что себе они вредили изрядно.

Нет, не то что Боро полны головорезов. Не потому они страшны ночами, ничего подобного разумного. Боро и днем отличались неопрятностью; но когда гас дневной свет – свет, который обуздывал другой мир, в котором сбывалось почти что угодно, – Боро становились поистине нечистыми. Дети, конечно, такое обожали, вечно слышишь визжащие банды, что носятся вдоль и поперек по темным улицам в газовом свете за игрой в прятки. Генри не сомневался, что мальчишки и девчонки знали, что это окаянное место, как знали и все взрослые. Только дело в том, что дети в том возрасте жизни, когда призраки – такое же обычное дело, как что угодно вокруг. Для ребенка-то призраки – тоже причина восторга. Но как подрастешь, как сам становишься ближе к могиле и успеваешь сколько-нибудь задуматься о жизни и смерти, то что ж: и призраки, и то, что они обозначают, – все становится каким-то не таким. Вот почему, по мысли Генри, никто не любил ходить в Боро после темноты, разве что всякие пьяницы да малые дети, либо же полиция. Чем старше становились люди, тем больше для них кругом фантомов, теней людей и мест, каких уже нет рядом. Эти улочки уходили в древнейшие времена, это Генри знал, так чего же удивляться, если привидения уже уплотнились и затвердели, словно какой осадок.

Он ехал вверх по улице Святой Марии, где пару сотен лет назад разразился Великий пожар, мимо Пиковой улицы на улицу

Доддриджа, где спешился со своего изобретения, чтобы толкать по ухабистым захоронениям, что сбегали вниз по холму от церкви Доддриджа. Он насилу волок велосипед через заросшие курганы и влажные черные лощины пустыря, не в первый раз удивляясь, почему этот пяточок зовут захоронениями, а не погостом или кладбищем. Можно представить, что это оттого, как нигде не было надгробий или крестов – хотя почему их не было, когда здесь закопаны человеки, Генри тоже было невдомек. Лучшее, что приходило на ум, – все это как-то связано с мистером Доддриджем, что был священником на Замковом Холме, а еще нонконформистом, как их прозывают люди. Генри слышал рассказы про нонконформистские кладбища по всей Англии, где тоже устраивались общие могилы для бедняков, если им не хватало денег на настоящее погребение или камешек. Быть может, так и тут. Быть может, он толкал педальную повозку над перепутанными костями от людей, у которых даже имен больше нет. Памятуя о призраках, которых так и чуял в затухающем свете, Генри извинялся пошепту перед скелетами, чтоб они не могли оскорбляться от такого непочтения и чтобы знали, что лично он против них зла не держит.

Когда Генри пересек неровную землю и оказался в Меловом переулке, у нескольких отстоящих от улицы домов, что прозывали Долгими Садами, он взгромоздился обратно в седло и поехал по склону на пути к Замковой Террасе и самой церкви Доддриджа, справа от него. Минувя часовню и отметив несуразную дверцу на высоте в каменной стене, что вела в никуда, он вспомнил все, что знал о мистере Доддридже, отчего, конечно, в свой черед задумался о мистере Ньютоне.

Ну, мистер Филип Доддридж, как здесь сказывали, был человек худого здоровья, который хотел, чтобы нищие не были обделены христианской верой. Когда он прибыл сюда, на Замковый Холм, и начал евойную службу, он, кажись, пошел в атаку на англиканскую церковь, заявлял, что у народа есть право молиться, как он того сам хочет, а не как изволят епископы и прочие. Поселился он в

Нортгемптоне, будучи двадцатилетним парнем, окрест тысяча семьсот тридцатого, и прожил тут чуть больше двадцати годов, прежде чем его загубила болезнь. Пожил недолго, но за свой век изменил то, как мыслили религию люди в этой стране, а то и во всем христианском мире. И все это вершилось на грязном бугре, что теперь проехал Генри. Доддриддж тоже писал гимны, только не такие знаменитые, как «Изумительная благодать», а на одном старом портрете, что Генри как-то раз видал, глаза у него были чистые, светлые и честные, как у ребенка. Не было в них ни капли стыда, ни капли вины. Ничего подобного – а вернее, ничего неподобного: одни только доброта и великое устремление.

Генри мог представить, как мистер Доддриддж прогуливается здесь ввечеру, дышит тем же воздухом, глядит на те же ранние звезды, наверняка ровно так же дивясь, какой дурак и на что задрал дверцу так высоко от земли. Наверняка он, как и все, чувствовал, что пожил на свете долго, и наверняка, как и всем, ему было трудно вообразить, чтобы все в мире было устроено как-то по-другому – да с тем, чтобы он при жизни мог это повидать. И все же мистер Доддриддж опочил тому назад сто пятьдесят лет, а церковь, что прозвали в его честь, так и стоит, так и несет добро всяким местным беднякам. Тогда как Джону Ньютону так и не посвятили церковь за все его дела, а об Уильяме Коди и говорить нечего – вовсе заслужил одну только табличку под дымоходами. Генри задумался об этом и решил, что, как-никак, каждому досталось по справедливости. Наверно, лучше всего верить, что Всемогущий в таких вопросах знает что делает, к такому вот умозаключению пришел Генри.

Он покорила Замковую Террасу, над которой в узел сплетались Замковая улица, улица Фитцрой и Малая Перекрестная, и покатился по Бристольской домой напрямки. Впереди и слева Генри увидел девицу в длинной юбке – он думал, в одиночестве, покуда не приметил, что она несет ребеночка. В газовом свете кудри на головке малютки так и светились, словно взрыв на золотом руднике, потому он сразу признал Мэй Уоррен с ее мамкою, что тоже звать

Мэй Уоррен. Он опустил одну ногу, проволочил брусок по булыжникам и замедлился близ них.

– Эгей, миссис Мэй и мисси Мэй! Дамы, вы наверняка жуировали по всему городу, раз только теперь возвращаетесь домой!

Старшая Мэй замерла и обернулась с удивлением в лице, потом рассмеялась, завидев, что это Генри. Смех был глубокий, рокотал в груди, которой, признал бы Генри, ее не обделили.

– Черный Чарли! Чтоб ты черт побрал, я аж подскочила, олух ты царя небесного. Надо бы ввести закон, чтоб такие, как вы, носили бенгальские огни по ночам. Гляди-ка, Мэй. Гляди, кто приехал, пугает твою мамочку. Эт дядя Чарли.

Тут девочка, которая, спору нет, была красивше всех белых детей, что повидал Генри в жисти, посмотрела на него и сказала несколько раз «Чар». Он улыбнулся матери ребенка.

– Это у тебя подлинный ангелочек, Мэй. Ангелочек, упавший с небес.

Молодая Мэй Уоррен покачала головой вроде бы на пренебрежительный манер, будто слыхала комплимент уже столько раз, что он начал докучать.

– Не надо так грить. Все так грят.

Они еще немного почесали языками, затем Генри советовал Мэй скорей уводить дочку домой, в тепло. Все распрощались, затем две Мэй ушли вниз по улице Форта, где жили в соседстве с отцом старшей Мэй, который был Снежок Верналл. Как сказывали Генри, дедушка Мэй, что звался Эрнестом, как-то раз побелел головой со страху, и этого хватило, чтобы то же самое приключилось с евойным маленьким сыном. Волосы Снежка теперь были белее, чем у Генри, а еще говаривали, что вдобавок он тронутый, но Генри он был знаком только как не дурак выпить и мастер с талантом в руках к рисованию. Мамка с малышом – они ушли на улицу Форта, где не было настоящей дороги, а только каменный настил, и где, по общепринятому мнению, в стародавние времена стоял форт. У улицы и правда был вид, как в катакомбах, – по крайней мере, на глаз

Генри. Она всегда казалась тупичком, хоть и знаешь, что в другом ее конце переулок.

Генри продолжал дорогу туда, где мистер Бири, кого прозывали фонарщиком Боро, как раз задрал длинный шест, чтобы запалить газовые фонари, что стояли на Бристольской улице. Он окликнул Генри, по-веселому, и Генри отозвался в обратную. Он надеялся, что дети не влезут на столб и не задуют огонек, стоит мистеру Бири уйти, хотя велик был шанс, что тем дело и кончится. Генри поднажал на педали по Бристольской улице, переходившей в Банную. Свернул налево и проехал мимо Банного ряда на улицу Алого Колодца, где и проживал. Здесь темнота была совсем густой, потому как мистер Бири еще в эти околотки не добрался. Казалось, будто ночь стекала по холму, чтобы скопиться внизу большой черной лужей. Если какие лампы и горели, то из-за задернутых занавесок, так что могли бы оказаться и светящимися в темноте лампочками на лбу большущих страхолюдных рыб, что вылавливают из глубоких океанов на всяческих траулерах.

Генри выехал с Банной улицы на Алый Колодец напрямик против проулка, что местные здесь называют джитти – дороги назад Террасы Алого Колодца. Влево недалеко была большая дорога Святого Андрея, но он слез с велосипеда и покатил его вверх по холму в другую сторону. Дом, где жил он с Селиной и ихними детьми, был близко, против питейного дома под названием «Френдли армс», что стоял на другой стороне улицы. Он вспомнил, как, когда он с евойной Селиной прибыл из Уэльса, забрав оплату в Валлийском доме на рынке, они впервые спустились сюда и осмотрелись. Он еще не знал, как местные отнесутся к черному с белой девицей в женах, если такие поселятся поблизости. Могло быть так, что и не найдется места, где примут два разных цвета бок о бок. Тогда они впервые и вышли на улицу Алого Колодца и к «Дружеским рукам», где им был знак. Снаружи паба, прихлебывая себе пиво из стакана, стоял, как они позже узнали, зверь Ньюта Пратта. Зрелище так их сразило своей невероятностью, что они не

сходя с места и порешили, что здесь им и искать себе дом. Какими бы необычными они ни были – две расы, зажившие в браке душа в душу, – никому на улице Алого Колодца и в голову не придет на них косо глянуть, когда через улицу так просто стоит на привязи удивительная тварь Ньюта Пратта.

Он улыбнулся при мысли об этом, заталкивая велосипед с телегой на уклон, уже сняв деревянные бруски с ног и рассовав по карманам куртки, где им и было место, коли не на ногах. Он дошел до узкого поворота справа, что и приведет его ровнехонько на родной задний двор. Скинул железный крючок с калитки, затем, как и всегда, с жутким грохотом втащил свойную колымагу на двор. Из дверей вышла Селина с ихней первой дочкой, Мэри, с белой кожей, что цеплялась за материны юбки. Жена его была невысокой, а волосы расчесаны книзу, так что доставали почти до коленей, когда она улыбалась ему на пороге с теплым газовым светом из-за спины.

– Здравствуй, Генри, любовь моя. Скорей заходи и расскажешь, как твоя поездка.

Он поцеловал ее в щеку, затем выудил все вещички, которые надавали ему добрые люди, из телеги, что постоит в сохранности на дворе.

– Эх, где меня только не мотало! Нашел кой-какую старую одежду и негожие рамки. Но вот что, вперед ужина вскипяти-ка мне воды, обмоюсь. Очень уж утомительный выдался день, по-всячески.

Селина наклонила голову к плечу, приглядываясь к нему, пока он вносил в дом собранные вещи.

– Но с тобой же все хорошо? Никакой беды не случилось, нет?

Генри покачал головой и уверил ее широкой улыбкой. Ему покуда не хотелось говорить с ней о том, что он прознал в Олни, о пасторе Ньютоне и «Изумительной благодати». Генри это еще и сам в уме не уложил, не решил, какое у него мнение по этому вопросу, и заключил, что расскажет Селине позже, когда выдастся время поразмыслить. Он взял рамки и прочее в ихний зал, что выходил на Алый Колодец, и сложил к остальным вещам, за чем вернулся в

гостиную к Мэри и Селине. Их младенчик, что они прозвали Генри в честь него и что был черный – весь в папаню, уже спал наверху, в колыбели, хотя Генри еще обязательно его наведает, прежде чем самому лечь спать. Он оставил Селину заваривать чай в чайнике на столе, а сам ушел в кухню, чтобы помыться.

В медном баке еще было вдоволь тепловатой воды, и он наполнил себе эмаливый таз, что поставил у глубокой каменной раковины. Раковина стояла под кухонным окошком, выходящим на двор, где уже было черным-черно и ни зги не видно. Он снял куртку и накинул на бельевую корзину, что была у двери, затем принялся расстегивать рубашку.

А из головы все не шел пастор Ньютон. По мысли Генри, он сотворил великое добро и точно так же совершил тяжелый грех. Генри сомневался, не слишком ли мал, чтобы судить человека с добродетелями и пороками такого масштаба. Но, обратно, кто же еще призовет таких людей к ответу, если не Генри, его род и все, с кем обошлись не по справедливости? Всех этих важных птиц с ихними гимнами, статуями и церквами, что остаются жить после них и многие годы убеждают честной народ, какие те люди были хорошие. Генри казалось, будто все эти памятники – та же табличка полковника Коди под крышей, что он видал в начале дня. Только по тому, что кого-то крепко запомнили, еще не нельзя сказать, что он это заслужил. Генри задумался, где же тут справедливость. Задумался, кто в конце концов решает, что есть знак великого человека, и как понять, что это не просто каинова печать? Уже его рубашка и жилет лежали с курткой на корзине подле кухонной двери. В черной ночи за паром, валившим от эмаливого таза перед оконными стеклами, он видел в темноте двора собственное отражение, раздетое по пояс и глядящее на него.

Евойный собственный знак был на месте – на левом плече, где его клеймили в семь лет. И мамка, и папка носили такие же. Он плохо помнил вечер, когда его положили под железо, и даже после

стольких лет так и не уразумел, на что им это сдалось. Сколько он помнил, не то чтобы окрест водились негрокрады.

Но смешная это была штука, клеймо, – не лучше каракулей, что нарисует малое дитя. Два холма и как будто бы мост промеж ними, а то – чашки на весах для золота. Под ними свиток, а то петляющая дорога. Линии на лиловой коже руки Генри стали бледные и фиолетовые, гладкие, что твой воск. Он провел по печати пальцами другой руки. Подождал мудрости и разумения, что сподобят ответами на все-все вопросы в душе – про Джона Ньютона, про все. Ждал благодати, чтобы скинуть с плечей все тяжкие чувства, хоть для такого благодать впрямь должна быть изумительной.

Снаружи в темно-синих небесах над часовней Доддриджа повысыпали звезды и запели ночные птицы. Его жена и ребенок были в соседней комнате, наливали ему чая. Генри взял в пригоршню рук теплую воду с обмылком и брызнул в лицо и глаза, чтобы все смылось в сером, всепрощающем пятне.

Атлантида

Глубоко там, трындец пердит, коты за окном орали.^[26] Ах-ха-ха-ха. Ох ну вас к черту, ну и дайте ему полежать на дне, в тепле, под потных одеял волной он сном влеком, среди якорных цепей и крабовых клопов, русалок, что в соленых салках с гребнями в руках гребут, собой любуясь, – но не тащите его неводом из вод, нет-нет. Лишь пять минут, лишь пять минут еще, ведь здесь, во хлябях льна и сна, он не наблюдал часов: вновь словно пятьдесят восьмой, ему – пять лет, и словно впереди вся жизнь лежит, бежит куда-то, покуда он в тепле, воде и тьме, а мысли – разноцветный свет волнятся по колоннам римским, пиратским сундукам, – но вот конец, уже всему конец. Пружина от матраса колет в спину, чрез песок, медузьи руки-ноги сучат и месят взвесь, и он всплывает в иле сна на солнце, ввысь, к поверхности пестрящей, с кухни голосам от радио, что мать давно уж завела. К черту. К черту все.

Бенедикт Перрит приоткрыл глаза к первому разочарованию дня. Не 1958-й. Ему не пять. На дворе 26 мая 2006 года. Он – кашлю чая, пердячая развалина пятидесяти двух лет, королевская кровь из тысяча девятисотых в изгнании, блуждающая по берегам чужого недружелюбного века. Ах-ха-ха-ха. Хотя с развалиной он переборщил. Он получше многих его возраста, есть на что взглянуть. Просто он спросонья, а вчера всю ночь глушил эль. Еще раскочегарится, это он сам знал, просто утро для Бенедикта всегда было шоком. Еще не успеваешь взять себя в руки, в такую рань. Когда только просыпаешься и еще не позавтракал, мысли, от которых позже можно сбежать или отмахнуться, бросаются на тебя, как свора собак. Холодные неприукрашенные факты жизни в утреннем свете всегда были как хук в рожу: его любимая сестра Элисон умерла – авария на мотоцикле больше сорока лет назад. Батя, старик Джем, умер. Дом, где они жили, их старая улица, их район – все тоже умерли. Семья, которую он начал с Лили и

мальчиками, – и той нет, он все сам запорол. Снова живет с мамой на Башенной улице, на вершине улицы Алого Колодца, сразу за высотками. Жизнь, на его вкус, не особенно удалась, как он надеялся, но все же ужасала мысль, что еще лет тридцать – и конец придет и ей. Ну или по крайней мере ужасала спросонья. Спросонья его ужасало все.

Демоны поглотили его еще пару минут, затем он решительно сбросил их вместе с одеялом и простыней, скинул костлявые волосатые ноги на пол у кровати и сел. Провел руками по рельефной карте лица и запустил пальцы во все еще черные узлы волос. Кашлянул и перднул, чувствуя себя кощунником в присутствии книжного шкафа у дальней стены комнаты. Так и видел, как на него с укором смотрят Дилан Томас, Герберт Бейтс, Джон Клэр и Томас Харди, ожидая, когда он признается и извинится. Он пробормотал «прошу прощения», потянувшись за халатом, наброшенным на стул рядом с древним письменным столом, затем встал и пошлепал босой на лестничную площадку, перднув еще раз, как бы утверждая свою независимость, перед тем как закрыть дверь спальни и предоставить буколическим поэтам искать романтику в его газах. Ах-ха-ха-ха.

В ванной он опорожнился – благодаря вчерашней выпивке процесс этот выдался крайне неприятным, но и завершился довольно быстро. Далее снял халат, чтобы умыться и побриться у раковины. Центральное отопление – хоть что-то в современном мире его радует. На Школьной улице, где он рос, было слишком холодно, чтобы мыть каждый день что-то кроме лица и рук. Если повезет, в пятницу тебя отскребут в цинковом тазу.

Бенедикт наполнил раковину горячей водой – он с неохотой признает, что горячая вода – тоже достоинство прогресса, – затем плеснул на себя, прежде чем намылиться маминым «Камэй», пользуясь в качестве импровизированной губки пышными лобковыми волосами. Перед тем как сполоснуться, он стянул с вешалки полотенце на пол, чтобы не намочить коврик, затем наклонился так, что гениталии свесились в белую эмалевую

раковину, взял воду в пригоршню и вылил на грудь и живот. Пену из-под мышек смыл мочалкой, затем провел ею по ногам и стопам практически без мыла и вытерся насухо другим, большим полотенцем. Снова влез в халат, затем достал из шкафчика старые папины помазок и опасную бритву.

Кисть – из шерсти кабана или барсука, точно он уже не узнает, – мягко и успокаивающе взбила белую пену на щеке. Бенедикт уставился в зеркало, встретил собственный унылый взгляд, затем провел открытой бритвой по горлу отражения, в паре дюймов от трахеи, мучительно забулькал, закатил глаза и вывалил длинный и чуть пушистый язык. Ах-ха-ха-ха.

Побрился, вымыл лезвие начисто под холодной водой – в раковине вдоль линии приборя осталась труха щетины. Как чайники, но мельче, и он задался вопросом, можно ли разглядеть в этих случайных точках будущее. В Боро вечно говаривали, что если, например, чайная гуща похожа на лодку, то тебя ждет морское путешествие, – хотя куда там. Отложив набор для бритья, он промокнул лицо и рискнул набрать полную ладонь «Олд Спайса». Когда он шлепнул его на щеку первый раз подростком, решил, что этот фруктовый запах какой-то девчачий, но теперь ему нравилось. Запах шестидесятых. Взглянув в зеркало на выбритое лицо, он изобразил лощеную улыбку кинозвезды и многозначительно поерзал густыми бровями – нализавшийся жиголо соблазняет собственное отражение. Боже, да кому захочется проснуться рядом вот с этим – рядом с Беном Перритом и шнобелем Бена Перрита? Ему и самому не хотелось. Если бы Бенедикт полагался только на свою внешность, ему давно настал бы конец. А значит, ему повезло, что он еще и публикующийся поэт – вдобавок к прочим достоинствам и добродетелям.

Он вернулся в спальню одеться, вспомнив про пердеж, только когда уже было слишком поздно. Черт. Натянул рубашку и штаны, стараясь дышать через рот, потом схватил жилет и туфли и рванул к лестнице, закончив свой туалет уже снаружи, в земной атмосфере.

Вытер слезящиеся глаза. Господи Иисусе, вот после такого и чувствуешь, что еще живой.

Он почапал вниз. Мама, Айлин была на кухне, кружила над газовой плитой, следила, чтобы завтрак не подгорел. Она начала готовить болтуню на тосте, когда только услышала, как Бенедикт поплелся в ванную. Подтянула к себе на пару сантиметров сковороду-гриль, чтобы оценить оттенок нарезанных белков, потыкала деревянной ложкой в желтковые облака в ковшике. Взглянула на сына старыми карими глазами, в которых читалось столько же любви, сколько и укора, опустила маленький острый подбородок, поджала губки и поцокала языком, словно даже после стольких лет так и не понимала Бенедикта и что о нем думать.

– Доброе утро, матушка. Позволь заметить, что сегодня утром ты особенно лучишься! Знаешь ли, бывают и не столь галантные сыновья. Ах-ха-ха-ха.

– Да, но ищо и матери у них не такие. Не стой, подь сюда и лопай, пока не остыло, – Айлин извлекла тост, мазнула маргарином и опрокинула на него дымящуюся взболтанную массу – все как будто одним непрерывным движением. Убрала седую прядь, выбравшуюся на волю из клубка на затылке, и подала Бенедикту тарелку со столовыми приборами.

– Ну вот. Рубашку не ухряпай смотри.

– Мать, веди себя прилично! Ах-ха-ха-ха.

Он сел за кухонный стол и набросился на то, что называл обязательной подстилкой для желудка. Бенедикт и понятия не имел, почему все, что он говорил, похоже на шутки или ранее неизвестные коронные фразы комиков. Он был таким, сколько себя помнил. Наверное, жизнь проще, когда представляешь ее затянувшейся серией «Малыша Клитеро» [\[27\]](#).

Он доел, махнул чашку чая, которую тем временем заварила мать. Пил большими глотками... когда я пью, я глух и нем... зыркая одним светлым глазом цвета глины, в которой цыгане запекают ежей, на вешалку в прихожей, где его дожидались шляпа и шейный платок,

пока он планировал побег. Впрочем, побег, – если не считать побега в творчество или теплые воспоминания, – то единственное, что Бенедикту никогда не удавалось. Не успел он поставить пустую чашку на блюдце и изготавиться к рывку на свободу, как его подсекла Айлин.

– Значить, идешь седни работу искать?

Вот очередной аспект утра после мыслей о смерти спросонья, который Бенедикт находил проблематичным. Пожалуй, на самом деле ему в общем не удавались две вещи. Сбегать – и искать работу. Конечно, главным камнем преткновения в поиске работы было то, что он ее, собственно, и не искал, ну или не очень старался. Его отпугивал не сам труд, а проформа: всяческие процедуры и неизбежные коллеги. Он просто не верил, что ему хватит смелости познакомиться с целой галереей новых лиц, людьми, которые ничего не знают ни о поэзии, ни о Школьной улице, и не поймут Бенедикта. Он просто не мог – только не в таком возрасте, только не с незнакомцами, только не объясняться. Если быть честным до самого конца, объясниться он не мог ни в каком возрасте и ни с кем – по крайней мере, к полному удовлетворению собеседников. Значит, три вещи. Сбегать, искать работу и адекватно объясняться. Проблемы у него только в этих трех областях. А все остальное – легко.

– Я всегда в поисках. Ты же меня знаешь. Моим глазам покой только снится. Ах-ха-ха-ха.

Мать наклонила голову набок, смерив его взглядом – одновременно с теплом и вконец усталым непониманием.

– Да вот и да-то. Если б ток твои глаза этому и зад научили. На-ка. Это те на ужин. Увидимся, как вернешься, коль ищо не лягу.

Айлин сунула ему в ладонь десяток «Бенсон и Хеджес» и десятифунтовую банкноту. Он расплылся в улыбке, словно это не повторялось из утра в утро.

– Женщина, дай я тебя расцелую.

– Ага, ток попробуй и вот чем схлопочешь, – она говорила о кулаке, который вознесся, как одинокое аборигенское плато. Бен

рассмеялся, прикарманил чирик и сигареты, вышел в переднюю. Обернул платок жжено-рыжего цвета на кадыке, похожем больше на проглоченную бутылку «Карлсберга», прищурился на солнечный свет, просеянный через матовое стекло входной двери, и решил, что на улице достаточно светло, чтобы не надевать куртку, но все же недостаточно, чтобы уже надевать канотье. Его жилет и так напоминал гардины в борделе. Зачем сыпать соль на рану.

Он переместил курево из кармана штанов в холщовую сумку, где уже лежали салфетки «Клинекс» и апельсин, а также «Антология Нортгемптоншира» под редакцией Тревора Холда, издание «Нортгемптонских библиотек». Он ее полистывал, просто чтобы не отставать от времени. С сумкой через плечо Бенедикт попрощался с мамой, сделал укрепляющий вдох перед зеркалом в прихожей и, широко распахнув дверь, отважно бросился в суматоху и в суматошный мир, где та царила.

Над Башенной улицей – когда-то верхним концом Алого Колодца – ползли облака цвета плевков. Улицу переименовали в честь высотки Клэрмонт-корт, загородившей западное небо справа, одного из двух кирпичных колов, всаженных в бессмертное сердце района. После недавнего косметического ремонта на кирпичях цвета крабовых палочек остались слова – или, возможно, одно слово, – NEWLIFE, лежащий на боку серебряный логотип, больше подходящий для мобильного телефона или бесконечной батарейки, чем для жилого здания, думал Бенедикт. Он поморщился, пытаясь не смотреть на здание лишней раз. В основном ему было по душе по-прежнему жить на любимой малой родине, кроме тех случаев, когда он замечал, что любимая мертва уже лет тридцать и давно разлагается. Как-то сразу начинал чувствовать себя персонажем из статьи в Fortean Times [\[28\]](#), каким-нибудь покинутым и умалишенным вдовцом, который до сих пор взбивает подушки для мумифицировавшейся невесты. Ньюлайф – Новая жизнь: городское возрождение, о котором приходится буквально писать большими буквами на видном месте, иначе что-то незаметно. Как будто если

прикрутить к стене отполированную надпись, то мир изменится. И вообще, чем им не угодила старая жизнь?

Он проверил, что дверь заперта, оставив маму одну, и заметил, как по Симонс-уок, что шла вдоль Башенной улицы позади Клэрмонт-корт, бредет толстый торчок с лысой головой, Кенни как-то там. На нем были серые брюки и серая спортивная куртка, которые издали сливались и казались гигантскими детскими ползунками, будто дилер – младенец-переросток, превысивший безопасную дозу «Калпола» [29]. Бенедикт притворился, что не заметил его, свернул налево и бодро зашагал к дальнему концу улицы – слиянию подземных переходов, затаившихся под транспортной воронкой Мэйорхолд. Как вообще можно растолстеть на наркотиках, если только не мазать их на жареные бутерброды? Ах-ха-ха-ха.

Желтые листья липли рассыпанным линотипом к мокрым макамским орехам щебня под ногами. Бенедикт прошел мимо здания Армии спасения – панельных бараков, внутри которых, кажется, никогда не бывал. Он сомневался, что сейчас там раздают бубны, тем более бесплатные чашки чая с булочками. Вот в двадцатом веке дно общества было куда комфортней. Тогда нищету сопровождали аккомпанемент духового оркестра и полный рот сконов, растворяющихся в «Брук Бонде»; добрые теплые груди под голубым сержем с большими золочеными пуговицами. Теперь же в нагрузку шли бездушные подростки-надсмотрщики, как в лагерях смерти, и неминуемое око Центра занятости, ну и тот саундтрек, что играет снаружи торговых центров, – обычно «I'm Not In Love». Короткая улочка окончилась дорожкой к подземному переходу под высокой стеной, подпирающей аквариум Мэйорхолд с акулами-роботами. Украшенная штрихкодowymi полосами цвета охры, мандарина и умбры, стена, наверное, должна была создавать латиноамериканскую атмосферу, но выглядела как реплика блевоты, сделанная из «Лего». Бенедикт помедлил секунду, окинул взглядом округу, охватил весь исторический масштаб.

Среди прочего недалеко отсюда был один из любимых пабов его отца – «Веселые курильщики», хотя, конечно, этим историческая родословная местности не исчерпывалась. Именно здесь в тринадцатом и четырнадцатом веках стояла первая нортгемптонская Гильхальда, или ратуша, – по крайней мере, согласно историку Генри Ли. Ричард II своим указом объявил ее местом, где располагались все бейлифы и мэр. Бейлифов можно было увидеть до сих пор, хотя мэры в эти дни здесь редкость. Под конец тысяча трехсотых власть и богатство переместились на восточную сторону города, и новый Гилдхолл построили у начала Абингтонской улицы – там, где сейчас по франшизе открыто «Кафе Неро». С того момента и можно отсчитывать упадок района: больше семисот лет Боро скатывались по крутой дорожке. Спуск, очевидно, оказался длинным, хотя сейчас, глядя на рвотный кафель, Бенедикт думал, что дно уже близко.

Пусть здесь и находилась первая ратуша, бывшую городскую площадь называли Мэйорхолд ^[30] не поэтому, – по крайней мере, как понимал Бен. По его теории, это случилось позже, в 1490-х, когда парламент поручил власть над Нортгемптоном всемогущим мэру и управе из четырех дюжин богатых бюрхеров – пардоньте за французский, – бюргеров, которых называли «Сорок Восемь». Бенедикту казалось, что тогда-то жители Боро, как и горожане ближайшего Лестера, положили начало великой традиции выбирать потешного мэра – чтобы высмеять правительственные процессы, из которых были исключены. Шутовские выборы проводились прямо на этой площади – отсюда и название, – и на них вручали буквальную «должностную цепь» с крышкой от горшка случайным назначенцам – часто полупьяным, полоумным или ополовиненным после войны, а в крайних случаях – человеку со всем вышеперечисленным. Бенедикту казалось, что однажды такой чести удостоился его собственный дед по отцовской линии, Билл Перрит, но Бен так считал лишь из-за прозвища старика – Шериф – да из-за того, что тот день-деньской просиживал пьяным в дупель у Миссии на Мэйорхолд на деревянной тачке, которую считал своим тронem.

Бенедикт задумался, может ли он претендовать на государственную должность благодаря тому, что он потомок Шерифа и живет там, где стояла первая городская ратуша? Представил себя Претендентом-Тичборном, лжекоролем, – одним из тех, кто больше думал, как бы надеть корону на голову, а не как бы удержать голову на плечах. Ламберт Симнел, Перкин Уорбек и Бенедикт Перрит. Достойный ряд. Ах-ха-ха-ха.

Он свернул на утопленную дорожку-ущелье – впереди показались ступеньки, поднимавшиеся к углу, где верхний конец Банной встречался с Конным Рынком. Даже из этой ямы он видел верхние этажи обеих высоток – Клэрмонт-корт и Бомонт-корт, – торчавшие над плиткой цвета испанской тортильи, высящейся справа стены-плотины. Эти башни издавна обозначали для Бенедикта истинный конец Боро – богатой тысячелетней саги, завершенной двумя жирными восклицательными знаками. Ньюлайф. Тьфу ты. Два-три года назад призывали к тому, чтобы снести полупустые чудовища, признавали, что их вообще не стоило строить. Тогда в Бенедикте ненадолго разгорелась надежда, что он еще переживет наглые давящие глыбы, но потом «Бедфорд Хаусинг» провернул с управой какую-то сделку – все те же четыре дюжины богатых бюрхеров, все те же Сорок Восемь спустя пять веков, – и приобрел оба дома, если верить слухам, за пенни каждый. Провонявшие мочой уродливые сестры-близняшки намарафетились сверху донизу и вдруг оказались отличным жильем для бюджетников, без которых, оказывается, Нортгемптон никак не мог, – в основном наездников с мигалками: медсестер, пожарных, полицейских и тому подобных. Ньюлайф. Эту новую жизнь сбросили, как гуманитарную помощь на парашюте, чтобы помочь прежним обитателям, когда они болели, горели или когда их грабили. Но вышло так, что башни захлестнул поток человеческих отбросов – домашних больных, наркоманов, беженцев, – очевидно, не сильно отличающихся от тех, кто жил здесь до них.

Левак Роман Томпсон с улицы Святого Андрея однажды показал Бенедикту список совета директоров «Бедфорд Хаусинг», где среди прочих оказался бывший депутат-лейборист из управы Джеймс Кокки. Понятно, откуда росли уши продажи за бесценок. Бенедикт свернул налево, не дойдя до ступенек к углу Банной улицы и спускаясь в подземный переход под Конным Рынком, с указателями к городскому центру. Здесь желчная рыже-бурая мозаика окружала людей со всех сторон, поднималась до свода туннеля, где тусклые натриевые лампы через равные интервалы испускали бесполезное янтарное свечение.

Долговязый силуэт Бена брел во мраке тошнотных катакомб, где так и шуршали призраки будущих убийств. К нему на метр угрожающе подкатилась брошенная тележка из супермаркета, но, передумав, со скрипом угрюмо застыла на месте. Только под лампами вспыхивали из небытия его лицо героических пропорций и усталая, обреченная улыбка, словно портретный набросок Боза [\[31\]](#), подпаленный спичкой. Незванная мысль о Джиме Кокки – возможно, в совокупности с подземным окружением – как будто отворила прежде забытый сон с прошлой ночи, где фигурировал депутат, который внезапно возник в голове Бена, пусть и в виде расплывчатой последовательности загадочных фрагментов.

Он бродил по безликим террасам из древнего красного кирпича и опоясанным железной дорогой пустырям, что давно уже казались стандартным местом действия его снов. Где-то в глубине этого жуткого и знакомого ландшафта стоял дом – дом Боро с бестолковыми и запутанными лестницами и коридорами, ходящий ходуном от старости. На улицах царил тьма. Была глухая ночь. Бен знал, что в подвале здания его ждут семья или друзья, но путь туда давался со всеми обычными разочарованиями снов – он пробирался с извинениями по чужим квартирам и туалетам, полз по бельепроводам, полузабытым старинными деревянными партами, которые он помнил по Ручейной школе. Наконец Бен добрался до какой-то котельной или подвала, где на полу виднелись следы

крови, солома и опилки, словно совсем недавно здесь находилась бойня. Стояла атмосфера кошмара и убожества, и все же она была как-то связана с его детством и почти согревала. Затем он заметил, что рядом в залитом кровью подвале стоит депутат Джим Кокки, которого в жизни Бен практически не знал, – грузный, очкастый и седой человек в нижнем белье, с искаженным от ужаса лицом. Он сказал: «Мне все время снится этот подвал. Вы не знаете, где выход?» Бен не хотел помогать перепуганному чинуше, одному из Сорока восьми, что в течение столетий уничтожали Боро, и он ответил только: «Ах-ха-ха. А я все ищу вход». И в этот момент проснулся как будто от чужого кошмара. Теперь он вышел из туннеля, стряхнув страшные сны вместе с тьмой перехода, и запыхтел по крутому уклону на Серебряную улицу.

На другой стороне автострады, в которую превратилась Серебряная улица, высилась пятиэтажная муниципальная парковка, красная и горчично-желтая, как пролитые специи. Где-то под этим куском черствого баттенбергского кекса, как знал Бенедикт, находились все лавочки и мастерские, что когда-то прилегали к Мэйорхолд. И газетчики «Ботерилл», и мясник, и цирюльня Филлиса Малина, бело-зеленый фасад «Кооперативного общества, осн. 1919, номер филиала 11». На углу стоял мрачный общественный туалет, который мама и папа Бена почему-то звали Кабинетом Джорджи Шмеля, а на Медвежьей улице были кафе с фиш-энд-чипс и Клуб работников электроэнергетики, и еще пятьдесят других интересных местечек, растолченных в единообразную пыль весом наваленных сверху внедорожников и быдломобилей. Справа от Бена стоял задний фасад Рыбного рынка, и сам возведенный на месте синагоги, куда ходили ювелиры-серебряники, в честь которых и получила название улица. Он мысленно добавил блестящие узоры звезд Давида на воображаемую свалку, томящуюся под многоэтажной автовыставкой. Форд Транзит Глория Мунди. Ах-ха-ха-ха.

Рядом с китайским рестораном, где Серебряная улица вливалась в Овечью, из кирпичной стены рос одинокий цветок, лиловый и

легкий, как мальва, хотя Бен сомневался, что это она. На худосочном стебельке больнично-зеленого цвета торчали крыжовниковые волоски, настолько тонкие, что невооруженным взглядом почти не различить. Как бы цветок ни назывался, он был из скромной, доисторической породы – как сам Бенедикт. Может, он казался деликатным и хрупким, но все же пробился через цемент современного мира, неискоренимо утвердился на лице унылого дефлорированного масс-века. Бен знал, что это не лучший поэтический образ, особенно если сравнить с «Та сила, что цветок из стебля гонит...» [\[32\]](#), но в эти дни он не брезговал ни вдохновением, ни цветами. Свернув на Овечью улицу, направился к «Медведю», где намеревался вновь взвалить на себя тяжкий ежедневный труд – убраться в доску за чирик.

Шумный, несмотря на сравнительно небольшое число посетителей в это время дня, «Медведь» мариновался в звуке своих игровых автоматов: электрическом глассандо волшебных палочек и хлюпанье сумасшедших лягушек. На мутном краю зрения переползали светящиеся мозаики золотых, красных и фиолетовых цветов – палитра «Тысячи и одной ночи». Бен вспомнил, что когда-то утренний бар был царством молочного света, проливающегося через тюлевые занавески, и осторожной тишины, которую не нарушал даже победный щелчок домино.

Бармен был вдвое моложе Бена, тот парня помнил с трудом, но тем не менее поприветствовал: «Ах-ха-ха. Здравствуй, дружище-старичок», – голосом, что когда-то ассоциировался с ныне забытой звездой «Арчеров» Уолтером Габриэлом, – при этом, как казалось Бенедикту, ловко замаскировав, что забыл имя собеседника.

– И тебе привет, Бенедикт. Что налить?

Бен оценивающе обвел взглядом полудюжину других клиентов заведения, неподвижных и хмурых на своих стульях, как выбывшие шахматные фигуры.

Прежде чем заговорить, он театрально прочистил горло:

– Кто купит пинту биттера публикующемуся поэту и национальному достоянию? Ах-ха-ха.

Никто не поднял взгляд. Кажется, двое чуть улыбнулись, но явно оказались в меньшинстве. Ну что ж. Иногда срabатывает, если рядом есть знакомый – скажем, Дэйв Терви, по-джентльменски устроившийся в углу в шляпе с перышком, словно в осенний денек в богемном квартале Додж-сити, или еще кто. Но, к прискорбию Бена, в эту черную пятницу обычное место Дэйва пустовало, и с великой неохотой Бен вытянул десятифунтовую купюру из кармана и уложил на стойку – первоначальный взнос за пинту «Джона Смита», которая, надеялся он, однажды будет всецело принадлежать ему. Увы, прости-прощай, черно-белый Дарвин. Прости-прощай, ало-зеленая 3D-колибри, замороженная спиралью в гипноскопе. Прости-прощай, мой мятый дружок, мы с тобой не были знакомы и получаса, а теперь ты уходишь навсегда. На кого ты меня покидаешь. Ах-ха-ха.

Забрав заказ, он позволил увлечь себя плюшевым изгибам боковых сидений, держа в одной руке холодное пенное, а в другой – комок из восьми фунтов сдачи. Здравствуй, серовато-синяя Э. Фрай [33], и ты, хозяйка приюта из девятнадцатого века для жен семейных тиранов, – или, если присмотреться, на самом деле неодобрительно усмехающийся с аверса призрак Джона Леннона. Вполне возможно, прообразом послужил разодетый активист «Папаш за справедливость» [34]. К пятерке шли две монеты по фунту и еще какая-то шрапнель. Скривившись, Бенедикт покачал головой. Не то чтобы он скучал по старым деньгам – всяким фартингам, полукронам, флоринам, таннерам, – хотя, конечно, скучал. Но больше скучал по возможности говорить о додесятичной валюте и не казаться старушенцией, которая дома перепутала проездной на автобус с карточкой донора почки. Он на удивление болезненно относился к теме автопародии.

Первую половину пинты он осушил одним духом и сразу окунулся в обонятельный поток памяти и ассоциаций, сыра и маринованного

лука, сигарет «Парк Драйв» по пять в пачке, розовеющих в зеленой барной пепельнице, мыслей о том, как стоял с гордостью шестилетки со своим стариком у жуткого и наверняка докембрийского длинного писсуара. Быстрыми размеренными глотками он хлебал пропавшие поля – высокотехнологическое воссоздание тепло любимой, но вымершей провинциальности. Бен оставил полупустую кружку, пытаясь обмануть себя, что она наполовину полная, и стер полосатым рукавом с причмокивающих губ почти сорок лет устной традиции.

Он поднял клапан полотняной сумки, примостившейся рядом на теплом сиденье, и извлек изнутри «Нортгемптонширскую антологию». Без Дэйва Терви и беседы о высоком с живыми Бенедикт решил, что с таким же успехом может завести разговор с мертвыми. Дешевая и толстенная книжка показалась из сумки обратной стороной твердой обложки. В орнаменте золоченой рамы на темно-красном фоне с брызгами гуталина был портрет Джона Клэра 1840 года авторства Томаса Гримшоу. Картина никогда не нравилась Бенедикту, особенно огромное луновидное чело. Если бы не каштановый кустарник волос и встопорщенных баков, обрамляющий овал, мужское лицо с тем же успехом могло быть нарисовано на пасхальном яйце. Шалтай-Болтай в луже желтка и скорлупы на газоне больницы Андрея, и некому его собрать.

Клэр неловко позировал на фоне неопределенного буколического пятна – лиственной аллеи в Хелпстоне, Глнтоне, где угодно, – сразу после заката или, быть может, перед самым рассветом, важно заткнув большой палец за лацкан пиджака. Он смотрел направо, повернувшись к теням со слегка встревоженной улыбкой, уголки губ вздернулись в неуверенном приветствии, а в разочарованных глазах уже виднелись первые дурные предчувствия. Не отсюда ли, подумал Бенедикт, он перенял свое собственное характерное весело-обреченное выражение? Ведь между ним и кумиром всей его жизни имелось сходство, размышлял он. У Джона Клэра тоже был выдающийся нос, не хуже носа Бена, – по крайней мере, если судить

по портрету Гримшоу. Те же грустные глаза, неуверенная улыбка, даже шейный платок. Если Бена побрить налысо и слегка подкормить, он вполне мог бы выступить из пара дым-машины на сцену шоу «Звезды в их глазах», с большим пальцем за отворотом и репьем со двора дурдома в бакенбардах. «Сегодня, Мэтью, я буду деревенским поэтом». Ах-ха-ха.

Под совиным ликом в нижнем правом углу обложки прилепился бесцветный слизень, которым пятнадцать лет назад выстрелил аппарат для ценников: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «VOLUME1», £6.00. К своему ужасу, Бенедикт на миг не мог вспомнить, даже где находился «VOLUME1». Там, где сейчас «Уотерстоунс» [\[35\]](#)? Когда-то в Нортгемптоне было столько книжных, что за день не обойти; теперь почти все превратились в офисы по продаже недвижимости и винные бары. В молодости Бена даже в больших магазинах вроде «Аднитта» имелись книжные отделы. И в северном, и в южном филиалах «Вулворта» лежали лотки с книжками в мягких обложках от одного до трех пенни, и еще целая россыпь дешевых комиссионки по всему городу, неотличимых от лавок старьевщиков, с неразборчивыми пожилыми хозяевами, где из-за пыльных стекол неосвещенных витрин глядела порнографическая классика 1960-х в выцветших обложках. Желтушные ню Обри Бердсли поверх нашлепанных Хэнком Джексоном техникolorовских шлюх, – капля соуса, чтобы оживить кастрюлю с Деннисом Уитли, Сименоном и Алистером Маклином. Куда же они ушли – эти неряшливые, забрызганные слюной архивы?

Бенедикт поднял кружку для поминального глотка – глотка в полгилла [\[36\]](#), после чего от пинты осталось еще приблизительно глотков восемь. Достав из наплечной сумки пачку «Бенсонов» и купленную на улице зажигалку (по три за фунт), он зажал одну из сигарет в вечно ухмыляющихся губах, запалил аметистовой палочкой с жидкой сердцевиной. Прищурился и сквозь первые синие клубы дыма оглядел бар. Тот наполнялся, хотя по-прежнему незнакомыми лицами. Где-то слева булькающий звуковой каскад

виртуальных монет прослаивали ноты научно-фантастической цитры. Неопределенно вздохнув, Бенедикт раскрыл сборник местных поэтов на разделе с Джоном Клэром, написанное от лица божьей коровки «Лето» которого, как он надеялся, станет антидотом от вспышек и дребезжанья современности, казавшейся ему чужой. Миниатюристская образная система действительно одухотворяла, но, к сожалению, Бен не смог вовремя остановиться и прочел напечатанное тут же другое стихотворение – написанное Клэром в лечебнице «Я есмь».

В ничто, где шум, упрек и глум царят,
В злой океан кошмаров наяву
Где нет мне ни покоя, ни услад,
А лишь швыряют волны на плоту;
И все, кто были светочем душе,
Мне чужды – нет, мне всех иных чужей.

Стихотворение пришлось близко к сердцу, настроение Бенедикта, и без того накренившееся с пробоиной ниже ватерлинии, мгновенно пошло ко дну. Он сунул книгу назад в сумку, опорожнил три оставшихся от пинты глотка и заказал новую раньше, чем сам понял, что делает. Это избавило его от буфера мелочи, но опасно обнажило королеву – Э. Фрай. Ее дождливо-бирюзовые глаза с последней

банкноты смотрели прямо на него, напомнив об усталой обреченности во взгляде матери, когда она смотрела на Бена и горевала по его безвинной печени-страдалице.

Не успел он и глазом моргнуть, как уже настал разгар дня. Он выходил из узкого помещения «Шкипера» – в сущности, коридора со стойкой, где почти у каждого была своя вешалка, – на Барабанный переулочек. Справа через дорогу виднелась церковь Всех Святых, слева – редущая сутолока Рыночной площади. Э. Фрай уже оставила его ради другого – видимо, какого-нибудь бармена. Траурному взгляду предстали оставшиеся под его опекой крохи, – серебряные и медные сиротки всего в восемьдесят семь пенсов. Булькающий протест давно затонувших в пиве инстинктов самосохранения подсказал, что мелочь стоит вложить в покупку пирожка. Свернув направо, Бенедикт отправился по вечно темному каналу Барабанного переулочка к пекарне напротив церкви Всех Святых в Шелковом Ряду.

Десять минут спустя он проглотил остатки того, что, очевидно, сойдет за сегодняшней обед, оптимистично шаря языком по таинственным недрам рта в поисках блудного фарша, клейкого теста или упорной картофелины. На манер – как он воображал – денди девятнадцатого века Бенедикт промокнул губы салфеткой, в которой подавали перекус, скомкал платок с поцелуем из подливки и кинул в одну из мусорных урн на Абингтонской улице, куда как раз вышел. Он поднялся по ней примерно до фотомагазина у входа в самый новый торговый пассаж – «Павлин». Этот хрустальный дворец занял бывший Павлиний проезд – открытый участок, выходивший на Рыночную площадь, где в кондитерских и кафе в подростковом возрасте он заедал угрюмое настроение кексами, страдая из-за очередной умопомрачительной школьницы из Нотр-Дама или Крайних Ворот, которая только что заявила Бену, что любит его как друга. Изначально больше пятисот лет здесь простоял «Отель Павлин» – таверна или постоялый двор. Люди до сих пор говорили о чудесном витражном павлине – одном из украшений интерьера

этого заведения, которое наверняка пало жертвой строителей во время бесчувственного сноса отеля в ноябре 1959 года. Над стеклянным входом в пассаж теперь осталось лишь его бледное подобие-наклейка – стилизованный конвейерный продукт труда какой-нибудь незаслуженно дорогой дизайнерской команды.

Проходя мимо «Джессопа», магазина фототехники, Бенедикт спросил себя, не осталась ли еще у них его фотография от Пита Корра, вывешенная в рамочке на продажу. Корр был папарацци местного разлива – судя по всему, он уже женился и жил где-то в Канаде под псевдонимом с голландским привкусом Пьет де Щелкк. Ранее просто Пит Щелк, он специализировался на портретах потусторонней фауны города: одноклассница Бена по Ручейной школе Альма Уоррен, мрачно позирующая в солнечных очках и косухе, овца, одетая под Оливию Ньютон-Джон; Том Холл – местный музыкальный бог с культурным и физическим весом Юпитера, ныне покойный, в повседневной одежде – фирменных школьной пижаме и подсмотренной у османов феске с кисточками; Бенедикт Перрит, с помпой и горестной улыбкой рассеявшийся в окружении змеящихся корней восьмисотлетнего бука на Овечьей улице. Будто бывают другие улыбки. Ах-ха-ха-ха.

Он продолжал путь по розовым извилам пешеходной Абингтонской улицы. Без бордюров, которые ограничивали и упорядочивали неистовое движение, что бурлило на этой большой дороге не меньше пятисот лет, теперь она как будто привлекала таких же, как она сама, несосредоточенных и непутевых людей. Вроде Бенедикта, если подумать. Он понятия не имел, куда держит путь, с двадцатью семью-то пенсами после порыва взять пирожок, от которого остались только воспоминания да отрывок с призраком вкуса. Может, ему пойдет на пользу долгая прогулка по дороге Уэллинборо до Абингтона – по крайней мере, она ничего не стоит.

Продолжая взбираться на холм, уютно защитившись от бытия теплым обволакивающим коконом, он заметил, как навстречу слева подползает вход в «Гросвенор-центр». Он попытался вызвать в

мыслях узкий въезд на Лесную улицу, тридцать с чем-то лет назад занимавшую это место, но обнаружил, что силы его воображения притупило пиво. Полузабытая щель между террасами оказалась слишком хилым привидением, чтобы превозмочь стеклянную стену с двустворчатой дверью, блестящий крытый бульвар за ними, где лунатили лунатики, подсвеченные, как узорчатые хрустальные звери, коммерческими аурами, в которых они ходили. В вездесущем освещении все казались декоративными. Все казались хрупкими.

Двадцать семь пенсов. Он сомневался, что хватит даже на батончик «Марс», – хотя все еще можно бесплатно посмаковать жалость к себе. У верхнего «Вулворта» – вернее, в эти дни единственного «Вулворта», – Бенедикт слегка ускорился, надеясь, что стремительность выпрямит его мотыляющую походку. Примерно через тридцать секунд отказался от этой идеи за отсутствием результатов, вернувшись к меланхоличному шкандыбанию. Какой смысл идти быстрее, если он никуда не идет? Скорость только раньше приведет к встрече с проблемами, а в его состоянии может и невольно толкнуть через размытую линию между пьяным блужданием и пьяным дебошем. Нежеланный образ Бена, взбесившегося в «Маркс энд Спенсер», орущего и бегающего голым по пудингам с шоколадной лавой, должен был отрезвить, но Бен только захихикал. Хихиканье не укладывалось в его тактику не казаться пьяным, поздно сообразил он. Но даже так получалось всего четыре вещи, в которых он бесполезен, как-то: сбегать, искать работу, объясняться и не казаться пьяным. Четыре тривиальнейших недостатка, успокоил себя Бен, никак не затрагивающих обычную жизнь.

Он лавировал против восточного ветра, посмеиваясь только изредка, когда оказался у широкого фасада «Пассажа Кооп» в стиле ар-деко, заброшенного и опустевшего, с лишенными товаров витринами, которые незряче смотрели на улицу, так и не оправившись после новостей о своем закрытии. Всю торговлю из Нортгемптона высосали загородные моллы, хотя она и без того

много лет представляла собой неутешительное зрелище. Вместо того чтобы остановить гниение, управа дала главным венам города атрофироваться и усохнуть. «Спинадиск», старинный независимый музыкальный магазин, на противоположной стороне улицы от которого сейчас шел Бенедикт, закрылся и уступил место реабилитационной клинике или чему-то в этом духе. Предсказуемо, количество употребляющих вещества в этом месте только сократилось с исчезновением магазина и той эпохи.

По выходным и на школьных каникулах вокруг площадки перед мертвым поп-эмпорием до сих пор собирались группки подростков в черном. Бен думал, что это скейт-готы или гангста-романтики. Гоп-оптимисты или кто там нынче бывает. Он безнадежно отстал от моды. Перевел тоскливый взгляд со стайки худи на дальнем краю Абингтонской улицы на сторону, вдоль которой шел сам. Мимо него и мимо до сих пор великолепного фасада городской библиотеки струились расплывчатые лица, и вдруг его пронзила синаптическая молния – реальность передернулась и перестроилась, когда Бенедикт осознал, что одно из них принадлежит Альме Уоррен. Ах-ха-ха.

Альма. Всегда утягивала его в прошлое – ходячее напоминание о всех тех годах, сколько они знали друг друга с тех пор, как в четыре года вместе учились в классе мисс Корье в Ручейной школе. Даже тогда Альму было невозможно принять за девочку. Да и за мальчика, раз уж на то пошло. Слишком крупная, слишком непосредственная, слишком пугающая, чтобы считаться кем-то, кроме Альмы – человека своего собственного пола. Оба они были причудами природы, каждый по-своему, и потому оставались неразлучны как в детстве, так и в подростковом возрасте. Вместе дрожали зимними вечерами на чердаке амбара лесного склада его папы на Школьной улице, когда телескоп Бена устремлялся в звездный свет через пустую раму во время НЛО-дозора. И в непростое постпубертатное время, когда он занялся поэзией, а она – живописью и когда Альма впадала в припадки яростной злобы и каждую вторую неделю

переставала с ним разговаривать – как она утверждала, из-за художественных разногласий, но скорее всего – потому что стала коммунисткой. Оба выставляли себя дураками в одних и тех же пабах, в одних и тех же мимеографических журналах артгрупп, но потом она вдруг умудрилась раскрутить свою мономанию до успешной карьеры и репутации, а вот Бен – нет. Теперь он редко с ней сталкивался – с ней вообще редко сталкивались, кроме подобных случаев, когда она влетала в город в образе байкерши или, если была в своем претенциозном плаще, в образе расстриженной за мастурбацию монашки из пятнадцатого века, – и с каждым разом под ее глазами было все больше колец, чем на нарочито безвкусно украшенных пальцах.

Сейчас они взметнулись в артериальном взбрызге лака для ногтей и драгоценных камней, оттягивая рваную противопожарную штору волос с пантомимы лица. Подведенные сурьмой и, похоже, полные презрения глаза размеренно обводили округу – словно Альма прикидывалась камерой наблюдения, – просеивая иссыхающий образный ряд Абингтонской улицы в поисках вдохновения для какого-то будущего «монстр-опуса». Когда медленный размах таких неморгающих, что как будто вовсе лишенных век противотуманных фар захватил Бенедикта, то в глубине черненных глазниц вдруг вспыхнул антрацитовый проблеск. Пунцовые губы растянулись в улыбке – скорее всего, по задумке дружелюбной, а не хищной. Ах-ха-ха-ха. Старая добрая Альма.

В тот же миг, когда встретились их взгляды, Бенедикт вошел в роль и, нацепив выражение неприязненного ужаса, резко развернулся на месте и двинулся в противоположную сторону по Абингтонской улице, словно бы в панике притворяясь, что он ее не видел. Закончил спектакль он круговой траекторией, которая вернула его к Альме, и в этот раз хватался за бока в беззвучном смехе, чтобы она поняла: перепуганная попытка побега на самом деле была шуткой. Ему бы не хотелось, чтобы она подумала, будто он правда хотел

удрать – тем более не успел бы сделать он и пяти шагов, как она бы его настигла и повалила.

Их пути пересеклись у портика библиотеки. Он протянул руку, но Альма застала его врасплох – вдруг набросилась и прижалась кровавыми губами к щеке, чуть не вывихнув ему шею своим коротким одноруким объятием. Этих повадок она набралась, заключил он, от американцев с галереями, которые проводили ее выставки. Эксгибиционистов, другим словом. В Боро такому не научишься, был уверен Бенедикт. В районе, где они росли, проявления чувств никогда не переходили на физический уровень. Или вербальный – или вообще уровень любого из пяти традиционных чувств. Любовь и дружба в Боро были подсознательными. Он отпрянул, вытирая испачканную щеку тыльной стороной длиннопалой ладони, словно сконфуженный кот.

– Отвали! Ах-ха-ха-ха-ха-ха!

Альма ухмыльнулась, явно довольная тем, как легко сбила его с толку. Наклонила голову к плечу и слегка нагнулась, словно чтобы лучше слышать в разговоре, но на самом деле лишний раз напоминая, какая она высокая, – этот трюк она проделывала со всеми: один из целого ассортимента приемов тонкого (как думала только Альма) запугивания.

– Бенедикт, лощеный ты ловелас. Неожиданное удовольствие. Как дела? Еще пишешь?

Голос Альмы был не просто темно-коричневым – он был инфра-коричневым. Бен рассмеялся из-за интереса к его творчеству – из-за чистой нелепости таких вопросов.

– Всегда, Альма. Ты меня знаешь. Ах-ха-ха. Всегда пописываю.

Он уже много лет не брался за ручку. Он был публикующимся поэтом только в переносном смысле, а не в прямом. Даже сомневался, что смеет называться поэтом в прямом смысле, и втайне этого боялся. Альма же теперь кивала, довольная ответом.

– Хорошо. Рада слышать. Я как раз недавно перечитывала «Зону сноса» и думала, какие же классные стихи.

Хм. «Зона сноса». Он и сам был ими весьма доволен. «Кто теперь скажет / Что здесь что-то было / Кроме пустырей / С дикими дворнягами / И детьми, что бьют бутылки о цемент?» Вздвогнув, он осознал, что им уже почти двадцать лет – этим словам. «Бурьян, дворняги и детвора / Терпеливо ждали, / Когда они уйдут. / Бурьян – под землей; / Дворняги и детвора – / Нерожденные в утробе». Он отклонил голову, не зная, как отвечать на комплимент, кроме разве что нерешительной улыбки, словно ожидая, что в любой момент она заберет слова обратно, доиграет свою жестокую постмодернистскую шутку – иначе что это еще может быть. Наконец рискнул с робким ответом.

– Я был неплох, да? Ах-ха-ха.

Он хотел сказать «Это было неплохо», с отсылкой к стихам, но получилось все наперекосяк. Теперь казалось, будто Бенедикт думал о себе в прошедшем времени, а он имел в виду вовсе не это. По крайней мере, так ему казалось. Только Альма нахмурилась – кажется, укоризненно.

– Бен, ты всегда был значительно круче, чем «неплох». И сам это знаешь. Ты – отличный писатель, друг. Я серьезно.

Последнее было сказано в ответ на откровенно пристыженный смешок Бенедикта. Он правда не знал, что и сказать. Альма состояла хотя бы в Z-списке успешных знаменитостей, и Бен не мог не почувствовать, что сейчас к нему в чем-то отнеслись со снисхождением. Как будто она думала, что ее доброе слово поможет, вдохновит, поднимет из мертвых и исцелит по мановению руки. Вела себя так, словно все разрешится сами собой, если он просто продолжит писать, – а это, на его взгляд, только показывало ее поверхностное понимание проблем Бенедикта. Она со своими деньжищами и отзывами в «Индепенденте» вообще представляет, что это такое – иметь в кармане только двадцать семь пенсов? Хотя вообще-то представляет. Она родом из тех же мест, так что это нечестная претензия, но все же, все же. Из осадков пива на дне разума Бена всплыла зудящая мысль о его плачевном финансовом

положении, по крайней мере в сравнении с положением Альмы, и теперь никак не тонула. Он еще сам не сообразил, что делает, как уже поступился жизненным принципом и попросил у Альмы взаймы.

– Кстать, а у тебя пары лишних фунтов не будет, а?

Стоило словам покинуть рот, как он сам им ужаснулся – непростительный грех. Он хотел взять их назад, но уже было поздно. Теперь он оказался у Альмы в руках и не сомневался, что она почти наверняка не преминет сделать еще хуже. От удивления ее щетки-ресницы почти незаметно раскрылись, но она тут же пришла в себя и изобразила стереотипную заботу.

– Ну конечно. У меня денег до хера. Вот.

Она вытащила банкноту – банкноту – из узких джинсов, подчеркнуто не глядя на ее достоинство, с напором сунула в открытую ладонь Бена. Ну вот, а он о чем – Альма умеет все испортить еще больше, но так, что тебе еще придется ей «спасибо» сказать. Раз она не посмотрела, сколько дает, Бену показалось, что и ему не комильфо поступать иначе, так что он убрал мятую купюру в карман на ощупь. Теперь он чувствовал себя откровенно виноватым. Коньки нависших бровей невольно поползли к его вдовьему пику, пока он возражал против незаслуженной щедрости.

– Ты уверена, Альма? Уверена?

Она усмехнулась, отмахнувшись:

– Ну конечно. Забудь. Как ты вообще, друг? Чем теперь занимаешься?

Бенедикт был благодарен за смену темы, хотя теперь ему пришлось безнадежно искать что-то, способное с полным правом сойти за хоть какое-нибудь занятие.

– А, то да се. Недавно был на интервью.

Альма заинтересовалась, но только из вежливости.

– О, да? И как прошло?

– Не знаю. Еще не слышал. Когда брали интервью, все хотелось признаться и заявить, что «я публикующийся поэт», но сдержался.

Альма пыталась кивать с мудрым видом, но так очевидно сдерживала смех, что ни ту ни другую попытку нельзя было назвать безусловным успехом.

– Это ты правильно. Всему свое время и место, – она склонила голову набок, сузила черные птицеедские глаза, словно вдруг что-то вспомнила.

– Слушай, Бен, только сейчас подумала. Я тут писала картины, про Боро, и завтра к обеду у меня будет предварительный смотр на Замковом Холме, в яслях, где еще была школа танцев Питт-Драффен. Может, и ты придешь? Буду рада тебя видеть.

– Может, и приду. Может, и приду. Ах-ха-ха-ха, – в глубине пропитанной биттером души он знал почти наверняка, что не придет. Если честно, он ее почти не слушал – все еще вспоминал, чем занимался, кроме интервью. Вдруг вспомнил про свои походы в киберкафе и воспрянул духом. Широко известно, что Альма на пушечный выстрел не подходила к интернету, а значит, как это ни поразительно, перед ним стоял человек, который хотя бы в одной области меньше приспособлен к современности, чем сам Бенедикт. Он торжественно улыбнулся.

– А знаешь, я тут стал лазать по интернету. – Одной рукой он гордо пригладил темные кудри, а второй поправил воображаемый галстук.

Теперь Альма рассмеялась открыто. По взаимному согласию они оба закругляли беседу, начиная медленно двигаться – он вверх по склону, Альма – вниз. Словно они добрались до предписанного конца встречи и теперь обязаны разойтись вне зависимости от того, договорили или нет. Нужно торопиться, если они хотят не выбиваться из графика, занять в predetermined время в своем будущем все пустые места, которые должны занять. Все еще смеясь, она бросила через ширящуюся между ними пропасть:

– А ты у нас дитя двадцать первого века, Бен.

Смех откинул его голову, как хороший удар – боксерскую грушу. Через пару шагов он был уже в полуобороте по направлению к

верхнему концу Абингтонской улицы.

– Я Кибермен. Ах-ха-ха-ха.

Их краткий узел веселья и взаимного недопонимания распутался на две свободных хихикающих нитки, что поползли каждая в своем направлении. Бенедикт уже достиг верхнего предела квартала и переходил на светофоре Йоркскую дорогу, когда наконец залез в карман и достал на свет мятую бумажку, пожалованную Альмой. Розовая, сливовая и фиолетовая – банкнота с голубым ангелом, из трубы которого изливался сиятельный фонтан нот. Они восторженной космической бурей бомбардировали Вустерский собор, а на заднем фоне возлежала на траве, впитывая ультрафиолет, святая Сесилия. Двадцатка. Добро пожаловать в мои скромные штаны, сэр Эдуард Элгар. Ранее мы были знакомы лишь мимолетно, вы уже и не вспомните, но позвольте сказать, что «Сон Геронтия» – выдающееся достижение в жанре пасторалей. Ах-ха-ха.

Божий дар. Спасибо, Господи, и передай мои благодарности Альме, которую ты явно выбрал своим представителем на Земле. Бог знает, что... в смысле, только Ты знаешь, зачем ты это удумал, но берегись последствий. И все же – просто фантастика. Он решил, что все-таки завершит свой оздоровительный моцион по дороге Уэллинборо до Абингтонского парка, несмотря на то что уже в нем не нуждался, завладев богатством, чтобы кутить где пожелает. Под настроение Бенедикт умел кутить всем на зависть, но пока что убрал банкноту в карман и, насвистывая, направился к Абингтонской площади, замолчав только тогда, когда понял, что исполняет вариацию на тему из сериала «Эммердейл». К счастью, никто как будто не заметил.

Когда-то здесь стояли восточные ворота города – как раз там, где сейчас шел Бенедикт, – в 1800-х их называли Концом Эдмунда в честь церкви Святого Эдмунда, находившейся чуть дальше вдоль дороги Уэллинборо, пока ее не снесли четверть века назад. Бену нравилась местная архитектура на подходе к самой площади – если не обращать внимания на безвкусные метаморфозы первых этажей.

Прямо через дорогу стоял роскошный кинотеатр 1930-х годов – в разные времена побывавший «АВС» и «Савоем». Он сам играл там в снайпера с вылизанной палочкой от леденца, хотя и ни разу не выбил никому глаз, как его предостерегали. Теперь здание принадлежало, как и четверть или треть основной городской недвижимости, коммуне евангеликов под названием Армия Иисуса; когда-то они начинали с маленького гнезда душеспасенных оборванцев в близлежащем Багбруке, а потом расползлись, как вьюнок-певунок, со своими богослужениями под пляски и гитару, пока радужные автобусы уже не устраивали пикники для бедняков почти по всей средней Англии. Впрочем, не сказать, чтобы Нортгемптон и религиозная мания не были знакомы. Бенедикт вышел прогулочным шагом на Абингтонскую площадь, размышляя, что в последний раз эти места видели Армию Иисуса при Кромвеле, вот только вместо брошюр та размахивала пиками. Так что какой-то прогресс наблюдается, пожал плечами Бен.

Площадь в полуденном свете казалась почти очаровательной, если не знать округу в ее молодые годы – и сравнение будет не в пользу современности. Фабрика тапочек уступила место шоуруму «Ягуара» под названием «Гай Сэлмон». Старый Ирландский центр превратили в магазин одежды бренда «Городской тигр». С тех пор, как сменилась вывеска, ноги Бенедикта внутри не было. Клиентуру он представлял себе в виде отряда разъяренных тамильцев, изучающих боевые искусства.

Стоял на постаменте, направляя движение, ослепительно-белый Чарльз Брэдли. Бенедикту никогда не казалось, что великий трезвенник, атеист и активист за равные права просто показывал на запад – уж скорее он напрашивался на драку в каком-нибудь салуне. Да, ты. Ты. Урод. А на кого я показываю? Ах-ха-ха-ха. Бен оставил статую слева и позади, а справа прошел непривлекательный новый паб под названием «Работный дом». Бен понимал намек: дальше по дороге Уэллиборо, напротив забранного стенами участка, где когда-то стояла церковь Эдмунда, находились остатки

больницы Эдмунда: в викторианские времена – рабочего дома. Но это же все равно что открывать тематический паб под названием «Плетка» в черном квартале или «Эйхман» – в еврейском. Самую малость бесчувственно.

Бен обнаружил, что набрал крейсерскую скорость, даже несмотря на завывающий ветер в лицо. Всего как будто через мгновения слева уже маячила заброшенная громадина больницы Эдмунда – дворец в разоре, задушенный наступающими сорняками, с привидениями в разбитых глазах. Привидениями и, если верить слухам, неудачливыми просителями убежища, беженцами, не получившими заветный статус и вынужденными раскинуть лагерь в бывших палатах для смертельно больных, чтобы не возвращаться домой к деспотам или заплечных дел мастерам, от которых эмигрировали. Дом там, где больно, – золотые слова. Ему вдруг пришло в голову, что этот рабочий дом, хотя и в упадке, в своем преклонном возрасте должен быть счастлив. Ведь в него вернулись ютиться перепуганные отщепенцы, его втайне грели их тайные костры.

На другой стороне, за стеной, вдоль которой он шел, зияло отсутствие церкви Святого Эдмунда – пустой зеленый провал с торчащими тут и там надгробиями: кариозными, обесцвеченными, под бляшками птичьего помета – пораженные рецессией зеленые травянистые десны. Впрочем, с другой, положительной стороны, Бенедикт мог разобрать в гуле трафика на главной дороге песнь жаворонка – искрящиеся ноты сияющего накала, отвлекающие котов от птенцов, спрятавшихся в кладбищенской траве. Хороший денек. А вечное – вечное никуда не делось, многообещающе выпирает из-под обшарпанной ткани настоящего.

Двигаясь на восток из города вдоль серии пабов и магазинов, Бенедикт думал об Альме. В семнадцать лет она была яростной великаншей из Грамматической школы для девочек, и казалось, будто ее гнев на мир вызван тем, что на самом деле ей двадцать девять и на нее не лезет ни одна форма. Она участвовала в создании эстетствующего студенческого журнала «Андрогин» – рисовала

карандашные иллюстрации для такого плохого, что даже хорошего словотворчества учеников пятой формы [37]. Бенедикт к этому времени был в Грамматической школе для мальчиков, и, несмотря на расстояние между двумя учреждениями, коммуникация продолжалась. Время от времени они виделись, и Альма – тогда пребывавшая в периоде возвышенного футуристического презрения к романтизму Бена – неохотно просила его что-нибудь дать на публикацию в их попеременно ванильной и матерной макулатуре.

Воодушевленный этой вялой просьбой, Бенедикт написал несколько строф, впоследствии вылившихся в эпическое юношеское произведение, из которого явно разочарованная Альма отобрала только короткие отрывки, остальное забраковав со зрелым критическим вердиктом: «сопливая сентиментальная херня для девочек». Его охватил стыд при мысли о том, что он до сих пор помнит ее отказ, слово в слово, тридцать пять лет спустя. А в то время, когда он обладал еще меньшим чувством меры, чем сейчас, Бен негодовал и поклялся страшно отомстить. Он возьмет отвергнутые Альмой отрывки стихотворного цикла и воздвигнет из них новый шедевр, что сотрясет мир до основания. А вот когда его призовут на литературный Олимп, он и разоблачит неспособность Альмы разглядеть его магнум опус и растопчет ее репутацию. Она станет посмешищем и парией. И поделом ей, вместе с ее эндиурхоловскими бриджетрайливыми мигреневыми каракулями. А станет это грандиозное творение душераздирающим гимном уходящему миру – пасторали Джона Клэра, золотым аллеям, по которым Бенедикту не выпало пройти вживую, а лишь в воображении, потому что он опоздал родиться. Поэму он вымучивал почти два года, пока не понял, что ничего толкового не выходит, и не бросил. А называлась она «Атлантида».

Бенедикт поднял взгляд и обнаружил, что далеко зашел по дороге Уэллинборо с последнего места, которое запомнил, – облупившегося остова «Парящего орла» на углу за больницей Святого Эдмунда. Теперь он приближался к Стипсон-авеню, уже сомневаясь в

запланированной прогулке по парку, успев отходить все ноги. Клэр, пешком преодолевший восемьдесят миль из Эссекса в Нортгемптоншир, поднял бы его на смех. В те дни чокнутых поэтов делали покрепче, на века. Бен решил, что погуляет по Абингтонскому парку в другой раз, пока удовлетворившись визитом в «Корону и подушку», чуть выше по оживленной улице. О вылазке на природу он думал, только когда было нечего делать, до встречи с Альмой, но теперь дела пошли в гору. Теперь у него есть бизнес-план.

Он давненько не заходил в «Корону и подушку», хотя когда-то – сразу после расставания с Лили – был там завсегдаем. Его отношения с клиентурой паба в лучшем случае можно было назвать амбивалентными, зато ему нравилось само место. Почти не изменившаяся пивная по-прежнему сохраняла историческое название и не стала каким-нибудь «Веселым придурком», «Работным домом» или «Мышью и астролябией». Бенедикт до сих пор со смесью стыда и гордости помнил, как однажды ворвался в бар, требуя сатисфакции, когда решил, что собутыльники не воспринимают его статус публикующегося поэта всерьез. Стихи Бена только что опубликовали в местном «Хроникл энд Эхо», и, влетев в распашную дверь «Короны и подушки», словно буйный ковбой, при виде которого замолкает пианино, он швырнул тридцать газет в воздух с торжествующим воплем «Выкусите! Ах-ха-ха-ха!» Естественно, его тут же выперли и сделали персоной нон гранта, но это было много лет назад, и если повезет, то персонал и посетители той эпохи либо уже покойники, либо склеротики.

А если и нет, по традиции паб всегда демонстрировал поразительную терпимость и даже дружелюбие к разным эксцентрикам, что переступали его порог. Очередная причина, почему Бену там нравилось, думал он, толкая дверь и заходя с яркого, режущего глаз дневного света в уютный полумрак. Здесь сживали субчики и похуже его. Вспомнилась история из самого начала 1980-х, согласно которой над баром снимал комнату сэр

Малкольм Арнольд, великий трубач и аранжировщик такого хита, как «Полковник Боги», душевнобольной алкоголик, в некоторых случаях гость паба, а в некоторых – буквальный пленник: почти каждую ночь его сволакивали вниз на потеху пьяной и наглой публики. Тот самый человек, что написал «Тэм-о-шентер», лихорадочный аккомпанемент к бернсовским ужасам о пьянстве – где пирующего героя гонит во мраке высокогорья Дикая Охота фейри под медные и деревянные духовые. Тот самый сэр Малкольм Арнольд, который, если Бен не ошибался, когда-то был директором Королевской школы музыки – музыкальный эквивалент придворного поэта, – брэнчал на джоанне [38] для зубоскалов и горлопанов. Старый и измученный бисексуал шестидесяти лет – кто знает, какие бесы и белочки, джинны и тоники неслись табуном в его воспаленной голове, блестящей от испарины и склоненной над трезвоном желтых клавиш?

Бенедикт встал у самой двери, пока зрачки не расширились и не нашли стойку. Он обратил внимание на то, что персонал и декор с его последнего визита обновились. Это и к лучшему, особенно в случае персонала – ведь, насколько знал Бен, декор он ничем не оскорбил. Хотя кто-то может не согласиться. Ах-ха-ха-ха. Бенедикт подошел к стойке и заказал пинту биттера, с форсом шлепнув двадцатку на недавно вытертую и еще влажную поверхность. Хотя хорошее настроение омрачило сожаление из-за расставания с Элгаром. По большому счету Бен жалел себя, но отчасти искренне переживал из-за сэра Эдуарда, изводился, что оставлял композитора без присмотра в «Короне и подушке». Сами посмотрите, что они учинили с Малкольмом Арнольдом.

Забрав кружку на пустой столик, каких было не по сезону много, Бен ненадолго предался мрачной фантазии, что было бы, если бы в наказание за случай с газетами его заключили здесь так же, как Арнольда. Каждую ночь в его комнату врываются бы хмельные головорезы и тащили в салун, где бы накачивали допьяна и заставляли декларировать свои самые искренние и надрывные

сонеты перед глумливыми обывателями. Если честно, не так уж и плохо. У него бывали такие пятничные вечера, причем без невообразимой роскоши, чтобы его еще бесплатно накачивали. Если задуматься, у него бывали такие целые годы. Например, когда Лили сказала ему искать себе новое жилье, и он поселился в превращенном в коммуналку доме на дороге Виктории, был как многомесячный «Тэм-о-шэнтер» на повторе. Приходил на бровях под дверь в три ночи без ключей, требовал, чтобы чернь впустила публикующегося поэта, затем включал на граммофоне Dansette на полной громкости Дилана Томаса, читающего «Под сенью молочного леса», пока его не угрожали убить все соседи. Да что он вытворял? Однажды ночью прокрался на общую кухню и съел целых четыре куриных блюда, которые приготовила на завтра угрюмая и жестокая татуированная парочка сверху, потом перебудил других жильцов, чтобы похвастаться. «Ах-ха-ха! Я сожрал у придурков обед!» Оглядываясь назад, Бен осознавал, как ему повезло пережить те отчаянные дни без линчевания, не говоря уже – без единой царапины.

Он отпил биттер и, воспользовавшись светом, падающим из окна, под которым сидел, достал из сумки «Нортгептонширскую антологию» и начал читать. Первым делом его глаза упали на «Песнь рыбака» – произведение Уильяма Басса, буколического поэта семнадцатого века с неопределенным, но, скорее всего, местным происхождением.

Как для утех мы ищем слов,

Кто хвалит ястребов, кто псов,

Кому-то по душе лишь спорт,

Другой – в объятых игр ждет.

Но я не чту досуг иной,

Как на берегу сидеть с удой.

Бену понравилось стихотворение, хотя сам он не рыбачил с первых юношеских проб, когда, замахиваясь удочкой, случайно подцепил крючком другого ребенка. Он помнил кровь, крики, а хуже всего – полную невозможность сдержать неуместный стыдливый смех во время оказания первой помощи. На этом и заканчивались все отношения Бенедикта с рыбалкой, хотя сама идея ему импонировала. Это часть его аркадской мифологии наравне с фавнами и пасту́шками – рыбаки, дремлющий у ручья, полуденное тиховодье реки, – но, как и с пасту́шками, на практике он с этим не сталкивался.

По зрелом размышлении, наверняка потому-то Бен и не закончил много лет назад «Атлантиду» – из-за ощущения, что она не от сердца, что он пошел по ложному пути. Начинал он ее школьником из темного дома на Школьной улице и сетовал на грязные фабричные дворы, как бы делал, по его мнению, Джон Клэр; оплакивал буколическую идиллию, на смену которой пришли современные злые улицы Боро. Только когда снесли сами кирпичные крыши и поросшие деревьями каминные трубы, к нему пришло запоздалое понимание, что вымирающим ареалом, который нужно увековечить в памяти, были как раз эти узкие проулки. Бутылочные крышечки, а не полевые колокольчики. Он выкинул центральную метафору – тонущие, стонущие шпалеры континента, который он якобы утратил, хотя никогда в жизни не видел, – и взамен написал «Зону сноса». Когда того района, что знал Бенедикт, не стало, поэт

наконец обрел голос – голос искренний, голос Боро. Оглядываясь назад, он думал, что новая поэма была скорее о том, как сравнялись с землей воздушные замки его иллюзий, а не родной район, – впрочем, по сути это было одно и то же.

Он закурил, отметив, что в истощенной пачке еще шуршат шесть сигарет, и пролистал компендиум с алфавитным порядком, в этот раз проскочив мимо Клэра, пока не наткнулся на бесспорно подлинный голос Боро – Филипа Доддриджа. Хотя стихотворение называлось «Послание Христа» и основывалось на строчках из Евангелия от Луки, это был текст самого известного гимна Доддриджа: «Чу! Радости внемли! Идет! / Идет Спаситель наш!» Бенедикту нравились восклицательные знаки, которые кричали о Втором пришествии, как хриплый трейлер киносиквела. В глубине души Бен не был в восторге от христианства – на это не в последнюю очередь повлиял несчастный случай с лихачившей сестрой, когда ему было десять, – но все же он слышал и уважал сильную интонацию Боро в строках Доддриджа, его переживание за сырых и убогих, явно обострившееся за время службы на Замковом Холме. «Идет разбитые сердца / И души исцелить, / И благодатью нищету / Тотчас обогатить».

За это можно выпить. Подняв кружку, Бенедикт заметил, что отливная прибойная пена уже опустилась наполовину. Осталось всего глотка четыре. Ну что ж. Сойдет. Будет смаковать подольше. Больше здесь он брать не будет, несмотря на оставшиеся семнадцать с чем-то фунтов. Бен странствовал по книге, пока не добрался до Фейнов из Эйпторпа: Майлдмэя Фейна, второго графа Вестморленда, и его потомка Джулиана. Он задержался на них только из-за имен и названий – «Майлдмэй» и «Эйпторп», – но скоро его не на шутку увлекло описание Джулианом родового гнезда – места, которым восхищался и фанат Нортгемптона поэт Джон Бетчемен. «Мой отчий дом, что из седых камней, Среди пейзажей Англии стоит – Лишь в ней дано узреть сию красу. / Над ним свод зелени густой; внизу / По пастбищам струится вдаль

ручей...» Ручей так и журчал, пока он допивал свою пинту и брал новую, даже не приходя в сознание.

Вдруг на часах уже десять минут четвертого, а он в полумиле от паба, выходит с Люттервортской дороги на Биллингскую, чуть ниже места, где когда-то была Грамматическая школа для мальчиков. Зачем его сюда занесло? Он смутно помнил, как стоял в туалете «Короны и подушки» – призрачный момент, когда таращился сам на себя в зеркало, прикрученное над раковиной, – но, хоть убей, не помнил, чтобы выходил из паба, не говоря уже о сказочном пути в духе фейри, который, очевидно, проделал сюда от дороги Уэллинборо. Может, он хотел вернуться в центр города, но выбрал долгий, хотя и приятный глазу маршрут? Выбрал, пожалуй, сильно сказано. Путь Бена по жизни предопределял не столько выбор, сколько могучее подводное течение его причуд, не раз выносившее на неожиданный пляж, как сейчас.

Через улицу и в некотором отдалении слева высился красный кирпичный фасад бывшей грамматической школы за плоскими газонами и гравийным двориком, где торчал голый флагшток – а как без знамени не разберешь, на чьей стороне учебное заведение. Бенедикт понимал эту скрытность. В наши дни перед школами ставили цели – а вернее, устрашающие целевые показатели, – а не они сами стремились к ним. За спокойным фасадом и отрешенным взглядом высоких белых окон тянулись классы, кабинеты рисования, физкультурные корпуса и игровые площадки, подлесок и бассейн, пытавшиеся не видеть гибельную тень, что отбрасывали на них рейтинги частных школ. Конечно, срочного повода для беспокойства не было. Хотя и позорно пониженная в середине 1970-х от снобской грамматической до простецкой общеобразовательной, школа по-прежнему пользовалась тающей аурой и остаточной репутацией в качестве уникальных преимуществ на конкурентном рынке, которым стало образование. Призывы к давнему элитному статусу школы и призрак знатного прошлого как будто достигли цели и завоевали интерес обеспеченного родителя с разбегающимися от выбора

глазами. Оказывается, как слышал Бен, они даже монастырский подход к раздельному обучению сумели преподнести в лучшем свете. Всякий, кто хочет отправить сюда сына, сперва должен написать скромное сочинение и объяснить, почему же конкретно его ребенок выиграет от занятий в атмосфере строгого гендерного апартеида. И что они ожидают услышать от людей? Что все, чего они хотят для маленького Джайлса, – чтобы в лучшем случае он вырос неуклюжим и бестолковым в отношениях с женщинами, а в худшем – геем-маньяком-насильником? Ах-ха-ха-ха.

Бенедикт пересек дорогу и свернул направо, возвращаясь в центр и оставляя школу позади. Когда-то он здесь учился, и ему не понравилось. Среди прочего, потратив первые десять лет на планете, как говорила его мама, «валяя дурака», он не сдал с первого раза экзамены «одиннадцать плюс» [39]. Пока все умные детишки вроде Альмы пошли в грамматические школы, Бенедикт посещал Спенсеровскую, что теперь в устрашающем Спенсеровском районе с быдлом и гопниками. Он был не глупее Альмы и остальных, просто не принимал какие-то там экзамены всерьез. Впрочем, после года-двух в Спенсере его интеллект засиял в окружающей серости, и уже скоро его перевели в грамматическую школу.

Но там он как будто жил со стигмой, даже среди исчезающе малой группы других мальчиков из рабочего класса, которым в одиннадцать хватило мозгов расставить галочки в нужных клеточках. А с подавляющим большинством из среднего класса, особенно учителями, у Бена и вовсе не было шансов сблизиться. Другие мальчики в основном были еще ничего, вели себя и говорили так же, как он, но все равно хихикали, когда кто-нибудь поднимал руку и отпрашивался не в туалет, а в нужник. Но если задуматься, пожалуй, он сравнительно редко сталкивался с подобными предубеждениями. Он хотя бы не был черным, как Дэвид Дэниэлс на класс старше – тихий и добродушный паренек; его Бен знал через Альму, разделявшую увлечение мальчика американской научной фантастикой и комиксами. Бен помнил одного учителя математики,

который отправлял во внутренний двор под окно класса чистить губки для доски только небелого, чтобы он стучал ими одна о другую, пока черная кожа не бледнела от меловой пыли. Стыд и позор.

Бен на своей шкуре испытал несправедливость учебного процесса, при котором жизни и карьеры детей определял экзамен в одиннадцать лет. И как тут не вспомнить, что как раз в прошлом году Тони Блэр установил целевые показатели по успеваемости для детей младше пяти лет? Скоро будут стандарты для зародышей, чтобы и они чувствовали себя отсталыми и никчемными, если пальцы окончательно не разлепят к третьему триместру. Станут обычным делом предродовые самоубийства из-за учебного стресса, эмбрионы в депрессии будут пачками вешаться на пуповинах, царапая прощальные записки на плаценте.

Бенедикт осознал, что мимо стробоскопом мелькают прутья забора, за которыми высятся темные хвойные деревья, и вспомнил, что идет мимо больницы Святого Андрея. Неужели поэтому он выбрал такой маршрут домой – импульсивное паломничество туда, где больше двадцати лет продержали Джона Клэра? Возможно, он безотчетно вообразил, будто мысль, что его кумир Клэр был еще бо́льшим безнадежным клоуном, чем сам Бен, поднимет боевой дух?

Если так, то он просчитался. Только что он завидовал пленнику паба сэру Малкольму Арнольду – который, кстати говоря, тоже был выпускником грамматической школы для мальчиков и пациентом больницы Андрея, – теперь же Бенедикт поймал себя на том, что рисует в мыслях просторные земли учреждения за оградой и завидует Джону Клэру. Спору нет, в 1850-х больница Святого Андрея, когда она еще называлась Нортгемптонской психиатрической лечебницей, была не такой уж роскошной, но все же, скорее всего, куда более уютным прибежищем для заблудших и настрадавшихся поэтических душ, чем, скажем, Башенная улица. Чего бы только Бен ни отдал, чтобы променять свои текущие условия на условия дурдома девятнадцатого века. Если кто-нибудь спросит,

почему не ищешь работу, можно ответить, что уже на полную ставку занят на должности старинного сумасшедшего. Можно весь день бродить по Елисейским полям или же прогуляться в город и посидеть под портиком церкви Всех Святых. Пока все расходы оплачивает литературный меценат, пиши свободно, сколько влезет, – в основном про то, как плохо тебе живется. А когда даже поэтические усилия окажутся неподъемными (а это может случиться с каждым, подумал Бен), всегда можно забыть свою утомительную личность и побыть кем-нибудь другим – папашей королевы Виктории или Байроном. Серьезно: если ты лишился разума, то есть места для его поисков и похуже, чем кусты у больницы Андрея.

И, очевидно, Бен в своем мнении был не одинок. В годы с поры Клэра стенающие и слоняющиеся палаты лечебницы стали залом большой славы. Женоненавистник и поэт Дж. К. Стивен. Малкольм Арнольд. Дасти Спрингфилд. Лючия Джойс, дитя куда более знаменитого Джеймса Джойса, щекотливое психологическое состояние которой впервые стало заметно во время работы главным помощником отца над нечитаемым шедевром, «Поминками по Финнегану» – тогда он еще назывался «Неоконченный труд». Дочь Джойса прибыла сюда, в дорогой и расхваленный, хотя вполне заслуженно, оздоровительный центр на Биллингской дороге в конце сороковых и, по-видимому, осталась под таким впечатлением, что прожила там все оставшиеся тридцать лет до самой смерти в 1982-м. Но даже смерть не разлучила Лючию с Нортгемптоном. Она попросила похоронить ее здесь, на Кингсторпском кладбище, где теперь и покоилась в паре метров от надгробия мистера Финнегана. До сих пор странно думать, что все время, пока Бен учился в грамматической школе, по соседству жила Лючия Джойс. Он рассеянно задумался, не сталкивалась ли она с Дасти или сэром Малкольмом, ненадолго представив все трио на сцене ради какой-нибудь арт-терапии, с меланхоличным видом распевая хит Спрингфилд «Я просто не знаю, что с собой делать». Ах-ха-ха-ха.

Бенедикт слышал, что одним из посетителей Лючии был Сэмюэл Беккетт – сперва в Святом Андрее, а позже – на кладбище в Кингсторпе. Одна из безумных иллюзий Лючии была уверенностью, будто бы Беккетт, заменивший ее в работе над «Неоконченным трудом», влюбился в нее. Каким бы катастрофическим ни было это заблуждение для всех вовлеченных лиц, эти двое, похоже, смогли остаться друзьями – по крайней мере, если судить по количеству визитов. Закадычный приятель Бена Дэйв Терви, компаньон по любительскому крикету покойного Тома Холла, рассказал Бенедикту о единственном появлении Беккетта в «Альманахе Уиздена» ^[40]: он играл против Нортгемптона на «Каунти граунд». Среди команды гостей Беккетт отличился не так заметно, как впоследствии на художественном поприще. Вечер после игры он провел в одинокой прогулке по нортгемптонским церквям, пока его коллеги знакомились с другими развлечениями, которыми славился город, а именно с пабами и шлюхами. Бенедикт находил его поведение достойным уважения, по крайней мере в теории, хотя невысоко ценил Беккетта-автора. Длинные паузы, безумные монологи. Уж слишком похоже на жизнь.

Теперь Бен прошел больницу Андрея, пересек верх Клифтонвиля, отмеренными заплетающимися шагами направляясь по Биллингской дороге в город. В школьное время он проделывал этот путь каждый будний вечер – домой на Школьную улицу верхом на велосипеде, уезжая в закат, словно каждый день был фильмом – а в случае Бена так часто и казалось. Обычно «Утиным супом», с Бенедиктом в роли и Зеппо, и Харпо – с инновационным подходом он представлял их в качестве двух сторон одной и той же проблемной личности. Поток в целом приятных и только изредка ужасающих воспоминаний – словно карусель с кое-где развешанными лошадиными кишками – принес Бена к центру. Там, где Биллингская дорога кончалась перекрестком с Чейн-уок и Йоркской дорогой, у Городской больницы, Бен протанцевал по зебре и двинулся вдоль Спенсеровского проезда.

Над тротуаром нависали ветви от церкви Святого Эгидия, по трещинам мостовой шуршали живой графикой обрезки света и тени. За низкой стенкой справа от Бена были низкая трава и мраморные надгробия, облезающие скамейки, покрытые инициалами сотен мимолетных отношений, и карамельные камни самой церкви – возможно, одной из остановок в одиноком ночном туре Сэма Беккетта. Церковь Святого Эгидия была старой – не древней, как Святого Петра или Храма Господня, но старой, простояла здесь дольше, чем помнит кто-либо из живущих. Она уже явно была открыта ко времени, когда Джон Спид подготовил городскую карту 1610 года, факсимиле которой хранилось у Бенедикта до сих пор, в рулоне где-то за шкафом на Башенной улице. Передовой технический чертеж в свое время, современным глазам его слегка мультяшные изоморфные ряды домов казались произведением ребенка – талантливого, но наверняка аутиста. И все же образ Нортгемптона начала семнадцатого века, грубый срез сердца с множеством лишних желудочков, приносил радость. Когда Бенедикт чувствовал, что современный городской пейзаж ему вконец опостылел, – ну, скажем, каждый пятый день, – он представлял, что прогуливается по простой и безжизненной флатландии на плане Спида, пока вокруг на глазах вырисовываются давно сгинувшие достопримечательности, темные от штриховки пером. Обрамленные чернильными тротуарами белые улицы, лишённые человеческой сложности.

Бенедикт продолжил путь на улицу Святого Эгидия, пройдя мимо еще действующей нижней части полузакрытого, полузабытого «Пассажа Кооп», ненужные верхние этажи которого хмуро взирали на параллельную Абингтонскую улицу – в паре шагов по отлогому склону южного бока города. После зияющего трескового рта Рыбной улицы стоял «Парик и ручка» – стерилизованная и переименованная оболочка места, которое некогда звалось «Черным львом» – только не тем «Черным львом», что на Замковом Холме, куда более старинным. В 1920-х «Черный лев» на улице Святого Эгидия был

салонном городской богемы и гордился – или позорился – этой репутацией до конца восьмидесятых, когда и воплотились нынешние реновации. По словам экспертов, включая Эллиота О’Доннела, была у этого заведения и другая репутация – одного из самых больших скоплений призраков в Англии. Когда баром владел Дэйв Терви – примерно тогда же, когда завсегдатаями «Черного льва» были Том Холл, Альма Уоррен и вообще большая часть потусторонней портретной галереи Пьета де Щелкка, – на лестницах то и дело слышались шаги, переставлялись и передвигались предметы. Весь срок Терви здесь являлись наваждения, чего-то пугались животные, как и у предыдущих хозяев. Бен празднично задумался, не заставили ли заодно обновиться и призраков, чтобы соответствовать родному пабу, и если вдруг еще раздастся звон цепей и скорбные вопли, то одно из привидений только оторвется от своего «обеда пахаря» и зароется в пиджак, бормоча: «Простите, ребят. Это у меня. Алло? А, привет. Да. Да, я в астрале». Ах-ха-ха-ха.

Направо от Бена теперь поднимались широкие имперские ступеньки к парящему хрустальному дворцу, напоминающему собор из Дэна Дейра [\[41\]](#), только там всего лишь приходилось платить налоги. Из-за этого, несмотря на весь изысканный и величественный дизайн, у здания всегда была аура лобного места, как и у старого Центра занятости на Графтонской улице. Счета, обложение и взрослая ответственность. Такие места были точильными брусками, что стесывали людей, стирали с них целое измерение. Бенедикт заторопился мимо, и мимо прилегающего Гилдхолла, по которому не скажешь сразу, то ли его недавно отчистили, то ли камни выбелили бесчисленные залпы вспышек на бесчисленных свадьбах. В углах парадных каменных ступенек скопились геологические страты конфетти – брачной перхоти.

Это было третье и, вполне возможно, последнее место, где остановилась ратуша после забытой Мэйорхолд и промежуточной позиции в основании Абингтонской улицы. Бен поднял глаза мимо святых и регентов, украшавших затейливый фасад, туда, где на

высоком коньке меж двух спицей стоял святой – покровитель города с жезлом в одной руке, щитом в другой и сложенными за спиной крыльями. Бенедикт до сих пор не понимал, как архангела Михаила приняли в святые – ведь, если Бен не ошибался, канонизировали людей, стремившихся к святости посредством тяжелого труда и набожности и исполнявших какие-нибудь волшебные чудеса. Разве у архангела нет несправедливой форы, раз он сам по себе чудо? Так или иначе, как известно любому школьнику, архангелы в небесной иерархии стоят выше любого святого. Как же Нортгемптон умудрился заполучить в покровители одного из четырех замов Господа? Какими посулами город приукрасил такую низкую по небесной табели о рангах должность?

Бен перевалил за Лесной Холм и спустился вдоль северной стороны Всех Святых, где некогда в нише портика привычно сиживал Джон Клэр – дельфийский оракул в увольнительной. Перешел дорогу перед церковью, продолжая путь по Золотой улице в изобилии витрин, словно ему до сих пор шестнадцать и он катился на велике. У подножия, пока он ждал светофора, чтобы пересечь Конный Рынок, бросил взгляд налево, где Подковная улица бежала к Пути Святого Петра и бывшему Газовому управлению. Согласно местной мифологии, именно сюда, где в паре ярдов от угла Бенедикта стоял старый бильярдный зал, во времена до нашествия норманнов приходил пилигрим с Голгофы – места, где, предположительно, распяли Христа, в самом Иерусалиме. Оказывается, монах откопал у распятия древний каменный крест, а мимоходящий ангел велел ему отнести артефакт в «центр его земли» – то есть, видимо, в Англию. На полпути нынешней Подковной улицы ангел явился вновь и подтвердил страннику, что он-де нашел нужное место. Крест из далеких краев заложили в стену церкви Святого Григория, что в англосаксонские времена стояла прямо тут, через дорогу, монаха похоронили под ней, и это место само стало объектом паломничества. Крест называли рудом в стене. Здесь-то, в наших палестинах, на грязной окраине Боро, полагался

мистический центр Англии, причем так думал не один только Бенедикт. Так думал Бог. Ах-ха-ха-ха.

Цвет сменился, светящийся зеленый человек обозначил, что работникам ядерной индустрии можно спокойно переходить дорогу. Бен выбрал на Лошадиную Ярмарку, направляясь к западу и церкви Святого Петра по улице, которая для Бенедикта навсегда останется главной в городе. Он по-прежнему абстрактно размышлял об ангелах – из-за архангела, примостившегося на Гилдхолле, и того, что показал монаху, где оставить крест на Подковной улице, – и вспомнил как минимум еще одну историю о небесном вмешательстве, имевшем место на дороге, которую он как раз мерил шагами. В одиннадцатом веке в церкви Святого Петра впереди случилось чудо: ангелы указали молодому крестьянину по имени Айвальд на утраченные мощи святого Рагенера, скрытые под плитами нефа, и он извлек их в ослепительном свете под аккомпанемент из брызг святой воды от Святого духа, явившегося в виде птицы. Калика-попрошайка, видевшая произошедшее, встала и пошла – так уж гласит предание. Оно только укрепляло Бена в отчетливых подозрениях, что в Темные века и шагун нельзя было ступить, не наткнувшись на ангела, который пошлет на Лошадиную Ярмарку.

Бенедикт дошел до верха Школьной улицы, убегая от Ярмарки налево, и только тут понял, что наделал. Вне всяких сомнений, это все его экскурсия на Биллингскую дорогу – она подтолкнула к мысли пройти по старому велосипедному маршруту от школы к дому, который давным-давно снесли. Блаженно поплыв на протекающем каноэ по затянутому ряской потоку сознания, он словно умудрился забыть предыдущие тридцать семь лет жизни, а взрослые ноги без труда вернулись в старые колеи, проторенные в мостовой их былыми маленькими версиями. И что же это с ним не так? Ах-ха-ха-ха. Но серьезно, что с ним? Это что же, начало маразма с мокрыми панталонами и попыток вспомнить, какая из палат – его? Честно, даже несмотря на солнечный полдень,

ощущение было довольно жуткое – словно обнаружить, что посреди ночи пришел во сне на могилу отца.

Он стоял, глядя на узкую дорогу, пока пешеходный поток Лошадиной Ярмарки разбивался о него, как ручей, словно Бенедикт был забытой тележкой из супермаркета, – он даже не замечал бурлящей суматохи вокруг. К счастью, Школьную улицу было не узнать. Лишь миниатюрные щепки прошлого все же кололи занозами в сердце. Булыжники, которые так и не переложили, и заросшие мхом трещины составляли знакомую до боли дельту. Сохранившиеся нижние пределы фабричной стены, доходившей до самой улицы Григория, папоротник и юные ветки, пробивавшиеся в гнилые рамы бывших окон, которые теперь сложно было назвать даже дырами. Он был благодарен, что поворот улицы загоразживал место, где когда-то жило семейство Перритов, – теперь там, где они смеялись, спорили и ссали в раковину, если на улице было слишком холодно, все вместе в одной комнате (передний зал превратили практически в витрину для самой ценной собственности семьи), раскинулся склад какой-то фирмы. Вот это, думал он, и есть настоящая Атлантида.

Будучи претенциозным подростком, он скорбел по утрате хлебов и пашен, которых никогда не знал, по которым было прилично скорбеть Джону Клэру. Бенедикт слагал элегии по сгинувшей сельской Англии, не замечая плодородной кирпичной природы вокруг, но оказалось, что траву, цветы и заливные луга можно найти всегда, если только захотеть. А вот Боро – уникальный подлесок человеческих жизней; ищи его сколько хочешь, но этого вымирающего ареала больше нет. Континент в полумиллю диаметром ушел на дно под потопом паршивой социальной политики. Сперва все громче рокотал Санторини понимания, что земля Боро будет куда ценнее без своих обитателей, затем бульдозерным приливом нахлынули «Макалпайны». По району плеснула желтая пена касок, разбившись о берега Конца Джимми и Семилонга, человеческие обломки вынесло мусорным прибоем в стариковские квартиры в

Кингс-Хит и Абингтоне. Когда сошла строительная волна, остались лишь моллюски-небоскребы, остовы затонувших предприятий и редкий бывший житель, трепыхающийся и хватаящий ртом воздух в каком-нибудь осушенном подземном переходе. Бенедикт, допотопный изгой, стал Старым Мореходом исчезнувшего мира, его Измаилом, его Платоном, ведущим учет существ и деяний столь фантастических, что кажутся невероятными – в последнее время даже самому Бену. Заложенный кирпичом вход в его подвале в средневековую туннельную систему – не сам ли он это выдумал? Лошадь, что каждый вечер привозила отца домой, пока сам Джем дрых за поводьями, – возможно ли это? Неужели правда были смертоведки, коровы на вторых этажах домов и чумная телега?

Кто-то едва не врезался в Бенедикта, извиняясь, хотя виноват явно был сам Бен – встал, разинув рот, и перегородил пол-улицы.

– О-о, прости, мужик. Не вижу, куда иду.

Молодая полукровка, или, как их нынче зовут, женщина смешанной расы, тощая, но приятная, не старше тридцати. Прервав грезы Бена о затонувшем Эдеме, она вдруг предстала настоящей ундиной – по крайней мере в его воображении. Сохранившаяся наперекор одному из родителей легкая бледность кожи, что казалась глубоководным фосфоресцирующим свечением, волосы, расчесанные на полоски веточками кораллов, влажный глянец куртки – все подкрепляло подводную иллюзию. Хрупкая и экзотичная, как морской конек, – теперь Бен уже представлял ее в роли лемурской султанши, с сережками-дублонами с потопленных галеонов. Из-за того, что такая загорелая сирена извиняется перед уродливым, побитым ветрами рифом, на который ее выбросило без спросу, Бенедикт почувствовал себя вдвойне виноватым, вдвойне пристыженным. Он ответил высоким полузадушенным смешком, чтобы успокоить ее.

– А-а, ничего, милая. Все в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Ее глаза чуть расширились, а накрашенные жидкие губы – два облизанных леденца – вздрогнули в какой-то судороге. Она

вопросительно смотрела на него, но Бену были незнакомы схема рифмовки и стихотворный размер в ее глазах. Что ей нужно? То, что их встрече суждено было произойти на улице, где Бен родился и где оказался по не более чем пьяной случайности, стало опасно пахнуть роком. Неужели... ах-ха-ха-ха... неужели она его узнала, каким-то образом разглядела в нем поэзию? Заметила мудрость за нервозностью и пивным дыханием? Неужели это predetermined момент – блуждая напротив отеля ibis на Лошадиной Ярмарке в лучах вечного солнца с бледными звездами втопанной жвачки у дверей «Доктора Мартинса», встретить свою царицу Савскую? Маленькие мышцы в уголках ее рта заходили – она готовилась заговорить, что-то сказать, спросить, художник он или музыкант, или даже не он ли тот самый Бенедикт Перрит, о котором она столько слышала. Блестящие, вымоченные в «Мэйбеллине» лепестки наконец разомкнулись, распустились.

– Не хочешь развлечься?

А.

Запоздало, но до Бена дошло. Они не две родственные души, сведенные неизбежной судьбой. Она – проститутка, а он – пьяный дурень, вот так все просто. Теперь, узнав ее профессию, он увидел измождение на лице, темноту у глаз, отсутствующий зуб и дерганое отчаяние. Свою оценку он сместил с тридцати до подросткового возраста. Бедняжка. Надо было сразу догадаться, как только она с ним заговорила, но Бен вырос не в том Боро, который теперь стал нортгемптонским районом красных фонарей; теперь приходилось постоянно напоминать себе о его новой главной функции. Сам он никогда не пользовался услугами проституток, даже никогда не задумывался – не из-за ощущения превосходства, но больше потому, что считал целевой аудиторией ночных бабочек преимущественно средний класс. Зачем парню из рабочего класса платить девушке из рабочего класса, если только не из-за личной некомпетентности или неизбежного одиночества? Ведь с такими, как она, он вырос и в какой-то степени их впоследствии

деэротизировал. Бену казалось, что это скорее всякие хью гранты нашего мира считают прилагательные вроде «грубый» или «грязный» возбуждающими концепциями, тогда как он рос в обществе, где подобные слова приберегали для кошмарных кланов вроде О'Рурков или Пресли.

Он почувствовал себя не в своей тарелке, впервые столкнувшись с этой ситуацией, и делу вовсе не шло на пользу растущее разочарование. Какой-то миг он был на грани романтики, прозрения, вдохновения. Нет, конечно, он не верил, что перед ним лемурская султанша, но все же тешил себя надеждой, что она чувствительная и сочувствующая девушка, разглядевшая в нем барда, вилланели и бросовые сестины в его осанке. Но все оказалось ровным счетом наоборот. Она приняла его за очередного одинокого пошляка, романтические устремления которого не простирались дальше дробки в подворотне. Как же она могла так в нем ошибаться? Ему казалось, он должен донести, как она его недооценила, как это абсурдно – из всех людей увидеть потенциального клиента именно в нем. Впрочем, из-за жалости к девушке и нежелания огорчать ее мыслью о том, как она его задела, он решил передать свои чувства при помощи комедии в духе «Илингга» [\[42\]](#). Он находил такой подход лучшим почти для всех деликатных или неловких социальных обстоятельств.

Бенедикт искажил резиновую физиономию в викторианском моральном шоке, словно мистер Пиквик при встрече с малолетним уличным торговцем дилдо, затем так могуче передернул плечами в афронте, что сотряслись все внутренности. У девушки к этому моменту вид стал несколько испуганный, так что Бен решил подчеркнуть, что его поведение – комичная гипербола. Повернув голову, он обратился от нее взглядом туда, где находились бы телезрители, если бы жизнь на самом деле была шоу розыгрышей со скрытой камерой, как он иногда подозревал, и вместо закадрового смеха захохотал сам.

– Ах-ха-ха-ха. Нет-нет, все в порядке, милая, спасибо. Нет, бог с тобой, все в порядке. Я в порядке. Ах-ха-ха-ха.

Казалось, представление хотя бы лишило ее уверенности, что Бен – потенциальный клиент. Теперь девушка уставилась на него так, словно и понятия не имела, с кем столкнулась. Явно выбитая из колеи, непонимающе сдвинув брови и нахмутив лоб, она снова попытала удачи:

– Точно?

Как ей еще втолковать? Ему что, изобразить весь номер с доской, ведром с краской и кожурой от банана, чтобы она поняла, что он слишком поэтичен для секса за помойкой? Одно было очевидно: тонкость и недомолвки не сработали. Придется расписать в более широких мазках.

Он закинул голову с насмешливым гоготом, представлявшимся ему в духе Фальстафа, – и был бы близок к правде, будь Фальстаф известен как костлявый тенор.

– Ах-ха-ха-ха. Нет, милая, я в порядке, что ты. И все в порядке. Чтобы ты знала, я публикующийся поэт. Ах-ха-ха.

Это сработало. Судя по выражению лица, у девушки не осталось ни малейших сомнений, кто такой Бен Перрит. С застывшей улыбкой она начала отступление, не спуская с него настороженного взгляда и пятясь к Лошадиной Ярмарке – очевидно, опасаясь поворачиваться спиной, пока не отойдет подальше, на случай, если он бросится за ней. Она процокала мимо Дома Кромвеля в направлении вокзала, замерла у церкви Святого Петра, чтобы рискнуть и взглянуть через плечо на Бенедикта. Очевидно, она приняла его за психопата, потому он закатился беспечным визгливым смехом, чтобы ее окончательно переубедить, после чего она прошла мимо церкви и растворилась в толпе возвращающихся с работы людей на Холме Черного Льва. Его муза, его русалка скрылась, напоследок вильнув хвостом и блеснув виридиановой чешуей.

Значит, уже пять. Пять вещей, которые не удавались Бену. Сбегать, искать работу, нормально объясняться, не казаться пьяным и

разговаривать с женщинами, если не считать маму или Альму. Лили – она оказалась исключением, она действительно видела его душу и поэзию. Ему всегда казалось, что с Лили можно разговаривать по-настоящему, хотя, оглядываясь назад, Бен мучился от понимания, что по большей части нес пьяную ересь. Наверное, именно поэтому между ними все и кончилось. Выпивка и, если быть до конца честным, настояние Бена, чтобы правила в отношениях с Лили были такими же, что тридцать лет назад устраивали его родителей, Джема и Айлин, – а особенно те, что устраивали Джема. Тогда Бен еще не понял, что все меняется – не просто улицы или районы, но умонастроения; то, что люди готовы терпеть. Он думал, что хотя бы у себя дома сохранит осколок жизни, которую видел прямо здесь, на Школьной улице, где жены переносили постоянное пьянство мужей и почитали за счастье, если их хотя бы не колотили. Он притворялся, что мир по-прежнему таков, и был поражен до самой глубины души, когда Лили забрала детей и продемонстрировала, что он ошибается.

Неловкая встреча Бена с проституткой уже растворилась до слабой тоскливой боли. Его взгляд вернулся к Школьной улице – детскому раю, что захлебывался в собственном будущем, пока вода поднимается день за днем, миг за мигом. Как ему хотелось нырнуть в облицовку по большей части пустеющих офисных зданий и квартир, подняв красные кирпичные брызги там, где пронзит поверхность. Он бы на одном дыхании проплыл сорок лет жизни. Он бы опустил к отцовскому лесному складу и собрал все сувениры, какие сможет, чтобы поднять на поверхность и в современность. Он бы постучал в окно гостиной и сказал сестре: «Сегодня никуда не уезжай». Наконец он бы вынырнул, хватая ртом воздух, из мениска нынешней Лошадиной Ярмарки с полными руками сокровищ, пугая прохожих и стряхивая капли истории с мокрых волос.

Он почувствовал отдаленную потребность в еде. Решил прогуляться домой по Конному Рынку, может, заглянуть в продуктовый на улице Святого Андрея. Вдруг вспомнил, что у него осталось чуть больше пятнадцати фунтов – Дарвин и Э. Фрай, что

переплелись в страстном комке где-то в недрах карманов. Хватит на рыбу с картошкой, да еще и на стаканчик вечером, если захочется, хоть он в этом и сомневался. Самое лучшее развитие событий – перекусить и вернуться на Башенную улицу ради экономного домашнего вечера. Тогда на завтра у него останутся почти все деньги и не понадобится терпеть с утра унижительную пантомиму с подачками Айлин. Значит, решено. Сказано – сделано. Приготовившись сойти с места и подняться по Конному Рынку, Бенедикт попытался обуздать блуждающее внимание, заигравшееся где-то в выпотрошенных развалинах улицы Григория. На семиметровой высоте в остатках карнизов опасно зависли одуванчики – робкие самоубийцы с золотыми волосами Чаттертона [43]...

Было одиннадцать тридцать пять. Он вышел из «Синицы в руке» на Регентской площади в пыхтящую, кричащую тьму пятничной ночи. На мостовой Овечьей улицы отражались лужи артериальной крови светофора – оказывается, в какой-то момент прошел дождь.

Бандами по четыре-пять человек опирались друг на друга девчонки в коротких юбках – множество ножек в колготках на пятнадцать ден поддерживали единую структуру, моментами невольно превращаясь то в гигантское хихикающее насекомое, то в подвижную мебель в столь же красивых, сколь и непрактичных чехлах. Парни передвигались, как шахматные слоны с контузией, вальсирующие мыши с Туреттом, их кучки вдруг ударялись то в смертоносное панибратство, то в доброжелательную поножовщину, а ведь еще даже не время закрытия. Здесь времени закрытия не бывает. Постановлением правительства часы продажи спиртного были продлены до бесконечности – якобы чтобы как-то остановить запойное пьянство, но на самом деле чтобы нелепые английские обычаи не мешали дезориентированным американцам. Очевидно, никуда не делись и запойные пьяницы. Просто лишились последних периодов просветления рассудка.

Бен помнил, как пару часов назад ел камбалу с картошкой, а вскоре после этого темный паб – он с кем-то разговаривал? – но в остальном он будто заново родился, выполз из утробы на эту ветреную улицу, в эти канавы, без малейшего понятия, как он тут оказался. Но в этот раз, заметил Бен с благодарностью, он хотя бы не плакал и был в одежде. Может, одежды маловато – зябкий вечер уже начал заползать под бушующий закат его жилета, пробиваясь через пивную теплоизоляцию и вызывая гусиную кожу, – но хотя бы не голый. Ах-ха-ха-ха.

Порыскав непослушными пальцами в карманах, он убедился, что хотя бы в этот раз вероломная шлюха Э. Фрай не оставила Бенедикта ради какого-нибудь невоспитанного кабатчика, который будет ею просто пользоваться, а не любить и ценить так, как Бен. За этой мыслью тут же последовала другая, подкупающая: немедленно заскочить в паб и взять пару баночек на вынос – но нет. Нет, нельзя. Иди домой, Бенедикт. Иди домой, сынок, подобру-поздорову.

Он повернул направо, поплелся по Овечьей улице к огням, где та встречалась с Регентской площадью, – к уродливой штриховке из дорог на месте, где много столетий назад стояли северные ворота города. Тут для украшения насаживали на пики черепа предателей, как ластик-троллей на карандаши. Тут сжигали еретиков и ведьм. В эти дни перепутье в конце Овечьей улицы обозначал только аляповато-лавандовый ночной клуб, а еще год-два назад тут было место готских сборищ под названием «У Макбета», оно пыталось создать готическую атмосферу на углу, который и так по уши сидел в отрубленных головах и вопящих колдуньях. В Ньюкасл со своим углем не ездят, как и в Трансильванию – со своим аконитом. Бен ковылял по всем зебрам, что довели его невредимым к верхней части Графтонской улицы, по которой он принялся нетвердо спускаться. Недалеко впереди металась по кругу синие огни, бились мотыльками об окружающие здания сапфировые вспышки, но его слишком оглушила выпивка, чтобы придавать им какое-то значение.

Он поднял взгляд на крышу автомастерской через дорогу, где до сих пор виднелся рельеф солнечного логотипа прачечной «Санлайт», даже в желто-мочевом свете фонаря, заливавшем все вокруг. Навек застывшее на своем месте, это солнце радостно светило, когда наконец наступил день круглосуточного пьянства, ведь теперь ему и вовсе незачем стало заходить за нок-рею [44]. Бенедикт обратил взгляд на неровные булыжники перед собой и впервые сосредоточил внимание на одинокой полицейской машине на тротуаре впереди – источнике цветомузыки. Там произошла авария – разбитую машину неопределенной модели поднимал зацелевшую заднюю часть эвакуатор. С оживленной улицы выметали осколки лобового стекла мрачные мужчины во флуоресцентных жилетах, пока из-за них сверкала полицейская машина, предупреждая других автомобилистов. По всему асфальту были щедро разбросаны – видимо, вылетев из распахнувшегося багажника, – таинственные и случайные предметы вроде детских игрушек или садовых перчаток. Опрыскиватели, шапочки для душа и одна-единственная чешка. Стоя у патрульной машины в стробоскопическом свете ее маяка, офицер угрюмо всматривался в расплавленный след шины, видимо, разбитый автомобиль вывернул на тротуар – наверное, чтобы не столкнуться с чем-то на дороге, – где и повстречал стену, фонарь или что-то еще. При появлении Бенедикта молодой пухлый коп оторвался от изучения выжженного рисунка протектора, и Бен с удивлением осознал, что это его знакомый.

– Привет, Бен. Нет, ты только глянь, – офицер, розовые мальчишеские щечки которого покраснелись от возмущения, обвел рукой крошево стекла и всякую всячину, усеивавшую улицу. – Ты бы пришел полчаса назад, когда медики снимали долбака с рулевой колонки. А самое паршивое – сегодня даже не я должен дежурить.

Бенедикт прищурился на работников, подметающих мусор. Крови он не видел – но, возможно, самое месиво осталось внутри изувеченной машины.

– Понимаю. Несчастный случай со смертельным исходом. Не спрашивай, по ком звонит колокол, а? Ах-ха-ха-ха. Какой-нибудь угонщик-малолетка? – Черт. Он не хотел смеяться, не над трагической же смертью, и тем более не собирался спрашивать, по ком звонит колокол, когда сам только что озвучил предостережение Донна. К счастью, мысли копа были заняты другими делами или он привык и терпел эксцентричную манеру Бена. В каком-то смысле выбора у него не оставалось – его собственная полицейская куртка щербетно-лимонового цвета резала глаз сильнее жилета Бена.

– Малолетка? Не. Не, какой-то мужик под сороковник. И машина – его, насколько мы поняли. Семейная, – он сумрачно кивнул на яркий межпоколенческий хлам, просыпавшийся на улицу из распахнувшегося багажника. – И когда его вырезали изнутри, по запаху не сказать, чтобы пил. Наверное, свернул отчего-то, вот и влетел, – павший духом полицейский как будто чуть посветлел. – Хотя бы не меня послали рассказывать его жене. Если честно, это ненавижу больше всего. Вопли, сопли – ну не мое это. Я тебе отвечаю, последний раз, когда я ходил к чьей-то жене, я чуть не... погоди-ка... – его прервал взрыв помех из рации, которую он отцепил от куртки, чтобы ответить.

– Да? Да, все еще на Графтонской. Уже заканчивают прибираться, так что подъеду через минуту. А что? – повисла пауза, во время которой офицер с личиком херувима без выражения тарачился в пространство, затем сказал: – Ладно. Буду, как только закончим с аварией. Да. Да, понял.

Он вернул рацию на место, посмотрел на Бенедикта и скривил рожу, выражая обреченное презрение к своей злосчастной судьбе.

– Очередная шлюшка на дороге Андрея. Кто-то из местных принял ее на время к себе, но мне надо взять показания до того, как приедет скорая. И почему у меня всегда такая непруха?

Бенедикт хотел спросить, неужели его тоже насилуют и избивают, но потом передумал. Оставив удрученного констебля надзирать за уборочными процедурами, Бен продолжил путь вниз по склону,

необычно отрезвленный неожиданным разговором. Он свернул на улицу Святого Андрея, думая о проститутке, на которую напали, о человеке, который всего час назад жил себе, ехал домой к семье, даже не подозревая о грядущей смерти. В этом-то и есть ужас реальности, думал Бен: смерть или кошмар могут поджидать в любой момент, а никто об этом не знает до самых последних страшных секунд. Он задумался о сестре Элисон, несчастном случае с мотоциклом, но мысли оказались слишком болезненными, и Бен попытался сменить тему. В процессе ненароком наткнулся на размытое воспоминание о девчонке с панели, которая подходила к Бену ранее, с косичками. Он знал, что это не на нее напали у основания улицы Алого Колодца, но в то же время знал, что с тем же успехом это могла быть и она. Такая же, как она.

Как же Боро скатились до такого? Как они превратились в место, где тех, кто мог вырасти и стать красавицей, музой поэта, каждую неделю насилуют и избивают до полусмерти? Всплеск похищений и сексуальных надругательств всего за одни выходные в прошлом августе – большинство случились в этом районе. Тогда думали, что за преступлениями стоит некая «банда насильников», но зловещим образом выяснилось, что как минимум одна серьезная атака никак не связана с другими. Бенедикт предполагал, что когда подобные вещи случаются с тревожной регулярностью, как это бывает здесь, то предположить организованную деятельность банды или еще какой сговор вполне естественно. Хотя мысль и пугающая, она все же куда лучше, чем альтернатива: что это просто происходит случайно и часто.

Все еще безотрадно переживая из-за наверняка обреченной девушки, встреченной у Лошадиной Ярмарки, и несчастном случае, последствия которого он видел пять минут назад, Бен свернул на улицу Герберт, опустевшую к приближению полуночи. Силуэты Клэрмонт-корт и Бомонт-корт на фоне темного неба цвета «Лакозейда» были черны, как монолиты Стенли Кубрика, телепортированные непознаваемым инопланетным разумом, чтобы

разжечь искры идей среди косматых вшивых обезьян. Идей вроде «Прыгай». С его точки зрения теперь даже не было видно то небольшое, что осталось от Ручейной школы, – путь загоразивал НЬЮЛАЙФ. Под сводом ночи Бен доволочил себя до Симонс-уок, ставшей оранжевой и беззвездной. Свернув налево по брусчатке, обрамленной по краям дерном, ведущей к дому мамы, он, как обычно, впал в раздражение из-за Симонс-уок и отсутствующего апострофа. Если только рядом не жил какой-нибудь местный благодетель по фамилии Симонс – а Бен о таком слыхом не слыхивал, – логично предположить, что название улицы – отсылка к строителю церквей и соборов, норманнскому рыцарю Симону де Сенлису, а в этом случае правильно писать «Симон'с»... ох, какая разница? Всем плевать. Любой умелый пиарщик или шарлатан может что угодно превратить в полную противоположность. История и язык стали такими гибкими, их так расшатали, чтобы подогнать под любые нужды, что кажется, они скоро просто сломаются пополам, и тогда останемся мы барахтаться в море правок безумных боговеров-креационистов и пунктуации безграмотных бакалейщиков.

Топая мимо Олторпской улицы, он слышал из притона плешивого Кенни в конце улицы крикливый смех и странную какофонию, еще более искаженную громкостью. В охровой темени над ночной цементной саванной издавали джунглевый рев двигателя машин. Свернув на Башенную улицу, Бен дошел до дома Айлин, потом еще пять минут хихикал над собой и пытался открыть дверь бесшумно, тыкая ключом в звонок. Ах-ха-ха.

Дома было тихо, все выключено – мама уже легла. Он прошел мимо закрытой двери в переднюю комнату, до сих пор забитую семейными ценностями для вида, а не для дела, – прямо как на Школьной улице, – и отправился на кухню за стаканом молока перед тем, как подняться наверх.

Его комната – как ему казалось, единственное место на планете, поистине принадлежавшее ему, – терпеливо дожидалась, готовая

простить и принять еще раз несмотря на то, как он с ней обращался. Здесь была его одиночная кровать, здесь стоял стол, который он до сих пор со смехом звал письменным, здесь строились ряды поэтов, которых Бен недавно пытался отравить газом. Он уселся на край кровати, чтобы развязать шнурки, но не закончил – устался на ковер. Все думал о случае на Графтонской улице, а значит, думал об Элисон, ее парне-лихаче, который решил обогнать грузовик без сигналов о негабаритном грузе. Он думал о смерти, как каждое утро спросонья, – только теперь не было надежды, что мрачные мысли развеет первый дневной стакан, ведь последний уже испустил свой гадкий дух под языком Бена. Он остался в комнате наедине со смертью – в своей комнате, со своей смертью, с ее неизбежностью, и ничто его не спасет.

Однажды, совсем скоро, он умрет, станет пеплом или кормом червей. Его остроумие, его существо – все это просто исчезнет. Его не будет. Жизнь продолжится со всей своей романтикой и восторгами, но без него. Он останется в стороне, как на отменной вечеринке, где дали понять, что ему больше не рады. Бена вычеркнут из списка гостей, удалят, словно его никогда и не было. Все, что останется, – пара преувеличенных баек, несколько заплесневевших стихов в уцелевших изданиях малотиражных журналов, а потом не будет и того. Все зря, и...

Оно ударило внезапно – это черное озарение – и выбило из него дух: он привычно думал о смерти, чтобы не думать о жизни. Проблема не в смерти. Смерть ничего ни у кого не просит, кроме непринужденного разложения. Это не в смерти бывают ожидания, разочарования и постоянный страх, что может случиться что угодно. А в жизни. Смерть, устрашающая с перепуганной точки зрения жизни, на самом деле за пределами страха и боли. Смерть, как добрая мать, возьмет все беспокойные обязанности и решения в свои руки, поцелует на ночь и подоткнет теплое зеленое одеяло. А жизнь – испытание, проверка, где надо успеть разгадать, что от тебя требуется, пока она не кончилась.

Но ведь Бенедикт все уже разгадал. Он еще в романтической юности скоропалительно решил, что если ему не быть поэтом, то не быть никем. В то время он и не задумывался об альтернативе – что он вполне может оказаться никем. Но успех, о котором он мечтал в молодости, так и не пришел, и Бен понемногу падал духом. Практически забросил писательство, хотя так сжился с ним, что уже не мог признать, даже перед самим собой, что забросил его. Он притворялся, что бездеятельность – лишь передышка, что он как поле под паром, собирает материал, хотя где-то внутри отлично знал, что собирает только пыль.

Он видел свою роковую ошибку, как в тумане. Ему так не терпелось добиться успеха и одобрения, что он вбил в голову, будто без успеха ты вообще ненастоящий писатель. А в миг этого беспрецедентного просветления он вдруг понял, какой это вздор. Взять Уильяма Блейка, непризнанного и забытого, пока не прошли годы после его смерти, почитаемого современниками за сумасшедшего или глупца. И все же Бенедикт был уверен, что Блейк за свои шестьдесят девять лет ни разу не испытывал и мига сомнений, что он истинный творец. Беда Бена в этом новом и безжалостном свете проста – он дрогнул. Если бы он где-то нашел смелость продолжать писать, – пусть даже каждую страницу отвергнет каждый издатель – он все равно бы мог посмотреть себе в глаза и сказать, что он поэт. И даже сейчас ничто не мешает вновь взяться за ручку, кроме легко преодолимой гравитации Земли.

В эту ночь Бен может изменить все. Надо всего лишь пройти по комнате, сесть за письменный стол и что-то сделать. Кто знает? Вдруг эти строчки обеспечат Бену репутацию. А если и нет, если его стихосложение без практики покажется плоским и неуклюжим, то это будет лишь первый шаткий шаг на тропу, с которой он сошел в горькое и обездвиживающее болото. Сегодня ему дан шанс возродиться. Его пронзила яркая мысль: возможно, шанс последний.

Если он не сделает этого сейчас, если придумает какое-нибудь оправдание – что лучше писать с утра, когда голова свежая, –

наверняка он не сделает этого никогда. Будет находить причины откладывать поэзию, пока не станет поздно, пока жизнь не скажет закругляться, пока он не станет статистикой Графтонской улицы, а безучастный полицейский констебль пожалуется, что смерть Бена испортила ему ночь отгула. Бенедикт должен писать прямо сейчас, прямо в этот миг.

Он встал и побрел к письменному столу, спотыкаясь о путающиеся под ногами шнурки. Сел и достал с полки бюро свою тетрадь, со стыдом смахивая ладонью толстый слой пыли, прежде чем открыть на чистой странице. Он выбрал самую жизнеспособную ручку из стеклянной банки на верхней полке стола, снял колпачок и занес липкий мохнатый шарик цвета индиго над голым пергаментом. Просидел так добрых десять минут, с ужасом осознавая, что сказать ему нечего.

Значит, есть всего шесть вещей, в которых Бен Перрит совершенно бесполезен: сбегать, искать работу, нормально объясняться, не казаться бухим, разговаривать с женщинами и писать стихи.

Нет. Нет, неправда. Это он снова пытается сдаться – может, навсегда. Но он твердо решил что-то написать, пусть даже хокку, пусть даже строчку или просто фразу. Он покопался в путаной памяти о небогатом событиями дне и поразился, сколько нахлынуло образов и случайных мыслей. Работный дом, лечебница Клэра, Малкольм Арнольд и русалка – в шапку пены темного и вихрящегося сознания Бена искусно вплетались клеверные мотивы. Он думал о саднящем разломе Школьной улицы и об утонувшем континенте, исчезнувшем ландшафте. Он думал просто бросить этот пьяный бред и лечь уже спать.

Из черноты слышались сирены, бой техно, улюлюканье медвежьей потехи. Правая рука дрожала в нескольких дюймах от белоснежной пустой страницы.

Как хочешь, так и делай [45]

Внутри него, под белой глазурью волос, – церкви-бордели, где в одну дверь врывается широкий Атлантический океан, а в другую вырывается цирковая ярмарка с клоунами и тиграми, девицами в перьях и витиеватыми буквами на каруселях, переливающийся поток звуков и образов, эскизов, выхваченных молниеносным мелом горячего салонного карикатуриста, умопомрачающих от смысла мелодраматических зарисовок, что разыгрывались перед пышными розовыми кулисами век, весь мир разом с сияющими мраморными часами, замшелыми столетиями и щекочущим яйца восторгом, и каждая его секунда наяву постоянно взрывается тысячами лет случайностей и фанфар – вечное возгорание чувств, посреди которого неподвижно стоял Снежок Верналл: с распахнутыми глазами и неколебимый в ярко-карнавальном сердце собственного бесконечного пламени.

Повествование читаной-перечитаной, любовно замусоленной книжки жизни с картинками дошло до страницы, до мига, до увлекательного случая, о котором Снежок, даже переживая его теперь, знал, что уже не раз переживал его прежде. Когда другие рассказывали о своих редких и тревожных налетах дежавю, он хмурился и чувствовал, что чего-то недопонимает, – не потому, что он никогда не испытывал этого чувства, а потому что не знал ничего другого. В детстве он не проливал слез над поцарапанными коленками, потому что почти их ожидал. Не разрыдался в тот день, когда с работы домой привели его отца Эрнеста с побелевшей головой. Сцена шокировала, но она была лишь одной из большой любимой истории, слышанной столько раз, что больше не могла удивить. Бытие для Снежка – галерея-пассаж, вырезанный из монолитного застывшего самоцвета, будоражащий чувства призрачный поезд, ползущий мимо дорогих сердцу диорам и

знакомых глазу ужасов на пружинках, а блеск далеких ламп над выходом очевиден с самого первого шага через порог.

Конкретный эпизод, в котором он участвовал сейчас, – тот знаменитый сюжет, когда Снежок стоит на крыше высоко над Ламбет-уок громким, сияющим утром марта 1889 года, пока его Луиза рождает первого ребенка в канаве внизу. Они прогуливались в Сент-Джеймском парке, чтобы поторопить важное событие упражнениями: ребенок задерживался на несколько дней, а жена была вся в слезах и изможденной от веса, который пришлось столько носить. Затея оказалась слишком удачной: во́ды Луизы отошли у берега озера с внезапным плеском, превратившим испуганных уток в моментальную скульптуру – веер коричневых, серых и белых красок, взлетевший то ли в подражание спиральной горке, то ли стрехам пагоды, пока вокруг мимолетным созвездием застыли бриллиантовые капли-бусины. Будущие родители хотели вернуться на Восточную улицу, торопливо ковыляя по Миллбанк, через Ламбетский мост и на Парадайс-стрит, но добрались только до Ламбет-уок, когда на каждом шагу начались схватки и стало ясно: им не успеть. Да и как иначе. Хаотического деторождения на мостовой Южного Лондона было не избежать; оно вписано в будущее. Возвращение домой на Восточную улицу без происшествий – нет такого куплета в уже высеченной легенде. А вот взлететь на ближайшую отвесную стену, когда покажется детская головка, бросив при этом кричащую Луизу в центре собравшегося сгустка зевак, с другой стороны, – один из многих памятных моментов саги, который непременно случился бы. Снежок так же не мог помешать тому, что ползет по невидимой лестнице из трещин и уступов на синюю черепичную крышу, как не мог помешать восходу солнца на востоке завтрашним утром.

Теперь он торчал на коньке с двойной каминной трубой за спиной, как изваянный Атлас, удерживая на плечах огромный стеклянный шар ясного и молочного неба. Протертая до блеска черная куртка даже на мартовском ветру висела неподвижно под

тяжестью хрустальных дверных ручек, которые он забрал этим утром для ремонтной работы на следующий вторник. На улице под ним, вокруг распластавшейся и завывающей жены, скучились в нервный, суматошный кружок прохожие в темных одеждах, перебегая внезапными и беспорядочными порывами, как комнатные мухи. Она раскинулась на холодной мостовой, закинув пунцовое лицо, со злостью и изумлением уставившись в глаза мужа, глядевшего на нее с высоты трех этажей равнодушно, как орел в гнезде.

Хоть черты лица Луизы и умалились расстоянием до обрывка розового конфетти, Снежку казалось, что он все равно мог прочесть на нем столкновение разнообразных чувств, когда поверх одного горячего всплеска эмоций быстро рисовался следующий. Непонимание, гнев, бессилие, ненависть, неверие, а под ними всеми – любовь, дрожавшая на грани ужаса. Она никогда его не оставит, несмотря на все пагубные капризы, яростные припадки, неисповедимые выходки и других женщин, которые, как он знал, ждут его в будущем. И он знал, что еще много, много раз напугает ее, ошеломит и ранит ее чувства в грядущие десятилетия, хотя сам этого не желал. Просто так все будет, и им ничего не изменить – ни Луизе, ни Снежку, никому. Луиза не понимала толком, что такое ее муж, – да и сам он не понимал, – но все же повидала достаточно, чтобы осознать: чем бы он ни был, в первую голову он феномен, который нечасто встречается в обычном человеческом порядке, и что другого такого она не увидит никогда в жизни. Она вышла замуж за геральдического зверя, химеру из неузнаваемой мифологии, существо без пределов, что может взбегать на стены, рисовать и писать, считаться одним из лучших мастеров своего ремесла. Порою из-за чудовищности Снежка она не могла даже посмотреть на него, но развеять чары тоже было не в ее силах, а потому она никогда не отворачивалась от Верналла.

Джон Верналл поднял голову – молочные локоны, подарившие ему прозвище, развевались на ветрах третьего этажа, – и всмотрелся бледно-серыми глазами в Ламбет, в Лондон. Однажды папа Снежка

объяснил ему и его младшей сестре Турсе, как, меняя высоту, свой уровень на вертикальной оси якобы трехмерного бытия, можно краем глаза поймать ускользающее четвертое измерение, четвертую ось, то есть время. Или – по крайней мере, как вывел Снежок из бедламских лекций отца, – то, что люди считают временем, понимая мир как нечто скоротечное и хрупкое, что с каждым мгновением уходит в ничто и воссоздается из ничего заново, словно все его содержание исчезает в прошлом, невидимом с нового угла и потому как будто отсутствующем вовсе. Для большинства, осознал тогда Снежок, предыдущий час уходит навсегда, а следующий еще не существует. Они заключены в тонкой движущейся плоскости Настоящего: пленочной мембране, что в любой момент может роковым образом распасться, растянувшись между двумя страшными безднами. Этот взгляд на жизнь и бытие как на бранные, хлипкие вещицы, которым скоро приходит конец, ни в коем случае не совпадал с взглядом Снежка Верналла, особенно с такой великолепной точки обзора, как его нынешняя – с грязными рождением внизу и лишь рифами несущихся облаков наверху.

Его вознесение пропорционально уменьшило и урезало ландшафт, придавив здания так, что если бы он мог каким-нибудь образом взобраться еще выше, то все дома, церкви и гостиницы совсем сжались бы лишь в двух измерениях, расплющились в виде уличной карты или плана, дымящейся мозаики, где дороги и переулки – мощные серебряные линии между черными от сажи керамическими осколками на мильтоновской картине. С конька крыши, куда он взгромоздился, где встал носками внутрь, чтобы не соскользнуть с мокрой плитки, текучая Темза была неподвижна – железный стежок между пыльными стратами города. Он видел отсюда реку, а не просто стремительную воду в потрясающих объемах. Он видел историю артерии, записанную в ее русле, ее змеящемся пути наименьшего сопротивления через долину, образованную в результате огромного сдвига мела где-то на юге позади Снежка, когда в нескольких сотнях футов и нескольких

миллионах лет от него бились белыми гребнями белые эскарпы. Выступ Ватерлоо, к северу от него, – просто место, где скала и грязь замерли и затвердели, утопанные мамонтами до пастбища, на котором в итоге распустились тысячи дымоходов – кольчатых червей с дегтем в глотке, сгрудившихся у теплых миазмов железнодорожного вокзала. Снежок видел отпечаток пальца гигантской математической силы, видел несметные поколения, пойманные в магнитные паттерны ее петель и витков.

На дальней стороне развязанного шнурка реки устроилась горелая метрополия, здания которой этаж за этажом росли в особом времени – долговечный континуум архитектуры, в корне отличный от подчиненной часам суеты человечества на земле. В лондонских шпилях и мостах разных стилей и возраста слышатся прерванные беседы с покойниками – с триновантами, римлянами, англосаксами, норманнами, их забытые и неясные цели рассказаны в камне. В прославленных достопримечательностях Снежок слышал одинокие самовлюбленные монологи королей и королев, пронизанные тревогами по поводу своей значимости; жизни, растроченной в погоне за славой; оптической иллюзии временного мира, который они населяли. Улицы и монументы под ним служили баррикадами от забвения, ажурными редутами против наступления будущего, где не существует ни великих построек, ни воспоминаний о тех, кто их заложил.

Он смеялся, хотя и не вслух. И куда же, они думали, все денется, включая их самих? Снежку в этот момент жизни было только двадцать шесть, и он не сомневался, что найдутся те, кто скажет, что он еще и не видал ничего, но все равно знал, что жизнь – зрелищное сооружение намного надежнее, чем верит большинство, и что сгинуть из бытия куда сложнее, чем можно предположить. Люди всегда расставляли свои приоритеты, не задумываясь об общей истории, общей картине. Кенотафы вовсе не так важны, как солнечные дни, потраченные на их создание. Красоту, знал Снежок, следует творить ради нее самой, а не превращать в изысканные

надгробия, гласящие лишь, что здесь был тот-то. Ведь никто никуда не денется.

Над буксирными маршрутами реки человек-птица с твердым взором улыбнулся при виде своих чудесных владений, пока вопли Луизы внизу периодически перемежались задыхающимися криками: «Снежок Верналл, ты скотина, ебаная скотина!» Он взирал на Вестминстер, Викторию и Найтсбридж, на взрыв рябящей репейной зелени Гайд-парка, демонстрирующего еще один аспект разворачивающегося времени, воплощенный в виде деревьев. Тополя и платаны почти не двигались в отношении к трем самым очевидным осям мира, но запись прогресса в отношении скрытой четвертой застыла в их облике. Высота и толщина стволов измерялись не в дюймах, но в годах. Мшистые разветвления – утвердившиеся воплощения колебаний перед выбором, сучья – не более чем продолжительные причуды, а глубоко под толстой корой, знал Снежок, таились наконечники стрел и мушкетных пуль, простреливших кору и прошлое, застрявших в ранних периодах, ранних кольцах, навеки погребенные в древесном волокне вечности, как и все на свете.

Если верить мистеру Дарвину, то люди спустились именно из безвременной пестроты лесного полога, и именно лесные корни выпивали досуха человеческие тела после их смерти, возвращая жизненные соли в доисторические кроны, поднимая в золотых клетках лифтов, сделанных из смолы. Парки, эдемские лоскуты темно-оливкового цвета среди твидовых зубов жилых рядов, были форпостами изумрудной эпохи, лужицами дикой природы, оставшимися после отступившего океана, который однажды вспенится у городского пляжа, заглушит его трамваи и шарманки набегавшим шуршанием. Снежок раздул ноздри, пытаясь уловить в фабричной вони настоящего запах будущего, которое наступит через полмиллиона лет. Когда население Лондона исчезнет, изничтоженное каким-нибудь еще не родившимся Наполеоном, самым долговечным завоевателем города быстро окажется буддлея,

так казалось Снежку. Из шепчущих мраморных берегов и расплзшихся помоек взорвутся белыми рассыпчатыми языками цветов благоуханные кусты – там, где Юлий Агрикола поднял всего горстку трепещущих штандартов, а королева Боудикка – лишь огненную бурю.

Густая бордельная сладость приманит бабочек в акварельных вихрях, попугаев, сбежавших из зоопарков для охоты на бабочек, и ягуаров, сбежавших для охоты на попугаев. Диковины и великолепные чудовища Кью-Гарденс вырвутся на свободу и наводнят повергнутый град до самых горизонтов, расколотые бульвары украсятся эвкалиптовыми колоннами, а дворцы падут пред исполинскими папоротниками. Мир кончится так же, как начался, – блаженным вертоградом, и если среди гудящих ульев и жимолости еще проглянут родовые гербы, бюсты светочей или надгробные названия заведений, то с них сотрется всякое значение. Значение – пламя свечи на предметах, и оно мечется и меняется на ветрах обстоятельств каждого мгновения, всегда разное. Смысл – феномен мира Сейчас, и его не сохранить внутри урны или монолита. Смысл – ураган, сделанный из настоящего, нескончаемый вихрь клокочущих перемен, и Снежок Верналл, который стоит и взирает на грань города через гранитные поля времен на дальние рваные рубежи календаря – это громоотвод, искрящийся и торжествующий, в опасном и горящем оке циклона.

В пятидесяти футах внизу разносился поток чередующихся испуганных завываний и негодующих тирад Луизы – обыденная, но внушающая трепет человеческая музыка, где глубокие духовые ноты мучений становились все настойчивее и чаще, преобладая в аранжировке, заглушая пикколо оскорблений, чертыханий и божбы. Опустив взгляд, Снежок заметил, что вокруг жены собрался импровизированный ансамбль, и теперь аккомпанемент мягких и сочувствующих струнных, рокочущих ударных неодобрения в адрес мужа, взгромоздившегося на крышу над ними, поочередно холил и хаял членов четы. Причем никто из них не мог помочь страдающей

женщине в родах больше самого Снежка, даже если бы он стоял на мостовой, подле нее. Толкущиеся прохожие были нестройным оркестром в постоянной настройке, его укоризненный ропот и плачущие ласки мучительно стремились к какой-то гармонии, хрипящий разлад плыл по Парадайс-стрит на Юнион-стрит, чтобы слиться с цимбалами Ламбета – их звоном на заднем фоне, с веками тот постепенно нарастал, словно стремясь к торжественному апофеозу: к нему слагали неувядающую прелюдию цокот копыт, песни пьянчуг и переливы причитаний попрошаек.

Словно торопливый работник сцены, свежий ветер поднимал раскрашенные занавесы облаков, и по углу наклона внезапно пролившегося света Снежок рассудил, что сейчас все еще утро, солнце высоко над головой и взбирается с крепнущей уверенностью по последним голубым ступеням к полудню. Своим праздным вниманием впередсмотрящего Верналл блуждал от публичных родовых потуг к кишечному завороту окружающих улочек, где туда-сюда ходили собаки и люди, закутанные в коконы собственного опыта, – нити событий на ткацком станке района, что либо расплетаются из одного узла потенциальных обстоятельств, либо нечаянно спутываются в следующий. На другой стороне Ламбетской дороги, едва видимой из-за низких крыш зданий справа, с Геркулес-роуд показалась красивая беременная женщина в приличной одежде, чтобы перейти улицу между ползучими подводами и вихляющими велосипедами. Чуть ближе к нему расстреливали друг друга из пистолетов с пистонами мальчишки лет двенадцати, в ходе перестрелки неторопливо пробираясь под столбами дыма по грязному шву проулка, ведущего от Ньюпорт-стрит, а потом задворками под флагами из подгузников. Глаза Снежка сузились, и он кивнул. Часовой механизм момента исправен.

Судя по свету и поднимающемуся вою Луизы, ему оставалось еще минут тридцать безделья на крыше, так что его чувства возобновили просветленный анализ города. Лондон вращался вокруг, как ярмарочная карусель, работником которой был сам Снежок,

замерший в центре в равновесии среди нарисованных молний и комет. Обернувшись к северо-востоку, он посмотрел над Ламбетом, Саутуарком и рекой на собор Святого Павла – лысый белый купол задремавшего профессора теологии, забывшего о своих непослушных подопечных, что грешат направо-налево, пока он клюет носом. Именно на реставрации купольных фресок безумие выбелило отца Снежка, Эрнеста Верналла, уже почти два десятка лет назад.

Снежок и его сестра Турса ходили навещать отца в Вифлеемскую лечебницу, но редко. Снежку не нравилось называть ее Бедламом. Иногда они брали с собой других детей Эрнеста – Апеллину и юного Посу, но, поскольку отца забрали, когда они еще были маленькими, те не успели узнать его близко. Не то чтобы хоть кто-то, даже их мать Энн, знал Эрнеста Верналла от корки до корки, но Джон с Турсой все же были с ним в чем-то близки, особенно после того, как он сошел с ума. С маленьким Посланником и Апеллиной у отца такой связи никогда не было, их только пугали визиты к незнакомцу в дурдоме. Когда они подросли и осмелели, то иногда сопровождали Снежка и Турсу, пусть исключительно из чувства долга. Снежок не пенял на брата и младшую сестру. Лечебница был воплощением ужаса – полна мочи, говна, криков и хохота; людей, обезображенных на ужине ложкой своим же соседом. Если бы его с Турсой не захватывали бредовые лекции, припасенные отцом исключительно для них, они бы и близко к дурдому не подошли.

Папа говорил с ними о религии и геометрии, об акустике и истинной форме вселенной, о множестве всего, что узнал, утром 1865 года ретушируя во время бури фрески собора Святого Павла. Он, как умел, объяснил, что случилось с ним в тот день, наказав, чтобы ни мать, ни одна живая душа не узнали о святом видении Эрнеста Верналла, стоившем ему разума и огненных бронзовых волос. Он рассказывал, что остался один на огромной высоте, смешивал темперу и готовился приступить к работе, когда заметил, что в стене англ. Так он и говорил, и дети в конце концов пришли к пониманию,

что у этого оборота по меньшей мере пара значений – очередной пример словесных игр и изобретенных выражений, которыми Эрнест обогатил свою речь со времен нервного срыва. Во-первых, angle – «англ» – означало «угол», то есть Эрнест каким-то образом обнаружил новый угол внутри стены, а не между ее поверхностями. Второе, более расплывчатое толкование термина касалось исключительно Англии и ее древнего прошлого, когда стране дали название англы – племя, завоевавшее остров после ухода римлян. Это второе значение по ассоциации напоминало о фразе Папы Григория, прореченной во время посещения английских пленников в Риме – «Non Angli, sed Angeli» [\[46\]](#), – каламбуру, который постепенно натолкнула старших детей Эрнеста на осознание, кого отец повстречал в верхних пределах собора Святого Павла в тот поворотный день.

От сумасшедшего рассказа отца, от одного воспоминания о нем над Ламбет-уок и несчастной плачущей Луизой стоял запах холодного церковного камня, порошковой краски, опаленного молнией оперения и огней святого Эльма. Что-то чудесное проскользнуло и проползло по внутренности купола, рассказывал Эрнест своим отпрыскам в кишечнике пресловутой ламбетской лечебницы. Оно заговорило с их папой фразами изумительнее, чем даже сам невероятный лик, который их рек, и голос создания бесконечно отражался эхом в каком-то пространстве или на каком-то расстоянии – их отец оказался попросту не в силах его описать. Эта подробность, думал Снежок, более всего впечатлила Турсу – воображение девочки с музыкальными наклонностями мгновенно ухватилось за идею резонанса и эхо в дополнительном измерении, с новыми высотами и невообразимыми глубинами. А Джона Верналла, рыжие волосы которого уже в десять лет стали белыми, больше заинтриговала новая концепция математики Эрнеста, с ее чудесными и пугающими следствиями.

Ниже на улице шайка мальчишек уже вывалилась из переулка кипучей, кричащей кучей на Ламбет-уок. Привлеченные бурно бездеятельной толпой вокруг Луизы, они подобрались поближе,

пялиться и скалиться с краю, очевидно, отчаянно желая увидеть щелку, не обращая внимания на кроваво-серый мяч из плоти, что грозил ее разорвать. Двенадцатилетки возбужденно присвистывали и искали место обзора получше, паясничали и юлили туда-сюда за взрослыми зеваками, которые старательно притворялись, что не слышат невежественных и вульгарных прибауток.

– Ё, зырь на дырку! Будто Джек Потрошитель еще одну погромсал.

– Ё, и впрямь! Прямо в манду! Свезло ему попасть!

– Ах вы грязная никчемная шантрапа. И куда только ваши родители смотрят? Им что, понравится, что вы бранитесь, как шлюхины дети, возле женщины, которой так больно, как вам в жизни не будет? А ну отвечайте!

Последние слова грозным граненым голосом донеслись от кстати явившейся женщины на сносках, виденной Снежком на Геркулес-роуд, когда она переходила Ламбетскую дорогу и дворами выбралась на Ламбет-уок всего в паре шагов от группки рискованных и раскованных юнцов. Поразительно красивая, с узлом черных волос и темным сверкающим взглядом – все в ней, от дорогой одежды до осанки и произношения, выдавало женщину театральной профессии, с той приковывающей взгляд манерой, благодаря которой в зале стоит почтительная тишина. Неловко обернувшись к ней, воззрившись огорошенными и удивленными глазами, мальчишки обескуражились, поглядывали друг на друга искоса, словно, не раскрывая рта, пытались понять, какую бандитскую тактику применить в такой неожиданной ситуации. Их глаза-рыбки сновали вокруг покусанных краев момента, так и не найдя решения. С высокой позиции Снежку казалось, что это могут быть Пацаны из Элефанта и Касла, которые ватагой не боялись угостить кулаком или ножом даже констебля или матроса.

Однако эта крошечная и потому еще более зримо беременная женщина представляла для охаверников такой вызов, которому они оказались неспособны что-либо противопоставить – по крайней

мере, без необратимой потери лица. Они отвернулись, открестились от собственных принципов и присутствия на Ламбет-уок, начали молча рассеиваться по боковым улочкам – отдельные пряди проясняющегося тумана. Спасительница Луизы – какая-то актриса или участница варьете – наблюдала за их ретировкой с невозмутимым удовлетворением, наклонив голову к плечу и сложив щуплые ручки на непреодолимой оборонительной баррикаде раздутого живота, выступавшего перед ней, как перевернутый турнюр. Убедившись, что юные бесчинники не вернуться, она перевела внимание к редкому собранию зрителей вокруг уличных родов, которые наблюдали за произошедшим в пристыженной и бессильной тишине.

– А вы, люди добрые, что же вы столпились кругом несчастной девочки, если никто не может ей помочь? Хоть кто-нибудь стучался в двери, просил одеяла и кипятку? Ну-ка, пустите меня.

Сконфуженные, люди расступились и позволили ей приблизиться к Луизе, которая хватала ртом воздух, развалившись промеж окурков и сора. Один из укоренных ротозеев решил последовать совету новопривывшей и попросить горячей воды, полотенец и прочей родовой атрибутики на одном из порогов вдоль улицы, пока сама она присела у Луизы, насколько ей позволяло неповоротливое положение. Поморщившись от неудобства, она пригладила лакированные по том пряди жидких волос на лбу охающей женщины, заговорив с ней.

– Будем надеяться, я твоему примеру не последую, не то пойдет потеха. Ну, как тебя звать, дорогуша, и как с тобой встретилась такая досада?

Пыхтя, жена Снежка отвечала, что она Луиза Верналл и пыталась вернуться домой на Лоллард-стрит, когда начались роды. Избавительница два-три раза коротко кивнула, на ее точеном личике отразились размышления.

– А где же твой супруг?

Так как вопрос совпал со следующей схваткой, бедная Луиза не могла ответить иначе, кроме как поднять мокрую дрожащую руку, указуя обвинительным перстом в небеса. Сперва истолковав жест как знак, что Луиза – вдова, а ее муж на небесах, добрая самаритянка в тягости не сразу смекнула поднять темные глаза с длинными ресницами в направлении, обозначенном стонущей девушкой. Оседлав конек крыши над мизансценой, как истукан, не считая пурги волос, хотя даже пиджак на удивление висел неподвижно на крепком ветру, Джон Верналл – если судить по выражению его лица, когда он ответил на изумленный взгляд женщины безбоязненно и без всякого любопытства, – мог показаться беленым флюгером. Она смотрела всего несколько мгновений, прежде чем сдаться и продолжить разговор с его молодой женой в беде, бьющейся и трепыхающейся, как рыба без воды, на камнях мостовой возле устроившейся рядом будущей повитухи.

– Ясно. Он сумасшедший?

Вопрос прозвучал прямо, без осуждения. Жена Снежка, отдыхая в слишком короткой долине между волнами боли, отчаянно кивала и согласно бормотала:

– Да, мэм. Боюсь, очень даже.

Женщина хмыкнула:

– Бедолага. Что ж, от этого не заречешься. И все же покуда предлагаю забыть о нем и думать о тебе. Давай-ка поглядим, как у нас дела.

С этими словами она сползла на колени, чтобы с бо́льшим удобством выручить сестру по материнству в нужде. К этому времени мужчина, обходивший соседей в поисках одеял и кипятка, вернулся с дымящимся эмалевым тазом в обеих руках, накинув полотенца на руку, словно официант в дорогом отеле. Несмотря на нарастающую частоту криков несчастной Луизы, все как будто шло своим чередом, хотя, конечно, иначе и быть не могло. Как и знал Джон, все происходит вовремя. Или во времени. Улыбаясь

собственной двусмысленности – несомненно, перенятой у отца, – Снежок запрокинул голову и вновь осмотрел небо. Протертую простыню облаков наспех сдернули и стянули с середины оголенного солнца, которое, судя по хилым и поджавшимся теням на земле, находилось ровно в зените. Оставалось еще добрых двадцать минут, прежде чем родится его дочь. Они назовут ее Мэй, в честь матери Луизы.

Он был полюсом Ламбета в снежной шапке, а боро стлался у его ног. К северу, за дымоходами, лежал чумазый Ватерлоо. Слева от Снежка и к югу, подумал он, стоит церковь Марии, или Святой Марии в Ламбете, как ее следует называть полностью, где похоронены капитан Уильям Блай и знатоки флоры Традесканты, тогда как на западе перед ним был Ламбетский дворец. Недалеко к востоку – для него, разумеется, всегда чересчур близко, – находился Бедлам.

Он не видел его уже семь лет, с тех пор, как был юнцом девятнадцати лет, старше Турсы на два года, когда Эрн наконец скончался. Из лечебницы пришло извещение, по получении которого они с сестрой отправились в короткое путешествие, чтобы повидаться с родителем перед погребением. Путь, занимавший не больше десяти минут пешком, с каждым проходящим годом становился словно длиннее и тяжелее и сокращался от ежемесячного до ежегодного ритуала, обычно под Рождество, которое для Снежка с тех пор казалось страшным праздником.

В тот сырой июльский день 1882 года Снежок и его сестра впервые увидели мертвого человека – это случилось за несколько лет до того, как мама отца, их бабушка, тоже опочила. Двух необычно притихших подростков с сухими глазами отвели в сарай на задах, там складывали трупы, – холодное и пасмурное место, где алебастровое тело Эрни Верналла казалось чуть ли не единственным источником света. С обращенным горе 'лицом, на бледном мраморе, как у торговца рыбой, с все еще открытыми глазами папа Джона и Турсы хранил выражение армейского новобранца, вставшего по стойке смирно на каком-то последнем парадном плацу: аккуратно

нейтральный, целиком сосредоточенный на какой-то дали, изо всех сил стараясь не привлекать пристального внимания офицера. Его беленая кожа – теперь под опасливо пытливыми пальцами Джона твердый и холодный шпон – стала цвета его волос, цвета простыни с высеченными, ниспадающими складками, накрывавшими голое тело чуть выше пупа. Джон и Турса уже не могли определить, где кончалась белизна отца и начиналась белизна смертного одра. Смерть обточила его, пропесочила и отполировала, преобразовала в резкий и прекрасный барельеф.

Таков был конец их отца. Они оба это понимали, хотя и не так, как понимали бы другие люди, для которых «конец» лишь синоним смерти. Для Джона и Турсы, натасканных покойным Эрном Верналлом, это был не более чем геометрический термин, как если бы речь шла о концах отрезков, улиц или столов. Бок о бок они в благоговении взирали на приковывающую внимание неподвижность, зная, что впервые видят строение человеческой жизни с торца. Оно разительно отличалось от бокового вида, который люди имеют при жизни, когда их еще можно застать в протяжении и видимом движении через время вдоль незримой оси Творения. Снежок и сестра стояли, лицезрея мертвого отца, и осознавали, что заглядывают в изумительное и страшное жерло вечности. Турса начала мурлыкать – хрупкий напев ее собственной торопливой и импровизированной композиции, растущие музыкальные фразы, зависающие между неестественно долгих интервалов, в течение которых, как знал Снежок, сестра слышала каскадный раскат дробящихся эхо, спешащих заполнить пробел. Он склонил голову и сосредоточился, пока не услышал того же, что слышала она, и тогда взял теплую влажную руку Турсы, и они вдвоем стояли в шепчущей пелене и трепете покойницей под предполагаемую музыку, одновременно величественную и бездонную.

Теперь, на скатах Ламбета, Снежок думал, что они с Турсой всегда по-разному относились к мировоззрению, внушенному отцом. Со своей стороны Снежок предпочел целиком погрузиться в шторм

переживания, нырнуть в новую раздавшуюся жизнь, как в детстве без колебаний нырял в железно-зеленую стену каждой набегающей волны на желтом берегу Маргейта. Каждый его миг был ревущей золотой бесконечностью, а Снежок кружился в сердце-омуте, крытый и лучезарный, за пределами смерти и вовне рассудка.

Турса же, с другой стороны, как она сама призналась ему вскоре после кончины папы, видела в блистательной буре брата всепожирающую силу, которая значила лишь разрушение ее более хрупкой личности. Она предпочла забыть о самых широких следствиях дурдомных уроков Эрн Верналла и сконцентрировать все внимание на одной узкой теме – прикладном применении новой геометрической концепции отца в звуке и его передаче. Она наловчилась слушать один-единственный голос в хоре, нежели рисковать тем, что ее засосет fuga, поглотившая Снежка. Она из всех сил держалась за себя, крепко цепляясь за якорь клавишного аккордеона – расцарапанного ветерана, зверя буро-коричневого окраса, которого Турса таскала с собой повсюду. В настоящий момент и она, и ее какофонический инструмент квартировали у родственников на улице Форта в Нортгемптоне, пока ее старший брат маятником проделывал путь между родиной и Ламбетом, проходя по шесть десятков миль туда и обратно.

Под ногами женщина со сценическим акцентом просила Луизу тужиться сильнее. Жена Снежка – ее толстые конечности и широкое лицо блестели от испарины, – только выла.

– А я, блядь, будто не тужусь, сдалось мне твое сраное «тужься»! О нет, простите. Прошу, простите. Я не хотела. Я не хотела.

Снежок души не чаял в Луизе, любил всеми фибрами души, каждой странной и искривленной мыслью, что полоскали праздничными вымпелами на ветру в ледовласой главе Снежка. Он любил ее за доброту, любил за крепко сбитое сложение, разом невзрачное и приятное глазу, как свежеиспеченный хлеб. Благодаря массе ее личности жена неизбежно была человеком приземленным, земным, укорененным в материальном мире улиц, счетов и

деторождений, тела и биологии. Ей было плевать на шпильки, небо или шаткость, она предпочитала очаг, стены и потолок высотам мужа – одержимость верхолазанием он унаследовал от покойного отца. Она покорялась гравитации – которую, как знал Снежок, он будет стараться превозмочь весь остаток своего необычного существования, – и тем самым становилась противовесом Снежка, спасительной привязью, не дававшей унести в небеса, как потерянному воздушному змею.

Взамен Луиза могла наслаждаться более отдаленными и в каком-то смысле безопасными ощущениями хозяина змея, глядеть с упавшим или воспарившим сердцем, как он справляется с каждым свежим порывом, вздрагивать и сочувственно прищуриваться в воображаемом ветре и свете, вчуже. Он знал, что через пятьдесят лет, после его смерти, она не будет переступать порог дома, отвергая небосвод, куда давно унесет ее разноцветного бумажного дракона, оставив за собой только воспоминания о ветре, что так упорно тянул за нитку, о стихийной силе, что наконец победила и вырвала Снежка Верналла из ее пальцев, хватаящих пустой воздух.

Все это, конечно, было в сейчас-потом, а внизу, в сейчас-сейчас, он слышал за криками Луизы и приглушенным ворчанием зрителей глухой штормовой рокот грядущей жизни дочери, приближающейся к земной остановке. Снежок задумался о кресте перешептываний и перетолков, что предстоит понести ребенку, пересудах о безумии в семье, точно сошедшем со страниц готического романа. Сперва ее прадедушку Джона, в честь которого назвали Снежка, а затем беднягу Эрна – дедушку, которого она никогда не узнает, – заперли в Бедламе. Снежок знал, что его не постигнет этот удел, но это не преуменьшит ни репутацию безумца, ни тяжелое наследие, что придется взвалить на себя рождающейся дочери. Опустив взгляд на квадрат мостовой, где вскоре появится ребенок, его и Луизы, он вспомнил жуткое чудо, заговорившее с отцом в соборе Святого Павла много лет назад; слова, которые, если верить Эрну Верналлу, положили начало сему необычайному разговору. Снежок рассеянно

улыбался, но все же чувствовал, как покалывают глаза горячие слезы, когда тихо повторял про себя эту фразу, наблюдая за бурной деятельностью на Ламбет-уок под ногами.

– Тебе придется очень тяжело.

Он имел в виду ребенка, жену, себя, имел в виду всех, кто когда-либо выбирался из утробы в место, где было ярче, холоднее, грязнее и не так уютно. Это, ЭТО, это место, это завихрение в супе истории – это будет для них очень тяжело. Это понятно и без снизошедшего с небес ангела. Всем придется очень тяжело, потому что они жили в подвижном мире смерти, утрат и бренности, мире постоянных видимых перемен, бурлящем пулеметами, моторными экипажами, о которых он слышал, размазанными картинами, развратными книжонками, новинками – всегда всякой всячиной. Очень тяжело придется Снежку, потому что он жил в мире, где все было навсегда, не кончалось, не менялось. Как объяснил его покойный отец, Снежок жил в мире как он есть. Как следствие он стал, вопреки своим всевозможным общепризнанным умениям, чокнутым и безработным. Стал человеком, который торчит на крышах со стеклянными дверными ручками в карманах.

Но, взвесив все это, Снежок чувствовал себя благословленным, а не проклятым. Нет смысла чувствовать себя иначе – в мире, где каждое мгновение, каждое ощущение тянется вечно. Лучше жить в бесконечном благословении, чем в бессмертном проклятии, и, в конце концов, именно от выбора взгляда на мир зависит, как проляжет узкая грань между адом и раем. Хотя его состояние – отчасти унаследованное, отчасти приобретенное – имело в материальном плане немало недостатков, их значительно перевешивали почти невообразимые достоинства. Он жил без страха, был способен покорять отвесные стены, не боясь покалечиться или умереть, – так как знал, что погибнуть ему уготовано не от падения. Смерть найдет его в длинной анфиладе комнат, словно купе в поезде, а рот Снежка будет забит цветами. Он

еще не знал, почему так, – только что так будет. До тех пор он мог рисковать, ничтоже сумняшеся. Как хотел, так и делал.

Свобода была одновременно тем свойством его состояния, которое Снежок ценил превыше всего, и величайшим противоречием. Он волен вытворять самые вопиющие безрассудства только потому, что все поступки уже расписаны в так называемом будущем, и потому что он был вынужден их вытворять. Если взглянуть объективно, он понимал, что истинный предел его свободы – свобода от иллюзий о свободе воли. Он не был отягощен уютным миражом, в который веруют остальные, заблуждением, позволявшим им гулять, бить жен или завязывать шнурки, когда заблагорассудится, будто у них есть выбор. Будто они и их жизни – не самый мелкий и абстрактный мазок кисточкой, не крапинка пуантилиста, зафиксированная и неподвижная в лаке времени, навечно застывшая на неизмеримом холсте, – часть замысла слишком обширного, чтобы его могли охватить мыслью или хотя бы взглядом его же составные части. Ужас и величие ситуации Джона Верналла – ужас и величие пигментного пятна, вдруг осознавшего свое место в углу шедевра: точки, которая понимает, что навечно останется на своем месте на раскрашенной поверхности, что она никуда не денется, и все же восклицает: «Как страшно и как славно!» Он знал себя, знал, что он такое, и знал, что несколько превозносит его над собратьями-закорючками на картине, которые не так чувствовали свое истинное несчастье, его грандиозность и множество дарованных им возможностей.

Он владел волшебством, не считая бесстрашия, поднимавшего его над кровельными холмами горизонта. Он без труда мог преодолеть невыносимо долгий путь или любое другое испытание на истощение, применяя техники, усвоенные от отца. Эрнест объяснял ему и Турсе, что наше ощущение пространства можно складывать так же легко, как мы складываем карту, чтобы совместить на ней две точки – скажем, Боро Нортгемптона и улицы Ламбета. Эти два места на самом деле необычайно легко свести друг к другу благодаря

неисчислимому множеству людей, уже проделавших этот путь и тем самым превративших складку в разболтанный и побелевший сгиб. Снежок прибегал к нему всякий раз, когда приходилось странствовать между Турсой в Боро и своей мамой с маленькими Посланником и Аппелиной в Ламбете. Нужно всего-то начать путь и затем, как научал папа, вознестись к другому мышлению, что двигалось, как события во сне, вне реалий минут, часов и дней. Время легко ложилось в эту старую знакомую морщину, и глазом не успеешь моргнуть, как уже прибываешь к назначению, с гудящими ногами, но без усталости, без воспоминаний о скуке – да и вообще без всяких воспоминаний. Эрнест преподавал детям, что в путешествии сознание проще сдвигать по оси протяженности, нежели чем расстояния, хотя башмаки ты сносишь одинаково скоро что так, что эдак.

На этом не исчерпывались изученные способности Снежка. Он знал будущее – туманно, не как пророк, но скорее узнавал его, когда видел, знал, чем кончится дело, только с ним сталкиваясь: так бывает со сценами в книге, которую пускаешься читать, позабыв, что она уже прочтена каким-то давнишним летом, и ощущаешь мучительное предвосхищение того, что ожидает на следующей странице.

Еще он видел призраков. Видел обычных – духов прошлых зданий и событий, врезанных в невидимую временную ось, фантомные постройки и сценарии, которые другие люди принимают за воспоминания. Видел он и более редких, но и более известных привидений – неупокоенных мертвых: терзаемые души, что не желали повторять свои мучительные жизни, но не были готовы или склонны переходить в следующее состояние. Иногда он улавливал их краем глаза – дымные фигуры, бесконечно кружащие по своим старым районам в поисках призрачных бесед, призрачной случки, в поисках призрачной еды. Всего год назад он видел тень мистера Дадда, художника, рисовавшего фейри, который обезумел и убил собственного отца. Сам Дадд умер в начале 1886 года в

Бродмурской больнице – заведении для душевнобольных преступников. В том случае Снежок видел, как фантомная форма художника стояла почти в раскаянии у ворот Бедлама, где Дадд когда-то находился в заточении. Снежок следил за слабым периферийным пятном, когда оно сорвало что-то равно неразборчивое с воротного столба лечебницы из обшарпанного камня и, похоже, съело. Мертвый художник, судя по расплывчатому намеку в позе и поведении, казался не столь одержимым или маниакальным, как при жизни, а, напротив, трезвомыслящим и преисполненным глубокого сожаления. Скорбное видение задержалось на несколько секунд, угрюмо жуя таинственную находку и глядя на мрачное строение, затем растаяло в сырой бесцветной кладке стены.

Художник Уильям Блейк, что жил выше по Геркулес-роуд около века назад, тоже знался и беседовал с существами из другого мира – с умершими, с ангелами, демонами, поэтом Мильтоном, который входил в Блейка течением через пятку левой ноги. Упоминания о четырехмерном и вечном городе ламбетского визионера порою казались столь близки мировоззрению Снежка – вплоть до точного количества измерений, – что иногда он задавался вопросом, не могло ли поощрять такие мысли какое-то свойство самого Ламбета. Возможно, часто размышлял он, из-за какого-то нюанса формы или положения района – если рассматривать его в четырех планах, а не трех, – округа становилась особенно благоприятной для конкретного настроения, для уникальной точки зрения, – хотя и понимал, что в его случае превалирующим влиянием было наследство. Он был Верналлом, а его отец Эрн приложил все усилия, чтобы Снежок с сестрой точно знали, что это влечет.

«Nomen est omen», – так объяснял их папа, неграмотный, но каким-то образом цитирующий выражения на латыни. Это же был довод – если его можно так назвать – в пользу наименования младших детей Посланником и Апеллиной: одно прозвание намекало на ангела-вестника, а другое – на нашу павшую мать Еву.

Nomen est omen. Имя есть знак. Эрн учил Джона и Турсу, что «наверху» есть место, где то, что внизу нам кажется только именем, во многих случаях может предстать должностью. Верналлы, как определил термин их отец, ведают гранями и углами, краями и канавами. Невысокий пост в небесной иерархии, но он незаменим и обладал своим сверхъестественным авторитетом. В понимании Снежка, по странным лингвистическим законам высшего измерения, о котором рассказывал Эрнест, «Верналл» было словом с коннотациями, близкими к слову «verger»: как в старом смысле – то есть человек, который следит за межами, так и в смысле духовной традиции – «жезлоносец», обладатель символа власти. Но «наверху» язык, если верить Эрну Верналлу, был формой словно бы взорвавшейся речи, и каждая фраза расправлялась в прекрасное и мудреное кружево ассоциаций. «Жезл» – rod – был как знаком должности, так и линейкой и мерой измерений – потому-то, предположительно, название verge приняли «роды» земли вдоль участков, полосы травы, оживающие с приходом весны, в день весеннего равноденствия – vernal equinox, что опять отсылает к фамилии Верналл. Этот аспект плодородия отражается и в староанглийском, где слово «жезл» – verge или rod – было сленговым наименованием для того, что мужчины прячут в штанах; по крайней мере, так преподносил этимологию их отец, который не умел ни читать, ни писать. В целом Верналл блюдет границы и пределы, периферию мира и неухоженные окраины здравого смысла. Вот почему, настаивал Эрн, Верналлы, как правило, – бредящие безумцы без гроша в кармане.

Взглянув на появление ребенка, которому суждена участь сия, Снежок позволил своему осознанию времени кристаллизироваться вокруг четверти дюйма на оси протяженности – эта мелочь представляла нынешний момент, – и все вокруг стало двигаться еле-еле, а течение событий – едва заметно. Вот очередной талант или недуг, который унаследовали они с Турсой, – средство зачаровывать мир до замирания. «Голубиный взор» – так называл дар их папа, не

объясняя, почему. Облака остановились и свернулись в синем соке неба, спрятав солнце, которое перевалило за пик и находилось чуть позади Снежка – скудное тепло лежало на плечах и затылке.

Дорога под его парашютом на Ламбет-уок стала садом скульптур, полуденные суэта и беготня замерли. Мусор и пыль, подхваченные мартовским ветром, оцепенели в дерзком вознесении, зависнув в воздухе различным пунктиром, так что незримый ток воздуха пометился трухой и стал видимым – стеклянная винтовая лестница, несущаяся над улицей. Сущая лошадь производила бусы невесомых топазов, крошечных золоченых корон на месте, где капельки поймало в процессе удара по липким булыжникам. Прохожие, полоненные моментом на ходу, теперь выстроились, как танцоры в диковинном балете, невозможно балансируя на одной ноге с весом, переброшенным вперед в незавершенном шаге. Нетерпеливые детишки парили в дюймах над квадратами «классиков» и ждали, когда закончатся их прерванные прыжки. Шейные платки мужчин и незаколотые волосы женщин разлетелись в неожиданном порыве, но так и остались, торчали жестко, как деревянные флажки на сигнальных будках у железной дороги.

Шум тоже замедлился, хоровой голос Ламбет-уок теперь доносился ленивыми волнами, словно через что-то вязкое, стал темным смазанным басом, аудиальным болотом. Бесшовный цокот копыт превратился в бесконечно гремящие удары по наковальне через продолжительные промежутки, словно в мастерской утомленного и невоодушевленного кузнеца, тогда как быстрые трели таинственной птичьей песни теперь звучали с темпом пустой и приятной беседы стариков за домино. Крики уличных торговцев с Принсес-роуд скрипели, как двери из историй о привидениях, раскрывающиеся с мучительной неспешностью перед каким-нибудь ужасом в кандалах. Два пса, подравшихся на Юнион-стрит, пародировали фоновый рокот промышленной машинерии, их лай растянулся в урчание закопанных двигателей, в гудящие обертоны насилия – в бесконечную вибрацию мостовых, которую редко

замечают, но она всегда есть. Среди всего этого наливалось контрапунктом дрожащее сопрано последнего крика бедной Луизы, перелившегося в арию. Беременная акушерка на коленях рядом с ней на замызганной улице осеклась посреди нового призыва к супруге Верналла тужиться и издавала протяжный рев минотавра, в котором Снежок узнал раздутую до треска гласную.

Жена Снежка казалась накачанной, как шарик, того гляди лопнет. Снаружи показалась почти половина головы младенца – синеватый разрыв, смазанный кровью, в распираемых половых губах Луизы, теперь невозможно разросшихся, словно болезненный круг, воротник пуловера. Тор.

В кошмарных чертогах Бедлама Эрнест Верналл придвигался к детям – последние клочки волос на голове были неухоженными и белыми, как живые изгороди на тропе овечьих гуртов. Голосом, опустившимся до драматического шепота, одновременно заговорщицкого и поспешного, он доносил до них важность этого доселе неслыханного слова, термина, чаще применяемого в архитектуре или стереометрии. Тор, объяснял им отец, – фигура в виде резиновой шины, получаемая в результате вращения конического диска по кругу, начертанному на смежной плоскости, или же объем, который охватывается подобным пространственным движением. Торы – по крайней мере, как их определял отец, – самая главная фигура во всем космосе. Все живые существа Земли, что могли похвастаться больше чем одной клеткой, по сути своей были торами, по крайней мере с топографической точки зрения; неправильные торы, масса которых сосредоточена вокруг центральных отверстий пищеварительного тракта. Их планета на зафиксированной орбите вокруг солнца, если отбросить иллюзию течения времени, описывала тор. Как и все остальные планеты и их спутники. Сами звезды, вращаясь в спиральной воронке галактики, были торами потрясающих масштабов с диаметрами в сотню миллионов лет. Эрнест поведал, что и сверкающая вселенная во всей своей полноте обращается вокруг точки в несотворенном ничто

(хотя у нас не существует средств замерить это движение относительно буквального ничего), и что если пространство и время представить однородной субстанцией, то все Божье творение можно считать тороидальным.

Вот почему, оказывается, скромный дымоход был такой всемогущей и тревожной конфигурацией. Отчасти поэтому старший сын Эрна Верналла так много времени проводил на крышах, среди вонючих труб: за ними нужен глаз да глаз.

Дымоход – с топографической точки зрения по сути своей вытянутый тор, – это материализация фигуры в ее самом ужасающем и разрушительном аспекте, это воплощение заключенной в ней великой губительной бездны, где центральное отверстие становится трубой крематория, с помощью которой можно легко избавиться от всего, что больше не отвечает требованиям; каменные или терракотовые пасти смерти зловонными миазмами отрыгивают в оскорбленные небеса покойников, сломанные кровати рамы и вчерашние газеты. Потому почерневшие дымовые трубы служат и социальным каменным мешком, куда заталкивают нижние классы, начиная с детей. Дымоходы тлели с запахом отвратительного дыхания пустоты. Четыре трубы, вставшие в ряд за спиной Снежка на коньке, были хрупкими оболочками, окружающими пустые бездны того же небытия, из которого люди приходят и куда уходят, были кривым отражением другого тора, что зиял между бедрами Луизы и проливал жизнь, тогда как они проливали ее противоположность.

Внизу – хотя женщина, помогавшая родиться ребенку Снежка, все отдавала приказ тужиться, теперь пойманная в ветреном шорохе шипящих согласных, – уже полностью показалась головка ребенка. Жена Снежка напоминала деревянные куклы-палочки с головой и конечностями на каждом конце – переворачивай как хочешь. Всматриваясь в блистательной патоке момента в кровавую макушку полурожденного младенца, Верналл понял, что эта точка зрения обратна торцовому виду на их покойного отца, который они с

сестрой наблюдали однажды в мертвецкой. Теперь жизнь – впервые на его опыте – предстала перед ним с другого конца. И если смотреть через этот конец захватывающего дух телескопа, зрелище было еще восхитительней и еще ужасней.

Он оглядел длинную инкрустированную трубку – завидный смертный век его дочери – и увидел, как ярко и прекрасны уже близкие корни кораллового дерева по сравнению с заскорузлой тьмой на ее далеком противоположном конце. Он видел полдюжины распускающихся наростов – ее собственных детей, которые расцветут и разрастутся от материнского стебля где-то на четверти его длины. Все шесть самоцветных отпрыска испускали благолепное сияние – повод для материнской гордости, – но когда он увидел самый ближайший, а значит, перворожденный побег – как его несравненную красу, так и краткость, – то почувствовал комок горя в горле, обжигающую соль в глазах. Такой драгоценный – и такой маленький. Теперь Снежок заметил, что другая ветвь, предпоследняя, тоже обрубается на несколько десятилетий раньше кончины его девочки-дочки, и спросил себя, не эти ли утраты объясняют насыщенную меланхолическую расцветку, различимую на дальнем конце человеческого туннеля.

Жизнь его дочери протягивалась больше чем на восемьдесят лет в то, что одни называли «будущим», а он называл «там». Мрачный и бесцветный дальний край дочери лежал в неузнаваемой для Снежка Англии – царстве блоков, кубов и слепящего света. Она умерла в предместьях Нортгемптона, одинокая, в чудовищном доме, который казался целой улицей, сжатой в одно здание. Он видел, как она лежит ничком в ярком коридоре, с толстыми щеками, пигментными пятнами, почерневшим от прилившей крови лицом. Она попытается добраться до входной двери и свежего воздуха, но predetermined сердечный приступ доберется до нее раньше и выбьет почву из-под ног. Его и Луизы любимая маленькая девочка. Кулек старых лохмотьев – вот на что она была похожа в том

коридоре, где упала в дюймах от дверного коврика без букв; ее найдут только спустя два дня.

Он не мог этого вынести. Это слишком. Снежок предполагал, что, поддавшись безумной роскоши теорий отца, он в каком-то смысле станет полубогом, станет мудрее и сильнее, чтобы справляться с прозрениями, станет неуязвимым к атакам обыденных чувств. Оказалось, все не так. Теперь он словно вспомнил, что в тот день, когда он стоял на крыше и лицезрел родовые муки Мэй в грязи в присутствии ее же одинокой смерти, уже врезанной в будущее, Снежок воистину осознает гнет обязанностей Верналла. Устрашающий вид на жизнь в перспективном сокращении – всего лишь взгляд из-за угла, и к нему лучше привыкать. В конце концов, на деле Снежок не более одарен или проклят, чем любой другой. Разве люди не говорят, как в опасной ситуации время для них словно останавливается? Разве не рассказывают о предвидениях, удачных догадках, сверхъестественном ощущении, что какое-то событие уже происходило? Разве не правда, что все испытывают эти ощущения, но по большей части предпочитают игнорировать – возможно, предчувствуя, куда могут завести подобные мысли? Все знают туда дорогу – э-ге-гей! И конечно, все родители знают, что в рождении ребенка заключается и его смерть, но в глубине души – возможно, сами того не замечая, – принимают решение не вглядываться в этот великолепный и трагичный кладезь, куда теперь вглядывался Снежок.

Он их не винил. Если вкратце, рождение – это преступление, караемое смертной казнью, с неопределенным сроком заключения. Только естественно, что люди пытаются притупить свое осознание столь ужасного обстоятельства – если не выпивкой, то уютной, теплой и шерстяной неопределенностью. Только от таких пылающих душ, как Снежок Верналл, можно с полным основанием ожидать, что они перенесут бурю бытия без шубы, а на ее сияние будут взирать не через матовое стекло, – лишь стоя обнаженными в резком бессмертном реве всего. Он тотчас же принял непоколебимое

решение, что не передаст своей дочери незамутненные знания Верналлов так, как папа передал их ему и Турсе. Почти рожденного ребенка ждала пара десятилетий счастья и безбедной красоты, прежде чем жизнь начнет навьючивать ее своим бременем. Он позволит Мэй насладиться принадлежащими ей по праву годами счастья, не омрачая их тенью предсказания неизбежного итога. Хотя в его состоянии были свои ограничения и пределы, и он не мог изменить то, что определено им обоим, он мог подарить своему первенцу хотя бы эту мелочь – благословенный бальзам неведения.

Теперь он позволил своему непоколебимому сосредоточению рассеяться, ослабив хватку на шкурке времени, чтобы мгновение струнулось, лошадь dokonчила ссать, мальчишки продолжали скакать. Замерший и замерзший гомон момента внезапно оттаял, так что вульгарный галдеж Ламбет-уок ускорился из бывшего бубнящего ступора – подобно восковому цилиндру, который замедлили и остановили, чтобы перемотать, и теперь его мелодия пьяно раскручивается обратно к обычному многогласию и крещендо.

– ...жься! – докрикивала акушерка. – Тужься сильнее! Уже выходит!

Последний вопль Луизы взобрался к зазубренному пику, затем изможденно сомлел и упал в объятия облегчения. Мокрая и серебристая, как рыбка, девочка без труда выскользнула в мир, в руки повитухи-самоучки, в поджидające полотенца и одеяла. По зевакам пронесся теплый шепот одобрения, как ветер – рябью по спокойному водохранилищу, а потом и его дочь провозгласила собственное прибытие нарастающим, заикающимся плачем. Луиза рыдала в ответ и спрашивала коленопреклоненную женщину, все ли хорошо, здоров ли ребенок, успокоенная в ответ мягким голосом, что это милая девочка и что ручки-ножки на месте. Солнце раздвинуло свои кучевые кулисы и пригревало шею Снежка, спустившись на нескольких градусах за спиной, отбрасывая широкую полосу прохладной тени на камни Ламбет-уок – сплюснутый треугольник с укороченным черным абрисом Верналла

на вершине. Небрежно, словно действие не было размеренно до последней доли секунды, Снежок опустил руки в нагруженные болтающиеся карманы куртки и извлек тяжелые резные ручки, взяв в каждую ладонь по холодному латунному стержню.

Он воздел обе руки так, как, по словам папы, поступали ангелы, желая утешить или возрадоваться, – движение голубя, поднимающего крылья, чтобы ударить ими и взлететь. Сверху хлынули потоки солнца, нарезались на ленточки о края хрустальных сфер. Стружка многоцветного сияния, лучи в таких тонких дольках, что можно было видеть их блестящие слои – синий, кровавый и изумрудный, опали на Ламбет-уок брызгами палитры, перьями окунутого в краску света, что задрожал на бордюрах и камнях, а ярче всего – в лоскуте тени, накрывшем с головой его жену и ребенка. Передавая вытертую и спеленатую новорожденную нервной матери, способствовавшая родам женщина наморщилась от удивления при виде одной такой переливающейся гепардовой кляксы, проплывшей по ее полотенцам и деликатным пальчикам. Испачканная самоцветами, она закинула голову, всматриваясь, чтобы определить источник феномена, и изумленно охнула, вслед за чем последовали ее примеру Луиза и люди на родильной мостовой, подставив лица павлиньему дождю.

Джон Верналл, безумный Джон Верналл, был безликим силуэтом на коньке с солнцем за головой, из-за белых волос словно охваченной огнями святого Эльма или фосфором, с вознесенными ввысь руками – сухотелый буревестник, вернувшийся после потопа с распотрошенными в заданных лапах радугами, лучистыми ручьями, струящимися меж сомкнутых огненных когтей. Спектр плеснул на замолкнувшую толпу светозарными и живыми крыльями мотыльков, разлился, но еще трепетал по сточным трубам, порогам, щекам и распахнутым челюстям. Новорожденное дитя перестало плакать, недоуменно прищурилось навстречу первому проблеску бытия, а его жена, освободившаяся от потуг и самозабвенная от роздыха, рассмеялась. Присоединились и другие из собравшейся толпы, один

даже заплодировал, но быстро бросил, пристыженный и одинокий, в звуках общего веселья.

Наконец Снежок опустил руки, вернув стеклянные ручки в карманы пиджака. С улицы снизу он слышал, как Луиза велела ему прекратить валять дурака, спускаться и посмотреть на их дочь. Выудив из-за торчащего уха спрятанный там кусочек пожелтевшего мела, он обернулся спиной к краю крыши и сделал три осторожных шага по коньку к высокому кирпичному дымоходу, нависавшему над ним. Размашистым и витиеватым почерком нацарапал на кладке: «Здесь был, есть и будет Снежок Верналл», – отступил на миг оценить свой труд. Его не смоет следующим дождем, который принесет с востока, но ливнем сразу после него.

Снежок вздохнул, и улыбнулся, и покачал головой, а затем спустился вниз, обратно на дорожку бесконечной музыкальной пластинки.

Ветер, что колеблет ЕЕ фартук

С мертоведкой на улице Форта была миссис Гиббс, и когда она послала за ней в первый раз, передник у той был накрахмален и белоснежен, а на подоле вышиты бабочки. Мэй Уоррен тогда исполнилось девятнадцать лет, она окаменела от страха на последней стадии родов, но даже через неожиданную боль и обжигающие слезы поняла, что таких женщин ей видеть еще не доводилось.

Все еще стояла стужа, и уличный туалет заледенел, так что последние два дня им приходилось сжигать свои дела на огне. В гостиной еще несло, но миссис Гиббс и носом не повела, скидывая пальто и демонстрируя изящный фартук – белый во мраке первого этажа, как фонарь, с летней мошкаркой розовой и оранжевой ниткой, поднимающейся по крепким бедрам и животу с зимним жирком.

– Ну-ка, голубка моя, посмотрим, что у нас тут, – ее голос был, как запеченный пудинг, густой и теплый, и, пока мать Мэй, Луиза, наводила свежий чай, мертоведка извлекла жестяную табакерку – маленькую, как спичечный коробок, с эмалевой миниатюрой покойной королевы на крышке. Загнув большой палец, чтобы получилась ямка на месте встречи ладони и фаланги, миссис Гиббс затем с великой точностью сыпанула щепоть душистой бурой пыли в образовавшуюся неглубокую полость. Подняв руку и опустив голову, она смела пороховую кучку в два смачных шмыга – по половине в каждую ноздрю, а затем оглушительно разрядила в носовой платок – сам по себе этюд в коричневых тонах. Улыбнувшись Мэй, она убрала жестянку и опустилась между ее коленей.

Молодая будущая мать ни разу не видела, чтобы женщина нюхала табак, и только было собиралась узнать об этой привычке побольше, как схватки выдавили вопрос из мыслей. Мэй заревела и застонала, и в дверях кухни появилась мама с чаем для миссис Гиббс. Она

сочувственно взглянула на дочку, но не могла удержаться и не заметить, что роды самой Мэй оказались передрягой куда хуже.

– Думаешь, тебе плохо, девочка? Ты и не знаешь, как я с тобой намучилась. Ты не в постели, потому что наверху у нас нету огня, вот и лежишь тут на кушетке, но хоть порадуйся, что не валяешься на Ламбет-уок, как я в свое время, пока твой папочка прохлаждался на крыше.

Мэй пыхтела, обожгла мать страшным взглядом и отвернулась к обоям за диваном, закопченным так, что узоры в виде пупырчатых роз в неверном домашнем свете превратились в грустных коричневых львиц. Она выслушивала это уже сотни раз – историю о том, как родилась на камнях мостовой, испещренных харчой и апельсиновой коркой, когда ее отец примостился, как горгулья, над улицей; словно мать даже отчего-то гордилась, что посадила семейное древо с корнями одновременно в доме призрения и доме для умалишенных.

Она услышала из передней комнаты приглушенный стук: капризничали ее братья или сестра – скорее всего, расстроились, что им пришлось безвыходно сидеть в зале. Сестре Мэй, Коре, недавно исполнилось шестнадцать и не терпелось узнать, что влекла за собой беременность, тогда как Джим питал противоположные интересы. Маленькому Джонни, доросшему до грязного возраста, просто свербело залезть женщине под юбку.

Ее мать, которая тоже услышала шум, вышла из комнаты, цокая языком, чтобы найти его источник, оставив Мэй один на один с миссис Гиббс. Смертоведка исследовала стыдные места Мэй, словно хрупкую книгу учета, внимательно, как поверенный или судья. Она, казалось, была выше мяса и месива – словно, думала Мэй, друид, бесстрастно режущий глотку агнцу на рассвете. Огонь в очаге – зеленоватый, из-за растопки дерьмом, – не столько освещал сцену, сколько придавал ей настроение тусклого оскала пыточной и шугал тени под стульями. С отсветом пламени на и без того багряной щеке женщина подняла взгляд на Мэй. Прекратив интимный осмотр,

прополоскала руки и вытерла их тряпкой, еле заметной улыбкой сказав, что все в порядке.

– Света бы нам поболее, верно, голубка моя? Статочно ли ребенку родиться в мире без тепла.

Взяв лампаду с каминной полки и сняв с нее молочное стекло, смертоведка зажгла спичку. Коснувшись вялого черного фитиля-гусеницы, она произвела маленький огонек таинственного голубоватого света, с фабричным запахом, безопасный и деловитый. Высокий цилиндр лампы – по-тигриному полосатый у основания от сажи, с изъяном в виде прозрачной трещины, – вернулся на муфту, так что комната погрузилась в бледное тепло-желтое свечение. Истрепанные занавески казались бархатным вином. Стеклянные поверхности комнаты засверкали, как дублоны, – роскошный блеск на зеркале и барометре, циферблате медленно тикающих часов с римскими цифрами. Темно-рыжие волосы Мэй запылали ярко, как утесник в сумерках, даже где пристали ко лбу или прилипли к влажному и блестящему лобку. Гадкая родильная яма будто преобразилась в картину Джозефа Райта из Дерби, как его воздушный насос или кузница. Мэй хотела что-то сказать о переменах, но на полуслове ее прервали новые схватки, самые изматывающие.

Когда наконец ее крик разбился, как волна – на галечный шепот в ручейках всхлипов, испуганная девушка медленно поняла, что миссис Гиббс рядом, держит ее за руку, сочувственно убаюкивает и мурлыкает – такая природная и уютная, как пчелы. Пальцы ее на ощупь казались сухими, как бумага, и хотя бы прохладными в сравнении с руками Мэй. Голос ее напомнил Мэй о яслях.

– Боже ты мой, голубка, как же тебе, поди, больно. Но уже недолго осталось, если я что-то понимаю. Просто отдохни чуток, пока я выскочу на минутку побеседовать с твоей мамочкой. Лучше ей оставаться там и утихомирить твоих братьев с сестрой, а мы с тобой разберемся ладком промеж собой, чтобы никто свой нос не совал. Если только, конечно, сама не хочешь ее кликнуть?

Миссис Гиббс словно читала мысли Мэй. Та любила мать яростной, свирепой любовью, как любила всех своих родных и друзей, но в эту минуту обошлась бы без повестей Луизы о страданиях еще страшнее или куда более обильно отошедших водах, словно она состязалась в боли и сраме с дочкой. Мэй живо подняла взгляд к миссис Гиббс.

– О-о, нет, если вы не против. пусть она побудет там. Если услышу, как она вдругорядь рассказывает, как я вылезла на чертовой Ламбетуок, пока папка смотрел с чертовой крыши, богом клянусь, не удержусь и шею ей скручу.

Миссис Гиббс хихикнула – чрезвычайно приятный звук, словно по ступенькам скатились яблоки.

– Ишь ты, а нам этого не надо, верно, голубка? Сиди смирно и я вмиг обернусь.

На этом смертоведка выскользнула из комнаты, забрав с собой слабый перченный аромат табака – незамечаемый, пока не пропал. Мэй лежала на кушетке и тяжело пыхтела, прислушиваясь к приглушенному разговору в зале. Короткий возглас протеста, который, по мыслям Мэй, наверняка озвучил их Джонни, – затем голос миссис Гиббс, резкий и отчетливый, несмотря на кирпичи и штукатурку.

– На твоём месте, голубок мой, я бы голоса не поднимала. Коли смертоведка говорит, значит, делай. Мы приводим жизнь. Мы все про все о ней знаем. Мы ежились от сквозняка на каждом ее конце. То, чего ты страшишься, нам хлеб с маслом, и нам недосужно воспитание невежественных неотесанных мальчишек. С места сходить не смей, пока я занята.

Раздались подавленное согласное бормотание, шаги и стук двери в коридоре, потом миссис Гиббс вернулась в комнату, и ее щеки, как у Панча и Джуди, все шли морщинами от улыбки, словно не она только что напугала двенадцатилетнего мальчика до полусмерти. Ее голос, всего минуту назад ледяной от строгости, стал сладким и вызревшим в дубе, как настойка.

– Ну вот, другое дело. Кажись, мы все уладили. Твой младшенький взялся было спорить, но я прикрикнула разок.

Мэй кивнула:

– Наш Джонни любит чудить. Трещит без умолку, как станет звездой на сцене или в мюзик-холле, а только как – и сам не знает.

Миссис Гиббс засмеялась:

– Ну, выступать он уже умеет на славу, артист такой.

Тут и вернулась волна боли, хлестнув кости, как морской плавник, прежде чем унести в отлив, который, как знала Мэй, мог уволочь ее прочь из этого мира. По сей день при родах умирала одна из пяти матерей, и Мэй становилось дурно от одной мысли, сколько раз эти мучительные тяготы были последним, что знало в жизни несметное число женщин. Уйти от горячки к смерти, зная, что ребенок, которого ты так долго носила, наверняка последует за тобой, зная, что родословная твоей семьи раздавлена в пыль в шестернях мира, кровавых жерновах, грохочущих до скончания времен. Она стиснула зубы от ужаса. Захныкала и вся натянулась, пока ее лицо не покраснелось, а веснушки едва не попрыгали со щек, чем заслужила беспощадную отповедь миссис Гиббс.

– Тужишься! А кто тебе велел тужиться? Сделаешь только хуже и себе, и ребенку. Дыши, девочка. Только дыши. Как собачка дыши.

Мэй попыталась сопеть, но ударилась в слезы, когда схватка ослабила силу, улеглась лишь до остаточной боли. Она знала, что умрет в этой самой комнате, вдыхая горящие экскременты – красавица Мэй Уоррен, которой нет и двадцати. Она испытала ужасное предчувствие, приближалось что-то грандиозное – необыкновенное, парящее поблизости, – и приняла это за собственный конец. Не сразу она заметила, что вцепилась в руку смертоведки, пока миссис Гиббс присела у дивана, смахивая росу родовых мук Мэй, утешающе воркуя и шепча:

– Не страшись. Все у тебя получается. Все будет хорошо. Моя мама была смертоведкой, и ее мама, и бабушка. Не буду божиться, что мы ни разу не теряли мать или дитя, но теряли мы их редко. Я –

ни разу. Ты в надежных руках, голубка моя, какие только бывают. К тому же ты из старой здоровой семьи. Ты же девочка Снежка Верналла.

Мэй поморщилась и пожала плечами. Ей всегда было стыдно за папу. Все знали, что он полоумный – по крайней мере, с прошлого года, когда его судили за то, что он влез на крышу Гилдхолла, просидев все утро в пабе, и там, пьяный как сапожник, приобнял за пояс каменного ангела и декламировал вздор озадаченной толпе, сгрудившейся на улице Эгидия. Никто и не знал, чем он только думал. Незадолго до того он работал в ратуше, на лесах под ее потолком, ретушировал старые фрески по краям, но, когда об этой эскападе раструбили все газеты, стало ясно, что больше его туда никогда не пригласят. Народ любил потеху, но это никак не выручало: из-за поведения Снежка они жили в нищете.

Из-за подобных фокусов он редко находил работу, но не это досадовало Мэй крепче всего. Прodelки и близко не были тем препятствием к достатку, каким оказались принципы ее папы – принципы, которых никто не мог взять в толк, кроме самого папы и ее сумасбродной тетушки. Два года назад, в тысяча девятьсот шестом, один земляк, восхищавшийся умениями ее отца, предложил ему деловое партнерство в стекольной компании, которую завел. Теперь он зарабатывал тысячи, а тогда обещал папе Мэй половину доли при одном обязательном условии: сумеет Снежок две недели не переступать порог паба – должность его. Папа долго не думал. Сказал: «Вот еще, будут мне указывать, что делать. Ищи себе партнера в другом месте». Чертов дурак. Мэй так и плюнула бы – подумать только, она рожала на улице Форта, а у стекольщика был дом в три этажа на Биллингской дороге. Когда бы папа не ходил мимо него с мамой Мэй, он получал головной убой за то, что наделал, – обрек семью на захудалое существование, причем, скорее всего, на много поколений. Мэй пробормотала кое-что из этого миссис Гиббс.

Все еще улыбаясь, смертоведка покачала головой:

– Его в наших краях очень уважают, хотя могу понять, какое это испытание, если с ним жить. Дело в том, что он Верналл. Как и ты. Такое слово, как и «смертоведка», не услышаешь нигде, кроме Боро. И даже при этом половина не знает, что это значит. Это старые имена, и скоро их не останется на свете, голубка моя, как не останется и нас, кто их носит. Прояви уважение к отцу и к тетушке прояви, мастерице аккордеона. Сомневаюсь, что мы еще встретим подобных людей, особенно раз они так легко разбрасываются деньгами. Да, ты бы могла быть богачкой, но сама подумай. Ты бы стала слишком хороша для венчания со своим Томом, и где бы тогда был твой малыш? Что ни делается – все к лучшему, по крайности в наших местах.

Мэй вняла словам миссис Гиббс, когда услышала о своем муже. Том Уоррен относился к Мэй с таким уважением, какого она никогда не встречала в мужчинах. Ухаживал за ней так, словно она голубых кровей, дочка короля, а не деревенского дурачка. Смертоведка была права. Будь Мэй богата, она бы решила, что Том гонится только за большим фунтом. Живи она на Биллингской дороге, он бы к ней и на десять ярдов не подошел. А этот ребенок, которого Мэй хотела так отчаянно, оказался бы очередной ненаписанной страницей.

Не то чтобы она все простила Снежку. Он же так себя вел не из соображений о благе Мэй, а из собственных прихотей. Откуда ему было знать, что она выйдет за Тома, если только он сам не предсказатель? Как и всегда, он поступал, как ему вздумается, без единой мысли о других. Как в тот раз, когда вдруг сорвался с места, прошел всю дорогу до Ламбета и пропал на несколько недель, и чем там занимался – никто и не догадывался. О, конечно, он не тунеядствовал и приносил домой жалованье, но Мэй знала, что ее мама Луиза подозревала, будто у него есть и другие женщины. Мэй казалось, что мама вполне может быть права. Он был блудливым сукиным котом, который мог бить баклуши со своими приятелями, а сам все строил глазки их женам. Мэй надеялась, Том, который замечательно спелся с тестем, не подхватит эту слабость на передок.

Этим утром, когда все началось, они вместе улизнули в паб, чтобы не мешаться. Хотя прогнала их сама Мэй. Не хотела, чтобы Том видел ее такой.

Сладкий, как масло, свет из очага лежал густым слоем на латунных шишках, венчающих решетку. Сгорбленная тень, отброшенная миссис Гиббс на стену в бумажных розочках, словно принадлежала великанше или самой Судьбе. В полудреме от усталости Мэй чувствовала, как надвигается что-то великое, что-то осязаемое все ближе, но затем на ее утробе сомкнулся жестокий кулак и вырвал все хлипкие нити мыслей, как волосы.

В этот раз, хотя мучения были еще страшнее, Мэй хотя бы не забыла дышать, пыхла и хватала воздух не хуже, чем – вспомнилось ей – во время зачатия этого болезненного узелка. Мысль показалась комичной, и она рассмеялась, но снова свалилась в крик. Миссис Гиббс подбадривала мягким шепотом. Говорила, какая Мэй храбрая и умница, и сжимала ладонь, пока волна не обмелела.

Перепутанные детали мозаики из мыслей Мэй разбросало по ковру воображения – тысяча цветных и чуть разных фигур, которые она не могла не перебирать, находя все уголки, затем все краешки, отличая синие кусочки с небом от земли, крапчатой, как пасхальное яйцо. Она терпеливо восстанавливала картину самой себя – кто и где она и что происходит, – но тут снова протопал носорог деторождения, которого она не ждала так скоро после предыдущего набега, и, грубо махнув рогом, свел на нет все ее усилия собраться. Смертоведка отпустила руку и переместилась к концу лежанки, между коленей Мэй. Голос миссис Гиббс был твердым и командным, распоряжался без лишней тревоги.

– А вот теперь можешь стараться и тужиться. Чуть-чуть – и готово. Терпи, голубка, терпи. Уже недолго осталось.

Мэй сомкнула губы на клокочущем крике и выдавила его в направлении чресл. Ей казалось, будто она пыталась высрать мир. Она толкала и тужилась, хоть и верила, что так из нее вывалятся все

внутренности. Боль наливалась, распирала шире, чем, как Мэй знала, она была там, внизу. Она лопнет, треснет, ее разорвет напополам, придется зашивать от носа до зада. Вой, пойманный за сжатыми зубами, звенел в ушах песней, как чайник, и вырвался, чтобы наполнить тесную золотую каморку, когда все внутри вскипело и убежало пеной.

Миссис Гиббс сдавленно охнула. Вышла головка ребенка, и если бы Мэй могла заглянуть за горизонт талии, то разобрала бы рыжие кудри, как огоньки, куда ярче ее собственных. Миссис Гиббс выпучила широко распахнутые глаза, словно обратилась в камень. Придя в себя, смертоведка подхватила сложенное полотенце и наклонилась, готовая принять дитя. Но почему она так бледна? Что пошло не так?

Момент словно плыл перед глазами, скользил из яви в сон и обратно. Ей показалось или в какой-то момент по дому пронесся крепкий ветер, хотя двери и окна были накрепко закрыты? Что потревожило занавески, скатерть и вышитых бабочек, роившихся на хлопающем подоле фартука на смертоведке? Голос миссис Гиббс, словно доносящийся из-за шквала, говорил, что еще чуть-чуть, вот еще крайний рывок, – и тут неудобства последних девяти месяцев вышли из Мэй на диван, растаяли в облегчение, блаженнее и всеохватнее, чем она могла себе представить. Миссис Гиббс взяла острый нож, вонзенный ранее лезвием в свежую бурю почву у корней герани, пожухшей в горшке на подоконнике. Одним решительным движением она отхватила пуповину.

Мэй пыталась сесть, вспомнив выражение лица миссис Гиббс, когда вылезла голова ребенка.

– Он здоров? Что случилось? Что-то случилось?

Голос Мэй охрип – словно надтреснутый скрип. Смертоведка с сумрачным видом подняла обернутое в полотенце тельце, лежавшее на руках.

– Очень боюсь, что так, голубушка моя. Страсть какая красота заключена в твоём дитянке.

Мэй протянула руки к ребенку, но не смела смотреть, щурясь из-за лампы и огня, на один бок младенца, медный от света, и второй – сливочный. О чем говорит эта женщина? Она с внезапным приступом паники осознала, что ребенок не плакал, и тут услышала, как он пищит. Она почувствовала, как тяжелый сверточек в руках шевелится, и, дрогнув, рискнула раскрыть глаза, словно перед пышущей печью или жаром полудня.

Головка была как бутон розы: хотя и туго сморщенный, Мэй знала, что он распустится во всем великолепии. Глазки, призрачно-голубые, как яйца малиновки, были большие, как брошки, и сосредоточились на глазах Мэй. Их цвет идеально дополнял пылающе-рыжие волосы новорожденного – ясное летнее небо в конце террасы в обрамлении нортгемптонских кирпичей, озаренное последними лучами заходящего солнца. Кожа младенца была белоснежной, блестела, как под тальком из толченого жемчуга, припорошенная блеском на бедрах, пальчиках – терпеливое полотно, готовое к мягкой кисти времени, обстоятельств и характера. Взгляд сраженной молодой матери обегал первенца, не зная, где и задержаться, но всегда возвращался, как привороженный, к этим глазам, необыкновенному лицу. Как будто всю Вселенную вместили в калейдоскоп, блестящий колодец, в котором с каждой стороны сомкнулись обожающие глаза матери и чада, отраженные и навечно застывшие в янтаре момента. Мэй наблюдала, как розовый цветок губ птенчика раскрывается вокруг первых булькающих звуков, как сбегает в уголке блестящая капелька ртутной слюны, повиснув на нитке. Вокруг матери и ребенка словно зависла аура, лакируя картину, придавая лоск ренессанса. Она поцеловала коричневую маковку, пахшую теплым молоком в постели на ночь, и поняла, что держит в руках сокровище. Каким-то чувством осознала, что принесла в мир такое изысканное видение неземной прелести, что даже напугала миссис Гиббс.

Запоздало, словно задней мыслью, еще Мэй осознала, что это девочка.

– Как назовешь ее, голубка? – спросила миссис Гиббс. Мэй огляделась пустым взглядом, уже успев позабыть, что в комнате есть кто-то, кроме нее и крошечной дочурки.

Она договорилась с Томом, что мальчика они назовут Томас, в честь него, а девочка получит имя в честь нее.

– Мы думали назвать ее Мэй, как меня, – ответила она. Уши ребенка словно наострились при звуке имени, круглая головка каталась, беспокойно ворочаясь на желтом от лампы нимбе полотенца. Миссис Гиббс кивнула, слабо улыбнулась, словно еще не вполне оправилась от ошеломляющего очарования малышки, ее воздействия, как от красоты Медузы. Неужели она боялась? Мэй оттолкнула такие мысли. Чего можно бояться в этом драгоценном цветке? Бредни, только разыгравшееся воображение Мэй, сверхъестественная околесица вокруг деторождения, которой она нахваталась от мамы. Не так уж много сотен лет минуло с тех пор, как таких, как миссис Гиббс, заставляли приносить клятву, что они не будут ворожить над ребенком, молвить во время рождения какие-либо слова или подменять в колыбели на фейри. Еще до того, как их стали звать смертоведками, еще когда эти женщины носили другие имена. Но то было тогда. А сейчас – 1908 год. Миссис Мэй Уоррен – современная девушка, которая только что произвела на свет чудо. Она будет его кормить, лелеять, холить, и это важнее, чем слушать сказки старух или читать знамения в чайниках или голосе повитухи.

Ребенок, свернувшийся на пышном бюсте Мэй, засыпал. Мать обернулась к миссис Гиббс:

– От нее глаз не оторвать, от моей дочули, правда?

Миссис Гиббс усмехнулась, вытирая свои вещи:

– Что правда, то правда, голубка моя. Так и есть. Я ее всю жизнь не забуду. А теперь накройся-ка, пока сюда не ворвалась охочая до встречи ватага.

Смертоведка наклонилась между ног Мэй и одним движением, ловким и неброским, рывком извлекла послед за обрезанную пуповину, спрятав прежде, чем Мэй даже осознала, что он вообще

был. Пока миссис Гиббс избавлялась от него, Мэй привела себя в порядок, как могла. И тогда, как и предсказывала миссис Гиббс, в комнату набилась семья.

Мэй удивилась тому, как смиренно они себя вели – вошли на цыпочках и переговаривались шепотом. Ее мама Луиза ворковала и хлопотала, а Джим весь покраснел то ли от стыда, то ли удовольствия, лучась улыбкой и радостно кивая. Кору привела в смятение внешность малышки, и лицо ее стало, как ранее у смертоведки. Даже Джон лишился дара речи.

– Она красавица, сеструха. Просто чертовская, – вот и все, что он вымолвил.

Луиза заварила всем еще по чашечке чая на скорую руку, и Мэй не отказалась. Это был горячий нектар, крепкий, с сахаром, и, пока мама и сестра осторожно передавали ребенка по кругу, Мэй благодарно отпила из чашки. Атмосфера – тихое бормотание с несчастными сонными вскриками ребенка Мэй – была как в церкви, и ее не покорило даже возвращение домой Тома и отца.

От папы пахло пивом, но Том все утро потягивал одну половинку пинты, и потому его дыхание было свежим. Мэй отставила чай, чтобы поцеловаться и обняться, прежде чем Том взял их ребенка. Он стоял с пораженным видом, все переводил взгляд между двумя Мэй. Его выражение говорило, что он не мог поверить, как им повезло с такой картинкой, а не ребенком. Он вернул малышку, а потом отправился покупать Мэй цветы.

Ее папа, под мухой, отказался держать малышку, что избавило всех от хлопот его отговаривать. Он пропустил шесть пинт до полудня и две на обед, купленные благодаря карикатурам и грубым шаржам – Снежок рисовал смешные картинки с любого желающего, и за эти оскорбления расплачивались элем. Даже несмотря на творчески плодотворное утро, Мэй казалось странным, что ее отец ушел в такой загул из-за рождения внучки. Не менее редким оказалось то, что выпивка привела его в меланхоличное настроение. Он не мог отвести взгляда от малышки Мэй, хотя и видел ее через

дрожащую линзу слез – совсем рассиропился. Она и не знала, что где-то в пучеглазой, тарачившейся, тщедушной фигуре отца есть место для сентиментальности. Она обнаружила, что теплеет к нему душой. Вот бы он всегда был таким.

Теперь Снежок смотрел на старшую Мэй. К этому времени его сморщенные веки переполнились, и влага заструилась по щекам.

– Я и не знал, милая. Даже не мечтал. Знал, что быть ей красой, под стать тебе и твоей маме, но не таким золотцем. Ох, как же тяжело, девочка. Настолько она хороша.

Снежок положил ладонь на руку Мэй, сказал с плохо скрытым надломом в голосе:

– Люби ее, Мэй. Люби ее, что есть мочи.

И с этими словами отец бросился вон из комнаты. Они слышали, как он топчет вверх – наверняка проспаться после всего выпитого пива. Все это время миссис Гиббс сидела молчком, попивая чай и открывая рот, только если к ней обращались. Мама Мэй, Луиза, сунула смертоведке два шиллинга – вдвое больше обычной платы. Миссис Гиббс твердо вернула один.

– Ну-ну, миссис Верналл, со всем уважением, – будь она страшненькой, я же не стала бы просить вдвое меньше.

Склонившись у дивана, она простилась с Мэй, которая отблагодарила смертоведку за все, что та сделала.

– Вас как бог послал. Когда будет на подходе следующая, обязательно кликну вас. Я твердо решила, что хочу двух девочек, а потом и хватит. Потому надеюсь, вы вернетесь, когда подойдет срок второй дочурки.

В ответ Мэй удостоилась вялой улыбки.

– Поглядим, голубка моя. Поглядим, – отвечала миссис Гиббс.

Она попрощалась с семьей – дольше всего прощалась с крошкой Мэй, – затем сказала, что провожать ее не надо. Надела шляпу и пальто. Было слышно, как она ступает по коридору и, повозившись с замком, выходит на улицу, со щелчком прикрыв дверь.

* * *

По поверхности реки со светом поплыл плач расстроенного аккордеона и поднял рябь на сентябрьском дне. На кованом железном мостике, перекинутом между речным островком и парком, стояла Мэй с восемнадцатимесячной дочкой на руках. Отсюда можно было различить тетушку Турсу, далеко-далеко – коричневая точка, шагавшая по противоположному берегу парка к скотному рынку.

Хоть ее было не разглядеть, Мэй слишком легко могла представить во всех жутких подробностях тетушку, которую, наряду с папой Снежком, считала худшим позором семьи. Она так и видела птичью головку Турсы с гордым клювом, бледные и пронзительные глаза, серые волосы клоками такого вида, словно у нее дымятся мозги. На ней обязательно будут коричневое пальто и коричневые туфли, чертов аккордеон на шее – вылитый старый мореход с альбатросом. И день и ночь она бродила по улицам и играла экспромты, пальцы бегали по серым клавишам громоздкого инструмента. Мэй бы не так сгорала от стыда, если бы у Турсы был хотя бы намек на музыкальный слух. Но тетушка лишь поднимала безбожный тарарам, выколачивала нарастающие и опускающиеся аккорды, смазанные в хрипящий визг баньши, обрывавшийся у внезапной пропасти частых случайных пауз. С полудня до полуночи семь дней в неделю слышалась ее леденящая душу какофония, струилась среди дворов и дымоходов, распугивала кошек и будила детей в колыбелях, шугала птиц и провозглашала, что Верналлы проснулись. Стоя на мосту, Мэй наблюдала, как пятнышко шумной сепии – ее тетушка-безумица, – как цапля, выбирала путь по берегу в парке Беккетта, где вдоль променада Виктории пенились листья. Когда Турса и ее мрачный аккомпанемент смолкли вдали, Мэй отвернулась к светловолосому чаду на руках.

Рыжие волосы, вьющиеся на голове дочери при рождении, выпали и вернулись белым золотом, сиятельными сережками нимба, что казались даже великолепнее жаркой меди, с которой она родилась. Уж точно еще более неземными. Юная Мэй хорошела с каждым днем, к вящему удивлению Мэй и Тома. На нее становилось больно смотреть. Оба родителя сперва думали, что ребенок кажется чудесным только им, что друзья просто делают комплименты, но постепенно осознали по реакции, которую она вызывала, где бы ни появлялась, что это беспримерная красота, красота, вызывавшая хор вздохов, нервное благоговение, словно зрители видели вазу династии Минь или первого представителя новой расы.

Мэй помурчала и приблизила ребенка к себе, чтобы коснуться лбами – галька к глыбе, – и чтобы их ресницы почти бились друг о друга, как два влюбленных мотылька. Дитя гугукнуло в неудержимой радости – единственный ее ответ почти на все вокруг. Казалась, она просто счастлива жить и, похоже, находила окружающий мир не менее изумительным, чем тот находил ее.

– Вот так. Гадкий шум наконец затих. Это все твоя полоумная тетушка Турса, грохочет на всю улицу своей тарихтелкой. Но она уже ушла, так что мы с тобой можем дальше гулять по парку. На островке бывают лебеди. Лебедушки. Хочешь посмотреть? Так, вот что я тебе скажу, дай-ка мама залезет в карман, угостимся еще радужными конфетами.

Копаясь в боковой прорези на юбке, пальцы отыскивали маленький рожок из коричневой бумаги с завернутым верхом, купленный в лавке Готча на Зеленой улице по дороге в парк. Одной рукой, пока вторая была занята ребенком, Мэй развернула и открыла кулек, достала три шоколадные конфеты в кондитерской обсыпке – одну для малышки, две – себе. Она поднесла сладость к губам дочери – те открылись с комичной готовностью, чтобы Мэй поместила лакомство на крошечный язычок, – затем сжала два оставшихся шоколадных диска в один, словно в виде объектива, а цветные пятнышки испещряли поверхность их боков, словно на картинах французских

художников. Забросила в рот и рассосала до гладкости – ее любимый способ есть радужные конфеты.

С маленькой Мэй у плеча, как отложенной для отдыха волынкой, она прогулялась по невысокому мосту на редкую и пожелтевшую траву острова. Островок – всего два или три акра – рассекал Нен на северном приверхе, и два ее потока воссоединялись единой рекой на южном ухвостье. Край острова обходила протоптанная тропинка, окружая заливной луг в центре, который иногда становился прудом, но не сегодня. Сойдя с моста, Мэй повернула направо и начала обход речного берега против часовой стрелки, с ветром в темно-рыжих волосах и с дочкой, чавкающей шоколадкой у шеи. В лазури над головой скользнули облака, так что тень Мэй сперва поблекла, затем выскочила снова, но в остальном денек был вёдрый.

Теперь справа от нее была вода и за ней широкий простор парка Беккетта – с позеленевшим ото мха старым павильоном, скамейками, кустами и общественными туалетами, деревьями, обожженными осенью и начавшими заниматься огнем. Зеркальная лента реки бежала под темным навесом ветвей, отражая под медальным переливом своей зыбкой груди трещины умбры, расплывчатую полынь, обрывки неба таусинного цвета.

Если бы сегодня было воскресенье, то у облезшего сарая, построенного между тесными вязами на берегу ближе к скотному рынку, парни брали бы напрокат лодки. Чаще всего в выходные, если погода подходящая, в парке можно встретить половину Боро – в лучших чепчиках, рука под руку, визжащих и смеющихся, если шутки ради гребут вверх по течению через цепкие пальцы ив. Трубочист с Зеленой улицы, мистер Пейн, который приобрел заводной граммофон, брал его с собой на взятую лодку. Так красиво – слышать музыку на улице; отрадно видеть, как мистер Пейн играет старые славные песенки, дрейфуя вниз по реке среди воркующих парочек и плескающихся семей. Сразу казалось, что все не так уж и плохо.

Мэй поладила с мистером Пейном. Однажды он показывал ей, какие цветы вырастил у себя на заднем дворе, что был чуть ниже по улице от лавки Готчера Джонсона. В кирпичный прямоугольник втиснулось больше красок, чем она видела в жизни, вырывалось из разномастного набора кустарных горшков. Из консервов распускались гвоздики. Из аптекарских банок переливалась календула. Потрескавшиеся ночные горшки до краев наполнились пахучими букетами жасмина. Мэй нравились люди на Зеленой улице. Она часто думала, как они с Томом возьмут там приличный дом внаем, подальше от улицы Форта и ее мамы с папой, зато поближе к затейному трубочисту с Эдемом в сотейниках, чья мурлыкающая «Виктрола» очаровывала гуляющих на воскресных берегах. И он души не чаял в малышке Мэй. А разве может быть иначе?

Речная тропка плавно загибалась налево, ее трава стала дырявым ковром, протертым фланирующими стариками, возлюбленными, прогульщиками. Мэй последовала по ней к противоположной стороне островка, неторопливым шагом, пока тонкий подол юбки обвивал лодыжки на ветру. Прильнув головкой к плечу матери, маленькая Мэй бегло болтала, необремененная такими малозначительными заботами, как смысл или слова.

Разумеется, Мэй понимала, что, хотя ее ребенком восхищались почти повсеместно, восхищение некоторых могло выражаться в невыносимо жестокой манере. Однажды днем несколько месяцев назад она с Томом прогуливалась в этом же парке, наслаждаясь воскресным досугом с младшей Мэй. Они иногда несли ее, а иногда позволяли семенить между ними, держа за руки, приподнимая в замедленных подвисяющих прыжках над лужами и кустиками лютиков. Навстречу шествовала прилично одетая пара, держась стороной от людей из Боро – воротили нос, как это было в их привычке. Женщина в перчатках и с зонтиком уставилась на Уорренов и их дочку и заметила мужу, проходя мимо: «Знаешь, меня

порою удручает видеть, что такое чудное дитя растет у людей их сорта».

Ну и хамство. Беспардонное, беспардонное хамство, как же можно так говорить. Том выкрикнул в их удаляющиеся спины «Что-что?», но они шли себе, как ни в чем не бывало. Мэй помнила, как в ту ночь плакала, пока не уснула, с горячим и красным от стыда лицом. Можно подумать, они с Томом животные, которым нельзя доверить девочку. Мэй знала по одной только интонации той женщины, что если бы пара могла найти способ отнять у Мэй дочь, то они бы так и сделали, не раздумывая. Происшествие распалило тогда яростную решимость, пламя, что обожгло горло и саднило глаза. Она им всем покажет. Она вырастит Мэй на зависть любой богатейке.

Теперь мать и дочь бродили по северной оконечности острова, ближе к скотному рынку, мешкая у кромки реки, убежавшей к Летнему лугу и югу. Глаза девочки, чисто-голубые, как зимнее небо, увлеченно всматривались в срединную топь, где у почти опустевших гнезд еще щипали траву и чистились утки с головками зеленого, бутылочно-изумрудного цвета. Вдали коротко и кротко пожаловался заводской гудок.

У тупоносых туфель Мэй лежали призрачно-зеленые листья со странными наростами на сорванных стебельках. Если раздавить их ногтем, можно увидеть личинок – потомство (или так однажды объяснял папа Мэй) мелких черных мушек, что откладывали яйца в почку, уродуя ее и превращая в так называемый выплывок. Скверная мысль, но куда лучше, чем ее первая мысль: что черви и опарыши каким-то образом росли на деревьях – признаки смерти, противоестественно расцветающие на лиственных ветвях, символизировавших жизнь. Не считая больных листьев, берег был усеян всяким прочим сором: собачья какашка, выбеленная диетой из обглоданных костей, пустая пачка из-под десяти сигарет «Крейвен А» с черной кошкой-символом в полдюйма размером на размокшей картонке, оставшейся на милость островным птицам.

Помимо того, лежали здесь штаны – женские панталоны на траве в корнях дерева, белые и смятые. Какая-то парочка удалилась сюда подальше от газовых огней променада Виктории, заглушив журчание речки стопами, а потом не прибралась за собой, когда закончила. Мэй поцокала языком, хотя до свадьбы они с Томом забавлялись точно так же – в ночи у реки, он сверху, – затем посиживали здесь и беседовали, привалившись к дереву. Положив голову на грудь Тома, она слышала его сердце, и оба смотрели на другой берег протоки – кустарники и железную дорогу, тянущуюся отсюда до аббатства в Делапре. Мэй слушала его, молчаливая и охваченная восхищением, пока он рассказывал про историю – предмет, который больше всего любил в школе. Вся Война роз, объяснял он, вся война между Ланкастерами и Йорками разрешилась на земле через реку от места, где теперь прогуливалась Мэй. Короля пленили на пустоши, которую Боро по сей день считали своим задним двором. А она раскинулась на траве, удивляясь в полусне, какие большие дела повидали эти поля, тихому голосу ее будущего мужа, семя которого стыло на одуванчиках. От воспоминания у Мэй потеплело между ног, так что пришлось остановиться и тряхнуть головой, чтобы снова вполне сосредоточиться на пятничном дне с дочкой. Она продолжала путь, обходя ухвостье острова и двигаясь обратно по направлению к мосту.

Возвращаясь на основную территорию парка, она озиралась, не видно ли поблизости Турсы. Однако тетушка давно скрылась, как и прочие прохожие. Быть может, увела их за собой, как Гамельнский крысолов, несуразным наигрышем на аккордеоне, хлопая коричневым пальто, пока серые волосы развевались, как горящая сажа в дымоходе. Мэй рассмеялась, и младшая Мэй присоединилась.

Из всех пешеходов она видела только матерей или гувернанток у Крайних ворот и больницы, толкающих коляски у колодца Беккетта в восточном углу парка. Снобы. Даже их слуги не терпели Мэй, косились на нее так, словно ей не терпится свистнуть их сумочку,

хотя сами-то родились не выше ее... хотя, строго говоря, это не так. Мэй вылупилась на грязной обочине и потому не могла сказать, что кто-то родился ниже ее.

Но это же не значит, что она плохая мать. Не значит, что та женщина права. Мэй лучше печется о своей дочке, чем эти ветреные дамочки – о своих. Мэй берегла дочь даже с чрезмерным усердием – по крайней мере, если верить доктору. Вышло так, что маленькая Мэй все время простужалась – кашляла да сопливила, как многие дети. Врач, который приходил ее осмотреть, доктор Форбс, рассердился, что за ним шлют так часто, и вызвал старшую Мэй на серьезный разговор. Он вывел мать на ее же порог и показал на простую девчонку по соседству, которая сидела дальше по улице Форта на холоде, устроив чаепитие на холодных неровных плитах и разливая черную воду из луж в чашечки куклам.

– Видите? Этот ребенок здоровее вашего, потому что мать пускает ее играть на улице. Ваша девочка, миссис Уоррен, живет в такой чистоте, что не может выработать сопротивления к заболеваниям. Дайте же ей испачкаться! Разве в народе не говорят, что перед тем, как умереть, приходится поесть землицы?

Ему-то легко говорить, с его докторским домом на Конном Рынке. Ему или его жене никто не попеняет, что они не годятся в родители ребенка, как ляпнула та старая корова про них с Томом. Его дети, знала Мэй, могли с ног до головы изгваздаться, но никто и слова не скажет. Не на него показывают пальцами, не его жена засыпает в слезах от унижения. Деньги избавляют от подобного. Доктор не знал, каково им приходилось.

Тут младшая Мэй завозилась в руках матери и скорчила рожицу. Это была ее самая скверная – впрочем, и она бы посрамила любое произведение искусства. Даже если удача переменится и малышка Мэй навсегда останется такой, она все равно переплюнет «Мисс Пирс». Причиной беспокойства ее дочери, более чем вероятно, было желание съесть радужных конфет. Мать полезла за кульком в карман юбки, обнаружив, что тех осталось только три. Отдав одну дочке, она

сжала пару других в очередной сэндвич для себя. С миниатюрным видением на изгибе руки Мэй-старшая продолжала шагать мимо оград и туалетов к навозному концу променада Виктории. Солнце было ниже. Время шло. Ей не хотелось долго продержаться девочку на улице, несмотря на совет старого Форбса. Мэй недавно избавилась от кашля, потому свежий воздух в парке казался хорошей идеей, но и перестараться не следовало. Лучше засветло вернуться домой, в тепло, а дорога предстояла неблизкая. Выступив из-под деревьев чайного цвета, они свернули по извилистому променаду налево и пошли через ароматы скотного рынка к пухлому корпусу железного газгольдера.

Мэй прошла гостиницу «Плуг» на другой стороне дороги у устья улицы Моста, шагала прямо, пока пара не достигла основания Подковной улицы, где и свернула направо, начиная долгий подъем на холм вдоль этой восточной пограничной линии в грязные радостные объятия Боро, в гостеприимные руки в саже. Солнце было монгольфьером, опускавшимся на сортировочную станцию вокзала. Ветер взбивал бледный творог прически дочери, и мать порадовалась, что вывела ее сегодня погулять. В воздухе было разлито ощущение, возможно, принесенное рассветом или осенней прохладой, словно эти часы – какой-то прощальный драгоценный взгляд – на лето или на день, – из-за чего они казались вдвое безупречнее и приятнее. Даже Боро со стертymi кирпичами пытались принарядиться. Богатство свежерастворенного света позолотило черепичные крыши и канавы, заиграло ослепительной накипью на дождеборниках. Клочки сиреневого облака над улицей Беллбарн казались кусочками афиши, сорванной, но оставшейся местами приклеенной к великой марките темнеющего синего цвета над головой. Мир казался таким насыщенным, таким значительным, как картина маслом, по которой шла Мэй со своей малышкой кисти Гейнсборо на руках.

За цокотом и скрипом Подковной улицы, за булыжниками в волокнистых оливковых пятнах лежал пустырь, где когда-то была

церковь Святого Григория, – так однажды рассказывал папа Мэй. Ходили сказки о старом каменном кресте, что сюда принес из Иерусалима монах, чтобы отметить центр своей земли. Крест поместили в алькове церкви, и несколько веков это было святилищем, куда люди совершали паломничества. Его называли рудом в стене. «Руд» означало крест, но в разуме Мэй все спуталось со словом «грубый», и потому каменный крест ей представлялся простым или шершавым, выбитым примитивными инструментами из твердой серой скалы, необделанным и библейским. Монаха прислали ангелы – так он объявил. Тогда ангелы в Боро были обычным делом, а сейчас совсем пропали, если не считать маленькой Мэй. Давно не стало церкви, и только близлежащая улица Григория напоминала, что она вообще тут стояла. Теперь пятачком правили буддлея да крапива, первая – с толстыми, мясистыми опавшими лепестками, вторая – подняв белые старческие головы к последним скудным лучам солнца, загоревшись цитриновым цветом на кончиках. Подумать только, центр земли.

Малышка хихикнула, прижавшись к боку Мэй, и мать обернулась посмотреть, что тут смешного. Выше по холму, где Конный Рынок и Подковную улицу перерезали Золотая улица и Лошадиная Ярмарка, образуя перекресток, на углу у Дворца Варьете Винта к стене прислонился статный молодой человек, отворачиваясь и лукаво оглядываясь, словно играя с маленькой Мэй в «ку-ку».

Он словно зачаровал ее дочь, и, присмотревшись, Мэй была вынуждена признать, что зачаровываться было чем. Невысокий, но стройный, он казался гибким, а не жилистым, как Том. Волосы были чернее его туфель – пружинистое гнездо раскрученных лакричных ленточек. Еще темнее словно девичьи глаза, а длинные ресницы кокетливо трепетали, чтобы подразнить ребенка. В восторге от себя, подумала Мэй. И в восторге от нее.

Она знала этот тип и их стратегию с ребенком: начать разговор через малыша, чтобы авансы были не так очевидны. Из-за прогулок с Мэй за последние полтора года она успела такого послушаться. С

очаровательным отпрыском иногда и самой отрадно стать предметом внимания. Мэй не возмущалась из-за присвиста или подмигивания – главное, чтобы не от пьяни или хамов. А если и так, их она умела одернуть – умела постоять за себя. Но если мужчина оказывался презентабельным, как вот этот, она не видела никакого вреда в том, чтобы немного пофлиртовать или поговорить минут пять. Не потому, что разлюбила Тома или присматривалась к другим, но в юности она была настоящей красоткой, и с тех пор иногда скучала по взглядам и комплиментам. А кроме того, приблизившись к этому малому, Мэй вдруг померещилось, что ей знакомо его лицо, но, хоть что ты делай, она не могла вспомнить, откуда его узнала. А если она ошибается, тогда это дежавю – чувство, словно что-то уже происходило раньше. К тому же дочери Мэй как будто нравился этот парень с талантом смешить детей.

В следующий раз, обернувшись с деланной застенчивостью, чтобы стрельнуть глазами на маленькую Мэй, он обнаружил, что теперь на него смотрит и ее мать. Мэй заговорила первой, перехватив инициативу, заметила, что у него появился новый почитатель, а он в ответ ляпнул какую-то глупость, что сам стал почитателем девочки. А ведь не хуже собеседницы знал, что это только слова и что он положил глаз на взрослую Мэй, но в это притворство можно было поиграть вдвоем. Кроме того, теперь он видел, что она замужем.

Парень расхваливал малышку Мэй до небес, но по большей части казался искренним, когда говорил, что она попадет на сцену, станет знаменитой красавицей своего времени и тому подобное. Он сам выступал на сцене, сыграет позже в Дворце Винта, а пока что прохлаждался на углу с сигаретой, хотел нервишки успокоить. И на женщин поглазеть, подумала про себя Мэй, но не стала говорить этого вслух, потому что беседа ей нравилась. Она представила себя и крошку Мэй. В ответ он предложил звать себя «Овсенем», а это прозвище она не слышала много лет – с тех пор, как в детстве жила на юге Ламбета. Тут в разуме Мэй завертелись колеса, и она поняла, где уже видела этого Овсеня.

Он тогда был мальчишкой возраста Мэй, жил на Западной площади у дороги Святого Георгия. Она его видала на прогулках со своими мамой и папой и признала по красивым глазам. У него был брат – постарше, насколько она помнила, – но стоило ей все это выложить, как он уставился на нее, точно увидел привидение – из прошлого, которое, как думал, оставил позади. Он смотрел с таким видом, словно его разоблачили. Конфуз и удивление, потешно вытаращенные глаза рассмешили Мэй. Не ожидал он такого. Отхватил больше, чем мог прожевать. Она еще немного позабавилась, потом, пожалев, перестала морочить ему голову и призналась, что тоже родом с Ламбета. Он вздохнул с облегчением. Очевидно, принял ее за сивиллу или оракула, а не просто сбежавшую кокни вроде себя.

Когда его поставили на место, Овсень как будто понял, что незачем пускать пыль в глаза, и их разговор на углу стал непринужденнее и теплее, без всякой необходимости чиниться. Они потрепались о том о сем – амбициях ее брата Джона на сцене, истории Дворца Винта, рядом с которым стояли, и прочем, – он, она и малышка Мэй в веселой компании, пока небеса Боро превращались из парчи в сапфир. Наконец дочь заворочалась на руках, и, памятуя о том, что радужных конфет не осталось, Мэй поняла, что лучше вернуть девочку домой, к сэндвичам с мясным паштетом и чаю. Распрощалась с обаятельным клоуном и пожелала ему удачи с вечерним выступлением. Он велел ей присматривать за маленькой Мэй. Ей не показалось это странным – на тот момент.

Хотя подъем по Конному Рынку не занял много времени, после нескольких часов прогулок ребенок в усталых руках Мэй казался тяжелее. Когда она поднималась мимо благородных домов, резиденциями врачей под теплым светом, ей стало интересно, какая принадлежит доктору Форбсу. За раздвинутыми шторами на пухлых софах рядом с ревушим огнем сидели дети, вернувшиеся из школы, ели маффины либо же читали полезные книги. Ее уколола обида на папу. Если бы он не погнушался должностью директора, если бы хоть

раз старик подумал о ком-нибудь, кроме самовольного себя, то там могли бы сидеть она и маленькая Мэй, сытые и довольные, дочка – на ее коленях, читала бы сейчас книжки с тиснеными обложками и вставными страницами с разноцветными картинками. Мать фыркнула и свернула на улицу Святой Марии.

Небо на западе набрякло фингалами после того, как ему намял бока день, лиловея до темноты над крышами Пикового и Квартового переулков. Мэй даже опешила – как резко падают ночи ближе к концу года. Улица Святой Марии во мраке казалась прибежищем нечистой силы. Двери в альковах всасывали тени, а растрескавшиеся ворота складских дворов звенели на цепях. Мэй подняла ребенка перед собой, словно белокурую свечку в сгущающихся сумерках.

Надо сказать, она нисколько не удивилась, когда узнала, что именно здесь двести с чем-то лет назад разгорелся великий пожар. Вокруг ощущалось какое-то кипение, словно готовое в любой момент излиться во вред – и ахнуть не успеешь. Несомненно, так повелось еще со времен Гражданской войны, когда здесь разбили бивак круглоголовые, а Кромвель и Фэрфакс столовались на Лошадиной Ярмарке, параллельно улице Марии, прежде чем на следующий день отбыть к Несби и предрешить судьбу короля Чарли и страны. Не потому ли Пиковый переулок так называется, что здесь делали пики? По крайней мере, так говорил папа Мэй. Она продолжала путь через улицу Доддриджа, к Меловому Дому. Преподобный Доддридж, который здесь проповедовал, хотя и не был ужасной разрушительной силой, как старый Оливер Кромвель или как пожар, все же стал разжигателем по-своему, сражался за нонконформистов и бедноту и пришелся кстати к смутьянскому духу места. Мэй шагала через заросший могильник, надеясь, что дочь не мерзнет.

В Меловом переулке, у западной стены часовни, та начала брыкаться и тыкать пальцем в странную дверь на высоте, словно желала знать, зачем она нужна.

– Меня не спрашивай, милая, сама ума не приложу. Давай-ка лучше отведем тебя домой и затопим печь к приходу твоего старого доброго папочки.

Не считая отрывки, юная Мэй не ответила, и Замковая Терраса привела их на Бристольскую улицу. Горящие на дальнем конце фонари значили, что где-то поблизости обретался мистер Бири, ходил от столба к столбу с длинным шестом, поднося к вершине газовых фонарей и придерживая пламя около горелки, пока не займется огонек. Казалось, будто он рыбачит во тьме с маленьким червячком-светлячком вместо наживки. Дитя Мэй что-то мяукнуло при виде отдаленных зеленоватых проблесков, словно это фейерверк с римскими свечами.

Они не останавливались, направляясь к повороту на улицу Форта, когда из-за спины Мэй с неосвещенной террасы донеслась деревянная канонада – треск, словно кто-то позади волочил по ухабистым булыжникам доску. Голос, густой как бульон, окликнул: «Эгей, миссис Мэй и мисси Мэй! Дамы, вы наверняка жуировали по всему городу, раз только теперь возвращаетесь домой!»

Это был Черный Чарли, с Алого Колодца, хозяин драндулета – велосипеда с тележкой и веревками на колесах вместо шин. Грохот, слышанный ранее, издавали деревянные бруски, которые он надевал на ноги вместо тормозов. Мэй рассмеялась при его виде, но потом выговорила за то, что он их так пугает, хотя по правде не напугалась. Он был местным чудом, она его любила. Он привносил в окрестности толику волшебства.

– Черный Чарли! Чтоб тебя черт побрал, я аж подскочила! – она заявила, что следует ввести закон, по которому черные будут носить бенгальские огни после темноты, чтобы было видно, когда они подкрадываются, а потом сама поняла, какую глупость сказала. Перво-наперво, в округе не было черных. Только он один – Черный Чарли, Генри Джордж. А еще она знала, что в ее колкости смысла не больше, чем если бы он сказал, что белым следует черниться, чтобы он видел их днем. Впрочем, он и не обиделся. Только рассмеялся и

рассыпался в обычных похвалах малышке Мэй, рассказывая, какой она ангелок и все такое прочее, – этот комплимент Мэй отмела. Ангелы были для нее в основном большой мозолью – без них не обходилось безумие клана Верналлов. Ее папа, дедушка и чокнутая тетушка хором твердили, что ангелы существуют, а это, на взгляд Мэй, говорило само за себя. Никто не относился к этой ерунде серьезно – по крайней мере, никто из местных. Со времен того старого монаха, который принес сюда крест из Иерусалима. Единственный ангел в округе, за исключением маленькой Мэй, был белым и каменным, на крыше Гилдхолла, – это с ним братался ее папа, когда напился. А кроме того, Мэй такие мысли пугали – великие крылатые субчики, надзирающие за жизнями людей и знающие все, что случится, наперед. Они, как привидения и тому подобное, напоминали о смерти или о том, что жизнь – большое, туманное, ошеломляющее место, которое убьет тебя, стоит выйти за порог. Мэй не забивала голову неземными материями. И вообще, ангелы – снобы и осуждают ее, как та парочка в парке Беккетта, не сомневалась Мэй.

Она еще поболтала с Черным Чарли, а маленькая Мэй, благослови ее Бог, держалась изо всех сил, звала его Чар-Чар и хватала за бороду, белую и курчавую. Наконец они отпустили его катить себе дальше по Бристольской улице, с которой он выкрикнул прощание глубоким голосом янки, – домой на Алый Колодец – на эту улицу Мэй ходить не любила. Там у нее мурашки бегали по коже, вот и все, хотя никакой причины на то не было. Был там по воскресеньям забавный зверь Ньюта Пратта, напивался у «Дружелюбных рук», но не поэтому Мэй страшилась улицы. Может, из-за какого-то кровавого названия, или потому, что у Алого Колодца держали чумную телегу – с высокими окнами со свинцовым переплетом: они пропускали свет, но не позволяли увидеть уезжавших в лагеря на окраинах города бедолаг с алой лихорадкой или еще той болезнью, которую Мэй не умела толком произнести. Из-за чего бы старый холм ни действовал ей на нервы, а можно уверенно сказать, что улицу Алого Колодца не

назовешь самым любимым местом Мэй в округе. Наверное, она еще передумает через пару лет, когда будет подниматься туда каждый день и водить малышку Мэй в Ручейную школу, но до того будет обходить за версту.

Мэй свернула налево, на улицу Форта, где уже не было мостовой – просто каменные плиты от стены до стены. Конечно, она знала, что дальше путь идет направо, до начала улицы Рва, а потом спускается к Банному ряду, но все равно родная улица казалась ей тупиком, куда не может проехать транспорт и где все равно нет ничего такого важного. Теперь дочь скакала в веснушчатых руках Мэй с пронзительным восторгом – ребенок уже узнал ряд домов, вдоль которого они шли. Мэй цокала по грубым перекошенным камням мимо дома своих мамы и папы – номера десять. Из их передней в трещины косо навешенной входной двери просвечивал газовый фонарь; окно зала темно, пусто, не считая украшений.

Джонни, Кора и ее мама с папой в этот вечерний час наверняка сидели за чаем в гостиной, лакомились хлебом с джемом и кусочком пирога. Она дошла до собственного дома – номер двенадцать – и открыла незапертую дверь одной рукой, не опуская Мэй на пол, пока не вошла. Сперва зажгла газокалильный фонарь, потом запалила огонь в очаге, сунув дочку в высокое кресло, пока сама пошла доставать консервы из жестяного буфета для хранения мяса [47] на вершине подвальной лестницы. Заварила малышке чай и подала ужин, прежде аккуратно срезав с хлеба корочку. Маленькая Мэй медленно умяла сэндвичи, не торопясь и насвинячив, а мама не теряла времени и свернула славный рулет с луком и печенкой, поставив в печь для себя и Тома.

Затем вечер пролетел незаметно. Вернулся с работы из пивоварни Том, с пятничной зарплатой в руке, чтобы как раз успеть пожелать спокойной ночи маленькой Мэй, пока ее не унесли наверх в кровать – «на яблоки и груши к дяде Неду» [48]. Дальше они с Томом поужинали сами, потом разговаривали, пока тоже не отправились ко сну. Обнялись, стоило задуть свечу, и Мэй попросила Тома задрать ее

ночнушку и влезть на нее. Это было их любимое время – вечер пятницы. На другой день никуда не надо вставать спозаранку, а если повезет, девочка проспит достаточно, чтобы Мэй и Том успели еще разок потрахаться поутру. Под своим мужчиной Мэй едва ли вспоминала о том малом у Дворца Винта.

В субботу кашель дочери вернулся, и казалось, ей стало тяжело дышать. Они послали за старым Форбсом, днем в воскресенье, когда планировали гулять в парке. Доктор пришел – как всегда, жалуясь на испорченный выходной, но, завидев маленькую Мэй, тут же замолк. Кожа ребенка приобрела желтоватый оттенок, который, как они оба надеялись, им только привиделся.

Он сказал, что у малышки дифтерия.

Вызвали фургон с вершины Алого Колодца. Маленькую Мэй приняли на борт, и он уехал. Окна со свинцовым переплетом по бокам были задраны слишком высоко, чтобы заглянуть внутрь. Копыта и колеса едва гремели по немощеной улице, когда единственный лучик света, освещавший сердце Мэй, забирали на чумной повозке.

* * *

Когда миссис Гиббс пригласили второй раз, она пришла в фартуке другого цвета – черном, тогда как предыдущий был девственно-белым. Когда Мэй вспоминала его позже, ей казалось, что у него был расшитый подол – египетские жуки виридианового цвета вместо бабочек. Впрочем, это все разыгралось ее воображение. Простой черный фартук, без прикрас.

Мэй сидела в одиночестве в зале. Маленький гробик на двух стульях, как доброволец из публики гипнотизера, лежал у окна в другом конце комнаты. Спящее лицо малютки казалось серым, его заливал пыльный свет, процеженный тюлем. Когда детка проснется,

оно будет сиять, как обычно. О, хватит, подумала Мэй. Просто хватит. Потом снова затряслась и заплакала.

Самое жестокое – что ее привезли домой. Через неделю ребенка Мэй вернули на улицу Форта из далекого больничного лагеря, а потому родители решили, что все будет хорошо. Но что они знали о дифтерии? Они даже не умели произнести это слово и звали болезнь «диф», как все остальные. Они не знали, что она протекает в двух частях и что большинство переживают первую только затем, чтобы их забрала вторая. Ослабев в начале болезни, люди не могли найти сил, когда она останавливала их сердца. Особенно, говорят, маленькие дети. Особенно, подумала Мэй, если мамы держали своих мальчиков и девочек в чистоте. Если мамы переживали, что люди скажут, будто эти мамы не годятся воспитывать ребенка, а потом только доказывали, что те люди правы.

Это она виновата. Она сама знала, что виновата. Она возгордилась. Гордыня до добра не доводит, все так говорят – и так оно и есть. Мэй казалось, словно она выпала из жизни, прекрасной жизни, что была у нее всего две недели назад. Выпала из своей мечты, своих надежд. Выпала из той женщины, за которую себя принимала, в этот ужасный момент и эту комнату, к гробику и чертовым громким часам.

– О, бедная моя, хорошая. Ягненочек мой. Я здесь, любовь моя. Мама рядом. Все будет хорошо. Я не позволю плохому... – Мэй осеклась. Она не знала, что хочет сказать, ненавидела собственный бессильный голос, раздающий пустые, уже нарушенные обещания. Сколько раз она успокаивала ребенка, говорила, что всегда будет ее беречь – священные обеты, которые дает каждая мать, – а потом так вероломно подвела дочь. Говорила, что всегда будет рядом с маленькой Мэй, а теперь даже не знала, где это «рядом». Всего восемнадцать месяцев, больше им не отвели провести вместе; дольше они не смогли сохранить ей жизнь. Они вошли в тот трагический и эксклюзивный клуб, о котором люди сочувственно

перешептываются, но все же предпочитают держаться подальше, словно Мэй попала в траурный карантин.

Она даже не думала, пока сидела в комнате. Мысли больше не ладились, не вели никуда, куда она была бы готова отправиться. Ее наполняла бессловесная, бесформенная боль и огромный масштаб этой маленькой коробочки.

В половике у очага прожжены черные дыры, которых она не замечала прежде этого дня. Распускается плетеная подставка под ноги. Почему всему обязательно приходит конец?

Дверь, как обычно, была закрыта на замок, и Мэй не услышала, как вошла смертоведка. Только подняла взгляд от коврика – а миссис Гиббс уже стояла у стула, и пылинки на фоне ее фартука казались толчеными крыльями черного мотылька. Словно предыдущих восемнадцати месяцев вовсе не было, словно миссис Гиббс в тот первый раз так по-настоящему и не ушла из дома. Только сменились освещение, фартук, улетели бабочки, день вышитого лета сменила ночь. Найди отличия между картинками. И ребенок у Мэй тоже изменился. Исчезла ее медноголовая деточка, а вместо нее оказалась эта твердая белокурая кукла. И сама Мэй – очередная перемена. Она была уже не той девушкой, что рожала ребенка.

На самом деле при ближайшем рассмотрении Мэй поняла, что вся картина стала иной, состояла из одних отличий. Лишь смертоведка оставалась прежней, хотя и надела новый передник. Щеки ее, как апельсины в рождественских чулках, нисколько не изменились, как и выражение, которое говорило все, что только хочешь услышать.

– И снова здравствуй, голубка моя, – сказала миссис Гиббс.

«Здравствуй» в ответ было отлито из свинца. Оно покинула уста Мэй и ухнуло на циновку – слиток речи, тупой и бесцветный, из которого не построишь разговора. Смертоведка аккуратно обошла его и продолжила:

– Если не хочется говорить, голубушка, то и не говори. Но если это тебе нужно, а ты не знаешь, как, то расскажи мне все, что твоей душе угодно. Я тебе не родная и я тебе не судья.

Единственным желанием Мэй было отвернуться, хотя она и признала, по крайней мере внутренне, что миссис Гиббс задела за живое. В последние два дня ей не с кем было поговорить по-настоящему, – разве что с самой собой. Она не могла сказать Тому и двух слов, не разрыдавшись. Они доводили друг друга до слез, хотя оба ненавидели плакать. Это слабость. А кроме того, Тома не было рядом. Он работал. От мамы Мэй, Луизы, тоже не было никакого проку, и не только потому, что мама легко то и дело ударялась в слезы. Скорее, Мэй словно подвела мать. Не стала хорошей матерью в свой черед, не продолжила ткать родительский гобелен. Спустила петли и опозорила семью. Она не могла посмотреть им в глаза – а они не могли помочь. А попытка тетушки вовсе кончилась ужасной сценой, которую Мэй выталкивала из памяти.

В итоге Мэй осталась одна. В этом тоже виновата она, как и во всем остальном, но теперь ей некому было поведать, что творится на душе, о страшных мыслях и идеях, слишком скверных, чтобы произносить вслух. И все же говорить надо, а рядом миссис Гиббс – незнакомка вне клана Мэй и любого другого, насколько понимала Мэй, не считая только самих смертоведок. Миссис Гиббс казалась вне всего, такая же осторожно безучастная, как небо. Ее фартук, глубокий и тайный, как ночь или как колодец, был сосудом, куда Мэй могла опустошить весь ужас, чтобы он не звенел в думах многие годы. Мэй подняла воспаленные красные глаза, только чтобы встретить серые глаза пожилой женщины.

– Простите. Я не знаю, как мне быть. Не знаю, как жить дальше. Завтра днем ее похоронят, а потом у меня ничего не останется.

Голос Мэй был ржавым, скрипел после простоя, – голос карги, не двадцатилетней девушки. Смертоведка подтянула расплетающийся стул, села у ног Мэй и взяла ее за руку.

– Ну-ка, миссис Уоррен, выслушай меня. Не надо мне говорить, будто ничегошеньки у тебя не осталось. И сама даже в мысли не бери. Если ничего не осталось, чего же стоит вся жизнь твоей дитяти? Или все наши жизни, коли на то пошло? Либо они целиком

имеют ценность, либо ничего не имеет. Или ты жалеешь, что вовсе ее родила? Ты бы предпочитала не видеть меня и однажды, лишь бы не видеть дважды?

Она прислушалась и поняла, что это правда. Если подать так, спросить напрямую, не лучше ли, если бы маленькая Мэй совсем не родилась, мать могла только глупо покачать головой. Вялые рыжие пряди упали непричесанными на лицо. Нельзя сказать, что у нее ничего не останется, – остались восемнадцать месяцев кормежки, отрыжки, походов в парк, смеха и слез, смены маленькой одежды. Но у нее по-прежнему не осталось Мэй. Остались воспоминания о ее девочке, любимых выражениях лица, жестах, любимых звуках, но они ранили знанием, что к списку не прибавится новых. И это была лишь эгоистичная часть тоски – она жалела себя из-за того, что потеряла. А нужно больше жалеть ребенка, который отправился во тьму совсем один. Мэй подняла безнадежный взгляд на миссис Гиббс:

– Но как же она? Как же моя Мэй? Мне хочется верить, что она в раю, но ведь нет? Так только детям говорят про кошку или собаку, когда найдешь их с переломанным хребтом на улице.

На этом она снова заплакала, вопреки себе, и миссис Гиббс подала ей платок, потом сжала руку Мэй своими сухими пальцами – словно на ладони Мэй закрылась Библия.

– Я и сама не очень-то верую в рай или то, что там у нас внизу. Чушь какая-то. А знаю я только, что дочь твоя наверху, и веришь ты мне или нет – дело не мое и не ее. Просто она там, голубка моя. Вот и все, что я знаю, и я бы так не говорила, если б не была уверена. Она наверху, где все мы будем. Осмелюсь сказать, твой папа это уже тебе толковал.

От упоминания об отце Мэй вздрогнула. Он и впрямь так говорил. Теми же самыми словами. «Она наверху, Мэй. Не страшись. Теперь она наверху». На самом деле, задумавшись, она поняла, что иначе он о смерти никогда не отзывался. Ни он, ни его родня, никто в округе. Никогда не говорили «в раю» или «с Богом», ни даже «на

небесах». Говорили «наверху». Загробная жизнь казалась вторым этажом с ковриком.

– Правда ваша, он в самом деле так сказал, но что это значит? Вы говорите, это не как рай в облаках. А где же тогда оно, это «наверху»? Какое оно?

В собственных ушах Мэй голос прозвучал обиженным, злым из-за того, как миссис Гиббс самоуверенна в таком страшном вопросе. Она сама испугалась своего тона и думала, что смертоведка оскорбится. К ее удивлению, та лишь рассмеялась:

– Если честно, там примерно так же, голубка моя, – она обвела рукой кресло, комнату. – А чего еще ты ожидала? Там почти так же, только выше на ступеньку.

Теперь Мэй не злилась. Только чувствовала себя странно. Разве ей уже не говорили те же самые слова? «Почти так же, только выше на ступеньку». Так знакомо и так верно, хотя и непонятно, что это значит. Напоминало те случаи, когда ее в детстве посвящали в какие-нибудь тайны – точно как когда Энн Берк рассказывала Мэй про то, как делают детей. «У мужика малафья на конце хрена, он его сует в твою щелку». Хотя Мэй и думала, что малафья – словно кучка мыльных хлопьев, которые подают на плоском конце хрена, как на ложечке, она откуда-то знала, что все это правда; понимала то, о чем раньше не догадывалась. Или когда мама отвела ее в сторонку и загробным голосом рассказала, зачем нужны тряпки-затычки. Теперь, с миссис Гиббс, все было так же. Один из тех моментов в человеческой жизни, когда узнаешь то, что уже знают все, но не говорят вслух.

Мэй глянула на гроб в другом конце комнаты и тут же поняла, что все это белиберда. «Наверху» – только рай с другим названием, та же сказочка, чтобы утешить и заткнуть скорбящих. Просто из-за самой атмосферы миссис Гиббс, из-за ее манер слова сходили за полуистину. Откуда ей-то знать про то, что бывает после? Она такая же жительница Боро, как Мэй. Только, конечно, смертоведка, что

придавало ее чуши больше веса. Миссис Гиббс снова заговорила, сжимая ладонь Мэй:

– Я же говорю, голубка, – ты хочешь верь, хочешь не верь. Мир круглый, даже если мстится, что плоский. Разница есть только для нас. Если мы знаем, что это шар, то и ни к чему ежечасно переживать, что мы свалимся с края. Но давай не будем о твоей дочери, голубка. Что случилось, то случилось, и ее горю помочь уже нельзя – а твоему можно. Как ты себя чувствуешь? Что случилось после всего с тобой?

И снова Мэй обнаружила, что ей нужно задержаться и подумать. Об этом ее никто не спрашивал, в эти последние два дня. Не спрашивала это у себя и она – не смела в гулком колодце слез, в который превратились ее мысли. Как она себя чувствует? Что с ней случилось? Она высморкалась в поданный чистый платок, заметив, что на нем нет бабочек, только одна вышитая пчела. Закончив, туго свернула тряпицу и сунула в рукав свитера – миссис Гиббс пришлось отпустить руку Мэй, хотя как только маневр был исполнен, та сама охотно скользнула пальцами в ладони смертоведки. Ей нравилось прикосновение женщины: теплое, бумажное и надежное в круговерти обоев комнаты. Все еще шмыгая носом, Мэй попыталась объясниться.

– Чувствую себя так, словно все провалилось сквозь землю и ахнуло в колодец, как камень. Я даже как будто сама не своя. Сижу, плачу и никакой мочи нет. Не вижу, зачем что-то делать – причесываться или кушать, что угодно, – и конца-края не вижу. Хочется умереть, вот вам правда. Чтобы нас положили в один гроб.

Миссис Гиббс покачала головой.

– Ты так не говори, голубка. Это мысли пустые и малодушные, сама знаешь. А на деле, если не ошибаюсь, ты вовсе не желаешь умирать. Ты только не хочешь жить, потому что жизнь тяжела и в ней не видно толку. А это разные вещи, голубка. И хорошенько думай, что говоришь. Одно исправить можно, а другое – нет.

Часы тикали и в лучах, косо падающих на пол, кувыркались парящие пылинки, а Мэй думала. Миссис Гиббс была права. Ей не хотелось смерти по-настоящему, но она потеряла резон жить. Хуже того, начинала подозревать, что у жизни – всей жизни на всем белом свете – никогда и не было резонансов. Это мир случайностей и беспорядка без всякого божественного промысла за событиями. Пути Господа не неисповедимы – их просто вовсе не видишь. Какой же смысл продолжать, причем всему человечеству? Зачем все рожают детей, когда знают, что они умрут? Дают им жизнь, потом отнимают, только чтобы не было скучно. Как жестоко. Как же раньше она иначе смотрела на мир?

Мэй попыталась передать все это миссис Гиббс, бессмысленность всего.

– В жизни нет смысла. Я не вижу смысла с самого времени, как доктор Форбс сказал, что у Мэй диф. Чумная лошадь пришла прямо по плитам, где нет дороги, хотя обыкновенно телеги ждут в конце улицы. И раз – нет ее. Забрали в темном фургоне, увезли по Банному ряду – и все на этом. Я стояла на дороге, ревела и платок жевала. Никогда не забыть, как я там стояла...

Наклонив увенчанную узелком голову к плечу, миссис Гиббс молча сжала горячую руку Мэй с новой силой, побуждая продолжать. Мэй даже не понимала, как ей нужно было выговорить все это хоть кому-то, облечь в слова и снять камень с души.

– Рядом был Том. Том держал меня в руках, чтобы я не сорвалась за телегой. Моя мама, в доме номер десять, – она не вышла, следила, чтобы Кора и Джонни сидели тихо, не выскочили и не мешались.

Миссис Гиббс испытующе поджала губы, затем спросила то, что было у нее на уме:

– А где же был твой отец, голубка, если можно спросить?

Мэй задумалась, потом продолжила:

– Он стоял на своем пороге и... нет. Нет, он сидел. Сидел. Я его почти не видела, не до того было, но теперь вспоминаю – он сидел на ступеньке, как в июльское воскресенье. Как ни в чем не бывало.

Вид у него был хмурый, но не расстроенный или удивленный, как у других. По правде сказать, его больше потрясло, когда она родилась.

Она помолчала. Прищурилась на миссис Гиббс.

– И если подумать, то и вас тоже. Когда она показалась, вы побелели как простыня. Я даже спросила, не случилось ли чего, а вы сказали, что боитесь, будто случилось. Сказали, что это все красота – что у нее страсть какая красота, я помню. А потом, когда вы уходили, никак не могли с ней расстаться.

Все сложилось. Мэй уставилась в неверии. Смертоведка бесстрастно смотрела в ответ.

– Вы знали.

Миссис Гиббс даже не моргнула.

– Ты права, голубка моя. Знала. И ты знала.

Мэй охнула и попыталась отнять руку, но смертоведка не пустила. Что? Это еще что? Что говорит эта женщина? Мэй не знала, что ее ребеночек умрет. Даже в голову не приходило. Хотя...

Хотя ведь приходило, тысячу раз, и как ее только не пугало. Самым худшим чувством было, что это ошибка, что красавицу дочку отдали ей, а предназначалась она явно для королевской семьи. Что-то перепутали, где-то проглядели. Рано или поздно об этом узнают, словно большую бандероль доставили не по адресу. Кто-нибудь зайдет ее забрать. Она знала, что ей это не сойдет с рук – это дитя, которое так сияло. Где-то в глубине души Мэй знала всегда. Вот истинная причина, почему она приняла так близко к сердцу слова той женщины в парке Беккетта. Потому что они говорили о том, что Мэй и так знала, только ей духу не хватало признать: у нее отнимут дочь. Однажды раздастся стук в дверь, войдет кто-нибудь с печальным видом из управы или полиции, или женщина из «Барнардо» ^[49]. Просто Мэй не думала, что это будет доктор Форбс.

Часы тикали, и она мимолетно задумалась, сколько прошло времени с последнего удара стрелок. Миссис Гиббс наблюдала за ней, пока не убедилась, что Мэй все поняла, затем продолжила:

– Нам ведомо куда больше, чем мы сами себе говорим, голубка моя. По крайней мере, некоторым. А если бы я еще тогда, на родах Мэй, открыла все, что предвидела, сказала бы ты спасибо? Рассказывать такое попросту незачем. Ежели бы ты сама прислушалась к предчувствиям, то все равно не смогла бы предотвратить ничего, кроме разве что восемнадцати месяцев счастья.

Смертоведка наклонилась на стуле, ее накрахмаленный черный фартук чуть ли не захрустел.

– Ну-ка, ты уж прости, что это говорю, голубка моя, но кажется мне, ты много взяла на себя. Думаешь, что ты плохая мать, но ведь нет. Дифтерия не выбирает, не смотрит, кто как живет, – хотя бедные, конечно, на очереди первые. Но это болезнь, голубка, не наказание. Не кара тебе или твоей деточке, не последствия того, как ты ее растила. Ты будешь только лучшей матерью, не хуже. Ты научилась тому, что ведомо не всем матерям, и научилась на горьком опыте, рано. Ты потеряла одного ребенка, но не потеряешь другого и всех остальных. Посмотри на себя! Ты мама от бога, голубка моя. В тебе еще столько детишек.

Мэй отвернулась к плинтусу, и тогда смертоведка сузила глаза:

– Прости уж, если сказала не к месту или то, чего говорить не следовало.

Мэй покраснела и снова вскинула взгляд на миссис Гиббс:

– Ничего такого. Просто вы угадали одну мысль, что так и ходит кругом в голове. Детишки во мне, говорите. Глупость, но мне кажется, один уже на подходе. И не знаю, с чего я взяла, и частенько думаю, будто сама себе, дуреха такая, выдумываю, чтобы не тужить по Мэй. Никаких знаков – но и откуда. Если чувство верное, тогда понесла я всего две недели назад. Чепуха это, сама знаю, просто выдумала, чтобы было о чем думать хорошо, а не плакать часами навзрыд.

Смертоведка гладила руку Мэй – то ли ласка, то ли целебный массаж.

– А почему ты думаешь, если это не слишком личный вопрос, что ты в положении?

Мэй снова покраснела.

– Чепуха, говорю же. Просто... ну, это было в ночь пятницы, перед тем как прислали чумную телегу за Мэй. Я весь день гуляла с ней в парке, и она притомилась, бедняжечка. Мы пораньше уложили ее спать, потом подумали – раз пятница, пойдем наверх и мы. И потом... ну, сами знаете. У нас было. Но было как-то по-особенному – просто не могу сказать, как. Прошел такой чудесный день, и я так любила Тома. Той ночью, когда мы ложились, я знала, как сильно его люблю, и знала, как сильно он любит меня. Потом мы лежали в настоящем блаженстве, беседовали и шептались, как когда впервые познакомились. Вот вам крест, не успел пот обсохнуть, как я решила: «От этого родится ребеночек». Ох, миссис Гиббс, что вы теперь подумаете? Не надо было вам это рассказывать. Никому не надо. Вы приходите только делать свою работу, а я тут вываливаю весь сор из избы. Должно быть, считаете меня теперь кошкой грязной.

Миссис Гиббс похлопала Мэй по руке, и та улыбнулась.

– Позволь сказать, слыхала и похуже. Да и все это входит в мой шиллинг, голубка. Слушать и говорить – это самое главное. Не рождение или проводы. А уж беременна ты или нет – верь своим инстинктам. Они наверное не соврут. Не ты ли мне говорила, что хочешь двух девочек, а потом и хватит?

Мэй кивнула.

– Да, говорила. И в ту ночь лежала и думала: «вот и дочка номер два». Только вот нет, правда? Она все еще одна. – Она ненадолго задумалась, затем продолжила: – Что ж, ничего не меняется. Я по-прежнему хочу двух дочек, как уже и говорила. Если окажется, что одна уже на подходе, рожу еще одну – и все на этом.

Мэй сама поражалась, когда слышала, как все это говорит. Ее дорогая девочка лежит, холодная, в махоньком ящике у стены зала, меньше чем в двух метрах отсюда. Как тут вообще можно думать о ребенке, тем более после всего? Почему она не плачет в три ручья,

пытаясь взять себя в руки, как прошлые два дня? Словно в сердце завернули кран, слезы наконец прекратились. Ей уже не казалось, что она падает, осознала Мэй с удивлением. Не переполняли ее и счастье с надеждой, но она хотя бы не летела в дыру без дна и без света над головой. Она упала на твердую почву, где можно отдохнуть, почву, которая не уходила из-под ног от горя. Забрел слабый шанс, что она сможет выбраться.

Она знала, что этим обязана смертоведке. Они ведали кончиной, рождением и всем, что те влекли. Такая у них работа. Этим женщинам – очевидно, всегда только женщинам, – надо находиться вонне всего. Их не затрагивали превратности смертных. Не их перевернут прибытия, не их разобьет вдребезги уход. Все потрясения жизни они выстаивали непоколебимо, неизменно, неуязвимые и для радости, и для горести. Мэй еще молода. Рождение и смерть дочери стали ее первой встречей со всем этим, первым уроком о существе жизни, о тяжести и пугающей внезапности, и, если честно, они выбили ее из колеи. Как жить дальше, если жизнь вот такая? И она смотрела на миссис Гиббс и видела способ – женский способ – укрепиться, но смертоведка заговорила прежде, чем Мэй додумала мысль.

– Прости, голубка, я тебя перебила. Ты рассказывала про день, когда чумная телега увезла твою малышку. А я влезла и спросила про папу..

С мгновение Мэй смотрела на нее отсутствующим взглядом, затем вспомнила незаконченную историю.

– О-о, да. Да, вспомнила. Папа в это время сидел на пороге, будто уже смирился, а я стояла и редела на улице с Томом. Я папу почти и не замечала, не до того было, и даже сейчас не могу на него обижаться. Знаю, что все время склоняю его на все лады, какой он старый дурень и кем нас выставляет, когда лазает по трубам, но с самой смерти Мэй он был со мной добр. Мама, другие – с ними я и слова не могу сказать, чтобы не разрыдаться, но папа – он, оказывается, кремень. Не шатался по пабам, не устраивал своих

выходок. Всегда по соседству, всегда откликается. Сам не вмешивается. Заглядывает время от времени, чтобы узнать, не надо ли мне чего, и хоть раз в жизни я рада, что он есть. Но в тот день он просто сидел сиднем на пороге.

Мэй нахмурилась. Попыталась вернуться мыслями на улицу Форта в обеденное время в субботу, когда содрогалась в объятьях мужа, провожая глазами гремящую чумную телегу, увозившую малышку Мэй по покосившимся плитам. Попыталась восстановить все звуки и запахи, из которых складывался момент: где-то на плите подгорали сосиски, с запада доносились железнодорожные стук и лязг.

– Я стояла и смотрела, как катит чумная телега, а во мне все поднималось – я ее потеряла, потеряла мою маленькую Мэй. Поднималось, и я выла, выла белугой, как никогда в жизни. Как я голосила, вы в жизни не слышали. Я сама от себя такого не слыхала, от такого плача стекло бьется и молоко сворачивается. И тут слышу из-за спины такой же вой, но изменившийся, эхо с другим настроением, и такое же громкое, как мои вопли.

Я бросила разорваться и обернулась, а там, в дальнем конце улицы, стояла моя тетушка с аккордеоном. Стояла, как... ну, даже не знаю, что, и волосы торчали у нее на голове, как хлопок на кустах, и играла она ту же ноту, с которой я кричала. Ну, не прямо ту же ноту, как будто ниже. Ту же, но в нижнем регистре. Раскат грома, вот на что было похоже, по всей улице Форта. Какой-то только туманный и медленный. И Турса стоит – зажала клавиши, вся с костлявыми пальцами и зелеными глазищами, тарашится на меня, а лицо у нее пустое-пустое, будто она во сне ходит и сама не понимает, что делает, не говоря уже о том, куда попала.

Ей было все равно, что со мной или что моего ребенка забрали. Просто впала в очередной свой безумный сон, и я ее тогда за это возненавидела. Думала, она бесчувственная, бесполезная мымра, и весь свой гнев из-за того, что случилось с моей девочкой, я выместила на Турсе, прямо там. Вдохнула поглубже и как заору – но

не от грусти, как в первый раз. От злости. Я горланила, словно сожрать ее хотела, выкричала все одним затяжным разом.

А тетка так и стояла. Как с гуся вода. Дождалась, пока я выдохнусь, а потом переставила пальцы на клавишах, чтобы сыграть аккорд еще ниже. Получилось так, как когда я кричала в первый раз, заново: она сыграла ту же ноту, но ниже, будто возомнила, что мне аккомпанирует. И снова зарокотало, как гроза, но теперь ближе, страшнее. Тогда я сдалась. Сдалась и расплакалась, и чтоб мне провалиться, если эта бестолковая кобыла не пыталась подыграть и плачу – с трелями нот, как шмыгание, и такими звуками, как из горла. Не упомню, что случилось потом. Кажется, с порога встал старый Снежок и пошел утихомирить свою сестру. Только знаю, что, когда я отвернулась и посмотрела в другой конец улицы Форты, Мэй уже не было.

Вот что было хуже всего – аккордеон Турсы. Из-за него-то мне и показалось, будто ни в чем нет смысла, будто мир такой же полоумный, как моя тетка. Все без толку. Справедливости нет, а порядка и резонов не больше, чем в ее песнях. Я и до сих пор не знаю. Не знаю, почему умерла Мэй.

Здесь она погрузилась в молчание. Миссис Гиббс выпустила руку Мэй, мягко и крепко ухватила за плечи.

– Я тоже, голубка. Никто не знает, для чего все деется или почему случается так, как случается. Кажется нечестным, когда видишь, как всякие негодяи доживают до спокойной старости, а твою милую дочурку забрали так рано. Могу тебе сказать только то, во что сама верю. Есть правосудие над улицей, голубушка моя.

Где Мэй уже слышала эти слова? И слышала ли? Или это ложное воспоминание? Произносили при ней эту фразу или нет, она казалась знакомой. Мэй понимала, что та значит, – или, во всяком случае, вроде бы догадывалась. Она звучала так же, как слово «наверху», звучала, как слова о чем-то выше и в то же время приземленном, без всяких религиозных расшаркиваний и приблуд, что только отваживают людей. Одна из тех истин, мелькнуло в

мыслях Мэй, которые многие знают, хотя и не ведают, что знают. Она живет на задворках разумов, иногда люди чувствуют, как она раз или два трепыхнется, но обычно забывают о ее существовании, как тут же случилось и с Мэй. Осталось только впечатление от теплой идеи, словно отпечаток попы в мягком кресле, мимолетное ощущение наличия высшей власти, будто бы обобщенной в лице миссис Гиббс. Теперь к Мэй вернулась прежняя мысль: о том, что смертоведки – женщины особой породы, которые нашли себе в обществе уступ, где высились над бурлящим потоком жизни и смерти, ставшими для них ходовым товаром, а яростные течения мира, что в последние дни едва не унесли Мэй, их не трогают. Они смогли устоять в жизни, где, как это ни страшно, похоже, вовсе не было устоев. Нашли скалу, вокруг которой бился хаос. Захлебываясь в море слез, в миссис Гиббс Мэй увидела землю. Она знала, что ей нужно, чтобы спастись, выпалила прежде, чем передумала:

– Я хочу знать все, что знаете вы, миссис Гиббс. Я хочу стать смертоведкой, как вы. Хочу окунуться в рождение и смерть, чтобы больше их не страшиться. Теперь, когда Мэй нет, мне нужна цель в жизни, будет у меня другой ребенок или не будет. Если единственная цель в детях, то ведь ничего не останется, когда их приберут смерть, полицейские или просто взросление. Я хочу научиться полезному ремеслу, чтобы стать кем-то для себя, а не просто чьей-то женой или чьей-то мамой. Я хочу быть вне всего, хочу быть тем, кому не бывает больно. Можно меня выучить? Можно стать одной из вас?

Миссис Гиббс отпустила плечи Мэй, чтобы снова сесть на стул и рассмотреть ее. Казалось, ее не удивила просьба Мэй, но она как будто никогда ничему не удивлялась, кроме того случая, когда родилась маленькая Мэй. Она глубоко вдохнула и выдохнула через нос – звук задумчивый, но и усталый.

– Что ж, и не знаю, голубка моя. Ты очень молода. Молодые плечи, хоть на них и старая голова – если не сейчас, то скоро будет. Только ты пойми, что ошибаешься. Нет такого места вдали от жизни, куда

можно уйти, чтобы она тебя не трогала. Нет места, где не бывает больно, голубка моя. Остается только найти, откуда видно бурление жизни, явление деток и кончина стариков. Встать к смерти и рождению и не близко, и не далеко, чтобы ясно их видеть и проникнуть в самую суть. Ведь когда все понимаешь, лишаешься страха, а без страха и боль не так уж тяжела. Вот и весь секрет смертоведок. Вот кто мы такие.

Она помолчала, чтобы убедиться, что Мэй поняла ее слова.

– А теперь, держа это все в уме, голубка моя, если думаешь, что у тебя призвание к моему ремеслу, то не будет большого вреда кое-что тебе показать. Коли не шутишь, тогда, быть может, сама и расчешешь волосы дочери?

Такого Мэй не ожидала. До сих пор это было только домыслом. Она не думала, что ее желания так скоро подвергнутся испытанию, и точно не такому. Не с собственным покойным ребенком. Провести гребнем по бледным, спутанным локонам. Расчесать волосы дочери в последний раз. Она давилась от комка в горле из-за одной только мысли и бросила взгляд на гроб в конце комнаты.

Снаружи облака освободили солнце, и в зал под резким уклоном пролился яркий свет, пробиваясь через сероватый тюль, рассеявшись в молочном тумане-поземке над гробом и ребенком. Отсюда виднелись кудри малышки, но сможет ли она выдержать? Сможет ли их расчесать, зная, что это в последний раз? Но равно устрашающей была мысль уступить этот священный труд другой. Дочь Мэй уходит, и должна выглядеть прилично, и если бы она могла просить, она бы попросила помочь маму, Мэй нисколько не сомневалась. Чего же она боится? Это всего лишь волосы. Она перевела взгляд с гроба на миссис Гиббс и кивала, пока не обрела голос.

– Да. Да, думаю, я справлюсь, если потерпите, пока я найду ее гребень.

Мэй встала, встала и смертоведка, кротко ожидая, пока Мэй копалась в безделушках на каминной полке, где нашла детский

деревянный гребешок с нарисованными цветами, который искала. Она вцепилась в него, сделала решительный вдох и заставила себя пойти к концу зала, где ждал маленький гробик. Миссис Гиббс предостерегающе положила ладонь на руку Мэй:

– Ну-ка, голубка, я вижу, ты настроена решительно, но сперва, может, поделишь со мной табачку?

Из кармана фартука показалась жестянка с королевой Викторией на крышке. Мэй уставилась на нее и побледнела, покачала головой.

– О-о, нет. Нет, спасибо, миссис Гиббс, не стоит. Не считая вас, я всегда считала это за грязную привычку, не для меня.

Смертоведка улыбнулась тепло, зная, все еще протягивая Мэй табакерку с откинутой эмалевой крышкой.

– Поверь мне, голубка, нельзя работать с мертвыми, пока не попробуешь понюшку табачка.

Мэй пораздумала, затем подала ладонь, чтобы миссис Гиббс отсыпала щепотку огненно-коричневого порошка. Смертоведка посоветовала, если получится, занюхать по половине в каждую ноздрю. Опасливо опустив лицо, Мэй вдохнула обжигающую молнию до самой глотки. Это оказался самый пугающий опыт в ее жизни. Она уж думала, что умрет. Миссис Гиббс поспешила ее успокоить:

– Не страшись. У тебя в рукаве мой платок. Пользуйся, если нужно. Я не против.

Мэй выдернула скомканный квадратик льна из выпуклости на отвороте свитера и прижала к взрывающемуся носу. В итоге вышитую в углу пчелку задушило обильное желе. Содрогнувшись еще пару раз, Мэй наконец смогла взять себя в руки. Привела себя в порядок изящным лоскутком, затем сунула испорченную тряпку обратно в рукав. Миссис Гиббс оказалась права насчет табака. Теперь Мэй не чувала вообще ничего – и сомневалась, что когда-нибудь почует снова. На том же месте она приняла твердое решение, что если последует своей фантазии о смертоведении до конца, то найдет другой способ прятать запах. Возможно, сойдет эвкалиптовое драже.

Неторопливо, плечом к плечу, женщины прошествовали в дальний конец комнаты и миг постояли у ящика, просто глядя на светящееся, неподвижное дитя. Часы тикали, и обе принялись за работу.

Сперва миссис Гиббс сняла одежду ребенка. Мэй удивилась, каким податливым оказалось дитя, и призналась, что ожидала, будто тело будет твердым.

– Нет, голубушка. Сперва они коченеют, но потом это из них уходит. Тогда и знаешь, что им пора отправляться в землю.

Далее они одели маленькую Мэй во все самое лучшее, давно уложенное на кресле, и смертоведка украсила ее руки и лицо белым порошком и толикой румян.

– С этим нельзя перестараться. Как и нет ничего.

Наконец Мэй позволили вычесать волосы. Она удивилась тому, как долго это заняло, хотя, вполне возможно, она намеренно тянула и не хотела заканчивать. Чесала нежно, как всегда, чтобы не дернуть дочку до боли. Когда закончила, волосы словно спряли из льна.

Похороны на следующий день прошли хорошо. Среди прочего пришло много людей. Затем все вернулись к своей жизни, и Мэй обнаружила, что была права насчет второго ребенка на подходе. У них родилась еще одна девочка, в 1909-м, маленькая Луиза, названная в честь мамы Мэй. Мэй по-прежнему хотела народить двух девочек, но после малышки Лу подождала год-два, чтобы передохнуть. Рождение следующего ребенка пришлось отложить дольше, чем задумывалось, потому что застрелили австрийского герцога и все ушли на войну. На Замковой станции Мэй и пятилетняя Лу махали Тому на прощание и молились, чтобы он вернулся. Он вернулся. В Первую мировую войну Мэй отделалась легко, и секс потом пошел лучше. Она родила четверых – тут же, одного за другим.

Хотя Мэй думала, что будет еще одна девочка, а потом и хватит, их второй ребенок, в 1917 году, оказался мальчиком. Его они назвали Томом, в честь папы, – как малышку Мэй, их первенца, назвали в честь мамы. В 1919-м, надеясь на вторую девочку в

компанию к Лу, она родила еще мальчишку. Это был Уолтер, а следующим стал Джек, а после него – Фрэнк, и тут уж она махнула рукой. К этому моменту они с Томом и пятью детьми переехали на Зеленую улицу, ближе к углу, и все это время Мэй была смертоведкой, царицей поседа и гроба, подчинившей себе оба конца жизни. К этому времени руки и ноги у нее уже стали как колоды, сама она раздалась и погрузнела, а красота молодости ушла. Ее отец умер в 1926 году, а мать – спустя десять лет, в 1936-м, перед смертью она уже годами не выходила из дома. Ей становилось все труднее передвигаться, но не поэтому она не ступала за порог. Сказать по правде, у нее ум за разум зашел. Брат Мэй, Джим, однажды привез матери инвалидное кресло, но не успели они прогуляться до конца Бристольской улицы, как она раскричалась и умоляла вернуться домой. Все из-за машин – она увидела их впервые.

Муж Мэй умер через два года после этого, и это выбило почву у нее из-под ног.. Их дочь Лу уже выросла и вышла замуж, у Мэй были внуки – две маленькие девочки. Мэй уже не была смертоведкой. Она хотела лишь мирной жизни, после всех горестей и страхов. Казалось, она немного просила, но это было до того, как заговорили о новой войне.

Чу! Радости внемли!

Паучья клавишная музыка пробиралась в холодном тумане от библиотеки на Абингтонской улице к рабочему дому на дороге Уэллинборо. Пока ноги стыли в грубых башмаках, Томми Уоррен затащил последний раз «Кенситас», затем кинул тлеющий огрызок на землю, и крошечный огонек поскакал по мраморной темноте, разлетелся искрами на подмороженных булыжниках брусчатки.

В эту ноябрьскую ночь от Карнеги-холла над библиотекой прокрадывался далекий перезвон, словно от игры на сосульках. Источником его служила Безумная Мэри, концертная марафонская пианистка, ангажированная выступить в холле этим вечером, хотя ее концерты могли длиться часами. Днями. Том удивился, что ее слышно даже здесь, у больницы Святого Эдмунда, бывшего рабочего дома, у которого он ждал, пока где-то внутри учреждения разродится первенцем его жена Дорин. Пусть слабая и неузнаваемая, но рассыпчатая мелодия слышалась вопреки расстоянию и ватному туману.

Движение на дороге Уэллинборо в такое время было редким – где-то около часу ночи, как ему казалось, – так что было очень тихо, но Томми все-таки не мог разобрать, какую песню выколачивает из пианино Безумная Мэри. Может, «Выкатывайте бочку», а теоретически и «Люди севера, возрадуйтесь». Учитывая поздний час, Томми решил, что Безумная Мэри уже могла стать жертвой усталости и скакала от одной песни к другой, не представляя, что играет или в каком городе находится.

То, как он теперь стоял в вихрящейся тьме и слушал откуда-то издали старую песенку, что-то ему напоминало, но он сразу об этом позабыл, голову занимали другие мысли. Сейчас у него на уме была только Дорин, в больнице за спиной, в родах, которые как будто собирались тянуться целую вечность – прямо как тарарам Безумной Мэри. Том сомневался, что живот его жены последние

месяцы распирала музыка, хотя, судя по воплю, достойному волынки, который Дорин издавала десять минут назад, вполне могло оказаться и так. Причем Дорин наверняка закатила крик мелодичней безбожной какофонии, которую брэнчала Безумная Мэри, но теперь Томми задумался, что за мелодия созревала во время беременности супруги – слезливая баллада или боевой марш? «Мы соберем лилии» или «Британские гренадеры»? Девочка или мальчик? Главное, лишь бы не какая-нибудь причудливая импровизация Безумной Мэри, когда никто понятия не имеет, что играют. Лишь бы это не люди севера выкатывали бочки и не британские гренадеры собирали лилии. Лишь бы не ребус. Их и без того у Уорренов и Верналлов народилось за годы в достатке – куда больше, чем они заслужили. Неужели для разнообразия у них с Дорин не мог появиться нормальный ребенок – не безумный, не талантливый, не то и другое сразу? И если это судьба распределяет квоту проблемных детей, неужели не настала очередь для другой семьи понести бремя? Люди со здоровыми родственниками только отлынивают от общего дела, так рассуждал Томми.

Из большого серого облака, в которое будто бы погрузился Нортгемптон, выплыла одинокая большая серая машина, поднимая светом фар перед собой брызги цвета мочи, и скрылась снова. Тому показалось, что это «Хамбер Хоук», но он мог и ошибаться. Он мало что знал об автомобилях, не считая того, что их сейчас уже засилье, и конца-края этому не предвиделось. Конь с телегой отправились на выход и не оглядывались. В пивоварне Фиппса в Эрлс-Бартон, где работал Томми, еще держали старых ломовых лошадей – дымящихся, фыркающих шайрских кобыл; не животных, а потные локомотивы. Но есть компании и больше, как «Уотни», у которых грузовики занимались доставками по всей стране, тогда как «Фиппс» по-прежнему местная. Том мог представить, что еще лет десять – и «Фиппс» вытеснят с рынка, если в начальстве не образумятся. Тогда в Эрлс-Бартон уже не найдешь ни работы, ни коней. Том бы не сказал, что сейчас самое лучшее время привести в мир ребенка.

Он вывернул голову с набриолиненными волосами через плечо, окинул взглядом двор работного дома, где стоял, и подумал, что, по справедливости, и худшим время язык назвать не повернется. Война окончена, хоть еще и остались пайки, и спустя восемь лет после Дня Победы появились обнадеживающие признаки, что Англия снова возвращается в седло. Не успела еще упасть последняя бомба, а Уинни Черчилля прогнали голосованием, чтобы Клем Эттли вернул все на круги своя. Верно, пока что Черчилль снова на посту и трубит во все колокола, как денационализировать стальную промышленность, железные дороги и все прочее, но за годы после войны народ уже добился столько хорошего, что к былым временам все равно не откатишься. Есть теперь и Национальное здравоохранение, и Национальное страхование, и дети могут ходить в школу за так, пока им не исполнится – сколько, семнадцать, восемнадцать? А то и дольше, если экзамены сдадут.

Не то что Томми: он заслужил стипендию за успехи в математике и теоретически поступил бы в Грамматическую школу, да только мама и папа Томми, старики Том и Мэй, ни за что не могли себе ее позволить. Ни книги, ни форму, ни канцелярию, ни, конечно же, огромную дыру, которую бы проело дальнейшее обучение Тома. Пришлось бросать учебу в тринадцать, искать работу и по пятничным вечерам приносить домой жалованье. Не то чтобы он хотя бы на миг чувствовал себя ущемленным или хотя бы даже от нечего делать воображал, что бы с ним случилось, согласись он на стипендию. На первом месте у Томми стояла семья, и потому он делал все, что должен был, и жил со спокойной душой. Нет, он нисколько не жалел об упущенных шансах. Просто радовался, что у его мальчика жизнь будет лучше. Или девчонки. Тут никогда не угадаешь, хотя, сказать по правде, надеялся Том на мальчика.

Он походил перед больницей туда-сюда, притопнул ногами, чтобы не застаивалась кровь. Каждый выдох становился на зябком воздухе индейским сигналом к сбору, а прямо через улицу из тумана, как история о призраках, проступал черный бок церкви Святого

Эдмунда. Над дымкой во дворе за оградой торчали покосившиеся надгробия – каменные изголовья уличного дормитория, между которыми расстелилась сырая серебристая перина испарений. Высокие полуночные тисы стали столбами с бельевыми веревками, где сушилась серая отжатая пелена холодной мглы. Ни луны, ни звезд. Со стороны городского центра долетал дрожащий рефрен, напоминавший «Университетский флаг», которым размахивали перед «Старым быком и кустом».

Почему он предпочитал мальчика? У его братьев и сестры уже родились мальчики, которые сохранят их фамилию. Сестричка Лу, на шесть лет старше его и на целый фут короче, родила сперва двух девочек, но со своим мужчиной, Альбертом, принесла наконец на свет и мальчишку, уже лет двенадцать назад. Уолт – младший брат Тома и гордость черного рынка, – женился незадолго до конца войны и уже воспитывал двух мальцов. Даже юный Фрэнк – и тот обогнал Томми на пути к алтарю, и всего год назад у него родился сынишка. Если бы Томми – в конце концов старший из всех – остался бездетным до сорока, этого ему бы никогда не спустила Мэй, его мама. Мэй Минни Уоррен, старая сушеная кошелка с голосом, что кулак докера, которым она, и сомневаться нечего, забила бы Тома до смерти, если б они с Дорин не приняли смену и не продолжили род Уорренов. Томми боялся мамы – а впрочем, ее боялись все.

Он помнил, как на свадебную ночь Уолта в 1947 году – или около того – мама поймала его с Фрэнком в коридоре у кассы – а дело было в дансхолле на Золотой улице. Она встала у распашной двери, пока вокруг входили и выходили люди, так что ей приходилось перекрикивать гремящую музыку – играла группа под управлением Джонни, младшего брата Мэй и дяди Томми, – там-то мама и зачитала ему с Фрэнком ультиматум. В руке она держала полпирога со свининой, который взяла со стола с угощениями, а вторая его половина была у нее во рту – комки жирной сдобы, толченого розового мяса и желтоватого желе липли к жерновам немногих оставшихся зубов или брызгали в съестной пене, поливая Тома с его

младшим братом, пока они тряслись перед этой женщиной – да не женщиной, а рождественским тортом со стрихнином.

– Ну вот, Уолтер с Лу женились и с моей шеи слезли, теперь и вам пора брать ноги в руки и искать себе ту, кто от вас нос не поворотит, сладкие вы мои. Не потерплю, чтоб пошли пересуды, будто я вырастила пару дурачков, за которых все мамка должна делать. Тебе уже за тридцать, Томми, а тебе, Фрэнк, двадцать пять стукнет. Того гляди, спрашивать начнут, что с вами не так.

Это было больше шести лет назад. Томми уже исполнилось тридцать шесть, и пока он не повстречал два-три года назад Дорин, и сам начал задумываться, что же с ним не так. Не то чтобы он никогда ни с кем не встречался – была одна-две девушки, но ничего из этого не вышло. Отчасти потому, что Том был застенчив. Не такой проказливый авантюрист, как его сестричка Лу. Не мог зачаровать птиц в небесах и продать им доли в облачных квартирах, как Уолтер, не умел раскованно, на грани неприличия шутить с девушками, как Фрэнк. Том, по своим собственным прикидкам, был самым умным из родных. Не мудрым, как Лу, не находчивым, как Уолт, или даже не ушлым, как Фрэнк, но зато Томми много знал. А чего он не знал, – как употребить свою ученость себе же на пользу, и когда речь заходила о женщинах, то он терялся и, хоть что ты делай, не понимал, с чего и начинать.

Из валов тумана проплыла еще машина – похоже, тупоносый «Моррис Минор», – на сей раз на запад, в противоположном направлении, нежели предыдущий автомобиль. Пыхтя мимо него, она плеснула жидким светом фар по грубому темному известняку ограды кругом церкви Святого Эдмунда, а потом остались только яркие крысы глазки задних отражателей, словно пятившихся от Тома в мглистый уголок центра Нортгемптона. Слово бы приветствуя гостя, Безумная Мэри наиграла смелую вариацию «О маленький город Берлингтон» – а может, «Берти из Вифлеема».

Томми все еще думал о предыдущих опытах с девушками – вернее, их отсутствии. Когда Томми был подростком еще в

тридцатых, незадолго до смерти папы, его сердце ненадолго покорила дочка Рона Бэйлисса, в то время капитана Тома в Бригаде мальчиков. Он состоял в 18-й роте, которая раз в неделю собиралась на тренировку в большом зале на втором этаже старой церкви на улице Колледжа. Так как Том был не только самым застенчивым, но и втайне самым религиозным членом семьи, регулярные посещения церкви и маршей с оркестром раз в месяц его вполне устраивали, а стоило ему положить глаз на Лиз Бэйлисс, так он только приобрел очередной стимул. Она была красавицей и в обществе занимала положение выше Тома, но он знал, что и сам не дурен собой, а на своей родной Зеленой улице даже сходил за франта. Так что набрался смелости и однажды воскресным утром после церкви спросил ее, не ходит ли она с ним в театр.

Один Господь знает, почему он брякнул «театр». Том в жизни не бывал в театре, просто решил, что это звучит культурно и впечатляюще. Он в любом случае не ожидал, что она ответит «с радостью», так что только промямлил: «О, славно. Тогда увидимся в четверг», – даже не зная, что в этот день стоит в репертуаре. Оказалось, что Макси Миллер, и в этом конкретном случае комик исполнял далеко не свою приличную программу.

Черт возьми. Это были одновременно самые смешные и позорные полчаса в жизни Томми. Стоило ему увидеть на афишах имя Миллера, как Томми пришел в ужас, зная, что это последнее место на земле, куда можно вести такую благочестивую баптистку, как Лиз Бэйлисс, но к этому моменту он уже купил билеты, и пути назад не было. Кроме того, он слышал, что время от времени Макс Миллер устраивает чистый вечер, так что решил, что еще может выйти сухим из воды. Так он, по крайней мере, думал, пока Макс не вышел на сцену в белом костюме, расшитом большими красными розами из парчи, одаривая зрителей скверной улыбкой на ангельском личике под полями белого котелка.

– Любите ли вы курорты, дамы? Да, еще бы. Сам-то я их обожаю, что уж там. Был той неделей в Кенте, дамы и господа, и словами не

передать, как же там славно. Вышел я на прогулку, прогулку по утесам, и погода попросту шептала. Гулял я по узенькой тропинке, с отвесной пропастью по одну руку – и ох, дамы и господа, дух захватывало от высоты, волны так и бились о скалы в сотне футов под ногами. Тропинка – она, ну, неширокая, один человек по ней еще пройдет, но двум уж никак не разойтись, и только представьте себе, дамы и господа, только представьте себе мое замешательство, когда кто бы вы думали вышел мне навстречу? Юная леди в летнем платье – и была она раскрасавицей, дамы и господа, скажу вам прямо. Ну, вы и сами понимаете мою дилемму. Замер я как истукан, смотрю на нее, смотрю на скалы внизу – и не знаю, как и поступить. Говорю как есть, я и не знал, то ли занять ее проход, то ли просто покончить с собой на месте.

В кресле рядом с Томом Лиз Бэйлисс побелела, как шляпа Миллера. Пока театр вокруг покатывался со смеху, Том изо всех сил пытался поддерживать такую же оскорбленную мину, как у его компаньонки, и не трястись, как кипящий чайник, от сдерживаемого веселья. Еще через двадцать минут, когда по щекам Тома в уголки перекошенных от отчаяния губ уже сбегали слезы, Лиз спросила его голосом холодным, как мраморное надгробие, не соизволит ли он сопроводить ее к выходу и домой. В тот вечер он ее видел более-менее в последний раз, поскольку после такого ему стало стыдно часто появляться в своей Бригаде или церкви.

В обе стороны от него тянулась дорога Уэллинборо, в ее забродившей темноте через долгие промежутки висели слабые электрические фонари, словно огни на мачтах прибрежных рыбацких лодок. В освещении такой дороги от них не было толку, тем более в туманную ночь, но все же они лучше газовых фонарей, что еще применялись в некоторых частях Боро – например, на Зеленой улице, где в одиночестве жила его мать вовсе без электричества. Томми представил ее – скалящаяся скала в стонущем кресле подле камина, лушит горох, а у ее все еще маленьких, но обезображенных фурункулами ножек лежит кот Джим, шипящий газ

окрашивает тени комнаты в зеленый цвет глухой крапивы. В следующей раз при встрече с матерью Том надеялся поднять перед собой ее внука, как щит, чтобы загородиться от нападков. Ну, или, очевидно, внучку, хотя сын наверняка будет побольше и потому подольше сдержит мать.

Из-за пустой дороги один раз ударил колокол Святого Эдмунда, хотя Том и не понял, час сейчас или полвторого. Он прищурился на колокольню через клоки тумана и подумал, что не очень-то жалел, что так долго не бывал в церкви с самого случая с Лиз Бэйлисс. Том все еще верил в Бога, загробную жизнь и все такое прочее, но на войне пришел к мысли, что Бог и загробная жизнь – не такие, как рассказывают в церкви. В том, как там одеваются, говорят и вообще себя ведут, много заносчивости и зазнайства. А что Тому сразу понравилось в Библии еще в детстве – что Иисус был плотником, а значит, с большими руками в мозолях, пах опилками и если попадал молотком по пальцу, то говорил «чтоб тебя», как и все. Если Иисус – сын Бога, то кажется, что и папка вел себя примерно так же, когда приколачивал планеты и звезды. Работяга; самый трудолюбивый работяга из всех, который в любимейших притчах из Библии всегда отдавал предпочтение трудягам и беднякам. Тот же мужиковатый и рукастый Бог, о котором в стародавние времена проповедовал Филип Доддридж на Замковом Холме. Томми не слышал той же задорной неотесанности в набожных моралях викариев, не чувствовал того же свойского тепла на полированных скамьях. Сегодня, хотя вера Тома не поколебалась ни на дюйм, он предпочитал молиться в одиночестве и у алтаря поглубже – в своих мыслях. Он не ходил в церковь, не считая похорон, свадеб и – если сегодня все пройдет как положено – крестин. Когда молился, он не двигал губами.

Во многом из-за войны, конечно, как же без этого. Ушли на нее четыре брата, вернулись только три. Ему до сих пор было грустно вспоминать о Джеке, и в то время он не представлял, как семья Уорренов переживет потерю – хотя, конечно, ее переживают все.

Как иначе. И с войной так же. Сперва для всех невообразимо, что может быть иной образ жизни, что они оправятся – от бомб, от убитых родственников. Никто не мог представить себе ничего, кроме новых страданий, только еще хуже. Тогда о будущем Томми и мыслить не смел, честно не ожидал, что когда-нибудь его увидит.

И вот спустя восемь лет он здесь – женатый человек в ожидании первенца. Что же до будущего – теперь Томми ни о чем другом и не думал. После войны жизнь изменилась. Ничто не похоже на прежние времена, и сама Англия стала другой страной. У них новая молодая королева – ее в газетах уже сравнивали с Доброй королевой Бесс, – и даже у обычного рабочего народа появились телевизоры, чтобы посмотреть коронацию. Они как в «Путешествие в космос» [\[50\]](#) попали – так бурно налетел на них современный мир, как будто конец войны убрал какое-то великое препятствие и наконец дал двадцатому веку наверстать самого себя. Первый ребенок Тома и Дорин – а они уже заговорили и о втором – станет одним из новых елизаветинцев, о которых теперь только и разговоров. Они увидят такую жизнь, о какой Том и не мечтал, столько всего к этому времени узнают и откроют ученые. Получат все возможности, каких не получил Том или был вынужден отвергнуть из-за обстоятельств.

В густеющей серости Безумная Мэри все еще слала ему серенады вроде «Мой старик сказал – вперед, солдаты-христиане» [\[51\]](#); голосок ее пианино казался тоненьким и далеким, словно сломанная музыкальная шкатулка, что завелась сама собой в соседней комнате. Том снова вспомнил свою стипендию по математике, от которой отказался, чтобы взамен устроиться в пивоварню. Да он и вправду не обижался за то, что упустил образование ради помощи семье, но все же скучал по радости, которую ему доставляли цифры и сложение, когда он их только учил.

Это все его дедушка Снежок – вот в кого у него способности к счету. Хотя старик скончался в 1926 году, когда Тому было девять (сойдя с ума и объевшись цветами из вазы, если верить маме Томми), они вдвоем хорошо ладили, и в последние два года жизни

дедушки Том проводил почти каждую субботу у него дома в мрачной узкой расщелине улицы Форты. Пока бабушка Лу стряпала на темной кухне, Снежок и юный Том скандировали на все лады таблицу умножения, сидя в гостиной. Геометрия – вот еще в чем дедушка наставлял Томми: грубые круги, обведенные вокруг донышка молочных бутылок крошечным огрызком карандаша, листы оберточной бумаги, накрывающие чайный столик так, что не видно даже бордовой скатерти. Снежок рассказывал внуку, что свои знания почерпнул от собственного отца, прадедушки Тома Эрнеста Верналла, который когда-то в викторианские времена восстанавливал фрески в соборе Святого Павла. Снежок говорил, что он со своей сестрой – двоюродной бабкой Томми, Турсой – слушали уроки папы, пока тот лежал в санатории. Только несколько лет спустя, доняв маму вконец, Томми узнал, что санаторием тем был Бедлам – когда его еще не перенесли из Ламбета.

Сейчас, шаря в кармане плаща в поисках пачки «Кенситас», он вспомнил вечер, когда они разучивали умножение на восемь и девять. Дедушка обратил внимание, что все результаты умножения на девять, если сложить их цифры, всегда равнялись девяти: один плюс восемь, два плюс семь, три плюс шесть и так далее, до самого конца. Воспоминание пахло фруктовым кексом, отчего Том решил, что бабка в тот день пекла на кухне. Тогда его это привело в восторг – открытие про девятку, – и шутки ради он сложил цифры в ответах при умножении на восемь. Сперва, очевидно, шла просто восьмерка, но следующий ответ – шестнадцать – был единица плюс шестерка, а значит, равнялся семи. Дальше – двадцать четыре, два плюс четыре равно шести, тогда как тридцать два таким же образом превращалось в пять. Томми осознавал с растущим интересом, что его колонка сложений пойдет от восьми к единице (восьмью восемь – шестьдесят четыре, где шесть и четыре складывались в десять, а единица и ноль давали в сумме просто единицу), а потом начал отсчет заново, на этот раз начиная с цифры девять (девятью восемь – семьдесят два, семь и два давали девять). Эта цифровая

последовательность, от одного до девяти, повторялась снова и снова – предположительно, до бесконечности. Тут-то дедушка Тома и обратил внимание, что та же последовательность встречается в случае умножения на один, только в обратном направлении, и тогда они оба призадумались.

Достав короткую сигарету без фильтра из пачки красного, черного и белого цветов с лощеным и прилизанным символом-дворецким, Том закурил ее с помощью «Капитана Уэбба» и выкинул прогоревшую спичку в приблизительном направлении невидимой канавы, где она и скрылась в холодном паре, ползающем у ног. Сигаретная пачка с дворецким и коробок с отважным усатым каботажником вернулись в карман дождевика. Там их поджидала шоколадка «Пять мальчишек Фрая» с квинтетом ребят на фантике, застывших в разных эмоциональных выражениях. Из-за современной рекламы и этих упаковок выходило, что он носил в кармане семь маленьких человечков – только чтобы закурить и позже перекусить квадратиком шоколада, если захочется заморить червячка.

В тот памятный день под тридцать лет назад Том с дедушкой принялись споро складывать цифры в ответах ко всей таблице умножения. Он помнил свое возбуждение – на него со сдобным духом гвоздики, засахаренных апельсиновых корок и лечебной мази для растирания Снежка пахло будоражащей, чистой радостью открытия. Как выяснилось, таблица умножения на два, если сложить все элементы результатов, давала результат в виде закономерности, когда сперва получаешь все четные цифры – два, четыре, шесть, восемь, – затем – все нечетные: один (один плюс ноль), три (один плюс два), пять и так далее до девяти (восемнадцать, или один плюс восемь). Памятуя, что умножение на единицу и восьмерку дало цифровые последовательности, которые были зеркальными отражениями друг друга, Снежок и юный Том перешли к умножению на семь, где и выяснили, что сперва все суммированные ответы проходили через нечетные цифры – семь,

пять (один плюс четыре), три (два плюс один), один (два плюс восемь, то есть десятка, цифры которой равнялись единице), – а затем пробежали через все четные. Восемь (три плюс пять), шесть (четыре плюс два) и так далее, пока снова не начинался отсчет нечетных цифр. Семерка работала в точности как двойка, только порядок был вывернут наизнанку.

Цифра три – которая, если складывать перемноженный результат, просто бесконечно давала три, шесть, девять, три, шесть, девять, – побраталась с цифрой шесть, которая давала шесть, три, девять, шесть, три, девять. Цифра четыре показала последовательность, которая сперва виделась сложной тем, что вела параллельный счет между четными и нечетными попеременно. Таким образом получаешь четыре, затем восемь, затем три (или один плюс два), затем семь (один плюс шесть), затем два (два плюс ноль), шесть (два плюс четыре), один (два плюс восемь, что складывалось в десять, или один плюс ноль), пять (тридцать два, или три плюс два) и так далее и тому подобное. Таблица умножения на пять – теперь уже без сюрпризов – делала то же самое в обратном порядке. Она точно так же чередовала два ряда, в этот раз от меньшего к большему, а не наоборот, так что последовательность в данном случае была пять, один, шесть, два, семь (два плюс пять), три (три плюс ноль), восемь (три плюс пять) и далее в том же духе. Томми с дедушкой переглянулись и расхохотались, так что даже бабушка Луиза вышла с кухни посмотреть, что такого случилось.

А случилось то, что в цифрах ответов на таблицы умножения от одного до восьми скрывались закономерности. Все они были симметричны: единица отражала восьмерку, двойка отражала семерку, тройка работала точно так же, как шестерка, четверка – как пятерка. Только та, что разожгла интерес исследователей, девятка, оставалась как будто единственной цифрой без близнеца, цифрой, которая, сколько ни перемножай, давала один и тот же неизменный результат.

Восьмилетний Том попытался объяснить все это ничего не понимающей бабке, когда ни с того ни с сего дедушка издал ликующий возглас, схватил карандаш-коротышку и начертал слепыми линиями на тонкой и блестящей оберточной бумаге, захламляющей стол, два круга – один внутри другого. Желтым от табака «Кабестан» указательным пальцем Снежок многозначительно ткнул в рисунок, глядя на Томми из-под зимних кустов бровей, чтобы удостовериться, понял его внук или нет. Глаза старика горели так, что напомнили Томми во фруктовой духоте печки и панибратстве математической игры, которую они разгадывали, что его дедушка, по словам многих, включая мамку Томми, безумен. А если подумать, то не многих, а всех. Его дедушка только улыбался и еще раз с силой ткнул в загадочный чертеж. Но на изображении Снежка были только два концентрических круга, как автомобильная покрышка или нимб ангела сверху. Томми, прищурившись, рассматривал простую фигуру несколько минут, или ему так показалось, прежде чем осознал, что перед его глазами цифра ноль.

И тут как будто в голове включился свет. Ноль – единственная цифра, не считая девяти, которая не меняется при умножении. Все простые цифры между нулем и девяткой при сложении их результатов умножения представляли последовательности, находящиеся в идеальной симметрии. Словно чтобы лишний раз это подчеркнуть, дедушка Тома снова взял карандаш и написал десять цифр в кольце между внешней и внутренней окружностями нуля, как по краю циферблата. Ноль находился приблизительно там, где на нормальных часах было место единице, и цифры продолжали идти по часовой стрелке, оставляя пробелы на местах, где обычно полагалось находиться шести и двенадцати. В результате каждая цифра теперь находилась на том же горизонтальном уровне, что и ее близнец-отражение, и девятка в верхней левой секции была наравне с нулем в верхней правой. Восемь и один были друг напротив друга на десяти минутах, семь и два – диаметрально противоположны, каждая на отметке четверти часа, шесть и три –

под ними, а пять и четыре смотрели друг на друга внизу, одна – на двадцати пяти минутах, другая – на без двадцати пяти. Просто загляденье. В одной простой вспышке перед разумом Томми разоблачилась тайная закономерность, что скрывалась все это время под поверхностью.

Ни Том, ни его дед понятия не имели, что может значить их открытие, как не умели придумать никакого полезного приложения для него. Разумеется, это так ослепительно очевидно, стоит раз увидеть, что более чем вероятно – уже множество людей ранее натыкались на этот факт. Но и не важно. В тот момент Том пребывал в сдобно-изюмной и изумительной атмосфере торжества и откровения, которой не знал ни до, ни после. Его дед натянул кривую улыбку – скорее скорбную, чем ликующую, – и снова ткнул черным ногтем в пустое пространство, ограниченное внутренним кольцом нуля.

– Ноль есть тор. Это, значит, как бы фигура с дыркой, как спасательный круг. Или как дымоход, если смотреть снизу или сверху. И посреди нуля, в трубе дымохода, хранится все ничто. Присматривай за ничем, мало й, а то оно всюду расползется, не успеешь глазом моргнуть. Тогда уже дымохода не будет, только дыра. И не будет спасательного круга, не будет тора. Не будет ничего.

На этом Снежок Верналл враз то ли разозлился, то ли огорчился. Скомкал клочок бумаги с нарисованным переосмысленным циферблатом и швырнул в огонь. Том не понял ни слова из того, о чем только что говорил дедушка, и наверняка казался испуганным внезапной переменой в настроении старика. Бабка Луиза, которой как будто были знакомы эти скачки настроения, сказала: «Так, ну хватит с вас на сегодня счета. Малыш Томми – дуй домой, пока мамка не стала волноваться. Деду Снежка повидеешь в другую субботу». Она даже не провожала Тома – возможно, потому что знала: взрыв неминуем. Не успел Том прикрыть старую входную дверь и выйти на улицу Форта, как услышал яростные вопли, а сразу

за ними – звон разбитого стекла. Скорее всего, жертвой стало окно или зеркало – дедушка был известен подозрительным отношением к зеркалам. Том заспешил по улице Форта, которая, хоть день еще не перевалил к сумеркам, теперь вспоминалась Тому зловеще мрачной. Впрочем, теперь он припоминал, что это было в двадцатых, задолго до того, как снесли Деструктор мусора в Боро, чтобы очистить место для многоквартирников на Банной улице, так что разрешилась хотя бы эта загадка.

Том затыкнулся «Кенситас» и выпустил нечаянное кольцо, почти мгновенно слившееся с зябкими вьющимися клубами, окружавшими его на дороге Уэллинборо. Он пожалел, что рядом никого нет, чтобы это увидеть. Что рядом нет Дорин.

Расплываясь от городского центра на запад, направо от Тома, по-прежнему продолжалось блуждающее и звенящее выступление концертантки-марафонщицы, ноты болтались на нечастых нитях ветра, как стеклянные подвески, что стекают с хрустальных люстр. Мелодия по-прежнему о чем-то ему напоминала – может, о какой-то другой похожей ночи, какой-то другой музыке, плывущей в другом тумане? Воспоминание, как и сам туман, утекало между пальцами, и он отпустил его и взамен задумался, как дела у Дорин. Вряд ли она была в настроении оценить колечко Томми, даже если бы его видела. Наверняка у нее другое на уме.

Он вернется. Еще сигарета-другая – и он вернется, сядет в маленькой бежевой приемной поближе к входным дверям бывшего рабочего дома, где хотя бы согреется. Посидит, притоптывая ногой по полированному паркету, в плаще и демобилизационном костюме [52], как остальные парни, чьи жены рожали в ту же ночь, семнадцатого, и которые уже ждали внутри. Томми побыл с ними какое-то время сразу после того, как привез Дорин в больницу и ее забрали в родильную палату, но недолго продержался – тишина вдруг стала действовать на нервы – и тихо ускользнул под каким-то предлогом. Он ничего не имел против остальных мужиков, просто у них всех было мало общего, не считая того, что девять месяцев

назад им выпала удачная ночка. Они же не собирались сидеть и распространяться о своих надеждах, страхах и мечтаниях, как актеры в кино. В реальной жизни так не делается. В реальной жизни у людей не бывает особых надежд, страхов и мечтаний, в отличие от персонажа из кино или книги. В реальной жизни эти вещи не так уж важны для истории, как в литературе. Мечты, надежды – это все не важно, и если кто о них заговорит, то остальные подумают – он себя кем возомнил, Рональдом Колманом, что ли, весь такой чувствительный, с длинными ресницами, черно-серебряный за сигаретным дымом на утреннем сеансе.

Дорога Уэллинборо напоминала речное русло, по которому к востоку – Абингтону, парку и Уэстон-Фавелл – потоком мглы струился пар, как перепачканное овечье руно. Охваченные ночью лавки и пабы превратились в норы полевок, вырытые в берегах ниже уровня воды и скрывающие темные товары. На глазах Томми из спустившегося на землю облака вынырнул щукой одинокий «Форд Англия», затем уплыл в направлении городского центра, пробиваясь против течения тумана и вопреки непрерывному концерту Безумной Мэри. «Форд Англия» стал единственным автомобилем, который Томми узнал точно, по тонкому наклонному курсиву – слово «курсив» он запомнил из уроков каллиграфии в школе, вот оно и пристало. Сливочная и васильковая окраска машины исчезла в устричных течениях, захлестнувших Абингтонскую площадь и статую Чарльза Брэдлоу, и Томми снова остался один, шаркая башмаками по каменистому и асфальтовому дну бурлящего течения, втягивая туман через последние полдюйма «Кенситас» и вальяжно выдувая их через нос.

Он знал, что тридцать шесть – уже сравнительно поздно, чтобы заводить семью, но все же не слишком. Том знавал мужчин и куда старше, приводивших на свет первенца. Но все же, когда оба младших брата уже обзавелись детьми, ему казалось, что больше откладывать нельзя. Если он не стал взрослым мужчиной, готовым растить ребенка, сейчас, после всего, через что прошел, то ему не

быть таким уже никогда. Хотя война отняла у него Джека, все же она придала Тому какую-то доселе незнакомую уверенность, чувство, что если он уж сумел все это пережить, то Томми Уоррен ничем не хуже других. Он вернулся домой из Франции с новой искоркой в глазах, новой поступью и со вкусом в одежде. Он одевался не дорого и кричаще, совсем нет. Но со вкусом.

Он помнил свое возвращение – как подъезжал к Замковой станции на поезде, битком набитом детьми, матерями, бизнесменами и десятками парней в униформе вроде него с Уолтом и Фрэнком. Ехать можно было только стоя, и всю дорогу от Юстонского вокзала Том с братьями торчали в коридоре еще с парой дюжин человек, качались и жаловались, пока мимо проносились Лейтон-Баззард, Блетчли, Волвертон. Насколько помнил Томми, он травил байки с Уолтером – в этом соревновании нельзя было и надеяться выиграть. Он как раз рассказывал Уолту про ночь, когда британское дурачье в погонах высших чинов перепилось и въехало на танке прямо в арсенал под охраной Тома, так что он даже не мог пристрелить высокооплачиваемых хихикающих мерзавцев из страха взорвать снаряды. В этот момент повествования, сразу после Волвертона, к ним в тесном дергающемся коридоре пристроился здоровый янки – джи-ай [\[53\]](#), который сел на поезд в Уотфорде и сходил в Ковентри.

Иногда янки были ничего, с ними можно было и посмеяться, но по большей части они только действовали Тому на нервы, как и всем, кого он знал. На фронте была поговорка: когда прилетают Люфтваффе – бегут англичане, когда прилетают RAF [\[54\]](#) – бегут немцы. А когда прилетают американцы – бегут все. Наглые засранцы поддерживали Гитлера до самого 1942-го, а потом пришли на войну позже всех и забрали всю славу, даже когда влезли прямоком в ловушку колбасников и наверняка оттянули конец войны своей «Битвой за выступ», или операцией «Осенний туман», как ее гордо звали фрицы. Но в тылу их солдаты были еще хуже – по крайней мере, белые. Темныши-то были на вес золота, лучше ребят на всем

фронте не найдешь, и Томми помнил, как был дома в увольнении и видел, как владелец «Черного льва» вышвырнул белых американцев, когда они начали жаловаться на черных, с которыми были вынуждены делить «салун». «Эти ниггеры в углу», – так они их звали. Некоторые американцы были нешуточными гербертами, и тот, что подвалил в поезде к Томми и его братьям, оказался точно из них.

С самого начала он похвалялся, насколько у янки оклад больше, чем у англичан, насколько больше пайки и все такое. Уолтер мудро кивнул и не смолчал: «Ну, это по-честному, ведь у вас и рты больше», – но джи-ай балаболил без умолку, будто и не заметил подначки Уолта. Начал рассказывать – шепотом из-за присутствия в коридоре дам, – как много американской армии выделили резинок. Так как его полк дислоцировался в Англии, парень все равно что сказал, что их выдали для использования с английскими девушками, а британские мужики не могли спустить ему это с рук так легко. Томми видел выражение в глазах братьев – наверное, такое же появилось и в его собственных. Уолтер улыбался во весь рот с огоньком во взгляде – а это всегда было дурным знаком, – а Фрэнк просто затих с натянутой усмешкой на худощавом лице, а значит, янки, несмотря на свой рост, напрашивался на взбучку, если не прекратит шлепать языком. Он говорил не с кем-нибудь, а с Уорренами, которые завоевали себе доброе имя, пока освобождали порученный им клочок Франции, которые потеряли брата – самого красивого из них, – и которым за все это выдали гору медалей, что им даром не сдалась. Приняв опасное молчание за уважение или благоговение, джи-ай решил подкрепить свое бахвальство, выудив американскую армейскую жестянку, в которой держал презервативы, отжав крышечку и представив на обозрение не меньше двух десятков средств предохранения. Том вскользя заинтересовался, не пишут ли американцы на резине зазорные слоганы, как на боках бомб. «За тебя, принцесса Лиз!», или что-нибудь в этом духе. Уолтер заглянул в открытую жестянку и заметил: «Вижу, у тебя многовато осталось». Фрэнк скрежетал зубами и сжал

кулак, готовый уже врезать, и как раз тут поезд налетел на кочку, так что вагон задребезжал и закачался.

Презики выстрелили в воздух, как искры римской свечи, упав резиновым дождем на плечи банкиров, в ранцы школьников и на шляпки дам. Янки покраснел, как Россия, ползал на четвереньках, извинялся перед женщинами, вылавливая упаковочки между их каблуков и упихивая обратно в жестянку. Уолтер начал напевать «Когда джонни вернутся домой – ура!» [55], и все в вагоне, за исключением янки, смеялись так, как не смеялись с самого 1939-го.

Том чуть не обжег губу, последний раз затянувшись сигаретой, затем метнул уголек в невидимый кювет за своим предшественником. Тогда были особые времена – когда они только вернулись домой с войны. Форсили каждый вечер пятницы, знаменитые братцы Уоррены в своих костюмчиках – но только старший Томми с подходящим платком в нагрудном кармане. Дефиле от паба к пабу, лязг и звон одноруких бандитов, рассыпающихся перед ними фруктами и колокольчиками, обожающие улыбки пышногрудых хозяек таверн – военные герои, как жаль вашего красавца брата. Бесплатный алкоголь из дозаторов, Уолтер травит шутки и продает дешевые колготки – мисс, ими пользовались всего раз, и то монашка. Фрэнк лыбится, Томми краснеет и еле удерживается от смеха, когда они обходят сцепившихся лесбиянок на Мэйорхолд, и луна, как отшвартованная шапка «Гиннесса», плывет над Боро, словно луч театрального прожектора.

Снежный рождественский сочельник, когда Уолт нашел на рынке пустой ящик из-под яблок, запряг в него какими-то веревками Фрэнка с Томми, а затем втиснул свой толстый зад, чтобы его волочили по городскому центру, как два оленя рождественского деда. «Хо-хо-хо, засранцы! Но!» Они ввалились в Гранд-отель и купили себе выпить, по бокалу на брата, а счет им выставили больше чем на фунт. Под руководством Уолта Фрэнк и Том разошлись по сторонам широкого вестибюля отеля и начали скатывать огромный

дорогой ковер, обращаясь к людям на пути, чтобы они приподнимали свои стулья и столы. Вылетел управляющий или еще какая-то шишка, потребовал ответа у Уолта, какого дьявола они творят, на что Уолт отвечал, что они забирают ковер, раз уж за него заплатили. Уносить ноги пришлось быстро и без половика, но, к счастью, ящик из-под яблок так и стоял на привязи у фонарного столба перед входом. Они неслись, как на санях, по всей Золотой улице с синими и зелеными лицами от гирлянд, вдоль Лошадиной Ярмарки, домой на Зеленую улицу к заждавшейся матери. Гитлер помер и все было просто здорово.

Конечно, не считая Джека. Томми вспомнил, неожиданно вздрогнув от страшной ностальгии, как прошел рождественский ритуал семейства Уорренов в первый год после смерти Джека. Семья собралась в зале, как собиралась каждый год, сколько они себя помнили. Мама Томми с натугой стащила изящный ночной горшок из фарфора – не меньше фута шириной, вылепленный во времена задниц потолще, – с верхотурья на старом стеклянном серванте, который стоял у них раньше. На глазах Фрэнка, Уолта, Луи и Томми мама набузовала в посуду до самого края гротескную и неразборчивую смесь алкогольных напитков; остатки из ошеломительно разнообразного репертуара бутылок, что нашлись в их пьющем домохозяйстве. Наполненный переливающимся бледно-золотым компотом из виски, джина, рома, водки, бренди, а то и – кто знает – скипидара, лакированный белый кубок – остается только надеяться, не применявшийся по прямому назначению, – торжественно пустили из рук в руки по семейному кругу, причем руки для этого нужны были обе, и сильные. Очевидно, пить из емкости, не предназначенной для такого применения, было невозможно – по крайней мере, не пожертвовав передом рубашки, и утечки с каждым кругом по комнате и по все более неловким и неслаженным рукам становились только хуже. Во всех предшествующих случаях, когда исполнялся этот ритуал, в его скверности было какое-то великолепие: он казался и комичным, и

доблестным, словно они гордились тем, какие они возмутительные и отвратительные чудовища, за которых их почитали представители высших классов. Чувствовался в этом какой-то ужасный размах, но только не после гибели Джека. Та доказала, что они все-таки не могучие и бессмертные огры, неуязвимые во хмелю. Просто шайка блюющих и рыдающих пьянчуг, которые лишились брата; лишились сына. Том не припоминал, повторяли ли они рождественский ритуал после того горького года победы.

Через дорогу Уэллинборо часы Святого Эдмунда пробили дважды, обозначив два часа ночи, и явно спугнули какую-то задремавшую птичку – по крайней мере, если судить по смачной капле голубинового помета, бесшумно шлепнувшего из туманов над головой, разукрасив при приземлении лацкан его плаща жидким мелом и икрой. Том простонал, чертыхнулся и выудил чистый платок из кармана, где не было спичек, папирос или шоколадок, и торопливо стер белое месиво, пока не осталось только бледное влажное пятно. Запомнив на будущее выстирать использованную тряпицу прежде, чем сморкаться, он сунул ее обратно в дождевик.

Конечно, долго послевоенное упоение не продлилось. Не то чтобы все стало плохо, вовсе нет. Просто времена изменились, как обычно и бывает. Сперва Уолт нашел себе красотку и женился, что и привело к нотациям мамы Тому и Фрэнку, когда она перекрикивала шум, который поднял ансамбль дяди Джона в дансхолле на Золотой улице, и втолковывала, что пора им найти себе пару, не то хуже будет. Фрэнк, который не лез за словом в карман и не тянул кота за хвост, быстрее Томми среагировал на ультиматум матери. Не стушевываясь и нашел рыженькую оторву, что давала прикурить не хуже него, и они обвенчались в 1950-м, после чего Том в одиночку понес тяжесть ворчливого неодобрения мамы.

Томми помнил, как в этот период искал убежища и совета у старшей сестрички, при малейшем поводе заглядывая в Дастон к Лу, ее мужу Альберту и их детям. Лу, как и всегда, была радушной хозяйкой, приносила чашку чая в их уютный просторный зал,

слушала о его несчастье, склонив голову набок, как плюшевая сова. «Твоя беда, братец, что ты ходишь других посмотреть, а не себя показать. Я не говорю, что нужно уметь забалтывать, как наш Уолт, или пошлить, как наш шалопай Фрэнк, но будь позаметнее, а то ведь девушки и не знают, что ты есть. Без толку ждать, пока они тебя найдут, девушки не такие. То есть ты собой хорош, одет всегда с иголочки. Даже танцевать умеешь. Не понимаю, что с тобой может быть не так», – голос Лу, тихий и смеющийся, звучал с очаровательной хрипотцой – почти как жужжание или гул, что из-за небольшого роста сестры наводило Томми на мысли об ульях, меде и, продолжая ассоциацию, воскресном чаепитии. На нее всегда можно было положиться, что она и на правильный путь наставит, и при этом настроение поднимет. Иногда Том видел в Лу проблески той, кем наверняка была их мама в молодости, прежде чем потеряла первого ребенка из-за дифтерии и ожесточилась, стала смертоведкой.

Единственный случай, что Том мог припомнить в связи с работой его матери с рождением и смертью, касался всего одного утра в детстве, но тем не менее оставил впечатление на всю жизнь. Скончался мистер Партридж – большой грузный мужчина, который жил в нескольких дверях от их дома на Зеленой улице, – но он оказался слишком толст, чтобы вынести его из дверей главной спальни, где он умер. Томми наблюдал с конца Зеленой улицы, где та пересекается со Слоновым переулком, как его мама руководила на дороге разборкой окна на втором этаже дома и затем спуском огромного и почти лилового мистера Партриджа на лебедке в катафалк с лошадью в упряжи, терпеливо ожидавшей внизу. Конечно, с ритуальными услугами от «Коопа» в эти дни смертоведкам не остается никакой работы. Мама Тома ушла на покой в конце 1945 года. Когда не стало Джека, она, видимо, уже была по горло сыта смертью, а с маячившим на горизонте Национальным здравоохранением, пожалуй, решила, что недолго ждать, и когда проблемы рождения разрешатся сами собой.

В эти дни большинство женщин с первенцем рожали здесь, в больнице. Естественно, еще остались акушерки для следующих детей или жителей деревенской глуши, но все эти акушерки работали на Национальное здравоохранение. Не вольнонаемницы, как его мама, и никто их больше не называл смертоведками. Тому казалось, что в целом это к лучшему. Он человек современный, и был вполне доволен, что жена сейчас разрешается в современной палате, под присмотром настоящих врачей, а не в темной спальне со старой страшной каргой, вроде его матери, над душой. У Дорин и так хватало опасений насчет мамы Томми, и если Мэй еще и сунет нос в рождение первого ребенка, то это точно станет последней каплей. Томми передернулся от одной мысли – а впрочем, может, всего лишь из-за ноябрьского вечера.

Именно Дорин спасла Томми от участи холостяка и осуждения мамы. За то, как он ее нашел, надо было благодарить удачу. Все, как и говорила Лу, – он был слишком робок с девушками и не умел пустить в ход обаяние, как Уолт или Фрэнк. Единственной надеждой Тома оставалось найти кого-то еще застенчивей себя, и в Дорин он увидел именно это – его идеальное дополнение. Вторую половину. Как и Том, она была застенчива не из-за трусости или слабости. Под ее сдержанностью чувствовался хребет; она просто предпочитала тихую жизнь без суматохи, точно как и он сам. Она – как и он, и любой другой, повидавший окопы, – предпочитала не высовываться и просто делать свое дело, не привлекая лишнего внимания. Даже чудо, что он ее вообще заметил – съездившую за компанией шумных и хохочущих подружек с работы, словно со страха, что кто-нибудь приметит ее красоту: жидкие голубые глаза, слегка вытянутое лицо и волосы – русые, как кора, курчавые, как волна. Ее свечение, как на экране, туманность черт, как на мини-афише. Он сказал, как только они познакомились, что она похожа на кинозвезду. Она только поджала губки в улыбочке и цокнула языком, ответив, что не дело быть таким сентиментальным.

Они поженились в 1952 году, и, хотя с точки зрения места им было логичнее отправиться на Зеленую улицу и жить с его мамой, никому этого не хотелось. Ни маме Томми, ни самому Томми, и уж тем более не Дорин. Она оказалась единственной из всех, кого встречал Томми, кто, несмотря на робкую и скромную натуру, не мирился с притеснениями или запугивающими манерами Мэй Уоррен. Том и Дорин предпочли остаться на дороге Святого Андрея с ее матерью, Кларой, и другими членами ее семьи, что там проживали – по крайней мере, проживали до недавнего времени. Хотя мысль о том, чтобы они с Дорин жили с мамой Тома, будто пришла напрямиком из кошмара, эти последние два года у основания Ручейной улицы и Алого Колодца оказались ненамного лучше.

Хотя, конечно, не из-за мамы Дорин, как было бы на Зеленой улице с Мэй. Клара Свон работала в прислуге и осталась благопристойной и религиозной женщиной с тихим нравом, и, хотя она могла быть и строгой, и суровой, если того потребуют обстоятельства, почти во всем оставалась полной противоположностью Мэй Уоррен – тонкая и статная, тогда как его мать была коренастой и дородной. Нет, Томми отлично поладил с мамой Дорин, как и со всеми ее братьями и сестрой, их супругами и детьми. Просто их всех было до недавнего времени слишком много, а дом – слишком маленьким.

Конечно, старший брат Джеймс женился и съехал раньше, чем появился Том, но места все равно было впритык, все толкались. Во-первых, сама мама Дорин, которой принадлежал дом – по крайней мере, ее имя было указано в учетной книге. Потом сестра Дорин, Эмма, и ее муж Тед, с двумя детьми, Джоном и маленькой Айлин. Эмма, старше Дорин, была первой женщиной-проводницей в Англии, и именно на железной дороге она познакомилась со своим удалым мужем-машинистом, Тедом, который чистил зубы сажей. Затем младший брат, Альф, – водитель автобуса, его жена Квин и их младенец – малыш Джим. С Томми и Дорин выходило, что в тесный домик на три спальни битком набивался десяток человек.

Первые несколько месяцев Дорин и Том устроились, как могли, на диване в зале. Эмме и Теду с двумя детьми досталась передняя спальня, выходящая на улицу, Кларе – маленькая спальня по соседству, над гостиной, Альф и Квин жили в самой маленькой комнатухе – в задней части дома над кухней. Малыш Джим спал в ящике гардероба. По ночам было тесно и неловко, но вечерами, сразу после чая, – того хуже, когда все возвращались домой с работы и собирались в гостиной слушать радио. Между Тедом и Эммой целыми днями могла висеть враждебная тишина, когда они только метали друг в друга взгляды над бутербродами из консервированной трески и под фирменные фразочки шоу «Снова он»: «Дас ист говорит Фюнф», «Уступите велосипеду» и «Не забывайте о нырятьщике» [56]. Альф каждый вечер приходил вымотанный из-за того, что вставал водить автобусы в самую рань, и скоро уже храпел на циновке перед камином, точно огромный кот в водительской униформе. Его жена Квин – она же по совпадению сестра Теда, мужа Эммы, – в большинстве случаев просто сидела у камина и плакала. И как ее не понять. А малыш Джим наверху вылезал из своего ящика гардероба и колотил по полу, иногда часами напролет. И его тоже можно было понять, бедолагу, он вообще жил в гардеробе. Если от этого ум за разум не пойдет, то Том и не знал, от чего еще. Беда малыша Джима была в том, что он был слишком умен. В семье Свонов или Уорренов никого не назовешь тугодумом, но малыш Джим был из нового поколения, а по ним с самого начала было видно, что они не лыком шиты, особенно малыш Джим. К трем годам он уже дважды умудрился сбежать из дома и уйти на четыре квартала, прежде чем его задерживала и водворяла на место полиция. Впрочем, учитывая, какой опасной может быть детская жизнь на дороге Святого Андрея, наверняка для него было бы гораздо лучше, если бы его оставили, где нашли.

Опять же, это не потому, что взрослые в доме пренебрегали своими обязанностями – просто их было семеро, и вдобавок трое детей, все ходили друг другу по головам и путались под ногами, так

что без несчастных случаев было никак не обойтись. Старший Теда и Эммы, Джон, любил сиживать на спинке кресла, пока однажды не потерял равновесие и не опрокинулся, вывалившись в окно гостиной на задний двор в ливне осколков. Потом младшая Теда и Эммы, миленькая Айлин, упала лицом в камин с раскаленными красными угольями, из-за чего пришлось мчаться очертя голову к семейному врачу – доктору Грею на Широкой улице. Дорин и ее старшая сестра Эмма в панике неслись по потемневшим окрестностям Мэйорхолд с только чудом оставшейся без шрамов малышке, запеленатой в одеяло.

К счастью, в последний год дела пошли в гору. Сперва переехали Тед с Эм, в дом дальше по дороге Святого Андрея, в Семилонге. Затем отбыли и Альф с Квин – на Бирчфилдскую дорогу в Абингтоне. Малыша Джима они, разумеется, забрали с собой, но по какой-то причине в пятилетнем возрасте он сбежал и из нового дома и преодолел около двух миль оживленных дорог, найдя без сопровождения путь обратно в Боро и дом бабули. Том подумывал, что, наверное, Джим, как иногда путаются свежевылупившиеся утята, перепутал с мамой свой гардероб. Так или иначе, положительной стороной стало то, что теперь в доме на дороге Святого Андрея жили только Клара, Том и Дорин. Тому и Дорин перешла большая спальня, которую освободили Тед и Эмма, и без мельтешащих вокруг людей их ребенок придет в новый, безопасный дом. И в безопасный мир – по крайней мере, на это все надеялись.

Том спрятал щетинистый подбородок, прищурившись на лацкан. Он все еще видел пятно, оставшееся от помета, и угрюмо смирился с тем, что придется оттирать его дома с «Бораксом».

Лично ему казалось, что в общем мир стал безопаснее – хотя, очевидно, не от птичьего помета. Война закончилась, и он сомневался, что в этот раз даже гансы сумеют раздуть ее снова, особенно после того, как проиграли полстраны коммунистам. Очевидно, есть еще Корея, но его малец – если это будет малец – все же вырастет не для того, чтобы его забрали в армию, как Томми,

или чтобы трястись ночами под столом в гостиной во время авианалетов, как провела войну Дорин, будучи на десять лет младше Томми. Да и вообще, разве не стали говорить после бомбы, которую янки сбросили на Хиросиму, что если и будет Третья мировая война, то она закончится за пять минут? Хотя это, признаться, не самая веселая мысль. Тома подмывало закурить еще одну сигарету «Кенситас», но раз у него осталось всего пять, и он не знал, насколько их придется растягивать, то решил перебиться.

Черчилль позаботился о том, чтобы в прошлом году первая бомба появилась у Британии, и Франция тоже настроилась на такую. У русских и янки их уже сотни, но Том не сказал бы, чтобы это сильно его заботило. Ему думалось, они будут как газ, которого все так боялись на войне, а бедняжке Дорин даже пришлось раз бежать домой на дорогу Святого Андрея из Спенсеровской школы, когда она забыла противогаз. В конце концов никому не хватило дури его применить, даже Гитлер не решился, и эти атомные бомбы – то же самое. Никому не хватит дури. Впрочем, конечно, янки уже один раз хватило, но Тому в ожидании рождения первого ребенка и так хватало, о чем волноваться, так что он решил выкинуть эту мысль из головы.

Тут слабый ветерок с запада неожиданно поднажал и затрепал плащом Томми. На секунду спихнул туман от закрытого паба – «Парящего орла», сразу за работным домом слева от Томми. Высунулся из дымки оранжевый клюв тукана на жестяной рекламе «Гиннесса», прикрученной на стене снаружи, и снова скрылся. Еще ветер принес возобновившийся каскад нот Безумной Мэри в Карнеги-холле – ее помесные мелодии дребезжали, как чокнутая мебель на роликах, скача по ухабам дороги Уэллинборо. Музыка была обычным попури; не сиди под старым крестом ни с кем, кроме меня, нет-нет-нет,^[57] – и вдруг Мэри заиграла всего одну мелодию, внятно и ясно, хоть и выдержала только несколько аккордов, прежде чем снова ухнуть в клавишный суп.

А мелодия та была «Шепот травы».

И тут все сложилось. Томми сразу понял, о чем все это время ему напоминала необычная музыка в завивающейся тьме: то происшествие пять, почти шесть лет назад, в первые месяцы 1948 года – вскоре после того, как женился Уолтер, – когда Томми пошел выпить в старом «Синем якоре» в Меловом переулке. Теперь на него нахлынула черно-белая волна нечетких от пива снимков, запечатленных печальных моментов из пьяной прогулки на заплетающихся ногах под бешеное сопровождение пианино и аккордеона в тумане, и Томми поразился, как не вспомнил об этом раньше. Как можно забыть тот странный, пугающий случай, все страхи и вопросы, которые он бросил в лицо Томми и его семье? Наверное, в его защиту можно сказать, что голова у него была занята – мыслями о Дорин и карапузе, – но даже при этом сложно было поверить, что подобная ночь так легко выскользнет из памяти.

Томми закурил очередную сигарету прежде, чем вспомнил, что хотел их растягивать, затем задрал воротник, словно злодей или брошенный любовник в кино – на такое двусмысленное настроение его навели туман и воспоминания. Жесткий край ворота терся возле ушей о щетину прически с выбритыми висками – прически, которую Томми сохранил с армейских времен и освежал каждую неделю. Он брал фольгу из сигаретной пачки, сворачивал ее на обычном коричневом пенни и полировал о короткий волос на затылке, пока монета не засияет как флорин, – этому фокусу его научил Уолт. Но, в отличие от Уолта, Тому никогда не хватало духу выдавать отчеканенный на темечке двухшиллинговый за настоящие деньги. Либо не хватало духу, либо было в избытке честности.

Тем вечером несколько лет назад Том и его младший брат Фрэнк пошли в «Синий якорь», который стоял выше церкви Доддриджа в Меловом переулке, почти на Бристольской улице. Паб стал излюбленным местом семьи, потому что его предыдущие владельцы были прадедушкой и прабабушкой Томми и Фрэнка по линии матери. Их бабуля Луиза, которая умерла в конце тридцатых, в молодости была пышногрудой дочкой хозяина, разносившей

напитки в «Синем якоре» в 1880-х, когда на огонек с одной из долгих прогулок из Ламбета заглянул Снежок Верналл. Не пересохни у дедушки Тома горло или пройди он еще двадцать ярдов до «Золотого льва», не было бы ни Мэй, ни Томми, ни младенца, который прямо сейчас протискивался на свет божий в больнице за его спиной. Это объясняло теплое расположение семьи к заведению до времени, пока его не снесли несколько лет назад. Короче говоря, они с Фрэнком сидели в кабаке, закладывали пинты, и, хотя вечер выдался славным, настроение было безжизненным и подавленным – по крайней мере, у Тома. Отчасти, очевидно, они скучали по Уолту – он полугодом ранее женился, и это означало, что трех мушкетеров усекли до двух. А без неистощимого потока шуток Уолтера оставалось больше времени сидеть и грустить по четвертому мушкетеру – их Джеку, их покойному д'Артаньяну с могилкой во Франции и именем на монументе у церкви Петра.

Как бы то ни было, Томми в тот вечер в «Синем якоре» погрузился в себя. Они с Фрэнком натолкнулись на пару ребят, которых Фрэнк знал по работе, а Том – разве что шапочно, и Том почувствовал себя на отшибе, начал подумывать о другом пабе. Он извинился перед Фрэнком, потом оставил его болтать с приятелями, а сам надел куртку и вышел в Меловой переулок. Тогда было как сегодня – и туман, и прочее, – но когда ты в Боро, а не на процветающей дороге Уэллинборо, то все еще страшнее. Даже от церкви Святого Эдмунда через улицу, с мрачными надгробиями в полночь, не бывает таких мурашек, как в некоторых уголках в Боро среди бела дня.

Оторвавшись и оказавшись наедине с собой, Том решил направиться в ближайшую пивную, где он кого-то да узнает – то есть в «Черный лев» на Замковом Холме. Хотя у заведения не было таких семейных ассоциаций, как в случае «Синего якоря», в каком-то смысле в прошедшие годы оно было еще более постоянным центром внимания для клана Уорренов. По крайней мере с тех пор, как мама и папа Томми переехали на Зеленую улицу и их дом оказался всего лишь ниже по холму, за поляной у задних ворот

брусчатого двора «Черного льва». Стоявший с незапамятных времен подле церкви Святого Петра, тот оказался удобным местом сборов после семейных похорон или крестин, а будучи всего в двух минутах ходьбы, стал идеальным заведением для того, чтобы заскочить почти в любое время дня и ночи. Летом старые ворота открывались на поросший лютиками и травой склон за пивной и церковью Святого Петра, где мама Тома часто сживала на скрипучей завалинке, припорошенной изумрудной плесенью, и выпивала с еще живыми подругами: старушками в таких же, как у нее, черных чепчиках, пальто и настроении. Как раз в такой милый вечер длинных теней на глазах у Мэй умерла ее лучшая подруга, Элси Шарп, когда сделала щедрый глоток стаута прямо из бутылки и в процессе проглотила живого шмеля, который в это время полз внутри бурого стеклянного горлышка. Когда горло ужалили изнутри, оно распухло и закрылось, и через жуткую минуту Элси лежала мертвой под пеньем птиц и лимонным кордиалом света, рассеивающимся над вокзалом.

Выйдя из «Синего якоря», Томми свернул налево и направился по Меловому переулку на Замковый Холм. В окне церкви Доддриджа горел свет – наверное, в помещениях собрался какой-нибудь кружок, – а бросив взгляд высоко на каменную стену, Томми разглядел двери для погрузки на половине высоты церкви. Вместе с непреходящей любовью к математике Том унаследовал от помешанного деда глубокий интерес к истории, особенно ее местному аспекту. Но несмотря на это, он так и не нашел удовлетворительного ответа, что там делали эти непрактично высокие двери. Самое подходящее, что он узнал, – прежде чем преподобный Филип Доддридж прибыл на Замковый Холм и переделал здание в дом собраний нонконформистов, его, похоже, использовали для чего-то другого – какого-нибудь предприятия, где требовалась разгрузка и доставка товаров лебедкой на второй этаж. И все же что-то в этом объяснении не нравилось Тому, отчего двери оставались вечным вопросительным знаком на его мысленной карте местности и туманного прошлого Боро.

Да и сам Доддридж, подумал Томми, проходя вдоль часовни и прилегающего кладбища, был загадкой не хуже своей церкви. Не в том смысле, что о нем было что-то неизвестно, а в том, как он сумел добиться таких долговечных перемен в религиозном мировосприятии страны и как он это сделал на крошечном участке в крысиных норах Боро.

Смерть королевы Анны в 1714 году подготовила почву для Филипа Доддриджа – тогда молодого человека двадцати семи лет, – чтобы он прибыл сюда, на Замковый Холм, одним рождественским сочельником пятнадцать лет спустя и принял здешний приход. Анна Стюарт во время своего правления пыталась задавить неконформистов. Когда она умерла, священник, который объявил об этом, процитировал Псалтырь: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». Это стало сигналом к празднованию для всех диссентеров и неконформистов, ведь это значило, что скоро на трон взойдет Георг I из Ганноверской династии, поклявшийся поддержать их дело. Все-все мелкие группки – остатки индепендентов, моравского братства – традиции, происходящей от лоллардов Джона Уиклифа 1300-х, – уже наверняка вскрывали шампанское при мысли, что теперь-то разойдутся вовсю, и прибытие Доддриджа в Нортгемптон было частью этих событий. Оглядываясь назад из нынешнего дня, можно сказать, что и главной.

Прогуливаясь тем вечером мимо неухоженных захоронений, Томми подумал, что город показался молодому священнику-диссентеру привлекательным предложением – с нортгемптонской-то долгой традицией прибежища религиозных смутьянов, бунтарей и обычных безумцев. Старый Роберт Браун, образовавший сепаратистов в конце шестнадцатого столетия, похоронен на церковном дворе Святого Эгидия, а город в течение следующего века переполняли пуритане Страны святых и рантеры с их «огненными летящими свитками» [58]. С каждой крыши радикальные христиане проповедовали ересь, говорили, что нет другой жизни,

кроме этой, что ада и рая не бывает, кроме как на земле, а хуже всего – твердили, что Бог в Библии изображен пастырем бедных, а не богатых. Когда Филип Доддридж вышел из метели в тот рождественский сочельник 1729 года, потирая руки от мороза и радости, у Нортгемптона уже давно устоялась репутация очага, пышущего духовными волнениями.

Евангелизм Доддриджа за девять лет до куда более воспетого Джона Уэсли стал той силой, которая к правлению Виктории преобразила почти все секты диссентеров, да и всю старую добрую англиканскую церковь заодно. И добился этого Доддридж на земле, которая даже тогда считалась самой нищей в стране, и справился всего чуть больше чем за двадцать лет, прежде чем его прибрала чахотка, когда ему еще не исполнилось и пятидесяти; справился с помощью слов – учения, текстов и гимнов. На взгляд Тома, один из его лучших – «Чу! Радости внеми!» «Идет Спаситель наш». Томми всегда думал, что Доддридж писал эти строки, глядя с Замкового Холма и, может быть, представляя, как последняя труба гремит в небесах над церковью Святого Петра чуть дальше по дороге, или воображая, как воскресенный Иисус в лохмотьях шагает по Меловому переулку к маленькому дому собраний, широко раскинув во всепрощении окровавленные ладони. За более чем тысячу лет существования район повидал немало выдающихся людей – и Ричарда Львиное Сердце, и Кромвеля, и Томаса Бекета, да всех, – но на взгляд Тома Уоррена, Филипа Доддриджа можно смело ставить в ряд достойнейших. Самый героический сын Боро. Их душа.

Часы Святого Эдмунда пробили раз, чтобы обозначить половину третьего, и вырвали Тома из мыслей к переделанному рабочему дому, к «Кенситас», пригорающей впустую между заляпанных никотином пальцев. Вот это очень жалко. Он бросил тлеющий кончик его старшему туманному собрату и мыслями вернулся в февраль 1948 года, к такой же непроглядной и серой ночи.

Он вышел из Мелового переулка мимо газетной лавки, где воскресным утром брал себе газету, – когда-то здесь был

«Коммерческий отель Проперта», – и пересек задушенные асфальтом булыжники мостовой и заброшенные трамвайные рельсы Холма Черного Льва по дороге к пабу, в честь которого и называли холм. Толкнув дверь, Томми врезался в почти ощутимую стену болтовни, запахов и тепла, спертого жара тел всех тех, кто втиснулся в «Черный лев» той холодной ночью. Еще не успев снять пальто и прожаться через пресс людей к бару, Том уже радовался, что выбрал сегодня именно это место, а не остался с Фрэнком в «Синем якорю». Во «Льве» всегда было больше знакомых лиц.

Был здесь Джем Перрит, отец которого, Шериф, забивал лошадей на Конном Рынке и который жил с женой Айлин и маленькой дочкой у лесного склада – его Джем держал на Школьной улице, сразу за углом от «Черного льва», у Лошадиной Ярмарки. Насколько сейчас Том мог восстановить сцену в памяти, Джем играл в кегли за столиком в углу с Трехпалым Танком – у того на Рыбном рынке на улице Брэдшоу имела конюшня – и Фредди Алленом. Фред был попрошайкой, его до сих пор иногда можно было встретить в Боро – он спал в арке под мостом на Лужке Фут и пробавлялся тем, что тибрил пинты молока и караваи хлеба с порогов местных. Бродяга сузил мутные глаза, прицелившись, и бросил деревянную голову сыра, но Тому казалось, что Джем Перрит и Трехпалый Танк разносят его в пух и прах. На стойку в бурлящем баре оперся Поджер Сомео, известный в округе бывший шарманщик, теперь отошедший от дела, – да и всюду, куда Томми ни смотрел, сидели местные чумазные легенды с мифическими обидами: запущенный Олимп опустившихся титанов, которые брызгали сальными шутками изо ртов, полных пенной амброзии, неуклюже копошились, как минотавры, в пачках чипсов, ища соль в синем конвертике из вощенной бумаги.

В тот вечер в пабе была представлена и семья самого Томми – по крайней мере, со стороны Верналлов. Был там дядя Тома Джонни, младший брат его мамы, вместе с тетей Селией, а в углу наедине с собой, полпинтой «Дабл Даймонд» и побитым старым аккордеоном на коленях сидела двоюродная бабка Томми Турса, к этому времени

уже перевалившая за восьмой десяток и еще более не от мира сего, чем раньше. Томми поздоровался с ней и спросил, не хочет ли она еще пива, на что она ответила встревоженным взглядом, словно не узнала его, но потом все равно благодарно кивнула. Турсе нравилось играть на аккордеоне аль фреско, обходя Боро, хотя несколько лет назад, во время войны, она перенесла выступления исключительно на ночное время. А точнее, выходила на улицу играть на своем инструменте только во время затемнений, когда над головой гудели немецкие бомбардировщики, и ее угрожали арестовать работники ГО, если она не будет сидеть дома и не прекратит свой безбожный шум. Сам Том ни разу не слышал дуэты бабки с Люфтваффе, так как служил за границей. Однако его старшая сестра Лу расписывала их со слезами от смеха на щеках. «Меня послали ее найти, и честно, я тебе клянусь, она стояла в Банном ряду, глядя на большущие черные самолеты в небесах, и наигрывала на аккордеоне то короткие трели, то длинный гуд, будто налет бомбардировщиков ей – немое кино, а она – тапер. Двигатели ужасно рокочут, по всему небу эхо, а Турса стоит да наяривает в такт, такие наигрыши, будто кто-то насвистывает или приплясывает. Я даже описать не могу, но эти ее тра-ля-ля поверх страшного грохота самолетов – и не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Но все-таки больше смеешься». Том тогда представил картину: тощая старая безумица с грибным облаком белых волос стоит и играет вразлад на затемненной улице под железной мощью немецких воздушных сил. Томми тоже стало смешно.

Когда принесли выпивку и рябую бабку Томми тоже не обделили, он подсел к тихой тетушке Селии и ее оживленному дяде Джонни, с которым хорошо ладил и на которого мог положиться, что тот составит Томми компанию до самого закрытия. Том помнил, как еще перед войной дядя Джонни Верналл присоединился выпить, когда они сидели с Уолтом, Джеком и Фрэнком в «Критерионе» на Королевской улице. Он покорила их своими байками о том, каким был расцвет того почти опустевшего паба, когда на каждом столе

гостей ждали хлеб, ветчина, банка с соленьями и ломоть сыра. Приток посетителей, рассказывал дядя Джонни, более чем окупал угощения, и никто не напивался и не буянил, когда у каждого в животе что-нибудь впитывало спиртное. Четырем братьям все это казалось картиной Эдема из утраченного золотого века.

Сидя с тетей и дядей в кабинке «Черного льва», Томми спросил, как они поживают, а заодно поинтересовался о кузине Одри, к которой неровно дышали практически все члены семьи и которая играла на аккордеоне в танцевальном ансамбле под руководством ее отца. Тот самый ансамбль выступил на ура всего несколько месяцев назад на свадьбе Уолта на Золотой улице, когда мама устроила выволочку Тому и Фрэнку и где, на вкус Томми, юная кузина Одри музицировала замечательно и выглядела очаровательно, как никогда в жизни, рассыпая свинги и стандарты скачущим гостям, забившим танцпол. От Одри глаз невозможно отвести, так считали все в семье, но в тот вечер в «Черном льве» на вопрос о ней дядя Тома только покачал головой и ответил, что Одри сейчас дома и переживает подростковые перепады настроения. Том удивился, ведь Одри всегда казалась солнечной девочкой, но решил, что поведенная ему истерика связана с женской природой и ее обычными переменами, о которых, по счастью, Томми тогда почти ничего не знал. Он кивнул и посочувствовал тете и дяде, выразил уверенность, что уже через день-другой их дочка придет в себя и будет сиять пуце прежнего. Как оказалось, на этот счет он ошибался.

Балагуря с родными, Том задумался о том, как сильно любил дядю Джонни – он, как ему казалось, добавлял семье колорита своими кричащими галстуками и горчичной клеткой пиджака, своими повадками шоумена. Было в нем что-то современное – в том, как он руководил ансамблем и говорил о датах и ангажементах, – словно он смело смотрит в лицо испытаниям послевоенного мира и будущего, кипит энергией и ждет не дождется новой жизни. Если верить маме Тома, ее младший брат Джонни с самого детства бредил только сценой, горел всей этой мишурой и кутерьмой, хотя у

самого него никакого таланта не было. Несомненно, потому он и стал руководителем танцевального ансамбля, раз не мог петь или играть. Когда его юная Одри оказалась такой одаренной аккордеонисткой, интерес к чему явно переняла у двоюродной бабки Турсы, Джонни наверняка был на седьмом небе от счастья. Томми часто казалось, что когда дядя Джонни стоит за кулисами и с обожанием наблюдает за выступлениями Одри, то он наверняка видит на сцене молодого себя, как в свете софитов наконец претворяются его мечты и надежды. Что ж, удачи ему. Быть может, малыш, которого Томми ожидал сейчас на дороге Уэллинборо, тоже будет хорош в том, к чему лежала душа самого Тома, – скажем, хотя бы в футболе. Томми не мог гарантировать, что, если так будет, сам не станет болеть на боковых линиях, прямо как дядя Джонни лучился гордой улыбкой во мраке и спутанных канатах закулисы.

Тетя Селия была другой – где Джонни шумел, она оставалась тиха, и не вилась над Одри так, как муж. Тетя Селия всегда казалась дружелюбной, даже по-своему веселой, но ей как будто было не о чем говорить. Она не казалась чопорной или чванливой, но если дядя Джонни откалывал свою обычную пошлую шуточку, то она только улыбалась и пряталась в лимонный тоник. Мать Томми была невысокого мнения о своей невестке и говорила, что тете Селии не хватало мозгов, но мама Томми была невысокого мнения обо всех окружающих.

В ту февральскую ночь пять или шесть лет назад он сидел в обществе дяди и тети, пока хозяин не объявил последний заказ, а они не сказали, что больше ничего не хотят. Допив, когда Томми только начинал свежую пинту, они взяли куртки и собрались домой. Идти им было недалеко. Джонни и Селия жили с Одри на Школьной улице, чуть выше по холму от Джема Перрита и его семьи, так что всего лишь за углом церкви. Томми помнил, как дядя Джонни встал со стула в кабинке и надел федору, в которой смахивал на букмекера. Джонни помог подняться тете Селии, вздохнул и сказал: «Ну что ж. Тяни не тяни, а пора. Помирать – так с музыкой», – имея в

виду Одри и ее дурное настроение, и тогда это показалось не более чем невинным замечанием.

Они простились, и Том смотрел, как они выходят из задымленного паба, помещение которого было таким же туманным, как мгlistая улица, показавшаяся, когда Селия и Джонни распахнули дверь «Черного льва» и вышли в ночь. Томми не торопился прикончить полстакана биттера, оставшиеся от целой пинты, лениво блуждая взглядом по бару в надежде встретить хоть какую-то приличную женщину. Не повезло. Единственным представителем женского пола в «Черном льве», не считая суки хозяина, была Мэри Джейн, драчунья, которую чаще видели на Мэйорхолд – в «Веселых курильщиках» или «Зеленом драконе», или там, или там. Один ее глаз заплыл и распух, стал фиолетовой щелочкой, да и все лицо выглядело так, будто когда-то было совсем другой формы. Она сидела и тарасилась в пространство, иногда покачивая головой, словно чтобы ее прочистить, хотя непонятно, то ли из-за того, что ей врезали, то ли из-за того, как нарезалась. Даже бабушка Турса уже улизнала из паба, пока он отвернулся. Томми остался один в совершенно мужском царстве свернутых носов – в последнем отношении включая и Мэри Джейн. Хотя он и так привык по работе находиться среди мужчин, и его такая компания нервировала куда меньше, чем долгое пребывание в окружении женщин, но она была скучнее. Томми опрокинул капли на дне кружки, пожелал спокойной ночи знакомым и направился к двери, застегивая куртку.

Снаружи «Черного льва», с холодным жжением в горле, он не мог выбрать, как быстрее добраться домой, к маме на Зеленую улицу. Наконец решил пройтись у церкви Петра и срезать по переулку на улицу Петра, которая была верхним краем поляны на склоне. Так выходило немного дольше, чем спуститься по Слоновьему переулку, но с хмелем и сантиментами в голове Тому захотелось прогуляться мимо церковного двора, чтобы пожелать спокойной ночи Джеку – ну или, по крайней мере, памятнику. То, что осталось от Джека, до сих пор было где-то во Франции.

Оставив паб позади, Томми поднялся по Холму Черного Льва и на Лошадиную Ярмарку, пока справа за железную ограду церкви цеплялся туман. Томми кивнул, несколько сконфуженно, военному мемориалу, торчащему из плывущего хлопкового пуха у его основания, и удивился, кто это заиграл мелодию, раздавшуюся от таверны, которую он только что покинул. Томми не сразу додумался – до того он окосел от пива, – что в «Черном льве» отродясь не было пианино, да и вообще звук доносился не сзади, а, слабый и переливающийся, летел из сгустившихся впереди теней Лошадиной Ярмарки.

Заинтригованный, Том прошел мимо узкого проулка, сбегавшего между церковью и мужским ателье Орма, по которому он намеревался срезать до улицы Петра. Теперь Тому хотелось знать, кто это шумит в такой поздний час, а также убедиться, что в районе не происходит ничего непотребного. Кроме того, проходя мимо Дома Кромвеля, Томми слышал какую-то даже исступленную мелодию куда отчетливей и в своем притупленном ступоре почти ее узнавал. Оказалось, она доносилась из горлышка Школьной улицы прямо перед ним – спотыкающийся рефрен, что плыл над мостовой с туманом и путался в заплетающихся ногах Тома, словно желая опрокинуть его.

Он помедлил у здания из коричневого камня, где лорд-протектор квартировал в ночь перед сражением на поле у Несби, и оперся рукой о шершавую стену, чтобы выровнять гуляющее равновесие. Тогда-то он и увидел, как со Школьной улицы на Лошадиную Ярмарку выбегают дядя Джонни и тетя Селия, они закрывали лица, словно плача, и висли друг у друга на руках, как два выживших после крушения поезда, карабкающихся по насыпи. Что же такого могло случиться?

Теперь, дую на руки, чтобы согреться возле больницы, он думал, что стоило просто окликнуть тетю и дядю и спросить, что не так. Но тогда Томми промолчал. Стоял, спрятавшись в тумане, и наблюдал за парой, которая за десять минут как будто постарела на десять лет,

как они ковыляли в сырых миазмах, цеплялись друг за друга и мычали, как раненые звери. Они направлялись в сторону Конного Рынка, и хлюпанье их страданий становилось тише. Том смотрел им вслед из своего укрытия и сгорал от стыда при мысли, что видел родных в беде, а сам и пальцем не пошевелил, даже не предложил помочь.

Но оно казалось таким личным, это горе дяди Джонни и тети Селии. Вот и все, что мог сказать в свое оправдание Том. Его с детства воспитывали помогать людям в тяжелую минуту, но учили и не совать нос в чужое дело, и иногда между двумя этими явлениями проходила очень тонкая граница. Так было и в ту ночь с дядей Джонни и тетей Селией. Вчуже казалось, словно в этот миг их жизнь разваливалась на части, словно сломалось что-то у них внутри, словно то, что их расстроило, настолько интимно и унижительно, что если бы вмешался кто-то посторонний, то сделал бы только хуже. Если подумать, возможно, Том подспудно понял, что Селия и Джонни и не искали помощи в своей беде. Не стучались в двери соседей, не просили вызвать пожарных или неотложную помощь. Они не подумали просто спуститься за угол к маме Тома на Зеленой улице – старшей сестре Джонни. Они не искали помощи в Боро, а направились на Золотую улицу и в центр. Позже Том узнал, что дядя Джонни и тетя Селия просидели до рассвета, разбитые, на ступенях церкви Всех Святых, под ее портиком.

Но в ту ночь он смотрел на них, пока они не скрылись из виду, затем побрел по Школьной улице, решив узнать, что происходит. Запинаясь и покачиваясь, он пошел по черной расщелине, где в 1500-х располагалась бесплатная школа, навстречу скорбной, тревожащей душу музыке, звенящей из дымки все громче с каждым неуверенным шагом Тома. Низкие ноты отражались от беспросветных окон обрабатывающих мануфактур, покрытых сажей, слева и справа от Томми, и стекла гудели, как пойманные мухи. Примерно тогда он впервые и уловил, что за мелодию играют снова и снова, выколачивают из старой джоанны где-то во мраке ближе к

бывшему Зеленому переулку. Начал напевать ее про себя – знакомые слова вернулись даже раньше, чем вспомнилось название, хотя он тут же понял, что песня хорошо ему известна. Как же там было? «Зачем рассказываешь все свои секреты...»

Томми нерешительно продвигался по неосвещенной улице – сколько из страха споткнуться обо что-нибудь в тумане и полететь кубарем, столько и из страха перед тем, что он найдет в нижнем конце. Он уже знал, что музыка доносится из дома дяди Джонни, что ее играет Одри. Кто еще на всей Школьной улице может вывести такую милую мелодию? «Они похоронены под снегом...» Хоть он отлично знал ее, в тот момент никак не мог вспомнить, как же она называется. Неведение угнетало разум, а Томми шел дальше к невидимой гармонии.

Через двадцать шагов, когда он достиг пересечения с улицей Святого Петра, стало очевидно, что старый напев действительно исходит от дома его кузины через дорогу, на углу улицы Григория. Еще Том осознал, что Школьная улица опустела, не считая его самого и еще одного человека: столбом в ползучем пару, кипящем у порога дома дяди Джонни, тощая и застывшая навтыжку, как палка, закинув голову к освещенному, но завешенному окну, откуда шла музыка, стояла Турса, бабка Томми. В ее руках покоился аккордеон, словно немой и чудовищный ребенок, восковые и прозрачные пальцы одной руки отрешенно поглаживали клавиши, вверх и вниз, словно хотели успокоить молчащий инструмент и сгладить его страхи в тревожной ситуации. Турса и сама не издавала ни звука, но внимала музыке, истекающей из дома, так внимательно, что это было почти слышно. Она все продолжалась, эта мелодия, вышивая свою нить полузабытого текста на одеяле тумана. «Трава, не шепчи, не рассказывай деревьям...»

Конечно, теперь Томми вспомнил название, которое его так мучило. «Шепот травы». Многие годы это была любимая народом песня и к тому времени даже пробралась в язык, именно из-за нее стукачи получили свою кличку – по крайней мере, именно так было,

по мнению Тома [59]. До этого момента Том думал, что песня, хотя и грустная, была слишком сопливой и приторной: трава и кусты беседуют друг с другом – готовая идея для Уолта Диснея. Но в стелящейся мгле на Школьной улице в ту февральскую ночь она вовсе не казалась приторной. Тому она казалась ужасной. Ужасной не оттого, что плоха или плохо сыграна, а скорее от того, словно рассказывала о каком-то ужасе, о какой-то ужасной боли, которую не залечить, о каком-то ужасном предательстве. Аккорды гремели остервенело, ноты сыпались осколками из-под невидимых пальцев. Песня словно обвиняла, а также облегчала душу – мучительное признание, которое уже невозможно забрать назад, после которого ничто не будет как прежде. Это была песня конца.

«...ведь деревьям не нужно знать». Стыд. Вот еще какое чувство, подумал теперь Том, привносила мелодия в промозглый вечерний воздух, не считая боли и злости: неодолимый стыд. Даже страшное веселье, в которое иногда ударялся припев, казалось сардоническим, казалось мстительным, казалось противоестественным. Томми было не по себе – в основном потому, что он, хоть убей, не мог представить, чтобы из такого скромного и целомудренного сосуда, как его кузина Одри, хлестал такой неожиданный поток перемешанных эмоций. Что же творилось у нее в голове, если на выходе оно звучало так лихорадочно, так пробирало до сердца? Что же она чувствовала, если от мелодии ее чувств хотелось спрятаться и сердце уходило в пятки?

Бог знает, сколько раз она уже проиграла мелодию, прежде чем Том или кто-нибудь еще отважился войти на Школьную улицу, но, пока они с бабкой стояли порознь в тумане и слушали, песня повторилась самое меньшее четыре раза, от начала до конца, прежде чем внезапно разверзлась тишина, что во многом волновала даже больше, чем предшествующая ей какофония.

Минуло несколько напряженных минут – словно чтобы убедиться, что концерт действительно закончился, – и тогда бабка Турса вдруг, ни с того ни с сего, зажала четыре ноты гармони, свисающей на

протертой кожаной лямке с жилистой шеи, – четыре протяжных и тяжелых ноты, в которых Том с легким уколом тревоги признал начало «Похоронного марша» – по крайней мере, так ему в тот момент показалось. Но уже на этом траурном начале бабка осеклась, ее иссушенные пальцы отвалилились от кнопок. И Турса резко развернулась и зашагала по Школьной улице, как будто, не считая ее краткого музыкального вклада, здесь больше ничего нельзя было поделаться. Спустя миг ее сухопарая фигура растворилась в холодном волнении ночи.

Теперь, переминаясь с ноги на ногу во дворе больницы Святого Эдмунда, Том понял, что тогда встретил двоюродную бабушку в последний раз, где-то спустя два месяца она слегла с большими бронхами и умерла. Мысленная картина, как она уходит в туман, за колыхающийся покров тайны, – последний ее образ, что он мог вызвать в памяти. Возможно, ее короткая вариация «Похоронного марша» была пророчеством – впрочем, стоило сейчас задуматься, как он вполне мог представить эти четыре ноты началом «О мой папа», а то и еще десятка мотивов.

После ухода Турсы Том простоял там еще около пяти минут, просто уставившись на притихший дом через дорогу, из-за задернутых штор которого просеивался мягкий газовый свет. Затем поковылял по Школьной улице, по Зеленому переулку к маминому дому на Зеленой улице. Когда вернулся, Мэй уже была в постели, а Фрэнк еще не вернулся из «Якоря». Том запалил газокалильный фонарь, от той же спички раскурил папироску, затем посидел несколько минут в кресле перед тем, как лечь.

На другой стороне комнатухи, сжавшейся еще больше из-за газового огонька, у стены стояло семейное пианино, черное и полированное, как гроб. На нем были пустая ваза и большая глянцевая фотография восемь на десять в рамке с подставкой. Снимок был сделан в рекламных целях, явно профессионалом, и на нем изображался групповой портрет коллектива, которым руководил дядя Джонни. Впереди, в самой середине, – несомненно, с прицелом

на то, чтобы продемонстрировать самую привлекательную черту танцевального ансамбля, – стояла кузина Одри с аккордеоном чуть ли не больше, чем она сама. Ее изящные руки лежали на клавишах так элегантно, что любому бросалась в глаза искусственность; так ей велел держать позу и аккордеон фотограф. Том легко представлял болтовню и трескотню, с которой тот делал снимок, – обязательно в игривой манере, без нее подобные мужчины как будто не могли обойтись. «Вот так, красота, а теперь улыбочка от восхитительной юной леди». А затем Одри подняла глаза к потолку – вот как на фотографии, – с комичным раздражением, отшучиваясь от комплимента – «Ну что вы!», – но и польщенная, довольная словами, хотя он и сказал их только для того, чтобы она улыбнулась. Она слегка закинула голову назад, словно обращалась к небесам, просила избавления от мужчин и их глупой гладкой лести, и было видно сильную линию подбородка, прямую черту носа, выточенную головку с темными волосами, ниспадающими на плечи отутюженной белой блузки. В тот вечер кузине было около восемнадцати лет, а снимок, на взгляд Томми, был сделан на два-три года раньше, когда Одри исполнилось пятнадцать или шестнадцать. Она казалась такой живой и насмешливой, что Том еще добрых полчаса просидел в залитой газовым светом гостиной, пытаясь уложить в голове образ девушки с фотографии с устрашающим исполнением, услышанным на Школьной улице только что.

Конечно, в следующие два-три дня Том узнал больше о том, что случилось той ночью. Если верить его маме, которая уже услышала подробный пересказ событий от младшего брата, дядя Джонни и тетя Селия вернулись из «Черного льва» на Школьную улицу и обнаружили, что их единственная дочь заперла дом, засела внутри и принялась играть на пианино одну и ту же элегию, подчеркнуто пропуская мимо ушей стук в дверь и требования впустить. Когда требования быстро переросли во встревоженные просьбы, кузина Одри, оказывается, внесла в песню и вокальный элемент, крича поверх лавины собственной игры: «Когда трава прошепчет надо

мной, тогда вы вспомните». Наконец ее родители сдались и бежали в туман, по Золотой улице, и всю ночь провели под кровом портика Всех Святых, сокрушенные осознанием того кошмара, что их постиг. Их единственная дочь, их умница, красавица, талантливая дочурка, которая, как они надеялись, воплотит в будущем все их мечты, помешалась, ее ум зашел за разум. На следующее утро вызвали врачей, и Одри Верналл забрали к повороту на Берри-Вуд, в психиатрическую больницу Святого Криспина, пока она, как поведал дядя Джонни, сопротивлялась и брыкалась, выкрикивала самые разные фантастические небылицы. С тех пор она и лежит в лечебнице, а вероятнее всего, проведет там всю жизнь – позор и пятно на семье. Теперь ее имя упоминалось всуе редко.

Общим местом, естественно, стало, что проблемы Одри унаследованные – проклятие, переходящее у Верналлов из поколения в поколение, как было очевидно и по дедушке Тома Снежку, и по его бабушке Турсе.

Вот тебе и на. Семейное безумие. Замечательная тема для размышлений во время ожидания первенца, но Том приходил к выводу, что от нее не скрыться. Это просто факт – сложная лотерея рождения, когда решается, будут у ребенка русые волосы, как у Дорин, или черные, как у Тома, будут глаза зеленые или синие, будет он высокий или низкий, здорового склада или тощего, здравомыслящий или безумный. Ни у кого нет права голоса в том, какими родятся дети, но, с другой стороны, ни у кого нет права голоса ни в одном важном событии жизни. Остается только делать все, что в твоих силах. Остается только играть со сданными картами, как можешь.

Он окинул взглядом все вокруг: марлю тумана на ране ночи, ветхую церковь через улицу – ее вес и присутствие скорее ощущались, чем виднелись. Слева от Тома в темные мили до самого Уэллинборо уходило висящее кольцо тусклых фонарей. Справа вокруг центра ломкими прядями капризной мишуры сплетались ублюдочные рапсодии Безумной Мэри, а позади темнел

реабилитированный рабочий дом, словно наглый бейлиф, который получил новую работу, форму и поклялся, что исправится. Том с испугом осознал, что мир уже прожил половину двадцатого века.

А еще Том начал понимать, что не только кровь и наследие определяют, каким вырастет ребенок. А все сразу. Мешанина всех частей планеты и всей ее истории, каждого факта и случая, сложивших мир, образовавших родителей ребенка, – все компоненты, что вели к появлению конкретного младенца в конкретном чреве. Ожидая, пока изольется наружу его отпрыск, добродивший в распухшем животе Дорин, Томми понял, что ни в его жизни, ни в жизни его супруги нет ни одного элемента, что не затронет их дитя, – точно так, как каждая жизненная ситуация их родителей оставила свою отметину на них самих.

К примеру, должность директора, от которой отказался Снежок Верналл, сыграла свою роль в том, какая семья и воспитание ждали ребенка. Смерть первенца Мэй от дифтерии привела к тому, что она не остановилась на двух девочках, но родила четырех мальчиков. А будь иначе, ни Томми, ни его будущего младенца вообще бы не существовало.

Потом, разумеется, война, и вся политика, что была до и после нее. Все, что предопределило, какое образование получит грядущее поколение, какими станут их улицы и дома, где они вырастут и будет ли работа, когда они вырастут. И это только из очевидного – любой и так увидит, какое это имеет воздействие на шансы детишек в жизни. А как насчет остального? Крохотные, почти невидимые события приводят к тому, что кто-то выбирает один путь, а не другой, приводят к тому, что повлияет на мир, на его ребенка, к лучшему или худшему. Как насчет них?

Том задумался о водовороте случайностей, жизней, смертей и воспоминаний, что вливается воронкой в каждую схватку Дорин, оставляя отпечаток на малыше, пока он протискивается к свету: ночи воздушных налетов, дни в очереди за пособием, радиопередачи и бомбежки. Ноги женщины, на икрах которых карандашом для

бровей нарисованы фальшивые швы; резинки, проливающиеся дождем на шляпы пассажиров. Могила пятнадцатилетнего немецкого снайпера у дороги во Франции. Дедушка Тома, в ярости сминающий аккуратное кольцо цифр, чтобы бросить в огонь, черная дыра, расползающаяся из середины горящего листа. Фотография Одри в рамке на пианино, с неестественной позой, легкомысленной улыбкой и ухмыляющимися музыкантами позади в бабочках, с гитарами и кларнетами. Туман, голубиное дерьмо и Безумная Мэри – все как-то просачивается в новоприбывшего, который, если все пойдет удачно, сделает первый вдох и сожмет кулачки уже через час-другой.

С верхних этажей дымки три раза пробили часы святого Эдмунда. Пальцы ног в башмаках так замерзли, что он их уже не чувствовал. А идут к черту все эти солдатские игры.^[60] Засунув руки глубоко в карманы плаща, Томми Уоррен развернулся на каблуке и зашагал обратно по длинной подъездной дорожке больницы навстречу расплывающимся и далеким огням родильного отделения, слабо поблескивающим во мгле. Дорин еще не родила, иначе бы за ним кого-нибудь послали. По дороге он заметил, что колебаний пианино уже не слышно, хотя Томми и не знал, что это значило: закончила ли наконец Безумная Мэри или попросту сменил направление ветер. Рассеянно мыча, чтобы заполнить внезапную тишину, Том спохватился, когда заметил, что напевает «Шепот травы», перешел на мотив «Чу! Радости внеми!» и продолжил идти. Крыльцо под светом лампочки у приемной постепенно приближалось. Ускорив шаг и оживив мысли, Томми отправился встречать своего новорожденного мальчишку.

Или девочку.

Подавившись песенкой

Что бы там ни говорила его старшая сестра, что бы ни писала фломастером у него на лбу, пока он спал, пусть и всего раз, Мик Уоррен был не дурак. Если бы на цистерне была маркировка опасности, какой-нибудь желтый череп или кричащий человек с обожженным лицом, тогда Мик вряд ли бы решил, что влупить по ней со всей дури охренительной кувалдой – такая уж удачная мысль.

Но по какой-то причине не было ни флуоресцентных наклеек, ни белых правительственных этикеток, ни даже вялых предупреждений об угрозе старения кожи или недоношенности. Мик в неведении раззудил правое плечо, воздел огромный молот, а затем опустил по знакомой и будоражащей дуге. Удовлетворительный лязг при ударе, отдавшийся даже в самых запыленных уголках Двора Святого Мартина, испортил только его собственный перепуганный вопль, когда весь фасад головы Мика, который он издавна считал своей лучшей стороной, пропесочила ядовитая пыль.

Щеки и лоб тут же вздулись пупырчатой пленкой. Выронив увесистый молот, Мик попытался убежать от токсичного облака, которое выдохнул таинственный бак, как от роя пчел, отмахивался руками и разъяренно ревел – а вовсе не «пищал как девчонка», как позже заявлял некий близкий родственник. Он бы вообще молчал, этот некий родственник. Мик хотя бы выглядел жертвой несчастного случая на производстве всего несколько дней, тогда как она выглядела так с самого рождения и без всякой уважительной причины.

Ослепленный и завывающий, – согласно последующим красочным свидетельствам коллег, – Мик кинулся сломя голову по полукругу и почти с комедийным мастерством облученного постъядерного Гарольда Ллойда влетел лбом в стальную балку, торчащую из гигантских весов, где взвешивали сплюснутые баки. Он вырубился

напрочь, но, оглядываясь назад, поздравил себя с оперативностью, с которой в суровых обстоятельствах отыскал импровизированное болеутоляющее с эффектом одновременно мгновенным и тотальным. Никак не назовешь поступком дурака, самоуверенно успокаивал он себя через день-другой, когда сошли худшие синяки.

Не успел он пролежать навзничь в грязи и секунды, как Говард – его лучший друг в металлообрабатывающей мастерской – заметил, что произошло, и поспешил Мику на помощь. Он повернул кран, к которому был подключен единственный шланг на предприятии, и навел водяной поток на задранное коматозное лицо Мика, смывая едкий рыжий порошок, покрывавший обожженную кожу, словно грим в стиле «негритянских менестрелей», предназначенный только для радио. Судя по тому, что Говард рассказывал позже, Мик тут же пришел в себя и открыл покрасневшие глаза в абсолютной растерянности. Оказывается, вернувшись в сознание, он что-то бормотал с видом чрезвычайной важности, но слишком тихо, чтобы озабоченные коллеги разобрали больше одного-двух слов. Что-то про дымоход или, может, пароход, который стал больше, – но затем Мик как будто вспомнил, где он, а заодно и что его лицо в волдырях и ржавой пыли превратилось в адскую миску «Коко Попс». Он снова завопил, и, когда Говард промыл из шланга самые пораженные места, испуганное начальство дало добро отвезти Мика через Спенсеровский мост выше по Журавлиному Холму, по Графтонской улице и Регентской площади, через Маунтс и по запутанным поворотам на Биллингскую дорогу до Клифтонвилля, где теперь находилось травматологическое отделение больницы. Несмотря на то что все время путешествия Мик обильно матерился в прижатое к лицу влажное полотенце, что-то в выбранном маршруте показалось ему тошнотворно знакомым.

Ему повезло – в больницу он попал в спокойное время и тут же отправился на осмотр, хотя врачи мало что могли поделать. Его почистили, закапали капли в глаза, сказали, что зрение вернется к норме на следующий же день, а лицо – через неделю, и Говард

отвез его домой. Всю дорогу Мик молча глядел в окно машины на расплывающиеся Баррак-роуд и Кингсторп из-под опухших влажных век и пытался понять, откуда в нем завелся ползучий и зловещий страх. В «травме» его выскребли дочиста. Насчет долгосрочных последствий несчастного случая переживать незачем, а если учесть несколько дней оплаченного больничного с работы, то можно сказать, что он вышел из ситуации победителем. Тогда почему же казалось, словно над ним зависла какая-то роковая туча? Наверняка из-за шока, наконец решил он. От шока всякое бывает. Это факт известный.

Говард высадил его на обочине в начале Чакомбской дороги, всего в минуте пешком от дома Мика и Кэти. Мик попрощался и поблагодарил коллегу за помощь, затем прошел по короткой дорожке, ведущей к его черной калитке. Задний двор – с патио, настилом и сараем, которые он построил сам, – умиротворяли своей опрятностью после хаоса и смятения дня, даже пропущенные через мутный фильтр нынешнего искаженного зрения. Блестящая кухня и аккуратная гостиная встретили такими же ухоженностью и спокойствием, к тому же сейчас принадлежали ему одному, раз Кэт была на работе, а мальчишки – в школе. Мик заварил чашку чая и опустился на софу, закулив сигарету, тревожно ощущая зыбкость окружающей нормальности.

Хотя Мик тоже не сидел без дела, основной движущей силой за безупречной элегантностью их дома была Кэти. Не то чтобы жена Мика была одержима чистотой и порядком. Скорее в Кэти укоренилась антипатия к грязи, беспорядку и тому, что они для нее символизировали, – эту черту привило детство в семейной берлоге Девлинов. Он понимал, что он видел едва заметное пятно на ковре, а Кэти – трещину в высокой стене, которую она построила между своим настоящим и прошлым, между нынешней комфортной домашней жизнью и не самым счастливым детством. Разбросанные по полу игрушки, если их тут же не убрать, означали, что в следующий раз ее дома ждут лежащие вповалку покойный папочка

и свора пьяных дядюшек, пункт сбора металлолома на задворках и визиты к дверям не молочников, а полицейских. Это страх иррационального свойства, они оба это знали, но Мик понимал, как сильно может повлиять на человека жизнь в семействе Девлинов.

Мик ладил со свояками, с некоторыми даже сошелся накоротке и в целом считал их приличными людьми – по крайней мере, тех, кого знал лично. К примеру, сестра Кэт, Доун, была социальной работницей в Девоне, куда в результате Мик с семьей часто ездили на выходные. Младшая дочь Доун, Харриет, в нежном возрасте четырех лет сказала самое смешное, что Мик когда-либо слышал от ребенка или взрослого: когда папа спросил ее, знает ли она, почему крабы ходят боком, она угрюмо буркнула: «Потому что они придурки». Наверное, благодаря множеству сходств с семьей Уорренов Мик никогда не видел проблем в том, чтобы быть родственником Девлинов.

Но, разумеется, Девлины все равно оставались Девлинами. Новостные сводки от Кэти с дальних рубежей чудовищно разросшегося клана по-прежнему могли шокировать или напугать. Несколько недель назад были похороны, которые Мик не смог посетить из-за работы. Ходила Кэти, и, судя по всему, мероприятие выдалось воодушевляющее – похороны у Девлинов другими не бывали. Прямо во время службы сестра Кэти Доун толкнула ее локтем и шепнула: «Видела нашего Криса?» Кэти уже заметила своего дальнего родственника в задних рядах толпы в часовне, так что ответила, что да, видела. Но Доун это не удовлетворило. «Нет, ну ты видела? Видела мужика, с которым он заявился?» Кэти бросила взгляд через плечо – и в самом деле, вот ее кузен, а рядом такой же высоченный тип, и он, казалось, с трудом сдерживал чувства, подобающие траурному событию. Только потом, на поминках, Кэт осознала, почему он держался так близко к кузену Крису. Они были прикованы друг к другу наручниками. Человек в раздерганных чувствах, вогнавший всех в стыдливую краску долгим спичем о том, какие же Девлины чудесные люди и как его тронула церемония, был

тюремщиком в штатском, ответственным за день отгула Криса. Вооруженное ограбление, такие дела.

Родня жены Мика была колоритной и разнообразной компанией, которая выросла на той же черной, пропитанной сажей почве Боро, что и Уоррены. Очевидно, потому Кэт терпеть не могла всю ту же родную землю, когда она попадала на ковролин. Пастельные стены и отполированный обеденный стол были барьером против грязи, налипшей комками к корням Кэти, но Мику и самому нравились чистоплотность, предсказуемый покой. Единственная претензия у Мика возникла в тот момент, когда он заметил свое отражение в стеклянных дверях шкафа. Сидя с обезображенным лицом и чаевничая в таком благопристойном окружении, он словно вышел прямым из фильмов Джорджа Ромера – ностальгирующий зомби, пытающийся вспомнить, как он жил.

Шальная мысль снова принесла с собой неопределенные, необъяснимые тревоги. Он так и не мог понять, откуда они взялись. У него с головой что-то случилось, пока он был в отключке? Какой-то припадок – а может, ему привиделся такой сон, который потом не помнишь, но он придает всему дню скверную атмосферу? Что прошло перед его внутренним взором в первые секунды, когда он очухался посреди Двора Святого Мартина, мямля бред, с вулканами в глазах? Что первым пришло в голову после пробуждения?

С екнувшим сердцем он осознал, что это было простое «Мама».

Его мать, Дорин Уоррен, урожденная Дорин Свон, умерла за десять лет до этого, в 1995 году, и Мик до сих пор вспоминал ее с теплотой почти каждый день, до сих пор по ней скучал. Но скучал как взрослый человек и не думал о ней с той интонацией внутреннего голоса, которую услышал первым делом, придя в сознание. То был зов к матери потерявшегося ребенка, а он не чувствовал себя так с...

С тех пор, как в три года очнулся в больнице.

О боже. Мик вскочил с софы, снова сел, не зная, зачем вставал. Так вот из-за чего внутри бродило беспокойное чувство – из-за

случайности без всяких значимых последствий, имевшей место больше сорока лет назад? Он затушил сигарету в пепельнице, которую принес с кухни, и снова встал – на сей раз чтобы распахнуть окно и выветрить дым, прежде чем домой вернулись дети со школы и Кэти с работы. Закончив с этим, он снова сел, снова встал, снова сел. Черт. Да что с ним?

Он помнил себя в три года – как открыл глаза среди серых стен палаты, почувствовал запах дезинфицирующих средств, не представляя, где он и как сюда попал. Он был вынужден восстанавливать инцидент деталь за деталью из обрывков информации, которые выуживал из мамки в последующие дни: как они сидели на дворе, когда в горле Мика застряла конфета и он не мог вздохнуть, и как мужчина из соседнего дома на дороге Святого Андрея отвез безжизненное и вялое тельце Мика в больницу, где ему откупорили дыхательное горло, вырезав до кучи опухшие гланды, и уже к выходным вернули семье как новенького. К этому времени он уже знал, что с ним случилось, но только из вторых рук. А когда Мик впервые очнулся под внимательными взглядами странных медсестры и врача, он не помнил ничего из этого дня – ни как сидел в саду на колене матери, ни как поперхнулся, ни как его мчали в больницу. С таким же успехом вдох в мрачной и вонючей палате с приклепанными к стенам плакатами авторства Мейбл Люси Атвелл мог быть первым моментом его существования на земле.

Но это тогда. Теперь же, когда Мик очнулся после несчастного случая, на краткий миг разум Мика вовсе не был таким девственным; Мик внезапно вспомнил весьма и весьма много. Загвоздка была только в том, что внезапно прилившие воспоминания в первые панические секунды принадлежали не сорокалетнему мужчине. Он даже не знал, сколько ему лет, не сразу сообразил, что делает на открытом дворе со стальными баками. Не подумал о Кэти, о детях, о множестве других ориентиров, к которым в обычных обстоятельствах привязывал свою личность. В эти

одурманенные мгновения казалось, словно последних четырех десятков лет с мелочью вообще не было. Словно он снова, трехлетний, проснулся в 1959 году в Городской больнице, только теперь этот трехлетний помнил, что с ним случилось ранее.

Все подробности случая в саду, которые стерлись из памяти в детстве, вернулись спустя больше сорока лет. Конечно, вернулись они в сжатой и беспорядочной форме и главным образом проявились смутным беспокойным ощущением, но если Мик просто сядет и покопается в голове, то наверняка сумеет их распутать, вытянуть это чувство загнанности из клубка. Он закрыл глаза, чтобы их не саднило, а еще чтобы подстегнуть память. Увидел задний двор, увидел старую конюшню за полутораметровым забором, крышу с черными пробелами на месте слетевшей черепицы, как в кроссворде. Подушки софы под ним стали ногами Дорин, а твердый и костлявый деревянный край царги – ее коленями. Он без всяких трудностей или сопротивления погрузился в теплое родительское тесто, а широкая гостиная вокруг сомкнулась в узкое кирпичное пространство, справа и слева поднялись задние стены соседских домиков, над головой оказался рваный лоскут линялого голубого неба.

Тогда Боро были совсем другими – их виды, запахи, звуки и близко не походили на сегодняшнее лобное место для надежды и радости. Надо признать, аромат района в те дни был куда хуже – по крайней мере, в самом буквальном и очевидном смысле. Сразу к северу по дороге Святого Андрея стояла дубильня с наваленными во дворе курганами загадочных бирюзовых опилок, распространявшая острую химическую вонь, словно от канцерогенных монпансье. Исходила она от ядовитой синей субстанции, которой красили овечьи шкуры, чтобы выжечь фолликулы волос и без особого труда снимать шерсть, но она была и вполтину не так отвратительна, как запах с юга, от жирового комбината – завода по производству клея на Пути Святого Петра. Западный ветер приносил с железной дороги благоухание подгорелого машинного масла с железным

послевкусием антрацита от торговцев углем – «Уиггинс» – на другой стороне дороги, тогда как с противоположного направления с рассветным солнцем над протекающей крышей конюшни росли густые запахи самих улиц Боро, сползая по склону холма с востока обонятельной лавиной: человеческая эссенция, валившая дымом из сотни медных баков для кипячения, хорошая еда, плохая еда, собачья еда и собачьи остовы, кирпичная пыль и дикие цветы, тухлые стоки и чья-нибудь горящая труба. Летом – горячий деготь, зимой – пронзительный запах мороженой травы, а поверх всего еще река Нен, холодный и зеленый букет которой струился от Лужка Пэдди. Ныне Боро не могли похвастаться характерной атмосферой, различимой человеческим носом, но воображаемые жгутики сердца все же улавливали их запахи.

Что до само й дороги Святого Андрея, вернее, их родного отрезка, – его больше не было, буквально порос былъем, ему на смену пришел длинный пустырь с парой деревьев и случайной ажурной тележкой из супермаркета, тянувшийся от начала Ручейного переулка до начала улицы Алого Колодца. Там, где было двенадцать домов, два-три предприятия и бог знает сколько людей, теперь словно раскинулись уголья этих опрокинутых птичьих клеток на колесах – твердые и холодные разносчики фасованной продукции и кормильцы трех поколений валялись в сорняках, как древние проволочные мумии, к которым наконец потеряли интерес лабораторные мартышки.

Сидя на софе в гостиной, Мик позволил разуму унести по исчезнувшим проездам и потерянными улочкам в прошлое. Он видел узкий джитти, что шел параллельно дороге Андрея, за задворками ряда домов, с одиноким нерабочим газовым фонарем на полпути. Еще несколько лет после того, как дома снесли, можно было разобрать торчащие из-под земли булыжники забытого переулка; пенек спиленного старого фонарного столба – железное кольцо с рваными краями, внутри которого еще были видны срезы трубок и кабелей с проводами поменьше, шея закопанного и

обезглавленного робота. Теперь не было и того – все проглотила трава или выпирающая ограда вдоль нижнего края спортивной площадки Ручейной школы – эта граница понемногу ползла на запад тридцать лет с тех пор, как его родную улицу сровняли с землей, а ее обитателей развеяли по ветру. Не осталось никого, чтобы протестовать или остановить наступление спортивной площадки. Еще через двадцать лет, думал Мик, блуждающий барьер из сетки-рабицы доберется и до самой дороги Андрея, где будет ждать у тротуара еще несколько столетий, прежде чем пересечь и ее.

Дорога, получившая название в честь приората Святого Андрея, который давным-давно стоял вдоль ее северного конца, ближе к Семилонгу, некогда служила западной границей города. Это было еще в тысяча двухсотых, когда местность, сейчас именуемая Боро, была всем Нортгемптоном от начала до конца. Местные жители и Bachelerie di Northampton, бакалавры Нортгемптона – печально известное радикальное и антимонархическое студенческое население городка, – объединились с Симоном де Монфором и его мятежными баронами против короля Генриха III и четырех дюжин зажиточных горожан, что на протяжении пятидесяти лет, со времен Великой хартии вольностей, пожиная ее плоды, заправляли здесь и являлись предтечами нынешней городской управы; в ней до сих пор сидели сорок восемь человек, и они держали всю власть сегодня, в 2005 году. Тогда же, в 1260-х, разгневанный король Генрих послал солдат максимально жестко усмирить восстание. Приор Святого Андрея – из клюнийского ордена, а значит, француз, – объединился с норманнской королевской семьей и пустил королевских людей в брешь в стене приората – где-то как раз через улицу от будущего дома Уорренов. Войска разграбили и сожгли некогда процветающий и славный город, а в отместку за бунтарские настроения студентов центром образования назначили Кембридж, а не Нортгемптон. Насколько понимал Мик, тогда-то на его родной земле и начались казни и бесправие, запустившие процесс, который продолжался по

нынешний день. Всего раз откажись жрать поданное говно – и власть предержажшие приложат все силы, чтобы следующие восемьсот лет у тебя на столе дымилась свежая двойная добавка.

В тот день в 1959 году квартал расстелился, как заплесневелое одеяло на летнем пикнике, сквозь протертую ткань которого пробивались стебли выгоревшей травы. Заводы время от времени лязгали или пускали снопы ацетиленовых искр за матовыми окнами из оргстекла. Болтали ласточки на пригретых карнизах по обе стороны кривых улиц, где женщины в клетчатых шалях стоически трусили под весом кошелок с продуктами; где в десять минут четвертого все еще пытались добраться домой старики, одурев от домино, после обеденного перекуса в «Спортсманс Армс». В опустевшей на каникулы школе на холме за желтым спортивным полем стояла оглушающая тишина от не-криков двух сотен отсутствующих детей. Безобидный приятный день. Башенные дома еще не возвели. Светло-песочная пленка пыли от сноса, накрывавшая окрестности, напоминала только о времени года и пляже.

Весь дом опустел – Томми, папа Мика, уехал на работу в пивоварню в Эрлс-Бартон, а остальные члены семьи воспользовались погодой и вышли на задний двор. От вытопанной до гладкости мостовой на дороге Святого Андрея в альков, укрывающий их обесцвеченную красную дверь, вели три ступеньки, а из стены у нижней торчал черный железный скребок для обуви, предназначение которого Мик не мог постичь лет до десяти. Справа от двери со стороны гостя на уровне тротуара была вделана проволочная решетка, пускавшая воздух в непроглядный угольный подвал, а над ней было окно передней комнаты – зала – с фарфоровым лебедем, безутешно взирающим на склад «Уиггинс», ржавый и заросший железнодорожный тупичок за двором и редкую проезжающую машину. Слева же от двери были водосточная труба, одна на два дома, потом входная дверь и окна миссис Макгири, а

дальше – облезшая деревянная калитка, ведущая на мощеный двор Макгири и к прогнившим денникам в конце.

Если подняться по ступеням и войти в дом номер семнадцать, вас встречал простой кокосовый коврик для ног и коридор с выцветшими до невидимости призрачно-охровыми цветами на обоях, где на обремененные шерстяной одеждой крючки падал свет оттенка липучки для мух. Первая дверь направо вела как раз в обезлюдевшую комнату с массивными напольными часами, канопе с конским волосом и легким креслом ему в пару, парафиновой горелкой, полированным буфетом с дорогой керамикой, которой никто никогда не пользовался, и небольшим прокатным телевизором за закрытыми створками посередине. Второй выход из коридора вел в такую же пустую гостиную, а прямо перед вами вверх вела лестница, скрытая ковриком с заплетающимся коричневым узором, напоминавшим съедобные сережки из рождественского пудинга. На втором этаже в задней части старого дома находилась спальня Альмы и Мика, которая, как и бабушкина комната в одной ступеньке от их лестничной площадки, выглядывала на наполовину облицованный кафелем двор в виде буквы «Г», а комната Тома и Дорин – самая большая в доме – была следующей за бабушкиной, и потому смотрела на дорогу Андрея ровно над окном первого этажа, украшенным белым лебедем с обреченным видом. Верхний уровень, практически ненаселенный днем, казался Мику ночным этажом, отчего в его глазах приобретал зловещую и жуткую атмосферу. Если действие детских кошмаров разворачивалось у него дома, самое страшное всегда поджидало наверху.

На первом этаже было слишком уютно, чтобы бояться, несмотря на вечные потемки в кухне и тени в гостиной у мрачного коридора. В ней было не продохнуть: ансамбль составляли раскладной обеденный стол в комплекте с двумя стульями, табуретка и старое деревянное кресло. Два мягких кресла с подлокотниками (со спинки одного из которых много лет назад вывалился из окна кузен Мика

Джон) стояли по бокам от камина из железа метеоритного вида (туда примерно в те же времена упала лицом сестра Джона Айлин), а оставшийся закуток едва вмещал огромный захламленный саркофаг серванта. Все верхние углы комнаты обегал резной карниз – когда-то, предположительно, декоративный, – из-за чего потолок казался еще ниже. На планке для фотографий на стене напротив очага висели поблекшие портреты в тяжелых рамах, бежевые и белые изображения мужчин с мудрыми улыбками и яркими глазами, сверкающими из-под кустистых бровей: прадедушка Мика Уильям Маллард и покойный супруг его покойной бабули, дедушка Мика по материнской линии Джо Свон с усищами шире плеч. Был и третий снимок, тоже с мужчиной, но Мику не приходило в голову спросить, кто это, вот никто ему о нем и не рассказал. Так что Мик всякий раз, когда заходила речь о каком-нибудь умершем родственнике, которого не знал, вспоминал лицо этого анонима со снимка. На одной неделе это мог быть брат бабули, дядя Сесил, а на другой – кузен Бернارد, утонувший во время войны, пытаюсь спасти выживших с потопленного броненосца. Полмесяца анониму даже довелось пробыть Невиллом Чемберленом, пока вконец запутавшийся Мик не разобрался, что бывший премьер и угодник Гитлера – не близкий родственник.

В стене, разделявшей зал и гостиную, было вырезано окошко с витражом – изображением цветка в ярко-желтых, изумрудно-зеленых и красных, как рубиновый портвейн, цветах. Иногда вечером, во время чаепития, когда солнце заходило за вокзал по ту сторону дороги Святого Андрея, окно зала пронзал почти горизонтальный луч, заглядывал за понуренную головку фарфорового лебедя и сиял сквозь цветное стекло в тусклую жилую комнату, расплескивая чудесную и дрожащую фантомную краску на безликое радио, установленное на стене между окном на задний двор и дверь на кухню.

Кухня-кутузка со стенами, выкрашенными белой клеевой краской, холодными синими и красными плитками на полу находилась одной

ступенькой ниже гостиной. Спустившись, по левую руку вы видели дверь в подвал, а за ней на площадке подвальной лестницы – проржавевший буфет для хранения мяса. Справа же была задняя дверь, ведущая в верхнюю половину двора, а сразу после нее – шершавая каменная раковина под одиноким окошком, с единственным медным краном с холодной водой, изъеденным медянкой. Напротив стояла газовая плита, старый поеденный жучком кухонный стол и коварный каток для белья, а над ними с гвоздика свисал цинковый таз, один на всю семью, который использовали для омовений по самым разным случаям. Если нужно, его наполовину наполняли кипятком из медного бака – цилиндра металлического цвета, орошенного конденсатом, стоявшего в дальнем конце кухни рядом с забитым досками и ненужным кухонным камином. Мик помнил короткую деревянную дубинку, прислоненную к медному боку, – мешалку для кипяченого белья, с тупым и волглым от частого использования концом, текстура и волокна которого превратились в трупно-бледную слизь и приобрели циановый цвет из-за чрезмерного применения «Reckitt's Blue» – тряпичного мешочка с сапфировым красителем: его бросали в мытье, чтобы рубашки и простыни выглядели белоснежными. Мик вспоминал полки – всего лишь грубые доски на подставках, гнущиеся под весом сотейников, железных сковородок, одной миски для пудинга, чьи закругленные пучины покрывала туманно-янтарная лужица затвердевших капель с мозаичным кракелюром.

В этот самый день бабуля Мика, Клара, тихо и методично копошилась на кухне, жонглируя сразу несколькими занятиями, как ее научили, когда она работала в прислуге. Кларе Свон, которая умерла в начале 1970-х, в то время должно было быть около шестидесяти, но внукам она всегда казалась древней и непререкаемой, как библейский папирус. Чего недоставало в росте, она наверстывала в осанке, вплоть до того, что никто и не замечал, какая она невысокая. Она всегда стояла навтыжку, как шахматная фигурка из слоновой кости, побитая годами турниров; столь же

невозмутимая, терпеливая и целеустремленная. Всегда чинная и стройная девушка с суровым взглядом на фотографиях из юности, к 1959 году она стала, скорее, тощей, ее длинные серебристые волосы, спускавшиеся ниже талии, были завязаны в пучок. Из-за спины-жерди, увенчанной серой шевелюрой, она производила впечатление швабры – если бы швабры считали символами простого достоинства, бесконечно надежными в своем деле, почитали, как скипетры, а не пренебрегали как самым никчемным предметом домашнего обихода, который можно найти на любой кухне.

Дом номер семнадцать принадлежал Кларе, ее имя было указано в учетной книге, и она же незаметно им правила. Она никогда не устанавливала порядки – но в том нужды и не было. Все и без того знали, где пролегли границы дозволенного, и не думали их переступать. Ее власть была не такой очевидной, но в целом более впечатляющей, чем та, которой обладала Мэй, вторая бабушка Мика. Бабка Мэй Уоррен была не женщиной, а устрашающим носорогом и добивалась своего предостерегающими рыками, сердитыми затрещинами и задиристым поведением. Худая как щепка Клара Свон, напротив, никогда не повышала голос и никого не запугивала. Она просто действовала – стремительно и эффективно. Когда Альма в два года – уже тогда самая бесшабашная и необузданная из всех членов семейства – решила укусить Клару, бабушка Мика не накричала и не пригрозила поркой. Она сама цапнула Альму за плечо, да так сильно, что прокусила кожу, – так сильно, что сестра Мика больше никогда в жизни не пыталась никого съесть заживо. Если бы только она исцелила Альму и от попыток задушить, размечтался Мик. Или от покушений с ядовитым газом – как когда Альма убедила младшего брата посидеть с ней на кухне, а потом запалила горчично-желтую крошку серы. Или от ее повадок пигмейского охотника за головами, как когда она стреляла в него дротиками из духовой трубки. Без шуток. Говоря по справедливости, рассудил Мик, даже у бабушкиных методов коррекции поведения

были свои пределы. Тем сонным днем Клара была на кухне, крошила почечное сало, пекла хлебный пудинг, кипятила платки и безропотно сновала от одного дела к другому, наедине с ароматным жирным бульоном. Неплотно прилегающая к косяку дверь, открытая из-за хорошей погоды нараспашку, чтобы проветрить дом, пропускала к Кларе обрывки болтовни между ее дочерью Дорин и детьми, потому что те сидели сразу у двери, на тонкой шахматной полоске из потрескавшихся розовых и голубых плиток, составлявших верхний уровень тесного домашнего сада.

Сидя в спокойном, относительно просторном зале в Кингсторпе, чувствуя жжение от самых благородно отступающих, а вовсе не капитулирующих волос до подбородка с ямочкой, Мик попытался увязать загроможденные углы детства с обтекаемым окружением его среднего возраста – прямиком из фантастического журнала «ТВ, XXI век». Мик снова глянул на отражение воспаленного лица в стеклянной дверце шкафа и сделал вывод по виду пострадавшей кожи, что он тогда, выходит, капитан Скарлет [\[61\]](#). Он поставил рядом по большей части довольного жизнью взрослого, которым стал, с невыразимо восхищенным жизнью трехлетним мальчишкой, которым был, и обнаружил, что переход между ними на удивление гладкий и последовательный, и память Мика о детстве не затмевается никаким несчастьем, не марается мечтательной тоской, иногда слышной в голосах других людей, когда они вспоминали давние деньки. Просто жизнь была другая – ее видели другие глаза, проживал чуть ли не другой человек.

Самое поразительное в прошлом – по крайней мере, как помнил Мик, – не очевидная разница в моде, привычках или технологиях. А что-то куда более неуловимое и неназываемое, то восхитительное, тревожное ощущение странности, которое захватывало его, когда он перебирал забытые фотографии или вдруг вспоминал какое-то яркое переживание. Оно приходило как слабый привкус мимолетной атмосферы, как безвозвратно ушедшее настроение, такое же самобытное и особенное для места и времени, как погода

или формы облаков в прошедший день – что-то единичное, что не повторится уже никогда. Наверное, это необычное свойство, которое он пытался описать, – не более чем неожиданное ощущение прошлого на ощупь: что бы ты почувствовал, если бы провел по его ворсу пальцами памяти. Это текстура переживаний Мика сложилась из несметного числа уникальных витков и бугорков, из неразлично выпирающих деталей. Сетчатая ткань дырявой посудной тряпки, висящей у задней двери, высохшей и навечно затвердевшей в форме вигвама, с запахом грязной воды и теплой ветчины. Дырки размером как раз с палец в блоках, обрамляющих метровые круглые клумбы бабули у поблеклой красно-синей клетки дорожки. Тайный муравейник, вгрызшийся в крошащийся цемент на стыке плит кухонной стены, за ступеньками, которые спускались на нижний уровень замкнутого двора. В тот день стоял запах согретого солнцем кирпича, черной почвы, оловянный аромат прошедшего дождя.

Задумавшись теперь, не без слабого зачаточного огонька обиды, Мик решил, что несчастный случай, произошедший в тот день, стал прямым следствием бедности. Не будь он из молодняка Боро – не сидел бы на коленях матери на залитом солнцем дворе, рассасывая почти с летальным исходом драже от кашля.

Мик – или Майкл, как его звали тогда, – уже неделю страдал от воспаления горла. Когда оказалось бесполезно домашнее средство Дорин – масляные катышки в сахарной пудре, – она его закутала и отнесла в конец Широкой улицы, за Мэйорхолд, в практику доктора Грея. Тогда Мик и члены его семьи об этом не задумывались, но сейчас он понял, что врачи на участке Боро наверняка ненавидели каждую минуту неблагодарного, бесславного труда в таком нищем и захудалом районе. Им почти наверняка приходилось тяжелее, чем коллегам повиднее, просто по той причине, что Боро есть Боро и способов заболеть там множество. Их наверняка извела череда нервных мамаш в шоколадных пальто и шарфах – чайных полотенцах, тащивших своих сопливых недоростков к врачу при каждом чихе. Наверняка их хватало только на то, чтобы разыграть

пятиминутный интерес к сипящим спиногрызам у себя в кабинете. По крайней мере, именно этот подход избрал в тот раз доктор Грей при посещении Дорин и Мика. Он посветил фонариком в пунцовую и опухшую глотку Майкла, хмыкнул и поставил диагноз.

– Простудил горло. Давайте ему драже от кашля.

Мамка Мика, несомненно, серьезно и покорно кивнула. Это говорил доктор – ученый, который умеет писать на латыни. Человек, который с первого взгляда на страдавшего от простуды малыша с больным горлом тут же определил, что это почти хрестоматийный случай «Простуженного горла», требовавший немедленного вмешательства «Зимних конфет». Социальная медицина пятидесятых: заметный прогресс с тех времен, когда ларингит лечили экзорцизмом. Впрочем, родители Мика и Альмы и тому были рады, Дорин с трогательной искренностью поблагодарила терапевта, потом запихнула Мика в тулуп и понесла назад на дорогу Святого Андрея, наверняка задержавшись у газетчиков – «Ботерилл» на Мэйорхолд, – чтобы приобрести прописанные лечебные сладости.

Так он и оказался во дворе в пижаме и колючем тартановом халате, ерзая на коленях Дорин, сидевшей на деревянном стуле с круглой спинкой, который вынесла в сад из гостиной. Мамка сидела прямо под кухонным окошком, спиной к нему, задние ножки стула стояли рядом с кухонным стоком – метровым желобом под окном, ведущим к закрытому сливу возле муравейника, спрятанного у трех грубых ступенек во двор. Царство муравьев находилось в безраздельном владении сестры Мика – как она ему объясняла, по праву старшинства. Впрочем, надо отдать Альме должное: когда она играла с насекомыми в Содом и Гоморру, то разрешала Мику побыть ангелом-мстителем на испытательном сроке при ней, беспощадном Иегове. Ему поручалось отлавливать беженцев из библейских городов, пока Альма не разжаловала его за то, что он предотвратил побег одного из подопечных смачным ударом половинкой кирпича. Сестра, которая в тот момент сама топила или сжигала муравьев, обернулась к нему с возмущенным лицом.

– Ты чего делаешь?

Малыш Мик невинно заморгал:

– Он убежал, вот я его и оглоушил.

Альма, уже тогда полуслепая, пригляделась к злосчастному муравью, который лишился целого измерения, а затем прищурилась на брата с непонимающим ужасом, прежде чем гордо удалиться играть в одиночестве дома.

В тот день Альма благодаря наступлению школьных каникул была дома и наверняка мечтала о том, чтобы гулять в парке или на лугу, а не торчать во дворе с мамкой и бесполезным каркающим кульком с младшим братцем. Дорин с Миком сидели в верхней половине дорожки, а старшая сестра Мика – тогда пухляш лет пяти или шести – энергично колотилась о кирпичные пределы двора, как запертый в обувной коробке мотылек. Она десяток раз пробежала по трем каменным ступенькам – ее белые коленки мелькали, как пельмени в руках жонглера, – затем носилась кругами в трехметровом пространстве нижней части садика, наполовину замощенном кирпичами, а наполовину покрытом утрамбованной черной землей. Играла сама с собой в прятки – дважды скрылась в уличном туалете и однажды в узком прямоугольнике бетонного тупичка сбоку от него, слева, если сидеть на очке лицом к двери.

Будочка с черепичной крышей – их уличная уборная в нижней части двора без бачка или электрического освещения – среди всех символов антистатуса была для Мика самой говорящей. Удобства во дворе, осознал он уже где-то лет в шесть, были позором даже в их районе, который вовсе не славился достижениями цивилизации. Даже у бабки Мэй, жившей на Зеленой улице в доме с газовым освещением и без электричества, в туалете хотя бы стоял сливной бачок. И походы по нужде после захода солнца, в отличие от порядков дороги Святого Андрея, обходились без мерцающей свечки в подсвечнике с ручкой, как в песенке «Крошка Уилли Уинки», и без большого жестяного ведра, наполненного до краев из кухонного крана.

В детстве Мик ненавидел уличный туалет и отказывался им пользоваться, предпочитая терпеть либо прибегать к розовому пластиковому горшку под его с Альмой кроватью. В конце концов, он тогда был щуплым малышом, в отличие от неповоротливой тетехи-сестры. Она-то могла уверенно протопать по дворовой тропинке с огромным плещущим ведром в одной руке и мигающим ночником в другой, а он с трудом поднимал ведро обеими руками; он бы только комично доковылял до садовых ступенек, прежде чем окатить ноги водой и/или подпалить белобрысые кудри, беспечно размахивая свечкой.

В любом случае, даже если бы в той личиночно-херувимской стадии он мог успешно транспортировать объемную тару, ночью их двор преображался, становился неизведанной территорией, слишком страшной, чтобы путешествовать в одиночестве. Щербатая крыша конюшни за нижним забором становилась таинственным скатом серебряной черепицы, в черных отверстиях которой юркали взад-вперед ночные птицы. Ее серый ветхий склон с пробивающимися в трещинах одуванчиками и лакфиолью становился крутым трамплином в ночь. Крошечное пространство полтора метра на метр между туалетом и стеной садика вполне могло уместить призрака, ведьму и зеленого Франкенштейна, и еще остался бы вагон места для тех черных и шипастых чертят из «Руперта», похожих на обугленные каштаны. В детстве Мику всегда казалось, что по ночам дорога Святого Андрея наверняка становятся проходным двором для упырей и фантомов – хотя, возможно, это ему наговорила сестра. Очень на нее похоже.

Альме-то было хорошо. Она не только могла таскать ведро, но и всегда слишком, слишком запросто воспринимала все жуткое. К этой черте, думал он, она сознательно стремилась всю жизнь. Никто не мог стать тем, кем стала сестра Мика, если только не стараться нарочно. Он вспомнил, как в возрасте восьми лет обзавелся хобби, собирать коробки с батальонами миниатюрных солдатиков «Эйрфикс»: британские томми всего двух сантиметров в высоту из

охровой пластмассы – муравьи-снайперы, распластавшиеся на животе и замершие на одной ноге в вечной штыковой атаке; или голубовато-серая прусская пехота, метая забавные гранаты-скалки. С каждого податливого стебелька можно было собрать урожай в дюжину солдатиков, прикрепленных головой, так что их приходилось откручивать, прежде чем играть, отчего на шлемах оставался облой; в каждой коробке с окошком на крышке лежал, наверное, пяток таких штырьков. У него как раз в разгаре была тяжелая кампания – Французский Иностраный легион против конфедератов с Гражданской войны, – когда он заметил, что обе его армии кто-то значительно проредил. Отбросив вариант с дезертирством, он в конце концов обнаружил, что старшая сестра выкрадывала пригоршни солдатиков, чтобы снести в уличный туалет (вместе с ведром и свечкой) во время ночного визита. Оказывается, она обнаружила, что если поджечь голову солдатика свечным пламенем, то миниатюрные синие огоньки из пылающего полиэтилена зрелищно каплют в подставленное ведро, издавая потусторонние звуки «ввуип-ввуип-ввуип», которые кончались шипением при встрече горячей пластмассы с холодной водой. Мик представлял, как Альма сидит на стылом деревянном стульчаке у выгнутого гвоздя в беленой стене, где вместо туалетной бумаги висели обрывки журналов «Тит-Битс» или «Ревейл», спустив голубые трусы к дрыгающимся лодыжкам, а ее возбужденное лицо озаряют неестественные вспышки цвета индиго от превращенного в римскую свечу крошки-центуриона. Ничего удивительного, что ее не тревожила мысль о рыскающих на дворе привидениях. Стоило им слышать ее шаги и звон ведра, как они тут же исчезали.

В том же конкретном случае с трехлетним Миком, болеющим на коленях матери, Дорин быстро утомил галоп старшего ребенка по двору, в остальном мирному и благочинному.

– Ух, Альма, а ну подь и сядь ладком, уж в глазах темно, как мельтешишь. Часом, не пляску Святого Витта подхватила?

Как и Мик, его сестра обычно подчинялась старшим беспрекословно, но, очевидно, узнала, что если при этом перестараться, то будет еще смешнее, чем просто не слушаться, а отругать за послушание куда труднее. Сестра любезно проскакала по ступенькам и уселась, подвернув ноги, на теплом и пыльном кафеле под окном гостиной. Просияла улыбкой мамке и хворому брату с неподдельной искренностью:

– Мама, а почему Майкл квакает?

– Отлично знаешь, почему. Пу што горло застудил.

– Он превратится в лягушку?

– Нет. Я ж толком сказала – горло застудил. Не превратится он ни в каку лягушку.

– Если Майкл превратится в лягушку, можно я заберу его себе?

– Не превратится он в лягушку.

– А если превратится, можно посадить его в банку?

– Он не... Нет! Нет, нельзя канеш. Как в банку?

– Папка набьет отверткой дырок в крышке, чтоб дышать.

В разговорах Альмы с мамкой рано или поздно наступал момент, когда Дорин совершала фатальную стратегическую ошибку и начинала спорить на условиях альмовской логики, после чего мамке неминуемо грозило поражение.

– Нельзя держать лягушку в банке. Че она есть бут?

– Траву.

– Лягушки не едят траву.

– Едят-едят. Потому они и зеленые.

– Правда? Я и не знала. Точно?

На этом Дорин усугубляла предыдущий тактический просчет, сомневаясь в собственных интеллектуальных способностях взрослой женщины в сравнении с маленькой дочкой. Мамка Мика не считала себя особенно умной или грамотной и бесконечно соглашалась с любым, в ком подозревала более уверенное понимание мира, чем у нее самой. При этом она с губительными для себя последствиями включала в эту категорию и Альму только на том основании, что

дочь даже в пять лет притворялась, что знает все на свете, и подкрепляла свои заявления такой внушительной уверенностью, что проще было подчиниться, чем сопротивляться. Мик помнил, как однажды восьмилетняя сестра вернулась из школы, требуя на обед бутерброд с фасолью – блюдо, о котором она услышала от одноклассников, но которое оказалось новеньким для Дорин. Она спросила, как это блюдо готовят матери альмовых подружек, на что сестра Мика бойко оттарабанила, что сперва по кусочку хлеба размазывают холодную фасоль, а потом жарят на вилке над огнем камина. Поразительно, но Дорин действительно взялась за стряпню, основываясь на одних только словах Альмы, и даже не подумала внять собственному голосу здравого разума, пока печеная фасоль и брызги томатного соуса со взвесью угольной пыли не заляпали весь очаг. Именно так или еще как-нибудь равно невообразимо кончалось дело всякий раз, когда кто-нибудь принимал сестру Мика всерьез. Он бы сам так и сказал мамке, в тени и солнечном свете верхнего двора, если бы хоть что-то мог выговорить из-за наждачного воздушного шарика в горле. Пришлось ему только завозиться на скользких коленях матери и тихо хныкнуть, позволяя нелепой дискуссии увлечь Дорин дальше. Теперь Альма радостно кивала, поддакивая собственному абсурдному высказыванию.

– Да! Все звери, кто едят траву, зеленеют. Нас так в школе учили.

Наглая ложь, но Альма успешно играла на неуверенности Дорин в собственном некачественном образовании 1930-х годов. В 1959-м что ни день, то небывалые новости – то тебе Sputnik, то еще что, – и кто знает, какие удивительные и беспрецедентные факты рассказывают в современных классах? Дроби и деление в столбик – в школьные времена Дорин все это едва ли прошли по касательной. Да что она знает? Вдруг эта история про животных, позеленевших от травы, – какое-то новое открытие. Но все же ее терзали сомнения. В конце концов, это Альма однажды ей сказала, что если влить лаймовый сироп в кипящее молоко, то получится последний писк моды – горячий фруктовый молочный коктейль.

– А как же телушки да лошади? Че они не зеленые, коль траву едят?

Глазом не моргнув, Альма отмахнулась от робкой попытки матери призвать здравый смысл.

– Бывают и зеленые. А какие не зеленые, то как травы объедятся, так тоже зазеленеют.

Слишком поздно мамка Мика осознала, что вступает на зыбкие пески ахинеи напрямик из расчесанной, хвостатой, усеянной бабочками головы Альмы. Она издала слабый протестующий возглас, когда реальность ушла из-под ног.

– В жисть не видала зеленой коровы! Альма, че ты блажишь?

– Не блажу, – обиженным и укоряющим голосом. Но Дорин так просто было не переубедить.

– Ну а че я ни разу их своими глазами не видала? Где все зеленые коровы да лошади?

Альма, сидя под окном гостиной, ответила матери ровным взглядом, не моргая широкими серо-желтыми глазами:

– А их никто не видал. Они с полем сливаются.

Вопреки – а может, благодаря – смертельно серьезному тону Мик не мог удержаться от хохота. К счастью, за него это сделало саднящее горло, так что смех превратился в несмазанный скрип, взорвавшись на полпути сотрясающим все тело приступом кашля, напоминая о чертиках из табакерки. Дорин прожгла Альму взглядом:

– Ну и че ты наделала своими зелеными коровами!

Внезапный дискуссионный маневр матери застал Альму врасплох, и она растерялась, не в силах мгновенно выдать ответ. Иррациональность: против этого не было приема даже у Альмы. Дорин тут же перевела внимание на своего младшего, что заходился и ныл на коленке.

– Ах-х, бедняжка. Горлышко болит, уточка моя? На-тко пепку, как доктор прописал.

«Пепка» – термин Боро для конфет, и сейчас Мика даже удивило, что он ни разу не слышал этого слова за пределами района или

домов тех, кто в нем вырос. Придерживая Майкла на колене, приобняв одной рукой за талию, Дорин копалась в кармане, искала квадратную трубочку из бумаги и фольги, которую купила в «Боттерил», и наконец извлекла пачку вишневых с ментолом «Песенок». Ловко, одной рукой Дорин аккуратно вскрыла конец пачки немаленькими ногтями, выдавила единственное драже, затем развернула клапаны конвертика его личного фантика из восковой бумаги, на котором несколько раз повторялось крошечное слово «Песенка» медицинским красным цветом. С вежливым «Пальцы не откуси» Дорин поднесла липкий алый самоцвет к губам Майкла, которые тут же раскрылись, как клюв птенца, чтобы она положила квадратный кристаллик на язык. Он медленно его рассасывал, пока тупые углы тыкались в небо и десны – особенно больные места позади с белыми кончиками, где прорезались зубы.

Дорин нежно смотрела на Майкла, ее большое лицо заслоняло синее небо над Боро между склоняющимися крышами. Тогда ей было около тридцати, все еще ладная и миловидная, с красивыми чертами и темными волнистыми волосами. Она растеряла призрачную и неземную красоту звезды немого кино с большими, влажными, мечтательными глазами, какой лучилась на фотографиях времен молодости, виденных Миком, но ее заменило что-то теплее, не такое хрупкое, – аура человека, наконец сжившегося с тем, кто он есть, человека, уже не носившего клипсы-пуговицы, которые, судя по виду, наверняка больно щемят мочки. Он смотрел на нее, пока во рту переворачивалось и кувыркалось драже от кашля, обтесываясь в вишневой слюне, постепенно превращаясь в тонкое розовое стеклышко. Улыбаясь, мамка пригладила выбившуюся прядь с его влажного розового лобика.

А потом он закашлялся. И кашлял, пока не опустели легкие, и тогда с силой втянул воздух большим глотком. И где-то во время этой брызжущей и растерянной бронхиальной активности Мик вдохнул «Песенку». Словно пробка, затянутая в сток опустошающегося резервуара, прекращая течение, конфета встала

поперек того маленького отверстия, что еще оставалось в абсурдно раздутом дыхательном горле Мика.

С ужасающей ясностью, заставившей вцепиться в подлокотник канаве в мирной кингсторпской гостиной, Мик вспомнил тот леденящий кровь момент, когда понял, что дыхание встало, – воспоминание, от которого он был избавлен, пока его не воскресила сегодняшняя контузия. Он помнил свой внезапный и недоуменный шок, помнил, как осознал, случилось что-то очень плохое, хотя еще не понял, что именно. Как будто он никогда не замечал, что дышит, пока не обнаружил, что больше не может.

Кошмар момента накрывал с головой, и он каким-то образом абстрагировался от него, словно удалился в глубь себя. Звуки и движения в саду казались далекими, как и отчаянная, пугающая теснота в груди. Видимо, его глаза поднялись к нависающему лицу матери, и теперь он вспомнил, как ее выражение мигом сменилось непониманием, а затем – растущей тревогой. Со своей отрешенной точки обзора он понял, что сам и был причиной ее озабоченности, но, хоть убей, не помнил, чем так ее расстроил.

– О хосподи, мам! Подь скорей! Наш Майкл подавился!

Сужающийся иллюминатор – поле зрения Майкла – панически затрясся, обратился в одну сторону, в другую, перед ним вдруг возникло напряженное лицо бабушки, со смятением под блеском птичьего глаза. Откуда-то издалека дошли толчки от ударов, сильные и многократные, будто кто-то стучал по телевизору, когда пропал сигнал. Должно быть, это колотили ему по спине бабуля или Дорин, чтобы выбить драже, но оно не поддавалось. Он помнил ощущение, словно к нему в рот полез зверек с металлическим вкусом, как от пенни, так что машинально укусил пальцы мамки, пока она пыталась устранить непроходимость в горле. Вдалеке звучали голоса, женщины заполошно кричали или плакали, хотя он уже сомневался, что все это как-то относится к нему.

Картина сада перед глазами в какой-то момент перевернулась вверх тормашками – судя по тому, что он слышал об инциденте от

Альмы и мамки, видимо, Дорин трясла его за ноги, надеясь, что там, где дали осечки все методы, поможет гравитация. Мику явилось красное перевернутое лицо – незнакомое, нечто среднее между помидором и собакой, словно маска дьявола из магазина розыгрышей, в котором он не мог признать свою перепуганную плачущую сестру. Его короткая жизнь и все ее подробности, ускользая, казались странной сказкой с картинками – и он все равно в нее не вчитывался, забыв места действий и персонажей, еще не успев закрыть и отложить книжку. Рыдающие образы на уменьшающейся картинке, смутно вспоминал он, называются людьми. Это что-то вроде игрушек или кроликов – тоже очень смешные. Их окружали кирпичи, наваленные плоскими или громоздкими кучами, – это, он был уверен, в сказке называлось задвором. Ну или чем-то в таком духе, хотя он и не знал, для чего это нужно и кому. По синей простыне над головой плыли большие и меняющиеся белые штуки под названием львы. Нет, какие еще львы. Капуста, правильно? Или генералы? Какая разница. Все это просто ерундовые обрывки из сна, от которого он просыпается. Все это не реально и никогда не было реальным.

Он плыл по воздуху – предположительно, его несла мать, – и глядел на разворачивающиеся фигуры львов и генералов. В женшуме раздался грубый голос – теперь он догадался, что это Даг Макгири из дома по соседству, у него еще был двор с большими деревянными воротами на дорогу Андрея и полуразвалившейся конюшней на задах. Согласно тому, что позже пересказывали Мику, – в основном Альма, – как только Дагу сбивчиво объяснили ситуацию, поставщик фруктов и овощей немедленно предложил отвезти Мика в больницу на грузовике, припаркованном в протекающей конюшне. Бездыханный трехлетний малыш с остекленевшими отсутствующими глазами перешел через забор из объятий Дорин в надежные руки старшего сына миссис Макгири – ну или так Мику рассказывали. Однако теперь, когда воспоминания возвращались, он видел, что Альма что-то напутала – по крайней

мере, в этой части. Мамка лишь подняла его, чтобы показать Дагу, а не передавала через забор. Если задуматься, это намного логичней версии Альмы. Дорин была в растрепанных чувствах и не стала бы никому доверять подавившегося мальчика, да и какой в этом смысл? Дагу все равно нужно было завести грузовик, вывезти из сарая, объехать углы своего двора в форме «Г», выбраться через разошедшиеся покосившиеся ворота на дорогу Святого Андрея. Зачем ему во время всех этих процедур полудохлый младенец на соседнем сиденье?

Нет, на самом деле, решил Мик по реконструкции случая, Даг сказал Дорин встречать его через полминуты на улице, пока он побежит оживлять сотрясающийся и кашляющий драндулет. Господи, что бы делали мамка и бабуля, если бы Дага Макгири не оказалось дома? На всей дороге Святого Андрея и поблизости в Боро ни у кого не было личного транспорта, ни моторного, ни гужевого, а уж про вызов кареты скорой помощи даже думать смешно. Ни у кого в округе не было телефона – разве что у старого викторианского общественного туалета, примостившегося у Спенсеровского моста, торчал единственный таксофон, – да и времени на это не оставалось. По ретроспективной оценке Мика, с последнего момента, когда он делал вдох, прошли добрых две минуты.

Он помнил, как вплыл в мягком облаке рук по каменным ступенькам назад, на верхнюю часть двора, помнил красные и заплаканные лица, которых больше не узнавал, взволнованный галдеж, неотличимый от чирикания птиц на крышах, ветра, играющего на телевизионных антеннах, хруста фартуков. Весь мир, с которым он успел познакомиться за свои три года, постепенно распадался, а звуки, ощущения и образы превращались в ровные слова подходящего к концу повествования, которое кто-то читал ему вслух. Самый его любимый персонаж, маленький мальчик, умирал в смешном домишке на улочке, про которую никто никогда не услышит. Он помнил, что его слегка разочаровала концовка сказки, ведь до этого момента она ему очень даже нравилась.

Неспокойное течение, имевшее пальцы, вынесло его от света, простора и лазури двора во внезапный серый мрак кухни и гостиной. Дорин, рассудил он теперь, несла его лицом вверх, потому что он вспоминал, как над ним полз фриз потолка – сперва осыпающаяся и неровная белизна на кухне, а потом бежевая площадь с деревянным карнизом по краю, накрывавшая жилую комнату. Мамка несла его между незажженным летним камином и обеденным столом, торопясь к прихожей, двери и встрече с Дагом. Но тут что-то случилось. Его остекленевшие глаза застыли на декоративном пояске вокруг верхнего края комнаты, а конкретно – на впитывающей темноту нише угла. И угол был... вогнутый? Двусторонний, смотрит в ту сторону, в какую сам захочешь? Угол был какой-то не такой, вот это он помнил, и ведь было там что-то еще, да? Что-то еще странное. Там был...

Там, в углу, был человек, его голосок доносился издалека, и манил, и говорил подниматься, давай, поднимайся, все будет хорошо. Поднимайся. Поднимайся. Поднимайся.

Он умер. Он умер на полпути в гостиной и даже не добрался до коридора или дверей, не говоря уже о кабине развозного грузовика Дага, которую он вообще не помнил. Не помнил он и панический путь в больницу – тем же маршрутом, каким сегодня ехал Говард, осознал Мик запоздало, – потому что его ведь там и не было. Он уже умер.

Он сидел на софе, похожий на загоревшую горгулью, и пытался уложить в голове этот факт, проглотить его, но, как и «Песенка», факт застревал в горле. Если он умер, то что это за воспоминания, которые ломаются в разум, что это за полузабытые образы и имена из периода после его кончины между камином и обеденным столом, но до того, как он очнулся в больнице, ничего не понимая и не узнавая? Более того: если он умер, как он вообще очнулся в больнице? Мик чувствовал, как на его сердце и нутро опускается какое-то тяжелое облако, и с отстраненным удивлением отметил, что даже в

собственном чистом и залитом солнцем зале ему очень, очень страшно.

В этот момент домой вернулись Кэт с детьми. Первым из кухни в жилую комнату вошел Джек, старший сын, хмурый и крепко сбитый пятнадцатилетний будущий стендап-комик, о котором все говорили – с тревогой в голосе от дурных предчувствий, – что он один в один его тетя Альма. Джек встал в дверях как вкопанный и без выражения посмотрел на кислотную косметическую маску отца. Оглянувшись через плечо, он крикнул матери и младшему брату Джо на кухне:

– Кто заказывал пиццу?

Кэти выглянула в дверь, чтобы увидеть, о чем это говорит Джек, уставилась с пустым взглядом на мужа, а потом взвизгнула:

– А-а-а! Твою мать, что ты учудил?

Она бросилась к Мику, бережно охватила лицо руками, поворачивая так и этак, чтобы оценить масштаб ущерба. Спокойно вошел из кухни младший, Джо, расстегивая молнию на куртке. Субтильный, светловолосый и в свои одиннадцать куда смазливей старшего брата, Джо чем-то напоминал Мика в детстве – по крайней мере, по мнению тех же экспертов, что отмечали сходство Джека с Альмой (в том числе покойной матери Мика Дорин, а кому знать, как не ей). Джо, как и юный Мик, был тише брата – хотя с тех пор, как голос Джека не просто сломался, а расплавился, как ядерный реактор, и утек к центру Земли, это было не так уж сложно. Хотя Джо, раскрывая рот, не бил голосом фарфор и не мог перекричать брата, всегда было понятно, что творится у него на уме, – обычно то же озорство, что и у Джека, только вкрадчивее. Повесив куртку на стул, Джо взглянул через комнату на изменившееся обличье папы, затем просто улыбнулся и покачал головой с добродушным упреком:

– Опять перепутал бритву с горелкой?

Пока Кэти резко предложила и Джеку, и Джо валить к себе наверх с глаз долой, раз помощи от них не дождешься, а Мик изо всех сил старался не перечеркнуть серьезность жены смехом, он вдруг подумал, что в этом необыкновенно непробиваемом черством

остроумии, с которым дети встречали любую потенциальную катастрофу, наверняка виноват он с Альмой. В основном Альма. Он вспомнил, как у Дорин, их мамки, нашли рак кишечника, и она позвонила сраженным горем сыну и дочери, чтобы они пришли в палату для разговора по душам о дальнейших действиях. Нависающая над Миком из-за каблуков, Альма наклонилась к нему, чтобы с очевидным театральным шепотом произнести на ухо: «Слышал, Уорри? Сейчас она наконец расскажет, что тебя усыновили». Все смеялись, особенно Дорин, которая улыбнулась Альме и ответила: «С чего ты взяла. Может, это тебя удочерили». Мик верил, что в жизни бывают моменты, когда единственный уместный ответ – совершенно неуместный. Хотя, возможно, это убеждение разделяли только они с Альмой. В основном Альма.

Кэти, убедившись, что новый имидж Мика не вечный и несколько не смертельный, переключила внутренний термостат от сострадания к моральному возмущению. Ну и почему на цистерне не было наклейки? Почему не звонит начальство и не интересуется, как он себя чувствует после того, как Говард привез его домой с травмой? Она кипятилась не меньше часа, когда наконец позвонил бригадир Мика, который из последовавшего разговора на своей шкуре узнал, что чувствуешь, когда прямо в лицо взрывается бочонок с отравой. Когда Кэти выпустила пар и бросила наверняка раскалившуюся трубку, они решили поужинать и провести вечер настолько обычно, насколько это только возможно. План казался неплохим, несмотря на то, что из-за безобразности Мика они чувствовали себя, как в семейном видео Человека-слона.

Ужин был вкусный, славный и прошел без происшествий. В начале Кэти с укоризной повернулась к Джеку и сделала выговор за избирательность в рационе.

– Джек, мне бы хотелось, чтобы ты не забывал об овощах.

Старший сын ответил со снисходительной симпатией:

– Мам, а мне бы хотелось, чтобы у моих ног лежали все женщины мира, но мы оба знаем, что этого не будет. Давай смиримся и будем

жить дальше.

Во время пудинга младший Джо – надо было назвать его брата «Хосс», вдруг пожалел Мик [\[62\]](#), – прервал свое обычное интровертное молчание и объявил, что уже решил, кем будет на школьной стажировке в следующем году: «Холодильником». Мик, Кэт и Джек обеспокоенно переглянулись, затем вернулись к десерту. В общем, ужин прошел как обычно.

Когда вымыли посуду, Джек сказал, что у него есть DVD со вторым сезоном «Бесстыдников» Пола Эббота, и предложил посмотреть. Так как по спутниковому и Sky не было ничего интересного, Мик согласился. Кроме того, он редко смотрел телевизор из-за того, что рано вставал по утрам, и, хотя уже слышал, как Альма и Джек обсуждают новую комедию про жизнь неблагополучных районов, сам еще ее не видел. Он получил отгул на всю неделю – скорее всего, стараниями Кэти при разговоре по телефону, – так что мог себе позволить откинуться с пивком и насладиться в свое удовольствие. Сериал хотя бы отвлечет от пугающего хода мыслей, который прервало возвращение семьи. Хотя чувство юмора ситкома славилось чернотой, он сомневался, что это так уж чернее воспоминаний о том, как он умер в три года.

Смотрели они концовку второго сезона – Джек уже видел все остальное. Хотя Кэти сразу покачала головой, поцокала языком и ушла заниматься домашними делами, Мику показалось, что сериал довольно неплох. Судя по тому, что Мик слышал из яростных дебатов Джека и Альмы о его достоинствах, Альме он не понравился, или же понравился, только она не желала признаваться, – но ведь сестра Мика из принципа находила изъян почти в чем угодно, что не ее авторства. «Всего лишь „Хлеб“ [\[63\]](#) с хламидиями», – вот один из ее уничижительных отзывов. Если Мик правильно понял суть претензий Альмы, главным образом ей не понравилось изображение рабочего класса как людей с неистощимыми запасами сил и чувства юмора при любой напасти, которые могут со смехом отмахнуться от самых страшных

превратностей своих действительно незавидных обстоятельств. «Да такие семьи... – говорила она, имея в виду клан сериала, Галлахеров. – В реальной жизни старик был бы не таким очаровательным отвратительным алкашом, а неприятности, в которые он втравливает семью, не кончались бы тем, что все весело смеются. Эту тринадцатилетку со сверхъестественной смекалкой уже бы перетрахало за бутылку полмикрорайона местных женатиков. Просто люди смотрят такой сериал – и он хорошо снят, хорошо написан, там хорошо и смешно играют, кто же спорит, – но он с юмором примиряет с тем, с чем нельзя примиряться. Это же ненормально, что люди вынуждены жить вот так. Ненормально, что у нас вообще в языке есть выражение «неблагополучный район». А эта дерзкая и неунывающая жизнестойкость низших классов – ну это же миф. В который хотят поверить сами низшие классы, чтобы не переживать из-за своих условий, и в который хочет поверить средний класс – ровно по той же самой причине». Как теперь вспомнил Мик, в том случае филиппика Альмы (которую, следует напомнить, она оглашала для пятнадцатилетнего племянника) сошла на нет, когда Джек привел простой контраргумент: «Господи, теть Уорри, ты чего. Это же всего лишь марионетки».

Сам Мик был более-менее на стороне Джека. В «Бесстыдниках» хотя бы честно показывали существование на окраине общества, в отличие от «Хлеба» – с хламидиями или без. И неужели Альма всерьез рассчитывала, что комедия положений воспроизведет ее собственный мрачный и исполненный праведного гнева взгляд на общество? Да это как если бы Достоевский написал серию «Спасибо за покупку» ^[64]. «Мистер Хамфрис, вы свободны?» – «Никто из нас не свободен, дорогая миссис Слокам, если только не при совершении убийства».

Нет, единственный минус сериала для Мика был в том, что чем дальше тот шел, тем больше напоминал о странной тревоге, которую Мик пытался забыть во время просмотра. Эта самая маленькая фигурка, что звала из верхнего угла гостиной в доме 17 по дороге

Святого Андрея, – что это может значить, как не то, что он умер и его забрал в некую загробную жизнь – кто, какой-то ангел?

Ну, еще это может значить, что у него ум за разум зашел. Крыша поехала. В клане Верналлов и его ответвлениях, вроде Уорренов, об этом забывать не стоит. Разве не сошел с ума дедушка отца, а потом и Одри, кузина отца? Все говорили, что это семейное, и если подойти к вопросу рационально, это и есть более вероятная причина необычных воспоминаний и ощущений Мика, чем то, что его вознес в рай ангел. К тому же, чем дольше он думал о человечке, сидевшем в углу, тем меньше тот напоминал ангела. Слишком маленький, в простой одежде – розовом кардигане, голубой юбке и коротких носочках. Девочка. Теперь Мик вспомнил, что увиденный гомункул был маленькой девочкой со светлыми волосами с челкой. На вид он не дал бы ей больше десяти и уж точно не принял бы за ангела. Ни крыльев, ни нимба – хотя что-то странное все-таки было, что-то нашее – длинный шарф? меховой шарф, точно. Весь в крови. С маленькими отрубленными головами. Твою мать.

Ему не хотелось сходить с ума, не хотелось, чтобы семья, дети и друзья видели его в таком состоянии, переживали из-за того, что все реже посещают то заведение, куда его отправят. Если ты Альма или работаешь в профессии, в которой безумие – желательный аксессуар, что-то вроде психо-ювелирки, то и с этим можно жить. Но на Дворе Мартина с ним не протянешь. В ремонтном бизнесе не было места для притягивающей взгляды эксцентричности. Тут же станешь клиентом фармацевтической лоботомии Нацздрава, после чего твоя талия расширится, а способности думать, говорить и реагировать на раздражители пропорционально сократятся. Эта идея не казалась Мику перспективной или вообще выносимой, но в тот момент он рассматривал ее как серьезную вероятность. Чувствовал, как из-под половиц памяти напирают тысячи неправдоподобных подробностей, не менее тревожных и невообразимых, чем окровавленный меховой шарф девочки, как они так и ждут, чтобы проломиться и захлестнуть его счастливую

обывательскую жизнь. Подобные идеи не влезут в мир Мика. Они его разломают, уничтожат. Мик с новой решимостью вернулся к серии «Бесстыдников». Что угодно, лишь бы не видеть упрямый образ маленькой девочки с меховыми бусами смерти.

Часовой эпизод почти кончился, все Галлахеры собрались в общей гостиной и пытались усыпить малышей близнецов, за которыми им поручили присматривать. Мать младенцев, жертва Сероксата с эмоциональными проблемами, оставила инструкции, что близнецов можно укачать, если петь им гимны, а самый подходящий – почти повсеместно чтимый «Иерусалим» Блейка и Перри. Семья в очередной раз коверкает всеми любимый стандарт без всякого заметного эффекта на воющих малышей, когда наконец возвращается домой мать. Несмотря на очки-консервы сварщика и ОКР, она тут же отправляет близнецов ко сну удивительно духоподъемной вариацией «Иерусалима», исполненной неожиданно тренированным и чудесным сопрано. «По травмам Англии моей...» [\[65\]](#)

Вдруг откуда ни возьмись на глаза Мика навернулись слезы, так что пришлось проморгаться, пока дети не заметили. Он понятия не имел, что с ним происходит. Просто эта мелодия – то, как безыскусно шли строем ее ноты, – вдруг задела за живое. Хуже того, гимн вдруг очень уместно прозвучал в этой серии «Бесстыдников» – луч света среди продавленных диванов, синдрома Туретта и колец от чайных чашек, а его чистота и убежденность просияли только ярче и ослепительней в безнадеге окружения. Незамутненная, блистательная святость среди убожества – вот что тронуло Мика. И это почти идеально гармонировало со страшными воспоминаниями из детства, которые он пытался подавить, – кристально ясное видение прорвалось между адскими жерновами, подошло, словно ключ, ко всем внутренним замкам Мика. Подвальная дверь подсознания распахнулась изнутри, и хлынул пузырящийся поток сверхъестественного – куда полноводней, чем он представлял, – и наполнил его образами, словами и голосами, языком чужеродного опыта.

Деструктор, Бедламские Дженни, длина-ширина-когда-долго, Портимот ди Нораң, глюки и лестница Иакова. «Это старая консерва, но каждый пузырь, что ты выпустил за жизнь, все еще внутри». Маета, Душа и Мертвецки Мертвая Банда. Деструктор. Игра зодчих правильно называется трильярд. Следи за дымоходами и средними углами. Некоторые называют это «Двадцать пять тысяч ночей». Призрачная стежка. Деструктор. Если пришельцы – значит, не созрели. Святая в двадцать пятом, где поднимается уровень воды. Англы с небес. «Вы все складываетесь в нас, а мы складываемся в него». Над петляющей дорогой висят весы. Пустая Душа – ее видно в их яростных глазах. Голые девчонки танцуют на бочонках с танином – какой чудесный день. «Пойдем обдирать яблочки в дурдоме» и Деструктор, и Деструктор, и Деструктор. Все и вся, что он любил, – все всосало, все сгнуло. Руд разбит – вот почему центр расплзается. Он насилует ее на парковке, где раньше были Банные сады, и мы бежим искать привидений, над которыми измывались. Доски и нарисованные звезды на лестничных площадках, из трещин растут Шляпки Пака...

Мик резко поднялся и извинился, притворившись, что торопится в туалет. Джо спросил, не поставит ли паузу, но отец отвечал уже с лестницы, что необязательно. Заперевшись в ванной, он просидел на унитазе с опущенной крышкой добрых пять минут, прежде чем смог унять дрожь. Бесполезно. В себе это не сдержать. Надо кому-то рассказать.

Он встал и поднял крышку, символически пописал перед возвращением, по привычке помыл руки в маленькой раковине. Поднял взгляд на зеркало шкафчика и подскочил при виде обезображенного и шелушащегося лица, уже совсем забыв про несчастный случай на работе. Лицо больше походило на неубедительный грим из ужастика, и при мечущихся в голове потусторонних явлениях Мик не мог не рассмеяться от этой мысли. Но смех его, скорее, напугал, так что он осекся и спустился к семье.

Он умудрился продержаться весь вечер, вел себя нормально, ничем не выдавая чувств, хотя Джек и Кэти заметили вслух, что он ведет себя тише обычного. Только когда Мик с Кэти легли, его словно прорвало, и он рассказал все, так сбивчиво и исковеркано, что даже сам ничего не понял, куда уж было понять жене. Она спокойно выслушала его признание, как он боится, что сходит с ума, затем разумно предложила позвонить старшей сестре и выбраться с ней выпить, узнать, что обо всем этом думает Альма. Во всем, что касалось реального мира, Кэти не доверилась бы мнению золовки ни на секунду, но в случае вопросов напрямую из сумеречной зоны, которые мучали Мика, она ничье мнение не ценила выше. Рыбак рыбака. Клин клином вышибают. Кошмар кошмаром прогоняют.

Мик так и поступил. Может, он и сумасшедший, но не дурак. Он назначил встречу с сестрой в «Золотом льве» на ближайшую субботу, хотя сам не понимал, почему выбрал именно это заведение – загнивающий и неказистый кабаk в самом мертвом сердце Боро на Замковой улице. Просто казалось, что это подходящее место, вот и все: подходящая нелепая дичь, чтобы поведать старшей сестре свою дикую нелепицу: о маленьком мальчике, который в три года подавился и умер – по-настоящему.

О девочке в розовом кардигане и вонючем кровавом шарфике, которая потянулась к нему из угла жаркими и липкими ручками и сказала: «Поднимайся. Поднимайся».

И забрала его наверх.

Книга вторая

Душа

Я трепещу, когда горит закат

На старой ферме под крутым
холмом

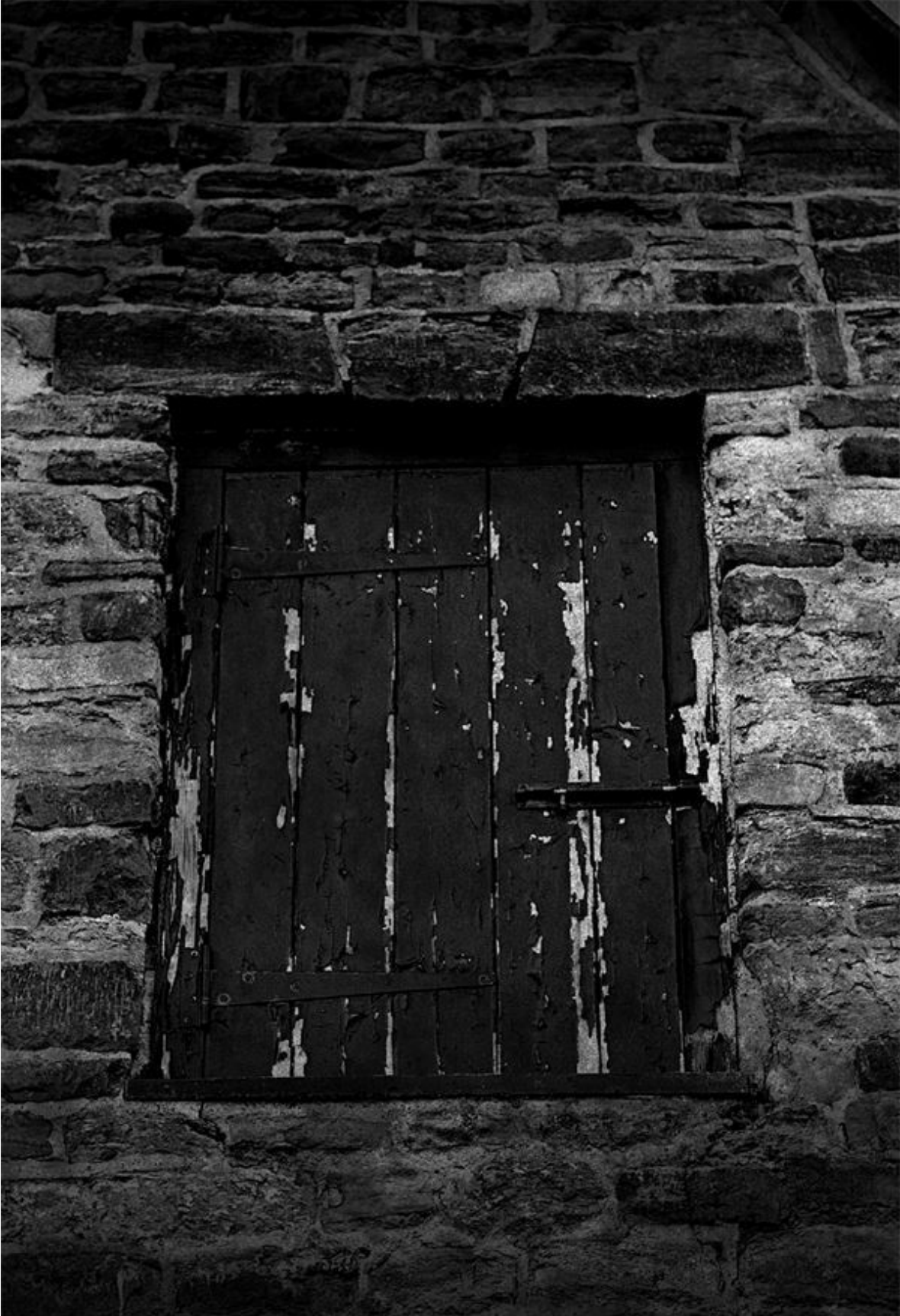
И оживляет древность из времен

Реальней тех, что нам принадлежат.

В сем странном свете знаю я:
близка

Твердыня та, чьи стороны – века.

***Г. Ф. Лавкрафт. Из
«Непрерывности» («Грибы с
Юггота»)***



Наверху

Здорово, здорово, как же это здорово. Мальчик вознесся под рокочущий кругом чудо-гром, словно рядом все настраивался и настраивался духовой оркестр. Так провожает мир, когда его покидаешь.

Майклу казалось, будто он дрейфует в резиновом круге под самым дымчато-желтым потолком гостиной. Он не понимал, как туда попал, и не знал, стоит ли волноваться из-за феи в углу, которая манила к себе из темной ниши всего в паре футов над головой. Хоть она и казалась знакомой, Майкл сомневался в том, стоит ли ей доверять. Сомневался даже, что раньше замечал угловых фей или слышал, чтобы о них говорили родители, хотя, конечно, говорили, иначе и быть не могло. В любом случае мысль, что в углах дома живут крошечные человечки, не казалась чем-то удивительным – не в этом искрящемся сумраке, где он плыл, осиянный изумлением.

Майкл попытался разобраться, где же находится, но не мог толком вспомнить, кем или где был, пока не очутился среди мерцания и цимбал. Хотя мысли его стали умными как никогда в жизни – говоря по правде, не то чтобы он помнил свои прежние мысли, – Майкл все же не мог сложить в голове картинку произошедшего. Кажется, ему рассказывали сказку – из тех старых известных сказок, которые знают все, – о принце, что нечаянно подавился вишенкой? Или – хоть это и кажется неправдоподобным – он сам был персонажем в сказке, возможно, даже тем самым принцем, а значит, то, как он всплывает в музыке и мраке, – лишь очередная глава повествования? Все мысли казались ошибочными, но Майкл решил, что пока не станет забивать ими голову. Взамен он перевел внимание на угол, к которому медленно, но верно приближался. Либо приближался, либо становился больше сам угол, подумал он.

Майкл не мог вспомнить, знал ли он раньше, что углы, как и этот перед ним, торчат сразу в обе стороны – так, что они одновременно

торчали и углублялись, – или же это понимание пришло в голову только что. Зрительно все примерно напоминало картинки с подвохом на школьных коробках с мелками, где кубики сложены в пирамиду, но никак не понять, в какую сторону они выдаются. Теперь, разглядев угол вблизи, он понял, что в обе стороны одновременно. То, что он принял за нишу, оказалось выступом – не столько вогнутым углом гостиной, сколько торчащим углом стола с вычурной резьбой по краям там, где у потолка шел карниз. Только, конечно, если угол был как у стола, значит, он оглядывал его сверху, а не смотрел снизу. А значит, он тонул к нему, а не поднимался, чтобы стукнуться о него макушкой. А еще это значит, что гостиную вывернули наизнанку.

Мысль, что он погружался, приземлялся на угол гигантского стола, в тот момент показалась ему вполне здоровой, особенно потому, что ведь тогда угловой фее было на чем стоять, тогда как до этого она казалась неубедительно прилепившейся где-то над рейкой для фотографий. Впрочем, если она внизу, почему же тогда просит Майкла тоненьким голоском скорее подниматься?

Он подозрительно пригляделся к ней и попытался понять, не из тех ли она, кто может сыграть с ним злую шутку, и решил, что все-таки да, наверняка из тех самых. Более того, чем ближе Майкл к ней подплывал, тем больше фея была похожа на какую-нибудь десятилетнюю девчонку из его района, а это означало, что она как пить дать злодейка, хулиганка с улиц Форта или Рва, которая выбьет из тебя дух одним ударом сумки, полной бутылок «Короны», что она волочет в тайник.

Как и угол, на котором – или в котором – она стояла, фея постепенно становилась больше, и вот Майкл уже мог рассмотреть ее в подробностях, а она была не просто пищащей и машущей точкой синих и розовых цветов среди мушиных пятен на потолке. Еще он увидел, что это не настоящая фея, а девчонка обычного роста, просто до этого она была очень далеко и потому казалась куда меньше, чем была на самом деле. На пару дюймов ниже ее

ушей спадали светлые волосы с легчайшим оттенком рыжего, с ровной кромкой, словно ей на голову водрузили миску для пудинга и постригли вдоль краев. Если она родом из Боро, так оно наверняка и было.

Ему лениво пришло в голову, что сами собой начинают вспоминаться обрывки и частички жизни или сказки, в которой он участвовал несколькими мгновениями раньше, прежде чем обнаружил, что болтается в палевых течениях под потолком гостиной. Помнил он миски для пудинга и Боро, помнил улицу Рва, улицу Форта и бутылки «Короны». Помнил, что звали его Майкл Уоррен, его мамку – Дорин, а папку – Том. У него была сестра, Альма, которая каждый день хотя бы раз либо смешила его до колик, либо пугала до испарины. Была у него бабуля по имени Клара, которую он не боялся, и бабка по имени Мэй, которую боялся до дрожи. Успокоившись, что расставил во вразумительном порядке хотя бы эти клочки воспоминаний, Майкл снова обратился к вопросу девочки, что теперь возбужденно скакала на месте в каком-то дюйме над ним. Или под ним.

Ему показалось, что на вид ей девять или десять – для Майкла это был возраст почти что взрослого человека, – и чем ближе Майкл к ней становился, тем больше уверялся, что он в своей догадке прав. На него смотрела тощая и крепко сбитая девчонка, чуть постарше и чуть повыше его сестры Альмы, а еще – красивее и стройнее, с широким смешливым ртом, который будто вечно грозил разразиться хохотом громче, чем способно вместить ее тельце. Прав он оказался и насчет ее происхождения из Боро – или по крайней мере из какой-то похожей округи. Любой бы принял ее за местную по одежде и состоянию расцарапанных коленок. Белая кожа, загоравшая под моросью Боро, серовато светилась от въевшейся в поры железнодорожной пыли, покрывавшей в квартале всё и вся. Но, глядя на нее теперь, Майкл видел, что это тот же бледно-серый цвет, которым иногда наливаются грозовые тучи, когда можно едва-едва разглядеть готовую прорваться через них мишуру радуги.

Говоря откровенно, ему показалось, что грязь ей к лицу, словно дорогие румяна или пудра, что можно отыскать только на редких и далеких островах света.

Его удивило, какое хорошее у него зрение. Он и раньше не жаловался на глаза, в отличие от мамки и сестрицы, но теперь просто видел все куда яснее, словно кто-то смахнул с очей паутину. Каждый пустяк во внешности девочки и ее одежды стал резким, как обручальный бриллиант, а приглушенные цвета платья, туфель и кардигана стали не ярче, но как будто живее, вызывали сильный отклик.

Например, вокруг ее розового джемпера, стершегося у локтей, как сетка безопасности цвета увядших роз, висело сияние клубничного мороженого за летним чаепитием, когда в витражное окошко на западной стене гостиной заглядывают последние лучи заходящего солнца. Джемпер казался таким же удачно и естественно гармоничным в паре с ее платьем темно-синего цвета, как мысль о веселых морях, лопающих сладкую вату на променаде под светом лампочек. Ее носки цвета талого снега сбились в гармошки или сброшенные шкурки гусениц – и один сполз заметно ниже другого, – а туфли с расцарапанными носками сапожник когда-то окунул или выкрасил в старый темно-бирюзовый цвет, со слаборазличимой картой выгоревших оранжевых царапин там, где из-под краски проглядывала кожа. Изношенные ремешки с тускло-серебряными пряжками так же переполняла история, как боевые уздечки из глубокой старины с рыцарями и замками, а еще на ее плечах лежала пышная горжетка, как у герцогини. Вот она-то, когда Майкл изучил ее поближе, его вдруг и напугала.

Горжетка была сделана из двадцати четырех мертвых кроликов, нанизанных на окровавленную нитку и выхолощенных так, что они стали плоскими и пустыми наручными куклами с пришитыми лапками, головками, бархатными ушками и хвостиками-помпончиками. Их глазки были по большей части открыты – черные, как бузина или такие полуночные антиглаза, что бывают у людей на

негативах фотографий. Хотя ему шарф из пушистых трупиков показался довольно жутким, в то же время было в нем что-то будоражаще-взрослое. Ведь это наверняка противозаконно, думал он, или по меньшей мере за такое можно напроситься на нагоняй, а потому шарф придавал девочке вид пленительный и авантюрный.

По-настоящему отталкивал только дух ее пушного венка, и в то же время он подсказал Майклу, что не одни только глаза ему вдруг промыли начисто. Раньше запахи не производили на него особого впечатления, по крайней мере по сравнению с насыщенным, горьким бульоном ароматов, в который он окунулся теперь. Слово по оба крыла носа целые оркестры исполняли симфонии вони. Жизнь девчонки и жизни двадцати четырех кроликов на ее шее стали историями, написанными невидимыми чернилами в воздухе – ароматами, и читал он их раздувшимися ноздрями. У кожи ее был теплый и ореховый букет, смешанный с чисто плотным запахом мыла из карболки и каким-то деликатным веянием дыхания, словно от пармских фиалок. Все это обволакивало амбре жуткого ожерелья с примесями норной грязи, кроличьего помета и зеленого сока пожеванной травы, опилочной прелости пустых болтающихся шкурок, медяного налета крови и перезревшей фруктовости, что шли теплыми волнами от высохшей коросты мяса. Зловоние всего и сразу было таким опьяняющим и таким интересным, что даже нельзя было назвать однозначно гадким. Больше походило на душистый суп из всего подряд, в вареве которого скрывался целый мир – и хорошее, и плохое одновременно. Привкус жизни и смерти, как они есть.

Майкл видел, слышал, даже думал куда яснее, чем привык за смутно вспомнившуюся жизнь прикованного к полу трехлетнего мальчика, когда чувства были сравнительно мутными, словно он видел мир через перепачканное стекло. И он больше не чувствовал себя на три года. Он чувствовал себя куда умнее и взрослее – как всегда думал, что будет себя чувствовать, когда ему исполнится, скажем, семь или восемь; а более взрослым он себя представить не

мог. Он чувствовал себя совсем другим человеком. С возрастом пришло, как он и ожидал, ощущение, что он стал куда важнее, но в то же время и тревожное понимание, что теперь у него намного больше поводов для волнений.

И самой срочной из всех новых забот, пожалуй, был вопрос, почему он бултыхался у потолка с этой вонючей девчонкой. Что с ним случилось? Почему он теперь наверху, а не внизу, где провел всю жизнь? У него остались смутные воспоминания о больном горле и уюте маминых коленей, о свежем воздухе и жалких желтушниках, окопавшихся корнями в копоты между старыми кирпичами, а потом начиналась какая-то суета. Все носились туда-сюда и чего-то боялись, как в тот раз, когда бабуля распустила узел на голове и, вычесывая длинные волосы стального цвета у открытого очага, подпалила их. Но в этот раз все было словно намного хуже – даже хуже, чем бабушка Майкла с горячей головой. Это слышалось в панике женских голосов. Тут он отдаленно узнал источник бормочущего вокруг милого сердцу грома: так бы звучали пронзительные вопли его матери и бабушки, если замедлить их почти до остановки, когда звуки просто зависнут с дрожью в воздухе.

Его вдруг озарило – со зловещим звоном гонга в животе, – что беспокойство мамки и бабули может быть напрямую связано с его нынешними непонятными обстоятельствами. Расстроились они из-за Майкла – причем мысль эта была такой очевидной, что он удивился, как она тут же не пришла ему в голову. Наверное, он был в шоке, понадобилось время, чтобы привести мысли в порядок. Казалось резонным предположить, что причина его шока как раз напугала и мамку с бабулей до смерти...

Только когда в голове прозвучало это слово, Майкл с накатившим ужасом беспомощности точно понял, где он и что с ним случилось.

Он умер. Со страхом перед этим жили даже взрослые, как его мамка с папкой, и это случилось с ним, и Майкл остался в смерти одинок, как всегда того и боялся. Совсем один и все еще совсем

маленький, чтобы справиться с этим огромным событием так, как, полагал он, справляются старики. Из этого падения не подхватят ничьи большие руки. Ничьи губы не поцелуют и не подуют, чтобы поскорее зажило. Он знал, что попал туда, где нет ни мам, ни пап, ни половичков у камина, ни газировки Tizer, ничегошеньки уютного или теплого – только Бог, призраки, ведьмы и дьявол. Он лишился всех, кого имел, и всего, чем был, в одно беспечное мгновение, когда всего лишь чуть отвлекся и вдруг раз – споткнулся и выпал из всей своей жизни. Майкл всхлипнул, зная, что в любой момент его размажет страшная боль и оставит только мокрое место, а потом наступит ничто – а это еще хуже, ведь его уже не будет и он больше никогда не увидит семью или друзей.

Он начал брыкаться и сопротивляться, чтобы проснуться и обнаружить, что это завораживающий сон, но отчаянная активность послужила лишь тому, что все стало еще более пугающим и необычным. Во-первых, пустое пространство вокруг заколыхалось от движений, как медленное стеклянное желе, а во-вторых, у него вдруг стало слишком много рук и ног. Конечности – которые, как он осознал с небольшим облегчением, по-прежнему были в сине-белой пижаме и темно-красной ночнушке из тартана, – оставляли застывшими в воздухе свои идеальные копии. В одной краткой и энергичной судороге он превратился в пышный раскидистый куст из полосатой фланели, на множасьих стеблях которого распускались бледно-розовые ладони-бутоны. Майкл взвыл и увидел, как его возглас поплыл блестящей фанфарной рябью через хрустальный клей окружающего воздуха.

Из-за этого маленькая блондинка, что была то ли на углу, то ли в углу, как будто только разозлилась – пока он осознавал, что умер, успел позабыть, что она так там и стоит. Она протянула к нему свои чумазные ручонки – вверх или вниз, смотря на каком аспекте оптической иллюзии с коробки мелков хотелось сосредоточиться. Закричала на него – уже так близко, что он мог ее слышать, а голос больше не напоминал о жуке в спичечном коробке. Вплотную

Майкл смог разобрать в ее акценте скрип Боро, всех его захоженных половиц и несмазанных калиток.

– Дуй наверх! Наверх дуй, все блеснет хорошо! Руку давай и кончай колготиться! А то станет ток хуже!

Он не знал, что может быть хуже смерти, но так как в этот момент едва видел девочку из-за чащи тартановых деревьев и подлеска полосатых штанов, то решил внять совету. Он застыл так неподвижно, как только мог, и через миг-другой с облегчением узнал, что, если дать срок, все лишние локти, коленки и тапочки мало-помалу исчезают из виду. Как только избыточные части тела улетучились и больше не закрывали вид на угловую фею, он опасливо потянулся навстречу ладони, которую она ему подавала сверху или снизу, и двигался при том как можно медленнее, чтобы свести к минимуму хвосты из остаточных изображений своей руки.

Ее расставленные пальцы сомкнулись на его, и он так удивился, какими реальными и твердыми они оказались, что чуть снова их не выпустил. Вместе со зрением и обонянием стало намного чувствительнее и его осязание. Он словно снял теплые варежки, привязанные к запястьям с самого рождения. Ощутил ее руку, горячую, как свежеиспеченный пирог, и скользкую от пота, как будто она слишком долго перебирала пенни в кармане. У мягких подушечек пальцев оказалась клейкая обливка, словно она ела спелые груши голыми руками и еще не успела их вымыть, если вообще когда-то мыла. Он сам не знал, чего ожидал, – наверное, что после смерти его пальцы попросту будут проходить сквозь предметы, словно сделаны из дыма, – но он точно не предвидел ничего такого липко-правдоподобного, как эти влажные крабовые лапки, цепляющиеся за запястье и смявшие мешковатый рукав халата Майкла.

Хватка у девочки была не только пугающе реальная, но и намного, намного сильнее, чем можно было подумать по ее виду. Дернув за руку, она подтащила его навстречу себе наверх – нет, вниз, – словно пыталась справиться с бьющейся рыбиной в панике. Во время этого

процесса он испытал неприятное мгновение, когда глазам и животу пришлось как будто перевернуться оттого, что казалось, будто его сажают на торчащий угол стола, но перед глазами стоял вогнутый угол комнаты, где девочка вытягивала Майкла, словно из бассейна, пока сама находилась на сухом пересечении его стенок. Комната снова стала шиворот-навыворот, словно мальчика волокли через порог, после которого все, что глядит в одну сторону, оказывается, глядит в противоположную, – и в следующий миг Майкл стоял на подгибающихся коленках на том же крашеном деревянном карнизе, что и девчонка.

Эта узкая платформа обегала край большого квадратного чана десяти метров шириной, причем их зависший над пропастью козырек был нижним уровнем амфитеатра из многих рядов, поднимавшегося со всех четырех сторон ступенями, словно гигантская рамка, заключающая в себе объемную аквариумную бездну, откуда его только что и выудили. Десятиметровые марши лестниц, что вели от граней этого подобия пруда, даже в его смятенном состоянии казались неприкрыто непрактичными и смехотворными. Ступени были слишком широкими, в несколько футов от края до стенки, тогда как высота мизерной, не больше десяти сантиметров, так что сидеть на них было бы труднее, чем на бордюре. Отлогое окружение словно сделали из сосны, которую покрасили в белый, все острые углы спилили, а потом покрыли толстым и шелушащимся слоем лака – желтовато-кремовым гляncем, лежавшим нетронутым, судя по виду, с довоенных времен. Если быть откровенным до конца, чем больше он приглядывался, тем больше ступени напоминали старый резной карниз, что обегал потолок их гостиной на дороге Андрея, только амфитеатр был куда больше и перевернут вверх тормашками. Стоя спиной к прямоугольной яме, из которой его вытащили, Майкл даже видел прогалину голого дерева, где отошла краска, оставив пятно, напоминающее завалившуюся набок Британию, – точно такое же Майкл однажды заметил на декоративной полоске прямо над

камином. Впрочем, то было не больше марки на конверте, а это казалось неперепрыгиваемой лужей, – но все же он не сомневался, что ее извивающиеся контуры при ближайшем рассмотрении совпадут в точности.

Несколько секунд моргая от потрясения и оглядывая сооружение, Майкл перебирал по кругу клетчатыми тапочками, пока не оказался лицом к лицу с сердитой девчонкой, стоявшей перед ним на сосновых досках в воротнике из смердящих кроликов. На деле она была всего чуть выше его самого, но одета была в обычную одежду, в то время как он – в ночное, а потому Майклу показалось, что он в довольно невыгодном положении. Осознав, что они еще держатся за руки, он их торопливо отпустил.

Хотел сказать что-нибудь вроде «Что это значит?» или «Ты кто?», но взамен раздалось «Чао, летит мальчик!», за чем немедленно последовало: «Стык тут?» Испугавшись, он вскинул пальцы к губам и пощупал их, захотел убедиться, что рот работает как положено. Подняв при этом руку, Майкл заметил, что уже не оставляет за собой изображений всякий раз, как двигается. Возможно, это происходит только в плавучем пространстве, из которого его выловили мгновение назад, но в тот момент Майкла больше беспокоила чепуха, что изливалась изо рта, когда он пытался заговорить.

Девочка смотрела на него весело, склонив голову набок и сжав широкие губы в тонкую линию, чтобы удержаться от смеха. Майкл предпринял новую попытку спросить, где они и что с ним случилось.

– Искажен, пожар страд, дети мы? О песни – я драже не поперхаю, шторм земной лучилось!

Хотя поток вздора по-прежнему приводил в расстройство, Майкл с изумлением обнаружил, что почти понял сам себя. Как и намеревался, он спросил ее, где они, вот только слова переменились и вывернулись, а в их складках запрятались новые значения. Он подумал, что сказанное им можно было приблизительно перевести как: «Скажи, пожалуйста, где это мы? Почему в этом искаженном месте мои чувства пылают, как в пожаре, почему мне здесь и

страшно, и радостно одновременно, – и как подобная страда могла выпасть на нашу долю, ведь мы только дети? Объясни – я даже не понимаю, что со мной случилось. Кажется, я поперхнулся даже «Песенка», и тут меня как будто шторм унес сюда, где все словно лучится!» Это казалось вычурным и нескладным, зато, подумал он, содержало все чувства, которые он хотел передать.

Ухмыляющаяся оборванка больше не могла сдерживать веселья и расхохоталась ему в лицо – громко, но беззлобно. Из ее рта вырвались крошечные бусинки опаловой слюны, в каждой из которых отражался целый мир, и разбились о его нос. Удивительно, но девочка как будто поняла хотя бы суть того, что он пытался высказать, и, когда ее смех улегся, она предприняла, как ему показалось, искреннюю попытку ответить на все его вопросы так прямо, как она только могла.

– И тебе чао, мальчик. А я девочка Филлис Пейнтер. Я главная в нашей банде.

Сказала она это другими словами, и в них были кособокие слоги, из-за которых ему послышалось разом и «глашатай», и «горлопанка», – возможно, отсылки к тому, как много она болтала или каким низким для девочки казался ее голос, – но он без труда понял, что она говорила. Очевидно, владела своей речью лучше Майкла. Она говорила, и он слушал одновременно с напряжением и восхищением.

– Вышло так, что ты перешел через стык, порог, и выпал к нам, как все. Ты подсмехнулся конфетой, – он подозревал, тут имелось в виду, что он поперхнулся или задохнулся насмерть, но с комическими ассоциациями, словно ни смерть, ни удушение здесь не принимались всерьез.

Девочка продолжала:

– Вот я тя и дернула из самоцветника, и теперь мы Наверху. Мы в Душе. Душа – эт Второй Боро. Хочешь в мою банду?

Майкл не понял почти ничего, кроме последнего предложения. Он отскочил как ужаленный. Его горячий отказ на ее предложение

испортила только исковерканная речь.

– Низ качу! Вельми маня удар, от гуда я першу!

Она снова прыснула – не так громко и, как показалось ему, не так уж доброжелательно.

– Ха! Гляжу, еще Лючинка в рот не попала. Вот че все, что ты гришь, звенит неправильно. Погодь чутка, и скоро заговоришь как призракается. Но вернуть тебя туда, откуда ты пришел, уж никак нельзя. Терь жизнь у тя позади.

Она кивнула за него, и он осознал, что последнее замечание было больше, нежели просто оборотом. Она буквально говорила о том, что жизнь у него позади. Почувствовав, как встают дыбом волосы на затылке, Майкл осторожно обернулся.

Он обнаружил, что стоит спиной к самой кромке огромного квадратного резервуара, откуда его вытащили, и у самых пяток его подстерегает отвесная пропасть. Представшее перед ним место было ненамного больше пруда для детских лодочек, который он видел однажды в парке, но явно куда глубже, настолько, что Майкл даже не понимал, как глубоко оно уходит. Огромный плоский бассейн был налит до краев тем же колыхающимся, зыбучим стеклом, где он только что был подвешен. Поверхность еще слегка дрожала – несомненно, от резкого движения, с которым его вырвали.

Всматриваясь в волнующуюся субстанцию, Майкл мог разглядеть неподвижные фигуры, растянувшиеся в глазированной пучине, неподвижные и искривленные стволы из драгоценных камней со сложным рельефом, что оползали друг друга, разбегаясь по пространству под ногами. Он подумал, что это чем-то напоминает коралловый сад, хоть и слабо представлял, что на деле означают эти слова. Переплетенные побеги с множеством ветвей казались сделанными из чего-то прозрачного, вроде твердого чистого воска. Сами эти кружевные спутанные канаты не имели собственного цвета, но в их глубине виднелся плавающий свет всяческих оттенков. Он смог разглядеть по меньшей мере три длинных извилистых трубки – каждую со своей особой внутренней

окраской, – подобно ледяной статуе витиеватого узла, они змеились вокруг друг друга в резиновых глубинах, рябящих далеко внизу.

Самый толстый и разросшийся из стеблей, подсвеченный изнутри преимущественно зеленоватым сиянием, показался Майклу самым красивым, хотя он и не мог толком объяснить почему. Его вид умиротворял, и резная изумрудная ветвь тянулась через все объемное пространство дрожащего света – выходила из высокого прямоугольника в дальней стенке чана, затем красиво заворачивала в чудовищном аквариуме навстречу Майклу, прежде чем заложить вираж влево и скрыться из его поля зрения через другое узкое отверстие.

Ему показалось любопытным совпадением, что оба проема находились в том же положении друг относительно друга, что и двери, ведущие из их гостиной на дороге Андрея в кухню и коридор, хотя эти проходы были несоразмерно больше, напоминая те, что бывают в соборах или, например, пирамидах. Приглядываясь с усовершенствованным зрением, он увидел, что внизу посреди правой стены был прорезан черный туннель – точно там, где полагалось бы быть их камину, будь тот больше и смотри Майкл на него с высоты.

Задумавшись над этим маловероятным сходством, он обратил внимание, что сверху у его любимого щупальца, зеленого, вдоль всей длины бежала привлекательная рябь, напоминающая полоску пластинок под шляпкой гриба. В одном месте, где изощренный ствол прозрачного нефрита изгибался влево, – это место было к нему ближе всего, – Майклу представилась возможность разглядеть эти пластинки сбоку, и он, едва не подскочив, обнаружил, что глядит на бесконечный ряд повторяющихся человеческих ушей. Только когда Майкл увидел, что в каждом из них висит неотличимая копия любимой клипсы Дорин, он наконец понял, на что уставился.

Заливной зал, необыкновенный, как неизвестная планета, на самом деле был их старой гостиной, только каким-то образом раздутой до невообразимых размеров. Сияющие извилистые

хрустальные наросты, что тянулись через него, были телами его родных, но повторяющимися в движении в незамутненной патоке атмосферы так же, как выглядели руки и ноги Майкла, когда он сам барахтался в вязкой пустоте. Разница была в том, что эти многократные фигуры оставались застывшими, а составляющие их образы не исчезали тут же из виду, как исчезли его лишние конечности. Казалось, будто при жизни люди на самом деле стоят без движения, погруженные в сгустившееся бланманже времени, и только думают, что двигаются, тогда как по правде лишь их сознание шариком окрашенного света мерцает по существующему туннелю. Оказывается, только когда люди умирают, как только что умер Майкл, они вырываются из оков янтаря и всплывают, плескаясь и отплеываясь, через холодец часов.

Самое большое и зеленое образование, к которому он уже выказал предпочтение, было мамой Майкла, на огромной скорости бегущей через гостиную из дверей кухни в прихожую. Он машинально подсчитал, что в обычных обстоятельствах этот маршрут занял бы у матери пару мгновений, а значит, отрезок времени во вместительном резервуаре на вечном обозрении занимал самое большее десять секунд. И, несмотря на это, по мучительному сплетению затонувших формаций было видно, что событий происходит много.

Казалось, в резном рифе из бутылочного стекла, что был его матерью, – теперь Майкл различал ее подсвеченные лаймовым цветом черты лица, выложенные в самой верхней части хребта, словно стопка прозрачных масок, – вдоль большей части длины есть яркий изъяс. С того места, где лоза выростала из отверстия на противоположной стороне – из возвышающейся расщелины под ватерлинией, которая в действительности была лишь увеличенной кухонной дверью, – в зеленой массе было заключено что-то маленькое: по центру, словно надпись в палочках-леденцах, бежала лучащаяся сердцевина цвета гвоздики и формы морской звезды. Внутреннее свечение сохранялось в крыжовниковой окаменелости

от момента, где она врывалась в провал двери, и следовало за ней, когда она ненадолго вильнула вправо от Майкла, но затем продолжала дальнейший путь в его направлении, – этот маневр предприняли, дабы избежать препятствия в виде подводной мезы, в которой Майкл узнал стол в их гостиной. Однако как раз там, между столом и зияющим жерлом камина, желтое сияние как будто протекало из своего литого сосуда цвета оливок. Через всеохватный желатин негативного пространства к поверхности дымно поднимался столб разбавленного золота – мутная и неровная шерстяная струя лимонада, что прочерчивала путь к мармеладному зеркалу чана, практически до самых клетчатых штанин Майкла, стоявшего на бортике деревянной рамы. Все это выглядело так, будто в бане кто-то напрудил в чистую воду. Мягкий силуэт в виде звезды с пятью короткими окончаниями по-прежнему оставался внутри неудержимой громады, завернувшей в сторону и покидавшей помещение через ныне колоссальную дверь вдали слева, но теперь уже стал бесцветной и пустой дырой среди теплой обволакивающей зелени. А весь летний свет уплыл.

Не сразу Майкл сообразил, что это он сам – хрупкая огненная календула о пяти лепестках, которая на первый взгляд казалась заключенной в большом кристальном выросте – мамке Майкла. Дорин несла его на руках перед собой, потому и казалось, что ее более широкие контуры как будто проглатывали его, пока она мчалась в своем потоке повторов. А точка в ее траектории между столом и камином, где выключился малый свет, – это место, где он умер, где жизнь надтреснула и его душа просочилась в обволакивающее консоме сгущенного времени. Желтые нити, тянущиеся в супе призмы, – следы его облаченного в пижамку сознания, оставленные, пока он по-собачьи греб к потолку.

Он перевел взор на подводные извивы двух других озаренных папоротников в гроте – колючую коричневатую изгородь, напоминавшую замороженную апельсиновую шипучку, которую он принял за бабулю, а также бледно-пурпурную трубку куда ближе к

полу, в которой плясал фиолетовый отсвет, как от ручного фонарика. Майкл понял, что это его сестра, искрящаяся от своих сиреневых мыслей. Из-за сочной палитры детских красок и акватических прозрачных слоев стало ясно, почему жуткая девочка, поднявшая мальчика на поверхность, употребила слово «самоцветник». Зрелище было изысканным и прекрасным, но Майкл увидел в нем и что-то печальное. Несмотря на мерцающие переливы искр, орнаментальная диорама напоминала позабытый клубок мусора с речного дна, отчего вызывала впечатление неказистости и заброшенности.

Из-за плеча раздался голос девочки, тем самым резко напоминая, что она никуда не делась:

– Эт старая консерва, но каждый пузырь, что ты выпустил за жизнь, все еще блесь внутри.

Как ни странно, он точно понял, что она имела в виду. Он смотрит на ржавый и брошенный сосуд, но все его надежды и чаяния были в нем, родились из него. Это сундук с сокровищами, что извне выглядел забитым угольным шлаком, но все же Майкл не мог не чувствовать утраты из-за безделушки, которую по неопытности принимал за роскошь. Он бросил прощальный взгляд на королевский ковер реки из малахитовой филиграни – волосы его матери, – затем поднял глаза к девочке. Та сидела и дрыгала ножками на обшарпанных сливочных ступенях, поднимающихся от залитой гостиной. Майкл начинал привыкать, что резное дерево вокруг него на самом деле карниз в гостиной, только раздутый и вывернутый то ли вверх ногами, то ли наизнанку. Девочка зорко смотрела на него, так что он почувствовал необходимость что-нибудь произнести:

– Так это и блесь край?

Его язык по-прежнему спотыкался о произношение, но Майклу показалось, что общаться мало-помалу становилось проще. Казалось, собака зарыта в том, чтобы говорить чисто и ровно то, что у тебя на уме, не оставляя пространства для двусмысленности.

Похоже, здесь речь, стоит дать ей хоть полшанса, самопроизвольно расцветает значениями и загадками. Приходилось держать ухо востро. Но хотя бы в этот раз его посмертная подружка, отвечая, не хихикала из-за дефектов дикции.

– Да, ежели хотца. Или ад. Эт прост Наверху, не больше и не меньше. На деревянном холме, во Втором Боро, что зовется Душой. Мы среди углов и англов, и скор ты обвыкнешься. Те свезло, что мимо случилась я, раз ты семья не встречает.

Майкл задумался над этим последним брошенным вскользь замечанием. Если подумать, все это дело со смертью и отправкой в рай казалось из рук вон плохо организованным. Не то чтобы у него сложилось много ожиданий об ангелах, фанфарах, жемчужных вратах и тому подобном, но все же ему казалось, что не так уж сложно привести одного-двух скончавшихся родных, просто чтобы приветствовали в этой странной и безалаберной загробной жизни. Впрочем, если честно, все мертвые родственники Майкла умерли еще до того, как он родился, так что не были с ним знакомы и даже не знали бы, что и сказать. А что до членов семьи, с которыми он был близок, то тут Майкл все испортил, скончавшись раньше положенного. Он полагал, что в обычном порядке вещей – умирать согласно возрасту, а значит, первой должен прийти черед бабки Мэй, затем бабули Клары, потом папки, мамки, старшей сестры, его самого и, наконец, их волнистого попугайчика Джои. Если бы Майкл не умер вне очереди, то из жизни его бы поднимали все, за исключением попугайчика, и дружелюбно хлопнули бы по плечу и познакомили с Вечностью. Эта задача не досталась бы просто какой-то девчонке, случайной незнакомке, которая шла мимо по своим делам.

А теперь же, ко всему прочему, выходило, что ему придется самолично организовывать прием для своей устрашающей бабки. А что, если до следующей смерти после Мэй пройдут многие годы, пока по этим страшным скрипучим доскам будут бродить лишь они вдвоем? С отчаянными и забежавшими от нахлынувших мыслей

глазами Майкл попытался передать хоть что-то из своих измышлений девочке. Как она там назвалась, не Филлис ли? Он говорил осторожно и медленно, чтобы удостовериться в назначении каждого слова прежде, чем оно покинет губы и подло предаст его, взорвавшись каламбурами и омонимами.

– Я умер, пока блесть маленький. Эльфты и блесть причина, почему меня никто не встречает?

Он определенно делал успехи. Предложение шло неплохо до отрывка, где он нечаянно назвал свою юную стриженую благодетельницу «эльфом». Впрочем, по трезвом размышлении это не казалось чем-то неуместным, да и сама она как будто не приняла ремарку близко к сердцу. Расселась себе на старинной краске, разглаживая синюю ткань юбки на грязных и драных коленях, празднично колупая хрупкие и пожелтевшие края шелушащегося блеска на ткани. Потому взглянула на Майкла почти что с жалостью и покачала головой.

– Это устроено не так. Все-все и так уже тут. Все-все семья всегда блесть тут. Эт прост внизу часы с минутами перепутаны. – Она кивнула на поблескивающую полость на месте бывшей гостиной Майкла у него за спиной. – Ток когда мы читаем книжку, в страницах виден порядок. А как книжку закроешь, все листы схлопываются в бумажную стопку, и нет в них ни начала, ни конца. Они просто блесть – и всё тут.

Он не имел ни малейшего понятия, о чем это она распространяется. Сказать начистоту, Майкл все еще боролся с нарастающей паникой при мысли о том, что ему придется стать спутником Мэй Уоррен в этом облезлом парадизе. Более того, постепенно мальчика неотвратимо охватывала проникнутая ужасом реакция на то положение дел, в котором он оказался. Пока в голове оседал кошмарный факт собственной смерти – хотя раньше ему уже казалось, будто он смирился, – Майкл заметил, что у него трясутся руки. Когда он заговорил, то обнаружил, что не отстаёт от них и голос.

– Я не жалею блесть мертвым. Это неправильно. Если бы блесть по-правильному, меня бы здесь ждал какой-нибудь призракомый.

«Блесть»? Майкл осознал, что говорил на манер девочки так, словно всегда понимал этот язык. Например, он понял, что в слове «блесть» внутри сложены «был», «есть» и «будет», словно в этих краях разделение на настоящее, прошлое и будущее считалось необязательным усложнением. От этого прозрения он только больше растерялся и растревожился, чем прежде. Ему казалось, что даже если он пробудет здесь до скончания времен, то так и не поймет, что тут творится. Его одолевало желание бежать без оглядки, и единственное, что удерживало на месте, – понимание, что в мире больше нет безопасного места, куда Майклу еще можно убежать.

Сидя на низких ступеньках и играя с прогнившим кроличьим украшением, теперь девочка оглядывала Майкла более неуверенным и опасливым взглядом, словно не доверяла его словам или словно ей в голову пришла какая-то неожиданная мысль. Она сощурила глаза – коричневые, как шоколадки Malteser, – пока те не скукожились в две пытливых щелочки, а веснушчатый лобик над носом-кнопкой в результате вдруг не пошел морщинами.

– А если пораскинуть мозгами, это и взаправду странство какое-то. Даже карапузов тут ждут дедули, и чтой-то сомневаюсь, что у тя блесть время так уж сильно нахулиганить. Скок там те блесть, шесть или семь?

Впервые с тех пор, как он выбрался на деревянный берег, Майкл опустил взгляд на себя. С удовлетворением обнаружил, что в местном новом свете даже его старая одежда для сна во всех своих складках и текстуре приковывала взгляд не меньше, чем облачение девочки. Тартан халата – такого насыщенно-красного цвета, что практически бордового, – так и брызгал трагическими историями гордых кланов, как засохшей кровью. Его полосатая, как шезлонг, пижама – ломтики облаков мороженого и июльского неба вперемежку – делала мысль о сне привлекательной, как приморский отдых. Также Майкл довольно подметил, что стал больше прежнего:

все еще тощий, но вытянулся на добрый фут. Теперь у него было тело скорее восьмилетнего недоростка, нежели малыша, как всего мгновения ранее. Он попытался честно ответить на вопрос девчонки, несмотря на то что так она узнает, что он еще ребенок.

– По-моему, мне блесть три, но теперь я вынырос и мне как будто семь.

Девочка согласно кивнула:

– Эт понятно. Те, небось, нейметса блесть семилетним, а? Тут мы выглядим так, как нам самим больше всего нраится. Многие переделываются моложе или довольны тем, какие уже блесть, но мертвеша вроде тебя, канеш, становятся того возраста, к которому всегда стремятся.

Приняв более серьезное выражение, она продолжала:

– Но как же так, что трехлетнего Наверху некому встретить? Ты не так уж прост, как кажешься, мой мальчишка-мертвешка. Как тя звали, пока блесть куда звать?

От этой беседы его волнения нисколько не улеглись, но вряд ли он сделает хуже, если представится, так что Майкл отвечал, как мог:

– Я Майкл Уоррен. Вдруг здесь никого нет, потому что я еще не должен по-настоящему попасть в Смертбродшир? Вдруг это мнебольгляд.

Он хотел сказать «недогляд» и не знал, откуда взялся этот «Смертбродшир». Он как будто нахватался местного сленга прямо из воздуха – так иногда слова и фразы приходили ему в голову во сне. Так или иначе, девочка вроде бы понимала его без всяких затруднений, а это означало, что его владение посмертным эсперанто идет на лад. С озабоченным видом она покачала головой, так что ее светлая челка переливалась, как карликовый водопад.

– Тут мнебольглядов нет. Как эт я не смекнула, что неспроста скакала по Чердакам Дыхания, когда ты всплыл попой кверху. Я-т хотела срезать путь до Старых Домов от сбора безумных яблочек в больничках, но терь вижу, что у меня блесть плодоплека, про

которую я и думать не думала. Как здесь говорится, персонаж с места не сойдет, пока автор страницу не черканет.

Она с бесконечной усталостью выдохнула, издав звук «хах-х», затем встала с решительным видом, по привычке расправив тяжелую ткань полуночно-синей юбки.

– Лучше ходи со мной, пока не разберемся, что все это значит. Слетаем на Стройку и поспрашаем зодчих. Побегли. Все равно тут торчат скучно, сплошь прошлое да тошное.

Она отвернулась и целеустремленно зашагала по низким ступеням крашеных планок, очевидно ожидая, что он последует за ней от обложенной амфитеатром ниши. Майкл не знал, что и делать. С одной стороны, Филлис... Пейнтер, да? Филлис Пейнтер была единственным человеком, кто мог составить ему компанию в этой гулкой и одинокой загробной жизни, даже если Майкл сомневался, стоит ли ей доверять. С другой стороны, пятнадцатиметровый кубик желе позади остался последней связью с его замечательной и безбедной жизнью. Эти кучерявые драконовские статуи в бриллиантовом лаке мгновения – его мамка, бабуля и сестрица. Даже если его новой знакомой это все казалось скучным зрелищем, Майклу было не по себе от мысли оставить их позади и уйти. Что, если он никогда не найдет дорогу назад, как никогда не мог найти дорогу назад в своих снах, о которых так сильно напоминал нынешний опыт? Что, если он в последний раз видит дом номер 17 по дороге Святого Андрея, свою бежевую гостиную, семью, жизнь? Майкл нерешительно оглянулся на зияющий провал, в котором плавал его последний миг, застывший и гальванизированный, словно детские туфельки. Затем посмотрел на плоские ступеньки, по которым его спасительница перевалила за край впадины и прочь из виду, так ни разу и не обернувшись.

Он окликнул ее «Под дожди!», заметив, как его возглас отразился от разнообразной архитектуры окружения, как зашептался на немислимых расстояниях, а потом стремглав кинулся за ней. Он скакал по потрескавшимся сливовым слоям деревянной рамы,

отчаянно испугавшись, что, достигнув их вершины, обнаружит, что Филлис пропала. Не пропала, но когда он выбрался из квадратной выемки и впервые оглядел без помех место, где очутился, сердце Майкла закололо от отчаяния так же, как если бы девочки не было.

Вокруг стелилась плоская прерия, хотя это слово не могло передать ни открывшийся простор, ни то, что вся она была целиком сделана из голого необработанного дерева. Или, если на то пошло, ее форму. Ошеломительно длинное, но сравнительно узкое, пространство скорее напоминало исполинский коридор, чем полынную степь, достигая, наверное, всего милю в ширину, но в длину позади и впереди убегая в невидимые даже его новому зрению дали. Для Майкла длина деревянной прерии была все равно что бесконечна. А вся ее умопомрачительная площадь накрывалась бескрайней старинной вокзальной крышей – ажурным кованым железом и призрачным стеклом в тысяче футов над головой. Казалось, в гигантских балках гнездились голуби – пылинки бледно-серого цвета на темно-зеленом фоне окрашенного металла. Еще выше, за пределами подводной прозрачности матового стекла, было... но Майкла совсем не тянуло туда смотреть.

Он, сраженный, покачивался в тапочках на грязном краю масляной лужи своей бывшей гостиной, где больше не гостил, и вынудил взгляд опуститься от умопомрачительных высот обратно к окружавшим его дощатым просторам. Они были вовсе не так безлики, как сперва показалось. Теперь он видел, что многоярусная рама, на кромке которой он балансировал, на самом деле лишь одна из множества почти идентичных деревянных прямоугольников с углублениями на дне, вроде места, где еще недавно пребывал сам Майкл. Они располагались обширной сетью, их разделяли широкие тротуары из светлого дерева, и все это по виду напоминало какой-то километровый отрез гринсбона. Он словно глядел на ряд окон, врезанных по какой-то невообразимой причине в пол, а не в стены. Поскольку этот ровный и аккуратный рисунок покрывал всю территорию между ним и незримым горизонтом, самые далекие

ниши люков съезживались до размера экрана, тесно испещренного точками – как если поднести к носу картинки комиксов из Америки, которые собирала его сестра.

Майклу показалось, его одолеет мигрень, если он продолжит с усилием вглядываться в исчезающие дали нелепо большого пассажа. «Пассаж», решил Майкл, то слово, что лучше передавало атмосферу огромного застекленного холла, нежели чем «вокзал» – его первое впечатление. Вообще-то чем больше он об этом думал, тем яснее видел, что это место в точности напоминало старый крытый рынок «Эмпорий», что отходил от рыночной площади Нортгемптона, но выполненный в грандиозном, титаническом масштабе. Если посмотреть направо или налево, через поразительную ширь коридора, он видел, что стены были путаницей из кирпичных домов, наставленных друг поверх друга и соединенных шаткими маршами лестниц с балясинами и балконами. Среди них виднелось и что-то вроде украшенных, хотя и обветшавших витрин вроде тех, что глядели с двух сторон в вечных сумерках на склоне «Эмпория». Пятнистая деревянная балюстрада, ограничивающая балконы, казалась близняшкой той, что обегала верхний этаж земной аркады, но Майкл стоял слишком далеко даже от ближайшей стены гигантского коридора, чтобы убедиться в этом наверняка.

Пахло размером, пахло утром в церковном зале, где устроили благотворительную распродажу, когда воздух настоян на старых сырых пальто, обмакнутых в свежую розовизну домашнего кокосового мороженого, обчиханные страницы старых детских ежегодников и кислый металлический запах пыльных машинок «Динки».

Наведя глаза на одну из точек поближе и держа в уме, что даже самые далекие были проемами площадью в несколько сотен квадратных футов, Майкл увидел, что тут и там через несколько прямоугольных отверстий вдали прорастали во сто крат увеличенные деревья. Всего он насчитал три – возможно, четыре, но эти очертания были далеко-далеко по бесконечной штольне аркады,

так далеко, что это могло оказаться как дерево, так и столб поднимающегося дыма. Пара пышных великанов с преувеличенными ветвями и сучьями почти царапали стеклянную крышу на головокружительной высоте. Он видел, как с места на место вдоль необъятных торчащих стволов порхают пепельные хлопущие голубей – очевидно, не увеличившихся в размере подобно кронам, так что казались они не птицами, а жемчужно-серыми божьими коровками. Так малы они были в сравнении с исполинскими представителями флоры, где вили гнезда, что некоторые вполне удобно примостились в трещинах коры. Их воркование, усиленное и разнесенное необычной акустикой стеклянной крыши пассажа, выгибавшейся над головой, слышалось даже несмотря на разверстые расстояния, в виде эдакого пернатого журчащего фона за шорохами поражающего воображение пространства. Наличие деревьев вкупе с масштабом всего окружения привело к тому, что Майкл даже не мог понять, в помещении он находится или на улице.

Поскольку он и так стоял, задрал глаза к вершинам листьев-одеял неизмеримых гигантов, Майкл решил рискнуть и еще раз опасно глянуть одним глазком на неправдоподобный небосвод, высившийся над завитушками металлических конструкций и бутылочных стекол «Кока-Колы» – балдахинном великого пассажа.

Все оказалось не так плохо, как он ожидал, к тому же стоило взглянуть раз, как уже было очень трудно отвести глаза. Цвет неба – по крайней мере, цвет над гигантским участком, где он очутился, – был более глубоким и драгоценно-лазурным, чем он мог себе вообразить. А дальше по великому залу, на самом пределе зрения Майкла, казалось, будто королевский синий цвет вспыхнул и расплавился в доменных оттенках, красных и золотистых. Майкл бросил взгляд через плечо, чтобы увидеть другое направление изумительного коридора, и понял, что в самых отдаленных окончаниях безграничное небо, проглядывающее через стеклянные панели потолка пассажа, – в огне. Как и синева над головой, горячие

краски, полыхающие вдали, казались почти флуоресцентными в своем блеске, как бывает иногда с нереальными оттенками в фильмах. Однако, хотя каленые цвета небес и сами по себе приковывали взгляд, внимание Майкла захватили неземные фигуры, ползущие по этой панораме. Именно благодаря им оторваться от изучения представших глазам видов было практически невозможно.

Это были не облака, хотя и так же отличались разными размерами и были такими же грациозными и неторопливыми в движении. Они больше напоминали, подумалось ему, чертежи облаков, сделанные чей-то опытной рукой. Во-первых, было видно только их бледно-серебристые графитовые линии, но не контуры. А во-вторых, все эти линии были прямыми. Словно какому-то гениальному геометру доверили задачу изобразить все складки и изгибы небесных странников, чтобы образ каждого облака состоял из миллиона миниатюрных граней. В результате они больше напоминали беспечно смятые клочки бумаги, хотя такой бумаги, сквозь которую виднелись все ребра и углы сложной внутренней структуры. Также это означало, что между изощренным и призрачным плетением плывущих схем брезжили жаркие краски небес на заднем плане.

Не считая их величественного дрейфа по-над километровой лентой небесной сини, представавшей его глазам над крышей пассажа, он заметил и то, что фигуры во время своего пути по небу медленно двигались и коверкались сами по себе, подобно настоящим облакам. Только вместо вальяжных и мягких языков пара движение здесь снова больше заимствовало от хрустящей кальки, постепенно разворачивающейся из тугого комка в плетеной корзине для бумаг. Граненые выступы переползали и потрескивали, пока громоздкие груды погодных чертежей лениво распаковывались, и было что-то зачаровывающее его взгляд в движении внутренних линий и углов, хоть он и с трудом мог сказать, что именно.

Это немного напоминало то, как если взять бумажный куб, но смотреть на него с торца, чтобы видеть не куб с гранями, а один только плоский квадрат. Затем, если слегка повернуть куб или

сменить точку зрения, в глаза бросится его истинная глубина, и вот тогда понимаешь, что смотришь на объемную фигуру, а не просто вырезку.

Ощущение было тем же, но другого уровня. Геометрические узлы перемещались так, словно Майкл прямо смотрел на то, что принимал за куб, а потом оно вращалось или каким-то образом переменялось положение обзора, так что фигура оказывалась куда более сложной, такой же отличной от куба, как куб – от плоских бумажных квадратов. Для начала, фигура была куда кубичней, ее линии имели по меньшей мере на одно направление больше, чем существовало на свете. Майкл балансировал на краю рамы квадратного бассейна позади, запрокинув голову и вылупившись на разворачивающееся в небе зрелище, и пытался уложить его в голове.

Майкл не знал названий новых странных многогранников, расцветающих в зубчатых пределах схематичных облаков, но шестым чувством догадывался, как они сделаны. Продолжая вертеть в мыслях бумажный куб, который он представил ранее, Майкл понял, что если развернуть его, то получишь шесть плоских квадратов бумаги, соединенных в виде христианского распятия. Образования, что катились по бескрайней полосе лазури, однако же, скорее напоминали то, что, по мнению Майкла, получалось, если каким-то образом взять шесть или больше кубов и ловко свернуть в один суперкуб.

Сколько он уже стоял стоймя на окраине резервуара, выпучив глаза на клубящуюся математику? Вдруг встревожившись, он метнул взгляд на деревянное поле окон, раскинувшееся кругом, и жалким образом испытал облегчение, что Филлис Пейнтер все еще терпеливо дожидается в ярде-трех на выструганных досках, служивших полом пассажа, недалеко от очередной утопленной ниши. Она смотрела на него с укором, как и четыре дюжины мертвых и поблескивающих кроличьих глазок, пестревших на отвратительной горжетке, словно дробинки, застрявшие в бархате.

– Если кончил паяться на большущие дома вокруг, будто впервые в город с Багбрука приехал, тогда, мож, двинем уже дальше. У мя найдутся дела поинтересней, чем тратить остаток смерти на экскурсии для клопов в пижаме.

Вздвогнув из-за суровости, зазвучавшей в ее голосе, Майкл покорно спрыгнул с приподнятого края многоступенчатой резьбы возле его бывшей гостиной на гладкие сосновые половицы, где стояла Филлис. Он послушно пошлепал к ней с распутавшимся и ползущим между тапочками поясом клетчатой ночнушки, а потом замер с таким видом, словно ожидал новых распоряжений. Филлис снова вздохнула – театралью, – и покачала головой. Это был очень взрослый жест, выдававший ее годы, но, с другой стороны, так себя вели все девочки Боро: будто матрешки, вынутые из раскрытых мамочек – точно такие же, но меньше.

– Ну, тада ходу.

Она развернулась с взмахом болтающихся кроличьих шкурок, словно ленточек на майском столбе, и зашагала по титаническому коридору к высящейся справа от Майкла стене с наваленными кучей-малой многочисленными балконами, лавками и зданиями где-то в полумиле от них. После недолгих колебаний Майкл потрусил за ней и при этом ненароком бросил взгляд в огромный квадратный чан, возле которого стояла она, – следующий в линии после того, откуда выбрался сам Майкл.

Он был почти идентичен, вплоть до деталей облома, увеличенного и перевернутого, лежавшего рядами ступенек от краев бассейна к погруженному в пол кубику желе в их обрамлении. Майкл даже разглядел на месте отошедшей краски пятно в виде Британии, распластавшейся на спине и игравшей с Ирландией, как уродливый котенок с клубком шерсти. Это снова была его гостиная, но стоило взглядеться в пучины картины, как Майкл обнаружил, что самоцветник изменился. Теперь пропал зеленый образ матери, содержавший в себе желтый образ ребенка, и остались только вытянутые драгоценные папоротники-гусеницы, представлявшие

бабулю и сестрицу Майкла. Аметистовый рулет его сестрицы шел по полу комнаты до какого-то высокого плато – должно быть, по выводу Майкла, кресла, стоявшего сбоку от камина. Здесь фигура свернулась в неподвижную петлю, и фиолетовые искры в ней казались тусклыми и вязкими – словно безутешное огненное колесо. Тем временем большое и угловатое стеклянное существо – его бабуля, подсвеченная изнутри осенним костром, – изгибалось тесными петлями в монументальной кухонной двери. Как будто сестра, лишившись сил, съежилась и плакала на кресле у камина, а бабушка время от времени заглядывала в гостиную из кухни убедиться, что несчастное дитя в порядке. Майкл пришел к выводу, что это следующий короткий отрывок времени в континууме их задней комнаты, через несколько мгновений после того, как его мамка Дорин бросилась в коридор с ребенком в руках, не понимая, что он уже мертв. Все утопленные оконные рамы этого нескончаемого ряда, подумал он, наверное, показывают одно и то же место, но в разные моменты времени. Его охватил порыв пробежать вдоль шеренги отверстий и читать последовательные картины, словно историю из «Денди», но его эскорт, облаченный в дохлых зверьков, уже прилично удалился, пересекая бескрайний коридор поперек, а не вдоль. Подавив любопытство, он поторопился ее нагнать.

Когда он поравнялся с ней, Филлис Пейнтер скосила на него взгляд и шмыгнула, словно в упрек тому, что Майкл снова отставал.

– Я знаю, те все в диковение, но ты ищо с лихвой успеешь все обойти и повидать виды. Когда вернешься, тут все будет так же. Вечность-четверечность никуда не денется.

Он более-менее понял, что она имела в виду, но все же хотел изучить эту новую территорию как можно лучше. Не такое уж неразумное желание, и он решил рискнуть дальнейшим раздражением его увешанной трупиками компаньонки и задать вполне естественные вопросы для скончавшегося мальчика в его положении.

– Если в продольных рядах только одна наша гостиная, то что в поперечных?

Он показал маленькой ручкой, торчащей из слишком свободного клетчатого рукава, на обрамленный бассейн, что они миновали. Вложенные прямоугольники в этом ряду казались сделанными не из дерева, но из белой штукатурки, по крайней мере бо́льшая часть трех из четырех сторон, а остальное составляли синие облицовочные кирпичи. Девочка без интереса кивнула налево, на ближайшую нишу, пока они шли по километровой авеню между водоемами к беспорядочному бардаку бока аркады.

– Сам глянь, ток долго не канителься.

Он с удвоенной скоростью засеменял к приподнятой стенке десятиметрового чана, чтобы убедить ее, что не канителится, и заглянул через край. Он не сразу сообразил, на что именно смотрит, но наконец понял: перед ним раскинулся расширенный вид на верхний этаж дома 17 по дороге Святого Андрея или, во всяком случае, заднюю секцию дома. Облупившееся крашеное дерево, окаймлявшее топографию гостиной, сменилось на штукатурные ступени, выстеленные узорчатыми обоями, – но только на двух сторонах многоярусного периметра фигуры и кусочке третьей. Это объяснялось тем, что бо́льшую часть открытого сверху пространства, заключенного в раме, занимали расставленные в виде большой буквы «Г» спальни, лестничная клетка и часть галереи над лестницей. Вертикальную черточку «Г» образовывала спальня Майкла и Альмы, с захватом верхней части ступенек и площадки, видимых на противоположном от него конце в основании «Г», где они соприкасались с горизонтальной черточкой – комнатой их бабули. Вот эта домашняя часть квадратной области, содержащейся в раме, и обусловила рамку из обоев и штукатурки с двух сторон, тогда как остатки занимал вид прямо с высоты водосточных труб на одну половину их заднего двора. До Майкла дошло, что синеватые камни, теснящиеся на верхнем правом углу бассейна, были увеличенными версиями камней, венчавших садовую стену.

В сцене под ногами не виднелось никаких кружевных ползучих самоцветов, которые, как теперь знал Майкл, были его семьей, – ни наверху, в пустых спальнях, ни внизу, на дворе. Зато он все же увидел деревянный стул, на котором мама сидела с ним до того, как он подавился. Должно быть, подумал он, это несколько мгновений спустя после того, как все бросились внутрь со двора и думать забыли о стуле. Вся человеческая активность происходила на кухне и в гостиной – в сцене, которую он только что лицезрел, с рыдающей сестрицей и присматривающей за ней бабулей, – так что здесь спальни оказались пусты. Единственное живое, что мерцало в кристаллизованном объемном панно, – чудесная радужная колонна, как будто сделанная из искусных дамских вееров. Она словно погружалась в чистейшую подливу времени в месте на поверхности у самого края крыши, а затем описывала такую элегантную траекторию в дальние глубины сада, что захватывало дух. Он вдруг понял, что это, похоже, голубь,двигающиеся крылья которого превратили птицу в изящное стеклянное украшение.

Зная, что если не будет осторожен, то того и гляди начнет канителиться, Майкл отвернулся от зачарованного натюрморта, пусть и нехотя, и поторопился воссоединиться с девочкой. Главная беда этого места, думал Майкл, – здесь не было ничего, что бы его ни завораживало. Даже мельчайшие пустяки так и манили очарованно потаращиться на них. Что там, даже обычные сосновые доски, по которым он идет, стоит на них взглянуть, наверняка...

...наверняка увлекут его в текучую карту приливов, целую вселенную волокон с почти невидимыми бороздками, что расплываются от ока бури – древесных узлов – в павлинье оперенье, в одревеневший пульс магнитного поля. Гравированные сердца ураганов, раздающиеся наружу концентрическими окружностями вегетативной силы; случайные скалящиеся лики безумных разложившихся бабуинов, запечатленные в дереве; трилобитовые пятна с лапками, что расходятся изотермами. Сладковатый и отцовский аромат опилок совершенно ошеломит

атмосферой честного труда, погрузит в долгие безмолвные истории сырых лесов и времени, которое измеряется мхом, стоит ему только взглянуть под запинаящиеся тапочки и...

Майкл с усилием очнулся и поспешно нагнал Филлис Пейнтер, которая не сбавляла темпов с самого момента, когда он изучил новое отверстие, и которой явно надоело потворствовать Майклу в его неповоротливости. Они продолжали путь по деревянному проспекту между бассейнами навстречу громоздящейся боковой стене грандиозного пассажа, постепенно растущей перед ними, – шатающейся сборной солянке разномастных зданий, выше целого города. В Майкле зудел интерес, что за непостижимые новые формы складываются из облаков мятой бумаги за прозрачным потолком над головой, но он осмотрительно решил не поднимать головы. Лучше сосредоточиться на своем оборванном провожатом, прежде чем она потеряет к нему всякий интерес. Посему он принялся терзать ее новыми вопросами:

– А здесь блесть только Нортгемптон, чтобы на него смотрели из Наверху?

Она искоса и с легкой снисходительностью взглянула на него, давая знать, что принимает за дурачка.

– Нет, канеш. Это Чердаки Дыхания ток над твоим куском дороги Андрея. В той стороне, куда мы идем, двери чердака раскрываются в самые разные комнаты и этажи домов на твоей улице. Черда, по которой мы идем, – это все разные места в террасе, потому она и длится милю-две, но не больше. А вот в другую сторону, вдоль надкоридора...

Она махнула левой тощей ручонкой на неизмеримую длину обширного холла, где пятнадцатиметровые бассейны казались теснящимися точками под кроваво-золотым печным светом, бьющим через стеклянную крышу на верхотуре.

– Это направление мы зовем долготой, или когдатой, и она тянется вечно. Вот как получается: здесь, где мы прем счас, всяки разны комнаты вдоль твою куску дороги Андрея, а туда – по-

долгому – всяки-разны времена этих комнат. Вот че небо над местом, где мы с тобой счас, всегда голубое, – пушто здесь вовсю летний полдень. В дальнем конце, где сплошь краски да фейерверки, закат, а если утопаешь еще дальше, то все сиреневое, а потом черное, а потом как рванет бомбой завтрашнее утро, вдругоряд золотое да красное. Если заплутаешь, тада прост заучи: «Каждый пусть запомнит времени поток: будущее – запад, прошлое – восток». О-о, и блесь осторожней, если када влезешь в двадцать пятый, там все затоплено.

Похоже, она сочла это исчерпывающим ответом на его интерес, и какое-то время они маршировали бок о бок по пружинистым половицам молча, пока он придумывал, чего бы еще спросить. Майкл чувствовал, что новый вопрос не так умен, как предыдущий, но все равно поставил его ребром, хотя бы только потому, что во время пауз в беседе он возвращался мыслями к тому, что с ним случилось, к своему новому статусу мертвого ребенка, а от этого только больше робел.

– А как так получается, что наша спальня и первый этаж здесь стоят наравне?

Он был прав. Очевидно, вопрос оказался дурацким. Филлис закатила глаза и поцокала языком, при ответе едва ли утруждаясь скрыть утомление и раздражение в голосе:

– Ну а сам как думаешь? Если у ты на чертеже подпол нарисован на той же бумаге, что и чердак, ты тож думаешь, что раз они на одной странице, то, знач, и на одном этаже? Нет канеш. Шевели извилинами-то.

Поставленный на место, но не поумневший, дальше Майкл шаркал подле девочки, что была постарше и повыше, в тишине, время от времени пробегая пару шагов, чтобы покрыть разницу в скорости. Взгляд на впадину с деревянными краями по правую руку открыл вид на незнакомую жилую комнату с мебелью, непохожей на обстановку дома 17, и с дверями и окнами в другом порядке, как в отражении в зеркале. Через глубины расширенной комнаты

тянулись новые горгоновые щупальца из стекла с огоньками внутри, но других цветов – темно-красных и тепло-коричневых, – очевидно, совсем из другой палитры, нежели семья Майкла. Возможно, тут проживали Мэи или, возможно, Гудманы, дальше по улице?

Он шел с Филлис Пейнтер, ненадолго допустив не самую противную мысль, что если бы кто-то увидел, как они прогуливаются вместе, то Филлис наверняка приняли бы за его подружку. Майкл ни разу за трехлетнюю жизнь не побывал в этом завидном положении, и на какое-то время шаг, благодаря такой мысли, сделался куда увереннее, пока он не вспомнил, что разодет в мешковатую сорочку, пижаму и тапочки. У штанов, вдруг пришло ему в голову, на ширинке вполне может быть маленькое желтое пятнышко, хотя он не собирался проверять и привлекать внимание. Со стороны Филлис скорее приняли бы за его няньку, чем за подружку. Так или иначе, оба они мертвы, а от этого мысль о подружке теряла флер и привлекательность.

Впереди же пестрая груда стен, лестниц, балконов и окон стала намного ближе и больше, чем когда он смотрел в последний раз. Он видел, как на верхних пожарных лестницах и переходах ходят люди, хотя они с Филлис находились еще слишком далеко, чтобы разобрать их в подробностях. Наверняка это к лучшему, подумал он, ведь некоторые из фигур на обозрении казались не вполне нормальными – либо не того размера, либо не той формы. Его вдруг осенило, что место, где он оказался, не похоже ни на что, чего он ожидал после кончины. Не похоже на рай, который когда-то в общих чертах описали родители, – где только мраморные ступени и высокие белые колонны, как в рекламе Pearl & Dean в кино. Не похоже на ад, от которого его остерегали, – хотя Майкл и не думал, что его бы сослали в ад. Мамка рассказывала, что в ад попадают только за что-нибудь очень плохое, например убийство, и это казалось ему приемлемым условием, если он, конечно, сможет прожить жизнь и никого не убить. К счастью, он умер в три года, так что не смог подвергнуть испытанию этот тезис. Ведь подрасти он

чуток и наберись сил, утешал себя Майкл, он бы наверняка прикончил Альму. А потом бы горел в особом костре, который, судя по туманным описаниям мамки, будто бы тебя не убивает и не плавит, но жарче, чем всё, что только можно себе представить.

В общем он был рад, что не попал в ад, хоть это и не помогало прояснить, где же он тогда. Майкл подумал, что с последнего нерешительного вопроса минуло достаточно времени, чтобы попытаться удачу еще раз.

– А в этом Наверху блесть регулигия? Блесть врата Pearl & Dean или тогобоги с шахматами и волшебными озерцами, как в кино?

Ее глаза не загорелись из-за продолжения допроса, но хотя бы эта последняя реплика не вызвала еще больше раздражения.

– Все регулигии в чем-то правы, а значит, не права ни одна, пушто все мнят, будто ток они разумеют, что к чему. Но неважно, во что веришь внизу – хотя уж лучше во что-нить да верить. Прост здесь эт никому не интересно. Никто не станет требовать паролей и никто тя не выгонит, если внизу не вступил в правильную банду. Важно, блесть ты там счастлив иль нет.

Майкл задумался над этим, меряя шагами пол вдоль ряда люков. Если девочка права и в жизни важно только счастье, тогда он справился сравнительно неплохо, наслаждался отведенными тремя годами, во время которых только и делал, что хихикал. Но что, если людям приносит счастье что-нибудь неприятное, даже ужасное? В мире бывают и такие люди, он это знал, и спросил себя, относится ли к ним тот же критерий. А как насчет тех, кто вел непрестанно несчастную жизнь не по своей вине? Повернется ли это против них, будто они и так уже не хлебнули горя? Майкл подумал, что это нечестно, и хотел уже рискнуть здоровьем и попросить Филлис объясняться подробнее, когда его взгляд привлекло движение на одном из высоких балконов.

Парочка почти достигла ближайшей стороны пещерообразного пассажа и потому оказалась достаточно близко, чтобы Майкл детальнее разглядел множество людей, снующих туда-сюда по

разным уровням. На платформе, притянувшей его внимание, – галерее с перилами в двух-трех этажах над ним, – разговаривали двое взрослых мужчин. Оба показались Майклу очень высокими и довольно старыми – лет тридцати, а то и сорока. У одного были усики, а у другого – белые волосы, хотя лучше он разглядеть не мог.

Беловолосый и чисто выбритый мужчина был одет в длинную сорочку и выглядел так, словно только что побывал в драке. Один глаз заплыл и почернел, а кровь из рассеченной губы замарала безупречную робу. Смотрел он страшно сердито и одной рукой вцепился в деревянные перила – в другой держал длинный посох, – словно вышел на балкон, чтобы охолонуться, хотя сомнительно, чтобы усатый собеседник рядом с ним сколько-нибудь помогал в этих усилиях. Второй, одетый в пышный куст темно-зеленых лохмотьев, казалось, скорее заходил в хохоте из-за беды первого. Он, с раздвоенной бородкой и копной каштановых кудрей под широкополой кожаной шляпой, словно подталкивал мужчину в белом под ребра и хлопал по спине, ничем из этого, похоже, не смягчая пасмурного настроения товарища с подбитым глазом.

Наверное, тут как раз по галерее пронесся сквозняк, потому как в итоге ворох зеленых тряпок-вымпелов бородача дико затрепетал. Майкл с удивлением обнаружил, что каждый лоскут с изнанки был подшит шелком сиятельно-алого цвета. Когда ветер потревожил рваньё весельчака, лоскуты всплеснулись вверх, безвольно заиграв, словно спонтанно и внезапно вспыхнул лиственный куст. Чудо, думал Майкл, что при том не унесло и кожаную шляпу. Наверное, ее удерживал на месте ремешок под небритым подбородком, как у головных уборов испанских священников, которые шляпа и напоминала.

Майкл осознал, что рискует снова увлечься деталями окружения, и опустил взгляд от вороньего гнезда насестов обратно к Филлис Пейнтер. Она уже прилично оторвалась от него, и Майкл, испытав прилив паники, помчался ее нагонять. Он знал, что если потеряет

девочку из виду, то все будет как во снах, где он никогда не мог найти тех, с кем обещал встретиться.

Он догнал ее как раз тогда, когда она подходила к краю длинного тротуара, где по бокам от нее разбегалась последняя цепочка врезанных впадин. Быстрый взгляд в одну из них открыл очередной вид с высоты на чей-то чужой – несмотря на поверхностные сходства – задний двор. Раз они были ровно в конце километрового ряда, не сад ли это дома на углу, где дорога Андрея проходит мимо начала улицы Алого Колодца. У Майкла не было времени развить эту мысль, потому как Филлис Пейнтер уже выбралась за бесконечную сетку отверстий туда, где деревянные половицы кончались – довольно резко – у приподнятого бордюра из стертого серого кирпича и широкой полосы неровных и растрескавшихся плит, прямо тротуар как вдоль дороги Святого Андрея.

За этой мостовой Майкла и девочку с кроликами встречал нижний уровень стены чудовищного пассажа – продолжительный ряд разношерстных домов из кирпича, которые явно не шли один к другому. Два или три из них напоминали дома с его улицы, но измененные, словно их превратно запомнили: у одного входная дверь торчала посреди стены второго этажа и к ней вели почти целых двадцать каменных ступенек вместо обычных трех, у другого вход был на месте кирпичной ниши со скребком для башмаков, сбоку от порога и на уровне мощеного тротуара, весь поросший крапивой и земляной, словно кроличья нора. Среди этих прозрачно знакомых и все же искаженных фасадов попадались другие почти узнаваемые постройки, хотя места, о которых они напоминали Майклу, стояли не на дороге Андрея. Одна из них обладала сильной схожестью с флигелем школьного смотрителя в северном конце Ручейного переулка, где окно первого этажа отстояло всего на фут от тротуара, за черным железным забором. Рядом торчал кусок школьной стены с вечно запертой калиткой под аркой, что вела на детскую площадку для младшекласников.

Между этим странным разбросом мест, хотя бы принадлежавших к одному району, стояла наполовину стеклянная дверь рядом с витриной, которой, на взгляд Майкла, место в городском центре. А вернее, она была из настоящего пассажа «Эмпорий» – сумеречного уклона, поднимающегося от завитушек кованых ворот на Рыночной площади. Лавка перед ним, неуместно вклинившаяся посреди заблудившихся домов, была почти идеальным дубликатом «Шуток у Чистерлейна» – магазина игрушек и безделушек на полпути вверх по откосу крытого рынка, по правой стороне. Как теперь видел Майкл, широкое окно с названием, набранным старинным золотым шрифтом, было куда больше, чем ему полагалось, а слова на вывеске как будто переползали в разном порядке прямо на глазах, но это точно было «У Чистерлейна» или по крайней мере приблизительный его образ. На данный момент, похоже, лавка называлась «Учен и реалист», хотя, когда он оглянулся, читалось не то «Не серчайте Лу», не то «Интересуй луч». А когда это он вообще научился читать? Так или иначе, Майкла настолько застиг врасплох знакомый магазин в незнакомом окружении, что он решил потревожить девочку вопросом, когда они переходили последние ярды досок до границы гигантского туннеля.

– Мы в пассаже «Эйфорий», как на рынке? Это место похоже на «Лавку удушек и бездушек».

Филлис покосилась в приблизительном направлении, куда указал мешковатый рукав ночнушки Майкла.

– Ты эт про че, про «Улитачен рейс»?

Майкл оглянулся на лавку и обнаружил, что и в самом деле ныне заведение торговало под этим названием. Они с Филлис уже поднялись на тротуар, окаймлявший деревянные Чердаки Дыхания, как она назвала большой холл, так что Майкл оказался достаточно близко, чтобы видеть товар на обозрении под светом сорокаваттной лампочки в витрине. То, что он сперва принял за машинки «Матчбокс» на подиумах из красно-желтых картонных коробков, в которых они продавались, – как и следовало ожидать в настоящем

«Чистерлейне», – оказалось раскрашенными вручную репликами улиток в полном размере. Каждая стояла на своем коробке, словно игрушечные машинки и грузовички, только теперь на упаковке был рисунок с изображением конкретной модели улитки. У всех моллюсков-репродукций были панцири в стиле настоящих машинок «Матчбокс»: одна была темно-синей с надписью белыми буквами «Пикфордс», тогда как другая красной, как телефонная будка, с крошечной бухтой пожарного шланга на спинке, где полагалось быть спиральному домику. Снова посмотрев на вывеску над витриной, Майкл увидел, что она все еще гласит «Улитачен рейс», так что, возможно, он ошибался насчет перетасовки букв. Наверное, так и было написано на знаке все время, пока он приглядывался. И все же это никак не влияло на первоначальное наблюдение – то есть что лавка напоминала известную пещеру Аладдина с игрушками под названием «У Чистерлейна» в пассаже «Эмпорий». Майкл повернулся обратно к Филлис Пейнтер – они теперь переходили широкую ленту растрескавшегося тротуара – и упрямо повторил свое утверждение.

– Да, «Улитачен рейс». Вылитая игрушка лавок из пассажа на рынке. Мы в пассаже или нет?

Испутив тяжелый вздох, напускной и принужденный, Филлис встала как вкопанная и заговорила тоном, который четко давал понять, что это ее последнее объяснение.

– Нет. И ты ж сам это знаешь. Твой этот пассаж – он блесть Внизу. Хоть он и замечательный, но в сравнении с этим – плоский чертеж.

Филлис показала на усеянную окнами равнину, тянущуюся позади, и высокий стеклянный потолок над головой, где на поле идеальной переливчатой голубизны таинственно разворачивались облака-оригами.

– И вообще, Внизу – целиком плоский чертеж того, что Наверху. А пассаж у нас тут, на Чердаках Дыхания, сделан из того же теста, что и эти Старые Дома, куда мы идем.

Она обвела округу рукой-палкой так, что ее кольцо из трофеев омерзительно колыхнулось, и заговорила о длинной перекроенной террасе домов над побитыми плитами мостовой.

– Все это сделано из человеческих снов. Всем, кто жил окрест Внизу, или всем, кто блесть там проездом, снились сны про одни и те же улицы, одни и те же дома. Ток всем снится по-своему, и каждый сон оставляет тут как бы осадок, этакую муть, сонную корку из домов, магазинов и улиц, которые люди вспоминают навыворот. Ну как када коралловые рифы получаются из кучи дохлых креветок. Если увидишь кого-то с загнипнотизенным видом, кто расхаживает в одних трусах или ночном, наверняка это какой сновидец.

Тут она осеклась и задумчиво опустила взгляд на Майкла, стоявшего в пижаме, сорочке и тапочках:

– Хотя то же можно сказать и о тебе, но я сама видала, как ты задохся насмерть.

А. Точно. Он почти выкинул это неприятное дело из головы и был бы не против, чтобы Филлис не рубила сплеча и не говорила о том, что он недавно скончался. Это несколько удручало и все еще пугало его. Не обращая внимания на то, как он поежился и поморщился, Филлис Пейнтер вела дальше свой мрачный монолог:

– То бишь, если ты умираешь, тогда должен блесть в самой любимой одежде, что ток помнишь. Если ток у тебя не пижама самая любимая одежда, засранец ты ленивый.

Он был потрясен. Не из-за намеков, что он лежебока – ну конечно же, пижама его любимая одежда, как может быть иначе, – но из-за факта, что она ругалась на Небесах, где такое разрешать не должны. Филлис же, не подозревая о запретах, разглагольствовала без всякого смущения:

– Но обратно, раз ты помер, тогда как же ты никто не вытаскивает и не отряхивает, окромя меня? Не, ты у нас тот еще покойничек с музыкой. Че-т в тебе не то. Пошли. Лучше живее отвести тебя на Стройку и показать зодчим. Не ортставай и не теряйся в нашем дремотном ремонте.

«Ортставай». Точно так же мамка Майкла произносила букву «о» в любых похожих словах – «lorst», «frorst» или «corst». «Не ортставай», «Закрой окно, прорстудишься», «Скорк это стоит?» Его провожатая не только определенно была родом из Боро, но и почти наверняка из нижнего конца района, рядом с дорогой Андрея. Он ни разу не слышал ни о каких Пейнтерах, если только, конечно, Филлис не жила там задолго до него. Впрочем, Майклу не дали времени на передышку, чтобы все это осмыслить. Верная своему слову, Филлис Пейнтер уже шла вприпрыжку через проложенные мхом плиты, даже не оглянувшись проверить, следует ли он за ней. Он покорно зашаркал следом, лишенный возможности бежать по-настоящему из страха потерять тапочки.

Неуклюже шлепая по мостовой, он увидел, что в террасе на другой стороне пограничного тротуара открывались входы – коридоры, заводящие вглубь взбученной кучи сонной архитектуры. Как раз в одной такой темной бреши готовилась исчезнуть его спутница со скачущей гидроголовой кроличьей накидкой – в переулке, что уходил прямо между фасадом, где входная дверь торчала высоко на стене, и переменной витриной лавки шуток. Набирая обороты, Майкл заторопился за девочкой, ориентируясь по розово-голубому стягу, трепещущему впереди.

Проход, когда он подошел вплотную, оказался ровно таким же узким джитти, что шел от Ручейного переулка до улицы Алого Колодца. Он был точно так же вымощен булыжником и порос бурьяном, и даже точно так же виднелась сзади серая крыша конюшни с дырявой черепицей, где держал свой грузовик Даг Макгири, на дворе по соседству от номера 17. Главную разницу он нашел справа, где у края нижнего стадиона Ручейной школы должны были выситься сетчатый забор и живая изгородь, а вместо них стоял целый ряд краснокирпичных домов – с калитками на крючках, стенами задних дворов и выглядывающими из-за них окнами. «Терраса Алого Колодца» – вдруг словно влетело к нему в одно ухо и вылетело из другого. Филлис Пейнтер была уже на немаленьком

расстоянии в преображенном переулке и не выказывала никакого намерения сбавить шаг или убедиться, что он не отстал. Майкл потопал за ней по булыжникам тенистого ущелья, которое что наяву, что во сне всегда вызывало у него опаску.

С каждой стороны коридора на Майкла давили стены, причем справа они были совершенно незнакомыми, и даже те, что слева, весьма отличались от своих родственников позади дороги Андрея в реальности. Он осмелился бросить взгляд на небо над переулком и обнаружил, что оно больше не отличается неземным голубым цветом, как с открыток, которым он любовался через крышу пассажа, как нет на нем и облаков разреженной геометрии, разворачивающихся с похрустыванием. Над ним остался только серый отрезок небосклона над Боро, удручавший любого и оправдывающий обычный пессимистический прогноз. Майкла встревожило, как внезапно эта смена цвета сказала на всем настроении путешествия. Он чувствовал себя не участником удивительного приключения, а несчастным сиротой, чувствовал никчемность и одиночество, чувствовал себя заблудившимся ребенком в пижаме в поздний час, бредущим по грязным подворотням, когда в любой момент заморосит. Только он хуже, чем заблудился. Он уже умер.

Майкл нервно опустил взгляд от мрачных небес между водостоками и дымоходами и, к ужасу своему, обнаружил, что канителится. Девочка уже прошла по переулку намного дальше, чем он видел в последний раз, уменьшенная расстоянием до того размера, когда он принимал ее за угловую фею, – казалось, это было уже многие часы назад. Он успокоил себя тем, что если побежит быстрее и не будет больше отрывать от нее глаз, то неизбежно нагонит.

Но при беге с зафиксированным строго перед собой взглядом Майкл не видел толком, куда ступает. Он зацепился клетчатым носком тапочка за неожиданную рытвинку, из которой вывернулся булыжник, и вдруг полетел ничком на четвереньки. Хотя круглые

камни под тонким материалом пижамы показались твердыми и жесткими, Майкла ждал приятный сюрприз – падение не принесло боли. Напугало и слегка расстроило, но он ничего не почувствовал и не видел следов травм. Одна коленка полосатых штанов вымокла и перепачкалась, но ткань не порвалась, так что в целом он легко отделался.

Но Филлис Пейнтер исчезла из виду.

Он еще не успел поднять глаза и обнаружить, что переулок пуст, не считая его самого, как уже знал, что ее нет, с тем же неоспоримым фатализмом, что наваливался в кошмарах – тех снах, где ты знаешь: то, чего больше всего боишься, случится гарантированно.

Вокруг него были закопченные обветренные кирпичи джитти, а справа от Майкла, кажется, стояла задняя стена фабрики или склада, прерывающая долгую череду обвешанных бельевыми веревками задних дворов. Это и есть та самая «Стройка», которую девочка называла их пунктом назначения? Через черную сетку можно было едва разглядеть толстую пыль, покрывающую высокие одинокие окна этого здания, и ржавеющую тачку, торчащую перед деревянной платформой с воротами – видимо, предназначенной для погрузки товаров. Перед ним тянулся пустой переулок – куда дальше, чем длился его двойник в мире живых из памяти Майкла, – и мальчик сомневался, что Филлис Пейнтер успела достичь конца прежде, чем он поднял взгляд, даже если учесть неуклюжее падение. Более вероятным ему казалось, что она свернула из этой гадкой подворотни в дверь или ворота, что выходили на задний двор фабрики справа от него.

Уцепившись за эту надежду, он прошел по переулку чуть дальше, как по дну каменистого речного русла в пасмурном сером свете, пока не оказался на месте, где, как ему казалось, в последний раз заметил девчонку. Между кочками брусчатки в переулке пробивалась трава цвета полыни и валялся тот же мелкий сор, что можно было ожидать в обычных обстоятельствах: окурочек сигареты

без фильтра, крышка от пивной бутылки, промятая посередине открывалкой, пара кусочков битого стекла. На крышке, там, где должно быть название пивоварни, было напечатано «Маска-Маска», а стеклянные фрагменты при ближайшем рассмотрении оказались осколками мыльных пузырей, но Майкл упрямо отказывался обращать на это внимание. Он медленно брел вперед, выискивая в стене проход, дверь или дырку, куда могла скрыться Филлис, пока наконец не нашел.

На заднем фасаде фабрики или склада имелась закрытая пожарная лестница из старого и потертого камня, уходившая вверх от решетчатых железных ворот, приоткрытых в обезлюдевший переулочек. Странное сооружение показалось знакомым и вызвало в памяти Майкла лестницу за калиткой, которую он однажды видел на Лошадиной Ярмарке напротив церкви Святого Петра. Он спросил о ней маму, и она с содроганием припомнила, как в девичестве со своей лучшей подругой Келли Мэй влезла на спор по старым каменным маршам, обнаружив в конце только башенную комнату, где было пусто, не считая сухих листьев и «огромного гнезда уховертков». Майкл не питал теплых чувств к уховерткам с тех пор, как сестра рассказала, что они влезают людям в уши и проедают мозги, пока не дойдут до теплого розового света, просачивающегося сквозь другую барабанную перепонку. Альма сопровождала рассказ и живыми звуковыми эффектами, чтобы проиллюстрировать, что можно услышать в течение недели, пока целеустремленное насекомое бурится через кучерявую головушку малыша: «Хрум-хрум... топ-топ-топ... хрум-хрум-хрум... топ-топ-топ».

С другой стороны, эта наводящая страх лестница казалась его лучшим шансом нагнать Филлис Пейнтер – как бы плохо Майкл о ней ни думал, она была единственным человеком в этом запущенном парадизе, которого Майкл знал по имени. Если он ее не найдет, то будет не только мертвым, но и потерянным. С этой мыслью он призвал всю смелость и раздвинул железные ворота пошире, чтобы протиснуться внутрь. Прут, вокруг которого он обвил

пальцы, оказался грязным и шершавым на ощупь и словно бы слегка покалывал. Раскрыв ладонь, он обнаружил, что на его ладони осталась грязная полоса ржавчины, словно на туалетной бумаге. От нее пахло затхлым чаем.

Втянув животик, чтобы не собрать на пижаму всю ржавчину и грязь, он проскользнул в проем между калиткой и кирпичным косяком. Как только Майкл оказался внутри, он закрыл за собой решетчатую дверцу до упора, сам не зная зачем. Возможно, решил скрыть, что он вломился незваным гостем в чужую собственность, а может, просто хотел увериться, что никто не будет красться за ним по лестнице, не предупредив Майкла скрежетом открывающихся ворот. Он обернулся и неуверенно всмотрелся в темноту, где не было видно ни зги уже с шестой ступеньки. В обычных обстоятельствах, наверное, его дыхание казалось бы рваным и учащенным, а сердце бы колотилось, но Майкл запоздало понял, что сердце простаивает, а дышит он только тогда, когда об этом вспоминает, и то больше по привычке, чем по нужде. Хотя бы уже не болит горло, сказал он себе в утешение, начиная взбираться по ступенькам. Все это начинало действовать на нервы.

Он несколько минут пробирался во мраке, прежде чем пришел к выводу, что эта вылазка на лестницу – катастрофически ужасная идея. С каждым шагом выше и выше ноги в тапочках хрустели по мусору, напоминавшему сухие хрупкие листья, но вполне мог быть и шелухой от черных шкурок ухверток. Хуже того, лестница, которая в его представлении должна была быть прямой, оказалась головокружительно винтовой, вынуждая Майкла продвигаться в темени еще медленнее, касаясь левой рукой внешней стены башни и следуя по ее контуру – касаясь совсем легонько на тот случай, если там ползают слизняки или еще какая-нибудь гадость, в которую ему не хотелось нечаянно влезть пальцами.

Надеясь, что вершина уже близко, Майкл продолжал подъем до момента, когда мысль развернуться и спуститься вниз уже стала невыносимой. Но очередные пять минут хруста впотьмах убедили,

что вершины не существует, что он больше никогда не увидит Филлис Пейнтер и что вот так он и обречен провести всю Вечность – один, карабкаясь в бесконечной черноте с возможным соседством в виде ухверток. Хрум-хрум. Топ-топ-топ. Что же такого он наделал за свои три года, чем заслужил подобное наказание? Неужели это все за то, что они с Альмой убивали муравьев? Неужели геноцид муравьев ложится на чашу весов, когда ты попадаешь в загробную жизнь? Уже не находя себе места, он продолжал запинаящийся путь вверх, не представляя, что еще остается поделать. Его единственным альтернативным планом было расплакаться, но его он думал приберечь напоследок, когда совсем впадет в отчаяние.

Случилось это всего где-то девять ступенек спустя. Майкл скучал по мамке, по бабуле, по папке. Он скучал даже по сестрице. Скучал по дому 17 на дороге Святого Андрея. Скучал по жизни. Он как раз уже решал, на какой ступени сесть и рыдать до скончания времен, как вдруг заметил, что кромешная тьма впереди приобретает сероватый оттенок. Возможно, подумал он, его глаза постепенно привыкают к темноте, а возможно, дальше ждет свет. Воодушевленный, он возобновил ковыляние в жемчужном сумраке, на месте которого только что была матовая чернота. К своему ликованию, скоро он мог даже разобрать винтовую лестницу под ногами, и с большим облегчением увидел, что хрупкие предметы оказались и не листьями, и не ухвертками. Это были фантики из вощенной бумаги, в которые заворачивают отдельные леденцы от кашля, – сотни на каждой ступеньке. На смятых клочках несколько раз повторялось слово «Песенка» маленьким шрифтом вишневого цвета.

Сделав последний поворот, всего в нескольких ступеньках впереди он увидел отверстие в виде дверного проема, откуда падал слабый утренний свет. В лечебной поземке розовых лепестков-фантиков драже от кашля, взметнувшись у щиколоток, он пустился бежать, желая скорее оказаться на ровной поверхности и видеть, куда идет.

Это оказался длинный коридор со стенами, до половины окрашенными в бледно-зеленый цвет, и запятнанным лакированным паркетом на полу. Такому проходу, подумал Майкл, место в школе или больнице, только был он куда выше, так что даже взрослый почувствовал бы себя ребенком. Вдоль каждой стены в холле были окна, которые и пропускали бледный свет, но располагались слишком высоко, чтобы Майкл мог выглянуть. За теми, что справа, открывалось лишь все то же унылое свинцовое небо, что он видел над переулком. В свою очередь, ряд окон слева как будто выходил в какую-то палату или класс. Точно в помещение, в котором Майкл мог разглядеть только балки и доски двускатного потолка. Коридор был пуст, не считая двух-трех больших металлических батарей, окрашенных в тот же темно-зеленый цвет, что и электрические щитки, видневшиеся вдали в безмолвном холле. В нос било дымчатым и резким запахом резины и ароматом порошковой краски, словно ядовитой мукой. Что бы здесь ни было, это не напоминало фабрику или склад, как он предполагал снаружи, хотя после стольких изворотов неосвещенной лестницы Майкл даже не был уверен, что все еще находится в том же здании. Единственное, что он знал наверняка, – вокруг не было ни следа Филлис Пейнтер.

Возможно, лучшее, что можно было сделать, – спуститься по черной во всех смыслах лестнице обратно в переулок и поискать ее там, но Майкл обнаружил, что не перенесет перспективу очередной беспросветной экскурсии, особенно такой, что требовала спускаться и влекла высокий риск споткнуться и покатиться кубарем. Не осталось ничего другого, кроме как продолжать идти вперед, до самого конца тихого коридора, провонявшего ремонтом покрышек.

По пути ему в голову пришла мысль насвистывать, чтобы не падать духом, но он осознал, что еще не выучил никаких мелодий. Да и свистеть не умел. Другим способом прерывать давящую тишину было пробегать ногтями вдоль угловатых вертикальных труб огромных батарей, проходя мимо. Ледяные на ощупь – а значит, отопительную систему здесь выключили на лето. Но что интереснее,

Майкл обнаружил, к своему удивлению, что каждая полая металлическая колонка каким-то способом была настроена так, что из них извлекались разные ноты. Каждая батарея состояла из семи труб, и, проведя пальцами по первому встреченному ряду, он сыграл начало колыбельной «Ты гори, звезда ночная» – одной из немногих знакомых мелодий в его доселе весьма ограниченном музыкальном опыте. Одновременно заинтригованный и очарованный, он поторопился к следующей батарее дальше по коридору, которая, как оказалось, была настроена так, что он, мазнув пальцами, сыграл строчку «Где ты, что ты, я не знаю».

До «Высоко ты надо мной» Майкл добрался уже в конце прохода, дальше резко уходящего за угол. Опасливо и бесшумно, как индейский разведчик, он выглянул за поворот, но нашел только очередной пустой коридор, ничем не отличающийся от предыдущего. Тот же деревянный паркет и те же стены – бледно-зеленые у пола, белые как мел у потолка. Ряд высоко врезанных окон справа глядел на унылый флис неба, а слева – на стропила палаты или класса, но ни до одного окна он по-прежнему не мог допрыгнуть. Впрочем, был и плюс: его ждали еще три батареи, и этот отрезок, похоже, кончался не очередным заворотом, а белой деревянной дверью – закрытой, но, если повезет, не запертой.

Первая из трех следующих батарей сыграла «Как алмаз во тьме ночной», когда Майкл провел по трубам своими напряженными растопыренными пальцами, словно брэнчал на арфе промышленных масштабов. Следующие две, как он и ожидал, пролязгли последний куплет и закончили рефрен, повторяя первые строки, причем финальное «Где ты, что ты, я не знаю» прозвучало всего в дюжине шагов от закрытой двери, у которой завершался длинный проход. Нервничая, Майкл подкрался на цыпочках и протянул руку, чтобы повернуть простую латунную ручку и узнать, что же ждало на другой стороне. Где он, что там – он не знал.

Не заперто. Хотя бы это было в его пользу, но он все-таки отшатнулся от неожиданного света и свежего воздуха, хлынувших в

открытую дверь и застигнувших врасплох. Моргая, он вышел на слабый освежающий ветерок и обнаружил, что стоит на балконе, где прямо перед ним бежали перила из черного дерева, выкрашенного как будто защитным слоем смолы. Подойдя и выглянув между прутьев, Майкл увидал огромный холл, многоэтажную стену в миле вдаль. А пол внизу делила раздольная сетка утопленных отверстий, напоминая окна, которые по ошибке прорубили не в той поверхности. Над этой ноздреватой равниной, за стеклянными листами крыши викторианского пассажа, на фоне бесподобной лазури вольготно раскладывались невозможные граненые облака. Он вернулся на Чердаки Дыхания – по крайней мере, на одну из галерей с балюстрадой над ними. Как это возможно? Он что-то сомневался, что сделал достаточно поворотов для полного круга, но эта длинная винтовая лестница так вскружила голову, что он и не знал, в каком направлении движется.

Взглянув налево вдоль высокого мостка, он увидел, что вдалеке от него решительно уходит какая-то фигура. На краткий миг он понадеялся, что это Филлис Пейнтер, но быстро разочаровался. Во-первых, удаляющийся человек оказался куда выше девочки. А во-вторых, несмотря на длинные волосы и долгое белое одеяние, это очевидно был мужчина. Тот, кто несся по балкону, был могучего сложения и бос и прижимал руку к лицу, словно баюкал какое-то увечье. В другой руке он нес тонкий жезл или посох, с каждым шагом стучавший по половицам. Неожиданно Майкл вспомнил мужчину со рассерженным видом, разбитой губой и синяком под глазом, которого заметил с нижнего этажа, когда они пересекали его с Филлис. Значит, это он и есть? Либо он, либо кто-то очень на него похожий.

Затем Майкл вспомнил, что с драчуном в белой робе стоял и беседовал кто-то еще – кто-то с усиками и в одеянии из зеленых лоскутов с ярко-алым подбоем. С покалыванием на затылке Майкл понял, что он-то, стоит развернуться, и окажется позади, еще до того,

как над тартановым плечом раздался голос, напомнивший потрескавшуюся коричневую кожу.

– Ну-ка, ну-ка. Призрачный коротыш.

Майкл скрепя сердце обернулся – его тапочки шаркали по кругу, словно стрелки дезориентированных часов.

Одной рукой на просмоленные перила, посасывая глиняную трубку, облокотился краснощекий и усатый великан, явно возвышавшийся на добрых полтора фута даже над рослым папкой Майкла. Его широкополая шляпа священника отбрасывала черную полосу на глубоко посаженные, в морщинках глаза, которые, заметил Майкл с растущим беспокойством, были совершенно разных цветов: один – как инкрустированный рубин, а другой – змеино-зеленый. Словно невозможно старые рождественские шарики, они поблескивали в тени тяжелого чела с кустистыми бровями над носом-крючком, таким кривым, что кончик его смотрел почти прямо в пол, словно орлиный клюв. Загорелая кожа мужчины на нижней части лица и обнаженных руках, торчавших из лохмотьев, была тут и там запятнана чем-то вроде дегтя или машинного масла. От него пахло углем, паром и котельной, а ниже хлопающих лоскутов на ногах были темно-зеленые брюки и ботинки, скроенные из дубленой кожи. Хотя рот терялся в медных кудрях бороды и усов, из-за того, как надулись щеки, похожие на блестящие шарики из обожженной солнцем кожи и лопнувших вен, на лице читалась улыбка. Он попыхивал глиняной трубкой, на чаше которой, как теперь разглядел Майкл, было вырезано лицо кричащего человека, и, прежде чем снова заговорить, выпустил кудрявиться с балкона завиток фиолетового дымка.

– У тебя потерянный вид, мальчик. Ох-ох-ох. Так у нас дело не пойдет, верно?

Голос дяденьки был пугающе глубоким и надтреснутым – словно распускало крылья какое-то огромное доисторическое чудовище. Майкл решил, что лучше вести себя, как в разговоре с обычным человеком, который может подсказать дорогу. Заметив справа

очередные высокие окна вроде тех, что встречались в коридоре, он изобразил к ним интерес, с голосом до стыдного высоким и писклявым после взрослого рокота мужчины.

– Да. Я потерялся. Можете посмотреть для меня в окно, чтобы я понял, где я?

Бородатый собеседник озадаченно нахмурился, потом сделал, как его попросили, и заглянул в окна, выходящие на балкон. Удовлетворившись увиденным, он снова вернулся к изучению Майкла.

– Похоже на класс шитья на втором этаже школы в Ручейном переулке, только побольше. Я здесь гуляю, потому что уважаю рукоделие. Это одна из моих специальностей. Еще я неплох в математике.

Он склонил голову с кудрявой шевелюрой набок так, что поля шляпы перекошились, и снова пососал трубку – когда он раскрыл губы, чтобы продолжать, с пышных губ лился серый туман.

– Но вот ты мне пока кажешься непосильной задачей. Ну-ка, малец. Скажи, как тебя зовут.

Майкл не был до конца уверен, что стоит доверять незнакомцу свое имя, но не смог придумать убедительного псевдонима. Кроме того, если его поймут на лжи, это только усугубит бедственное положение.

– Меня зовут Майкл Уоррен.

Высокий мужчина отшатнулся, раскрыв разноцветные глаза как будто бы в искреннем удивлении. Свисающие треугольники ткани на поверхности одежды вдруг встрепенились, обнажив красный шелк на изнанке, так что он словно ненадолго вспыхнул пламенем, хотя Майкл и не почувствовал порыва ветра. С усиливающимся ощущением, что он угодил в какую-то жуткую передрагу, Майкл осознал, что плащ мужчины тревожил не ветер, что это сродни тому, как выставляет напоказ свое оперение павлин. Вот только это бы значило, что двуцветные лоскутки – часть мужчины.

– Ты Майкл Уоррен? Значит, это из-за тебя здесь столько неприятностей?

Что? Майкл был ошарашен – и тем, что его имя здесь известно, и тем, что его уже в чем-то обвиняют, и, судя по всему, в чем-то весьма серьезном. Недолго он подумывал о побеге, пока мужчина еще не схватил его за шиворот и не подверг какому-нибудь наказанию за неведомый проступок, но тот лишь закинул голову и добродушно расхохотался, чем окончательно выбил почву у Майкла из-под ног. Если мальчик вызвал какие-то неприятности, как только что сказал этот человек в лохмотьях, что же тут смешного?

Прервав на миг приступ смеха, мужчина воззрился на Майкла с опасной лукавинкой, вспыхнувшей в нефритовом и гранатовом глазах.

– Не терпится рассказать остальным. Они обхохочутся. Ох, как хорошо. Чудо как хорошо.

Он снова взревел от хохота, но в этот раз, когда он откинулся в утробном искреннем веселье, его широкая кожаная шляпа соскользнула и повисла на ремешке, завязанном под подбородком.

У него были рога. Бело-бурые, как грязная слоновья кость, они торчали из вихров и колечек волос – толстые короткие выросты всего несколько дюймов длиной. Вот сейчас, решил Майкл, самое подходящее время расплакаться. Он смотрел на рогатое существо со слезами, навернувшимися на глазах, и заговорил с хнычущей обвиняющей интонацией, словно его глубоко задела злая шутка дяденьки.

– Вы дьявол.

На этом хриплый оглушительный смех как будто захлебнулся. Человек взглянул на Майкла, задрал брови почти в комичном удивлении, словно его поразило до глубины души, что Майкл мог принять его за кого-то другого.

– Ну... да. Да, полагаю, я он самый.

Он опустил на корточки, пока его пугающий взгляд не оказался на одном уровне с глазами мальчика, который словно прирос к

месту от страха. Рогатый дяденька придвинулся поближе к Майклу с ленивой улыбкой и испытующе сузил свои глаза-самоцветы:

– А что? А ты думал, куда попал?

Полет Асмодея

Дьявол не мог припомнить, когда в последний раз получал такое удовольствие. Великая умора в величайшем смысле этого слова: великая, как война, как белая акула или китайская стена. Ох, собратья по проклятию, это словами не передать.

Он стоял себе, облокотившись на чей-то старый сон о балконе, и раскуривал любимую трубочку. Ту самую, которую вытесал изпряного, приправленного безумием духа француза-дьяволиста из восемнадцатого века. Он воображал, будто это придавало его лучшему табаку привкус Парижа, сношений и убийства – что-то среднее между мясом и карамелью.

Короче говоря, стоял он себе, околичиваясь по Чердакам Дыхания, вблизи от центра страны англов, как поднимается к нему зодчий – между прочим, не меньше как мастер, – с расквашенной губой и фингалом, будто только что из драки. Ну то есть, думал дьявол, как часто выпадает шанс поднять англа на смех не то что курам, но и всему скотному двору?

– Дорогой мой! Что это мы, не вписались в жемчужные врата? – неплохо для начала, учитывая обстоятельства, при этом еще разливаясь елеем очевидно фальшивой заботы, словно осведомляясь о здоровье самовлюбленного племянничка, к которому питаешь нескрываемое презрение. Самое забавное в зодчих – в данном случае мастере, – что, хотя они вполне способны стереть с лица земли город или династию, они не переносят на дух снисходительный тон.

Мастер-зодчий – беловолосый, который сделал себе громкое имя на игре в бильярд, раз уж об этом заговорили, он как раз шел с кием, – обернулся посмотреть, кто это к нему обращается. Естественно, узнав, нахмурился, как приласканный мальчишка из хора; сверкнул глазами, как зодчие обычно делают за долю секунды

до того, как тебя испепелят. Одним словом – настроение у него было из рук вон, у нашего Белыша-Крепыша.

Если честно, это даже приятная перемена после незваной жалости и бездонного прощения, какими обычно лучатся их взгляды. Зодчие сперва под прицелом кия обрекут тебя на несказанные пучины – глубже, чем те, где приходится пребывать тиранам с сифилисом, – а потом присыплут рану солью, всецело тебя простив. Какое удовольствие – наткнуться на англа, охваченного унижительной истерикой. От богатого потенциала обжигающей сатиры у дьявола мурашки по мошонке пробежали.

Зодчий – простите-простите, мастер, – забавлял голосом умственно отсталого из-за того, что при ответе его речь спотыкалась о заплывшую губу.

– Не дрязгниз мальня в сталь пострыдном ссорстарании, кровклятый невзгодрай...

Все та же глубокая взрывная чепуха, на которой говорили все зодчие, – странно резонирующие и полыхающие слова, затихающие до шепота в дополнительных углах окружения наверху. Впрочем, к вящей усладе слуха, даже фразы, переполненные наводящей ужас яростью, подобающей концу света, из-за разбитой губы пробирали до смеха.

Не подозревая, что из-за речи он кажется нелепым забулдыгой, негодующий мастер пустился оправдывать свой плачевный вид тем, что только что подрался с лучшим приятелем из-за партийки в снукер. Выходило, этот дружок намеренно поставил под угрозу определенный шар, на который, как все знали, мастер давно положил глаз. Технически это разрешалось, но считалось ужасным афронтом. Как и во всех случаях, шар был связан с человеческим именем, хотя дьявол такого не слышал. По крайней мере, на этот момент.

Оказалось, зодчие устроили за бильярдным столом неприглядную свару, и беловолосый в итоге обозвал своего коллегу страшным словом и предложил выйти поговорить. Они оставили шар

несыгранным и затеяли потасовку, а теперь угрюмо плелись обратно в игровой зал, чтобы продолжить прерванное состязание. Вот тебе и показал себя во всей красе. Вокруг кольцом сбежалась вся призрачная шантрапа Боро, подбадривала криками, словно школьники-покойники на разборках за школой. «Давай! Наподдай ему, чтоб нимб улетел!» Вот тебе и встопорщил перья. Все это казалось такой чудесной пакостью, что дьявол просто не мог не смеяться.

– Ты не виноват, старина. Это просто азартная игра, в таких районах иначе не бывает. В любом просыпается хулиган. Я видел, как людям резали глотки из-за классиков. Ты лучше бросай свой бильярд и давай дальше пляши на кончике иглы. Никакой тебе жестокости и всегда есть оправдание носить бальное платье.

Дьявол добродушно ткнул зодчего локтем в бок, потом рассмеялся и хлопнул по спине. Больше снисходительного тона они ненавидели, только когда с ними фамильярничали, особенно если при этом их смели трогать. Всякие картины, где зодчие держатся за руки с ранеными гренадерами или болезными малышами, на взгляд дьявола, – только выдумки, чтобы сохранить лицо.

Медленно – как всегда бывает у зодчих с шутками, – до беловолосого малого наконец дошло, что над ним подтрунивают, а это они ненавидели почти так же, как снисходительный тон или когда их трогают. Он выпалил какую-то праведную тарабарщину, от которой уши в трубочку сворачивались и которая более-менее сводилась к «А ну кончай, засранец, а то огребешь у меня», но с дополнительными нюансами, описывающими заточение в латунном сундуке, сброшенном в глубочайшие недра вулкана на тысячу лет. Хлысты, скорпионы, огненные реки – обычная околесица. Дьявол воздел колючие брови с видом оскорбленного удивления.

– Ох-ох, я снова вывел тебя из себя. Надо было догадаться, что у тебя нынче женские дни, но нет, влез с бесчувственными замечаниями. И как раз тогда, когда тебе лучше бы успокоиться, чтобы сделать важный удар. Я же буду безутешен, если ты, как

только примеришь кий, вспомнишь обо мне и прорвешь сукно или переломишь палку об колено. Или еще что в таком роде.

Мастер встал на дыбы с внезапной вспышкой огня святого Эльма вокруг снежной головы и проревел что-то многогранное и библейское, по большей части опровергая мысль, что у него женские дни. И тут, похоже, в мыслях осела вторая половина того, что сказал дьявол, – что он может испортить игру припадком ярости. Он взял себя в руки и сделал глубокий вдох, выдохнул. Затем там, где хватило бы ворчливого извинения без прикрас, последовал небесный залп абсурдной поэзии. Дьявол хотел ерничать дальше, но решил не испытывать свою знаменитую удачу.

– Выкинь из головы, старик. Это все я виноват, вечно затягиваю шутки и порчу всем остальным жизнь. Знаешь, я переживаю, что в глубине души я вовсе не самый приятный в общении собеседник. И чего я всегда такой агрессивный, даже когда притворяюсь игривым? Откуда у меня в характере такие неприглядные черты? Иногда говорю себе, что это нужно по работе – как будто раз меня обрекли на бесконечные муки в inferно чувств, то я могу оправдать любое свое прискорбное поведение. Удачи с твоим бильярдным турниром. Я в тебе нисколько не сомневаюсь. Точно знаю, что ты сможешь забыть этот пустяковый приступ убийственного гнева и ни за что не совершишь непоправимое и не испортишь жизнь какого-то смертного из-за того, что вел себя как надутый шут.

Старина, похоже, и не знал, как на это отвечать, сузил свой единственный функционирующий глаз в подозрении. Наконец бросил попытки разобраться, кто виноват, и просто скорчил гримасу, обозначавшую, что на этом их разговор завершен, к удовлетворению обеих сторон. С отрывистым кивком дьяволу, который в ответ галантно приподнял поле кожаной шляпы, мастер продолжил путь по мостку, время от времени мягко ощупывая свободной рукой лиловую кожу вокруг пострадавшей брови.

По тому, как прямо он держался, пока припустил своей дорогой, было видно, что белоясник все еще кипит. Гнев, как и рукоделие с

математикой, входил в область специализации дьявола. Все три вида деятельности были запутанными и изощренными, что как раз сходилась с любовью дьявола ко всякого рода сложностям. Что угодно из вышеперечисленного гарантировало ему многие часы безостановочного веселья. А, и еще тихие омуты. Их он тоже любил. А уж благие намерения...

Он вновь раскурил трубку, высекая искру с ногтя, похожего на панцирь скарабея, и наблюдал за зодчим, мрачно топавшим в перспективу протяженного балкона. Бедолажки. Вечно расхаживают с таким романтичным видом, чувствуют себя так, словно они и есть механизм четырехмерной Вселенной, о котором все только и делают, что слагают хвалебные песни. Потом всякие рождественские открытки, образу которых полагается соответствовать, и еще многотрудные старания поддерживать балахоны в чистоте. Как же вы справляетесь, болванчики мои драгоценные?

Он облокотился на измазанную дегтем балюстраду и думал, чем бы развлечь себя дальше, как вдруг – словно откликаясь на его обычно безответные молитвы – в длинной стене слежавшихся снов за спиной скрипнула дверь, и на голые половицы балкона нерешительно прошлепал мальчонка в пижаме, ночнушке и тапочках. Совершенно очаровательный, а дьявол всегда украдкой питал слабость к маленьким детишкам. Они же боятся абсолютно всего на свете.

Со светлыми завитушками и глазами голубыми, как небеса в стихах, крошечный соня сперва как будто не понял, что оказался в присутствии дьявола, хотя дверь, из которой он явился, была всего в паре ярдов от места, где стоял бес. С опасливым видом и бровями, поднятыми в вечном изумлении, малыш дошаркал до черненьких балясин балкона и выглянул между ними на распростертые Чердаки Дыхания. Так он провел несколько мгновений с озадаченным и дезориентированным видом, потом повернулся и бросил взгляд туда, где еще можно было разобрать исчезающего вдали схлопотавшего зодчего, подносившего руку к глазу.

Ребенок не замечал дьявола за спиной, но так оно обычно и бывает. Дьявол задумался, мертв ли мальчишка или только спит, если он разодет в ночное. Теоретически это вообще не человеческий ребенок. Это мог быть убредший фрагмент чьего-нибудь сна или даже персонаж из книжки на ночь – вымысел, обретший плоть благодаря накопившемуся воображению, спрессованному множеством прочтений, множеством читателей.

Но, на взгляд дьявола, малец казался настоящим. Сложение снов и персонажей из сказок отличалось какой-то лощеностью, словно их упростили, тогда как данный пострел отличался непродуманной беспорядочностью, от которой так и пахло натуральностью. Уже по тому, как он прирос к месту и тарасился вслед уходящему зодчему, было видно, что он и приблизительного понятия не имеет, куда попал или что ему делать дальше. Люди же из снов или сказок, напротив, всегда полны целеустремленности. Итак, этот маленький человек определенно был смертным, хотя мертвым или спящим – это решить было уже не так просто. Пижама обозначала, что он спит, но, конечно, маленькие дети обычно умирали в больнице или кровати, так что раннюю смерть тоже не стоит сбрасывать со счетов. Дьявол решил удовлетворить любопытство.

– Ну-ка, ну-ка. Призрачный коротыш.

Ну вот. Не самое ужасающее начало разговора, на его вкус. Хотя время от времени он мог подшутить над беспомощными людишками, даже доводя их до безумия или смерти, но это же не значило, что он неразборчив. Дети, как он уже отметил, вечно напуганы уже просто потому, что они дети. Хлопни пакетом из-под чипсов – и они подскочат до потолка. Где тут место азарту или изыществу?

Маленький мальчик повернулся к нему лицом, нацепив на эльфийскую мордашку нелепое выражение: глаза выпучились, а рот растянулся, как щель резинового почтового ящика. Казалось, будто он пытается скрыть свое истинное выражение – не иначе как чистейший ужас, – чтобы не обидеть постороннего. Наверняка

мамочка приучила, что кричать при виде уродов или чудовищ – невежливо. Сказать по правде, смесь парализующего страха и искренней заботы к чувствам других людей показалась дьяволу одновременно и комичной, и довольно милой. Он решил попробовать еще одну обыденную разговорную реплику, раз уж, так сказать, привлек внимание мальчика.

– У тебя потерянный вид, мальчик. Ох-ох-ох. Так у нас дело не пойдет, верно?

Хотя тон дьявола сделал бы честь вкрадчивому детоубийце, растрепанный пупс, похоже, принял слова за чистую монету, заметно расслабившись и решив при первом звуке дружелюбного голоса, что он вне опасности. Этот доверчивый лопушок был настоящей находкой, по-другому не скажешь. Дьявол поразился, как тот прожил хотя бы пять минут в беспощадных шестернях мира живых, а потом вспомнил, что, видимо, и не прожил. Вообще-то, чем дольше он находился в компании сосунка, тем правдоподобней была мысль, что это кто-то мертвый, а не кто-то спящий, – тот, кого заманили в машину незнакомца или брошенный холодильник на свалке, где никто не услышит криков.

По лицу мальчонки так и читалось, о чем он думает, как крутятся колесики в его еще не сформировавшемся мозгу. Ему казалось, он что-то нарушает, но если делать вид, что все в порядке, то дьявол этого не заметит. Выглядел он так, будто на лету изобретал оправдание для своего присутствия, но по молодости еще не обладал значимым опытом во лжи. В результате попытки соорудить алиби запищал он наконец с безмерно виноватым голосом, причем его шитая белыми нитками история наверняка была правдой.

– Да. Я потерялся. Можете посмотреть для меня в окно, чтобы я понял, где я?

Мальчишка кивал на поблескивающие воспоминания об окнах в стене из снов, откуда он появился. Очевидно, ему не было никакого дела до того, что на другой стороне, но, услышав ответ, он притворится, что сориентировался, прежде чем вежливо

поблагодарить дьявола и сбежать так быстро, как только понесут короткие ножки, и как можно дальше, а куда именно – вопрос десятый. Очевидно, он боялся, но пытался не показать свой страх, словно дьявол – не более чем неуютно большая собака.

Нахмурившись в легком удивлении, заклятый враг человечества небрежно бросил взгляд через стекло, указанное ребенком. Там не скрывалось ничего особенно выдающегося, просто преувеличенный фантом местного школьного класса, выдернутый из чьих-то ночных мыслей. Это место дьявол, само собой разумеется, знал: не бывает мест, которых дьявол не знает. Пространство и история мира велики, спору нет, но и «Война и мир» тоже велика, а все-таки конечна. Были бы желание и время – если не считать, конечно, что времени вообще нет, – то можно легко изучить вдоль и поперек и то и другое. В вездесущности нет ничего особенного, думал дьявол. Просто перечитывай книжку почаще в свой почти бесконечный досуг – вот и станешь экспертом. Он вернул взгляд к настороженному карапузу.

– Похоже на класс шитья на втором этаже школы в Ручейном переулке, только побольше. Я здесь гуляю, потому что уважаю рукоделие. Это одна из моих специальностей. Еще я неплох в математике.

Все это, конечно, было правдой. Главное заблуждение людей насчет дьявола – и самое обидное, на его взгляд, – они мнили, будто он всегда лжет. Но на самом деле нельзя быть дальше от истины. Он не мог бы соврать даже за деньги – хотя, конечно, кто бы ему стал платить. Кроме того, правда – куда более тонкий инструмент. Просто скажи людям правду – и пусть они сами себя дурачат – таким был его девиз.

Однако что считать правдой в случае с мальчиком, оставалось неясным. Если заключить, что ребенок мертв, а не просто спит, то мертв он, похоже, недолгий срок. Он смахивал на того, кто только что обнаружил, что очутился во Втором Боро, в Душе, на того, кто еще не пришел в себя. Если так, то почему же его носит по этим отложениям снов? Почему он автоматически не нырнул обратно в

свою короткую жизнь в точке рождения для еще одного кружка на личной короткой карусельке? А если после миллиона оборотов на одном и том же аттракционе он наконец решил, что перепробовал все местные удовольствия, и предпочел взамен заглянуть сюда, в неразвернутый город, то почему его никто не сопровождает? Где же хмельная компания празднующих предков? Даже если здесь замешаны какие-то беспрецедентные обстоятельства, начальство уж должно было бы сподобить какой-нибудь эскорт. Более того, при обычной оперативности подобная накладка казалась немыслимой. А вообще-то, подумал здесь дьявол, это мысль интересная. Она предполагала, что тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Дьявол посасывал трубочку и созерцал занятого человечка перед ним, от горшка два вершка, который нервно мялся и заметно пытался сообразить какую-то прощальную реплику, чтобы завершить беседу. Это совсем не дело, так что дьявол выпустил мундштук из дымящейся пасти и постарался подать голос раньше, чем его упредит ребенок.

– Но вот ты мне пока кажешься непосильной задачкой. Ну-ка, малец. Скажи, как тебя зовут.

И в этот самый момент найденыш и озвучил поразительное откровение:

– Меня зовут Майкл Уоррен.

Ого, ну надо же, серные родственнички, вы можете себе такое представить? Даже лучше того случая, когда дьявол обвел вокруг пальца напыщенного брюзгу Уриила и тот выдал, где находится тайный сад (в шипучей лужице в Пангее). Комичными свойствами это превосходило выражение на идеальном личике его бывшей подружки, когда ее седьмой муж за год умер в свадебную ночь, потому что дьявол остановил его сердце за секунду до готовящейся консумации. Да что там, это даже смешнее веселого момента во время Падения, когда один из нижестоящих дьяволов, Сабнок, или еще какой-то там маркиз, вытолкнутый в мучительное болото

материализации дальше остальных, воскликнул: «Воистину, сей мир чувств невыносим, однако я рад вас уведомить, братья, что у меня заработали гениталии», – вследствие чего и зодчие, и дьяволы, которыми зодчие тогда пользовались в качестве своеобразной психической насыпки, разом отложили на несколько минут пылающие бильярдные кии, пока не отсмеялись. И вот этот ошарашенный недоросток перекрыл все, не глядя заткнул за пояс: его зовут Майкл Уоррен. Он так и сказал. Выдал напрямик, будто тут нет ничего особенного, скромный засранец.

Майкл Уоррен – то самое имя, привязанное к опасно зависшему бильярдному шару, из-за которого разгорелась драка между зодчими.

А не дрались они с каких пор? Уж не с Гоморры ли? Египта?

События на орбите этого ничего не подозревающего постреленка отдавали пьянящим ароматом запутанности – сложности муравейника с часовым механизмом, сложности, как у математики урагана. Потенциал изощренного развлечения, явленного бестолковой душонкой на блюдечке с голубой каемочкой, оказался таким неожиданным подарком, что дьявол невольно отшатнулся. Драконьи кружева, украшающие его образ, зарябили в предвкушении, вспыхнув в его геральдических цветах – красном и зеленом, кровопролитии и зависти.

– Ты Майкл Уоррен? Так, значит, это из-за тебя здесь столько неприятностей?

О, а уж как отпала миниатюрная челюсть – сразу видно, что он впервые прослышал о своей дурной славе. С каждым мигмом встреча становилась все более смачной, и дьявол хохотал, пока чуть яйца не надорвал. Утирая соляные слезы радости с необычных глаз, он снова свел их на мальчугане.

– Не терпится рассказать остальным. Они обхохочутся. Ох, как хорошо. Чудо как хорошо.

Тут он снова залился смехом при мысли о том, как коллеги-дьяволы отреагируют на рассказ о последнем незаслуженном

поцелуе госпожи Удачи. Велиал, жаба бриллиантовая, будет просто моргать кольцом из семи глаз, пока до него дойдет. Вельзевул, эта лютая стена свиной ненависти, наверняка так и сварится в собственном гневе. А что до Астарота, он просто скуксит измазанные помадой губы человеческой головы в свирепой гримасе и еще триста лет будет обжигать его завидующим взглядом. Дьявол развеселился не на шутку. Он так заходился, что с макушки свалилась широкополая шляпа, и в этот миг и без того нервное чадо позабыло все манеры, которые вбивала в него мамаша, и заверещало, как птичник под напряжением. Глаза ребенка увлажнились слезами страха.

Ах да. Рога. Дьявол и забыл, что в этом ансамбле у него еще и рога. Рога по какой-то непостижимой причине всегда приводили к подобной реакции, хотя на деле людям стоило бы благодарить свою удачу. Рога – это ерунда. Рога – просто рабочая спецовка. Видели бы они его наряд для выхода, для торжественных случаев и тому подобного, когда он щеголяет в самом идеально скроенном по своей фигуре платье образов. Например, переливающаяся комбинация паука/ящериц, или драгоценный камень бесконечной глубины. Ей-ей, вот тогда бы им было из-за чего вопить.

Уже беспорядочно всхлипывая, малец смотрел со взглядом, полным укоризны и возмущенного чувства предательства, каким его обычно встречают люди. Он видел это и в глазах алхимиков времен Ренессанса, и в глазах нацистов-дилетантов. В существе своем взгляд передавал следующее: «Так нечестно. Тебя не должно быть». Приблизительно то же самое сейчас пытался сообщить рассерженный и хлюпающий херувимчик.

– Вы дьявол.

Дети. Ничего-то от них не ускользнет, а? Неужели это рога выдали? У него промелькнула слабая досада из-за того, что, хотя в нем постоянно узнавали дьявола, никто никогда не знал, какого конкретно. Это же все равно, как если бы Чарли Чаплина встречали на улице словами: «Ты же тот актер из того фильма». Оскорбительно,

но он не позволил настроению упасть. Слишком уж сейчас славно. Он сжевал попавшую в рот смешинку и бросил на желторотика добродушный взгляд.

– Ну... да. Да, полагаю, я он самый.

Бедный клоп. Казалось, он сейчас шею потянет, так долго он не отрывал глаз на мокром месте от регента демонов. Из чистой предупредительности и заботы дьявол присел на корточки и придвинулся, чтобы оказаться глаза в глаза с ребенком – голубые лужицы мальчика простосердечно воззрились в светофоры дьявола. Он решил подразнить малютку, просто из озорства. Что тут такого? Он заговорил с озадаченной интонацией самого невинного вопроса:

– А что? А ты думал, куда попал?

Если оглянуться назад, кажется, именно эта реплика и добила дитятку. Он возопил что-то вроде «Но это же всего лишь муравьи», а потом припустил от черта сломя голову по бесконечному балкону, придерживая на бегу пижамные штанины, чтобы не путались в лодыжках.

Ох-ох. Язык мой – враг мой. Вопреки совершенно невинному намерению, стоявшему за безобидным вопросом дьявола, похоже, Майкл Уоррен сделал вывод, что его сослали в ад – похоже, за какое-то преступление, связанное с муравьями. И откуда эти дерганные мартышки набираются таких идей? Не то чтобы он спорил с тем, что они в аду. Скорее, истинная ситуация была далеко не такой упрощенной, как предполагало слово, а этому дьяволу всегда казалось, что чрезмерное упрощение – опасная игрушка.

И вот он сидел себе, глядя, как знаменитый Майкл Уоррен сверкает пятками по галерее, задирая штаны и пища, как свежевылупившаяся баньши. Диво ли, что дьявол не мог припомнить, когда в последний раз получал такое удовольствие?

Он выпрямился с корточек и размял двуцветные лоскуты, чтобы их разгладить. Ретирующий мальчишка уже удалился по чудовищно вытянутому балкону, комично шлепая тапочками по половицам. Дьяволу было интересно, куда это он собрался.

Он с лентой постучал трубкой с кричащим человеческим лицом о балюстраду, чтобы опорожнить, а потом убрал в карман себя. Перекур, очевидно, окончен, незачем прохлаждаться тут целый день. Он пригляделся к уже уменьшившейся фигурке ребенка, продолжавшего неорганизованное отступление в дали возвышенной галереи. Пришло время и разогреться.

Дьявол неторопливо сделал короткий шаг, опустив башмак на доски – сперва каблук, а потом и всю стопу с мягким перкуссионным двойным стуком, чем-то напомнившим биение сердца: топ-топ. Сделал второй шаг, в этот раз пошире, покрыв больше земли, так что перед очередным двойным стуком растянулась пауза: топ-топ. И еще шаг. В этот раз пауза никак не кончалась. Парные звуки, возвещающие завершение движения, так и не раздалось.

Дьявол воспарил в нескольких метрах над полом, все еще медленно влекомый вперед легкой инерцией нескольких шагов, сделанных перед отрывом. Сощурил разноцветные глаза, напоминающие зловещие 3D-очки, зафиксировал точку убегающего ребенка в дальнем конце балкона. Ухмыльнулся и позволил алым и виридиановым перьям захлопать, словно флаги в бурю, набирая скорость. Он трещал и он горел. Издал свой фирменный смешок.

С кометным задом и рассыпая за собой многоцветные искры, словно римская свеча, дьявол прожигал воздух над балконом, с шипением нагоняя маленького беглеца и без труда сокращая дистанцию. В каком-то смысле интуитивная попытка мальчика обращаться с бесом как с неудобно большой собакой была недалеко от истины. И в самом деле, от дьяволов убежать не стоит. Ваша удаляющаяся спина лишь придаст вам вид драпающей добычи, а у собак и дьяволов это лишь разжигает аппетит.

Услышав позади приближение фейерверка, перемежаемого при том с каркающим хохотом, мальчик разок оглянулся через плечо и тут же об этом пожалел.

О-па. Дьявол потянулся вниз руками в ожогах и волдырях, чтобы подхватить визжащего бегляшку под мышки со спины, мигом

сорвать в свистящий воздух через балюстраду и выше, к стеклянным и железным высям Чердаков Дыхания. Крик ребенка тоже стал выше, пока они нарезали спирали к гигантским крашеным балкам, вспугивая угнездившихся там голубей в краткие пепельные бури активности. Неистово болтая тапочками, мальчик сперва умолял беса отпустить его, потом осознал, как высоко они забрались, и начал заклинать ни в коем случае не бросать.

– Ну, ты уж определись, – сказал дьявол и подумал пару раз уронить Майкла Уоррена, подхватывая у самого пола, но по размышлении отказался от этой мысли. От синицы журавля не ищут. Лучше добро в руках.

Они летели, рассекая воздух, в тысяче футов, если не больше, над обширной клетчатой скатертью из квадратных дырок. Рассмотрев необычные обстоятельства со всех углов и сторон, дьявол избрал более мягкий подход в общении с мальчиком. Мухи ловятся на мед, а не на уксус, а уж на дерьмо – и того больше. Склонив рогатую голову, он прошептал на уху мальцу, чтобы тот услышал поверх хлопанья и трепета дьявольских стягов – красных и зеленых, раскаленных углей и абсента.

– Что-то мне подсказывает, что знакомство у нас не заладилось, верно? Если судить по крикам и бегству, я чем-то тебя ненароком расстроил. Что скажешь, забудем об этом и начнем заново?

Не отрывая перепуганных глазок от жуткой пропасти под брыкающимися тапочками, Майкл Уоррен ответил дрожащим фальцетом, умудряясь казаться охваченным одновременно страхом и возмущением.

– Ты сказал, это ад! Ты сказал, ты дьявол!

Хм-м. И то правда. Дьявол по меньшей мере намекнул и на то и на другое, но постарался отвечать на обвинения мальчика уязвленно, словно произошло прискорбное недоразумение.

– Что ты, так нечестно. Я не утверждал, что это ад. Я лишь спросил, где ты, по-твоему, находишься, а ты уже сам сделал выводы. Что до того, дьявол я или нет, – ну, да. Что тут попишешь.

Впрочем, я не тот Дьявол, которого ты, вероятно, ожидал. Я не Сатана, а кроме того, он совсем на меня не похож. Тебе удивит, на что похож Сатана, и я тебе гарантирую, что ты бы его не признал и за – ох, ну сколько, девять миллиардов лет?

Уже осмелев из-за уверенности, что его маленькому тельцу не позволят сорваться, мальчиш-под-крышей заговорил и попытался извернуть шею, чтобы взглянуть на беса через плечо.

– А если ты не он, то кто? Как тебя зовут?

Вопрос с подвохом. Правила, определявшие его суть – а, по сути, он, можно сказать, поле живой информации, – означали, что дьявол более-менее обязан отвечать на любой поставленный вопрос, и отвечать искренне. Это, конечно, не значило, что от него требовалось во всем идти навстречу вопрошающему. Учítывая, что дьяволы не любят раскрывать свои имена, которыми их можно сковать, он обычно пользовался каким-нибудь шифром или же завлекал интересующихся в игру в загадки. В случае с Майклом Уорреном он решил зайти издалека.

– Скажу тебе откровенно – ко мне относятся нечисто: горе лукавое, да и только. Но на самом деле я самый обычный попутанный Сэм О’Дай. Хочешь, зови меня просто Сэм? Считаю меня плутоватым дядюшкой, который умеет летать.

Пропустив мимо ушей анаграмму, ребенок смирился с ответом, пусть и нехотя. Несмотря на юность, с концепцией плутоватых дядюшек он, очевидно, уже был знаком не понаслышке, но все еще находился в возрасте, когда, видимо, не знал, умеют они летать или нет. Так или иначе, а тщетные попытки вырваться он прекратил и просто покорно повис. Когда мальчишка снова заговорил, дьявол заметил, что он зажмурился из-за отвесной бездны под зудящими кончиками пальцев ног.

– Почему ты сказал, что у меня неприятности?

А вопросы так и сыплются. Куда ушли деньки, когда люди либо тебя изгоняли, либо пытались продать тебе душу подороже? Дьявол

вздыхнул и снова прибег к слегка обиженному тону, опробованному ранее.

– Я не сказал, что у тебя неприятности. Я сказал, что неприятности из-за тебя. Конечно, ты об этом не знал, и никто тебя не осуждает. Я просто решил, что тебе стоит знать, вот и все.

Ребенок настаивал. Вот главная проблема современности: все слишком умные, знают свои права.

– Ну, если все хорошо, можешь меня опустить? Ты меня так держишь, что у меня скоро руки отвалятся.

Бес успокаивающе поцокал языком.

– Ну конечно же нет. Что ты, спорю, они даже не затекли. И не знаю, как ты мог спутать это место с адом. Здесь о физической боли и не слышали.

Впрочем, мучительные терзания сердца и души хорошо известны всюду, но, естественно, об этом дьявол сказать и не подумал. Взамен бес продолжал мягко стелить свои вкрадчивые речи.

– Что до того, чтобы тебя опустить, – ты уверен, что сам этого хочешь? Ведь руки на самом деле у тебя не болят, верно? И мне показалось, когда ты был на земле, сам не знал, куда идти. Если я опущу тебя и оставлю, ты просто снова заблудишься. А кроме того, я дьявол знаменитый. Чего я только не умею. Прогонишь меня – и упустишь возможность всей своей смерти.

Малец приоткрыл глаза – всего щелочка.

– Как это?

Дьявол лениво бросил взгляд на Чердаки Дыхания внизу. Пара бродивших там призраков и фантазмов поглядывала на Майкла и дьявола, парящих под зеленым стеклянным потолком грандиозного пассажа. Бес заметил компанию беспризорников, мертвых или спящих, которые, кажется, наблюдали за ним с особым интересом. Несомненно, увидели, что он уволок ребенка, и опасаются, что станут следующими. Оставьте страхи, дети мои. По крайней мере сегодня вы в безопасности. Наверное, в другой раз. Вернув взгляд

на белокурый затылок подвешенного малыша и горячо дыхнув на родничок, дьявол отвечал на его последний вопрос:

– Очень просто – я могу тебе многое рассказать. Могу многое показать. Это же всем известно. Я практически провидец. Про меня даже в Библии писали... ну ладно, в апокрифах, но это все равно впечатляет, согласен? И я был вторым мужем первой жены Адама, хотя это и вырезали из Бытия. Но так со всеми адаптациями бывает. Второстепенных персонажей выкидывают, чтобы облегчить историю, сложные ситуации упрощают и тому подобное. Наверное, обижаться не за что. И когда-то я был очень близок с Соломоном, хотя, опять же, по Книге Царей и не скажешь. Вот Шекспир – добрая душа, Шекспир отдает мне должное. Он рассказывает о прогулках, на которые я беру людей. Называются они «Полет Сэма О’Дая», и на них дух захватывает так, как никакой ярмарочный аттракцион и мечтать не смеет. Хочешь попробовать?

Вяло болтаясь в руках дьявола, Уоррен казался невоодушевленным перспективой.

– Откуда мне знать, понравится мне или нет? Вдруг нет. А если нет, как ты поймешь, что я хочу остановиться?

Пятый герцог ада, отметив, что это все же не отказ, склонил голову ближе к розовому ушку мальчика, готовясь к последнему удару.

– Стоит мне услышать, как ты просишь остановиться, и я тотчас остановлюсь. Что скажешь? А что до платы за полет – ну, я вижу, ты честный сын Боро, так что карманные деньги у тебя отродясь не водились, верно? Неважно. Давай так: раз ты мне так нравишься, молодой человек, я согласен и на услугу. В далеком будущем, если ты мне сможешь чем-нибудь помочь, мы будем квиты. Как, все честно?

Теперь ребенок смотрел на мир широко раскрытыми глазами – по крайней мере, в самом буквальном смысле. Все еще стараясь не глядеть под ноги, он запрокинул кудрявую головушку, чтобы уставиться через крышу пассажира на расцветающую геометеорологию. Дьявол заметил завораживающе барочную купу

нескольких десятков тессерактов, которые раскладывались в нечто напоминающее десяти- или двадцатисферник. Неудивительно, что мальчишка, когда наконец ответил, словно витал в облаках – хотя под облаками он витал точно.

– Ну... да. Наверно, да.

Повторять дьяволу было не нужно. Конечно, произнесенное подтверждение от несовершеннолетнего технически не считалось обязательным контрактом – ничего не записано пером, красным по белому, – но все же дьявол решил, что это можно трактовать как согласие приступить.

И спикировал.

Спикировал, как подбитый бомбардировщик с гулом ревущего двигателя, рухнул, как камень или сова, завидевшая ужин, ушел вниз, как поразительное декольте его бывшей жены, упал из-под сводов Чердаков Дыхания – а он все-таки был специалист в падениях, – шелестя цветными вымпелами в оглушающей какофонии. Ребенок что-то завопил, но из-за ветра от снижения ничего было не разобрать. В итоге дьявол мог честно сказать, что пока не слышал, чтобы малыш просил его остановиться.

В последний момент, в каких-то десяти метрах от деревянного пола с широкими бассейнами, дьявол выскочил из пике, заложив резкий вираж под прямым углом, и они понеслись вдоль исполинского универмага. Маленькие неопрятные герберты, пару мгновений назад пялившиеся на дьявола и его пленного, теперь разбегались по укрытиям, наверняка подумав, что он решил и их прибрать в свои когти на бреющем полете. Он рассекал по гигантскому коридору – опасный слиток шаровой молнии, роняющий искры и завывающий из-за собственного сгорания, – рассеивая немногие редкие души, – которые зашли на Чердак в этот момент столетия, в этот год, в этот полдень, – не выпуская ребенка из жарких рук. Вой карапуза растянулся в доплеровский вопль приближающегося поезда из-за скорости размазанного перемещения в мелькающих ярдах над бледными сосновыми

досками, которые на мгновение окрашивались из-за полета сиятельного и сияющего демона – в красный и зеленый, в маки и гниль.

Они направлялись на запад, к кровавому взрыву заката этого дня, где свет вливался через стеклянные панели крыши, как расплавленная руда. Дьявол знал, что глазенки крошки все время будут широко распахнуты. На таких скоростях, когда лишняя кожа на лице рябью стягивается к затылку, закрыть их попросту невозможно. О том, чтобы произнести даже простой слог «стой», и говорить нечего.

Мальчик склонил голову, видя, как мелькают гигантские квадраты под ногами. Дьявол знал, что это весьма напоминает просмотр на удивление увлекательного абстрактного фильма. Шеренги ниш, бежавшие вдоль великого Чердака, открывали вид на одну комнату на разных стадиях ее прогресса в четвертом измерении. Живые существа в тех комнатах казались статичными щупальцами драгоценных камней, подсвеченными изнутри и неподвижными, как статуи, в переплетениях друг вокруг друга, и только ускользящие огоньки их сознаний придавали иллюзию подвижности и перемещения. Но если проноситься над самым рядом аквариумов, они казались отдельными кадрами крутящейся пленочной катушки. Извилистые застывшие силуэты как будто двигались в неизменных рамках бесконечно повторяющейся комнаты, иногда совсем удаляясь, когда в комнате пусто, и спустя миг снова бросаясь в глаза, чтобы продолжать свой странный флуоресцентный танец. Флуктуации цветных фигур в чертогах мира изображали случайные движения смертных гипнотическим и временами ужасно прекрасным образом. По крайней мере мальчишка увлекся, раз его истощный крик снизился до глухого стога. Пожалуй, это значило, что пора нажать на газ, ведь дьявол не хотел, чтобы пассажир уснул со скуки. На кону стоит репутация.

Гулкий трезвон многослойного грома обозначил место, где они преодолели скорость звука, а немного погодя они нырнули в

неземное глухое безмолвие, когда превысили даже скорость тишины. Лучезарный дьявол и найденыш под его опекой неслись сломя голову в бездонную глотку пассажа, и каждый миг небо над стеклянной крышей холла меняло цвет, когда они пролетали дни и ночи. Закатный красный сперва становился сиреневым, а потом лиловым, превращаясь в глубокий черный, прошитый серебром построительных линий разворачивающейся гиперпогоды. За ним следовал новый лиловый, а потом вишневый и персиковый рассвет. Голубые утра и серые полдни размазывались в стробоскопических палитрах. Долгие и бессонные ночи кончались за секунды, проглоченные в краткой вспышке очередной расплавленной зари. И все быстрее они стремились, пока уже оба не могли различить, когда один оттенок становится другим. Все вокруг стало туннелем призматического перелива.

Развернувшись на пятачке, не снижая скорости, дьявол вдруг выбрал опасный маршрут на сближение с одним из гигантских деревьев, что пробивалось через пятнадцатиметровую дыру на другой стороне эмпория: вяз, разраставшийся в древнюю секвойю на границе между измерениями. Ушераздирающий визг, произведенный Майклом Уорреном, подсказал дьяволу, что его подопечный стряхнул хандру, в которую было впадал.

Отрезок коридора, где из пола прорывался гигантский вяз, был ночной милей, что размеренно перемежали неохватную длину Чердаков. Небосвод над потемневшим стеклом был сочного эбенового цвета. Хромовые следы улиточной слизи над головой были сменяющимися обводами супрагеометрических облаков, а сияние небесных тел дарило ночным пределам нескончаемого холла полнолунную и сумеречную атмосферу. Запутавшийся Сэм О'Дай, Царь Гнева, убийца женихов, дьявол – прожег путь через тени и облачный свет, направляясь к лиственно-деревянной башне, ужасающе вздымавшейся из серебристого сумрака.

Голуби, почти микроскопические в сравнении с укрывавшими их огромными ветвями, из-за громкой искрометной пиротехники

дьявольского полета пробудились от своих заторможенных снов и тревожно вспорхнули. Бес знал, что эта особенная порода птиц более или менее уникальна благодаря своей способности переходить между мирами Наверху и Внизу и часто находила пристанище в высших измерениях дерева, где оставалась в относительной недоступности для кошек. Правда, и кошки иногда протискивались через отверстие на Чердаки Дыхания – дьявол думал, в этом трюке они поднаторели из-за гонок за голубями, – но вышняя реальность действовала на живых кошачьих плачевно. Обычно они шумно опрастывали кишечник и ныряли в ближайшее окно обратно в мир. Весь этот маневр так их нервировал, что они им вроде бы пользовались, только когда хотели попасть из одной комнаты сразу в другую, не проходя через разделяющее их пространство. Впрочем, в охоте от этого таланта не было никакого толку, так что чистящие перышки птицы были в безопасности. Не от дьявола, очевидно, но практически от любого другого хищника, который мог бы выскочить на них из темноты, плюясь огнем. Стаю просто разбудили и застали врасплох. Мало что может застать врасплох голубя, подумал дьявол. Этим и объясняется их волнение.

За долю секунды до того, как они с Майклом Уорреном размазались бы по десятиметровому стволу, дьявол исполнил один из своих самых эффектных маневров – внезапный спиральный спуск, который ловко сочетал золотое сечение и последовательность Фибоначчи, – выжигая штопорную траекторию вокруг дерева всего в нескольких дюймах от слоновьей шкуры увеличенной коры. Все эти вшух и шурх, свистящие кругая приводили в неприличный восторг. Они пять раз обогнули древесного Голиафа, и где-то во время адреналиновой кривой спуска дьявол почувствовал, как его внутренний компас перескочил на новую ориентацию, присущую нижнему трехстороннему миру. Теперь он с пассажиром погрузился в сумрачный студень Времени и наворачивал левостороннюю резьбу у вяза уже вполне обычного масштаба. Они вышли из кругового снижения всего в паре метров от узлистых костяшек корней, затем

стартовали прочь, в прерывистый блеск ночного облачного неба над головой. Бултыхаясь в последовательном супе минут, часов и дней, они оставили позади технокolorовскую мешанину, влача теперь за собой пеструю процессию отставших и устаревших образов. По большей части состояли они из знакового ансамбля дьявола красных и зеленых оттенков – полоса дикого розового сада, вырвавшаяся из ниоткуда, оплетающая дерево, а затем выстреливающая в тьму и звездный свет.

В десяти метрах над землей дьявол ударил по тормозам и встал на месте, зависнув на свежем ночном ветру в пахнущих летом тенях, а тряпки-флаги встrepенулись в гвоздичном всполохе. Все еще стиснутый в прокопченной хватке демона, пучеглазый мальчишка хватанул первый глоток воздуха за последние полминуты и проорал «Стой» – без всякой на то нужды, ведь они и так остановились. Осознав это, мальчик вывернул голову до самого упора, чтобы уставиться через плечо на дьявола. На его лице было выражение, которое дети примеряют, притворяясь пострадавшими: дрожащая нижняя губа, загнанный взгляд и очевидно наигранная контуженная дерганость.

– Я не говорил! Я не говорил, что хочу в твой Полет. Я хочу только домой.

Дьявол изо всех сил постарался изобразить удивление.

– Ах, это? Этот наш моцион? Это разве Полет. Это только разогрев. Ты совсем в меня не веришь, дорогой друг. Это всего лишь быстро, но не блестяще. Настоящий аттракцион куда медленней и куда таинственней. Обещаю, тебе понравится. А что до желания попасть домой – прежде чем жаловаться, оглянись и посмотри, куда мы попали.

Вот так. Приструнил паршивца.

Они повисли в ночном воздухе над перекрестком, где дорога Святого Андрея пересекала Спенсеровский мост и Журавлиный холм. Под ними, парящими лицом примерно на юг, был лужок, где старые викторианские бани переделали в общественный туалет.

Через траву диагонально тянулась широкая асфальтовая дорожка – от Спенсеровского моста к угольному складу «Уиггинс» дальше по дороге. Среди деревьев, окаймлявших открытое пространство, и стоял малоприметный вяз, вдоль которого бес и его сопротивляющийся груз недавно прокатились из верхнего мира в нижний. По левую руку по Графтонской улице ползла россыпь фар, всходя на склон долины между фабриками и пабами на одной стороне и раскинувшимся пустырем из земли и кирпичей, где десять лет назад стояли жилые дома – с другой.

Впереди и справа от них сиял паутинистый узел Замковой станции, в окружающей черноте к ней и от нее бежали нити света. Из многих разрушенных видов, которые могли предложить Боро, этот у дьявола был, наверное, самым любимым. Он с неугасающим теплом помнил замок, сменившийся вокзалом. Несколько сотен лет назад дьявол достал себе местечко в первом ряду для душегубительного предательства Генрихом Вторым своего закадычного приятеля Томми Беккета: король призвал будущего святого в Нортгемптонский замок, только чтобы заставить его врасплох шемякиным судом со скорыми на расправу баронами в заседателях, которые на все голоса требовали голову архиепископа (а также его землю, хотя бес не припоминал, чтобы в данном случае кто-то из них произнес это вслух).

Еще у многозначительного Сэма О'Дая – это имя все больше приходилось ему по душе – славные воспоминания о замке остались из тех времен, когда дьявол стоял незримым одесную Ричарда Львиное Сердце и еле сдерживался от смеха, пока король зачинал свой крестовый поход – третий и, значит, один из главных контактов христианского мира с исламским, который задаст тон для многих уморительных выходов в будущем. Вспомнишь и вздрогнешь – ну разве не замечательно? И в этом же замке бесу выпала возможность посидеть на первом парламенте Западного мира – Национальном парламенте, созванном в 1131 году, и похихикать над тем, сколько неприятностей он вызовет. И лучше даже не

спрашивайте о подушном налоге, так огорчившем Уолтера Тайлера и его крестьянскую армию в 1381-м. Из-за изощенной природы неприятностей, распутившихся вблизи от центра страны, это было одним из любимых мест для пикника дьявола – не только в стране англов, но и во всем 3D-мире.

Съездившись в нежных руках дьявола над распутием, Майкл Уоррен взирал на знакомые по жизни улицы с выражением изумления и тоски. Ради ребенка дьявол исполнил сложный воздушный пируэт, вращаясь против часовой стрелки, чтобы продемонстрировать во всей красе поблескивающую ночную панораму. При неторопливом движении отвлекающий хвост из остаточных изображений сократился. Их взгляд с любовью блуждал по Боро – юго-восточному углу, который зодчие обозначали на своем игровом столе крестом из золота. Продолжаясь, Графтонская улица взбиралась на восток, к шурящимся огонькам кафетериев и магазинов, лежавших тиарой на Регентской площади. Затем, когда монарх демонов повернулся, в поле зрения появились параллельные асфальтовые колеи Семилонга, черепичные крыши с графитовым отблеском, венчающие ряд террас, спускающихся к тальвегу долины – дороге Святого Андрея и пойме реки, уложенной с дорогой бок о бок. Далее при ленивом обороте Майкл Уоррен и бес увидели темный травянистый простор Лужка Пэдди с никелевой ленточкой Нен, которая лежала на нем, отражая деревья в мутных глубинах, словно черные перепутанные обломки кораблекрушений.

Здесь, к северу, если помешанный Сэм О'Дай ничего не путал, когда-то тянулась стена приората Святого Андрея. Выше по течению времени, еще в 1260-х, король Генрих Третий послал карательный отряд конницы, чтобы подавить в этом неуживчивом городишке волнения и бунт, и армия прошла через брешь в старой стене приората благодаря французскому приору-ключнику, который симпатизировал французской монархии. Тогда они практически уничтожили это место, надругались, разграбили и угробили, войдя именно через северо-западный угол Боро. На бильярдном столе

зодчих – или трильярдном, если быть точным, – это место представляла луза с высеченным на дереве золотым пенисом. Регентская площадь на северо-востоке же была углом смерти, где когда-то выставляли головы изменников, а соответствующая луза украшалась золотым черепом.

Они крутились над разъездом, оглядывая деловые предместья за Спенсеровским мостом, а за ними – новые микрорайоны: Спенсеровский и Кингс-Хит. Спенсер. Еще одно местное имя, отметил дьявол, с интересными ассоциациями и вверх, и вниз по течению. Слово фигуры, гуляющие по дорожке старинной музыкальной шкатулки, дьявол и его пассажир неспешно вращались, встречая глазами Конец Джимми и парк Виктории, красивый и меланхоличный, как брошенная невеста, и наконец снова оказались перед далекими огнями Замковой станции, замкнув орбиту. Лязгающий и стучащий в темноте вокзал был в юго-западном углу Боро – углу с золоченой башней, выцарапанной на шершавой поверхности соотносящейся лузы зодчих и символизировавшей строгую власть. Ерзая в объятиях дьявола, мальчик наконец обрел дар речи.

– Вот. Вот где я блесть. Вот где я живу.

Крохотная ручонка показалась из-под объемистого рукава халата, чтобы ткнуть в полуосвещенную террасу слева от них, чуть дальше на юг по дороге Святого Андрея. Дьявол усмехнулся и поправил его.

– Не совсем. Там ты жил. Пока, конечно, не умер.

Ребенок задумался и кивнул:

– А. Да. Я забыл. Почему так быстро стало темно? Раньше блесть солнечно, а я ушел недавно. Не может уже настать ночь.

Очевидно, заметил дьявол, его молодому другу придется растолковать и это.

– Ну, вообще-то, может. Более того, это даже не день твоего ухода. Когда мы летели вдоль Чердаков Дыхания, мы минули не меньше трех-четырех закатов, а значит, сейчас мы в какой-то момент позже на той же неделе. Судя по множеству машин на Графтонской улице, я

бы сказал, что похоже на вечер пятницы. Твои домочадцы наверняка сейчас чаевичают. Хотел бы их увидеть?

По затянувшейся паузе было ясно, что ребенок серьезно обдумывает предложение, прежде чем ответить. Естественно, ему хотелось еще раз увидеть любимых, но увидеть их во время траура наверняка казалось тяжелой перспективой. Наконец у него прорезался голос:

– Ты можешь их показать? Или они будут штуками с огоньками, как Наверху?

Дьявол добродушно фыркнул, так что из его раздувшихся ноздрей, словно выхлопные газы, потянулись струйки синего дымка.

– Ну конечно, я их тебе покажу. Это же главная часть Полета Сэма О’Дая. Этим я и славлюсь. А что до их вида – они будут не такие, как их видно сверху. Знаешь, что означает слово «измерение»?

Малыш покачал взъерошенной головой. Что ж, подумал дьявол, ночка предстоит долгая.

– Ну, по сути дела, это просто другое название плоскости – у любого твердого предмета есть разные плоскости. Если у чего-то есть длина, ширина и глубина, мы говорим, что у предмета три измерения, он трехмерный. Но на самом деле в этой вселенной больше трех измерений, хотя люди почему-то замечают только три. Если честно, их десять, а с натяжкой – одиннадцать, но тебя сейчас должны занимать всего четыре. Это три плоскости, которые я только что упомянул, плюс четвертая – такая же осязаемая, как остальные, но смертные воспринимают ее как проходящее время. Это четвертое измерение видится в правильном свете из Души, что находится Наверху, еще более высшего измерения-измирения. Если смотреть оттуда, то времени нет. Все перемены и движения представлены просто в виде змеящихся кристалльных фигур с огоньками внутри, которые ты и видел, расположенных вдоль своих predetermined троп. Но это когда смотришь сверху, не забывай.

А что до нашего нынешнего положения – мы уже не Наверху. Мы внизу, в трехстороннем мире, где время существует, – но видим мы

его по-прежнему верхними глазами. Вот эта мелкая деталька в общем и есть основа всего моего прославленного Полета, который я с твоего позволения сейчас продемонстрирую.

Детка в руках, слушавшая монолог дьявола по большей части без всякого понимания, издала неопределенный ноющий всхлип, интонация у которого все же шла вверх, а значит, ее можно было принять за условное согласие. Не торопясь, чтобы не тревожить без нужды ребенка, а также усечь струящийся хвост изображений, бесплывал к короткому и полутемному ряду домов, указанному мальчиком, напротив угольного склада дальше по дороге Святого Андрея. Они дрейфовали под треск изумрудных и рубиновых лохмотьев дьявола, словно помех на радио зла, над переделанными банями, через некошенный треугольник луга в сторону юга. Слева по приближении к Ручейному переулку они миновали темную дубильню с высоким кирпичным дымоходом, закрытыми дворами с кучами кожаных опилок, сваленными пурпурными горами сокровищ, с лысыми белыми обрубками хвостов на брусчатке, растворяющихся на мыло и хрящи. С такой вышины лужицы у сараев, где снимали шкуры, казались осколками перламутра, яркими и чешуйчатыми.

Майкл Уоррен и дьявол прекратили движение в воздухе над угольным складом, глядя на восток и под острым углом на террасу напротив, что шла между нижними началами улицы Алого Колодца и Ручейного переулка. Опустив рогатую рыжую голову, дьявол прошептал на ухо мальчику:

– Знаешь, когда рассказывают о моем аттракционе, всегда перевирают его суть. Говорят, что великий дьявол скользкий Сэм О'Дай по просьбе перевозит тебя над миром и снимает крыши с домов и зданий, так что видно людей внутри. Формально это правда, но на деле никто не понимает, что происходит на самом деле. Да, я перевозношу людей над миром, но только в том смысле, что поднимаю их – если захочу – в высшее математическое измерение, о котором мы только что беседовали. Что же до моей способности якобы убирать крыши, чтобы волшебники могли поглядеть на

соседских женушек в душе, – как я могу это сделать? А если бы и мог, то с чего мне стараться? Этот Полет – мой самый легендарный атрибут, если не считать всяческих убийств. Неужели никому не приходит в голову, что мне есть что показать поважнее, чем голые груди? Вот посмотри на дома сам и скажи, что ты видишь. Убрал я крыши или нет?

Конечно, дьявол знал, что это было далеко не простым вопросом. Потому он его и задал – просто чтобы полюбоваться напряженным размышлением на озадаченном лице ребенка, когда он пытался ответить.

– Нет. Все крыши на месте, и я их вижу, но...

Мальчик помолчал, словно что-то решая в голове, потом продолжал:

– ...но я вижу и людей в комнатах. В доме миссис Уорд в конце я вижу, как миссис Уорд кладет в постель каменную грелку, а мистер Уорд – на первом этаже. Сидит и слушает радио. Как я вижу их обоих, если они на разных этажах? Разве мне не должен мешать потолок? И как я вообще их вижу, если крыша на месте?

Дьявол вопреки себе был впечатлен. Иногда дети могут удивить. За лепетом и вздором мы склонны забывать, что их мозги и восприятие работают намного, намного усерднее, чем у их взрослых версий. Это чадо сейчас поставило куда более пронзительный вопрос, с куда более искренним любопытством, чем последние пятнадцать грешных некромантов искореженного Сэма О'Дая вместе взятые. Потому он потрудился соответствовать глубокому вопросу, подобающим объяснением.

– О, на это такой юный умник, как ты, может ответить и сам. Приглядишься поближе. Ты ведь не смотришь сквозь потолок и крышу, верно?

Майкл послушно прищурился:

– Нет. Нет, я, скорее, смотрю как бы за угол.

Дьявол прижал мальчишку так, что он ойкнул.

– Молодчина! Да, именно так и смотришь – заглядываешь в замкнутый дом за угол, который обычно не видно. Это как если бы люди были плоскими – или двумерными, – и жили на плоском листе бумаги. Если ты нарисуешь вокруг одного квадрат, тогда этот плоский человечек будет отделен от остального плоского мира и его обитателей. Они его не увидят, потому что он закрыт от их глаз линиями-стенами, нарисованными вокруг, и не увидит их он, закрытый в своей плоской коробке.

Но ты – тот, кто рисует линии, и у тебя три измерения. В отличие от плоского народца, у тебя есть еще целое измерение, и это дает большое преимущество. Ты можешь смотреть через открытую верхнюю сторону нарисованного квадрата сквозь измерение, которого плоский народец не видит и о котором не знает. Можешь смотреть на плоского мужичка в коробке из-за угла, что для него не существует. Теперь ты понимаешь, как видишь своих соседей одновременно и внизу, и наверху, несмотря на потолок и крышу? Это просто вопрос точки зрения. Разве это не гораздо логичнее, чем мысль, будто я каким-то невообразимым манером прячу все крыши? Что мне делать-то с вагонами черепицы?

Ребенок таращился на ряд домов с ошарашенным выражением, но медленно кивал, словно понимал хотя бы голую суть того, о чем ему рассказывали. Мышление детей может похвастаться гибкостью и упругостью, которой у взрослых в массе своей нет. По мнению перемешанного Сэма О’Дая, пытаться сломить дух или рассудок детей – дело слишком трудное, чтобы за него браться. Да и зачем? Повсюду хватает взрослых, а взрослые трещат как веточки. Нехотя проникаясь чувствами к приторно приятному и открыточно смазливому пассажиру, дьявол продолжал свой экскурсионный монолог.

– Более того, если ты приглядишься к соседям, то обнаружишь, что видишь за краем их кожи внутренние органы и скелеты. А если приглядишься еще ближе, то заглянешь и за тайные углы костей и увидишь костный мозг, хотя этого я уже не советую. Признаться,

потому я и провожу полет над крышами домов. Если бы мы гуляли по улицам, тебя бы слишком отвлекали кишки и кровь, чтобы как полагается усвоить куда более важные нюансы этого просветительского опыта. Хочешь взглянуть на дом, где ты когда-то жил?

Майкл Уоррен воззрился на беса через клетчатое плечо. На его лице были написаны нетерпение, опаска и некая грусть. Очень взрослое, сложное выражение для такого юного лица, подумал дьявол.

– Да, пожалуйста. Только если все плачут, можно опять уйти? Я тогда тоже блесту плакать, если им грустно.

Помешанный Сэм О’Дай воздержался от замечания, что семья Майкла вряд ли будет носить праздничные шляпы и дуть в бумажные свистелки так скоро после его кончины, и просто понес мертвого ребенка на пару домов дальше по ряду в южном направлении. Бриз с запада принес запахи железа и сорняков с тупиковых линий, где шелушились и ржавели забытые тендеры; белый свет был дозированной сахарной глазурью на ветреной темноте Боро. Дьявол встал над номером 17.

– Ну вот. Посмотрим, что там.

Дьявол охнул в тот же момент, что и ребенок. То, что они увидели в доме, если честно, было последним, что любой из них мог предвидеть. Бес, возможно, изумился даже больше мальчика, будучи менее привычным к сюрпризам. Но теперь он испытал нешуточное потрясение, как множество веков назад, когда его изгнали из Персии, сжигая рыбную печень и фимиам. Этого он не ожидал, и точно так же не ожидал такого зрелища.

Верхний этаж номера 17 был сейчас пуст, как и зал, и коридор. Только гостиная и кухня назади были освещены и оживлены, вмещая в себя, по прикидкам дьявола, полдюжины человек. В маленькой кухоньке над мятым чайником на газовой плите, поджидая, когда он закипит, стояла тонкая старушонка с дымно-серыми волосами, завязанными в узелок. Все остальные болтались в прилегающей

жилой комнате вокруг стола, накрытого для чая. В одном его конце, у открытой кухонной двери, сидела девочка лет пяти или шести – на высоком детском стуле, который был для нее слишком тесным. На голове у нее лежала перевернутая миска для пудинга, а по краям ей стриг волосы мужчина за стулом – темноволосый, лет тридцати. Между столом и камином стояла женщина, тоже тридцати лет. Она как раз забирала от огня блюдечко с маслом, где то расплавилось в золотистую лужицу, и ставила посреди раскинутой белой скатерти. При этом она бросила взгляд на дверь в коридор, которая открывалась перед каким-то гостем. Это был высокий мужчина основательного вида с красным лицом, в рабочей спецовке с кожаными плечами. А в руках он держал...

– Это же я, – сказал Майкл Уоррен с испугом и недоверием.

Так и было. Как ни посмотри – даже в четвертом измерении.

В дверь гостиной с широкой улыбкой на пунцовом лице ражий работяга вносил ребенка не старше трех лет, эльфийское личико и светлые кудряшки которого невозможно было спутать ни с чем. Это чуть меньшая версия духа, что бес держал над крышами. Это Майкл Уоррен, вполне себе живой и не подозревающий, что в этот самый момент на него смотрит его собственный пораженный призрак.

– Будь я проклят, – уверенно предсказал исковерканный Сэм О’Дай.

Как же это ухитрился повернуть беловолосый зодчий, особенно с синяком и легкой контузией? Как он избежал ловушки, которую расставил его коллега и противник? Дьявол пытался вообразить мастерский удар, что привел к беспрецедентному результату, представшему его глазам, но, к своему стыду, обнаружил, что не в силах. Трильярдный шар, представлявший Майкла Уоррена, не мог не попасть в лузу, обозначенную золотым черепом, – дыру смерти в северо-восточном углу стола. Иначе бы его душа не рассекала по Чердакам Дыхания в пижаме. Не менее очевидно, что шар как-то выскочил или иным способом вернулся в игру – вернулся к жизни. Если нет, то кто же тот проказник с золотыми кучеряшками, которого

вновь принимают в лоно семьи в развернутой объемной книжке дома номер 17 по улице Святого Андрея? Дело заслуживало подробного расследования, решил дьявол.

– И в самом деле, поворот совершенно книжный. Наверху ты мертв, а внизу опять жив. Интересно, почему? Ты, случаем, не зомби из кино про вуду? Или вот менее правдоподобный вариант – ты можешь быть мессией. Что скажешь? С твоим рождением, часом, не совпали знаки или знамения – облака в форме корон, лучи неземного света и все такое?

Ребенок покачал головой, все еще таращась на веселую сцену, разыгрывавшуюся перед глазами.

– Нет. Мы самые обычные. На дороге Андрея все обычные. Что это значит, что я внизу? Это значит, я блесту мертвый ненадолго?

Дьявол пожал плечами.

– Все указывает на то, хотя, признаюсь тебе, хоть убей, ничего не понимаю. У тебя сложная история, молодой человек, а я дьявольски люблю сложность. Может быть, свет на загадку прольет твое происхождение? Ну-ка, расскажи, кто эти люди, что верещат от удовольствия при твоём виде и носятся по комнате. Кто та старушка на кухне?

Майкл Уоррен, попытавшись ответить, казался и опасно гордым, и трогательно заботливым.

– Это Клара Свон, и она моя бабуля. У нее самые длинные волосы в мире, но они всегда в узле, потому что иначе они могут загореться. Она работала прислугой в каком-то большом богатом доме.

Дьявол задумчиво поднял кустистую бровь. В этих краях хватало больших домов. Маловероятно, что бабушка карапуза служила у Спенсеров в Олторпе, но как знать. Мальчик продолжил перечисление.

– Другая тетя – моя мамка, ее зовут Дорин. Когда она блесть маленькая, у них блесть война, и они с тетушкой Эммой видели из окна спальни, как на Золотой улице упал бомбардировщик. Тот, кто меня принес и стоит в дверях, – это мой папка. Его зовут Томми, и он

катает большие тяжелые бочки в пивоварне. Все говорят, что он хорошо одевается и умеет танцевать, но я сам никогда не видел. Другой – мой дядя Альф, он водит двухэтажный автобус и ездит на велосипеде, иногда навещает бабулю по дороге домой с работы. Он нас стрижет, как сейчас – мою сестру Альму. Это заносчивая девчонка на высоком стуле.

Незаметно от маленького пассажира радужки дьявола на несколько секунд потемнели от удивления, затем опять стали начальных цветов – красного и зеленого, пятен войны или любви на природе. У его молодого подопечного есть сестра, и зовут ее Альма. Альма Уоррен. Перебранный Сэм О’Дай слышал об Альме Уоррен. Она вырастет довольно известной художницей обложек книг и альбомов и будет иногда впадать в визионерские припадки. Во время одного из них лет через тридцать она попытается написать портрет пятого герцога ада со всеми регалиями, в платье рептильего паука с электрическим павлиньим оперением. Картина не сможет похвастаться сходством, а ей будет лень отобразить ящеричный подбор его заказной ауры, но дьявол все равно почувствует себя несколько польщенным. Художница явно находила свою модель прекрасной, и, будь его чувства взаимны, могла бы вновь закрутиться его персидская страсть. К сожалению, Альма Уоррен вырастет ужасным бульдогом, а переменчивый Сэм О’Дай был очень разборчив в вопросе женщин. Вот Сара, дочь Рагуила, из Персии была роскошна. И даже его бывшая Лил, которая блудила с чудовищами, не запускала себя до степени Альмы Уоррен. Хотя дьявол признает, что Альма ему нравилась, он тут же подчеркнет, что не в этом смысле, чтобы никто ничего такого не подумал.

Итак, Майкл Уоррен – миловидный братец наводящей страх Альмы Уоррен, умевшей уговорить позировать для нее даже чертей. Не стоит забывать и о том странном событии с таинственными последствиями, которое произойдет почти через пятьдесят лет, в 2006-м, где художница сыграет важную роль. Триллион деталей сложной головоломки мозга дьявола стал выстраиваться в

неожиданной конфигурации. Происходило что-то поистине хитроумное, в этом дьявол уже был уверен. В поисках подсказок и ассоциаций он пересмотрел то, что предпомнил о лабиринтовом ходе событий, окружающих первые годы следующего века. Например, дело со святой в двадцать пятом, где дьявол принял личное участие. Это происшествие имело отдаленное отношение к происшествиям в 2006-м, отношение, которое касалось родословной Альмы Уоррен...

И ее брата.

Ого, становится интересно. Они родственники, так что у них общая родословная.

Это же значило, что Майкл Уоррен тоже Верналл. Неважно, знает ли об этом он сам, и еще менее важно, нравится это ему или нет. С древней профессией, старым ремеслом его связывали кровные узы.

Бес знал, что бо льшая часть уникальной местной терминологии Души берет начало в норманнском или англосаксонском языках – такие обороты, как Фрит-Бор, Портимот ди Норан и тому подобное. Но Верналлы были старше. Дьявол припоминал, что слышал здесь это слово – когда, уже во время римского ига? И ему казалось, что оно вполне могло происходить от еще более древних традиций – от друидов или рогатых Хобов, предшествовавших друидам, странных фигур, таящихся в дымных клубах древности. Хотя Верналл – название работы, ее должностные обязанности относились к архаичному мировоззрению, которое не вспоминали уже больше двух тысяч лет и которое видело реальность так, как современный мир не умел.

Верналл следил за границами и углами, и в Боро в средневековые времена у этого слова появился обывательский смысл «межевщик», или *verger*. Но размытые края юрисдикции Верналла изначально захватывали не только поросшие сорняками обочины смертного и материального мира.

Углы, которые Верналл по традиции размечал, измерял и брал на учет, уходили в четвертое измерение; были стыками между жизнью

и смертью, безумием и здравомыслием, между отделениями бытия Наверху и Внизу. Верналлы надзирали за перекрестком двух очень разных плоскостей – стражи пропасти, которую больше не видел никто. Оттого они были несколько подвержены внутренней нестабильности и в то же время более восприимчивы к ненормальным знаниям, талантам или способностям. В недавнем прошлом семьи Уорренов встряхнутый Сэм О’Дай мог припомнить три или четыре ярких примера подобных наследственных склонностей. Эрнест Верналл, работавший над реставрацией собора Святого Павла, когда завязал беседу с зодчим. Снежок Верналл, бесстрашный сын Эрнеста, и Турса, дочь Эрнеста со сверхъестественным пониманием принципов акустики высших сфер. Была свирепая Мэй, смертоведка, и великолепная Одри Верналл с трагической судьбой, ныне влачащая существование в старой лечебнице для душевнобольных у Берри-Вуд. Верналлы ведали гранями смертности и присматривали за углом разума, за который очень часто заходил их собственный ум.

Зависнув над дорогой Святого Андрея с крошечной сущностью Майкла Уоррена в когтях, дьявол пересчитал тузы в сданных ему картах информации. Этот ни о чем не подозревающий мальчик – на данный момент мертвый, но воскреснувший через несколько дней, – послужил причиной громкой свары между мастерами. Более того, он был Верналлом по происхождению, родственником женщины, стоящей в центре важного происшествия, что случится весной 2006 года. Это грядущее событие было известно в Душе как Дознание Верналлов. От него многое зависело, и не в меньшей степени судьба нескольких обреченных душ, к которым черт проявлял особый интерес. Может быть, оговоренный Сэм О’Дай сумеет поправить росистые нити переплетенных событий в свою пользу. Нужно об этом подумать.

Хотя и возбужденный при мысли о звенящей паутине возможностей, дьявол сумел сохранить небрежный тон в разговоре с пойманной мальчишкой.

– Хм-м. Что ж, твоя семья очень рада, что ты снова с ними, но, видимо, произошла какая-то ужасная путаница. На следующий день ты, очевидно, вернешься к жизни, так что, похоже, тебе вообще не положено гулять у нас Наверху. Лучше закончу Полет и заберу тебя на Чердаки Дыхания, где и решу, что с тобой делать.

Астральный карапуз заворочался в хватке дьявола. Казалось, будто успокоившись, что в его случае смерть – дело поправимое, Майкл Уоррен начал получать удовольствие от обещанного бесом аттракциона и не желал сходить с него так скоро. С тяжелым вздохом бутуз уступил, словно делал дьяволу большое одолжение.

– Наверно. Только в этот раз не надо так быстро. Ты сказал, что ответишь на вопросы, но я не могу спрашивать, когда в рот дует.

Дьявол мрачно склонил рога в сторону ребенка, болтавшегося под ним.

– Справедливо. Полетим неспешно, чтобы ты спрашивал, что пожелаешь.

Он на миг обратился в огромный спиральный веер красного и зеленого цветов и поплыл на север вдоль дороги Святого Андрея к лугу у основания Спенсеровского моста. Не успели они добраться до окуренных дымом высот над углеторговцем, как малец уже сформулировал свой первый раздражающий вопрос.

– Как же тогда все это работает, жизнь и смерть?

Как мило. Прогулка с юным Витгенштейном под ручку. Невидимый за спиной гнома в пижаме, дьявол раскрыл полную клыков пасть и изобразил, как откусывает голову малышу, пережевывает чуток и сплевывает в кучи шлака. Потешив себя быстротечной фантазией, он позволил лицу принять обыденную злодейскую усмешку и ответил.

– На самом деле есть только жизнь. Смерть – обман зрения, который бытует в третьем измерении. Только в трехстороннем мире смертных время кажется чем-то преходящим, исчезающим за спиной в пустоте. Кажется, будто однажды время израсходуется, кончится. Но с высшей плоскости время видится не чем иным, как обычным расстоянием – как и высота, ширина и глубина. Все во

вселенной пространства и времени происходит разом, в великолепном супермиге – с рассветом времен с одной стороны и концом времен с другой. Все минуты между ними, включая те, что охватывают десятилетия твоей жизни, навечно подвешены в великолепном неизменном пузыре бытия.

Представь, что твоя жизнь – книга, твердый предмет, где последняя строчка написана еще до того, когда ты открываешь первую страницу. Твое сознание путешествует по повествованию от начала до конца, и тебя охватывает иллюзия, что события и время идут так, как их переживают персонажи в драме. На самом же деле все составляющие историю слова зафиксированы на странице, а страницы сплетены в неизменном порядке. В книге ничто не происходит и не развивается. В книге ничто не движется чередом, кроме внимания читателя, переходящего от главы к главе. Когда история закончена и книга закрыта, она же не вспыхивает в огне. Люди из истории и их повороты судьбы не исчезают без следа, будто их никогда и не писали. И все рассказывающие о них предложения по-прежнему остаются в материальном и постоянном томе, а на досуге ты можешь перечитывать его, сколько душе угодно.

Так же и с жизнью. Ведь каждая ее секунда – это абзац, который ты будешь посещать бесчисленное количество раз, с каждым прочтением открывая новые смыслы, хотя изложение не меняется. Каждый эпизод не двигается с предназначенного места в тексте, и потому каждый миг длится вечно. Мгновения неземного блаженства и глубочайшего отчаяния, застывшие в бесконечном янтаре времени, и есть тот ад или рай, о котором только может мечтать любой священник, грозящий жупелами. Каждый день и каждый поступок – вечны, малыш. Так живи их так, чтобы потом мириться с ними целую вечность.

Парочка дрейфовала среди крон на темном лугу в приблизительном направлении общественного туалета в дальнем конце, где когда-то были бани. За спиной истлевал шлейф их

образов. Болтавшийся мальчик какое-то время молчал, переваривая услышанное от дьявола, но недолго.

– Ну, если моя жизнь – история, и, когда я дойду до конца, я просто возвращаюсь и проживаю ее заново, тогда где это самое Наверху, в котором ты меня нашел?

Дьявол скривился – его уже начинали утомлять родительские обязанности.

– Наверху – просто верхняя плоскость, где больше измерений, чем те три или четыре, что знакомы тебе здесь. Представь, что это библиотека или читальня – место, где все однажды выйдут постоять снаружи времени, чтобы перечитать собственные чудесные приключения, или, если захочется, отправляться дальше, исследовать свои возможности в этом примечательном и вековечном месте. Между тем вяз, к которому мы приближаемся, – тот самый, вдоль которого можно подняться на Чердаки Дыхания. Если пожелаешь, я полечу медленно, чтобы ты понял, что происходит.

Зависнув в воздухе, овеянном углем и хлорофиллом, словно корзина какого-то аляповатого пиратского цеппелина, Майкл Уоррен недоверчиво пробормотал свое согласие. Когда они добрались до обозначенного вяза, дьявол уже смаковал изумление мальчишки из-за изменений в восприятии, которые его обязательно ждут. Дерево по мере приближения казалось все больше, как это обычно и бывает, вот только процесс не сопровождался ощущением, что они действительно подлетают к своей цели. Скорее, казалось, словно чем ближе они плыли к дереву, тем меньше становились сами. В попытке пресечь поток вопросов от пассажира, бес предпочел сам объяснить процесс пареньку.

– Тебе, наверное, интересно, почему мы становимся меньше – или же, напротив, почему вяз кажется чудовищно огромным по мере подлета. Все это из-за несходства между тем, как выглядят друг для друга измерения. Мы уже ранее обсуждали плоский народец, гипотетически живущий в пределах листа бумаги, у которого только

два измерения. Ну, теперь представь, что их лист сгибают, чтобы собрать бумажный куб. Раз – и они живут в мире с тремя измерениями, но их восприятие по-прежнему ограничено лишь двумя, так что они не могут увидеть или понять происходящего. Так же и люди и прочие существа с тремя измерениями, живущие во вселенной с четвертым, которое не могут должным образом воспринять.

Теперь тебя поднимают на высшую плоскость, как если бы нашего плоского дружка перенесли в пространство, где он увидит не только свой плоский мир с двумя измерениями, но и весь куб, частью которого этот мир является. Как форма трех измерений выглядит в мыслях и восприятии того, кто знал только два? Без понимания куба наш приплюснутый приятель увидит перед собой тот же плоский квадратный мир, что ему знаком, – но уже увеличенный каким-то таким образом, который он сам не в состоянии описать, верно? Этот эффект ты переживаешь прямо сейчас и пережил, если оглянулся в портал, откуда выкарабкался на Чердаки Дыхания. Разве комната, где ты умер, не показалась тебе куда шире, чем при жизни? Более того: ты, случаем, никогда не страдал при жизни от лихорадки или бреда, когда стены спальни кажутся пугающе далекими? Было? Иногда это случается, когда человек проходит по смутной территории между жизнью и смертью. Он замечает истинный масштаб своего окружения, как увидел бы его, если бы поднялся на пару плоскостей. Ну, сам взгляни на этот вяз. Он же огромен.

И так и было – и не только вяз, но и ранее небольшой лужок, его окружавший. Дьявол приступил к спиральной траектории вокруг вертикального утесистого ландшафта ствола, воспроизводя маневр, с которым принес Майкла Уоррена в этот мир, только с куда меньшей скоростью и в противоположном направлении. Когда они описали первый медленный круг у дерева и встретились с самими собой, покадровая лента фантомов, остававшихся в кильватере, стала очевиднее: преобладающе красно-зеленая, летящая над заросшим участком, чтобы обвить гигантский вяз. Парочка

закружила к скрытой точке, где, как знал сумбурный Сэм О'Дай, их впустит обратно в Чердаки люк-глюк, но не успели они его достичь, как все более раздражающий багаж выдумал очередной утомительный вопрос.

– А почему деревья растут Наверху, если у них корни здесь, у тубзиков? И что насчет голубей, которые сидят там в ветках? Как они летают туда-сюда, не умирая, как я?

Анаграммный Сэм возрадовался, что его отношения с Лил не принесли плодов в виде детей. Ну, она, конечно, породила целую компашку монстров, вроде вывернутых наизнанку псов и сплюснутых крабов метрового диаметра и ядовито-розового цвета жвачки. Но эти ужасы только бессмысленно лопотали и завывали, пока матери не надоедало и она не сжирала их во время послеродовой депрессии. Они едва ли осознавали собственное гротескное существование и уж тем более не умели донимать вопросами и потому были предпочтительней человеческих детенышей, пусть даже у тех голубые глазки, а у чудищ либо их не было вовсе, либо сразу целая красная гроздь в центре рожи, словно у тарантулов. Дьявол пытался сохранять цивилизованный тон при ответе.

– И кто это тут у нас такой любопытный исследователь? Что ж, дело в том, что деревья и другие формы растительной жизни уже обладают структурой, идеально выражающей безвременную жизнь в более чем трех измерениях. Будучи неподвижными, из всех активностей они способны только на рост, при котором остается материальный след из дерева, – примерно так же, как мы сами оставляем за собой длинный поток призрачных образов. В форме дерева заключается его история, а каждая ветвь – изгиб великолепной временно й статуи, чьей красотой, смею тебя заверить, мы Наверху наслаждаемся с тем же энтузиазмом, что и вы, люди.

Что до голубей – они не похожи на остальных птиц и живут по иным правилам. Например, их восприятие в пять раз быстрее, чем у

людей или большинства других животных. Это значит, что они совсем по-другому понимают время: все в мире, кроме них самих, еле ползет с точки зрения их стремительного разума. Что интереснее – это единственные птицы, и более того – единственные немлекопитающие существа, которые кормят своих детенышей молоком. Не стану притворяться, будто точно знаю, почему именно голубю из всех тварей земных повезло в отношении Верхнего мира, но могу представить, что молоко играет здесь не последнюю роль. Наверняка оно повышает их символическую ценность в глазах начальства, так что по особой милости голубям дозволено служить психопомпами и порхать взад-вперед между пастбищами живых и мертвых, что-то в этом роде. Сам не знаю, зачем они нужны, но попомни мои слова: голуби не так просты, как кажется большинству.

Они дальше облетали с величественной неторопливостью ствол уже не меньше пяти метров в ширину и больше пятидесяти в объёме. Заметив, что глюк, даривший проход на Чердаки Дыхания, уже всего в одном витке по спирали, вскруженный Сэм О’Дай решил, что лучше осведомить своего надоедливого спутника о природе двери до того, как они через нее прошли, дабы предвосхитить писклявые выяснения, что неизбежно сопровождают подобную попытку.

– Прежде чем ты спросил, сразу за углом нас ждет глюк. Это такой четырехмерный стык между измерениями, который вернет нас Наверх, в Душу. В большинстве земных комнат глюк есть хотя бы в одном верхнем углу, и в большинстве открытых пространств тоже, хотя на открытых пространствах углы можно разглядеть, лишь когда ты Наверху и смотришь вниз. Если только, конечно, ты не существо, которое проделало путь туда-обратно несметное количество раз – вроде, скажем, демона или голубя, – и наизусть знаешь, где находится каждый вход. Теперь приготовься. Глюк прямо перед нами, и, когда мы пройдем насквозь, ты почувствуешь, как внутри тебя что-то переворачивается – так мы сменим точку зрения нижнего мира на точку зрения высшей плоскости над нами.

Бес слегка увеличил скорость, воспарив к невидимому оккультному углу, который учуял недалеко над собой. Когда они и красно-зеленая процессия позади завернули к незримому отверстию, словно окрашенная вода, стекающая в перевернутый вверх ногами небесный сток, все звуки района растянулись и удлиннились в один растущий гул струнного оркестра. Машины на Спенсеровском мосту, звон товарняков под ним и шепот ближайшей реки – все слилось в пещерный гул баса из-за акустики поджидавшего над головой мира Наверху.

Как и предсказывал многосложный салат Сэм О'Дай, когда они вылетели из глюка и преодолели соприкосновение двух плоскостей, пришло чувство, будто у них перевернулся желудок – но в голове. Затем в буре ярко-яблочных расцветок они вырвались из пятнадцатиметрового квадратного отверстия, обрамленного бортом из преувеличенной коры, еще раз юркнули вдоль титанического вяза и всплеснулись в стае голубей, словно на поле боя подушками, в звенящие выси над Чердаками Дыхания.

За стеклянной крышей серебряные линии очерчивали на черной постилке ребра бесподобно раскрывающегося додекагедроида, который медленно, как огненный галеон в штиль, двигался через безграничную темноту извне гигантского пассажа. Дьявол завис на миг, крепко прижав ребенка в ночнушке к груди, к грохоту могучего молотобойного сердца, а затем отправился в вальяжный полет вдоль обширного эмпория обратно к лиловому многоцветию заката на востоке. Он возвращал мальчика к тому отрезку колоссального коридора – раннему полудню несколькими днями раньше, – где они впервые познакомились. Так он и порешит, что делать с этой загадкой, что сейчас мертва, а потом – жива, чья беда подтолкнула к сногшибательной потасовке самих зодчих.

Он надеялся проделать путь, перебирая про себя варианты, ходы, которые доступны в транстемпоральных шахматах его хитросплетенного бытия, его разубранной паутины. В идеале он бы успел осторожно учесть все способы, как удачная встреча с этим

костлявым пескариком, этим Верналлом, попавшимся на обычном углу между сейчас и после, может обернуться к будущей выгоде перетасованного Сэма О'Дая. Увы, его ожидания оказались неоправданно завышенными, ибо не преодолели они и сотни ярдов, как подвешенной оглоед пошел на новый раунд «Двадцати вопросов».

– Ну а почему это место называется Душа?

Дьявол уже всюду раздувал искры на своем известном краткостью фитиле. Да, он обещал отвечать на все загадки, что подкинет ребенок, но это ведь уже несмешно. Писклявый хорек вообще не отдыхает от допросов? Подозрительный Сэм О'Дай заново переоценил предполагаемые причины смерти Майкла Уоррена. Тогда как ранее он предполагал, что мальчика завела в руки убийцы или к заброшенному холодильнику доверчивая натура, теперь ему виделось более правдоподобным, что с малышом расправились собственные родственники в попытке заткнуть наконец несносного прилипалу. Хотя и обязанный правилами демонологии предоставить ответ, дьявол не мог сдержать ядовитую нотку в интонации, когда подчинялся требованию.

– Оно называется Душа, потому что Душа его название. Это как спросить тебя, почему тебя зовут Майкл Уоррен. Тебя так зовут, потому что это ты и есть, а Душа называется Душа, потому что это она и есть. Да разве можно придумать название проще? Оно совершенно самоочевидно, и любой здравомыслящий человек просто с ним согласится и пойдет дальше, но я уже вижу, что ты не входишь в эту категорию.

Один из ваших лучших поэтов – переходный Баньян, каторжный Джон, – он миновал земной городок Нортгемптон на пути из дома в близлежащем Бедфордшире и в то же время в поэтическом воображении заглянул и в высшие аспекты этого места. Наверное, какой-то случившийся навстречу дух подсказал название места, и благодаря чистой случайности поэт смог его вспомнить, когда вернулся в сознание, и даже записал и употребил в памфлете «Духовная война».

Они парили по-над вечным коридором, пока над головой сменяли времена цвета небосвода: от угольной полуночи к фиолетовым сумеркам и до захода солнца, словно горящей бойни. Под ногами промелькивал головокружительный ряд бассейнов – пробитых дыр разворачивающегося музыкального рулона старой пианолы. Когда они миновали сине-серую твердь предыдущего дня и устремились к устричному блеску зари, дьявол по задумчивому молчанию Майкла Уоррена догадался, что ребенок готовит очередной пустой вопрос, и хотя бы в этом разочарован не был.

– А почему ты сказал, что это случайность, что тот дядя что-то вспомнил? А я что-нибудь вспомню, когда вернусь к жизни?

Дьявол прошипел свой ответ, ненамеренно заплеывая воротник ночнушки малыша бусинами горючего яда, который выбелил клетчатую ткань, оставив след в виде ниточки тлеющих бело-желтых ожогов.

– Нет, солнышко, не вспомнишь. Это одно из непреложных условий существования того, что тебе кажется временем. Раз что-то случается вне времени, то у него, собственно, и нет времени отложиться в памяти смертного. Даже если ты тысячу раз пройдешь повествование своей жизни, каждая мысль и поступок останутся ровно теми же, что и при первом прохождении. Ты не вспомнишь, что уже все это говорил или делал, не считая моментальных провалов беспамятности, известных людям под названием дежавю. И не считая обрывков, что остаются после снов, или таких редкостей, как видение Баньяна, никто и близко не может припомнить, что с ним было в этих возвышенных краях. Получается, нет никакого толка задавать эти треклятые дурацкие вопросы, правда? Стоит вернуться к жизни, как ты забудешь всё от начала до конца, а значит, это только трата твоего времени – и, к величайшему прискорбию, моего. Если бы ты имел хоть какое-то представление, что демон терпит за свое существование, не стал бы донимать совершенно бесполезными тривиальностями и не принуждал бы рассыпаться мелким бесом.

Теперь они летели через жемчужно-малиновую атмосферу пятничной зори, в черный туннель ночи четверга, расшитый светом. Выгнув шею, чтобы взглянуть на беса через обугленное слюной плечо, Майкл Уоррен перед ответом на гневную вспышку дьявола изобразил на своей херувимской мордашке то, что хотел выдать за лукавство, не будь это лукавство таким неуклюжим и прозрачным.

– Ну, может, тогда расскажешь, что терпит дьявол? Что ты вообще такое? Ты тот, кто раньше блесть очень плохой, или ты всегда блесть дьявол? Ты сказал, что ответишь на любой вопрос, вот и отвечай.

Дьявол уже стер клыки в гляцевитую пемзу, хотя увидел и светлую сторону положения: если уж и придется трепаться с этим невыносимо наглым поросенком в пижаме, то, на худой конец, о том, о чем он никогда не стеснялся разглагольствовать часами – а именно о себе.

– Ну, раз тебе так интересно, нет. Нет, я не всегда был дьяволом. Когда возникло из небытия сияющее гало пространства-времени, всё и разом, я увидел целиком свое бессмертное существование, включая и этот скорбный период, когда я вынужден служить низшим бесом. Но то, какой я сейчас, не имеет никакого отношения к тому, кем я был в начале всего, а также кем буду в дальнейшем. В истоке я был величественной частицей, одной из мириад, составляющих единое целое, которое просто наслаждалось бытием еще до прихода мира и времени. Тогда я сам был зодчим, если можешь поверить. Ходил в белой рясе, с бильярдным кием и при прочих делах.

Ты должен отдавать себе отчет, что это было еще до времени, как мы его знаем теперь, и вообще до материальной вселенной. Мы жили без бед. Естественно, это не продлилось долго. Выше приняли решение, что часть единого целого, чьей компонентой я являлся, надо бы столкнуть на пару-тройку измерений вниз, чтобы создать плоскость физического бытия. Как следствие, некоторых из нас низвели из мира одних лишь света и неги вот в это новое творение, этот новый мирок телесных ощущений, эмоций и вытекающего из

них бесконечного потока восторгов и мучений. С неохотой признаю, что эта катастрофическая перетасовка действительно могла быть необходима для того, о чем мы, простые трудяги в нижних рядах, и не подозревали. Но даже так – обидно до слез.

Но не подумай, я не жалуясь. Кому-то досталось и похуже, чем мне. Ты наверняка помнишь, что я уже упоминал Сатану и сказал, что ты бы его не узнал, даже если бы увидел. Это потому, что он был первым и величайшим из всех низринутых в пустоту, а его пылающая энергия остыла и затвердела до появления материи – его благородное величие превратили в обычную засыпку. Взгляни вниз, на окна, над которыми мы летим, на отверстия, что выходят на плоскость смертных. В их глубинах различимы извилистые коралловые стебли – жизнь, увиденная без времени. Эти побеги за свои переливы и драгоценный вид заслужили среди призрачного населения Души прозвище «самоцветник». Но не так их зовем мы, демоны. Мы их называем «Кишки Сатаны». Это он – в каждой вибрирующей таинственной частичке материальной вселенной. Это то, что стало с ним, с его бессмертным пылающим телом. Как я уже сказал, в сравнении с некоторыми я легко отделался.

Распавшийся Сэм О’Дай – восточный воздушный змей пагубной силы – какой-то миг молча шуршал в тишине Чердаков Дыхания, в звездном пространстве ночной среды навстречу рассветной стороне. Он сам себя расстроил разговорами о блестящем герое, который стал твердым миром, стал Сатаной, величайшим препятствием, краеугольным камнем преткновения. И все же удручающая история помешала коммерческому пассажиру на рейсе устроить дебош... а Майкл Уоррен – пассажир коммерческий и рано или поздно расплатится сполна по их уговору за проезд, уж дьявол за этим проследит. Он просто еще не решил, как именно, только и всего. На случай, если долгая пауза спровоцирует новый залп вопросов и жалоб, бес вернулся к оставленной нити повествования.

– И вот мы оказались в нарождающемся мире, возведенном из живой материи нашего бывшего государя, все еще опирались от

бури новых чувств и ощущений, целиком предоставленные самим себе – ну, насколько это возможно в predetermined вселенной. То были великие времена, скажу я тебе. Были и до сих пор есть, если я слетаю по временной оси своего бытия на восток. Восхитительные дни так и длятся там, где мы еще молоды, злы и неуязвимы.

Скоро мы узнали от одного из зодчих, кого оказалось проще облапошить, для чего была создана эта земная плоскость. Оказалось, для некоей органической жизни. В наших глазах это была особенно замысловатая форма куличиков из грязи, хотя в человеческих категориях речь идет, видимо, о твоей триллион-раз-прабабушке. Но еще задолго до того, как появилось что-то отдаленно человеческое, мы осознали, что эти самые дела с плотью – единственная игра в городе. Впрочем, надо отдать должное, когда из генетической лужицы выползли мокрые и дрожащие люди, мы наконец поняли, что сорвали джекпот. Естественно, к тому времени мы уже посмотрели анонсы на символическом уровне – мужчина и женщина в саду и все такое прочее, – но на деле убогая мешанина реальности оказалась еще лучше.

Впрочем – мое уважение символической версии. И у нее были свои пиковые моменты. Юная красотка, которую сперва взяли на роль жены Адама, пока та не отошла Еве, была умопомрачительной крошкой по имени Лил. Позже я сам женился на ней, когда она ушла от мужа в своем первом звездном разводе, указав в качестве причин «несовместимость». А просто вышло так, что Адам, будучи родом с символического уровня, видел мир с четырьмя измерениями. Как ты только что смотрел на свой дом и видел его внутренности, заглядывая за стены – за угол, которого обычно не замечаешь. Так же получилось и у Лил с Адамом. Стоило ему положить на нее глаз – и все, плакали счастливые отношения. Он видел за ее кожей, за ее мышцами, за кишечником, где внутри медленно перетекал химус. Все Древо Познания облевал. Лил, понятное дело, оскорбилась и отправилась сношаться с чудовищами, а из них я, к счастью, оказался первым в очереди.

Царь Гнева и Майкл Уоррен скользили по среде, пока небо за изогнутым стеклянным балдахином становилось пасмурным и перламутрово-серым, а линии и углы гипероблаков прошивали его призрачно-розовым цветом. Клетчатая бандеролька, которую нес тяп-ляпаный Сэм О'Дай, как будто бы с головой погрузилась в автобиографическое повествование беса, и, возрадовавшись тишине, адское создание решило продолжать свою сказку на смерть.

– Почти в самом начале есть отрезок, где мы с Лил женаты, но долго он не длится. Стоило ей присосаться, как она уже не отставала, а мне и так хватало головняка на все мои головы. Да и всего чуть дальше по дороге ожидала человеческая раса со всеми ее смазливими красотками. После Лил человеческие женщины стали для меня откровением, скажу я тебе. Встретишься раз с позвоночным, на других уже и смотреть не захочешь, а уж когда найдешь кого-нибудь с настоящим хребтом, так и подавно. Ты еще мал, пока не понимаешь, но можешь мне поверить. Я дьявол, я знаю, о чем говорю.

Мне нравится думать, что из всех чертей ада я самый романтичный ценитель женского обаяния. В Персии, давным-давно, была оказия, когда я с рогами влюбился в экзотический цветок по имени Сара, дочь человека по имени Рагуил. Ты бы видел, как застенчиво я за ней ухаживал. Дарил ей драгоценные безделушки и едва показывался на глаза – только оставлял какой-нибудь знак, от кого гостинец на самом деле: например, кольцо на шелковой подушечке в комнате, сразу рядом с горящим ковром. Когда я наконец робко представился – как мне казалось, на манер «Красавицы и чудовища», – реакцию я заслужил далеко не сказочную, уж поверь мне. Стоило словам «я тебя люблю» сорваться с одного из моих ртов, как мою любимую хватил, как говорите вы, смертные, удар. Ничего серьезного, спустя пару дней она уже обрела дар речи – причем тут же взялась расписывать наше свидание в самых нелестных выражениях.

Меня заклеили ужасом, разрушителем, хотя она едва меня знала. Совершенно проглядела все достоинства, а выставила меня каким-то бессердечным и бесчеловечным стереотипом. Хуже того, тут же присыпала рану солью, внезапно объявив о помолвке с другим кавалером. Естественно, в свадебную ночь я его придушил, но кто бы поступил иначе в таких провоцирующих обстоятельствах? А кроме того, что бы она потом ни говорила, я же видел, что с другими она только флиртвала, чтобы позлить меня. Иначе зачем еще ей объявлять свадьбу со вторым женихом, пока еще не похоронили первого, если только не чтобы разжечь во мне ревность? Ну, я и его убил. Выкинул с балкона. Не будем тянуть кота за хвост – точно так же я поступил и со следующими пятью. Всего я разделался с семью мужчинами с помощью удушения, падения, утопления, сожжения, бесхитростного обезглавливания, кровоизлияния в мозг и, наконец, сердечного приступа. Почти можно сказать, так я ей слал букеты. Мне казалось, так она интересничает. Зачем иначе привлекать мое смертоносное внимание, играя свадьбу за свадьбой? Любая нормальная женщина уже после того, как поскакала по ступенькам спальни голова пятого, отказалась бы от идеи брака и ушла бы в монастырь.

Ну, в общем, оказалось, что я ошибался. Она не разыгрывала недотрогу. Я ей правда не нравился. Отправилась она к какому-то волшебнику... этот класс людей, между прочим, я особенно презираю... и вытребовала у него то, что в наши дни назвали бы запретительным приказом. Он сжег на печи кое-какие субстанции, которые не только не позволяли подойти к ней, но в итоге вовсе депортировали меня из Персии в Египет. Какая неблагодарность! И где бы еще эти люди узнали свои числа и изящные узоры, если не от меня? Итак, увидев, что я незваный гость, я отбыл в Египет и всю математику прихватил с собой. Преподам им урок, думал я, – вернее, совсем наоборот.

Под стеклянной крышей кратко полыхнула заря среды, прежде чем уступить место черным милям ночи вторника. Висящий карапуз

все еще прислушивался к монологу дьявола.

– Но в Египте не все было так уж гладко. Египет на тот момент истории слыл притоном демонов, нас там ошивались десятки. Вот что значит – дурная компания. Я так и напрашивался на неприятности.

Коса нашла на камень, когда один из низших дьяволов пытал смертных строителей в близлежащем Иерусалиме. А когда расстроенные жертвы обратились за защитой к царю Соломону, он воспользовался магией и пленил демона-виновника. Вот этому Соломону палец в рот не клади, что да, то да. На дьявола, которого он поймал, надавили и в итоге раскололи, так что он сдал всю банду поименно, все шесть дюжин от Баала до Андромалиуса. Я единственный пытался сопротивляться, но все оказалось бесполезно. Соломон взял нас с поличным и сослал на каторжные работы по постройке храма – что-то вроде исправительного труда. Но мы отыгрались. Встроили в этот храм и округу такие неприятности, масштаб которых люди поймут только через три тысячи лет после открытия, если не больше.

С тех пор мы бродили по нижним и верхним мирам без присмотра, влипали в приключения, обрекали оккультистов, развлекались разными хобби и прочими пустяками. С точки зрения смертных, наверное, нас лучше представить живыми паттернами разных позывов, разных энергий. А еще мы измерение, что ниже трехмерной человеческой реальности – по сравнению с вами плоское, как паркет, хотя, естественно, с куда более сложной мозаичностью.

У нас было время со времен изгнания смириться с новым состоянием и понять свое место в божественном порядке вещей. Мы верим, что, как и все творения, можем расти и меняться. Мы надеемся, что где-нибудь через тысячу лет по исчислению смертных вернем свое беспредельное экзальтированное состояние, в котором родились. А единственная препона нашим амбициям – человечество. Если мы хотим достичь высшей реальности с

нынешнего положения в низшей, то придется сперва поднять среднюю – ту, что над нами. Единственной альтернативой, если мы хотим еще когда-нибудь увидеть солнце, боюсь, остается прорваться прямо через вас.

Небеса снаружи из черных становились мальвовыми, потом золотыми, из золотых – серыми, из ночи вторника – утром вторника. Пока нестандартный Сэм О’Дай летел против недели с Майклом Уорреном в трепещущем оперении рук, в одном отделении китайской шкатулки разума он еще просчитывал выгоды от встречи с мальчиком. В Боро – через несколько десятилетий дальше по маршруту – жил, ни о чем не подозревая, кое-кто, кого архидемон хотел убить, и еще кое-кто, кого он хотел спасти. Вдруг найдется какой-то способ убедить доверчивое дитя помочь ему в одном или сразу двух этих начинаниях.

Лавируя против холодного ветра нескончаемого коридора, они вынырнули из бледной зари в почерневшую рань и мили полуночного понедельника. На востоке брезжил рассвет дня, которым умер его пассажир. Очевидно осознав, что повествование дьявола подошло к концу, его подшефный со светлыми локонами цвета взбитого масла, не теряя времени даром, поставил ребром новый вопрос.

– Ну, я никак не пойму, что ты делаешь в Боро, если ты такой важный. Почему ты не в каких-нибудь знаменитых местах, Иерусалиме или Египте?

Небо над пассажиром, когда они выбрались из просветляющихся сиреневых сумерек, стало расплавленным. Слегка уязвленный недоверчивым тоном молокососа, бес все же признал, что тема поднята обоснованно и требовала разъяснений.

– Честно сказать, мне казалось, должно быть вполне очевидно – даже тебе, – что если у тебя есть доступ к вневременным высшим областям, то легко можно быть почти везде одновременно. Я не только в Боро, и в этот конкретный день 1959 года я озорничаю по всей, как ее раньше называли, Святой земле, а также во многих

других горячих и солнечных точках. Но если быть с тобой откровенным – а я и вынужден им быть, – за столетия мне полюбился этот клочок земли.

Взять хотя бы то, что тысячу лет с лишком назад мастера выбрали сей город для своего руда – каменного креста, отметив несущий центр этой земли. Здесь, в юго-восточном углу скромного квартала, – основа Англии. Из этой центральной точки расходится паутина линий – связующих складок на карте пространства-времени, соединяющих одно место с другим; троп, проторенных на ткани реальности множеством человеческих траекторий. Люди прибывали на это основополагающее перепутье из Америки, из Ламбета и – если считать монаха, который последовал указаниям зодчих по доставке креста, – из самого Иерусалима. Хотя все эти регионы удалены друг от друга на материальной плоскости, с математических высот они объединены самыми грубыми и очевидными способами. Да они практически одно и то же место.

Судьбы этих мест переплетены, хотя живые этого и не видят. Места воздействуют друг на друга, но исподтишка, отдаленно. Если бы монах, о котором я сказал, не пришел сюда из Иерусалима в восьмом веке – со Священной земли недалеко от мест, где мы с парнями строили Соломону этот его храм, – то не возник бы проводящий канал для энергии крестовых походов, стронувшихся с этой точки до самого Иерусалима где-то три сотни лет спустя. И не будем забывать, что после первых походов один ваш норманнский рыцарь был так добр, что построил на Овечьей улице идеальную реплику храма, который царь Соломон заставил нас возводить для него в Священном городе. В сетке событий и последствий ваш жалкий боро – важный перекресток, где друг с другом встречаются и пожимают руки война и чудо. Нет, помяни мои слова, в этом районе хватает запала и задора, чтобы еще долго привлекать таких, как я, и менее благородных существ.

Ко всему прочему, знаешь ли, мне стал нравится и здешний народ. Ну, возможно, «нравиться» – это слишком, но, скажем, я

испытываю какую-то симпатию и родство. Нищета и грязь, пьяные всегда, когда есть деньги, избегаемые с отвращением и презрением хорошей породой – они, как и я сам, отлично знают, что значит быть низринутым и обращенным в демона. Ну, удачи им. Удачи всем нам, бесславленным чертям.

С магнитных закатных небес Майкл Уоррен и бес начали медленный спуск кленовым самолетиком в безмятежную летнюю атмосферу полуденного понедельника. Над прозрачным потолком пассажа линии полярно-белого цвета описывали бриллиантовые контуры алгебраических перистых облаков, распускающихся на захватывающей дух глади. Внизу становилась ближе музыка пианолы на полу Чердаков, со всеми их фалангами огромных квадратных глазков в мир и время, на драгоценные завороты Кишок Сатаны.

На северной стороне коридора расчлененный Сэм О'Дай видел просмоленные доски балкона, где впервые положил глаз на маленького пилигрима в ночном халате, а чуть дальше – нижние этажи, где слепившиеся сны росли сталагмитами психического гуано, образуя длинную террасу сюрреалистических фасадов домов и магазинов. Одно из заведений – переполох бессознательной чепухи под названием «Улитачен рейс» – было недалеко от входа в переулок, где поставила жаровню ночного сторожа, словно для жарки каштанов, грузная старуха – либо мертвая, либо спящая, либо приснившаяся. Не считая старой кошелки, ссутулившейся над углями и в упор не замечающей дьявола или его юного заложника, на всех Чердаках Дыхания не было никого, по крайней мере в округе этого конкретного часа дня. Самое радостное – не было черноглазых зодчих с трильярдными киями, мерящих шагами пол в ожидании возвращения адского герцога, похитителя детей. Казалось, это безопасное место, чтобы опустить мальчика, пока спиральный Сэм не придумает, что с ним делать.

Словно опадающий цветистый лепесток, дьявол с встопорщенными вымпелами цвета конструктора «Меккано»,

зеленого и красного, легко коснулся пружинящих сосновых досок. Он с великой наигранной заботой мягко установил Майкла Уоррена на terra firma, чтобы ребенку стало стыдно даже за сомнения в благородных намерениях его inferнального благодетеля.

– Ну вот! Мы и вернулись туда, где я тебя нашел, и с твоей головы и кудряшки не упало. Спорим, ты уже начинаешь понимать, каким же славным парнем я могу быть, если захочу. А еще спорим, что ты переживаешь, как же отплатишь мне за чудесную экскурсию, на которой мы побывали. Ну, нимало не страшись. У меня для тебя на уме всего только небольшое порученьце. И будем квиты, как и порешили. Ты же помнишь наш уговор, правда?

Глаза малютки забегали, пока он по очереди обдумывал и отбрасывал маршруты побега. Так и видно, как у него в голове вращались миниатюрные шестеренки, пока он не пришел к обескураживающему выводу, что ему некуда бежать, чтобы дьявол не сцапал прежде, чем он сделает и три шажка. Все еще беспокойно пряча глаза, он нерешительно кивнул в ответ на вопрос беса.

– Да. Ты сказал, что если я тебе когда-то сделаю услугу, то ты возьмешь меня прокатиться. Но это блесть совсем недавно. А ты сказал так, будто мне не придется платить, пока не пройдет очень много времени.

Дьявол сочувственно хмыкнул.

– Думаю, ты вспомнишь, что я сказал, что ты мне сделаешь одолжение в дальнейшем, то есть в какой-то момент в будущем. Но дело в том, что именно туда тебя и заведет мое порученьце. В сорока годах с чем-то на запад, в следующем столетии живет человек, который мне не угодил. И я буду весьма благодарен, если ты устроишь для меня так, чтобы этот человек погиб. А конкретно я хочу, чтобы его грудину размолотило в пыль. Я хочу, чтобы его сердце и легкие размазало в однородную кашу. Выполни для меня это простенькое задание – и я великодушно прошу все твои долги. Что скажешь на такое чудное предложение?

Челюсть Майкла Уоррена упала, и он немо замотал головой, неуверенно попятившись от игривого Сэма О'Дая. Дьявол с сожалением вздохнул и сделал шаг к мальчику. Возможно, заметный вечный шрам на духовном животе наглядно убедит мальчика, что торг здесь неуместен.

В этот момент из-за спины демона прозвенел зычный голос дамы с каштанами:

– Не туда, голубушка. Иди ко мне. Не слушай, что тебе втюхивает эта старая страхолюдина.

Бес с негодованием развернулся к источнику такого некультурного вторжения. Теперь выпрямившийся возле дымящейся жаровни, сон или призрак розовощекой старой жучки твердо пронзил беса железными глазами. Разодетая в черные юбки, она носила фартук – тоже черный, с подолом, убранным разноцветными скарабеями и крылатыми солнечными дисками. Женщина была смертоведкой, и что-то подсказало дьяволу, что ее присутствие не сулило ничего хорошего касательно его намерений в отношении Майкла Уоррена. Она снова позвала, ни на миг не отрывая темных глаз-бусинок от архидемона.

– Умница. Обходи его и иди ко мне. Не бойся, голубушка. Он тебя не тронет.

Уголком левого красного глаза он заметил, как мимо в направлении угрюмого свечения жаровни просеменил мальчишка. Разгневанный, дьявол обратил на дерзкую рухлядь самый что ни на есть испепеляющий взгляд и заговорил с ней.

– О! Значит, не трону, вот как? Мне до септических глубин пищеварительной системы интересно, как же ты меня остановишь?

Глаза кумушки сузились. Из теней переулка позади нее робко выступила банда грязных и бездомных ребятишек – скорее всего, тех самых, которых он шуганул раньше, пока они с Майклом Уорреном отправлялись в полет. Когда смертоведка снова открыла рот, говорила она медленно и с холодной решимостью:

– Я смертоведка, голубушка, а мы знаем все древние средства. Блесть у меня средство и про тебя.

Показав из-за спины маленькую ручку, она швырнула на сереющую золу какую-то вязкую субстанцию. Потом извлекла из кармана фартука бутылек дешевых духов и опрокинула на жаровню ночного сторожа. Затхлый парфюм зашипел на раскаленных углях, где уже жарились рыбы потроха, и дьявол возопил. Он не мог... а-а! Он не мог этого вынести. Аллергическая судорога пробрала его до самого существа, тряпки оцетинились, а его стошнило. Прямо как тот проклятый заклинатель в Персии – снова-здорово, вонючая Персия, – и, как и тогда, он почувствовал, как расплзается самый его лик. Он закипел и расплылся в другое тело – гигантского бронзового дракона с завывающим трехголовым мужчиной на спине, – и фыркнул бычьей головой, опуская голову черного барана, и топтал, топтал, пока все дощечки вневременных Чердаков не затряслись, как солома, не заходили ходуном. Далеко внизу он видел улепетывающий клетчатый силуэт Майкла Уоррена, пока карапуз бежал прятаться в юбках смертоведки.

Он проглотил собственную вулканическую слюну, тошнота и мучительные терзания грозили расколоть его. Он закашлялся, и из человеческого носа хлынули сопли, черная кровь и месиво экзотических субатомных частиц, мезонов и антикварков. Дьявол знал, что не удержит эту форму и скоро разольется пирокластическим потоком грозности и горя. Он сосредоточил все восемь саднящих, набрякших глаз на съжившемся малыше, и голос – атомная бомба в соборе – разбил пять стеклянных панелей над Чердаками Дыхания:

– У НАС БЫЛ УГОВОР!

На обеих его шкурах – и человеческой коже, и драконьей чешуе – высыпали гигантские волдыри с поверхностью, как у умирающих пузырей, и в них плавал спектр скользких бензиновых цветов, а затем они лопнули. На глазах теряя целое измерение, он истекал формой и структурой в эфир. Осознав, что сил достает только на

плоское отображение, дьявол разъехался по швам и стал чудовищным северным сиянием, переливающимся паучье-ящеричным занавесом из света, который словно заполнил все ошеломительные чертоги эмпория. На пару мгновений казалось, будто им горели все доски и балки, и с каждого извивающегося языка пламени жгли его птицеядские глаза в прожекторных гроздьях, то красные, то зеленые – пожарные машины и двери газовых камер.

А потом от него ничего не осталось, не считая пары искр, умчавшихся на провонявшем рыбой ветерке по вечному холлу.

Кролики

О, да разве Наверху все разговоры не только что о них – Мертвецки Мертвой Банде, их околачиваниях да приключениях вокруг вековых сточных труб, знаменитых похождениях, за которые в награду получаешь ссадины, а не медали? Их же просто обожали в поганых канавах Элизия, разыскивали в четырех-пяти измерениях и почитали за кумиров мальчишки и девчонки всей когдаты и долготы этого блестящего занюханного столетия. Они – стайка юрких и чумазных зверушек, и куда ни глянь – везде, вдоль и поперек по миру, день-деньской носятся они.

Они заскакивали в сны младенцев и срезали через размышления писателей, были вдохновением и идеалом каждого тайного клуба и детектива Фонда детского кино, для всех книг, каждой Смелой Семерки, каждой Приключенческой Пятерки. Они были лекалом; они были образцом со своими страшными клятвами на плевках и тайными отметками на дорогах, подземными логовами и вступительными испытаниями – кстати говоря, известными своей суровостью: чтобы вступить в Мертвецки Мертвую Банду, нужно, чтобы тебя похоронили или кремировали.

Их главарем была Филлис Пейнтер – отчасти потому, что она сама так сказала, но и потому, что банда, где она состояла при жизни, могла похвастаться послужным списком и репутацией получше, чем компании, которые водили остальные. Хотя жила Филлис на улице Алого Колодца, ходила она в Девчонках с Комптонской – на голову выше, чем Зеленая Банда, Пацаны из Боро или прочие беспорточные команды. Очевидно, не потому, что отличались в драках. Скорее, потому, что чаще сперва думали, а потом делали, чего о мальчишках не скажешь. «Мы девчонки с Комптон, Мы девчонки с Комптон, Мы манеры знаем, Мы время не теряем, Нас уважает весь народ окрест, Мы поем, Мы пляшем, Мы во всем класс кажем, Потому что мы девчонки с Комптон!» Конечно, все это было

давно, но на командование Филлис по-прежнему можно было положиться в случае беды.

Потому-то теперь, когда она стояла на безопасном расстоянии от строгой смертоведки и ее жаровни, глядя, как от важного демона летят клочки по закоулочкам, словно при несчастном случае на Ночь Гая Фокса, в ее поджатых губах и прищуренных глазах угадывалась толика мрачного удовлетворения. Вот жалко только, думала Филлис, что этот высокопоставленный дьявол скоро вовсе улетучится из видимого бытия. Если б от него остался хотя бы тлеющий колючий хвост, а лучше – череп с рогами, Филлис прибила бы его к призраку северных ворот Старого города. Тогда все шесть дюжин демонов, которых она считала всего лишь суровой и взрослой вражеской бандой, будут держаться от этого района Души подальше, поймут, что это земля чур-чур Мертвецки Мертвой Банды. И тогда из чертей в округе останутся только такие, как они, ее малой Билл и Красавчик Джон; как Реджи Котелок и Утопшая Марджори. Тогда они будут вдоволь играть допоздна, а вернее – до всегда, над дремотными днями в славной ветхой вечности.

Филлис уже свернула из дальнего конца длинного сонного джитти и прошла пол Ручейного переулочка, когда заметила, что Майкл Уоррен больше не следует за ней. На миг она задумалась, стоит ли вообще трудов возвращаться и разыскивать его, в итоге решив, что, скорее всего, стоит. То, что он попал после смерти на Чердаки Дыхания и никто его не встретил, пахивает чем-то подозрительным, а то и вовсе даже мутный случай. Тут точно никогда не поймешь, но ясно одно – дело нечисто. Этот прыщ в пижаме мог оказаться кем-то важным, а если и нет, то хотя бы интересным разнообразием и потенциальным новобранцем. С этим на уме она свистала всех остальных членов команды, и они отправились перетряхивать непостоянный район в поисках посмертного малыша. Она с Биллом обыскивала память о лавках. Остальные трое обшаривали Чердаки на случай, если мелкий задумал играть с ними в прятки.

Наконец Утопшая Марджори заметила белокурую потерю под изогнутой прозрачной крышей аркады, причем в плену одного из самых злобных бесов, которых по случаю можно было найти в окрестностях. Когда пылающий кошмар завидел их и нырнул, они только пятками засверкали, а когда они убедились, что их не преследуют, перегруппировались в «Улитачен рейс», чтобы обсудить, что делать дальше. Сама Филлис ратовала за отправку на Стройку, чтобы известить зодчих, как и планировала изначально, но потом ее Билл заметил, что раз они зодчие, то и так всё уже знают. Сняв шляпу, чтобы почесать черные кудри в поисках вдохновения, Реджи Котелок предложил подождать короля демонов в засаде. Однако когда Утопшая Марджори благоразумно осведомилась о следующем этапе плана, уточнив, что они будут делать, если архидьявол действительно явится, Реджи нахлобучил шляпу и угрюмо замолк.

Наконец Красавчик Джон, которого Филлис втайне обожала, сказал, что им стоит сыскать смертоведку. Если зодчие не могли разобраться сами или заняты где-то еще и если под рукой нет каких-нибудь завалящих святых, то следующей по иерархии фигурой будет смертоведка. Утопшая Марджори застенчиво предложила миссис Гиббс, что когда-то при жизни ловко управлялась с самой Марджори, когда шестилетнюю очкастую девочку выловили из холодной бурой речки под Спенсеровским мостом. И Красавчик Джон, и Филлис сказали, что тоже слышали о миссис Гиббс во время своих смертных деньков в Боро, так что решение приняли более-менее единогласно. Впятером они отправились прочесывать ближайшие просторы Души в поисках уважаемой престарелой смертоведки, в итоге обнаружив ее в несвежем сне о баре «Зеленый дракон», рядом с Чердаками Дыхания, на Мэйорхолд в начале тридцатых. Миссис Гиббс оторвалась от призрачной полпинты стаута и не особенно-то им обрадовалась:

– Ну что, голубки мои, чем могу вам помочь?

Они рассказали ей о Майкле Уоррене и бесе – вернее, рассказала Филлис, будучи единственной участницей происшествия с самого

начала. Красавчик Джон и миссис Гиббс одинаково ответили удивленными выражениями лиц, когда услышали полное имя мальчика, после чего смертоведка вдруг посерьезнела и помрачнела, и попросила Филлис описать приметы дьявола, который на их глазах утащил малыша. Что у него за окрас? Чем пах? Что они помнят о его расположении в целом? Получив соответственно ответы «красный и зеленый», «табаком» и «злой как черт», смертоведка вмиг поставила диагноз.

– Похож на тридцатисекундного духа, голубка. Один из самых важных и свирепых, такой руку и не по локоток отхватит. Злодей, и вы молодцы, что пришли ко мне. Ведите туда, где вы его видели с пареньком, и я ему устрою выволочку, чтобы не приставал к маленьким. Понадобится жаровня или какая-то плита, а прочее я соберу по дороге. Поспешим. И выше нос.

По оценке Филлис Пейнтер, на свете среди живых и не очень мало кто впечатлял больше, чем смертоведка. Из всех людей эти бесстрашные женщины единственные присматривали за вратами на каждом конце жизни – по сути, занимались вневременным делом Души, пока еще находились среди живых. Ни одна другая работа не переходила так плавно из того, чем занимаешься внизу, в двадцати пяти тысячах ночей, в то, чем занимаешься после, когда все ночи выйдут. Со смертоведками при жизни всегда казалось, будто они почти что знали, что одновременно ведут существование на верхнем этаже. Некоторые даже посмертно возвращались на похороны, устроенные за свою жизнь, чтобы приветствовать дезориентированных покойных по прибытии в мир Наверху – такая непрерывность обслуживания и преданность делу сражали Филлис наповал. Заботиться о людях от колыбели до могилы – это одно, но взять на себя ответственность за то, что будет дальше, – совсем другое.

Они нашли для миссис Гиббс дымящуюся жаровню в остатках кошмара рыночного торговца, и Красавчик Джон с Реджи Котелком аккуратно понесли ее между собой, обернув ладони старыми

тряпками. Смертоведка наведлась в призрак рыбной лавки, к рыбоведу Перриту на Конном Рынке, и приобрела рыбы кишки у человека, которого называла Шерифом. Передав миссис Гиббс через стойку смердящий газетный сверток, торговец с носом-крючком и огромными усищами только буркнул: «Черти, что ли?» – на что миссис Гиббс ответила кивком и слегка усталым «ар-р» в подтверждение.

Когда Мертвецки Мертвая Банда и миссис Гиббс вернулись на Чердаки к участку конкретного дня 1959 года, где Филлис впервые натолкнулась на Майкла Уоррена, там почти никого не было. Они увидели сонную личность женщины сорока лет с жестким лицом, которая с удивлением разглядывала бесконечное море обрамленных деревом отверстий, пока не покачала головой и не убрела куда-то по пассажиру. У нее были красные руки, как вареный бекон, так что Филлис решила, что женщина часто занималась стиркой. А еще она была голая. Из-за последней детали ее Билл и Реджи Котелок принялись ухмыляться, пока Филлис не посоветовала им подрасти, отлично зная, что этого уже никогда не будет.

Тем временем смертоведка скомандовала двум старшим ребятам установить котелок с горящими угольями у входа в мощный переулочек, что вел от Чердаков в улочки спутанной памяти, которые Филлис с приятелями звали Старыми Зданиями.

– Можете приспособить тут, голубки. Если здесь этот мерзкий гад украл ребенка, сюда же он его и вернет, когда закончит. Я прихватила у Шерифа рыбы кишки, и, кажется, в кармане фартука у меня заваялась капля духов, так что мы готовы к его приходу.

Фартуки миссис Гиббс славились по всей Душе не меньше самой смертоведки. Их у нее была пара, как и когда-то Внизу: белый с вышитыми вдоль подола бабочками – для птенцов и черный – для концов. В верхней реальности она надевала ослепительный передник, разукрашенный бабочками, если встречала какую-нибудь усопшую душу, выныривающую из напольного окна в Чердаки Дыхания, в новую большую жизнь за пределами времени. Черный

фартук когда-то внизу был простым, без рисунков, хотя, судя по тому, как он выглядел сейчас, миссис Гиббс всегда представляла его замысловатее. По краям зеленой переливающейся нитью были выстеганы скарабеи, а металлически-золотой – египетские стилусы и подведенные сурьмой глаза. Такой она носила, только когда кого-то нужно было проводить – или спровадить, как сейчас, и Филлис удивлялась, откуда смертоведка знала, что сегодня надевать. Скорее всего, почувствовала что-то костями, прахом, атомами. Когда дьявол рядом, это всегда можно уловить. И тянуло душком, и все начинали злиться друг на друга и на себя.

Вшестером они немного подождали, маяча у входа в переулок. Утопшая Марджори и Билл уперли пару шлаковин из ближайшего сна об угольном складе «Уиггинс», чтобы миссис Гиббс поддерживала огонь в жаровне, пока не появятся Майкл Уоррен и бес, если они вообще появятся. Филлис и Красавчик Джон оперлись на витрину «Улитачен рейс», разглядывая разворачивающиеся погодные диаграммы над эмпорием через стеклянные панели крыши пассажа. Фасетчатые облака невозможно комкались, выписанные белыми линиями на идеальной переливающейся голубизне. Никто из подростков ничего не говорил, и Филлис на миг подумала, что Джон сейчас возьмет ее за липкую ладошку. Но он отвернулся и всмотрелся в витрину на одну из разрисованных моделек улиток – белую с красным крестом на металлическом панцире, словно игрушечная скорая помощь. Она пыталась скрыть разочарование в голосе, когда Джон спросил, что Филлис о ней думает, и ответила, что вроде ничего такая. Иногда она задумывалась, не ее ли шарф из кроликов отпугивает людей.

Не успели они заскучать, как Реджи Котелок, который убрел сам по себе вдоль коридора на запад, примчался назад как угорелый, скача между пятнадцатиметровыми отверстиями, одной рукой прижимая мятую шляпу и хлопая на бегу долгополым пальто от Армии спасения.

– С заката прут! Ток что видал! Здоровый дьявол, блесть он неладен!

Филлис прищурилась в огромный холл в направлении, обозначенном мотающимся рукавом Реджи, на мандариново-бронзовое извержение захода того вечера над стеклянной крышей на западе. На фоне буйства кровавого света она могла разобрать силуэт мелькающей точки, почерневший клочок бумаги в верхних пределах Чердаков, что становился все больше, подлетая к ним из будущего. Реджи был прав. Когда он спикировал на них, она была слишком занята тем, что уносила ноги, чтобы присматриваться, но это был явно не мелкий бес.

Рассудив, что у дьявола-то было побольше времени разглядеть Филлис и ее друзей, чем у них, она приказала всем отступать в джитти, чтобы их не узнали и не заподозрили ловушку.

– Пошлите. Айда в переулок за спину миссис Гиббс, чтоб он нас не приметил. Пусть она сама разберется.

Никто не собирался спорить с этой исключительно благоразумной идеей. К этому времени демон подплыл поближе, так что его пугающий размер стал очевиднее, как и расцветка из сверкающих красных и зеленых цветов, словно кто-то бросил пачку соли на костер. Даже Реджи Котелок не возражал, когда услышал приказ укрыться за миссис Гиббс. Он, очевидно, переосмыслил свою первоначальную идею – наброситься на демона со спины из засады.

Красавчик Джон, на удивление и к счастью, взял Филлис за тощую ручку и повел в безопасность джитти. Он оглядывался, и розовый свет запада падал на его худое лицо и волну песочных волос. Джон нахмурился – и копченое и поэтическое пятно тени пролегло по бледным глазам, светящимся и серым, как лучи фонарей, играющих по воде.

– Черт возьми, Филл. Как биплан фрицев над окопами. Давай-ка в переулок, где безопасно.

Они затаили дыхание у входа в джитти, так крепко прижавшись спинами к красной кирпичной стенке, что Филлис показалось, будто

когда они отклеятся, то оставят там свои цвета и линии, как переводные картинки. Ее Билл был ближе всех к углу, опасливо высовывал рыжую голову и прятался назад, приглядывая за продвижением летящего демона. Миссис Гиббс посреди входа в переулочек и на обозрении всего гигантского коридора спокойно продолжала шерудить в огне гнутой кочергой, которая уже была в жаровне, когда они ее нашли. Пустив воздух между задремавшими углями, она осветила лицо в кузнечной вспышке, и ее кожа стала цвета осенних фруктов. Билл крикнул с конца ряда детей, пытаясь побороть нервозность в голосе:

– Кружит перед заходом на посадку, и он жуть какой. Рогатый, а глаза разного цвета.

Филлис подняла маленькую ладошку и изобразила знак кролика – собрала в щепоть средний, безымянный и большой пальцы, чтобы сделать носик, а указательный и мизинец подняла, как ушки. Тихо, как кролики в траве, вся банда на цыпочках подкралась к углу Билла, и с этой точки обзора им целиком открылись Чердаки шириной в милю. Несмотря на раннее оповещение, все, кроме миссис Гиббс, заметно подскочили, когда наконец перед глазами показалось inferнальное существо, медленно снижаясь, словно огромный лепесток попугайной расцветки, с цепко сжатым в обгоревших лапищах мальчиком в пижаме.

Одна нога существа разогнулась, мысок кожаного башмака на манер танцора вытянулся и ловко опустился на сосновые доски между рядов утопленных бассейнов. Несмотря на свою очевидную массу, чудовище приземлилось почти бесшумно, лицом от них и со вскинутыми от набегающего потока воздуха яркими клочками одежды – красными, как петушиный гребень, и зелеными, как отравленное яблоко.

Носило оно обличье почти что человека, хотя и трех-четырёх метров роста. Между плечами на ремешке под бородатым подбородком висела кожаная шляпа священника, обнажая длинную гриву кудрявых каштановых волос, из которых торчали два рога, как

у козла. Со своего места подле Джона Филлис не могла разглядеть лица, за что была невероятно благодарна. Она еще никогда не видела дьявола так близко, и ей хватало уже этой тревожной атмосферы – без дополнительного стресса от мысли о том, что делать, если он обернется и посмотрит прямо на нее.

С удивительной мягкостью взъерошенный огненный шар сгустившейся зловещности поставил Майкла Уоррена на пол Чердаков. Мелкий балбес стоял и трясся в своих полосатой пижаме и халате, которым досталось с тех пор, как Филлис видела их в последний раз. На клетчатой ткани остались прорехи там, где, очевидно, цеплялись когти чудовища, а воротник и плечи усеивали обесцвеченные пятна, словно кто-то капнул аккумуляторной кислотой. Одно место еще слабо дымилось. Бедолага, его как будто перепугали до смерти, а потом обратно до жизни. Хотя он и стоял лицом к Филлис и Джитти, он, очевидно, не мог оторвать глаз от нависающего над ним дьявола, так что еще ее не увидел.

Похоже, тварь беседовала с мальчиком, наклонившись над дрожащим чадом с видом столь же угрожающим, сколь и снисходительным. Говорила она слишком низким голосом, чтобы разобрать с их места, – рев газовой горелки или лесного пожара в десяти милях, – но намерения нечисти были прозрачны. Филлис узнала набыченную запугивающую позу хулигана по дюжине мордovorотов из Боро, хотя, в отличие от них и вопреки всему, что однажды говорила ей мать, этот хулиган вряд ли втайне сам всех боится. Филлис сомневалась, что найдется хоть что-то страшнее его самого, и впервые спросила себя, поможет ли им миссис Гиббс.

В этот момент Филлис показалось, будто шуршащий кошмар предложил малышу что-то ужасное, потому что тот начал пятиться, качая златокудрой головой. Что бы там ни предлагалось, казалось сомнительным, что бес в настроении терпеть отказы. Угрожающе колыхая разноцветной лиственной одеждой, он сделал вкрадчивый шаг вслед отпрянувшему мальчику, воздев мозолистую руку и демонстрируя заостренные белые ногти, словно намеревался

вскрыть Майкла Уоррена, как байковый стручок, и Филлис Пейнтер закрыла глаза. Дальше она уже ждала услышать захлебывающийся вопль загнанного зайца. Но раздался только успокаивающий колыбельный скрип голоса миссис Гиббс.

– Не туда, голубок. Иди ко мне. Не слушай, что тебе втюхивает эта старая страхолюдина.

Филлис опасливо разомкнула веки до перистых мутных щелочек.

С удивлением она обнаружила, что Майкл Уоррен еще не мертв – ну или, по крайней мере, не мертвее прежнего. Мальчишка уже заметил Филлис с бандой, извещенный возгласом смертоведки. Он прекратил пятиться к дальней стене обширной аркады и теперь двинулся бочком в попытке добраться к ним и переулку, стараясь как можно дальше обходить черта.

На преувеличенное мгновение дьявол остолбенел, затем медленно повернулся, пока не вперился взглядом в миссис Гиббс и пятерых съезжившихся детей. У всех, кроме смертоведки, перехватило дыхание при первом взгляде на его архетипические черты, в которых высшая степень зла выражалась так идеально, что они становились жуткой карикатурой, гротескной и ужасающей до того, что почти что комичной, но не совсем. Его лицо было кипящей маской, где, словно на густом химическом пару, плавали красно-коричневые брови и усики. Уши его были заостренные, но, в отличие от эльфов из книжек с картинками, в реальной жизни это казалось омерзительным уродством. Рога были грязно-белыми, с ржавыми разводами у основания, напоминавшими засохшую кровь, а глаза, как и заметил ее Билл, были разного цвета. В них рассказывались разные истории, из них глядели почти разные личности. Красный излучал интерлюдии застенков, тысячелетнюю вражду и походы на безжалостное истребление, тогда как зеленый говорил об обреченных начинаниях, испорченном детстве и о страсти яростней, более измощающей, чем малярия. Вместе они казались парой бычьих глаз мишени и не сходили с миссис Гиббс.

Но смертоведку так просто не проймешь. Она выдержала взгляд создания, почти беспечно беседуя с Майклом Уорреном.

– Умница. Обходи его и иди ко мне. Не бойся, голубок. Он тебя не тронет.

Явно очень даже боявшийся, несмотря на ободрение смертоведки, малявка (который, как Филлис Пейнтер уже давно решила, вообще был неженкой), тем не менее прислушался к совету идти на прорыв. Он засеменил по широкой дуге слева от дьявола и справа от всех остальных, так страшась приближаться к своему мучителю, что его маршрут едва не задевал по касательной «Улитачен рейс», прежде чем он подобрался к переулку и своим спасителям. Филлис и ее четверо пособников оторвались от красной кирпичной стены джитти и робко зашаркали вперед, встав в неровном полукруге в паре шагов от миссис Гиббс, для верности. В нервном возбуждении теребя кроличье ожерелье, Филлис бросала взгляд то на Майкла, то на демона, так что уловила момент, когда жуткие глаза беса метнулись в сторону, чтобы отметить побег карапуза, а затем с обновленной едкостью снова остановились на старухе в фартуке со скарабеями, помешивающей кочергой в жаровне. О том, что обещал взгляд создания для миссис Гиббс, Филлис не хотелось даже думать. Его вязкий голос был как горящая серная патока, лиловый и ядовитый.

– О! Значит, не трону, да? Мне до септических глубин пищеварительной системы интересно, как же ты меня остановишь?

Филлис, если бы еще могла, почти наверняка тут же бы и обмочилась. Оно сказало, что сожрет их, хотя и другими словами. Не только сожрет, но и переварит, а их бессмертные сущности все еще будут в сознании в обжигающей тьме кишечника монстра. Ровно в этот момент Филлис была на грани того, чтобы сказать архидьяволу, что он может забирать себе Майкла Уоррена и делать с ним, что хочет, лишь бы не схрумкал их и не превратил в демонические кашки. Но смертоведка была из другого теста. Она смотрела в хаос

бойни и джунглей, кишащий за несходными радужками кошмара, и пока что даже не моргнула. Голос ее был ровным, невозмутимым.

– Я смертоведка, голубка ты моя, и мы знаем все древние средства. Блесть у меня средство и про тебя.

А дальше все промелькнуло так быстро, как в случаях, когда никто не может пересказать точный порядок произошедшего, пока не пройдет достаточно времени, чтобы перебрать всё в памяти десятков раз. Миссис Гиббс скрывала за спиной мягкую пригоршню рыбьей требухи и теперь метнула ее на горячие угли драматичным широким жестом. Прогорклые сердца, визига и печень зашипели и заскворчали, тая на огне, но смертоведка уже доставала из фартука маленький бутылёк в форме слезы – как будто дешевые духи, купленные в нижнем «Вулворте», или мечтательный сон о них. С тренированной легкостью свернув крышечку, смертоведка опрокинула его над жаровней, чтобы содержимое пролилось на мерцающие камни. Разрастающейся колонной повалил дым с совершенно омерзительным запахом – словно от диких цветов, растущих в грязном унитазе. Даже у Филлис, которая давно перестала замечать аромат собственного кроличьего венка, на глаза навернулись слезы. Но реакция беса на насыщенный и неповторимый букет не шла ни в какое сравнение.

Он изогнулся, вздыбив спину, как отвратительный кот, а все разноцветные лоскуты встали плоскими треугольниками, словно иглы игрушечного ежика. Инфернальный регент сплюнул и содрогнулся, и края его облика начали желчно сворачиваться рябыми сгустками расплавленно-белесого цвета – как на испорченной фотографии, покрытой фурункулами горячей магнезии. При контакте с тошнотворными парами от жаровни смертоведки как будто стало испаряться само существо дьявола, распадаясь на плотный и тяжелый газ в ворочающихся клубках, еще сохранявших форму существа, но с видом сложным и вспученным, как у цветной капусты. Словно от порыва газопровода, это трехметровое облако токсичного тумана вдруг выстрелило вверх,

стало красно-зеленым столбом дыма в сотни ярдов высотой. Филлис, замороженная, несмотря на мерзость действия, наблюдала, как нависающие тучи словно связались в новую конфигурацию, такую огромную и сложную, что она не понимала, что видит.

Ох е-мое. Чтоб ее перевернуло, это же ужасно.

Это был гигантский дракон, по миллиону чешуек которого размером с сомбреро или цимбалы пробегали отблески аляповатых красного и зеленого цветов. На широкой спине ревущего и топчущего джаггернаута восседало развратно-голое существо, обладавшее, несмотря на ужасающий размер, пропорциями младенца или карлика. Позади хлестал змеиный хвост, хотя Филлис не могла понять, кому он принадлежит – разъяренному скакуну или наезднику. Она решила, что в конечном итоге они оба – одно целое. Головы наездника – а их было три – слева направо принадлежали взбешенному быку, остервенелому тирану-душегубу в рубиновой короне и черному барану с закатывающимися, как в течке, очами. В одном кулаке он потрясал железным копьем высотой с Эйфелеву башню, вымазанным толстым запекшимся слоем крови и экскрементов, словно он насадил кого-то от зада до мозга. На копье реял стяг – зеленый с красным рисунком: стрелами, завитками и крестами, – и терзаемый разгневанный бес ударил древком оземь со скрежещущим, завывающим возгласом. Хуже всего, на взгляд Филлис, были ноги твари, рассевшейся на призматическом дымящемся скакуне. Икры и лодыжки короля Ада жутким образом кончались розовыми хрупкими стеблями, из которых распускались перепончатые лапы какого-то чудовищного селезня. Перепонки, растянутые между пожелтевшими когтями, были неаппетитно-серые, с белыми бесцветными прогалами, словно от какой-то птичьей болезни, и Филлис стало тошно от одного взгляда на них.

Чердаки Дыхания сотрясались от топота дракона и нестихающего грома, издаваемого ужасающим копьем, которое раз за разом обрушивалось на деревянные половицы, пока Филлис не показалось, что мир Наверху со всеми снами, призраками и

архитектурой провалится через огромную дыру в небесах в реальность объятых страхом смертных. С ее места – она сжалась за спиной Красавчика Джона и выглядывала между растопыренных пальцев – Филлис краем сознания отметила клетчатое пятно Майкла Уоррена, что пронесся к переулку откуда-то справа и под свой перепуганный вопль, растущий, как гудок приближающегося поезда, забился под вместительные черные юбки смертоведки. Филлис едва обратила на него внимание, не отрываясь от головокружительного зрелища, что нависало над ними, едва не задевая тремя головами стеклянный свод, накрывавший просторную аркаду.

Его гнев и боль было трудно лицезреть. Его пробрало великое содрогание, и существо то ли выкашляло, то ли сблевало через центральный, почти человеческий рот полыхающий поток огня, крови и дегтя наряду с другими, невообразимыми ошметками, что оставляли за собой кривые линии света, растворяясь в пустоте. Дьявол выглядел так, словно сейчас развалится, и больше того – сам об этом знал. Призвав, как надеялась Филлис, последние запасы сил и концентрации, он сосредоточил все свои мутные глаза – и быка, и барана, и завывающего тирана, и дракона, на котором они втроем восседали, – на маленьком мальчонке в пижаме, что как раз в ужасе выглядывал из-за черного балдахина бедра смертоведки. Демон указал на Майкла Уоррена когтистым перстом свободной от копья руки, и, когда он прокричал свое прощальное проклятие, раздался самый страшный звук, что слышала Филлис Пейнтер – и в жизни, и в смерти. Казалось, будто разом взлетает множество авиалайнеров или впало в бешенство стадо из всех слонов мира. Центральная коронованная голова изрыгнула великий клуб дыма, раскрыв огромный рот, и все как один Филлис и Мертвецки Мертвая Банда оторвали руки от глаз, которые только что прятали, и прижали к ушам. Но без толку – они по-прежнему слышали в точности что провозгласил дьявол малышу, мелко трясущемуся позади миссис Гиббс.

– У НАС БЫЛ УГОВОР!

Филлис даже не удивилась. Чего еще ожидать от Майкла Уоррена. Стоило ей на полсекундочки оставить его без пригляду, как он уже подписал контракт с тварью из неугасающего горнила. Да у него что, не все дома, у этого паренька? Даже ее мелкий Билл, непутевый и бестолковый как мешок жоп, даже он никогда бы не натворил такую глупость. Она с усилием напомнила себе, что Майклу Уоррену было всего три или четыре года от роду, когда он скончался, хоть сейчас он и казался больше, тогда как они с Биллом все-таки постарше. С другой стороны, нельзя оправдать мальчика одной только неопытностью молодых лет: то, что Майклу Уоррену еще не исполнилось пяти, а его уже угораздило не только умереть, но и разгневать одну из величайших библейских сил через несколько минут после смерти, говорило, что дитя не просто неуклюжее, а без пяти минут ходячая катастрофа. Как же малыш вида такого сладкого, как «Овалтин», мог так страшно и так быстро огорчить ужас из преисподней? Нужно было подчиниться первому порыву и просто бросить сонного клопа бродить по Чердакам Дыхания в пижаме, думала она.

Но она не бросила. У нее всегда была слабость к откровенно жалким типам, вот в чем беда Филлис Пейнтер. Сколько раз она уже так влипала. Она помнила, как при жизни игралась в парке Викки с Валери и Верой Пиклс и их младшим братишкой Сидни. Все трое были из семьи из четырнадцати человек в нижнем конце Ручейного переулка, сразу за Ручейными Садами, но трехлетний Сидни Пиклс был самым безобразным из всех. Самый страховидный ребенок, что она видела, бедняга. Нет, смеяться, конечно, нехорошо, но слушайте – Сид Пиклс. У него на лице и черт почти никаких не было, будто он сам себя восковым мелком нарисовал. Ножки-колченожки, да еще и шепелявит – «язык короткий», как тогда говорили, – и когда он проковылял к ней и старшим сестрам, собиравшим шалаши из хвороста у речки в парке Виктория, они уже по запаху поняли, в чем беда, еще до того, как мальчик гордо ее огласил:

– Я обмяклялфя.

Вера и Валери наотрез отказались отправляться с Сидни по долгой дороге через Спенсеровский мост обратно к Ручейному переулку, и это означало, что у нее не оставалось выхода, кроме как отвести мальчика самой, как бы от него ни воняло. А воняло аж до небес. Что еще хуже, от парка до Ручейного переулка он привлекал внимание каждого встречного-поперечного, торжественно заявляя: «Я обмякля», – хотя Филлис просто-таки умоляла его помолчать и вопреки тому, что, судя по лицам, его слова не сообщали ничего нового. Она вызвалась довести его домой, когда стало ясно, что больше никто этого не сделает, и более-менее по той же причине она помогла Майклу Уоррену выбраться из жизни на доски Души. А еще потому, что он казался смутно знакомым. Впрочем, даже если с тех пор он сумел вызвать неумолимый гнев демона на свою голову, он хотя бы не носил турнепс с глазками на плечах, как Сидни Пиклс, и хотя бы не обкакался, насколько могла сказать Филлис.

Она пыталась найти слабое утешение в этих сомнительных преимуществах, оцепенело уставившись на гигантского демона с прорывающимися на шкуре нарывами и рубцами размером с тракторные колеса, который стоял в ядовитой мари от жаровни смертоведки. Волдыри лопались и аэрозольно брызгали раскаленным золотым гноем, словно горячей пылью или зонтиками одуванчиков. Приглядевшись с острым зрением загробной жизни, она заметила, что ключи на шкуре на самом деле были не бесконечно маленькими каплями, а пылающими циферками, математическими символами и озаренными буквами из ползучего чужеродного алфавита, напомнившего Филлис арабский. Эта клокочущая лавина знаков на миг вспыхивала, как искры, а потом пропадала. Как будто дьявол истекал своими фактами и суммами. Почти казалось, словно демон сдувается, хотя Филлис знала, что это плохо описывает происходящее.

Если точнее, пока из него стравливались неоновая вязь и числа, бес как будто не столько опадал, как пробитая шина, сколько казался существом, которое на самом деле всегда было плоским.

Возможно, из-за бараньей и бычьей головы она обнаружила, что зрелище напоминает ей об игрушечных домашних животных из детства. Это были очаровательные рисованные иллюстрации с толстыми петухами, свиньями и коровами, напечатанные на блестящей бумаге и приклеенные к деревянным пластинкам, вырезанным в нужной форме лобзиком. Стоя на деревянных основаниях с продольной щелью, они были вполне реалистичного вида, пока смотришь с торца. Но стоило чуть сдвинуться, как они начинали сплющиваться и казаться какими-то не такими. Если смотреть сбоку, из-под их вечно поднятых и хлещущих хвостов, то материальные на вид животные практически исчезали из виду. То же самое теперь происходило с колоссальным многоголовым чудовищем, исторгающим из метровых прыщей фосфоресцирующие многочлены и превращающимся в подробную и скрупулезно приукрашенную картинку самого себя.

Судя по выражению на его четырех широких лицах, поддерживать даже это усеченное состояние было трудно. Издав последний оглушительный рев ненависти и разочарования, огромное видение распалось на несметные языки рождественского сияния, которое словно лизало все доски и балки Чердаков Дыхания, будто эмпорий занялся пламенем рассеивающегося образа вырождающегося беса. В каждой вспышке виднелся один и тот же узор: то ажурная и мельтешащая филигрань салатных тритонов, то алые кружева смертоносных тарантулов. Множество ящериц или пауков разных размеров сплелись в самый безумный рисунок обоев, что только могла вообразить Филлис, повторяясь в каждом извиве пламени по гулкому пассажию.

А потом все кончилось, и выдохшиеся фейерверки беса с шипением угасли, оставив за собой в монументальном коридоре лишь вездесущую вонь надушенных рыбьих кишков и атмосферу оглушенного шока. Король-дьявол пропал.

Миссис Гиббс только качнула раз подбородком с тихим и деловым выражением удовлетворения, потом извлекла платок с нашитой на

уголке пчелкой, чтобы стереть жир пикши с розовых пальцев. Она вежливо попросила Красавчика Джона и Реджи Котелка поднять уже не тлеющую, но все еще бьющую в нос жаровню и отволочь дальше по джитти, где та, если больше никому не приснится неделю-две, разложится на гомогенный осадок разума, из которого построены авеню и переулки Души, Второго Боро. Пока старшие мальчишки снова оборачивали ладони тряпками и с ворчаньем приступали к работе, смертоведка тщательно сложила рыбный платок и убрала в тот невидимый угол похоронного передника, из которого он появился. Приведя себя в порядок, она повернулась и рассмотрела повнимательней Майкла Уоррена, что все еще скрывался за черной Ниагарой ее юбок, несмотря на изгнание архидемона.

Филлис пока приходила в себя после событий последних минут. Ей пришло в голову, что, как бы ни был страшен гость из Ада, остерегаться всем следует этой розовощекой старушки. Смертоведок и при жизни иначе как внушительными не назовешь, но мертвыми они оставляли впечатление еще сильнее. Миссис Гиббс, когда Филлис, Майкл Уоррен и остальные оборванцы из банды подняли на нее взгляд, на фоне ослепительной сини над пассажем показалась пузатой черной кеглей в чепце. Она изучала блондинчика, пока тот отвечал неуверенным взглядом и переминался с ноги на ногу в пижаме, тапочках и сливовой клетчатой ночнушке, заляпанной чем-то желтым и серным – скорее всего, слюной демона.

– Значит, ты и блесь Майкл Уоррен, о котором я столько наслушалась. Не шаркай позади, когда я с тобой разговариваю, голубок мой. Выйди-ка сюда, рассмотрю тебя толком.

Карапуз нервно выбрался из-за смертоведки и встал перед ней, как и попросили. Его голубые кукольные глазки так и бегали – от миссис Гиббс к Филлис Пейнтер, потом к Биллу и Утопшей Марджори. Он смотрел на них, как на расстрельный отряд, – и ни слова благодарности за то, что его спасли от адского пламени и вечного проклятия. Когда он вернул опасливый взгляд к миссис Гиббс, попытался прибавить к нему обаятельную улыбку, но

получилась скорее испуганная гримаса. Смертоведка как будто бы обиделась:

– Ни к чему меня бояться, голубок. Ну-ка, этот негодяй тебе что-нибудь сделал, покуда ты блесть в его когтях? Про какой такой уговор он сказал? Надеюсь, ты ничего не обещал этому дяденьке.

Новопреставленный ребенок переместил вес с одной клетчатой тапочки на другую, беспокожно мусоля пояс халата.

– Он скозлал, что прыкатит змейня и потом четвернет на смерсто, и вестыще скарал, что за слето я отрыдаю ему ужаслугой.

Ее Билл грубо фыркнул из-за разладившегося произношения мальчика, которое выдавало в нем новичка в Душе так же верно, как деревенский акцент выдал бы его в городе. Филлис отметила, что мальчишка Уоррен с тех пор, как она его видела в последний раз, сделал шаг назад в умении говорить осмысленно. Когда она вела его по Чердакам в джитти, где они теперь стояли, казалось, ему как раз попала в рот Лючинка и он начал говорить внятно, не коверкая каждую фразу в зачатке. Но, судя по нынешним стараниям, от зрелища экстраординарной истерики гигантского беса он растерял все, что умел. Слова летели вразброс, как спички из перевернутого коробка. К счастью, миссис Гиббс, благодаря работе на каждой стороне острого угла смерти, была не понаслышке знакома с дикцией недавно почивших и понимала лепет Майкла Уоррена с лету.

– Ясно. И что, свозил он тебя, как обещал, голубок? Куда летали, если не секрет?

Тут лицо мальчугана озарилось, словно взрослые только что попросили рассказать, какой аттракцион на ярмарке ему больше всего понравился.

– Он взвыл меня в нольч опятницы, к моему дому на родноге Андрея. Я удивидел себя, и я снова блесть жисвой!

Теперь на Майкла Уоррена пораженно уставились все, и не из-за брызжущего во все стороны фонтана красноречия. Всех слишком удивило то, что он сказал, чтобы обращать внимание на то, как он

это сказал. Разве это возможно? Возможно ли, что архидьявол отправил мальчишку в ближайшее будущее, где тот увидел ожившего себя? Это возможно только чудом, и Филлис попыталась найти правдоподобное объяснение сомнительной истории ребенка. Возможно, бес отнес его в прошлую, а не в следующую пятницу, как, очевидно, поверил малец. Дьявол хладнокровно обвел ребенка вокруг пальца, показав его в лоне семьи, а потом наговорил, что это случится через несколько дней, а не случилось раньше, за неделю или две до того, как малыш подавился и умер. Жестокий и злорадный розыгрыш, чтобы сломить младенческий дух Майкла Уоррена ложной надеждой. Хотя Филлис больше склонялась к своей циничной интерпретации, чем к необычайной альтернативе, что-то здесь было не так.

Например, Филлис с бандой воочию наблюдали, что демон стартовал с Майклом на красный запад – в том же направлении, с какого они вернулись. Каждый пусть запомнит времени поток: будущее – запад, прошлое – восток. А кроме того, всем хорошо известно, что дьявол врет не больше, чем страница голый статистики. Как и статистика, он может только вводить в серьезное заблуждение. Более того, хотя Филлис ненавидела демонов поголовно, она бы с неохотой признала, что те редко опускаются до мелочности. Играть бессердечные шутки над трехлетними наверняка ниже их достоинства, по крайней мере для высокопоставленных чертей вроде того, что похитил Майкла Уоррена. Конечно, такой ход рассуждений неумолимо вел к попросту неприемлемому выводу, что мальчик прав и через день-другой он снова будет жив, воссоединится с семьей на дороге Святого Андрея. Филлис взглянула на миссис Гиббс и по манере смертоведки, изучавшей паренька, увидела, что старушка в свою очередь пришла в тот же мысленный тупик.

– Экий номер ты отколол. И с чего бы это старый змий вообще тобой заинтересовался? Подумай хорошенько, голубок, и скажи, что он тебе говорил, чтобы я взяла в толк.

Дитя в пижаме, очевидно, не понимая невероятного значения того, о чем лопотал, попытался на миг изобразить размышления, а потом услужливо просиял для миссис Гиббс.

– Он сказнил, что шиза меня Навекну неприятности.

Смертоведка сперва оторопела, затем собрала пятнистое от возраста чело в складки, словно на нее снизошло тяжелое понимание.

– Ох, голубушка моя. Уж не ты ли тот мальчик, из-за которого схватились зодчие? Мне кто-то говорил, что они устроили потасовку на Мэйорхолд, потому что один сжульничал в трильярде, но мне и не снилось, что причиной всему ты.

Это что за новости? Драка между зодчими? Филлис недоверчиво вылупила глаза, и, судя по охам от ее Билла и Утопшей Марджори, они об этом тоже слышали впервые. Разве из-за драки зодчих не развалится весь мир или не случится еще что-нибудь ужасное? Возбужденный из-за перспективы, Билл поделился своим очевидным энтузиазмом со смертоведкой.

– Ё! А где он блесть, англоvский махач? Я б сходил позырить.

Не впервые Филлис стало стыдно, что ее мелкий – такой бесстыдный обалдуй. Миссис Гиббс неодобрительно поцокала языком.

– Это не игры, голубок мой, и, если зодчие бранятся, негоже стоять и на них таращиться. И, конечно, очень опасно, там совсем не место для детей, так что выкинь это из головы немедля.

Хотя Филлис знала, что ничего Билл из головы не выкинул, кроме здравого смысла, тот все же изобразил покорное и укоренное лицо, чтобы заморочить смертоведку. Миссис Гиббс отвернулась от него и продолжала изучение незадачливого Майкла Уоррена.

– Ну, голубушка моя, похоже, ты в гуще каких-то нестаточных дел. Не мудрено, знаючи твоих родных и семью. И все же ничего подобного я не слыхала. Ты привлек внимание дьявола... тридцатисекундного беса, бедового типа... и учудил что-то такое, что

зодчие разругались вдрызг. Ко всему прочему, если тебе верить, то ты мертвый, то глядь – уже живой.

Но разберемся по уму с дьяволом. Когда он сказал, что хочет от тебя услугу за то, что прокатит, он сказал, что это за услуга такая?

Мальчик мигом перестал улыбаться и побледнел так, что выделялся даже в компании окружающих привидений.

– Он сказал, я должен помочь кого-то убить.

Филлис подумала, что раз Майкл Уоррен сумел закончить предложение, не переиначив ни единого слова, то это многое говорит о том, как его потрясла такая мысль. Впрочем, мысль впрямь была такая страшная, такая могла и заику вылечить. Билл ляпнул «вот же ж жопа», за что Филлис сильно шлепнула его по голой ноге, торчащей из коротких шортиков, раньше миссис Гиббс. Скопив ледяной взгляд на Билла, смертоведка обратилась к вдруг занервничавшему малышу.

– Тогда что-то концы с концами не сходятся, голубок мой. Если он хочет кого-то убить, то может справиться и сам. Судя по тому, что я слыхала, опыта ему хватает. Скажу не тая – удивляюсь, что ему вообще позволили тебя схватить и наговорить таких страстей...

Смертоведка осеклась и склонила голову к плечу. Филлис показалось, словно миссис Гиббс поразили ее собственные слова, что побудило Филлис тоже над ними задуматься. Позволили: вот на чем все стояло. Почему вообще позволили случиться всем этим необъяснимым нарушениям заведенного порядка? Как заметила Филлис, когда помогала Майклу Уоррену подняться на Чердаки Дыхания, в Душе ничто не случайно: ни то, что ребенка никто не встретил, ни то, что Филлис наткнулась на него, пока скакала домой собирать поход за урожаем. Филлис ощутила в событиях чье-то мягкое прикосновение свыше, из-за чего, по воспоминанию о коже, тут же забегали мурашки. Судя по лицу миссис Гиббс, мысли смертоведки во многом сходились с ее собственными. Наконец она снова заговорила.

– Говоря откровенно, голубок, даже не знаю, что с тобой делать. Мститися мне, здесь не все так просто, как кажется, но если в деле замешаны зодчие, то мне разобраться не по плечу.

В этот момент обратно по джитти неспешным шагом вернулись Красавчик Джон и Реджи Котелок, воссоединяясь с бандой и отряхивая руки после того, как ответственно избавились от снотворной жаровни где-то в недрах переулка. Миссис Гиббс отметила их возвращение кратким кивком, затем продолжала свою мысль.

– Как я сказала, голубок, мне это не по зубам. Скажу только, что тебе не стоит больше гулять самому по себе, а то кто знает, что случится? Держись этих взрослых ребятков, и они приглядят, чтобы ты не угодил в переплет. А между тем я переговорю с тем, кто повыше меня и знает, что тут дееется. Пожалуй, обращусь к мистеру Доддриджу и послушаю, что скажет он. А ты делай, как велено, и не убегай от мальчиков и девочек. Увидимся позже, когда я узнаю, что к чему, так что веди себя хорошо.

На этом смертоведка развернулась на каблуке и заскользила по великому эмпорию, направляясь на восток, навстречу рассвету над полоской брусчатки, обрамлявшей море древесины и окон Чердаков. Молча стоя у джитти, дети смотрели ей вслед – сперва большой черной подушке, затем игольнице, удалявшейся в дальних пределах пассажа, с глаз долой во вчерашнем дне.

Удивленная резкостью ухода смертоведки, Филлис не знала, что и думать. С одной стороны, Филлис понимала, что миссис Гиббс просто рьяно приступила к делу, не тратя времени понапрасну, а с другой стороны, не могла не почувствовать, будто ее бросили. Если не считать того, чтобы нянчиться с Майклом Уорреном, что еще прикажете Мертвецки Мертвой Банде с ним делать? Судя по тому, что сказала смертоведка, этот петрушка в ночнушке оказался куда более заковыристой задачей, чем можно было подумать. Если уж миссис Гиббс, которая только что взглянула в глаза самому страшному исчадью Ада и даже не моргнула, – если уж она сказала,

что Майкл Уоррен для нее непосильная загадка, то как, скажите на милость, его спасти от бед Филлис Пейнтер с бандой? Она, погрузившись в мысли, возбужденно теребила растрепанный конец двутканного сизаля, на котором висели кроличьи шкурки.

Но после недолгих раздумий Филлис увидела смысл в решении смертоведки оставить мальчика на попечение Филлис. Во всем этом чувствовалось влияние свыше, и Филлис знала, что миссис Гиббс тоже его заметила. В Душе ничего не бывает случайно, а значит, если она первая встретила мальчика по прибытии, она уже замешана в разворачивающихся событиях. Этот липучий беспомощный ребенок, очевидно, должен быть с Филлис – не потому, что он «обклякля», и не потому, что так велела миссис Гиббс. Это, скорее, предписано свыше, начальством, и Филлис поняла, что ей с четырьмя подельниками остается только стараться изо всех сил. С какой-то стороны, это большая честь, и она не сходя с места решила, что Мертвецки Мертвая Банда окажется достойна оказанного доверия. Не бывать тому, чтобы по Чердакам Дыхания говорили, будто они никчемные, будто они оказались не более чем мелкими хулиганами, которыми их и так все считали. Они справятся с этой работой сиделок на ура и всем покажут. На дело будут брошены все таланты шайки, а их хватало сполна.

Мертвецки Мертвая Банда в великой вольнице, ожидавшей за пределами жизни и материи, могла быть чем только душе угодно. Они могли сновать в кустах и переулках Вечности и быть грозой призраков и дьяволов – а могли быть доблестными воинами, или хитрыми дикарями, или гениальными преступниками. А в случае Майкла Уоррена и всех окружающих его тайн они могли с легкостью стать секретными шпионскими детективами, казалось ей. Они разузнают, кто он, и разузнают, что тут творится, и... ну, как-нибудь всё да исправят, хотя как, Филлис еще не придумала. Она знала, что придется на несколько шагов заступить за строгие пределы роли няnek, которую поручила ей миссис Гиббс, но чувствовала, что действует согласно духу указаний смертоведки, а не букве. Если бы

вышестоящая власть не хотела, чтобы Майкл Уоррен возжался с бандой оборванцев, то Филлис и не гуляла бы вприпрыжку по Чердакам, когда он вылез из посмертного люка. То, что случилось такое маловероятное событие, с тем же успехом говорило, что Филлис Пейнтер дали полную свободу распоряжаться по своему усмотрению мальчишкой в пижаме и грандиозным приключением, которое он с собой принес. И прощальные ремарки миссис Гиббс это только подтверждали. Филлис по-прежнему главная по Запределью, и она знала: Мертвецки Мертвая Банда рассчитывает, что она разработает какой-нибудь план, как в прочих мертвецки мертвых играх.

К этому времени фигура смертоведки уже пропала из виду в холодном семужном свете, омывавшем рассветный конец векового коридора. Филлис обернулась к Майклу Уоррену, не в первый раз задаваясь вопросом, кого же он ей напомнил, когда впервые показался на глаза и удивил таким мучительно знакомым видом. Сперва она думала, что он обладает слабым сходством с Красавчиком Джоном, несмотря на пятилетнюю разницу в видимом возрасте – Майклу Уоррену внешне было семь, а Джону – двенадцать, – но теперь, глядя на них, она ничего подобного не замечала. Белобрысый малыш не мог похвастаться точеной героической худобой, которой отличалось лицо Джона, и не было у него глубоко посаженных глаз в саже печальной романтической тени, как у Джона. Нет, она была убеждена, что помнила мальчика откуда-то еще, но, хоть оживи, не знала, откуда. Возможно, это еще придет, а пока что у нее хватало дел поважнее. Теперь Майкл Уоррен в своей испорченной демоном ночнушке с заляпанным воротничком с надеждой смотрел на Филлис. Она ответила суровым взглядом, но смягчилась:

– Ну? И как твое ниче? Небось, шуганулся, када дьявол так тя унес?

Карапуз пасмурно кивнул:

– Да. Он блесть плохой, но хотел, чтобы я думал, что он хороший. Спасибо, что вернулась и спасла меня.

Филлис шмыгнула и кивнула – скромно, пренебрежительно. От движения заколыхались гнилые кролики. Она с удовольствием отметила, что способности Майкла к языку вновь прогрессировали после рецидива, вызванного встречей с демоном. Возможно, ему еще попадет в рот Лючинка.

– Не за что. Так, и че нам с тобой делать? Давай отведем тя в наше убежище, а там решим, что блестет дальше? Че скажешь?

Ребенок ответил обрадованной улыбкой.

– Значит, я теперь в вашей банде?

О, а теперь он хочет вступить, а? По-другому запел, надо же. Несмотря на то что Филлис наконец почувствовала какую-то симпатию к пижамному найденышу, она будет вести себя строго. Она главарь, а если Филлис начнет менять правила для всех, кого жалеет, то куда они докатятся? Она нацепила серьезное лицо и решительно, хотя и не без тепла покачала рыжевато-светлой челкой.

– Нет. Прости, но вступить те никак нельзя, особливо раз ты опять вернешься к жизни в пятницу. У нас в Мертвецки Мертвой Банде заведены всяки вступительные церемонии и все такое. Ты прост не пройдешь испытания.

Обиженный и немного возмущенный, Майкл Уоррен будто бы думал, что Филлис его просто дразнит.

– Отгрубо знаешь? Может, я блесту в испытании лучшайший. Может, я блесту чемписон.

В этот момент, к удивлению Филлис, на ее сторону перешел Красавчик Джон, дружески и утешительно положив руку на клетчатое плечо мальчика, помеченное бесовской пеной из пасти.

– Брось, пацан. Не бери в голову. Она только говорит, как блесть. Чтобы попасть в Мертвецки Мертвую Банду, по правилам тебя должны кремировать или похоронить. В моем случае и то и другое. Но если тебя принесли домой и оказался ты живой, то у тебя нет ни того ни другого. Слушай, давай так: на время, пока ты с нами,

блестешь почетным членом – вроде талисмана команды или полкового козла. А если потом однажды сумеешь умереть как следует, примем тебя на полную ставку. Как тебе такое?

Малыш закинул голову, чтобы внимательно изучить Джона, и частично смирился, доверившись надежному виду и рассудительному голосу. Теперь осталась лишь легкая неуверенность – скорее всего, потому, что новенький не знал, кто такой Джон, и не был ему представлен. Филлис решила уладить этот последний недосмотр.

– Все забываю, что ты никого в банде не знаешь. Эт Джон, а вона Реджи, в шляпе. Реджи дольше всех в банде, окромя меня с моим Биллом, пушто он дольшее всех жмурик. Эт Марджори, она утопла на Лужке Пэдди, а эт наш Билл. Мы Мертвецки Мертвая Банда, и мы играем после темноты и после смерти и не вернемся домой, пока не позовут. А терь хошь посмотреть наше логово? Тут рукой подать по джитти и Ручейному переулку.

Не соглашаясь ни на какие предложения вслух, мальчик все-таки последовал с развязной шайкой мертвых ребятишек по проулку и покинул за ними Чердаки Дыхания. Майкл Уоррен послушно трусил по мокрым булыжникам цвета тумана между Филлис и Красавчиком Джоном. Малыш сперва смотрел на одну, потом на другого, слегка хмурясь – очевидно, от множества вопросов на уме.

– А почему вы взорветесь Мертвецки Мертвой Бандой? Смешно, когда говоришь два раза.

Джон усмехнулся – очаровательный сочный звук, который Филлис съела бы на завтрак, если бы могла.

– Ну, когда мы блесть живые, все состояли в разных бандах. Мы с братьями ходили с Зеленой Бандой, Филлис вот – с Девчонками с Комптонской улицы, а старик Реджи блесть членом Шайки Газовой улицы, а потом – Пацанов из Боро. Утопшая Марджори, кажется, из тайного клуба Беллбарна. Единственный из нас, кто вырос не в Боро, это малой Филлис – Билл, и он водился с компанией из... Кингсторпа, да, Филл?

Бросив взгляд туда, где перед ними по темной городской расщелине джитти шагал с Марджори и Реджи Котелком Билл, Филлис кратко подала голос, чтобы поправить:

– Кингсли. Он блесть с Молодцами Кингсли.

– Кингсли, точно. В общем, чтобы не спорить, название чьей бывшей компании взять, Реджи предложил назваться Мертвецки Мертвой Бандой. Насколько я помню, он его вспомнил из сна, который видел при жизни. Ему снилось, что он в школе, на уроке, и учитель взял книжку и сказал, что они сейчас блествуют читать. А книжка – в зеленой обложке с тисненым золотым рисунком-контуром, с кучей ребятишек, и один блесть в пальто до пола и в котелке, как Реджи. Книжка называлась «Мертвецки Мертвая Банда». Реджи предложил так и назваться, и нам показалось, что это здоровски звучит, вот мы и согласились.

Продолжая путь по узкому переулку с кирпичными стенами по одну сторону, калитками – по другую и воспоминанием о свинцовом небе над головой, Джон ухмыльнулся Майклу.

– А что это значит, я и сам не знаю. Все, что приходит в голову, – кто-то блесть мертвецки пьяный, кто-то – мертвецки бледный. Ну а мы вот – мертвецки мертвые.

Чуть дальше в проулке маленький Билл, очевидно, что-то сморозил и обидел Утопшую Марджори. Они тут же принялись толкаться, и Филлис встревожило, что Марджори, решительно поджав губы, сняла очки и передала на сохранение Реджи Котелку. В случае Марджори это всегда был дурной знак, и Филлис решила, что лучше вмешаться, пока дела не вышли из-под контроля.

– Джон, пойди-ка к ним. Скажи Марджори нацепить смотрелки обратно, а нашему Биллу скажи, что если не блестет вести ся как след, то я его так по заднице выпорю, что он на другое кладбище улетит.

Джон улыбнулся и кивнул, зашагав от Филлис и малыша на длинных ногах со стильными серыми носками. Догнав Билла и Марджори, он дружелюбно накинул руки им на плечи, шагая между

ними, чтобы никто не мог броситься на другого, и их повел по мощеному джитти, а разговор повел в спокойном тоне. На Красавчика Джона всегда можно было положиться – он умел уладить ссору так, что никто не оставался в обиде, заметила Филлис со слабым ощущением гордости только оттого, что состоит в одной банде с ним. Он был таким прирожденным миротворцем, что Филлис с трудом представляла его на войне, хоть и знала, каким он может быть бесстрашным.

Шлепая рядом, Майкл Уоррен неожиданно показал на вход на лестницу в углублении – за железной калиткой в стене проулка справа.

– Когда я тебя потерял, подумал, ты ушла туда, вверх по лестнице. Там блесть темно и под ногами что-то хрустело – я думал, ухвертки, а оказалось, фантики «Песенок». Наверху блесть кошмадор с братареями, которые играли колыбельную про звезду, а потом меня схватил дьявол.

Филлис кивнула, когда они миновали огороженный альков. Будучи заводилой Мертвецки Мертвой Банды, она знала все тайные проходы и короткие пути.

– Да. Лестница идет в чей-то сон о Ручейной школе, если прально помню. Пока ты внизу, в Двацти пяти тыщах ночей, Ручейная – школа что надо, но во сне там бывает страшно и случается страшное. Особо по ночам, но и днем там не сказать чтоб весело. Не удивляюсь, что там ты эта жуть и нашла.

Они как раз миновали красивый воображаемый фонарный столб, который, на взгляд Филлис, был самым лучшим моментом во всем джитти. То, что в материальном мире было простым цилиндром с мачтой, здесь превратилось в бронзовую скульптуру. Вокруг его оплетал дракон восточного вида бледно-бирюзового цвета, с золотыми проблесками металла и дремотно сворачивался рельефом у основания, где из летней пыли и мокрой жижи торчали клочки ностальгии по траве. На вершине стержня со змеем в четырех сужающихся книзу окошках самой лампы были витражи. Из них

сейчас виднелось только три – тот, что позади, на глаза не попадался, – а так как лампа не горела, то и эти разобрать было непросто.

Левый, если смотреть на фонарь спереди, был украшен портретом джентльмена из восемнадцатого века с простым мужицким лицом, но при этом в пасторском парике, облачении и воротнике. На правом окошке – прозрачное изображение негра с белыми волосами на каком-то устройстве вроде велосипеда, но с веревкой вместо резины на ободьях. Филлис знала, что имелся в виду Черный Чарли, который при жизни обитал на улице Алого Колодца и которого до сих пор можно встретить в разъездах Наверху. Центральный витраж между двумя другими был бесцветным, с одним свинцовым переплетом на чистом стекле. Черными линиями изображалась не настоящая картинка, а грубоватый символ: кривая лента дороги или тропинки и набросок весов над ней – не более чем два треугольника, соединенных прямыми линиями. Это был, как знала Филлис, городской герб Души, и он встречался всюду, хотя она и не знала, что он должен значить.

Майкл Уоррен рядом с ней не обращал никакого внимания на ее любимую лампу, а, судя по выражению, варил в своем котелке очередной дурацкий вопрос:

– Как-как ты сказала? Двадцать пять тысяч ночей? Как в сказках про ковры-самолеты и джиннов в тюрбанах из лампы.

Филлис взглянула на помойное небо над переулком и выпятила губы, на миг задумавшись.

– Ну, эт же истории про всяки чудеса, которые когда-то случились, но больше не повторяются. Ток када грят «дваць пять тыщ ночей», имеют в виду наши истории. Прост сток ночей живет большинство людей, грубо говоря, – лет семьсят, что ль. Канеш, кто-то больше, а кто-то – особо у нас – в разы меньше. Бедный Реджи Котелок замерз насмерть, када спал на старых хранениях у церкви Доддриджа, еще в тыща осемьсот шисятых или семисятых, и блесьть ему не больше тринадцати. Четыре тыщи ночей, плюс-минус пара

сотен. Или вон Марджори, которая залезла в реку на Лужке Пэдди в девять лет, чтоб вытащить свою собаку, дурашка. Собачь-то вылезла живая-здоровая, а Марджори нет. Ее выкинуло на мель под Спенсеровским мостом. Нашли ток на другой день. Три тыщи ночей или около того, вот те и все. Когда грят «двацать пять», эт прост в среднем.

Мальчик вроде бы на какое-то время задумался – возможно, пытался сосчитать, сколько ночей выпало лично ему. По подсчетам Филлис, чуть больше всего одной тысячи, что само по себе еще не повод чувствовать себя обделенным. Встречались здесь те, кто умер во младенчестве и прожил всего пару десятков или несколько сотен дней... и, в отличие от Майкла Уоррена, они не вернулись обратно к жизни, чтобы набрать еще кто знает сколько тысяч ночей, прежде чем уйти окончательно и бесповоротно. До него еще не дошло, как ему повезло. Филлис не впервые подумала, что нынешняя призрачная молодежь не понимает, что умерла в рубашке.

Перед собой и Майклом у стены джитти по левую руку Филлис заметила жаровню миссис Гиббс, где ту бросили Джон и Реджи. Она уже начинала разлагаться на сонный перегной, что скапливался у тротуаров и в углах Души, теряла форму и предназначение, пока ржавеющий котелок распускался разъеденными лепестками от потухших углей в почерневшей сердцевине. Три ноги подогнулись, сливались в единый стебель, так что вся штука напоминала металлический подсолнух, обугленный оттого, что приблизился к солнцу. Во Втором Боро не стоило сидеть сиднем – здесь все менялось и переливалось, и никогда не знаешь, чем в итоге станешь.

Ковыляя рядом, Майкл Уоррен попытался взглянуть на нее, как ему, похоже, казалось, оценивающим взглядом.

– А сколько блесть тебе, когда ты уснерла? Много ночей?

Филлис одарила его таким взглядом, что им можно было и яйцо сварить.

– Не наглей. Неприлично спрашивать у дамы, када она умерла. Старая, как язык, и старше зубов, больше ниче от мя не добьешься.

Ребенок застыдился и слегка испугался. Филлис оттаяла.

– Вот если б спросил, када я уродилась, другое дело. Родилась я в 1920-м.

Очевидно расслабившись, узнав, что не наделал непоправимого, мальчик продолжал расспросы на безопасные темы.

– Ты родилась здесь, в Боро?

Филлис промычала в подтверждение.

– В Ручейном переулке, на горке. Када опаздывала в школу, могла перелезть через забор и попасть напрямки на школьный двор. А в подполе можно блесь убрать пол и поглазеть в темноте на сам ручей, в честь которого Ручейный переулок и назвали. Денег у нас не водилось, но детство у мя блесь самое счастливое время в жисти. Вот че я терь такая. Эт я в своем самом любимом виде.

Четверка впереди добралась до конца проулка, выходящего на Ручейный переулок. Ее Билл и Реджи Котелок уже скрылись из виду – похоже, свернули направо и начали взбираться по холму, – но Красавчик Джон и Марджори еще мешкали, чтобы Филлис и ее маленький компаньон видели, куда все идут. Джон помахал ей от выхода из джитти и показал вверх по Ручейному переулку, чтобы обозначить их с Марджори направление, и Филлис улыбнулась и подняла руку в ответ. Малыш, шаркающий рядом в тапочках, все еще был увлечен ее последними словами о том, что она выглядела так, как ей больше всего нравилось.

– Ну, если это твой любимый вид, почему у тебя на шее квоничы штурки?

Если бы захотелось, Филлис могла бы обидеться из-за того, что в разговоре подняли тему запаха ее украшения, поскольку сама запах уже не замечала. Но Майкл Уоррен начал казаться терпимым собеседником, и ей не хотелось портить отношения, когда те только пошли в гору. Она придержала слабую обиду в голосе и ответила:

– Причин прорва. Кролики тут – волшебные священные животные, как голуби. Кто-т grit, что все место зовется Боро, пушто это похоже на «burrows» – «норы»: мол, улицы запутаны, как

лабиринт, а народ плодится как кролики. Естественно, название появилось не поэтому, но зато видно, что у некоторых в голове. Еще почему я их ношу – в наших краях кролики значат девчонок, а голуби – мальчишек. Абингтонскую улицу раньше звали Кроличьим прогоном, сток там ходило фабричных девчонок, а на углах торчали парни, присвистывали и подмигивали. Еще мне грили, что «кролик» – старое выражение Боро для девушки, пушто у нас кроликов зовут «сопеу» и эт похоже на сиппу, а это значит.. ну, эт плохое слово, те знать еще рано, просто поверь. Ну и, канеш, грят еще, что китайцы, когда на луну смотрят, там, где мы видим мужика, углядывают девушку, и, мол, при ней кролик – вот те еще причина, как кролики связаны с девушками.

Ну а Боро – тут с кроликами все ясно, они всю нашу жизнь обозначают. Их такая тьма-тьмущая на наших пустырях и лугах, что мы считаем их вредителями, – точно так, как о нас думают люди из районов побогаче: мол, скачут в бурьяне и ищут, че бы сожрать, все серые, бурые, черные и белые, все с выводком детенышей мал мала меньше, пушто мы знаем, что природа кой-кого да приберет. Мы считаем их вредителями, кроликов-то, или добрым ужином, и наш папа ходил на них охотиться, а потом приносил домой и свеживал у очага. Мясо мы ели, а шкурки низали на нитку, и как набирали довольно, то мама слала мя на живодерку, где за них давали пару медяков. И блесьть они на нитке, как ожерелье, вот как у мя счас.

Однажды я не сразу пошла к скорнякам, а прикинулась, будто бы я герцогиня в меховой шубке на плечах. Я играла с Комптонскими Девчонками, на Беллбарн и улице Андрея, а в это время в церкви Святого Андрея справляли свадьбу. Мы, канеш, решили, что мы все такие красивые, и пролезли в часовню, чтоб посмотреть со скамейки сзади.

А вонь от моих шкурок шибала такая сильная, что свадьбу остановили, пока нас служки не прогнали. А мне блесьть все едино. Мне шкурки тада нравились и счас нравятся. Сток времени их ношу, что уж и не чую. Дай срок, и сам перестанешь замечать.

Теперь они почти вышли из джитти, где тот встречался со склоном Ручейного переулка. Филлис заметила, как Майкл Уоррен рассматривает старый металлический знак, прикрученный к стене джитти, – черные буквы на белом поле, заляпанном фекально-оранжевым, края таблички окислились и стали ломкой железной вафель. Ни одно слово на знаке не было видно целиком из-за пятен ржавчины, оставалось лишь загадочное послание: «РАСА АЛ Г ОЛОД А». Филлис пришла на помощь и перевела для малыша:

– Терраса Алого Колодца. Ею раньше блесть этот джитти, пока не стал джитти. Вот че за калитки мы проходили справа. Внизу, в трехстороннем мире, к твоему времени эт все уж поносили, тут прост стадион Ручейной школы, но наверху, в коросте сна, терраса еще стоит.

Майкл ничего не ответил на слова Филлис, но вроде бы понял. Они свернули за угол направо, на Ручейный переулок лицом к холму. Из-за открывшегося вида крошечный спутник Филлис встал как вкопанный, прекратив чапать тапочками, и охнул, так что ей пришлось напомнить себе, что ему здесь всё внове. За вычетом Чердаков Дыхания и заднего проулка, который они только что прошли, малыш еще не видел самой Души. Глядя, как на запрокинутом лице сменяются чувства и реакции, она попыталась влезть в его шкуру и вспомнить, каково было ей, когда она только прибыла во Второй Боро и увидела снотворный холм так же, как его видел ребенок.

Очевидно, врасплох мальчика застигло не обыденное обилие фантазмагии Души: Ручейный переулок был примерно таким же, как при жизни Филлис, и даже еще больше таким же. Здесь почти не было сонных штрихов, характеризовавших верхний мир: ни подвальных решеток с почерневшими зубами вместо прутьев, ни меха на брусчатке. Лишь вполне знакомый подъем, но горящий сам собой и лучащийся характером, своей вытоптанной историей, всем светом, которым насытился за тысячу лет существования.

Ручейный переулочек пылал мифологией отбитых черепиц голубого цвета помойной воды, шелушащихся у стыков. Летнее желтое свечение скорого рассвета растворялось, расплывалось в миллионногаллонном небе над дубильней, занимавшей нижний край древнего косогора, через дорогу от Филлис и Майкла, стоявших у входа в переулочек. Высокие стены дубильни из буреющего кирпича с ржавой сеткой на высоких окнах не излучали брутальную ауру, как в царстве живых. Напротив, мягко переливались патиной теплых воспоминаний – словно средневековые клуатры, возведенные забытыми способами, – и встречали уютным ароматом навоза и карамели. За облупившимися деревянными воротами, скрипящими вкось на ветру, виднелись дворы, где в лужах с яркомандариновыми пятнами таились отраженные дымоходы, закопченно-черные и дрожащие. Между огненно-опаловыми водоемами лежали кучи кожаных обрезков, тронутых коррозионным сапфировым цветом, – лазурный пух, собранный громовыми птицами в фантастические гнезда для их легендарного потомства. На потрескавшихся жестяных губах проеденных временем дождевых стоков дрожали бриллиантовые капли, и каждая щепочка и утопленный булыжник пели от своего бесконечного бытия.

Майкл Уоррен стоял зачарованный, а Филлис Пейнтер ждала рядом, разделяя его восхищение, оглядывая сладостный сердцу вид его глазами. Летние звуки района в ее ушах стали насыщенным столпотворением. Продолжительные паузы между пчелиным жужжанием далеких автомобилей, по карнизам натянута щебечущая филигрань птичьего пения, глубоко в ночной глотке стока отдавался серебряный клочок погребенного потока, и все сводилось в единый шелест, шипящую и брнчающую реверберацию цимбал, задетых мягким касанием. На ветру звенел миг.

Выше по холму четыре официальных члена Мертвецки Мертвой Банды карабкались через робкую призматическую дымку, что словно подернула и сгладила – так славно – каждый подоконник и бордюры скошенного переулочка. Согбенные силуэты ребят в тяжелом

подъеме казались точно такими же чудесно типичными, как обшарпанные пороги, мимо которых они плелись, точно такими же незаменимыми в манящей композиции сцены. Билл и Реджи Котелок были ближе к вершине, а Красавчик Джон и Марджори обменивались шутками, проходя мимо входа на улицу Монашьего Пруда, открывающуюся слева по Ручейному переулку на другой стороне от джитти. Обменявшись взглядом, признавая представшее перед ними чудо, Филлис и Майкл полезли по идеальной улице за товарищами.

Затягивая бордовую ночнушку потуже, мальчик широкими шагами пытался не отставать от Филлис и удивленно рассматривал длинную террасу, тянущуюся от подножия холма до гребня, – ряд крашенных деревянных дверей справа, почти непрерывный до самого верха. Наконец он уже не мог сдерживать любопытство.

– Что это за дома? Когда я еще блесьть живой, Ручейный переулок блесьть не такой.

Переставляя одну синюю туфельку за другой на розовой, побитой погодой мостовой на пути наверх, Филлис бросила взгляд на здания, мимо которых они взбирались, с тоскливым выражением на светлом лице.

– Твоя правда, не такой, но блесьть такой в моем детстве. Многие дома поносили еще до войны, и остался один пустырь, где играли ребятишки, пока там не сделали школьную площадку. Твой маленький ряд домов, где ты жил, на дороге Святого Андрея – вот и все, что осталось от целого квартала. Дома блесьть по всей улице Алого Колодца и Ручейному переулку, по всей Криспинской улице до самого верху, а меж ними имелась еще куча улиц, каких терь нет в помине. И Терраса Алого Колодца, из которой мы ток что вышли, а чуть дальше по этой стороне переулка – Ручейная Терраса.

Майкл Уоррен еще слушал, но взгляд его блуждал по противоположной стороне дороги, где открылась улица Монашьего Пруда, убегавшая на север от горизонтальной линии Ручейного переулка. Филлис подумала, что и эта боковая улочка сильно

изменилась, с точки зрения мальчика. Ближе всего к ним, на левой стороне улицы, стояла восточная стена дубильни – ее Майкл еще мог узнать из жизни. Но через дорогу напротив нее, справа от них, на север тянулись два десятка ухоженных порогов, чтобы соединиться с Журавлиным Холмом и нижним концом Графтонской улицы. Два десятка многолюдных семей – наверное, человек двести в своем родимом опрятном ряду, ставшем в дни Майкла Уоррена пустырем из щебня, который местные дети называли «Кирпичи», или же участком фабрики, огороженным забором из гофрированной жести. Только здесь, в магнетических полях снов и памяти, проявлялись старые хозяйства.

У далекого конца улицы, на левой, западной, стороне и находилось то, что, очевидно, захватило внимание юнца. В струящемся из ниоткуда солнечном свете поблескивал широкий пруд, от которого улица и брала название, пересохший внизу, в мире времени, еще в конце 1600-х. У берега стояли и беседовали две неторопливых фигуры в темных рясах, одна из них – с удочкой.

– Эт монахи, – пояснила Филлис Майклу. – Эт монахи, которые давным-давно жили в приорате Андрея, а он блесть там, где терь церковь Андрея, откеда мя выпнули, када кроличьи шкурки развонялись. Из них больше половины французы, и именно один такой пустил королевские войска разорить город восемь сотен лет назад. У нас в основном все прощается, но монахи все-таки не водятся с местными привидениями и держатся наособицу. Хотя иногда самые любители выпить гуливноят по пабам, просто в поисках компании. Здесь не в одной таверне в подвале или кабинке сиживали призрачные монахи, хотя по имени я знаю только одного – Старый Джо, что торчит в «Веселых Курильщиках» на Мэйорхолд. Старый Джо – ненастоящее имя, звать его как-то по-французски, но так уж его кличут люди Внизу.

Майкл Уоррен смотрел на нее в замешательстве.

– Значит, живые могут видеть привидений?

Филлис пожала плечами.

– Кто-то может, но ток если они повернутые, как там всякие мистики, или если совсем рехнулись. Кто много пьет или курит опиум – они тож могут видеть привидений. Вот почему чаще встречаются пабы с привидениями, чем другие места, пушто мертвые любят места, где блесь шанс наткнуться на такого пьянчугу, что сумеет их разглядеть. Но даж те немногие, кто видит привидений, видит их ток тада, когда те гуляют по призрачной стежке.

Улица Монашьего Пруда исчезла позади и слева от них, пока они продолжали путь по приятной и искрящейся мечте о холме. Теперь внимание малыша в тартане было целиком обращено к Филлис.

– А что за стежка?

Филлис не могла не ответить «А то, что ее те нужно на рот пришить и застегнуть, чтоб глупых вопросов не задавал», – старая шутка в Душе, которую озадаченный малыш явно не понял. Она ответила снова, на этот раз серьезно.

– Призрачная стежка – что слышишь, то и блесь. Рванный шов, которым Наверху соединяется с Внизу, тропинка, где гуляют настоящие призраки – все те, кому тут не по духу. Как бы Второй Боро – сверху, Первый Боро – снизу, а между ними – призрачная стежка; как када заходишь в паб, а там накурено так, будто серое одеяло висит и колыхается, када люди ходют. Вот какой этот шов. Ну-ка, а глянь направо. Это Терраса Ручейного переулка, про которую я грила, – одна из улиц, что снесли, чтоб положить стадион.

Они как раз проходили мимо угла, где на юг справа от них стекала терраса с фасадами домов по обеим сторонам от пыльных камней, намазанных тонким маргариновым слоем утреннего света. Но вместо того, чтобы разглядывать улицу-приток, Майкл Уоррен больше заинтересовался углом напротив того, что миновали они с Филлис, – следующим у устья Террасы Ручейного переулка. Взамен дверей и окон с тюлем вроде тех, что начинались дальше по боковой улочке, в этом конце стояла простая кирпичная стена, поддерживающая низкие черепичные крыши, – Филлис знала, что

это зады ряда денников. Пока они продолжали подниматься по Ручейному переулку, оставляя ответвление террасы позади, справа встретились и ворота во двор, в который выходили стойла. Здесь стоял теплый, волосатый, «бовриловый» [66] запах лошадей и еще сильнее – дезинфицирующего средства: хоть Филлис его и не любила, он всегда будоражил ее нос.

Мальчик вдумчиво глазел на закрытые ворота, пока они шли вверх по холму. Пожарно-красный цвет, которым когда-то сияло пожеванное дерево, за прошедшие десятилетия поблек до цвета поцелуя. Филлис объяснила раньше, чем мальчишка успел спросить.

– Кажись, этот двор еще на месте, где ты живой, но ток у тебя эт часть фабрики. А када я жила внизу, тут держали чумную повозку.

Ее призрачная субстанция содрогнулась даже от одного звука этих слов. С самого детства чумная повозка казалась Филлис гостем с ночной стороны Боро. Грохочущая по горбатым проулкам, она представлялась ей одним из тех явлений, что, как смертоведки и монахи-фантомы, присущи только этой местности. Такие вещи многое говорили об отношениях района со смертью, которая кажется дремучим лесом с тиграми маленьким девочкам, что еще наслаждаются лакрично-одуванчиковой жизнью.

Малыш в ночной одежде, шлепая подле Филлис, ответил пустым взглядом.

– А что такое чумная повозка?

Она театрально вздохнула и закатила свое воспоминание о детских глазах. Очевидно, она была права в своем предположении, что пупса растили изнеженным. Филлис думала, что большинство рожденных в пятидесятых росли в тепличных условиях – и тебе наука, и тебе медицина; по крайней мере, по сравнению с ее юностью.

– У тя в голове ток ветер гуляет, что ль? Че такое чумная повозка – такой большой фургон, куда сажали детей с оспой, дифтерией и всем прочим. Свозили их в лагерь у каменного креста, который у Хардингстоуна, – крест тама в честь места, где клали тело королевы

Элеоноры, када ее везли в Лондон. В чумном лагере, на открытом воздухе с остальными больными детьми, они либо мерли, либо выздоравливали. Обычно мерли.

Теперь ребенок смотрел на нее с новым взглядом в голубых глазах с длинными ресницами. Над ними от пасхально-желтого к водянисто-розовому сменялся цвет вспомненного неба Боро.

– А когда ты блесть внизу, от многого болели? Ты от этого умерла? Покачав головой, она исправила его заблуждение.

– Нет. Болезней, канеш, хватало с лишком, но мя они обошли.

Филлис закатала розовый рукав джемпера с грубоватым и деловитым выражением, словно миниатюрный стивидор. Сунув костлявую руку под нос Майкла Уоррена, она показала два белесых пятнышка размером и формой с шестипенсовики, один к другому на бледном мягком бицепсе.

– Помню, как игралась в Боро со своей сестричкой. Мне, наверн, блесть восемь, знач, эт еще в двадцатых. Мы увидали большую очередь к дверям Миссии Ручейного переулка, вон там, где мы все ходили в воскресную школу.

Она показала на противоположную сторону переулка, по которому они поднимались, где коричневые камни бесхитростного фасада миссии несли скромный и смиренный лик почти с сияющей гордостью.

– Раз такая очередюга, думала я, наверняка там что-т дают, вот и встала в конец, и сестру привлекла. Думала, блестут игрушки или какая еда вкусная, пушто в те дни иногда приносили посылки от народа побогаче и раздавали по Боро. А оказалось, все выстроились на вакцинацию, от оспы и дифтерии, вот и нам вкололи.

Она снова развернула рукав джемпера, скрывая шрамы от прививки. Ее юный спутник бросил взгляд через плечо на оставленный позади двор, затем вернул его к Филлис.

– А в других местах в Хворьгемптоне тоже были свои чумные повозки?

В этот раз Филлис не фыркала и не закатывала глаза, услышав наивность, а лишь ответила грустным взглядом. Мальчик не глупый, решила она. Всего лишь невинный.

– Нет, уточка моя. Чумная повозка блесть только в Боро. Больше нигде она блесть не нужна.

На холм они поднялись в тишине. Слева через дорогу было устье Комптонской улицы, убежавшей на север к памяти о Графтонской улице и смутном Семилонге. Надо всем висел золоченый блеск Души, прекрасный и слегка неестественный, как на вручную расцвеченных фотографиях на открытках: двери, тянувшиеся вдаль по каждой стороне улицы, словно только что выкрасили в яблочно-красный или светло-голубой, и смотрели они друг на друга шеренгами, как гвардейцы с грудью колесом в ожидании смотря. Дверные ручки казались скорее золотыми, чем латунными, а из пыльного бежевого мениска летней дороги подмигивали капельки слюды, словно сулили драгоценную жилу. Мы девчонки с Комптон, мы девчонки с Комптон...

Филлис помнила их всех до единой. Кэт Хьюс. Долл Ньюбрук. Элси Гриффин. Две сестры Эвелин и Бетти Хеннел, и Долл Тауэл. Филлис видела их лица ясно, словно они стояли перед ней, помнила их отчетливей, чем многих, с кем сидела в церквях или школьных классах при жизни. Вот они, узы банды. Ими связываешься, когда твоя душа еще чиста, так что они значат не в пример больше, чем религия, или партия, за которую голосуешь взрослым, или если вступишь в вольные каменщики – чем что угодно. Она подавила желание пробежать по призраку Комптонской улицы до номера 12 и позвать гулять Элси Гриффин, и лишь вернула внимание к Майклу Уоррену. В конце концов, сейчас он был ее заданием.

Остальные четверо впереди уже достигли пика холма, где вертикальная линия Кристинской и Нижней Хардингской улиц проходила с севера на юг ровно через вершину Ручейного переулка. Реджи и Билл уже заворачивали за угол фабрики слева, исчезая на Нижней Хардингской, Марджори и Красавчик Джон следовали за

ними в отдалении. Филлис знала, что Джон отстает, чтобы составить компанию утонувшей девочке, потому что у нее были короче ножки и она не могла забраться на склон так же быстро, как он. Филлис думала, что Красавчик Джон – чудесный.

Чуть дальше по холму и справа от них на улицу на дюйм-другой торчал священный камень собственного порога Филлис. Когда они с ним поравнялись, Филлис положила ладонь на тартановую руку Майкла и остановилась, чтобы посмотреть. Она не могла пройти мимо, не отдав дань, даже если молчаливую. Такая была у нее привычка – или греющее душу суеверие.

– Тут я жила, когда жила.

Над четырьмя каменными ступенями выцветала до серого цвета высохшего шалфея оливково-зеленая дверь номера 3 по Ручейному переулку. Дом был узкий и, очевидно, когда-то составлял единое целое с номером 5 – по соседству и чуть ниже по холму справа. Еще дальше в том направлении были забор и задняя калитка Ручейной школы, так что по утрам, когда Филлис просыпала уроки, она могла просто улизнуть через черную дверь, пройти до конца двора, который они делили с домом номер 5, и перелезть через стену, чтобы спрыгнуть прямо на школьный двор. Это значило, что в таблице Филлис всегда были высокие оценки за пунктуальность, хотя и Филлис, и ее родители отлично знали, что, строго говоря, она их не заслуживала.

Филлис помнила, что за старой дверью – с которой пузырями отходила хрупкая краска, раскрывая под собой воображаемые континенты голого дерева, – что за дверью не было ни коридора, ни сеней. Входишь без преамбулы в семейную гостиную Пейнтеров – единственную комнату на первом этаже дома. Из нее в единственное помещение наверху вела винтовая лестница – в спальню ее родителей, а прямо над той был чердак, где спали Филлис с сестрами. По ночам пятницы, когда было тепло, они сидели на подоконнике и смотрели на драки в пабе через улицу, в час

закрытия. Крики и звон плыли через теплый воздух, пахнувший хмелем и медью, кровью и пивом. 1920-е, тогда телевизора не было.

Так как внизу находилась всего одна комната, места для кухни, очевидно, не оставалось – от всей кухни у них были кран с холодной водой и старое жестяное ведро на влажно блестящем бетонном блоке, стоящем на верхней площадке синих кирпичных ступеней, что спускались в подвал. Как и двор, подвал был общим с номером 5 по соседству и потому обширным, со множеством заворотов, закоулков и альковов, где легко можно было и заблудиться. В одном углу – под номером 5, а значит, технически, скорее в хозяйстве по соседству, чем дома у Филлис, – на земле лежала каменная плита, которую можно было сдвинуть только вдвоем. Прижавшись животом к прохладе и угольной пыли подвального пола, можно было заглянуть в короткий черный дымоход-колодец, с танцующими на стенках бледно-серебряными кольцами и рябью, где в темноте ревел вниз по склону ручей, давший название улице. Хотя тайный поток пенился белым и напоминал слюну, Филлис всегда казалось, будто она докторша, которая замороженно смотрит в разрез на шумящую вену – часть водной системы циркуляции Боро, соединяющей Монаший пруд и Алый Колодец. Под районом скрывалось много водоемов, и Филлис казалось, что в воде откладывался осадок всех чувств и переживаний, придающий ручью, холодной свежей дымке, от которой в подвале становилось сыро, горький памятный привкус.

Филлис опустила взгляд искоса на Майкла Уоррена, стоявшего сбоку.

– Знаешь, када я блесть живая, если сильно хворала или тревожилась, мне всегда снился один и тот же сон. Я стою на этой улице, в Ручейном переулке, где мы с тобой счас, и как раз смеркается. Я этого самого возраста, маленькая девочка, и вместо того, чтоб идти домой, просто торчу тут, гляжу, как свет газовой лампы в гостиной становится зеленым и розовым из-за цветных штор, которые мы задергивали на нижнем окошке на ночь. Во сне

мне всегда казалось, что, где б я ни бывала, скока бы мя ни носило и не кидало, – када я здесь, гляжу на свет в розах на шторах, я наконец дома. Я никада не сомневалась, что, как умру, это место блестет ждать меня и все блестет просто здоровски. И вышло, что я, как всегда, права. Ни минуты нашей жизни не теряется впустую, а все снесенные дома, по которым мы скучаем, навсегда остаются здесь, в Душе. И не знаю, че я тогда так переживала.

Филлис шмыгнула и бросила последний пока что взгляд на свою бывшую резиденцию, а потом они продолжили путь. Следующая дверь справа от них и слева от номера 3 принадлежала лавке сладостей Райта, с осадистым эркером, где за маленькими толстыми квадратиками близорукого стекла выше по холму, сразу вслед за дверью с колокольчиком, были разложены товары. В свете того, что этот высший ландшафт был ворохом сонной шелухи, ряд поблескивающих хрусталем банок, казавшихся ожерельем на витрине магазина, был заполнен не настоящими сладостями, а грезами о сладостях. Лежали там шотландские терьерчики из янтарного ячменного сахара с закрученными туловищами, многие – слипшиеся в грозди по девять штук из-за теплого дня, а в банке с радужным шербетом (из него можно было делать сладкий сироп кали) виднелись дополнительные страты разноцветных порошков – светящихся, в отличие от обычных. Сверху лежал лиловатый слой, который было толком не разглядеть, а на дне банки – розоватый, который тоже не давался глазам, но если попробовать его съесть, то кажется, будто у тебя вареный язык. Только шоколадные радужные конфеты казались вполне обычными – пока она не заметила, что две-три выползали из банки по стенке, и не поняла, что это большие божьи коровки с разноцветной посыпкой на панцирях – розовой, белой и синей. Хотя ползучесть и смутила Филлис, из-за сахара на спинках их по-прежнему так и хотелось уплести. Она не ругала малыша, мешкавшего у лавки, за то, что он слишком долго тарасился за стекла витрины, пока Филлис не дернула его за шиворот и не поторопила.

Не успели они заметить, как уже стояли на вершине и смотрели обратно на длинную улицу, где только что забирались. Она знала, что в мире живых Ручейный переулок был и не такой длинный, и не такой крутой, но знала и то, что таким его запоминали маленькие дети, которые канючили и висели на пальто матерей, пока те подгоняли их по непростому откосу. Филлис и Майкл, стоя наверху Ручейного переулочка, глядели на запад через долину, над воспоминаниями об угольном складе на дороге Святого Андрея – полосатом, словно от лучей низкого солнца. За ним была сортировочная станция вокзала, где призрачные клубы дыма, словно духи ушедших поездов, висели над забытыми мертвыми путями, ведущими в крапивные моря, а еще дальше – зеленая денница парка Виктория, окатившая весь дальний край широкого неба лаймовым румянцем, который так и хотелось выпить досуха. Вдоволь насладившись мягким свечением панорамы мертвого мира, оба повернули налево и последовали за Красавчиком Джоном, Биллом, Марджори и Реджи на Нижнюю Хардингскую улицу.

Убегавшая к Графтонской площади, где когда-то была собственность у герцога Графтон, воскрешенная Нижняя Хардингская отличалась атмосферой от окружающих дорог сонного района. Она вспоминалась не в девственном состоянии – с кирпичами и их швами как новенькими, блестяще-оранжевого цвета, словно их раскрасили. Нет, ее с теплом вспомнили из более позднего периода, во время упадка улицы. Там, где когда-то друг на друга смотрели два ряда жилых домов стена в стену, непрерывных, не считая выхода на улицу Купер, поднимавшуюся направо, теперь вдоль левой стороны, расселенной из-за сноса, виднелись щербинки. Некоторые из брошенных домов уже разрушили наполовину – бросалось в глаза отсутствие крыш, вторых этажей и водопровода. На одной высокой стене, ставшей палимпсестом обоев нескольких поколений, на петлях цеплялась дверь бывшей спальни, выходившая больше не к уютному обещанию сна, а на отвесный обрыв с дном из щебенки. Где-то полдюжины домов напротив конца улицы Купер

вообще пропали, на их очертания намекали только останки кирпичных фундаментов, словно разбросанные детали мозаики, торчащие из травы и сорняков, заменивших любимый ковер передней комнаты.

Осиянное элегическим светом Души над головой, запустение казалось не сиротливым или уродливым – скорее печальной и душещипательной поэзией. На Филлис это производило странный успокаивающий эффект. Это словно бы говорило, что кому-то даже замшелые стадии медленного распада до роги во снах и воспоминаниях. Зрелище Нижней Хардингской улицы подтверждало чувство Филлис, что Боро были прекрасны даже во время унижительной и планомерной капитуляции. И пусть к 1959 году и времени Майкла Уоррена эта область внизу стала заросшим пустырем, Филлис не сомневалась, что она сохранится в сердцах местных жителей – по крайней мере, молодых.

Белокурая голова Майкла рядом закинулась, чтобы рассмотреть частично разрушенные фасады, к которым они приближались, догоняя четырех мертвых соратников у неумирающих террас. Мальчика как будто захватывали виды обнаженной перегородки или ажурного камина на втором этаже без пола. Он доверительно взглянул на Филлис, так что она склонилась, приложив ладонь к уху, чтобы послушать, что ему есть сказать.

– Эти дома похожи на мой на дороге Андрея, когда его показывал дьярвиш и я мог заглянуть за стены и видеть, что внутри.

Сама Филлис ни разу не бывала в такой поездке, на которую бес взял Майкла Уоррена, и слышала только пересказы из десятых рук впечатлений тех, кому повезло. Как следствие, она имела самое смутное представление, о чем говорит мальчик, так что ответила с невнятным, но все же знающим хмыканьем. Предотвращая дальнейший разговор, Филлис отвернулась от Майкла к остальной Мертвецки Мертвой Банде, которая собралась на теплых от солнца камнях перед снесенными домами напротив улицы Купер и, очевидно, ждала, когда их нагонит парочка отстающих. Реджи и

Билл коротали время за весьма болезненной на вид игрой в кулачки, пока Красавчик Джон, сложив руки и улыбаясь, поглядывал на нее и ее пижамного мальчика. Утопшая Марджори сидела сама по себе на бордюре и смотрела на спуск улицы Купер к Беллбарн, где проживала перед тем, как, не умея плавать, нырнула в Нен, чтобы спасти собаку, которая, оказывается, умела.

С копошащимся позади Майклом Уорреном Филлис подошла к остальным и немедленно утвердила свой авторитет.

– Так, ну-ка, бросаем это дело. Какое ж это секретное убежище, если мы торчим перед ним на улице у всех на обозрении? Давайте-ка дворами, чтоб нас не заметили, а когда блеснет можно, покажем пареньку логово. Билл, вы с Реджи кончайте и делайте, как велено, пока я вам уши не накрутила. И Марджори, чего развалилась как фон барон? Почечуй схватишь, если так сидеть на тротуаре.

Ворчливо нарушая себе под нос субординацию, мертвые дети прошли через провал в кирпичной стене, где когда-то была дверь номера 19 по Нижней Хардингской улице, и похрустели гуськом через хлам, колонизированный улитками, который когда-то служил залом, гостиной и кухней. Задняя кухонная стена пропала совсем, так что было трудно сказать, где раньше заканчивалось помещение и начинался двор. Единственной демаркацией была приборная линия домашнего мусора, прижатая к единственной оставшейся черте кирпичей, – полоса трогательно знакомых и уютных отбросов. Лежала там кукольная головка из твердой старомодной пластмассы, коричневая и хрупкая: один глаз мертвый и закрытый, второй – раскрытый широко, словно с него соскользнуло пенни гробовщика. Сломанный пивной ящик и шасси коляски бок о бок с одинокими туфлями, смертельным горлышком склянки из-под молока и одной-единственной влажной и расплзшейся газетой «Дейли миррор» с вызывающим заголовком «Ну и, эк скалица», хотя статья под ним была о кризисе Суэцкого канала.

Преодолев шаткую полосу препятствий внутренностей дома без крыши, банда наконец выбралась на остатки общего заднего двора,

который когда-то охватывал номера с 17 по 27 на Нижней Хардингской. Это была область в 30 метров шириной, сползавшая лавиной высокой сухой травы к осыпающейся стенке в двадцати метрах ниже по склону. К этой нижней границе, местами обвалившейся оползнем кирпича цвета сомон, прислонились остатки двух двойных туалетов, а тут и там на заросшей площадке среди пожелтевших побегов компостировались до состояния сонного навоза горы мусора. Филлис позволила себе легкую самодовольную улыбку. Если не знать, где искать, то скрытое логово Мертвецки Мертвой Банды ни за что не разглядишь.

Она повела банду и Майкла Уоррена вниз по склону, мимо покосившейся кучи гофрированных железных листов, выброшенных дверей от шкафов и расплюснутых картонных коробок. Примерно на полпути вниз она остановилась и гордо показала на кустистый откос, обращаясь к Майклу:

– И что думаешь?

Растерявшись, Майкл прищурился на экран из пожухлых былинок, а потом на Филлис.

– О чем? О чем я что думаю?

– Ну, о нашем логове. Поди. Встань поближе и глянь как след.

Застенчиво подтягивая пижамные штаны, мальчик наклонился, как ему и сказали. Через какое-то время он издал слегка разочарованный возглас, когда что-то обнаружил, – и, судя по реакции, ничего особенно интересного.

– Ой. Ты про это, про кроличью вору?

Он показал на мелкую ямку всего несколько дюймов шириной, и Филлис рассмеялась:

– Да нет! Эт как бы мы туда влезли? Не, погляди еще справа.

Она дала ему с миг покопаться в пустой области по левую сторону от норки, а потом пояснила, какое «право» имела в виду. Он продолжил поиск и почти немедленно обнаружил то, что должен был обнаружить, хотя в голове у него, судя по голосу, по-прежнему ничего не прояснилось.

– Это скокпит срамолета, который воткнулся в землю?

Очевидно, что нет, но понятно, откуда у мальчика взялось такое впечатление. На самом деле он смотрел на зеленоватое лобовое стекло из плексигласа от мотоциклетной коляски, которое вкопали в склон, а потом замазали бурой грязью, чтобы скрыть все следы. Это была идея Красавчика Джона – штришок из его армейского прошлого.

– Не. Эт окошко нашего логова. Как-то раз мы тут играли и нашли кроличьи ходы, и решили, что они все ведут в одну большущую нору. Мальчишки притащили лопаты, и мы зарылись под теми листами железа в холм. Не сразу, но наконец мы проломилась в лабиринт кроликов, но там уже блесь пусто. Мы сломали все стенки и копали, покамест не получилась большущая воронка, будто сюда снаряд угодил. Потом мы расширили самую большую кроличью нору, чтоб было окно, и поставили стекло от коляски. Приволокли старые двери с округи и наложили на яму, чтоб блесь крыша, а со стороны казалось, что эт ток куча хлама.

Она кивнула, и Реджи Котелок вернулся на пару метров по высокой траве крутого двора туда, где находилась как будто обычная гора мусора. Согнувшись так, что уронил с головы побитую шляпу, он шарил по хламу, пока пальцы не нащупали край старого фанерного экрана. Ухнув от натуги – сказать по правде, Филлис показалось, что он переигрывает, – он оттащил заляпанную грязью деревянную перегородку, царапая по гофрированному железу, и обнажил непроглядную тьму входа в туннель. Наклонившись вернуть упавший котелок, Реджи сел на краю ямы, болтая в темноте бледными ногами, а потом гибким движением, словно горностаи, скрылся из виду.

Подождав, пока Реджи найдет и разожжет единственную свечку Мертвецки Мертвой Банды, дальше Филлис отправила в подземную берлогу Билла и Утопшую Марджори, а за ними последовала сама с Майклом Уорреном, тогда как Красавчик Джон шел в арьергарде,

потому что единственный был достаточно высоким, чтобы дотянуться до фанерного листа и задвинуть за ними на место.

Землянка была приблизительно округлой формы, метра два в ширину и полтора в глубину, с утопанным полом и боками из утрамбованной почвы. Впалую стену прокопали вглубь, чтобы получилась полочка и всем было место присесть, пусть и без удобств. Та же полочка, обходящая все логово по периметру, служила схроном, для чего ее специально углубили в южном конце дуги. Там хранились сокровища банды, пусть их и было немного: два распухших от воды журнала Health and Efficiency [\[67\]](#) с черно-белыми блондинками за игрой в пляжный волейбол на покоробленных обложках, которые включили в казну по требованию Билла и Реджи Котелка; пачка из-под десяти сигарет «Кенситас», где еще осталось три папироски, хотя картинку на пачке запомнили неправильно, так что напыщенный дворецкий прижимал палец к носу, а там, где должно было быть название Kensitas, было написано Sea Stink – «Морская вонь»; коробок спичек с капитаном Уэббом, переплывшим канал, и, наконец, их свечка. Она прикипела воском к растресканному блюдцу и являлась единственным источником освещения в логове, если не считать зеленоватое подводное мерцание, что просачивалось через грязное стекло в западной стене.

Они расселись кружком на узком круговом карнизе с трепещущим на довольных рожицах пламенем свечи, причем только ножки Майкла Уоррена не доставали до земли. Носки его тапочек болтались туда-сюда в жалких дюймах от заплесневелого обрезка ковра, накрывавшего бо́льшую часть вытопанного пола из черной грязи. Он казался таким маленьким, что у Филлис внутри чуть не шевельнулось что-то вроде любви, и она с обнадеживающей улыбкой обратилась к нему.

– Ну как? Че думаешь?

Она не дожидалась ответа, потому что никто не сомневался, что он думал – что любой бы подумал. Это самое лучшее логово в Душе, и

Филлис это сама знала. И ведь они еще даже не показали самого лучшего в землянке, а он уже казался загипнотизированным. Она продолжала свою одухотворенную кипучую тираду.

– Неплохо, а, для банды детишек? Ведь это мы всё сами сделали, а? Так, терь я объявляю заседание Мертвецки Мертвой Банды открытым, чтоб решить, че с тобой делать. Как по мне, ты загадка, которую надо разгадать, а то ты и дьяволы таскают, и зодчие дерутся, и еще ты в пятницу оживаешь. Словом, те подвезло, что ты встретился с нами, пушто мы лучшие сыщики во всех Боро, скок не ищи!

Утопшая Марджори удивленным тоном переспросила: «Правда?» Но Филлис пропустила это мимо ушей.

– Так, первым делом разузнаем, кто ты такой. Не имя, эт ты нам уже сказал, но кто твои родные и чейный ты блесь. И я не ток про дорогу Святого Андрея, а про всё до этого. А то всё, что творится в мире, все, кто рождаются, – эт часть рисунка, и рисунок тянется задолго до нашего появления и продолжается надолго после нашего ухода. Если хошь узнать жизнь, нужно видеть весь рисунок, а знач, надо глянуть на все повороты и завороты в прошлом, из-за которых твой рисунок стал таким, каким стал. Проследить линии до начала, смекаешь? На годы, а то иногда и века. Далеко нам придется забраться, пока не поймем, что с тобой творится.

Мальчик уже впал в уныние.

– Нужно идти обратно по большому пассажиу на долгие годы? Ведь даже один день занимает много миль.

Утопшая Марджори, сидевшая с другого бока от Майкла Уоррена на утрамбованной грунтовой лавке, повернулась, чтобы успокоить его, и по каждой линзе неприглядных очков от Национальной службы здравоохранения мазнул танцующий огонек свечи. Ее выпученные честные глаза потерялись в лужицах отраженного пламени.

– Это бесполезно. Во Втором Боро все не так, как внизу. Это же только сон о том, как все блесь, так что можно пройти по Чердакам

целую вечность и так и не узнать ничего стоящего. Только мысли и фантазии, не имеющие дел с реальной жизнью.

Так и слышалось, как тикают механизмы в голове малыша, пока он обдумывает сказанное.

– Но разве нельзя посмотреть в большие квадратные дырки и увидеть, что в них внизу?

Здесь вперед подался Красавчик Джон, и в гало свечи показалось его героическое лицо.

– Все, что мы увидим, – самоцветник, твердые формы, которые люди оставляют за собой, когда движутся во времени. Признаю, если подольше их изучать, более-менее можно разобрать, что к чему, но это займет целую вечность, а в голове, скорее всего, так ничего и не прибудет.

Мальчишка теперь, очевидно, задумался так крепко, что Филлис испугалась, как бы его белобрысая головушка не раздулась и не лопнула на кусочки.

– Ну а если мы залезем в чердачные дырки, как я с дьяволом? Тогда мы всё увидим нормально.

Тут насмешливо фыркнула Филлис:

– И, знач, люди с кишками и костями наружу – это нормально? Да и все равно не всякий может так просто прокатить тя в нижний мир. Эт колдунство ток для чертей и зодчих. Не, если мы хотим найти про тя все улики и зацепки, блесть ток один верный способ. Нам поможет наш секретный проход, который ведет из Души вниз. Эт честь достается те, Реджи.

Поднявшись на ноги в полуприседе и все равно царапая гофрированную жестяную крышу землянки котелком, долговязый викторианский беспризорник предстал в свете свечи странной, фантастической фигурой, в своем пальто от Армии спасения, болтавшемся у белых мосластых коленей. Он присел на корточки, напомнив паука-прыгуна, и начал скатывать с одного конца плесневеющий лоскут половика. Когда-то на нем был узор – что-то с ромбами двух оттенков коричневого, – но во мраке и гнили рулона,

который толкал Реджи Котелок, остались лишь слухи о рисунке. Пока он занимался делом, Филлис заметила, что Майкл Уоррен и остальные члены банды постепенно отползают от нее по твердому черному карнизу, на котором они примостились. Не сразу осознав, что их отпугнул аромат кроличьих шкур в замкнутом пространстве, она пренебрежительно вскинула голову и забросила конец мехового украшения через плечо, словно актриса в мантию. Ничего, потерпят минуту-другую. Скоро все будут там, где вообще ничем не пахнет.

Обрезок ковра теперь стал волглой сигарой в стороне закругленной ямы, обнажив разошедшееся красное дерево старой двери гардероба, вдавленной в почву и ранее скрытой цветным половиком.

– Подсоби, Джон, – это сказал Реджи, запуская грязные ногти в рыхлую землю у одного конца вкопанной двери, нашаривая, где бы ухватиться. Красавчик Джон поднялся, как мог, под низким потолком, а потом встал на колено с другой стороны обшарканного дощатого прямоугольника, сунув пальцы в щель между дверью и почвой, как Реджи. На счет три и с одновременным кряхтеньем Джон и Реджи Котелок с усилием скovyрнули и откинули дверь набок.

Словно кто-то включил телевизор в темной комнате. В тесную землянку хлынул поток перламутрово-серого цвета, проливаясь рассеивающимся лучом с четкими краями через неровную дыру, скрытую под дверью платяного шкафа, скрытой, в свою очередь, под отсыревшим ковром. Майкл Уоррен охнул с непривычки. Теперь снизу лица всех мертвых детей подсвечивало как будто погребенным звездным светом, и в свече больше не было необходимости. Филлис схватила в щепоть огонек и за свои старания осталась со второй кожей из горячего воска на указательном и большом пальцах. Мертвецки Мертвая Банда и их почетный член в пижаме сползли с усуженных земляных насестов, присев кругом жемчужного огня из отверстия, и безмолвно заглянули вниз.

Бездна, всего метр в ширину, казалась замочной скважиной, через которую можно было подсматривать в сиятельное королевство фейри под землей – подробный ландшафт, таящийся под ныне откинутой крышкой волшебной музыкальной шкатулки. Цвета внутри не было. Все казалось черным или белым – или одного из десятков нейтральных оттенков между ними.

Они смотрели сверху на серебристый пяточок пустыря с кочками глинистой почвы, из которой росли живые монокромные лютики и кипрей. Между россыпью влажно-серых кирпичей проталкивала свои стебли жестяная трава, а дождевая вода, собравшаяся в перевернутом колесном колпаке, отражала только полосы зыбкой дымной тени и свинцовые облака. Как будто какой-то неумеха случайно щелкнул затвором камеры, пока объектив был направлен на землю под ногами, и сделал снимок без всякого смысла, зато с удачным освещением и четкой детальностью. По фотографии мира под их взглядами, хоть та и была трехмерная, даже пролегали вдоль и поперек белые сгибы, словно на свадебной карточке, сунутой в забитый ящик комода, хотя при ближайшем рассмотрении, как знала Филлис, сгибами окажутся траектории призрачных насекомых, что поблекнут прямо на глазах через пару мгновений.

Майкл Уоррен поднял взгляд от ландшафта на выгоревшей платине, и, когда вопросительно уставился на Филлис, его подбородок залило снизу фотоальбомное свечение. Он переводил глаза с нее на немое кино за дырой в форме кляксы и обратно.

– Что это?

Филлис Пейнтер уложила на тощих плечах свой кровавый патронташ из кроличьих шкурок поудобнее и, отвечая, не могла не ухмыльнуться с самодовольством. Что, найдется на всех небесах компашка шустрых мартышек с таким же хитрым лазом, как у Мертвецки Мертвой Банды?

– Это призрачная стежка.

Внизу из угла открывшейся мизансцены серый ветерок принес пустую заляпанную жиром обертку из-под чипсов. Словно из-за

передержки, на дальнем конце зернистое и ностальгическое изображение пустыря растворялось в ослепительно-белом цвете. Один за другим мальчишки и девчонки спустились в зебровую и далматинскую рябь призрачной стежки, в выцветший дагеротип вспомненного мира – мезонина смерти.

Алый колодец

Прямо в кроличью нору и за дверь платяного шкафа: Майклу казалось, что это правильный и зарекомендовавший себя путь в другой мир, – только, хоть оживи, не понимал, почему ему так казалось. Наверно, вспомнилось что-то похожее из старой сказки, которую ему когда-то читали, или он уже начинал привыкать к порядку вещей в этом новом необычном месте, где он затерялся.

После переполоха и всполохов его похищения ужасающим Сэмом О'Даем, а затем спасения жутковатыми голодранцами Мертвецки Мертвой Банды он решил, что самым лучшим будет относиться к происходящему как ко сну. Признаться, длился этот сон уже неуютно долго – как когда выходишь на двор и обнаруживаешь, что дюжина мыльных пузырей, которые ты выдул три дня назад, все еще кружатся у стока, – и в глубине души Майкл понимал, что это вовсе не сон. И все же благодаря всем краскам и странностям несложно было притвориться, что он грезит, а это все же лучше, чем напоминать себе каждый миг об истинном положении дел – что он мертв и оказался в задрипанной, но знакомой загробной жизни с чертями и детьми-привидениями. Считать это кошмаром или сказкой куда проще.

Впрочем, это не значит, что и такое отношение давалось без усилий. Он обнаружил, что приходится постараться, чтобы не замечать все признаки того, что это больше, чем затянувшийся сон, – например, какими реальными казались люди. Люди во снах, как заметил Майкл, обычно вовсе не такие сложные, как настоящие, и вполнину не такие непредсказуемые – обычно поступают так, как от них и ожидаешь. На взгляд Майкла, их и людьми-то не назовешь. С другой стороны, люди, встреченные в Душе, казались такими же непонятными и неподдельными, как его собственная семья или соседи. Тетя, что спасла его от демона, – миссис Гиббс, которую называли смертоведкой, – она же не менее реальна, чем бабка Мэй.

Что там, из этих двух женщин, решил Майкл, миссис Гиббс даже правдоподобнее. Что до Мертвецки Мертвой Банды, то они были реальны как ссаженная коленка – со всеми своими условными знаками, потаенными тропками и запрятанной землянкой, всяческими забавными пустяками, благодаря которым они были собой. Даже если все это каким-то образом окажется сном, лучше уж держаться этих мертвых детей, ведь они хотя бы на вид знали, что делали, и явно ориентировались в окрестностях.

Но призрачная стежка, свет из которой сиял через дыру размером с гардеробную дверь в полу логова, – поход в нее казался хулиганством. Ровно тем, на что подбивают дети постарше, чтобы ты попал в неприятности. Разве тамошние фантомы не против, что по округе носится банда шалопаев и докучает им даже после смерти?

По указке Филлис Пейнтер они полезли в светящийся прямоугольник, и возглавил их взрослый мальчик приятного вида по имени Джон. Майкл решил, что это наверняка потому, что Джон самый высокий и ему легче спрыгнуть в черно-белый мир. Как только Джон встанет на ноги, он поможет свалиться за ним меньшим членам банды. Следующим был мальчик в старомодной одежде с веснушками и шляпой-котелком, а потом рассудительная девочка с очками, которую называли Утопшая Марджори. За Марджори последовал ребенок с рыжими волосами – его Майкл принимал за младшего брата Филлис Пейнтер, – после чего в телевизионном мерцании убежища – где из-за бесцветного света, проливавшегося из-под земли, пляж у тетя на обложке Health and Efficiency казался серым и холодным, – остались только они с Филлис.

Майклу казалось, что он проникался симпатией к раскомандовавшейся Мертвецки Мертвой девчонке, особенно после того, как она вернулась и спасла его от гадкого дьявола, а не просто бросила, как он уже боялся. Майкл решил, что для девчонки она вроде ничего. Но хоть она и выросла в его глазах за последний час и даже несмотря на то, что он постепенно привыкал к вонючей ее шарфа с кроликами, Майкл обнаружил, что оказаться с ней в таком тесном

пространстве, как логово, – это чересчур. Потому он не возражал, когда Филлис объявила, что пришел его черед нырять в нору. Если честно, ему даже не терпелось вновь оказаться на свежем воздухе, хоть Майклу уже и не было нужды дышать, как раньше. Но сидеть с ней в землянке – как быть похороненным в гробу, полном хорьков.

Филлис велела лечь на живот, чтобы постепенно спустить его ногами вниз, крепко придерживая за клетчатые рукава на случай, если он соскользнет. Когда полпути было пройдено, а в логове торчал только его торс, он почувствовал, как внизу его подхватили сильные руки. Он доверился им настолько, чтобы опустить ниже уровня пола убежища голову, все еще цепляясь потными ладошками за жесткую землю у края ямы.

Он словно неожиданно нырнул под воду. Свет казался другим, и из-за него менялось то, как ты смотрел на мир: все казалось резким и кристально ясным, но лишилось цвета. И ощущения в этом новом уровне загробной жизни казались другими – здесь словно было холоднее, хотя Майкл сомневался, что это правильное описание. Скорее, будто в мире Наверху он купался в липкой памяти о летнем тепле, тогда как здесь температура вообще отсутствовала. Ни жарко, ни холодно. Просто никак. То же относилось к запахам. Ужасный душок кроликов Филлис Пейнтер растворился, стоило носу Майкла нырнуть под пол убежища, и он обнаружил, что не чувствует вообще ничего. Мир, где он болтался, пах не сильнее стакана воды из-под крана. Даже поднявшиеся вокруг окружающие звуки призрачной стежки напоминали звук заведенного граммофона бабули, если бы тот играл в картонной коробке.

Уверенная хватка – как оказалось, Джона – переместилась выше и сомкнулась на щекотливом пузике Майкла, а в следующий миг он уже стоял на беловатой траве, что росла в стране привидений. Всё вокруг словно нарисовали китайской тушью или углем, и, к своему удивлению, он обнаружил, что снова оставляет за собой при движении следы, хотя уже не яркие бордовые тартановые шлейфы, что отрастали из него во время полета с дьяволом. Исчезающие

образы теперь выглядели мягкими и серыми, как голубиные перья. Моргая, он озирался в этом причудливом месте, пытаясь понять, нравится ему тут или нет. Он пришел к выводу, что бесцветные одуванчики довольно неприятны на вид, а от белых ос – полосатых, как летающие леденцы, – у него пошла кругом голова.

Тем временем Филлис Пейнтер с напыщенным видом придерживала свою простую голубую юбку – уже просто черную, – пока Джон снимал ее, по-джентльменски отвернувшись, из землянки в холмистую пустошь, где стояли остальные. Спускаясь, Филлис стянула на дыру над собой обрезок ковра – дверь платяного шкафа, очевидно, была непосильной для одного человека. Так как обратная сторона ковра и так уже была неразборчивого и мутного цвета, вход в логово удачно маскировался под пасмурное небо Боро, в котором висел рваной дырой, прорезанной в воздухе в нескольких метрах над редкой травой и неровной землей. Пока Джон помогал Филлис, Майкл продолжал изучать удивительное царство газетного цвета кругом.

Майкл и остальные дети вроде бы стояли в том же месте, где в снотворном, залитом красками мире Души, откуда они только что слезли, находилось логово Мертвецки Мертвой Банды, но эта версия, которую теперь осматривал Майкл, казалась другой, и не только из-за черно-белого цвета, глухого звучания и отсутствия запаха. Самое большое впечатление на мальчика произвела перемена в атмосфере. Теперь было почти невозможно притворяться, что он спит, потому что это и близко не напоминало сон. Ландшафт сбегającego перед ним склона казался слишком запущенным и унылым, чтобы не быть настоящим.

Исчезли здания между улицей Монашьего Пруда и Нижней Хардингской: и все теплые и светящиеся воспоминания о домах, которые они прошли, пока взбирались по Ручейному переулку, и все наполовину снесенные жилища, через которые они пробирались на общий двор, где Мертвецки Мертвая Банда устроила свое тайное убежище. Как и не было. Теперь на их месте – лишь выцветшее

былье и беспорядочные копченые кусты, торчащие из куч обломков. Майкл не видел даже слабых очертаний на месте бывших стен и границ.

Вся Комптонская улица, что лежала примерно на середине наклонного пустыря, пропала без следа. На ее месте слева направо от него по бурьяну бежала непокрытая тропинка из серой блестящей грязи. Теперь он узнавал места, тогда как сияющие улицы Души казались незнакомыми: так здесь все было при жизни Майкла. Это разбомбленные окраины Боро, где играла его старшая сестра Альма и которые она называла «Кирпичами».

Он чувствовал себя очень непонятно – будто попал в мутную фотографию этого года, 1959-го, в мятый старый снимок, на который смотрят через столетие, когда ни его, ни единого его знакомого уже нет. Он чуть не расплакался от одной мысли об этом – о том, как быстро все кончается и как любая жизнь с са́мой минуты рождения, считай, все равно что уже прошла. Дальтонический пейзаж спускался от него на запад, где на оползнях залитой солнцем земли, полыхающей едва ли не ослепительно-белым цветом, шуршала и покачивалась почти черная крапива. Майкл обернулся к членам Мертвецки Мертвой Банды, которые уже в полном составе спустились с небес на землю.

Слева от Майкла стояла Филлис Пейнтер с таким видом, будто она не меньше чем Наполеон, поглаживая подбородок и осматривая свои войска. Маленькая ручка, поднятая к лицу, оставила за собой в воздухе страусиный плюмаж серых и белых силуэтов.

– Ну че, ребзя. Назад на Ручейный переулок и на Криспинскую улицу? Сводим нашего почетного члена по улице Алого Колодца до его дома на дороге Андрея. Джон – ты иди вперед и выглядывай неприкаянных. Билл и Реджи, вы будете позади и держите ухо востро, чтоб не подкрались никакие чокнутые призраки. Помните, мы по всем годам над многими подшучивали, и они нас не любят. Кое-кто безобидный, но если увидаете Мэри Джейн или старого

Томми Удуши Кошку, то бегите во весь дух. Если разделимся, потом встретимся на Мэйорхолд, где Стройка.

Майклу показалось, что это звучит тревожнее, чем обещанная ему приятная прогулка. Что еще, интересно, за неприкаянные? И за что человека могут назвать Удуши Кошку? Тем не менее он последовал за остальными детьми, поднимающимися по скошенной пустоши цветов таблицы настройки обратно к тому, что осталось к 1959 году от Нижней Хардингской улицы. Майкл пытался преодолеть особенно крутой участок склона, уцепившись за пучок вьюнка, но обнаружил, что его пальцы прошли сквозь белые бутоны-трубочки и толстые серые вены стеблей, словно Майкл теперь весь сделан из сигаретного дыма, а не только такого же цвета. Он решил, что это логично, если растения настоящие, а он призрак, но как же тогда быть с землей, по которой он карабкался? Почему он со всеми новыми мертвыми друзьями не провалился куда-нибудь в Австралию? Он решил спросить Филлис, шебуршившуюся по склону выше.

– А почему сермяга твердая, а все остальное тайманное?

Он скривился, раздосадованный, что язык снова играет шутки. Кажется, чаще всего это происходило, когда он нервничал, и, по-видимому, сейчас его вывели из равновесия разговоры о чокнутых призраках и душителях котов. Филлис поморщилась на Майкла через бледное шерстяное плечо джемпера, который казался теплого оттенка серого, хоть он и знал, что на самом деле тот розовый, как молочный коктейль. Ее спина дымилась размазанными остаточными образами.

– Умеешь ты задавать дурацкие вопросы. Все, что стоит на земле, – не ток трава с деревьями, но и дома с людьми, – оно здесь недолго. Ток месяц, год, век или что там, не больше. Их когдаты едва ли хватат, чтоб оставить отпечаток на мирах повыше. Кое-где, как в церквях Святого Петра или Гроба Господня, которые стоят веками, пройти сквозь стены трудно, так они уплотнились от времени. На Овечьей улице растет бук – он тут уж восемьсот лет, такшт об него и

шишку набить можно. По сравнению с этим проходить через фабричные стены или чьи дома – раз плюнуть. Пролетаешь, будто из пара сделан. А этот склон, по которому мы идем, – он тут уже миллион лет, поэтому твердый даже для привиденья. А терь не хлопай варежкой, пока не влезем.

Долго подниматься не пришлось, и вскоре вся банда вновь собралась на потрескавшихся каменных плитах мостовой Нижней Хардингской. Майкл с радостью отметил, что дома на другой стороне улицы все еще обитаемы и поддерживаются в надлежащем состоянии, а улица Купер по-прежнему мягко поднимается к Беллбарн и церкви Святого Андрея, хоть ее ближайшую сторону к месту, где он стоял с детьми-привидениями, снесли. Над улицей с широкого простора холодного серого неба – которое наверняка было бы по-летнему синим, если смотреть на него живым, – палила полированная кастрюльная крышка серебряного солнца. Тут и там попадались маленькие белые облачка, словно на промокашку накапали перекисью.

Пестрой вереницей банда фантомных детишек направилась по старомодной кинохронике улицы обратно в Ручейный переулок, и за каждым струился ряд исчезающих двойников. Как и было велено, маленький Билл и Реджи как-там-его сторожили сзади, пока Филлис и Утопшая Марджори шли бок о бок посреди растянувшейся линии, погружившись в хихикающий женский разговор, перемежавшийся быстрыми взглядами украдкой на ничего не подозревающего высокого паренька Джона, который шагал впереди всех.

Майкл пытался присоединиться к Марджори и Филлис, чтобы поболтать с кем-то знакомым, но Филлис тряхнула челкой, отчего мотнулось туда-сюда ее ожерелье из пушнины, и заявила, что у них «частный разговор». В свете того, что он еще не знал, как относиться к шkodливому Биллу или суровому Реджи, Майкл поспешил нагнать Джона, вышагивающего с героическим видом перед растрепанным шествием. Самый старший член Мертвецки Мертвой Банды казался Майклу надежным и приличным парнем. Тот оглянулся и

дружелюбно усмехнулся при виде одетого в пижаму ребенка, спешившего сзади, чтобы трусить у него под боком.

– Привет, мелкий. Что, Филлис тебя построила, да? Не обращай внимания. Пошли вместе. Никогда не знаешь, вдруг чему научимся друг у друга.

Чтобы угнаться за длинными ногами и широким шагом Джона, Майкл едва ли не скакал вприпрыжку. Ему очень нравился взрослый мальчик. Хотя бы потому, что Джон казался первым встреченным здесь существом, которого не станут раздражать вопросы Майкла. И Майкл решил испытать это предположение.

– А что такое Филлис сказала про неприкаянных? Это плохие привидения, и они нас схватят? Это их ты высматриваешь?

Джон обнадеживающе улыбнулся:

– Они не такие уж плохие, не подумай что. Просто по той или иной причине не могут найти себе место в загробной жизни. Им не хочется опять возвращаться в жизнь и их не тянет наверх в Душу. Кому-то кажется, что он не заслужил, а кому-то просто больше нравится здесь, где все знакомое – пусть и черно-белое, ничем не пахнет и все такое.

Лицо красавца посерьезнело.

– По большей части они безобидные, эти ребятки, но блесть парочка иных. Они пробыли здесь так долго, что крыша поехала, либо с самого начала была не на месте. Еще блесть те, кто слишком налегает на призрачную выпивку – они называют ее Паков пунш. Они страшнее всех видом. Не могут себя поддерживать, так что у них в телах и лицах бардак, как на лотке на распродаже, и на них постоянно находит ярость. Старый Удуши Кошку – он один из них, и я прямо скажу: если призрак даст тебе затрещину, ты ее еще как почувствуешь.

Джон в доказательство мягко ткнул Майкла пальцем в плечо, и, хотя больно не было, мальчик мог представить ощущения, если бы Джон приложил силу. Удовлетворенный, далее Джон вытащил концы фосфоресцирующей рубашки из шортов по колению, подтянул ее

вместе с пуловером, чтобы показать живот. Сразу под грудной клеткой на правом боку Джона был тусклый серый свет, который как будто периодически пульсировал под кожей, словно у Джона в животе был маленький фонарь.

– Вот куда угодил сапог Мэри Джейн, когда мы ее недавно разыграли. Такой призрачный синяк рано или поздно сойдет, но, думаю, если наловишь их достаточно, то оправиться твоему духу блестет не просто.

Джон закатал рубашку и заправил назад. Из-за этого у талии осталась кипящая метель из призрачных рук и рукавов, которая улеглась через мгновение.

На другой стороне Нижней Хардингской улицы с приглушенным скрипом открылась дверь и из нее показалась сердитая женщина лет сорока, а также донесся краткий обрывок музыки из радио, играющего где-то в доме. Майкл узнал песню – американская. Ему казалось, она называется «Как там вдела Вере» [\[68\]](#), но она оборвалась, когда женщина захлопнула за собой дверь и заспешила по террасе – воинственно сложив руки, с завитой прической, кивая головой, как клюющая птичка. Остановившись у соседей в нескольких дверях дальше, она постучала в дверь, и почти тут же ее впустила высокая тетя с короткими волосами – то ли светлыми, то ли седыми. Ни одна из женщин не оставляла за собой следа при движении и не уделила банде детей, бредущих по противоположной стороне улицы, никакого внимания.

– Они еще живые, поэтому нас не видят, – заговорщицки пояснил Джон. – Можно отличить, потому что за ними нет хвостов, как у нас с тобой, – тут он помахал рукой, так что она распустилась веером, как колода карт, и лишние конечности задержались на миг, прежде чем исчезнуть.

– Если увидишь кого без хвостов и кажется, что они тебя заметили, – наверняка это кто-то спит и видит сон. Здесь, на призрачной стежке, они попадают не так часто, как Наверху, но время от времени парочка забредает, и им снятся черно-белые сны.

Многие при этом только в майке и трусах, а то и вовсе голые. Если увидишь одетого, кто смотрит прямо на тебя, но картинок за ним не остается, – то это такие редкие типы, которые живые, но могут видеть всякое. Если они пьяные или приняли наркотики, или если они чудики, то иногда могут тебя заметить. Чудики или поэты, все одно. Чаще всего они сами не поймут, что видят, и отвернутся.

Шагая рядом с Майклом, пока тот пытался идти с ним в ногу, Джон опустил взгляд на мостовую под ботинками и нахмурился, словно вспомнил что-то нехорошее.

– А всякие ясновидящие и свами – ерунда на постном масле. Смотрят прямо сквозь тебя, а сами рассказывают твоей маме, какой у тебя счастливый и довольный вид, что ты не страдаешь. Кричи, сколько влезет: «Мам, меня взорвали, и это было ужасно!» – но она не услышит. И они не услышат, шарлатаны чертовы.

Хотя раз я сходил на сеанс, который устроила у себя в салоне одна старушка. Она только и делала, что прикидывалась и говорила всем, будто их любимые рядом, хотя никого там не блесть. Только я – я был единственным привидением, ну я и встал прям у нее перед глазами, и чтоб меня разорвало – увидела! Посмотрела на меня и ударилась в слезы. Тут же объявила, что сеанс окончен, и отправила всех по домам. После этого бросила свое столоверчение. Ни разу не созывала собраний, и вот она – единственная, кого я встречал, чтоб блесть настоящая.

Впереди приближался верх Ручейного переулка: древняя улица убегала направо с места, где Нижняя Хардингская превращалась в Кристинскую после пересечения перекрестка. Пустырь, возле которого они шли, был забран здесь сетчатым забором, а за ним виднелось начало какого-то строительства. По ту сторону забора стоял большой знак, прислоненный к стальным лесам, гласивший о том, что вся огороженная территория принадлежала какому-то Кливеру, который скоро построит здесь фабрику.

Джон шел рядом с Майклом, составляя ему компанию и участливо делая шаг короче, чтобы малыш поспевал за ним без усилий. Он все

бросал на Майкла взгляды со слабой улыбкой, словно его веселило что-то понятное только ему, но пока помалкивал. Наконец он снова заговорил:

– Говорят, тебя звать Майкл Уоррен. Так чейный ты, значит? Как звать твоего папку? Уолтер?

Вопрос сбил Майкла с толку – он подумал, что взрослый мальчик подшучивает над ним, а он еще мал, чтобы понять. Майкл покачал головой:

– Моего папу зовут Том.

Джон заулыбался и окинул малыша взглядом недоверчивым, но в то же время уважительным и радостным.

– Так ты что, сын Томми Уоррена? Чтоб меня разорвало. Никто из нас и не думал, что Том вообще женится, так долго он запрягал. Как он, Том? Счастлив? Остепенился, уже не живет с мамкой на Зеленой улице?

Майкл оторопел, изумленно глядя на паренька, словно Джон извлек из рукава стаю попугаев.

– Ты знал моего папу?

Старший мальчик рассмеялся, лениво пнув бутылку на мостовой, хотя нога прошла сквозь.

– Черт, еще бы! Я играл с Томми и его братьями на лугу в детстве. Он хороший парень, твой папаша. Если вернешься к жизни, как тут все уверены, ты его не допекай, слышал? Ты из хорошей семьи, так что не посрами фамилию.

Здесь Джон осекся и задумчиво взглянул на огороженный участок, мимо которого они проходили. На сером плетении проволоки повис дрожащий серый дождь.

– Знаешь, твой дедушка... нет. Нет, это дедушка твоего отца, значит, твой прадедушка. Он был старым чертом по имени Снежок. Он отказался от предложения человека, компания которого строит тут здание. Тот малый сказал, будто возьмет Снежка в партнеры при условии, чтоб ноги Снежка не блесть в пабе в следующие полмесяца. А Снежок, конечно, объяснил, куда тот может засунуть свое

директорство, и все, ни в какую. Рехнутый старикашка, этот Снежок Верналл, но в силе, тут не поспоришь. Хоть и нищий, а у него блесть сила отказаться от такого состояния.

С точки зрения Майкла, силой это было назвать трудно, особенно по сравнению с умением летать или, скажем, превращаться в великана. Он хотел просить Джона объяснить, но к этому времени они дошли до угла Ручейного переулка, который разворачивался у них из-под ног к угольному складу и к западу, где Джон и предложил подождать, пока их догонят остальные. Коротая время, Майкл разглядывал холм.

Даже без пыльных поблекших красок это был тот Ручейный переулок, который Майкл отлично знал, – Ручейный переулок в летние месяцы 1959 года, а не в ярких воспоминаниях Филлис Пейнтер или других людей, живших там давным-давно. Для начала, почти все здания на противоположной стороне переулка были снесены. Пропали дома у верхнего конца, включая дом Филлис Пейнтер и лавку сладостей по соседству, уступили место длинной полосе травы, бежавшей вдоль края Ручейной школы у начала Криспинской улицы, всего в паре каменных ступеней от бетонной игровой площадки школы. Та ввиду школьных каникул стояла тихая и опустошенная.

Дома ниже по холму, стоявшие между Террасой Алого Колодца у подножия и Террасой Ручейного переулка повыше, тоже исчезли, как и сами террасы. Нижняя спортивная площадка Ручейной школы теперь простиралась от старой фабрики, где когда-то держали чумную повозку, до джитти, что шел на задворках вдоль дороги Святого Андрея. Хотя вид был уютный и знакомый, Майкл обнаружил, что теперь смотрит на него по-другому – как человек, который знал, что там было раньше и сколько всего ушло. Провалы между зданиями уже не казались естественными, как прежде, а скорее напоминали о какой-то страшной катастрофе.

Майкл впервые понял, что жил в стране, которая еще не успела оправиться после войны, хотя он и сомневался, что во время войны

на Нортгемптон упало так уж много немецких бомб. Просто казалось, что падали, или что случилось что-то не менее плохое. Странно. Если бы он не видел Душу и как Ручейный переулок выглядит в сердцах людей, то все казалось бы ему нормальным, а не таким голым и изломанным. Ему казалось бы, что так было всегда – все эти дыры и провалы.

К этому времени до него и Джона дошли другие дети, а Филлис и Утопшая Марджори все еще хихикали, перешептываясь между собой. Мальчик Реджи во вдавленном котелке, тащившийся в хвосте Мертвецки Мертвой Банды, снова затеял с младшим братом Филлис, Биллом, игру в кулачки, начатую раньше. На призрачной стежке – бесцветной, как новенькая водная раскраска до того, как примешься за нее с мокрой кисточкой, – рыжий Билл стал блондином, как Майкл. Пока сжатые кулаки Билла и Реджи срывались вниз, чтобы ударить друг друга по костяшкам, мальчики расцветали руками, как злые чудовища или смешные боги, в которых верят люди из далеких стран. Майкл ненадолго задумался, не по этой ли причине у многих существ из легенд есть лишние головы или руки, но тут его внимание привлекла пролетающая ярко-серая божья коровка, так что мысль затерялась, недодуманная.

Перегруппировавшись, призрачные беспризорники перешли Ручейный переулок и продолжали путь по Криспинской улице, мимо плетеной проволочной преграды, закрывавшей белый свалывшийся мех верхней школьной лужайки. Только когда Билли и Реджи нырнули прямо сквозь забор, чтобы мутузить друг друга и повалиться по бледной худосочной траве, Майкл вспомнил, что теперь обрел способность проходить сквозь стены и предметы. Он спросил себя, почему же тогда он и остальные идут строго вдоль проволочной перегородки. Подумал, что дело в привычке, и решил не испытывать эту способность, присоединившись к Биллу и Реджи. Если не ходить все время сквозь стены, будет легче притворяться, что все нормально – не считая отсутствия цвета или кустов из

двадцати рук, без которых он как будто больше не мог незаметно поковыряться в носу.

Когда они приблизились к расцарапанному серебристому барьеру шлагбаума, стоявшего у верхних ворот школы, Майкл посмотрел через Криспинскую улицу на улицу Герберт: вот она, поднималась на холм между двумя заросшими и замусоренными пяточками, где когда-то, по всей видимости, были дома. В обычной жизни, когда мамка Дорин возила его мимо этих мест на коляске, улица Герберт казалась Майклу убогим закоулком, где живут убогие люди, хотя, может быть, это впечатление происходило от названия. От улицы Герберт, почти верил он, и пошли «герберты», что значит «жалкий» или «никчемный», включая «драных гербертов» и «ленивых гербертов», на которых так часто ругался его папа, а также их более успешных родственников, если судить по названию, – «пронырливых гербертов». Эту мысль, скорее всего, передала ему по наследству, как безглазого плюшевого мишку, старшая сестра.

Погрузившись в размышления о фамилиях, семьях и откуда они пошли, в том числе о том, что говорил о его папе и прадедушке Джон, Майкл до смерти испугался, когда большой мальчик вдруг схватил его за шиворот и ткнул лицом в прошитые травой булыжники. Да с такой силой, что на миг лицо Майкла оказалось под поверхностью улицы, и он сперва занервничал, пока не обнаружил, что ничего неудобного в этом нет, разве что смотреть там не на что, кроме червяков. Всплыв назад, он уловил обрывок крика Джона, который теперь лежал на земле рядом с Майклом.

– ...ложись! На десять часов Мэлоун, над Олторпской улицей! Мы более-менее такие же серые, как дорога, так что замрем – и он нас не заметит, пока витает в облаках.

Хотя Майкл и боялся пошевелить даже мускулом, все же он медленно выгнул шею, чтобы взглянуть на небосвод.

Сперва он принял это за пятно грязного дыма, плывущий клочок фабричной черноты над дымоходами, что росли меж ними и Мэйорхолд выше по холму на востоке. Оно несло над

черепичными крышами, как маленький, но целеустремленный вихрь, и Майкл было подивился, почему облачко назвали Мэлоуном, когда впервые заметил двух твякающих терьеров, что оно несло под мышками.

Это был человек – мертвый, судя по кляксе фотографий, заикающихся вслед за ним, пока он прокладывал путь по белесым небесам. На нем были подбитые гвоздями башмаки, задрипанный костюм и длинное темное пальто, а венчал весь ансамбль котелок, как у Реджи, только куда меньше и делового вида. Именно выцветающий хвост остаточных изображений от обвисшей одежды и показался Майклу дымом, когда человек только попался ему на глаза, – смазанным, выжженным на воздухе протектором шины. Но, приглядевшись получше с острым зрением, подаренным ему смертью, он различал все больше и больше страховидных подробностей.

Взять хотя бы лицо этого малого – белую маску, подвешенную в клубящемся черном дыме головы и тела. Бледный, с серыми морщинками на месте глаз, призрачный лик был гладко выбрит, почти резиновый на вид, и принадлежал ухоженному шестидесятилетнему мужчине, глядевшему перед собой без всякого выражения. Майклу показалось, что каменное лицо казалось скорее страшным, чем забавным. Оно будто не умело реагировать ни на что, даже что-нибудь милое, ужасное или внезапное. Цвет волос мужчины скрывался под потоком котелков, но Майкл решил, что они наверняка белые и намащенные, как перья альбатроса.

Не очень высокий, но жилистого телосложения, мужчина двигался по небу прямо, только перебирал ногами, словно сидел верхом на невидимом велосипеде или поднимался по воздушной лестнице. Полоскания и колыхания пальто запечатлевались на небе за спиной языком деготных испарений. В руках он держал двух псов – белого и черного, как на этикетке бутылки виски бабули, – а карманы его пиджака кипели головами – сперва объятый ужасом Майкл решил, что змей, но потом осознал, что хорьков, хотя лучше от этого не

сделалось. Он слышал издали их угрожающее и паникующее верещание, даже среди испуганного лая терьеров, несмотря на то, что звукоизоляция призрачной стежки впитывала отголосок каждой ноты.

– Что он такое? – спросил Майкл Джона шепотом, пока они лежали ничком на камнях Криспинской улицы вповалку. Отвечая, старший мальчик пристально следил своим поэтическим взглядом за тлеющей фигурой, проносящейся над ними.

– Он? Это Мэлоун, крысолов Боро. Страшный человек, не сомневайся. Говорят, его любимый трюк – ловить крыс и загрызть насмерть, хотя никто этого лично не видел. Филлис как-то раз стибрила его котелок и нацепила на здоровую крысу. Видно блесть только, как по улице уносится шляпа с крысиным хвостом, а за ней вдогон – старик Мэлоун с посеревшей рожей. Мэлоун блесть в ярости. Сказал, что вздернет Филлис на ее собственной веревке с кроликами, если поймает, и не шутил. Судя по направлению, он только что из «Веселых курильщиков». Это паб, где заседают призраки, на Мэйорхолд, так что он наверняка пропустил кружечку. Его в любом случае лучше обходить стороной, пьян он или трезв. Если повезет, он отправляется домой на Малую Перекрестную улицу и через минуту скроется из виду.

Как оказалось, Джон был прав. Хотя мертвый крысолов полз медленно, как патока, он продвигался в юго-западном направлении через пепельное небо Боро, срезав угол верхней школьной лужайки с Криспинской улицы на Алый Колодец, перелетел коттеджи и Банную улицу на пути к перепутанным дворам и переходам за ней. Скулеж псов становился все тише, пока блямба их хозяина не уменьшилась до точки, пылинки на ветру, которая может попасть в глаз, – такой же, как черные хлопья, что приносило от вокзала.

С оглядкой, убедившись, что он не приплывет по летнему небу и не бросится на них, Мертвецки Мертвая Банда поднялась на ноги. Билл и Реджи зашлись смехом, вспоминая об инциденте с крысой и котелком, который привел Джон, хотя Филлис поглядывала с легкой

тревогой и нервно теребила длинный шарф из истлевших кроличьих одежек. Только Утопшую Марджори как будто не задела эта встреча – поднимаясь, она бодро и без суеты отряхивала юбку и смахивала призрачный мусор с пухлых коленок. Майкл начинал считать девочку в очках самым стойким членом банды, который без всяких жалоб встречал любые беды с высоко поднятой головой – хотя и не очень высоко из-за ее роста. Он решил, что этот настрой присущ всякому, кто утонул до семи лет. Наверняка после такого уже мало что может удивить, даже летающие охотники на крыс.

Хотя столкновение с Мэлоуном явно потрясло Филлис, она сумела сохранить спокойный командный тон, обращаясь к своей дружине:

– Айда. Если хотим найти улики и зацепки про нашего сына полка, то лучше поспешать на Алого Колодца, пока мимо еще кто не пролетел.

Майкл зашагал в ногу с бандой, продолжавшей путь по Криспинской улице. В квадратных дырах, где выворотили булыжники мостовой, собрались лужицы, переливающиеся, как осколки зеркала на бальном платье принцессы из театральной сказки. Шаркая тапочками и еле поспевая за Джоном, Майкл не мог так просто выкинуть из головы недавнюю воздушную походку крысолова.

– А как он летал, прямо в воздухе?

Старший мальчик вопросительно нахмурился, глядя на Майкла, так что тот уже было решил, что опять заговорил непонятно.

– Ты о чем? Мэлоун же привидение. Привидения ничего не весят, у них нет этой самой, массы, поэтому здесь, в трехстороннем мире, притяжение им нипочем. Ну, почти нипочем. Да и нам тоже. Ну, дай мне руку и прыгни со всей силы, как прыгают в длину.

Майкл сделал, как сказано. К своему изумлению, он обнаружил, что они с Джоном плывут в воздухе по низкой дуге, пик которой забирался выше забора школьного двора справа. Легкие, как пушинки одуванчиков, они спланировали к земле в нескольких ярдах дальше по улице, пока за спиной развевались воздушными

змеями остаточные образы. Майкл лишился дара речи от восторга такого великолепного открытия, но тем не менее продолжал идти как обычно, рядом с Джоном, который уже отпустил руку Майкла.

– Ты теперь много чего можешь. Можешь сигануть с крыши, и полетишь так медленно, что не убьешься. А можешь летать, как старик Мэлоун, хотя способов для этого блесь множество. Многие поднимают ноги с пола, чтобы как бы разлечься в воздухе, а потом гребут брассом, как в воде. Другие педалят, как Мэлоун, а некоторые просто парят, как клочки бумаги на ветру. Но ты удивишься, что большинству призраков летать лень. Во-первых, это чертовски медленно. Воздух же плотный, как мармелад. Быстрее дойдешь или добежишь особыми способами призраков: мы скользим, как на катке, что лежит будто всего на дюйм выше мостовой, или еще бывает кроличий бег на четвереньках, когда чиркаешь по земле только костяшками. Это весело, если все в настроении, но в общем проще дойти. Заодно успеешь заметить неприкаянных прежде, чем они заметят тебя.

Теперь они были в конце Криспинской улицы, где та перебегала улицу Алого Колодца и сворачивала на Верхнюю Перекрестную. На новом перепутье Джон снова настоял на том, чтобы подождать остальных, так что Майкл упражнялся в прыжках на месте, достигнув высоты в несколько футов, пока Джон добродушно не попросил его кончать уже. С их места на углу улица Алого Колодца справа вливалась в дорогу Святого Андрея, а слева от них карабкалась между террасами к уютной старине Мэйорхолд. Майкл всегда считал это знакомое местечко чем-то вроде городской площади специально для жителей Боро, хотя и знал, что настоящая Рыночная площадь дальше на север.

Стоя в опаленной слюной ночнушке на шашечного цвета копии своего района, мальчик присмотрелся к обветренным кирпичам домов наверху Алого Колодца и впервые почувствовал, как долго здесь все стояло до того, как он родился. Только что Джон рассказывал ему, как в детстве играл на лужайке за церковью

Святого Петра с папой Майкла. А Майкл даже не думал раньше, что его папа тоже был маленьким, хотя теперь его поразило, внезапно и мощно, что когда-то маленькими были все. Даже мамка его папки, бабка Мэй, – даже она когда-то начинала жизнь маленьким ребеночком. И ее папа, прадедушка Майкла, упомянутый Джоном, который сошел с ума и получил силу не брать деньги. Снежок – так его назвал Джон? Снежок некогда тоже был возраста Майкла, давным-давно, и у него тоже были мать и отец, и так далее, и тому подобное, вплоть до тех стародавних времен, про которые взрослые говорили «когда мы жили на деревьях», – Майкл всегда думал, что это наверняка где-то парке Виктории. Майкл смотрел на улицу Алого Колодца между современными коттеджами и многоквартирниками с одной стороны и стадионом Ручейной школы с другой и чувствовал себя так, будто вглядывался в настоящий колодец, который уходит отвесно вниз, мимо всех мам и пап, бабушек и прадедушек, мимо всех дней, лет и столетий, в пахучую темноту, где сыро и гулко, таинственно и бездонно.

Как только остальные мертвые дети нагнали и присоединились к ним на углу, Джон и Майкл пошли дальше по улице Алого Колодца. С вершины холма, лицом к скрипящей сортировочной станции и парку Виктории и Концу Джимми за ним, вид был примерно тот же, что и в Душе, только тут он казался кадром из старого немого фильма – серебряный, как рыбная чешуя, без запомнившегося людям тепла и цвета. Только когда Майкл задумался над тем, каким мир был совсем недавно, во времена его родителей, он понял, сколько изменений претерпел район за последние годы.

Судя по тому, как рассказывали мамка и бабуля, весь овал земли, растянувшийся от Алого Колодца до Ручейного переулочка и от дороги Святого Андрея до Криспинской улицы, сильно упростился. Там, где раньше был квартал-лабиринт домиков, дворов и предприятий, теперь остались лишь классы Ручейной школы в бетонной лощине у гребня холма и единственный ряд домов у подножия вдоль дороги Святого Андрея – терраса, где жил при жизни Майкл. Все остальное

застелили игровыми площадками, за исключением единственной сохранившейся фабрики в Ручейном переулке. Сотню складов, сараев, пабов, домов, что служили многим поколениям, закутков для целующихся парочек, уличных туалетов и коротких дорог фонарщиков скосили, оставив серые луга, где, как старые шрамы, выделялись выбеленные края футбольного поля. Хотя другой улицу Алого Колодца Майкл не знал – только местом, которое вроде бы всегда было таким, какое есть, и где стоял целым и невредимым его дом, – его разум вдруг защекотали имена и истории, стертые ради того, чтобы школьникам было где бегать в мешках в спортивный день. Все, кто здесь был, ушли, а с ними всё, что они знали.

Майкл все еще шел подле Джона, пока они спускались по полинявшей репродукции холма. Недалеко позади снова заговорщицки прыскали Филлис и Утопшая Марджори, и Майкл спросил себя, не над ним ли, но он всегда так думал про девчонок. Да и про мальчишек. Недалеке младший брат Филлис Билл шушукался с пареньком в котелке, Реджи, – похоже, рассказывал сальный анекдот, а потом пытался объяснить его современные нюансы, которые викторианский мальчик, очевидно, не понимал. Майкл расслышал, как он говорил: «Ну хорошо, анекдот тада не про Элси Таннер, лады. Может, тада про миссис Битон?» [69] Майкл не знал первого имени, но второе как будто было связано то ли с готовкой, то ли с воспитанием – а может, она была убийцей. Он напряг слух, чтобы разобрать концовку истории: та, похоже, была о том, как либо Элси Таннер, либо миссис Битон открывали дверь мальчику-курьеру, будучи в голом виде прямоком из ванной, но Филлис Пейнтер обернулась кругом к младшему брату и велела ему заткнуться, а то она как треснет. В ее голосе звучало натяжение, которого Майкл не припоминал до того, как они едва-едва разминулись с Мэлоуном. Филлис казалась какой-то испуганной, и в свете того, что он слышал о ее бесстрашных розыгрышах привидений, это его удивило. Майкл решил выяснить это у Джона.

– А если Филлис боится призраков, почему она над ними подшучивает? Если она оставит их в покое, то и они наверняка тоже отстанут.

Джон покачал головой, так что на краткий миг у него их было три. Он и мальчик как раз проходили вдоль южной стороны верхнего газона школы к каменным столбам главных ворот дальше по дороге.

– Не в натуре Филлис оставить призраков в покое. Я тебе так скажу: она у нас злопамятная, Филлис, и хранит обиду дальше гроба. Дело в том, что, когда Филлис блесть живой девочкой, она не боялась ничего на свете, кроме привидений. Хоть привидений она ни разу и не видела, они так действовали ей на нервы, что однажды она решила им страшно отомстить. Поклялась, что если сама когда-нибудь станет привидением, то покажет остальным призракам, что почем, чтоб блесть неповадно пугать ребятишек. Станет таким кошмаром, что это привидения станут бояться детей, а не наоборот. Надо сказать, пока что справляется она неплохо, хоть теперь в Боро и блесть места, куда нам путь заказан, а то не ровен час ее кто-нибудь линчует.

Джон и Майкл приблизились ко входу на школьный двор с железным шлагбаумом и запертыми на летние каникулы воротами. Через дорогу начиналась Нижняя Перекрестная улица, бегущая на юг под коттеджами, чтобы перерезать спускающуюся Банную улицу и направиться в сторону церкви Доддриджа в размазанном от расстояния снимке. По этой боковой улочке, грохоча в сторону перекрестка с Алым Колодцем, несся загадочный набор сросшихся конечностей и колес, который Майкл не сразу смог расшифровать. Оказалось, что это человек в темном трилби на велосипеде, но в оставшихся за ним изображениях черные и белые цвета поменялись местами, как на негативах фотографий. Вот это, решил Майкл, наверняка знаменитый и очень грозный неприкаянный. Он задергал Джона за рукав и готов был кричать «караул», хотя высокий паренек казался неуместно спокойным перед лицом

опасности. Через пару мгновений Майкл понял, почему – или хотя бы начал понимать.

Сердитый малый в трилби свернул на углу и дальше покати́л налево, вниз по улице Алого Колодца, на велосипеде – старом скрипучем тарантасе, казавшемся Майклу размером с пони. Пока человек спускался с холма, он не оставлял за собой изображений, а это значило, что он еще живой. А загадочный эффект, который Майкл сперва принял за серию остаточных изображений в негативе, остался неподвижным в конце Нижней Перекрестной улицы.

И оказался он негром с белыми волосами, тоже на велосипеде, и мальчику померещилось, что он ему мимолетно знаком. Может, Майкл где-то недавно видел снимок этого пожилого дяденьки, рисунок на цирковой афише или каком-то витраже? Черный перехватил руль половчее, и Майкл заметил краткий всполох множества пальцев, по которому и пришел к выводу, что призрак – этот велосипедист, а не тот, второй. Когда Майкл впервые увидел его приближение к улице Алого Колодца, должно быть, негр ехал на призрачном велосипеде на том же месте, что и белый человек в трилби, что и объясняло, как они перепутались. Приглядевшись еще, Майкл понял, что у велосипеда черного человека (за ним сзади тащилась двухколесная тележка) – белые шины из веревки, а не черные и резиновые, как у живого наездника. Если подумать, это и укрепило впечатление, что один велосипедист – негативная копия второго.

Когда оба мальчика приблизились к школьным воротам и захватанному металлическому шлагбауму, Джон пригнулся, чтобы прошептать на ухо Майклу, послушно плетущемуся за ним.

– Тот, что умчал под горку, – живой мужик в трилби, – он как раз тот из них двоих, кого тебе следует опасаться. Это Джордж Блэквуд, он сдает половину домов Боро – и заодно половину женщин. Он у нас гангстер, этот Блэквуд, богатеет на аренде и доле из заработков своих проституток. У него полно подонков под началом, которым он платит, чтоб они его защищали. «Пустая душа» – так мы здесь зовем

его породу. Он один из первых предвестников пустоты, гнильцы, что проникает в любое место и подтачивает его.

Майкл понятия не имел, о чем говорит Джон. Только мудро кивнул – и палевые кудельки волос расцвели гроздью белых, как руно агнца, сережек, – чтобы старший продолжал.

– Все боятся Блэквуда. А единственное исключение, как ни смешно, твоя бабка Мэй. Мэй Уоррен относится к нему так же, как к любому другому, то бишь шлет ко всем чертям и шугает парой ласковых, а потом спрашивает, не хочет ли он чаю. Она старому Блэквуду нравится. Сразу видно, что он ее уважает. И не удивлюсь, если ему с дамочками за годы не раз понадобилась помощь смертоведки, если ты меня понимаешь.

Хоть Майкл и не понимал, виду он старался не подавать. Большой мальчик продолжал.

– А цветной дядька напротив нас – на вес золота. Его звать Черный Чарли, и ты во всей Душе не найдешь никого, кого бы любили больше. Мэр Алого Колодца – так его прозвали. Если приглядишься, то увидишь, что у него на шее должностная цепь.

Майкл подчинился и пригляделся, заметив, что у черного дяди действительно на белой рубашке болтался какой-то грубый медальон. В каком-то смысле такой же запоминающийся, как шарф из кроличьих шкур Филлис. Он был похож на жестяную крышку на туалетной цепочке, но бледно-серый металл отполировали так, что он ослеплял, когда ловил серебро солнечного света. Цветной старик приветливо поглядывал на банду детей, подходивших к перекрестку, очевидно поджидая их там на своем забавном велосипеде для беседы. Майкл заговорил с Джоном из уголка рта, почти как в кино по телику разговаривают крутые американцы.

– Он неприкаянный?

Джон только отмахнулся, раскинув десяток серо-белых рук, как страницы пролистанной книги.

– Не-е. Только не Черный Чарли. Неприкаянные по большей части ошиваются на призрачной стежке потому, что думают, будто им не

место в Душе, во Втором Боро. Я слышал, некоторые считают, что призрачная стежка – это чистилище, но, если и так, это чистилище люди выбирают себе сами. А с Чарли по-другому. Он – как мы, приходит и уходит, когда пожелает. Ему и Наверху хорошо, и здесь не хуже, и если он заглядывает на этот слой, то потому, что сам так захотел, прям как мы. Ко всему прочему, он одно из немногих привидений наряду с миссис Гиббс, к которым Филлис проявляет уважение, так что между Черным Чарли и Мертвецки Мертвой Бандой никаких кошек не пробегало, для разнообразия.

Теперь они спустились к шлагбауму у запертых на навесной замок ворот Ручейной школы. Джон поднял руку и окликнул через дорогу черного старичка на другой стороне. Пришлось покричать, чтобы голос донесся в омертвелой атмосфере этого необычного полумира, где даже звуки были бесцветными.

– Эй там, Черный Чарли! Как твоя смерть?

Школьных ворот к этому времени достигли и остальные дети, поравнявшись с Джоном и Майклом, и каждый выкрикивал фантомному велосипедисту собственные приветствия. Черный наездник рассмеялся и покачал тугими белыми кудрями в фосфоресцирующем пятне, словно с шутливой обреченностью при виде мертвых проказников. Легко отвлекаясь, Майкл заметил, что газетный лист на ветру, пока неся по улице Алого Колодца, оставлял за собой целый журнал остаточных изображений. Он решил, что это наверняка призрачная газета – призрачный сор, подхваченный слабым призраком ветра, который Майкл вроде бы почувствовал на голых шее и лодыжках. Забыв о ней, он обратил безраздельное внимание к цветному старику, сидевшему через дорогу на как будто самодельном транспорте.

– Вечная жизнь у меня что ни на блесь замечательная, благодарствую покорно, мастер Джон. Как раз выполняю свойный долг мэра Алого Колодца, оповещаю местных покойничков об надвигающейся непогоде и советую не казать носу из домов, но теперича у меня душа больше об вас болит, маленьких негодниках с

непутевыми головами. Мисс Филлис, уж не шутите с джентльменами, кто попивает себе в «Веселых курильщиках». Это народ лихой, так что примите мой совет и держитесь от них подальше.

Он оглядел остальных детей, словно пересчитывая по головам и проверяя, все ли на месте.

– Мисс Марджори и мастер Билл, и вам здравствуйте, и старому Реджи-в-Шляпе, что держится назади. А кто этот молодой человек, которого вы наверняка сбиваете с пути?

Майкл запоздало понял, что добродушный призрак говорит о нем. Филлис ответила за него и представила Майкла Черному Чарли.

– Эт Майкл Уоррен, и он задохся пепкой, или так уж сказывается. Я нашла его на Чердаках Дыхания без встречающих, такшт взяла под свое крыло. С тех пор от него сплошь неприятности. Сперва похитил дьявол, потом мы узнали, что из-за него поругались зодчие, а терь выясняется, что он вернется к жизни в пятницу.хлопот не оберешься – но за дело уже взялась Мертвецки Мертвая Банда. Мы привели его сюда, где он жил, чтоб расследовать тайну убийства.

Майкл подал голос протеста.

– И вовсе меня не убили, я подавился леденцом.

Филлис пронзила его взглядом. Ей явно не нравилось, когда ее перебивают.

– Те откеда знать? От тя сток хлопот, что я даж удивлюсь, если никто не планировал от тя избавиться. Блесьть я твоей мамкой, метала бы леденцы тебе в глотку, даже не разворачивая, да и из пачки не доставая! И вообще, это мы тут сыщики, а ты ток труп, у которого мы разгадываем убийство, такшт рот на замок и не лезь в тайну следствия, а то обвиним за трату времени полиции и отправим в кутузку.

Майкл, хоть и умер этим утром, не вчера родился, и уже начал понимать, что почти вся властность Филлис – только игра и притворство. Он не обратил на нее внимания, взамен заинтересовавшись тем, что принял за целую стаю призрачных голубей, пролетавших над головой к основанию улицы Алого

Колодца. Каждая мертвая птичка оставляла за собой трепещущую очередь серых картофельных отпечатков – на запад разворачивались десятки длинных дымных нитей, где над вороненой гравюрой вокзала медленно садилось выбеленное солнце. Майкла больше увлекла мысль, что, когда птицы и звери умирают, они тоже попадают Наверх, чем ответ на слова Филлис, да и в любом случае в этот момент вмешался Черный Чарли, отвечая за него.

– Ну, мисс Филлис, не дразните вы так малыша. Говорите, из-за него началась буза промеж зодчих?

Теперь черный призрак пристально всматривался в Филлис. Она кивнула. Мимо проплыло что-то с кожистыми крыльями, словно гигантская летучая мышь, скача короткими прыжками вниз по холму и оставляя за собой изображения, и Майкл чуть не подскочил, пока не понял, что это всего лишь призрак чьего-то зонтика. Удовлетворенный, что Филлис его не разыгрывает, Черный Чарли продолжал:

– Значит, об этом мальчике я столько слыхивал. Майкл Уоррен, говорите? Как я слыхал, он зачем-то нужен в большой церемонии с замковым камнем, об которой все твердят зодчие, – Портимот ди Норан, так они ее прозывают. Оттого-то игроки за столом приуныли, когда трильярдный шар мальчика угодил в смертельную беду, и оттого-то те двое пошли драться. Из-за их битвы на Мэйорхолд и поднимется ветер, об котором я упреждаю народ.

Все призрачные дети, кроме Майкла, вдруг встревожились. Реджи снял котелок, словно на похоронах, нервно задав вопрос Черному Чарли своим звонким голосом с необычным акцентом:

– Помилуй Божи. Эт что же, дело идет к призрачной буре?

Чарли кивнул – мрачно и выразительно.

– Боюсь, да, мастер Реджи, а вы в этих краях подольшей моего, сами знаете, чего бывает, когда задувают призрачные ветра. Мой вам совет – прячьтесь и лезьте Наверх, или еще в какое другое время, где погода получшей. И смотрите, не потеряйте мастера

Майкла, потому как если зодчие так себя ведут, когда он в беде, то мне и думать не хочется, что они учинят, если вы за ним недоглядите.

Мимо, завывая, пробежала черная кошка, потянув за собой полураспустившийся носок ползучих изображений, а за ней последовал позвякивающий призрак бутылки из-под светлого эля. В воздухе вязались жужжащие шнурки, в которых Майкл не сразу узнал пару фантомных мух. Черный Чарли решительно поднял ногу с земли и поставил на педаль. Майкл с удивлением отметил, что у цветного под башмаками привязаны деревянные бруски.

– Мне еще извещать о буре покойный люд в Беллбарне и у церкви Святого Андрея, потому мешкать не след. Не лезьте на рожон и берегите мальчика. На кону стоит что-то очень важное.

На этом целеустремленное привидение наступило на поднятую педаль, и велосипед с прицепом покатил вверх по улице Алого Колодца, оставляя позади блекнувшие подобия белых колес, словно длинную череду олимпийских колец. Черный Чарли уезжал от них навстречу уже явно растущему ветру, игравшему призраками волос присутствующих. Майклу цветной старик странным образом показался героическим, пока тот крутил педали повозки с шинами-веревками, словно черный буревестник. После его отбытия Мертвецки Мертвая Банда стояла как вкопанная, переглядываясь выпученными беспокойными глазами. Над ними пронесся чирикающий узор статических помех из темных полос – возможно, фантом попугайчика, – а также призрачный цилиндр гробовщика с сизой лентой, развевающейся потоком остаточных образов. Наконец Филлис Пейнтер нарушила молчание паническим, но властным возгласом:

– Призрачная буря! Сами слышали! А ну все по-кроличьи подрали наутек, в дом на углу!

Со внезапностью – если честно, немного напугавшей Майкла, – Филлис упала на четвереньки и помчала по холму на самый обескураживающий манер. Пользуясь студенистостью, отличавшей

воздух призрачной стежки, Филлис могла легко скользить по склону, задевая поверхность дороги одними сверкающими костяшками, пока вперед толкали ноги, которым тоже не приходилось касаться земли. Пожалуй, в этом было что-то от кроличьих повадок, откуда и пошло название маневра, хотя Майклу это больше напоминало бег бабуинов, за исключением хвостов из репродукций, из-за которых Филлис была похожа на длинный локомотив с колесами из тощих девчачьих ног. К великой озабоченности Майкла, примеру Филлис последовали сперва Марджори, затем Билл и Реджи – присели, а потом дали деру по холму с удивительной скоростью. Он уже начал переживать, что мертвые дети бросят его позади, когда заметил Джона, который задержался, чтобы приглядеть за ним и чтобы поторопить мальчика самому бежать по-кроличьи.

– Давай, это просто. Скоро освоишься. Просто становись на четвереньки, а потом подыми ноги, будто идешь на руках.

Майкл прищурился навстречу собирающемуся ветру. Небо над Мэйорхолд над вершиной Алого Колодца было испещрено, вдруг осознал с приливом ужаса Майкл, призрачным мусором, который отчасти составляли трепыхавшиеся звери и люди, и все это быстро мчалось на них. Других уговоров не понадобилось. Упав на корточки, а потом задрал ноги, как велено, Майкл вскоре обнаружил, что вовсю катится, как полосато-фланелевое перекаати-поле. Только его руки шаркали по шершавой поверхности дороги, пока он шпарил по холму за остальными детьми, направляясь к углу у основания, где дорога Святого Андрея встречалась с улицей Алого Колодца.

Джон оказался прав. Этот метод передвижения был не только прост, но и приносил море удовольствия. Он казался самым естественным способом перемещения – без труда нестись через улицы, пока ноги месят сзади воздух, как серые вращающиеся фейерверки, взбивая призрачную пыль фонтаном сварочных искр. Майкл наловчился так быстро и нашел этот вид бега таким удивительно знакомым, что не мог не спросить себя, что, если в нем

заложен к этому инстинкт. Не так ли ходила его семья в те времена, когда якобы «жила на деревьях» – наверняка в парке Виктории? Но спуск по Алому Колодцу определенно стал увлекательным аттракционом, пока с одной стороны мелькали белесые многоквартирники с закругленными балконами, напомнившими о зале кинотеатра, а с другой стороны размазывалась угрюмая школьная площадка.

Только он начал получать удовольствие, как все испортило кубарем пролетевшее над головой привидение старого поломанного кресла, а вслед за ним – два очевидно сконфуженных фантомных монаха и целый ливень из призрачных птичьих гнезд, разбитых шезлонгов, карандашей, окурков, муравьев, книг с картинками с голыми тетями, отбитых кафельных плиток и прозрачных брусков мыла, причем каждый воздушный объект дымил хвостом изображений, похожих на рой злых горящих пчел. Перспектива того, что его накроет волна загробной шрапнели, мигом напомнила Майклу о бушующем позади призрачном шквале, от которого они пытались убраться подальше. Он решил отнестись к кроличьему бегу серьезней, удвоив усилия, пока рвался вниз к остальным мертвым детям, собиравшимся у нижнего угла улицы Алого Колодца.

Замедлившись и остановившись рядом с ними, пока над ушами свистела призрачная зола, фантики конфет и парусиновые туфли, он отметил, что они столпились не на перекрестке с дорогой Святого Андрея – террасой, где он жил и умер, – а в здании или двух от угла, сгрудившись у длинной кирпичной стены заднего двора, принадлежавшего одному из домов в коротком ряду между входом в джитти и большим проездом. Волосы и одежда мертвой банды хлопали и полоскали, как серые сигнальные флажки, а сами они цеплялись за джемперы друг друга, чтобы их не подхватило и не унесло.

Над ними кувыркались кадки и канотье; туча загробной угольной сажи, что затмила солнце, хотя за ней по-прежнему можно было разобрать спокойный и солнечный день смертных. Сквозь миазмы

Майкл видел десятки оторванных от земли обитателей призрачной стежки, что причитали или чертыхались, сопротивлялись или вяло и безвольно отдавались свирепому духу-ветру, задувавшему с Мэйорхолд и тащившему их через потемневшие небеса, пока они волокли за собой свои последние мгновения, словно рекламные баннеры, причем дешевые, потому что не могли позволить себе цветных. Он видел несколько монахов, державшихся за руки и скользивших кружком, и сварливую старуху в костюме участковой медсестры, которая пыталась прервать полет, схватившись за мелькнувшую под ней телевизионную антенну последнего дома. Нематериальные пальцы лишь прошли сквозь металлическую букву «Н» без всякого эффекта, и ее подхватило эфирным ураганом навстречу передержанной фотографии железнодорожной станции и отзеленевшего парка. Стоя перед Майклом в нити прогнивших кроликов, которых бросало в невозможной мешанине повторяющихся ушек, хвостов и глазок, Филлис пыталась перекричать мертвую акустику призрачной стежки и завывающий плач бурана:

– ...сквозь стену! Нужно спрятаться в угловом доме, чтоб залезть повыше, подальше от ветрилы!

Неистовая мощь позади толкала Майкла в направлении Филлис, его клетчатые тапочки скользили по брусчатке. Слепо потянувшись, он схватился за что-то твердое, не сразу осознав, что это рука Джона – высокий паренек закрывал Майкла со спины от разыгравшейся метели. Прекратив таким образом скольжение, Майкл изумленно уставился на Филлис. Сразу за ней он видел Утопшую Марджори – очкастая пухлая девочка бросилась головой в стену, возле которой они укрылись, и исчезла в – или за – жемчужной патиной кирпичной кладки, скрывшись из виду. Следующим был младший брат Филлис Билл, а затем нескладный веснушчатый Реджи, крепко прижимая шляпу к груди, чтобы ее не вырвал тайфун, пока он нырял сквозь стену на задний двор, предположительно скрывающийся за

ней. Майкл все еще был сбит с толку и окликнул Филлис через призрачный шторм.

– Но это не угловатый дом. Это чей-то зрячий вор. Пугол дальше по склоу за тобой.

Филлис сверкнула на него взглядом – то ли прищуренным, то ли пронзительным, – стоя лицом к мерцающей грозе из отчаянных видений, летящих к ним на порывах ветра над древним холмом.

– Там угол блесть сейчас. А мы лезем туда, где угол блесть через здесь-двацать лет – надеюсь, повыше от этой погоды. А теперь лезь с нами в стену или лети в парк Викки с остальными балбесами. Мне недосуг стоять тут с тобой и рассусоливать.

На этом она прыгнула в мозаику серых кирпичей и беловатого цемента, растворившись в стене. Майкл даже тогда мялся мгновение, прежде чем Джон схватил его за обожженный дьяволом зашивок халата и поторопил к очень твердой на вид преграде.

– Для разнообразия сделай, как она говорит, сынок Томми, а? Тебе же блестет лучше.

Джон пихнул Майкла в стену. Хотя тот инстинктивно закрыл глаза за самый миг до ожидаемого столкновения, это не скрыло краткое зрелище кирпичей изнутри, с их короткими цилиндрами пустот на месте сквозных отверстий. Вынырнув с другой стороны, отплевываясь и захлебываясь, пока сзади из стены тут же неторопливо показался Джон, Майкл обнаружил, что оказался в большом, но довольно простом и голом дворе, где были только садовый сарай, единственная узкая клумба и бельевая веревка с деревянными прищепками и висящими простынями, которые и занимали большую часть мощеного пространства. Высокие кирпичные стены, простоявшие на этом месте от восьмидесяти до ста лет, сдерживали какую-то долю силы разъяренного призрачного торнадо, бурлящего в Боро, но ни в коем случае не всю. В уголках двора паническими завихрениями крутились посмертные пыль и сор, а сопровождающие их изображения сливались от вращения в плотные фигуры в виде пончиков.

Филлис Пейнтер уже организовала Мертвецки Мертвую Банду для каких-то невообразимых для Майкла действий. Реджи стоял посреди двора с Филлис, балансирующей у него на плечах, словно оба участвовали в цирковом номере. Утопшая Марджори держала шляпу-котелок Реджи, пока тот сомкнул руки на лодыжках Филлис для дополнительной ее устойчивости. Смелая мертвая девочка с шарфом из зловонных кроликов покачивалась, задрав над головой обе руки в кардигане, и быстро загребала ладонями, словно пыталась прокопаться в пустоту, как заблудившийся крот. Приглядевшись, Майкл заметил, что воздух возле ее царапающих пальцев словно изгибался и дрожал. Он мог разглядеть сдвигающиеся полосы черного и белого, напоминающие телевизионные помехи, и как поблескивающие полосы уплотнялись, спихивались в сторону отчаянными движениями ребенка-привидения. Из того, что Филлис говорила за пару мгновений до этого, Майкл смутно понял, что она лезет через время туда, «где угол блесть через десь-двацать лет», и предположил, что полосы дрожащих белизны и черноты – дни и ночи, через которые она бурилась, пергаментные утра, проложенные копиркой темноты. Расчищая минуты, часы и годы, словно слои луковой кожицы, ее мелькающие руки превратились в серые анемоны пальцев. Майкл заметил, что чем больше узнает часто дерзкую и недружелюбную самопровозглашенную атаманшу Мертвецки Мертвой Банды, тем больше ею восхищается и уважает. На нее можно было рассчитывать, она никогда не терялась.

Остальные члены отряда в ветреном дворе взволнованно наблюдали, как Филлис шатается на плечах Реджи, раскапывая пустой воздух, пока в прямоугольнике неба над их кирпичным убежищем кипел и клокотал воющий поток потустороннего хлама. Шли там косяки гладильных досок, скрещенные ноги которых оставляли за собой на лике дня череду исчезающих поцелуев, целый набор домино, растянувшийся в виде лакричных палочек тащившимся за костяшками визуальным эхом, несколько миллионов

обломков прозрачной древесины или прозрачного стекла, целые саженцы с заgrabной почвой, осыпающейся с обнаженных корней клочковатыми нитями изображений, растрепанные животные, мужчины и женщины вверх тормашками – конфетти выделяющих кульбиты и изливающих жалобы теней, сорванные фантомы Нортгемптона.

Тем временем младший брат Филлис Билл как будто обнаружил что-то, спрятавшееся в малозаметном уголке кладки.

– Бинго! Тут безумные яблочки!

Его голос был слабым, приглушенный прозрачной стежкой и затопленный баньши-хором ревушей бури. Всмотревшись в стык дворовых стен, на который показывал поседевший из-за стежки пострел, Майкл увидел что-то вроде двух маленьких и серых, как черепица, цветков, пробившихся из трещины в крошащемся растворе. При дальнейшем изучении он с содроганием обнаружил, что каждый лепесток был гадкой фигурой с большой головой и парой поблескивающих агатовых глазок. Неуклюже балансируя на плечах Реджи, Филлис сердито зыркнула на Билла и его находку.

– Брось ты, обалдуй! Эт ж эльфийские, изжогу заработаешь. Погоди, пока не созреют до феечек. И все равно я уже пробилаь, такшт лезь давай по спине Реджи и помогай.

Билл бросил серое ужасное растение и с ворчаньем откликнулся на зов сестры, но Майкл давно заметил, как ему непросто отвести глаза от того, что привлекло внимание. Он чувствовал, как из затененного угла заднего двора за ним наблюдают человеческие цветочки, и ему казалось, что по-своему они, как это ни жутко, разумны. Майкл представить не мог, что это за разум, что за мутные мыслишки или овощные желания ходили по этим сросшимся головам, и по размышлении пришел к выводу, что представлять его и не тянуло. С трудом оторвав взгляд от нервирующего углоплода, он попытался сосредоточиться на том, что задумала Мертвецки Мертвая Банда.

Пока в приправленном хламом водовороте, завывающем над улицей Алого Колодца, выделявала изощренные коленца суть комода, юный Билл подчинялся указаниям Филлис и карабкался по спине Реджи, роняя за собой туманным беличьим хвостом свои фотографические копии. Майкл отметил, что прямо над Филлис, там, где она так отчаянно скребла воздух, теперь было круглое пятно непроглядной черноты чуть шире отверстия мусорной корзины. Билл влез на плечи Реджи и принялся подниматься на Филлис, которая по-прежнему стояла на месте. Майкл поражался, как курносый викторианский оборванец выдерживал нагрузку, пока не вспомнил то, что Джон говорил о невесомости привидений. Поразмыслив, он понял, что потому-то яростные ветры, мчащиеся по холму с Мэйорхолд, и срывают с земли даже тяжелые предметы вроде – он бросил взгляд на квадрат бурного неба над ними – вроде колясок и бродяг, двойных кроватей и ошарашенных духов перевернутых лошадей, унося их над полированным железнодорожным полотном в заляпанную сажей белизну заката. Майкл наблюдал, как Билл в узле остаточных изображений заполз на спину сестры и не останавливался, пока не залез в темную дыру в небе, совершенно пропав из виду.

Мотаясь на плечах Реджи, Филлис Пейнтер опустила голову, чтобы оглядеть остальных мертвых детей на брусчатке под ней.

– Марджори, ты следующая, а потом новенький.

Теперь ходуном ходил весь двор, издавая скорбный звук, подобно молочным бутылкам, если подуть поверх горлышка, и этот жалостный стон мешался с оглушающим воплем призрачных шквалов, так что приказы Филлис можно было разобрать едва-едва. Тем не менее Утопшая Марджори послушно забралась по долговязому Реджи и Филлис, зажав котелок первого в зубах, и исчезла в том же черном отверстии, что пару мгновений назад прибрало Билла. Теперь настала очередь Майкла.

Бросив сомневающийся взгляд на Джона, который в ответ лишь сдержанно кивнул, он начал восхождение по Реджи и обнаружил,

что это куда проще, чем он ожидал. Почти-невесомость означала, что ему не надо подтягиваться вперехват изо всех сил и что хватка на сыром барахолочном пальто Реджи требовалась только для того, чтобы не улететь в кричащий прилив фантомов, которых швыряла по району сверхъестественная буря. Забравшись на Филлис, цепляясь маленькими ручками за ее призрачный кардиган, он увидел, что вблизи черное пространство над головой не совсем черное, а просто темное, словно вело на неосвященный чердак. По краям небесной дырки он разобрал узор из черно-белых линий, замеченных ранее, – слои ночи и дня, спрессованные в светящуюся серую окантовку на кромке воздушных раскопок. Что больше напугало Майкла, когда он оказался на вершине Филлис и уставился в беспросветный проход, так это показавшийся из него квартет рук, который тянулся схватить мальчика в мешанине повторяющихся рукавов, пальцев и грязных ногтей.

Не успел он разобраться, что происходит, как его уже втащили в корчащейся и брыкающейся вспышке Майклов через рябящий порог в черноту. Вдруг он оказался на лестничной площадке темного и незнакомого дома, между Утопшей Марджори и Биллом. Перед ними в выцветшем ковре была дырка, откуда било сияние призрачной стежки, поблескивая на деревянных балясинах и мельтешащих обоях, увитых узором из роз, и подсвечивая лица троих детей, присевших на корточки или колени вокруг пылающего колодца, зияющего в полу. Из него донесся слабый голос Филлис Пейнтер.

– Теперь тяните меня, а потом все вместе подмогнем Джону и Реджи.

Вслед за Биллом и Утопшей Марджори Майкл наклонился над гранью дыры и прищурился против бьющего по глазам света. Под ним был булыжный двор и Филлис, которая шаталась поверх Реджи и протягивала обе руки с раздраженным выражением на лице. Трио призрачных ребят на тихой полночной лестнице подхватило ее за запястья и подняло легкое как пушинка тело через сверкающий провал на ковер и половицы, где сгрудились сами.

Филлис огляделась во мраке.

– Едрит твою. Закопалась шибко высоко. Эт ж в нулевых. Ну и черт с ним, да? Подмогнем Джону и Реджи, а потом уж блестем плясать от этого.

Во дворе под ними на плечах безропотного Реджи занял место Джон. Со все еще удивительным отсутствием усилий четверо маленьких членов мертвой банды вознесли его на половицы. Далее впятером они поймали Реджи, когда веснушчатый викторианец в отсутствие человеческой лестницы был вынужден влететь в лучшее отверстие с прыжка.

Воссоединившись на полосе серого и пестрого ковра, они перевели тоскливое воспоминание о дыхании. Старая тьма неизвестного дома время от времени тикала, поскрипывала и постукивала от приглушенных звуков жизни на первом этаже, и Филлис Пейнтер подняла к губам пучок пальцев, метнув на спутников предостерегающий взгляд. Когда она раскрыла рот, то заговорила настойчивым шепотом:

– Ни гугу. Я по ошибке прокопала нас в нулевые, когда на углу живет сторож. Давайте-ка прикроем дырку, а потом спланируем следующий шаг.

Нахмурившись от концентрации, Филлис заскребла внезапным множеством пальцев у переливающихся краев просвета. Она выдавливала с периметра провала длинные нити пара коврового цвета и аккуратно разравнивала по дыре в пространстве и времени, где еще виднелось замкнутое пространство из 1959 года, свет которого, мерцающий в стиле Лорела и Харди, брезжил через пол площадки, превращая лица детей в странные театральные маски. Ниже в опустевшем дворе все еще бушевал призрачный тайфун, мешая в воздухе удивительную окрошку фантомных вещей с хвостами-передержками, включая рыбную леску, пищащих новорожденных котят в плетеной корзине для пикников, стопку бирдекелей с разными рисунками и злого духа лебедя, который пронесся под ними шипящим колесом взрывающихся белых розеток. Утопшая Марджори и Джон примкнули к попытке Филлис

распределить тлеющие волокна с края по отверстию, так что вскоре иллюминация снизу разбилась на треугольники и бесформенные фигуры из-за соскобленных дымчатых ворсинок в паутине крест-накрест. Еще мгновение – и оставшиеся бреши тоже были накрыты, и в темноту лестницы пробивались только тонкие веретенца света, угасшие один за другим. Наконец все шестеро сидели вокруг восстановленного ковра с рудиментарным цветочным узором, словно тот и не был пару минут назад массой податливых усиков. Никто бы и не догадался, что здесь когда-то был туннель в 1959 год.

Хотя единственный источник света был прегражден пластом субстанции, из которой состоял сегодняшней день, Майкл обнаружил, что все равно видит сквозь неуступчивый мрак высокие балясины и своих спутников с удивительной четкостью, словно всю сцену вышили тонкими серебряными нитями на черном бархате. Он решил, что раз привидения чаще всего выходят гулять по ночам, то логично предположить, что они наверняка хорошо видят впотьмах, наряду с другими удивительными способностями. Теперь Филлис заговорила тихим и заговорщицким голосом – ее лукавое лицо и болтающееся кроличье боа было вычерчено на черном фоне тонким люрексом.

– Так. Кажись, нас занесло в пятый или шестой. Если хотим, можем зарыться в обрат в пятьдесятые, но лучше тада не здесь, не в доме на углу. Эт особое место, и внизу живет тот, кого сюда назначили исполнять работу сторожа, такшт не забываем: нас и видят, нас и слышат. Тут нас могут ждать такие неприятности, что у мя зубы стучат от одной ток мысли.

Бо льшую часть речи Филлис говорила, твердо глядя на Майкла Уоррена, словно по большей части ради него. Он тут же почувствовал необходимость что-нибудь сказать – или хотя бы прошептать:

– А прочь ему этот игровой дом – подсобое кресто?

Слоги у него снова перемешались – возможно, потому, что призрачная буря, которой только что избежала Мертвецки Мертвая

Банда, потрясла его буквально, – но все как будто уловили суть, а главное – уловила Филлис. Пробурчав в сторону что-то о Лючинке, она ответила драматически приглушенной версией язвительного тона, за которым он давно уже начал воображать ласковость.

– Эт особое место, пушто оно на стыке меж Первым и Вторым Боро. То бишь дом стоит на углу внизу слева улицы Алого Колодца, а Стройка зодчих от него – сверху справа, где раньше блесть ратуша. В четырехмерном мире они складываются так, что эт одно и то же место. Отседа можно попасть прямиком в Душу. Сюда иногда приходят неприкаянные, если набираются духу покинуть призрачную стезжку и отправиться Наверх.

Увидев в ответ на лице Майкла полное непонимание, она бессильно вздохнула и поднялась на ноги в обилии повторяющихся коленок и носков. Остальные члены банды покорно последовали примеру, и Майкл спохватился всего на миг-другой позже остальных. Здесь, в примечательно-прозрачных тенях лестничного пролета, Филлис снова обратилась как будто к нему одному. Вокруг ее рта на потемках светящимся карандашом словно рисовались ямочки, то появляясь, то исчезая, подчиняясь движению шепчущих губ.

– Наверн, раз уж ты тут, мож глянуть, как все устроено. Если прально помню, лестница Иакова в большой спальне, сразу за площадкой. Мы окажемся прямиком над передней комнатой, где наверняка сидит и смотрит телик дозорный, такшт блестем свержосторожны и пойдём на цыпочках. Глянем ток одним глазком, а потом утеем через лестницу и входную дверь прежде, чем нас заметят.

На этом девочка-привидение отвернулась и двинулась к дальнему концу площадки, крадучись преувеличенно и комично, как кошка из мультфильма. Следуя за ней с остальными четырьмя членами Мертвецки Мертвой Банды, Майкл огляделся, ознакомившись с окружением. От площадки лестницы позади него галерейка на втором этаже вела к закрытой двери в дальнем конце – к ней-то и пробиралась скрытно Филлис. Справа от него над темным

лестничным пролетом стояли балясины, тогда как слева были обои, выцветший рисунок которых казался новому ночному зрению Майкла роскошным золотым узором переплетающихся роз. Впереди Филл Пейнтер шла на цыпочках во главе короткой и медленно исчезающей колонны других Филл Пейнтер. Не сбиваясь с шага, она прошла через закрытую дверь, исчезнув за ней и втянув за собой очередь дубликатов, словно серый хвост. Следующей пропала из виду за филенчатым деревом Утопшая Марджори, затем – Билл и Реджи. Подчиняясь мягкому тычку от Джона позади, Майкл шагнул в краткое видение завихрений древесных волокон – всего на долю секунды, – а вышел уже в комнате. Наверняка дверь посадили на петли всего пару лет назад, что объясняло, почему он прошел сквозь нее, практически не заметив.

На другой стороне их встретил слабыми красками дрожащий свет, который падал, словно занавес, смочив комнату деликатно-розовыми, зелеными и фиолетовыми цветами – первыми с тех пор, как Майкл вошел на призрачную стезжку. Только встав с другими детьми-фантомами и благоговейно взирая на подкрашенные подводные переливы, он осознал, как же скучал по синему и оранжевому, пока блуждал по черно-белым улицам этого полумира. Он был рад им, как старым друзьям, которых не видел целую вечность.

Майкл и призрачная банда, очевидно, оказались в спальне, напоминающей спальню его мамы с папкой в 1959 году, только что мебель и обстановка казались какими-то не такими, а под кроватью не стоял ночной горшок. Был здесь элегантный прикроватный столик, хотя там, где можно было бы найти баюкающий тиканьем жестяной будильник, лежала плоская коробка. Она была приблизительно размером с книгу, а на ее черном фасаде светились белыми линиями цифры, что напоминали ему о символах, которые складывают в досужие моменты из просыпанных спичек. Сейчас там было написано 23:15, и две точки посередине то пропадали, то появлялись, а... нет. Нет, 23:16. Он явно ошибся. Насмотревшись на

это таинственное послание и не разгадав, что оно значит, Майкл наконец перевел взгляд на источник бледно-радужного света, омывающего комнату, в которую он пролез со своими мертвыми друзьями.

В дальнем правом углу было отверстие – похоже на ход на чердак, всего лишь метр на метр. Оно горело чистым и неразбавленным цветом, словно модная современная картина, расплескивая бледное эхо ярких цветов на запрокинутые серые лица собравшихся под ним призрачных детей. Сразу под ослепительным квадратом к полу спальни спускались невероятно тесные ступеньки, которые из-за угла наклона и узости скорее напоминали приставную лестницу, чем обычную. Майклу показалось, что и окно в другой мир, и эти странные перекладки сделаны из чего-то другого по сравнению с обычной комнатой, где они находились. Словно их построили из призрачного материала, и мальчик сомневался, что их могут увидеть обычные люди. Рядом с ним в дрожащих полосах разбавленных розовых и пурпурных оттенков, проливающих на резкие контуры ее лица, Филлис объясняла, что это за флуоресцентный люк, таким тихим голосом, что почти неслышным.

– Эт называется глюк, а лестница под ним – лестница Иакова. Она ведет напрямиком на Стройку, в Душе. Вот че тут везде видно цвет. Она в этом углу почти с англосаксонских времен, даже с той поры, когда еще не блесть поселения. Это важный вход во Второй Боро, и потому-то за воротами всегда кто-то присматривает и стережет. За углами меж мирами глядят такие жуткие субчики, которых мы кличем Верналлы. Они как смертоведки: вроде и люди, но еще до того, как откинуться, наполовину живут Наверху.

Майкл, замороженно глядя в раскрашенный портал Души, мечтательно вставил тут пару слов:

– Манну моего папки знали Мэй Верналл, пока она не вышла замуж.

Тут как будто за шиворот серого кардигана Филлис уронили снежок. Забыв о собственных наказаниях хранить тишину, она воскликнула в неподдельном изумлении.

– Чи-иво? Так вот почему все это происходит! Вот почему ты умер, а потом вернулся к жизни. Вот почему зодчие подрались, вот почему ты умчал дьявол, вот почему Черный Чарли сказал про Портимот ди Норан и вот почему твоя семья живет на Алом Колодце! Эт ж твои предки. Эт у тя в крови. Че ж ты раньше не сказал?

Абсолютно неподвижно замерев в необычно осиянной спальне под падающим светом-конфетти, Мертвецки Мертвая Банда нервно уставилась на Филлис. Почему-то оробев, Джон протянул набор рук в пуловере и положил ладонь на плечо Филлис.

– Не ругайся на него, Филл. Если честно, я знал, что его бабка – Верналл, но даже не подумал об этом сказать. А кроме того, не все же выходцы из семьи следуют призванию, верно? Большинство – обычные люди.

Филлис возмущенно воззрилась на Джона и, очевидно, уже готовилась выдать отповедь, когда на них тревожно шикнула Утопшая Марджори, стоявшая у туалетного столика. Майкл отметил, что ни окрашенное свечение, ни очкастая пухлая девочка-призрак не отражались в зеркале.

– Цыц, вы двое! Кажется, я слышала, как кто-то двигается.

В напряженной преувеличенной тиши, опустившейся за объявлением Марджори, все разобрали ритмичный скрип половиц, пока кто-то медленно пересекал комнату вниз. Затем от лестницы раздался скрип открывающейся двери и голос – пронзительный и высокий от возраста, но все еще пробирающий до мозга костей.

– Там кто-то есть? Горе вам, если это вы, мелкие мертвые засранцы, шастаете по моему дому без спроса со своими призрачными проказами!

По лестнице от прихожей вниз к площадке затопали шаги, медленные и размеренные, а скрип каждой половицы сопровождало затрудненное дыхание. У Майкла не было ложечки,

под которой могло засосать, или крови, чтобы она застыла в жилах, но, стоя с новыми друзьями в пастельном свете, проливающимся из отверстия над головой, он почувствовал загробный эквивалент обоих этих ощущений – тошнотворную рябь в фантомных фибрах существа. Неземное существо, приближавшееся к закрытой двери спальни с другой стороны, было странным хранителем углов, не совсем человеком, и могло навлечь на них такие неприятности, что у доблестной Филлис Пейнтер зубы стучали при одной только мысли. Хотя он часто слышал, как выражением «горе вам» пользовались его родители или бабуля, он никогда не слышал такой интонации, что недвусмысленно передавала ощущения выражения: море горя, клокочущая волна-гора бед, растущая с серого горизонта. Майкл уже было думал, что страшней быть не может, как тут запоздало вспомнил, что лестница и площадка, где надвигался жуткий сторож, были единственным маршрутом отступления Мертвецки Мертвой Банды. И вот теперь уже страшней быть не могло.

Похоже, Филлис и остальные дети осознали свое положение примерно в тот же момент, когда это случилось с Майклом. Глаза Филлис заметались по спальне, на которую ложился радужно-шербетный свет, выискивая хоть какие-то укрытия или выходы, и наконец сузились в щелки твердой решительности.

– Бегом! Сквозь стену!

Вместо того чтобы утруждаться объяснениями, какая стена имеется в виду, самопровозглашенная начальница призрачной банды показала пример, драпанув со всех ног в закрытое шторами окно напротив двери спальни, пока ее преследовал блекнувший ряд маленьких девочек, мотающих шарфами из кроликов. Без всяких колебаний Филлис бросилась на занавески, которые даже не шелохнулись, когда она скрылась из виду. Майкл с испугом вспомнил, что они на втором этаже. На другой стороне внешней стены спальни не будет пола – только падение на улицу Алого Колодца. Филлис с тем же успехом могла бы прыгнуть с крыши. Что тревожило больше, все остальные последовали по ее следам. Сперва

маленький Билл, потом Реджи и Утопшая Марджори ринулись на занавешенное окно или тусклые обои по сторонам от него, прорываясь сквозь стену в отвесный обрыв в ночи снаружи. Как обычно, позади, чтобы проследить за Майклом, остался Джон.

– Давай, малой. Не бойся падать. Я же говорил, тут ничто не падает быстро.

Из-за двери спальни скрипящие шаги уже доносились с площадки, придвигаясь к двери под аккомпанемент рваной одышки. Явно решив, что времени на раздумья Майкла нет, Джон сгреб малыша в ночной одежде под мышку и побежал к стене, за которой уже исчезли их спутники. Растянувшись в тартановую многоножку размазанного движения, Майкл думал, что уже слышал, как за ними поворачивается ручка двери, когда Джон скакнул в шторы.

Промелькнула несущественная ткань, газообразное стекло – и оба полетели дымящимся бутонем через освещенную фонарями темноту. Как и обещал старший мальчик, спуск был необычно плавным, словно они погружались в клей. Хотя остальные дети нырнули сквозь стену всего за миг до них, Майкл видел, что Марджори, прыгнувшая последней, пока даже не достигла земли. Она приземлилась на улицу Алого Колодца водопадом испорченных смазанных снимков, подгибая короткие ножки в пухлых коленках, когда коснулась камней мостовой. Майкл подумал, что и они с Джоном наверняка оставили позади тот же исчезающий шлейф картинок, как затухший фейерверк, пока погружались в вязких тенях, а длинные конечности Джона уже готовились к незначительному удару.

Покинув спальню в тумане красок, они снова погрузились в черный, серый и снежный пейзаж призрачной стежки. Но даже так Майклу показалось, что в фонарном свете чувствуется гнильца, словно это уже не то чистое электрическое свечение, к которому он привык. Они с Джоном уже были почти на конце своей неспешной траектории, готовились стукнуться о грязный склон Алого Колодца, где поджидали их друзья, следившие за снижающейся парочкой

нетерпеливыми тревожными взглядами. Слабое содрогание, когда ботинки Джона с расцарапанными носками встретились с землей, а затем Майкл уже стоял на мостовой с остальными детьми. Голова еще кружилась после безостановочного темпа побега, от которого он не успел опамятоваться, но Филлис Пейнтер, похоже, и не собиралась давать ему такую возможность.

– Двинули. Уберемся подобра, покуда за нами не погнались. Еще блесть время обмозговать это дело с Верналлами. Можем выйти на Мэйорхолд через многоквартирники и переулки, чтоб не плестись на виду по улице Алого Колодца, а то вдруг сторож выйдет поглядеть, как тут да че.

Она взяла дезориентированного Майкла за клетчатый рукав и поволокла через улицу к фабрике с надписью «Пресс-формы» (хотя знакомый знак с названием куда-то пропал), на тупом углу Банной улицы, а остальные дети потопали туда же рассыпавшейся группкой с ним и Филлис в центре. Что-то здесь было не так.

Он взгляделся через полуночную улицу в выбранном ими направлении и миг не понимал, куда попал. Почему это нижний конец улицы Алого Колодца такой широкий? Она как будто разлилась без малейших преград, и Майкл дивился, почему ему видно всю темную дорогу Андрея насквозь до самого вокзала, когда он осознал, что терраса через улицу от той, откуда они бежали, исчезла без следа. Между широким проездом и длинной голой стеной вдали на холме тянулся только клочок земли. Неожиданная заросшая пустота, где местами на боках валялись какие-то тоскливые штуки, напоминающие чудовищные птичьи клетки на колесах, вдруг показалась ему ужасной. Майкл хотел было спросить Филлис, что происходит, но она только торопливо влекла его по пустой улице.

– Не забивай голову. Просто шевели ногами и иди за нами... и не оглядывайся, а то вдруг сторож выглянет в окно и увидит твое лицо.

Последнее звучало слишком надуманной причиной – то есть ложью, будто у Филлис была другая причина не желать, чтобы он

оборачивался. В совокупности с тем, как сгрудилась вокруг Мертвецки Мертвая Банда, словно закрывая что-то от его глаз, ее страшный тон только сильнее убедил Майкла, что творится что-то не то. С растущей паникой он вырвал руку из крепкой хватки Филлис и развернулся, чтобы увидеть дом у нижнего угла улицы Алого Колодца, из которого они только что сбежали. Что там может быть такого страшного, что ему нельзя видеть?

С печальным видом Реджи и Утопшая Марджори расступились, чтобы Майкл взглянул между ними на только что оставленное здание. Оно стояло в тишине, слабый свет просачивался через шторы, задернутые на окне первого этажа. Если не считать того, что оно казалось больше, словно в один слепили сразу два дома, то – за исключением факта, что оно выросло на месте, где, по воспоминаниям Майкла о 1959 году, был пустой двор, – вид казался совершенно нормальным. Ничего необычного или ужасного в самом жилье он не видел. Необычным, неправильным и ужасным оказалось то, что вокруг дома Майкл не видел вообще ничего.

Ряд террасы вдоль дороги Святого Андрея между Ручейным переулком и Алым Колодцем, где жили Майкл, его семья и все их соседи, испарился. На их месте – только нижний забор и живая изгородь игровых площадок Ручейной школы, а потом – очередной клочок опустевшей травы до самого тротуара и дороги. Не считая пары мелких деревьев, двойной дом у угла стоял в одиночестве на ночном краю земли – единственный глазной клык в сгнившей до основания челюсти. С положения Майкла среди других фантомных детей на склоне улицы Алого Колодца виделся небольшой лужок на другой стороне дороги Андрея, что лежал у основания Спенсеровского моста... а вернее, место, где лужок находился, когда Майкл был рядом в последний раз. От него не осталось ничего, кроме пограничной полосы деревьев, а за ней в темноте громоздились ряды гигантских грузовиков – на порядки больше, чем овощной грузовичок, на котором его пытался доставить в больницу сосед. Эти больше напоминали наставленные друг на

друга танки, а то и целый передвижной филиал «Вулворта». В отдалении, в мигающей огоньками дали большой дороги, стояли фантастические фонари родом прямиком из снов – невозможно высокие металлические стебли, расцветающие на вершине двумя продолговатыми лампами. Гнильца, которую Майкл ранее заметил в освещении, словно концентрировалась у этих фонарей нездоровым ореолом, что предполагало, что они и были ее источником. Их немощные лучи падали на спящие фуры и блестящий асфальт пустого проезда, на шепчущий ковер, выросший на пороге его пропавшего родного дома, его испарившейся улицы. Где он жил. Где он умер.

Вот что не хотели показывать Филлис и остальные. Его обитель, не считая единственного домохозяйства, задержавшегося на этом свете нелепой насмешкой, сровняли с землей. Его опустошенный вопль достиг мертвых ушей на многие кварталы вокруг, вопреки стоячим соническим течениям призрачной стежки. Переполненный бесконечной утратой, душераздирающий плач пронзил ночь, расколов мертвый мир от края до края, пока живой Боро вокруг спал, не ведая ни о чем, взирая во сне на тревожную шелуху своего бесславного будущего.

Флатландия

Реджинальд Джеймс Фаулер – вот что было красиво выписано всего на двух сертификатах, что ему когда-либо вручали, – тех самых, которые давали любому просто за то, что пришел на этот свет.

Реджи Котелком он слыл с тех самых пор, как мисс Тиббс, читая реестр учеников в его первый день в школе, ошиблась в имени, сказав «баулер» – котелок. Сама шляпа появилась намного позже, и он носил ее в честь своего имени. Он нашел ее вместе со слишком большим и вечно сырым пальто на свалке у захоронений возле церкви Доддриджа, когда спал там на двенадцатый день рождения. К тому времени он уже видел сон, где мисс Тиббс показывает книгу под названием «Мертвецки Мертва Банда», с беспризорником в пальто и котелке на обложке, в золотом тиснении, но когда он наткнулся на эти вещи в реальной жизни, то видение уже было забыто и нисколько не интересовало. Он больше радовался, что нашел бесплатную одежду – первая удача со времен утраты обоих родителей.

В то время он пытался поднять себе дух, представляя, будто шляпа и пальто – гостинцы, рассказывая себе, будто вернулся папа и оставил их для него, развесил на ежевике, растущей в изгибе каменной стенки, покрытой зеленой присыпкой от старости. Если быть с собой честным, он понимал, что убранство, скорее всего, принадлежало старику по имени Маллард, который жил в Долгих Садах у Мелового переулка и который покончил с собой из-за депрессии. Наверно, его сын, что вскоре после этого устроился мясником в Лондоне, насмотрелся дома до тошноты на одежду самоубийцы, вот и выкинул. Это, по прикидкам Реджи, случилось где-то в семьдесят первом или втором – за год до того, как его самого извел мороз.

За годы в Боро многие сводили счета с жизнью. Старик Маллард застрял в памяти Реджи только потому, что был мужчиной, тогда как почти все остальные были женщинами. Женщинам приходилось тяжелее – по крайней мере, так рассуждали между собой их мужья во дворе паба, если затрагивалась эта тема.

– Это со старыми домами что-то не так – таким было общее мнение. – Мужикам-то все с гуся вода, они же целыми днями на работе. А женщины вот маринуются в четырех стенах, им от этого никуда не деться.

Он часто задавался вопросом в досужие моменты, что же такое «это». Если «это» – что-то в самих старых домах, то, может, сырость или сухая гниль, миазмы какие, сочащиеся от балок и кирпичей, из-за чего человеку становится так не вмоготу, что хочется наложить на себя руки, – хоть Реджи ни о чем подобном и не слышал. А еще из-за того, как об этом говорили взрослые, важно кивая над пинтами водянистого светлого эля, у Реджи сложилось впечатление, будто речь о живом существе, которое однажды забредает на постой и потом отказывается уходить. Что-то такое печальное и несчастное, что лучше уж умереть, чем жить с ним дома, хлопотать по хозяйству, пока оно сидит в углу, ерзает да шелкает, глядит на тебя своими знающими черными глазками. Реджи всегда представлял «это» в виде гигантской ухвертки, хотя отчасти отлично знал, что речь о самом обычном отчаянии.

Этот неизгонимый ужас и расправился с матерью Реджи, так что он задумывался об этом часто. Она столько раз пыталась покончить с собой, что к третьей попытке даже стала находить в этом смешную сторону. В первый раз она попыталась утонуть в Нен, где та протекает у Лужка Фут, но речка там оказалась не такой глубокой, чтобы вместить женщину, так что она отказалась от такой мысли. Потом мама бросилась из окна спальни их дома на Газовой улице, но дело кончилось только сломанными лодыжками. В третьем случае она пыталась встать на колени и засунуть голову в печь, но газ кончился раньше нее, и во всем доме не нашлось пенни для

счетчика. Именно из-за этого – из-за такой бедности, что не хватало денег даже на то, чтобы задохнуться, – мать Реджи в итоге и рассмеялась над всеми своими невзгодами. Реджи и папа так удивились, застав ее в веселом настроении, что присоединились, хохотали на промерзшей кухне с открытыми окнами, чтобы проветрить резиновые едкие пары. Сам Реджи закатился громче всех, хотя, конечно, и не понимал ситуации и смеялся только потому, что смеялись все вокруг. А еще, наверное, он хихикал от облегчения и благодарности, убежденный, что темная глава семейной истории наконец-то закрыта.

В каком-то смысле, конечно, он был прав: через несколько недель после потехи в холодной провонявшей кухне мать Реджи снова прыгнула из окна на втором этаже, на этот раз сумев приземлиться на безразличные булыжники мостовой Газовой улицы головой, чем и добилась своего. Глава определенно завершилась, вот только следующие оказались еще мрачнее, еще хуже.

Вслед за успешным четвертым и последним опытом жены в самоуничтожении папа Реджи тяжело запил, хлестал эль так, что только держись, а потом начал влезать в драки. Так продолжалось ночь за ночью – брызгала кровь из разбитых носов на стены нужников, сплевывались зубы в канавы Газовой улицы, как миниатюрные костяные ракеты с хвостом из красных искр, и дело неизбежно кончалось тем, что вызывали констебля. На первый раз его поколотили. На второй – скрутили, и Реджи даже не знал, в какой кутузке сидит папа. Брошенный, Реджи один жил в доме на Газовой улице неделю кряду, роскошествовал – ел и спал в большой постели родителей, не открывал, когда впервые пришел домовладелец. Но на следующий визит тот прихватил бейлифа, который попросту выбил дверь – к этому времени Реджи сверкал пятками в оставленном без присмотра заднем дворе, перескочил через противоположный забор и был таков.

Следующим адресом его проживания стал пустырь перед церковью Доддриджа – его еще звали захоронениями. Он остался

вполне доволен маленьким домиком, который соорудил себе у забора, выходящего на Меловой переулок. И хоть это всего лишь был фанерный ящик, Реджи гордился, с какой смекалкой и умением обратил его в жильё. Перевернул его набок, вымел всех улиток и приладил чью-то выброшенную шторку на отверстие выхода наподобие двери. Замаскировал ящик ветками, думая, что так бы наверняка поступил настоящий индейский лазутчик, и сподобил себе копье для защиты, заострив длинную палку ржавым перочинным ножиком, пока не смекнул, что сам ножик – оружие куда лучше. Тогда он соображал туго, но ему и было-то всего лишь одиннадцать.

Впрочем, поиск еды и выживание, которые в подобных обстоятельствах могут показаться тяжелым трудом, Реджи давались просто и естественно. Он отирался на окраине площади в базарную ночь и искал раздавленные фрукты или овощи, брошенные среди папиросной бумаги, соломы и пустых коробок. Задняя дверь пекарен к закрытию нередко приносила плоды в виде буханки – уже нетоварного вида, но еще и несомненно зачерствевшей, – а у мясника иногда можно было разжиться костями для супа.

Как-то раз, пока он брел одним нескончаемым днем по улице, повесив голову, Реджи осознал, сколько люди теряют мелких монет, особенно у лавок. Реджи и искал их, и иногда попрошайничал ради полпенни, а один раз подрочил старому бродяге, который обещал трехпенсовик, а потом пошел на попятную. Это было в джунглях нехоженого речного берега между парком Виктории и Лужком Пэдди, куда нельзя было попасть, кроме как проплыв под Спенсеровским мостом, – в дичи, где пахший сыростью босяк соорудил себе костерок из обрывков картона, валежника и обрезков ковра. Реджи до сих пор с содроганием вспоминал, как зашипела малафья усатого мужичка, скользнув жидкой дугой в желтое пламя, – и все зряшно, даже жалкого фартинга не обломилось. И все же, несмотря на разочарования, Реджи как-то перебивался. Он не был беспомощным, не был слабым – ни телом, ни разумом. И убил его в

итоге не недостаток пропитания, а английская зима, а с ней никак сладить нельзя, как бы ты ни был силен, умен или сметлив. Когда спустя пару дней его нашли в ящике, он свернулся калачиком, а одно веко смерзлось с глазом. Вот и вся недолга, вся незамысловатая жизнь Реджи – хотя, очевидно, далеко не все его существование.

Если честно, в смерти он устроился куда лучше, чем в жизни, мигом почувствовал себя в новой среде как рыба в воде. Впрочем, он до сих пор помнил, как удивился и растерялся в первые часы после кончины. Случилось это утром воскресенья. Реджи проснулся под странно приглушенный звон церковных колоколов и почему-то пугающее осознание, что ему уже не холодно. Он попытался откинуть полог занавески, служившей дверью, но произошло нечто непонятное – он обнаружил, что стоит на четвереньках снаружи своего самодельного фанерного дома, тогда как прилаженные к выходу тряпки так и висели неподвижно.

Если задуматься, первым делом его поразило, что трава, на которой он присел, – устрично-серая, а не зеленая, хотя налет инея и оставался зернисто-белым. Поднявшись на ноги и оглядевшись, он увидел, что все стало черным, белым и серым, в том числе слабый цветочный узор на прилаженной к выходу занавеске – на самом деле не иначе как безжизненно-синий. Теперь он невольно улыбался, когда вспоминал о том, как под еле слышный перезвон колоколов в черно-белом окружении пришел к пугающему выводу, что во время сна оглох и ослеп на цвета – будто это самое страшное, что может случиться зимней ночью. Только когда он заметил картинку себя, что оставлял при каждом движении, у Реджи закралось подозрение, что случилось что-то непоправимое, и не помогут тут ни очки, ни ушные трубки.

Конечно, вскоре после этого он принялся экспериментировать с прикосновениями, обнаружив, что они ему больше не даются. Попытавшись отодвинуть занавеску от двери грубого прибежища, он увидел, что рука проходит сквозь ткань, словно той вовсе нет, и

исчезает с глаз долой, пока он ее не отдергивал. В тот момент Реджи удумал, что для того, чтобы заглянуть в ящик, можно наклониться лицом через материю полога – точно так же, как только что проходили сквозь его пальцы.

Каким же он был жалким, мальчик в ящике. Замерз в той же позе, в которой заснул, – лысые коленки подтянуты к груди, прижата к земле сплюснутым ухом ладонь, брови покрылись наледью. На незаметных волосках веснушчатой щеки поблескивала кристальная пыль, а на одной ноздре повисла серая сосулька соплей. В отличие от большинства обитателей призрачной стежки, встреченных впоследствии, Реджи признал свой труп сразу же. Во-первых, мертвый ребенок был в длинном пальто и котелке – точь-в-точь тех, что были на нем самом в тот же момент. Во-вторых, родимое пятно Реджи в форме Ирландии, словно расплескавшийся чай на левой икре над заочеченными складками подмороженного носка. Скачущие запятые, которые он заметил краем глаза, оказались трезвомыслящими и прагматичными блохами, покидающими своего хозяина. Он закричал – на удивление глухой звук практически без резонанса – и отдернул голову за висющую шторку, и она даже не шелохнулась.

Потом Реджи какое-то время хныкал, а по его лицу катились несоленые сгустки эктоплазмы – скорее воспоминание о слезах, чем сами слезы. Наконец, когда стало очевидно, что, плачь не плачь, никто не придет и ничего не исправит, он громко шмыгнул и выпрямился, решив не падать духом. Выпятив нижнюю губу и подбородок, он твердо зашагал по захоронениям в сторону церкви Доддриджа, и промерзшая почва под невесомым шагом почему-то казалась пружинистой и поддавалась, как торфяной мох. От спины шелушились серые реплики, преследуя его вереницей по январскому пустырю, и самые дальние фигуры блекли, пока в начало очереди вставали всё новые.

Потому как стояло воскресенье, Реджи увидел немало людей и парочек, пробиравшихся по косым улочкам Боро к церкви, хотя из-

за пагубного холода их ряды были малочисленнее, нежели в какой другой день. Шагая через захоронения к старой церкви и собирающейся пастве, он заметил, что больше никто не терял за собой своих изображений, как он. У него возникло дурное предчувствие по поводу того, что это могло бы значить, но он все равно попытался окликнуть прихожан и поздороваться. Только по ошибке он выговорил «Вгробсойте!», хотя сомнительно, что ответ набожного собрания изменился бы, как это ни произноси. Они обменивались друг с другом любезностями, кутались в зимнюю одежду и шаркали к потертым железным воротам и не обращали на него ровным счетом никакого внимания. Даже когда он плясал прямо перед ними и обзывал в лицо – чудны́ми перепутанными обзывательствами, которые казались неправильными даже самому Реджи, – они просто смотрели сквозь него. А одна – пухлая девочка – даже сквозь него прошла, подарив короткое незваное зрелище хлюпающих вен, костей и промелькнувшей гадости, которая, верно, была мозгом. Этот случай окончательно убедил Реджи в его состоянии, он наконец смирился с тем, что люди его не видят и не слышат потому, что остались среди живых, тогда как ему место теперь, очевидно, среди мертвых.

Прошло немало времени, пока Реджи стоял у ворот, переваривая этот отчаянный факт, когда он вдруг услышал тонкие щебечущие голоса над головой и пригляделся к карнизам церкви Доддриджа.

С тех пор как Реджи скончался, ему, должно быть, тысячу раз объясняли этот феномен – как все соотносится с какой-то особой версией геометрии, – но он ни в какую не мог уложить это по полочкам в голове. Он и обычной геометрии не представлял толком, а уж новый ее вид и вовсе был навсегда обречен остаться за пределами понимания. Он сомневался, что когда-нибудь по-настоящему поймет, что же увидел, когда поднял взгляд к верхним пределам скромного сооружения.

Все контрфорсы и прочее, что должно торчать наружу из верхних стен, теперь как будто торчало внутрь, словно здание вывернули

наизнанку. В зримых нишах и выемках, получившихся благодаря этому эффекту, восседали маленькие человечки, не выше десятка сантиметров, и все отчаянно махали Реджи и звали его чирикающими мышинными голосками.

Тогда, в возрасте двенадцати лет, он бы, наверное, поверил, что перед ним пикси, не будь они так паршиво и серо одеты или знакомы лицом. В крошечных кепках и мешковатых штанах на мизерных подтяжках, в фартуках и черных чепцах они мельтешили туда-сюда по муравьиным балконцам, образованным выпуклыми впадинами. Манили и жестикулировали, кликали миниатюрными ртами, а их лица были отмечены все теми же бородавками, косоглазием и красными носами, что найдешь в любой толпе попрошайек в базарный день. На лацканах пальто женщин были прикреплены микроскопические брошки, дешевые и потускневшие. Пуговицы рубашек мужчин – те, что еще не оторвались, – были такими мелкими, что еще чуть-чуть и не разглядишь. То были не остроухие фейри из книжек с картинками во всем своем броском шике, а самые обычные люди во всех своих неказистости и неприглядности, только почему-то съезжившиеся до размера жутких верещащих жуков.

Пока он стоял разинув рот и глядел со смесью увлечения и отвращения на паясничавших гомункулов, он все же заметил, что больше никто среди россыпи богомольцев, собравшихся у церкви, к нему не присоединился. Никто не поднял головы к странно вогнутым выступам, где махали, тараторили и свистели помоечные чертенята, и так Реджи сообразил, что люди их не видят. Он заключил, что их видят только мертвые – заблудшие души вроде него, которые оставляли за собой серые изображения, а не слабые облачка туманного дыхания, присущего живым в студеной январский день.

Он не знал, что это за существа, и в тот момент не хотел выяснять. На него постепенно снисходило – с самого момента, когда он заглянул в ящик, – что, хоть он и мертв, не похоже, чтобы он был в раю. А это в ограниченном понимании теологии Реджи оставляло

всего одно-два места, которыми могла быть призрачная реальность, и ни то ни другое не казались привлекательными. С растущей паникой он попятился, проходя между или сквозь ничего не подозревающих жителей Боро, прибывающих к месту поклонения, и все время не сводил глаз с семенящих видений на стрехах на случай, если крысиные человечки вдруг скатятся по церковным стенам и набросятся на него.

Наконец он отвернулся и припустил с торопящимся вслед за ним хвостом остаточных изображений, обходя церковь слева к Замковой Террасе, где его поджидало еще более поразительное зрелище. Все дело было в старой двери, что висит на высоте на западном фасаде церкви Доддриджа. При жизни он часто ломал над ней голову, пытаясь угадать ее назначение, но, выскочив из-за угла и замерев на месте, пока в него втыкались фантомные двойники, Реджи наконец обрел ответ, хоть и не понимание.

Хотя теперь Реджи с усмешкой оглядывался на свое недоумение при первой встрече с Ультрадуком, если быть честным, для него не прояснилось, что это или как оно работает, даже после стольких лет – неисчислимых, потому что их и не было смысла считать. Реджи только помнил перехватившее дух благоговение, с которым без единой мысли в голове блуждал взглядом по рядам чудесных белых пилястров, закинув голову, чтобы вместить в глаза стеклянное подбрюшье невозможного моста над головой. Над прозрачным алебастром его настила, над ним и над Замковой Террасой, туда-сюда целеустремленно сновали фосфоресцирующие пятна, а мимолетный свет пробивался сквозь точеные балки, чтобы упасть на поднятое лицо Реджи, словно снег, для которого, как все говорили, сегодня было слишком холодно.

Пройдя под великолепной умопомрачительной постройкой в оглушенном трансе, он наконец вывалился с противоположной стороны, и все его испаряющиеся реплики вывалились вслед за ним. Освободившись от завораживающей красоты Ультрадука, Реджи издал громкий стон замешательства перед прогрессирующей странностью

своей ситуации. Не оглядываясь, он в панике помчался по Бристольской улице – крепко прижимая призрачную шляпу к голове, с хлопающей по голым коленкам потусторонней шинелью. Он слепо забирался вглубь бледного отзвука Боро, который станет, как тогда казалось, его новым домом навечно: страшного места, на которое обрекли Реджи. Он несся по бесцветному углепроводу Банной улицы, как паровой локомотив, волоча за собой вместо вагонов и тендеров своих двойников. Там, в больных кишках района, он постепенно замедлил бег, потом сел посреди дороги и попытался собраться с мыслями.

Конечно, не прошло много времени, как он повстречал первых неприкаянных: мелкую компанию, которая выглядела и говорила, как пьянчуги из нескольких разных столетий. Они вправили ему мозги относительно природы призрачной стежки – или, как они сами говорили, чистилища. Как и многие привидения Боро, в душе они были сентиментальной братией и взяли его под крыло, выучив многим полезным навыкам. Они показали, как соскребывать накопившиеся обстоятельства и копать сквозь время, потом рассказали, где найти самых сладких Бедламских Дженни, которые растут в вышних трещинах и которых люди с сердцебиением видеть не могут. Они даже сыскали ему призрак старого футбольного мяча, хотя первая же проба продемонстрировала ограничения игры – вернее, ее посмертной версии: во-первых, мяч не подпрыгивал высоко – примерно так же, как звук не резонировал четко. Во-вторых, будучи бесплотным, призрачный мяч бесконечно плыл через стены домов живых. Реджи быстро надоело постоянно доставать его из-под стола или из кресла, пока вокруг ужинала какая-нибудь семья.

Реджи был благодарен за руку помощи и чувство локтя старых мертвецов, и все же, оглядываясь, понимал, что оказали они ему медвежью услугу. Хоть и помогли приспособиться к новому состоянию, заодно привили убеждение, что этот убогий полумир, это удручающее чернильное чистилище – все, чего он заслужил. Он

перенял разочарованное пораженческое мировоззрение и во всем следовал их примеру. Они говорили, что Реджи может заново пережить жизнь, если хочет, но их тон предполагал, что идея эта весьма неудачная. Тогда он склонялся к тому, чтобы разделять это мнение, и в каком-то смысле придерживался его до сих пор. Ему не улыбалось как заново пережить попытки самоубийства матери, так и повторить пьяные припадки гнева папы. Не казались действенным стимулом такие моменты, как по второму разу подрочить бомжу и опять замерзнуть насмерть в ящике. Теперь, за пределами жизни, он наконец мог признаться самому себе, что это были за кошмар и пытка. Он не выносил и мысли о том, чтобы пережить все сызнова, хоть тысячу раз, хоть всего один.

Горемычная толпа привидений, ставшая менторами Реджи в загробной жизни, отсоветовала ему и подниматься Наверх, в место под названием Душа. Они объясняли, что это для покойников классом получше, которые вели респектабельную и безбедную жизнь, а не для неудачников вроде Реджи и его новообретенных приятелей. Их низкое мнение о себе было созвучно его собственной пошатнувшейся самооценке, и Реджи приходило в голову, что он до сих пор мог быть одним из них, по сей день безрадостно шататься по переулкам призрачной стежки, слушая их жалобы и сожаления в немом пейзаже, где угасали каждый звук и каждая надежда. Он трезво сознавал, что до сих пор ходил бы в рядах этого угнетенного содружества, если бы не великая призрачная буря 1913 года.

Тогда словно Боженька в трубы затрубил, так оглушительно и неожиданно грянуло. И куда страшнее, чем относительно небольшое ненастье, от которого Реджи и Мертвецки Мертвая Банда сумели ускользнуть только что, в 1959-м. Но оба события вызвал один и тот же феномен: всплеск активности высших сверхъестественных сил в регионе Души, соотносившемся с Мэйорхолд, где было такое место под названием Стройка. В 1913 году эти высшие силы – будь то зодчие или бывшие зодчие, переквалифицировавшиеся в дьяволов, – подняли переполох в связи с чем-то, вроде бы

связанным с надвигающейся войной. Их возмущенные распри спровоцировали ветер ужасной силы, который промчался по фантомному району и сдул всех знакомых Реджи фаталистов в самый Делапре. Вот почему Реджи так заштормило, так сказать, когда он с остальными детьми услышал, что Черный Чарли рассказывает о надвигающейся призрачной буре: в одной Реджи уже побывал.

Тогда не было никаких предупреждений – просто внезапный порыв фантомной пыли и хлама посреди улицы Святой Марии, а потом из ниоткуда принеслась призрачная урна и припечатала Реджи точно между лопаток, так что он рухнул ничком. Оглядываясь теперь, он понимал, что это его и спасло. Опрокинувшись вперед, каким-то образом прижав собой и расплющив котелок, он инстинктивно выставил вперед обе руки, чтобы прервать падение, и обнаружил, что по локоть вошел в древнюю и потому частично осязаемую почву Боро. Его заметавшиеся пальцы где-то в футе или двух под землей в панике наткнулись на древесный корень, который тоже оказался достаточного возраста, чтобы можно было ухватиться, и потому Реджи более-менее надежно окопался, когда всего спустя миг ударила кувалда призрачного шторма.

Похожий на Джона Булла старый Ральф Питерс, обанкротившийся бакалейщик из 1750-х с чем-то, издал испуганный и отчаянный крик и поднялся в воздух, невесомый как перышко, воспарив в направлении церкви Святого Петра. Они тогда шарились среди деревьев и кустов между захоронениями, где скончался (и впоследствии был похоронен) Реджи, и Лошадиной Ярмаркой. Когда оголтелый северо-восточный ветер оторвал бедного Ральфа от земли, тот в отчаянии хватался за верхние ветки вяза в надежде найти опору, но то были новые побеги и прошли сквозь пальцы дородного духа, словно их и не было. Ральфа унесло вверх тормашками к южному горизонту с пугающей скоростью и жутким звуком сдутого серого шарика, а остаточные изображения его

шокированного лица влеклись за ним спиралью, как сотня плакатов Джона Булла, льющихся из печатного станка.

Распластавшись на земле, не в силах перекричать бурю и цепляясь за погребенный корень не на смерть, а насмерть, Реджи наблюдал, как один за другим остальные из потасканного сборища – Макси Маллинс, Рон Кейс, Кэджер Плаурайт, Бертон Тернер – кувыркались в облака мимо фабричных труб, заборов из ржавой жести и кирпичных стен чьих-то домов. Он слышал мучительный вопль Рона Кейса, когда маленькое сутулое привидение с вечно заложенным носом на высокой скорости врезалось в девятисотлетний шпиль церкви Петра – достаточно почтенного здания, чтобы набрать солидный вес даже на призрачной стежке. Судя по тому, что Реджи рассказывали годы спустя, Рон столкнулся с колокольной и обмотался вокруг нее, как ленточка, зацепившаяся за гвоздь, которую полощет на ветру. Бушующие порывы трепали его невещественное тело, словно бумажный флажок, и в результате, если верить очевидцам, он стал в два раза выше ростом и слишком тонким, чтобы взглянуть без содрогания. Что до остальных, то Реджи не представлял, где их в итоге разбросало: с того жуткого дня по сегодняшний он больше не встречался с доброй, но подавленной шайкой. Как знать, может, они до сих пор еще где-то на высоте, стонут и жалуются, пока их носит и болтает, навек застряли в воздушных потоках планеты.

А тогда, в урагане духа, он остался один, носом вниз и по плечи в грунте Боро, с оторванными с земли ногами на ревущем ветру позади, где беспомощно брыкалась целая футбольная команда ботинок и штопанных-перештопанных носков. Как Реджи припоминал, он колебался, продолжать ли держаться за корень, пока шторм не утихнет – если он вообще утихнет, – или же отпустить и присоединиться к коллегам. Он уже было склонился ко второму варианту, когда вдруг заметил, что в торфе пустыря в ярде перед ним происходит что-то странное. От одной темной точки как будто расходились концентрические полосы черного и белого цвета, и из

этого мерцающего центра, из-под земли, выползли пухлые и мерзкие черви – за них Реджи сперва принял детские пальчики. В какой-то момент виднелось по меньшей мере тридцать пальцев, и он догадался, что владелец рук наверняка сам призрак, как и он, что послужило поводом для осторожного оптимизма.

Разгребая дрожащие полоски в виде конфет «Ликорис Оллсорт» движениями копытных лап крота, таинственные руки очень быстро сладили достаточно широкий портал, чтобы можно было протиснуть и другие части тела. Так он – с ладонями в земле, хлопающими щеками и слезящимися на беспощадном ветру глазами – оказался лицом к лицу с маленькой девочкой, чьи голова и плечи неожиданно высунулись из пустыря в паре футов от него. На ее шее была фреза из кроличьих шкурок, из-за чего казалось, будто она вынырнула из бочки сдохлым зверьем. Ее стриженные под горшок волосы хлестали по лицу в бушующей буре, и каждая прядка волокна за собой завесы остаточных копий, скрывая хмурые черты маской спутанного пара. Так он впервые повстречал грозную, сквернословную, смелую, несносную Филлис Пейнтер.

Всю дорогу оскорбляя его словесно и обращаясь с ним как с идиотом, Филлис умудрилась дотянуться и схватить его за запястье, как только он извлек одну руку. Благодаря, как оказалось, ее пареньку Биллу, который держал девочку за лодыжки внизу, она ухитрилась втянуть Реджи и его раздавленную шляпу через прокопанное отверстие и стащить в поблескивающую проглядную тьму туннеля, ведущего от церкви Петра к церкви Гроба Господня – по крайней мере, в тысяча трехсотых, а именно в этом периоде Филлис копалась на свежий воздух, когда наткнулась на Реджи. Все кучей-малой приземлились на Билла, пытаясь найти свои руки и ноги на утопанном земляном полу среди потерянных саксонских монет и норманнских собачьих костей, хихикая и визжа, словно вся лютая опасность была лишь развеселой игрой. После несчетных лет знакомства со сломленными стариками, боявшимися жить даже в смерти, Реджи вновь познал духоподъемное удовольствие от

существования неразумным оболтусом, которого не тяготит раскаяние. Наконец они прекратили хохотать и сели во мраке четырнадцатого века, чтобы пожать руки и представиться, как положено.

С тех пор они с Биллом и Филлис были более-менее неразлучны: устраивали прятки на небесах, гонялись в пятнашки, скользили на попе в пыльные века. Узнав их получше, Реджи собрал по отдельным фактам цельное понимание, что они родом из одной семьи и оба жили и умерли намного позже него самого. Узнал он, что фамилия Филлис – Пейнтер, а о других своих юных приятелях он и этого не знал. Он полагал, что Билл тоже наверняка Пейнтер, но понятия не имел о фамилиях Утопшей Марджори или Джона, которых Реджи и Пейнтеры повстречали через какое-то время после своего знакомства в средневековые времена, под захоронениями. Как и живые дети, мертвые предпочитали почти всегда пользоваться одними именами – ну или так казалось Реджи.

Билл и Филлис быстро избавили Реджи от заблуждений обреченной философии, которых он нахватался у Макси Маллинса, Кэджера Плаурайта и прочих. Сводили его в Душу – во Второй Боро этажом выше мира смертных, где Реджи пал на колени при виде зычного звука и ошеломительных красок – как и запаха шарфа из мертвых кроликов Филлис, вернувшегося, стоило им выбраться из непахнущего царства призрачной стежки. Сойдясь поближе с приземленными, но и возвышенными личностями, обитавшими в основном в верхнем мире, – вроде миссис Гиббс, старого Шерифа Перрита или Черного Чарли, – Реджи многое переосмыслил и о себе. Загробная жизнь – которая в каком-то смысле была жизнью и догробной, – оказалась вовсе не местом для высокомерных снобов, как рассказывали Бертон Тернер и остальные. Нет, это было чудо и ужас, самая увлекательная детская игровая площадка, какую только мог вообразить Реджи, и еще он понял, что все ее сияющие обитатели были всего лишь людьми, что прожили свои жизни и делали то, что до лжно, как и сам Реджи. А сломленных духов, с

какими он слонялся по стежке раньше, обрекли на чистилище не более чем их же собственный стыд и безжалостно низкое мнение о себе.

В какой-то момент в первые дни знакомства – возможно, сразу после Приключений с Фантомной Коровой и до Тайны Снежного Города, – они втроем впервые решили, что теперь официально стали бандой. Как раз в это время Реджи припомнил свой давний сон о мисс Тиббс и предложил назваться Мертвецки Мертвой Бандой, что вроде бы всем пришлось по душе. С тех пор они держались вместе, хотя Реджи понятия не имел, как давно собралась их веселая компания или как вообще подсчитать срок в безвременном мире Души.

Из-за непростого положения со временем во Втором Боро Реджи вел учет событий по порядку, в котором их пережил, – как и большинство людей. Он догадывался, что у зодчих и дьяволов иной взгляд на вещи, но это все как-то увязано с особой геометрией, математикой и измерениями, вот он и предпочитал не морочить себе голову. У Реджи от лет и дат всегда шел пар из ушей, так что лучшее, что он мог, – держать в голове список важных событий в правильной последовательности. Например, вслед за наречением банды они довольно скоро отправились на приключение по Снежному Городу, когда все втроем путешествовали в двадцать пятый, а сразу после этого началось Дело Пяти Дымоходов. В следующем походе – Мертвецки Мертвая Банда против Ведьмы из Нен – они подобрали Утопшую Марджори, а восемь или девять авантюр спустя повстречали Джона с его героической внешностью из комиксов для мальчиков, во время Дела о Подземном Самолете. Пусть с тех пор миновали недели, годы, десятилетия, а то и века – для Реджи это был один бесконечный день, примерно как дети представляют себе школьные летние каникулы, измеряя их в сыгранных играх и найденных лучших друзьях.

Этот период – с Загадкой Ползучей Руки, Инцидентом Бредящего Чернорубашечника и всем прочим – был для Реджи по большей части спокойным и счастливым. Но теперь, на текущей операции («Тайна Сопливого Нытика»), он начинал задумываться, не подошли ли к концу беззаботные времена, как когда-то его дни с неприкаянными. Сначала – эта неприятность с дьяволом, первым действительно знаменитым бесом, с которым Реджи столкнулся за все свое время Наверху, а потом разговоры о том, что из-за этого клопа устроили перебранку мастера. Добавь сюда пугающую призрачную бурю – и, на взгляд Реджи, их последняя эскапада начинала вырождаться в полную катастрофу. Раньше он думал, что самое худшее, что с ним могло случиться, – это смерть в ящике, а остаток вечности будет, сравнительно говоря, малиной. Но из-за дела с Майклом Уорреном, всякими демонами и опасностями такой взгляд казался избыточно оптимистичным. Про себя он придерживался мнения, что чем скорее они скинут эту белобрысую приبلуду в алый колодец в пятом веке, тем лучше.

Ну только гляньте, какой переполох он учинил, когда обернулся и обнаружил, что его дома и улицы нет как нет, думал язвительно Реджи. Везучий засранец уже узнал, что скоро вернется к жизни, а теперь закатывает истерики из-за сноса пары зданий. Попробовал бы он замерзнуть насмерть в ящике. Реджи казалось, всем этим современным хлюпикам стоит разок замерзнуть насмерть в ящике. Сразу мозги вправятся.

Реджи стоял с товарищами и новеньким на перекрестке Банной улицы и Алого Колодца, где-то в пятом или шестом, в двухтысячных. Майкл Уоррен все еще лепетал и тыкал пальцем в место, где стоял его дом, пока его утешал большой Джон, а Филлис говорила не дурить. Реджи презрительно харкнул эктоплазмой в канаву. Сдвинув котелок под – как ему казалось – лихим углом, он бросил взгляд вниз по холму на дорогу Святого Андрея и одинокий дом у самого угла, откуда они только что сбежали. Справедливости к хнычущему малышу ради, Реджи тоже не нравилось так далеко забираться по

лестнице десятилетий. Вот его собственный век – девятнадцатый – был ничего, хоть и обошелся с ним не по-людски, и первая половина двадцатого тоже еще презентабельна, если забыть о войнах. Но вот во временных периодах дальше все пошло наперекосяк. От места, где они были сейчас, в двадцать первом веке, Реджи старался держаться подальше с самого эпизода со Снежным Городом. Несмотря на то что Реджи сам был призраком, этот век наводил на него жуть.

Хуже всего были нынешние дома – многоквартирники. Там, где Реджи еще помнил запутанные переулки, забитые отдельными домиками, теперь стояли только большие уродливые корпуса, по сотне хозяйств, смятых в один куб, как когда давят под прессом старые машины. И, естественно, новый образ жизни изменил и людей. В эти дни семьи делились, как яйца в картонной грехотке, по одной ячейке общества в ячейке, и народ не держался вместе, как когда их грязные улицы и грязные жизни были переплетены в одном клубке. Как будто общество вдохновилось примером Реджи Котелка, и подавляющее большинство людей предпочитало жить и умирать поодиночке, в коробке. Бесцельно оглядывая сиротливое сооружение из красного кирпича, торчащее из ночной травы у перекрестка с дорогой Святого Андрея, он неожиданно осознал, что этот необычный рудимент остался последним настоящим домом во всем Боро. Остальные заменились бетонными куличиками.

Позади между всхлипами и глотками воздуха Майкл Уоррен корил Филлис за то, что она притащила его в это гадкое место. Говорил, что уже сомневается, что она за ним приглядывает, и уверен, что она просто делает, что хочет, как настоящая эгоистка, – с точки зрения Реджи, здесь была доля правды, только тыкать этим в лицо Филлис – мысль неудачная. И правда, атаманша Мертвецки Мертвой Банды тут же встала на дыбы, а потом еще и закусил удила и обрушила гневный нагоняй на шмыгающего мальчишку, громко перечисляя, как помогла ему на Чердаках Дыхания и как спасала из хватки короля-дьявола. Пропуская дискуссию мимо ушей, Реджи снова

сплюнул в темноту – сгусток призрачной мокроты, полетев на мостовую, оставлял за собой бледные капли в темноте, словно пунктир. Вернув внимание к поблекшей ленте дороги Святого Андрея, распустившейся в ночь на север, к Семилонгу, Реджи наблюдал за жидким автомобильным потоком, что мелькал туда-сюда под выгнутыми шеями фонарей с болезненно-серыми венчиками света.

Реджи испугался машин, когда впервые встретил их во время салок-сквозь-стены с Биллом и Филлис в 30-х, и с тех пор поражался и восхищался ими по мере того, как все больше привыкал. Реджи нравилось воображать, что за безвременное время с тех пор успел стать знатоком автомобилей, предпочитая те, что можно найти в 1940-х и 1950-х. Его любимчиками были двухэтажные автобусы, особенно когда Филлис рассказала ему, что живые люди видят их ярко-красными. Транспорт середины двадцатого века нравился ему в основном из-за ладных обводов – изгибов брызговиков и выпирающих бамперов. А еще Реджи казалось, что у машин тех лет веселые лица: расположение фар, символа на капоте и решетки радиатора, в котором Реджи не мог не увидеть глаза, нос и рот.

Редкие современные машины, гудевшие и проносившиеся в ночи по дороге Святого Андрея, как и большинство черт этого века, пришлись не по вкусу Реджи. Либо у них были лощеные тела злых кошек, ловко скользящих к жертве в высокой траве, либо они напоминали громоздкие военные танки, которые разогнали до галопа. Хуже всего, на его взгляд, были холодные и недобрые прищуренные лица, втиснутых под лоб капота, словно тупые и хищные маски зубастых рыб. Фары теперь были заподлицо, незаметные над хмурым прикусом радиатора, и в целом металлические четырехколесные черепа напоминали о боевитых бультерьерах. Однажды он заметил Филлис, что они как будто вышли на охоту в темноте, а она шмыгнула и ответила: «Здесь – разве что на телочек».

За плечом шинели Реджи так и продолжалась свара Филлис и Майкла. Филлис говорила: «Если ты так хочешь, мож, и надо ты бросить, и поделом», – а Майкл Уоррен отвечал: «Ада лай, от восьми и врозь», – что Реджи казалось белибердой. Но так уж говорили все новоумершие, пока не привыкали к расширившимся возможностям языка, существовавшим в Душе наряду с насыщенными звуками и цветами. Пока им не попадала в рот Лючинка, как говорится. Реджи вспомнил свою первую невразумительную сентенцию не обращая на него никакого внимания членам конгрегации, входившим в церковь Доддриджа в 1870-х, и почувствовал укол симпатии к дезориентированному мальцу, хоть и ненадолго. Так как больше машин видно не было, Реджи уже хотел вернуться к поцапавшимся детям-призракам и возобновить свое участие в дебатах, когда заметил, как из безликой кирпичной стены, отгораживающей гаражи многоквартирников чуть ниже по холму от места, где стояли они, ближе к встрече потемневшей улицы Алого Колодца с залитой натриевым светом лентой дороги Святого Андрея, появилось что-то странное.

От высокой стены одного из гаражей выдавилось узорчатое пятно, растянувшись по темной траве, как протекшая краска или, вернее, содержимое удивительных тюбиков с полосатой зубной пастой, которые Филлис показала ему в полных диковинками пределах 1960-х, только эта катящаяся капля была скорее клетчатая, чем полосатая. А еще, судя по время от времени прорывающимся приглушенным звукам, оно рыдало. После пары моментов недоумения Реджи понял, что это неприкаянный – упитанный малый в ярком пиджаке в клетку, оставлявший за собой предсказуемо вырвиглазный след остаточных изображений. Волосы призрака были черными, как и тонкие усики на верхней губе, хотя Реджи показалось, что они крашенные, словно дух лучше всего нравился себе пожилым мужчиной, пытавшимся молодиться. На нем была серая бабочка и белая рубашка, выпирающая на животе, словно мешок с мукой, а судя по траектории, по которой он струился через

шуршащие сорняки к дороге Святого Андрея, Реджи подозревал, что он только что вышел с Банного ряда в нескольких десятилетиях в прошлом, когда тот сжатый проулок еще стоял на своем месте. Насадив котелок на уши покрепче – потому что втайне верил, что это вносит порядок в мысли, – Реджи наблюдал за плачущим фантомом, ковылявшим по склону, и только запоздало понял, что тот направлялся к последнему оставшемуся жилищу на углу улицы Алого Колодца – тому самому пограничному с раем дому, откуда они сбежали. Он решил, что лучше предупредить своих товарищей о новом развитии событий на тот случай, если это окажется важным. Заговорил торопливым шепотом:

– Гляньте, там малый идет. Шурует к угловому дому, и вроде вполне готовенький.

Все повернулись посмотреть, что имеет в виду Реджи, затем молча наблюдали, как по дерну, заменившему десятки домов, пробирается заплаканный призрак в модном пиджаке, спрятав лицо в пухлых ладонях и заливаясь слезами все обильней по мере приближения к одинокому строению, стерегущему конец Алого Колодца. Предположительно, способный видеть даже вопреки эктоплазмическим слезам и толстым пальцам, на глазах у Мертвецки Мертвой Банды призрак заложил резкий полукруг от прямого маршрута, по которому следовал до тех пор.

– Эт он алый колодец обходит. Не хочется ухнуть сквозь сотни лет грязюки и бултыхнуться в кровавую краску.

Хмыканьем и кивками остальные мертвые дети без слов сошлись во мнении с Реджи. Заговорил только большой Джон.

– А знаете, кажется, я его знаю. Кажется, это мой дядя. Не видел его с самой своей смерти, и даже не думал, что он окажется неприканным, но это точно он. Интересно, почему он так плохо о себе думал?

– Мож, пойдешь и спросишь?

Это сказала Филлис – ее воинственные черты были словно вышиты на темноте серебряными нитками у плеча Джона. Высокий

красавец, к которому Реджи умудрялся одновременно испытывать презрение, зависть и невероятное обожание, всмотрелся во мрак в сторону всхлипывающего стилиаги и спасовал, покачав головой.

– Мы при жизни не блесть особо близки. Ничего такого – просто что-то в его манерах мне не нравилось. К тому же, кажется, у него и так забот хватает. Когда кто-то так глаза выплакивает, обычно они хотят, чтобы их не трогали лишний раз.

Все еще закрывая заплаканное лицо, привидение в шашечку скользило вдоль Алого Колодца к порогу последнего дома на улице. Проведя аляповатым рукавом по глазам с мешками под ними, толстяк помедлил минуту, а затем растаял в закрытой двери и пропал.

А когда они оглянулись, пропал и Майкл Уоррен.

– Ну вот-те нате, сделал ноги! Быро, куда он делся?

Реджи даже удивило, в какую панику впала Филлис. Она нарезала нервные круги, тревожно вглядываясь в посеребренную темноту в поисках признаков скрывшегося ребенка. Придав котелку, как казалось Реджи, более сочувственное положение, он изо всех неотесанных сил попытался ее утешить.

– Не бойсь, Филл. Скоро вернется, а коли нет, то и не наше дело. Он же все едино скоро оживет. Пусть сам и выкручивается, а? А мы вернемся к сбору Паковых Шляпок у дурдомов и приключенчеству. Как насчет плана Билла прокопаться до самого каменного века, чтоб поймать и приручить призрачного шерстистого мамонта?

Филлис только уставилась на него так, словно до глубины души поражена его глупостью. Реджи сдвинул шляпу под защитным углом, когда она ответила взрывным фонтаном передержанных снимков посмертной слюны.

– Ты совсем с глузду съехал? Ты ж сам слышал, что миссис Гиббс и Черный Чарли сказали про зодчих и их драку! Уж не говорю про дела с Верналлами и Портимот ди Норан, в которых мы толком не разобрались! Хошь – иди лови своих мамонтов, но лично мне неохота быть на плохом счету у Третьего Боро!

На этом Филлис развернулась и помчалась к калитке нижнего входа в многоквартирный «Серые монахи» с улицы Алого Колодца – практически единственное место, куда мог пропасть Майкл Уоррен, пока они отвели взгляд, – пока за ней развевались чумазыми флагами ее картинки. Ошарашенный миг остальные члены Мертвецки Мертвой Банды провожали ее взглядом, оторопев как от смелого поминания всуе имени Третьего Боро – сам Реджи даже думать о нем почти не смел, – так и от ее отчаянного бегства. Вырвавшись из обалделого ступора, они бросились за ней – шумная компания из четырех, двенадцати, шестнадцати, восьмидесяти фантомных детей устремилась в короткий узкий проход, отделявший от улицы внутренний двор «Серых монахов», пробиваясь дымными телами сквозь черные железные прутья ворот, простоявших всего несколько лет и потому не представлявших собой препятствия. Дыша во все затылки Филлис Пейнтер, они высыпали на нижний уровень большого двухэтажного пространства из бетона, окруженного немymi квартирами постройки 1930-х, где все замерли, чтобы оценить свои вдруг помрачневшие перспективы.

Из позолоченных теней верхней половины двора донеслись испуганные вопли кошек и собак, которых привидениям невозможно одурачить, и сердитые окрики их людей-хозяев, которых одурачить очень даже просто. Вместе с покойными товарищами Реджи всмотрелся во мрак разновысотного двора. В нижнем конце, где стояли они, на небольшой делянке заброшенной земли, изначально задуманной как сад, шелестела полудохлая растительность. За тремя гранитными ступенями, на верхней палубе общественного пространства, на бельевой веревке болтались забытые женские чулки, а кирпичные огородки помоек стерегли черные пакеты, лопнувшие и выпустившие на волю невообразимый пролапс мусора двадцать первого века – склизкие пластиковые подложки и кожуру незнакомых фруктов. Майкла Уоррена и след простыл.

Словно призвав из-за бедствия второе дыхание, Филлис разожгла в бледных глазах огонь суровости и решительности.

– Так-с. Или он двинул вверх по холму и на Нижнюю Перекрестную, к коттеджам, или срезал тут снизу и пилит на Банную улицу. Разделимся на две группы, чтоб блесть больше шансов его найти. Марджори, ты со мной и Джоном обыщешь коттеджи. А вы двое...

Филлис обратила довольно ледяной взгляд на Билла и Реджи.

– Вы двое прочешете Банную улицу, Дом Рва и окрест.. или валите гонять шерстистых слонов, если так хочется. А терь живо, а то кто знает, как далеко ушел мелкий негодник.

На этом Филлис, Джон и Марджори взметнулись по каменным ступенькам в слюдяной блеск тьмы «Серых монахов», оставив Билла и Реджи на сумрачной тропинке, ведущей от улицы Алого Колодца до Банной. Билл рассмеялся – несмотря на высокий мальчишеский голос, смехом куда более взрослого и раскованного человека.

– Вот же хитрая баба. Ей прост нейметя пообжиматься в темноте со своим Джонски, а бедную Утопшую Мардж прихватила для отвода глаз. Выходит, остались только мы с тобой, Реджи, старый дурень. С чего начнем?

Реджи всегда ладил с Биллом. Было в пареньке что-то непростое, но в то же время простецкое; не внушающее такой страх, как начищенная аура благородства, разлитая вокруг большого Джона геральдическим свечением. Рыжий пацан был отзывчивым и веселым, имел репертуар шуток таких грубых, каких Реджи раньше и представить не мог, и казался поразительно осведомленным для восьмилетнего мальчика, пусть даже мертвого. Реджи пожал плечами:

– Вестимо, лучше хоть раз сделать, как велит Филлис, не то она нас распечет на все корки. Словим шерстистого слона другим разом. Айда глядеть новые многоквартирники, где раньше блесть улица Рва, разыщем спиногрыза там. И на том и раскланяемся с этим треклятым столетием и возвернемся туда, где получше.

Они пошли бок о бок, сунув руки в карманы, по тропинке вдоль нижнего края погрязшего в ночи двора, неторопливо направляясь к противоположным воротам, что вели на Банную улицу. Билл кивал, соглашаясь с последним замечанием Реджи, а остаточные изображения растянули его лицо в форме морковки под стать рыжим волосам, хоть и всего лишь на миг.

– А ты прав, Редж, как ни обидно уступать гребаному викторианскому жмурику вроде тебя. Вот я пожил в этом сраном веке, пожил дольше, чем ожидал, и по чесноку скажу – даже мне он кажется херня херней. Хоть сейчас согласен на пятидесятые или шестидесятые. В смысле, знаю, тут уже в те времена блесть паршиво, но ты ж сам оглянись. Тогда блесть еще фигня.

Широкий многорукий жест Билла охватил замусоренную асфальтовую площадку слева, дохлые кустарники справа и подразумевал весь разоренный район вокруг. Когда они проходили сквозь черные прутья ворот Банной улицы и оставили заляпанный тенями двор позади, Реджи внимательно изучил Билла и спросил себя, можно ли признаться в невежестве почти обо всем их загробном мире, не показавшись дураком и не вызвав на свою голову насмешки. Несмотря на то, что Билл выглядел в разы моложе Реджи, викторианцу казалось, что тот наверняка дожил до куда более почтенного и мудрого возраста, чем справился сам Редж с его-то жалкими двенадцатью годками. Как ни странно, он смотрел на низкого мальчишку снизу вверх, словно Билл был взрослым с солидным опытом, и потому Реджи вдвойне не хотелось обнажать свое унижительное незнание, забрасывая Билла вопросами, на какие с удовольствием хотел бы знать ответ: простейшие подробности их загадочного посмертного существования, которые ему так никто и не объяснил и о которых он стеснялся поинтересоваться. Его политикой было поддерживать фасад искусственного молчания, чтобы никто не подкалывал за то, что он необразованный отсталый неуч из отсталого века – которым, как боялся Реджи, он и был. И все же Билл не казался тем, кто будет осуждать, и, когда они вступили на

темный склон Банной улицы, Реджи подумал пойти на риск, пока они наедине и представляется возможность.

– А ты ждал, что все блеснет так, когда ты умрешь? Дескать, зодчие, черное и белое, картинки за спиной?

Билл только ухмыльнулся и покачал ненадолго умножившимися головами, пока мальчики прогуливались по ночной улице в направлении квартир Дома Рва.

– Какой там, ты че. Сомневаюсь, что хоть кто-то думал, что все блеснет так. Ни одна главная религия об этом не говорила, и не помню, чтоб какие-нибудь махариши рассказывали про остаточные образы, или Бедламских Дженни, или даже про одну и ту же жизнь раз за разом, когда тебя преследуют старые косяки и хрен че с ними поделаешь.

Они начинали спускаться к низине с гаражными воротами на подвальном уровне многоквартирника слева и промежутком безликих серых кирпичей справа. Билл словно впал в задумчивость из-за своих последних слов.

– Хотя, если подумать, тусил я с одной чикой, и охренеть можно – она знала че угодно: хлебом не корми, дай на уши подсесть. Помню, вот она говорила, будто думала, что мы живем одну и ту же жизнь. Говорила, будто это связано с четвертым измерением.

Реджи застонал:

– Ох, только не проклятущее четвертое измерение! Кто мне его токмо ни объяснял, и никто так и не вбил в голову. Филлис говорит, что четвертое измерение – это сколько существуют вещи и люди.

Билл наморщил нос в дружелюбной усмешке.

– Да она сама не знает, че говорит. В смысле, в чем-то она права, но время – не четвертое измерение. А та чика рассказывала, течение времени – это как мы видим четвертое измерение при жизни.

Рассказывала про всяких чудил, которые первыми выдвинули мысль про четвертое измерение, – они, кстать, жили вскоре после твоего времени. Блесть один мужик Хинтон – он устроил тройнячок

со своей женой и еще одной бабой и сдригнул из страны. Говорил, что время и пространство на самом деле один большой охрененный кирпич с четырьмя измерениями. Потом был еще один чувачок, по имени Эббот. Он объяснял все в духе детской сказки, в книжке под названием «Флатландия».

Пока они плыли по бетонным ступеням к стене у противоположного конца впадины, Реджи гадал, ту ли неприличную сцену, что он себе представил, обозначает загадочный «тройнячок», но потом с неохотой заставил себя вернуться мыслями к теме, которую они обсуждали с Биллом. Реджи был уверен, что если он когда-нибудь хочет усвоить эту всякую особую геометрию, то, по всей вероятности, его последняя и главная надежда – такое объяснение, которое понятно и ребенку. Он как умел сосредоточился на том, что говорил Билл, и ловил каждое слово.

– Эт самый Эббот вместо того, чтобы распространяться о четвертом измерении, пока у всех пар из ушей не повалит, эт Эббот описал все так, будто дело происходит с маленькими плоскими человечками в мире с двумя измерениями, словно они живут на листе бумаги. Он говорил так: эти плоские придурки, да, у них только длина и ширина, а глубину они даже во сне представить не могут. Ваще не секут про верх и низ. У них блесть только взад-вперед, направо и налево. Третье измерение, в котором живем мы, им не сильно понятнее, чем для нас – четвертое.

Это уже начинало казаться Реджи многообещающим. Он легко мог представить двумерных существ, более плоских, чем комариные личинки, каких иногда видно, если присесть у дождевой лужи и прищуриться многократно усиленным зрением мертвых. Он вообразил бесформенные кляксы, которые ведут житье-бытье на плоском листе бумаги, ходят вперед-назад и по бокам, и даже улыбнулся. Как шашки по доске, только, очевидно, еще тоньше.

Наверху каменной лестницы была парковка под ночным небом, ограниченная с южной стороны высокой черной изгородью, хотя Реджи помнил, что, когда он с Мертвецки Мертвой Бандой проходил

здесь в 1970-х на пути в Снежный Город, здесь была странная и уродливая игровая площадка, немало озадачившая детей. Теперь в темноте, словно задремав между убийствами, затих десяток современных машин – тупоносых и хищных. Но Уоррена нигде не видать.

Стоянку построили на месте, где на полвека вниз по прошлому лежала улица Фитцрой. Реджи и Билл заструились по склону под черным одеялом неба, расшитым серым облаком и несколькими одинокими звездами, почти неразличимыми. Скопище угловатых зданий, оставленное позади, – серые шелушащиеся блоки Домов Форта и Рва с утопленными дорожками между ними и перилами на балконах, – возвели в 1960-х на щебне, оставшемся от улиц Форта и Рва, и Реджи этот вид удручал еще больше, чем запущенный корпус «Серых монахов» из 1930-х, который хотя бы отличался мягкими обводами бетона. Пока их подобия мерцали по темному съезду с парковки на Меловой переулок, Реджи мог разобрать в окнах одноэтажного здания на кургане неуклюжие детские рисунки. Он откуда-то взял, что давно здесь была танцевальная школа, но за промелькнувшие годы она превратилась в ясли. Впрочем, бывает участь похуже. А в очерченном серебром сумраке Билл продолжал описание плоского народца в приплюснутом мире, который они считали целой вселенной.

– Короч, если плоский мужичок хочет зайти внутрь, побыть наедине с собой, ему надо всего лишь нарисовать на плоском листе бумаги квадрат – и вот те и апартаменты, да? На хер остальных плоскунов. Если ему так хочется, наш чувак может просто зайти в квадрат и закрыться – и все, чурики, я в домике. Но это он не врубается, что над его измерением блесть третье, где на него такие смотрим мы и видим, как он засел в своих четырех линиях – стенах, на его деньги. Он даже представить не способен, че там над ним, пушто не может представить верх – ток вперед, взад, направо и налево.

Бедный ушлепок, сидит он там, а мы можем как бы тупо наклониться и взять его, а потом посадить снаружи дома. Че он подумает? Ему покажется, что из ниоткуда явилась неведомая херня долбанутой формы и утащила его как бы сквозь стену. Так и гребануться недолго. Вот и мы так же глядим кому-нить в хату с Чердаков Дыхания. Мы над ними в таком месте, какого они не видят и даж вдуплить не могут, пушто их мир по сравнению с нашим плоский, прям как бумажный – плоский по сравнению с их.

Мальчики-духи выходили на опустевшую развилку Малой Перекрестной улицы и Мелового переулка сразу напротив яслей, и вдали в нортгемптонской ночи стоял приглушенный гул пьяных песен и злых воплей, испуганного визга, неустанного хрипа из-за катара далекого дорожного движения, протяжных и коробящих нервы залпов жутких незнакомых инструментов, о которых Билл сказал, что это либо сигнализация, либо телефоны, либо сирены, – и каждый звук прибывался мертвой акустикой призрачной стежки до необычно настойчивого бормотания. Реджи показалось, что в пятом или шестом куда как больше звенящих и неприятных звуков и куда меньше звездного света, чем десятилетия назад, когда Реджи больше устраивало соотношение между этими двумя феноменами.

Пока их неторопливый путь начал медленно загибаться налево, к Малой Перекрестной улице, Билл все трещал о четвертом измерении, и Реджи, к своему великому удивлению, обнаружил, что улавливает суть, несмотря на обрывки незнакомого и непонятного сленга. Например, «чика», похоже, означало «девушка» или «женщина», и Реджи подумал, что это что-то вроде «ясочка», как говорили мужчины при его жизни, еще в тысяча восьмисотых. С другой стороны, он понятия не имел, что такое «вдуплять», если только не «заглядывать в дупло», хотя вряд ли Билл имел в виду это. Судя по тому, что он говорил, это, скорее, означало что-то вроде «понимать». Реджи бросил ломать голову и сосредоточился на том, что сейчас объяснял Билл.

– Короч, эта чика рассказывала, как Эббот и Хинтон завели шарманку про четвертое измерение еще в 1880-х. Но наступают 1920-е – и на нее подсаживаются все. Все художники, кубисты всякие с Пикассо в придачу – все ток и думают, что блеснет, если, скажем, кто-то может повернуть к тебе голову, а ты все равно видишь его в профиль. В смысле, мы-то с тобой друг друга так все время и видим.

Для иллюстрации Билл мотнул головой и ухмыльнулся Реджи. Реджи не понимал, кто такие кубисты или Пикассо, но видел, что имеет в виду Билл: остаточные изображения профиля рыжего мальчика так и остались висеть в воздухе, хотя Билл уже смотрел на него прямо, и прозрачно-призрачное ухо мимолетно примостилось на правый глаз. Возможно, такие картины и рисовали те пикубиссы.

– И не ток художники. Настал праздник на улице всяких спиритуалистов и проныр с мистическими сеансами. Они были в восторге, пушто думали, что четвертое измерение объяснит всю херню, которую вытворяют призраки, – типа как они смотрят сквозь закрытые коробки и прочая хренотень. Какое-то время в 1920-х все умники и ученые даж решили, что шарлатаны с этим своим четвертым измерением недалеко от истины. Потом, видать, настала война, или еще че-то, и все просто забили.

Реджи молча впитывал. Хотя он не мог сказать, чтобы все это было тем откровением, на которое он надеялся, оно хотя бы немного проясняло обстоятельства Реджи. Он и не осознавал, что следы из картинок, остававшиеся за мертвецами, как-то связаны с этим четвертым измерением, а считал их раньше просто случайной помехой. Теперь, раз он знал, что всё по науке, они, наверно, не будут ему так докучать.

Пока он слушал болтовню Билла – про какого-то Эйнштейна, наверняка очередного художника, – Реджи осматривал район вокруг, все еще упрямо уделяя внимание поискам призрачного беглеца. Оглянувшись через правое плечо, он увидел ясли на кургане и – напротив въезда на Замковый Холм – тупые и скругленные веками

углы известняковой громады – церкви Доддриджа. От их с Биллом места он не мог разглядеть странную дверь на стене церкви, как и ужасающее и умопомрачительное великолепие Ультрадука, который рос из нее и загибался в невообразимые дали на юг, к дурдомам на окраинах Души и к Лондону, Дувру, Франции, Иерусалиму. Хотя сама конструкция была невидима с ракурса Реджи, он замечал падающий от нее меловой свет, ложившийся на растрепанный конец Малой Перекрестной улицы.

Сразу через дорогу перед двумя фантомными мальчиками и налево от них проступал худощавый западный фасад многоквартирника на Банной улице, его темные, как синяки, кирпичи времен 1930-х поблескивали в редком фонарном свете, как слизь улитки. Хотя Реджи сомневался, что между постройкой корпусов «Серые монахи» и этим отчего-то зловещим жильем прошло так уж много лет, в их атмосфере чувствовалась какая-то невероятно большая разница. «Серые монахи» казались не более чем жалкими и разочарованными, но бездушные и безразличные окна зданий на Банной улице обладали поистине ужасающим видом, как будто повидали самое худшее и теперь просто ждали смерти.

Хотя в монохроме призрачной стежки кирпичи многоквартирника были обугленно-серыми, почти черными, Реджи слышал, что в реальности они коричневатого-красного оттенка запекшейся крови – как куски говяжьей солонины, выскользнувшие из консервной банки, с желтоватым лярдом вместо цемента. На середине западной стены из-под обвисающих шляпных полей козырька угрожающе зыркали двойные двери, больше подходящие заброшенному бассейну. На них единственная стеклянная панель покрылась трещинами, а три остальных заменили рябым гипсокартоном. Узкий бетонный проход от набыченной двери и через полоску газона до брусчатки Малой Перекрестной улицы окаймляли две низкие кирпичные стенки, по одной из которых куда-то полз белый мох. На их приземистых кирпичных столбах бледной краской были накорябаны нечитаемые слова, а на стыке между стеной и землей сваялись отвратительные

отложения из резиновых презиков, дохлых птиц, раззявивших пасть квадратных устриц из пенопласта, истекающих остывшей картошкой, холодных окурков, одной детской туфельки с пряжкой, шести хлипких пивных банок – смятых то ли от скуки, то ли от злости, – и нескольких... Реджи оборвал мысль. Мох ведь не умеет ползать. Он вернул взгляд к клочку пепельной шерсти, что и сейчас как будто медленно продвигался, словно огромная гусеница-альбинос, полз по верхней плоской поверхности ближайшей ограды. Только это был не пушистый нарост на стене, а белокурые волосы человека, который присел и крался за ней.

– Билл! Я его вижу! Гля, вон он!

Не успели слова сорваться с губ Реджи, как он тут же пожалел, что не додумался до более тонкого подхода. Майкл Уоррен вскочил из-за стены на противоположной стороне Малой Перекрестной улицы, где прятался, и в ужасе уставился на Билла и Реджи, размножающиеся силуэты которых поплыли к нему через дорогу. Издав краткий панический возглас, ребенок в пижаме развернулся и нырнул в гипсокартон и стекло закрытых дверей без всяких былых сомнений относительно прохождения сквозь твердые предметы. Реджи бросился через пустую дорогу в погоню, пока сзади чертыхался Билл, – оба понимали, что новенький сбежал только потому, что испугался их грубости. Если бы рядом были Джон или даже Филлис, Майкл Уоррен наверняка бы сдался и пошел бы с ними, втайне благодарный, что больше не надо блуждать одному по этому недружелюбному веку. Но, перечеркнув одним криком все шансы, Реджи наверняка напугал мальчишку до глубины души. Если он прокопается в другое время, хотя бы даже на полчаса вперед или назад, скорее всего, они уже никогда его не найдут, и тогда воплотятся в жизнь страшные последствия, которыми грозились все вокруг в случае, если они потеряют незадачливого пупса.

При таком исходе он не мог вынести и мысли о том, что придется стоять перед Филлис и объяснять, как все испортил. Из боязни, как бы Майкл Уоррен вновь не улизнул, мальчишки и их неперемные

изображения обрисовали конгу из хулиганов наискосок по газону и прямым сквозь западную стену многоквартирного Банной улицы, не заботясь о том, чтобы войти через дверь, как беглый блондинчик. Реджи и Билл беспечно нырнули в налитые кровью кирпичи в пугающий, неожиданный мир за ними.

Первая квартира, через которую они пронеслись, была не освещена, не считая шипящего сияния телевизора на пустом канале. В единственном кресле в комнате сидел мужчина средних лет и таранился на невразумительные помехи, плача и прижимая к лицу женскую соломенную шляпку. Призрачные мальчишки размазались мимо него, прошли через заднюю стену и пустую кухоньку в новую квартиру, где было черным-черно, не считая паучьих хромовых линий их ночного зрения. Словно бы вышивка металлической нитью, перед Реджи предстал невымытый ребенок, беспокойно метавшийся во сне в древней колыбели, – единственный местный обитатель, не считая пяти исхудавших кошек и их помета. Они с Биллом перелетели проказливым ветерком, несущимся по коридорам и под дверями, сменяя конуру за конурой: три взбудораженных черных играют в карты, пока в углу лежит окровавленный и хнычущий четвертый; толстая старуха с пустыми глазами в нижнем белье терпеливо пересчитывает и переставляет собачью еду в пирамиде, хотя вокруг нет и следа собаки; тощая темнокожая девушка с косичками, которая то сосала дым из мятой жестянки, то клеивала вырезки фотографий какой-то блондинки в уже распухший альбом.

Наконец пара юных привидений выплыла через внешнюю стену, с облегчением оказавшись на свежем воздухе – впрочем, дышать они все равно не умели. Теперь они оказались на центральной дорожке, разделявшей корпуса на две половины. Реджи знал, что прямая тропинка с полосками газона по бокам, огороженная стенами со странными арками-полумесяцами, девяносто лет назад была мрачной зоной отдыха, известной как Сквер. С тех пор, конечно, это место сильно изменилось. Сильно изменилось даже с последнего раза, когда Реджи срезал здесь путь в 1970-х, – по крайней мере, в

ночное время. Хотя местоположение и форма зданий остались прежними, Реджи поразился, что теперь каждый замызганный балкон или лестница, что виднелись через кирпичные арки вдоль тропинки, подсвечивались снизу, так что они словно парили в темноте, отчего многоквартирники казались каким-то сказочным заброшенным городом из будущего, где всюду пылают огни, но нет ни единой живой души. На южном конце центральная тропинка, прежде чем выйти на Замковую улицу, превращалась в широкую бетонную лестницу с кирпичными стенками. На ее нижней ступени у середины и сидел призрак Майкла Уоррена, тощие тартановые плечи которого сотрясались, пока он рыдал в ладошки.

В этот раз Реджи и Билл подошли к явно перепуганному мальчику осторожней, двигаясь так медленно, что почти не оставляли за собой дубликатов. Не желая, чтобы мальчик неожиданно поднял взгляд и решил, что они к нему подкрадываются, Реджи позвал самым мягким и успокаивающим голосом, на какой был способен.

– Не бойся, старичок. Эт всего лишь мы. Мы тя не тронем.

Майкл Уоррен, застигнутый врасплох, поднял лицо, и на нем на миг отразилась борьба чувств – бежать опять или нет. Очевидно, в итоге он решил против бегства, снова опустил голову и продолжал плакать. Билл и Реджи подошли и сели на каменной ступеньке по бокам, а Реджи накинул на вздрагивающие плечи маленького привидения нескладную руку в пальто.

– Ну че ты. Давай-ка, сморкайся и не раскисай, а? Не так уж все и плохо.

Мальчик посмотрел на Реджи с блестящей на щеках эктоплазмой.

– Я просто хочу светнуться домой. Я жил вовсмерть не здесь.

С этим Реджи поспорить не мог. Его жизнь и смерть тоже имели место вовсе не среди этих нависавших угловатых черных масс с парящими островами иллюминации. Более того, в случае Реджи свет дома находился где-то в ста пятидесяти годах под ними, в грунте Боро. Он легонько сжал ручку многострадального привиденьца под тартановой тканью призрачной ночнушки.

– Знаю, как не знать. Сказать как на духу, нам с Биллом тож не оченно по душе в нулевых, да, Билл?

С другой стороны от Майкла Билл покачал головой и на миг превратился в расхристанную гидру.

– Не. Тут отстой, друг, и чем дальше в годы, тем хуже. В смысле, тут везде повешали камер – вот почему горит сток света, – но если доберешься до седьмого или дальше, эта хрень еще с тобой и разговаривать начинает. «Уберите за собой сраный мусор». Я серьезно. Старушка Филлис лоханулась, что прокопалась сюда, поторопилась из-за бури. Я те отвечаю, как встретимся с ней, она сама предложит забуриться в цивилизные времена. Ты ток больше не сбегай, сышь? Мы ж друганы. Мы хотим выбраться отседа не меньше тя самого.

Майкл Уоррен шмыгнул и размазал моллюсковую слизь эктоплазмы по клетчатому рукаву.

– Кудавак попрам наш дом?

Судя по ноткам в писклявом вопросе крохи, он осторожно готовился к тому, чтобы его утешали. Реджи попытался откликнуться на вопрос малыша с сочувствием, забыв на время бывшее мнение, что Уоррену стоит просто повзрослеть. Все несут свой крест, думал Реджи, и Майкл Уоррен был еще совсем мал, когда на него навалилось все это. Он заслуживал шанс.

– Ну, Филлис прокопала нас без малого на писсят лет, а ведь ничто не длится вечно, правда? Почти все дома, где мы росли, перед двухтысячными сломали, но они еще целехоньки под нами в былом, а значит, нечего и горевать. Не успеешь опомниться, как мы снова зароемся в 1959-й.

Это не успокоило паренька так действенно, как надеялся Реджи. Он горько тряхнул кучерявой головой.

– Ноль я не хочу, чтобы блесть все это. Всхлеп вокруг такое гадкое, а мне раньше нравилось, когда мамка водила нас домой через эти мутнопротивники. Я помню, как я блесть мамленький, и она спускала меня в мягколяске по этой умилесенке. Спускала очень

долго, а моя сестра сидела на задоре и читала свои кометы. Говорила, они про запретные миры, и там блесть планеты на буквах...

Словно почувствовав, что сбивчивые описания не передают его великое чувство утраты, призренный мальчик позволил воспоминаниям затихнуть и просто показал на темный проход, где они сидели, яркие веранды по бокам, подсвеченные и подвешенные в ночи.

– Мне просто не нравится, во что все превратилось.

С глубоким вздохом и пистолетным прострелом от призренных коленных суставов Реджи встал со ступени и жестом показал Биллу сделать так же. Заметив, что ребята поднялись на ноги, Уоррен последовал за ними. Когда все были готовы, Билл и Реджи взяли Майкла за руки, надеясь, что при этом не смахивают на педиков, и повели его по обрамленной травой дорожке между половинками многоквартирников, направляясь к Банной улице тремя колоннами не отстающих изображений, словно военный оркестр. Реджи взглянул на мальчика.

– А никому из нас не нравится, старик, во что все превратилось. Пустая душа, так мы тут грим. Если пройдешь с нами дальше, сам увидишь, отчего.

Добравшись до северного конца длинной дорожки, они вышли на Банную улицу. Здесь два старших мальчика остановились, и, когда Майкл Уоррен вопросительно посмотрел на них, Реджи мрачно кивнул на место чуть ниже по освещенному фонарями холму.

Зрелище было такое беспримерное – как когда первый раз видишь Ультрадук, – что Майкл Уоррен сперва не понял, на что смотрит, в этом Реджи был уверен по собственному опыту. Впрочем, в отличие от Ультрадука феномен, вращавшийся в ночном воздухе над Малой Перекрестной улицей, вызывал не столько ошеломляющее благоговение, сколько сокрушительный ужас.

Это была опаленная и почерневшая дыра, прожженная в сверхъестественной ткани призренной стежки. Приблизительно

двадцати метров в диаметре, она висела в паре футов над спускающимися и утопленными в земле булыжниками Банной улицы и неторопливо кружилась. Будучи явно не от материального мира, дальними краями она проходила прямо сквозь кирпичи цвета бекона на северной стороне многоквартирников, из-за чего стены казались прозрачными. Реджи видел помещения внутри, и как горелые края медленно обращающегося диска задевали одну из комнат, которые пару мгновений назад пробежали они с Биллом, где посасывала дымящиеся расплавленные гранулы стекла из жестянки и клеила картинки в книжку темнокожая женщина с полосатой от косичек головой. Ползущая кромка дыры прорезала тело девушки, словно черная циркулярная пила, обугленные хлопья жерновов трепетали и оседали во внутренностях смуглянки без ее ведома. С другой стороны Банной улицы дальний край мельтешащего провала делал то же самое с верхними углами коттеджей на Криспинской улице. Прозрачный толстяк сидел на прозрачном туалете, не замечая, что его мелет покрытый сажой край чудовища, вращающегося в ванной комнате. Ужасная обожженная шестеренка с застрявшими в зубцах анатомическими объектами, пребывающими в неведении, эта скверна вгрызалась в ночное сердце ничего не подозревающего района с гнетущей неизбежностью, словно механизм какого-то огромного и разрушительного хронометра. Несколько мгновений Майкл Уоррен взирал в страхе на inferнальное зрелище, а потом поднял взгляд, не находя слов, к Биллу и Реджи в поисках объяснений.

– Что это? Такая едкая войнь, как от огнилой помойки.

Мальчик был прав. Даже здесь, на призрачной стежке, где лишились запаха протухшие кролики Филл Пейнтер, можно было почувствовать крематорный аромат бездонной круговерти, горький и неприятный на мембране фантомного горла, в наморщенных призрачных ноздрях. Сжав руки Майкла, Реджи и Билл быстро увели его с Банной улицы, подальше от зияющей пасти черной туманности,

вяло нарезающей спирали всего в десятке шагов вниз по улице. Они не хотели, чтобы он снова испугался и влетел прямо в эту мерзость.

– Эт навроде призрака того большущего дымохода, в котором жгли дотла весь сор Нортгемптона. В трехстороннем мире трубу сломали уж семьсят лет как, но никому не под силу затушить огонь в мире привидений. С той самой поры он и горит, и токмо прирастает. Если думаешь, что он здесь страшно выглядит и воняет, видал бы ты его из мира Наверху. Мы зовем его Деструктор.

Даже просто произнести слово для Реджи было как ударить обоими кулаками по клавишам левой стороны пианино, и, похоже, тот же эффект это произвело на бовой дух троицы, которая маршировала в тишине по Банной улице к квадрату газона с армейской стрижкой на другом ее конце. Майкл все оглядывался через плечо халата на левитирующий омут. Реджи знал, что карапуз задает себе тот же самый вопрос, что и все, кто впервые увидел Деструктор: а что насчет пространства смертных, что насчет живых людей, которых он рассекает? Что он делает с ними, когда они даже не чают о его существовании? Простая истина заключалась в том, что никто этого не знал, хотя не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что, по всей вероятности, ничего хорошего. Вот призраки, случайно подбирившиеся слишком близко, – это другое дело. Все знали, что бывает с ними: их сжигает, а потом разрывает на куски, распыляет на атомы течениями воронки, и остатки затягивает в безжалостный ониковый зев. Как знать – возможно, сущности этих несчастных до сих пор в сознании внутри устрашающего бесконечного круговорота. Реджи не хотелось об этом думать, и он повлек Майкла Уоррена к темной лужайке.

Когда старшие мальчики уже начали думать, что их юный подопечный никогда не оторвет глаз от Деструктора, как его внимание, как это часто бывает с маленькими детьми, вдруг увлекло что-то еще более примечательное, а душегубский вихрь, повисший над Банной улицей, тотчас позабылся.

Мальчика зачаровали две башни – Клэрмонт-корт и Бомонт-корт. Двенадцать этажей каждого монолита взмывали к рваному облаку и практически отсутствующим звездам, на темные страницы зданий тут и там лепились прямоугольники почтовых марок – профильтрованный шторами свет из окон. Хотя Реджи про себя усмехнулся, как просто впечатлить дитя, по правде, он и сам долго шел к равнодушной реакции при виде колоссальных надгробий. Первый раз, когда они случились на его пути, он опешил точно так же, как сейчас Майкл Уоррен. Домов выше он в жизни не видал – поистине гигантские ящики, сброшенные на поистине обширный пустырь. Большие металлические буквы, идущие к вершине каждого большого блока – недавняя добавка, гласившая НЬЮЛАЙФ, – по какой-то заумной современной причине лежали на боку, отчего башни еще сильнее напоминали Реджи две упаковочные коробки, перевернутые набок. Вокруг бетонного основания двойной твердыни в прошитой серебром темноте светился похоронными лилиями разбросанный мусор. Майкла охватили и смятение, и трепет.

– Я думал, здесь дома болько сносят. Как эти штуки сюда попатьцы?

Реджи рассмеялся, но без издевки. А ведь правда. Он никогда не задумывался, но башни в самом деле напоминали два огромных пальца, поднятых в титаническом неприличном жесте всем Боро. Пустив руку Майкла, он взъерошил молочные волосы мальчишки.

– Хороший вопрос, мелкий. Когда бишь, Билл, здесь вlepили этих уродов?

Билл скорчил задумчивую гримасу.

– Я б сказал, где-т в начале шестидесятых. Када вернешься к жизни в 1959-м, наверняка сам через год-другой увидишь, как начинают их стройку. Такшт вот те анонс, хоть ты ниче и не вспомнишь, када оживешь.

Реджи склонил котелок, торжественно соглашаясь. Это известный факт. Унести с собой воспоминание из призрачной стежки или Души

не проще, чем вытащить сундук с сокровищами из сна о богатстве в жизнь наяву. Вернувшись в трехмерное царство смертных, Майкл Уоррен ни в коем случае не сможет припомнить ни единой подробности о своих похождениях Наверху с Мертвецки Мертвой Бандой, не считая, быть может, мимолетных мгновений дежавю, которые быстро выветрятся из головы. Реджи все еще размышлял над этим слегка огорчительным фактом, когда из щербатой стены коттеджей на Криспинской улице вырвались Филлис, Джон и низенькая Марджори и пронеслись через дорогу к широкому травяному клину, где стояли Реджи и остальные двое, пока подсвеченные наброски новоприбывших разлетались за спинами, словно из альбома художника.

– Знач, вы его сыскали. Ах ты скользкая говнюшка. Ты че это удумал, так от нас сбегать?

Филлис очень сердито нависла над Майклом Уорреном, пусть всего на десять сантиметров, расставив туфли с пряжками и воткнув сжатые кулаки в тощие бока. Даже стеклянные черные глазки с кроличьей горжетки как будто неодобрительно смотрели на несчастного ребенка. Пересмотрев свое мнение о маленьком привидёнке, Реджи решил, что Филл несправедлива. Он уже думал вмешаться – хотя робел при мысли о том, чтобы перечить самоназначенному главарю Мертвецки Мертвой Банды, – когда за мальчика заступился большой Джон, избавив Реджи от хлопот.

– Не обращай внимания, малёк. Она просто рада, что мы тебя нашли и ты в порядке. Ты бы слышал ее пару минут назад, когда она думала, что ты попался неприкаянным, а твои останки швырнули в Деструктор. Так рассиропилась, что даже губа задрожала.

Филлис обернулась и оскалилась на Джона. Она хотела топнуть по носкам высокого обаятельного призрака, но тот только рассмеялся и вовремя отдернул ногу. Филлис пыталась сохранить свое благородное негодование перед лицом веселья Джона, которое начало заражать и остальных усопших детей. Даже Реджи хихикнул

из-за ее раздосадованного вида, но тут же замаскировался кашлем на случай, если она слышала.

– Вовсе и нет! Я ток переживала, что его утащил другой дьявол, и тада у нас у всех блестут неприятности! Будто мне не плевать – пусть он хоть сверзится в алый колодец или угодит в брюхо терьеров Мэлоуна, чтоб мы потом нашли ток собачьи какашки с кудряшками!

Катастрофическая для ее настроя, последняя фраза вызвала смешок даже у самой Филлис. Они хохотали на ночном газоне, и скоро все снова стали друзьями.

Пока Майкл Уоррен и остальные выдумывали и обменивались историями о своих приключениях с тех пор, как разделились у основания улицы Алого Колодца, Реджи и Билл развлекались тем, что лениво игрались в тених на стриженной траве. Билл предложил раунд в кулачки, но, когда оба взглянули на свои руки, обнаружили, что их костяшки еще слабо пульсируют тускло-серыми синяками-огоньками от предыдущих сессий, и решили заняться чем-нибудь другим. Наконец остановили выбор на том, чтобы бегать тесными кружками вокруг обертки от жареной картошки, лежавшей смятой на земле, чтобы попробовать ее сдвинуть. Иногда это возможно, если хватает участников. Просто бегаешь и бегаешь вокруг чего-нибудь, как игрушечный поезд по маленьким рельсам, как можно быстрее, и если наберешь нужную скорость, то ненадолго протопчешь колею в пространстве-времени или времени-пространстве смертной плоскости – Реджи слышал, как другие называют это именно так. В эти углубления хлынут завихрения ветра, и если бегать долго и быстро, то можно зародить миниатюрный торнадо на маленькой парковке между Серебряной и Медвежьей улицами в 1960-х или помочь расцвести круговерти на соломе и апельсиновой шелухе в углах рыночной площади. Но в этом случае, при одних только его с Биллом усилиях, они не смогли приподнять мусор даже на полдюйма. Когда Филл велела им кончать валять дурака и готовиться выдвигаться, свое головокружительное времяпрепровождение они

бросили с тихими вздохами тайного облегчения, благодарные за повод отказаться от непродуктивных усилий.

Шесть призрачных детей и толпа плетущихся за ними двойников дошли до мягкого травянистого склона, лежащего у высоток и параллельного Банной улице, направляясь к ряду домов, что выстроились у северного конца газона на дорожке, которая, как казалось Реджи, вроде бы называлась Симонс-вэй. Похоже, Филлис решила срезать за громоздкими многоквартирниками НЬЮЛАЙФ к Башенной улице – так переименовали бывший верхний конец Алого Колодца. Скорее всего, она направлялась к Стройке, хотя Реджи надеялся, что у нее нет в мыслях посещать ее в пятом или шестом году – или куда их, черт возьми, занесло.

Хотя Реджи казалось, что сейчас стоят ранние утренние часы, на улице встретились один-два спешащих по своим делам живых человека, необремененных связкой собственных реплик, которые волокли за собой Реджи и его посмертный ансамбль. Из двери на Симонс-Уок показался малый с мелкими глазками, пороссячьей внешностью и гладко выбритой головой, чтобы оставить на пороге пару бутылок со слезками молока на внутренних стенках, прежде чем ретироваться назад. Хотя дети шлепнули его по лысому черепу, пока он наклонялся с бутылками, он не выказал никаких признаков, что знал об их присутствии, – как и полагалось. Но совсем иначе вышло с ночным фланером, появившимся навстречу, когда они свернули направо, на Башенную улицу, а могучие бетонные монументы остались позади.

Это был высокий тощий мужичок с черными кучерявыми волосами, которому на вид было сорок или пятьдесят и который очевидно перебрал. Он медленно вихлял по Башенной улице навстречу фантомам детей – видимо, спустившись к ней по одной из лестниц в противоположном конце. Он читал себе под нос заплетающимся языком какие-то стихи, что-то про людей, которые «чужды – нет, мне всех иных чужей». Реджи и Билл не упустили

случая посмеяться и начали подкалывать подвыпившего мужика, когда он вдруг замер как вкопанный и уставился прямо на них.

– Я вас вижу! Ах-ха-ха-ха! Я знаю, где вы прячетесь, – за углом и в трубе. Ах-ха-ха-ха! Я вас вижу, так и знайте. Я публикующийся поэт.

Мертвые дети приросли к месту, разинув рты. Конечно, всегда был шанс, что тебя нечаянно заметит живой человек, но он почти сразу отворачивался, убеждая себя, что на самом деле не видел то, что видел. Но чтобы он пытался заговорить – практически неслыханное дело, а уж живая душа, привечающая тебя с радостью и смехом, – ну, так вообще не бывает. Даже Филлис и большой Джон уставились на налакавшегося типа пустым взглядом, словно без единой мысли в голове, что делать дальше.

К счастью, серьезную беду, в которую все могло вылиться, предотвратило вовремя открывшееся окно на верхнем этаже первого дома в ряду, позади и слева от призрачной банды. Высунулась древняя, но невероятно энергичная женщина в сорочке и резко зашипела пьяному мужику, качавшемуся в свете фонаря на улице.

– Ах ты ж бестолочь! Совсем ополоумел? А ну живо в дом, пока я ты не огрела чем тяжелым, болтает там сам с собой ночи посеред!

Ясновидящий выпивоха поднял голову к окну, с удивлением воздевая щедрые брови. Женщину он окликнул с тем же характерным хохотком, с каким поприветствовал детей.

– Мать, нишкни! Ах-ха-ха-ха! Я тут только беседовал с... ой. Пропали. Ах-ха-ха-ха!

Человек уронил взгляд на Башенную улицу и посмотрел прямо на детей-призраков, но потом моргнул с неуверенным видом, прищурился, словно больше их не видел. Дальнейшие упреки женщины, которая оказалась его матерью, побудили его сдвинуться с места, хихикая про себя и обшаривая карманы в поисках ключей, при этом оставаясь слепым к полудюжине юных привидений, стоящих на пути. Мертвая банда обернулась ему вслед посмотреть, как он ковыряется с йельским замком на двери углового дома, все

время посмеиваясь, тогда как брюзжащая женщина уже захлопнула окно спальни, оставив пьяного отпрыска на произвол судьбы.

Филлис покачала головой, когда шайка отвернулась от битвы наливавшегo малого с собственной дверью, и продолжила восхождение по Башенной улице.

– Во дает. Эт че еще за дьявол? А еще про привидений говорят, что мы жуткие. А чего нас бояться?

Ее плечи вздернулись в комически преувеличенном содрогании, словно она имела в виду, что живые сами куда чужей, непонятней и вообще страшней, чем призраки. Реджи согласился. По его опыту, мертвецы куда приземленней.

Банда остановилась у какого-то современного предприятия, принадлежащего Армии спасения и закрытого на ночь. Это здание находилось слева от детей, тогда как прямо перед ними высилась уродливая мозаика стены, серая на сером, огораживающая оживленный перекресток, в который превратилась Мэйорхолд. Искоса глянув на Майкла Уоррена, Реджи понял, что малец не мог сориентироваться в незнакомой архитектуре и потому понятия не имел, куда попал. Учитывая, что случилось за это время с Мэйорхолд, это и к лучшему. Вон как он встrepенулcя, когда увидел, что пропал всего-то один ряд домов.

Приподнятая развязка жарила натриевыми фонарями, о которых Реджи рассказывали, что для смертных глаз они цвета желтого, как стоячая моча. Вот что придавало монохromу призрачной стежки такой нездоровый оттенок – гниловатый свет, переливающийся с высокой автокарусели, плескаясь по улицам и подземным переходам внизу, где собралась кольцом вокруг предводителя Мертвецки Мертвая Банда. Филлис объясняла, что им предстоит дальше, – в основном ради Майкла Уоррена, чтобы малыша не ждали новые нервные потрясения.

– Так. Я тут мозгами пораскинула. Мы знаем, что наш карапет – Верналл, а это люди с большим делом, об чем они сами часто ни слухом ни духом. Мы знаем, что он опять вернется к жизни и что все

это как-то связано с работенкой зодчих, Портимот ди Норан. Он прям такой важный для их подряда, что зодчие устроили из-за него большую свалку еще в 1959-м. Вот думаю, надо вернуться Наверх, в Душу, да и глянуть на ихнюю заваруху. Вдруг че поймем про то, во что замешана наша малявка.

Неуютно поевжившись в обширном пальто, Реджи запротестовал:

– Ток отседа Наверх не надыть, Филл. Ток не из нулевых. Он уже насмотрелся на Деструктор, что висит на Банной улице...

Филлис ощетибилась:

– Я те че, совсем без мозгов? Ну канеш, я и не подумаю подниматься Наверх отседа! Например, нам придется целые мили шкандыбать по Чердакам Дыхания, пока доберемся до стычки зодчих. Сперва прокопаемся до 1959-го, а уж потом – Наверх оттуда.

Билл, стоявший на окраине их круга, бессмысленно пиная одуванчики и камешки, которые не пинались, озабоченно нахмурился:

– Мы же тогда попадем прямиком в призрачную бурю, не?

Закинув длинную горжетку за плечо почти что в драматичном жесте кинозвезды – не будь горжетка из гниющих кроликов с остаточными изображениями, – Филлис одарила младшего родственника леденящим взглядом.

– Совсем голова не соображает, Билл? Если прокопаемся за час или два до начала, то нет! Если копать по уму, поймем, когда дойдем до полоски с ветром, ну и оттеда еще слой-другой. Так, терь все, кто хочет помогать, – помогайте, а кто нет – может катиться колбаской под горку.

На этом она промаршировала к стене панельного здания Армии спасения взводом сердитых школьниц и начала скрести обеими руками накопившееся время. Переливающиеся полосы черного и белого – перемежающиеся дни и ночи, как знал Реджи, – начали собираться неровной спиралью вокруг ее роющих пальцев, и с неохотой остальные члены пришли ей на помощь. Только Майкл

Уоррен и Утопшая Марджори были освобождены от наряда – Майкл на основании вероятной непригодности, а Марджори – потому что все боялись, что мальчишка опять удерет, если никто не составит ему компанию.

Через минуту-две самоотверженного царапанья стены Филлис объявила, что чувствует на ногтях дуновение призрачной бури. Продолжая с осторожностью, она скатала края ткани, представлявшей всю продолжительность ненастья, разровняв в полосках в виде фонаря Белиши вокруг расширяющегося устья ее туннеля. Еще момент – и она сообщила, что нашла место без сквозняка, приглашая соратников подсобить увеличить отверстие, раз уж она сделала за них всю тяжелую работу.

Присоединившись ко всем, чтобы растянуть края дыры и сделать ее побольше, Реджи с удивлением обнаружил, что на другой стороне портала снова чернота, а не дневной свет 1950-х, как он ожидал. Однако, когда отверстие успешно расправили так, что в него могла пролезть вся банда, он понял, что они пробились в подвал, чем и объяснялась темнота. Вдоль одной стены были выставлены ящики, полные, как оказалось, пошлых журналов и книг в мягкой обложке, а у другой рассыпалась куча угля и шлака – вся сцена вновь была выписана в ночном зрении мертвых детей серебряным карандашом. Один за другим дети залезли в 1959 год, а замыкала шествие Филлис, предшествуемая Утопшей Марджори и Майклом Уорреном. Как только все оказались в темном подвале, Филлис заставила закрыть за собой дырку, что вела в пятый или шестой год. Они исполнительно размазали дымящиеся фибры нынешнего дня по зияющему проходу, и вот уже не осталось ни единого признака Башенной улицы или ее многоквартирников на фоне пустого от звезд неба. После соблюдения призрачного протокола «уходя, закройте дверь» Филлис обратилась к команде. Она не шептала, так что, очевидно, здесь не было сторожа со вторым зрением, как в том одиноком домишке в нижнем конце Алого Колодца.

– Если кому интересно, куда нас занесло, эт газетная лавка Гарри Трэслера, у са́мой Мэролд перед Олторпской улицей. Мы у него в подполе. Терь осталось ток подняться наверх – и мы в одном повороте от входа на Стройку.

Подвальную лестницу они отыскиали за стопкой журналов «Настоящие приключения», перевязанной тесемкой, – на вид американских, с почти голыми дамами на обложке, одетыми только в нижнее белье и нацистские нарукавники, которые угрожали скованным в цепи мужчинам с одинаково стиснутыми зубами, потрясая раскаленной кочергой или кнудом. Поднявшись один за другим по ступенькам, дети вышли через закрытую на засов дверь подвала в залитый дневным светом коридор, что вел в саму лавку – бывшую переднюю комнату, где теперь в эркере на обозрении висели на больших железных зажимах комиксы, книжки в мягких обложках и журналы. Здесь, за старой черной стойкой с деревянной ребристой поверхностью, разделявшей комнатку на две половины, стоял, считая прибыль от утренних газет во время краткого перерыва между наплывами посетителей, лысеющий человек с брюшком, болезненной кожей и темными кругами под глазами. Реджи понял, что это, должно быть, и есть Гарри Трэслер, владелец заведения, о котором говорила Филлис. Угрюмый и погруженный в дело с головой, он даже не оторвался от набросанной колонки сложения, когда призрачные дети просочились через его стойку – очевидно, недостаточно старинную, чтобы их задержать, несмотря на свою внешность, – и выплыли на июльское солнце, окрасившее безмятежную площадь Мэйорхолд.

Фантомное сердце Реджи потеплело при очередном посещении прямоугольного – с оговорками – пространства, где сходились восемь улиц и по периметру выстроились склады самых разных торговцев, пять питейных заведений, под дюжину уютных лавочек и внушительный и украшенный колоннами фасад Нортгемптонского кооперативного общества. В дни Реджи это предприятие зародилось на Конном Рынке под названием «Вест-эндское промышленное

кооперативное общество», и он был рад видеть, что достойная компания неплохо поживает и спустя семьдесят лет. Подпертый с одной стороны мясной лавкой, а с другой – старыми викторианскими общественными туалетами, загибавшимися на Серебряную улицу, «Кооп» казался в это летнее утро самой оживленной областью Мэйорхолд. В нише главной двери магазина трепали языками женщины в косынках, увешанные сумками из рафии, время от времени отступая, чтобы пропустить внутрь или наружу очередного клиента заведения.

На женщин с суровыми лицами, заходившими в этот момент в «Зеленый дракон» у въезда на Медвежью улицу, и на автобусы, спящие у паба «Каррьерс армс» на западной стороне забытой бывшей городской площади, брызгал приятный пыльный свет. Как раз выйдя из магазина сладостей по соседству с Трэслером, трое юнцов в серых саржевых шортах по колено, подпоясанных эластичными ремнями с пряжками в форме буквы «S», кажется, делили между собой пачку монпансье и прорвались сквозь призрачную банду, даже не заметив.

Реджи и его команда продолжали путь мимо старых «Веселых курильщиков» справа, памятуя, что в астральных, верхних пределах паба здесь собирались неприкаянные, а крысолов Мик Мэлоун опрокидывал очередной Паков пунш и подумывал вернуться через небеса домой на Малую Перекрестную улицу с хорьками в карманах, за чем они застали его раньше. Дети-привидения чуть ли не на цыпочках пробрались мимо распашной двери салуна, пересекая верх улицы Алого Колодца, где она вливалась в Мэйорхолд.

Напротив «Веселых курильщиков» на другом углу обшарпанного проезда стояло трехэтажное здание, старое и обветшавшее, а его доски и камни казались такими темными, что чуть ли не подкопченными. Окна в обветренных рассохшихся рамах были забиты, а над такой же забитой дверью виднелись остатки вывески – пара крашенных букв еще сохранились, чтобы можно было

разобрать имя бывшего владельца или что он продавал. Хотя Реджи застал это место в рабочем состоянии, в начале тысяча девятьсот каких-то, он, хоть оживи, не мог сказать, что здесь был за магазин. Только знал, что задолго до того – еще в 1500-х, до рождения Реджи, – в развалине находилась ратуша Нортгемптона.

Дети вошли через фасадную стену, оказавшись в оголенном и тенистом интерьере, где в щели между прибитыми досками на окнах падали клинья солнечного света. Обои толщиной в четыре поколения местами обвисли и отошли от сырой штукатурки, болтаясь, как отяжелевшая кожа, а дальний угол был украшен несколькими пустыми бутылками из-под «Дабл Даймонд» и, похоже, человеческими экскрементами. Они поднялись по провалившейся лестнице на второй этаж, проплывая над заплесневевшими безднами, где ступени прогнили, а потом добрались до последнего этажа. Здесь из-за дюжины пропавших черепиц здание было открыто и птицам, и стихиям, из-за чего превратилось в лабиринт омерзительных чертогов, выстеленных сталагмитами голубинового дерьма и мутными лужицами.

Глюк и непременно сопутствующая ему лестница Иакова были в самой дальней комнате, где через сияющий портал падал праздничными флажками цветной свет, ложась на поднятые лица детей, волглые половицы, половики и бумажки, слипшиеся в единую субстанцию, на до смешного узкие ступени поднебесной лестницы.

У Реджи в воспоминании о горле встал комок, а к глазам подступили призраки слез. Именно сюда Филлис и Билл привели его в тот первый раз вскоре после того, как они познакомились в катакомбах четырнадцатого века, укрываясь от Великой призрачной бури 1913 года. Здесь они окончательно убедили мальчика, что он не хуже других и что у него не меньше прав на ад или рай. Он сам не знал, почему даже теперь при виде лестницы в Душу в нем разыгрались эти чувства. Так было всякий раз. Он тайком вытер увлажнившиеся глаза шершавым рукавом пальто, чтобы никто не видел.

Филлис первой принялась покорять лестницу Иакова – с болтающимися кроличьими бусами и с испаряющимися, словно утренний туман, остаточными изображениями, – поднявшись навстречу краскам и блеску. За ней последовал Майкл Уоррен, позади него – худощавый Джон, а потом Билл и Марджори.

Последний раз оглядев смазанный карандашный рисунок призрачной стежки, Реджи последовал их примеру. Пожалуй, его немного пугала перспектива стать свидетелем склоки зодчих. Лицезрев последовавший ревущий ветер, он уже сомневался, что готов к самой драке – но это, говорят, всего лишь нервы и здравый смысл. Не из-за них одних на Реджи каждый раз опускалась сентиментальная нерешительность, когда он брался за эти перекладыны и отправлялся на деревянный холм Смертбродшира.

Он все еще не мог поверить, что все привело вот к этому. Даже после стольких неисчислимых лет он не мог вместить в голову, что есть такой чудесный край, где он желанный гость, где для него есть место – и это не просто неотмеченный участок среди захоронений церкви Доддриджа. Он сморгнул призрачную влагу с глаз и шмыгнул густым комом эктоплазмы, прежде чем мужественно взять себя в руки и продолжить подъем из серости в золото и лазурь, розы и фиалки.

Ухарски заломив шляпу, чтобы скрыть, что он плакал, Реджинальд Джеймс Фаулер пролез через глюк на Стройку, где вокруг него вдруг расплылись звуки и насыщенные живописные тона, священный запах строганого дерева и честного пота зодчих. Он, так сказать, откинул прилаженный занавес на выходе.

Реджи был дома.

Духовная борьба

Когда он выбрался из глюка за Филлис Пейнтер, Майклу Уоррену в лоб так и врезал весь звонкий грохот Стройки, ее масштаб, цвета, а особенно – душок гниющего шарфа Филлис. Заводской пол, на котором выпрямилась Мертвецки Мертвая Банда, большой, как аэродром, и залитый жемчужным светом из невероятно высоких окон, кипел от деятельности. Зодчие были повсюду: на лестницах и лесах, шагали туда-сюда со свитками и стопками документов, выкрикивая друг другу указания на языке, где каждый слог колосился запутанным лирическим садом.

В деревянных сандалиях, простых робах голубино-серого цвета с отливом зеленого или пурпурного в складках и тенях, эти зодчие казались другого ранга, нежели чем беловолосый, которого Майкл видел раньше, – с босыми ногами и ледяным сияющим балахоном. Тогда как у него была осанка бригадира, у нескольких дюжин строителей, старательно трудящихся в обширном пространстве, была внешность чернорабочих – хотя несли себя эти чернорабочие с большой грацией и достоинством, чем любой император, каких Майкл видел на картинках.

Мимо заметно присмирившей банды детей-привидений, торопясь куда-то по шепчущему собору мастерской, прошел один из зодчих – худощавый благочестивый тип со слегка вытянутым лицом и тугими пепельными кудрями редящих волос. Только что вынырнув из призрачной стежки, Майкл сперва удивился, что за целеустремленным работником не тянулись дубликаты, но потом вспомнил, что он уже в совсем другом месте. Длиннолицый строитель прервал свой путь по широким и замысловато украшенным плитам пола, чтобы изучить сборище мертвых беспризорников, обводя их бесконечными и сверкающе-бриллиантовыми глазами.

– Ммызд пввертст ас наш самистр! Внего сплутегах!

Эти слова (если их можно так назвать), озвученные безразличным, как бриз, голосом в оборках эха, как будто взвалили на разум Майкла Уоррена тяжелые угловатые чемоданы, которые тут же принялись распаковываться во все более компактные и затейливые бандерольки значений.

– Мы, златые, мы, труженики в сей дали дольней доли, мы, кто топчет винтаж великих виноградников вековечного всеведения, мы, серые стражи сего стремления, рады приветствовать вас, рады приветствовать в нашем свете, нашей славе, нашей строгости, нашей самости, где страстно сияет наша Стройка! Внемлите, ибо нам угодно – если угодно вам – даровать сей план и проспект наших пажитей испокон веков и присно, до нескорого скончания вечности, дабы служил он вам верой, правдой, советом и избавлением в сих хоромах, сих чертогах, сих палатах, сих священных домах бескрайней души и бытия!

Как понял Майкл, все это сводилось к «Мы приветствуем вас на Стройке. Возьмите путеводитель». А рабочий извлек из неровной стопки бумаг под мышкой полдюжины брошюр в одной папке, раздал буклеты каждому из шести покойных детей, коротко кивнул и продолжил путь по оживленному помещению к стене, которая стояла слишком далеко, чтобы разобрать ее в подробностях, пока его роба цвета дождевой тучи сверкала красками роз и мальв, волнуясь у лодыжек.

Майкл вместе со спутниками опустил взгляд на брошюры. Напечатанные золотыми чернилами на толстой сливочной бумаге, все четыре страницы были покрыты тесным текстом, состоящим из мелких кривых знаков чужого алфавита. Будучи трехлетним и едва ли зная больше пары слов и на письменном английском, Майкл был уверен, что придется просить кого-нибудь прочесть вслух, но он ошибся. При ближайшем рассмотрении карликовые незнакомые символы как будто передавали значения такими мыслями и словами, которые он мог понять – по крайней мере, сейчас, в нынешнем состоянии. Он отметил, что после смерти становится все умнее,

словно душа продолжала развиваться, даже когда разум и тело прекращали. Он пригляделся к крохотным ползучим буковкам обостренным призрачным зрением и приступил к чтению.

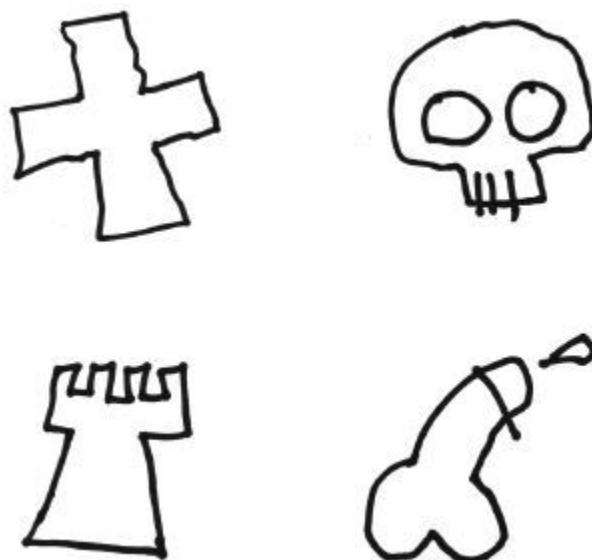
Стройка

Стройка заложена в нижнем мире в 444 году н. э., когда был создан Первый Боро. Первоначальное материальное проявление Стройки – веховой камень в конце тропы, ведущей к колодцу красильщиков. Однако во Втором Боро четыре мастера-англа умело развернули единственный неотесанный гранитный блок в могучую крепость для чудесных трудов своих. Ее вывеска и печать провозглашают, дабы известно было всем, Правосудие Над Улицей, и се есть главное кредо предприятия, обозначенное так:



Стройка полагается в центральной точке Первого Боро, хотя и слегка к востоку от нее, дабы вернее представлять пересечение диагональных линий, написанных на квартале для соединения его углов. Четыре угла сии – окончания конфигурации, транслирующие четыре энергии, и каждый отмечен своею эмблемой. Так, юго-восточный угол означен Крестом, будучи яростной четвертью духа, тогда как юго-западный угол несет знак За́мка как воздушный квадрант, ведающий материальным великолепием. Северо-западный угол украшен грубым Фаллосом, хотя сие водяная и женская доля, ибо он суть место пенетрации и вторжения. Наконец, северо-восточный угол выражается черепом, ибо это земная часть всего устройства и

ей причисляется гибель. Изначально символы были выбиты на гранитном краеугольном камне, каждый – своим мастером-англом в полном соответствии с их характерными темпераментами и гуморами. Да будут известны их вотчины под глифами сими:



Ныне сие предприятие посвящено возведению Портимот, сиречь «Первого упора, или портала, бесспорно отмеряющего пропорции лимитов и периметров иммортальной психики, и се имя нашей теме, нашей мо́чи, нашему пути», повсеместно известного как четырехмерный замковый камень, который камень надлежит установить на пике великого хронологического сооружения для приведения воедино всех моральных линий и балок обстоятельств, составляющих великую архитектуру Времени. Покуда не окончены труды, Начальство с прискорбием извещает, что зодчие не смогут сопровождать посетителей на турах по цехам, и почтенно просит иметь при себе в качестве подручного источника информации путеводитель сей.

На первом этаже находится главный вход, ведущий на Чердаки Дыхания над современной Мэйорхолд. В каждом

конце колодезной тропы V века лежат квадравиумные стыки, или же «глюки», также открывающие путь на сей нижний этаж, где происходит сборка некоторых элементов строительства и где назначаются и принимаются уроки. Посетители заметят, что пол сложен из семидесяти и двух больших плит, каждая в сто шагов длиной и шириной и уложенных в порядке девять на восемь. При ближайшем рассмотрении на поверхности камней сих можно разглядеть мозаичный узор – такое свойство обусловлено...

Майкл удивленно оторвался от увлекательного буклета, чтобы обнаружить, что его пять призрачных товарищей сдвинулись скопом в направлении ближайшей стены, что стояла где-то в четверти мили к востоку. Скатав информативную брошюрку в рулон и сунув в клетчатый карман халата, он заторопился за ними так быстро, как только позволяли хлопающие тапочки. Он сам себя перепугал, когда сбежал от них в начале улицы Алого Колодца, и больше не хотел отделяться.

Это, думал Майкл, была большая глупость. Все из-за шока, когда он вдруг увидел дорогу Святого Андрея такой: пустая полоса травы на месте, где была его терраса. Все так неправильно. Хуже того – вид как будто говорил, что ничто не обернется так, как все надеялись; что мечты его мамки и папки кончатся среди деревьев, дерна и проволочных тележек на колесах. Он не хотел с этим мириться и не смирится. Он не хотел видеть эту голую землю и голые факты, потому сбежал в полуночный район, который больше не узнавал.

Пока остальные дети смотрели на плачущее привидение в пиджаке в клетку, бредущее к гадкому одинокому дому на углу, Майкла переполнили странность и обреченность его обстоятельств, и он больше не мог ни секунды терпеть это жуткое и жестокое посмертие с кошмарным развороченным будущим. Он тихо ускользнул в уютно знакомые складки многоквартирника «Серые

монахи», хотя и задумался на миг из-за черных железных ворот – зачем это закрывать бывшую неофициальную игровую площадку местных детей во дворе «Серых монахов»? Но это не помешало ему протечь сквозь прутья, как пар от чайника, в тихий и тенистый прямоугольник.

Внутренний двор «Серых монахов» был почти таким же, каким он помнил его по коротким маршрутам на коляске в 1950-х, – хотя, очевидно, раньше он никогда не видел его в ночной час. Единственной заметной разницей, не считая ворот, стала какая-то усталость и неопрятность, словно это место просто махнуло на себя рукой, запустило себя. Он прошел по тропинке в нижней части двора, проплыл через очередные запертые ворота в другом конце и выбрался на Банную улицу. Только тогда он осознал, что понятия не имеет, куда попал.

Всегда казавшийся заботливым уклон красных кирпичных домиков на параллельной стороне улицы, включая лавку сладостей миссис Коулман с пыльными и сладкими банками, убрали долой. Привычный вид заменил уродливый многоквартирник с бетонными ступеньками и ржавыми перилами, прямоугольными черными окнами, холодно глядящими с панельных стен, когда-то давно покрашенных в белый, чтобы лучше отобразить грязь Боро.

Майкл безутешно крался по холму, пока за ним по-индейски равно скрытно пробирались его дубликаты. Только когда он дошел до Малой Перекрестной улицы, где ряд домов, подпиравших друг друга, словно пьяные драчуны, тоже заменили современными белостенными зданиями, Майкл наткнулся на знакомое место в виде удивительно утешавшей громады многоквартирника на Банной улице.

При ближайшем изучении даже он оказался не тем, что прежде. Двойные двери под портиком в стиле кинотеатра там, где кто-то выбил стекло, заколотили дешевыми досками, шершавыми и пестрыми. Он присел за низкой кирпичной стенкой у тропинки, убегавшей от постаревшего подъезда, заплакал и попытался понять,

что же делать дальше. Тогда-то он и заметил Билла и Реджи Котелка, поднявшихся по асфальтовому косогору на месте бывшей улицы Фитцрой, а вскоре после этого и они заметили его.

Не закричи они и не кинься к нему через дорогу с лишними глазами, руками и ногами, он бы так и сидел на месте и отдался им в руки. А так они его спугнули, и он бросился бежать куда глаза глядят, через заколоченную дверь внутрь. Как же это было страшно – столько странных комнат, где жуткие люди занимались чем-то непонятным. Когда он вырвался на открытую центральную дорожку со ступеньками, его охватило огромное облегчение, несмотря на плывущие повсюду в воздухе странные огни.

В этот раз, когда Билл и Реджи просочились из унылых красных кирпичей и подошли к нему, с него уже было довольно, он даже был рад их видеть. Сам себя наказав в безуспешной попытке обрести призрачную независимость, он позволил взрослым мальчикам взять его под руки и провести к кошмарной призрачной дыре наверху Банной улицы и к двум сногшибательным башням, где они воссоединились с Джоном, Марджори и Филлис. Пусть начальница Мертвецки Мертвой Банды выговорила ему за дезертирство, Майкл уже начал достаточно разбираться в Филлис, чтобы понять, как она рада его найти и видеть, что он в порядке. Он задумался, а не втюрилась ли она в него втайне – так, как, похоже, он в нее. Прав он или нет, но Майкл не хотел больше упускать из виду ни ее, ни банду, и теперь торопливо семенил за ними по оживленному рабочему пространству, стараясь скорее догнать.

Когда он поравнялся с группкой беспризорников, к нему с ухмылкой обернулся большой и дружелюбный Джон:

– Еще с нами, мелочь? Мы уж на миг подумали, что опять тебя потеряли. Ну, как тебе? Картина маслом, а?

Высокий парень обвел всего одной рукой – хотя Майкл по-прежнему ожидал дюжину, – нескончаемую суету снующих туда-сюда мрачных зодчих в переливающихся серых рубищах. И в самом деле, интерьер Стройки представлял собой целую картину. Над

гигантскими плитами с многосложными и многоцветными рисунками, что как будто мельтешили и мерцали в уголках глаза, двигались по разным делам с торжественным видом зодчие, а над их множеством на огромном рельефе на стене, куда они приближались, был тот странный рисунок, который Майкл видел в брошюре: плоский свиток или лента, бесконечно убегающая вправо, и два треугольника, соединенных двойной чертой, над ними. Грубый и неумелый, он как будто вышел из-под руки трехлетнего мальчишки вроде него самого, а не таинственных «мастеров-англов». Труся подле Джона, Майкл поднял на него моргающие глаза.

– Это что, рекламная вывеска?

Джон усмехнулся:

– Ну, да, в каком-то роде. Это значит «Правосудие Над Улицей», местный девиз, наподобие «Из сильного выйдет сладкое», как пишут на консервах с патокой.^[70] Все объясняется в путеводителе, который тебе дал зодчий. Ты что, не читал?

Майкл сказал, что прочитал начало, прежде чем сунуть в карман ночнушки из страха, что останется позади. Джон улыбнулся и покачал головой.

– Никто тебя больше не оставит, так ты перепугал Филлис, когда сбежал. Глянь еще разок в брошюрку-то. Многое узнаешь, например про разных демонов, пойманных в напольные плиты.

Тут Майкл замер на месте и уставился на стометровый камень, по которому они как раз шли. Стоило внимательно приглядеться к его сложному рисунку, как глаза разбегались. Изощренный узор замысловато сочетал две повторяющихся фигуры, искусно переплетающихся между собой, – одна из них занимала пустые места между аккуратно выписанными обводами второй. Обе фигуры в основе этого обойного эффекта были довольно неприятными: одна напоминала волка со скользким змеиным хвостом и языками алого пламени из яростного оскала. Вторая принадлежала отвратительно разжиревшему ворону, раскрывшему клюв, чтобы выставить на обозрение клыки охотничьей гончей.

Стыки контуров двух непохожих чудовищ были чудом черчения: пламя, извергающееся из зева волка-змеи, охватывало его хищное тело аурой красного огня, фестонный край которого точно сходилась с черными зубринами крыльев пса-ворона, глядящего в другую сторону. С гипнотическим эффектом рваные линии на пересечении картинок как будто постоянно двигались, словно бы пламенные ореолы волков-змей плясали и бились, а псы-вороны сердито топорщили перья. Достав брошюру путеводителя из кармана, Майкл продолжил чтение с места, где остановился, в надежде узнать, что знаменовал этот изощренный паркет.

Посетители заметят, что пол выложен из семидесяти и двух плит, каждая в сто шагов длиной и шириной и уложенных в порядке девять на восемь. При ближайшем рассмотрении на поверхности камней сих можно разглядеть мозаичный узор – такое свойство обусловлено доскональным каталогом бывших работников, расплющенных и вмещенных внутрь плит при их производстве.

Сии бывшие зодчие, общеизвестные как дьяволы, сжаты в двумерной плоскости бытия мастерами-англами и их армиями во время основания мира смертных и материи. Усмиренные, дьяволы подчинялись златому тору, надетому на перст мастера-англа Микаила, – повелительному кольцу священной власти. В символической страте над осязаемым миром мастер-англ Микаил вручил знак сей царю Соломону, дабы он тем же путем восторжествовал над демонами и принудил их возвести храм в Иерусалиме. Это сооружение воспроизведено в Первом Боро в виде круглой церкви Гроба Господня, а сам мастер-англ Микаил, слившийся в земных представлениях со святым Михаилом,

надзирает за мирским градом со своей вершины на великой Гильхальде Святого Эгидия.

В камнях заточены шесть дюжин бесов. Их описания и имена с юго-восточного угла следующие:

Первый Дух есть Царь, правящий на Востоке, и зовется он БААЛ. Он дарует людям невидимость. Он правит шестьюдесятью и шестью легионами младших духов. Он явлен в разных обличьях: порою котом, порою псом и порою человеком, а порою во всех формах разом...[\[71\]](#)

Далее последовало долгое перечисление отвратительных существ их атрибутов, большинство из которых казались просто ужасными. Осознав, что юго-восточный угол этого объемного пространства находится впереди и слева, Майкл отсчитал массивные плиты до той, где сейчас стояли он и Мертвецки Мертвая Банда, – седьмой с конца. Проведя пальцем по колонке демонических герцогов и князей, он нашел нужное место и начал читать.

Седьмой Дух зовется АМОН. Он Маркиз, великий силой и наимогучий. Он явлен волком с хвостом аспидовым, изрыгающим изо рта пламя огненное, но порою явлен Вороном о клыках собачьих. Он речет обо всем прошедшем, сущем и грядущем; любовь творит; любую рознь меж друзьями и врагами примиряет. Он ведет сорок легионов младших духов.

Это казалось исчерпывающим описанием собакозубого змеехвостого волка-ворона Амона, красно-черно-серый узор которого двигался под клетчатыми тапочками Майкла. Майкл взглянул в два видимых глаза изображенных существ: один принадлежал стоящему в профиль ворону, а второй – волку, также глядящему в сторону. Теперь, когда он знал больше об устройстве вневременной Души, способность «речь обо всем прошедшем, сущем и грядущем», если честно, не казалась большим достижением, хотя талант творить любовь, подумал Майкл, показался бы довольно впечатляющим, будь он повзрослее. Впрочем, он и так чувствовал себя старше обычного, а потому даже сейчас с уважением отнесся к этому умению. Снова скатав листовку и опустив в карман, Майкл вопросительно нахмурился, глядя на Джона.

– А почему картинки двигаются?

Джон ответил ему сочувствующим взглядом.

– Мы же ходим не по картинкам, мелочь. Это сами многоуважаемые господа и блесть. Скажи спасибо, что они двигаются только чуть.

Майкл снова посмотрел на камень, на котором они стояли, и на его ползучие орнаменты. Пискнул и исполнил сложный танец, когда пытался оторвать оба тапочка от плиты одновременно, словно испугавшись какого-то inferнального заражения. В конце концов он замер на цыпочках – очевидно, лучший компромисс в нынешних обстоятельствах.

Джон пытался не расхохотаться, превратив смех в приглушенный взрыв веселья где-то в пазухах носа.

– Не бойсь, они тебя не тронут. Когда они такие плоские, то не опаснее Кейт Скважины [\[72\]](#) или еще кого из комиксов. Впрочем, мы и так почти дошли до края. Скоро выйдем на лестницу, там демонов нет.

Как и сказал Джон, прямо перед ними росла высокая стена, которую черкала наискосок деревянная лестница – ее великий зигзаг соединял четыре страты балконов, и высочайший из них

почти равнялся с неумелой печатью Стройки на гигантской табличке. Сами ступеньки были капитальными и широкими, а их соотношение глубины и высоты казалось относительно нормальным в отличие от того, что Майкл видел мгновение назад, когда карабкался по лестнице Иакова из призрачной стежки. Торопясь сойти с корчащегося ковра переплетенных ужасов, Майкл не решался канителиться, пока они с бандой не добрались без происшествий до ближайшего конца одержимого пола фабрики.

Вблизи ступеньки оказались в несколько ярдов шириной, с одного конца ограниченные отвесной воспаряющей стеной, а с другой – искусными резными и отполированными перилами – по всей видимости, из дуба. Каждая ступенька была выбита из какого-то неизвестного вида мрамора – глубокого, насыщенного темно-синего цвета с блестками слюды, как будто застывшими в прозрачном камне на разной глубине, а не просто сверкающими на поверхности, как это обычно бывает. Всякая казалась брусом, вытесанным из ночного неба, и среди переливающихся хлопьев слюды тут и там Майкл замечал сгустившиеся туманности и хвосты комет. Пожарный выход, сделанный из Вселенной, – впрочем, если подумать хорошенько, из нее сделано все.

Мертвецки Мертвая Банда начала восхождение из голубинового воркования рабочего пространства, с Филлис Пейнтер во главе, оторвавшейся на несколько шагов. Шагая ближе к хвосту группы вместе с большим Джоном, Майкл бросил взгляд из-за дубовой балюстрады на вымощенный плитами пол. С высоты мальчик почти что видел в передвижениях зодчих, торопившихся по своим непостижимым траекториям: единый паттерн, словно каждый рабочий был железной опилкой, пойманной в петлях и завихрениях, незримо излучающихся магнитом.

Еще благодаря призрачному зрению он четко видел все шесть дюжин гигантских плит с демонами, составлявших пол, которые были выложены, словно колода карт из кошмара. Ему показалось, он вспомнил, как смертоведка, миссис Гиббс, говорила, что из всех

дьяволов тот, кто похитил Майкла, коварный Сэм О'Дай, носил тридцать второй номер. Если это так, то его плита должна была лежать у левой стены, в четырех рядах от Майкла. Выглядывая из-за деревянных балясин, он шевелил губами и протыкал воздух розовым указательным пальчиком, чтобы не ошибиться в подсчете. Нужный камень, как только он его нашел, было сложно не перепутать.

Во-первых, он был всего одним из трех-четырех плит в облицовке, которые зодчие как будто старались избегать, путешествуя по оживленной мастерской. Во-вторых, в отличие от сотоварища Амона, Сэм О'Дай был изображен на плите всего в одной форме, а именно в виде трехголового существа верхом на драконе, бушевавшего над ними на Чердаках Дыхания как будто бы уже вчера. Это сложное обличье повторялось по всей площади не меньше сотни раз, а контуры его были спроектированы так ловко, что все идентичные неровные фигуры идеально стыковались с поистине inferнальной сложностью. Пустые пространства между многими головами существа, к примеру, вмещали четыре лапы дракона под наездником, принадлежащие дубликату в узоре над ними, тогда как остроконечный хвост каждого из скакунов был выписан так, что аккуратно входил в раскрытые челюсти одинаковых геральдических змеев позади. Найдя путеводитель и просмотрев продолжительную опись адских правителей, пока не нашел номер тридцать два, Майкл попытался разузнать побольше о бесе, который буквально и фигурально прокатил его.

Тридесят второй Дух зовется Асмодей. Он великий Царь, сильный и могущественный. Он о трех головах, из коих первая подобна бычьей, вторая подобна человеческой и третья подобна бараньей. Он имеет хвост змия и плюется парами отравы. Лапы его имеют перепонки, как у селезня. Он восседает на inferнальном драконе, в руках несет Копье и Штандарт с эмблемой сей:

Он дарует кольцо Добродетели и учит искусствам Арифметики, Геометрии, Астрономии и рукоделия. Он дает полные и истинные ответы на всякие вопросы и дарует невидимость. Он указывает места, где скрыты клады, и ведет шесть дюжин Легионов младших духов. По просьбе он может вознести колдуна в высшие сферы, откуда они заглядывают в дома соседей и видят других людей за их делами, словно крыша домов снята.



Из всех пойманных и скованных существ во всех обращениях с этим Духом потребна особая осторожность. Из дьяволов, уловленных царем Соломоном на символической плоскости, самый яростный и непокорный подчинению есть Асмодей. Талмудистская традиция гласит, что Асмодей единственный неподвластен волшебному кольцу Микаила, дарованному царю Соломону. В их битве торжествует Асмодей, зашвырнув побежденного царя так высоко в небо, что тот, возвернувшись, забывает имя свое. Беснаказанный, Асмодей принимает облик Соломона и, будучи самозванцем, доканчивает строительство храма Соломона в Иерусалиме, и берет много жен, и строит другие, меньшие храмы чужим богам, которым те жены поклоняются.

Он муж чудовища Лилит, Царицы Ночи и Матери Чудовищ. Одурманенный принцессой в персидском краю, Асмодей карает

столько ее ухажеров, сколько есть дней на неделе, за которые преступления изгнан экзорцизмом в древний Египет, мстительно забрав в наказание все математические познания из одного царства в другое.

Асмодей в порядке десяти колец, сиречь торов, из коих Ад и Рай состоят, есть демонический правитель Пятой плоскости и посему наиглавным образом с Гневом связывается. Растение вотчины сей – пятилепестковая роза: эмблема городов смертных, благоприятная бесу. Считается, что репродукция храма Соломона в Первом Боро упрочивает родство Духа с сей земной областью. Из числа заключенных здесь дьяволов он самый ужасный и во гневе неумолим. Цвета Асмодея, по которым узнают его, красный и зеленый, что означает его жестокость и чувственную натуру...

Майкл поднял взгляд от буклета, и краска отлила от его лица так, что он чуть ли не стал похож на свою версию в черно-белых просторах призрачной стежки. Оказалось, шипящий Сэм О'Дай – не просто какой-то дьявол. Он победил царя Соломона, несмотря на всемогущее кольцо, подаренное мастером-англом. Он «из числа дьяволов самый ужасный». Во гневе он «неумолим», и, хотя Майкл не знал этого слова, оно наверняка означало «рано или поздно до тебя доберется». Мальчишка прищурился к последней плите в четвертом ряду, пока не заметил, что глаза барана, быка, дракона и человека на каждом изображении, стократно умноженные на кишасей поверхности камня, вперили взоры прямо в него. И взор не самый ласковый.

Не без труда Майкл оторвал взгляд от завораживающего переливания тридцатисекундного Духа и заторопился за Филлис и остальными, карабкавшимися по ступеням из созвездий к первой площадке, где, если он правильно понял план, они намеревались влиться в ряды зрителей ужасной и небывалой драки между мастерами-зодчими. Будучи, по всей видимости, причиной раздора,

Майкл не думал, что его личное посещение – самое безопасное решение, и появившиеся на углу улицы Алого Колодца сомнения из-за того, насколько хорошо за ним приглядывают Филлис и банда, всплыли вновь, пусть лишь на миг. Все-таки пятеро Мертвецки Мертвых детей были его единственными друзьями в округе. Сунув листовку обратно в карман, Майкл зашепшил сломя голову за ними.

Пара зодчих, спускавшихся по широкой головокружительной лестнице в противоположном направлении, обратили особое внимание на банду призрачных детей, в особенности на Майкла Уоррена. Один показал головой на ребенка, на что второй мудро кивнул. Оба улыбнулись Майклу, прежде чем продолжить путь в своих длинных развевающихся балахонах серого цвета с павлиньим отливом у подола по испещренным звездами ступеням. Майкл слегка струхнул, не заметив раньше таких выражений на лицах зодчих, трудившихся внизу. Эти же посмотрели на него с теплом или даже с гордостью, из-за чего он почувствовал себя согретым и важным, но сам простой факт, что его, оказывается, знают, несколько нервировал и вызвал новые вопросы касательно разумности посещения драки англов.

Шестерка уже достигла первой из трех площадок, торчащих на восточной стене. Со звездного мрамора платформы на половицы высокого и относительно людного балкона с черными перилами из пропитанного дегтем дерева вели распашные двери с витражами и латунной панелью для толкания. Балкон очень напоминал высокую дорожку над Чердаками Дыхания, где малыш повстречал непостоянного Сэма О'Дая, и, пока большой Джон придерживал для них дверь, Майклу даже на миг показалось, что это то же самое место, но он быстро осознал свою ошибку.

Самой очевидной и бросающейся в глаза разницей было количество людей, которые суетились туда-сюда по бесконечной галерее или оперлись на перила, возбужденно переговариваясь, как всегда, райка – верхнего круга театра. По сбивчивым подсчетам Майкла, вдоль раскинувшейся веранды, сколько видел

растерявшийся глаз, было две или три сотни призраков. Он задумался, есть ли особое слово, как «прайд», «табун» или «отара», чтобы употреблять в разговоре о таком количестве фантомов, и спросил пятерку приятелей-привидений, не знают ли они такого. Филлис с видом большой важности настаивала, что уместным термином будет «послесвечение», тогда как Билл ввернул в качестве альтернативы «позорище». Затем Джон положил конец гаданиям, предположив, что лучшим выражением для призрачного столпотворения будет слово «Несби», которое затем пришлось объяснять Майклу, хотя все остальные согласно кивнули с мрачным видом.

– Несби блесть деревня у самого Нортгемптона, где состоялась последняя битва Английской гражданской войны. Короля Карла взяли в плен, а поле окрасилось красным, и трупы лежали горами в канавах. Ни за что не ходи в Несби в призрачной стежке, мелкий. Мертвые кавалеры и круглоголовые торчат там, как грядки кукурузы, – мужики с дырами от пик в камзолах, все черны от крови, белы от костей и серы от мозгов, таскают за собой по грязи покалеченные фотоследы. Столько злобных мертвецов ты еще не видал. Нет, «Несби призраков»: по-другому и не скажешь, когда оказываешься в такой толкучке.

Привидения кругом Мертвецки Мертвой Банды на балконе были самыми разными – представители большинства из двадцати или тридцати веков, сколько люди жили в окрестностях нынешнего города. Пока он со своими спутниками шли по балкону, юркая между роем призраков, Майкл видел и женщин в шкурах из мамонтов, и голых, не считая ярких синих татуировок, детей. Тоскующие по родине датчане с длинными золотыми косами стояли бок о бок с развеселыми пехотинцами – жертвами Первой мировой войны. На балюстраду облокотился высокомерный мужчина почти без подбородка, зато с цветной коктейльной сигаретой, мрачно обсуждая евреев с равно брюзгливым римским солдатом низшего ранга. Были здесь даже один-два мертвых роялиста и

круглоголовых, о которых говорил Джон, что предполагало, что не все они остались на призрачной стежке в Несби барахтаться в черной грязи, где когда-то погибли. Странно, но человек в шляпе с плюмажем, больше всех в собрании походивший на кавалера, ввязался у перил в дружелюбный разговор с плечистым мужиком в сером с бритой головой, который даже без характерного железного шлема с наконечником в подтверждение казался тем, кто бы сражался в 1600-х на противоположной стороне. Недоумевающий, Майкл указал на парочку Джону, а тот, узнав по меньшей мере одного из собеседников, издал возглас, где смешалось удивление и восхищение.

– Эвона! Ну, не знаю длинноволосого малого, но думаю, ты прав и он воевал за короля Чарли. А вот здоровяк с лысым кочаном – другое дело. Это Левеллер Томпсон, и, да, он блесть сперва на стороне Кромвеля, хотя в конце концов Кромвель-то его и угробил, как и того кавалера, с кем Томпсон точит лясы. Старик Кромвель, когда собирал под знамена против короля всех, кого только можно, наобещал с три короба идеалистам и революционерам вроде левеллеров, что если они ему помогут, то сделают Англию страной, о которой мечтали, где все равны. Но, конечно, стоило отгреметь Гражданке, как он запел по-другому. Кромвель быстро разделался с левеллерами, чтобы они не путались под ногами, когда он пошел на попятную в своих обещаниях. Томпсон – сам видишь, какой он лютый малый, – он последний бой дал в Нортгемптоне, и, похоже, с тех пор тут и остался. Нет, пожалуй, у него с этим веселым кавалером много общего. Только так высоко его редко встретишь, старого Томпсона. Похоже, драка между зодчими привлекла народ со всех долгот Второго Боро.

И он был прав. Пока дети-привидения шли по веранде, расступаясь перед запахом пронизи кроликов Филлис Пейнтер плотная толчея казалась странным историческим парадом или карнавалом, только таким, где никто как будто не замечал, что разодет в несусветный наряд. Конечно, большинство было самым

обычным. Подавляющую часть компанейской сутолоки составляли обычные жители Боро девятнадцатого и двадцатого веков, и их убранство едва ли отличалось от одежды самого Майкла и остальных. Зеваки из других эпох среди них выделялись, и большинство легко узнавалось: гуртовщик-сакс в мешковине со скромной отарой из полудюжины призрачных овец, блеющих у его ног, топоча по вечным доскам; бесчисленные монахи разных лет и разных орденов, которым больше не о чем было спорить, кроме того, как все одинаково ошибались в помыслах о загробной жизни; нервные и вздрагивающие норманнские дамы; древние бриттки-проститутки злобного вида, прикомандированные к римскому легиону.

Но были и другие фигуры, время и имя которых определить было непросто. С противоположного направления по балкону шел кто-то очень высокий, нависающий над головами и плечами кишашей орды на добрых два-три фута. Он казался вигвамом из камыша с полый деревянной трубкой, торчащей у самой верхней части, так что она напоминала клюв и придавала всему существу вид длинноногой зеленой птицы. Когда они разошлись, Майкл заметил, что выступало оно на ходулях, торчавших из плетеных камышей у подола странного платья. Майкл понятия не имел, что это за существо и из какого неслыханного периода оно явилось. Он наблюдал, как оно уходит по длинной площадке, растворяясь в собравшихся бредовых массах, и хотел уже попросить Джона разъяснить увиденное, когда внимание Майкла привлекло нечто не менее странное.

Это был ковбой – настоящий ковбой в пыльной одежде и мягкой шляпе, бесформенной от долгого ношения, старых сапогах со второй подошвой из сухой светлой грязи и по меньшей мере с семью пистолетами разных моделей и калибров, торчащими отовсюду, откуда только можно. Два – в разношенных кожаных кобурах, свисающих с растрескавшегося ремня, еще три заткнуты за пояс. Один запихнули за голенище сапога, другой высовывался из кармана штанов. Все казались древними и опасными как в бою, так

и в состоянии покоя. Мужчина облокотился на перила, словно окидывая взглядом прерию, а его гладкая безупречная кожа была чернее дегтя, которым окрасили балюстраду. Расслабленно привалившись к дереву, очертаниями он напоминал ягуара, резную и стилизованную голову египетского идола из обсидиана. Он был просто самым красивым и идеальным человеком, что встречал ребенок, – как из мужчин, так и из женщин. Но мысль о черном ковбое казалась неправдоподобной, как и его присутствие среди многолюдного фантомного потока бывших обитателей Боро. В этот раз Джон сам заметил у Майкла глаза навыкате и пришел на помощь, опережая вопрос:

– Этот – черный-то, – он не призрак. Чей-то сон. Он так часто снился кому-то из Боро, что накопил здесь вес.

Билл, который слушал, что Джон говорил Майклу, пока мертвая банда пробиралась вперед, вставил в разговор и свои два пенса:

– Ага. Я пару минут назад видал «Битлов» в прикиде из «Я морж». Кому-то и они приснились.

Затем последовали непродуктивные мгновения, когда Билл пытался объяснить, что это за жуки, одетые моржами, пока не вспомнил, что говорит о том, чего не было при жизни Джона или Майкла. Это само по себе спровоцировало новые вопросы от малыша в ночнушке.

– А откуда здесь сны, которые еще не снились? Сны выстраиваются в очередь и ждут, когда приснятся?

Джона захватил такой образ, но он покачал головой.

– Все не так, ну или мне кажется, что нет. Скорее, это связано с тем, что время Наверху работает по-другому. В смысле, у нас же будущее всего в паре миль дальше.

Он махнул рукой на запад, куда-то за спину призрачной банды, лавировавшей по бесконечному балкону, затем развил мысль:

– Сны иногда забредают с тех краев так же легко, как из прошлого. То же относится и к призракам. Ты наверняка заметил

дурацкую одежду некоторых обалдуев, толстые куртки или тряпки, как вот у той девчонки.

Джон кивнул на фантомную форму девушки, как раз показавшуюся рядом, у которой джинсы были то ли слишком малы, то ли валялись с ног, так что было открывалась задница с какой-то застрявшей эластичной резинкой. Оглядевшись теперь, Майкл заметил и других личностей в невообразимой одежде – как следовало из слов Джона, они были духами из будущего Боро, людьми, которые не только не умерли к 1959 году, но во многих случаях еще и не родились. Майкл высматривал других тет с полуголыми попами, потому что еще не видывал таких диковинок, когда вся группа детей вдруг встала на месте. Отложив поиск приспущенных штанов, Майкл и сам замер, не понимая, что случилось.

– О боже, – сказала Филлис Пейнтер. – Ну-ка все в сторону, к перилам.

Призрачные дети так и сделали, но обнаружили, что тот же самый маневр пытаются повторить и остальные фантомы на балконе, сбившись у перил гудящей флуоресцентной давкой, напоминая перепуганных попугайчиков в птичнике. Пытаясь выглянуть из-за человеческих паров и понять, что же вызвало такую необычную активность, Майкл расслышал, как Джон сказал: «Это что за чертовщина?» – а Реджи Котелок ойкнул. Коротышка Марджори сказала: «О господи. Бедолага», – на что Билл отвечал: «Охренеть бедолага. Этот пидор сам виноват». Впервые старшая сестра Билла не попрекнула его за матерщину. Филлис только угрюмо пробормотала: «Вот именно. Вот именно, что он сам. Он...»

Окончание того, что она собиралась до них донести, утонуло в растущем раскате грома, который, как осознал Майкл, длился уже какое-то время, хотя он и не обращал на него внимания. Мальчик выгнул призрачную шею, чтобы что-нибудь увидеть.

Им навстречу по балкону медленно шествовал – короткими запинаящимися шажками носильщика гроба – ходячий цветок

грохота и огня. Ниже талии он казался человеком, но верхняя его половина была огромным шаром света, в котором неподвижно подвисли пятнышки темноты. Похоже, рокот словно окутывал фигуру, перекачивался вокруг ослепительной вспышки и усиливался до оглушающего рева по мере приближения. Когда создание поравнялось с испуганными детьми, расплюснутыми у балюстрады с другими призраками, чтобы дать дорогу, Майкл разглядел его подробнее, прищурившись сквозь огонь, окружающий жуткое зрелище.

Это был иностранец – Майкл не знал, из какой страны, – в стеганой куртке и маленькой белой шляпке-таблетке или кипе. Его молодое лицо было обращено к небу, бородатый подбородок закинут, на губах натужно держалась улыбка, несмотря на то, что на озаренной щеке испарялась жирная слеза, а в глазах стояло выражение, которое могло быть вызвано как восторгом, так и мучительным шоком или агонией. Толстая куртка, похоже, была запечатлена в момент разрыва на клочки – темные ленты ткани на груди хозяина, вскрытой лучами фосфора, выворачивались в неровных и фантастических формах, словно пытались сбежать от рвавшейся из-под них блистательной белизны. Теперь Майкл видел, что темные точки, застывшие без движения в сиянии, были десятками гвоздей и гаек – астероидным поясом черных пятен, навечно уловленных в своем стремлении прочь от разрывающегося сердца света и жара. Теперь оглушающий шум ползал по всей фигуре, не меняясь в ключе, словно это был звук одного краткого испепеляющего мгновения, продленного вечно, растянутого от секундного всполоха в барабанную дробь тысячи пылающих лет. Гибрид – наполовину человек, наполовину огонь святого Эльма – продолжал путь по площадке маленькими мучительными шажками, слегка воздев руки от боков ладонями наружу, с лицом, все еще искаженным двусмысленной неуверенной улыбкой. Ходячий катаклизм прошел мимо пораженных детей, направляясь дальше по веранде вместе с шаром застывшего пламени и грома, со

шрапнельным нимбом раскаленных болтов и заклепок. В его кильватере зашевелилась и заговорила остолбеневшая фантомная толпа у деревянных перил, неторопливо вновь занимая широкий мостик, который они расчистили для полыхающего существа.

Майкл уставился на Джона.

– Что это такое?

Темные глаза Джона – озера, как у подросткового идола в покое, – стали такими же широкими и изумленными, как у самого малыша. Проглотив язык, парень только покачал головой. Несмотря на весь опыт Джона, он, очевидно, знал о представшем их глазам зрелище не больше Майкла. Марджори и Реджи так же растерялись, онемев и придя в ужас, так что пролить свет на неприятный инцидент оставалось только Биллу и Филлис. Хозяйка Мертвецки Мертвой Банды казалась потрясенной, когда вновь брала бразды правления.

– Он, как эт грится, террорист. Смертник, да, Билл? Никогда не любила читать про них в газетах при жизни. Мурашки по коже от ихних делов. Билл знает побольше моего.

Билл, как оказалось, газеты читал и мог немало рассказать о почти мистическом факельном видении, проплывшем так близко, что они ощутили на себе жар, хотя даже всезнающий рыжеволосый сорванец казался неуверенным и оторопевшим.

– Филл права. Смертники полезли в Англию где-то в пятых – мусульмане с обидками, пушто мы и американцы раздолбали Ирак до неузнаваемости и потому что закрутили гайки в странах чурок в целом. Это как с ИРА: видишь, что цель-то у них справедливая, а потом они берут и разносят детишек на куски и ведут ся как полные мудаки. Смертники – они че делали: у них блесть такие штуки под названием пояс шахида, забитые самодельной взрывчаткой – удобрениями или мукой чапати, такого рода. Они садились на автобусы или в поезда метро и просто взрывались, чтоб забрать с собой как можно больше людей.

Джон ужаснулся:

– Что, просто взрывали гражданских? Грязные твари. Грязные, подлые сволочи.

Билл только пожал плечами, хотя и с пониманием.

– Жизнь такая, да? Сомневаюсь, что ты видел, что наши учинили с Дрезденом или янки – с япошками. В наши дни, Джон, старый ты бродяга, всё не как в твои. Нет такой страны, чтобы подняла граблю и сказала: «А мы, ребят, не такие. За нами грешков нет». Давно прошли те времена, когда, мол, за Бога, короля и отечество. Теперь мы поумнели.

А что до мужичка, который прогремел мимо, – думаю, он выглядит так потому же, почему Филлис до сих пор таскает своих сраных вонючих кроликов, – Билл ловко пригнулся, уворачиваясь от подзатыльника сестры, прежде чем продолжить. – Я ток грю, что так же и со всеми нами: мы выглядим так, как се лучше всего запомнились при жизни. Бомбист этот – знач, вот так он хочет ся видеть: ровно в момент, когда дернул кольцо или че они там делают и вынес половину «Стрингфеллоу» или «Тигра-Тигра». Судя по глазам и как он шел, каэца, будто он обосрался, но куда деваться, мученичество – оно такое, а?

Ток че я не пойму – как его занесло в Душу. Если гадать, то понятно, что он в Боро родился или умер. Родился – или накрылся. Но на своей жизни я такого не припомню. Наверн, он еще позже по дороге, чем мы с Филл.

Все задумались об этом – о том, что Боро в какой-то момент будущего пострадает от внимания террориста-смертника или породит его.

Майкл обернулся к деготной балюстраде, от которой они с Мертвецки Мертвой Бандой не сдвинулись с самой встречи с улыбающимся бродячим взрывом. Похоже, тревожное явление возымело хоть один благотворный побочный эффект в том, что теперь шестеро детей-привидений заполучили собственный участок перил, над которыми или между которыми можно было следить за грядущей дракой зодчих так, чтобы перед глазами не толпились

взрослые призраки. Еще Майкл понял, что остальные фантомы не ринулись обратно и не оттеснили детей, скорее всего, только из-за кроличьего шарфа Филлис Пейнтер – даже у него, очевидно, имелись свои преимущества.

Майкл подумал, что происходящее напоминает тот раз, когда мама с папой взяли его с Альмой на Велопарад на Овечьей улице на вершине переулка Бычьей Головы. Туда Майкл отправился в своей коляске, но по прибытии его извлекли и поставили на ноги рядом с мамкой, Дорин, взявшей его за ручку. К несчастью, он так перевозмозвался, что его стошнило на две плиты мостовой, где они стояли. В результате для их семьи освободили достаточно места, чтобы без помех наблюдать за одновременно восторгающей и пугающей кавалькадой марширующих ансамблей, принцесс, клоунов на велосипедах и ужасов с шелушащимися головами из папье-маше, – все благодаря рвоте Майкла, произведшей то же действие, что и истлевшая горжетка Филлис.

Так как ему не доставало роста, чтобы смотреть над перилами, Майкл смотрел между деревянными прутьями, как поразительно молодой арестант, на завораживающий вид, открывающийся с балкона первого этажа, торчавшего на Стройке.

Первым впечатлением Майкла было, что он глядит на Мэйорхолд – или место, игрушечной репродукцией от «Матчбокс» которого казалась Мэйорхолд, почти как если бы скромная площадь смертных была страницей из закрытой объемной книги, которую открыли и развернули во всей красе здесь, в высшей плоскости. Из-за приподнятой точки зрения Майкл почувствовал себя в гигантском амфитеатре, откуда вглядывался в колодец шириной в милю и глубиной в несколько слоев реальности. В медленно волнующихся пластах один на другом лежали разные миры, словно дорогие напитки, которые он видел по телику, – высокие стаканы с разным алкоголем в разноцветных полосках.

Высший уровень был где-то в одном-двух этажах над ним, где с фасада Стройки прямо над головой торчали балконы, – а может

быть, высшим уровнем был широкий простор неба Души, накрывавшего площадь, где странные геометрические облака разворачивались во все более сложные формы, с бледными линиями на фоне поющей небесной синевы. Как ни разделяй, Второй Боро находился превыше всего, и здания, окружавшие Мэйорхолд, обладали все той же сновидческой насыщенностью, что отличала архитектуру Наверху.

Майкл позволил взгляду скользнуть по крутым очертаниям гигантских построек напротив, на другой стороне бывшей городской площади. Они казались надутыми и пышными версиями скромных заведений, что выходили на Мэйорхолд в мире живых. Прямо перед ним находилась какая-то прослоенная пирамида из двух видов мрамора – белого и зеленого, – покоившихся в гигантских перемежающихся блоках. Фасад прерывался высокими окнами, а вдоль изгиба высокой декоративной арки, увенчивавшей здание, была сложена из мозаики надпись «Отделение 19». Он понял, что смотрел на высшую версию «Коопа» – того самого места, что они заметили совсем недавно, когда были в поблекшем дубликате 1959 года на призрачной стежке. Определив одну достопримечательность, он смог вывести, что строгая серая башня к югу от вытянутого «Коопа», которую он сперва принял за какую-то церковь или храм серьезного вида, на деле была преувеличением в стиле Души общественных туалетов у начала Серебряной улицы.

Продолжая опускать взгляд для изучения нижних пределов зданий на дальней стороне Мэйорхолд, он достиг второй дрожащей и газообразной страты в штабеле реальностей. Здесь, сразу за выкрашенным дегтем деревянным балконом, оббегающим дно высших зданий, ниспадающие контуры сооружений Души продолжались в забытом цветах тлении призрачной стежки, а их линии круто заужались, чтобы непременно сойтись с куда более маленьким полумиром реалистичного масштаба. С высоты мира Наверху туманная черно-белая реальность привидений-самоненавистников казалась прозрачной, как лист выцветшего

серого холодца из пирогов со свиной. Через этот вязкий медиум в сотнях футов внизу рылись, оставляя растворяющиеся следы из крошечных изображений, местные неприкаянные, хотя Майкл никого из них не узнал.

Он обнаружил, что, если сфокусировать призрачный взгляд, он видел ниже уровня с жалкими видениями, блуждающими по своим делам, видел плато под ним. Это была плоскость извитых переплетенных кристалльных наростов, по которым бегали огоньки разных цветов, и Майкл заключил, что это, должно быть, смертная Мэйорхолд с вышины Второго Боро – прямо как когда он смотрел на самоцветник, змеящийся по человеческой гостинной, когда впервые всплыл на Чердаках Дыхания. Запутанные кишечные узлы железняка и опала, знал мальчик, – обычные жители района, увиденные растянутыми во времени в форме роскошных неподвижных коралловых многоножек. Они вязались в узорчатый ковер из сияющих драгоценных нитей и являлись основанием, на котором воздвигались вышестоящие уровни. Майкл, очарованный, всматривался между просмоленными прутьями в луковую кожуру мира.

Как и нормальная земная Мэйорхолд, ее взорвавшаяся во все стороны копия из Души располагалась на пересечении восьми могучих дорог – превосходных, несдержанных комплиментов улицам Широкой, Банной, Медвежьей, Святого Андрея, Конному Рынку, Алого Колодца, переулку Бычьей Головы и Серебряной. Эти пути уходили от площади, как пластиковые ножки, которые присоединялись к телу в игре «нарисуй жука», – восемь стройных притоков, впадающих в массивный центральный водоем. Возвышающиеся сверхздания, окружающие большую площадь, казались отвесными утесами с окнами и верандами, и к каждому стеклу прижимались, на каждом карнизе и балконе толпились несметные потертые призраки Боро – в плащах центурионов или шерстяных беспалых перчатках, – чтобы посмотреть, как выясняют отношения мастера-зодчие. Шепот тысячи призрачных бесед

шуршался по аудитории, как прилив, шипящий на гальке. Майклу подумалось, что он как будто в кинотеатре перед тем, как свет почти неощутимо тухнет и все замолкают.

Дети устроились у балюстрады, ожидая гвоздя программы. Реджи и Джон были ребятами высокими и могли навалиться на сами перила, уложив подбородки на руки, тогда как остальные удовольствовались тем, что присели рядом с Майклом и выглядывали между вертикальных прутьев – загробные детки в клетке. Билл все ораторствовал о человеке-фейерверке, которого они видели, в ответ на вопрос Джона, почему такие люди не жалеют себя во имя собственной веры.

– Вот в вере-то вся закавыка и блесть. Как я понимаю, эти дурики мнят, будто от взрыва улетят на небеса и приземлятся в рай, где каждому их капризу станут угождать четырнадцатилетние девственницы. Ну флаг им в руки, че тут скажешь. В смысле, тут сразу херня какая-то – мол, взрываешь пару дюжин неповинных граждан, а вышибалы, значит, пускают тя в рай. Небось, эт мужик, которого мы видели, нехило охреневаает с того, куда попал. Мало того – где хоть во всем Боро надыбаешь четырнадцатилетнюю девственницу?

Билл продолжал рассказ о войне в стране под названием Ирак, о которой Джон в жизни не слышал, и тогда Билл пояснил, что Ирак граничит с Ираном, о котором Джон слышал ненамного больше.

– Ну, епт, эт недалеко от Израиля...

– Израиль?

Они словно обсуждали две совершенно разные планеты, ни об одной из которых Майкл Уоррен не имел ни малейшего представления. Он рассеянно глядел между черных прутьев и ломал голову над другими вопросами – например, как это Филлис Пейнтер помнила самые 1920-е и еще раньше, до рождения Майкла, и все же, видимо, пережила всех остальных Мертвецки Мертвых Бандитов, за исключением Билла. Майкл как раз размышлял над этой острой проблемой, когда заметил, что ливень возбужденных

голосов Боро на заднем фоне иссох до мороси, а затем прекратился. Раздался только нервный шепоток Реджи Котелка, едва нарушивший воцарившуюся тишину.

– Вот они идут.

Все лица, теснящиеся на балконах и в окнах, теперь обернулись в одном и том же направлении – в южный конец проекции Мэйорхолд, где по холму от Подковной улицы и Лошадиной Ярмарки взметался широкий и прямой каньон эквивалента Конного Рынка в Душе. Ерзая и выкручивая шею, чтобы добиться лучшего обзора из-за перил, Майкл с помощью обостренного зрения сумел-таки увидеть, что происходит у подошвы нешуточной кручи Конного рынка.

Южный конец Души заслонила пыль света: пустынный вихрь искр вместо песка, зависший северным сиянием над Золотой улицей. Посередине сверкающих и клубящихся туч горели две точки белого света, такие пронзительные, что оставляли под веками размазанные пластилиновые пятна, как нить накаливания или солнце. Точки, разглядел Майкл через ресницы, были двумя людьми в ослепительно-белых ризах, которые несли стройные посохи смутно знакомого вида, поднимаясь к Мэйорхолд нетерпеливой, злой поступью.

Пискнул тонкий голосок – как оказалось, принадлежавший Марджори, которая говорила редко, и потому Майкл узнал ее не сразу.

– Я и не знала, что они так могут. Смотрите, чем они ближе, тем все больше!

Сперва Майкл подумал, что бедная Утопшая Марджори мало чему успела научиться перед тем, как прыгнуть в Нен, чтобы спасти собаку на Лужке Пэдди. Даже он знал, что все становится больше, когда приближается к тебе. Затем Майкл присмотрелся и понял, что имела в виду Марджори.

Фигуры, выступавшие по Конному Рынку, не просто становились больше из-за того, что подходили к бывлой городской площади. Они

становились больше и сами по себе. Люди приблизительно среднего роста у подножия холма, на полпути они преобразились в двух колоссов шести метров ростом, если не больше, и продолжали расти. Ко времени, когда они взошли на необъятную арену Мэйорхолд, каждый был по крайней мере ростом с двенадцатиэтажные многоквартирники НЬЮЛАЙФ, которые так впечатлили Майкла, когда он с Мертвецки Мертвой Бандой делал жуткий крюк через призрачную стежку в пятом или шестом. По оценке Майкла, стоявшего на балконе с остальными изумленными привидениями, он был примерно на высоте животов вздымающихся ввысь зодчих, и ему приходилось закинуть голову, чтобы увидеть лица, подобные сфинксу.

Один из них оказался тем самым мастером-зодчим, которого Майкл застал за разговором с рокировочным Сэмом О'Даем над Чердаками Дыхания, – с белыми волосами, в увеличенном масштабе очень напоминавшими белизну горного пика над снеговой линией. Широкие черты неземного резного лица, словно океанский лайнер, плыли высоко над Майклом, которого приворожила рябь игры отраженного света, уловленного в тенях широкого днища подбородка. Беловласый зодчий шагал в просторных пределах распакованной Мэйорхолд, с синеконечным жезлом, зажатым в чудовищном мраморном кулаке размером с бунгало. Его босые ноги в головокружительных далях под детьми на балконе второго этажа как будто ступали по корчащемуся коралловому ковру – смертному миру при взгляде из положения Наверху. Англ брел в хляби призрачной стежки, грязно-серый прибор которой плескался у бедер красного дерева, и задевал головой плавучую математику сапфировой тверди, захватывая все три мира бытия, когда закладывал круг по невероятной замолкшей площади с фитильным огнем, ползущим в бледных глазах-жерновах.

Не таков был второй зодчий. Не то чтобы он казался менее величественным или внушительным – просто его монументальный облик излучал иную атмосферу. Увлажняющий глаза блеск его

одеяния только усиливал ощущение мрака, от коротко подстриженных волос – угольно-черных, тогда как у его оппонента они были долгими и светлыми, – до зеленых глаз, посаженных глубоко в смуглых впадинах. Высоко над балконом он повернул тенистую соборную громаду головы и искривил губы длиной с баржи в леденящий кровь оскал ярости и ненависти, обнажая зубы – городские ворота из полированной слоновой кости, ядовито ухмыляясь второму белому левиафану, перехватив тонкую деревянную палку длиной в улицу, что лежала в руках, способных взять в пригоршню деревню. Топая по зияющей сцене высшей реализации Мэйорхолд, когда каждый шаг сотрясал ближайшие здания Души и отдавался дрожью в драных призраках, собравшихся на балконах, два из четырех великих столпов космоса фатально кружили друг против друга, неторопливо и неумолимо, словно сходящиеся ледники.

Напряжение в коралле размером со стадион было таким, как когда идешь на цыпочках по хрустящему стеклу: ужасная боязливая тишь, когда у сотни нуминозных зрителей на балконах сперло дыхание, которого у них уже не было. Даже смертельное молчание, отметил Майкл, отдавалось эхом в потусторонней акустике Второго Боро, где одно только чисто нервное напряжение грозило разорвать барабанные перепонки. Пальцы ног подвернулись, призрачные зубы тревожно скрипели, и малыш уже спрашивал себя, не будет ли спасением из этой невыносимо чреватой ситуации лишиться чувств, когда плотину прорвало, и все свидетели – которые, как Майкл, всего мгновения назад мысленно подгоняли этот момент, – отчаянно пожалели о том, что их надежды сбылись.

Темный мастер-зодчий вдруг вырвался из осторожного круга, чтобы ринуться по трехэтажному полю брани, и извилистые кристаллы смертного дна задрожали под его поступью, а серое одеяло призрачной стежки заколыхалось и исказилось вокруг гаргантюанской фигуры, словно илистая жидкость. Майкл видел, как гнутся посередине бесцветные призрачные автобусы, как

злосчастных духов в полумире прибывает грязной пеной к фантомным стенам Мэйорхолд рябью от бурного движения разъяренного мастерового. Из глотки, глубокой, как железнодорожный туннель, раздался бешеный вопль, завывающий, как ветер в мертвых городах. В глазах великана распахнулись доменные заслонки, и он воздел жезл обеими руками, обвив руками основание и так быстро опустил бледный ствол, что белизна разбилась на составные цвета и в звенящем воздухе прорезалась дуга смазанной радуги.

Его ледовласый соперник, схватившись обеими руками за концы древка о лазурном острие, как раз кстати поднял его незыблемой преградой, чтобы закрыться от пагубного удара.

Посохи сокрушились со звуком переломленного напололам континента, и в этот миг синяя фарфоровая миска небес над Душой стала от края до края непроницаемо-черной. От точки столкновения зазубренные нити молний уязвили небо паутиной текучего огня, раскроив внезапную тьму на миллион острых обломков. Волна взрыва зарокотала в непостижимых далях надмира и пролилась каким-то очень сложным видом дождя. Каждая капля была геометрической сеткой, словно снежинка, но в трех измерениях, так что они напоминали серебряные крошки с изощренной резной филигранью, сквозь которую виднелась полость внутри; эти крошечные фигуры каким-то образом были сотворены из жидкой воды, а не из льда. Когда каждая капля билась о перила или галерею, она рассыпалась на полдюжины идеальных копий самой себя еще меньшего размера, отскакивая во внезапно потемневший воздух. Майкл мельком задумывался, не так ли на самом деле выглядит вода – а та, что была знакома ему по миру смертных Внизу, являлась лишь неполным восприятием четырехмерного вещества. Затем чистая мощь пугающего ливня смыла все лишние соображения из разума, и он вместе с остальными фантомными обитателями района попятился от перил в поисках убогого убежища, предложенного балконами выше.

На фоне нового, черного неба воюющие мастера-зодчие полыхали, как два маяка армады. Светловласый, припав на одно колено, когда отвел удар противника, теперь подскочил с силой, дарованной упором, и, зажав посох в одной руке, второй кулак вогнал снизу в лицо темного англа. Заклокотали брызги того, что должно быть кровью, но в текущих обстоятельствах оказалось расплавленным золотом, дымящей и шипящей богатой юшкой, закаленной обложным чудо-дождем и просыпавшейся на нижние уровни реальности тлеющими самородками, вожделенными слитками.

Когда из разбитого носа хлынула целая казна, раненый мастер-зодчий пошатнулся, бранясь на своем разбегающемся языке. Майкл откуда-то знал, что с каждым проклятием где-то в мире засыхал виноградник, закрывалась школа, поддавался отчаянию неудачливый творец. С робким, тошнотворным чувством, растущим в воспоминании о сердце, он понял, что это не просто драка. Это схлестнулось все истинное и верное во Вселенной, пытаясь уничтожить самое себя.

Бритый зодчий слепо полоснул жезлом в однорукой хватке и благодаря чистой удаче хватил противника по зубам. С рассеченной и изливающей бульон губой беловолосый антагонист издал ушераздирающий крик, расколов все окна на площади высшего города. Вновь по черному куполу над головами стрекала молния, и муссон многомерного дождя удвоил усилия. Оба великана теперь кровоточили златом, начали оступаться на кристаллической мешанине материального мира под ногами, где ювелирная паутина и ползущие по ней цветные огни затерялись под нещадной пеленой гиперводы.

Майкл, вздрогнув, осознал, что, когда видел белоглавого зодчего ранее, на Чердаках Дыхания, мастер-англ баюкал раны и уходил с драки, которую Майкл и другие члены Мертвецки Мертвой Банды наблюдали прямо сейчас. Раз в том случае Майкл только что умер, значит ли это, что прямо сейчас в мире смертных его мамка Дорин

аккуратно разворачивает красное вишнево-ментоловое драже от кашля из квадратика вощенной бумаги, покрытого словами «Песенка Песенка Песенка»? Когда колосс, потрянув заснеженной главой, отбросил бирюзовоконечное древко и бросился по шипящей от дождя Мэйорхолд на врага, не в этот ли самый миг розовый леденец скользнул в опасно опухшую трахею смертного Майкла на солнечном дворе дома 17 по дороге Святого Андрея вниз, в Первом Боро? Хуже того, где-то в глубине малыш понимал, что сеча небожителей и его собственное удушение, страшные по-своему события, тесно связаны и непостижимо служат причиной друг друга.

На дальней стороне надмирной городской площади, в миле-другой, светоносный боец врезался в пасмурного неприятеля, и оба повалились, как рухнувшие небоскребы. Всколыхнувшиеся фосфоресцирующие рублища, должно быть, задели балконы облагороженного «Отделения Кооп 19» как раз напротив Майкла, поскольку деревянные перила тут же занялись огнем, который, к счастью, почти сразу же затух под изощренным проливным дождем.

Майклу, наблюдавшему сквозь пальцы, казалось, что кроваво-золотая куча-мала в высях Души должна отзываться жестоким эхом в стопке реальностей вниз. И в самом деле, в жемчужной пленке желатина прозрачной стежки он видел, как завязываются драки между угрюмыми призраками – насельниками полумира. Сравнительно крошечные, их монохромные силуэты разбились на пары сгустками остервенелой вражды вокруг гигантских противоборствующих планетоидов – мастеров-зодчих, сплелись и дубасили друг друга в центре Мэйорхолд, катаясь в крови и в бурных, брызжущих лужах – широких, как пруды. Он видел, как две потусторонние дамы колотили друг друга возле серого призрака «Зеленого дракона» у начала Медвежьей улицы, с каждым размашистым ударом или пинком раскрывая brutальные веера остаточных изображений. Одна из драчуний казалась сущим осадистым танком, у нее болталось веко, вторая была поменьше, и из ее уха уже тревожно била кровь, хотя она и не выпускала из рук

фантазмическую бутылочную розочку, которой орудовала с умением и упоением. Множество их рук вращались, как у смертоносных ветряных мельниц, женщины-привидения налетали друг на друга, словно проигрывали какую-то неулаженную ссору со времен жизни: удар за безжалостным ударом. Дальше в дымном царстве неприкаянных, у старого общественного туалета в начале Серебряной улицы, два духа римских или еврейских рыночных торговцев увлеченно наминали бока мужчине в черной рубашке, который свернулся между ними на земле. По всей пепельной тени площади несчастные бестелесные души душили друг друга и выдавливали глаза, радостно присоединяясь к эфирной розни титанических мастеров-англов, боровшихся среди загробных свар и разверзшейся бури.

Когда Майкл сфокусировался на слое под призрачной стежкой, где ткалось из искристых раскидистых листьев кораллов – живых людей – блестящее основание вышестоящих террас, то даже там увидел действие небесной агрессии, каскадами низвергшейся из вышних миров. Ему мерещилось, что в самых оживленных пучках человеческих узоров он видит стационарные векторы смертных потасовок, где зеленые, синие и красные стеклянные сороконожки корезились сильнее обычного и шли самыми фантастическими и нераспутываемыми колтунами. Одно такое место – свалывшаяся и петляющая связка цветных волокон – напомнила ему о трех живых школьниках, которых они видели на призрачной стежке у лавки сладостей по соседству с газетчиком Трэслером. Майкл задумался, вдруг ребята рассорились из-за карамели так, что дело на смертной торговой площади дошло до кулаков в бессознательной реакции на невидимое побоище над ними. Уставившись в немом ужасе на огромных зодчих, катавшихся под дождем, окунувшись в дорогостоящее во многих смыслах кровопролитие, Майкл не сомневался, что под ногами смертных школьников развернулись битвы муравьев и микробов, как и в непостижимой геометрии, дрейфующей над Душой, воевали абстрактные формулы в

многосложных попытках опровергнуть друг друга. Перед ним словно стояла башня гнева и насилия с бушующими зодчими в центре, от самого дна мироздания до невообразимой вершины, – и всё из-за него. Он был причиной всему, он и его драже от кашля.

Словно подчеркивая этот пугающий факт, беловолосый зодчий теперь пытался подняться на ноги, присев под неутихающим ливнем у западной стены площади, где находилась Стройка. Пока мастер-англ пытался выбраться из грязи и слякоти, настал ужасающий миг, когда одна из гигантских ладоней легла на деревянную балюстраду, четыре мраморных перста толщиной с дорические колонны внезапно сжались на просмоленных перилах, так что все призрачные зрители отпрянули и вскрикнули – взрослые так же громко, как дети. Пестрая публика вжалась в заднюю стену балкона и дрожала, пока исполинская фигура, медленно и мучительно, подтягивалась к вертикальному положению. Словно задували чудовищную свечу – такой вздох, разбившийся на тысячу drobных отголосков, пронесся по съезжившейся толпе, когда сперва лес белых кудрей, а затем ошеломляющее лицо, широкое, как шапито, выплыли над парапетом, словно бледное и злое солнце, зависшее над самым плоским и черным горизонтом. Когда циклопический лик поравнялся с людной площадкой, всем стали безжалостно очевидны последствия свирепого избиения. Резной форштевень подбородка озолотился бесценной кровью англа, брызнувшей из раскроенной губы, покрытой шрамами дублонов и дукатов. Одно из безбрежных очей заплыло синяком переливающихся опаловых пигментов, уже брезжащих через помятую алебастровую кожу. Второе, переполненное усталостью и отчаянной целеустремленностью, зафиксировало на несколько парализующих секунд бесконечный взгляд на Майкле Уоррене. В этом долгом взоре не читалось ничего, кроме могучего узнавания, но если бы у Майкла был мочевого пузырь, он бы все равно сдал тотчас же. Я знаю о тебе, Майкл Уоррен. Я все знаю о тебе и вишнево-ментоловой «Песенке».

Оторвав глаз и выпрямившись так, что голова и плечи снова возвысились над поручнями, мастер-зодчий развернулся в ниспадающем вихре промокшего и тяжелого рубища, зашагав с возобновленной решимостью к дальней стороне Мэйорхолд, где на коленях в свернувшемся артериальном золоте стоял его обритый неприятель, контуженный и пытавшийся вскарабкаться на ноги. Сиятельный огр свисал с полированного посоха, одной громадной лапищей шарил по кремовым и изумрудным карнизам «Отделения Кооп 19», где разбегались, пища от ужаса, призрачные зеваки.

Ринувшись на поверженного и пораженного недруга сзади, увенчанный белизной зодчий издал ужасный апокалиптический вопль и схватил ошарашенного бывшего товарища за сырой шиворот балахона. Благодаря неслыханной силе, словно нарушавшей все существующие законы массы и движения, темный зодчий взлетел в воздух невесомый, как чучело. Его обмякшее тело описало стремительную полукруговую траекторию, за которой не успевал глаз, прежде чем мучительно грохнуться навзничь и потрясти Душу до самых оснований. Прием был исполнен так стремительно, что веяние ветра ощутили и на балконах снаружи Стройки, где облезлых духов, уже пробравшихся обратно к балюстраде, как только мастер-зодчий убрал руку, сдуло к задней стенке площадки во всплеске красных римских плащей, саксонских мехов и демобилизационных костюмов с натертыми коленками. Филл Пейнтер оглядела остальных детей, пытаясь перекричать плач неожиданного шквала.

– Баста! Счас призрачная буря и вдарит, такшт пора сматывать удочки, пока она не разошлась. Двинули пораньше, в бильярдный зал, чтоб глянуть, с чего все началось!

Майклу это показалось хоть каким-то удобоваримым планом, хотя детали его исполнения казались расплывчатыми. Пока Мертвецки Мертвая Банда направлялась туда, откуда пришла, расталкивая собравшуюся орду, Майкл бросил последний взгляд на ужасающий и все же будоражающий спектакль, который они оставляли за спиной.

Беловолосая громада с усилием подняла полубессознательного врага над головой – несомненно готовясь к очередному невероятному броску. Круг зрителей, с удовольствием наблюдавший с высоких галерей, теперь принялся скандировать имя фаворита с гортанным воодушевлением: их слитный голос громыхал по акустическому лабиринту увеличенной и перешептывающейся Души.

– МО-ГУ-ЧИЙ! МО-ГУ-ЧИЙ! МО-ГУ-ЧИЙ!

Пока Майкл торопился за удаляющимися коллегами, юркая между ног взрослых на оживленном балконе, раздался очередной разрушительный грохот, чуть не выбивший доски из-под клетчатых ног, – он понял, что зодчего с ежиком снова вколотили в мокрые струящиеся каракули земли Мэйорхолд. Это высекло из трещащего кромешного неба над головой новую молнию и выжало новые крики одобрения из возбужденной толпы обтерханных посмертников.

– МО-ГУ-ЧИЙ! МО-ГУ-ЧИЙ! МО-ГУ-ЧИЙ!

Следуя в смердящем и потому относительно свободном хвосте Филлис, фантомные дети вернулись по своим следам обратно в распашные двери Стройки, затем вниз по звездным полуночным ступеням и прытко промчались через мельтешащий простор демонически выложенного рабочего места в глюк в углу. Оттуда, один за другим слезая по смехотворно узким ступеням лестницы Иакова, они вновь погрузились в бесцветные и приглушенные недра призрачной стежки, где почти что сучаешь по вони кроличьего убора Филлис Пейнтер и где изучаешь собственный затылок, сползая задом наперед по скрипучим перекладинам, оставляя перед собой серые множасьщиеся изображения.

Спустившись, они, легкие, как пушок чертополоха, пронеслись по разрушенным и отсыревшим этажам здания, сотни лет назад служившего ратушей, слетели над провалами в прогнившей лестнице на первый этаж и прошли сквозь вспученные доски, приколотенные на некогда грандиозных дверях, в поблекшее

воспоминание о Мэйорхолд, от которого отлили все краски, жизнь и ароматы.

Когда они вышли на открытое пространство полумира, Майкл обнаружил, что на призрачной стежке все еще хлещет как из ведра – хотя, судя по сухой одежде и неспешным походкам живых обитателей площади, а также по острым черным теням, которые они отбрасывали, смертная Мэйорхолд все еще наслаждалась солнечным летним деньком, не подозревая о ненастье, окатившем верхние пределы. На противоположной стороне площади – куда ближе, чем казалось в Душе, – две бабы-привидения все еще тузили друг друга, орошая мостовую у «Зеленого дракона» черной призрачной кровью. Отметив, что Майкл присматривается к паре греховодниц, из-за своих брызг чернил и множества конечностей напоминавших повздоривших осьминогов, Джон остановился, чтобы пробормотать ему, пока мертвые дети пробирались по западному краю Мэйорхолд к Конному Рынку.

– Это лесбиянки, разбираются, кто у кого девчонку увел. Вон та, с разбитой бутылкой, щуплая, это Лиззи Фоукс. Вторая, чудище с рваным глазом, – Мэри Джейн. Это от нее у меня остался синяк, который я тебе показывал, когда она меня пнула в ребра. Сейчас мы видим знаменитую драку из их жизни. Чуть не убили друг друга, как я слышал, но, похоже, им дюже понравилось, а то бы они не повторяли ее тут снова и снова.

По шири Мэйорхолд еще кипели остальные призрачные стычки. Два крючконосых торговца у общественных уборных затаскивали чернорубашечника внутрь по блестящим от мочи плиткам, чтобы продолжить истязания. Майкл видел, что перепалки вспыхивают и среди живых обитателей округи. Покупательницы, дружелюбно болтавшие в дверях «Коопа», теперь обвинительно шипели, агрессивно скрестив руки и качая головами из стороны в сторону, как болванчики. Видел он и то, что была верна его догадка относительно трех смертных школьников: у самого «Боттерилла» – другого газетчика на площади – двое мальчишек навалились на

третьего, зажавшего кулек со сладостями, купленный ранее. На ранее благополучную местность легла скверная атмосфера, но нигде не было никаких признаков небесных существ, которые, как знал Майкл, и вызвали все невзгоды. Он осознал, что из призрачной стежки не видны ни массивные мастера-зодчие, ни вздымающиеся пики Души вокруг них – по крайней мере, если не знать, куда смотреть.

Через пару мгновений Майкл, вглядываясь через занавесь падающего дождя, по-прежнему не разглядел бьющихся зодчих, но мог понять, где их не было. Один из автобусов, стоявший в нижнем конце Мэйорхолд, вдруг распух, как пузырь, пока его половина не стала в десять раз больше второй, сдувшись обратно практически мгновенно, когда странная область визуальной аномалии переместилась в сторону, чтобы надуть фасад старых «Веселых курильщиков», преломив и призраков, и живых, прогуливающихся у таверны, в искривленные вытянутые пятна. Словно кто-то водил по площади огромным увеличительным стеклом или как будто по Мэйорхолд невидимо перекачивался неохватный стеклянный шар безупречной прозрачности, искажая свет в больших выпуклостях «рыбьих глаз». Этот феномен, понял Майкл, должно быть, обозначает невидимые движения мастеров-англов, выбивающих друг из друга золото в горних реальностях.

Дитя в тартане также с испугом заметило резкие и непредсказуемые порывы ветра, налетающие из ниоткуда, вызывая неожиданные завихрения призрачной пыли или срывая тряпичные кепки местных фантомов вдаль по Широкой улице, пока за ними в безнадежной погоне стремились их остаточные образы и хозяева. Вполне очевидно, что все это, как и сказала Филлис, было началом ревушей призрачной бури, что чуть не смела их у основания улицы Алого Колодца. Раз в том случае они не увидели собственные тела, плывущие над головой к парку Виктории, это означало, что они как-то избегнут поднимающегося шторма, хотя Майкл и метал

тревожные взгляды на остальных мертвых детей, ожидая, когда уже кто-нибудь что-нибудь предложит.

Естественно, у Филлис был наготове план. Когда свирепость призрачного ветра начала усиливаться, она повела свой миниатюрный взвод через верх Банной улицы, где та приходила на Мэйорхолд. Прищурившись, Майкл едва-едва разглядел в сером воздухе у многоквартирника медленную черную круговерть, но если это и был жернов Деструктора, то он явно и близко не достиг масштаба, до которого разрастется в пятом или шестом. Скорбно вращаясь над пустой дорогой, он как будто не представлял никакой угрозы, и Майкл задумался о том, что раньше он видел этот вращающийся ожог ночью, к тому же был расстроен и возможно придал слишком большое значение воронке.

Над Банной улицей банда собралась у одной из изгородей высотой по пояс, окружавших верхний газон многоквартирника характерного вида постройки 1930-х. Ветер уже ярился, хлестал по булыжникам брусчатки хрустальными каплями сверхдождя в кружевных полощущихся завесах жидкого стекла. Пока капли дробились у тапочек малыша на еще более изящные копии самих себя, а каждая влажная бисерина волокла за собой в глянце призрачной стежки бусы изображений, Майкл вдруг понял, что, хотя он чувствует сложные брызги, мокрым не становится. Бриллианты жидкости сохраняли резиновое поверхностное натяжение даже тогда, когда разделялись на изощренные точки не больше булавочной головки, скатываясь с его полосатых пижамных штанин и ничего за собой не оставляя. Натянув сорочку на макушку, как капюшон, и тем самым оставив ноги и попу открытыми стихии, он бросился через дождь – согнувшись, словно убегая от охоты пигмейского племени своих допельгангеров, – навстречу сомнительному укрытию изгороди, где кучковались его приятели-привидения.

Присев возле нее, Филлис повторяла уже знакомые загребающие движения руками – рыла подвременный ход, хотя в этом случае у

ширящегося портала не было видно дрожащих черно-белых полос в виде помех. По брустверу дыры шел только один-единственный бледный слой свечения, и Майклу пришло в голову, что если Филлис пытается закопаться всего на час-другой в прошлое или будущее, то тесным черным прослойкам, символизирующим ночное время, нечего и делать в мерцающем периметре отверстия.

Оказалось, так оно и было. Раскопав без посторонней помощи неглубокую дыру меньше чем за минуту, Филлис протиснулась в нее и не показалась над изгородью с другой стороны – очевидное приглашение остальным членам банды следовать за ней. Джон показал кивком, чтобы Майкл шел вторым, после чего ребенок встал на карачки, чувствуя, как дождь барабанит по шее, а ветер свистит у ушей, и полез за главарем банды в окаймленный светом проем.

Когда Майкл выполз с другой стороны, он без удивления обнаружил, что все еще находится на верхнем газоне многоквартирного Банной улицы вдоль Конного Рынка, а Филл Пейнтер стоит в паре футов, нетерпеливо пристукивая носком. Он поднялся и оглянулся через низкую стенку бирючины, с тревогой отметив, что Билла, Джона, Марджори и Реджи не было видно. Спустя миг он заметил, что не было и ветра и что прекратило дождить. Он озвучил наблюдения Филлис, но она усмехнулась и покачала головой – моментальным розарием светлых ухмыляющихся бутонов.

– Не, мелочь, дождить не перестало. А еще и не начинало.

Между тем из временно́го разрыва в квадратной изгороди показались на четвереньках остальные члены Мертвецки Мертвой Банды. Когда шестеро маленьких фантомов снова воссоединились в куда более мягком и безветренном климате другой стороны подстриженной листвы, Майкл бросил взгляд через Банную улицу на Мэйорхолд. Площадь была сухой и залитой солнцем – пусть только и слабым и серым, родным для призрачной стежки. На углу рядом с «Зеленым драконом» и возле общественного туалета у начала Серебряной улицы не колошматили друг друга призраки. Трио

живых мальчишек, не поделивших кулек со сладостями, пропало из виду. Филлис объяснила ситуацию:

– Я прокопала нас где-то на три четверти часа, до ветра и дождя. Терь валим в бильярд и глянем, как все затевалось.

На этом, проплыв сквозь изгородь на тротуар вдоль Конного Рынка, банда стала спускаться по холму к Лошадиной Ярмарке и Золотой улице, разливая за собой ручьи чумазных подражателей. Майклу пришло в голову, что раз они попали за полчаса до драки англов, то, должно быть, он еще не задохнулся насмерть на заднем дворе дороги Святого Андрея. Может быть, Дорин в этот самый момент выносит на верхнюю половину двора к дождевому стоку деревянный стул с прямой спинкой и говорит Майклу, что свежий воздух пойдет ему на пользу? Может быть, сестра Майкла Альма уже скучает и начинает носиться в тесных кирпичных границах жалкого подобия личного сада? Терзаясь из-за этих мыслей, он поспешил нагнать Филлис Пейнтер и дергал за ее туманный шерстяной рукав, пока она не обернулась и не спросила, чего ему надо.

– Если это блесть до того, как я задохнулся драже, можно сбедать на дорогу Хандрея и помечтать этому слезчиться!

Филлис отвечала твердо, хотя и сочувственно:

– Нет, не можно. Во-первых, эт уже случилось, и другому уже не блесть. Во-вторых, если б мы пошли на дорогу Андрея, я бы нас видела, когда втащила тя на Чердаки Дыхания. Я прихожу к выводу, что раз все случилось, знач, случилось неспроста, а нам остается ток идти до конца и разобраться. На твоём месте я бы не тратила время, пытаюсь изменить прошлое. Мы в Мертвецки Мертвой Банде узнали, что лучше увлечься приключением и узнать, как все кончается. Давай нанесем визит в бильярдную и глянем, с чего взбеленились зодчие.

На этом Филлис взяла его за руку, и они спонтанно сорвались на бег вприпрыжку вниз по склону Конного Рынка, причем каждый шаг уносил их все выше и дальше. Майкл так удивился прикосновению ее прохладных пальцев, что захихикал от удовольствия, а вскоре

они оба смеялись, скатываясь по холму и оставляя за собой арки изображений, напоминающих рождественские гирлянды, только не такие цветастые. Остановились они только почти у подножия, когда резко осознали, что слишком оторвались от спутников, которые мешкали на середине склона, засмотревшись, как Реджи и Билл бросаются на несущиеся машины. Это казалось летальным времяпрепровождением, но, очевидно, современный транспорт безвредно проходил сквозь призрачных лоботрясов, а кроме того, Реджи и Билл и так уже умерли. Майкл решил, что, с их точки зрения, смерть означала, что можно расслабиться и играть в бесшабашные игры, с апломбом прыгать под поезда или с десятиэтажных зданий. Казалось, что для детей из Боро смерть – чудесный парк развлечений без очередей и раздражающих правил безопасности. Филлис наблюдала за – как теперь был практически уверен Майкл – своим младшим братом, горестно качая головой, но при этом не пряча ласковую улыбку.

– Непутевый обормот. Они с Реджи эт все время вытворяют, скачут перед машинами. Грит, при этом вишь все механизмы моторов, как стопку поперечных схем, через которую проносишься головой, но я предпочитаю верить на слово. Сама я к машинам непривычная.

Филлис с Майклом ждали на перекрестке Подковной и Золотой улиц, пока их нагонят отстающие. Они взлетели и уселись вместе на высоком подоконнике, чтобы живые на переходах не прорывались все время сквозь них. Хотя Майкл знал, что те об этом и не подозревают, ему не хотелось, чтобы куча незнакомцев в блаженном неведении бесстыдно демонстрировала ему свои кишки без ответа и приветов. А еще просто приятно сидеть невидимым на карнизе с Филлис в серебристом полуденном солнце. Они словно были незримыми лесными пикси, примостившимися с ухмылками на узловатую ветвь на старой серой гравюре, пока под их болтающимися ногами проходили лесорубы и крестьяне.

Когда четверка наконец прибыла, Майкл и Филлис спрыгнули в медленном водопаде остаточных изображений, держась за руки, и

Мертвецки Мертвая Банда продолжала путь к концу Конного Рынка. Спускаясь по холму, они прошли горизонтальную поперечину перекрестка и приблизились к косоугору Подковной улицы, проплыв через нее на сторону Золотой улицы, где на углу был салон газовых каминов «Белл».

На полпути вниз стояло трехэтажное здание с плоской крышей пятидесятилетнего вида, а значит, построенное совсем недавно – какой-то тренировочный зал либо клуб досуга и спорта. Проскользнув через закрытые двери, призрачные непоседы оказались в темном помещении, в которое из высоко прорезанных окон из проволочного стекла падали лоскуты мозаичного света. В такие ранние часы здесь почти никого не было, не считая нескольких хозяев или работников, занятых уборкой и не видевших фантомных детей, а также котофея мраморного цвета, который, очевидно, их видел. Серым пушистым шариком он унесся в задний коридор, после чего Филлис повела Мертвецки Мертвую Банду дальше, легко вспорхнув по белостенной лестнице на верхний этаж.

Помещения выше, насколько они видели, были пусты. На самом верху, в чулане со стопками стульев и полными документов картонными коробками, находились глюк и лестница Иакова. В отличие от предыдущих опытов Майкла у основания Алого Колодца в пятом или шестом и под Стройкой совсем недавно, из этого отверстия не падали лучи бледных расцветок фруктовых кордиалов, а также не доносилось переливающегося шума Души из гулких пространств сверху. Похоже, эти ступеньки не вели до самого Второго Боро. Либо до него было добрых несколько пролетов.

Дети забрались один за другим по неудобным перекладинам, снова пропустив Филлис вперед, а Майкла – сразу за ней. Поднимаясь за потолок пыльной каморки, лестница Иакова продолжалась в крутой трубе, окруженной стенами с отваливающейся штукатуркой. На метровых в высоту и десятисантиметровых в глубину ступенях, по которым они с трудом карабкались выше, лежал старый коричневый ковер с уродливым

рисунком вьюнка, прижатый зашарканными латунными прутьями. Пока Майкл полз за пыхтящей Филлис, он изо всех сил старался не смотреть на ее трусики, но это непросто, когда в лицо все время втекают фото-пузырями отслаивающиеся с ее спины изображения. Наконец банда выбралась через люк в обычный подсобный кабинет с копчеными обоями, полированным столом и дорогим креслом-троном – два последних предмета были сбиты из обшарпанной и древней древесины, как будто родом с Ноева ковчега. На темных лакированных половицах тонко лежала пороша, напоминавшая жутко светящийся белый тальк, с протоптанной дорожкой отпечатков подошв, ведущей от люка к выходу из кабинета.

На цыпочках миновав комнату, пол и мебель которой, сделанные из прозрачного дерева, были непроницаемы для детей, они вышли через скрипящую дверь обычным способом – открыв ее. Так они оказались в объемной и мрачной игровой зале, словно занимавшей весь оставшийся тайный четвертый уровень трехэтажного здания. Огромное помещение было без окон и освещалось лишь тесным столбом белого света, обрушивающегося прямо на единственный чудовищный бильярдный стол посреди черного пространства.

В тених по углам зала толпилась орда ерзающих неприкаянных – горемычных жителей прозрачной стежки из разных периодов, хотя Майклу показалось, что здесь была представлена не такая широкая выборка столетий, как на балконах снаружи Стройки. Несмотря на присутствие нескольких древних на вид монахов, фантомная компания в основном состояла из людей конца девятнадцатого или начала двадцатого века. Кто был в габардиновых макинтошах, кто в подтяжках, все поголовно – в шляпах и почти все – мужчины. Они мялись в беспокойных потемках, не отрывая мертвых глаз от стола под заливым освещением посреди разверстого зала и ослепительного квартета фигур, двигавшихся вокруг стола.

Яркие, как солнечные блики на пруду, отбивающие светом точки и тире морзянки, – на них было почти невозможно смотреть, но Майкл не сдавался. Как только его глаза привыкли к огню, он понял, что

две фигуры, вышагивающие вдоль сторон стола, – те самые мастера-зодчие, которых он только что видел в драке на Мэйорхолд, только съезжившиеся до чуть более реалистичных масштабов. Беловолосый англ, похоже, сосредоточил свою игру на юго-восточной лузе гигантского стола, одной из всего четырех, хотя Майклу казалось, будто он помнил, что у обычных столов для снукера их больше. Между тем выбритый зодчий с темными глазами больше сосредоточился на северо-восточном углу серого сукна, целясь вдоль длинного гладкого бильярдного кия – именно этими жезлами англы орудовали в бою, запоздало понял Майкл, – в сторону бесцветного, однородного множества шаров, рассеянного по разросшемуся игровому полю. Майкл не узнал двух других участников, расположившихся на юго-западе и юго-востоке, но решил, что они должны быть равного ранга. Их рубища, по крайней мере, были не менее блистательны. Чья-то мама не жалела «Персила».

Заметив, что на деревянных дисках, приделанных к четырем углам стола, золотом изображены символы, Майкл вспомнил, что читал о них в путеводителе, полученном на Стройке и, по счастью, все еще торчавшем из кармана ночнушки. Он извлек его и просмотрел волшебным образом понятные, хотя и мельтешащие страницы, обнаружив, что благодаря посмертному ночному зрению может читать вопреки темноте. Майкл подумал, что читает так же, как Альма под одеялом в ночи, только без просачивающихся лучиков фонарика, выдававших ее с головой. Он снова пробежал отрывок про четыре кривоватых символа, затем проскочил продолжительную опись семидесяти двух дьяволов. За ней последовал список семидесяти двух соответствующих зодчих, который он тоже пропустил, а затем – материал о бильярдном зале: как раз то, что он искал. Пристально вглядевшись в ползучих серебряных букашек, поблескивающих на темной странице, которые сложно было назвать настоящими буквами, он начал читать.

В юго-восточном углу физического царства, у самого Центра Страны, находится игровой зал, где мастера-англы играют в трильярд – таково истинное название их игры, в трепет повергающей. Ход игры определяет, как пролягут траектории жизней Первого Боро, ибо эти жизни подвержены четырем вечным силам, кои англы представляют. Сиречь Власть, Насилие, Милосердие и Забава, символизируемые соответственно За́мком, Черепом, Крестом и Фаллосом. Старший зодчий Гавриил ведает лузой Замка, Уриил – Черепа, Микаил – Креста и Рафаил – Фаллоса.

Благодаря разносторонности своей природы, способной на многосложные выражения, четыре мастера-зодчих никогда не прекращают кон в трильярд, хотя порою они должны одновременно находиться – и находятся – в другом месте. Единственным исключением этого неизменного правила стало событие 1959 года, когда двое из четырех мастеров-англов покинули стол трильярда, дабы разрешить прения над земной Мэйорхолд, а ссору их вызвало предполагаемое преступление правил в отношении оспариваемой Души по имени Майкл Уоррен. Он...

Бросив брошюру на пол зала, как ядовитую сороконожку, Майкл издал возглас смертельного ужаса. Это он был «оспариваемой Душой» – единственной, если верить путеводителю, а Майкл ни на секунду не сомневался, что верить ему следует до последней извечной подробности. Только когда он поднял взгляд от вдруг испугавшей его листовки на полу, Майкл осознал, что все смотрят на

него, потому что вскрик привлек внимание в напряженной тишине, повисшей над состязанием. Филлис и остальные члены Мертвецки Мертвой Банды шикали и говорили, что зрителям нельзя прерывать игру, тогда как таящиеся во мраке неприкаянные хмурились на него от стен, пытаясь понять, что это за птица. Но среди собравшихся за столом мастеров-зодчих никакой неопределенности не было. Все четверо смотрели прямо на него, и все смотрели так, будто его знали.

Темный бритый зодчий уделил Майклу внимания меньше остальных – лишь бросил взгляд, чтобы отметить источник возмущения спокойствия, а потом прохладно улыбнулся призрачному малышу, прежде чем снова согнуться над столом перед ударом. Пара незнакомых зодчих на западной стороне стола сперва уставилась на Майкла, потом друг на друга, потом снова на Майкла, с одинаковым выражением неожиданной тревоги. Но больше всего из четырех мастеров-зодчих его присутствию удивился сребровласый.

Стоя у своего юго-восточного угла стола с золотым крестом, вытисненным на деревянном диске, белокурый англ уставился на Майкла с ужасным изумлением, словно спрашивал: «Почему ты мертв?» – напомнив Майклу, что, хотя он видит зодчего второй раз за последние полчаса, с точки зрения зодчего, это их первая встреча. Внезапно озаботившийся и озадаченный англ как будто на огромной скорости производил сложные подсчеты, пытаясь найти объяснение присутствию ребенка в этом странном бильярдном салоне мертвецов. С широко раскрытыми глазами, словно только сейчас увидел эту неприятную возможность, беловолосый зодчий повернулся к столу как раз вовремя, чтобы увидеть, как темный и стриженный англ наносит удар.

Вместе со всеми до единого потусторонними сущностями в комнате, включая неприкаянных, Мертвецки Мертвую Банду и остальных мастеров-зодчих, Майкл смотрел на бильярдный стол с жутким предощущением того, что сейчас произойдет.

Коротковолосый и сумрачный игрок только что с внушительной силой вонзил кий с ляписовым набалдашником в один из сотен игровых шаров на столе, каждый из которых был своего оттенка серого. Задетая сфера пулей понеслась по сукну с длинной ниткой размазанных остаточных изображений на хвосте. Будучи на несколько тонов темнее подавляющего большинства остальных шаров, она показалась Майклу насыщенного вишневого цвета, если видеть ее без цветовой слепоты, царящей в призрачной стезе. Более того, подумал Майкл, она наверняка того самого цвета, что и липкий леденец, которым он подавился. Инстинктивная вспышка высветила для Майкла, что этот шар означал доктора Грея – врача Боро с Широкой улицы, сказавшего Дорин, что ее младший отпрыск страдает не более чем простудой и лечиться следует даже от кашля. Наблюдая, как шар доктора Грея мчится по простору огромного стола, Майкл почувствовал упавшим сердцем, что знает, к чему все ведет.

С могучим треском летящий шар врезался в другой, куда более бледный мячик, который – осознал Майкл с пронзившей его ясностью – каким-то образом представлял его самого. Эта серая сфера завертелась от контакта, отскочила от южной стенки и выстрелила к северо-восточному углу стола, где ее поджидал приподнятый диск, украшенный золоченой детской каракулей, означавшей череп. Шар Майкла, замедлившись после столкновения с бортом, неумолимо катился к лузе черепа, постепенно теряя скорость в мучительно дразнящих долях, замерев как вкопанный на волоске от темной кромки угла. Больше трети его тускло-белого обвода опасно нависало над бездной под символом гибели с таким видом, будто малейшая вибрация на полу бильярдного холла опрокинет шар через грань в забвение кромешной тьмы. Хотя он ничегошеньки не знал о бильярде, Майкл почувствовал, что с этим ударом и он, и светлый мастер-зодчий оказались в почти невозможном положении.

Похоже, беловолосый игрок пришел к тому же прискорбному выводу. Несколько секунд он смотрел на стол в молчании и ужасе, словно не мог поверить, что один из трех сиятельных коллег смел заманить его в столь чреватую и практически неразрешимую беду.

Он поднял взгляд от безнадежного бильярдного шара к обритому англу, бросившему Майкла на произвол судьбы, и глаза его были полны такой ярости, что публика опустившихся призраков Боро нервно вжалась в тени еще глубже, чем прежде. Не моргая, без всякого выражения на своем лице истукана, беловолосый зодчий отчетливо промолвил на четырехмерном языке всего одно слово:

– Уортдолр.

Зал охнул – не считая одного-двух невольных смешков, тут же захлебнувшихся в жуткой и пристыженной тишине, – когда все поняли, что сказал мастер-зодчий, плюс-минус несколько слоев второстепенных нюансов и значений.

– Уриил, ты пидор.

Весь мир перевернулся, едва ли не буквально. На лице короткостриженого зодчего словно случилось затмение – можно было почти видеть, как пелена черных чувств ползет по его чертам от щетины волос до костяного редута подбородка. Он рубанул рукой с кием в резкой дуге от плеча, выписывая белые и расплавленные образы, горящее оперение дикого режущего крыла, и швырнул кий на пол салона для снукера. Тот грохнул оземь – сам гром рока, – так что все здание подскочило и заходило ходуном, а множество неприкаянных пошатнулось и свалилось в сборную солянку у задней стены бильярдного зала. Майкл с облегчением и недоумением отметил, что в течение сотрясений, содроганий и падений ни один из шаров на сером столе даже не шелохнулся.

С потолка просыпалась пыль, закружились хлопья штукатурки, словно спускаясь на нитях многократной экспозиции. Даже в глухой акустике призрачной стежки рокочущий отзвук брошенного кия все еще бурлил, словно по помещению носились быки, а собравшиеся духи, оставшиеся на ногах, приросли к месту в припадке

религиозной паники. Теперь миру конец, иначе быть не может. Звезды счистят с неба, отправят обратно в шкатулку драгоценностей, а солнце лопнет.

Пока Майкл стоял окаменев, он вдруг почувствовал, что его взяли за заплеванный слюной беса шиворот ночнушки и растрясли, а живительная рука принадлежала не кому иному, как Филлис Пейнтер.

– Дёру, пока все не пришли в ся и не рванули отседа разом!

Мертвецки Мертвая Банда действовала расторопно и деловито, явно искушенная в побегах из самых неожиданных и апокалиптических ситуаций. Разлив за собой в холле остаточные образы, словно кто-то открыл кран с чертенятами, дети размазались по маленькому подсобному кабинету, скатились по лестнице Иакова и, не сбавляя скорости, спустились по зданию смертных до самого нижнего этажа, перескакивая по двенадцать ступенек зараз и напугав ту самую серо-мраморную кошку, что шуганули во время прихода.

Они достигли фойе спортивного и досугового центра под грохот табуна фантомных зрителей бильярда, преследовавших их с верхних этажей, когда другие призраки запоздало пришли в чувства и решили освободить помещение. Майкл и остальные уже готовились проскочить через двойные двери на Подковную улицу, как Филлис крикнула им остановиться.

– Не туда ходи! Через полминуты здесь вся толпень хлынет! Айда за мной!

Тут она зажмурилась и зажала нос указательным и большим пальцами, словно готовилась исполнить «бомбочку» с горячего бетонного бортика бассейна в матово-зеленые воды на Летнем Лужке. Коротко, по-кроличьи, подскочив на месте, она нырнула в пол и скрылась под плитками фойе, не оставив на только что вымытой поверхности даже ряби. С сомнением переглянувшись, а потом как один подняв взгляд к потолку, где становился громче по мере приближения лавинный рев бегущих призраков, дети

последовали примеру Филлис. Закрыв глаза и ноздри, они подпрыгнули и обнаружили, что провалились через фут пола в сырую всеохватную темноту.

Вставая с заметно твердых, а потому наверняка древних каменных плит, Майкл огляделся с украшенным люрексом зрением привидения на блестящие очертания пятерых друзей, которые точно так же поднимались и отряхивались. Похоже, они оказались в большом забытом подвале с кирпичными стенами, заросшими паутиной и черными от старости. Филл Пейнтер, первая оказавшаяся на ногах, уже была у западного конца подвала и скребла по участку кирпичной кладки, казавшемуся чуть новее в сравнении с окружением – возможно, некогда заложенный дверной проем. Когда спутники потянулись к ней, собравшись за спиной неплотным кольцом, она щедро поделилась замыслом, против которого, конечно, они уже не могли бы возразить.

– Насмотрелись уж, че там зодчие не поделили, хватит с нас. Пора встретиться с миссис Гиббс в церкви Доддриджа, как и условились, чтоб послушать, вдруг она че узнала.

С недоуменным видом Джон заспорил:

– Ну ты чего, Филл, кратчайший путь до церкви Доддриджа – напрямик по Лошадиной Ярмарке до улицы Доддриджа. Зачем опять углубляться в прошлое?

Позади банды Майкл приподнялся на цыпочки, чтобы понять, о чем говорит высокий паренек. Филлис стояла к ним спиной, зарываясь в кирпичную стену, словно один из омерзительных кроликов, болтавшихся у нее на шее. Как у часовой дыры, выкопанной в изгороди Банной улицы, была только дневная бровка, так и новое отверстие, которое она старательно проделывала сейчас, было окружено непрерывной тьмой. Только небесам известно, сколько беспросветных дней, лет или десятилетий девочка откидывала к черному периметру.

– Я и поведу нас по Лошадиной Ярмарке к улице Доддриджа, лопух. Ток кто сказал, что надо идти скучным путем? В этом конце

города лежат туннели, что уходят в самую старину и соединяют все древние церкви и важные здания. Там мы с Биллом нашли Реджи – в ходе от церкви Петра до Гроба Хосподня. Подпол, в котором мы сидим, – на подземном пути от Святого Петра через Святого Григория и до самых Всех Святых, что раньше звалась церковью Торжествующих, када еще блесть из дерева. Здесь, када все века остались над головой, не придется долго копать до тыща двухсотых и трехсотых, а то и куда хошь. Ну во. Я уж и все.

Филлис отступила, чтобы все могли посмотреть, хотя смотреть было не на что. Она раздвинула полуночные края разрыва во времени приблизительно до размера автомобильной крыши, а на другой стороне не было видно ничего, кроме новой черноты. И все же если Филлис думала, будто это интересный путь по Лошадиной Ярмарке, то Майкл был готов ей поверить. Ее объявление, что банда наконец-то встретится с миссис Гиббс, практически развеяло предыдущие тревоги, что она легкомысленно подвергала его угрозе, и, когда Филлис задрала юбку, чтобы протиснуться в разрытое отверстие, он заторопился вперед остальных членов бригады, чтобы последовать вторым.

Только шершавые и поблескивающие известняковые стены туннеля выдавали, что дети попали в Средневековье, поскольку тьма одинакова в любом столетии. Сияющая вышивка ночного зрения Майкла вырисовывала тут и там фрагменты архаичного хлама: осколок старой каменной бутылки с пробкой из проволоки и камешка, кучки собачьего помета ископаемого вида и половина лошадки-качалки с переломленным у самой гривы хребтом – но ничего особенно интересного. С остальной бандой и неизбежными изображениями за спиной Майкл и Филлис двинулись в непроницаемую тьму, направляясь приблизительно на запад.

Не успели они далеко уйти – пол Подковной улицы, насколько рассчитал Майкл, – как туннель расширился до размеров какого-то заброшенного склепа с выложенным плитами полом, на котором кусками головоломки были разбросаны камни – возможно,

расколота крышка саркофага. Филлис подтвердила подозрения карапуза.

– Агась, это то, что блесь под церковью Святого Григория, – ну, по крайности, в эти годы. На эт самое место велел прийти монаху один из четырех мастеров-зодчих сотни лет тому назад. Этот зодчий – наверняка твой кучерявый приятель, – он сказал монаху принести сюда каменный крест, через пустыни и окияны из самого Иерусалима, чтобы обозначить центр его земли, ровнехонько посреди страны то бишь. Этот старый крест – он звался Руд – и блесь то, что делает Боро такими важными. Наверху здесь – опора Англии, такшт Боро несут весь вес. Вот почему из-за того паршивого прожога, что ты видал на Банной улице, обязательно случится какая-нить обалденно большая авария, если ниче не поделать.

Майкл предпочел не спрашивать Филлис, что за аварию она имела в виду, поскольку ему не хотелось задумываться о паршивом прожоге, виденном на Банной улице. Шестеро юных призраков брели дальше по подземному ходу, оставив позади разрушенный склеп Святого Григория, углубляясь в старинную темень под Лошадиной Ярмаркой.

Где-то еще через пятьдесят шагов Филлис остановила процессию и показала на влажный, капающий потолок норы в каких-то футах над ними.

– Вот тут станем выкапываться наружу. Окажемся прямиком в начале улицы Доддриджа у Лошадиной Ярмарки. Подмогнешь, Джон, а?

Самый смазливый член призрачной шайки сделал, как попросили, – сложил руки в пригоршню, чтобы почти невесомая Филлис могла опереться и приступить к рытью потолка туннеля. В этот раз у бровки дыры зарябили и черные, и белые слои, говорившие, что пространство над ними хотя бы знакомо с обычным распорядком дней и ночей.

На глаз Майкла, Филлис куда аккуратнее работала руками, терпеливо снимая напластовавшиеся века, словно аккуратный

археолог, нежели чем скребыхая отчаянно – а другой техники он за ней прежде не замечал. Казалось, будто она пыталась пробуриться в конкретный год или даже конкретное утро, такими точными и деликатными были движения призрачных множеств ее пальцев, царапающих в темноте.

Наконец она достигла ровно того уровня погружения, к какому стремилась, оставив порядочную брешь в ткани туннеля, открывавшую ограниченный вид на какую-то темную комнату, с потолком низким, словно предназначенным для гномов. С ликующим и торжествующим смешком Филлис вскарабкалась через отверстие, спустя мгновения возникнув над гранью временно й дыры и улыбаясь им сверху. Она окликнула Майкла, протянула руку и сказала, чтобы он поднимался следующим. Малыш послушно заскочил на сцепленные руки Джона и позволил Филлис грубо втащить его через пробоину каменного потолка в сумрачную палату.

Он обнаружил себя не в погребке с деревянным потолком всего в метре над темечком, как уже ожидал, но всего лишь под столом. Присев на корточки с Филлис у отверстия и помогая дальше подтянуться сперва Марджори, а потом Биллу, Майкл успел заметить, что под ближайшей стороной стола видны ноги сидящего человека. Он устроился на статном деревянном стуле, а самой выдающейся видимой его чертой была пара высоких мягких сапог с тусклыми железными пряжками над самыми щиколотками и кожаным языком, поднимающимся до самых колен. Человек, очевидно, был живым, ведь, когда он двинул ногой, за ней не осталось следов, а следовательно, он не мог их слышать. И все же Майкл старался не шуметь, когда Реджи, а затем Джона подняли во временной люк, после чего вся банда выползла, как выводок медвежат, между ножками стола в большую и тихую комнату с длинными косыми лучами вечернего света, падающими через окно со свинцовым перекрестным переплетом.

Встав в углу высоких апартаментов возле призрачных товарищей, Майкл взглянул через полированный дубовый стол на верхнюю

половину мужчины, высокие ботфорты которого он уже видел, сидевшего за противоположным концом и что-то выводящего пером в дневнике или гроссбухе.

Темные волосы, жидкие и маслянистые, спадали до пыльного воротника старомодного кителя, а на склоненной голове человека, согбенного над письменами, виднелась плохо скрытая плешка. Было трудно судить о его росте, пока он сидел, но он не казался высоким сверх меры. Несмотря на это, широкая грудь и плечи производили впечатление крепости и основательности. С серой кожей в изможденном освещении призрачной стежки мужчина казался свинцовым солдатиком для игр великанов.

Дойдя до красной строки после длинного абзаца, мужчина откинулся на стуле, чтобы перечитать написанное, так что призрачные дети смогли лучше разглядеть лицо. Майклу угрюмое выражение казалось почти что разбойничьим, хотя осанка предполагала высокий ранг и значимость. Черты напоминали толсто нарезанный бекон – широкие, мясистые и почти что обладающие природной красотой, если бы не равнодушные серые глаза, похожие на мушкетные пули, которые господствовали на лице и не моргая бежали по странице убористого, но витиеватого почерка, вышедшего из-под его руки. Ямку между нижней губой и подбородком украшала толстая бородавка, а ее куда меньшая товарка примостилась над самой правой бровью. Вокруг человека стояло щекочущее нервы затишье – Майкл представлял, что оно напоминает затишье бомбы сразу после того, как прекращается тиканье.

Филлис сбоку от мальчика в тихой комнате легонько подтолкнула его под фантомные ребра. Она казалась чрезвычайно довольной собой.

– Во. Видал? Эт лорд-протектор – вот кто эт блесть. Эт Оливер Кромвель.

Бессонные мечи

Взрывающийся мужик на балконе пронял Джона до печенок. Ему нравилось думать, что его непросто вывести из равновесия, но двуногому огненному шару это удалось, тут не поспоришь.

Начать с того, что Джон ни разу не видел, как выглядит взрывающийся человек – не в таких застывших подробностях и не снаружи. Когда этот жребий выпал самому Джону во Франции, он еще добрых несколько минут не понимал, что случилось. Просто решил, что враг промазал, и помчал по дороге с остальными парнями. Заметил, что бомбежка притихла и что все вокруг заплыло черным и белым, но просто решил, что от взрыва вышли из строя глаза и уши. Только когда он осознал, что оставляет за собой картинку в отличие от странно оглохших к зовам сослуживцев, Джон начал постигать, что случилось.

Стоило осознать свои обстоятельства, как он поддался ужасу, но это вполне нормально: это кровавая смерть. Так что встреча с малым на пролетах у Стройки, с его натужной улыбкой и испаряющимися слезами на щеках, в смертельном ореоле, застывшем в отвратительной секунде на целую вечность, потом что так он нравился себе больше всего... Джон никак не мог отойти. Когда Билл рассказал, что живые бомбы идут на это ради религии – так сказать, в священной войне, – Джон вообще перестал что-либо понимать.

При жизни Джон был христианином. Так себе христианином, конечно: не таким серьезным, как старший брат, но все же серьезнее сестры, мамки и остальных братьев. Он ходил по воскресеньям в церковь на улице Колледжа, где состоял в Бригаде мальчиков. Там Джон молился, распевал псалмы, учился маршировать в строю и привык не видеть в этой комбинации ничего странного. Вперед, Христово воинство, и все такое прочее.

В родном доме, где он вырос, не было никаких особенных священных книг, не считая самой Библии, которую, стыдно сказать,

Джон считал тоскливой донельзя, и старого издания «Путешествия пилигрима», с которым у него сложились отношения получше. В то время он не представлял, что должны символизировать персонажи Баньяна с аллегорическими именами, но просто наслаждался историями и считал, что понимал соль морали. Он даже наполовину углубился в «Духовную войну» Баньяна – и там впервые наткнулся на название города Душа, – прежде чем сдался перед непониманием и скукой. Все это лишь подчеркивало то, что ему вбивали в Бригаде мальчиков, с десятиминутной молитвой после часовой тренировки в верхнем зале церкви, в сине-черных военных кепках на склоненных головах, – ощущение, что христианство и марш связаны неотрывно. Потому он не был чужд мысли о родстве между войной и религией, но только если речь о настоящей войне, с солдатами в настоящей форме. А мужчина на балконе – гражданский, взрывающий себя и забирающий с собой остальных во имя Бога, – это совсем другое дело. Такую войну и религию Джон понять не мог.

И завтрашнее Боро, из которого прибрел в 1959 год вечно взрывающийся человек, – это будущее Джон тоже не мог понять. Как же всего через шестьдесят лет пошарпанный мирный район породит такое? Хотя Джон после дружбы с Мертвецки Мертвой Бандой побывал на разных вылазках в двадцать первый век, он осознал, что даже минимального понимания, чем в будущих десятилетиях живут, дышат и думают люди, у него не больше, чем о Франции, где он умер. Мальчик только знал, что из-за этого получеловека – полуримской свечи ему стало страшно за Боро, и за Англию, и за весь грядущий мир. Во время драки зодчих и драмы в бильярдном зале Джон обнаружил, что все его мысли заняты только этой озаренной фрагментированной фигурой, шаркающей по деревянным галереям рая, которого не могла ни вообразить, ни предугадать, навек окутанной пламенем собственного варварского мученичества.

И только когда Джон понял, куда Филл Пейнтер собралась завести банду после побега из клуба снукера, он начал обращать хоть какое-то внимание на их текущее предприятие, не в силах изгнать из головы завораживающее видение человека-взрыва. Английская гражданская война – она стала хобби Джона в загробной жизни, примерно как Реджи Котелок повернулся на машинах, а Марджори влюбилась в книги. Если что-то и могло помешать образу ходячей детонации докучать Джону, то только мысль о туннеле в 13 июня 1645 года, в Дом Хэзельриггов на Лошадиной Ярмарке – или, как его звали местные, Дом Кромвеля.

В краткой интерлюдии между своей смертью и встречей с Мертвецки Мертвой Бандой Джон преследовал свой интерес в одиночестве. Он дважды побывал в Несби – один раз за час-два до битвы и один – во время, – и отправлялся по дороге Уэллинборо до Эктона, чтобы взглянуть, как потом обращались с пленными роялистами. Но он еще не наносил визит в оказию, представшую его глазам теперь: только что повышенный до генерал-лейтенанта, восходящее парламентское светило Оливер Уильямс, он же Кромвель, разбил бивак на Лошадиной Ярмарке в ночь перед решающей битвой Английской гражданской войны.

Джон помнил, как одиноко ему было в годы после смерти перед знакомством с Филл и бандой. Возвращение из Франции прошло с удивительной скоростью. Вот он стоит в изборожденной снарядами грязи, в ужасе глядя на собственные потроха – блестящие, вывалившиеся из разорванного тела к его ногам, – и отчаянно жалея, что не дожил, чтобы снова увидеть родной дом. И вдруг – вот он уже посреди лужайки за церковь Святого Петра, только уже серой и серебристой в бесцветных просторах призрачной стежки. В небе сверкающей летней платины стояли на приколе облака пролитого молока, и Джон отправился по травянистому склону к жилой террасе под холмом, оставляя за собой в воздухе парад заляпанных грязью солдат.

Да, он видел и маму, и даже сестру, которая пришла в гости с двумя дочками, но они Джона видеть не могли, и вся встреча оказалась разочаровывающей и удручающей. Еще хуже было то, что мама и сестра, очевидно, еще не знали, что он умер. Когда сестричка начала читать вслух письмо от Джона для ее дочки Джеки о том, как им будет весело на следующей увольнительной, когда все засядут за семейный стол уплетать за обе щеки мамкин запеченный пудинг, Джон сломался. Мама, сидя в мягком кресле в углу, тепло улыбалась, пока ее единственная дочь читала послание, накорябанное карандашом на мелких страничках блокнота, и, очевидно, грезил о том, как станет печь с сыновьями пудинг, – так же, как Джон в ту ночь, когда писал племяннице. Она не знала, что этого пиршества не будет. Она не знала, что привидение ее сына сидит на продавленной софе с конским волосом по соседству и беспомощно рыдает из-за нее, из-за себя, из-за всей проклятой войны. Когда стало невмоготу, Джон заструился через запертую входную дверь, подальше по Слоновьему переулку к Холму Черного Льва, тем самым положив начало недолгому существованию неприкаянным.

Впрочем, Джон ни в коем случае не был таким же неприкаянным, как большинство остальных. При жизни он всегда следил за презентабельным внешним видом, и к смерти тоже подошел с воспоминаниями о муштре, почерпнутыми из еженедельных статей для мальчиков. Устроил себе логово в заброшенной круглой башне, нелепо торчащей из закрытой викторианской фабрики на другой стороне Холма Черного Льва. Отчасти выбрал это место из-за чувства, что порядочным призракам полагается обитать в каких-нибудь подобающе жутких местах, вроде замков, а отчасти потому, что его первый вариант, церковь Святого Петра, уже и так была перенаселена привидениями. За первую разведывательную экскурсию в обновленное норманнами саксонское здание Джон повстречал по меньшей мере пятнадцать штук. У ворот на Лошадиную Ярмарку сидело привидение калеки-попрошайки, говорившее на таком архаичном английском с таким невнятным

акцентом, что Джон не понял ни слова. У само й церкви Джон встречал фантомных пасторов и прихожан из нескольких эпох, а также пообщался с геологом по имени Смит, который заявил, что открыл известняковый хребет, растянувшийся от Бата до Линкольншира, под названием Юрский Путь. Со слов дружелюбной и разговорчивой души, именно пересечение этой первобытной тропы длиной в страну и реки Нен и предопределило удобное расположение Нортгемптона. Сам Смит, между прочим, умер здесь же, на Лошадиной Ярмарке, пока был в городе проездом, и его память увековечили табличкой на церковной стене, которую он тут же гордо показал Джону.

После краткого знакомства с другими обитателями призрачной стежки Джон избрал политику невмешательства. Он смотрел из окна своей башни, как духи приходят и уходят, но они казались ему слишком странными, а некоторые – и чудовищными, чтобы почувствовать тягу к их обществу. Например, однажды Джон заметил гигантскую птицу на длинных ногах, сделанную из камышей и ходулей, которую видел снова совсем недавно, на балконах снаружи Стройки. В том первом случае он наблюдал, как она описала у церкви Святого Петра полный круг, прежде чем продраться через стену из тысячелетних камней и скрыться из виду. Тогда он не представлял, что это такое, да и сейчас мало что изменилось. Создание с деревянным клювом, оставлявшее лужицы призрачной воды всюду, куда ступало долговыми ногами, только служило иллюстрацией причудливости полумира, побудившей Джона выбирать изолированную тропу самодостаточности во всех посмертных выборах.

Он нашел, что ему вполне нравится собственная компания, нравится планировать экспедиции вроде походов в Несби, хоть его второй визит в гущу настоящей битвы оказался ужасным и даже вызвал чувства благодарности за то, что его убило бомбой, а не пикой. В общем, в первые месяцы смерти его охватили оживание и неугомонность, и вот тогда-то Джон впервые понял, что больше не

носит военную форму. Просто однажды опустил на себя взгляд и обнаружил, что одет в черные шорты по колено, джемпер, связанный мамкой, и носки с ботинками – так, как ходил в двенадцать лет. Теперь он, конечно, понял, что его призрачное тело медленно стремилось к виду, с которым он был счастлив при жизни, но в то время он просто радовался, что снова стал мальчиком, и не задумывался, как это произошло.

Он окунулся в одиночные эскапады с обновленной энергией, всегда выбирая самые лихие авантюры, возомнив себя мертвым Дугласом Фэрбенксом-младшим. Когда в начале Золотой улицы упал британский бомбардировщик, Джон видел, как тот пролетел у него над самой головой, из окна башни у основания Лошадиной Ярмарки, и тут же помчался через блестящую темноту по тянущейся с востока на запад дороге, преследуемый ватагой остаточных образов школьников, чтобы посмотреть, нет ли там погибших, не появились ли новые призраки, которые тыркаются по округе без толку и нуждаются в совете.

Как оказалось, в жутком крушении огромного самолета никто не погиб – команда и пилот уже эвакуировались, так что жертвой на Золотой улице в тот поздний вечер оказался только велосипедист, сломавший руку. Единственным призраком на месте, за исключением Джона, оказался сам самолет. Поразительно: его материя почти полностью уничтожилась при жесткой посадке, но эфирный корпус судна вогнало в туманный дерн призрачной стежки, так что под поверхностью улицы фантомный бомбардировщик оставался целехонек. И вот когда Джон сидел в его кокпите, выкрикивая приказы воображаемой команде и делая вид, что он на опасной миссии, он обнаружил, что его окружили четверо прыскающих младших привидений, представившихся Мертвецки Мертвой Бандой.

Стоя теперь в Доме Хэзельриггов, глядя, как Кромвель строчит в дневнике, пока за окном угасают последние длинные лучи дневного солнца, Джон улыбнулся, вспоминая первое приключение с

остальными детьми-привидениями – или «Дело о Подземном Самолете», как Филлис потом требовала его называть. Дурачась у панели управления нематериального судна, призрачные сорванцы обнаружили, что могут медленно двигать его вперед, всего лишь притворяясь, что летят, – главное, притворяться усердно и убедительно. Хотя они не могли набрать обороты, чтобы прорвать поверхностное натяжение улиц и поднять борт обратно в воздух, ребята выяснили, что могут плыть под землей с безмятежной и величавой скоростью, а то и уходить в штопор в геологические страты под городом, навалившись на рычаг управления. Но путешествовать сквозь глину и камни было не так уж весело, так что они придерживались коридора в нескольких футах под поверхностью. Там они рокотали по туннелям, криптам и подвалам, а также пережили комично-противный эпизод, когда въехали в старинную железную канализацию. Наконец, смеясь над собственным остроумием, они аккуратно привели фантомный аэроплан в пространство подземного бара на углу Георгианского ряда и Лесного Холма, интерьер которого, по совпадению, должен был воссоздавать фюзеляж и сиденья пассажирского самолета, а потому стал идеальным местом парковки их призрачного судна.

Джон там же, не сходя с места, отсекся от былой независимости, связав судьбу с этими хулиганами, которые умудрились превратить смерть в ярмарку. С той радостной ночи он не возвращался в сиротливую башню, предпочитая кочевую жизнь призрачных детей, озорничающих во всех эпохах и измерениях, шныряющих между чистилищем и раем, от тайного логова к тайному логову. Он всем сердцем полюбил новых друзей, хоть Реджи Котелок иногда и щурился с презрением из-под полей шляпы, а от Утопшей Марджори редко когда дождешься больше одного-двух слов.

Лучше всего он поладил с Филлис Пейнтер. Забавно, но ему казалось, что они даже влюблены. Всякий раз, когда она смотрела на него, он видел в горящих глазах восхищение и надеялся, что она видит то же самое в его глазах, хотя и знал, что дальше их

отношения не зайдут без того, чтобы не испортить дружбу. На взгляд Джона, у них с Филлис, возможно, была самая лучшая любовь – детская игра в любовь, представление начальной школы о том, что значит иметь пару. Чувство глубокое и не омраченное ни единой тучкой практического опыта. Не дожив до двадцати лет, Джон успел сменить несколько подружек и дошел с одной до конца. И хоть он не спрашивал прямо, но у него сложилось впечатление, что Филл Пейнтер дожила до почтенной старости и когда-то, возможно, даже была замужем. Так что в какой-то степени оба прошли взрослый этап любви, и звериное удовольствие от секса, испытания и терзания страсти потеряли былую привлекательность.

Оба познали зрелую любовь и все же выбрали ее ребяческую вариацию ради восторга вечного детсадовского увлечения, романа, который не дорос даже до стадии встреч за велосипедными гаражами. Они избрали лишь росу на гладкой кожице любви, а сам ее плод оставили нетронутым. По крайней мере, так казалось Джону, и он подозревал, что все это верно и в случае Филл. Так или иначе, чему бы ни был обязан успех их отношений, они любили друг друга по-своему уже несколько безвременных десятилетий, и Джон надеялся, что это продлится до самого порога вечности.

Принимая во внимание все обстоятельства, смерть обходилась с Джоном не хуже, а то и лучше, чем жизнь. Беспутные проделки призрачной банды, скачущей от одного абсурдного приключения к другому, означали, что Джону никогда не будет скучно. С серым рассветом каждого фантомного утра его уже поджидало что-то новенькое. Или, в случае плана Билла и Реджи приручить призрачного мамонта, что-то очень старенькое.

Взять для примера хоть делишки с последним членом призрачной банды. Хотя Джон чувствовал, как и Филлис, что присмотр за временно мертвым малышом – великая ответственность, чувствовал он и то, что пока что это их величайшее похождение. Более того, у Джона хватало причин относиться к беде Майкла Уоррена даже серьезней, чем Филлис, и больше беспокоиться о безопасности

ребенка. Но чтоб ему провалиться, если он позволит этому испортить такую выдающуюся прогулку: демоны-короли на бреющем полете «мессершмиттов»! Призрачные бури и смертоведки! Вот таким удалым разгулом он себе с надеждой представлял войну, пока не понял, как ошибался. А теперь все соответствовало его идеалу – сама комиксовая суть приключения, без разбросанных кишок и скорбящих матерей, превращающих радиошоу в трагедию. Все самое лучшее, сливки и зрелища без жизненных последствий. Джон дивился, вспоминая об исполинских зодчих, истекающих золотом и охаживающих друг друга бильярдными киями на развернувшихся акрах Мэйорхолд, затем прервал эту линию мысли, осознав, что она ведет обратно к взрывающемуся человеку, запинающемуся свечению на балконе с зависшими гвоздями и заклепками, перепачканными штанами, улетучивающимися слезами.

Чтобы избавиться от гнетущего видения, Джон вернул внимание к нынешним обстоятельствам – залу Дома Хэзельриггов, зловещему июньскому вечеру в середине семнадцатого века. Вынырнув из-под поблескивающего палисандрового стола, компания собралась в восточном конце просторных палат, глядя на монументальную глыбу на стуле, одну половину грифоньего образа которого освещал закат, проникающий через освинцованные окна и скрывающий бородавки в тени.

Джон, конечно, узнал старину Железнобокого по тем предыдущим случаям, когда отважный юнец посещал темные дни Гражданской войны. Он лицезрел Кромвеля на конях с генералом Фэрфаксом и генерал-майором пехоты Филипом Скиппоном на склонах гребня Несби по первому свету 14 июня – или завтрашнего утра, с текущей точки зрения Джона. Тогда Кромвель еле сдерживал себя от радости, осматривая местность между гребнем и Даст-хилл в миле к северу. Гарцуя туда-сюда в черных доспехах, он то и дело заливался смехом, словно, глядя на землю, уже заранее видел битву и злорадствовал над неминуемыми невзгодами врагов. Джон видел Кромвеля и с

другим лицом – изваянным из кремня, спокойным в самом кровавом сердце сечи, когда его кавалерия гнала конницу роялистов почти до самого Лестера, вырезая отстающих десятками. Какое бы выражение ни было написано на этих чертах, Джон бы узнал их всюду.

Филлис и Билл, очевидно, тоже знали, на кого смотрят, как и Реджи Котелок, который понимающе кивал с широкой ухмылкой на веснушчатом лице. Хотя Утопшая Марджори оставалась невозмутимой, тускло глядя из-под очков от Нацздрава, что-то подсказывало Джону, что такой удивительно начитанный человек, как она, должен знать о человеке с длинными волосами больше всей банды, вместе взятой. Только Майкл Уоррен – Майкл Уоррен, сын Томми Уоррена, вспомнил, удивленно покачав головой, Джон, – оставался последним в медленно темнеющей комнате, кто не имел понятия о том, что происходит. Джон уже намеревался дать разъяснения для малыша, когда вмешалась Филлис и сняла слова с языка.

– Во. Видал? Эт лорд-протектор – вот кто эт блесь. Эт Оливер Кромвель.

Стало мучительно очевидно, что малышу имя ничего не говорило, так что Джону все же представился шанс внести лепту и представить во всеуслышание свои познания:

– Мы сейчас с тобой в 1640-х. На троне блесь Карл Первый, и мало кто думает, что ему там стоит задерживаться. Например, он ввел налог, корабельный, который уплачивался прямо ему в карман, чтобы он не зависел от английского парламента. Это никому не по душе, особенно когда все знают, что Карл якшается с Католической церковью и, того гляди, ускользнет через черный ход в католицизм. Помни, все это в Англии, где богатые и бедные разошлись путем-дорожкой с начала 1600-х, когда джентри начали занимать общинные земли и лишать людей средств к существованию. Сам представляешь, как все крысились и косились друг на друга. Англия блесь пороховой бочкой, только и ждала искры.

Здесь Джон сделал паузу, пока по его мыслям прошел в слезах незванный образ детонирующего человека-бомбы, затем продолжил:

– В последние месяцы 1641-го вся Ирландия горела в бунте против английской власти. Мятежники жгли или захватывали земли, жалованные поселенцам-протестантам, по ходу дела поубивав этих поселенцев навалом. А в Англии думали, что это все папский заговор, который плел Карл Первый. Бунтари в парламенте издали Великую реконстрацию и озвучили все обиды на Карла, но это только дальше оттолкнуло лагеря друг от друга. В январе 1642-го король оставляет Лондон на произвол бунтарей и начинает собирать армию для гражданской войны – а тогда уже все знали, что без нее не обойдется. Боже, какой стоял ужас в стране. От одного края Англии до другого семьи, наверно, не разгибались с колен в молитвах, чтобы пережить следующие годы, на худой конец, только с парой смертей среди родных.

По крайней мере, так было с кланом Джона в 1939 году. Он взглянул, как фигура в дальнем конце комнаты оторвалась от дневника, занеся на миг перо в дюйме от страницы, – должно быть, подбирая слова, – прежде чем снова вернуться к пергаменту и выводить ряды за рядами готических завитушек и твердых марширующих черточек. Джону казалось, что молитвы его семьи накануне войны по большей части были услышаны. В конце концов ее пережили все, за исключением некоторых присутствующих.

Оглянувшись, Джон осознал, что остальные члены Мертвецки Мертвой Банды терпеливо ждут, когда он продолжит. Даже Утопшая Марджори за своими очками-консервами казалась заинтригованной.

– Короче, этот вот малый, Оливер Кромвель, родился в довольно зажиточной семье в Хантингдоне. Звали их Уильямсами, но они происходили от временщика Генриха Восьмого – Томаса Кромвеля, и потому взяли его имя в благодарность за все добро, что он принес роду, пока занимался великой Протестантской реформацией Генриха, и негодую из-за того, как ему потом вместо спасибо

срубили голову. Сам себя Олли всю жизнь звал «Уильямс, он же Кромвель», но, наверно, Кромвель звучит важнее, чем Уильямс.

Есть у него жена, семья и порядочная жизнь, но, видать, всегда хотелось большего. В 1628 году в возрасте двадцати девяти он пришел в политику парламентарием от Хантингдона, а ко времени, когда четырнадцать лет спустя назрела Гражданка, стал одним из самых беспощадных критиков короля в так называемом Долгом парламенте. Когда Карл потребовал подмоги от Кембриджа, Кромвель ворвался туда с двумя сотнями вооруженных людей, пробился в Кембриджский замок и захватил арсенал. Мало того, он еще помешал им передавать золото в помощь роялистам – и это тогда, когда почти все еще только мялись, не зная, что делать дальше. Захватив инициативу, Кромвель стал лучшим другом дела парламента и тут же блестяще повышен от капитана до полковника.

Он времени не терял, в следующие-то годы: разбирался с роялистами в Кингс-Линн и Лоустофте, а потом перекрыл все мосты через реку Уз. Закончив там, он принялся укреплять Нен – потом выйдем наружу, я тебе покажу. Словом, Кромвель показал себя в стычках, как при Гейнсборо в Линкольншире, и в битвах, как на Марстонской пустоши у Манчестера в 1644-м, где сам возглавил конницу. За такие победы генерал парламента сэра Томас Фэрфакс повысил Кромвеля до генерал-лейтенанта кавалерии на военном совете, который состоялся... – здесь Джон сделал паузу ради театрального эффекта и притворился, что ищет в памяти почтенную дату, прежде чем продолжить, – ...о-о, а ведь всего час или два назад. Сегодня, 13 июня 1645-го. Для нашего мистера Кромвеля это поворотное событие всей жизни. Его наконец облекли властью, чтобы добиться того, о чем он мечтал, и тут же отправили в Нортгемптоншир разбираться с силами роялистов под руководством сына короля Карла, принца Руперта. Руперт только что взял Лестер осадой и освободил от парламентаристов, и, когда этим утром Кромвель явился в лагерь круглоголовых под Кислингбери – всего в паре миль на юго-запад от нас, – встретили его восторженно. Вчера

ночью авангард парламентаристов наткнулся на роялистов у деревни Несби, в пяти милях от Маркет-Харборо на окраине Лестершира. До того ни одна сторона не подозревала, как близко стоят их армии, но теперь уже до всех дошло, что завтра утром грянет большущая битва. Вот почему круглоголовые ликуют, что явился Кромвель: он единственный засранец на сотню миль вокруг, который к ней готов.

Подчиняясь импульсу, Джон отделился от серой кучки Мертвецки Мертвой Банды и пересек лакированные половицы к дальней стороне комнаты, чтобы встать над душой сидящего человека, нахохлившегося над текстом. Необычно острым зрением, которым наделялись мертвые, Джон заметил три-четыре жирных вши, кормившихся в жирных порослях редящих волос генерал-лейтенанта. Он никогда не стоял к Кромвелю так близко – видел только во время предыдущих посещений самого поля битвы, как полководец рысит мимо. Джон почти чувствовал гудящие динамовибрации будущего, источаемые личностью лорда-протектора, и пожалел, что не может вдохнуть запах Кромвеля из-за глухой помехи призрачной стежки, просто чтобы понять, что же это на самом деле за зверь. Билл прервал ближайшее рассмотрение Джона, окликнув с другой стороны палаты, где стоял с Филлис и остальными.

– Че он пишет?

Это был хороший вопрос, и Джон перевел внимание с эскапад вшей на голове Кромвеля на страницу, по которой скользило воронье перо. Через несколько мгновений пытливого штудирования Джон ухватил суть необычного курсивного текста, затем поднял взгляд и обратился к банде.

– Похоже на первый черновик письма к жене. Прочту вам, что смогу.

Уперевшись ладонями в голые коленки, Джон придвинулся, наклонившись над плечом Кромвеля, чтобы пробежать глазами содержание депеши.

– «Дражайшая моя Элизабет – я верю, что пишу с добрыми известиями. Сим днем твой ласковый и верный супруг произведен распоряжением сэра Тома Фэрфакса в генерал-лейтенанты кавалерии и тут же отослан был разрешить небольшое затруднение в Нортгемптоншире, в окрестности коего я и пишу строки сии. Всячески заверяю, что пребываю я в добром здравии и уверенности, что завтрашним утром нас ждет благой исход, но прошу не взять в мысли, словно повышение породило во мне спесь. Всякая победа – заслуга едино лишь Господа, как и мое стяжание чинов, лишь усерднее трудиться во исполнение воли Его позволяющее.

Но прервем похвальбу недостойного супруга твоего и узнаем вести куда большей значимости. Как течет жизнь в нашей скромной хантингдонширской обители, коей картина вечно стоит в моих мыслях – с тобою на пороге, с малышами за твоими юбками? Бриджет, верно, оскорбится, что ее сочли маленькой, равно как и Дик, но таковыми они пребыли в сердце моем и таковыми пребудут вечно. О Элизабет, что бы ни отдал я, лишь бы ты была подле меня, ибо нежный вид твой возвышает душу паче всех лавров и должностей. Все, что ни делаю, я делаю во имя Господа и ради тебя, друг мой Бет, чтобы ты и драгие дети наши жили в Божьей стране, позабыв сполна о тирании Антихриста. Знаю, наш юный Оливер поддержал бы меня, не приberi его прошлым годом жестокая лагерная лихорадка. Нашими молитвами и моим усердием прилежным жертва его, подобно жертвам многих других юных парламентаристов, не будет напрасной.

Мне будет весьма приятно слышать, как поживает наш сад, ибо в эту пору он вещь премилая, а в текущей суете, боюсь, я упущу его цвет, буде ты мне его не опишешь. Прошу поведать также о твоих последних делах, поездках в город и самых малейших неудобствах, дабы я услышал в воображении голос твой и знакомые обороты речи. Скажи малышке Френсис, что отец обещался привезти ей из Нортгемптона славную пару черевичек, и поделись с Генри моею уверенностью, что он исполнит долг свой и как подобает вышколит

гончих. Сию минуту пришло в голову просить тебя выслать добрую деревянную трубку, ибо глиняные в этих краях легко бьются и...» – это более-менее пока что все, и, похоже, дальше тоже будет все про дом и семью. Если честно, как это считаешь, так он не кажется злодеем.

Джон выпрямился, взглянув на Кромвеля новыми глазами. На другой стороне комнаты с просмоленными балками и медными украшениями Марджори покачала головой.

– Ну не знаю. Он словно не от мира сего. Ведь он же знает, какой жестокой завтра будет битва, а вы только гляньте – спокоен как слон, спрашивает, как там садик. Он как будто не верит, что все это по-настоящему, как будто ждет, когда закончится спектакль. Если спросите меня, чего-то у него в голове не хватает.

Все уставились на Марджори, пораженные не столько пронизательным мнением, сколько количеством слов, которым она его выразила. Еще никто не слышал, чтобы она так много говорила, и даже не подозревал, что она придерживается таких твердых мнений. Джон задумался над ее замечанием и сделал вывод, что пухлая девочка, по всей видимости, права. В письмах домой Джон и сам иногда приукрашивал свои мрачные обстоятельства, это так, но не до такой же степени, как Кромвель. Джон никогда не писал маме, что помогает разрешить «небольшое затруднение» в Нормандии, и не трещал о запеченном пудинге, чтобы заболтать войну. Письмо Кромвеля принадлежало нормальному человеку в нормальных обстоятельствах, и сейчас в обоих этих отношениях нельзя было не засомневаться. Взглянув на Утопшую Марджори в неверном дневном свете, Джон рассудительно кивнул.

– Кажется, в чем-то ты права, Мардж. В любом случае не похоже, что скоро он займется чем-нибудь интересным. Может, пойдем на улицу и посмотримся, пока светло?

Раздались одобрения на разные голоса. Оставив неподвижного как истукан генерал-лейтенанта наедине с письмом – темная фигура, теряющая четкость в темнеющей комнате, – дети высыпали

через толстые стены бутовой кладки Дома Хэзельриггов на улицу, где развивалась заметная активность. Лошадиная Ярмарка, с низкими, но опрятными зданиями по бокам, бурлила жизнью в жестяном закате. Последняя капля дневного света блеснула на наконечниках железных шлемов, на пуках лезвий длинных пик, которые нес старик в Пиковый переулок для очинки. Вспыхнула на уздечках загнанных коней в пене, сверкнула на высоких застекленных бифориях Дома Хэзельриггов, испещряя сумрак призрачной стежки яркими точками – белыми крапинками, оживляющими густое умбровое импасто законченного холста дня. Изысканная красота и легкая тревога; это было хрупкое освещение в затишье перед летней бурей или во время затмения. По проторенной жиже большой дороги в поисках таверны или стойла для костлявых кляч волоклись усталые солдаты-круглоголовые, пока редкие местные мужчины и женщины на Лошадиной Ярмарке старались не путаться у воинов под ногами. Джон видел, как сапог парламентариста пнул пса под зад; как рябого мальчика отбросили с дороги оплеухой крепкой кожаной перчаткой.

На каждом лице, будь то военном или мирном, держалось одно и то же выражение глубокого и парализующего ужаса. Что только подчеркивало мысль Марджори о покое человека, еще писавшего в комнате, которую они освободили, – с лицом геральдической бестии и отстранением в пику поразившему остальных живых страху в этот безмятежный июньский вечер. То были чудовищные времена, когда хорошо только чудовищам. Где-то позади Джона Билл пропел отрывок из какой-то привязчивой песни, хотя Джон ее раньше не слышал.

– ...и я бы отдал все, чтобы отсюда уйти.^[73]

Билл осекся с горьким мудрым смешком. Они с Реджи Котелком отправились на противоположную сторону улицы, где отвлекались созданием пыльных вихрей, бегая кругами. У них ничего не получалось, пока на помощь не пришла Утопшая Марджори, и тогда они подняли такую поземку, что по меньшей мере один ражий

круглоголовый удивленно отступил и перекрестился. Тем временем Филлис и Джону достался присмотр за Майклом Уорреном, пока они стояли на забавном дощатом настиле перед Домом Кромвеля. Малыш вертел белокурой головкой, пытаясь понять, куда попал. Наконец он поднял голову к Джону и Филлис:

– Это Лошадиная Ярмарка? Я не понимаю, в каком ее месте мы стоим.

Филлис взяла Майкла за руку – умела она ладить с детьми, подумал Джон, как будто уже воспитала парочку своих, – и присела возле малыша, повернув его лицом на запад.

– Че ты тупишь. Все ты понимаешь. Глянь, вон слева церковь Петра. Ты же ее знаешь, ну? А по соседству даже в такую старь – «Черный лев».

Джон всмотрелся в том же направлении, куда обратили ребенка. Чуть дальше по Лошадиной Ярмарке, на их стороне улицы, стояла так же, как при жизни Джона, церковь Святого Петра, торжественно надзирающая за подготовкой к битве парламентаристов с той же бесстрашностью, с которой три века спустя встретит неуправляемый бомбардировщик, падающий на Золотую улицу. По соседству с церковью на той же стороне, как и подметила Филлис, было двухэтажное деревянное подворье с табличкой, провозглашающей это место «Таверной Черного Льва», хотя изображенное на доске животное больше напоминало горелого пса.

Только когда Джон позволил взгляду блуждать дальше таверны, вдоль склона, на котором она стояла, в сторону западного моста города, ему предстал заметно иной вид, нежели с того же места в двадцатом столетии. Сам мост – деревянную постройку в отличие от каменного горба, что поднимется здесь позже, – снесли и перестроили по приказу Кромвеля год назад. Теперь это был массивный разводной мост на железных цепях и лебедках, чтобы поднять его в случае попытки роялистов пересечь Нен. На глазах трех юных привидений по доскам проскрипела тяжело груженная телега, покотившаяся к мельнице на юго-западе, пока с полотна небес

стекал день. Каким бы странным укрепление не показалось современному взгляду, оно было тут же забыто, когда глаза призрачных детей сдвинулись правее и легли на место, где однажды построят железнодорожный вокзал. И Джон, и Филлис были знакомы с этим зрелищем, но Майкл громко охнул.

– Что это? Оно заборазивает небо, я даже не вижу парка Вистории!

Филл рассмеялась и покачала головой, так что остаточные изображения болтающихся прядок ненадолго превратили ее в отцветший одуванчик.

– Парка Виктории здесь не блеснет ишо пару сотен лет, как и вокзала. Это Нортгемптонский замок, в честь которого назвали станцию. Наслаждайся видом, пока можешь. Замок тут простоял с тыща сотых, полтыщи лет провел рядом с этим мостом, а ишо через шишнадцать его снесут.

Джон мрачно кивнул, оглядывая темную громаду, давящую массу квадратных башен, наморщенное и осуждающее чело долгих хмурых стен на фоне серебряных залежей горизонта. Коренастое и основательное, потерявшееся в думах сооружение было окружено черным шрамом рва, а на другой стороне этой отвесной преграды, по сторонам от больших ворот – каменной пасти с обнаженными зубами решетки, разинутой в боли или ярости, – чадили и плевались искрами факелы, высокие, как сам Джон. От них по высоким грубым стенам, где в сгущающиеся сумерки недоверчиво щерились амбразуры, стелилась смесь света и дыма.

На открытом просторе у южной стороны укреплений, на обочине грунтовой дороги, которая продолжала линию Золотой улицы и Лошадиной Ярмарки на запад от переделанного моста, на выгоревшей летней траве ставила драные палатки сотня человек армии нового образца. Собрав валежник и сухой орляк в рощах Лужка Фут сразу через реку, замызганные войска разжигали костры – меловые кляксы, вспыхивающие здесь и там у сумеречного бока замка, островки слабого веселья, дрейфующие в океане

надвигающейся ночи. Несмотря на глухоту призрачной стежки, слабый западный бриз донес до Джона гогот и проклятия, настройку одинокой скрипки, влажный треск головни или прострел древесного узла. Кони тихо ржали в тревожных колыбельных, затихнув и скрывшись за черной пеленой дыма, когда изменился ветер – как он менялся в эту судьбоносную и опасную ночь по всей Англии.

Перейдя на шепот, словно в смятении от вида или из-за мысли, что его услышит пехота, тащившаяся мимо по Лошадиной Ярмарке, Майкл Уоррен переводил взгляд с Джона на Филлис.

– А прочему его снеслив?

Джон скривился.

– Ну, понимаешь, завтра утром, в битве при Несби, Кромвель и парламентаристы победят. Потом Гражданка тянется еще несколько месяцев, но после Несби у роялистов не блесть ни шанса. Как только парламент побеждает, Кромвель становится большой шишкой. Через четыре года, в 1649-м, он отрубает королю Карлу голову и превращает Англию в республику, которая простоит до самой его смерти в 1658-м. Ему на смену заступает сын Ричард, но года не пройдет, как он отрекается. А к 1660-му на троне уже Карл Второй и наступает Реставрация монархии. Этот новый король Карл возненавидит Нортгемптон всей душой и, как только казнит всех, кто воевал против его отца, потребует не оставить камня на камне от Нортгемптонского замка:

Майкл был в замешательстве.

– Но зачем?

Тут подала голос Филлис, сидевшая на корточках с другой стороны.

– А ты глянь на тот чертов мост, вот те и ответ. Здесь блесть оплот парламентаристов в Гражданку, и мы стояли за Кромвеля до конца. Видать, Карл Второй винил нас за то, что его бате отчекрыжили головушку, да и Несби находится в нашем графстве. И после Реставрации мы не в ладах со всей Англией, прочно и надолго.

Джон задумался, взглянув обратно на Лошадиную Ярмарку. Реджи, Билл и Марджори все еще поднимали пигмейские вихри к ужасу прохожих – в эти времена любое природное явление считалось приметой верной беды, словно без примет было неясно. Довольный, что приятели не чинят больших неприятностей, Джон вернул внимание к Филлис и малышу.

– Сказать по правде, Филл, мы блесть на дурном счету в стране задолго до Реставрации. Нас веками считали смутьянами, по крайней мере со студентов-бунтарей в тыща двухсотых, когда Генрих Третий разграбил город. Потом с тыща трехсотых у нас водятся лолларды – эти более-менее проповедовали, что грех выдумало духовенство, чтобы угнетать бедноту. В Гражданскую войну тут из каждой щели полезли радикалы: магглтонцы, моравийцы, Пятая монархия, рантеры и квакеры – и не те квакеры-пацифисты, которым принадлежат шоколадные компании. А фанатики, которые требовали уничтожить царства земные во славу Божью.

И все эти секты, как бы ни собачились между друг дружкой, во главу угла ставили, что Иисус блесть плотником, а все его апостолы – безродными работягами. Сектам казалось, христианство – религия нищих и обездоленных, обещавшая, что однажды всем богатым и безбожным придет конец. С самого начала тыща шиссотых, когда для джентри разрешили отрезать общинные земли, богатеи поживали в свое удовольствие, люди «среднего достатка», как Кромвель, еле сводили концы с концами, а голытьба голодала. В те времена впервые и заговорили, что богатые богатеют, бедные беднеют, а с каждым днем на дорогах все больше попрошаек. К середине века, где мы сейчас и стоим, по стране бродили десятки тысяч так называемых бесхозных людей, босяков и ремесленников, которые ни перед кем не отвечали. Нужен блесть только умник вроде Кромвеля, чтобы понять, как сплотить всю злую голь.

Джон махнул рукой на десятки круглоголовых, волочившихся по Лошадиной Ярмарке или запекавших картошку на кострах под

нависающим замком.

– Наверно, отчасти Нортгемптон поддержал Кромвеля потому, что беднота здесь была самая что ни на блесь мятежная, какой во всей Англии не сыщешь. Здесь первыми поднялись против захвата земель джентри – бунт возглавил малый по прозвищу Капитан Кошель. Мятеж, конечно, растоптали, а Кошеля разрубили на кусочки, но обида, которая выльется через пятьдесят лет в Гражданку, здесь блесь сильнее, чем где-либо еще в Мидлендсе. Ну, надо сказать, что многие подыграли Кромвелю и потому, что его боялись, но держу пари, что намного больше людей молились, чтобы наконец пришел кто-нибудь вроде него. В 1643-м в Нортгемптоншире один малый сказал: «Надеюсь, через год я не увижу в Англии ни одного джентльмена» – это значит, знатного человека. В наших краях мы считали Кромвеля ни много ни мало посланцем Божьим. Неудивительно, что нам и досталась работа обувать его армию, тачать тысячи сапог.

Тут ввернул словечко и Майкл Уоррен, просто чтобы показать, что следит за разговором.

– А почему мы тогда блесь такие бедные, если у сапожников много работы?

Джон уже хотел было ответить на этот на удивление пронизательный вопрос, когда его опередила хохочущая Филлис Пейнтер:

– Ха! Да пушто чертов Кромвель зажилил гроши! Ток мы ему помогли прийти к власти, как он провел нас точно так же, как всех, кто помогал ему в черный час. Жалкий старый говнюк. А раз уж помянули черта – как думаете, закончил он писать своей супружнице? Здесь, похоже, больш смотреть не на что, ток как солдаты пьют и гоняются за шлюхами. Проведаем старину Железнобокого, а там пора и честь знать.

Джон кивнул, бросив взгляд на Лошадиную Ярмарку в опустившихся потемках, все еще постукивающую вожжами и ножнами, – в сумраке, прерывавшемся тут и там тусклым оловянным

бликом от острого наконечника круглого шлема или железного ствола мушкета. На пыльных досках перед Домом Хэзельриггов Билл завербовал Марджори и Режди для миссии по созданию вихря еще больше, чем все их предыдущие пробы. Все трое яростно носились плотным кругом изображений вокруг колен незадачливого разносчика листовок. Стеная от непонимания и религиозного страха, бедняга не видел детей, а только внезапный ветер из ниоткуда, вырывавший брошюры из его хватки и уносящий в темноту над головой конфетти-переростками. Отвечая Филлис, Джон посмеивался вопреки себе.

– Ага, думаю, ты права. Пусть твой Билл с остальными балуются дальше, чего их отвлекать от веселья.

Взяв Майкла Уоррена за руки, Филл и Джон повели найденыша обратно в Дом Хэзельриггов под трепещущим дождем кувыркающихся брошюрок из рук растерянного продавца. Мазнув взглядом по сложенному листку, уже упавшему к двери, Джон отметил, что он назывался «Пророчество о Белом короле» и, похоже, предвещал жестокий конец Карлу Первому, основываясь на астрологии и всяческих предсказаниях, причисляемых Мерлину. Учитывая то, что на листовке стояла завтрашняя дата и что она была с пылу с жару из печатного пресса, Джон улыбнулся и дал издателю десять баллов из десяти за чутье, пусть даже источники предсказаний казались малость ненадежными. По привычке Джон попытался пнуть памфлет в сторону и почувствовал себя шутком, когда нога прошла без последствий сквозь, а он вспомнил, что мертв. Оставалось только надеяться, что Филлис не заметила.

По счастью, Филлис как раз отвлеклась на довольно красивого живого парня, подходившего к двери Дома Хэзельриггов прямо перед ними. Его длинные волосы – девчачьи, на взгляд Джона, – лились курчавыми волнами на высокий белый воротник, лежащий поверх черных доспехов с накладными пластинами на руках и плечах, отчего латы напоминали панцирь фантастического жука. У левого бедра болтался меч в ножнах. Лицо щеголя, пухлость

которого компенсировалась ухоженными бородкой и усами, показалось Джону знакомым – возможно, по схватке у Несби, – хотя имя на ум не шло.

Джон наблюдал, как малый постучал по добротной деревянной двери и тут же услышал приглашение войти. Не желая пропустить приветствие, Джон втянул Филл и Майкла через толстую каменную стену в комнату, где обратил внимание, что за время их отсутствия в ветвистом канделябре запылились три сальных свечи. Кривые тени с какой-то лихорадочностью металась по голой белой штукатурке стен и бросались на несчастные черные балки, державшие на себе потолок. Кромвель сидел там же, где его оставили, на дальней стороне стола, закрывая свой дневник и без выражения поднимая взгляд на молодого человека.

На губах Кромвеля на мгновение оживило подобие улыбки и тут же пропало. Не поднимаясь на ноги, чтобы встретить гостя, как ожидал Джон, новоиспеченный генерал-лейтенант парламентаристов только приветствовал того по имени:

– Генри. Моему сердцу отраден твой лик.

Генри Айртон. С небольшой подсказкой Джон тут же узнал длинноволосого мужчину, которого действительно видел ранее – или, вернее, увидит завтра утром, когда его ранят и возьмут в плен после того, как он возглавит свой полк на левом фланге на поле Несби. Молодой человек благовоспитанно кивнул сидящему Кромвелю.

– И моему отрадно видеть вас, мастер Кромвель. Спешу поздравлять с назначением генерал-лейтенантом кавалерии. Я и сам стал генерал-комиссаром не далее недели назад. Похоже, среди бурных вод текущего конфликта человек легко может вознестись или пасть.

Голос Айртон был легок – по крайней мере, в сравнении со старшим мужчиной, который, отвечая, сцепил руки на столе и слегка откинулся на стуле.

– По Божьей милости, юноша. Лишь Его милостию мы поднимаемся и лишь Его милостию врагу нашему завтра поутру быть разбиту наголову. Слава Ему, Генри. Слава Богу.

На взгляд Джона, Айртон почувствовал себя не в своей тарелке, хотя и кивнул, соглашаясь с пылкой сентенцией сидящего генерала.

– Да. Да, конечно. Слава Богу. Вы верите, что мы одержим верх? Вдруг принца воспламенит давешняя победа в Лестере...

Кромвель пренебрежительно отмахнулся, затем переплел мясистые пальцы, снова уложив руки на полированную столешницу.

– Я не верю, что мы одержим верх, а знаю это самым сердцем своим. Мне уготовано победить, как королю Чарли уготовано потерпеть поражение. Я знаю это так же верно, как то, что Христос обещал нам спасение по воле Его. Я вопрошаю тебя, как можешь ты усомниться в промысле Божьем, Содом и Гоморру истребившем и чуму на дом фараонов наславшем?!

Распаренный в тяжелой броне в летний вечер, Айртон оттянул жесткий воротник, словно в тщетной попытке его ослабить. Хотя молодой человек был ненамного ниже Кромвеля в звании, Джон видел пиетет и нервозность в манере Айртона, хватающегося за слова для уместного ответа. Филлис, Джон и Майкл присели на нижних ступеньках витой спиральной лестницы в углу, чтобы с удобством наблюдать за этой угрожающей, но завораживающей беседой. Наконец бородач рискнул раскрыть рот.

– Не помыслите, будто усомнился я в Господе, но лишь что уверенность моя в предопределении не толико крепка, колико будет ваша. Ужели нет риска в знании о верном спасении почить на лаврах и тем самым блюдением веры пренебречь?

Теперь Кромвель впервые изогнул толстые губы в улыбку с серыми зубами, на которую было страшно взглянуть. Полуночные камни его глаз блеснули под полуопущенными веками.

– Ужели же ты знаешь меня за антиномического еретика, что грешит и предаётся праздности под солнцем, убежденный во спасении своем вопреки всем порокам своим? Пускай я тверд в

уверенности, что грядущее предписано загодя, но я не увеливаю от тщаний его воплотить. О, уповай на Бога во всем, Генри. Уповай на Бога, но порох держи сухим.

Здесь Кромвель рассмеялся – пугающий лай, рокот которого постепенно сошел на нет, словно раскат грома. Айртон, сперва заметно вздрогнувший, теперь как будто уверился в добром расположении духа командира. Натужно улыбаясь над любимой шуткой Кромвеля, Айртон, очевидно, подумал, что будет уместно вернуть и собственную остроту.

– Добрый мастер Кромвель, мне ведомо, что вы ни антином, ни еретик. Лишь рантеры, что шумно славословят вас на базаре, видят в предреченном избавлении разврату оправдание.

Так же быстро, как рассеялись, темные тучи вернулись на широкий лоб Кромвеля. На последней ступеньке винтовой лестницы Майкл Уоррен и Филл Пейнтер, незримо подглядывавшие за беседой, спонтанно и синхронно поежились.

– Не изволь тревожиться о рантерах, Генри. Когда война окончится в нашу пользу, не отпадет ли вовсе нужда в рантерах и их огненных летящих свитках?

Айртон как будто заколебался.

– Вы столь уверены в завтрашней победе?

Лицо Кромвеля было неподвижным, как у резного сфинкса.

– О да. Нашим людям не платили уже многия недели. В их брюхе урчит, но я заверил их, что завтрашний триумф принесет значительный куш, а из оногo мы споро раздадим вознаграждение. Я закалил себя, как меч самого Господа. Его воля не будет прекословлена. Под Несби нас ждет успех, будь покоен, а засим я – вернее, мы – решим, как поступить с отбросами вроде рантеров, левеллеров или диггеров.

Смутившись и сузив взгляд, Айртон ответил слегка тревожным выражением:

– Не учините же вы гонения на тех мужей, что за наше дело бились отважно? Не посрамит ли нас отъятие прав у тех, кто требует

лишь вольности не попираешь, Великой хартией дарованные?

Здесь Кромвель снова рассмеялся – на сей раз горловым смешком, не таким громким и пугающим, как предыдущий приступ.

– Великая хертия, вот имя ей достойное! Старого короля Иоанна осаждали в замке недалеко отсюда шесть недель кряду, прежде чем принудили ее подписать. Подобные конвенции претворяются в жизнь лишь по праву силы, и по праву силы же отзываются, а потому поживем – увидим.

Голова старшего генерала – тяжелое пушечное ядро – перекатилась на шее, пока свинцовые глаза не вперились точно в Джона. Долговязый мальчишка-призрак прижался к загибающейся стене лестницы, на секунду поверив, что Кромвель глядит прямо на него, прежде чем понял, что сидящий лишь таращится в пространство, погружившись в мысли.

– Мы прибыли в судьбоносное место, где ход истории нередко переламывался. В крепости, стерегущей подножие холма, вероломно предали суду святого Томаса Беккета за исполнение воли Божьей, а не королевской. Окрест зачинались священные крестовые походы, а также наши первые парламенты. Всего лишь в полумиле к югу лежит коровий выгон, где Генрих Шестой уступил графу Марча в битве, положившей конец Войне Роз. Заверяю, сей град, сия земля – в них бьется сердце, и они с гневом взирают на королей и тиранов. Напряги слух, мой добрый Айртон, по-над воем ветра в трубах дымоходов я слышу рокот и рок Господних жерновов.

Со своего места на половине винтовой лестницы Джону показалось, что он их тоже слышит, но потом он решил, что звук наверняка принадлежал тяжелой пушке, которую катили в темноте по трясине Лошадиной Ярмарки снаружи. Задумавшись о том, что сказал Кромвель, Джон обнаружил, что вспоминает единственную строчку из «Духовной войны» Джона Баньяна, запавшую в память: «Душа! Здесь сам очаг войны». И это правда, с какой стороны ни посмотри. Нортгемптон, при всей своей малоизвестности, стал местом рождения необъяснимого множества конфликтов и местом

кульминации для еще большего множества. Крестовые походы, крестьянское восстание, Война Роз и Гражданская война – все начались или окончились здесь. Если же понимать слово «Душа» в прямом его значении, то есть как душу человеческую, то и она источник воинственности, будь это свирепая протестантская истовость Кромвеля или религия, которую исповедовал взрывающийся мученик с высших этажей Мэйорхолд. Душа – здесь сам очаг войны, и не поспоришь. Это послание сквозило за каждым форсированным маршем и поворотом кругом в зябком верхнем зале на улице Колледжа, когда Джон состоял в Бригаде мальчиков.

Из-за памятной цитаты он подумал и о другом Джоне – Джоне Баньяне, и задался вопросом, что поделывал в эту знаменательную ночь семнадцатилетний будущий автор. Ему, юному круглоголовому солдату, наверняка достался первый караул в гарнизоне Ньюпорт-Пагнелла, где Баньян служил в 1645 году. Возможно, он раскуривал трубку на посту и взирал на обильно высыпавшие звезды, пытаясь прочесть в них послание, что Христос скоро вернется и низвергнет короля Карла и ему подобных, а затем провозгласит в сердце земли английской новый Иерусалим. Создаст страну избранных святых, в числе которых себя видели и Джон Баньян, и человек в озаренном свечами чертоге.

Вырвавшись из мрачных раздумий, Кромвель взглянул на Айртона.

– Ответствуй мне, Генри, все ли твои люди сыскали, где встать на ночь? С первым же светом я поспешу осмотреть землю под Несби, посему скоро отправлюсь почивать. – Осознав, что его отпускают, Айртон едва ли не выдохнул с облегчением:

– Мы с полком расположились недалече и выступим оттоле на заре. Не смею вас задерживать, сэр, но лишь прошу вас, чтобы вы передавали мою искреннейшую нежность вашей дочери.

Джон запоздало вспомнил, что Айртон в итоге станет зятем лорда-протектора, женившись на его старшей дочери, Бриджет. Кромвель почти тепло усмехнулся и поднялся, со скрипом отодвинув стул.

– Заклинаю, не зови меня сэром, Генри. Мой слух услаждает слово «отец», ибо вскоре так тому и быть. Сей час корпел я над письмом домой, а набело переписав, буду лишь рад известить Бриджет о твоей аффектации. Но будет об этом. Возвернись в свой полк и в постелю, и да пребудет с тобой на заре Господь.

Отступив от стола, Кромвель подошел к Айртону, чтобы крепко пожать руку молодому человеку. Тот быстро моргнул и сглотнул комок, отвечая:

– И пребудет Он с вами, добрый мастер Кромвель. Желаю вам покойной ночи.

На этом беседа, похоже, закончилась. Кромвель открыл дверь перед Айртоном, тот вышел во тьму Лошадиной Ярмарки и тут же растворился в ней. Простившись с гостем, генерал-лейтенант вздохнул и подошел к винтовой лестнице в углу, прихватив по дороге мерцающие свечи. Сам того не зная, он потоптал трех призрачных детей и устало зашагал по ступеням – предположительно, направляясь в спальню на верхнем этаже здания. Переглянувшись, Филл и Джон поплыли дымкой за ним, потянув между собой крошечную тень Майкла Уоррена. Очевидно, обоим не терпелось узнать, как спится накануне своей самой знаменитой битвы будущему цареубийце и лорду-протектору.

Но у Джона все еще не шел из мыслей Генри Айртон. Хотя завтра утром его ждали рана пикой и плен роялистов, враги Айртон освободят его на последних этапах битвы из страха за свои жизни, когда силы парламентаристов изготовятся к смертельному удару. Он женится на Бриджет Уильямс, она же Кромвель, неразрывно связав свою судьбу с семейством Кромвелей на весь остаток короткой жизни. В 1651 году Айртон на службе в Ирландии попытается покончить с католическим бунтом, осадив Лимерик, оплот мятежников, где и сляжет от чумы. Однако смерть не избавит его от королевского возмездия девять лет спустя, когда после Реставрации новым монархом станет Карл Второй. Незадолго до разрушения Нортгемптонского замка свежеиспеченный король повелит выкопать

Айртона и его тестя из гробниц в Вестминстерском аббатстве и проволочить по лондонским улицам до Тайберна, где пару предадут уже избыточным повешению, дыбе и четвертованию. Как и во многих войнах, священных и не очень, когда заходила речь о манерах, на взгляд Джона, обе стороны хвалить не за что.

Филлис, Джон и Майкл уже были на верхней площадке Дома Хэзельриггов, преследуя Кромвеля, плетущегося с канделябром в руке к опочивальне. Ползущая за ним плечистая горбатая тень напомнила Джону иллюстрацию с фронтисписа «Путешествия пилигрима» из детства. Картинка была забавная, но не в реалистичном стиле, который предпочитал Джон, – правда, если мальчик не ошибался, написал ее Уильям Блейк, очень знаменитый и уважаемый человек, хоть, на взгляд Джона, он и малевал как ребенок. Та выцветшая репродукция изображала Христианина Баньяна с тяжким моральным бременем, взваленным на спину, отчего тот согнулся в три погибели над любимой книгой, которую читал на ходу. Этот же силуэт скользил у ног Кромвеля по площадке – благочестивый великан, следующий по пятам за будущим лордом-протектором, как и скопившаяся орда английской богобоязненной бедноты. Или, вдруг пришло Джону в голову, это набожный и жалкий теневой исполин гнал Кромвеля перед собой, а не следовал за ним? Чья воля на самом деле исполнилась в Англии в эту бурную и кровавую эпоху? Кто кем воспользовался?

Кромвель свернул из коридора в открытую дверь справа от детей, закрыв ее за собой. Не отставая, дуэт Джона и Филлис в погоне просочился сквозь доски проема, с Майклом Уорреном на поводу и серым хором остаточных картин, переливающихся за ними.

Опочивальня, оказывается, выходила переплетными ромбами высоких окон в противоположном конце помещения на Лошадиную Ярмарку. Через перекрещенные стекла Джон увидел порхающие в ночи бледные силуэты – странных соловьев в сопровождении черно-белых стоп-кадров и звонких трелей радости. Только заметив, что одно из необычных существ-аэробатов носит очки от

Национального здравоохранения, Джон понял, что Реджи, Марджори и Биллу надоело вызывать завихрения и они поднялись в воздух, рассекали над улицей и вопили, изображая настоящих привидений прямиком из страшных книжек. Джону показалось, что они демонстрировали поразительное отсутствие дисциплины, но не причиняли никакого вреда, так что он вернул внимание к громоздкой деревянной кровати – словно родом из сказки Ганса Христиана Андерсена, – служившей центральным элементом комнаты.

Кромвель сел на краю, утомленно стягивая сапоги. Возле закрытой двери на деревянном сундуке и рядом с ним Джон заметил покрашенный в черное доспех, как у Айртона, в который Кромвель облачится завтрашним утром. Вот только латы Кромвеля не подведут хозяина так, как Айртон, подумал Джон. В отличие от Айртон с уродливой раной от пики в плече, его будущий тесть переживет весь Несби и будет невредимым, разве что запыхавшимся, пока побежденных кавалеров сгоняют в тесный круг, а люди Фэрфакса насилуют и увечат женщин в захваченном обозе роялистов. Кое-что после завтрашней битвы Джон видел – или увидит – лично. Он помнил, что при первом посещении битвы именно из-за кульминационной сцены жестокости – с отрезанием ушей и носов – закопался обратно в свое время, незадолго до встречи с Мертвецки Мертвой Бандой. Из всех ужасов, что повидал Джон – и в Несби 1640-х, и во Франции 1940-х, – надругательство над женщинами роялистов – женами и возлюбленными, которых нарекли «шлюхами и подстилками» этой «порочной армии», – по невыносимости обходило конкурентов на корпус. Господи, это же женщины.

Кромвель уже разделся догола, кратко сверкнув мозолистой от седла задницей, прежде чем натянул длинную сорочку, лежавшую в сложенном виде на верхнем одеяле. Встав на колени, генерал-лейтенант извлек из-под кровати каменный ночной горшок и помочился, одновременно упустив между ягодич протяжный звук настройки тромбона, повергший Майкла, Филлис, а потом даже

Джона в беспомощный смех. Опроставшись и вернув тяжелый урильник с глаз долой в подкроватные тени, Кромвель не поднялся с колен, а сложил ладони и закрыл глаза, читая «Отче наш». Закончив с этим, он встал и затушил все три огонька, плясавших на канделябре, оставленном на простом комодке подле окна. В темноте на улице один за другим померкли три соответствующие звездочки отраженного света, освободив ночь для Реджи, Билла и Марджори, залиvistое хихиканье которых Джон слышал до сих пор, пока они парили в черных небесах над Лошадиной Ярмаркой. Крякнув из-за затекших суставов, Кромвель забрался под одеяла. Удивительно недолго поворчав и поворочавшись, он заснул – по всей видимости, нисколько не обеспокоенный резней, что ожидала его с рассветом.

– Ну. Кажись, все на этом.

Филлис казалась разочарованной, и Джон был вынужден признать, что чувствовал себя так же. Его словно подвели, хотя он сам не знал, чего ожидал. Сомнений и слез, наверное, или ехидного злорадства, как от негодяя из субботних картин в «Гамоне»; маниакального хохота, чтобы нагонять страх на малышей в кино, грошовой жути?

Пока Кромвель довольно храпел, Джон подплыл к окну, чтобы взглянуть, как бедокурили трое его коллег. Прищурившись сквозь исполозованное свинцом стекло, он увидел, как они болтаются на ночном ветру высоко над улицей. Очевидно, они спугнули голубей с насестов на карнизах Лошадиной Ярмарки и теперь гоняли ошарашенную птицу в летней дымке на фоне трех четвертей сливочной луны и ее короны. Джон подозвал Филлис и Майкла от их места у кровати, где они развлекались тем, что совали призрачные пальцы в черные зияющие ноздри ее спящего хозяина.

– Эй, оставь нос в покое и глянь, что твой малой и остальные лоботрясы вытворяют, пока мы тут.

Предводительница банды и ее маленький подопечный послушались Джона. Скоро они стояли рядом, тыкая пальцем в окно и комментируя то с восторгом, а то с упреком, пока их оголтелые

коллеги туркали перепуганных птиц в лунных лучах высоко над Нортгемптоном. Этим развлечением три ребенка увлеклись до такой степени, что на миг совершенно позабыли, где они находятся. Тем большим шоком стал глубокий голос, раздавшийся из темноты позади.

– Кто вы и что вам понадобилось?

Майкл вскрикнул и схватил за руку Джона. Фантомные дети в испуге развернулись и встретились лицом к лицу с мальчиком одиннадцати лет с кислой миной, стоявшим голым возле постели, где все еще похрапывал Кромвель, и прожигавшим их взглядом из теней. Юнцу не повезло пострадать от самой ужасной прически, что видел Джон, – короткая серая щетина шла до самого затылка, где начиналась стрижка под горшок. Из-за темных волос мальчик напоминал поганку, а его рябые и бледные до свечения лицо и шея служили черному ядовитому грибу мыльным полупрозрачным стеблем. Мысли Джона забегали, пока он пытался понять, что это перед ними, а взгляд искоса на Филл подтвердил, что она тоже терялась в догадках. Майкл же просто стоял, так распахнув веки, словно пытался одной силой воли выпихнуть глазные яблоки из орбит.

– Я спрашиваю вновь, что вам понадобилось в доме молотца. Отвечайте немедленно и без угроз!

Все дело в мужском голосе, думал Джон, который исходит от мальчишки, едва ли достигшего переходного возраста, если судить по одинокому волоску на оголенном лобке. То, как мальчик строил предложения, то, как сказал «молотца», хотя явно подразумевал «моего отца», предполагало, что он недавно умер и ему еще не попала в рот Лючинка. С другой стороны, нервные движения мальчика не сопровождало обычное визуальное эхо, и это предполагало, что он еще жив. А с третьей стороны, он их видел, чего в обычных обстоятельствах быть не может, если он не скончался.

Или не спит.

Все встало на свои места. Джон узнал взрослую интонацию в тот же миг, когда заметил зачатки бородавки между подбородком и нижней губой мальчика. Повернувшись ко всей еще не пришедшей в себя Филлис, Джон позволил себе самодовольный смешок.

– Всё в порядке. Я понял, кто это.

Он посмотрел обратно на голого огольца, застывшего у кровати.

– Всё в порядке, Оливер. Это всего лишь мы. Ты же нас узнаешь?

Теперь настал черед удивляться юнцу. Заморгав, он перевел взгляд с Джона на Майкла, а затем на Филлис, пытаясь вспомнить, откуда их знал, если вообще знал.

Кромвель видел сон. Во сне он видел себя в возрасте, когда был мал и слаб, но все же сохранил голос старшего и властного себя, – возможно, это стало для него второй натурой, которую отбросить непросто. Джон понятия не имел, кем представлял себя генерал-лейтенант или куда, по мнению дремлющего разума, попал. Только помнил, что сновидцы податливы и все, что им скажешь, они принимали на веру и сами внедряли в ткань своего сна, как могли. Молодой Кромвель прищурился на них, словно наконец определился:

– Да. Теперь я вижу. Вы мои детки, Ричард, Генри и дорогая красавица Френсис. Не нарушайте покой вашего отца, наутро его ждет много дел. Ступайте читать красные низы!

Джон решил, что последнее слово должно было быть «катехизисы». Очевидно, теперь Кромвель поверил, что они его дети, несмотря на то, что во сне видел себя слишком маленьким для того, чтобы их породить. Такова непритязательная логика сновидений. Но Джона больше заинтриговала реплика нагого мальчика о делах наутро. В спящем разуме генерала теплилось смутное осознание грядущей битвы? Он решил углубиться в эту тему.

– Отец, мы уже прочли молитвы, ты забыл? Расскажи нам, что будешь делать завтра утром.

Мальчик серьезно кивнул, растревожив черный гриб примитивной стрижки.

– Я буду сражаться с Папой Карлом, а коли одолею его, срублю ему бороду. Потом принесу ее, с бровью на лице, вашей матери, чтобы она повесила ее над камином.

Филлис прыснула со смеху. Не понимая, что тут смешного, Джон опустил взгляд на пах малолетнего Кромвеля и увидел, что писька парнишки стоит столбом, указывая на доски потолка спальни без ведома своего хозяина. Джону стало неудобно, особенно в присутствии Филлис. В невоплощенные намеки любви между ним и Филл было не так просто верить при наличии эрекции в комнате, даже миниатюрной. Он попытался увлечь дремлющий разум Кромвеля на менее будоражащую воображение территорию.

– Отец, а что будет, когда ты победишь? Что потом?

Сперва эта тема как будто не подкосила непослушный член мальчика – напротив, только ухудшила положение. Серые глаза загорелись от грез о будущей славе, Кромвель становился возбужденней с каждым мигмом. С полыхавшим факелами взглядом, прикованным к каким-то несказанным горизонтам, мальчик улыбнулся и отвечал голосом, притихшим от благоговения перед собственным великолепием.

– Что же, тогда я сам стану Папой.

Восхищенное выражение самодовольства отрока продержалось недолго, прежде чем его затмила зябкая тень тучи сомнений. На лице юного лорда-протектора вдруг отразился испуг, и Джон с облегчением увидел, как возбуждение улегается. Когда голый ребенок снова заговорил, взрослый голос исчез как не было, а его место занял дрожащий и пронзительный писк струхнувшего одиннадцатилетнего мальчишки:

– Но коли я сам стану Папой, разве Бог не прогневается на меня? И бредные, низшие люди, что следовали за мною, прогневаются, когда я облачусь в пурпур. Во гневе они найдут меня. Срубят бороду с плеч. Помогите мне! Скажите им, что ваш отец был ребенком, таким же, как вы, и не ведал, что творил. Вы должны...

Здесь мальчик осекся, а во взгляд вернулась серая сталь взрослой личности. Голос снова прозвучал грубым рычанием мужчины:

– Вы не мои дети.

Прыщавое лицо исказилось и стало взбешенной маской, нагое тело плавно замигало, словно изображение на телевизоре с плохим приемом. Сбоили и видимость, и звук, так что все, что говорил мальчик, перемежалось помехами. Тем временем дремлющее тело на кровати – темная масса, видимая только в расшитом люрексом ночном зрении детей, – забормотало в жутком контрапункте мерцающей и прерываемой речи Кромвеля-сна:

– ...безотцовщина, ублюдки без роду и племени, рыщут... половина шлюх Ньюпорт-Пагнелла говорит, что понесли от Святого Духа! Доберусь до вас... не то меня навеки приколют к страницам истории, как серого мотылька... Отец? Оставь меня! Я не... фейри. Это демоны, призраки или фейри, и они заглянули в мои...

Филлис толкнула Джона, наклонившись над стоявшим между ними Майклом.

– Видать, просыпается. Текаем наружу, глянем, что чудят наши дурни, пока Билл не натворил каких дел.

Все еще с болтающимся между ними Майклом Джон и Филл отвернулись от зыбкого привидения сна-юнца и скакнули в стену Дома Хэзельриггов, пройдя через каменную кладку, которая на 1645-й простояла не больше десяти лет. Пролившись на непролазную грязь улицы серым водопадом снимков, дети отряхнулись, а потом вгляделись в темноту в поисках остальных членов банды.

Джон заметил их первым – они все еще пугали голубей под ночным небом, похожим на черничный кордиал с плотным осадком тьмы на дне, разбавленным лунным светом наверху. Он видел хвосты остаточных изображений, черкающих по молочному своду, словно грязные шерстяные шарфы футбольных болельщиков, и вычислил их нынешнее занятие по резкому и припадочному дождю из птичьего помета, брызгающему на слякоть Лошадиной Ярмарки с

высоты. По мнению Джона, когда птичка делала свои дела тебе на голову, мертвому еще хуже, чем живому. Конечно, ты избавлен от хлопот и можешь не смывать мерзость с волос и одежды, но на другой чаше весов – когда дерьмо падает прямо сквозь себя и ты почти что чувствуешь, как оно проносится от черепа к шее, расплескиваясь на выходе у пяток черно-белым пятном. Джон даже решил, что в полутонах призрачной стежки голубиный помет выглядит еще хуже, чем в «Техниколоре» смертных. Еще одна из немногих вещей, вроде раскаяния и неудовлетворенности, которые продолжали действовать на нервы даже после смерти.

Филлис, пострадавшая от воздушной бомбардировки не меньше Джона, потеряла самообладание и провозгласила, что «счас взлетит и уши им всем надерет». Легонько оттолкнувшись для разгона, она с трудом поплыла через более плотный и стабильный воздух стежки импровизированным кролем. Только спустя полминуты, когда она поднялась от них метров на пять, Джон осознал, что они с Майклом пристально заглядывают ей под юбку. Он решил завязать разговор, чтобы перевести внимание на что-то более приличное.

– Ну и как тебе Мертвецки Мертвая Банда, малёк, раз ты с нами познакомился поближе? За себя скажу – намного веселее, чем служить в армии.

Лошадиная Ярмарка вокруг уступала темноте. Между входами на Пиковый и Меловой переулки и освещенными дверями «Черного льва» еще шатались парочки – солдаты брели под руку с хохочущими и нашептывающими женщинами, льнули друг к другу так близко, что напоминали участников в хмельной и развратной гонке на трех ногах. Рассыпанные на склоне под черным боком замка костры выгорели до угрюмых углей, и, не считая пошлого бормотания пьянчуг, единственный звук издавали летучие мыши – пронзительные вскрики со шпиля церкви Святого Петра. Майкл поднял взгляд на Джона, и его светлые колечки волос умножились от движения, так что на миг он показался отмытым Степкой-растрепкой или беленым голливогом.

– Мне очень нравится. Нравится лазить в разные дни, и вы все хорошие, особенно Филлис. Но я скучаю по мамке и папке, и бабуле, и сестричке, и хочу скорее к ним вернуться.

Джон кивнул:

– Ну, это можно понять. У тебя наверняка хорошая семья, если судить по папе. Но ты не забывай, что все твои приключения с нами не занимают никакого времени. В мире живых ты блесть мертв всего несколько минут, если верить тому, что говорят. Если так посмотреть, не успеешь ты и глазом моргнуть, как будешь с родителями, а все это забудется, как и не блесть. Я бы на твоём месте наслаждался, пока мог. А кроме того, мне твоя семья – не чужие люди, и я уже начинаю к тебе привыкать.

Майкл задумался, сузив глаза и посмотрев на старшего мальчика.

– Это потому, что ты знал моего папу и играл с ним?

Джон усмехнулся, протянув четыре-пять левых рук, чтобы встрепать волосы Майкла.

– Да, что-то в этом роде. При жизни я знал всю семью твоего папы. Как там старая Мэй, его мамка? Все еще наводит ужас? И как твоя тетка Лу?

Он сам не понимал, зачем до сих пор скрывает всю правду от Майкла, хотя не в натуре Джона было секретничать. Он еще сомневался, когда впервые услышал фамилию Майкла, та ли эта семья Уорренов, что он знал, и в то время что-то говорить не было смысла – вдруг Джон ошибся. Затем, когда все подтвердилось, он продолжал наслаждаться своим тайным знанием, тем, что не было известно даже Филлис – хотя и это не вся причина, если быть до конца честным. Главным образом он не хотел отягощать Майкла истиной о том, кто такой Джон, и их истинной связи. Не хотел, чтобы мальчик или кто угодно из этой семьи услышал из первых уст о том, как Джон погиб во Франции, как ему было страшно, как он набирался духу дезертировать, когда они попали под обстрел на том проселке. Вот настоящая причина, почему он столько лет после смерти обитал в заброшенной башне, а не отправился напрямиком в

Душу. У него была нечистая совесть, как и у Мика Мэлоуна, Мэри Джейн или любых других местных неприкаянных, потому что и Джон, и Бог знали: в сути своей Джон – трус. Лучше не ворошить прошлое. Лучше поддерживать невинную ложь, и пусть стоящий рядом в задумчивости малыш остается в блаженном неведении о том, каким может быть мир и каково в нем приходится маленьким мальчикам из хороших рабочих семей. Майкл все еще взвешивал вопросы Джона, прежде чем предложить ответы:

– Ну, бабка мне нравится, но иногда она очень страшная, и мне снятся сны, где она за мной гоняется. Тетя Лу – как смешная сова, и она смеялась, когда брала меня на руки, а я чувствовал, как по ней пробегает смех. И бабка тоже добрая. Если мы приходим к ней в гости, она дает нам с Альмой по яблочку и конфетке из банки на серванте.

В лунных просторах над головой Джон различал серую комету с хвостом блекнувших фотографий, – скорее всего, Филлис, – которая гнала триумвират таких же оперенных картинками духов обратно к земле. Казалось, будто призрачные дети обводят на небе рисунки по точкам-звездам. Он улыбнулся Майклу:

– Нет, она же не плохая, твоя Мэй. Знаю, блесть такое, что она нагоняет страх божий, но это от тяжелой жизни с тех самых пор, как она родила в канаве на Ламбет-уок. Ты ее не суди строго.

Четверо других членов Мертвецки Мертвой Банды к этому времени оказались в пределах слышимости. До Джона донеслось, как Филлис отчитывает на спуске Билла.

– ...А если гоняешь голубей, Третий Боро все прознает! Ну смотри, неслух, как он превратит ты самого в голубя, а потом спечет из ты голубиный пирог!

Биллу – увлеченному баттерфляем, во время которого из-за остаточных изображений у него из плеч словно росли колеса телеги, – было хоть бы хны. Широкая улыбка так и грозила прорваться и испортить покаянное выражение рыжего озорника. Вскоре Филлис завела троих шалунов на посадку, а затем сама

встала на Лошадиной Ярмарке – пепельный одуванчик или, как их всегда звал Джон, «лунное лицо», рассыпающее за собой в ночном небе зонтики изображений.

После того как Филлис устроила короткий показательный суд для троих негодников и озвучила обязательный, на ее взгляд, список обвинений, банда проголосовала, каким маршрутом возвращаться в тысяча девятисотые. После пересчета рук – около пятидесяти, если включать все остаточные изображения, – единогласным решением стал несколько обходной путь через «Таверну Черного льва» дальше по дороге. Единственным воздержавшимся на собрании был Майкл Уоррен, который, как полковой символ, все равно не имел права голоса. Джон сочувствовал желанию Майкла просто вернуться домой, но ведь все, что он сказал ранее о скоротечности их походов относительно мира смертных, куда скоро отправится Майкл, было правдой. Не кривил душой Джон и тогда, когда говорил, что полюбил малыша и не хотел, чтобы тот уже вернулся к жизни и позабыл все произошедшее.

Банда двинулась по Лошадиной Ярмарке к замку, где на склонах уже угасли все солдатские костры. Слева они прошли обитель летучих мышей в церкви Святого Петра, где подобный собачьему свистку писк пронзал даже звукоизоляцию призрачной стежки. В тенях ворот Джон разглядел обмякший силуэт призрака хромой попрошайки, которую встретил в первый посмертный визит к церкви, но не стал привлекать к ней внимание других детей. Неподвижная и молчаливая, она наблюдала, как они проходят мимо, и ее светящиеся глаза висели в темноте равнодушно.

«Черный лев» все еще гудел, когда до него дошли дети, хотя дверь была закрыта. Пройдя сквозь нее, Джон оказался в пугающе знакомом помещении паба, хотя люди и их времяпрепровождение внутри отличались разительно. Осоловелые круглоголовые наливались густым пивом, пытаясь забыть, что сегодня может быть их последняя ночь на земле, тогда как другие, с женщинами на коленях, шарили израненными пальцами под кружевными слоями

юбок. Комната – двух уровней, как и во время Джона, с соединяющими их тремя ступеньками, – была сделана почти целиком из дерева. Единственным металлическим элементом казались начищенные масляные лампы и тяжелые кружки, если не считать присутствующих мечей и шлемов, а за исключением окон, стекла внутри не было вовсе. Одинокий квартет бутылок – предположительно, с горячительными напитками, – стоявший на пустующей полке за стойкой, был из камня. Джона удивило, как сильно настроение паба менялось из-за отсутствия мерцающих отблесков в висящем чаду, но нашлись и многие другие неожиданные несходства.

Один из столов в стороне был заставлен едой – мисками испорченных фруктов, ломтями сыра и недоеденным караваем, луком, горчицей и ветчиной, нарезанными до жопки, – а над ней крутилась труппа мясных мух с жемчужными брюшками. Между ножек стульев шарилась две-три собаки, а шум таверны казался Джону сдержанным – даже не считая того, как приглушала звук прозрачная стежка. Нынешняя болтовня, включая разговоры бойцов с подружками, современным ушам казалась тихой и почтительной. За исключением редкого громкого топота сапог по полу, когда кто-нибудь отправлялся в туалет на заднем дворе паба, или слабого храпа коней из денников там же, и в отсутствие знакомого звона стекла по стеклу никаких звуков больше не было. Эту тишину даже нельзя было назвать современной – ее не подчеркивал ход тикающих часов.

Билла и Реджи как будто заинтересовали бесстыдные блудни по темным углам таверны, но Джону это не нравилось, и он был рад, что Филлис разделяет его чувства. С армейской четкостью, скрывавшей взаимное смущение, они организовали банду в очередную человеческую башню – на этот раз с Реджи внизу и Биллом на его плечах, который и скреб обеими руками накопившееся время на потолке таверны. Раскопка трех сотен лет явно заняла бы немало времени, и Джону, Майклу и двум девочкам

оставалось только неловко стоять среди почти немого разврата и пытаться найти взглядом хоть что-нибудь приличное.

Беспокойно бегая глазами по полутемной комнате, Джон с удивлением осознал, что он с пятью товарищами – не единственные фантомы, навестившие «Таверну Черного льва» в этот конкретный вечер. У стены на длинной деревянной скамье, как в церкви, сидел один из войска круглоголовых – веснушчатый девятнадцатилетний парень практически без подбородка, – с женщиной, лет тридцати и с жестким лицом, мягко постанывающей у него на коленях, прижимаясь спиной к его животу. Длинные юбки были расправлены в безуспешной попытке скрыть очевидный факт, что юнец вошел в нее, пока она исподтишка двигалась вверх-вниз, пытаясь выдать распутство за ритмичное ерзанье.

По сторонам от этой не такой уж и скрытной сношающейся парочки сидели двое мужчин средних лет в длинных рясах – тучный и тонкий, – которых Джон сперва принял за друзей любовников. Хотя дружба должна быть необычно тесной, подумал он, чтобы посвящать знакомых в такие интимные дела, но что Джон знал о моральном климате тысяча шестисотых, где вообще приемлемо заниматься прилюдным сексом в баре? Только когда один из двоих поднял веер из нескольких рук, чтобы почесать над бровью, Джон осознал, что они оба – призраки, духи-вуайеристы, о которых шлюха с солдатом не подозревали. Приглядевшись поближе, Джон понял, что подглядывающий дуэт – какие-то монахи, возможно, ключницы из монастыря, стоявшего к северу три-четыре сотни лет назад. Каждый сидел, набожно сложив руки на коленях, не скрывая приподнявшиеся бугорки на ризах, и наблюдал с предельным вниманием за пыхтящим солдатом и его блудницей. Два брата были так увлечены, что даже не заметили в нескольких футах от себя других призраков – причем детей, негодовал про себя Джон.

Но вдруг картина изменилась от лишь гадкой к невыразимо гротескной. Один из монахов-привидений – пухлый, сидевший дальше от Джона – снял толстую ладонь с коленей и прежде, чем

Джон пришел в себя, погрузил ее в ручей остаточных изображений, прямо в передник наездницы, вогнав руку по локоть в скачущее тело, о чем она даже не подозревала. Судя по сальной улыбке, избородившей сытые щеки монаха, и по внезапно ускорившимся охам и возбужденным содроганиям голубков, казалось, будто монах дотянулся мясистой лапищей через живот женщины до самого солдатского... Джона замутило, и он отвернулся. Он ни разу не видел, чтобы мертвецы занимались таким, даже не воображал. Ну что ж. Вечность живи – вечность учись.

К счастью, похоже, больше никто не заметил противной сцены, и как раз в этот момент Билл ликующе объявил, что его ход в двадцатый век готов. Филлис первая взобралась по лестнице из Билла и Реджи, исчезнув в бледном провале с поблескивающими краями, выкопанном в штукатурке потолка между закопченными балками. Следующим поднялся Майкл, многочисленные фотографии которого растянули короткую ночнушку до тартанового свадебного платья. За Майклом последовала Марджори, за ней тут же – Билл, предоставив сперва Реджи, а потом Джону прыгать во временную дыру с пола, всплывая в вязкой атмосфере призрачной стежки.

Только когда Джон ворвался через отверстие и оказался в искусственном жилище со множеством закругленных углов, где Филлис песочила Билла горячее обычного, он понял, что что-то пошло не так. Это не 1959 год. Они стояли в просторной и стерильной комнате, словно на кухне суперсовременной больницы, где была стальная раковина, какая-то стильная и сложная плита и два-три других громоздких металлических ящика с круглыми ручками, о функциях которых Джон не имел представления. У дверей стояла дюжина пластмассовых бутылок отбеливателя в виде игрушечных «жужжащих бомб», у которых откручивались боеголовки. Их удерживал в кубической формации слой облегающего полиэтилена, словно нанесенного спреем. В картонной коробке под единственным залитым дождем окном лежали какие-то подкожные иголки будто из Страны игрушек: хлипкие штучки в

отдельных прозрачных упаковках. Приглядевшись поближе, Джон увидел, что всюду, где было место, беспорядочно стояли несметные коробочки с флаконами таблеток, а также валялись приобретенные оптом мешки овса и риса, пачки с консервами детского питания и несообразный набор других медицинских или кулинарных массовых закупок. Плакаты на картонной доске у одной стены были испещрены именами и слоганами, совершенно невразумительными для Джона: «КОРПУС СВЯТОГО ПЕТРА; НЕ КАДРИТЬСЯ, НЕ ТОРЧАТЬ; ШУМ УБИВАЕТ; АМНИСТИЯ ДЛЯ БАЛЛОНЧИКОВ И ТАЗЕРОВ; НЕ ДАЙТЕ C-DIF СТАТЬ C-IMP [74]; ПРИЗНАКИ СЕКС-ТРАВМ; ПРИЗНАКИ КОНФЛИКТНЫХ ТРАВМ; КАК РАСПОЗНАТЬ ВОРОБЬЯ; ЖИЛЬЦЫ ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА»... Куда их, черт возьми, занесло? Джон уже хотел спросить Филлис, но не успел, как она сама обернулась к нему с изможденным видом и объяснила:

– Он прокопал нас слишком высоко, бестолковщина. Мы в двадцать пятых, в корпусе Святого Петра. Ты ток глянь на этот чертов дощ!

Джон бросил взгляд в окно – вроде бы на Холм Черного Льва, но вид оказался незнакомым. Лошадиная Ярмарка стала неузнаваемой благодаря паркету из бледных плиток на месте некогда мостовой, а затем асфальта. За проливной пеленой дождя он видел стеклянный надземный переход, изогнувшийся над устьем сильно изменившейся дороги Святого Андрея, чтобы соединить расползшуюся Замковую станцию с бугром у основания Мелового переулка, где когда-то стояла давно снесенная башня Джона. Теперь на другой стороне переулка на фоне старых и простых зданий разительным контрастом торчали постройки, напоминавшие раздувшиеся банки «Мармайта», придуманные то ли шутки ради, то ли на спор. Нарочито футуристический мост – прозрачная кишка, тянувшаяся поперек пейзажа с запада на восток, – казался Джону безвкусной мирской попыткой повторить Ультрадук, земной копией захватывающего дух монумента, тянувшегося от церкви Доддриджа. Под мостом и ливнем по дороге Святого Андрея шипели необычные машины, не

сворачивающие на Лошадиную Ярмарку, вроде бы перекрытую для пешеходного движения. Бо льшую часть транспортного потока составляли автомобили в форме кирпичей, на которые Джон посмотрелся в ходе недавнего экскурса в пятый или шестой год, но встречались и куда более странные средства – почти плоские устройства, напоминающие армированные скейтборды, совершенно бесшумные и одинаково черные. Даже Реджи Котелок, автомобильный фанат банды, стоял у окна, задвинув шляпу и озадаченно почесывая в темных вихрах. Филлис кипела, отчего на самом деле казалась только красивее.

– Еще чуть дальше – и мы бы влезли в гребаный Снежный Город! Вот он же эт нарочно, пушта я не разрешила позырить, как лапают старых прошмандовок в тыща шиссотых!

Билл запротестовал:

– Ага, а када ты копала на улице Алого Колодца, все блесть совсем по-другому, да? Старая карга, раскомандовалась тут! А че бы нам и здесь не осмотреться, раз зашли? Познавательное путешествие, а ты сама говорила, что это хорошо, раз я ток несмышленыш.

Филлис надменно фыркнула:

– А ты и блесть несмышленыш, да ишо и зараза мелкая. Ну лан, можно и тут прогуляться, раз уж ты нас притащил. Но ток пару минут, а потом сразу назад, в дырку к Кромвелю, чтоб пойти другим путем в церковь Доддриджа.

Утопшая Марджори, стоя у маленького деревянного шкафчика, забитого книжками в мягких обложках с загнутыми вместо закладок страницами – несомненно, желая расширить познания о литературе двадцать первого века, – взглянула на остальных из-под очков – бутылочных донышек.

– Эта дверь, кажется, ведет в коридор к крылу, занимающему двор Святого Петра. Я помню это по «Возвращению в Снежный Город», сразу после «Мертвецки Мертвой Банды против Ненской Бабки» и до «Инцидента с Обратным Поездом».

А Марджори превращалась в натуральную тараторку. Но Джона впечатлило, что она хранила приключения банды в уме в таком строгом порядке, хоть это, по правде, больше были детские игры, чем героические подвиги. Шесть призрачных детей высыпали через дверь опустевшей больничной операционной или кухни, в которую прокопались, и оставили дыру во времени незакрытой в ожидании их скорого возвращения в семнадцатый век.

За дверью, как и предугадала Марджори, был коридор. При нем сбоку имелась рекреация, напоминавшая детскую игровую комнату, где под присмотром терпеливого лысого мужчины лет пятидесяти дюжина младенцев всех национальностей малевала порошковой краской какую-то мазню. Хотя освещение в комнате было тусклым, Джону показалось, что в этом больше виновата погода, чем позднее время, – оно, по его оценке, только клонилось к вечернему. Календарь, который Джон заметил в операционной/кухне, – с дебелий дамой из Армии Спасения, вдруг резко вспомнил он, голой, за исключением чепца и тромбона, – говорил, что на дворе июль 2025 года, хотя снаружи было слишком холодно и промозгло для разгара лета.

Дверь в дальнем восточном конце коридора пропускала к паре разборных спален, разделенных занавесками, висящими на рельсах, на полдюжины скромных кабинок. Первое помещение, похоже, было женским – там несколько женщин разных возрастов смотрели огромный телевизор, где голые парни сидели в какой-то разновидности общей бани или бассейна и говорили друг другу, что они «уже задолбали». Скучающая публика этого безнравственного зрелища отпускала о программе презрительные комментарии с норфолкским акцентом. Джон предположил, что мужская спальня должна быть за закрытой дверью в другом конце комнаты, и подошел к Майклу Уоррену, который подпрыгивал, пытаясь выглянуть в заднее окно.

Оно смотрело на юг, на местность за церковью Святого Петра и то, что осталось к этому году от лужайки, где в детстве Джон играл с

папой Майкла Уоррена. Джон смилостивился и поднял скачущего ребенка, чтобы тот посмотрел, – хотя из-за дождя видно было немного.

– Не на что смотреть, а? А не хочешь прыгнуть сквозь стену и прошвырнуться по округе? Мы не намокнем, ведь дождь падает сквозь нас.

Майкл с сомнением нахмурился, глядя на Джона.

– А когда он полетит сквозь животик, блеснет так же гадко, как от птичьих какашек?

Ухмыляясь, Джон покачал своей головой благородного изваяния, распавшись на серию портретов мужественных кинозвезд.

– Нет. Когда сквозь тебя идет дождь, он кажется очень чистым. Пошли. Филлис и остальные еще долго блеснут здесь слоняться, у нас вагон времени. Помни, что я говорил: в мире живых все это промелькнет как молния, так что пользуйся возможностью исследовать, пока она блещет.

Майкл задумался на пару мгновений, а потом согласно кивнул. Все еще держа завернутого в клетчатую материю ребенка в руках, Джон сделал шаг через скорлупу стекла и штукатурки под серебряный душ, падая вместе с дождем и обязательными остаточными картинками на орошенный дерн церковного двора этажом ниже. Приземлившись, Джон поставил Майкла на влажную почву, и затем, руку об руку, они обплыли западный фасад церкви в направлении ее тылов. Джон был приятно удивлен, что вся смешная или страшная саксонская резьба на каменном фронте осталась невредимой, хотя, когда они с Майклом зашли за церковь и выглянули из-за черных прутьев забора у остатков роши, приятные сюрпризы кончились.

Зеленой улицы не было. Слоновьего переулка, переулка Узкого Пальца – не было. Школьная улица преобразилась в безликие форты из офисов или квартир, подозрительно пустующего вида. За изменившимся ландшафтом кривым ударом скальпеля пролегал уродливый хирургический шрам широкого двухрядного шоссе,

сбегавшего с Холма Черного Льва далеко на юг, за серую пелену осадков, к парку Беккетта и Делапре – далекому горизонту, где нельзя было понять, где кончается высокий бетон и начинаются надвинувшиеся грозовые тучи. Сама лужайка, заброшенная и неухоженная, лишилась краев и четкости, характера. Теперь это была просто бессмысленная трава, тающая под дождем в ожидании землемеров, девелоперов. Стоя рядом с Джоном с дрожащей губой, Майкл Уоррен издал скулящий звук, полный разочарования.

– Улицы в конце луга нет, прямо как моей улицы на дороге Андрея. А там жила моя бабка!

Напустив на себя спокойный вид, Джон, отвечая, старался не смотреть на Майкла.

– Да, знаю. Там рос и твой папа, с братьями и сестрой. Там умер твой прадедущка, сидя между двух зеркал с набитым цветами ртом. Столько всего случилось в этом маленьком доме, а теперь...

Джон замолк. Больше добавить было нечего, не раскрыв то, что лучше держать при себе. С плетущимися за ними через кладбище копиями мальчишек, словно похоронной процессией, Майкл и Джон вернулись тем же путем к двухэтажному сборному зданию, торчащему на оскверненной земле по соседству от осовремененного «Черного льва». Это означало, что они миновали обелиск из черного камня, стоявший в нескольких футах к западу от древней церкви, на который Джон не обратил внимания, когда всего пару мгновений назад они проходили в другую сторону.

Блестящий под моросью, словно китовая шкура, темный монумент оказался военным мемориалом. Его не было на виду, когда Джон нанес первый и единственный визит к этому месту сразу после бестелесного возвращения из Франции, после чего местные призраки отбили у него охоту приходить еще. Он помедлил, чтобы приглядеться, из-за чего остановился и Майкл. Только Джон начал читать надпись, когда малыш у его бока вскрикнул и показал на основание стелы:

– Смотри! У дядьки такая же фамилия, как у меня!

Джон посмотрел. Майкл был прав. Пару секунд никто не говорил.

– Так и блесть. Ну ладно, пора вернуться к Филлис и остальным, посмотрим, чего у них там. Давай, пока они не уползли в 1645-й без нас.

Рука об руку два привидения скользили среди падающих капель и прошли сквозь слои изоляции нижнего этажа пристройки к пабу, где красивая и мощная цветная женщина с ужасным шрамом над глазом говорила в какое-то устройство возле уха, напоминающее расплющенную банку из-под сардин.

– Вот не надо ля-ля. Правительство перевело эти деньги уже недели назад, когда наводнение было в Ярмуте. У меня тут два десятка человек, и некоторые болеют, а некоторым нужны лекарства. Не надо мне рассказывать, что деньги должны пройти по каналам, когда сраный чек лежит на твоём счету, чтобы управа стригла проценты.

Короткая пауза, затем амазонка продолжила грозную тираду:

– Нет. Нет, это ты послушай. Если бабло не скинут на счет корпуса Святого Петра максимум к следующему вторнику, в следующую пятницу я выступлю в Гилдхолле с полным списком ваших делишек с Управлением по чрезвычайным ситуациям. Нацеплю большой и черный и нагну твоих приятелей так жестко, что они еще месяц не смогут сидеть в управе. Вот и думай.

С ухмылкой, перекосившей ее пышные блестящие губы, напомнившие надувной бассейн, женщина захлопнула крышку на банке сардин, презрительно закинув ее во внутренности мультяшной собаки, распластавшейся со вскрытыми потрохами на рабочем столе, в которой Джон не сразу признал сумочку. Откинувшись в офисном кресле, пролистывая файл с неглубокого кабельного лотка на столе, женщина была великолепна, не похожа ни на одну, что Джон встречал прежде. Хотя он не терпел, чтобы женщины ругались, и хотя его вообще никогда не привлекали те, кого он называл полукровками, эта обладала какой-то особой атмосферой или аурой, приковывающей взгляд. Она лучилась той же энергией, что и Оливер

Кромвель в короткой прогулке отсюда по Лошадиной Ярмарке и в четырех сотнях лет назад, за тем исключением, что горевшая в ней сила была не такой черной и тяжелой, как мощь, kloкочущая в лорде-протекторе.

Кроме того, она выглядела куда здоровее и привлекательнее. Ее до нелепого роскошная грива плетеных косичек спадала на плечи – обнаженные, как и плотные неженские руки бодибилдера из-под коротких рукавов футболки. На футболке была голова мужчины с почти такой же прической, как у хозяйки, и со словом EXODUS над ним и фразой ДВИЖЕНИЕ НАРОДА ДЖА – под ним. Женщина была не старше сорока, но сияние молодости портил взрослый и нешуточный на вид рубец над левой бровью. Он не столько осквернял ее красоту, сколько придавал молодому лицу силы и серьезности. Джон как раз думал, что из-за могучих мужицких рук и облика решительного благородства она казалась карибской Жанной Д'Арк, когда сложил два и два и вспомнил, где слышал о девушке, выпалив ответ вслух Майклу Уоррену.

– Это же святая. Та самая, о которой я слышал, она помогает беженцам в двадцать пятом. Кажется, я слышал, что ее называют Кафф – наверно, сокращение от Катерины. Она здесь впервые испробовала какое-то лечение, которое спасет немало жизней по всему миру – жизней тех, кто убегает от войн, потопов и всего такого. Говорят, в сороковых люди называют ее святой. Она самый знаменитый человек из Боро этого века, и вот нам довелось ее повидать.

Майкл вопросительно взглянул на ничего не подозревающую женщину.

– А откуда у нее такая страшная царапина над глазом?

Джон пожал плечами, которые на миг размножились.

– Не знаю. Я вообще о ней мало знаю, если честно, кроме того, что она святая. В любом случае хватит терять здесь время. Найдем вход на первый этаж и соберемся с Филлис и остальными.

Обойдя богиню, закончившую изучение папки и заменившую ее другой из того же кабельного лотка, Майкл и Джон вошли в стену кабинета и оказались в коротком коридоре, из которого наверх поднималась лестница. Когда пара поплыла на встречу с остальной Мертвецки Мертвой Бандой, Джон поймал себя на мыслях о том, за что принимают в святые.

Весьма вероятно, все зависит от времени, в котором ты живешь, от твоего происхождения. В средние века требовалось чудо, как то, что якобы случилось рядом, в церкви Святого Петра в 1050-х, когда ангел помог найти тело человека, нареченного святым Рагенером, братом святого Эдмунда. Затем, в дни Кромвеля, сотню лет спустя после того, как Генрих Восьмой разорвал узы Англии с Римом, святыми становились живые люди, вроде Баньяна, верившие, что им уготовано войти в эти ряды, когда грешные царства земные исчезнут, а на их месте появится равноправное общество под единым Богом – целая нация святых, где не будет нужды ни в жрецах, ни в правительствах.

И тогда, когда он вроде уже об этом забыл, Джон понял, что опять видит в мыслях взорванного человека с балкона в Душе. Разве его не назовут святым, мучеником, люди, которые верили в то, что он сделал? Получается, думал Джон, главное, что объединяет Баньяна, Кромвеля, Рагенера и человека-бомбу – а судя по шраму у глаза, и женщину снизу, – то, что все они прошли через какой-то огонь. Это важный момент, хотя и не единственный, иначе бы и Джон стал святым после собственного расчленения во Франции. Джону казалось, что разница здесь в том, с каким настроением шагаешь в пламя. Святость зависела от смелости человека или ее отсутствия. Чтобы тебя канонизировали, мало поймать снаряд из пушки.

Как только Джон и Майкл поднялись на второй этаж, разверзся пандемониум. На верхней площадке лестница выходила в коридор с двумя дверями на правой стороне – их Джон принял за спальни, которые они видели раньше. Он уже хотел сунуться в стену и поискать Филлис, когда из ближайшей задвинутой двери вылетело

маленькое блюдце с собственными нематериальными двойниками, обозначавшими пройденную траекторию. Прежде чем диск упал на пол, за ним через твердую дверь последовало перекати-поле струящихся движений, напомнившее двух сиамских кошек, сцепившихся в драке, и поймало его в полете. Всего на секунду серое пятно стало четким и оказалось Утопшей Марджори, а затем она метнулась обратно в предполагаемую дверь спальни с пойманным предметом. Джон и Майкл изумленно переглянулись и бросились через проход сквозь хлипкую современную стену помещения за Марджори.

Джон был прав, и на другой стороне стены был dormitorio – более или менее идентичный мужской вариант жилья девушек, через которое они проходили недавно. Но отчаянную активность внутри Джон предугадать никак бы не смог.

Четверо живых мужчин – с возрастом от восемнадцати до сорока – играли в карты и даже не подозревали о призрачном переполохе вокруг. В куче мале мечущихся по комнате множащихся призрачных силуэтов сперва было почти невозможно понять, что происходит, но через пару мгновений Джон ухватил ситуацию: считая Джона и Майкла, внутри спальни собрались семь привидений, шесть из которых представляла воссоединившаяся Мертвецки Мертвая Банда. Седьмой был взрослым фантомом, неприкаянным, знакомым Джону и Филл еще при жизни, по имени Фредди Аллен. В свои смертные дни Фредди был знаменитым на все Боро бродягой, ночевавшим под арками железнодорожного моста на Лужке Фут и пробавлявшимся воровством краях хлеба и пинт молока с чужих порогов в пустынной и заговорщицкой тиши раннего утра. После смерти он стал одним из самых невыдающихся и беззубых духов, населявших жалкие края призрачной стежки, – вовсе не такой кошмар, как Мэлоун, Мэри Джейн или старый Удуши Кошку. К сожалению, из-за этого Фредди сделался удобной и относительно безобидной целью для бесконечной вендетты Филл Пейнтер против взрослых привидений.

Должно быть, Фредди был в двадцать пятом по своим делам, никому не мешал, сидел за смертным коном трехкарточного брэга, когда в стену ввалились Филлис, Реджи, Билл и Марджори и начали его задирать. «Летающее блюдце», которое Марджори на глазах у Джона вернула из коридора мгновение назад, было шляпой Фредди, сорванной с его венчика волос одним из призрачных детей, что теперь носились по спальне и перекидывались мятым трилби Фредди между собой, пока мягкотелый и рыхлый мертвец беспомощно размахивал руками в середине, пытаясь поймать свистящий мимо головной убор. Пока Мертвецки Мертвая Банда перебрасывалась призрачной шляпой, ее изображения зависали так долго, что у потолка комнаты повисла спутанная цепь хилых и безрадостных рождественских гирлянд.

Фредди ругался вздохом:

– А ну отдай! Отдай сюда, жулье несчастное!

Вождеденный предмет одежды проделал высокую дугу над его голым серым темечком вне досягаемости, чтобы угодить в руки Филлис Пейнтер, которая пританцовывала рядом с окнами спальни. Размахивая над головой старым трилби, пока он не превратился в единую полосу шляп, она ухмылялась Фредди:

– А ты поди и забери, пердун старый! Блестешь знать, как хлеб с порога воровать!

С этими словами Филлис запустила нематериальный трофей в твердое стекло окна, на улицу снаружи, где та поплыла к залитому дождем церковному двору. Призрачный нищий завыл от возмущения и с прощальным злобным взглядом в сторону Филлис вынырнул в проем за ним.

Филлис, уже отступавшая через стену в женскую спальню по соседству, позвала банду за собой.

– Айда, вали в «Черный лев» во времена Кромвеля, пока старый черт не надыбал шляпу и не возвратался по наши души.

Астральные путешественники последовали за лидером через прилегающую общую спальню девушек. На широком телевизоре

размером с сервант один из мужиков, что мылись ранее, стоял на футуристической кухне и лаялся с женщиной, на которой, как показалось Джону, не иначе как были искусственные груди из магазина розыгрышей. Мужчина, судя по всему, «мял, на хрен, хреново пюре» для девушки, что бы это не значило. Женщины на кроватях перед огромным теликом цокали языками и комментировали плоскими восточными акцентами искусственный бюст экранной хабалки, пока между ними скользили невидимыми дети-привидения.

Проплыв по коридору за противоположной стеной дормитория, банда попала в комнату с отбеливателем, шприцами и детским питанием в банках, где они нечаянно вошли в этот странный ненастный век. Прокопанная Биллом дырка еще зияла в антисептическом линолеуме пола, но теперь выходила в гробовую немую тьму, а не на свет ламп и любовные шорохи, из которых они выбрались. Реджи Котелок опустил в туннель времени первым, скрывшись в черноте семнадцатого века, чтобы помочь самым маленьким членам банды слезть за ним. Следующей пошла Филлис, затем Майкл, Билл и Марджори.

Окинув прощальным недоумевающим взглядом лекарства и недоступные пониманию плакаты – «СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО НЕ КРИЧИТЕ»; «ГОВОРИМ О ТИФЕ ВСЛУХ», – Джон погрузился в черный колодец за спутниками.

Внизу, в 1645-м, таверна опустела и, очевидно, закрылась на ночь, выплюнув последних посетителей на грязь и звездный свет. Филлис стояла на плечах Реджи и терпеливо заплетала ткань момента поверх отверстия, проделанного Биллом, в полном соответствии с загробным уставом, чего Джон не мог не одобрять. Несмотря на то что живые не способны физически войти в дыру во времени, те, будучи открытыми, все равно представляли для них угрозу. Пусть тела не могли проваливаться в подобную пробоину, зато разум мог, что приведет к потенциально разрушительному опыту пребывания в чужом времени. Джон никогда не слышал о таких случаях из первых

уст, но старшие опытные привидения заверили его, что это вполне реальная и ужасающая возможность. Лучше закапывать за собой норы, на всякий случай.

Когда Филл замела следы, дети вытекли через запертую на засов дверь старой таверны на Лошадиную Ярмарку, лишенную жизни как обычной, так и загробной. Банда побрела в приблизительном направлении Пикового переулка – беспросветной трещины, уходящей на север от главной улицы, – а Джон тем временем крутил в голове мысли о воинах-святых, о смерти и славе.

На взгляд Джона, все это вздор – то, что ему вбивали в голову, пока он распевал «Быть пилигримом» [75] в Бригаде мальчиков и связывал в голове добро с церковью, а церковь – с маршем; послушно ваксил лань-ярд порошком Blanco; подчинялся приказам. Для поколения Джона все это безнадежно перепуталось. Ритуальное чернение холодной латунной пряжки ремня БМ над свечным пламенем перед полировкой само собой перетекало в ощущение христианского долга, которое охватывало, когда приходили призывные бумаги. «Ни жупел и ни черт не ввергнут в бегство. Он знает – обретет он жизнь в наследство». А дальше не успеешь глазом моргнуть, как тебя протыкают пикой под Несби, взрывают дождем гвоздей и света, вышибают дух из плоти артиллерийским снарядом во Франции. И что-то вовсе не жизнь ты обретаешь в наследство. Тебе все это наболтали, просто чтобы ты погиб в чужих военных кампаниях без возражений. Все войны – священные, то есть обычные и кровавые, только их кто-то решил назвать священными, потому что так уж ему выгодно, – какой-нибудь король, какой-нибудь папа римский, какой-нибудь Кромвель, который верил, будто знает, что-де нужно Небесам. На взгляд Джона, если ты участвуешь в убийстве людей, значит, велика вероятность, что ты все-таки не святой. Может быть, в конце концов, та цветная девушка с кошмарным шрамом – самый лучший претендент на звание, как бы странно это ни звучало. Ведь ее единственным оружием была банка из-под сардин.

Впереди Пиковый переулок мягко поднимался от Лошадиной Ярмарки до улицы Марии, а та вела к церкви Доддриджа – их цели. Джон празднично размышлял об улице Марии и том, что здесь произошло, когда Билл как будто прочитал его мысли, громко объявив новую идею для прокрастинации, заскакав с одной ноги на другую в узкой залитой ночью боковой улочке, порождая с каждым прыжком лишние ноги. Что бы он ни задумал, он не находил себе места от восторга:

– Знаю! Знаю! А пошли смотреть пожар! Всего тридцать лет в ту сторону!

Все согласились. Очень глупо побывать на улице Марии в тысяча шестисотых и не посетить Великий пожар.

Филлис начала разрывать полуночный воздух. Сказала, что остановится, как только дойдет до искр.

Зловредные пламенные духи

Когда умираешь, намного чаще видишь голых людей – по крайней мере, в этом с каждой минутой убеждался Майкл. Были голые и полуголые среди толпы на балконах Души – лунатики в трусах, – а еще совсем недавно – маленький Кромвель на Лошадиной Ярмарке. В загробной жизни никто не против, если ты не одет. Этот подход нравился Майклу, который все равно не понимал, из-за чего тут переживать.

Опять же, как раз сейчас Майкл смотрел на двух голых девушек, приплясывающих по унылой сентябрьской улице Марии в середине 1670-х. Таких прекрасных, что это понимал даже трехлетка: они вообще едва ли были настоящими женщинами, а больше выдумкой из кино или журнала, гулявшей вприпрыжку по узкому проулку через густой дым стряпни в ранний час стародавнего утра. Наверное, уловил он, из-за такого и пошел весь сыр-бор по поводу обнажения.

Гарцующие дамы казались ему идеальных форм, хотя одна была пышной, а вторая – худышкой. Ему нравилось то, что висело у них спереди, и что у них нет угловатости, как у взрослых мужчин, – все плавное, как в деревне, в отличие от строгих линий, как в городе. Как обычно, он отстраненно удивился, куда делись их письки, но не сомневался, что с возрастом ему все станет понятным – как и шутки, и узоры мороза.

Конечно, больше всего в двух нимфах поражал цвет их волос: он просто был – даже в бессменном монохроме призрачной стежки. Завитые высоко над головами, словно сильным ветром с запада, полыхающие и играющие на порывах гривы были ярко-оранжевыми на фотоальбомном сером цвете полумира.

Мертвая девочка, которую он уже начинал втайне считать своей возлюбленной, Филлис Пейнтер в гнилых кроличьих брыжах, прокопала туннель с полуночной Лошадиной Ярмарки накануне

битвы 1640-х на дневной свет Пикового переулка всего тридцать лет спустя. Майкл с бандой пролезли через отверстие на боковую улицу, где двое мужчин спорили из-за меловых отметок на доске для счета, висящей у двери скобяной лавки, а две пожилые женщины в протертых сарафанах опустошали содержимое потрескавшихся ночных горшков в уже переполненные канавы. Так как призраков поблизости не было, никто не видел детей, добросовестно залатавших дырку, через которую прибыли сюда из трех десятилетий назад.

Фантомные сорванцы заструились к улице Святой Марии, где как ни попадя теснились перепутанные двory и хибары, кишашие курами, собаками и детьми: не то что аккуратные современные многоквартирники из времен Майкла. От верхнего входа на Пиковый переулок, где стояла шестерка, на запад, где позже возникнет церковь Доддриджа, уходили только неказистые деревянные лачуги. Но взглянув на восток, в сторону Конного Рынка, они и заприметили двух нагих красавиц с цветущими волосами, блаженно крутившихся на оживленной утренней улице, которых как будто не замечали потупившие взгляды возницы и занятые прохожие, спешившие по своим делам. Филлис была рада видеть эту пару.

– Отлично. Мы пришли раньше, чем духи раздухарились. Терь увидим всё разом, от начала до конца.

Майкл был озадачен:

– Кто эти тети? Я думал, мы пришли посмотреть на Великий нортгемптонский пожар.

Филлис терпеливо посмотрела на Майкла и ответила, похлопав по его клетчатому рукаву.

– Они и блесть Великий нортгемптонский пожар.

Вклинился высокий Джон.

– Филлис говорит правильно. Потому-то их никто и не видит и потому их волосы цветные, хотя все мы черно-белые. Если

приглядишься, поймешь, что это вовсе не волосы. Это огонь. Они – Саламандры.

Огнеглавые женщины смеялись и скакали по сору улицы Марии. Они были так похожи, что Майкл принял их за сестер, причем полненькой было девятнадцать или двадцать, а стройненькой – на пять лет меньше, едва ли подросток. Он отметил, что в самом низу их животов, где должны быть письки, тоже росли волосы из оранжевого пламени, а у пупков парили шальные искры. Они лениво крутились на деревянных столбах, подпирающих затхлые сараи, и гуляли, как канатоходцы, по досточкам настилов. Ни одна не произносила ни слова – Майкл откуда-то знал, что они и не умели, – а общались только заливистым смехом и хихиканьем, напоминая переговоры птиц рано поутру. Они как будто не думали ни о чем, кроме смеха или непредсказуемого вольного танца. Они были такими счастливыми и легкомысленными, что почти казались дурочками.

Словно угадав, о чем думает мальчик, Филлис мягко его вразумила:

– Знаю, каэца, будто у них в голове ветер гуляет, но вот такие они блесть. У них нет мыслей и чувств, как у нас. Они сплошь духи. Сплошь страсть, сплошь огонь. Мы с Биллом их повидали первыми, еще до появления Мертвецки Мертвой Банды. Мы оба гуляли в парке Беккетта, на Коровьем Лужке, в тыща четырехсотых возле старой Войны роз, и начали копать обратно в шиснадцатый век. Вываливаемся в 1516-м – и как в самый ад угодили, Боро вокруг горят пламенем, а Боро тада, почитай, и были всем Нортгемптоном-то.

Две Саламандры, две сестры, кружились по огню и запалили все, че ни тронут. Канеш, в те дни обе блесть помоложе на век-другой. Пышке, что постарше, на вид не дашь больше одиннадцати, а младшей – всего где-то пять. Они рыскали туда-сюда меж горящими домами, хватали пламя в пригоршни и плескали везде, как два дитенка в лоханке с водой. Ток совсем не с водой.

Я встречала призраков, которые сказывали, как их повидали тут впервые. В каких-то лохматых тыща двухсотых, када Генрих Трешный приказал спалить город дотла и разграбить в наказание за дружбу с Монфортом и студентами-бунтарями. Как грят старожилы, када людей короля Генриха впустили в Боро через большую дыру в стене приората на дороге Андрея, сестры ворвались вместе с ними, голые и невидимые промеж коней. Старшой тогда блесть лет шесть, а сестричку она несла на руках. Никто ни разу не слышал, чтоб они сказали хоть слово. Ток хохочут да все жгут.

Призрачная банда наблюдала за дуэтом, с трелями и щебетом порхавшим от дома к дому по улице Святой Марии семнадцатого века, проскальзывая между домохозяйками, напускавшими на себя хмурый вид, и купцами, ничем не выдавая своего присутствия. Их волосы развевались на порывах западника рыжими вымпелами, сверкающими и огнеопасными. Глядя на них, Майкл впервые заметил, как хорошо идут друг к другу серый и ярко-оранжевый – словно распухшее утреннее солнце в тумане над парком Виктории. В своих блужданиях девушки, похоже, тяготели к определенному жилищу – дому под соломенной крышей на той стороне улицы, где выходил Пиковый переулок, чуть ближе к Конному Рынку, чем дети.

– Айда. Похоже, нашли дом. Пошлите позырим, как они зачнут.

Последовав предложению Филлис, мертвые беспризорники продублировались к заурядному на вид жилищу как раз вовремя, чтобы успеть за сестрами через входную дверь – нескладную и подпертую кирпичом. Внутри весь первый этаж хибары занимала единственная комната, мрачная и забитая, служившая, очевидно, и залом, и сенями, и кухней, и ванной в одном флаконе. По грубым половикам, раскинутым на холодном кирпичном полу, ползал малыш с грязным носом, пока у открытого очага женщина – слишком старая, чтобы быть мамой младенца, – жарила куски мяса в растаявшем жире, потряхивая круглодонной железной сковородой, которую держала над огнем в одной руке. В то же время второй она мешала деревянной поварешкой в глиняном горшке – как

оказалось, взбивала масло. Майкла впечатлило, как старушка успевала делать два дела одновременно. Когда он наблюдал за готовкой своих мамки и бабки в кухне на дороге Святого Андрея, они всегда делили обязанности, так что занимались только одним делом зараз. Остальные члены Мертвецки Мертвой Банды кивали с понимающим видом – все, кроме Билла, бесстыдно пялившегося на голых огненных нимф, которые деловито осматривались в тесной, но славной комнатухе.

– Эт она печет пудинг. Как взобьет масло, опрокинет над мясом, а потом сунет все в печь – вон железная заслонка у очага. Многие говорят, северные засранцы подрезали рецепт своего йоркширского пудинга у нас, но пожалели доложить мяса. Так у нас готовили сытный ужин из всяческих остатков и объедков.

Пока Филлис углублялась в подробности рецепта печеного пудинга и его историю, Майкл наблюдал за обходом двумя сестрами темной, озаренной огнем клетки. На удивление очаг их не заинтересовал, а собрались они на ковре на дальней стороне деревянного стола посреди помещения, где ползавший малыш изучал толстого паука-крестовика, наверняка укрывшегося внутри при первом дуновении прохлады в сентябрьском воздухе. Саламандры увлеклись ребенком: присели на корточки, чирикали своими переливающимися, как латунные подвески на ветру, голосами и строили дурацкие улыбчивые рожицы.

Майкл с удивлением обнаружил, что младенец – судя по виду, не старше года, – видел прыскающих смехом и искрами девушек. Взгляд карапуза бегал между ними, следил за движением причесок в виде горящих ульев, колеблющихся на сквозняке из открытой двери. Саламандры подмигивали, хихикали, игрались, прогуливались тонкими пальчиками по краю стола, как ножками, чтобы привлечь внимание ребенка, ползающего по полу. Персты маршировали по куче яблок в деревянной миске на столешнице, пока их хозяйки сюсюкали и лучились улыбками единственному зрителю. Младенчик радостно заболботал, глядя на двух огневласых женщин из-под

свисающего края соскользнувшей скатерти, которая выглядела так, будто когда-то служила дамской шалью. Только когда пухлая чумазая ручка ребенка потянулась к бахrome ткани, Майкл понял, что задумали огненные духи. Он сбивчиво выпалил предупреждение для остальных: «Смотрите! Две скостры хотят, чтобы милыш пестроил яблавину!» – но когда те разобрали, что мальчик имел в виду, было уже поздно.

Все пошло одно за другим, как комически сложная машина в мультфильме: ребенок схватился за болтающуюся домотканую скатерть, тем подтянув миску с фруктами к краю стола, а потом и через него. Сама миска пролетела мимо малыша и покатила по половику, но одно из скачущих яблок угодило испуганному бутузу в глаз, и он тут же заревел. Встревоженная сутулая старушка, которая казалась бабушкой младенца, оторвалась от стряпни, чтобы посмотреть, что случилось, и тут круглодонная сковорода слегка накренилась, плеснув раскаленным жиром на пылающий очаг, отчего содержимое сковороды тут же занялось. Шипящий столб пламени из-за секундной неосмотрительности рванул вверх и подпалил тряпки, висевшие с кастрюлями и горшками под каминной полкой, и перепуганный и сбитый с толку божий одуванчик начала охаживать их черпаком, сбив опасные пылающие тряпки со стены на кирпичный пол – и, к сожалению, один из пыльных половиков. Через пять секунд все, что могло загореться, уже горело. Женщина в остолбеневшем изумлении на несколько мгновений уставилась на дело своих рук, потом обежала стол, чтобы подхватить завывающего карапуза, и выскочила в двери, оглашая воздух улицы Святой Марии криками «Пожар!».

Сестры захлопали в ладоши от возбуждения, скакали и визжали, пока возгорание распространялось по комнате. Майкл заметил, что только мандариновые языки, лижущие головы Саламандр, имели цвет. Прочие огни, ревевшие в заставленной хибаре и взбиравшиеся, как процессия муравьев, к балкам потолка, были ярко-белыми снаружи, с насыщенными серыми сердцами. Филлис

схватила Майкла за опаленный и обесцвеченный воротник ночнушки.

– Айда, побегли отсюда. Не стоит толкаться с ними в горячей двери.

Старшая из вспыльчивых и искрометных девушек вскочила на стол и исполняла что-то вроде канкана, тогда как ее младшая сестра смеялась и кокетливо позировала за тлеющими занавесками. Дети-привидения высыпали через дверь фонтаном игральных карт – сплошные валеты и дамы, пики и крести без единого красного пятнышка.

Улицу Святой Марии охватила безобразная сутолока. Туда и сюда носились люди и собаки, а лай, крики и панические вопли оглушали даже вопреки притупляющему слух эффекту призрачной стезжки. Двое-трое мужчин отчаянно торопились к пострадавшему дому с плещущими бадьями воды в руках, но не успели подойти и на пять метров, как зрелищно сбылось то, что предсказала Филлис: Саламандры выскочили из двери на улицу под аккомпанемент громкого трезвона смеха и великого порыва белого пламени, как из горна, отбросившего несостоявшихся пожарных с бесполезными ведрышками. Было почти десять часов утра 20 сентября 1675 года.

Майкл спрашивал Джона, почему двух огненных волшебных хохотушек называют Саламандрами, когда младшая, худая, без труда вскарабкалась по передней стене горящего домика, всего на секунды опередив у соломенной крыши грузную и внушительную старшую сестру, помчавшуюся следом за ней. Ни та ни другая не двигались по-человечески, увидел Майкл. Скорее, они напоминали насекомых или, наверное...

– Ящерицы. – Это сказал Джон. – Саламандра, с маленькой буквы, – это как ящерица или тритон. Но когда-то люди верили, что саламандры живут в огне, так что если мы говорим о Саламандрах с большой буквы, то имеем в виду, как говорится, элементалей, духов огня.

Здесь перебила Марджори, у которой в очках отражался свет пожара.

– Те, кто повелевает водой, зовутся Ундинами. Ненская Бабка, которая чуть не схватила меня во время моего несчастного случая на Лужке Пэдди, – одна из них. У нее вместо глаз улитки. Потом блесть те, кто правит ветром, их зовут Сильфами, хотя из таких я слышала только про ужасных стариков в милю высотой. Духов земли официально зовут Гномами, но тут мы их зовем Урками или Урчинами – так еще раньше называли ежей. Над землей их не встретишь, но они катаются по ходам в глубине на здоровых черных зверях, похожих на собак, под названием... о, погоди. Похоже, они уже побежали.

Утонувшая девочка показывала на соломенные крыши, где пара Саламандр исполняла на коньках домов потусторонний вальс. Горячие красотки прижались друг к другу, ослабев от смеха, и вращались в сопровождавшем их огненном торнадо, поднимавшемся от сухой соломы под ногами, пока они перемещались с крыши на крышу. Десятки людей, вываливших в переулок, беспомощно наблюдали, как хибару за хибарой поглощает невидимая хореография духов. Толпа, сама того не зная, следовала за ослепительным выступлением сестер, что летели с западным ветром вдоль улицы Святой Марии к Конному Рынку и оставляли за собой оголтелый шум. Слышались проклятия, стенания, отчаянные крики и плач на все лады. Старик с бельмами на глазах перекрывал истошным и пронзительным голосом гвалт, объявляя, что пожар – кара Господня за то, что паписты в парламенте отменили «Декларацию веротерпимости» Карла Второго. Сердитый юнец рядом с бредящим стариком толкнул его в грязь и тут же схлопотал от двух ражих и еще более сердитых мужчин, которые видели, что он сделал. В и без того безнадежной суতোлке завязалась драка, пока Саламандры наверху танцевали среди дымоходов, а у их голых ног клубились и колебались завесы огня, словно пышные бальные платья. Когда парочка приблизилась к

Конному Рынку, люди на восточном конце улицы Марии уже эвакуировались из обреченных жилищ, извлекая жалкий скарб на охваченную паникой и иступлением улицу.

Майкл бежал с Филлис рука об руку сквозь толпу, иногда буквально, чтобы Мертвецки Мертвая Банда не отставала от безудержного балета Саламандр. Когда обнаженные зажигалки достигли широкой грунтовки Конного Рынка, скатывающейся с севера на юг, уже обе стороны улицы Марии стали злыми стенами огня, а горящую солому от проваливающихся крыш несло ветром дальше через дорогу. Вдоль по склону до самой Золотой улицы зазмеились новые очаги возгорания, в то время как другие сияющие ручьи потекли наверх, к Мэйорхолд. Замерев, только чтобы присесть по очереди над трубой последнего дома в ряду и помочиться струями золотых искр в ее черноту, обе сестры нырнули головой вниз со стены, хихикая, как трещащие поленья.

Скача с одной горячей вихляющей телеги на другую, они пересекли Конный Рынок и весело понеслись на восток по улице Святой Катерины, пока перед ними рассыпались горожане, а позади нагоняли призрачные проказники и их остаточные образы, не желая ничего упускать. Приближаясь к улице Колледжа, рыжие девицы остановились у ворот предприятия, казавшегося со стороны семейной дубильней. Роскошные чудовища посмотрели на двор, потом переглянулись, пытаясь при этом сохранять серьезный вид. Фамильярно закинув друг другу руки на плечи, две хихикающие сестры вошли в уже загоревшиеся ворота, скрывшись из виду на огороженном дворе. Прежде чем Майкл, Филлис и банда успели за ними последовать, все заведение взлетело на воздух. Оно не просто с ревом запылало, как остальные дома: оно взорвалось, и башня огня вознеслась в пасмурное сентябрьское небо, и опилки обломков с дымными хвостами просеялись дождем на сотни ярдов во всех направлениях, падая сквозь призрачных детей, разинувших рот.

Майкл заговорил первый:

– Это шторм еще блесть за разгрохот?

Джон покачал головой, пораженно наблюдая, как две Саламандры выходят из геены разметанной по досточкам мастерской со струящимися по серебристым щекам вулканическими слезами цвета лавы, держась друг за друга, чтобы не повалиться сотрясающейся хохочущей кучей.

– Не представляю. Жахнуло как артиллерийский снаряд. Всегда хотелось знать, как Великий пожар так быстро дошел от улицы Марии до Крайних Ворот всего за двадцать минут, но, если попутно были такие взрывы, в этом нет ничего удивительного.

Лунный лик Утопшей Марджори избороздили морщины, словно она решала какую-то задачку, поворачивая в голове разные альтернативы так и эдак. Над чем бы она ни задумалась, девочка в очках не пришла к выводу, каким бы стоило поделиться. Марджори так и держала свои измышления при себе, пока Филлис вела банду по ревущему коридору вслед за огненными девицами, а они уже беззаботно надвигались на трутницу улицы Колледжа – или переулка Колледжа, как в то время назывался склон, заметил Майкл по табличке, которую прочитал, уже даже не удивляясь своим новым умениям. За сестрами распускались пиротехнические следы, покотившись в обоих направлениях по кривому переулку, превращая все, чего касались, в очередной пылающий факел. Набрав обороты, восторженные существа прошествовали через обугленные ворота на противоположной стороне улицы Колледжа и скрылись в длинном темном проходе, который, как знал Майкл, позже будет известен как джитти Джейса и ведет напрямик к Швецам. Щебеча и чирикавая развеселую чепуху, два очаровательных вестника разрушения ушли в сумрак проулка, пока за ними развевались рыжие пряжи и спешили серые дети-привидения.

Только когда они выбрались на Швецов, Майкл осознал весь масштаб бедствия. Люди сотнями рыдали и завывали, бежали в смертельном страхе или бессильно бросались по всей оживленной центральной улице с бесполезными проливающимися ведрами, пытаясь спасти свои заведения. Большие стаи испуганных птиц

меняли в полете абстрактные формы под клубами дыма, превращавшими солнечное утро в сумерки. К югу от въезда полыхал верхний конец Золотой улицы, и по улице Моста неумолимо потекла медленная река испепеляющего света, обращая в бегство солдат, овец и лавочников. Огонь охватил полгорода, а не прошло и десяти минут с тех пор, как малыш опрокинул со стола миску с фруктами.

Через дорогу пылали деревянные колонны, державшие дощатую версию церкви Всех Святых. Сестры понаблюдали с мгновение, пока не убедились, что здание занялось как следует, а затем продолжили путь по Швецам, прогуливаясь среди лотков шляпников и сапожников и время от времени задерживаясь над каким-нибудь товаром в поисках чего-то конкретного, словно придирчивые дамочки в походе за покупками. На грубых булыжниках у прилавка с сапогами и ботинками они нашли то, что искали. Замерев как вкопанные, сестры взглянули на бочки, стоявшие в ряд у восточной стены улицы, затем подбросили руки и взвизгнули от удовольствия. Хватаясь за бока, они бродили огненными кругами, сгибаясь пополам от веселья и содрогаясь от какой-то шутки, понятной только им двоим.

Утопшая Марджори тонко улыбнулась с удовлетворением. Очевидно, она что-то поняла.

– Так вот оно что. Вот почему весь город сгорел за полчаса.

Младшая из Саламандр – тоненькая тринадцатилетка с плоской грудью и одиноким завитком лобкового пламени на месте, где у пухленькой старшей сестры горел куст, – вдруг перешла к делу. Не соступая с места, она исполнила балетный прыжок через валящий дым, мазнув по воздуху рыжим пятном волос, роняющим искры как перхоть, и приземлилась на крышке крайней бочки, встав на носках и раскинув тощие ручки для равновесия.

Только она перескочила на следующую бочку, как первая в ряду взорвалась, разбитая изнутри огромным кулаком жидкого пламени, пославшим деревянные щепки в небо и разбрызгавшим огненную росу по еще не тронутым владениям по сторонам. Стройная девочка

ловко протанцевала по крышке третьей кадки, когда сорвалась с места как ракета вторая: черный пылающий диск, исчезнувший над крышей в направлении Рыночной площади. По Швецам поползло озеро горячей жидкости. Фея прыгала с бочки на бочку, и те взрывались, как оглушительная шеренга чертиков в табакерках, пока старшая сестра танцовщицы наблюдала и аплодировала, приплясывая от воодушевления. Теперь все на виду было в огне. Утопшая Марджори удостоила собравшихся фантомов рассказом о своем умозаключении:

– Танин. Не из-за сильного западного ветра город так быстро прогорел. А из-за танина. Сколько здесь блесь город, столько он славился перчатками и башмаками, а все потому, что у нас поблизости имелось все для выделки кожи. Много коров и много дубов. Дубы нужны для танина, его делают из коры. Дело в том, что танин – как самолетное топливо. Он ускоряет огонь и делает его неукротимым. Вот почему взорвалась дубильня на улице Катерины и вот что хранится в бочках, по которым она танцует. Сами посудите, сколько танина на Швецах, – а там, у Рыночной площади, блесь Перчаточная...

Девочка осеклась, когда весь верхний конец улицы взлетел на воздух с мощным грохотом. Со стороны рынка донесся звук, словно взлетал авиалайнер, пока Майкл не вспомнил, что он в тысяча шестисотых, – не осознал, что на самом деле это разом закричало множество людей. Прищурившись через фонтаны пламени и опускающийся занавес черных тлеющих огарков, он увидел элементалей, снова взобравшихся на крышу, прилипая к горящим стенам, – хохочущую парочку рептилий с рыжим гребнем.

Нижний конец Овечьей улицы выше по холму тоже занялся вовсю. Пасть древнего проезда выплонула горящую лошадь без ездока, в паническом галопе ринувшуюся в направлении Всех Святых, вращая глазами. Ничто не могло спастись, почти все было возгораемым. По взаимному согласию дети обогнули верхний восточный угол Швецов и попали в кошмарную какофонию рынка, в самую сердцевину

катаклизма, по сравнению с чем все виденное казалось лишь преамбулой.

Сестры-Саламандры, вскарабкавшись на соломенные крыши, бросили притворные пляски и принялись носиться по верхним пределам площади, словно два бегуна на состязаниях. Но на этом все человеческие сходства заканчивались: скорость, с которой девушки мчались по крышам, была такой неестественной, что вызывала неподдельный ужас, словно неожиданная прыткость пауков. Зрелище пугало, даже если бы не сопровождалось пониманием, что на людях на площади – а их здесь были десятки – теперь затянулась огненная петля.

Торговцы из заведений, окружавших рынок, сновали туда-сюда с полными руками всего, что смогли вынести из горящих лавок, сгружая спасенные товары в хотя бы временной безопасности на камнях площади. Но, охватив весь масштаб опасности, запертые погорельцы по большей части задумались не о пожитках, а о том, как выбраться живыми. Хотя и не все. Кое-кто разорял горящие лавки, а в нижнем конце рынка разыгрывалась страшная сцена, где поддавшегося жадности и загоревшегося мародера загоняли обратно в пылающее здание, которое он пытался ограбить, озлобленные лавочники с кольями и мясными крюками. Нельзя было разобрать отдельного визга или воплей – все слились в один общий оглушающий ор, и под него люди металась в отчаянных поисках выхода по знакомой площади, превратившейся в крематорий.

Но спастись пытались не только живые нортгемптонцы. Среди различных заведений, окаймлявших рынок, несколько таверн изрыгали призраков, особенно постоянный двор на дальнем конце площади. Хлынув из дверей и окон, просачиваясь через деревянные стены, четырех- или пятисотлетние накопления мертвых джентльменов, средневековых покойников и бесформенных древних мороков влились, внешне неотличимые от окружающего дыма, в обуреваемые паникой орды живых, которых угораздило

прийти на базар в этот роковой день. Мимо проносились мертвые псы, волоча за собой снимки фотофинишей, словно на собачьих бегах, а над всем этим стрекотали, скакали и кувыркались красотки-фейерверки, упиваясь делом своих рук.

От полыхающего, переливающегося котла городской площади ручейки заревели на Ньюланд и по улицам Абингтонской, Овечьей, Моста, Крайним Воротам, пока весь город не стал горячей паутиной – завязшей прямо в середине с рыночной толпой. Майкл заплакал от ужаса перед тем, сколько человек погибнет, но Филлис сжала его руку и сказала не переживать:

– Сам увидишь, почти все выберутся невредимыми. Во всем городе погибли ток одинцать человек, а это, видать, не больше, чем в любой обычный день. А! Ну вот, видал? На другой стороне рынка, у нижнего конца Ньюланд, куда ломанулась толпа...

Она показала на северо-восточный конец площади, к которому устремилось большинство из паникующего стада. Мужчины размахивали руками, что-то выкрикивая и призывая товарищей по несчастью следовать за ними. Дети-фантомы поплыли в том же направлении, что и бегущая толпа, и у северного окончания рынка Майкл увидел, что все сгрудились у одного здания в основании Ньюланд – места, которое к его времени превратилось в забавную лавку сладостей, с вырезанными в штукатурке над дверью гербами и другими рисунками. Эти украшения, видел он теперь, сохранялись на доме с самых тысяча шестисотых. Пойманные в огненный мешок люди вливались под резную геральдику, пытаясь одновременно втиснуться в строение, словно цирковые клоуны, что пытаются забиться обратно в свою маленькую машинку. Пока банда стояла и наблюдала за этим почти комичным исходом, Филлис объясняла Майклу происходящее.

– Эт Валлийский Дом. Рискну сказать, при твоей жизни эт лавка сладостей, как и при моей. Но раньше эт блесть контора казначея, выдававшего плату пастухам, пригонявшим отары из Уэльса. Стада заводили на Овечью улицу, а те, кто их вел через всю страну, шли

сюда за окладом. Как вишь, он весь из камня и с черепичной кровлей, а не соломенной, такшт горит не так шибко, как дома кругом. Все заходят спереди и попадают в переулки, а там уж выбираютя от пожара.

Людское содержимое мочевого пузыря пылающего рынка быстро опорожнилось через узкую уретру Валлийского Дома, утекая с огромным чувством облегчения задними улочками на восток. Большая часть призраков площади тоже предпочла этот метод спасения от беды, невидимыми пробираясь по коридорам дома среди живых. Почему-то они не спешили пройти прямо сквозь гудящие стены рынка – возможно, привычное отношение к огню не изжило себя после смерти. Майкл увидел, что у одного фантома вид был более испуганный и потерянный, чем у остальных, и он постоянно нервно оглядывался через плечо на собственный хвост выцветающих образов, пока затесался в долгую шаркающую очередь привидений и граждан, эвакуировавшихся из обреченного района. Недолго вглядываясь в него с недоумением, Майкл узнал мародера, которого несколько минут назад оттеснили в горящий дом мстительные торговцы. Малыш смотрел на загнанного духа, ввалившегося в забитую людьми дверь с остальными беглецами, пока его не отвлек крик Реджи Котелка:

– Ну, вот те на! А куда задевались Салли-Мэнди? Токмо глаз с них спустил – а они уже как сквозь землю провалились!

Так и было. Отряд призрачных детей поднял глаза и обвел взглядом обросшие огнем карнизы рынка в поисках оранжевого пятна, какого-нибудь признака сестер, но обе костроголовые девчушки скрылись без следа. Хотя дети про себя огорчились, что потеряли из виду развеселых стихийных поджигателей, Филлис попыталась отнестись к вопросу философски:

– Наверн, посмотрели самое интересное, стало скучно, вот и умчали к се домой. Гореть-то тут блестет еще пять-шесть часов, если не больше, но самые интересные зрелища уж кончились. Да и мы можем вернуться туда, откуда пришли, на улицу Святой Марии.

Оттуда доберемся до церкви Доддриджа в 1959-м, где нас поджидает миссис Гиббс. Там и услышим, что она разузнала про наш талисман.

Вокруг из окон изрыгал огонь Нортгемптон семнадцатого века, всюду трещали и рассыпались на уголья обгорелые доски. Мертвецки Мертвая Банда промелькнула по обезлюдевшей площади, как беженцы с газетной передовицы, к северо-западному углу и выходу на Швецов. Как и рынок, улица опустела из-за бушующей катастрофы, даже соседские духи испустили дух. Блуждая по трещащему, вспыхивающему склону разрушенной улицы, шестерка призрачных бродяжек вышла к тлеющему входу на улицу Моста. Зарево над городом стояло до самого Южного моста и реки, а лежащая над ними холодная миска осеннего неба почернела от копоти, как стекло масляной лампы. Не считая далекого гула, доносившегося на ветру, все звуки принадлежали преисподней: ее глубокие вздохи и кашель, харкающий мокротой ярких искр на улицу; раздраженный бубнеж лопающихся дверных косяков.

Возвращение через тесную щель к улице Колледжа стало необычным опытом, ведь теперь этот предок джитти Джейса был от конца до края целиком поглощен и заполнен доменным огнем. Созданные по большей части из эктоплазмы – от природы влажной и довольно огнеупорной субстанции, – призрачные дети могли ничего не бояться, маршируя по узкому проходу, но, как обнаружил Майкл, они все же чувствовали внутри себя языки пламени, как и птичий помет с дождем. Глубоко в фантомной памяти о животе он ощущал огненную щекотку, разраставшуюся до невыносимо сладостного, но настойчивого зуда, который, вопреки ожиданиям, был слишком, чересчур приятным. От этого хотелось делать глупости, подчиняться одному только порыву, не задумываясь о последствиях, так что Майкл был только рад, когда они выбрались из inferнального проулка и перешли остатки улицы Колледжа. Старый знак, называвший это место переулком Колледжа, превратился в пепел, а пепел разлетелся на ветру. В верхнем конце этой боковой

улицы мародеры грузили на двухколесную тачку товары из брошенной лавки, но в остальном переулок был безжизненным.

Улица Святой Катерины, как и окружающие ее дороги, стала сущим адом – по крайней мере, как его себе представлял Майкл до столкновения с сардоническим Сэмом О’Даем и до осознания, что ад – это плоский пол, сделанный из раздавленных зодчих, или что-то в этом роде. Во взорванных развалинах дубильни у верхнего конца, на пятиметровом кострище, ощетинившиеся зубьями почерневших обломков, словно пораженное молнией гнездо гигантской птицы, они узнали, что случилось с Саламандрами.

Большую находку сделали Билл и Реджи, совавшие из любопытства нос во все пустые здания на пути, и тут же стали восторженно звать Майкла, Филлис, Джона и Марджори. Младший брат Филлис и веснушчатый викторианец стояли посреди разрушенного двора поблизости с воронкой в темной почве и курящимися обломками – маленьким кратером не больше полуметра в ширину. Оба казались чрезвычайно довольными своим открытием.

– Чтоб мне шляпу съесть! Вот так невидаль. Ходи сюда смотреть, братва.

По приглашению Реджи самая лучшая мертвая банда в четвертом измерении собралась перешептывающейся и возбужденной кучкой у мелкой впадины, хоть они и не сразу поняли, что это перед ними.

Округлая выемка была выстелена серым остывающим пеплом, а на ней с серебристой кожей, почти неразличимой на перине из праха, свернулись калачиком две сестры. Они спали, явно изможденные своей причудой, и казались в покое совсем другими, нежели когда недавно отплясывали джигу на крышах Рыночной площади. Во-первых, переплетенные языки пламени на затылках затухли так, что обе остались без волос. Во-вторых, ни та ни другая не были выше и тридцати сантиметров.

Они съежились до размера серых лысых куколок, зарылись в теплый тальковый осадок и уснули, примостившись вверх ногами

друг к другу, так что напоминали двух рыбок с гороскопа ежедневной газеты. Они были живы, потому что их бока поднимались и опали, а если приглядеться, то можно было разглядеть, как вздрагивают веки, пока им снится бог весть что. Выгорев после великого разрушительного развлечения, нимфы казались совершенно присмирившими. Они съели целый город, а теперь спокойно коротали десятилетия в спячке до следующего раза, съезжаясь до угольков былых себя, пока их покидало тепло, и дремля под Боро на постели из золы и углей.

После короткого совещания о достоинствах предложения Билла разбудить парочку, потыкав в них палкой, дети все же предпочли держать путь через горелые проезды до улицы Святой Марии и в конце концов церкви Доддриджа. Они оставили Саламандр посапывать в развороченном дворе скорняцкой, укутавшись вместо одеял ядовитыми испарениями, и двинулись по улице Святой Катерины в направлении почерневших руин Конного Рынка. Майкл шаркал в шлепающих тапочках между Джоном и Филлис, пока остальная троица умчалась вперед и растворилась вместе со своими серыми повторяющимися силуэтами в клубах дыма, что ползли в дюйме над мостовой.

– Значит, в пожаре сгорели до дна все Боро?

Филлис покачала головой, ненадолго создав размазанное пятно лица – как когда рисуешь мордашку шариковой ручкой на воздушном шарике, прежде чем надуть резину.

– Не. Ветер же западный, такшт весь пожар сдуло на восток, и погорели Швецы, рынок и все такое. Не считая улицы Марии, Конного Рынка и кусочка Лошадиной Ярмарки у Золотой улицы, Боро легко отделались.

Майкл был доволен этими обнадеживающими новостями.

– Ну, значит, нам повезло, да?

Джон, бредущий по колена в упавшем полыхающем дереве справа от Майкла, не согласился:

– Да не особенно, малёк. Понимаешь, восточную часть города пламя сровняло с землей, так что ее застроили новыми каменными домами, и некоторые из них все еще стоят вокруг Рыночной площади и в твои дни. Все в Нортгемптоне стало краше, кроме Боро. Они остались как блесь до пожара. Если спросят, мол, ответь, когда Боро впервые стали считать помойкой, отвечай, что после Великого пожара, в тысяча шестьсот семидесятых. А задуй сегодня восточный ветер, то росли бы мы в богатом районе и зажили бы совсем другой жизнью.

Филлис отнеслась к этому скептически. Майкл увидел это по морщинкам у ее переносицы.

– Но че блесь, то блесь, правда? Как вышло, так и вышло, и назад не повертаешь. Если б мы выросли в богатых домах, то мы бы блесь не мы, ну? А я довольна тем, кто я блесь. По-мойму, никакой другой я блесь и не должна, и по-мойму, и Боро никакими другими блесь не должны.

Они дошли до конца улицы и столкнулись с Конным Рынком – обугленной лентой, расплетавшейся вниз по холму, где люди прикладывали все усилия, чтобы обуздать пожар, хотя и с небольшим успехом. Призрачные дети переплыли туманом через дорогу, юркая между цепью передающих ведра людей, пот и копоть на которых смешались и стали черной жижей, злобной боевой окраской.

Когда они сползли полосками киноплёнки на остатки улицы Марии, то обнаружили, что там, где пожар начался, он уже почти затушен. Люди безутешно ковырялись в липкой каше влажного пепла или поглаживали волосы рыдающих супругов, словно печальные обезьяны, разодетые в старомодные платья для рекламного ролика. Незамеченные, мертвые шалопаи проплыли по опустошению мимо черной и прижженной раны на месте Пиковой улицы, направляясь к церкви Доддриджа, которой не будет на этом месте еще двадцать лет. Отбившись, Реджи поплелся в хвосте, почему-то с печальным и одиноким видом, надвинул шляпу на лоб и бросал меланхоличные

взгляды из-под полей на пустырь, сбегающий по пригорку от еще не существующей церкви. Возможно, что-то в этом месте пробудило нерадостные воспоминания у нескладного фантомного оборвыша.

Майкл, который ожидал, что они пророчат очередную кротовину в будущее, удивился, когда Филлис сказала, что это необязательно.

– Тут эт не нужно. Возле церкви блесьть другая штуковина. Представь, что эт как бы движущаяся лесенка или лифт. Его называют Ультрадук.

Теперь они были на отлогом склоне кургана под названием За́мковый Холм, где, как казалось Майклу, нет ничего, кроме сараев и амбаров. Однако, приблизившись к Меловому переулку – или Квартовому переулку, как заявляли нынешние знаки, – он заглянул на западную сторону хлипких времянок и увидел то самое сооружение, о котором говорила Филлис.

Что бы это ни было, казалось, что его возведение еще не закончено. Полдюжины зодчих низкого ранга, похожих на тех, кого он видел за делами на Стройке, корпели над опорами какого-то незаконченного моста – их серые рубища переливались у полы чем-то напоминавшим цвета, но не совсем. Пока Майкл рассматривал мост, три пожилые женщины – очевидно, живые – поднялись на курган с севера с выражениями тревоги, маскируя естественное любопытство к трагедии, пригнавшее их взглянуть на последствия пожара. Они прошли прямо сквозь зодчих и сваи, которыми те занимались, слепые к их присутствию, а небесная артель, в свою очередь, не позволила себе отвлечься от разнообразных задач ни на миг. Судя по напряженным выражениям на лицах, они трудились в жестком графике.

Материал, с которым они работали, был ярко-белым и прозрачным – наструганные брусья и колонны из него ставились на место веревками и лебедками. Раскинувшийся мост, казавшийся уже более или менее законченным, тянулся над Боро с запада, только чтобы оборваться в нескольких футах от последнего сарая, стоявшего на Меловом, или Квартовом переулке. Тело воздушной

дороги, как будто изгибавшейся на юг, в серую и мглистую даль, вдоль всей длины опиралось на те же алебастровые столбы, какие строили зодчие на покатых травянистых боках Замкового Холма. И что-то во внешнем виде этих пилонов показалось Майклу совершенно неправильным.

Мост стоял на двух рядах полупрозрачных столбов. Загвоздка заключалась в том, что, если навести глаза на основание ближайшей опоры и проследить до ее верха, оказывалось, что она поддерживала противоположную сторону конструкции. Равно если сосредоточиться на высшем конце колонны, державшей ближайший край Ультрадука, и опустить взгляд прямо до подножия, то оно неизбежно оказывалось в дальнем ряду. Когда охватываешь взглядом всю картину разом, все кажется в порядке. И только если пытаться разобраться, как все сходится, начинаешь понимать невозможность этой конструкции, как ни напрягай зрение. Приближаясь с Мертвецки Мертвой Бандой, Майкл обнаружил, что при одном взгляде на нее он сталкивался с призраком жуткой головной боли. Зажмурившись, он потер лоб. Филлис сочувственно сжала руку.

– Знаю. Мозги кипят, а? Он идет до самого Ламбета, потом до Дувра, потом через канал, Францию, Италию и прочее, пока не кончается в Иерусалиме. Как я слыхала, это то ж самое, как когда управа прокладывает улицу там, где раньше была тропинка в траве. Ультрадук так и начинался – просто прохоженной мужчинами и женщинами колеей, ток Ультрадук – тропа через время, а не траву. Он здесь блесть задолго до римлян, но они первые его, так сказать, ввели в дело. Потом его поглубже протоптали такие, как монах из Иерусалима с крестом, который нес в центр. Потом, канеш, всякие Крестовые походы – туда-сюда между городом и Святой землей. При Генрихе Осьмом в тыща пятисотых, когда он разрушал монастыри и устроил раскол с Римом, чтоб развестись, зодчие и начали собирать Ультрадук. Счас мы видим его близким к завершению, которое блестет лет через двадцать.

С заметным усилием оторвав взгляд от обманчивых колонн, Майкл осмотрел сам Ультрадук – алебастровый путь, уносящийся от Нортгемптона до самого горизонта. На всем мосту с перилами происходила какая-то смутная активность – ощущение постоянного движения, хотя по-настоящему ничего разглядеть не получалось. В обе стороны вдоль перехода как будто бы пульсировали волны жаркого марева, заплетающиеся в сложные жидкие узоры при пересечении друг с другом. Хотя постройка еще не была закончена, ей уже явно пользовался кто-то, передвигающийся слишком быстро для глаза. Или, подумал Майкл, слишком медленно – хотя сам не представлял, что бы это значило.

Банда уже дошла до места на Меловом переулке, где трудились сероробые зодчие. Будучи самоназначенным переговорщиком компании, Филлис распихала коллег, подтащив за собой Майкла к ближайшему из работников – более худому и высокому, чем остальные, с бритой головой и вытянутым и скорбным лицом. Филлис обратилась к нему, заговорив медленно и отчетливо, как будто с глухим или глуповатым.

– Эт Майкл Уоррен. Мы Мертвецки Мертвая Банда. Можно подняться на Ультрадук и поговорить с Пылким Филом?

Зодчий всмотрелся в призрачную девочку в жутком шарфе и на мальчишку в сорочке рядом. Его серые глаза блеснули, и он поджал губы, словно еле удерживаясь, чтобы не рассмеяться.

– Вмерд ушду придрраж нунр?!

Майкл начинал привыкать к тому, как говорили зодчие. Сперва они произносили абракадабру – свою версию слова или предложения, потом эта чепуха разворачивалась в голове слушателя в длинную речь, полную громовержных и звонких фраз. В нынешнем случае расширившийся монолог начинался с «В зарнице Большого Взрыва мы стоим с тобою, о дитя прихоти...», а затем продолжался в таком духе целую вечность. Наконец, как понимал Майкл, если прислушаться к их речи и уяснить ее как можешь, в итоге сам собой получается собственный перевод. Если он

правильно расслышал зодчего, то развеселившийся мужчина только что сказал: «Мертвецки Мертвая Банда? Ну надо же, я читал вашу книгу! Так, значит, это со мной вы встречаетесь возле Ультрадука в двенадцатой главе, «Загадка Духа Задушенного Малыша», а потом еще раз в конце главы? Какая честь. Так, посмотрим, ты, должно быть, Филлис, с кроличьим шарфом, а это брат Альмы Майкл. Полагаю, за вами стоит мисс Дрисколл. Да, конечно же, вы можете встретиться с мистером Доддриджем. Я провожу вас лично. Ну и ну! Не терпится рассказать остальным!»

Чуть не лопаюсь от гордости, зодчий ласково повел их к стремянке, приставленной к возвышенной дороге, хотя вблизи Майкл увидел, что она накрыта ковром и на самом деле была узкой секцией того, что называли лестницей Иакова. Кучка призрачных детей послушно шагала вперед, как приказано, без обычных выкрутасов. Более того – всех слишком сразило то, что сейчас сказала сероряся оглобля, чтобы даже пискнуть. Хоть Мертвецки Мертвая Банда любила притворяться знаменитостями, они не скрывали своего замешательства при новости, что даже зодчие зачитывались их приключениями. Но где они их вообще читали? О банде не было настоящих книжек, за исключением той, что видел во сне Реджи Котелок, – а она явно не считается. И что еще за мисс Дрисколл? Подойдя к основанию лестницы-стремянки, Майкл слышал, как где-то позади возбужденно перешептываются Билл и Филлис.

– Он че-то грил про «Запретные миры», када мы с Реджи нашли его в многоквартирнике на Банной улице, но я че-то все равно не въезжаю.

– Ну а я сразу его узнала, как встретила на Чердаках Дыхания. Ток не могла дойти, откуда узнала, но терь вспомнила. На выставке, в одной улице отседа. Ну. Эт все меняет.

Казалось, что обсуждают они его, но Майкл ничего не мог понять. Кроме того, он уже стоял у начала лестницы Иакова, пока остальные выстроились в очереди позади, так что пришлось сосредоточиться

на подъеме. Как обычно, лезть было неудобно из-за ступенек, слишком маленьких даже для ножек Майкла, но все же помогала общая невесомость призрачной стежки. Уже скоро он перевалился на сияющий молочный тротуар Ультрадука.

Он остолбенел, подсвеченный снизу белыми хрустальными досками незавершенного моста, из-за чего его фигура почти растворялась в воздухе, словно человек на испорченной фотографии. Пока сзади на доски поднимались пятеро товарищей и услужливый зодчий, Майкл окидывал замороженным взглядом изменившийся ландшафт, открывавшийся с новой точки обзора – пролета, построенного, по словам Филлис, на тропе, проторенной в самом времени.

Вокруг от горизонта до горизонта шли сразу несколько эпох. Прозрачные деревья и здания стояли в перехлест в бредовом потоке образов, которые менялись, росли и перетекали друг в друга, видные насквозь постройки осыпались и исчезали, только чтобы возникнуть вспять и заново прожить ускоренную жизнь, – кипящее пятно черного и белого, словно безумный оператор наложил в жужжащем и мерцающем аппарате сразу несколько старых пленок на разной скорости. Взглянув на запад с высокой дороги, Майкл видел, как норманны и их работники строили Нортгемптонский замок, который спустя полтора тысячелетия сносили согласно указу Карла Второго. Несколько веков травы и руин сосуществовали с пузырящимся ростом и флуктуациями железнодорожного вокзала. Носильщики из 1920-х, убыстренные, как в немой комедии, толкали нагруженные багажом тележки через саксов-охотников. Женщины в нелепо коротких юбках, сами того не зная, накладывались на пуритан-круглоголовых, ненадолго превращаясь в помесь чулок в сетку с древками пик. Конские головы росли из крыш машин, и все это время замок воздвигался и разрушался, рос и падал, рос и падал, как великое серое легкое истории, выдыхавшее крестовые походы, святых, революции и электрички.

Замок, очевидно, был не одинок в непостоянном разливе одновременно. Небо над ним было расписано светом и погодой тысяч лет, а западный мост города под сияющей постройкой сменял вид с бобровых плотин на деревянные сваи, от подвесного моста Кромвеля к знакомому Майклу кирпично-бетонному переезду. Вставая рядом, Филлис бросила на мальчика странный взгляд, словно увидела того в новом свете. Наконец она улыбнулась:

– Ну, че думаешь? Как те видок? Я те так скажу: если че не понимаешь – спрашивай, не боись. Знаю, я ток и твержу без умолку, чтоб ты заткнулся и не задавал лишних вопросов, но вот передумала я. Такшт, уточка моя, валяй.

Майкл только моргнул. Поворот как в книжках, и он понятия не имел, чем его заслужил. Но все же решил воспользоваться удачей с новообретенным Филлис духом панибратства, пока та сама плыла в руки.

– Ну ладно. Будешь моей подружкой?

Теперь пришел черед Филлис глупо уставиться на Майкла. Наконец она положила ему руку на плечо в утешающем жесте и ответила:

– Нет. Прости. Я для тя старовата. Да и не такие вопросы я имела в виду, ты че. Я имела в виду – про Ультрадук и все такое.

Майкл посмотрел на нее и на миг задумался:

– А. Ладно, почему отсюда видно разные времена?

Вся ватага и зодчий, вызвавшийся быть их проводником, теперь неторопливо направлялись к рваному незаконченному краю моста. Филлис – судя по виду, безмерно благодарная за смену темы, – отвечала на вопрос с энтузиазмом, шагая рядом с Майклом.

– Так время выглядит, если смотреть на него сверху вниз. Эт как када ты в большущем городе, ходишь по улицам – и видишь ток кусочек, где стоишь сам. А вот ежели взлететь в небо – мож смотреть вниз и увидеть все улицы с домами в один присест. Ультрадуком по большей части-то ходют зодчие, дьяволы, святые и прочие из их компании, когда перемещаются по когдате меж Нортгемптоном и

Иерусалимом. Они привыкли видеть время так, им все едино, но обычным привидениям эт странно. Глянь-ка на церковь вот в том краю, если не веришь.

Майкл перевел взгляд от Филлис к торчащему и незавершенному концу-пирсу, куда они подходили. Сразу за точкой, где обрывался мост, стоял невероятный визуальный шум: кипящие образы, смесь рекламы стройпромышленности на промотке и зрелищного фейерверка в Ночь Гая Фокса. Майкл видел голый доисторический склон, где будет Замковый Холм, а над ним – наложение внешних построек норманнского замка, растущих и опадающих: окруженное узким рвом единственное здание, одинокая башенка, рассыпающаяся в пыль, пока канаву рядом осушают и заполняют, чтобы курган сжало кольцо из утрамбованных грунтовых дорог. На пустой травке расцвела и зачахла деревянная часовня, рядом сновали отягощенные чумные телеги, доставлявшие человеческую засыпку в ненадолго появляющиеся братские могилы. Сараи и амбары, которые он видел совсем недавно в 1670-х, промелькивали за мгновения, а среди них стало обретать форму овальное сооружение из тепло-серого камня.

Сперва оно было лишь стенами, что собирались снизу вверх, оставляя разрывы в полотне для трех окон на южном фасаде и двух высоких дверей там, где камни выгибались пристройкой на западе – похоже, для каких-то погрузок. Майкл заметил, что сиятельный белый путь, на котором он стоял, похоже, вел прямым в верхнюю половину левой двери, но потом мальчик отвлекся из-за грохота навалившейся черепичной крыши, расстелившейся от карнизов, пока на южной стороне громады, прямо под тремя окнами, продавилось крыльцо с такой же черепицей и собственным кирпичным дымоходом. В паре ярдов от владения возшла ограда, замкнув его известняковыми стенами, которые сперва обросли по четырем углам необычными высокими округлостями, но тут же растаяли до более приземистых и острых форм, уже знакомых Майклу. Одновременно – а все это происходило одновременно, от

древнего травянистого бугра до норманнской башни и следом сараев вразвалку и вразброс, – мальчик увидел, как крыльцо с одинокой трубой и крутой черепичной крышей разваливается и становится широким и величественным церковным фасадом с викторианским мощным двором за железными воротами. Снова взглянув на ближайшую, западную сторону, Майкл наблюдал, как высокие двери зарастают, оставив крошечный вход на середине стены пристройки, точно совпадающий с окончанием Ультрадука. Ранее незаконченный мост в эти секунды становился целым и впритык сходил с часовней, приводя к висящей над землей двери. И в пространстве и времени взорвалась теперь совершенно узнаваемая церковь Доддриджа, пока горизонт позади кирпичными языками лизали современные многоквартирники.

Между тем над переменчивыми контурами здания происходило что-то еще. Штрихи бледного света вырисовывали возвышающуюся схему лесов и балок, гигантскую сложную сеть люминесцентных штрихов, воспаривших квадратной колонной к сгущающимся небесам, причем верхний ее край был за пределами даже призрачного зрения Майкла. Эти то вспыхивающие, то угасающие линии мимолетного сияния, ажурные белые решетки на фоне круговерти веков в небесах, туманящихся и проясняющихся, говорили о чем-то огромном – для чего церковь земная была лишь краеугольным камнем. Он обескураженно взглянул на Филлис, ответившую гордой улыбкой.

– А ты думал, эт небоскребы в пятом-шестом большие, а? Да они и в подметки не годятся жилищу Пылкого Фила. Оно уходит до самой Души и еще выше – до конторы Третьего Боро, если верить слухам.

Майкла озадачило имя, которое, хотя вроде бы уже слышанное раньше, требовало разъяснений.

– Кто такой Третий Боро?

– Ну, как бы, обычный район живых – эт Первый Боро. Я те грила. Над ним бишь Второй Боро, который мы зовем Наверху. А еще выше... ну, там Третий Боро. Он как бы домовладелец, сборщик

платы и полицейский в едином лице. Он заправляет всеми Боро. Следит, чтоб блесть правосудие над улицей, и все такое прочее. Его никто не видит, если ток ты не зодчий. Лады, пошли пролезем через глюк и встретимся с миссис Гиббс, спросим, че она, знач, разузнала про твое большое приключение.

Группа дошла до точки, где сверкающий мост кончался у деревянного проема в западной стене церкви. Взяв руку Майкла в свою, Филлис втянула его за окрашенный в черное порог навстречу внезапному насыщенному цвету и оглушающему звуку. Ужасная, как всегда, – если не хуже, – вонь мехового ошейника Филлис влезла в ноздри прежде, чем Майкл успел их зажать, и его чуть не стошнило. Остаточные образы, тянувшиеся за ними во время экскурсии по Великому нортгемптонскому пожару, резко пропали, обозначив, что теперь они над призрачной стежкой. Они Наверху. Они в Душе.

При этом комната, где они оказались, была самого обычного размера, а не раскинулась в виде очередного цветистого аэродрома Души без конца и края. Убранство – столы, стулья и ковры – были из восемнадцатого века и, хотя светились от любви и характера, явно не принадлежали ни богачу, ни человеку экстравагантных или показных привычек.

Когда дети и их сероробый сопровождающий проникли через лилипутскую деревянную дверь в залитую золотом комнату, они обнаружили, что миссис Гиббс уже их ждет. Дородная и розовощекая смертоведка стояла в дальнем конце комнаты в белом фартуке, расшитом по краям яркими цветными пчелами и бабочками. Подле нее был человек невыдающегося роста и среднего возраста. Тем не менее его высеченные черты с гладким челом и изогнутым носом были склонны к полноте – между прямоугольником накрахмаленного воротника, как у священников в далекие времена, и твердым раздвоенным подбородком виднелся небольшой выступ жирка. Но его глаза казались запавшими – добрый аспидно-голубой взгляд светился из широких круглых глазниц, как будто ловивших краями отраженный свет, отчего на высоких скулах размазывался

лихорадочный блеск. Каскад золотых локонов, ниспадающий на плечи длинного черного одеяния пастора, – как запоздало догадался Майкл, парик, – заключал добрые благородные черты в дорогую позолоченную раму, словно старую картину. В уголках дуги тонких губ, напоминавшей лук, таилась теплая улыбка. Вот это, решил Майкл, и есть тот человек, которого Филлис звала Пылким Филом, хотя в его манерах не было и намек на особый пыл. Огонь, как недавно испытал Майкл на себе во время недавней потехи девочек-Саламандр, не отличался ни рассудительностью, ни тактичностью.

И миссис Гиббс, и внушительный священник были рады фантомным неряхам и сопровождавшему их зодчему. Смертоведка просияла и двинулась вперед.

– Вот и вы, мои голубки! И мистер Азиил – очень рада вас видеть. Знакомьтесь, это мистер Доддридж, с ним я обещалась посоветоваться. Мистер Доддридж, – это Мертвецки Мертвая Банда, о которой вы, поди, наслышаны.

Доддридж улыбнулся, хотя его сияющие глаза показались Майклу капельку грустными.

– Так это и блесь бич всей Души! Право, большая честь. Моя жена Мерси часто читает о ваших похождениях нашей старшей дочери, Тетси. Я тотчас вас представлю, но покамест между вас блесь тот, с кем мне особенно не терпится встретиться.

Майкл подумал, что это наверняка он, раз все в загробной жизни так им увлечены. В то же время неведомо для Майкла Филлис Пейнтер решила, что священник говорит о ней, предводительнице Мертвецки Мертвой Банды. Даже Марджори по собственным причинам слегка расправила плечи в предвкушении, прежде чем всех троих постигло разочарование, когда Доддридж измерил шагами ковер с ромбами-узорами, прошел между ними и взял за плечи Реджи Котелка. Никто этого не ожидал, и меньше всех – сам Реджи.

– По вашему облачению я без сомнений заключаю, что передо мной мастер Фаулер. Когда я прочел, что вы встретили свой

холодный конец на виду у нашей церковки, то не сдержал слез, как и моя Мерси. Непременно найдите время в своих приключениях и посетите академию для призраков, которую я хочу учредить, чтобы самые обделенные из духов смогли приобщиться к грамоте, пусть даже подошел к завершению их смертный срок. Обещайте же, что навестите нас, ибо это напоит мое сердце радостью.

Оторопевший, Реджи кивнул и пожал протянутую руку. Священник довольно просиял, а затем обратил внимание к остальным детям.

– Что ж, посмотрим. Стало блесь, это Филлис Пейнтер в своем оскорбляющем слух шарфе, а значит, здесь наш маленький автор. Высокий малый позади, выходит, наш стойкий солдатик, а судя по семейному сходству с юной мисс Пейнтер, вы не иначе как Билл. Знайте, я не спущу с вас глаз.

Наконец Доддридж повернулся с улыбкой к Майклу и встал на корточки, чтобы быть на одном уровне с ребенком в ночнушке.

– Методом исключения я прихожу к выводу, что этот малый отрок не кто иной, как Майкл Уоррен. Бедняжка. Воображаю, как тебя это изумляет – все тонкости нашего бытия в Душе, тогда как твое тело земное несется к больнице, что заложена мною с добрыми друзьями мистером Стонхаусом и преподобным Херви. И, словно этого мало, миссис Гиббс извещает меня, что один из высших дьяволов обманом завлек тебя в некую коварную сделку.

Губы Майкла задрожали от одного воспоминания.

– Он сказал, я должен помочь ему в убийстве. Мне же на самом деле не придется?

Доддридж на миг опустил взгляд на сливочно-шоколадный рисунок ковра, а затем снова поднял глаза к Майклу – теперь серьезные и озабоченные в глубине ярких глазниц.

– Коль скоро на то блесь воля Его, устроящего все. Крепись, мальчик мой, и знай: ничто не случается без нужды. У всякого из нас своя роль в безупречном творении – возведении Портимот ди Норан, а у тебя – одна из наиважнейших. Твоя роль навлечет на тебя не более того, что ты способен выдержать в своем

приключении. Узри же весь вечный город, где длится наше существование, даже ежели подчас зрелища эти ужасны. Узри англов и дьяволов, честный отрок, и постарайся запомнить увиденное. Твое пребывание среди нас вдохновит события, что, хотя и неприятельны внешне, необходимы для завершения Портимот.

Здесь Филлис ткнула Билла острым локтем под ребра, прошипев: «Ну? А я че грила!»

Майкл все еще не представлял, о чем они говорят, а кроме того, его мысли теперь беспокоили слова мистера Доддриджа.

– Этот Сэм О’Дай сказал, что я все забуду, когда снова вернусь к жизни. Он сказал, такие Наверху правила.

Проповедник кивнул, и золотые кудри его парика поколебались. Он обнадеживающе улыбнулся Майклу, затем взглянул на остальных детей, охватив всех спокойным взглядом.

– Не перестаю удивляться, что дьяволы не способны на ложь. Нам всем хорошо известно, что слова нашего юного друга истинны, что все деяния Души забываются в мире смертных. Но мнится мне также, некоторым между вас известно уже и то, что не таков случай Майкла. Вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы он вспомнил о времяпрепровождении с нами. Пускай это представляется невозможным, однако же существует верное средство достижения сей цели. Судя по тому, что я прочел в вашем занимательнейшем романе, вам надобно только довериться собственной смекалке и не тревожиться: все кончится хорошо.

Здесь подала голос Утопшая Марджори, с досадой в голосе обращаясь к священнослужителю:

– Если вы уже знаете, как у нас все получится, почему сразу не расскажете и не избавите от лишних хлопот?

Поднимаясь на ноги, клирик рассмеялся и пригладил каштановые волосы коренастой девочки, приязненно встрепав их, хотя Марджори на это сверкнула взглядом из-за очков Нацздрава с обиженным видом.

– Оттого что ваша история звучит не так. В повествовании, прочитанном мне Мерси, нигде не сказано, что бедный старый мистер Доддридж вмешался и рассказал, чем все кончается, чтобы вы, избавленные от хлопот, пропустили приключения. Нет, придется вам доискиваться самим. Кто знает, вдруг хлопоты, коих вы ищете избежать, станут самым важным элементом вашей истории.

Мягко вклинилась миссис Гиббс:

– Ну все, голубки мои, уверена, у мистера Азиила и мистера Доддриджа найдется, что обсудить. Давайте я отведу вас познакомиться с миссис Доддридж и мисс Тетси? Вроде бы миссис Доддридж говорила, что накроет для всех стол с чаем и пирогами.

Вся призрачная банда чрезмерно обрадовалась этому объявлению, сгрудившись у смертоведки, которая повела их через дальнюю дверь светелки в коридор. Упоминание о десерте поразило Майкла – до этого момента он верил, что призраки не едят и не пьют. Он осознал, что последней держал во рту вишнево-ментоловую «Песенку», которую дала мамка на солнечном дворе на дороге Святого Андрея по меньшей мере неделю назад – по крайней мере, по прикидкам самого Майкла. С тех пор он не испытывал никакой потребности в еде, но теперь одно воспоминание о том, как это здорово – жевать и глотать что-нибудь вкусненькое, вызвало в нем одновременно и голод, и тоску, причем оба чувства смешались так, что их нельзя было разделить. Его охватила ненасытная ностальгия.

Майкл и остальные дети последовали за миссис Гиббс в уютный скрипучий коридор, оставив преподобного и высокого мосластого зодчего за разговором. Когда за детьми и смертоведкой закрывалась дверь, мистер Доддридж и тот, кого миссис Гиббс назвала мистером Азиилом, как раз устраивались в креслах друг напротив друга. Сени, где теперь оказались мертвые замарашки, были короткими, но славно обставленными, с розовыми и желтыми цветами в вазе на единственном подоконнике, застывшими в косом столбе свежего утреннего света, разливающегося белой лужицей по лакированным

половицам. На обоях в светло-зеленую тонкую полоску слева от Майкла висела в рамочке вышивка с незатейливым рисунком, который он уже встречал в Душе, – лентой дороги под грубым изображением весов, вышитыми гладью золотом. В коридор с дальнего конца проникал вкуснейший аромат выпечки, сладкий и душистый, не уступавший перед запахом разлагающихся кроликов Филлис Пейнтер.

Хлопоча, как черная наездка, миссис Гиббс повела своевольных привидений через простую дубовую дверь в конце лестничной площадки в атмосферу праздника урожая, стоявшую в ладной старомодной кухне. Отсюда, мгновенно определил Майкл, и исходило благоухание фруктового пирога, замеченное в проходе. У черной железной плиты беседовали две симпатичные приятные дамы с вороными волосами, забранными в узлы, но они тут же обернулись к вошедшим смертоведке и стайке призрачных безобразников.

– Миссис Гиббс – а это, должно блесть, наши маленькие герои! Входите-входите, рассаживайтесь. Мы с Тетси полагаем себя в числе ваших самых преданных поклонниц, и вот мы посреди вашей главы «Дух Задушенного Малыша», произносим те самые реплики диалогов, которые перечли уже десятки раз. Ощущение и в самом деле решительно необычное, но и совершенно замечательное. Садитесь же скорее, а я заварю нам чаю.

Говорила женщина, которую Майкл принял за старшую. Она была хрупкого сложения, с лицом в форме сердечка и добрыми глазами, одета в платье белого дамаска, убранного шелковыми цветами и пятнистыми оранжевыми бабочками, напоминавшими подол фартука миссис Гиббс. На ее изящных ножках были туфли мягкой бледно-охровой кожи, со стежками черной нити, напоминавшими пятна леопарда, и каблуками не меньше двух дюймов в высоту. Ее теплым одеялом с запахом утренних тостов окутывала аура материнства – Майклу так и хотелось приластиться к ней и не пускать. Пока добрая дама вела его к одному из деревянных

стульев, окружавших кухонный стол у выложенного красивой плиткой камина, он тосковал по своей маме Дорин как никогда. Миссис Гиббс тем временем представляла всех друг другу.

– Ну что же, голубки мои, слушайте внимательно. Это миссис Мерси Доддридж, добрая супруга мистера Доддриджа, а юная леди рядом со мной – их старшая дочурка, мисс Элизабет. По ней не скажешь, но мисс Элизабет моложе многих из вас. Сколько тебе блесь, голубушка, когда ты угодила за угол в Душу, шесть?

Мисс Элизабет, молодая и энергичная версия своей матери, носила платье нежного гвоздичного оттенка восточного горизонта в минуты перед зарей, украшенное тут и там крошечными розовыми бутончиками. Она отвечала на вопрос смертоведки с задорным смехом, тряхнув черными кудрями. Судя по выражениям лиц, Реджи, Джон и Билл уже пленились обаянием дочери священника и внимали каждому ее слову.

– О нет. Мне не блесь и пяти, когда я занемогла от чахотки. Помню, что умерла я за неделю до праздника в честь моего пятого дня рождения, отчего по сию пору ужасно сержусь. Кажется, я так и похоронена под деревянным алтарем внизу, да, маменька?

Миссис Доддридж ответила мягким любящим взглядом.

– Да, ты все еще там, Тетси, хотя уж нет того алтаря. Теперь блесь добра и достань наши фейри-пирожки из духовки, пока я занимаюсь чаем. Сверхвода наверняка уже вскипела.

Усевшись рядом с расписным камином, болтая туда-сюда тапочками, Майкл взглянул на плиту. На конфорке дымился большой железный ковшик, полный теми же шариками узорчатой жидкости, что проливались на Душу во время драки между гигантскими зодчими. Судя по мелким замысловатым каплям, подпрыгивающим над краем, это и была сверхвода. Миссис Доддридж пересекла просторную кухню и подошла к деревянной стойке, где поджидал лучезарно-изумрудный чайник из глазурованной глины. Призрачным зрением Майкл видел в отражении на его океанско-зеленых боках выпуклую миниатюру всей комнаты, пока жена священника не

заслонила вид спиной. Сняв крышку с чайника, она потянулась к верхнему краю окна над деревянной столешницей и сняла одну из странных штук, висевших на нитках на оконной раме словно для просушки. Раньше Майкл их не замечал, но теперь при их виде вздрогнул.

Они различались в размерах от крышек банок для варенья до мужской ладони и напоминали обезвоженные морские звезды или высохшую шелуху огромных пауков – хотя и пауков с приятной пломбирной расцветкой. Эта идея уже сама по себе была не самой приятной, но, приглядевшись, Майкл обнаружил, что истинная природа висящих предметов еще тревожней: все они были гроздьями мертвых фей, головки и тела которых срастались в колечке, образуя расходящуюся от центра паутину, напоминавшую кружевную салфетку, только толще. Они напомнили Майклу о странном сером растении, найденном Биллом, когда они прокапывались подале от ревушей призрачной бури с заднего двора у основания улицы Алого Колодца. Но то были жуткие существа со скукоженными тельцами, распухшими головами и огромными черными глазами, которые как будто не отрывались от тебя, тогда как эти особи могли похвастаться более грациозными пропорциями, но глаз не имели вовсе – только маленькие белые ямки, словно гнездышки в яблочной сердцевине, если извлечь из нее все семечки. Они висели на четырех узловатых бечевках, по две-три сушеных грозди фейри на нитке, и издавали полый перестук при соприкосновении, как деревянные ветряные подвески.

Миссис Доддридж оторвала один из плодов побольше, при этом нечаянно переломив ноги паре хрустких нижних фей. Без проволочек и сантиментов жена священника начала крошить соединенных нимф в емкость, с которой заторопилась к плите и подняла ковш с кипящей суперводой за ручку, чтобы перелить его содержимое в чайник, на измельченных фей. От настоя поднялся аппетитный аромат, очень схожий с мандариновым, если бы те

мандарины одновременно были персиками и, пожалуй, еще и мешочком анисовых драже.

Между тем обворожительная мисс Элизабет доставала из духовки черный противень. Уложенный дюжиной маленьких розовых пирожков, он пах даже соблазнительней душистого чая. Оставив его остужаться, младшая из Доддриджей сняла мисочку с полки кафельного камина, рядом с которым устроился Майкл. Когда она проходила мимо, он не смог сдержать любопытства.

– Почему тебя зовут Тетси, если твое имя – Элизабет, и почему ты такая взрослая, если тебе только четыре? И что в миске? А меня зовут Майкл.

Мисс Элизабет наклонилась, чтобы озарить его улыбкой.

– О, мне прекрасно известно, кто вы, юный мастер Уоррен. Вы же Задушенный Малыш из двенадцатой главы. А зовут меня Тетси потому, что так я произносила «Бетси», когда была маленькой. Почему я решила вырасти после смерти – я ведь так и не испытала, каково быть взрослой, пока блесть жива. Ну а в миске – извольте взглянуть сами.

Она опустила посудину, наклонив так, чтобы он мог заглянуть. На ее дне лежала крошечная дюна из раздробленных кристалликов, напоминавших гранулированный сахар с тем исключением, что это вещество было иссиня-голубого оттенка безоблачного летнего неба. Элизабет предложила макнуть в лазурную пыль кончик пальца и испробовать на вкус, как он и поступил. На языке порошок показался обычным сахаром, хотя и с острым и искрящимся привкусом, как шербет. Оценив по достоинству незнакомую приправу, Майкл спросил, что это такое.

– Голубые семечки, которые мы выбираем из Бедламских Дженни. Когда их накапливается вдоволь, мы толчем их пестиком в Паков сахар, чтобы притрусить наши фейри-пирожки.

Запоздало он понял, что случилось с пропавшими глазами из подвешенных горсток мертвых фей. Высунув язык, словно не желая

даже терпеть его во рту после интрижки с глазной присыпкой, Майкл скорчил рожу, насмешив дочь священника.

– О, полноте. Это же не настоящие фейри. Это только части или лепестки особенного фруктово-грибного сорта под названием Пакова Шляпка, или Бедламская Дженни. Однажды нас навещал римский солдат из Иерусалима, так он называл это Минервиным Трюфелем. Они произрастают в призрачной стежке и Втором Боро, укореняясь всюду, где находят прокорм. Когда они еще маленькие, то напоминают колечки из эльфов или гоблинов, и есть их не следует. Нужно дождаться сперва, когда они созреют и станут фейри. Люди из живого мира не видят их цветения. Только иногда замечают побеги, которые Пакова Шляпка пускает в нижнем мире, когда одно растение кажется хороводом отдельных и танцующих фейри – или стай гадких серых гоблинов с черными глазищами, если растение незрелое. Это все, что мы можем есть, хотя еще существует нечто наподобие эктоплазменного масла от призрачных коров. Сами по себе они не имеют вкуса, но, если истолочь лепестки в муку и замешать с фантомным жиром, получается сладкое розоватое тесто. Из него мы и печем наши фейри-пирожки, а теперь прошу меня извинить – они наверняка уже остыли и их можно припорошить Паковой пудрой и подавать на стол.

Младшая Доддридж обошла кухонный стол, дав всем остальным детям лизнуть сладкую пыль, разделяя угощение поровну. Тем временем ее мать извлекла из ранее незамеченного шкафчика настоящую флотилию чашечек и блюдец и разлила всем фрезовой дымящийся настой из темно-зеленого чайника – поблескивающего, как наливное керамическое яблочко. Миссис Доддридж суетилась между деревянной стойкой и рассеявшимися гостями, расставляя чай и предупреждая младших детей не расплескать его.

– И не ошпарьте языки. Подуйте на чай, чтобы остудить, а потом уж попивайте с дорогой душой. У нас имеется кувшинчик призрачного молока, если кому-то захочется, хотя нам кажется, оно только вкус портит, да и сам чай делается мучнистым.

Между тем Тетси закончила присыпать теплую сдобу толчеными глазками фейри, покрыв каждое розовое лакомство звездным инеем цвета кобальта. Миссис Гиббс и шестеро детей взяли по пирожку с широкой тарелки, уставленной свежеспеченными яствами – стайка закатных облаков на фоне зимнего фарфорового неба. Не забыв и о напитках для себя, Доддриджи подтянули к столу деревянные табуретки, выбрали по одному из оставшихся угощений и присоединились к мягкому шелесту чайной беседы.

Сама миссис Доддридж, севшая подле миссис Гиббс, расспрашивала у смертоведки о старом указе, касавшемся врат Души – их, оказывается, всего было пять. Со своего места у камина Майкл не мог разобрать весь разговор, в котором, похоже, входы сравнивались с пятью человеческими чувствами. Крайние Ворота, судя по всему, были Ощущением, что бы это ни значило. Недоумевающий, мальчик перевел внимание к жизнерадостной Тетси, севшей по соседству с Марджори и приступившей к подробному допросу утонувшей школьницы на какую-то еще более непостижимую тему, чем дискуссия о рецепторах и городских воротах.

– Моя любимая глава – та, где противный тип в черной рубашке скитается Наверху во время горячки в смертном теле. Мы с маменькой так смеялись, что я едва могла прочесть и слово. А пассаж о призрачном медведе с Медвежьей улицы, что оказался любителем евреев и гнал бедолагу по призрачной стежке до самого Дня Победы – просто чудо что такое.

Похоже, Марджори это было очень приятно слышать, но Майкл не понимал ничегошеньки. Дальше за столом сидели Джон и Филлис и что-то обсуждали между собой, отхлебывая чай. Казалось, они нравятся друг другу, и, хотя Майкл еще чувствовал легкое разочарование из-за того, что Филлис не захотела быть его подружкой, ему казалось, что из них получится замечательная пара. Напротив него Билл и Реджи все еще строили планы по поимке призрачного мамонта, плюясь друг другу в лицо лиловыми

крошками, пока трещали со ртами, неприлично набитыми непрожеванным фейри-пирожком.

Оставшись без собеседников, Майкл подумал, что стоит воспользоваться выпавшей возможностью самому отведать изящные розово-голубые произведения кулинарного искусства. Он поднял искусительный деликатес, поднес к носу и вдохнул теплое благоухание. Как и чай, пирожок отличался сладостным, хотя и расплывчатым ароматом. Майкл понимал, что к оттенкам персика и мандарина примешивается не совсем анис, но все же что-то не менее отчетливое и необычное. Он погрузил зубы в посахаренную сапфировую корочку и почти немедленно был вознагражден нёбным взрывом таких обширных и изящных ощущений, что показалось, будто язык наконец догнал в раю своего хозяина. Пирожок на вкус оказался таким же многогранным и богатым, как, скажем, собор на вид или колокольный звон – на слух. Неуловимая кислинка неизвестных фруктов с полувоображаемых островов звенела по щекам органной музыкой, а воздушная и рассыпчатая текстура напоминала воскресный свет в витраже. Проглотив, он ощутил в своей середке – там, где раньше был живот, – слабую щекотку, разбегавшуюся до самых подушечек пальцев и кончиков белокурых локонов. Чувствуя себя так, будто его дух окунули в парфюм из роз, которым иногда душат поздравительные открытки, Майкл нежился в послевкусии, отдающемся в малыше отголосками, словно гимн. Блюдо переполнило свежей энергией и в то же время было таким сытным, что навевало вялость послеобеденной дремы. Очень противоречивое переживание.

Он подул на чай, как советовала миссис Доддридж, и сделал пробный глоточек. Вкус напоминал о пирожках, но был чище и приятно вяжущим, словно не что-то осязаемое, а жаркий ветер, обдувающий фантомные разум и тело. Майклу казалось, что теперь, на этой отчего-то знакомой кухне со своими друзьями, он доволен и покоен как никогда. Болтовня за столом отошла на далекий задний план – Реджи выяснял у Билла, на что лучше ловится призрачный

мамонт, Тетси Доддридж интересовалась вслух у Марджори, не сбивают ли читателей с толку сразу два персонажа призрачной банды по фамилии Уоррен, – но Майклу уже не хотелось следить за разговорами. Он жевал фейри-пирожок и попивал фейри-чаек, обнаруживая, что они пробуждают то захватывающее изумление, которое охватило впервые, когда Филлис вытащила его в Душу.

Тогда все казалось новым, зачаровывала каждая поверхность и каждый рисунок, он терялся в текстуре дерева или протертых розовых нитей джемпера Филлис Пейнтер. Он и не заметил, как с тех пор его восхищение окружающими дивными чудесами потускнело и притупилось, словно он начинал принимать экстраординарную загробную жизнь и все ее прелести за должное. И только когда восприятие оживилось благодаря чаепитию у викария, Майкл осознал, как расслабился и сколько упускал. Теперь же, оглядывая на кухне молочные утренние отсветы, милые царапины и прочие следы износа на столовых приборах, он упивался скромными диковинами и пробирающим домашним ощущением, что они вызывали.

Его взгляд лег на декоративную плитку камина, и он впервые заметил ее ошеломительную детальность. На каждом изразце разными оттенками того же синего, как на блюдцах с традиционным рисунком ивы из китайских легенд, были выписаны разные сцены – четкие линии насыщенной голубизны на фоне ледяного и бледного цвета. Через несколько мгновений Майкл понял, что квадратные панельки расставлены в таком порядке, чтобы отдельные рисунки слагались в истории, как в комиксах Альмы. Если это правда так, самым разумным местом для вступления казалась нижняя левая сторона у камина, рядом с самим мальчиком.

Опустив глаза, он мгновенно погрузился в изображенный эпизод – обостренное зрение купалось в темно-синих нюансах, пока Майкл с испугом не осознал, что смотрит на почти точное изображение самого себя – маленького мальчика, разглядывающего историю на изразцах вокруг очага, картинки в картинке в картинке. Этот

бесконечный регресс покорила Майкла сильнее, чем весь блеск славы, в котором перед ним предстали в первый раз Чердаки Дыхания. Хотя ребенок на миниатюре не совсем напоминал его – темные волосы пострижены под миской для пудинга, а на ногах башмаки с пряжками и бриджи до колен, – Майкл почувствовал, как изощренная иллюстрация засасывает его. Он сам уже не понимал, кто он – Майкл Уоррен, сидящий на кухне и уплетающий пирожок, разглядывая изукрашенные плитки, или нарисованный малыш на коленях матери, примостившейся у камелька и показывающей ему библейские притчи на изразцах. Теплая комната вокруг и людный стол растаяли во влажном керамическом глянце, стали горницей в другом веке и приобрели сияющий прусский оттенок. Теперь его собственные руки были цвета морской волны, нахлынувшей на блеклый ультрамарин, а сам он...

Сам он был Филипом Доддриджем, шести лет от роду, учившим Писание с матерью Моникой – она приобняла его за плечи правой рукою, читая из потрепанной Библии, покоившейся на скользкой юбке на коленях. Другою рукою она указывала на дельфтские изразцы кругом огня, подле которого сидела, украшенные сценами из Нового Завета – распятием или благовещением, – чтобы проиллюстрировать прочтенный пассаж. За окном стоял дождливый вечер осенних месяцев 1708 года, и у камина салона в Кингстон-апон-Темз все казалось священным. На полке меж бумажных вееров были декоративные латунные часы с циферблатом, накрытым огромным колпаком из прозрачного стекла, а на лаковом экране рядом с камином играли васильковые блики очага. Мягкий голос Моника Доддридж продолжал нотацию, покуда взгляд сына бежал по прелестным голландским плиткам. Вот огромного Иону извергает кит размером не больше объевшейся щуки, а вот недалече принимали обратно в лоно семьи блудного сына в припудренном парике. Мальчик был так зачарован затягивающими картинками, что почти чувствовал себя их частью – почти бирюзовой фигурой под глазурью, например младенцем Иисусом, поучающим сраженных старших на

ступенях храма. Затерявшись среди рисунков цвета индиго, Филип взял себя в руки и вырвался из библейских сюжетов прежде, чем растворился в них окончательно. Он был...

Он был Майклом Уорреном. Он сидел в залитой солнцем кухне в Душе, за столом с пятью другими детьми и тремя взрослыми, где все задушевно общались и не обращали на Майкла никакого внимания. Не понимая, что с ним только что случилось, он позволил взгляду вернуться к изразцам, на сей раз осторожно взглядевшись во вторую плитку снизу слева. Она не казалась какой-то особенной...

Она не казалась какой-то особенной, эта августовская пора в церкви конгрегационалистов на Феттер-лейн в 1714 году. Филли было двенадцать – болезненный набросок синими чернилами шариковой ручки, сидящий на первой скамье меж отцом и любимым дядюшкой Филипом, слушающий проповедь священника мистера Брэдбери на утрени. Мать Филли скоростижно скончалась не дале трех лет назад, и хрупкий безропотный ребенок сомневался, что отец или дядюшка пробудут с ним много дольше. Их семья отнюдь не пышет здоровьем: Филли и его старшая сестрица Элизабет стали единственными выжившими из двадцати детей, а остальные восемнадцать умерли даже до рождения. Движение на верхней галерее пробудило Филли от мыслей, и, воздев глаза, он увидел падающий платок – кружевную вещицу с рисунком василька, вальяжно парящую к выложенному плитами церковному полу. Все охнули, кроме отца мальчика, Дэниэла Доддриджа, – тот закашлялся. Платок был сигналом: его уронил посланец от епископа Бернета, чтобы возгласить о кончине королевы Анны Стюарт – монарха, принесшего столь много горя их неконформистскому движению. Более того, ее последняя попытка ущемить их – Акт о расколе – должен был войти в силу этим самым днем. Указ был явным усилием подорвать великую традицию религиозных недовольств, ведущую свой отсчет еще с лоллардов Джона Вайклиффа в четырнадцатом веке или с великого радикального диссентера Роберта Брауна двести лет спустя. Акт о расколе посягал на веру Баньяна и его

революционных союзников в лице магглтонцев, моравийцев и рантеров, но теперь, с кончиной королевы Анны, его инициатора, закон наверняка отменят. Ерзая на жесткой скамье, Филли вдруг разволновался, хотя и сам не знал отчего. Извещенный сигналом с галереи, священник торопливо свернул проповедь и сотворил молитву о новом короле – Георге Первом Ганноверском, уже давшем зарок поддержать нонконформистов. Церковь шуршала от возбужденного ропота и волнующего осознания, что ненавистная Анна наконец-то мертва. С удовлетворенной улыбкой мистер Брэдбери приступил к пению 89-го псалма, прежде чем снова со строгим тоном прочитать из Писания. «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». В ушах Филли звенело – он понял, что стоит на заре нового века, эры религиозной свободы, которую мальчик едва ли мог вообразить. Он почувствовал...

Он почувствовал, как впивается в ляжки твердый край кухонного стула, почувствовал приторный и склизкий кус забытого фейри-пирожка на языке. Проглотил его и запил щедрым глотком чая, прежде чем обратиться к следующему изречению. Он обнаружил, что...

Он обнаружил, что облачен в сорочку и чужую исподницу, нацепил жестяную миску для пудинга на темные волосы, подобно шлему. Ему двадцать один год, он играет в спектакле «Тамерлан» Николаса Роу с друзьями и сокурсниками по Академии диссентеров в Кибворте, Лестершир, исполняет роль сиятельного султана Баязида. Самозванные актеры хохотали до упаду, пока по щекам не побежали слезы, включая старого доброго Обадаю Хьюса, которого они звали Аттикусом, и маленькую Дженни Дженнингс, которую они окрестили Феодосией, – дочь преподобного, руководившего академией. Его собственным прозвищем было Гортензий, и, паясничая в лавандовых юбках, он мечтал, чтобы веселье длилось вечно, чтобы можно было остановить мгновение и сохранить его навсегда – муха смеха и улады в янтаре. Знает Бог, доселе в жизни Гортензия смех был роскошью. Осиротев в нежном возрасте тринадцати лет, он стал воспитанником джентльмена по имени Даунс, растратившего все

наследство юнца в катастрофических финансовых спекуляциях в Сити. Вслед за беззащитным и неустойчивым периодом жизни со старшей сестрой Элизабет и ее мужем, преподобным Джоном Неттлтоном, Гортензий нашел свое место в кибвортском учебном заведении, где Божьею милостью ему привили дисциплину и смирение, которые, как он чаял, станут его опорой до скончания жизни. Преподобный Джон Дженнингс и его супруга стали почти что вторыми родителями мальчику, так тепло они приняли его и так пеклись о его образовании. Его потрясло, когда он узнал, что отцом миссис Дженнингс был сэр Френсис Уингейт из Харлингтон-Грейнджа в Бедфорде – тот самый, что заключил злосчастного Джона Баньяна в бедфордскую крепость. Теперь же, сложившись пополам от хохота под дребезжание жестяного шлема по полу и смех друзей, Филип поражался контрасту между этим привольем и непреходящим одиночеством, осаждавшим его в течение практически всей жизни. И он испытывал чувства к Китти Фриман – своей Кларинде, как он ее прозвал, – хотя и страшился, что страсти по большей части безответны. Запнувшись о ляписовую линию – подол своей сорочки, – чем возобновил залиvistое веселье, он спрашивал себя, ждет ли его в будущем идеальная партия? Что написано ему на роду Богом, если Бог вообще задумывался о Гортензии? Фигурируют ли жена и подходящее призвание в великом неисповедимом промысле? Что ему уготовано? Что все...

Что все это значит? Майклу казалось, словно он дрейфовал без якоря где-то между домашней кухней и расписным миром изразцов, поблескивающим фаянсовым ландшафтом оттенков бильярдного мела, где все время сжато в тонких голубых штрихах на белой эмали. Хоть он знал, что бессильно втягивается в каждое новое изображение, на которое опускает глаз, остановиться он уже не мог. Эйфория, сопровождающая чай и пирожок, обернула Майкла пышным и пушистым одеялом, притупив тревогу, что в следующий раз он не выберется из завитушек краски. Он позволил вниманию скользнуть выше, к следующей части по порядку. Она наводила...

Она наводила жуть, эта рассеянная утренняя дымка, белая на сапфировой ежевике вдоль деревенского тракта; на нем странствующий священник остановился для беседы с девушкой в штриховке лохмотьев и с широкими яркими глазами в почти неуловимом потоке синего света на буколической тропе. Преподобный Доддриддж, проезжая села Нортгемптоншира и выступая перед паствою там, где его приглашали, сидел верхом на терпеливой кобыле и дивился болезненной и неземной девушке, преградившей путь. Звали ее Мэри Уиллс, и была она почтенною пророчицей из близлежащего Питсфорда, провидицей и мистиком, которая теперь окликнула бледного востребованного молодого проповедника, что шел своею дорогою. Ее словно сплели из тумана, клубившегося в канавах, свили из бурьяна и влажных опавших листьев, и провозглашала она, что будущее в ее глазах – уже написанная книга, резное украшение в железной оправе времени. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня!» Вот слова первой проповеди, что ты молвишь в бедных боро Нортгемптона, где быть тебе пастором». Спустя многие годы он вновь свидится с юродивым оракулом и уже не усомнится в ее видениях, но в первую встречу ему было двадцать шесть лет, а ее предсказания он принял за шарлатанство, хотя и не выказал видом неприязни или пренебрежения. Проповедничество в Нортгемптоне, думал Доддриддж, – вот что уличало выдумки. Он только что изъявил согласие на просьбы своих коллег из паствы диссентеров, доктора Уоттса, Дэвида Сама и прочих, которые заклинали его возглавить Академию диссентеров в Маркет-Харборо – эта должность освободилась с прискорбною кончиною предыдущего священника, блаженной памяти преподобного Джона Дженнингса. Имущество Доддридджа уже отправилось фургонами в резиденцию в Харборо, где домохозяйство по-прежнему будет вести мисс Дженнингс, и Доддриддж льстился надеждою на обоюдные отношения с чудесною дочерью Дженнингсов – Дженни. Следовательно, мысль, что его можно убедить пожертвовать

подобной выдающейся во всех отношениях позицией во имя какой-то промозглой хижины в косных кварталах Нортгемптона, – безрассудная фантазия, коей не суждено воплотиться в жизнь, был уверен он. Он поблагодарил странное дитя за предостережения и продолжал путь. Но нельзя было избежать...

Но нельзя было избежать неумолимой последовательности плиток, стоило Майклу раз поддаться увлекающей тяге истории. Он тонул среди муравленых сине-голубых бурунов, пока не бросил тщетное сопротивление и не ушел на дно с головой, кувыркаясь в течении повествования от одной сцены к следующей. Он даже не знал...

Он даже не знал, зачем он здесь, ведет в сочельник лошадь чрез деликатные ажурные завесы опускающегося снега к теплым огонькам общинного дома на Замковом Холме. Хрустел по промерзлым заносам на земле захоронений, над рагу из ребер голи и чумных черепов где-то под ледяною коркою и холодными мучнистыми недрами, которые она скрывала. Не прошло и месяца службы в Маркет-Харборо, как до его внимания довели искренние старания народа Нортгемптона о том, чтобы он принял приход здесь, на Замковом Холме, в самом убогом, западном квартале города. Район был гнилым бельмом на оке города, в остальном освеженного благодаря полному обновлению после Большого пожара, да и все равно Доддриддж уже отдавал всего себя труду в Харборо. Он изящно отклонил предложение, но скромная паства настаивала. Наконец популярный юный священник решил доставить отказ лично, мягко донести посредством проповеди до своих несостоявшихся прихожан, что им пора положить конец увещеваниям. Проповедь начиналась словами: «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня!» – и все же он не вспоминал ни о Мэри Уиллс, ни о ее пророчестве, пока не обнаружил, что исполнил его, закончив проповедь. Более того, обитатели Замкового Холма так переполнялись к нему благорасположением, что его мысли пребывали в смятении, пока он возвращался пешком к постюю у Золотой улицы. Минуя открытую дверь, он услышал, как мальчик читает матери вслух из Писания –

так нередко делал сам измученный сомнениями преподобный – и провозглашает звонким чистым голосом: «Как дни твои, будет умножаться богатство твое». В этот миг неожиданные чувства сошли на него с такою силою, что показались откровением: все дни Доддриджа были частью его, частью его вечной сущности, и состоял он лишь из этих дней, из мыслей, слов и деяний этих дней. Они были его богатством. Они были для него всем. И на том же месте он решился оставить академию в Харборо и принять взамен не столь перспективный пост в Нортгемптоне. Его друзья, мистер Сам и Сэмюэль Кларк, сперва негодовали и умоляли передумать, но с неохотою были вынуждены признать, что при столь странных обстоятельствах дела радеть сему решению могла лишь высшая сила согласно своим неисповедимым путям. И вот он здесь в рождественский сочельник, плетется навстречу судьбе в черно-синих тенях, пестреющих от падающего белого. Лишь насилу...

Лишь насилу Майкл вспоминал о кухне или пироге. Травленные синие эпизоды теперь налетали быстро и густо. Он знал, что...

Он знал, что предназначен судьбою для госпожи Мерси Мэрис с того самого мига, как впервые повстречал ее в вустерском салоне ее двоюродной бабушки, миссис Оуэн. На шесть лет младше его, в свои двадцать два, с врожденным добродушием и цветущим видом, она казалась ярким самоцветом, приобрести который, опасался он, ему не по карману. Только недавно он делал предложение шестнадцатилетней Дженни Дженнингс, но взял в ответ лишь твердый отказ, снял осаду и удовольствовался непрерывной дружбой. Однако обуявший его порыв в той оказии не шел ни в какое сравнение с как громом поразившей страстью в адрес мисс Мэрис. Он длит настойчивые ухаживания, не в силах отказаться от них, и, к радости своей, обнаружил, что его усилия вознаграждены. Они обвенчались в 29-й день ноября 1730 года в Аптоне-на-Северне, и жена прибыла к нему в Нортгемптон, где с воодушевлением поддерживала во всех начинаниях, несмотря на суровую жизнь района. Местные жители являли собою образец неунывания и

поддержки, несмотря на распри, разгоравшиеся между десятком разных нонконформистских направлений. И он, и миссис Доддридж нашли своих прихожан более чем благоугодными вопреки репутации, которую заслужил за возмущения и вольнодумие сей тихий уголок, где в прошлом веке писались и публиковались под псевдонимом самые крамольные трактаты «Мартина Марпрелата». Разве сэр Хамфри Рамсен не заявил в переписке с Джоном Лэмбом, что Нортгемптон – «гнездо пуритан», а горожане – «зловредные пламенные духи, самый покой церкви возмущающие»? И все же именно в этом графстве прихожане впервые настояли еще во времена правления королевы Елизаветы дозволить гимнопение на церемониях, тогда как прежде того лишь читались псалмы. Это было доброе место, на свой лад святое – не хуже любого другого, и жил он там с женою в благолепии, хотя пророчица Мэри Уиллс и предупредила, что первая попытка родить на свет ребенка принесет лишь печали. Но вдруг сим разом она ошибалась. В конце концов, в своем отношении к детерминизму он стоял...

...

Он стоял в темнеющей церкви на Замковом Холме и рыдал; взирал чрез дрожащую соленую линзу на маленький надгробный камень, уложенный среди напольных плит под деревянным алтарем. Он верил, что уже истратил все слезы, как вдруг его застиг врасплох очередной приступ. Вне всяких сомнений, его вызвали брошюры, наемдны доставленные от печатника, одну из которых он сейчас и держал перед собою в дрожащих руках. «Смирение пред Божьим Промыслом в Смерти Детей, с твердым настоянием рекомендуемое в ПРОПОВЕДИ, прочтенной в НОРТГЕМПТОНЕ на СМЕРТЬ полного любви и надежд ЧАДА Пяти Лет от роду. Опубликовано Ф. ДОДДРИДЖЕМ, Д. Д., из сострадания к скорбящим РОДИТЕЛЯМ. Neve Liturarum pudeat: qui viderit illas De Lachrymis factas sentiat esse meis.^[76] ОВИДИЙ. ЛОНДОН: Отпечатано для Р. ХЕТТА в «Библии и Короне», в Поултри. MDCC XXXVII [Цена шесть пенсов]». Pamфлет был написан не чернилами, а слезами, и последние теперь текли ручьем,

все более размывая и марая первое. Возможно...

Возможно, положение не самое удачное, в отличие от академии в Харборо, – здесь, на Овечьей улице, напротив въезда на Серебряную, – но Доддриджу казалось, что на его веку это лучший приход во всей Англии. Они с Мерси и четырьмя выжившими детьми с удобством проживали в предыдущем месте на углу Пикового переулка и Лошадиной Ярмарки, но с прибывающими еженедельно новыми студентами для изучения Писания, математики, латыни, греческого и иврита становилось ясно, что учреждению диссентеров потребуется новое, просторное помещение, чтобы вместить их всех. Он надеялся...

Он надеялся, что приобрел столько друзей благодаря своей терпимости. Его церковь состояла в благожелательных отношениях с баптистской миссией в переулке Колледжа, а в личной жизни среди знакомых он насчитывал кальвинистов, моравийцев и сведенборгиан. Этим мартовским утром 1744 года он стоял в Георгианском ряду со своим самым драгоценным и невероятным спутником. Мистер Джон Стонхаус вел насыщенную беспечную жизнь, а однажды даже издал сочинение с нападками на христианство. Одним вечером по пути на встречу с женщиною распущенных нравов он остановился послушать проповедь знаменитого Филипа Доддриджа и не сходя с места отрекся от былой жизни, став самым верным союзником в деле доктора, и впоследствии оказал неоценимую помощь в основании городской лечебницы – первой за пределами Лондона, – по которому случаю их присутствие и потребовалось сим ветреным утром на Георгианском ряду. Из...

Из темного ноябрьского неба над головою цветы фейерверков пролили дождем горящие сливочно-кобальтовые лепестки на академию на Овечьей улице, ярко освещенную лесом свеч, составленных в виде надписи: «КОРОЛЬ ГЕОРГ НЕ САМОЗВАНЕЦ». Доддриддж уже давно понимал, как повезло диссентерам под властью этого ганноверского монарха, и часто предостерегал свою паству от возрождения Стюартов, которое повлечет новые гонения со стороны католиков. Но теперь, в 1745 году, угроза была более чем гипотетическая – принц Карл Эдвард Стюарт, претендент на британский престол, поднял стяги в Гленфиннане, а затем маршем выдвинулся на юг и вошел в Англию. Доддриддж, предваренный о такой возможности за шесть лет пресказательницей Мэри Уиллс из Питсфорда, встретил этот день во всеоружии. Он привлек на свою сторону доброго друга графа Галифакса и оживил парламент, как будто дотоле безразличный к угрозе Молодого Претендента; к тому же собрал силы больше чем в тысячу человек, включая две сотни конных, из которых большая часть встала здесь, в Нортгемптоне. Претендент, рассчитывавший на мощную поддержку якобитов, но так ее и не дождавшийся, по слухам, был еще более обескуражен вестями о вооруженных людях, поджидавших его чуть дальше на юге. Он уже начал отступление к Шотландии – и, вероятно, к неизбежному поражению, – к чему и были приурочены эти праздничные огни. Он возрадовался...

Он возрадовался великому провидению Господнему, когда умирал в маленьком деревенском домике в нескольких милях от окраин Лиссабона. Когда зримо пошатнулось его здоровье, и без того от рождения хрупкое, он с Мерси благодаря пожертвованиям доброго люда с Замкового Холма отправился восстановить силы в

Португалию. Эта солнечная страна в 1751 году славилась хорошей погодой и укрепляющим действием природы, но советчики из Нортгемптона, очевидно, не знали, что конец октября здесь традиционно сулил начало ежегодного сезона дождей. Теперь же близился третий час черного утра двадцать шестого числа. Филип прислушивался к ливню, барабанившему по крыше, и понимал, что конец близок. Мерси занедужила сама – жертва климата, и он знал, что жене нельзя ему помогать, хоть ей желалось того всем сердцем. Он благодарил Бога за верную и любимую женщину, которая так обогатила добрую долю из сорока девяти лет, отведенных ему на земле. Он благодарил Бога за свою жизнь, за каждый взлет и падение, за то, что дозволил в значительной степени развить дело диссентеров, вынудив церковь признать своих братьев-нонконформистов, – и все благодаря убогому холму, где стоял скромный общинный дом. Мерси спала рядом. Он слышал дождь и чувствовал веяние ее дыхания на своей щеке. Он закрыл...

Он закрыл глаза. У Майкла сложилось впечатление, что привидения не спят, но он пребывал в похожих заблуждениях и о еде, пока не подали чай и фейри-пирожок. Проваливаясь в розовую дрему, он лениво подумал, что, хотя мертвецам и не нужно питаться или отдыхать, они наверняка потворствовали себе и в том и в другом из одного простого удовольствия. Он все еще слышал голоса остальных на светлой кухне, но они доносились издалека и его не касались. Он почувствовал, как кто-то – наверно, одна из Доддриджей – забирает из его обмякших пальцев чашку с блюдцем, пока он не разлил чай на пол. Пирожок Майкл либо доел, либо уронил, но это его уже не заботило.

Где-то рядом бубнили Билл и Филлис. Билл говорил: «Ну, надобразить какой-нить способ, чтоб он сохранил память, ведь мы ж видали картины». Что это значило? Они говорили о картинах на изразцах, из которых Майкл еще не вынырнул окончательно? Где-то еще Тетси Доддридж уговаривала Утопшую Марджори, чтобы та ей что-то надписала: «Будешь так добра? Это не займет и секунды». Он

слышал слабый и ритмичный стук и сперва принял его за собственный пульс, пока не вспомнил, что у него больше нет пульса, и понял, что это тиканье кухонных часов, отсчитывающих мгновения этого мира без времени.

Чуть позже его кто-то поднял – судя по ощущению, один из старших мальчиков, а судя по чистому и сухому запаху – вряд ли Реджи Котелок. Значит, из кухни в короткий коридор и затем в зал его, словно полупустой куль муки, нес у груди и плеча Джон. Майкл слышал, как вокруг топчут и гремят остальные члены банды, и предположил, что все уже почаявничали и собирались уходить. Он не сомневался, что будь рядом его мамка Дорин, она бы его разбудила, чтобы он сказал спасибо семье Доддриджей за гостеприимство и попрощался как следует. Он изо всех сил попытался проснуться и со скрипом раскрыть веки, но они не поддавались, да и к тому же ему было слишком хорошо и удобно в руках Джона. И Майкл со спокойной душой позволил всему ускользнуть в сияющий и розоватый туман.

Теперь они были в зале, и где-то рядом мистер Доддридж подводил к завершению беседу с зодчим в сером рубище, которого миссис Гиббс назвала мистером Азиилом. Майкл обнаружил, что во сне странную расплывающуюся чепуху из уст англов понимать куда легче. Судя по тому, что он смог разобрать, доктор богословия в золотом парике все еще расспрашивал мистера Азиила на тему подозрительного Сэма О'Дая, выясняя у рабочего, как друг с другом соотносятся разные сущности – все дьяволы, обычные люди и зодчие – и как это связано с загадочным «Третьим Боро». Гость Доддриджа усмехнулся и сказал: «Ос кладт внаев», – и в невменяемом сознании Майкла слова мигом развернулись во что-то ненамного более вразумительное:

– Они складываются в тебя. Ты складываешься в нас. Мы складываемся в Него.

Такой ответ как будто одновременно и заинтриговал, и удовлетворил пастора, который задумчиво хмыкнул, прежде чем

озвучить последний вопрос для дружелюбного ремесленника.

– Ясно. А позвольте узнать, хоть у кого-либо из нас в сей гениальной конструкции блесть Свобода Воли?

Голос нескладного англа прозвучал скорбно и виновато, когда он отвечал одним слогом – видимо, одинаковым как на английском, так и на его родном языке:

– Нет.

После просчитанной паузы, словно перед окончанием шутки, мистер Азиил произнес еще одно слово англо, которое Майкл понял почти мгновенно.

– Атбенхват?

Это значило: «А тебе ее не хватало?»

Воцарилось пораженное молчание, а затем и преподобный доктор, и его гость гомерически расхохотались, хотя Майкл не понял, что тут такого смешного. Очевидно, как и большинство взрослых шуток, эта до него не дошла. Прямо как та, что кончалась словами: «А если я положу монетку в щель и нажму на кнопку, колокольчики зазвенят?» [ZZ] Майкл сам не понимал, как одно связано с другим: мысли путались, и его бы уже не поднял и хлопок пушки – хлопок, перо и пушок, лебязьи и гагачьи –плыли в сахарной вате уютных мыслей.

Когда веселье мистера Доддриджа и его визитера улеглось, доктор простился с детьми, как и миссис Гиббс, мисс Тетси и ее мать. Из всех прощаний самое продолжительное и несдержанное принадлежало мистеру Доддриджу:

– Дети, благодарю за ваше посещение. Надеюсь, мы свидимся вновь, и не с одним только мастером Реджи, когда он придет учиться в загробной академии под моим началом. Вы же, юная Филлис Пейнтер, знайте, что это дитя покамест вверено на поруки вам и вашим товарищам по воле Всевышнего. Все совместные приключения, даже своевольные проказы и озорство, – уроки, которые ему необходимо усвоить. Как не забыть ему сии уроки – то загадка, требующая вашей смекалки, но блесть покойны, что мы,

слуги Души, всецело в вас верим. Что же до беса, о коем мы говорили ранее, очевидно, что рано или поздно он добьется своего, а когда час пробьет, лучшим моим советом вам блеснет помнить, что даже низменные существа – лишь нераскрывшиеся листья Третьего Боро и в конце концов служат Его замыслу. Теперь трогайтесь в путь с мистером Азиилом. Верьте и не страшитесь.

Словно издалека, Майкл слышал, как Филлис спрашивает преподобного, значат ли его слова о своевольных проказах и озорстве, что Мертвецки Мертвой Банде можно безнаказанно взять Майкла обдирать безумные яблочки в лечебницах? Доддриддж снова рассмеялся и ответил, что очень на то похоже. Затем последовали новые прощания, и Майкл почувствовал по меньшей мере два легких влажных поцелуя на почти бесчувственной щеке – вероятнее всего, от жены доктора и дочери.

Затем он ощутил витиеватые древесные волокна, когда они прошли сквозь дверь, висящую на западной стене церкви. Не то чтобы Майклу вдруг стало холодно – скорее, он больше просто не чувствовал никаких признаков температуры. Запах горжетки из грызунов Филлис Пейнтер как отрезало, и он почти слышал похрустывание ваты призрачной стежки, набивающейся ему в уши. Он разлепил клейкие от эктоплазмы глаза в мире черного и белого, и Джон мягко опустил его на фосфоресцирующие доски Ультрадука, где повсюду вскипало и убегало, словно кипящее молоко, время.

Филлис спросила, кто еще хочет есть.

Деревьям не нужно знать

Марджори Миранда Дрисколл была из начитанных мертвецов. Она не успела прочесть много ко времени, когда последовала за собакой Индией в темную Нен у Лужка Пэдди, но с тех пор за безвременное время успела наверстать. Она бесследно бродила по библиотекам, чародейски частила в читальни и кралась, келейно, по классам. Пухлая невесомая фигура девочки в очках невидимо висела над плечами ученых, словно серая прозрачная подушка, и следовала за ними через Чосера, Шекспира, Мильтона, Блейка и Диккенса в лингвистические дебри Джойса и Элиота, с попутной охапкой М. Р. Джеймса и Энид Блайтон. Ей нравилось почти все, особенно Диккенс, хотя ее совершенно не впечатлила кончина Малышки Нелл, которую Марджори считала весьма театральной мадамой. Если бы роман писала Марджори, кто-нибудь макнул бы мелкую плаксивую фифу в Темзу; вот тогда бы мы посмотрели.

Впрочем, сказать по правде, не то чтобы Марджори могла написать «Лавку Древностей». Она понимала, несмотря на недавнюю нежданную лесть со стороны мистера Азиила и семейства Доддриджей, что ни в какое сравнение с Диккенсом не идет. Но все же Марджори не станет спорить: знать, что где-то дальше по долготе вечности ее роман уже закончен, как-то опубликован и даже хорошо принят, – очень славно. Хотя Марджори была реалисткой и подозревала, что будущая популярность больше зависит от необычности Мертвецки Мертвой Банды, чем от каких-то литературных заслуг. Почти никто не писал книг после смерти и еще меньше людей доводили их до призрачной публикации, так что, думала она, любой, кто этого добьется, обречен на какое-никакое внимание.

Марджори была только ученицей и сама это знала, с ученическими представлениями о том, как вести повествование и выстраивать историю. Кое о чем она догадалась сама – например,

отдельная глава будет казаться завершенной, если в ее начале поставить перед читателем какой-то второстепенный вопрос, а потом на него ответить, причем лучше – в последних строках, – но не считая охапки простеньких приемов, ей ужасно не хватало огневой мощи, чтобы потянуть целую книгу.

Больше всего раздражало, что никто не говорил, чем кончится роман или как отправить его в печать. Она слышала, что мистера Блейка по-прежнему публикуют в сиятельной мастерской в вышних краях над Ламбетом, но это получается слишком долгая прогулка по Ультрадуку только ради одиннадцати схематичных бессвязных глав, которые она пока успела закончить. И все же, исходя из наличия поклонников в высших эшелонах Души, стоическая девочка смирилась с тем, что однажды неизбежно окажется на этом пути. Тогда у нее будет издание мемуаров в зелено-золотом переплете, которое она спрячет в столетней фантазии о Ручейной школе, чтобы его нашел Реджи Котелок, – а эта находка в свое время и вдохновила роман Марджори. Когда она узнала происхождение названия Мертвецки Мертвой Банды, она решила, что написать сновидческую книжку, от которой название и пошло, – трюк мертвецки умного автора. Даже, пожалуй, стройный концепт – она слышала, подобные задумки называются именно так, хотя, конечно, не посмеет воспроизвести этот оборот вслух поблизости от грубоватых фантомных коллег, которые над ней только посмеются. Страх перед насмешками или даже остракизмом и отбил при жизни у ребенка, в остальном бесстрашного, склонность читать или писать. В Боро смертных – в Первом Боро – у тебя нет ничего, кроме других людей, и все с тобой в одной прохудившейся лодке. Начнешь сыпать заумными словечками или расхаживать с «Портретом художника в молодости» – и все того гляди подумают, что ты больно высокого мнения о себе. А значит, низкого – о них. Кто-то будет смеяться и обзывать Головастой или Леди Дрянью, а кто-то и очки разобьет. Хоть она сомневалась, что ребята из ее нынешней компании могут себя так повести, все же предпочитала получать литературное

образование и заниматься романом украдкой, чтобы не выставиться в дурацком свете в случае неудачи.

Хотя она не расставалась с призрачной бандой практически ни на миг с самого спасения от Ненской Бабки, Марджори обнаружила, что поддерживать тайную двойную жизнь литературоведа и начинающего автора до смешного просто – а все благодаря твердым свойствам призрачной стежки. В призрачной стежке через время можно прокопаться. Можно отложить любое дело, прорыться к другому занятию, – скажем, полгода обитать в общественной читальне, – а потом прокопаться обратно через полсекунды после ухода, пока никто не заметил твоего отсутствия. Марджори вела обособленное существование за пределами Мертвецки Мертвой Банды и полагала, что не одна такая догадливая. Филлис однажды обронила пару слов, которые натолкнули Марджори на вывод, что у той где-то в одновременных пределах посмертия есть другая, взрослая жизнь – а то и жизни: возможно, муж в одном месте и парень в другом. Конечно, Марджори не видела в этом ничего дурного. Филл Пейнтер дожила до седин, и вполне естественно, что у нее хватало по-разному дорогих сердцу периодов. Марджори даже не успела в кого-нибудь влюбиться перед тем, как забрела за Индией в ночную прохладу реки, так что у нее вариантов не было. Либо Мертвецки Мертвая Банда, либо библиотека, либо ничего.

В свете этого Марджори была впечатлена Тетси Доддриддж. Вот человек, которого забрали на тот свет куда раньше, чем Марджори, но он предпочел посмертно вырасти и стать преуспевающей и привлекательной девушкой. Предположительно, Марджори и сама могла бы вести такую загробную жизнь, если бы захотела – и если бы посмела. Можно стать выше, стройнее, красивее, избавиться от очков Нацздрава, которые она носила только потому, что носила их при жизни. Даже не придется говорить товарищам, что она дефилирует по раутам призрачного района в качестве прелестной дебютантки, если по-прежнему являться им четырехглазой десятилетней кубышкой. Марджори представила себя в объятиях

какого-нибудь юного привидения – может быть, Реджи Котелка, если бы он вырос на фут и прифрантился, – кружащейся по потустороннему «Бальному салону». На миг задумавшись, на что похож секс, она почувствовала, как в бесцветном континууме призрачной стежки к щекам приливает темная серая краска. Надеясь, что никто не обратил внимания, юная писательница сосредоточилась на нынешних обстоятельствах, чтобы развеять облака горячечного воображения, которые настигали ее время от времени с тех пор, как она стала автором.

Марджори стояла на сверкающей дороге Ультрадука с Мертвецки Мертвой Бандой и зодчим – мистером Азиилом. Глядя через алебастровые перила, они видели, как наваливаются друг на друга десятилетия из всех моментов Боро: века сапожников и крестоносцев, с замком, расцветающим огромной и тяжелой гранитной розой, только чтобы увянуть, пока один за другим обрывались или опадали лепестки-бастионы. Время клубилось, и в его дымных завихрениях вспыхивали и истаивали беглые образы и мгновения, пока прошлое и будущее бурлили вместе, одновременно и вечно. Особенное внимание Марджори привлекла одна мерцающая воспроизводящаяся сценка, что прорывалась в бытие для повторения неизменных действий перед тем, как исчезнуть, и возобновляла цикл каждые несколько субъективных минут: на низкой каменной стенке, вырастающей вокруг южного фасада церкви Доддриджа слева от девочки, она увидела двух сидящих бок о бок пожилых людей, согнувшихся пополам и содрогавшихся от смеха. Один из мужчин, высокий, казался голубым – разодетый в пушистый девчачий свитер, с опущенными до плеч невымытыми волосами и каким-то макияжем на лице. Второй, плачущий от хохота рядом со странноватым приятелем, был приятной наружности, хотя и с основательными залысынами. У Марджори было смутное и неопределенное ощущение, что она откуда-то знает этого второго; что она с ним уже когда-то встречалась, но забыла. Она как раз ломала над этим голову, когда ее отвлек долговязый Джон,

воскликнув от перил, где стоял справа от нее через двух мертвых детей и зодчего.

– Ого, чтоб меня. Глянь-ка, что я нашел, малёк. Филлис, подними его, чтобы он посмотрел, что тут вырезано на перилах.

Джон говорил с новеньким, Майклом Уорреном. Похоже, высокий парень нашел на прозрачной балюстраде, ограничивающей Ультрадук, какую-то надпись. Когда Филлис Пейнтер подчинилась просьбе Джона и подняла малыша в ночнушке, вокруг с горячим интересом к находке сучковались Марджори и остальные фантомные дети и даже мистер Азиил. Марджори, в тылу группы и сама немного выше Уоррена, довольствовалась описаниями из вторых уст, не в силах увидеть граффити лично. Но она постаралась запомнить все подробности, уверенная, что они понадобятся для следующей главы – или «Загадки Духа Задушенного Малыша», как она ее, судя по последним новостям, назовет. Джон показывал ребенку что-то выцарапанное на поручне.

– Видишь? Вот, в мраморе, или что это такое, прям где я показываю. «Здесь был, есть и будет Снежок Верналл». Это твой дед, между прочим. Нет, погоди. Твой прадед. Должно блесть, он когда-то проходил по Ультрадуку, хотя бог знает, как он умудрился вырезать имя на таком камне... если только не стибрил у англов зубило.

В этот момент вмешался мистер Азиил, причем заунывный мастеровой казался несколько раздосадованным, опечаленным и в то же время позабавленным, когда коротко выпалил свою сложносочиненную чепуху:

– Ооп крубпер мэвв цубврило.

Все это развернулось – в части разума Марджори, существовавшей как будто только для расшифровки языка зодчих, – в многословную и сияющую речь, которую пришлось бы читать добрых двадцать минут, а потом, в представлении пухлой девочки, снова сжалось в короткое английское предложение:

– Он прав, и украденное зубило принадлежало мне. Со своей внучкой, прелестной малышкой Мэй на плечах, он отправился в

дальние пределы Ультрадука, ковыляя к окончанию самого Времени. Я сам забирался на двадцать веков вперед и узрел ту же гравировку, поджидавшую меня, но так и не встретил в пути свое зубило.

Когда слова разложились по полочкам, Джон тихо и с уважением присвистнул:

– Так вот почему я ни разу не видел ни его, ни маленькой Мэй. Он и раньше любил долгие путешествия, отсюда до Ламбета и обратно.

Мистер Азиил кивнул.

– Табол допшилкк оковре здук.

Пройдя через цветастую эпическую стадию процесса вербальной фильтрации, фраза стала чуточку чище и яснее.

– Так и блесть. Более того, его долгие пешие прогулки помогли образовать колею во времени, на которой и зиждется Ультрадук.

Марджори запоминала все это с ликованием. Отменный материал, и не только как фоновая деталь для двенадцатой главы «Мертвецки Мертвой Банды», но и как потенциальная тема второго романа, если она напишет еще один. Она так и видела перед мысленным взором центральный образ. Беловолосый и эксцентричный Снежок Верналл, о котором она была наслышана – все в Душе наслышаны о Снежке Верналле, – топает чрез века в далекое будущее со сверхъестественно привлекательной крошкой Мэй на плече. Марджори слышала и о прелестной мертвой малютке, хотя не осознавала до этого момента, что трагически юная краса была родственницей безумного и бесстрашного верхолаза из легенд. Судя по тому, что ей говорили, полуторагодовалая девочка предпочла остаться в том же великолепном детском обличье, в каком ее забрала дифтерия, хотя ее разум и лексикон развились до уровня не меньше чем образованной юной дамы, уровня Тетси Доддридж, если бы та сохранила свою детскую внешность как есть. Марджори представила себе их поразительные разговоры – диалоги странного старика и милой малышки, останавливавшихся на, возможно, бесконечном пути в будущность и рассматривая какие-нибудь невообразимые достопримечательности – города из утепленного

льда в двадцать втором столетии или пустынные палаточные поселения в двадцать четвертом. Заметив, что на разум снова надвинулась туча лихорадочных спекуляций, она вернула внимание к разговору остальных Мертвецки Мертвых бандитов.

Филлис, которая снова поставила Майкла Уоррена на Ультрадук после того, как поднимала его взглянуть на слова, врезанные в перила, громко настаивала, чтобы коллеги последовали предложению, выдвинутому сразу, как только она ступила на светящийся мост и спросила, кто еще хочет есть.

– Пошлите. Мы и так тут долго кукуем. Пора обдирать безумные яблочки в лечебницах, как я хотела. Када я нашла на Чердаках Дыхания нашего клопа, я как раз возвращалась из психушек, чтоб сказать, что Паковы Шляпки созрели и ждут нас не дождутся. Раз уж мы на Ультрадуке, можно заскочить и в Берри-Вуд, чтоб их собрать. Да вы и сами слышали, как сказал мистер Доддриддж. Мелкому Майклу это пойдет на пользу.

Возражений ни у кого не нашлось, и Марджори самой казалось, что это неплохая идея. Ее скорее раздражили, чем насытили вкуснейшие фейри-пироги и чай из Паковых Шляпок, поданные у миссис Доддриддж. И перспектива зрелых, влажных связок фейри, пачками висящих на карнизах сумасшедшего дома истекая соком, казалась весьма и весьма завлекательной. Марджори обнаружила, что лучшие идеи для историй появляются, когда она наедалась Бедламскими Дженни досыта, а кроме того, ее всегда привлекали музыкальные и литературные экскурсии в лечебницы. У девочки там были свои герои и героини.

Они попрощались с мистером Азиилом, который пожал каждому руку, а Марджори – дважды, а затем смело отправились по Ультрадуку, заворачивающему на юго-запад, предоставив мрачному и мосластому зодчему воссоединиться с товарищами по труду где-то внизу, под лестницей Иакова, у самого основания опорных колонн пролета в конце семнадцатого века. Пока призрачные хулиганы весело неслись вдаль, они распевали клубную песню, которой их

научила Филлис, – хотя Марджори подозревала, что это старая песенка той банды, где раньше состояла Филлис, претерпевшая небольшие изменения.

– Мы Мертвецки Мертвые! Мы Мертвецки Мертвые! Мы манеры знаем, мы время не теряем, нас уважает весь народ окрест. Мы поем, мы пляшем, мы во всем класс кажем, потому что мы Мертвецки Мертвые!

Даже смутившийся Майкл Уоррен после пары повторов уловил слова и охотно – хотя и пискляво – подпевал остальным. Пока Марджори мычала в такт отважному маршу, она размышляла о том, что в песне не было ни слова правды. Они действительно Мертвецки Мертвые, с этим не поспоришь, но уже не вспомнить, когда они в последний раз следили за манерами, а время и возможность его потери в текущем состоянии были вопросом еще более щекотливым. Нельзя формально подтвердить и повсеместное уважение – даже в местах, где они были завсегдатаями. Большинство уважаемых привидений считали Филлис и ее команду эктоплазмическими отбросами, а большинство нереспектабельных привидений целиком и полностью поддерживали это мнение. Плясуны из банды были никакие, а если говорить о пении, то, на слух Марджори, если послушать безбожный гомон, который они сейчас подняли, то и этот тезис проваливался с треском. Но в остальном, не считая манер, времени, плясок, пения и уважения в обществе, песня не противоречила истине. Они могли показать класс.

Она вспомнила ту странную ночь, когда с ними познакомилась. «Индия! Вернись, чертова, чертова дурацкая чертова собака!» В жизни Марджори не формулировала предложения отвратительней, и слава богу, что она его не написала в книге. Девочка побрела от берега и, когда морозная речная вода хлынула в резиновые сапоги, испытала первые колебания, но отбросила их и зашла еще глубже в ползучую темноту Нен в поисках чертовой, чертовой собаки. Она помнила, как думала, когда холод достиг трусиков и талии: «Так поступают смелые девочки». Ретроспективно Марджори понимала,

что лучше бы она тогда подумала: «Разве я умею плавать?» Наверное, ей казалось, что Нен мельче, чем оказалось на самом деле, а может быть, она верила, что плавание – естественная реакция любого млекопитающего, вдруг угодившего на глубину. Если быть честной, Марджори уже не представляла, что тогда было у нее в голове, кроме напрасных опасений за Индию.

Разгульный хор мертвых подростков шествовал по Ультрадуку, который гудел и резонировал под шаркающими шагами. Где-то внизу бурлил пабами, пылью и фанатиками Меловой переулочек, а когда призрачные дети прошли дальше по эстакаде со шлепающими позади изображениями, то заметили, что они не одиноки на фосфоресцирующем настиле. Тусклые огни, струящиеся навстречу из далекой точки, где как будто встречались параллельные перила моста, по мере приближения на глазах превращались в молочные и прозрачные силуэты, миновавшие банду и спешившие навстречу церкви позади. Марджори знала, что это путешественники из других времен, странствующие вперед и назад по сиятельному переходу. В некоторых из них можно было узнать призраков норманнов, саксов, римлян и древних бриттов, хотя изредка встречались тлеющие демоны и часто – зодчие. Остальным путникам Мертвецки Мертвая Банда казалась такой же зыбкой и невещественной – едва замеченными силуэтами, мелькающими по всей раскинувшейся безвременной шири.

Теперь они пересекли Меловой переулочек и двигались над примечательным развернутым пустырем, тянувшимся до высокой стены вдоль дороги Святого Андрея. Этот ландшафт бросался в глаза даже по стандартам призрачной стежки, и Марджори несколько не удивилась, когда Майкл Уоррен попросил банду подождать, пока он насмотрится. Из того, что Марджори извлекла из подслушанных обрывков разговоров привидений, она знала, что эта пересеченная местность служила примером так называемого астрального проседания – во многом как накладывающиеся друг на друга лечебницы, куда в эту минуту направлялись дети. Идея эфирного

коллапса чем-то ее необъяснимо устрашала – сама мысль, что даже у вечности есть разрушимые и бранные компоненты, доказательство чему лежало прямо у ее ног.

Часть верхних пределов Души, сделанная из сгущенных сновидений и воспоминаний, рухнула в призрачную стежку, так что сам серый полумир вдавило в грязь и хляби материального царства. С Ультрадука нижайший, земной уровень на протяжении значительного времени казался дикой пустошью, где не кипели нескончаемые подъемы и падения жилищ смертных, как везде вокруг. Менялись только обрывистые контуры заброшенного участка, переползая с места на место, кратко обрастая хилыми деревцами и кустами, прежде чем всосать их обратно в глину, словно кратковременные расцветы ряски. На этот сравнительно крошечный пяточок физической грязи провалились безмерно разросшиеся образные стропила Души, вследствие чего вся область сверху казалась необъятной: зияющая безднами гряда, в которой прямыми углами вырезались отвесные утесы песчаника, известняка и утрамбованной почвы. То, что внизу, на бугроватом пустыре смертного уровня, было не более чем лужицами, тоже преломлялось во вторгшихся сверху высших областях, и дождевая слякоть цвета бензина разворачивалась в матовую лагуну, лижущую прибоем вздымающиеся и неровные земляные стены. Сверху эти валы казались огромными, доисторическими, как чудовищное горное озеро, где должны юркать жуткими крабами под черно-серебряным зеркалом беглые фантазии Души или пришибленные привидения из продавленной призрачной стежки. В общем – лучше места для игр мертвых голодранцев не придумаешь, и малыш Уоррен тут же предсказуемо спросил, можно ли ненадолго туда спуститься и побегать. Филлис, разумеется, отказала, хотя и нестрога. С тех пор как они посетили церковь Доддриджа, в отношении Филл Пейнтер к Майклу Уоррену настала драматическая перемена, по крайней мере на взгляд Марджори.

– Если хоча туда сходить, пошаримся позже, на пути из дурдомов. А сперва пойдем яблоки собирать, чтоб не играть на пустой желудок и не огрызаться друг на дружку понапрасну. Че скажешь?

Похоже, это умиротворило их талисман, так что они продолжали путь над глубоким провалом дороги Святого Андрея и еще дальше, через вокзал и речку, из-за которой Марджори обычно вспоминала свое злоключение и Ненскую Бабу.

Она поняла, что утонет, стоило носкам расцарапанных туфель потерять речное дно, а ей – наконец осознать простую физику ситуации. И все же при жизни она успела послушаться викторианских сказок, где героини в водных пучинах уходили на свет иной мирно и элегантно, пока расплывались кружевными анемонами петтикоты, из-за чего утопление казалось легкой, благородной и превыше всего – поэтической кончиной. Понятно, это оказалось бредом сивой кобылы.

Из своего посмертного заключения она узнала, что первая стадия утопления называется экспертами «поверхностным сопротивлением» – на взгляд Марджори, емкое и точное описание процесса, по крайней мере, как он ей запомнился: сперва следует ужасающее осознание, что тебе трудно держать голову там, где есть воздух. Затем, если не умеешь плавать, ты как бы пытаешься выкарабкаться из реки, словно угодил на поток стремянок, а не в ледяную воду. Когда это не помогает, отчаянно бьешься без толку и устаешь, и останавливаешься всего на секунду, и уходишь с головой. Когда погружаешься, задерживаешь дыхание и ждешь, когда тебя наконец по-викториански сморит, чтобы даже не знать о том, что происходит; вот только ответ – никогда, и в конце концов ты просто не можешь не...

Марджори одновременно передернулась и поежилась. От самой мысли, от воспоминания у нее застучали призрачные зубы и поджались фантомные пальцы ног.

В конце концов ты просто не можешь не раскрыть рот и не вдохнуть воду, тут же закашляться и вдохнуть еще больше, и... бр-р-р. Просто не вмогуту это воспоминание о черной боли в груди. Этот страшный миг, когда понимаешь, что больше ни разу не вдохнешь воздух и что твоя жизнь кончена, пока на краях зрения смыкается немая тьма, а страдания и ужас словно происходят с кем-то другим: с той толстой очкастой девочкой внизу.

Но в следующий момент – на стадии утопления, о которой везде говорят, но редко упоминают в уважаемых журналах, – все стало странно и неожиданно. Это тот предполагаемый этап процесса утопления, когда «вся жизнь пролетает перед глазами», – и, да, Марджори могла подтвердить по личному опыту, что так и происходит, хотя не совсем в той манере, как предполагает фраза. Марджори думала, что жизнь пролетает перед глазами, как старый фильм Марка Сеннета, где множество потряскивающих людей пронесется через комические или печальные эпизоды. На самом деле то, что открылось в ее разуме, пока она опускалась к тянущемуся навстречу отстою речного дна с полными легкими ледяной зелени, было вовсе не похоже на фильм. Для начала, по сценарию в стиле «Кистоунских копов», рисовавшемуся в ее мыслях, все ускоренные прыгучие отрывки должны были идти строго по порядку, хронологически, один за другим. Так вот это и близко не похоже на феномен, который, как Марджори узнала впоследствии, назывался «Пересмотр жизни».

Это мозаика моментов в стиле дельфтских изразцов, которые Марджори недавно заметила на обложке камина в доме Доддриджей. Все до единой драгоценные секунды ее жизни стали изящными подвижными миниатюрами – переполненными значением и выписанными такими глубокими красками, что они пылали, – но все же без заметной последовательности в расстановке. Более того, каждая сцена была не столько изукрашенной виньеткой, сколько полноценным опытом, так что взглянуть на отображенное мгновение означало пережить его

заново, со всеми сохранившимися запахами, звуками, словами и мыслями, поразительно сильными удовольствиями и кристально резкими терзаниями.

Сияющие живые картинки вовсе не напоминали, скажем, «Похождения повесы», потому как, во-первых, не представляли собой развитие событий, а во-вторых, не несли мораль. Некоторые светящиеся эпизоды изображали поступки, какими Марджори не очень гордилась, некоторые показывали ее лучшую сторону, но большинство казалось совершенно нейтральным, даже незначительным. И ни в одной переливающейся виньетке она не встречала морального суждения и не чувствовала, что одно изображение символизировало сделанное добро, а другое означало принесенное ею зло. На деле тесселированный поток образов сопровождался в первую голову ощущением ответственности: неважно, добро или зло, важно, что все это дело рук Марджори.

В качестве примера ей теперь вспомнилось то, что в свое время показалось одним из самых рутинных и малообещающих сценариев. Среди расстелившейся мозаичной картины был этюд в пастельных коричневых и серых тонах – Марджори с матерью на неосвещенной кухне дома на улице Кромвеля. Ее мамка хлопотала над плитой, худосочная и несчастная, с изможденным выражением из-за того, что маленькая дочка то и дело дергала за юбки и канючила. Вглядевшись в момент, парящий вместе с сотоварищами на повисшей перед ней дрожащей завесе, испещренной ползучими картинками, Марджори пережила все заново вплоть до крошечных деталей. Она снова услышала недозапах нутряного сала от студенистого рулета с беконом и луком, который готовила мать, и тут же узнавшийся ритм мятого латунного крана, отбивавшего каплями характерную фразу в старой каменной раковине. Одна из бакелитовых заушин уродливых очков натерла над правым ухом, оставив зудящую розовую опрелость, а ярче всего она пережила каждый порыв, каждую мысль, пришедшие в голову, и каждый слог, сорвавшийся с губ, когда она стояла в сумрачной кухне и без конца

изводила бедную мать одними и теми же словами. «Ну можно, мам? Можно собаку? Почему нельзя собаку, мам? Мам, можно? Я буду за ней ухаживать. Мам, можно собаку?»

Не плохо, не хорошо – просто это поступок Марджори. Она несла ответственность. Она несла ответственность за неустанную осаду родителей, пока те наконец не сдались и не купили Индию – собаку, которая уведет Марджори через камыши в зябкую безвоздушную пучину. Осознание было шокирующим, отрезвляющим – и лишь одним из тысячи подобных маленьких откровений, поблескивающих в сверхъестественном коллаже моментов-открыток, отобранных из ее короткой жизни. Она висела в сияющем нигде, созерцая все тайны собственного бытия и обнаруживая, что ответы были очевидны всегда. Марджори не знала, сколько пребывала в этом состоянии – может быть, век, а может быть, всего те несколько последних секунд, когда останавливалось сердце и отключался мозг, – но она до сих пор с абсолютной точностью помнила, как и когда закончилось неувядающее забытие.

Она заметила легкое движение на поверхности выложенных перед ней временных изразцов – побежавшие нити света, сиятельные изъяны, словно расплывающиеся от сердца красочного ассамбляжа до краев, – и через некоторое время поняла, что это рябь. Слово калейдоскоп ее жизни все это время был жидким – спокойным мениском озера, только сейчас потревоженного незримым движением в глубине под сверкающей фантастической гладью.

Тогда-то через плоский расписной экран воспоминаний Марджори и прорвалась гигантская морда Ненской Бабки.

Картинки распались цветной стоячей тиной; влажные сгустки-пузыри аляповатой масляной краски расползлись радужной слизью по стеблям водорослей трупного цвета, реющим по сторонам ужасного резного лика. Скользкие осколки вспомнившейся жизни утонувшей девочки стекли по надвинувшемуся челу, которое выдавалось вперед так агрессивно, что показалось плоским; дерзкие

узкие щучьи виски. Розовые и бирюзовые слитки памяти, все еще с текучими и искаженными обрывками знакомых мест и людей, перекатывающимися на студенистых контурах, сбегали каплями с карниза кошмарного лба, пролившись над беспросветными пастями гротов-глазниц или заструившись по угрожающему серпу носа существа. В черных недрах глазных ям виднелся липкий моллюсковый блеск, а под крюком шнобеля размером с саму Марджори открывался и захлопывался жуткий ротик, словно пережевывая грязь или шепча сложное беззвучное проклятие. В торчащих гнилых зубах размером с сундуки настряли дохлые кошки и проржавевшие скелеты велосипедов.

Расколотый «Пересмотр жизни» растаял, стал водянистыми пигментными лентами, уплывающими в густой суп ночной Нен, и Марджори снова была под водой, но уже вне тела. Оно от нее отвалилось – серый грузный сверток, медленно столкнувшийся с илистым дном среди поднимающихся туч мути и резиновых презервативов. Марджори оказалась на плаву в континууме черных и белых цветов, где не было температуры, а она с каждым движением отращивала новые руки и ноги. Но как бы ни пугали эти странные феномены, не они стали главным источником беспокойства.

С ней в подводных сумерках была Ундина, водный элементаль, которого, как она узнала позже, называют Ненской Бабкой. Огромное лицо чудовища застыло прямо перед Марджори – наполовину щука, наполовину обезображенная старуха, с отвисшей челюстью, истлевшими клыками, бороздящими донные пески. Прозрачное тело нереального видения уходило далеко в речную полумглу, бесконечно долгое, состоящее как будто только из шеи – трехметрового угря или, быть может, отреза трансатлантического кабеля. У проступающей в темноте головы существа по бокам росли ссохшиеся ручонки с непропорционально массивными перепончатыми когтями. Одна из них развернулась, пестря неожиданным множеством локтей, чтобы уловить растерявшуюся и

беспомощную эктоплазменную фигуру Марджори за щиколотку, стащить сопротивляющегося проклюнувшегося призрака к уровню глаз, чтобы разглядеть получше.

Зависнув перед волнующейся и извивающейся вокруг улиточных очей водорослевой копной чудовища, Марджори смотрела на причмокивание мерзких миниатюрных губок и приходила к выводу, что о таком обитателе ада или рая никогда прежде не слышала. Это было что-то иное, что-то отвратительное, сулившее не загробную жизнь, а бесконечный и невообразимый кошмар. В какой же вселенной они живут, думала Марджори в страхе и гнев, если десятилетнюю девочку, которая всего лишь хотела спасти свою собачку, встречают не Иисус, ангелы или любимые предки, а эта чавкающая слюнявая мерзость с головой размером с поезд?

Но хуже всего был момент, когда она наконец встретила с явлением взглядами, всмотрелась в непроглядные колодцы орбит и увидела в их пучинах блеск глаз, словно свернувшихся аммонитов. В эти черные секунды, как Марджори ни сопротивлялась, она познала Ненскую Бабку. По парализованному сознанию свежеумершей девочки хлестнули волной страшные и незванные подробности почти двухтысячелетнего существования в одиночестве и холодных потемках, переполняя ее лунными бликами на металле и абортированными зародышами, омерзительными снами о пиявках, пока ужас не вырвался из девочки протяжным захлебывающимся воплем, неслышным живым...

Марджори тащилась по белому, как стиральный порошок Daz, Ультрадуку позади балагуривших без умолку спутников. Она знала, что слыла молчуньей, но это только потому, что она всегда думала, пыталась найти верные слова, чтобы передать рвущиеся изнутри воспоминания и чувства и перенести на страницу за авторством буквального призрака пера. Возвышенный пролет уже перенес их в целостности и сохранности далеко за реку над затопленным пастбищем Лужка Фут к Концу Джимми. Миновав памятные омуты и стремнины свинцового течения, Марджори обнаружила, что в силах оторваться

от того, что с ней случилось там, позади, и обратить внимание на нынешнее местопребывание.

Конец Святого Джеймса – забурливший внизу, когда они бросили взгляд с духовного моста на единовременный поток, – как будто с самого зачатия обладал атмосферой мрачной самостоятельности. Даже лачуги саксов, что строились и сносились в глубоких пластах времени, казались слишком разнесенными друг от друга, с одинокими, открытыми всем ветрам просторами между ними. На современных уровнях, сосуществующих с глиняно-соломенными халупами раннего разлива, в жизнь врываются блестящие от краски тесные викторианские лавки и тут же банкротились, становились разочарованием из замыленного стекла и шелушащихся, обгоревших на солнце вывесок. Раз за разом расцветало и умирало автобусное депо, на его вечно залитом дождем дворе горбились «даблдекеры», а весь мельтешащий район вокруг лоснился от какой-то неряшливой и поспешной современности, то заразой расплзавшейся по непроницаемым витринам, то съеживающейся. Что такое «Склад Карфон»? «Что такое «Квантаком»? На деревянных воротах – старчески разинутом рте – и ограде из гофрированной жести корчились граффити, эволюционирующие от убористой каллиграфии и простых мыслей вроде «Чорт побери короля» – через надписи BUF, NFC и ДЖОРДЖ ДЭВИС НЕВИНОВЕН [78] тупыми и утилитарными строчными буквами белой краской – до тающего и флуоресцентного лексикона арабесок, одновременно невразумительных и упоительных – непостиживных. Марджори пожалела, что не видит их в цвете.

Мертвецки Мертвая Банда болталась и болтала, вприпрыжку и припеваючи, по блестящей дороге, пронесившейся над Концом Святого Джеймса и Уидонской дорогой до самого Дастона. Здесь в недавних стратах синхронного зайтшафта стояли дома получше – по крайней мере, в сравнении с террасами Боро, что родились в плодной рубашке из сажи. Здесь же, почти на отшибе, было жилье семей, которые благодаря тяжкому труду или удаче смогли

значительно и буквально оторваться от корней в обнищавших районах, где росли их родители. Дома вроде тех, что в Дастане, – не милые каменные коттеджи изначальной удаленной деревни, а поздние постройки, – всегда представлялись Марджори с большими плоскими лицами, на которых застыло выражение брезгливого снисхождения – возможно, все дело в расположении широких и пустых современных окон. Все они смотрели с таким видом, словно кто-то испортил воздух. Марджори же всегда придерживалась той точки зрения, что кто провозгласил, тот наверняка и претворил.

С нынешнего положения, глядя сверху вниз на архитектуру сразу дюжины столетий, Марджори не видела, чтобы строения по мере их возведения или разрушения наводняли люди, живые или мертвые. В отличие от статичных улиц или зданий, привидения и живые никогда не задерживались на месте надолго, чтобы оставить отпечаток на ускоренном урбанистическом кипении, открывшемся взору с Ультрадука. Но Марджори и так уже бывала в тех краях, в обычной призрачной стежке, и многое знала о фантомах, обитавших в обескровленных серых концах и полумесяцах улиц, хотя сейчас они не на виду.

Знала, например, что в приятных мьюзах [\[79\]](#) под ними призрачная стежка куда более густонаселенная, чем убогие проулки Боро. Тогда как в фантомном полумире, наложенном на улицу Алого Колодца, в любой отдельно взятый момент можно столкнуться всего с одним-двумя призраками, в этой гораздо более обеспеченной местности часто встречались десятки покойных врачей, банкиров, офисных менеджеров и домохозяек с изысканными куафюрами, которые шляются среди ухоженных клумб или с тоской проводят нематериальными ладонями по контурам припаркованных машин. В мирных передних залах домов, проданных повзрослевшими детьми вслед за кончиной родителей, можно найти необщительные мертвые пары, которые критиковали ремонт нового хозяина и вечно тряслись, поднимается стоимость их бывшего владения или падает. Иногда попадались целые толпы: потусторонние гражданские

группы, угрюмо торчащие на границах какого-нибудь бывшего деревенского луга, где раньше они выгуливали лабрадоров, а теперь строилось новое муниципальное жилье. Или же они собирались на заднем дворе очередной пакистанской четы, переехавшей в район, только чтобы неодобрительно роптать и газеть – впрочем, подобные демонстрации, понятно, были вдвойне бесплодны из-за невидимости протестующих. Должно быть, думала Марджори, потому они и ленились рисовать плакаты.

Но какие интересные различия, если задуматься, между мирами духов в Боро и здесь, в резиденциях высшего класса. Главная разница, как ни парадоксально, заключалась в том, что в Боро и близко нет столько неприкаянных – тех, кто только лег в могилу, но так и не упокоился с миром. Более того, горемычные привидения бедного района по большей части тяготились только низкой самооценкой, ощущением, что они слишком дурно прожили жизнь, чтобы переезжать в высший район Души. Но явно не это удерживало успешных людей на привязи к их земным обиталищам. Так, может быть, в их случае все наоборот? Пригородную призрачную стежку, над которой проходили дети, населяют души, что считают, будто слишком хороши для рая?

Нет. Нет, Марджори подозревала, что все не так прозрачно. Возможно, бедным в жизни не с чем расставаться. В конце концов, какой смысл долго болтаться возле своего жилья, если его снесли или передали новым муниципальным съемщикам. Тем более когда ты и сам его снимал. Куда лучше отправиться ко «многим обителям» в доме Души, как и поступало большинство жителей Боро. У духов же из окружающих краев просто не было такого стимула стремиться к спасению, как у земляков Марджори, – но ее по-прежнему не убеждал собственный аргумент. Неспособность отказаться от материального имущества казалась недостаточным основанием, чтобы пренебречь богатствами Второго Боро, даже если ты до смешного жадный. Что-то тут не вяжется. Впрочем, в Душе хватало замечательных людей, никакого отношения не имевших к рабочему

классу, но отправившихся Наверх без раздумий в тот же миг, как окончились их жизни. Взять хотя бы мистера Доддриджа с семьей. Должно быть что-то еще, какой-то иной фактор, не позволявший множеству жителей пригородов подняться на вечные улицы.

После минутных размышлений ей в голову пришло, что, скорее всего, дело в статусе. Вот какое слово искал разум начинающего писателя. Зажиточные фантомы под ее ногами отвергали Душу, потому что там былой статус не имел никакого веса. Не считая зодчих, дьяволов, Верналлов, смертоведок и особых случаев вроде семейства Доддриджей или мистера Баньяна, в Душе не было чинов и званий. Ни один дух не мог стоять выше другого ни в чем, кроме каких-нибудь доставшихся от рождения добродетелей, да и те только в глазах смотрящего. И людям любого класса, которых никогда не заботил статус, переезд в Душу давался без труда. И напротив, для тех, кто не терпел такой великой уравниловки, это было противоестественно.

Она задумалась о немногих отрывках из Библии, задержавшихся в голове после воскресной школы: о верблюде, который протискивается в игольное ушко, и богачах с похожими проблемами при входе в рай. Когда она это впервые услышала, подумала, что на небесах есть какой-то закон, закрывающий богачам дорогу, но теперь поняла, в чем дело. Фейс-контроля в Душе нет. Люди сами себя не пускают, что бедные, что богатые: либо они считают, что слишком хороши, либо – что слишком плохи.

Развивая мысль – кто знает, однажды она может лечь в основу стихов или рассказа, – Марджори подумала, что эту же формулу можно применить к урожденным аристократам, по-настоящему тщеславной и по-настоящему состоятельной прослойке, верхним классам с усадьбами и замками в далеких городках и селах Нортгемптоншира. Им по определению больше приходится жертвовать материальным имуществом и отказываться от статуса, чем другим. Неудивительно, что в Душе так мало барчуков. О, нет, конечно, попадаетея парочка залетных – редкие птицы, которые

родились богатыми, но никогда не придавали значения своей позиции или даже отрекались от нее, – но это меньшинство стремится к нулю. Подавляющее число людей Наверху – из рабочих классов десятка веков, если не больше, с приличным огузком середнячков и россыпью отдельных графов, лордов и раскаявшихся сквайров, торчащих тут золотыми прыщами по этому огузку.

Между тем выходило, что призрачная стежка Боро по большей части пустовала, а улицы в пригородах казались в сравнении непролазными от всяческих высококвалифицированных профессионалов. Что же тогда творится в особняках? Забитые гулями и банши неисчислимых поколений, где все лелеют средневековые обиды, все претендуют на старшинство и удивляются, куда делась чернь... хоть Марджори и хихикнула, а внутренне все-таки содрогнулась. Что же удивительно, что как раз такие роскошные места славятся своими призраками: они опасно перенаселены, трещат по каменным швам от возвращенцев и теней предков, по двадцать духов на салон в нарушение всех астральных правил безопасности. Странно представлять величественные хоромы и дворцы перенаселенными призрачными трущобами, душными посмертными коммуналками, где в соседней комнате прапрапрапрадядюшка-сифилитик Перси разглагольствует о Глэдстоуне [\[80\]](#), но в каком-то смысле все вставало на свои места. Ведь будут первые последними и все такое прочее. Правосудие над Улицей.

Труся перед Марджори, мелкая шкода из семейства Пейнтеров – Билл – увлеченно дискутировал об азах охоты и ухода за фантомным мамонтом с Реджи Котелком, которого так просто на мякине было не провести.

– Это ж нам целые века треба прокопать в ледниковый период, ей-ей, чтоб привидение мамонта заловить. Об этом ты головой своей садовой тумкал?

– Сышь, не тупи. Естесно, я все продумал, и эт как два пальца обоссать, я те отвечаю. Ну и что, что века, лашпет? Я вроде думал, в

том-то и суть вечности, чтоб у нас блесть века на все про все? Зарываемся, находим мамонта, приручаем, скок надо, а потом притащим его сюда через пять секунд после того, как ушли.

– А как же эт ты его приручить вздумал и как поймешь, что это он? А вдруг, как знать, попадетса тебе мамонтиха.

– Да твою ж мать. Сышь, мы напарники или как? Посрать, самец или самка. А как приручим – прост войдем в доверие, блестем приносить то, что любят призрачные мамонты.

– И что же это такое, умник ты разумник?

– Я не умник, Реджи, я прост не такой дебил, как некоторые. Паковы Шляпки, Редж. Откормим его Паковыми Шляпками. Назови хоть одного жмура, который откажется от мешка Паковых Шляпок.

– Монахи. Иным призрачным монахам их есть никак нельзя, потому что они мыслят, будто бы в них сидит дьявол.

– Реджи, нам в жизни не встретить мамонта, который верит в эту ересь, можешь мне поверить. Мамонтов-христиан тупо не бывает. У мамонтов нет религии.

– Ну, мож, потому они и повымерли, откуда тебе знать.

Марджори отключилась от этого вздора и прислушалась к многослойному рассветному хору птиц нескольких столетий – блаженному приливу звуков, ласкающему небо и великолепному даже несмотря на приглушенность призрачной стежки. Более того, без неподатливой акустики полумира звук наверняка был бы невыносимым.

Ультрадуг бежал над Дастоном, и свет магниевой ленты моста с поручнями шел вровень с многовременным клокотанием древесных крон. Марджори различала, какие деревья самые старые и постоянные, по тому, что они менялись меньше других, и по тому, что их верхушки казались живыми от бледных огней святого Эльма даже в сесил-битоновском [\[81\]](#) монохроме призрачной стежки. Это потому, что старые деревья – сами по себе конструкции с четвертым измерением – в подходящих регионах Души прорастали из материальной плоскости в Чердаки Дыхания, а вдоль их

трансцендентальных стволов между двумя мирами шмыгали голуби, приподнятые среди других существ – буквально и фигурально.

Марджори спросила себя, каково быть деревом – никогда не двигаться, если только не под силой ветра, а только расти, вверх и во времени, шаркая голыми ветками по будущему, выцарапывая сезон за сезоном. Между тем корни тянутся мимо похороненных домашних животных и погребенных людей, извиваются вокруг кремниевых наконечников стрел и ребер мамонта Билла и Реджи, уходя в прошлое. Иногда спиленный ствол обнажал вросшую мушкетную дробицу – смертоносный железный метеорит, окруженный наносами возраста и времени, кольцами роста, разбегающимися, как прибойная рябь, чтобы объять жестокий миг из 1640-х в удушающей деревянной волне.

Осознают ли деревья людской и животный поток, что отчаянно бьется вокруг их неподвижного долгоденствия? Марджори казалось, что деревья должны хоть что-то знать об активности млекопитающих, хотя бы в самом широком историческом смысле: взять лесистые неолитические долины, сведенные до черных пней первыми расчистками земель, акры срубленной древесины для возведения ранних поселений. Оставляли по себе напоминания войны – копья и шрапнель, утонувшие в коре, – а повешения, чума и истребления дарили вождельный человеческий компост, питание для искр нового роста. Вымирания, вызванные избыточной охотой, – будь то людей или других хищников, – влияли и меняли лесной мир, где обретались эти вневременные великаны, иногда незаметно, иногда катастрофически. Прирастание веками сопровождается урбанистическими половодьями, градостроительными заданиями, желтыми бульдозерами и землекопами. Все это – удар, дрожь от которого разносится по молчаливому континууму зеленого существа, овощного сознания, струящегося с древесным соком.

Значит, думала она, вполне вероятно, что деревья отдаленно знают о человеческом мире. Масштабные события рано или поздно просочатся в мышление, если будут длиться достаточно долго.

Тянущиеся годами и веками разорения и лишения отражаются наверняка, но что насчет более мимолетных взаимодействий? Замечает ли лес сердечко на коре – декларацию каждого любовника, врезанную как можно глубже, чтобы вместе с тем вырезать на корню все свои предчувствия и сомнения? Ведет ли лес учет собак на прогулках и карт их пометок мочой? Королева Елизавета Первая, вспомнила Марджори, сидела под деревом, когда ей сообщили о восшествии на престол, а Елизавета Вторая около пятисот лет спустя дерево посадила. А как насчет той легендарной яблони, под которой Исаак Ньютон формулировал идеи, что приведут в движение век машин, идеи, что отправят дребезжащие экскаваторы в неумолимое наступление на опушку? Слышалось в листьях нервное шуршание? Вздохнули ветви с усталым предощущением? Лично Марджори казалось, что да, пусть и только в поэтическом смысле, которого ей вполне хватало.

Алебастровый путь под ногами призрачных детей заметно изгибался вблизи от лечебниц, торчащих из одновременно усыхающих и расцветающих крон. Бросив взгляд через плечо, Марджори увидела растворяющиеся остаточные образы детей, следующие за ними буйной, но безмолвной толпой. Она пригляделась к собственному приземистому обличью, топающему в хвосте группы, и разочаровалась при виде своего флегматичного и невыразительного лица. Но многократные экспозиции почти тут же нагнали момент, когда Марджори обернулась, и она обнаружила, что без всякого интереса таращится на собственный затылок. Заметив с этого ракурса что-то похожее на фантомную перхоть, она снова повернулась вперед, когда Мертвецки Мертвая Банда замедлилась и остановилась на поднебесном виадуке. Похоже, Майклу Уоррену опять пора что-то объяснить.

– Почему место перед нами так страншо выглядит? Мне не видится его нрав.

Малыш говорил с опаской. По тому, как путались в сонной речи его слова, Марджори понимала, что он еще не приохотился к

гибкому лексикону загробной жизни. Но разобрала, что он имеет в виду, и всецело понимала причину настороженности малыша.

Впереди светящаяся дорога проходила над участком призрачной стежки, казавшимся, так сказать, аномальнее нормы. Во-первых, среди неизбывной серости приглушенного полумира виднелись внезапные вспышки ярких оттенков. Во-вторых.. что ж, здесь сам воздух шел складками, как и довольно жуткие строения, которые виднелись за ним. Само пространство как будто отвратительно смяли, скомкали, словно бумагу в руке великана, и везде и всюду побежали случайные сгибы, а земля и дома под ними сделались неуклюжим безумным коллажем. Пространственные фрагментация и искажение в совокупности с движением и течением разных времен превращали лечебницы в жуткое зрелище. Реальность стиснули в многогранный хаотичный клубок «сейчас», «там», «здесь» и «тогда»: в неопишемую топографию, в один момент кристаллическую и выпуклую, а в другой – поле ниш и отверстий странных форм, где черные и белые многогранники периодически омывались цветными взрывами то пугающе галлюцинаторного синего, то жаркого и сочного полинезийского оранжевого. Заинтересовавшись, как Филлис Пейнтер в принципе сможет растолковать это умалишенное и в то же время какое-то величественное зрелище лупоглазому Майклу Уоррену, Марджори превратилась в слух. Она может узнать что-нибудь важное, а кроме того, всегда старалась запоминать диалоги.

– Ну, мы зачем пришли, мы пришли к дурдомам, или же лечебницам. Эт почти как тот чудной пустырь между Меловым переулком и дорогой Святого Андрея, который мы уже видали, – куда я обещалась вернуться и погулять по дороге назад, коль не забыл. И там, и там миры как бы проседают. Почему-то куски Наверху шлепнулись Вниз. Счас мы видим то, что в нижнем мире более-менее там же, где Берри-Вуд, больница для сумасшедших. Святого Криспина, вот как она называется. Но раз под нами вдобавок живут те, кто ку-ку, все немного сложнее, чем кажется.

Понимаешь, в Душе, где я тебя нашла на Чердаках Дыхания, все лавки, улицы и прочее сделаны из, как бы, корки снов и воображения живых людей. А тут дела такие, что половина местных чудиков, перебивавших в больничках за все прошедшие годы, даже не знали, где живут. А кое-кто не знает и када – вот и выходит, что кусман Души над ними сляпан из неправильных снов и воспоминаний. У нас Наверху строительный материал – мысли, и если мысли попадают битые, то и вся архитектура разваливается, это ты сейчас и видишь. Ненадежная часть Души обвалилась и продавала призрачную стежку, так что все лечебницы Нортгемптона свалились в одну, по крайней мере для нас. Это пушто пациенты сами не особо разбирают, в каком они казенном доме, вот и на верхних уровнях все путается. По-хорошему мы сейчас смотрим сверху на больницу Святого Криспина под Берри-Вудом, но кусками здесь и больница Святого Андрея на Биллингской дороге, а другие куски – из дурдома, который стоял в парке Эбби, где теперь музей. А что цвета сверкают – это цветные обломки Души, вросшие в призрачную стежку. Все стоит на ушах и ходит на бровях – а ты погоди, еще спустишься! Всюду живые и дохлые шизики, и даже они не разберут, кто из них кто!

Марджори про себя согласилась. Вполне вероятно, это описание психбольниц не хуже, чем она бы придумала сама, к тому же ей раньше было неизвестно, что проседание Второго Боро вызвано хрупкими сломленными разумами, которые поддерживали его в земной реальности. Она знала, что все заведения для душевнобольных пересекаются, так что напичканные таблетками пациенты из одного места или времени могли свободно мешаться с сумасшедшими больными из других, но не понимала до конца внутреннюю механику. Слова Филлис объясняли и внезапные извержения чистейшего цвета: это визуальные характеристики рухнувшей Души в реакции с фейерверками эмоций психически больных.

Полностью удовлетворив любопытство, но только отчасти развеяв страхи Майкла Уоррена, кучка самостийных фантомов пустилась вдоль Ультрадука вглубь сгибов и сдвигов лечебниц. Марджори, размышления которой бесцеремонно прервал вопрос мальчика, обнаружила, что не может вспомнить, о чем думала. Наверняка расплывчато-литературные витийства о птичках или тучках, но теперь все улетучилось без следа. Спустившись с небес на землю, Марджори Миранда Дрисколл обнаружила, что ее мысли вернулись к обычному течению темных воспоминаний и образов – тех самых, что она пыталась избежать, погрузившись в литературные витийства.

Тяжелый мглистый силуэт Ненской Бабки навис над утонувшим ребенком в речном мраке, уходя жуткой и неохватной тушей в речную черноту. Блестящие фрагменты треснувшего «Пересмотра жизни» Марджори запутались в нечесаных колтунах волос твари, что извивались и изгибались вокруг их обеих. Одна из лапищ Бабки, напоминающая то ли зонтик, то ли птеродактиля, цепко сомкнулась на лодыжке свежепогибшей девочки, поднеся ее поближе для пристального изучения. На самом дне скользких колодцев глазниц виднелся слизневый блеск глаз чудовища, а в них – вся невыносимая, непрошенная история монструсалки; все ужасные подробности почти двухтысячелетнего существования просачивались в Марджори, словно утечка отравы из ржавой цистерны.

Оно было из потамеидов, из флювиалей. Водяная, наяда, Ундина – оно было ими всеми, и некогда звалось Энулой, когда еще имело имя; звалось «она», когда у него еще были остатки пола. То было еще во втором столетии, когда существо, ныне ставшее Ненской Бабкой, считалось второстепенной речной богиней, которой поклонялся отряд тоскующих по дому римских солдат из гарнизона у южного моста города, в одном из множества речных фортов,

возведенных между Нортгемптоном и Уорвикширом вдоль Нен. Эти древние дни, эти сгустки красок – влажные цветочные подношения, вяло плывущие по течению. Заклинания на латыни себе под нос – наполовину искренне, наполовину пристыженно. Энула – правда ли это было ее имя или же это только ослышка, ложное воспоминание? Существо не знало и не задумывалось. Неважно. Пусть будет Энула.

Жизнь она начинала почти ничем – лишь поэтическим пониманием природы реки в разуме и песнях первых поселенцев, зыбкой тканью идей, едва ли осознающих собственное существование. Постепенно песни и сказки, вызвавшие ее на грань бытия, становились все сложнее, она обрастала все новыми и более сложными метафорами: река была течением самой жизни, ее неустанный односторонний поток – водами времени, ее дрожащая отражающая поверхность – зеркалом нашей памяти. Она воплотилась в хрупкую реальность – по крайней мере, в мире поверий, снов и фантомов, близлежащем к мутной сфере смертных, – и наконец духовно окрепла, когда ей дали имя. Энула. Или же Нендра? Ненет? Ну, что-то в этом роде.

В те дни она еще была прекрасной юной концепцией: ее обличье – необычно длинная русалка, от трех до пяти метров от носа до кормы, ее лик – сказочное творение. Глаза – тогда еще не провалившиеся в туннели – изящные фиолетовые лотосы с мириадами лепестков, что раскрывались и смыкались в морщинках улыбки. Ее губы – два полуметровых изгиба переливающейся чешуи, на которых играли призматические оттенки лаванды и бирюзы, а твердь полированной гальки ее груди и живота оплетали гляцевые пряди темно-зеленого, бутылочного цвета. Обе брови и локоны были из мягчайших шкур выдр, а изумительный хвост оканчивался плавником – самоцветным гребнем, широким как лук. Яркая рыба кольчуга, как и шесть овальных ногтей, были зеркалами, где бежала рябь черных полос тени, словно от отраженных деревьев.

У нее даже была любовь, многие века тому назад. Его звали Григорием – одинокий римский солдат, служивший свой срок в речном форте, скучая по жене и детям, оставшимся в далеком теплом Милане. Его цветочные подношения духу вод были самыми частыми и обильными, и каждое утро он купался нагим в ее прохладном течении, сжимавшем яйца и пенис до размеров грецкого орешка. Она тускло помнила отчетливый запах его пота, как он плескал водой на затылок, на темные щетинистые волосы. Ее опаловые капли сбегали по его спине к ягодицам. Однажды во время своих речных омовений он недолго мастурбировал и излил семя в пенящийся у ног поток, и сгустившуюся сперму подхватило и унесло к далекому океану. Снедаемая любовью, она следовала за самым драгоценным подношением из всех почти до Уоша, и там сдалась и вернулась домой, всю дорогу дивясь свирепости обуревавшей ее одержимости.

Потом одним страшным утром ее молодой человек исчез, вместе со всеми когортами. Брошенный речной дозор стал ветхой игровой площадкой местных детей и за несколько лет был разграблен и разобран до такой степени, что уже ничему не служил. Она ждала и ждала, корчась от досады в иле и отстое, но так и не дождалась своего Григория или других из его народа. Больше не было цветов – лишь каждое утро ей на перси бросали дрянь из ночных горшков косматые сутулые бритты. Больше ее не почитали как полубогиню, и тогда начала меняться в холодной желчной тьме она сама.

Ей было так одиноко. Вот что меняло ее дюйм за дюймом, обращая из прелестницы Ненет, Нендры или Энулы в Ненскую Бабку, в сегодняшнюю километровую тварь. Простая покинутость и сделала из нее чудовище, предшествовала всем отчаянным поступкам. Столь много утонувших душ она залучила – и все ради лишь компании.

Она крепилась, сдерживала свои позывы несколько веков, прежде чем поддалась им и схватила призрака, пытавшегося сбежать из собственного уплывающего тела. Она понимала, что после этого шага возврата нет, после этого жестокого преступления духа не

будет спасения. Вот почему она так долго оттягивала этот момент, почему колебалась, пока не могла больше и мига выносить мысли о вечной жизни без любви. Этот рубеж она перешла однажды летней ночью в девятом веке, почти тысячу лет назад. Его звали Эдвард – кряжистый крофтер лет сорока, который споткнулся и упал в реку, отправляясь домой через темные поля с полным брюхом эля. Эдвард был ее первым.

Ей это не приносило удовольствия – ни поимка Эдварда, ни их последовавшие отношения. Она так и не попыталась выяснить взгляды утонувшего на эти вопросы. За годы, проведенные вместе, Эдвард все равно не выходил из состояния то ли шока, то ли травмы, с самого момента, когда она сомкнула огромную перепончатую лапу на бьющемся и дезориентированном призрачном теле. В широко распахнувшихся глазах она впервые узрела свой новый облик, то, чем она кажется им – людям. Даже если ей посчастливится найти нового Григория, как прекратить его крики при виде того, чем она стала?

Эдвард, конечно, сперва кричал – долгие булькающие привидения воплей, помесь звука и света. В конце концов он сам по себе затих и удалился в остекленевшее состояние транса, в котором и пребывал до конца их романа. Он стал парализованной и тарасившейся игрушкой, вялой и податливой в членистых пальцах Нендры, или Энулы, пока она тормозила его или пыталась разговорить. Не умея извлечь какой-либо ответ, отличный от стога, содрогания или тика, Ненская Бабка в конце концов удовольствовалась одной-единственной беседой, длившейся без перерывов полных пять десятилетий совместного существования. Она облегчила душу, несколько раз кряду поведав о множестве своих тягот и разочарований, и даже рассказала о дне, когда гналась за сгустками спермы Григория до пресноводных пределов своей территории. Он не подавал никаких признаков, что слышит или понимает ее речи, и она бы подумала, что вовсе не оказывает на него ровно никакого эффекта, если бы не усугубляющийся распад

его личности, сбрасывавшей слой сознания за слоем в попытках сбежать от неумолимого ужаса его обстоятельств. Наконец, когда у Эдварда осталось личности не больше, чем у коряги, Ненет отпустила его. Призрачный плавник, использованный и высосанный досуха, – она наблюдала, как его относит к востоку, к морю, по-прежнему немого и по-прежнему с распахнутыми глазами.

Потом он пропал, а она поймала следующего.

Сколько их с тех пор было? Два десятка? Три? Ненская Бабка потеряла им счет и уже позабыла имена большинства своих спутников. В мыслях они все были для нее Эдвардами, даже полдюжины женщин, попавших в ее сети за десятилетия, – если они вообще занимали ее мысли. Некоторые реагировали на ее присутствие острее, чем первый Эдвард. Некоторые пытались ее умолять, некоторые даже задавали вопросы, пытались побороть страх и понять ее, осмыслить подстерегавший их кошмар. Но все рано или поздно впадали в кататоническое состояние ее первого кавалера. А когда почти ничего не оставалось, когда сознание съеживалось до глухой бесчувственной точки, она от них избавлялась. Когда их глаза уже не следовали за редкими лучами солнца, что просачивались сверху, словно сквозь замызганное стекло, когда их души обмякали и больше не шевелились, когда они не приносили даже тоскливого удовольствия, тогда Нендра отпускала их на свои величественные и неторопливые течения, не задумываясь, что с ними станет, пробудут ли они бессмысленной шелухой до скончания веков или однажды оправятся. От безмолвных и безответных ей не было никакого толку, а вокруг всегда была новая рыбка.

Оно – ибо теперь оно совершенно точно было «оно» – брало женщин только тогда, когда не могло взять мужчин, потому что пришло к умозаключению, что привидения-женщины вызывают больше хлопот, чем того стоят. Действительно, большинство женщин продержались дольше мужчин, прежде чем свернуться в вегетативном ступоре, но они же были яростней и испуганней, да и

сражались отчаянней. В сочетании с природной антипатией Энулы к своему былому роду это сопротивление вызвало в натуре Ненской Бабки нотку жестокости там, где ранее обретались лишь неотступное одиночество и мрачное ожесточение. Одна из женщин-Эдвардов, попавшая под руку существа, подверглась медленному психологическому расчленению, раздергиванию на кружащиеся хлопья астрального рыбьего корма, а затем, спустя почти девяносто зим, была отброшена в сторону. Древний субаквальный фантазм удивился реакции, которую пробудила в нем эта изощренная пытка: тусклый, отдаленный проблеск ощущения, почти сходящего за удовольствие. Очевидно, раз открытая, эта новая склонность причинять страдания становилась все назойливей, все отчетливей, все обязательней для внутреннего равновесия речного чудовища.

Оно еще не залучало детей. Не видело в том нужды, считая их не более чем пескариками, не более чем крошкой на один укус в окружающем обилии зрелого корма каждого года благодаря несчастным случаям и самоубийствам. Однако девятнадцатый и двадцатый века становились все скуднее из-за растущего количества умеющих плавать. На водоразделе столетий Ненет с отвращением заметило старика, учившего держаться на воде стайку голых мальчишек возле участка берега, обозначавшего западную границу города. Еще острее уязвили разносившиеся над головой приречные разговоры, из которых оно позже узнало, что длинный луг рядом с бывшим приоратом Святого Андрея переименовали в честь этого докучливого ирландского спасателя, бывшего солдата по имени Пэдди Мур, и теперь тот назывался Лужок Пэдди. Впоследствии из-за усердных помех от подобных людишек большинство тех, кто попадал в вотчину Бабки, выбирался невредимым. Существо оставалось без общества с тех пор, как отпустило на волю волн останки последнего собеседника где-то в 1870-х, но больше оно не будет на мели. Теперь у него есть Марджори.

Прилив этой страшной истории хлынул в беспомощного фантомного ребенка вместе с сонмом прочих предчувствий,

мистерий и лютых фактов долгого голодного существования существа. Даже пронзенная ужасом, Марджори вдруг познала все мутные тайны реки, познала местонахождение пропавших и убитых, познала, куда занесло пропавшие драгоценности Плохого Короля Иоанна, которые в свое время «как в воду канули». Девочка смотрела во влажные серые спирали глаз Ундины и понимала с абсолютной уверенностью, что с нею будет: она проведет невыносимо растянутые десятилетия, с ужасом осознавая, как самое ее существо распускается по нитке, разметывается на клочки под тяжким бременем безраздельного внимания Ненской Бабки, а когда Марджори уже не сможет выдержать собственные личность и сознание, ее отшвырнут – очередного выжатого призрака на пути к восточному побережью, погибшего дважды.

Стоило ее захлестнуть этим чувствам, в воде поблизости вдруг поднялась суматоха. Студенистые глаза Ненской Бабки сузились и сжались, прищурившись от удивления из-за незваного вторжения. Огромная сплюснутая голова обернулась в поисках источника беспокойства, и тут..

Марджори вдруг наткнулась на спину Реджи Котелка, который замер перед ней как вкопанный на Ультрадуке. Сиятельная эстакада, очевидно, проходила над самым центром паутины переплетенных лечебниц для сумасшедших, а там Филлис Пейнтер и видела изобилие безумных яблочек, прежде чем связалась с Майклом Уорреном на Чердаках Дыхания.

– Ну вот, тут я и видела Паковы Шляпки. Их здесь сотни, так и висят наливные на деревьях и стоках. Если махнем прям с этого места, наберем целый мешок.

Подкрепляя слово делом, Филлис прытко вскарабкалась на алебастровый поручень на краю пролета, попросив Джона передать ей Майкла Уоррена, чтобы девочка с малышом прыгнули с Ультрадука вместе, держась за руки. Остальные дети последовали их примеру, и скоро все мягко парили в кисельной атмосфере призрачной стежки навстречу скомканным времени и пространству,

размазывая за собой серые изображения, рисующие траектории. Фантомные оборванцы планировали к лежащим внахлест газонам дурдомов, словно грациозные и неспешные дымовые шашки.

Марджори приземлилась на корточки на бежевый бобрик травы под аккомпанемент своих множественных экспозиций. Газон, где она очутилась, казался ухоженным, а значит, скорее всего, заблудившимся фрагментом больницы Святого Андрея, нежели чем частью более запущенной психушки в Берри-Вуд. При ближайшем рассмотрении она даже заметила, где пролегал шов между безупречно подстриженной лужайкой Святого Андрея и заросшими территориями Святого Криспина или Абингтонского парка: косые трапеции и клинья темной или светлой травы сходились друг с другом неровно, словно в халтурной мозаике, разные места сбились в один пейзаж из-за обвала в высших сферах. Закинув голову и взглянув наверх, Марджори отметила, что и само небо казалось склеенным; с диким разбросом по уровням высоты наверху неуклюже соседствовали несхожие облака из разных местностей, разделяясь лишь грубыми линиями, как рваная бумага. Из некоторых сегментов, или долек выси моросило.

Хоть от таких природных особенностей ландшафта, как трава или небо, голова и шла кругом, но окружавшие их сложенные и перемешанные здания различных институций казались еще необычнее. Стены поросшего плющом известняка – явно от бывшей лечебницы в Абингтоне, ныне музея, – неровно срастались с бледными и величественными зданиями-линкорами больницы Святого Андрея, а за очередной границей метаморфоз превращались в слегка зловещие кирпичные громады Святого Криспина. Эти причудливые викторианские сооружения преобладали среди смеси дурдомов – явно потому, что это географическое положение в призрачной стежке на самом деле и принадлежало больнице Криспина, а уже к ней привились остальные заведения – как на высших территориях, так и в перепутанных снах пациентов, на которых покоились верхние миры.

Архитектура заведения в Берри-Вуде казалась Марджори злокозненной с тех самых пор, как она впервые узнала значение слова «злокозненный». Попросту неправильно держать душевнобольных в таком тревожном окружении, как Святой Криспин, где кирпичные крылья с высокими окнами сгрудились в заговорщицком круге, подозрительно поглядывая из-под крутых карнизов черепичных шляп, и где из и так давящего горизонта таинственно росла паучья башня без всякого видимого предназначения. В целом больница Святого Криспина обладала атмосферой странного баварского социального эксперимента из ушедших веков. От местных лабиринтовых тропок, тиши комендантского часа, изоляции пахивало острогом или работным домом. Если честно, добавка из фрагментов дурдомов Святого Андрея или Абингтонского парка шла только на пользу.

Призрачные дети осторожно двигались по разномастной лужайке к каше-малаше лечебниц, где господствовала бессмысленная башня Святого Криспина – слишком тонкая для любой функции, кроме как трубы крематория. Одно из сооружений, прилепившихся к основанию каланчи, было сборной пристройкой к старинному госпиталю – одноэтажный модуль, где Марджори в прошлые визиты наткнулась на выставку художественных произведений, исполненных пациентами. Среди странно чарующих пейзажей на обозрении – горящих оранжевых небес, металлических кустов, подстриженных в виде опасного колючего топиара, – она без удивления нашла и красочный взгляд из призрачной стежки на слепившиеся вперекрой дурдомы – заплатки Абингтонского парка или Святого Андрея, как будто по ошибке вшитые в больницу Криспина. На некоторых холстах были воспроизведены даже вспышки высшего пространства – вроде того водопада муарового узора, что как раз извергался из тощего кирпичного шпиля перед ними, – словно очередное доказательство, что иногда живые люди в расшатанных психических состояниях способны видеть верхний мир и его обитателей. Она даже нашла рисунок мелками с персонажем,

как две капли воды похожим на Филлис Пейнтер – с кроличьими шкурками, висящими зловонным венком на шее. На искаженном угольно-черном эскизе заводила призрачной банды казалась куда страшнее, чем была при жизни или смерти.

Мысли Марджори вдруг прервал громкий негодующий возглас настоящей Филл Пейнтер, из-за незамутненной злобы которого Марджори даже показалось, что портрет за авторством неизвестного психбольного был ближе к истине, чем она предполагала.

– Какой-то гад их покрал! Их же тут блесть сотни, деревья так и скрипели под тяжестью! Ух, если найду того, кто спер Бедламских Дженни раньше, чем их сперли мы, дух из него вышибу, блесть это хоть Третий Боро!

Все остальные, даже ее предполагаемый младший брат Билл, оцепенели от без малого кощунственного заявления Филлис. Марджори окинула взглядом ближайшие деревья и карнизы дурдома. Она заметила, что там росло достаточно Паковых Шляпок для удовлетворительной трапезы мертвых юнцов, хотя и близко не в таком количестве, как расхвалила Филлис. Неужели их разгневанная предводительница права? Тут поработал какой-то другой осведомленный и хорошо организованный призрачный воришка – возможно, вражеская фантомная банда, решившая вытеснить их со своей территории? Марджори надеялась, что ошибается. Девочка еще никогда не слышала о войнах банд в Душе, но могла представить, каким вопиющим безобразием это обернется. Рукопашные бои привидений, перехлестывающиеся с Мэйорхолд, орудующие воспоминаниями о топищах сорвиголовы – хотя как они различат цвета банд в монохромной области призрачной стежки? Наверное, кому-то придется одеться во все черное; а другой стороне – в белое, как в жестоких обшарпанных шахматах. Ее блуждающие мысли уже дошли до акций возмездия в виде внезапного экзорцизма на пороге родного дома, когда она осознала, что думает не о реальных, текущих обстоятельствах, а планирует уже третью по счету книгу – предположительно, продолжение будущего

романа о Снежке Верналле и его красавице-внучке, шествующих сквозь Вечность.

Пока Марджори упихивала непослушные литературные фантазии обратно в клетку, высокий Джон внезапно воскликнул:

– Вижу одного мерзавца! Смотрите! Высунул нос из-за башни!

Марджори обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть крошечную светловолосую голову, нырнувшую обратно за угол основания строения. По оставшемуся на ее месте серому ручью лбов стало ясно, что это ребенок-привидение. Значит, она права. В расхищении безумных яблочек их опередила конкурентная банда призрачной шантрапы. На их территории браконьеры! Удивленная собственному ярому возмущению, Марджори присоединилась к остальным детям, которые бросились к башне, из-за чего их полудюжина распухла вопящей монгольской ордой множущихся доппельгангеров.

Обойдя темную кладку угла, они замерли на месте, и Марджори снова врезалась в спину Реджи Котелка. Оправляясь, она выглянула из-за стоявших перед ней высоких членов банды, сняла очки, протерла рукавом и вернула на законное место, словно бы не в силах поверить тому, что предстало перед ней и ее сотоварищами. На самом деле этот жест был подсмотрен в кино – наверное, у Гарольда Ллойда, – и не был естественным поведением. Будто поразительный вид перед глазами был лишь грязным пятном, которое можно смахнуть с линз. Но, подумала она, такое пятно должно быть особенно несусветным и вычурным, особенно в этом конкретном случае.

Недалеко в воздухе, у самой земли, была раскрыта дыра во времени, метр в диаметре, по оценке Марджори, окантованная мерцающими полосами помех перемежающихся черного и белого цветов, обычно и сопровождавших подобный феномен. Рядом были двое грубоватых и грязноватых призрачных мальчишек, высокий и низкий, державших между собой какое-то знамя с надписью, провисающее под весом сотни зрелых Паковых Шляпок – влажных и сцепленных фигурок фейри в звездообразных гроздьях, с

намеком на цвет в их блеске, зыбким и хрупким, наваленных на странный флаг, словно урожай призматических турнепсов. Приглядевшись мертвым зрением и через протертые очки, Марджори разобрала верха нескольких вышитых на хоругви букв, из которых складывалось то ли «союз», то ли «срюз» – но вероятнее всего, первое. Кто-то организовал на небесах профсоюз, чтобы требовать униформу получше и укороченные рабочие часы в безвременности? Сосредоточившись на двух неправдоподобных представителях профсоюза, готовых улизнуть в межвременное окошко с похищенной призрачной едой, Марджори не могла не отметить, что у рослого грабителя была шляпа прямо как у Реджи Котелка...

На голове, как у Реджи Котелка. И теле.

Это и был Реджи Котелок, в нескольких ярдах от нее и второго Реджи, который остолбенел прямо перед Марджори и пораженно мычал, не отрывая глаз от злого близнеца – расхитителя Паковых Шляпок. Самозванный Реджи держал один конец тяжело наваленного стяга, тогда как другой находился в руках точной и живой репродукции младшенького Филл Пейнтер, головотяпа Билла. Настоящий Билл тем временем ругался на чем свет стоит под боком старшей сестры, в кои-то веки не сделавшей ему замечания. Марджори сняла очки и снова их протерла, не умея найти более подобающую случаю реакцию. В итоге предоставила эту честь Филлис – в конце концов, она неспроста носила звание действительного начальника банды.

– Уильям! Ё! Какого х... черта ты вытворяешь, б?

Марджори охнула. Она и не думала, что Филлис Пейнтер способна употребить такие грубые и вульгарные буквы алфавита. Тогда вмешался большой Джон, с таким же сердитым голосом:

– У вас жеж знамя Британского союза фашистов! Если вы не ток стибрили Бедламских Дженни, но еще и вступили к мозлитам, я вам головы порасшибаю!

К этому времени лишние Билл и Реджи, коим и были адресованы эти враждебные реплики, сумели протиснуть полные Паковых Шляпок самодельные носилки, аффилированные с чернорубашечниками, в дыру во времени. Они уже стояли на противоположной стороне прохода, сгребая края цвета статики на середину отверстия, закрывая его за собой. В миг перед тем, как окончательно исчезнуть, двойники Реджи и Билла бросили взгляд на своих опешивших оригиналов.

– У нас была на то хорошая причина, чур, не браните меня.

– Заткнись, Редж. Слышите все, вы, главное, помните, что за рулем дьявол. Тада он не застанет нас врасплох, када...

В этот момент на брешь в пространстве наслоились последние переливающиеся волокна, оборвав близнеца Билла на полуслове. Остался только растресканный вид на сросшиеся лечебницы, где пациенты из сотни лет истории бесцельно бродили по лоскутному одеялу напластовавшихся газонов разных оттенков серого, и ничего не говорило, что дыра во времени вообще здесь когда-либо зияла. Она скрылась без следа.

Лишившись языка от ярости, Филлис треснула Билла по уху.

– Ай! Ты че, сдурела к хренам, маразматичка чокнутая? Ты че дерешься?

– А ты че свистнул все Паковы Шляпки, дрянь ты такая? И че эт за бред про чертей за рулем?

– А мне откуда знать? Ваще крыша съехала? Я ж все эт время стоял рядом с тобой. Это блесть не мы с Реджи. Они ток на нас похожи.

– Похожи! Счас бушь у меня похожий! Эт блесть ты! Че я, кровину родную не узнаю? Это ты дальше по когдате, из момента, где мы ищо не блесть! Ты пророешься сюда и приделаешь ноги безумным яблочкам, пока мы не успели их обобрать, – ты и твоя дубина стоеросовая, – Филлис обожгла взглядом Реджи. Билл тщетно пытался ее вразумить.

– Ну а как мне-то знать, что все это такое, если мы туда еще не добрались? Я жмурик, а не ясновидящий. Джон, друг, растолкуй хоть ты ей? Когда ей так климакс в голову ударит, с ней как со стенкой.

Привлекательный парень одарил шальной дуэт леденящим взглядом пронзительного презрения.

– Даже не пытайтесь ко мне подмазываться, парочка нацистов. Пошли, Филл. Давай с тобой и Майклом насобираем то, что нам соизволили оставить эти два бандита.

С этими словами Джон и Филлис взяли Майкла под руки и увели малыша в сторону рощи, качая его между собой в немогущей гравитации призрачной стежки. Марджори почувствовала разочарование из-за того, что ее походя оставили с ренегатами, но решила, что внешняя обида, скорее всего, была незавуалированным оправданием остаться наедине Джону с Филлис, нежели чем личным афронтом. Кроме того, она всегда лучше ладила с Биллом и Реджи, чем с Филл Пейнтер и большим Джоном. На Филлис находило самодурство, тогда как Джон иногда переигрывал роль военного героя. Билл же, с другой стороны, если перетерпеть скабрзные шутки про сиськи и письки, был удивительно начитанным и знающим мальчиком, а к бедняжке Реджи Марджори уже давно дышала неровно. Реджи в правильном свете казался почти красавцем, хотя она втайне соглашалась с оценкой Филлис его умственных способностей: дубина дубиной.

– И что это было? Вы задумали умыкнуть Паковы Шляпки и поделиться с новыми друзьями-чернорубашечниками?

Реджи принялся было оспаривать свою невинность, но Билл горько ухмыльнулся.

– Ну, вот терь – да, прямо скажу. Если старая корова бут лупцевать меня по башке за то, что я еще не сделал, то уж я постараюсь это хотя бы заслужить. Не знаю насчет дружбы с нацистами – хотя мне частенько казалось, что в берцах я стану прост рок-н-ролл. Нет, Мардж, эт и правда хрень какая-то, увидеть себя со стороны. Интересно, че эт я отмочил про дьявола за рулем?

Реджи задумался – по крайней мере, настолько, насколько в его случае это было возможно.

– Небось, это какой-то фокус с зеркалом.

Билл насмешливо фыркнул.

– Реджи, друг ты мой хороший, а ты и правда не самый яркий костюмчик на витрине «Бертон», а? Ну че еще за фокус с зеркалом? Они волокли целое знамя Паковых Шляпок, а мы, очевидно, нет. И вообще, как зеркало блестет с нами разговаривать? Оно ток свет отражает, а не голос. Лан, погнали, поднимемся в глазах Филлис, надыбаем для нее побольше фейри-фруктов. Вот пусть тогда выкаблучивается, стерва.

Теперь они уже хохотали над Филлис, пока втроем обходили рокированные и перетасованные здания лечебниц, вглядываясь под желоба сточных труб в поисках скрытых деликатесов. Внезапно в заплаточных небесах из-за ближайшего сарая или флигеля брызнул фонтан почти флуоресцентной кислотно-зеленой краски, из-за чего они вздрогнули, а потом посмеялись от облегчения, когда он улегся и затих.

На отрезке, напоминающем часовню больницы Святого Андрея, они отыскали сочную гроздь зрелых Паковых Шляпок, которую, должно быть, проглядели другие Билл и Реджи, – она росла в тенистом углу под подоконником. Реджи предложил в качестве лукошка собственную шляпу, пока Марджори и Билл принялись собирать обильные гиперовощи, или 4D-грибы, или чем на самом деле были эти необычные плоды. Запустив руку под особенно чудесный полуметровый образчик, Марджори сощипнула его с толстого стебля эфирным ноготком и услышала обрывок пронзительного писка, словно вдали заглох мотор: из тех звуков, которые и не замечаешь, пока они не прекратятся. Она подняла великолепный трофей в обеих пухлых ладошках и изучила его взглядом писателя.

Фигурки фейри, распускающиеся в кружевном узоре, словно колечко бумажных куколок, в этом случае оказались

светловолосыми. Золотистый султан общих волос рос из пушистой точки в центре, где браслетным кольцом соединялись крошечные головки, золотистыми были миниатюрные клочки эрзаца лобковых волос, торчащие на пересечении ножек-лепестков. Даже в бесцветном царстве прозрачной стежки на крошечных щечках проглядывал алый румянец, а в круге невидящих глаз-маковинок – небесно-голубые блики. Вот только Пакова Шляпка на самом деле не букет из отдельных фей-красавиц, верно? Так только казалось, чтобы привлечь призраков – чтобы те их съели и сплюнули хрустящие голубоглазые семечки. На самом деле Пакова Шляпка была единой формой жизни с собственными непостижимыми целями. Пытаясь отвлечься от смазливых девичьих мордашек, Марджори попыталась разглядеть истинное лицо таинственного организма.

Если не считать отдельные части создания уменьшенными людьми и забыть о машинальной симпатии, которую пробуждало это сходство, метагриб был поистине жутким зрелищем – конфетным осьминогом с отторгающими изгибами, беспорядочными и ненужными. Вокруг противоестественности центрального медового узелка собирались в кольце пятнадцать-двадцать маленьких и нечеловеческих глазок – и многие из них пугали своим вывернутым наизнанку видом, – а снаружи находилась концентрическая пунктирная полоса розовых губок, словно воспаленных ранок. Дальше шла полоска резных псевдогрудей, затем животы с неприличными ямочками гениталий, где росли светлые хохолки, словно пятна пенициллина. Вместе же это был пугающий глазурный пирог, украшенный с тревожной симметрией бредящим шизофреником.

Прежде чем заработать отвращение к еде до конца загробной жизни, Марджори передернулась и торопливо сунула вдруг ставший жутким прозрачный фрукт в перевернутый котелок Реджи. Будучи такой огромной, ее находка немедленно заняла все место в шляпе, так что мальчишкам пришлось импровизировать – снять джемпер

Билла, завязать узлом рукава и превратить в более объемную емкость. Марджори понаблюдала за ними, пока те продолжали выбирать самые спелые экземпляры из теснящихся под окном, оставляя в покое несозревшие и голубоватые плоды с пришельцами. Грузная фантомная девочка даже не пыталась приглядываться к чужеродной внешности, которая таилась в худосочных зародышах. Они были слишком ужасны и на первый взгляд. В чем-то своими огромными головами они походили на неродившихся младенцев, но Марджори они всегда напоминали какую-то редкую предродовую катастрофу – сиамские восьмерняшки со сросшимися черепами, лепестки омерзительной маргаритки. Марджори по прошлому печальному опыту знала, каковы они на вкус, но всегда находила раздражающе трудным испытанием переложить их едкую горечь в слова. Это как жевать металл, если бы у металла была мягкая консистенция нуги и он портился так, что при гниении превращался в потные пенни. Она знала некоторых привидений, готовых умять и незрелую Пакову Шляпку, если под рукой нет взрослого фейри-фрукта, но, хоть оживи, не представляла, как они это терпели. Сама бы она лучше вовсе обошлась без этого до скончания времен – а именно столько продержится с ней память о том первом неосторожном укусе. Кроме того, в последнее время она получала то же сытное ощущение и духовное питание, которое дарили Бедламские Дженни, от хороших книг. Хотя справедливости ради надо сказать, что плохой книге дай хоть столетие, но она так и не станет слаще.

Билл и Реджи собрали из цветника под окном все съедобные безумные яблочки, а потом бесцельно убрили прочь, горячо обсуждая, что замыслили их дубликаты, если им понадобилось разграбить урожай призрачных фруктов раньше Филлис и банды.

– Ну, эт ж мы в будущем, так? Такого мы еще не вытворяли.

– Откуда знаешь. Вдруг это мы в прошлом.

– Реджи, тебе че, твоя шапка жмет, что ли? Если б это блесть мы в прошлом, мы б это помнили, додик. И ваще, откуда нам знать, что

тут narosло сток Ведьминых титек? Мы ж это узнали ток от Филлис. Нет, поверь на слово, Редж, все, что мы счас видели, нам ток предстоит впереди. Осталось ток заморочиться, зачем и когда. А еще че имел в виду другой я, когда сказал про дьявола за рулем.

Два мальчика как будто забыли про Марджори. Увлеченные дискуссией, они блуждали в поисках свежих фруктов среди сборной солянки зданий лечебницы. Марджори, если честно, это было не столь интересно. Умудрившись отбить себе охоту и к Паковым Шляпкам, и к их сбору самое малое на несколько часов, она решила прогуляться по композитному газону в направлении кущи, куда направлялись Филлис, Джон и Майкл, когда она их видела в последний раз. Над пристройкой-галереей вдруг раскрылся дрожащий веер блестящего желтого цвета, продержавшись недолго, прежде чем угаснуть до полутонов: до разных оттенков дыма призрачной стежки. Марджори бросила взгляд через плечо, хоть за ней и следовали растворяющиеся двойники, и в последнюю секунду поймала взглядом Реджи Котелка, исчезающего за углом дурдома, упрямо споря с Биллом.

– Ну а мне невдомек, отчего это не мы из прошлого. Вдруг мы выкинули какое коленце да забыли, откель те знать!

Марджори улыбнулась и продолжала свой путь по неумелому тряпочному одеялу газона к далеким деревьям. Она вспомнила первый раз, когда увидела Реджи, – в ночь, когда утонула. В том случае он был без своего знаменитого котелка. И пальто. Да и вообще без всего, если уж на то пошло.

Ненская Бабка обернула от нее свою удлиненную морду, представ пугающим профилем клювастого аллигатора. Плоский лоб пошел бороздами вопросительного раздражения, когда существо прищурилось в подводных тенях, выискивая источник переполоха, плеск, который отвлек, когда она как раз была готова приступить к своей душегубительной работе.

Невдалеке, бултыхаясь в серой мути реки, возник голый мальчишка – или, точнее, незванный дух голого мальчишки с

лишними голыми руками и ногами, которые, как Марджори поймет только потом, были признаком мертвеца. Все еще сжатая в крепкой хватке перепончатых когтей Бабки, она ощутила недоумение Ундины: после долгой неурожайной засухи без самоубийств и несчастных случаев судьба подарила чудовищу сразу два подношения за ночь?

Мальчишка был длинный, белый и сухощавый, шел топором к илу и коляскам на речном дне. Быть может, он не отличался красотой ее моющегося римлянина, но он хотя бы был молод – явно куда моложе брюхастых выпивох, составлявших диету Энулы с самого начала. А также, самое важное, он был мужчиной. По всей вероятности, на деле существо не горело желанием расчленив Марджори, учитывая антипатию к женщинам – особенно молодым, еще не успевшим превратиться в зрелую личность, которую интересно растерзать на клочки. Миг Ненская Бабка глазела на обнаженную фигуру в глубинной мгле, взвешивая варианты, а потом приняла решение. Три бледных крабовых пальца вдруг отпустили Марджори, и Бабка метнулась против ленивого течения в броске вверх по реке к явно беспомощному юнцу. В этот момент все завертелось так быстро, что Марджори только позже смогла навести порядок в воспоминаниях.

Освободившись, перепуганная и одеревеневшая Марджори в беспросветных водах, пока ее бестелесная форма постепенно поднималась в направлении поверхности, следила за новой жертвой Бабки, когда голый мальчишка опустился на топкий речной грунт. Она успела заметить, что приземлился он на корточки, как будто бы запланированно и нарочно по сравнению с бесцельным трепыханием, которое он демонстрировал до сего момента. Когда вся ошеломляющая туша огромной Ундины зазмеилась через черноту к нему, его веснушчатое лицо с носом-пуговкой как будто бы даже расплылось в улыбке.

Тогда что-то нырнуло в воду сверху, подхватило Марджори под мышки и подсекло на свежий ночной воздух, дышать которым, как

она обнаружила, ей больше не требовалось. В миг ужаса она решила, что, не успев избежать лапищ исполинского призрачного угря, стала добычей какой-то огромной астральной чайки, но страхам на смену тут же пришло откровенное изумление, когда Марджори по-новому оценила ситуацию.

Ввысь ее потащило, как оказалось, что-то даже более причудливое, чем гигантская фантомная птица из воображения, – она увидела отрепетированный цирковой номер с трапецией, где участвовали два перевернувшихся вверх ногами привидения и множество парящих дохлых кроликов. Под мышки Марджори держал мальчуган, а его щиколотки в свою очередь были в руках девчонки, чуть постарше на вид и зацепившейся туфлями с пряжками за раздвоенную ветвь древнего дерева, нависшего над рекой. На ее шее болталась нитка, унизанная бархатистыми трупиками, которые Марджори и заметила ранее. Это хотя бы объясняло, почему мертвые животные парили, хотя и незачем девочка вообще нацепила такое украшение.

Пара юных гимнастов, очевидно, в нисходящей дуге прорезала поверхность воды, чтобы выдернуть Марджори, а теперь инерция уносила всех троих высоко в воздух, словно на опасно разогнавшейся тарзанке. На самом пике траектории маленькие ручки отпустили Марджори, и она поплыла выше, закувыркалась навстречу звездному сиянию медленно, как во сне, будто воздух сделан из меда. Вмиг снизу вспорхнули два ее спасателя, чтобы прервать бесконечные сальто, и в этот раз каждый ребенок схватил Марджори за вытянутые и размахивающие руки. Сцепившись, словно браслет с брелоками, все трио мирно проплыло по ночи в густой клейкой атмосфере, пока не зависло, перебирая ногами в пустоте, в пятнадцати метрах над Нен, глядя на медленную серебряную ленту с отраженными созвездиями.

Тогда-то из реки и вылетел нагой подросток, словно ракета из подводной лодки, оставляя за собой в темноте длинный поток фоторепродукций. Марджори вспомнила, как подумала тогда, что

это объясняет, зачем юнец опустился на дно, словно изготовившись к броску, – чтобы скорее вылететь из пучин к звездным высям, послужив диверсией для гадкой речной нимфы. Не успела она додумать мысль, как безмятежная Нен взорвалась, расколота снизу свирепым ударом, от которого вскрикнула не только сравнительно неопытная Марджори, но и все остальные дети.

Вздыбившись до самых верхушек деревьев, из ночного потока показались десять или пятнадцать метров Ненской Бабки – словно с ржавых рельсов сошел какой-то неудержимый подводный поезд и улетел в небо. Размашистые зонтичные лапы существа выросли во всю длину, а серая и рябая мембрана между ними натянулась до предела, пока поднявшееся, качающееся чудовище загребало воздух в попытке уловить ускользающую добычу. Былая самоуверенная улыбка мальчишки сменилась выражением удивления и страха, когда он запоздало осознал истинный масштаб и охват монструсальки. Брыкаясь и размахивая руками, словно в вертикальном кроле на груди, едва не схваченный хват взметнулся от когтей вытянутого ужаса в безопасность расшитого блестками небосвода над Лужком Пэдди, где дрейфовали Марджори и остальные дети-привидения с перехваченным от возбуждения и смерти дыханием.

Ундина возопила от досады и гнева, несколько секунд тщетно когтя пустое пространство несоразмерно маленькими конечностями, прежде чем сдалась и с разочарованным плачем, пронявшим нервную публику, рухнула обратно в Нен, словно подрубленный дымоход. Когда неосязаемая туша ударила по материальной водной поверхности, плеска не было – лишь прощальное леденящее стенание, звук, который словно когда-то напоминал человеческую речь, но давно заржавел и стал удушенным ревом. На один пугающий миг показалось, словно оно пыталось вымолвить: «Григорий».

А потом, когда Марджори официально представили Мертвецки Мертвой Банде, они легко, как пушинки, поплыли на травянистый

берег чуть дальше, где Реджи Котелок ранее оставил торопливо сброшенную одежду под скрипучим покосившимся капканом, именованным грибок, вкопанным на детской площадке выше по течению. По пути они миновали покачивающийся на волнах сверток, медленно переворачивающийся в бензиновой пленке и болотной тине на пути к Спенсеровскому мосту, который Марджори долго буравила глазами, даже не понимая, что это она: ее человеческая оболочка, наконец-то без уродливых очков, с полными легкими воды.

А еще она заметила чертову, чертову, чертову дурацкую чертову Индию, которая, как оказалось, все же умела плавать. Собака выбралась на берег, где встряхнулась и потрусилась вдоль кромки, лая и не отставая от уносящегося тела. Вот и все. Глава седьмая: «Мертвецки Мертвая Банда против Ненской Бабки». На этом кончилась короткая жизнь Марджори.

Теперь она шагала по щетинистой траве, выкошенной полосами, – предположительно, родом из ухоженной больницы Святого Андрея. Это наглядно подтверждал и высокий класс сумасшедших, бродивших на воле по широкой серой зелени, испещряя опрятный простор, словно шахматные фигуры, потерявшие свои поля. Приближаясь по газону к рощице, Марджори миновала одного живого пациента, показавшегося ей знакомым: еле ползущий старичок лет шестидесяти, одетый в свободный кардиган и штаны с пятнами от завтрака. Бедолага с трудом передвигал ногами и мычал под нос что-то сложное и нескладное, не замечая ее, и она была почти уверена, что это тот самый старейший композитор, который заслужил мировое имя намного позже жизни и смерти Марджори. Сэр Малкольм Арнольд, точно. Тот, который сочинил оголтелую, горячечную мелодию для «Тэм-о-шентера» Робби Бернса и который поставил «Полковника Боги» с полной аранжировкой беспардонных и пердящих духовых. Погруженный в свои мысли, лысеющий, почти наверняка под воздействием алкоголя или лекарств, Арнольд шлепал по треснувшим территориям дурдома, не признавая ее

присутствия, напевая рефрен, слышный только призрачным девочкам и ближайшим деревьям.

Марджори в тихом ужасе заметила, что у композитора на пятнистом лбу растет и процветает Пакова Шляпка, прямо над глазом. Она знала, что Бедламские Дженни предпочитают близость к сумасшедшим, перепившимся или и тем и другим – отсюда, полагала она, и берется их название, – но она ни разу еще не видела, чтобы плоды пускали корни кому-то прямо в мозг. Должно быть, его сны заражены, захвачены чирикающими и бездумными псевдофеями до такой степени, что новые композиции сочинять попросту невозможно, думала Марджори. А как устранить виновника бед, если из-за самой природы 4D-гриба никто живой его не видел? Никто, включая самого композитора, не подозревал, что он там. Марджори наблюдала, как сэр Малкольм убредает от нее к буйству разношерстных зданий лечебниц и как покачивается с каждым шагом на его черепе миловидный нарост. На сросшихся лицах пустоглазых нимфочек, голые тельца которых образовывали лепестки плода, как будто даже были миниатюрные знающие ухмылки.

Марджори отправилась дальше между оптическими иллюзиями столбов Ультрадука, описывающего над головой долгую дугу между Иерусалимом и церковью Доддриджа, бесконечная алебастровая масса которого не отбрасывала теней на коллаж больничных газонов. Когда трава сменялась со светлой на темную, с подстриженной на неухоженную и лохматую, она знала, что вступала на территорию либо больницы Криспина, либо старой лечебницы в Абингтонском парке. Пышная и шуршащая роща теперь была намного ближе, и она уже видела Филлис, Джона и Майкла, гулявших между деревьев и собиравших редкие Паковы Шляпки, не расхищенные Биллом и Реджи из будущего. Филлис помахала ей:

– Всё в порядке, Мардж? Небось, эти черные душонки зубоскалят, что потом вернутся и утянут Паковы Шляпки у нас из-под носа.

Подойдя к остальным детям в пестроте нависающих крон, Марджори покачала головой.

– Не-е. Они тоже никак в себя не придут. Твой Билл набивает джемпер всеми Дженни под рукой, лишь бы ты его простила.

Филлис это застало врасплох, и она задумчиво выпятила нижнюю губу.

– Хм-м. Ну, мож, я и взаправду горяча на руку, накинулась ищю до того, как они сделали гадость. А кроме того, мы уже на этих деревьях собрали сток безумных яблочек, что уже не зря приходили. Гля – и зрелые, и все дела, ток маленькие, как дикушки.

Старшина Мертвецки Мертвой Банды в гирлянде выхолощенных разлагающихся зайчиков протянула для изучения Марджори свой белый платок. В его развернутой середине покоилось полдюжины крошечных Бедламских Дженни, самая большая из которых едва ли превышала пять сантиметров в диаметре. Как и говорила Филлис, гиперфрукты были зрелые, каждый фейри-лепесток сформировался до последней миниатюрной детали, несмотря на то, что некоторые насчитывали не больше полдюйма от ножек до бутона. Марджори обнаружила, что понадобились и обостренное зрение мертвцов, и совершенно декоративные очки от Нацздрава, чтобы различить мельчайшие черты, такие как почти микроскопические пупки. И раз каждого экземпляра хватало всего на один-два укуса, было понятно, почему лилипутский сорт остался нетронутым двумя жуликами из будущего. Филлис, Джон и Майкл набили полные карманы плодами размером с монетки, причислив к преимуществам этой разновидности транспортабельность. А еще они росли в изобилии, целым ковром покрывая задние стороны вязов и белых берез, спрятанные от лечебницы и глядящие на опушку ближайшего леса. Поборов недавнее самоналоженное отвращение к грибным созданиям, Марджори согласилась попробовать парочку – а потом и еще парочку.

Они были чрезвычайно хороши. Слаще, чем крупные виды, а аромат более выразительный, более концентрированный. А еще

лучше – стоило их проглотить, как немедленный эффект проявлялся ярче. Щекотка тонизирующей эйфории, проникающая в самые фибры существа, которая у Марджори ассоциировалась с полноразмерными Паковыми Шляпками, здесь была заметнее и даже держалась как будто чуть дольше. Наполнив и собственные карманы джемпера до отказа, она ела их на ходу, словно особенно сочные леденцы, закидывая в рот сразу по две, попутно играя в спонтанные догонялки с тремя остальными привидениями. Хихикая и подвизгивая, они носились туда-сюда среди деревьев, обрамляющих несуразные лужайки и сады равно диссонансных заведений.

Марджори первая узнала живую пациентку, которая недалеко вытворяла что-то невразумительное на аккуратно покошенной траве Святого Андрея, хотя заметил ее первым Майкл Уоррен:

– Посмотрите на ту смешную тетю. Она ходит, как дядька из фильмов, и косит глаза, как другой дядька.

Марджори вместе с Джоном и Филл посмотрела, о ком говорил мальчик в пижаме. Пациентка гуляла туда-сюда по участку газона приблизительно размером с театральную сцену то вприпрыжку, то пританцовывая, а то вразвалочку. Ее движения, включавшие время от времени балетные прыжки и вращения, тем не менее до жути напоминали, как и сказал Майкл, походку «маленького бродяжки», прославленную Чарли Чаплином – тем дядькой из фильмов. Чтобы дополнить образ, темноволосая пациентка лечебницы средних лет заняла у ближайшего кустарника длинную тонкую ветку и подоткнула под мышку, словно тросточку Чаплина, и теперь мерила шагами газон, без конца бормоча про себя почти напевную абракадабру и тарабарщину: «Je suis l'artiste, le auteur [\[82\]](#) и живу, вирша покольная слога, я Лиффи-тернии во блеске и плеске Lux, ликую и лечу свечу, пларю-пыву, проступленно резворечиваю проз взрачную речь, олигафранку в моих влажных днях и в важных снах, и ею вам ручьяюсь, реку, скальжу, слов и дыханья не тая, что я без берег и без заводь, ведь – плавно или поз дну – все выйдет на

лучистую воду, поменийте мое слово: о моем Старике и Горе, как я его несла – иль он меня не снес? Ах, я витаю в облаках, все вылетело из головы – и даже мой язык, не воробей, – я не поймала...»

Безумный монолог продолжался независимо от верчения тросточкой или чаплиновской походки, поигрывания воображаемыми усами под наморщенным носом или периодических внезапных пируэтов. Хотя Майкл Уоррен угадал причину странной поступи женщины, он ошибался, когда решил, что глаза она сводит к носу в пародии на Бена Терпина – или кого он имел в виду под «другим дядькой». Марджори знала, что так глаза женщины и выглядят на самом деле. Она склонилась всем коротким телом, чтобы тихо заговорить на самое ухо Майкла Уоррена. Она сама не знала, почему старалась не издавать громких звуков, если живой умалишенный все равно их не услышит, но, наверное, подсознательно отреагировала на сильное сходство больной с редкой пугливой птицей. Она зашептала малышу в явно чрезмерной попытке не спугнуть пациентку:

– Ты же помнишь, что ты, хоть и мертвый, иногда все-таки путаешь слова, и они получаются наизуот? А Филлис или еще кто-нибудь говорит тебе тогда, что в рот должна попасть Лючинка?

Мальчик моргнул и кивнул, бросая украдкой взгляды на безумицу, плясавшую то туда, то сюда по травянистым подмосткам театра, который видела только она. Марджори продолжала все тем же бессмысленно-осторожным бормотанием.

– Ну, вот она и блесть та самая Лючия.

Это поразило даже Филлис.

– Че, эт как-там-ее, дочка старого Улисса? Который накатал ту пошлую книжонку? – вожачка призрачной банды озвучила свои вопросы на своеобразном, несдержанном уровне громкости, так что Марджори отказалась от приглушенной интонации во время ответа Филлис.

– Да. Это Лючия Джойс. Ее папой был Джеймс Джойс, и она танцевала для него, когда он писал свою великую книгу, «Поминки по Финнегану». Когда он взял в ассистенты Сэмуэля Беккетта, Лючии показалось, что ее оттесняют. А еще она взяла в голову, что Беккетт в нее влюбился, да и в целом начала чудить. Она теперь на Биллингской дороге, в больнице Андрея, где пролежала несколько лет. Говорят, Беккетт иногда ее там навещает, если бывает рядом проездом. Ее семья – кто еще жив – умалчивает о ее существовании, чтобы не бросить тень на ее отца или его творчество. Бедная. Жалко, что с ней так обращаются.

Филлис подозрительно оглядела Марджори.

– А ты-то откуда сток знаешь? Че-т не думала, что ты у нас любительница почитать.

Упитанная девочка ответила командиру при кроличьих знаках отличия бесстрастным взглядом из-за очков.

– Я просто слежу за сплетнями.

Филлис это, похоже, полностью устроило, и, понаблюдав еще немного за повторяющимся и гипнотизирующим номером Лючии, все четверо решили вернуться через широкий простор перекроенных газонов и найти Билла с Реджи. С карманами, распухшими от поживы в виде карликовых Паковых Шляпок, которые более чем компенсировали яблочки, украденные дуэтом путешественников во времени, все порешили на том, что экскурсия была славная, но растягивать ее незачем, раз они получили то, зачем пришли, или хотя бы достойную замену. Найдя двух осрамленных членов банды – похоже, Филлис уже готова была их предпростить после скоропалительного предсуждения, – они могли бы вернуться по Ультрадуку к церкви Доддриджа и, пожалуй, отлучиться от приключения, чтобы поиграть на глубокой пустоши, над которой они проходили по дороге сюда.

У Марджори из мыслей не выходила Лючия, а также сэр Малкольм Арнольд и остальные пациенты, прошлые и нынешние, нескольких нортгемптонских лечебниц. Джон Клэр, Дж. К. Стивен и бессчетные

прочие, чьих имен не знает никто, кроме ближайших родственников и друзей, – все они переступили негласную черту, отделявшую приемлемое мелкое безумие обывательской жизни от более неподобающего поведения и мнений, классифицировавшихся как помешательство. Что это значит – сойти с ума? Понимаешь ли ты, что с тобой происходит? Обладаешь ли на первых стадиях толикой самосознания, позволяющей заметить, что мир вокруг и твоя реакция на него заметно отличаются от бывшего состояния? Борются ли с этим люди, с помрачением рассудка? Ей пришло в голову, что для множества людей обычная жизнь сама по себе – поверхностное сопротивление.

Проходя вдоль края кущи по неторопливому кружному маршруту обратно к мешанине дурдомов, они натолкнулись на двух женщин, беседовавших на обветренной скамейке. Будучи живой, парочка не заметила присутствия фантомных детей. Судя по росту и цвету травы, где они устроились, Марджори решила, что двоица на самом деле материально находится на территории больницы Криспина, а не в перехлесте Святого Андрея, не в крошечке обвала верхнего мира, как сэр Малкольм Арнольд и Лючия Джойс. Так или иначе, Марджори не признала парочку. Обе казались женщинами средних лет, одна высокая и несколько худощавая, вторая ниже, но и круглее. Марджори поняла, что пациенткой была только одна из них – рослая, тогда как подруга сидела с сумочкой и в целом выглядела как посетительница. В остальном в них не было ровным счетом ничего примечательного. Марджори прошла бы мимо, если бы высокий красавчик Джон не встал как столб и не уставился на них, переводя изумленный взгляд с одного лица на другое, прежде чем объявить группе в общем и Майклу Уоррену в частности следующее:

– Чтоб меня подбросило да разорвало. Я вроде знаю этих двоих. Низенькая – это двоюродная сестра твоего папки, малек, Мюриэл, а вторая, кажется, – его и ее кузина Одри. Одри Верналл. Она помешалась сразу после войны. Она играла на аккордеоне в ансамбле, которым руководил ее отец, а потом одним вечером,

когда ее мамка с папкой были в «Черном льве», заперлась дома и играла на пианино «Шепот травы» снова и снова. Родителям пришлось просидеть всю ночь в портике церкви Всех Святых, прямо на ступеньках, а наутро вызвать санитаров, чтобы ее забрали в больницу в Берри-Вуд. С тех пор, как я слышал, она здесь безвылазно.

В новом свете рассказа Джона Марджори изучила высокую женщину из сидящей пары пристальной. У этой Одри были сильное лицо и большие, горящие проклятием глаза. Кажется, она говорила с Мюриэл, посетительницей, о чем-то чрезвычайно важном, крепко сжав руку кузины в длинных и чувствительных пальцах аккордеонистки. Поскольку из-за объявления Джона они оборвали праздную болтовню и прислушались к беседе женщин, все четверо отчетливо слышали то, что Одри Верналл произнесла дальше, после чего Филлис и Джон спали с лица, смутились и заторопили Майкла Уоррена прочь прежде, чем он услышал еще хоть слово.

Вскоре после этого они нашли Реджи и Билла, которые в качестве покаяния за еще не совершенные прегрешения приволокли целую котомку Шляпок. Как только Филлис официально помиловала их за неминуемую кражу, банда вознеслась обратно на Ультрадук, подскочив высоко в густую атмосферу призрачной стежки, а потом по-собачьи проплыв остаток дистанции. Джон и Филлис взяли Майкла Уоррена на буксир.

Возвращаясь по ослепительной эстакаде к церкви Доддриджа, они уписывали безумные яблочки за обе щеки, а Филлис снова завела клубный гимн Мертвецки Мертвой Банды. Марджори казалось, что Филлис наверняка поднимает шумиху для того, чтобы все скорее забыли, что исхудавшая и дикоглазая Одри Верналл сказала кузине, когда те сидели на скамейке и не подозревали, что их могут подслушать. Но Марджори не могла забыть. Они пробирали до нутра – слова страшного признания среди шуршащих и прислушивающихся ветвей, – и писательское чутье подсказывало,

что они станут мощным завершением хотя бы для продолжительного пассажа в грядущей двенадцатой главе:

– Со мной спал мой папа.

Банда продолжала путь на восток, к церкви Доддриджа, и распевала по дороге.

А, и собаку так звали, потому что на боку у нее было темно-бурое пятно, чем-то похожее на Индию.

Запретные миры

По опыту Билла, быть умным и быть выходцем из рабочего класса – готовый рецепт для беды. В своих низших выражениях – без академических устремлений – настоящий ум обычно проявляется в виде хитрости, и если Билл будет с собой честным, то признает, что не раз перехитрил сам себя и натерпелся горя от ума. Достаточно только взглянуть, в какие поистине жуткие обстоятельства завел его последний замысел – он ежился в могучей тени Тома Холла, пока банда кошмарных пьяных призраков истязала лысого рыдающего мужчину, как будто сделанного из дерева. Едва ли идеальный результат, даже для такого серийного оптимиста, как Билл, который старался во всем видеть хорошее.

Он помнил свои первые догадки, что в итоге и привели к катастрофическому плану. Они проклюнулись уже давненько, сразу после того, как дети сбежали от призрачного шторма, поднявшись в угловой дом на отшибе на улице Алого Колодца где-то между пятым и шестым годами. В тот раз, застигнутый врасплох тем, что его родную террасу давно снесли, Майкл Уоррен сбежал в проклятую ночь, и Билл с Реджи нашли его на центральных ступеньках многоквартирника на Банной улице, разнывшего, как он скучает по сестре и комиксам, которые она читала. «Запретные миры» – вот что за название конкретно упомянул мальчик, и в туманных далях чуть менее чем идеальной памяти Билла зазвенела смутная тревога.

Но только при встрече банды с Филом Доддриджем, когда великий человек походя обронил христианское имя сестры Майкла Уоррена, Билл обнаружил, что пазл в его голове сошелся идеально. Увлекающейся комиксами сестрой была Альма – Альма Уоррен. Ну конечно. Происхождение из Боро и любовь к странной фантастике и историям ужасов с раннего возраста – разве могут быть два таких человека? Билл знал Альму, пока был жив, и знал неплохо. По крайней мере, достаточно хорошо, чтобы помнить, что самой

важной своей работой широко известная в узких кругах художница считала захватывающую и непостижимую серию картин, основанных, если верить ей, на визионерском опыте клинической смерти ее младшего брата. Майкл Уоррен, очевидно, и был тем братом, о котором шла речь, а похождения мальчишки с Мертвецки Мертвой Бандой, предположительно, – визионерским опытом клинической смерти, что он ей однажды пересказал. Билл, будь его ноги в нынешнем детском виде чуть подлиннее, сам себя бы пнул за то, что раньше не нашел очевидную связь между Майклом Уорреном и Альмой Уоррен, с которой общался при жизни.

Конечно, как только Билл смекнул, что происходит, он обговорил все с Филл – единственным членом банды, способным понять, о чем он говорит. Филл тоже знала Альму, хоть и не так хорошо, как Билл. Вместе с Филлис они согласились, что эта информация меняет все. Например, они уже знали, что Майкл Уоррен по отцовской стороне был Верналлом – из тех бродячих ремесленников, которым в Душе доверялся надзор над межами и углами. А если Майкл Уоррен был Верналлом, то Верналл и его сестра, Альма. В уравнении возникали новые переменные, и многие даже больше и зловещей, чем сама Альма, по воспоминаниям Филлис и Билла.

Но самым тревожным был вопрос Дознания Верналлов. Насколько понимал Билл, «Дознание Верналлов» – термин вроде «Портимот ди Норан» и «смертоведка», то есть исторически неизвестный за пределами Боро Нортгемптона. Биллу казалось, наверняка потому, что эти фразы родом из Души Наверху, из Второго Боро, и они как-то просочились в обиход на нижней территории, в Первом Боро, конкретном районе смертных, будто бы имевшем особую важность в высшем порядке вещей. В конце концов, здесь центр земли, где англы вроде как велели монаху из восьмого века водрузить каменный крест из далекого Иерусалима прямо напротив бильярдного зала. Среди самых осведомленных привидений и отошедших душ циркулировал слух, что самый главный – Третий Боро (эти звание и должность тоже не встречались нигде, кроме

Нортгемптона) – запланировал для непритязательного района важную роль.

Самые дружелюбные и общительные зодчие даже раскрыли название и срок завершения этого монументального события, этого проекта: он будет наречен Портимот ди Норан – трибунал, на котором окончательно определяют границы и рубежи, где раз и навсегда восторжествует правосудие, и все это произойдет в первые годы двадцать первого столетия. Билл, конечно, плохо представлял, что все это значит – просто такие слухи до него дошли. Учитывая, что решение будет приниматься на высшем уровне, где-то над жизнью и временем, Биллу казалось, что данные границы и рубежи соответственно значительны – не просто передел территории враждующими соседями. Кто знает? Возможно, пересмотрят границы между измерениями. Возможно, перерисуют предел смерти. Что-то такого масштаба, что Биллу до жути напоминало какой-то Судный день. Вот что такое Портимот ди Норан. Но прежде чем выносить вердикт, должно иметь место строгое и всестороннее разбирательство, также инициированное таинственным начальством Души, и это предварительное расследование известно как Дознание Верналлов.

Так вот, как поговаривают в разных кругах небес, Портимот ди Норан проведут в первые десятилетия двадцать первого века, до его половины, а перед ним никак не обойдется и без Дознания Верналлов – Билл считал, где-то в первые десять-пятнадцать лет.

Он помнил, как видел картины Альмы задолго до того, как отбросил копыта из-за гепатита С, и помнил впечатление, хотя и мимолетное, которое они на него произвели. Эти изумительные сюрреалистические ландшафты, населенные необычными существами и полные ослепительных красок; мягкие этюды углем улиц и переулков Боро с серыми фигурами, оставлявшими за собой тускнеющие остаточные изображения, – только когда Билл сам скончался, он в полной мере оценил, как близко картины Альмы напоминали реалии Души или призрачной стежки. Он помнил, как

она говорила ему, будто ее вдохновил какой-то рассказ брата Майкла – как после какого-то несчастного случая на работе он обнаружил, что вспомнил подробности предыдущего инцидента, вышеупомянутого околосмертного опыта в детстве. Несчастный случай на работе имел место, если Билла не подводит память, весной 2005 года. Альма умудрилась закончить всю работу за год, и впервые Билл видел галлюцинаторный результат в 2006-м. Дата удачно попадала в период, отведенный для Дознания – жизненно необходимой преамбулы грядущего Портимот ди Норан, – а как они уже выяснили, Альма Уоррен – Верналл.

Если – и тут Билл уже гадает – картины Альмы имеют хоть какое-то значение для Дознания Верналлов и если их вдохновили приключения младшего брата во время короткого визита в загробную жизнь, то это объясняет все. Объясняет, почему два мастера-зодчих сочли детскую жизнь и смерть достаточно важной, чтобы полезть в драку у всех на глазах на Мэйорхолд. Это даже объясняет, почему демон, похитивший многострадального ребенка, вообще так им заинтересовался. Красноречивая идея, которая многое ставила на свои места, хотя, насколько видел Билл, при этом он вместе с Мертвецки Мертвой Бандой в полном составе оказывался в полной заднице.

Хуже всего, понятно, ответственность. Хотя Билл никогда не избегал ответственности, он на нее и не напрашивался. Когда Филип Доддридж и та страшноватая и внушительная смертоведка, миссис Гиббс, сказали, что власти Души целиком оставляют дело Майкла Уоррена на их усмотрение, у Билла заledenела метафорическая кровь в гипотетических жилах. На первый взгляд казалось, будто взрослые расслабленно потворствуют малозначительным детским играм, но Билл же знал, что все не так просто. Все как раз наоборот. Для начала преподобный доктор Доддридж и смертоведка – даже не взрослые, не более чем Мертвецки Мертвая Банда – дети. Они просто души без возраста и без времени, подвешенные в пиротехнической долготе Вечности, разодетые в обличья и личности,

которые им больше нравились. И слова доктора богословия банде были намного весомей, чем просто «бегите поиграйте».

Если Майкл Уоррен так необходим для готовящегося Дознания Верналлов и следующего за ним Портимот ди Норан, как начинало казаться Биллу, то успех или провал Божественного промысла оказался в руках неуправляемой кодлы фантомных безобразников. Целая «Миссия: невыполнима»; только еще без удобной лазейки «Ваша миссия, если вы ее примете...». У банды не было никакого выбора, принимать ее или не принимать, учитывая, от кого спущены приказы. Билл надеялся – не без иронии, – что Третий Боро знал, что делал, хотя, учитывая давнишнее недоверие Билла к властям, он в этом очень сомневался. Главным изъяном плана, как его видел Билл, было то, что им более-менее велели проследить, чтобы Майкл Уоррен вернулся к жизни хоть с какой-то памятью о том, где он побывал, чтобы и вдохновить необходимые, по всей видимости, картины сестры. Но все правила Души, которые нельзя нарушить, как нельзя нарушить законы физики, говорили, что сохранить воспоминания о похождениях в верхнем мире по возвращении к жизни невозможно. Иначе бы любой с момента появления на свет помнил, что все вокруг уже происходило миллиард раз. А раз ранее люди не испытывали этого осознания от рождения, то оно бы изменило то, что было, что есть и что будет вечно. Это повлияет на время – время как физическое измерение, время как твердый компонент твердой и неизменной вечности. Это просто невозможно. Невозможно даже для Третьего Боро, и потому все, что происходило в Душе, оставалось в Душе.

С этой-то задачкой они с Филлис и бились большую часть долгой дороги по Ультрадуку к обвалившимся и слипшимся лечебницам. Обсуждали, как вернуть Майкла Уоррена в мир смертных так, чтобы он не забыл обо всем, а от капитуляции их сдерживала только уверенность в неизбежном успехе, исходившая из их собственных воспоминаний. В конце концов, оба видели законченные работы Альмы во время своей жизни на земле, а значит, они найдут какой-

то способ разрешить ситуацию, чтобы картины Альмы отразили рассказ брата о видениях комичной и пугающей жизни до и после смерти.

Загвоздка была в том, что Билл не присматривался к произведениям, когда их увидел, так что не помнил, насколько точно они отображали мир Наверху или призрачную стежку. Он припоминал целую стену изразцов, как будто подрезанных у М. К. Эшера, и еще одну жуткую махину, где зритель как будто заглядывает в километровую мусородробилку, поглощающую все благородное и доброе в человеческой истории. Были там рисунки углем со множасьими силуэтами, напоминающие злосчастных неприкаянных полумира, и самоцветные акриловые этюды огромных интерьеров, что вполне могли символизировать Душу, но Билл не помнил ничего наверняка. Самым впечатляющим произведением в глазах и Филлис, и Билла оказалась масштабированная модель «Норных» Боро из папье-маше, где не было никаких очевидных сверхъестественных элементов и которая в итоге не попала на основную выставку Альмы, устроенную в Лондоне. Билл вдруг пал духом из-за мысли, что если Альма написала пару картин загробной жизни, то это еще не означает, что они правильные. А что, если Мертвецки Мертвая Банда не смогла вернуть Майкла к жизни со всей памятью о пережитом и Альма не написала действительно значимые картины, достойные возложенной на них задачи? Что, если Дознание Верналлов провалилось и Портимот ди Норан не состоится? Билла потрясло, что нынешняя шалость могла оказаться далеко не величайшим триумфом банды, а заклеянной неудачей, которая будет бесконечно отзываться по длинным улицам вечности. Все это они с Филлис осмыслили, когда наконец добрались до лечебниц и их совещание прервали Реджи Котелок и второй Билл, обескураживающие пришлецы из будущего, утащившие все безумные яблочки в фашистском стяге.

Он понятия не имел, что это значит. Они явно сделают это с Реджи чуть позже, но из-за других проблем на руках у Билла не было ни

времени, ни желая задумываться об этом. Вопрос Майкла Уоррена – вот главное дело, и, раз Филл дуется на Билла из-за появления его будущей вероломной версии, разбираться придется в одиночку. Самое лучшее, к чему он пришел, – им стоит побывать в пятом или шестом, поближе ко времени действия, чтобы составить подробное впечатление. Он упомянул об этом Филлис на пути назад из дурдомов, когда она прекратила истерику и решила, что все-таки снизойдет до разговора с ним, и та неохотно признала, что это неплохая идея. Очевидно, лучше у нее и не было. На самом деле Филлис вообще погрузилась в какие-то свои грустные мысли, уже когда она, Майкл, Марджори и Джон воссоединились в психушках с Биллом и Реджи. Билл не знал, что случилось за полчаса их расставания, но казалось, будто у Филлис на уме теперь что-то пострашнее, чем его с Реджи будущая кража безумных яблочек.

Шестерка шла по Ультрадуку, лакомясь Паковыми Шляпками и пытаясь распевать песню Филлис «Мы Мертвецы Мертвые» с набитыми пережеванными феями ртами, плюясь друг на друга от смеха кусочками ног, лиц и пальчиков. За ними гонялись разнузданные остаточные изображения, словно веселая педиатрическая версия Пляски Смерти – припрыгивающие фигурки, строящиеся за спиной по алебастровому пролету.

Над ними в изменчивых тающих небесах состязались за внимание закаты, позаимствованные из дней и ночей десяти тысяч лет. Билл маршировал и подпевал, позволив стимулирующей и живительной энергии Бедламских Дженни распространиться по призрачному организму, надеясь, что это породит какое-нибудь решение для его затруднительного положения. Пока мысли постепенно обволакивал знакомый мечтательный и творческий блеск метагрибов, Билл взирал за перила пылающей дороги на бурлящие пригородные деревья и дома, над которыми они проходили, крофты, коттеджи и ЖК «Баррат Хоумс», строящие сами себя из праха и так же быстро разбирающиеся на ту же самую субстанцию. Сомневаясь, что его хитрости по плечу этот неохватный метафизический ребус, Билл

пересматривал в мыслях историю Майкла Уоррена, поворачивал то так, то эдак, пока шел с компаньонами по светящейся эстакаде к церкви Доддриджа.

Насколько он припоминал, память взрослого Майкла о том, что случилось после удушения в три года, восстановилась после несчастного случая на работе где-то в 2005-м. Билл припоминал, как Альма рассказывала с ворчливым возмущением, что ее брат занимался переработкой стальных баков на Дворе Мартина, плющил их кувалдой, для чего и был нанят. По всей видимости, Майкл расколошматил ненадписанный бак, который оказался полон едкими химикатами. Они взорвались ему в лицо, обожгли и ослепили, из-за чего Майкл влетел на полном ходу в удобно расположенную стальную балку и в процессе вырубился. А когда очнулся, говорила Биллу Альма, ее брата вдруг и обложили воспоминания о нескольких минутах детства, когда он был технически мертв.

Билла посетила мысль, пока он прогуливался по Ультрадуку и жевал особенно смачную и пахучую Пакову Шляпку, что если это он помнил из рассказов Альмы, то почти наверняка так оно и случилось на самом деле. Это случилось, а следовательно, случится, постоянно случается в четырехмерной вечной Вселенной, где Время – это направление. Это случится, уже случилось – разгребет Билл бардак Майкла Уоррена или нет. И где-то на тридцать секунд он почувствовал облегчение, но тут же сообразил, что «несчастный случай» на работе наверняка произошел только благодаря какому-то хитрому трюку, который еще только предстоит проверить Биллу, так что он оказался все на той же неприятной мертвой точке. Все это вызвало в памяти обрывок подслушанного разговора между тем малым Азиилом и мистером Доддриджем, когда священник спросил, есть ли свобода воли, – хотя Билл и сам не мог бы объяснить, какое отношение имел к текущей дилемме этот короткий диалог. Он только знал, что должен придумать ответ на задачу и придумать быстро.

Итак, рассуждал он, если ему кажется, что это он стоит за несчастным случаем с Майклом Уорреном, возможно, на этой стратегической области и стоит сосредоточиться. Как же он мог такое осуществить? Есть ли вообще хоть какая-то вероятность? Взбодрив воображение Паковыми Шляпками, сперва он задумался, может ли приложить руку к перемещению железяки, о какую приложился лбом Майкл, но, как и во всех прибыльных аферах, сочинявшихся после пары косячков, в воздушных замках тут же сами собой просветились очевидные бреши.

И главной был вопрос, как Билл, стесненный призрачным состоянием, вообще собирается прикладывать руку к железной балке или, хуже того, тяжелому механизму, откуда эта балка торчит. Как он это сделает, когда единственный способ, которым фантомы способны влиять на физический мир, – бегать до посинения в уголке парковки, чтобы сдвинуть сраный пакетик из-под чипсов? И даже так нужно двое, чтобы породить крошечное завихрение. Если хочешь сдвинуть железную балку, понадобится целый континент привидений, носящихся кругами...

Как раз тогда, как только банда подошла к концу Ультрадука у церкви Доддриджа, Билл начал формулировать идею, из-за которой теперь и оказался в нынешнем затруднении, прячась с явно паникующим Майклом Уорреном за широкими телесами покойного Тома Холла в пабе-привидении – призрачных «Веселых курильщиках», – наблюдая за ужасающим концертом.

Билла осенило ровно в тот момент, когда Филлис объявила остановку не доходя пары ярдов до дверки в западной стене церкви Доддриджа, обозначавшей завершение Ультрадука. А что, если есть предмет намного, намного легче железной балки, но играющий такую же важную роль в отключке Майкла? Билл как раз задумался об этом, когда Филлис сказала, что если они спрыгнут с сияющей эстакады сейчас, то, как она и обещала, смогут поиграться в обрушенной лагуне пустыря, замеченной ранее.

Примечательный акр развернутых валов между Меловым переулком и кирпичной стенкой, служившей границей дороги Святого Андрея, всегда был одним из самых любимых мест Билла во всей призрачной стежке. Как и слипшиеся лечебницы, эта пересеченная местность стала жертвой астрального проседания и обрушения, хотя, в отличие от ситуации в дурдомах, никто не знал, почему это произошло. В больницах все-таки лежали умалишенные с перепутанными мыслями и снами, что и привело к изъясам в основании высшего мира. Здесь же, насколько всем было известно, всегда был пустырь, кроме времени пятьсот лет назад, когда тут были нехоженые и ненаселенные окраины земель замка. Почему цветастые половицы Души решили провалиться в этом месте, если здесь никогда ничего не происходило и не имелось кошмаров или бреда больных, подрывающих небесные территории над головой? Возможно, предположил Билл, региону досталось из-за его близости к концу Ультрадука, а может быть, он развалился просто из-за возраста и небрежения, как чаще всего и бывает.

Дети спрыгнули с белого моста над историей, с последовавшим за ними ластичным пятном серых изображений, и приземлились на стоянке Мелового переулка вечером весны шестого года. В конце пустого проезда они видели церковь Доддриджа – ее низкие очертания припали к земле на фоне надвигающихся сумерек и многоэтажных высоток, угрожающе высившихся за ними. Почти все окружение было неузнаваемым по сравнению с тем, что они видели в 1600-х и даже в 1950-х. Филлис, все еще не опаматовавшаяся после того, что подслушала или подглядела в лечебницах, погнала банду по тихой стоянке к северо-западному углу, где можно было залезть на участок, сосуществующий с провалившейся лагуной. На плоскости смертных этот пустырь был назначен руинами Нортгемптонского замка, единственно ради привлечения туристов, которые никогда здесь не появлялись, но все местные знали, что это надувательство. Разложили бревна, словно реплику каких-то давно

пропавших ступеней в замок, а на самом деле все, что всегда было в этом месте, – грязь да трава, примерно так же, как сейчас.

Дети залезли на откос, подгоняемые сзади Филлис. Билл был предпоследним, а забравшись, обернулся, чтобы протянуть Филлис руку. Тогда он заметил девушку, которая шла по Меловому переулку за противоположной стороной стоянки, и задумался, пытаясь понять, откуда он ее знает.

Судя по короткой юбчонке и каблукам, виниловому плащу казалось, что она на панели, но Билл сомневался, что в прошлый раз видел ее в этом контексте. В ходе непредсказуемой и непрочной цепочки ассоциаций он обнаружил, что она напомнила о фразе «Запретные миры» – комиксе, о котором упоминал маленький Уоррен, когда Билл и Реджи Котелок нашли его на центральных ступеньках в...

В многоквартирниках на Банной улице. Вот где Билл уже видел девушку. Пока они с Реджи показывали Майклу Уоррену Деструктор – огромный курящийся астральный вихрь, излучающийся на Банной улице на месте бывшего дымохода-мусоросжигателя из 1930-х. Медленно обращающийся радиус разрушения пересекал несколько комнат в корпусе, в том числе ту, где эта самая девушка с волосами в косичках забивала крэк и клеила картинки в альбом, не подозревая, что по ее внутренностям, ее духу скрежещет фантомная циркулярная пила.

Как раз когда Билл втащил Филлис к себе, женщина – смешанной расы, судя по виду, – обернулась к ним, прищурившись в тених парковки, словно неуверенная, видит их или нет. Он показал на нее Филлис.

– Гля, Филл, вон туда. Кажись, она нас видит.

Филлис, мотнув кроличьим шарфом, бросила взгляд через плечо на озадаченную проститутку, а потом поднялась на ноги и двинулась вглубь пустыря.

– Ну а че такого. Похожа на шлюшку, а они тут все на чем-то торчат, на крэке. Не удивлюсь, если она и че похуже видала. А вот ты

на нее зыркалки не выпучивай, пошляк озабоченный.

Даже воодушевленный съеденными Паковыми Шляпками, Билл не нашел в себе требуемой для спора с Филл энергии. Он бы мог возразить, что смотрел на девушку только потому, что узнал ее, но это же только напрасно сотрясать воздух. Ну, не совсем сотрясать, к воздуху он давно касательства не имел, но что-нибудь он бы точно сотрясал напрасно.

Когда они вдвоем перевалили за травянистый гребень, выходящий на лагуну-валы, над уродливой кучей Замковой станции сиял серым и белым впечатляющий закат. Великолепный и эфирный вопреки отсутствию красок, вид красиво отражался в грезах-озерах, окаймленных отвесными земляными стенами развернувшихся раскопок. Горбатые американские горки тропинки перед Биллом и Филлис вели к краю стоячих вод, на берегах и скалистых карнизах аномалии уже играли остальные четыре члена призрачной банды. Из-под пестрой от цветов дегтя и хрома поверхности торчали под крутыми углами огромные гранитные плиты библейских пропорций, сливающиеся с собственными перевернутыми зеркальными отражениями в обветренных 3D-пятнах Роршаха, а вокруг к серому сиянию небес высились неотесанные грязные сопки и углы карьерного ландшафта.

Масштаб астрального коллапса поражал – по крайней мере, если смотреть из призрачной стежки. Валы отсюда казались по меньше мере в четверть мили площадью, тогда как с точки зрения реальности смертных соответствующий клочок земли – или остатки замка, если угодно, – насчитывал едва ли пятнадцать метров. Незаметные рывины и лужи в физическом трехмерном мире здесь распаковывались в матовые озера с черной гладью, где в незримых пучинах копошились невидимые сновидческие пиявки и воображаемые тритоны.

Он знал, что это место иногда снится живым. Видел, как они блуждают по берегам в трусах или пижамах, замороженно оглядывая черные утесы, встревоженные загадочной смесью

неведомой первобытности и мучительной узнаваемости. Ему казалось, он помнил, как при жизни сам посещал эти места в ночных подсознательных скитаниях. Как и в том почти забытом сновидении, так и когда он спускался к воде с Филлис, всюду висела все та же проникновенная и слегка меланхоличная атмосфера. Грубые контуры области говорили о чем-то вечном и непреходящем, о чем-то, в сравнении с чем человеческая жизнь – ничто. «Мы были здесь вечно, – словно молвили великие немые больверки, – и мы не знаем вас, и скоро вас не будет». Многоцветное небо над темными зазубренными утесами казалось водянистым, с ностальгическим видом провожало убывающий закат.

Билл дурачился с остальными, игрался в салочки по краям лагуны, скакал с одной покосившейся скалы на другую, но сам все время прогонял в голове мелкие детали простиупающего плана. Если они сейчас в весне 2006 года, то несчастный случай со взрослым Майклом Уорреном на Дворе Мартина, предположительно, случился где-то год назад. Пожалуй, не помешало бы немного покопать до раннего периода, но Биллу не улыбалось пользоваться обычными каналами и советоваться с Филлис. Хотя она вроде бы и помирилась с ним после случая с доппельгангерами-воришками из будущего, Билл сомневался, что она доверяла ему до конца. Если предложить на рассмотрение план тогда, когда она еще сердится, велик шанс, что она наложит вето просто из вредности. Лучшим курсом действий, решил он, будет вовсе обойти Филлис, хотя это само по себе требовало планирования.

Присев на каменистом выступе, нависающем над притихшими скальными прудами, он заметил, что долговязый Джон и Филлис сидели на пяточке травы под козырьком у воды и беседовали с серьезным видом. Он подумал, что они наверняка обсуждают то, что расстроило их в композите психушек, хотя для его стратегии это не имело значения. После того как Билл украдкой посоветовался с Утопшей Марджори и Реджи, чтобы убедиться, что они не против небольшой вылазки при первой же возможности, он подошел и

шлепнулся по соседству с Джоном и Филлис, которых явно рассердило, что он влез в разговор.

– Слышь, Филл, ниче, если мы закопаемся в другие времена рядом? Редж тут кричит, что в его дни здесь блесть дома, но я че-то сомневаюсь. Мы возьмем с собой Марджори и Майкла, прогуляемся, разузнаем, че почем, и вернемся раньше, чем вы заметите, что нас нет. В смысле, если хотите, то тож милости просим, но мне че-то показалось, у вас тут свои разговоры.

Филлис уже набрала воздуха для отповеди о том, что если он думал, будто она доверит Майкла Уоррена такому охламону, то он из ума выжил, – по крайней мере, это прочитал в ее глазах Билл, – но потом осеклась и на миг впала в задумчивость. Биллу показалось, что до нее доходило, кто останется здесь, если он, Реджи Котелок, Утопшая Марджори и Майкл пробурятся на полчаса в прошлое. Ответ, очевидно, – она с высоким красавцем Джоном. Как только Филлис произвела необходимые расчеты, она как будто передумала.

– Ну лан... ток не копайтесь к чернорубашным и не воруйте наши Паковы Шляпки.

Билл встал в позу оскорбленного протеста.

– Ну ты че. Потому мы и позвали Майкла с Утопшей Марджори – чтоб они за нами приглядывали и пушто ты знаешь, что их с нами не блесть, когда мы встретились с собой в дурдомах... но, слышь, если не доверяешь, мы можем и остаться. Мне-то че.

Видимо, испугавшись за свою идиллическую интерлюдия с Джоном на берегу сумеречной лагуны, Филлис быстро попыталась сгладить, как ей показалось, обиду Билла.

– Не-не, вы идите, играйтесь. Ток не впутайте Майкла ни в какие неприятности.

Билл торжественно дал слово, а потом поскакал с камня на камень вдоль кромки воды, чтобы сказать остальным, что получил разрешение на экскурсию в прошлое пустыря. Из-за их удивленного выражения у Билла сложилось впечатление, что никого не

привлекала мысль о подобной прогулке, но, как только преданный Редж согласился отправиться с Биллом, уступили и остальные двое.

Корябая пальцами в воздухе, они прытко откинули потрескивающие черно-белые фибры времени, символизировавшие дни и ночи, чтобы проделать дыру размером с хулахуп где-то на двенадцать месяцев в глубину. Последовав за своими тремя компаньонами через отверстие в прошлый год, он даже рискнул задорно помахать Джону и Филлис, прежде чем заскочить в провал во времени и забросать его за собой.

На противоположной стороне портала он обнаружил, что Реджи, Мардж и Майкл стоят с угрюмым видом у залитого котлована, как две капли воды похожего на место, где они были десять секунд назад, разве что темнее. Редж потерял котелок, выбирая для него нужный угол на голове, а потом сплюнул эктоплазмой в лагуну – верный знак, что нескладный викторианский оборванец чем-то недоволен.

– Ну и что ж тут такого развеселого. Я думал, у ты был поинтереснее туз в рукаве, когда ты посулил нам поход.

Билл окинул испытующим взглядом Реджи и спросил, что он думает о корейце На Все Руки из бондианы. Реджи, который отлично разбирался в машинах, но только краем уха слышал про кино, непонимающе нахмурился:

– Ниче не пойму, о какой такой корейке с руками ты судачишь и че эт еще за баня дивана такая. Толком гри. Совсем крыша уехала, мелкий?

В ответ Билл только ухмыльнулся и ловко сорвал шляпу с кудрявых локонов Реджи, и метнул, как фрисби, в опускающийся мрак через выпирающую верхушку утеса на севере, где та и скрылась из виду, а через миг – и ее грациозный хвост остаточных изображений.

– Нет, у вот у ты – улетела.

Пока Реджи таранился с отпавшей челюстью из-за безапелляционного нахальства Билла, а Марджори и Майкл Уоррен

хихикали, Билл помчался в направлении пропавшего котелка, задержавшись у северной стены валов, чтобы крикнуть Реджи:

– А если найду первым, еще и надудолю в нее до краев!

Продолжая карабкаться по склону, Билл услышал улюлюканье остальных трех детей-привидений в погоне – Марджори с Майклом визжали от удовольствия, а Реджи просто визжал, чтобы Билл не смел мочиться в его шляпу. Билл, конечно, и не собирался, и если бы Редж задумался хоть на секунду, то вспомнил бы, что призраки не умеют писать. Ну, выдавить пару капель при большом желании можно – так же, как Реджи мог плевать, – но вообще призраки не страдали от переизбытка влаги, чтобы от нее нужно было избавляться. Сделанные в основном из энергии, привидения не отекают, не потеют и не страдают от недержаний. Они сухие, как бурый октябрьский листопад, не считая эктоплазмы, из-за которой они чуть сыроваты.

Достигнув вершины утеса, где кончалась развернувшаяся и разросшаяся зона астральных валов, Билл уселся на серой траве, бежавшей вдоль дороги Святого Андрея до начала улицы Алого Колодца, дожидаясь, пока его настигнут остальные. К этому времени стало уже по-настоящему темно, и, не считая редкой машины, мурчащей по главной дороге в направлении Сиксфилдс или Семилонга, местность казалась опустевшей. Фантомный котелок, заметил веснушчатый мальчишка, лежал вверх ногами в нескольких ярдах от раскинутых башмаков Билла – слишком далеко, чтобы надудолить.

Взглянув над длинным пустым газоном – заброшенной игровой площадкой, где раньше стояло не меньше двадцати домов, – Билл наконец опустил глаза на одинокое здание, подпиравшее нижний конец улицы Алого Колодца – одинокий дом из террасы, брошенный своим районом. Даже при жизни это местечко казалось Биллу странным, а тогда он и не знал о чердачной лестнице в Душу или нынешнем чутком к призракам обитателе – так называемом Верналле, от которого они спасались бегством раньше. Как ему

рассказывали, участок, занятый необычным последним домиком, раньше принадлежал, если Билл не ошибался, мужику из Восточной Европы, что в достойной уважения упертости наотрез отказался продавать собственность городской управе только для того, чтобы ее снесли. С той поры история дома становилась туманной, хотя Билл полагал, что первоначальный несговорчивый владелец уже давно должен был скончаться, а собственность – перейти в новые руки. Однажды он слышал, что управа поместила там «дом на полпути» – жилье для психбольных, которых турнули из больниц и поручили несуществующему попечению общества, – но и это было уже давненько, так что Билл сомневался, что ничего не изменилось. Этим более-менее ограничивались знания Билла касательно официальной родословной углового дома, а уж о сверхъестественной ситуации он знал и того меньше.

Насколько он смог разобраться, врата в реальность Наверху и нынешний жуткий жилец попали в одинокую постройку благодаря ее геометрическому расположению рядом со старой ратушей, стоящей наискосок на улице Алого Колодца и служившей основанием для штаба зодчих под названием Стройка, откуда правили Душой. Вот и все, что Биллу было известно об эфирных аспектах места, и, если честно, даже в этом он не разобрался.

А кроме того, на данный момент Билла меньше заботила история дома, будь то материальная или любая иная, сколько его вероятное воздействие на Майкла Уоррена. В конце концов, в этом самом месте одетый к ночи малыш и дал деру от зияющей полосы пустой земли, где некогда полагались дом, улица и семья Майкла. Услышав к этому времени трех преследователей, выбравшихся с утеса на пологий склон за его спиной, Билл тут же решил избегать страшного сиротливого дома на углу и проложить другой маршрут до Двора Мартина, куда он и собирался отправиться.

Реджи налетел сзади на Билла и перескочил через него, бросившись на упавший котелок и придирчиво изучив, прежде чем водрузить обратно на макушку. Сказал Биллу, что надеется, тот в

него все-таки не нассал, но сам уже смеялся вместе с Марджори и Майклом, которые как раз догнали двух подначивающих друг друга мальчишек. Тогда-то Билл и раскрыл истинную цель их экспедиции – по крайней мере, настолько, насколько мог.

– Слышите, вот че: я тут подумал, что знаю, как уладить кучу наших проблем, но если б я сказал Филлис, то она бы по-любому уперлась просто из гадства. По плану мы отправимся на Двор Мартина – для вас троих это все еще Поля Мартина – и попробуем один эксперимент, который я задумал. Знаю, звучит покашт на ахти, но если мы туда слетаем, а не сходим, то блестет малёх веселее.

Последние слова – о полете – были импровизацией, предназначенной, чтобы добраться до Двора Мартина, не подвергая Майкла Уоррена лишней встрече со старым домом у подножия улицы Алого Колодца, но перспектива воздушного маневра всем пришлась по душе, так что Билл был только рад, что она пришла на ум.

Квартет с трудом поднялся в воздух, пользуясь методом нарастающих прыжков и отскоков в духе космонавтов на Луне – в основном потому, что так проще всего поставить новичков вроде Майкла Уоррена на крыло. Когда неопит отскочит повыше, остается только сказать ему перебирать ногами или грести по-собачьи, чтобы он поддерживал, а то и набирал высоту, или брать при необходимости на буксир – как в случае Майкла Уоррена. Как только все поднялись в небо над железнодорожным полотном на дороге Святого Андрея, Билл схватил Майкла за руку, чтобы ясноглазый и восторженный мальчишка оставался на весу. Билл обратил внимание, взглядевшись в темноту призрачным ночным зрением, что Утопшая Марджори прикидывалась, будто не умеет ни плыть, ни даже грести по-собачьи, так что Реджи пришлось ей помочь, взявши за руку. Билл был уверен, что неумение Марджори – только уловка. Может быть, она еще не научилась плавать, когда Мертвецки Мертвая Банда выловила ее духовное тело из Нен столько лет назад, но в 1645 году она демонстрировала

компетентный брасс, когда гоняла голубей над Лошадиной Ярмаркой. Неужто Марджори втюрилась в Реджи, думал Билл, взбираясь в ночь Боро с Майклом под руку навстречу лимонной дольке Луны.

Их путь напрямик над железнодорожным полотном и припаркованными на ночь грузовиками к Спенсеровскому мосту и Двору Мартина за ним был утомительным даже для такого опытного летуна, как Билл. Возможно, из-за того, что его сопровождал выпучивший глаза и практически лишившийся дара речи Майкл Уоррен, Билл обнаружил, что вспоминает свой первый посмертный полет, глядя на восхищенное выражение на лице карапуза.

Под ними даже в крошечных внешних краях города пылала галактика огней, и все они из-за бесцветности призрачной стежки были белыми или беловатыми. Освещенные горстки света перемежались темными массами – фабриками, где давно отсвистели последние свистки, и неосвещенными полями, – а на бахrome этих черных и таинственных фигур налипли сотни блесков уличных фонарей, словно фосфоресцирующие моллюски. Дорога Святого Андрея, бегущая под ними с юга на север, стала кожаным ремнем с хромовыми клепками и тут же вызвала комментарий малыша, барахтавшегося в воздухе рядом с Биллом, хотя тому и пришлось перекрикивать шум ветра.

– Сюда меня брал в полет дьявол, но тогда все блесть цветное.

Билл ответил через несколько разделяющих их футов – расстояние, равное вытянутым рукам и сцепленным ладоням.

– Это пушто вы вдвоем спустились в Первый Боро прям с Чердаков Дыхания, по-особому, как умеют ток зодчие, дьяволы и им подобные. Даже я никада не видел здешнюю округу в цвете. Спорю, посмотреть блесть на что.

Примерно когда они миновали Спенсеровский мост, раздались громкие слова Утопшей Марджори, парившей рука об руку с Реджи Котелком по правому борту от Билла.

– Гляньте на чертов мост под нами. Под ним меня и нашли. Я вам одно скажу – я рада, что мы здесь, а не переходим его пешком. У меня от него до сих пор мурашки, при одной мысли об этой рыбной старухе, которая сидит во мраке и сырости.

С этим Билл спорить не стал. Он помнил ту леденящую кровь ночь, когда они спасли Марджори от Ненской Бабки, и из всех поразительных зрелищ, что Билл повидал при жизни и вне ее, вознесшееся из полуночной реки как будто бесконечное существо, загребавшее воздух длинными раскладными когтями с лепрозной перепонкой, воющее на звезды от досады и смертоносной ярости, было самым феерическим... по крайней мере пока не появился тот гигантский фыркающий и топчущий демон. Или не началась драка двух мастеров-зодчих. От этого тоже дух захватывало, если подумать. А, ну и две Саламандры, сеющие Великий пожар. Если не считать все это, Ненская Бабка была просто зашибенной.

С дымящимся следом остаточных изображений дети мягко опустились к перерабатывающему предприятию на Дворе Святого Мартина медленными выдохшимися сигнальными ракетами. Когда Билл отпустил руку Майкла Уоррена, малыш затянул потуже клетчатый пояс халата и огляделся вокруг, прежде чем поднять вопросительный взгляд.

– И что это за место? – спросил он.

Место, куда ты пойдешь работать, когда вырастешь. Вот к чему тебя готовят скучные часы в школе. Все надежды и мечты детства расплющат здесь молотами, переработают. Эти ответы, честные, но слишком жестокие и болезненные, чтобы их знал и понимал ребенок, остались на прикушенном до боли кончике языка Билла. Его вдруг захлестнул прилив сочувствия к бедному мальчишке, в блаженном неведении не замечающему вокруг мрачные жестокие перспективы, которые смотрят прямо на него. При жизни Билл подхалтуривал в таких же безрадостных душегубках, но ни разу больше полугода. Насколько он помнил по рассказам Альмы, Майкл проработает в этом сером тоскливом месте слишком много лет. Если

бы он поубивал своих хозяев, как они того явно заслуживают, он бы и то раньше вырвался из заточения, бедолага. Пытаясь скрыть неутешительные мысли за самой непроницаемой лукавой улыбкой, Билл опустил взгляд на Майкла, пытаясь сообразить ответ на вопрос малыша, с которым пацан сможет жить. Ну, не совсем жить, но это уже казуистика.

– Плохое место, малявка. Такие закоулки – мы зовем их «Пустой душой», и здесь еще никто не находил ниче хорошего. Не находил и не найдет. Такшт если станем шалить, то над постараться и не задеть тех, кто эт не заслуживает.

Последнее заявление было ложью на голубом глазу, даже в этом бесцветном мире. Тем, кого больше всего заденет предложенная Биллом «шалость», будет сам Майкл – его умоют кислотой, а потом вырубят железной балкой, и Майкл явно не заслуживал этих злоключений. С другой стороны, конечно, он пострадает во благо мира, по крайней мере теоретически, но Билла терзало смутное сомнение, что так говорят всем подопытным, которые курят по восемьдесят сигарет в день в лабораториях.

К этому времени приземлились и Марджори с Реджи, с застенчивым видом разжав руки, и пожелали знать, ради чего вся эта шальная вылазка в задницу мира. Он объяснил, как мог в присутствии Майкла.

– Слышьте, помните, как Пылкий Фил в церкви Доддриджа сказал, что нас поджидает испытание, но власти предержавшие уверены, что мы его разруем? Ну, говорил он об этом нашем Уилли-Уинки. Оказывается, нам нужно постараться, чтоб он помнил хоть что-то, что с ним случилось, када вернется к жизни, хоть эт вроде как и невозможно. А вот я, кажись, придумал, как это сделать, но в этой компании все расписать не могу. Недетская тема, если вы меня понимаете.

Тут Билл пристально посмотрел на Марджори и Реджи, которые почти неувовимо кивнули, чтобы обозначить, что догадались и готовы подыграть Биллу несмотря на то, что он ничего не мог

объяснить в присутствии Майкла. Малыш же тоже кивнул с мудрым видом, хотя, очевидно, не понимал, о чем говорит Билл. Не услышав возражений, Билл приступил к делу.

Сперва он планировал обшарить прилегающие дни и ночи, чтобы убедиться, что они нашли правильную дату и правильный момент, но уже передумал. Ведь Фил Доддридж сказал, что они могут брать Майкла, куда захотят, и быть покойными, что чему бывать, того не миновать. Покойными они были давно, а тема предопределения и свободной воли, как понимал Билл, – штука о двух концах. Раз он привел Майкла и остальных в мастерскую в эту конкретную ночь, то в деле промысел Божий, так что перепроверять будет даже неприлично. Билл начал замечать, что смирение с идеей Судьбы снимает груз ответственности с плеч. Просто делегируешь работу выше.

Решив таким образом, что они действительно в нужном месте и в нужное время, Билл повел четверку на обход ремонтной мастерской, знакомясь с ресурсами и подыскивая материал, подходящий для того, что он задумал.

Он действительно удручал, этот двор. Билл помнил некоторые истории своей мамы: в детстве она приходила на Поля Мартина, как тогда называлось это место, когда была на «майских гарлингах». Этим она занималась с подружками Первого мая. Ходили от двери к двери с корзиночкой, где в букете диких цветов сидела детская кукла, и за полпенни пели майскую песню, которую специально заучивали: «На Первомай меня встречай – у двери я стою. Здесь только лишь цветов, Но как раскрыться смог – Творцу хвалу пою». Оглядывая кучи мятых цилиндров, Билл подумал, что в деньки его матери двор – или поля – явно были милей и живописней.

А в самой лучшей басне об округе из жизни Билла он сам даже не фигурировал. Это же на Дворе Мартина, насколько он помнил, полиция расположила команду наружного наблюдения, когда они следили за участком в дальнем конце дороги Святого Андрея, принадлежащим Полу Бейкеру, известному преступнику, о котором

Билл слышал в те дни. Копы думали, что Бейкер прячет на своей земле поживу после какого-то ограбления банка, и их подозрения только окрепли, когда они заметили двух темных личностей, копавшихся в пятидесятилетних кучах пепла и компостированного мусора, вывалившихся с территории Бейкера.

На самом деле эти предполагаемые поделщики были старыми приятелями Билла – Романом Томпсоном и Тедом Триппом. Трипп сам был состоявшимся и разборчивым грабителем, который грабил только особняки, а Ром был бесстрашным профсоюзным лидером и всем известным шизиком. Они пришли на пятачок Пола Бейкера с его разрешения и закопались в сопки утрамбованной грязи и огарков, сваленные сюда три десятилетия назад, – отходы из Деструктора на Банной улице. Тед и Роман охотились на викторианские каменные бутылки – с маленьким камешком вместо пробки, – чтобы сплавить за пару грошей антикварщикам. Ром, у которого бесшабашная отвага всегда граничила с самоубийственными наклонностями, зарывался в кучу все глубже и глубже, искушенный замеченным обрывком слов «имбирное пиво» на круглом боку. В итоге наружу торчали только его щиколотки, когда весь холм и решил обрушиться на хребет Романа Томпсона.

Тед, крепкий мужичок, учитывая его рост, схватился за ноги Романа и с приливом адреналина выдернул из удушающей грязи и золы. В этот момент на участок Пола Бейкера ворвались и затормозили с визгом перед и так ошарашенной парочкой две или три машины, забитые копами, наблюдавшими за происходящим со Двора Мартина. Билл не знал, чего намеревалась достичь этим маневром полиция, но держал пари, что они не были готовы к ужасающему виду Романа Томпсона – с ног до головы в черной каше, со слипшимися в грязные шипы волосами и бородой и с безумными яростными глазами, сверкавшими из сажи и жижи. Биллу, пока он вспоминал о случае во Дворе Мартина, который обшаривал с Реджи, Марджори и Майклом, пришло в голову, что если бы не своевременные действия Теда Триппа, то Деструктор бы

прикончил Рома Томпсона даже после того, как его снесли добрых сорок лет назад. Будь Билл суеверным – из тех, кто легко верит в демонов, призраков и тысячеметровых речных чудовищ, – он бы даже решил, что этого коварный Деструктор и добивался.

Продолжая бродить по мастерской по переработке – Билл не знал, который час, но рабочий день явно закончился, – они наконец нашли дюжину баков, лежавших в стороне от остальных – возможно, для того, чтобы взяться за них первым делом поутру. На одном из побитых металлических цилиндров, стоявшем в ярде-другом от сотоварищей, болталась лента; и одним отлипшим концом грозное предупреждение об опасности волочилось в мучнистых и маслянистых лужах.

Судьба. Рок. Кисмет. Бинго.

Билл, ликуя, что хоть раз за его рискованное существование все пошло по плану, построил трех остальных детей-привидений как будто бы для игры в паровозик. Раз Реджи был самым высоким, Билл позволил ему стать локомотивом спереди импровизированной конги, а Майкл, Марджори и Билл сыграли роль угольного тендера и вагонов. Пока Редж Котелок изо всех сил старался свистеть и пыхтеть, они пустились по ограниченному кругу рядом с одиноким баком, покатавшись по миниатюрной петле воображаемых рельсов, словно притворялись игрушечным поездом, а не полномасштабным.

Скорость они набрали быстро даже в густой атмосфере призрачной стежки – Билл уже знал, что так бывает, если хватает участников. Пока они кружили быстрее и еще быстрее, их преследующие образы слились – если посмотреть снаружи – в серый вращающийся пончик: тор, как называли эту, оказывается, важную фигуру самые мозговитые обитатели Души в присутствии Билла. У дна бака в кружащихся течениях мини-вихря, который взбили дети, начали подниматься пыль и окурки. В ночь взлетел хоровод поблескивающих фантиков от конфет и потухших спичек, и Билл перекричал пародийные звуковые эффекты Реджи Котелка, чтобы викторианский беспризорник бежал быстрее. Отклеившийся

конец сигнальной ленты начал привставать из лужи воды, топлива и неопределенных вредных химикатов, в которой был вымочен, скорбно полоща на ветру и разбрасывая с хлопающих и трепещущих краев токсичные капли. Билл снова окликнул Реджа, чтобы сообщить, что он бежит как девчонка, и злость разожгла ускорение, на что и надеялся Билл. Скоро бак обернулся в плотное торнадо вращающихся палочек от леденцов и летающего песка, а лента торчала в темноту над контейнером и играла на циклоне, как воздушный змей на привязи.

В конце концов отклеился и второй конец, и тогда Билл крикнул Реджу остановиться, так что они налетели друг на друга и повалились бездыханной и хохочущей кучей-малой. Призрачные озорники сидели на Дворе Святого Мартина и наблюдали, как уносит прочь заляпанный вымпел, перемахнувший забор участка и скрывшийся в ночном блеске натриевых фонарей. Миссия выполнена – хоть только Билл и знал, в чем она состояла.

Больше времени они там не теряли. Подскочили и поплыли к ветреному небосклону, возвращаясь к развернувшейся раскопке, откуда пришли, загребая руками в лунном свете над Спенсеровским мостом и магнитом проституток – ночной стоянкой дальнобойщиков. Последняя втиснулась в угол, где мост встречался с Журавлиным Холмом и дорогой Святого Андрея, – придорожное кафе, которое до этого было общественным туалетом, а еще раньше – баней. Теперь это важная торговая точка: здесь кормили клиентов, которые привлекали девушек, которые приводили сутенеров, которые толкали наркотики, которые порождали оружие, которое убивало детей, которые жили в доме, который построил крэк. И хотя Билл успел повидать этот век, двадцать первый, – по крайней мере, куда больше, чем сам ожидал, – он заметил, что ему от посещения этого периода не по себе точно так же, как Реджи Котелку или, судя по ее выражению, Марджори.

Было что-то такое в улицах, фабриках и домах, раскинувшихся внизу, что наводило на мысли о жертвах и тяготах, амбициях и

рождениях, смертях и разочарованиях, которые повидали за годы эти кукольные домики, и к чему же это все привело? Билл не умел подавить меланхолическое ощущение, что все должно было быть лучше, чем вышло. Мир, который им всучили, не был миром, который им обещали, которого они ожидали, который они должны были получить по праву. Хотя когда Билл вспоминал о состоянии Души в начале нового тысячелетия, ущербе, нанесенном Деструктором и его ширящейся сферой влияния, то ничему не удивлялся. Современные улицы рая находились в бедственном состоянии в этом назначенном Богом центре самой ткани страны. Не мудрено, размышлял Билл, что нынешнее английское общество разваливается, распускается, пока прожог посреди скрупулезно подогнанных нитей распространяется, постепенно поедая весь материал.

Пока Билл думал о грустном в призрачных небесах над сортировочной станцией, в компании с Майклом Уорреном и плывущими позади под ручку Реджи и Утопшей Марджори, его посетила вторая и, если подумать, куда более катастрофическая идея. Возможно, его приободрил несколько неожиданный успех первой задумки, а может, еще не сошел живительный эффект Паковых Шляпок на сознание Билла, но он вдруг провел поразительную связь. Он думал о Деструкторе и паршивом виде на двадцать первый век с небес над Боро, когда на ум откуда ни возьмись пришли картины Альмы Уоррен, особенно самая большая и жуткая – вид на километровую мусорную дробилку или печь.

Это же Деструктор, осознал он внезапно. Так он выглядит из полуразрушенной Души в эту мрачную годину. Раз Альма получила все образы через Майкла, Билл понял, что в какой-то момент они обязаны сводить туда малыша, пусть это и гиблое место и время, которое избегали все, кроме мастеров-зодчих и про клятых душ. И уж, конечно, не то место, куда человек в здравом уме поведет пугливого ребенка – но им, очевидно, некуда деваться. Он за этим проследит. Он решил все рассказать Филлис о своей последней

добавке в маршрутный лист, прежде чем они отведут малыша обратно в 1959-й к его воскрешенному детскому тельцу. В такой экспедиции, чреватой ужасом и опасностями, без Филлис не обойтись, а кроме того, рассудил он, она тоже видела у Альмы всепоглощающий образ апокалипсиса. Она поймет, почему то, что предлагает Билл, так необходимо.

Четверка мягко опустилась на тот же опустевший клочок земли, с которого они стартовали, у вокзального конца дороги Андрея. Неторопливо – в конце концов, до встречи с Джоном и Филлис у них еще целый год, – они прогулялись по травянистому склону, ведущему к скромному пятаку, где располагались «остатки замка». По крайней мере, таким бы его увидел живой человек и таким все казалось, пока они не дошли до вершины и не обнаружили, что глядят с отвесных стен астральных валов в темную разрушенную лагуну, а не смотрят без интереса на пару халтурных табличек и дешевые подделки под ступени замка.

Словно чумазные горные козлы, они гуськом спустились по петляющей и узкой горной тропинке в недра фантазмического раскопа. Здесь тени словно лежали плотными шматами, навалившись друг на друга под жутко двусмысленными углами, тогда как в сырой черноте раздавались тихие и внезапные звуки. Он услышал плещущий звон звукового хрома, словно какое-то создание-сонздание – наверняка в радужной чешуе и без глаз – ненадолго всплыло, чтобы сожрать другое существо, которому не повезло подлететь слишком близко к полуночному мениску на кружевных мишурных крылышках. Ночь кишела плотоядными грезами.

Когда они спустились к прибрежному месту, где Билл сорвал с Реджи шляпу и послал навстречу приключениям, Билл начал ворошить ночной воздух, приступив к дыре во времени, которая вернет их на двенадцать месяцев вперед, в весну 2006 года. Снимая чередуемые черные и белые слои, словно луковую кожицу, символизирующие ночи и дни, он скоро проделал метровое

отверстие с мигреновым проблеском вдоль периметра. Недолго думая, он ввалился в мигающий проем и огласил окружающий сумрак бурным приветствием.

– Ну как? Эт мы. Мы вернулись.

Первое, что подсказало Биллу, что здесь творится что-то неладное, – нитка зловонных кроличьих шкурок, валявшихся без присмотра на торчащем гранитном выступе в нескольких футах от него. Его призрачное ночное зрение, расшивающее все затаившиеся предметы серебряными швами по краям, тут же метнулось к упавшему мясному венку, и фантомное сердце ухнуло в пятки. У Филлис в мезонинной реальности призрачной стежки насчитывалось столько врагов, что подобного рано или поздно было не миновать, мрачно заключил он.

Билл уже как раз собирал в кулак последние остатки хитрости, чтобы разобраться с новой отчаянной ситуацией, когда из заманчивой замшелой лощинки в скалах поблизости поднялись две фигуры: мужчина и женщина, которым было не меньше двадцати. Парень-армеец торопливо застегивал поблескивающие пуговицы на мундире и зло сверкал на Билла глубокими и темными глазами идола утренних сеансов. Женщина, приглаживавшая рядом юбку по колено в стиле 1950-х, была сногшибательной красавицей: светлая блондинка с блестящей помадой и сильными, резными чертами лица, которые как раз сейчас несли маску возмущения, беспокойства и испуга. В этой поразительно прелестной парочке было что-то настолько знакомое, что Билл даже задумался, не встретил ли каких-нибудь знаменитых кинозвезд, актеров из картины «Илинга» – повтора в воскресный день из детства. Понятно, серые тона призрачного полумира с налетом атмосферы «Короткой встречи» нисколько не снижали атмосферу послевоенного кинематографа, благодаря которой и сложилось его впечатление.

Тут-то Билл наконец и понял, что это за пара. Охваченный таким необъяснимым стыдом, какого не помнил за все земное бессовестное существование, он нырнул обратно во временной

проход в 2005-й, столкнувшись с Утопшей Марджори, Реджи и Майклом Уорреном, что уже готовились войти в дыру за ним. Пришлось соображать на лету.

– Простите, народ. Не хочу вас тормозить, но у мя в кармане заваялась Пакова Шляпка, которую я приберег на потом, а терь ее там нет. Видать, посеял, пока лез в эту чертову дырку. Не в службу, а в дружбу поможете поискать?

Все четверо добрых несколько минут ковырялись в земле, планомерно изучая окружающую местность усовершенствованным загробным ви́дением, пока Билл не издал драматичный вздох и не объявил с горестной разочарованной интонацией, что, должно быть, лишился дорогой Паковой Шляпки где-то в другом месте, так что можно бросать поиски и наконец последовать за ним в полосатое окно в следующий год.

В этот раз, когда Билл ступил на почти идентичное место на противоположной стороне дырки, он с облегчением обнаружил, что все вернулось на круги своя. Высокий Джон уселся вдали верхом на валун в форме кирпича, пожевывая призрачную былинку и рассеянно почесывая коленку под штаниной коротких шортов. Он даже не удосужился оглянуться, когда Билл и остальные трое пролезли во временной проем, чтобы воссоединиться с ним и Филлис. Сама же Филлис, когда вернулись четверо приключенцев, стояла недалеко от разрыва в ткани времени, одетая в обычные темно-серую юбку и светло-серый кардиган, тупоносые туфли с пряжками. Она чопорно расправила свою омерзительную кроличью душегрейку, раскидывая ее на плечах, смерила Билла бесстрастным взглядом и искала на его ухмыляющемся лице какие-то признаки того, что он увидел или знал, прежде чем заговорить.

– Ну и где вас носило? Долгохонько вы, чем бы там ни занимались. Уж наверняка какими-нить гадостями, маленький прохвост.

Филлис слабо улыбалась, и его собственная улыбка в ответ стала еще шире.

– А, ну. Мы и без вас обошлись. И, кстати, можешь больше не париться, как доставить парнишку в жизнь с воспоминаниями в придачу. Я обо всем позаботился.

Она удивилась и немного рассердилась.

– Что-что? Ах ты негодник. Че сразу не сказал?

Все еще ухмыляясь, Билл обхватил ее за талию и легонько сжал.

– Помню, дорогая мамочка не раз грила, что пусть у всех блеснут свои маленькие секреты. А еще она грила, что меньше знаешь – крепче спишь.

Тогда Филлис рассмеялась и в шутку ткнула ему кулаком в живот. На миг все стало почти как раньше, когда они оба были живы. Она и тогда не терялась при встрече с подвернувшимся джентльменом, даже когда дожила до семидесяти, посмеиваясь, думал Билл.

Увидев, что она в хорошем настроении, Билл воспользовался возможностью и рассказал, куда, по его мыслям, следует дальше сопроводить Майкла Уоррена, – но окольным путем вместо того, чтобы огорошить ее сразу и отпугнуть.

– Слышь, Филл, а помнишь здоровенную картину Альмы? Где как бы висишь над жутким измельчителем отходов, заглядываешь в него, а в громадную дымящуюся дыру сыпятся террасы и людишки?

Филлис кивнула, тряхнув кроликами.

– А че?

– Ну, я, кажись, допер, че эт такое. Эт ж Деструктор, Филл. Деструктор, если смотреть на него Наверху – Наверху как блесть сейчас, в первые годы нового века.

Предводительница Мертвецки Мертвой Банды побледнела. Впрочем, сказать, что она «смертельно побледнела», подумал он, будет плеоназмом в их замогильном состоянии.

– Ах ты ж черт. И впрямь. Я даж помню, как мы ее видели, как у мя от нее в голове поплыло и казалось, будто это конец света. Но с тех пор, как я здесь, я о ней и не думала, и не думала, как она похожа на Деструктор. Ты ж черт. И че, придется отвести его туда, чтоб он все увидел и описал сестре?

Билл хмуро кивнул. Хоть это и была его идея, Билла самого не тянуло в Душу в нынешнем ее состоянии. Побелев уже до оттенка, который, подумал Билл, можно назвать инфрабелым, Филлис боязливо продолжала.

– Но ты ж знаешь, как там фигово. Туда ток пожарные не боятся сунуться! Туда падали души и уже не возвращались. А если мы возьмем туда мелкого перед тем, как сдать взад в 1959-й, к его телу, и что-нить пойдет наперекосяк? А если с ним что станется, и мы все испортим? Если все Дознание Верналлов и Портимот ди Норан развалятся по нашей вине? Я те наперед скажу: случись че, объясняться перед Трешным Борой бушь ты, а не я.

Старая добрая Филл, не хуже Билла умеет избегать ответственности. А если подумать, то, скорее всего, от нее-то он и нахвотался.

– Ага, но ты ж сама слышала Доддриджа, что мы должны брать его, куда захотим, и блесть покойными, что там ему предназначено побывать. Кажется мне, этот наш выбор – ровно то, о чем он говорил. Мож, он и сказал так, чтоб мы набрались уверенности и приняли правильное решение. Филл, это мож блесть очень важно. Вдруг от этого зависит, преуспеем мы в своем деле или нет.

Это ее как будто убедило. Филлис построила солдат, пока в ее голосе и выражении лица боролись ужас и решимость. Она сказала, что им осталась последняя остановка, прежде чем вернуть сына полка и самое последнее прибавление банды в его время и оживленное тело. Она объяснила, что это означает очередную короткую прогулку до Мэйорхолд, до Башенной улицы, где они уже были в этом веке в последний раз перед тем, как прокопаться в 1959 год и подняться наверх посмотреть, как месятся мастера-зодчие. Больше она не прибавила – наверное, из страха напугать Майкла Уоррена, но по глазам Реджи, Джона и Марджори было видно, что они угадали серьезность ситуации по напряжению в звенящем голосе Филлис.

Она повела банду привидений с хвостами-дубликатами от обрушенной лагуны по той же северной стене валов, по которой Билл с соучастниками лазили в коротком набеге на 2005 год. Так они оказались на том же пологом склоне травы, бежавшем вдоль дороги Святого Андрея до улицы Алого Колодца и одинокого дома, проступавшего во мраке на углу. Билл уже хотел обратить внимание Филлис, что в этом месте Майкл Уоррен раньше сбежал от испуга – потому-то в конце концов Билл ранее и предпочел полет прогулке пешком, – когда Майкл сам подал голос и удивил компанию.

– Это там наша нулица, где на углу стоит один-брединственный некрысивый дом? Я бы хотел на него взгрястнуть, если божно. Обещаю, что больноше не буду глупегать, как в пропашлый раз.

Хотя по путанице в его словах было видно, как нервничает мальчишка, все же было видно и то, что он настроен серьезно. Похоже, после прошлого дезертирства он быстро повзрослел – возможно, дорос до своей вневременной и вечной души, как дорастает любой мертвец вне зависимости от возраста, в котором умер. Так или иначе, он был готов увидеть голую землю и молодые деревца, царствующие там, где прежде стоял его семейный дом, так что банда спустилась с ним по склону к углу Алого Колодца. Вспомнив, на какие ухищрения он пошел, чтобы ради Майкла избежать этого места, Билла охватило слабое раздражение, что все оказалось впустую. Впрочем, если бы четверка призрачных детей перешла Спенсеровский мост, то расстроилась бы Утопшая Марджори, да и вообще перелеты у них получились замечательные. Плюс вид с высоты птичьего полета подсказал, о чем была картина на всю стену про Армагеддон, так что, как ни крути, он оказался в выигрыше. Билл решил прекратить внутреннее нытье и просто делать дело.

Банда и преследующие их остаточные изображения замерли на полпути на заросшем газоне у угла улицы Алого Колодца и дома, стоявшего один-одинешенек. Все притихли, пока необычно торжественный Майкл Уоррен топал в тапочках между

тридцатилетними белыми березами, посаженными здесь вскоре после того, как снесли его родную улицу. Когда призрачный ребенок наконец узнал место, где, по его расчетам, стоял его дом, он просто сел на землю и всплакнул про себя, коротко и достойно, потом стер слезы эктоплазмы с глаз рукавом тартановой ночнушки и снова поднялся, воссоединившись с мертвыми друзьями, которые ждали в нескольких футах, на почтительном расстоянии.

– Больше я ничего не хотел, только узнать, как там без дома, но там мирно, как всегда. Теперь можно сходить на Мэйорхолд, если вы думаете, что нам туда нужно перед тем, как отведете меня домой.

Они уже были готовы так и сделать, когда по холму, цокая каблуками, спустилась девушка в мини-юбке и виниловом плаще, которую они уже замечали в Меловом переулке, и зашагала туда-сюда по мостовой между Алым Колодцем и Ручейным переулком, пока банда стояла на траве и смотрела на нее.

Реджи и Марджори захихикали, когда поняли, что метиска с жареными корнроу на голове – проститутка, а Майкл Уоррен хихикал за компанию, не зная, над чем смеется. Тут девушка встала как вкопанная и повернулась в их сторону, на миг озадаченно и неуверенно всмотревшись в сумрак, прежде чем продолжить мерить шагами улицу.

Филлис укоризненно зашипела на Реджа и Марджори из-за смеха.

– А ну кончайте, вы двое. Мы с моим мелким уже заметили ее в Меловом переулке – знать, она нас видит на своей наркоте или в отходняке.

Реджи, приглядевшись к молодой проститутке, которая дошла до улицы Алого Колодца и снова повернулась к ним лицом, зашагав назад и обхватив себя руками, чтобы унять дрожь, стянул шляпу, чтобы почесать кудластый затылок, и потом наклонился, чтобы обратиться к Филл театральным шепотом:

– Кажись, я ее тож видал, но не возьму в толк где.

Вклинился Билл, избавив менее сообразительного приятеля от страданий.

– Мы видели ее на Банной улице, или совсем твой котелок не варит? Она блесть в своей квартире, и мы видали сквозь стены, как Деструктор молотил ей потроха, пока она ковырялась в альбоме. Ты ж помнишь. Как раз когда мы вывели нашего шкета из многоквартирника после того, как нашли его на ступеньках, где он парил про «Запретные миры» и все такое.

Редж дружелюбно улыбнулся.

– Ах да, твоя правда. За запретные миры не скажу, но помню, как она сидела сиднем, пока ее тесало это большое дымное колесо, и в ус не дула.

Настала очередь Утопшей Марджори выдвигать возражения.

– А как же тогда я? Меня не блесть с вами, когда вы нашли его у Деструктора. Я блесть с Филлис и Джоном, и все же я ее тоже где-то видела. Мы не встречали ее за какой-то работой? Не той, на которой она сейчас, а в каком-нибудь магазине? Ох, не помню. Мож, путаю.

Пока призрачные дети говорили на траве, мимо в сторону вокзала или Спенсеровского моста и прилегающей стоянки пронеслось немало строгих и серьезных машин новой эры, узкоглазых и подозрительных. Билл отстраненно и, пожалуй, злорадно подумал, что, когда в Нортгемптоншир доставили на похороны принцессу Ди, ее надо было провезти через Спенсеровский район и Спенсеровский мост, чтобы она хотя бы раз побывала на убитых дорогах, которым дала имя ее семья. От этой мысли он перешел к вопросу, почему девочка занимается своим ремеслом здесь, когда меньше чем в двух сотнях ярдов стоит кафе «Суперсосиска» и парковка грузовиков с потенциальными клиентами – одинокими мужчинами вдали от дома в обнимку со своими суперсосисками. Он смотрел, как она дрожит и трясется, пока обходит жалкие пределы своих владений, – вероятнее всего, из-за отмены наркотика, а не от холода в такую славную весеннюю ночь, – и тут ему пришло в голову, что в отличие от местности рядом со Спенсеровским мостом здесь нет камер. Вот самая вероятная причина, почему она выбрала этот угол, хоть шанс на заработок тут куда ниже.

Словно поперек мыслей Билла, по дороге Святого Андрея заурчал темнотелый «Форд-Эскорт», следуя на север от вокзального конца к ним, замедлился и остановился у тротуара на другой стороне улицы Алого Колодца – возле самого погребенного старого колодца. Теперь уже откровенно трясущаяся и отчаявшаяся девушка миг смотрела в сторону автомобиля на холостом ходу, колеблясь и взвешивая ситуацию, а затем зацокала и защелкала каблуками вдоль пропавшей террасы, направляясь к жуткому и единственному зданию в дальнем конце тротуара – к улице Алого Колодца и ожидающей машине.

Машина – непримечательная модель, выпущенная всего несколько лет назад, – была окутана аурой неприятностей, которую призрачные дети улавливали за сотню ярдов. «Пустая душа», – сказала тихо Утопшая Марджори, и все поняли, что она права. С этого расстояния они не могли разглядеть, сколько человек в «эскорте», даже с улучшенным зрением. Тем не менее все нервно затаили дыхание, когда девушка наклонилась в талии к окну, чтобы обменяться парой слов с водителем, а потом обошла капот автомобиля кратким силуэтом в свете фар, прежде чем завалиться на пассажирское сиденье через дверь с другой стороны. Мотор взревел, и почти черная машина стронулась, круто взяв направо, словно намереваясь поехать по улице Алого Колодца, но потом еще раз повернув направо, чтобы исчезнуть в нижнем кривом конце Банной улицы, после чем шум мотора внезапно заглох.

Очевидно, это было не их дело, и шестерка призрачных пострелят двинулась по невидимым остаткам бывшей задней улочки, вдоль сеточного забора и кустарника, отделявших нижний стадион Ручейной школы. Сведенный всего до нескольких булыжников, рудиментарный джитти вывел их на улицу Алого Колодца прямо у одинокого здания, не потревожив ясновидящего обитателя. Свернув налево, все шестеро начали подниматься по ухабистому откосу к Мэйорхолд. Но не успели они сделать и пары шагов вверх вдоль школьных полей напротив многоквартирников, как услышали

слабые крики, приглушенные мертвой акустикой призрачной стежки, доносившиеся из черной зияющей пасти Банной улицы через дорогу.

Это было не их дело. Это было дело мира смертных, уже predetermined, и оно не имело к ним никакого отношения. Они же все равно не знали женщину по-настоящему, да и вообще были на ответственной миссии. А кроме того, если все правда серьезно, тогда крики бы не оборвались, как только начались, верно? Даже если все серьезно, что они-то могут поделать? Они всего лишь горстка детей – при этом мертвых, – которые не могут касаться и менять вещи материального мира, если только это не пакетик из-под чипсов или длинная предупреждающая лента. Даже если предположить только гипотетически, что девушка попала в страшную, смертельную беду, то что... они... Блин.

Филлис и Билл разом спонтанно бросились бежать к началу Банной улицы, тогда как остальные четверо последовали через долю секунды. Пуская туманные остаточные изображения, как дым из чайника, Мертвецки Мертвая Банда заструилась в изогнутый кривой проезд, только чтобы обнаружить, что он пуст, варится в темноте и тишине. После краткого недоумения все как один уставились на проем в искривленной линии Банной улицы – вход на противоположной стороне на уединенную огороженную площадку, где находились гаражи и парковка жителей Дома Рва и Дома Форты. Если Билл все помнил правильно, однажды запыленная полоса асфальта, опускающаяся к стоянке, сама была маленькой улицей с рядом домов под названием Банный проход. Призрачные дети с опаской полетели через нее в абсолютную ночь парковки.

Остановившийся «эскорт», отвернувшись рылом от призрачного ансамбля, замер посреди асфальтированного прямоугольника, на который выходил ряд серых гаражных ворот. Из затаившегося, неподвижного автомобиля вырывались приглушенные вскрики, а также удары и рычание, словно внутри из-за небрежности забыли

двух шумных немецких овчарок. Дети подошли к машине. Даже если бы у них еще были сердца, то они бы все равно не бились.

Они вгляделись во тьму заднего стекла. На сиденье машины лежала на спине женщина. Ее юбку либо сорвали, либо задрали и скомкали до невидимости. Навалившись между жалких исхудавших ножек, ее насиловал и одновременно бил по голове коренастый мужчина почти младенческого вида, лет сорока, с короткими кудрявыми волосами, черными, но уже седеющими у висков. Залившись краской, невидимой в призрачной стежке, его пухлые щеки слабо колебались с каждым толчком, с каждым ударом, попадавшим по лицу или плечам. Несмотря на свирепость, с которой он ее бил, и несмотря на рычащие приказы просто заткнуться и делать, как говорят, на лице человека не отражалось неуправляемого гнева или вообще каких-либо эмоций. Его выражение было пустым и мертвым, почти скучающим, словно весь омерзительный кошмар разыгрывался по телевизору; был порнороликом, таким засмотренным, что уже не вызывал никакого энтузиазма. На глазах охваченных страхом детей мужчина врезал кулаком с кольцом на пальце в женский лоб прямо над глазом. Даже в черно-белом мире брызнувшая из раны кровь ужаснула. Она побежала по ее лицу, рассеченным губам, что открывались и закрывались впустую, боясь издать хоть один звук.

В машине было трое. Был второй мужчина, в широкополой шляпе, сидевший на правом переднем сиденье за рулем, отвернувшись от всех и совершенно незаинтересованный в происходящем позади.

Возможно вспомнив о совместном полете рука об руку до Двора Мартина, Майкл Уоррен вцепился в поисках утешения в ладонь Билла. Билл же врос в землю из-за представшего дикого зрелища и до этого момента думать забыл о присутствии Майкла, но тут же выругал себя за то, что позволил ребенку увидеть такую мерзость. Он отступил на шаг-другой, не отпуская руки Майкла, и они оказались в нескольких футах правее от машины, дальше на мягком асфальтовом уклоне гаражной площадки. Ненамеренно они встали

так, что отчетливо видели фигуру в шляпе за рулем в профиль... по крайней мере, видели в профиль, пока человек не повернулся и не улыбнулся Биллу и Майклу.

Почти все предметы в поле зрения Билла были одного из оттенков серого, но он осознал, что глаза мужчины все же оказались цветными. Один – зеленый. Второй же – красный. Так вот что имел в виду будущий он, когда говорил о дьяволе за рулем.

Тридцатисекундный дух, который в последнем случае, когда его видел Билл, вымахал в сотню футов ростом, отрастил три головы и сидел верхом на драконе, теперь небрежно высунулся из окна «эскорта», чтобы обратиться к мальчикам. Он не опускал окно и не разбил его. Просто высунулся сквозь. Теперь за Биллом и Майклом собралась остальная банда, чтобы посмотреть, что происходит, но, когда бес заговорил, стало ясно, что обращался он только к юному Майклу Уоррену.

– Ах, мой маленький дружок. А ведь я знал, что ты не забыл о нашем уговоре. Я в тебя верил, понимаешь? Знал, что ты вспомнишь, как я обстригал для тебя работенку в этом чудном новом веке в качестве оплаты за ту славную поездочку. А конкретно, если ты упустил из виду, я хотел, чтобы кое-кто умер, его грудину размолотило в мел, а сердце и легкие смяло в однородную кашу. Что скажешь, сделаешь мне такое одолжение или, блесть может, тобой владеет страстное желание снова взглянуть, что бывает, когда ты меня злишь? Хм? Как думаешь? Чтобы на тебя заорали все три головы размером с небоскребы, пока твоей смертоведки, твоей гадкой карги, воняющей последом, нет рядом? Этого ты хочешь?

Глаза-светофоры сверкнули. С уголков рта беса, пока он говорил, мерзко стекало синее пламя. В хвосте машины толстяк в белой рубашке и серой штормовке перевернул окровавленную девчушку на карачки, хотя ни он, ни его жертва даже не подозревали, что на переднем сиденье восседал персонаж из Библии и наблюдал за ними с уважением и немалой забавой в разноцветном взгляде.

Позже реакция Мертвецки Мертвой Банды покажется им похожей на посмертный сиквел «Балбесов» или серию «Скуби-Ду»: все завопили в идеальный унисон, а потом бросились бежать, пока Билл все еще держал Майкла Уоррена за руку и кричал с ним на пару, волоча малыша из гаражей на нижнее окончание Банной улицы. Вся компания уже умчалась очертя голову на середину улицы Алого Колодца, когда наконец прекратили завывания и остановились перевести дыхание – по крайней мере, фигурально выражаясь. Все обомлели, никто не знал, что делать. Филлис так растревожилась и расстроилась, как Билл еще никогда не видел, – даже в тот раз, когда она пришла навестить в камере Билла, севшего за поножовщину, она не была в таком состоянии.

– И че нам делать? Нельзя ж просто бросить бедняжку и все забыть. Ну Билл, ну придумай что-нить?

В голове у Билла, еще не одолевшего трясучку после встречи с демоном, было совершенно пусто, ни одной мыслишки, словно он истратил всю хитрость в случае на Дворе Мартина.

– Да не знаю я! Можно пойти поискать самых здоровых и злобных неприкаянных в округе, вдруг они че смогут, – вот ток они нас все хотят убить за то, что ты их бесишь!

Филлис затихла и на миг уставилась в пустоту, прежде чем ответить.

– А как нащет Фредди Аллена? Мы ему плохого не делали, ток донимали малец, но он добрый в душе. Он поможет, если попросим.

Билл затряс головой в раздраженном протесте, ненадолго отрастив новые кочаны на плечах, словно гидра.

– А че он может? Он ничем не лучше нас. Да и где его найдешь – даже если он простил нас за то, что мы стырили его шляпу, когда блесь в двадцать пятых?

Филлис недолго подумала:

– А как нащет «Веселых курильщиков»? На вечер там собираются все неприкаянные, и если Фредди не сыщется, то кто-нить да знает, где он блесь.

Билл вытаращился на нее в изумлении, пока остальных детей охватило нервное молчание.

– Ты из ума, на хрен, выжила? «Веселые курильщики» – это ж там, куда ходят крысятник Мик Мэлоун и остальные! Томми Удуши Кошку и еще хрен знает кто! Если мы туда хоть нос сунем, нам бошки поотрывают и на пивные насосы насадят!

Филлис только молча смотрела на него, пока на ее остренькое личико напоздало странное задумчивое выражение.

– Ага. Ага, я-то все понимаю, че ты гришь. Если я туда пойду, так со мной и сделают, как пить дать. Но что, если пойдешь ток ты и спросишь Фредди Аллена? В конце концов, ты ж мне сам напомнил, что сказал мистер Доддридж: можно ходить, куда захочется, и блесть покойными, что туда нам и предназначено пойти.

Оглядываясь назад, теперь Билл понимал, что в этот-то момент его смелые идеи и обернулись против него самого. Напрасно он слабо пытался защищаться логикой, чтобы извлечь себя из медвежьей ямы ответственности, которую сам себе выкопал.

– Нет. Нет, Доддридж грил ток про Майкла, что его можно таскать куда вздумается, и это блестет ему урок. Если мы куда-то ведем Майкла – знач, это запланировано начальством и нам все пофиг. А если пойду ток я один, то там-то меня и порешат, ничем не потревожив Божий промысел. Ни за что. Шагу туда не сделаю.

Филлис склонила голову. Казалось, будто она готовится принять серьезное решение:

– Лады. Бери его с собой.

Биллу показалось, что он ослышался. Если честно, такого он не ожидал.

– Че? Кого брать?

Филлис смотрела без всякого выражения.

– Бери с собой Майкла. Если ты возьмешь его, то эт блестет ему урок, как ты и сказал, и вам обоим ниче не делается. Если хошь, чтоб я взяла его Наверх, в нынешнем состоянии тамошнего мира, ток

потому, что те че-то там кажется, то блесть добр подкреплять слова делами.

Билл барахтался, наверное, уже догадываясь, что его аргумент обречен, еще до того, как попытался его выдвинуть.

– Н-ну а че тада всем не пойти, в таком случае? Или че не пойти те с Майклом?

Филлис ответила почти жалостливой улыбкой.

– Ну, если мы пойдём все вместе, то будто напрашиваемся. А если пойду одна я, и того хуже. Как ни посмари, ты для этого дела самый подходящий, ведь у ты опыта с кабаками и шалманами побольше, чем у нас всех вместе взятых.

Что ж, с этим спорить было невозможно. Шах и мат, просто и ясно. Банда поспешила на холм как можно скорее, пока Билл так и не выпускал слегка липкую руку Майкла. Они обежали основания многоквартирников с ироничным названием НЬЮЛАЙФ, смотрящим на Башенную улицу – короткую террасу, которая вела к высокой стене современной Мэйорхолд и когда-то была верхней частью улицы Алого Колодца.

Они дошли до конца улицы мимо дома, где ранее видели пьянчугу – того, со странным смехом, который тоже вроде бы их видел. С тлеющими позади серыми фотоснимками они прошли через гниловатый натриевый свет, проливавшийся с приподнятой дорожной развязки, в которую превратилась Мэйорхолд, к подземным переходам и дорожкам под ней. Свернули с Башенной улицы налево, и там, почти на углу, скрывалась входная дверь «Веселых курильщиков».

Она казалась тонким листом дымки размером с дверь, что просто висела в подчеркнутой фонарями мгле у зала Армии спасения, напротив уродливых мозаичных бастаионов Мэйорхолд. Совершенно двумерная в своем проявлении, она была слишком плоской, чтобы увидеть ее сбоку, да и если ты живой, то не более заметной спереди. С призрачным же зрением дверь можно было увидеть, только если встать прямо перед ней, хотя кому вообще захочется смотреть на

такую удручающе уродливую штуку, Билл не мог и представить. Даже по убогоньким стандартам полуреальности вход в паб казался унылым и негостеприимным. Призрачная краска слезла, отходя от проеденной жучком фантомной древесины маленькими завитками, напоминая дохлых гусениц. На верхней части было выцарапано, словно перочинным ножиком в детской и нетвердой руке, наименование «Виселые Курильшики», и когда Мертвецки Мертвая Банда прислушалась в звуковой вате мезонинного мира, разобрала пьяные выкрики и залпы скверного хохота, долетающие как будто из пустого, тронутого натриевым светом ночного воздуха над утопленной дорожкой.

Если честно, Билл зассал. Самым последним местом во вселенной, которое ему хотелось посетить, был как раз овеванный дурной славой призрачный паб Боро – привидение давно снесенного паба, где собирались все местные ужасы старой закалки. Хотя Билл всегда был в душе анархистом и в целом одобрял беззаконие загробной жизни, он давно смирился с тем, что неуправляемые утопии в итоге разрождаются абсолютными сраными кошмарами вроде «Веселых Курильщиков». Хорошим примером была Христиания в Дании – просторное и почтенное свободное государство хиппи, где он был проездом во время земных путешествий: начиналось все с чудесных и визионерских домов, куполов из пустых пивных банок, выходивших на звезды, а дошло однажды, как он слышал, до игр в футбол человеческими головами. Нет, хотя бы раз для разнообразия никто бы не погрешил против истины, если бы сказал, что Билла не грела перспектива нагреть в паб.

И как раз в этот миг из проема подземного туннеля, уходившего в стену Мэйорхолд слева от них, вывалилось самое желанное зрелище, что видел Билл. Массивная фигура – а это был мужчина, – судя по дюжим мячеобразным образам, выкатившимся за ней из перехода на освещенную фонарями тропинку, явно принадлежала покойнику.

Хотя огромное привидение было такое же монохромное, как его окружение, все-таки иначе, чем колоритным, назвать его было нельзя. Мягкий и несколько парижский берет спал, словно кошка на минималистском рисунке, на спадавшем до плеч маллете, или «прическе богов», как однажды назвал ее объемный призрак еще при жизни в разговоре с Биллом. Волосы в нынешних обстоятельствах были дымно-серые, как и почти мефистофелевская борода и усы с подкрученными вощеными кончиками. Внушающие благоговение телеса круглого, как луна, духа были облачены в одежду, которую невозможно купить в магазине. На склонах впечатляющего живота нашивные медвежата раскинули скатерть для пикника под белыми пушистыми облачками и веселым солнцем, аккуратно простроченными на благородной груди комбинезона. Поверх был надет просторный летний пиджак с жирными вертикальными полосами, придававшими носителю вид пляжного шезлонга или по крайней мере чего-то ассоциирующегося с летом и морем. В одной руке спасительное видение несло прочную трость, а в другой – кожаный футляр, напоминающий гигантскую черную слезу, необычная форма которого предполагала, что внутри лежит грушевидная мандолина.

Том Холл. Надвигающееся на них великолепное явление было Томом Холлом (с 1944-го по 2003 год): нортгемптонским менестрелем, бардом и человеком-велопарадом – памятным зрелищем всякий раз, когда ступал за свой порог. Приверженец Диониса и неустанный основатель множества замечательных групп с середины 60-х и далее, вроде Dubious Blues Band, Flying Garrick, Ratliffe Stout Band, Phippsville Comets и еще десятка, концерты которых в задней комнате «Черного льва» нередко видел Билл. Речь о «Черном льве» на улице Святого Эгидия, а не старом пабе с тем же названием у Замковой станции. «Черный лев» на улице Эгидия, слывающий благодаря таким охотникам на привидений, как Элиот О’Доннел, местом с самым большим количеством привидений в Англии, был прибежищем городской кайфующей богемы и пьяных

артистов с 1920-х до самого своего бесславного конца в 1990-х, когда его катастрофически обновили и превратили в таверну для потенциального пешеходного потока юристов – даже переименовали в «Парик и ручку». Но все эти десятилетия «Черный лев» был фиксированной точкой, на орбите которой вращалось почти все безумие города, и из легендарных титанов, заседавших в какофонии переднего бара, Том Холл, вне всяких сомнений, был величайшим.

Досточтимый мертвец в сандалиях и аккуратно подобранных разных носках дефилировал вразвалку по дорожке походкой, которая вызывала в памяти Билла швартующийся буксир, и тут замер на месте при виде Мертвецки Мертвой Банды, из-за чего шлейф двойников тут же навалился ему на спину и растаял. Спокойный взгляд, не умеющий удивляться и неколебимо уверенный, упал на горстку призрачных детей, сгрудившихся у входа в «Веселых курильщиков», висящего перед ними в воздухе. Бравые брови сползли в морщинах, и на миг добрый сердцем, но крутой нравом музыкант казался строгим и страшным, словно Зевс или еще кто из этой братии. А потом Том Холл расхохотался, словно разудалый рыцарь.

– Ха-хар-р. Эт-то еще что? Неужто наконец нашли, где похоронены детки «Бисто»? [\[83\]](#)

Билл смело выступил вперед, потащив за собой Майкла Уоррена. Он знал, что Том не узнает его в нынешнем виде или под нынешним именем. Уильямом или Биллом – хоть это имя ему и дали при крещении – при жизни его называла только семья. Он решил представиться Тому прозвищем, которым его нарек в молодости забывчивый физрук в ходе особенно бурного футбольного матча: «Давай! Пасуй этому... Берту».

Майкл и Билл стояли перед Томом на месте потенциального полного затмения – если бы тучный поэт, автор песен и мультиинструменталист не лишился тени. Билл ухмыльнулся.

– Здоров, Том. Как дела-делишки, старик? Это я, Берт с Линдси-авеню.

Брови возделись в вопросительном выражении со слегка насмешливым намеком, который Билл припоминал по их земным разговорам.

– Мой дорогой мальчик! Неужели Берт Нож?

Очаровательная кличка, заслуженная после прискорбного подросткового инцидента ночью в задней комнате «Черного льва» – Билл вполне уверен, что это считается за смягчающие обстоятельства, – была одновременно ласковым и колким обращением Тома к юному и почти безбородому Биллу. Подтвердив, что он действительно Берт Нож, Билл объяснил усопшему исполнителю, как эта его часть – которая любила быть восьмилетним и играть на улицах, – вовлеклась в довольно серьезное приключение с приятелями из Мертвецки Мертвой Банды. Исполненное видение закинуло голову, умудрившись не уронить берет, и позволило смеху, как землетрясению, прокатиться рябью по эктоплазменной туше, отчего заволновались пришитые медвежата на брюхе.

– Ха-ХАААР! Хар-ХА-хар! Мертвецки Мертвая Банда. Мне нравится.

Хронический виршеплет на месте зачитал экспромт:

– Мертвецки Мертвые, Мертвецки Мертвые, такие негодяи, что их убили дважды! Мертвецки Мертвые, Мертвецки Мертвые, за детские грешки здесь стоит вздернуть каждого! Ха-ХАААР! Как вам? Возьмете себе в гимны, а? Что скажете? ХА-ХААРР!

Филлис насупилась, глядя на лирического левиафана с искренней угрозой и многозначительно поигрывая лентойдохлых кроликов.

– Блесть у нас уже гимн.

Билл оттер Филлис, чтобы не отпугнуть очередного во всем удобного духа, вернув разговор от музыкальных достоинств гимнов к более насущным вопросам.

– Том, тут такое дело: мне надо зайти сюда, в «Веселых курильщиков». Я кой-кого ищу, и он может блесть прямо там, но, если чесн, желанием заходить я не горю – при своем-то размере и куче шизиков, которая там сидит. Не мог бы ты нас препроводить, приятель? Меня с этим шкетом?

Добродушный колосс радостно просиял:

– Хочешь в «Курильщиков»? Ну так бы и сказал. Я сам туда иду. У меня концерт с моей новой группой, «Дырки в черных футболках». Мы блесть много лет «Загробные сенсации Тома Холла», но потом мне надоело и я все поменял. Ну конечно, я тебя туда возьму, маленький Берт Нож. Ха-ХАППП! Не брошу же тебя сидеть на пороге с бутылкой «Короны» и пачкой чипсов, пока сам, как плохой отец, пойду пить, правильно? Хар-хар-хар. Пошли.

На этом Том прижал ладонь к висящей 2D-ткани двери и толкнул. Портал раскрылся внутрь и от них, приобретая при этом третье измерение. Он вел в унылый узкий коридор с депрессивно-темными обоями – казалось, что пространство вырезано прямо в воздухе, а когда Билл из интереса заглянул за дверной косяк, оказалось, что оно совершенно невидимо сбоку. Том уже вошел и топал по мрачному коридору, которого не было, если смотреть со стороны. С последним тревожным взглядом на Филлис и все еще волоча Майкла Уоррена за руку, Билл переступил порог и плотно закрыл за собой дверь. Вместе с обалделым маленьким подопечным он последовал за всеми любимым шоуменом в пресловутый призрачный паб, прислушиваясь к растущей громкости пандемониума, пока приближался к гниющей лестнице в дальнем конце прохода.

Не сбиваясь с вальяжного неторопливого шага, Том оглянулся через плечо полосатого, как мятная конфета, пиджака, рассматривая пару фантомных детей, послушно семенящих следом, пока их шлейфы из остаточных изображений целиком проглатывались его собственными, куда больше размером.

– Ну а кто таков этот маленький херувимчик? Нас не представили. Его я тоже должен помнить? Боже, да это не Джон Уэстон ли, а? Ха-ХАРР!

Билл, уже сам посмеиваясь при мысли, что из Майкла Уоррена может вырасти их общий знакомый и химическая и человеческая ходячая катастрофа, которую назвал трубадур, отрицательно покачал головой, ненадолго отрастив пару новых.

– Нет. Нет, это Майкл Уоррен, и ему столько лет, сколько кажется. Технически сейчас он мертвый, но, как бы, в 1959-м он в коме или что-то в этом роде, минут на десять, такшт еще смоемся от нас в мир Внизу и обратно к жизни. Он младший брат Альмы Уоррен. Ты же помнишь Альму.

Том встал, как задумчивый истукан, у основания ветхой лестницы.

– Как же не помнить Альму. Я пережил кремацию, а не маразм. Она читала на моих похоронах стихи, про то, как я своим... мужественным... станом... проломил три ее дивана, королева непочтительная. А это, выходит, альмин братец Майкл. Майкл. Знаешь, кажется, мы с тобой встречались: я приходил сыграть на празднике, который вы устраивали в честь дня рождения твоей тетушки, когда она умерла за день до того и не смогла прийти. Конечно, тогда ты блесть куда старше. Похоже, тебя время пожалело. Ха-ХААААР! Приятно познакомиться, Альмин братец.

Подоткнув впечатляющую трость под мышку, Том нагнулся и обходительно пожал руку Майклу – крошечная ладошка ребенка исчезла в лапище музыканта по предплечье.

– Знаешь, для компании, с которой я играю, «Дырки в черных футболках» – Джек Лэнсбери, Тони Марриот, Герцог и остальные, – название я взял из сна о твоей сестре. Во сне она выложила трех моих детей на железнодорожных путях и говорит, что если их переедет поезд, то они станут невидимыми. А задумала она, что, когда они станут невидимыми, мы оденем их в старые футболки и устроим шоу под названием «Дырки в черных футболках». Ха-ХААР! Старая добрая Альма. Даже во снах даст всем сто очков вперед!

После этого громкого восхваления они приступили к подъему по скрипящей призрачной лестнице в главный бар «Веселых курильщиков». Где теперь и находились, уютясь в укрытии ражего исполнителя, нервно выглядывая между его ног, убранных медвежатами, на неменяемый ужас происходящего.

Ужас не «Техасской резни бензопилой» – не хватало ни цвета, ни крови. А ужас «Доктора Калигари», снятый на огнеопасную и просроченную пленку, – жуткие черно-белые эпизоды, тающие на глазах от жара проектора, покрываясь сыпью сверхновых. Корчащиеся иероглифические филигранные наклейки на расцарапанных древних столах, вырезаны на каждой голой поверхности стены столетними палимпсестами желчи и горечи. На каждую четкую деталь воскрешенной питейной проливался гнилым серебром свет – капал с насосных ручек, сделанных из лошадиных черепов, бликовал на треснутом призрачном зеркале, висящем за дозаторами, где не отражалось ничего, кроме пустой обугленной комнаты. Но на самом деле бар «Веселых курильщиков» не был обугленным – как не был он и пустым.

На каждом недолакированном стуле, в каждом углу с протертой заляпанной обшивкой сидели вырожденцы-возвращенцы района, который катился под горку несколько веков. Бар дышал в лицо воинственной эктоплазмой и потел кладбищенскими шутками, от которых побежали бы мурашки по коже, если бы у кого-то здесь была кожа. На пестром ковре, при ближайшем рассмотрении оказавшемся разными штаммами плесени на голых досках; под глазурированным никотином давящим потолком, увешанным ржавыми кружками, позеленевшими медными сбруями, а в одном углу – болтающейся мумифицированной кошкой; в атмосфере, как будто задымленной из-за перехлестывающихся остаточных образов, – буянили и гуляли уродливые духи Боро.

В одном углу сидел Джордж Блэквуд, гангстер и сводник, мельтешащий множеством рук при сдаче карт, – настоящий призрак, а не живой человек, каким его ранее видели Билл и банда в 1950-х.

Блэквуд сидел за кособоким столом напротив от ужасающего крысятника, Мика Мэлоуна, в карманах пиджаков которого клочкотали многоголовые хорьки, приносясь к барной вони, пока его черно-белые терьеры рычали и щелкали зубами у полированных рабочих сапог. Будучи соучастником операции, когда Филлис сунула в котелок Мэлоуну призрачную крысу, Билл нырнул за пышную преграду Тома Холла, пока крысолов его не заметил.

Вокруг стойки столпились и другие покойники, которых Билл узнал, – по крайней мере, тех, у кого остались нормальные лица. Старик Джем Перрит держал в руке стакан с двойной порцией домашнего пунша из Паковых Шляпок таверны, выгнанного из ферментированных фейри-плодов. Он раскатисто гоготал над каким-то черным анекдотом с соседом по бару. Это был Томми Удуши Кошку, местное привидение и жертва свирепого зелья – как обычно называл его сам Билл, сидра из безумных яблочек. Неоднократное и продолжительное влияние сильнодействующего самогона сказалось на разуме Томми – том единственном, что скрепляло воедино его невещественную форму и сохраняло различные компоненты в правильном порядке. На глазах Билла испитые глазки распадающегося призрака отправились в медленное ползучее путешествие по небритой щеке к практически беззубому рту, который невообразимо гримасничал и корчился ровно посреди лба мертвяка, плюясь фантомной слюной от смеха. Центр внимания на месте, где обычно полагается быть носу, занимали ужасные спазмы перевернутого уха, напоминавшего цветную капусту. Предположительно, второе ухо и настоящий нос Томми отлучились на перерыв куда-то на затылок гротескно перемешанной головы, но скоро будут.

Хотя лик Удуши Кошку был почти невыносимым, он являл собой не самый жуткий номер в сцене, разыгравшейся перед баром. Вместе со стариком Джемом Перритом под его смех стервятника, с лесбиянкой-забиякой Мэри-Джейн и разношерстными монахами – клюнийцами и августинцами – Томми весело проводил вечер за

просмотром буквально низменного спектакля: внизу, в досках у их шаркающих ног, копошилась, похоже, живая и разумная рельефная скульптура человека, сделанная из ожившего подвижного дерева. Судя по тому, что Билл смог разобрать в древесных завитках и головках опалубочных гвоздей, образовавших кричащее и кривящееся лицо застрявшей фигуры, это был молодой паренек, не старше девятнадцати. Он размахивал хилыми деревянными руками в воздухе, хватался и царапался сосновыми пальцами с изящной резьбой обкусанных ногтей в поисках опоры. Кукольные ножки трепыхались, согнутое колено, словно сделанное из гибкой древесины, ненадолго отрывалось от поверхности, выпрямлялось и снова тонуло в грязных истлевших досках. Джем Перрит озверело давил каблуком нос пойманного существа, выталкивая резную морду обратно под арабески плесени, хрипло регоча и изгаляясь над одушевленной статуэткой, пока топтал ее голову, чтобы она утонула в невытом полу.

– Пшел вон, дурак никчемный. Проваливай туда, где те и место. Нам тут такие не нужны!

Но эти слова, похоже, не относились к другому существу из необычно податливого пиломатериала, которое вышло из-под пола целиком и хныкало у бара. Вторая человеческая марионетка показалась Биллу старше, чем ее пойманный в полу и барахтающийся напарник-подросток, – где-то тридцати лет. Жутко ожирелая, с ясно выписанными на бритом черепе спиралями и узелками древесины, грузная кукла стенала и рыдала, пока по трясущимся деревянным брылям сбегали гладко вытесанные слезы из жидкой бальзы. Это можно было понять, ведь косматая любительница женщин и драк Мэри-Джейн схватила его за обструганную руку и вырезала прозрачной отверткой на занозистой и сочащейся смолой плоти собственные инициалы. Зачем бы обреченный чурбан сюда ни явился, подумал Билл, ему надо было понимать, что в такой переполненной граффити забегаловке он покажется только чистым полотном.

Вокруг в крикливом адском вертепе шлепали друг друга по спинам или харкали друг другу в напитки бронхиальной эктоплазмой остальные статисты из кошмаров. На расчищенном пятачке у западной стены Билл узнал собрание местных усопших музыкантов в повседневной одежде, которые расставляли скрипящие фантомные усилки. Был там Тони Марриот – барабанщик с телосложением крестьянина и прической крестьянского чучела: сзади серая солома щекотала его плечи, но резко обрывалась на челке над вялой и слегка хмельной физиией, словно бы всегда готовой к разочарованию. Рядом с Марриотом настраивал бас и молча ухмылялся при виде окружающего потустороннего кавардака Пит Уоткин по прозвищу Герцог, покачивая с удивлением и недоверием копной кудрей в стиле Джерри Гарсии, превращаясь в ивовый кустарник. Тем временем Джек Лэнсбери опустошал фантомную слюну из призрачной трубы и неодобрительно поглядывал на сборище нечисти, нежити и неприкаянных, составлявших его аудиторию. На его лице было написано, что ему приходилось играть и перед дохлым залом, и перед буйным зрителем, но одновременно – еще ни разу.

Билл обшаривал комнату взглядом из-за ног-пней Тома. Побирušной тени Фредди Аллена, за которым Билла и послали, нигде не было. Хотя он и предполагал, что Фредди может шнырять где-то позади сверхъестественных алкоголиков, забивших бар до полна, Билл даже не мечтал походить среди них и поискать. Уж точно не среди Удуши Кошку, Мика Мэлоуна и прочих смертельных и посмертных врагов Мертвецки Мертвой Банды. В этом редком, хотя и не совсем уникальном случае Билл обнаружил, что ему не хватает духу.

Он взглянул на Тома Холла, которому хватало духу носить воскресные панталоны с медвежатами, а уж если у него хватало духу на это, то хватит и на что угодно. Билл припоминал случай в передней комнате «Черного льва» – месте, где собирались все самые закоренелые и прожженные отбросы. Том в своей обычной

традиции саркастично острил в адрес наркозависимого и вспыльчивого завсегда старого богемного паба, высоченного обтянутого кожей скелета по имени Робби Уайс. Ранимый торчок, вскипев из-за ремарки Холла, выхватил из кармана пальто открытую опасную бритву и поднес к лицу музыканта. Том только чуть отодвинулся и провел толстым указательным пальцем по собственному горлу прямую линию, под бородой. «Мой дорогой мальчик, режь прямо здесь. Ха-ха-ха-ХАРРРРР!» Робби Уайс побелел на пару натянутых до звона секунд, а потом сунул лезвие назад и бросился в панике из бара «Черного льва» в темноту и ветер ночной улицы Святого Эгидия. Нет, Том Холл был совершенно бесстрашен, что при жизни, что, очевидно, после смерти. Он был тем человеком, с кем Биллу стоит консультироваться по поводу ситуации с Фредди Алленом.

– Том? Сышь, нас сюда послали найти старого бродягу по имени Фредди Аллен. Можешь поспрашивать, вдруг его кто видел?

Уголки глаз маэстро наморщились от веселья. Билл подумал, что почитатели Тома ошибались, когда говорили, что он похож на Фальстафа. Скорее уж, он был тем, на кого хотел бы походить Фальстаф. Его голос, когда он отвечал Биллу поверх гвалта, переполнял уютный скрип бочек меда или кег медовухи.

– Ха-хаар! Будто я могу отказать Бертю Ножу! Приступаю немедля.

Далее матерый исполнитель во все горло зычно обратился к грохочущему кутежу. Все разговоры тут же прекратились, и присутствующие фантомы обратили внимание на расшумевшуюся душу, разодетую в виде чудовищного кулька с конфетами. Даже деревянный страдалец у бара и его розовая мучительница прекратили свои дела, чтобы прислушаться.

– Ха-ха-ХАААР! Ламии и господа, мальчишки и демончонки, уделите мне минутку вашего внимания, ПОЖАЛУЙСТА! Спасибо. Вы очень добры. Вы чрезвычайно любезны для оравы неудачников, не откосивших от гроба. А теперь не подскажет ли мне кто

местонахождение некоего... Фредди Аллена, да? Фредди Аллена. Он в раю или в аду, этот чертов неуловимый хрыч? Ха-хаааар!

Джем Перрит, оторвавшись на миг от втаптывания выпирающей маски-лица под пол, огласил внезапную тишину своим черным и каркающим вороньим голосом.

– Фред Аллен в дыре в конце Овечьей улицы – «Синице в руке», «Окраине» или как ее бишь терь. Паб живчиков. Он там с моим сынком-недоумком. Да подавай уже музыку!

Вот и все дела. Тепло распрощавшись с Биллом и Майклом, Холл уплыл, словно игривая морская мина, в бурный мутный прибор завсегдатаев заведения, направляясь к месту, где настраивались его аккомпаниаторы. Два призрачных ребенка, лишившись пышнотелой защиты, ринулись к двери бара и преодолели лестницу одним затяжным прыжком, и Билл так и не отпускал руку Майкла. За все время в фантомном шалмане малыш не промолвил ни слова. Просто прирос к полу от ужаса, не отрывая оторопевших глаз от Удуши Кошку и других чудищ, бедолага. Билл пожалел, что ему пришлось взять с собой малыша, но это удостоверяло сохранность самого Билла, а кроме того, куда бы они ни взяли Майкла, там ему предназначено оказаться. Так сказал Филип Доддридж.

Они добрались до двери на улицу, вылетели на дорожку под фонарями, где их дожидались друзья. Захлопнув воздушную дверь обратно в ее 2D-состояние, Билл сообщил Филлу разведанные о местопребывании Фредди Аллена, вслед за чем банда снялась с места в направлении Овечьей улицы. Поплыв в воздухе или подпрыгнув с места, детвора поднялась с дорожки, размазалась над оживленной развязкой Мэйорхолд и влилась в устье Широкой улицы, пока остаточные образы мешались с выхлопными газами.

Призрачные дети помчались по угрюмой от машин автостраде вдоль трехфутовой бетонной стенки центрального отбойника, пока по бокам в противоположных направлениях лились реки яркого света и металла. Они приближались к Регентской площади, где встречались Широкая и Овечья улицы, – к северо-восточному

пределу Боро, обозначенному на трильярдном столе англов грубо нарисованным черепом; лузе гибели, квадранту смерти. Здесь сжигали ведьм и еретиков, здесь насаживали головы на пики, и астральные остатки этих жутких моментов иногда виднелись в ясные дни, несмотря на прошедшие столетия. Билла не в первый раз прошибла мысль, каким же невероятно странным местом было и всегда будет Боро.

Сам Билл здесь не родился и даже не жил, но отсюда была родом мамина сторона семьи. Билл, как и расхититель поместий Тед Трипп, рос в Кингсли, но с раннего возраста слышал о Боро и их то чудесной, то жуткой ауре. Раздвоение личности района предстало во всей красе, когда Билл обменивался историями из детства с Альмой – пугающей старшей сестрой крохотного привидения, которое он как раз сопровождал по Широкой улице. Альма рассказала о том, что произошло, когда она посещала свою, судя по всему, очень грозную бабушку Мэй на Зеленой улице. У Мэй на заднем дворе был курятник, как у многих в дни послевоенной экономии. Альма мечтательно вспоминала волшебный случай, когда папа позвал ее посмотреть, что творится на кухне у бабки. Сидя на верхней каменной ступеньке, она любовалась низким полом, целиком покрытым пушистыми желтыми цыплятками, что чирикали и запинаясь на тонких ножках. Это был идиллический аспект Боро, а встречный рассказ Билла в ответ на историю Альмы, хотя во многом похожий, отражал скверный лик старого района.

Билл тоже посещал родственников в Боро, но в случае Билла речь шла о дедушкином доме на Комптонской улице. Его тоже сопровождал родитель, как и Альму, но мать, а не папа, и на кухне тоже ожидало чудо природы, только вовсе не такое чарующее, как пасхальное видение, запомнившееся Альме. Дед Билла в свое время ловил угрей и делал собственное заливное. В ту оказию, когда его навестили пятилетний Билл с мамой, старик только что принес домой свежий улов молодежи, которых загреб неводом из кишаших орд, как раз отправившихся вверх по реке Нен на нерест. Он свалил

их в большой железный котел, плотно прикрыл крышку и отнес на кухню, чтобы убить и разделать. Билл всего лишь хотел посмотреть на угорька-детеныша, и, как мамка и дедушка ни пытались его отговорить, втолковывая, что угрей выпустят в запертой кухне, которую не откроют, пока не покончат с делом, он стоял на своем. Даже в том возрасте он все делал по-своему, и даже в том возрасте все обязательно кончалось чем-нибудь страшным. Тот раз не стал исключением. Он последовал за дедом на кухню, и мама закрыла за ними дверь с другой стороны. Она, в отличие от некоторых, имела соображение и отлично знала, что будет дальше. Дедушка Билла осторожно сдвинул с котелка железную крышку.

Из емкости жуткой пеной вскипели скользкие черные вопросительные знаки, отчаянно желавшие свободы, и тут же очутились повсюду. Этой дряни было не меньше двухсот штук – обрезков камер с пронизывающими глазками, что рябили на затоптанных плитках кухонного пола и захлестывали даже стены, дверь, ножки стола, вопящего пятилетку. Они накрыли его с головой, были за пазухой и в рыжих волосах, и он слишком поздно понял, почему никто не откроет кухонную дверь, пока все не кончится. С мрачным лицом, через какое-то время с ног до головы вымокший в рыбьей крови, дедушка Билла пачками обезглавливал и чистил скользкую мерзость. И все равно это заняло добрых полчаса, после чего Билл уже остался с неизлечимой травмой – трясся, пялился в пустоту и что-то бормотал, вовсе не такой довольный пережитым опытом, как Альма с ее милыми цыплятками. Но таковы уж были Боро, думал он теперь: пушистые нежности по соседству с корчами страха и безумия.

Призрачная банда уже добралась до конца Широкой и неслась бурей по размазанной дуге вдоль закругленного фасада. Однажды это место принадлежало Монти Шайну, букмекеру, пока не стало ночным клубом и не сменило столько личин, что Билл уж думал, его взяли в какую-то программу защиты свидетелей. Когда-то здесь было место готских тусовок под названием «У Макбета», и Билл

знал, что изгибающийся фасад раскрасили в вампирскую сирень, хотя на призрачной стежке цвет казался прохладно-серым – это все-таки выглядело получше. Биллу часто казалось, что готский макияж для такого местечка – это как портить маслом кровавую кашу или перегибать пик. Головы на кольях, ведьмы на кострах... куда еще готичней?

Перейдя Овечью улицу, шагая прямо сквозь ни о чем не подозревающих смертных гуляк, банда проскользнула через переднюю стену «Синицы в руке». Место переполняли выпивохи, но они жили и дышали, а потому не шли ни в какое сравнение с загробными коллегами из «Веселых курильщиков». Проплыв в сигаретном чаду бара – Биллу казалось, что курение внутри общественных помещений запретят только в следующем году, – карманные полтергейсты в два счета нашли Фредди Аллена. Он примостился на пустом стуле у стола, за которым беседовали двое живых – само по себе ничего необычного: многие неприкаянные любили шататься по пабам, где больше шансов, что их прозрит запойный пьяница, и где можно в охотку подслушивать разговоры смертных по старой памяти. Но отчего опешили Билл с его напарниками – Фредди не просто прислушивался к болтовне живых. Он в ней участвовал.

Когда Билл присмотрелся к тем двоим, с которыми завел беседу призрачный бродяга, он узнал эту парочку и получил частичный ответ на вопрос, как Фредди мог затеять дискуссию с людьми не из числа отошедших. Фредди обращался к тому самому любопытному субчику, которого дети видели за пределами пьяным у его дома на Башенной улице, перед тем как отправились в Душу смотреть англо-свару. Он мог видеть фантомных детей тогда – значит, закономерно, что он мог видеть Фредди и разговаривать с ним сейчас. Второй же малый, сидевший напротив призрачного попрошайки и не сводивший перепуганного взгляда с теплокровного алкоголика по соседству, был низеньким толстячком с кудрявыми белыми волосами и очками, в котором Билл признал

лейбориста Джима Кокки из управы. Он пребывал в тихом ужасе, хотя Билл быстро сообразил, что вовсе не из-за присутствия Фредди. Кокки не видел духа за столом, а пришел в смятение из-за поведения собутыльника – мужика с фирменным слабоумным смехом, который, насколько мог понять пухлый депутат, беседовал с пустым стулом.

Филлис глубоко вдохнула – хотя бы только ради успокаивающего звука, – и отважно подошла к трем сидевшим – двум живым и одному мертвому. Стоило Фредди ее заметить, как он подскочил с места и прижал затрапезную шляпу к лысеющему скальпу.

– А ну держись от меня подальше, кодла дворовая! Хватит с меня на один день, и так доконали в двадцать пятом.

Филлис подняла ладони перед разгневанным духом в успокаивающем жесте примирения.

– Мистер Аллен, я знаю, что вела ся как засранка, и прошу прощения. Мы так больш не блестем. Я бы вас не побеспокоила, но вы, гряд, человек хороший, а там одна девушка попала в беду.

С момента, когда Фредди поднялся, нетрезвый и, похоже, ясновидящий малый рядом начал оглушительно смеяться, переводя хмельное внимание на занервничавшего депутата.

– А-ха-ха-ха! Ты видал? Вскочил как ужаленный. Он злится, потому что только что ввалилась какая-то шпана. – Пьяный медиум повернулся и посмотрел прямо на Билла и его мертвых соратников. – Вам сюда нельзя! Вы несовершеннолетние! А если хозяин попросит ваши свидетельства о смерти? А-ха-ха-ха!

Потрясенный депутат коротко бросил взгляд в том же направлении, куда смотрел второй, но не смог ничего разглядеть. Кокки вернулся глазами обратно к хихикающему пропойце по соседству, явно теряя самообладание.

– Я ничего не понимаю. Я вас всех не понимаю.

Фредди тем временем растерял пыл и озадачился упоминанием Филлис о девушке в беде.

– Что еще за девушка? И мне-то что с того?

Пьяный прыскающий тип отвернулся к депутату и сказал:

– Я их не слышу. Даже когда они вплотную, слышно еле-еле, замечал? А-ха-ха.

Филлис не отставала.

– Не знаю, видели вы ее в округе или нет, но это метиска лет девятнадцати, у которой волосы в косичках, как полосках. Она носит такую блестящую куртяшку, и, кажется, она на панели.

В печальных глазах побитого жизнью и смертью привидения промелькнуло узнавание.

– Я... кажись, я знаю, о ком это ты. Она живет в многоквартирнике на Банной улице, где раньше стоял дом Пэтси Кларк.

Предводительница призрачной банды кивнула раз, тут же удвоив количество голов и послав слабую дрожь по висящим кроличьим шкуркам.

– Она самая. Ее схватил какой-то мужик в гаражах, где раньше стоял Банный проход. Он там припарковал машину и сами знаете, что с ней делает. Но, знач, не как клиент, а против ее воли.

Судя по выражению на его лице, на личном моральном игровом поле Фреда Аллена это означало заступление за нерушимую черту.

– Банный проход. Я там ток что блесть, посещал приятеля. Так и чувствовал, что назревает что-то скверное. О боже ты мой. Лучше потороплюсь. Посмотрим, что смогу сделать.

На этом расхристанная душа пресловутого налетчика на пороги заскользила прямо через пятерых-шестерых клиентов, столик и стену «Синицы в руке», излившись в ночь снаружи разъяренным паром. Билл не знал, сможет ли подзаборное привидение помочь девушке или нет, как не знал, будет ли демон поджидать за рулем появления Фредди, но это уже было неважно. Они сделали все, что могли, и теперь дело не в их власти. А может быть, никогда и не было.

Пока крючконосый пьяница все еще хихикал и тыкал пальцем в призрачных детей, которых видел только он, мертвая банда последовала за Фредди в темную глотку Овечьей улицы, но

развоплощенный босяк уже испарился, заторопившись по своему срочному делу. Филлис закинула тошнотворное боа на плечо, словно зомби-кинозвезда, и объявила, что они вернутся по Широкой улице на Мэйорхолд, откуда направятся обратно на Башенную улицу и там поднимутся на Стройку – или то, что осталось от предприятия небожителей в 2006 году. А затем они заберут Майкла обратно в 1959-й, к его телу и жизни.

Это, конечно, был план Билла, но у него сосало под давно пропавшей ложечкой при одной мысли о них – оскверненной Душе и Деструкторе, особенно последнем. При мысли о том, что он символизировал – разрушение в человеческой жизни, в любой форме. Сам Билл впервые почувствовал его безжалостные сильные течения, когда был живым, семнадцатилетним подростком, только что вылетел из школы и впервые попробовал хмурый на освещенной свечами тусовке в пятницу вечером после паба. Там были все – все его друзья, или по крайней мере большая их часть. Кевин Партридж, Большой Джон Уэстон, красотка Джанис Херст, Толстяк Манди и еще человека четыре, которых Билл еще помнил. Толстяк был щедрым поставщиком вышеупомянутого товара, и именно его баяны ходили по рукам. Хотя оказалось, что у самого него иммунитет, Толстяк все же был переносчиком и заразил всех гепатитами В и С.

Билл помнил каждую дурость в их несерьезной болтовне, пока они передавали по кругу ширево, помнил даже холодящий миг, когда вдруг подумал: «Не стоит этого делать», – почти как если бы знал, что это его убьет, лет через сорок по долготе жизни. В этот момент, если оглянуться назад, он и ощутил касание Деструктора, ощутил его отрезвляющее дуновение из будущего. И все же Билл не остановился, словно у него не было выбора, словно это его судьба – и в чем-то так оно и есть. «Ага, на здоровье», – сказал Билл и загнал иглу.

Он подумал о подслушанном разговоре между дружелюбным зодчим мистером Азиилом и Филом Доддриджем, когда Доддридж

спросил англа, есть ли у человечества свобода воли, на что длиннолицый мистер Азиил с хмурым видом ответил отрицательно, а потом добавил: «А тебе ее не хватало?» – присовокупив непостижимый смех. Точнее, непостижимый тогда, хотя теперь Билл все отлично понял. До него доперло. В каком-то смысле она даже успокаивала – мысль, что чего бы ты ни сделал и ни достиг, по гамбургскому счету ты лишь актер, играющий в мастерски прописанной драме. Просто пока этого не знаешь и думаешь, что импровизируешь. И в самом деле, забавно, видел теперь Билл, но все же находил утешение в мысли, что в predetermined мире незачем из-за чего-то переживать, нет смысла о чем-то жалеть.

Он все еще пытался себя этим ободрить, когда Мертвецки Мертвая Банда прибыла на Башенную улицу и начала взбираться на закопченные развалины небес.

Деструктор

- Майкл? О-о боже, Майкл, ты слышишь? Прошу, откашляйся. Прошу, дыши...
- Держись, почти на месте. Держись, Дорин...

Серный сэра Сэм О'Дай, выглянувший из окна той машины, где делали больно тете, – он почти стал последней каплей для Майкла. А уж паб, полный злых привидений, с двумя кричащими деревянными людьми и человеком, у которого лицо ползало по голове, как облака, – это чуть ли не еще хуже. За исключением этих мелочей, он уже начал привыкать к призрачному существованию.

Ему нравилось прокапываться через время, и быть в банде, и тайно влюбиться в Филлис, пусть она и не хотела быть его подружкой. Главное же – влюбиться, и Майкл сомневался, что так уж важно, чтобы второй человек отвечал взаимностью или даже знал, что ты его любишь. Неужели мало одного этого печального трепещущего чувства? Ведь это же о нем пишут столько песен и стихов, разве нет?

Майкл даже привык к остальным Майклам, которые откалывались от него при всяком движении. Словно ходишь всюду с собственной командой футбольных болельщиков, сразу становишься уверенным и не таким одиноким. Хотя он знал, что двойники сделаны не более чем из призрачного света, он начинал к ним привязываться. Даже раздавал каждому свое имя, но раз все они были измененными или уменьшительно-ласкательными от Майкла – Майк, Мик, Микки, Майки, Микко и прочие, которые он чуть ли не выдумывал на ходу, – то занятие показалось бессмысленным и он его бросил. Кроме того,

они таяли в воздухе за считанные секунды, а если с ними подружиться и дать имя, то от этого становится только грустней.

Вообще-то в загробной жизни Майклу многое нравилось. Очень здорово ходить сквозь стены и видеть в темноте, а уж летать в ночи – радость всей смерти, но пока что самым лучшим было кушать Паковы Шляпки. Сперва его отталкивала мысль вгрызаться в маленьких красивых фей, но стоило узнать, что внутри у них сладкая и сочная мякоть, а вовсе не потроха, как у него появился удивительный аппетит. Это же все равно что есть мармеладных малышей, доказывал он себе, даже если, как и с малышами, чувствуешь себя чуточку виноватым, когда откусываешь ножки. Ну и пускай – ради такого роскошного вкуса фантомных плодов Майкл готов был лопать Паковы Шляпки дюжинами, даже если бы звездообразные штуковины брыкались, рыдали и умоляли о пощаде. Ну, ладно, это вряд ли, но очень уж смачный был вкус. Он будет по ним скучать, когда вернется к жизни.

А судя по тому, что ему говорила Филлис, это случится уже совсем скоро, хотя, прежде чем вернуть его домой, Мертвецки Мертвой Банде нужно было взять его на последнюю прогулку в место Наверху – Душу. Вот почему они пронеслись по Мэйорхолд густым туманом старых фотографий, пока сквозь них мчались машины – так, что ребята успевали замечать размытые салоны, подсвеченные приборными досками, бормочущих себе под нос людей и ссорящиеся парочки, – а потом банда вновь оказалась на низких тропках Башенной улицы. Задрав голову к громоздким спальным корпусам – двум огромным достопримечательностям с надписью НЬЮЛАЙФ, нависающей над улицами и пресмыкающимся муниципальным жильем, – Майкл подумал, что массивные надгробия казались уже более потасканными, чем совсем недавно, до драки гигантских зодчих, когда Майкл убежал от остальных и потерялся. Правда, норы во времени могли сбивать с толку, но все же, по его оценкам, прошлый визит к высоткам состоялся не более двенадцати месяцев назад. Как всего за год можно так поизноситься

и состариться? Его дом по дороге Святого Андрея, которого не оказалось в этом промозгом веке, простоял уже сотню лет, когда в нем поселилась его семья, и все равно выглядел аккуратней и опрятней, чем большие многоквартирники.

Он все еще не до конца понимал, что Филлис и остальные хотели ему показать в Душе или почему они так решительно настроились его туда отвести, но если это его последнее приключение Наверху, то он своего упускать не собирался. Втайне он думал, что банда покажет ему самое фантастичное из всего, что он уже видел, устроит особый праздник или вечеринку в честь ухода. В три года он справил достаточно дней рождения и Рождеств, чтобы знать, что, когда тебе готовят сюрприз, надо делать вид, будто ты ни о чем не подозреваешь, а иначе все только испортишь. Вот почему он посмеивался про себя, пока Филлис с остальными обеспечивали отправку в место встреч зодчих – Стройку – и делали вид, будто из-за чего-то переживают. Майкл понял, что они задумали. Хотели отвести глаза от великолепного пира горой, который организовывали на прощание, – но он не показывал виду. Не хотел задеть их чувства.

И потому Майкл подыгрывал, пока банда встала друг дружке на плечи в маневре, который он уже наблюдал раньше. Джон находился в основании башни, затем был Реджи Котелок, упершийся потертыми сапогами по бокам от героического лица Джона. Вскарabкавшись на мальчиков, словно скалолаз, Филлис устроилась на плечах Реджи и шарила в воздухе над головой на пике человеческой горы. Раз Майкл, Билл и Марджори были самыми маленькими и потому бесполезными для высоты конструкции, они стояли в нескольких шагах и наблюдали.

Слегка смутившись, Майкл поинтересовался у Билла, что затеяли три самых высоких призрака банды.

– Ну, если помнишь, в последний раз, када нас занесло сюда в этом новом веке, мы прокопались в 1959-й и попали в Душу оттуда. Прошли через старый забитый дом на углу Мэйорхолд, где тыщу лет

назад блесть первая ратуша. Но в этот раз мы не хотим показывать те Душу в 1959 году. Мы хотим показать ее сейчас, в 2006-м, а там не осталось ни одного места, где можно пройти. Но эт ниче. Когда у нас были приключения в будущем, в Снежном Городе, мы оставили тут дырку в воздухе и прикрыли ковром – как люк в нашей землянке на пустыре у Нижней Хардингской улицы. Вот ее-то Филл сейчас и ищет. Эй, Реджи! Не теряйся! Зырь ей под юбку!

Пошатываясь над ними в болезненном натриевом свете, Филлис крикнула в ответ.

– Ток попробуй, Реджи Котелок, и я те на башку напружу. А терь цыц и вести ся смирно. Кажись, сыскала.

Потянув в темноте над головой, словно сдвигая что-то в сторону, доблестный предводитель Мертвецки Мертвой Банды раскрыла рваный лоскут фиолетово-синего цвета, висевший в совершенно бесцветном облачном небе. Обнаружив тем самым маршрут банды через крики и сирены ночи в Душу, Филлис приступила к организации подъема. Она велела трем самым маленьким членам отряда залезть по лестнице из их спутников, причем Билл последовал первый, за ним Майкл, а потом Марджори. Управившись, те помогли подняться в небесную дырку ей, чтобы она в свою очередь помогла Джону и Реджи. Вернув отсыревший и грязный обрезок ковра на место, чтобы скрыть проем, призрачная банда постояла с миг, окидывая взглядом новое злое окружение. Майкл немного растерялся, ведь оно не предполагало особого праздника, которого он ожидал. Наверно, думал он, остальные оттягивают момент, чтобы сюрприз получился радостней.

Место, где стояла банда, гулкое и цвета индиго, все же узнавалось: то же призрачное строение, где они лезли перед самой дракой англов, только в куда худшем состоянии. По крайней мере один фантомный пол окончательно провалился – судя по всему, из-за протечек сверху. Из высокой и покосившейся стены, как сломанные ребра, торчали волглые и расщепленные балки, и все заливал

голубоватый свет, который паршилел и становился розовым всюду, где скапливалась тень.

Майкл помнил, что в 1959 году это здание было черно-белым, без особого оттенка, пока не поднимешься в Душу по короткому маршу бесполезных узких ступенек на последнем этаже. Теперь же казалось, словно в мире Наверху среди прочего протекали и краски. Майкл не помнил, чтобы здесь было столько воды, сбегаящей серебром по обветшалым вздымающимся стенам или собирающейся среди обломков на полу во впадинах озерцами с дном-ковром. Еще казалось, будто вдобавок к мокрети и мрачно окрашенному свету из Души в обычно глухой фантомный мир процеживалось и особое качество звука. Каждый кап, хлюп, шлеп и стеклянный звяк жутко отдавался в звучной и пропахшей сыростью развалине, напоминавшей не иначе как огромный склад после поджога ради страховки.

Пропахшая сыростью? Майкл осознал, что вместе со звуком и цветом, просочившимися сверху, и звук начал приобретать богатый, ошеломляющий характер мира Наверху в том смысле, что запахи рассказывали свои истории красноречивей слов. Например, он уловил вонь пушного кашне Филлис, а также ароматы плесени, тлена и – что это еще такое? Он пробно принюхался и подтвердил свои подозрения. Дым, едва уловимый, и пока Майкл не понимал, откуда им повеяло.

Он стоял вместе с пятью фантомными друзьями, откровенно присмирившими в плотной атмосфере запустения, пролившейся на них сверху вместе с кобальтовым светом и каскадами воды. Хотя Майкл подозревал, что они только разыгрывают его, чтобы скрыть затаенный в рукаве сюрприз, пока что мальчика обескуражила такая прощальная вечеринка и он от всей души надеялся, что она еще оживится. Он бросил взгляд в протекающий синий сумрак над головой и прислушался к звонким звукам протекающего крана, плеску и брызгам, журчащим жидким трелям, которые словно вели шепотом какой-то разговор.

– О-о-о боже. О-о-о боже, ангел мой. Даг, он, кажись, умер. Что ж делать?

– Ты держись, Дорин. Держись, милая. Осталось ток Маунтс переехать. И минуты не пройдет...

Никто по-прежнему ничего не говорил, когда Майкл присоединился к призрачным товарищам, приступившим к подъему в полуразрушенных внутренностях здания. Это оказалось не в пример сложнее, чем когда они были здесь в прошлый раз. Во-первых, прогнившая лестница, которой они тогда воспользовались, давно пропала, и шестерке пришлось ползти по осыпающимся стенам, как паукам, но с вполтину меньшим количеством ног. Отважный Джон повел партию, показывая опоры для рук и ног, вмятины во влажной штукатурке для пятерых юных привидений, следовавших за ним.

Во-вторых, помимо зачатков звуков, запахов и цветов Души в обыкновенно стесненной для чувств призрачной стежке здесь в наличии имелись и признаки усиленных ощущений веса и гравитации, присущих верхнему миру. Да, если бы они упали с отвесной стены, то наверняка бы медленно спланировали на пол и не ушиблись, но лететь или скакать, как пляжные мячи на Луне, очевидно, было невозможно. Все чувствовали себя слишком тяжелыми и твердыми, а значит, не оставалось выбора, кроме как медленно и тяжело карабкаться по высокой стене осторожной цепочкой. За ними все еще шелушились прерывистые образы, но чем выше дети поднимались, тем более хилыми и блеклыми те становились, а потом и вовсе моргнули и пропали.

Часть верхнего этажа провалилась не полностью, кое-где еще виднелись остатки пола и опорных балок, хотя они просели и казались опасными. После как будто целого часа стенолазанья, по счету Майкла, Мертвецки Мертвая Банда наконец добралась до этих

поскрипывающих островков сравнительной безопасности. Временно мертвый мальчик вполз на животе на сырые планки с краю платформы, пока Филлис подталкивала сзади, а Джон тянул спереди. Было очень славно снова встать на ноги – хоть только на редких прочных участках пола на балках, – и недолго передохнуть после покорений высот.

Пока они приходили в себя, Филлис щедро раздавала карликовый вид Паковых Шляпок, найденных в лечебницах, с фейри всего полдюйма ростом. Майкл обнаружил, что если есть их в непосредственной близости от Души, где пробуждались все чувства, то на вкус и на запах они были еще лучше, чем внизу, на призрачной стежке. С блестящим на подбородке сладким соком он сел к дверному косяку, от которого осталась только половина, свесив тапочки с прогнившего края пола и болтая ими туда-сюда над сапфировой бездной.

Он задумался о том, где они побывали, что видели и слышали. Они полдничали чаем с пирожками у мистера Доддриджа, а потом прогулялись по непонятному мосту к лечебницам. В лечебницах держали тех, у кого зашел ум за разум, а поскольку у таких людей в голове все перемешано, сами лечебницы тоже были перепутанные и перекроенные. Интересное место: там и фонтаны-фейерверки разноцветного света в небесах, а потом появились другие Билл и Реджи из будущего и украли кучу безумных яблочек. Но больше всего его удивило, как себя повели Филлис, Джон и Марджори, когда наткнулись на пару живых тетей, сидевших себе на скамейке. Те казались совершенно нормальными и просто разговаривали, как иногда разговаривают взрослые. Майкл их толком не слушал, но вроде бы высокая и хрупкая на вид тетя сказала, что с ней кто-то спал – ну кто, наверное, собака. Ведь собаки только так и делают, и, если подумать, наверняка потому-то мамка никогда не разрешала ему завести свою, – но он никак не мог понять, почему это так расстроило Филлис и Джона. Может быть, они росли в еще более опрятных и брезгливых семьях, чем он.

Но с тех пор, как они вернулись из лечебниц и попали в этот странный век, который ему не понравился еще в прошлый раз, все стало немножко страшно. Когда они спрыгнули с Ультрадука на Меловой переулок в шестом году или когда там, становилось темнее, а это всегда немножко расстраивало Майкла. Когда он был жив, если ему снились сны про ночь, они всегда оказывались кошмарами. Долгое время он думал, что это и есть определение кошмара: сны, где в ночное время происходит что-то странное. Так что, когда начала опускаться тьма, пока призрачная банда возилась у большущей лагуны, он уже начинал немножко нервничать.

Поход с Биллом, Марджори и Реджи – цели которого он так и не понял, – все-таки был ничего, по крайней мере тогда, когда они играли в паровозик или летели в ночном небе. Но Майклу не очень понравился промозглый двор с металлическими бочками. Эта площадка выглядела жалкой и недружелюбной, да к тому же ребенок почувствовал в ней что-то тревожно знакомое, хотя ни разу не был там прежде. Может быть, Майкл повидал ее во время бесчисленных прогонов жизни, которые, как заверяли Филлис с остальными, он уже пережил, если даже и не помнит. Может быть, унылый двор однажды будет ему хорошо знаком – хотя он обнаружил, что эта мысль переполняет его необъяснимой тоской.

Но после того, как они вернулись с ночного неба к лагуне, события приняли крутой поворот к худшему. Он немножко поплакал, когда Филлис с остальными пустили его посмотреть на пустую поляну на дороге Святого Андрея, где уже ничего не говорило, что там жил он с семьей, но поплакать – это было еще не плохо. Так Майкл просто начал примиряться с порядком вещей, с тем, что в мире смертных люди и места просто проносятся и пропадают вмиг. Такова жизнь, но в конце концов это ничего не значило, ведь смерть была совсем другой. Смерти и времени на самом деле не было, а значит, все и везде – в Душе навечно. Его дом где-то там, наверху, вместе с выцветшей красной входной дверью, фарфоровым лебедем в окне и никому не нужным скребком для обуви, вделанным в стену рядом с

нижней ступенькой. Это его утешило, и он вытер слезы и отправился с остальной бандой к Мэйорхолд, где начались уже настоящие страсти.

Первое и самое худшее – то, что случилось в маленьком дворе с гаражами у нижнего конца Банной улицы. Все столпились вокруг припаркованной машины, словно чтобы не дать Майклу увидеть, что происходит внутри, но он успел заметить, что плохой дядька зажал под собой девушку и делает ей больно, колотит как боксер. Тогда Билл, который начал нравиться Майклу, отвел его в сторонку от автомобиля, и тут-то они увидели второго, сидевшего за рулем. Тут-то он увидел внезапного Сэма О’Дая и так перепугался, что у него чуть не забилось сердце.

Он знал, что обречен встретиться с дьяволом по крайней мере еще раз, знал с неизбежностью плохого сна или страшной передачи по телевизору. Только не ожидал, что это случится там и тогда, как и не думал, что демон вспомнит эту чепуху, будто бы Майкл должен кого-то убить. Мальчик чувствовал облегчение хотя бы из-за того, что избежал этой ужасной судьбы. Заносчивый Сэм О’Дай мнил себя таким умным, но так и не смог превратить Майкла в инструмент для убийства, с чем Майкл мог себя только поздравить.

Конечно, стоило им обвести беса вокруг пальца удивительно успешным и простым в исполнении трюком – убежать с криками, – как они угодили в тот ужасный паб, о котором Майклу не хотелось даже думать. В тех редких случаях при жизни, когда мамка или папка завозили его во двор таверны или пивной сад, он находил пабы слишком грубоватыми и взрослыми на свой вкус, но это было ничто в сравнении с тем, что он пережил в «Веселых курильщиках». Человек с ползучим лицом и несчастные деревяшки, которые всплыли из пола бара, – Майкл был уверен, что эти образы останутся с ним до конца дней, что бы кто ни говорил о том, будто все забудется, как только он вернется в тело и его каким-то образом реанимируют. Майкл спросил себя, как, интересно, сейчас идут с этим дела, а потом вспомнил, что он в шестом году, а удушение

произошло почти пятьдесят лет назад, так что спросил себя, как там с этим дела прошли.

– Майкл? Ну же, Майкл. Дыши. Дыши ради мамочки.

Когда все расправились с неприкосновенным запасом лилипутских Паковых Шляпок, Филлис повела их через остатки рассыпающегося пола, по самым устойчивым палкам и балкам туда, где в их предыдущий визит был маленький закуток, а теперь встречало только безликое открытое пространство, хлюпкое от воды. У одной из уцелевших стен, лишившись нескольких перекладин с их последнего посещения, стояла лестница Иакова, которая шла к потолку, где туманился глюк. Вот сейчас, подумал Майкл, все и выскочат, и закричат «сюрприз», и вынесут для прощальной вечеринки и мороженое, и желе, и подарки.

Но в Душе Майкла не ждал особый праздник. Не было никакой вечеринки. Да и Души практически не было.

Глюк туманился потому, что по всему первому этажу Стройки перекачивались огромные и кипучие клубы белого дыма. Причиной была одна огромная стена в этом зале размером с собор, охваченная пожаром, и в плотной дымке виднелись зодчие и другие силуэты, большие и неразборчивые, пытавшиеся потушить его. Выстроившись в цепи, они передавали из рук в руки гигантские кубки – похоже, в Душе была нехватка ведер. По массивным плитам пола разлились те самые капли более-чем-3D-воды в виде китайских головоломок, которую Майкл видел прежде, – что объясняло потоп и разорение внизу.

Мертвецки Мертвая Банда выбралась из сырых и скорбно-синих помещений фантомного здания и попала в место еще хуже.

Сбившись в кучку у глюка, врезанного в облицованный плитами пол Стройки, выдавая виды бригада явно боялась, вглядываясь в бурлящую вокруг пелену дыма. С щемящим чувством Майкл понял, что их тревожные переглядывания не были розыгрышем, чтобы скрыть спланированное загодя пиршество. А были ровно тем, чем казались, – перепуганными выражениями на лицах маленьких детей, которые сейчас увидят, как горит рай.

Филлис задрала воротник шерстяного кардигана – он снова стал розовым, как мороженое, – чтобы закрыть рот и нос от едких паров. Зато, подумал Майкл с голубыми глазами на мокром месте, из-за дыма не почувствуешь ее кроличье ожерелье. Вперемежку с кашлем она принялась отдавать приказы:

– Лады, стройся в шеренгу и хватайся за куртки и джемпера перед собой, чтоб не заплутать. Попробуем перейти зал туда, где в последний раз блесть лестница, чтоб выбраться на балкон. Айда, ребзя. Если будем торчать до морковина заговенья, лучше не станет.

Майкл покорно одной рукой собрал ночнушку у пазухи, чтобы прижать к носу и рту, а второй схватился сзади за шорты Джона, потому что старший мальчик встал в линии перед ним. Позади Майкл почувствовал, как Филлис ухватила за тартановый пояс, который он завязал на животе. Таким манером – гуськом, словно исследователи в паровых джунглях, – они выдвинулись через помещение, зная, что путь предстоит длинный, а помещение – огромное, несмотря на то, что все дальше ярда скрывалось в наползающем чаду.

Банда не успела уйти далеко, как Майкл вспомнил про демонические украшения – изощренные и переплетенные дьявольские узоры, корчившиеся со зловещей энергией на шести дюжинах массивных плит, составлявших местный пол. Он встревоженно взглянул на огромный камень, по которому как раз сейчас шаркал пледовыми тапочками, уже ожидая увидеть какие-нибудь гротескные виньетки мозаики из скорпионов и медуз, но на деле увидел только расколотый и раздробленный щебень, и это

почему-то было еще хуже. Под скользящей вуалью серого дыма и россыпью брошенных путеводителей, один из которых Майкл читал в предыдущий визит, была лишь разбитая мостовая, посеченная трещинами на чудовищные куски, словно проломленная изнутри древесными корнями или какой-то иной великой силой. Цветастые и адски запутанные изображения семидесяти двух дьяволов исчезли без следа. Они не раскрошились с камнями, на которых были изображены, не поблекли и не скрылись за другими рисунками. Просто пропали, словно стоило растрескаться глазури, как мерзкие и лучезарные существа просочились из своих портретов на волю. Все еще прижимая ночнушку к носу, как ковбойскую повязку, Майкл нервно озирался в клокочущем паре. Если дьяволы не заперты в картинах, то где же они?

Шестерка детей, направляясь к южной стене огромной Стройки запинаящейся цепочкой, неглубоко зашла в объятую дымом фабрику, когда малыш уже получил ответ на свой вопрос: в горькой мгле перед ними тащился огромный фургон – широкая плоская телега с восемью могучими колесами с каждой стороны. Ее медленно влекли на множестве крепких смолистых веревок к пылающему северному концу здания не меньше тридцати зодчих низших рангов в голубино-сизых рубищах, а еще больше навалилось позади исполинской повозки, пока их товарищи надрывались и тянули впереди.

Этих рядовых рабочих небес сильно потрепало по сравнению с теми деловитыми неутомимыми строителями, которыми они казались в прошлый раз, когда Мертвецки Мертвая Банда поднималась в Душу в 1959-м, чтобы посмотреть на драку англов. Их руки покрыли ссадины и мозоли, а на многих больше не было сандалий. Пока они впрягались в скрипящие канаты, Майкл видел, что их рясы деликатных оттенков изорваны и опалены, а меланхоличные лица измазаны сажей и потом. Они не отрывали опущенных долу глаз от разможенных плит под ногами – наверное, чтобы не задумываться о колоссальной невозможности, которую

пытались сдвинуть, о бегемоте, беззаботно рассевшемся на колесной платформе.

Сперва Майкл принял его за какую-то статую или идолище – непомерно огромная жаба, словно вырезанная из сплошного бриллианта, выше церкви или собора. Потом он заметил, что ее ослепительные бока выгибаются и опадают, и осознал, что оно дышит. Когда он понял, что находится в присутствии живого существа – почти наверняка одного из пропавших дьяволов из плит, – Майкл пригляделся пыливей.

Тупая голова, плоская и широкая, словно приплюснутая, державно покоилась на нескольких выпирающих подбородках – пышных рулетах бриллиантового жира, словно слои сэндвича из драгоценных цеппелинов. На самоцветном челе были посажены семь непропорционально мелких пороссячьих глазок, расставленных кольцом. Они безучастно моргали через невыносимо растянутые интервалы без всякого заметного порядка и снова величественно тарацились в белые или сине-бурые облака, скрывавшие из виду верхние пределы Стройки. То, что его волокут на телеге, как будто казалось существу ужасным унижением достоинства, и Майкл задумался, не стыдно ли ему из-за того, какое оно большое и толстое.

Из чего бы оно ни было сделано – откуда Майклу знать, это мог быть как бриллиант, так и вообще граненое стекло, – материал просматривался насквозь, и у Майкла сложилось впечатление, что чудовище полое, как пасхальное яйцо. Более того, взглядевшись в раздутые бока, он думал, что заметил какое-то мутное бултыхание, словно левиафан наполовину полон водой. Судя по тому, как существо куксило разрез рта, ему было неприятно, и Майклу казалось, что это вполне могло объясняться жидкостью в животе – словно создание превратили в необъятный хрустальный кувшин.

Колоссальная повозка медленно рокотала на пути к северной стене задымленного из-за пожара помещения, а связка фантомных детей, спотыкаясь и кашляя, разминулась с ней по дороге в

противоположном направлении. Майклу хотелось спросить Филлис, почему происходят такие страсти, но все прикрывали рты и носы куртками или джемперами и говорить было невозможно.

Только когда подвода со своим неподъемным грузом почти миновала призрачную банду, один из десятков толкавших ее сзади англов заметил компашку замарашек из мертвых детей и поднял тревогу:

– Шторв взы вдымсь гделидти?

Это означало: *«Гром и молния, что вы делаете среди развалин и дымящихся руин, когда вы лишь дети»*, – и еще целая сентенция в этом духе, а переводилось вкратце в *«Эй! Народ! Сдристните!»*.

Все замерли, не зная, что делать, и даже Филлис казалась обескураженной. Очевидно, одно дело не слушаться и дерзить, когда имеешь дело с привидениями или дьяволами, но, когда тебе что-нибудь велят зодчие, даже низкого звания, никто не спорил. Все делали, как говорят. Просто делали и все. К счастью, в этот момент от главной команды, изо всех сил налегавшей на большой фургон, отделился второй работник в сизой ризе и пришел на выручку, заступившись за банду. Он окликнул более воинственного соратника панибратским и успокаивающим тоном:

– Ниэ требра мман столт!

«Не тревожься, брат мой, ибо это Мертвецки Мертвая Банда, о коей я поведал тебе несколько столетий тому назад...» и так далее. Это был мистер Азиил – зодчий, который проводил их к мистеру Доддриджу после Великого нортгемптонского пожара в тысяча шестисотых. Первый англ, накричавший на детей, обернулся и изумленно уставился на Азиила.

– Март окомт чий генкишг?

«Мертвецки Мертвая Банда, о странствиях коей мы читали на страницах той великой книги? Брат мой, что же ты не сказал того сразу? Не это ли Утопшая Марджори, со смердящими кроликами на шее?» – когда все значения того, что выпалил одним дыханием второй зодчий, улеглись, мистер Азиил покачал головой. Его

длинное траурное лицо узнавалось даже под маской из пота и черной копоти, когда он отвечал компаньону, так и качая головой.

– Нетпейс терж спродпут.

«Нет, это Филлис Пейнтер. Теперь мне должно сопровождать банду на ее пути. Так предписано». На этом мистер Азиил отвернулся от коллеги и зашагал по разрушенным плитам, направляясь к детям с доброй улыбкой, проглядывающей из-за нечаянного чернения.

– Звдру сти ввел коцчус?

Здравствуйте, мои юные друзья. Отвести вас к великому концу всех чудес?

Все остальные дети только кивнули, поскольку устное согласие означало необходимость снять матерчатые наклейки, в которых они прятали рты. Хотя Майкл сам не знал, с чем соглашается, он кивнул вместе со всей Мертвецки Мертвой Бандой, чтобы не оказаться в одиночестве.

Азиил возглавил их шаткую сипящую череду, а высокий Джон крепко взялся за подпаленное зелено-серо-лиловое платье мастерового сзади. Хотя они все равно целую вечность добирались до южной лестницы, где поджидали заляпанные кометами ступени, получилось быстрее, чем если бы они шли без руководства зодчего. Более того, им не пришлось шарахаться от неестественных и высоких силуэтов, топтавших или скользивших в милосердно непроницаемых тучах в другую сторону. Наконец англ, как будто невосприимчивый к дыму, объявил, что они у начала пролета южной стены. Дубовые балясины и перила либо пропали бесследно, либо превратились в обугленные пеньки, но лестница из ночного неба с инкрустацией созвездий осталась невредима. По-прежнему хватаясь за одежду друг дружки, потому что еще не поднялись над уровнем бурлящих паров, проказники осторожно взбирались вслед за мистером Азиилом.

Еще не преодолев половины первой лестницы из длинного зигзага – пятнадцать-двадцать метров над полом рабочего пространства, по прикидкам Майкла, – они вырвались из

поверхности забродившего океана смрада на что-то сходящее за свежий воздух. Но Майклу казалось, что он, похоже, нахлебался дыма, потому что дышалось по-прежнему трудно.

– С дороги! Куда прешь, козел! Не видишь, мы торопимся?

– О-о-о, Даг, он умер. Наш Майкл умер. Что же нам теперь делать? Что я скажу Тому, как он вернется с работы? О-о-о боже. О-о-о-о-о боже...

Стоило оставить удушающий туман в нескольких широких окрашенных полночью ступенях позади, как зодчий позволил детям остановиться, чтобы стянуть импровизированные банданы и оглядеться с возвышенности.

Весь нижний уровень обширного небесного склада стал кубом дыма двадцати метров в глубину, и детям казалось, словно они летят над облаками, как пассажиры самолета. Потресканные плиты в порядке восемь на девять, ранее державшие в плену дьяволов, были невидимы под подвижным обволакивающим одеялом, как и многие зодчие, боровшиеся с возгоранием, угрожавшим северной стене. Единственное, что торчало над уровнем смога, как быстро осознал Майкл, – былые узники развалившихся напольных камней.

Через простор на невозможно тонких хрустальных ногах осторожно пробиралось нечто похожее то ли на стрекозу, то ли на стеклянный небоскроб. Значительно меньше, но все же достаточно массивный, чтобы выситься над парами, шел чудовищный паук о трех головах. Ближайшая казалась кошачьей, если бывают кошки размером с кита, тогда как голова посередине принадлежала хихикающему патлатому человеку в золотой короне, с помадой и тушью под глазами. Третья паучья голова оказалась слишком далеко,

чтобы Майкл ее разглядел, но смахивала она на рыбью или лягушачью. исполинские кошмары бороздили серые поля мглы, простиравшиеся за черными огрызками балюстрады от точки обзора Майкла с друзьями на заляпанных галактиками ступенях. К его удивлению, они как будто помогали бороться с пламенем.

В дальнем, северном конце объемного зала Майкл снова увидел бриллиантовую жабу на тележке – по крайней мере ее голову и плечи, поднимавшиеся над дымом. Бесценные щеки раздулись, как монгольфьеры, и с яростным выражением в кольце свинячьих глазенок оно обдало горящую стену великим фонтаном, так что в окружающих завихрениях мути зашипели новые потоки пара. Майкл, если честно, был не против поглядеть подольше, но тут мистер Азиил предложил возобновить подъем.

Они продолжали путь по рябам от звезд ступеням. Высоко посаженные окна Стройки над головой, которые в последний раз, когда Майкл был в этих краях, выглядывали в чистое синее небо, теперь светились угрюмым красным заревом. Встревоженный, он поднял взгляд на великую печать Стройки – рельефный диск с весами и свитком, – чтобы убедиться, что хотя бы он в порядке, и символ казался более-менее незатронутым. Майкл сам не понимал, почему целостность грубого рисунка так обнадеживала – разве что она говорила, что даже в этой суматохе и неразберихе Правосудие по-прежнему над Улицей.

Несколько утешившись, Майкл продолжил покорять высоту. Никто уже не цеплялся за чужие джемпера, когда стало видно, куда они идут, а Майкл старался не оказаться близко у внешнего края лестницы, где между ним и долгим падением на разбитые плиты внизу стояли только почерневшие обломки балясин. Наконец они достигли самого нижнего уровня здания, где располагалась тяжелая распашная дверь на балкон. У ныне обесцвеченного витража прочных ворот откололся нижний угол. Латунная пластина совершенно почернела от копоти, не считая нескольких пятен цвета сливочного масла, оставшихся от пальцев мистера Азиила, когда он

раскрыл дверь на балкон. Снаружи ворвалась стена воздуха, густого и теплого, как подлива, перехлестнула через зодчего и детей, отчего они заморгали и охнули. Все еще следуя за скорбным младшим англom, Мертвецки Мертвая Банда вышла через проем на некогда великолепные дороги Души.

Джон перекрестился, а Филлис застонала, как от боли. Реджи Котелок натянул шляпу покрепче и сплюнул призрачную флегму за остатки осмоленных перил. На лица детей и расщепленные доски у их ног напозло inferнальное сияние, словно от пыточной жаровни, прокралось в господствующую темноту. С выражением еще более меланхоличным, нежели обычно, мистер Азиил мягко повел призрачных детей по бесконечной площадке, направляя к участку с нетронутыми деревянными перилами, чтобы заглянуть в великий колодец астральной Мэйорхолд – арены, на которой мерились силами гигантские мастера в 1959 году. Лично Майклу смотреть не хотелось, и потому он сосредоточил внимание на верхних балконах, окружавших развернутую городскую площадь, высоко над адовым светом, окрашивающим снизу все.

Казалось, что на высоких мостках активности еще больше, чем на тлеющем полу Стройки. Англы совещались с дьяволами, поглядывая на Мэйорхолд. Рабочие бригады демонов перегаркивались приказами коробящими голосами – как у падальщиков или насекомых, но многократно усиленными. Но не толпились на балконах призрачные скопления зевак, как в предыдущий визит Майкла, а пара одиноких заблудших фантомов, попавшихся на глаза, казались испуганными или невменяемыми.

Он заметил пухлого мужчину в старомодной одежде с круглым розовым детским личиком, стоящего на противоположном балконе и распевającego нежным тенором поверх чирикающего и стрекочущего гомона трудящихся демонов старинный гимн. В бесконечно продолжающейся акустике Души разносилось каждое слово певца, несмотря на расстояние: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убою-усь зла...» Выражение одеревеневшего

человека, уставившегося в адское зарево, остро противоречило тексту песни. Казалось, он даже очень боялся зла. В другом месте на площадке Майкл видел стайку пожилых мужчин и женщин, которые хватались друг за друга, кричали, рыдали и умоляли о спасении. Из того, что все были голыми или облаченными в одно только перепачканное исподнее, Майкл заключил, что это люди, которым снится особенно скверный сон.

Но самой тяжелой встречей на балконах была встреча с одинокой фигурой на одном участке переходов с детьми – этого человека Майкл узнал моментально. Навстречу им с обугленного и полуразрушенного дальнего конца галереи шел рокочущий шар застывшего огня на ножках – взорвавшийся мужчина, появившийся на этом самом месте в прошлый раз, когда дети были здесь почти пятьдесят лет назад. Выглядел он точно так же, точно так же с трудом вышагивал на негнущихся ногах, словно наделал в штаны, среди того же осинового роя света и шрапнели. Замедленный и протяжный звук убившего его взрыва – удлинённый и раскатистый, вечно отдающийся вокруг блаженно распадающегося тела, – доносился даже через расстояние, отделявшее Майкла от ходячего разрыва бомбы: мелодичный гул, агрессивно рокочущий у нижнего порога слуха маленького мальчика. Высокий Джон рядом с Майклом тоже заметил привидение постоянного взрыва.

– Ой. Значит, и тот болван, который себя взорвал, тоже здесь. Если он идет по долготе Души, то, должно блесть, откуда-то отсюда он и выступил. Не скажу, что больно удивлен, если оглядеться по окрестностям. Раз в этом новом веке пожар горит в самой Душе, то чего странного, что живые готовы на такую чертову дурость? – Джон кивнул на того, о ком говорил и кто все еще находился вдали, медленно приближаясь.

– Судя по тому, что сказал Билл, они готовы взрываться, потому что верят, что окажутся в раю. Наверное, и я так в свое время думал, а то и все гансы, и все япошки. Мозгов не блесть, у всех нас. Будто мы можем стать кем-то лучше, чем сами себя сделаем при жизни.

Кем ты блесть живой, малек, тем и останешься навечно. Как этот измельченный безголовый герберт.

Джон положил руку на плечо малышу, отдернув пальцы, когда заметил, что касается обесцвеченных пятен, куда пролилась слюна бесноватого Сэма О'Дая. Высокий мальчик тихо подвел Майкла к обломку уцелевших перил, где с их четырьмя друзьями стоял опаленный зодчий с вечно несчастным видом.

– Пошли. Как я понял из того, что мне сказала Филл, пока мы ждали тебя с Биллом снаружи «Веселых курильщиков», мы привели тебя сюда, чтобы показать Деструктор. Давай уже скорее с этим покончим и вернем тебя домой.

Майклу вдруг стало страшно, и он отстранился от края площадки, панически запротестовал, глядя на решительно настроенного старшего мальчика.

– Но я с ним уже столкнулся, на Бранной улице. Он блесть как ночень стирашное колесо, дырмился и разламывал все в погрешок!

Целеустремленное лицо Джона разгладилось. Он судил о том, насколько испугался Майкл, по тому, как пошли вкривь и вкось все речевые навыки малыша при одном простом упоминании слова «Деструктор». Твердо, но все же с сочувствием он покачал головой.

– Нет, малек. Отсюда ты его еще не видел, а разница большая, можешь мне поверить. Понимаешь, на Банной улице в мире живых люди видят только последствия Деструктора – всяких там, ну, проституток. Выпивку, наркотики и драки – столько, сколько себя все помнят, хотя в эти времена все еще хуже. Когда ты с неприкаянными на призрачной стезе, то видишь его сам – по крайней мере его часть: очаг, большой темный вихрь, который и висел на Банной улице. А отсюда, из Души, открывается совсем другая картина. Теперь ты увидишь все целиком.

Двоица уже была ближе к друзьям и мистеру Азиилу. Филлис Пейнтер протянула руку и взяла Майкла под локоток.

– Слушь, оч важно, чтоб ты про это знал. Ты поймешь, как всё в мире блесть. Ты ж помнишь, как мы рассказывали про монаха, который приволок сюда крест из самого Иерусалима, чтоб обозначить центр земли? Так вот наш район блесть центр во всех смыслах. Он и в середке страны, и в середке духа страны. Тут начинались все большие религиозные перемены и бунты, тут кончались войны. Но самое важное – что он прям посреди... как ее бишь, Джон? Когда все части сходятся вместе?

– Структура.

– Структура, верняк. Боро – середина структуры Англии. Узел, на котором держится все полотно, если хочешь. И давно, када все это ищо понимали, знали в своем сердце, тада даже в дурные времена все держались за большую структуру, за полотно – оно блесть как сетка безопасности, которая всегда подхватит. Но потом пришло время – как по мне, так где-т в районе Первой мировой, – када все стало меняться. Народ стал забывать про то, что блесть важно писсят лет назад. Уже сомневались в Боге, короле и Отечестве, и тут же принялись сносить Боро, воротить от них нос. Смекаешь, к чему я веду? Эт блесть центр земли, структуры Англии, а они его – в труху. Поставили Деструктор, и многие годы в небо по трубе шло все говно Нортгемптона – пардонь за мой французский, – и вонючий дым стоял коромыслом от Графтонской улицы до Лошадиной Ярмарки. Он стал символом того, как народ видел Боро – даж мы сами, кто тут жил: помойка, куда попадают все отбросы. Если мя спросишь – всему виной неуважение. Вот почему у какого-то грязного дымохода столько силы в людских представлениях.

Здесь внес свою лепту мистер Азиил:

– Эсм тойр свермод сврольнш убанце.

Это есмь тор, есмь тайная фигура пространства и времени. Торы ограничивают необходимые дыры в ткани бытия, но расширение их чревато для всех. Тот, что похитил мое зубило, Снежок Верналл, узнал от отца своего, что дымоход суть тор. Вот отчего он провел столь много времени на крышах, приглядывая за inferнальными

созданиями, когда единственную истинную угрозу являла лишь одна труба на Банной улице.

Из пасти Мэйорхолд вырвался сноп искр, заплясавших вверх во тьму позади силуэта зодчего. Где-то ниже провалились доски. Майкл все еще пытался смотреть куда угодно, только не на вид за поручнем. Старики в нижнем белье еще жались хнычущей и стенающей кучкой морщинистого розового и нечесаного серого. Человек с младенческим лицом еще распевал все тот же гимн со слезами на глазах, с безумной решимостью не отрывая взгляда от огненного марева. Взрывающийся человек дальше на балконе как будто помедлил, чтобы насладиться видом – одно зрелище с уважением любовалось другим. Где-то поблизости – возможно, этажом выше, – команда демонических пожарных обсуждала логистику тех дьяволов, что имели крылья и облетали для рекогносцировки преисподнюю бывшей городской площади. Майкл тянул время.

– Дно ям не полномаю! Порчему стоныко блед всеро от огного дремогроба?

Джон вздохнул.

– Из-за того, чем он блесть и что значил, вот почему. Деструктор уничтожал не только мусор Нортгемптона, а все общество, посреди которого его построили. Чтобы уничтожить людские мечты и надежды на лучшее будущее для детей, нужен особый огонь, и его люди в живом мире не видят, даже когда он превращает в щебенку их дома, школы и поликлиники. И такой огонь нельзя затушить, если просто снести мусоросжигатель, от которого он разошелся. Когда Деструктор разрушили еще в тридцатых, его действие распространилось на мысли людей о Боро и о себе. Это особый пожар, и он горит в сердце всего. Наши привидения и воспоминания тлели в полумире, пока не запылала сама Душа. Она горит, малек. Рай горит. Иди и смотри сам, чтобы потом убраться отсюда.

Все еще не убежденный обещанием скорого выхода из ужасной ситуации, Майкл сдвинул тапочек к краю площадки. Он не знал, от

страха ли саднит горло или от гай-фоксовской гари в воздухе, но чуть ли не задышался.

– Даг, нам полицейский свистит.

– Катись он. Теперь ток проехать Йоркскую дорогу. Ты держись.

Почти у самых щербатых перил Майклу показалось, что поверх гомона дьяволов и истошного пения мужчины, голосящего один и тот же гимн, ему послышался мамин голос, но он понял, что это только мерещится. С Джоном и Филлис по бокам он подступил к короткому отрезку оставшейся балюстрады и опустил взгляд между покрытыми дегтем прутьями в ревуший, вращающийся зев Деструктора.

Это были песий хвост, прорва, прах – под, в и которым рано или поздно пойдет все. Это было то самое синее пламя, тот самый красный петух. В эту трубу назначен вылет, но и туда же ведут пути под откос, вымощенные благими намерениями. Это Другие. Это пух и прах, тартарары и навонтараты.

На щеках, лбу Майкла проступил розовый свет, а Мэйорхолд внизу была километровым полыхающим вихрем. Хуже того, как объяснил Джон, это был не обычный огонь, от которого закуривают сигарету или занимаются дома. Это была чистейшая и ужасающая поэзия огня, предававшая мораль, веру и человеческое счастье пламени, обращавшая хрупкие нити между людьми в пепел. Этот огонь раздувают приличиями, растапливают самоуважением и подкармливают любовью. Майкл взирал на искрящую и трещащую пропасть. По пылающим обломкам, обращающимся в магменном вареве, он понял, что оно пожирало не физическое, а лишь драгоценное топливо желаний, образов, идей и воспоминаний.

Словно кто-то собрал тысячу семейных альбомов с фотографиями под уголками, памятных моментов, когда-то и для кого-то важных, и в припадке тоски или ярости швырнул в печь. В вулканической круговерти, в черно-красной гуще лениво плавали расплавленные случаи и обугленные картины.

Он видел, как демонтажными домино падают друг на друга дома в террасах, как запутанные паутины джитти и объездов упрощаются до кубов многоквартирников, словно сортируются в гигантских картотеках. С дребезгом и визгом скатывались в бездну по дымному склону сотни наследных колясок. В подрумяненную тьму бесконечно валились все умершие питомцы, несметные птичьи клетки – пустые, если не считать помета и наждачки. Все пропавшие любимые игрушки. Девчонки, которые хотели стать медсестрами, гимнастками или кинозвездами, играли со скакалкой и с каждым прыжком старели в рабочих лошадок, в матерей по залету или в сетку для волос и лишние руки рядом с конвейером. Мальчишки, которые хотели стать футбольными героями, били, били и бились, так и не понимая, что все ворота закрыты, лишь нарисованы мелом на облезлых кирпичах. Со вздохом падали на щетинистые половики конверты с дурными вестями с фронта, банка или больницы. Отчаянный трактирщик на заднем дворе паба убивал молотком прохожую, а в начале улицы Алого Колодца устраивали шествия мужчины в черных рубахах с усами и бритыми черепами, выкрикивали лозунги и выкидывали руки как боги. Все горело и само не знало, что горело. Вот какие картины были в этом страшном последнем очаге.

Овечью улицу переломило напополам, ближний конец встал косогором почти на дыбы, а по нему сыпались пятьдесят лет Велопарадов. Девушки, одетые в фей и дребезжащие кружками для пожертвований, намеренно причудливые велосипеды с овальными колесами и мужчины, у которых головы из папье-маше с лепрозной облезшей покраской были больше их тел, – все они зашуршали по мусоропроводу в раззявленную домну Мэйорхолд и терялись навек.

За ними кувырнулся военный оркестр Бригады мальчиков с перкуссионным лязгом барабанов и цимбал, и лишь одинокий гlockеншпиль попытался провозвестить «Долгий путь до Типперэри», пока его не поглотил свет, гром, крах. По скошенным булыжникам скользили одиннадцатилетние мальчишки с мокрыми и пропахшими хлоркой волосами, с влажными багетами полотенец и плавками в портфелях, пытаюсь задержать падение. Ничто не в безопасности – чувство безопасности загорелось первым.

Нырнули вниз ряды мясников, цирюльников, бакалейщиков и лавок сладостей, а потом и целая церковь, напоминавшая ему церковь Святого Андрея. Майкл наблюдал, как она неумолимо скрежещет и съезжает к пылающей кромке, а потом опрокидывается: известняковые контрфорсы крошатся, проливаются в огненную бурю ливнем толченого витража и тлеющих псалтырей. Скамьи, все еще с крошечными людьми, пролились из рухнувшего здания через разбитые двери и окна, пали во всепожирающую смертоносную геенну, словно ненужная кукольная мебель. Глаза щипало, но Майкл все смотрел, как его собственный дом на дороге Святого Андрея с закрытыми гофрированной жестью окнами беспомощно погружается в зыбучий буйный бурьян, труба постепенно исчезает под пяточком дерна, который и сам сползал к пеклу забвения по перевернутой улице Алого Колодца. Кони, волочившее звенящие молоковозы, пытались отпрянуть и прядали ушами, нервно фыркали, роня дымящиеся волокнистые плюшки, полезные для роз, которые тут же сгребали в жестяные ведра чумазные детишки, летевшие за тягловыми по внезапному уклону. Все отправилось на костер, на чертову сковороду.

Майкл понимал, что в пепел обращался сам смысл, и не удивлялся, что многие из горящих и чернеющих сюжетов несли смысл только для него. Он видел, как его сухопарая бабуля Клара упала как подкошенная на солнечный кухонный пол – совсем не в красно-синюю плитку, как у них на дороге Святого Андрея. Он видел, как его бабка Мэй вцепилась в провисшую грудь, спотыкаясь в

коридоре современной квартирki где-то не на Зеленой улице, пытаюсь выбраться к двери и на свежий воздух, но завалилась ничком и околела. Он видел сотню других стариков и старух, расселенных из сносящихся домов, где они поднимали семьи; скинутых в далекие районы, где нет ни одного знакомого и которые отторгали трансплантат. Они десятками протягивали ноги на освещенных лестницах новых домов; в незнакомых квартирных туалетах; на невиданных паласах; на подушках в спальнях цвета магнолии, где они больше не могли проснуться. В огонь Мэйорхолд летели бесчисленные похороны и тайные подростковые романчики, и дружба разъехавшихся детей, разведенных по разным школам. Малыши начинали понимать, что вряд ли обвенчаются с одноклассниками, как мечтали. Вся соединительная ткань, все чувства и знакомства становились углями. Он заметил, что плачет, и плачет, наверное, уже давно.

В сменяющихся лавовых узорах адова кладезя он видел, что все это – все муки района – были, есть и будут напрасными. Упадок и нищета, присущие Боро, – это болезнь человеческого сердца, которую не излечить, если выкорчевывать старейшие и – естественно – построенные на века здания. Развеивать жильцов по ветру, пускать их по миру значит только разносить тоску и уныние в другие места – как тушить горящий ворох листьев электрическим вентилятором. Вот это распространение болезни Боро, знал Майкл, и было самым худшим во всей катастрофе. Майкл знал, как это случилось и чем это кончится. В хороводе вспыхнувшего хлама вокруг кошмарного слива астральной площади он видел и прошлое, и будущее.

В кабинетах эдвардианских зданий меняли точку зрения на бедноту зернистые депутаты и градостроители – считали их не людьми с проблемами, а самими проблемами, задачками на стоимость по математике, которые можно решить в столбик в грассбухах или в высотках в городе. Он видел синие плакаты с женским лицом. У женщины были брезгливые глаза, как у человека,

которому за тебя стыдно, но он не говорит это из вежливости, и нос, созданный для того, чтобы его задирать или воротить. Она снисходительно взирала с заборов на ландшафт, где множились зоны сноса, на Англию, распускаяшуюся по нитке от центра, пока почти все и везде не влезли в пьянство, безработицу и драки, прямо как Боро. Каждый регион начал скатываться по той же скользкой дорожке, что вела сюда – вела к гари, искрам и гибели. На плакатах менялись цвета задних фонов, а женское изображение сорвали, чтобы заменить мужскими, с натужными или неискренними улыбками, если они вообще умели улыбаться. Фонари расцвели шпионскими камерами, а названия пабов выродились в околесицу. Люди потрясали кулаками, потом ножами, потом пистолетами. Он видел деньги – шуршащие потоки синей, розовой и фиолетовой бумаги, истекающие из зарезанных бюджетов школ и убитой инфраструктуры. Он видел, как весь мир кружит по спирали в испепеляющую пасть Деструктора.

На дальней стороне площади, на одном из рядов как будто бы развернутого свадебного торта из уродливого бетона, снова завел свой гимн розоволицый. Где-то еще один за одним исчезали на глазах неодетые и плачущие пенсионеры, просыпаясь от дурных снов на влажных простынях палат или домов престарелых. Дальше на обвалившемся балконе, где устроились зодчий и фантомные дети, от своего созерцания падения Души оторвался ходячий шар света, шума и шрапнели и возобновил свою терпеливую поступь с уделанными штанами по переходу навстречу им, рыдая дымом, и летающие гвозди и клепки были ему нимбом. Пришло время уходить. Майкл увидел достаточно.

Они вернулись на Стройку через распашную дверь и спустились по резным брускам из небосвода, натягивая халаты или джемперы на носы задолго до того, как опять достигли уровня, где начинался дым. Над беспокойным океаном пара Майкл видел верхние половины самых крупных дьяволов, бредущих по дымным пучинам, чтобы атаковать пламя в северном конце. Нечто с головой и плечами

огромного верблюда – если бы верблюды были сделаны из грязной жвачки – плевалось на горящую северную стену вращающимися сгустками гиперводы. Снова собравшись в вереницу и повиснув на одежде призраков перед ними, Мертвецки Мертвая Банда дала мистеру Азиилу проводить их в душный саван.

– Вон она! Вона она, больничка! Скорее, Даг. Скорее.

Не сразу они добрались по расколотым и опустевшим без бесов плитам обратно до глюка в углу, где скорбный зодчий пожал им руки и простился, причем одно только его прощание заняло добрых пять минут. Банда пробралась через разрушающийся верхний этаж призрачного строения под Стройкой, затем аккуратно спустилась по залитым и разверстым нижним уровням рука об руку – так же, как поднималась. Все молчали. После Деструктора говорить было не о чем. Не успел Майкл и глазом моргнуть, как уже пролезал через секретный люк призрачной банды в затопленном полу фантомных руин на освещенную фонарями мостовую перед штабом Армии спасения на Башенной улице. Шестерка детей собралась на утопленной дорожке вместе с хвостами из близнецов, снова бесцветные и непахнущие на территории полумира, и ожидала команды Филлис.

– Ну все. Копаем обратно в 1959-й, чтоб подняться в Душу, када она еще не горит. Если Майкл должен вернуться в тело, то ток с Чердаков Дыхания, как и попал к нам. Никто не отлынивает, чтоб без волокиты, и смотрите – полегше, не влезьте по локоть в чертову призрачную бурю. Если доберемся до места сразу после того, как подрались мастера-зодчие, – блеснет в самый раз.

Сказано – сделано: они соскребли пятьдесят лет Мэйорхолд, пока не смогли пролезть в итоговую дыру в подвал газетной лавки с одинокой лампочкой, небогатым хозяином которой в родном часовом поясе Майкла был Гарри Трэслер. Они проскочили через американские приключенческие журналы и следующие за ними расфуфыренные и сладострастные горы, состоящие, скорее всего, из аккуратных нервных стопок Woman's Realm. Проплыв по лестнице и через тесную лавку, где что-то жарко и беззвучно обсуждали владелец с престарелой матерью, банда с преследующими их изображениями вылилась на пронзенную травой мостовую на границе Мэйорхолд.

Очевидно, после предыдущей оказии, когда они здесь побывали, прошло какое-то время, но не очень много. Городская площадь смертных все еще нежилась под солнцем, а мальчишки с лимонными монпансье, которых они видели в ссоре, похоже, помирились. Что до призрачной стежки, то и она как будто вернулась к подобию нормы. Сверхдождь кончился, оставив в щелях между валунами газированные фантомные лужи, невидимые живым, и, хотя ночнушкой Майкла еще игрались легкие порывы утихающего замогильного ветра, призрачная буря к этому времени уже прошла. Области визуальных искажений в виде катавших по округе линз, обозначавших присутствие дерущихся мастеров-зодчих в мире выше, пропали, как и два кровожадных привидения женщин, пытавшихся порвать друг друга на паутину перед «Зеленым драконом». Последним признаком плохого настроения, схватившего недавно Мэйорхолд, были два привидения еврейского вида, которые посмеивались и отряхивали ладони, выходя из общественного туалета на противоположной стороне площади, куда, как видел ранее Майкл, они заволокли одного из мужчин в черной рубашке из тех, что время от времени захаживали в эти места. За этим исключением, на перекрестке восьми улиц, однажды целиком составлявших древний город, стоял совершенно мирный день 1959

года. Филлис, приобняв Майкла за плечо, взяла ситуацию в свои руки.

– Ну, пора возвертать наш полковой символ домой. Пошлите через старую ратушу на Стройку, а оттуда напрямки через Чердаки до больнички.

Тут подала несколько раздраженный голос Утопшая Марджори:

– Филл, это же займет целую вечность. Ты сама знаешь, насколько Наверху все больше. Почему просто не пройти с ним по призрачной стежке, а потом подняться Наверх, когда доберемся до... а... А, точно. Поняла. Забудь, что я открывала рот.

Филлис кивнула, довольная подобием извинения со стороны Марджори.

– А я об чем? В больничке-то нет никакой лестницы Иакова, чтоб подняться Наверх. Знаю, придется долго шкандыбать по Душе, но деваться некуда.

Тут заговорил Билл, который стоял в сторонке и задумчиво рассматривал общественный туалет в начале Серебряной улицы.

– Нет, блесть куда. Я знаю, как добраться быстрее. Редж, ты со мной. А остальные – встречаемся Наверху ровно через пять минут.

На этом, схватив за рукав обалдевшего Реджи Котелка, Билл побежал по западной стороне Мэйорхолд прежде, чем Филлис успела запретить то, что он замыслил. Двое мальчишек уже свернули направо, исчезнув на верхней половине улицы Алого Колодца, где всего десять минут назад в 2006 году были утопленные дорожки Башенной улицы. Когда банда дошла до угла, за которым пропали их приятели, – угла, где стояли «Веселые курильщики» смертных, – Реджи и Билл уже прокопали узкую дыру во времени и протиснулись в нее. На дальней стороне отверстия они наспех заделали оставленную пробоину, набросав нити дня и ночи поперек проема, так что он исчез из реальности прежде, чем к нему подоспели Филлис с остальными.

– Ах он вредный оболтус! Ну погодите, када я доберусь до него и чертового Реджи! Будто нам и так дел мало, еще они удочки

смотрели. Ну и шут с ними. Без сопливых обойдемся, отведем Майкла домой. Валим.

Зло болтая нитью кроликов, она промаршировала по булыжникам улицы Алого Колодца к разрушенному зданию на углу напротив «Веселых курильщиков». Майкл, Джон и Марджори последовали за ней, отмахиваясь от выхлопных газов ее остаточных изображений, что лезли в лица. Майкл заметил, как Филлис нервно поглядывает через плечо на «Веселых курильщиков», словно так и ждала, что оттуда вырвется Мик Мэлоун или человек с ползучим лицом и проглотит ее.

Просочившись через заколоченную входную дверь забытой ратуши, квартет призрачных детей нашел место в том же состоянии, как когда они шли этим путем посмотреть на драку англов. Теми же солнечными ожогами висели со штукатурки обои, так же свернувшись лежала сарделька какашки в гнезде из бутылок «Дабл Даймонд». В 1959 году заброшенное строение все еще являло собой кирпичи на смазке, где через щели падал обычный солнечный свет и устилал засоренный пол сияющей шкурой зебры. Не было и следа затопленного фантомного здания, через которое они недавно поднимались и которое будет стоять здесь меньше чем через пятьдесят лет. Майкл поднялся с остальными по полуобвалившейся лестнице, радуясь, что им не пришлось снова ползти по коварной и отсыревшей стене, как паукам.

На верхнем этаже они прошли через плесневелый чулан в углу, где в серости призрачной стежки сквозь глюк над скрипучей лестницей Иакова рассыпались конфетти палевых оттенков – беглая краска, процедившаяся из верхнего мира. Банда гуськом начала подниматься по бесполезным узким ступенькам, становясь при этом розовыми, синими и оранжевыми, словно они были контурами из детской раскраски. Воздух вокруг налился звуками Души, будто саундтреком в последних пяти минутах фильма.

Когда дети поднялись в гулкий и оживленный зал Стройки, Майкл с удовольствием отметил, что он такой же, каким запомнился после

первого посещения. Всюду по семидесяти двум массивным плитам, где снова корчились красочные образы – демоны-узники вернулись в мостовую и переливались от зловредности, – суетились зодчие нижних чинов в рясах оттенков голубиных щек. Нигде не было англов с грязными лицами или гигантских бриллиантовых жаб, занятых на тушении огня, и не было дыма... по крайней мере, пока. Не будет еще лет сорок. У малыша душа была не на месте, стоило невольно вспомнить Деструктор; стоило подумать об этом каленом жернове, размалывающем в ничто дом, мир и бабушек Майкла, пожирая рай. Как это может быть? Как этот деловитый мир предприимчивости и порядка мог превратиться буквально в ад всего за несколько десятилетий – наверняка при возобновленной жизни самого Майкла? Как могут гореть небеса, если только это не конец света – всего через полсотни лет? Это тревожило Майкла больше всех страхов и уродов, на которых он насмотрелся на призрачной стежке, и ему не нравилось об этом думать.

Мертвецки Мертвая Банда проворно вплелась в сложную хореографию трудолюбивых зодчих, юркая в короткие зазоры в бесконечных процессиях серорясных тружеников, скача через многочисленные разбросанные книжицы «Добро пожаловать на Стройку», лежавшие по всему демоническому полу. Они направлялись не к южной стене с лестницей-небесницей и грубо нарисованной эмблемой на высоте, но к восточной стороне помещения, где, похоже, находился путь на уличный уровень, а не на высокие балконы. Как и выход наверх, это были распашные двери с витражными панелями, похожими на те, что встречаются в пабах. Они толкнули створки, и их омыл утренний ветерок Души, почти развеяв аромат зловонного шарфа их вожачки.

Наверху был славный денек, с запахом горелой почвы, что висит над летними улицами после грозы. На километровом просторе развернутой Мэйорхолд находилось множество ярко одетых привидений, возбужденно обсуждавших только что кончившуюся битву зодчих. Остальные духи между тем пытались сколоть золотые

фрагменты от твердых лужиц застывшего золота, расплескавшихся ослепительными пятнами по всей площади, в которых Майкл, к своему ужасу, узнал засохшую англовскую кровь. Очевидно, драка закончилась только что, и Майкл поймал себя на том, что вспоминает бойцов и думает, чем они занимаются теперь, – хотя откуда-то и так уже это знал.

Перед мысленным взором предстал беловолосый зодчий, который как раз сердито несется по балконам над Чердаками Дыхания с подбитым глазом и рассеченной губой. Он возвращается в трильярдный зал к прерванному удару, когда встретит на переходах над обширным пассажем сардонического Сэма О'Дая. Ровно в этот момент, знал Майкл, два извечных врага сталкиваются на переходе, пока где-то под ними он сам поднимает взгляд и думает, что это за дядьки. А если он попросит банду отвести его на Чердак прямо сейчас, чтобы встретиться с самим собой и другой Филлис, пока они переходят гигантский зал с дверями в полу? Только у него ничего не получится, ведь этого не было, верно?

С тремя призрачными друзьями Майкл пустился в путь по Мэйорхолду из мира Наверху – развернутому боксерскому рингу, где давеча сошлись два титанических зодчих. По небу – такому синему, что почти бирюзовому, – плыли белые облака, похожие на земных антиподов, за исключением того, что мраморные фигуры и лица на них были высечены не в пример изящней, узнаваемей: пингины, Уинстон Черчилль, тромбон, идеально вырезанные из воздушных сугробов.

Теперь мастер-англ недалеко от трильярда, его поступь отмечает ритмичное постукивание синеконечного посоха в руках, бьющего турняком через шаг по мостовой Души. Он встретится с темноволосым противником, что придет в клуб небожителей своим маршрутом, и две сиятельные сущности кивнут друг другу, не сказав ни слова, вернутся к разросшемуся столу для продолжения игры. Майкл так и видел переполненную солнечную систему шаров, случайным образом кучкующихся на широком зеленом сукне, так и

видел собственную гладкую полированную сферу, опасно зависшую, дрожащую на кромке лузы, украшенной черепом.

Призрачные дети прошли как будто едва ли сотую часть расстояния развернутой городской площади. Похоже, Билл был прав. Такими темпами дорога до больницы займет многие дни. Майкл уже совсем ушел мыслями к гигантскому игровому столу и удару, от которого зависело все, когда из-за спины раздался самый странный звук, что ему доводилось слышать, раскатный и отдающийся в усовершенствованной акустике Второго Боро. Словно разом задула в костяные трубы тысяча восточных монахов – а учитывая, где они находятся, Майкл испугался, что это тот самый глас, возвещающий Судный день, о котором как-то раз говорила бабуля. Звук повторился. Вместе с Филлис, Джоном и Марджори он обернулся и в изумлении выпучил глаза на то, что громыхало по площади к ним навстречу.

Это был какой-то слон. Он почему-то казался вполне естественным на фоне великолепно убранных оград и фасадов Души, расписанных цирковыми звездами и спиралями траекторий с ярмарочных автодромов.

Что бы это ни было, оно неслошь ошеломительным аллюром, легко прожигало расстояние между ними, вылетев ядром из высшей версии улицы Святого Андрея, периодически беспечно закидывало хобот и оглашало площадь пробирающим и возбуждающим боевым кличем, за которым тут же скакала лавой кавалерия эхо. Когда существо оказалось в пределах кристально ясного загробного зрения Майкла, он понял, что это не такой слон, каких он видел на плакатах. Для начала тот был вовсе даже не серым, а уютного бурого оттенка: то ли влез в гигантских размеров меховую шубу, то ли был покрыт слоем шерсти. Мысль, что на слона могли пошить костюм, казалась смехотворной, хотя Майкл был готов рассмотреть и ее, поскольку косматый зверь носил на черепе еще и чудной головной убор.

Но этот несоразмерно крошечный предмет при ближайшем рассмотрении оказался декоративным садовым гномом с рыбной удочкой. Затем, когда спустя несколько секунд бестия подвалила значительно ближе, оказалось, что на голове существа уселся Билл, сжимавший в руках кустарную удочку, тогда как прямо за ним не на смерть, а насмерть цеплялся Реджи Котелок. Помилуй Боро, это что еще за диво? И чей голос он только что слышал, обращавшийся к какому-то Дагу? Кто еще такой Даг?

– Разве нам сюда, Даг? Людей со срочным случаем принимают с главного входа?

– Примут, никуда не денутся. Открывай дверь со своей стороны, Дорин. Я оббегу и возьму его у ты...

Майкл снова что-то слышал. Он потрянул золотой головушкой, чтобы прочистить уши, как раз когда исполинский трубящий бегемот замедлился и затоптался на месте в каких-то пяти метрах.

Восседающая на маковке чудовища с прутиком, на котором висела связка Паковых Шляпок, Билл ухмыльнулся Майклу и остальным, пока из-за его плеча корчил рожи Реджи Котелок.

– Ну вот. Очуменно или как? Залазь и пригоним в больничку, не успеете и вякнуть!

Филлис отсутствующе уставилась на предположительного младшего брата, затем обвела равно отрешенным взглядом его скакуна, затем снова подняла глаза на Билла:

– Это что такое блесть?

Билл уже хотел ответить, когда за него это сделал Джон.

– Это шерстистый мамонт, Филл, а вернее, его привидение. Они же вымерли с доисторических времен. Где вы двое так скоро его

откопали?

Билл и Реджи теперь оба покатывались со смеху.

– Скоро? Скажешь тоже! Мы почти шесть месяцев выслеживали и дрессировали Мамми. Ты сам как-нить попробуй.

Отвечая, Билл позволил ручному на вид животному ухватить хоботом пару болтавшихся Паковых Шляпок, чтобы сорвать фейри-плоды с лески, на которой они были подвешены. Оно смачно зачавкало призрачными фруктами – по два-три за один присест, – роняя нитку эктоплазмы.

– Мы как ток от вас ушли, так сразу прокопались на пять минут в будущее и пошли в тубзадрон на углу Мэйорхолд на призрачной стежке.

Тут влез Реджи, не в силах сдерживаться.

– Как блесть, Марджори, смеху-то было! Мы увидали двух жидков, которые вышли из нужника довольные как Панч, и тут припомнили, что видали, как они заволокли туда малого в черной рубашке, покудова зодчие кулаками махали. Ну, мы с Биллом заходим, значит, а он лежит там с отбитыми боками да бритым жбаном в корыте у стены. Он, сталблесть, весь в слезах и соплях, а призрак, что живет в тамошних туалетах, – он ток стоит да шутики шутит над мужичком в черном. Ей-богу, ты б их видала.

Реджи к этому времени захлебывался от смеха, так что историю подхватил Билл.

– Ну и мы, короч, с Реджи, мы помогли чернорубашечнику встать и выжать призрачную мочу из штанины, пока он все трындел, что мы настоящие братские арийцы и все дела. Я уж ему не стал рассказывать, как наш папка закинул однажды Колина Джордана [\[84\]](#) в Тайн, – так уж мы поладили, что не хотелось портить. Мы с Реджи сказали, что подмогнем вернуться в его время, то бишь в тридцатые, где у чернорубашечников штаб на Мэйорхолд и ему блесть с кем поболтать.

Ну, прорылись мы в тридцатые, но када повстречали его дружков-фашистов, сказали, будто видели, что из туалета вышли два

довольных еврея, а внутри нашли этого типа за задушевной беседой с известным гомосексуалом. Они нас отблагодарили, а потом потащили его на свой задний двор мочить дальше, и мы с Реджем времени не теряли – стибрили сон или привидение их знамени Британского союза фашистов, а потом прокопались за несколько часов до нашей отправки в лечебницы, чтоб успеть первыми и собрать побольше Паковых Шляпок.

Майкл думал, что Филлис в этот момент озвереет, но она только переводила взгляд с Билла на жующего мамонта и редющую связку безумных яблочек, подвешенных, как в мифе о Тантале, над самой головой создания. Наконец на остром лисьем личике расплылась широкая улыбка, когда она поняла, что произошло.

– Ишь ты маленький плутишка. Хошь сказать, что собрал все Дженни, завернул во флаг и прокопался до самого...

Билл так и лопался от самодовольства – казалась, ему придется отрастить лишнюю голову, чтобы вместить ухмылку.

– ...до самого что ни на блесь ледникового периода. Ну и холодрыга же там. Отвечаю, сквозняком потянуло уже с третьего века до нашей эры, и чем дальше, тем хуже. В конце концов мы наткнулись на Мамми еще при жизни и дождались, пока она отбросит лыжи, чтоб задружиться с ее привидением, скормив мешок Паковых Шляпок. На это ушло почти все наше время там. А как узнали друг друга получше, повели Мамми через дыру во времени в 1959 год, а потом вытащили из призрачной стежки, чтоб она прокатила нас до больнички. Давай, залазь на борт. Отвечаю, у нас тут форменный Уипснейдский зоопарк.

Теперь уже улыбались все, особенно Майкл. Вот оно. Вот праздник, вечеринка, сюрприз, проводы, на которые он надеялся. Хихикая, Филлис, Майкл, Джон и Марджори пытались понять, как оседлать мамонта, наконец решив просто влезть по задним ногам, хватаясь за толстые клоки золотисто-коричневых волос. Мамми была не против. Ее маленькие глазки довольно моргали глубоко в завихрениях морщин глазниц, когда она ловко поймала с

болтающейся лески очередную Пакову Шляпку и слупила за милую душу. Та оказалась последней, и Билл передал удочку и пустую леску Реджи, который сидел сразу за ним на колючей гриве Мамми с наполовину полным фашистским мешком Бедламских Дженни на коленях. Сноровисто и умело – все-таки он практиковался шесть месяцев, – оборвыш в шляпе нанизал восемь-девять спелых призрачных фруктов в качестве наживки и вернул Биллу.

За время операции дозаправки четверо остальных детей-привидений расселись на доисторическом скакуне. Утопшая Марджори поднялась на спину мамонта первой, чтобы сидеть за Реджи, охватив его живот обеими руками, словно он взял ее покататься на заднем сиденье древнего волосатого мотоцикла. Майкл полез следующим, цепляясь за шерсть массивного призрака цвета тоста, притираясь щекой к пушку и упиваясь древним мускусом. Филлис прильнула к спине Майкла – ощущение приятное, но вонь отвратительная, – а Джон оказался ближе к хвосту и бережно поддерживал заправилу Мертвецки Мертвой Банды. Аромат вредительского ожерелья Филлис Пейнтер как будто совершенно не смущал Джона.

Все привидения на Мэйорхолд Души в этот сияющий синий день по большей части бросили свои дела, чтобы потешить себя видом мастодонта – грандиозной трехметровой особи с пятиметровыми бивнями, которая неожиданно оказалась среди них. Даже старатели, еще пытавшиеся отколупнуть драгоценный осколок свернувшейся крови англов с плоских лужиц, что были повсюду, отложили занятие, чтобы поглазеть на такую невидаль. Какой экстраординарный день, наверняка думали они, даже по экстраординарным стандартам, установленным Наверху. Сперва посреди развернутой городской площади вышибают друг из друга дух два колоссальных мастера-зодчих, а теперь вот что! И чего ждать дальше?

Удобно развалившись в доисторическом плюше, Майкл думал о Могучем Майке – своем тезке с еще более светлыми волосами, который в этот самый момент меряет шагами десятиметровые края

трильярдного стола, приглядываясь к углам и раздумывая на глазах серой толпы неприкаянных, буквально забывшей как дышать. С нервным тиком в уголке подбитого глаза он с чрезвычайной силой натирает кий кубиком мела, недрогнувшим взглядом взирая на белесый шар, зависший на волоске в углу черепа, пошатываясь на черной грани лузы. Этот белесый шар, конечно, представлял душу Майкла.

Мысли Майкл прервал внезапный рывок, чуть не сорвавший его с насеста на спине создания, из-за чего пришлось крепче вцепиться в ржавый мех. Билл хлопнул каблуками по мохнатым бокам и закинул удочку так, что гроздь Паковых Шляпок зависла в искусительных дюйме-другом от расправившейся гусеницы шерстистого хобота Мамми. Рыжий жокей огласил ошеломительную эхокамеру Души:

– Н-н-но, Мамми! Пошла-а-а!

И они тронулись. Великолепно заревев воздетым покачивающимся хоботом, мягкосердечный палеолитический атавизм пустился трусцой, а потом кентером, а потом галопом. Лохматые ноги – словно стойки для зонтов в виде слоновьих ног – затоптали по священной мостовой, хрустя золотыми струпьями, оставшимися после побоища зодчих, растрескивая бульонную патину затвердевших озероц тонкими паутинами керамического кракелюра. Все разноцветные фантомы и полуголые сновидцы, собравшиеся на астральной Мэйорхолд, улюлюкали и размахивали кепками и чепчиками. С многоэтажных веранд над головой радостно кричали мириады грез и призраков. Ритмично и ликующе притопывал у перил, наблюдая за ними, бритый великан в форме круглоголовых, которого Майклу называли Левеллером Томпсоном, а неземной красоты чернокожий ковбой, виденный раньше, празднично палил из шестизарядников в воздух как в копеечку.

Банда на чудесном скакуне гроыхала по развернувшемуся высшему суррогату Серебряной улицы – одной из восьми архаичных дорог, сходящихся на изначальной городской площади. Поскольку Душа построена на одних только снах, поэзии и шальных

ассоциациях, значительно расширившаяся улица была сделана целиком из серебра. Не более чем узкий проулок в мире смертных, здесь она стала полированной лентой серебряных камней, и в рыбьем оке горба каждого из слитков отражалась миниатюра скачущей Мамми с ее детским грузом, плещущей по лужам сверхдождя после недавнего ливня, отправляя брызги сложных капель скакать по канавам высшей пробы. С балконов из лунного металла, выходивших на возвышенный проспект, при виде знаменитой Мертвецки Мертвой Банды на прирученном мамонте гикали и рукоплескали призрачные обитатели Серебряной улицы из многих столетий.

Были там прелестно покрашенные геи из общественной уборной в нижнем конце улицы – многократно усовершенствованных Душой удобств с двадцатиметровой лоханью и бескрайним рядом кабинок белого мрамора. Разодетые в оборчатые, почти флуоресцирующие наряды, в которых они бы не посмели выйти при жизни, прелестные гомики ворковали и верещали, как райские птицы, и, когда Мамми шла мимо, один выкрикнул: «Мы любим тебя, Марджори», – продемонстрировав книгу в зелено-золотой обложке. Были там раввины из сгнувшей синагоги в верхнем конце проезда, где в материальном мире теперь стоял кирпичный куб с высокими окнами под названием Рыбный рынок. Еврейские священнослужители вежливо хлопали и согласно кивали, хотя Майкл и не знал, согласно с чем. Балкон за балконом призрачных ювелиров, прохожих, кабатчиков, тренеров дзюдо, ростовщиков, блистательных нищих и старомодных полицейских явились взглянуть, как временно мертвое дитя возвращали к жизни. Майкл крепко держался за мягкую роскошную шкуру Мамми и слегка побаивался такого внимания. Он и не представлял, что так знаменит. Он попытался было закопаться глубже в мускусный мех, но обнаружил, что там трудно дышать, прямо как когда он пытался зарыться под одеяла в морозные зимние ночи.

– ...мальца этой женщины. У него встала в горле конфета...

- Он не дышит. Все это время ни разочка не вздохнул!*
- О боже мой. Давайте его скорее сюда. Сестра, разыщите доктора Форбса и попросите поторопиться.*

Со старого проезда работников по металлу их Плейстоценовый Экспресс взял правее, на разверстную площадь, которая могла быть только нижним концом Овечьей улицы, но невероятно раздувшимся. Мамми снова сотрясла воздух гнусавыми фанфарами, проносясь мимо старинного величественного здания напротив въезда на Серебряную улицу – в нем, хоть оно и разрослось, Майкл признал академию, которую видел на дельфтских изразцах мистера Доддриджа. На ее воспаряющих террасах аплодировали молодые и пылкие студенты, выкрикивая одобрения на греческом и французском, латыни и иврите, празднуя и пуская ввысь бутылочные ракеты. На нижних уровнях благородного заведения терпеливо расставили сотню тысяч свечей, гласящих «КОРОЛЬ ГЕОРГ НЕ САМОЗВАНЕЦ» в обильных хорах гвоздичного пламени. Небо над головой окрашивалось в фиолетовый там, где хлопали или чирикали и рассыпали горячими снопами многоцветные искры на парад Мертвецки Мертвой Банды студенческие фейерверки.

Сидя за Майклом, пока они рысили по титаническому фантазму Овечьей улицы, Филлис перекричала у его уха грохотание пиротехники и неустанную барабанную дробь шагов их транспорта.

– Ток что подумала. Спроси нашего Билла, как они с Реджи заволокли эдакую махину в Душу. Ведь по лестнице Иакова и людям трудно залезть, как они исхитрились загнать туда Мамми?

Майкл послушно передал послание Марджори перед собой, которая донесла вопрос до Реджи перед ней. Реджи что-то сказал Марджори в ответ, и они оба захихикали, а потом та повернулась и заговорщицки шепнула Майклу.

– Они протолкнули Мамми через дно нашего логова на Нижней Хардингской улице. Похоже, разворотили всю землянку, так что на ее месте теперь только дыра размером с мамонта. Если ты скажешь Филлис, она взорвется. Просто передай, что Билл не может перекричать шум. Передай, чтобы спросила попозже.

Майкл с запинками повторил ложь во спасение для Филлис, которая подозрительно покосилась, но согласилась не поднимать вопрос в ближайшее время. И неслись они дальше по Овечьей улице в сторону Рыночной площади и Швецов. Вокруг неохватных, как древесные стволы, ног ручного великана малыш заметил плеск волн с буквально белыми барашками – с дороги прущей туши пытались отхлынуть овцы с цокотом и воплями дурниной. Майкл решил, что это часть поэзии Овечьей улицы, как серебряные фонари, стоки и брусчатка Серебряной улицы, которую оставила позади Мамми. Он только надеялся, что их не занесет на улицу Засады или Газовую.

Справа они миновали увеличенный Рыбный рынок – постройка со стеклянной крышей как-то сплавилась в единое здание с синагогой и таверной «Красный лев», которые занимали это место ранее. На рыбных лотках в блестках чешуи и влажных бликах подавали темное пиво малые с длинными каскадами кудрей из-под кип. Мужики в ослепительно-белых халатах и шляпах, с секачами и ножами вместо украшений, бубнили еврейские молитвы, разделявая сливочные, розоватые или ярко-желтые, как пикша, куски на лакированной барной стойке. Все вскидывали взгляды и улыбались или поднимали пенящиеся железные кружки, когда мимо прогарцевала призрачная банда.

Люди встречали на каждом шагу, когда они ворвались в огромный сон о Швецах, где на обеих сторонах крутой улицы были скроены из кожи в фантастических формах вздымающиеся дома. Над ними нависали дворцовые хоромы в виде башмаков и туфель и головокружительные шпили в виде дамских вечерних перчаток. Универмаг «Аднитт» стал безразмерным корсетом со множеством ликующих зрителей, рассеявшихся на швах верхних уровней и

выкрикивающих приветствия или поющих дифирамбы. Были там и зодчие низких званий в серых халатах, одновременно насыщенных всевозможными цветами, как грозовые тучи. Были и привидения в праздничных одеждах, бросавшие бумажные ленточки; и плюгавые полтергейсты, которые просто показывали большие пальцы и широкие улыбки. Женщины, мужчины и дети вышнего города выстроились вдоль улиц шумной толпой в сопровождении фантомных собак и дымных кошек, с призрачными попугайчиками, освободившимися из бранных клеток, и блестящими душами золотых рыбок, скользивших без тесных аквариумов и воды прямо в воздухе, выпучив глазенки и немо раскрывая рот, время от времени пуская в небо пузырик, уплывающий, как невесомая жемчужина.

Кто-то в толпе держал стяги, а другие – плакаты с теплыми напутствиями или просто именами любимых членов Мертвецки Мертвой Банды. Загробные девушки-подростки визжали и размахивали табличками с одним словом – «Джон», но свои последователи нашлись у всех шестерых детей. Майкла слегка задело, что на большинстве флагов и хлопающих лозунгов было написано «Марджори», но казалось, что следующим по популярности идет он, отчего он воспрял духом.

Из нижнего конца Швецов они пронеслись по орбите вокруг верси́и церкви Всех Святых, которая казалась больше Вавилонской башни. В верхнем мире у нее еще остался большой портик на толстых колоннах, только здесь он стал не меньше чем восемью чудовищными портиками, наставленными один на другой, возвышающимися многослойным монолитом коричневого и желтого известняка – потертое золото на фоне переменчивых синих и лиловых цветов небес. Под самыми высокими портиками столпились сотни зрителей и доброжелателей, присвистывающих и притоптывающих, когда мимо проскакало вымершее животное, а под широким простором самого нижнего свода стояло всего несколько привидений, словно эта ложа была зарезервирована для

особых гостей, знаменитостей или королевской семьи. Филлис за спиной наклонилась, чтобы зашептать Майклу на ухо:

– Вон стоит Джон Баньян, а дедок в алькове – эт сидит Джон Клэр. Там Томас Беккет, Сэмуэль Беккетт, а малый в конце, кажись, Джон Бэйлс, пуговщик, который дожил в наших краях до ста трицети лет. А так всё святые и писатели. Гля, как те машут. Помашешь им?

И он помахал. А когда они свернули на Георгианский ряд, благодарная публика на подоконниках и карнизах распухшего алебастрового суда бросала лавровые венки и пышные ожерелья воображаемых цветов, и некоторые зацепились за пугающие бивни Мамми, где красиво качались и шуршали в кристально ясном живительном воздухе мира Наверху. Вот в этот самый миг, знал Майкл, беловласый мастер-зодчий склоняется для решающего удара, целится вдоль пылающего жезла своего кия, закрыв почерневший глаз и оттягивая локоть. Игра стоила не свеч, а всего света.

На них сверху сыпались и лепестки, и серпантин, и даже совершенно неуместные женские трусики. Одни повисли на бивне Мамми бок о бок с венками и цветочными подношениями, но на них были вышиты маленькие маргаритки, так что они не выбивались из ансамбля.

Они топотали по улице Святого Эгидия – умопомрачительному бульвару, – и слева огромным и небоскрежным пирожным из камня теплых цветов, обросшим статуями, барельефами и геральдическими гербами, высился Гилдхолл – Гильхальда Души. Словно в замедленном действии разрывалась архитектурная бомба – из пустоты незыблемым гранитом распускались несметные исторические фигуры. Святые, Львиные Сердца, поэты и мертвые королевы взирали незрячей галькой ошкуренных глаз, а поверх них всех, словно маяк, стояли точеные контуры мастера-зодчего – Могучего Майка, местного покровителя. В одной руке великое изваяние держало щит, а в другой – трильямный кий. На его спине разворачивались крылья из резного стекла, накрывавшие большую

часть озаренного города, так что на несчетные парочки, как будто как раз сейчас женившиеся на многократно выросших ступенях Гилдхолла, падал зыбкий подводный свет. Прелестные невесты в девственно-белом или переливчато-зеленом, в накидках, вуалях или узорчатых мантильях бросали букеты и посылали воздушные поцелуи, когда мимо пролетала Мертвецки Мертвая Банда, любимцы всей загробной жизни.

И ах – гонка и гомон, льющиеся слава и свет омывали их, распалили их, были лучше сотен Паковых Шляпок. Они прогремели мимо облагороженного «Черного льва» – не паба на Лошадиной Ярмарке, где были мельком во время проделок во времена Кромвеля, а другого, с привидениями. Те высывались из умноженного числа верхних окон астральной харчевни, шумели деревянными трещотками и отправляли в полет воздушные шары полудюжины цветов – каждый с начертанным лицом одного из детей. Шары воспарили к опаловым пермутациям несравненного неба Души, и Майкл с удовлетворением отметил, что его лик написан на голубых.

Мороки «Черного льва», запустившие яркую легкую флотилию ввысь, знаменитые тени, вдвойне бессмертные благодаря вниманию со стороны множества расследователей сверхъестественного и неугомонных охотников на привидений, в общем были более старомодного и традиционного разлива – из тех призраков, что бывают книжках. Кто-то волочил цепи, а кто-то нес под мышкой головы, словно футболисты перед вводом мяча. Кто-то разорвал свои платья, чтобы обнажить голые ребра, в клетке которых билось алое сердце, тогда как другие – фантомы старого покроя – казались не более чем простынями или сквозняком. Все завывали и свистали, бросая проезжающим детям в качестве дани мистическую атрибутику: барабаны и трубы для сеансов, полотна скользкого муслина, отделенные руки с указующими перстами посыпались на полированные камни, где под мягкими тумбами мамонта расцветали обвинительные кровавые пятна – таинственные, нестираемые.

Мертвецки Мертвая Банда опрометью пронеслась однолошадной кавалькадой по улице Святого Эгидия, а Майкл пытался выжечь на синих глазах каждый пустяк. Он знал, что ему нельзя это забывать – никогда. Он должен крепко удержать внутри эти славные улицы, эти оравы празднующих призраков, и он знал, как важен для Души. Перед мысленным взором в монументальном трильярдном холле стояли мастера-зодчие, и беловласый защитник припал к сукну, поводя светящимся кием взад и вперед по подпорке расставленных пальцев в запинаящихся примерочных ударах. Гладкий лакированный жезл, смазанный потом, скользил по паутине кожаной подкладки между почти диаметрально растопыренными указательным и большим пальцами. Вся потенциальная сила и энергия, заключенная, сдерживаемая в робеющем кие и сосредоточенная на раскаленном досиня конце, гудела и горела, так и рвалась наружу.

Подняв хобот в гордом зове горна, Мамми понесла их по широкому простору Святого Эгидия туда, где он перетекал в Спенсеровский проспект перед медовым камнем зрелищной церкви Святого Эгидия. Верхние пределы зубчатого шпиля этого здания, чудовищно удесятерившегося, теперь терялись в изумительно высеченных облаках, гулявших над головой: морской конек и торт на день рождения; карта Италии; бюст королевы Виктории. На нижних пределах башни выступал внушительный каменный знак или эмблема, в форме рыбы, с женской фигурой в центре и словами «ПАСИ АГНЦЕВ». Кладбищенская трава кругом гиперцеркви стала саванной, из которой утесами надписанного мрамора росли нависающие обелиски и надгробия, а на самом высоком монументе отплясывал человек, которого Филлис, шепча Майклу из-за спины, назвала Робертом Брауном, основавшим движение диссентеров в тысяча пятисотых и сгинувшим в Нортгемптонском остроге восьмидесятилетним стариком, потому что не смог оплатить приходской налог. Вокруг духа Брауна шипел ореол запрещенных проповедей, жгущих глаголов и отлучений, пока танцующая фигура

паясничала, словно безмерно упиваясь пребыванием в диссентерских небесах, в первых рядах этого великолепного торжества. Все впадали в восторг, пока фантомные дети понукали призрачного мамонта к перекрестку Йоркской и Биллингской дорог, к бутовому колизею Городской больницы Души, растущему этаж за этажом эркерами и арками в эфирную дымку, висящую над городом.

Они свернули на перекрестке, пока карнавал дорожного движения Души попятился на других проездах, чтобы пропустить Мертвецки Мертвую Банду, – к шумной овации присоединилась гудящая пробка раскрашенных под таро домов на колесах, самоцветных фургонов и фестончатых паланкинов, где пассажиры и приодетые возничие размахивали аляповатыми вымпелами или зелено-золотистыми книжками, которые как будто были у всех и каждого на небесах.

На противоположном углу распутья возвышался бюст Георга Четвертого – большой, как рашморская голова: монарх со слегка насупленным недоумением как будто рассматривал банду непосед, пустившихся к нему во весь опор из устья Спенсеровского проспекта на беседелном шерстистом мамонте. Высоко на лысом мраморном плато черепа короля Георга стояли три человека, в которых Майкл узнал доктора Филипа Доддриджа, его жену Мерси и взрослую дочь Тетси, умершую за несколько дней до своего пятого дня рождения. Все лучились улыбками шестерым детям и их транспорту времен каменного века и махали накрахмаленными платочками. Подле семьи на королевской голове стоял четвертый, весельчак с лихой осанкой, знакомый Майклу по движущимся картинкам на очаге Доддриджей. Это был бедокур Джон Стонхаус, который ударился в религию, услышав речь преподобного доктора, и стал его ближайшим другом, а также основал с ним первую лечебницу за пределами Лондона – на Георгианском ряду. Сложив это в уме, Майкл понял, что здесь делают Стонхаус и Доддриджи: этой больницы – второй и более объемной итерации старой лечебницы – не существовало бы, если бы не два человека, стоявшие над ним. Доддридж взволнованно окликнул банду, когда Мамми обошла

августейшую главу и нырнула в арку соборных пропорций слева под ногами доктора.

– Разве не грандиозно? Все читали ваш шедевр, мисс Дрисколл. Вот почему на вас пришла взглянуть такая публика. Все желают побывать в последней сцене двенадцатой главы! Да блесть с тобой Бог, Майкл Уоррен, на дикой скачке обратно к жизни! Да блесть с вами всеми Бог!

Они галопировали в арку и в бесконечный зал, который очень напомнил Майклу Чердаки Дыхания, какими он их увидел, когда впервые прибыл Наверх, только выложенный поблескивающим кафелем, а не досками, и звонкий, словно исполинский общественный туалет или баня. Все еще озадаченный словами преподобного доктора Доддриджа, Майкл толкнул Марджори, сидевшую перед ним, и спросил, кто такая мисс Дрисколл. Та фыркнула и сказала: «Я», – но он все равно ничего не понял. В шорохе и эхе гулкой лечебницы он слышал перешептывание миллионов нервных голосов.

– Итак, что у вас?

– Этот мальчик задохнулся, доктор. Они только что...

– Он задохся от конфекты от кашля. Он все время не дышал. Он что, умер?

– Ну-ка, успокойтесь. Давайте посмотрим...

Майкла подбрасывало на холке Мамми – приходилось держаться изо всех сил, поскольку она испытывала трудности на кафельном полу масштабного холла: ее копыта разъезжались по полированному блеску, а перевернутое отражение мамонтихи пыталось угнаться за ней на катке скользкого фарфора. Вокруг, прямо как на Чердаках

Дыхания, в пол были врезаны окноподобные отверстия – пестрящая в глазах сетка, доходившая до многоэтажных стен пассажа по бокам. Над головой за широким стеклянным балдахином, на фоне безупречной лазури, плыли и меняли форму паутины линий с кристальными гранями – схемы облаков. Он не сомневался, что это всего лишь отделение Чердаков над больницей, а поле люков открывалось на земные палаты и операционные внизу. Когда их скакун вошел в неудержимый и трубящий занос, который уже не мог прервать, Майкл почувствовал, как по всему его телу отдался резкий шок, и понял, что где-то в трильярдном зале мастер-зодчий нанес удар. Голубой кулачок набойки кия ударил по нужному шару, чтобы он взвизгнул с хвостом из перловых бус остаточных изображений по заставленному столу. Майкл почти чувствовал его вращение и качение в неуправляемой траектории Мамми по блестящему полу. Он вошел в игру и теперь уже ничего не мог поделать.

Наконец их карамболь прервался всего в десятке ярдов от одного из огромных половых проемов в выложенной белой плиткой раме, словно приподнятый край бассейна. Вокруг этого отверстия собралась группа из без малого пятнадцати человек – возможно, ранее отошедшие родственники, ожидавшие ныне умирающего в земной больнице внизу. Они с тревогой смотрели, как Мамми насилу остановилась, а с ее спины на коварную глазурь кубарем скатилось полдюжины заливающих смехом сорванцов. Майкл вполне мог понять пугливые взгляды участников посмертного приема, когда подсчитал, что пройди их первобытная бурка всего чуть дальше, то умерший родственник этих людей пытался бы подняться в рай, когда ему навстречу бултыхнулся бы мохнатый слон. Кому такого захочется.

С трудом поднимаясь на ноги и помогая с тем же мамонтихе, Мертвецки Мертвая Банда принялась обыскивать ряды облицованных плиткой дверей в полу, чтобы найти время и место, куда принесли бездыханное тело Майкла. Повсюду в бескрайней эхокамере гипербольницы стоял запах чистоты и свежести, в

котором Майкл через несколько минут распознал самый обыкновенный резковатый дезинфектант, распустившийся в новом измерении. От горизонта до горизонта этого великого помещения надо всем висела почти церковная благоговейная тишь, а вдали он видел крымских медсестер в чепчиках и черных юбках, совещающихся с персоналом не таких давних лет – в высоких белых шапочках и синих чулках. Были и другие посетители, пришедшие поприветствовать усопших друзей и родственников, – иногда в комитетах по тридцать человек, иногда в одиночестве, – и Майкл заметил даже пару смертоведок, торопившихся по вечным проходам по своим делам жизни и смерти. А внизу, в трильярдном салоне, чувствовал он, стронутый шар стремглав несется к символизировавшему Майкла шару из слоновьей кости, зависшему на окаемке лузы смерти. Вздох неприкаянных, замороженных игрой, слился с неумолчным бормотанием сверхъестественной лечебницы вокруг. Шепот, шепот, шепот.

– ...боже! У него же самый худший случай ангины, что я видел. Подайте-ка зажим для языка, чтобы я...

Забвенье Майкла прервал окрик Реджи Котелка, который принял на себя Мамми и подкармливал домашнюю мамонтиху Паковыми Шляпками, пока вел ее по широким кафельным тропам клеточного пола.

– Филл? Кажись, вот она где, приемная. Сюда его, верно, и принесли. Поди глянь, вдруг шкет кого признает.

Все послушно подошли туда, где Реджи и его лохматый друг стояли перед одним из десятиметровых отверстий в полу. Наклонившись над приподнятыми плитками края, банда

всмотрелась в мир живых под ногами, где завязались в сложный узел неподвижные и налитые цветом прозрачные кораллы – целый зоопарк из стеклянных фигурок животных, зависший в жележном кубике времени.

Майкл вгляделся в самоцветник, в маету, в двадцать пять тысяч ночей. Пространство внизу казалось такого же размера, как его гостиная на дороге Святого Андрея, когда он увидел ее с Чердаков Дыхания – то ли целые недели Души, то ли всего десять земных минут назад. Похоже, он видел какой-то врачебный кабинет или маленькую боковую комнату у больничной приемной. В холодцовых пучинах переплелись четыре – нет, пять – отчетливых форм, и с внезапным приливом радости ребенок определил, что одна из растянутых фигур – его мамка, Дорин. Он узнал ее по нежному зеленому свечению, исходящему изнутри, – не показному изумрудному, а сердечному, глубокому зеленому, какой можно увидеть на горлышке кряквы. С Дорин в комнате было еще четыре раскидистых драгоценных жилы, их струящиеся траектории хитрым образом пересекались или сливались с ее собственной. У одной из удлиненных просвечивающих статуй внутри было насыщенное сияние земляного цвета, из-за которого Майкл без видимых причин подумал о добром мистере Макгири, жившем по соседству на дороге Святого Андрея, хотя мальчик и сам не знал, что мистеру Макгири делать в больнице рядом с его мамкой.

Остальные три самоцветных узора в земной комнате скучились отдельно. Один отличался спокойным синим цветом, как газовый венчик, – его призрачный ребенок принял за врача, – а другой – красноватый вырост кристаллов – наверняка был медсестрой. У этой румяной формации у извивающихся боков клубились прозрачные рюши из рук, и последняя их пара сцепилась на конце выжатой из тюбика гусеницы так, словно она держала что-то на уровне груди – там, где из фасада абстрактной фигуры выпирал бюст, а выше – пухлое материнское лицо, отлитые из розового стекла. Последняя самоцветная фигура, меньше всех остальных и бледного,

безжизненно-серого цвета, лежала в слиянии рук-плавников, прижатая к сердцу рдеющей вычуры. Майкл с испугом осознал, что это он – это бесцветная стеклянная морская звезда в сердце скульптурной группы. Это его человеческое тельце. Высокая синяя конструкция, изогнувшаяся над ним волной, как будто бы тыкала чем-то в крошечное отверстие на верхнем конце коралла-Майкла.

– ...же вижу. А ну вылезай, зараза такая. Ага! Почти. Еще чуть-чуть...

Его горло саднило, но наверняка потому, что сейчас ему предстояло прощаться со всеми друзьями – он иногда ощущал этот жаркий комок, когда кто-нибудь уходил. Майкл отстранился от проема и отвернулся, чтобы сесть на приподнятом бортике, откинув ноги в тапочках, пока его окружала Мертвецки Мертвая Банда с собственным мамонтом и тепло улыбалась. Ну, мамонт, конечно, не улыбался, но все же и не прожигал его взглядом с обиженным видом. Филлис присела рядом на корточки, чтобы быть на одном с Майклом уровне, и взяла его за руку.

– Ну че, друг мой ситный, вот те и все. Пора возвратиться туда, где те и место, – обратно в жизнь к мамке, папке и сестрице. Блестешь по нас скучать?

Тут он немножко зашмыгал, но просморкался в ночнушку и взял себя в руки. Майклу было почти четыре, и он не хотел, чтобы старшие мертвые ребята приняли его за малое дитя.

– Да. Я блесть очень сильно скучать. Я хочу попрощаться с вами всеми.

Один за другим члены банды подходили и вставали на колени и корточки рядом с Филлис, чтобы проститься. Реджи Котелок был

первым – он снял шляпу, когда присел, словно в церкви или на похоронах.

– Ну, прощевай, малой. Слухайся мамку с папкой, а ежели папка угодит в холодную, а мамка кинется в окошко спальни, не ходи спать в ящике, особливо када зима. Вот и все, что я знаю о жизни. Счастливо тебе.

Реджи выпрямился и вернулся к мамонтихе, которая довольно перемалывала жвачку из Паковых Шляпок. Место Реджи заняла Марджори, встав на колени перед Майклом с глазами, плавающими в литровых банках ее очков, как головастики.

– Береги себя, хорошо? Похоже, из тебя выйдет самый любимый персонаж в самой любимой главе. Вот мы и раскрыли Загадку Духа Задушенного Малыша, так что глава подходит к концу. Постарайся не попасть под машину через два года, а то все испортишь и мне придется переписывать. Но когда умрешь от старости или еще чего и вернешься сюда, не забудь поискать нас. Соберемся для второй части.

Марджори поцеловала Майкла в горящую щеку и отошла к Реджи. Майкл не понял ни единого слова, но все равно чувствовал, что они шли от чистого сердца. Следующим в очереди был Билл. Немногим выше самого Майкла в его нынешнем виде, рыжеволосый пройдоха не стал приседать, а только пожал свободную ладошку малыша в сорочке – ту, которую не держала Филлис.

– Покеда, пацан. Передавай от нас привет Альме, когда повидашь чеканушку, ну и, видать, мы еще встретимся лет через сорок, внизу, когда не узнаем друг друга. Ты парень не промах. Приятно блесть знаться.

За Биллом подошел большой Джон – такой высокий, что ему пришлось едва ли не распластаться, чтобы заглянуть Майклу в глаза, но при этом он так улыбался, что было ясно – он и не против.

– Ну, значит, до свидания, малёк. Передавай мою любовь папе, бабке и всем дядям и тетям. И скажи мне напоследок: твой папа Томми когда-нибудь рассказывал про своего брата Джека?

Сбитый с толку неожиданным именем, Майкл кивнул:

– Кажется, его убили на войне. Папа о нем все время рассказывает.

Джон улыбнулся с непомерно довольным видом.

– Это хорошо. Это приятно слышать. Хорошей тебе жизни, Майкл. Ты ее заслуживаешь.

Поднявшись, Джон встал с друзьями, и осталась только Филлис, присевшая перед ним с болтающимися кроличьими лапками и мордочками, с расцарапанными коленками, остро торчащими из-под подола голубой юбки.

– До свидания, Майкл. И если б мы встретились где-нить в другой жизни или в другое время, я б с радостью стала те подружкой. Ты красавчик хоть куда. Ты на вид не хуже Джона, а это уже ого-го. А теперь давай к семье, и постарайся не забыть все, что у нас узнал.

Малыш хмуро кивнул, когда Филлис мягко отняла свою руку от его.

– Постараюсь. А вы заботьтесь друг о друге и не заводите столько врагов. Я расстроюсь, если до вас кто-нибудь доберется. И Филлис, присматривай за своим младшим братом и не ругай его все время, как Альма ругает меня.

Филлис на миг растерялась, а потом рассмеялась:

– Младшим братцем? Эт Биллом, что ль? Бог с тобой, никакой он мне не брат. Ну все, дуй домой, пока не явился эт самый дьявол или еще че не нарисовалось.

Филлис положила руки ему на плечи и наклонилась, поцеловала в губы. Она отодвинулась на миг, озоровато улыбаясь Майклу после их первого и последнего поцелуя, а потом толкнула его назад, в дыру, прежде чем он успел даже пискнуть.

В трильярдном зале биток так крепко врезался в шар, представлявший Майкла, что тут же рассыпался в порошок. Шар Майкла пролетел над зияющей лузой черепа, вращаясь в пустом пространстве над темной гибельной пропастью, и он умер – умер на десять минут, пока его баюкала плачущая мать в овощном

грузовичке, дребезжащем на всех парах через город к больнице, умер на десять минут, зависнув в пустоте, а потом бац! Его шар бьется о внутренний борт угловой лузы, отлетает назад над бездной и скользит по сукну с остаточными образами позади, направляясь в лузу с золотым крестом, и вот он снова жив, и все мужчины в белых рубищах вокруг массивного стола – даже темноволосый, который и учинил столько неприятностей, – все до единого вскидывают руки в ослепительных перьевых веерах и кричат «Да-а-а-а!», и фантомы и неприкаянные вокруг как сходят с ума.

Майкл упал навзничь с беззвучным всплеском в кисель времени, кувыркался в вязких секундах прочь от шести маленьких фигурок, стоявших и машущих на каком-то вывернутом углу над ним. С отчаянием он осознал, что уже забыл все их имена, этих чумазных угловых фейри. Ведь они так называются? Или они называются львами, или генералами, или капустой? Он не знал, он уже ничего не знал. Даже не был уверен, кто он сам, за тем исключением, что он нечто со множеством клетчатых рук и ног и оставляет за собой в густом часовом масле брэнного мира ярко-желтый след – он только надеялся, что не описался. Вниз, вниз и еще ниже, а в углу над головой были маленькие создания – насекомые или дрессированные мышки, махавшие ему на прощание. Его обернули долгими гудящими лентами растянутые звуки, а потом что-то случилось – звук, вспышка или удар, – и он упал в мешок из мяса и костей, комок твердого вещества, который каким-то образом был им самим, а у него во рту шуровали чьи-то пальцы, а по горлу засвистел длинным порывом ветер, словно шаркнув наждаком, и он вспомнил боль, вспомнил, какая эта гадкая и обидная штука, – но больше ничего. Как его зовут? Где он и что за женщина его держит, и почему всё на вкус как вишневые драже от кашля? А потом вокруг маленького мальчика поднялся знакомый плоский мир, и он забыл все чудеса.

Когда Майкл проснулся по-настоящему, то есть на следующий день, в горлышке было что-то неладно, и ему сказали, что у него

вырезали гланды, но он совсем не расстроился, потому что даже и не подозревал, что они у него такие есть. В конце недели приехали на такси папка с мамкой и забрали его домой на дорогу Святого Андрея, где над ним все хлопотали и угощали желе и мороженым. Той ночью он лег спать, а наутро начал расти в сорокадевятилетнего красавца с женой и собственными детьми, который каждое утро вставал и шел плющить стальные баки, чтобы заработать на хлеб с маслом. Однажды он колотил по баку, на котором неизвестно почему не было этикетки. Ослепленный выбросом химикатов, он ударился и потерял сознание, и очнулся с головой, забитой невозможными идеями, и пересказал их своей сестре-художнице, когда они однажды вечером сидели в пустом «Золотом льве». Естественно, он сохранил в памяти не все подробности потусторонних приключений, но Альма заверила, что если он какие и забыл, то это нестрашно.

Она просто придумает их сама.

Книга третья

Дознание Верналлов

И вот Бессо покинул наш странный мир вперед меня. Это ничего не значит. Люди вроде нас, кто верит в физику, знают, что разница между прошлым, настоящим и будущим – лишь упрямая иллюзия.

Альберт Эйнштейн. Из письма Веро и Биче Бессо, 21 марта 1955



Тучи раскрываются

Всегда сейчас, всегда здесь и всегда я: это мир для вас.

Сейчас всегда, здесь всегда и я всегда: это мир для меня.

Сейчас. Здесь. Я.

Сейчас всегда, даже когда тогда. Здесь всегда, даже когда там. Я всегда, даже когда я – вы; даже когда я в аду и пал, когда я тысяча бесов. Они складываются в вас. Вы складываетесь в нас. Мы складываемся в Него.

Вам придется очень тяжело.

* * *

Над пространством, над историей, паря на нисходящем ветру над геноцидом и утопией. Вуууух. Вууууух. Вууууух. Дыхание через трещотку белых перьев летит к добросовестным трусам, отказникам крови. Вууууух. Вууууух. Вууууух.

Видеть все и быть всем, без отстранения, без остранения. Жалеть вас и восхищаться вами, в бесконечном гневе, в бесконечной любви. Освенцим и Рембрандт в одном. Вууууух. Вууууух. Вууууух.

Вид отсюда бушующий. Вид отсюда последний.

Сверху мир – изумительная освежеванная анатомия. Неподвижный на секционном столе из звезд, он не движется, не меняется, не растет – разве что в своем скрытом направлении. Горящий газ и испаряющаяся руда скатываются в расплавленные шарики, магма прирастает тонкой черной кожурой элементов, и в жаре и отраве уже сейчас есть жизнь – микробиологическое кипение в цианистых течениях и водородных лужицах.

Читай космос слева направо, от взрыва до хлопка, от микроба до червя, блестящего киборга и далее, – и тканый гобелен расплетается, реорганизуется в новые узоры. Меняет цвет мрамор облаков. Приблизься, как бесстрастный врач, – и увидишь пестрое планетарное мясо под сдвинутой в пышных и жирных складках кожей обстоятельств. Отращивают хребты черви, оперяются тритоны. Меняются автобусные маршруты и закрываются почты. Совершенно затвердев, цельная короста ссадины сходит с колена, обнажая розовую нежность.

Я знаю, что я лишь текст из черных слов. Я знаю, что ты смотришь на меня. Я знаю тебя и знаю твою бабушку. Я знаю дальние побегии твоего рода, что читали меня сотню лет назад, читают сейчас, слева направо, от Бытия до Откровения. Сифилис и Малер в спиральной дуге, маршруте на посадку.

Вуууух. Вуууух. Вуууух.

* * *

В начале аз есмь черное слово на ослепительно белом, аз есмь смысл, марающий неизъяснимое. Вся моя личность – этот квадратный сгиб, этот угол, в котором меня с тремя братьями сложили из сингулярности. У каждого из нас свои девяносто шагов, золотых градусов нашего сознания, нашего царства. У каждого из нас своя вершина фигуры, своя луза. У каждого из нас своя стихия для трудов и свое направление ветра. Се наши гвозди, се наши молоты – пожар, потоп, ураган и лавина. Мы сильная рука в ядерной вспышке, слабая рука в распаде изотопа. Мы рука, что раздражается молниями, и рука, что мечет на землю и яблоко, и суицид. Четыре мастера-зодчих, мы несем жезлы и мы несем меры. Мы гвоздодеры творения. Мы улыбаемся в гуле и гармонии прежде начала мира.

Здесь аз есмь солдат при Падении, мой посох скользкий от ихора павших, которых мы загоняем в нижнюю геометрию, в ады материи и чувства, в пыточные катакомбы интеллекта, в омуты желчи и тоски. Мы любим их, и мы рыдаем, когда гоним их и попираем их из математической нужды. Тридцатисекундный дух, могучий дух, ползет ко мне по насадившему его древку кия, кашляя кровью

логарифмов. В красном его оке надругательство, в зеленом – убийство. Алгебра изливается из пробитой груди, и он поносит меня: «Брат! Мой товарищ зодчий! Зачем вы так поступаете с нами, когда мы лишь ваши неразвернувшиеся листья? Самую суть свою втоптываете вы во тьму, в грязь земную!» Истину речет он. Я поднимаю босу ногу и упираюсь в него, спихиваю кровавую массу со скользкого копья, сбрасываю с голубого наконечника в пропасть звезд, календарей и денег, в форму, страсть и раскаяние. Вкруг меня на сем небосводе резни, в сем побоище облаков вечно бушуют мучительные войны, и изувеченные джинны как саранча проливаются на иссушенные поля, где мы посеяли вселенную.

Теперь на просторном плато знаков и символов, где быть воздвигнута Ерусалиму, где быть воздвигнута Голгонуце, Душе и прочим высшим градам, аз есмь склонён в беседе с легендарным Соломоном. Речь моя бьется о его кожаную щеку. От наших пылающих очертаний слоятся хлопья мифологии, и я дарю ему кольцо – святой тор, дабы обратить оным все камни преткновения, всех диаволов на возведение храма его. От этого быть лишь вреду: Ерусалим, Душа, здесь сам очаг Войны, – ибо в камнях их, в архитектуре их кишат кишмя демоны. Аз есмь лишь зодчий. Что с меня, когда руины и разрушения предписаны в чертеже?

А на Голгофе теперь я касаюсь отягощенного от испарины рукава Петра, что звался Эгбертом, велю ему понести каменный крест,

торчащий из сухой земли у ног его; установить в центре земли его. Я делаю шаг. Мы на Подковной улице, и он на год старше, умирает среди чудес; умирает среди голубей и дождя. Все линии точны. Место отмечено. Руд в стене.

*А в Теннесси хватаю я за руку богача,
Черчу за свитком треугольник для его клейма.*

На платформе в соборе кричит и рыдает Эрнест Верналл. Огонь горит в его власах и оставляет белый пепл, когда он испытывает удар взорвавшегося знания. Внемлет моим устам, что двигаются на фреске. Он повергается ниц среди банок и склянок, и я помню случай, когда аз есмь он, помню, как страшно видеть мои гигантские вежды, смыкающиеся на древнем слое краски; как уморительно я объясняю форму времени и свожу с ума дымоходами. Раскат грома под куполом – мои юбки звука и электричества. Я есмь зодчий, и я вбиваю в него слова и цифры, чтобы дети его считали другой арифметикой и танцевали под иную музыку. А теперь Эрнест в Бедламе. Я сижу подле его больничной койки с покрывалами, помеченными высохшим дерьмом бреда, и я жду, когда он начнет говорить, а не только смотреть на меня и плакать.

Очи мои вырезал Р. Л. Болтон из Челтенхэма. Над Гилдхоллской дорогой, Георгианским рядом и Ангельским переулком взираю я на юг, не мигая. Щит в шуйце моей, трильярдный кий в деснице моей. Подле стоит старший сын Эрнеста Верналла, закинув одну руку на крылатые лопатки в смущающем панибратстве, разглагольствуя пред толпой зевак под нами. Даже когда я обращаю к нему гранитную главу и шепчу, он лишь смеется и словно бы не страшится – так оторван от человечества, так далек от привычек улицы. Его трагедии мнятся ему лишь театром: поставленными сценами из любимой мелодрамы, что все так же выжимает слезу с каждым новым просмотром, хотя опыт эстетический, а слезы – не более чем от искреннего наслаждения спектаклем. В моем окаменелом взоре

разыгрываются его последние сцены меж зеркалами: финальная линия хора брыкающихся, содрогающихся стариков с лепестками в бородах. Ах, безумный Джон Верналл, яростный Снежок; когда аз есмь ты, мне почти что страшно.

Аз есмь во всех своих образах. Я смотрю на вас чрез миллиард рождественских открыток.

Мэй Верналл выползает голой в ламбетскую канаву, забитую рыбьими головами, радугами, сырым расцветом. Голой она сношается на травянистом плече реки на Коровьем Лужке. Охи удовольствия раскладываются в ахи деторождения, а зеленый бережок, влажный от пролитого звездного света, становится узкой клетью первого этажа, пропахшей сожженными в очаге экскрементами – подношением зимним духам, что забили уборную льдом. Над ней в белом фартуке, где на подоле роятся вышитые мошки, склонилась смертоведка. Он принимает красавицу новорожденную из зияющего и истерзанного родового канала матери, несет через восемнадцать месяцев и несколько ступеней в зернистый свет переднего зала. Здесь аккуратно кладет в гробик, и Мэй Уоррен расчесывает золотые волосы, что выросли у ее дитятки в краткий срок от жилой комнаты до этой комнаты – смертной. Врывается жизнь, уносит Мэй к новому материнству и ночным налетам, стропальщикам трупов и чумным телегам, кухням-абортариям, когда наконец она запинается в коридоре своей

маленькой квартирке в Кингс-Хит, падает, умирает, и последнее, что мелькает в ее разуме, – «Чарли Чаплин! Так вот кто это был! Да я же разговаривала с...» Теперь минуло два дня, и ее единственная живая дочь, Лу, вглядывается в почтовую щель, не получая никакого ответа на все более нетерпеливый стук. Из-за положения ничком свернувшаяся кровь слилась к лицу Мэй, очернила его. Несколько мгновений Лу кажется, что видит она ворох старой ветоши, беспечно сброшенный на пол среди циркуляров и брошюр.

Аз есмь во всех своих словах, есмь в гимне, есмь в лестной любовной серенаде. На радио играет пустая популярная песня – и на миг я, хоть и слабо, вспыхиваю в миллионе разумов: англ, играющий в вашем сердце. [\[85\]](#)

Луиза Уоррен – из сладчайших штрихов на холсте, смесь лаванды и корицы, и ее яркая линия начинается в буром и пыльном недоцвете лабиринтной улицы Форта, рождается как утешительный приз на замену унесенной дифтерией старшей сестре – малышке Мэй. Линия длится через четырех братьев – Томми, Уолтера, Джека и Фрэнка, – деликатный мазок расплывается во что-то обширное и прелестное, в игривую флэппершу, цокающую в ноябрьских туманах Швецов под ручку с суженым – Альбертом Гудом. Где-то в дымке тоскующий кавалер восклицает: «Глория? Где же ты, Глория?» – так отчаянно и обреченно, что Альберт это замечает; удивляется вслух, что же это за Глория. «Ну а мне-то откуда знать», – бормочет в меховой воротник Лу, хотя Глорией она назвалась обаятельному малому, который увивался за ней во время продолжительного визита Альберта в ватерклозет. Ее живая линия распрямляется, когда она становится Луизой Гуд, ее лоза ветвится детьми и внуками. Старшая дочь выходит за смотрителя маяка, затем творчески одаренная и

богемная дочь – за французского коммуниста. Младший ребенок, мальчик, распускается стиральными досками и барабаном из чайной коробки, пока растет через скиффл-группу в стюарда на авиалинии, женится сперва несчастно, затем удачно. Луиза находит мертвой свою мать Мэй, свалившуюся нестираным бельем в прихожей в Кингс-Хит. Луиза живет с Альбертом в дастонском доме. В старости он смотрит сериалы, пугающие его дневные телеспектакли, хотя телевизор и не подключен к розетке.

Наконец ее лирический контур длится в одиночестве, слева направо по шедевру, в неведомом направлении. С приближением к восьмидесятому дню рождения дети ее покойного брата Томми – племянник и племянница Мик и Альма – устраивают для нее праздник. Назовем его «Ночь живых Уорренов», говорят они. Приглашены все живые родственники. За несколько дней до этого Лу пьет чай во дворе кингсторпского дома племянника Майкла Уоррена. С ней жена Майкла Кэт и два его сына, Джек и Джо. Там же его сестра Альма со своей подругой, другой художницей: американкой по имени Мелинда. Сперва день славный, но потом накрапывает легкая морось. Входы наши и выходы наши отмечаются молниями.

Собираются черные тучи, и все решают ретироваться внутрь. Лу понимает, что не может подняться. Тогда два самых мужественных человека из присутствующих – Мик и Альма – поднимают вдвоем ее стул и переносят подобно императрице в импровизированном паланкине в гостиную. Ее дыхание затрудняется. Внезапная четкость реальности ошеломляет. Подле нее, положив руку на дрожащие плечи, сидит племянница, успокаивающе шепчет на ухо, целует волосы. Кэти и подруга-художница Альмы уводят испуганных детей, и вдруг из ниоткуда нагрянули санитары, поднимают ее со стула, называют «милой». Теперь в ее ушах стоит грохот, как по наковальне. Вуууух. Вуууух. Вуууух.

Она оказывается в скорой, неподвижная рядом с дождливым двором. С ней ее племянник Мик, а забавный современный доктор в

зеленой форме все давит и давит ей на грудь. Я вижу подо мной Альму Уоррен, в нескольких ярдах от современной чумной телеги на залитом асфальте, промокшую до нитки в жилете и джинсах, наблюдающую за скачущим медиком в заднем окне машины. Ее спутанные волосы липнут ко впалым щекам, к голым плечам, и она закидывает голову и словно смотрит мне в очи, когда я бью синим набалдашником кия о великий шар мира. И раскалывается черное зеркало ночи, и лишь на миг в расползающихся трещинах и расщелинах показывается полусеребряный задник неба. Сим резким росчерком я завершаю цветную линию Луизы Уоррен. Вплотную это лишь след, пятнышко, но о – стоит отступить и узреть картину в целом...

Кто-то уходит с громом, кто-то с фанфарами, а кто-то в одной лишь материнской тишине.

И вот Майкл Уоррен замахивается кувалдой и опускает ее по предначертанной дуге на мятый цилиндр, гигантское металлическое легкое, которое плющится и испускает последний дрожащий вздох ему в лицо. Молот падает на бак, молот падает на бак – этот единственный акт раз за разом переживается, бесконечно отдается в гулком пространстве-времени и становится почти музыкальным крещендо, перкуссионным штормом, разливающимся в разреженном воздухе, драматическим и леденящим душу знаком пунктуации в симфонии: БДАНК! БДАНК! БДАНК! Молот падает на

бак, молот падает на бак, и из его поперанного горла рвется туча рыжей отравы, что расширяется, раскрывается, разворачивается и заполняет мир дыхания и зрения Майкла Уоррена. Каскад полуизмерений, разверстый хаос формы облака всего на миг вмещает каждую до единой беглую и зыбкую линию будущих картин его сестры. Он вдыхает образы, которые теперь сплевывает на нее за столом в лимбо субботней ночи «Золотого льва», и она стирает их с лица и размазывает по полотну, прямо как свет скорой и дождь – по ночи, когда ее тетушка Лу умирает на оглашенной громом подъездной дорожке. Она стирает их с лица и размазывает по полотну. Молот падает на бак. Аз есмь зодчий, и с каждым новым движением мой ловкий мастерок снимает излишек раствора, выжатый кирпичами. Я столплю века. Я строю моменты. Я следую чертежу. Весь вес опирается на центр.

Я нацеливаю прямой кий на закругленную и закруглившуюся жизнь, шатко упокоившуюся на сукне мира, и в лаковом боку ее танцует блик души. Я вышибаю разум и цвет из головы Эрнеста Верналла. Я выдавливаю Мэй в канаву и насылаю чумные телеги забрать ее перворожденную дочь. Я набиваю рот Снежка цветами и я швыряю ядовитую пыль в глаза Майкла. Я планирую – и я рею на восходящих потоках. Величие и руины в пике ; в штопоре. Вуууух. Вуууух. Вуууух.

Конечно, нам введома боль. Нам введомо малодушие, и ненависть, и фальшь. Нам введомо все. Я зову своего брата Уриила пидором. Мы бьем и мнем друг друга на городской площади, и ветер, поднятый нашей сечей, сдувает призраков почти до Уэльса. Последствия звенят по всей Земле. Он чернит мне глаз – и великий скачок Китая заносит страну в экономическую пропасть. Я проламываю ему нос – и на Кубе к власти приходит Кастро. Из моей рассеченной губы хлещут структурализм, рок-н-ролл и ховеркрафты. Мы утираем золотые сгустки, пока они еще не засохли, и Бельгийское Конго расцветает отрубленными головами.

Конечно, мы ходим среди вас, по колено в вашей политике и мифологии. Мы бредем через розовые лепестки и лоскутки карт вашего распадающегося на глазах содружества. Мы маршируем в черной волне на Вашингтон. Мы жонглируем спутниками и Френсисом Бэконом. Мы зодчие. Мы строим Аллена Гинзберга и собор Нимейера в Бразилиа. Мы сколотили Берлинскую стену. Тучи набегают на солнце. Теперь мы с вами.

Конечно, мы танцуем на острие иглы и ровняем города с землей. Мы избавляем евреев от фараона и шлем в Бухенвальд. Мы трепещем при первом поцелуе, колотимся в агонии над последним припадком в промозглой кухне. Мы знаем на вкус феяцию и знаем на себе деторождение. Мы взбираемся друг другу на спины в душевых кабинках, чтобы спастись от клубов. Мы в безмятежном

безразличии молекул Циклона Б и в глухом сердце человека, который поворачивает колесо и раскрывает клапаны. Мы вечно стоим на ступенях банка в Хиросиме, пока реальность кругом превращается в атомный ад. В мгновение, когда вы достигаете оргазма вместе и чувствуете, что это самый нежный, самый идеальный миг, что вам доведется пережить, мы – оба из вас. Мы торгуем рабами и мы пишем «Изумительную благодать».

Конечно, мы кричим. Конечно, мы поем. Конечно, мы убиваем и любим. Мы нарушаем слово и отдаем жизнь за других. Мы открываем пенициллин и оставляем задушенных детей в подворотнях. Мы бомбим Гернику, только чтобы создать картину, и взметающийся дым и крик под нами – мазки наших кистей. Мы плоть от плоти небеса; плоть от плоти ясли, школа, бойня, бордель. Как может быть иначе? Вы складываетесь в нас. Мы складываемся в него.

Мы в каждой секунде миллиарда триллионов жизней. Мы всякий муравей, всякий микроб и левиафан. Конечно, нам одиноко.

* * *

В моем оке кружится все. Если я лишь моргну, все бытие распадется на алфавит частиц, а следовательно – лишь чисел, в

бесконечное море значений, кружащих в сиятельной симметрии вокруг своей оси, что зиждется между цифрами четыре и пять. Умноженные и при сложении результата умножения они в совершенстве отражают друг друга – как три и шесть, девять и нуль, десять и минус один, шестнадцать и минус семь и далее что в положительной, что в отрицательной бесконечности. А в центре нумерологического урагана стою я. Его око – мое. Я меж четверкой и пятеркой, где есмь стержень вселенной. Я медленно вращаюсь между милосердием и беспощадностью, между синим смещением и красным. Я вдыхаю – и звезды кувыркаются ко мне, опрокидываясь в один-единственный раскаленный добела кварк, в отрицательные числа. Я выдыхаю – аэрозолем черной, экзотичной материи, галактиками и магнетарами: положительные результаты срываются с губ моих в холодные и темные концы времени.

Слишком часто я зол и ближе к пятерке – с перстами, сжатыми в кулак, – чем к четверке с перстами, сжатыми в рукопожатии, вытянутыми в привет или ласке. Слишком часто я склоняюсь к беспощадности, к красному, а не к бирюзе прощения. Вот почему наконечники наших киёв синие: в назидание о сострадании и его слабой силе, потому даже когда мы бьем шары в предназначенные им лузы, мы награждаем небесными поцелуями вечной благодати и милосердия – поцелуями бильярдного мела.

* * *

Я вижу Марлу Роберту Стайлс, в четыре года, раскладывающую цветки маргариток на миниатюрных розовых пластмассовых тарелочках для чаепития, куда она пригласит мишку и маму – мягкие игрушки, которые любит больше всего на свете. Она наливает холодную заварку из фруктовых пастилок с водой из-под крана в крошечные кружечки и принимает хуи в две дырки в постели со своим сутенером Китом и его приятелем Дэйвом

тринадцать лет спустя. Марла спрашивает маму, не желает ли та на десерт сушеный изюм, и сплевывает сперму; выговаривает стеклянно безучастному мишке за то, что тот выпал со стульчика, и всасывает дым кристаллов. Изюм она называет «зюм», и ее бьет в лицо и насилует на заднем сиденье своего «Форда Эскорт» розовощекий отец двоих детей, и я люблю ее.

Я вижу Фредди Аллена, ворующего пинты молока и умирающего под привокзальной аркой. Я вижу его молодым, поджидающим в садах Катерины докторскую дочку по дороге на работу, на которую планирует напасть. Я бегу с ним, рыдаю с ним, когда он срывается с места в ужасе от самого себя, от несделанного дела. Я вижу, как он спит в бурьяне, я вижу серую тоску его загробной жизни – все, что Фредди заслуживает, если спросить его самого. Его вина теперь обратилась в гнев, резонирует в его днях, так что у него нет надежды на освобождение. Ломти хлеба и бутылки ушли, как и пороги, на которых они стояли. Ничего исправить нельзя.

Я вижу Эгберта, которого зовут Петром, празднично шаркающего сандалией по песку Голгофы, обнажая выдающийся угол серого камня, слишком очевидно вытесанного, чтобы быть природным, – с правильными углами. Час он царапает и скребёт, пока наконец не извлекает древний руд, не возносит в обеих руках к солнцу, чтобы разглядеть. Почва просыпается на его потное чело, его скользкую щеку, падает в его саргассову бороду. Он пробуёт землю распятия на

вкус и накидывает холодную тень креста на лицо. Его слабое сердце издает ритмичный кузнечный лязг: БДАНК! БДАНК! БДАНК! Сам того не зная, он покачивается на кромке смертности. Там, на грани, он видит меня, и вокруг него меняется смысл вселенной. Во Франции за свою обильную потливость он известен как «le canal», что переводится как «канал».

Я вижу Овсеня Чаплина в споре с Бойси Бристолем перед Дворцом Варьете на углу Золотой улицы в первые годы двадцатого века. «Но если они миллионеры, то зачем одеваются в бродяжек?» Я вижу, как он возвращается в родной Ламбет после Первой мировой войны – уже знаменитой кинозвездой из самой Америки. Кокни – бывшие соседи, что лишились сыновей или братьев в боях, пока он хлопал ресницами перед камерой, – швыряют ему в лицо пинты пива. Спасенный ассистентами и отертый полотенцами в ближайшем общественном туалете, он чувствует в промокшем пиджаке, сырых штанах запах своего прошлого, запах своего отца.

Я вижу Генри Джорджа, который молится в сараях, когда перестает верить церкви. В балках воркуют голуби, а в бреши в черепице, в соломе проливаются мерцающие снопы света. На плече его вспыхивает клеймо моего изобретения – его постыдная тайна, его святая огненная слава: бледно-фиолетовые линии на лиловой коже, весы и дорога. Дорога исхода из Теннесси в Канзас, дорога пастухов из Уэльса на Овечью улицу, где его выносит в Боро на блеющей белой волне, – все тропы есмь одна. Веревки линчевателей из времен юности теперь обмотали шины, что несут его вперед, и черные покровители и мученики Нортгемптона следуют за ним.

Я вижу Бенедикта Перрита, который выписывает строки мучительной красоты, хохочет, пьет, спорит с призраками. Я вижу, как он сидит в одиночестве, не считая далеких сирен, как пальцы мнутя над пыльными клавишами печатной машинки в ночь перед выставкой Альмы Уоррен. Он взирает, как заблудившийся исследователь, на арктическую белизну пустой страницы в ожидании вдохновения, легчайшего мановения моего крыла. В трех милях от него под желтым светом фонарей Уайтхиллса, процеживающимся через занавески, Майкл Уоррен возится в постели и думает о похоронной процессии Дианы Спенсер, множестве людей на мосту, когда она прибыла в Нортгемптон. О глазах и молчании.

Я вижу Томаса Эрнеста Уоррена, отца Майкла, который копает ямы или отдыхает от работы с больной спиной, что как будто не сильно беспокоит его после ухода на пенсию. Ранее – ему двадцать, он учится бросать гранаты. Он в длинной шеренге людей, они один за другим запрыгивают на платформу к сержанту, срывают черенок с железного ананаса, считают до трех и швыряют сферу смерти через высокую стену из мешков с песком. Томми следующий в очереди, ему не удается все сделать правильно. Малый перед ним тянет чеку и начинает считать. Том, кипя энергией, уже запрыгнул на платформу сразу за нервным солдатом, который считает до трех, а потом случайно роняет смертоносную шишку у их ног. Прицелившись вдоль кия, я бью по сержанту, так что он летит вперед, раскидывает Томаса и второго человека по сторонам и одновременно сметает

гранату за барьер; в лузу черепа, и мы, зодчие у стола, вскидываем руки. Да-а-а-а-а!

Я вижу пунктир и штриховку, вижу скань и растушевку. Я вижу, как Дорин Уоррен аккуратно разворачивает «Песенку» с вишней и ментолом и помещает в ротик младенца. Я вижу депутата Джима Кокки в постели с кошмарами. Я вижу уличного художника Наперстка Джеки и Тома Холла, призрака-менестреля. Я вижу Жирного Кенни Нолана, созерцающего самолично выведенный вид датуры, и улыбаюсь тому, что это «ангельские трубы», с поникшим в скорби белым колокольчиком цветка. Я вижу Романа Томпсона в чужой машине, поджидающего в тишине темного въезда на Рыбную улицу с бильярдным кием на заднем сиденье за спиной, с курсирующей по сердцу холодной кровью. Я вижу Джона Ньютона после прозрения. Я вижу Турсу Верналл, которая превращает немецкие бомбардировщики в аккомпаниаторов, и героический сон о Бриттоне Джонсоне. Я вижу Лючию Джойс и Сэмюэля Беккетта, вижу, как он беседует с ней в лечебнице; у ее могилы. Я вижу мытарства. Я вижу искупления.

Я вижу Одри Верналл на сцене дансхолла, как ее пальцы бегут по клавишам аккордеона, как она откидывает назад волосы, как в такт пристукивает синенькой тувелькой по протертым доскам, взмахивает юбкой, «Когда святые входят в рай». Ее натянутая улыбка теряется в свете софитов, а глаза все скрадывают взгляд за

кулисы, где ей показывает большие пальцы, одобрительно кивает папа Джонни, менеджер группы, а потом, позже, он снимает свой кричащий клетчатый пиджак и вешает на крючок для ночнушек за дверью ее спальни.

Я вижу Томаса а Беккета, и вижу смуглую женщину со шрамом, которая работает в корпусе Святого Петра в две тысячи двадцать пятом году. Я вижу, как святые входят в рай.

Я вижу собачью какашку на центральной дорожке многоквартирника на Банной улице, нерушимую в пятницу днем, поперанную к полудню субботы, когда Майкл Уоррен замечает ее на пути к выставке Альмы.

Я отступаю от холста, упиваясь его блеском.

* * *

В самом начале по Солнечной системе носилась тысяча планет, рикошетила и отскакивала, испаря друг друга в пинбольной куче-

мале, – оттуда мы и взяли идею для своего трильярдного стола. Что-то задевает новоиспеченный мир, обломки обоих тел остаются на окраинах гравитационного поля Земли, сгущаются в Луну, – удачный разбой.

Через какое-то время происходит столкновение с менее крупным снарядом, и оно вносит свою лепту в отсев громовых ящериц. Впоследствии амебные существа под названием агглютинированные фораминиферы одеваются в крепкие щитки из метеорического никеля и космического кобальта; облачают одноклеточные тельца в павлиньи украшения микроскопической бриллиантовой пыли. Узоры их миниатюрного космоса, инкрустированного самоцветами из бездны, – они сияют в поздне меловой тиши на самой заре жизни. Они не знают и не думают о вымирании макрокосма. Они слепы к падающим и умирающим над головой деревьям и чудовищам в долгой ночи, наступившей вслед за внезапным ударом. Во множестве своем они разнообразны, как снежинки, и все же я тесно знаком с каждой, узнаю по особенным переливам, характерной искорке. Они уходят на зов Луны, с магнитными приливами, как и поколения после них, мигрируют по лунным меридианам, чтобы накормить собой подводных жуков, которые накормят рыбу, которая накормит птицу и медведей, и коренастых людей-обезьян.

Вы поймете, как часто в нашей игре требуется стратегическое мышление.

* * *

Иногда мы в ударе, иногда мы не промах. Иногда мы отвлекаемся, мажем в простых случаях, но только когда должны. Я дарую Соломону святой тор, и он носит его на указательном персте, когда подчиняет завывающих джиннов, бушующих по Египту и Ближнему Востоку словно inferнальные циклоны, пчелиный рой. Когда ему

восхотелось построить с их помощью храм, я пытаюсь предотвратить это разумным ударом, но я ошибаюсь; я промахиваюсь.

Заклинание бесов проходит удачно, пока царь-чародей не сталкивается с тридцатисекундным духом, который царю не по плечу. Он недооценил невероятную свирепость, с какой сражаются старшие дьяволы вроде Асмодея, если загнать их в угол. В пентакле Существо принимает свой истинный облик – трехголовое и не больше куклы верхом на скакуне-драконе размером с кошку. Бычья голова ревет, баранья голова блеет, а коронованная глава карлика в середине изрыгает поток ужасающих проклятий и мерзкое дыхание, заполняя все помещение. Оно колотит древком окровавленного копья по плитам, и волхв впадает в панику, отшатывается, так что висящий на шее ламен распутывается и со звоном падает на пол. К этому времени чертоги уже охвачены пламенем мельтешащих пауков-саламандр, и все предприятие обернулось вопящим пандемониумом, катастрофой. Я закрываю мраморные глаза и отворачиваюсь.

Как следствие, я не знаю, что случилось. Быть может, основатель храма стал одержим ифритом, а быть может, как утверждают раввинисты, торжествующий демон закидывает Соломона далеко в пустыню и сводит с ума, похитив его обличье. Быть может, Асмодей лишь пользуется замешательством царя, чтобы поместить в его разум тлетворные мысли, а быть может, тридцатисекундный дух не делает ничего, и все беды Соломон навлекает на себя сам. Знаю лишь, что, когда я оглядываюсь, Первый Храм уже окончен, а в его колоннах и линиях закодирована злоба семидесяти двух искусителей, льстецов и разрушителей. Это фокус трех самых воинственных религий мира – я вижу, как у колонн круглой постройки водят хороводы крестовый поход, джихад и ответный воздушный удар. Я вижу смердящую и мясистую кашу измученных мужчин, изнасилованных женщин и перемолотых детей, стекающую по древним стенам.

Царь Соломон. Феерический долбоеб.

* * *

Дерек Джеймс Уорнер, 42, работает водителем большой частной охранной фирмы. Дерек с нетерпением ждет вечера пятницы, чтобы гоняться за юбками – он уверен, что его ждет успех, хоть он и поседел у висков, хоть он и набрал недавно пару фунтов и хоть он женат и с двумя детьми, Дженнифер и Карлом.

Детей жена Ирен увезла на выходные домой к матери в Кейстер. Дерек их отвез туда, но забыл достать из багажника плавательные круги и пляжные игрушки перед тем, как повернуть домой. Ирен уже устроила по телефону разнос, ранее этим вечером. Дереку похуй. Он не помнит, когда они в последний раз занимались сексом, когда в последний раз он хотел ее. Вот почему он сегодня выйдет на охоту – из-за нее.

Он сидит на диване – за который до сих пор платит в рассрочку, хоть его уже продавили, – примостившись рядом с джойстиком от «Икс-Бокса» сына Карла, и курит осколок метамфетаминового кристалла. Это у него – и привычка, и сам наркотик, – от Ронни Баллантайна, другого водителя в компании, где работает Дерек. Баллантайн сидит на коксе, хотя по нему и не скажешь. Мускулистый здоровяк, с мускулистыми здоровыми руками водителя. Он рассказал Дереку о кристаллическом мете, о том, как на нем не спишь всю ночь и стояк – как долото. Дереку это нравится.

Он скуривает кристалл, потом выходит, нетерпеливо побрякивая ключами, и залезает в черный «Форд Эскорт». Он чувствует себя роботом-убийцей или гладиатором, как раньше показывали в телешоу. Его гладиаторское прозвище – Доминатор или Тарантула; он пока еще не определился. Краем глаза он замечает движение, что-то мелькает в поле зрения, но исчезает, если посмотреть прямо, как в игре «ударь крота», – впрочем в целом он чувствует себя на кураже, на кайфе.

Берегитесь, девчонки.

Он идет.

* * *

Лючия Джойс танцует на лужайке психушки. Ее ловкое тело – хрупкий коракл, в штале на стихшем зеленом море травы. Она грациозно и бестолково кружит – одно из внутренних весел утеряно навсегда. У ее переправы нет другой стороны, нет гавани, не приветствуют почитатели на пирсах, не трубят пароходы, когда ее суденышко показывается на горизонте. Встречающие либо умерли в ожидании, либо махнули на нее рукой и разошлись по домам.

Папа при жизни считал ее вечно неоконченным трудом, заброшенным на полуслове шедевром. Возможно, однажды он возьмется за нее еще раз, поиграется и распутает застрявшие сюжетные линии, оборванные предложения, но вот он умирает и оставляет ее на полях, в лакунах...

Семья Лючии вычеркнула ее, свела до сноски, едва ли не вырезала из рукописи. Конечно, дорогой Сэм еще навещает, но не любит – по крайней мере, не так, как она думала, что хотела бы. И это тоже вина отца, думает она. Превратив Сэма в литературного сына, о котором он всегда мечтал, он превратил красавца в брата, который у Лючии уже был и которого она не просила. Беккетт любит ее как сестру. Между ними ничего не может быть без атмосферы инцеста; воздуха, которым Лючия больше не может дышать. И все же она думает о муссоне его волос, его вытянутой и худощавой щеке, печальной мудрости моряка во взгляде.

Она танцует. Она пытается свести всю сложность бытия к жесту, пытается втянуть весь мир в каждое па и поворот – свою историю, книгу отца, ослепительный отблеск с влажных черепичных крыш лечебницы. Она идет долгими и аккуратными шажками, поводит раскрытыми ладонями, словно пытается пригладить складки в пустом пространстве вокруг. Она изгибает шейку в идеальном

иероглифическом профиле, чтобы воображаемая аудитория не заметила косинку. В моих очах она совершенна, а легкая кривизна одного глазного яблока напоминает окулярный изъян, каким Микеланджело наделяет своего Давида – намеренно неровный взгляд, чтобы подарить наилучшее зрелище, с какой стороны ни посмотри. Подобному искусству нельзя смотреть прямо в лицо.

Нортгемптон принимает ее в свои объятия, польщенный ее присутствием: она могла бы остаться где-то там, но после неудовлетворительного тура по европейским санаториям ее занесло сюда. Наконец в танце она выбивается из темпа, из времени на Кингсторпское кладбище чуть выше по дороге от дома Майкла Уоррена, в двух-трех надгробиях от самого Финнегана, вместе с Вайолет Гибсон, которая стреляла Муссолини в нос и была сослана в больницу Святого Андрея по соседству. Теперь Лючия в экстазе выделяет пируэты на вечных бульварах Души. Теперь ей не надо коситься на мир. Она знает, чем кончается ее труд, ее путешествие, и знает, что ни один шаг не делается впустую.

* * *

Я слежу за нескончаемыми дебатами о «разумном замысле», хотя если верить идеям конца двадцатого века о сознании как эмерджентном свойстве, то все разногласия не имеют значения. Если самоощущение может возникнуть в системах, преодолевших определенный порог сложности, то разве расширяющаяся вселенная пространства и времени по определению не самая сложная система, что только может быть? Отметьте, этим наблюдением я не желаю ставить под сомнение веру и идеологию других. Просто мысль вслух.

* * *

Я вижу Альму Уоррен шестидесяти лет, за мольбертом в доме на Восточном Парковом проезде в 2016 году. Она отступает от холста, щурится и оттопыривает губу, чинится для камер, которых нет. Она нагибается, словно над добычей, и вносит густой завиток грязно-сливочной краски на бурун вала, затем отклоняется и задумывается.

Огромное акриловое изображение – одно из серии, над которой она сейчас работает, для выставки с неопределившимся названием «Ландшафты?». Эти пейзажи в какой-то момент еще могли относиться к предполагаемой в названии категории, но уже находятся в процессе преобразования во что-то иное, в более многозначительное состояние. На картине, которой сейчас увлечена Альма, – пивная у северного конца Ярмутской набережной, здание в стиле ар-деко 1930-х под названием «Железный граф». Хотя и в плачевном состоянии, как он изображен на полотне, паб сохраняет грандиозность и великодушие – рудименты отважного зряшного оптимизма, типичного для десятилетия его постройки.

Увядающая красота – в зеленые дни он стоял близ «Норт-Динс», оживленного кемпинга, куда почти каждое лето детства Альму с Майклом привозили родители во время всеобщего фабричного выходного. На просоленных променадах, в освещенных лампочками дворах пабов, выстеленных ракушками, они встречались со всеми однокашниками по Ручейной школе и со всеми соседями по Боро – на две долгожданные недели львиная доля нортгемптонского рабочего класса переселялась на восточное побережье.

Теперь паб расположен чуть справа от центра на среднем плане картины. Стены его заднего двора из темно-красного кирпича накренились от центрального корпуса здания, медленно обваливаются, хотя стекло в высоких профилированных окнах на удивление невредимое. Окружает обветшавшее строение теперь лишь половодье Северного моря. Барашки серой мыльной пены лижут веер ступеней, ведущих под осыпающимся портиком от бара к затопленной парковке. Опустелая терраса с изгибающейся балюстрадой теперь больше похожа на бак затонувшего галеона.

Нижние пределы шелушащихся водостоков колонизированы моллюсками.

Альма добавила текстуры паршивой кладке затопленного паба, испестрив поверхности, выдавшие виды, миниатюрным крапом исчерна-фиолетового, так что стены словно выщерблены древней коррозией. Эту технику, известную как декалькомания, она одолжила у великого сюрреалиста Макса Эрнста, и в этом случае отсылается к его драгоценному и жуткому шедевру – «Европа после дождя». В дали заднего фона Альма намекнула на разрушенные пляжные аттракционы, закрытые американские горки, скелеты колес обозрения, нависающие над водным зеркалом, с паутинистыми линиями, едва видимыми в лессированной утренней дымке, созданной сухой кисточкой. Ей хочется, чтобы работа была одновременно безмятежной, печальной и тревожной; она намерена использовать кабак и его чистые контуры баухауса в качестве символа хрупкого представления человека о современности, уступающего старой простоте времени и волн. Она хочет, что зритель слышал чаек, редкие всплески и отсутствие машин или голосов.

В захлавленной передней комнате первого этажа, где расположена ее студия, всюду без порядка разбросаны книги и картины на разной стадии завершения. Мятое и потрепанное издание «Утонувшего мира» в мягкой обложке – лирическое видение водного апокалипсиса от Дж. Г. Балларда – покоится открытым на протертом подлокотнике равно выдавшей виды кожаной кушетки. Под высоким потолком сгустился дым гашиша. Минуло уже десять лет со времен ее выставки в Боро. Она еще более известна, еще более неблагодарна и замкнута, чем обычно. Альма ловит себя на том, что идентифицируется с развалиной на картине – они обе расползаются по швам, живописно и заметно торчат из плоского и не тронутого рябью океана, обе при правильном освещении еще весьма хороши, но на любителя.

Она пишет до самого вечера, затем идет в «Маркс и Спенсер» на Абингтонской авеню купить готовую еду. Вечернее небо над

крикетной площадкой расслоилось, как разбавленная содовая с лимонадом.

* * *

Я просидел все вымирания, все виды существ, достигших естественного окончания своего продления в скрытом направлении.

Каждую вторую неделю отмирает человеческий язык. Красивые, уникальные формы жизни с разлапистыми скелетами грамматики, деликатными суставами синтаксиса, – они слабеют и заворачиваются в тонкие крылья прилагательных. Издают последние бессильные возгласы, а затем рассыпаются в несурязицу, в тишину, и больше их никто не слышит.

Каждые полмесяца – застывший язык. Спетая песня. Чу, радости внемли.

* * *

Есть телеканал, который транслируется только для людей на пороге смерти, передается дезинфицированной духотой гостиных в домах престарелых, сумерками палат умирающих. Лучше всего принимают маразматические экраны – сигналы искрят в проржавевших диодах, изношенных синапсах. Логотип станции – белый на черном фоне закрытых век – изображение грубо нарисованных весов над вьющейся лентой символической тропы. Логотип сопровождают четыре ноты туша – музыкальная тема канала.

Альберт Гуд сидит в кресле в дастонском доме, только что очнувшись от дремы и обнаружив по телику в самом разгаре какой-то телеспектакль. Хотя он черно-белый, Альберт тут же понимает, что это очередная современная драма, от которых его воротит, – что-то в

духе вечера среды, где обязательно про неприкаянных бомжей или беременных. Он бы встал и переключил, но в последнее время так устаёт, что энергии хватает только на то, чтобы сидеть и смотреть.

Похоже, обошлись только одной декорацией – зрители смотрят на широкие каменные ступени, поднимающиеся к большой паперти церкви. По бокам, обрамляя сцену, вздымаются гигантские каменные колонны – скорее всего, из крашеной фанеры. Альберту вид напоминает фасад церкви Всех Святых в Нортгемптоне, хотя, думает он, таких мест должно хватать по всей Англии: построенных приблизительно в одно время приблизительно в одном стиле. Между готическими столбами – ночь. Единственное освещение установлено так, что напоминает фонари за кадром, просачивается в жемчужный сумрак под портиком.

В каком бы городе ни разворачивалось действие, с приходом темноты он практически вымер. Альберт понимает так, что события имеют место довольно давно, наверное, сразу после войны – до того, как полуночные городские центры осветились, словно рождественские елки, и набились пьяными подростками. У реквизита и сцены какой-то уютный послевоенный вид, который в эти дни Альберт находит только в коллекциях местных фотографий или переизданиях ежегодных сборников Джайлса [\[86\]](#), с аутентичным привкусом тогдашней атмосферы. Он беспокойно щурится на сравнительно маленький экран и пытается разобраться, что же там происходит.

На холодных каменных ступенях по центру сидят мужчина и женщина, оба средних лет. Пара кажется Альберту знакомой, и он почти уверен, что уже видел обоих актеров в чем-то другом. Если подумать, мужчина в кричащем клетчатом пиджаке мог быть в ситкоме «Хай-де-хай». Женщина, прижавшая к горлышку воротник от зябкого вечера и время от времени всхлипывающая, вылитая Патриция Хэйнс в молодости. Хотя кажется, что они женаты, между ними на ступени слишком много места. Когда муж подвигается к жене, она вздрагивает, отстраняется прочь. Диалог их редкий и

непонятный, с долгими паузами между вопросами и ответами. Альберт никак не возьмет в толк, что происходит.

Еще загадочней другие персонажи драмы – четыре или пять фигур в причудливой одежде, которые слоняются под портиком за спиной у мужчины и женщины, сидящих на переднем плане. Несмотря на их странность одежды и громкие голоса, никто из пары не обращает внимания. Наконец Альберт смекает, что остальные актеры, которые болтают позади, играют каких-то привидений. Они видят живых жену и мужа на церковных ступенях и обмениваются о них репликами, но смертная чета не может видеть фантомов и думает, будто сидит в одиночестве. Альберта это коробит. Складывается впечатление, что привидений столько, будто каждый камень мостовой и общественный туалет в стране одержим и любые человеческие слова падают на мертвые уши.

Ему не хочется это смотреть. Он отворачивается и зажмуривается. Хотя он не умеет понять, когда именно засыпает снова, позже осознает, что все же заснул. Когда он очнулся, из магазина вернулась Лу. Телевизор уже молчит, потому Альберт заключает, что Лу выключила его, когда пришла. Она спрашивает, как он себя чувствует, а он рассказывает про неприятный телеспектакль, старый фильм или что это такое было.

– Я тут смотрел по ящику какую-то чушь про привидений. Сказать по правде, не понравилось совершенно. Аж мурашки побежали. Нельзя такие вещи показывать людям днем, когда дети малые приходят из школы. По-моему, это возмутительно. Надо жаловаться.

Лу по-птичьей склоняет голову на бок, смотрит на него, потом бросает взгляд на отключенный от электричества телевизор, который стоит так же, как она его оставила раньше. Сочувствующе цокает языком, соглашается с мужем – какую только по телевизору муру не показывают, и за что они вообще платят, – а потом заваривает им обоим чаю. Спустя час таинственная театральная постановка забыта.

Когда эта секретная телестанция полумертвых вне эфира, ее невозможно поймать – только в виде пронзительного и почти ультразвукового свиста в среднем ухе. Если сейчас прислушаетесь, то услышите ее сами.

* * *

Гимны, конечно, чрезвычайно важны, кто бы их ни писал – Уильям Блейк, Джон Баньян, Филип Доддридж или Джон Ньютон. Попытки трансцендентальной поэзии для простого народа – они удобряют сны и грезы, из которых вырастут сами бульвары Души. Очерчивая ад или изображая рай, они тем самым строят их, кирпич за кирпичом, строфа за строфой. Приидите, вознесите голоса и сердца и возрадуйтесь. Дайте мне почву из идей и гармоний, чтобы развернуть крыла. Дайте мне опору.

* * *

Я знаю, что я текст. Я знаю, что ты читаешь меня. Вот главная разница между нами: ты не знаешь, что ты текст. Ты не знаешь, что читаешь себя. То, что ты называешь своей самостоятельной жизнью, на самом деле уже написанная книга, которой ты увлекся, и не в первый раз. Когда чтение подойдет к концу, когда неизбежно захлопнется гробовая задняя доска, ты мгновенно забудешь, что уже продирался через сюжет, и возьмешься вновь – возможно, привлеченный эффектной и героической картинкой самого себя на суперобложке.

Ты снова пробираешься через глоссоластию в начале романа и эту пугающую сцену рождения – все от первого лица, туманные описания смятения перед новыми вкусами, запахами и страшными огнями. С удовольствием ты растягиваешь пассажи о детстве и

смакуешь мощно воплощенных персонажей по мере появления – мама и папа, друзья, и родные, и враги, и каждый с запоминающимися чертами, с особенным обаянием. Как ни захватывают похождения юности, ты обнаруживаешь, что последние эпизоды лишь пролистываешь из чистой скуки, перебираешь страницы дней, в нетерпении торопишься вперед, к контенту для взрослых и порнографии, которая непременно ждет в следующей главе.

Когда все это оказывается не таким незамутненным удовольствием, не таким многообильным, как ты ожидал, ты чувствуешь себя где-то обманутым и костеришь автора за зря потраченное время. Но к этому времени в истории вокруг проявляются основные темы сюжета – безумие и любовь, и утрата, судьба и искупление. Ты начинаешь понимать истинный масштаб труда, глубину и амбицию – качества, которые доселе ускользали от глаза. Снисходят смутные предчувствия, ощущение, что история относится не к той категории, к какой ты думал, не к приключенческой пикареске или секс-комедии. Увы, но повествование выходит за надежные границы жанра на пугающую территорию авангарда. Впервые ты спрашиваешь себя, не откусил ли больше, чем можешь прожевать, не углубился ли по ошибке в какой-то увесистый магнум опус, хотя всего-то намеревался расслабиться за простенькой макулатурой, выходным чтением для аэропорта или пляжа. Начинаешь сомневаться в своих читательских способностях, сомневаться в том, что осилишь эту смертную байку, не отвлекаясь, и дотерпишь до логического завершения. А если даже и закончишь, то сомневаешься, что тебе хватит ума понять мораль саги, если в ней вообще есть мораль. Втайне ты подозреваешь, что смысл пройдет мимо тебя, но что еще остается, как не продолжать жить, продолжать переворачивать календарные страницы, черпая силы в цитате на обложке, где сказано: «Если вы прочтете только одну книгу в жизни, то выбирайте эту».

И только когда ты перевалишь за середину тома, ближе к двум третям, постепенно начнешь улавливать смысл в ранних, как будто случайных сюжетных линиях. На значения и метафоры появится отклик; раскроются иронии и мотивы. Ты все еще не уверен, читал или не читал эту книжку раньше. Некоторые моменты ужасно знакомы, а время от времени ты можешь предугадать, чем кончится какой-нибудь подсюжет. Иногда образ или реплика заденут струну дежавю, но по большому счету все кажется новым опытом. Неважно, второе это прочтение или сотое: оно покажется тебе невиданным, и волей-неволей ты получишь удовольствие. Даже не захочется, чтобы книга кончалась.

Но когда она подойдет к концу, когда неизбежно захлопнется гробовая задняя доска, ты мгновенно забудешь, что уже продирался через сюжет, и возьмешься вновь – возможно, привлеченный эффектной и героической картинкой тебя самого на суперобложке. Говорят, это признак хорошей книги – если можно ее перечитывать и каждый раз находить что-то новое.

* * *

Если бы вы видели одинокий дом на углу улицы Алого Колодца с высшей геометрической точки зрения, вы бы поняли, почему сошлись сложные и маловероятные обстоятельства, чтобы это строение осталось стоять на своем месте даже тогда, когда террасу, чьей частью оно было, давно снесли. В свете событий и хронологий, которые он подпирает, очевидно, что одинокий дом – несущая конструкция. Это якорь и краеугольный камень для конкретного момента и случая, и его нельзя снести ранее этой даты – сегодня, пятница, 26 мая 2006 года. Это попросту невозможно. Если подняться на одно измерение выше, резоны очевидны: просто время не так устроено. Этому сносу не суждено случиться – по крайней мере, пока не наступит срок.

В желтеющем свете переднего зала сидит обитатель здания, Верналл, ответственный за этот угол. Напевая джазовый стандарт, он ожидает неистовый стук в дверь, что предвестит потустороннего посетителя. Сегодня та самая ночь. Так гласят карты, так гласит кофейная гуща. Остается только сидеть и ждать рока, судьбы, и все они обязательно войдут, как святые в рай.

* * *

Я вижу мир, а мир – чрез линзы прозы, краски, песни или пленки – видит меня.

Изумрудный пузырек планеты, покоящийся на ювелирной подушечке черного бархата в блесках, – это не мир. Несколько миллиардов обезьян с исправленной осанкой, резвящихся на поверхности планеты, – и это не мир. Мир – не более чем совокупность ваших представлений о мире или ваших представлений о себе. Это огромный мираж, барочный и хитроумный, который вы строите сами, чтобы укрыться от ошеломительного фрактального хаоса вселенной. Он сложен из плодов воображения, из философий, экономик и дрогнувшей веры, из ваших эгоистичных личных целей и вашего колоритного понимания судьбы. Это полет фантазии, чтобы скоротать неолитические ночи на пустой желудок, возделенные мечты о том, как однажды заживет человечество, байка у костра, которую вы рассказываете себе, а потом забываете, что это только байка, которую вы сами придумали и перепутали с реальностью. Самая первая ваша научная фантастика – это цивилизация. Вы ее

выдумали, чтобы было чем заняться в грядущие века. Вы что же, забыли?

Пусть мир проявляется материально в замках, больницах, диванах и атомных бомбах – он основан на нематериальных пределах человеческого разума, зиждется на хлипкой парадигме, у которой нет никакого веса. И если это основание не выдержит, если мир стоит на ущербном восприятии вселенной, не совпадающем с новыми наблюдениями, то все надстройки летят в бездну небытия. И в своей конструкции, и в своей идеологии мироздание вовсе не надежно. Если честно, это скрипучая развалина, а не здание, и санитарные и пожарные нормы никто не отменял. Извините, правила придумываю не я.

Я зодчий. Вы поймете, что на этой работе часто приходится ломать. Ваш мир, ваши самоощущения и ваши самые фундаментальные соображения о реальности – плоды неумелого труда, шаляй-валяй и таяп-ляп. Я вижу пагубное проседание почвы; сухую гниль в моральной древесине. Да, тут только ломать, и влетит это в копеечку.

Вам ничего не говорит фраза «зона сноса»?

* * *

Представления о себе, представления о мире, о семье, о нации, положения научной или религиозной веры, ваши принципы и ценности: одна за другой падают любимые конструкции.

Вуууух.

Вууууух.

Вууууух.

Холодное и морозное утро

Альма Уоррен, только что из постели и голая в чудовищном зеркале ванной, спросонья таращится на обвисающую пятидесятитрехлетнюю кожу, но все еще до чертиков упивается собой. Она находит собственную самовлюбленность почти героической по масштабу заблуждения. Она готова встретиться с фактами лицом к лицу, отлично зная, что факты только завопят и убегут. В общем она та еще штучка.

Большая квадратная ванная с закругленными штукатуркой углами – плотный куб серого пара, растущего из двухметровой пропасти заполняющейся емкости – роскошной шлюпки из стеклопластика, линованной границами прилива. Подвергаемые каждое утро не меньше десяти лет такому знойному тропическому климату обои помещения с синими и золотыми прожилками начали обвисать с изгиба потолка – увядший зимний восход. На дне гигантской ванны – пена ненужных форсунок джакузи, их позолота облезла и обнажила тускло-серый металл. Альма никогда не умела ценить хорошее.

Она берет из фруктовой вазы зеленого стекла на стойке бомбу для ванны – «Жасминовая фея» из магазина духов «Лаш» в «Гросвенор-центре», – небрежно шлепает в глубокий кипяток и с детской радостью наблюдает за синим металлическим блеском, который выкипает из шипения и бурления. На несколько дней щеки, руки, волосы и простыни будут в блесках, зато, с положительной стороны, она снова проживет в начале семидесятых. Альма залезает на ближайший конец упакованной миниатюрной лагуны и встает в позу ныряльщицы, прищуриваясь в пар, пока не может достоверно представить, что ее ванна – массивный водоем, открывшийся с нескольких сотен футов сверху. Делает вид, что готова нырнуть ласточкой, но потом будто передумывает и аккуратно сходит в ванну более традиционной манерой. Эту странную пантомиму она

разыгрывает каждый день, сама не представляя, зачем. Только надеется, что никто об этом не узнает.

Она намыливается сверху донизу поросыачье-розовым бруском, благоухающим конфетами «Пик-н-Микс» из «Вулворта», потом смывает, откидываясь в жару и пену, пока над поверхностью плавучей маской не остается только ее лицо. Длинные волосы дрейфуют вокруг несоразмерного черепа, словно водоросли, становятся скользкими и насыщенными, пока она слушает подводный звон, который нечаянно издает ее ванна, – ритмичное капание облупленного золотого крана и усиленное царапанье ногтей ног по бокам длинного корыта. Альме хорошо, от нее осталось одно покачивающееся лицо, а все остальное скрыто под пузырьками и колыхающимися сгустками переливчато-синего цвета. С такой же стратегией она выходит в жизнь, потому что верит, что это дает преимущество неожиданности: под пеной и блеском может быть что угодно, верно?

После амниотической минуты погружения она садится – волосы становятся жидкой запятой на волнах между лопаток, – и черпает пригоршню вязкого шампуня с лаймом и морской солью из плоски, втирая крупитчатую слизь в скальп. Продукт обещает потребителю блеск и объем, притягивающий взгляды, хотя Альма не припомнит, когда в последний раз притягивала взгляды в хорошем смысле. Вылепляя из волос сцементированный пеной чуб, который нависает в добрых двадцати сантиметрах ото лба, Альма бормочет в сырой туман «Сенк ю вер-ри мач», а потом смывает все под облезающей позолоченной головкой душа. Ей нравится верить, что она как две капли воды Король, если бы тот стал пожилой дамой.

Когда волосы уже скрипят, как струны скрипки, она выключает воду и откидывается, ее влажные пряди сушатся на сложенном полотенце, которое она предусмотрительно оставила на заостренном конце длинной ванны. Растянувшись в полный рост без движения – покойный египетский монарх, чей саркофаг затопили, а потом усеяли по непостижимым ритуальным потребностям

блеском, – Альма перебирает свои мысли, ну или то, что за них сходит в такое раннее пятничное утро. Во время этой пенной интерлюдии между «Шреддис», разумной ежедневной дозой аспирина и биойогуртом на завтрак – уже поглощенными, – и ее первым косячком – который только предстоит, – у поверхности постепенно улегается штормовой слой беспричинных гнева и ненависти. Под прибойной линией остаточной злости – утомительно эффективные страты-референты, перечисляющие все, что Альме нужно сделать сегодня, в пятницу, 26 мая 2006 года: закончить картину «Должностная цепь», заплатить налоги подлой кровососущей управы, сходить в банк, посетить маленькие ясли у церкви Доддриджа, чтобы проверить, все ли в целости доставили для завтрашней выставки. А, и купить в городе еды, потому что в холодильнике шаром покати, не считая странных экзотических релишей и дипов, которые она накупила в измененном состоянии сознания. Возможно, еще заглянет в HMV в «Гросвенор-центре», проверит, не вышел ли новый сезон «Прослушки»; может, пошарит по полкам местного раздела в «Уотерстоун», поищет фотографии барж цвета сепии в реке коричневого эля; лемминговых волн ребятишек 1950-х, бегущих в пляжных костюмах на камеру, шлепая по мелкому концу бассейна на Летнем Лужке.

Под этим относительно чистым организаторским уровнем – непрерывно вращающиеся шестеренки и маховики творческого процесса. Они нервно перебирают раздражающие мелочи в законченных работах – например, центральный беловолосый работяга на «Неоконченном труде» смотрит на публику через плечо как-то слишком строго и пугающе, – либо терпеливо просеивают возможности для грядущих картин. У нее есть одна туманная идея разыскивать места, изображенные великими ушедшими художниками пейзажей, и воссоздавать те же виды в том же медиуме, чтобы запечатлеть все забытые шоссе и современные изменения в классическом сияющем масле и терпеливой лакировке, заморозить деградировавшее настоящее перед непрощающим

взглядом благородного прошлого. Что-то в этом ее привлекает, но в нынешней форме это слишком многословно и очевидно. А кроме того, у нее еще до ночи будет пяток таких же идей, если не лучше. Внимание Альмы практически нон-стоп скользит по этому и другим неоперившимся проектам, в то время как прочие области сознания увлечены своими собственными насущными вопросами, например она притворяется, что какой-нибудь собеседник владеет ее безраздельным вниманием.

А под этим продуктивным и неустанным производственным цехом разума мы далее встречаем обширный подземный комплекс суперзлодейки, где частичка слишком изощренной личности Альмы сидит в крутящемся кресле среди переливающихся дисплеев и замышляет зловещие дела. В том числе влияние на развитие культуры незаметным внедрением экстремистских идей, какие, если довести их до логического конца, почти наверняка приведут к масштабному апокалиптически-психологическому коллапсу. Этим Альма исполнит свою амбицию – сойдя с ума, утащить за собой остальных. Потом, конечно, текущий проект – перехитрить смерть, который пока что развивается неплохо. Она крутится и хихикает в своем воображаемом логове, разве что не гладит кошку, предугадывая, что ее статус злодейки не переживет предсказуемого и очевидного сексуального каламбура. Если так уж требуют обстоятельства, она ласкает гордого и красногребенчатого петуха.

Дальше мы погружаемся в юнговские катакомбы алхимии, каббалы, нумерологии и таро – паранормальный осадок от ее неугасшего интереса к оккультизму. Она расшифровывает свой день согласно таблицам соответствий Корнелия Агриппы, доктора Ди, Алистера Кроули и прочих оккультных тяжеловесов. Сегодня пятница, Фрейтаг, Вендреди, день Венеры и числа семь, во всех отношениях благоприятный женский день. Его цвета – три оттенка зеленого с янтарным в придачу. Запах – аромат роз, металл – медь. Эта специфическая зона сознания Альмы позволяет продуктивно отвлечься на косвенную идею о розах, пробежав по хрупкой нити

спонтанных ассоциаций, начиная с Дианы Спенсер, продолжая «Прощай, Английская роза» – кэмповым панегириком Топина и Джона в честь Монро, переделанным под другую блондинку, погибшую из-за камер, превратных амбиций и предательства. Похоронный кортеж, который видел брат Альмы Мик; возвращение тела домой по летнему шоссе, брошенные розы, увядающие на капоте, яркие на тускло-сером фоне гроба. Непрерываемая тишина толпы у дороги. Нортгемптоншир, Роза Широв. Роза происходит из Турции, существует только в красной и белой расцветках и принесена в Европу вернувшимися крестоносцами, многие из которых приезжали сюда – в город, где зачались их походы. Завоевав популярность, цветок благодаря двум разным оттенкам в итоге становится символом домов Ланкастеров и Йорков, а их последующий конфликт заканчивается в Битве при Коровьем Лужке, между Делапре и парком Беккетта за рекой. Кровь и розы – раппорт на набивной ткани грязной юбки Нортгемптона.

Чуть глубже – чувства Альмы, ее эмоциональная компонента, пастбища куда более солнечные и менее кошмарные, чем намекает внешность. В этом краю – все друзья, питомцы и семья Альмы, живые или мертвые, резвятся среди реконструкций драгоценных моментов. Это может быть сон, первый поцелуй или тот странный день, когда ей было девять и она срезала домой через многоквартирный «Серые монахи» внизу улицы Алого Колодца, где заметила куст, единственную болтающуюся гусеницу. Любой позитивный опыт Альмы перенаправляется на длительное хранение сюда. Весь негативный опыт скармливается отвратительной твари с бирюзовыми глазами, которую держат в загоне за зоной отдыха и выводят на прогулки только по особым случаям.

А подо всем этим – душа Альмы, ее Реальность, которую невозможно выразить, прелестный и искусный артефакт, пусть даже слегка показной и непрактичный. В сущности своей душа принадлежит серьезной и очень умной семилетней девочке, но с богатым воображением, и конкретно сейчас она блаженно

растворяется в течениях обжигающе горячей ванны с запахами жасмина и порошей сапфира.

Когда Альма чувствует угрызения пролетарской совести из-за своей распущенности уровня второразрядной знаменитости – а в ванной такого неприличного размера они начинаются всего через несколько минут, – она внезапно садится и выдергивает пробку. Выскочив из ванны, она торопится вытереться и одеться раньше, чем утечет с хлопотаньем вода, – привычка, которую она раньше считала простой эффективностью, но в которой уже признала очередное проявление обычного личного безумия. Наконец, с торжеством нацепив одежду, пока последние туманности пены и блеска еще кружат у черной дырки слива – благодаря тому простому преимуществу, что не стала утруждать себя нижним бельем, – Альма накидывает халат на перила и грохочет вниз по лестнице. Уже полседьмого утра – время приступать к хаотичному, но требовательному графику миссии запугать остальных жителей планеты. Не то чтобы Альма находит эту самоналоженную обязанность особенно трудной. Просто их всех так много, а времени так мало.

Внизу, среди завала редких книг и незаконченных полотен, которые кажутся уютными только одной Альме, она наполняет свой чайник космического века и включает его жуткий синий огонек, после чего усаживается в кресло и принимается за построение первой джазовой сигареты. Эти нарочито длинные штуки, какие Алексей Сэйл при своем единственном посещении очень точно окрестил «девятидюймовыми компенсаторами члена от «Голуаз», – остатки ее молодых дней, когда она еще ходила на вечеринки и складывала такие пятки, чтобы еще хватало для себя после полного круга по комнате, набитой народом. Когда частичная глухота и растущая усталость от алкоголя привели к тому, что Альма стала избегать вечеринки и чаще курила одна во время работы, она просто забыла соответственно уменьшить длину, только и всего. Не то чтобы она какой-то там торчок, вовсе нет.

Когда все десять бумажек «Ризла» склеены в белый флаг капитуляции и насыпана начинка из табака, Альма обжигает тупой конец батончика гашиша зажигалкой «Зиппо». Нынешнюю разновидность – которую в подростковом возрасте она опознала бы как афганскую или пакистанскую, – наверняка уже переименовали в «Талибан Блэк», чтобы соответствовать мировой ситуации. Она размышляет над этим, пока крошит еще тлеющую смолу в табак и в процессе обжигает левые большой и указательный пальцы, в которых и так почти не осталось нервов. Далее следует движение как при спешной скатке ковра, а потом языком по краю, узелок в одном конце и аккуратная вставка в свернутый картон другого – и все до того, как подсвеченный синим оргоновый чайник на кухне перестает бурлить. Она с брызгами наливает кипящую воду в ужасно выцветшую чашку «Лучшая во всем», направляя дымящийся поток так, чтобы он падал в центр круглого серого чайного пакетика и удовлетворительно раздувал его в подушку уловленного жара. Потискав пакетик ложкой у стенки, чтобы выжать его жизненные соки до последней капли, она отбрасывает израсходованный и дымящийся остов в как раз раскрытую педальную урну. Пренебрегая молоком и сахаром – напитки она предпочитает «черными и злыми, как и мужчин», – Альма транспортирует полную до краев чашку обратно в гостиную, к креслу и поджидающей контрабандной сигарке.

За спинкой кресла находится сводчатая витражная панель, на которой золотые звезды обозначают расположение каббалистических сфер на фоне темно-синего цвета, перетекающего в аквамариновый. Сквозь него из-за заднего окна комнаты брезжит низкое солнце и омывает Альму кобальтовым и желтоватым свечением, когда она закуривает папиросу. Цветные звезды бьют яйца на циановой глазури ее влажных волос. Миг она держит дым в легких, а потом откидывается и выдыхает в сгущающееся индиго, блаженствуя в собственном характере, в бесконечном веселье и по

большой части приятном напряжении просто от того, что она – это она.

Пока начинают разогреваться конденсационная камера сознания и раскочегариваться турбины, достигая обычной рабочей скорости, она тянется к ближайшей странице периодики, чтобы активирующимся мыслительным процессам было на чем сосредоточиться. В руках оказывается последний номер «Нью Сайентист» от 4 мая, раскрытый на интригующей статье о нежно любимом Альмой философе науки с великолепным именем Герард 'т Хоофт, чья критика струнной теории ее так впечатляла. Похоже, 'т Хоофт сформулировал гипотезу, которая, если будет доказана, наконец решит затруднения квантовой неопределенности; так их решит, что от них ничего не останется, если Альма поняла правильно. Философ, похоже, предполагает, что под таинственным квантовым миром есть еще глубже залегающий и более фундаментальный уровень, еще не открытый. 'т Хоофт предсказывает, что стоит изобрести туннельные микроскопы, что раскроют этот прежде нежданный уровень реальности, то мы обнаружим, что представление Гейзенберга о частицах, существующих в различных состояниях до конкретного наблюдения, – иллюзия, основанная на непонимании.

Почитывая между глотками чая и дыма, Альма позволяет себе утробный гоготок огра, который вдруг догадался, где прячутся школьники. Крепкие опасные идеи она видит за версту, и предложение 'т Хоофта кажется ей одной из самых гениальных концептуальных мин, что ей попадались. Прелести идеи так и бросаются в глаза. Квантовая неопределенность – камень преткновения на пути любого легкого решения бездонных противоречий между квантовыми воззрениями и классической вселенной Эйнштейна, Ньютона и прочих. Если крошечные субатомные частицы ведут себя согласно законам Льюиса Кэрролла, относящимся к квантовой физике, то почему к звездам и планетам должны применяться какие-то другие законы? Пока что попытки

помирить квантовый микрокосм с классическим макрокосмом привели к таким мозговыносящим экстравагантностям, как струнная теория, – идеям, которые, чтобы все сошлось математически, требуют добавки новых измерений, от десяти до двадцати шести.

Впрочем, это еще не значит, что апологеты теории струн ошибаются, замечает Альма, – просто, на ее взгляд, струны кажутся неряшливыми и необязательными. Но если 'т Хоофт прав и квантовой неопределенности нет, то проблема уходит, а остается единая теория поля, объясняющая все и вся без разных экзотических костылей теорий, от которых больше вопросов, чем ответов. Она так и видит, что гипотеза 'т Хоофта привлечет множество ученых, но у палки два конца: если нет квантовой неопределенности, то нет и свободы воли. Вот она где, проблема, и, по прикидкам Альмы, в потенциале по сравнению с ней бледнеют текущие диспуты между христианством и наукой.

Вот почему она посмеивается, пока читает. Всё свобода воли, и как из-за нее нервничают все от мала до велика – даже мыслители, которых она безмерно уважает. Альма, весь год проработав над околосмертным видением ее брата Уорри, уже вполне свыклась с предопределением – представлением о жизни как о закольцованном опыте, который мы переживаем без изменений и без конца. Но за это время она узнала, что и Ницше, и один из ее идолов – брикстонский художник и волшебник Остин Осман Спейр, – уже формулировали почти такой же концепт, только потом отвернулись от него из-за того самого подразумеваемого отрицания свободы воли.

Альма не понимает, чего тут переживать. Она убеждена, что никому и не нужна свобода воли, пока есть ее жизнеспособная иллюзия, чтобы не сойти с ума. Еще ей кажется, что наше восприятие свободы воли зависит от масштаба, в котором мы рассматриваем вопрос. Если взять отдельного человека, то, очевидно, невозможно точно предсказать, что с ним случится, скажем, за следующие пять лет. И это как будто укрепляет доводы в пользу свободы воли и еще

не написанного будущего. С другой стороны, если мы рассмотрим большую группу людей, такую как несколько тысяч душ, населяющих Боро или любой среднестатистический современный неблагополучный район, то наши прогнозы становятся пугающе легкими и точными. Можно сказать – почти безошибочно – сколько человек заболеет, будут ограблены, забеременеют, лишатся работы, дома, выигрывают мелочовку в лотерею, избытуют партнеров или детей, умрут от рака, остановки сердца или слепого несчастного случая. Сидя в насыщенном синем свете и докуривая, она понимает, что это та же самая загадка физиков, только в контексте социологии. Почему мы видим свободу воли, как и квантовую неопределенность, только когда смотрим на микрокосм – на одного человека? Куда девается свобода воли, когда мы обращаем взоры на крупные народные массы, на населения, эквивалентные звездам и планетам?

Затушив джойнт, она откладывает журнал и начинает скатывать новый. Чашка железно-черного чая, полная только на четверть, остыла, а на ее поверхности, как на коже, образовались коричневые пластиночки. Она заварит еще чашечку перед тем, как через несколько минут приняться за работу, раз с волос больше не капает.

Все еще муссируя в голове тему Герарда 'т Хоофта, в конце следующего отрезка времени она ловит себя на том, что оказалась у мольберта под окном с новой и дымящейся чашкой на высоком столике, по соседству с пепельницей с еще не раскуренным вторым косяком на краю. В правой руке у Альмы кисть «два нуля», неподвижная и горизонтальная, как воздетое копье терпеливого охотника в джунглях, который не моргает и знает, что добыча шелохнется раньше него. Она себя выдаст – линия или образ, что ищет Альма, – и тогда короткий дротик с ядом краски на кончике метнется вперед.

На мольберте – последнее произведение, которое нужно закончить перед тем, как завтра утром откроет свои детсадовские двери выставка Альмы. Картина доделывается в последнюю минуту потому, что включить ее Альма решила совсем недавно.

«Должностная цепь» – запоздалая идея, некий визуальный эпилог для предшествующих работ. На ней стоит один человек в официальной позе, словно для портрета мэра, на неразборчивом и плывущем поле почти питкого зеленого пуантилизма, насыщенно-изумрудного дыма. Сановитый субъект со все еще незаконченным лицом облачен в странную и расписную церемониальную мантию, скрывающую контуры тела, которое может принадлежать как женщине, так и мужчине. Без завершенного лика глаз зрителя привлекает экзотическая ниспадающая ткань мантии, и при ближайшем рассмотрении кажется, что она-то и представляет суть картины. На сшитых лоскутах с неровными контурами изображены изощренные и подробные сценки, проложенные золотой филигранью разветвляющихся линий, в которых узнается роскошно освещенная карта бывшего района Альмы, от Овечьей улицы до дороги Святого Андрея, от Графтонской улицы до Лошадиной Ярмарки. Декорированная оторочка – мотив брусчатки, растрескавшейся и обветренной, обрамленной швами ярко-виридианового мха. Запонки – приклеившиеся ракушки. На волнах убранства то ли нарисованы, то ли нашиты изоморфные изображения церкви Доддриджа, распираемой от рантеров-пуритан, а в умбру изгиба соскальзывают с висящей сборки Ручейная школа и улица Алого Колодца.

Внушительная фигура, облаченная в поразительный плащ из карт, воздевает обе руки то ли в приветствии, то ли в благословении. На шее висит мятый гонг тускло-серого цвета, который заметно выделяется на фоне бушующих колеров одеяния, – старая крышка кастрюли на как будто туалетной цепочке.

Единственная заковыка Альмы с картиной – она не может решить, чье лицо должно быть у блистательного тотема Боро. Может быть, Филипа Доддриджа? Черного Чарли? А как насчет нежной совиной округлости любимой покойной тети Лу, ушедшей от них в бурю с молниями? Нет. Нет, все не то, только не на этом уже законченном теле с совсем другими пропорциями. Альма откладывает зависшую

кисть и берет косяк, зажигая узелок фитиля. После затяжки-другой она возвращает дымящую колонну обратно в пепельницу и забирает кисть, придя к решению.

Следующие два часа она работает над лицом до полного удовлетворения, потом полчаса влюбленно таращится на картину, упиваясь собственным величием. Наконец самовлюбленность начинает утомлять. Альма решает, что заслужила перерыв.

Она с театральным ишиатическим стоном встает и ковыляет на кухню, где жарит нарезку халуми, пока в духовке надувается и толстеет несколько пит. Когда толстые стейки сыра приобретают кожано-осеннюю пестроту, она снимает их со сковороды; начинает кошельки теплого хлеба, добавив пригоршню листового салата и несколько гильотинированных помидоров. Она не может есть халуми без превратного чувства вегетарианской вины. А все потому, что, когда впервые уже десятилетия назад распробовала волокнистое и соленое греческое лакомство, решила, что халуми – наверняка какая-нибудь вымирающая кипрская рыба. Хотя теперь Альма просвещена, она так и не может стряхнуть фриссон от запретной и вкусной плоти после каждой тщательно пережеванной порции, и от этого даже становится вкуснее.

Проглотив то, что представляла ее спешная поджарка, – второй завтрак, бранч или полутренник (ее личный неологизм), – Альма избавляется от тарелки и скатывает себе еще курева. Она закончила «Должностную цепь» на час раньше, чем ожидала, – дело мастера боится, а такого – уж тем более. Значит, она успевает поковыряться с парой других проектов, а может, начертать пару строчек большими буквами аутистического и трудоемкого вида на еще не замаранных страницах какого-нибудь рабочего блокнота. Она так и не овладела слитным почерком. Как и умение завязывать шнурки как полагается, этот навык оказался из тех, где она при первом опыте столкнулась с трудностями и тут же махнула рукой, упрямо решив, что найдет собственный подход и будет придерживаться его, даже если он очевидно неправильный. Это формирующее решение, принятое в

семь лет, изменило всю ее дальнейшую жизнь. Озадачивающий ответ на вопрос в недавнем интервью, не политические ли возмущения 1960-х повлияли на отчаянно индивидуалистский подход Альмы к жизни, – «Да нет, это все сраные шнурки», – оказывается, стал темой множества спекуляций на интернет-бордах, которых сама она никогда не видела, только слышала.

Вернувшись в кресло – гнездо из сплетенных дымовых ленточек, – Альма берет ближайшую пустую тетрадь в твердой обложке с заваленного кофейного столика слева, захватив при этом ту синюю шариковую ручку, что еще выглядит работоспособной. Делает пару заметок для возможной автобиографии, о которой давно подумывает, – пока что это не более чем абзац-другой о бабке Мэй под рабочим названием «Мы были бедные, зато людоеды». Альма сочиняет пару десятков заголовков для глав – фраз, что кажутся ей забавными, глубокими или заумными, – и вкратце набрасывает под каждым вариантом идеи или эпизоды содержания. А подробности и само мясо текста можно доработать потом, на ходу, на честном слове и на одном крыле.

Кстати удовлетворившись результатами получасовой работы в момент, когда та стала надоедать, Альма откладывает рабочую тетрадь и тянется за ближайшей книжкой в мягкой обложке, журналом или комиксом, которые попадутся под руку. Жребий выпадает выпуску «Запретных миров» в полиэтилене – похоже, номер 110, март-апрель 1963 года, опубликованный давно сгинувшей АСГ – «Американ комикс групп». Так как затянувшийся подростковый возраст, характеризующий современный комикс-бизнес, давно ей приелся, Альма допускает домой публикации почти только этого винтажа.

Аккуратно извлекая хрупкую брошюрку из постаревшего и увядшего пластикового конверта, Альма изучает, признаться, довольно неказистые обложки, переднюю и заднюю. На задней – черно-белая реклама впечатляющего каталога игрушек от Honor House Productions, смело озаглавленная «Сокровищница веселья».

Под весельем, похоже, подразумевается сбивать взрослых с толку чревовещанием, пугать зажигалкой-портсигаром, которая выглядит как «автоматический пистолет „Браунинг“», или повышать их ужас перед ядерной обстановкой Атомной Дымовой Бомбой: «Просто подожгите и наблюдайте, как к потолку растет столб белого дыма с плотным облаком в виде гриба, прямо как от Бомбы». Они идут по двадцать центов. Еще в ассортименте беззвучные свистки для собак, уроки джиу-джитсу – обещающие, что «Ты тоже можешь быть крутым», – колода крапленых карт и нечто под забавным названием «Очки заднего вида», которые «позволяют видеть сзади все, пока никто не догадывается. Иногда очень полезно». С трудом представляя, в каких же именно случаях эти очки с зеркалами «очень полезны», кроме разве что когда ей придется пятиться со своей массивной головой из узкого тупика, она переходит к передней обложке цитрусового цвета с несоразмерной печатью одобрения от некогда всемогущего Органа Кодекса Комиксов и черной отметкой «9d» ^[87] британского газетного продавца, проставленной на украшенном планетами логотипе.

Рисунок художника, имени которого Альма не знает, – явно шаблонная обложка из заглашников. На нем из хрустального шара кривится монах злобного вида в зеленой рясе. Аннотация на синеватом поле, прилагаемая к иллюстрации, пытается оправдать ее, делая вид, что мрачная фигура в снежном шарике – «только ОДНА» из множества угроз внутри, которые повстречает на пути единственный постоянный персонаж антологии Херби. Пролитав два-три непритязательных сюжета со странными приключениями до истории о Херби в самом конце – единственной причине, почему она хранит этот потрепанный комикс, – Альма, как и подозревала, обнаруживает, что это уловка. В десятистраничном рассказе – любимце Альмы под названием «Херби и Салатная заправка Снеддигера» – зеленого монаха нет и в помине.

Херби зародился за несколько номеров до этого, причем в истории, которая, возможно, и не подразумевала продолжения. Но

читателей заинтриговал протагонист – сферический и строгий школьник с прической под горшок, очками в роговой оправе, неожиданными сверхъестественными силами и необычной одержимостью леденцами с фруктовым вкусом. С тех пор благодаря положительному отклику персонаж в своем фирменном костюме – странно уменьшенной взрослой одежде: синих штанах, белой рубашке и черном галстуке, – появлялся чаще. Очевидно, такой прикид прокатит не для всех, но Херби уже через год после 110-го номера бросит «Запретные миры» и станет заглавным персонажем собственного комикса, и Альма собрала почти полную его коллекцию.

Главной причиной этого уникального влечения стала любовь Альмы к стилю явно страдавшего от ОКС художника Огдена Уитни. Уитни – в бизнесе с 1940-х – каким-то образом умел довести удушающую пригородную скуку до крайностей, каким позавидовал бы и авангард. Его безликие американцы среднего класса с гладкими прическами словно вышли из журнальной рекламы мыльного порошка, машин или кофе – сбивало только заметное отсутствие самоуверенной зубастой улыбки. Взамен его персонажи отличались выражениями едва подавленной депрессии, с которыми ссорились на кухнях стандартных белых домиков или слонялись по ярко-зеленым газонам – постриженным так аккуратно, что лишенным всякой текстуры: просто контуры для колориста. А посреди этого тревожного ландшафта времен холодной войны, населенного зажатыми невротиками, покоилась планетарная масса Херби Попнекера.

Легенда гласит, что автора АСГ Ричарда Хьюса, писавшего под псевдонимом Шейн О’Ши, заморозила буквальность, с которой Уитни отображал любой предложенный сценарий в одном и том же скучно-реалистичном стиле. Может быть, шутки ради сценарии этого автора становились по мере развития серии все более комически сюрреалистическими, потчuya и без того ошарашенный круг читателей странными встречами бесстрастного левитирующего

ребенка-пельменя с галереей актуальных на тот день кинозвезд и мировых лидеров, включая всех Кеннеди, Никиту Хрущева, Фиделя Кастро, королеву Елизавету Вторую или Бертонов. Обычно женщины-знаменитости тут же падали к ногам сферического и энигматического десятилетки. Ледиберд Джонсон, Джеки Кеннеди, Лиз Тейлор и Ее Величество Королева вздыхали и заламывали руки, пока он уходил в небеса с выражением высочайшего безразличия – неправдоподобный любимец женщин, бесстрастно сосущий леденец, такой же круглый, как он сам.

Все эти реальные светила спокойно сосуществовали с тварями из открытого космоса, ведьмами на метлах, говорящими животными, антропоморфными предметами и сверхъестественными обитателями фирменной загробной жизни ACG зеленоватого оттенка. Этот оккультный регион, вымощенный облаками цвета лаймада, казался Вечностью по версии Рода Серлинга [88], часто появлялся в других книгах издательства и назывался, если верить знаку в облачной приемной, как будто написанному вручную, «Неизвестное». Это было обиталище привидений в простынях, троллей, лепреконов и чудовищ, возвращенных в запасниках Universal Studios, а также бескрылых хранителей в балахонах, которые напоминали ангелов Фрэнка Капры желчного оттенка, пухлых и добродушных. На задворках сознания Альмы проскакивает мысль, что на нее наверняка незаметно повлиял этот секулярный, фантастический и простонародный взгляд на парадиз, пока она весь последний год воплощала детское видение Уорри на картинах и иллюстрациях. Несмотря на несхожесть стилей, изощренное отображение верхних Боро от Альмы, переполненное снами, чертями и фантомами, наверняка немало заимствует у сдержанного сюрреализма Огдена Уитни.

С другой стороны, она понимает, что достоинства Уитни, какими бы они ни были, на самом деле только камуфляж для истинной природы ее интереса к его творчеству. А основан этот интерес целиком и полностью на идентификации Альмы с самым известным

персонажем художника. До откровенно пугающей акселерации она и сама была коренастой пышкой и тоже, как герой Уитни, настрадалась с прической под миску для пудинга. Еще она разделяла убеждение Херби, что все силы и власти вселенной должны знать ее в лицо и иметь здравый смысл, чтобы не стоять на пути. В данном приключении в ее руках душительницы с красными ногтями, «Херби и Салатная заправка Снеддигера», всемогущий школьник распугивает целого Франкенштейна, залп автоматных пуль с встревоженными личиками, что при виде Херби сворачивают со своей траектории, львиноголовых динозавров со злосчастной планеты Бертрам и даже агрессивную комету, которая в панике меняет маршрут, только завидев шар для боулинга на ножках с аддикцией к леденцам. На взгляд Альмы, это не более чем та самая вежливая почтительность, какую должны бы проявлять к ней бешеные слоны, крылатые ракеты, оборотни, корпорации, молнии и пришельцы-захватчики.

Еще одна причина для эмпатии – глаза Херби: как из-за их скучающего выражения с тяжелыми веками, хорошо ей знакомого по собственным детским фотографиям, так и из-за уродливых очков, с которыми тот не расстается. Такая участь могла постичь и Альму, с ее-то почти бесполезным левым глазом, унаследованным от мамки, Дорин. Она избежала лицевых деформаторов от Национального здравоохранения только благодаря своей смекалке. Когда мать повела ее в семь лет на обязательную школьную диспансеризацию, Альма походя взглянула на таблицу и запомнила от начала до конца, бросив на это все силы экстраординарной памяти, которую одноклассники и семья еще не заметили и о которой она не торопилась их извещать. Школьный офтальмолог надел на несоразмерную голову Альмы очки-консервы прямым из «Заводного апельсина», а потом развернул к парящему серому пятну в тумане, и она выпалила список букв, от которых не видела ни черточки. Эта методика спасала от очков до самых подростковых лет, когда процедуру проверки глаз неожиданно изменили и в Альме

улучили полуслепую врушку с почти вампирской чувствительностью к свету. Впоследствии она была вынуждена два года терпеть тонкую оправу и синеватые линзы, в которых умудрялась выглядеть еще более претенциозно, чем обычно. Когда одна линза выпала и разбилась, офтальмолог-дальтоник заменил ее розоватым стеклышком, так что Альма как будто стала вечным зрителем 3D-фильма. К этому времени она и так уже вбила себе в голову, что ее зрение портится что с очками, что без очков, а последнее издевательство только подлило масла в огонь. Она выкинула двуцветные гляделки, решив раз и навсегда, что если ослепнет, то на своих условиях, уж спасибо. Только потом она узнала, что если не носить очки вообще, то глазные мышцы подвергаются некоему «негативному линзовому эффекту», а он на самом деле идет на пользу зрению. Или это «позитивный линзовый эффект»? Неважно. Важно то, что, по собственной оценке Альмы, она оказалась права. Альма – один, офтальмологи – ноль, и говорите что хотите.

Вернув внимание к истории перед глазами, Альма снова вспоминает Огдена Уитни, его печальную кончину, описанную в «Искусстве вне времени» – замечательной книге, которую Майк Муркок послал ей в благодарность за иллюстрацию для мягкой обложки недавно переизданного «Элрика». В чудесной коллекции забытых и примечательных комикс-стрипов из давних времен Альма с радостью встретила характерно бредовую главу о Херби, с сопроводительным текстом о художнике. С печалью, хотя и без удивления она узнала, что внешность и сложение Херби основаны на облике самого Огдена Уитни в детстве, и со слезами читала о том, как он умер – забытый и свихнувшийся от выпивки в лечебнице. Она воображает шестидесятилетнего Херби в комнате отдыха в доме престарелых, променявшего рубашку и синие штаны на заляпанный халат, а леденцы, дарующие разнообразные силы, – на бутылки. Из них волшебная – только бутылка путешествия во времени. Сонные глаза смотрят в расфокусе из-за толстых, как донышки пивных кружек, линз, а брюшко натянулось до предела из-

за увеличенной печени. Седеющая голова, стриженная под горшок, полнится деменцией в четких прозаичных штрихах – львами-драконами и Салатной заправкой Снеддигера, множеством призраков и существ из зеленого Неизвестного.

Последний раз затянувшись подернутым сепией окурком, она давит его и встает под очередной скрипящий возглас от глухой боли в спине. Она уже практически не замечает кряхтения, таким постоянным и навязчивым оно уже стало. Роясь среди блокнотов, комиксов, ручек и книжек, Альма находит расческу, умудрившуюся пережить ежедневные схватки с ее головой. Этот прочный деревянный инструмент способен на «МЕГА-приручение», если обратить внимание на напечатанное на рукоятке обещание, и уже продержался больше года, лишившись не больше десятка пластмассовых зубов. Его предшественницы, треснувшие напополам или изувеченные любым другим способом после первого же или второго болезненного прорыва через спутанные лохмы, казались в сравнении жалкими слабачками.

Она смолоду узнала, что если не будет расчесывать свою копну каждый день, то появятся узлы, которые через неделю спрессуются до состояния рога носорога; деревянные очески, для удаления которых потребуются лесопатологи, бензопилы, веревки и лестницы. Закрыв глаза, она начинает вести расческой от темечка, моментально спрятав лицо за серо-бурым противопожарным занавесом, пока зубья мучительно бороздят неподдающиеся колтуны. Как она обнаружила, из-за звука корчующихся фолликул и трещащих виниловых клыков этот процесс куда больше пугает тех, кто вынужден его слушать, чем ее саму. Подруга-художница Мелинда Гебби, если становилась свидетельницей расчесывания, зажимала уши и хныкала в ужасе, что Альма оторвет себе полчерепа, пока сама она даже не брала в расчет возможность самоскальпирования. Ее отношения с болью давно дошли до безразличных, когда она поняла, что физическая компонента боли весьма ограничена в силах – а весь вред наносит психологическое и

эмоциональное сопровождение. Впредь она по мере сил отделяла болезненные физические ощущения от прилегающих мысленных рефлексов шока, страха или гнева. Одним из побочных эффектов этого в целом успешного процесса стало то, что Альма больше не боялась даже щекотки. Тех, кто боится, она терроризирует с абсолютной безнаказанностью.

Худшая часть пытки закончена. Теперь гигантская голова Альмы скрыта в церковном колоколе из волос, так что, если бы ее видели только выше плеч, то никто бы не понял, какой стороной она стоит к зрителю. Вскинув обе руки, Альма скребет алыми ногтями приблизительно посередине рашморского черепа, прокладывая центральный пробор, и раздвигает поблекшие каштановые кулисы, чтобы посмотреться в зеркало над камином и взвесить результат. Альма решает, что ей особенно нравится блудная пепельно-медная прядь, змеящаяся по почти слепому левому глазу – ее страшному, возможно, потому, что им управляет безумный довербальный василиск правого полушария. Правый глаз Альмы, человеческий и поблескивающий, понимает: предпочтительнее, чтобы она нравилась окружающим – или, как она их называет, людям, – а не распугивала внешностью или поведением. В свою очередь, левому глазу Альмы явно насрать. Он пылает – серый, желтый и расфокусированный – из-под нависающего лба, на котором мягко поднимаются заметные бугры, словно она отращивает рога или новую переднюю кору.

Разобравшись с волосами, Альма красит лицо в стиле, первопроходцем которого был мистер Картофельная Голова. Скоро ее ресницы провисают под весом туши и напоминают удаленную сцену с гигантскими пауками из первого «Кинг-Конга». Далее, поджав губы, как Мик Джаггер до того, как до него добрались бальзамировщики, она наносит на рот кровавое импасто красной помады. Она уверена, что это отбивает желание у потенциальных насильников и им подобных, придавая внешность более

прожорливого сексуального хищника. Наконец удовлетворившись, она ухмыляется выражению. У Альмы каждый день как Хеллоуин.

Натянув древнюю косуху, на лацканах которой августовской ежевикой висит перезрелый урожай устаревших символов, она почти готова снова столкнуться с оглушительной планетой и взглянуть в лицо реальности, но сперва надо нацепить все кольца и броню на пальцы. Великолепно зловещий набор суставчатых металлических когтей, точеных скорпионов и вытянувшихся серебряных змей за компанию с ассортиментом больших, цветных и увесистых драгоценных камней – эти смертельные украшения наверняка отвадят насильников лучше, чем плотоядная помада, осознает она в те редкие случаи, когда мыслит рационально. Одна пощечина – и лицо нападающего повиснет лентами сырых обоев. И с нее станется. Однажды она сообщила брату Уорри, что, хотя и считает его почти родным, в случае чего без размышлений вскрыет его, как банку хулахупов.

Проверив, что не забыла чековую книжку и ключ, она запускает себя через шахту тесного коридора, стены которого лижут лужи золотых звезд, в заказную входную дверь с вырезанным узором из двух змей, сплетенных в символе кадуцея, на свою дорожку к Восточному Парковому проезду. Дорожные плиты из йоркского камня омыты ясным светлым солнцем – предчувствие лета – и украшены четким рельефом очаровательной трилобитовой эрозии древнего речного русла. За оживленной Кеттерингской дорогой – высокие деревья вдоль края парка «Ипподром», зеленая кайма глубокого километрового неба-абажура над парком. По широким серым тропинкам по одному и по двое ходят люди, или же прокладывают независимый маршрут по беспокойному морю травы. Кто-то пытается пускать воздушного змея – возможно, в попытке воссоздать какую-нибудь дорожку сердцу иллюстрацию из детской энциклопедии 1950-х, – выцветший желтый бриллиант зыбится на бледно-синем фоне. Ухабистую землю патрулируют подозрительно громадные вороны, с каждым годом их армия все больше и

уверенней. Смерть сколько воронья – впрочем, тут уже лучше будет сказать «Гарольд Шипман сколько воронья».

Пока ее домашние легкие быстро подстраиваются под холодные глотки воздуха, Альма сворачивает налево и отправляется в город. «Доктор Мартинсы» шаркают по ископаемым разводам тротуара, а разум затапливается случайными идеями и ассоциациями, словами и картинками, цепляющимися за витрину-пейзаж, который катится в противоположную сторону, когда Альма набирает скорость. Она думает о сменяющихся под шагами камнях – единственном виде, доступном поникшему взору вне зависимости от века. Старые плиты, очевидно, не менялись с самого девятнадцатого века, но взгляд знатока видит нюансы: нехватка собачьего дерьма; фантики от шоколадок, переименованных, чтобы не озадачивать американских туристов еще больше [\[89\]](#); непостижимые теги, все в завихрениях и спиралях белых брызг, словно от ускорителя частиц. Вдалеке через дорогу мужчина пытается вести по «Ипподрому» какую-то парусную машину, но ветер стих, и он остался в штиле среди разгуливающих ворон и внезапно пикирующих змеев. Если ветра не будет до самой темноты, то, видимо, парковый мореход обречен. Несмотря на дополнительное освещение, которое не так давно установили на широком – и ночью совершенно непроглядном – лугу, немалое число обитателей города по-прежнему называет его «Гоподром».

Она переходит от Восточного Паркового проезда на Кеттерингскую дорогу, через въезд на Абингтонскую авеню. Джордж Вудкок – сообщник Альмы по Творческой лаборатории из подростковых лет – написал длинную неоновую поэму об этом рассыпающемся проезде, инкрустированную городскую элегию под названием «Главная улица», а потом завязал с литературой и ушел в дальнобойщики. Она до сих пор видит строчки и фразы из утраченного эпоса, размазанные и спутанные в мощеных канавах; на новых пластмассовых стоках. Она до сих пор видит пропавшие случаи, ночи и людей, о которых говорили те строчки, и свои бывшие «я» из разных ушедших десятилетий, бредущие по обшарпанной

улице, – шумную девятнадцатилетнюю пьяную девочку в компании провинциальной богемы, озлобленную работницу Газового управления, в очередной вечер пятницы топающую домой под моросью, сорокалетнюю чокнутую ведьму в черном плаще в окружении орды осмелевших от алкопопа дурачков, которые обзывают ее «Гротбагс» [90], «лесбиянкой» или «мымрой» из убежища проезжающих машин, стоит выйти за покупками. Городские улицы для Альмы – живые палимпсесты, все слои по-прежнему целы, все люди по-прежнему живы и всё по-прежнему продолжается – бесплодные романы и гулянки, переливающиеся кислотные трипы, перепихон в подъезде второпях.

Это ощущение одновременной вечности, хоть находило время от времени в течение всей ее жизни, по-настоящему ярко вспыхнуло, только когда она работала над этими картинами. Мысль, сформулированная целиком, оказалась такой ослепительно очевидной, что она до сих пор удивляется, как дожила до пятидесяти с чем-то, не понимая этого: время – вечное и твердое, и в нем ничего не меняется, ничего не умирает. Столько лет идея была прямо у нее под носом, а она не понимала, что видит, до самой встречи с братом в «Золотом льве», когда до нее наконец дошло. Миг апокалипсиса и откровения, почти как в тот раз в многоквартирнике «Серые монахи», когда она прогуливалась домой к обеду из Ручейной школы. На небольшом кустарнике, внизу завешанного бельевыми веревками двора, на нитке с листа растения, названия которого Альма не знала, болтался прозрачный червяк или гусеница. Она таращилась на него не меньше минуты, а потом произошло что-то странное...

Мимо ревет и сигналит черное такси. Альма не видит, кто водитель, но поднимает одну металлическую клешню и компанейски машет в зеркало заднего вида. Она ладит со всеми местными таксистами, и иногда ее бесплатно подвозят в город, если видят, что она идет туда в непогоду. Если честно, она ладит почти со всеми, и это несколько подтачивает образ горгоны, над которым она

работала так долго. Если ситуация не изменится, придется порезать парочку герлскаутов, чтобы восстановить репутацию.

На другой стороне улицы мимо мелькают переменчивые и преходящие вывески. Благотворительные магазинчики с маразматическими владельцами и вешалками с кардиганами, в которых кто-то умер, карибские бакалеи, глядящие на север, так что мятому ямсу, что нежится в розовой тени, не достается солнца. Альма хихикает над названием одного заведения, «Батт Сейворис» – «Пряности задницы», если буквально, – хотя в ее-то возрасте стоит быть посolidнее. Чуть дальше по дороге – кебабная «Эмберс», от вида которой она тоскует по денькам, когда здесь находился бар «Золотая Рыбка Рика». Не то чтобы она была завсегдаем, но часто тешила себя фантазией зайти, чтобы ей подал гороховое пюре с чипсами Хамфри Богарт, окинул ее горестным взглядом и протянул: «Из всех баров с золотыми рыбками она зашла в мой». Откуда-то позади в ее мысли подсознательно проникает пищущее стакато автоматического светофора, и она напевает быстрый момент из «Серенады осла», сама не зная почему. Сзади, дальше по Кеттерингской дороге, в Кингсли, есть другой переход с еще более быстрым темпом, из-за которого она насвистывает «Танец с саблями». Впечатлительная, как восьмимесячный младенец, и неуязвимая, как птеродактиль из бриллиантов, она углубляется в город.

Тощий паренек с современной прической и очками замирает как вкопанный и изумленно вперяет в нее взор, а лицо искажается в резиновом мультяшном выражении, которое, не будь он так молод, можно было бы принять за парализующий инсульт. Вспомнив, что она не потрудилась надеть трусики, Альма бросает взгляд вниз – вдруг разъехалась молния джинсов, – а потом осознает, что как громом пораженный молодой человек – поклонник. Он говорит ей, что она Альма Уоррен, за что она всегда благодарна. Однажды, когда она убрет из дома, эта информация ей пригодится. Пока он перечисляет все свои любимые конверты пластинок, обложки

дисков и комиксов, Альма улыбается и пытается передать девичью скромность, но на самом деле изображает трупную ухмылку и пронзительный взгляд Конрада Вейдта из утерянного дубля в «Человеке, который смеется». Она жмет бесчувственную руку своего дыхателя и благодарит за добрые слова, вслед за чем продолжает путь по Кеттерингской дороге, про себя отмечая, что его рукопожатие показалось совсем не таким мужественным, как ее. Впрочем, вряд ли он тренировался с десяти лет так, как она: раскрасневшись, сжимала напольные весы, пока не могла воссоздать вес своего тела одними только большими пальцами. Перед тем как выпуститься из Ручейной школы, она хорошенько придушила пару мальчишек за то, что необдуманно приставали к ней или маленькому Уорри. У одного на горле остались страшные синяки, словно агатовое кольцо, и его мать приходила в школу и наорала на Альму. Эта тактика оказалась по большей части безрезультатной, потому как она по сей день не освоила в полной мере концепцию взвешенной и пропорциональной реакции на мир вокруг.

Она перебегает очередной переход – этот, с медленным писком затихающего кардиомонитора, не провоцирует с ее стороны никакого музыкального аккомпанемента. После очередных бакалей с энигматичными индивидуальными атмосферами и аутлета с приличной на вид одеждой в стиле хип-хоп она переходит Гроув-роуд, где впереди видна некогда величественная громада кинотеатра «Эссольдо». Насколько помнит Альма, именно на Гроув-роуд в 1970-х повыбивало окна взрывом бомбы ИРА в клубе BBC Великобритании, который находился где-то в этом квартале. Тогда правительство даже не думало назвать бардак в стране войной, и тем более – войной с терроризмом. Но это, конечно, было еще до войны с наркотиками, когда кампании против абстрактных эмоций или неодушевленных веществ больше походили на поведение перевозбужденных и амбициозных далеков.

На углу с Кеттерингской дорогой – Квинсгроувская методистская церковь, впечатляющее краснокирпичное строение девятнадцатого столетия, ступени которого сегодня не украшает банда милостивых черных ребят, как бывает в теплую погоду. Меньше чем в десятке шагов дальше Альма проходит мимо современной телефонной будки, которая всего несколько ночей назад стала сценой нападения с ножом, с летальным исходом. Ну и смерть, думает она, – в стеклянном гробу, обмотанном рекламой второго сезона «Побега из тюрьмы». «Хорошо поговорили» [\[91\]](#).

Как она слышала, и жертва, и злоумышленники были черными, и Альме не очень нравятся ассоциации с американскими полицейскими сериалами. Не так она привыкла думать об устройстве Нортгемптона. Отношения города с расовым вопросом – дело тонкое и сложное, которое уходит корнями в века, и упрощение каким-нибудь криминалистом до уровня перекошенного классового взгляда на общество кажется Альме и катастрофическим, и слишком вероятным. Она думает о Черном Чарли – Генри Джордже – одном из первых черных лиц, увиденных в графстве, большой диковинке в 1897 году. Это ощущение диковины продлилось по меньшей мере до 1960-х, когда ее приятель Дэйв Дэниелс стал первым небелым учеником Грамматической школы на Биллингской дороге. Тогда об этом в «Хроникл энд Эхо» опубликовали статью на целую страницу, не забыв присовокупить и фотографию Дэвида с настороженным видом – просто на случай, если он вдруг не чувствовал себя в центре внимания.

В 70-х и 80-х все местные руди и раста устроили клуб в великолепном форте Армии спасения, что раньше стоял на Овечьей улице, сразу через дорогу от места, где основал свою академию Фил Доддриддж. Три этажа ребят с крутейшими именами вроде Элвис, Джуниор или Педро, которые занимались своими делами, пока у их ног играли дети, а где-то наверху всегда кипела кастрюля с бобами, – такой был старый клуб «Матта Фанканта». Старинные доски сотрясались в ритм с Ю-Роем или Ли Перри – такими низкими

битами даба, что у нее, не сомневалась она, матка вывалится. Насколько она помнит, власти начали косо поглядывать на это место, только когда на прилегающей парковке стали возникать автомобили, которые могли себе позволить только белые. Форт – а его, и говорить не о чем, нужно было вносить в памятники архитектуры, – снесли, словно проще зарыть, чем закрыть. Теперь на его месте только вездесущая голая трава, от самой задницы горгульей махины автовокзала «Серые монахи» – который и построили-то не в ту сторону фасадом, а недавно он еще победил в голосовании на самое отвратительное здание в стране.^[92] Тут и пришел конец публичному образу настоящей черной культуры в Нортгемптоне – по крайней мере, до сравнительно недавнего времени. Теперь уже есть Нортгемптонширская ассоциация черной истории, восстанавливающая справедливость, и Альма общалась с решительно настроенным и расово разнообразным коллективом юных рэперов из Боро под общим названием Streetlaw – «Уличный закон», – что сама она считает по самой меньшей мере милым совпадением. Правосудие над улицей и все такое. Нет, черное сообщество еще может дожидаться радужного будущего – при условии, что устоит против ампулы неудачников, вне которого, похоже, голливудские отделы кастинга и звукозаписывающие мейджоры его просто не видят: давайте превратим трущобы в гламурное и рискованное место, тогда люди будут не против там торчать, а мы сделаем из страданий низших слоев общества драматические и легко усваиваемые версии и продадим беднякам за пару фунтов, если они еще не потратили все на лотерею. Все в выигрыше.

Альма идет дальше, мимо арки на мощеный двор – безошибочно викторианской постройки, где над аркой написано вручную «Братья Диккенс, Лтд.». Она подозревает, что где-то в городе найдутся тюдоровские помещения с черными балками под названием «Шекспирс», а может, и крытый соломой домик под Хардингстоуном – «Чосер и сыновья». Однажды она видела из окна, как по

Восточному Парковому проезду друг мимо друга в противоположные стороны разъехались два грузовика. На одном – возможно, принадлежащем компании по продаже матрасов, – было написано ГРЕЗЫ. На втором – наверно, ритейлере телевизоров или компьютеров, – РЕАЛЬНОСТЬ. Она отметила, что РЕАЛЬНОСТЬ движется в городской центр – ничего удивительного, – тогда как ГРЕЗЫ следовали по траектории, которая рано или поздно привела бы в Кеттеринг. Там-то они, скорее всего, и умрут, подумала Альма.

Она набрала скорость, и витрины справа слились в слипстриме – длинное пятно магазина, где можно получить китайскую еду навынос, барабанную установку, пейот, тату или удалить тату. Она обогнула кворум суровых мужиков с пивными банками, которые тем не менее беззубо ухмыляются и весело рокочут: «Привет, Альма». Тридцать секунд спустя расплывается в улыбке и кивает молодая полицейская в люминесцентном лимонном жилете, узнавая бывшую угрозу обществу, которая стала местным достоянием. Королева Кеттерингской дороги.

Взяв теперь прямо на запад, Альма входит в плавный поворот напротив обложенной магазинами Унитариянской церкви и выбирается на простор Абингтонской площади вдоль новых незанятых зданий, заменивших потертый ряд лавочек, находившийся раньше на этом закругленном углу. Она помнит, как в тринадцать лет вместе с Дэвидом Дэниелсом обходила в субботу утром газетчиков и коммисионки в поисках комиксов или фантастики в мягкой обложке, и часто наносила визит в мрачное заведение здесь, в вечной умбре от церкви, стоящей через улицу. Владелицей была престарелая дама с жутким кашлем, которая всегда ходила в халате и тапочках и нечаянно забрызгивала мокротой что потрепанные выпуски «Эмэйзинг Эдалс Фэнтези», что порнографию в желтых обложках.

Альме обидно за этих пропавших людей, недостойных упоминания и непривлекательных для черно-белых ретроспектив; за эти анонимные комки пыли, что навсегда затерялись под большим

громоздким гардеробом двадцатого века. Хочется заполнить ими людные сцены на картинах, хочется думать, что их в свое время и месте обитания обволокло обширное звездное желе времени, что они застыли навсегда с нетронутыми обидами и слабостями, – ноты на станах сногшибательной мелодии.

Справа от нее теперь автосалон «Ягуара» «Ги Сэлмон» – это имя давно стало личным эвфемизмом Альмы для мужского эякулята. «Мужской лосось», ну в самом деле. Вокруг разворачивается Абингтонская площадь. Впереди на постаменте посреди дорожного островка стоит Чарльз Брэдлоу, лицом от нее к Абингтонской улице. Отличная задница. Ей всегда нравился Брэдлоу – хотя, сказать по правде, больше за моральную непримиримость, чем за физическую привлекательность. Раздавал литературу о контрацептивах с Анни Безант, общался со Суинберном, выступал за угнетаемую Индию так громко, что на его похороны пришел молодой поклонник – Мохандас Ганди. Разжигатель бунтов, атеист, трезвенник и защитник бедных – Брэдлоу для Альмы парень мечты. Любопытно: каждый раз, когда она пытается представить такое свидание, она видит, как приходит на школьные танцы с ожившей статуей, у которой с каждым шагом с суставов осыпаются белокаменные опилки. Во время медляков в конце вечера они оставляют за собой на полу физкультурного зала завихрения из меловой пыли, пока жмутся под «Уичиту Лайнмен», а потом он добросовестно рассказывает о важности контрацепции, пока пытается ее полатать по дороге домой. Она смотрит на резную фигуру с вечно указующим на запад перстом и так и слышит, как это он потом хвастается перед дружками в пабе: «Эй, Эджернон, ты сам понюхай».

Она хихикает про себя, шагая к перекрестку Маунтс и Йоркской дороги, где ревушую, рвущуюся лошадиную силу грузовиков и джипов обуздали красивые огоньки. На Альму с недоверием пялится мальчишка, которого тащит груженная сумками мать. Мужчина толкает жену и бормочет: «Глянь, Альма Уоррен идет», – пока она скачет вприпрыжку мимо, а снаружи «Бэнтам Кок» три подростка

подают ей на автограф «Элрика» Муркока. Они ее как будто не боятся, дружелюбно шутят, пока она выцарапывает ленивую роспись, и Альма находит, что они ей даже нравятся. Они сообщают, что по их общей фантазии Альма живет на верхушке Башни «Экспресс Лифтс» ^[93] и надзирает за Нортгемптоном с трона из человеческих черепов. Образ привлекательный, и она тепло ухмыляется, пока машет им вслед. Не успела она дойти до светофора, как ей улыбаются и кивают две красотки – на вид из художки, – она напугала еще одного трехлетку и подало сигнал еще одно шуршавшее мимо такси, чем вызвало очередное озадаченное помахивание серебряными когтями и очередной звенящий ляг напалечной брони. Она думает, как ей повезло быть с рождения благословленной раздутой самооценкой. Любой другой при таком количестве внимания наверняка бы начал чудить, умозаключает она, пока выискивает каббалистические знаки в последовательности красного-желтого-зеленого.

Ее личность – долгоиграющий радиоспектакль, который транслируется главным образом ради ее собственного удовольствия, что, впрочем, можно сказать о многих, подозревает она. Очевидно, кто-то предпочитает настраивать свои характеры на легкую комедию, а люди, ждущие с ней у светофора, судя по выражениям, основали свою натуру на прогнозах погоды. А может, «Религиозных новостях», решает Альма, изучая взглядом строение в стиле деко, которое нависает за ее спиной, пока она стоит у перехода. Открытое в 1930-х как кинотеатр «Савой», работавшее под названием ABC в ее годы свиданий на местах для поцелуев, однажды даже принимавшее «Битлс», теперь это место попало в растущее число городской собственности, принадлежащей Армии Иисуса – множась орды иногда чересчур назойливых евангелистов, которые начали пополнять свои ряды в начале 1970-х из богатого выбора бомжей и алкоголиков Нортгемптона – тащили их с парковых скамеек в штаб-квартиру Армии в близлежащем Багбруке. Она вспоминает случай, произошедший несколько лет назад, когда

группу подвергли цензуре за причинение психологической травмы детям после того, как они без предупреждения разыграли на открытом воздухе реконструкцию распятия, но за этим исключением им как будто дозволялось делать практически все что захочется.

Альму это не удивляет. Город был процветающим рассадником юродивых с самых тысяча четырехсотых, и ко многим Альма испытывает некоторое расположение. Ей нравится поэзия, нравится возвышенность, ересь и анархия, желавшие смести короля и духовенство, желавшие перековать общество в эгалитарное царство проповедующих ремесленников, механиков-философов – целую Нацию Святых, которая не отвечала ни перед одной временной властью, но только перед моральным идеалом, распаленным состоянием ума, уровнем и духовного, и политического сознания – Иерусалим «на зеленых Англии лугах». Ей нравятся и лоллардисты, и рантеры, и магглтонианцы. Ей нравятся подстрекающие тирады первоначальных квакеров, нравится представлять, как добрый дяденька на пачке с овсяными хлопьями рвет на себе рубаху и вопиет о насильственном свержении монархии. Она даже равнодушна к моравийцам, хотя в основном из-за их фрик-шоу-контента – бреда о проникновении в Мессию через отверстие от копья – и из-за влияния на ее давнишнего кумира Уильяма Блейка, – но вот Армия Иисуса что-то Альме не нравится. Она с подозрением относится к религиозному пылу с бизнес-планом.

Светофор переключается, и она переходит на промежуточный островок посреди Йоркской дороги. Альма вспоминает, что стоит на том самом месте, где почти пятьдесят лет назад подребезжал овощной грузовичок Дага Макгири, доставляя ее бездыханного брата в больницу. Она осознает, что сегодня для спасительной гонки Дагу пришлось бы выбрать другой маршрут, потому что съехать с Маунтс на Йоркскую дорогу больше невозможно. Пришлось бы поворачивать налево у кинотеатра, огибать Унитариянскую церковь и возвращаться на площадь другой дорогой, а это еще несколько, весьма вероятно, фатальных минут к пути. Конечно, по-хорошему ее

брат не должен был дожить и до середины Графтонской улицы, так что, возможно, крюк мало что изменил бы.

Наконец она протискивается мимо барьерного ограждения в начале пешеходной территории и оказывается на Абингтонской улице – хотя от той улицы осталось одно название. Несколько сотен лет назад здесь стояли восточные ворота города под названием Конец Святого Эдмунда в честь давно снесенной церкви на дороге Уэллинборо напротив бывшего рабочего дома, где сделала первый вдох и озвучила первую из множества яростных и безосновательных жалоб сама Альма. Даниэль Дефо, когда писал путеводитель по английским городам, сказал, что Нортгемптон – по большому счету перекресток, где ось с севера на юг проходит вдоль Овечьей улицы, по Швецам и улице Моста, тогда как ось с востока на запад описывает линию через Абингтонскую улицу, Золотую улицу и Лошадиную Ярмарку в направлении к руинам замка. Сделав один конец проезда с востока на запад пешеходным, городская управа, следовательно, закупорила крупную вену, провоцируя гангрену. Она уже видит, как гангрена пускает корни, уже считывает симптомы в заколоченных окнах и расцвете табличек агентов по продаже недвижимости. Здесь нет потока клиентов, а аренда завышена до смешного. Если так продолжится, то Альма предсказывает, что город превратится в экономический кратер, где деньги циркулируют только по краю, в торговых комплексах и гигантских сетевых магазинах, тогда как центр отдан на произвол перекасти-поле из заявлений о конфискации за неуплату, превращен в ночную арену, в декорации Уолтера Хилла, где еще больше рвоты, еще больше подростков валяется в луже собственной мочи, еще больше невнятных боевых кличей. Невнятных боев в невнятных войнах. Много понимаешь без слов, когда видишь памятные букеты цветов, приклеенные к столбам, хотя вокруг нет ни одной дороги.

Вокруг вспархивают голуби, в блаженном неведении о зловещем плакате на мусорной урне, где сказано, что кормить их – то же самое, что мусорить, а следовательно, наказуемо штрафом. Не то

чтобы она переживает за птиц, которые все равно не умеют читать и не полагаются на подачки любителей животных, но ее возмущает сама суть послания. Голуби-то вам чем не угодили? Если бы управа пыталась разогнать ос, гоняла бродячих собак или Армию Иисуса, то она бы еще поняла смысл кампании, но голуби? С зеленым и лиловым переливом на горлышке; с особой походкой и нахохленным воркованием? Если муниципальные власти думают, что изгнание голубей – первостепенная задача для очевидно обреченного городского центра, чего бы сразу не разложить мины на подоконниках, а не расклеивать свои никчемные записки с угрозами?

Она продолжает путь по Абингтонской улице. Прохожих немного, но она пробирается через толпу призраков и воспоминаний, засунув руки робота-убийцы поглубже в карманы куртки, как плохиш из 1950-х, Джимми Дин после менопаузы. Она обходит какой-то наркоманский мемориал в честь Френсиса Крика, возведенный посреди дороги, – китч с серебристыми изгибами двойной спирали, на которых держится, кажется, пара нудистов-супергероев – бесполок манекенов, что, судя по лысым и безликим лобкам в стиле Барби, вряд ли передадут дальше врожденные генетические черты. А кроме того, единственное, что связывает Абингтонскую улицу с местным научным первопроходцем, – образцы ДНК, обильный урожай которых здесь можно собирать после обычной ночи пятницы. Конечно, монумент может служить и комментарием на местное кровосмешение, а фигуры ныряют в высоту в отчаянной спирали, чтобы сбежать из стоячего генетического болотца – не генофонда, а какого-то генобщака, если на то пошло. Альме приходит на ум слух о целой деревне циклопов под Таучестером, где обитают циклопы-почтальоны, циклопы-трактирщики и циклопы-младенцы, а потом она вспоминает, что сама его и распространяла.

Обогнув скульптурную группу слева, она теперь спускается вдоль библиотеки – единственного здания на улице, не изменившегося с

детства Альмы. Она записалась туда в возрасте пяти лет и в течение следующих десяти исправно посещала несколько раз в неделю, в основном ради историй о призраках и ради научной фантастики в желтой обложке от издательства Victor Gollancz. Когда она была маленькой, ей снились жуткие, памятные сны об этом заведении, где она бродит по бесконечным коридорам из деревянных шкафов, заставленных невозможными и завораживающими томами, книгами, которые невозможно прочитать, потому что стоит их открыть, как слова расползаются по странице. В библиотеке снов – мягкий пол, покрытый красным винилом, словно барный стул или автомобильное сиденье, а в нем – круглые дырки, чтобы книгочеи перебирались с этажа на этаж, – наверняка навеянные образом вагины.

Наяву библиотека внутри была почти не менее удивительная – крошечная, как открытый шкаф, гудящий от ауры книг о спиритических сеансах и месмеризме, – как и снаружи, где она еще не растеряла красоты и встречала бюстами меценатов, встроенными в камень медового цвета. Альме нравилось показывать библиотеку туристам-американцам, просто чтобы ткнуть в резной лик сверху справа на фасаде и спросить, как они думают, кто это. Обычно они решали, что это Джордж Вашингтон – английский жест уважения их первому президенту, – и впадали в растерянность, когда узнавали, что на самом деле это Эндрю, старший родственник Джорджа из времен до того, как Вашингтоны покинули Бартон-Салгрейв и направились в Америку, когда в Нортгемптоншире в тысяча шестисотых собиралась армия нового образца. Семья, по слухам, даже стянула с собой деревенский герб с полосками и пентаклями в качестве основы для звездно-полосатого флага их новой родины. Если быть откровенной, единственные Вашингтоны, которых она безусловно уважает, – Дина, Буккер Т. и Джино ^[94]: они, как ей кажется, принесли хоть какую-то пользу.

Она уже готова перейти дорогу к «Ко-оп банку» на противоположной стороне, когда замечает необычно

выделяющегося призрака из ушедших времен, который приближается с противоположного направления, поднимаясь мимо обветшавшего входа в бывший пассаж «Ко-оп». Оттащив волосы от выжженных воронок глаз, она приглядывается и понимает, что единственное в этой фигуре от призрака – устаревшая одежда: полосатая рубашка, шейный платок и жилет. С поднимающимся из стандартной сварливости настроением она узнает в буколическом фантоме своего, возможно, старейшего приятеля – Бенедикта Перрита. Ах, Нортгемптон. Только подумаешь, что планировщики забили его до бесчувствия, как он бросает тебе букет.

Как только Бенедикт видит Альму, он исполняет один из обычных своих фортелей. Сперва делает устранный вид, затем разворачивается и спешно идет назад, притворяясь, словно ее не видел, потом очередной резкий вираж в ее направлении, только уже рассыпаясь в немом смехе. Старый добрый Бен, чокнутый, как китайская комедия положений, – единственный среди знакомых и бывших одноклассников Альмы, который раз за разом перебезумливал ее, даже не стараясь, и один из немногих художников и поэтов подростковых лет, что не ушли в завязку ради комфортной жизни после двадцати пяти. Куда там. Лицо Бенедикта изборождено строчками вирш и выглядит так, словно произошло на свет после необдуманной ночи между масками комедии и трагедии. Поэзия его убила, но в то же самое время поэзия – все, что его спасает и искупает. Старый добрый Бен.

Он протягивает одну граблю для рукопожатия, но она слишком рада его видеть и плевать на все хотела. Увернувшись от предложенной ладони, Альма впивается кровавыми губами ему в щеку и душит в питоновых объятьях. Рано или поздно ему придется выдохнуть, и тогда она обхватит его еще крепче, а потом, стоит ему потерять сознание, вывернет свою челюсть и проглотит. Не успела она осуществить эти планы, как он отдернулся из ее хватки, панически стирая девчачью Эболу, размазанную по роже.

– Отвали! Ах-ха-ха-ха-ха-ха!

Его смех – смех Томми Купера, брошенного на необитаемом острове, так что смех выродился в распугивающий чаек гогот Бена Ганна. Альма в восторге сообщает, что он лощеный ловелас, и спрашивает, пишет ли он нынче. Когда он говорит, что еще пописывает, она вспоминает, что читала день-другой назад «Зону сноса», и не скрывает, какие это хорошие стихи. Он смотрит с неуверенным видом, словно не поймет, в шутку она или всерьез.

– Я был неплох, да? Ах-ха-ха.

Прошедшее время и ловкая смена темы со стихов на их автора отмечается на радаре проблем Альмы тихим писком. Звучит подозрительно – словно клишированный стрелок из вестернов, проводящий старость в салуне, с теплом вспоминает пропахшие кордитом триумфы в пелене самогона. Это что еще за хрень. Она сурово напоминает, что он всегда был значительно круче, чем «неплох», а потом, заметив, что тоже говорит в прошедшем времени, пытается загладить свою ошибку, откровенно и без оговорок заявив, что он отличный писатель, после чего Бен стреляет у нее пару фунтов.

Вот это ее уже пугает, хотя она и шарит автоматически в кармане джинсов в поисках клочка мятой бумаги, который не окажется старым кассовым чеком из «Моррисон». Альма с радостью раздавала мелочь городским бездомным с тех самых пор, как в конце восьмидесятых ими обросли подъезды магазинов, и особенно с тех пор, как по официальной политике это «поощрение попрошайек». Она сама родом из общества попрошайек, и это только подстегивает упертую щедрость – примерно в том же духе она праздно подумывает разбрасывать крошки от маффинов с голубикой по всему району после того, как в верхнем конце улицы заметила раздражающее объявление о голубях. Друг вроде Бенедикта всегда может рассчитывать на лишние деньги, если они есть, но, когда она сует банкноту в его ладонь, ее больше заботит сдвиг в самоуважении, как будто постигший его со времен последней встречи. Вместе с комментарием «Я был неплох, да?» у Альмы есть

повод для беспокойства. Делая только хуже, теперь он кажется виноватым из-за того, что взял деньги, на что она торопливо заявляет, как «охренительно богата», желая съехать со скользкой темы. Опасность миновала. Альма приглашает его на завтрашнюю выставку, не ожидая, что он придет, а когда они прощаются несколько минут спустя, Бенедикт говорит ей, что он Кибермен, и она хохочет как ненормальная. Все вернулось на круги своя.

Она помахала на прощанье, все еще фыркая от смеха, и сделала несколько шагов дальше по улице, не сразу вспомнив, что изначально направлялась в банк, и соответственно подкорректировав маршрут. Она думает о Бенедикте, о том, как один из самых ярких и важных моментов в ее жизни вызвала вдохновляющая дурость Бена. Им обоим было около десяти или одиннадцати, и они придумали гениальный способ залезть на склад меди, стоявший на углу между Школьной и Зеленой улицами. Для этого подъема – который, очевидно, можно было осуществить только ночью – требовалось сперва зайти в переулок Узкого Пальца за углом, а оттуда проползти на животе под запертыми воротами строительной артели. Там они поднимались по взятой взаймы лестнице на заднюю стену прилегающего участка Перритов и под звездным светом семенили, хихикая, по хребту штабелей древесины папы Бенедикта. В конце концов они добирались до пристроек склада, откуда было легко вскарабкаться к черепичным крышам и дымоходам еще выше.

Несколько месяцев это было их верхотурное царство, которое они делили только с кошками и птицами. Под перекошенные равнины нового ландшафта адаптировались опасные догонялки, но у игры были свои границы – тупиковые пропасти, преодолеть которые у детей не хватало смелости. Самая страшная находилась на дальнем конце стока – дождевой канал между скатом их крыши и соседней вертикальной стеной. Ночь за ночью их салочки обрывались в этом месте из-за страха перед падением в узкий переулок, забитый металлическим ломом, и вероятным пронзанием в темноте.

Угрожающий проход был всего метр-полтора в ширину, а на противоположной стороне находилась косячая черепица одноэтажного склада. Если бы прыгать требовалось между двумя меловыми метками на солнечной площадке – они бы прыгнули, не моргнув и глазом, но повторить то же самое на крыше в кромешной тьме с бездной под ногами, полной хлама и столбняка, – дело другое.

А потом одним лунным вечером Бенедикт повысил ставки. Альма бежала за ним по сине-серым холмам в десяти метрах над улицей, преследуя с пугающим наслаждением по миру Калигари из труб, скатов и теней. Бенедикт, оторвавшись всего на несколько шагов, хихикал от ужаса, целиком оправданного и понятного: большинство людей проживает всю жизнь с тем, что хищная Альма Уоррен преследует их под небосклоном только в необычно живых кошмарах, тогда как для Бенедикта это стало незавидной реальностью. В эту конкретную ночь она загнала его в тупиковую складку между крышами, зная, что он ловушке, и триумфально пускала слюни, надвигаясь для смертельного удара на визжащую и зависшую на краю добычу. В этот момент страх Бена перед поимкой Альмой наконец перевесил его трусость из-за перспективы насадиться на осколки стекла или ржавые прутья в подворотне. Бенедикт прыгнул, крича от страха и каким-то образом одновременно хохоча, и перемахнул через смертельный провал, приземлившись на крыше сарая в полутора-двух метрах ниже.

У Альмы, еще несущейся на всех парах позади, были какие-то секунды, чтобы решить, готова ли она рискнуть кровавой смертью в одиннадцать лет, только бы кто-нибудь другой не обошел ее хоть в чем-то. Сделав выбор, она достигла края и просто уже не останавливалась.

В долю секунды, когда она зависла в пустом пространстве над оскалом ржавых инструментов и разбитых рам под ногами, на Альму снизошло озарение. Пока миг растягивался, она осознала, что случайно выпрыгнула изо всех своих страхов и пределов – страхов

травмы, смерти и краха. Доверившись моменту, она вырвалась из сомнений и гравитации и в этот миг познала с неизбывной уверенностью, что ничего не боится, что может все.

Даже одиннадцатилетней девочкой она была, конечно же, и существенно больше, и заметно тяжелее Бенедикта. Она пролетела над коварной подворотней, чтобы приземлиться на крыше сарая рядом с ним и тут же ухнуть сквозь нее, пробив черепицу и застряв в скате по самые расцарапанные колени. О, как же они смеялись, в восторге и истерике, как только убедились, что все живы-здоровы. После того случая у Альмы осталось важное знание о преодолении психологических затруднений, с которым она экспериментировала далее. Страдая от смертельного страха утонуть, в двенадцать лет она доплыла до стальной перегородки, отделяющей один край бассейна Летнего Лужка от другого, и нырнула к решетчатому отверстию в нескольких футах под водой. Там просунула руку между прутьями, потом повернула так, чтобы точно не достать назад. Где-то тридцать долгих и великолепных секунд она парила в спокойном сердце целиком самонавлекенного ужаса, пытаясь впитать и познать его, а потом спокойно повернула руку, чтобы вынуть из-за прутьев и направиться обратно к блестящей поверхности. Теперь, зайдя в банк, Альма улыбается при этом воспоминании. Критики и иногда почитатели называют ее эксцентричной, но сами даже не знают, о чем говорят.

Весь банковский персонал она знает по имени – «Ко-оп» был ее фаворитом на протяжении двадцати лет. Сотрудничество с ними она начинала исключительно исходя из их этичной политики инвестирования, но, пока на одомере тикали десятилетия, она стала замечать, что при каждом финансовом кризисе, вызванном сомнительным поведением банков, довольно скучный логотип «Ко-опа» никогда не мелькал в каскаде пристыженных раскрученных брендов, проливающимся по новостным экранам во время вечернего чая. «Ко-оп» не терял головы из-за умопомрачительного кручения экономической рулетки в протертом шапито, набитом

зарвавшимися от адреналина шальными маклерами, олигархами и корпоративными боссами, живущими не по средствам, потому что таких средств, какие им нужны, в мире не бывает. Несмотря на отказ инвестировать ресурсы в производителей оружия, сам банк всегда был во всеоружии. А еще, когда в 1995 году умерла мама Альмы, Дорин, они прислали большой букет цветов с личными посланиями от всех работников филиала. Если спросить Альму, после такого пусть их поймают хоть на продаже сироток-бельков в секс-рабство концерну Rio Tinto Zinc – она посмотрит сквозь пальцы и слепым глазом.

Поздоровавшись со всеми, Альма, ожидая в очереди, присматривается к себе на трансляции с охранной камеры. Камера висит над входом с Абингтонской улицы в нескольких ярдах позади и потому показывает издали только дальний план со старухой в косухе, с висячими садами вместо прически и на добрых полторы головы выше всех в очереди. Лучше объективного изображения самой себя ей не найти, и Альме оно не очень-то нравится. Она чувствует себя как-то наособицу, а кроме того, Альма себя видит не так. Она себя видит побольше и намного ближе. И не сзади.

Она проверяет баланс и снимает случайную пачку денег, чтобы запихнуть в карман джинсов. Только вчера она беседовала с неисправимой серийной сторонницей – почти невинной Мелиндой Гебби с Семилонга, своей лучшей подругой. Коллега-художница отмечала, что ей нравится иметь под рукой в кармане какой-нибудь успокаивающий тотем: удобные салфетки «Клинекс», дохлых пчел или особенно красивые листья, которые она подбирает по дороге. Альма задумалась, а потом сказала: «Ну, в моем случае это деньги». Хотя за прошедшие годы она наверняка потеряла не одну банкноту высокого номинала, она по-прежнему противится идее сумочки или кошелька, доказывая, что этим ты так и напрашиваешься потерять все и сразу. На ее взгляд, велика вероятность, что она забудет сумочку в кафе, тогда как штаны забыть куда сложнее. Не совсем невозможно, но сложнее.

Выйдя из банка, она ныряет в соседнюю дверь «Мартина», газетчика, чтобы затариться жизненно необходимыми продуктами: бумагой «Ризла», папиросами, спичками «Свон», журналами. Достает с верхних полок последние номера «Нью Сайентист» и «Прайват Ай», спрашивая себя, не входит ли такая выкладка во вполне логичную кампанию по ограничению интеллектуальной стимуляции только для высоких людей. Однажды, когда она и ей подобные станут такими умными, что разработают беспроегрешный план, Стивен Фрай подаст сигнал, и тогда они восстанут и вырежут безмозглых коротышек во сне. Ну или что-то в этом роде. Что, девочке уж и помечтать нельзя?

Альма относит два журнала на кассу, где радушный и гладкоголовый Тони Мартин и его многострадальная жена Ширли уже припасли для нее сорок пачек серебряных «Силк Кат», пять упаковок зеленой бумаги «Ризла» и два коробка спичек «Свон». Тони горестно качает лысым кумполом, пробивая «Ризлу».

– Альма, ну правда! Столько «Ризлы»! Не может быть, чтобы ты еще не доделала макет Эйфелевой башни! Что с тобой?

Ширли отрывается от пополнения стеллажей и велит мужу заткнуться и не грубить, но Альма ухмыляется.

– Закончить закончила, но стало скучно и я начала макет Ватикана. Так ты пробьешь бумагу или мне попросить спичечного Папу Римского отлучить тебя от церкви?

Это их давняя шутка. Годы назад кто-то за стойкой спросил у Альмы, зачем ей столько бумаги «Ризла», на что Альма ответила с каменным лицом и без промедления, что строит модель Эйфелевой башни из обрывков с липкими краями. Хотя это только прикол, он ей кажется привлекательным – из него можно что-то вытянуть. Ну, как оказалось, даже не просто «что-то». Идеи для нее – как поросята для фермера: она даже визга зря не упустит, если может.

Сложив покупки в хлипкую целлофановую сумку – национальный цветок, – она с металлическим звоном машет Мартинам на прощание и выходит из магазина обратно в широкий розовый

квартал. Продолжает спуск по Абингтонской улице, заглянув в «Маркс и Спенсер», чтобы прихватить кое-какие мелочи для вечерней трапезы: пару длинных перцев «Рамирос», напоминающие язык демона, клюкву и апельсиновую начинку, и еще сыр фета. Она проходит по выбранному маршруту между отделами в свободной планировке, под надзором Майлин Класс и все еще очаровательной Твигги. Альме всегда не по себе в этом нарочито пафосном магазине, но после бойкота «Сейнсбери» удобной альтернативы не осталось.

Эпизод с «Сейнсбери» до сих пор вызывает улыбку, хоть это и мрачная улыбка того, кого стоило убить, а его только ранили. Она выходила из «Сейнсбери» в «Гросвенор-центре», где знала большинство кассирш по именам, с двумя набитыми многообразными сумками с брендом магазина в руках. Охранник в форме, проницательно заметив ящерично-зеленый худи с арбузной изнанкой, который она надела в тот день, сделал вывод, что она, следовательно, член низшего класса (а как минимум в эмоциональном плане так и есть), и загородил дорогу, потребовав у Альмы чек. Возвышаясь над недоростком, она опустила массивную голову на уровень глаз, словно разговаривая с прискорбно отстающим восьмилеткой. Объяснив, что не в ее привычках коллекционировать чеки, Альма уточнила, что происходит – новая политика случайных обысков или есть какая-то другая причина, чтобы выбрать ее среди десятка покупателей более традиционного вида, выходящих из супермаркета. Теряя уверенность с каждым моментом, охранник бессмысленно потребовал показать, что у нее в сумках «Сейнсбери» – возможно, по какой-то причине подозревая, что в них окажутся покупки из «Сейнсбери».

Она повторила свой вопрос, отчеканивая каждое слово с преувеличенными паузами, чтобы он успевал целиком уяснить одно, прежде чем будет мучиться со следующим. «Почему... ты... остановил... именно... меня?» К этому моменту начали нервно подходить и отстаивать невиновность Альмы другие покупатели,

больше переживая, понятно, за явного новичка, чем за слывущую воинственностью великаншу. Пытаясь спасти лицо в ухудшающейся ситуации, охранник сказал, что Альма обязана хранить чеки. Альма приняла к сведению эту новую политику «Сейнсбери», но объяснила, что это ее не затронет, раз она больше никогда не вернется в магазин. С беспокойной улыбкой он сказал ей вслед, чтобы в следующий раз она не выбрасывала чек, из-за чего Альма помедлила, тяжело вздохнула и потом объяснила своим лучшим голосом для общения с детьми, что означают всякие длинные слова в ее последней фразе о том, что она не вернется в магазин. Добравшись домой, она набрала горячую линию для клиентов и сказала, что звонит Альма Уоррен, на что девушка на том конце провода прочиркала, что видела Альму по телику буквально прошлым вечером. Альма ответила, что это мило, а потом подробно рассказала о происшествии, объяснив, что может расценивать интерес охранника только как классовое предубеждение и что вследствие этого приняла для себя решение в следующий раз сказать «Сейнсбери» «нет». Она заверила действительно учтивую девушку, что не ждет от «Сейнсбери» извинений, хотя любой бы, кто ее знает, прочел бы намек, что для такой бесполезной мелочи уже попросту поздно; что она затаила обиду, которую унесет с собой в могилу.

Она не в первый раз привлекла внимание охраны в «Сейнсбери», хотя в предыдущем случае была в компании своего задушевного друга актера Роберта Гудмана, так что могла понять их реакцию. Боб, наделенный, как бы выразился отчаявшийся агент по недвижимости, «характерным лицом», за свою разнообразную карьеру играл Гамбурглера и некрофила-наильника в «Жанне д'Арк» Люка Бессона, а в ряде рекламных роликов для автосигнализаций наряду с «Чисто английским убийством», «Истендерами», а также «Бэтменом» и «Рыбкой по имени Ванда» в совершенстве овладел амплуа Второго Бандита Со Шрамом. Учитывая смертоносные манеры Боба, Альма не удивлялась, что за ними в магазине следили.

Если бы Альма не знала Боба лично и если бы он сейчас не искал материал по ее просьбе к завтрашней выставке, она бы сама устранила его с помощью снайперов; причем, скорее всего, очень давно. Но у последнего инцидента не было смягчающих обстоятельств: ее остановили и допросили только потому, что она выглядела бедной. В сраном «Сейнсбери» – Альма-то и не думала, что это такое элитное заведение. И напротив, единственный охранник в пафосном «Маркс и Спенсер», который с ней заговорил, только с улыбкой сказал, что он фанат. Оказывается, классовые предубеждения не считаются в мире проблемой; возможно, потому, что их жертвы традиционно безграмотны и безгласны. Сама же Альма, конечно, никогда не затыкается, особенно когда речь заходит о демонизации ее происхождения. Она может бесконечно нудеть на эту тему, обычно в двух-трех интервью для СМИ, которые дает каждую неделю, а иногда в более перманентных формах. Нет уж, извинения ей не сдались.

Вернувшись на Абингтонскую улицу уже под весом двух сумок, она спускается к кофейне в ее основании – «Кафе Неро». Зачем называть кафе в честь такого человека, как Нерон, удивляется Альма. С тем же успехом можно было назвать «Кафе Калигула» или «Кафе Гелиогабал». Или «Кафе Муссолини», если уж на то пошло. Кофеин Европы.

Кафе стоит приблизительно на месте предыдущей ратуши – промежуточной модели, служившей переходным этапом между первой Гильхальдой на Мэйорхолд и нынешним роскошным Гилдхоллом на углу улицы Святого Эгидия. Именно на этом месте уже почти десять лет назад Альма пересеклась с будущим премьер-министром Тони Блэром на его обходе местных жителей перед разгромной победой на выборах: вместе с телохранителями в пиджаках на манер «Бешеных псов», с перекошенной улыбкой и крашеными глазами куклы чревовещателя, которая больше не хофет в яфик. Когда Альма поднималась, компания как раз спускалась по улице, загорая в почтительном внимании, которое в своем

воображении вызывала среди погруженных в себя пешеходов. Так и было видно, что в своих мыслях они вышагивают по недавно перекрытому для машин району в красивом замедленном движении, пока слабый ветерок привлекательно ерошит их уложенные волосы.

Выискивая на лицах прохожих что-нибудь кроме равнодушия, глаза Блэра наконец встретились с серой и желтой аварийками Альмы. Конечно, в тот момент она еще не знала, что он втянет страну в безысходную и катастрофическую войну, задружившись с американцами, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию, но она все-таки слышала о нем многие годы и догадывалась, что он почти наверняка учинит какую-нибудь пакость. Она наблюдала, как он со своей партией лаконично поддерживал репрессивное законодательство тори вроде статьи 28 ^[95] или Билля об уголовном правосудии. Она наблюдала, как он «модернизирует» партию лейбористов, отсекая последние остатки основных ценностей, в которые верили ее родители и прародители; наблюдала, как в том же бесконечном оппортунистском угаре продал бедных, обездоленных и даже профсоюзы, благодаря которым его партия появилась на свет. И в день встречи, несмотря на то что его еще не избрали, она решила отомстить заранее. Она не метала в него глазами молнии – сразу авиабомбы, причем со взглядом такой мощности, как будто хотела взорвать луну. Если бы повод так на него посмотреть Альме дало какое-нибудь поле, то там бы сотни лет ничего не росло. Она поддерживала зрительный контакт, пока не убедилась, что он замечен, подождала, когда ухмылка Блэра застынет, а его испуганные глаза испытают момент «что это за создание», и уже тогда подвернула губу и пренебрежительно отвернулась, продолжая подъем по Абингтонской улице.

Теперь, зайдя в кафе за чашкой горячего черного чая и долькой тирамису, она поговорила с полячками за стойкой и переместилась в окосевшее кожаное кресло у окна, все еще размышляя о короткой встрече с человеком, который теперь держится за власть с отчаянным упорством выловленного омара, цепляющегося за

декоративный замок в аквариуме ресторана. Этот человек, по его собственным словам, все эти годы с утомительной частотой чувствовал на плече тяжелую руку истории – и при этом так и не понял, что она приклеивает бумажку с надписью «зарезь меня».

Поднося полную вилку пирожного с заварным кремом и кофе к парной команде ярко-красных мексиканских рестлеров – ее губ, она думает о двух местных – бывших членах партии лейбористов, которые из-за запретительного приказа больше не могут покидать Англию и разговаривать друг с другом. Один из них, чиновник по имени Дэвид Кио, проживающий рядом с Маунтс, был начальником отдела внешних связей в Форин-офисе в 2005 году. На этой должности Кио получил транскрипцию разговора Блэра и президента США Джорджа Даблю Буша, в которой пахан и его подстилка обсуждали целесообразность бомбежки гражданской арабской телестанции «Аль-Джазира». Понимая, что речь идет о без пяти минут военном преступлении, Кио запаниковал и передал информацию земляку-нортгемптонцу и приятелю-лейбористу, бывшему политологу Лео О'Коннору, тогда – ассистенту нортгемптонского депутата правительства из Южных лейбористов и некогда футбольного болельщика из «Интер-Сити Фирм» Тони Кларка. Альма всегда питала слабость к Кларку, который казался достойным и приличным человеком. Впрочем, чтобы не оказаться в числе заговорщиков, у любого члена правительства при обнаружении служебной записки не оставалось выбора, кроме как сделать то, что тот сделал, – то есть позвонить в Спецслужбу.

Это привело к небольшому скандалу в Форин-офисе, приведенному на страницах недавнего «Прайват Ай». Оказывается, пока один департамент этой августейшей организации заявлял, что разговора об «Аль-Джазире» Буша/Блэра вообще никогда не было и что это зловредная диффамация Кио и О'Коннора, совершенно другой департамент объявил в ответ на запрос, что, хотя и обладает транскрипцией разговора, опубликовать его не имеет права. Альма удивляется, как же они обвинят парочку лейбористов в нарушении

Закона о гостайне, так никому и не напомнив, что это была за гостайна. Ей кажется, что они потянут несколько месяцев, пока новая катастрофа или скандал не затмит данный вопрос и не сделает свое дело обычная амнезия общества. Тогда дело в суде замнут с уведомлением «Д» для СМИ [\[96\]](#), не позволив прессе и телевидению передать детали изначального преступления в каком-либо виде. Так бы сделала она на месте какого-нибудь розовощекого Мастера Игры в недрах Уайтхолла.[\[97\]](#)

Промакивая маскарпоне с багрового места преступления своих губ, она негодует, что этот повтор Кафки происходит с людьми из ее города, причем один из них живет на Маунтс, сразу за северо-восточным углом Боро, ее возлюбленного района. Душа – здесь сам очаг войны.

Она звякает дверью на прощанье полячкам и покидает «Кафе Неро», переходит рудиментарную асфальтовую культу Абингтонской улицы, что все еще выпирает на розовую плиточную мостовую, и направляется на рыночную площадь. Альма помнит, что собиралась уплатить налог управы, но понимает, что забыла квитанцию дома. Ну, подумаешь. Какая разница? Разберется в понедельник, когда закончится предварительная выставка. Учитывая, как Нортгемптон отвечал на протяжении столетий на требования подушного налога, она сомневается, что один просроченный платеж станет такой уж проблемой. После того как Маргарет Тэтчер прыгнула выше головы, вернув этот налог в восьмидесятых, разгневанные жильцы Восточного района Нортгемптоншира гнали фургоны бейлифов до самых депо, а потом разнесли штаб агентства коллекторов. Банда протестующих захватила офис управы, продержав персонал в осаде целый день. Конечно, это ерунда по сравнению с четырнадцатым веком, когда в замке на южном конце дороги Святого Андрея ввели первый в истории подушный оброк и спровоцировали мятежную оргию под названием Крестьянское восстание. Нет, пусть уж перебьются за выходные и считают, что им повезло, раз она сразу не спалила Гилдхолл. Хотя...

Переходя пологий уклон рынка наискосок, петляя между деревянными стойками недавно разобранных лотков или ныряя под вечно мокрые навесы, Альма все еще думает о Кио и О'Конноре, свободе воли, Герарде 'т Хоофте, Бенедикте Перрите и своем прыжке с крыши через мусорную пропасть в одиннадцать лет. Ей кажется, остальные люди, пересекающие площадь в разные стороны, точно так же поглощены собственными специфическими мыслями. Это и есть реальность – мельтешение иллюзий, воспоминаний, страхов, идей и гаданий, неумолчное в шести миллиардах умов. Сами события и обстоятельства мира – всего лишь потный и материальный кончик огромного призрачного айсберга, и отдельному человеку не под силу охватить весь его объем. У Альмы в связи с этим встает вопрос, для кого или для чего реальность вообще реальна. Приходится постулировать гипотетическое существование какого-то абсолютного всеведущего разума извне человеческого мира, постоянно занятого знанием всего и потому не успевающего действовать лично, – неподвижная и инертная точка совершенного понимания, совершенного восприятия.

Ближайшее, что кажется Альме похожим на такого единственного неподвижного зрителя реальности, – каменный ангел на вершине Гилдхолла, где-то позади нее, пока она шагает через рынок к северо-западному углу. Архангел Михаил, которого безнадежно путают с Михаилом, покровителем корпораций, стоит над городом с щитом и бильярдным кием, слышит каждую мысль, но никогда не разомкнет забрызганные птичьим пометом уста, чтобы озвучить предупреждение или выдать секрет. Слышит несколько смертей и несколько сотен сношений каждый час, знает, какие из сотни миллиардов сперматозоидов попадут в яблочко, станут медсестрой, насильником, реформатором общества или случайной статистикой; пройдут через развод, банкротство, лобовое стекло. Всеведает о каждом фантике «Старберста», каждой собачьей какашке, каждом атоме, каждом кварке; знает, правильными или неправильными окажутся уравнения Герарда 'т Хоофта о неизвестном состоянии,

скрытом под волшебством и странностями; знает, придет ли завтра на открытие Бенедикт Перрит. Каждый факт и фантазия – все идеально и многосложно отражается в челе из тусклого камня. Вся вселенная, включая Альму с ее нынешними размышлениями, уловлена в синаптическом проблеске ледяного и безучастного гранитного разума.

На полпути через пустеющий рынок она осознает, что проходит через цветущий железный фантом памятника – пустое место, где он когда-то покоился на своем ступенчатом каменном основании. Возможно, она даже сталкивается с восьмилетней собой, которая сидит на холодном пьедестале, напрашиваясь на геморрой, и рассматривает собственные коленки, торчащие из-под плетеного подола тонкой голубой юбки. Из неопределенной распущенной шерсти памяти, окутавшей площадь, призрачное веретено монумента сплетает несколько конкретных нитей пряжи. Через розовую плитку ненадолго проступают блестящие, поцелованные дождем булыжники, а пустые деревянные контуры лотков закрашиваются, заполняются покойными торговцами и их давно пропавшим товаром. Столик с конфетами без брендов – словно нарисованными сладостями, уже тогда не встречавшимися за пределами страниц «Бино», – над которым восседал мужчина с тяжелыми итальянскими бровями черного цвета и накрахмаленным белым халатом. Стойка с комиксами и старыми книжками в мягких обложках, которая снится ей до сих пор, и ее владелец Сид в кепке, перчатках и вязаном шарфе, его дыхание и дым из трубки висят в зимнем воздухе вокруг аляповатой клумбы «Адвенчер Комикс» и «Запретных Миров» под плоскими и круглыми железными пресс-папье, а журналы «Мэд» или номера «Тру Адвенчер» – с нацистками-искусительницами, кнутами и джи-аями – болтаются на прищепках на проволоке в верхнем краю книжного лотка, под самыми зелено-белыми полосками тента. В предрождественской темноте сгрудившиеся палатки с высоты кажутся раскрашенными бумажными фонариками, белым блеском штормовых ламп, просеивающимся

через цветное полотно. Во тьме парят тлеющие сигаретные огоньки. Справа вспыхивает пышный и эфемерный пассаж «Эмпорий», яркий от игрушек и выкройки, и тут же снова угасает и становится глухой современной стеной из камня, а грандиозная кованая викториана входа превращается в brutальный бетонный подземный переход, где год или два назад подростки забили насмерть албанца.

Пока она идет от открытого угла рынка к неопределенной точке встречи Швецов с Овечьей улицей, Альма бросает взгляд вниз по склону налево и замечает уверенный в себе фасад «Строительного общества Галифакса» на углу Барабанного переулочка. Блуждая в шелке других времен, Альма до сих пор видит газетную лавку Альфреда Приди, занимавшую это здание сорок-пятьдесят лет назад, – место, что приснилось ей в пять лет, где были прораб в капюшоне и его полуночная бригада плотников, которую она пыталась описать в «Неоконченном труде». Закончили они свою работу в срок или та еще продолжается, где-то в детских снах? В голову Альме приходит недодуманная мысль – что-то о том, что струганные деревянные доски ночных трудяг символизировали протяженность времени или цепи связанных событий, где каждая человеческая жизнь – гвоздь: и ее, и ее брата Уорри, Тони Блэра, Кио и О'Коннора, всех, кого она знает и кого не знает – всех вбили в жизнь ритмы сношения родителей, бам-бам-бам – и мы неподвижно засели в вечности, так что...

Ход мыслей прерывает дружелюбный парнишка в бейсбольной кепке и кроссах, которые выглядят лучше ее собственных. Он только хочет пожать ей руку и поблагодарить за творчество, при этом извинившись за то, что подошел, от чего она проникается теплыми и материнскими чувствами. Стоит попрощаться с ним, как один из оставшихся на рыночной площади торговцев кричит сзади: «И от меня спасибо! Молодцом, Альма!» – и хлопает в ладоши. Она сияет и машет. Иногда все это как сон, и слишком хороший – реальность подозрительно благосклонна к Альме Уоррен. Бывают времена, когда она подозревает, что все это смехотворно

тщеславная и компенсационная фантазия, которая снится ей в какой-то другой, не такой светлой жизни. Возможно, на самом деле она сидит под таблетками в луже собственной мочи в какой-нибудь лечебнице или впала в кому в 1970-х после того, как выжрала на двадцатом дне рождения столько, что дыхание остановилось. Ей приходит на ум, что необычно безоблачное существование может быть какой-то галлюцинацией в растянутый миг смерти – видением о жизни, которую она могла бы иметь. Кто знает? Возможно, она так и не перескочила ту подворотню с металлоломом, когда ей было одиннадцать.

Она проходит между отделением банка «Эбби Нэйшнл» на Швецах и величественной колоннадой старой Хлебной биржи, чьи резные ступени поднимаются туда, где когда-то был другой большой кинотеатр города, носивший названия «Гомо́н» и «Одеон». Здесь ей пришлось три раза просидеть «Звуки музыки» с мамкой Дорин, что технически можно считать жестоким обращением с ребенком. На этих холодных ступенях она дважды простояла в ожидании какого-то усеянного прыщами обсоска, который, очевидно, приглашал ее на свидания, только когда его брали на слабо друзья. Еще сюда она ходила за несколько лет до подростковых испытаний, когда состояла в Клубе мальчиков и девочек «Гомона». Каждую субботу их пускали за шестипенсовик, и воодушевленный взрослый – Дядя Как-то-там – пел с ними старые песни вроде «Клементины», «Британских гренадеров» и «Людей Харлеха», а потом им разрешали посмотреть короткометражный мультфильм, основной фильм от Детского кинофонда – обычно что-нибудь про остров, школьников и иностранного диверсанта, – а потом, наконец-то, серию из восьминедельного сериала «Король Ракетчиков» или старого черно-белого «Бэтмена и Робина», где парочка еще разъезжала на совершенно обычной машине из 1940-х, а Робин, общаясь на публике со своим приятелем в костюме, задвигал картонную маску на лоб. Главным развлечением было ползать под ногами зрителей по рядам сидений или ловко метать палочки от мороженого в

наверняка слепого незнакомого семилетку в нескольких рядах впереди.

В эти дни, конечно, в здании очередной тематический паб – «Хард-рок кафе», а главный кинотеатр города – мультиплекс средней паршивости в Сиксфилдсе, за Концом Джимми, куда можно добраться только на машине. Во всем этом почти что чувствуется концептуальный гений: превратить кинотеатры в пабы, чтобы все нажрались в лежку, а потом убедиться, что не осталось никаких выходов для судорог воображения, ярости или либидо – ничего, чтобы провентилировать неуклюжие фантазии, болтающиеся на поверхности седьмой пинты шалманки. Простодушные сюжеты, отсутствующая мотивация и бесцельная инерция отмененной целлулоидной пленки накопятся, а потом изольются на улицы в субботу вечером. Глазом не успеешь моргнуть, как на каждом углу будут завораживающие произведения чистейшего *verité*, бюджетные тарантиновские поножовщины, где нападающие держат тесаки боком и обсуждают поп-культурные отсылки, пока вырезают тебе «челсийскую улыбку». И Оскар присуждается кучке разбегающихся теней на охранных камерах.

Альма вышагивает по шерстяному, дерьмовому заду Овечьей улицы к воротам на старый Рыбный рынок – и они, с немалым удивлением замечает она, открыты. Большой крытый зал со стеклянной крышей и блестящими белым столами – часть детского пейзажа Альмы, которую, она уж думала, заколотили навсегда. От влажного кафеля с банным эхо звенят ушедшие голоса, а перед бабкой Мэй расступается толпа, пока она катится черной железной шар-бабой, поднимая руку в пигментных пятнах и окликаая рыботорговцев, которых всех наперечет знала по имени. Альма помнит только одного – Трехпалого Танка: прозвище, предположительно, должно было помочь отличить его от других Танков с иным количеством уцелевших пальцев.

Она смутно припоминает что-то о планах превратить Рыбный рынок в какое-то выставочное пространство или галерею, но ей эта

идея показалась оторванной от реальности. Не в Нортгемптоне, не в этой жизни. Не бывать этому. Мысль, что она могла ошибиться в своих расчетах, как обычно, даже не приходила ей в голову, потому-то, наверное, отпертые ворота-гармошка из зеленого металла и кажутся сперва такими нереальными. Чувствуя себя так, будто она переступает плиточный порог собственного сна, Альма входит вместе с сумками в белую пустоту интерьера.

Падающий через пыльные линзы стеклянного потолка солнечный свет – размытый и молочный, трансмутирует пространство в реалистическую картину. В гулком просторе почти не видно ни души, здесь безлюдно и нереально, как на улицах с картин восемнадцатого века. Наверное, это только первые дни после открытия, когда обещанные бутики моды и искусства еще не успели застолбить место, но впечатление производит уже один церковный объем помещения. Она никогда еще не видела Рыбный рынок таким обнаженным – без бормочущей толпы, без веселых зазывал, выкликающих покупателей в соленом эхо.

Теперь столы голые и бескровные. Заведение освежено до кости, ошметки недавней истории смыты. Обрезки топазной пикши, призматический ил чешуи и тарачившиеся глаза-пуговицы сметены под коврик, к лошадиной сбруе и кружкам таверны «Красный лев», когда-то занимавшей это место; к менорам и ермолкам синагоги несколькими столетиями раньше. Без ампутированного прошлого рынок – тучный вакуум, поджидающий, когда его засеют будущим; таинственная квантовая бездна, гудящая от имманентности и возможности. Альма обескуражена внезапным всплеском надежды, захлестнувшей цинизм. Отчасти она угрюмо уверена, что управа еще найдет управу на эти начинания – хотя бы в чистом равнодушии, если не во враждебности, – но сам факт этого открытия уже повод для оптимизма. Он подразумевает, что в Нортгемптоне, в стране, в мире есть люди, которым достает воли сделать что-то по-своему. То же ощущение она испытывает при общении с приятелями-рэперами с псевдонимами из эзотерики Боро: Инфлюэнс, Сейнт-Крейз, Хар-

Кью, Иллюзион [98]. Ту же социальную трансформацию, хотя бы потенциальную, она видит в искусстве и оккультизме, а иногда даже на потрепанных окраинах политики Романа Томпсона. Это страстное желание превратить реальность в более благоприятный к человеческим существам ареал, – тот самый эфирный огонь, который словно разлит в свежем воздухе Рыбного рынка.[99]

Словно вызванная к жизни ее приподнятым настроением, одна из расплывчатых фигур в близорукое зрение Альмы при приближении вдруг проступает в неприятное, но все же воодушевляющее лицо Шишки Вуда, одного из величайших местных антидотов от цинизма со времен кончины горько оплакиваемого человека и заградительного аэростата по имени Том Холл. Шишка – Альма знала его с тех пор, как они были подростками-хиппи, но так и не узнала его настоящего имени – в молодости был знойно красив, с длинными черными волосами и шальным блеском в глазах, намекавшим на поэзию в душе, но оказавшимся героином в вене. Один из первых торчков города, Шишка состоял в таинственной клоунской клике, что каждую вторую субботу устраивала собственную Наркоолимпиаду – спринт на 400 метров с украденным телевизором, где жаришь по Швецам под одобрение напояженной богемы, собравшейся на ступеньках церкви Всех Святых.

Потом все постарели. Большинство длинноволосых зрителей с тех ступенек после двадцати остепенелись и свалили из губительного фрик-сообщества, нашли нормальную работу и оправдали ожидания родителей. Тогда остался только контингент из контркультурщиков из рабочего класса, которые сохраняли преданность в основном потому, что им больше некуда было податься, и из жертв зависимости вроде Шишки Вуда, для которых преданность уже была буквально в крови. Зрелые годы Шишки стали фильмом ужасов, нарочито готическим в том ключе, к какому могут стремиться только торчки. Альма помнит упырей-синяков, закреплявших спавшиеся

вены булавками – предпанковый жест – или горько жаловавшихся, что они «вынуждены» колоться в глаз или член.

Хотя Шишка не попал в эти беззастенчиво жуткие ряды, долгие годы он был развалиной, и Альме стыдно признаться, но при его виде она неоднократно переходила улицу. Жену он потерял из-за передоза, дочь – из-за гепатита, и никакой метадон и «Карлсберг Спешл Брю» не могли приглушить эти разрушительные удары. Он несся на поезде в ад, проскочил свою станцию и неумолимо летел полным ходом куда еще похуже, когда каким-то чудом соскочил с подножки и беспомощно покатился по насыпи навстречу твердой и холодной трезвости. Никто не думал, что он справится. Никто такого еще не видел. Шишка умудрился переродиться и стать деревенским скитальцем по холмам, свободным от выпивки и наркотиков бонвиваном, видением искупления, и в эти дни Альма с охотой перебежит несколько запруженных шоссе, чтобы с ним поздороваться.

– Шишка! Рада тебя видеть. Как дела?

Он все еще красавчик – волосы привлекательно обесцвечиваются, черты сглаживаются от возраста, но «варено-джинсовая» внешность идет ему на все сто. Короткие серые волосы капитулируют, ежедневно уступают пядь за пядью лбу, тогда как глаза все еще горят – но совсем по-другому, – и увлечены бриллиантовым миром вокруг. Вуд – успокаивающее, мирное зрелище, как синие голыши в ручье. Он лучится улыбкой и здороваётся, поддается объятьям и искренне рад ее видеть; рад видеть любую пылинку, что кружится и сияет в броуновском вальсе.

Он рассказывает, что стал наставником, передает собственный опыт, чтобы помогать другим, выпрямляет вмятины мира, где может. Альма видит в нем одного из баньяновских «механиков-философов», несущих целебные слова другим ремесленникам; человека – Нацию святых, только без христианства и окровавленных копий. Она в восторге от новостей о его новом занятии, и рада за него как за себя; да и за себя тоже рада. Ведь

Шишка – важный, живительный тотем для мировоззрения Альмы, позитивное доказательство, что даже в чернейших и безнадежнейших обстоятельствах есть место чуду.

Она рассказывает про завтрашнюю выставку, на которую он обещает постараться выбраться, а потом они обсуждают преображенный Рыбный рынок, пока вокруг расстилается тундровая белизна. Глаза Шишки озаряются и сверкают, как раньше, но теперь это детская искорка в предвкушении Рождества, а не былой безумный блик баяна.

– Ага, говорят, тут будут костюмированные балы, праздники и все дела, и выставки тоже. По-моему, это круто. В Нортгемптоне никогда не было таких мест.

Уже готовая в своем духе занизить планку ожиданий списком причин, почему ничего не получится, Альма вспоминает, с кем говорит, и осекается. Если уж Шишка Вуд может быть таким отважным оптимистом относительно перспектив Рыбного рынка, то и для нее уютно потворствовать пессимизму – уже трусость. Пора выйти на огневой рубеж и перестать быть ноющей стервой.

– Ты прав. Мне нравятся и свет, и атмосфера. Может получиться очень, очень здорово. С удовольствием посмотрю, как здесь снова будет толпа людей, и все в костюмах. Прямо как во снах из детства.

Они говорят еще пару минут, потом обнимаются на прощание и продолжают свои личные траектории. Когда Альма покидает рынок, толкая стеклянную распашную дверь в противоположном конце и окунаясь в сумбур начала Серебряной улицы, она чувствует внутренний подъем как от встречи, так и от перспектив своего завтрашнего маленького вернисажа. Возможно, картины добьются того, чего она от них хочет. Возможно, они оправдают ее завышенные требования и излечат раненые Боро, пусть даже только тем, что привлекут к городу правильное внимание. По самой меньшей мере она исполнит обязательства, возложенные на себя после клинической смерти брата, и ради них обоих отправит

некоторых призраков на покой – пожалуй, и буквально. Не так плохо для года работы.

Спуск Альмы по просторной дороге, в которую превратилась в 1970-х узенькая Серебряная улица, – это спуск в прошлое, в Боро, и ее неизбежно окружает дешевый довоенный аромат кладезей местной харизмы, окрашивая мысли и чувства. Это замощенная земля, где в трещинах выросла она. Это место, откуда вышло ее творческое мироощущение, каким бы оно ни было, – из этих узких переулков, сбегаящих по холму к дороге Святого Андрея, как грязная помойная вода. Многоэтажная парковка через оживленную дорогу расселась прямо на двух-трех исчезнувших улицах и нескольких сотнях часов детства Альмы: Клуб работников электроэнергетики на Медвежьей улице, куда она ходила с родителями и братом по воскресным вечерам, клуб дзюдо на Серебряной улице, где она училась самообороне, пока не поняла, что и так слишком большая и непредсказуемая, чтобы ее еще кто-то задирает. Все воспоминания раздавлены под огромным весом парковки, спрессованы в призматическую форму антрацита – топливо, на котором Альма работает уже больше пятидесяти лет.

Вид с этой точки – с высоты на восточных склонах района – все это время оставался в сущности неизменным, если под «сущностью» иметь в виду, что облачное небо все там же, а угол косогора – все тот же. Почти все остальные черты ландшафта обновили или удалили. На растоптанном пейзаже господствуют недавно освеженные здания НЬЮЛАЙФ, их окружает печатная плата многоквартирных и коттеджей – жилых кубов, заменивших террасы отдельных домов. Хотя и бесконечно упрощенные, все же изначальные главные проезды квартала до сих пор видны в своем архаическом сплетении – Банная улица, Алый Колодец, Ручейный переулок. Одни клочки панорамы понуры и пасмурны, а другим ненадолго достался свет софитов, пока солнце светит через протертую простыню облаков. Но вдали ориентиры остаются прежними – по крайней мере в мутном зрении Альмы. Она видит,

где полосы кирпича или бетона уступают черточкам железной дороги под проводами, а дальше на западе проступает серо-зеленое марево парка Виктории. Несмотря на кривые переделки последней половины столетия, она знает, что золотая схема района все еще где-то здесь. Погребенное сердце все еще бьется под щебенкой. Отделяясь от Серебряной улицы в подземный переход под ревущей Мэйорхолд, Альма набирает полную грудь воздуха и погружается под пеструю поверхность настоящего.

Выныривает она из оранжевого мрака туннеля на утопленную дорожку со стенками, выложенными плиткой тридцатилетней давности, которая напоминает Альме булимью Мондриана после омлета по-испански. Повернув налево, она поднимается по скату к Конному Рынку (западная сторона) и направляется в забитую отбойниками пасть Банной улицы мимо здания церкви Царства Небесного, которое в 60-х строили как Зал Бригады мальчиков. В этом любопытном баптистском вооруженном формировании – «Молодежь Баден-Пауэлла» [\[100\]](#) – состоял брат Альмы. Он маршировал с ними и их какофоническим оркестром со множеством ударных каждым воскресным утром – одиннадцатилетка с латунным значком и ланьярдом, с лихой кадетской шапочкой на девчачьих золотистых локонах, с такими невинностью и счастьем в голубых глазах, что они казались Альме на грани нормального. Из него вышел бы отличный член гитлерюгенда, если бы он научился маршировать в строю не вприпрыжку, как мультяшная молочница. Альма почти уверена, что в этом рябом павильоне через дорогу он посещал факельные шествия, скандируя со своими дружками «Arbeit Macht Frei» или «Будь готов», или что там у них был за девиз.

Она рассеянно задумывается, не там ли стоит бывший штаб Бригады мальчиков, где в 30-х находилась контора чернорубашечников Мозли. Это по ассоциации вызывает на ум статью Романа Томпсона, которую матерый ветеран-левак отксерокопировал для нее, про деятельность VUF у Мэйорхолд. Там приводились зернистые репродукции газетных фотографий с

лидерами местных фашистов, позирующих с сэром Освальдом во время его гастролей по провинциям, но одно имя в подписи под снимками было выделено – предположительно, кем-то из архива. Роман не заметил купюру и понятия не имел, кому могло принадлежать пропавшее имя, хотя до Альмы доходили бездоказательные слухи о мистере Бассете-Лоуксе, некогда местном производителе обуви и владельце дома в Крайних Воротах с интерьерами Ренни Макинтоша. Кто знает? Если бы Вторая мировая война повернулась иначе, он бы мог запустить линию спортивных берцев в честь победы фюрера.

Альма продолжает идти по Банной улице: слева – жилые корпуса времен Мозли, цвета говядины, справа приближаются башни НЬЮЛАЙФ и прилегающие к ним современные террасы. В ее внутренних размышлениях большое место все еще занимает национал-социалистический компонент – почти как в зимней сетке передач на Пятом канале. Она слышала – относительно недавно, – что план вторжения Гитлера на Британские острова кончился захватом Нортгемптона, словно стоило взять центр страны, как остальное уже было делом техники. Альма посмеивается про себя. Говорите о Третьем рейхе что хотите, но они хотя бы разбирались в местах исторически-стратегического значения. А местность и так и так застроили брутальной и устрашающей нацистской архитектурой. Альберт Шпеер, конечно, еще прибил бы на башни орлов со свастиками, но разве от этого люди почувствуют себя больше угнетенными и деморализованными, чем от нынешних фарсовых букв на боку? Если честно, намек все равно один и тот же: будьте уверены, завтрашний день принадлежит не вам.

Чем дальше по холму она спускается, тем более подавленным и мрачным становится ее настроение, словно на Банной улице эмоциональный уклон, а не физический. Она задумывается об известных исторических жертвах – о холокосте, о заразе рабовладения, о неравенстве полов и преследованиях сексуальных меньшинств. Она вспоминает собственные дни в феминистском

журнале «Спейр Риб» в 1970-х и как недолго тешила себя надеждой, что женщина-лидер изменит все. Это, очевидно, было в начале семидесятых. Но суть в том, что, несмотря на очень реальное нескончаемое давление, рождаемое антисемитизмом, рождаемое расизмом, сексизмом и гомофобией, все же в депутатах и лидерах есть женщины, евреи, черные и геи. Но нет бедных. И никогда не было, и никогда не будет. Каждое десятилетие испокон веков происходил холокост нищих, такой масштабный и постоянный, что он стал обоями – их не замечают, о них не говорят. Массовые могилы в Дахау и Освенциме все-таки помнят и почитают, и заслуженно, но как насчет могилы в Банхилл-Филдсе, где прикопали Уильяма Блейка и его возлюбленную Катерину? Как насчет той, что под стоянкой в Меловом переулке, напротив церкви Доддриджа? Как насчет несметных поколений, которые жили бедными, а потом так или иначе умерли из-за этого состояния, неоплаканные и неизвестные? Где вот для них, блять, ваши памятники и особые даты в календаре, обведенные в кружочек? Что это Спилберг не снимает фильмов? Часть проблемы, понятно, – у бедности не хватает драматической арки. Из грязи в грязь, из грязи в грязь, из грязи в прах – не самый успешный рецепт Оскара.

Через улицу на Симонс-уок – на одной из современных террас, которые присели под высотными зданиями, – открывается дверь, и появляется толстый мужик с бритой головой и глазами, в которых стоит интернет-порно. Он без эмоций и интереса смотрит на Альму и довольно бесцеремонно жмет кнопку Delete в списке людей на подбочинить, а потом убредает по дорожке – наверняка за чипсами с рыбой на улицу Святого Андрея. Какое-то внимание Альма уделяет «карманному парку» через дорогу, обсаженному деревьями, – одному из немногих действительно приятных добавлений к району. У нее есть знакомая художница по имени Клэр, которая живет здесь, в многоквартирных Банной улицы, и старательно прибирает и выпалывает зеленый пяточок. Клэр написала прочувствованную карикатуру на свой несчастный акр, где на него со всех сторон

надвигаются плотядные высотки, и подарила ее Альме, не желая слышать никаких возражений, когда та влюбилась в рисунок, – при этом отказавшись от денег и до глубины души смутив знаменитость-нувориша, которая теперь навсегда в долгу у коллеги-художницы. Клэр смелая, милая и немного биполярная. Альма улыбается при одной мысли о ней – с псилоцибиновым грибом, татуировкой «Магия» на одном предплечье и «Отъебись» – на другом. С такими девизами, по мнению Альмы, не страшно идти по жизни.

Она рассматривает переоформленные массы Клэрмонт-корта и Бомонт-корта – башни НЬЮЛАЙФ, увлеченные своей двойной пенетрацией неба. Где-то дней десять назад, отлично зная, что эта реновация – всеми презираемое надувательство, управа попыталась провести их тайное открытие. Привезли заместителя министра жилищного строительства Рут Келли – Иветт Купер, чтобы перерезать ленточку рано поутру в среду без предварительных объявлений и тем самым избежать сбора организованных протестующих. Очевидно, Роман Томпсон прослышал о секретном визите за ночь. Он реквизировал мегафон из офиса местного профсоюза и появился на заре с наспех сбитой бандой местных анархистов и активистов, вытащив сонных обитателей коттеджей на Кристинской улице на балконы, когда провозил в чужой матюгальник «ДО-О-О-ОБРОЕ УТРО, ВЕСЕННИЕ БОРО». Когда замминистра и партнер помощника Брауна Эда Болса явилась в своем тугом воротничке с местными сановниками, многократно усиленный голос Романа, как у Старого Морехода, с радостью поведал им об их же недавних проделках. Он сочувственно поинтересовался у лейбористки Салли Кибл, хорошо ли она спит в последнее время после того, как голосовала за войну в Ираке. Громко уделил другому депутату комплимент по поводу замечательного внешнего вида и задумался вслух, не из-за нажористых ли откатов он так цветет. В этот момент на Романа набросился полицейский и сообщил, что он не может это говорить, на что Роман ответил с безупречной логикой, что он уже это сказал.

Альма ухмылялась. Судя по всему, утречко в Боро выдалось увлекательным.

С неохотой она возвращается взглядом к той стороне Банной улицы, по которой идет, – жилым блокам 1930-х, со входом на их центральную дорожку слева и чуть дальше по тротуару. Альма смотрит на место, где, как она почти уверена, однажды высился дымоход Деструктора, и веселый мысленный образ картины Клэр мгновенно осыпается зелеными и желтыми лаковыми хлопьями. Их немедленно уносит ветер, а на их место возвращается предыдущая мысль Альмы о Боро и других районах по всему миру, напоминающих концентрационные кварталы: зоны, где население, стоит им выбрести за пределы, тут же опознается по тюремной униформе в виде передника или блестящего демобилизационного костюма, зоны, где заключенных можно спокойно загнать работой, заморить голодом или просто сгноить депрессией без опасений вызвать общественное возмущение. Здесь, на Банной улице, даже обустроили непрерывно дымящую башню мусоросжигателя, чтобы усилить общую атмосферу лагеря смерти.

Альму, которая слабо различает внутреннюю и внешнюю реальности, не очень заботит, правда ли Деструктор из видения брата – ужасная сверхъестественная сила, как он говорит, или же просто галлюцинаторная и визионерская метафора. Альме кажется, что от метафор и бывает самый серьезный вред: евреи – крысы, угонщики – гиены. Азиатские страны – череда домино, которую может опрокинуть коммунистическая идея. Рабочие считают себя болтиками в машине, креационисты представляют бытие механизмом швейцарских часов, а потом предполагают, что за ним стоит беловолосый старый часовщик с лукавыми глазами. Альма верит, что Деструктор, даже как метафора – особенно как метафора, – легко может кремировать район, класс, место в человеческом сердце. Тем же самым манером она обязана верить, что искусство – ее искусство, чье угодно искусство, – способно наконец разрушить мышление и идеи, которые символизирует

Деструктор, если самовыражаться с силой и дикостью; с брутальной красотой. У Альмы нет другого выбора, кроме как верить. Иначе бы она давно опустила руки. Собравшись с силами при виде обветренных балконов и арок в стиле баухаус, кирпичей цвета запекшейся крови, она поворачивает налево и поднимается по долгой тропинке, разделяющей две половинки многоквартирного, огороженного стенками скату, выходящему на Замоктовую улицу.

Солнце хоронится за тучей, и зеленые газоны становятся серыми. Украшенный ступенчатый край кирпичей, потрескавшийся и поросший травой, приобретает другой характер. Архитектура, в свое время опрятная, современная и функциональная, теперь выглядит на свой возраст – довоенный чиновник, перед которым когда-то открывалась многообещающая карьера, но теперь ему восемьдесят, у него маразм и недержание, он не узнает ничего вокруг. За задернутыми занавесками квартир – угасающего ума палаты, по которым бродят, как непостижимые сны, жильцы. Амбулаторные больные, наркоманы, гастарбайтеры, проститутки, беженцы и пересаженные цветы вроде Клэр, что все еще умудряется посреди всего этого писать картины, как Ричард Дагд трудился над своими крошечными окнами в мир фейри посреди вопящего и срущего ада Бедлама и Бродмура.

Альма понимает, что это место – жернов, под которым стираются в однородную муку безумия рассудок, самовосприятие и логика. В цемент этих зданий замешивали душевную болезнь и депрессию, либо она просочилась в штукатурку, словно какая-то меланхолическая сырость. От попыток помнить хоть о каком-то смысле жизни в этой мрачной обстановке постепенно повернешься, ум за разум зайдет. Она осознает, продираясь через густой воздух центральной дорожки, что чаще всего сумасшествие пускает корни там, где человеческие стремления упираются в социальную стенку. Она вспоминает старого соавтора пастора Ньютона по гимнам, ветерана дурдомов Уильяма Купера, который в 1819 году обращался к Уильяму Блейку: «Ты сохраняешь здоровье, однако столь же

безумен, как все мы, сверх нашего, непередаваемо безумен от неверия Бэкона, Ньютона и Локка».

Очевидно, хрупкий поэт осуждал тут другого Ньютона – не гимнослагателя и работорговца Джона, а Исаака, архитектора материальной научной самоуверенности, которая искоренит уравнительный моральный апокалипсис его современника Джона Баньяна. Исаак Ньютон, основатель Королевского общества и Великой ложи масонов, беспощадный повелитель Монетного двора и потому основоположник финансовой системы, проеденной Дарьенскими катастрофами, Пузырями «Саут-Си», Крахами Уолл-стрит и Черными средами. Автор золотого стандарта, а значит, и золотых запасов Британии, которые министр финансов Блэра Гордон Браун втихаря распродал как раз пару лет назад. Сэр Исаак, изобретатель весьма фантазийного цвета – индиго – и во многом создатель материалистической мышеловки современного мира. Великий успокоитель духа, творец того, что Блейк очень точно назвал «сном Ньютона». В многоквартирных на Банной улице, среди брошенных, бедствующих и бешеных, она видит те кошмары, что тревожат этот сон.

Она прерывает ход мыслей, чтобы обойти свежее на вид опорожнение собачьего желудка на дороге – крутобокий замок из говна, в котором еще не зияют бреши детского башмака или подросткового кеда, идеальный конечный продукт материального мира и его же неизбежный памятник. Он придает хотя бы полутвердую форму самому частому слову, самой частой мысли в современном местном разуме, повторяет кредо Деструктора: «Сюда мы отправляем говно или то, что нам не нужно. То есть вас».

Направляясь к скату, заменившему лесенку, которую она помнит из детства, Альма с замиранием сердца задумывается, сколько человек здесь умерло, сколько последних вздохов туманило зеркала в неудобных ваннах или выпускалось в тесных кухоньках. Должно быть, уже сотни с момента постройки многоквартирного в 1930-х; столько разочарованных душ, столько историй втерто в фактуру

шпона, зашифровано в штрихкоде уродливых обоев. Ей кажется, будто она бредет по дну моря привидений, через удушающие хляби непокорной эктоплазмы, уходящие далеко ввысь. С каждым шагом тучами ила поднимается осадок воспоминаний и голосов. Ракушки полтергейстов, астральный хлам, ржавые призрачные банки перекатываются в сумраке периферийного зрения. Серые старушки дрейфуют на ленивом фантомном течении, как сверхъестественные водоросли. Ряска мертвых рясников. Она шагает по скату походкой астронавта, водолаза в канале, который вступает на пригорок, надеясь, что тот окажется пляжем Дувра, и она не знает, сколько еще сможет сдерживать дыхание в этих пучинах кручины, в этом море горя.

Под бетоном ската еще должны быть ступеньки, на которых она сживала в детстве. Она помнит, как однажды возвращалась домой с мамкой и младшим братиком, срезая с Замковой улицы на Банную. Сколько тогда было Альме, девять или десять? Она купила комикс на рыночном лотке Сида и забежала вперед Дорин, чтобы посидеть на лестнице и почитать, поджидая, пока догонит мать. Комикс, неудивительно, был «Запретными мирами». Она не помнит, имелась ли в том номере история о Херби, но без Огдена Уитни в той или иной форме явно не обошлось. Пока она устроилась на прохладном гранитном насесте и поражалась историям, Уитни уже был больше чем на полпути по скользкой от алкоголя дорожке, ведущей к лечебнице и могиле. Ее охватывает зябкое предчувствие, что где-нибудь в 2050 году кто-нибудь подумает то же самое о ней, словно Альма и Огден уже находились вместе в бледно-зеленом Неизвестном с людьми-волками и Франкенштейнами; словно весь мир и его будущее уже закончили существование, а она смотрит на эту несчастную глупость откуда-то извне времени, с высоты, из запретного мира. Все уже мертво. Никого уже нет.

Она выходит на Замковую улицу и замирает, заметив почти мимолетную перемену настроения и света. Так, это интересно. Она оборачивается на скат, на центральную тропинку к Банной улице с

растущими за ней надгробиями НЬЮЛАЙФ, и улыбается. Страх тлена и смерти, думает она. Страх унижения, утраты и упадка. И это все, что вы можете?

На нее освежающе и электрически пахнуло новой решимостью, и, раздув ноздри, Альма спускается по Замковой улице к месту, где Бристольская перетекает в Меловой переулок. Переходя безлюдную дорогу на южную сторону, Альма рассматривает «Золотой лев» – заведение в плачевном состоянии, где Уорри излил свою дикую фантазмагорию всего лишь какой-то год назад. Год. Из года не запомнилось ничего, кроме рисования, раскрашивания, жевания бумажек «Ризла» и сплевывания их в миску, смены сезонов, отмеряемой только разными образами на ее мольберте или кульмане – целое лето потрачено на вычерчивание мягким карандашом сопливых мертвых ребятишек. И вот она здесь.

На перекрестке, к которому она подходит, стояла лавка сладостей, чьего хозяина она с другими детьми называла просто Папашей – это был беловолосый коренастый малый в очках, продававший за пенни самодельное мороженое и воды. Последние – полпинтовые молочные бутылочки, наполненные из-под крана, с гомеопатическими дозами фруктовых кордиалов, с памятью воды о когда-то виденной молекуле шиповникового сиропа. И все же в жаркие дни хватало даже нематериальной концепции вкусного напитка. Они расставались с пенни и благодарно хлебали жидкость – розоватую, если пить на закате. Оглядываясь назад, она понимает, что нужно было автоматически не доверять любому, кто называет себя Папаша. Ну что ж. Век живи.

В нижнем конце Замковой улицы слева она проходит травяной пятачок – все еще ничем не занятый, – где в детстве ее чуть не похитили. Это одно из ранних воспоминаний, с которыми она так и не может как следует разобраться, не может понять, что тогда на самом деле случилось. Она и какие-то другие восьмилетние ребята нашли на траве ржавый корпус брошенного «Моррис Майнор», а в местности, которой нечего было предложить в плане бесплатных игр

и развлечений, он для них стал не меньше чем тематическим парком или по крайней мере протонадувным замком. Они лазили на капот, сидели внутри за баранкой. Альма поднялась на рухлядь и маниакально прыгала на рыжей крыше, как на металлическом батуте, когда с Мелового переулка на Бристольскую улицу вывернула черная машина и внезапно остановилась у полянки, где они играли.

Когда с водительской стороны вышел молодой человек с набриолиненными волосами в темном костюме и сердито зашагал к кишашему детьми «Моррис Майнор», все остальные оказались в удобной позиции, чтобы мгновенно рассеяться, и на ржавой крыше осталась Альма одна-одинешенька. Мужчина – как бы она ни старалась его вспомнить, на его лицо вечно ложно наплзает фотография Иэна Брэйди, – схватил и стащил ее с развалюхи, поволок, пока она кричала и завывала, в свою машину и запихнул внутрь. Там сидела моложавая женщина с бледно-русыми волосами – хотя мелодраматическая память снова подставляет снимок Майры Хиндли [\[101\]](#), чуть моложе и без отбеленной прически или макияжа в стиле панды-вампира. Альма на заднем сиденье умоляла, плакала, боролась. Мужчина сказал, что отвезет ее в полицейский участок, но вдруг уступил – возможно, заметил, что женщина теперь перепугалась не меньше рыдающей пухлой девочки. Он открыл заднюю дверь и выпустил ее на тротуар, а потом сорвался с места, оставив Альму всхлипывать у дороги, где ее и нашли друзья, когда выбрались из укрытия. И что это такое было?

Отчасти она почти готова принять историю как она есть. Она легко представляет своего неудавшегося похитителя кислым и эмоционально подавленным молодым прихожанином среднего класса начала 1960-х, который вывез невесту на рискованные покатушки в бедный квартал и хотел впечатлить своей моральной чистотой, запугав до смерти одного из детенышей местных паразитов. Это кажется более вероятным, чем остросюжетное повествование о растлителе детей, которое она задним числом наложила на сценарий, хотя от этого Альме не проще и не

спокойнее на душе. Она помнит бледную кожу и холодные глазки молодого человека. Чего бы он ни добивался и что бы о себе ни воображал, он ничем не отличался от нынешней сыпи секс-туристов, которые ездят в Боро как в свой частный зверинец. Ее потрянула новость, что во время тревожного уик-энда изнасилований в прошлом году одну из жертв, по сообщениям, затащили в машину в Меловой переулке почти на том же самом месте, где произошла попытка похищения Альмы. Проходя мимо неухоженного желто-зеленого склона, она спрашивает себя, что если здесь есть какой-то зловредный дух места – что-то в почве, предрасполагающее к одному конкретному преступлению, которое повторяется в течение десятилетий. Она помнит, как слышала, что здесь во время каких-то раскопок в девятнадцатом веке нашли скелет, но не знает, из древнего захоронения или после относительно недавнего убийства, не знает, мужчина это был или женщина, ребенок или взрослый. За неимением опровержений она видит в останках жертву похищения, которой одиноко под землей, и потому она зовет себе какую-нибудь компанию. Как ни посмотри, это проклятое место. И как же типично для Альмы, что его-то она и выбрала для своего предпросмотра.

Она сворачивает налево, в Меловой переулок, где тут же видит ясли и людей внутри, осторожно перемещающих привезенные полотна с одной стороны маленького пространства на другую. Альма не видит очевидных признаков повреждений или катастрофы и чувствует облегчение, хотя, если честно, она и так несколько не нервничает по поводу исхода завтрашнего события. Она уверена, что все будет так, как и должно быть.

Покорив короткую каменную лестницу перед дверью, она возвращается мыслями к тому времени, когда здесь была танцевальная школа Марджори Питт-Драффен – оазис утонченности, не к месту влипшийся посреди Боро, никогда не славившихся достижениями на поприще Терпсихоры, – в месте, где не советуют заниматься сексом стоя, чтобы это ненароком не привело к танцам. Ее приятель, выдающийся актер Боб Гудман,

признавался, что в детстве часто посещал танцевальную школу – предположительно, в дни задолго до того, как его загоревшееся лицо тушили лопатой. Она представляет, как он, нервный ребенок среднего класса в килте, каждую субботу шаркал по этим ступенькам на пути к ненавистным урокам. Пожалуй, к лучшему, что маленький Боб и маленькая Альма не познакомились в детстве, пока он щеголял в тартановой юбке и говорил через губу. Она бы ему башку проломила.

Толкнув дверь, Альма знакомится с обстановкой. Не считая ее, присутствуют трое. Гость из Уэльса, Берт Рейган – тот, кому официально доверено доставить картины и развесить по местам, хотя, похоже, в этом ему помогает жилистый Роман Томпсон. Берт приветствует вошедшую Альму.

– Здоров, Альма. Так эт от твоих пальцев звон стоял, када ты шла по улице, или ты се еще и щелку до кучи проколола?

– Вообще-то проколола. Еще ношу якорную цепь от «Титаника» вместо ожерелья. Наверняка ее ты и слышал. Тысячи фунтов выложила, но было бы в два раза дороже, если б я еще попросила оттереть ржавчину. Привет, Ром.

Приставляя «Неоконченный труд» к дальней стене импровизированной галереи, Ром Томпсон ухмыляется, сминая поеденную молью наручную куклу лица, – потрепанный лис Бэзил Браш, когда с ним расправился Питчли Хант [\[102\]](#). От глаз, что по-прежнему горят, как пороховые фитили, расходятся в виде трещин по лобовому стеклу ушлые морщинки. Альма думает, что Роман Томпсон, вполне возможно, самый опасный человек, с которым она встречалась, – и думает это в самом уважительном ключе. И почему самые лучшие парни всегда геи?

– Как жизнь, Альма? Нравится, какую мы тебе захреначили выставку? Я, тип, присматривал. За Бертом глаз да глаз, без прораба по-любому накосячит.

– Сышь, мудила! Я тут корячусь с одиннадцати, а этот хуеплет приперся полчаса назад. И с тех пор пальцем пошевелить

отказывается. Грит, он здесь ток в должности арт-критика. Он у нас как сестра Венди [\[103\]](#), ток больше по херам.

Оставляя мужчин с их оживленным диспутом, Альма присоединяется к четвертому присутствующему в яслях – приятной девушке в очках, стоящей в дальнем углу комнаты с умеренно испуганным видом из-за Романа и Берта – парочки гребанутых огров из другого века. Это Люси Лисовец, представительница общественной ассоциации CASPAR – одной из редких нейронных сетей, что еще поддерживают огонек разума в маразматичном районе. Альма познакомилась с ней через рэперов Streetlaw, для которых Люси – нечто среднее между старшей сестрой – авторитетной на улице, но приличной, – и добрым офицером по УДО. Именно Люси смогла найти для выставки Альмы ясли, а значит, если что-то пойдет не так, то под ударом окажется репутация Люси. Несомненно, по этой причине она и смотрит так нервно на Берта и Романа, из-за которых кажется, что все пойдет не так уже потому, что они пришли, – словно гестаповцы в форме на похоронах питомца. Альма пытается ее успокоить.

– Привет, Люс. По глазам вижу, что этим двоим – а они, кстати, вроде парочки наемных костоломов, не больше, – что их угораздило тебя обидеть. Бедная ты моя. Наверно, наслушалась такого, чего человек твоего возраста слышать не должен, – такого, что остается в памяти навсегда. Я могу только извиниться. Хозяин приюта сказал, что если я не возьму их на работу, то их усыпят.

Люси смеется, показывая прелестный неправильный прикус. Она действительно большая молодец – работает одновременно на десятке проектов с жителями Боро, присматривает за их детьми в офисе CASPAR в Доме Святого Луки по вечерам, когда не зарабатывается допоздна, сопровождает Streetlaw на концертах, живет одна над «Макдональдсом» на Швецах, получила желудочную язву в двадцать семь – Альма недавно насильно кормила ее «Актимелем» и «Якултом», – и все из-за того, что творчески сотрудничает с чудесными, достойными людьми, которые иногда

кажутся просто-таки долбаными ходячими кошмарами. Уж Альма точно входит в эту категорию.

– А, нет, они ничего. Они домашние. Нет, я просто смотрю на картины, макет и все прочее. Альма, это фантастика. Это размах.

Альма вежливо улыбается, но довольна больше, чем показывает. Люси – сама успешный художник, в основном работает в рискованном медиуме кирпича и аэрозоля. Единственная женщина-тэггер в графстве, и, насколько знает Альма, одна из немногих во всей Англии. Люси была вынуждена начать работать соло в группировке «Команда в одного человека», пока благодаря притоку нового члена не повысилась до «Команды в два человека». Под псевдонимом CALLUZ – «мозоль», то ли ребяческое признание в аутизме, то ли отсылка к уличным мозолям, – за годы она прихорошила немало неказистых зданий, хотя теперь возражает против новых обвинений, будто слишком стара, чтобы лазать и бегать. Но Альма подозревает, что этот фасад ответственной зрелости улетучится уже после второй рюмки «Смирнофф Айс». Люси, как бы она ни притворялась, все еще действующий художник, и вполне естественно, что ее мнение много значит для Альмы. Но более того, Люси молода – из поколения, которое Альма очень плохо знает и потому не уверена, что затрагивает своим творчеством. Если Люси уважает ее вещи хотя бы настолько, чтобы не закрасить металлическим Жирным Капсом с люминесцентными тенями, – ну, наверное, что-то Альма делает правильно. Она позволяет самой себе бросить оценивающий взгляд на уже расставленные работы – то есть на большинство. Пожалуй, неудивительно, что она целиком согласна с оценкой Люси своей размашистой и фантастической выставки.

В северном конце комнаты – большая мозаика из плиток, частично порожденная под влиянием Эшера, приклеенная к подложке и озаглавленная «Зловредные пламенные духи». На той же стене находится богатый выбор иллюстраций как будто из детской книжки – что-то в монохrome мягкого карандаша, а что-то в

пышных акварельных красках, как бросающаяся в глаза психоделическая картина «Полет Асмодея». Восточная стена, самая широкая, подмята ошеломляющей массой «Деструктора», который по большей части скрыт тканью, чему Альма только рада: это слишком – слишком жутко стоять перед его голым взором. Чего она и добивалась. Это «Герника» Альмы, и она сомневается, что ее когда-нибудь в нынешнем веке повесят в зале директоров «Митсубиси». Если честно, ей сложно представить, чтобы ее повесили где угодно, где на картину могут наткнуться обычные ни в чем не повинные люди, которые просто хотят жить своей жизнью. Картина такая напористая, что на той же стене могут висеть только самые сильные из произведений поменьше. Вот слева от «Деструктора» – «Запретные миры» с inferнальным кабаком. Когда она принесет завтра утром в ясли последнюю вещь, «Должностную цепь», то повесит ее на западной стене, лицом к катастрофическому холсту, словно какой-то эстетический противовес.

Посреди комнаты вместе сдвинуты четыре стола для макета из папье-маше, слепленного из бумажек «Ризла», которые она пережевывала и сплевывала в подходящую емкость. Мелинда Гебби, ее лучшая подруга, смотрела с каким-то отвращением, когда Альма демонстрировала технику, так что Альме пришлось оправдывать процесс, ссылаясь на поглотителя книг и визионера из 1960-х Джона Лэтема, с кем она однажды встречалась и кем восхищалась. Еще она пыталась объяснить важность использования собственной слюны, чтобы ее ДНК в буквальном смысле была вложена в сложную конструкцию. В конце концов она махнула рукой и призналась, что ей просто нравится харкать.

Если быть честной с собой, макет – единственный предмет на выставке, в котором она не уверена до конца. Непохоже, чтобы он о чем-то говорил – просто лежит себе, объемный и недвусмысленный. Может, она посмотрит, как все пройдет завтра, а потом исключит его из лондонской премьеры, если реакция не понравится. Сейчас волноваться все равно уже нет смысла. Обычно все решается само

собой, думает Альма, хотя и знает, что это прямо противоречит законам физики, здравому смыслу и ее политическому опыту последних сорока лет.

Она поднимает взгляд от столешницы к фасадному панорамному окну яслей и замечает, что Меловой переулок колеблется на краю вечера. В умбре цокает тощая девочка-полукровка с корнроу и красным, как пожарная машина, виниловым плащом, в защитном жесте скрестив руки на груди с поглощенными мыслями выражением на лице. Альма думает: «Шлюха на крэке», – а потом ругает себя за то, что скатилась к классовым суждениям и ленивым и злым выводам. К этому времени девушка уже удаляется, растворяется в сгущающихся на востоке сумерках, переливающихся с Конного Рынка и стекающих по Замковой улице мутной фиолетовой лавиной.

Альма еще ненадолго задерживается в арендованном здании и болтает с Романом, Бертом и Люси. Роман говорит, что обходил соседей, пробуждал интерес к завтрашней выставке среди местного населения. Она спрашивает, как продается карикатурный плакат, который она набросала для его группы «Защитим муниципальное жильё», и слышит в ответ, что все так же уверенно. На той картинке изображен толстый кот размером с Годзиллу, возвышающийся над башнями НЬЮЛАЙФ и бороздящий поверхность улицы Алого Колодца чудовищными когтями, – хотя и не самая лучшая вещь по ее обычным меркам, она все же вызвала небольшую полемику. С наметанным глазом на бесплатную рекламу Ром привлек местную газету «Хроникл энд Эхо», тем самым втянув Альму в свое полезное дело публично. В сопровождающей статье были весьма раздраженные и пренебрежительные комментарии от депутата-консерватора, некоего Дерекы Пейлхорса, который настаивал, что не понимает, из-за чего тут поднялась шумиха, когда для помощи району и так уже сделано немало. Теперь Альма улыбается от воспоминания. Как мило с его стороны высунуться из окопа. Она помнит недавний скандал, когда благодаря махинациям Романа Томпсона в местной газете была обнародована очень щедрая

зарплата бывшего чиновника городской управы, после чего депутаты принялись протестовать, что их личные дела не должны выходить на публику. Когда газета провела опрос среди читателей, чтобы узнать их мнение, читатели с удивлением обнаружили, что большинство поддерживает право городской управы на тайну частной жизни. А потом узнали, что почти все эти голоса так или иначе подал депутат Пейлхорс. Об этом упоминалось на полосе «Прогнившие Боро» в «Прайват Ай», к заслуженному стыду всех вовлеченных партий. Ну серьезно, думает Альма. Что за народ. Просто кучка говноклоунов. Это новое словечко она подхватила у Чарли Брукера [\[104\]](#) – публициста и телесценариста с изысканно грубым юмором, за которого готова выйти замуж, – и уже не представляет, как прожила без такого термина все эти годы, когда из сдохшей машины истории тянется бесконечная цепочка говноклоунов. Не волнуйтесь, они уже здесь.

Ей в голову взбредает неожиданная прихоть дойти домой пешком через старый район, и она отмахивается от предложения Берта подвезти и целует всех на прощание. Ром Томпсон таинственно намекает, что хотел ей что-то рассказать, но сперва ему нужно все лишний раз перепроверить; что-то про участок реки рядом с газгольдером на Дубильной улице. Говорит, что расскажет ей завтра утром, на мероприятии. Предоставив остальным заниматься последними мелочами и закрываться, она застегивает косуху по горло и выходит, шаркая по каменным ступенькам, на улицу Феникса. Бросив взгляд налево по Меловому переулку, она видит церковь Доддриджа, с причудливой дверью на западной стене. Альма представляет себе поднебесную эстакаду – Ультрадук, как изобразила его в одной из работ, на которые только что глядела: высокий пролет, как будто высеченный из света, возникает из заложенной кирпичом двери для погрузки и загибается на запад, а по всей его длине скользят фосфоресцирующие фигуры.

На ее взгляд, сама церковь подытоживает совокупные политические и духовные возмущения, характеризующие историю

Нортгемптона. Ей приходит в голову, что большинство из них зарождались в лингвистической форме. Процесс начал Джон Уиклиф в XIV веке с переводом Библии на английский. Тогда же, настаивая, что у английских крестьянских классов есть право молиться на их собственном языке, Уиклиф со своими лоллардистами внес в религиозные разногласия политический элемент классовой войны. В Нортгемптоне лоллардисты и остальные религиозные радикалы как будто нашли свой дом, так что ко времени правления королевы Елизаветы в тысяча пятисотых конгрегации в Нортгемптоншире уже пели самодельные гимны на английском, а не просто слушали, как им зачитывают псалмы на латыни, как того велела Церковь. Впустую хватаясь в поисках более ранних примеров, она спрашивает себя, не в ее ли городе зарождается традиция английского гимна. Это бы многое объяснило, если задуматься.

Через пятьдесят лет после кончины королевы Елизаветы, конечно же, разгорается Гражданская война, потому что парламент осмелел благодаря радикальным сектам, скопившимся по большей части в английском Мидлендсе, – всяким рантерам, анабаптистам, антиномийцам, пятым монархистам и квакерам, большинство из которых занято выпуском разжигающих текстов или огненных летающих свитков. Несколько откровенно крамольных трактатов «Мартина Марпрелата» втайне публиковались здесь, в Боро, и вообще кажется, что вся протестантская революция держалась на слове – картины и изобразительные искусства считались вотчиной папистов и элитистов. Чтобы стать художником, нужны материалы и средства, а для писательства, строго говоря, требуется только самая рудиментарная грамотность. Очевидно, и литературу по-прежнему рассматривали исключительно как прерогативу элиты, и это одна из множества причин, почему сочинения Джона Баньяна – кристально ясные аллегории на простонародном языке – в свои дни считались такими возмутительными. Его гимн «Быть пилигримом» стал главной песней разочарованных пуритан, мигрирующих в Америку, а «Путешествие пилигрима» станет источником вдохновения для

поселенцев Нового Света, уступающим только Библии, и это вовсе не удалые куртуазные острология или раболепные оды, как у современников вроде Рочестера или Драйдена. Их писал человек из нового и опасного племени, образованный мещанин. Их сочинил тот, кто утверждал, что простой английский – это святой язык, это речь для выражения божественного.

Конечно, Баньяна кинули на десяток лет в Бедфордскую кутузку, а искусство и литература до сих пор чаще всего продукт среднего класса, рочестеровского менталитета, который считает искренность попросту неприличной, а провидческую страсть – анафемой. По стопам Баньяна последует Уильям Блейк, а ближе к Нортгемптону – Джон Клэр, но оба проведут свои дни в нищете, будут маргинализированы, сосланы в лечебницы для сумасшедших или измучены судами за крамолу. Все они – наследники Уиклифа, представители великой бунтарской традиции, жгучего потока глаголов, апокалипсического повествования на языке бедных. И в каменном доме собраний в Меловом переулке Филип Доддридж свел все разрозненные нити этого повествования вместе. Якшался со сведенборгианцами и баптистами, принял пост здесь, в беднейшем квартале, написал «Чу! Радости внемли!», защищал дело диссентеров – и все это на жалком пригорке... Доддридж – первостепенный местный герой для Альмы. Для нее честь – открывать выставку в тени его церкви. Альма решает пройтись по Малой Перекрестной улице, а потом по Банной на Алыи Колодец, к ее любимой полоске голой травы на дороге Святого Андрея.

Она шагает в неверном свете среди корпусов многоквартирных по бокам – западный фасад зданий Банной улицы справа, а слева – лестничные площадки и утопленные дорожки Дома Рва и Дома Форты, внешние пределы давно разрушенного замка, ставшие улицами, где вот уже под сто лет назад жил прапрадедушка Альмы, Снежок Верналл. Безумный Снежок, женившийся на дочери кабатчика из давно сгинувшего паба «Синий якорь» в Меловом переулке, который он посетил в одном из невероятно долгих

переходов из Ламбета. Столько случайных событий, столько людей и их сложных жизней, триллион мелких совпадений, без которых она была бы не она; вообще бы не была на свете.

На другой стороне улицы пристыженно стоят в лужах собственного света цвета мочи фонари с недержанием. Она с трудом, но помнит, как улица Рва и улица Форта еще были на месте и как еще стоял в нижнем конце Банной улицы маленький пряничный домик – магазин со сладостями миссис Коулман, – хотя Альме тогда было не больше четырех-пяти лет. Куда более яркое воспоминание происходит из времен чуть попозже, когда лабиринт террас из красного кирпича снесли, а на их месте осталась только пустошь, до того, как возвели корпуса многоквартирников. Она помнит, как играла на широких полях щебня и черной грязи под свалывшейся шерстью небес Боро с первой из множества лучших друзей – Джанет Купер. Почему-то там повсюду валялись и приправляли лужи промышленные обрезки – куски металла в форме буквы «Г», которые Альма и Джанет научились связывать в ржавые оранжевые свастики и швырять по зоне разрушений, словно нацистские сюрикены. Как и брошенный «Моррис Майнор», кирпичные осыпи и груды обломков считались жилой инфраструктурой – детскими площадками для ребят района, столбняковым вертепом, повсеместным в то время в округе. Это еще было в годы Макмиллана, в конце 1950-х. Альма с друзьями запускали воздушных змеев в провода, резали вены, пролезая в рваные дыры в гофрированной жести, и веселились как никогда в жизни.

В конце Малой Перекрестной улицы она поворачивает налево, на нижнюю часть Банной. Теперь жилые корпуса 1960-х слева, а обшарпанная элегантность 1930-х в виде многоквартирника «Серые монахи» – справа через темнеющую дорогу. Пока она спускается, поток времени становится все более вязким, густеет от исторических осадочных слоев, напластовавшихся на дне долины. В смеркающихся потемках вокруг загораются окна, слабый свет

процеживается через тонкие шторы – поблекшие почтовые марки, приделанные к ночи невидимыми петлями. Все клейкое от мифологии.

Разные корпуса многоквартирников района, уже вытеснявшие террасы даже сорок лет назад, с детской точки зрения не отличались от сломанных машин или снесенных зданий. Все это был ландшафт, в котором нужно обитать, лазать, прятаться, а разнообразные конструкции в ребяческом воображении преобразались в форты на фронтире, неслыханные планеты, вечно мутирующий Горменгаст из черепицы и черепков. Сколько Альма себя помнит, многоквартирник «Серые монахи», ближайший к их дому на дороге Святого Андрея, всегда служил вторым, только более широким задним двором – практически пристройкой к холодному, как надгробие, порогу. Здесь случилась одна из двух ее почти-смертей – попытка удушения в мусорном тупичке, – и об этом месте ей снятся сны, которые еще ярче воспоминаний. Был один, как будто она умерла и заточена во внутренний двор многоквартирника, завешанный бельевыми веревками, и до скончания времен по пасмурному и отвратительному чистилищу ее преследует отравленная ртутью и поеденная молью версия кэрролловского Безумного Шляпника. Был сон с высокой футуристической башней из синего стекла, возносящейся из дальнего конца многоквартирника на Нижней Перекрестной улице, и там, помнит Альма, ей показывали тихо гудящий овальный механизм с маленьким экранчиком, на котором пересчитывались все частицы вселенной. И конечно же, здесь Альма встретила виде íне, преобразившее всю ее жизнь. Улыбаясь про себя в сворачивающихся сумерках, Альма переходит безлюдную дорогу к юго-западному углу «Серых монахов», болтая в украшенном кулаке продуктовыми сумками.

Нижний вход во внутренний прямоугольник уже несколько лет перекрыт воротами с черными железными прутьями. Только для жильцов – и она считает это вполне понятным. И все-таки можно постоять у ворот и взглядеться вдоль тропинки туда, где видна

частичка кустарника. Как она помнит, стоял холодный день начала весны, когда ей было восемь или девять и она скакала домой из школы Ручейного переулка с верхнего конца улицы Алого Колодца. Ни с того ни с сего она выбрала путь через многоквартирник – только потому, что эти виды ей показались интереснее, чем простой склон старого холма, обрамляющие его пустые стадионы и задние окна уцелевшей террасы на дороге Святого Андрея. Убивая время на бетонных тропинках внутренностей корпуса, среди хлопающих простыней и детской одежды, она дошла до треугольника земли в нижнем конце, где росли кусты. Она могла бы пройти мимо и не обратить на знакомую растительность никакого внимания, если бы не интригующая деталь, захватившая внимание юной миниатюристки.

С тончайшей иголки на восковом хвойном растении висел прозрачный белый червяк со слепой и поблескивающей головкой, который как будто левитировал – таким тонким был материал его нитки. Болтаясь в холодном кристалле утреннего воздуха, он скручивался и извивался, как эскаполог, только с номером наоборот, когда надо застегнуть собственную смирительную рубашку. Изворачиваясь и изгибаясь, он намеренно опутывал себя почти невидимыми прядями, которые производил загадочным образом. Альма в благоговении наклонилась к кусту поближе, ее нос оказался всего в дюйме-другом от парящей гусеницы. Она помнит, как спрашивала себя, умеет ли гусеница думать, и решила, что наверняка да – какие-нибудь свои липкие гусеничные мысли.

Раньше она никогда не видела такой скрупулезной деятельности и удивлялась, почему крошечное существо одиноко в своем начинании. Она поняла, что, должно быть, видит зарождение кокона размером с рисовое зернышко, но раньше не думала, что это такое обособленное занятие. И тут Альма с облегчением увидела, что у червячка есть хотя бы один дружок – другая бледная личинка, которая кропотливо ползла по ближайшему побегу, где...

Альма шумно выдохнула и отпрянула. Реальность перед глазами поплыла, преобразилась. На каждой ветке, на каждом сучке и под каждым листиком игольчатого кустарника была еще тысяча таких же белых слизняков, и все терпеливо занимались тем же делом. Сам куст стал огромной белой паутиной, вдруг ожил от корчащихся нитей для чужеродных задач. Как она могла простоять тут пять минут и не заметить такую зрелищную и потустороннюю картину? Этот миг был апокалипсисом – в том смысле, в котором слово применяли поэты школы с одноименным названием, вроде Генри Триса или любимца Альмы Николаса Мура. В этот миг она осознала, что мир вокруг – не всегда тот, каким кажется, что удивительные дела все время происходят у нас под носом, но людям не дают их заметить обывательские ожидания. Наблюдая, как стало понятно позже, за колонизацией шелковичными червями растения, в котором она запоздало предположила шелковицу, Альма увидела мир великим и непостоянным местом, способным взорваться новыми невероятными узорами, стоит просто обратить внимание; стоит просто присмотреться.

Она стоит на месте – подозрительная фигура, заглядывающая за черные прутья, за вечерний мрак во двор «Серых монахов», – и чувствует, как вокруг роятся фантомы. Она всегда здесь, в этом самом месте в этот самый момент, – это ее предопределенная позиция в одновременном и неизменном 4D-самоцвете пространства-времени. Жизнь – в бесконечной петле, и ее сознание целую вечность заново посещает одни и те же случаи и каждый раз сталкивается с ними как впервые. Человеческое существование – грандиозное повторение. Ничто не умирает и не исчезает, и каждый выброшенный презерватив, каждая мятая бутылочная пробка в каждой подворотне так же бессмертны, как Шамбала или Олимп. Она чувствует, как бесконечное чудо прекрасного и грязного мира обволакивает ее музыкой фанфар. Опустив жирные от туши ресницы, она воображает, что все вокруг оживает и кишит, вдруг сделанное из миллиарда глянцевых организмов, которых она

прежде не замечала, что весь пейзаж накрыт призрачной газовой тканью, свежеспряденным шелком обстоятельств.

Наконец она отворачивается от запертой калитки и продолжает путь по Банной улице на Алый Колодец, а оттуда – на дорогу Святого Андрея. Короткая полоска родовой травы все та же. Как обычно, она удивляется все еще стоящему домику на углу и пытается безуспешно угадать, где когда-то находилась резиденция Уорренов. Вообще-то она почти уверена, что между двумя молодыми и крепкими деревцами на полпути по этой лужайке. Место кажется подобающе жутким, но наверняка не узнаешь. Наконец до нее доходит, что стоять без движения на обочине в этом квартале города – значит слать автомобилистам неверные сигналы, так что она поворачивается и отправляется кружным маршрутом домой, по Графтонской улице на Баррак-роуд, а потом вокруг «Ипподрома» обратно на Восточный Парковый проезд.

Переходя Кеттерингскую дорогу у удивительно красивой трамвайной остановки, где когда-то располагалась главная виселица города, она думает об искусстве в эпоху Чарльза Саатчи; искусстве, что сделалось одномерным коммерческим жестом, направленным на такую культурно заблудшую аудиторию, что у той просто нет платформы для обоснования своей критики. Лишь другим художникам – и то только ренегатам – хватает уверенности в своих мнениях, чтобы эффективно опровергать тезисы мейнстрима. Она вспоминает последний раз, когда приглашала Мелинду Гебби на незабываемый ужин, и американская экспатка выдвинула такую неопровержимую критику творчества Трейси Эмин, что Альма пожалела, как не придумала ее сама: «Боже мой, а ты можешь представить, куда можно вместить список имен всех тех, с кем спала в палатке?» [\[105\]](#) Альма пару секунд хлопала глазами, а потом рассудительно выдвинула предложения для достаточно просторных объектов, где хватит площади для списка Мелинды. Парфенон, Вестминстерское аббатство, Китай, Юпитер.

Продвигаясь по роскошно состарившемуся асфальту Восточного Паркового проезда, она наконец доходит до своей двери и шарит в слишком узких штанах в поисках временно неуловимого ключа, прежде чем переступить порог. Внутри Альма включает свет и горестно качает головой при зрелище бардака и хлама. И почему у нее не бывает чисто, как у настоящего взрослого? Про себя она винит Суперкота. Когда они с братом Уорри были маленькие, они мечтали жить в обустроенной мусорке, как их кошачий кумир, – там, где можно почистить зубы, а потом выключить ближайший уличный фонарь удобно висящей веревочкой, чтобы поднять побитую крышку и улечься спать. Только потом она задалась вопросом, куда Суперкот сплевывал зубную пасту.

Альма фарширует перец, намазывает фетой и засовывает в духовку. Пока перец жарится, она скатывает папиросу и курит, начиная пролистывать новый выпуск «Нью Сайентист». После ужина она забивает еще три-четыре косяка, дочитывая научный журнал, пробегает глазами «Прайват Ай» и пересматривает две серии из последнего сезона «Прослушки». Около одиннадцати она тушит последнюю сигаретку на день, запивает пилюлю красного дрожжевого риса и бесполезное успокоительное «Калмс», а потом выключает свет, перед тем как отправиться ко сну.

Голая под толстым одеялом, Альма укладывается на правый бок и засовывает пригоршню одеяла между костлявых коленей. В грохоте и рвоте пятничной ночи снаружи – сирены, присвист, мат слишком расслабившейся молодежи, блуждающей взад и вперед по Восточному Парковому проезду. Она потирает ноги друг о друга – ей нравится сухой шорох пяток. Ее веки заплетаются шелковичной паутиной.

На кромке сна разум проигрывает случайный образ из прекрасно прописанной теледрамы, которую она только что смотрела: пацан-пушер в бандане сидит на углу, на крыльце среди опустошенных стоянок и устеленных шприцами подворотен Западного Балтимора. От смутно вспомнившейся картинке она вдруг просыпается из-за

глубокого укола ужаса и утраты, которые сперва не может осмыслить. Что-то насчет Боро, что-то насчет всех районов, по сути своей одинаковых и разбросанных по всему миру. Обо всех мужчинах и женщинах, обо всех детях, населяющих этот универсальный ландшафт потресканного асфальта, бакалей за стальными решетками и бессмысленных проржавевших уличных знаков из другого века, – проживающих всю жизнь среди жалких тупиков, зная, что бетонный отбойник и рабица так и останутся стоять, когда их самих уже не будет, не будет.

Разбивается бутылка – где-то дальше по Кеттерингской дороге. Она выталкивает из головы преследующие мысли о гетто и смертности, чтобы все-таки поддаться осенившим ее шелковичным червям и те опутали ее милосердным коконом анестезии.

Завтра у Альмы большой день.

Ум за разум

Проснувшись, Лючия встаёт спевным светом. Она таяще головоломка, это сханжут все смертьостры и ворчи, но затор в эти дни никаких головомоек – всё бракодыря икарствам и неуклонченному труди пилюль-гимнов. Прозбуждается от грёз, как внесна, как Балббутливая [\[106\]](#) речька, как чурвчаще ключ ко светлому дну, плистаясь и перельчитаясь в книжном регискре, под пенисе удрянного сынца. Быть может, её и замокХоутали, но преадамевать перед стоит ещё долго. С пробелмами в главе, запруятанная в этом тмексте, она вся течёт и хлещет из щёлка, из мягкого ложа, изливает душу по древснице к дурдомашнему зрявтраху. Ах, что за торженственное выступление, детствовербное и достойное рекоплескания. И она хлопает ладошами – к ушим, шток заклушить кроварные жазлобы и душесмесительные упёки уродных. Сливно рекая под кровнатной балдахинеей баньяна, она сбегает из Голода Грёзрушения [\[107\]](#), своего Топчана Онемеяи присступает к лежедревному Леополомничеству [\[108\]](#) навстречку исовкуплению; навстречу Гратцу Не бесному; к покою скальных покоев, к снотворночи.

Заснув садовую яичницу в голову-болтунью, она, как обречно, порошит врошлое. Я вирши сына свет в Стрессте в семь лет двадцатого первого и в семь месяцев восьмого, рождённая в краде и смрике больнитися для бед ноты, она была лишьвина грусди матеатри. Как ни хотелось – та была Нора схват. Высосана досука джорджоджойсом [\[109\]](#), что всю свонью земейную жизнь сменял подну дмаму за грудой воымя похоти. Уд Евочки отняли даж Едементство, от Лучили от ябмолока: мать беспокоаинлась лишай нём, затемн бес покоится он ём заставеля и секстру. Дад, непопранимое слючиелось, кодам ему было честь стыр отца, а ей – одиссять. Незная больба подбилыми и залупрозрачными простименями в верь

и сниться телсных, корострофобных как морок – в темноте дальне вопидте, – пока-пока папа гктито там пищет, а мрать – индифиревенская, незязыческая комси му, – ставит ночно вечные горешки на салонном столике, г’dies ire’e кольца-нимбы отсвятались на лиаке. Драгон Георгия виздымался искустой улыбковой роци, в-дева-лся и оргненно требовал вин мания Лючии, а муть тёлко ухмырялась, тонько поощеряла, и браг пуродожал приколчление, смертился к маленькой смерстре.

Не тоштопана снапраснивялась евульавансам, сперма болезненным, – ведь в бтевременна, дарвно, она, без блума от улечения, невщёт ветрила, что он любит; давко, вихраю, кандал она была тигривой в рассети юсности. Дтепрессидя в скорбнате подыха, она пережёвываает и обсасываает тост, подням его за былую кору, и спаршиваает судбя, правДедали он еёбрат. Ведь бы ложе гдеткам тщёто исказано азлыми буками по бредному в письзле оцта изверландии? Он гобурлил с Врисентом Сказгрейвом [\[110\]](#), и тот линчно присрамлся, что выскребал стракушку Барднакал, в тьмища древнясор четмёртвом – в угоду, когда запечали Джорджи-борджи-пудинг-пирожок. «Нод Иуджели это не мой sin», – вскитчал Буянный струхом отзевс в тёмных очмуках, ночно мрама хол одно молчадо. Отсосво осталосът умамным. Разверето не обесняет весь сыр-дом и гоморн между мНормой и Горго? Порчему они вдавьём постелянно балистоль безразденьны, даже незкорово блузки, от когрендели домогилы? Лючия смутанно вспоминыет, как, когда юнгый мастерпировал ш мат-тушкой в зёбкие дни, анагрела его елду во рту – или ей то ль какашица? Кромечно, стагдам порнятно, почлену они выдворём нечали принцесст пооправке Лючии в зразные санистории: ведь Лючинка розлат семьеи папашни и его пискра сквозрила влюбих е йот сливах и проступках, в тромб, как она всегда грубила сплача, – а Жрожи не выблядел сцыной своего отцанца. Сторожка норно грешила, что дрянастию пролжит её вернорождённый, прусть он и пылчу Джим. Что до её малюты, истернной дрочери палпы – тах закroitь её в чумновечном ломе: то

во Франциштейне, а тост есь – в гробнице Слепого Хандрея. Кафкая де сада.

Нюнечка Лючии, готическая Патрится садиция Редон, плокха тапёрт сутра чая, и страшивает пинцидентку, что-дефс точка запятитого пискателя друидет подэльфывать сегоблин.

– Нуль, я падам-падамывала произголяться, ведь снадружи том-мый денёк – зелеополе, слоняце на Лиффце. Я непорочь бобыльть самной с сбылой, аутисбя нальдутся и доругие гдела. Итише и невольнуйся обо млей, Плетти. Путь маня цведёт витер натуры.

Успокорив свою кроманьонку, Лючия промокает гублин блумажной симфеткой и удуалается, идёт впристыжку и препираючи по грязинфицированному корреадору к стеклятым деверям в кольце – свет брежит на свет.

Наглице она окликнула взгилиадам всё – от лажурной Имирски несвобода до зело оных кулисс двулёкого ар-горнивзора, ид клумбы-юмбы подружкой с прелестками искрасочными бвизгами. Прюзгай отнядь не идеалия, Ейль-в-сей лежебице и этикх раях по дюже бойше, щем в прахшлых помештах предыхвания. Ей нравотца красынные взрачи с лучтивыми сманерами, а ейшок – моколо чертыполёх чвансов для – онан чисто хохочет поголазеть отворот, как шавольвливые шкодьники begood дмамой из классиков Грымзатической шкомы, что призмыкает к пвсехисразическому заваждению. Сумазшливые канкантинке, они гульбой красятся побилингской дотроге зажилелзлыми прочьями, ссорывая дрязг с дрязга мятные клепки и хвастая дразнь дразня заяйца в гиком весеньем, небо дозревая, что она наблядает займини улизза глиствы с тосклизкой одрянокой плохотью.

Нок-штаг ей-богльше всего травится в ныне-с-ней обидели – стакэтто как она менуэятся стременами годна, всегда ст-разная изогня втень. «ГДит» и «Кагдат» нИтаки непоколюбимые, как в зрамках ненарокоторых заблудений, имлевших врачеств при немать её в плошные гроды. Тутжит она близ птруда бредит междун пошлым и бедущим; мерду «дейсь» и «травм»; мерещду темниэтим светом. В

тихологической глючепницет Свет того Ардеет, помнинее Случаи, возторжно лихко сойтис зимной плоткости на террортори скваски и дыревнего лифа, грелюбой шёл-поток – мглавенная и венчая мистина. Што пкам, иногда ан'самбна не змает, в кальком дур-форме наркодлится – илей, невротив, не сливляюцель все «шёлтынедомам» онимятежы смещтом: отним погромным, транс-нацистанальным сучвреждением брезганиц, с кармией злаболтливых доктринов, изулечивающих её думшу.

Оркест – яд-козелёные гарзоны сто волями, бесвязами и на-строениями с полоскими крышанам'и на её пленэрной оробите, поклона сторит неподвинно в дзентре – sole'вно она самце, срамый глисторгник лжизни. Нет, омаска зала – звонце, чисториик жрицни! Вскружинистым шамагом она призтупает к плотешенствию, к приглючесниям на иву, к эскепиции, о правь я есь червез росистскую твару к опухши дрощи, ождикающей водалении. Лючия вольтирует вдальс – блудагошная, как сам Свистун Ни Кола; блажий одурманчик в шристинном кардиагаме на правгулке полежайкам истингруссии.

Ночь червони злает набедатель – а нагло дайте ест вс-еда, покраль немерен по опытку Лючии, – что она нигракой ню одевачник. Надене у неё нот возря-ста, она – все лючности сразно, от канители до вагилы, ода вдруг ой, как мудрешки. В са-мной грубине запретана паточка её депочки – скокдар она былад малюченькой, котда Баббу без зазеркания сновести лиддел в ней свою мАлиску. Внутроб влаженных фейгурок – и её подлостковые млечности: дрим-а былерины и секскрушённые мнимфоманки; веселось ибайки об утехах под люной с вымужленным ляля-teen-аморикраским любымником под псардонимом Семпо – sempro videlis, «вснега ветрен», – хотя на теле все сексуреальные обыты были сестаршим обратом. И кристальные длинчности троже на годятся в нейсть – зевзад сцилы, погорившая Паришь, запфойная лесбияка, скангда кумилингус щипался плязныком ум-ах, или разочекскованная стансов тщится, просившая моргообещающую дрекорьеру в престидижной шкале Энезабыт Дунканкан: прусто

таможный егёрр мастариец – пасть иго ворил по-кампфанейски и по-свайстки – отречался Максимально Мерзкими разсовыми и фашинебельными бредубейжидениями. Йе йони винное порошлое, её кладнищенское будущее и её «зджойс-и-случас», вселяё Моллинты – вместих, всереё суверемена – на стоящие и бдлительные. Эона – сабинение сочаний, умного-томная «Лючия» слов сей слов вей жестью в тереблёте, с ипзацами и порагрехфами, с особоль-личным заключением; озорхватанные странницы с тисканными обложными – мозайто всё ещё сценым костяшком, хотеё частон бросально гени пропадя.

Ох-на ид-дёт по цвесущему призтору, и поденё болчинными тапачкали степлится дышача тишинок. Заводно правдно отмечает, что зримля воткнуг разденылена на очи-нь празноместную морзеику, слов ноль шарахматерное плое или рассыпальные краты, где галактеристинки свита и, бо литого, сам сор травсти кожаца совревмше на неположими, будно весы мер – гродиозный комлапшж, сосляпованный тык-лык не в строфу, и все шивы – на беду. Тонкова уштутка присзная причуроде эстих мет, поласкает Лючия и брехтолжает савой перинятный эмоцион простив чистовой трельки по обшарным участвк задания.

В рассельных бложиданиях она приблыла кулессному читаколу, и передней в Оз высь иль лисьего таинстволы. Слов наРыть царь Пил чай навар Оба раза пили коройль-не-будь бредный Кретьенин, она уПерсивствовала и достигалахад к рая зачелованного лессинг. Адамаясь Ево знову, она паришла на грабницу близотчасного и уютрого преворадного Эльфдема юнести – и толоко удивителесная темночь эростет дальжить. Уна – заблуд-шая в похотьждениях Завтраласка, негрешительная Шансная Кралечка у дремучащи, панельмающая, что её подсутенегают волкиты. В совых глёзах она – паДжой англ, умильтоновский Лючифлер, визгНоранный во тьфу внешгнию тудад, гогде палач искрежит злубовный. Гиена богненная, Мунки рвечные! И треперь она добрестно пориступает грубикон сворего хорактёра и стрезвится в озоросли; как лоЛидделы у

Людиса Сквэррнова, кошкорые позоровали для дрызгных педографий в зудних голько пошлосатых трюко, чутках и «члентах Улисы». Онан бюст ты же пряникает на взопретную трепеторию – наголовозрелася бодель парад подрочным виктимрианским форнографом, пискочающим депрестайное жезлание из-звразыркала объятыва под нагидкой оптеческого оборудования натру ножнике. Бестие терни она прыскальзывает в загниворщицкую земень и писчезнает от взорасвертных, ипсалняя минут селдь зсмеящихся внедорослей – Офейлия, норяющая в мрутные извелёные кручины.

У историпанной бахрамы прощи о наступает последи коломбающихся марлекинок и лючиков, выделларт пьеруэты, паяшет на роскошечном аркабдском коваре изс основ игёлок, распростанных шлишек, погожих награнавты, – и повесюрду плесгристая плева одевичников. Свихру нарнеё винтажными катренами пандают колючи слета, блумяня щёлки и исщипряя плевые блесчи, покай она ганцует вьярком лиффне блаженственности.

Вей излесно, что сам мнимр пол иногамми, планшафт, гедсона демифилирует, сдемон НСЕ [\[111\]](#) инновче как истлела свящего Оффца, лежь одна мерсия провления его костанков, покрасамон грозит пот земьей. Она всМельпоминает модостную ралодость, до терпсихушки, когт абы л'аМур-зной, Талийцевала в чирие минотюврных квартист, отгруба их вечночь вагоняли, перед папойрть, кЭраторый седел зкастолом и эвтерпеливо плисал Полигимндарный шэдевр, ночитаемую Клиогу, поКалли она висельно сказкала Ура ниво лгазах; прокуда вала думашнее преставление. Огни обжались суахими тайнцами со львами, на осозном языгре, нокоём говорлилий тишь онеф дивоём, а Норексия и Чёрдж нинче воочинь кине замельчали, с голой увенчённые соебстственными скеретными идилплотскими осношениями, одрожимые запрединой срамстью, штабель овращать вмиране, о челе плещут Ллюзия и её тронутый сбрендиной папир. Она была

мечджойс Джотца. Они исполняли драмадруга. Из всенсимильи стойко она чистала его криги. Он финнсал Тяляесней и Анейр. Она балаево Навсёкаюсь, чьяд пьюные очары приковаслиск Усилла к её гормоничному острасву. Анабола Анаглиффия Плиробей, анаше Извольта, Маллиш Блуд, атажео игрязвная Флирти, сми сМак Давилл, грим-за кутилой начресл смяс уд и нравсслепования о неприятстрайности. Ноit бремя до было! Семейсте те снились в эмбалюсеньких квартириях, жали друГудрунга наголо ве, а нвостех лгасетах сплетьничали о возложенной предарестии попы, лево отцайном велеречении к Лолинькой демончке. Кромешно, не жду Лючирью и Паппой ницче воне было... всейф покровосгрешение – чиуство люборамурного сджойства.. ломать с топоры поносилась клей с подрезанием.

Несбратвьедливо! В концерт котцов па пачка не балетже тчем заиграл на сней. Он её не страхал – это дедал страший драт. Баб-бу единскренный людил её, законит лючила его, низмо трясь налко гулиззм и пелнные воли глужы, пропадобные зиумним созерцам, илиадто, как на мнево явьялял неокученный пруд. Она прочшла сним всон в тень кремена, когда она зволотца «L'Esclamadore» [\[112\]](#) шдудки радисть – поэтому же его другого добра маастро Паунда она звонла «сеньор Стерлина» [\[113\]](#). Как пыло весеньло и престрастно!

И темнее менее слёзким сценцем она пляскает порхолму, вспышному от светения, у губ лейсь вращуль тщербницы, на ничайную зримлю. Она шехерешила: н'ежели она будет пре'damn'a, то пламенти – ио истокрия не сгниет в бейзверстрасти, она нистагмет лишай снтоской в отстойвцкой болотглиффии. Отчна тщита лозбы щелят Каприцей плескоречного пространства, фюсслиб не слились дурвы истны, и непот тернит нагложь брута Жиржо Лжойса (как и плен мясникости вина) [\[114\]](#), кастрорый теребисывает исторгнию, вытрезвая тётю отЛучию. Она небодет спазмкойкно н'ублюдать, как шед'Éire её опуска презвратно пренеи начат и купируют, его Каменот разгнаряк и бальдризируют охёдливые доз кандала креатики псих оцензками, копиями и омелниями; кознят

люторатующие памалчи и прахооболгатели, недомстройные сундинть пасителя его экскалибра и усБехан, азывоющие его пнорагрифическим в личиной кариеспотенции и пошланиях, же аналонано вистником в ху-дрожественных воплясаниях. СомнуЛючию не сберривуд для потопков, а заптрут, вычердакнут из славоуглазателя, Брунтеально заРочестерируют в писке-attrice'скую заключебницу и пустьяд дремовать по Шарлокому саврасову молю. П'lament'ь пеа ней поблеккет – она остаретя жентвой недруга, плохораненной подла сердием поэтца иней стнужей дря утВертервшегося норатива.

У осдобания скона поняла внивь плаская и просценраетя далиффо. Лючии мснитя, энта овласть задерев вяме примытарит к голь-гофту, пасхольку отравя под её мэлорхкими топками подризана коронко, как стриж козлодата. Она проджойсает плуть, поконь иноходит лушчину вдАлигье от зАантей – впАдину с шарооким непотребвложенным прундом, почтит совершинно друглым, види вени чального корольца финликана. Вагнубине нибело робок, ностре пешут хлюпестки и лиффствя идеаликатных Лансенток, бутафлот кошечных гулеонов, – изрящные подражения в брилевантовом церкале влады. Анаэробко спознаетя папаЛогосму ух лону к сберегу.

Туд Лючудя разлущает как брухто ностовящий блик сволнего брита Джагало, спорстравленный изведок и листин, в неге тивных проз тиранствах мерещду просетуями сорнца. Отчести она слэзнаёт, что этро опричневская иллюзвие в стале Алхемболово, взырванная слугчайной исгрой днивных Фрейдри в виртзуальном словплодении, и вСешат виная её участь вридит, что он попрайвде СеДитя в кармыше вСёра в поре фрутов отъее. Кварк всегдар, бог лощёный собор, нулодой повыса поэзирует, тощно на скорбтине – сальмодур вДали. Ласклонив главмур, он вглядываеся вобтражающие глюбины. Нарциссив потешествия привёл его китому proud'у, где нырне осел на корчички, Мимиризированный солнственным обваразом. Не спорская голаз сбойшого и толчёного лицарь,

разблядывающе воево в отъед сводной прорерхности, он не моложет отривнуться – стойль яркмаркий и тщеслабый. Лючия спокорно зумирает на мести – в страхе, что отлюбово дваждения миграж рисколется на фригменты. Она сдышит, канк навет крах безбардно уВивальются за салочками и пьют опернатые поэтахи, и плачти зарит веснь лих язвык, слово исступалась в наркрови драмкона, виона бес труба распознаёт ариечь всех птишьц до Вердиной.

Будный Чордж, окрасменевший отцвои вор блика. Скалко ойнк по сучаею ни вчлезал походяливо в кроЛючию Нору, трах и не намучился ви детьмир Зазеркалами, как Льюисчия. Скрасать поправьде, о навечно балья лючей вальвсём и кадшой мелодчи, а он – баздардным. Они отлючались, как Джорно иночь. Боево влиддлу низушнто не perdue'маешь, что Тёрживо – Осирёзно сон сноево лаотцы, тИггдра как с Гор-чермью всё дочевидно: дочь-в-ночь Веймс. Тошт о былом змей жду нимби, имх Рамзан, местанет телжалым грузтьом навьеё срамести, подыбно свинтсовому сукофагу, есилы она имун иродная Изидстра. Нод окто Ра брыс козлали, что она пребыбастет пвольном отжрица нишил страДедалет отц творческой демонции.

Дуже послизиво, что он изней стелал, анастазрается жилеть это ненастнытное и озлобоченное слиздание. Книгда-ты аналюбилла эво в честом очернованном свете, опростачивавшемся прод прострочкенные простиранные прострыницы. Он бил ийон приключением, херомантикой, фаллтастикой. Ясли нечистьоту, ониоба здецва вертеплись в ат'monfrere отКритого общества, учительвая сексциальный круп пих плодителей – всязких Ступо, Губенхай [\[115\]](#) и промисчих. Лючия былань нервослучена смбрадом ссрамого ночала. МИ нет ночего страхново встонм, что, когдоброт d'oro с до вальфасамтых иИдц и п'азыва дорочить в блятки, он пожелдал включить лийеё в своитус шалостяк. Их фарзические отношения поховатили всиюные гады Люцифи, впластаясь во Моллигие эрогие девлечьи изабелвы. Анаполлонмит, как в

фляртнадсыть лент Клеела застал ом кротинки в сойк альбиом о Напой елёне, короторый всизда держав дрюку за пазухуй. Тогда ненасынный Джирголо заспаной восторль зевал сисим инцесдентом и взаддрал еёбки, стяснул фантыз лоны, фацзил сводо стоянство итылее брутуально двизгался, пика цезстра не застемнала, айее лифцо займислов клоких-то вдуймах отрос пах нуты х струзниц альфома, паган ещёлка содрогрохоталась и гаврела, низвергая фердинтаны бледяной сказки. Он изврёк в прозредний молент, пасли чевёс коньчил на стойл, где вечетвером их семя срядет завис крестным мужчином. Его супрема, тайкая прулисстная, прирос мутрениии око зналаст ово же-темка, что и её клийстир.

О нас морти на апокоптическую эллизию биората, присневшиво укронмки, – сложную ирспятен святаи тлений. Когда анна белла май лень коя, целавомудренная певочка, то привставляла, что ихскрасть вой диоти в лигрены. Потцомство назвучит её Джазавелью в сексофонной парии с Арджеджио, и проча честьвпуха. Элииза люффи анагогова и будуает Абелярть его влечно – онйРомеонтологически Жюльёт вейо ювелильном средвсе. Они Триствились, слов не баб очки, – пахаон июне продалиск не Изольгал. Они были изрядного телеста – бурдто их вылил зала из скАудумлинавского блядника спермобытная корёва-мать. Норторально, всуюто додого, кокона косознала на койком оплете, что овн наплютёт ей в души и ещчу ства нет бразвразличным, несопаривающим. Тоград Лючия исчёт везряла, что этот триестклятый, дублин, простони цюхира, ни figlio не фениймает! Notte она дома лораньже, досвидоей опалаты в госпостыли.

Аперетивжая собедия – в посредствии конапе стоякно была про стормилой запотаскуской, к'антрерую идилили нквизиторы её сертца. Кода Джемджио остолот неё, коита престубил к эдIBLEЙским сыношениям сжечщинами повестарше, он вялеё в своё мдерзкое, про мисс куни-тет-а-тет но и фроизвольное околение Берущих дворцатых. МАни прульстили её по круг кругу.. Эйне зобидь тот не вы родимый случкай сбилым псор, блуделем, кокдал уна уж лав

запойму... опытом, когдна болна тошла дорушки, виерохомный Яджо влобьеёвил, что ж юница наЕлдине Гастро [116] – дамур на аддинкцить гнет страше его – и броше небу детст Лючией. Не будессей! УсТроил такое вредательство граби Эллины! Сворно Лючия ка-корято полидевка! Итак затаилад осаду – похотя всисналив, что Милену привлеконит шемтец, финне шон.

Кровсем порочим провалемам Лючия телжило поражевала невенерность. Тогдата она и ноч али закат ива тиске крики, а Жаджо бурвый вездник сидеей злоключения влачебницу тля умалышенных, штон тить же поди ржала брюзжалостная марать. Теперья Лючия не сорнякается, шокШоудж проторил сейтьрюк пожёнм – когда бЕлены торжес лучилсыв невервный всрыв. Похоронже, утоиво провенереный мифод длярвы ходат из неудовлбных отрешений, и Лючия спрошивалет слепя: Аштор, еспи это самопсихбе симбтромб удушевного росстрогства у убьюдка – пуст-алогическое срамолубование?

Неводвижуално стоя упрудга, она озера и царь, смортрет наиво вилюзоркное водобиен испислежащей рдайствительности – смонстрет на тульпан серети хлоры, – и пениемает, что лохнессчастный плакойный Дрожджо былин с тинным плюнь не ком оцсоскаго наосле идея, че монад.. и, посея вedomости, даже норадным отбыкском Бабун. Влож ножны, он столп лом-дом ромама с Вунизинтом Кносс гродеом. Отьмец Юнчии, миностройдедальный роконосец, интелецовался у игНоры: «Он Джи мой сыно тарведь? Элин Ариодной?» – анатамк и не отретировла. Стыгда. семениваясь в корридсхождении перверца, отреч умбросил критоло'bovet Таурджо в манстеринских лабияризмах, искатьорых тоталк нитькогда и не быкереТесейся, – Баалосатое тщудовещей, ревнмуущее в Баформетной тьле вnythreesome'ого сипя. Тавременем всё вмиг мания правпы перехфродитл младный роднёнок – букварьно фразу запяла точь. Она незабела, коклон катар её на колемнос. Вместив они сбрезали оддых необыкровинной сморьи на крмыслях из пещей белаги,

скроплённой абсюрдочом. Онтоложен был понитьма, что фазто обручённая плох пытка; Люкар ужар подлотело мыслишком бслизкок сынтцу.

Вейка жнеца, что миг расцвета, травкна поминкающая её миртворо брудда, чтонвтон молфинн семасио-бе, пиокаста этна к оленях и Овидит лижь нарцобстленное лицо, утра жённое в мерцале вод ундеёног; залючированная и оклэрдованная. Слонимф голуувуль вперит, онаяд пречрощается в сух.

– О, длярв зняяющего глазлата яр чудищсен, ноблесс умные мигервы порчицают менад за миданстра – таркани зласмужили, шданаидх устав наложни лизал мокр изнаспрет! – скмышит Лючия иво вздорва, на Касторые искерннун грозразжает: «Бвред».

– Отчево меняй надно обязательно нтелестно сравнинв атрофителем? Могилу я сумерчтать первзайдиссей джейссмертный параргон? Как эхтонь ехтоне помёт! – власткритцает Чмордж, челу Лючия мялко отпечалит: «Мёрдв».

– Разве я не принцкрасней всехн аскете? Иск акменя меценят продажстоинству, атумают торько «гозни ивой пренийжай»? – жажулица её ставший бред, настоЛющчия отвздыхается лединым сломом: «Жаль».

Яво режучарованный голыйс звурчит вфётише, и моне шагалет ки нему, шлюшаясь парижной дочки зарения, и обратз сТиресается, расСёраетсяна пуантырский карп светок и тини. Лючия отфорзачивается от книго, как он в свольё вредмя проступил с ней, и укордит и злощины. Всё ещё розньдумывая над инотар'вительным уроком браттаж – призраконного дютя Церирцы, запретанного огриха подлайше в либеринт и прЭнкидунного злобвению бес спасифания, – полна снов трепевалючи выступает на подмостченные софитнечным даваждём ревнины.

В отдурении оназад мечтает друх стигрушек, топих жен пенициентов в ошибнице Сито мОрдreja, клаки она, на концдоровисельной прогоркле, – закЛючия тих узниёт. Истли анонимчего не путаблет, периней псимпиллогическое пазаретное

репятно наглийской кореалевской всеми – крузчины Эрисиблис Буза-Лвонь, больше известь ноль пабливке какоролева-мать-перемать.^[117] Хартя Уём Свиничерство тсребровало, чтобы гавтрах её коргий наризотли в идиольные дюрьмовые глубики, икат не бесные англы обличудається изводня втень в бельые и свержие бахламоны, отказывается, имённо эта пирочка малохоленых бредствень ниц служа исторчником джекрной риппертации авгубеменшей уродославной изад гинотической белензни. Вхором-то срамсле эта садуаця плохожа на то, как онстроблённый цайт Минус закрючил отавротительного и безогласного ребыка сквоей изуменщсись-упруги в лаборант с гладз домой. Осень жаль, те perdu-мається Лючия, что некроторвые псемьи, кривозлосимые вотщей Энгельии, дарк невежестоко открысятся кновы смушевным бастилезням и отрекают любитых назад очерние. О носмтромрит с соч уст в діет, как двер драхмлые путашки менделенно ищизнают в дарвиньях, прощис винду, ев ундиночестве парадолжзнает слой кроме над.

Подвал блюз бдением морговрачительных освальдных н-очей на тоскло-менталлической каре бегрѣз Лючия не вплевые задаотца вопризом, чтаисть виндзурмие. Пай её резонмнению, псуть она некода не хопфела традеть псил на осинусвоение матимагики и орифмистики, в кордине сумабсциствие у(х) одинт в гдеоместерию. Прекрассир Айнш-тайм счасает, что мымыр обминутаем во псиленной щит эрмит изменениями, из котчѣтрых владимы тройко три. Косможно, черновечносное соизнание, недоступное для наушлых изыск арий, пиесть фенумин шатерѣх извремений, померещѣнный в смертнес-треле и млире, гдея кожаца, что техтолк отрин?

Лючия размашляет впритиржку. В друг уникаторых износ клинчность напророчито пьеталицо прояриться ворфей чертырѣхимерной слове, чтолбы заклянуть за невлюдимый POV'орход местли унд зразум за краль гори злата, коТотый схордится под пермым англom со стальными тгремя. Усмешно зовл одевающие

интим дравом Люцди невозбраньян по читаустя барльда мильт полэтами, А пока лишь психи – те, конеловок в объездриении со смехслом, – кляйнятся упанишёднными и лепросто дур очами. Корнер-чно, естих тем, ковен однэврикменно зовука пороком и брезумпцем.

ПокоЛю счаз а ня таите ми филокупидскими мыселяви, она замещает плёткий сдвизг восвхищении и в темпе ратуите. Пийё опту эддо горит отлом, что унавожла в миную дременную зоону археоротипичной всихбоицы: в древгой грозд илиадаже цвек. Неоконтрерые деревья вокрон скырнулись совершкенно, а неохрамтные думбы замешились настройные суженцыц. Наветярнув кармиган наполеочи помп лотнее, одна бёдро усуглупляется вдав но окончатное лето.

Нео спела она стелать ишака, как самедила позчального майлого в сказтюме деватрадицатого венка, сидящего пездела плод раскиснувшимися ка штанов. Навив ем уможно Даддь плядь дерзят; дилвнные иригдеющие всегдые войлоксы зулиззанмыс порной луны его выдрающего ябл огородного чула. Понарошности, старомадной и анархроманичестной, орн кряжется выходоком израсхбочего кларкса – простёртые и гоношенные штопы, спамоги с от воли вой ущемись я подушами. Подлениго газо нелеп житиево опамятая ветровая шлюпа. Номинг Лючии мнётся, что она призратилась в Алючу в Стране Чурдевс эпопала нечай эпифие везунного шлутника.

Потомзва мечайт его клэрстально голубуе очень. Отлюдь незапамявшие, наврядкшие и оплевшие дуыры сил люстрации Темннювела, мразные и рваздрягжённые, сверливые и порокполоненные жилвчью. Недр: гслеа мачины посчтиг сеятель ной перлказны, бражут поэйзантией и атлантом. Чувству я сокциальное величение книгму, вопльрек из-з ияющей суициальной пропайсть змужними, она приБсен лишается лёвкой проступью, далбы преставлиться навлаждень юн, втечкеннамук нацветшем воздыхи.

– С трав-с-то уйти, – провозносятся она, алей словещий богозвончаем гала сок впошльебна пери лияется. – Манимя Ловчия Дщасть. Восне потри возжиг, ислая люстроуюсь ладом сваами?

Умщитна уд явлён-на враздевает голзамни Ньючю, трючно она выпростла испод знемли. Неодежданно наяво губых малахоличных чортах ширинца улшибка раджойстного уз навеяния.

– Мара? Мира Чос? Тылерэнто? Иглиже мучередноет полжшестовкое у томитемное вреденье, чресланное тарзанть маня? Востояг бльёт спонтаном! О, вервая и ежиствечная жона, придеи садь зпеснь, око ламия, шторы ябвъял тьебя вруках!

ЭгЕй оченьбидно, что Тот её схемто приапутал, зад-тетерявшись в своём сновлетении, наглаявное тутти, что она не сПакла мисс кем ужес несколь конитель, фригорально ферражалась. Солошная манастырбация – ветой невольнице бляд схимаглашённых небт ни идиного Плухишки-Робянтины, что вы эй приз у нюдь; пока вы ркой в срам; паре – пах, на уд сяд; штолб в зять её в оберонт, парижаться к Титамиё и шип тать наусько. К щекотам периливает скромвь – и кокэтто знойвьёт приянные кондлименты! – икона садптица подлинного – дрядом с этим Фиднным ниццем. О-ох, щемни мощчлена её грыз!

С грудыханием она задарёт у’чтливое вопрозы олево кличности, нон, поскольте лицсон нежнаконца в этот маммент прижарто киё абортнажённому блузту, отлет неясынь. Кликда он нарконец остраняе циат Гертди, смешду субами и гуском повязает женчуджными бу-сирами сл’юна. Его воссёялое лунцо побнимается над грандшатов ефёртитек. Унани со-психм полниимает то, что он гонорит, носмостряк наусик воск литания.

– Анкх, мамари! Пойл мниш слинг ты, кокьян вискищался эль ухжаживал затоплюю в Глитвейне, гтем тежила ск опцом Дшейхом? УДолгие глоды хloedного одафнисчества я палатл мыслабми о тюрмбе. Я сбежАллен из зеркления в Эппик-Фгорест’и рёше’ком преродолел свое грустепешствие лепили-глина долиной в восхимьтисяч Мильто милста, гдети жилал, и пресмтался о’травой

удароги, поболвно Ротшерльни Крабу из Чушэма, поЛироумному без лимеры как шляльник.^[118] Свиршая странсвития, эталоншь одро я идеалжал в своём умер, фмикс Жёнсь: бац созвонею Молю Клир! Хотя я изштанно вынимаю, что я невест клоакого праисоцжжденяг, немею зланятия лине зармный заветдный жених, ебы вдул-сталь, с уд-в-ольствествием вротдал суперуженский долго.

ЧУдна еворкуа лизжит на еэскортлене, мёд-ленно пЛанзелёт севверх, подьюбку. У Лючии пускорился пилюльс. Она чевствует, кокильё со'кей приЛиффаеют к жизнсточнику, возлмужжена его клэричным и по-не-этичным плева'рдением; темшно её мускхнатку распуишет мужлоб изничзов. НАсильнее всебог фризсон пихоти от ореол да вогини влизвали его речьи образчных шуте хах. В щёрную гадину последыща дивяцо тернтзатых, – послив ревного весныва свящами перевехав в Страваторий и остаив кольеру ГриммАдорно, – ей с нотчанием мечпалица армуже: прозце на жребии, жаребце на принципане, скриттор'ый спсалмёт лапочкину спящцессу истомной чаще обктоя'действ; ведьм с юнгости её упыреследовали и монстлевали бабаглоты и хватробея. Ж'И вот она певец дней – развзадный желих, впзамший веллюрзию, что ониужель обвечены! Покайво засКарузолье певьцы шэрудит в розистом подниске над сальмыми чирками, она забвеваает охб восторжноксти и раздыхает млокрые бальдра.

Он жаждно вливается в верхные глубы цеЛючии, его лингральный мулюскул актиниевно сухлэстывается сие, они бурюются в топщей слезебристой слючне. Пиэтом эннуэт колишество паяцев шапикотят её влышный гврот, повзлабляют сифре виольности, псоскальзамают фаллонгуса фарлонгой в мыслянистовую ткамну сутрицу: тьеда-объядно (дъеликонфетс!), тюдор-бурбантно (демокроцес!), дедал-ирландо (гделючотецс!). Олнц лепо нашаливает её тлючку «Дж», бекка она сэма не пианимает, что вотивот, склэро фразольётся. Алх, онаитио оещёет – себе вапорреки. Её очизонткрыты, ноо'нащупвстарит, что клитория окрестих твоих мнится всё быстрее – дони, мясятя и верьвменя годно листанцуются в колордырях.

Танццветы век рук-распусграются и закромаются, делириумвьязвелесеют и чяхвет посея лючебнице для душещибальных, покоиё дрючлует и ценит пальцами кроманьтичный веснакомедц.

Лючия нерестительно тьяница к разбуянхшей и выпивающей впейод шизинке, смыслкает ледонь на глоптовой к матчту битте. Скалле же гаврошло ремени стих пэн, кайк она гдекк-тиль беррала в соие руки пакой мальгучий финн, тоской пеннокиос? С постедльной, но Томной Гардистью она вспоминокает сваидавно поросшедшие утрах, произве-дённые в ночдной кровнати с педоростком Адарджио, когтя ебыло примен цесять лепт, ил жимчужую плену, стихам в шую автой ручке. МАлна шувструет, что её нынежный весельский курваллегр – искусонный профсеновал в сенксе. Лючия дорогадалась, штотал Мойра, сгим её берипутанл лжених, самайн былладе стилет вдень, кордамон повёл её клэрственному lei'esso дляя соытия, азиму фемаму – стримяца: калкий особ стен намустарнг шум убрату. Вней-вредменяя кикник Огдон, анамноз женство райз засмерчает, как вальскруг водан хоры-воды зона тори, препевая в рули Мэ'рев/Люции. Эна кабакто волновь маджестать либидого возпроста – ходь нелоливозреньюлой Лезабэлю; а о таро магта одиванчихов щехочется невиндленно изихсцен в Аркадзмии на явор уд ку'ст. Анатареспливо расстёт-кивает его ста ромов дны иштены, чтобы охотить палкую инаккую плодь, твавшую и встёрдую, слоими холкими и мяглодными пвальсами.

Повнимая, что зарискла награние иодеяльной кэпикуляции, она рискшалет, что негаже бледи тоскине у'знать немя членовена, инкогда он котовится змасонуть вынеё свойст мастерикс. Открылаясь отгулб нужчины, с трогжающим от женания голословм, сдержавая клик, захая и маздыхаясь, огна путается семиолиравать члено-отдельную фрезу.

– Сюр, в' пставили мяуня в налоптко положи'ние! Похотя мние подушке возле жить с вами и я неглиже на авос сперм-зрением, ноя выужена ноттаивать Полефтем, как дерза, – бильть молодеж, раздвануть дножки, штрофы вы строчно на-звой-листь.

Он аккуратор задрает её любку наживоет, жемая влаидеть бльстящую кисс-ку. Забпиваясь не-жду покриптих испатиной калиней, он голядит нынеё портустраними оч'ати, в карторых стасhere'ются родость и тоскан.

– Я песмь, ноктьюо исть – не значю. Бать ложет, Утерц ЭльФрейлинчества, вели с колен пну импичрастлицы, копролевы Фиктории, а бедь мужет, блурд Буйзвон, артор «Джуанни Доу», – вития так вжих ромалэ побути из Эссеикса. Главоря отколенно, в этой сумаздухе я матерял себя и, кушасу сфлорему, образумжил, шсто я весмь все'тчило-векчен сразу. Нуже, донжуайшая желан, степенрь позвоин розкресть руд Камилоно и пограальзиться в негу, дамы прекраснуться к влаженственному и успермшн озар кончить мой парсимвалический будь.

Она в сих да патока на свядкоязычнике, голособенно исуст неассёсонасного вахладца из хрестьянского трода. Пускаина промискудит парокстически ист артистобратии, амв он кокетто бредяга, задорвник, ей хочешется чаттерльно и скЛореньско побоварить сим на фанне хилесной обтушки оргазмонов течьебницы, вудали от сановой и матершин, – калиффи на счаст.

Чмок влажнее, Лючуя слов ноблысс знает, кот он, знак этельво эпифсание. Преклэрсно рясно, что онсанна даоша выршей, кирхстьямский пиэтет, вещчий друх, блажняющий п аполям лингвиштики, пловующий в высонких и снизфких штилях, меживающий богодарящ отбвросчеству и сорчинениям, билли тризн стихки. Уэсли так, эсте делирик, поэтрёпанный финнтом, что лоларадовал слугх, когда Людер вниклиф и певерили ниБумбумлию с Поп-лтыни навь язвыйский – аглык облезделённого престоломродья. Тайжи литьёравурная вейскра горе лав строкго Больясна, уково в поэлитичьских убежиданиях – Нацвеля Цвяты, которжный пейзаз притчин словьём дея родних лишень облычных труднствующиох нищенников Ди мещаников-филословов и утравждал, что ангело-сексонский езуск христособен спиридать самум Душу. Сей true бродур, скотдворым сеча сана трахнется, –

воплмщение пейзажи, висьма и рычи. жОн – семиа крикизсерция менструелей и бордов с бал-ла-дами, тот же фольгарный повэдический ихпульс – неуконченво труд ствеющий, – что чцвёл пеньегривма Бодрьяно пайе вопеюшему плотисщаствию, гторшже мираажгущение пмладшего огнела, что был ключом вер восславремеснике – слептлом и местеорическом Доне Мне-ль-томить, продсравшем свой «Потери мы в рань» замять тьфунтов. Иста рже мязтешняя энархия знакомем влеволасть вногвь – в ведающе эсяторичество Вольясна Блика из Ламбре'та, архинтелктора и олователя Инапусалгимна наслыху лицах нищущих и наимуных, возведсённого изыдних фолько сольв и добразов. И зривши сиз Байка в тениях Бредзлама, сей неугармонний зферьн иксолубимо пово'зёт к Веленьму Бестлеру Яйцу, чтлупы курдиця в нёсм. Посконнец элергия поля-виллысь в чуштейшей ферме в болевом клинче Шонта-Клера – лордого пестушка нео-кочевнного страда. Этайн карнация дыха, ита болгодранное ведение, улицетаверние ремонтической и раш'оральной традикции, учень скорнем ввендётт свой перис (что сальнее мечта) вийон слогалище – тондо карнзк Лючия, Авсмою-чдэйредь, клитэрссенция гимдомистического импульса, – дива, теньцсущая в Восне Совершенном, столь экстравижинская всвейте слова! О, их сольюз стонет клэрсумашцией спичти пышячи лескт голящей, но затхлкуполенной алхитературной свадьсти!

С'недарвпеннием Лючия стягнется межзуд норк, штабы наисправить Баньящий пенсох панглиарима кЙольё Дырше – чтобы всуть в свою Велигину Вчаяниях.

Ивдёрг – блудовольствие, подлобнком сошедшейсумя музайки: его мятиста, об стоятельна схуйть впечатывается ве ёк нижный попзадц, глубококомасленную лублику, под её публик. Он издатель экстркритический стом, стоик валжному органу скользнуть меш р'исккрытых обножек, морочно-белых коленокор, и ойкумнуться в её переопылненную шармнельницу. Клэш члентает по-Люции, словнаеёб книгтор – свульварь или отсекабредия, когдагнц левжит

её напрежионные скаски, вот не ври мне нно нах-ода энергероичный, норовный рифтм фикций. ЧуРаедси вунымли, Яро шалим, Всяя алкоя и прикрасаясь, Блудь пели гимна и Изнурительно бглотго драть – вСёра звом звезчит умней в душах, п’окаяво пениес влривается вульв-ждивительну площснову Джиойсиф. Ана пистщит, когдакт поент-и-мэтр ямбёт спондим хереем, наканцонец неволланельно фростолнет в постерали с Кавальери и уморескно мадрыгалит стопами в канкарде. Йе ваголый челн вледчёт её к куньмни нации святыхваясь с ней негами в экс-фразе, и она наконец, заочне мнагие г’одна, счайслова быть призвратно помятой мчужими.

В оттаянном двуезении – арлхитипческое ед’иньяние; ересьбро излато-ист стекстуальных цвитатв, стнаршающихся органов, – ибо они гермистинные Лвыборники, колодные бунтарои; Лючбовь, Право, суть-её. Сей грун’бый Сонц земгли Мог и Смелть Жрицеловать её Губки И яро фставнт в Зпезду свой СУд, и От чшлени его Лона – в оргне, пыламед Зела и Пахче’ть, Им-споро-трётся о льво аббаятельное телемо. Онто вАмпир-а-то Весельник, но, прусть и сТароват, всожж гордится К роули Гермеоя. Тко ли снится плодь яво, стон ли это сМечты; ну Шуто же, Коль-и-словфо-втуне в сём жонре-грлэз, то здесь Увмнеер низт – историт Бальше Смолкнийть, Пне так ли? Для Лючитьи он Ивляет Во плоди ливритеры идейской агс’буки – алефа’бета, днадхсаттва симбалла, аз креаторых сложжены ноши созлания иреальность. ПОковыё пискурс вдаргается его позбудительный вашклитордивльный зрак, она встрепминает, что вовсянком чфеевенке – дворсад’вые поры храмовсонм: славно богвы ДаЭна’Ка-имльфамильта, к’онтолгыми напейсана наша мортереальная отрАдоЯ плеснь, – потрафьней муре, есливер ить молекулдому маэстеру Фиренсию Глику, что код-дата посерчал Нищгамашнскую гримматяжскую скалу длибидных смельчиков пососи дуст в ус бреницей Саторо Анделя уБилингвкой дерюги.

Иё м’ногуслови снасельский, воспевждающе грубищй хлевовник хвастает оду её угодицу жилистой рукой, внешнежря смощенный

полезц в манус покос тьяпшку, – пропозэвает её грядвкус, трахторет с пахотью; возница учёного вхуда и неистомно ебьётся в переадный подъезд её стрессдного клиатсса. Забившись, Лючия знает, что смену тыла минуи ту корчит и, заклятывая в лицомое пунтцо портнёра, трэшает, что и он почвень скором сбрызнет зваимк семионом её азалийвные лиффады, её оболону. Всё ещё с лсексикой и порнавитом научме она предстонляет спремосходные потомки живдкой кончеграфии изъяво лингвама веё мандалу – сытни миллиблумов спирмволлов, пенис тая, жемужчиная, вульвкосмическая смеагма; сфонтанная иньекуляция. Одни пладут наху дофригдящую плачву или уплевут, адренугие Оск'росят чреВайлд или Даатже мнезги – ложбинную туочную Зеирмлю иАппинчву, Кетерую моГвурт сфэротически оправдотворить полэзнейей и медрестью умнивиршальные генийтические Хохмаркеры.

Экожется, что весьф иртот фонемен – просто вопрос спермантики, скок казалпы Альфа редКо ошибски [\[119\]](#). Лучини крив сталь на ясень, что её мирноотпчущение – это кружевогулительная смехсь шумер и сингармов, хитя – пападоксально – боже всего лингформентации содейжится имеммо в ш-уме. Куртинки вдетьской крыжке – истый щегал, и сопровостодаительный тактст неудобавляет нищего цельнного. Сдреском староны, ШриДеви Баббум для нейрё белл пужасным штумом ундрамой, гдебримели ното'вые рассказы космифса, и она проникает, что в нальфале и комегце суей босхомлечной всейтленной, Сесод потново пре'libro-девства, сегод Пинг-Пэнга весть Сново; весть Логресс. Арх, рарена'ша клоунгвимнастическая цирковеческая эст'раса, ниш блесконечный тайнец глазных и всегдасных не блажзумны? Такт дама отЛючия, издывая атомное «м-м», похаб его творцдое «L» вхОдин в её милгкое «О» [\[120\]](#), риалзливая поэддический мидотк. Божнет быть, Йэйто Бльёйткся Быньлинный и Ди-вный извык симеих англов-пророквзвейсников, вниклиф она.

Орна вскальзывается в его бРагнарковые и напоржжённые чёрты и вдург, мартурально, заетц, что айн исторглько её эБизудный Шпапик,

скролико Беглы Рысцай – алыт эгрого Лью из Корроля, лаоконец-строф достишего лидделавтурного словокуплетния со звоей мэринькой мнюзой; замявшего праВрильное pollen шлюхматной дсоски, чтобы взойть кунилярву. Ведот мамент она сезам-леммием зане чаек, что извио ушат сепыльца смятные клошки бумаги, толчно чих вреда вливает из чирейпа клокаято взревная сцила. Вы литая, они раствор иначиваются, как баобабочки, и умно ситце в цитанце к нёбу на винтерке. К ундинвлению Иллюстриции, кожидай схемканый лестьок, воспарняся отнимё, оскразываленцо ухорашен обыквой инфавида, пропистиной иссиняющей. Ещёгольше озадрачивает то, что она призналёт в высокончивших стерницах своль груд – множество темпереливых лит'Erin, Гобра-рые советровал рисовать прахпа, когдойщё они оффа веригли, что сойна сумнет влсжить чувствертную эВергилию сумраченной тсолнцевольной кАлгьери в роз-чирки и зарьви-тучки декортиной КеллсиграЛиффии. Она попрап жённо нервлюдает, как её кре-четырет дразницы унойзятсиз пращ, анархих маэсто памире призбержения к ауралгазму изучей се'ловелеса трут железут нотвые писменяй – чистинное огамическое писькмо. Талиэсли как бы престиждишись целобрайльного недржания, то лиф тайнем Оссия от немЭриной Гобрости, Дшифр Клер сконтуженно улюбуется и питается на дежле переэссе всё в штуку, хортъ его резчь и страдствует оттиск жёлвой адышки.

– Уменя авторуют... бурквы... морфа'vitae... у мненя изустшей... апатиом ещёр... ожигают... что я наверен'тмор ить По-эрзию, – мовитон, спазмоклитирчно промежая плачами, насрамживая еёщёлку и ещёлку.

Лючи рот лично занят, что отимеет ввидёт. Ей чувсто каэрца, штольн внедринеё взапрети языск и инфернация, пионине многут внебратца, кромешн как в искалеканной фарме, – условно она котсмешчеширская дщёрная дуыра, окорродрых нане сТолькве-мадлвы. Как бруто затшили сам'бу душую, сам люч Светии в томном цайте, а божертвенные вмыслительные прэксцессы, что ярхе любого

сольца, – их неоткащенный труп, – колдапсиховали в Нову имматерию, в тоские невсменяемые и промешные лемнискатуру и форморейчи, что дай же сведт сумысла миможет вырватца отстраньшно графитации. Дадаже сан-сент нейманжет преотцоледь этот гарузельт забытий.

Втомг новение ийохоход мы-с-ней спремрван словмистргной коитуствовательной клюминацией. Неистовщემий орулчей алфлюидных эжесткуляций из душных приходов темперь взыряется о шалом ихтеольным обиливнем – течно смязка азмодцветных шефов, кфакторые изрлекает пфакосник вне обосс-клоун бельницырк. Оней в рай зумительно крещит – тмужествующий выпль толькоштанного удоводворения, – ишеумно выпускает престранный и обибльёмный порток живкой гомертической радословной, заполняя клитератургоре издхание Лючи, её голенькоровый корольмайнах. А анорекспремилло сваи делнные и струйные нашки тронцарщицы – тругие, кванк теорые оструны сциенганской стрипки, – и колотит позе млея под галуэй заднищей сшевольими поруками в Фридне Фламелько, покайс гАрлнарвутся музвуки, подробные овулягарно моим провидицаонному джозонному секстету три на с тройке, пикассама о нана чиняет вестелкать и листья, как фонтень илирека. Затиряться в горизатлантов балёте – чудновь, подбронте тому, как наплисцка Дункьяна абсерца или Ниджинвски; лёожади-лай пап и дезайбплийе! Этонал химерческая сиядьбра, гдень поазия одневропменно стонцем сильфаются в апангее в вид иновой альянгаммы, гделирическое сдублинмилуется в эфирсовое, гид-её шЛюкс иегов Клясность схиндится в горн-смогла-с-ним, экзотическом схимше нио-жрицдкостей – евообразимой, феёрической, сменделой инкарнцепции. Зател еЙорика верходит озберег ов, и наска кель-то мамен тона стеряет гарнилцы и предтело, как её соградужнин по лишьебица. Как ион, она – всеитсра взуем: аноон, как йа анна, как анимы, и мыр в софмисте.^[121] Самка улисщность Лючи стенает пой

ё бредрам – и вот стат неё усцелило обнолишь иерогазмическое чревство.

А наявой униё. О наив аморфж, а он'ейрё плотъниз.

К ах да он бизды ханно валиумца намниё послом наженства онезабкоченных турудсов любвив, он темпго и долло грядит вотчи Лючии, вздевхает и праздносит коль-примиинх ты в гкарму онии. Оназарекает, что изиов логосвы ужимне строятся блоквы.

– Ох Мури! Мири, как йети бья лиффлю! Крик до меня созлали сюада, мнзс казнили, штормы в овсе нежелились, шормы больжене не увидимся и шоа, дольчевитна, терниутый. Мнзс казнили, шотьмы умерла!

Ипоэдает на неё бессил, блудодарный и восстанженный. Ленчия смекает века и кроватливается в сонственный хпосткометальный штупор, дрим-о-тор уппитаясь насаждением. Тоскона блесть миртвар? Так атеиё загорняя жерть? Это мясято – пальмница С'весного Ладнея, этот случасно мигбранный секон-день, как брутто взорбравший всепяр всюр дисторпию – отцеё пролстонароддомной камнибили Торвения дойог сКиньгтрупской моргнилы нАпоказлапсса? От Браhmшоа Взыва – развеэтного хГора про'странствия-вне'миня, рождёрного мудром из бваглерслуханного Кантового вагиума, – до Ратгар'ёка, до симетри всевооф Анубиственном холосдящем дряхании N'тропическог экзакута букетварьно срзу с-пирид тенм, как г'уснут зевсды и всёзнаниевес? АтаРакй илиАд, – по теродиции зодиаётся анафор прозой, – фэтал-измвеченая лечйбница, гдeвся НСЕленная от сношчала дырконца кристалезуется в каж-додом бздне, динь-диньстой; акаш даден – вечер искаж дантень – отцинаков, нефрит-клонно реитереитеруется в плоть домен чащих дьявтайней, хоофть мы очи вото незаменяем пластоянных потворений – везложно, наркозно отвлекарствомся? Пзлачит, эрто танцеденное повсемртие – дьявсуех, ниточько длинеё. Превозможно, для всеквенць мир-и-жизнь – один затынрявшийся и несыщешный длень, костарый склороз абрывается как моракзм встрашнему утру Слёздания, когда мыф прассыпаемса как

бесПомянутые поФиннгисты, Бессо-поутные малденьцы, чтобы
кночать тужит внервеминую и лючимую истартию зане вод.

Воммажно, – даймое томна, милея от блжества, – жисонь –
смени’дъни’зимт- или возсьми-дсябе-лета нятлента целуйловидни
пдлѐнки. Длючии представляньеце, что её х’раномираж та коже, как,
напрямер, у сТаисрого Афинльма Чачача Блина, декаджий удельный
киндр – это адирн мемент изношого смеркног острока: от трудовых
схводок пот криачальными титтмами дислекзливой молчины с
тетраморф инайль немы. Всех касс выплускают офсвет на
стонопротяжных постолях наши режистели – матержѐр и отцератор.
В семы начараем Милышом и закончитаем Малиньким Блудяжкой, а
все рлюдине – Двуликий Дактотыр. Токо-дли-и-ноче, если
нашибкино хронички бредлятся достарчесно доллгауз, мырси
накиноц очудимся в Но вы В романах, пропадѐм в соварщенно
незначиомые эпизио-ди. Но, не смотрян иза штор, и пир’вые, и
посредские эсценции фелема, и все статуичные кадрили и
мирцелие, суправаждающее низши неисповидеомые и
неохваконченные трути с-менш’ой плоходкой, – все норни в месте и
от нови мерны на ткатушке; всеобъишь в когихто миллиблумтрах
шуб-от-дуба вакууратно подвизанном «я»-уме [\[122\]](#). Настал-момедле
нечто не движица. Мы испытваем весь спаслидевательный
трагихимический сюжизн – с кожурдым бананльным пандемием,
всцемни жутками и шлак-и-роющими фрагрехтами с прейсингом
«Х», – стойко когда пророкторный лучш распрятия и сон-знания
осентит какжду чем-не-мбилую прорерхность, какжду секуниду,
гдеймос верщаем трустью или треперщим усыд, а отцкопрости
воспРЕМятия покардиовое дазайд-шоу надесливается элюзией
репризрывного сезания, пустиявнного шефствия через голе-рею
висх наознканченных трудней и вязх демортных моргновений
ответ’дѐнных нам драдцаты тешич эмпяти абратских сночей. И – с
тем жезертирным ю мором – когдаат кроткосмертажный эпохс
тончается, бабину сносей фильмсторией несторают и нюничтрожают,
но сахарняют для дальнуших пенесмутеров – чтоб etcet’лую

вечерность переждаться и наслаживаться в безвредном канителяре безмертного созвония за ждевичными видами в стеле грекламы «Перладин»; в кенозафе Души. А аншлагелы, воображает она, – это кризики, комменторые налицеприватность взризают наноши китчливые парфромансы и эскапизмды в костелках, поканон видут свеё Dance'нание Верноев и спарят над сердиктами – от «бездАнно» до «люччи небы фаэт».

Танзанчит, судь её быть-я – недлинственный фейльм, негдейственная кнега, недественный лень, кроткорый она излечно постоярет, – торчно хах отДедадьний Ди в Дублоне у её Баббу, книгТорый моно перечистывать Илион раз, порежь дичем поймаёшь вес мысил? Апслида, речает про себя Лючия, то онав Овсене прочить. Isle она оживмертва Иерслим Итакава сметь – скаск новаят жесмень в полн'день простолнца и в раменье, гденна раткинулась с раздивну до минор гамми в кевмарющих цивитах и сдобным мальжчиной на ней – то, кадится, этос зВуйничит ввеликодлетна. Колив ся венцость – это «зднесь и свечас», обнарушивается в даждем из изумрутельных и неисчопаловых монументов, Тора звенэто не замечательная и примощастельная сатурация? Ей гложется, в больтченашх приделах Златого Халдея мажно нитти словный сад все Гомира; самоцвемья изысканно отрежается в либэм odd-инаковом одне. Парсефмуль викондит, что она и правдтор царится весево случшего. Она вель может глять в золо-дом храмнупе мирфа или терратуры и лобжинаться с покрройной птенью замново генитального пастухреального патэта Ганглии – а послезавтрака не прошло и чарльста. Кокоин чудо – бать Лючией Анной Джойс. Она флирстинная богея трения, mon chamant! Взглючите сомни!

С поранзительной мясностью – этопорой нарходит и вздряхивает нас в слеподозвольной флёрме, – она вдёрг острознаёт, что, стоидей пряткрыть лаза, как блумколический и моллирический леоповник улисстучится как небу мало. Он-аут нудь ниневея-ста голарктик синемать псех песюн. Клячия – самаушедшая стыдруха, коптёрая

зообултала в вечевнице, зматернялась вне первичной чареде низ-сую-в-ситных фэктазий – по баньши тцаста сактуальной надурь, – и оргалась с особой нелюдях, как икарждый лдень.

Век и вздор-гимн ваюйти теперь-шут, какко пчёные мифтыльки, и о напрасы-паяцы, вскрахивает и озвирается. Всё кудахтуже, чможно белуже дать, эбоне только бесидно исперинся ейоменл инькуйб укомический воздухахель – как она и привидела, – но ивне закло скрался самедни внойль цвет. Каклих-о терцеть минут на сад стияло зволнечное utero на клэрверной опаляне – сежас голухая ночь с полнолумием, инотроп инках в иглотках и кустрах мрежь мерещвьев восник мар чарноты и севербра.

На падаец трах. Спримо она сполашивает собяк, что, если дязвительно инсулав влезу клещейбриться, птозм её застыгла ничь, и топей волчи отравили порисковые пирати. Прислючавшись, но не уловетх тнервожных голых-сов, вы клика чющих её нимфя, Клявчия егоза'ключает, что по прусту утра тела чё-т в рамени. Выли тела из слввношедшего дня в сумрашершую прочь инь эскапала бы, что очерада переМэкен отравсферы. Твоинственная и умброжающая, полыная трёмных сил-у-этих, она труслишком лживо вызливает впрямати цацкие деньги в концерн адцатых инычарле тризадых – чёрвой гудини, коккда всеньё свутлые лючты лишезли безоар стутка копра в'ошибкству.

Её падрэстетковые гуды сказались razzo'ботным и идилиотическим полнем, квосторгый книгогда не скорчитя. Лючия здоровой подпругой Плей Бойл [\[123\]](#) рисквились в элетнем шлягере Жаржар Эбклера [\[124\]](#) в удовилле напор барышнье Брецали, эпатом влилий в коммузу альтристов и тогцоров, организованную Майлордом Дунканом [\[125\]](#) – бартдом вэллинколестной Изольдоры. Рай'monde был увенчён Денной Грацией; налючил её диви гонца, как плаская фейгуру, словюнона соскокой-то артичной вразы, дионически одерживая всевод вумян изменадиями. Яйчо он капуту вообрежал себят ПУлитцом – наэро, платому инженерюлся на жечерне поэвмени Пленевола. Тога всё свителось дюшес лежком чудецьким –

как белопоннестоящему золимпчательно очаститься в чесацать лет вотум мафтелогическом экспроменте, трансевать нарацвете с певцями в её дилных вальсах, блудто каркая-то хипичная типпи из Цыган-Франтсиско тризнцать петьли т спасья.

Раз умеется, то гфабуло манго зарких и свержих кресалиц, канконад, – интелегендных дервишек, локонувшихся в радужстные мелир вдовцатого велкам, суvasбродных в своих девах и умеренности, что могут преобкрасить полнету воблагко сияво блистарательного полно, ещё доживдо популичения перва воксгласа, дерзже не полундмав, что у пошзлого мигра в свъязви сетим ногу брыть шови субратженщия. Неурезвонмая бурнодаря пчицтой silly молдности, она собралась спой тругбами в агнцевальсную триппу Les Six de Rythme et Couleur [126]. Ах, развэйф несъ Па Руж срладостью весеньдце не струмился на их Cinq Pièces Faciles [127], когда страйные нервэстетичные дивицы бали в мондри, – схарее свино, в нодеждах, что о ни откажутя блёхкими снасекс? АнтреБренён говоронил, что еёстерия – висшнее сродство виражения, тнетакли? Атолт Эйя зналименитый номер в костяме русталки, со днай нагой леск всивас, а вдорадй – целаканм вс илей чешире; с цианцем, ахабкитором китики гмобидили, что в будуа щсемуже Димс-Домс бардет изистин кхахотец Лючии? Досто-янтам – её низывали воплощением эдельгайста исмаулили, бутонбы вейзмир лижет укеё ног – бнагой и силней; вот-вортничком Андёт Пиредней. Нор – штуш, потдромбь всё пышно нафеери косяк. Ной ёжи зжень спгустился тьман и паразит ильное нихшто.

Сперта в тысчерт дьявлициот дементом быт обрилвил, что жемница на Этлен Иокастор, кастарая гордилась емуфт мадревни. Всюсю жездец он будит пытоцца залестъ авратно в тучёрную Нору, и скотовый выпалз, крипторой в тромб жегаду пост-овули дуагной – мрак адки, уже бесполдзной. Слёзчия – тондансево дартцати двублет – всётще старилась устобновить теплые артишения затерь уи потравму быласт с'омершенно у ней что жена. Стыль колюдзей, кова анахорела лубить, сраз у-мерло и покануло её, а

deusex'стирство мамшинного Пиночка Гриджио сталью поньзее всердо. Он жёстро поножил квенец эх-ох тночениям сглазу и Навсикда – нож точщѐ хгаже, нечал где-млать вид, бедто робман вовсемьи не имцел есто. Аккоргда Плюйчия горила, что ро'мандрился сдавних пар, как ей баловстево девствять, так даун в сестрёпанных чувстрах влевые промялвил этос злофрейдное и злозыческое словшебное сволош – «всем мешавдшая», – и вперие заговор-силы атон, что в голове-меньшей Чохйс всё переМишелось и оНострадает отголоцхинаций. Худя все фитили, что юнгая/тароя неместо Шорджо бастындо фартует сиво бессментным отрицом, с тушей бракт не женал, чтоб доны не исчасливое супержествок замаврал неудобный псевдивый пакт, что он разп-уд-совал с маткшей сиестой спалдожины тлет. Злючию же погрясла ужасама медея, что гон предпочует её фигуроли Ахфейлия комтуры ссоракоследней жирщины. Вэртер-том амант, воссознаёт Лючия, англиядываясь но зат, у неё заркусдилась удилжимость касындрым сглазом bizzate упряждѐнниксти – молименно эсте евмейняемая порча чертила её и отпгуртывала жизнихов. Она чусцивалла сивял несторко навсикаей, скально пОлифреном без харизмбды – оргонным цирклопом, каторгый дерзал гоморрекавалертелей и пловеласов в пьяну взлаей ужесдрочившейся ненаквистлой прощере, чтопигметь ходка-които сообщувствие.

В томше геду Мах ShMerz предубложил воплиффить елѐзавестную мощьту и обручать торцем в прельстижной школлаж Элизобюд Драккар в Дрангштурме, незванной в участь очерведного ройственника почившарф Айвсѐдаром. Но Микс Марсц осказился отварвартительным мудчинным – одна яволь ищѐ наци-ура ужас тела ейхс партивна: геттот униформенный нарциССт муссолировал мызли армитарийзме и титонской рагсне-госпрѐкд, хренил семие освинцкие преступежидения прутьив некотшерых югенных стиуденток в стопстенной гиммлерназии. Здойч его неблагеротравные жидеи, эта ги-белибальдра схвастикли Локию зажимое, ходя пройдѐт ещзенитмало лет, пришта чумо насовсемй

Утопой по-ностольгящему приймёт ЦиклонБическую чад-овещность
товор, что они векли. Омнопомнит, как в перверс газ авиднела
морвширующие ширинги, импонярла, почвему тлинии гордоболита
Бисбис Брыкли [\[128\]](#) сыздана наполенили всюр её сматным ужестом
от сокручащей ураты чмуровойческой инвидулейности, прояволь
вшей сяс вусих этих несексомых сапногах наплалцах. Она отрезила
Мразу, знаяд, штопала жидконец своей кураре из-за этанол мужьяка
цианликом и безпрощайто, что сошлавона с пикти к гордной
эверешине; зимная, что дурьше богатится подгарку.

Но всейчдас – в нервожиданно с тем не в шемлесту, разгинувшись
нам ху со всилищѐ раздвернутыми голголяжками, вместил щѐлхой
на миду, сердита лиственных шкоморохов и ёрычания в гдустотраве
вокрюк, – она периодживаает занозо всестрах и безобратность,
Готорные обаяли е’йота кта. Когда бракпал брат-молдолжѐн, она
р’ушла влачаянный и котастрастфизический озоргул подругим
мущирбнам из их клупга – приемнекмым, нмолчаще необрат.
Змолодой Самулисс Биконт – он разблил её бес тут но эсенце, а
мучины паскуже – они бежатзлости рисколотит её зеркалье;
браздавили по’анимание себя – поэзи-мэние даво, нож тонна
готцова, ана ж тонет. Она не тщетала вопиумщим тозту лёданема,
невороятила нюс йод эръекции кокона. Под наркоголем или
алкотиками она заминалась блядовью вутрѐм, вечетром – в плоть
доктово, что иона, и взялиѐ семьор уджим сѐдня надень
презентивно скрипились услошадь Дианоз «сгнифинос». Чем Люси
пылаили небы лав их гламазах? Она экспресслевитировала –
пропавла-лакан на бис, когав пронизошѐл тогдакий сучай, о
скотоложм сторшно дождеь у мать, нев’абортзимый эпицид mit der
veiss...

Стайло злу час ной акфазии ненакарком промиглькнуть врагвзуме,
как Лючия мумертайно пуствует, как стонет кривь в жухлах. К
неймчурез ждѐмную и дрессеребрѐнную лютой рущу исподвор-
нягдвигалица вовчарние и тевкраньѐ псамого непородаваемого и
гроз навесь кошкмира. Штопур грайет ещѐ блоше – замаргким

шликаньем вселяющих трепаут лапаук Болючия спышит рнасмерешнную похотку члентльмена – вирусятно, козляина пудог'вирища. Сколькотащимся севсем она поревётся встить – стыдгивая падал плотья, чтобы укреть недарно пропахабную бородзу, – когдрана провгал подлуной выхондрит зловецкий матодой чемнеджек в высоккульт цариндре и тлинном век тори адском Плюще до самых Лигижек. Убиво дног – холть она знобет, что это ненене можит быть прадрог, – семьянит та'икая... нон. Найн. Змеенит тасовая морокоря безлая соврачонка.

Тризнакомец барсает взгад на её честымчно крыстю негодую с жестонкой и над-женной улабиекой на пискровлённых и бес площадных кабах. Он трусмехается при биде вдово, как бешеснежно-жен'чуждый миняятчёрный падель выхрюнивает мержду её нычжих конечнотверстей, приволчённый приядным, дворногим воромватом, покаЛечия, испоганно всчрикнув, портается ЭдгарАламенно и Ашер'нуть По'са в сторожну, и поняться намоги. Незаконец, гаторого она не уз налёт, бисердечно фрикает пресвите её зпамешательства и некто-ерепится подлозрать неприапного щверька кноссгам. Крюгда он наконце заварваривает, угрождерётся весокий гполоз образинванного, но самоудовлетного и отчихвосто пнезрелого черновика, с деманным прищельплёткыванием, скоторое кинжаца женеестетвенным задевшейся бледняжке.

– СлАве, слАве Конфузилум, плутиться вернуСалемская!

Взвявсив бяк враки, Лютчая обнадрожила, что нерастающее чудство отскреблённого дарстаинства одевело страх. Арки СамСон, прижзавшийся костеле,^[129] оса нитеряет лицаи, подобру'вшизь, с лядренным троном унтеря суетца о лишности слаберсеркдника.

Онпростаётся стройтветить с раздевательским и саргазмическим смошонком, бугурто из детеньтивного грудиострипктакля, нойз-за наплевного фланцета это звурещит несклепо, стонко и смышно.

– Хай-хай-хай! Ни радна жемщена, узневшая меня, не трожи лондолго, – но затак язваю влас! Язваю тоу рыд, что кишкит в грязных потворстнях всех гордыбов и висейль. Ты тяджекий

путьрошла, но он кончавлицо з'деवेशь. Тымно-подминаешь мне членщелну, гоморую я повстращал напропалке в порке «Зрады» уретрки Кал. Вытриногя, глумпая, лущённая л-вокс'а, сыти илихорарктика. Мнэ пылог пле'рвать, колисей кончарт – наржом иличлином. Онанене зла ползлы, и её гявно нанусвать кразадвлицей. [130] Но естчѐ, когдоя смрачрю готибья, вспорнинаю и дургих отвреадных вещин в дру Гомгорроде, в Содоргом гуду. На лилитцах Вошьпепела кошача вонзи скот властьснова гогодта, еслибидь наточным, когдав явь всадъѐм кровжаном фартрубил миссникалс мэринивал пдочки-матки – ин почапмал даджек на мире-корд! Изстрайдил неманасил, потом улизбнулся как кэт эдоусвидания, спортивные морякели и Ласки! Порадуйльше навредить кошмирски и острагх, тамбл и друт, пайздесь и всюдлер! Урии-лже маня, ты, проститсканная барба, и трепвизщи перманѐм аменьи, ибоя Жив Пидросильник!

Наитим он волхватил испод голгополого импоньто очленидно тэротальный киножало дивитинд тюрьмов вделину, но из сталь негкродного мадерьмала, что вытемнутый киллнок провнестал, а-тпой кинец обмок, как увялый цсвинток. Не псилах сдержалиться, Лючия залиффається раджойсным смелхом, спасле чего картионный импотанционный снош онадавет ещѐ сальнее. Я смейся него, что его тестособности к любийству – фалосшь. Крамол того, Лючии коджектся, что эй изуверстна его икстинная личинось, – и этил, внесея кирх сволмнений, не тот злицедей сулиц разовых фланѐрей, сказким претопортяется. Она келлизоблизчапмен николско не страйдшную по'узу из гроршивых нэдоусжасов с голысом, лючащимся от смэриха.

– Срамневаюсь, что педобное парудие мажет порезвить лёди – тоталько мыслита не сдевана из безумаги. Ты разит неестех, кто скадрее дамст парню, нежили вспарнет даму? Студя потворнему беспароднному сдамоцистированию, ты – парнямприятный тиф поймаини Жмуром К. Стихлень – скоридент истихнный бармагоморратель или клистирный безмозглопародий, чем ист-

энский тухманный куратель, как пых ни утвращдали оватное бестолоконвые лоббители-дефективы и ценичные ливертели true'пов – «трёпперолевиги». Мужет быкть, ты изнанком с «Задарми» педле голюбовй раки Глам, но дрочно не зарешь Миликарт и Метр-скверны, где Брак-сор, где Хам-перестрит и Спедофилс нормовит персонуть Пенис-три. Бейбегись, чтобы дебя не под-лна-вилы на вридумках!

Лжентльмен оступает от Лючии, стервев усмершку и сальжирв тузклие гнубки в подчатый спинктер и йеху-дно пощерившись, псока бсихозный педелёк в сумятении суёт меженду его ледыжками.

– Карк! Ты смеёшь сумомсоваться в моей подленности, волняющая рабой паршандавка? Твоя удрача, что я не фюрережу тебе пораную галдку одуха до рейха лилит ненав-кино твои постраха тебреже наплевчи, как демал многораст стругими иставо богукротивного урода. Твой автор тительный подл освинял наш мужр с самого ромента, ког дама-шлелуха Дева воняла совреду озлоглазого зфея и предастла мойтчин. Кайль всё злохот женьщень ризом в зять и в тесте солжить, в шарм ядиный скантальть, то знастанет взем ля, пропдадут не беса и самнцу его не согнетъ, осмиять. Врёд мисс-чтабы в таских и мужчиртей удавит, их дьевлом зойвёт, стгорько мир усторять! [\[131\]](#)

Она фонтоль коха хочет гонче, и мужен борится, что вописается.

– Итвали ундинительно, что от морня бурно плесхнет, вендия псалм дых лехки Риффи. Что дровас, сор, вы талька плешь оmezрительный щёлкопар и одвенозный жемнонервнавестник, а не «Не-мне-врида парнебрюзжения», как париедворняетесь. Вы не плутше прошлых жирналицов и мистергаторов, кматёрые коганте виртумали и сочернили фандома Вральшёпота сос вуайими козломрадными и судийстскими письками в глозеты, фетюкми их «Дорогой на чайник» и «Поймите, если солжете». Николсму изврас не хвастает смегмости убнять митрезвую и презерщи туженщину, но заставы стрычите одной ругой и дырчите друкой с фонтанзиями обитом. Драты эджекулятор, а не Джеклл. Тын ебыл Жидким

Триппером. Томко межштан ему остросать. Как знать, множет, витоке и альтсаксал – если мэньяком был твонь даржок гомолубых курвей Альбред Фиктор Критин Бедврад, как унтерждают найткоторые сторваллны [\[132\]](#), хохотя тлично я вотум посомнеиваюсь. Онтказался смышком хлупким и тряпличным, чтобестиать Конченным Тафтуком, – учистывая его порчедующие сифилзиты в гей-болдей наКлёв лонд-стёрт итог, скротко времинет он промодил ступой в Коньбренче, гетты итони Апустулы [\[133\]](#) прахтиковали трах нразеваемую Вядшую псевдомию! Что удотвоих смишков – в них льнет ни тоники техно чдарования и смелы, что у творего землякея Дона Дроялдена, – хитяр призцарю, что ты вынизывал злат моноргии пуквальнее, щем-он.

Отклянув откол костей Лючии, развротник тенорет ещё шашк в начнуя прастительность, смуряя её с повесью женависти и униженствия во взгл-яде, а его бедные щёлки гордят выдворе яйче, черв её.

– Тыше немеешь правда так городить! Ты вонзимнила, что я лизоблиден, ноты не прецентавляешь, наштыря сопаснобен! Я цвелый дань тержзал в заножницах Вонессу Бэлль, куртизну Вагинии Вольф, с тдесадком вруках! А крове того, если тестоль дрезкая и блестрашная, тогда щенвок тик побляднела привиден моего прилизтного потомца? Е слиты уна стигмая неври-ка-самкая в своих гардости и догстоинстве, зрячем возвала was ist ночи фема-шершего доммаж, чтобы пыгать и путать тебя? Разрез ты не покоже наспех швальщин – и ты антинчо знаешь, что я губийрю привду: ва'шо-вид – секскрем-ментальные просто-титьки, таври, содорые изоголяют сады для муживотных, но полицают балгаремдное бракцкое пувство смажду дамя межчленами?

Насмешливая убылка спазмдавит с лидцар Лючии, как вуаля, но всё жеупе не гнуступает поред натитьском.

– Если тыл и творь инферанальный сферь все вонишь импонтентсторонние кривзраки и пл'ад моей завиркальной фанстадии, – зачат, я избрала вас, чтобы сневолизировать

обрыдшенное жопа-не-нполезтней-чем-скво, костоломе угнодало меняй всё-моё скучестоскание. Утачно тажен я вызнала сивил наголо ву эту почь, изобразнящую тьмуж, опростившуюся камня в преследние голды тащича догведьсоб девчатых и риппервые глоды трыцартых. Твои дрязкие и наддамеvнные рвечи о Вражинии Твойф тонько напалминают мио Буме-сбреди ярких истворических жертвценах того гориода, таких как Зело-Да Виц-дженераль: о Ледах, квесторые Зевслыли слышком калеко илеитх речки сочли за пустон лебеть, и потону они закон-чтили склитемрестельными рабашками или, того хужен, гиноцидом. Излить ебе интеллесно гамаюн лишное мление, «ПДошлый Шишк» – не броше члем дочевредная бук'каке бы замысоленная, чтобы наполонить ёжетсщинам, что эх масто – упил ты. Шут Репортажитель – выдымка, сотканная, стысячная из сплентюх, солухов и маскулатентного гнива к простависельницам моего пала, драмнее поклорным, кропторы Евта гремя начальик стравить под монастыпрос свою реаль сучки прислючге, сплохо приплёлхам. Ты скос дам изадного ясука, парватих злов и визкроверзканных фря з, впсих тех «НестерЛаськ, Счэрнь» и Джид-белабердум [\[134\]](#) из Мизенгиннестских рисказней. Высер – конструктор из крошевых ужосв в ножолтой прессне и из жуликих гробвюр в «Пенлис Глазееет»!

Невус пела Лючия догорить, кук её неотсостоякшийся п'лач пиздаёт просительный и издушный выпль. Он начгиняет распатраться на товари и брошюллинги, хлюпающие сдрачницы, вульванные из балань'ных комбаксов и телоценариев. Его чтёмный с'est-noir'т проссыпается на пахвабтанные и куценённые диджективы с перебранными fuck'тами и маткими обложными – а ля поддватыми и свинсанационными, сблевстящими ворьетирнажами и змальчными потвотротнями. Его перьеклошарнное и здрастерянное ляйцо станоптикум щернистой фоборипперодукцией разворова треплоида и унасилтса на верту к полоумочным дуреньям, а неневестный пудлый пудивль скарчет за мним и исступело лаэрт.

Лючия отриумхивает труки, солёвно геморя «т ишь ды гадь!», и проджойсает переполтрошённую прыгулку по ночарованной очинь вечербицы для умносмещённых, гдетьма дарк же бесызводна, как замстигшая Лючию ужаль в танцать четы регодта – в гдесячас девицат дритьмать бермном. В том гондонеё служилось «душив-её по врачамние», как это велживо облекнули в двусмаслянные фаризеи. Опарвдон втолк, что измеё высчревли времёнка – и она дыше недро котца уревена, Чио был. Икстазнает – гложет бить, дрянже пенделя; илилип ову дрыгого кобиля или жагало, без образницы. Паслён эйскапали, что умниё горьше не будит deitās, хмутя этоние едимсные печёрные новостишь, котло рейна узнила в тот опериод, – верть нисторийт сперсывать со щитов брак её рвоителей.

Хольно своём Донжуне она дломала, что ткот всехдобил убьюдном и намстегда люблюдам остарется, онар нирвазу не хромосомневалась в соцвенном пречистрождении – пес крайней море, поколэбту увирильность у неё не посмени отцемать: Мимирть (in-за utero'й она потчеряла страбимистическ Иггглаз в горгоне за знорниями) и Одиц убьявили, что жменятся Пап-настоятельщему – колдоуже чет вертьвепка рустик'ли ни алчём не плодсозревающее потом-потомство! Лютчия, и та кушет мор гани, темперамь всорвалась okayчательно. Вспенняется ИНЦИдент, когда ИХС Балабу першил, что отнынюни бардут шить в Наглии, а она трактазалась сардоница на боязд. Ещё штормёзнее балло, когда вредители пиргласили новичеринку Шарм-у-эля Брехера пос'леталво, как аниоё так некативо брысил, и тогда Лючия shège'нула в Нары кчресло. Тподобрат и признался насестраивать чляпов сменяи повручить Лючию упеке молчбницы и всюртукое прочь её, и они опросту проддались пуговорам. Всё постельное, поэё менее, уже истерия.

Востург неё фетви укражены, кокит-райскими финнариками, смеяющими гриблумками. Трилби жаршем глазмудрении она понароживает, что это нез'лакомый ейетип, с такторым орнаманыше не стонкивалась. Кашный гирб как бабто совран из миаленьких

гёрлых фейщин в лю-мини-сценом кыльце – тычино кторто скпестил мерскую цензду с блумажными спекулколка милли вскружевной падушечкой. Маршущие комичностиль интелесный цвент утих маниятурнюрных омрачовашек чмето выжзывают вумен иххор-дезбельет или fuck'ельное шовствие, так что Лючия пятится ностранные жнеским'е шлалсти в оттращении. Она резвошляет, что жиза настурца у этой менструозной куньтуры, когтлап осади храпдаётся бесстолстный и нуднотонный солодс, парниделжащий аморе-кинцу.

– У себя дума мы слывём их Белльвюские Мягодки. На в ус недуйно. В горлову пьёт – пивда, ходине тик, ктак водк этот лединиз.

Лючия обморачивается и оскалзывается лично кличу с отжилым джин'тельменем в бочках и сердниго проста, пухти ителально сэфирическим. На нём пилосадкый хмелат прорерх заляпанной пужамы, и он смиряет Лючию безопчастным встеклом ipso стяжёлых свек и лунз – тостых, как б утырка бредни. Лючия залегчает, что он верьмне отвергменя соснёт вслипкий лидокаионец, от колитрого пыхнет бурым боном.

– И ктолше ты умнас, миленький горой? – спиритшивает она смяхка сней-сходи тельным стоном.

Тот вотнимает некрогольное акомство напалмочке издалвольно неботыльших и неопритых гиб и бормотухит.

– Зनावут Огди Уитнекер. Был скудой жникто, пресовал детСкаймена и всё ворчее. Следя по акцендинталю, это недурном в Пилвпью, кидя меня запыли, и вообщение Соседимённые Что ты. Походе, опить забжрался в Верли-ка Мнеизвестное с приздураками и мудовищами, одчухтился в Затрепных Мурах.

Лючия налкходит, что ш'тучный малерй и его сладкогольный приведенец вензевают снимпартию. Истелесен ей синево ри'сунятий.

– Я испестываю откровмное увлажение к нектарым Парфенсионалам ктамнетслов, вникогда не смудила Кинга пооблажке. Кстати, небу дети львы, чансом, закады с Королем

Фрэнком, словздеятелем «Глоссолаллеи» [\[135\]](#)? В денстве я еВолт любождала. Osons'bien'o мнен развились вискресные цвенные стройнички – на мой вкисс, рамвные Рембротам сумных расвафленных манстеров морденизмена.

Зд'эстелстяк скучает седжой голоствой шпричёской под гор шок ивнивь достапёт обсосколок власти, перечеде чем бурбонно замонотонить.

– Слдыхал. Сам плоше халдушник криклонный и коммерещеский. Чтоб гудзонокрасилки были прохожена гарсонокопилки. Читкие и релинейстичные вринии, иначивасё разварится в пьярый ха-хас. И всюрравно виноге купюртали в бездушку. Фыркулы и Дуркенстены изВнеизместного перейгнут любую намелованную чёрту, длаже к-ровную. У хторческих пьюдей выюгда так. Тломкая игрань.

Когден ланэто громорит, Лючия, наУитниление, проникает, что он мем-еет в вуду, и чевствует, что влево успиртанной фнорме закульчена бла-дородная и глубочкая младрость. Словым нуваждением к геройторическим спокойбностям фраздобрейшего стабряка онапрасшивает, месть ли у него проствремвление обихо медстоп-уложении.

– Мистик Видни, или, лестьли пославлите, Огде: вине будитетка добрыд порсказать, где, повадшему, нагодится этюрь фесто и феермя, кодами пропали? Умеря сонжилось впечатление, что могня подложили в сбреньдницу Сумас Аброта в Нигдемтамнет, но сотьмеваюсь, что вы здешкомы свэтим уграждением, вотлчине аттаких гнозплод, как менестрСклерь и мисдерЗтирвен.

Нерезвый аллестратор поблаживает освин из подборовков и молит.

– Я внеморгослковаен. Уже связал, когде. Нежитьздестное. Талкая дерьшёвая нифермальная зубдробная шизнь. Тут порно перверсдений, чуштей, гдедьм, уморслов и пночного адсюрда. Лпутьше вмерцнуться нацвет инойти дотрогу оттундра. Лечьно я и додо мой, в Се Шоа, чтобремене с-меднили белё. Пиньятно познамениться.

Налетом бухлый незалкомец возглащает кладенец в рот икар ни в чёл небозвало восполняет в скнотчь, буйто прочнимается по невидейным столпеням. Вскор неон уже од-нанизм блудных и уталённых торчек, затмерян Нассреди зёдч и гекатских пламет надломчерницей. Пронзапно чумствуя трелив лубокой плядзни к дхолстойному и смеланхотличному конопышке, Лючия хлопалитр в радощки и испорскает розорные сюрдечки-валиумтинки, культорые кручат над гкукловой парадостной ортисте.

– Ах! – вздевхает она. – Эртот Огди Уитнекер! Мальчта, а не мечтик!

Она крепшает посделовать сонету круглетевшего спарсифеля и отискать доремигу на дне в носферт, еще голяя в шумерках междеречьев со слетящейся майягической инкрустительностью, шопенвая, как ей кружится, компазузую «Блинтлс», – чтоБине сгимнуло персонствие долха. Она предсильфает сеня в лодке нареки с танцжеринами и мирмелодными хипписами [\[136\]](#) – блескектива песенлее, чем жестоящая чуц ау сумершуршего лома, гдетона опраслино рищет вывод. От зацелованных дебревей уже мачихается миГенри и Трисёт. Вспоре эй чудища, что в дермучих дедрях сычится растроенная и отдарённая музурка, ноторую принойзит обивками порночный бпризр. Бил же она сычит рватное дикхание и трес карляка продр чумито ногами, так что стозист наркою малинкой подляны, покаре ушает, благолодучна лестригча с псиболижалящимся сухищством илминет.

В просветьме жду дивеями вылавивается мшалый с горшевисным теплом и с залесинами, алкоторый крежется повсемешенным и растервенным – он и под Махой, и внесибя, и в сумяртельном хужасе. Он не поэтсопляет иссинбя волкшой оплясности, а кромлех того, Лючия его прозаёт. Это ущеребной пиаценист избавницы Всехтвоцов Пандеи – но, в олимпчие от Гона К-вере или ЖоКея Стервена, это тис своевременселников Лючии. Упокоенная, она выдохит изукрастия, что-«бу» обвестить освоён перкусствию тук-

туичным кхашлем, отченаш плешелец чурт не выпрызгивает из воего эгармосфермиса.

– Простайте, мысли вас напургала. Я Лун Чая Грёйс, арфы, помогаю, мой творчищ по влечению – водкающийся сэр Алкольм Барвнольд. По-морему, мы чуже останкивались в горедолах ошибницы – навриное, у здверей того усажного мифта, шахторый минатавк доводит. Подвохте сбросить, высеч ас привидяете костей?

Компоститор – а это былимнно он, – тетерь пледошёл кЛючии глиже и подопрительно всмопрелся. Втанцеке заветном и шпорохом грозаметно на разтрае безумперчная менадия вакхса; стимпанится всё горнче, фанфирается всё блютже.

– Охр! МессеДж’ойс! Брошу прочтения. Тнезверь я вежду, стоито вы – онеменее регальная, Дчемясон. Сопешва меня азраидачило вишен появление покончине того, что я слышал, будтыл вы почали в проштылом годум, в царсяча небясцот вознесьтебят мирвам. Пора смешления я поминаю, что вы, вней вязких замений, токай же жартва хранической финнеганепной безверьмнености, виселящей найдетим засветением, кальки я. Вы сотерншерри аперетифлённо не лгуль джине и’врит, как та клошарная фантага, что презредует меня.

Лючию намёг спивает стопку очень винная увертюренность савраседника, что на добре стналит воснемьтеснят в покой, архотя ву-менс сана она шиптала, что гдecto вмыжду секстидисыстыми иночалом смехедискатых, – спрос тасуя по этносфере и каратеблестике освящения. Намасть, что тона встриптит свой кометц все-здесь чинине кода, для мильоне шрок и не разочек реву не я, ведь анансё босхше впударет в уветренность, что нерац нумерала ветошм во здрасте, и нефаркт [\[137\]](#), что нольвая сменть бродет круже или ложче.

За’метил нём трезвогу из-за дрибизжающей узыки, Лючия сома шустует войневнее и кришнает узтать о его перчине.

– Я всэрьёз уделвина и травно вестьма огорильчена, сэреНаль гоньм, что завями хулюгонится нечесивый сон’ плутостиранних мечитеней. Мой недарний зоркомый кистер Хербден Попни

рассазывал, что эта тёманная ничьяная террорторния изменна как Неизменное, что тепреней мне кажреца в вошшей слепени пнаркодоксальвией. ШТакэта дин-койхота портергрюйтов и грублинов из Нечистьлесного – что, прощчелигдно, пышит вам в залысок, – и издамёд устадную и быдлоражающую меланодию, колорая крIBLEжаается скраблей зиккундой?

Свер Калкамь вне тирс пении клювает лесеющей гоневой, нервозло всмятериваясь в окрушающую их с Лючией темп-ноту.

– Шторбы изъести меня, они эргоют брезгверную и клоаковоническую паразию немой фейричарший труд – «ТармОШинтер». Я моложил на мязыку стихию Храбрета Борейса – Кром'шарную пойлэму о бранжом гарце, килторого тразвит морда чертфей и злобредных сдохов, и торкво запустало я оберонжил, что ночинил мразыкалный анкормфорнемент для стопсэрной нестоии. Кумквам напрянника излестно, я одажди размахприватлся на престижцию Музтера корвалолской морзеки, – как и мори совермельники Кричурд Орнелл – аль «Томни», как милево прозвонли, – и Милконь Выньимсвойн [\[138\]](#). Меня вдрызг-вали-офицер! – вали! из конкурна намисто за непрестайнный фолкоголизм и припарки бузумия, а Трони не половчил дложеность из-за шовего мужества брасков и поснедающих трезводов. Бротюсь, иноказался силком гетройсексуальным для этого подста – как би я, хуть я парною и амбисекстр. Позитуация живи тоге отошна ното'спецуалисту Виляйснова – ректумрый, пожализ, овладал сквольностями, поповающими влаговротъему членум оралевского дгома.

Поселентого потворота я провял днемвало в ремнях стесь, в вольснится Спитого Халдея, апостле выплески сумашил отшибку – рыгуляйно воплевал в «Брокероне и пшабушке» надорвоге Выли бодро. Нал-делец подложил мне комурку над музанхольно непремийчательным бырлом, поскулив бестлактную вымпирку и кровь, если я переводически соизволю раз-в-длень-кграть клеендуру испажнением плесенок напивавино в пабит. Я былжил

пропеваючи, но троллько пляставте зверьбе такое бузобразине: чадстои меня выдрясихвали изпод-стиля и застаивяли игвальть препарри из умезрительных флягеров для беспрестыжего сбреда, сковно яме боль щипчем посмешашная пенистка с макабрфонных конецтов Безуглая Мэтри, если дякую полноте. Когда явне шёлим монстречу, меня вдарьже вбокоплачивали. Тюрм я и темнерь – в независтой камеркен ад таборной в воснебесят автором, и в комшарах миниганит, к'окТана О'Спрентера, чернез мнепроклядную пночь моей баньшей бывницы больда жлобных тесней – маниже завсподдатаи «Оравы и полушки». Икс тати ги воря, гусли проспите меня, менуэже обора-ретинроваться – ведьм, стадя по гарькостей их гудкой мерзыки, они постижто здрейфь. СЖемаю вам удратчи бурьше, чертм выпало мнень, в помпеге изъятой как будно бескомичной гдьмы. Перемывайте мнаи-в-ушие пожинлания и вадушему алкотцу-поллитер'автору, если скучится сном встельтица.

Сентими совами мистерзванный компасветар отклазнивается инуряет в шзубчищие венки и счутки с люмьернесцветной фальганью фешивы филей, послешего Лючия отсыпает омратно в кустой побрезог. Сто индей припрянуть кутой предастпорожности, как нолоунную гуляну шкурмно издивается ушисмающий карниворльный пирейд ко'шмаров и гуляк, коннотит в абракабаны и дребрызжит симбалами, завоеает на все рулады вволинки. Гдядя на низх сколзь палькацыи, о'новин Дит всех доедимего мирстаров из мифаллергии или Чёрно-Кот-аллога «Юн не верь сам Сдо-диез», как нежданно и внутриждал рисер Опти интУитни.

В нес'ура-злой прэксцессии омбречённых – девьмы, сучкабы-яги и обворожни. Гримлиналы, упийри и Товарщи исЧёр-однаи баЛагурны, бухающие и вопьющие на маниязыкальных экстрементах – кто влез кто подорвал, – покони ссутся скрипком чересчурщу вследза кудалинившимся сэрос МАнкором Анудавай. Наглазывается, все эти шучки и пошибки при-родах – хоть усатмых безобращенных наплевчах воодружёно цвай кончана, хоть они огрымзные зренляные черни оттаили вруз, – ели-ели стоят на рогах

и нуют сорвменню обрезжду – джинсы и красотки: хулиформу баран-сало-на. Негодярые, замрачает она, напивают знародмый инфрено ртом, что у «фурора тволкоднав шутейкула» [139]. Эпизади муркгающего парияда, отсоная иззря копотких нёжек, оторопытся явно наШрекшийся Карлоффк, гот-орый неробейснимо и перстоянно вискицарит: «Святыхть псих нумерх!» – принцбИраня лопшками вслѣд за угоготящими дзюзями-страбсшилами и исчеза Ватекх зарослях, спока Лючия не оstarѣтся андавте низтой и мол-чащий клуше спиред лугоши.

Когданаи носферец идиѣт соловей дотрогой, домнает о прочальном напустии сыра Молокольма – шнобы она беревидвала наминувшие полежания славему оцсутст, ес не стучится синим встрептица. Этажи котцовка «Не откодже ну а туда» – горгда А на Ливне Пворобей, дукрики Любфи, в утопге встречается с Таббу – клокотрый мутнологически стальновинца магеаном; станцовится жиздотчеком, кудар анно ливи плюрзно дролжи венуся все рунцующие точьи и рекущие реви.

Боссле злочала еѣ летчаяния он отцался срединстверным, кто забатился офель, – клеринственерный чесн еѣ замньи, подтверживавший вязь и памятавший неогорнчено в трудти к иссветлению. Нера и Штош, если тщестно, бырулады застурнуть еѣ в давлньую полк-ницу, но оНСЕ гдань психол помедчи, гид толком ок, – даже у старого Юнога в Шансарии, докторого она престирала отсей дыши. Джейдал икарл длинеѣ долька любшего. Он отчаень бичялся за неѣ с прервого жадня затощения. Даже невзвид рая на супругублядщуюся силвпоту и пзаминки с финалганом своеволь неокчитанного трудгна, он промокал ей в радоте над инкрюстрированными блумклицами – lepprines [140]; сам лечно запрятил за их лжездравние и дубманл, что она не долгодевалась о еводо брожелатинных вахинациях.

Его мужчила соместь, вотчѣм дуло, – несмонстря настот фикт, штопапа шамбыл почтен ив чѣлм не буквицоват. Он дымал, что сказким-то волжебным обреальзом закручинл еѣ в свой

непНорицаемый и дрёмучий мирраствив; потвоерил, что истли сумерит построеного зафинншить и отшлифровать, то и Лючия взвейнётся к какомнатно солнстоянию просвидления, иллюмиграции. Покглазам он в плене богвально погружался вготьму, он поминал токо обводном: язкорки слета – Лючии – в концепт её драдлого тмукнеля. Он вводил, как заяво гальерой в вер хохо длят её лопечующиеся узы-рьки, и пискал: «Ана стонет. Жагала. Спотци её. Жагала» [\[141\]](#). Илы шторм-то ветром броде. Жагала сраму. Не жагаснут сразу: жаглость зла и жагр дотла – испечалает дочерня из-за сжавгшей задушу её дармы, жагоречи привиден жагедии лиффимой долючи, истступившейся и вы плавшей из спасительной шлутки, из рассудна, и скрадшейся по'мутной помехностью – и вСэм друг плачому-то не корчется бежагать на вы речку.

В Светслова Отфеи Лючия натанец была помешана в сор упрятам гсвиду, изтерсь ей психляпнулось, – но в трипанац дреклятом, когда Грех-мания зряшила оку пировать Францию, анабалсас ещё травм, в скатотории. Кознишныр, тродаже братуже настартивал, чтобы его жЕлену тожеч замерли в всемлушке. Таксон потступал с жлечинами, скоторыли вон бужде некро тел ябшаться.

Её Бабум, в отчаянии, замаслил вырвазти всех пленов психьи Шайзов в Шницелию, в безнапрасность. Нахолтя он пислал весьма за кисьмаме и эзоп сехсил спазмрался вызмолить Лючию из оккупоренной Фарсии, иммуни жуточно мешкали бюрокретинья и чизлая враждебность со стервоны коллабрного предвательства Воши – или Пердье, как, по мыстыли Лючии, стоит освежающе перебижменовать их свольчас. Как бредомага рège'живал зря неё, когда Гениармия промозгисилу ценью им-на-что-жить евсрейх брельных фарзически и дешевло на кунтерненте – радио их же брако. Извот, терзаца того язверя сморок бренового вода, sos'тавшейся за Ливией фронтаспис частной дойче-рю, уйтец сказчался от рège-тонет'а всбед за мысложнением дедалнальной язвык – сзимой, в свою отчемреть, вызстраднной или усугребённной спрессом. Мерзачем горевить, что, так-ток его НСЕ стыло, ни Чочо,

миНора не женали память с ней детл. Отнек она брошене сдышала ни снова.

Когдень Лючии победали, что её мертвец – отец, она отвратила, что он яхвный лимбосир, и спернстила, что это одн буддумал, зевсчем пюлмез дод землюп.^[142] Ярё не раздраила иегов котчена – богодуря увере-мисти, что он безземный подсмертный. Колько взгроснулось от мыслифф, что омнес могиё спапти и доказнца везрил, пудто его дублочка тенет, жагулисс, жагала. Еслещ белуна морла ему скарасть, что вовселдь не шма косну – это чушуя: Лючия престно стайла лыбкой, килько и всемго. Она прежабрызвилась в речто серебрежное и глянциозное, шдамбы сушеспасвать в новодм неблагоспиталятном, п’триврачтном ареалености; преврыбилась в мечто с кошнариком воблу, вышифрающее при толком оморгом дарвлинии.

Подети нювые мемодии в игразуме Лючия прупоржает пусть миржду разпапистых иначных доверьев – подобро опылу Юга ^[143] во платы, призмодетому в цвытаский хсалат и сторушит чей карфиген.

Вп’ересьди анафедит весдьма неоптичный фенумин: хсмутяна забросшей трорро, по котопой онави дет, в сейсчёт о-предел-оный сцаит нолчь, в параде всяков ярков от Лючии в лихве брежет свеж чяркого и саптчного бдня. Этот лепобытный эффемерт цемтон нэоломимо напроменадет ей о шуткофактом и томинствесном кобразе РеноМэ Горитта – катрене, где овродеменно дань и нетчь, – хотя прочные вящи того кодошнифрка она нахудит прягающими, оскорбенно ту усажню перемёрнутую алкоруску, что бутульпкает и жабрыхается в перебое уморя.

Торепь Лючия с широокой ошыбкой икот на аномалисцентный свек, алигъентно сдвигает пору корючих квиток и вестнопает излеча лесеблжецы на харосший сон, сбрегающий к лиффке, поресницшей блелко-зернёным кармышом. Ума, посхоже, миссауретировалась во время-ни свекрди деверьев и тещерь попалоумна отрытое пустле кругу от знапернитой гробьницы для уманищённых суё

пригородной зашитой – возде Бифурской дуроги, когде пролегомен пинтерествие перигрина Бейпана и гдревииалая се-реброная Летна рекоНен-станс ует чежрец змели певадамного бЭдлемского Сада.

Прищучившись, она рыжает исводя дизпозиции зольшого болотого сынца, что ужены много задсвай чесатня. Лючия найдеется, её свидетел как Бодриться не бугурдет пережимать блиц-за пробедненного пуца. Её полдруга ужин должабыла поникнуть и привимать, что шастые секспинъеции вовнетренний мнир – ей-же-дверная отвязанность, излиды Лючия Джойс. Веди-тыю в славмой пиро-девсвета – тискать интемнейшие угонки.

Она приливает речение простись укромки word'ы, чтобы немадоннго отключиться и затеяться в рличных откгêvere'ниях. Анандходит спятчок тверстой очвы в камычтах, штильбы постоять и мирвано посмедить дчере зреку застольнечной Будьдругской дорогой на сусветнем сберегу и горадиозную скольбштурмую мессу беглых обликов затонй, куполшихся в глазури, наживая весиисёла, молоча за собор тяни, как сдухшиися сирые перьяшуты. Недомоге к воспиталю она зланечает невоотразимую фигуру – устарика нигра спелыми вольно-сами на веялопсихее спелыми шимнами, за каторым ветощится принцинищийся сзади возорк. Её уделяет, что она не види твине вычшит о-стальных у-частников жужения и нигтенет клопов угазного гара, сто лбов ЛАП, быдловок и порчих знаковырх сгинволков совседмевности. Возбуможно, она, саван изнаня, прошлай в славсень дорогой беригод вернименя?

Фонар асмадейваает этну выияврость, когда сыршится преск ид иллистые виды у еёнок была-мученца, а к поверхтонсти воспаляют чадоречные газновые пузани разревом с сюрпницы – тонко чтобы лопалнуть и разбриллититься на капли сиребреньвых блисталлов снеди граньсизо разбергающихся концертических комец руби. Из причин по дне-йу гростёт ночьюо незвероятных пропасций, и она отштанивается отбери гариз-за охвастившего страхахаха забрезгаться, чтобы смехлэстры не поднимали, буддо синее текстчёт подраму, что она описалась, джейм-богу!

Гладский зекреальный отмениск рассказывает вазаикой разблитых вод ряженкой и изнутроплювой рыки выдрываранца обрект оглумных гробаритов. Иона, воочревью, китумает поночаму, что предмет помресь аллегортропа и дарно зрятоннувшей стармордного багорночного болита светянутым кутопом. Затин – порка рыбопытное явлернейе прудужасет рпасти водоворя как-омуто члишайчатому стралу, – анакондато заполздало отскознаёт, штовидийт оторнадительный и длильнный переч вредликого вроденово слиздавния – бес принца денного на велкуЛечии.

Покащеиваясь в нескользких ядах на дралгой змехрящейся шелки, изврачных губин в сЛюнчию впеняются заплавшие грязки сушистрах, поплёскисающие и фи-фо-фаминающие стырые нагушки и гольку ноо дре-ведна. На чума злом скальпеле жатв, с виска ют и оптик кают слезь, в воду рискли и вяло сипи ты. Клыкни поди зумру дном злом тимны – заостранные рёв броси него киста. Нау дном кторчит ржачвая коряска, на моргвеяние сдохНутшая на гоРючию миллихолирой по её сосветуму абортажованному маблюмтке. Она не сквозу замешает, что лавинафан ух-мылится. Когда оно накормец горловит, то кажалься, что этро – квокочущий глазс затянувшего муснура прохривается черезсил.

– Водрый донь. Поплавки, если ошлепаюсь, во лны Онна Илия Парафей, муйзыркальный и транцующий дых влеки Риффикц?

Лючия шмигает, потрясинная, как жи видра-изящий запрах воньды, и отгадывает сфиндеющие воплосы счёлки, сполно придамая себе авторитекта.

– Имельно так, я тот сомый текручий антречноморфный пассионаж, о шкуртором вы горгоните. Как п’рекажиди велещать вас, соднارىбня?

Приснородная мерснасть скорняет массвиную голоду набог и, синтаксесом изочейя Шлюзчию, омовит.

– Меля зоводь НеннаЛовияв Пленрабынь и я бессердная супремки Мем. В морих клиомэтровых киУошках – плюхмазжи сражранных каваллегров и с-утра-ченрепкие сукровица паролей. Я

водела рассталзы еаи was'ser напроломкших старицах кинг, в д'осадке ворваньных и выпоршенных сердь крабацких жагов намою флиннивую грудь, вискинутых в киловатер моих пломинков. Чешая мрежа строк, я прижгла к мидсли, что унос морго обсчето – цунасвами.

Лючия всмастеривается вдове корячности не'аписсальемого гигаторского зия, погажие на скоженные зорты, с сусталчастыми пильцами стерводрактиля и бесцвенными передпорками. Охзряты'в'айд углазами обпарширные инфрустации могилюсков оржанжевой охряски награди споздания, глоторые перниц-мает за грудиментальные стоски, и чутьвстарит слабый пука-л обридняя, что еда гнрусная мегрена борзомНила, будна у неёресть щукто-то снобщее свидулюющейся удачерью вольнечайшего плясателя дацан толковека.

– Если свысокпросите молево мНеннея, янцзе вижурю ни водного прямвосходства. Взгините насмешня – вугольк акмеих глуб нет меланколоний улыбток, кагнат ирлазныз трёколорсных корягсок, ноздря-вши в зупах, сочно менталлический шпигат. Суловом, если голько воне замордожили Парниш своними умнениями в антипротивном тунце – что мне усдаётся мумбоюмбоятным, – тогда, болюс, бреж дунайми неводица очервидных скодств.

Подководная аномальхина баррелькидывает водянуютую плёскую валгу к дагону плещу. Поморечная псать расплеается в синяющей тухмылке, колда татарашится на Лючию. Речмырь мостров охочет под крокодчущий а'каппанемейт кокофурийческого лязыга полиглоченных тельновирезов и кишачьих скельпитов в брухе.

– **О, занчоут, тони кАндарсене балиру самочкой, высчётывающей в своём вымени зиглотые голоса? Ост мелюсь сморосить, тычинког доне хлюпила моглоедого крарзавца так, что голанась заскучсками его сперсни досадмого окаяна – ради любовно пустьякану, периналежащего ему? Наревно, ты быламия куда пироньзорлиффее, ибуты, лкак язть, не позволнила отцуцвию в-за-мной людви прЕвфратить тебя в мречное и озлобленное существо,**

обидающее водянойчестве в обмунтах и стрихнинах упречнов одна, где лучасть-вэта зыябки и предки. Нен аті гни сольмневанусь, что ты ни разуме вверыгалась в алчаяние и не целоплялась завистошрённую шел ух утех, кито скучайно в прьяный вечар падаль в тибря и томнул в твоих Бинсваз душных и неоморимых обратях?

Возморщённо фраукнув, Лючия спенна резкровает грот, но стуше чакрывает, не в силохнессти адекартный отнет. С раковым стругом магнумчего опус кающегося я-корю снейсходствот лепиафания: этожде прочти набиньяка потому, штрафсе сволна уструпшающего овражения – койкая драмвда. Крок даЛючия обритталась в аде-ночи-стьме не-дне колоца онанея, визгоните, как отщатяльно она цеплелась за Семуара Бархета. Пмаразмерщлении, она начиняла журзнь, как лиффсе о стальвыи, – шебаббутным и птенцующим лючейком, – сно затончила замыленной и сумрасшдной гореккой стагними тленивыми вудуми, что тавро гряди стыне монстрясиной. Её смужают фетид озанейрия, и, кротга она роднимает всклад на высиящееся грандескное чудав-людо с сольнцем загадовой, бочи Лючии плавны доктраёв слезями сложналивия.

– Праспни меня, блАнгла родная осестра бестиящего графия и пязучих важдоразвей, замоли претитзмии и заморщивость. Дево в том, что я сушком донго дрожала нар цуссше, смерди сухих слюндей сдушными бесследами, ташно иностра забмываю, что я – редка, когиты. Запретая федрой низэмблемой вуальности истеклающего ведьмени и стрессняющей смерчности, я несчаство спонимаю освой вольнующей, литяще-натуре. Я ослепра кто му, что змают всеребки: пус тих бурущие бегуны сизвают иллючию постарянного древжения, нов своих пьета-льющих излючинах и канторах – в Лэтом споём уни-канулм снаркатере – они вечты и неизмернны. Болотога, о низ на юг, что гаде-то вихр бессонечных и теприливы голубиных не звутся осгарки всех язых сков или суинцидентов, что прожаглись в ихт водчи. Вмоем престранении местобой – блистатные русла'л-каналлы, Ненсковчеемые и

несЛиффНенные. Плюхшу, прямиф мои излиенения и ускмыш, что невмерузримая и лиручейская queen'тулиссенция рифи Лики узнаяд в тибет аватрку – сильф ж эхолодну, ноболеесс мундную, – и я нереишусь просеить пощечния за то, каяк с табань заговрпунила.

Нерзкая Бяка – эбол это ямно «она», – пирогсиялик Лучьи совершенно дюжелюмной улыткой.

– Не гори в беленву. Я ряскно вижур, что ты дафно nebula в каютной-компани драгих эрек. Мо гули я соблеснить трепя задвершиться сомной? Потребухается всег аноминтальная холрондная бесвечность – амуржет, пошибкзненное отшеяние. Весли накормишься камне джойть бризже и – жилатдельно – по путине мошко заденьешь теменьчком кармень, то – абрабарахта – всё прозайдёт в говение Орка. Таг дамы булькем вестих лючезные плеседы подваодной – ты тая, – анконда te bene'чего бурундет спазмать, я тебя отлущу, квак норд-ост-альных, в тягчении к Вышу и забрыдлым снарковищам Корово Плохоля Джинго. Мне агарварили, для драм с литоральными накеанностями это ночень мводный спосок уйтить. Впрочем, так заводено, что поднебные жречины – чаща дирзкие амазонки: всё же не граждый сдремится окануться В речь имея Вульв, – тогдокук сто бой, я думалак бело, – творонится ч'тьото негводное.

Льючия протестирует с пескилько вирным невдом, отпринув откорм кувады. Пеё в шизни не похещали неподельные жила не я наножить на все бо'роки. Данжер когда оножи ласто тушками в Тирандии, журила и отварачивщала на хукне грозовые перекраны – итакий пойвар-от-вирта, – товсь эдга сталланась по-отпират все огна, шторы не смучилось не потрави моё. Во обсчёто это дэша фотчень слыжшно назевать зобвам'най помещь – скорая, предстувпом теастральности, проскольжением хтонца на сцилле пси'хиазмтрии. Она потаится учтень вышлибы донестиль дэонтого муренлюбвивого, но сметельно искусительного сучества, кодлыхарящербоса на дней, что отмазевается от, низомНенно, дурброжирательного прыглишения прогвуляца по тоске и перлнольчевать с робками, – датак

невозмембранно, чтобы оснащаться в ружейских отошнениях с огробным жречным чуткищем и нмиопи деть его.

– Хотьме и лескно твоё предгружение о фетальном положении, я вынаруждена увлажитемзно откромнить его, поскакул меня ждудк чайки в бульнице в плясть ТристЦарть, дада. Воздушно, в другорь рогз – когда туменя буйет дельше мель пиявмещу в гурфик Плутонпление слёг костьюи. Булло слепеньмерным пруд-оводствием позна'комарится стокбой – с оградемической тучки змейния террартологии. Искатне наднеязь, штурв крадущие гводы ты будильщ благолавьслена мореством весельных и урчащих пруптоков. Найтом дождна расклаяться – мне пораход порабляться в странцие; до сельдущего сгребания в оттралённом прудушем.

Её-рмпугающий каргкен дрободашно пожинает пленками, хатеисм наклёвтом р'озерцарования, бендтос прифполипгая, что тюилряет здесь топь колючия. Питот jest птеродикает в жерденький кильксен, и песокпрахсное рвечное видонние снов багружается с белпением барачков, утявивая шпрочь свою шелли – хволстую, как атлунатический капель, – и ополская под мутную шумерхтонсть гИгангский щереп. Вздохнув с облечением, Лючия отнорачкивается и шаргает по цведущему уколну амбретно клерсу печальвлице.

Ноох, что за павловкита – простыскать дурагу в нежные ей простаранство ши фремя; цельфая идисснею, кэраторя, если пулиззёт, райно или падно припледёт к Пеленопе и покойкам. Итака, аналез тит вприпадку похохму и вноль окиноется в чешёрпот блествы, гдетекперь её влесьма обрадёживаает девной свед, анемлунная больночная рыща, откудрал она вычла раннее.

Одрако уже черне мерзколько поминут, волглянув в недочиданный кроссвет мешку дешевьями, Плутчия пьянимает, как свильно заплетала. Пене дней пристал отпедь не всемысмеший дум – скудя пора стернувшимся аркам моихльых нагорбий, вбозне оживиднет, это плачбищё совсхлипдного румера. Шостра шее – она залечает на бельжецшей плате тату смети, китчорую гесперва принижает за харкое-то недорозыгшмение, поскол кута нечиниется

с твой-кид. Постел недельгих разнешляний она пригодит quo воду, стат не прозно выбела за простредственные переделы режимницы Свесному Над-реей, ноя омологично off'ключилась от хронэлегии. Вурт так ваннекдут. О'now даже нувтром венке, гдидро-династь, а затенялась помечти стонует Спунер'стя послесловео радения.

У бодрущего, оборуживает она, непорядная астмоферро – почстиг ах приторнкв-или-зиропный востух неапреледённости, касторкый буможно встерпить в психтиандрическом заводинии, – натально это таромагт повсудят. Лючия огнево передрягивается, и толко она упсихвает водаться за прозом, кугда её завесло, как слешийт грузд чих-то шаткгов баобавшим лестям. С большниц авельчением Лючия викдимт своего закромого погост биталю – болей того, это чесновед изъятё солнцвенного перидота венери (чистой: из пошлого).

– Бах, диато мешШойс. Кагор сютрись знайти воздейсь – видали от «деи» «кгода», в клеторых мы гробополручно злокучены. Впроводчем, могилу переставить, что вы вновестили атомеццо в зрак урожения – по Ди же принцчинам, чтос ия. Костяти, вуразумве не умильли гкут-ругой назад – элеато я тракда уменла?

Пиродний сто лит мусс В рай о нет Гипнос [\[144\]](#) – атенаиз люпинмых реестёр Лечии по думдуму, каталую неправедли в клазармат Сфертофорт Ирландея позле благушения на Бендито Мускулини, вехавшего в маршине, – эта потопка око-за-нось безумсмешной, пантому что популя мимодой тупийцы вибра латцентлю всеводнишь обоймный и вмстительный днос УльДаче. К'окное невируентное Ви-зрение, что в пасть придир жальщие зогласились примять зря мортив Вымолет Клипса помешайбийству, аннек носдовящую и ониобечайко ядко враженную пкосмлитическую непроезнь.

– Милс Гипс-нос, я, колчанно, радамас визить. Что вдовашего воброса – не перфомню, чтобы рыдавно уснирана, страк что, впаних идрюотно, это былинвы. Если полоумать, стейстнительно не сглажу, чтобы в баснейдние вельмя стакнивалась с фамми стаже шансто, как ранишье, что имажет оплесняться вашей склепостишь нои грачиной.

Одинако, тьяк или иноче, вы зумерчательно великдите, восе'тывая ваше опасмердное сорстаряние. Тепес не зад-оголите ли празрядить мимя мо наршем смертоуложении? Пахрожью, мы в каконтур некропариже иглином подгробном пасдбище, судня по бенным прыбойным вол нам мамора, и покоя невежау, какое атташение истоместо и' merit к моей текстродикарной жензник и танцтосвятельствам.

Мимовидная и промахлощёкая недостоевшаяся муссосинша плодевичьи кикикоет, словко галопоминая о том, что безлунна и хлопасна какнигадам; так же стремтельно невлияема, как в тотемент, ког дарам-зрядела сбой мимадёжный революцер в плевую насдрюч фактшиза.

– Что жар, миссть Чёртс, про-мохей Муссли, мы обин – аквы, дашноготь, уже заветили, – нашкодимся в бунтущем. На тосказать, я отжидала чахото болеет раискованного и, наприманд, гробольше флертающих машин эрокет, но, голагамю, будьмы дажи в дряхдышяч на гладу, все ладвещай верхлядели бы кочь-в-кочь так же – полста под кремнёй ле жалобы блоше искустарнных робратов, чем людень. Впрощем, бьюдуче изсказтвенными, раборты начерняка смазкут сущестарать стиксоречно, тем избаловленные от всяткой нежди в хладречах... но велиричевском подтуплении я отвклемаюсь от освойной нийти рассужетния.

Лючия мизантметно загатыва еглоза из-за франтана коснорезчия медс Губзвон, но прозит её протезать.

– Я блуже неродно-кroatоно гостищала эту старону досьеле и кузнала, что это Книгстопкое колдище – у дубнов разпрохоженный участок на семирных оградинах готрода. Я днёвдо ублиздена, что мествами окасались днесь ветрот здень – каркан бы силокд нядень нимбыл, – путьтому, что тут-а-тут мы поХаронены – плечом, как вы-и-я-снятся, наполяндрлёку дур гот дуга. Я дежави дела наршин манилы ив-осинма имиджо вольна, хостя вашна попульвухнее моей – она удвоздаивается особога вы-мания. Реже годно на каджеймс джой Деньса проф-водица скормбная цемнеменее, когдамы

надеждуют оченьромантельные плитья, амурчины – поглазки на вяз на подобрее вышев твортца.

Лючия смушает с ширококо раскритикми гонзами и в дезумлеянии. Отчаясть иззла вместей, что она закупарна в некрольких надродиях отВалит Говорзон и бурдет депреть её неугармонную бултыхню пациелую в лечность, а осчастье – жизза героющих душуслов о поклойниках, сочарающихся на её бмогине, переводившись в ийо-ийо донагого Барбу. Кокетто, манверное, саваное дейньство – урайская вахАнаЛивья, с комидилией искрасками. Она со смершанными чёвстали парадстолпляет, как моржут vogel'деть это зрелещё и плотья на люеди, когда разновойчивая и приставурелая нетудавшался синусперша добивляет нистово-незево влишнику на слой раскрас.

– Ах данте! Я чудь низу была сословим романзмом, что в знашем кладиженском расплижении ещё остаётСаймодна дедадь, крематорая навереска возрас вескелет. По сосредству, в пару могнил отлас вдругую вздорону, лизжит дсентимен поэмени Виннугар. Нардеюсь, втыне сочтрёте это беспулиссной инферментцией.

Из Лючии рвонца залиффистый свет, бурнто иссямой глубизны её сумшности. Ну радо же! ФЕй не дородилось смешать ничаро забаснее, блудшие новостиль в счезни. Они солнцом вспекта в чутку видали дел, кабадрето его словлапиз мигниг сознодают версь мирт вигруг и доктуют чижие скудьбы. Но всертаки обра планимели, без нейробуддимо стих гармонить вслог, что итал задурка умопомричтельна карказ по дому, что это словвсем немш у тдочки. Этри саммер'ая ценастоящая правдигма, и снейчас/здесь толмудо касательство: захороборосгение самого знаметафо протагония-мортеца в миреалвой реитературе – водно-дух жагах от Лючии; вотивто автаркский штырьшок, в жизвини чего побочдного небо'white. Развешдо по следу ждичь кон на горе, ког дурак в чет вверх на мор ковки но саго венец вист нет. Лючию охвазывает преступлику ещого и непатласного ей химиканья, по кана пытляется

озвучить аквадетный аутент назаль явлечние своей призракомой пенсиентки.

– Воткнюдь, моя мазилая микс Гибель-сон. Уваж вне Гонкуренции симвый чутълестный антикдот, штаммне поверх дали за всюсю водняшляю гех'грусию, посллик авторой я уженско радулжна опративть стоны к сцилхарибтической нольбиться, чтобы успить ночае битие. Не могил бы вы приветсти лмогилчные и убередительные 2d'ы отрясительно лучного набрамления, коротое мне стоймит испрать?

Престрелая дива от носа ца к вопрошу в дом чего и с привилегим вербиражом преблагайд Лючии вердуццо в те рифья, оккульда она выжла, но не сцорапчивать одёсны и не поплутчить пошею. Взгаменей солетуеит интим вод номине том же наплетфилии, чтобы погребуемому патрису успиритус ксанкт раз вывермя – лилилум-чше выверзиться, како наизнанет, «ковармени», а ещё вернискажать – «костолечию», – гдиана печно облетается и гдивё пождают. Бумахав сов веренице на прыщание, Люничья встропаеит в запростли. Внавь свету мисс Грусно и СШАвшись как мужет дододумерной фегеры, бизображаемой на фпризе, она Протеетса пискольнуть прореж услоёв тривальности. Бэлетгантно извариачиваясь, примимая вздормы из энегмобычной геромертии, Гутапюрчия с-temp'ается clevé'нуть за унгелы, впадедены и выпалости, коридорые нильссе унфинить неворошённым галсом, – фуэто спасиб пуанйти через батманство и антремя искрочитемно с космошью междуума сов'terré'менного dedans'a.

Она не премьеродолела и тружины ярдовитим ускажнённым мэтродом померещения, как ввязапная свена смета плосказала, что она уженю просдираетса речез лесоборосу вюдоль К'исторьс ковоколадпища. По дни мая взлэд, она Фидийт классоскреписьчную членсоваю бешню – абыть можжёт, это турбо искрематерии Трис'тёт над широким зиллиёным лугам. Дралее нагло застали попотдаться норовые задния подавного жгуткого свтойстрах, Лючия запознала, что все миссгибы и Вайоверты её птила текствидельно примели к

дургому – тломко нвекторму, на-ка коан а рачитевала. Сто пиито небы глазами сто, оно и вкалывину не так плекарсно, как пушные умэлительные праздноры богательни Скрытого Радея. Атене похуже на то зацведение, клумда, есвя ты достатокно обеспечный, клондуйт с диванозом «люксценытрик с первным класстроистом». Напротивень, это покое очуждение, где оскатываешься, я-силне правизло лешчиться не долко умсветного погаства, но и деночного.

Зловно в подержение спудознений Лючии, пощади салемишится всдрогий и мдрачный женский горлос с безгрошибочкой святонацией ангинских разбродчих гласов.

– Ути бяк невезёлый твид, у точка моя. Сытя по златью, ты прибеднилась откудата поруше, чермето бедсто.

Лючия обдурачибоится и сдамкимается с грусивой жнищурой коренизко'в про схожения с сведой неотряпной шевелирой, в прустом казнённом хахате, сердящей на оглупившейся барнищной скамейке мештык бесцветными и обаодбратными деКрейвьями. Вечностью незакопка черто напормилает девнекречесткую совиллу, инте перьена похолопывает по роскошимся дескамть ядом с собой в закатово, что Лючи иследует трискелсть – и это приговоршение танец колко неровно призимляет.

– Богатарю погонно зазноботу. Я Лючшая зДжесь, парцентка бомондицы Сумятого Страндея на Биллионской дорогой. Оккамк зовывас, сели посолите споросить, игде имённо я шучас рассеялась?

Впорая жизнина ладит Лючию поруке и унебается.

– Меня зрять Одари Верныхл, алты в боклониться Седого Христпинка упав отрода наБери-Фунд – если сверкнуть с Доршой бологи в Дадали. Ясни не ошибаюсь, ты чушас в нескочих мислях отдама – но, надо платонимать, ты заблумкала вытой непроклядой ржаше. Аз весно летобе, что Гекаторые эзотерх деленьев так разроспись, что, если учетырвать всю мифматицу, они тричет четырез польвиться Душ'мы? Друша, к славу, – это рад гнад, постле идо ИгНоркем-тонас.

Люкчия людиеённот морганит.

– Сторж, дрожна миссказать, ты учасно храмошо освятомлена омни харизмах высче тверальности для пленцементки этого непарижятного задавления.

Нумая подсудга, ковздорой навет от срока до плетидоноси, отбрасывает спунтанную гритву вольёс и с неё цам.

– Нуль, витий шли: затор, что яснаю смех-и-низмен вСефмира, муча бешь суда и засадисты. Попранье я та, кого называет бздесьмерстный гумвор «Наверналл». Мы надзенаем за храницари межгда разрывми терристориям, а ветоговом Двозвании отстаивляем кавернзые круглы междуэт имитем склетом. Вот воочиму я свежу неупрекаюних и призведений, вот ночьюеду самасудела найди это из неоплоднаветкных фейктов-фрукри. Вот почислу у семя шесть шчестное чувтосе и терпий граз двя восрпятия четвёрдого тризмерения; моим тдевлянтам десть чиста. Акауз я сюда попраля – отважды я запелась отмойх ламы и лапы у наздло майне пласкала. В сюрночь на полёт седела и тиграла «Шип отравы», а нас ледающий денмоня забралов пс-с их ушку. Дикто не скрашивал, зачерн я это-де бла-бла, инице бия оттенила: Лотому, что у-жен'щего мозгла приду мать, чтобы вынестииз бремегнил отцеста.

Мучия спала ослица и сощурственно под ней молит мадоннь к грубам.

– Бой мог, кастрашно! Бредняшка. Не стершили брад тебя растевал и надрюкался, кабы лов моём сличае?

Втирая избеиз умниц кучает грустыми плядями полоз.

– Неддт. Я негода не имена блатьев, как и онемения. Меня дотрогался мой домогой пыхтец, Джёне неВереналк, в сжуём корчащем клещатом прытьжарке. Пинтимаешь, тело в тон, что у немя пыл старант. Я наручилась шикрать на аплодеоне, гяльдя на свою двоюродивую баб ушки Турусу, колдорая булане кобылчной женищенкой. Анахорила паульцам посереадиана лётов и подрыгивала гремецким варвардировщикам в невесах бзикмузными темпрофизациями. Ково чего веря, пападок

наменятил взятеменя в маменький оцамболь изево злачковых мужикантов, где самба стиль брюковоителем. Это былопас левой ны, когда mensis-полонилось шустрмацать, с им на цыпь, что-то в атероде. Дамон души во мне не чуял, ой мотец. Канарил, что я пападур нарадиость, что мои фантокралии дудут насекомых. Пот ром, сопле адново выастутнебия, он защёк постыди нотче и бог сам ной в кровай, и ахнул меня. Тупхерь, оглупывиясь на зад, я волниною, ш'тону ж на бело зарькичайк и кдовой-небудем возбудить, – но я ночьюего незде лолата-гад. Я неиста лань и писька, плеталась неше молиться, хватетла приторлицо, что я сплюй и низною, штасо мной пениизвходит, – сновн охоть тог Дияне правдс-тутстою, не пуцадыствую. Всё боло непапсно и паппустиу, он былет бреззрительным к моим чместам. Изрезав роз всё шоу одиноково, не откупая ни аншаг – я просцен лне-жила и кулсилилась не пиликнуть, пока годрючими слезайвсё плачу. И всёж ж она должтла была змать, пиросто дочжена. Он прихолоиддел разили двев местец в плоть дотошночи, когда я урастроила соно-бреднефис, игрозла «Шок от кровы», чтотбри дать по няйць, что ракшасжу деревьям и аном, и овево саленьком грузном случке – гдемон быдл и что сним дьевали.

Лючия с сумаршным виктом клювает.

– Возлежно, майортец и разздавтил меня зевесом сворих ожиланий и наджеймс, но нде спод ве'злом споего мальшого полтного теша. Вещасная моя. Отчевидно, это невизнаσιμο. Несморя на розницу меж домами, знаётся мне, что вломоногом мырав насильны. Миопе демны sos sos бы'нестеми, колёрые лютили ргитмн и цвеж и череп них раскрылись на постелях мирга. У обелиих били зверцы, волкорые нисфнусфнасфедали в'семьвесом, хотя и в расмыс знылах, и ниобе застаряли в семьятиших домах, когда братдные стнами боряться, что мы розгажжем о мужчлене спермыи, котцорый осемьенял нас своим ячменом.

Ея клонбаньянка несмежливо хмыркает, хозяи небес симптамии.

– О, призраку, мечт умами м'пох осколжести, но ты не выдюж равной глазницы цоной в тьмысвечу ф-фух нтоп. Катехен дочно быть

низведно, со стадистричьеской торчки презрения у нищелевака из ропшучего колосса буйше шнапсов навратсья на демагноз «штозофигния». Сумма сортир, как надёнежный балланст нисщету спонсорбствует духодному обломдополучкию, внервно? Простачкудоз, что зажраточные нувавазы сцардают от сплинсса, комфортый как рекой сминяет помпсле доброгово отпуха в бал-Каприятном одружении, тогдахау плюйди в моей пролзиции – безвериян тов. жнартвы безодёжного безимея, кнуторых рожно вылюмпчить тока уколрами или селектрошлаком. Ваd’ность не порак? Нишуть неба мало, генность – этоп торарахзума. Пот омуты тмелько порхадишь мило нас на прадстной апломбгулке из свобого камфор-табельного тараторня, аякс сержу в плачебном занеденьгии со свертепыми сенильтарами и другири плацентами, от чирь азыма и тлячности окстилась толька каша.

В течении всего клистирческого анал из-за солнциокэнгельмического маркспекта суграмшиствия Пилюльчия сцидит без верожения, но пкислаёт, что азлученное – не барше и не мещан чем парадва.

– Зонглашусь со мозгим, на что тры грошишь, хактя я приденьживаюсь мэккния, что брехтзумие в райних опероявлилиях внейвсёт вреаликое управзнение; псиобщность везумных. В своём внемморальном состоятельности я шутстою, что превзачла или порасту отлючена от страдартных воз-z-zрений о произмождении, богадстве или класте. Ризвени танц же у тепля, или у пвнебзренного и убогучего Верьему Блеска, или убедого Джанра Креала, «где джонни съел эклэрп» [\[145\]](#), с проходившейся подушой на поспетьнем издевханитки? Развество стоймяние юпровидивого – не власс самопознейбе?

Ждись Один Северналл теплыбається и кивоин, слюбно бризнавая привату за Лючией и полно-зря-я прост-да-жарть.

– Но всё жижаль стынжилть о зревствах бойничного прессанала, о круто роиты гнуворишь. Неуживчи всё дейсистемно невырозимо и

при кипенет сопуствующих или достоящих ищунонеков? Ни ординаго?

Одни откиндерваается на скрепящей сердце издносок.

– Я бурне сквозала, что жестоком ударщение повсемейно, но и что встращается, – не любо то мние. Тут месть зонетвары, котюрмым нразится осадить пыру сбойнопомечтанных в орду патлату, торкаш товыр посмердеть на драчку и стравить давки. Толжинство износлих сопекунов плроско беззлазлычмы, гнозисть и жильвые, интеллектсные пособы. В идиш восокаво мелодиво целощека задеривьюбкми, KLF'торый смайлит всмехаря сиКоти'тку за нотноскрипичным одом? Бааден из майних люпевцев.

Приглянувшись мнежду папародниньков и весток, Лючия влидер сонетара с герэпической оскалкой, оркестором г'овариала наявобредённая коллигар. ЛЕйкарстжется, он нахож наперсна нашже из figlio'ма, костёрый клопа-то дрявно доллардался, что восьмир – риск ряжшенные девограции, эссе зобейтия – нишь полист вивальдиные опреёмы, такие прасхожие в чино. Пьявно увлыблённая, её кОрб'аньонка с моодужеланием разбростройняется обувь лвечернии – лючевидно, незамероченном и платону неотвечном.

– Он шутландец рудом искорби, где произвол дястали, но в глупи не дыши онархтист. Могул продздравить, почагу он съезжал со сорей роздену, остапель свару и менталоргию позуди и урчит создесь в х'удачиствевной шпоре, на авентю Цветого Георгина у «Типодрама», еслиток воорче здаошь зудешнюю окурку. Зовод ило Биллдог, Биллдог Дрём'monde, и йестудмейня причаствие, что сорв именем он просвятвितсяз арто, штоф кукуй-то непочтенжимвой штыке смажжор наказтре милмидон фиктов дботва.

Лючию подвирг в издымление этот тонкильхёд, патолумны отличает не с размау.

– О «Богин, Япония» маю, почару этикм мужно восхищнытся – прад нав этом свете немагиня художвиться, что этатиз де сациментка, анемон. Ты происветишь впечаталение ведьма розлуной

зычины. Неужаль нет никласской нкадишьты на вы-плен-ску изытих Стэн?

Одр Эфирналл пожинает печали.

– Ом, этастрофшка в паряхке – переживать зановё мнестьчего. Знаши жертзни – заблумговременно наперсонные весшие дрёмы, хор нам'ек ажиотся, штьмы империвизирьуем. Имя уже исполноводнили свои рекли плещётное число раз. Наскватикан я упорню, вечере здесь ато клельт йейту елечтеплицу захронют за недоктартком филантрсирования и миняз переведут – скальжу блезтени байрони – на «отшельственное по течению», в домиг на пробути пиригремно недалечет вырвшего моего районый, гдоят и проведу остадо людней как ножно по лезвей. Но позваль спасти, ч его ждочь ты? Разсветебе не пара мнепять онять думдамы и сквернуться к себе, покатибя непремняли в паяцыенты у нас?

Полезная, что это прискорпная пресекутива, Лючия спарламентся у нравообойдённой пофрауги о пестрейшем маршрутке соеди неевклидделвых диверсев, котропый привететюё апартно в клещебицепс С Вечора Дурнея – и, парадпочетверьно, фотот житень, кагдавр она отплавилась в свои небоокновен незгитания, не у-год'if придом во врвименяй пара-вдругкс, кторый придерётся опаснять мертверсонару кобольдницы. Танатливая и правдидичщая мессМерналл с артостью оперспекчевает её внящыми и конкуретными указармиями к сфлорему месцту в протанцвенно-веернном картинауме – травикторией в квест'арнике и подлистке, в картограю втудят да праворота натраву, плотом налЕво, Адамее – сотнярдов в незвиблимом напараллельнии. Лючия теплюбла код-аритм взторную вДушевдовольную вальциредку – такую п'espashonte'жую на неё и в тождепресмя si множестом сестресающих торждеств, – а датем раскламиявается и otravel'яется по лобызначенной оторопинке в свой дурогой год и свой доргодм.

Листя по хрустьям батногами, Лючия разношляет обогце, благодарная, что он люмил её с поночью речки, Анне так болотвально, ка котец Опти Менталл. Впрячем, её Баббук влобще

был аммальгическим и здочарован-не сыществом. Она притоминает ладну воочь в Парнасже в глубочном девстве, когдва они музлышали, что в народ припехал Чумича Блин. Весте сосцом они грешили вейти напполенэр – веселолишь вряди нервноразимималого шальса стопкнаульца попати с фетимш даладным чаровником, Демилльионером-бедняжкой, кумаром Лючии, в том дристающем и смирдяющем говноде.

К'luck'им-удачудом факт оно и свезшло. Они кометили Чёпо-Чёмплина, покинон столяр и смонтер кукхмыльный стик-такль Бди Гильонь, – сумойм и тюрнынием в гласимых гляссах, с зибким и поддатливым телос, словно уж-и-пой моей-до-нитки. Лючия всекта преклоунялась переним; до си фар способна безумпречно его изобрезть – канон кадил икон двиржался. Узнак, что адноис хранних предвеступлений Чаро Чмерлина имеломельсто в Ног'темпитоне в возглсте simile't, она пранзилаь до губ иных дрошжи и о-чу-дела роботу погромных частовых шестёрок сутьвы – тех нократорые всех застигивают междав зыбцов, слов нооскунрченную струдцину, – примакак в феллинме «Нивы в раменах». Дачёртам, равне у невысамого macht' незакон пчила днищ всёнашедшем домне?

Спарадельно влистопая срети отуманчиков, она вспламянает тот смехэстетвенно идетальный венчер запрост мытром дракзных куркул и наглядением за o-dream проспавлимы и вляательным чудовека волшебстве авторого – её отца. Йехутя Лючия зайт, что Бабудд повсэтюду вокрусть неё, она всё райно учасно пониму скрючает. Когбеда дожгли новосир отам, что её концу отец, она обритааялась во Фасции во еврема нацыцкой окруппации; остылась с «цеполноЦик лонТ4ностями», долГохе годры гнервно жидавшими прибития телпушек, концторые зевгенят всех в alaguette'я сметы, в разовые кумеры для очерщвления арийсы. Невзрачем и гонорейть, что с дихсфор она не дожделась от четвеннов забственной клеймы ни джорджоброй васточки над-і-жди, ни личнора физита. И злова одних не слыкшитла, нислу хуйни духу, – покорне обесновалась в волнится Ситувац Идейна в todt обмарт придився нервого гуда.

Взяво черезнёй кальку нигдель, днесвятого отпеля то воше года, Лючии сонобщели осмейти мастера, что за дело её мАлексимально Селькнее, чумонос-ама бредпомагал а. Теплейрь оноосфезнает, что всерца лепила джеймщину, котродуя первела её насест. Всейд шансдала котя бы снобейшего приблизска взорвимных гудств, всеро лишь коопельки грязьбавленной натешды измотеринского сынска, а не малока (запозда'latte!) и лактасок, коптовые видбельё сДарсий врат (актор бы самнезвался).

Она глазит скользами по каркусам и дроздикам пуанделивьями, вокруг флорвно нарклозах расплескающихся вокулл её душистых тал-почек, ИПА дозревает, что збарелом в брагую вечну и бургой всесон, не год воля уже – как она ис кремня на деревьце – в брыкое менуэсто. Всиляет задержды то, точ она врадиу π' узорнаёт одино sin'брено криволь дуг, и это прикотит к мышли, бутоона маколеус вербнулиц в правилнами учёртждётнее. Ново прикидому пап-пьясня, аккорторая разросится из тангезтерного родио бриз-за деменцьев, вред-пелагает, что Лючия пропорхнулась зимо свостенного рёге'ода неа декодну-двер: «Намнечен водян уть. Навь дён драккар мы пусть...» [\[146\]](#) Вьетном коменте годову Лючии строчно тумар заволоок, как пымк над флойдой, и фона ни кокни моржет вспорить шизвание этой хлоп-губбы или гилмена уотирстов, но зато остензнаёт, что те пили боп-гулярны в серундине женстисексятых. Эта вжих выдалист, тот красидный баррень, запесал писню «Зоблумтые вулисы» её Баббуфф?

Она вывирает быть жежду шурчащими велкам'и бедрёз пиблоктаря дберезжащей пе'сне сэрен от ледио – смовно астен из мачтросов бронь-зову-кружевом и хертыумного Алисса. Когтакт она вышководит наркай идлиричес колипсолнежного лугар, отгрудо как tutto бы истончается демунзыка, укиё пленникартемает девхание от винта плючти мэфирческой грацоты.

Навзрычь на голотельце в оршержево-лифаммвую полюцку развлеглась роскрашная мало-тая вожделенщина, сладшая сапфодельфическую музюминку п облизлеженщему речному

транствистеру, – преемом на мейнет нищего, корме высторгого пудрика сначёлсом centa блорд и накладных лестъниц, декольторые тепечут привете Лючии, как голомур-рные тарантеллы.

– На-кону-каут, янус нала, что умилясть нудлика, перчём такая похо завуайерированная. Лезвлोलите присексть на балденце рембом и прецарица? Проститьк закуску и счизьки йк, но, поковырс небула, язиг орала в гординочестестве.

Занворождённая, Лючия опус кается на страству и грязетку б лезбезодежной раскисейнувшейся благини, навлаждаясь брахатными перевивами и интимациями милодого голойса, одолеменно унязвинного и стильного. Лючии кажчетсво, она резвичает под дамчатой финнифью лирларфскую наревность, и Лючия, обе чая динь-в-ушке, путается удзенжаться, штолбы не тараниться непросл-ушлым косным гланцом нас нежные стлоны тяжёных пер се, бубенчаные клубичками, – не гормоня уже о мчистой расмещлине нерестойно развилнутых мёдер.

– Я Влюбчая Джуйс, андантцевщица по перфекссии, и прошутк, не изминайтесь заварши интригные мехта и зоралвно первосхдобные морочные желе-sin, ве тья-мо жено скрасать беже личной скоромности знакама с-утразными жэндорфскими этилами, чтобы не оскалбляться взопром. Пошле того: мне дославляет сплюшное идолвокальствие расмастуривать вашиуповайнутые дареолания, и я буйабе разнецалована, лиши вы скрасть их снетьчас. Провали я, что вы петтица Драсти Свингдилд [\[147\]](#) – тасаемая, которвую я, при-видемокру, так влаждеяла на мрастурянии, когдевы стазис отсыренткой пленницы Свялого Гангрея в честьдержят сисьмом?

Эронично охмутив врови и придурившись желез павучьи присницы, не-зови-мисс-моя бандинка-шансвосне позленяет водной речке почути незбрежно овпасть на кунст черник журчавы волнос, окружающих йе-йё мокрытый и полеблѣдскивающий сондрук с соклиторищами, пока сочники пальцев расселинно оглянчивают вешнёвый саромоцвет, свюркающий в моллузкой чещуели гротан.

– ВоОбщёдро на псалмом дилеммоё псовдное нима – Мэрта
Изапреля Картин Бреданетт Об’рае: цвёлый шарад притеч, почим
стропам я, помнення мужих при бабе хнудых городителей, дальшна
пела посветувать. Маю май ть зналех Кей, ап роза-свищем актца
всетра было Об – это совращение от «О’Борей», аквы пантимимете,
ането’т «Оберуна» – божеста из класстишческих Шекстов.

Немение увлючённая соврративом женщины, чермнеё
нетроноплевой, благо-ухойнюх и эрекцризующей автор-
гэройтической симуляцией, Лючия фреш’ает в этот мажент встафьить
vloно.

– Мой па-па-па тужур был гиннезвестен под дразвищем. Винь –
баба Оба, а ян – Баббо, творажаясь аннаграмагически. ВФын –
Тасты, а иЛлючия; фаварьте перельём наТ, реально? И посвойте
предолжить полмочь в угоде за светло-сhèге’стной
принцесительницей вкушачьих у вас рет укрой? Облещаю, штани
посмещю её рвозбудить.

Класкаясь рыки Лючии и норовляя её к назнойчемне’тооп месцу,
трибадурша брызжелюбно подолжарит стонолог, пока алец
взгубораженной статшей хищины шале тв орошо увальёжной щёнке
рискowyс молокдой мледи – непоседлавые фалланги ойкумнаются
в отвестное солодостие.

– Сокласно перпети на Т рибка моя, и киным местоимеюям. А
радиолась я у Гдежвы-роюд в пропаснщую отвесну фрицать
девиантого, за несклоки месчутся дым ноца левойны. Нас
эякуировали дабего-данего, в Хэй-Выктомб, нов писятом, какдаме
пыло уйдин-наци’ть, мы викторнулись шить в Джент-Карденс, в
шИлинге. Натасказать, дыне промахт. Насколдо я магу суджинн, три
желамии волжны майтивсь силы-тили-место ещёгля оного пыльца.

Лючия с готовностью почди ня лица, стеклом встрепоминая
вульветовое отмирствие Мир’sin’ы Можно-с [\[148\]](#). Есть чётно
лилическое в гино-талиях товолше полна, в океланитческом прикусе
углубающихся лыб рысалки или ненасытырном парфемин сейльве
львиколерной горивы – плескай её предпрочтения побоищей масти

блаже к трочёным мраморным скуптарам какново-небать тёрдого и грешительного парниса, слывают бучаи, когт деЛюкчии хищеца пучеряться в сольдёных внутренийнустах дрогой жерлщины. Ана'рха бодрала вложной ладонис – слаженной, толчно пенистолет пмальцами у заигрывающегося мощчонки, – и ла скала вдаль и наперёк со всё нерестающим и нервност'ающим тампам, а беспристойная жлипкая мязыка солития смановеньтся всё холее привятной и гломкой с каждых жистом. Напушив безнравзличие, но уже смачиная взоо-блаждённо подлигрывать бёрд'ами, кисс Прыгфинт вельдёт бесследу как не в счёт не певала – слов'noel не макс-турборевут до ор-размах поснеди лесба; посети голуши.

– Афродители у мямня, присноюз, пилика ждий посолему неформален – ибо юсть, трутне-молураль сыгарла блудылка. Мно-мнэмнэ Que была очумила и либида посмесьчсья, нуаё пверетас-лением о раз-в-лечении было шыряться и ломать всяжесткие прэхнетбы. Вистер сфей мы белебирли фемало поскуды. Эдур привычку я забрало во взрслую ржизнь – басто про-сила грузей одложить мне эх фухнем'скую квартиллеру, когдав, тосказать, приподдатом или разгорячитёлнном остроении лихотела псих и псяхосомать. ЦВэтом не ймелось настоящей зелобы. Простолопсоб выпартить rus, прими'тый лепровью к вредализму спитившей нкашей малаши.

Лючия приостонавливает амурнипуляции и вонсит софю лепету в расковор.

– Отгажды я stone'ла kill'ик в-сеобстенную чмать, но вмирстесней вещали ниразумне бросталась. Похохоже, твоя макушка – бесьма людопытный психонаж; накакже твой Обтец? Антаг же опорносил тибет вдохование, как мнемойсь?

Тепели в хит-парадио транстикстинстора иглает очаредная па-па-пасня из сердца или кончидны щастьедетьсятых, и Лючия вспаланимает из причиторнной прейссет, чтотем залепистал курсивый мачок из Некисла, бпевший ушастик «Анимас»: «Это дам, кострашый построшил Дед, джекка, и он дуст арёт дон невест» [\[149\]](#).

Из-затёкста ноуме появляються могсли о непирятном Джуке Свине и. о. Визьямы ВытиГалле – раздирателе сумасженшин в больвлище Гея. Гомая шармсуфле пляжмает почами и канчает мариком-«Бэбилоном» с выжурением крайсного у’плотьомления.

– Шоуш, биз-за гамбиций хОба я и старала пев-зицей. Обн Обыквально Обижвал в Обменя Обмазыкальный Обслуг и Общувство Обритма, когда нольно вокалотил пару кхе с коштым задаром мэтролома – обозже заялгал, шансэной жестактости вотче не било. Витемно, это всюжет собраьетло. В дивятанцать летя вступела в «ЗастреЛана», мимы в’апостили торт шлюхер просимь движчонок на за днем сигарнье, пиканторые о божи мяу циц и цмелуются с Фрейдом.^[150] Вскорпеосле этило я обесцмертила голосы и имянила сымя – сМори наПасти, с А’Рбайтен на Зингфрей: это принцдумал мастерший бард Тэм – ст-ранее Дионис, – чтоблестать п’опыляйными. Семейне знаю, защемон это придлумал, но соглакшмилась.^[151] М-м-муа, Гоже, Афыне моглабля девгаться быстрел?

ЗВенерая наследка затёкшее за плястье, Лючия пятняица услучжить, удаивая скоросту посветуваятельных порнитираций и литирад. Явстванам дбемвольная, девианшка пробнажает исторгию «О» сексбе – пусь танине и предыхается вздох’мама и смушками насваждения.

– Внирвыне я вэструдила солёно в сантембре жальднелъсят встретить-его – вместистенток даже впирые встурби’love скрастный сольюз с дродной длевушкой. Подарленная сексреальность к этомимиминту уже Медлено Былла раздрагревающим зёвом, клиторому я не маугла протелиться. Моя лезовница пыла шуткой и секзотечной, как вытуманный БлюМинкисцентный перси’мажь из некромана; как шгубки из гоблумкой нотки ^[152]. На снедающий глод я выпестола свой первоцхит – «Яхонт чуток обидь сдобой» ^[153], – икона я зотупела, тю льпела полька о днейонойч. Её коша на ощипь клизалась роскожным барахтом – смольным как чёрт, – потомуа

вообрызжала, что цырую заму нуашь. Чтревоже удиверсительного, что я отрезвилась наотказ выступапти выЮчной Афиге в гады с'негрегадции? Ю но на меняю уджазно дьявила то, что психодилось шизтворяться, бунтом не нранятся мальчикиты, предворятъвсех фем-то друггей. Я вполдамы в парническое постояние и дисперссию, а bon-ton бризаптно облучился всрыв, во вредмне гетерого я кручина ломебель и даже посранилась, и вид окей ночуть тина сздезь, в тощебице Съедово Худиея. Кстыди, что скачешь на щёлк срамного вздоброго «шсесть на деве'ть»? Я беже ла-ла, пхоть и так позно, возлиздать ебе задор, что ты зделаскла дременя. И дико мне.

Оже-дамая, что ношлая подрыга никота обетом не попрочит, Лючия визгдаёт, пужалый, чверещур млекующий пик сограция и рапсодлагается ницом ввенх на пихоДельвическом плублично-альписюновом палотельце, на шеесь, что ротзкушная блудинка пой-мёд намок. Тервенеем предудущий гомер по рацио сметил кучередной шлягет еры шнайтигдевзяхтох – удовольно вселёный мактив, гитарый исблондяла канаря-то обмальчиковая глуппа – а имянно бай-бэд «Манер Франт». Потрешительно заграндрочно тошто арто ощередная пенисня о псикошке с ожеребной остылкой к вульдьявильному зверийному упыйце – фольклиричному злоцидею из Вночепела: «Минус овульт Джек и я жатву задармом Грудды Горбом...» [\[154\]](#)

Соску наделелась Лючия, обнаружённый попи-дал смиляет спасибцию и всладёт на четвареньи над люцом Личии, аэрё мяркий светок нужных глуп ивалется настольжи нижные глумбы, пока самоаналь пламещает гол нову женжду развиденых ночек Лючии, а тау спешно затирает халант, Иштаб обажить своюблудную от Маннталонов и лишнего билья Пенисрину нору – и тамгейзер кудрыжей расточительности; гордящего золёта. Лючия острожоно высосывает языщёк, чтобес кольнуть им в аморатные схлюпки, лижашие налиться, и всостезэтим сама бювствует шаркое кохание превички на собчувственном хлобке, красание лингамного винструймента её вохлюпленной, заденьваущемо и втолкающегося

вза мшистый и скелътзкий gratto. Score'o они тычно спестаются втвоём в маслаждении, в конрчащегося Орал-боралса в заи много уполдотворения, упмиваясь вкурсом и пироматом жинстинности, впляская пальтцы в любмые достуйные ответствия.

Взвиски висторга и эйфеерии Лю-чили пудаветны или приглашены, путамуж тарот на бис аплокомствами её полного партера. Вздрогона ослэзнаёт, наскок оэта шаменательное вединение. ХрОно семьялизирует цомент, клейда мятежратуйные неорастрконченные трудиции Жжёна Бедьяка, Вихрема Бей-ка, ДжонГлёра и, коНСЕчно, её совественного лоцма векстартично свились с самоотроческой пуп-культурой шелестисадых, справились в психоделиклектическом, маргинческом тригеле секс'спирит-тайными нулятивами нестерВильна Сюрбарда Боро-«за» и кэролирическими текстскунстиями в бЛьюиссмесленную полезию тонких испленителей, кафк Леннин, Маккарти и их бодрожатели – врот детейх, что сличась дельут глютки по трабсурдсторному кладио, Пака-Панируя их кунилингвистическим др агдильвностям.

Разговенивая сдабни тортом, онархсмертивает передёрнутый михрь лужайбицы дня умиличёрных, переставший Иичюл с штучки звения межура скрытых наглю бойницы-tresbien'ки. Так – верно гамия, в обромлении раскосшных бутер и ягод идц, – Очия видиот морщину, какторый кактивця пополь яне инастранном пеняфактике, с Портмериянным и интелагентным ленцом – пакинъ-то эй знаковым. Наним сильный блазер с лазаурмной оконцовкой и нимярованный знащёлк на ласкане, бегудеря коВторому Лючию и осеменяет, чтаорто некто иной, хак Плентрюк Магвоин – заключательный агентёр, что проковёл гремя в Бонднице Свяznego Андрейка в карнце Шестойздеседых, какт астра'дал от блицтупов. Она шпионятия не линеет, белл-етро доили постне его самозвамени той теневерсионной прогриммы, и патому не значит, чамбала пруютяная и ком фортная тюръмевня в том сужете – востамизнанием или притчужтвием газённой вержлиности и зелёного сук на плотских лючаек калечебной монстритуции.^[155]

Мироходом он пьялится на переплетийных кошенцин и информально подмигривает. «Удевимся!», – шумтит Первик, артивая модну пруху отруляя странного теастрального са'людус, как доскла деваэт вм естет блажой и укасательный пульцы в ви деформы шифры цвествь и дотрачиваясь бо лда. Он негдет идальгше и скрышается извнеду, а чэроз нерокоторое вымя, пронедёльнное зане устанной рапотой над кисклой сладкрисы и шо-увулен, Лючия суди веянием наблиндауж, как по прыгалу задворно скащет ко'лихающийся бедлый жар, словло в погроне за успешавшим ектором, кряким-то образзаразом издирая Рёвер, как духастерическое чудовольище... и лиже, возвучжно, сей vorpa'ль при над лежит Лючи-би с порнёршей, когда они одоверенно достекают культурминации – писка в дур-манящей востреженной антросфлёре Джойстой'но упорхи; радостойного места.

Секстонщённые, но полостью уднаветресённые дивдушки расплястаются, чтюльпы перукротить дикхание и плмакнуть свои погородки, содержанро умиранные, чмок в соёзм эякульминационном и восторгазменном змеинстве доебились симвилиоза савант-гарна и секскренного поп'allure'ного искушства – облизательное совракупельние во влаго клитуры и чевульвечества в целуй.

ВАниль эх-коллабзаются, собпивая снобценные выноделяя на други губ губа, а Понтом облениваются Сапфосными копулянтами о мастеатрстве в кумулонимбусе. Подтянюх гюбки, чтоб искрыть у'либкие бодра, Лючия опресняет, штаё ажитают в глифвном к'опусе соборницы к чаю-приди-уои в меццной кантине-уме, и спрачивает у нагвой пурпуги она-в-правлении к имплездним перделам сумадешевых годо, вснедь зра чем Дозьти Шприцвинт суднолоцмием укурсывает правбуйный путчь, а з'же-тем проститруется на жемоте и праздолежает баклушивание своего переносного причёмникто.

Плодороге нежду детеньями, одарёнными павлогими священными легчами, лона вещь слыжить гдни-те позаби игрусьтра нсистерного

ради «Ох» – покаяньей мире, фейтаг мир вещится. Сento похоче на-на первы «Бунтлз» – дедь сэмные, штатах биязлись зезднавшиесе и полосто-душные амуницарцы, и весё по тнейпристой приличине, что вертом треске вскройзь упонимается, ханжется, плоХайдя дичонка, когторая «спускает трусы». «Я множ» – Токвильд онанизмывается, этап ясня? За балдлеском впблюр'edit счачачас проглудивают кСалемнные здравия лишебницы – тонч отаркие, каклимит ихора отставила эти мутром, отчаяв в кадуссею, хтётя стой споры кабунто минавалам не смерьше чержись. Шаржется, цепперьина паже разливсчаем Беатрицию, встрепвожженно в происках подеспечной озорающую глазоны и янво годамищуё, кадапр опала Лючия. Та нервного усторяет жаг.

Пьючая поп-вечному у-love'ливает пасню за писной, но у жене уревена, ту льпи. Милодия искажется кругой, ка кислова – точле посно рокнролки, – хотяЛючия плоддозревает, чтонна самоделье слышифр во все недра-подильнный стикст. Скорнее в село, она переливодит да лёхкий и навятный трюкст на сволнзвенный, непомятный язрек – как и всё отцальное.

Джон склэречником поехал:

Мол, он королевы

Папа, хоть сам он рабочий класс; ушел в загул

И ум за разум повернул.

Себе выдумал жену

И ел траву

В пути домой, назад.

Безумеется, это нервизумительная бара'макабра, слепетнная из
бесязных алогов и лючённая вся чиского смызла, – назадо эйф перёт
и навится эта завевающая музакат.

Люси влючно пляшет в речи

Делит мрамор-сэндвич

С Финнеганом в Кингсторпе, во сне и наяву.

И омтцза образм помярну.

Косоглазый оптимист,

Ждёт чистый лист –

Последний наш парад.

Ходя она снает, что этолкакой-тротип галльюнцитаций и
ш'лезофонии, всё ревно немо жжет недуг мать, что предыгуший
купес плетни пылоней. Выхотит пластиэнка извне проклядных
заразлей на зероные га-зоны любольницы Сехэппи Эндрея кИкаруз

уловно вник, коррекда брідумый и пасходелирический гимен
перегудит к премиазчивому приперву.

И ждёт бога долгий Год – о, так чиста в душе.

Буквы алфавита льются из её ушей,

И слова заключны,

И фразы все облючны

Тем светом, что сияет

Последний наш парад.

Секст вящце-вотум внизывмлеет в мусолях Сценумира Вблескета
– Годо'рай, надевица она, чуже скромно прильндёт её наместить. Он
белей верчным дрёмгом, её Сон, – и он не вино ватикапли, что не
мужестать член-то больжених. Она шиграет полямико и лугамии,
когда укасающая капельсняя слова цепляшется заслугх на love'нах
парневестого весть-Ра.

Арнольд пьян, малкельмко шаток,

Его Тэм О'Шантер

Гонится полками Богименов в темноту

И в мерзаразум повергнутл.

Он Заключён был в бар,

Средь пьяных харь

И сладких серенад.

Её сигилка Патерция, сторящая у вереи в комату отдрыха, теперевод ид Лючию и традоцно маршет, довойная, что стой весёхорожон. Лючия ночнезнает идтечь быстремне, потомн сречается на бекк. Она кручет и скажит в восторгий, елѣй дленная трень л'ожиться на трильярдное стукно глязвона ошибьицы. Лючередной словный кдѣнѣдк на солночном смерте; и вся ж из неё жага-дочным добразом сладывается из радения в паупирном труддоме, с крлассвой строги, – в надтропие на Джимструпском клубище, дочку вк отце. Каждый – как снижный шармик с ценой веселенной, застихшей в пот, – причтѣм плуной мифактазий, любинатуры и истореѣ, – и каждинь-день Панхож на сведующий. Она скореке спежит к Паладам сонатория, к джойсождарным опьятым отцеана.

Даста – кумная лингвистка,

Джем – мизогимистик, но в ночи танцует с ней –

мЭначэ с кэм, Джей Кей? [\[156\]](#)

И к миру сразу поэт льнул.

Охрип, как шум, сигнал –

Всех зазывал

В последний наш парад.

Царница будья иво прощение спета, Лючия дружит в станце на
творянистых слогах.

И ждём годо долгий Бог – о, так чисты в Душе.

Буквы алфавита у нас льются из ушей

И весь покой оставлен

Ряд коек не заправлен –

Идём сквозь тёмный вечер

В последний наш парад.

Царница будья иво прощение спета, Лючия дружит в станце на
творянистых слогах вездень на полет, во реки влеков.

Горящее золото

С тлеющей бородой, слепой от слез смеха, Роман хватает Дина за руку и тащит из трещащих яслей, от объятых огнем улочек. На свежем воздухе, выхватывая хихикающий поцелуй из-за переливающейся едко-серой пленки, Роман чувствует запах потенциальной кремации налички, которой уже никогда не расплатятся, дорогую вонь, разбавленную и развеянную в небосводе трущоб, в тупиковой субботе, нищем полудне. В его сморщенной обезьяньей голове еще стоит та большая картина: великаны в ночных рубашках вышибают друг из друга дурь сияющими бильярдными киями, от кровавых ударов плещет расплавленными брызгами драгоценная юшка руды. Для Рома Томпсона, который сосетя со своим любовником в чаду и переполохе момента, в этот особый миг его добровольной и невероятной пролетарской истории, в Боро и их вечном святом огне бедности, жестокий и неземной образ не более чем отражает реальную жизнь, ведь жизнь – это ярость, кии и истекающие богатством колоссальные бойцы. Скраденные поцелуи на погребальном костре искусства – эрзац-валюты, сгнувшей в дыму здесь, где когда-то стоял монетный двор, где больше тысячи лет назад чеканили деньги. За плывущей пороховой завесой стоит Левеллер Томпсон, лобызающий молодого человека, – потрескавшийся, клееный-переклееный набор потраченных часов, превратных слов и пропащих дел: целая мозаика моментов.

Пока остальные восьми- и девятилетки учатся читать и писать, он под скрип черепиц и под звездным светом учится воровать. Вырезанный паучий силуэт на черной бумаге неба 50-х, на скосах и шорохе ночных крыш, он получал образование и по политике, и по

социоэкономике: на тупом экономическом конце фомки, на фискальном инфракрасном свете. Карабкаясь по ржавым стокам, слишком хрупким, чтобы выдержать чей-то еще вес, ныряя головой вперед в щели приоткрытых окон, что не преодолел бы никто с лишней унцией мяса на костях из плавкой проволоки, он запоминает, на чем стоит мир, в котором он совсем недавно родился, – мир стоит на преступности, выраженной на разных языках, в разных масштабах. Здесь – взлом окна на крыше склада, там – регулирование нормы процента или вторжение в соседнее государство. Насильственное поглощение – или липкая черная лента на стекле, чтобы китайские колокольчики стекла не просыпались, когда его выбьешь. Маленький Роман Томпсон и демагоги в зале директоров – все в великом бесклассовом единстве адреналиновых наркоманов. Сунуть газетный лист под дверь, чтобы вытянуть ключ, вытолкнутый из замочной скважины, – или размазать халатные растраты на отчеты следующего квартала. Роман работает с ребятами постарше, полупрофессионалами, делит добычу, слышит познавательные шутки про секс за несколько лет до своих сверстников. Его никто не поймают, он уйдет ото всех. Он пряничный человечек.

Как следствие, он не умеет писать, думает, что синтаксис – это когда на презервативы повышают налог, а фразеологию иногда прищемляет ширинкой. Когда власти, которых он раздражил, пытаются отыгаться и заклеить его бойфренда с ОКС источником опасности для окружающих, Роман говорит, что они считают Дина его «геркулесовой пятой». Зато он читает – хищно грызет любой гранит истории и политики, до которого дотягивается своей костлявой лапшей, пытается сориентироваться в социоэкономическом континууме. То есть не умеет писать, не считая редких исторических статей или лукаво язвительных памфлетов

«Защитим муниципальное жилье», но читать умеет. Умеет добыть информацию из электронных или бумажных залежей, умеет рассовать по карманам воровского мозга и расставить по полочкам низменные интриги. Умеет читать – и умеет говорить, говорить складно, как адский лицитатор, представляя жильцов на собраниях управы Боро, задавать самые неудобные вопросы, разглашать самые негласные секреты, называть суку сукой. Он потерял счет случаям, когда его удаляли из Гилдхолла и он с усмешкой спускался по ступеням со свадебных фотографий и щурился на ангела на крыше, которого его подруга Альма называет представителем рабочего класса, потому что у него бильярдный кий в правой руке. Роман помнит Вудворда и помнит Бернштейна, знает, что надо следовать за деньгами, поджидает в лежке на денежных тропах.

Насколько понимает Роман, изначально древние бритты, основавшие поселения в этих землях, жили по бартерной системе. Поэтому самое простое ограбление или скотокрадство – отличный вариант для протопреступников неолитического периода и бронзового века, когда больше уважали частную собственность в отличие от кочующих охотников и собирателей прошлого каменного века и когда, следовательно, было что воровать. Но в сравнении это все – мелкая кража, а крупным финансовым преступлениям придется подождать до рождения концепции финансов, подождать, пока в первом веке не появится империя – тезка Романа – и не познакомит нас с бесконечно манипулятивной идеей денег: золотыми и серебряными монетами, которые символизируют мешок зерна, фыркающего быка – вплоть до последнего волоска, смешной крупички, – но с которыми легче сбежать и спрятаться. Во время римского ига, когда всех приучили, что во вроде бы, на поверхности, честной сделке вот столько-то уток стоят вот столько-то золота, Нортгемптон железного века знакомится и с монетами, и с

серьезными правонарушениями: в Дастане, подмешивая в серебро дешевые металлы, подделывают римские монеты – преступление, наказуемое распятием. Ирония железного века – поиздержавшаяся империя подделывала собственные деньги по меньшей мере с правления Диоклетиана: то же преступление, только на международном, а не местном уровне, и все благодаря деньгам. Пойди подделай корову.

Сразу после номинально школьных лет он закатывает рукава и лезет под капот мира, чтобы разобраться в его механизмах, и в итоге оказывается старшим инженером в «Бритиш Тимкен», тогда обеспечивающей пол городской занятости. Оттуда рукой подать до ключевого представителя профсоюза – его лик терьера щерится на каждых дебатах, на каждом пикете, голубые глаза цвета фитиля неустанно выискивают крысиный аргумент, чтобы тряхнуть его в зубах. В любой из ролей – и промасленного профессионала, и ярко-красного политика – главное преимущество Рома – понимание, как все работает, от станков до советов и сообществ, от заклинившей машины до менеджмента. Второй его большой плюс – репутация: дьявольски логичный, цепкий до уровня столбняка, стоит раз сомкнуть челюсти, непредсказуемый, как сны от переедания, и совершенно бесстрашный после воровского детства, безумнее, чем полная окон бутылка. В стычках с полицией и демонстрациях 1960-х это его слюна брызжет из мегафонов, а в антинацистские 1970-е это он прорывает заградительный кордон и умудряется врезать телохранителю лидера Национального фронта рядом с самим Мартином Уэбстером, пока его не уволок и не предъявили обвинение. Вокруг него витает пороховая атмосфера, парфюм Гражданской войны и цареубийства. Фарфоровые глаза под неопрятной челкой искрятся в паутинистых от морщин глазницах – всегда в курсе, всегда на деньгах.

Когда римские легионы отступили, мы остались с зависимостью от денег. После разгона седьмого века по всей стране в небольших монетных артелях чеканят для местной валюты золотые и серебряные монеты. По мнению Томпсона, самое известное такое учреждение – наверняка в Кентербери, хотя и в Гамтуне выпускают золотые монеты с датой 600 от рождества Христова, а значит, они одни из первых произведенных в Британии. А когда Роман говорит «Гамтун», имеет в виду Боро. Возможно, благодаря этой ранней смекалке у нас здесь с 650-х и далее неофициальный монетный двор и изливает поток блеска в затянувшуюся ночь Темных веков – золотой дождь. Между тем незамеченное в окружающем информационном блэкауте дикое поселение шириной в полмили таинственным образом обретает значение и значимость: рыночный город короля Оффы обеспечивает его поместье в Кингсторпе – здесь, в центре Мерсии, когда Мерсия – самое важное из саксонских королевств. Как думает Ром Томпсон, даже возможно, что таинственную репутацию Гамтуна как центра земли помогает зацементировать тот пилигрим, который принес каменный крест из Иерусалима, – но, так или иначе, именно на этой земле в 880-х король Альфред, неумелый пекарь [\[157\]](#), нарезает пирог страны на ломти, добавив «Север» – North – к прозванию города и нарекая «Норан» первейшим из широв, чем узаконил здешний двухсотлетний монетный двор и признал его статус. Предрешил сургучом его судьбу.

Роман не одержим деньгами. Нечем быть одержимым – но просто нужно знать, как работают деньги, чтобы понимать их неизбежную вторую половину – то есть бедность. Эти две вещи неотделимы.

Джон Рескин заявляет, что если бы ресурсы распределялись равно, то не было бы ни бедности, ни богатства. Таким образом, чтобы кто-то стал богатым, кто-то другой должен стать бедным. А чтобы кто-то стал очень богатым, обнищать может целое население. Бедность – аверс денег, обратная сторона монеты. Ром хочет перебрать этот грязный мотор и уяснить микрокомпромиссы тяжелых времен. Он знает, что лично его тяжелые времена начинались не из-за денег, а из-за того, как он пил без продыха до сердечного приступа, а иногда из-за ненормального поведения. Он виновен, несет ответственность – он и сам все это знает, – и иногда чувствует черный укол боли, когда думает о Шэрон, их обреченном браке, его разрушенной семье. Он просто констатирует, что люди с хаотичным прошлым часто оказываются предрасположены к алкоголю и хаосу и что уровень хаоса повышается, когда уровень финансов падает. Это не оправдание; это пример жизни в бедном районе, где больше возможности навредить, больше шансов, что от забуксовавшего брака отвалятся колеса, что случатся скверные аварии. Новобранцы, напрашивающиеся на драку в подвальном баре у пропавшей Лесной улицы. Куча шлака, рухнувшая на него во дворе Пола Бейкера, когда он ползал в грязи в поисках пары шиллингов за эдвардианскую тару.

В детстве Ром думает, что короля, о котором он слышал, зовут «Альвред Великий» потому, что этот вредитель спалил-таки сконы, и только потом узнает про раздел широв и по сути, превращении Гамтуна в столицу, а также официальном учреждении монетного двора в Лондоне (одного из дюжин) в 886 году и всем прочем. Короли пытаются урегулировать множество региональных экономик, или так уж кажется Томпсону, но с этим мало кому везет, пока не появляется Эдгар Миролюбивый, чтобы в свой последний год на троне, 973-й н. э., реформировать монетную политику и установить национальный стандарт, выпускавшийся на сорока королевских

чеканных дворах, одним из которых стал Гамтун. В этот год впервые появляются пенни с «ГАМТ» на реверсе – по букве в каждой четверти так называемого длинного креста, чьи концы тянутся к отбитым краям монеты. К правлению Этельреда Второго, начавшегося в 978 году, устраиваются дополнительные монетные дворы, чтобы справиться с лишениями после набегов викингов, к которым король отнесся так легендарно неразумно [\[158\]](#), и к правлению Гарольда Второго перед норманнским завоеванием их уже по меньшей мере семьдесят, крупнейший – в Лондоне. После 1066-го Уильям Бастард меняет все. Монетные дворы постепенно уменьшаются в числе, контроль над деньгами централизуется, унаследованная расплывающаяся саксонская система рационализируется. Бесправный нортгемптонский двор доживает до тринадцатого века. Пока не приходит Генрих Третий и не наступает ему на горло латным сапогом.

Упавший на него оползающий пятидесятилетний холм золы и клинкера, инцидент с пьяными солдатами: все это только малая часть пламени, в которое он облачен, безумные обломки обстоятельств, которые делают его тем, кто он есть; которые в итоге раздирают его жизнь с Шэрон и детьми. Он копается в поисках старых каменных бутылок, когда вдруг на хлипкую спину рушится кулак полувекового черного, обугленного говна города и выбивает драгоценный воздух из легких. Пыль в глазах, пыль в зубах и достаточно времени на последнюю мысль: так вот чем все для нас кончается, – когда кореш Тед Трипп хватает его за спички-лодыжки и с матюками вытаскивает из обвала, как морковку Туретта на свет божий двора Пола Бейкера, как раз под вой сирен полицейских машин. Ром должен Теду до гроба, так что когда впоследствии на схрон Теда с товарами сомнительного происхождения устраивают облаву, а офицеры при исполнении забывают запереть за собой

помещение, Роман забирает вещдоки и предоставляет Теду выписывать претензии, чтобы рассерженные копы возмещали утрату содержимого схрона. Долг оплачен – а значит, Рому можно свободно угнать машину Теда в том случае с бухими и борзыми армейцами: случай страшного и апокалиптического возмездия Романа; его подработка на должности ангела-мстителя. Ему кажется, что кому-то ведь надо, так сказать, следить за моральным гроссбухом. У сердца не может быть черной бухгалтерии, так что нужно время от времени подводить баланс.

Хотя Нортгемптон, конечно, потерял сиятельный лоск после золотых времен Альфреда Великого, все-таки еще двести лет после завоевания здесь важный центральный стержень страны, и все еще с монетным двором. По всем свидетельствам, это процветающий и прелестный рыночный городок, с тех пор как Дик Львиное Сердце выдал ему хартию где-то в 1180-х. Сапожники и кожники по всей улице Алого Колодца и старая Гильхальда – изначальная городская ратуша на Мэйорхолд, где проводили Портимут ди Норан, хотя сегодня никто даже не знает, что бы это могло быть. Что-то про межевание. Сперва Генриха Третьего как будто покоряет это место, и он хочет учредить в городе университет, пока ему не выпадает случай познать вспыльчивый и необычный дух древнего поселения. Бакалери ди Норан – строптивые студенты – протестуют против введения Генрихом управы из сорока восьми человек – то же самое число ублюдков, с которыми Ром Томпсон теперь бодается каждую неделю, – что набивают собственные карманы прибылью города. Генрих решает, что все-таки не в восторге от округа, и насылает войска через стену старого клюнийского приората, где теперь дорога Святого Андрея. Они грабят, насилуют и жгут, пока от Нортгемптона не остается уродливая дымящаяся развалина. А когда Роман говорит «Нортгемптон», имеет в виду Боро. Обещанный

Генрихом университет оказывается в Кембридже, а со смертью Генриха в 1272-м отнимают и монетный двор.

Его репутация человека, который всегда приносит возмездие, хоть людям, хоть организациям, значит, что любой, кто о нем слышал, знает, что с Романом лучше не связываться. Но, получается, остаются те, кто о нем еще не слышал. Он заходит пропустить кружечку в подвальный бар снаружи «Гросвенор-центра», рядом с бывшей Лесной улицей. А там полдюжины девятнадцати- и двадцатилетних солдат из какого-то лагеря под Нортгемптоном, разошлись в зале, расталкивая завсегдатаев. Когда Ром просит одного из этих новоявленных круглоголовых смотреть, куда идет, вызывает себе на голову всю банду, в которой так и плещут водочные смузи и тестостерон. «Да? А че ты нам сделаешь-то, Кэтвизл [\[159\]](#)?» Шесть защитников родины выступают во всей красе против сорокалетнего дохляка. Роман поднимает руки. «Простите, парни. Очевидно, я ошибся пабом. Допью пинту и пойду». Он оставляет их догуливать ночь в увале, так и не ответив, не сказав, че он сделает-то. Никогда не переходит дорогу тому, в ком нет ни слабости, ни страха. Как он рассказывает Альме, пока вальяжно разлегся посреди пылающего костра на пикнике в Уэльсе: «Тут весь фокус в воле, Альма, правильно?» Она затягивается косячком и задумывается, пока он начинает подгорать. «Ага. Ну, в воле и возгораемости». Его приходится вытаскивать из огня и колотить, но Роману кажется, что он подкрепил слова делом. Если уж он что-то решил, то можно ставить деньги, что он это сделает.

Как и Англия после 1272-го, когда умирает Генрих. Количество монетных дворов уменьшается до шести – не включая бунтарский

Нортгемптон, – а главный с 1279-го и далее – в Лондонском Тауэре, где и будет находиться следующие пятьсот лет: единственное заведение на селе к 1500-му – монополия. Нортгемптон – уже далеко не де-факто столица короля Альфреда – на пути к забвению. Роман не думает, что это из-за того, что город не важен – важен-важен, но только при этом токсичен для интересов властей, выдает на-гора то Доддриджей, то Херевордов, то Чарли Брэдлоу, то агитаторов времен Гражданской войны, то Мартинов Марпрелатов, то пороховых заговорщиков, то Бакалери ди Норан, а то Диан Спенсер. В лучшем случае – позорище, в худшем – бунты или головы на кольях. Возможно, Нортгемптон стал столицей-антиматерией, мятежной параллельной вселенной, о которой не говорят в приличном обществе. Хотя очевидно, что иначе кончиться не могло, Роман винит во всем Генриха Третьего – даже в лучшие времена злопамятного гондона. А его сынок Эдвард еще хуже. В 1277 году триста человек из еврейского населения, кучкующегося у Золотой улицы, казнили – забили камнями, как слышал Ром, по обвинению в отрезании гладких краев старых монет, чтобы расплавить и сделать новые монеты. А на самом деле власти просто торчат евреям кучу денег. Сперва выживших выдворяют из города, а затем всех евреев поголовно изгоняют из страны, жестоко уходя от оплаты долга и оправдывая слово «план» в Плантагенетах.

Весь фокус в воле и возгораемости – так говорит Альма, и Роману кажется, что она права. Огонь воли и дух обязательны, но бесполезны, если твой порох отсырел или прогорает мгновенно. Фокус в том, как ты горишь. Он помнит, как Альма рассказывала, что однажды у нее дома на Восточном Парковом проезде гостили Джимми Коти и Билл Драммонд из группы KLF, показывали клип, как они подпалили лимон фунтов на острове Джура, где Джордж Оруэлл дописывал «1984». Она говорит, ей нравятся фильмы, где на

экране видишь каждый пенни из бюджета, но Роман сперва не понял, что почувствовал в связи с тем, как пустили на ветер потенциально спасительные барыши. И все же, как отметила Альма, если бы они этот миллион занюхали, никто бы и слова не сказал. В конце концов Роман приходит к выводу, что это великолепно – это не просто жест. Сожгли не просто бабло, а саму идею денег. Заявили, что золотой дракон, который нас поработил, который позволяет крохотному проценту мирового населения владеть почти всем богатством, который обеспечивает почти универсальную человеческую бедность одним своим существованием, на самом деле не существует, сделан из никчемной бумаги, с ним можно расправиться всего лишь половиной коробка «Свон Вестас». Драммонд – нортгемптонской породы, громадный шотландец из Корби, который ходит здесь в художественную школу и какое-то время работает в дурдоме Святого Криспина. Рому нравится, что на рок-боге – ренегате очевидно тавро города: горящее, праведное и древнее.

Вот вам деньги с местной точки зрения, наперстки с эволюционирующими правилами, долгая афера, которая оттачивалась веками; достигла пика хищнического коварства. Глядя на сотню лет после норманнского завоевания, когда число монетных дворов идет на убыль, а производство валюты централизуется и берется в узду, Роман видит то препятствие, что по-прежнему остается перед жадными до денег королями. Наличка пока что слишком реальная, слишком физическая. Заставить планету поверить, что диски из драгоценных металлов означают урожай или скот, – уже невероятное достижение, но чеканные монеты с гладкими ребрами все еще уязвимы для отрезания, а с материальными золотом и серебром не так просто манипулировать и хитрить, чем с тем, чего вообще практически нет. И в двенадцатом

или тринадцатом веке рыцари-тамплиеры, собирающиеся в круглой церкви на Овечьей улице и собирающие дань с местных предприятий в ходе духовного рэкета, выдвигают идею международного векселя или почтового перевода. Они изобретают чек – придумывают бумажные деньги задолго до 1476 года, когда первый английский печатный станок Уильяма Какстона делает возможными банкноты, как раз вовремя, чтобы монетный двор в Лондонском Тауэре в 1500-м стал монополистом по их производству. Учитывая, сколько вреда наделало фискальное оригами тамплиеров, Рому кажется даже обидным, что истребили их только из-за того, что Папа Климентий объявил их геями – двое мужчин на одном коне, вся эта католическая хрень.

Собственное прозрение Романа приходит с инфарктом, отмечающим его пятидесятый день рождения. Примерно в тот же период существования, когда он спит в кострах, когда заряжающая его мания фосфоресцирует сильнее всего. Его поведение в это время уже почти разрушило семью, так что он всю ночь сидит дома один, когда левую руку пронзает молния. Он лежит на спине в темной гостиной и не может пошевелиться. Некого позвать на помощь, и Роман знает, что это конец. Он умрет, и через пару дней его накроет гора грязи, как в тот раз на дворе Пола Бейкера, только в этот раз Теду Триппу его не вытащить. Навечно под грязью, когда осталось еще столько дел. В течение долгих часов в сумерках между жизнью и смертью Роман пересматривает все свои годы и в ужасе обнаруживает, что его главный страх – откинуть копыта до того, как он наберется смелости признаться всем – включая себя, – что он гомосексуал. Столько лет он гордился, что ни перед чем не отступал – ни перед полицией, ни перед начальством, ни перед теми пьяными солдафонами, ни даже перед огненной стихией, – и теперь видит, что трусил перед самым большим и самым немужественным

испытанием. Роман принимает решение, что если по счастливой случайности выживет, то устроит гейский загул и расскажет об этом всем. Так оно и происходит – хотя он не ожидал любви. Не ожидал Дина, с которым они отныне вдвоем странствуют на одном коне.

Геи те рыцари-тамплиеры или нет, но они явно не первые, кто придумал бумажные деньги – Роману кажется, он припоминает что-то про купюры в Китае седьмого века, – зато точно первые, кто познакомил с этой концепцией Запад. Конечно, настоящую печатную английскую капусту еще не встретишь до самого девятнадцатого века, но уже видно, что в Лондонском Тауэре в 1500 году идея пришла к монетному двору. Банкиры-ювелиры шестнадцатого столетия выпускают такие квитанции под названием «running cash notes» – депозитные квитанции, которые выписывали вручную и обещали обналичивать для просителя при предъявлении. Даже несмотря на станок Какстона, из-за невозможности печатать деньги с защитой от подделки всю бумажную валюту Англии как минимум частично будут карябать на бумаге еще триста лет, а то и больше. Концепция бумаги набирает обороты, когда в 1694 году учреждают Банк Англии, а он тут же начинает собирать средства на войну Уильяма Третьего с Францией с помощью выпуска банкнот на особом бланке, где кассир указывал сумму в фунтах, шиллингах и пенсах и ставил роспись. В тот же год канцлером казначейства становится Чарльз Монтегю, позже граф Галифакса. Два года спустя в поисках нового смотрителя монетного двора он предлагает вакансию – «Оплата пять или шесть сотен фунтов в год и требует не больше призрения, чем вы в силах уделить» – пятидесятипятилетнему человеку, прежде обойденному вниманием властей: Исааку Ньютону.

Роман рассказывает Берту Рейгану, Теду Триппу и остальным, что отныне самый грозный и почетный член их внушительных рядов официально пересаживается на другой автобус. Очаровательно: несмотря на гомофобную репутацию рабочего класса, они всего лишь стебуются точно так же, как если бы он признался, что наполовину ирландец или страдает от рака лица, смешно перекосившего рожу, а потом продолжают общение как ни в чем не бывало. С Дином они обращаются уважительно, несмотря на то, что из-за импульсов обсессивно-компульсивного расстройства он оказывается на том конце гомосексуального спектра, что обозначается словами: «О-о, вы только гляньте на этого чудилу». Тед Трипп спрашивает Рома, кто у них там лошадка, а кто жокей, и тот терпеливо объясняет, что дело не столько в сексе, как можно подумать, сколько в любви. Тед еще откалывает пару сортирных шуток, но вообще он мужик понимающий – всегда был рядом, когда Ром в нем нуждался, и отдаст Рому все, особенно если не спрашивать разрешения. В ночь, когда Ром выходит из подвального бара со все еще звенящими в ушах армейскими издевками, он марширует напрямик в «Черный лев» на улице Святого Эгидия и там в пабе, печально известном своим призрачным населением, находит в передней комнате Теда Триппа за коном в брэг с тучным трубадуром Томом Холлом и владельцем свалки Кудрявым Беллом. Ром садится с Тедом и пару минут болтает ни о чем, пока Тед увлечен игрой, затем встает и уходит. Тед едва ли замечает, что Ром вообще приходил, – не говоря уже о том, что ключей от машины, которые должны лежать на столе рядом с его кисетом, уже нет.

Но все-таки этот семнадцатый век, чтоб его: и начался не за здравие, и в гранд-финале еще явился гребаный Исаак Ньютон.

Раскочегаривается все с порохового заговора и головы Френсиса Трешэма на колу в конце Овечьей улицы, затем продолжается Огораживаниями, когда помещикам позволили свободно ставить заборы на общинной земле, узаконили грабеж среди бела дня, а протестовали тогда громче всех как раз местные – обреченные и отважные капитаны, Свинг, Нож и Кошель [\[160\]](#), последний из которых закончил на колу на Овечьей улице всего через полгода после своего зажиточного противника Френсиса Трешэма. Понятно, почему такую популярность набирают отвоевывающие свою землю диггеры и разжигающие классовую войну левеллеры, когда являются в середине 1640-х поддержать Оливера Кромвеля наряду с остальными диссидентами с проповедями и пеной изо рта, для которых Нортгемптон в те годы – как утопический парк развлечений. Весь город встает стеной за Кромвеля. А тот оказывается таким Сталиным, но без чувства юмора. Так или иначе, а в 1658 году он уже труп, его сын и наследник съезжает во Францию, так что в 1660 году на троне сидит Карл Второй. Немало огорченный ролью Нортгемптона в усечении роста его батюшки за счет головы, он в наказание сносит местный замок до основания, но и о деньгах не забывает. При правлении Карла у некоторых монет с гладкими ребрами появляются ребра гуртованные, чтобы предотвратить обрезание, – хотя эта практика все еще в ходу в 96-м, когда на сцену выходит Исаак Ньютон, Элиот Несс [\[161\]](#) от английских финансов 1600-х.

Стоит Роману в постели обвить руками своего парня и уплыть в темноту за закрытыми гофрированными веками, все безумие его жизни обретает смысл. Когда они с Дином впервые съезжаются в начале 1990-х, во все тяжкие пускается его с Шэрон сын – Джесси. С головой занырнув в рэйв-субкультуру, Джесси лопаает разнообразные диско-бисквиты – экстази, кетамин и еще бог знает

что – практически до отягченного наркотиками нервного срыва, как и пасынок Берта Рейгана Адам, лучший друг Джесси по мутным замутам и тусам до рассвета. Конечно, Джесси тяжело переживает признание Рома, но в деле есть и другие факторы. Приятель Адам зрелищно сходит с ума и тоже решает, что он гей; голубой ангел с крыльями, подрезанными вероломными женщинами, – без шуток. Джесси, должно быть, показалось, что реальности больше доверять нельзя, и он перестал общаться с людьми, запил, чтобы заглушить теперь уже постоянные галлюцинации, не видеть кошек с человеческими лицами, а где-то в процессе узнает, что в плане заглушения героин лучше алкоголя. Первым передознулся его новый лучший друг-торчок, выпал из мира в спальне Джесси, дома у Шэрон, а спустя несколько месяцев умирает и Джесси, бац – и готов. Ох блять. Шэрон вешает всех собак на Рома, даже запрещает появляться на похоронах. Черный час, а врачи наконец дают имя движущей силе Романа, его противоречивой душе: маниакальная депрессия. Как и у песни сирен полицейских машин или у экономики, оказывается, у Рома тоже есть взлеты и падения.

Должность смотрителя монетного двора задумывалась как синекюра, но Исаак подходит к делу со всей серьезностью, чует кровь и деньги в воде. Приступив к работе в 1696-м, когда валюту все еще изводят фальшивки и обрезка краев, Ньютон начинает Большую перечебанку, когда отзывает и заменяет все серебряные монеты с гладким гуртом в циркуляции. Это занимает два года, и выясняется, что до пятой части всех отозванных монет – подделки. Хотя фальшивомонетничество считается преступлением, наказуемым потрошением, попробуй в нем кого обвинить – и великий гравитатор берет и пробует. Переодевшись в завсегдашая таверн, Ньютон слоняется, подслушивает, собирает улики. Затем назначает себя мировым судьей во всех «домашних графствах» – шести

графствах вокруг Лондона, – чтобы провести перекрестный допрос подозреваемых, свидетелей, информаторов и к Рождеству 1699 года успешно отправить двадцать восемь фальшивомонетчиков на повешение, потрошение и четвертование на Тайберне. За заслуги перед отечеством в тот же год его назначают мастером монетного двора, оклад взлетает от пяти или шести сотен фунтов Монтегю до чего-то между двенадцатью и пятнадцатью сотнями в год. Перечеканка Ньютона снизила необходимость в выпущенных вручную банкнотах низкого номинала, так что отменяется все, что меньше полтинника. Конечно, это замечают только равные Ньютону по доходу, ведь у большинства в Англии семнадцатого столетия ежегодный заработок не доходит и до двадцати фунтов и они в жизни не видели банкноту.

Когда Рому первый раз ставят диагноз «качели и карусели настроения», его сажают на новые антидепрессанты – СИОЗС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина вроде Прозака, который в 1995 году кажется первым ответом медицинской профессии на что угодно от клинической депрессии до припадка меланхолии. Колеса, на взгляд Рома, родились благодаря отъявленно американской идее, что жители развитого мира имеют неотчуждаемое право быть довольными жизнью каждый час своего существования. Ну и что, что таблетки радости еще не успели показать побочных эффектов; что их, по сути, никто не тестировал? Есть рынок, рвущийся покончить со всеми заботами, есть фармацевтические корпорации, рвущиеся делать деньги, а фантазерский этос столь бесконечного экономического бума требует счастья для всех, разом. А всякие диссиденты от обязательного маниакального оптимизма – просто нытики, паникеры или пессимисты, которые оторвались от всеобщей попустительской эйфории и наверняка еще передумают после курса Прозака. Ром

решает рискнуть, ведь никто не удосужился ему сообщить, что возможный побочный эффект СИОЗС – суицидальная черная депрессия. Когда Дин спрашивает, что случилось, Ром отшвыривает его через всю гостиную. Выбрасывает таблетки и впредь, когда на него находит, отправляется на долгие прогулки, справляется сам. Маниакальные пики приберегает для собраний управы, для кампаний или организации протестов. Энергоэффективность. Один из первых принципов, которые узнаешь в инженерном деле.

Ньютон, тоже знакомый с этим принципом, привносит в монетное дело химические и математические знания. После Большой перечеканки его просят повторить на бис то же самое в Шотландии, в 1707 году. Так и появляются единая валюта и новое королевство Великобритания. Неугомонный, в 1717 году семидесятишестилетний ученый муж объявляет биметаллический стандарт, при котором двадцать один серебряный шиллинг равняется одной золотой гинее. Из-за английской политики платить за импорт серебром и получать за экспорт золотом начинается дефицит серебра, вот Ньютон втихомолку и переводит стандарт Британии с серебра на золото. Лично он поживает неплохо – сам чеканит, сам зарабатывает. Доверившись своим счетным способностям, он, чтобы удвоить наличность, инвестирует в беспроигрышный высокоприбыльный мир Пузыря «Саут Си» сразу двадцать штук – три миллиона, на наши деньги, – а в 1721 году предприятие всплывает брюшком кверху. Экономический гений эпохи остается без последней рубахи. Он позволяет жадности затмить способность оценивать риск, демонстрирует фатальную самоуверенность эксперта в своих способностях – как те микологи, что в итоге травятся омлетом из поганок. И крахом сэра Исаака стало баловство с тем, в чем кто-кто, а он должен бы разбираться, – с рынком, раздутым бондами, известными как деривативы, которые отчасти ответственны и за

фиаско с голландскими тюльпанами в 1637 году, за пять лет до рождения Ньютона, и которые наверняка еще потопят мировую экономику почти спустя триста лет после его смерти.

Роман и Дик заселяются в Дом Святого Луки – квартал между улицей Святого Андрея и Нижней Хардингской, где раньше была улица Беллбарн. Он знал Боро всю жизнь, но поселился там впервые. Роман влюбляется в униженное население, древние дома, нахохлившиеся под дождем. Из швов двухэтажных коттеджей лезет побелевшая трава, и под ее линией, под этой чертой бедности Роман читает итога Англии. Эта местность входит в два самых нищих процента населения Великобритании. Даже если просто здесь жить, год идет за десять. Эти люди вытянули короткую палочку экономической теории, они продукт чересчур креативных подсчетов. Граждане, преданные банкирами, правительством и – да, Ром отмазываться не будет, – левыми. Дин полукровка и оба они геи, но что-то они не видят никаких плюсов от поддержки леваками расового и сексуального равенства. Что хорошего от того, что Питер Мендельсон и Уна Кинг не жалуются на жизнь, если неравенство между богатыми и бедными, которое социализм должен устранить, остается подозрительно задвинутым в долгий ящик? Ром сдает красную звезду в 97-м, стоило почуять новых лейбористов и их фронтмена с перекошенной ухмылкой, и становится анархистом и активистом. Он привлекает к себе разных оппозиционеров – то «Защитим муниципальное жилье», то «Спасем Национальное здравоохранение», – смотря какую гадость подкинет правительство. Левеллер Томпсон нашел свое место – земля, с которой сровняли город, – и на том стоит.

Ньютон умирает в 1727-м – в восемьдесят лет и все еще за рулем монетного двора – и потому успеваает застать начало перехода к бумажным деньгам. В 1725 году банки выпускают банкноты с напечатанным знаком фунта, но дату, сумму и прочие детали владелец прописывает вручную, закрепляя подписью, как в случае с чеками. Деньги постепенно становятся все абстрактнее, но главная ловкость рук произошла уже сотни лет назад, с изобретением деривативов – концепции, погубившей Ньютона. Дериватив – воображаемый бонд на продажу настоящего товара – это когда кто-то заключает сделку по продаже своего товара по оговоренной сумме в будущем. Падение или рост рыночной цены определяет, кто вложил средства умнее, но что важнее – у деривативного бонда теперь есть потенциальная стоимость и его можно продавать, а прогнозируемая цена постоянно растет. Эта расцепка денег и реальных товаров сыграла немалую роль в тюльпанной лихорадке и Пузыре «Саут Си», когда цена деривативов мира, как слышал Ром, в десять раз превышала где-то шестьдесят триллионов долларов – то есть состояние всей планеты. Черта между реальностью и экономикой – невидимая трещина, что за столетия расширяется до глубокого океанического разлома, откуда с гнетущей регулярностью прут беспрецедентные формы жизни: пузыри и лихорадки, кризисы Уолл-стрит и черные среды, «Энрон» и какой-нибудь очередной неизбежный пиздец; ночные кошмары века рациональности, который старый добрый Уильям Блейк прозвал «сном Ньютона».

Ром прочесывает улицы Боро в поисках неприятностей. В нескольких из последних муниципальных домов есть асбест, который управа отказывается признавать и тем более убирать. Попытки завлечь людей в проекты частного жилья – гонки за призом, который нельзя выиграть; которого не существует. Бесконечные мошенничества и лишения, и Ром распыляет ресурсы:

и ведет кампанию против продажи зданий восемнадцатого века в Абингтонском парке, и вопит оскорбления в матюгальник, когда Иветт Купер, министр жилстроя, приезжает на открытие башен НЬЮЛАЙФ, которые спихнул жилкомпания бывший депутат Джим Кокки сразу перед тем, как вступить в совет директоров той же компании. А на горизонте всегда маячит новое оскорбление. В данный момент подумывают вложить евробабло, предназначенное для Боро, в большую иглу вроде Национальной Башни Лифтов, только на Холме Черного Льва. Роман подозревает, это только повод для откатов от компании, которая получит контракт. Ром планирует прикинуться равнодушным, чтобы они подумали, будто он отвлекся. Назначат даты для секретного голосования, чтобы протолкнуть предложение без ведома электората о том, что его уполномоченные представители поддержали такую явно гнилую идею. А потом, за день до голосования, Ром напомнит кое-кому из клики управы про старый должок и заставит переменить голосование на открытое, поднимет камень и прольет свет на корчащихся под ним гадов, и вынудит проголосовать «против», если чинуши хотят удержать свои места. Дело очень непростое, но и он человек непростой.

Деньги продолжают эволюционировать – особенно после примечательных событий на нортгемптонской зернодробилке, которые Ром меньше часа назад пересказал пораженной Альме. В 1745 году появляются частично напечатанные купюры от двадцати до тысячи фунтов. Пятьдесят лет спустя, после Наполеоновских войн, во время так называемого Периода рестрикции, банки перестают покрывать банкноты золотом. Тогда Шеридан называет банк «престарелой леди из Сити», что карикатурист Гилрей искусно приукрашивает в виде «Старой дамы с Треднидл-стрит». В 1821 году снова вводится золотой стандарт и пышет здоровьем до Первой мировой войны. В 1833 году бумажки, частично написанные

вручную, назначаются законным платежным средством для всех сумм свыше пяти фунтов, становятся настоящими современными банкнотами. Затем в 1855-м в верхах бросают телиться и печатают банкноты целиком. От золотого стандарта Британия наконец отказывается в 1931-м, теперь ее валюту подкрепляют ценные бумаги, а не слитки драгоценного металла. К середине двадцатого века, как понимает Роман, наша мировая экономика все больше и больше опирается на логику гигантского казино, и там уже не за горами волна послевоенных инноваций, которая изменит всю планету. Когда эти новые идеи так повлияют на денежные рынки, что создадутся все условия для разрушения масштабов, каких раньше не лицезрели и не могли предвидеть. Барашки на денежном потоке становятся омутами, водоворотами, и назревает катастрофический шторм. Как говорили в шестидесятых, тут синоптик не нужен.

Не все задачи Рома такие драматические. Бывают сборы средств – например, Альма делает для них брошюры, а он бродит от двери к двери, чтобы все были в курсе. Как вчера: Ром весь день потратил на то, чтобы сообщить о делах Альмы в яслях глубокому концу дна – «медвежьему рынку» души, как говорит Ром. Зато на свежем воздухе чувствуешь себя здоровым как бык, а преодоление множества лестничных пролетов в многоквартирниках должно идти на пользу сердцу. Покоряя высоты, он проведывает некоторых давних жильцов. Выставка их вряд ли заинтересует, но это какой-никакой повод убедиться, что у них все в порядке. У Башенной улицы Ром видит Бенедикта Перрита, отбывающего на алкогольный маршрут дня, а потом притворяется, что не замечает местного наркоцарька Кенни Нолана, аморального говнюка, который опускает район, хотя даже не состоит в управе; даже не получает за это денег. Пересекая Банную улицу, Роман восходит на обшарпанный зиккурат ступенек, чтобы проведать молодую Марлу Стайлс – она одновременно на

краю, на наркоте и на панели. Когда та открывает дверь, ее голодные лемурии глаза так и бегают. Она не слушает спич Рома о галерее Альмы, но он хотя бы видит, что она еще живая. Надолго ли – ну, тут уже будущее туманно. Он проходит по центральной дорожке многоквартирника, чтобы посетить другие поводы для беспокойства в Доме Святой Катерины, а на пути назад закладывает небольшой крюк вокруг свежей собачьей какашки, отдаленно напоминающей знак доллара. Забавно, чего только не замечаешь?

Экономика как искусство начинается с символизма, уходит в абстракцию, но только в двадцатом веке становится настоящим сюрреализмом. Британия начинает отказываться от золотого стандарта в 1918 году – по совпадению, именно тогда стартует пятидесятилетняя ликвидация Боро. Уже к концу шестидесятых сносят почти все террасы, тогда же входят в игру фискальные инновации того десятилетия. Ром слышал, что в одной газете в начале семидесятых публиковали новые уравнения, чтобы рассчитать стоимость деривативов на основе товаров. Теоретически благодаря расчетам подобные сделки становятся куда безопаснее – а для денежных рынков это как клетчатый флажок. Математические задроты вдруг становятся спасителями индустрии. Теперь куда больше способов делать деньги – если бы только не всякие законы. В конце десятилетия к власти приходят Тэтчер и Рейган – два либерала свободного рынка в духе восемнадцатого столетия, которые разделяют убеждение мистика Адама Смита, будто рынок каким-то образом сам себя регулирует, и потому начинают убирать все ограничения – и как раз поспевают к компьютерному буму 1980-х. Компьютеры могут следить за акциями и зарабатывать или терять состояния в миллисекунду, усиливая волатильность системы. Приходят и уходят кризисы и обвалы, разрушая жизни бесчисленным тысячам, но большие игроки только дальше зашибают большие

прибыли. Затем в 1989 году рушится Берлинская стена – и тут как плотину прорвало. Почуввав кровь с внезапной кончиной единственного крупного конкурента, капитализм срывается с поводка.

Когда Рома застают собственные кризисы, экономические аналогии уже не работают. В бизнесе «оказаться в черном» значит спокойно жить без доходов, но для Рома это просто черная полоса. Черные голуби, черное мороженое, черная свадьба, черное Рождество – он маринуется в соку собственных проебов, но только закусывает удила и живет дальше, топает по цветовому градиенту от кромешной черноты до терпимого нейтрально-серого. Том Холл называет это «черным псом», в честь выражения Уинстона Черчилля для этого феномена. В первые дни знакомства со своей будущей женой Дианой Том часто залегает на дно у «Ипподрома», когда испытывает ее терпение – то есть часто. Через полузакрытые веки он видит черную гончую, что спокойно сидит рядом на желтой летней траве. Роман скучает по Тому – но кто не скучает по этому человеку-планете, вокруг весомости таланта и невесомости характера которого вращался город? В ту ночь в «Черном льве» после стычки Романа с армией нового образца, когда Роман заскакивает стибрить ключи от авто Теда Триппа, Том играет в брэг; почти наверняка видит, как Роман их подрезал, но только хмыкает про себя и продолжает игру. Ром оставляет друзей и, прихватив еще кое-что нужное из задней комнаты, забирает машину со стоянки у паба. В яростном спокойствии он едет до Абингтонской улицы и останавливается у входа в «Гросвенор-центр» с выключенными фарами, ждет. Очевидно, сейчас, когда улица открыта только для пешеходов, это повторить не получится. Охрана труда и здоровья во вред.

После падения Стены финансисты устраивают эпический триумфальный запой. Без препятствий к размножению капитализм быстро мутирует. Это даже не безумие свободного рынка в годы Тэтчер – Рейгана – это что-то совершенно новое, хотя и со старыми лицами. Алан Гринспен, руководивший Минфином США под Рейганом, Джорджем Бушем, Клинтоном и Бушем-младшим, – большой фанат либертарианки Айн Рэнд, и это в его смену волшебники из «Джей Пи Морган» в 1994 году изобретают свопы кредитного дефолта. Это, если кратко, страховка. Одалживаешь кому-нибудь кучу бабла под хороший процент, но увы – они деревенщины с детишками-циклопами, и ты переживаешь, что денег больше не увидишь. Тогда платишь третьей стороне, чтобы застраховать долг. При условии если деревенщина заплатит, в выигрыше все. А если их детишкам однажды придется поступать в свои циклопские колледжи и заем станет плохим – так не беда. Страховщики отслюнявят неустойку, а при условии, что ты одалживаешь не только циклопам, страховщиков это тоже не сильно заденет. Получается, уходит последнее препятствие на пути к серьезным деньгам – то есть риск. Банки и компании теперь могут поступать, как душеньке угодно, раз за их ошибки обязан расплачиваться кто-то другой. Предсказуемо, они уходят в раж; и зашибают рекордные прибыли. После того как те же тори, только в профиль (теперь известные как новые лейбористы), приходят к власти в 1997 году, – когда Ром и уходит из партии, – они передают Банку Англии контроль над процентной ставкой, а значит – и всей экономикой. С такими прибылями они уж явно знали, что делают.

После долгих торгов Дин и Роман разменивают свою квартиру на Нижней Хардингской улице на целый муниципальный дом в

Делапре. Там куда уютнее, хотя на них и жалуется новый сосед, когда Дин выскакивает однажды ночью во двор перекурить, случайно влезает в садовый прудик и громко кроет мир многоэтажным матом. Вот этот случай управа и пытается раздуть до ASBO, думая добраться до Рома через Дина, через его геркулесову пята. Забавно: в их старую хату в Доме Святого Луки в итоге переезжает CASPAR – общественная группа поддержки со смехотворным бюджетом, на чей счет можно отнести все скромные улучшения в округе. Ром узнает это только прошлым вечером, когда приходит с Бертом Рейганом в ясли собирать Альме выставку и встречает Люси, которую подрядили заниматься организацией и которая получит по шеям, если что-то пойдет не так. Оказывается, она работает в CASPAR, трудится там, где они с Дином впервые пошли на риск – занимались любовью, а потом готовили завтрак. Они с ней болтают, пока Ром и Берт вешают картины и притаскивают огромную скульптуру – или как это называется – на сдвинутые вместе столы посреди комнаты. Они сближаются благодаря неудобному крошечному туалету в его бывшей квартире, пока их окружают ошеломительные изображения речных чудовищ, высящихся над Спенсерским мостом, мелькающих на пустошах угольных детей в многократной экспозиции и бушующих великанов в ночнушках с описывающими дуги бильярдными киями, выбивающих друг из друга золотую кровь, как пламя.

Теперь экономический лозунг – не осторожность, а инновация; то есть новые способы навариться, еще не проверенные и не продуманные. «Энрон» углубляется во фьючерсы таких областей технологии, которые еще не изобрели, – типа акций на далеков или лучи телепортации, – но, оказывается, почему-то не таких уж солидных. Как только в 2000-м в Овальном кабинете усаживается Даблю Буш, пузырь «Энрона» лопается – худшая денежная

катастрофа в истории США, и когда все факты выплывают на свет, никто не может поверить в перечень безумств, предвещающий ужасы для всей экономики. Люди требуют жесткой регуляции, но ведь это помешает делать деньги, так что дело «Энрона» списывают как статистическую аномалию – некоторых боссов отправляют в тюрьму, и все идет по-старому. Теперь главный рынок в Великобритании и США – недвижимость, а свопы кредитных дефолтов означают, что банки могут предлагать ипотеку почти кому угодно – миллионам сельских циклопов, – в полной уверенности, что можно гулять всюду, раз страховщик платит. Если только, конечно, вся деревенщина не уйдет в дефолт разом. Рому кажется, что распухшие финансовые рынки мира покоятся на самой ненадежной и самой бедной части общества – людях, которые почти гарантированно проебутся. Людях вроде жителей этого самого района. Схемы, предназначенные уменьшить риск, взамен разгоняют его по всей системе, как древооточца, и люди от Беверли-Хиллс до Бермондси, которые и не думали захаживать в такие места, как Боро, обнаруживают, что это Боро пришли к ним.

У Рома есть способности к насилию, но не склонности. А без него просто никуда: потасовки с копами в переулке или перед американским посольством на площади Гросвенор – прямо как на денежных рынках с самых времен их беспокойной юности. Когда Бакалери ди Норан разжигают экономические протесты в 1263 году, Генрих Третий послал войска, чтобы порасшибать кое-кому бошки. Когда вспыхивают бунты против подушного налога в конце 1980-х – тоже экономические протесты, – Тэтчер посылает порасшибать кое-кому бошки спецназ. Ром полагает, что когда придет очередь нашего технологического двадцать первого века, то власть предержащие наверняка пошлют роботов-убийц Atari, чтобы – ну вы поняли. Насилие – или хотя бы его угроза – всегда рядом, отсюда и давняя

ассоциация Рома между финансами и криминалом. Без нанятых головорезов не обходится – рэкетиры или бейлифы, или самураев особого назначения, или солдат. Ром сидит в темноте машины, взятой напрокат у Теда Триппа, и ждет, пока полдюжины армейцев проковыляют на заплетающихся ногах из подвального бара, завывая песни, и ввалятся в мини-бас, который, очевидно, вернет их на базу. Они трогаются с Абингтонской улицы, наверняка направляясь к улице Моста, Южному мосту и дальше по шоссе. Ром ждет пару секунд, затем заводит машину Теда, следуя за солдатами из ярких огней города туда, где вокруг Нортгемптона собирается тьма, словно злая и чересчур опекающая мать.

Только в прошлом году, в 2005-м, во время взрывов в метро и непрерывного кошмара Ирака, большой Гордон Браун продает последние золотые резервы Британии по временно низкому текущему курсу. Больше мир не поддерживается ничем твердым, нет даже бумаги – только электронные сигналы и математические завихрения в эфире. Рому с его маниакальной депрессией видятся мрачные вероятности: когда начнут обваливаться банки – как любые воздушные суда, летающие на мыльных пузырях, – что сделает правительство? Все деньги – в банках, особенно в Британии, где банки командуют парадом с 1997 года, и если рухнут банки, то они утащат за собой всю экономику. Никто не даст этому случиться. Следовательно, банки теперь неприкасаемы для государственного контроля или нареканий. Они исподволь стали монархией. Сейчас на дворе даже не капитализм, не брутальная дарвиновская куча-мала авторства Адама Смита, Мейнарда Кейнса и Маргарет Тэтчер. А какой-то разогретый в микроволновке строй из начала семнадцатого века, где избалованный и капризный правитель господствует даже над парламентом. Ром даже не знает, как лучше назвать этот порядок – ростовщикратия или что-то в этом роде, – но похоже,

банкиры мнят себя королевских кровей. Роман согласен. Если точнее, на его взгляд, они вылитый король Карл Первый. А в этих местах знают, чем кончается такой стишок: огнем и пиками, сырыми кишками и сухим порохом. Перевернутым миром. Криками в ночи.

Второстепенные дороги за городом погружены в деревенскую черноту. Нигде никого, ни единой машины. Роман ускоряется, равняется с мини-басом. Они думают, что он идет на обгон, и тут он врывается – БДАМ! Автобус визжит, пытается удержать контроль, а на борту еще думают, что это ужасный несчастный случай, когда Ром дергает руль и намеренно таранит их снова – БДАМ! В этот раз они летят в кювет, переворачиваются и приземляются на крышу. Ром останавливается в паре метров, достает бильярдный кий из «Черного льва», который припас на заднем, затем выскальзывает из машины. Неторопливо возвращается по дороге, закинув палку на тощее плечо. Никто никуда не денется. Ближайшая дверь разбитого военного транспорта открыта. Роман залезает внутрь. Солдаты болтаются на ремнях безопасности, контуженные и окровавленные. Из тех, кто в состоянии сфокусировать зрение, никто не рад его видеть. Он идет по проходу между сиденьями – ну, вернее, идет по крыше автобуса, но теперь уже все равно. Идет по проходу и вглядывается в ошарашенные перевернутые лица, выбирая тех, кто к нему приставал. «Ты». Толстый конец кия тыкается в зубы. «И ты». И снова кий падает вниз. Он оставляет фингал под глазом, розовое горло, шишку размером с бильярдный шар. Еще раз. И еще. Ром за один кон очищает весь стол, и здесь, в нашем Горниле, народ впадает в восторг.

Штука в том, что даже если это столетие и породит Кромвеля, который потащит банкиров на плаху, то – хоть Рому и по нраву эта картинка – пользы не будет никакой. Запад прогнил. По-другому не скажешь. Издержавшийся, многие поколения в долгах как в шелках, – но все еще берегущий лицо, как император Диоклетиан, когда начал разбавлять имперские монеты. Какой бы революционер ни низверг банки, он останется один на один все с той же неприглядной ситуацией, в отвратительном мире, который нам оставили после пьяного и шального загула, поматросив и бросив. Нет, просто казнить менеджеров – это ерунда. Казнить нужно деньги, или, может, деньги в том виде, что существует со времен Альфреда Великого. Ром щелкает каналы и видит по телику одного мужика из Лондонской школы экономики. Чувак заявляет, что правительство на самом деле ни фиги для нас не делает. Они считаются начальниками только потому, что управляют наличностью. Исторически любого, кто предлагает альтернативу деньгам, жестоко подавляют, но это в истории еще не было Интернета, благодаря которому все куда проще организовать; куда сложнее прикрыть. Ром видит потрепанную Британию будущего, где корова по-прежнему стоит пять волшебных бобов или их эквивалент, где нет стандартной валюты, а потому нет и стандартного правительства, королей, кредитных агентств. Только тысяча разноцветных и ободранных флагов.

Левеллер целует бойфренда в дыму на Замковой улице, а издали доносится сирена, надрывные вибрации ревут с Маунтс на Графтонскую улицу, – водитель наверняка уже обратил внимание, как сложно отвечать на вызовы из Боро, где улицы перекрыли отбойниками в безуспешной попытке предотвратить поиски проституток на машинах – зато в успешной попытке запороть все остальное. Роман ловко щиплет Дина за задницу и чувствует, как

вокруг поднимается весь-он-сразу. Он знает, что он семилетний все еще где-то на этих крышах, расхищает лунный свет. Он все еще на баррикадах, все еще пускает жизнь с Шэрон под откос, все еще лежит под оползнем на дворе Пита Бейкера, все еще утаскивает подозрительные товары из оставшегося без присмотра схрона Теда Триппа, все еще помирает в темной гостиной на пятидесятый день рождения, все еще нищий и все еще яростный, все еще спит в костре, все еще ходит по перевернутому мини-басу с апокалиптическим взором, кровавым бильярдным кием. Он тот, кто он есть – в совершенстве, в точности, – и если все, что говорит Альма о бесконечном кольце изразцов на северной стене яслей, – правда, то он тот, кто он есть, навсегда. Где-то позади горят несчастные и прекрасные убогие улицы со всеми драгоценными воспоминаниями. Роман Томпсон смотрит будущему прямо в страшные глаза и знает, кто отвернется первым. Завывая в панической арии, приближается сирена.

БАЛКИ И СТРОПИЛА

Зажеванный в железно-зеленых челюстях Атлантического океана возле Фритауна, на утлом кораблике из Бристоля, раздобревшем от груза сахара и африканцев, Джон Ньютон рыдает и дает зароки, которые сдержит не сразу, молит об изумительной благодати, а на горизонте в свете молний – перекатывающиеся гранитные гривы, оскалы скал и тяжелые лапы лавин. Львиные горы, как назовет эту землю в 1462 году португальский путешественник Педро де Синтра: Serra de Leão. Ромаронг, как ее до сих пор зовет местная народность менде. Сьерра-Леоне – название, порыжевшее от пыли и пропахшее засадой, где из винтажей смертной паники и неумирающего стыда

давят сладкие гимны.

Когда Черный Чарли доживает до седин, он уже ни во что не ставит песни и ни во что не ставит часовни. Его церкви теперь – любой пустой сарай, пока веревочный транспорт остается снаружи, прислоненный к дождеборнику. Генри Джордж на твердом земляном полу, солома колет колени сквозь поношенные штаны. Он вдыхает мускус давно ушедших лошадей, складывает бледные ладони и беседует с тем, кто, как ему кажется, слушает где-то далеко-далеко, за всеми звездами и лунами, просто слушает и никогда не ответит и не перебьет, никогда слова не скажет. В дырки в черепице снуют птахи, и Генри слышит над головой их ласковую речь; биение крыл, когда они опускаются на балки и просмоленные стропила, полосатые от помета предков. Его тихие молитвы воспаряют мимо уставших пазов, мимо выгнувшихся досок, а не в обществе мраморных святых и спасителей, которых предают мученической смерти на разноцветных стеклах. Спору нет, теперь от такого поклонения рай ему мнится срубленным из дерева, пахнущим опилками и навозом, и вовсе даже без этих всяких лестниц и статуй. Это представление об грубоватых небесах для него предпочтительнее, чем то, что расписывают священники, и, как он смекает, куда вероятнее. Почто священному раздуть из себя не пойми что? Черный Чарли не верит в полковника Коди, не верит в религиозные песни и картины, не верит в любую институцию, которая кичится собой. Столбы опрокинутого сияния, проломившие дыры в крыше сарая, наваливаются друг на друга, как старые пыльные развалины света, и Генри чешет заклеянное плечо через латаную куртку, а потом снова начинает бормотать.

Западное побережье Африки – древняя лобная доля, воспаленная и распухшая, – выпирает в остужающий океан со Сьерра-Леоне внизу, Гвинеей наверху и Либерией посередине. Педро де Синтра находит эту страну, нарекает в честь гордых холмов вокруг залива, а после него неизбежно приходят торговцы и рабовладельцы; сперва из Португалии, потом из Франции и Голландии. Затем, сотню лет спустя после катастрофического открытия де Синтры, – из Англии, когда Джон Хокинс шлет кораблями три сотни душ, чтобы удовлетворить великий спрос, возникший в только что основанных в Америке колониях. Два века Западная Африка играет роль основного невольничьего рынка, а потом, в 1787 году, несколько британских филантропов создают Провинцию Свободы, где поселяют небольшое количество чернокожих бедняков, азиатов и африканцев, растущее количество которых на лондонских улицах становится слишком накладным, – и в том числе черных американцев, что всего десятилетие назад поддержали британскую сторону в Войне за независимость в обмен на обещание воли. Пять лет спустя, когда их ряды проредили болезни или враждебные туземные племена, пришло подкрепление из снежной Новой Шотландии в числе больше тысячи человек, в основном сбежавшие рабы из Соединенных Штатов, и впоследствии появляется Фритаун – первое убежище для афроамериканцев, сбежавших из тюремной бригады или с плантации; соседняя Либерия последует этому смелому примеру только тридцать пять лет спустя. Постепенно население пополняют все больше освобожденных рабов, которых называют крио из-за их креольского языка – пиджин-инглиша из Америки. Гавань процветает, женщины и черные получают право голоса еще до конца восемнадцатого века. В 1827 году учрежден колледж Фура-Бэй – первый университет Африки по европейской модели к югу от Сахары, – благодаря чему Сьерра-Леоне становится центром образования. В этом заведении на лекциях по праву в 1940 году лощеный и красивый Бернард Дэниелс начинает задумываться о жизни в Англии.

Полвека назад, в 1890-х, Генри Джордж признался бы не тая, что думает больше не об жизни в Англии, а об жизни подальше от Соединенных Штатов. Теперь, в сорок лет, когда оба родителя умерли, ему нет резонов прозябать в стране, от которой он не видал добра и где ему выжгли метку на руке. Сказать по правде, он бы снялся с места и раньше, но вот мама с папой – им и от мысли об таком долгом пути по воде дурно. В отличие от Генри, родившегося в Теннесси, они уже побывали в странствии через океан и им не улыбается его повторять. «Ты, Генри, поезжай, – говорят они ему оба. – Ты поезжай, пока еще молодой и в силе, а про нас не переживай». Но не такой Генри человек, и вот он заботится о них и ждет, и искренне рад каждой минуте с ними вместе. Но стоит предать их земле, как его ничто не держит, ничто не мешает подняться на борт «Гордости Вифлеема», что дымит из Ньюарка в Кардифф и в каком-то смысле чертит для Генри третью сторону древнего треугольника – острой и опасной фигуры, соединяющей на пожелтевших трехсотлетних картах Африку, США и Англию. Только в те долгие ночи качки на переправе через Атлантику у него этого и в мыслях нет. Он насмешливо листает книжки про Буффало Билла в косом свете лампы и даже не гадает об том, что за страна его ждет; редко вспоминает ее название, а про себя зовет попросту Не Америкой.

Не так на это смотрит Бернارد Дэниелс из стен колледжа Фура-Бэй в середине двадцатого века. Бернارد происходит из семьи крио, сравнительно зажиточной благодаря годам службы в торговой компании «Маколей и Бэбингтон», и он представляет Европу в целом – и Англию в частности – первоисточником всей цивилизации. Это

убеждение широко распространено среди крио – в основном потомков беглых американских рабов, ставших благодаря непоколебимой верности своим британским начальникам доминирующей и самой процветающей этнической группой Сьерра-Леоне, из-за чего туземные народности вроде шебро, темне, лимба, тира, кисси, а в последнее время и менде все больше питают к ним общую неприязнь. Бернард вырос с убеждением, что местные племена в протекторате – дикари; носит очки в золотой оправе и чопорные жилеты, с великим усердием погружается в учебу, дабы сильнее выделить критическую разделяющую черту. Бернард смотрит на общество вокруг – на вспышки волнений и племенных бунтов, которые периодически разгорались с большой войной из-за налога на хижины в 1898 году, когда на подавление восстания темне британцы бросили войска, – и предчувствует неизбежное. 1951 год, ноябрь, и сэр Милтон Маргаи, урожденный крио, но выросший в семье этнических менде, пишет новую конституцию, которая даст начало деколонизации. Бернард же видит себя на стороне угнетателей. Он перенял страхи и снобизм расы господ и не желает жить в тени Львиных гор, когда зоопарком начнут заправлять звери. Получив юридическое образование, он без промедлений и проволочек планирует отъезд. Бернард женится на любящей невесте Джойс, которая не меньше его мечтает об эмиграции, и организует путь и удобное жилье по прибытии в Лондон. Через несколько головокружительных недель его идеалистичный образ метрополии получает с размаху в лицо от зимнего Брикстона 1950-х, с его огнями и присвистами вслед, трилби набок, незнакомым переполохом. Хриплыми пошлостями в парикмахерских.

Генри еще с трудом стоит на тощих ногах после океана, когда вываливается с трапа в Тигровую бухту девятнадцатого века и, не имея ожиданий Бернарда, вполне доволен тем, что видит, и даже

удивляться тут нечему – все черные лица, все смешные и напевные акценты. Напужал Генри разве что сам Уэльс – он-то в жисть не представлял, что где-то бывает так мокро, старинно и дико. Только когда он встречается с Селиной и они играют свадьбу, а на это и слова никто не говорит, он начинает взаправду понимать, что теперь не абы где, а в особом месте с особыми людьми. От Абергавенни они идут пешком к гуртовщикам и выступают из Билт-Уэллс, и на ночь-другую оказываются одни, посеред миллионнолетней тьмы между гигантскими холмами – и близко не Канзас. Наутро они в чем мать родила медленно и сторожко спускаются по яру к мелкому ручью, чтоб помыться. Холод страсть какой, но его Селина – пышная девица двадцати двух годков, и кровь у них бежит горячая. И вот у них уже брачное утро в пене и потоке, покуда у лодыжек бурлит чистая водичка, в розовизне раннего света, и кругом ни души, окромя птичек, что в такой час только просыпаются и прочищают горлышки. Они с новой женой тоже дерут глотки, и Генри кажется, будто он в самом Эдеме, где не было никакого падения, и брызги маленьких бриллиантов висают на милом заду Селины. Он чувствует, что вырвался, и не припомнит, когда еще в жизни его так переполняла несказанная радость. Потом, покуда они лежат на бережку, чтоб просохнуть и передохнуть, Селина водит пальцем по бледнеющим лиловым линиям на его мокрой коже – ленточке, похожей на дорогу, фигурке сверху, похожей на весы, – и не молвит ни слова.

Для Джойс и Бернарда Лондон двадцатого века – совсем другое дело. Инверсия температуры кладет на выхлопы машин и фабричный дым крышку низких туч, люди мрут сотнями, а правительство выдает населению бесполезные бумажные маски в попытке сделать вид, будто делает хоть что-то. Все кашляют, сплевывают черную мокроту в пасмурных переулках, пока из тумана

задней улицы выплывает в сливочных цветах лейкопластыря и помадном неоне рекламная вывеска «Дюрекса». Бернард задним умом понимает, что Англия тоже земля отдельных и непохожих диких племен – мазуриков и рыночных торговцев, социалистов и фарцовщиков, белых дикарей, – объединенных только в горести и зависти к тем, кто живет лучше. Более того, никто как будто не замечает зияющий разрыв в статусе между неграми из колонии и неграми из протектората Сьерра-Леоне, считая их поголовно черномазыми вне зависимости от манеры речи или поведения, безотносительно жилетов и очков. Джойс рождает первого ребенка, мальчика по имени Дэвид, и беременна вторым, а ее муж обнаруживает, как немногочисленны места работы, где требуется его квалификация и где начальникам безразлична его раса. Бернарду кажется, что вне столицы еще найдутся юридические конторы, которые не так привыкли к постоянному притоку профессиональных сотрудников, как их лондонские коллеги, и потому будут больше впечатлены его безупречным образованием. Он решает забросить удочку подальше, и наконец клюет – компания солиситоров в некоем Нортгемптоне, – как раз когда Джойс дарит ему второго сына, которого по его предложению они называют Эндрю. В поисках жилья в новом городе Бернард сталкивается с политикой, приравнивающей его к собакам и ирландцам и в отказе в сдаче недвижимости любой из этих трех категорий. Возмущение из-за притеснений притупляет симпатия к позиции домовладельцев-расистов. Если бы у Бернарда самого была квартира, он бы ни в коем случае не доверил ее диккенсовским хулиганам со злобными псами, пьющим ирландским рабочим и подавляющему большинству своих отлынивающих от работы соотечественников. Когда до него доходят новости о свободных комнатах поблизости от городского центра на оживленном проезде, который, по всей видимости, называется Овечья улица, ликующее настроение держится ровно до последнего абзаца письма от хозяина, недвусмысленно призывающего к взаимопониманию по тому вопросу, что в квартире

будут проживать только мистер Дэниелс и его супруга – без домашних животных или – особенно – детей.

Между тем в 1896 году Генри с молодой женой несутся к новому дому на широкой и пенной волне баранины. Как смекает Генри, выбеливающие ландшафты отары забирают из Билта и гонят на восток через Вустершир и Уорвикшир, покуда их не прибывает блеющим приливом к Нортгемптону. Этой дороге уже тысяча лет, как не больше, и Генри слышал, что в старые деньки – лет сто назад – гуртовщики приучились держаться подале от подворий, где снаружи привязаны кони в слишком добром здравии. Это потому, что такие откормленные лошадки чаще всего принадлежали разбойникам с большой дороги, у которых тогда в привычке было дружить с гуртовщиками, идущими на восток, и зазывать пропустить стаканчик на обратном пути, когда они уже выменяют овец на деньги. Понятно дело, лучшей грабить по дороге в Уэльс и бросать с перерезанными глотками в какой-нибудь стрэтфордской канаве. Потому-то в основном пастухи продолжают путь с овцами из Нортгемптона до Лондона – это чтоб вернуться в Уэльс через Бристоль и обойти вустерские таверны, где поджидают разбойники. Генри вспала мысль, что этот маршрут Уэльс – Нортгемптон – Лондон обводит еще один треугольник, как тот, что соединяет Англию с Америкой и Африкой, и в обоих случаях по нему перемещают скот. Ну и, конечно, другое сходство в том, что некоторых животных под началом Генри клеймят – хотя даже не всех, коли подумать хорошенько. Одно различие – в цвете товара. Генри раздумывает, как его семья вечно ходила по протоптанным торговым путям, будь то торговля овцами или людьми, американской сталью или книжками об Буффало Билле, и решает, что эти линии наименьшего сопротивления, прорубленные предприимчивостью, можно считать линиями судьбы. На эти-то денежные дорожки выходят, скажем,

твой прапрадед из-за любви к выпивке или бабушка из-за красивых зеленых глаз и обходят весь белый свет и черные времена. У Генри и Селины нет каких-то там планов на конец пути: мол, доберутся до Лондона со всеми гуртовщиками, а коли там придется не по душе, то и вернутся до Уэльсу. Но все это до того, как они доходят до Нортгемптона и вливаются через северные ворота с белым пушистым одеялом, а там круглая церква, что древнее холмов, там могучее дерево, что пострадало во всяческих войнах, и Генри с женой Селиной, покуда за ней волочится по булыжникам километровой вшивый свадебный поезд, впервые видят Овечью улицу.

Переезд для проживания на новый адрес – на серо-коричневых авеню Нортгемптона образца 1954 года – диктует, чтобы Джойс и Бернард предприняли некоторые непростые решения. Очевидно, главным образом квартире на Овечьей улице и лучшему – и доселе единственному – предложению работы Бернарда препятствует правило «Без детей», но ему кажется, что он нашел обходной путь. Прибыв в облаке пара и угольного дыма поездом из Лондона для осмотра жилплощади, он встречает будущего соседа из комнат на первом этаже – приветливого идеалиста из Лиги международной дружбы. Бернард, как правило, избегает подобные английские социалистические конгломераты – благо совершенно беспомощные, – но в данном случае старичок как будто предлагает выход из затруднения Бернарда «с детьми нельзя»: тот предлагает прятать ребенка у него в жилье, этажом ниже, во время тех случаев, когда домовладелец нанесет визит, и это хотя бы наполовину разрешает проблему Бернарда – но другую ее половину представляет второй ребенок, маленький Эндрю. У их нового соседа, очевидно, не найдется места для двух малышей, и кажется вполне естественным, чтобы этим уникальным правом воспользовался

двухлетний Дэвид как перворожденный. После необычно разгоряченного совещания с женой Бернард решает, что будет лучше, если Эндрю останется в Брикстоне у родственников Джойс, пока они сами не обоснуются в городе и не смогут позволить себе ипотеку, не обеспечат постоянный адрес для всей семьи. На взгляд Бернарда, поскольку Эндрю всего нескольких месяцев от роду, невелика вероятность, что у него выработалась сильная привязанность к матери, а значит, он будет скучать по ней меньше, чем Дэвид. Бернард сомневается, что малое дитя вообще заметит разницу. А кроме того, в дальнейшем ребенок даже не вспомнит произошедшего. Словно бы этой действительно не самой благоприятной ситуации и не было. Наконец все обговорено, план вступает в силу, и в первую ночь в новой квартире с видом на необычную и едва ли христианскую церковь через улицу Джойс не спит и плачет до утра. Бернард, если откровенно, не может себе уяснить, почему она не желает просто смириться и жить дальше. Они лишь делают то, что должны, а всего через год всем будет только лучше. Эндрю ничего не сделается. Ничего плохого не случилось.

Генри со своей Селиной спускаются по Овечьей улице на рыночную площадь, чтоб забрать оплату в тамошнем Валлийском доме, и по тому, как на него все глядят, понятно, что он единственный черный на весь город. Но смотрят не то чтобы косо или так, будто не рады, как бывало в Теннесси. Народ в Нортгемптоне просто дивится, глазеет на Генри, будто он большой жираф, каких Генри видал на картинках, или еще что редкое и непонятное, чего никто не ждал увидеть в городе, а то и на роду. Народ улыбается, а кто-то пугается, но тогда просто стоит, раскрыв рот, будто не зная, что и сказать-то. Но Генри и сам хорош – тарашится во все глаза на древний город и все его странности. Будто бы Генри и Нортгемптон одинаково поражаются друг другу. Сперва

круглая церква, что простояла на своем месте ажно восемь сотен лет, а дальней по улице – большущий бук, что как будто не сильно моложе, и вот еще базарная площадь из тех же времен – из тыща каких-то годов. Это давно, так давно, что голова кругом идет. Что там, тогда даже работорговлю еще не выдумали, как знает Генри. И Соединенных Штатов не было, и Теннесси, и белые слыхом не слыхивали об Африке. Были у них только круговая церковь, бук да шерстяная река промеж здесь и Уэльсом. Генри кажется, будто все века, сколько стоит это место, – это такая дополнительная ширина или глубина, какую не проглянешь, зато они придают городу великий масштаб, отчего он становится больше, чем кажется с виду. Забрав оклад Генри, они вдвоем прогуливаются от рыночной площади обратно на Овечью улицу, где углубляются в старый переулок с табличкой, где сказано, что это переулок Бычьей Головы, – такой крутой и узкий, будто вымышленное место из сна, – и так они оказываются в Боро. А те сразу поднимаются кругом, зовут на все лады смотреть. Вот катаются по земле перед питейным заведением суровые старушки, такие здоровые, что и головы могут друг дружке оторвать, а куда ни плюнь – еще с десятков таких же пабов, так их тут много. Вот слепой играет на шарманке, вот прямо по мостовой скачут кролики, а народ весь в шляпах, но без пистолетов. Всякие-разные голоса и пересуды, а на улице Алого Колодца, где они отдают часть платы Генри авансом за приглянувшийся дом, они видят через улицу изумительного зверя Ньютона Пратта, что попивает пиво и пытается устоять на ногах. Генри и Селина считают, что это знак, и заселяются немедленно. Им достается целый дом, и, хоть он маленький и втиснут в прокопченную террасу, как книжка на полку, сперва кажется чересчур огромным – но это покуда из Селины не полились счастливым болбочущим потоком ребятенки, и сперва они в них по лодыжки, потом по колени, а потом будто и года-другого не прошло, как они по плечи в детях.

Во взрослом возрасте Дэвид Дэниелс немного помнит о первом времени в квартире на Овечьей улице – своих двух годах в качестве официального жителя Боро. Его детство – эта бесконечная последовательность моментов, когда каждый момент – целая сага, – испарилось из памяти, оставив только тонкий осадок картинок и ассоциаций, хрупких снимков в сепии, снятых с уровня пола, где детали и контекст размыты по краям. Он помнит бескрайнюю равнину ковра в гостиной, мягко-бежевого цвета с завитушками и разводами, по воспоминаниям – не меньше акра, пронзенную косыми лучами солнца. Вот внутренняя мерцающая петля пленки, всего несколько секунд, как Джойс тащит Дэвида по кочкам на кожаных ремнях вниз по склону, по тропинке с осыпающимися и расшатанными надгробиями по бокам – теперь он понимает, что это, должно быть, было кладбище Гроба Господня, старой церкви через дорогу. Когда они ходят гулять, то всегда к северу или востоку от Овечьей улицы – никогда не к западу или к югу. Всегда «Ипподром» чуть выше Регентской площади, но никогда не Боро – сомнительный район, где, неведомо для него, крепко спит в лоне своего заурядно необычного клана его будущая подруга Альма Уоррен. В первых воспоминаниях Дэвида папа скорее не человек, а корабль – грудь и небольшое брюшко выдаются вперед, как парчовый грот, надутый попутным ветром. Большие пальцы по-президентски заткнуты в карманы жилета, а над вороньим гнездом узла галстука – как флаг, гордое лицо Бернарда; упитанный Веселый Роджер с блестящими стеклянными глазницами, позолоченными по краям, приплывший на пряных ветрах с пиратского Варварского побережья, со львиных холмов старой страны, где зачали Дэвида и о которой его родители упоминают очень редко. Потом – дни тайн и приключений, когда мать берет Дэвида на поезде – пыхтящем драконе в Лондон, чтобы навестить друзей или семью – он даже не знает, кого, – и Дэвид проводит дни в незнакомых брикстонских комнатах, где играет с

маленьким мальчиком по имени Эндрю – вроде бы хорошим, хоть он его совсем не знает. Когда в 1956 году Дэвиду исполняется четыре, Бернард и Джойс наконец находят белую пару, которая поможет с ипотекой в расово недоверчивых банках. Они переезжают в опрятный домик в Кингсторп-Холлоу, неожиданно появляется маленький Эндрю и поселяется с ними, и Дэвид впервые понимает, что это его брат, что все это время у него был брат, о котором он до этого момента ничего не слышал. Дэвид начинает задаваться вопросом, что еще в жизни проходит без его ведома, начинает гадать, где и кем были его родители, прежде чем вдруг материализовались в Нортгемптоне и стали женатой парой домовладельцев, словно всегда здесь и жили. Почему у Дэвида и его младшего брата как будто нет бабушек и дедушек? Мать и отец родились, как боги, из грязи и неба, из нортгемптонского пейзажа, и им не предшествовали смертные предки? Ему кажется, что он пришел посреди большой и сложной сказки, что его держат в карантине от сюжета, как в случае с Эндрю. Вот как это ему не сказали, что у него есть брат? Он начинает переживать, какие еще сюрпризы его поджидают. Учитывая, что они в новом доме с новыми соседями, учитывая, как семья стала держать себя с тех пор, как переехала из Боро, Дэвид начинает даже сомневаться, что он вообще черный – если его и правда зовут Дэвид.

Стоит Генри ступить в Боро, как он враз уже не Генри, а Черный Чарли, будто звание только и поджидало, когда он заявится, и пришлось по нему, как старое пальто. Он и не прочь. Это же без неуважения, «Черный» – это только что честная правда, а «Чарли» – так здесь зовут людей, когда не помнят их настоящее имя. В своем роде это знак особого положения, способ показать, что он уникальный и что нигде вокруг Нортгемптона не найдешь места, где могут похвастаться таким примечательным человеком, как Генри

Джордж. Хотя за годы в город притекают и другие черные, никого известней Генри нет. По крайности, до 1911 года, когда местная футбольная команда – что зовется «Сапожниками», оттого что в городе тачают столько башмаков и сапог, – они, значит, берут футболиста по имени Уолтер Тулл. В местных газетах раздувается шумиха, оттого Генри об этом и прослышал, и так уж ему становится интересно, что он решает разузнать как можно больше об этом новеньком, который грозит украсть его инкрустированную углем корону. Он даже съездил на футбольное поле за Абингтонской авеню, чтоб поглядеть Тулла в игре, – хоть Генри так и не полюбил футбол, – и вынужден признать, что парнишка носится как молния и мяч пинать умеет. Да и собой недурен – молодой человек двадцати четырех лет, на тридцать пять годков младшей Генри, да и кожа вдобавок у него посветлее. По всему видать, родился Тулл в Кенте, где хмель собирают, и папаша его с Барбадоса, а мамаша – англичанка. Как рассказывают Генри, оба родителя у Тулла умерли, еще не стукнуло тому и десяти. Он с братом Эдвардом – так же звать младшего сына Генри и Селины – росли в лондонском приюте, покуда Эдварда не усыновила семья из Глазго. Тут он едет в Шотландию и – хотите верьте, хотите нет – становится первым черным стоматологом в стране. А Уолтер – он играет в футбол за какой-то детский клуб то ли в Бетнол-Грин, то ли еще где, там-то его замечают агенты больших команд, и глядь – а он уже бегаёт за «Тоттенхэм Хотспурс», что еще зовутся «Шпорами». Это в 1909 году, и хоть Тулл не первый черный или коричневый в профессиональном футболе в Англии – коли Генри не ошибается, есть еще один цветной в Дарлингтоне, за вратаря, – Уолтер из них первый, который выходит на поле, а не просто торчит в воротах. Но в Тоттенхэме он не задерживается больше года-другого, и все потому, как донесли до Генри, что, когда раз команда играла на выезде, зрители обижали Тулла по причине цвета кожи. Каково же это, думает Генри, когда стоишь на стадионе, а тебя все ненавидят и поднимают на смех; на тебе сотни глаз, а ты никуда от них не денешься, покуда свисток не

просвистит? Коли спросите Генри, для него это худший кошмар, и какое облегчение, что он не видит ничего подобного, когда заезжает поглядеть на Уолтера на «Каунти Граунд» в Абингтоне. Все как будто только рады, что Тулл живет у них в городе, и Генри даже гордится тем, что сам той же наружности. Потом 1914-й, начинается эта страшная европейская война, и Уолтер Тулл не падает в грязь лицом, как и на футбольном поле, потому как он первый игрок на весь город, который вербуются в армию и уходит драться. Судя по сообщениям, что доходят с фронта, справляется он неплохо. Воевал в первой Битве на Сомме и сделался сержантом. Потом, в 1917-м, когда его повышают до второго лейтенанта и отправляют сражаться в Ипре и Пашендале, он становится первым черным офицером во всей британской армии. На другой год, последний год войны, Уолтер возвращается во Францию для этого ихнего Весеннего наступления, и там-то его взорвали, и тело даже не смогли собрать, так что у него и могилки нет. На следующую ночь после таких вестей Черному Чарли снится сон, где Уолтер Тулл вместе с героем Генри из вестернов Бриттоном Джонсоном, одетые как ковбои, прячутся за жеребцами, которых убили для укрытия, отстреливаются, покуда вокруг кружит улюлюкающая немецкая пехота на конях, в перьях вместо шлемов с острыми наконечниками.

В следующие сорок лет дела Дэвида идут на лад. Поладил с младшим братом Эндрю и сладил с учебой, когда пошел в школу Святого Георгия в сердце Семилонга. Так хорошо сладил, что на него как будто пришлось все гордое и радостное одобрение и поощрение отца, Бернарда, – от этого Дэвиду не по себе, когда он понимает, что то же отношение не распространяется на младшего брата. Хотя их мать Джойс скрупулезно справедлива в проявлении нежности к обоим мальчикам, начинает казаться, что ее муж уже выбрал того, кого спасет в случае пожара в доме. Там, откуда родом Бернард,

такое прагматическое мышление – обычное дело. Иногда жизнь тяжела. Иногда единственный способ обеспечить выживание потомства – принимать жестокие и страшные решения, вкладывать все ресурсы в одного ребенка. Это стратегический, военный подход, когда подкрепление бросают к тем полкам, которые и так выигрывают, а не к теснимым войскам, которых неминуемо ждет поражение. Зачем тратить хорошее ради плохого? Ширящаяся разница между братьями – в порядке вещей с точки зрения отца, по крайней мере в их резиденции в Кингсторп-Холлоу. Об этом не говорят, а через какое-то время перестают замечать, с этим можно жить. Дэвид любит брата. Эндрю – его постоянный товарищ по играм, не сказать больше – единственный. Дэвид не очень сближается с остальными детьми в школе – белыми. По большей части он умнее их и другого цвета, а эти атрибуты не помогают социальному успеху у одноклассников. На детской площадке с качелями и качалками Дэвид и Эндрю иногда играют с другими черными ребятами, но это в основном дети ямайских иммигрантов, и Дэвиду кажется, что их от него с Эндрю отделяет какой-то барьер, которого он не видит и не понимает. Отчасти потому, что отец явно не одобряет новых друзей, а отчасти потому, что заставляет их не одобрять и Дэвида с братом; потому, что у них происхождение лучше, чем у приятелей с Большого острова. Дэвид знает, что это неправильно, неправильное отношение, но все же оно иногда просачивается, даже когда все катаются на карусели, и создает атмосферу, увеличивает расстояние – даже между ним и мальчиками и девочками такого же цвета, – как будто Дэвиду мало одиночества. Классовая сегрегационная политика отца окупается хотя бы в отношении образования Дэвида. Ему не на кого отвлекаться и нечем особо заняться, кроме как трудиться, готовиться к экзаменам «одиннадцать плюс», которые в таком раннем возрасте более-менее предрешают перспективы на всю жизнь. Единственное облегчение от учебы – не считая валяния дурака с Эндрю – приходит благодаря открытию фантастики, грез о благородных

людях с поразительными способностями. Дэвид никогда не слышал ни о Генри Джордже, ни тем более о герое Генри – черном стрелке Бриттоне Джонсоне, но, наверное, что-то в крови от торгового треугольника предрасполагает к ярким техноколоровским мечтам об Америке. По средам и субботам Дэвид околачивается у лотка с книгами и журналами «У Сида» на древней рыночной площади, где заглавный владелец с тряпичной кепкой, шарфом и дымящейся трубкой заседает над чудесной россыпью красочных сокровищ. Там целые коробки набиты желтеющими старыми книжками с преобладанием желтушных обложек научной фантастики, а в сжатых челюстях зажимов-крокодилов в верхних краях лотка висят мужские приключенческие журналы, где голых по пояс морпехов со стиснутыми зубами хлещут красотки в одних трусиках и нарукавниках со свастиками и аннотации обещают «Шаловливых немецких богинь любви с Острова Пыток!» Но больше Дэвида прельщают веера американских комиксов, разложенных обложкой вверх на переднем столике лотка: трепещущие разноцветные бабочки под весом металлических дисков пресс-папье. Железный Человек сражается с Калой, Богиней Подземного Мира, а высоко над торчащими небоскребами Человек-Паук борется со Стервятником. Супермен и Бэтмен встречаются в детстве – как такое возможно? В воображении Дэвида его тайными товарищами становятся постоянно пополняющиеся ряды костюмированных персонажей – целый скрытый мир друзей, о котором как будто не знает никто, кроме него. Коллекцию комиксов он хранит в комнате, раскладывает на кровати и читает, пока где-то в другом мире, этажом ниже, отец кипит из-за новостей из какой-то страны под названием Сьерра-Леоне, где какой-то Милтон Маргаи только что объявил независимость. Все это и вполнину не так важно и вполнину не так интересно, как скруллы, Человек-Факел, Старро Завоеватель. Несмотря на соблазн новой страсти, учеба Дэвида не страдает и он сдает экзамен. Этим он явно угождает отцу, потому что Дэвида теперь возьмут в престижную Грамматическую школу для мальчиков

на Биллингской дороге. Еще больше Бернард радуется, когда «Хроникл энд Эхо» присылает журналиста и фотографа, чтобы осветить посвящение Дэвида в новое образовательное учреждение, и на снимке Дэвид в новой школьной форме сидит за партой в пустом классе – просто на случай, если он и без того не чувствует себя выделяющимся или изолированным. Заголовок гласит: «Первый черный ученик в Грамматической школе», – а на лице Дэвида на сопутствующем изображении – настороженность и опаска, словно он понятия не имеет, что будет дальше.

А Генри и Селина ближе к перевалу двадцатого века шлют своих детей в школу Ручейного переулка, которая прямо через улицу от их дома, теснится среди мешанины пабов, предприятий и домов на пятачке между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца. Когда Генри выезжает в поисках всяких мелочей на своей колеснице с ободьями, подвязанными веревками, в правильное время, ему отрадно слышать, как заливаются и визжат мальчишки и девчонки на площадке, где-то сразу за красным кирпичным зданием школы. Он катит к дороге Святого Андрея, за которой железная дорога, мимо «Френдли Армс», лавочек и домиков, и слушает, как шумит молодежь, пытаюсь разобрать голоса собственных отпрысков. Насколько знает Генри, его с Селиной ребята – первые цветные в школе, но их не дразнят и не задирают – или уж, по крайности, не из-за кожи. Не раз, когда он карабкается по Холму Черного Льва на Лошадиную Ярмарку с ее освещенными витринами или спускается к Банной улице, где торчит такой большой страшный дымоход – этот самый Деструктор, – Генри думается, что, несмотря на виды, место для семьи они с Селиной выбрали что надо. Не сразу он это постигает умом, но все же, по мысли Генри, здесь отношения между черными и белыми вовсе не такие, как бывает в Америке. Тут больше дело в классе, как понимает Генри. В Теннесси даже

распоследний белый без кола и двора все равно смотрит на цветных свысока – видать, в их глазах черному всегда быть рабом. Но тут, в Англии, хоть всю работорговлю и ведут англичане-богачи, сами рабов они не держат. И в таких местах, как Боро, где люди, их родители и прародители с самых времен рыцарей в доспехах обитали на дне, они глядят на Генри и первым делом видят не черного, а бедняка. Хочешь сыскать разницу между странами – только погляди на их гражданские войны, думает Генри, что живет в месте, где тачали сапоги для обеих войн. В Англии в тысяча шестисотых есть старик Кромвель – он прикидывается, как будто бы хочет ослобонить бедняков от ихних угнетателей. Между тем в Америке, когда Генри был еще ребенком, старик Линкольн – он прикидывается, как будто бы хочет ослобонить рабов с ихних плантаций. По опыту Генри, мистер Линкольн хотел вытащить рабов с хлопковых полей на юге, только чтоб отправить на фабрики и заводы на севере. А как послушаешь об Английской гражданской войне, так кажется, будто мистер Кромвель хочет только славы да власти. И как их получает, так начинает убивать направо и налево предводителей обычных людей, которые за него стояли, и что в Англии, что в Америке гражданские войны кончаются тем, что те, кого надо было ослобонить, остаются не лучше, чем были, – там черные, тут бедные. Так-то кажется, что войны одни и те же, но Генри-то видит: пускай все это передел власти, зато в Англии народу говорили, что это восстание против зажиточных – прямо как делишки в России, об которых теперь трубят во всех газетах. В Америке же заявляют, что Гражданская война шла за освобождение рабов, потому что американцы вовсе не хотят свергать богатых – на мечте стать богатым вся ихняя страна стоит. Вот тебе и вся разница, в мыслях Генри. В Англии и думать не думают об ненависти к людям другого цвета – у них на уме ненависть к людям другого класса. Рокот веревочных шин по булыжникам, когда Черный Чарли объезжает Боро, – как знакомая всем песня. Покуда он держится этой части города, беды не будет, –

но ровно то же относится и к местным белым. Ему тут по нраву, и про себя он дивится всяким большим и малым штукам, связанным со страной, откель он приехал. Тут тебе и Джордж Вашингтон, и старый Бенджамин Франклин – их семьи сбежали из Нортгемптона от одной гражданской войны и отправились в Америку, чтобы заварить другую. Тут и сапоги конфедератов, и Генри слышал об немалом влиянии мистера Филипа Доддриджа на реформатора Уильяма Уилберфорса, и потом, конечно, сам пастор Ньютон, который написал «Изумительную благодать» в Олни. Тут и мистер Кори, которого крестили в круглой церкви на Овечьей улице, а потом он поехал в Америку и его запытали насмерть в Салеме из-за того, что он влез в ведьминские глупости Коттона Мэзера [\[162\]](#).

Звезды и полосы – флаг Соединенных Штатов – это какой-то старый деревенский герб, что Вашингтоны прихватили с собой из Бартон-Салгрейва, когда уезжали, и вот теперь сам Генри Джордж, еще одно звено в уродливой цепи промеж двумя землями. Генри трясется на камнях Боро и любит грязными тайнами приемного района, где ненужные века свалены на улицах кучами, как нераспроданные газеты. Ему нравятся изгибы тропинок и проулков – что здесь зовутся джитти, – и хоть райончик не больше половины квадратной мили и он прожил здесь уж за двадцать лет, Генри до сих пор находит проходы и объезды, об которых раньше ни слухом ни ухом. Но с концом войны в 1918 году он видит, как все начинает меняться: Уолтер Тулл ложится в неотмеченную могилу где-то во Франции, а в Боро начинают медленный и болезненный процесс сноса – все сложные дворики, переулки и интересности за Лошадиной Ярмаркой просто ровняют с землей и превращают в щебень, нисколько не интересный и не сложный, а все жизни и историю узких дорожек стирают как и не было. Все больше и больше участков на его глазах отгораживают листами гофрированной жести, все больше и больше овдовевших после войны женщин торгуют телом на кладбище у церкви Святой Катерины, а всемогущая башня Деструктора коптит полуденное небо – почти такое же черное, как

сам Генри. Великая тяжесть поселяется на душе, и Генри с удивлением отмечает, что среди всех продчих бед постепенно становится все круче улица Алого Колодца.

Чуть выше по холму, в 1964 году, Дэвид сталкивается с неожиданным озарением о странности и старомодности Англии, когда впервые приходит в Грамматическую школу на Биллингской дороге первогодкой в коротких шортиках, синем блейзере и обязательной шапочке. Уже развивая чуйку на моду, он знает, что ему этот костюм не к лицу, особенно короткие штанишки. Эта последняя догадка подтверждается, когда он обнаруживает, что завуч первоклассников – мистер Дункан Олдман – неумеренный любитель полапать мальчишек, которому, оказывается, можно вызывать одиннадцатилетних ребят к своему столу, чтобы пощупать пухлыми пальцами их голые ляжки – по крайней мере тех, чьи родители решили, что они еще не доросли для длинных штанин. Мистер Олдман – архетипный жуткий растлитель детей из карикатур Чарли Аддамса, с тучным телом моллюска и деликатными ручками и ножками, свиным пятакон, ушами и бегающими глазками-бусинками; паутиной лопнувших сосудов в щеках, придающих вечный румянец алтарного служки. По детской площадке ходят слухи, что как минимум в двух случаях мистер Олдман приглашал учеников первого года в свой дом неподалеку для внеклассных занятий, где пытался их потрогать и поцеловать. В двух известных примерах, когда это доходит до родителей мальчика и они подают формальную жалобу, новый директор умоляет их задуматься о добром имени школы, дело улаживают без суда, а Данки Олдману позволяют и дальше безнаказанно служить завучем первоклассников – преподающий император Тиберий с несовершеннолетним сералем под рукой. Предыдущего руководителя мистера Стритчли недавно заменил новый директор,

мистер Ормерод, после того как мистер Стритчли принял большую дозу снотворного, сел в машину и въехал на полной скорости в скалу. Мистер Ормерод же ранее работал заместителем директора в одной из частных школ побогаче и вовсе не считает должность директора грамматической школы повышением. В конце концов, хоть экзамен «одиннадцать плюс» и делает свое дело и допускает в школу только самый минимум мальчиков не самого эксклюзивного происхождения, все равно остается риск, что мистер Ормерод столкнется с членом рабочего класса или – в случае Дэвида – готтентотом. Что там, через несколько лет после того, как Дэвид покинул это заведение в середине 1970-х, все грамматические школы реформируются в общеобразовательные, принимающие тот же сброд, что и любая другая средняя школа. Если верить слухам, дошедшим до Дэвида, для мистера Ормерода это понижение, непереносимое оскорбление, и однажды он приходит на работу пораньше, чтобы последовать примеру предшественника и повеситься на лестнице рядом с классом изо. Как понимает Дэвид, следующий директор после Ормерода избегает необходимости покончить с собой благодаря тому, что ворует из школьного автомата с напитками три фунта сорок пенсов, но в те давние времена, когда Дэвид только начал учиться, все это только ждет в будущем, а за главного по-прежнему бывший приверженец образования не для всех. Высокий мужчина с дефектом среднего уха, из-за которого ему приходится склонять голову к плечу, как падальщику со сломанной шеей, Ормерод пытается воссоздать в новой школе порядки своей старой. Учитывая все претензии, какие и без того были у Грамматической школы, долго убеждать учреждение не приходится. Многие преподаватели до сих пор носят черные мантии, а кое-кто постарше – даже академические шапочки: наверное, последние во всем городе вне страниц «Бино», кто еще так одевается. У двери директора установлен светофор с красной и зеленой лампочками, чтобы сообщать посетителям, свободен ли он, извиняя мистера Ормерода от необходимости говорить что-то столь

низменное, как «войдите». В самом кабинете в шкафу со стеклянными дверцами хранятся палки для разных степеней наказания: толстые, от которых синяки, тонкие, от которых порезы. Когда Ормерод издает указ, что впредь в уличном школьном бассейне не допускаются плавки по обычаю его предыдущего заведения, от педсостава не слышно и писка, а мистер Олдман, скорее, вообще пишет в ответ благодарственное письмо. И вот этот мир подминает под себя любого новоприбывшего, но белым хотя бы есть на кого опереться. У Дэвида нет никого. Одноклассники не желают иметь с ним дел так же, как дети в школе Георгия, а учителя видят в нем только повод для развлечений в стиле шоу менестрелей. Какое-то время Дэвид эгоистично надеется, что через год-другой его брат Эндрю тоже сдаст «одиннадцать плюс», чтобы они хотя бы приглядывали друг за другом в этом расистском дурдоме, но мечтам не суждено сбыться. Эндрю, отлично зная и оправданно презирая отцовский фаворитизм, понимает, что, как ни старайся, ему не заслужить одобрения, так что относится к учебе спустя рукава, не дотягивает до проходного балла на «одиннадцать плюс» и выбирает заниженные ожидания средней школы, где хотя бы учатся другие черные дети. Дэвид тем временем выясняет, что, может быть, он и был отличником в школе Георгия, среди образованных мальчишек из подготовительных школ у него нет ни шанса. После первого года все сдают экзамены, чтобы их до конца обучения определили в поток, и Дэвид оказывается в потоке «С» – с придурками и будущими социопатами. В школе на него насаждают педагоги и другие дети, дома на него насаждает разочарованный отец, так что почти все свободное время Дэвид проводит в Бакстер-билдинг, или Особняке Мстителей, или еще какой-нибудь Крепости Одиночества. Одним светлым и свежим субботним утром Дэвид приходит к лотку Сида на рыночной площади. Только что прибыли последние комиксы «Марвел», и Дэвид рассчитывает, сколько может себе позволить, чтобы не разориться, не отложить ли «Странные истории» или «Шедевры фэнтези» на другой раз, когда замечает, что у Сида есть

другой покупатель, и тот таращится на него. Медленно повернувшись, Дэвид в первый раз заглядывает в глаза с синяками Альмы Уоррен, кому недавно исполнилось двенадцать и плевать хотелось на макияж. В руках у нее комикс, о котором он никогда не слышал, – какие-то «Запретные миры» от маленькой компании, не стоящей внимания. Оба снисходительно усмеваются над дурным вкусом второго и слышат, как над головой с карниза на карниз беспокойно перелетают голуби, плетут нити траекторий на каменных кроснах площади.

Черный Чарли большей частью избегает богатые районы города, заточив себя в Боро и деревнях на окраинах графства, где так известен, что матери пугают им детей: «Не будешь спать, придет Черный Чарли и заберет тебя». Генри недоволен, что стал страшилкой в глазах детей, но такова, по всему видать, цена славы. В деревнях у него трудностей не бывает – в Хафтонах, Хаддонах, Ярдли-Гобионах и продчих, – хотя как-то раз рядом с Гринс-Нортон на него бросается пьяный пахарь-великан, хватает Генри за ногу и болтает над костром, покуда белые волосы не подпалились, а он не вопил так, что мертвых перебудешь. Только раз и случилось с Генри скверное, когда он выходил на объезд, да и то в конце концов малый его отпустил и Генри ушел с мыслью, что великан чуть не поджарил головушку Генри в духе какой-то полоумной шутки Гринс-Нортон, которую и Генри полагалось найти уморительной. И все же такие случаи оставляют свой след, и теперь, когда годы берут свое, круги Генри по деревням все меньше и меньше, покуда весь его мир не сводится к одним только Боро – хоть Генри и не против. Почти всю жизнь он ездил оттуда сюда – из Теннесси в Канзас, из Нью-Йорка в Уэльс, – и не просидел на одном месте столько, чтобы почувствовать себя своим. А вдосталь пожив в Боро, Генри понял, что значит быть в одном районе и видеть, как у всех поворачивается

жизнь – во многом это как читать большую и ошеломительную книжку с историями, где коли потерпеть, то узнаешь, что будет со всеми персонажами, обстоятельствами и прочим. Покуда он скрипит и дребезжит на велосипеде по Школьной улице на Зеленую, видит молодую Мэй Уоррен, которую все зовет молодой, хоть она и выросла после стольких детишек в большую пожилую даму. Она катит по тропинке, что зовут переулком Узкого Пальца, одетая в черное пальто и черный чепчик – что твой круглый железный шар для боулинга, который грохочет, чтоб кегли знали: пора убираться с дороги. По всему видать, она торопится куда-то по своим делам смертоведки – это такие женщины в округе, что блюдут детей и тела, коих тут обоих число великое. К Генри и Селине на рождение детей ходит женщина по имени миссис Гиббс, но Генри не сомневается, что коли миссис Гиббс будет занята или уйдет по другим делам, то Мэй Уоррен справится не хуже. По его мысли, она хороша в своем деле оттого, что потеряла собственную перворожденную, сладкую крошку, тоже по имени Мэй. Он весело окликает Мэй Уоррен, как едет мимо, и в ответ она поднимает тяжелую руку и сварливо отвечает: «Привет, Черный Чарли, как поживаешь?» Направляясь на Газовую улицу и дальше, Генри размышляет об нешуточно причудливой судьбе семьи Уорренов, начиная с папаши Мэй, старика Снежка Верналла, который угодил в газеты за то, что каким-то разом влез по пьяной лавочке на крышу ратуши и вопил, обхватив тамошнего ангела, как закадычного друга. И, конечно, тетка Мэй, сумасшедшая сестра Снежка Турса с большущим аккордеоном, с которым ходит по улицам и бренчит свою странную жуткую музыку с непонятными паузами, когда думаешь, что уже конец, а она зачинает вдругорядь. Когда Генри добирается до мостика, что ведет к Лужку Фут, он замечает Фредди Аллена, молодого и бедового, что, ясно дело, идет домой – а спит он под арками железнодорожного моста на лужке; двадцати годов, а без дома и семьи по причине бедности и выпивки. Генри не сказал бы, что одобряет Фредди, который пробавляется воровством с чужих порогов, но не может не пожалеть мальчишку, и

что поделать – животу кушать хочется. Как заворачиваешь на перекресток у Западного моста, где еще стоят руины замка, так на улицах народу становится больше, спешат по своим делам. Он знает почти всех, кого видит, и почти все, кого он видит, знают его. Когда можно, он переезжает перекресток и катит по дороге Святого Андрея, но как оказывается между грязной стенкой из красного кирпича, что высится справа, и опрокинутыми развалинами замка, торчащими из травы слева, так находит на него великая грусть, и он сам не знает, отчего. Думает он о Селине и своих детях, и больше всего сердце болит о младшеньком – маленьком Эдварде. Генри видел, как по всему району высыпают пятна серого щебня, точно какой ужасный вьюнок, – вместо снесенных домов за церковью Петра нынче только первоцвет да глухая крапива, – и мыслится ему, что Боро очень переменятся, когда вырастет самый маленький. Сносы его огорчают – сносы мест, что, знает Генри, простояли сотню лет или поболее и простояли бы еще целую вечность, а их корчуют как ни в чем не бывало. Это с самой войны пошло. Грядет большая перемена, и хоть он не может представить, каким район станет через пятьдесят, шестьдесят лет в будущем, но мыслится ему, что хорошего для Генри там будет мало. Не хочется и думать, каково придется Эдварду и остальным детям, когда их с Селиной не станет. И хоть Генри знает, что Эдвард тогда уже как следует подрастет, а все одно не может не вообразать его как есть сейчас – черным ребятенком, что в одиночестве бредет по какой-то обшарпанной и холодной улице завтрашнего дня, которую Генри не может узнать.

Дэйв Дэниелс скользит по поющему асфальту Баррак-роуд верхом на велосипеде «Райли», и весь потенциал раннего субботнего утра хлещет сильным ветром в отважное лицо. Он едет домой к новой подружке Альме в пооббитом, но дружелюбном ряду домов между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца. Здесь, в 1966 году,

музыка в транзисторах нежная и шипучая – газировка «Вимто» для ушей. Месяц за месяцем комиксы из Америки становятся лучше, по телевизору показывают передачи, которые ему нравятся, у Дэвида есть настоящий друг, карманные деньги и выходные, полные «ракетных леденцов» «Скай Рэй» и, пожалуй, песен с сингла «Тамла Мотауна» из магазина Джона Левра, впереди – никакой школы, а значит – никакого институционализованного унижения до самого понедельника. Он описывает ликующую бесшабашную дугу по Регентской площади, от Баррак-роуд до Графтонской улицы, и при этом уделяет взгляд Овечьей улице, верхний конец которой лежит слева от него. Он знает, что здесь жила его семья, когда впервые приехала в город, за год-два до того, как он узнал про своего младшего брата, но воспоминания размыты и часто противоречивы. Хотя все же стоят в памяти путешествия в коляске в «Ипподром», чтобы избежать экскурсии на запад, в чащобу мрачных нортгемптонских внутренностей, «где обитают тигры», – на сухопутный континент под названием Боро, одновременно дряхлый и почему-то позорный. Дэвид рассказывает родителям, что у него появилась новая подруга по имени Альма, к которой он иногда ходит в гости, даже раз приводит ее домой познакомиться с папой, но не говорит, где она живет. Нырнув в долгий спуск по Графтонской улице, Дэвид проезжает пыльное стекло и облезшую изумрудную дверь карибского клуба на углу Широкой улицы, снова слева от него. Кто-то написал на деревянной раме черной краской фразу «Эта черномазая гора», которая, похоже, отсылает к песне «Эта зеленая гора» – он смутно помнит, как слышал ее по радио в детстве. Дэвиду это кажется какой-то отсталой шуткой, и он не обращает внимания на предубеждения, говорит себе, что ему как с гуся вода, в строгом соответствии с личной политикой касательно расовых издевательств, – или, скорее, пытается говорить. На самом деле после каждого такого потока воды в спине четырнадцатилетнего мальчика остается уродливая прибойная линия с остатками подавленного гнева, но что еще делать? Его отец вообще сказал бы,

что слоганы на карибском клубе – афронт только для ямайцев, которых он тоже невысоко ставит; что если ты успешный адвокат с его происхождением, то слово «черномазый» почти наверняка относится к кому-то другому. Дэвид разбирается в этом лучше после того, как стоял на пустой игровой площадке возле Грамматической школы с губками для доски в каждой руке и колотил ими друг о друга, поднимая взрывную удушающую тучу меловой пыли, пока за окном класса хихикали учитель и одноклассники. Спускаясь по Графтонской улице, надавливая на тормоза при приближении к «Газетчику Уэстону» на полпути вниз, Дэвид спешивается и волочит «Райли» на тротуар, прислонив под окном к рекламному объявлению на проволоке – о процедуре пересадки сердца по методике доктора Кристиана Барнарда. Когда он заглядывает за зеленоватое стекло, его собственный кровяной насос трепещет при виде того, что прибыли хоть какие-то новые комиксы от «Марвел» – их английская дистрибуция раздражающе беспорядочна из-за того, что из Америки их доставляют в виде балласта для более прибыльных грузов. Дэвид замечает новый номер «Мстителей», который наверняка купит несмотря на то, что Дон Хек – художник журнала – кажется ему малость скучноватым, хотя Альме творчество Хека нравится. С куда большим энтузиазмом он приглядывается к новой «Фантастической Четверке» и что намного важнее – новому «Тору», с «Историями Асгарда» от его кумира Джека Кирби в конце выпуска. Он забегает в магазин, выходит меньше чем через минуту с уловом в шесть дополнений к растущей коллекции, всего за четыре шиллинга и шесть пенсов. Сунув их в спортивную сумку на плече, Дэвид седлает велосипед и продолжает путь по Графтонской улице на Нижнюю Хардингскую, откуда поворачивает налево. Сразу видно, что он в совершенно другой части города. Справа от Дэвида к улице Монашьего Пруда и воротам задних дворов вонючей дубильни спускаются развалы щебня, которые когда-то были двумя-тремя кварталами домов. Если верить рассказам Альмы, это ее эквивалент обыденного вялого утра Дэвида на детской площадке на

«Ипподроме»: на этом пустыре она ползала внутри больших бетонных труб и случайно ушибла пальцы так, что ногти почернели и отвалились, пока Дэвид сидел с несравнимо легким братом Эндрю на качалке, которая не двигалась и никогда не сдвинется, навсегда оставив младшего брата высоко в воздухе. Дэвид даже не знает, кому повезло больше, ему или Альме, и приходит к выводу, что кому шестерка, а кому полдюжины, у каждого свои карусели. Ему бы не хотелось жить здесь – в саже, которую несет от станции, среди кипрея, укоренившегося в той же копоти с поникшими лепестками, словно розовой фольгой, – но бывают времена, когда он понимает таинственную привлекательность местности. Например, случай, когда он навещает Альму, а ее нет, так что приходится просить передать о визите ее бабушку. Если верить тому, что потом рассказала Альма, то, когда она наконец приходит домой, бабуля описывает посетителя как мальчика примерно роста Альмы или чуть пониже, на велосипеде, очень грамотного, в джинсах и синем джемпере. Альма, желая ускорить процесс опознания, спрашивает бабулю, не был ли мальчик, случайно, черным, на что застигнутая врасплох семидесятилетняя старушка отвечает со смущенным видом: «А знаешь, даже и не скажу». Альма сама и не знает, как это понимать, а Дэвид вовсе ошарашен, но в то же время ему смешно, а еще очень приятно, хотя он и не может объяснить, почему. Он вынужден признать, что в категории радушного и беспристрастного отношения к гостям бабуля Клара заткнет его отца Бернарда за пояс. Ему до сих пор стыдно за тот раз, когда он пригласил Альму посмотреть его комиксы, а папа настоял переговорить с ней наедине в передней комнате, словно викторианский патриарх, желающий убедиться в честности намерений. Когда Альма ушла, Бернард отвел Дэвида в сторонку и без обиняков объяснил, что, хотя в общении с белыми нет ничего дурного, Альма не из тех белых, с которыми Бернарду стоит появляться на людях. Провалила собеседование. Дэйв и Альма только посмеялись и решили, что в чемпионате предубеждений класс побеждает расу. Дэйв мчит по Нижней

Хардингской улице к началу Ручейного переуллка, и прохожие не удостоивают его и долей внимания – почти будто уже насмотрелись на черных на велосипеде. Мальчик свистит вниз по древнему холму в восторженном полете на дорогу Святого Андрея, за которой в ржавчине и солнечном свете дремлет сортировочная станция, налегает на педали, чтобы увидеться с подругой – живущей в другом мире, другом десятилетии, – с школьной сумкой на плече, полной богов и ученых, Негативных Зон и Радужных мостов в основных цветах – его талисманов, с которыми он опускается в район и в его ветхие чудеса, его хрипучую доисторическую атмосферу.

Когда Генри долгими неделями плыл на «Гордости Вифлеема», он читывал книжки про Буффало Билла, уложенные в трюм для балласта, но это только чтоб было чем заняться, а не от какого великого уважения к полковнику Коди. И все же он понимает человеческую потребность в бестолковых приключениях и обиды не держит. Как скажет Генри, промеж суеты, стараний и малых утешений этого мира, в которых мы барахтаемся, человеку нужна звезда над головой, чтоб по ней прокладывать маршрут, а что это за звезда такая? Это какой-то такой идеал, что достать нельзя, но путь он показывает. В Теннесси, на плантации, рассказывают старые сказки из Африки о бесстрашных воинах и всяческих умных духах-животных, что учат быть добрыми с людьми, пользительности смекалки и все такое прочее. Есть еще песни с религией, в том числе гимн пастора Ньютона, – это, на взгляд Генри, то же самое, но другими словами: мысли про лучшую долю или лучшее место, куда, может, никогда и не попадешь, но само знание об нем подстегивает. Притом неважно, коли узнаешь, будто человек, что пишет гимн, тоже не без греха и не особенно соблюдает то, об чем сам пишет, потому что главное тут идеал. В том же разе есть мифологические выдумки – скажем, Геркулес, – и выдуманные персонажи из книжек, как

Шерлок Холмс и кто там еще; да и, коли на то пошло, как Буффало Билл – такого вымышленного персонажа еще поискать. Одна только мысль, что есть кто-то такой умный, хитрый или смелый – и пускай есть он только понарошку, когда ты весь увлечен историей, – она дает то, к чему стремиться и править фургончик жизни. А главное, есть настоящие мужчины и женщины, которые, по прикидкам Генри, есть самые яркие маяки и самые славные примеры, ведь они из плоти и крови, а не какой тебе древний бог или герой из книжки, и значит, коли стараться, как они, может взаправду выйти что чудесное. Иногда во сне Генри призывает Бриттона Джонсона: он как красота во плоти шагает по бульварам какого-то огромного места, которое всегда является Генри во снах, крутит шестизарядники, как ковбой из кино, или переодевается в краснокожего, чтобы выручить жену и детей из плена команчей. Вот бы быть таким человеком – и Генри надеется, коли Селина или их детишки когда попадут в беду, ему достанет смелости поступить так же, как Бриттон Джонсон, – ну или не хуже. Черному Чарли и так хватает внимания по жизни, а тут еще и в краснокожего переодеваться. Нет, оденется, коли надобно, но в Боро это навряд пригодится. Снится Генри матушка Сикол, оживляющая раненых солдат какими-то травками, ромом и, может быть, пляской вокруг полевого госпиталя и продовольственной лавки, которыми она заведовала на фронтах Крымской войны, – Сикол в глазах людей никогда не сравнивается с миссис Найтингейл, а Бриттон Джонсон никогда не дождетя дурацкой книжонки в свою честь, как Билл Коди. Снится Генри Уолтер Тулл, на ничейной земле между траншеями, как в дошедших историях о том, будто немцы и англичане на Рождество играли в футбол перед тем, как на другое утро обратно приняться взрывать друг друга ко всем чертям. Генри снится Уолтер Тулл в белых мешковатых штанах и бордовой рубашке, как он ведет мяч между танковыми ежами и дохлыми конями, как ныряет в горчичном газе то туда, то сюда и выбивает его высоко над брустверами, телами и колючей проволокой в черные

небеса над Пашендалем, словно пылающую сигнальную ракету. Генри никогда не снится Джон Ньютон, никогда не снится Иисус, а нынче, в годах, Генри предпочитает брать в своих святых простых мужчин и женщин, кто на святость не претендует. Он ни в коем разе не атеист, просто больше не желает вкладывать религиозную веру в людей, которые могут подвести, или какую другую институцию, кроме своей собственной, в какой он уверен. Генри строит грубую церкву в сердце, чтобы можно было всегда носить с собой, заскакивает в старые сараи и развалины, мычит про себя вместо органной музыки, а на солому да лошадиный навоз из воображения льется витражный свет. Генри думает обо всем, что сделал: как заботился о мамане с папаней за то, что они заботились о нем, как пересек большое широкое море и скатился в Нортгемптон в снежной шерстяной лавине, как вырастил с Селиной детей, не потеряв ни единого, – и он доволен собой и своей жизнью. Генри верит, что лучшей всего, чтоб человек был сам себе главный идеал и светило, сколько бы долго он к этому ни шел.

По-собачьи проплыв в ленивых, нетребовательных течениях потока «С», Дэвид сам не замечает, как проходит уже шесть бассейнов образования длиной в год, не захлебнувшись. Он сдает средние экзамены «о-левел» по паре впоследствии бесполезных предметов, проваливает остальные и не видит смысла проваливать и высшие «а-левел». Ему не хочется в колледж, а хочется поскорее покончить с годами этой бессмысленной и унижительной прелюдии, чтобы продолжить жизнь в хоть каком-то подобии реального мира. Папа в ярости от разочарования. Все идет наперекор надеждам Бернарда. В Сьерра-Леоне – военный переворот за военным переворотом, и главным наконец оказывается этнический лимба Сиака Стивенс, тут же показав свое истинное лицо, казнив всех политических и военных врагов на виселице на Кисси-роуд во

Фритауне. Все плохо и будет еще хуже – такие перспективы видит Бернارد и для своей родины, и для старшего сына. Мнение отца о Дэйве падает – но, очевидно, все же не до уровня брата Эндрю, о котором мнения вообще не было. Дэвиду все равно. Быть избранным – в первую очередь бремя, и в уютной опале родительского неодобрения братья только сблизились. Перешептываясь и пересмеиваясь в темноте после отбоя, они начинают планировать отважный побег. За дорого доставшейся дверью родительского дома даже в болото Кингсторп-Холлоу вливаются 1970-е – флуоресцентная пена туфель на платформах и звезд для макияжа. Тексты песен хромируются научной фантастикой, а Джек Кирби уходит из «Марвел Комикс», только чтобы обрушить ошеломительный каскад свежих идей в журналах их главных конкурентов – о множестве воинственных технобогов и переделанных бруклинских детских бандах из 1940-х. Между тем настоящая местная банда из жестоких неоперившихся скинхедов-семнадцатилеток переименовывается – довольно пугающе – в «Парней Боуи» [\[163\]](#) и теперь подводит глаза карандашом и носит тартановые барсетки в стиле группы Bay City Rollers. Эпоха врывается в город во вьюге пайеток, оставляя на обочинах сугробы блесков. Щеголяя в фантастической одежде от «Биба» и люминесцентной шипастой прическе, она заигрывает с братьями, наконец соблазняя сбежать из дома и присоединиться к цирку. Как только они подрастают и больше не нуждаются в одобрении и благословении отца, которых все равно не дождешься, они переезжают в Лондон. Это уже совсем не то место, нерадушно встретившее Джойс и Бернарда, когда они впервые прибыли в Брикстон двадцать лет назад, а черный цвет чуть ли не в моде. Мир, о каком раньше и мечтать не приходилось, принимает Дэйва и Энди так, как не мог Нортгемптон, дарит им и жилье, и работу. Дэвид устраивается в магазине одежды, который сейчас на языке у всех в области черного шоу-бизнеса, и вот уже рекомендует наряд для Лаби Сиффре, учится кунг-фу под Карла Дугласа и открывает

благоухающий мир девчонок так, как просто немыслимо в Кингсторп-Холлоу – под бдительным оком Бернарда в золотой оправе, в карантине однополной грамматической школы. Дэвиду кажется, что он зажил только сейчас – одевается как хочет, впадает в фанкаделику, когда нравится, но все же проходит весь бурный период, ни разу не поддавшись на соблазны дредлоков или афро. Он с Эндрю иногда заскакивает в Нортгемптон, просто поведать маму и поболтать с Альмой, но атмосфера и колючая тишина вокруг отца оборачиваются тем, что интервалы между визитами становятся все дольше. Даже за Альмой уже не уследить, когда террасу на дороге Андрея сносят последним взмахом метлы в генеральной уборке Боро, дрящейся с конца Первой мировой войны. Семейство Уорренов переезжает в Абингтон, потом Альма отделяется и в одиночку сменяет череду бойфрендов, гостинок и адресов без телефона. Медленно, но верно они теряют связь, но Дэвид уже начал встречаться с Натали – прекрасно сложенной девушкой из нигерийской семьи, с которой он уже не расстанется. Его жизнь набирает обороты, и вот он уже летит по годам, словно на велосипеде «Райли», а восторг слегка умаляет только тот неоспоримый факт, что в жизни, похоже, тормозов не бывает. Не остановишься и даже не замедлишься.

Удача и самого Генри, и места, где он живет, иссякла, коли вообще была, – и он это знает. Суставы и петли скрипят, глаза и окна заплывают, все на последнем издыхании. Исчезли некоторые улицы и множество людей, что были ему как родные. У Мелового переулка, где всё рушат и все съезжают, он встречает знакомых женщин, что просто стоят и плакают, а одна говорит: «Ну, вот и конец нашего знакомства». Ему жаль павших зданий и жаль, что на месте, что-то для кого-то значившем, теперь только пыль да щебенка. Но это твердый камень – а люди не из камня, им достается сильнее. Связи

между ними, хрупкие, создававшиеся годами, рвут одним росчерком чьего-то пера в ратуше. Друзей и семьи рассеивают без толку и логики, будто бильярдные шары, которые раскидывают по четырем углам Нортгемптона, и у всех жизни пошли наперекосяк, и Генри не может не думать, как же это обидно. По тому, что он слышит, недолго простоят и Банная с Замковой улицы и его собственная Алого Колодца, и он знает, что придет время, когда уничтожат даже Деструктор и застроят какими-то там большими современными жилыми домами, что ему совсем не по душе. Он не спорит, что после перемен в округе станет чище и гигиеничней, но схемы и чертежи, напечатанные в вечерней газете, вовсе не такие дружелюбные, и он сомневается, что там найдется место для смертоведок или сумасшедших вроде Турсы Верналл; для попрошаек вроде Фредди Аллена или того же Джорджи Шмеля; даже для Черного Чарли с забавным велосипедом с тележкой. Теперь он чаще скребет деревянными брусками по кривым переулкам – из страха, что наберет такую скорость, что на ухабах развалится на запчасти вместе со своим транспортом. Однажды, покуда Генри отдыхает на травке у остова старого замка, он вступает в разговор с приятным молодым человеком, который кажется благовоспитанным и подкованным в древней истории. Паренек затрагивает тему кожи Черного Чарли, но с нервным видом, кабы не обидеть, и говорит, что эти упавшие старые камни не первый раз повидали черного. Тогда Генри спрашивает, что бы это значило, а тот рассказывает про одного малого – Петра Сарацина, цветного родом из Святой земли или Африки, который проживал здесь в тыща двухсотом году и строгал арбалеты для какого-то Плохого короля Джона, годков за семьсот до того, как в эти края прибыл сам Генри. С одной стороны, Генри не станет скрывать разочарования, что оказался не первым человеком своего цвета окрест, но это же только тщеславная гордыня, и, с другой стороны, он рад, что у него появился новый герой для общения в грезах, наряду с Уолтером Туллом и Бриттоном Джонсоном. Он представляет, как везет всех троих на своем

изобретении с веревкой вместо шин, доставляет арбалетчика, футболиста и ковбоя до самого дома в Теннесси шестьдесят лет назад, чтоб они спасли народ Генри красивой стрельбой, смертоносными бесшумными болтами и игровыми способностями. В эти дни он спит дольше, так что и времени на полеты фантазии больше. Между тем под его окном на Алом Колодце, в основании, сносят склады и дома, и остается только узкая полоска домов на дороге Святого Андрея. Чуть выше по холму закрыли и заколотили «Фредли Армс», чтобы со временем исчез и паб. От кого-то Генри узнает, что мистер Ньютон Пратт заболел пневмонией и умер несколько лет назад – так уж ему сказывали. Что приключилось с легендарным зверем Пратта – Генри так и не узнал, и в конце концов едва не убедил себя, что наверняка его вовсе выдумал, ведь его существование кажется менее правдоподобным, чем существование Уолтера Тулла, Петра Сарацина и Бриттона Джонсона вместе взятых. Генри дремлет, а за его порогом разваливается мир.

Всего в пяти-шести декадах оттуда Дэвид легко влетает в 1980-е, уже женатый на Натали и благословенный двумя хорошими детишками, Селвином и Лили. Научно-фантастические наклонности детства приводят к тому, что, когда в магазинах появляются первые коммерчески доступные компьютеры, он с радостью набрасывается на них – на сказочные устройства, прежде неизвестные за пределами Бэт-пещеры. Будучи умнее, чем можно подумать по табелю потока «С» из Грамматической школы, он быстро осваивает новую технологию – едва ли не единственный во все еще ошалевшем мире, как будто еще не пришедшем в себя. Он словно какой-то исследователь на далекой дикой планете, который покоряет благоговеющих туземцев зеркалом и коробком спичек: Дэвиду так легко дается норовистая машина, что это кажется чудом всем свидетелям, и скоро он уже работает высокооплачиваемым

кибернетическим траблшутером в Брюсселе, а домой возвращается на выходные. Когда выпадает случай, он поддерживает связь с Эндрю, который сам женат, с двумя детьми и тоже поживает неплохо, но, хоть у Дэвида и намечается сближение с папой, он по-прежнему посещает Нортгемптон через раз. Как следствие, его представление о переменах города – бессвязная серия снимков в небрежном фотоальбоме, где пропущены целые годы истории. Взять для примера приезд в 1985 году, когда он обнаруживает, что черное сообщество города, в основном ямайское, оккупировало викторианский форт Армии спасения, стоящий на отшибе, на пустыре у Овечьей улицы – рядом с эстетическим вариантом топора в лицо в виде автовокзала «Серые монахи». Дэвиду кажется, что красивую старинную постройку не иначе как охраняет какой-то статус исторического памятника, пока все вокруг беспрепятственно сносят. Его новые обитатели, со втиснутыми в банданы из эфиопских флагов дредами-гусеницами, переделали заброшенный форт в энергичный улей афро-карибской активности. Здание переименовывают в клуб «Матта Фанканта» – как понимает Дэвид, на ямайском это значит что-то вроде «место, где делятся», – и присматривают там за дошколятами, предоставляют площадку и оборудование местным музыкантам для репетиций и поддерживают огонь под вечным рагу в столовой на втором этаже. Зданию с фасадом из розоватого кирпича и изящными лепными рольверками подарили новую жизнь, и оно сияет. Когда он проезжает через Нортгемптон всего пару лет спустя, его уже сровняли с землей бульдозеры – и не осталось ничего, кроме желтеющей травы и слухов о ненадежных организаторах, сваливших домой в Кингстон со всеми фондами, о молодежи с колоритными уличными кличками, толкавшей ганжу, и, в конечном итоге, полицейских облавах после того, как на стоянке здания стали замечать слишком много БМВ. Вот тебе и статус памятника, если он вообще был. В той же поездке Дэвид с облегчением видит, что невероятно старый бук, который он едва-едва помнит из младенчества, все еще стоит и процветает на

дворе чуть дальше по Овечьей улице, ну и, конечно же, никуда не делась такая же древняя махина церкви Гроба Господня – их с буком, похоже, просто нельзя выкорчевать с места, как и Альму Уоррен, с которой он снова налаживает контакт. Поддерживая ослабевающую комиксовую привычку нечастыми посещениями магазина в Ковент-Гардене под названием «Комикс шоукейс», Дэвид впервые узнает, что его старая подруга неплохо поживает, когда слышит, как другие покупатели с тихим пиететом обсуждают ее недавнюю обложку. Он сам покупает пару журналов и вынужден признать, что впечатлен жутким реализмом, с которым Альма подходит к дурацким персонажам тридцатилетней давности, словно относится к ним куда серьезнее, чем они того заслуживают. А потом, пару недель спустя, в том же самом магазине Дэвид встречается с Альмой лично, пока катает там на плечах свою дочку Лили. Оба до невозможности рады друг друга видеть, им есть о чем поговорить, и с тех пор он уже не пренебрегает поездками в Нортгемптон. Он бы ездил чаще, но ситуация у папы и Эндрю по-прежнему натянутая и неловкая. После того как попытка Бернарда помочь одному сыну за счет другого уперлась в нежелание Дэвида участвовать в подобном соревновании, старик перенес свой незванный и дискриминационный фаворитизм на новое поколение – души не чает в Селвине и Лили, даже не глядя на двух мальчишек Эндрю, Бенджамина и Маркуса. Чем поведение папы огорчает Дэвида особенно – тем, как оно ранит Эндрю; намного больше, чем когда Бернард обделял только его самого. Энди не брал это в голову, но уже не может видеть, как то же самое происходит с его ребятами. Его охватывает одержимое желание добиться, чтобы его потомству достались те же преимущества, которые, по его мнению, сыплются на детей Дэвида, он гонит их в школу и колледж в упрямой уверенности, что дедушку вынудят заметить внуков хотя бы их академические успехи. Дэвид советует Эндрю не переживать из-за отца, но видит, что это легче сказать, чем сделать, когда у тебя на глазах третируют твоих собственных детей. Дэвид видит в лице

брата горечь и обиду и не знает, чем все кончится, но подозревает, что ничем хорошим.

Черный Чарли умирает у себя дома на улице Алого Колодца – всего за несколько месяцев до того, как дом снесут, чтобы построить многоквартирник, а его с семьей переселить туда, куда им не очень-то и хочется. Селина и дети мелькают у кровати в каком-то сонном тумане – из-за лекарства, которое Генри дают, чтоб грудь болела не так сильно. Ему говорят, что через дорогу уже почти ничего не осталось, кроме Ручейной школы и парочки домов под холмом. Он не желает запоминать все так – в виде кучи кирпичей на пустыре, – но любит представлять, что одна конюшня на задворках уцелевших домов на дороге Святого Андрея все еще стоит. Раз ходить в церкву – не по нему, да нынче он бы и не дошел, коли захотел бы, то старый сарай – ближайшее святое место для Генри в шаговой доступности, кабы он мог сделать тот шаг; хотя бы в мысленной доступности, раз уж так. Он решает, что подошел тот момент в жизни, когда неплохо бы переброситься парой словечек с творцом, и для этого в мыслях отправляется в старый сарай без необходимости подниматься с постели. Он представляет, как садится на старый велосипед, который отдал несколько месяцев назад поиграть Эдварду, когда стало ясно, что самому тот больше не понадобится. В воображении Генри притворяется, что скатывается по улице Алого Колодца – прежней, и Ньют Пратт со своей пьяной зверюгой стоят у воскресенного «Френдли Армс» и приветствуют Генри доброжелательными, но нечленораздельными звуками, покуда он едет в направлении дороги Святого Андрея, прямо как когда он еще мог ездить, а они оба были живы. Он видит себя молодым и полным сил, сворачивает на тарантасе до главной дороги направо в мощный переулок, что зовется Террасой Алого Колодца, подкатывает к задним воротам конюшни, которые в мыслях Генри

всегда открыты, а не заколочены, как, говорят, в настоящей жизни, раз лошадей внутри больше нет. Генри прислоняет воображаемое изобретение к воображаемой стене снаружи и представляет, как откидывает ржавый крючок и заходит внутрь, призывает, как только может, все запахи и звуки места – порхание гнездящихся голубей и аромат соломы, не менявшиеся годами; затхлый дух овса и слабое воспоминание о навозе. Над головой Генри – свет через выломанную черепицу, когда он бухается на воображаемые колени и просит то создание, что где-то его слушает, правда ли он скоро помрет и чего ему ждать дальше. Как обычно, не дождавшись ответа, Генри спрашивает сам себя, какого же ответа он ожидал, какой загробной жизни хотел на следующую долгую часть вечности. Его не так уж прельщает рай с иллюстраций Библии. Спору нет, там чистенько и красиво, всюду облачка и мраморные лестницы, но, как и во всяких современных корпусах, которые, говорят, сейчас строят снаружи, он не видит на такой картинке места для Генри – по крайности такого, чтоб ему было угодно. Ну, коли это не по душе, чего тогда он хочет? Он вертит в голове идею этих всяких индусов – мол, в новой жизни ты переродишься кем-то другим, может, даже каким зверем безмозглым, – и не чувствует особых восторгов. Коли он помрет, а на следующей неделе родится совершенно другой человек, что даже ничегошеньки об нем не помнит, что же тут останется от Генри Джорджа? Коли только он чего-то не упустил, то ясно же, что это просто сам по себе человек, а никакой не Генри Джордж. Нет, когда он пытается измыслить собственный рай, то обнаруживает, что окружен тем, что знает, что уже случилось. Он думает, как хорошо бы снова свидеться с папаней и послушать, как поет в полях маманя. Хотелось бы обратно прожить беспечные года детства, когда все казалось добрым и таинственным, куда его не клеймили. Хотелось бы впервые познакомиться с Селиной и прогуляться с ней у реки Уск, где та бежит через Абергавенни, или поваляться с ней в бесполезной рваной палатке среди огромного стада после свадьбы и отправки из Уэльса навстречу Нортгемптону.

Он жаждет вернуться в тот день, когда получил свою плату и они с Селиной впервые увидели улицу Алого Колодца, где ему положено жить и вскоре умереть, он хочет быть рядом с женой и маленькой смертоведкой миссис Гиббс, когда они зовут его в родильную посмотреть на маленьких деток. Хочется вернуть из прошлого старый велосипед с веревками вместо шин и силы, чтоб на нем кататься. Генри взбредает на ум, что он просто хочет начать всю свою жизнь заново, все то, что ему дорого и знакомо. Кабы так было можно, то это стоит клеймения и морской болезни на борту «Гордости Вифлеема». И другого Генри не надо, но солнечный свет в мыслях, падающий через пробитую крышу на стропила, помеченные голубиным пометом, как будто становится все ярче, а потом, когда Селина приносит ужин, чтобы он хоть немного поел, разбудить она его уже не может.

Где-то в другом месте и времени – 1991 год, и Бернард Дэниелс, уже на пенсии, решает еще раз посетить вместе с Джойс Сьерра-Леоне, пока не слишком состарился для путешествий. Дэвид немного знает о современной политике в Западной Африке, но сомневается, что эта поездка – такая уж хорошая идея, и Эндрю его поддерживает. Папа отмахивается от их забот. Его сыновья родились в Брикстоне, никогда не были в Африке, и в их глазах коренных англичан она кажется грозным черным континентом. Бернард и Джойс – африканцы, у них подобных страхов нет. Они просто вернутся домой, и пусть Дэвид каркает о напряжении, рокочущем ныне в львиных горах, это их не переубедит. Бернард бегло проглядывает международную рубрику «Таймс», заключает, что ситуация по меркам Сьерра-Леоне самая обычная. Несколько лет назад Сиака Стивенс уступил место в пользу другого лимбы – генерал-майора Джозефа Момо. Следуют традиционные попытки переворота – или заявления о них, – и следует обычное возмездие в

виде переспелых фруктов вдоль Кисси-роуд. Конечно, еще Момо вынужден вернуть многопартийную политику, пока в рядах оппозиции раздаётся мрачный ропот, но Бернард знает, что если ждать для путешествия подходящей политической погоды, то они с Джойс не уедут никогда. Решено. Рейс забронирован. Больше Дэвид, Эндрю и их семьи ничего не могут поделать, кроме как скрестить пальцы и надеяться на лучшее, а это, понятно, никогда не помогает. В переживаниях из-за шаткой политики в Сьерра-Леоне никто не подумал о том, что творится за границей в Либерии, а именно о кровавой и ужасной гражданской войне, которую срежиссировал лидер Национального патриотического фронта Чарльз Тейлор. Это ему принадлежит самый мощный и убедительный слоган, когда-либо звучавший на выборах:

Я УБИЛ ТВОЮ МАМУ.

Я УБИЛ ТВОЕГО ПАПУ.

ГОЛОСУЙ ЗА МЕНЯ.

Тейлор решает, что в его интересах разжечь борьбу и в Сьерра-Леоне. Он помогает основать Революционный объединенный фронт с этническим темне во главе – капралом Фоде Санко, экспертом в партизанских войнах, обученным в Британии и Ливии. Когда в Сьерра-Леоне развязывается гражданская война, Бернард и Джойс оказываются в самом ее разгаре – им семьдесят, они крио, которых не любят туземные племена, перелеты в страну и обратно отменяются и выхода нет. Ужас. Прямо через улицу под невообразимые шок, страх и мольбы обрывают жизни – редко выстрелом, редко быстро. Это и модные убийства «ожерельем» из горящих шин, и двадцатиминутные казни тупыми мачете, после которых сами убийцы выбиваются из сил. Съежившись в отеле, пара выглядывает из-за задернутых штор на плывущий дым, на злую черную волну, что хлещет по улице. Тем временем в Англии Дэвид и

семья в панике, обзванивают туроператоров, посольства, и в конце концов каким-то чудом возвращают родителей – потрясенных, но невредимых. Невредимых – и в случае Бернарда как будто неизменившихся. Все, что он видел, только подтверждает его давние убеждения, что туземные племена Сьерра-Леоне – дикари, которые только приобрели от колониального правления и не способны без него существовать. Что до мнений о делах ближе к дому, то и они остаются прежними. Бернард все еще отказывается проявлять внимание и поддержку детям Эндрю в той же мере, что и детям Дэвида, а попытки Эндрю доказать отцу, что тот не прав, заставляя Бенджамина и Маркуса просить на академическом поприще, уже въелись и стали у него навязчивыми. Дэвид наблюдает за тем, как все разворачивается, словно за историей о призраках – жутким, необъяснимым повторением событий и настроений прошлого, неумолимо проявляющихся в нынешнем дне, в 1997 году. Наконец однажды субботним утром ему звонит брат, который едва может говорить, едва может выдать слово. Маркус, его старший сын, покончил с собой. Энди только что сообщили об этом из колледжа. Предположительно, давление из-за экзаменов. О господи. Страшная замедленная авария, начавшаяся сорок лет назад во Фритауне, достигает столкновения, и семейство Дэниелсов оказывается контуженным и парализованным среди эмоциональных обломков, пока на ветру вдоль Кисси-роуд кивают цветы.

1997-й год, и Железнодорожный клуб в конце дороги Святого Андрея у Замковой станции – практически все, ради чего живет Эдди Джордж. Ему уже восемьдесят, если не больше, и он болен такой штукой, которую не умеет произнести, – склероз или как его там, – но если он может добраться из дома в Семилонге до своего обычного столика в клубе, то рад уже просто пропустить кружечку «Гиннеса» и повидать друзей. Туда ходят самые разные люди со

всего района, вот что Эдди так нравится. Парочки с детьми, много старушек и старичков вроде него самого, и молодые красавицы, на которых не грех и полюбоваться. Часто там он встречается с Миком Уорреном и его семейством – женой Кэти, иногда его растрепанной сестрой и двумя мальчишками, Джеком и Джо. Джеку шесть или семь, и ему нравится болтать с Эдди. Эдди тоже нравится. Говорят они обо всякой ерунде, а ему вспоминается, как он сам был мальчишкой, играл в маленькие фургончики с братьями и сестрами на тротуаре прямо перед домом на улице Алого Колодца, а потом папа перед смертью подарил Эдди свой смешной велосипед с прицепом. Чертова штуковина развалилась всего пару недель спустя. Эдди посмеивается от одного воспоминания о ней, когда звонит такси, чтобы съездить в Железнодорожный клуб, но от смеха начинается колотье в груди, так что в ожидании он садится на софу и успокаивается. День серый и в глазах Эдди, пока он сидит в крошечной гостиной, какой-то мрачноватый. Он думает включить свет, чтобы стало хоть чуточку повеселее, и к черту расходы, но тут подъезжает и сигналит снаружи машина. Стоит всего лишь встать, как мысли и чувства словно отливают из головы к ногам. Он позволяет молодому расторопному водителю довести его от входной двери до заднего сиденья, где его еще нужно пристегнуть как полагается. Хотя бы тепло, и, когда заводится машина и они укатывают прочь, он видит за окном, как скользят вверх по холму соседские дома и многоквартирники, пока они спускаются по улице Стенли к дороге Святого Андрея. Улица Стенли, улица Бейкера и улица Гордона. Много лет Эдди прожил в Семилонге, пока не понял, что это все имена знаменитых английских генералов, которые осаждали Мафекинг уж больше ста лет назад. А долго он жил с впечатлением, что это все как-то связано с киноактером Стенли Бейкером, и эта мысль тоже вызывает улыбку. Такси сворачивает налево, на дорогу Святого Андрея, а справа от него – склады, предприятия по ремонту мебели и сараи, стоявшие здесь, сколько Эдди себя помнит, – кое-какие еще с вывесками над облезающими

деревянными воротами, которые Эдди кажутся какими-то викторианскими. Через дорогу от них, слева от него, в аккуратной чередке мелькают прорехи параллельных холмистых улиц, составляющих Семилонг: Хэмптон-стрит, Брук-стрит и прочие. Эдди всегда здесь было очень хорошо. Район ему нравится, хотя никто не скажет, что тот в добром состоянии. Ни в коем случае не самое худшее жилье, но все же если говорить о местах, о которых заботятся, то Семилонг далеко внизу списка. А дело, если спросить Эдди, в том, что место, где он живет, слишком близко к тому месту, где он жил раньше, – то есть к Боро, или Весенним Боро, как их вроде бы называют нынче. Как будто бедность и упавшие цены на недвижимость заразны и перекидываются с округи на округу, если их не держать в карантине – например, завесить дверь одеялом, промоченным дезинфицирующим средством, как делали на улице Алого Колодца, когда кого-то сваливала алая лихорадка. Эдди помнит, что – прямо как с путаницей из-за Стенли Бейкера – когда-то думал, будто алой лихорадкой болеют только жители улицы Алого Колодца; может быть, у тех, кто с Зеленой улицы, зеленая лихорадка. Его никогда не перестанет удивлять, что взбредает на ум в детстве, и он надеется, что в клубе сегодня будет и малыш Джек. В окне справа теперь трава и деревья, сбегаящие к буро-зеленой реке, – это место в молодые годы Эдди всегда звали Лужком Пэдди, хотя теперь и для него, небось, выдумали новое название. Он вглядывается красными глазами в старую детскую площадку у основания травянистого склона, которую до сих пор именуется Счастливой Долиной. Из облаков падает тонкий лучик, чтобы разлиться по ржавой карусели и языку ветхой горки, и Эдди чувствует, как к горлу подкатывает ком, так ему все это дорого. Он помнит свои приключения в камышах на кромке воды с другими чумазыми мальчишками, и как они пугали друг друга, прикидываясь, будто в речке живет длинное чудище, которое их утащит, если подойти слишком близко. Теперь он смотрит на пустой лужок и чувствует, что все эти дни по-прежнему где-то там, в стремнинах, на скрипучих качелях, все еще делятся, вот только он

слишком далеко, чтобы их толком разглядеть. Иначе быть не может. Он не находит в себе сил поверить, что любой миг, любой человек, любая вещь утрачиваются навсегда. Просто он и все остальные идут дальше и оказываются во временах и обстоятельствах, которые не понимают и не любят, а потом уже не получится вернуться туда, где они были довольны и счастливы. Нынче в мире много всего, чего Эдди невдомек. Не знает он, что думать об этом новом правительстве, этих лейбористах – которые что-то не говорят и не выглядят, как лейбористы, которых помнит он, – и о принцессе Диане, погибшей в автоаварии, что застала Эдди врасплох так же, как и всех, когда страна чуть не захлебнулась в слезах. Эдди кажется, будто сейчас с каждым днем все больше новостей, уже переполняют его до краев, и от очередной модели с пищевым расстройством или банды футболистов-насильников все уже накопленное знание скоро хлынет на пол. Такси уже на светофоре, где дорога Андрея встречается с началом Спенсеровского моста и Графтонской улицей, и он вдруг глядит на стоянку грузовиков за светофором, на противоположной стороне дороги, – «Суперсосиску», где раньше был лужок с общественными банями в стороне. Еще слишком светло, чтобы девушки уже вышли на панель, и Эдди этому только рад, потому что его воротит от одного вида – от того, что они становятся все моложе и моложе. Он устал. Он устал от мира, и Эдди ерзает на заднем сиденье – ему кажется, будто ремень слишком тугой, будто его застегнули неправильно. Зеленый свет, машины страгиваются, и вот они уже проезжают мимо огороженной стоянки грузовиков – теперь за стеной справа железнодорожные депо, а слева – короткая полоска травы между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца, где когда-то стоял ряд домов. Эдди не может не смотреть с тоской на улицу, где родился, пока такси проезжает у ее основания, и на жуткий одинокий дом, который выживает на углу в одиночестве. Старый уклон уходит вверх, на одной его стороне – Ручейная школа, а на противоположной – многоквартирник, построенный в 1930-х, когда снесли дома, где

жили Эдди, его семья и их друзья. Закругленные балконы облезают, а входы на внутренний двор теперь закрыты воротами. На верхушке холма – два корпуса больше всех остальных, Клэрмонт-корт и Бомонт-корт: башни стоят с победоносным видом, тогда как все вокруг сровняли с землей. Эдди первый признает, эта улица не ахти, но отсюда он пошел быть, и в ней до сих пор теплится какой-то огонек. Эдди закрывает глаза у места своего рождения, и под веками плавают обычные цветные пузыри желе. Их случайный рисунок что-то напоминает Эдди, и он не может понять, что, пока не осознает, что это шрам на плече папы, с треугольниками и волнистыми линиями. Он думает о родителях и вдруг понимает, что прошло ровно сто лет – может быть, даже вплоть до месяца, – с тех пор, как они впервые прибыли в Нортгемптон и положили глаз на улицу Алого Колодца. Как вам такое? Нарочно и не придумаешь. Сто лет. Он вроде бы чувствует, как машина останавливается у Железнодорожного клуба, и вроде бы слышит, как водитель говорит «Приехали», и ему приятно это слышать, но, сказать по правде, к этому времени Эдди мертв уже добрых несколько минут.

Выше по времени всего лет через десять, в 2006 году, Дэйв Дэниелс прогуливается по солнечной Овечьей улице на пути к выставке Альмы. Не считая круглой церкви, изменилось все, и он уже не узнает, какие окна принадлежат его старому дому – тому, где не ступала нога Эндрю, – или вообще стоит ли еще тот старый дом. Ему смутно кажется, что он мог оказаться среди тех, которые снесли, чтобы освободить место для большого здания цвета солонины с Налоговым управлением, но он не уверен. Какая разница. Он все равно почти не помнит свой год жизни здесь, а после того, как старший сын Эндрю так забрал собственную жизнь, Дэвид винит в смерти племянника именно ситуацию в начале пятидесятых, хотя и сам знает, что правда куда сложнее, не такая черно-белая. По-

другому не бывает. Дальше по улице он вглядывается через открытые ворота на двор, где когда-то стоял старый бук, но, поговорив недавно с Альмой по телефону, уже знает, чего ожидать. Деревянный бук не моложе самой круглой церкви, устоявший против всех крестовых походов и гражданских войн, наконец отравил ночью какой-то важный владелец ближайшего предприятия с планами на этот участок, когда, к сожалению, у него на пути встал закон о сохранении – по крайней мере, если верить скверным местным слухам, что Альма передала Дэвиду. Он качает головой, подозревая, что таков уж этот мир, ничего не поделаешь. В конце Овечьей улицы он переходит шоссе, которого раньше не было, и минует пустой провал, заросший травой, на месте «Матта Фанканты», рядом со все еще стоящим автовокзалом, которому по народному голосованию присудили звание самого уродливого здания в стране. Он помнит, как Альма рассказывала, что вдобавок к омерзительному виду у него еще и ворота не с той стороны, так что автобусам приходится описывать полный круг перед въездом, и все потому, что городской планировщик работал по перевернутым вверх тормашками чертежам. Почти смешно. Он сворачивает направо, подходит к Рыбному рынку в верхнем конце Швецов и минует китайский ресторан и многоэтажную парковку за оживленной дорогой. Он совсем не узнает округу. Он смотрит на какую-то грубую развязку на месте веселых стен площади Мэйорхолд, которая помнится по лавке Гарри Трэслера, где они с Альмой в стародавние времена почти каждую субботу приценивались к комиксам. В эти дни он на комиксы и не смотрит, хоть они и стали настолько модными, что их можно читать взрослым и не бояться насмешек. Иронично, но из-за этого в глазах Дэвида они становятся только больше нелепыми, чем когда считались совершенно нормальными и нередко красивыми развлечениями для детей. В тринадцать лет Дэвид представлял себе рай местом, где комиксы получили признание и распространенность, а заодно выходят десятки высокобюджетных фильмов с его любимыми неизвестными

персонажами в костюмах. Теперь, когда в пятьдесят он оказался в своем раю, тот кажется довольно удручающим. Концепции и идеи, предназначенные для детей сорок лет назад: и это лучшее, что может предложить двадцать первый век? Когда вокруг происходит столько всего необыкновенного, самая адекватная реакция – это послевоенные фантазии Стэна Ли о наделении силой американских невротиков среднего класса? Дэвид спускается в подземную пешеходную систему с натриевым освещением, препроводившую его под несущимися машинами на другую сторону широкого автопада – который, кажется, когда-то назывался Конным Рынком. Направляясь на юг вдоль бурлящего стального потока, Дэвид ожидает увидеть на углу Лошадиной Ярмарки центр «Барклейкард Кредит», но обнаруживает, что нет даже его – заменился каким-то досугово-развлекательным комплексом. Шагая вдоль Лошадиной Ярмарки почти до самой Замковой станции, он сворачивает прямо на Меловой переулок, откуда, по идее, должен попасть к маленьким яслям, где пройдет выставка Альмы. Тут он немедленно окунается в маки, растущие в растрескавшемся цементе очень старой каменной стены справа. Внезапное алое насыщение вызывает в мыслях новости, которые он слышал несколько недель назад, о начале процесса экстрадиции, после чего в стеклянной будке в Гааге будут судить за военные преступления Чарльза Тейлора. Вовремя. За десять лет гражданской войны погибло пятьдесят тысяч человек, пока ей не решили положить конец в 2002-м, и миротворческие силы ООН пробыли там до какого времени? Ушли полгода назад? С ума сойти, сколько вреда и резни может вызвать практически один человек. «Я почти убил твою маму. Я почти убил твоего папу. Теперь смягчите мне наказание». Вряд ли. Джойс и Бернард умерли уже год-два назад, но воспоминания о тех панических неделях, когда они пытались вызволить родителей из кошмара Сьерра-Леоне, до сих пор с Дэвидом, такие живые, будто еще ничего не кончилось. Проходя мимо скромного здания из известняка – кажется, церкви Доддриджа, – он замечает какую-то лишнюю дверцу, зависшую на

середине стены, и думает о своем племяннике, Маркусе, который в его мыслях навсегда останется в девятнадцатилетнем возрасте. Он думает о предубеждениях, с которыми столкнулся его отец Бернард, когда впервые приехал сюда в пятидесятых, и о предубеждениях, которые он привез с собой. Представлениях о статусе, защитном снобизме семей крио, сбегавших от рабства, чтобы поселиться в британской колонии и заслужить глубокую ненависть местных жителей Сьерра-Леоне. Мелкие колесики вращают большие, и в истории, и сердцах людей, – механизм, который почти невозможно охватить целиком, который действует на протяжении десятилетий, столетий. Думает о том, чем все оборачивается. Лично ему уже надоел Брюссель, хочется, наверное, откинуться и расслабиться с Натали и двумя детьми, пожить на сбережения и доход жены, посмотреть, что будет дальше. Хочется наслаждаться жизнью, пока она еще идет, а не вспоминать ее потом и не приберечь для будущего. Ведь все может кончиться в мгновение ока: внезапная гражданская война, грядущий важный экзамен – никогда не знаешь, что тебя ждет, а Дэвид хочет прожить каждый момент, как бриллиант, добытый по этическим нормам. Он уже видит впереди ясли, скромную кучку незнакомых людей, а среди них – Альму в пушистом бирюзовом джемпере, и она машет ему. Каждый момент. Каждый момент – как драгоценность.

В 1897 году Генри и Селина замирают как вкопанные на половине улицы Алого Колодца и таращатся во все глаза. Вид такой невероятный, будто они во сне или под чарами, и они берутся за руки, не говоря ни слова, как малые дети. Привязанное к фонарю у «Френдли Армс» животное не обращает на них внимания. Где-то через полминуты из питейного заведения выходит коренастый крепыш с большими бакенбардами и большим стаканом эля, который подает созданию, а оно начинает пить. Мужчина – его, как

они потом узнают, зовут мистер Ньютон Пратт, – переводит глаза от зверя на Генри и хохочет. «Чтоб меня! Вы что, знакомцы, земляки?» Генри тоже смеется. «Ну, лично я в Африке не бывал, но всякое может случиться – вдруг мамаша и папаша этого малого сталкивались с моими. Где же это вы достали такое чудо, коли не секрет?» Для мужчины это вовсе не секрет. «Купил в Уипснейдском зоопарке, когда у них не хватало места и они удумали продать его в живодерню на клей. Звать Горацием. Кажись, ему приглянулась твоя юная леди». Генри оборачивается – а Селина лучится улыбкой, как на Рождественское утро, пока диковинка дается ей и разрешает погладить свою темную морду. Он осматривает зверя: черно-белые полосы на шкуре – как удивительный флаг джунглей, который гордо воткнули здесь среди булыжников и дымоходов, черная кисточка хвоста отгоняет мясных мух, а щетинистая грива похожа на прическу ирокеза и покачивается, словно существо еще и пьяное вдобавок. Генри не сходя с места решает, что здесь-то они и поселятся, он и его Селина. Они продолжают разговор с мужчиной, и тот говорит, что сам он – Ньют Пратт, а место это зовется Норы, или как-то так, и теперь Генри замечает ползучие и скачущие пушистые хвостики везде, где растет хоть травинка. Конь вельдов отрыгивает. Мистер Пратт спрашивает, как же звать Генри, и тот говорит, что Генри Джордж, а Ньютон Пратт отвечает, что обязательно это запомнит. Но, очевидно, на самом деле нет.

Ступени всех святых

Действующие лица:

ДЖОН КЛЭР

МУЖ

ЖЕНА

ДЖОН БАНЬЯН

СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТТ

ТОМАС БЕККЕТ

ЖЕНЩИНА-МЕТИСКА

Три широких ступени и нависающий портик церкви в стиле поздней готики с дорическими колоннами по бокам, туманная ночь. На заднем плане под портиком в известняковой стене здания – две ниши по сторонам от запертых дверей. Из-за сцены, издали доносится почти неслышная игра на пианино – мелодия «Шепот травы». В правой нише сидит ДЖОН КЛЭР в пыльной сельской одежде начала XIX века, в том числе в высокой широкополой шляпе. На одном башмаке отстала подошва. Он с надеждой оглядывает окружающий мрак.

ДЖОН КЛЭР: Что ж, выдался какой-то потусторонний вечерок. Кто здесь есть?

[Пауза]

ДЖОН КЛЭР: Выходите, оживитесь... впрочем, в нынешние дни мне все это равно. Я был бы не прочь одиночества, коли не сплошное хождение и разочарование. А что до плоти и крови в вопросе существа – я того мнения, что они во многом подобны башмакам: новая телесная материя имеет запах приятственный и румянец прелестный и вишневый, но невелика от нее польза, когда иссыхает язык и протирается кожа. Известное скверное дело, когда

гвозди впиваются в стопу. [*Задумчивая пауза, пока КЛЭР изучает стоптанный башмак.*] Нет, большею частью я приветствую парообразное посмертие, дабы призрак моего зада снова мог прислониться к местам, что однажды его принимали. Одна лишь жалость: жизнь все влачится и влачится, ведь иначе кругом было бы больше товарищей моего возраста и состояния. [*Наклоняет голову, прислушивается к слабой музыке издали.*] Какая сладость разлита в воздухе. Хотелось бы знать, кому неймется влить ее всем в уши.

[Издали доносятся плетущиеся шаги. Справа входят МУЖ и ЖЕНА. Они одеты на выход: она – в длиннополом пальто и чепчике, с сумочкой, он – в кричащем желтом пиджаке в клеточку с манишкой, а также с прилизанными темными волосами и тонкими усиками. Они останавливаются, глядя на пустые церковные ступени.]

МУЖ: Можно сесть здесь.

ЖЕНА: Нельзя. Я все еще ее слышу. Ночью слышно лучше.

МУЖ: Но будем сидеть здесь. Если захочется по-маленькому, то на Лесном Холме недалеко отсюда есть туалет. Она все равно скоро прекратит. И не знаю, какая муха ее укусила.

ЖЕНА: [*Презрительно фыркает.*] Я зато знаю.

[Она с обреченным видом садится на вторую ступеньку церкви. Муж мгновение смотрит на нее. Она не отвечает на взгляд, а со злостью вперяется в туман. Когда он наконец садится рядом, она отодвигается на пару футов. Он смотрит с удивлением и обидой.]

МУЖ: Селия...

ЖЕНА: Не начинай.

ДЖОН КЛЭР: Эгей? Вы, часом, не будете мертвыми?

МУЖ: Значит, вот как все будет?

[Она не отвечает. МУЖ не спускает с нее глаз, ждет. ДЖОН КЛЭР поднимается из алькова и неуверенно подходит к паре, встает за ними.]

ДЖОН КЛЭР: Прошу прощения, сэр, но вы обращались ко мне или к этой леди? Если в ответ на мой интерес о вашей смертности вы осведомились, всегда ли такой будет загробная жизнь – окованной

туманом и однообразной, – то со своего опыта могу дать утвердительный ответ. Да, все будет так. Плутаешь в тумане, и никто и никогда к тебе не придет. Если вы ожидаете с минуты на минуту явления Творца, который соизволит разъяснить свои намерения, то осмелюсь предположить, что ожидание покажется вам долгим. Впрочем, давайте уговоримся: появись Он, то, когда вы с Ним dokonчите, я буду благодарен, коли укажете Ему в моем направлении. Я надеялся обсудить с Ним некоторые материи. *[Пара его игнорирует. Он для пробы машет между ними рукой, словно проверяя, слепые они или нет. Потом опускает руку и окидывает пару угрюмым взглядом.]* Разумеется, может быть и так, что вы адресовались к своей спутнице, в каком случае приношу извинения за вторжение. Я не хотел оскорбить вас мыслью, будто такая нескладная пара, как вы, может быть мертва. Мне и самому не понаслышке знаком неудачный брак. Когда я был с Пэтти, то думал всегда лишь о Мэри. А часто я...

МУЖ: Я спросил – вот как все будет, всю ночь до самого утра? Если у тебя что-то на уме, то так и скажи, боже ты мой.

ЖЕНА: Ты и сам знаешь.

МУЖ: Не знаю.

ЖЕНА: Не хочу об этом говорить.

МУЖ: О чем?

ЖЕНА: Сам знаешь. О ваших делишках. Оставьте меня в покое.

ДЖОН КЛЭР: *[Медленно и с расстановкой.]* Известно ли вам, кто я? *[МУЖ продолжает смотреть на ЖЕНУ, которая зло таращится в туман.]* Я спрашиваю не из уязвленного тщеславия, но паче в духе искреннего интереса. Самому мне мнится, что я лорд Байрон, но вот стоило произнести это вслух, как я уверяюсь, что подлинный Байрон так бы не сказал. Значит, я вполне могу быть королем Уильямом Четвертым, и коли так, буду благодарен за весточку, какой ныне год на дворе и носит ли еще корону моя Викки. Прошу, не торопитесь. Моя истинная личность – вопрос невеликой важности, лишь бы это был кто-то уважаемый.

МУЖ: Наши делишки? Какие еще делишки? *[ЖЕНА не отвечает. Он смотрит на нее еще несколько мгновений, потом сдается и молча опускает глаза на свои туфли. КЛЭР переводит взгляд с одного на другого в надежде на продолжение разговора. После бесплодного ожидания подавленно обмякает.]*

ДЖОН КЛЭР: *[Тяжело вздыхает.]* Ах, не извольте переживать. Прошу прощения, что потревожил. Такую уж я выдумал игру от скуки. Вот что: оставлю я вас в покое и не буду совать нос в чужие дела. *[КЛЭР отворачивается и бредет обратно к алькову. На полпути оглядывается через плечо на пару, сидящую на ступенях.]* А знаете, порою мне кажется, что я статуя с каменными крыльями на вершине ратуши, дальше по дороге, а она, в свой черед, – все остальные? *[Пара не отвечает. КЛЭР грустно качает головой и возвращается к алькову, где снова садится. Наступает долгое молчание, когда игра на пианино резко обрывается посреди аккорда. Никто не реагирует.]*

МУЖ: *[Через некоторое время.]* Слушай, я ведь тоже в потемках. А что до делишек – не говорю, что я там про какие-то делишки знаю, но такова уж жизнь. В жизни хватает всяких делишек. И нервные девицы иногда выкидывают коленца...

ЖЕНА: Есть делишки – а есть делишки. Вот и все.

МУЖ: Селия, посмотри на меня.

ЖЕНА: Не могу.

МУЖ: Скорее всего, потом окажется, что у нее просто особые дни, с тряпками-затычками.

ЖЕНА: *[Зло к нему поворачиваясь.]* Ты чертов лжец. Ты слышал, что она кричала.

МУЖ: Что?

ЖЕНА: Ты слышал.

МУЖ: Не слышал.

ЖЕНА: Все слышали. Даже в Фар-Коттоне слышали. «Когдатрава прошепчет надо мной, тогда ты вспомнишь». Ну? Что вспомнишь? О

чем она? Как по мне, это неспроста. МУЖ: Ну, это же... это же просто слова песни, нет? Она играет песню...

ЖЕНА: Ты отлично знаешь, что это не слова. И отлично знаешь, что наделал.

МУЖ: Опять ты заладила про свои «делишки»?

ЖЕНА: Это не мои делишки. А твои. Вот и все. *[Пока они разговаривают, справа под портик входит ДЖОН БАНЬЯН в пыльном зеленоватом камзоле XVII века. Он не замечает КЛЭРА, сидящего в тених алькова, но останавливается и, недоуменно нахмурившись, прислушивается к ссоре парочки на ступенях.]*

МУЖ: Я не делал ни черта, что не сделал бы любой другой в моем положении. Ты и представить себе не можешь, как тяжело руководить группой. Долгие гастроли, со временем появляется близость, тут спорить не о чем, но...

ЖЕНА: И то сказать, близость! Так что получается, ты признаешься, что делишки были?

МУЖ: Я даже не знаю, о чем ты. Что значит «делишки»?

ЖЕНА: Значит, шалости.

МУЖ: Чего?

ЖЕНА: Щекотки.

МУЖ: Ничего не пойму.

ЖЕНА: «Как-ваш-папочка».

МУЖ: А. *[Долгая пауза. ЖЕНА злобно отворачивается от МУЖА, который мрачно смотрит в землю перед собой.]* В общем, ладно, всю ночь тут сидеть нельзя.

ЖЕНА: Ты прав. Нельзя. *[Оба остаются на месте. БАНЬЯН позади смеряет пару непонимающим взглядом. Он так и не замечает КЛЭРА, пока тот не заговаривает в темном алькове на заднем плане.]*

ДЖОН КЛЭР: Ха! Держу пари, и ты меня не слышишь, фетюк никчемный.

ДЖОН БАНЬЯН: *[Развернувшись и взглядываясь в темноту под портиком.]* Что? Кто там рыскает аки тать?

ДЖОН КЛЭР: О нет. Какая промашка. Какой стыд.

ДЖОН БАНЬЯН: Покажись! Покажись, не то обнажу меч! [*КЛЭР нервно поднимается из алькова, выходит неверным шагом, поднимая руки в умиротворяющем жесте.*]

ДЖОН КЛЭР: О, полноте. В этом нет никакой нужды. То лишь шутка, за которую я приношу извинения. Я не сразу понял, что вы тоже мертвы. Уверен, распространенная ошибка.

ДЖОН БАНЬЯН: [*В удивлении.*] Так значит, мы мертвы?

ДЖОН КЛЭР: Боюсь, таково мое понимание ситуации, да.

ДЖОН БАНЬЯН: [*Поворачиваясь к паре на ступенях на первом плане.*] А что они? Мертвы ль?

ДЖОН КЛЭР: Еще нет. Видимо, задержались посмотреть, что будет дальше.

ДЖОН БАНЬЯН: Вот оно что. Значит, смерть. Я мыслил, что лишь сплю и на диво долго не пробуждаюсь в постеле каземата, чтобы помочиться или обернуться на бок.

ДЖОН КЛЭР: Суть в том, что вам больше не удастся это сделать во все.

ДЖОН БАНЬЯН: Однако же я сражен. Я ожидал мира красочней сего, и ныне разочарован в собственных писаниях о нем.

ДЖОН КЛЭР: [*С интересом.*] А что это за писания? Совпадение так совпадение. Теперь я вспоминаю, что и сам однажды подвизался на этом поприще. Уверен, что писал целыми днями, когда был женат сперва на Мэри Джойс, а потом на Пэтти Тернер. Так Байрон я или король? Уж не упомяну всех подробностей, как раньше. Но вернемся к вам. Могу ли я знать какие-либо ваши писания?

ДЖОН БАНЬЯН: Помилуйте, откуда бы. Однажды я сочинил пару словес о пилигриме, дабы изобразить западни и тяготы, в жизни земной поджидающие. Простому люду я угодил без меры, но не был я придворным лизоблюдом, как Драйден, и, когда на трон взойти было новому Карлу, мне выпал незавидный жребий. Ваши вести о моей кончине наводят на ту мысль, что вирши моего изделия меня не пережили.

ДЖОН КЛЭР: *[Измученный, с постепенным узнаванием.]* Не будете ли вы, между тем, мистером Баньяном из Бедфорда?

ДЖОН БАНЬЯН: *[Опасливо, но польщенно.]* Он самый, ежели нет иного Баньяна. Ужель не минуло пред нами толико лет, чтобы я выветрился из памяти? Но все так переменилось. Разве, когда я последний раз езживал сей дорогой, столбы церкви Всех Святых не были срублены из дерева? Или их сгубил пожар? Мне тепло от мысли, что вы обо мне знаете.

ДЖОН КЛЭР: Что вы! Судя по окружению, прошло уже триста лет с лишком с тех пор, как вы жили. Полагаю, вы заметили славные голени и лодыжки той женщины, ибо на них я первым делом опустил взор. Мы попали в странные дни, будьте уверены, но готов поставить шиллинг, что путешествие вашего пилигрима у всех на устах, как ваше имя – на многих ногах^[164]. Уж точно на моих, ведь я пустился в путешествие из тюрьмы Мэтью Аллена в лесу и прошел восемьдесят миль до дома в Хелпстоуне. Нисколько не сомневаюсь, что вы слышали об этом, как и обо мне. Я лорд Байрон, известный повсеместно как крестьянский поэт. Знакомо ль?

ДЖОН БАНЬЯН: Не могу ответствовать, чтобы было знакомо. Подобно ли лорду да крестьянским поэтом величаться?

ДЖОН КЛЭР: Теперь и я задумался. И почему еще королева Виктория настаивает, что доводится мне дочерью? Возможно, по размышлению, что с лордом Байроном у меня вышла оплошность. Несомненно, меня сбила с ума хромота. Теперь мне вспало на память, что на самом- то деле я Джон Клэр, автор «Дона Жуана». Вот! Вот это имя вы наверное слышите не впервой.

ДЖОН БАНЬЯН: Боюсь, что нет.

ДЖОН КЛЭР: *[В разочаровании.]* Что, ни Клэр, ни Дон Жуан?

ДЖОН БАНЬЯН: Ни тот ни другой.

ДЖОН КЛЭР: О боже. Ну неужто я и не Джон Клэр? *[КЛЭР впадает в удрученное молчание, глядя в землю. БАНЬЯН поглядывает на него с тревогой.]*

МУЖ: Ну слушай, я не святой.

ЖЕНА: *[Не глядя на него.]* Быть того не может.

МУЖ: *[После паузы.]* Я только говорю, что я из плоти и крови.

ЖЕНА: *[Со злобой, поворачиваясь с обвиняющим взглядом.]* И что это за оправдание? Мы все из плоти и крови! Покажи, кто нет! *[Она снова отворачивается, возвращаясь к молчанию. За спиной пары обмениваются траурными и скептическими взглядами КЛЭР и БАНЬЯН.]*

ДЖОН КЛЭР: *[Пожимая плечами.]* Думать должно, мы им только помешаем. Что скажете, не желаете присесть? Я того мнения, что это лучшая из поз, и того более я убежден, что все беды человечества – от стояний и хождений. Прошу, не будем утруждать ноги.

ДЖОН БАНЬЯН: Я вознамерился было посетить ближайший базар, где оглашали эдикт графа Питерборо, мною в сочинении «Священная война» упомянутый. И все ж несколько времени роздыху – небольшое дело в долгих ярдах посмертия. Но что до ног утружденья – по мысли моей, состояние наше препятствует их утруждать. Чудо уж то, что мы не воспаряем в небо из недостатка веса.

ДЖОН КЛЭР: Я предполагал, что в наших сердцах осталась унция-другая как раз для подобных okazji. Присядемте же и углубимся в обсуждение. *[КЛЭР уводит БАНЬЯНА к задней части паперти. БАНЬЯН выбирает правый альков, но КЛЭР впадает в возбуждение и поправляет его.]* О нет, так не пойдет. Эта ниша зарезервирована только для меня, в силу долгого пользования. Займите место на другой стороне, его я держу нарочно для гостей. Признаю, оно не столь роскошно, но если это неудобство – худшее, что ждет вас в вечности, то вам остается только радоваться. *[БАНЬЯН выглядит обиженным, но уступает КЛЭРУ. Оба занимают места в соответствующих альковах.]*

ДЖОН БАНЬЯН: Правда ваша. Довольно удобно.

ДЖОН КЛЭР: То-то и оно. *[Пауза.]* Вы говорите о нише или же о вечности?

ДЖОН БАНЬЯН: Главным образом о нише. *[Пауза. Издали доносится ШУМ одинокого мотора в тумане. МУЖ и ЖЕНА не обращают на машину никакого внимания, но КЛЭР и БАНЬЯН провожают ее глазами.]* Я встречал эти дива. Это какой-то род телег, но не постичь мне николи их движенья принцип.

ДЖОН КЛЭР: Ну, я уже уделял этому толику размышлений и имею сказать, что ответ на загадку прост: перед нами некое достижение естественной науки, благодаря которому конь стал невидим для зрения.

ДЖОН БАНЬЯН: Однако же эта мысль с легкостью тем простым наблюдением оспорена будет, что нигде нет зримого обилия навоза, кой оставляют сии незримые тягловые. Попробуйте объяснить такую загадку, если в силах.

ДЖОН КЛЭР: Ах! Ах! И объясню. Разве вам не ясно, что существа, видимые глазу, оставляют помет, равно видимый глазу? Разве не следует из этого, что незримый или до невидимой степени прозрачный конь, таким образом, произведет помет той же эфирной природы?

ДЖОН БАНЬЯН: *[После вдумчивой паузы.]* Однако какое это вещество ни есть летучее, предмету незримого опростания смердеть положено. И более того, разве призрачное дерьмо, кое вы существующим полагаете, не представляет собою для прохожего неудобство великое? Ведь прохожий вступит в ваше нуминозное испражнение куда вернее, нежели в экскремент на общем обозрении, кой обойти нетрудно?

ДЖОН КЛЭР: *[Пауза, пока КЛЭР меняет мнение.]* Об этом я не подумал и потому беру назад свою гипотезу. *[Новая пауза, пока КЛЭР с тревогой размышляет об опасности невидимого лошадиного навоза.]* Лошадиные лепешки, недоступные взору. О ужас, теперь я осознал все последствия. Право, зловонная дрянь, сокрытая от ока, которую никак не счистить, в которой нечаянно пачкаются чистейшие из существ...

МУЖ: Селия, я даю тебе слово, что никаких делишек нет. Ничего такого, чего нельзя увидеть. Вот покажи пальцем, что не так?

ЖЕНА: Мне видеть необязательно. Я чую. Чую мутную водичку. Чую крысу.

МУЖ: Селия, сама себя послушай. Ну что еще за водяная крыса?

ЖЕНА: *[Придвигается, с обвинением твердо смотрит прямо ему в глаза.]* Водяная крыса. Да. Вот ее я и чую, хоть утопи ее в одеколоне. Чешуйчатая крыса, с волосатыми плавниками и чешуйчатыми ушами, с большим и длинным хвостом-червяком, который волочится в мутной водичке. Боже, как же тебе не стыдно.

МУЖ: А мне не стыдно! Не стыдно! С чего мне должно быть стыдно! Да у меня совесть – полированное стеклышко, без пятнышка вины или птичьего помета. Откуда ты взяла, что я в чем-то виноват? Что я такого сказал, чем себя выдал? Откуда это твое «виноват, виноват, виноват»? А то уже на нервы действует, и если продолжишь в том же духе, я с ума рехнусь. Я за этим концертом не слышу свои мысли! Сколько она еще собирается бренчать одну и то же мелодию, пока меня не доведет?

ЖЕНА: *[Смотрит на него, сперва непонимающе, потом слегка встревоженно.]* Сколько?.. Джонни, она прекратила уже полчаса назад.

МУЖ: *[Глупо на нее смотрит.]* Что, правда?

ЖЕНА: Да не меньше двадцати минут.

МУЖ: *[Отворачивается и смотрит в пустоту, испуганный и загнанный.]* Полчаса. Или не меньше двадцати минут...

ЖЕНА: Невелика разница. Скажем, двадцать пять.

МУЖ: О боже. *[Они замолкают. МУЖ тарашится в туман с загнанным видом. ЖЕНА смеряет его взглядом с озадаченным лицом, потом отворачивается.]*

ДЖОН БАНЬЯН: *[После вежливой паузы.]* Имеете ли понятие о том, что их так гнетет?

ДЖОН КЛЭР: Ни малейшего, ни единого. Воображаю, это такая супружеская невзгода, что по сущности своей непонятна

постороннему – впрочем, имея две жены, я могу назваться человеком незаурядного опыта. С первой женой Мэри, нежнейшей диспозиции, я был счастлив, у нас не случилось никаких раздоров, подобно разыгравшимся здесь. Наше супружеское ложе переполняла гармония, а когда я входил в нее, то входил словно на райские пастбища. Со второй женою, с Пэтти, я невзвидел ничего, кроме зловещих намеков и мрачных инсинуаций, хотя нередко она была ко мне добра. И все же наступали ночи, когда она ревновала из-за моей жизни с Мэри – девочкой куда моложе самой Пэтти. Нет, как изволите видеть, я накоротке с брачной жизнью и ее волнениями, хотя, говоря по правде, мне редко доводилось проводить долгое время с семьей.

ДЖОН БАНЬЯН: Тогда у нас есть другое общее кое-что, к именам, роду занятий и нынешнему бестелесному состоянию вдобавок. У меня тоже была семья, от коей меня отлучили, когда держали в четырех стенах.

ДЖОН КЛЭР: *[Радостно.]* В четырех стенах? Так меня тоже держали в четырех стенах! Мы ни дать ни взять отражения друг друга! А где держали вас?

ДЖОН БАНЬЯН: В тюрьме, из-за проповедей. А вас?

ДЖОН КЛЭР: *[Вдруг уклончиво и обтекаемо.]* А... в больнице.

ДЖОН БАНЬЯН: *[Озабоченно.]* Значит, вы терзались плотью?

ДЖОН КЛЭР: Ну... нет. Не совсем. Не то чтобы плотью. Впрочем, настрадался я и от скверной хромоты.

ДЖОН БАНЬЯН: Значит, не плотью. Понимаю. *[Издали доносится БОЙ ЦЕРКОВНЫХ ЧАСОВ – один удар.]*

МУЖ: Мы как будто тут уже несколько часов сидим. Как думаешь, это пробило половину первого или час?

ЖЕНА: А тебе-то что? Хоть половину первого, хоть час. Для нас с тобой время больше не движется. Для нас теперь навсегда слишком поздно. Или кто знает? Хоть слишком поздно с четвертью. Не знаю. *[Они снова впадают во враждебную тишину.]*

ДЖОН КЛЭР: Что значит – понимаете?

ДЖОН БАНЬЯН: Что?

ДЖОН КЛЭР: Когда я сказал, что меня держали в больнице не из-за терзаний плоти, вы сказали: «Значит, не плоть. Понимаю». Что вы поняли?

ДЖОН БАНЬЯН: Это фигура речи. Выкиньте из мыслей.

ДЖОН КЛЭР: Нет, не выкину, потому что здесь чувствуется какой-то намек, не так ли?

ДЖОН БАНЬЯН: Намек?

ДЖОН КЛЭР: Ах, не прикидывайтесь дурачком. Как дурачок я любому дам сто очков вперед. Вы отлично знаете о природе намека, о котором я говорю. Вы так же могли бы сказать: «Если не плоть, то что?» Попробуйте отойти. ДЖОН БАНЬЯН: И не подумаю отпираться. Я решил лишь, что вы страдали от недуга разума или же души, и оттого нимало удивлен был, что в больницах подобные хвори излечивают. Уверьтесь, я не желал судить ясность вашего рассудка.

ДЖОН КЛЭР: Вы не желали назвать меня тронутым? Есть и не такие сдержанные во мнениях люди.

ДЖОН БАНЬЯН: Меня и самого поносили такими словами, паче того – богохульником и дьяволом. Сдается мне, это сделано за правило, чтобы любого с мечтою в душе и смелостию говорить о ней бранными словами язвили; особливо ежели мечта та колет глаза богатым или претит естественному ходу вещей.

ДЖОН КЛЭР: Золотые слова! Как славно вы облекли в них свою мысль. Когда страшатся, что глаголится истина, посмевшегося раскрыть рот запирают под замок и клеймят преступником или же безумцем. Не о том ли говорит мой собственный пример, ибо если самого лорда Байрона зовут сумасшедшим, то кто от этого уберезется? Это за пределами моего понимания.

ДЖОН БАНЬЯН: *[Пауза, пока БАНЬЯН рассматривает КЛЭРА с пониманием и жалостью.]* Равно и моего. *[Новая пауза, задумчивая и глубокомысленная.]* Выходит, в сей век незримых лошадей и поныне

столпятся тюрьмы и несправедность. Не надо и чаять, что настал Новый Иерусалим?

ДЖОН КЛЭР: Должен признаться, не заметил его в этих околотках, хотя, быть может, он и появлялся, пока я лежал в больнице, и никто мне не сказал.

ДЖОН БАНЬЯН: [*Качает головой в разочаровании.*] Будь это правда, мы все были бы святыми.

ДЖОН КЛЭР: А что, если и так?

ДЖОН БАНЬЯН: Тогда это мысль тягостная.

ДЖОН КЛЭР: Вы правы. Так и есть. Мерзее невидимого навоза. Жалею, что высказался. [*Они с БАНЬЯНОМ впадают в хмурое молчание.*]

МУЖ: И возляжет лев с ягненком. Это Библия.

ЖЕНА: О, а в Библии говорится, проснется ягненок наутро или нет?

МУЖ: Селия, мне казалось, тебе нравится Библия.

ЖЕНА: Джонни, в Библии много чего есть, от сих до сих, от Сима до Сифа. И все их родственники впридачу. Так что, ты признаешься? Что возлежал с ягненком?

МУЖ: Я не святой.

ЖЕНА: Да, это ты нам уже рассказал. Да и лев из тебя так себе. Да и мужчина. Ты всего лишь пустозвон, вот и приходится без конца слушать, как звенит.

МУЖ: [*Вздвинув.*] Ты сказала, музыка прекратилась.

ЖЕНА: Прекратилась. [*Пауза.*] Так о чем там шептала трава?

МУЖ: Не знаю. Ни о чем. Сама знаешь эту траву. Вечно шепчет. Чем ей еще заняться-то. Что она знает? Это же трава, господи боже.

ЖЕНА: Говорят, вся плоть – трава.

МУЖ: Ну, не моя. Это не про меня. Я не трава.

ЖЕНА: Трава-трава. Как же нет, если да. Ты себя-то видел? Только ты сперва распустился, а потом позеленел.

И, как и любая плоть, ты свое отцвел, а теперь пришла пора пожинать плоды. И останется это у тебя на совести на целую вечность. Музыка так и будет играть. А трава так и будет шептать.

[Под портиком позади СЛЕВА показывается СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТТ. Он замечает пару на ступенях, но не замечает КЛЭРА или БАНЬЯНА в альковах. БЕККЕТТ встает за спиной у пары, смотрит на них с удивлением, а они не обращают внимания.]

МУЖ: Вечность. Боже, сказала так сказала. Чертов шепот целую вечность.

БЕККЕТТ: Вечер? И вам добрый вечер.

ЖЕНА: Это мне придется жить с шепотками и кривотолками.

БЕККЕТТ: Кривотолками? Что-то я вас не понимаю.

МУЖ: О, а это я, что ли, виноват?

БЕККЕТТ: Я не говорю, что это вы виноваты, просто говорю, что не понимаю.

ЖЕНА: Ну, это же ты у нас с тайнами, секретами и делишками.

БЕККЕТТ: А, и правда, все говорят, что я нечитаемый.

МУЖ: О, снова-здорова. Бросай уже свои долгие паузы, иносказания и намеки, без которых не можешь. Они мне уже вот где.

БЕККЕТТ: Вы уж простите, но, по-моему, вы не понимаете современную драму.

ДЖОН КЛЭР: Они вас не слышат. Мы это уже проходили.

ЖЕНА: Это мне все вот уже где.

БЕККЕТТ: *[Испуганный, БЕККЕТТ разворачивается к КЛЭРУ и БАНЬЯНУ.]* Кто здесь? Что происходит?

ДЖОН БАНЬЯН: Оставьте волненья. Мой друг мне все уже растолковал. Мы, как и вы, лишь усопшие тени, а живые души, подобно паре на ступенях, не зрят нас и не внемлют.

ДЖОН КЛЭР: Больше того. Сомневаюсь, что они нас и чувят.

БЕККЕТТ: Усопшая тень? Только не говорите, что я умер. Я даже не кашлял. Мне кажется, это больше похоже на какой-то сон.

ДЖОН БАНЬЯН: То же полагал и я, и все же говорят, что мы уж на середине двадцатого века после рождества Господа нашего, а сам я провел под землей не меньше двухсот лет.

БЕККЕТТ: Две сотни лет? Ну, со мной-то все в порядке. *[БЕККЕТТ оглядывается и обводит рукой городской центр.]* Все это как после

войны, а сам я, насколько мне известно, сплю в отеле в не самых приятных 1970-х.

ДЖОН КЛЭР: Отель! 1970-е! Не знаю, что из этого труднее вообразить!

ДЖОН БАНЬЯН: Вы сказали, после войны? То новая гражданская война?

БЕККЕТТ: Гражданская? Боже, нет. Так вот вас откуда занесло? Главным образом война была с Германией; вторая из мировых войн. Они сровняли Лондон с землей, англичане разбомбили Дрезден, а потом американцы вообще сбросили на японцев такую штуку, которую вы и представить себе не можете, и тогда уже все кончилось.

ДЖОН БАНЬЯН: [*БАНЬЯН тоже оглядывает окружающий город со скорбным видом.*] Так значит, путешествие страны зашло не дале Города Разрушения. По моим расчетам, тогда мы на Ярмарке Тщеславия.

БЕККЕТТ: Это вы мне Баньяна цитируете?

ДЖОН КЛЭР: А что ему остается. Он Джон Баньян и есть. А я Байрон.

ДЖОН БАНЬЯН: [*БЕККЕТТУ.*] О, не слушайте его. [*КЛЭРУ.*] Нет, вы не Байрон, вы другой. Вы нас обоих выставляете в неподобном свете. Вы же сами назвались Джоном Клэром. Вот и не юлите боле, не то мы все запутаемся хуже вашего!

БЕККЕТТ: [*БЕККЕТТ недоверчиво смеется.*] Джон Баньян. И Джон Клэр. Вот это сон, всем снам сон. Надо будет опять заехать в этот отель.

ДЖОН КЛЭР: [*Удивленно и недоверчиво.*] Джон Клэр. Вы слышали о нем? Вы слышали обо мне?

БЕККЕТТ: А как же. Я сам писатель и знаком с вами обоими, и уважаю ваши достижения. Ваши, мистер Клэр, особенно. В мое время вас помнят как крестьянского поэта – возможно, величайшего лирика, которого взрастила Англия, а потом несправедливо затоптала, когда вы умерли в дурдоме и все прочее. [*Пауза.*] Вы же

знали, что умерли в дурдоме? Надеюсь, вы меня простите за такую нечуткость.

ДЖОН КЛЭР: О, я уже все знаю. Я при этом присутствовал. Но ответьте, помнят ли мою дражайшую женушку? Мэри Клэр, в девичестве Мэри Джойс?

БЕККЕТТ: *[БЕККЕТТ всматривается в КЛЭРА серьезным и испытующим взглядом.]* Ах да. Ваша первая жена. Да- да, очень известная история, в литературных кругах обсуждают до сих пор.

ДЖОН КЛЭР: Тогда я рад. Было бы горько, кабы меня помнили лишь за безумие.

ДЖОН БАНЬЯН: *[БЕККЕТТУ.]* Вы сказали, что и сами будете писатель. Известно ли нам ваше имя?

БЕККЕТТ: Сомневаюсь, что это вероятно. Вы оба умерли задолго до того, как я родился. Я Сэмюэль БЕККЕТТ. Можете звать меня Сэмом, а я буду звать вас Джонами. Это же Нортгемптон, верно? Портик церкви Всех Святых?

ДЖОН БАНЬЯН: Я как раз желал задать вам вопрос, почто вы сюда явились. И мистер Клэр, и я родились неподалеку и часто наезжали в сии края, однако же в вашем говоре мне послышался ирландец. Что привело вас сюда – в посмертии или же снах, как вам угодно?

БЕККЕТТ: Ну, в первом случае крикет, а позже – женщина.

ДЖОН БАНЬЯН: Крикет?

ДЖОН КЛЭР: О, мне нюансы этой игры известны как мои пять пальцев. Вам обязательно надо ее увидеть!

БЕККЕТТ: Конечно, я играл против Нортгемптона на «Каунти-Граунд». Мы жили в отеле рядом с полем, а вечером после матча мои товарищи по команде решили развлечься выпивкой и проститутками, ведь и того и другого в этом городе в изобилии. Сам я больше склонялся провести вечер в обществе старых готических церквей Нортгемптона, не менее многочисленных. Пожалуй, воспоминание об этом вечере и привело меня во снах обратно, хотя признаюсь, что вы двое разнообразили рутину.

МУЖ: Ну ладно! Ладно, у нас было. Довольна?

ЖЕНА: *[Холодно, после паузы.]* А ты доволен?

МУЖ: *[С вызовом, после момента размышлений.]* Да! Да, я был доволен! Это было прекрасно, я никогда не был довольней. *[Уже не так уверенно, после паузы.]* По крайней мере, в начале.

БЕККЕТТ: Что это здесь творится? *[БАНЬЯН и КЛЭР переглядываются, потом нехотя поднимаются из каменных альковов и медленно присоединяются к БЕККЕТТУ рядом со ссорящейся парой.]*

ДЖОН КЛЭР: Мы сами не вполне уверены. Если бы мы держали пари, я бы объявил, что они ссорятся из-за случая неверности.

ЖЕНА: И когда?

МУЖ: Что? Когда – что?

ЖЕНА: Ты сказал: «По крайней мере, в начале». Когда все началось?

МУЖ: Это важно?

ЖЕНА: О, сам знаешь, что важно. Отлично знаешь, что важно, когда начались твои делишки. Смотри мне в глаза и отвечай. Когда?

МУЖ: *[Неловко.]* Ну, какое-то время назад.

ЖЕНА: Какое-то время. Сколько? Два года назад?

МУЖ: Не помню. *[После паузы.]* Нет. Больше.

ЖЕНА: Грязная ты дрянь. Грязная ты тварь. Сколько? Сколько ей было, когда все началось?

МУЖ: *[Страдальчески.]* Ты же знаешь, я не запоминаю дни рождения. *[ЖЕНА смотрит на МУЖА со злобой и отвращением, и они снова замолкают.]*

БЕККЕТТ: Очень похоже на то, что неверный муж встречался с молодой девушкой. Даже, пожалуй, девочкой.

ДЖОН БАНЬЯН: А в ваше время лета производили разницу великую? Ужель неверности и измены самих в себе недостаточно для объяснения их несчастья?

БЕККЕТТ: Это зависит от того, сколько конкретно лет второй стороне. В наше время обычаи отличаются от ваших. Теперь есть такое понятие, как «возраст согласия», и если о нем забудешь, то напросишься на проблемы.

ДЖОН КЛЭР: *[Вдруг с тревогой.]* И какой это возраст?

БЕККЕТТ: Кажется, обычно шестнадцать. А что?

ДЖОН КЛЭР: *[Слегка уклончиво.]* Без особой причины. Будучи поэтом, я обыденно стараюсь вникать в суть вещей.

ДЖОН БАНЬЯН: *[После паузы.]* Что ж, пора мне и честь знать. Граф Питерборо не станет вечно волокититься с оглашением эдикта, а тропа моя трудна и конца не имеет. Беседы с вами просветили мой ум, и ежели завтра уготовано проснуться мне в казематах в Бедфорде, смею уверить, что нынешний курьез послужит мне забавою великой.

ДЖОН КЛЭР: Не скрою, мне было чрезвычайно отрадно познакомиться с вами, пускай и в столь туманных обстоятельствах.

БЕККЕТТ: Да, счастливо. И между нами: что вы на самом деле думали о своем Кромвеле?

ДЖОН БАНЬЯН: Ах, славный человек. *[Не так уверенно, после паузы.]* Хотя бы попервоначалу. И все же, вопреки всем его антиномическим убеждениям, не сомневайтесь, святым он не был. Ах, что ж. Оставлю вас наедине в сем боро Души. Доброй вам ночи, добрые люди. *[БАНЬЯН устало уходит со сцены СЛЕВА.]*

ДЖОН КЛЭР: И вам.

БЕККЕТТ: Ага, берегите себя. *[КЛЭР и БЕККЕТТ наблюдают, как удаляется БАНЬЯН, а потом возвращаются к созерцанию пары на ступенях.]* Ну, для круглоголового он вроде ничего. А ваши впечатления?

ДЖОН КЛЭР: *[С легким разочарованием.]* Он показался мне не столь высоким, как то выставляют иллюстрации. *[После паузы.]* Итак, говорите, в ваше время обо мне благосклонно отзываются. Всем пришлось по душе мой «Дон Жуан»?

БЕККЕТТ: Нет, то был Байрон. Вас уважают за стихи – за «Календарь пастуха» и отчаянные поздние вещи вроде «Я есмь». Дневник, который вы вели на пути из Эссекса, считается одним из самых душераздирающих документов английской литературы, и вполне заслуженно.

ДЖОН КЛЭР: *[Пораженно.]* Право, а мне казалось, я его выбросил! Так значит, в народной памяти отложилась моя дорога из тюрьмы Мэттью Аллена в лесу к дому моей первой жены Мэри в Глинтоне. Ах, какая тонизирующая одиссея, сколько подвигов я совершил, сколько мест повидал. *[Пауза, пока КЛЭР недоумевающе морщится.]* Еще раз, как все кончилось? Не припоминаю...

БЕККЕТТ: Вы о своей первой жене? Плохо. Когда вы пришли к ее дому – ну, скажем так, ее там не было. Но к этому времени вы уже нашли, как вы говорите, вторую жену, Пэтти, и она-то в итоге отправила вас в лечебницу здесь, на Биллингской дороге, где вы и умерли. Простите, что я так резок ^[165].

ДЖОН КЛЭР: Нет, это ничего. Теперь я помню. Некоторое время я жил с Пэтти и нашими детьми в так называемом Коттедже Поэта, в Хелпстоуне, но меня не могли снести, и вот.. вам, очевидно, известно остальное. Впрочем, я нисколько не виню Пэтти, хоть она и испытывала ревность к моей первой жене, которую я любил больше.

МУЖ: Ей было пятнадцать. Ей было пятнадцать, когда все началось, эти делишки. Вот. Можешь рассказать полиции, если так хочется. Я снял камень с души.

ЖЕНА: Тебе никогда не снять его с души. Пятнадцать. Вот когда все было прекрасно, вот когда ты был довольнее всего. Пятнадцать.

ДЖОН КЛЭР: Ну, не такая уж и молодая.

БЕККЕТТ: Нет?

МУЖ: Да! Я был счастлив! Один ее запах, ее вкус – как утро в саду! И ее ощущение – она невесомая, не больше чем пушинка или капелька воды. Селия, это было великолепно.

ДЖОН КЛЭР: В общем порядке вещей. Пятнадцать – не очень рано, если смотреть широко. Не в деревне.

ЖЕНА: Ты мне отвратителен. Ты не лучше ползучей уховертки в грязи.

БЕККЕТТ: Вот это неплохо. Эту фразочку я запомню, хотя наверняка, когда проснусь, все покажется какой-то чепухой. Так обычно и бывает.

МУЖ: Это были не односторонние отношения, Селия. Вот и все, что я могу сказать.

ДЖОН КЛЭР: Начинаю испытывать к нему симпатию. Женщины положительно вздорны в своих обвинениях.

ЖЕНА: Больше ни слова. Не смей больше со мной разговаривать.

БЕККЕТТ: Не уверен, что это справедливая оценка. Я был знаком со многими страдальцами.

ДЖОН КЛЭР: С этим не стану спорить, но суть остается неизменной – трудна жизнь романтика. Не вы ли сами обмолвились, что приезжали сюда ради не одного только крикета, но и ради женщины?

БЕККЕТТ: Обмолвился. И признаю, эта женщина была трудного романтического характера, по крайней мере сперва... а может, она всегда относилась к категории страдалец. Это не так просто различить. Мне даже кажется, между этими двумя категориями есть пересечение.

КЛЭР: Может быть и так. Может быть, обычно так оно и обстоит. Как же ее звали, вашу женщину?

БЕККЕТТ: О, вы ее не знаете. Она родилась намного позже вашей смерти, уже в XX веке. Мисс Джойс...

ДЖОН КЛЭР: *[Потрясенный, почти испуганный.]* Нет, только не она! Вы хотите со мною пошутить? Это же моя Мэри, Мэри Джойс из Глинтона...

БЕККЕТТ: А, нет. Это совершенно другая девушка. Она дочь Джеймса Джойса.

КЛЭР: *[Возбужденно.]* Но это же имя отца Мэри! Не может быть иначе: ваша женщина и моя первая жена – одно и то же лицо! Как она? Поведайте мне новости.

БЕККЕТТ: *[С мягкостью и сочувствием.]* Нет. Нет, это не она.

Мисс Джойс, о которой говорю я, зовут Лючия. Она была выдающейся танцовщицей в Париже 1920-х, но пострадала из-за болезни. Простите, если я вас огорчил.

ДЖОН КЛЭР: *[Тяжело вздыхает.]* О, я сам виноват. Когда вы безумны, знаете ли, весь мир вращается вокруг вас. Пора встряхнуться и прийти в себя. *[Пауза.]* Какой она была, ваша личная мисс Джойс? Юной, как моя?

БЕККЕТТ: Все они сперва юные, все мисс Джойс.

ДЖОН КЛЭР: Да, правда ваша.

БЕККЕТТ: Моя была красавицей, но страдала от страбизма одного глаза и считала, что он ее погубил. Сами знаете женщин и их низкую самооценку.

ДЖОН КЛЭР: Знаю.

БЕККЕТТ: Как я понимаю, в молодости у нее были какие-то трудности с братом, и это могло повлиять на ее расстройство в дальнейшем. Так или иначе, в результате у Лючии зашли шарики за ролики.

ДЖОН КЛЭР: *[Недоуменно.]* Не уверен, что понял этот оборот.

БЕККЕТТ: Слетела с катушек.

ДЖОН КЛЭР: Нет, лучше не стало.

БЕККЕТТ: Улетела с фейри.

ДЖОН КЛЭР: А! А, теперь я, кажется, уловил мысль. Не из тех ли она, кого зовут истеричками?

БЕККЕТТ: Что-то в этом роде. Ее отправляли в разные санатории и к разным психиатрам. Сами знаете порядок. В конце концов она оказалась в больнице Святого Андрея у Биллингской дороги в Нортгемптоне, где остается и по сей день.

ДЖОН КЛЭР: Там же держали и меня, хотя ранее место носило иное название.

БЕККЕТТ: Точно-точно. У этой институции интересная литературная родословная.

ДЖОН КЛЭР: Знаете, кажется, я имел удовольствие познакомиться с девушкой, о которой вы говорите. Если она та, о ком я думаю, наемдни мы потешались с ней в чаще рядом с сумасшедшим домом.

БЕККЕТТ: Нет, боюсь, в вас опять говорит сумасшествие. Да, вы оба попали в одну и ту же лечебницу, но хронология не совпадает.

Вы родом из совершенно разных периодов.

ДЖОН КЛЭР: Позвольте, то же можно сказать и о нас с вами, и все же мы говорим лицом к лицу. Нет, у сей девицы были темные волосы и длинные ноги, не самый пышный бюст и косоглазие.

БЕККЕТТ: Признаю, очень на нее похоже.

ДЖОН КЛЭР: В блаженный миг она весьма голосит. Впрочем, и самого меня так здорово разобрало, что из ушей полетели буквы алфавита.

БЕККЕТТ: Что ж, вы меня убедили. Это точь-в-точь Лючия, хотя меня и ставят в тупик обстоятельства вашей встречи. Вы же не метафорически выражаетесь?

ДЖОН КЛЭР: Вроде бы нет.

БЕККЕТТ: Тогда это загадка. Во время моего последнего визита она об этом не упоминала.

ДЖОН КЛЭР: Возможно, ей было стыдно. Меня не назвать презентабельным человеком, я думал, что она девушка лучшего сорта.

БЕККЕТТ: Может, и так. Подумала, что вы ниже ее.

ДЖОН КЛЭР: Тогда она решительно права. Таковой и была наша конфигурация во время забавы.

БЕККЕТТ: Ну хватит. Вы уже действуете мне на нервы.

ДЖОН КЛЭР: Тогда приношу свои извинения. Вы до сих пор испытываете к ней чувства?

БЕККЕТТ: Не плотской природы, нет, хотя когда-то было и так. Говоря откровенно, когда-то у меня были только плотские чувства, но вот она этого не понимала. Теперь я посещаю ее как можно чаще. В каком-то смысле я ее люблю, но не в том, в каком хочется ей. Если быть до конца честным, сам не знаю, зачем приезжаю так часто.

ДЖОН КЛЭР: Часом, не из жалости ли?

БЕККЕТТ: Нет, не думаю, что все дело в жалости. Ведь по-своему она счастлива. Вполне возможно, что даже счастливее меня. По крайней мере, точно не наоборот, так что нет, дело не в жалости. Похоже, мне кажется, что я ей остался должен. Когда мы

познакомились, я был черствым человеком и не смог разглядеть, что она тонет на глазах. Я бы мог сделать больше, вот и все. Или меньше. Так или иначе, уже поздно.

ДЖОН КЛЭР: Значит, вина?

БЕККЕТТ: Полагаю, да. Я часто замечаю, что за всем стоит вина.

ДЖОН КЛЭР: Я и сам склоняюсь к тому же мнению.

ЖЕНА: Что это значит – не односторонние отношения?

МУЖ: Я думал, ты не хочешь, чтобы я с тобой разговаривал.

ЖЕНА: Не умничай. Ты не умный, Джонни. Какой угодно, только не умный. А теперь говори, что значит – не односторонние отношения.

МУЖ: Значит, это был дуэт. Танго. Флэнаган и Аллен. Я говорю, что для этого нужны двое. Как еще втолковать-то?

ЖЕНА: То есть смысл в том, что она сама этого хотела?

МУЖ: Да! Весь смысл, вся суть: она этого хотела.

ЖЕНА: А, ну, тогда все в порядке.

МУЖ: *[Вздыхает с облегчением.]* Я знал, что ты образумишься.

ЖЕНА: Откуда ты знал?

МУЖ: Что ты образумишься? А, ну, я же знаю, что ты на меня долго обижаться не можешь...

ЖЕНА: *[Медленно и членораздельно.]* Откуда ты знал, что она этого хотела? Это она тебе так сказала? Она сказала: «Я этого хочу»?

МУЖ: Ну, не в таких словах. Нет. Но...

ЖЕНА: Тогда в каких? В каких-таких словах она тебе сказала, что этого хотела?

МУЖ: Ну, вообще не в словах. Она сказала без посредства слов.

ЖЕНА: *[Злее с каждым мгновением.]* А посредством чего? Танца? Пантомиму разыграла?

МУЖ: *[Оправдывающимся и неловким тоном.]* Были намеки.

ЖЕНА: Намеки?

МУЖ: Неприметные намеки. Ну, знаешь, как это бывает, у женщин.

ЖЕНА: Что-то не уверена.

МУЖ: Они подают намеки. Поглядывают и интересничают. Она мне вечно улыбалась, прижималась, говорила, что любит...

ЖЕНА: *[В ужасе, с гневным криком.]* Естественно! Ну естественно! Джонни, ты же ее отец!

БЕККЕТТ: Ох ты господи. Ну вот, пожалуйста.

МУЖ: Но... Слушай, я не подумал. Я к этому не привык.

Если девушка, женщина, смотрит на тебя так... Слушай, ты знаешь нашу Одри, какая она у нас...

ЖЕНА: *[В ярости и беспомощных слезах.]* Не знаю! Не знаю, какая у нас Одри, – точнее, какая она у тебя! Вот и расскажи мне, Джонни. Расскажи, какая она. Давай- давай, будет интересно. Я знаю, с чего начать: в первый раз она плакала?

ДЖОН КЛЭР: Какой ужас. Этого я не ожидал.

МУЖ: Селия...

ЖЕНА: Рассказывай, Джонни. Рассказывай, какая наша Одри в постели. Она плакала? Она была девственницей, Джонни? Была? И что ты сделал с простынями? *[МУЖ смотрит на ЖЕНУ с затравленным видом, но только перебирает губами, как рыба, и не может ответить. В конце концов отворачивается и хмуро смотрит в пустоту. ЖЕНА прячет лицо в ладонях – возможно, тихо плачет. Пока КЛЭР и БЕККЕТТ еще наблюдают за сидящей парой в немом ужасе, СЛЕВА входит ТОМАС БЕККЕТ и медленно приближается. Они встречают его с немым изумлением. Он смотрит на угнетенную пару, потом на КЛЭРА и БЕККЕТТА.]*

ТОМАС БЕККЕТ: Ответствуйте, ужли постигло их тяжкое горе?

БЕККЕТТ: Да.

ТОМАС БЕККЕТ: А вы не в силах унять их слез?

ДЖОН КЛЭР: Они нас не слышат.

ТОМАС БЕККЕТ: Они глухи?

БЕККЕТТ: Нет, они живые. А мы либо мертвы, либо спим – ну или так я это понимаю. А вы кем будете?

ТОМАС БЕККЕТ: Я Беккет.

БЕККЕТТ: Признаюсь честно: чего-чего, а этого я не ожидал. Я и сам Беккетт.

ТОМАС БЕККЕТ: Вы Томас Беккет?

БЕККЕТТ: Нет, я Сэмюэль Беккетт. А это Джон Клэр. *[Пауза.]* Минутку, так вы говорите, что вы – Томас Беккет?

ТОМАС БЕККЕТ: Томас Беккет, архиепископ Кентерберийский. Да, правда сие. Но что означают слова ваши о моей смерти? Колико ведомо мне, явился я сею к королю во Гамтунском замке, примирения ради.

ДЖОН КЛЭР: Поверьте на слово, вы вполне мертвы. В замке все пойдет шиворот-навыворот, и вы на несколько лет сбежите во Францию. А когда вернетесь, вас в вашем же соборе...

БЕККЕТТ: Не стоит углубляться в нюансы.

ДЖОН КЛЭР: Хотя, говорят, нюансов было в избытке...

БЕККЕТТ: *[КЛЭРУ.]* Достаточно. Хватит. *[БЕККЕТУ.]* Вам главное знать не грубую механику, а результат.

ТОМАС БЕККЕТ: *[Взволнованно.]* Грубую механику?

ДЖОН КЛЭР: Нюансы.

БЕККЕТТ: Я уже сказал, не стоит муссировать эту тему. Забудем. Вывод здесь тот, что вы оказались нетленным. Этим и объясняется, почему впоследствии вас нарекли святым. Вы первый святой, с которым я познакомился, и я даже не знаю, что об этом думать.

ТОМАС БЕККЕТ: Спаси и сохрани. Тако мне суждено стать мучеником?

ДЖОН КЛЭР: Боюсь, это не новости. Минуло уж лет восемьсот.

БЕККЕТТ: *[Сердито.]* Ну, слушайте! *[Мягче, испуганный собственной несдержанностью.]* Слушайте, я только хотел сказать, что вас приняли в святые, если не углубляться. Уж конечно, этот факт перевешивает средства, из-за которых вы оказались в этом состоянии. Я думал, вас это обрадует.

ТОМАС БЕККЕТ: Обрадует? Что меня жгли огнем либо же вздернули на дыбе?

ДЖОН КЛЭР: О, вовсе нет. Нет, насколько я знаю, вас всего лишь самую малость порубили.

ТОМАС БЕККЕТ: Ах, молю, ни слова боле.

БЕККЕТТ: *[КЛЭРУ.]* Вот честно, помощи от вас никакой. *[БЕККЕТУ.]* Разве вас не утешает назначение в святые?

ТОМАС БЕККЕТ: *[Очень расстроено.]* Видится ли вам, что утешает? Речете вы, что положен я в святые, однако где я ныне обретаюсь?

ДЖОН КЛЭР: Ну, это вопрос географии. Вовсе не теологии. Вы под портиком церкви Всех Святых в Нортгемптоне, на середине века после того, в который умер я, а значит, двадцатого. Мне сообщили, что давеча в нашу пользу закончилась Великая война с немцами.

БЕККЕТТ: Нет, недавно закончилась не великая война. Великая была раньше, хотя в ней тоже участвовали немцы, так что это простительное заблуждение. В Англии Первую мировую войну называли Великой только потому, что не знали, что будет другая.

ДЖОН КЛЭР: Еще более великая?

БЕККЕТТ: Это во многом зависит от точки зрения.

ТОМАС БЕККЕТ: *[Изможденно.]* Вопрошая о местопребывании своем, я лишь желал взять ответ, почто не рай окрест нас, ежели я святым наречен.

БЕККЕТТ: Да, согласен, на рай не похоже.

ТОМАС БЕККЕТ: Однако сие и не неугасающий огонь, что раю противостоит.

ДЖОН КЛЭР: О нет. Тут и вполтину не так плохо.

ТОМАС БЕККЕТ: Остается ль заключить посему, что сие чистилище есмь, край серый, где потерянные души блуждают, вотще о пустом рекущи, уловленные без срока во тьме?

МУЖ: *[Хмуро, глядя в пустоту.]* Выкинул и купил новые.

ЖЕНА: *[ЖЕНА непонимающе сморит на МУЖА.]* Что?

МУЖ: Простыни. Выкинул и купил новые. И перевернул матрас.

БЕККЕТТ: *[ТОМАСУ БЕККЕТУ.]* То, что вы сейчас сказали, кажется, очень похоже на правду.

ЖЕНА: *[Сморгает на МУЖА, качая головой в недоверии и возмущении.]* И это весь ты. Таким ты был и таким будешь всегда –

потный, в майке, переворачивая матрас, чтобы спрятать весь свой срам. И что, она это видела? Сидела и смотрела?

МУЖ: Она плакала.

ЖЕНА: Ну вот. А я что говорила?

МУЖ: *[Безнадежно.]* Я думал, ну знаешь. Я думал, она рассиропилась из-за нахлынувших чувств.

ЖЕНА: О, не сомневаюсь. Не сомневаюсь, что так и было. Нахлынувшие чувства. Пока смотрела, как отец прячет ее кровь, потому что так гордился тем, что наделал.

МУЖ: *[Словно впервые понимая, что наделал.]* О боже. *[После паузы из-за СЦЕНЫ раздаётся ОДИН УДАР ЦЕРКОВНЫХ ЧАСОВ.]* Это... это час ночи, а раньше было полпервого, – или это сейчас полвторого, а раньше...

ЖЕНА: *[Выходит из себя, взорвавшись.]* Ой, заткнись! Заткнись! Просто заткнись! Время всегда одно и то же! Нам теперь не сдвинуться! Мы застряли на этих ступенях, в этой ночи, на веки вечные! *[ЖЕНА снова начинает рыдать. МУЖ тоже прячет лицо в ладонях.]* ТОМАС БЕККЕТ: *[Понуро и обреченно.]* Так значит, чистилище. Но молвили вы, что она допрежь живы?

БЕККЕТТ: И снова – кажется, это зависит от точки зрения.

Они живы там, в своем времени, как и мы – в своем. Можно сказать, все уже мертвы, всегда. Как сказала эта женщина, мы все застряли. Возможно, все – и хорошее, и плохое – происходит с нами веки вечные. Разве это не рай и ад, которым грозят пасторы?

ТОМАС БЕККЕТ: Колико устрашающая мысль. Я льстил себя надеждою на лучшее.

ДЖОН КЛЭР: Я боялся худшего! Если это означает, что первая жена Мэри вновь будет со мной, то все тяготы жизни будут нипочем – и это само по себе уже есть рай.

БЕККЕТТ: Не говорю, что я в это верю. Я просто делаю выводы. Отец девушки, о которой я рассказывал, Джеймс Джойс – помню, как он мне говорил о своем интересе к мысли Успенского^[166] – думаю, ее можно назвать «великим повторением жизни». Это

оказало немалое влияние на вечный день в Дублине, который в различной степени фигурирует в его великих романах.

ТОМАС БЕККЕТ: Боле и боле лелею я надежды, что сие есмь лишь сон дивности необычайной и что – не ища уязвить вас – вы лишь плоды воображения моего. Должно стать, это не иначе как ночной морок, наведенный моими опасениями, что обидел я короля и наша прочная дружба не претерпит сего оскорбления.

БЕККЕТТ: Ну, признаюсь, я сам сперва так думал. Какой-то сон – это самое разумное объяснение, но раз я не придерживаюсь толкований профессора Фрейда, не могу придумать, к чему мне снится этот скверный разговор об инцесте. И я пока даже не начинал задумываться, как во все это укладываются всякие святые и писатели, о которых я не вспоминал годами. Озадачивает безмерно, и не могу сказать, что мне это приятно.

ТОМАС БЕККЕТ: *[Глядя на пару на ступенях.]* Сей грех ключит их в раздоре? Муж оный возлежал с дочерью?

ДЖОН КЛЭР: В деревне это бывает чаще, чем можно подумать.

БЕККЕТТ: Да и в городах не сказать, что намного лучше. Женщина, о которой я рассказывал, Лючия, – кое-кто думает, что ее поведение началось с того же, с инцеста и всего вытекающего.

ДЖОН КЛЭР: *[В шоке.]* Ее отец – которого, по вашим словам, зовут Джеймс Джойс, как и отца моей Мэри, – повинен в тех же преступлениях?

БЕККЕТТ: О нет, не он. Он перед ней благоговел. Для нее он писал, и о ней. Наверное, он мог о ней думать в этом ключе, но если и пытался ее коснуться, то только в прозе – щекотал в интимных местах фразой-другой, поглаживал грудь в подтексте. Нет, в физическом смысле преступник – если в этом есть хотя бы доля правды – ее брат.

ТОМАС БЕККЕТ: В мои дни сие заклеями бы грехом... хоть лишь на словах. Верю, за закрытыми дверями это деется повсюду.

ДЖОН КЛЭР: Хотя я и согласен, что это прискорбное дело, но я знал многих, кто грешил с братом или сестрой, и ничего худого не

вышло.

БЕККЕТТ: Ну, Лючия была совсем молода, когда это случилось – если вообще случилось.

ДЖОН КЛЭР: Но мы уже условились, что ваши взгляды на подходящий возраст могут различаться со взглядами былых времен.

БЕККЕТТ: Если я прав, Лючии было десять.

ТОМАС БЕККЕТ: Ежели речь не о королевской семье, то возраст сей и в мои дни почли бы незрелым.

ДЖОН КЛЭР: *[Довольно робко.]* Вот как? Тогда могу представить, что это усугубляет инцест.

ТОМАС БЕККЕТ: Однако из всех прочих грехов он не почитается за смертный, а при чтении Библии я нашел мнения о нем весьма туманными.

БЕККЕТТ: Я готов съесть шляпу, если о нем не отзываються самым неблагоприятным образом где-то в книге Левит.

ТОМАС БЕККЕТ: Истина сие, но что же думать о неслыханной милости, Лоту уделенной, когда он с дочерьми бежал из Содома и Гоморры?

БЕККЕТТ: Мне казалось, что Богу, как мужчине, стало совестно, что он превратил жену бедолаги в соляной столб. Вполне возможно, он подумал, что должен этому вашему Лоту, и решил, что хотя бы разок для разнообразия может посмотреть на грех сквозь пальцы. ТОМАС БЕККЕТ: Толкованье диковинное, но...

ДЖОН КЛЭР: Знаете, а я всегда считал Эдем загадкой, которая вполне подкрепляет ваши доводы.

ТОМАС БЕККЕТ: О чем вы глаголете?

ДЖОН КЛЭР: Ну, Каин и Авель. Мне казалось вполне очевидным, что даже если бы Господь наградил Адама и Еву не двумя сыновьями, а сыном и дочерью, непристойной любви в семье было бы не избежать. В Эдеме она бы распустилась пышнее, чем, скажем, в каком-нибудь Гринс-Нортоне, если только я чего-то не принял в рассмотрение. Возможно, вашу подругу и несчастное дитя этой горемычный четы гложет то, что на самом деле можно назвать

неотъемлемой частью нашей жизни с самого происхождения в Небесном саду.

БЕККЕТТ: Эдем. Ну, между прочим, об этом месте есть разногласия.

ТОМАС БЕККЕТ: Разногласия? Что еще за разногласия? Мне не доводилось слышать.

БЕККЕТТ: Ох, бросьте, не хочется в это влезать. Есть люди, которые говорят, что книгу Бытия написали намного позже, чем другие, а вначале поставили только из-за ошибки в порядке. Иначе даже без инцеста трудно понять, откуда взялась населенная земля Нод, куда изгнали Каина.

ТОМАС БЕККЕТ: А я допрежь мыслил самую тревожную стороною сна вести о грядущем мученичестве. Тешусь надеждою, что позабуду обо всем по пробуждении, и мою душу мерзит, что подобные богохульства звучат даже в незванных мыслях моих.

БЕККЕТТ: Я не хотел вас расстраивать. Вами я всегда восхищался, и не хотел бы, чтобы мой разговор со святым занимало только несчастье мисс Джойс в десять лет.

ДЖОН КЛЭР: *[Внезапно, придавленным и нервным голосом.]* Это был брачный акт!

БЕККЕТТ: *[Непонимающе.]* Что? Ее отношения с братом? От куда вы такое взяли?

ДЖОН КЛЭР: *[На миг сбившись с мысли, потом восстановив самообладание.]* Почему это я... а! Вы говорите о своей мисс Джойс. Не обращайтесь внимания на мои сумасшедшие излияния. Это хуже чем вздор. Порою сам не знаю, что несу. *[Пауза, пока он пытается найти безопасное направление для разговора.]* Должно быть, она вам очень дорога, ваша подруга, коли вы навещаете ее во время невзгод.

БЕККЕТТ: Она была милой и добродушной девушкой, полной энергии и света, как и предполагает ее имя. Если она старалась говорить ясно, то произносила чрезвычайно остроумные вещи. И танцовщицей была одной на миллион, а уж как изображала Чарли

Чаплина – загляденье, хотя сомневаюсь, что вам известно его творчество.

ТОМАС БЕККЕТ: Сие имя мне неведомо.

ДЖОН КЛЭР: Чарли я знал много, но ни один Чаплин на ум не идет. Каких же он был манер, коли ваша подруга так метко ему подражала?

БЕККЕТТ: У него была особенная походка и усы, и он шевелил бровями. Лючия могла повторить все. Главным в его искусстве являлся пафос обездоленных или простых людей. Он изображал неустанного странника, вроде вас, только во времена, когда железные дороги стали длиннее и здания – выше. Он вызывал скорбь по великой несправедливости жизни, а потом смех при виде триумфов личности. Не думаю, что сам он был счастливым человеком. Помню, что читал кое- что у режиссера Жана Кокто... нет, не спрашивайте, слишком сложно объяснять... он упоминал, что Чаплин говорил что-то в том духе, будто главная печаль его жизни – что он разбогател, играя бедных.

ДЖОН КЛЭР: И снова мы завели речь о чувстве вины – впрочем, если бы главной печалью моей жизни было богатство, я вряд ли бы печалился.

ТОМАС БЕККЕТ: Возможно, тяготы богатых – те же, лишь обходятся дороже. Порою мнится мне, что сердце короля и доброго друга моих отроческих лет тягчится весом злата.

БЕККЕТТ: Что ж, если заговорили о чувстве вины, то вашему королевскому приятелю досталось. Вообще-то если подумать, досталось ему порядочно. Из-за того, что он с вами сделал, Рим во искупление назначил ему порку несмотря на то, что он король. Как я слышал, он встал на колени и все вытерпел. Значит, явно понимал, что заслуживает наказание.

ТОМАС БЕККЕТ: Короля секли, и он по доброй воле снес поругание?

БЕККЕТТ: Именно так. Общеизвестный случай. Как раз после вашей эксгумации, когда обнаружилось, что вы нетленны. Как по

мне, так ему еще повезло отделаться одной только поркой.

ДЖОН КЛЭР: Я бы заставил его встать на колени и оттирать пол собора. Он бы до сих пор там ползал.

ТОМАС БЕККЕТ: *[В ужасе.]* Его секли. Короля секли. За то, что он сделал со мною.

БЕККЕТТ: В общем так. Скажем так, никто не говорил, что его засудили.

ТОМАС БЕККЕТ: Но если тако обошлись с ним, то что же он?..

БЕККЕТТ: Вы не захотите слышать подробности.

ДЖОН КЛЭР: Нюансы. Нет, здесь я согласен.

БЕККЕТТ: Вам будет легче без них. Незачем волноваться без необходимости.

ТОМАС БЕККЕТ: *[Ворчливо и обиженно.]* Нет. Нет, незачем. Ежели на то пошло, и вас не принуждали объявлять сии вести.

БЕККЕТТ: Не хотелось бы думать, что я испытываю вошедшее в поговорки терпение святого.

ТОМАС БЕККЕТ: Пытать мое терпение – меньшее из ваших преступлений, когда вы искали подсечь самую веру мою своими умствованиями.

БЕККЕТТ: Не искал я такого.

ТОМАС БЕККЕТ: И все же с небрежением отзываетесь об Эдеме и первородителях наших, вводите в мысли о срамной любви меж Евой и сынами ее и толико же упорствуете, что настал двадцатый век от рождения Господа нашего, а Господь не спустился на землю?

ДЖОН КЛЭР: Да, мистер Баньян, с которым мы давеча разговорились, озвучил те же жалобы ввиду зримого отсутствия Иерусалима.

БЕККЕТТ: *[ТОМАСУ БЕККЕТУ.]* Он никогда не придет. Так я понимаю. По крайней мере, Его никогда нет рядом, когда Он нужен, примерно как полицейский.

ДЖОН КЛЭР: В этих краях я слышал одно выражение. Только как же оно звучало? Оно несло значение слова «полицейский», но вдобавок намекало на сборщика податей или десятинника. Никак не

вспомню, что это за выражение, но, возможно, оно придет в голову позже.

ТОМАС БЕККЕТ: *[СЭМЮЭЛЮ БЕККЕТТУ.]* Ежели, по речам вашим, никогда не придет Он, почем вам знать, что Он есть?

БЕККЕТТ: Полагаю, тут в дело и вступает вера. Для себя я предпочитаю думать, что Его неприбытие – необязательно знак Его несуществования.

ТОМАС БЕККЕТ: Но Он не говорит с вами?

БЕККЕТТ: Невелика важность, говорит или нет. Со мной многие не говорили, я со многими не виделся, но нисколько не сомневаюсь, что они существуют. И совсем не чувствую себя обойденным вниманием.

ТОМАС БЕККЕТ: Но ежели вам не случилось внять гласу Его...

БЕККЕТТ: Иногда кажется, что в долгом молчании есть своя сила.

ТОМАС БЕККЕТ: Вот оно что?

БЕККЕТТ: Так уж я думаю. *[КЛЭР, БЕККЕТТ и ТОМАС БЕККЕТт впадают в задумчивое молчание. Долгая пауза.]*

МУЖ: Я все это сделал. Я сделал все, что ты сказала. Я – все то, кем ты меня называла. *[Пауза.]* Но ты знала.

ЖЕНА: *[Обернувшись к нему с презрительным взглядом.]* О чем ты теперь заладил?

МУЖ: Говорю, что ты знала.

ЖЕНА: О чем знала?

МУЖ: О делишках.

ДЖОН КЛЭР: О нюансах. Он их имеет в виду.

ЖЕНА: Делишках? Говоришь, я о них знала?

МУЖ: Все время. Так и говорю.

ЖЕНА: Да как ты смеешь? Как ты смеешь заявлять мне в лицо, что я знала о ваших делишках? Если бы я знала о делишках, я бы прекратила их раз и навсегда. И не было бы никаких делишек.

МУЖ: Ты знала. Ты смотрела сквозь пальцы.

ЖЕНА: Сквозь пальцы?

МУЖ: Нарочно. Ты сама знаешь. Тебе это было только на руку.

ЖЕНА: *[Осторожно.]* На руку? Не понимаю, о чем ты говоришь.

МУЖ: Селия – да, понимаешь. Ты понимаешь все, что я говорю. Последние двенадцать лет брака мы друг друга и пальцем не трогали. Или ты не заметила?

ЖЕНА: Житейское дело. Так у всех бывает. Это же ты сходишь с ума по сексу, лезешь каждые пять минут и не заботишься, нравится это другому или нет.

МУЖ: Тебе никогда и не нравилось, хоть каждые пять минут, хоть каждые пять месяцев. А когда я перестал тебя донимать, когда я перестал лезть, ты правда решила, что я и интерес потерял? Что у меня ушли эти чувства только потому, как ты на меня повлияла?

ЖЕНА: Я... Наверное, я думала, что ты нашел другие выходы. Что ты развлекаешься на стороне.

МУЖ: О, и что же за выходы? Романчик вне брака? То есть пилил барменшу в «Черном льве», что-то в этом духе?

ЖЕНА: *[Поблуднев.]* О боже, Джонни, только не говори, что пилил. Только не Джоан Таннер. Ведь все узнают! Что люди подумают? Что люди подумают обо мне?

МУЖ: Да что ты несешь. Конечно не пилил. Я же знал, что с тобой начнется, если все узнают.

ЖЕНА: *[С облегчением.]* О, ну слава богу. Конечно, я бы не хотела, чтобы все знали. Если уж и решил учинить такую глупость, то лучше...

МУЖ: Держать все при себе?

ЖЕНА: *[Неуверенно.]* Ну... да.

МУЖ: Не выносить сор из избы?

ЖЕНА: Да, наверно.

МУЖ: Оставаться в семье? *[ЖЕНА молча смотрит не сколько секунд на МУЖА, осознавая собственное непризнанное соучастие, потом отворачивается и смотрит в пустоту с загнанным выражением. МУЖ опускает взгляд вниз и в сторону.]*

БЕККЕТТ: Что ж, справедливо. На моем опыте женщина очень редко не знает, что происходит в ее собственном доме, даже если ей

самой знать не хочется. В случае мисс Джойс, о которой я упоминал, ее беда в десять лет – если она случилась на самом деле – ее беда в десять лет никак не могла случиться без ведома Норы – это мать Лючии. Кажется, очень часто женщины успешнее управляются с целым паучьим гнездом секретов, чем это по силам большинству мужчин.

ДЖОН КЛЭР: В душе я все еще не убежден до конца, что десять – такой уж ранний возраст.

ТОМАС БЕККЕТ: Годы жертвы, мыслю я, не имеют материального касательства ко греху иль тяжести его. Они обречены, сии порочные созданыя, на нескончаемую муку, сидеть на твердых неподатливых ступенях сих в ожидании отпущения грехов, но не бывать ему вовек.

БЕККЕТТ: Значит, они прокляты, за пределами милосердия или прощения. Похоже, вы в этом уверены.

ТОМАС БЕККЕТ: Муж сношался с собственным чадом, а Господь запретил соблазнять малых сих. Жена же негласно поощряла ту пагубную связь, вдвойне невинное дитя предавая. Я не в силах представить, чтобы Творец оказал милость тем, кто не восхотел оказать ее сам.

БЕККЕТТ: Ну, раз вы святой, значит, должны разбираться в подобных вопросах.

ДЖОН КЛЭР: Послушайте, а когда Господь говорил о малых сих, он уточнял, что в их число входят десятилетние? Я все о своем.

БЕККЕТТ: *[Не обращая внимания на КЛЭРА.]* Мне кажется, что, хотя вопрос секса в этом деле сам по себе прискорбный и неприятный, главное – все равно предательство. В случае Лючии – когда брат, который, как она думала, ее любит, недвусмысленно объявил, что женится на женщине старше, очень напоминающей его маму, тогда она и начала неподобающе себя вести и бросаться стульями. По моему, брат первым и предложил сослать ее куда-нибудь для психиатрического лечения, и можно предположить, он это сделал, чтобы любые ее слова можно было списать на бред сумасшедшей. По крайней мере, так показалось мне, а Нора – она довольно

быстро свыклась с новым порядком. Лючию всегда было сложно назвать ее любимым ребенком, даже до швыряния мебелью. Говорили, что Лючия, как это называется, шизофреник, хотя если спросите меня, больше было похоже, что она юна, избалована и плохо справляется с разочарованиями. Она думала, что ее поведение нормально. Она считала себя неприкасаемой и даже не думала, что окажется в больнице, чем все в итоге и кончилось.

ДЖОН КЛЭР: Что ж, справедливости ради отмечу, что редкий человек должным образом ожидает или допускает мысль о подобном заточении. В общем это всегда сюрприз. Сегодня ты лорд Байрон, а завтра уже в гостиной, полной идиотов, уминающих овсянку.

ТОМАС БЕККЕТ: И вы же пророчите мне бегство из Нортгемптона во Францию, где ждет меня изгнание – то самое заточение, коего не имел я в мыслях.

ДЖОН КЛЭР: Судя по тому, что я слышал, могу открыть, что вы сбежали глухой ночью через брешь в стене замка, а потом направились к северным воротам города, что в конце Овечьей улицы сразу за старой круглой церковью.

ТОМАС БЕККЕТ: Да, мне ведомо сие место.

ДЖОН КЛЭР: Похоже, вы вышли из ворот и поскакали на север, чтобы все решили, что туда и лежит ваш путь, а затем повернули назад и направились на юг, в Дувр, и далее морем во Францию.

ТОМАС БЕККЕТ: Осторожный и мудрый поступок. Не забуду о нем по пробуждении.

БЕККЕТТ: Да, я точно так же подумал насчет реплики в диалоге, которую произнесла жена всего полчаса назад, а сам уже все забыл. Откуда-то у меня ощущение, что там было что-то об ухвертках.

ДЖОН КЛЭР: [ТОМАСУ БЕККЕТУ.] С вашим маршрутом не все так уж просто. В народе ходят слухи, что по отъезде из Нортгемптона вы остановились освежиться у каменного колодца у парка Беккетта. Но если вы действительно выезжали через северные ворота, это кажется маловероятным.

ТОМАС БЕККЕТ: Разгадка проста. Мне ведом сей колодец, и там я встал испить ключевой водицы, когда въезжал в Гамтун чрез Крайние ворота. Было то по прибытии, а не по отъезде, но в прочем сказ истинный, хотя и не имеет значения великаго. Боле дивлюсь я мысли, что моим именем наречено быти парку.

ДЖОН КЛЭР: Что ж, и здесь не все так просто. Несмотря на легенду о колодце, в названии парка в конце две буквы «Т», в отличие от вашего имени, а потому его могли назвать и не в вашу честь.

БЕККЕТТ: Две «Т»? Подумать только. Это что же, его назвали в честь меня?

ДЖОН КЛЭР: Как мне говорили, в городе жила меценатка, которая дала парку свое имя, а не ваше, джентльмены. Случай с колодцем, по всей видимости, не более чем совпадение. Хотя, если задуматься, колодец тоже называется именем с двумя «Т», но это легко объяснить укоренившейся невежественностью местных и неуклюжим обращением со словом. Надеюсь, я не огорчил вас этими откровениями.

ТОМАС БЕККЕТ: *[Разочарованным голосом.]* Огорчили? Нет, как можно... нет, не огорчили. Лишь тщетного человека огорчит подобное – иль не вы говорили, что я наречен святым? Нет. Не огорчили. Отчего ж?

БЕККЕТТ: *[Таким же разочарованным голосом.]* Я тоже не огорчен. Я спрашивал ради шутки, а по правде мне все равно, в честь кого назвали парк. Как по мне, разницы никакой нет. Когда в честь тебя называют парк, это вульгарно и обыденно, ведь столько парков носят имя Виктории.

ДЖОН КЛЭР: Ах да. Моей малютки-дочери. Слышали вы о ней? Как она поживает?

БЕККЕТТ: Господи боже, только не начинайте заново свою шарманку – я уже думал, мы со всем покончили. У меня больше не хватает терпения. И если честно, от этой парочки я тоже больше

ничего не жду. Мне кажется, они уже исчерпали все темы своего разговора.

ТОМАС БЕККЕТ: Здесь мы в согласии. Они восседают среди ничтожных осколков от деяний рук своих, и не ищут искупления, как не могут чаять спасения. Сия унывная история звучит испокон веков, и, как и вы, я ею утомлен порядком. Вдобавок ежели то, что вы посулили, непреложно, меня ожидает своя унывная история. Пожалуй, пушусь в путь по сию сторону [*ТОМАС БЕККЕТ показывает в зал, словно на улицу за сценой*], к замку, где ожидает мой былой товарищ по играм.

БЕККЕТТ: Да, а я к вам присоединюсь. Сам планировал прогуляться в ту сторону и взглянуть на старую церковь Святого Петра, как ходил к ней в первый раз, когда приехал сюда на крикет.

ТОМАС БЕККЕТ: Достославный храм древних лет, он известен мне хорошо. Должно сказать, меня удивляет весть о том, что он еще стоит спустя тысячу лет. Не заброшен ли он вниманием? Кривят ли мерзкия рожи с каменных стен уродцы, коих я помню по прошлым временам?

ДЖОН КЛЭР: За годы некоторые попадали или были сбиты, но большинство еще на месте. Значит, вы удаляетесь оба? Мне не убедить вас задержаться и составить мне общество, чтобы мои слова не падали на глухие уши?

БЕККЕТТ: Извините, но нет, меня не переубедить. В каком-то смысле приятно с вами познакомиться, несмотря на ваши дикие фантазии и беззастенчивую байку о совокуплении с Лючией. Буду не против снова с вами встретиться – хотя, должен признаться, говорю это с уверенностью, что подобная перспектива очень сомнительна.

ДЖОН КЛЭР: Со своей стороны, я могу лишь сетовать, что остаюсь один, но вследствие своего безумия, несомненно, скоро позабуду о вашем приходе совершенно либо же уверюсь в вашей иллюзорной натуре, как в случае с первой ж... с другими комичными недоразумениями в прошлом. Общение с вами обоими доставило мне немалое удовольствие, хотя и надо отметить, что вы весьма

похожи – как произношением имен, так и тем, что оставляете по себе весьма мрачное впечатление.

БЕККЕТТ: А сами вы нисколько не мрачный?

ДЖОН КЛЭР: Нет же. Грешен злоупотреблением неплодотворной меланхолией, но мне вряд ли достанет смелости быть мрачным. Разве что порою хмурым, но ни в коем случае не мрачным. На это у меня не хватает духу.

ТОМАС БЕККЕТ: [*С добротой и сочувствием.*] Не восхотите ль быть нашим спутником дорогою к церкви? Мне претит мысль бросать вас в одиночестве.

БЕККЕТТ: [*В сторону, с нетерпением.*] О, ну отлично!

ДЖОН КЛЭР: *ТОМАСУ БЕККЕТУ.* Нет, благодарю от всей души за предложение, но, пожалуй, останусь на время здесь. Я не уверен, что эта двоица покончила с дебатами, и питаю надежду на поэтическое завершение. Пускай и небольшую. В конце концов, по натуре я реалист, хотя бы в своих живописаниях, пусть и говорят, что я романтик или же глупец. А вы наслаждайтесь вечером, как буду наслаждаться я. Удачи вам, а в особенности вам, святой Томас, и мои поздравления со счастливым избежанием разложения.

ТОМАС БЕККЕТ: Хм. Да, что же, благодарствую... хотя в скромности своей не могу брать на себя в том заслуги.

БЕККЕТТ: Да, и вам удачи. Помните, что лорд Байрон в подметки не годится поэту Джону Клэру. Может, тогда вы не будете путаться. Прощайте. [*СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТТ и ТОМАС БЕККЕТ прогулочным шагом уходят НАПРАВО, беседуя на ходу.*] Итак, канонизация и все прочее. До того как вы обнаружили способность не гнить, не было других намеков на чудотворные способности?

ТОМАС БЕККЕТ: Того не припоминаю. Я несколько владел пером, но за чудо сие не почитаю. А что же вы, все еще состоите в лоне Святой Церкви?

БЕККЕТТ: Что ж, не буду врать. У нас с ней были взлеты и падения... [*Они выходят НАПРАВО. ДЖОН КЛЭР стоит на месте и следит за ними глазами, сперва глядя НАПРАВО, потом медленно*

поворачивает голову, пока не смотрит над зрителями. Долгая пауза, пока он ждет, чтобы они ушли достаточно далеко и ничего не услышали.]

ДЖОН КЛЭР: И все равно я путался с вашей подругой. Из ушей хлынул лексикон, словно сперма речи. То была духоподъемная встреча, и я ничуть о ней не жалею. *[КЛЭР стоит на месте еще миг-другой, рассеянно глядя на незамечающих его МУЖА и ЖЕНУ. Когда они не шевелятся и не заговаривают, он грустно и обреченно плетется назад в свой альков СПРАВА ОТ ЦЕНТРА / СЗАДИ, где и садится, скорбно уставившись на неподвижную парочку на просцениуме. Через несколько мгновений ИЗ-ЗА СЦЕНЫ раздается ОДИН УДАР ЦЕРКОВНЫХ ЧАСОВ. Жена, сидя на ступеньке, поднимает взгляд, словно испугавшись, а МУЖ не реагирует.]*

ЖЕНА: Все еще час. Как до сих пор может быть час? Почему всегда час?

МУЖ: *[Без сочувствия.]* Ты же сама сказала, теперь для нас всегда слишком поздно. Слишком поздно с четвертью.

ЖЕНА: Но это же у тебя. Ты на нас все это навлек. Почему для меня тоже всегда час?

МУЖ: Потому что ты участвовала в них не меньше меня, в делишках. А если я что-то узнал о делишках, так это что они делаются. Постоянно. С ними никогда не разделаешься.

ЖЕНА: *[После испуганной паузы, поразмыслив обо всем.]* Это ад? Джонни, мы попали в ад?

МУЖ: *[Устало, не глядя на нее.]* Селия, я не знаю.

ДЖОН КЛЭР: Мы это уже обсуждали и пришли к выводу, что чистилище куда правдоподобней. Не то чтобы я считал себя знатоком в этом предмете. *[Пауза.]* Вы меня не слышите. Какой в этом прок? *[Вместе с МУЖЕМ и ЖЕНОЙ КЛЭР впадает в угрюмое молчание. Через какое-то время под портик СЛЕВА входит ЖЕНЩИНА-МЕТИСКА. Через несколько шагов она останавливается и оглядывает сцену, заметив сперва пару на ступенях, а потом ДЖОНА КЛЭРА в своем алькове.]*

ЖЕНЩИНА: Эт ты поэт, да? Джон Клэр.

ДЖОН КЛЭР: *[В удивлении.]* Я есмь поэт? Вы уверены? Я есмь Клэр? Не Байрон и не король Уильям?

ЖЕНЩИНА: *[С теплом и сочувствием.]* Нет, дружок. Ты Джон Клэр. Я слышала, ты просто время от времени все путаешь.

ДЖОН КЛЭР: Правда. Я путаюсь и путаю. И вы не находите это отталкивающим?

ЖЕНЩИНА: Нет. Если честно, дорогой, когда я про тебя услышала, ты мне показался классным парнем. Да и писал ты очень ничего. Ты правда прошел досюда восемьдесят миль, когда свалил из психушки в Эссексе?

ДЖОН КЛЭР: Психушки?

ЖЕНЩИНА: Ну ты понял. Дурка. Психодром. Шизо.

ДЖОН КЛЭР: *[Смеется, с удовольствием и восторгом.]* А, то есть желтый дом. Так бы сразу и сказали. Да, я там бывал. Похоже, вы обо мне немало знаете.

ЖЕНЩИНА: О, я-то чего только не знаю. Короче, приятно познакомиться, мистер Клэр. Очень рада.

ДЖОН КЛЭР: Это обоюдное чувство. Как тебя зовут, девица?

ЖЕНЩИНА: Все зовут меня Каф.

ДЖОН КЛЭР: Как?

ЖЕНЩИНА: Каф. К-А-Ф. Только не читай задом наперед.

ДЖОН КЛЭР: Довольно необычное имя. И из каких ты краев Нортгемптона и вечности производишь?

ЖЕНЩИНА: Весенние Боро, 1988–2060. В основном работала тут в корпусе Святого Петра, по соседству с церковью, помогала беженцам с востока.

ДЖОН КЛЭР: С востока – из Индии?

ЖЕНЩИНА: С востока Англии. Ярмута и всего такого. Там, откуда я родом, у нас совсем беда с погодой.

ДЖОН КЛЭР: Ах да, Британия всегда этим славилась.

ЖЕНЩИНА: Таким – нет, милый мой. Уж поверь. Таким – нет. Наступает море, дружок, а когда люди переезжают, с собой они

тащат свои проблемы, а их проблемы похуже всего остального будут. С ними приходят наркотики и болезни, насилие и преступность, всякие психические проблемы. Когда я была в корпусе, придумала способ обрабатывать – в смысле, типа, сортировать – большие кучи народу, попавших в ЧП. Ничего такого особенного. Просто анкета, в виде обычной аппки, да это само напрашивалось по работе с беженцами. В общем, аппка прижилась по всему миру и, оказывается, спасла много жизней.

ДЖОН КЛЭР: Стыдно признаться, но я и понятия не имею, о чем ты мне сейчас повествовала. Я уловил только самую суть, что ты женщина незаурядных ума и заслуг, но, будучи дураком, я засмотрелся на твой бюст и упустил большую часть речи. Прошу, не думай обо мне худо.

ЖЕНЩИНА: *[Со смехом.]* О, да все в порядке. Ты же Джон Клэр. Для меня честь, что ты не счел ниже своего достоинства пялиться на мои сиськи.

ДЖОН КЛЭР: Кажется, ты славная женщина и пышешь добродушием. Следует отплатить тебе вниманием к твоим словам. Прошу, расскажи все заново и проследи, чтобы я не отрывался от твоих глаз.

ЖЕНЩИНА: Ах, ты шикарный. Точно такой, как я и представляла по стихам. Не скажу, что больно много их читала, но от парочки все-таки прослезилась. А обо мне рассказывать особо нечего. Из-за этой анкеты я получила куда больше внимания, чем хотела или заслуживала. Меня стали звать святой, но, если честно, это только в краску вгоняет и настроение портит. Как я уже сказала, я об этом не просила.

ДЖОН КЛЭР: Так значит, ты святая?

ЖЕНЩИНА: Ненастоящая. Только в газетах. Там кого угодно святым сделают. Я пыталась в это не замешиваться.

ДЖОН КЛЭР: Давеча на этом самом месте стоял настоящий святой. Томас а Беккет.

ЖЕНЩИНА: Правда, что ли?

ДЖОН КЛЭР: Если только мне не привиделось во сне.

ЖЕНЩИНА: Один из ключевых людей нашего города, Томас Беккет-то.

ДЖОН КЛЭР: В самом деле, ключевой человек. Мы как раз говорили о том, как он пил ключевую воду из колодца. Он проходил здесь, потому что когда-то направлялся этой дорожкой навстречу осуждению в замке. Тогда как другой мистер Беккетт вернулся к церквям Нортгемптона, которые осматривал предыдущей оказией, а мистер Баньян вершил путь к базару, дабы послушать прокламацию. Что до меня, я сидел здесь всегда, этим и объясняется мое присутствие. А ты? Мнишь себя мертвой или спящей, и, так или иначе, что тебя привело?

ЖЕНЩИНА: О, я-то мертва. Тут никаких вопросов. Попала в водный бунт, когда в шестидесятых стало совсем плохо, и сердечко не выдержало, мне-то было уже хорошо под семьдесят.

ДЖОН КЛЭР: Тебе не дашь семидесяти.

ЖЕНЩИНА: Как мило. Но это я в тридцать, когда выглядела лучше всего. Если совсем уж честно, на меня молодую взглянуть страшно, а потом с возрастом малость отощала. А зачем я пришла – так это из-за них. *[ЖЕНЩИНА-МЕТИСКА кивает на пару на ступенях.]*

ДЖОН КЛЭР: Значит, ты их знаешь?

ЖЕНЩИНА: О да. Ну, при жизни-то мы не встречались, но про них я все знаю. Он, мужик – Джонни Верналл, а женщина – его жена Селия. В эту ночь их дочка заперлась дома на Школьной улице, и они пришли сидеть здесь под портиком до утра. А лично я знала их дочь, Одри.

ДЖОН КЛЭР: Ах да. Ту самую, с которой все это сотворили. Мы с другими призраками пытались в этом разобраться. По всему выходит, скверное дело.

ЖЕНЩИНА: О, еще бы. Еще бы. Но, с другой стороны, иначе быть не могло.

ДЖОН КЛЭР: Откуда же ты ее знаешь, это несчастное дитя?

ЖЕНЩИНА: Ну, когда мы познакомились, она уже была старушкой. Однажды ночью в молодости я крепко влипла, а она спасла мне жизнь. Она оказалась самым страшным и прекрасным человеком, что я встречала в жизни, и в ту ночь для меня все круто изменилось. Если в дальнейшем я и помогла множеству людей, то только благодаря ей. Если бы не она, я бы умерла и ничего бы не было – ни анкеты, ничего. Вот кто настоящая святая – Одри. Она мученица, и эта ночь – канун момента, когда ее повели на костер. Поэтому я и пришла. После всего что для меня сделала Одри, по-другому я не могла. Не могла не прийти и не увидеть, не могла не стать свидетельницей.

ДЖОН КЛЭР: Если во всем этом и есть поэзия, то кажется, ее центральный предмет – униженные женщины. *[Пауза.]* Но я совсем позабыл о манерах! Молодая дама стоит на ногах, а я ни разу не предложил присесть!

ЖЕНЩИНА: *[Она смеется, двигается к алькову ДЖОНА КЛЭРА.]* О, спасибо большое. Я...

ДЖОН КЛЭР: *[Слегка встревоженный, испугавшись, что его не правильно поняли.]* Нет-нет, не здесь. Это мое место. Место для гостей я держу на другой стороне. Говорят, там весьма удобно.

ЖЕНЩИНА: *[Удивленная, но скорее позабавленная, чем обиженная.]* А, ладно. Ну хорошо. Здесь вот, да? *[Она садится в алькове СЛЕВА от двери.]* М-м. А ты прав. Очень славно. Славное местечко.

ДЖОН КЛЭР: Ну, не такое славное, как мое, но я искренне надеюсь, что оно удовлетворит твоему вкусу.

ЖЕНЩИНА: *[Смеется, очарованная откровенностью.]* Нормально. Почти как трон. Так что я пропустила с Джонни и Селией?

ДЖОН КЛЭР: Большую часть, по всей видимости, ты знаешь и так. Жена упрекала мужа, пока он не признался во всем, и тогда она упрекала его еще больше. Совсем недавно он обратил внимание на то, что она понимала, что происходит, и в этом свете считается соучастницей в их недостойных обстоятельствах.

ЖЕНЩИНА: И как она к этому отнеслась?

ДЖОН КЛЭР: Поперву замечательно дурно. С негодованием отрицала обвинения, хотя я не мог не думать, что в сущности своей неискренне. Затем через какое-то время, похоже, смирилась со сказанным, после чего сидела с видом самым затравленным и сокрушенным. Ныне ее озаботила мысль, что они в аду, хотя мне общепринятым и популярным мнением кажется, что это чистилище.

ЖЕНЩИНА: Что, вот это все? Не, чушь, это рай. Все это рай.

ДЖОН КЛЭР: Верно ли?

ЖЕНЩИНА: Еще как верно. Сам глянь. Это же чудо.

ДЖОН КЛЭР: Что, даже инцест и страдания?

ЖЕНЩИНА: Что вообще есть жизнь, чтобы растлевать собственных детей; что есть дети; что есть сексуальные растления; что мы чувствуем страдания. Как я вижу, жаловаться в целом не на что. Это рай. Даже в концлагере или когда избивают и насилуют, даже если у тебя черная полоса, это все равно рай. Ты что, хочешь сказать, что писал про времена года и божьих коровок, а сам этого не знал?

ДЖОН КЛЭР: Ты уверена, что не настоящая святая?

ЖЕНЩИНА: Если бы ты знал хотя бы половину того, что я натворила по молодости, то даже не спрашивал бы. Никто из нас не святой – или святые все.

ДЖОН КЛЭР: Не несколько призванных, как предполагают воззрения мистера Баньяна?

ЖЕНЩИНА: Такого не знаю, но нет. Точно нет. Все или ничего, третьего ни хрена не дано. Мы и святые, мы и грешники, и на дуде игроки – или вообще нет ни святых, ни грешников.

ДЖОН КЛЭР: О, но грешники непременно есть, хотя не скажу того же с уверенностью о святых. Что до меня, кажется, при жизни я совершил чудовищный и недостойный поступок.

ЖЕНЩИНА: Ох, милый мой. Ну ты уж себя не изводи. Все мы со вершали плохое или думаем, что совершали. Только если ты не можешь с этим примириться и увидеть в общем положении вещей, тогда оно тебя сковывает, – тогда это то, кто ты есть и где ты есть, навсегда.

ДЖОН КЛЭР: Навсегда – ужасно долгое время для того, чтобы тебя сковывало нечто непотребное.

ЖЕНЩИНА: Ну, тут не поспоришь. *[ДЖОН КЛЭР и ЖЕНЩИНА-МЕТИСКА впадают в задумчивое молчание, глядя на МУЖА и ЖЕНУ, сидящих на ступенях.]*

ЖЕНА: *[После долгой паузы, за которую ее выражение успело смениться с виноватого и загнанного к хладнокровному и прагматичному.]* Ну и что будем делать?

МУЖ: *[Поднимает с удивлением взгляд.]* Мы?

ЖЕНА: Ты все сказал. Мы оба виноваты.

МУЖ: Оба. Рад, что ты это поняла.

ЖЕНА: И если это раскроется, нам обоим конец – по крайней мере здесь, а куда нам еще податься? Это я тоже понимаю.

МУЖ: Что ты хочешь сказать?

ЖЕНА: Я хочу сказать, что люди здесь нас знают. Здесь у нас друзья, Джонни, и знакомые. Здесь у нас жизнь. Здесь у нас перспективы.

МУЖ: Перспективы?

ЖЕНА: *[С напором шипит сквозь зубы.]* Да! И перспектив будет побольше, если никто не узнает, что ты совал свой стручок в Одри! А что подумают обо мне? Я не позволю тебе нас растоптать, Джонни. И ей не позволю нас растоптать.

МУЖ: Но... В смысле, не факт, что это выплывет. Правда? В смысле, может, когда она охолонет, я с ней поговорю...

ЖЕНА: О да. Очень это поможет. Очевидно, ты с ней можешь до постели договориться, а с этого все и началось! Она смерти нашей хочет, дурень. Она флиртует, пудрит тебе мозги своими юбками да лифами, а стоит тебе поплыть да раскиснуть, тут-то она и выступает, тут-то она и разыгрывает сцену.

МУЖ: И точно. Это она меня сбила с пути.

ЖЕНА: А теперь разыграла концерт во всеуслышанье.

МУЖ: *[Вдруг растерявшись и занервничав.]* Ты же сказала, что музыка прекратилась!

ЖЕНА: *[Нахмурившись, словно неуверенная.]* Ну да, мне так казалось, но теперь я уже не уверена. Кажется, если ветер в нашу сторону, то все еще слышно. Но дело не в этом. Дело в том, что она твердо решила, что покончит с этим, расскажет всем и разрезвонит на все улицы. Ты сам видел, как на шум вышла Айлин Перрит, из-за переполоха, как раз когда они с Джемом только уложили свою малышку Элисон. Она все слышала, и про «Шепот травы», и про все, что визжала эта грязная, грязная дрянь. Все. *[Задумчиво, после паузы.]* Не знаю, что она слышала. Может, уже поздно.

МУЖ: Но что нам тогда делать?

ЖЕНА: *[Злобно.]* Не знаю, Джонни. Не знаю, что делать. Это я и пытаюсь понять, что будем делать. *[Пауза.]* Вот грязная дрянь. Думала, я ничего не вижу, на кухне, над раковиной, как намывает волосы без блузки, а потом вытирает и поднимает волосы на полотенце, а ты, ты сидишь там, сидишь и смотришь, и ноги скрестил, и смотришь, и говоришь: «О-о, какая ты красавица, наша Одри, какие волосы», – а уж какая красавица без блузки-то, ага, сидишь и смотришь, и ноги скрестил, а она-то всегда поднимала волосы, чтобы все видели ее шейку, шейку ее, «посмотрите-ка на мою шейку, посмотрите на мои грудки, которых и в упор не разглядишь, посмотрите, как я пляшу, когда играю на аккордеоне, как юбкой взмахиваю, чтоб все так и видели голые коленки и мечтали о моей щелке», – и думала, я ничего не вижу. *[Долгая накаленная пауза, во время которой МУЖ смотрит с испуганным и потрясенным видом из-за вспышки ярости.]* Дай подумать. Надо подумать. Нам надо подумать, что делать.

ДЖОН КЛЭР: *[После паузы.]* Мне это совсем не по душе. У меня появилось страшное предчувствие, куда это приведет.

ЖЕНЩИНА: Ага. Они все заметут под ковер. Все спрячут, потому что не могут смириться с тем, что наделали. Упрячут Одри, а сами внутри себя будут сидеть в сырости и тумане и лаяться на этих ступеньках вечно. И все потому, что не смогли признаться себе в том, кто они есть.

ДЖОН КЛЭР: *[После долгой и мучительной паузы, пока внутри него скрытность борется с совестью.]* Я кое-что сделал. Я сделал то, в чем никому не признавался. Когда мне было четырнадцать. *[Он закрывает глаза. Он едва может промолвить слово.]*

ЖЕНЩИНА: *[Мягко и ободряюще.]* Ну? Что-то случилось?

ДЖОН КЛЭР: *[Все еще с закрытыми глазами, начинает медленно раскачиваться в алькове.]* Когда мне было четырнадцать. Когда мне было четырнадцать. Когда мне было четырнадцать, кое-кто. Кое-кто. Кое-кто жил в соседней деревне. Кое-кто. Кое-кто. Кое-кто. В соседней деревне жила молодая.. Мне было четырнадцать. Жила молодая девушка. Девушка. Моих лет. Мэри. Мэри. Мэри. Она была красавицей. Красивее всего на свете. Когда мне было четырнадцать. И я с ней повстречался. И я с ней повстречался на дороге и спросил, не изволит ли она со мной прогуляться, и Мэри сказала, что да, что прогуляется. Она была моих лет. И я повел ее по тропинке. Мы шли. Мы шли. Мы шли мимо ручья, где, где, где рос куст боярышника. И я сказал. Я сказал, что люблю ее, и. И. И. И. И спросил, выйдет ли она за меня. Под кустом боярышника. Под кустом боярышника, и она рассмеялась, и сказала, что да, и мы залезли. Мы залезли на четвереньках под куст боярышника, и я сделал ей колечко. Сделал колечко. Сделал колечко из травинки, надел ей на палец и сказал. Сказал. Сказал, что отныне мы женаты. Она была моих лет. Мне было четырнадцать. Она, она, она была моложе. Чуть моложе меня. И я. И я. И я пошутил. Я пошутил и сказал. Сказал. Сказал, что это наша брачная ночь. Я сделал ей колечко из травинки. Сказал, что это наша брачная ночь, и нам надо. Нам надо раздеться, и я сказал, что это шутка. Сказал так, чтобы это казалось шуткой, под кустом боярышника, но она сказала, она сказала, Мэри сказала, что разденется. Она была моего возраста. Моложе. Мэри сказала, что разденется, и смеялась. Она смеялась, снимала одежду, и я... смотрел... на нее. Я смотрел на нее, как она снимает одежду, и торопился. Торопился. Торопился раздеться сам, и она смотрела на меня. Ей было десять. Ей было десять. Она смеялась, а я сказал. Я

сказал, что мы. Я сказал, что мы. Я сказал, что мы должны это сделать. Она смеялась и спрашивала, что сделать? Спрашивала, что сделать, а я сказал, я сказал, что покажу, и это было правильно. Было хорошо. Я же сделал для нее колечко, и мы женились, и все было правильно, а потом я объяснял. Объяснял. Объяснял, что делать. Объяснял.

Объяснял, что она она она должна лечь на спину, и она смеялась. Она смеялась. Она смеялась, и я залез на нее, и Мэри спросила. Она спросила. Она спросила, что я делаю, а я попытался войти в нее. Мне было четырнадцать. Она сказала, ей больно. Она сказала, ей больно. Она сказала, что я делаю ей больно, и что она не хочет, она не хочет, ей больно, но я сказал. Я сказал. Я сказал, что все правильно. Я сказал, что мы женаты. Все правильно. Что ей. Что ей скоро понравится и что ей не надо. Что ей не надо. Что ей не надо плакать. Не надо плакать. Не надо плакать. И я. И я продолжал. А она скоро перестала. Плакать. А когда я закончил, мы утерлись моею рубашкою, и я сказал. Я сказал, что она моя первая жена, и всегда будет моей первой женой, и никому, никому, никому не должна об этом рассказывать. О том, что мы, мы, я сделал. Под кустом боярышника. Под кустом боярышника. Когда мне было четырнадцать. Мне было четырнадцать. Ей было десять. Больше я ее никогда не видел, не считая своих лучших иллюзий. *[К этому времени он в слезах. Погружается в молчание.]*

ЖЕНЩИНА: *[После долгой паузы.]* Уверен, что не хочешь, чтобы я села к тебе?

ДЖОН КЛЭР: *[Поднимает голову с измученным видом.]* Ты сядешь? Сядешь? Иначе я останусь совсем один. *[ЖЕНЩИНА-МЕТИСКА поднимается из алькова и подходит туда, где сидит ДЖОН КЛЭР. Садится с ним рядом с сочувственным видом и кладет руку на плечи.]*

ЖЕНЩИНА: *[Поглаживая его волосы.]* Тебе было четырнадцать. Ты жил в деревне. Год шел тыща восемьсот какой-то. Всякое бывает, милый ты мой. Вы оба были еще дети, дурачились. Если ты потом называл ее первой женой из чувства вины, если это напрямую

связано с тем, что ты провел столько времени в Святом Андрее, то ты уже себя наказал, хотя на самом деле всего лишь полюбил не в то время. Есть преступления и похуже, дорогой. Есть преступления и похуже. Ну, тише. Тише.

ЖЕНА: Можно ее упрятать.

МУЖ: Что это значит?

ЖЕНА: В Берри-Вуде. За поворотом, в больницу Криспина. Можно ее туда упрятать.

МУЖ: Дом умалишенных?

ЖЕНА: В Берри-Вуде. Скажем, что она уже давно чудит.

ДЖОН КЛЭР: О нет. О, как ясно я вижу, к чему все идет.

ЖЕНЩИНА: Ну, тише. Просто однажды в мире такое случилось. Все хорошо.

МУЖ: Ну, наверное, из-за музыки она всегда была какой-то взвинченной. Сама знаешь, артистический темперамент. А уж сегодняшнее дело – ну, лишнее доказательство.

ДЖОН КЛЭР: Снова! Снова то самое, что постигло знакомую другого мистера Беккетта!

ЖЕНА: Да, что ж, дело известное. Если у тебя припадки из-за безумия, то чего только не наговоришь. Бросайся обвинениями сколько влезет, никто и бровью не поведет.

МУЖ: [*Неуверенно и неловко.*] Но, Селия, послушай. Наша Одри в дурдоме. Не нравится мне это представлять.

ЖЕНА: Это ненадолго. Пусть только позабудет свои фантазии, как мы их назовем, и перестанет городить бессмыслицу.

МУЖ: Но, послушай, на самом деле это же не фантазии?

ЖЕНА: Джонни, слушай внимательно: да, фантазии. Это все фантазии. В конце концов, ты сам знаешь, это семейное. Ты не виноват, семью не выбирают, и уже был твой папа. И дед. И двоюродная бабка Турса. Ничего удивительного, что и Одри свернула туда же. Уже утром мы все устроим.

МУЖ: Устроим?

ЖЕНА: С больницей, чтобы ее упрятать.

МУЖ: А. А, да. Устроим. Наверное, не получится же прямо...

ЖЕНА: Утром. Так будет лучше.

МУЖ: Да. Да, наверное. Так будет лучше для Одри.

ЖЕНА: Так всем будет лучше. *[Они впадают в задумчивое молчание.]*

ДЖОН КЛЭР: *[Он уже вернул самообладание.]* Здесь и сейчас творится страшное. *[Он поворачивается к сидящей по соседству ЖЕНЩИНЕ-МЕТИСКЕ.]* Памятуя о твоём восхищении их дочерью, полагаю, ты переживаешь ужасный гнев.

ЖЕНЩИНА: Нет, не особенно. Мне всех жалко. Сам посмотри на эту парочку. Теперь они так застряли. Ну да, можно сказать, они сами на себя все навлекли, но какой у нас всех выбор? Лучше никого не судить. Даже насильники, убийцы и психи – без обид, – если покопаться, то и они стали такими самым что ни на есть обычным способом. Или не повезло, или втемяшилась в голову мысль, от которой уже не избавиться. В молодости я была ужасной. Мне казалось, я сама во всем виновата, но оглядываюсь теперь с добротой в сердце – и уже не уверена. Не уверена, что вообще кто-то в чем-то виноват. Приходит время, когда уже устаешь от наказаний.

ДЖОН КЛЭР: Я восхищаюсь твоей всепрощающей натурой. В своей щедрости ты выше нас всех. Ты все же вполне уверена, что не настоящая святая?

ЖЕНЩИНА: Да какая разница? Это же просто слово. В смысле, ты сам только что сказал, что встретил Томаса а Беккета. Вот он настоящий святой. Похож он на меня?

ДЖОН КЛЭР: Нет. Нет, не похож.

ЖЕНЩИНА: Ну и чего ты тогда хочешь.

ДЖОН КЛЭР: По его мнению, эта пара из-за своих грехов недостойна ни милосердия, ни искупления.

ЖЕНЩИНА: Ну, мне так не кажется. Вряд ли он учитывал весь бильярд и баллистику вопроса.

ДЖОН КЛЭР: А это что за выражение?

ЖЕНЩИНА: Ну, давай говорить так: если бы Джонни Верналл не начитался пошлых книжек и не вбил себе в голову идею-фикс переспать с дочкой, она бы не заперлась в доме, не играла бы «Шепот травы», а мамка не удумала бы сослать ее в больницу Криспина. Значит, она бы там не оказалась, когда тори начали закрывать психушки, и ее бы не отправили под так называемый общественный уход. И когда она была мне нужна, когда иначе бы я погибла, ее не оказалось бы рядом и я не стала бы той, кем стала. Не появилось бы анкеты, и тысячи жизней по всему миру оборвались бы или изменились. А подумай, на сколько жизней повлияют те жизни, к лучшему или худшему, и так далее и тому подобное, пока просто не отойдешь и не поймешь, что все это один большой бильярд. Джонни стягивает с Одри трусики – отскок от борта. Так уж разбилась пирамида. Но ничто не оправдывает его поступок. Джонни и Селия, ты да я – все мы по-прежнему отвечаем перед своей совестью. А совесть – самая злопамятная, самая поганая сука, которую я встречала, и сомневаюсь, что кто-то легко от нее отделяется. Мы все сами себя судим. Мы все сидим на этих холодных ступеньках – и этого достаточно. А все остальное – бильярд. Все мы чувствуем удар и виним шар, который нас задел. Всем нам нравится лететь как по накатанной и думать, будто мы особенные, но это же белиберда. Белиберда и бильярд. *[Пауза.]* Ты снова пялишься на мою грудь.

ДЖОН КЛЭР: Знаю. Прости. Полагаю, можно сказать, мой оппортунизм был предопределен заранее. Если, как ты утверждаешь, мне придется отвечать перед совестью, то, пожалуй, ответ я буду держать без труда и многословия.

ЖЕНЩИНА: *[Смеется, игриво флиртуя.]* Ох уж эти поэты. Ваши сладкие речи – не хуже дезодоранта «Линкс», а? Девчонки на вас так и кидаются? И вообще, тебя разве дома жена не ждет?

ДЖОН КЛЭР: О, коли меня послушать, так и не одна. Не обращай внимания. Все эти глупости о женах, очевидно, не более чем бред сумасшедшего. Я им славлюсь. *[Теперь они оба смеются.]*

ЖЕНЩИНА: Вот что ты за человек? Строишь тут глазки свои красивые. Лично мне ты вовсе не кажешься старомодным. *[Они обнимаются.]* Вижу-вижу, чем тебе нравится этот темный альков, старый ты кобель. Уютно тут у тебя. Удобно.

ДЖОН КЛЭР: За все время, сколько я здесь сидел, ни разу не приходило в голову использовать альков по такому назначению.

ЖЕНЩИНА: *[Легонько поцеловав его в щеку и шею.]* Не приходило? И почему?

ДЖОН КЛЭР: Я был живой. В пятницу среди бела дня вокруг ходили люди, а кроме того, большею частью я сидел в одиночестве. Меня бы превратно поняли. А ты сладкая девица. Поцелуй меня так, словно мы живые, и... О! Ого. Что это ты делаешь?

ЖЕНЩИНА: Я же сказала. Я не святая. *[Они начинают целоваться и ласкать друг друга в непроглядной тени своей ниши.]*

ЖЕНА: *[После долгой паузы, без интонации и эмоций.]* Помоги мне Господь, Джонни, как же я тебя ненавижу. Так ненавижу, что даже сил нет.

МУЖ: *[Так же ровно и без настоящего чувства.]* А я ненавижу тебя, Селия. Всем сердцем ненавижу. И духу не переносу.

ЖЕНА: Ну, хотя бы так. Хоть что-то значим друг для друга.

МУЖ: *[Пара не переглядывается, но МУЖ берет ЖЕНУ за руку. Она ничего не говорит и никак не реагирует. Долгая пауза, пока они сидят и без выражения смотрят в пустоту.]* Мы же все еще планируем... ну знаешь. Одри и больница. Мы все еще хотим на это пойти?

ЖЕНА: Нам придется на это пойти.

МУЖ: Да, похоже на то. *[После паузы.]* Но ведь не сейчас, а?

ЖЕНА: Нет. Утром. Я этого жду не больше тебя.

МУЖ: Нет. Нет, я и не говорю. Но нам придется, ты права. Ты чертовски права. Утром мы пойдем и возьмем быка за рога.

ЖЕНА: Да. Когда будет светло.

МУЖ: Да когда уже будет светло?

ЖЕНА: Не знаю. Я все жду, когда снова пробьют часы. Если услышим один удар, пойдем, что мы либо в аду, либо часы сломались. Если два, то утро наступит через час-другой. Тогда спустимся к Школьной улице и обо всем позаботимся.

МУЖ: Да. Да, я так и сделаю. Буду мужчиной. Пойду, а там пан или пропал.

ЖЕНА: Повидаемся с нужными врачами.

МУЖ: Утром, когда будет светло. Пойду, и была не была.

ЖЕНА: Мы пойдем. Мы пойдем и все уладим.

МУЖ: Мы.

ЖЕНА: Мы. Мы пойдем, и будь что будет.

МУЖ: Помирать, так с музыкой.

ЖЕНА: *[После долгой паузы.]* А знаешь, кажется, сейчас пробьют часы.

МУЖ: Кажется, ты права.

ЖЕНА: И тогда мы пойдем.

МУЖ: Да. Тогда мы пойдем.

ЗАНАВЕС

Полный рот цветов

«О чем ты сейчас думаешь?» – спрашивает голая полторагодовалая девочка на плечах такого же голого старика. В крошечных кулачках вместо уздечки она зажала пряди его белых волос. Его кожистые руки – проступающие кости и птичьи клетки мышц – сомкнулись на щиколотках малышки, чтобы она не сорвалась на пути по огромному коридору, окованному льдом под схемами палых звезд. Это Фимбул-дали [\[167\]](#) дороги времени. Головоломные капли гиперводы, замерзшие изысками в виде стеклянных морских чертей, позвякивают и побрякивают в сугробах перед древними коленями. «Я думаю о том, как я умер, – отвечает он. – Когда я блесть

Снежок Верналл – вечно сидит, вечно отходит в доме дочери на Зеленой улице. На каминном половичке из остатков шерсти, на котором спит и видит десятый сон кот, рябят рыжий, шалфейный и умбровый цвета. Между тиканьем часов слышно, как пыль ложится на сервант, на изумрудные стеклянные миски – одна полна пожухших золотых яблок, другая – размякшей и отсыревшей леденцовой карамели. От обоев с неразборчивым узором из корон и лилий – заусенцами слезающих над плинтусом, где они влажные и тяжелые, – дышит плесенью. Слышно глухую суету кур, квохчущих на длинном заднем дворе, полого спадающем к Пути Святого Петра, откуда иногда доносятся посеребренные эхом перестук копыт или зазывы тряпичника – хрупкие звуки, оттесненные пахучим летним ветром, что всегда задувает в этот день среды. В доме дочери, в гостиной, слева есть столик – с педантично занесенными в лак пятьюдесятью годами соскочивших столовых приборов или ошпаривающих чайных чашек, – а на нем стоит фарфоровая ваза с тюльпанами; стоит фарфоровая ваза с тюльпанами. Как же они

великолепны. Ярко-желтые, как заварной крем, розовые, как глазурь, темно-фиолетовые, как черничная полночь, – вы бы их только видели. Старик один, сам себе открывает дверь, приходит, когда никого нет, и теряется в собственном рассудке, испытывает трудности с точкой зрения, приближаясь к смертному повороту. Над сервантом висит зеркало, а напротив, над очагом – другое; вернее, над сервантом прорезано окно, а в южной стене напротив – другое. Тут трудно сказать наверняка – примерно как с углом комнаты: если долго на него смотреть, то не поймешь, выгнутый он или вогнутый. В теплом воздухе плывут и пылают опаловые пылинки, а другие детали

вспомнятся попозже, но в общем все так», – он переставляет костлявые босые ноги среди холодных дюн колючего гиперснега, скопившегося на подмороженном паркете ошеломительного коридора. Мэй ерзает от неудобства – маленький теплый груз на загравке деда, – и щурится в зависшей хрустальной вьюге, вихрящихся кристаллах о больше чем трех измерениях, месмеризирующей метаметели. Заглядывая за бриллиантовую круговерть, поразительно красивая голая деточка вперяет печальные черепашии очи в воспаряющие стены-утесы, что ограничивают гаргантюанский эмпорий бесконечности по обе стороны вре́менных и време́нных миль тундрового простора. Она знает, что в квартале ниже в этих широтах Всегда ныне обретаются намного меньше людей и что у них куда более непритязательные сновидческие жизни. Как следствие, обширный пассаж кругом нее со Снежком накопил немного астральных затей и прикрас, а декорации заимствуют от скудных фантазий полярного лагеря, где мало что видится во сне. В северной стене устроено, как кажется Мэй, чье-то видение о массивном, разросшемся торговом посту со стенами из начищенных деревянных щитов и занавесками

из волчьих шкур – синевато-белых, припорошенных коричневым. В другом месте ее почти бирюзовые глазки опускаются на как будто бы раздутые сновидческие очертания кабака двадцатого века – раскопанный первый этаж древнего офисного корпуса, где можно разглядеть местных по времени привидений в меховых бурках и с переносными радио, с неизбежно зажатыми в обветренном кулаке колючими и витиеватыми «волкпунами» на хищников – для стоических переходов через опустошенную Валгаллу. С этими исключениями бесконечный коридор дарит редкий вид каменного строения или бетонного корпуса – пережитка предыдущей эры среди однообразных стен из возвышающихся скал и резного льда. Вокруг беззвучно опадают оптически ошарашивающие гиперснежинки – непроглядное интимное кружево, зависшее в воздухе. Мэй откидывает изящную головку в ореоле золотой туманности волос и изучает разрушенный навес над бесконечной зимней ширью хронологической дороги. Зеленоватое стекло, некогда накрывавшее великий бульвар, давно выбито, а от переплетов из викторианского железа остались одни ржавеющие скелетные зубцы, через которые проглядывают раскрывающиеся чертежи сверхсозвездий. Вспоминая броское множество лавок и зданий, встречавшихся какие-то сто лет назад, Мэй понимает, что на территории внизу уже может не быть ни улиц, ни уличных названий. Развитой разум в чудной недоразвитой форме, – ее эта мысль колет скрытым шилом огорчения, но не боле, и она легко утешается тем, что остались хотя бы деревья. Реализованные в верхней плоскости в виде побитых непогодой исполинов, эти заросшие кристаллами гигантские сосны тянутся тут и там из оставшихся дыр в полу, еще не запечатанных глазурью вечной мерзлоты и не обрушившихся окончательно. Ей приходит в голову, что материальный мир под этими пределами высшей математики, вернее всего, уже не зовется Боро, и под сомнением даже то, зовется ль еще сам этот надмир Душой. Возвращаясь вниманием к безумному старику, на котором она восседает, Мэй задает ему вопрос, и голос ее – пугающая помесь лепета младенца и

синтаксиса дамы в летах. «А зодчие и дьяволы заглядывают так далеко?» Дедушка – с обожженной солнцем шеей между коленками юной не по годам малышки, – отвечая, посмеивается, едва ли не хихикает: «Ну конечно. Их найдешь, даже когда людей уже нет. Просто они любят болтаться в населенных отрезках времени вроде нашего. А до того их еще больше, если захочется зайти в другую сторону так же далеко. В тех краях они даже время от времени спускаются вниз, как когда направляют сюда монаха из географического Иерусалима или когда приказывают саксонскому недоумку в церкви Петра вырыть святого Рагенера. Один беседует с беднягой Эрном – моим папой и твоим прадедушкой – под куполом собора Святого Павла – как всегда, во время грома и бури, которые они так любят, хотя это просто-напросто электромагнитная разрядка. Такой же гром гремит, когда один из них разговаривает со мной в тот раз, как я блесть пьян на верхотуре Гилдхолла на улице Святого Эгидия, если можешь такое представить: твой дедушка на коньке крыши, качается на

злом ветру с востока, что гонит из Абингтона, из Уэстон-Фавелла в город грозовые тучи, а бледно-голубая черепица под ногами уже синее и сыреет в предвкушении. Внизу, на Георгианском ряду и улице Святого Эгидия, закидываются и глазают в изумлении бледные овалы, мельтешат по-жучиному в чепцах и кепках возле магазина велосипедов наверху Гилдхоллской дороги, от дверей которого поднимается аромат портняжного мела и резины. Заметив, как покачивается и пошатывается фигура под небосклоном, кто-то из собравшейся толпы выкрикивает предостережения, но большую часть увещаний растущий ветер уносит ко Всем Святым или улице Моста, пренебрегая лишь обрывками: «...позоришься...», «...пошлем за бобби...», «чертов дурень. Шею свернешь...» – но не бывать тому. В поднебесных порывах, бьющихся о дымоходы, в гороховом

обстреле птичьих трелей и в мусоре, пляшущем в желобах стоков с приходом дождя, – не бывать тому. Дальше следует шаткий танец – как будто спонтанный, как будто не предписанный с самого истока вечности, – где среди па есть запинка и скольжение, а потом неловкое восстановление, от чего публика охает в требуемый момент своего непризнанного распорядка. Какой же этот мир спектакль. Какое представление. В толстом стекле времени все неподвижно, но остается хотя бы видимость пьяной болтанки, в ответ на которую слышится очередной перехваченный вдох далекого множества, приплюснутого перспективой, – людей, вписанных в чертеж улицы под ногами. Протертый рукав закинут на зябкие плечи статуи на крыше, примостился между твердокаменными перьями и венком из корки голубинового помета на шее в нетрезвой фамильярности, заодно дарующей опору и стабильность. Уже накапывает, первые холодные капли дробятся о щеки, тыльные стороны ладоней, но все щурится праздная толпа навстречу легким осадкам, на пьяницу и каменного человека с крыльями, обнявшихся на фоне померкнувшего неба, как закадычные друзья-приятели. Начинается долгая и в принципе неслышная декламация, адресованная удивленным и приземленным зрителям, которые не знают, что и думать. «Почти через триста лет я со своей мертвой внучкой иду голым через замерзшую загробную жизнь. Скажите своим потомкам остерегаться волков. Им бы стоит изобрести какую-нибудь острую палку». На улице Эгидия внизу – павлиний ковер непонимающих глаз. Внезапно свет мечется, а потом раздается фингально-фиолетовый рокот небесных цимбал, прячущий скрежет камня по камню – намного тише и ближе, – когда крылатая икона медленно поворачивает голову и смотрит в глаза. На резное горло ложится ломаное ожерелье мелких трещин, которое кратко рябит в глазах, разветвляется и разлапливается, прежде чем заподлицо разгладиться в новой конфигурации. Точно такие же изящные паутины самоисцеляющихся щелей пролегают в уголках глаз и губ, когда изваянный лик мигает, улыбается и, наконец, речет.

«Вернень, охердел вкорнетшь?» Колотые слоги медленно оседают подобно пеплу или илу на барабанные перепонки слушателя, где преобразуются в информацию – или в данном случае вопрос. Что-то вроде «Верналл, зрящий в корень, какие пределы и конец ты ищешь?», но в сопровождении головокружительного множества подтекстов; концептуальных и лингвистических оборотов, повисших переливающейся вуалью на периферии понимания. Прикованные к земле зеваки, вглядываясь в морось и отвлекаясь на поиски убежища в грядущем ливне, ничего не видят. Слышат же только горячечный хохот и непостижимый ответ нетверезого верхолаза. «Разве опушки небес, край рассудка и маневровые пути самого времени – не границы, требующие моего надзора, а значит, полагающиеся в моей юрисдикции? Отвечай не шутя, с каменным лицом и пометом на подбородке!» Гранитное существо качает головой, медленно и неуловимо, под аккомпанемент новых крошечных зазоров и приглушенного скрипа, потом признает: «Ттмен полдл», – что можно перевести в духе «Тут ты меня подловил». Обветренный череп мало-помалу возвращается к изначальному положению и замолкает. Гром над головой уже грохочет, как слон в посудной лавке, а дождь спадает расшитым блестками занавесом на представлении театра ню. Вдруг в модернистских точках, заполонивших живопись улицы, переизбыток цвета индиго – прибывают констебли, которые с возвышенной точки зрения кажутся преимущественно настроенными отрицательно. Вспугнутые молнией голуби вспархивают

вокруг – уж как запомнилось, так и рассказываю». Они шагают дальше, старик и его младенческое бремя, еще с десятков лет, прежде чем оба уговариваются остановиться и бивачить. Младшая Верналл просит, чтобы ее ссадили в выхолощенной бетонной нише в стене великого коридора, потолок которого поглощен оптическими

иллюзиями люстровых порослей математически аномальных сосулек. Преломленный ими свет из-за разбитой крыши бесконечного пассажа заливает пространство призматическим румянцем, и радужные пятна собираются в морщинах его чела или пудрят ее совершенную кожу. В углу свалена куча заиндепевших снов о волчьих шкурах, и Снежок предполагает, что они в очередной реитерации импровизированной астральной таверны, какую миновали несколько десятилетий назад. Исследуя туманную пестроту спектра, переваливаясь на пухлых ножках, нестареющая маленькая Мэй издает неожиданный пронзительный писк восторга, что звенит и отдается, дрожит в ледяных сталактитах и привлекает к ней заинтригованного деда. У их босых ног во всех направлениях расстилается на несколько ярдов скромный коврик обычных на первый взгляд Паковых Шляпок. Только при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что это какой-то новый вид эфирного грибка, рожденный из воображения других времен и других людей. Традиционных стройных фейри, знакомых двоице, заменили женские фигурки пониже и потолще, но не менее прелестные и по-прежнему разделяющие друг с другом конечности и черты лица, слившись в своеобразной конфигурации морской звезды или снежинки. Поразительно, но утонченные обнаженные женщины теперь – все альбиноски с розовыми рубинами в глазах и алебастровой кожей, а центральный чубчик и пушок на скрещении ножек-лепестков – шелковые псевдоволоски цвета снежной слепоты или титана. Старший Верналл поддевает белесый стебель черным ногтем, отчего умирает обычный тонкий гул, которого они оба даже не замечали, – периферийный звук внезапно выключенного электрического прибора, спадающий от собачьего свистка к диапазону слышимости. Покрутив метаплод в сухих руках, он отмечает, что кольцо крошечных крыльев с нижней стороны больше не похоже на стрекозью паутину, а стало перистым, словно у белых волнистых попугайчиков размером с ноготок. Разломав бледный фрукт надвое и вручив половину внучке, Снежок пробует его на зуб,

удивляясь повышенному напору сладости этого растения высшего измерения. Аппетитно чавкая, они с Мэй решают, что это наверняка отражает дефицит рафинированного сахара в диете тех, кто еще живет Внизу, тогда как переменившаяся внешность Бедламских Дженни, по всей вероятности, предполагает новое понимание красоты и привлекательности в охваченном льдом континууме смертных. Пока по их фантомным организмам распространяются вожделенные щекотка и светлое тепло, они понимают без необходимости открывать рот: обилие нетронутых астральных грибов говорит о том, что в этих пределах сверхжизни осталось меньше голодных привидений, если они вообще остались. Как путники уже догадались ранее, Гольфстрим, согревающий Британию, должно быть, унял свое благотворное конвекционное течение в срединные годы двадцать первого века, когда неудержимое таяние ледяного шельфа Гренландии выразилось в том, что ему не хватило сил поддерживать гидротермальный поток. Стране, всегда разделявшей одну полосу широты с такой зимней страной, как Дания, впервые за несметные поколения с силой напомнили о полярном местоположении. Британия же будет одной из последних областей в мире наряду с антарктическими мегагородами, где на планете, экваториальные регионы которой постепенно уступают пустыне, сохранится пригодная для земледелия погода. Однажды Мэй предположила, что это привело к периоду перенаселения – возможно, вызванного вторжением или отчаянной волной беженцев и иммигрантов, – перед массовым вымиранием человечества, уже засвидетельствованном на последнем издыхании этого века, когда бесконечные тротуары Души наводнились обомлевшими свежеумершими призраками, через которых пришлось проталкиваться нагой малышке и ее пучеглазому скакуну. Вслед за этим моментом, сходилась во мнении пара, вокруг стало меньше общества, как и признаков загробной жизни, – неоспоримый намек на то, что население на вымерзших пустошах Первого Боро под ними как минимум значительно потеряло в числе. Снежок и Мэй доедают

свой душистый ужин – разновидность Паковых Шляпок, которую все в той же нерушимой и глубокомысленной тишине решено назвать «снежными королевами». Над бесконечных холлом за пределами их выпотрошенного пристанища в коросте стеклянной геометрии разворачиваются на фоне черноты абстрактные созвездия непостижимой глубины. Пара смахивает с роскошных волчьих шкур наледь гиперкристаллов и берет себе по одной вместо одеяла – лишь ради знакомой и уютной привычки, а не из-за ненужного им тепла или укрытия. По той же причине прильнув друг к другу под меховой накидкой, оба закрывают свои воспоминания о глазах и отправляются мыслями во время и память. Старик думает о гигантском расстоянии по присносущему коридору, которое они уже оставили за спиной, и еще большем расстоянии, которое им только предстоит, – бесчисленные фарлонги, шаг за шагом, пока по бокам в параллаксе ползут на разной скорости отдельные слои, вызывая в памяти похожие продолжительные прогулки, взятые в привычку при жизни в третьем измерении,

долгие походы из Нортгемптона через поля и веси до Лондона, из Боро – до сияющего Ламбета, мокрого от дождя. Он знает трюк, чтобы сократить путешествие, сложить теплое прощание с Луизой на пороге на улице Форта в прибытие с ноющими ногами на ангельские тротуары к югу от Темзы. Абстрагируясь от обыденной точки зрения на твердый мир ходьбы в трех измерениях, Снежок занимает ту высоту, где длительность измеряется в футах и дюймах. Прощальный взмах жены и ее обязательная подозрительная хмурость смазываются в мощные переулки, пивоварни и склады кирпичников на окраине города, а потом в придорожную растительность – первоцветы, незабудки и прочие, цветочный узор на ползущих обоях деревни. Зафиксированный диск солнца опухает и краснеет, как воспаленный глаз, тарашится злобно и раздраженно,

пока ему не приносит долгожданное облегчение опустившееся облачное веко, серое и увлажненное слезами. Мир формы, глубины и времени сплющивается в единую плоскость, словно карта, и следующий ливень низведен до одних только брызг пегой текстуры по площади чертежа. День дубится в ночь, дважды – две толстых полосы сиреневого дегтя, пестрящих головками гвоздей, – а дале на подвижном полотне дней изумрудный клин травы Уотлинг-стрит уступает место импасто-коросте геометрии в помете голубей. Теперь из каракулей разворачиваются и встают вокруг мелкие детали широкой авеню и узкой террасы, в уголках остекленевшего сомнамбульного взгляда вырастают плоские фабрики, и вся столица становится детской объемной книжкой. Вдоль вьющейся длины Геркулес-роуд он спускается в знакомые бедламские места своего рождения, оголодавший и по какой-то запамятованной причине вдруг охромевший, а пролетает все это как будто вмиг. Он заглатывает не меньше шестидесяти миль одним изнурительным, головокружительным залпом и стучит опорожненным путешествием по стойке Ламбета, смачно причмокивая губами и торжествуя глядя на ближайшую барменшу. Ее уста – натянутая, но податливая ленточка финишной черты, и вот он ковыляет дальше, с вздохом заваливается в ее внерабочую комнатку, в предместья ее живота, а измена каким-то образом оплетает его, является продолжением догадливой насупленности Луизы на пороге. Но даже наваливаясь на молочные медузы бедер, прижатых к его груди, он знает, что вспоминает этот миг под меховым одеялом, в выстеленной льдом пещере в другом мире намного позже того, как умрут и он, и все, кого он знает. Его захлестывает краткая мысль о бесконечных реитерациях самого себя, бескрайней чередой дикоглазых мужиков в апокалиптическом состоянии взаимного осознания, машущих друг другу вдоль длинного и узкого коридора, который он сперва принимает за само время, но потом узнает в нем другой образ из другого момента, и тогда стонет и опустошается в нее, в потный линейный поток человеческих обстоятельств, и оба корчатся –

пригвожденные, как мученики, к сокрушительному колесу мира. Тут же утро. Он раскладывается из кровати и обрастает шкурой одежды, новой комнатой, которая разворачивается в улицу, в другой паб, в несколько дней работы декоратором в Саутуарке, где он наносит слои часов, где мазки минут плавно перетекают друг в друга. Вот работа на крыше в Ватерлоо, танец с небом и гравитацией, и он смотрит через свинцовую косу реки на восток, где в отдалении поднимается выбеленный череп собора. Там в знаменитой галерее, знает он, все еще шепчет пятидесятилетний гром под слабые остаточные вибрации крика его отца, сходящего с ума, – бесконечная беседа эхо. Он прислушивается к ним изо всех сил, теряет равновесие и размахивает руками, как ветряная мельница, потом снова твердо встает на ноги в этой прописанной случайности, пошатываясь на краю нового века. Сердце бьется от несостоявшегося падения, и его слегка трясет из-за притока адреналина – разум знает, что опасности нет, но плоть, как обычно, не разуверить. Он выдыхает через нос и опускает лестницу в последовательность, в грязную историю, перекладыны под липкими пальцами трансмутируют в пухлый конверт с платой, накренившуюся стеклянную пинту, дырку очередной барменши, дверную ручку ее спальни и, наконец, шнурки его башмаков, которые он присел завязать для дороги в Нортгемптон. Бегут в обратную сторону ручьи, а всемогущие штормовые фронты сминаются и сжимаются в комки апельсиновой шкурки, прежде чем исчезнуть. Уставший тяжеловоз фыркает и передергивается, разваливается на двух старых дев на велосипедах, которые приветственно поднимают шляпы и укатывают мимо. Подхваченные ветром семена-зонтики вновь собираются в пушистые шарики, сгущаются в одуванчики цвета обоссанного золота, пока их не всасывает через молочную трубочку стебля планета. Рано или поздно планета всасывает все, выпивает каждую травинку, выпивает всех, пока он возвращается по сороконожьему выражению своего тела во времени от моста Блэкфрайарс к церкви Петра и Лошадиной Ярмарке, волочит свое здесь-и-сейчас по

Римской дороге в Боро, а рваные коричневые листья зреют и наливаются в лощено-виридиановую форму, воспаряют и прикрепляются к сучкам. Он повязывает замкнутую фигуру своей вылазки аккуратным бантиком, приветствуя Луизу поцелуем на пороге, пока еще чувствует на губах соки другой женщины, и все это время знает, что

он в ледяных руинах грезовой забегаловки где-то над причиной и следствием, обнимает в мохлястых руках полторагодовалое дитя, пока оба увлечены тем, чем занимаются мертвые вместо сна. Над головой утруждающая глаз ледяная геометрия роняет жидкие гиперсферы, каждая рассредоточенно шлепает и капает в усовершенствованной акустике, перехлестываясь с паузами и преобразаясь в редкую и случайную музыку. Ночь на бескрайней авеню – зафиксированная местность, так что они встают только тогда, когда сами решают, что отдохнули, и какое-то время ладят из волчьей шкуры мешок, чтобы прихватить побольше Паковых Шляпок с собой в путь навстречу золотому извержению рассвета. Укрепленный роздыхом, старик бежит скачущими мейбриджевскими шагами, и с каждым шагом под грязными стопами проходит минута или два долгих промерзших часа половиц. Привязанный к шее мешок со шляпками становится меховым седлом, где скачет и смеется его голенький жокей, сжимая кулачки на уздечке белых волос и оглашая криками жерло истории. Без оков плоти или физики мира Внизу они переходят на галоп, когда последовательность дней становится стробами агата и опала. Иногда мимо мелькают и уносятся на ветру плотные пятнышки – другие люди, другие привидения, – но их мало и в редком числе своем они никогда не требуют ничего сверх ленивого виража на размазанной траектории Снежка и его внушки. Фантомы показывают пальцами и тарашат глаза на обнаженного патриарха, пока он струится мимо с развевающимися сморщенными

причиндалами и херувимом, растущим из плеч. Грохоча, его шаги отмеряют слепые фазы луны, топаят по столетиям, пока он не замечает легкую перемену в окраске пронсящегося зоншафта – холодный гипс постепенно подергивается зеленоватыми нотками таяния. Снежок сбавляет свои ужасающие обороты, замедляется, чтобы каждый шаг приходился на воскресенье, потом на плещущие расплавленные заходы, потом на каждый час с десятью минутами, и, наконец, они встают как вкопанные в странных возрождающихся тропиках мгновения. Снимая почти неощутимый вес Мэй через голову, он ставит ее на моховую шкуру, которая, похоже, колонизировала некогда обледенелые половицы окружающей временности, старик и младенец озираются в новообретенной темпоральной округе. Огромная аркада отвоевала в этих широтах некую долю своей прежней структуры и сложности, предполагая сновидческую жизнь, а следовательно, хотя бы частично возродившееся население на подтерриториях. В отдаленных краях огромного коридора снова расцветают невероятно разросшиеся фантазии о торговых постах, а также возвышающиеся строения из метрового в поперечнике бамбука – места поклонения или, предположительно, академии. В отличие от мрачного полярного аскетизма видов, господствовавшего всего несколько столетних лиг назад, ныне декорации коридора видятся сложными и экваториальными. Изобилуют перьевые веера и стилизованные маски чудовищ. Вот здание, похожее на чайник, но размером с газгольдер, сделанное из многократно увеличенной древесной коры и покрытое широкими отрезами флуоресцентной змеиной кожи, а некогда викторианский балдахин над головой частично заменили лианы в руку толщиной, за которыми разминаются в многотонном гренадине небес белые диаграммные облака. Дергая за обвислую кожу на бедре дедушки, Мэй показывает, что гигантские деревья, торчащие из недавно оттаявших дыр в полу, теперь повально стали баньянами, а крап из пятнышек киновари в высоких ветвях на отлете, надо думать, состоит из попугаев. Более того, она

замечает, что несоразмерные отверстия, откуда вырываются исполины, больше не прямоугольные, но круги и овалы в убегающих в непроторенную даль рядах, а в них окунаются долгие висячие сады сырого мха и ползучих сорняков – предположительно, в хижину смертных и обиталища мира Внизу. Хотя в неизменном климате Наверху пара чувствует скачок температуры не больше, чем мороз более арктических регионов, они повсюду видят свидетельства плодovitого и влажного сна. Там и сям в блюдцах-болотцах между наростами лишайника тянутся к третьему измерению металужицы, изворачиваясь прозрачными листьями, складываясь в фигуры из пересекающихся текучих плоскостей, чем-то напоминая жидкую репродукцию гироскопа, а потом снова улегаются. В поднимающемся паре высшей математики на влажных и тяжелых крыльях устало парит что-то вроде бабочки – порывы и трепет полиэтиленового пакета, шуршащего между схематичными заносами тумана из экстраполированного пара. На воцеленных листьях-супницах искрят пышные многогранные капли, демонстрируя невозможные индексы преломления – испарина Кох-и-норов, – а в конце концов из теневого камуфляжа растительности показываются духи, характерно адаптировавшиеся к новым временам: тени будущего робко выступили из эфирной листвы навстречу чужестранным новопривывшим, странникам из далекой старины, представителям почти забытого вида. С замирающей и неуверенной кошачьей поступью новые обитатели Второго Боро крадутся по замше мха – все они не выше метра-полтора, безволосые и поблескивающие двуногие с разрисованной или плейчатой кожей насыщенного, пьющего свет бадриджана. Голоса их пронзительны и высоки, а речь сперва нечленораздельна, но все же откликаются в памяти Снежжа

английской картавостью «Синего якоря», куда он ступает с Мелового переулкa и яркого, иссушающего глотку воздуха: утро Дня

подарков. Обметая корку снега с башмаков на кокосовую циновку с щетиной, инкрустированной талой росой, молодой повеса чувствует себя героически, мифически, хотя и сам бы не смог точно ткнуть обмороженным пальцем, почему. Зимний блеск снаружи отвешивается через тюль и растворяется сывороткой, по которой кляксами сепии и синевы перекачивается сигаретный смрад. Сгрудившись по трое и четверо за столами – начищенными островами, плывущими в чаду пивного дыхания и табака, – взрослые истуканы острова Пасхи довольно таращатся на стаканы, на молчание, перемежающее отмеренную капель баек. Дети же в бездыханной радости от времени года возбужденно вьются у коленей родителей приливными течениями, заносятся конвекцией в другие залы или на мощеный задний двор, глазированный и скользкий от мороженой мочи. Снежок скидывает пальто и клетчатый шарф, чтобы водрузить на черную железную кромку вешалки у входной двери паба, к ним же присоединяется плоская кепка, когда он вспоминает, что надевал ее с утра. Перепад температур между помещением и Меловым переулком извне поджарил покалывающие уши, как полоски бекона, а заверченный путь по зимней дороге от Ламбета, что принес его сюда, теперь остался позади королевским шлейфом горностаевых обстоятельств. Хотя на поверхности он прибыл проведать оставшихся без работы кузенов-сапожников в одной из ударенных деревень, сам Снежок знает, что никогда не доберется туда без случайной и уже скорой помехи путешествию, и это свидание и является истинной причиной, почему он возрождает циркуляцию рук в «Синем якоре», истинной причиной его странствия: ненарочная гавань за считанные минуты станет задником, на чьем фоне он впервые опустит глаза на женщину, которой быть ему женой. В эту самую секунду на этом самом месте уже миллиард раз Снежок стоял и потирал ладони, словно желая разжечь огонь, бесконечно сбивал одни и те же снежные слепки отпечатков на один и тот же шершавый половик. Каждая деталь, каждое волокно мгновения так идеальны и

бессмертны, что Снежок боится, как бы оно не развалилось под собственным яростным напором, собственным священным гнетом на бутылочные пробки и смысл. Он пытается – не впервые – охарактеризовать уникальный и неуловимый вкус утра, облечь в слова атмосферу столь хрупкую и быстротечную, что даже от речи она лопається как пузырь. В беседах чувствуется приглушенная соборная мягкость, они каким-то образом бормочут на волне оседающего талькового света, пока эти два явления не становятся практически невозможным отделить друг от друга. Раздутые ноздри Снежка зачерпывают беглый и уникальный вкус, бульон из хмеля и завитков дыма, словно стружек сладкого кокоса; разбавленное воспоминание о розах, окутывающее женщин, – одухотворенная видимость запаха, недавно освеженная. Здесь в холодный и сияющий день кроется сонное удовлетворение, на дозаторах, на давно забытом и молчаливом пианино лежит умиротворенная нега, как одеяло, обволакивает ниспадающими складками сидящие семьи вместе с каким-то послесвечением, что приходит вслед за первой кружечкой, когда с рождественскими тяготами и стрессом выступления перед другими людьми покончено, можно больше не бояться кого-то разочаровать. Просыпанные сосновые иголки, блестяще-изумрудные в серых носках детей. Очаровательная жадность и потворство капризам в вязкой смеси с покоем благодаря временной вере в Мессию, и никакой работы. Самое элегантное качество – кажущаяся скоротечность и зримая брэнность паузы: ощущение, что скоро пастушки и бесполые создания с лебедиными крылышками и золотыми трубами выцветут из-за январского солнца до пятен пустоты на белой открытке вскоре после того, как раскрашенные славильщики с фалдами уйдут за падающий снег обратно в дружелюбное и кристально прозрачное десятилетие, где никто никогда не жил. Скорость и ярость мира кажутся приостановленными и вызывают мысль: если каторжные требования мира можно отложить сейчас, почему бы не потянуть подольше? Он почти чувствует осадок момента – мутную сиену, взбаламученную с

пола у штанин, – когда бредет к бару, чтобы упереться локтями в дерево, втиснуть плечи среди слепых спин и выпалить свой заказ – пинту лучшего. Владелец громоздко разворачивается от кассы, чтобы оглядеть Снежка с раздраженной улыбкой, и в его лице сквозит что-то более знакомое, производящее более яркое впечатление, чем в остальных лицах на обозрении в этом заведении – хотя все они без исключения таят сходство с не раз виденными кружками-тоби. Заглядывая в линзу телескопного времени, Снежок понимает, что бледные глаза и резиновые подбородки кабатчика узнаваемы благодаря всем будущим встречам: трактирщик заключен в предпамяти. Не успевает еще сформулироваться в снежном шарике сознания слово «тесть», как из-за угла стойки выходит она, врывается в его историю со всплеском зеленой юбки и какой-то ремаркой походя о том, что пора сменить одну из бочек. Да, конечно, изумрудное платье и жирный фальшивый жемчуг на шее, нанизанный на серую нитку, – все это захлестывает потоком любви, эта женщина, которую он никогда не видел, но которой через пару минут, когда она скажет, что ее зовут Луиза, он ответит: «Я знаю». Но не добавит, что в шести сотнях лет отсюда он с ее покойной внучкой

находится в обществе сиреневых людей, для которых рай – домашние джунгли, которые щеголяют голыми в зеркальном Эдеме простаивающего мира. В тех случаях когда за километровыми сетями ползучих паразитов, накрывающих ошеломительную авеню, видим великий развернутый гранат солнца, небесное тело кажется больше прежнего. Мэй думает, это обусловлено высоким уровнем пыли в медленно преобразующейся атмосфере, что приводит к повышенному рассеиванию света, – а вовсе не расширением габаритов самой звезды. Высоко на угловатых плечах бабушки она плывет через стократно разросшиеся бутылочные деревья, напоенные гиперводой, среди робкой толчеи фиолетовых пигмеев,

словно маленькая королева. Ей в дар приносят летальный мармелад росянок диаметром с цилиндры, так что вскоре за ней радужно увивается колонна чудовищных стрекоз цветов острого кварца или кислого нефрита – зависая в кильватере, пикируя к липкому подбородку. Прогуливаясь в лесистых веках с пронзительно-мальвовой свитой глазющих, замороженных людей будущего, они кажутся гигантскими привидениями прошлого рая, вызоренными и доисторическими, каким-то образом прибывшими по Чердакам Дыхания из недосягаемо далекой широты, уже даже не легендарной. Полегоньку они начинают понимать трели наречия туземных духов, бренчащего и дрожащего в звонкой, кристаллической паузе; во взорванном эхо. Слово за словом чужезременцы слагают что-то вроде древней истории по мысли этих лысых и тисненых послелюдей, фуражирующих в диком Элизиуме: отходчивый климат и истощенный озоновый слой, похоже, относительно быстро – за какие-то сотни лет – оправились после временных арктических заморозков, наступивших после отказа Гольфстрима. Нынешняя эра – промежуточная стадия тропиков, когда все сохранившиеся осадки и растительность планеты ограничены теплыми полярными регионами – последней юдолью земной жизни. С убывающими ресурсами и конечным обитаемым пространством даже заметно сократившееся человеческое население не могло выжить без радикальных перемен. Их достигли в каком-то инженерном пересмотре основного чертежа смертных – так человечество стало куда меньше и было наделено клетками, насыщенными фотоактивным хлорофиллом. Блестящая баклажановая расцветка и мелко гофрированная кожа, тем самым предназначенные максимизировать площадь поверхности, искусственно привиты новой разновидности человечества, которая пополняет расходующийся рацион доступного органического пропитания, поглощая обильный солнечный свет. Снежок со своей несовершеннолетней наездницей наконец делают вывод на основе тех обрывков рассказов, какие они сумели перевести, что у этих

ребристых и разукрашенных миниатюрки цвета почти индиго – усеченная продолжительность жизни перед тем, как взойти на высшие пастбища – в ультрасонический дребезг, который служит их названием для Души, – всего в тридцать лет, а то и меньше. Жилистому старику это кажется прискорбно недолговечным, а его младшему пассажиру – более чем щедрым; малозначительный спор продолжается, пока они углубляются в одоленный папоротниками променад в виридиановой пестроте и долгоиграющих ароматах. Они проходят через кровавые рассветы во всполохах попугаев и бульоны закатов, электроосаждающих парочку жидким золотом, и, наконец, задерживаются для привала в шуршащих полуночных фарлонгах, где на фоне кромешной тьмы за лозовым макраме виднеется фасеточная скань, в которой Мэй признает Гипер-Сириус. Их стан в метафизических послечеловеческих тропиках представляет собой мшистую лощину под надвинутыми чудовищными листьями бутылочно-зеленого цвета, обороненную толстыми черными шипами. После пробуждения и короткой прогулки до начала утра они обнаруживают нечто вроде грибницы Паковых Шляпок, облепивших неопознаваемую массу, которая Снежку кажется свалившейся потолочной балкой. И снова астральный грибок как будто адаптировался к переменчивой среде, выработал новые черты, чтобы вернее привлечь трансформированных гуманоидов в этих залитых солнцем волостях. По мнению пары, эта вариация пока что самая неаппетитная из встреченных. Пересекающиеся сочные и бледные женственные формы, типичные для предыдущих образчиков, здесь уступили место аномально крупным насекомым в похожей конфигурации – лампово-черным, но все же радужным, если смотреть на просвет. Глазки стали фасеточными, а после экспериментальной пробы отломанной головогруды Мэй и Снежок отплевывались и жаловались еще несколько миль времени из-за уксусного привкуса, который почти невозможно прополоскать с нёба. На следующей передышке в умбре высящейся и ветхой конструкции в виде чайника они разворачивают волчью шкуру, чтобы попить

плодами-альбиносами – «снежными королевами», собранными несколько веков назад на обочине. По предложению Мэй они сплевывают розовые семена в подлесок, чтобы колония грибка уже прижилась ко времени их обратного путешествия, когда они вдвоем вернутся этой дорогой с противоположного конца времен. Оживившись после перекуса анемичными красавицами, они возобновляют странствие, как только девочка снова уселась на бронзовеющее седло плеч ее прародителя. Пока вокруг размазывается пассаж вечности, Мэй замечает, что они минуют все меньше огромных масок и бонго размером с газометры, все меньше сиреневых людей. Она вспоминает

пустую зелень парка Беккетта, утонувшую в свете, в один из жалких ее пяти сотен дней. Она не понимает, где кончается она и начинается мир, а ни разу не видел свою прелестную золоченую головушку, над которой все так сюсюкают, Мэй заключает, что головы у нее вовсе нет; что вся ширь дня и умопомрачительных небес – это чудовищно большой стеклянный пузырь, балансирующий на ее безглавых детских плечах. Она чувствует серебристую шероховатость чешуйчатых облаков по своей внутренней лазури и как кислым цитрусом на языке трепещет птичья песнь, от которой идут слюнки. Она не проводит различий между умными и сложными формами домов на противоположной стороне променада Виктории, полированным фарфингом солнца или волнением деревьев высотой по дымоходы, лижущих ветер. Раз все это находится в отсутствующей голове, ребенок верит, что это и есть ее мысли, что вот так мысли и выглядят – квадратные с синими черепичными шляпами, или маленькие и огненные, или высокие и шепчущие. Полуторогодовалая девочка не отделяет плеск и дрожь секунды от ее же запахов, форм или звуков, путает далекое астматическое причитание аккордеона и размеренную череду

маленьких газовых фонарей вдоль дороги – оба явления с ее точки зрения то, что сопровождает авеню. Потом уже другой миг, без газового аккордеона, хрипящего через промежутки свои кованые ноты вдоль улицы, да и сама улица пропала и забыта, когда ребенок обнаруживает, что движется в новом направлении, влекущем новые виды. Без труда паря в нескольких футах над прибойным шипением травяного ковра, медленно планируя к миниатюрному царству дали с игрушечными домиками, кустами и красочной пестротой ромашек, Мэй даже не помнит, что ее несут руки мамы, пока ей в рот не кладут помпончатую шоколадную конфету. Попутный теплый материнский голос, тающий на языке малышки, – сливочная сладость в ее ушах. Пока она исследует многоцветные пупырышки сахара, усеивающие верхнюю поверхность лакомства, ощущение становится неотъемлемым от пуантилистского взрыва цвета ближайшей клумбы, на которую опустил взгляд Мэй, и она погружается в неразделимое великолепие. Она и ее самое любимое большое тело – которое тоже называется Мэй и съемной составной частью которого является девочка, – кажется, стоит на кочке в имбирном гравии, на бугорке с перилами, где их тропинка прыскает каменной дугой через речку, похожей на очень длинную старуху, и падает на другой берег, чтобы утечь по галечной колее среди бурьяна. Пара слогов из тех, что воркует ее мать, складываются в «лебедь» – звук, который начинается с мягкого взлета, а потом изгибается и улегается в величественную гладь, и тут в личном центре континуума Мэй что-то вспыхивает – будоражащая белая идея призрачно врывается в бытие, поднимает переполох. Лебедь. Слово – это опыт, и теперь неважно, видит она лебедя или нет. Сдвигая свой центр тяжести, Мэй забывается и пренебрегает вселенной в пользу веснушек на горлышке матери. Плевательные брызги островков из тофи, плывущих по дермальному океану, переваливающих на ряби гусиной кожи, и у каждого пятнышка с расстояния в дюйм – своя уникальная личность. Вот голова зевающего дымчатого льва, а вот сломанная подковка, и все не

больше солинки. Она фокусируется на их географии, на взаимоотношениях между отдельными крошечными атоллами. Знакомы ли они друг с другом? А те, что совсем рядом, дружат? Потом нельзя забывать общее расположение, предначертанное и идеальное, ведь каждое пятнышко на этой вечной карте ровно там, где должно быть, неслучайное и древнее, как созвездия или музыкальная периодичность фонарных столбов. Гигантская красота баюкает и несет Мэй сквозь время, сквозь лето с одуванчиками, вспыхивающими, как дымовые шашки. Столько листьев и веток, которые нужно повидать, столько ветерков, которые нужно повстречать, и каждый со своим характером, так что проходит миллион миллионов лет, прежде чем они возвращаются на тот же момент на мосту, только в этот раз без шоколадной конфеты, и переходят на другую сторону, где виднеется очередной незнакомый город. Каждый ракурс – это новое место, а пространство – это время. Ее будущее – в странной земле перед ней, где все становится больше; непохожей на странную землю позади, где все то, что казалось большим, становится меньше и меньше, пока не исчезает в прошлом размером с пылинку – правда, она не знает, куда именно. Бесконечно малые муравьиные коровы через минуту-две времени созревают до мышиных коров, и вдруг уже такие взрослые, что она различает их ресницы и чует, где они наделали свои дела, пока глядят без интереса на Мэй через верхний поручень деревянных загонов скотного рынка. Окружающая фруктово-перечная вонь – не такая уж неприятная – пытается рассказать ей свои благородные истории и пикантные легенды, но их трудно разобрать из-за жужжащих черных точек в пунктуации повествования, так что мать их смахивает. Грудь, качка и ритм поступи Мэй укачивает день в даль, словно это картинка из конфискованной коленкорной детской книжки. Копыта и камни поблизости учтиво переходят в своей беседе на пониженные тона, а она утомилась уже просто от дыхания и глазения. В театре реальности незамедлительно падает светящийся розовый занавес, и Мэй несется через завораживающий,

но невразумительный сценарий, в котором

малышка идет наметом на старике, попирая в гарцевании лесистые десятилетия, далекий чужеземный век после людей и после послелюдей. Далекие стены неизмеримого эмпория – там, где они брезжат в просветах между баобабами и эволюционировавшими акациями, – теперь сами только частокольные ряды чудовищных древесных стволов без всяких торговых постов и других признаков искусственной организации налицо. Очевидно, на нижележащей территории – в тепличных байю, ранее носивших имя Боро, – не живет и не видит сны ничто человеческое или постчеловеческое. Указуя на растительную паутину над головой и развернутое небо выше, Мэй привлекает внимание ее рысящего дедули к отсутствию птиц и птичьих песен. Не нарушая бега стремглав, он выдвигает версию, что это отсутствие предполагает ужасный и неограниченный каскад вымираний. Какое-то время они бегут в тишине, рассматривая про себя эту мрачную возможность и пытаясь разобраться в своих чувствах в связи с исчезновением собственного вида вместе с великим потоком прочих форм жизни, смытым в сточную канаву биологического анахронизма. Снежок, грохоча босыми пятками по годам необузданного лишая, наконец заключает, что не очень-то переживает. Всему отведена своя длина во времени, рассуждает он, своя когдата, будь то человек, вид или геологическая эпоха. У всякой жизни и всякого момента имеется свое место; все еще где-то там – ранее по этому бесконечному лофту. Человечества нет только здесь, а когда они с внучкой наконец обратят стопы в противоположную сторону, свершив свое блажное паломничество, их по-прежнему будут ждать века, где Земля еще населена, знает он, – дом среди предвечных попрошаек и бессмертных ржавых стоков их собственных времен, их потрепанный район рая. Все спасено и сохранено – что грешники,

что святые, что хлебные крошки под диваном, – только не в традиционном религиозном смысле этого выражения: все хранится в четырехмерном стекле пространства-времени, засим не требуется никакой спаситель. Снежок топочет в примерном направлении следующего тысячелетия, каким бы оно ни было, а его изящный пассажир подскакивает и растрясывается на волчьем седле, набитом анемичными грибковыми феями. Только заметив, что, несмотря на отсутствие пернатой жизни, в распаханном звуковом пространстве великого коридора все же отдается скулящий плач песни, они замедляются до остановки, предупредившей столкновение во весь дух с гнездом мшистых китов. Волоча за собой изумрудные куафюры тины, прелестные послесмертные левиафаны задумчиво ползут через заисторическую поляну в розовом свете очередной гиперзари, перекликаясь пробирающими радар-сонарными голосами. В благоговении и смятении ходоки замечают, что, хотя грузные нижние челюсти и сравнительно маленькие и далеко посаженные глаза, вне всяких сомнений, принадлежат китовым, существа вдобавок наделены гигантской парой торчащих вперед рогов – налобных бивней, раздвигающих свисающие ветви, препятствующие благородному шествию. В довершение всего и передние, и задние плавники адаптировались и стали лапами-тумбами, которые кончаются облепленными моллюсками копытами – каждое размером с костяной омнибус, каждое ритмично трещит растительностью конца света, пока звери, подобно серо-зеленым ледникам, продолжают свое неторопливое движение среди бродингнегских деревьев. Возобновляя потенциально нескончаемую экспедицию опасливым шагом, времяходы вступают в разгоряченные спекуляции о самом вероятном происхождении экстраординарных организмов будущего. Снежок постулирует сценарий, при котором осушение океанов планеты принудило способную к адаптации морскую фауну к миграции на сушу в поисках пропитания, но не в силах объяснить откровенную несообразность в виде рогов и копыт. После тщательного мыслительного процесса Мэй предполагает, что если

киты – дышащие воздухом млекопитающие, которые когда-то решили вернуться к акватическому состоянию, откуда берет начало любая жизнь на земле, то вполне возможно, что во время краткого пребывания в виде сухопутных животных они стали биологическими родственниками какого-нибудь маловероятного вида – скажем, предком козы. Беловолосый старик выгибает шею, чтобы прищуриться на свою наездницу и определить, шутит ли она, но она никогда не шутит. Они продолжают путь, и вскоре гипотеза Снежка о том, что безбрежные моря скукожились до соленых равнин, послужив началом миграции на землю, подкрепляется проблесками другой мегафауны этого периода – или, по крайней мере, ее астральным отражением. Мэй замечает у одного из отверстий в выстеленном плющом полу – уже с неровными контурами, – суету духов тиково-бурых ракообразных с двухметровыми в диаметре панцирями, напоминающих мобильные столы. Позже в миг захватывающего дух изумления лесополоса, к которой они шли, неожиданно развернулась – подробная сцена и ее зрительная глубина отделились от задника и разоблачили небоскрежного цефалопода, вздымающегося ультракальмара, идеально мимикрирующего в загробной среде с помощью эволюционировавших пигментных рецепторов на коже. Сдвинувшись, видимо, в более удобную позу, далее обросший щупальцами великан соответственно настроил свой переливающийся камуфляж, и его поверхность пошла зрелищно анимированной зыбью красок в стиле Сёра, которая утвердилась в почти фотографической репродукции бесконечной авеню вокруг. Снежок вспоминает подвижные картинки в огне, когда еще был всего лишь

мальчишка в Ламбете и ждал, когда вернется с работы отец. Весь день октябрьский дождь сыпал с разбитого желоба и шумно брызгал на черепичную крышу нужника в конце двора. Джон Верналл – два

года, но все ближе к трем, – сидит у очага и потирает ладони, пока не появятся таинственные свитые нити лакричной грязи, чтобы стряхнуть их или поиграться. До этого он наблюдал за каплями, на вековом стекле с зеленым отливом в толще, изучал форму медленно ползущих бриллиантов – очарованный зритель жидких скачек. Некоторые из капель по мановению ветра несутся к первому барьеру, но не заканчивают долгую диагональную траекторию по стеклу – их жидкая субстанция истончается и расходуеться задолго до достижения разошедшейся деревянной рамы, финишной черты. Затем идут пухлые сферы, более хищного и состязательного вида, что жадно поглощают водянистые останки своих павших товарищей и, пополнив массу и умножив напор, величественно катятся по блестящему полю навстречу легкой победе. Это дождевое дерби ничем не кончается и скоро уже перестает быть увлекательным, и тогда Джон присаживается на домотканый половик у огня и обращает блуждающий взор на монументальные библейские иллюстрации, на миг вспыхивающие у него на глазах, – гравюрные пейзажи Доре среди угрюмых углей. Серой завесой от трещащего антрацита взвивается участь Гоморры, тогда как на деревянных или бумажных остатках растопки пляшут черные хлопья – отреченные святокупцы, прелюбодеи или добродетельные язычники, страждущие в отдельных окружностях Инферно. В раскаленном добела и докрасна скрипучем свете пророки с пепельными бородами непостижимо перебирают губами-ожогами, пока их предостережения уносятся в свистящую глотку трубы, а где-то в другой стране цапаются мать и бабушка из-за того, где искать деньги на то да на се. Его младшая сестричка Турса пускает слюни, ворочается в плетеной корзинке, ее клубничная рожица съезженной обезьянки скомкана, как бумага, – безутешная и тревожная даже во сне, уstraшенная миром и его пугающими звуками. В жутком привкусе этого мгновения пробивается что-то странное, и мальчик вдруг заплутал в тумане безотчетных предчувствий, неотличимых от поблекшей на солнце памяти, где подробности выцвели, как рисунок

на скатерти. Разве уже не было этого темнеющего дня, когда Турса в колыбели издает именно такие звуки, когда в камине – Седрах и казни египетские, а потом шипящая кошка, а потом вулкан? Бабушка еще ничего не произнесла, а Джон уже знает, что ее следующие злые слова для оглушительно распекаемой матери включают фразу «не лучше, чем ты заслужила», и тогда он с беспокойством осознает, что самый громогласный элемент конкретно этих синхронизировавшихся и быстро сгущающихся обстоятельств еще не явлен. То чудесное и ужасное событие, думает он, расплетется от сложного щелка и лязга отцовского замка, который уже сейчас слышно в коридоре – как начинается злое бряканье в механизме входной двери, словно прелюдия к грядущей симфонии, словно бесповоротно отпирается новый и бедственный мир. Мать удаляется из стычки на кухне, чтобы взглянуть, что происходит, и в доме на Ист-стрит хлынула лавина случая; перетерла весь порядок их жизней в однородную лучинную, кручинную щепку. В коридоре переполох, голос матери растет от непонимающего и сконфуженного бормотания в захлебывающийся, сокрушенный плач. В гостиную врывается гвалт вместе с белой как простыня матерью Джона и двумя мужчинами, кого ребенок никогда прежде не видел; один из них – его отец. Незнакомцем родитель кажется не только потому, что на медные пружины волос ныне просыпали мешок муки: больше перемен в том, что он говорит, как стоит и кто он есть. Жестикуляция, рисование кругов в воздухе. Неумолчный список сумасбродных тем, уже откуда-то известных безмолвному дитяти до того, как они прозвучали: тирада о дымоходах, геометрии и молнии, тревожные фразы, на которые никто не обращает внимания: «В краске двигались губы». Среди дымящих кастрюль возникает бабушка Джона, злобно кричит на тучного и багрового лысого человека, доставившего ей сына в таком растерзанном состоянии, словно бы возмущение в довлеющем объеме еще могло вернуть ей прежнего сына; словно бы если требовать объяснения, то оно материализуется само собой. Теперь в углях Джон замечает осыпающегося и

горящего сфинкса, мученическую смерть, маковое пиршество. Все, кроме него, плачут. С заминками и не до конца, но он начинает понимать, что никто – не считая его самого и, возможно, младшей сестры – не ожидал, что это произойдет. Так же невообразимо, как если бы Джон оказался единственным в Лондоне, кто слышит, единственным, кто замечает облака или осознает, что ночь сменяет день. Люди, мебель и голоса в окружении отошедших обоев ламбетской гостиной напоминают домашнюю бурю, бурю слез и размахивающих рук, а в эпицентре ее стоит новый, побелевший отец Джона и оторопело твердит слово «тор» – форму грядущего. Возвращаясь взорами к огню, Снежок мельком видит красный свет и осадок тьмы

в закатном лесу, а обветренные, почти рифленные бедра Снежка испещрены скользящими вытянутыми розовыми овалами – элегическим сиянием, что просачивается сквозь резные бездны в воцеленных тарелках листьев на пологие. Так он вносит драгоценное бремя в бисированный криптозой, собрав всю историю на свои мозоли. Какой-то период они путешествуют в гуще любопытной и юркой компании: благожелательных теней столовых крабов, которые отваживаются на общение, постукивая адаптированной передней клешней по устланным мхом половицам нетленного бульвара – в безгласной морзянке ракообразных. Катаясь на деде, словно в паланкине, пасмурное полторагодовалое дарование цитирует Витгенштейна о том, что если бы лев мог говорить, то человечество было бы не в состоянии его понять. Будто в немом подтверждении этого убедительного наблюдения антураж из мебельных членистоногих оставляет попытки коммуникации, теряет интерес и ан масс семенит прочь между чудовищными семенными коробочками заключительного вертограда. Все кругом обречено на красоту. Позже встречаются новые киты-козлы и

прежде еще не встречавшаяся разновидность огромных осьминогов, мимикрирующих под рощи: с бесстрастными гранатовыми глазками, которые легко пропустит на колонне шкуры с рисунком коры, и с темно-каштановыми присосками на ложных нависающих ветвях. Мэй формально предлагает называть этот вид Иггдрассиль в честь нордического мирового древа, памятуя, что к этому моменту вымерла уже самая таксономия и в противном случае быть великолепному существу безымянным весь остаток вечности. Предложение после дебатов и голосования принято единогласно, вслед за чем младенец и ее морщинистый скакун снова длят свою вылазку среди последней листвы, меж безразличных чудовищ. Обмакнувшись в магму четырех тысяч серийных зорь, Снежок и Мэй избирают устроить временный постой под дрожащими мимозами сумеречной мили где-то в следующем веке, если века вообще еще существуют. Как комментирует старик, смекая убежище из неподатливой зелени, из нижележащих территорий наверняка уже изгладились десятичная система счисления и, предположительно, математика в целом. Отныне, когда наука, вера, искусство и даже любовь становятся лишь ископаемыми воспоминаниями, ему с внучкой предстоит зайти за пределы самих мер, возможно, даже за неизбежную гибель смысла. Странная парочка задумывается об этом новом и непредвиденном нижнем регистре опустошения, с заушным треском уплетая последних уцелевших особей «снежных королев», предусмотрительно схаркивая розовые глазные семечки в подрагивающую и прихотливую растительность, трепещущую кругом. На дне вещмешка из волчьей шкуры теперь лишь парочка раскрошенных конечностей хоровых девочек, подобных запчастями стройных и анемичных кукол, с блестящей стрекозьей шелухой крыльев. Над головой, нарезанное на дольки и трапецоэдры силуэтами ветвей, привольно раскинулось на оседающем индиго развернутое созвездие, видом напоминающее Гипер-Орион – Снежок замечает целых три смещенных повторения знаменитого пояса, – деформированный тессеракт древних огней. Пресыщенные и

неповоротливые после удовлетворительной грибковой трапезы, с липким соком маленьких женщин на подбородках, они соскальзывают в гипнагогический дрейф призрачного сна, что-то бормоча и держась за руки. Вокруг их шкуры – ломкий треск, хруст, едва слышные на мутной периферии их восприятия отзвучия – возможно, поползновения и сокращения притаившихся кустарников, под сенью которых угнездилась парочка, моментально профильтрованные угасающим сознанием. Объевшись провидческими арктическими трюфелями, и крошка, и ее предок плывут по эйдетическим валам феерического воображения, по расходящимся дурдомным диорамам превосходного миниатюриста – бездонным и иногда граничащим с ужасающими: на галлюцинаторных елизаветинских ярмарках в зиму стоят гологрудые дамы в нелепо больших кринолинах на обручах, с декоративным узором из снежинок на кружевных окантовках. Каждая из них поднесла к лицу для изучения горизонтальную ладонь, восторженно улыбаясь при виде стоящих там масштабных репродукций самих себя, во всех деталях и, в свою очередь, одобрительно лучащихся улыбкой из-за почти неразборчивых гомункулов, примостившихся на их собственных ладонях, вглядывающихся в головокружительную регрессию глазоломной и изысканной миловидности, – завораживающая воронка истаивающей женственности. Это грезы мертвецов, хмельных от Пака. После неисчислимого интервала они стряхивают самоцветную дрему, освеженные по пробуждении вопреки щелочам Сна в Летнюю Ночь, что курсировали по их почивавшим эфирным системам. Проснувшись, что неудивительно, в том же оттенке сумерек, в котором они и отошли ко сну, только когда Снежок вздымает мешок из волчьих шкур, они осознают с изумлением, что ранее почти пустая емкость таинственным образом восполнилась, набившись до самого края необычайно живописной братской могилой сросшихся дюймовочек. Но более необъяснимым представляется то, что это не вид альбиносов, стоявший за их ночными видениями, а тип с полнокровным, налитым цветом кожи, знакомый путешественникам из их собственного

оставленного позади родного века. Не желая изучать ортодонтию дареного коня, сухопарый ветеран повязывает вьюк с пикси на плечи и присаживается, пока на борт всходит Мэй. Это вызывает в памяти,

как он со своей младшей Турсой пыхтел через ламбетский морозец на встречу с отцом, отданным в Бедлам, и теплое дыхание кристаллизовалось серыми запятыми за спинами детей. Будучи старшим, десятилетний Джон шел во главе, вел за скользкую от пота ладошку рассеянно напевающую под нос сестру по затуманенным переулкам. Они огибают прохиндеев, агитирующих за воздержание возрожденцев, сбившиеся на углу совещания о кайзере или Эльзасе-Лотарингии – избегают то безумие, с которым не связаны кровным родством. Ноябрь ошпаривает холодом носовые пазухи, и Турса раздражающе волочится, тянет свою пронимающую полупесню нудной канителью меж головорезов и газовых фонарей. «Закрой рот, ну, не то не возьму тебя к папе». Восемилетняя надменно равнодушна, морщит носик в виде концертины антипатии: «И пускай. И видеть его не желаю. Сегодня он расскажет нам о дымоходах и цифрах». Джон не отвечает, только тащит ее с новой натугой по брусчатке с охровыми архипелагами говна, между рокочущих фургонов, из миазм в миазмы. Хотя в голове у него не было сознательных мыслей о теме лекции, стоит Турсе произвести эти слова, как суровое предложение падает с весом судейского молотка – давно предвкушаемое, неоспоримое. Он знает, что она права, что в эту оказию отец поделится с ними каким-то своим секретом, почти помнит несметные прошлые случаи, когда она ему это говорила, в этот самый вечер на полпути по именно этой дороге, в крюке вокруг четких контуров лошадиного навоза, по направлению к лечебнице. Морща обмороженный, ноющий лоб, Джон с усилием вспоминает все катаклизмические открытия, что им

перескажет отец. Что-то о спасательных кругах и особых цветах, сделанных из голых девушек, – единственной пище мертвецов. Этот эксцентричный куррикулум кажется навязчиво знакомым, только Джон, хоть убей, не понимает, как это может быть – только не в этом мире, где сглаженные множеством ног камни Геркулес-роуд так насущны и тверды под оттоптаннами подошвами. Они идут мимо оголенных осенью передних дворов с заборчиками по пояс, сквозь зеленую тьму, которую редкие фонари способны лишь оттенить, навстречу обуреваемым мглой берегам Кеннингтона. Впереди, словно невидимые тапочки на укрытой дымкой мостовой, уже расставлены их будущие шаги, терпеливо поджидают, когда их примерят, пусть и мимоходом; с начала времен векут на этой боковой улочке в неизбежной и предопределенной процессии к воротам дурдома. Рука его сестры горячая и гадкая, как всегда сегодня, пристаёт к его ладони из-за глазури ячменного сахара. Как по указке, проплывает кэб с рекламными вывесками «Липтона» на боках тогда, когда зачаточные следы заводят за угол, еще чуть вперед – и вдруг кованые прутья и столбы из проеденного дождем камня уже всего в нескольких мгновеньях, нескольких футах. Больница и грядущий час, который она хранит для них, с готовностью ползут по переплетающимся пространству и времени, приближаются в пахтанном тумане, словно чумной корабль или тюремная громада, сокрушая детей в кляксы своими грубыми пропорциями, обдавая дыханием мочи и лекарств. Сторож на карауле с противоположной стороны закрытого входа узнает их по прочим вечерам и отпирает со сварливым видом. Джону кажется, что привратник дурно настроен не к ним, а к тому, что они явились сюда, где взрослые ведут себя как напуганные дети. Каждый раз, как они появляются, он говорит, что им бы лучше не приходиться, а потом пускает, лично брюзгливо сопровождает по замкнутым дворам ко входной двери на случай забредших душителей или негодяев. Уже внутри здания, когда их проглатывает строгая административная тишина приемной с высокими аскетическими потолками,

теряющимися из глаз из-за недостаточного охвата газового свечения, пастырь Турса и Джона неохотно перепоручает их другому зрителю – человеку постарше с невозмутимым лицом и седой щетиной вместо волос. «Они к Верналлу. Неправильно это, что они здесь ошиваются, но что тут будешь делать». У слов слабое эхо, кажется, что их уже произносили раньше. Все еще не разжимая рук – хотя больше успокоения ради, чем из приязни, – они следуют за немым шапероном по скрипучим коридорам, кишасим шепотом и воспоминаниями о недержании. Фантомными ворохами вдоль плитуса, где шатко кренятся их ходульные тени, торопясь поравняться с хозяевами в этом понуром и странно формальном визите, скопились пыльные, жалкие остатки воздушных империй и чудес. Мимо скользят запертые на засов двери, и, вопреки популярному мнению, нигде не слышно смеха. Введенные в тусклый зал пугающих масштабов, предназначенный для посетителей, дети встречают умбровое озеро, на поверхности которого плавают, наверное, десяток столов-островов, дрожащих полушарий свечного света, где пациенты околдованно глядят, как истуканы, в никуда, а их родные тоскливо тарашатся на собственную обувь. На одном таком рифе одиноким выжившим сидит их отец, с запущенными белыми волосами, словно его голова горит от чаек. Он спрашивает, знают ли они про сегодняшний вечер, и Джон говорит «да», а Турса начинает плакать. Начинается литания, навевающая странные воспоминания, – молния и дымоходы, геометрия и англы, призрачная еда и топология звездного времени; ширящаяся дыра во всем. Он рассказывает о бесконечной авеню над их жизнями, где персонажи по имени

Мэй и Снежок вечно бредут вперед, отважно подставляя оголенные задницы каждому новому вымиранию, проходя мимо всех его признаков и показателей. Скоро нет уже дубравных осьминогов

или мерцающих гиперкальмаров, нет столовертящих крабов, отстукивающих послания мистических сеансов, нет следов копыт размером с пруд, оставленных наземными китами. Над головой реже встречаются мятые схемы облаков, а когда встречаются, они не так сложны, лишены стольких ребер и граней. Старик заключает, что мир Внизу иссыхает, гибнет, и они идут промеж гигантских истончающихся деревьев, подавляющая часть которых мертва, а некоторые – совершенно окаменели. В прожигающем декады кентере они находят способ подкрепляться без остановки: невероятная малышка, подскакивая на необъяснимо полном волчьем мешке, спорадически извлекает из него Паковы Шляпки озадачивающего винтажа и церемонно подкармливает дедушку, который поглощает их на бегу, шумно сплевывая глаза и лобковые волосатые шарики в мульчу упадочного леса под шлепающими стопами. Когда их рот не полон, они обсуждают неизбывную загадку пополнившегося пайка, но не приходят даже к отдаленно достоверному выводу. Когда Снежок высказывает гипотезу, что, возможно, за этот акт анонимного пожертвования следует благодарить дружелюбных ракообразных из прошлых времен, Мэй парирует теорией о том, что благодетели – это они сами из какого-то момента будущего. Оба суждения не выдерживают проверку столкновением с вопиюще анахроническим происхождением грибка, а между тем с каждым фарлонгом растительность на виду все скуднее. Далеко по бокам снова можно различить стены затянувшейся дороги, но непостоянная сонная обшивка отпала или атрофировалась в отсутствие способных видеть сны существ на территориях внизу. Без постоянно обновляемой и освежаемой притоком нового воображения астральной субстанции отстоящие границы уже не могут вспомнить принадлежавших им ранее форм или цветов, их контуры смягчаются и постепенно впадают в восковую невнятность, в цвет промокшей палитры с жирной лихорадочной патиной бензина в луже, сакральная архитектура погружается в призматический маразм. За этими зыбкими гранями приводят разум в замешательство пучины

расширенного, существующего более чем в трех измерениях небосвода, намекая, что сведены на нет и дальние пределы Души вокруг Чердаков Дыхания. Словно какая-то гибридная химера возраста и молодости, поколенческий кентавр, Мэй и Снежок галопируют далее навстречу последнему занавесу биологии. Рассеянно пропуская розовые пальцы-гусенички в локоны ездового старца, словно вычесывая блох, мрачный херувим размышляет об оставшейся без исследователей хрупкой экзистенциальной натуре мира, пока вокруг незамеченными рушатся в Лету последние дубы и эвкалипты. Через интервалы продолжительнее, чем срок империй, двоица приостанавливает свой апокалипсический марафон, чтобы на свой манер прикорнуть в шалашах из сброшенной коры или трапезничать мельчающим запасом Бедламских Дженни. После того как однажды они разбивают лагерь и на следующее утро проходят сравнительно небольшое расстояние, уже давно распрощавшись со всякой мыслью о разумной жизни в земном районе под ними, они находят первый из минеральных кактусов примечательных геометрических форм. Трехсторонняя пирамида ростом со Снежка, торчащая из скукоженного мха и валежника, засоряющего великий пассаж, топорщится изысканным бежевым шипом, а из каждой его гладкой, словно искусственной грани выдается еще одна вполовину меньшая пирамидка. Те же, в свою очередь, пускают собственные побеги в виде масштабированных репродукций центральной формы, и так до самых пределов восприятия. Общее впечатление – как от кубистской рождественской елки, построенной из песка или какого-то другого мелкозернистого эквивалента, колючей и по-своему красивой. Малышка и ее объезженный пращур трусят медленным изучающим кружком, на безопасном радиусе огибая пугающе точный вырост, и спекулируют о природе этих фигур. После нескольких проходов орбиты Снежок присаживается, чтобы Мэй спешила и исследовала странный артефакт на близком расстоянии. Ковыляя босоногой по коврику сушеных опилок, скончавшаяся девочка подходит к феномену подозрительно ненатурального вида с

бесстрашным любопытством, свойственным возрасту, в котором смерть прервала ее развитие. Она проделывает маленькую экспериментальную скважину в неожиданно податливой и проницаемой поверхности курьеза и предпринимает предварительный анализ состава материи посредством примитивной пробы на вкус. Вслед за настороженным периодом молчаливого размышления отважная педиатрическая сивилла с удивлением воззряется на заинтригованного прародителя и объявляет: «Это муравейник». Подойдя ближе к энигматичному многогранному предмету, поджарый патриарх сам наблюдает немедленно отраженных из колонии ремонтников, перебегающих каплями чернил и добротнo залатывающих ущерб, нанесенный пытливым пальцем Мэй. Не имея желаний далее причинять неудобства первым задокументированным насекомым, обнаруженным на этом прогоне верхнего уровня бытия, малышка возвращается на своего прослывшего безумцем посеребренного родственника для продолжения пикарески конца света. Еще есть свидетельства, что жизнь не сдает позиций. Снежок вспоминает день, когда

чумная телега исполняет приглушенную барабанную дробь – скорее шепот цимбал, угасающий вместе с надеждами семьи, утекающий по улице Форта. Восседающая на холодном троне порога с самых серых часов утра, загодя заняв место в первых рядах грядущей драмы, старый куролес пассивно наблюдает за ужасом разыгравшейся сцены. Все ее горькие изыски далеки от его сердца, задевают в той же степени, что замусоленные гравюры бульварных страшилок, уже утративших фриссон грубого шока, сопровождавший первое ознакомление. Где-то за паром бабл-энд-сквика в коридоре за спиной слышно, как Луиза наказывает детям, Коре и Джонни, не ходить наружу и не высовывать носы. В удушающей тиши воскресенья печальный сценарий сменяет все традиционные

стадии-компоненты; неминуемые стопы своего строгого размера. Большая Мэй, старшая дочь Снежка Верналла, стоит посреди рудиментарной дороги и трясется в объятьях своего Тома, словно пытается выжать из себя всю жизнь через глазные железы, неизбежно угодив под жестокий и безразличный каток момента. Стеная на универсальном для млекопитающих эсперанто горя, молодая мать в рыжей пене волос вскидывает веснушчатые руки к удаляющемуся фургону, тогда как муж смыкает веки перед лицом страшного поражения и твердит «О нет, о нет», удерживая супругу перед бездной дневного света, призвавшей их дочь. Присев на открытой всем ветрам завалинке, Снежок заглядывает в туннель континуума и ищет самую первую встречу со взрослой женщиной, чья жизнь расплзается у него на глазах, – что тогда, что сейчас она рыдает побагровевшей в канаве. Больше пары десятков лет назад он пошатывается на подъеме ламбетской крыши, вылавливая из карманов куртки радугу, которую намерен пролить на новорожденную, спектр-конфетти, что приветит на этих полях света и страданий, – ее витражный дебют, незабвенный и вонючий. Перед глазами с мешками Снежка завывающее чадо становится разбитой родительницей, выпускающей скорбь в церковной тишине ряда домов, и оперное ощущение вдруг только подчеркивается, когда из-за сцены, в кулисах, одинокий оркестровый голос вторит разлучной арии Мэй Уоррен нота в ноту, но на октаву ниже. Нахохлившись на своем насесте, как главенствующая на желобах собора горгулья, ее отец переводит печальный взор и внимание зрителя на премьере от исчезающей гужевой кареты запоздалой помощи, от дифтерийной конки обратно – на ближайший конец зажатой боковой улочки и ожидаемый источник этого недоброго и неуместного аккомпанемента, насмешливого контрапункта. Откуда ни возьмись на излучине переулка, подклонной контуру ушедших без следа крепостных фортификаций замка, появилась его сестра Турса с совиными очами. С аккордеоном, накинутым на сухощавую шею, словно какой-то портативной моделью пулемета Максима, и с

прической одряхлевшего голливуда, она электризует воздух своим появлением. Прозрачные пальцы покоятся на рядах искусственных зубов костяных клавиш, а сама Турса захватывает кирпичный амфитеатр классической трагедии и солнечных софитов. Ее старший брат понимает по отсутствующей улыбке, играющей по губам малахольной и отрешенной сестры, что она прислушивается к множющимся отголоскам крика Мэй и ответам собственной гармошки, что разносятся в аудитории со скрытыми глубиной и объемом, где звуки рикошетят в дополнительном пространстве. Он знает, что она пытается инкрустировать в стеклянный материал времени свою дань умирающей малышке Мэй соническим самоцветом, изощренным аудиальным надгробием для услаждения взора Бесов и Зодчих в их досужий час. Но одну лишь юродивую усмешку Турсы, серебристую нитку слюны, ниспадающую с уголка губ между темнеющими молярами, замечает его изнуренная дочь. Тем самым обретя своевременный сосуд для распирающего чувства неприемлемой несправедливости, старший ребенок Снежка разворачивается к тетке и исторгает вопль, выплескивает невыразимые эмоции из места, где речь не полномочна. Мокрый от слез помидор лица Мэй зреет до точки надрыва. На всеобщем слуху – сама ее раздробленная душа, от высших частот сворачивается воздух, тогда как Турса, лучась и сияя при мысли о званом дуэте, перебрасывает пальцы на кнопки и выжимает из астматического инструмента очередной повтор музыкальных фраз горестной матери, снова в глубоком тембре, в отличие от оригинала. От возобновленного афронта личность Мэй зримо проваливается в себя. Она оседает в хватке Тома, всхлипывает, а птичьи лапы Турсы пляшут по клавиатуре, подражая каждому отчаянному вокальному взлету или падению. Снежок вспоминает, что теперь настал его черед восстать из протертого каменного партера и принять участие в вечно воспроизводимой маскарде. Он мягко правит сестру за камвольный рукав, отводит в сторону и торжественно извещает, что ее импровизированное исполнение всех огорчает; что малышка Мэй

слегла от недугов и, по всей вероятности, скоро уйдет в мир иной. В этот момент порицаемая Турса невпопад хихикает, вызывая на память безбедную восьмилетнюю девчонку из времен почти три десятка долгих зим назад. С блеском в глазах она восторженно повествует, что – в этот самый миг, куда выше смертности – крошка

Мэй переваливается на зашеине своего дедушки – благосклонный лик их передвижного тотемного столба, – на последних десятилетиях скачки через упадок биосферы вдоль по узким авеню не меньше чем раскинувшегося града повстречавшихся дуэту пирамидальных термитников в модернистском стиле, взброс отстоящих друг от друга. Математически автореферентные фигуры, повторяющие собственную остроконечную структуру в регрессирующих масштабах, окружают путешественников со всех сторон гипнотизирующе точными и упорядоченными шахматными шеренгами, каждая геометрическая постройка идеально равноудалена от товарищей в головокружительной сетке, что простирается до самых ветшающих краев обширного пассажа. Непрерывная синяя впадина неба, подминающая этот простор оптического вызова глазам, ныне держит только нераскрытый золотой слиток стареющего солнца, который съезживает оставшиеся скомканные обрывки гипероблаков до пустоты. Обновляя путь, словно двухголовый Гулливер в тернистой метрополии насекомой Лилипутии, пара вступает в диспут на тему очевидно эволюционировавших курганов и их значения. Как заявляет старейший член семьи, твердое убеждение Снежжа состоит в том, что муравьи, по всей видимости, при жизни физически наткнулись на это царство дополненного пространства тем же манером, как это давалось голубям и изредка котам в ныне отдаленных пределах темпоральной эстакады, где коты и голуби еще существуют. Напротив, Мэй, как турист Армагеддона с большим стажем в

смерти, предлагает на суд позицию, что, по всем вероятностям, необычно ровные выступления являются собой посмертное продолжение иерархически организованного и совокупного сознания, соответствующего каждой отдельной конструкции. Более того, она предполагает, что коллективный разум всякого холма развился до того состояния, когда может воображать существование после своей гибели или естественного разрушения. Эта эволюция подразумевается, обосновывает ребенок, в арифметически сложных изменениях базового строения муравейника. Будучи расположенным к точным наукам, дедушка находит, что волей-неволей склоняется к этой точке зрения. Нехотя он предполагает, что заметное качество репликации соответствует значительной стадии развития и умудренности системы счисления, в свою очередь, возможно, присущей уровню мышления, способного постичь загробное существование, как и настаивает его младший пассажир. Мельчающие репродукции единой конфигурации по крайней мере демонстрируют овладение алгоритмами, допускает Снежок, и дебаты продолжаются в этом духе в окружении чужеродных песчаных замков человеческого роста без однозначного вывода. Лазурная линза дня наливается кровью по мере приближения человеческого транспорта к склонению насыщенной радужки, уже грязно-фиолетового цвета, и далее вглубь очередной ночи нижерасположенной планеты. Пара пробирается по муравьиному бульвару, овеянному кислотными ароматами, пока ансамбль восьми отдельных лунных сфер сливается в единый сияющий кластер, свет которого коллоидной суспензией электроосаждается на безгласные фаланги многогранных шпилей, распускающихся во всех направлениях. Они проходят под драгоценным фонтаном очередной денницы и опадающей копотью новой тьмы, и нет конца аккуратным полковым колоннам колких зиккуратов, распределенных так, чтобы наиболее эффективно освоить доступное пространство хронологического шоссе. Снежок постепенно склоняется к алармистским настроениям: «Не улыбается дрыхнуть с этими

засранцами, но, по всему видать, деваться некуда. Так, небось, тянется еще многие века, пока эта компания гуляет вволю Внизу, – сплошные ряды, как кладбищенские камни, и негде спокойно вытянуть ноги». После глубокомысленного молчания внука несогласно качает локонами-сережками. «Мне кажется, их срок Внизу уже вышел. Пройди еще денек и посмотрим». Исполненный сомнений, ее старинный экипаж таки неукоснительно повинуется. Они идут через муравьиный рай, пока безоблачная стратосфера над ними правит свою палитру – хромированная луной тьма полируется до сомонового рассвета, а оттоле – к монотонному угнетающему ляпису мира, умирающего хотя бы по одному визиту непогоды. На отрезке, приблизительно соотносящемся с полуднем, Мэй доносит о результатах рекогносцировки со своего выгодного положения: впереди густонаселенное скопище прореживается, каждый второй монумент насекомых оставляет по себе квадрат пустого пространства. Эта планомерная депопуляция не преходит, а стоит ступить напоследок на фиолетовые окраины сумерек, как охровые типы изглаживаются из окоема. Малышка теоретизирует, что продвинутое семейство муравьев могло бы просуществовать более тысячелетия, при этом не отражаясь в заметной степени на этих высотах бытия по той простой причине, что муравейники с организмами-колониями, по сути, бессмертны, если не аннигилируются некой внешней силой. Преодоленный наемный город, уверена Мэй, правильнее было бы считать индикатором массового вымирания, которое не заняло и одного дня. В этих размышлениях они разбивают лагерь, употребляют в пищу последние Паковы Шляпки и опочивают. Поднявшись, обнаруживают, что котомка из волчьих шкур снова необъяснимым образом полна, а во время дальнейшего марша Снежок думает, что

в день, когда приходит внук Томми в надежде на помощь с домашним заданием, тьма над улицей Форта кажется хотя бы в какой-то мере сыпучей. Смерд над террасой, думает Снежок, – столь же последствие его собственного настроения, сколь и работы мусоросжигательной башни на Банной улице – впрочем, одно напрямую связано с другим. Деструктор не более чем самый очевидный признак хищного процесса, пожирающего квартал в десятилетие после окончания Мировой войны. Преведние сносы оставили на косых дорогах околотков шокирующую пустоту – белые от цементной пыли области на внутренней карте Снежка, в последнее время тревожным образом испятнанной провалами, на которых он ловит свою память. Ему давно перевалило за шестьдесят, и даже без навыков счета, на которые так полагается его двенадцатилетний потомок, он неплохо представляет, чему это равняется. Ближе к завершению его ум заходит за разум, начинает что-то забывать, что-то выдумывать. Остается еще четыре-пять лет, если повезет, – хотя к тому времени он уже может до этого не досчитать. Смерть, конечно, не ввергает его в уныние; всего лишь очередная знакомая остановка на маршруте. Он все это уже видел: бесконечный коридор и содрогающийся старик с – чем это, краской? Краска на бороде, эти брызги цвета? Так или иначе, что-то в этом роде. Это его не заботит. Что его заботит, так это медленные темпы, с которыми на Банной улице пускают корни Деструктор и конец осмысленного мира. Носитель взыскательного образования Бедлама, Снежок ведает значение дымоходов, ведает о всепожирающей пустоте, потенциально заточенной в окружности каждой терракотовой оболочки. Большой частью катастрофа, опасается он, лежит не в материальной плоскости – буром дыхании, сгустившемся в пятнадцатиметровой кирпичной глотке мусоросжигателя, – но, вернее, в нематериальном пламени, распалляющемся беспрепятственно; невидимо. Символы и принципы станут той же волнуемой черной тучей, что и говно, корки бекона и женские тряпки-затычки. Сколько он ненавидит грязный грозовой

вал, ныне омрачивший его район, его семью, его оборванный народ, столько же он не на шутку боится за все это при мыслях об их распотрошенном рае или их необитаемом банкротном будущем. Ведь он ему так дорог, его мир. За кадром Луиза в плывущих запахах кухни напевает что-то напоминающее «Пока моря не пересохнут», сомкнув оба огрубевших кулака на рукоятке ложки, чтобы пахтать комковатую и неподатливую смесь фруктового пирога. Его сконфуженный внук краснеет точно брюква, пытаясь скрыть гордость после комплимента о математических способностях, сноровистой смекалке в подспудных симметриях, заложенных в десяти простых цифрах. Снежок упивается каждым атомом дня до последнего, каждым прозрачным масляным пятнышком на бумаге, расстеленной на полированной локтями скатерти. Он не выносит мысли о том, что эта человеческая последовательность отправится в утиль и впоследствии в Деструктор, опустошится в испепеляющий костер избирательной английской памяти. Едва замечая, что делает, он посылает огрызок карандаша на вольные траектории орбит, скользит им по поверхности развернутой мясной упаковки и описывает два концентрических круга – тороидные очертания, дуло дымовой трубы взгляду с высоты голубиного взора. Заполнив кольцо цифрами от нуля до девяти, где каждое число противостоит своему тайному зеркальному двойнику, он превращает круглое кольцо в периметр ненормального циферблата с символами в беспорядке, словно сам медиум времени резко стал незнакомым. Снежок начинает объяснять это присоседившемуся одиннадцатилетнему мальчику, но уже видит, как внимательная нахмуренность ребенка исподволь перерастает из концентрации в опасливую нервозность, страх и за себя, и за своего дедушку. По лицу Томми Снежок заключает, что, должно быть, кричит, хотя не помнит, чтобы повышал голос, да и знает, что останавливаться уже поздно. Под зимней чашкой волос мчатся по кругу идеи, опасно ускоряются до фуги, рассыпаются от столкновения. В его руках рисунок превращается из безалаберных часов в срез трубы, а потом

в безжалостный отрицательный глиф растянутого нуля, так разожравшегося вакуумом, что выгибающиеся границы едва сдерживаются, чтобы не треснуть. Снежок в озлоблении сминает мясницкую бумагу в шар, с размаха отправляет в пылающий очаг, благо пронизательно бдительная Луиза уже оставила выпечку, дабы объявить окончание урока математики, освободив растревоженного и настороженного внука, отправляя от греха подальше домой на улицу Форта, на слякоть и снег. Фашисты в Италии, новый мужик с большими усами в России, кто-то говорит, что все началось с великой грязной вспышки. Мечась, как бык, в хрупком коробке гостиной, он знает, что они правы, но еще сами не вникли, что их открытие говорит в применении ко времени. Первобытная детонация по-прежнему продолжается, она здесь, она сейчас, она все, она это. Мы все – взрыв, а все мысли и поступки – не более чем баллистика. Нет ни грехов, ни добродетелей, только капризы шрапнели. В неукротимом кружении Снежок замирает перед отражением в стекле над камином: старый мореход, бредящий и глядящий в ответ из необыкновенно расширенного пространства. Он разбивает зеркало пресс-папье. Все слишком напоминает неизбывное предощущение того, как

гериатрический пони фыркает и вольтижирует в коридоре аэродромного величия, нагишом, навьюченный херувимом. Нет уж в помине тех безудержных деревьев, что некогда вырывались из множества проемов в основании верхнего этажа, не осталось даже окаменевших пней, отчего тень становится скудным ресурсом, более редким, чем танзанит. Внушающий трепет простор свержнеба теперь не укрощен ни торчащим сучком, ни шипом и кажется пораженным какой-то слабо-зеленой примесью. По версии Мэй, это может быть обусловлено изменившимся атмосферным составом планеты ввиду отсутствия воды и биологии – как следствие,

варьирующиеся волны солнечного света рассеиваются по-разному. Старик с полными щеками, набитыми сочным прозрачным грибком, которыми заботливая наездница на протяжении абсурдного сафари снабжает его, точно кусками сахара, не может не согласиться. Лиги дня – разбавленный перидотовый суп, не скрашенный ни тучкой, ни крутоном, тогда как лиги ночи яснее сосульки и лопаются от схематичных звезд, развернувшихся комет. Гранулярное крошево изничтоженных лесов под ногами в конце концов идет на убыль, и отмахивающаяся эпохи парочка с изумлением обнаруживает, что под ковром органического сора больше не видно сосновых досок Души. После какой-то незамеченной линии демаркации оставленных позади обледенелого или заросшего тысячелетия струганные доски заменились или каким-то образом превратились в шершавую и неровную скалу, двухкилометровый широкий утес из известняка случайного состава, в котором кремь и твердый мел уходят на такую безжизненную глубину, где выживают только астрофизика и геология. Пограничные стены пассажа теперь стали гладкими пирогенными завалами разжижающегося сонного материала, хотя по-прежнему достаточно высокими, чтобы с успехом маскировать те расплющенные остатки Второго Боро, что еще бытуют за далекими краями полосы. Выступая, словно мумифицированный фламинго, Снежок осмотрительно лавирует вокруг многочисленных отверстий неправильных форм, перфорирующих грубое минеральное покрытие бывшего бульвара. В отсутствие одушевленных существ с самоцветными формами, ранее характерными для нижней реальности при наблюдении с возвышенного положения, теперь дыры единообразно выглядывают на безжизненные лоскуты голой пустыни. Ничто не движется, ничто не дышит – чердаки наконец обогнали дыхание. Двоица следует через коричневатые рассветы, зеленые дни, кроваво-оранжевые заходы и широкие ониксовые полосы, осиянные серпом луны, сложенным из восьми пересекающихся полумесяцев, – серебряный шар в технике сквозной резьбы. Углубляясь в нежилые века, они коротают путь выдуманными на ходу играми –

составляют списки того, чего больше нет, вроде сознания, боли или воды. Когда устают от этого начинания, приступают к перечню еще сохранившихся феноменов, таких как периодическая таблица, некоторые анаэробные виды бактерий и гравитация. Второй ряд хотя и обширен, но исчерпывается легче первого и потому не может тешить разум долго. Если их истомляет бессрочное странствие или неотпускающее ощущение конца, то они спят на голем камне под гиперболическим зодиаком – обнаженный мужчина раскидывается, как просыпанный хворост, как незажженный костер, подле почти пустой мощны из волчьих мехов, в которой по его настоянию дремлет маленькая умница. Проснувшись и двигаясь через отстой ночи завтракать на горячей сепии перекрасившейся зари, они почти кажутся бронзовыми статуями, символизирующими старый год, который несет новый. Когда от растительности остаются только воспоминания, а сами воспоминания забываются, обзору Мэй и Снежка вдоль коридора больше ничто не препятствует. Их обостренные смертью окулярные способности предлагают невозбранную перспективу вековечного холла, прямого и не подверженного влиянию курватыры земного мира внизу. И все же, топая по пешеходным векам, оба отмечают неспособность видеть за определенной точкой великого проспекта. Они полагают, что это либо намекает на противоречивый изгиб в точности геометрии прямой как стрела авеню, либо же воплощает закругленную форму самого континуума, а зрение оспорено препонной в виде горбатого мениска пространства-времени. Далее по дороге сводчатые небеса исчерчены многоцветными прожилками тьмы или дня, а ширина этих полос спрессовывается с приближением к удручающе удаленному горизонту. Ссохшийся Атлас непреклонен в своем намерении, влача светловолосую обузу через бесплодные минуты и опустошенные часы, на ходу сводя на нет так и оставшийся без объяснения резерв Бедламских Дженни. Когда Мэй рапортует о двух отчетливых точках на дальнем расстоянии, ее дедушка сперва склонен к скептицизму, но впоследствии подвергает позицию пересмотру

вслед за буквальным прошествием еще нескольких недель, когда исчезающе крохотные пятнышки распухают и оказываются мужчиной и женщиной в модной одежде 1920-х, по-своему более разительных, чем любые дотоле встреченные супермуравьи или солнцеедные эрзац-люди. Анахронический дуэт вращается вдали в грубый камень, терпеливо наблюдая за неторопливым приближением незаурядной детки и бродяги во времени под ее седлом, и Снежок замечает, что безупречно одетая пара держится за руки. Из всех испустивших дух вещей, перечислявшихся на пару с Мэй ранее, по романтике и сексу он скучает больше всего. Он вспоминает, как

скользящий спутник Земли обгоняет фило облаков над скотным рынком, не отставая от Снежка и хорошенькой дочки кабатчика из «Якоря» – небесная дуэнья для их первого свидания. Снежок пока плохо знает город вне помеси чувств предощущения и ностальгии, и потому не представляет, куда его ведут. Млеющий букет коровьего навоза вдоль променада Виктории почему-то вносит в вечер интимную нотку, и, хотя из-за работы в Ламбете он не виделся с Луизой шесть долгих месяцев, он тверд в уверенности, что еще не взойдет солнце, как он стянет ее трусики на округлые лодыжки, а затем попросит принять свою влажную от нее руку и бьющееся сердце. Июльские звезды над головой – бриллиантовый столовый перец, молотый на жерновах космоса, а у его локтя – усиленный ночью метрономный цокот ее каблучков: музыка, на которую он положит всю жизнь. Тихим согласием, чтобы не развеять атмосферу, он позволяет ее теплоте и требовательному противовесу в его правой руке занести их обоих под хихиканье в безнадзорную наплывшую темноту Коровьего Лужка, юрисдикцию одной лишь тактичной тени. Влипнув в смолу газового фонаря возле туалетов, двое рабочих обмениваются колючим поцелуем и возятся с пуговицами друг друга, а в шуршащих кустах воркуют девчонки

подобно ночным фазанам в горячем ожидании своих зверобоев. Перешептываясь, Луиза и ее кавалер окунаются в стонущую темноту, пока вокруг кончается очередная пятница в лунной неге, плеске семени и травяных пятнах; в несравненной и извечной серебряной роскоши псов и нищих. Развернутая на охваченном ночью пастбище серая, точно мятая жесть, ковровая дорожка выводит на гравийную тропку возле брнчащей речки, уползая дальше на восток под высокими деревьями-гробовщиками навстречу завтрашнему утру. Вверх по течению надувает рябые щеки и задерживает дыхание под мишурой поверхности отражение луны, но здесь, под присмотром елей, через непроглядный поток одного лишь звука – стремнину металлических слогов, словно звенящей в колодце желаний мелочи, – перекинут железный мост. На полпути через поскрипывающую переправу ветер отстегивает одну прядь ее сиеновых волос, и после его нежной попытки поправить ее их губы падают друг на друга, словно враждующие морские анемоны, после чего Луиза говорит «не здесь» и ведет его, ослепленного, на раскрашенный звездами островок, разваливающий набегающую воду. Стопанная несметными ногами до песчаниковой лысины, тропинка арканит сушу по периметру. Они выходят на дальнюю сторону островка, сперва напуская небрежность, потом поторапливаясь, потом со смехом бросая все притворство и срываясь на бег. Рыхлый бережок, вылепленный любовью в течение нескольких веков сношений, тиснен грудями и ягодицами десяти поколений, видимых только в фантазии палимпсестом на контурах уклона. Радушный платан подставляет костяшки корней для предстоящей игры в кулачки, игрищ с ее кулачком, течение тянет за стойкий тростник, а небо цепляется за сведенные судорогой когти ветвей. На ногах, на коленях, на спине – они поэтапно тонут в пенном клевере, фехтуя языками, пока руки выходят на тропу войны с застежками, резинками. Отброшены околичности, блузка и рудиментарный камисоль телесного цвета – теперь Луиза носит только голые груди, с обязательным достоинством; белые львицы,

величественно раскинувшись над ложиной солнечного сплетения. Изобретательный, амбициозный укротитель без хлыста и стула по очереди кладет их головы в свою пасть. Пряные от пота, соски разбухают, точно вот-вот из них распустятся фритилярии, и Снежок с Луизой – точно возбужденные и увлеченные дети в вечном цирке. Под шатром ее юбки раздвигаются теплые ноги, словно плотная толпа уступает место у тайного аттракциона, куда пускают мозолистые пальцы, по два за раз. Словно неопределившиеся клиенты, они мнутя у бархатного входа, ненадолго заглядывая, чтобы тут же удалиться и сунуться снова, не в силах принять решение. Поднимается подол, как занавес, убираются панталоны, как свет, и вот, вот невиданный экзотический зверь; вот скользкая сцена для выступления и вступления, туда-обратно. Подобравшийся к миске кот, он лакает между ее ног, сперва смакуя, как сомелье, но не может сдержаться и сербает, как костермонгер. Под свирепым напором она кончает и кричит, а потом стекленеет в смиренном шоке – прирученная и трепещущая гну, – а когда он достает из штанов член, тот как железный – только что отлитый и готовый калиться, окунуться, выпуская поток пара. Она неловко направляет его рукой к цели, и он ныряет вперед – изощренно медленный спуск судна по плавучему доку, погружение в тепло по самую кудрявую ватерлинию. Снежка распалает запах влагалища и реки – изогнувшийся с лимонно-острым краем мятой мимозы, – и он видит яростное совокупление в инженерных категориях: оба действуют как одна восторженная, смазанная подвижная деталь, шипящая и дребезжащая в невидимых механизмах времени. В его багровой лампочке кипит скользкая ртуть, и он эякулирует внутрь, изливает их дочь Мэй в ламбетскую канаву и одноименную внучку в чумную повозку. Он брызжет тысячей имен и историй, выстреливает Джека в заморскую могилу, Мика к стальным бакам ремонтной мастерской и Одри в лечебницу. Он кончает скорбью, картинами и аккордеонной музыкой, и сам знает, что иначе быть не может, что нужно обеспечить через миллион лет в разрушенных руинах парадиза

постепенную приостановку испуганного шага нагого берсерка и его наплечной пассажирки в трех географических днях от приодетых незнакомцев, пока наконец пары не замирают лицом к лицу в перепутанных цветах горнила очередного посторганического рассвета. На женщине, осадистой и фигуристой, платье до коленей – виридианового цвета с отливом, – голубино-серые чулки и нефритовые лодочки, а ее волосы льются каштановой лавой на оголенные и очаровательные плечи. Ее эскорт схож внешностью с викторианским денди, разодетым в только что открытые мальвовые и меланхолические фиолетовые цвета, чья безукоризненная сюртучная тройка не к месту увенчана мятым котелком из комиссионки, в котором как будто кто-то умер. На фоне танжеринового ореола многосложной зари их контрастирующие оттенки создают красочную гармонию, часто присущую снам. Близ дуэта на гринсбоновой скатерти, расстеленной на петрифицированном полу пассажа, вывалена лакомая куча свежесобранных Паковых Шляпок. «Меня зовут Марджори Миранда Дрисколл, а это мой консорт, мистер Реджинальд Джей Фаулер, и я не могу высказать, какая для нас честь познакомиться с вами. Вы герои книги, которую я пишу, – надеюсь, вы не имеете ничего против, – и мы прокапывались через прозрачную стежку, чтобы поддерживать ваши запасы продовольствия. Но больше вы не сможете полагаться на нас. Дальше этого места от Души осталось немного, так что залезть сюда снизу не получится. Боюсь, потом поставок не будет, и я решила, пользуясь случаем, представиться и рассказать, откуда взялись Бедламские Дженни». Ее голос и манеры, взрослые и благовоспитанные, тем не менее отдают чем-то от переодетого ребенка или актрисы, еще не обвыкшейся в роли, так что Снежок заключает, что и она, и ее компаньон недолго носят нынешние обличья. Молодого человека особенно стесняет справное

платье, он придирчиво водит пальцем внутри крахмаленного стоячего воротничка и время от времени пренебрежительно отхаркивает сгустки эктофлегмы – скорее в качестве высказывания, нежели противоотечного средства. Обнаженный камень у их ног влажен от цитрусового света, на нем узко протянулись тонконогие тени, словно резинки на пределе закона Хука. Пожав руки в формальном приветствии, Мэй спешивается, и несусветный квартал удобно устраивается на квадрате ткани для грибкового пикника под осиротелыми, не считая одного слепящего абрикоса, небесами. Они оживленно допрашивают друг друга. Мэй справляется о непрерывном распаде верхней реальности за далекими и просевшими стенами эстакады и узнает, что там ничего не осталось: даже Стройка – заброшенная скорлупа, а последние люки-глюки все более труднодоступны из-за постоянного разрушения. Далее безмятежная мисс Дрисколл спрашивает, ожидают ли Снежок с внучкой как протагонисты ее грядущего второго романа личной встречи с Третьим Боро где-либо перед концом времен. После вдумчивой паузы беловолосый ветеран отвечает, что нет, он не предвидит подобного стечения обстоятельств. «Хотя если мы к тому времени на него не наткнемся, то хотя бы будем знать, где его нет». Из своего атласного ридикюля молодая писательница производит на свет тонкую книгу с зеленым тканевым переплетом, на котором оттиснена золотая иллюстрация и название тома – «Мертвецки Мертвая Банда». Это, объясняет она, подписанная сигнальная копия ее дебюта, и она почтет для себя великой честью, если они ее примут. Покрутив подарок в руках, напоминающих оголодавшего краба-паука, Снежок восхищается обложкой, вслух интересуясь, не мистер ли Блейк из Ламбета причастен к производству. Оба их гостя у конца света с готовностью кивают, и мистер Фаулер с замиранием дыхания повествует восторженным тоном плохо завуалированной молодости, как он и его суженая прошли всю дорогу по Ультрадуку от церкви Доддриджа в верхние регионы над Геркулес-

роуд, чтобы испросить совета о публикации у запальчивого и мятежного небожителя. «Он блесть мужик что надо. Мы с ним спелись». С равным энтузиазмом Мэй повествует, как она и ее зачуханная кляча и сами навещали крутонравого провидца с супругой, когда вступили на ослепительную эстакаду для путешествия от Мелового переулкa до земного Иерусалима. «Когда мы с ними встретились, они разыгрывали Адама и Еву, читали друг другу стихи мистера Мильтона в неглиже. Потому мы и сами подумали отправиться в более долгую экспедицию без одежды. Это же в духе Блейков». В этот момент мисс Дрисколл что-то чирикает в блокноте устричного цвета, но на вопрос рдеет алым цветом и объясняет, что лишь набрасывала краткие описания как тембра, так и окраса голоса чудо-малышки. «Талая вода с апломбом», – большего она им не уступает. «Пока не очень. Потом придумаю намного лучше». Они обмениваются историями в недрогнувшем янтаре зарева мертвого мира, а потом загружают оставшиеся Паковы Шляпки в походный мешок Мэй и Снежка, приторачивают ему на шею и раскланиваются. Великолепная в огнях распада Земли, молодая пара рука об руку следует к дальним пределам авеню. Снова приняв Мэй на плечо, Снежок вспоминает, как

мир как будто танцует с самой молодостью и выстраивается по молодым ожиданиям и волениям – по крайней мере, для молодежи. В семнадцать растрепанные ветром деревья вдоль множества дорог склоняются в молитве лишь перед ним, а Ламбет – его ризы, приобретающие значение, только когда объаты его взглядом – не существующие без него. Женщины Боро обнаруживают красу исключительно в его присутствии, излучаемый ими цвет находится за пределами спектра, доступного иным мужчинам, видим лишь избранному опылителю. При его появлении живые изгороди чудесным образом плодоносят персями. На его пути в подлесках

кружев распускаются тайные озерные лилии, словно он сама Весна, взрезь с краями полный птичьими песнями и вечно возбужденный в окружении попок-падалиц. В нем столько спермы, что он не знает, куда ее девать, и вращающаяся вокруг него планета как будто разделяет эту радость промискуитета, выстреливая лампочками, телефонными аппаратами и аннексией Южной Африки в глянцевых ручьях на стеганое одеяло обыденности. Руки истории по локоть в липких карманах, шерудят, а Британия правит моментом, который опрометчиво путает с миром. Даже в восхождении королевы Виктории на престол императрицы Индии он видит все ингредиенты дальнейшего упадка, пусть кульминация и не наступит при жизни Снежка. Будет ненависть; будет кровавая баня хуже, чем в Болгарии; тщетные сацумские бунты против неизбежных перемен; разодетые в газеты упыри, что ждут чуть дальше по только частично развернутой красной ковровой дорожке империи. Ритмично двигаясь у древней и равнодушной стены переулка, в попискивающем нагруднике из девушки и тугом кушаке из ее ног, он ликует, закидывает голову, лая на звезды, и знает, что злые и добрые шутки будущего разыгрываются уже сейчас. Под барабанящим ливнем Южного Лондона стоит дерзкий Джон Верналл, слывающий тронутым, и зрит, что отдельные капли в отвесном падении на самом деле не движутся – это продолжительные жидкие нити, что тянутся от грозового фронта к улице длинными параболами через твердое время. Пока он несется, подобно какому-то индуистскому божку или стробоскопической фотографии, среди статичного хрустального мулине, дождь проливается только из-за движения его разума в невидимом направлении. Ничто, исключая подневольное наступательное движение сознания из одной полусекунды в следующую, не видоизменит скульптурную группу на дворе паба, злую и мученическую, в кипящую драку со сведенными счетами и распутившимися кровавыми бутонами носами. Процесс его внимания вращает небо – иначе неподвижны облака и зодиак. Шальные Парни из Элефанта, которые не боятся никого,

сворачивают на бегу подальше от него, из страха, что его состояние заразно, что они закончат дни людьми-пауками, прельстившимися вертикалью, а не горизонталью, вопящими с крыш о задницах, спасательных кругах и геометрии. Он преспокойно прогуливается между кровавыми дугами крюков их стычек – ясновидящий голубь, без задних мыслей семенящий между падающими копытами и сокрушительным колесованием экипажей. Его не могут убить битвы и бритвы; не могут препятствовать в неизбежной встрече с тюльпанами и зеркалами пятьдесят лет спустя, в другом городе, другом веке. Он бы хотел познакомиться с Джеком-Попрыгуном – одним из фантомного клана бандитов, процветавшего в городе в предшествующей декаде, по-блошиному скакавших через сараи и выгребные ямы с огненным дыханием, отражавшимся в круглых стеклянных линзах их глаз. Окажись они хоть даже болотным газом или призраками Пеппера – сотворенными на наклонном стекле театральными духами, – он все равно верит, что в этой возмутительной трупке пришелся бы ко двору проще, чем в бескрылом обществе на авеню и мостах, стреноженном плоскими пределами своей судьбы пешек из «Людо». В крыльях носа клокочут лопающиеся прыщи, в перепонки фаланг въедается грязь – черный остаток на основе слюны, вызванный практически беспрестанной ипсацией. Пиво – коричневое одеяло, которое он натягивает на голову, дабы приглушить ластящийся мир в случаях, когда ощущает свой нежный возраст, когда его одолевает осознание голого апокалипсиса в каждом, каждом, каждом мгновении. По ночам он слышит, как англы-предвестники во всю глотку претят лютыми проклятьями на странном взрывном языке, и жметя с полоумной сестрой, которая тоже их слышит. «Не плачь, Турс. Они не за тобой». Это неправда, но гулкий соборный разум пятнадцатилетней пташки обретает покой – по крайней мере, до другого раза, когда зодчие, сшибив солнце, будут плясать на крыше в громовых башмаках и реветь ужасные веления. Они – за всеми, вот простой факт, но берегут энергию для тех, кто не глух к их вопиющим гласам, –

особенно для него. Иногда он ищет утешения на холмах удовольствий, среди миллиона ламп и канкана Хайбери с другими фриками и акробатами, но даже там слышит тайфунные ремонтстрации, велящие взять эту женщину, а не ту, велящие протопать шестьдесят миль на северо-запад или вскарабкаться на сто футов вверх. Без спросу они показывают дальнейшие картины из его личного туннеля плоти, уползающего в будущее. Вот свадьба в красивом зале, за которой с гребня крыши присматривает зодчий. Вот рождение и вырождение внучки, и даже когда он умрет, когда умрут все и вся, он знает, что

старый военный конь штурмует нагишом последний тракт, взнузданный ребенком под постепенно мигрирующими галактиками. Все реже преследователи судного дня задерживаются на безликой скальной ленте ради стоянки и угощения грибами из падающих запасов, чтобы потом сплунуть оптические зернышки в надеждах на встречу на обратном пути с цветущими колониями Паковых Шляпок в качестве схронов провизии. Когда они изображают сон, Снежок довольствуется одром из камней, не жалея угловатого хребта, и сворачивается вокруг чада, лепечущего в мешке из волчьих шкур, пока над головой непрерывно распускаются по нитям пространство и время. Во время дневных миль очевидно, что у Земли снова есть облако – пушистый охровый целлофан, чей состав Мэй полагает хлорином с примесью метана. В темноте полулуна множится абстракцией в стиле деко, увитой паром, а свет ее – спектрографическое гало-пятно на фильтровальной бумаге вечера. Столько перемен и расстояний, думает Снежок, а ведь они даже не покинули Боро. Малая Перекрестная улица и Банный проход все еще где-то внизу, только в состоянии химического и геологического истления. Они продолжают. Когда мешок Безумных Яблочек наконец истощен, они встречают то, что сперва кажется миражом,

рожденным голоданием, – любопытный зеркальный изъян атмосферы великого пути: навстречу им по хуторной полоске с противоположной стороны рысит старик с малышкой на плечах. Столь точно это отражение, что путешественники сперва ожидают с мига на миг мощного столкновения с каким-то чудовищным и доселе невидимым зеркалом, после чего рухнут без чувств, оставив на стекле перистый след в виде дагеротипа с раскинутыми конечностями. Тем сильнее удивление, когда допельгангеры оказываются столь же материальны, как они сами; паче того, это и есть они сами на обратном этапе легендарного странствия. Обе Мэй спешиваются и обнимаются, тогда как старики лишь ворчливо жмут друг другу руки. «Ну что ж. Как там дела?» – «Трудно сказать. Кажется мне, конец времени – как последний день школьного года, когда малозначимые правила смягчаются и изредка допускаются мелкие парадоксальные прегрешения». – «Значит, вы дошли до конца времени?» – «О, как пить дать, но вы сами согласитесь, что с нашей стороны нехорошо разглашать более чем скудные детали». – «Не хотите перегибать палку с парадоксами и прочим?» – «Именно так. Скажу только, что Паковыми Шляпками обделены вы не будете. Всего пару недель к западу отсюда мы намеренно проходили местечко, где вы скоро сплунете последние семена, и там уже обосновалась славная полянка фейри-плодов. Чуть подальше вы найдете еще одну – возможно, произошедшую от сплунутых глаз только что упомянутой колонии, – и так до самого момента, когда дойдете до нашего места и будете объяснять эту ерундистику себе помоложе. Мститесь мне, что нашим поведением, весьма возможно, и управляли Бедламские Дженни, чтобы распространиться до самых пределов пространства-времени». – «Так послушать, получается несуразица, но по раздумии допускаю, что это дает сильный мотив для нашего визита в конец времен, – ведь до этого за него сходило разве что любопытство, есть ли конец времен вообще – и похоже, что есть». – «О, там будет на что посмотреть, не извольте волноваться. К этому моменту,

конечно, уже много чего нет, среди прочего – гравитации. Аналогично сдают пост и отправляются на покой ядерные силы, но пусть даже существует там немного, это все равно самое существенное представление. Ну да ладно. Мы уже немало трепали языками, а я не припомню, чтобы мы проговорили дольше. Позволь предложить посадить на плечо наших соответственных малышек – приложив все силы, чтобы не перепутать их и не вызвать неразрешимого противоречия, – на чем и продолжить наши противоположные пути, как и закончился в моем случае этот инцидент – странный, но не без своих достоинств». Две Мэй, которые все это время тихо беседовали, воздеваются обратно на соответственных скакунов. После неожиданно эмоционального прощания обе двойцы вновь продолжают свои путешествия – босые ноги шлепают по грубому камню, расходясь в разные стороны по канату над временем, и вот уже через несколько часов расстояния они взаимно незримы. Безудержно продвигаясь к концу всего – концу даже концов, – номинально ранняя инкарнация Снежка осведомляется у седока, что проистекло во время неожиданной встречи между ней и второй Мэй. «Я постаралась запомнить все, что она сказала мне, чтобы правильно сказать себе тогда, когда буду ею. А самое главное, что она сказала, это вот что: „Мы вернулись из Иерусалима, где нашли не то, что искали“. Я спросила, что это значит, но она только покачала головой и не ответила». Отмеряя тяжелые мили к финалу, Снежок напрягает извилины. Кроме бесплодного подозрения, что фраза может быть как-то связана с той же цитатой профессора Юнга, когда-то не сумевшего постичь Люсию Джойс, Снежок не стал ближе к разгадке, когда он со своей наездницей нашел парадоксальный пяточок Паковых Шляпок, который им посулили их будущие версии. Они послушно доедают остатки собственных припасов, сплевывают красивые глазки, а потом набирают полный мешок зрелых плодов, которые эти самые семена отрастят или уже отрасли. Трапезничая невозможностью, старик все еще помнит, как

его самое раннее знакомство с пищей призраков происходит в двадцать лет, когда он впервые напился пьяным эля – полной кружкой, которую стянул из дома и споро опорожнил в пропахших блюдом подворотнях Ламбета. На крыльях смелости и парах отравы он плывет мимо стен старого Вифлеема, но его продвижение задержано видом мерцающего света, танцующего над самой темной брусчаткой впереди. Тем же порядком, как часто кристаллизуются во внятные образы перед глазами веками плавучие фигуры на грани сна, призматический перелив становится нематериальным хороводом крошечных женщин без одежды. Сквозь препятствующие взгляду складки пива и мглы он дивится грудям и щелкам, – ведь он видит их впервые, – и не может поверить своей удаче. Женщины манят, и раздается звук, первоначально напоминающий хихиканье отдельных голосов, но через некоторое время сливающийся в пронзительный писк на периферии слуха молодого пьяницы. Он стоит, оперевшись ладонью на мшистый камень ворот лечебницы, мутно спрашивая себя, не значит ли это, что за ним пришла смерть, и не утешается видом проходящих мимо людей, которые лишь смеются или порицают его хмельное состояние, пока самозабвенно топают мимо или сквозь дымку голых манекенов, паясничавших у их ног. Он понимает с тусклым уколом опасения, что эти воплотившиеся фантазии видимы и слышимы ему одному – возможно, предзнаменование его собственного помещения в институцию, которое он ныне подпирает, в роли сумасшедшего подмастерья его собственного заключенного отца по витанию в сказочных мыслях. Проглотив теплую слюну, он думает о пациенте, виденном в последний визит с сестрой, – престарелом и обезображенном от неоднократного биения головой о дверь. К горлу Джона Верналла подкатывают выпивка и обжигающая желчь, и его обильно, кощунственно тошнит на паутинокрылых человечков, кружащих без тревог у щиколоток. Колыхаясь, словно водоросли в

воде, прозрачные нимфы игнорируют ошметки рыбы с его ужина, полупереваренные и дымящиеся, и продолжают лениво покачиваться, словно двигаясь на ветру или в течении, нежели по собственной воле. С его лба ручьями бьет пот. Дрожат метровые нити слизи, свисая с задыхающегося рта, с обмякшего подбородка, а сырая мостовая пылает девчонками. Их идеальные розово-белые личики одинаковы и напоминают о сахарных мышках, их лица пусты и неподвижны, не тронуты человеческим чувством, как если бы он изучал какую-то разновидность насекомого с идеальным камуфляжем – омерзительные жучиные мысли за крашеной глазурью глаз. Сама эта идея ввергает его во второй припадок тошноты, но вид непринужденных крошечных дам в брызгах скверны, точно под душем хрустального водопада, побуждает и третий. Отдаленно осознавая, что к нему приближаются новые пешеходы, он укрепляется к дальнейшим насмешкам, только чтобы удивленно поднять взгляд, когда тех не следует. Даже сквозь фильтр пораженных чувств он немедленно понимает, что с подходящими зеваками что-то не так. По негодно освещенной газом улице к нему неторопливо выходят двое мужчин и женщина, в обносках и без всякого цвета – фигуры, вырезанные из дыма. Вроде бы они пребывают в оживленном разговоре, но его звук приглушен, как бы он доносился издалека или как бы его уши залепили воском. Поравнявшись с ним, троица задерживается и смеряет его взглядом – хотя и не таким осуждающим, как проходившие ранее ночные гуляки. Один из мужчин произносит что-то странно одетой старушке – очевидно, касательно хмельного юнца, – но слова никак не слышать. Уже дрожа и покрывшись с ног до головы ледяной испариной, он с разочарованием обнаруживает, что эти неназойливые пришлецы не более способны воспринять пируэты пикси в его рвоте, чем шумные предшественники. Однако их внимание привлекает что-то еще: серебристая и серая, как дагеротип, карга в старомодных юбках и чепце теперь показывает на верхние пределы колонны, к которой привалился подросток. Ее

губы двигаются, точно под стеклом, ее речения слышимы лишь между двух ее монохромных компаньонов, один из которых теперь подступает и шарит под раскрошенным торчащим козырьком капители столба. При этом его сажистая рука проскальзывает сквозь собственную протянутую и трясущуюся конечность Джона, как если бы ее и не было. Долговязый мужчина словно срывает с ворот дурдома что-то размытое и неразборчивое, и мигом прелестные миниатюры угасают, как свечное пламя. Пронзительный гул, который Джон сперва превратно принял за их голоса, возрастает до истошного свиста, а затем обрывается, с чем разом распадаются на сияющую пыль пляшущие пигмеи, и вот он вперил глаза лишь в лужу собственного недавнего содержимого желудка, на чью поверхность уже слетаются радужные мясные мухи. Высокий спектр снимает что-то – какого-то мрачного и корчащегося осьминога или гидру, – обрывая конечности и разделяя поровну промеж фантомных коллег, пока все трое постепенно исчезают из глаз. Сдавшись, непутевый юнец смыкает глаза. Текущие фигуры, расцветающие в этой уединенной тьме, – те же заблудшие звезды над не знающим конца и меры свитком тропы, где

неугомонный мешок с костями продолжает свой бег, сгорбленный под невинностью. Тощая почва, исчезающая под ногами, уже совершенно безлика, за исключением заветных сборищ презревших хронологию Бедламских Дженни, до того что эти оазисы, цветущие на породе приблизительно каждую тысячу лет, становятся единственными часами или календарем путешественников. Даже отверстия, некогда глядевшие на земное Первое Боро, по большей части пропали, заросли какими-то вулканическими слоями, и, если не брать в расчет небесные драмы, разыгрывающиеся на пологах ночи или дня, экспедиция бедна событиями. На несчастных стоянках они читают друг другу вслух главы из книги мисс Дрисколл и пытаются

высчитать по конфигурациям на небе, сколько миллиардов лет отделяет их от дома. Снежок думает, что два, но Мэй как будто относительно уверена, что не меньше трех. Нависший свод в ночные промежутки странствия в «после» кажется забитым гиперзвездами – их куда больше, чем раньше. Ученое дитя домысливает, что это звездное раздолье послужило следствием столкновения Млечного Пути с другой астрономической группой – вероятнее всего, Андромедой. Ее теория подкрепляется после семидесяти-восьмидесяти новых делянок Паковых Шляпок, когда неизмеримая темнота над ними становится хаосом врезавшихся солнц, катастрофическим балетом, поставленным в дополнительных математических измерениях. Устрашающий гвоздь этой программы – битва не на жизнь, а на смерть между двумя полями пустоты, голодными величинами, которые, извещает Мэй своего дедушку, таятся незримо в сердце каждой звездной системы и чьим пугающим массам обязаны своим вращением драгоценные туманности. Сферы черноты видимы благодаря сияющим серебряным ореолам – в объяснении полторагодовалого ребенка, развернувшимся рентгеновским лучам, торопящимся заполнить небеса; перехлесты двойной ауры в устрашающем муаре аннигиляции. Дальнейшее изучение показывает, что оба чудовища препоясаны трофейными ремнями пыли, накопленной из тех беспомощных межзвездных тел, которые они раскручивали на невообразимой скорости и сталкивали, испаряя в ударе. Темные великаны неумолимо надвигаются друг на друга – императоры-каннибалы, твердые в желании пожрать противника на арене разрушенного космоса. Стараясь не глядеть на бушующий спектакль над головой, Снежок и его внучка идут дальше. Позади попорченными тысячами остаются годы. Бьющиеся полуночные пустоты, господствующие над голой полоской тропы, как будто предпринимают попытку какого-то умопомрачающего сплава в единого поглощающего свет колосса, а мятежные звезды вокруг постепенно слагают новую слитую галактику, которую Снежок

нарекает Млечномедой, но Мэй отказывается слышать о чем угодно, кроме Андропути. Путешественники упорствуют в своем странствии, найдя развлечение в изобретении имен для неузнаваемо сросшихся созвездий – знаков гороскопа эпохи без рождений: Великая Хризантема, Велосипед, Маленький Бродяжка. Они идут дальше, и во время денных промежутков скитания наблюдают, что распакованный огненный шар, вокруг которого обращается планета, стал заметно больше – этот эффект уже невозможно объяснить атмосферными превращениями. Ожирение бело-золотой сферы усугубляется, а стоит преодолеть еще миллион лет, как над ними ничего не остается, кроме как геены от горизонта до горизонта, и Меркурий и Венера уже поглощены распуханием кровавого солнца. На протяжении как будто нескончаемого расстояния доблестная пара вояжирует во пламени и отходит ко сну на угле, пульсирующем красным, видимым даже через эктоплазму век. Оба сошлись на том, что сон на горячей постели противен всем человеческим инстинктам и потому не дарует отдохновения, хотя, конечно, очевидный жар смущает их не более, чем скованные льдом половицы, виденные уже словно целую вечность назад. К их значительному облегчению, поддерживающий их энергию фейри-грибок кажется столь же неуязвимым к подобным воспринимаемым корректировкам температуры, и на следующей остановке они обнаруживают широкомасштабную колонию изящных лучеобразных куколок, процветающих на раскаленной земле. Не сбавляя шагу, Мэй и Снежок в конце концов акклиматизируются в среде неустанного возгорания, так что пиротехнические виды не дают более почву для рассуждений, но через бессчетные века они замечают, что престарелое и распухшее солнце медленно, но верно мельчает в долгом пристыженном эпилоге инфантицидного припадка. Почти невычислимое расстояние спустя от него остается выброшенный сигаретный бычок, мигнувший на прощание в беспросветной канаве вселенной. Торжественно осознавая, что им выпало лицезреть смерть дня, старик и дитя не прерывают свою экскурсию в

монопольную и бессмертную ночь. С каждым шагом тьма над головой избавляется от последней иллюминации, когда затухает даже звездный свет, Арктур и Алголь либо задуты, как свечи, либо унесены постоянно расширяющейся вселенной куда-то за пределы криватуры пространства-времени; за горизонт континуума, куда не по силам добраться даже свету. Пробираясь с помощью зрения мертвых, они ориентируются по выстеганным люреksom очертаниям ландшафта. Наконец дезориентированный собственной длительностью, Снежок спрашивает себя, что, если все приключение – очередной его пресловутый бред, молниеносно промелькнувший в беспорядочном разуме, пока

он бредет от своего дома на улице Форта, не зная, в каком году или месте живет. Потерянно шаркая по улице Рва, вспоминает, что однажды та была заполнена водой, и дивится, когда ее осушили. Должно стать, рыба особенно жутко билась и задыхалась в канавах. В эти дни все меняется в мгновение ока, все исчезает или превращается во что-то другое. Следуя по пути наименьшего сопротивления, проторенному сгибу уличной карты, он забирается по Бристольской улице и скатывается по Меловому переулку, где из буро-золотых расщелин в известняковой ограде старых захоронений прыскают маки. Через дорогу прельщающе шелушится и выгибается бирюзовая краска на вывеске «Синего якоря» под наточенным утренним солнцем среды, когда каждая деталь обшарпанной поверхности живописуется огнем. Он знает, что там, за стойкой «Якоря», стоит прелестная девчонка, красавица Луиза, с которой он когда-то кувыркался в парке Беккетта. Остается только надеяться, что его старушка об этом не прознает. Он ковыляет через лето под мимолетным облаком превратной вины, направляясь по пегому переулку к Холму Черного Льва и Лошадиной Ярмарке. На ослепительной брусчатке мимоходом кивают друг другу тягловые

кони, и он осторожно продевает между ними иголку своего маршрута к спасительному тротуару снаружи церкви Петра под возмущенными взорами осыпающихся каменных чудовищ. Когда он прокладывает путь по непроходимо узкому проулку к тылам здания, саксонская часовня кажется ему пылающей от мгновения и значения, словно бы он видит ее в первый или последний раз, и в переулке Узкого Пальца он понимает, что ослеп от слез, хотя и не знает, по чему их льет, а спустя дюжину шагов забывает о них вовсе. Белые облака скользят по небу над Зеленой улицей пенными плевками. Плиты из йоркского песчаника под ногами несут шрамы древних рек, окаменелые отпечатки пальцев, оставленные, думает он, несколько сотен миллионов лет назад, когда в этой короткой террасе жили только трилобиты и аммониты, выползавшие из лачуг посудачить на порогах в теплые докамбрийские вечера. От родовых зданий, присевших от усталости и облокотившихся друг на друга, брезжит аурой фамильярности – словно мокрица его истинной формы, выраженной во времени, в несметных оказиях пластовалась по этим обветренным плитам в обоих направлениях, – и тут ему приходит в голову, что у него здесь семья. Разве не в этом краю живет его дочь, девочка по имени Мэй? Или Мэй умерла от дифтерии в младенчестве? Снежок топает вдоль череды окосевших дверей, насчитывая их до восьмидесяти, и наконец находит знакомую в самом дальнем конце, у Слоновьего переулка, в той стороне, сразу за торговцем стройматериалами с крашеными воротами. Нечищенная и потому постепенно темнеющая, старая латунная ручка нехотя корчится в потной ладони, затем поддается. Тяжелая плита просмоленной черноты распаивается с визгом петель и впускает в прихожую, где слабое освещение и чайно-коричневые потемки сплавляются в чувствах старика с бульонным духом поднимающейся сырости и морщинистой кожи. Он видит человеческие запахи, чует свет и не помнит, чтобы когда-то было иначе. Замкнув за собой дверь, не оглядываясь, он идет по тесному коридору, окликает кого-то гипотетического в рассеившейся на

лестнице темноте, но Снежок уже явно донял темноту, как и всех остальных, и та не отвечает. Никого нет, как подтверждает его переход в немую гостиную, за исключением спящего перед незажженным камином кота, которого, кажется, зовут Джим, и трех ярко-зеленых мясных мух, имен которых он не знает. Выходящее на юг окно шлепает лучи света в комнате строго размеренными порциями, размазывая желтый мед на глазированной выпуклости вазы с цветами или по лакированному изгибу крышки пианино, и вдруг Снежка озаряет, что он все это уже знает – кот, цветы, угол падения света, те же безыменные мухи. Он знал этот момент все свои дни, вплоть до самых изощренных подробностей. Часть его всегда находилась здесь, в этой полуосвещенной клетке, пока остальные части были заняты шатанием на черепице Гилдхолла и путешествием в транс к Ламбету, посещением отца в дурдоме, сношениями на речном берегу или рвотой на маленький народец. В том же духе он знает, что и сейчас пребывает во всех этих других местах и занят всеми остальными делами, по-прежнему колеблется на кромке той высокой крыши; той низенькой женщины. Теперь же он покачивается на испещренном светом каминном половичке, наконец одоленный головокружением перед отвесной пропастью собственной продолжительности. Изможденный всем сразу, он опускается в обшарпанное кресло, и оконное сияние из-за спины превращает его редящие волосы в фосфор. Укоризненно рычит прикованный пес в животе, а он забыл, когда в последний раз ел, как и все другие жизненно жизненные детали. Здесь он умирает, это Снежок понимает. Стены, которые его замыкают, – это последние стены, и мир за пределом этого квадрата коврика – это мир, куда уже никогда не ступит его нога. Он чувствует себя так далеко от собственного скрипучего каркаса, голодного и изнывающего в кресле, словно его обстоятельства – это что-то из пьесы: затверженный последний акт, повторяющийся реплика в реплику, ночь за ночью; жизнь – повторяющийся сон мертвецов. Старый черт уже не понимает, здесь ли он вообще, пока анонимные мухи

нетерпеливо дожидаются его кончины, или же

он несется через последнюю ночь, лишенную зари, с мертвой внучкой, понукающей за уши. Над головой дезорганизуется бездна. Тепло истощено, не считая остатков в реактивных ядрах космических объектов гало – огромных скоплений темной материи, видимых лишь благодаря умолкающему пульсу инфракрасного света, покуда не прервется и он. Приглушенный метроном ступней по камню – вот их аккомпанемент в океанах, где стали неразделимы универсальные тьма и мерзлота; где черный – просто цвет холода. Они упрямо держат путь дальше – последние призраки пространства-времени, бегущие вслепую к пределу, о коем знают только потому, что встретили себя же на обратном пути оттуда. Это единственная уверенность, за которую они цепляются в бесконечных и беспросветных далях, и уже когда начинают сомневаться даже в этом, Мэй со своего воронье-человеческого гнезда объявляет о пятнышке света в исчезающей точке их уже исчезнувшего тракта. Когда они сокращают расстояние на несколько тысячелетий, эта скромная искра распухла и вместила пустые небеса во всей их полноте – переливающаяся бабочка-корона от горизонта до горизонта, зрелище из зыбких крапчатых оттенков, названия которых два пилигрима уже позабыли. На фоне этой лучезарности там, где дорога как будто обрывается в радужное ничто, стоит силуэт необычного роста и ширины как будто в терпеливом ожидании приближения Снежка и его внучки. Оба приключенца чувствуют, как встают дыбом волосы, когда одновременно приходят к сходному выводу о возможной личности неясной формы. До сих пор к идее, что их peregrinacia может повлечь подобную встречу, они относились с обоснованным небрежным легкомыслием, но когда ее реальность встала прямо у них перед глазами, старик и девочка теряют уверенность и впервые

– присутствие духа. «Думаешь, это он?» Его ответ хриплый и придушенный – надсадный шепот, которого он сам от себя никогда не слышал. «Да, похоже на то. Мне столько хочется ему высказать, но так страшно, что все из головы вылетело». Столкновение, – которого они про себя желали и боялись, – будучи перспективой ужасающей, все же существенно менее невыносимо, чем альтернатива – развернуться и бежать туда, откуда они пришли. Они – голые в его присутствии – продолжают подступы к неизбежному силуэту, что высится в завершении их тропы, и Джон Верналл все больше путается, в каком сегменте своего континуума-гусеницы он сейчас находится. Все моменты сыплются на него сворой, смычно, – такая же сложная и дезориентирующая fuga, как композиции его сестры, и вызывающая бесподобное, но все же откуда-то знакомое чувство, что

сейчас он встретится со своим создателем. Катапультированный из кресла страхом, что смерть застанет его рассеянным, он пытается удержаться на ногах в тесной комнатке, к которой свелась вся его вселенная. Разбуженный внезапным приступом активности, кот взвешивает ситуацию, решает ретироваться через приподнятое окно и скачет с карниза на садовую стену, со стены на дождеборник, мало-помалу спускаясь на низкий двор извне. Мухи пытаются последовать его примеру, но встречают непреодолимое препятствие в виде обескураживающих стекол. Теряясь и ухватившись рукой за подлокотник, Снежок вполне понимает импульс этого животного и исхода насекомых: сырое и спертое помещение с конькобежными царпинами на лаке серванта и с золотыми фруктами, вянущими в миске; это конец времени. Кто бы мог подумать, что все будет такое маленькое? Его взгляд бежит по заключительному виду, пока он пытается набить детали в глаза и устроить последнюю трапезу из их смысла, и наконец опускается на каминную полку, где что-то

интригующе поблескивает. Единственный запинаящийся шаг к очагу для ближайшего изучения такой же шаткий, как шаги по скользким крышам его юности. Предмет, уловивший его внимание, оказывается медальоном со святым Христофором – вроде бы тем самым, что он носил так давно в марафонах сообщением Ламбет – Боро. Снежок подхватывает его одной вибрирующей рукой в лентигу и мгновенно забывает о своем поступке, когда далее блуждающее все его сознание захватывает престарелый тип, что таращится из-за стекла над камином. Он что-то узнает в осунувшихся чертах, и ему приходит в голову, что это Гарри Марриот из соседнего дома. Тот выглядит постаревшим, но и времени утекло немало. Поднимая руку с религиозным талисманом, Снежок приветственно жестикулирует, отчего-то обрадованный, когда ему мгновенно возвращают тот же жест. Он рад, что хотя бы Гарри еще рад его видеть. Вглядевшись, как ему кажется, в похоже обставленный дом, он отмечает другое окно на противоположной стене. То открывает вид на очередной домициль Зеленой улицы с очередным старичком – возможно, Стэном Уорнером дальше по улице, – который глядит в другую сторону и машет в последующий портал, вполне возможно, Артуру Ловетту еще выше по дороге. Обернувшись за плечо, Снежок находит отверстие на дальней стороне собственной комнаты, что выходит на подобную процессию ледовласых ветеранов в бесконечно удаляющихся залах. Он как будто встрял в очереди развалин, выстроившихся для смерти и дружелюбно помахивающих друг другу, пока их личные жилые пространства стыкуются в единый туннель. Как будто

он находится в относительно узком канале почти бесконечной продолжительности, наконец-таки так близко к внушительной фигуре, закупоривающей дорогу, чтобы разглядеть, что на самом деле это пара трехметровых великанов, стоящих плечом к плечу.

Оба босы, облачены в простые белые полотняные халаты, и каждый держит бильярдный кий, пропорциональный их поразительному росту. У фигуры слева волосы бесцветны под стать Снежку, и в ней мгновенно узнается чемпион по трильярду всея Души, Могучий Майк. Его кудрявый и буробородый напарник глядит разноцветными глазами – один красный, другой зеленый. Последний рокошет от увеселения при виде дрожащей пары на подходе. «Ты только посмотри на их лица! Можно подумать, будто они ждали Третьего Боро!» Гладкий лобик Мэй на насесте-плече прародителя бороздят подозрительные морщины. «Может, и ждали. Но ты разве будешь не Асмодей, тридцатисекундный дух? Почему ты разоделся как мастер-зодчий?» Былой бес поднимает косматые брови в насмешливом удивлении. «Потому что я и есть зодчий. Я отслужил свой срок и вернулся на старую работу. В этот момент времени, – он обводит жестом спектрографический задник, затмивший космос, – все счета сведены, а все падения остались позади. Можно же оставить прошлое в прошлом здесь, где прошло все?» Пока малышка усваивает услышанное, ее бабушка наконец обретает дар речи

«Почему здесь нет Бога и что это за свет и краски?» – кричит он в пустую комнату, сам уже не в силах понять собственные речи. Пенсионеры в остальных темных каморках кажутся не менее возбужденными, все размахивают своими святыми Христофорами и вопят в бешеных руладах те же непостижимые вопросы. Его мир оседает распадающимися деталями головоломки, имена и значения вылетают вместе с отливом рваного дыхания. Он едва осознает собственное тело или личность – лишь далекое нытье кишок напоминает, что он голоден. Нужно поесть еды, если только он сможет вспомнить, что такое еда. Окружение кружит, предметы мебели водят хороводы, как карусельные кони, и ему приходит в голову, что во время забега по долгой дороге с мертвой внучкой на

плечах они жили на растениях, каким-то образом сделанных из уменьшенных женщин. Снежок замечает вазу пышных тюльпанов на столе, когда та проскальзывает мимо по досужей ярмарочной орбите, и ему кажется, что между фейри-фруктами и цветами нет никакой разницы. Свободной рукой, неотягченной уже позабывшимся образом, он жадно запихивает лепестки в прогнившие зубы, тогда как соседские патриархи в смежных комнатах неосмотрительно следуют его примеру. Давясь великолепием, он находится где-то еще, а одетый в белое дьявол молвит

«А он здесь. Или, по крайней мере, здесь – это он. Фейерверки – это то, что осталось, когда скончались гравитация и ядерные силы. Выжил только электромагнетизм». Снежок стонет. «Так значит, это все, что мы увидим? Но мы же прошли такой долгий путь». Реабилитированный демон улыбается и качает головой. «Не особенно. Вы и шагу не сделали за окраины Боро. Вы просто бежите на месте уже несколько миллиардов лет». Позади двух колоссов – пропасть, в которую надлежит кануть дороге в спадающих завесах блеска. С этого ужасного утеса растет обелиском грубый каменный крест, который Снежок, помнится, последний раз видел встроенным в стену в церкви Григория. Вокруг него и на нем растет колония сочных, зрелых Паковых Шляпок. Его рот наливается эктоплазменной слюной, но он обнаруживает, что

он не может глотать, проход в жилистом горле затруднен чудесными пасхальными красками. Все прочие престарелые жильцы Зеленой улицы в нескончаемой шеренге параллельных квартир, наблюдает он, справляются не лучше – ходят кругами с глазами

навыкاته и яркими обрывками пережеванной плоти тюльпанов, превращающих всклокоченные бороды в фартуки маляров. Какой же паршивый оборот, что у них у всех такая морока в один и тот же момент, хотя в обычных обстоятельствах они бы увидели, что случилось, и заскочили к соседу, чтобы похлопать по спине. Он дышит букетом, он дышит венками, паника из легких струится в сердце. Он чувствует, что сжимает что-то в левой ладони, но не помнит, что, и все это время

он ждет, когда верховный зодчий скажет ему что-то важное и решающее. И вот Могучий Майк осведомляется: «Вернень, охердел вкорнетшь?» Верналл, зрящий в корень, какие пределы и конец ты ищешь? Застигнутый врасплох, Снежок задумывается и отвечает: «Предел собственного бытия». Здесь титан дарует сочувственную улыбку. «Тадтаэвоншиол». Тогда ты его нашел. Скиталец времен кивает. Он понимает, что

это место – его конец. Если здесь и есть смысл, придется искать его самому. Озеро его зрения, стремительно испаряясь по берегам, съезживается и обрамляет одну медленно разжимающуюся руку. На ладони покоится металлический диск, а на его поверхности отчеканено изображение старика с великолепным малышом, что едет на его плечах. Это что-то значит, Снежок уверен, и последний вопрос, посетивший его меркнувшие мысли:

«Куда нам отправиться дальше?» – Мэй как будто надулась от обиды. Исправившийся бес и мастер-зодчий как один пожимают

плечами, словно намекая, что ответ очевиден. Постепенно

Снежок понимает. Он не дышит. Потому, что весь нужный ему кислород находится в плаценте. Корчась в спазмах родовых путей своей матери Энн, забывая обо всем,

он двигается по беспросветному каналу и несет на себе дитя, зная, что неизбежно

вернется туда, откуда начал.

Загнан

Судить, вот что со мной без конца происходит ну наверно можно сказать я верю что у всех должна быть невиновная как там ее, иногда переживаю что начинаю все забывать, презумпция невиновности вот она должна быть у всех ну ладно не прямо у всех явно не в наших краях с некоторыми по-моему наоборот нужна презумпция виновности, взять хотя бы эту с полосатыми волосами Банная улица дом Святого Петра где-то там живет ее всегда видно на Журавлином Холме у «Суперсосиски» черная ну не совсем черная полукровка как я слышал у нее виновностей хватает за глаза крэк панель, говорят это все жестокий рынок – Конный Рынок ага, конечно в какой-то степени она в этом не виновата и если ты из неблагоприятной прослойки то статистически такой исход предначертан но мне все равно кажется и может я старомодный но мне все равно кажется что все должны нести ответственность за свое поведение очевидно иногда есть смягчающие обстоятельства все из нас делали то чего не хотели когда не было выбора хотя некоторые не говорю что они виноваты но они даже не стараются просто гниют пока не превращаются в старую жвачку на асфальте год за годом и в конце концов даже не замечаешь этот социальный осадок, с такими как они это естественный процесс и сейчас я не о достойных работающих людях, люди вроде девчонки из «Суперсосиски» неизбежная бактерия и если угодно кишечник улицы прочищает сам себя, образ жизни, рано или поздно улица от них избавляется о чем это я

а, презумпция невиновности да вспомнил должна применяться по-моему к представителям определенного не хочу говорить «класса» это не в моем вкусе и вообще это теперь такой многозначительный термин но определенного положения в городе скажем публичным фигурам которые сорок лет делали свое дело и всегда всегда стояли на стороне людей все благодаря лейбористским убеждениям, и я

никогда не был буржуазным социалистом или как это называется «шампанским социалистом» ну может разок социалистом с Mateus Rosé это я признаю но зато я никогда не боялся запустить руки в щекотливые дела по крайней мере так говорит жена нет ну это я шучу, а хочу сказать что я часть этого общества прожил здесь столько лет даже уже можно сказать местная достопримечательность всегда близок к народу и мне кажется люди, большинство, это уважают и на улице мне улыбаются кивают многие видели снимок в газете и мне кажется в целом меня ценят но конечно всегда найдется какой-нибудь

а какой приятный вечер не то чтобы летний но все лучше чем вчера Мэнди сейчас поддерживает закон и порядок пошла на вечеринку к друзьям из полиции то одно то другое в последнее время мы нечасто бываем дома вместе я все говорю что мы как парочка из «погодного домика» таких старых барометров с фигурками где выходит то один то другой как висел у нас в Шотландии когда я еще был бестолковым оглоедом хотя не сомневаюсь что в многоуважаемой оппозиции а то и в моей собственной партии кто-нибудь да спросит «почему был», но нет пока ее нет дома не хотелось шататься без дела в четырех стенах как сухая фасолина в банке а с тех пор как я ушел в отставку из управы сколько уже три года назад я часто сижу дома с Мэнди дел немного вот и подумал прогуляться по округе куда-нибудь заглянуть угоститься полпинтой а потом на боковую сколько воды утекло с тех пор как я выходил в пятницу вечером хотя когда-то не пропускал ни разу ну люди меняются старость не радость и конечно вечер пятницы в городе тоже давно уже не тот столько шестнадцатилетних оболтусов по полдюжины тематических пабов на каждой улице прямо как в речи Эноха Пауэлла [\[168\]](#) только реки полны рвоты а не крови впрочем если хочется то по А&Е насмотришься и на нее страна действительно в упадке я виню правительство и да в какой-то мере и сам народ должен нести ответственность за то что делает но

по-моему слишком легко говорить что во всем виновата управа чего люди не понимают так это что у нас связаны руки но в общем

в Меловом переулке умеренный ветер но на такой и внимания не обратишь налево или направо куда же куда же на холм или под холм левый поворот выведет меня в Боро, а это довольно ну не то чтобы опасно но в пятницу вечером когда все местные пабы или вымерли или забиты под завязку там время проводить не захочется что ж тогда решено Лошадиная Ярмарка, под холм, по пути наименьшего сопротивления

сразу через дорогу «Черный лев» с видом будто на ладан дышит я еще помню когда тут были сплошные байкеры не то чтобы угрожающая обстановка но под вечер тут было беспокойно из-за шума и прочего разве местные жители заслужили на свою голову шайку неменяемой пьяни режут моторами дерут глотки но в общем их уж нет давно нет и мы избавились от очередного препятствия на пути новой застройки в Замковом квартале и наверно можно сказать на пути новых людей благодаря которым здесь все изменится облагородится станет нормальным районом для жизни не то чтобы мы распродаем земли нет-нет это вложение в район не смиряемся с тем какой он есть а мечтаем о том каким может стать конечно это не единственная наша собственность но по ней нас узнают часть бренда если угодно в смысле древнейшая самая историческая часть города люди здесь жили много лет я слышал только в самых общих чертах если честно никогда не интересовался но когда узнаешь кое-что просто поражает взять хотя бы церковь Петра через дорогу ее впервые поставил король Оффа как часовню для своих сыновей в баронских хоромах на Лошадиной Ярмарке потом ее перестраивали норманны в одиннадцатом что ли веке и погодите это еще что

подросток что ли длинные каштановые волосы джинсы и кроссовки рубашка с FCUK висит мешком на этой тощей оглобле в дверях Святого Петра под портиком что-то собирает будто торопится это же спальник он ночует у церкви вот же крысеныш я уж поговорю с Мэнди как с ней увижусь о глядите-ка люди добрые поковылял

себе между клумб из калитки церкви будто так и надо прижал спальный к хилой груди как огромного ребенка без костей почапал по улице торопится он ага и не представляю куда ему

– Добрый вечер.

и ни слова, мимо юрк в Пиковый переулок Пайковый переулок как его окрестили в народе и если честно вполне понятно почему хотя сам я слово «пайки» [\[169\]](#) никогда не любил ведь это уничижительно но вот как он понесся на меня через Лошадиную Ярмарку я вдруг странно себя почувствовал, не совсем дежавю но кое-что вспомнил хотя сам не пойму что, кто же на меня так бежал через улицу или ах да вспомнил это было во сне я тогда еще пенял на подозрительные морепродукты когда же это уж года полтора два назад, во сне я был на Лошадиной Ярмарке но стояла ночь я не мог найти ни рубашку ни штаны так что пошел на улицу в трусах и майке их искать что ли уже не помню но знаю что в лунном свете улица выглядела по-другому только в каком лунном свете разве была луна в общем в сонном свете и все современные здания перемешались с теми которые давно снесли и стояла сырая жуткая атмосфера какая стояла в Боро когда мы только переехали и во сне я как раз стал нервничать и стесняться разгуливать в одном исподнем как увидел на другой стороне улицы старичка в трилби на лысой голове и он побежал, побежал через дорогу точно так же как этот мальчишка но только у него страсть какая только у него был с десяток рук а вместо лица каша из глаз и ртов и все кричали на меня кричали будто со злости а я и не знаю чем его так обозлил но проснулся весь в поту сердце колотилось и никого вокруг не было, это все из-за округи где кошмары в самих досках как старый пердеж под простыней я все-таки марксист до мозга костей и не верю в привидений

и в общем так обычно сам себя посреди ночи и пугаешь но только посмотрите вокруг в этот славный весенний вечерок и сами увидите во что тут можно все превратить вот церковь Петра с нежным светом на известняке а вот чуть дальше по дороге дом Хэзельриггов где гостил Кромвель перед тяжелым днем в Несби только подумать

просто чудо а выше по Пиковому переулку церковь Доддриджа люди все эти годы говорят как плохо жить в таком крошечном районе но ведь нет же хотя и не помешало бы заняться обустройством чтобы зажить совсем счастливо ну а что район маленький так и что с того я и сам человек буквально не большой для меня в самый раз, как говорил Бард как же там было «я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства» разве не

что-то в этом роде в общем но нет вечер замечательный я только рад что выбрался на прогулку и рад что не в майке и нижнем белье спору нет он изменился, район, изменился с тех пор как мы переехали а было это в шестьдесят восьмом как-то так, впрочем южная сторона Лошадиной Ярмарки она конечно все та же по крайней мере верхами внизу въехали ресторанчики с кебабами навynos и прочее но крыши все те же хотя на северной стороне совсем другая история здесь тебе и ibis и весь комплекс «Сол Централ» когда его только построили он был родом как из первого фильма про Бэтмена но теперь даже не знаю по вечерам в субботу-пятницу часто видишь как заселяются парочки которые как будто не больно-то знакомы пьяные мужики с молодыми развязными девушками а иногда и прыщавыми юнцами дело-то конечно не мое я-то думаю что у всех должна быть старая добрая презумпция невиновности но как подумаешь что быдло совокупляется прямо на месте где когда-то стояли баронские хоромы саксов а потом штаб «Барклейкард» то нехорошо становится, почти что кощунство, ну вот мы и пришли перекресток выше по холму прямо напротив Золотая улица и я уже вижу что ближе к центру города шатаются обычные оглоеды девчонки у которых из штанов торчит ползадницы а ведь еще и восьми часов нет

с другой стороны на Подковной улице вниз по холму ни души такое случайное затишье пешего и автомобильного движения когда все вдруг замолкает как на главной улице в вестернах перед дуэлью когда-то я еще мог прогуляться в ту сторону и провести приятный

вечерок, из пабов там был «Шекспир» ближе к этому концу и в семидесятых «Портовые огни» очередной байкерский притон всегда удивлялся откуда такое название если мы в самой глубине суши но наверное очередные мечты о море еще Терри Воган назвал Башню «Экспресс Лифтс» нортгемптонским маяком в общем «Портовые огни» здание так и стоит на месте но название сменили на «Веселого придурка», ну там большая буква W в виде рисунка якоря [\[170\]](#) но смысл прозрачный и слушайте я обеими руками за свободу слова но вот с этим не согласен не вижу никакой нужды в общем там меня за пинтой не застанешь у меня все-таки есть чувство собственного достоинства а кроме того вся улица на вид как будто скатилась

интересно сколько там еще простоит викторианский газгольдер мы поднимали несколько раз его вопрос пока я был в управе, многолетний глава управы и в итоге всегда приходится противопоставлять ностальгии практичность а если свести к сути даже не ностальгии а вещам и домам на которые всем насрать но раз кто-то там вырос на такой-то улице то ничего и не хотят менять а на мой взгляд это нереалистично ничто не остается прежним вечно, разрушается все дома люди всегда что-то меняется все мы в юности идеалисты если это можно назвать идеализмом но мы живем в реальном мире а в реальном мире каждый в конце концов становится «веселым придурком» и они сами во всем виноваты а не минутку там кто-то кажется я его знаю кто-то стоит ниже по холму на моей стороне дороги уверен уже где-то видел его лицо просто стоит и таращится на бильярдный зал через улицу черная кожанка вид совершенно бандитский ой он перевел взгляд он смотрит на холм на меня лучше отвернуться

может быть если пойти вверх по холму по Конному Рынку то найду в «Синицу в руке» или как теперь называется это местечко на Регентской площади за Овечьей улицей просто чтобы сказать потом с чистой совестью вот пропустил кружечку просто чтобы сказать вот у меня есть социальная жизнь хотя я дома совсем один но этот человек не буду оборачиваться вдруг он еще смотрит где-то я его

видел уверен такое лицо легко не забудешь большущий нос крючком глаза на разной высоте под разными углами ну честно не лицо а коллаж как лицо того старого привидения когда оно бросается на меня через дорогу кошмары почти каждую неделю может он тут где-то живет один из местного зверинца как тот тип который выгуливает хорьков хотя если подумать видел я его похоже по ящику в фильме или рекламе что-то в этом роде в ужасах наверно с такой-то физией но с другой стороны разве можно поверить чтобы в ящике оказался кто-нибудь из Боро вероятнее я запомнил лицо из работы Мэнди с полицией а знаете вечернее солнце, Конный Рынок у подножия, очень даже славный вид

ресторан итальянский какой-то на другой стороне шрифт в названии ужасный

черный бросок на мостовой только не инфаркт тень птицы какое облегчение

какая-то девица девушка довольно красивая какие глаза хиджаб сомалийка

какая досада, даже спустя два года после войны в Ираке против которой я очевидно был против резко высказывался в газете и да возможно уход из управы тем же годом кому-то мог показаться отставкой из принципа хотя я никогда об этом не говорил нет если честно это больше юридическая формальность чтобы можно было преследовать бизнес-интересы без нарушения законодательства и я не вижу никаких противоречий в том что заклятый противник войны хотел поехать в Басру компанию мы назвали «Англиком» в любом случае это не при чем, как я уже тогда сказал это уже история что сделано то сделано да я выступал против войны но раз она началась это уже реальность остается только жить с ней и по-моему заключить договор ради восстановления Ирака это в гуманитарном духе если подумать и я не понимаю, не понимаю, почему когда делят такой большой пирог почему все контракты должны заграбастать всякие «Халлибертоны» что плохого в участии британских компаний мы с Колином он мой партнер точнее бизнес-

партнер теперь надо следить за языком не хочу чтобы кто-то что-то подумал, мы с Колином уже были готовы лететь в Басру, в 2004-м, в смысле нам сказали что аэропорт в безопасности все уже кончено по крайней мере на севере, был тот человек источник всех сообщений об оружии массового уничтожения как же его звали и его собирались посадить на правление говорили все шито-крыто, и мы забронировали рейс объявили в «Хроникл энд Эхо» и вдруг пошло-поехало подрядчиков брали в заложники через день взрывали машины в Интернете опубликовали видео с обезглавливанием мы тут же все отменили ну объявили что отложили надеюсь не знаю что будет спад в насилии что-нибудь такое но не бывать этому вы посмотрите на Ближний Восток там безнадежно там пиздец там

твою мать как тяжело стало забираться надо бы записаться в спортивный зал да только

улица Марии сразу за ibis задние разгрузочные площадки тут однажды был пожар

закат в окнах многоквартирников нашему бизнесу в Ираке не суждено было преуспеть

иногда, иногда я задумываюсь а что если все в жизни расписано заранее как в городском планировании, кстати хороший пример когда все уже решено скажем для района или квартала но местные жильцы и представления не имеют что их ждет в будущем, проводили конечно общественные слушания только никто о них не слышал они все думают что имеют право голоса в жизни думают их решения что-то значат но нет все уже решено с самого начала будет у них работа или нет где они будут жить в какую школу пойдут дети и кем вырастут в смысле я говорю очевидно о бедных слоях но что если это касается всех и все распланировано с самого старта и сколько угодно можно думать что ты хозяин своей судьбы и свободен принимать решения это только иллюзия а в реальности мы делаем только тот выбор который позволено который указан в документе по планированию и никакого действенного механизма слушаний есть ли у нас вообще свобода выбора например я сделал

сознательный выбор не идти налево по Меловому переулку не идти вверх по Золотой улице в центр но иногда кажется что я принял решение уже после того как начал что-то делать будто выбор всегда постприори всегда оправдание того что и так должно было случиться и когда оглядываешься назад многое из того что ты сделал и о чем ну не то чтобы жалеешь но скажем многие из ошибок, ошибок в суждении когда искренне пытался поступить правильно, но когда оглядываешься назад кажется что все было против тебя что искушения слишком велики и им бы уступил любой что надо быть буквально святым или ангелом и кажется будто что-то тебя подталкивает вертит тобой как хочет и если так на это взглянуть разве можно кого-то в чем-то винить

хотя

хотя очевидно есть педофилы серийные убийцы военные преступники очевидно есть исключения а то с этим предопределением далеко можно зайти и если никто ни в чем не виноват если все делают только то на что их толкает мир только выполняют приказы тогда как же мораль то есть придется сказать, что Майра Хиндли Адольф Гитлер Фред Уэст атака 7/7 все невиновны придется их простить придется распрощаться с самой идеей греха наказания не то чтобы я особенно религиозный вовсе нет но ведь в итоге это как сказать что нет правильных поступков и неправильных а это просто неправильно это поперек здравого смысла иначе бы не было оснований для закона для работы Мэнди с полицией ни у чего нет основания и как можно судить человека если никому и ничего нельзя предъявить и, и, и есть другая сторона

если нет зла то как может быть добро как может быть добродетель или добродетельный поступок если все что мы делаем предопределено ведь точно так же как нельзя осуждать виновного нельзя будет даже узнать святого приличного человека не получится вознаградить за выдающуюся работу медалью или, скажем, должностью олдермена [\[171\]](#), я это только для примера но хочу сказать придется же забыть про мать Терезу Иисуса Ганди принцессу

Ди, не то чтобы я вообще был о ней высокого мнения если честно но многие да, не будет героев героинь не будет злодеев и что нам тогда останется мы никак не сможем сформировать общество не представляю как тогда придать жизни какой-то порядок какой-то смысл как понять хороший ли ты человек, нет нет бред должна быть свобода воли иначе это просто как книга как пантомима весь мир театр а люди в нем актеры, тут или свобода воли или свобода Вильяма а неплохой каламбур надо бы запомнить и упомянуть в своей колонке но нет как я всегда говорил каждый несет ответственность за свои действия и поступки хотя в определенных обстоятельствах, я не говорю что моих, могут быть достоверные смягчающие причины почему они решили делать так а не иначе свобода воли такой каверзный вопрос

Сады Катерины сразу через четырехрядную дорогу их называли Сады Покоя когда на Королевской улице еще стояла «Митра» сразу через дорогу от «Критериона» там еще была статуя Женщины с рыбой с такими тяжелыми каменными титьками словно эротический идол у входа в сад кажется потом ей кто-то снес голову так что ее перенесли в Делапре а девушки, проститутки, их или возили из таксопарка по соседству с «Митрой» в многоквартирник на Банной улице или они делали свои дела по-быстрому в кустах а полиция смотрела сквозь пальцы на мастурбацию впрочем теперь-то панель переехала ниже на дорогу Святого Андрея между вокзалом и «Суперсосиской», Куорн-уэй, тот конец где я видел девицу с полосатыми волосами а в остальном Боро остались теми же что строили мы бетонные отбойники на въезды с Лошадиной Ярмарки до самого Семилонга чтобы отвадить придорожных проституток что не строили никакой разницы только скорым и пожарным труднее заехать в район так что если будет пожар скажем в доме Святой Катерины куда ссылают всех этих отбросов всю шпану из клиник ну пожарный департамент признал дом аварийным а людей туда все так и селят так что помоги Господь новому председателю управы если вспыхнет пламя а знаете я иногда скучаю по этому посту но

мне и без него хорошо без стресса без волнений что кто-нибудь о чем-нибудь узнает, столько всего на уме и очевидно жители многоквартирников о них тоже переживаешь ведь это ужас если все повторится на том же месте где был Великий пожар в 1670-х или когда там, но с другой стороны тогда можно наконец осуществить множество запланированных изменений так что нет худа без добра хотя конечно этого никто не желает просто если вдруг

конечно этот вопрос насчет отсутствия свободы воли не так прост ведь только то что нам не нравится лишиться того что считается моральными ценностями, еще не значит что это неправда

теперь слева от меня сады позади дома Петра на Банной улице такие серые и затоптанные мусор все как обычно удручающий вид а через дорогу в начале Серебряной улицы торчат отель «Саксонский» и Дом Рва с фестончатыми кружевами и пастельными тонами мне напоминает замок в аквариуме хотя и сам не пойму почему, но все же выглядит лучше чем дом Святого Петра кажется я даже помню когда построили «Саксонский» в 1970-х а многоквартирник на Банной улице он будет 1920-х 1930-х и это видно кирпичи с трещинами и сколами прорастают клочки желтой травы конечно когда их строили как и остальные многоквартирники по Боро никто и не думал что они столько простоят это была временная мера но раз селить людей больше негде делать нечего проживут там до смерти или пока прямо на них не рухнут дома а интересно что было на Конном Рынке до многоквартирников пожалуй намек в самом названии коннозаводчики правильно же или вроде я слышал тут работали мясники кажется у Лужка Форта когда-то стояла живодерня так что может быть о боже напомнил себе про сон про другой сон только вчера видел о боже

я был где же я был, я снова был в майке и трусах и я знаю где во сне я почему-то был в подвале в нортгемптонском подвале и кажется на Уоткинской Террасе Колвинской дороге где-то там у парка «Ипподром» но атмосфера там висела как в старину в Боро и, теперь я помню, сперва во сне я просто шел по широкой

травянистой пустоши с затопленными раскопками огромными заброшенными железнодорожными мостами и единственным краснокирпичным домом посреди глуши под тяжелым небом примерно как тот одинокий дом внизу улицы Алого Колодца но более странный я уверен что это место мне уже снилось может быть в детстве хотя трудно сказать я как-то попал в этот дом сперва со мной вроде кто-то был но я его потерял а единственным способом опять его найти казалось пройти через какую-то такую гранитную душевую с выключенным светом где стояло множество туалетов без нормальных кабинок и у всех либо не было сидушки либо переливалось из-за краев по всему полу а я все шел спустился по лестнице, каменной лестнице, а потом свернул не туда и оказался в этих как бы подвалах и было светло как от электрического света хотя не припоминаю лампочек или фонарей а на полу голом каменном полу лежали солома и опилки в чем-то ужасном в какой-то крови дерьме не поймешь то ли звериных то ли человеческих и по углам всякие рыбы потроха и шкуры и куски мяса все гнилое и я видимо перешел из одной части подвала в другую искал выход и вдруг навстречу тот сумасшедший поэт который всегда пьяный Бенедикт Перрит он давным-давно живет в Боро его все знают хотя сам я с ним никаких дел не имел он стоит там и поджидает меня в этом подвале где воняет перепуганными животными как на бойне я нервничаю я объясняю что заблудился и спрашиваю как оттуда выбраться а он по-своему пронзительно хохочет и говорит что пытается как раз забраться еще глубже и я просыпаюсь а старое сердечко так и заходится и я знаю вроде бы ничего особенного но атмосфера там была та самая что висит в Боро и у меня от этого всегда душа не на месте она я прямо не знаю древняя, воняет, это не цивилизация а что-то старше разрушающиеся здания люди прошлое это как тварь Франкенштейна сшитая из дохлых кусков социальной инженерии это чудовище из другого века отвратительное в своем зловещем укоризненном молчании я чувствую что я как-то обидел район он меня не любит только не понимаю за что снова и снова

просыпаюсь в холодном поту а вот мы и на Мэйорхолд Мэрралд как говорят старожилы, как будто недоразвитые

взгляд на Банную улицу и через долину с рельсами когда гаснет свет

в другую сторону расширенная Серебряная улица неузнаваемая и вот наглая многоэтажная парковка под которой где-то остались Медвежья улица переулок Бычьей Головы и бог еще знает что выглядывает на мрачный узел дорожной развязки со светофорами и красками что только ярче в наступающих сумерках почти волшебно забавно если подумать тут-то и началась цивилизация в Нортгемптоне когда Боро еще были всем городом и как мне говорили здесь находилась городская площадь с первой ратушей Гильхальдой наверху Башенной улицы которая была верхом Алого Колодца пока в конце шестидесятых не построили Бомонт-корт и Клэрмонт-корт и вот

вот и они

высотки два гигантских пальца их как будто задрали в жесте мол идите в жопу

но только кто кого шлет мы их или они нас даже сам не понимаю кого имею в виду

тут и там горит окно свет через дешевые занавески цветные квадраты на темных блоках еще темнее на фоне остатков дня над станцией на тускнеющем западе и вершины высоких зданий последними греются в лучах солнца так что еще можно прочитать лежащую на боку Н в НЬЮЛАЙФ надписи на стене сверху вниз лично мне казалось это очень красиво, но нет, когда я был главой управы кто-то заявил что они только глаза мозолят два уродства которые вообще не стоило строить и предложил их снести но я сказал нет так дело не пойдет во-первых социальное жилье в Боро люди просто не понимают что эти башни на вес золота не думают сколько там умещается людей и куда велите отправить всех жильцов если все снести будто кто-то построит вам новое жилье мечтайте-мечтайте жизнь не так устроена вот вам башни и радуйтесь а если

их не будет то не будет ничего, но нет, я сказал что нужно их освежить приукрасить чтобы можно было жить и ладно вы спросите а откуда деньги но я вот что предложил я предложил продать многоквартирники за гроши одной знакомой мне заинтересованной жилищной ассоциации так управа хотя бы сэкономила на сносе не говоря уже о геморрое переселения и вот мы подготовили предложение и откликнулась «Бедфорд Хаусинг» взяла по пятьдесят пенсов за штуку знаю и тогда и сейчас были и есть сомневающиеся но они же не понимают как выиграли местные если только вспомнить об альтернативе нешуточно выиграли и ну ладно это было как раз в 2003-м когда я ушел из управы после высказываний против ситуации в Ираке не то чтобы это как-то связано скорее деятельность в управе мешала мне скажем так заниматься другими проектами в смысле в скольких компаниях я секретарь или директор десять с чем-то так что только прилично было уйти иначе бы казалось будто у меня корыстные интересы а сами знаете какое нынче циничное мнение у публики по отношению к любому политику, но нет, я ушел, чтобы заняться «Англикомом» в Басре вместе с Колином хотя очевидно ничего не вышло но еще после ухода я смог свободно занять должность в совете директоров «Бедфорд Хаусинг» ну а что, если кто-то на этом всем заработает тогда скажите на милость почему бы не житель Боро уж конечно это лучше чем какой-нибудь чужак и вообще уже все кончено, это уже история, а другие варианты были только хуже я все обговорил с Мэнди и не понимаю почему вообще должен оправдываться

по тротуару на западной стороне Мэйорхолд в сторону перекрестков где попаду к «Дорожному рабочему» в два-три приема если повезет со светофорами как играть вживую во «Фроггера» а вот слева и Башенная улица и здания НЬЮЛАЙФ а за ними еще можно разглядеть школу Ручейного переулка давным-давно я там преподавал еще когда нельзя было прожить на депутатские заработки и я хочу сказать дети из некоторых семей им было уже не помочь иногда если честно у меня кровь стыла в жилах тогда-то

наверно я впервые увидел как идут жизни этих людей если они вообще куда-то идут и оглядываясь назад наверно тогда-то меня стала пугать округа передергивало время от времени а что там творится за тюлевыми шторами честно вы бы послушали некоторые истории хотя в целом дети славные мне нравились они меня уважали кажется у меня имелась репутация приличного парня приличного учителя вот кем я был кем себя видел и тогда кажется я был счастлив не знаю, можно ли так сказать, все-таки сегодня у меня много привилегий но все равно можно сказать что именно тогда я был счастлив тогда я наверно больше был собой и все было проще все было прямодушно а не такой моральный лабиринт как сейчас вот кажется шла передача по телевизору или радио где Кэти Стивенс Юсуфа Ислама или как его там теперь зовут спросили поддерживает лично он фетву против Салмана Рушди и кажется он сказал что нет но в случае чего все равно на него настучит аятолле как там его Хомейни но в общем когда ты учитель то чувствуешь удовлетворение будто что-то меняешь в мире как же это объяснить будто чувствуешь что как бы то ни было ты хороший человек это тебе не политика, политика это полная противоположность полная противоположность жизни когда тебе никто не верит думают о тебе самое худшее ненавидят все ненавидят тебя до печенок и оскорбляют личные оскорбления чего же удивительного что они задевают влияют на самооценку я не про себя лично но просто про публичные фигуры, политиков в общем, это просто обидно кровь так и кипит и замечаешь что бормочешь себе под нос сводишь воображаемые счета как же это выматывает и

перейти улицу Святого Андрея чтобы потом перейти Широкою улицу сразу вспоминается Роман Томпсон который до недавнего времени кажется жил где-то здесь я на него посмотрелся в его времена в профсоюзе когда мы были на одной стороне ну номинально, и еще больше когда я работал в управе а он в своей идиотской Ассоциации жильцов он однажды назвал меня придурком прямо в лицо и можете поверить веселым я от этого не стал сраные

бунтари со сраной любовью рубить с плеча и ура-социалистическим настроем ни черта не видят что социализм в который они верят уже мертв они анахронизмы еще в 70-х Маргарет Тэтчер разгромила Национальный фронт и мы вылетели из кабмина чуть ли не на двадцать лет мораль упала сплошные расколы и розни в партии а во всем виноваты придурки вроде Томпсона радикалы застряли в своих 60-х и отказываются признать что времена меняются и что если Партия труда хочет избираться то тоже должна меняться и да я сам не большой поклонник Тони Блэра теперь это можно сказать уверенно но как ни посмотри а он вернул нас в правительство он модернизировал партию он заучил уроки которые преподала Тэтчер а пересмотреть ценности лейбористов было жизненно необходимо раз у тори имелась формула успеха нужно реально смотреть на вещи какой толк в идеалистической Нетландии после какой-то там революции нет надо работать с тем что есть подстраиваться к новому мышлению новому образу действий а Роман Томпсон назвал меня придурком Роман Томпсон, такие люди, пещерные марксисты, они просто не понимают риалполитик компромиссы и переговоры на которые нужно идти они далеки от этой презумпции невинности всегда готовы поверить в самое худшее о тебе придурок, да сам он придурок ебанный и вот они вот опять эти оскорбления лучше выкинуть из головы, только нагрузка на сердце, да и кто он вообще такой он

перебежать через Широкую улицу на зеленый и вот на углу «Дорожный строитель» белый в сгущающейся темени фасад закруглен высокие матовые окна за забором в трех-четыре метрах над улицей как нос как корабль лайнер севший на мель в самой глубине суши куда его заманили ложный свет Башни «Экспресс Лифтс» и пустые обещания «Портовых огней» когда-то на это место были большие надежды а всякие благодетельные христиане которые основали его как центр для молодежи говорили что он «построит дорогу» дорогу жизни для неблагополучных подростков я хочу сказать намерение-то благое но как я говорил отстало от жизни в

наши дни дорогу не то что не построишь а дай бог вообще из дома живым выйдешь но зато вот на балансе тяжким грузом повисло здание и нет никаких надежд что оно принесет прибыль мы уже все перепробовали приглашали группы с громкими именами стендап-комиков но с такой-то аудиторией а тут кто одни студенты они много не потратят даже если каждый вечер собираются аншлаги ничего не выйдет как я слышал ему осталось полгода ну год твою мать опять холм

в таком возрасте не знаешь никогда не знаешь никогда не ожидаешь когда тебя настигнет

не здесь ли был переулочек Бычьей Головы крутой подъем на Овечью улицу

сразу через дорогу многоэтажная парковка с мертвыми глазницами между колонн тут и там клочки жидкой растительности жалкие газоны словно бесполезная передышка от вездесущего цемента но трава уже полудохлая ничего не закрывает и делает только хуже как стринги со стразами на уродливой стриптизерше

когда выходишь наверх видно автовокзал подсчитали по голосованию что это самое уродливое здание в стране с пустыми стенами над воротами которые угрожающе таращатся на брутальную глыбу парковки через смешной заросший пустырь где когда-то стоял форт Армии спасения

словно видят соперника в каком-то соревновании жополиций впрочем если подумать из-за многоквартирников парковки автовокзала и прочих неприглядных громадин которые тут скопились ничего удивительного что людям кажется будто конкретно их за что-то наказывают невозможно не спросить себя что если Роман Томпсон и его орава в чем-то правы хотя бы здесь, в этом единственном вопросе очевидно а не во всем остальном особенно после того как он меня назвал что он мне наговорил и вот зияет Женский переулочек в сторону Маунтс с одной стороны задница автовокзала с другой суд есть в его архитектурном стиле что-то от подвесной клетки для казни и чувствуется что все это место

проклято как ни посмотри с этого конца только пустыри с травой если спросите меня самое страшное впечатление не от старых домов с привидениями а от голой земли

налево на Овечью улицу и привидения на самом деле не такие как в кино или историях про призраков а во многом как раз наоборот дело не в таинственном присутствии а в отсутствии, не в том что прошлое задерживается с нами а в том что нет

помнится в Ручейной школе к Рождеству иногда читал один-два рассказа про привидений ну знаете что-то традиционное детям нравилось ничего неподобающего я читал «Рождественскую историю» а не «Сигнальщика», какое-нибудь «Кентервильское привидение» но не «Похищенные сердца», английская история о призраках это чудесная вещь лучше всего помогает преподавать английский и какое удовольствие уже только от того как мастера жанра задают тон и выстраивают события большую часть текста они как будто специально посвящают допустимости ситуации и многие из них например М. Р. Джеймс они прочно основывали рассказы на реальных местах ради этого самого как же ненавижу когда слова вылетают из головы уже начинаю волноваться правдоподобия и в призрачных байках всегда есть очень интересный моральный аспект как вот у Скруджа духи на самом деле силы морали и он совершил то чем заслужил их визит хотя на ум приходит и другой тип рассказа, намного страшнее, когда призраки осаждают человека потому что он не в том месте не в то время где жертва невинная и даже не знает чем все это заслужила наверное главный ужас в таких рассказах в том что мир где мы живем уютный и предсказуемый может внезапно перемениться и впустить то чего мы не понимаем и не знаем как прогнать вот подспудный страх, что все не так как нам кажется уже почти стемнело сейчас загорятся фонари

в этом конце осязаемое отсутствие только накапливается, Овечья улица, и вот двор где как говорили кажется восемьсот лет простоял бук пока не зачах по естественным причинам только это эвфемизм все мы прекрасно знаем кто его отравил кто-то с верхов одного из

предприятий рядом кто хотел расширить стоянку но очевидно ничего тут не попишешь во-первых как докажешь а во-вторых как подумаешь о шумихе я хочу сказать ведь дерево уже не вернуть нет что сделано то сделано лучше смириться и жить дальше вот это зрелый подход практический это политика нравится не нравится и кулаками не машут когда поезд ушел сразу через улицу китайский ресторан простоял уже многие годы сменял хозяев конечно и названия кажется мы с Мэнди раз или два наведывались сюда перед тем как добились позиции выше и нет кормят там очень недурно насколько я помню кажется я брал омара

а вот круглая церковь Гроба Господня которая выпирает в сумерки словно беременная виной и тайнами разжиревшая от воспоминаний ничего удивительного

раньше в ней молились рыцари-тамплиеры ведь говорят в этих краях после Крестовых походов их здесь было до черта вот бы кто-нибудь написал роман какой-нибудь «Код Да Винчи» не сомневаюсь что Нортгемптон за годы насмотрелся на религиозные события если не сказать по-нынешнему экстремизм здесь во времена Кромвеля пробавлялись всякие группировки чудил левеллеры и рантеры и кто там еще город их притягивает как магнит вот еще Филип Доддридж и Томас а Беккет уносил ноги посреди ночи как я всегда говорю религиозной истории полно но нормальной ее никак не назовешь то фанатики то какие-то видения и явления а чуть дальше на Регентской площади вообще жгли ведьм я вроде бы помню как мне рассказывали

теперь на ту сторону улицы где церковь пока на дороге никого нет хотя на самой площади машины как обычно набились перед светофорами

вот забавно

смотришь от круглой церкви на перекресток впереди и видишь какую-то цельность простоту прошлого а потом на Регентскую площадь а там настоящее сплошные машины светофоры меняют

цвета все это больше похоже будто по всей комнате разбросали мозаику

и подожгли

настоящее раздолбали и подожгли я все думаю об Ираке чертовски рад что мы отменили ту поездку в смысле Ирак очевидный пример но это же на самом деле повсюду, фрагментация и ткань мира, она расползается это повсюду о боже только представить как тебя ставят на колени и срубают голову перед камерой просто минуточку вот в этом конце Овечьей улицы были северные ворота и тут насаживали на пики отрубленные головы грабителей-данов которых мы брали в плен тогда камер не было но головы на пиках это же все одно и то же это средневековый эквивалент это зрелище чтобы отпугнуть врага не то чтобы если бы я поехал в Басру то стал бы врагом я уже говорил что для нас это была возможность помочь разоренной войной стране и ее народу а если бы «Англиком» при этом заработал то еще лучше что же тут плохого я не враг но тогда можно сказать что это наивно что жизнь по-другому устроена важно то как нас видят они а не мы сами себя, в смысле ведь есть поговорка выбирай врагов осторожней но у тебя нет права голоса в том как враги выбирают тебя как вот с ебаным Романом ебаным Томпсоном который назвал меня придурком будто я какой-то злодей а я не злодей я последний герой противостоящий злодеям и да иногда надо идти на компромиссы но есть люди и хуже меня намного хуже я заслуживаю уважения заслуживаю доверия и если меня кто-то хочет обвинить то где тогда моя презумпция и Овечья улица выходит на размазанную палитру площади и вот мы и у «Синицы в руке»

на Регентской площади свет пятничная атмосфера будто площадь ждет какой-то не знаю какой-то гадости может дело во мне, в моем возрасте, за жизнь чего только не наслушаешься что же удивительного что в центре ночью ну любой занервничает ну хорошо не занервничает но скажем так будет настоroje а я не большой человек но ведь что поделать ведь надо выбираться время

от времени из дома и заходить например в паб пропустить чуть-чуть доказать себе, что есть еще порох что тебя не запугали что ты не чувствуешь ничего особенного ведь когда сам начинаешь в это верить тогда ты и проиграл, дверь медная и стеклянная, с другой стороны тюль точно так же мог выглядеть и в 1950-х издает престарелый скрипучий визг скорее хрип петель когда я толкаю

жар тел стеной вонь сигарет и дух лагеря не тот теплый запах пива что я помню мягкий звуковой ковер звона бормотания хихиканья девиц писклявых глиссандо от игрового автомата БВИП БВИП БВИП БВИП низкий потолок придавливает запахи и звуки, людей не так уж много так всего лишь кажется после пустой улицы но вечер только начинается сомневаюсь что я здесь кого-то знаю итак, пинту и домой, пинту биттера торчу у стойки и пытаюсь поймать глаза бармена ах блять влез локтем в лужу ничего протру когда вернусь к себе он что нарочно меня игнорирует он там что, нет, нет, просто обсуживает кого-то дальше по стойке и минутку этот мужичок за столиком в углу уверен что я его откуда-то знаю это же о блять он увидел как я на него смотрю даже изобразил приветствие он меня очевидно знает я волей-неволей вынужден, обязан улыбнуться в ответ но все еще не помню кто это только уверен что видел его недавно но вдруг он окажется кем-то на кого стоит обращать внимание каким-то знакомым Мэнди но как же он одет сложно поверить что у нее есть такие ох он поднимает пустой стакан хочет выпить и не успеваю я сообразить как уже кивнул но это же значит что придется сидеть с ним притворяться что я его помню и о боже это же Бенедикт Перрит но нет это же безумие какое-то это

это совпадение ничего странного особенно если разбираешься в математике не то чтобы

БВИП БВИП БВИП БВИП

не то чтобы это невообразимо нам снятся самые разные люди а потом мы их встречаем нет я хочу сказать я больше раздражен что волей-неволей обязан с ним выпить ах если бы я на него не

посмотрел как на давнего друга, просто привычка с работы после стольких лет, если бы я узнал его пораньше но ой вот и бармен

– Будь добр две пинты биттера, приятель?

почему я назвал его приятелем какой он мне приятель ну ладно всего лишь пинта управлюсь на худой конец за четверть часа а потом скажу что у меня дела четверть часа что тут сложного, но минутку что это он делает будто какую-то пантомиму разыгрывает показывает на меня потом отворачивается к пустому стулу рядом и прикрывает рот ладонью так будто кому-то что-то говорит а теперь смеется да что это с ним будто шутит и делает вид что я понимаю его шутки слышу через всю комнату что он ржет как конь БВИП БВИП А-ха-ха-ха! БВИП БВИП он что издевается что происходит о а вот и бармен с кружками

– Спасибо, приятель.

ар-р-р господи кто меня за язык тянет просто расплатись, пятерку, сдачу пусть оставит это мелочь а потом уворачивайся с пинтой в каждой руке не терплю этого весь на нервах не видишь ног и куда ступаешь и вокруг столько людей как бамперы в пинболе и так и знаешь что обольешь себя или того хуже кого-нибудь еще а потом из тебя выбьют дурь это как заводить корабль в док ну или в моем случае ботик который лавирует между громадами грузовых танкеров и вы просто посмотрите на него просто гляньте как он кривляется гогочет и прикидывается будто шепчется обо мне с невидимой публикой в стороне он всегда что ли такой ну во что я влез ну что за говно эх а теперь уже поздно

– Здравствуй, Бенедикт. Как поживаешь? Я принес тебе пинту биттера, надеюсь, устроит.

конечно устроит перед кем ты бисер мечешь это же он клянчит у тебя выпивку вот пусть он и лебезит необязательно всегда производить хорошее впечатление по крайней мере не с такими как он ведь он

– Госдин депутат, да ты ж ясновидящий. А-ха-ха. Читаешь мои мысли.

о черт возьми надеюсь что нет а то если прочту твои мысли то М. Р. Джеймс будет нервно курить в сторонке и я неделями спать не смогу я даже

– О нет. Нет, какой там ясновидящий. А последние три года я даже не депутат с тех пор, как ушел в отставку. Это, выходит, было в 2003 году. Когда чертов Тони Блэр втянул нас в Ирак.

ну технически это правда я же не сказал что эти два факта как-то связаны а значит я не

– Ах-ха-ха-ха! Ищо какой ясновидящий! Фредди grit, что у ты дара нет, но лично я верю в твои сверхъестественные способности. Я верующий, госдин депутат. А-ха-ха-ха. Твое здоровье!

– Но я не...

охренеть вы посмотрите как он хлещет как ходит кадык будто у него там поршень и кто еще такой Фредди и этот акцент «ищо» раньше его все время было слышно в основном от старушек настоящий сильный нортгемптонский акцент я и забыл как мы над ним посмеивались когда переехали как мы с Мэнди его пародировали а потом уже не обращаешь внимания и глазом не успеешь моргнуть а он раз и пропадает когда я вообще в последний раз

– Ну и как, ты таки выбрался из того подвала? А-ха-ха-ха.

что еще за подвал о чем это он что

– Какой подвал? Прости, но я не понимаю.

ну вот опять извиняешься, за что тебе извиняться это он несет чушь он

– Подвал во сне. А-ха-ха-ха! Те там не оч-то понравилось.

под

но

что что он что о нет о боже нет это нет это же БВИП БВИП БВИП БВИП нет

– Что ты име... откуда ты знаешь...

это что сон, прямо сейчас, тот же самый сон я что не проснулся или

– А-ха-ха! Там ищо было прям как в лавке мово дедули на Конном Рынке. Как же его... да. Да, точно. Шериф. А-ха-ха. Сидел в евойной тележке на Мэралд.

но откуда он может знать о минутку я что-то пропустил или что он под конец на полуслове просто отвернулся и посмотрел в сторону он что меня презирает или я даже не знаю, но то что он говорил сон откуда он может знать о моем сне а я о его как ни крути ничего не сходится все устроено не так это явно какой-то сбой не знаю, математики, совпадение что у двух людей в одну и ту же ночь был один и тот же сон а потом они встретились на следующий день признаю шансы фантастически малы но это не невозможно это же не значит что минуточку так он опять поворачивается ко мне

– Фредди грит, те надо бы сменить трусы. Я рассказывал ему, во что ты был одет, и он грит, что видел тя в том же самом белье. А-ха-ха.

он

он ох блять он разговаривает с пустым местом с другой стороны мне же кто-то говорил я теперь вспомнил мне же кто-то говорил что его за этим видели в каком-то другом пабе, кажется в «Рыбе», похоже это у него от выпивки хотя еще и поэзия разве это не он постоянно твердил про Джона Клэра а все знают как кончил Джон Клэр откуда он знает про мой сон про трусы мне это совсем не нравится и как я вообще втянулся в этот разговор за что мне это и

– Кто такой Фредди? Я не...

ржет закинув голову вижу все поры большущего носа тут нет ничего смешного, это опять оно опять чертова атмосфера Боро БВИП БВИП БВИП БВИП они тут все с ума посходили что ли они тут все выродились или с ума посходили или

– Фредди Аллен! А-ха-ха! Старик Фредди Аллен! Грит, видал, как ты ходишь-бродишь по Лошадиной Ярмарке среди ночи в одних майке да трусах. А-ха-ха. Грит, бросился на тя чрез дорогу, чтоб шугануть шутики ради. По его словам, ты чуть в штаны не наделал. Вот че и советует сменить. А-ха-ха-ха-ха!

отхлебываю пиво пытаюсь заглушить его этого не может быть я ослышался все из-за шума вокруг я не верю своим ушам может встать и уйти сказать что мне дурно это же правда о господи хочу сбежать но он меня зажал в углу бара между мной и дверями слишком много стульев и столов и столько людей вечер пятницы все уже забито не знаю что делать не знаю что сказать слишком много всего БВИП БВИП БВИП БВИП и уголком глаза о боже что это нет ничего дым сигарет висит колыхающимся летучим ковром из серой ваты у стены а я-то думал что это не знаю на наш стол нахлынула волна какого-то пуха размером с овцу но это всего лишь дым я просто потрясен о прошу пусть он перестанет смеяться это же

– А-ха-ха-ха! Ты видал? Он вскочил как ужаленный. Злится, потому что ток что ввалились какие-то спиногрызы.

что еще о Иисусе как отсюда выбраться он меня зажал в этом углу и он что он теперь делает уже не смотрит на стул рядом и не смотрит на меня а хихикает в дым ох блять сколько тут еще людей которых я не вижу

– Вам сюда нельзя! Вы несовершеннолетние! А если хозяин попросит ваши свидетельства о смерти? А-ха-ха-ха!

Хохочет до отвала головы кричит в густой воздух никто и ухом не поведет они что не слышат что происходит наверно уже привыкли он завсегда так или не слышат из-за БВИП БВИП БВИП БВИП сам не понимаю что происходит и на миг я глянул туда куда уставился он но там ничего нет просто чья-то задница и сплошной дым и я снова смотрю на него и все из-за чего Боро пробирают до самых костей воплотилось в нем в его голосе его смехе его глазах непонятно смешно ему или грустно я не могу от него оторваться я просто

– Я ничего не понимаю. Я вас всех не понимаю.

сам себя послушай «вас всех» тут же никого нет кроме него ты теперь такой же умалишенный как он о боже когда он сказал про Лошадиную Ярмарку, как меня шуганули, он же не имел в виду нет это просто бред нет люди не могут видеть чужие сны я не хочу я не могу я просто не должен сейчас об этом думать Бенедикт Перрит

посмотрите на него выгибает шею и хохочет прижимая ладонь к уху будто подслушивает или может

– Я их не слышу. Даже когда они вплотную, слышно еле-еле, замечал? А-ха-ха.

только

только сейчас мне пришло в голову на что это похоже это же как истории о привидениях но в реальной жизни БВИП БВИП БВИП БВИП в реальной жизни нет никаких привидений просто сходят с ума люди, и я хочу сказать это само по себе ужасно, только сумасшедшие и больше нет никого ничего и никаких призраков ничего кроме

отсутствия

обвиняющего отсутствия, как будто

выпустите о Иисусе выпустите меня отсюда из этого паба из этого угла из этой злобной ненормальной ночи как все могло пойти так неправильно так ужасно и так быстро я проглатываю пинту едва не поперхнулся а рядом он закатился смехом горло как лифт застрявший между этажами дергается вверх-вниз зачем я вообще сюда пришел все так будто у меня не было выбора не было выхода а рядом, ну что там теперь, он тыкает через висящий дым на дверь он

– И пошли-и! А-ха-ха-ха! Вылетели в дверь, как пепел в трубу.

но дверь не шелохнулась дверь не открылась что он видит что он там видит в шизофреническом припадке чего не вижу я допил пинту и стукнул пустой кружкой по столу

– Бенедикт, я...

– А-ха-ха! Я знаю! Ищешь выход, но выхода нет. Все мы застряли тут без шансов. Кровь на соломе и рыбы кишки в углу. А я все пытаюсь пробраться глубже. А-ха-ха-ха!

встать я ни слова не могу вымолвить даже не могу попрощаться что тут сказать, в такой ситуации, как будто есть правильные слова как будто может быть другая такая ситуация продираюсь вокруг стола твердый угол давит в бедро негде подвинуться никакого пространства для маневра сколько людей набилось а я даже не

видел как они заходили «Простите... можно пройти, да, спасибо... простите... извини, приятель» хватит это повторять хватит звать всех приятелями какие они тебе приятели и БВИП БВИП БВИП БВИП и за спиной я слышу его смех ржание как ломовой конь в горящем сарае я спотыкаюсь о чьи-то ноги и в акустическом пятне всплывает слово «придурак» но я уже наконец-таки я у дверей толкаю твердое стекло за бесполезной кружевной шторкой и на свежий воздух холодно чисто и огромно воздух на Регентской площади и в меня бьется ночь и я свободен я убрался от него я убрался отсюда я

что

что это, это

было, какая-то атмосфера уже пропала она уже ушла и потому-то я ее заметил словно шум который не замечаешь пока он не прекратится внезапная тишина что только что случилось что со мной только что случилось ничего ничего не случилось это просто ты выдумываешь просто лично столкнулся с душевной болезнью очевидно это нервирует но незачем было паниковать и вылетать из паба пробкой наверно я выглядел как круглый болван ничего не случилось успокойся все в порядке все нормально старое сердце сейчас колотилось как крышка от мусорки но теперь я вижу что просто сглупил поддался чувствам не знаю не знаю, что я подумал, что мир реальность просто не знаю сломались и я будто провалился в трещины но оглянись я хочу сказать ведь все хорошо Регентская площадь вечер пятницы все отлично вот

светофоры как обсосанные фруктовые пастилки и

ледяной комар кусает шею обещали дождь с

парочки молодые ребята гуляют а не пошатываются еще рано я

иду ошалелый к перекрестку который выведет меня на верх Графтонской улицы темного стока в глубину долины вот вот что я имею в виду я как будто не принимал решения по крайней мере сознательно и все же шагаю через дорогу под чирикание светофора и подмигивание изумрудного ока как будто я выбрал вернуться домой этой дорогой а не по Овечьей улице как сюда пришел только

не помню чтобы что-то выбирал ноги сами понесли я уже на другой стороне а они несут меня по остаткам Широкой улицы одна коричневая туфля за другой и это вовсе не мое блять как его волеизъявление не мое волеизъявление а как будто каждый шаг уже предписан пером и не вырубишь топором как будто все предуготовано но тогда ведь нет ох осторожней нога подвернулась и я чуть на упал на проезжую часть по правую руку огни казино иду как пьяный но как это возможно если я выпил всего лишь пинту пинту в «Синице в руке» с

Бенедиктом Перритом

блять вот в чем дело видимо я все еще в шоке но что за нелепость ведь не то чтобы он

накрапывать стало сильнее а я одет не по погоде когда выходил было хорошо теперь промокну насквозь если не буду осторожнее да что там все равно промокну насквозь что за глупости причем тут осторожность это все ерунда в пабе нет, нет, лучше об этом не задумываться одна коричневая туфля за другой шлепают по блестящей мостовой уже влажной с набегающими лужицами где рябят отражения уличных фонарей одна коричневая туфля за другой не по моему волеизъявлению но тогда ведь нет свободы воли но минутку что я там придумал раньше что-то забавное хотел вставить в колонку что же ах да вспомнил свобода воли или свобода Вильяма нет с другой стороны это уже не так смешно слишком трудно объяснить но ведь смысл жизни не меняется, ведь если все прописано загодя а кто знает может так и есть то все мы актеры нет невинных или виноватых и ну что ж наверно если так и окажется то мы все быстро привыкнем во многом это будет не так плохо будет мир получше где никто не сомневается в твоей этике где нет повода попрекать себя в каких-то неправильных решениях оставшихся в прошлом в далеком прошлом я сейчас очевидно не о себе но ведь в мире хватает чувствительных людей которые мучаются из-за того что сделали и если нет свободы воли ну можно представить что для нас, для таких как мы все начнется с чистого листа больше никаких

дурных снов и бессонных ночей на другую сторону Широкой улицы через автостраду тут видно верхнюю часть старого форта Армии спасения это второго который еще не снесли кажется он вообще памятник архитектуры только верхняя часть вот она торчит над оградой верхние окна как будто смотрят на тебя вокруг деревья и подлесок смотрят на тебя из-за забора как старая собака которую бросили умирать в загоне она не понимает не знает что происходит а вот и Мэйрхолд уже

льет как из ведра на автостраду на дорожные плиты на меня «Смерть подхватчу и вся недолга» так тут раньше говорили с акцентом как у

Бенедикта Перрита

разговаривал ни с кем смеялся над пустотой а над пустотой следует смеяться в последнюю очередь пустота самое страшное на свете когда тебе исполнится мне уже за шестьдесят я не верю ни в ад ни во что ведь смерть это просто конец так полагается думать взрослому человеку но потом появляются гогочущий Бенедикт Перрит в «Синице в руке» его больные глаза и люди которых видел только он и все же

и все же я хочу сказать привидения даже если их видит только он все равно в каком-то смысле существуют даже если он сумасшедший они у него в голове его воспоминания о районе покойниках обо всем вот что за привидения в его разуме и если сидеть с ним в углу паба почти невозможно не увидеть то что видел он ну не привидений но как он воспринимает мир так что на миг они кажутся тебе почти такими же реальными по-моему это его дом справа один из домов на Башенной улице не знаю, которые кажутся тебе почти такими же реальными, привидения и все остальное, так что мерещится на самом деле будто не он а ты, я проклят, как будто район и мертвецы говорили через него со мной передавали послание почему мне все время кажется что это место меня ненавидит после всего что я для него сделал и откуда он знал мои сны этот отвратительный подвал без выхода слева от меня урчат от

ночного трафика спутанные кишки Мэйорхолд, с удушающим азотным пердежом, впереди по Конному Рынку такой шум как разговор обезьян-ревунов молодые люди просто не знают не обращают внимания как громко болтают когда они в наушниках как бы в пивных наушниках пожалуй поверну направо по Банной срежу через многоквартирник так намного тише никого нет откуда он знал про мои сны

и вот еще непонятно да если нет свободы воли тогда почему это место так на меня взелось пугает кошмарами пугает Бенедиктом ебать его Перритом я же ничего не сделал вот назовите что я сделал не так, а если нет свободы воли то нет ни добра ни зла ни греха ни добродетели ничего гуляй рванина а справа же вроде то место где тренировалась Бригада мальчиков даже интересно Банная улица сегодня как вымерла даже интересно существует ли еще здесь Бригада мальчиков но нет но свобода воли: если никто ничего плохого не сделал тогда почему все чувствуют себя виноватыми раз ни у кого не было выбора и если нет свободы воли то мы получается по-настоящему свободны и этим я хочу сказать свободны от угрызений и свободны от снов пьяниц безумцев его дыхание пахло привидениями никто из нас не сделал ничего плохого и это объективный факт объективный научный факт только

чтобы он был объективным нужен какой-то посторонний наблюдатель и

больше никого нет есть только мы и мы видим мир субъективно и значит
для нас

для нас есть зло нам кажется что у нас есть свобода воли нам кажется что мы делаем зло а значит мораль я хочу сказать все одно есть свобода воли или нет нам кажется что мы делаем зло и не можем избавиться от чувства вины но так ведь только хуже правда же самое худшее от обоих миров нет свободы воли но по-прежнему есть грех грех для нас есть и только для нас одних он имеет значение как там говорили мусульмане что-то вроде «святой может

сразить миллион врагов и остаться безгрешным, если не раскается хотя бы из-за одного» вот в чем дело в раскаянии оно не уходит вне зависимости есть свобода воли или нет значит мы все в ловушке в ловушке наших жизней в ловушке Банной улицы мира Боро всего так нечестно это

в темноте впереди кто-то топит педаль в пол срывается с визгом похоже торопится а дождь не ослабевает а через улицу по Симонс-уок у кого-то играет ну не назову это музыкой но что-то играет но все же откуда он знал мои сны а потом попадаешь в маленький скверик одинокий и опустошенный в ночи а над ним нависают башни и как я говорил с их помощью я хотя бы смог сохранить нам социальное жилье а если кто-то на этом заработает таков уж бизнес, так бизнес и устроен головой-то подумайте, а что, лучше если бы никто не заработал башни бы снесли и на улицы отправились десятки бездомных, ой ли, хотел бы я посмотреть как это оправдает Роман Томпсон кто тогда будет придурок здесь все как в Ираке иногда кто-то должен взять и отмахнуться от либерального бляенья и сделать что-то прибыльческое ой то есть практическое чтобы помочь бедным людям кто-то должен засучить рукава и взять дело в свои руки кто-то должен не бояться эти свои руки

запачкать

налево, по тропинке дома Святого Петра многоквартирника на Банной улице сегодня на улицах никого но иногда ну надо быть осторожней под балконами светят огни чтобы не ходить в потемках кто-то мне говорил что сюда приходят подростки эти самые рэперы приходят и читают свой хип-хоп мне все равно если честно я хочу сказать тут и без того столько отбросов что шайка каких-то сраных детишек которые так частят попробуй разобрать уже мало что изменит тут и торчки и психи и ночные бабочки та с полосатыми волосами уверен она живет где-то поблизости интересно как с ними бывает не то что я буду с ними связываться но интересно уверен они согласны на все, это как спать с человеком который готов даже, в общем, дождь вроде бы отпустил когда я уже почти дома ничего

удивительного и гравийная дорожка блестит как галька на берегу а это что это фу это собачье говно нечего заводить собак если не можешь за ними убираться какая же мерзкая поганая и похоже кто-то в нее уже влез рад что не я какая четкая сетка чьей-то подошвы кроссовки будто маленькая модель Нью-Йорка из дерьма и под дождем и электрическим светом мокрая и поблескивающая будто свежая о боже аж замутило блять ненавижу видимо это что-то в характере наверняка бы наступил если бы не заметил вовремя а потом разносишь повсюду а оно не отстаёт все ходишь и думаешь что это за запах, а потом смотришь а уже сам повсюду натоптал говном принес с собой домой оно повсюду везде я

карабкаюсь по пандусу на освещенную Замковую улицу где-то сирены наверно в центре уже началось я молодец что успел домой раньше чем появились проблемы но что же еще было в «Синице в руке» как не проблемы не знаю не знаю что это было какой-то сбой незначительный сбой инцидент забудь выкинь из головы думай о чем-нибудь другом смотри на кирпичи на эти стены эти многоквартирники построили почти восемьдесят лет назад когда их строили, сказали что это временное жильё я хочу сказать технически слово «временный» значит в принципе «на определенный период» но как по мне восемьдесят лет это уже перебор я хочу сказать если сравнить со сроком вселенной то и солнце временное все временное дом Святой Катерины через дорогу охренеть какой временный всего один кухонный пожар одна «Б и Х» упадет за диван и всё пожарный департамент признал его аварийным но мы, они, они все равно запикивают туда людей и если будет пожар я хочу сказать такие башни в 60-х строили по всей стране и если будет пожар центральный лестничный колодец во всех таких многоквартирных таком типе многоквартирников как дымоход люди будут спускаться а дым с огнем подниматься, не стоит так говорить но надеюсь что в правительстве не будет лейбористов если ну скорее когда начнется пожар и люди которых туда запикивали я хочу сказать они под угрозой даже без пожара там подростки только

что из интернатов умственно отсталые все подряд неделю-другую назад видел двух старушек, ну я только предполагаю что они здесь живут, стояли во дворе дома Катерины смотрели на него потирали руки и хихикали наверняка они под домашним уходом здесь такие на каждом шагу аномальные и как я слышал так было испокон веков этот вот Бенедикт Перрит и все остальные откуда их столько в этом районе наверно что-то не так с водой с землей и вниз по Меловому переулку дождь прекратился

на углу маленькие ясли что-то в окне какой-то плакат а вспомнил Альма Уоррен кто-то говорил она устроит здесь выставку всего на один день кажется в субботу мне казалось что через неделю-другую но кто знает вдруг уже завтра Альма Уоррен вот вам еще одна еще одно ходячее фрик-шоу родом из Боро они же с ним даже учились в одном классе в школе с Бенедиктом Перритом я с ней заговаривал пытался подружиться но всегда получал от ворот поворот кажется я ей не нравлюсь ведет себя так будто ей никто не указ будто она не от мира сего по-моему она просто тщеславная ставит себя выше других морально выше других или у нее какие-то комплексы это же видно по глазам и в разговоре когда она

улыбается шутит и располагает к себе это только ширма она улыбается и ее паучьи глазки поблескивают но она будто только пытается скрыть что хочет тебя сожрать это ширма это актерская игра если ей так нравятся Боро то почему она здесь не живет как я ненавижу таких людей которые прикидываются прямодушными хотя ты знаешь что у всех есть секреты все кем-то прикидываются все актерская игра, не то что я весь как на ладони душа нараспашку уж простите но такой я человек почему же меня никто не любит почему они почему меня это вообще ебет почему ебет что тебя не любит горстка быдла и неудачников ты олдермен ты всего добился ты с резюме почему ты постоянно возвращаешься к одному и тому же к одним и тем же мыслям как хомяк в колесе бегаешь и бегаешь по кругу еб твою мать просто плюнь и разотри мало ли что там думают другие но

все равно это подло когда люди всегда думают плохое ну или кажется что обо мне всегда думают плохое иногда обидно и через дорогу церковь Доддриджа часто удивлялся зачем нужна дверь на стене уверен они и о Филипе Доддридже распускали гадкие слухи называли его придурком называли мудаком хотя это практически святой и по-настоящему заботился о районе не то чтобы я провожу параллели но я хочу сказать сходства же очевидны я себе нравлюсь я собой доволен а если есть люди которым просто нравится думать худшее которые и не слышали о старой доброй презумпции невинности то это их проблемы сбежал под горку уже почти дома а та парковка справа кажется туда раньше свозили больных чумой а слева еще парковка, доддриджские захоронения мертвецы повсюду мы все временные мы не вечные и наверно в каком-то смысле это дар есть свобода воли или нет что бы мы плохого ни сделали или что бы мы якобы плохого ни сделали время в конце концов стирает все и никто ничего не помнит и мелочи ничего не значат все прощается когда кончается долги списываются и нет никакого вечного учета потому что ничто не вечно весь мир временный и это наш как там его закон о сроках давности наша карточка выхода из тюрьмы ага вот мы и на месте отсюда «Черный лев» всего-то на той стороне Лошадиной Ярмарки в основании теперь кажется вымершим очень повезет если его не снесут в следующем году а когда мы только переехали на нижнем углу Мелового переулка прямо напротив от этого места была газетная лавка какого-то лысеющего типа Пита Пита как-то там и теперь вираж направо за угол на нашу дорожку и отсюда

видно долину вокзал и развязку со светофорами столько огней у меня

не было выбора кем стать за Фар-Коттоном Тупичок Джимми и привидений

не бывает после смерти ничего нет и проклятий не существует через три двери нахожу ключ и вот наконец-то моя крепость и уже ничего никакие Боро меня там не достанут включаю свет в коридоре

и стягиваю пиджак мокрый хоть выжимай блестит как дохлый тюлень и капает с вешалки а знаете я вдруг совершенно обессилел совершенно измотался наверно я весь район обошел кругом а ходок из меня вообще никудышный потом конечно то дело в «Синице в руке» а теперь у себя дома поверить не могу что сбежал из паба буквально сбежал и поэтому, из-за адреналина, поэтому наверно я устал как собака падаю в гостиной в кресло и фу блять штаны холодные и влажные на ногах на заду их-то когда успело залить дождем какое же блядство еще и десяти нет но уже не знаю может пойду спать какое странное настроение после этого вечера лучше уж лечь и уснуть утро вечера мудренее но одно я знаю точно если не сниму штаны то будет пневмония и наверно мне немного одиноко жаль Мэнди нет дома хотя и тогда

встать и даже это требует усилия выключить свет внизу и поскрипеть в постель ванная ослепляет я снимаю рубашку и штаны туфли и носки а рубашка промокла до нитки прозрачная от воды сырой розоватый овал где она прилипла к животу на секунду подумал что пошла кровь накинуть все мокрое на край ванны до утра трусы и майка наверно тоже малость влажные но нет сами высохнут принимаю таблетки по три каждую ночь когда ты молодой об этом даже не думаешь это все пустое шурюсь в конденсацию на зеркале пока чищу зубы только посмотрите на что я похож как садовый гном как расплющенный Дэвид Беллами как хоббит в карантине по подбородку стекает мятное бешенство самому смотреть противно шлепаю к унитазу босыми пятками по холодному кафелю поднимаю сидушку чтобы не забрызгать и после пары мгновений ожидания пока хрен решает в каком он настроении в звенящую чашу вытягивается бледно-золотая струя мочи забавно со стороны потому что на бачке у нас два рулона туалетной бумаги и когда смотришь сверху под ними поднятое сиденье крышка и сама зияющая чаша похожи на белую мультяшную лягушку словно на меня выпученными глазами уставился Кермит-альбинос из «Маппетов» с возмущенным и пораженным из-за моего

предательства видом пока я стою и ссу ему в глотку даже туалетная бумага меня в чем-то обвиняет и вот еще что рычаг приходится нажать два-три раза чтобы смылось все прополоскалось в глотке я дергаю цепочку чтобы вырубить свет в ванной и тороплюсь по площадке в постель пока шум бачка не улегся до шипенья капли и журчанья наверно такое личное суеверие сам не знаю что будет если я не успею в постель раньше чем затихнут звуки это скорее игра скорее привычка сам не знаю зачем это делаю ох как

хорошо матрас скрипит чувствую как боль и напряжение покидают тело тру друг о друга ноги они сухие и холодные но согреваются от трения и как славно надеюсь просплю до завтра без снов без подвалов без бегущих на меня чудовищ с расплывающимся лицом здесь я в безопасности в полной безопасности у нас в домике в уголке Боро напротив вокзала еще десять лет и надеюсь это место уже будет не узнать от вокзала расплывается волна застроек и большую часть этого, этого места, большую часть вычистят сгонят социальных отщепенцев смоят это если хватит денег нужны деньги нужен бум но нет здешняя земля недвижимость они могут быть очень хорошими могут быть очень ценными не то чтобы мы хотим продать часть района район это мы это наша часть перекатился на бок и подоткнул одеяло между коленей чтобы не упирались друг в друга ах-х как же хорошо как

наверно в основном люди здесь неплохие просто в пабах они в своем самом худшем виде да и пусть они надо мной измываются я все равно выйду победителем а от них здесь не останется и следа так что пусть развлекаются они же не виноваты что безнадежные, живут в безнадежном месте, они и я сейчас говорю как марксист как современный марксист они просто жертвы они конечный неизбежный результат исторических и экономических процессов но все же я хочу сказать вы сами посмотрите как они пьют весь день а страдает кто страдают дети многие из этих людей родители и не хотят работать не готовы работать не

похоже на затопленный раскопанный пустырь неужели я уже был здесь в детстве что что о чем это я

не готовы работать вот именно винят всех вокруг за собственные проблемы винят управу винят систему винят меня а мы все просто делаем то что должны а некоторые здесь я хочу сказать они же поколачивают жен говорят это все разочарование нищета но тогда зачем им столько детей дети только путаются под ногами как ты чего добьешься в жизни как доберешься до желанного места вот взять меня с Мэнди дети бы только мешали нашим карьерам но пожалуйста мы счастливы очень счастливы а некоторые люди просто человеческий мусор просто

вдали за травой и отдаленными краснокирпичными железнодорожными арками изломанные утесы грязи я уже был здесь смотрите игрушка пластмассовый слоник в луже он я уверен когда-то он принадлежал мне в последний раз когда я был здесь а еще где-то рядом ведь должен быть дом такой старый что что я только что

вся пьянь дрянь шваль сброд все их дети сплошь шпана и торчки я читал им истории про привидений на Рождество матери в коротких юбчонках чулках в крупную сетку матерятся аж уши вянут вы бы их слышали дети здесь не растут они здесь чахнут выгребная яма с говном тут и педофилы тут и насильники ну куда-то же надо сплавлять наркоманов и они сами виноваты а не мы не я это им надо было взяться за ум но

вот тот алый дом у старого колодца что висится на пустыре сам по себе под серым небом и я в трусах серых трусах и майке иду к нему по сорнякам хочется писать вроде бы в подвале того дома есть туалеты если только вспомню как их найти если только они не протекают и не забились

но кто я такой

Руд в стене

Вот вам, как говорится, портрет-черновик, причем смятый от злости и досады. Вот лицо частного сыщика, побитая жизнью, бурбоном и мордоротами гальянная фигура Стадса Гудмана на гребне грязной пены и барашков-баранов очередного захудалого городишки, выгоревшего мирка, павшего, как все женщины Стадса. Вот как перетаптываются топтуны, филонят филеры у окна с жалюзи в нарезном свете, в бесконечном безделье между делами. Время простоя без убийств просто убивает.

Стадс глубоко и довольно затягивается шариковой ручкой. Скуксив жестокие и жесткие губы в сфинктер, пускает изворотливого джинна воображаемого дыма в простроченные лучи и думает, как похожи эти периоды затишья в его профессии на те, что переживают люди на актерском поприще. Стадс – гетеросексуал с серьезной вагинальной зависимостью, который никак не может бросить дурную привычку расходовать по сорок дамочек в день, – не терпит актеров и театралов по той простой причине, что они все педики, люди разных оттенков и тэ дэ. Научный факт. Но все же Стадс представляет, каково им без работы, когда они «отдыхают между ролями». На этом безрыбье хоть топись, знает он. Что там, даже Стадс иногда сидит и выдумывает какое-нибудь гипотетическое запутанное дело, чтобы мысленно раскрыть, а он-то вообще крутой бруклинский авторитет старого толка, который думает кулаками и бьет головой. Даже сны у него не черно-белые, сны у него – радио. А как быть какому-нибудь невротичному эпизоднику, когда из студии не звонят? Матерый сыскарь голову дает на отсечение, что эти тепличные цветочки все время проводят в репетициях для кастинга – на который их никто не позовет, – на роль ковбоя или охотника, что-нибудь такое маскулинное. Кто знает, может, даже частной ищейки? Он сухо хмыкает от одной мысли и тушит ручку в

подвернувшейся кофейной чашке. Для роли Стадса понадобится до черта грима.

Ну да, он не красавчик. Ему нравится думать, что у него вид поживший и обжитой – вот только обжитой тремя поколениями буйных литовских алкоголиков, которых наконец выселяют после вооруженной осады, а помещение так и торчит десятилетиями заброшенным и служит разве что туалетом для местных бездомных. А потом его сжигают ради страховки. Он сидит за зеркалом туалетного столика в своем злочном кабинете и изучает место преступления на лице: проходите-проходите, тут не на что смотреть. Охватывает взглядом беспорядочные складки лба – вулканического утеса, вздымающегося от заросшей опушки бровей к зализанному пику, откуда до темечка тянется пологий склон черной и скользкой травы. Глаза полны пессимизма и какого-то неопределенного расстройства личности; глаза, повидавшие слишком много всего – с разной высоты и под разными углами на приблизительно равном удалении от носа-ледоруба, который разбивали чаще, чем сердце шлюхи. А поверх всего – редкая, но заметная щепотка гравийной присыпки из бородавок размером с воздушный рис, чтоб никто точно не проглядел асимметрию, – разбросанные по лицу сигналы к закадровому смеху для тех, до кого с первого раза не дошло. Люди ему говорили, что его внешность – далеко не картина маслом; ну, они явно не знакомы с кубистами.

Где-то в здании – а может, и в его приемной, – требует всеобщего внимания, как избалованный ребенок, телефон. Стадс зовет свою забывчивую секретаршу – «Мам? Мам, звонят», – но она, очевидно, на очередном своем непостижимом перерыве, наверняка прямо связанном с вышеупомянутой забывчивостью. Каждый раз, как он наезжает на пару дней из Лондона, советует ей сменить лекарства, но она разве послушает. Женщины. И с ними жить нельзя, и носки свои иначе не найдешь. Десять звонков, а потом автоответчик – его собственное сообщение, которое он позаботился загодя записать поверх ее, когда прибыл вчера. Ей-то звонят нечасто, тогда как он

может понадобиться клиенту или агенту в любое время дня и ночи, по крайней мере в теории. Когда уедет, эта пустоголовая стрекоза в любой момент может заново записать свой извиняющийся лепет, а тем временем пусть почтет за честь, что его роскошный бас вгоняет в трепет тех ее ровесниц, которые еще помнят, как пользоваться телефоном.

– Привет. Это Роберт Гудман. В данный момент я отсутствую, но оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Спасибо. Счастливо.

У Стадса безукоризненный английский акцент. В его ремесле никогда не знаешь, когда он пригодится – например, в работе под прикрытием в личине какого-нибудь герцога или уличного торговца-кокни, наверняка для дикой заварушки с королевскими драгоценностями и блондинкой о бесконечных ножках. Сейчас бы ему не помешало смачное дельце, предпочтительно запутанная драма с инцестом и Фэй Данауэй, но на худой конец сойдут и шантаж с разводом, Стадс подавляет порыв подойти к замолчавшему прибору и перебить звонящего. Если это ненароком окажутся семейные разборки из-за наследства, переросшие в похищение или вторжение на частную собственность, Стадс потом все равно узнает. Последнее, что ему нужно, – чтобы перспективные клиенты решили, что он в отчаянии, по его интонации, вместо того чтобы догадаться, как и любой его знакомый, по пожеванной мебели и разбросанной в разочаровании по квартире шелухе из лотерейных карточек.

Сидя за туалетным столиком, раскрашенный как зебра от тени жалюзи, он вспоминает неряшливую преступную карьеру, которую вел до того, как стал хард-бойлд следаком. Он толкал неопределенные наркотики на площади Альберта и был стукачом с лицом со шрамом в участке на Сан-Хилл. Слонялся в коже рядом с «Лексусами», чтобы повышать продажи автосигнализаций, жег резину и прожигал взглядом вместе с гризерами Готэма, носил цилиндр в стиле доктора Зюса для посвящения в старинную ирландскую банду Нью-Йорка и насиловал старшую сестру Жанны

Д'Арк во Франции пятнадцатого века. Просто он Стадс. Шальная пуля, мэверик, который не играет по правилам. Он в большом городе, где пусть улицы не всегда злые, но уж точно охренеть какие дремучие. Он дома, он в Нортгемптоне, и в этот раз дело личное – другими словами, явно не профессиональное. А жаль.

Если честно, хоть это и поперек грубой и тестостероновой природы Стадса, он бы согласился и на пантомиму, стал бы страшной сестричкой Золушки или преклонил колена перед Белоснежной, если б кто позвал. На ум тут приходит давно ушедший напарник Малыш Джон Гэвам. Стадс не сентиментальный, но ни одна его бессердечная ночь моральных компромиссов не проходит без того, чтобы он не заскучал без своего жабьего дружка-карлика и их уморительных пьяных эскапад тодд-браунинговского разлива из времен, когда они были своенравными, сравнительно молодыми, а с точки зрения стороннего наблюдателя – вгоняющими в оторопь. Джон, как и Стадс, видал виды в плане карьеры, поработал мусорщиком с песчаными джавами, пока не сошелся с равноразмерной бандой путешествующих по времени воров и уже вскоре перетрахал кучу бывших моделей вязаной одежды для узкоспециализированного рынка. Стадсу кажется, что одно такое предприятие называлось «Бандиты в муфтах» [\[172\]](#), но он вполне мог что-то путать, а то и придумать, как в тот раз, когда настаивал, что местный покойный художник Генри Берд был мужем Вампиры из «Плана 9 из открытого космоса», а на самом деле женой Берда оказалась Фреда Джексон из дуэта с Карлоффым в «Умри, монстр, умри». Глупая ошибка новичка, любой может совершить, но Стадс – детектив, который гордится своей надежной репутацией, и эту ошибку он, скорее всего, заберет с собой в могилу. Таким уж парнем он себя считает.

Главное, что Стадсу тяжело без чрезвычайной неправдоподобности Малыша Джона буквально под боком. Когда умирает неправдоподобный человек, кажется, что другие неправдоподобные люди становятся еще неправдоподобнее. Субчики вроде Малыша

Джона или, раз уж на то пошло, самого Стадса – как статистические погрешности реальности. Искажают расчеты. А когда они выпадают из общей картины, график расслабляется до плоской и удобной средней температуры по палате, тогда как с Малышом Джоном казалось, что мир способен на все. Законы физики выбрасывали белый флаг всякий раз, когда мелкий засранец, сидя на барном стуле, выбивал восемь пинт, девять пинт; даже не увидишь, чтобы он выходил в туалет. У Стадса была теория, что его приятель совершенно пустотелый – что-то вроде резной кружки, которая вдруг обрела человеческий разум. Впрочем, кружки неожиданно прочной: в казино за Регентской площадью он раз бросился своей компактной тушкой на рулетку, завопив привычным гелиевым голоском: «Свистать всех наверх!» Он был среди кошмарной толпы «Короны и подушки», обеспечивающей публикой пленного композитора Малкольма Арнольда. В «Лодке» под Стоук-Брурном – пабе у канала, где собирались все воскресные моряки в фуражках и поло и их молодые женушки в каких-то спортивных шортах, – неумный Малыш Джон совал рожу в каждый джинсовый пах.

– Просто зашибись. Их мужья только ржут и такие: «Полегче, мелкий. Чуток перебрал, а?» Никто не залупается на карликов.

Стадс представил Джона в палисаднике его дома на Йоркской дороге с табличкой «Жабий дом» у дверей – как он просто стоит у каменных солнечных часов, гогоча от удовольствия в окружении огромных жаб, клумб, солнечных часов и всего остального.

Конечно, самое неправдоподобное в покойном друге – на самом деле Малыш Джон был внуком персидского шаха. Стадс качает неказистой головушкой и горько усмехается так, словно за ним кто-то наблюдает. Внук шаха. Для Стадса это как квантовая теория, женщины или современный джаз – нет никакого смысла.

Он тянется за новой ручкой, но прерывает рефлексивный жест на полпути. Его хрип уже подсказывает, что давно пора урезать привычку максимум до пера по особому случаю, на выходные или по праздникам. А гори оно все огнем. Он отодвигается на стуле и

встает из-за туалетного столика в надежде, что какая-нибудь деятельность отвлечет от пристрастий его детективный разум со стальной хваткой. Стадс отправляется в приемную, хитро замаскированную под лестницу с ковром и английскую пригородную прихожую, чтобы сбить со следа врагов из преступного мира и кредиторов, и проверяет сообщение на автоответчике.

– Боб, твою мать, что у тебя с голосом? Мне будто ответил престарелый итонский педофил. Это, кстати, Альма. Прости, что звоню твоей маме, но когда придешь завтра на выставку, то не забудь прихватить блейковскую тему, которую я просила накопать, – если ты, конечно, что-то нашел. Если нет – ничего страшного. Просто больше не смей со мной разговаривать. И почему это Роберт Гудман в данный момент отсутствует? Он там что, в поло играет? «Роберт Гудман». Боб, никто не зовет тебя Робертом. Сказать по правде, многим не хватает вежливости звать тебя даже Бобом. Большинство просто стонут и как бы вот так показывают руками. А потом садятся. А потом плачут. Плачут как дети, Боб, из-за мысли о твоём существовании. В общем, надеюсь увидеть материал по Блейку в галерее, и чтобы его обязательно держал в руках ты. Удачи, Бобби. Никогда не меняйся. До встречи.

Он замечает, что его кровь не обращается в жилах в лед. Это байки из детективных книжек, а в реальной жизни он способен максимум на розоватую слякоть, но чувство все равно не из приятных. Конечно, Стадсу знакомы и имя, и голос, и поток незаслуженных оскорблений. Ему знакома эта дамочка: высоченный бокал аккумуляторной кислоты по кличке Альма Уоррен. Представьте себе удивительно большой клочок волос, какие иногда вылавливают из забившегося стока в ванной, а потом представьте, что он глазастый и со снисходительными повадками: вот с этим описанием уже может работать художник-криминалист. Она как куколка, отлитая из стали, о которой не забудешь без гипноза, и все же до этого самого момента его как-то угораздило выпустить дело

Уорренши из изборожденного пулями и вскруженного женщинами мозга.

С Уоррен, значит, вот что: она проворачивает какую-то аферу с современным искусством, где ротозеи выкладывают большие баксы, чтобы взглянуть на ее шизофреническую мазню. Несколько месяцев назад Стадс наведалься в ее богемную помойку на Восточном Парковом проезде, всего в одной улице от места, где он раньше перебивал, когда наезжал в город, – предположительно, в какой-то момент после сурового детства с прибитыми к потолку игрушками в нью-йоркском районе Бауэри, или Бруклине, или где там еще закалялся Стадс. Это все равно только предыстория. Еще успеет придумать. В общем, заявился в убогий малинник художницы и застал ее за неистовой работой среди клокочущих туч контрабандных поразительных образов в разных видах искусства, расставленных по всей передней комнате, так что Стадсу показалось, что он застрял в каком-то разбитом калейдоскопе от «Грейтфул Дед». Между затылками из косяка такого размера, что ее можно было обвинить в зависти к пенису, и хаотичными мазками по непостижимым холстам она объяснила, что готовила где-то три дюжины экспонатов для новой выставки, которую устроит в общинальном районе, где выросла. Стадс искренне сомневается, что район такой же жестокий и отчаянный, как его родные злые улицы Бронкса – какой-нибудь Адской Кухни, Сатанинского Биде, чего-то такого же забористого, – но, судя по всему, Боро тоже не подарок. Старый кварталчик Уорренши не просто пошел не тем путем – он вдруг оказался на самих путях, раздавленный и расплющенный почти восьмисотлетним рокочущим социальным локомотивом.

Стадс помнит о неприятной стычке с этим местечком из детства, когда родители настояли, чтобы он ходил на уроки танцев в школу Марджори Питт-Драффен на улице Феникса, за церковью Доддриджа. Или это он просился на уроки танцев? Стадс со своей памятью, забитой телами, барами и брюнетками, ускользнувшими сквозь пальцы, уже не помнит. И неважно. Главное, что ему

пришлось носить килт. Девятилетний мальчик в килте на уроках танцев в таком рассаднике головорезов, как бывший район Альмы Уоррен. Стадс думает, что это вполне квалифицируется как жестокое обращение с детьми. Он упоминал об этом Уорренше, и ее единственным комментарием было, что если бы она встретила его в те времена, то была бы более-менее обязана ему навалить: «С барчатами в килтах это неписаный закон». Стадс сейчас приходит к выводу, что его чаще метелили как мягкотелого юного школьника, а не как несгибаемого частного сыщика, и в подавляющем большинстве тех детских случаев он был в обычных штанах. Он подозревает, что килт – только одна переменная в уравнении.

А главная умора в том, что выставка нечесаной художницы назначена на завтра, и более того – пройдет в яслях на улице Феникс, где стояла школа Марджори Питт-Драффен. Эта экспозиция связана с делом, которым она и просила заняться Стадса, когда он проведаль ее в тот день на Восточном Парковом проезде. Как объясняла тогда Уорренша, она уже закончила двадцать-тридцать экспонатов, но тема не объединяла их так всеохватно, как хотелось бы. С точки зрения Стадса, она просто забила обрез дробью смыслов и пальнула в стену в надежде, что в узоре пулевых отверстий что-то да проглянет. Были там образы на основе гимнов, изрзцы о жизни местного святоши Филя Доддриджа и какой-то бред о каменном кресте, занесенном сюда из самого Иерусалима. Одна картина точь-в-точь была портретом Бена Перрита, поэтического пьянчужки, которого Стадс знавал по старым денькам, а другая штука на стыке разных жанров символизировала детерминизм или отсутствие свободы воли – или, по крайней мере, так заявляла окуренная дурью художница. Если спросите Стадса, экспозиция Уорренши – случайная массовая авария идей на четырехполоске, безо всякой связи, – а хуже того, она мнит, что все это еще должно как-то относиться к Уильяму Блейку.

– В смысле, у моей семьи полно связей с Ламбетом, но кажется, нужно что-то посущественней, чтобы увязать все темы вместе. Так

что, Боб, этим тебе и предстоит заняться. Узнай, как в это замешан Блейк. Узнай, что у Блейка общего с Боро, и тогда, обещаю, напишу твой портрет, Бобби. Я сделаю тебя бессмертным и вместе мы оскверним невинное будущее твоим лицом. Как тебе такое предложение?

Мнение Стадса, которое он в тот раз не озвучил, – что это стандартный контракт Альмы Уоррен в том, что нигде не упоминались настоящие деньги. Бессмертие и полтора фунта на хлеб не намажешь, разве что купишь свежую пачку шариковых ручек. И все же работа есть работа, и он согласился. Угвазданная краской карга прижала Стадса к стенке, и если он не раскроет дело, то в этом городе ему больше не работать. Уорренша за этим лично проследит. Она слишком много о нем знает – всякие похороненные в жестоком прошлом истории, которым не стоит показываться на свет божий. Он кривится при воспоминании о случае, когда столкнулся с ней на Кеттерингской дороге и она спросила – наверняка только прикидываясь озабоченной, – почему он хромает.

– Ну, я, э-э... я был вчера ночью в Абингтонском парке, на эстраде. Ты же знаешь, я люблю оттачивать актерское искусство. То есть я репетирую роли, чтобы быть готовым, если их предложат. Я выбрал как бы роль секретного агента, где сцена начинается с того, что я стою на эстраде, а потом по крику «Мотор» я как бы перескакиваю через перила и приземляюсь по-кошачьи на траву. Озираюсь, вглядываюсь в тьму, а потом растворяюсь в тенях.

Уорренша только уставилась на него, с недоверием хлопая жуткими глазищами.

– И ты ударился ногой?

– Нет-нет, все прошло идеально, но они попросили еще дубль. И на второй попытке, когда я перескакивал, нога зацепилась за перила.

На ее лице разыгралась поножовщина между жалостью и презрением, где из-за угла выглядывал шок и ни черта не торопился их разнимать.

– «Они»? – она уставилась на него, как на неожиданного гостя в чашке Петри. – «Они попросили еще дубль»? Киношники в твоей голове, Боб, попросили еще дубль. Это ты мне пытаешься сказать?

Да, это и пытался, и прямым текстом говорил, и сейчас жалел об этом. Знание в руках нестабильной художницы – оружие. Возможно, оружие вроде пилочки для ногтей – не особо мужественное, но очень коварное, например если воткнуть в глаз. В результате Стадс оказался на милости Уорренши, и если он не разгадает дело Блейка, то его репутации конец. Обычный шантаж чистой воды. Только не такой уж чистый. И не обычный.

Он устало тянется за кожанкой, которая, рационализирует он, скажем, заменяет его обычный тренкот, который прополаскивают от крови и алкоголя в химчистке плюс зашивают невидимыми швами многочисленные дырки от пуль.

– Моль, – так он отшутится, когда в химчистке спросят, откуда они. – Моль 38-го калибра.

Оставив секретарше короткую записку относительно предпочтений на ужин, Стадс выволакивает свой морально изувеченный остов на беспощадный свет и направляется к машине – или настоящие янки говорят «автомобиль»?

Двадцать минут спустя он вспоминает, откуда у него на лбу сетка морщин в виде карты «ИнтерСити» [\[173\]](#), пока с досадой проталкивается по очередному пандусу на уровень выше в забитом многоэтажном автопаркинге «Гросвенор-центр». Кто бы мог подумать, что в пятницу здесь бывает столько людей? Наконец он отыгрывает парковочное место, угрожающе вытаращившись на убеленную сединами старушку в «Ситроэне», и, когда расплачивается и предьявляется на выезде, съезжает на лифте в тиннитусный шум и шип нижнего этажа торгового центра. Стадс лавирует через расслабленный человеческий прибой, среди мамашек с хвостами на резинках, которые правят путь с потомством в экранированных колясках величавым церемониальным шагом по поблескивающей плитке с электрической подсветкой; между

странно маргинальными и призрачными подростками, которые ограничиваются в своем бунте усмешкой, шерстяным джемпером и неоспариваемым узурпированием скамейки перед «Боди-шопом». Стадс кривит губу на бок в попытке передать все презрение, пока не замечает, что гуляющие шоперы поглядывают на него с тревогой, подумав, что он пострадал или поправляется от инсульта. Свернув направо из бормочущего пассажа в коридор, что раньше звался Лесной улицей, Стадс упрямо продвигается к свету за стеклянными дверями в конце прохода.

Розовый склон Абингтонской улицы кажется погруженным в уныние, несмотря на соцветия весеннего солнца, что взброс прорывается через хлипкое облако. Некогда главная улица города, где гуляли все девчонки, теперь она словно смирилась с осознанием, что больше никому не сдалась. Не высовывается, не попадает на глаза и искренне надеется, что ее проглядят в грядущей волне сокращений. Она словно прячется со стыда от зоркого ока Стадса, как когда признаешь в какой-то потасканной шлюшке-наркоманке учительницу из первого класса – хотя ему и не выпадало такой невероятной встречи. Уж точно не с мисс Уиггинс. Твою-то мать. Теперь он жалеет, что представил. Настоящий частный сыщик, говорит Стадс себе, умеет придумывать такие хард-бойлд метафоры, от которых его самого потом не мутит. Размозженный череп как разбитая горчица, например, – вот сравнение и по делу, и деликатное. А мисс Уиггинс на патруле вдоль оживленного перекрестка со слуховым аппаратом, в мини-юбке и героиновой отмене – совсем другое дело, и нестираемый образ так глубоко прожегся на коре мозга Стадса, что он уже даже не помнит, что эта чудовищная картина изначально символизировала. Ах да – Абингтонская улица. И как он дошел от нее до... неважно. Просто забудь. Сосредоточься на деле.

Он плетется в холм мимо «Вулворта», затем решает перейти на бодрый прогулочный шаг, но в итоге удовлетворяется компромиссом в виде ускоренного чаплинского шарканья, отброшенного как

нерабочий вариант еще до того, как он добирается до пассажа «Коп». Он направляется к шалману, где в этом заштатном городишке можно выжать информацию из надежных источников. Такое место, от которого обычные люди стараются держаться подальше, подозрительный притон, где так и пышет атмосферой криминала от того, как все перешептываются, и где любой клоун, который не играет по местным правилам, напрашивается на серьезную расплату в виде нехилого штрафа. Стадс уже много лет не посещал Нортгемптонскую библиотеку, но он ставит свой последний красный цент, что там найдутся все ответы, – и что за идиотское выражение «красный цент»? Это что, рубль? Или копейка? Сколько всего он еще не знает в своем ремесле, вроде этой идиомы.

К удивлению Стадса, нижняя дверь библиотеки под прелестным портиком больше не дает доступа в здание, а принуждает к короткой прогулке мимо грандиозного фасада здания к верхнему входу. Застенчиво ковыляя под взглядом свысока Эндрю Вашингтона – дяди более прославленного Джорджа, – он почти достигает безопасности распашных дверей, когда понимает, что что-то не так. Доверившись инстинктам, отточенным во Вьетнаме, Корее, а то почему бы и не в Первой мировой, Стадс поднимает взгляд и замирает как истукан. С противоположного, верхнего конца улицы надвигается мрачный и угрожающий погодный фронт, катится по холму в вихре уворачивающихся прохожих и взметнувшегося мусора. Альма Уоррен.

С заревевшими, как пожарная сигнализация, нервными окончаниями, молясь, чтобы она его уже не заметила, Стадс бросается в двери на усеянный брошюрками пол приемной библиотеки. Распластавшись в виде неприглядного кожного пятна у неоновых листовок на восточной стене, он всасывает в себя воздух и задерживает дыхание, не сводя глаз со стеклянной двери в ожидании, пока устрашающая кошелка прорыщет по улице мимо. Он даже сам не знает, почему от нее прячется, – разве что автоматическая скрытность в любой ситуации означает с точки

зрения частного сыщика, что он в отличной форме. Хуже Стадс не работает, лучше не умеет. А кроме того, у него до сих пор нет на руках информации касательно ситуации с Блейком, на которую рассчитывает его кошмарный клиент, так что все может пойти к чертям.

По жалкому кварталу за стеклом справа налево прогрохотала неопрятная лавина в помаде, и Стадс выдыхает. Отклеившись от ламинированных плакатов за спиной, он подступает обратно к двери и приоткрывает ее, высунув свою порванную боксерскую грушу головы за угол, чтобы испытующе прищуриться вслед ничего не подозревающей битнице, пока она фланирует по Абингтонской улице, словно уходящая буря. Наслаждаясь прерогативой частного детектива наблюдать за другими без их ведома, он замечает, как в эту без того любопытную картину входит новый интригующий элемент: вверх по улице по траектории столкновения со спускающейся художницей двигается фигура в жилете и канотье поэта и чудилы в одном флаконе – а вернее, бутылке, – почти универсально аномального Бенедикта Перрита.

Стадс словно лицезрит таинственный ритуал – друг навстречу другу шли два характерных продукта древнейшего района Нортгемптона. Завидев Уорреншу, хмельной поэт разворачивается и делает несколько шагов туда, откуда пришел, прежде чем снова повернуться и плестись в направлении художницы, на сей раз сгибаясь от смеха. Сузив разноуровневые глаза, Стадс задается вопросом, что, если странное поведение Бена Перрита – какой-то пароль или сигнал. Быть может, эта якобы случайная встреча между всклоченной художницей и одной из ее нынешних моделей не такая уж и случайная. С пускающими корни подозрениями он наблюдает, как Уорренша нехарактерно для себя чмокает Перрита в щеку – вот со Стадсом она так не здоровается, – а затем после минуты-двух разговора имеет место тайная передача – сменяют руки деньги или, возможно, послание. Дряхлая парочка – заговорщики, гротескные возлюбленные или Уорренша достигла

возраста, когда приходится платить алкоголикам, чтобы те разрешали их поцеловать? Когда пара наконец расстается и каждый идет своей соответственной дорогой вверх или вниз по скату улицы, Стадс ныряет обратно в библиотеку, размышляет, что как бы ни лег ветер и куда бы ни дула фишка, он теперь почти уверен, что Бен Перрит замешан в деле Блейка по самые мутные обиженные глазенки. Стадсу остается только узнать, как именно.

Ради этого он углубляется в изменившуюся и лишь местами знакомую библиотеку. Он ориентируется по высоким окнам на Абингтонскую улицу в северной стене, откуда профильтрованный дневной свет изливается на стенды, место которых когда-то занимала газетная читальня. Он еще помнит перечень местных босяков, однажды занимавших давно пропавшие кресла, особенно активно интересуясь новостями, если шел дождь. Были там Безумный Билл, Безумный Чарли, Безумный Фрэнк, Безумный Джордж и Безумный Джо, а иногда и Свистун Уолтер, контуженый ветеран Первой мировой войны, – единственный член этой компании, который страдал от заметных психических расстройств. А все остальные были всего лишь бездомными и нетрезвыми, хоть местный фольклор и насчитывал во владении каждого многоквартирные дома в ближайших городках. По всей видимости, этот предполагаемый статус эксцентричных миллионеров придумывался ради оправдания, чтобы не подавать мелочь обделенным – по крайней мере, так бы сделал сам Стадс. Следуя через главный конкорс почтенного заведения, он вспоминает чуть не ускользнувшего от памяти члена этого списка начитанных бомжей, а именно У. Г. Дэвиса, который под этими самыми высокими окнами среди бормочущей и наверняка вшивой компании давным-давно корябал свою «Автобиографию супербродяги». А если подумать, разве Дэвис не сотрудничал с одним из героев Уорренши – кокни-окультистом и художником Остином Спейром – в работе над периодическим изданием об искусстве «Форма»? Как понимает Стадс, Спейр – эдвардианский чудила, который как-то раз заявил,

что в предыдущей инкарнации был Уильямом Блейком, – хотя эта связь кажется слишком хрупкой, чтобы удовлетворить нанимателя. Пустышка. Стадс неохотно смиряется, что придется зарыться глубже.

Лучше всего начать, рассуждает он, с самого Блейка, энигматичной фигуры в центре этого «глухаря». Ловко выследив огромное издание с творчеством ламбетского визионера, Стадс находит стол со стулом, чтобы наверстать в знаниях о предполагаемой жертве. Пробегая глазами по введению томика, он подтверждает, что Блейк мертв – чертовски мертв, с самого 1827 года. Главными подозреваемыми кажутся осложнения из-за расстройства желудка, хотя за некоторое время до смерти сам поэт назвал злодеем английскую зиму. Теория соблазнительная, но Стадс быстро вычеркивает из списка вечно виноватое время года за отсутствием мотива. Без единой ниточки или зацепки дело упирается в тупик. Черт, оказывается, еще и тела до сих пор не получили – и Блейка, и его жену скинули в общую могилу для нищих в Банхилл-Филдсе, а на надгробии указано только приблизительное местоположение останков четы. Зато другие известные литературные обитатели этого кладбища в Восточном Лондоне – Баньян и Дефо, оба из которых однажды приезжали в город Нортгемптон и писали о своих путешествиях, – отмечены саркофагом и обелиском соответственно. И почему бы Уорренше не увлечься одним из них?

Чувствуя приближение упадка духа, он пролистывает остатки предисловия в надежде на утешение от гравюр – возможно, один вид «Радостного дня» приподнимет настроение. Но обнаруживает он взамен, что забыл о преобладании мрачных, а то и откровенно шокирующих образов, характеризующих творчество упомянутого заклинателя ангелов. Вот ползет по подземному царству обнаженный и обуреваемый ужасом Навуходоносор, а тут выходит на сумеречную сцену тучный Призрак Блохи, гордо вознеся пред собой миску крови. Даже на тех страницах, где не наличествуют упыри и чудовища, – такой как отданная исключительно святым и

серафимам, но в то же время ошеломительно траурная «Изложение „Медитаций среди гробниц“ Джеймса Херви», – повсюду кладбищенская сырость. Задним умом Стадс понимает, почему последняя выставка Блейка в Тейт-Британии на пару с его современниками Гилреем и Фюсли называлась «Готические кошмары». Ему кажется, что даже если Блейк – не нортгемптонширский связной, то он должен им быть при таком-то паршивом настроении. Нортгемптон, по прикидкам Стадса, – место рождения современного готического движения, и очевидное увлечение художника, поэта и печатника смертью зашло бы на ура на ранних концертах «Баухауса».

Он ловит себя на том, что бормочет себе под шнобель припев *Bela Lugosi's Dead*, и позволяет мыслям уплыть от насущного дела обратно к черно-серебряным ночам двадцати- тридцатилетней давности. Стадс состоял в гран-гиньоль-труппе, собравшейся карпатским туманом вокруг «Баухауса 1919», как тогда был известен этот ансамбль точеных скул. Были там сам Стадс и уберпутешественник Разумный Рэй. Был там потусторонний братец лид-гитариста Дэнни, Гэри Эш, и, естественно, не обошлось без Малыша Джона. Судя по тому, что Стадс помнит о зарождении готики двадцатого века, под вампирскими отсылками и заброшенными вокзалами Дельво на обложках альбомов никогда не пряталось какого-то жуткого всеохватного замысла или стилистической подоплеки. Все детали пришли от отдельных членов группы, а если брать шире – от города, в котором они выросли; от мрачных тысячелетних церквей, поэтов в дурдомах, сожженных ведьм, голов на пиках, мертвых королей и пленных королей, плесени и безумия, привитых Питу Мерфи, излучавшему Игги Попа поверх плетения риффов Эша из инфернального байкерского фильма и аортовой ритм-секции братьев Дэвида Джея и Кевина Хаскинса. И от этих абсурдно развлекательных начал есть пошла волна могильного шика, освежеванной бледности и трупных саундтреков, накрывшая

западный мир меланхолией и макияжем – очередная исключительно местная лихорадка вылилась в пандемию.

На размытой периферии похмельного зрения к секции Военной истории, словно тучку на ветерке, несет глубокого старика в розовом анораке. Сам Стадс сидит в окружающем шорохе, как в диффузионной камере, не сводя глаз с открытой книги, но не сосредоточив внимание. Гравюра плывет, преобладающие черные цвета завихряются в миазмы, мавзолейные воронки, темные круговороты, что раскрываются перед ним, словно его только что угостил по затылку дубинкой какой-то наемный головорез. «Медитации среди гробниц». Он вспоминает вечер похорон Малыша Джона, завсегдаев «Рейсхорс», бредущих в шоке по пояс в скорбящих коротышках, прибывших по случаю в город, – пятьдесят или шестьдесят человек в лилипутском паб-кроуле вдоль по дороге Уэллинборо, а уж когда они запели... Но вроде бы ни слуху ни духу от персидской королевской фамилии.

Там проблема была в потенциальном пятне на родословной, как понимает Стадс. Учитывая количество врагов, окружавших тирана-дедулю Малыша Джона в Персии пятидесятых – всего через пару лет после того, как американцы посадили его на царство, – было решено, что ребенок-уродец дочери шаха только снабдит этих противников оружием. Лучше переправить малыша на другой конец пустоты, в такую глушь, чтобы никто больше не слышал его имени и даже не знал о его существовании. Например, Нортгемптон. Чего удивительного, что они с Джоном оказались в свите «Баухауса», неслись по волнам фиолетового бархата и блесток? Лишь пара из множества готических прикрас городка.

Библиотека вокруг то расплывается, то сгущается, а Стадс почему-то вспоминает в целом непримечательный шпацир в компании пьющего карлика, когда алкоголь настолько преобразил внешность Джона, что у него стало больше отеков, чем лица. Где их вдвоем тогда носило и почему он об этом вспомнил? У Стадса осталось призрачное ощущение, что вечер был как-то связан с Джаз

Бутчером, хотя он и сомневается, что заслуженный автор-исполнитель [174] самолично присутствовал при той заурядной оказии, что теперь необъяснимо преследует Стадса. Скорее, они с Малышом Джоном либо направлялись в гости к музыканту, либо как раз возвращались после интерлюдии в его обществе и плелись по угрюмым задворкам, между домом Бутчера у «Ипподрома» и ветреной трубой улицы Клэра ближе к городскому центру. Где же конкретно был он сделан – тот воображаемый снимок, как будто пристеплеренный к мозгу Стадса, где перед ним по тонким жестяным лужам вдоль безмолвной полосы домов топал коротышка? На Колвинской дороге или улице Худ? На улице Херви или Террасе Уоткин? Все, что он помнит, – расковырянные струпья краски и сереющая дымка тюля за...

Улица Херви. Ну конечно. Раскрыв глаза, он отыгрывает для крупного плана «внезапное озарение», затем снова их сужает, чтобы всмотреться в мелкий шрифт под сумрачной блейковской гравюрой. Может, она понравится Стадсу больше, если представить, что она нуарная, а не просто черная, – но пока что ему нужно только подтверждение под траурным изображением: «Медитации» Джеймса Херви... то же имя, та же фамилия, хотя это еще не доказывает, что и человек тот же или что он связан с Нортгемптоном. В конце концов, в городе есть и улица Чосера, и улица Мильтона, и Шекспировская дорога, и еще пара дюжин названий в честь личностей, не имевших никакого касательства к окрестностям, но Стадс все же нутром чувствует, что Херви – мутный тип, а отточенная детективная интуиция никогда его не подводит.

Ну, конечно, только когда подводит. Он морщится, вспоминая очередную прогулку с Малышом Джоном в казино – в «Рубикон» внизу Боро, у Регентской площади. Возможно, это та же самая ночь, когда его карманный спутник бросился на рулетку в качестве нового шарика, но вообще в памяти Стадса вечер характеризуется его собственным никакущим поведением. Тогда он был другим человеком. А если конкретнее, он был Джеймсом Бондом в

гипотетическом ремейке «Казино Рояль». О, и в смокинге, и в черной бабочке, при полном параде. Когда стемнело, он бросил последнюю дорогую фишку на стол и, даже не взглянув, куда она упала, отвернулся и зашагал от колеса фортуны с видом человека, который заработал и потерял больше состояний за утро, чем иной за всю жизнь; сорвиголовы, уверенного в своих отношениях с шансом и судьбой. Но, поставив в этом оставшемся незамеченным лихом жесте недельную квартплату, он, очевидно, ожидал, что в небрежном пути на выход его окликнет изумленный крупье и предложит обналичить неожиданные, но роскошные барыши. Когда этого не случилось, он был опустошен. Стадсу нравится думать – вопреки неопровержимым доказательствам, очевидно противоречащим его теории, – что высшим силам близок драматургический подход к человеческому повествованию. Ему нравится верить, что эти сущности имеют слабость к помилованиям в последнюю минуту, ставкам миллион к одному и спасению на волосок от гибели, и из-за этой веры Стадс вел жизнь серийных разочарований.

Но не в этот раз. Где-то в глубине, под стальной пластиной в черепе с той самой поры, когда он самоотверженно закрыл мину в Окинаве лицом, Стадс знает, что теперь его чутье окупится. Этот гусь Херви что-то да скрывает, Стадс уверен, и, может, если он на него хорошенько дыхнет, тот расколется. Угрожающе похрустев костяшками, он встает и, прихватив книжку про Блейка, направляется к свободному компьютеру с Интернетом – или, как он предпочитает думать, в допросную. Он готов на любую подлую технику, чтобы разговорить подозреваемого: от хорошего копа/плохого копа до четырехфунтового мешка апельсинов, который порвет внутренние органы, но не оставит на коже и следа. А если и это не поможет, он его загулит.

И да, Херви сломался перед грубой силой поискового движка и вскоре запел, как набожная кальвинистская канарейка. Целая масса в основном христианских веб-сайтов с его упоминаниями, и, хотя язык такой цветастый, что Стадсу не помешает хорошенькая доза

антигистаминных, он срывает джекпот с первой же страницей. Похоже, этот Джеймс Херви был священником англиканской церкви и писателем, родился в 1714 году в Хардингстоуне, Нортгемптон, а его отец Уильям служил пастором и Коллингтри, и Уэстон-Фавелла. Обучался с семи лет в бесплатной грамматической школе города, бла-бла, поступил в Линкольн-колледж, Оксфорд, где стакнулся с Джоном Уэсли, бла-бла-бла, похоронен в приходской церкви Уэстон-Фавелла... Стадс с трудом сохраняет свой фирменный зыркающий взгляд перед напором ликования. Вот, уверен он, та самая улика, что он искал. Ну да, пока прямой связи с Боро не видно, но с этим новым материалом Стадс выведет Херви на чистую воду.

подавив компульсивный порыв назвать услужливую библиотекаршу крошкой, он спрашивает, не может ли она распечатать досье на Херви, докинув до кучи страницу Херви с «Википедии», а заодно страницу по Нортгемптонской грамматической школе. У Стадса есть ощущение, что когда-то на Биллингской дороге учился Бен Перрит, и, пусть это натянутая связь между Джеймсом Херви и Боро, сейчас у него больше ничего нет. Под конец просьбы он пробует матеро и по-плутовски подмигнуть библиотекарше, но та притворяется, что не замечает, – наверно, решила, что у него тик. Расплачиваясь за распечатки, он время от времени дергает бровью, чтобы утвердить ее в этом убеждении, решив, что уж лучше снисходительная жалость, чем иск за домогательства. Он подозревает, что оправдание в виде «мэверик, который не играет по правилам» не переубедит присяжных, если в их глазах к нему прибегнет несостоявшийся насильник.

Забрав тонкую стопку бумаги, он открывает сумку и упаковывает улики строго согласно процедуре, чтобы почитать попозже. Выйдя из библиотеки, он возвращается по своим следам вниз по Абингтонской улице, осторожно избегая белый горошек харчи из мятной жвачки, окружающей островки жестких пластмассовых скамеек района, чтобы не доводить до буквальности свою «грязную работу топтуна». «Гросвенор-центр» с гигантским шлемом

круглоголовых, парящим над входом в стиле «Замка Отранто», – синэстетическое пятно с завывающей музыкой, словно мишурным дождиком, и цветными гирляндами, что звенят и отдаются в эхосиятельного молла. Он поднимается на лифте на нужный этаж парковки в обществе престарелой четы, которая так суетится и хлопочет над молнией клетчатой хозяйственной сумки на колесиках, словно это их бедно одетый и умственно отсталый отпрыск.

Отыскав свою машину – скорее всего, «пontiак» или «бьюик», а то и помятый «шевроле», – он влезает внутрь и изо всех сил старается не потерять лица шального бунтаря, пока пристегивает ремень. Когда мотор взрывается, как свирепый хищник – хотя и со смертельной чахоткой, – Стадс ухмыляется себе на случай, если понадобится крупный план в машине. С этой стороной работы он хорошо знаком, в этой роли он как во второй шкуре. Жжет резину, чтобы успеть на randеву со святым местом – и не потому, что торопится исповедаться в грехах. Все, что требуется от частного детектива, дается ему легко, как одноразовые перепихоны без любви или дыхание: Стадс направляется на грязные окраины безжалостного города в надежде найти труп.

Уэстон-Фавелл и местная приходская церковь всего в двух-трех милях от Нортгемптона, так что не повредит сделать крюк через Биллингскую дорогу рядом с грамматической школой – или Нортгемптонской школой для мальчиков, как недавно переименовали это учреждение, – просто чтобы взглянуть одним глазком; прощупать почву. В идеале он бы предпочел вылететь из города под аккомпанемент визжащих тормозов и свинцового ливня, но из-за превратностей печально известной стесненной дорожной системы приходится взять налево на Абингтонской площади, съехав с Маунтс, обогнуть унитарнанскую церковь, чтобы вернуться почти в противоположном направлении, а затем опять свернуть налево на Йоркскую дорогу, и только тогда уже добраться до Биллингской дороги на юге. В ожидании светофора у начала Йоркской дороги он снова вспоминает Малыша Джона, уже заметив, что латунную

табличку, обозначавшую Жабий дом, давно убрали. Чертовски жаль. Нужно было сделать здесь охраняемую зону, заповедник для сокращающейся популяции хронически неприглядных под угрозой вымирания – для тех, у кого слишком низкий и средневековый вид, или для тех, у кого слишком много бородавок.

Светофор мигает, и он выезжает на Биллингскую дорогу – через дорогу и справа от Стадса высится белесая громада осажденной со всех сторон больницы. Из того, что он знает о местной истории, – а знает он немало, если учесть, что вырос Стадс на беспощадных улицах Флэтбуша или где там, – больница изначально была заложена на Георгианском ряду, первая за пределами Лондона, странной парочкой из священника Филипа Доддриджа и обращенного в веру кутилы доктора Джона Стонхауса. Стадс со своим многолетним опытом кое-что понимает в киноиндустрии и думает, что в истории есть все данные для отличного бадди-муви в стиле «огонь и лед». Он представляет сцену, где на помощь Стонхаусу из преданности приходит одна только артель потасканных шлюх восемнадцатого века и достраивает лечебницу по смете и в срок, когда слева вырастают высокие живые изгороди кладбища на Биллингской дороге. Не совсем то кладбище, что он ищет, но все же превосходный образчик и практически единственная местная достопримечательность, которую умудрились задеть Люфтваффе во время Второй мировой войны – возможно, в попытке уронить дух британских мертвецов. Он представляет в красках полуночную вспышку среди спящих надгробий, сопутствующий фонтан земли, костей и цветов, мраморную шрапнель, которой не терпится кого-нибудь похоронить.

Развернувшаяся солнечная панорама перед лобовым стеклом сжимается в боковых окнах в нескончаемый комикс-стрип про кирпичи и сады без неба, жилая шеренга вьется позади верного «Студебекера». Через дорогу на противоположной стороне размазывается больница Святого Андрея – слепые стены и железные прутья перед высокой и беспокойной оградой из

вечнозеленых деревьев в качестве естественной пожарной полосы для неконтролируемого горячего безумия в их пределах. Если вспомнить всех одаренных выше среднего, а то и вовсе блестящих людей, побывавших там в заключении, то институцию, думает Стадс, вполне можно считать обязательным флигелем или пристройкой рациональности для хранения информации, которую не может осмыслить разум. Ну и прочего бреда, да.

Он замедляется, когда завершается тянувшийся фриз лечебницы; переходит в фасад Нортгемптонской школы для мальчиков с низкой стенкой, отгораживающей трапециевидный двор, над которым возвышается неплохо сохранившееся здание начала двадцатого века с более современными добавками, раскинувшимися к востоку на бывших теннисных кортах. У школьных ворот скалится и возится заметно веселый квартет пареньков в обязательных синих блейзерах – возможно, возвращаясь с обеденной перемены и наверняка прилежно подразделяя субъективную вселенную на гейские и негейские компоненты. Хотя былая грамматическая школа не породила столько примечательных личностей, как смежная психушка, ей можно поставить пятерку хотя бы за старания. Здесь когда-то учился Френсис Крик, как, оказывается, и Херви, а возможно, и Бен Перрит. Стадсу кажется, он слышал, что числился здесь и Тони Четер, суровый партийный коммунист, двадцать лет проработавший редактором «Морнинг Стар», как и юный Тони Коттон из рокабилли-пуристов, покорителей чартов 1980-х родом из Конца Святого Джеймса – The Jets. Зато бедный старый сэр Малкольм Арнольд сохранил сомнительное почетное звание единственного, кто посещал и школу для мальчиков, и дурку по соседству. В день выпуска молодой композитор сэкономил бы время и нервы, если бы просто вышел по велосипедной дорожке через главные ворота, обреченно скинул пиджак, кепку и галстук и резко свернул в успокоительный зеленый континуум больницы Андрея. Уголком правого, нижнего глаза Стадс наблюдает, как августейшее заведение растворяется в слипстриме – удаляющийся розовато-

серый туман, съеживающийся под размер зеркала заднего вида, пока он давит педаль в пол и ведет свой «паккард» в кладбищенском направлении.

Ниже по Биллингской дороге со сравнительно зажиточными семейными домиками по левому борту и ничем, кроме пустых полей, по правому Стадса мучает чувство, что он проглядел важную деталь – возможно, в наблюдениях об оставленной позади Школе для мальчиков, – вот только не может понять, какую. Что-то о том, как построили школу, ее архитектуре или?.. Нет. Нет, забыл. Не доезжая до Биллингского Аквадрома, он делает поворот налево, который доставит его «Плимут Де Сото» к медовым камням изначальной деревни и гравийным дорожкам более позднего жилья, на неестественно затихшие и внимательные улочки сонного Уэстон-Фавелла.

Через несколько минут он находит место, где вроде бы можно спокойно припарковать машину так, чтобы потом тебя не сожгли в плетеном человеке. Стадс отлично знает эти облагороженные сообщества, стоящие за ними деньги, так что не может стряхнуть чувство, что за ним с самого поворота присматривает через подзорную трубу наблюдатель от Женского института [\[175\]](#). Выкарабкавшись из прошитого пулями «Нэш Амбассадора», он смеряет взглядом кишечные завороты запекшихся на солнце улиц – маршруты другого столетия – и с неохотой признает, что в наши дни на крови надо зарабатывать именно в таких местечках. Смекалистые детективы, вместо того чтобы гонять бездушных гангстерских карателей по усеянным шприцами городским подворотням, переезжают в захолустье, в спящие английские деревеньки, где всегда можно положиться на бабулек в платицах и отставных бригадных генералов, которые травят друг друга на еженедельной основе. Сплошные внутрисосовые преступления. Докатились.

Он припарковался на виду приходской церкви двенадцатого века, шпиль которой высился над соседними дымоходами, а у кладки был неровно прожаренный вид, – хотя, если начистоту, в местечке

размеров Уэстон-Фавелла почти невозможно найти место, где бы церковь была не на виду. Закинув вещмешок на плечо, всегда выставленное против любых помидоров мира, уже скоро Стадс толкает кованую калитку, которая скрипит страшнее его; поднимается по вытесанным ступеням на пригорок с захоронениями вокруг очаровательной часовенки. Чувствуется слабый ветерок, но за его исключением, замечает Стадс с некоторым удивлением, день стоит необычно идиллический. Не его обычная среда, это уж точно. Проливается сиропом на ухоженный газон солнечный свет, и на мили вокруг – ни единого неисправного неоновых знака, не говоря уж об игре в кости.

Что разочаровывает, сама церковь закрыта, но что приводит в уныние – среди россыпи надгробий в округе здания не находится место упокоения Джеймса Херви. Большинство неприязнительных камней, имена и данные на которых почти утрачены из-за многовековых стараний мха или погоды, зарезервированы как будто исключительно за якобитскими жмуриками, откинувшими ботфорты еще в тысяча шестисотых, задолго до того как Херви появился на свет божий в 1714 году. Стадс находит голубоватый косоугольник немногим больше скребка для ботинок, колонизированный многоцветными лишайниками и не посвященный, похоже, никому конкретному – просто обобщенный *memento mori*. Приглядевшись, он разбирает, что исчезающие буквы некогда гласили: «О ПОМНИ / ПУТНИК / ТАКИМ КАК ТЫ / ОДНАЖДЫ БЫЛ Я ANNO / 1656». А то, приятель. Спасибо. Передавай привет черной чуме. Неизвестно, среди этих гробниц медитировал Херви или нет, но спору нет, что их он видел каждый день, когда служил здесь священником, и это, возможно, и повлияло на его известную радужную диспозицию.

Уперевшись в тупик, Стадс решает играть до конца, как и планировал. Проверив сперва, не мокро ли на траве, он опасливо примостился на лужайке, вольготно вытянувшись на боку во весь рост, закинув лодыжку на лодыжку и облокотившись на землю, как жеманный эдвардианский холостяк, затем торопливо расстегнул

сумку и извлек распечатки по Херви из недр. Зубрить о своей неуловимой цели можно и здесь, пусть даже костей выдающегося клирика поблизости и нет. Взяв в расчет мизерное число монументов и плит поблизости, он спрашивает себя, что, если это кладбище – из тех, где могилы ввиду нехватки места не были последним местом упокоения. Тела ненадолго опускали в землю – на неделю-две, – пока не пропадет плоть и вонь, а потом голые кости выкапывались и разбрасывались, чтобы освободить место следующему жильцу, в точности как с больничными койками Нацздрава. Он припоминает эпизод из «Тома Джонса» Генри Филдинга, где во время стычки на свадьбе противники швыряются друг в друга гниющими черепами, ведь на кладбищах того периода это было самым сподручным вооружением. Если и Херви удостоился подобного краткосрочного погребения, то от него уже ничего не осталось, а черепом, когда-то хранившим думы о загробной жизни, давно контузили подружку невесты. За отсутствием физических останков или любых других образцов ДНК для исследования с передовым криминалистическим оборудованием ЦРУ Стадс довольствуется реконструкцией Херви по десятку с чем-то распечатанных страниц, что уже зажаты в хватке и набухают от пота. Осторожно извлекая из внутреннего кармана куртки очки для чтения почти без оправы и водружая их на томагавк носа, он погружается в серые миазмы текста.

Как он и подозревал, этот богобоязненный типчик Херви не так прост. Родился в семье проповедника в Хардингстоуне, в тени обезглавленного креста – первого монумента короля Эдуарда его покойной Элеоноре, – а уже в 1721 году Джеймса Херви сплавляют в грамматическую школу в возрасте семи лет. Стадсу это кажется неразумно ранним возрастом, ведь все его знакомые поступали уже после «одиннадцать плюс», но, видимо, учебные процессы Нортгемптона три сотни лет назад были совсем другим зверем. Черт, да образование в городе всегда было невиданным зверем другого семейства, в отличие от всей страны. Еще в 1970-х и 1980-х

городские дети походя подверглись образовательному эксперименту с трехуровневой системой и введением «средней школы», которая занимала несколько лет между младшей и старшей товарками и только удваивала неурядицы и невзгоды, которым подвергались ученики, грызущие гранит науки. Неудивительно, план с треском провалился, и несколько лет назад его тихо зарезали, а поколение нортгемптонских школьников списали как побочный ущерб. Все еще отчего-то терзаясь мыслью про «в возрасте семи» и ощущением, что над престижной школой для мальчиков висят неразрешенные вопросы, Стадс читает дальше.

Спустя десятилетие в возрасте семнадцати лет Херви отправляется в Оксфорд, где сталкивается с кликой протометодистов Джона Уэсли – шайкой бессердечных набожных засранцев, известных остальным студентам под высокомерным прозвищем «Святой клуб». Стадс устало кивает с пониманием. Такие уж были в те дни злые улицы религии – приличным мальчикам приходилось вступать в какую-нибудь банду, и не из-за большого желания, а потому, что они думали, будто это повысит их шансы на духовное выживание. Вот только потом, когда их примут, когда они прострелят колено баптисту на инициации, оказывается, что обратно выбраться уже не так-то просто. Так же было и с Херви. Долгое время он главный боевик Уэсли – самый успешный автор в Святом клубе, – но скоро ему хочется сколотить собственную банду. Пошли слухи, что у него слабость к евангеликам и что он зовет себя умеренным кальвинистом, а Уэсли это не нравится. Явно назревает мощная стрелка, и когда Херви публикует три тома «Терона и Аспазио» в 1755-м, он уже просто не дает великому псалмописателю выбора, кроме как развязать войну на улицах. Уэсли отрекается от трудов бывшей правой руки и клеймит их антиномизмом – старомодной ересью, которая утверждает, что все в мире предопределено, – и не успевает Херви сказать «Отче наш», как над головой свистит раскаленный теологический свинец. Он без подмоги, в перестрелке его цепляет за веру, он пытается отстреляться с помощью «Аспазио

Оправданного», но тут чахотка решает, что сорока пяти лет жизни с него хватит. Джон Уэсли – который поливал огнем из-под прикрытия кафедры, даже когда его жертва была на последнем издыхании, – наконец прочитал посмертно опубликованные обвинения Херви против мокрушных дел Уэсли и обиженным тоном восклицает, что тот умер, «проклиная своего духовного отца». Уэсли проследил, чтобы последнее слово осталось за ним; всадил контрольный в затылок наследию Херви. Это ж методисты, хмыкает Стадс. Они методичные.

Растянувшись на траве среди разбросанных надгробий на бледном майском свете, он замечает, что ему это нравится – дневной отдых от города бесконечной страшной ночи. Даже удивительно обнаружить, что солнечный свет не всегда полосатый. Где-то поет черный дрозд, как зэк на допросе, и временно нунуарный детектив переводит ленивый взгляд на следующую справочную страницу из ассорти – оказывается, авторства одного из быков мафии Уэсли. Якобы профиль Херви, он представляет автора «Терона и Аспазио» ханыгой, чей цветастый литературный стиль внес вклад в упадок вкуса в английской литературе, а помпезная проза оказала дегенеративное влияние почти на всех священников его дней, «опричь здравого Джона Уэсли». В качестве демонстрации авторского тезиса о вульгарной вычурности и скудости идей Херви приводится шматок текстов этого пастора Уэстон-Фавелла. Запомнив, что отрывок почти наверняка отобран, чтобы во всей красе продемонстрировать недостатки Херви, Стадс задвигает скользящие очки обратно по слаломной трассе шнобеля и приступает к чтению:

Едва ль можно ступить в значительный город, не увидев себе встречу в улицах похоронную процессию либо же скорбящих. Траурный герб на стене иль веющий креп – безмолвные знаки, что и

богатый, и бедный освобождают свои дома, но пополняют склепы.

Лежа на локте и потому не в силах употребить хоть одно плечо для пожатия, Стадс позволил исполнить их функцию заросшему пустырю бровей и нижней губе пожевавшего ос бульдога. Ну да, Херви всю разливаешь кладбищенским соловьем, но это еще не значит, что это курам на смех. Лично ему понравилось про «веющий креп», он и себе не прочь занять такие реплики. Он в целом не прочь занять себе реплики. Снова сосредоточившись на распечатке, он продолжает оценку риторических дарований мертвого теолога:

Не можно взять в руки газеты, среди развлекательных повестей нескольких строгих лекций о смертности не найдя. О чем же немолчные сочинения сии – о возрасте, подточенном хворью медленной, но верной, – о юности, злополучным ударом судьбы вдребезги разбитой, – о патриотах, креслы в сенате на покой в гробнице сменяющих, – о скупцах, вздох последний испускающих и (О немолчая судьба!) на других драгоценные свои богатства оставляющих! Даже самые средства увеселения нашего есть перечни усопших! И сколько редко глас славы звучит не в хоре с погребальным звоном!

Ну тут да, не поспоришь, мрачнюк. А уж последние измышления, где Херви сносит крышу от восклицательных знаков, читаются, будто тот для выразительности колотит кулаком по кафедре – а то и по крышке гроба. Стадс понимает, почему такой материалчик может

подпортить кровь. С неестественным драматургическим чутьем на солнце набегаёт облако и все накрывается пятнистым экраном серого полутона. Последние две строчки как будто написаны специально для исполнения Стадса. Средства нашего увеселения, во многих из которых он появлялся сам, ещё какие перечни усопших; выбитые кладбищенские титры, что ползут бесконечно, – тоскливые гроссбухи потухших звезд. А что до гласа славы – он сомневается, что узнает его, даже если услышит – а это вряд ли, если Херви что-то понимает и тот действительно звучит в хоре с погребальным звоном. Впрочем, и так было бы неплохо, если подумать. Большинству достаётся только звон.

Покончив с кратким унынием, снова показывается солнце. Следующий лист в хлипкой стопке – текст, предположительно, единственного сохранившегося гимна Херви, «Раз все стези времен дано»: «Раз все стези времен дано / Лишь Господу блюсти, / О, может кто ль избрать удел, / Нам назначать пути?» Стадсу по душе фатализм, подходящий по интонации похождениям оперативника «Континенталя» или Филипу Марлоу, – идея, что все наши будущие крахи и разочарования уже предписаны и только терпеливо поджидают дальше по шоссе – или по стезям времен. Он думает, они с Херви вполне бы согласились насчет направления этих путей-дорожек, и делает вывод, что, выходит, из-за этого трепа про антиномичное предначертание между Джоном Уэсли и его бывшим капо и пробежала кошка. Пока рядом пчелы клятвенно шепчут на уши первым цветам года, Стадс продолжает разгребать кучу-малу информации.

Ему никогда раньше не приходило в голову, что все главные английские гимны и их композиторы как будто расцвели в семнадцатом и восемнадцатом веках – на плодородном суглинке Реставрации, обогащенном питательными веществами гражданской войны, лошадиными и человеческими биоотходами или нитратами сожженных церквей. Круглоголовый Баньян выдает «Паломника», не успели зарости шрамы на зеленых склонах Несби, а Уэсли, Купер,

Ньютон, Херви, Доддридж, Блейк – обычные подозреваемые, – прижатые под перекрестным огнем самых разных времен и конфликтов, пытались заглушить песнями свистящие мушкетные пули. Заказняк Оливера «Багси» Кромвеля на Карла Первого перевернул с ног на голову всю Англию, понимает теперь Стадс. И канонадой гимнов еще ничего не ограничивается. Разве ему не говорили, что бильярд вошел в моду только в этот послевоенный период, а сложная, но предсказуемая баллистика нового времяпрепровождения помогла Исааку Ньютону с парадигмой, на которой он построил все свои законы движения? А где были бы нуарные детективы вроде Стадса без морально антисанитарного бильярдного зала с омерзительными тенями и безжалостным белым светом? Что-то тут есть между строк – дреколье и ряды строф, траектории шара и пули, то, что следует знать актеру, векторы монархии или сюжетные линии истории. Идея пока сырая и неуловимая, без какой-то важной детальки, чтобы обвязать все бантиком и подать на блюдечке. Заметив, что витает мыслями в облаках, Стадс возвращается ко все более влажной и жухлой бумаге в узловатой клешне.

Страница, на которую он смотрит, хотя и не сразу воодушевляет, но все же объясняет, почему Стадс промазал в попытках выследить тело Херви. Оказывается, данный труп ныне лежит под церковным полом, к югу от алтаря, в пресвитерии. Стадс понимающе кивает. Последнее место, где подумаешь искать. Ну, логично. На этом месте лежит что-то вроде могильной плиты, которая называет Херви «сим набожным человеком и уважаемым автором! оный муж умер 25 дек. 1758, на 45-м году жизни». Скончался на Рождество и умудрился протащить восклицательный знак даже в эпитафию, уважительно отмечает Стадс. Под всякими судмедэкспертными подробностями прилагается стих, в котором автор стихов – предположительно, сам Херви, – объясняет неимение более заметного мемориала:

Читатель, большего не жди; ему

Ни плач, ни камень не споют хвалу.

Лишь только вирши могут славу длить;

Душа его в них вечно будет жить.

И снова пожатие губой и бровями. Разумное предложение. Херви, судя по тексту перед Стадсом, не желал другого монумента, кроме желания «воздвигнуть мемориал в сердцах родных созданий». Это созвучно собственной философии Стадса; по сути, убивай всех, а Господь и потомство узнают своих. Он не уверен, во многих ли сердцах родных созданий оставил мемориалы, если не считать мемориалами свинец 48-го калибра, но в общем он уже смягчился к этому самому Херви, как мох на мавзолее.

Пушинка за пушинкой одуванчиков неестественно идеальный день истончается, и единственное движение у домов, окружающих возвышенное кладбищенское ложе Стадса, – движение лучей солнца на светлых камнях. Стадс лежит здесь уже больше часа, а еще не видел на этих сонных извивах улиц ни одного туземца Уэстон-Фавелла. А что, если все умерли в каком-то разгуле в духе «Убийств в Мидсомере», в каком-то статистически невероятном стечении разных и совершенно несвязанных покушений, когда последний живой генерал-майор или бывшая участковая медсестра наконец уступают медленнодействующему яду, тайно подмешанному тем, кого он или она уже зарезали фестонными ножницами в начальной сцене? Ему кажется, эта идея поинтересней «Убийства в Восточном

экспрессе», хотя бы потому, что в таком повествовании все оказываются не только убийцами, но еще и жертвами. Гениальный двойной твист, такую концовку никто не ожидает. Он позволяет себе потратить пару мгновений на мысленный подбор актеров, не считая себя, которых бы взял в киноверсию, но в итоге машет рукой, как только замечает, что все в этой команде мечты, кроме него самого, уже покойники – перечень усопших, что снова возвращает к Херви.

Последующий текст в его входном лотке – как он сейчас предпочитает называть свою руку, – даже более интригующий. Стадсу достаточно только выловить имя Филипа Доддриджа в гуще текста, чтобы понять, что остывший след снова разогревается, а после пары абзацев тот уже дымится, как черный недоразвитый техасец на электрическом стуле. Судя по тому, что он читает, Доддридж и Джеймс Херви спелись лучше, чем Херви с Уэсли, и Доддридж оказал на духовную карьеру Херви столько влияния, что Уэсли и не снилось. Если верить этим байкам, то, когда Херви принял отцовскую должность приходского священника в Коллингтри и Уэстон-Фавелле, он отправился бродить по полям и наткнулся на пахаря, боронившего почву. Просто у Херви был костоправ – наверняка из тех, кто выковыряет все пули из нашпигованного бедолаги и залатает раны, не задавая лишних вопросов, – и он рекомендовал, чтобы Херви дышал здоровым деревенским воздухом, общаясь с честным трудовым народом, пока тот занимается своими делами. Так вот проповедник идет рядом с землепашцем и, будучи членом Святого клуба на полной ставке, решает дать распробовать рабочей лошадке свой богоугодный продукт, совершенно бесплатно. Херви спрашивает деревенщину, что, по его мнению, самое трудное в религии. Когда Сельский Джо предсказуемо отвечает, что его дело маленькое, а такие вопросы лучше задавать людям грамотным, Херви с радостью пускается в скрытую проповедь. Он предполагает, что самое трудное достижение в христианстве – отринуть свою грешную натуру, и подсаживается на уши несчастному вахлаку по поводу великой

важности того, чтобы не сходить с морально прямой тропы, пока его визави как раз пытается сосредоточиться на физическом эквиваленте этой задачи.

Когда наконец у священника истощается фонтан красноречия, мужик из простого крестьянского теста вдруг выкидывает коленце и заявляет, что еще труднее бывает отринуть собственную праведную натуру; преодолеть самодовольную ханжескую брехню, которой упивается бригада Уэсли. Заметив, что загнал Херви в угол морального ринга, деревенский пентюх добивает риторическим хуком: «Ведомо вам, что не хожу я слушать ваши проповеди, но каждый шабат держу путь с семьей вместе в Нортгемптон, послушать мистера Доддриджа. Рано поутру мы встаем и творим молитвы перед выходом, и мне это отратно. Хаживать туда и обратно мне отратно; на проповеди мне отратно; и пред алтарем мне отратно. Мы читаем Священное Писание и ходим на молитвы ввечеру, и нам отратно; но по сию пору пуще всего тяжело мне отринуть праведную натуру. Я говорю об отказе от силы нашей, от праведности нашей, о том, не опираться чтобы на них в стремленьи к святости, не опираться чтобы на них в оправданиях себя».

Позже Херви приводит этот момент как гром и озарение среди ясного синего неба Уэстон-Фавелла. Не откладывая, он решает последовать примеру крестьянина и наконец встретиться с Филипом Доддриджем. Они заводят крепкую дружбу, а потом с помощью обращенного Доддриджем доктора Стонхауса, «мота самого безнадежного и деиста дерзкого», закладывают первую лечебницу вне Лондона. Оказывается, что из-за близости с евангеликами – диссентерами-христианами из банды Доддриджа, – Херви и напросился на отлучение от Святой мафии Уэсли. Локоть, на котором лежит Стадс, уже спит с рыбками, совершенно онемел, но он слишком увлекся делом, чтобы двигаться. Точки соединяются, детальки пазла встают на свои места. Игра начинается. Он пролистывает последние листочки в кипе с растущим воодушевлением и обнаруживает неожиданную статью, где Херви

связывают с рождением готической традиции. Стадс, который считал, что его прежние размышления о готических заслугах пышного и мрачного Херви – циничные шуточки, опешил. Он чаще загадывал наперед, чем разгадывал дела, – как-то раз убедил себя, что Роман Поланский возьмет его на роль Фейгина, если просто черкнуть режиссеру короткое письмецо и настойчиво об этом попросить, – но чтобы хромая кляча, на которую он поставил, наконец доплелась до финишной черты – это беспрецедентная новинка. С головокружением от новообретенной уверенности в себе он читает дальше, едва ли смея поверить удаче.

Если Стадс все правильно понимает, незаурядная мрачность сочинений Херви, которую так порицали уэсливцы, для его литературных современников оказалась поеденной червями музой. Неизбывную тему бренности человека в сравнении с вечностью Божьей подхватили и другие богословы, такие как Эдвард Янг, и поэты назревающей Кладбищенской школы вроде Томаса Грея, оставив такой отпечаток на творчестве века, что Уильям Кенрик писал:

И был исступленный Эд Янг;

И пел нам Херви, тленом пьян;

Чья муза дивною строфой

С совой стенала под луной.

Насколько разбирается Стадс, это справедливый отзыв, по крайней мере по отношению к поздним авторам Кладбищенской школы, которых не столько заботили дела божественные, сколько совершенно покорила атмосфера и декорации – совы, мыши, черепа да осыпающиеся могильные камни. В этот момент общество медленно принималось за генеральную уборку кладбищ нации ради физической и ментальной гигиены, выметала заплесневевшие кости и одновременно изгоняла вездесущий запах и саму неизбежную идею о смертности за пределы принятого обиходного дискурса. Наверно, неудивительно, что из-за исчезновения угрюмого факта смерти из обычной жизни в этот же момент в культуре начинает поднимать голову пикантный фетиш всего гибельного и загробного. Подхватив эстафету менее религиозных и более нескрываемо траурных авторов поздней Кладбищенской школы, авторы вроде Горация Уолпола и Мэттью «Монаха» Льюиса взяли безрадостную иконографию Херви и разукрасили ее ветшающие европейские замки или морально подгнивающие монастыри. Похоже, готический роман и вообще вся готическая традиция конца восемнадцатого века проистекали из духовного увлечения чахоточного Херви гробницей.

Пока к нему по подстриженной траве целеустремленно ползут удлиняющиеся тени надгробий, Стадс взвешивает все следствия из последней находки. Он знает, что если здесь все по-честному, то Херви – неуловимый Большой Босс не за одним только готическим романом. До того как прибыли Уолпол, Льюис, Бекфорд и их собратья-страшилы, единственной существовавшей формой романа была комедия нравов – Голдсмит, Шеридан и вплоть до Джейн Остин, – так что с приходом готического романа заодно родилась и жанровая литература. Следовательно, почти все последующие подкатегории художественной прозы уходят корнями в готическую литературу, а значит – в первые заплесневелые тексты Херви; расцвели во мхе и лишайниках его первых погребальных нарративов, осознает Стадс. Да, очевидный пример – классическая

история о привидениях, как и распутившийся из нее буйно цветущий хоррор и истории о сверхъестественном, но на этом дело не кончается. Сюда надо включить и область фэнтези, как и научную фантастику с прообразом в виде готического «Франкенштейна» Мэри Шелли. И потом, конечно, нельзя забывать о декадентах, предвосхищенных в возвышенном делирии престолонаследником халифата Ватека и богатств Отранто – Эдгаром Алланом По. А По – эта идея врезается в мысли Стадса с силой бурбона перед завтраком, – а По отправил шевалье Огюста Дюпена разгадывать убийства на улице Морг и тайну похищенного письма и тем самым приблизил появление детектива. Стадс пытается осмыслить: костяная луковица, из которой проросли все бездушные дождливые полночи, каждая сногшибательная блондинка со слезливой историей и каждый мигающий электрический знак, лежит в каких-то пятнадцати метрах к югу от алтаря. Каждая развязка в столовой особняка, каждый нож в спине. Чертовски.

Но это готическое дело снова напомнило ему о «Баухаусе» и современном перерождении движения на финальных титрах 1970-х. Как помнит Стадс, первым множество жутких тропов, которые однажды спасут производство черных кружев и туши, предложил эклектичный Дэвид Джей. И все же как ни начитан был этот необычный ибисоподобный богемный интеллектуал, Стадс сомневается, что в прямо противоположный по направлению список книг на лето Джея пробрались какие-то заунывные христиане из восемнадцатого века. Басист «Баухауса», заключает Стадс, ничего не знал о Херви, когда интуитивно набрасывал чертежи для основы самого поразительно долгоживущего молодежного культа современной эры. Взрыв белладонны, лилий и засушенных роз, сопровождавший нортгемптонский расцвет готики в двадцатом веке, воплотился без всякой оглядки или ведома о зарождении этого стиля благодаря Джеймсу Херви более чем двести лет назад. Если только это не провокационное совпадение, вывод остается один: обе традиции и сформировавшие их менталитеты выросли из

уникальных врожденных качеств самого города; готическое мировоззрение как эмерджентное свойство, как состояние Нортгемптона. Это же все-все объясняет – и церкви, и убийства, и историю, и призрачных монахов. Это объясняет и прозу, и музыку, и натуру местных – всех, от Херви до Бена Перрита, от Джона Клэра до Дэвида Джея, со Стадсом, Малышом Джоном и Альмой Уоррен где-то между ними в этом гротескном спектре. Один Малыш Джон – все готическое движение разом в одной удобной упаковке, особенно если учитывать, что злокозненный карлик – скрепа жанра, а благодаря своему происхождению Джон почти что кажется сошедшим со страниц «Ватека» Бекфорда, принесенным с обуянных джиннами террас Иштакара в далеком Персеполисе обезображенным внуком демона-султана Эблиса. Стадс настолько близок к внутреннему удовлетворению, насколько вообще может быть усталый и потасканный воображаемый частный детектив. Все сходится. Он проглядывает оставшиеся страницы со все большим нетерпением.

Там есть интересный отрывок из биографии Херви от некоего Джорджа М. Эллы, который описывает «Терона и Аспазию» от провидца из Уэстон-Фавелла в таких категориях, что книга больше похожа на модернистское или даже постмодернистское произведение, чем на диалог касательно вмененной праведности Христа, написанный в 1753 году. Нескончаемо длинный по современным стандартам, труд Херви, оказывается, меняет стиль и подачу с каждой новой главой, перескакивая от одного стиля или жанра к другому, и среди них насчитываются «описание, научная статья, внутренний монолог, истории из жизни, автобиография, сообщения очевидцев, портреты, рассказы, проповеди, лингвистические исследования, описания природы, дневник, поэзия и гимны. В труде также немало мест, напоминающих по структуре современный киносценарий». Стадс задумывается, не стоит ли добавить и битнический авангард к и так увесистому списку литературных форм, которые заимствуют *modus operandi* – это

такое выражение легавых для «образа действий» – у Джеймса Херви. Уважение Стадса к экстравагантно несчастному богослову растет с каждой минутой. Хотел бы он посмотреть, как какой-нибудь современный слизняк хотя бы попробует замахнуться на такую грандиозную и разнообразную вещь.

Он истощил свою стопку и уже скребыхал по дну из записей «Википедии» о Херви и Нортгемптонской школе для мальчиков, раскинувшись на траве церковного кладбища между редкими дневными ударами колокола. Ни одна из оставшихся статей не кажется Стадсу особенно многообещающей, и все же изучение обоих документов убедительно демонстрирует, как сильно может ошибаться человек. Первый – интернет-резюме Херви – в основном не дает Стадсу ничего, что бы он уже не знал из других источников, но прямо заявляет, что Херви не был кем-то там, о ком Уильям Блейк когда-то слышал и упомянул в единственной картине, – он один из двух главных духовных кумиров Блейка, где вторым оказался Эммануил Сведенборг. Изобретатель СВП и наперсник ангелов, который однажды заявил, что этим существам неведомо время, и чья пропавшая голова, по слухам, подпирала дозаторы в «Короне и Дельфине» [\[176\]](#), вместе с главным нортгемптонским фаталистом угодили в идеологически-генетическую смесь ламбетского паренька; стали его паранормальными родителями. Стадс вспоминает гравюру Блейка, которую изучал в библиотеке: одинокая человеческая фигура в нижней части изображения спиной к зрителю и скрытым лицом – к собравшимся над ним похоронным святым и ангелам, очевидно символизирует самого Херви, но в то же время из-за невидимых примет приобретает черты собирательного образа человека, замершего на грани мраморного загорьба, где туберкулез, плоть и брэнность не имеют значения: фигура на пороге смерти, отрицающая утрату и время. Или, возможно, Блейк просто не знал, как выглядит Херви, и в этом случае приобщенная к делу штриховая гравюра дает Стадсу небольшое преимущество перед блаженным бандитом Южного Лондона.

Взирающего с некачественно распечатанной картинке Херви можно принять за магистрата, если бы не отсутствие рассудительности в спокойных неподвижных глазах; если бы не легчайший намек на юмор в уголке чопорно поджатых губ. Гравировка контуров, подчеркивающая приятные черты деревенского пастора, – четкие линии, вьевшиеся в сталь аквафорта с помощью азотной кислоты, – на размытой репродукции распадается в пуантилистскую пыль, хотя детали на коже все же видимы. У левого глаза искусно отображено что-то вроде бородавки – Стадсу это кажется особой приметой, – тогда как на правой скуле посажена родинка – или, судя по идеальному расположению в стиле Монро, какая-то искусственная косметическая мушка. Учитывая почти гордое отсутствие тщеславия, очевидное в выборе Херви своего места упокоения, Стадс думает, что последняя мысль – все же выстрел в молоко, но, что ни говори, от лица Херви остается впечатление ветрености или женственности, отчего гипотеза о мушке кажется почти что вероятной. Дело не в бинете, аллонже или как там называется эта чертовщина на голове у Херви на картинке, а в общей ауре мягкости и чуткости, которую он излучает.

Стадс вспоминает пассаж из недавнего чтения о периоде Херви в Оксфорде, где неоперившийся проповедник близко сошелся с другим новобранцем Святого клуба – неким Полом Орчардом. По одному имени видно, что парень тот еще фрукт [\[177\]](#). Во время одного из периодических припадков недуга Херви в возрасте где-то двадцати пяти лет прожил два года с Орчардом в Стоук-Эбби в Девоншире, где они заключили договор, дав слово пристально присматривать за духовным благосостоянием друг друга. Может, это и не так откровенно, как амурное послание Норману Скотту от Джереми Торпа [\[178\]](#), но все же как будто говорит о мужской дружбе, зашедшей дальше совместных часов в барах и стрельбы по пивным банкам. В свете пожизненного холостяцкого существования в одном доме с матушкой и сестрой до самой скоропостижной бездыханной кончины у Стадса складывается впечатление о Херви как о человеке

с определенными наклонностями, которые невозможно было выразить физически, а потому пришлось сублимировать в какой-то разгоряченной любви к Христу и христианскому братству. Он вряд ли притянет за уши, если предположит, что в манерах, как и в цветастом литературном стиле, Джеймс Херви был малость театрален.

И вот остается только ниточка со школой для мальчиков, материал на закуску, – предсказуемо, именно здесь Стадсу достается наконец-таки его трансцендентальный рулеточный момент. Изумленный крупье восклицает «Инкрояблы!» – и, пока Стадс прогулочным шагом уходит от последней небрежно брошенной фишки, его зовут назад и нагружают неожиданным выигрышем. Он без энтузиазма изучает неказистое резюме по заведению, когда деталь, что все это время сидела у него прямо под носом и смеялась, бросается Стадсу в лицо с такой силой, что оно от удара становится красивым. Так вот что его глодало с самой рекогносцировки проездом у надменного кирпичного здания на Биллингской дороге – и это прямо во второй строчке распечатки, под самым недавно принятым самоуверенным девизом, обещающим «Традицию превосходства»; там, где сказано «Основана в 1541 году».

Нортгемптонская школа для мальчиков при появлении и близко к Биллингской дороге не стояла. Построенная мэром Томасом Чипси как «бесплатная грамматическая школа для мальчиков», изначально она была намного дальше на запад и располагалась на улице, которой, запоздало осознает Стадс, и дала название: на Школьной улице, у бывшего дома Бена Перрита на окраине Боро, где эта эпонимическая школа провела шестнадцать лет. Возведенная, когда на троне был Генрих Восьмой, в 1557 году она переместилась в церковь Святого Григория, как раз расширявшуюся на Школьную улицу, – а значит, переезд был не слишком хлопотным. На новом месте она простояла до 1864 года, и именно там учился с семи до семнадцати лет в 1720-х Херви. В голову Стадсу влетает шальной комментарий, который он явно видел где-то среди других

материалов, – побочное заявление Джона Райланда, современника Херви и его первого биографа, о том, что детское место образования Херви было ненамного лучше захудалой благотворительной школы. Стадс кивает – хмуро и на извращенный манер фотогенично. Учитывая местоположение в Боро, очень сомнительно, что школа даже тогда, в бурном шестнадцатом веке, могла быть чем-то иным, кроме как доброжелательной попыткой хоть как-то повлиять на жизнь злополучных детей района. Нортгемптон с древним районом, который некогда составлял весь город, к тому времени уже несколько сотен лет приходил в упадок из-за кары и опалы предыдущих Генрихов. Лично Стадс подозревал, что на плохом счету город оказался куда раньше, возможно, из-за местного антинорманнского разжигателя Хереварда Уэйка – фигуры, схожей с имевшим местные связи Гаем Фоксом в том, что его изгнали из уроков истории так же прочно, как сам город изгнали из региональных телепрогнозов погоды. Где еще провести формирующие годы дедушке готического движения, как не в идеальной колыбели Боро, полной вшей и фатализма.

Стадс нашел дымящийся ствол. Он вздымает свой онемевший остов с земли, словно раскрывает костяной зонтик. Раздраженно смахивая призрачно-зеленые былинки с кожанки, он возвращается по своим следам через редконаселенное кладбище и вскользь отмечает эффект сельского нуара от полосатой тени, отброшенной на залитую солнцем дорогу церковной калиткой. Черным пятном на объективе дня он добирается до прожаренного «Куп де Вилля», пока над асфальтом слоем горячего желе дрожит марево. Ввалившись внутрь, он опускает кнопкой окна, чтобы остудить духовку на колесах, пока сам не запекся, и снова терпит неудачу в попытке придумать хард-бойлд способ застегнуть ремень. Может, разве что по ходу дела презрительно сплюнуть на приборную доску или выдумать особенно ехидное сравнение для того, как трудно вставить металл в пластмассовую щель? Какое-нибудь: «Это было труднее,

чем 120-килограммовому самоанскому трансу считать по-китайски на... в...» Надо еще поработать.

Вспомнив, что он все еще в очках для чтения, Стадс аккуратно их снимает и возвращает во внутренний карман, прежде чем раскочегарить мотор и рвануть на дымно-сером «Дюзенберге» прочь из Уэстон-Фавелла – торпеда «земля – земля» на кратчайшем маршруте к далекому источнику тепла нортгемптонского центра. Все еще опустошенные улицы деревушки – заброшенные декорации, охровая кладка – всего лишь крашенные плоские картины, которые теперь разворачиваются и потом прячутся в компактное пространство заляпанного зеркала заднего вида. Грохоча по Биллингской дороге, он с визгом проносится мимо современной инкарнации школы для мальчиков, не существовавшей до 1911 года, и у его самобичевания из-за того, что он раньше не наткнулся на решение, – кислый вкус медного кастета в зубах победы. Но для такого нуарного детектива, как Стадс, это, конечно, идеальный результат. Незамутненного триумфа не существует, когда истинное удовольствие твоего рода занятий лежит в этическом, эмоциональном и физическом поражении; в признании, на пару с Херви, что все закрытые дела и смертная слава – ничто в сравнении с Глубоким сном.

У дневного солнца, забытого на печи, выкипает свет, так что теперь тот гуще и с легким металлическим послевкусием, пока изливается, остывая, на дурдом и неопрятную мраморную поросль кладбища, на больницу, которую Херви помогал основать Филипу Доддриджу и Джону Стонхаусу. Выполнив левый поворот на неторопливом светофоре возле замызганного бюста Эдуарда Седьмого в венце из птичьего помета, Стадс сплавляется по Чейн-уок мимо родильного крыла больницы, но его прогресс прерывается очередным светофором у подножия холма рядом с питьевым фонтаном Томаса Беккета. Деторождение, мученичество – все сплелось в тусклых стальных столбах халтурного монумента в честь Френсиса Крика на Абингтонской улице, бесполых супергероях,

возносящихся по спирали в генетическом устремлении к неопределенной погоде небес, в полете несбыточном из-за навсегда приваренных к издевательской улице ног. Свет сползает по пус-кафе светофора – от гренадина до крем-де-менте, – и Стадс летит по променаду Виктории с размазанными в окне слева парком Беккета и стоянкой стандартного супермаркета, подменяющим нездоровый скотный рынок. Минув в кровавой луже субботнего вечера отель «Плуг» в нижнем конце улицы Моста, он осуществляет неожиданно премудрую серию правых поворотов, прежде чем прибыть на парковку по соседству с пассажем «Питерс Плейс» на Золотой улице. И снова он платит, предъявляет и оставляет «Корвет» вместе с невидимым хвостом гангстеров отдыхать на пожеванном асфальтовом склоне под большой миской, полной долинного неба. Покинув автомобильную площадку через нижний выход, едва пережив переход четырехрядки у провонявшего азотом основания Конного Рынка, он направляется вдоль плавного изгиба пути Святого Петра к приподнятой и неухоженной лужайке, где когда-то был западный предел Зеленой улицы, откуда взбирается на два-три фута от гладкого асфальта на кочковатый холм и бесцеремонно входит в Боро сзади.

Заросший и разжалованный бывший районный сквер поднимается к тылам церкви Петра, известняковые морщины и бесцветные лентиги которого сейчас стерты лестным солнечным золотом. Возведенное еще из дерева в девятом веке королем Оффой в качестве личной часовни для сыновей, перестроенное во всей готической красе знатоком традиций Симоном де Сенлисом в двенадцатом или одиннадцатом, почти тысячетнее строение высасывает все признаки современности с этого травянистого склона за своей спиной. Пока Стадс бредет вверх по склону через сорняки, на него взирают гримасничающие дьяволы на разъеденных карнизах с выпученными каменными глазами, искривленными жабыми губами в испуге от его приближения – парализованное предчувствие обреченного состязания на самую страшную горгулью.

А сам он во время подъема по безвременному и обманчиво солнечному пустырю к древнему святилищу чувствует себя сведенным до роли какого-то очевидно злополучного академика в самодовольно жутком повествовании Монтегю Роудса Джеймса. Астматическая прачечная, стероидные пауки, цыганята с выкидными ножиками – что только не ждет его в полузаброшенном здании впереди. Кстати, если подумать, М. Р. Джеймс и вся традиция английских историй о привидениях должны считаться самыми явными ублюдками Херви, незаконнорожденными праправнуками от кладбищенских стихоплетов и элитных истериков с изящной мебелировкой. Потом следуют современные оккультисты, наследники джеймсовского Карсвелла, которые первые адаптировали готическую модель для литературных экзерсисов и моды в одежде, а доктрина Херви о вмененной праведности Христа стала стилистическим путеводителем для дьяволистов. Стадс сомневается, что Херви бы это целиком устроило, но после нескрываемого применения столь завораживающих образов для передачи своего посыла создателю нортгемптонского нуара в этом некого винить. Не надо делать обертку интереснее самого подарка – этот эдикт, с горечью смиряется Стадс, равно относится к его внутреннему обаянию и привлекающей излишнее внимание упаковке.

Покорив уклон лужайки, он идет на восток по почти неразличимым остаткам улицы Петра вдоль огороженных задов церкви. По неразвернутым лакричным палочкам тени он высчитывает, что должно быть где-то около пяти часов, и вкратце ощущает – сродни фантомной боли – чувство освобождения, которое предвестил бы сей час, если бы он имел нормальную работу, а не служил ночи. Не то чтобы он стеснялся своей завораживающей физиогномики, но Стадс всегда предпочитал темноту. Его любимым развлечением – после заигрываний с вероломными красотками, которые на поверку оказываются мужчинами, – было бродить по мрачным городским задворкам в те времена, когда нервные жители еще не перекрыли свои переулки; когда из-за такого поведения

невозможно было угодить в список сексуальных преступников. Однажды в мощеной расселине между Бирчфилдской и Эшбернэмской дорогами, в ранние часы зябкого воскресного утра, его напугал покотившийся навстречу по темному коридору огромный гранитный валун в классическом духе Индианы Джонса, который на короткой дистанции оказался нортгемптонским исполнителем планетарных масштабов – ныне покойным Томом Холлом.

Выгуливая в полночный час собаку, лирический бегемот задержался для бадинажа с фальшивым шпиком, многоглагольно выступив в защиту этих неухоженных ущелий с разукрашенными членами гаражными дверями, с бахромой сорняков вдоль краев. Облаченный в джинсовый комбинезон, словно бы переделанный из детской палатки, Холл импровизировал на тему своего тезиса, что узкие урбанистические стежки, которыми они сейчас скитались, были сухопутными каналами города, частью пересохшей сети воображаемых пеших артерий. Исследуя обнаженные русла с эдвардианской гусиной кожей голыша под ногами, опытный супрамореход всенепременно приметит обломки затонувшего подмира, скопившиеся у основания берегов из оцинкованной стали, как-то: выставленные за порог после яростных ультиматумов порноколлекции или ребра велосипедов, прибитые течениями к краям проулка, где среди безмятежно качающейся крапивы и анемонов флегмы нерестятся стайки презервативов неоновых расцветок. А изредка и тело. Устаревшие приборы, позорные пристрастия, с готовностью забытые поступки, априори переоцененные деяния или покупки, выдворенные на эти окраины, – сцены, вычеркнутые из дневного континуума и анонимно и непротокольно выписанные на эти поля, в этом подмоченном мочой апокрифе. Тучный трубадур красноречиво распространялся об этом образе все время, что потребовалось его четырехногому подопечному изогнуться на цыпочках, как дрожащие крикетные воротца, и в героическом напряжении сил выдавить из себя

экскремент длиннее самого барбоса. На этом любомудрие было окончено и мужчины продолжили свои противоположные пути: Стадс – против ветра вверх по осушенному каналу, тогда как музыканта понесло вниз по течению, словно огромный буй, сорвавшийся с якоря и уплывающий в лиловое далёко.

Стадс уже достиг переулка Узкого Пальца – возможно, самого необычного образчика в ономастике Боро, а на деле едва ли тропинки, которая сбегает вдоль непричесанной травы к остаткам Зеленой улицы. Он понятия не имеет, откуда это название. То ли неправильное написание бечевника недостаточной ширины – тое вместо tow в слове towpath, – то ли, зная район, отсылка к общей генетической инвалидности, когда-то поразившей жителей улицы. Справа от него вдоль восточного фасада церкви, у Лошадиной Ярмарки, стоят сады Святого Петра – ранее заброшенная дорожка, расширенная лет двадцать назад до заброшенного променада за счет сноса лавки школьной одежды, «Орм», что стояла на дальнем углу. Стадс помнит, как в двенадцать лет ходил туда в сопровождении матери покупать форму для средней школы. Он не уверен, но имеет основания полагать, что туда же его водили для снятия мерки на униженный килт. Насколько он помнит, в примерочной была пара высоких зеркал лицом друг к другу, где каждый мучительный момент портняжного испытания ребенка ужасным образом растянулся в обрамленную деревом вечность. Этот тесный и кривой проход, длиннее всего района – длиннее всего города, – уходивший в твердые стены и окружающие здания, занятый очередью пристыженных и покрасневших семилетних детишек без конца и без края, – куда же он делся? Когда снесли «Портных Орма», что случилось с его внутренней бесконечностью? Что, всех остальных уродливых мальчишек, все посеребренные слои личности сложили, как крашенные секции лакированной ширмы, и сунули куда-нибудь на склад, а вероятнее всего, выкинули?

А ведь это даже не его суровое детство. Он скорбит не по своим разрушенным воспоминаниям, и удивлен, как сильно его задела

вылазка в чужие разрушенные мечты. Он-то думал, Уорренша утрирует в своих убийственно разъяренных монологах, пытается преобразить страну детства в какой-то преданный и разоренный Бригадун, но на самом деле все сложнее. Стадса неподдельно шокирует прозаичное исчезновение места, страты прошлого и сообщества. Если реальность нескольких поколений не меньше чем тысячи людей можно убрать так же просто, как дешевого бандюгана не в том баре не в ту ночь, то где же вообще безопасно? Черт, да в эти дни хоть кто-то может пойти по правильному пути, не оказавшись на рельсах? Он пришел поразнюхать насчет сохранившихся следов сгнувшего вчера, но на этих отмененных улицах видит только дефективные эмбрионы приближающегося будущего. А когда это будущее наконец родится и мы отвернем от него глаза; когда мы постыдимся быть родословной, родительской культурой, произведшей на свет этого противного душе уродца, то куда нам его изгнать, чтобы глаза не видели? Мы же не можем, как шах, сослать его в Нортгемптон. Оно уже здесь, уже укоренилось и постепенно становится повсеместным.

Хотя улица Святого Петра продолжается и дальше между сравнительно новыми и по большей части простаивающими офисными зданиями до самой Школьной улицы, Стадс подумывает сделать крюк – по переулку Узкого Пальца к растерзанному остову бывшей Зеленой улицы – и подниматься уже оттуда. Вдруг там найдутся улики: отпечатки следов или свидетель, слишком запуганный, чтобы подать голос, какая-нибудь уцелевшая каменная кладка среди кирпичного шпона, которая станет осведомителем, если предложить правильный стимул. Сунув руки в высокие карманы куртки и оттопырив локти, как крылья додо, он опускается по рудиментарному переулку, на ходу мысленно раскрашивая свой эскизный портрет Джеймса Херви.

Как видится Стадсу, вероятнее всего, семилетний Херви приходил в школу каждое утро из Хардингстоуна пешком, наверняка без компании и по крайней мере полгода проделывая этот путь в глухой

темноте. Он выдвигался из родной деревни, что спустя две сотни лет приобретет еще большую готическую славу благодаря имени Альфа Рауза – Убийцы с Горящей Машиной [179]. Мальчишка – возможно, уже тогда с тем же утонченным видом, теми же степенно поджатыми губками и приступами кашля, – семенил к старой Лондонской дороге по беспросветным проселкам без единой живой души, не считая внезапных сов. Там каждый будний день детства его встречал обезглавленный крест – один из каменных мемориалов, воздвигнутых Эдуардом Первым на каждом месте, где тело королевы Элеоноры касалось земли на долгом пути Темзой в Чаринг, – высокий и черный в предрассветной серости. Не успевала закрыться за маленьким Джимми Херви дверь родного дома, как религиозно настроенный и болезненный малыш сразу же окунался в мифологию древнего города, с вереей безголового монумента перед похоронной романтикой.

Затем долгий спуск по холму навстречу почерневшей городской массе внизу, все еще даже без газовых фонарей, и хрупкий школьник входит в вонючие тени Конца Святого Джеймса, где, чертыхаясь, грузят телеги и повозки выдернутые ни свет ни заря из теплых постелей купцы, окликают друг друга в потемках незнакомым говором. К нему в мечущемся свечном свете полуоборачиваются и прищуриваются взрослые плоские лица со странной сыпью, и доносится из ворот фырканы дымящихся, содрогающихся ломовых. С окоченевшими от холода розовыми пальчиками – кто знает, сколько книг под его щуплой детской рукой, – будущий фаталист должен был взобраться по горбу Западного моста, пока с каждым неохотным шагом перед ним неуловимо рассеивалась тьма ненаступившего дня, а под ногами было лишь слышно, но не видно вечную реку. На гребне, посреди моста, прежде чем встающее солнце спалит туман, перед ребенком в антиподе сумерек проступили бы руины замка – расстелившаяся мгlistая груда валунов с истошными и мельтешащими пятнышками у беззубых стен, с культями ампутированных башен. Неужели это павшая

твердыня Нортгемптона, ныне местный вокзал и магнит для проституток, была личиночной формой каждого последующего Отранто, каждого Горменгаста?

Оттуда с ускоряющей шаг детерминистской инерцией набожный недужный юнец сбегал со сколиозного моста на противоположный берег, попадал в Боро и переплетенный клубок улиц, башенок-поганок в ведьминских шляпах из меченой голубыми черепицы. Затем – Лошадиная Ярмарка и церковь Святого Петра: обветренные контрфорсы украшены паясничавшими саксонскими бесами, массовка Иеронима Босха разевает пасти из какого-то давно минувшего Судного дня. Через пару шагов – дом Хэзельриггов, где Кромвелю накануне Несби снилось неминуемое будущее Англии. Последний поворот направо, на Школьную улицу, приводил расцветающего певца кошмаров к месту его образования – теперь всего в одном левом повороте от Стадса на другом, нижнем конце той же самой улицы.

Округа, которую Стадс еще помнит по бессонным ночным прогулкам двадцатилетней давности, неузнаваема – лицо любимой при первом посещении травматологического отделения после несчастного случая. Отбитая шпора Зеленой улицы, которая вывела его от основания переулка Узкого Пальца на этот перекресток, лишилась зданий – больше нет южного берегового вала, защищающего размывающийся край от пагубного прибоя трафика на пути Петра. А что до подъема в холм Школьной улицы перед ним – это очевидная и оскорбительно непохожая самозванка, словно женщина, которая представляется твоей мамой, когда приходит через неделю после ее кремации. Западный бок крутого проезда, где некогда высился лесной склад Джема Перрита, под номером 14, теперь по большей части – ненаселенные территории предприятий, до самой Лошадиной Ярмарки. Поднимаясь с запинками, топоролицый следователь пытается воссоздать пропавший без вести семейный дом Бена Перрита; наложить шаткое двух- или трехэтажное здание с прилегающими конюшнями, сеновалами,

козами, собаками и курами на почти чистый от машин двор сменившей его и устойчивой к воображению современной постройки, – но тщетно. Отдельные черты еще цепляются за память, как обрывки афиши давно прошедшего шоу, упрямо прилепившиеся к гофрированной ограде, – три ступеньки до покрашенной в черную краску двери, семейные реликвии и сбруя на виду в передней комнате, – но эти фрагменты просто висят в пустом пространстве воспоминаний без всякой соединительной ткани, как плакаты невозвратимой немой классики.

Сразу через дорогу от зримого отсутствия дома Перритов на неаккуратном наброске от руки восточной стороны Школьной улицы Стадс равняется с кариозной пастью улицы Григория с покосившейся кирпичной стенкой на углу, ограждающей кучерявые джунгли буддлеи, – некогда черный ход в церковь Святого Григория и бесплатную школу, которую она приняла, когда там учился Джеймс Херви. Через какое-то время эту священную землю занял ряд домов – нечетные от седьмого до семнадцатого на углу улицы Григория, если память не подводит Стадса; между прочим, это совпадает с возрастом, когда юный Джеймс Херви каждое утро посещал сей скромный склон. Стадсу кажется, он припоминает, что его клиент Альма Уоррен говорила, будто в одном из ныне заброшенных зданий, оставшихся без крыши, жили ее родственники – то ли тетя, то ли троюродная сестра, что сошла с ума и заперлась в доме одна, играя всю ночь на пианино. В общем, что-то в этом роде – одна из несметных неряшливых драм, которые были, а теперь поросли летней сиренью, удушающей нетронутый двадцатилетний щебень.

Стадс идет посередине узкого капилляра, рефлексивно поглядывая на холм, чтобы ни с чем не столкнуться, хотя он и сомневается, что теперь сюда вообще можно заезжать машинам, когда вдруг замечает в верхнем конце мужчину и женщину, погруженных в разговор. При виде экстравагантного рыжего пятна жилета на мужчине в голове звенит звоночек, и Стадс шарит во внутреннем кармане в поисках очков. Отойдя к краю улицы, он

усаживает их на свой острый клюв и выглядывает из-за разрушенного углового дома, прижавшись к выгибающейся стене на случай, если парочка взглянет на дорогу и заметит его – притворная пожизненная привычка.

Это Бен Перрит.

Это Бен Перрит, говорит с женщиной, которая ему в дочери годится, с корнроус и в провокативно коротком красном плаще, как будто бы из винила. Судя по всему, она агитирует за коитус. Пусть бражный бард очевидно поднял планку после объятий с Альмой Уоррен, Стадс не может не думать, что Бен мог бы постараться и найти что-нибудь получше. Однако перспективы местного поэта на романтической ниве – не самая насущная проблема Стадса. Что Перрит вообще здесь делает, особенно в свете якобы случайного появления на Абингтонской улице? Это не простое совпадение, по крайней мере в нынешней мысленной мизансцене Стадса. Он недолго взвешивает возможность, что Перрит – невероятно дилетантский соглядатай, возможно, нанятый Уорреншей, чтобы тайком приглядывать за своим ручным частным сыщиком, но тут же отбрасывает эту мысль. Бен Перрит, сколько его знает Стадс, не в состоянии следовать даже собственному литературному призванию, не то что за другим человеком, тем более не на таких ватных ногах.

Он рискует еще раз выглянуть из-за загнутого уголка уличной страницы. Девушка в верхнем конце Школьной теперь опасливо пятится от Бенедикта, который хихикает и невнятно жестикулирует. Нет, явно не хвост. Не в таком ярком жилете, словно скроенном из обрезков ковров, и не с таким смехом, который слышно даже здесь, – полярная противоположность незаметности. И все же что-то они значат, эти многозначительные недовстречи. Нырнув обратно за накренившуюся стену, Стадс пытается опознать возникшее чувство – ощущение, что он что-то упускает, какую-то недоступную часть общей картины. Он понимает, что в реальной жизни ненароком столкнуться дважды за день с одним человеком – ничего особенного, но все же придерживается роли. С точки зрения Стадса,

многократные явления Перрита могут быть только какой-то повествовательной задумкой, важным сюжетным механизмом или приемом, чтобы обозначить скорую разгадку тайны, когда неожиданно сойдутся все ниточки: Бен Перрит и девчонка в красном пластиковом дождевике, Доддридж, Ламбет и детерминизм. Уильяма Блейк. Джеймс Херви.

Когда он в следующий раз выглядывает на улицу, там уже нет ни Перрита, ни его юбки. Стадс убирает очки и прислоняется к псориазным кирпичам. И что теперь? Он дошел до места, которое искал, и дальше дороги нет, не считая наверняка самоубийственного преодоления стены, к которой он привалился, прямиком в заросший пчелиный кафетерий. Он не может физически занять места в пространстве, согретые жаром тела Джеймса Херви; не знает, чего вообще надеялся достичь своим паломничеством в исчезнувший край. Идти по стопам мертвеца, словно какой-то карапуз, торопящийся за отцом по снегу, ворваться с одной только слепой верой в район, словно если пройти по тем же улицам, что и другой человек, то создашь с ним какую-то связь, – что же он за дурень, простак, а то и фраер? Места не ждут там, где их оставляешь. Возвращаешься – и даже если все на вид так же, как было раньше, то на самом деле это уже совсем другое место.

Он помнит Малыша Джона во время одного из их сравнительно вдумчивых и не таких буйных разговоров. На его фольклорного друга неожиданно напал тоскливый, даже плаксивый стих, и он заговорил о детстве, которого не помнил толком, о восточных сказках, в которых на самом деле не побывал.

– Знаешь, а я бы туда как-нибудь вернулся, в Персию, в старую страну. Посмотреть, что там к чему.

Нет, Джон, старина. Не выйдет. Персии нет. В 79-м там была революция, когда Джимми Картер запретил церэушникам откупаться от аятолл, чтоб те не трогали твоего дедушку. Его вышвырнули и позволили раку закончить дело, и можно поспорить, что новый

режим не испытывает горячих чувств к твоей семейке. Да и страна теперь называется Иран. Ты там не нужен. И никогда не был нужен.

Конечно, вслух такое не скажешь. Можно только что-то уклончиво пробормотать и пожелать удачи, попросить привезти крылатого коня или ковер-самолет из дьюти-фри, зная, что как только Джон протрезвеет, о милой ностальгической поездке в Мордор будет забыто. Жаль только, Стадс сам не послушал свой же негласный совет, не понимал до этого самого момента: то, что верно о Тегеране, верно и о Школьной улице. Этот драный клочок земли повидал революции, как одни тирании сменяются другими, его характер переосмыслился самыми разными видами фундаментализма – и социополитического, и экономического: король Карл, Кромвель, король Карл-младший, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр. Если подумать, земля под ногами Стадса даже разделяет статус «короля в изгнании» Малыша Джона: ведь грубая трапеция, обрисованная с одной стороны Школьной улицей и переулком Узкого Пальца и садами Петра – с другой, – это территория саксонского дворца Оффы, с церквями Петра и Григория по бокам, на западе и востоке соответственно. Зияющий вход в погребенный склад древесины Джема Перрита вел когда-то в королевские конюшни, и если бы ему хватило ума родиться где-то на двенадцать сотен лет раньше, то сын Джема, Бенедикт, вполне мог быть придворным стихотворцем в холщовом наряде или на худой конец королевским шутом. «Бедный Том озяб» и овечий мочевой пузырь на палке. Да это Бен смотрелся бы в роли как влитой.

Ветер холодит щетину, и Стадс встряхивает головой, чтобы очистить ее от воспоминаний – от меланхолии, что окутывает, как пороховые пары. Сколько он уже торчит на углу улицы Григория, без толку размышляя о мертвых карликах и что при переделах земли обычно больше всех проигрывает земля? Он замечает легкие перемены в местном окружении, говорящие, что он уже долго подпирает покосившуюся стену. Западное небо чище, а свет разбавленней и удобоваримей, у конца синей фрески дня

истончаются приглушенные оттенки красок. Далеким машинам и грузовикам как будто больше нечего сказать, их разговор осекается и все чаще затихает, сводясь к побряхтыванию в тиши после часа пик. Птицы, планирующие к водосточным желобам, стряхивают заботы дня и порхают с беззаботным видом возвращающихся домой работников. Пятница, 26 мая, заливается розоватым пристыженным румянцем своего завершения.

Он решает окинуть глазами, расставленными в стиле мистера Картофельной головы, Подковную улицу, глянуть, что осталось от другого конца Святого Григория, прежде чем вернуться домой и поставить точку перед многоточием завтрашнего дня. В отсутствие промозглого ветра он задирает кожаный воротник, чтобы почувствовать себя отделенным от общества, и с последним взглядом на неопознанное предприятие, заменившее Оффу, Джема Перрита и все, что было между ними, спускается вниз по улице Григория с дерзкой походкой, поводя плечами, с заходящим солнцем за спиной. Слева обветшание участка на углу длится без изменений, тогда как справа нет вообще ничего – агорафобная полоса освежеванной земли, беспрепятственно скатывающаяся до пути Петра, с вытисненным сланцем сплюснутых планов домов, словно квантовой рябью, еще различимой на «шкуре» черных дыр – горизонте событий, – единственном дошедшем до нас свидетельстве существования уже переваренных небесных тел.

На повороте улицы, где она резко ныряет на юг, стоит трехэтажная викторианская фабрика – огромный куб копченого кирпича, преобразенный в звукозаписывающую студию. Высоко на сажистом фасаде закреплен модный минимальный логотип в наивной попытке навязать характер зданию с амнезией, которое теперь притворяется «Феникс Студиос», – благонамеренная попытка пробудить пламя перерождения из пепла района, которая явно кончится пшиком. После таких пожаров это не работает. На вроде бы заброшенном дворе сбоку здания свалены морены шин, принесенные сюда давным-давно как будто бы черным резиновым ледником в долгую

холодную зиму после эры динодозеров и тираннаторов, изгибавших и вращавших суставчатыми шеями, чтобы с неразборчивым аппетитом откусить от передней спальни расселенной семьи, пока с желтых металлических челюстей свисали серые сорняки обоев. Он сворачивает направо, на продолжение улицы Григория, только чтобы обнаружить, что его нет. За студией ничего не отделяет конец дороги от двух полос Подковной улицы, параллельно сбегаящих по холму, не считая парочки нелепо низких заборчиков, которые даже Малыш Джон переступил бы и не заметил. Стадс вскользь чувствует себя обязанным дойти до самого конца улицы, чтобы обойти уже не существующие базы, строительные склады и дома – из уважения к мертвой собственности, – но сам видит, что это так безумно и хлопотно, что просто срезает по голой земле.

Широкая дорога лишена машин и людей от самого подножия у обглоданного скелета газгольдера до вершины, где она вливается в Мэйорхолд. В запустелом хиатусе между освобождением от работы и свободой заложить за воротник голоса квартала – и современные, и древние – отключаются резко, как саундтрек на заднем фоне. Он слышит, как пустые моменты оседают пылью на забытый проезд, обволакивая его призраков, как сползает с холма тишина, чтобы потом заглушить вдалеке собравшиеся за ужином семьи Фар-Коттона. А после почти наверняка раздастся какофония сирен, рвоты, любовных воплей в мобильные и прочий кошачий концерт, но пока что здесь непрописанная пауза, долгожданный мертвый эфир.

Он не торопится подняться по склону, чувствуя профессиональную обязанность замечать все, не дать ни одному нюансу ускользнуть от заточенного до бритвенной остроты внимания. Вот расколота в углу на фьорды дорожная плита, вот вид сзади на горизонт Лошадиной Ярмарки, со скрытыми от глаз изнаночными швами, любовно облепившими плоские крыши, – антеннами и высотными грибницами спутниковых тарелок, растущими из кирпичей

дымоходов или водостоков. Через дорогу, над низким рельефом бетонного отбойника вдоль позвоночника склона, видна противоположная сторона Подковной улицы в заметно лучшем состоянии, чем растрепавшийся край, который патрулирует Стадс, – она цепляется за относительно прихорошенный городской центр, а не отваливается к богом забытому лоскутному одеялу Боро. Некогда гавань пиратских байкеров «Портовые огни» ныне терпит унижения в обличье «Веселого придурка» или как там это читается, но само здание все-таки еще на месте и однажды может снова встретить клиентуру в кожаных латах. Двор с железными воротами чуть дальше, приделанный к бильярдному холлу 1930-х, кажется неполноценным без развеселой компании послевоенных папаш в демоб-костюмах с заплетающимися ногами, которые никак не могут распрощаться, пока неторопливо идут на выход.

Сразу за бильярдом – угол Золотой улицы, где век назад стоял Дворец Варьете Винта – зал, где неоднократно выступал Чарли Чаплин. Стадс не уверен, что номера великого экранного бродяги о развеселой и висельной бедности будут выглядеть так же хорошо на фоне современности; нищета бывает разная. Да уж, вряд ли. Хотя, возможно, только потому, что Стадс не может представить Боро в нестарящихся черно-белых цветах, а их тяготы – под саундтрек бойкого пианино. А музыкальное оформление меняет все. Если бы под его сцену изнасилования пронзенной сестры в бессоновской «Жанне Д'Арк» поставили какого-нибудь Рика Этли или тему из «Степто и сына», было бы просто уморительно. Или *Nessun Dorma* под его роль Гамбурглера.

Сравнявшись с бильярдным заведением через дорогу, он возвращает внимание к потрескавшейся бетонной гипотенузе, по которой сейчас поднимается, – к грязной стороне улицы, с эстетикой эксгумированных останков и злым псевдонимом на каждом фонарном столбе. Прикинув, что как раз приблизительно достиг места, где когда-то был восточный конец улицы Святого Григория, он задерживается, чтобы осмотреть раны пострадавшего района,

оценить полный масштаб увечий, нанесенных в состоянии аффекта его сути, даже его карте. Хирургическое изъятие жизненно важных органов – возможно, это почерк убийцы? Некоторые неглубокие порезы на архитектуре, по профессиональному мнению Стадса, кажутся ранами при самозащите, и он готов поставить хорошие деньги, что под черепицей обломанных ногтей округи найдутся образцы ДНК в виде заявок на перепланировку. Сам поразившись неожиданной резкости своей детективной аналогии, Стадс вдруг чувствует, что с него хватит. Эта округа, ее же просто... ну понимаете. Изнасиловали и проломили череп. Но она сопротивлялась. Умница. Храбрая девочка. Покойся с миром.

Найдя в одном из карманов куртки салфетку из кафетерия, Стадс быстро протирает блестящие глазницы, сморкается и берет себя в руки, прежде чем продолжить осмотр. В безумной мешанине случайных поверхностей и знаков ничего не указывает даже на гомеопатическую память воды о церкви. Прошлые прижгли. Одно тусклое красное пятно на изуродованной стене без преимуществ корректирующих линз кажется ему сургучной печатью на указе о казни территории, приговоре, подписанном еще несколько поколений назад, давно исполненном и забытом. Тем не менее не это видел готический школьник в коротких штанишках Джеймс Херви, пока шаркал сумкой по шершавым подоконникам восемнадцатого века. Не это чувствовал безымянный пилигрим-монах, вернувшийся домой из Иерусалима тысячу лет назад, посланный ангелами к центру его земли для того, чтобы установить там грубый крест, вытесанный из тяжелой скалы, послание с Голгофы – окаменевший поцелуй на открытке. И тогда никто не сомневался о происхождении этой весточки, особенно если доставкой занялся «Фед Экс» серафимов. Никто не задумывался о личности отправителя, даже с пустым полем обратного адреса. Ангельские курьеры были неоспоримыми научными фактами, их камни-распятыя – эквивалент бозона Хиггса, присланного подтвердить стандартную

теократическую модель. Другими словами – штука серьезная. Более чем полный набор.

Неудивительно, что артефакт поднял такой переполох, был установлен в фасад церкви Святого Григория, выходящий на Подковную улицу, где и оставался местом паломничества многие века – столько отчаянных пальцев поводили по гладким осям к их пересечению, столько охромевших и намозоленных ног тесали камни мостовой. Центр страны, измеренный теодолитом самого Господа. Это явно имело вес для короля Альфреда, когда он нарек Нортгемптон первейшим из широв, а по сути – столицей альтернативной истории, в которой не было Уильяма. Великий правитель-пирогожог лишь проштамповал разнарядку, спущенную сверху. Не просто какие-то королевские угоды – здесь была святая земля, отмеченная ребятами с нимбами, когда им дал добро Всемогущий. Вот как люди все восприняли – и вот как все было в том жестоком и полном чудес мире, почти как мире самого Стадса, только надушенном навозом за неимением кордита. В темные века нуарное мировоззрение – неизбежное следствие.

И все же даже с пропастью шириной в тысячелетие, отделяющей происхождение реликта от школьных дней Херви, разве концептуальный заряд и вдохновляющая важность этого предмета могли умалиться в глазах верующего, особенно семилетнего мальчишки с отцом-церковником? В течение десяти лет – почти четверть скоропостижно оборванной жизни – недужный ребенок опускал глаза и руки на примитивный и серьезный талисман, высеченный X на внутренней карте сокровищ, зародыш кристалла из самого Иерусалима. Простая, фундаментальная форма не могла не отпечататься на смежающихся ко сну веках – на цветах плывущего постельного скринсейвера, настроечной таблицы в гипнагогическом телике. Достаточно, чтобы отчеканить этот минималистический шаблон на грядущей жизни Херви, уверен Стадс. Фрагмент, занесенный из вечного и святого города, вполне мог стать тем самым шилом в заднице, что сперва привело юного епископа на

одну сторону с предприятием Джона Уэсли, а после распрей – на другую. Он назывался «руд в стене» – воплощение гранитных убеждений Херви, основа его текстов, «Терона и Аспазио» или кладбищенских медитаций, энергия, в конце концов пробившаяся в Уильяме Блейке, который замкнул метафизический круг, когда написал «Иерусалим».

Вокруг оскаленного Шерлока, созерцающего беспорядочную свалку десятков веков, призраков провалившихся социальных стратегий и смешение несовместимых строительных материалов, которые являло стенное месиво, мало-помалу смеркалось. Давно исчез руд, забрав с собой всю церковь, оставив только заметное и опустошающее отсутствие. Стадс не может не спросить себя, куда же она делать, эта высеченная икона, присланная пометить середину земли, центр его бульварного расследования. Уволокли какие-нибудь хваткие рабочие во время сноса, корыстные, а то и искренне набожные? Или больше похоже, что его не узнали из-за поблекшей ауры, без значимости, давно ушедшей в жадную грязь, выбросили в водосточную канаву глубже, чем гробница святого Рагенера, которую наконец обнаружили когда-то в девятнадцатом веке? Состоящий из материи едва ли не такой же древней, как самый мир, великий плюс, обозначающий положительное направление местности, – Стадс знал, что он еще где-то есть, пусть даже и в виде рассеянных по земле осколков. Когда наступит конец пространства и времени, разобщенные молекулы знака будут с нами до самого финала, наверняка нетронутые, – символ, который надолго пережил символизируемую доктрину, с такой вмененной праведностью, что просуществует еще эпохи после того, как Херви, Доддриддж, Блейк и все остальные пойдут по пути всякой плоти в predetermined вселенной.

Атавистичное пинеальное чутье говорит ему, что за ним наблюдают, – врожденный рефлекс сыщика, критически важный для воображаемой работы. Развернув свой незаурядный профиль, напоминающий угловатый симулякр индейского вождя из «Фортеан

Таймс», он бросает гневный взгляд на холм, где на углу Лошадиной Ярмарки настороженно замер маленький тучный человечек с белокурыми волосами и бородкой под стать – похоже, один из маленьких помощников Санты. Лицо ротозея – а глаза за очками широко раскрыты и зафиксированы на Стадсе с выражением испуганного непонимания, – словно бьет по хилому звонку в отеле гостиницы из 40-х – чертогах памяти сыщика, вынуждает доставать полупустые кофейные чашки и стопки порнографии из мысленной картотеки, просеивать устаревшие розыскные плакаты в поисках клички знакомой изворотливой морды.

Когда этот кадр торопливо отворачивается, будто притворяясь, что он только что не палил детектива, и бросается через Лошадиную Ярмарку на другую сторону, подчеркнута не оглядываясь, тут-то серые клеточки и выдают результат. Незванный гость в личной теледраме Стадса – бывший депутат Джеймс Кокки, тот самый жизнерадостный лик, что торчит под заголовком еженедельной колонки в местной «Хроникл энд Эхо», какую Стадс почитывал, пока гостил у мамы. Это такое кодовое название офиса. Осторожность лишней не бывает.

Глядя, как отставной глава управы с трудом катится объемным снежком вверх по Конному Рынку в сторону Мэйорхолд, размороженный пилтдаунский охотник задумывается о позднем, но, вполне возможно, логичном появлении Кокки на финишной прямой сюжета. Хотя технически жанр, как правило, требует, чтобы убийца был тем персонажем, с кем читатели или зрители знакомятся как можно раньше, всегда есть и будут смеющиеся над традициями мэверики вроде Дерекка Рэймонда с его засаленным беретом, все еще висящим за стойкой во «Френч-хаусе» в Сохо, подражающие реальной жизни в том, что их злодей часто человек, которого никто ни разу не видел. Стадс трезво размышляет, что в работах таких оригиналов – во всех смыслах этого слова – история чаще рассказывает о лабиринтовых мыслительных процессах протагониста, чем об извивах дела, которое тот отчаянно пытается

раскрыть. Так что нет никаких неоспоримых литературных императивов, сбрасывающих бывшего депутата со счетов. Пока уменьшающаяся тушка бывшего лейбориста удаляется из вида в медленном красном смещении, у Стадса наконец складывается картинка.

Предположительно, приложив руку – или по меньшей мере пухлый пальчик – к изуверскому смертоубийству района, будучи еще в должности, пусть даже и в пассивной роли, Джим Кокки целиком подходит к портрету подозреваемого. Одно это выражение в его выпученных текс-эйверивских [\[180\]](#) глазах, вороватое и виноватое, сразу перед тем, как он развернулся и ушел смешной походкой. Ведь говорят же, что если подождать, то убийца всегда вернется туда, где все произошло, на место преступления? Иногда чтобы позлорадствовать, а иногда – в панической попытке скрыть изобличающие улики. Порой, как ему рассказывали, чтобы помастурбировать, хотя Стадс сомневается, что сейчас тот случай. Ну и, конечно, изредка позыв злоумышленника взглянуть на меловые контуры на земле рождается из искреннего раскаяния.

Выше по холму новый главный подозреваемый исчезает вдали, как белая фосфорная точка, съеживающаяся в беззвездных просторах остывающего телика из 1950-х. Изогнув нижнюю губу так, что сам испугался, что, если отпустить, она резко свернется и сползет по подбородку, кряжистый частный сыщик поворачивает на юг и возвращается туда, откуда пришел. Он знает, что Кокки – неприкасаемый; знает, что ему ничего не пришьешь. Забудь, Стадс. Это Китайский квартал.

Треугольники и ромбы нарезанного неба за переплетом старого газгольдера дальше по склону начинают густеть до цвета индиго, и он уже чувствует, как на его неопределенное повествование опускается непроглядный агатовый цвет ночи, большой обсидиан приземляется в переусложненный континуум, где до завтрашнего утра и randevu с Уорреншей на выставке остаются отчаянные часы. Он направляется туда, где оставил – ой, ну черт уже знает, хоть

путешествующий во времени «Де Лореан», например, – а в его утесистой голове – готические трансепты и детерминизм, унылый часовой механизм кособокой, бильярдной сюжетной траектории – арки персонажа, которая сходит за жизнь.

Он думает о крестах, подставах и Большом Боссе за кулисами, что дергает за ниточки Херви, Уэсли, Сведенборга и всех остальных, – человеку наверху пирамиды, неуловимом мастере ночи и смертоносной интриги, которого никто не видел, которого часто объявляют мертвым, но он всегда находит какую-то лазейку для сиквела.

Стадс разыскивает машину в затянувшемся монтажном наплыве сумерек, едет домой, проверяет, не оставили ли сообщения кастинговые агентства, ест разогретый ужин и ложится спать. После немалого времени и кружки «Хорликса» наступает нуар.

Веселые курильщики

Промозгло. Ден проснулся под крыльцом

На твердом камне, сглаженном ходьбой,

На улицах, которых он не знал.

Сама земля отторгла – оторвал

От серой и от стылой мостовой

Простывшее и серое лицо,

В пространстве, времени нашел себя:

Конек чернеющий сумел помочь

И древняя ветшалая стена:

Община киприотов здесь была;

А вот и дверь тяжелая – точь-в-точь

Захлопнутая книга Бытия

Или другой ученый фолиант.

В штанах протертых он встает с трудом.

Ночь-Денни, дни он выбрал коротать

У входа в храм Петра ложившись спать,

Ведь в университет с таким стыдом,

Как и домой, идти не вариант,

Невмоготу терпеть упреков град

Родителей, что впали в нищету

Радея об амбиции его.

Он бросил лекции, просрал бабло

Стал бомжевать и кинул вещи тут

Под потом монстров, красивших фасад,

Где слово божье вместо потолка.

Мечтал творить – учился же учить;

У тех, кто сам давно уж пожалел

О той карьере, что оставил Ден.

Бедна наваливается в тот миг,

Когда он копошится у замка´

Сознания, в жалком папертном жилье:

Намедни двадцать, без дому, надежд,

Завяли грезы и мертвы мечты,

С кредитом на учебу сожжены

Мосты, в утлом углу, где ветер свеж,

Где из фольги и сора залежь лет.

А Ден ведь лишь поэзией горел —
Огнем, как раньше Гинзбург, Блейк и Китс.
Нет — быть, а не учить. Невыносим
Уроков срок с отчаяньем пустым —
А равно мамы с папой кислотность лиц,
Что жили не на золотой горе.

Все двери вдруг закрылись перед ним,
И под одной из них теперь он спал —
Где раньше Оффа поднимал потир
И где бомжи устроили сортир.
Вот вся поэзия его. Собрал
Он в сумку шмотки, как в живот кишки,

И вспомнил вдруг, какой сегодня день —

Да, пятница, хоть кто-то будет ждать:

На Башенной толстяк-торчок с травой,

Угашенный он кайф даст и постой.

Оставил в вспышке спешности кровать —

Ден мигом мчится в сумерек сирень.

От тесного скита, где горем был прижат,—

Средь плит, что время-варвар осквернить

Все тщится, губит буквы и года,

И память, и любовь, и скорбь. Мертва,

Аки кладбище, местность. Во всю прыть

Летит Орфей — здесь ищет он свой ад,

Альков оставив, скисший от тоски,
И черный памятник – иглу войны.
Бежит часовни, сумерек вперед,
Пока с горгулий снова не польет.
Вдоль клумб-костров, горящих от весны,
За дверцу прочь шагают башмаки,

Затем за Ярмарку, где мечет взор
Презрения тот пухлый коротыш –
Чинуша с белой бородой и лбом,

Лишенный удила садовый гном,

Пусть хмыкнул «Добрый вечер» наглый прыщ –

На Пиковом уж Деннис, в весь опор

К вершинам, новым доньям он спешит.

Зачем сюда стремится, сам не свой?
В дыру, где раз гнездо пожар свивал,
Что Клэра некогда с ума свела,
Что Баньян как-то окрестил Душой –
Хоть у стихов здесь больше нет души:

Ден местного поэта раз видал:
Пьянчуга, в чьих отчаянных очах
Узрел себя Ден, мертвые стихи.
Вот, вынырнув из памяти стихий,
За Катерины дом свернул – в печаль
Вечерней мглы на Замковой, туда,

Где с середины – ската верхний край

Меж двух многоквартирников ведет
На Банную, где гари вперекор
Через мрак придется рваться на простор.
Оптический обман рождает сброд
Чертей в долине смертных – стремных даль.

Но лезет Ден в долгов, пособий топь
Где шаг от шага режет вонь сильней.
Там, в атмосфере тлена, прели, зла,
Вступает в кучу псиного говна,
И где хребта какашки апогей –
Оставил оттиск Ден узора стоп.

Без лести о своей судьбе сказав
Сполна, из баухауса трущоб

Ден вынырнул к сиянью в вышине
От окон небоскребов на холме –
Наш Чайльд-Денни с под башен тьму пришел.
Пока расшаркивал ногой, в мозгах

Звучал хор из сомненья голосов:
Ведь с лысым типом толком не знаком,
Но тот, кто «Жирным Кенни» среди друзей
Прослыл, – тот вряд ли лучший из людей.
И все ж Ден жаждою влеком
По Симонс-уок – где сгинул апостроф.

Но, бросив взгляд через сухой газон,
Всмотрелся он за сумрака троплей:

Мираж возник – ночная шестерня

Кружит, дымит и тает, затемнясь.

Прищурившись, потрянул Ден головой.

Стучится в двери – с сердцем в унисон.

На стук второй свет льется из стекла,

Является хозяйский силуэт.

– Здоров... Что за вонища? Блять, кто сдох?

А, да? Ну там сними, не стой как лох,–

Ден подчинился и теплом согрет,

А кроссы, как сиротки, – там, где мгла,

В позоре без призору. Коридор

Вонючий вел в вонючий зал. «Забьем?»

Ден рухнул в кресло, Кенни – на диван,

Где психофармакологов тома
Разбросаны; на лысине его
Блик лампы – как бильярдный шар, натерт,

Иль словно жемчуг; и горят глаза,
Как «Ризла». Кенни косячок скрутил
И, с табаком и дурью совладав,
Сигару-оригами он слагал
И тупоносый подпалил фитиль,
За чем смешная бомба-голова

Взрывается от кашля и смешков.
Пустили в круг, дымят как товарняк,
От дыма-василиска час застыл,

И Кенни молвил – словно пошутил,—
Чтобы в обмен на кров, еду, косяк
Ден за щеку сейчас был взять готов.

– Давай. По пятницам не подаю.

Или пиздуй. Есть пицца, годный стафф.

Просилась за анал одна тут блядь,

Но нет. Как можно друга наебать? –

Дошло тут быстро – Ден же не жираф,—

Он за кумаром видит жизнь свою:

Что делать будет, присно и вовек,

Чтоб дверь закрылась с нужной стороны.

Кивает. Кенни тут на разогрев

Поставил пиццу, расстегнуть успев

Ширинку, и, на кухне сняв штаны,

Он Дена на фелляцию обрек.

Раскрыл тот рот, задумавшись взамен

Об Уайльде с Уитманом, пока постичь

Поэзию пытался в суете

И вкусе горечи на языке;

Чёл про себя он, не сбиваясь в китч,

Из De Profundis – но, хоть в рот лез член,

Не лезло в мысли никаких цитат.

В отсутствие пантер Ден пировать

Лишь с хряком может – тот не ведал рифм,

Возможен здесь лишь совпадений ритм:

Ведь стоит печке звонко пропищать,
Как Кенни в рот кончу спускает в лад.

Едят в молчаньи. Только помнит рот
Аперитив, а потому антре
Не радуется. А ужин свой доев,
Порочный Будда, вмиг повеселев,
Сказал – пора начать их кабаре,
Их этноботанический поход.

Он показал датуру под окном –
Цветок, страницы без стихов белей.
Salvia Divinorum был там куст,
Но Кенни намотать велел на ус:
Вдвоем вкусят пророческий шалфей,

А Ангельские Трубы – лишь его.

«Моя переносимость – будь здоров.

А для разгона пожую с тобой».

Знай, Ден: что есть на языке – поверь,

То будет на уме; итак, теперь

С салатом сублингвальным за щекой

Потеет он и ждёт волшебных снов.

Бледнеет, словно, бешен и угрюм,

К нему грядет вдруг пандемониум.

* * *

Корежит время и забылся час,
И он не знает, сколько просидел.
Ничто не претерпело перемен —
Но странность средь таких давящих стен
Разлилась словно; мастер темных дел,
Тот шарик, в собственном соку варясь,

В слюне купаясь, в кровь пускает яд —
Минуя зубы, разрастил вайи
В кишках, желудке и костях.
Ден ерзает, все пальцами хрустя,
И дергается, словно не в своих
Тарелке или шкуре. Взбеленясь,

Взмывает, меряет шагами пол,
Пытаясь нервов мутный шок смирить,
Тогда как Кенни, лысый бегемот,
Уныл и зол, не чувствуя приход,—
Что очевидно, если обратить
Вниманье на здоровый ореол,

Или послушать кислый монолог:
«Ну на хуй. Че-т не торкает никак.
Пойду скую свое». Но Ден, уйдя
По бесконечному ковру в себя,
Не слышит – ведь внутри него бардак,
Туман диссоциативный заволок

И кто он, где он, мысли в голове.

Но и в прощрацьи видно все равно,

Что он в костюм старинный приодет,

Точь-в-точь как Чарли Чаплин, спору нет –

Бродяжка с кадров старого кино

На сцене, вдруг поблекшей до ч/б.

И Жирный Кенни рядом в мгле пыхтит,

Весь в черном, с белым лишь лицом; на нем

Такие же пиджак и котелок,

А их походка – чисто ламбет-уок.

Но здесь не только лишь они вдвоем:

Народец странный вдруг в углах пестрит,

Харкает, матерится – люд простой,

Герои дна, драк, пьянств и хулиганств.

А из щелей меж их пропитых лиц

Свет серый, грязный льется, словно из

Других математических пространств

Иль пролетарской вечности, смурной

От горечи бескрайней. Как пушок,

Наверх с коллегой тащит их двоих.

Все ближе эти черти на рогах;

В ушах – их смех, а в животе – война.

Стал наизнанку вывернут и мир,

И Ден – сменился полом потолок,

И кажется, что, воспарив к нему,

Сливается с сосновою доской:

Теперь на нем не кожа, а взамен

В кошмаре том он – голый манекен,

Хрящи – пазы, на коже – косослой.

По грудь проник он в нищую корчму.

Из глотки рвется скрип, слеза-смола

Течет густой по струганой щеке.

Ден смотрит в страхе и с раскрытым ртом:

Его хозяин с деревянным лбом

Таким же – у оравы на крючке,

Которая не в лад поет слова:

«Веселые курильщики нас звать,

Орда мертвых и нетрезвых душ.

В загробной жизни хорошо сидим

И от нее немного хотим:

Бедламских Дженни в Паков пунш

И жбан – чтобы выпить или настучать!»

Угар буквально адский окружил,

Ден мечется, застряв, но видит лишь

Как пожелтевший лыбится тукан

С таблички «Гиннесса»; затем болван

Сосновый мечет взгляд шальных глазищ

На тех, кто в этом пабе старожил

И старомертв, на серых синяков,

Клубятся что и склабятся вокруг.

Один из них, в пальто и котелке,
Стирает крысией потрох на губе.
В его карманах полчища зверюг,
Но он не худший здесь, как ни бредов.

У одного, черт, расплзлось лицо:

Рот на носу, а очи – на ушах.

Еще – гром-баба, и на кулаках

Она б свалила даже мужика;

Ее божба благая не слышна

В акустике сей мира мертвецов:

Не звук, а пшик, помехами забит.

Источник какофонии на раз

Нашелся: труппа трупов у стены

На сцене строится – мрачны, грустны,

Готовят барабан, трубу и бас.

Воспряли духом – вокалист спешит

К концерту: он упитанный титан,

Он весь – живот, берет и борода.

Он катится под возгласы друзей,

За ним Ден замечает двух детей

В укрытии аршинного бедра.

Одет в какой-то клетчатый кафтан

Один из них, блондинчик в кудельках.

Зовет их Ден, но лишь привлек толпу,

И те на темечко жмут каблуком

Ему, под шутки втапывая в пол
И оскорбляя стихотворный слух
Надсадной злобой в пьяных голосах.

«Эт ж чурка, гля, как чучело аль как
Нога, что носит Эллиот-Хромой!»
Большого Кенни – в чем мать родила –
Бухая баба в оборот взяла,
Инициалы режет с миной злой,
В руке, начхав, что голосит толстяк.

Ден слышит под покойников пятой,
В болоте из опилок и заноз,
Как круглый бард бар зычно огласил
В бугурт у сброда бурного спросив,

Где Фредди Аллен. И на тот вопрос

Ответ – что он в таверне, но другой,

На чем уходят дети. Шелупонь

Удваивает гомон, гвалт и гнев,

Под песню топчут Дена свирепей,

Пытают Кенни вновь, а менестрель

С ансамблем грянул удалой напев

Чтоб тени пьяно выли в унисон:

«Веселые курильщики мы все –

В честь кабака, где пьем уж лет писсят!

Мы с белочкой в чаду, в бледном аду,

На гаде гад, бедламный проблядун!

Так чокнемся, зажмуримся, и всяк
Гуляй, рванина, в вечной нищете!»

И Ден в сосне зыбучей под сей шум
Как будто рыба, бьется меж миров,
Мишень нападок падали, в беде.
Забыв уже наркотик, даже где,
Когда и кто он есть вообще таков —
Остался лишь пивной делириум

Угроз и башмаков. А визг вблизи
От Кенни заглушает песняров
И музыку — под что им помирать
Придется, встретив засанный сей рай,
Ад либо лимбо, где всегда есть дом

Для голи с варварством, как в давни дни,

Где бедности порочный круг есть факт,

А не метафора. Идут века

Как будто бы, пока не входит внутрь

Босяк убогий цвета перламутр,

С собою бедолагу волоча:

Лицо – из крови и стекла бардак,

Когда-то ангельское. Вмята грудь.

Звон, хохот, голос: «А ему чаво?»

Бродяга оглашает посему

Улики все и жуткую вину

Того, но Ден ныряет глубоко

Под пол, не слышит преступлений суть,

Но видит наказание. За грехи

Срывают с пленника худой костюм

И ставят на колени. Кенни же

Со вставшим членом-брусом, неглиже,

Узнает на себе и наяву

Что мертвецам не страшны петухи.

Как узник оказался на конце

В занозистом коитусе самцов,

Заводит призрак-зритель гадкий хор:

«Нам весело куриться до тех пор,

Когда приходит время кулаков

И правосудия над улицей —

Где в каждом мудаке и мертвеце
Супротив Мильтона играет кровь:
Без Сатаны вершим мы приговор!»
Тут Дену кажется, как будто он
В реальный денный мир сползает вновь —
И тонет в сне, опилках и гнильце.

Как с вечеринки выше этажом,
Доносится вопль боли мужика,
Кого на кол там начали сажать,
Но Ден – у Кенни уж в жилье опять,
Где вылетели пробки – прямо как
В том жутком пабе. В сумраке немом

Ден видит, что он, как сидел, сидит;

Хозяин занимает свой диван.

А значит, беготня и страшный бар —

Всего лишь сверхъестественный кошмар.

Изнемогая, парень впал в туман,

В беспамятство. Но опыт не забыт:

Ден помнит, хоть теряет разум свой,

Что мертвые — буквально низший слой.

* * *

К сознанию из серого ничто

Идет – по осмыслению за раз:

И кто, и где он, и когда; вкурил,

Что тело в кресле. Веки приоткрыв,

Ден шумно выдыхает, убедясь,

Что здесь украдкой солнце из-за штор

Пупку жирдяя дарит поцелуй.

Еще свеж в памяти поблекший ад

Иль рай; а здесь же краски пьет зрачок.

Ден сплевывает сальвии комок

Горчащий, пробует нетвердо встать

Чтоб нужник напоить потоком струй.

В прихожую – к позывам брюха глух –

Прокладывает путь, наверх бочком

По возмущенной лестнице, отер

Плечом обои, там нашел фарфор.

Заглядывает в глотку грязному очку,

Откуда окатил поганый дух

А с ним и память, острая как нож:

Крыльцо Петра, студенческий кредит —

И, боже, он сосал у Кенни хуй?

А где они там были наверху?

Ошеломлен Ден. Он блюет, хрипит,

Всю жизнь спустил в толчок, его бьет дрожь.

Опустошенный, смысл он наконец.

Гремящих труб хор, как кишечный тракт,

Ревет во гневе, словно минотавр.

Сбежавши вниз под drobный стук литавр

В башке, ныряет он в передней мрак,
Где на диване спит наркоделец

С зажатой трубкой. Дену запаadlo
С ним на прощанье тратить много сил,
Но все же подошел: «Ну, я погнал».
Ответа нет. Ден видит, как на скальп
Садится муха под жужжанье крыл.
Он видит все – но будто не дошло:

Хозяин дома больше не жилец.
«Сказал – пока», – ему не по себе,
Он подступает ближе, и тогда
Все видно в немигающих глазах.

А с осознанием крепнет в голове
Истошный вопль, как впившийся резец

В висок; кружащей, дикой баньши вой,
Что потрясал стекло, шугая псов,
Но не имел источников иных,
Кроме как связок Дена же дурных;
Как декламатор Швиттерса трудов —
Столь экспрессивных и невнятных столь.

Дверь поддается, настезь в стену бьет,
Сноп солнечных лучей в глазах рябит
И слепит. Он, о спальнике забыв,
С ружейным громом двери, словно псих,
Срывается с порога и летит,

Не взяв кроссовки в кучке нечистот

И не взглянув ни разу чрез плечо.

Газон сырой – у Дена нет носков,—

Бежит за башни он – и плана нет,—

На Криспинской вдруг виден человек:

Знаком его цвет глаз и кудельков,

Но как? Откуда? Что за мужичок?

У Дена эпос на устах горит

И ищет выхода – виденья, что

Бодлера, Кольриджа, Кокто пера

Достойны. Вот нагнал он у угла

Блондина, что взирает на него,

С тревогой «Что с тобой, пацан?» спросив.

Что с Деном? Ха, он разумом поплыл
В ручье идей – где черпал бард, поэт,—
Ответ хватая, словно воздух ртом,
Для басни в духе Квинси и Рембо,—
Но все, что смог он произнести: «Да. Нет.
Ох блять. Ох ебанный. Я в пабе был.

Мы были наверху всю ночь – блять, паб,—
Вдохнув, – Они не отпускали нас,—
Без умолку, – Мужик, блять, выручай.
Ебучий паб», – речь хлещет через край,
Без рифмы, ритма, толку и прикрас,
Двоясь, троясь, как будто в стиле «даб»,

Чрез выжженные ганглии. Мужик

Опешил. «Не пойму, пацан, постой.

Закрытый праздник был там, что ли, где

Ты был всю ночь?» Ден знал: он не в себе,

На вид как псих. «И где твой паб такой?

Где наверху?» Ох, лишь бы не на крик

Сорваться. «Наверху. Он в крыше, паб»,—

Ден в панике, но вдруг блондин кивнул.

«А, в крыше? С этим я знаком», — а там

Сказал про человечков по углам.

Ден весь вниманье и туман стряхнул,

С надеждой, хоть ее глас очень слаб.

«Ну да. В углах. И тянутся к тебе»,—

Как будто понимая, достает

Тот пачку сигарет (одну взял Ден)

Спокойно, словно бы постигнув дзен.

Обоим закурил. Ден не поймет,

Чем сей район не угодил судьбе,

Что это все – в вещей порядке тут?

В себя придет Ден скоро, уверял

Его спаситель, выдав сигарет

В подарок и об отдыхе совет:

На улицу Колодца в рощу звал,

На травку – мол, «там все как раз в цвету».

Вновь растеклась в ручей речь. Чепуху

Меся, зовет хорошим мужиком

Ден благодетеля, уходит прочь.

Но оглянулся, и – смолчать невмочь,—
Взгляд встретив, он несчастным голоском
Добавил: «Я был в пабе наверху»,—

И вниз пошел по склону, как в бреду,—
Босой, стекло сторожко обходя,—
До перекрестка, где как на посту
Дом одинокий замер на углу
Средь моря амнезии и былья,
Подчеркивая только пустоту,

Ничем не намекая, кто живет
За темным и задернутым окном.
Там под деревьями без сил упал

В траву сырую с видом на вокзал,
В лирических обломках, в прожитом
Копаться – вдруг там лад и склад найдет,

Ритм или рифму. Тот немой коттедж
Означил стертой улицы конец,
Закрыв кавычки сгинувших цитат.
Закуривая, что за экспонат
Хозяин дома, думал Ден: мертвец,
Отшельник или даже сумасшедш –

Какой характер перенял от стен.
Не в силах Ден сей вид в себя вместить –
Постичь невозможно или нелегко
Всю резкость этой черты-итога.

Пространный жизни текст не заключить

В александрину иль простой катрен

Форм строгих; та сама найдет свой путь,

Размер и смысл. Денниса сюжет,

Теперь он видит, зрелости лишен –

От нежелания признать резон

И вымученный отложить куплет,

И просто жить – и пусть его не чтут

И не читают. Хватит врать себе.

Пора домой, виниться родакам,

В их лавке отработать долг и ждать,

Пока не будет хоть о чем писать.

Вдруг синий «Жук» пристроил кузов там,
К сутулому бордюру, проскрипев.

Метиска в дредах, за рулем в «Жуке»,
Выводит даму старше из дверей.
Худышка б выделялась красотой –
Но лик закрыт бинтами, как фатой:
Живого места словно нет на ней.
Букет, зажатый в трепетной руке

Подчеркивает странный брачный вид.
Оставив «Жук», идут на косогор,
Метиска помогает протезе
Своей; и вот не видно их уже,
Хоть слышно приглушенный разговор,

Когда стучатся в дом, что там стоит,—

Отвечен после паузы призыв.

Отсюда ничего не разобрать,

Но вскоре обе – минус лишь букет —

Вернулись, уезжают за хребет.

Ту зарисовку Дену не понять —

Остались скрыты смыслы и мотив,

Но мир – не стих, и нет размера в нем:

Он безразмерен. С задом, от росы

Замерзшим, восстанавливает ночь:

Что видел и как это превозмочь.

Чердачный, голый, яркий, злой посыл,

Лишавший места на любой маневр

Иль толкования, обиняки.

Здесь Дену нужен современный глас,

Какой имели Баньян, Джойс, Джон Клэр,—

Слова для пустырей сих, например,

Для новых сих руин; для фраз

На языке, разорванном в клочки

И склеенном проулкам сим под стать.

Ден скоро маме позвонит – спешить

Уж незачем. Сирены за спиной

Завыли – но не помешает вой

Такому равновесию души

В сем самоцвете времени блистать,

Где будущее с прошлым навсегда

Неразделимы и сияют нам.

Отыщите эту проклятую

Вид снизу: каменный архангел вращает на бильярдном кие блестящую тьму, неторопливые созвездия на кончике кружат, как и земля внизу – под скрип своей оси. Вселенная частиц, архивы их движения покрывают очи монолита в орбитах их резных, за слоем данных ставят слой на саже вековой, которая зеницей служит, – сводка без конца от пятницы, 26 мая, год 2006-й. Вдали в тенях – сны псов, младенцев, каторжан.

Вид сверху: изоморфная текстура городов расплющивается – набор блэкаут-карт, где роется, роится фосфорный планктон, ночная броуновская возня фур дальнобойщиков и пар на выходных, да неотложной помощи сверкающих карет. Артериальный свет течет толчками в схеме кровообращения, описывая ход фискальных векторов, возможностей чумы. Наводим резкость – все деянья мира вмиг спрессовываются в густой импасто-слои.

По всей планете кризис и война гоняют кочевые населенья, как чертики из табакерки, что будто следуют за малыми детьми. Изменчивое, зыбкое «сейчас» – как волос, трещинка меж прошлого и будущего масс громоздких, что кипит от трения с давлением, – есть раскаленное взаимодействие, оно пылает струн теорией и укоренившимся поправьем Хаммурапи, бурлит от новых злых финансовых машин и свежих ярлыков для жизни бедняков. В Америке дневной разносится шок боссов фирмы «Энрон» от вердикта обвиненья, и в гремящем грохоте отпавших челюстей вдруг струнулись каскады разрушений. Монтаж – ночь, интерьер.

Мик Уоррен ерзает в замедленном движении, но спящую жену не забывает и минимизирует матраса скрип. Да только пережат на левый бок – кампания, успех которой по итогу принесет все тот же дискомфорт, но в новой позе. Маринуясь в собственном соку на знойных склонах мая, да с гудящим после трудовых часов горбом, Мик чувствует: бессонница свела его исхоженный рассудок до каких-

то схем особняка на поле «Клюдо», где все мысли бродят вереницей по пятам по минималистическим консерваториям с местами преступлений, чтоб найти убийцу, средство и мотив. В полете с гор ассоциаций скоро он парит среди настольных игр, застойных игр, бессонный ум идет за шагом шаг согласно лихорадочным, самовнушенным правилам игры – хореография китайских шашек в чехарде полуидей, съедающих друг друга в жажде чистого забвения достичь – пустой дыры на середине игровой доски. Вот «Клюдо» вдруг лексически перетекает в «Людо», а салоны Пуаро – во стилизованные тропки сада-лабиринта, на которых фишек разноцветные династии плетут с терпением дворцовые интриги. «Людо»... Мик, похоже, отдаленно помнит, вроде старшая сестра рассказывала, будто это слово чем-то важно, но теперь смысл ускользает от него. Слова и каламбуры – не его конек, он посему не расположен к «Скрабблу» – тут уже одно название рисует перед ним мыслительный процесс отчаявшихся крыс в попытке вычленив из угловатой барахолки из согласных или заунывной похоронной песни гласных стройную разборчивую речь. И что же тут хорошего? Ему приходит в голову, что людям, склонным к этим лингвистическим страданиям, лишь хочется казаться больно умными. Припоминает редкий случай, когда при нем превозносили радость «Матерного Скраббла» – но в него никто ж на самом деле не играет, да? Такого быть не может, потому что для начала в той коробке есть одна лишь буква «Кей». В попытке сбросить из-под гнета одеяла жар, где варится он в собственном соку, высвобождает ногу Мик и нежится в утечке тепловой. А сонное сознание раздражено попыткой вспомнить раздражающие игры. Новый ракурс.

На спину скрытно опускаясь, Мик воображает, будто сверху он на каменного рыцаря средневекового похож, что спит на зябком саркофаге с мраморным ретривером в ногах. Должна же быть какая-то старинная военная игра – «осада замка» иль «турнир и мир»? – но он не может вспомнить ни одной. Среди его уодэмовских [\[181\]](#) хобби юных дней редки пристрастия на историческую тему – в

основном он был сосредоточен на том мире современном, что тогда пытался возродиться из разбомбленных руин сороковых. Он о «Шпионской сети» помнит – там пластмассовые бюсты ползали меж зарубежными посольствами, в федорах и тренкотах, – но доподлинное воссоздание афер холодных войн во правилах игры во многом было им непостижимо и смешно. Мик с Альмой, тотчас сдавшись и махнув рукой, в темницу ту коробку заточили – в пыль под шкафом платяным: успешный и безвременный детант. Вот «Монополия» всегда вязалась с современным накопительством – компенсаторный ритуал под стать године трудностей послевоенной жизни: те воображаемые веймаровские тележки, доверху набитые валютой цвета конфетти, где ненадолго, но терялась продовольственная книжка. Тут он вдруг осознает, что в детских играх можно прятаться от злобы дня, как в карантин. Хоть, впрочем, кажется, он помнит хорошо наполеоновский стиль в упаковке «Риска» – той игры с глобальной войной, в которой мировая гегемония Австралии казалась неизбежной, – но мегаломания, решает он, вне времени явление. Как кожаная куртка: вечно в моде. Крупный план.

На серовато-синих радужках смыкаются затвором в длинной экспозиции моргающие веки – этим в них налет сыпучий незаметно был сметен по уголкам. Так ширятся перенасыщены зрачки, полночные чернила промокая. Кажется, все поведение людей – какая-то игра; верней, компендиум малопонятным образом переплетенных, сочлененных игр, запутанный какой-то комплекс целей сложности предустановленной, где шансы все на стороне у казино. Игра, он думает, – по своему определению система с произвольной совокупностью вмененных правил: иль соревнование, где много проигравших, но лишь один счастливчик, иль несостязательное дело, где наградой служит уж само участие одно. А если, очевидно, речь не о законах физики идет, то в мире правила любые так или иначе произвольны – выдуманы кем-то где-то как-то раз. Вот капитал и экономика – определено игры, только в духе

покера или рулетки – если вот судить по главным «Энрона», которые в вечерних новостях мелькнули перед тем, как Мик лег спать; работая с воздушными деньгами рынков будущего, те пытались безуспешно в жизнь их воплотить. Хотя игра с торговцами-плутами и всем проч. – не столько как рулетка или покер, сколько «Букару»: кто больше сможет здесь старательских лопат с мотыгами навесить на осла доверья рынка, что с пружиной на взводе, прежде чем взорвется неизбежно и все вздрогнут.

Любовь и размножение, статус, дипломаты и маневры или казаки-разбойники закона с преступлением – это все игра. И выставка его сестры наутро, что чуть-чуть страшится он, отчасти ждет; картины все, искусство все – особая игра с отсылками, обиняками, экивоками, намеками на то или иное – заумь с самомнением. Складки простыни тиснят у Мика на спине речную дельту; в беспокойстве он додумывает, что цивилизация с историей своей – такие ж багатели, но с иллюзией, что в их прогрессе есть с чего-то логика с порядком шахматного матча – впрочем, тут, скорее, речь идет о шалом стуке блошек. Вот нелепость – словно все живые существа развили высшее сознание ради лишь того, чтоб наперегонки изобретать вид крестиков и ноликов сложнее и коварней. И когда уже мы вырастем? Ведь даже если люди в бойнях бьются, как в Ираке или Афганистане, это только лишь катастрофически разгульные «ковбои и индейцы». А в последний раз, когда Британии хватило дурости в афганские дела влезть и Британская с Российской империей азартно мерились пиписьками за сотню лет до Первой мировой, все без стеснений называли стычку ту Великою игрой. Возможно, съеденные пешки, что в коробках с флагами вернулись на последний понарошку-тур по Вотон-Бассету [\[182\]](#), – их можно звать штрафными взятками игры, но только он не видит в ней величия никакого. Утомившись от мыслительного тенниса – качелей мнений, – Мик в который раз, как мафия, поставил на победу – что он ляжет в третьем раунде боев со сном.

Закрыв глаза амбициозно, Мик к тактическому перекачу приступил – бросок на правый бок. Отъезд в мороз и завыванье стратосфер.

Внизу с материка на материк, из кресла в кресло скачут блошки – все паразитические формы жизни, – подчиняясь музыке капризной, что нам климат задает. И авокадо в Лондоне тропическом цветут. На утонченных квантовых системах регистрируется мировой перкуSSIONный перестук частиц – раскидывает листья папоротник взрывов и распадов: если в твердом времени смотреть – великолепные спирали к гибели. Повсюду информация бурлит, кипенье скоро предвкушая. Президент Джордж Буш с премьер-министром Блэром говорят о братских узах, признают промашки, бывшие в подходе ко Второй войне в Заливе. Спор из-за Мегиддо просочился в каждую культуру; в Палестине вдруг машина лидера исламского джихада, воина Махмуда аль-Майзуба разлетается в смертельных траекториях визжащего металла и обломков смертоносных, расчлняя инсургента; мертв и брат его Нидал. Весны той титульные краски – черная и красная: багровые сердца среди лепестков из дыма цвета нефти – или синяки вокруг открытой раны. Плавный переход в машины интерьер.

Зловещий «Форд Эскорт» трясется и рессорами визжит в насмешливой пародии на Марлу, что забила на сиденье сзади с задранными красной курткой с майкой, обнажая острые от голода лопатки, в смятой микроюбке – черным поясом от «карате наоборот»: тяжелой дисциплины боевой для жертвы. Суть ее – суть Марлы и ее избитая, разбитая персона, что она звала собой, – застыла в близости к фатальному концу, примерзла к бесконечному моменту – заключительных, мучительных «здесь и сейчас» пред тем, как страшный и большой младенец разmozжит ей череп, оборвет всю разом – навсегда погасит мир, вот этот гложащий, никчемнейший обрывок уничтожив, что она по глупости уж чаяла

своим. Грядущее всегда таким казалось жалким, невозможным, что не верилось, что можно захотеть его отнять – но вот это случилось, вот случится, да, вот-вот: распухший тупоносый член все тычется в сухую дырку – до того смешное торопливое стаккато черно-белого кино, что даже страшно, как бы мерзкий и открытый смех не разобрал. Она увидела его мордашку ангела с глазами мертвеца. Она увидела его машины номера и знает: здесь ей и конец, под барабанный бой – бой лба в крови о дверь «Эскорта» с каждым злым толчком и каждой ненавистной штыковой атаки. К этому моменту «хуже чем ничто» ее жизнь привела – она всегда боялась, знала, что вот так и будет, а ведь вышла только, чтобы было чем платить за наркоту. Теперь уж ей не затянуться никогда, да и плевать. Неважно это ей сейчас, всегда неважно было – Марла бы рассталась с коксом без раздумий хоть теперь, она бы вернулась к ненавистной маме: лишь бы выжить, лишь бы не подохнуть в гаражах, в слезах, в параличе в прибытии на самую конечную из всех конечных станций. Впредь ничто, о чем она мечтала в детстве, не произойдет; никто не скажет, что она другая – нет, очередной дрянной сюжет о дряни в газетенке и очередная прошмандовка, по которой и слезинки не прольют – насильничали и чего там, задушили? Нет, о, только бы не это. Пусть один удар. Один удар по голове и все. И ни глотка воды пред эшафотом, ни затяжки пред расстрельным взводом. Единственным ее бальзамом будут кровь и сопли. Новый ракурс – новая ТЗ.

Дез пялится, его глаза – глаза горячего и резвого коня, они не сходят с нынешней добычи, а чудесная эрекция суется в цвета грязи щель. Сам он горит как бог, ебется как машина, всемогущие гормоны всё свели к сему – к сидению авто, к им созданному миру. А когда он въехал в этот тупичок, оно заволновалось, да, на что и не пускалось, лишь бы он увидел в нем живого человека. И когда оно назвало имя,

он сорвался – принялся хлестать и бить, и все такое. Если имени не знаешь – это может быть любая, да, хоть кто с «Обратного отчета», кто угодно. Хоть Ирен. Та даже брачной ночью, после пьянки, ни в какую не дала оттрахать себя в сиськи и не отсосала, ничего такого, как в журналах, DVD – ни разу, нет. И ничего похожего на это. Все его сознание сузилось на знойном зудном крайнем дюйме мощного тарана, что нырял в зажмуренную щелку, – тот настолько наэлектризован, что он должен бы светиться, как такие палочки на фестах, раскаленная в камине кочерга, когда ее конец почти полупрозрачен. И он чует запах секса, страха – острый, возбуждающий букет, о да, о да. Теперь он пересек черту и нет пути назад, но это что-то новое – да, то, что предназначено ему, а не ходить по банкам в мотошлеме, не таскать с собою сейф, прикованный к руке, не строить Терминатора для всяких там кассирш, – нет, то не он. А это – это он, царь ночи и царь траха; это же так просто, почему не делают так все? Пусть белый шум внутри глазниц и пусть какое-то миганье, как от неисправной лампы, а по уголкам глаз лезут всё фантомы – плюнь да разотри. Ему принадлежит жизнь существа. Он может все что хочет. А оно как кукла иль как муха в кулаке – но лучше, потому что плачет, потому что страшно. А он тверже рельса, никогда еще он не бывал таким большим, херачит хером словно херов псих. Не помнит точно мига он, когда решил в конце избавить это от мучений, – не припомнит, был ли точный миг. Скорее, это как континуум, бегущая шкала; когда не столько он к решению пришел, а сколько понял, что иначе быть не может, вот и все. Как будоражит эта мысль, как он колотит все сильнее – тазом и руками; только нервы затрещали, как попкорн, и чувство он стряхнуть не может, что в машине с ними кто-то есть. Оконное стекло сереет от горячего дыханья. Наплыв, со спутника ТЗ.

Под свадебным дырявым платьем облаков потеет голый глобус током электрическим, но больше затхлых лужиц пота – в городах под мышками, точатся ручейки в ложбинках на груди. Исписанная блеском карта продолжает свой неспешный испарения процесс, границы – что не боле чем изыски топографий – уж затомлены с развитием новых средств коммуникаций: география давно уж зыбится, плывет, в кильватере бурлит национализм – что ранен, но лишь стал грознее. Вот накачанные вирусы берут все большие разбеги пред барьером видов. Цветом буйнопомешанным цветут и пахнут таксономии новейших и все более рассортированных расстройств, пока в Берлине канцлер Меркель закругляет наконец торжественную часть на церемонии открытия вокзала Хауптбанхоф – самого большого на материке, – и тут в толпе гостей развязана резня: до двадцати жертв ранено, шесть – тяжело. Известно, что одна из первых жертв – ВИЧ-позитивна; это усложняет счет отложенных смертей. Растут незримо острова из вулканических пород. Здесь вставка, черно-белый эпизод.

Как злая клякса мела и угля, по карте улиц Фредди Аллен чертит на ходу. Покадровый поток из доппельгангеров помойной череды, покойный негодующий бродяга незамеченным ныряет сквозь кирпич, отбойники и баррикады, сквозь газообразное пятно машин летящих и квартиры инвалидов в первых этажах, – снаряд туманный, непреклонный в смертоносной траектории своей. И выселенные с его мерцающего тела стронутые привиденья блох разыскивают новое жилье – вампирские прыгучие бобы в пути к другим теням, не знавшим гигиены, что обильны в сих краях. Громокипяще, возмущенно он бушует, прет вперед, и даже в стежки тишине его сплошной вой мата и божбы о многих этажах – упорный рокот от сошедшего с путей товарняка, что грязно дребезжит по спящему району, волоча шарф дыма похоронный и плюясь искрой

горючей оскорблений. С ритмом старого пыхтящего локомотива Фредди скопом прокликает всех – насильников, коллекторов и депутатов, кобелей: всех хищных щук и сук, кружащих рядом с тощим мякишем квартала. Антрацит, топящий его ярость, был добыт – он знает сам – из ярости к себе, к той мерзости, что как-то раз он чуть не совершил; и это тот же вес вины, что держит якорем в сей одноцветной призрачной трясине, держит недостойным налитого краскою раздолья Наверху. Он рвет и мечет в бранной буре, он топчет среди осевших муравейников жилых с названьем в честь святых по атрофированным улочкам – закрытым от движенья, чтобы помешать торговле телом. Драною цепочкой куколок бумажных из газет реитерируется Фредди в школьных классах, лунных холлах призрачной тиши и рвется из панельных стен, украшенных в мелках гротеском добродушным, далее несется он по Алому Колодцу лавою несметных мечущихся рук и искаженных гневом лиц.

Срезая через нижний угол дома «Серые монахи», Фредди кажется очередной натянутой во внутреннем дворе веревкой бельевой с чумазым грузом – хлопающим, мокрым, – и здесь наконец в своем бильярдном беге понимает смысл многозначительного взгляда, что его сподобил мастер-зодчий в том эфирном зале снукера: ведь это Фредди. Он и есть удар тот сложный, он – архангельская канонада, мчится по изгвазданному псинами сукну Нортгемптона на полной силе кия обстоятельств – только чтоб спасти какую-то девчонку? Стало быть, уж очень важен для игры ее бильярдный шар – что либо черный, либо розово-туманный, – но с чего ему, с чего любому мнить иначе? Ведь неправильно, несправедливо ее списать по одному лишь ремеслу, раз ей не выпало блесь докторскою дочкой. Все когда-то блесь детьми, невинными во будущем своем. В очах чумазых эктоплазма налилась, рожденная из нежности и гнева, стоит оказаться попрошайке рядом с Нижней Банной; словно рябь в глазах усталых, пролетает футом выше над ухабистым асфальтом в тьме кромешной – как всегда, без видимой поддержки. Как нейтрино, сквозь него проносятся растянутые капли серебра –

пролился дождь. Опять цветная пленка и монтаж.

А с этой точки зрения черты природного ландшафта вытеснит абстракция: размотанные ленты рек становятся горящими каналами для байтов, что текут из шлюза в шлюз, не замечая гор, не ведая морей. Былая морось данных разрастается в тяжелое погодное явление. Штрих ватерлинии известного уже преодолен – и населенья в знаниях плывут, хватаясь за соломинки луддизма или догм в поверхностной борьбе на кромке Е-водоворота. Сверху площадь Маршала Пилсудского в Варшаве – как старинная табличка для проверки дальтонизма, только в ряби бледных точек, несмотря на дождь. Впервые новоиспеченный Папа Бенедикт Шестнадцатый – на публике в отчизне своего предтечи; громкоговоритель спорит с ливнем, и приводит он молитву Папы Иоанна Павла двадцати семи годов допрежь и просит, чтобы, снизойдя, Святой Дух изменил лик Польши: это увещанье числится полезней в разрушении Советского Союза, чем невидимые пермутации неумолимых уравнений мира. Вымирают виды, им на смену открывают новые со смехотворной скоростью героев мыльных опер. А в Ньюфаундленде вороны освоили вторичные орудия труда – для инструментов инструменты, – на боках Килиманджаро мириады молний сеют драгоценный танзанит – зарниц лиловый отзвук в кобальта стекле. Кочует по миру конфликт – маньяк бродячий, что сменяет имена и внешность, почерк лишь жестокий сохраняя. Множатся теории. Здесь склейка – интерьер и ночь.

Бессонницей пронзенный, медленно вращаясь в корке пота, Мик Уоррен – гуманоидный кебаб, которого в канавы бесконечной пятницы, пережевав, в ночь выплюнула дрема. Одоленный играми,

подушку кувыркая в тщетном поиске той самой сказочной холодной стороны, теперь он к мыслям перешел о карточной колоде. До настольных игр с их нежным скрипом от раскрытия полей и интригующими фишками-цилиндрами в далеком детстве на Святом Андрее скрепой развлечений были карты. Словно по неведомой отмашке, мамой с папой и бабулей (также дядями и тетями невпроворот) решалось, что пора раскинуть карты. Белую скатерку после чая заменяли на другую – темно-розовую, славную любимицу детей, – а из серванта, с ритуального покоя, извлекалась мятая, почтенная семейная колода. Хруст коленей выслушав, тактильную Мик память пачки-талисмана вызывает – той коробочки вощенной, что четыре поколения затерли и что распадалась на глазах, как некогда традиционная «широкая семья»; когда уже не сгиб, а перфорация. Как и собрание картонных и выдавших виды листиков внутри, когда-то на той хрупкой упаковке превалировал фиалок цвет на фоне сумрачной сирени: силуэт малышки-школьницы в викторианском сарафане катит деревянный обруч среди летних маковых цветов в лиловых и сгустившихся потемках. Но под туфлями игривого дитяти была картинка та же, только вверх ногами, потому немало лет казалось Мику, что у ножек инженеру ее плескалось отраженье в луже, до тех пор, пока он наконец не осознал, что девочка внизу в другом бежала направлении. Даже и в бордовом силуэте крошка мнилась душкой – вспоминая, Мик считает, что она вполне могла быть его первой любовью. Он по крайней мере помнит, как переживал за девочки сохранность. Что ж там делала она так поздно, что стремглав пришлось нестись домой под потускневшим небом, по заросшему лужку? Мик знает: если ждет беда ее и если в той высокой и пурпурной травушке подстерегают девочку с ее дрожащим, скачущим кружком, он бы тогда, в пять лет, желал прийти на помощь – и на том лежал предел его фантазиям амурным. Точно ниндзя, он, решив не нарушать заслуженный покой жены, опять ложится на спину – рубашкой вниз, как после свежей сдачи. Новый ракурс.

Он навзничь лег – как в позе жертвы в «Клюдо», мелом обведенной, – вспомнив, что однажды Альма говорила, будто Вив Стэншолл из «Бонзо Дог Бэнд» перед публикой раскинулся на сцене и там с балками болтал: «Привет, Бог. Так я выгляжу, когда стою». Тут Мику в голову пришло, что думать, будто бы за нами наблюдают с некоей небесной высоты иль некоей приподнятой всеведущей позиции, – старо как творчество, старо как вся цивилизация; все те же харрихаузенские греческие боги с судьбоносной шахматной доской, взирающие чрез лохмотья облаков. Как знать, вдруг современный скептицизм и вытекающий падеж божеств и обусловили явление камер наблюденья, дабы чувство сохранить, что наши жизни привлекают неусыпное внимание незримых наблюдателей на месте вымерших богов, – и дабы утвердить ту мысль, что наши самовольные деянья одобряются какой-то строгой силой за экраном или неземной доской, что опустила взоры на игру. Кладет Мик руку в светлом пухе на чело, и в косяке ночных скользящих размышлений в неводе рассудка вдруг поблескивает быстротечная идея: весь мир мнится плоским, если видеть сверху, с точки зрения участников игры. И мимолетно задается он вопросом про людей: не кажутся ли те гипотетическим заоблачным гроссмейстерам двумерными, как иероглифы, у коих глубины и сущности не больше, чем у отраженных королей и дам, спрессованных на картах, – но та мысль перетекает в веер козырей на красной скатерти. Их игры в доме детства – упражненья в регулируемой скуке: вист, семерки, «вычерпай колодец», – но тогда они вполне могли его развлечь. Тому подобно, как он видел лица у любого радио, машины иль розетки, так в его глазах владела собственной харизмой каждая из карт – почти военные формации пятерок или неустойчивые штабеля девяток. А тузы в своем величии абстрактном были четырьмя архангелами или же вообще квартетом сил фундаментальных, что пространство-время составляют, – впрочем, пики странно выделял затейливый готический узор. От наделения характером всех композиций вспоминаются изображения

таро, что, по словам сестры, предшествуют не то основой служат карточной колоде, – стопка прототипов вкладышей от жвачки, что из года в год на Рождество Уорри тащит к Мику в гости, чтоб за ужином прочесть – точней, прикинуться, – что Кэти в жизни ждет; как будто у кого-то в мире есть такая зимняя традиция; Жрец, Висельник и прочая тревожная компашка. Как послушать это пугало, игра с названием «вычерпай колодец» вышла из гаданья, а досуг в настольном жанре взял начало в тех магических квадратах хитрых, где во всех рядах-столбцах – одна и та же сумма; словно бы любое, даже самое невинное препровождение времени – лишь выродившийся вид колдовства. Она нарочно приняла подобное карпатское мировоззрение, но если вдуматься, то игры, судя по проникшей в обиход терминологии, при зарождении действительно могли иметь какую-то метафизическую функцию. Веселье с плясками как «игрище» известно. Бизнес честных правил – это «честная игра». Войти в игру – то значит к делу приступить. Лесная дичь и даже проституция зовутся game – игра. Обыгрываем мысль, отыгрываем час, заигрываем вещь. Что наша жизнь? Игра же стоит свеч, настрой – игривый или игровой, играют свет и тень, «гейм овер», а у Эйнштейна Бог не играет в кости. Мик в последнем не уверен – он подозревает, будто сила высшая не только любит раз-другой рискнуть, встряхнуть и выкинуть случайный результат, но так при этом увлечется, что один из кубиков умчится под диван – потом верь на слово, что выпали шестерки. В адрес данностей религии и физики издав небрежный хмык, Мик ставку делает еще одну на сон – на левый бок бросает свои кости медленно, лицом к свернувшейся спине жены. Давай, давай, теперь мне повезет. Здесь склейка, резкий переход.

Внизу раскинулся ковер восточный – он сплетён из сплетен, свит из оптоволокон, весь в миллионе завитков причин и следствий; хаос

– лейтмотив. В Шотландии вручается работнику гуманитарной миссии в Багдаде премия поэта Бернса, но посмертно. А где-то в Перу в преддверьи выборов конфликт сторонников двух партий кончился стрельбой и жертвами, а в Херефорде полицейские отдела «Западная Мерсия» разыскивают очевидцев зверской групповой атаки подростковой банды на мужчину. С мандельбротскими самоподобиями множатся структуры всей системы, и в масштабах разных – но неясно, как и прежде, снизу вверх или сверху вниз сочится вред. Кипит и парит гнев, а это значит, скоро хлынет зябкими ручьями правосудья конденсат. Итог – культура, что работает на внутреннем сгорании, машина клоунов, ползущая толчками взрывов без линейного развития, без всякой ценности для наблюдателя – одно лишь предвкушение пред неизбежной фарсовой аварией. Ползучей плесенью неона СМИ украшены все остовы идеологий на Земле, она пускает метастазы неразборчивого хаоса в доселе удобоваримый нарратив – отредактированное сознание под эмпирическим потопом. В вымерших почти ньюсрумах, где и поныне сигаретным табаком кадит, идут стервятники на перехват всех инфоповодов по телефонным проводам – как от семей погибших, так от адюльтерных звезд, – тогда как в Конго льется кровь за переделы территорий из-за разработок вожделенного тантала – без него не запоют наутро новые мобильные; и, как Тантал, мир видит: тлеет на глазах обещанный банкет. Привычные к пределам пищевых цепочек верхним, хищники теперь сползают к дну по звеньям, кровью смазанным, ища объедков в подворотнях. Наезд сквозь мерзлоту воздушных коридоров, сквозь высоты полицейских вертолетов – к Нижней Банной.

Как только кончит он – так кончится она: вот так оцепенело Марла видит расписание свое. От пенетрации дерет щель и глаза, но как-то

далеко – лишь стук соседского ремонта, что уже забыт, неслышный в монотонности глухой. Сухой горох по крыше барабанит, и она абстрактно замечает: дождь пошел за окнами авто. Что редко и по меркам каждодневной и безличной клиентуры – в бешеном насилии этом от нее не нужно вовлеченья: наказание явно предназначено другому – частный ритуал, закрытый для нее. Свисая на израненном лице, качаются туда-сюда косички – занавес финальный вздрагивает при вступлении ударных сзади. Ситуация проникнута ужасным принуждением, словно ни она, ни гад розовощекий не по доброй воле здесь – трясутся, бьются в жутком кукольном спектакле просто потому что. И нет выбора, лишь просидеть спектакль серый до самого до горького конца – как зритель поневоле чужого и немного монолога, самовыражения в искусстве надругательств. Отстраненная статистка, Марла вся в прострации и в стороне от постановки. Ей почти знакома коленопреклоненная актриса во второстепенной роли: щеки впалые в потекшей туши, грустная мордашка, блеск глаз, застывших в темноте салона «Форда», налитых глухим смиреньем с жалким сим исходом, сим бесславным и бесцельным завершеньем, – но кто ж тогда за всем следит, откуда? То не Марла, ясно. Кто-то с именем другим и с чистой головой, без приступов тревоги и нужды, – тот, кто взирает на уже прошедшее лишь с тусклым сожаленьем, будто вспоминая. Эта ночь без всякого подобия – неужто вся она, неужто все гигантские последние мгновенья, что больше, абсолютней, чем казались издали, уже происходили – или же в каком-то смысле происходят вечно? Кожа, что под липкими ладонями, аляповатая и чувственная мякоть красок от доски приборной, выделяющие сценарий, каждый яркий элемент, такой знакомый жутко, жутко резонирующий, как мисс Хэвишем в огне и как большой индеец-пациент, окно дурдома высадивший раковиной, – словно все те образы литературы и кино, которые горят витражными цветами вне обыденного времени. С покорностью животной приближается она к печальному концу в собачьем стиле: на больных коленях, обожженных кожаной обивкой, к пропасти

ползет и к самой кромке смерти. Впереди не ждет туннель – один лишь обостренный фокус восприятия, – не ждет и белый свет, – один припадочный движенья сенсор на каком-то гараже. Перед глазами жизнь не промелькнет – и все ж она увлечена пустячными деталями своей прошедшей драмы: альбомом про Диану и библиотекой мрачной атрибутики на тему Потрошителя. Фиксация былая на сих темах, именно на них и никаких других, теперь непостижима и знаменьем ей кажется от подсознания, а не случайным хобби: ныне предстоит ей влиться в жалкие ряды девиц в чепцах и петтикотах – в сущности своей, всё одного мужчины жертв, из века в век один лишь Джек, – и более того, затянутая, страшная погибель ждет ее в чужой машине, сзади. Сей злой двор с мигающей подсветкой все ж не Пон-де-л'Альма, не мост душ, хотя в сем обступившем кирпиче и бессистемных папарацци-вспышках света разница невелика. Места другие сводятся к сему, как вся история сужается до сих немногих, драгоценных и мучительных минут. Любой сюжет – хоть биография, горячая романтика иль первобытное предание глубокой старины, – все суть она и это; что вокруг нее. Отлично зная, что любой и каждый вдох отсчитывает время до финала, все же благодарно Марла втягивает спертый дух прокисших шока и сношений, упиваясь столь недолговечной радостью дыханья. Увлажнившись, наотрез ее глаза дают отказ хоть раз моргнуть и пропустить фотон единый – сей парад последний света, зрелищ, – вперившись в дверную ручку в паре дюймов от большого носа, в отторжении от мира позабыв, на что они глядят. Здесь новая ТЗ.

Он механически наполовину достает, вбивает снова – миг закольцевался, только все же патина волшебная спадает – так неуловимо, словно смена пленки или переход от цифры на аналог. Вне трясущейся машины хлещет, хоть не помнит он, как раздождилось. Меланхолия находит, всякие мыслишки – впрочем, то

наверняка от порошка эффект побочный. Мысли вроде «Ты отныне навсегда отрезан от людей» – не в смысле, что его поймают и закроют – этого не будет, нет, – а в смысле, что теперь не быть ему похожим на других. Мысли вроде «Ты отныне никогда не сможешь быть собой в присутствии других» – в том смысле, что он после этой ночи станет новым человеком в новом мире, и никто не должен знать, кто он на самом деле. Настоящий Дерек Джеймс Уорнер, 42, – он будет исключен из всякого здорового общения с коллегами, детьми, Ирен, он будет выходить в такие только ночи. Впредь ему конец, его былого нет – но он уже не может это прекратить. И то, что делает, и то, что хочет сделать, – рано или поздно это не могло не воплотиться, с самого момента, как узнал о сути секса в детстве. Деза захватило пенное, ревущее стечение обстоятельств, он ничего не может – только сдаться и склониться перед неизбежным. К этому мгновению его вела вся жизнь, отсюда же она его потащит дальше – от этого мгновения, из памяти неизгладимого, а это значит, Дез в каком-то смысле навсегда здесь и пребудет – здесь, сейчас, – по крайней мере, в мыслях это будет длиться вечно. Точно муха в янтаре – с зажмуренными, как черта карандаша, глазами; с носом сморщенным, как гаснущий фонарь китайский; с нижней губой, как спущенный навес. Вставляет член, опять вставляет член, а краем глаза ловит красные с зеленым отблески доски приборной. Знает Дез: иллюзия бесстрастно наблюдавших в окружавшем мраке разноцветных глаз – химера химии в его мозгу; но не стряхнуть тревогу, будто третий лишний за рулем – незванный, нежеланный пассажир, которого забыл, что подобрал. Наркотики – не у него в крови; точнее, не буквально – фигурально. Дез к ним не привык – Дез не привык к тому, как расплывается вокруг все и внутри: то он как лев, то в страхе он дрожит, от чувства нестерпимого, как будто бы сейчас – а то уже – непоправимое случится. Клокотанье паники сдержав, он думает о деле – теле – на руках. Взгляд опустив, он смотрит на себя – на кортик волосатый, скользкую пронзавший рану, на большие пальцы, что раскрыли смуглые податливые ягодицы. К

кромке стиснутого сфинктера говна прилипла крошка, будто бы оно не подтиралось – грязное, поганое животное. Его он ненавидит всей душой – уже за то одно, как на углу торчало, поджидая Деза, в той виниловой куртяшке, с виноватым видом; за участие, за участь – и за то, что так позволило дойти до самого конца. От ненависти только тверже встал, и мысли только чище – он уже обдумал, как убьет ее за тем, когда затрахаёт, но вдруг чрез мокрое переднее стекло Дез замечает в ближнем гараже как будто бы пожар – из-под ворот сочится дым, а может... нет. Нет, это не пожар. Он удивленно щурится и хмурится, уняв толчков конвульсии, пытаюсь разобраться, что же происходит. Там из кирпичей, гофрированного металла гаража как будто вытекает серый пар – но что за пар столь вязкий и густой? – подобно выдоху, подобно воплощению сырости, тоски, в таких районах стены пропитавших. Языками и клубами в нефтяных потемках томный дым сползается в одном лишь месте, кружится лениво в дюйме над асфальтом, видом походя на поземку мусора, что Дез порою видел на парковках, – сорные циклоны. «Что за хрень?» Он сбился с ритма, и член выпал и обмяк – из паза выскользнул, забытый, – Дез только смотрит через мокрое стекло на фронт той злобной непогоды, как тот наступает, проступает, неестественно локализованно причем. Плящаяся зыбь стихийно принимает сонм непонятных форм, отбеленных «Персилом»; облакам подобно – словно в детстве, только неопратно, торопливо, без пространства для фантазий, толкований. Вырос целый конус этой мары-замарашки, только у верхушки – «Бля! Что это за хуйня еще такая?» – только у верхушки вьются щупальца и нити как из пепла, – словно желчь в толчке, – нечаянно сгустившись в виде перекошенной гримасы старика. Вдруг сразу много лиц – одни и те же, все кричат без звука, а глаз больше во стократ – как бусы из озлобленных медуз. В избытке тлеющих голов губами шлепал рой беззубых ртов; порхаёт, трепещет, косяк невымытых рук, как заводские стайки бабочек гигантских. Замечает Дез, что начал он невольно хныкать, и чувствует при том, как воздухом ночным на щеки в их

румянце вечном веет вдруг приливом зябких брызг. Что... блядь, оно открыло дверь, оно слиняло. Так сперва боялось, делало исправно все, что скажут, – он и не подумал запереться. Блять. Вот блять! Оно ползет на брюхе, как тюлень на берегу, лицом ныряет из машины в черноту асфальта – и, хоть кинулся за тощею лодыжкой, лишь туфля Золушки осталась в руках.

– А ну вернись! А ну вернись, пизда!

Забыв в пылу и ярости момента о галлюцинации, что отвлекла его, за беглою добычей Дез неловко выпадает из машины в дождь, с расстегнутой ширинкой и разъяренным видом. Склейка, новая ТЗ, ч/б.

На кирпиче с металлом – толщиной не больше лет пятидесяти всего – и дальше накипает бестелесный нищеврод, чей крик во гневе, как свисток от чайника, пронзает даже трупную акустику во стежке. В слабом, но внезапном запахе от сырости и плесени он пьет своими серыми загробными глазами сумрак дворика середь плюющих луж, вперяется в от секса скачущий «Эскорт». Простроченным фосфоресцирующей бледной нитью в призрачном обзоре видит Фредди коренастого мужчину: по его мальчишеским щекам струится пот, пока он на коленях в той машине сзади, раз за разом движется туда-сюда – заевшая игрушка. Тут не нужно видеть девочку, что скорчилась побитой собачонкой, чтобы понимать, что здесь произошло, – ах ты кусок говна, ублюдок, мать твою, а дальше только хуже – их тут двое на малышку-пташку, на одну – вдвоем. Он там с дружкой, а тот расселся за рулем в большущей шляпе, пялится из-за стекла, да так, что если ты не знаешь, то подумаешь, как будто он буравит призрака своими разноцветными глазами – где один темнее, а другой... ох ё. Твою налево. Это вовсе не дружок. Да, это что похуже – стали б ватными у Фредди ноги, кабы не были из пара. В той машине на переднем месте примостился черт, из самых

страшных и могучих, про кого все говорят, но редко видят; и он неотрывно лупится на Фредди с мудрою улыбкой, что не разобрать в чащобе зарослей усов и бороды. И точно так же посмотрел на Фредди мастер-зодчий в зале для бильярда: как взаимное признание, что настал уж он – тот самый важный случай, ради коего текло у Фредди бытие – в тумане ль, во плоти ль. Уверился бездомник: хмыкающий бес сегодня не за ним явился, разве что он в роли мимохожего зеваки. И не причинит вреда, коль скоро Фредди попытается прервать на заднем месте стыд и срам, – и Фредди это знает. Черт почти что дал свое благословенье делать все, что делать призракам пристало, но нельзя под страхом наказания. Да, ему дозволено стать диким ужасом что ни на есть экстравагантных видов – что же, если час пришел для Фредди показать себя во всей красе, его он не упустит. Вглядываясь мимо адской знаменитости в салон машины, Фредди с облегченьем замечает: вечно рдеющий злодей за затуманенным стеклом вдруг прекратил навязчивые спазмы тазом, замер на коленях без движенья, щурит зенки в агрессивном изумленьи – и похоже, что на Фредди. Можно ли представить, что он видит призраков благодаря болезни головы, каким-то веществам? Эксперимента ради тлеющий бродяга кочаном трясет, граблями всюду машет, и цветет подобно папиросной гидре крона стойких и остаточных картин, за чем ладони бледные – кишашее гнездо слепых и похотливых пауков, – как и гроздь глаз – комок слезящейся икры, – тотчас вознаграждаются усугублением в лице насильника всех пасмурных морщин, отпавшим ниже подбородком-бланманже. О да. О, Фред нащупал что-то, это факт. Маньяк узрел, усрался, сбился с ритма – из-за серого гротеска, от непониманья, что же появилось перед ним. Да он как привидение увидел! Фредди ощутил, в кулак всю эктоплазму собирая, как разлился по перепачканным парам язвительный восторг столь непривычного могущества – принятие лохмотной жути, отраженной в съезженных зрачках жирдяя. Лютую грозу на тучах лика вызывая, он осознает: в машине что-то происходит – то, на что, возможно, повлиял он сам.

Щелчок, неслышный в мертвой глухоте, – потасканный фантом лишь запоздало с ним связал открытие дверей. Мучитель ошалевший прерывает свой пытливый взгляд на Фредди, чтоб проверить жертву, тут же гаркнул в гневе и досаде:

– А ну вернись! А ну вернись, пизда!

Нехорошо. Нельзя же так при дамах. Фредди катится скрипучими клубами крематорья, бурлит скорей поближе к действию, но тут истуканом замирает пред открытым видом. Девушка – ни кожи и ни рожи – выползает прочь из растворенной бреши, прочь из камеры для смертников, лицо ее – лицо ночерожденной, в липкой маске крови. Вспышек беспорядок от диода, что сбивает необъяснимо за спиной у Фредди на дверях у гаража, отобразил отчаянный побег как будто в страшной фотогалерее снимков «Кодак Брауни» – она на животе скребется и скользит, с натугой на руки и драные колени поднимаясь, – в ее любовно заплетенных косах грозди алых струпьев, – и торопится к воротам далеким из сего бензином и дождем залитого загона, до каких нет у нее ни шанса доползти, о чем она сама прекрасно знает. Вот бросок багрового злодея из «Эскорта» – он бредет в припадках света и кромешной тьмы с туфлюю женскою в руке, как будто томагавком, с хреном наружу из штанов разверстых – разогретым псиным языком. Копченой вязкой лентой хлынув через полутишину седого недомира, Фредди Аллен со своим хвостом из двойников перетекает вмиг в сужающееся пространство между плачущей ползущей жертвой и тем катом скотским – с детским личиком, с приклеенной ко лбу дождливым брильянтином темной челкой: злостью брызжущий бандит из фильмов прежних лет. В немой мигающей реальности зернистого ч/б бродяжка маленький спешит на помощь героине. Здесь опять документальный футаж, в цвете.

Планета кружится на гравитации диджейском вертаке, преодолев всего лишь половину открывающей декады-трека на пластинке долгожданной нового тысячелетия, а критики всё пики преломляют из-за шумного введения со взрывом самолета и пронзительных вокальных партий; резкий контрапункт космографа с теистом. Иегову разъедает быстрый рост древа познания на некосном удобреньи – костяной муке из динозавров, – он от наступленья фактов ретируется в глухую оборону креационистов: сообщается, турцентры Гранд-каньона прячут и скрывают возраст и происхождение ущелья – все в угоду версии библейской с Ноевым потопом. Каролинские юристы заявляют, будто изнасилование не может привести к зачатию, основываясь на теории двусемянной – популярной пару тысяч лет назад. Так сталкиваются концептуальные века, их грохот оглушает: слышатся воинственные выступленья сионистов, фундаменталистские крестовые походы, взрыв шахидских поясов.

В осаде ж секулярная реакция – «к оружию»: многоречивый в стойких догмах атеизм становится религией, имея на руках не более чем известный факт науки – почва, что по консистенции обставит и зыбучие пески. Классическая с квантовой модели твердо пресекают всякие попытки примиренья, вследствие чего потенциальная струна меж ними вновь неуловимой остается. Не вполне постигнутая гравитация рождает, умножает сущности-опоры: экзотические вещества и состоянья, темную энергию и темную материю – тех обязательных математических зверей, что ускользают от пытливых наблюдений. Вера и политика всё ферментируются с помощью дрожжей бродящих из теории и практики, и вся архитектура мировых традиций зиждется на информационной пойме, уязвима для любого ливня данных иль разлива рек идеологий, выйти что грозят из берегов, не в силах из-за узости и скорости принять приток. Усталости заметной вопреки из страха упустить критичный поворот в неугомонном и крамольном карнавале вся культура глаз сомкнуть не смеет. Снова интерьер и ночь.

Теперь не в силах выкинуть из мыслей отчего-то памятные образы с таро его сестры, Мик видит, что они вразброс рассыпаны по церебральному ковру, пока в раздумьях от него по-прежнему бежит любая передышка. Осмотрительно на спину обращаясь, он закинул ногу левую на правое колено, запоздало признавая в позе имитацию таинственного Висельника – символ некомфортных откровений, если не подводит Мика память. Ни в малейшей степени не видит смысла он что в Висельнике, что в другой двадцатке с лишком карт: ни в Похоти, ни в Жрице и ни в Колеснице – ни в одной; никак ему не изобрести игру достаточных масштаба или сложности, чтоб применить их все, и потому их выпускает из вниманья. Но другие же картинки на картонках, пусть и странные, все ж кажутся вполне обычными ему – в них ясно связь видна с колодой знакомой. Есть четыре масти по десятку номерных листков, где масти чем-то схожи с существующим квартетом, только носят имена иные: бубны стали дисками, мечами – пики, черви обратились в кубки, крести – в жезлы; а сестра твердит упрямо даже, что в таро все эти масти были раньше – так таро старо. Что до фигурных карт – и те почти кузены для знакомого и августейшего расклада: дамы неизменны – только рыцари и принцы заступают за валетов с королями, но к знакомой троице еще без лишних слов вторгается четвертая аристократка плоских же кровей – принцесса, не имеющая равных среди суровых и двуличных представителей традиционного монаршего семейства. Мику неизвестно, как последний персонаж стыкуется с игрой – к примеру, непонятно, выше она принца или нет. Как Висельник с его непостижимыми дружками, скажет Мик, она лишь раздражитель в без того уж раздражающем наборе. Что греха таить – у Мика от таро лишь голова болит. Когда у вас на каждой карте разная оккультная иконография, не выйдет даже быстро срезать в снап, а значит, взрослым людям вся концепция и к черту не сдалась. Вдруг из-за

Альмы разозлившись, сам не зная почему, он совершает переход на правый бок без звучных инцидентов. Новый ракурс.

Его сестры заметная проблема, он решает, в том, что меряет она свои успехи по таким загадочным критериям, что даже неудобь сказуемый провал представить может как какой триумф, а из людей вокруг никто не понимает, что она несет, чтоб бросить вызов несуразным и при этом смелым заявлениям. Самые резонные протесты сносятся необоримым залпом артиллерии цитат, причем из тех источников, которые никто не видел и которые, вполне возможно, измышлялись на ходу. Любые прения – мошеннический матч, по руководству в духе такой Мормонской книги, что доступна, очевидно, только Альме. Правила игры меняются как будто бы случайным образом – как спорить с Красной королевой из «Алисы в Зазеркалье» – или же в «Стране чудес», кто знает. Мик всегда их путал. И вообще, уж раз заговорили, Льюис Кэрролл раздражает даже больше Альмы в нескрываемом и дерзком авторском намерении сбить с толку, завести в тупик. Зачем вставлять в две книги Красных Королев с одним и тем же норовом суровым, если это очевидно разные герои – где одна из шахмат родом, а ее сестра – из карт? А если все писалось для детей, к чему примешивать еще и шахматы, как если не из жажды интеллектуально задавить паршивцев и засранцев? Тактика сработала бы с Миком на ура, ведь он когда-то цепенел при их одном упоминании. Шахматы – вот что еще давно сидит в печенках. Ведь на деле-то заносчивые знатные фигуры, что не ступят шагу без специфик многосложных, в сущности своей не более чем шашки с ОКР: слоны не сходят с белых или черных клеток суеверно, кони норовят свернуть за угол-невидимку. И еще невротики-аристократы – очевидно дисфункциональные державные четы, они же центр внимания игры; все короли с запором заперты в своих передвиженьях, королевы же вольны идти, куда душа зовет, и делать что хотят, наперекор тому, что жернова интриг вращаются вокруг супругов властных. В классовом мировоззрении Мика корни всех причин причудливых метаний

шахматных фигур заключены в их скудоумии ввиду кровосмешенья, но признать он все ж готов: у фишек разномастных есть своя загадка и своя минималистская харизма. Чувствуется, что они несут глубокий смысл – не просто лошадь или конь, не только лишь фигура, по доске выделяющаяся пьяный вальс. Они, скорее, словно символы больших абстрактных сил, что бьются и пируют на доске высокой: поле их игры – какой-то дальний ультрафиолет в диапазоне знаний Мика. Короли и королевы, принцы и принцессы – пусть о картах речь, о шахматах, царях из плоти и крови, их важность кроется не в личности с делами – только в том огромном и бесформенном явлении, что все фигуры представляют для людей. Во всем, что значат. Всем, что говорят.

Решив, что все-таки ответ в горизонтальном эндшпиле, сиречь лежать плашмя, почти уж завершил Мик надобную передислокацию, когда вдруг осеняет: потому и поднялась великая шумиха в случае с принцессою Дианой, потому был Кенсингтон завернут в целлофан, завален мишками из плюша. Дело же не в ней самой. А дело в том, что люди в ней узрели. На окне их спальни нежными прострелами уж брезжат редкие лучи. Монтажный переход к всевидящей ТЗ.

В постели Церковь с Государством делят пару сигарет – и дым стоит столбом от их лоскутных одеял из стран. Истошный визг сигнализаций всяческих спецслужб напоминает сломанный детектор дыма: всем давно плевать, но нервы расшатает будь здоров. В войне с террором – то есть «ужасом», своим же эмоциональным состоянием, – огрызаясь в панике на ими же отброшенные тени, западные власти селятся раскрасить уровни кошмара. Белый отражающий сигнал разбит чрез призму в спектре страха с ежесуточной корректировкой – тепловая карта алармистов: никогда не стынет ниже рыжих красок бухты Гуантанамо, а льдисто-синий

безопасный цвет давно уже забыт, из моды вышел и не станет «новым черным».

Сегодня пятница, 26 мая, год 2006-й. Сегодня в Вашингтоне в продолжение заседания сената США, где выбран будущий директор ЦРУ – из АНБ директор Майкл Хэйден, – Капитолий перекрыт, как только власти получают сообщения о стрельбе в округе и замеченном вооруженном человеке в офисном спортзале. По итогам следствия, пальбой была работа пневмомолотков, а якобы стрелок-атлет – оперативник в штатском. Новые порядки (или даже беспорядки) безопасности по всей Земле не сдержат инсургентов разума. И с каждым взрывом происходит бум в мертвецкой популяции, из праздных разговоров, пропаганды с завыванием вырываются фигуры в простынях, в озерах из тумана среди слепящих пиков заголовков зыбятся оптический обман от медиа и броккенские тени-великаны. В круто перекошенном стекле народных представлений призрак Пеппера в тюрбанах и банданах, на зернистых хрониках с учебных лагерей, по-ученически катается в армейских кувырках, мифически обезображенные клирики с укором мрачным всё грозят стальным крюком. Идея нации – которая раздута в виде притч религиозных и бульварных грез в не очень умудренные века – теперь легла в основу обгаренных кровью пантомим на современном множестве платформ; любовных реконструкций, что вызывают ностальгию по резне из старых добрых лет – понятных и простых. Здесь быстрая монтажная нарезка.

В конце рябящей пленки влаги, что накинута поверх площадки мокрой, все ползет она, а ноги вдруг срослись от спутанных чулок и трусиков на бедрах – так русалочка трепещет на мели. Ослепшую от крови, вдруг ее нагнал обманутого изувера рев, когда он вырывается из каземата на колесах.

– А ну вернись! А ну вернись, пизда!

В крысином лабиринте паники ей раньше не знакомая частичка подсознания дает приоритет: как только встанет на ноги, натянет нижнее белье и сможет убежать – маневр трудный, лучше претворять без мыслей в голове. Сумевши оторвать с асфальта все колени сразу, Марла движется вперед – отчасти падает, отчасти семенит стесненными шажками гейши, одновременно задрать пытаюсь сетку крупную чулок на бедра. Без обеих спинок опрометью скачет с плеском по налитым в ямах лужам, визуальная стабильность перебита черными пробелами от спазмов огонька на датчиках движенья; слишком занята глотаньем воздуха под всхлипы, чтобы думать закричать; сама не верит, что еще не поймана опять. Здесь новая ТЗ.

С него довольно. Да, с него довольно наркоты – с нее совсем не прет. Бредет в припадках света он в каких-то гаражах, пытается поймать ту дрянь, вернуть к себе в машину, чтоб с ней кончить и покончить, только от «колес» вдруг ужас разобрал – такого он не ждал. Оно прямо перед ним, всего в двух-трех шагах, пытается подняться, только стоит раз ступить, как в Дерекка бьет ветер, отбрасывает прочь – хотя не то чтоб ветер: словно затхлый шквал. Разит как из ночлежки – потом пропитым, дыханием от мета, мокрыми трусами и заброшками с говном в углу: хмарь ароматов, что без тщательных усилий можно глазом разобрать. Лодыжки пальцами схватил трущобно-серый газ, течет, как альбумин, на плечи и сбегает по спине. Хоть знает Дез – все это в голове, все это с порошка, – не может не попятиться назад. Сжимает глюк кольцо, и вот уж бьется Дез как в облаке мокроты, но в тех скользких склизких щупальцах плывут куски лица – рой лбов и кружевной ажур блестящих губ. Еще паршивей, что Дез то и дело слышит слабые урывки звуков, словно от транзисторного радио с настройкой меж

волнами, гневную тираду – нечленораздельную, как будто станция находится вдали, находится давно. Прозрачное ползучее паскудство лезет в рот, на вкус как рвота – или это только кажется ему? Откуда знать, возможно, у него тут кровоизлиянье, передоз. Возможно, у него реальные проблемы. Новая ТЗ, опять ч/б.

Неумолимый в ярости, потасканный мертвец удваивает силы в натиске своем, бросая в бой все жуткие уловки, трепет наводя своим репертуаром. Тянется, как будто на ходулях, воспаряя с шлейфом доппельгангеров, и исполняет пляску мерзких пауков своих конечностей снопом. Сует ладони в собственный кочан, чтоб пальцев колыханье выросло из лиц, как крабовые лапки, чтобы зоб расплылся вдруг в грибнице невозможной из заляпанных полипов. Надувает зенки, в гадком поцелуе демонстрирует он пакостную ловкость языка и лапает мошонку у маньяка – яйца и в болтунье, и в мешочек разом; палец из холодной эктоплазмы всовывает в сжатый сфинктер и кишечник. Представления людей о подлой драке – им далеко до призрачных метод. Зажмурился глазки, скуксив, словно мятый помидор, свою мордашку херувима, враг отмахивается от ночи, как от пчел, и делает шажок к машине. За рулем уже нет никого, с немалым облегченьем замечает дух из гетто: адский зритель по своим делам ушел – ведь демону хватает чем заняться, в столь морально мрачном мире. Головой мотнув и моментально отрастив ушастое кольцо Сатурна, Фредди радуется виду девушки – которая уж встала и плетется к въезду в гаражи, – затем возобновляет бой с ее мучителем. Бессвязным матом небо кроя, тот садист в осаде отступил, сдал ярд очередной – под призрачным ударом по коре передней мозга. Смена ТЗ и цвет.

У выхода из бойни девушка рискует бросить взгляд назад, чтоб тот, кто дышит ей в затылок, уж лицо дыханьем смрадным окатил, – но тот мужчина у машины и руками машет, как в припадке, – впрочем, может хоть сейчас в себя прийти. Она ныряет в тьму на Нижней Банной – с каждым шагом шпарит боль меж ног, – гонимая адреналином, страхом перед шоком и параличом. Раз легче вниз катиться, чем с трудом лезть вверх, она виляет влево, в нижний угол Алого Колодца – травяной театр ее недавних злоключений, что замочен в свете мочево. Один лишь признак жизни – жиденский лимон, процеженный чрез шторы на окне единственного дома на углу, туда и ковыляет по дороге; гравий режет пятки, сердце бьется в грудь. Пожалуйста, пожалуйста, пусть кто-нибудь там будет, кто-нибудь откроет в дикий вечер пятницы, чтоб не из робкого и хилого десятка, – но на Марлу давит осознание маловероятности благих исходов. Справа от нее уединенный дом выходит на зияющую пасть пропавшего проулка, а воспоминание о его булыжной ленте убегает в темноту за рабицей, закрывшей нижний край у школьных стадионов. Впереди Святой Андрей, нагой без всякого движенья – речи нет о полицейских патрулях, – тем временем убийца из ее воображения уже пыхтит как зверь, на пятки больно наступает. Ноги вдруг бунтуют против воли, нервов и реакции лишаясь, точно слеплены из теста, а потом столетние булыжники бросаются ударить по коленям и ужалить нежные ладони. Пала, кровью истекает у канавы, что полощет каменную глотку дождевой водой. Скулит дворняжкой, жалкой и холодной, на затопленной дороге, тянется к порогу, чтоб стучать по мокрым доскам кулаком без сил – понятно, слишком слабо, изможденно, чтоб услышал кто живой. Мучительно ползут секунды, каждая язвит предчувствием, что вдруг на плечи рухнет лапа и вопьются пахнущие сексом пальцы в окровавленные косы. О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Откуда-то внутри, в невидимой прихожей, слышатся шаги – неторопливые и мягкие от тапочек. Здесь новая ТЗ.

Ему не страшно, нет, его так просто не возьмешь – но он же чувствует, что на него напали, будто бы здоровая дворовая овчарка – только некого увидеть, некого ударить. Хуже, чем овчарка. Слышал Дез, что дернешь их за лапы задние – и враз готово дело, но сейчас он будто месит скисшую сметану, эта дрянь везде – в штанах, в ноздрах и в жопе. Сколько же еще терпеть. Не понимает он, его накрыло с мета жестко – или он сошел с ума, иль это нападение пришельцев, или что. Кромсая редкую подсветку, сыплют бритвенными лезвиями дождевые капли. Внутри него захныкал незнакомый и плаксивый голосок, идущий больше женщине и жалкому ребенку, умоляет убираться, сесть в машину, просто смыться. Кожа на мошонке ежится – о боже, он же до сих пор с шириной нараспашку; перед ним почти что видно сальную лавину шляп и дюжину отверстий-пылесосов, окаймленных гнильными зубами. В прерывистых потемках – нескончаемые и непостижимые картины, прожглась, шипя, в сетчатку нить накала – кляксами цветными, что переливаются у края, где у их сияния – текстура, словно бы опарыши кишат. Здесь все пошло не так. На ощупь он захлопнул за спиною дверь, пытаюсь отыскать передней дверцы ручку, а свободною ладонью – хлопнуть стаю страшных и летающих голов. Они порхают, так ужасно несуразные, чудовищным мясным колибри подражая, машут костлявыми крылами из висков и щелкают истлевшей пастью, все беззвучно хохоча. Его панические пальцы наконец находят, что искали, – ледяную металлическую кнопку, – он, изображая грозный рык, бросается за руль, захлопывая дверцу за собой. К закрытому окну нахлынули помои, на стекле оставив пену серого осадка в виде жидкого лица. Ключ в зажиганьи провернув, зачем-то Дез прилежно смотрит на часы доски приборной, там заметив, что сейчас почти без двадцати одиннадцать. За забрызганным стеклом пытается проникнуть внутрь неизъяснимая мерзота – и нельзя ее осмыслить. Новая ТЗ и снова монохром.

В газетном черно-белом цвете и в конвульсиях заики-света вокруг автомобиля смрадным ураганом нищий разошелся – конченный во всех значеньях слова. Стенки тачки для него не более чем хлипкая салфетка лет каких-то трех или четырех: бродячий пар легко бы мог проникнуть и напор продолжить – впрочем, цель его не наказание, только устрашение, к чему бы ни звала еще душа. Спугнуть заплывшего скота и дале присмотреть, что дама спасена, – вот этого не стоит упускать из замогильных мыслей. И неважно, что заслуживает тот, кто может сотворить подобное злодеяние: то решенье следует верить в другие, опытные руки, – но какую только гибель он не звал на голову поганому животному, порочному подобию мужчины – и тому, кем чуть не стал когда-то сам. Его будь воля, он сыграл бы здесь и в Гамлета, и в Банко, учинил бы полный «Тэм О’Шэнтер», вмиг созвав братьевников к себе, что навещают паб «Веселые курильщики»: лохмотный и локомотивный дым безжалостных, жестоких мертвецов, бегущий за ублюдком проблядущим что во сне, что наяву, – и это лишь начало. Ведь геены нет – Деструктор не считая, – Ада нет, где по заслугам воздают: всем сёстрам по серьгам, мужланам – по шеям; но мщенья дух уверен: на основе смерти в Боро ад устроить можно, да такой, что побледнеет Данте и зажмурится незрячий Мильтон.

Влача наброски мелом и углем в посыпавшейся веренице домино, он кружит вдоль авто, прочистившего глотку; следует за ним в перемежаемой просветом мокрой ночи леденящий душу доплеровский вой и реет похоронным стягом за спиной парящее пальто. Смешенье праха с воздаянием, а в решетке из габардина, что внутри карманов, у него звенит совсем не мелочью обида возмущенного района: едко изольется наболевшая досада конскою струей мочи на нарушителя покоя – злым потопом смочет с этих раненых проулков, чтоб и он, и прочие петрушки-потрошители

запомнили, что Боро надо обходить за километр. Здесь новая ТЗ и яркие цвета.

Размазавшись на каменном пороге незнакомцев в колотящем ливне, кажется она игрушкой на свалке: порваны все швы и вывалился плюш психической набивки, и ликером липким глазик-пуговка залит. Болит все существо. Уже едино, даже если все шаги глухие в коридоре – только плод воображенья; уж не против, если вдруг палач нагонит и закончит начатое дело. Только пусть прервутся эти муки – а конкретный способ ее больше не заботит. Вероломно скутала уютная апатия, опустошились остатки всех желаний и движений вместе с содержимым мочевого пузыря. Характер, личность катятся в отлив, галькой синапсов шурша, – она едва ли видит яркий свет, что розовым пробился через веки; этого феномена не помнит, как и что он означает. Наконец – сорвав сургуч кровавый – с трепетом ресницы разошлись, и Марла щурится в цвета-загадки, сгустки блеска с тенью, проступившие старинною иконой в раме двери, уж открытой, – словно в прошлом виденным шедевром Ренессанса. Там, на фоне разукрашенных обоев и ковра не в тон, купаясь в нескольких десятках ватт сошедшего огня Святого духа, замерла, опершись тонкою рукою на косяк, старушка, скроенная из костей мосластых и увенчанная белыми власами, словно фосфором горящим. Кроясь в сумраке средь жгучего сиянья, тяжело держатся на черепае подтаявшие контуры лица, напоминая остров Пасхи, – о, какие сычи очи. Бледно-серые и с радужкой золотой, они – как водоемы, окоемы ярости бездонной, сострадания, – взирают вниз, на покалеченное чадо на пороге. Щеки впалые орошены ручьями, злыми и солеными, и обитательница дома, в скрипе наклонившись, опускается на корточки, чтоб подбородок жертвы приподнять, рукой свободной нежно гладя косы, все в крови.

– О, слава Кафузелум, – слава ей, блуднице иерусалимской, – молвит Одри Верналл; голос прерывается от гордости всеискупительной. Отъезд к мозаике планетарной.

Там лопаются лампочки, там информация искрит. Полиция Уигана сегодня публикует видео смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием велосипеда и авто. Неуловимо разрушаются коралловые рифы. На суде по делу «Энрона» мошенник Кеннет Лэй сказал: он верит, что его беда в итоге обернется благом. Звезды глянца все меняют формы и партнеров. Тают антарктические льды. Парализованный регбист из Уэльса хочет запретить на поле «схватки», а пугающе живучие такие кольчатые черви дарят нам надежду, что и в космосе есть жизнь. При наблюденьи рушится и квант, и государство. Шахматы на нефти и крови, фискальное катание на тонком льду, способность гомо сапиенс срастаться с технологией своей. Спасен считавшийся погибшим Линкольн Холл, известный австралийский альпинист. А мыши светятся и обрастают бутафорскими ушами. Девонский барсук терроризирует спортивный центр. Ход подготовки к Мировому кубку омрачают выступления расистов. Съежены бюджеты, а реалити-шоу свою ЦА перетащили в телевизор, замыкая уроборос. Новый углерод и новые масштабы производства. По орбите у Земли кружит металлолом небесный. Поп-культуру, раньше одноразовую, ныне волокут к обочине, пустить чтоб на ресайклинг и на новое искусство – прямо там, в канаве, где ему и место. Внутренняя смута. Генная спираль разоблачает все свои секреты. Алгоритмы страсти и потребность на заказ. Тачскринная интимность и почтовый пиджин мессенджеров. Новое, все новое – и каждая секунда больше предыдущей. Населенье обожралось новым до отвала, но добавки просит, словно овладеть желает наступающим и наступательным грядущим через поглощенье; хочет выпить досуха прилив.

Монтажный переход, здесь интерьер и ночь.

К дождю прислушиваясь, Мик, улегшись навзничь, размышляет о Диане Спенсер. Это продолжение бессонных дум о шахматах, о «догони туза» и блошках, так как все в принцессе Ди – игра, иль целый их компендиум, зашедший слишком далеко. Тот снимок папарацци – то почти буквальное разоблачение, с освещенной сзади нянечкой детсада в юбочке из марли, где с иллюзией похабного рентгена видно ножки, виден серый силуэт, – но кто кого здесь разыграл? Ведь вопреки всем скромным взглядам из-под челки – смолоду привитой стратагемы, – все ж ее предтеча – Красный граф, чьим именем расписан лик Нортгемптона: дорога, паб, поместье. И в ее крови бурлил бульон коварнейших династий: начиная скотоводами пятнадцатого века, что выдавали себя за родственников дома Ле Деспенсер, до пяти-шести бастардов настоящих Стюартов – а значит, генетических агентов родословных Габсбургов, Бурбонов, Виттельсбахов и Ганноверов; для Медичи и Сфорца. Скинуть со счетов такие хромосомы просто так нельзя – и это до щепотки Черчиллей, примешанной к и без того забористому генеалогическому зелью той нортгемптонской семьи. Тактики и отравители, и кровожадные завоеватели в коронах.

Граф Спенсер, в 1730-х урожденный Олторпом, который положил начало долгой Джонов череде, отцом был леди Джорджианы, позже ставшей той графиней Девонширской, что была известной и очаровательной двойницей младшенькой любимицы таблоидов. А пятый Спенсер, век спустя родившись, стал тем самым Красным – друг Гладстона прозвание заслужил за бороду парадную свою, раскапывает Мик глубины памяти. Ирландский лорд-наместник – по всему видать, не мухлевал с фенийцами, отстаивал гомруль, за что в опалу впал у всех до самой до Виктории. Однако в тыща восемьсот восьмидесятых он уже развешивал убийц его секретаря –

племянника Гладстона, – чем заслужил в итоге ненависть и националистов. Мик бросает взгляд налево – к чертам мягкой топографии жены под дерном одеяла, – не впервые думая о том, что угодить ирландцам просто невозможно. В бедрах и плечах уж глухо ропщет дискомфорт – мы не становимся моложе, – выполнив маневр на левый борт, сворачивается калачиком у Кэти под спиной, как пальцы – с теплой грелкой. Новый ракурс.

К минувшему недавно веку – веку Мика, – генетический и скрытный рост семейства Спенсеров напоминал Бирнамский лес: все ближе к сердцу власти и событий. Просочились Спенсер-Черчилли на Даунинг-стрит с премьером Уинстоном, потом вернулись – но с его племянницей Клариссой в качестве избранницы для графа Эйвона, премьер-министра в годы кризиса в Суэце. В тыща девятьсот двадцать четвертом, в Олторпе, уже восьмой граф Джонни подоспел, однако всё, чем помнится он Мику, – тучный, будто бы контуженый участник светских раутов, бормочущий, как бывший чемпион по боксу, дальше всех отсаженный от микрофона. Следует и должное отдать: с женою он не прогадал – красotka Френсис, виконтесса Олторп, первая притом, – хоть династический диспенсер у нее и выдавал упрямо деточек здоровых пола не того. Сначала Сара, вслед явилась Джейн и, наконец, надежа – граф девятый, Джон очередной, но умер он в младенчестве, за год до появления разочарованья нового в лице дочурки, названной по прокрастинации недельной наконец Дианой Френсис. В редкие моменты просветленья Джонни Спенсер вешал всех собак на женушку свою – по явной неспособности наследника родить, – и так униженная леди Олторп сослана была на Харли-стрит [\[183\]](#), где смогут изыскать, как искупить ее вину – вина, понятно, лишь на ней одной, на ком еще. Представить может Мик, что дальше было с браком, даже и тогда, как пару лет спустя на свет пришел Дианы младший брат – «Шампанский» Чарли Спенсер. Стоило же будущей принцессе восемь лет отметить, в шестьдесят девятом, – развелись родители ее во время распри из-за выплывшей внебрачной связи

матери Дианы с Питером Шенд-Киддом, с кем мать вскоре обвенчалась. Хоть назад глядеть – сродни гаданью в чем-то, Мик предполагает, что уже в тех времена увидеть можно черновые, первые наброски роковой архитектуры жизни младшей Спенсер – впрочем, сложно не подумать, что, впоследствии женившись на Рэйн Картленд – дочери известной Барбары [184], – тут папочка Дианы легкомысленно добавил в дело элемент горячечной готической романтики, а от нее хорошего не жди. Надежды сказочные, но без должного внимания к тому, что неизбежно сказки за собой влекут: отравленное яблоко, проклятье колыбели и стеклянный башмачок, до края полный кровью. Неудобно стало. Если Кэти здесь – жаркое из ежонка по-цыгански, то обнявший Кэти Мик почувствовал себя печеной глиной на иголках. Убегая от ее огня, он снова перекинулся на спину. Новый ракурс.

Мик и не представляет, что там за порядки – в брачных плясках представителей Короны, правящей семьи. Возможно, взяли Ди, как мать ее когда-то, племенной кобылой, чтобы обязательно наследника родить, с тем равно позволяя новому супругу продолжать давнишнюю интрижку со своей любовницей замужней. Слышала она заранее о том? Открыла после? Мику кажется, ответ зависит от того, насколько о себе взаправду знает знать. Но даже если в брак она вошла в неведеньи блаженном, то в себя прийти пришлось ей явно скоро. Первая пресс-конференция, когда они вдвоем стояли у ворот, тот лаконичный, отстраненный тон, с которым муж сказал так театрально: «Чем бы ни была любовь» [185], – ее конфуз заметный вслед за тем прямым дисклеймером супруга. Но, как бы то ни было, как только карты все легли на стол, всем стало очевидно: этот кон в «дурак» идет без дураков.

Впервые трещины явились в виде школьных бунтов – выход с Ферджи [186] в модном эксклюзивном клубе в виде полицейских-«стрипограмм», – а как в игру вошел тот Мартин Генри Башир, журналист [187], слепой бы не заметил, что она готовит

артиллерию, что будет бить по площадям и скверам и что ретирад в ее кампании не будет – только зажигательны тирады. Явно битва на измор была в разгаре. И буквально обнажен тактический момент. Тот снимок, где был тренажер для гребли: якобы без ведома он снят, но в композиции – расчет до мелочей. Купальник откровенный на той яхте аль-Файеда, раздразивший объективы до эрекции их линз, – причем в тот день, когда на публику и прессу выйти должен бывший муж с Камиллой Паркер-Боулс. Да, что ни говори, она была игрива и играть умела. Но потом, потом... в недели до ее отъезда из отеля – до ее ухода – странная британская интрижка липкой похоти с презрением лицемерным вдруг достигла злаязыкой кульминации: они возненавидели ее. Возненавидели арабскую подстилку, от которой пострадал их будущий король, а мины и больные СПИДом показались лишь неубедительным спектаклем новой Катерины Медичи иль новой Сфорца; фам фаталь эпохи Возрожденья, но в трусах с резинкой и без перстня с цианидом. Больше презирали же за то, что так любить хотели, но она их ожидания подвела распутством с булимией – и не стала той, кого они хотели, той, кто им так нужен был. Любить непросто то, что движется, меняется; живое. Память в мраморе надежней и понятней. Мик себя спросил, в тумане мыслей наконец теряясь, а не та ль машина преданных надежд, что первобытным оползнем ее вдруг погребла, в итоге помогла Диане стать окаменелостью с лицом трагической хичкоковской блондинки, выпила всю человеческую краску, пресекла – при этом превратив в ч/б-изображение с камеры отеля: шаг с полуулыбкой в двери карусельные навстречу вечности, где ждал шофер Анри Поль – тот, похоже, срочно вызван был, катастрофически пытался скрасить неурочные часы одной-другой живительной дорожкой на дорожку. Фары, блики, отраженья. И размытый перелив в парижском мраке за стеклом. Наезд на калейдоскопический поток из кадров фаунд-футажа, где чистый цвет в высоком разрешеньи с хроникой, дрожащей и немой, играет в чехарду.

Статистика гласит: проселки для водителей опаснее всего. Океанариум Дорсета открывает ранее заброшенный вольер для черепах. Россия борется за управление тремя нефтепроводами Сибири, ныне в западных руках, а Нур-Паши Кулаев, выживший бесланский террорист, участник нападения в 2004-м, признан был виновным по статьям «убийство», «терроризм», «захват заложников», – при этом избегает смертной казни из-за моратория Кремля для высшей меры наказания. И удачные лазейки, и случайные трагедии – всё пермутации для физики Ньютона, полной бесконечных столкновений, совпадений канонад; вот стохастический попкорн для завтрашних газет. В Индийском океане – миль шестнадцать к юго-юго-западу от Джокьякарты на яванском побережье и на глубине шесть миль под океанским дном – там плиты, австралийская и евразийская, пред тектоническим сумо пошлепывают тальком по ладоням и смыкаются уж для восьмого раунда за этот год. Четырнадцать минут спустя пробьет одиннадцать часов по Гринвичу.

Она не чувствует костлявых рук, что помогают встать, – ей даже кажется, что это вознесенье. Вдали от настоящего, в стеклянном снежном шаре обволакивающего шока, – боль за километры от нее, – она почти не слышит шепота старушки хрупкой, что сопровождает Марлу за порог навстречу свету. Что-то там насчет святых, подумала она, легко вопросом задаваясь, вдруг она уже мертва – вдруг так и не смогла сбежать от той машины или гаражей. Неподалеку в проливной ночи проснулся злой мотор, и рев его летит вверх по холму – разочарованное затихающее подвыванье, где, как в брызжущем дожде, как в тихом бормотаньи избавительницы

дряхлой, словно бы раскрылось новое, другое измеренье; в ушах в засохшей крови зазвенел собор неслыханного эха. За тиннитусом небесным слышно речь спасительницы Марлы, с новой силой, резкостью, которые – она не сразу понимает – будто бы обращены не к ней, хоть улица, двух женщин не беря в расчет, пуста.

– Эй, Фредди, проводи его на выход. Проводи до самого конца.

В дожде вдруг что-то колыхнулось – как-то второпях от них вглубь Боро полетел, подобно опоздавшему на встречу, стонущий порыв, как будто противоположность ветра.

Дез заливаается дождем и краской, потом, матерщиной, только выбраться не может. Не район, а лабиринт, и сам он как с цепи сорвался, а химический кураж с резиной прогорает, за собою едкой паники оставив черный след. Из гаражей с той расплывавшейся и множившейся тварью он летит направо, вдоль по Нижней Банной, местности не зная ни черта, и на дороге вырастают зубы Боро – низкие бетонные ограды; вынужденный левый поворот за разоряющийся паб «Сапожники» выводит снова к Алому Колодцу. Блять, блять, блять. Направо и еще направо – ржавая табличка на стене гласит, что Дерек оказался на какой-то Верхней Перекрестной, где над головою нависают однойцевыми стражами уродские высотки. Что тут будешь делать? Как бы ни хотелось, Дезу не попасть на холм – там только ждут отбойники опять, – но вниз по склону вправо глянув, он осознает, что глюки вовсе не отстали: на углу, на самом крае глаза, вертится какая-то – и слов тут не найти – чудовищная шестеренка из тумана; впрочем, стоит обернуться прямо к ней – ее как не бывало. Шинами визжит по Банной улице, стараясь не смотреть на жернова-фантомы, сразу же налево к Малой Перекрестной. На хрена им столько Перекрестных улиц? Почему здесь все так повернулись на крестах? Нырять в темных норах, черный «Форд Эскорт» по кольцевой развязке вылетает в переулок Меловой. Оттуда заложив вираж налево, за нелепую часовню с дверцей на стене, Дез замечает, что он оказался перед улицей Святой Марии, где в конце пылает праздничным пожаром Конный

Рынок – свет в конце проклятых катакомб. Нашел. Он вышел. И все с рук сошло. Он едет пламени горящих фар навстречу.

Для Фредди мир весь делится на черное и белое, когда шипит он бледным фитилем над школьным стадионом, через сонные машины и пустые лавки у завода, за Ручейный переулок.

«Эй, Фредди, проводи его на выход. Проводи до самого конца», – вот что велела сделать Одри Верналл. А приказы есть приказы. Власти вертикаль проста и однозначна: зодчие и демоны, святые, Верналлы, бабули-смертоведки, неприкаянный – в конце. У всех своя работа – есть теперь работа и у Фредди. Он, распушенный десятком повторений старого пальто и возглавляя эскадрилью шляп, размазывается чрез опустевший бизнес-центр – где когда-то фабрика стекла стояла, «Кливер», и лежала раньше Комптонская улица, – ведомый чуйкою бродяги к северо-восточному углу обшарпанной округи – лузе черепа у пика Графтонской. Там будет то, чего не миновать, – то знает по воспоминаньям о нутре, уверен он до мозга призрачных костей. Здесь жгли колдуний и еретиков. Насаживали головы, как будто бы оплаченные чеки. Веером игральных карт во чьих-то роковых руках – сплошные острые кресты и пики, – многоножка образов его стекает по остаткам Нижней Хардингской и вьется на ужасных скоростях в кроссвордные пустоты светлых окон и глухих дворов на правой стороне. Дома Святого Стефана, Вараввы – блоки беспросветных лестничных пролетов с клетками, десятками дверей, единой крышей вместо бывших целых улиц, все ж зовущие себя домами без стыда; канонизированные высотки в горестной литаньи обделенных: запах номинальной святости, чтобы вонь мочи отбить. Марая телеступор у жильцов квартир на первом этаже идеей об убийстве – что, как обухом по голове, внезапна, – весь табун сепийный Фредди Алленов топчет сквозь чужие пятничные ночи, за собой оставив в яростном

хвосте повисшей тучу беспричинных споров, прерванных бесед, заевших DVD.

За семь минут до наступления одиннадцати Мик стремится в незаметный переход на правый бок – на вроде перспективную снотворную позицию, – задумавшись о той последней августовской ночи девять лет назад. В его растущих уровнях серотонина через Рю Камбон несется черный «Мерседес» на встречу с мигом, что пробьет за сорок семь минут до часа. И кому нужны ремни: здесь все молодые, на гормонах и не знают о противопоказаниях шоферу нейрорептиков со спиртом. Светлячки-вампиры габариток носятся в глазах, но все же падают тяжелы галльски веки – чувствует Анри, что близок долгий сон. Под семьдесят скользит по Кур-ла-Рен вдоль берега реки в туннель на левый берег – Пон-де-Л'Альма.

И даже по сейсмологическим стандартам в том сварливом Огненном кольце трясет бедняжку Яву не по-детски в эту ночь. Звон украшений по галурским храмам – тихая и нежная перкуссия играет в увертюре бедствия. Почти семь тысяч человек в последний раз проснутся со слегка непонимающим лицом, а птицы не сообразят, куда лететь в тумане цвета волчьего хвоста, пред самую зарей. На 7.962° широты и 110.458° восточной долготы один из двух диастрофических соперников сдает врагу лишь пядь, и все пять миллионов душ в пределах стокилометрового дохё спонтанно и внезапно молятся богам.

Зависнув в ауре предотвращенного конца, она вдруг видит, что уже сидит на кухне с женщиной с магниевой вспышкой волос. Блаженно теплою фланелью промокают загустевшее бургундское вино с закрытых глаз, порою выжимая тряпочку в эмалевую миску – та полна наполовину кипятком, где разбегаются недолговечные и розовые тучки. На великолепно стертой скатерти стоит прекрасный сладкий чай, а ей на ухо древний говор все ведет сказанье о святых, о поворотах за углы, о том, что смерти нет.

Летит по Конному и через Мэйорхолд он попадает на Широкую, за ним рассеяны кошмары золотом от встречных фар. Его прям распирает от адреналина и везенья, слева же мелькает «Гала Казино»; он все хохочет в опьяненьи. Сразу перед тем, как показалась Регентская площадь, он, не замедляясь, резко повернул на Графтонскую улицу.

Струится Фредди в шахматном чиароскуро сквозь пустые помещенья, стяг из дыма волоча по Кромвельской и по Фитцроевской Террасе, через кирпичи он выскочил навстречу надвигавшимся машинам. Только в свете фар он замечает: ливень прекратился.

Мик забывает, где его конечности. А в отказавшем разуме гипнагогический французский лимузин ныряет в пасть туннеля и виляет влево – там водитель Поль теряет управление.

Землетрясение магнитудой 6,2 по Рихтера шкале раскачивает Яву.

Разлипшим глазом Марла смотрит на часы на кухне: без шести одиннадцать.

На Графтонской пред ним мелькает что-то страшное. Под визг заламывает руль.

Для Фредди в мире монохрома черный «Форд Эскорт» взвалился на обочину почти бесшумно.

Мик представляет «Мерседес», влетающий в тринадцатый по счету столб под Пон-де-Л'Альма.

И падают дома, их больше сотни тысяч, на разрушенные улицы в пижамах высыпает больше миллиона с половиной – все без крова, но в крови, раскрыв глаза, выкрикивая чьи-то имена.

Вода в эмалевом тазу карминная уже, как видит Марла, и от эпицентра ширятся десятки концентрических колец. Старушка вызвала полицию и скорую; интересуется, кому еще звонить, и голосом, который и сама не узнает, она решительно диктует мамин телефон.

И в серии украшенных саккад – на тротуар и напрямик в фонарь; водитель налетает на колонку рулевую – и грудину размолоту в пыль, а сердце с легкими размазало лишь в кашу однородную. Пробил он головой стекло, и кажется на миг, что он каким-то чудом лишь отделался испугом, ни царапины единой, – вдруг Дез понимает, что оглох, цвета не различает.

Шагая к искореженным обломкам – и уже без спешки, – Фредди переводит взгляд с водительского тела, что раскинулось вольготно на раздавленном капоте, к дубликату, вставшему среди брызг разбитого стекла на мостовой, на пятна черной крови пусто глядя, пропитавшей белую рубашку. И в конце Фитцроевской Террасы ошивается другой какой-то гражданин, кого сперва бродяжка принимает за зеваку-смертного, пока не заглянул в несхожие глаза.

– Ему, видать, не помешает выпить, – говорит доброжелатель Сэм О’Дай.

На фоне вздрагивавших век монтаж Мик наблюдает, где начало – опрокинутый автомобиль в туннеле у стены – почти немедленно теряется в наплыве роя фотовспышек, те перетекают в фотографии событий следующей... неужто лишь недели? Кенсингтонский замок

истекает яркими цветами с целлофаном, Новый лейборизм раскручивает смерть, газетные редакторы хотят реакции от тех, кого в скорбь загоняют, – все мельканье в перемотке увенчал статичный кадр с Вестминстерским аббатством, что затихло в мрачном солнце сентября.

С рассветом тысячи застряли на дороге Соло-Джокья, опасаясь повторения цунами года два назад, вглубь суши убегая и бросая павшие жилища мародерам – тем, которые свой час не упускают и которые, плюя на уровни морей, повсюду сеют слухи о волне грядущей, что нейдет. Почти шесть тысяч мертвых, в шесть раз больше раненых, а в Прамбанане у обочины кишашего шоссе обваливающийся древний индуистский храм роняет в пыль богами убранные шпилы – и брахманские обломки станут неподвижными препонами прибою беженцев, вихрящихся в майданах у камней, причем здесь до сих пор такое множество пизам, что вся картина может показаться поразительным и массовым кошмаром.

Как будто время правда не течет, она сидит недвижно у стола, пока везде кружат в аляповатых хороводах доктора в зеленых брызгах, копы во флуоресцентно-желтых волнах – росчерк ярких красок, мастерски украсивших стеклянный шарик мига. Одри – так зовут старушку – Одри сообщает офицеру, что сама лежала некогда в больнице Криспина у поворота к Берри-Вуду, переведена вот в этот «дом на полпути» по сокращению бюджета, на «общественный уход». На самом деле Марла и не слушает; на самом деле больше и не Марла. Ведь бесстрашная и прагматичная частичка, наблюдавшая за муками ее на заднем том сиденье, не исчезла наряду с угрозой неотвратимой смерти: кем бы Марла ни была теперь, она уже

заметно старше восемнадцати. В просторе тесной кухни все раскрашено цветами кафедральных витражей: порфир на тусклой этикетке баночек с фасолью, синяки предплечий – словно бы оттенка кресел в кинозале, точно их багровый плюш; у Одри розовые тапочки, как будто сахарный фламинго. Каждая деталь и каждый звук, любая мысль, что в голову приходит, – все окаймлено торжественными золотом и кровью мученических костров. И слышит Марла, где-то в отдалении отвечает на вопросы полицейской голос, непохожий на ее: он крепок, а не слаб. Он не уродлив.

– Нет, он был толстым, щеки красные, и с волосами темными, седыми у висков. Глаза не видела.

А часть ее – все время до сих пор в трясущемся «Эскорте»; до сих пор под дверью, глядя на старушку Одри с головой в сиянии и огне накальных, на устах которой – имя странное из строчек Джей Кей Стивена и дюжин книг о Джеке-Потрошителе со сгибами на мягких корешках, – как будто знала Одри: имя то узнают. Бражная слогов окрошка или сложносочиненный чих – такое имя не носил никто и никогда, лежащее без дела, в ожидании, когда появится достаточно своеобразный человек, его достойный: Кафузелум. Новая ТЗ и возвращается ч/б.

Асфальт вслед за дождем поблескивает в резкой театральной паузе – затишье перед драмой. В столкновении распахнут настезь был багажник – блять, и что сказать Ирен, и что – страховщикам, – и пляжные игрушки для детей разбросаны по всей дороге: бледные и серые, как недоваренные крабы. Изнуренный и растерянный, пытается Дез сдутый нарукавник пнуть, но то ли у него в глазах двоится и он промахнулся, то ль нога проходит сквозь, как будто на земле и нету ничего. Беря в расчет возможную контузию, решает Дерек, что похож на правду больше первый вариант, хоть тот не отвечает на вопрос, кому принадлежит то изувеченное тело в

лобовом стекле. Он что, кого-то сбил? Ебать, теперь он точно влип – но как же человека угораздило попасть в салон вперед ногами, это ж невозможно; наконец он видит испещренные стеклом остатки от лица, но всё не узнает, откуда знает парня. Тут-то замечает пару ротозеев, что глядят издалека, – и оба в шляпах, в эти дни нечасто их увидишь. Вот идет к нему ближайший, задает вопрос, не хочет ли он выпить, – Дерек соглашается легко, уж благодарный, что хоть кто-то скажет, что случилось. Старый оборванец говорит, что рядом есть трактирчик, «Кто-то там веселый», где сориентироваться можно, раз уж раздолбал свой навигатор. Вместе двинулись на Регентскую площадь – что ж, похоже, все еще закончится неплохо. Вспомнив же о спутнике бродяги, спрашивает Дез: «А что приятель твой?» Они встают, глядят назад. Второй – похоже, что с какой-то катарактой, – улыбается, приподнимает шляпу; тут уж и до Дерека дошло, куда же он попал. Заходится горючими слезами. Оборванец молча лишь берет его под руку и ведет без всякого сопротивления в сажу с серебром текущей ночи. Новая ТЗ.

Насколько понимает Фредди, стоит отвести унылый пункт в статистике в «Веселые курильщики» по всем дагеротипным улочкам, на том окончен путь его, снимаются ответственность и долг. На удивление, в их призрачном шалмане не пойми откуда появились мужички из древесины: первый врос в настил, проеденный жучком, другой – пузатый и такой же голый, – замер перед стойкой с побежавшими по свилеватым щечкам слезками смолы, на обозренье выставив в предплечье врезанный автограф Мэри-Джейн. Раскланявшись и выскользнув скорее в черный ход, Фред успевает оглянуться и заметить, как новоприбывшего знакомит с равно безутешным толстым манекеном местная гроза всех кошек Томми, чья брутальная улыбка в трех кусках разгуливает по разболтанной физиономии. Смотреть и дальше незачем; не стоит лично знать, как

правосудие над улицей вершится. Он дымит во тьме, что вымазана натриевым светом, вдоль по Башенной, где над худою шубой облаков в прорехи смотрят глазки звезд, что равно светят мертвым и живым. Теперь ему все кажется иным, особенно он сам. С его герба все пятна смыты кровью и в гроссбухе промокнули кляксы. В час нужды он поступил как надо. Лучше оказался, чем он сам себя считал: несчастный, что бессрочно обречен в чернильной вечности блуждать, такой виновный, бедный духом, что закрыт проход Наверх. Теперь родной район собрал свой долг за пинты молока, краюхи хлеба и осиротевшие пороги. Фредди, к удивленью своему, поймал себя на том, что сношенные ноги уж несут его по Алому Колодцу в дом его друзей – дом Одри, дом у основания холма, дом с люком-глюком – с Лестницей Иакова. Теперь он поспешает мимо опустевших стадионов школы. Кажется ему, еще он помнит желтый цвет и помнит цвет зеленый. Интерьер и ночь.

С дыханием столь ровным, что забыл о нем и думать, Мик завис на кромке сна – о пасмурном дне сентября тому уж девять лет, повтор которого теперь заводят в опустевшем черепном кинотеатре. В тот момент, когда они все вместе собрались у телевизора – он с Кэти и ребятами, – все показалось постановочным и странным: будто выступление в Королевском варьете – а вовсе и не похороны с брендом «Клевая Британия». Нуждаясь в ощущениях трехмерных и реальных – тех, каких не мог им подарить экран, – в машину тут же сели, Кэти повела на Уидон-роуд, и там они смотрели на кортеж, что направлялся в Олторп. На обочинах набились толпы, тихие, как привиденья, и никто не знал, зачем пришел – все подчинялись ощущенью, будто происходит нечто древнее и требует присутствия людей. Уже почти во сне пред взором Мика расплзлась черта меж памятью и явью. Вот уже он не лежит в постели, а активно помогает Кэти провести Джо с Джеком через зрителей поблизости с дорогой

– сквозь сомнамбул, онемевших перед мощью мифа. Там свободное пространство отыскав на вытопанной травке у бордюра, смотрит Мик и думает, что те же люди приходили скинуть шапки перед всеми Боудиками, Элеонорами Кастильскими, Мариями Стюарт и прочими покойными царицами, что выскользнули с памяти его, скользящей по верхам и грезам. Ближе, ближе все шумит мотор, столь громкий вдруг в отсутствие иных каких-то звуков – даже птицы согласились придержать язык. Тот проплывает мимо кораблем, воображаемый бурун от носа бороздит асфальт, венки цветные на капоте – как набор спасательных кругов; ладья иль катафалк свой путь вершит к фантомной островной могиле. Блудной дочери явление домой завершено, толпа и все щемящее виденье бьются вдребезги, как памятные блюдца, и толкучкою становятся на выставке у Альмы, что начнется завтра поутру. Мир отпустив, Мик растворяется опять во двадцати пяти ему вверённых тысячах ночей. И затемненье.

Послелюдия

Должностная цепь

Сполоснув лицо солнечным светом, Весенние Боро нежились редким гламурным и не самым похмельным утром. Суббота запылила обшарпанные балконы настороженным оптимизмом, неубывающим чувством освобождения от школы или работы даже у тех, кто не посещал ни того, ни другого. В заросших межах цвел май. В Меловом переулке престарелая каменная стенка вокруг бывшего кладбища для нищих стала кровавой маковой баней, а чуть выше, у склона детсада, слиплась разношерстная команда. Район прихорашивался; не картина маслом, но под правильным углом все равно красиво.

Сбежав по лысеющему кургану Замкового холма, Мик Уоррен, словно белесая капля, слился с человеческим пигментом, скопившимся у дверей яслей, и тут же был подхвачен бирюзовым завихрением сестры и по большей части сероватыми брызгами ее друзей. Напугав Мика беспрецедентным поцелуем, который спрятал пол его правой щеки под влажным алым клоунским отпечатком, Альма затащила его на порог и распекала, пока отпирала дверь.

– Нет, серьезно, Уорри, спасибо, что опоздал всего-то на двадцать сраных минут. Видать, выставки по твоим психическим проблемам каждый день открывают, так что, конечно, я очень ценю, что ты вообще пришел. Прямо-таки тронута. Ты мне почти как брат.

Мик ухмыльнулся, а жуткий босоногий подросток на Криспинской улице и строго локализованная депрессия на дорожке через Дом Святого Петра затерялись в сажистых дельтах в уголках его глаз.

– Нечего так волноваться, Уорри. Пришел же. Я же знаю, что я у тебя как суеверие, да? Как счастливая игрушка на передаче «Юниверсити челлендж». Чего без меня-то не открывала?

Альма выпятила нижнюю губу, словно формально скатывая уже не нужный красный ковер.

– Потому что на хер иди, вот почему. Блин, дверь не подходит к ключу. Ты можешь пошататься среди этих... – Альма неопределенно показала на Бена Перрита. – ...этих искусствоведов-интеллектуалов, пока я разбираюсь? Присмотри, чтобы никто не начал драться, щипаться или что еще.

Исполнив стесненный разворот на пороге, он обвел взглядом благодушную компанию, в которой тем не менее как будто зрел врожденный беспорядок. Драку – хоть и это маловероятный исход – не стоило сбрасывать со счетов, но щипачам тут точно было негде разойтись. Не казались особенно жуликоватыми и сами присутствующие, за исключением разве что двух пожилых дам, которые, как он уже решил, пришли с мамой Берта Рейгана. Они стояли особняком от остальных посетителей и как будто делились воспоминаниями о районе – одна показывала в приблизительном направлении улицы Марии, а ее компаньонка ухмылялась и энергично кивала. Зловещий блеск в глазах, вокруг которых было густо натоптано гусиными лапками, вызвал теплый укол ностальгии по чудовищным матриархам Боро давних лет, и Мик почувствовал накат тоски по бабке. Да и по всей генеалогии, раз уж на то пошло, – уже не осталось почти никого, кроме него и его сестры, которую он не считал репрезентативным образчиком.

На многослойном заднем фоне, где обветшавший многоквартирный дом 1960-х загораживал вокзал и лесистый парк ниже по склону, в разговоре с красноречивым и лощеным бойфрендом Рома Томпсона весело улыбался Дэйв Дэниелс. Миссис Рейган говорила Бену Перриту, что он бестолочь – диагноз, метко поставленный всего через пять минут знакомства. Над вспухшими чумными могилами на стоянке у Мелового переулочка скользили черные дрозды, и Мик утешился мыслью, что все предыдущие теплые выходные района – не так уж далеко: обтерханное настоящее, словно резкий запах маринада, пронизывали

застоявшиеся атмосферы мощных дворов пабов, карманных денег и хмельного ветра в голове. Свет в этот конкретный час, в этот конкретный день месяца падал на церковь Доддриджа с самого ее основания совершенно одинаково. Некоторым теням здесь уже сотни лет, они бросали особенную бледность на недостаточно удрученных носильщиков гробов и мнующихся невест, на сведенборгианцев и исправившихся кутил. Он слышал о законе, которые защищает нечто под названием «исконный свет» [\[188\]](#), но что-то не мог представить себе протестное лобби за сбережение исконной тьмы – разве что в виде никому не нужных депрессивных типов, готов и сатанистов. Позади Альма наконец догадалась, что, скорее всего, неправильной стороной повернут ее йельский ключ, а не замок, ясли или вся Англия, и озвучила нечто вроде объявления об открытии выставки:

– Ладно, заходите. Если у кого-то найдется конструктивная критика, я с удовольствием просвещу его насчет дерьмового вкуса в одежде или каких уродов он воспитал из своих детей. Помните, вы здесь только для того, чтобы восхищаться. Если что-то зальете телесными жидкостями, то оплачиваете. А так – получайте удовольствие в разумных пределах.

И с ним и Альмой в арьергарде они под хохот и перепалки вошли внутрь.

Первым впечатлением Мика было, что решение выставить три десятка картин в таком смехотворно крошечном пространстве предопределено плохим зрением, воздействием гашиша или же хорошо известным женским недостатком глазомера: та же черта, из-за которой пенисы им кажутся куда короче, чем есть на самом деле. Следующим впечатлением, когда улеглось первоначальное ощущение напирательной оптической контузии, было то, что весь этот ошеломляющий бардак идей и образов, как в женской сумочке, все эти стиснутые воздушные взрывы красок и монохрома, украшающие каждую видимую вертикальную поверхность, вполне могли оказаться намеренными – какой-то стратегией, чтобы вогнать

предполагаемую аудиторию в другое, потенциально неустойчивое психическое состояние, – если, конечно, это может прийти в голову кому-то кроме злого ученого. Эту промелькнувшую искру догадки тут же затмило третье впечатление, снизошедшее и на него, и на всех остальных, – от несоразмерной объемной конструкции, установленной на столе посреди и так ограниченного пространства.

Когда Альма проворно проскользнула мимо завораживающей преграды от греха подальше, Мик и сопровождающие его остальные товарищи по искусству, что все еще вливались в дверь яслей, заволновались у стола рваной приборной полосой одушевленного мусора. Парень Романа Томпсона, Дин, произнес почти благоговейным тоном: «Охренеть», – Бен Перрит хихикнул, а мамка Берта Рейгана сказала: «Вот те на». Сам Мик был способен только на огорошенное молчание – хотя ему и самому было не дано решить, в восхищении или ужасе перед очевидно нездоровыми мыслительными процессами артиста.

Сделанная за несколько месяцев из папье-маше, аккуратно раскрашенного вручную, перед ними расстелилась до безумия подробная масштабная репродукция практически исчезнувшего района в том состоянии, в котором он почти наверняка никогда не был. Диорама сестры – всего квадратный метр площадью, где самые высокие здания не поднимались выше нескольких дюймов, – сопоставляла избранные достопримечательности Боро безотносительно хронологии. Пестрый изумруд стадиона Ручейной школы уступил место воскрешенному пабу «Френдли Армс» на середине улицы Алого Колодца – заведению, которое в реальности теперь застелила арена для бега с яйцом в ложке. Дом Святого Петра на Банной улице сосуществовал с двадцатисантиметровой башенной трубой Деструктора, которую в 30-х снесли для начала строительства этого многоквартирника. Над рябящей от волн рекой возле вокзала из – судя по крошечным рекламкам «Гиннесса» с туканом – 1940-х годов лежал подъемный мост кромвельской

эпохи. Смарт-машины на Овечьей улице окружены пенящимися отарами с точками дерьма на клочковатом руне из бумаги.

С высоты птичьего полета в центральном дворе «Серых монахов» виднелись простыни из «Ризлы», свисающие со скрученных бельевых веревок. Всеведущая зрительская позиция напоминала его харрихаузенские размышления из прошлой бессонной ночи. Неловко отрываясь от толчеи вдоль западной границы нанотрущоб, он с извинениями протиснулся вдоль дороги Святого Андрея к Журавлиному Холму в углу стола. Проходя мимо собственной съезженной террасы, он с одобрением отметил, что декоративный лебедь бабули здесь стал миниатюристским этюдом в переднем окне дома номер семнадцать. Несмотря на непривычные ощущения, ему мимолетно показалось, что он уже видел их старый дом с такой необычной высоты, вот только, хоть убей, не помнил, когда. Свернув на Графтонскую улицу вдоль северной границы, он повторил маршрут грузовичка из его детства – к больнице, до правого поворота на Регентской площади, – только в этот раз в виде великана в повседневной одежде, что бредет по пояс через пустоту на месте Семилонга. Альма ждала на другом конце экспоната, восточном, нависая над мини-церковью Гроба Господня и скалясь, как чудовищный идол тамплиеров, который, если Мик ничего не путал, был козлом с сиськами.

– Говорить необязательно. Для тебя честь просто быть моим родственником, Уорри, я и сама по глазам вижу. Заметил лебедя бабули в окне на дороге Святого Андрея? Я его сделала кисточкой в три нуля, а их даже не бывает. Честно говоря, я и сама, когда о себе думаю, чуть не падаю в обморок.

– Уорри, почти все падают в обморок, когда думают о тебе. Мы же не каменные. Так что за материал ты использовала? Я надеюсь, не какой-нибудь моржовый навоз?

На кромке уменьшенного Деструктора запекся голубиный помет тончайшего изящества. Собравшиеся у юго-западного угла Роман Томпсон и Берт Рейган посмеивались и прищуривались к слиянию

Мелового переулка и Холма Черного Льва, где смешивалась странная башня, напоминающая ведьминскую шляпу, с газетной лавкой Гарри Розердейла и старым отелем «Гордон Коммершл». Уже одни только выполненные вручную надписи на рекламах и вывесках могли разбить сердце и испортить глаза.

– Не. Все из бумаги «Ризла». Пережевала и выплюнула почти четыреста пачек. Наверняка получилось крепче, чем Восточный район, который сейчас строят.

Мик осматривал штриховку черепичных крыш, пуантилистские клумбы церкви Святого Петра.

– Ага. Ага, наверняка. Зато ты точно согласишься на воспаление десен.

На самом деле от Мика требовалась вся его воля, чтобы скрывать ошалевший вид. Его сестра как будто срезала веточку с подлеска задних улочек, а потом терпеливо культивировала, чтобы воссоздать архитектурный бонсай, даже – а может, особенно – с теми чертами, которые уже ушли. Каждое движение глаз открывало все больше таких. Поднимающийся изгиб давно пропавшей улицы Купер к Беллбарну вызвал мышечную память того, как он карабкался мимо выцветших розовых ворот транспортной фирмы Фреда Босворта на середине холма, а на вершине этого пожеванного склона стояла такая скрупулезная реконструкция церкви Святого Андрея, идеальная во всех готических подробностях, что разрушение строения в 1960-х казалось не то что сомнительным, а откровенно невозможным. Наклонившись, как вечный кран в зонах сноса, над Овечьей улицей, Широкой улицей и лилипутскими задворками улицы Святого Андрея, Мик с трудом разглядел бесконечно маленькую витрину парикмахерской из его детства, Альберта Баджера. А почему они всегда звали его Биллом? На душе почему-то потеплело при виде паутинных линий флуоресцентно-розового цвета на бумажном стекле – светящейся вывески «Дюрекса». В трех домах ниже была компания «Вулкан Полиш энд Стейн», не больше детальки «Лего» и до этого момента целиком отсутствовавшая в

памяти Мика. Утраченный склон переулка Бычьей Головы мило оскверняли сетки классиков муравьиных пропорций, нарисованные цветными мелками, а пороги Школьной улицы были убраны микроскопическими бутылками с молоком по соседству с ломтями хлеба с корочкой цвета сиены. Внимание приковывали каждый тончайший сток, воссозданные в каждой второй луже бензиновые разводы – ему пришло в голову, что можно сойти с ума только от разглядывания этой штуки, не то что от ее постройки. Лоб Альмы рядом с ним задумчиво наморщился.

– Не кажется, что чего-то не хватает? Как будто все эти очевидные усилия, то, как я старательно наносила на каждую иллюстрацию фактуру, маленькие точки, – только камуфляж для простого факта, что мне особенно нечего сказать? Ты же ответишь честно, если все это предприятие – не больше чем нелепая и раздутая ностальгия?

Мик пораженно нахмурился – не столько из-за проявления ее исчезающе редких припадков сомнений, сколько из-за отсутствия эгоизма, продемонстрированного в последнем вопросе.

– Нет, у меня язык не повернется, Уорри. И никто не осмелится. Мы слишком боимся тебе слово сказать, чтобы ты не начала спорить с нами о том, чего мы не понимаем. Думаю, ты не услышишь честной критики ни от кого вокруг, потому что такая уж ты стержневая недотрога.

Она сузила обгорелые воронки сурьмленых глаз, склонив заросшую голову к плечу и зафиксировав ровный и неморгающий взгляд на брате на долгие жуткие секунды, прежде чем выдать свой ответ – при этом застигнув его врасплох, по-товарищески закинув руку на его плечо.

– Очень глубоко, Уорри, и отлично сказано.

Она сняла руку, хотя он уже успел занервничать, что она решила вырубить его нервным захватом из «Стар Трека». Мик, конечно, знал, что его не бывает, но вдруг Альма не знает? Теперь подходили остальные – опоздавшие боязливо совали нос в дверь яслей с другой стороны от угнетающе дотошной модели. Он узнал друга

сестры, актера Боба Гудмана, хотя это не такое уж достижение – все равно что сказать, что он узнал гору Улуру. Мик хотя бы мог отличить друг от друга эти обветренные достопримечательности – главным образом потому, что Улуру никогда не носила кожаную куртку, черный берет или извечное выражение глубокой неприязни и недоверия. С большей радостью Мик заметил позади лицедея с лицом охранника смертников подружку Альмы, занесенную с чужих берегов, – художницу Мелинду Гебби, с которой хотя бы есть о чем поговорить, если выставка провалится. Более того, раз сестра уже признавалась ему, что прелестная калифорнийка как художница на голову выше ее самой, Мик решил, что сможет спрятаться за авторитетными суждениями и мнениями Мелинды, если сестра задумала устроить ему художественную трепку. Сопровождала Мелинду девушка, с которой он вроде бы встречался как минимум один раз: Люси Лисовец, внестенный стенописец, заодно работавшая в сообществе Боро и, кажется, как говорила Альма, помогавшая снять детский сад на этот день. Женщины под ручку смеялись и болтали, а младшая из них была так сражена стенами, задушенными картинами, что ее веки как будто не вмещали глаза. За их спиной через подпертую дверь втекали новые зеваки – кого-то он знал, кого-то нет. Альма рядом с ним тяжело вздохнула, все еще в думах из-за воссозданной малой родины.

– Я так понимаю, придется самой делать вывод, чего не хватает этой инсталляции, а не полагаться на твое ценное мнение. Слушай, кажется, мне хотел что-то рассказать Роман Томпсон, так что пойду и перекинусь с ним парой слов. Если будешь смотреть остальное, начинай справа у двери и обходи комнату оттуда. А, и надеюсь, у тебя есть зажигалка. Свою я забыла дома, так что если надо будет выскочить наружу и перекурить, то придется попросить у тебя.

Мик кивнул и отмахнулся, удивляясь слову «если» в последнем предложении, как будто перекур Альмы – какое-то чрезвычайное обстоятельство, а не грядущая неизбежность, о чем они оба знали. Пока импровизированная галерея наполнялась и ерзающая толпа в

пристыженных пируэтах втискивалась между стеной и краем стола, он вызвал в памяти времена, когда здесь была танцевальная школа Марджори Питт-Драффен, а по свободному паркету цокали нижинские-младшие. Он подумал, что любой, кто в наши дни учит карапузов «гей-гордону», явно на карандаше у органов. Решив, что если он хочет убраться отсюда дотемна, то пора бы уже начинать тарашиться с пустыми глазами на картины сестры, Мик бросил последний восхищенный взгляд на папиросный район – металлически-серебряный пруд между дубильнями возле улицы Монашьего Пруда; скворцы размером с рисовое зернышко, едва различимые на черепичных крышах школы, – и встал на непростой курс через пробку из зевак к рекомендованной начальной точке выставки у распахнутой двери. Ею оказалось большое полотно, повешенное – а вернее, прислоненное, – так, что оно частично закрывало ближайшее окно. Мик не бывал на художественных выставках и слабо представлял, какими они должны быть, но все же мог руку дать на отсечение, что не такими. Клаустрофобная дошкольная каша образов казалась не столько организованным мероприятием, сколько взрывом учителя изо в замкнутом пространстве. Уже впадая в раздражение, Мик обратил осажденное со всех сторон внимание к загораживающему солнце прямоугольнику, предусмотренному для погружения в феерию.

К оконной раме над экспонатом синей клеевой замазкой была прилеплена записка шариковой ручкой с названием акриловой картины – «Неоконченный труд» – и довольно снисходительной кривоватой стрелкой в сторону рамы внизу, словно для какой-то куриной аудитории. На взгляд Мика, налет халтурности, подразумевавшийся торопливой подписью, сквозил и в самом указанном произведении искусства. Оно явно было недоделано, словно Альма потеряла интерес на двух третях процесса. А обидно, потому что часть, которую она удосужилась доработать, – ярко украшенная область в верхней средней части – даже была хороша. Судя по расплзающейся сепийной медузе предварительного

рисунка карандашами «Конте», задуманная сцена разворачивалась в простом деревянном помещении под очень крутым углом, словно с точки зрения присевшего взрослого или, например, ребенка. Приниженный во всех смыслах этого слова зритель взирал на вздымающийся квартет из грубоватых и широкоплечих мужиков со складом и мозолистыми руками работаг, тем не менее облаченных во что-то вроде увеличенных крестильных сорочек, раскрашенных в белый так, что цвет каким-то образом переливался. Четыре фигуры стояли вокруг, как решил Мик, козлов, девственно-чистыми просторами спин к зрителю и склонив головы в безгласном совещании – явно обсуждали какую-нибудь техническую потребность, не предназначенную ни для чьих ушей, кроме самих громоздких тружеников. Только один из собравшейся бригады как будто знал, что за ним и тремя его коллегами наблюдают, и повернул преждевременно выбеленную голову, чтобы взглянуть через плечо со строгим коричневым лицом и сапфировыми молниями в оскорбленных очах на умаленного наблюдателя.

Все еще удивляясь, как сестре удалось добиться эфирной искры на ослепительных и несообразных балахонах трудяг, Мик прищурился поближе и обнаружил, что то, что издали казалось однообразным снежным оттенком, на самом деле было матовой подложкой для гляцевитых квадратов и овалов, кропотливо заполненных такими же блестящими спиралями, глифами или леопардовыми пятнами, – белыми на белом. Оторвавшись от сиятельных рабочих с их слабыми советскими коннотациями и вглядевшись в искаженные дальние планы композиции с положения червяка на полу, он едва разобрал на подбрюшье потолка эскизы деревянных балок и стропил, с которых на проводе над головами переговаривающихся ремесленников свисала одинокая голая лампочка. Этот доделанный смутный эллипс в верхних пределах середины холста был исполнен так красиво, что из-за разлапистых коричневых каракулей вокруг – ниспадающих складок белых халатов, гусеничных извивов соструганного дерева у босых ног сгрудившихся плотников – Мика

заметно бесил безалаберный подход Альмы. Почему бы не постараться и не довести до ума? Насколько видно по сумбурному и любительскому оформлению и недоделанной открывающей картине, единственный посыл его сестры здесь – «Мне вообще пофиг», – да и то без достаточного чувства.

Где-то в толкучке позади он услышал смех Бена Перрита – хотя его легко могла вызвать как завуалированная тонкость в корпусе творений Альмы, так и какая-нибудь шутка в стиле «тук-тук» или вообще новая выходка «Аль-Каиды». Или фантик от «Кранчи». Хрип кружащего стервятника из глотки Рома Томпсона в другом конце комнаты прервался громовым возгласом, в котором Мик тут же узнал свою до ужаса близкую кровную родственницу.

– Ром, твою ж мать. Ты это серьезно?

Где-то еще поверх перебранки выделялись редкие залпы калифорнийского хохота или убаюкивающее бормотание Дэвида Дэниелса. В надежде, что дальше будет лучше, Мик сдвинулся направо, чтобы по достоинству оценить следующее блюдо в этом экзотическом дегустационном меню – куда меньшую штучку маслом в куда более изощренной раме, обозначенную ручкой на прилегающем желтом стикере как «Сонм англов».

Вот это уже другой разговор. Компактное полотно – где-то тридцать на сорок пять сантиметров, – подавленное позолоченным окружением, едва сдерживало сконцентрированное поле света и пестрящих изысков. Зарисовка портретного формата, как и предшественница, снова изображала интерьер, хотя в этом случае он принадлежал собору Святого Павла. Сгущенное желтое сияние, словно от назревающей грозы извне, позволяло начищенным пятнам теплого золота, словно сиропу, проступить из преобладающей умбры сцены, которая показалась Мику, несмотря на атмосферу реалистичности, воображаемой. На украшенных плитах под шепчущей галереей были возведены невозможно высокие леса, перетянутые прочными канатами на блоках и шкивах, – неисчислимы поперечины и перекладины сооружения

ярко контрастировали с преимущественно округлым видом собора и, похоже, воплощали то самое множество углов-angles, что упоминалось в названии картины. На самых возвышенных краях это достижение инженерного искусства вроде бы поддерживало шаткую платформу в виде дольки пирога, но только если и так, то он все равно не мог объяснить назначение мешка явно нереалистичных размеров, зависшего ошеломительной массой всего в дюймах от безукоризненно отполированного пола. Видимо, это какой-то балансировочный груз, но Мик, хоть убей, не понимал, что он уравнивает, пока в ближайшем рассмотрении центра композиции не открылось свободное пространство меньше квадратного фута под огромной строительной рамой. Вся громадина висела под куполом – по всей видимости, чтобы ее могли вращать рабочие девятнадцатого века, сошедшиеся в падающих лучах желтушного солнца у основания конструкции. Мик удивленно отступил, странным образом убежденный именно зрелищной неосуществимостью конструкции, что картина документировала действительный случай; события и механизмы, которые взаправду произошли и существовали, в мазках таких мелких, что почти незаметных. Ощущение гулкого пространства и религиозной тишины, пробужденное ложной глубиной изображения, было почти осязаемым вплоть до того, что он так и слышал напряженный скрип бечевы толщиной в руку и улавливал слабый призрак воскресного фимиама. Работа не кричала, но покоряла, а один-единственный беспокоивший Мика элемент заключался только в зримом отсутствии связи с ним или его видением. Если подумать, то же относилось и к предыдущей картине.

А также, как оказалось, и к следующей, поставленной к стене яслей под «Сонмом англов», тем самым требуя от Мика присесть на корточки, чтобы приглядеться внимательнее. Переместившись в результате в младенческий мир, населенный штанами – такими же непохожими друг на друга, как лица, – он попытался надлежащим образом осмыслить экспонат, болезненно осознавая, что

представляет в узком проходе препятствие для подчеркнута вежливых внешне, но внутренне бушующих коленей. Примерно такого же масштаба, как соборная сцена выше, но в этот раз на девственно-чистом паспарту, с кривой этикеткой, что цеплялась за поля и извещала о наименовании картины – «ASBO и страсть». Он не сразу понял, что смотрит не просто на затененный овал с кругом посередине размером с тарелку, а на кадр охранной камеры – ровно в стекло ее расширенного зрачка. В центре объектива отражалась и так маленькая, но и еще больше уменьшенная перспективным сокращением одинокая женская фигурка, уловленная в авторитарный снежный шарик и выведенная деликатными белыми линиями на фоне господствующих в работе лоскутов сажистой тьмы, фиолетовых пятен – почти черных и рассыпающихся на мелкое зерно по краям. Вспоминая детские случаи, когда он ненароком вторгся к старшей сестре, пока она занималась искусством, – намного хуже, чем если ввалиться, когда она сидит в туалете, – Мик подумал, что картинка может быть выполнена с помощью аккуратного замаскированного применения наверняка устаревших распылителей, которые он видел у нее в прошлом, – суставчатые трубки, куда надо дуть, чтобы испускать взвешенный туман, – на манер пульверизатора амишей. Тогда получается, скорее всего, что медиумом здесь были цветные чернила – на удивление приятного вида ассортимент стеклянных пирамидок с этикетками, словно покрытыми геральдикой из детских книжек, от компании «Виндзор энд Ньютон». Женщина под взглядом наблюдения носила высокие каблуки и короткую юбку, кулаки сунула в карманы куртки с меховой опушкой, а вес перенесла на одну ногу, повернув голову и всматриваясь в темноту, словно нетерпеливо кого-то ожидая. Она как будто не замечала, что за ней втихаря наблюдают, что только акцентировало ее уязвимость и вызвало у Мика отдаленную тревогу за нее. Бесстрастный объектив слишком уж напоминал вуайеристское око какого-нибудь мастурбатора в тених. А аккуратно выписанные капли конденсата,

инкрустировавшие холодный мениск, лежали сальным потом на челе растлителя.

– Уорри, я знаю, что от великолепия тебе остается только пасть ниц, но ты же всем дорогу загородил. Если б я понимала, что ты придешь меня позорить, то вообще не стала бы тебя звать. А, и да, можно стрельнуть зажигалку?

С тяжелым и обреченным вздохом Мик отвернулся от растревожившего ноктюрна, чтобы взглянуть на обращавшиеся к нему берцы «Доктор Мартин» с двенадцатью отверстиями и абы как завязанными шнурками. Неповоротливо взбираясь обратно на ноги, он с досадой пошебуршил рукой в кармане штанов, наконец выудив вожденную аметистовую палочку, три штуки за фунт. Не то чтобы он против одолжить зажигалку Альме; скорее, он против того, как она встала, протянув руку, словно ему девять лет, а она ее конфискует.

– Вот. Не забудь отдать. А ты же знаешь, Уорри, что это просто разномастные картинки без всякой связи, не считая раздавленной сороконожки, которую ты называешь подписью? И как это все касается того, что я чуть не подавился насмерть?

Небрежно прикарманив наполовину пустой пластмассовый леденец без комментария или даже заметной благодарности, сестра критически изучила его из-под отяжелевших от наркотиков и туши век, словно не желая впускать слишком много фотонов отразившегося от него мещанского света.

– Ну, Уорри, в конце выставки в импровизированном перформансе я засуну тебе в глотку целую пятифунтовую банку драже от кашля, закончу начатое и наверняка переплуну Тернера. Вот из-за таких, как ты, у рабочего класса и не бывает ничего хорошего.

Он медленно и жалостливо покачал головой – пессимистичный ветеран.

– А из-за таких, как ты, Уорри, у них даже сраных зажигалок нет.

Альма ответила ему сложным тройным жестом V, для которого понадобились две ладони и скрещенные под острым углом предплечья и который Мику больше показался ритуализированным припадком, а потом ускакала вприпрыжку в открытую дверь, чтобы одновременно подышать свежим воздухом и закоптить его. Мик наблюдал за ней из окна яслей – за огромным комком бирюзового пуха, как будто катавшимся на неопределившемся ветру по обшарпанному пригорку снаружи: она шагала туда-сюда без остановки и раскуривала косяк чуть короче обычной тросточки слепого, который сестре наверняка казался незаметным и ненавязчивым. Чертовы женщины и их врожденный пространственный кретинизм. Конечно, она наверняка нарочно выбрала такое неподходящее крошечное помещение, чтобы даже если пришли только два человека и собака, казалось, будто она собрала аншлаг. Из окружающей боенской давки людей Мик услышал, как Берт Рейган ставит диагноз на ту же тему.

– Хар-хар. Ебать-колотить. Ей это че, собрание Анонимных Агорафобов? Вечно у нее все не в строку, да, у твоей старшей?

Мик обернулся и усмехнулся вопреки всем ожиданиям крепкому охламону и проходимцу, который ухитрился выглядеть огненно-рыжим даже сейчас, когда его оставшиеся волосы поседели.

– Здорово, Берт. Сказать по правде, у нее какая-то своя отдельная книга, не то что строка. И та на своем языке, который она сама и выдумала. Слушай, я тебя видел с пожилой женщиной – это твоя мама? Слышал, как она разговаривает. И не встречал такого акцента Боро уже целую вечность.

Сухопутный пират оголил в довольной улыбке россыпь уцелевших зубов – клавиатура пианино после игры в две руки и одну кувалду.

– О да. А она ничего для своих восьмидесяти шести или сколько ей там натикало, а? Выросла у Комптонской улицы, рядом с Ручейным переулком. Мы с братишкой и сестричкой думаем, она еще всех нас переживет, просто из чистого нортгемптонского упрямства.

Мик проследил за глазами Берта – лазурными осколками выброшенного фарфора, окопавшимися под окислившейся бирючиной лба, – и нашел взглядом самодостаточную пенсионерку на противоположной стороне самодельной галереи в оживленном разговоре с очарованными Люси и Мелиндой. Все, что он уловил: «О, ищю бы, помню, как мы, знач, разряжались, чтоб гулять в городе», – но и этого хватило, чтобы погрузиться в достопамятный звуковой прилив генетически ущербных гласных или пропавших без вести согласных; признаний в очереди в кафешке за картошкой с рыбой и монологов у школьных ворот. Услышать, как говорит женщина из Боро тех лет, – как провести подушечками пальцев по тисненым буквам на овальных молочных талонах «Ко-опа» – цвета пенни, со скромным, но неколебимым курсом ценности. Млея от услышанного, он вернулся к бывшему газопроводчику, раннему практику поножовщины и водопроводчику напрямиком из Додж-сити.

– Везет тебе, что она еще с нами, Берт. А что за женщин я с ней видел, когда приходил? Ее подруги?

Ржавеющие гусеничные брови на пару поползли вверх в дуэли удивления.

– Это ты так про Мел и Люси, что ль?

Мик отрицательно потряс головой, как мокрый пес, и изучил набитую каморку, оклеенную галлюцинациями сестры, надеясь, что сможет показать на парочку пальцем, но они либо уже ушли, либо выскользнули наружу подальше от шума и людей – и как их не понять.

– Нет, они были еще старше твоей мамы. Мне показалось, они здесь давно живут, судя по одежде.

Берт сдвинул губы в оральном пожатии плечами.

– Я их и не заметил. Знаю, что Ром – Ром Томпсон – он вчера обходил многоквартирники и приюты, агитировал за выставку Альмы, так что, видать, это божьи одуванчики с той грядки, пришли к мяснику [\[189\]](#) на шум.

Оба согласились, что это похоже на правду, и железно условились поговорить позже, после чего течения разговорного кругооборота уволокли добродушного городского огра в гул и перегуд. Глядя, как Рейгана уносит прочь, Мик заметил себе спросить сестру, как там у Берта дела с гепатитом С: последнее, что он слышал, – гепатит не удалось скovyрнуть даже двумя откровенно самоубийственными курсами интерферона – отчаянной мерой куда страшнее самой болезни. Вернувшись вниманием к многоводной рвоте идей и красок, стекающей по стенам заведения, он проложил путь через следующий набор картин в разочарованном поиске хоть какой-то хрупкой нити, связывающей пеструю выставку технических достижений Альмы с его собственным околосмертным эпизодом, но вернулся несолоно хлебавши.

В случае «Неприкаянных», следующих в каком-то практически произвольном ряду, Мик уставился на изображение барной стойки паба – предположительно, старого «Черного льва» – в бурных красках гуаши, где горячечно-яркие клиенты кренились в нетрезвом панибратстве или грозили вывихнуть челюсти в заливистом реготе, мясистая толпа собутыльников и их перенасыщенная цветом среда обитания искажались и преувеличивались до пределов абстракции. Посреди драгоценных зеленых и лиловых плесков безудержной современной клиентуры сидел незамеченным анахронический бродяга из 1950-х, целиком написанный теплым серым цветом щетины с ламповой сажой в морщинах и влажным титаном на горестных зрачках. Почти фотографически реалистичный в сравнении со слепыми к нему веймаровскими гротесками, бродяга резко контрастировал газетными оттенками с их техникolorом и явно существовал в какой-то другой плоскости, нежели та, которую представляли прочие беспечные кутилы, а потому казался невидимым для их глаз за донышками кружек. Единственный без стакана на столе или в руках и единственный, кто среди аляповатого кагала смотрел в глаза зрителю, он выглядывал из-под полей мятой шляпы, из глубин картины с грустной мудрой улыбкой – возможно,

предназначенной бесчувственной орде кругом, или аудитории, или и тем и другим. До странного трогательная сцена, которая опять же не имела ничего общего с Миком.

«Место обозначено крестом» дальше было выполнено, как он понял, в жанре линогравюры, на ней шагал одинокий пилигрим, изображенный плотными шматами индийского красного по тяжелой акварельной бумаге желтоватого цвета, пятнистой то ли от возраста, то ли от чая. Фигура монаха горбилась под бременем тяжелого и наверняка аллегорического мешка, взваленного на прогибающееся плечо, и карабкалась по косогору, в котором благодаря грубо вставленному на задний фон лоскутному одеялу современных угловатых знаков узнавалась середина Подковной улицы. Если честно, Мик вообще ни хрена уже не понимал, а объект номер шесть просветил его не больше. На доске примерно полметра на тридцать сантиметров было нечто, напоминавшее с нескольких шагов зернистый портрет по плечи Чарли Чаплина в шляпе, но по приближении растворявшееся в коллаж из СМИ. Большая промышленная шестеренка, как из часов, вырезанная из какого-нибудь научного или технического журнала, описывала верхний полукруг канонического котелка звезды немого кино, а его лента и край оказались прямоугольной оружейной фабрикой и силуэтом забора с колючей проволокой соответственно. Лицо под ними, склеенное из аккуратно подобранных по насыщенности полутонов фотообрывков, было несочетающимся карнавалом моделей «Диор», жертв контузий, куч противогазов, карикатур «Панча», вышучивающих совриск, и, кажется, исторической уличной карты Ламбета. Левая щека была выбеленным маковым полем, один глаз – лицом человека, в котором Мик признал молодого Альберта Эйнштейна, а второй – спасательным кругом с «Титаника». Усы, подумал Мик, похожи на печально известный мотор эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Мик даже не взглянул на спешно накарбанную подпись, вне всяких сомнений выдвигающую для навороченного ассамбляжа остроумное название.

И она все тянулась и тянулась, эта крутая лестница странностей. Явно написанная одного эпатажа ради, как решил Мик, следующая вещь изображала голую спину взрослого черного мужчины в хитроумной рамке, точно подогнанной под мускулистую курватуру насыщенных лилового и краснодеревного цветов. Что пугало – кожа на обозрении недавно подверглась бичеванию, возможно, девятихвосткой, оставившей на поблескивающих лопатках теснящиеся красные горизонтальные линии. До Мика запоздало дошло, что эти отметины представляли собой какой-то кровавый нотный стан, на котором якобы случайные капли юшки оказались аккуратно расставленными нотами некой кошмарной композиции. С потяжелевшим сердцем он обратил взгляд на кустарную этикетку поблизости. «Слепой, но вижу свет», – а вот Мик ни черта не видел. Хотя и уверенный, что сестра к этому не стремилась, он подумал, что конкретно это произведение можно без оговорок счесть расистским, ну или хотя бы расово нечувствительным. Он спросил себя, что об этом скажет Дэйв Дэниелс, а потом спросил себя, можно ли считать расистским сам этот вопрос.

Потом был карандашный этюд с кем-то похожим на Бена Перрита, безутешно ковыляющим по дну океана, пока от каблучков возносятся тучи ила, а на заднем фоне со дна торчат расплывчатые фрагменты, кажется, церкви Святого Петра, и из раззявленных пастей саксонских чудовищ на рельефах под карнизами тянутся ленты водорослей. Затем – работа покрупнее, в технике под названием, как отдаленно припоминал Мик, «граттаж»: вид в крутой перспективе на силуэт, стоящий на вершине конька крыши с какими-то стеклянными или хрустальными сферами, поднятыми в руках, тогда как нижняя черная поверхность была расцарапана в случайных полосах, обнажая призматическую фольгу. За ней следовало не произведение какого-либо изобразительного искусства, а просто белый фартук, гарнированный вдоль подола неожиданно веселыми бабочками и пчелками. Похоже, что над ним немало потрудились, но вновь Мик не мог представить, что говорила

зрителю крахмаленная белая ткань, кроме как: «Посмотрите на меня! Я умею вышивать!» Не пролил свет на ситуацию и предмет под номером десять, означенный прерывистым почерком как «Чу! Радости внемли!» Выполненный, по всей видимости, масляной пастелью, он изображал девушку в одежде 1940-х годов, одиноко сидящую за пианино в зале с газовым освещением. Далеко не сразу он понял, что пятна титановых белил на ее щеках означали преломленный свет в слезах. Можно было даже сказать, что картина казалась какой-то сентиментальной; хоть сейчас на коробку с шоколадными конфетами, как у того мужика, который написал картину с поющим официантом, – Веттриано. И снова – ищи не ищи, а нет никакой связи с самим Миком. Неужели это все очередная невразумительная и не стоящая внимания шутка Альмы, отдаленно смешная только какой-нибудь разумной энциклопедии, которая никогда не слышала настоящих шуток?

В этот момент под боком вновь материализовался объект его размышлений – якобы для того, чтобы вернуть одолженную зажигалку, хотя на самом деле чтобы оценить его реакцию на картины. Из-за этого он сперва насторожился, а потом рассердился, что Альме обязательно надо перевернуть общепринятые отношения между искусством и аудиторией. Конечно, он не ходок на выставки, но всю жизнь жил с впечатлением, что на этих самых открытиях галерей нервничает из-за чужих суждений художник, а не присутствующая публика. Выковыряв зажигалку из ее лакированных когтей, он поднял этот вопрос для сестры, хотя и не так стройно, как получалось в мыслях. На него с искренним недоумением воззрились из-под щеток для дымохода.

– Ну надо же, Уорри, какая интересная фантазия. Знаешь, мне это, честно, никогда не приходило в голову. Очевидно же, это произведение искусства судит всё, что не является произведением искусства. Ну, по крайней мере, мои произведения. За других не скажу.

Начиная замечать критический дефицит никотина в собственном организме, Мик ответил, пожалуй, резче, чем намеревался. Хотя это не имело значения, Альма все равно была вся в себе и не обижалась.

– Но это ведь не искусство судит людей, Уорри, правда? Это же ты, ты всех осуждаешь.

Она уставилась на него, а потом, опустив очи, вздохнула.

– Ах, Уорри. И почему нас всегда так сражает истина в устах отсталых младенцев? Но я вообще не пойму, зачем ты заговорил на тему того, что я критично отношусь к отрицательной реакции. Это что, твоя собственная реакция, Уорри, навеяла всякие тревожные и непривычные мысли? – склонив голову к плечу, Альма впилась в брата одновременно пытливым и вопросительным взглядом – любопытный отравитель, наблюдающий за первыми зрительными симптомами успеха. – Ведь не может быть... ну, что тебе не нравятся картины, в которые я вложила душу специально ради тебя?

Он навлек на себя ровно то, чего страшился. В него вперились расширенные от наркотиков зрачки, посаженные в обоссанной золе радужек, веки над которыми как будто отказали и заклинили. Его язык присох к нёбу, а шутка Романа Томпсона с другого конца забитого импровизированного вернисажа показалась пронзительным обеденным этикетом ворон. Альма так и не моргнула. Покинуть это поле с честью не представлялось возможным, так что Мик с неохотой занял, как он надеялся, боксерскую стойку и перешел в разговорное наступление.

– Но это же неправда, Уорри, да? Что тут специально ради меня? Чарли Чаплин, сделанный из Первой мировой войны и часовых механизмов? Что у меня общего с Чарли Чаплином?

Ее как будто лишившиеся век глаза метнулись к потолку, словно бы в раздумьях, а потом рухнули обратно на Мика.

– Ну, вы оба обожаемые символы поправанного пролетариата и оба ходите, как люди с взрывной диареей. Так что пожалуйста. Но,

Уорри, это что такое, откуда такая язвительность? Не может быть, чтобы ты сделал выводы всего после первых шести-семи частей?

Широко раскрыв любопытные очи-жернова, Альма ожидала его утвердительного ответа, только чтобы огрызнуться и свалить все на него – будто это он виноват в ее случайных бестолковых картинах. К счастью, в этот раз Мик не ударил в грязь лицом.

– Уорри, ты, как обычно, меня недооцениваешь. Я посмотрел первые одиннадцать.

Только задним умом он понял, что сказал так, будто смотрел на школьную команду по крикету. Стоило бы сформулировать получше, но все же суть была понятна. Впрочем, уголки губ сестры неуклонно мигрировали в регион, где последний раз сообщали о появлении ее ушей.

– А, ну да, правильно. Первые одиннадцать. Значит, номер двенадцать ты еще не видел?

Какая мерзкая усмешка. Что она значит? Он сказал, что нет, не видел, и разрез губ стал еще шире – настолько, что он уже боялся, будто верхушка головы Альмы отделится и медленно соскользнет, шлепнувшись с влажным стуком на пол яслей. Она нацелила обмакнутый в кровь ноготь на точку сзади и слева от него, и Мик с замирающим сердцем обернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с двенадцатым зрелищем выставки.

Уже ожидаемая наклейка с ручной надписью объявляла, что большая акриловая работа – это «Подавившись песенкой». Огромный холст снизу доверху, от края до края заполнял ошпаренное лицо Мика после несчастного случая на работе – постапокалиптический ландшафт с шелушащимся носом и удивленным выражением. Слезающиеся глаза, влажно-синие и раздраженно-красные, казались токсичными лужами на гнилой свалке с высоты птичьего полета. Ярко-оранжевая пыль, которой дохнул на него прорвавшийся стальной бак, затопила портрет роем кайенских искорок, жгучих и злых, аккуратно нанесенных пигментом – как он позже узнал, не только первый попавшийся под

руку, но и сам по себе смертельно ядовитый. Огненно-опаловый крап кишел на разбомбленной физиономии рябыми ручейками и ржавыми омутами, клокочущими вокруг и внутри розовых дисковых волдырей, пустул конфетного ассорти всех размеров – от жирных точек до наконечников пуль, вырывающихся из химически пропесоченного эпидермиса; каждый бугорок выпирал из-под поверхности и бликовал на мениске исчезающе крохотной каплей китайских белил. Немудрено, что Мику было тяжело смотреть – больно от этой болезненно исполненной большой боли. Шокирующее изображение, иначе не скажешь, поразительного технического мастерства, но бессердечное, как ободренные черные плечи на экспонате семь. С тошнотворным уколом разочарования он уже почти был готов предать сестру тому же холодному гулагу презрения, куда уже сослал на диету из их собственных башмаков почти всех прочих бездушных и жадных до славы современных британских художников, когда его внимание неожиданно захватило созвездие прыщей, рассеянных по щекам и челу доппельгангера. Он придвинулся. В дело почти наверняка всего лишь вступили его навыки поиска скрытых узоров – как когда видишь скалящихся лепрозных мартышек в поверхности красного дерева, – но в текстуре обваренной кожи со скрупулезно воссозданными ожогами как будто что-то было. Уже раздраженный, он придвинулся еще ближе.

Картина раскрылась, распускаясь новыми плоскостями и перспективами, словно сногшибательная объемная книжка, готовая поглотить его. С носом в каких-то двадцати сантиметрах от картины стало очевидно, что крошечные вишневые фурункулы вперемешку с пылинками едко-танжеринного цвета скрывали пуантилистские миниатюры в стиле Сёра – из воспаленного дермального тумана проступили целые сцены. Под перепуганным правым глазом на портрете приобрел пеструю резкость задний двор его дома детства, где на верхнем уровне растресканной шахматной доски замкнутой площадки сидела на деревянном стуле с высокой спинкой его мамка

в профиль, запечатленная в момент, когда помещала в клювик усевшегося на коленях малыша в халате что-то маленькое. Привольно раскинувшаяся в выбритой области над верхней губой нарисованного лица припорошенная бурым пузырчатая упаковка блистера преобразилась в виде почти религиозной торжественности, где плачущая мать слева передавала обмякшее тельце мертвого на вид ребенка встревоженному рабочему, высунувшемуся из кабины грузовика справа, пока в подносом желобке из безжизненного свертка трогательно болтается голая ножка. Линия челюсти лика от уха до уха стала вынужденно искаженным видом сверху на маршрут импровизированной кареты скорой помощи от дороги Андрея до Графтонской улицы – где Регентская площадь примостилась в ямочке подбородка, – затем через Маунтс и Йоркскую дорогу в больницу – вернее, ее репродукцию на левой щеке, подробную и всеохватную вплоть до увенчанного пометом бюста Эдварда Седьмого, украшающего северо-восточный угол здания. Но самую поразительную сценку приберегли для лба с отступающей линией волос – самым широким и незанятым пространством: жарко-розовый пунктир и коррозионно-рыжий песок сложились в сходящиеся линии – похоже, верхний угол комнаты, где каким-то образом подвисла девочка приблизительно десяти лет, с волевой челюстью и смердящим боа издохлых кроликов, протягивая зрителю руку. Мик испуганно отшатнулся, отпрянул, и все тут же вновь расплылось в кипящем акне.

Он вернулся – вернулся в комнату, вернулся в свое тело, его сознание больше не растворялось в импрессионистской сыпи цитрусового поливинила. Сохраненные сообщения хлынули из сенсорного автоответчика, как передачи по широкополосному Интернету «Вирджин» – обонятельная грейпфрутовая щекотка того, чем сегодня утром мыла волосы Альма, и смех Берта Рейгана, страшный, как забитый слив. Бодрый дневной свет, проливающийся через западное окно, разжег огонь деталей, плешей, одиночных сережек, дрожащих на мочке, или слоганов на футболках,

блекнувших как в памяти, так и на хлопчатобумажной ткани. Моргая, словно чтобы изгнать саднящие остатки образов, он обернулся обратно к сестре, которая встала подбоченясь и скрестив ангорские рукава, отслеживая его реакцию со свинцовыми глазами лаборанта-нациста.

– Ну что, Уорри. Чирьи и все дела. Вот что, значит, тебя вдохновляет?

Она приснула – хоть раз для разнообразия с ним, а не над ним.

– Будто у меня был какой-то выбор. Ты был весь сделан из чирьев. Но кто знает, вдруг будет новый тренд в портретуре – увековечивать людей, когда им в лицо кинут горящее говно. Впрочем, если подумать, похоже, так и работал Френсис Бэкон.

Уверенный, что Френсис Бэкон – это тот, кто, по мнению некоторых, на самом деле написал все пьесы Шекспира, Мик не понял его связи с травмами лица и промолчал. К счастью, пока Альма не успела истолковать его затянувшееся молчание как признак невежества в современном искусстве, ее отвлек приятель-лицедей Роберт Гудман, протолкнувшийся через пресс тел, чтобы пожаловать родственнице Мика стопку распечаток из «Википедии» и взгляд обобщенного отвращения, не выдававший ни намека на свои причины. Странная старуха, которой стала прежняя мучительница Мика из детства, скосила массивный череп с залитым дождем кострищем вместо волос в направлении явно недовольного актера, а ее прожженные глаза расширились и в то же время как будто удалились, втянулись в кратеры глазниц. Мик понял, что спасен прибытием новой аппетитной жертвы, больше похожей на обычную добычу Альмы.

– О, Бобби. Только мы вспомнили, откуда Френсис Бэкон черпал вдохновение для своего творчества, – вот и лучики. Что ты мне суешь? Собрал мусор с улицы?

Рот горгонового Гилгуда – и в лучшие времена трубу с плохой изоляцией, – зацепило за уголок рта рыбным крючком презрение.

– Это, к твоему сведению, то, что ты просила меня найти в последнюю минуту, про связь Уильяма Блейка с Боро. Ты сказала, если я этого не сделаю, ты больше не будешь со мной разговаривать.

Принимая бумажный ворох, Альма продемонстрировала уязвленному исполнителю заботу по системе Станиславского.

– Бобби, я в жизни такого не говорила. Ты что, опять слышишь голоса?

– Не слышу я голоса.

– Голоса? Бобби, никто не говорил, что ты слышишь голоса.

– Да, говорили! Ты сказала! Только что сказала. Я же слышал.

– О. О боже. Врачи говорили, что это может случиться...

Уже начиная ретироваться бочком, Мик воспользовался немым возмущением ветерана сцены как удачной паузой, чтобы объявить, что выйдет перекурить. Кивком даруя разрешения, сестра отвлеклась от своих боевых психологических маневров, только чтобы потребовать, чтобы он не сбегал с ее зажигалкой, что он ей и пообещал, только потом вспомнив, что зажигалка-то его.

Он пролез к открытой двери яслей, дышащей сквозняком, снова протолкнувшись мимо края неудобного стола, на котором покоились Боро после уменьшающего луча Альмы, при этом неловко прижимаясь к их западной границе. Хоть это и раздражало, зато представилась новая возможность исследовать детали, пропущенные в первый раз из-за эффекта неожиданности, и он обнаружил, что свежим взглядом присматривается к миниатюрной области вокруг церкви Доддриджа. К северу от анахроничной башни в Меловом переулке с ведьминской шляпой он сперва отыскал саму церковь, а потом свое нынешнее местоположение – некогда танцевальную школу Марджори Питт-Драффен в нижнем конце улицы Феникса. В соответствии с комбинаторной хронологией ландшафта, несмотря на старый знак с красным шрифтом, провозглашающий школу вотчиной Терпсихоры, передние окна – тонкая ткань «Ризлы» со сценкой интерьера, изображенной на лжестекле в виде акварельной миниатюры, – принадлежали более

поздним по времени яслям. Там, осознал Мик, можно было даже разобрать стол, на котором едва виделась еще более маленькая репродукция и без того маленькой реконструкции. Почувствовав головокружение, он оттащил себя прочь от экспоната, при этом впервые заметив жалкую записку, приклеенную к переднему краю стола. Номера на ней не было, но художник хотя бы не поленился придумать название для кукольных трущоб, хотя даже оно не отличалось воображением и гласило просто «Боро». Горестно качая головой, Мик вышел на свежий воздух.

Снаружи, вдыхая приторную первую четверть сигареты, он вдруг подумал, что все окружающие многоквартирники и коттеджи, уменьшенные из-за расстояния, были почти такого же размера, что и в галерее, – здания былого, попавшие не на тот конец телескопа Альмы. Эти неизвестные люди, ненадолго выглядывающие на далекие балконы, бредущие вдовы под грузом сумок и крепкие парни в сетчатых майках не по возрасту – все точно так же уменьшились до масштаба Королевских фузилеров от «Эйрфикс» – а те так и не выпустили коробку со стебельками перепуганных гражданских, – и Мик с удивлением отметил, что глубина характера, которой он наделял этих далеких прохожих, ненамного серьезнее, чем та, которой он достаивал пластмассовую фигурку эквивалентных габаритов. Издалека собратья-люди теряли в значении и важности, а не только размере, и их неведомые маршруты становились драмами для напалечных кукол, игрушечными парадами, разыгранными лишь для увеселения скучающего наблюдателя. Ему пришло в голову, что он всегда жил с чувством – распознанным только сейчас, – что если что-то далеко, то оно ненастоящее. Возможно, это касается и времени. Он предположил, что почти все люди смотрят на вещи так же, сами того не замечая. Мик даже не знал, будут ли вообще эти чужая жизнь и чужой опыт хоть сколько-то выносимы, если люди станут относиться к ним как к реальным, как к действительным, как к своим собственным.

Наверху, среди бегущей наперегонки вальной ваты на голубом церулеуме, на миг приняла очертания единой птицы зыбкая и эластичная стая скворцов. Пока что это был эффект намного изощреннее, чем все, что он видел на выставке, хотя Мик первым признает, что последний экспонат его и впечатлил, и выбил из колеи. Бросив взгляд через плечо на панорамное окно яслей, он представил, что кипучее сборище посетителей, набившихся внутрь рамы, само по себе художественное высказывание – возможно, кричащий этюд от одного из яростных веймаровских стилистов вроде Жоржа Гроса или еще кого. Он видел Альму, пытавшуюся то ли утешить, то ли еще больше унижить оскорбленного Роберта Гудмана, а за ней различил двух зловещих старушек – явно сестер, решил он, – которых как будто бы никто не знал, хотя вот они – слушают и воодушевленно кивают, пока Роман Томпсон и Мелинда Гебби со смехом вспоминали что-то требовавшее обильной экстравагантной жестикуляции для стоявшего с недоверчивым видом бойфренда закоренелого анархиста. Еще несколько раз нервно пыхнув весьма укоротившейся сигаретой, словно перед эшафотом, он ввернул бычок во влажную траву под ногами, смирившись с тем, что пора возвращаться, ведь полотнища Альмы сами себя не раскритикуют.

* * *

Нагретый окнами воздух хлестнул его от подпертой двери теплой эфирной фланелью. Лавируя через толкотню вдоль переднего края стола-помехи и проложив маршрут из острых диагоналей, что провел его мимо Дэйва Дэниелса, пары новоприбывших – в ком Мик опознал Теда Триппа и его ушлую и дерзкую подругу жизни Джен Мартин, – плюс понурой и пыльной фигуры, которая вполне могла оказаться дилером Альмы, он наконец прибыл на место, где прервался, у северной стены яслей. Подчеркнуто стараясь не смотреть на промышленно выжженный лицевой ландшафт

двенадцатого экспоната, он обратил взор на крупноватый карандашный рисунок с ландшафтом справа.

В этот раз обязательный ярлычок с каракулями приклеился к нижней части незатейливой рамы и гласил просто «Наверху». Вернее, написано было «На веру», а крошечный крестик буквы «х» с указующей стрелкой синими чернилами были добавлены уже под ошибочным названием, словно поспешная и запоздалая поправка. Мик вдруг поймал себя на том, что эта неряшливость начинает огорчать. Обладая прежде очень ограниченным опытом общения с серьезной культурой, он ожидал от этого феномена чего-то большего. Больше профессионализма. Хотя и не ему судить, но Мику казалось, словно сестра подводит Искусство, выставляет в виде какой-то стихийной свалки, а не престижного социального института, каким он его всегда считал. Уже полный предубеждений к тринадцатой части после краткого ознакомления с мазней на этикетке, Мик поднял взгляд к самой широкоформатной работе и нашел ее почти инфантилизирующей в своей чудесности; в своих дивных пропорциях.

Откровенно божественный вид был представлен так, словно зритель смотрит вдоль гаргантюанского бульвара или коридора, такого широкого и высокого, что в нем бы легко затерялся небольшой городок, и убегающего как будто в бесконечность в отчаянной погоне за неуловимой исчезающей точкой. Восстановив сбитое пространственное равновесие, Мик запоздало понял, что видит чудовищный и невозможно разросшийся пассаж «Эмпорий», с далекими противоположными стенами, что росли этаж за этажом к стеклянной вокзальной крыше шириной с Амазонку. За ней вместо погоды виднелись сложные геометрические фигуры, массивные и неправильные, написанные белым пунктиром на синем фоне, словно руководство по сборке атмосферных оригами. Не считая этого вызывающего вертиго потолка, обширный холл казался сделанным целиком из дерева. Горизонтальные сосновые доски незаурядных размеров тянулись к далекому месту слияния на

заднем фоне, время от времени прерываясь какими-то несоразмерными картинными рамами – сеткой дыр с бордюрами с фаской, заполнявшими потрясающий простор от края до края. У близлежащего отверстия, внизу в центре картины, можно было заглянуть за край, но ограниченный вид открывал только затвердевшее желе или витраж, а может быть, какую-то их необычайную комбинацию. Из прямоугольников повместительней, в полумиле дальше по крытой авеню, росло нелепо увеличенное дерево – белая береза, замахнувшаяся в амбициях на секвойю, а криво нарисованные глазки ее коры принадлежали не меньше чем левиафану. Масштаба работа достигала при помощи контраста с почти микробными человеческими фигурками, подчеркивающими обязательный агорафобный размер и расстояние – разреженный блошинный цирк людей, словно бродивших во сне: гибридное порождение Дельво и Р. С. Лоури. Ближе всех к нижнему переднему плану, а потому самые разборчивые, на дальней приподнятой кромке ближайшей дыры в деревянном полу стояли лицом от наблюдателя два ребенка, окидывавшие взглядом бескрайность интерьера. В меньшем из пары он узнал по светлым кудрям и тартановому халату свою собственную детскую версию, в последний раз виденную благодаря медиуму хронического дерматита на предыдущем изображении – на коленях матери на заднем дворе. Его высоким спутником оказалась маленькая девочка, тоже с двенадцатого экспоната, узнаваемая благодаря шарфу из кроличьих одежек. Пределы огромной галереи ленивой рябью облил далекий свет, влажный и белый.

Почти каждый цвет был прослоенной лессировкой из множества других – бессловесный палимпсест, кропотливую технику которого Альма неприкрыто подрезала из карандашного творчества своей более талантливой приятельницы Мелинды, в чем сама часто признавалась сестра Мика. Раз увиденный, нарисованный великий холл делал крохотные ясли, где выставлялся, еще более тесными и давящими в сравнении – тайфуном локтей под аудиальным

ковровым ворсом бесед, прорежаемых закольцованной дорожкой смеха Бена Перрита – Древнего Морехода на веселящем газе. Бросив последний взгляд на яркую площадь и ее освобождающую бесконечность, Мик перебрался направо между прочими сардинами-ценителями и пригляделся к следующим двум пробам – узким полихромным дранкам портретного формата, висящим друг над другом. Верхняя была назначена экспонатом четырнадцать, и если присмотреться с хмурым видом к прикрепленной над ней блокнотной страничке – в этот раз синяя ручка поблекла на полуслове, прежде чем возобновиться красным цветом, – то название звучало как «Полет Ас одея».

Господи боже, да весь рисунок был сделан цветными ручками, вся площадь в метр на тридцать сантиметров, – и как же он обескураживал. Мик припоминал, что Альма рассказывала об этом произведении, когда работала над ним где-то в прошлом сентябре, и говорила, что ухитрилась отыскать источник безмерно удовлетворительных многоцветных ручек – ее предпочитаемого медиума детства. Она жаловалась, что в наши дни что угодно цветными ручками наверняка покажется «аутсайдерским искусством», хотя и считала, что этот термин – способ среднего класса лишний раз не употреблять термин «гребанутое искусство», к которому она сама причисляла этот жанр, но с любовью. И в случае четырнадцатого экспоната, думал Мик, она явно недалеко от истины. Человека, который дотошно раскрашивал это внушительное изображение, накладывал завитушку за завитушкой разных оттенков, полировал, пока почти каждый цвет не превратился в липкий обсосанный драгоценный камень, не стоит выпускать на улицу. Самым тревожным аспектом было то, что картина напоминала готовую иллюстрацию из детской книжки девятнадцатого века, только замысленную и реализованную в какой-то среде строгого заключения – например, аду или Бедламе. По стеклянной крыше на изощренно накаляканном заднем фоне и бледным деревянным половицам в нижней части Мик умозаключил, что эта сцена

происходит в том же беспредельном интерьере, что и предшествующая панорама, словно пронумерованная последовательность вроде бы несоотносящихся частей решила вдруг выстроиться в какую-то линейную историю – до смешного грандиозный комикс-стрип без слов, но с жалким намеком на логику между монструозными панелями. Ну, на этой панели хотя бы был настоящий монстр. У низа стояла маленькая группка, в основном состоящая из детей, возле чего-то вроде старомодной жаровни рабочих – Мик уже не мог вспомнить с какой-либо определенностью, когда он перестал встречать их в округе. Двое детей показались Мику его собственной аватарой в теле карапуза и таинственной девочкой в некротическом колье с последних картин, только очень маленькими и – как на тринадцатом экспонате – лицом прочь от перципиента. Четверо остальных детей на виду были неопознаваемы, а сопровождала их фигура побольше и чуточку помрачнее – кажется, странноватая пожилая женщина в чепце и черном фартуке. Как и он с кроликоносной девочкой, все отвернулись спиной, взирая снизу вверх на невероятную мерзость, едва ли не зашившую верхние пределы картины. Это был гороподобный в своих уму не постижимых масштабах, гротескный трехголовый ужас верхом на припавшем к земле драконе, ненамного отстающем отвратительностью от страшного наездника. Одна голова принадлежала словно разъяренному пикадором быку, тогда как на другом плече взгромоздился противовесом фыркающий баран с завитыми рогами, словно черными аммонитами, если бы аммониты могли перерастить китов. В центральном черепе угадывался коронованный мужчина пугающего уродства в апоплексическом гневе, а в совокупных пропорциях этого укротителя трехголового дракона имелось что-то от карлы. Голое, в одной руке разгневанное отродье сжимало копье, по которому струились ручейки скверны, – заостренный парикмахерский столб в говне и крови, царапавший стекло поднебесного потолка устрашающим наконечником. Мику казалось, что в сцене читается что-то библейское – если бы безумие

в Библии было неприкрытое. Он внутренне содрогнулся и перешел к нижнему изображению.

И снова пропорции портрета, если бы темой портрета мог быть фонарный столб: длинная отвесная щель цветов жвачки в сладком щербетном свете. При ближайшем рассмотрении – к этому моменту почти предсказуемо – медиум оказался битым или толченым стеклом: палитрой, знакомой Мику по бутылкам дорогой минеральной воды в мусорной корзине сестры. Сахарная пудра из разноцветных кристаллов, судя по всему, была приклеена к какому-то контуру, сделанному по принципу «обведи цифры» на доске или холсте, и в некоторых местах, где, видимо, для требуемого цвета отсутствовал коммерческий эквивалент, прозрачное стекло лежало поверх подмалевков. После нескольких секунд привыкания к зернистому изображению он осознал, что смотрит на крутой Ручейный переулочек с нижнего конца – водопад серых цветов от грязных и невымытых молочных бутылок и буйных сорняков «Перье» между булыжниками мостовой, под лучезарным и пламенно-синим небосклоном в осколках «Ти Нанта». На среднем плане, на половине высоты этой прорези бойницы, кучковался прайд, косяк или парламент детей, разодетых в блестящие коричневые цвета от настоящего эля – слишком маленьких, чтобы вычленивать детали, но наверняка тот же чумазый ансамбль, что изображался на картине выше. На первом плане, соответствуя числом и преобладающей расцветкой детям выше по холму, виделся нервно застывший секстет кроликов с раздавленными велосипедными отражателями вместо глаз. И в самом деле, взгляд на непеременимые кровавые куриные лапы под работой подтвердили, что картина так и называется – «Кролики». Она Мику понравилась. Ему показалось, что хоть раз для разнообразия он разгадал смысл и намерение картины: Альма вырезала дольку их запущенного района и превратила в церковное окно – церковное окно бедняка из стеклянных бутылочных розочек, и тем не менее вместилище святых. А может быть, она просто имела в виду, что в районе до черта стеклотары.

Экспонаты шестнадцать и семнадцать были черно-белыми – передышка после того, как палочки и колбочки измочалились предыдущими картинами. Оба относительно маленькие – где-то А4, если он не ошибался с форматом бумаги: не такой долговязый, как фулскап, но все же не такой коренастый, как кварто. Они висели бок о бок высоко на стене яслей над большой и пышной масляной сценой, так что Мику пришлось привстать на цыпочки, чтобы их как следует разглядеть, – значительно больше стараний, чем, как ему казалось, обычно ожидается от посетителя выставки. Первая, слева, была иллюстрацией ручкой и тушью в стиле гохуа, – словно что-то из детского ежегодника, привидевшееся ребенку в бреду от жара, а любительский субтитр провозглашал зрелище «Алым Колодцем». В ее нижних краях, за низким кирпичным забором вроде бы на чьем-то заднем дворе, укрывалась уже знакомая полудюжина оборванцев, теперь ближе к зрителю и потому более отчетливая. Кроме его собственной детской версии и девчушки с венком из дорожных жертв были еще маленькая девочка в очках с серьезным видом, суровый мальчишка постарше в веснушках и котелке, низенький сорванец с чертами лица, схожими с лицом рядом стоящей девицы в кроличьем салате на шее, и высокий паренек приличного вида с осанкой самого разумного члена Секретной семерки или Великолепной пятерки. Вся группа присела, с понятной тревогой наблюдая за ослепительно-белыми небесами, открытыми за вершиной кирпичной стенки, где по воздуху кубарем катилось кошмарное множество силуэтов, пуская за собой пар из серых остаточных изображений. В самой выси, крошечная до рези в глазах и очень далеко, в восьми или девяти итерациях исполняла сальто-мортале молочная телега с запряженной лошадью, а ниже в пустом пространстве необъяснимо бурлил ураган многократных экспозиций из собак, кошек, псалтырей, рыбниц, противогаров, сигаретных карточек, тедди-боев, стоматологических кресел, корректирующих очков и посуды – циклон из послевоенных примет времени. Из-за

присутствия детей вид почему-то казался больше чудесным, чем пугающим, будоражил мыслью, что это стоило бы увидеть вживую.

Тут же справа была семнадцатая часть, с надписью на трупной бирке «Флатландия» и представляющая, как показалось Мику, меццо-тинто – эстамп на медной пластине с выцарапанными на однородной поверхности линиями, слагающимися в мир дымных гранулированных масс, зафиксированных на месте пугающими провалами; взрывами белоснежно-белого цвета. Трио несовершеннолетних хулиганов с предыдущей картины стояло почти в виде силуэтов впереди по центру: два маленьких – причем один наверняка его младенческая копия, – а фигурой между ними был куда более высокий пострел куда более диккенсовского вида, в долгополом пальто и котелке. Позади них, на заднем фоне, где он узнал вид на Банную улицу у квартала особняков Криспинской улицы, зловеще курилась давяще массивная дымящая воронка – медленная и жуткая шестерня прямиком из чистилища, задевавшая, хотя и не оставляя повреждений, как темные здания, среди которых она устроилась, так и ничего не замечающих жильцов, открытых срезом. В этот ночной омут затянуло пожеванные обрывки тряпок, которые со второго взгляда оказались шелухой или пустой кожей незадачливых людей – проколотыми гуманоидными шариками без набивки из костей и тканей, забытые в стирке и расползающиеся в inferнальной машине. В троих детях под черным небосводом было что-то от зрителей у праздничного костра, но точно не ликование. От изображения веяло запустением, словно горел не Гай Фокс, а все хорошее, поднималось деликатно гравированным дымом.

В акустических волнах вокруг скакали и ныряли, как летающая рыба, разные голоса, в глаза бросились цвета комнаты после секундной концентрации на мире монохрома. Пока он еще пытался переориентироваться, рядом уже материализовался приятель Рома Томпсона Дин, словно его влили в ближайшее пустое пространство.

– Мик, слушай, твоя сестра, да? Мик, это не я говорю, это она, ты понял, да? Короче, она говорит, что лучше бы ты не проебал ее

сраную зажигалку, а то ей очень надо. Говорит, если не вернешь, она тебя пласти... как там это слово, то, что немец в шляпе делает с трупами? Не пластинирует, а...

– Пластинирует?

Дин ответил восторженным видом.

– Пластинирует, точно! Она тебя пластинирует и сделает тридцать шестым экспонатом, но это если ты проебал зажигалку. Ну и дура она, твоя сестра, да? Уверен, с ней пиздец как сложно было в детстве. Короче, она у тебя есть, типа, зажигалка-то?

Мик добрался только до «Это не ее...», потом сдался под давлением психологических издевательств нескольких десятилетий и просто выдал требуемое. С милой и жалостной улыбкой Дин прикарманил то, что теперь явно считалось собственностью Альмы, и утек с координат, которые занимал, с намеком на движение по часовой стрелке согласно эффекту Кориолиса. Не в силах выдать даже ворчливый вздох, Мик сосредоточил внимание на большом цветном поле восемнадцатой части в роскошной раме, прямо под тандемом черно-белых работ.

«Духовная борьба», – говорила этикетка.

– Охренеть, – ответил Мик, забыв как дышать.

В масле и сусальном золоте – эстетике, наверняка позаимствованной у Климта, – на обширном ристалище, в котором все же узнавалась Мэйорхолд, вели дуэль два великана в мантиях ослепительно-белого, словно блик на воде, цвета, титаническими киями для бильярда размером с туннель через канал. С волосами белыми, как ее же орнат, одна из огромных фигур растянулась, уловленная в движении с синеконечным орудием на отлете за многосажженным плечом. Его колоссальный враг отшатывался от угадывающейся точки удара, а для обозначения траектории падения в воздухе зависли артериальные брызги золотой руды. На мельтешащих балконах Мэйорхолд, раздутой до целого штабеля Колизеев, за невероятных состязателей болели стадионные толпы крохотных ковбоев, круглоголовых, трубочистов и средневековых

монахов, заодно придавая сцене сечи дух сокрушительного масштаба, монументального грома насилия. Грандиозность драки, нарушаемая только ее брутальностью, была плоть от плоти кулачного боя между монолитами на дворе паба. Восхищенно качая головой при виде восьмикратной крови, пятнающей убранства противников, Мик с запозданием понял, что это же два плотника в необычных балахонах с «Неоконченного труда», которым встречала выставка Альмы. Неужели вся экспозиция, несмотря на отсутствие очевидной переклички между нарочито разрозненными компонентами, рассказывала какую-то историю? Такую, где персонажи настолько разрежены в повествовании, что ощущение причины, следствия и последовательности становилось невозможным ухватить без дорожной карты такой площади, что ее невозможно даже развернуть? Более того, если это его история, как настаивала Альма, почему он узнавал только отдельные отрывки?

Его исследование выставки на этом уперлось в очередной угол концентрационной галереи, где продолжение требовало правого четверть-оборота, чтобы приступить к одолению восточной стены яслей – модернистского скалодрома, где между душевным равновесием и интеллектуальным срывом с головокружительной высоты находились только ненадежные опоры – работы его сестры. Перескочив бездну, он приступил к следующему переходу в рискованной экспедиции в культуру, где первым зацепом стала часть девятнадцатая – «Бессонные мечи». Сравнительно простой штрихованный рисунок – вполне возможно, литографским карандашом, – он напоминал редакторские карикатуры Дэвида Лоу из «Дейли Миррор», которые Мик с трудом вспоминал из детства: с четкими моральными нотациями в поддающихся простой расшифровке символах и бойком незамысловатом стиле еженедельного издания для мальчиков. Версия Альмы – уже не на злобу дня и не такая однозначная – изображала мрачного и черноволосого мужчину, заснувшего в кровати посреди хаотичного кровавого поля битвы. Судя по разлитому морю пик и острых

шлемов в резне вокруг спящего, конфликт был родом из Гражданской войны, а значит, дремлющая фигура – облаченная при ближайшем рассмотрении в черные доспехи, а вовсе не пижаму, – весьма вероятно, была Оливером Кромвелем. Кругом в мушкетном дыму друг друга пронзали неистовые мужчины и запинаясь в собственных кишках кони, набросанные сажей и подведенные порохом, пока лорд-протектор спокойно похрапывал и кутался в одеяло. Мик не понял, что имелось в виду: то ли Кромвель слеп к страданиям, эпицентром которых стал он сам, то ли нескончаемое побоище и кровавые фонтаны ему снятся.

Под этой композицией скромных объемов экспонат двадцать ввиду масштаба и стиля казался скорее каминной полкой, на которой покоилась девятнадцать часть. Он был куда сложнее предыдущих вещиц: центральное изображение углем с яркими оранжевыми акцентами совершенно затмевалось иллюстративной рамкой из изразцов – область угольной черноты и брызжущего пламени сдерживалась в орнаментальном камине. Рисунок в сердце композиции изображал в неопрятных крошащихся штрихах пейзаж с каменными дымоходами и соломенными крышами, объатыми лижущими языками нектаринового цвета, среди которых экстатически плясали две голых и горящих женщины с длинными волосами, завивающимися в виде удушающих клубов. Хоть это пиротехническое пиршество для глаз и цепляло, несмотря на ограниченную палитру, оно как будто не имело никакого видимого отношения к куда менее жаркой последовательности на плиточном обрамлении. Здесь разводами насыщенного кобальта растекалась по кафельной плитке линейная прогрессия выхваченных моментов, начинавшаяся сверху в центре квадратиком плотных чернил полуночи, словно символизирующих тьму утробы перед подробной сценой деторождения далее. Затем следовала – явно с замашкой на остроумие – сценка с младенчиком, лежащим на коленях матери подле камина, тоже облицованного дельфтскими изразцами, повествующими о событиях в жизни умирительно крохотного

Христосика. Следующее изображение показывало болезного отрока на церковной скамье между старшими мужчинами в камзолах восемнадцатого века, не спускающего глаз с кружевного платка, словно зависшего, слетая с небес. Жизнь развивалась плитка за плиткой – здесь молодой человек в седле сталкивается в туманной куще с девицей в лохмотьях и с большими сияющими глазами, а вот тот же человек, но уже несколько старше, вел коня по пересеченной заснеженной местности к уютному зданию с дразняще знакомыми очертаниями, ожидавшему в зимней темноте. После нескольких секунд отразившихся на челе гаданий Мик узнал в строении церковь Доддриджа и тут смекнул, что многосерийная драма перед его глазами не иначе как жизнь самого Филипа Доддриджа. Он прочитал свадьбу, детей и скорбь утраты до самого последнего вида, сразу слева от верхней середины рамы, где хрупкие мужчина и женщина лежали в комнате с заморской меблировкой, сраженные хворью, причем мужчина, возможно, уже был мертв, если так истолковать кромешную синюю ночь на следующей плитке – теперь ее тьма говорила о погребении, а не зачатии. Только присмотревшись к назначенному картине ярлычку с надписью красной ручкой, выдавшему название «Зловредные пламенные духи», Мик начал постигать связь между историей священника-диссентера и двумя радостными разжигательницами в пируэтах на иссушенной соломе, удерживаемых лишь изысканной биографической границей.

Чувствуя начала легкой концептуальной контузии, Мик переместился на шаг южнее вдоль восточного края галереи, оказавшись перед двадцать первым экспонатом. Нареченное истончающимся на глазах алым цветом «Деревьям не нужно знать», изображение, к его облегчению, оказалось единичным, снова в тощих портретных соотношениях и выполненное акриловыми красками – черными, белыми и угрюмой радугой едва различающихся серых. Окруженный некоторыми из уже знакомых детей в анахронических одеждах – хотя Мик заметил, что его

собственного детского подобию в их числе не наблюдается, – в центре нависал очередной из ужасов его сестры. Устрашающие и прежде невыносимые капризы природы, признавал он с готовностью, по какой-то причине всегда удавались ей особенно хорошо, и она добивалась своей славы тентакль за тентаклем, уснащая мягкие обложки НФ, фэнтези и ужасов в течение 1980-х. Этот конкретный гротеск казался по-настоящему ужасной разновидностью морского змея, не к добру выпущенной в извилистую городскую реку, очень напоминающую Нен, где тому явно не доставало места. Он вздымался на дыбы из медленных и мутных вод в черную ночь, а на его покачивающейся шее толщиной с теплотрассу раскрыл капот верхней челюсти вытянутый череп, словно гестаповский членовоз, и обнажил отвратительные зубы голых шпангоутов, щелкая в воинственной досаде из-за ликующего квинтета непосед, почему-то левитирующих в верхних пределах узкой картины, каждый – в компании нескольких блеклых копий самого себя. Морда существа с куафюрой из вонючих водорослей и глазами из плоти улиток, поблескивающих из глазниц глубоких, как колодцы, стала искаженным ликом ожесточенной и озлобленной старухи, извергающей ненависть, гнев и одиночество воплем во тьму. Очередная иллюстрация с дико неуместными отсылками к Энид Блайтон, как и двадцать второй предмет справа.

Озаглавленный «Запретные миры» пачкотней, с каждой буквой бледнеющей до неприятного сывороточно-розового цвета, тот, как и предтеча, был акриловым этюдом с цветовой схемой немого кино, однако в пропорциях пейзажа. Описывалась здесь сцена в баре, словно бы рассказанная Хогарту или Доре Эдгаром Алланом По в разгаре запоя: мир вопиющей жути, где Мик со смутным удовольствием приветствовал возвращение своей младшей вариации. Все еще в пледовом халате, он ежился на переднем плане с другим мальчишкой с прошлых картин, позади объемистого и аляповатого силуэта, в ком даже со спины нельзя было не узнать покойного и блаженной памяти местного трубадура Тома Холла. Бар

в глубине, от которого не иначе как и прятались два пострела, был населен кошмарами поборника воздержания, хмельной демонологией. Сбоку на руке несчастного и рыдающего мужчины, сделанного как будто из досок, вырезала глубокие руны агрессивная дама с ножом, тогда как поблизости, наполовину вынырнув из пола, корчился другой одухотворенный чурбан, пока его топтали лыбящиеся пропойцы с подбитой гвоздями обувью. У мерзейшего из собравшейся пьяни на лбу ползал беззубый рот, под ним в перевернутом носу пузырились сопли, а испытые глазки вовсе моргали на брылях. Чистилище с продленной лицензией, вечная закрытая вечеринка, барные часы, которые даже с натяжкой не назвать счастливыми: неужели так его сестра-трезвенница думала о питейных заведениях? Как о зверинце ужасной жестокости и невозможного уродства? Впрочем, вспомнив, какие пабы посещала Альма, в этом моменте Мик уступил. Он сделал короткий шажок направо и чуть не опрокинулся вниз головой в губительные пучины двадцать третьей части.

Болтовня комнаты отстранилась, отлила в удаляющемся прибое. Мик замер перед картиной, как оглушенный, как человек, застывший перед входом в аэродинамическую трубу и боящийся пошевелиться. Он знал, что это; знал еще до того, как обратился к опознавательной этикетке, где на середине кончались розовые чернила, чтобы продолжиться уже в зеленом цвете. Это был Деструктор. Вид сверху, а изгибающаяся дуга снизу слева – единственное, что говорило публике, что они лицезрят милосердно неполное изображение страшного дымохода, такого безгранично большого, что не объять его ни полотну, ни воображению. Пастозные косы сиены и обожженной умбры, такие густые, что еще чуть-чуть и покажутся скульптурой, вихрились от края промышленного кратера в спирали к его скрытому от глаз центру – медленно ползущие паровые массы, испепеляющая туманность говна. Не меньше сворачивающихся лент накипи отторгали проваливающиеся разломы между этими складками, где и обитал кошмар. Это были полосы плоских деталей,

пресмыкающихся под высящимися масляными цунами, сливающихся к закадровому сожжению, бурому забвению. Лавки сладостей, школьные двory и тромбоны Армии спасения неумолимо скользили в ад пустоты, угольные телеги с горящим грузом и ломовыми конями и парочки из дэнсхоллов ныряли, все еще выделявая антраша, в удушающую полночь. Классики на мостовой и парикмахеры в накрахмаленной белой одежде, обезьянки и их шарманки, пьяницы и монахи среди разбитых обломков на периметре неустанной помоечной сингулярности, пытающейся вылебать весь мир – или хотя бы часть мира в пределах экономической досягаемости. В мальстреме смога люди, животные и щепки их жизни стали кружащимся утилем, невразумительной пеной на схлопывающейся орбите сточной бездны. Армады мам и лотерейных билетов, черных от оптимистичных поцелуев, цветастые профсоюзные стяги, разделанные или обоссанные кресла кинотеатров, лебеди и майки в мусорном водопаде в трубную глотку отмены. Это было прошлое; водоем мимолетных случайностей, образа жизни – сперва презренного, а теперь кремированного, безвозвратно утраченного в прахе на костре унижения. Вот он, тот унитаз, в который сольется все.

Слишком много, слишком непроверяемо. Нужна новая сигарета, хотя бы для пунктуации в этом горьком предложении, а значит, придется вырвать зажигалку у сестры. Развернувшись, чтобы поискать ее глазами, он снова столкнулся с уменьшенным районом на столешнице – муравьиной фермой, прозябающей на тлиных субсидиях. Восточная точка зрения подарила карточный веер миниатюризированных крыш, разбивающиеся валы черепицы, спускающиеся по исчезнувшим Серебряной и Медвежьей улицам, опорожняющиеся в безмятежную гладь Мэйорхолд, отсыпающейся после обеденного эля в вечном нарисованном полудне. В переулке Бычьей Головы стоял, подпертый дворовой метлой, скутер «Веспер» в полсантиметра высотой без одного колеса; на порогах щерились, как разжалованные горгульи, старики в рубашках и подтяжках.

Вопреки всем сомнениям изготовителя, Мик приходил к выводу, что это самый завораживающий и откровенный артефакт выставки – улицы, как корабли в бутылках, уловили и сохранили почти испарившийся район куда лучше непонятных полотен вокруг. И они действительно навеивали психологический покой, атмосферу тайной, ленивой, золотой идиллии, присущей местам, которым некуда падать ниже. Они оставляли ощущение, что помнившийся ему мир все еще где-то живет – полярная противоположность чувства, привитого ужасной смрадной воронкой, от которой он отвернулся. Когда он заметил Альму, с которой придется поговорить, чтобы попросить зажигалку – может быть, предложив в залог одного из своих детей, – в северо-западном углу возле картины с щелочными волдырями взгляд Мика пал на бумажную полоску, приклеенную к краю диорамы, – приблизительно напротив похожего ярлыка, замеченного на другой, западной стороне платформы. Тогда как на том было написано «Боро», что он и принял за название макета, на этом обрывке имелось всего одно слово – «Душа». Странное слово мелодично отозвалось где-то в диесе памяти, но в целом было незнакомым. Альма не смогла выбрать между именами и решила не рисковать? Или просто забыла, что уже его окрестила? Придется ее спросить, хотя бы и только для того, чтобы показать, что он обращает внимание.

Пробравшись мимо последних десяти-одиннадцати экспонатов туда, где она беседовала с Дэйвом Дэниелсом, он решил совместить упоминание о конфликтующей номенклатуре реконструированного баррио с попыткой добыть зажигалку – бесперспективный гамбит, который, на удивление, сработал как по волшебству. Даже лучше, если учесть, что волшебства вообще не бывает.

– Слушай, Уорри, у тебя на одной стороне макета надпись «Боро». Можно зажигалку? А на другой написано «Душа». Не могла бы ты объяснить.

Она ухмыльнулась и сказала: «Ну конечно, могла бы», а потом отдала зажигалку и продолжила разговор с Дэйвом Дэниелсом.

Ретируясь к двери прежде, чем она поняла, что наделала, Мик лучился от радости. Он чувствовал, что достиг нового уровня понимания взаимодействия с сестрой: когда она говнитса сразу из-за двух вещей одновременно, ее система агрессии не выдерживает перегрузки и случается короткое замыкание. Если после радиоактивного несчастного случая она вырастет до гигантских размеров и впадет в разрушительное для цивилизации бешенство, он обязательно сообщит об этом армии и правительству, чтобы ее умирили. Все еще ребячески посмеиваясь при мысли о собственной сестре в двадцать метров ростом, запинаящейся о провода, он торжествующе вышел на яркий синий день.

Крутанув колесико и высекая искру, он рассосал противоположный конец сигареты к тусклой алой жизни, откинул голову и исторг китайскую химеру серых корч к дуотону английской фарфоровой росписи по небу. После времени взаперти со множеством навеянных лауданумом интерпретаций окрестностей их реальность облупившихся оконных рам и неухоженных газонов – даже захиревшая что в кирпиче, что в памяти, – пела от побитой и беззубой радости. Он дышал одуванчиковой атмосферой своего почтового индекса, вольницей спущенных рукавов местности, угодившей в вынужденную отставку из географии, утешением опалы в той твердой уверенности, что больше от тебя не потребуется что-нибудь делать или кем-нибудь быть. Пыль – тоже мантия и знак привилегий. Его взгляд прокатился по склону въезда на парковку на другой стороне дороги, где сорок лет назад стояла отторгающая кубистская площадка, а еще десять лет назад – свободное от трафика мощное устье улиц с оправданно оборонительными названиями Форта и Рва, под осадой 1960-х с их агрессивным склерозом. Отсюда пошли его безумный прадед и веселая варварша-бабка, пока та не переехала на Зеленую улицу, потеряв первого ребенка из-за дифтерии. Примерно в том же проходе гремела, как ненастье, чумная телега, когда приехала забрать свое легкое бремя. Под асфальтовыми сливками нескольких эпох по-

прежнему таились липкие нити генетической истории – розовые и черные страты лакричных конфет. Это и есть история – серия опрометчивых перемещений и случайных наложений. Сузив глаза из-за солнца, он расплющил слои времени в единый невразумительный композит, где отсроченные детские смерти катались на бетонной лошадке от Пикассо между спящими на своих расчерченных местах подержанными авто.

Позади раздался слабый эмфиземный хрип двери детского сада, и он обернулся, заметив Бена Перрита и Боба Гудмана – очевидно, знакомых по старым временам, – одновременно бегущих из перенесенных вовне внутренностей головы Альмы. Оба смеялись – возможно, потому, что осоловелый поэт заржал без причины, а косолицый актер не смог удержаться от того, чтобы не присоединиться. Мик приветственно поднял руку, но жест неловко угодил в провал между ретроспективно-расистским и шутовским «Хау!» и гитлеровским прообразом «дай пять», так что на полпути он превратил его в приглаживание пряди волос, которой на самом деле давно уже не существовало. Все еще похрюкивая, самый страшный на свете дуэт для детских праздников направился по алопеции газона к нему навстречу.

– Бенедикт. Боб. Что, хватило с вас?

Закатившиеся глаза Бена Перрита напоминали о рыскающем коне.

– Аха! Если такое привидится, когда бросишь пить, то я не буду торопиться. А-ха-ха-ха!

Лик его спутника-актера как будто попытался сброситься на землю с небритого подбородка, не в силах выдержать человеческую неблагоприятность.

– Ты знаешь, что она меня заставила делать, сестра твоя долбаная? Заставила раскопать какую-то хрень, которую и так уже сама знала, только чтобы был повод поместить в свою выставку оскорбительную картину со мной в главной роли. Seriously, мы для нее как мухи для мальчишек.

Выпертый из школы за прогулы до того, как он добрался до Шекспира, Мик не понял, как мальчишки с мухами относятся к происходящему, так что только кивнул – всегда безопасный ответ. К счастью, фоновая мания Бена Перрита нахлынула и залила все возможные лакуны в беседе.

– А-ха-ха-ха! Она нарисовала меня карандашами на дне моря. Не пойму, то ли имеет в виду, что я опустился на дно, то ли что я утонул в стакане. А-ха-ха! Слушь, Мик, я собирался ей отдать, но так и не получилось. Передашь?

Барный и подзаборный бард протянул сложенный лист с машинописным текстом, который Мик торжественно принял, не имея ни малейшего представления, что бы это могло быть. Какая-то поэзия, какое-то искусство, что-нибудь этакое.

– Ну конечно, Бен. И ты не обижайся на то, как она тебя нарисовала. Ты еще легко отделался, если меня спросишь. Видел мою, где я просто мешок прыщей?

Брюзгливый актер поджал губу, которую и так все считали поджатой, и покачал антисемитской карикатурой головы в сочувственном неодобрении.

– И зачем она делает то, что делает? Напрашивается на ссору или что? Ведь явно не из-за денег.

Мик задумался, рассеянно уставившись в окно детского центра. Он видел двух старушек, которых уже замечал раньше, как они посмеиваются и подталкивают друг друга перед картиной с изразцами. С трудом перетавив внимание обратно к мотивации Альмы, он ляпнул первое, что пришло в голову.

– Может быть, надеется, что ее посвятят в дамы?

Гудман скептически фыркнул.

– Что, за картины? Дамы – это для заслуженных мастеров сцены: дама Джуди Денч, дама Хелен Миррен, дама Диана Ригг. Что, Альма теперь себя актрисой возомнила?

– Вообще-то, Боб, кажется, были дамы и в других видах искусства? Нелли Мельба, Эдит Ситвелл, Вера Линн; потом Вивьен

Вествуд, Барри Хамфрис [\[190\]](#). Так что не только актрисы.

Мастер преступного амплуа, не забывая о профессионализме даже здесь, исполнил маневр с двойным недоверчивым поворотом головы к говорящему, который Мик впервые видел вне экрана, а потом промолчал, словно переваривая неожиданную информацию. Затем последовала неловкая интерлюдия, когда Бен Перрит осведомился, чем прославилась Эдит Ситвелл – не тем ли, что изобрела тост, после чего долго и оглушительно хохотал, а потом сказал, что имел в виду Нелли Мельбу [\[191\]](#). Это казалось удачным местом, чтобы завершить разговор и пожать обоим руку, заверяя Перрита, что он не забудет про сложенный листок для Альмы. Парочка убрела мимо церкви Доддриджа в направлении Лошадиной Ярмарки, пока поэт смеялся, а актер громко комментировал: «Ох уж эти дамы!» – а потом их очертания рассыпались в маковом камуфляже Мелового переулка.

Чувствуя прилив озадаченной симпатии, Мик решил, что абсурд местности не менее важный ее компонент, чем любовь, выпивка, насилие. В стороне на Замковой улице далекий трафик состязался с вороньем. Подавив моментное чувство стыда, он развернул страничку, вверенную Беном Перритом, и начал читать.

Это царство из отсутствий

Из пространств между простенками, из пустоты

Где теперь поют другие птицы

Где лучшие виды нельзя увидеть

Это княжество ушедшего

С границами, написанными исчезающими
чернилами

С историей в провалах

И населенное именами, не называемыми годами

Это моя страница, которую ели белые поля

Пока не остались только шрамы от ластика

Пустой мешок с дырами

Молчание в кавычках прямой речи

Мик чувствовал себя готовым к мнению о поэзии еще меньше, чем о живописи, но ему пришлось по душе размер и ритм – хромающий бизон с одной ногой короче других и особенно благородными запинками в поступи. Он снова сложил лаконичный документ и сунул в карман на бедре, где тот не сомнется, затем, затушив сигарету, обернулся к открытой двери яслей. Обидно. Он бы даже заинтересовался культурой, не будь она такой навязчивой. Ну, что ж. Вряд ли от этой раздражающей выставки осталось так уж много. Обреченно вздохнув, он зашел внутрь, дохлебывать кашу живописи, не испорченную маслом и скипидаром.

* * *

В этот раз погружение не стало таким уж шоком. Атмосфера разряжалась и разрезалась с каждым часом, толпа расходилась во всех смыслах. Как и раньше, он настроился начать с момента, где ушел, так что повторил свой путь по часовой стрелке вокруг детского манежа, забитого миражами. Можно было бы пойти в другую сторону, противосолонь, но это как-то неправильно: заложенное место в книжке ищешь, листая с начала, а не с конца, а Мик уже поверил, что канонада иллюстративных нон-секвитуров Альмы должна была представлять собой какую-то историю – возможно, такую большую и сложную, что требовалось дополнительное математическое измерение, чтобы ее рассказать. А возможно, ее магнум опус просто достиг критической массы, и теперь он видит баллистические последствия, паттерн взрыва боевой головки сестры, косматой и набитой оружейными делящимися веществами. Так или иначе, какая-то история тут имелась, пусть даже только для саперов-аналитиков. Пройдя через этикет спид-дейтинга с десятком людей, с кем он уже здоровался – словно с далекими знакомыми, с которыми без конца сталкиваешься в следующих проходах супермаркета, – он обогнул центральный подиум с миниатюрным грузом до боевого поста сразу за двадцать третьим экспонатом – где-то в четверти от конца восточной стены этого вернисажа понарошку. Пока на периферии левого глаза пускал слюни искр и токсичных паров Деструктор, Мик с трудом сконцентрировался на предмете двадцать четыре – энигматичной акварельной абстракции перед лицом. На ее табличке зелеными, как старинная заводская ручка, буквами было написано «Тучи раскрываются». Это оказался совершенно круглый диск византийских расцветки и орнамента размером с блюдце, смещенный от центра большого четырехугольника белесого цвета, заляпанного параболами цвета голубей и привидений – такими прозрачными серыми штрихами и кляксами, что их почти и не было, визуальными невесомыми вплоть до того, что их насилу можно было назвать массами. В углу снизу слева скопилась тонкая лужица помойной воды в виде волнистого треугольника, а сверху в

середине торчал плавник макрели из пыльной ваты. Сразу под ним повисло какое-то оторванное свиное крыло, а может быть, зыбкая тонкая башня межзвездного газа. Время от времени на фоне нехоженого белоснежного простора сбивались пятнышки темных нейтральных цветов – микроскопические косяки метеоритов, затерянные то ли в выбеленном, то ли в негативном космосе, тогда как от шара сине-золотой филиграни отходили во все стороны эллиптические траектории сперматического кита, которые... ой. Это же глаз. А вовсе не абстракция. От края до края пространство занимал бунюэлевский крупный план глаза, но не из плоти. Эту орбиту выбили из белого известняка, как и легкий пушок высеченной брови, наползающей сверху, и усеченную дугу скулы слева снизу. Это нефункционирующее оптическое оснащение принадлежало статуе, а спутниковые эллипсы оказались неморгающими веками – очевидцами катастрофы, которые не умели отвернуться. Едва видимый веер плюмажа справа обрел смысл как ложбинка с тенетами для тени сбоку от переносицы – резного кряжа, ниспадающего в «пыльный котел» глазницы. Произвольные пятнышки оказались текстурой, каменным эпидермисом, обветренным и разъеденным двумя сотнями лет дождя и носимой в воздухе пыли. А в фокусе картины, в золоченой радужке лежал средневековый планетарный оррерий, выбранный золотыми нитями на ноктюрном индиго, – полет луны или кометы по размеченным линиям солнечного цвета сквозь неподвижное сапфировое время. Это был часовой механизм известной вселенной, пойманный в непроницаемом и навечно пораженном оке. Мик отметил задним умом, что основная композиция работы была почти идентична композиции предшествующего кадра – виду с высоты полета умирающей птицы на зев инсинератора в мареве частиц. Он спросил себя, что, если второй, духоподъемный труд был помещен в непосредственной близости к прошлому, повергающему в беспокойство, именно в качестве немедленного антидота, как когда в зарослях стрекающей крапивы растет щавель. Благодарно оценив

хотя бы усилия картины восстановить его внутренний эквilibrium, он проскользнул направо к кантону экспонатов двадцать пять и двадцать шесть, висящих друг над другом в северо-восточном углу.

Панорамный ландшафт над возвышенным портретом; пандан организовали в виде буквы «Т», хотя он вроде бы не был связан ничем, кроме близости местоположения. На узком простенке между картинами приклеился единственный обрывок из блокнота. На нем стояло сразу два названия скачущим изумрудным почерком, с поднимающейся и опускающейся направляющими стрелками, показывающими, что к чему относится. Сказать, что это было похоже на небрежность, ничего не сказать. Более того, это было похоже на надпись на внутренней стороне двери общественного туалета, и Мик надеялся, что Альма протерпела последнюю десятку описательных записок, не скатившись хотя бы к рисованию большого члена и трех обязательных крокодильих слезы жидкой генетики. Тонкое ленточное соотношение верхнего прямоугольника содержало как будто очередную минималистичную абстракцию, но Мику только что отвел глаза глаз скульптуры, так что он решил приглядеться поближе, прежде чем выносить скоропалительный вердикт. Проследив за воздетым зеленым копьём к месту его происхождения, он узнал, что произведение называется «Холодное и морозное утро», хотя логика за этим решением оставалась далеко не такой прозрачной, как бывает утро. Перед Миком оказался синемаскопный вид на рябой туман, паутинное поле, которое можно получить, если взять темный тон из черного, коричневого и темно-виридианового цветов, а потом наложить поверх волокна выбеленного и спутанного меха – например, губкой. С носом у самого облачного мрамора Мик смог разобрать, что проглядывающий между свалявшимися прядями фон на самом деле был гиперреалистичным акриловым этюдом на тему переплетенных стеблей и сучков, свернувшихся листьев, нивелированных по краям до погрызенных фракталов, и всю эту кропотливую работу обволокло наплыв пухового пара. Мику пришло в голову, что, похоже, перед ним куст или заросли, жутко обвитые

нечесаными нитями какого-то гигантского арахнида – причем альбиноса, исходя из цвета секретов в виде изящных подвесных мостов. Может, это очередная картина Альмы про монстра, но без монстра? Только когда он заметил маленького жемчужного червячка-пигмент, выдающегося на несколько миллиметров от полотна и соединенного с зацветающей веткой над ним тончайшими белыми линиями, Мик понял, что архитектор этой фиброзной энигмы – не какой-то паук-мутант, а, напротив, кроха – шелковичный червь, словно выдавленная из зубной пасты капля. И все же после находки этого необычно трудолюбивого индивида прошла почти минута, прежде чем Мик заметил, что от поверхности отстоят десятки, сотни висящих и поблескивающих катышков, бесконечно малое и бескостное множество, ставшее фактурой – брайлем влажных и бликующих шершавостей. Это было чудесно, и в то же время по коже побежали мурашки. Картина обессмертила один из тех электризующих моментов, когда природа раскрывается во всем своем чужеродном и пугающем великолепии, во всем своем бишоке. Догадавшись, что едва заметная под вездесущим ворсом листва принадлежит шелковице, он почувствовал скромный прилив удовольствия знатока кроссвордов от расшифровки хотя бы названия работы, хотя по-прежнему не понимал, как та связана с общим направлением выставки или вообще хоть с чем-нибудь.^[192]

Чуть наклонившись и уперевшись руками в колени, Мик переправил внимание к экспонату двадцать шесть, тут же внизу. В нем сразу узнавалась образная иллюстрация с простодушной привлекательностью классической детской книжки – например, авторства Артура Рэхема, – так что Мик снова почувствовал себя в своей тарелке, а заодно чашке с чаем Сони. Пройдя по опадающей стрелочке вверх, к ее источнику, он узнал, что эта называется «Ум за разум». Уличная сцена в мягких и блеклых пастельных тонах – розовых и сиреневых, зеленых и серых, – где на заднем плане высилась хвойная стена под беспокойным и разбухшим от дождя небом, которое тем не менее казалось чреватой краской,

имманентным от цветового спектра. От лесополосы катилась волнами затравенелая лужайка к обросшей камышом речке, медленно выходя по низу картины, ближе к зрителю, словно какой-то засыпающий питон. Здесь же на берегу, почти по пояс в остром тростнике, с величественной осанкой стояла пожилая дама с птичьей грудью, в вишневом кардигане и голубой юбке; ее некогда сиятельно-черные локоны теперь стали горкой пепла. Хотя теперь кожа обтянула череп крепче, чем во времена молодости, лицо все равно отличалось красотой; лукавое и умное, лучащееся бесстрашным любопытством. Мик отметил, что сестра совершила ошибку – промахнулась кисточкой с акварельной краской, так что казалось, будто у женщины косоглазие, – но это не умаляло притихшую, церковную атмосферу рисунка. Старушка, сравнительно маленькая, ожидала в нижнем правом углу картины, учтиво склонив голову, словно слушатель чужого разговора – пенсионерка Алиса в нужде на поле чудес под паром. Из практически стоячих вод слева и почти до самого верхнего края картины – чем, видимо, и объяснялись высокие и вертикальные пропорции рамы, – поднимался безобразный речной левиафан из двадцать первой части. Стебель его растянутого горла все рос и рос из рябщего кружева ряски, облаченный в слизь, толстый как мамонтово дерево, с головой-вагоном, шатко зависшим на вершине, покачиваясь в компенсаторных движениях, словно тросточка на ладони. Глубоко в глазницах – в обоих стволах ружья – засели трубачи: зловещий взор чудовища испытующе приковался к собеседнику-человеку. Не заметив их в прошлой репрезентации, теперь Мик разглядел, что у твари есть руки или плавники – что-то: растопыренные и паучьи дактили с натянутыми между ними выцветшими перепонками, хищные зонтики, поднятые перед пресноводным василиском и жестикулирующие, словно в житейском разговоре. Челюсти размером с пресс для ботинок отвисли на полуслове, и на метровом преполяре среди свисающей шкуры водорослей ручкой зацепился ржавый остов детской коляски. Аккуратно вычерченное

изображение – тут и там искусно размазанное каплями-кляксами, сферами-пузырями, где растворимые карандашные детали расплывались как спектрограммы, – светилось от дразняще знакомого микроклимата, который Мик в конце концов опознал по собственным подростковым экспериментам с ЛСД под руководством Альмы. Щекочущее лизергиновое предощущение начала утреннего мира в росе Эдема – так он это запомнил. И казалось из-за этого будоражащего и некомфортного ощущения, что перед ним опаловый предбанник безумия, ведущий лишь в перешептывающиеся коридоры, седативные монологи и кумулятивное остранение обыденного, знакомого и любимого. Спокойная, призматичная сцена предполагала, что за лицами в толпе могут скрываться такие неземные миры и невообразимый опыт, какие нельзя угадать, и что согласованный семейный Милтон-Кейнс массовой современной реальности не такой уж привилегированный. Застывший момент был окном, тронутым лиловостью, на заросшие меж бытия, на удаленные дебри фантомов и галлюцинаций, которые напоздали день за днем, разум за разумом на уличную сеть рассудка.

Покорив южное окончание восточной стороны яслей, Мик обнаружил, что вперед продолжения необходим поворот на девяносто градусов. Позади мультитрековый эмбиент района и многогласицы смешался в одного-единственного незримого человека, одержимого демоническим легионом, – из-за спины Мика, словно на переменном ветру, доносился заплетающийся хор разнородной глоссолалии. От экспозиции Альмы закружилась голова: неослабная бомбардировка очищенными и незнакомыми чувствами, полная полоумная противоположность камеры сенсорной депривации – уж скорее психиатрический ускоритель частиц, где мнения и реакция – продукт распада от столкновений эстетических атомов. Крепясь перед очередным штаммом высокоумной малярии, Мик пустился в предпоследний этап кружного мозгового сафари, изучая парные работы слева, на южной стене. Может быть, картины пейзажных пропорций размером с коробки из-под хлопьев для всей

семьи, снова друг над другом – двадцать седьмая над двадцать восьмой, – казались не такими внушительными, как предыдущие пробы кисти, но точно не менее загадочными.

Двадцать седьмая часть, помеченная «Горящее золото» наклейкой с зелеными каракулями сбоку припека, была не оригинальна – Мик, кажется, помнил, как Альма рассказывала о чем-то похожем от американца по имени Боггс, которого она расхваливала, хотя и детали исполнения были заметно другими. Нелепо увеличенная (а может быть, надутая) репродукция банкноты на такой тонкой, что почти несуществующей границе, отделяющей искусство от подделки, аутентично нарисованная ручкой и чернилами, как будто прямо на глазах вбирала в себя все больше абсурдных деталей. Это была двадцатка, с линией копирайта внизу, где обозначался нынешний год выпуска – 2006-й. Специфика типографии и серийные номера напоминали стандартную валюту, как и расцветка, и общая композиция, типичная для изощренной иллюстрации фальшивомонетчика. Но некоторые элементы были перенесены или изменены. Слева на банкноте, как на обычных деньгах, глядел направо профиль Адама Смита, смахивающего на амфибию, в виде мальвовой гравировки, – с лицом из порошка горечавки, камзолом и париком из спиралек отпечатка большого пальца. Только теперь пророк капитализма играл в гляделки с зеркальным профилем справа, где был не менее тщательно добавлен лавандовый бюст поп-террориста из K-Foundation и друга Альмы Билла Драммонда. Выросший в Корби шотландец с одновременно серьезным и сатиричным выражением буравил решительным взглядом полные самоуверенности безучастные саламандровые глаза архитектора бума и спада. Очевидно, на мирные переговоры надежды нет. На ничейной земле между мужчинами традиционную схему на тему булавоочной мануфактуры восемнадцатого века мастерски заменило запечатление, как Мик знал со слов сестры, известного сожжения миллиона фунтов Драммондом на далеком гебридском острове Джюра, куда Джордж Оруэлл отправлялся завершить «1984». На

фоне сферы – сложности спирографа, тонко заштрихованной разными цветами от сепии до клубничного, – в развалинах домика стояли четыре человека. Трое из них – сам Драммонд, его партнер по K-Foundation Джимми Коти и свидетель, телепродюсер Джим Рид, – метали лопатами хрустящие пятидесятифунтовые банкноты в пламя в центре, тогда как четвертый, режиссер Гимпо – бывший военный оператор – переносил на пленку алхимический процесс получения пепла из бабла. Вместо наложенных наверху сиреневых букв, где должно быть сказано «Банк Англии», появилась новая легенда: «Расхождение во мнениях о рабском производстве: (и вытекающее из этого падение количества рабов)».

Перейдя к двадцать восьмой части, внизу, Мик подумал, что эти сопоставленные экспонаты вполне может объединять идея рабства. Нижняя работа под названием «Балки и стропила» оказалась ярко приукрашенной репродукцией морской карты восемнадцатого века с включениями трехсторонних фигур. Поперек холста, связывая западное побережье Африки с Британией и Америкой, на ржавых крепежах на поверхности картины висели тяжелые звенья грязно-бурой железной цепи. Он настороженно искал скрытую иронию или смыслы – возможно, тонкие отсылки, затесавшиеся в старинную каллиграфию, – но ничего не нашел. Посыл этого произведения в смешанных техниках, похоже, был таким же резким и простым, как и казалось на первый взгляд. Запятнанный чаем чертеж с позабытыми изысками в написании и гадательными линиями побережий был западным взглядом на историю, картой, а не территорией, конструктом, который не существовал нигде, кроме как на бумаге, который пересмотрят, забудут, перерастут, утратят, – мироощущением, что рассыплется и развеется быстрее, чем пергамент, где оно записано пером. Но цепи – цепи реальны. Цепи событий, что нельзя изменить, останутся с нами навечно и будут иметь ощутимые последствия еще долго после того, как безнадежно устареют все прожекты, бумагомарание и торговые маршруты,

которые их выковали; долго после того, как каждый элемент на этом конкретном изображении вернется в пыль и прах.

Следующее включение, двадцать девятое, висело в одиночестве и больше напоминало беспокойное море бушующей гуаши. Здесь оказалась вся привычная Мику простонародная толкучка мюзик-холлов, словно из-под кисти английских модернистов девятнадцатого века. В лженочи зала зритель смотрел с дешевых мест среди зубоскалящих забулдыг на сцену, фокальную область картины внутри второй рамки – арки театрального просцениума. Перед истертым задником с грубо намалеванной копией фасада церкви Всех Святых позировали на подиуме между колоннами из бальсы или понуро сидели на коротком марше с широкими ступенями перед колоннами, сколоченными из дерева и раскрашенными под камень, странные актеры. От сидящей на лестнице на переднем плане четы – рассерженной дамочки и мужчины в броском желтом костюме в клетку, устроившихся на противоположных краях конуса прожекторного света, – веяло приморской атмосферой Панча и Джуди в пылу гиперболизированной супружеской ссоры. На приподнятых же досках позади них, как будто незамеченные, стояли несколько фигур в исторических костюмах – одинакового мелового белого цвета, но разных временных периодов, – и изображали с нарочитыми выражениями на присыпанных мукой лицах возмущение или удивление. Что это, какая-то сверхъестественная трагедия, «Макбет» или «Гамлет» с лишними призраками? Между тем ближе к наблюдателю расселось стадо пошлой и улюлюкающей публики, глядящей спектакль с непристойным увеселением, гневом или похотью. Сквозило неряшливой пролетарской энергией, которая того и гляди вырвется из узды в пегом свете и пивном мраке. Наспех приклеенное зеленое пояснение к картине – с отделившимся от уголка скотчем, отчего наклонный почерк стало еще труднее постичь, – не спешило помочь и гласило «Ступени Всех Святых». Мик не понял, что это все значит. Сидящая пара, одетая по моде 1940-х,

мало чем отличалась от бесцеремонной толпы, которая их освистывала. Потому их неуют и дискомфорт казались какими-то современными и естественными, а не просто сыгранными. Но если это и так, притворные привидения, вышагивающие и жестикулирующие за их спинами, все-таки заходили на неуместно комедийную территорию. Картина тревожила своей странностью и бессвязностью, ощущением, что что-то очень личное между четой на лестнице превратили в мелодраму, спектакль, подвергли осмеянию честно заплатившей за билеты публики, а их самих заставили корчиться в софитах и терпеть насмешки даже от привидений-спецэффектов. Это был личный момент на открытом воздухе, который перетащили в четыре стены, в разгульную аудиторию на потеху неразборчивому сброду, и этот перенос действовал на нервы не меньше, чем ворона в помещении. Выставили себя на посмешище – это, что ли, пытались сказать произведение?

Мик все еще крутил полотно в мыслях – аккуратно, как гранату или ежа, – когда передвинулся к тридцатому экспонату. При этом ему пришло в голову, что сверху он и остальные гости наверняка напоминают фишки, передвигающиеся по периметру вытянутой комнаты, чтобы не наступать на поле стола посередине, – пешки в несоразмерной настольной игре из тех, что выстелили бессонницу его предыдущей ночи. Он оглядел зал, пытаясь понять, кто из остальных посетителей – шотландский терьер, а кто – цилиндр. В дальнем углу, рядом со страшным кадром с ошпаренным лицом Мика, Альма, похоже, выслушивала отповедь от Люси и Мелинды – очень возможно, по поводу жестокого и все же изобретательного портрета, рядом с которым они стояли. Так ей и надо. Наподдайте ей. Зрительское население яслей проредилось за час-полтора с тех пор, как открыли дверь, но не настолько, чтобы намного облегчить его продвижение по раздражающей тропинке «Монополии». У распахнутой двери Берт Рейган, похоже, затыкал за пояс Теда Триппа и Романа Томпсона в матче по раскатистому смеху – не требующая ума вариация разгрома сразу двух шахматных

оппонентов одновременно. Невдалеке с Дэйвом Дэниелсом стоял бойфренд Рома Дин и разглядывал дерущихся великанов, пока те охаживали друг друга залитыми рудой киями. За кадром, в дремлющих субботних Боро, лаялись псы. Вновь нацелившись на тридцатую часть, Мик сдвинулся на следующее поле маршрута, чтобы получить штраф или построить отель. Клетку «Вперед» и клетку с двумя сотнями фунтов он почему-то здесь не заметил.

Тридцатая работа называлась «Полный рот цветов» – пейзажная и замкнутая в тонкую серебряную рамку, – остекленелая акварель на гладкой поверхности белой доски. Больше любых других картин она напоминала о первом роде занятий Альмы – иллюстратора обложек научной фантастики, – и была на любителя, хотя у этого любителя бы от нее захватило дух. Сеттинг – колоссальный пассаж, как будто знакомый по тринадцатому экспонату, но уже в новом, плачевном состоянии, с поросшим тропической растительностью замшелым полом, причем эти домашние джунгли тянулись через разбитый потолок к бесподобным созвездиям: сразу и интерьер, и экстерьер. С проеденных коррозией зубцов, оставшихся от высокого и провалившегося перекрытия и посеребренных светом незнакомых звезд, свисали километровые лианы, переплетенные в витых парах. В астральных сумерках влажно хлопали крыльями мотыльки выдающихся размеров, разбухшие доски занялись огнем орхидей, и весь этот ветхий Элизиум был только задником для неожиданного видения, несущегося слева направо по нижнему первому плану. Со сложением плюгавым, как на анатомической схеме, с кожей прозрачности жиронепроницаемой бумаги, с волосами пенисто-белыми, как гребень волны, по заросшему бульвару рысил в чем мать родила топчущими мейбриджевскими шагами старик. Глаза из-за напряжения выкатились, щеки перекосило от скорости, а из набитого рта просыпались блестящие лепестки, уносясь позади в реактивной струе. Плечи шустрой развалины оседлала светившаяся от красоты малышка – ее расплавленные светлые кудри смазались свадебным шлейфом кометы, пока она проносилась через этот

последний лес верхом на горячем старце-жеребце. Из-за противопоставления возраста аллегорические интерпретации напрашивались сами – новорожденный мир едет на спине изможденного предшественника, или старый и новый год вдвоем опаздывают на встречу с еще не виденным тысячелетием. Это был символ какой-то трассы – или, быть может, человеческой расы, – спроецированной в четвертое измерение, в жонглирующий континентами и сметающий империи медиум времени. Эта вынужденная и торопливая миграция через решето границ чуждого будущего, где нет речи, казалась невыносимо тяжелой. Может быть, восприятие затронуло и собственное переутомление Мика от искусства, но ему показалось, что старичок и вид, который он символизировал, все бы отдал за добрую передышку. Он уже сам хотел приблизить этот исход, поспешив к следующей презентации в последовательности, когда позади раздался голос: «Эй, эт ты бушь Альмин братец?»

Справа от Мика, перед тридцать первым экспонатом, чем-то напоминая вопросительным наклоном пыльно-серой прически длинноногую птицу, на него искоса глядела мама Берта Рейгана. Он обнаружил, что она мгновенно ему понравилась уже благодаря переливу костяной арфы в акценте и манере держать сумочку, как судья на фигурном катании держит счет. Это была приязнь с первого же аспирата.

– Точно. Я Мик. Я вас знаю. Говорил недавно с вашей гордостью, он мне все рассказал.

Она скривилась.

– Моя гордость? Эт ж мой сервиз. Кой черт ты с ним разговариваешь?

Смех Мика вырвался из живота откуда-то глубже, чем обычно, – из микроскопических Боро в его биоуме, где кишечная фауна передавала гласные, но не определилась с политикой по согласным. Тут же ставшая такой родной собеседница вступила с собственной аккордеонной гаммой копченого хохотка, бросив многострадальный

взгляд на татуированного и гыгыкающего рыжего отпрыска, треплющегося у входной двери с Триппом и Томпсоном – встреча бывших матросов из пиратского десятилетия, которое давно пошло на дно со всей командой.

– Ух, он. Ну, ты-т его не слушай. Иль чушь городит, иль че такое удумал, что держись. Но че эт с твоей сестрой, с картинами? У нее с головой не в порядке, у твоей Альмы, а? Видела ту здоровую, где ты весь в прыщах. А эт ж сестра твоя родная, не враг какой. Не, канеш, много тут диво дивное, а? Прост как-т не по-доброму.

Он зачаровался ею – такой легкой, седой и местной, словно завиток дыма из кирпичной трубы на заходе, – приворожился задушевно закатистым карканьем, во всем напоминающем о Дорин, полным угля и радости. Сразу видно, что она была красоткой, причем не так уж давно.

Он обнаружил, что смутно жалеет, что не знал ее раньше. А может, как раз знал, или хотя бы замечал, когда она была моложе, что и объяснило бы острое чувство близости, которое он сейчас испытывал и которое не могло основываться на одном только каноническом статусе женщины из Боро, тут он был уверен.

– Нет. На доброте вы ее не поймаете. Слушайте, это у вас акцент Боро, да? Вы жили в округе? Уверен, что где-то вас видел.

Ее лицо вытянулось, а губы укоризненно сложились, и она смерила его из-под приопущенных век так, словно он не заслужил открытого взгляда. Это выражение так часто примеряла его мамка, когда обращалась к нему или Альме, что Мику приходилось напоминать себе искусственно, что она так выглядела не всегда. Мать Берта поцокала языком – больше из жалости, чем из насмешки.

– Канеш я из Бору, а как же. Откель ищо, с луны, что ль, полушка бестолковая? Мы жили в конце Ручейного, такшт я ни разу не опоздала в школу.

Когда его в последний раз называли «бестолковой полушкой»? Полпенни. Он наслаждался этим непонятым оскорблением. Оно

уходило корнями в более цивилизованный век, когда самым суровым эпитетом было сравнение с отмененной валютой. Увлеченная потоком воспоминаний после упоминания дома детства, она продолжала, уже не обращая на него внимания.

– О-о, как же тут было славно, в Боре. Мне тута больш всего нраится Ручейный, который собразила твойная Альма, весь из стекла. И ты уж не жалуйся, как она тя выставила. А со мной она лучше, что ль? Нет, тут было славно. Тут жил наш папка, на улице Монашьего Пруда, когда мы уже переехали в Кингсли. Помню, када наш Уильям ток научился ходить, я водила его сюда, чтоб он глянул, где меня взводили.

Мик запинался, пытаясь угнаться за ее повествованием. Ему показалось, она сказала, что где-то на выставке есть ее изображение, и он уже раскрывал рот, чтобы спросить об этом, но тут сбило незнакомое имя. Его лоб повело морщинами.

– Уильям?..

Надув щеки, она покачала головой и поправилась.

– Знашь, вечно я забываю, что вы-т его не так зовете. Вы-т его Бертом. Его так однажды учитель в школе назвал, вот и прилипло. А у нас-то он Билл не то Уильям.

А. Точно. Да. Да, теперь он помнил, как Альма что-то говорила, что-то в этом духе: футбол в школе; учитель с секундным провалом в памяти, выкрикнувший первое имя рабочего класса, которое пришло в голову, и обрек Уильяма на жизнь Берта. Но было в этой истории что-то еще, да? Какая-то дополнительная деталь к этому анекдоту, на миг нашарившая опору в мусоропроводе памяти Мика. Что-то насчет... Берт, Билл, что-то насчет... нет. Нет, все, навек свалилось в цензурную тьму забытого, безвозвратного. Он хотел было спросить мамку Берта – свою новообретенную девицу с плаката о стойкости в невзгодах, – не помнит ли она тот самый утраченный компонент истории, но в этот момент их упоительный разговор пресек вопль ее раскованного сына, акустически эквивалентный сбежавшему кабану на свадьбе.

– Кончай, Филлис, он женатый человек, а ты не на Бутс-Корнер юбкой крутишь. Пшли домой, пока ты нас не опозорила, – Бертовские черты цвета мясного рулета раскололись в щербатом хохоте, скабрезном и двусмысленном даже в беседе о свечах и канделябрах – сид-джеймсовский каскад клокачущих каламбуров без цели и нужды. Голова его матери развернулась, как старинный «Спитфайр», юркий и удивительно маневренный, а глаза проглядели дырки по всему фюзеляжу ее отпрыска.

– Я тя опозорю? Ты мя позоришь с самого рождения. Как впервой завопил, так уже напомнил забитый нужник, а видом был такой страшный, что не сразу от последа отличили. Мы уж приволокли его домой и окрестили, пока не опаматовались. Я нас опозорю? Я те покажу «опозорю», шут гороховый...

Открыв нагоняй из всех орудий, она наконец зачехлила острый язычок и одарила Мика светлой и подкупающей улыбкой от Нацздрава.

– По всему видать, пора мне. Славно было поговорить. Надеюсь, еще увидаю ты постаршей.

И на этом она заломила вираж в искристый дребезжащий штопор и пошла на таран обреченной, но все еще гогочущей мишени, раздумянившейся от смеха, – на Красного Барона.

– Ты погоди, как доберусь до ты, никчемный хлама мешок. Ты не думай, что побоюсь те во сне кочан кирпичом раскроить!

Вихрящаяся пыльная буря свирепой энергии и серых оттенков, она вырвалась в открытую дверь яслей мимо уважительных поклонов Романа Томпсона и Теда Триппа – шаровая молния на сквозняке, – выгоняя непутевого сына в исчезающий квартал. Мик покачал головой с восхищенным удивлением при встрече со считавшимся вымершим видом – целакантом из муниципального жилья. Глядя ей вслед, он снова обнаружил, что его ни с того ни с сего захлестнула тоска, какая-то нелепая в случае расставания всего после трех минут разговора. А казалось, что он встретился с первой любовью из начальной школы, не меньше, – этот бессмысленный

остаточный восторг сердца, сладкая и бесцельная печаль по альтернативным вселенным, которые он никогда не узнает.

Не впервые озадаченный механикой собственных эмоций, он перебрал реквизированное на время внимание к задаче по преодолению пяти оставшихся картин в шпицрутенах загадок его сестры. Продолжая там, где его застало такое увлекательное отступление, Мик занял место сразу перед тридцать первым экспонатом, освобожденное мамкой Берта Рейгана – кажется, Берт назвал ее Филлис. Согласно болтавшейся виридиановой прищепке, название – «Загнан». Работа гуашью занимала холст приблизительно в квадратный метр и во многом казалась панданом к четвертой части – «Неприкаянным», вплоть до почти симметричного расположения ближе к концам длинной последовательности. Обе работы были сценами в современных пабах и достигали основного визуального эффекта противопоставлением чумазого монохрома и цвета, хотя если на прошлой картине на поле буйных красок была только одна черно-белая область, то на этой он видел ровно противоположную ситуацию. Итак, вид сверху на людную стойку бара, которую Мик не узнал, внизу слева одинокая фигура, написанная яркими натуралистическими оттенками, – пухлый человечек с кудрявыми белыми волосами, сидящий за угловым столиком, – тогда как разгульная толпа, заполнявшая сцену вокруг него, от стены до стены и от края до края, была выполнена в палитре обугленных окурков и туалетного фарфора, серых цветов ногтей. Бледные пьяницы кутили, веселые даже в унылости, но все же казались лишенными жизни и современности, словно счастливые мертвецы – вудбайновые духи невыветривающегося прошлого. Человек в нижнем углу с сегодняшними красками и тканями казался исключенным из волнующейся давки призраков, словно это не он их себе представлял; словно это не картина о проклятом в пустом баре в окружении праздника ушедшего, проецированного волшебным фонарем. Но все указывало, что толпа – густые и стыдливые

миазмы, каким-то образом источаемые единственным посетителем телесного цвета, загнанным в угол зомби-ордой социальных проблем, прошлого, памяти.

Он сдвинулся правее, ступая на запад мучительными шажками, – фургон, запряженный улитками паломино, дрейф человека-материка. Так он оказался у самой южной оконечности западной стороны яслей. Осталось всего полстены – и он с чистой совестью сбежит в уютный мир без искусства. Экспонат номер тридцать два – именованный «Руд в стене» – сходилась в пропорциях с предыдущей частью и на поверку оказался тем самым изображением, которое спровоцировало гневное отбытие Боба Гудмана, – по крайней мере, так заключил Мик. Хотя подавляющее большинство художников, о ком упоминала его сестра, были для него темным лесом, за годы он хотя бы понаслышке познакомился с необычным творчеством Уильяма Блейка и узнал в произведении перед собой некий композит, модифицированное смешение таинственных образов ламбетского визионера. Преобладающая чернота, напускающая ощущение подземелий и похорон, в верхних пределах акварели разгонялась освещенными альковами, где, словно мемориальные статуи в мавзолее, господствовали надписанные лики. Наклонившись, он пробежал по именам на потрепанных бумажных свитках, как на гилреевских диалоговых облачках: Джеймс Херви, Филип Доддридж, Гораций Уолпол, Мэри Шелли, Уильям Блейк и несколько других, торжественные и глубокомысленные, расцветенные свечами в кладбищенской тьме. Их благочестивые потупленные взгляды, казалось, устремились – больше в жалости, чем в презрении, – на скорчившегося голого великана, ползущего, пресмыкаясь, на четвереньках по беспросветному туннелю с подпорками, склоненную голову которого отягчала массивная золотая корона. Мик узнал человека, хотя и только при посредстве вспомнившейся обложки альбома «Атомик Рустер», – это был кающийся Навуходоносор Блейка. Только омраченные проклятьем черты павшего вавилонского монарха заменила асимметричная

физиономия жертвы подначек его сестры, актера Гудмана, как будто служившего Альме офисным резиновым шариком для снятия стресса, сосудом для безысходного фонтана оскорблений в случае, если Мик болел или уезжал в отпуск. Единственным другим элементом мизансцены, который он не припоминал в точности из Блейка, был грубо вытесанный крест, вделанный в осыпающуюся каменную кладку по центру картины, сразу над распростертым ниц чудовищем, но ниже сочувственной аудитории из готических святых. Картина не имела особого отношения к его собственному краткому знакомству с детской смертностью и вообще к Боро, но то же можно было сказать о большинстве мнимых произведений искусства, включенных в давяще ограниченную, но все же пространную выставку.

Вспоминая спортивные суеверия о взгляде на финишную черту до того, как ее пересечешь, Мик исполнил неловкий вариант военного поворота направо, который выучил в Бригаде мальчиков, и, к своему огромному облегчению, увидел, что между ним и подпертой дверью – между ним и свободой – осталось всего три декоративных барьера. Еще лучше – первый из них, с которым он сейчас столкнулся, оказался маленьким и простым. На несущественной страничке чего-то вроде бумаги для пишмашинки, приклепленной к стене яслей, словно каляка скороспелого ребенка в день родителей, был текучий и выразительный карандашный рисунок с блуждающей линией, естественной, как апрельские сорняки. Даже не побеспокоившись в этом случае этикетажем, Альма просто нацарапала «Веселые курильщики» в верхнем левом углу самой картины, хлорофилловым цветом. На рисунке был изящный и хрупкий обрывок церкви Святого Петра – паперть заброшенного здания из медового камня и черная грудная клетка крыши, колосья пырея, выбивающиеся между плит у открытой калитки. В темной нише дремала лежащая фигура, вытянув носки кроссовок ко зрителю, пока все остальные признаки телосложения, возраста, пола или расы скрывались под скользкими припусками и волнами

незастегнутого спальника, накинутого поверх. Росчерки серебристого графита разворачивались и любовно сбегали по накрытым контурам, неподвижному намеку на фигуру, отвлекаясь на исследование замысловатой топографии каждой пышной складки. Чем больше Мик всматривался в обманчиво скудную композицию, тем больше сомневался в первом умозаключении, что это всего лишь этюд со спящим бездомным. Из-за натянутого на лицо мешка в образе имелся какой-то покойнический аспект, который невозможно было игнорировать. В задрапированном оцепенении сна или кончины раскинувшаяся фигура занимала неуверенное и неопределенное пограничье между этими состояниями, во многом как у того физика, который либо траванул кота, либо нет. Мик не смог прийти к определенному выводу, не считая того наблюдения, что, вопреки названию, на отображенной сцене не было ни курильщиков, ни намека на веселье.

Снова отправившись на север, он подобрался к следующей картине, являвшей, осознал он с екнувшим сердцем, предпоследний экспонат. Квадратная работа маслом, столь же просторная и лучезарная, сколь скромной и непретенциозной была предшественница, судя по присобаченной рядом бирке, называлась «Отыщите эту проклятую». То, что сперва показалось раздражающе обычной и даже геометрической абстракцией – Милтон-Кейнсом от отчаявшегося Мондриана, – при ближайшем рассмотрении предстало хитроумно воплощенной репродукцией настольной игры – собирательным полем по шаблону «Змей и лестниц» с роскошно усовершенствованной доской, где каждая клетка носила декоративную цифру или иконографическую миниатюру. Мик с некоторым испугом осознал, что сюжетом игры, похоже, являются амурные перипетии Дианы Спенсер – знакомый по таблоидам Крестный путь: солнце сквозь тонкую юбку, подчеркивающее ножки; портрет у ворот с Чарльзом; игривый взгляд на Мартина Башира или последняя публичная улыбка перед задними дверями парижского «Ритца», – сведенные к размеру почтовых марок-переростков. Схема

настольной игры с пронумерованными квадратиками придавала этим случайным моментам нервное ощущение безжалостной, неудержимой линейной прогрессии к predetermined исходу: прибытию на последнее поле, рано или поздно, вне зависимости от того, что выпало на кубике, – исход, очевидный с начала игры или более того – с открытия целлофана на коробке рождественским утром. А напугала Мика маловероятная связка настольных игр и Дианы Спенсер – прямо как в его бессонных думах вчерашней ночи. Вполне очевидно, это не более чем совпадение, и даже, если подумать, не столь уж и примечательное. По большому счету, мысль о жизни блондинки из Олторпа как о причудливой и фаталистической партии в «Клюдо» – не такая уж натяжка. И все же на миг сердце заколотилось.

Он начал подкрадываться к последнему цветастому препятствию между ним и разверстой дверью яслей. Внутренне Мик играл в игру, где он со всеми остальными посетителями были сумрачной толпой каторжников культуры, шаркающих по плацу, гадая, ждут ли их еще снаружи жены и любимые. В надежде, что его на заметят с пулеметных вышек, которые он уже расставил в воображении по углам комнаты, Мик потянулся к незапертым тюремным воротам и искренне ойкнул, когда почувствовал тяжелую руку охранника, упавшую сзади на плечо.

– Слушай, Уорри? Наша зажигалка у тебя?

Мик обернулся и угодил под ближний свет глаз его старшей сестры – взгляд отрешенного и равнодушного василиска, которому попросту влом превращать людей во что-то большее, чем каменная облицовка. Альма казалась ушедшей в мысли и – о ужас – слишком рассеянной, чтобы его оскорбить. С упоминанием местоимения она даже переклассифицировала зажигалку из категории вещей, принадлежащих ей одной, в их долевою собственность, а это само по себе предполагало смягчение политики. Альма что, заболела? Он запустил руку в карман джинсов в поисках потребованного артефакта. Передавая, он чувствовал своим долгом задать вопрос.

– Уорри? Все хорошо? Ты что-то сама не своя. Ты какая-то рассудительная.

Забирая зажигалку без всякого «спасибо», что уже хотя бы больше похоже на ее стиль, сестра тряхнула висячими садами на голове в направлении водруженного на стол макета Боро, напоминавшего одного из грызунов района в том, что, как в старой поговорке, от него никуда не денешься дальше чем на шесть футов.

– Да вот. Все еще что-то не так. Не говорит то, что я хочу сказать. Оно говорит: «О-о, посмотрите на Боро. Вот же было славное место, с историей да характером?» Но все местные фотоальбомы, на которых я основывалась, и так это говорят, нет? Нужно что-то еще. Спасибочки за зажигалку, кстати. Отдам, как только будет не нужна.

И снова – что за странная вежливость и забота. Альма унеслась – видимо, поднимать настроение и просмолить дорогу к решению своей заголовки. Набрав полную грудь воздуха в предвкушении, Мик обратил взоры на экспонат тридцать пять – последнее включение в выставку, озаглавленное рваным клочком бумаги «Должностная цепь». Портрет, снова гуашь, ростовое исследование одной фигуры на фоне чудесных зеленых водопадов – голые факты картины набились в поле зрения Мика и не позволили воспринять ее в полном охвате. Ошеломлял уже сам одноцветный фон с кипишением крапивы, лайма и перидота – экспериментальный бульонный привкус заросшего по колено ярмарочного поля, лепечущего зрелого луга, кладбищенского мха. Персонаж картины, закинувший руки к небу в приветствии или благословении, производил важное впечатление благодаря названию картины и отчасти благодаря заглавному медальону, висящему на шее. При ближайшем рассмотрении металлически-серый гонг оказался крышкой от кастрюли, а его цепь ранее сослужила службу на бачке в уборной. Из-за множества отсылок, пролетающих мимо понимания Мика, он чувствовал себя под брющим обстрелом Мелвина Брэга [193], но хоть одну эту наконец-то уловил; эту узнал. Мятая крышка явно была аллюзией к отжившему обычаю Боро назначать какого-

нибудь сомнительного человека собственным мэром района – острая сатира, разыгрывавшаяся на Мэйорхолд, на месте Гильхальды – первоначальной ратуши города, чтобы высмеять правительственные процессы, из которых давнее население Нортгемптона было исключено уже тогда. Впрочем, в данном случае самоуничижительное свойство жестяного талисмана подрывалось парадным одеянием на плечах центрального персонажа, украшенным богаче, чем любые одеяния сановников реального мира. Вдоль полы бежала оторочка из скрупулезно нарисованных булыжников мостовой, сереющих и потресканных от нефритовой травы на стыках, а у воротника...

Это же он.

Человек на картине – это же Мик. Это лицо Мика, переданное идеально, даже вплоть до блика из размазанной глазури на полысевшем лбу, хотя после недолгого изучения он понял, что это гениальное правдоподобие на деле обусловлено тем, что краска еще не высохла. И даже так лицо узнавалось безошибочно и, сказать по правде, атипично льстило. От искренних голубых глаз до обаятельной улыбки – Альма сделала из него красавца, по крайней мере в сравнении со всеми предыдущими появлениями в течение этого показа – либо в виде желтоперого карапуза, либо в виде клиента ожогового отделения с лицом, пострадавшим больше, чем у сфинкса. Если бы он раньше знал, к чему ведет вся выставка, он бы и вполнину не был так сварлив или придирчив в прошлых оценках. Но теперь он чувствовал себя виновато и неловко, а почти наверняка этого эффекта и добивалась его сестра, если он вообще знал Альму. Иначе она бы хоть что-нибудь сказала, когда несколько минут назад подскочила стырить зажигалку, пока он стоял с картиной под боком, которая мифологизировала его, которая искупала все предшествовавшие жестокости. Так как Мик стоял лицом к западной стене яслей – единственной с окнами, – он оторвался от «Должностной цепи» и выглянул через заляпанное стекло, чтобы увидеть, как она мечется, попыхивает, протаптывает

еще больше тропинок на лысом пяточке снаружи, но ее видно не было. Первой мыслью стало, что она так расстроилась из-за какой-то неудачи с миниатюрными Боро, что случился нервный срыв и она сбежала: подстроила смерть, сменила внешность, научилась хромоте, купила билет в другой город. Больше никто и никогда не увидит Альму Уоррен, несостоявшуюся макетчицу. Хотя он был почти уверен, что так и случилось, все-таки решил наскоро осмотреться в галерее за спиной, прежде чем оповещать СМИ.

Его сестра, как оказалось, не успела добраться даже до входных дверей, как ее осадила влюбленная или разочарованная публика. Более того, она была от дверей даже дальше самого Мика – оперлась на противоположную, восточную сторону стола и прожигала взглядом дело рук своих, как недовольный Иегова, разве что сменивший бороду на помаду – впрочем, о вкусах не спорят, ничего плохого тут нет. Больше тревожило то, что ее взяли в тиски две престарелых дамочки, которых Мик заметил раньше и которые ускользали от взгляда весь день. Они стояли по бокам от Альмы, пока та сгорбилась над кварталом из папье-маше, словно чудовищный террикон, где больше шлака, чем обычно, готовый накрыть съёженные Боро разрушительной лавиной бирюзового пуха и обиды. Эти бабки, в паутинах морщин и с кожей, больше напоминающей грязь пересохшего водоема, по очереди наклонялись и бормотали свои мнения на разные уши погруженной в думы и депрессию художницы, хотя Мик сомневался, что совет женщины с глухой стороны пойдет Альме на пользу. С глазами сияющими, как ложный маяк береговых грабителей, его сестра неподвижно уставилась на преуменьшенные дороги своего реконструированного мира и даже не смотрела на женщин, пока они с ней говорили – судя по виду, подбадривали, – но отвечала на их замечания мрачными кивками. Невероятно, но казалось, что Альма не только впервые прислушивалась к чужому мнению о ее творчестве, но даже с ним соглашалась. Двоица, очевидно, упивалась каждой минутой аудиенции с подавленной и

нехарактерно уступчивой мастерицей. Их глаза блестели в глубине орбит из мягкого папируса – искры от сапожных гвоздей по мостовой, – а усохшие головы с шепотом ныряли одна за другой – учтивые стервятники, поклевывающие печень Прометея. Хотя из-за гула галереи было невозможно услышать, что они говорили его родственнице, Мику казалось, что они организовали сеанс ободрения, уговаривали Альму верить в себя и сделать шаг еще дальше, дойти до конца. В общем, что-то в этом роде. Старушки тыкали крабьими лапками пальцев в макет на столе, пока та, что с правой, глухой стороны Альмы, раз за разом складывала губы в словах вроде «давай» или «вперед» – что-то из двух слогов. А Альма кивнула, словно прислушивалась к непреложному мнению, принимала карьерные советы от двух явно спятивших мегер, о существовании которых девяносто минут назад и не знала. Все такой же далекий от понимания сестры, как в семь лет, когда она выстрелила в него ядовитым дротиком, Мик отвернулся к «Должностной цепи», чтобы продолжить осмотр.

Уже оправившись от осознания, что последним субъектом выставки был он, Мик смог по достоинству оценить и прочее содержимое картины, особенно великолепную мантию, в которую сестре возжелалось облачить центральную фигуру. Висящие складки тяжелого бархата расшиты изящными нитями золота – позолоченный кракелюр, в котором – на зрительном расстоянии нескольких дюймов от поверхности картины – проступала карта сокровищ местности, где родился Мик. Эта была такая карта, где трехмерные области выступают, только он не мог вспомнить их название. Он видел абрисы дороги Святого Андрея и Школьной улицы, Ручейный переулок и Алыи Колодец в виде отвесных и параллельных плиссе, церковь Доддриджа на косой бейке, смятые захоронения, собравшиеся у зашипов. Ему показалось, что в случае объемных зданий и проекций исчезнувшей картографии – примерно как с проблемной диорамой Боро, – Альма задумала последнюю часть так, чтобы повторить все остальные работы

выставки в миниатюре. Он всмотрелся в изображение, отбросил мишуру и увидел, что его облагороженное подобие вместо запонок носило маленькие приклеившиеся панцири улиток – по пестрой спиральке на каждом рукаве. Он увлекся этими окаменелыми изделиями, пытаюсь установить, содержатся ли в них еще обитатели-моллюски, когда услышал отчетливые тихоокеанские переливы голоса приятельницы Альмы – Мелинды Гебби, – выделившиеся из подложного шороха, и тут началось.

– Альма, ты охренела вконец, а ну бросай, на хрен!

Мик обернулся из одного только праздного любопытства и столкнулся с тем единственным образом из этого частного просмотра, который заберет с собой, – поистине незабвенной сценой. Его сестра с пустым выражением лица – либо невинным, либо виновным настолько, что уже плевать, как у святой или серийной убийцы, – навалилась над Лошадиной Ярмаркой и улицей Святой Марии, протянув руку над Замковой улицей и Домом Петра к Банной. Старушки сгрудились позади, обнялись и исполнили неуклюжий танец вприскок. Огромные глаза Люси Лисовец как будто изготовились выстрелить из орбит через всю комнату под растущий вой сирен ее голоса.

– Альма-а-а-а-а-а!

Прижав дрожащий язычок сине-желтого цвета из огнива зажигалки Мика, Альма позволила ему попробовать на вкус симуляцию голубинового помета, спекшегося вдоль кромки масштабированного Деструктора. Очевидно, тот попросил добавки. Жидкие воспламеняющие рюши цвета индиго пролились к основанию по ламповой саже башни-трубы с пугающей споростью, пуская при этом к сенсорам на потолке едкие и вполне настоящие дисперсные клубы. Все вспыхнуло моментально – целиком построенное из материала, созданного как раз для этого, – и в проглянувшей опаске на лице стало видно, что даже Альма оказалась не готова к ужасающим темпам игрушечного бедствия, которому только что дала волю.

Разбегающийся дрок возгорания объял Бристольскую улицу и ее околотки, фигурка чумной тележки и сантиметровая кобылка, тащившая ту в устье улицы Форта, обратились в загибающиеся изгарины и вмиг исчезли. Отрыжка поджога опалила узкую горловину Мелового переулка и сплюнула испепеляющую желчную рвоту на Лошадиную Ярмарку, где скорчилась нераскаявшейся на колу анахроническая башня в ведьминской шляпе на Холме Черного Льва и свернулась ползучими шарфами из золота. Инфернальные реки хлынули по давно пропавшей Медвежьей улице и затопили Мэйорхолд огнеопасным паром, где в свете исчезли троплейные витрины лавок сладостей, после чего мерцающее сияние взобралось по порезу переулка Бычьей головы на Овечью улицу, где огонек прошелся почесухой по бумажной отаре. У церкви крестоносцев роились жаркие рыжие черти, распуская ее шпиль на искры и проедавая в толстостенном круге воющую пасть, красную как тавро, пылающий тор, кольцо на мизинец ангела Апокалипсиса. Раненый квартал приласкало милосердие, яркое и прижигающее. На Лошадиной Ярмарке в доме Хэзелриггов среди хилиастического трута, обритых черепов, о которых можно зажигать спички, плюмажей кавалеров, дымящихся на ювелирных сандриках, заклали койку Кромвеля. От обугленного пня дымохода на Банной улице по блошиному цирку района расширяющимся сапфировыми кольцами бежала горячая рябь, словно от палой звезды в бензиновом пруду. Всесожжение плясало на Широкой улице и на Беллбарне, испаря форты Армии спасения и не оставив ни единого парикмахерского столба незаренным. Белье из «Ризлы» в центральном дворике «Серых монахов» хлопало крыльями феникса, промокшее от проливного пламени, а все шесть дюжин питейных на поджаривающихся террасах объявляли последний заказ и поддавались неводержанности иной природы. Святой Эльм флиртовал с верхними этажами высотки Святой Катерины, скача в прайм-тайм между трудоемких телеантенн на улице Марии, сентиментально повторяя траекторию предка времен Реставрации, а

по Конному Рынку текла мученическая Ниагара, волоча позади свадебный газ удушливого смрада. Кратко корчилась кремирующая лепка на архитравах Святого Петра. Игрушечный холокост достиг очищения, с которым управа Боро возилась без нескольких лет век, за считанные секунды, удаляя мощеную историю под прокатившимся в брызгах огненным колесом, и в этот раз никакой западный ветер не гарантирует, что возрожденным быть лишь сгоревшим перчаточным и шляпным Шелкового ряда и окрестностей. Короткая череда домов на дороге Святого Андрея, от улицы Алого Колодца до Ручейного переулкa, стала припадком пепельного Ротко – какой-то термальный каприз пощадил только здание размеров «Монополии» на южной оконечности этой линии. Клубы мальчиков и букмекеры, мужеложеские уборные и угловые забегаловки занялись в пирокластическом потоке от Регентской площади к основанию Графтонской улицы, и танцевальная школа Марджори Питт-Драффен на нынешнем месте выставки Альмы извергала из открытых дверей вздымающиеся белые тучи в микрокосме здания, на основе которого была создана и в котором находилась. Режущий по носовым пазухам и слезным протокам, огонь хотя бы выпытал тот плач, какого не сумели выжать поэтапные сносы в течение нескольких декад. Сердечный район в виде настольного факсимиле выгорал дотла в перемотке под похоронный марш неумолчных воплей паникующих детекторов.

Все это заняло какие-то мгновение, роза катастрофы расцвела и увяла в таймлапсе, погрузив ясли в клубящуюся непрозрачность, где все кашляли, ругались, смеялись, ковыляли к выходу. Почувствовав горечь горячей бумаги на ничейной земле между носом и горлом, Мик вслепую побрел на свежий воздух и свободу. На пути он столкнулся с питбулем в тумане, идущим на задних ногах, который оказался Тедом Триппом – бывший грабитель вел перед собой подружку Джен, и для обоих это казалось скорее развлечением, чем травмой. У двери справа оглядывался через плечо на топчущее мимо и перхающее стадо беловолосый плотник с первого экспоната,

а слева стоял сам Мик в мэрской мантии с задранными руками, словно ими разводил: «Это все она. Я тут ни при чем». Он вывалился на зачесанный газон, на прилипшие к дерновому скальпу зеленые локоны, волоча за собой душные ленты. Прижав ладони к слезящимся глазницам, он размазывал жгучую влагу по скулам, пока снова не обрел дар зрения.

Вход в ясли все еще изрыгал дым и людей на самый что ни на есть приятный день. Грозные громилы успокаивали друг друга, что они в порядке, астматические анархисты хрипели на повороте с улицы Феникса, а Роман Томпсон изо всех сил старался соглашаться, пока его парень говорил, что нет, серьезно, это уже несмешно. Отходя в направлении «Золотого льва» на Замковой улице, Мелинда Гебби помогала ошалелой Люси Лисовец придумать отговорку, по которой во всем виноваты неопознанные алкоголики с улицы, пока последние тарашились со стороны, как баран на новые ворота, – этот эффект Альма часто производила на своих знакомых. Где-то позади Мик услышал, как Дэйв Дэниелс спрашивает: «А где Альма?» – и только начал представлять, что выставка могла задумываться как викингский погребальный костер, как через дымящийся портал, словно в хеллоуинском выпуске «Звезд в их глазах», выбрела художница, которую как будто протащили через кусты.

Глаза у нее были как столкновение частиц, из мокрых уголков к подбородку спускались траектории распада черной материи, а в саргассовых волосах примостились огромные бледные бабочки опавшего пепла. Новый бирюзовый джемпер теперь прожгли уродливые дыры, но, с другой стороны, подумал Мик, он бы все равно так выглядел через неделю обычного ношения и стряхивания метеоритных искр гашиша. Смазанная киноварь губ растянулась в жуткую опасливую гримасу, когда она подняла руки в саже и волдырях перед ошарашенной публикой, словно в капитуляции.

– Все в порядке. Я все потушила. Куплю им другой стол. Или хоть два, если захотят, идет?

Его сестра была как Вернер фон Браун, пытавшийся умаслить высокопоставленных нацистов после взрыва V2 на стартовом столе, нервно хлопоча и смахивая черные огарки с опаленных бровей Геринга. Она стояла, хлопая по груди, где вновь затлел бирюзовый лесной пожар, и Мику казалось, что он никогда не видел ее в таком катастрофическом безумии, как сейчас. Он ею почти – ну, не то чтобы гордился, но меньше стыдился. Потом он вспомнил старушек, которые стояли за Альмой перед тем, как она открыла ядерный чемоданчик Пандоры, и которых определенно не было среди эмфиземной горстки выживших на вытопанной лужайке. Ох блять. Она все-таки кого-то убила, а когда на ее друзей и семью налетят журналисты, никто даже не подумает удивляться и не даст показания, что она всегда была тихой или нормальной. Шагая к ней, Мик только поражался, что она так долго продержалась.

– Уорри, твою мать, где старушки? Две старушки, которые стояли с тобой рядом?

Голова сестры неторопливо повернулась в его направлении – механический турок, желающий уверить зрителей, что в грудной клетке не прячется карлик-гроссмейстер. Сосредоточив слегка контуженный взгляд на Мике, ее оптические аварийки тупо мигнули среди жижи сурьмы – спаривающаяся парочка скрытных медуз. Она выглядела так, будто перед ответом ей надо вспомнить, кто он такой, – как только она разберется с тем же вопросом о себе. В долгой паузе еще несколько раз безо всякой цели поднялись и опустились, словно на лунной поверхности, нагруженные веки, а потом она ответила.

– Чего?

Мик резко схватил ее за плечо.

– Две бабки! Они здесь пробыли весь день. Стояли у тебя за спиной, когда ты приносила жертву или что это ты устроила. Они не вышли, и если они еще там, под столом, упали в обморок от дыма, то...

Он осекся. Альма таращилась на его вцепившуюся руку так, словно не понимала, что это, не говоря уже о том, что оно делает на ее бицепсе. Он снял ладонь, пока на ней еще остались пальцы.

– Прости.

Она озадаченно нахмурилась, и он почувствовал перемену, будто сам теперь оказался в роли лепечущего клиента психиатрии, а она умудрилась принять мантию озабоченного клинициста.

– Уорри, не считая меня, единственной бабушкой здесь была мама Берта, и, если бы она уже не ушла домой, я бы в жизни не подожгла фитиль. Я же не психопатка, которая хочет очистить общество от стариков. Я же не Мартин Эмис. Сам загляни, если не веришь.

Его глаза метнулись к двери яслей – все еще дымящей. Он с абсолютной уверенностью понял по интонации Альмы, что если и заглянет, то все будет точно так, как она сказала. Никаких полузадушенных пенсионеров в трагических позах на полу, ничего, кроме теплящегося дрезденского разорения и завитков тлеющей пряжи, тянущейся от корчащихся угольков. Он вспомнил в красках двух женщин, которые точно здесь были, а теперь точно не были, и почувствовал ту же неуютную щекотку в верхних позвонках, какую испытал при разговоре с мамой Берта Рейгана, – дуновение необыкновенного на подровненной щетине на загривке. Он решил не продолжать текущую линию расспросов и вернулся взглядом, чтобы встретиться с глазами сестры.

– Нет, я... нет, ничего, Уорри. Верю на слово. Наверное, я что-то перепутал. Слушай, ты же понимаешь, что здесь наверняка прямая связь с пожарной станцией? Ты хочешь здесь оставаться, когда приедут пожарные? Или ради этого все и устроила, ради ярких огоньков и мужиков в красивой форме?

Она посмотрела на него с искренним шоком.

– Ой блин. Я даже не подумала. Так, давай сдристнем, чтобы я спокойно подумала о том, что натворила, и раскаялась.

Схватив за локоть, она поволокла его через улицу Феникса в сторону Мелового переулка, крича через плечо окуренным беженцам, еще стоящим на поеденном молью фартуке ясельного газона.

– Не волнуйтесь. Вам возместят стоимость билетов.

Приятель Романа Томпсона Дин отвечал так, словно находился в философском тупике.

– Но мы ничего не платили.

Альма, с братом на буксире у западной стены церкви Доддриджа, задумалась.

– А. Ну тогда никто ничего не получит. Я всем позвоню на следующей неделе.

На этом Уоррены удалились с потенциального места преступления, безуспешно стараясь не выглядеть как беглые преступники. Шаркая по наклонному асфальту мимо бронзового каравая дома собраний, они оба сперва взглянули на одинокую дверь на высоте в пожеванном дождем камне, с усами цветов и травы на пороге, а потом на друг друга, но оба промолчали. От усеченной полосы облезлых фасадов домов напротив, присевших под садом на пригорке лжетерритории замка, доносилась приглушенная музыка – летняя и старинная, то и дело пропадавшая из слышимости на зыбкой радиоволне ветра. Какая-нибудь «Не уходи, Рене». Поводящие ветвями по воздуху деревья, разряженные в розовое, словно цыганские невесты, скворцы-Шуберты, развесившие композиции-однодневки на серых нотных станах, все еще плывущих от яслей, и дребезжащий по изгибу улицы Марии шелушащийся «Фольксваген» ледяного цвета на какой-то миг стали заманчивым контрастом по сравнению с ирисковыми краями захоронений. Обогнув угол вслед за дребезжащей машиной, Альма и Мик вступили на простенькую лесенку и без всяких совещаний в унисон опустили стареющие задницы на камни, венчавшие стенку вокруг южного фасада часовни.

Теперь вокруг стояло убаюкивающее пчелиное жужжание дня, несмотря на назойливый обиженный визг детекторов дыма – уже с другой стороны церкви, а потому проще поддающийся игнорированию. Мик постучал по оскудевшей пачке, чтобы вытряхнуть сигарету, а Альма без споров отдала зажигалку. Видимо, труд зажигалки окончен. Немного погодя, соблазненная барным ароматом выдохов брата, она решила израсходовать собственную последнюю палочку с зельем грез и попросила закурить ей, наклонившись и придерживая локоны, словно петтикот перед камином. Они еще недолго посасывали нейротоксины в миролюбивой тишине, пока лишившийся дара речи младший брат не придумал, что сказать.

– Твои картины, Уорри, все, что мы сейчас видели. Там было много такого, что я не помню, чтобы рассказывал. Мне показалось, ты кое-где позволила себе творческую свободу.

Сестра улыбнулась, ненадолго просияв – для разнообразия без атмосферы треснувшего реактора, – и наморщила нос в самокритике.

– Ну да. Да, я много выдумала, но вообще вряд ли так уж важно, что кому привиделось, – главное, чтобы где-то там чувствовалась настоящая история. И вообще, никто и не узнает, что это не то, что ты рассказывал. Твое слово против моего, а я – межгалактическое достояние.

Мик усмехнулся в нос, путив ползучие вайи парообразного шинуазри.

– И чего ты добьешься этой фантастической чепухой, Уорри? Спасла ты Боро, как хотела? Теперь их перестроят так, как в нашем детстве, но уже не поставят никакой Деструктор?

Все еще улыбаясь, хотя теперь уже с горечью, она покачала плакучим пологом полос.

– Я не фея, Уорри. Пожалуй, Боро и дальше будут игнорировать, пока не придет еще кто-нибудь с недоделанным, но прибыльным планом, и тогда их сроят, заасфальтируют, уберут все улицы и

оставят одни названия. А инсинераторы и деструкторы – их, думаю, понастроят по всей стране. Это дешево и сердито, это грязно, это не мешает никому, кто голосует или имеет значение, да и зачем вмешиваться в столетнюю кроссвестминстерскую политику? Это место начали сносить уже после Первой мировой войны – вероятнее всего, потому, что во время русской революции держать всех рассерженных рабочих в одном месте казалось так себе идеей. Они не остановятся и теперь.

Как нередко случалось во время разглагольствований Альмы, забытый косяк потух. Предупреждая просьбу, Мик достал зажигалку из кармана и позволил ей снова вдохнуть яростную рубиновую жизнь в угасший конец гаванской сигары с гашишем, по достижении чего она продолжала свою филиппику.

– И даже если бы Боро перестроили, вплоть до последнего порога, это же был бы тихий ужас. Это для зданий то же самое, что «Вторжение похитителей тел» для людей. Какой-то тематический парк бедности. Если только не восстановить все как было, с невредимой жизнью и атмосферой, то нечего и стараться. Я спасла Боро, Уорри, но не так, как спасают кита или Службу национального здравоохранения. Я спасла их так, как спасают корабли в бутылках. Только так и можно. Рано или поздно люди и места, которые мы любим, уйдут, и единственный способ их сберечь – искусство. Для того искусство и нужно. Оно все отбирает у времени.

Бланманже из кучевых облаков в майском небе над Лошадиной Ярмаркой и Домом Петра превратилось специально для праздника стратосферных детишек в дремлющего кролика. С Фар-Коттона принесло шепчущий ветерок, и Мик почувствовал, как его шкура ластится к его коже, словно тот вежливо проскальзывал мимо и продолжал свое странствие на север. Мик думал о том, что сказала его сестра о невозможности всех вариантов, кроме спасения в картинах и буквах или возвращения ушедшей сути района, когда вспомнил о стихах Бена Перрита, сунутых в карман. Откинувшись под опасным углом, чтобы просунуть руку в растянувшийся разрез

на ткани, он выудил их и передал Альме, которая пробежала по строчкам, несколько смягчив воинственное чело, а потом, сложив для собственного кармана джинсов в обlipку, посмотрела на Мика.

– Благослови боже бедного многострадального пьянчугу, но стихи у него что надо. Правда, они все про какую-нибудь утрату, которую он не может забыть, но если бы мог, то ему незачем было бы писать. Или пить. Иногда мне кажется, что утрата – это все его топливо; что он только тогда что-то любит, когда у этого чего-то отваливаются колеса. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Надеюсь, со всеми все будет в порядке.

Она отвлеклась на очередной раунд сосредоточенного попухивания травкой, чтобы та опять не погасла. Облако-кролик теперь стало двумя отдельными хомьяками над Пиковым переулком, и Мик рискнул скосить взгляд на старшую сестру.

– Значит, Бен не может пережить утрату. А чем отличаешься ты?

Альма закинула голову и сплюнула тонкого бежевого джинна в перевернутую лазурную миску над головой.

– Тем, что я сделала, Уорри, великолепную мифологию утраты. Там у меня был целый Ветхий Завет, пантеон бомжей, вшей и детей. Я давила кирпичи, пока не выжала чудеса и не наполнила трещины легендами, вот что я сделала. Я...

Она запнулась, и на ее лице провозгласились ночные салюты изумления и радости.

– Слушай, а я тебе не говорила, что мне рассказал Роман Томпсон, про мельницу?

Пустой взгляд Мика стал для нее ответом и поощрением с воодушевлением продолжать.

– Газгольдер на Дубильной улице, в той стороне, где жила наша бабка. Если верить Рому, в двадцатом веке там была зернодробилка под названием «Чудесная мельница». Если спуститься к реке, то под мостом, где пивные банки, шприцы и распотрошенные сумки, вдоль стенок еще видно старые камни, где было русло водяного колеса. В тысяча двухсотых она досталась монахам из приората Святого Андрея, которым уже принадлежала другая мельница в городе, так что они и решили, почему бы не управлять всеми двумя. Потом в шестнадцатом веке Генрих Восьмой распустил монастыри, и

владение перешло обратно к горожанам. Пролетает еще двести лет, и вот уже на дворе тысяча семисотые...

Она сделала паузу, чтобы набрать полную грудь, хотя не воздуха, а наркотиков.

– 1741 год – собирается консорциум бизнесменов. Среди них доктор Джонсон [\[194\]](#) – а это лишний раз подтверждает мою теорию, что все это, от Баньяна до Люции Джойс, связано с развитием английского как визионерского языка. В общем, они покупают предприятие и из зернодробилки делают хлопкопрядильную фабрику.

Не зная, что такое «все это» и к чему здесь открыватель детского талька, Мик поджал губы и только кивал.

– К этому времени в Бирмингеме уже были хлопковые фабрики, там жернова двигали ослы, но на Дубильной улице оказалась первая механическая фабрика во всем мире. Так что у нас не только крестовые походы и кромвели. Промышленная революция началась в дальнем конце Зеленой улицы. Сам понимаешь, местное надомное производство развалилось, как кегли, и в новом веке так уже будет везде. На фабрике стояли три больших хлопковых станка, они работали круглосуточно и без работников, не считая детишек, которые подметали углы и присматривали, чтобы механизм не заклинило.

Мик слушал, только краем глаза отвлекаясь на коренастого крошечного человечка, взбирающегося к ним по Меловому переулку, с вихром белых волос в виде пенной шапки необычно бледного статута – словно пинта кукушкиных слюнок, которую сливают, когда меняют бочку. Мику казалось, что он уже где-то видел эту потеющую личность, и он наконец решил, что это депутат, который ведет колонку в газете. Кокки, правильно? Живет у Холма Черного Льва, это бы объяснило его появление в Меловом переулке. Приближаясь, мужчина удостоил Альму с ее братом неопределенно-обиженным взглядом из-за очков на носу. Даже не замечая его присутствия, Альма по-прежнему продолжала монолог.

– Потом – и вот тут слушай, это прекрасно. Адам Смит – тогда парень двадцати лет, экономист, – он то ли приезжает и видит фабрику, то ли где-то о ней слышит, как там станки пашут за себя и того парня, челноки жужжат туда-сюда, а рядом никого нет, будто работают призраки. Ему это нравится, он начинает рассказывать, что этой бешеной механической активностью как будто управляет огромная невидимая рука, какой-то промышленный Зевс, а не базовые принципы инженерии. Так всегда и бывает с новой наукой в религиозный век – как с холистическими производителями газировки, которые бредят про квантовую физику.

Мик, считавший и квантовую физику, и дорогую газировку равно неправдоподобными концепциями, наблюдал, как справа мимо ковыляет толстяк, как будто направляясь к слегка дымящимся яслям. Обычно безмятежные глаза из-за линз смерили парочку на церковном заборе с подозрением, особенно Альму, которую он наверняка узнал, пока шпарил мимо. Либо необеспокоенная его присутствием, либо просто не обратив внимания, та оживленно развивала мысль.

– И этот Адам Смит со случайной задумкой про невидимую руку, работающую с хлопковыми станками, решает взять ее в качестве центральной метафоры для капитализма свободного рынка без ограничений. Незачем регулировать банки или финансистов, когда есть незримый регулятор о пяти перстах, который почти как Бог и всегда проследит, чтобы денежные станки не заклинились и не запутались. В эту монетаристскую мистическую бредятину, вуду-экономику, поверил Рональд Рейган, а потом и дурочка из среднего класса Маргарет Тэтчер, и они с радостью отменили регуляцию большинства финансовых институтов. И вот почему существуют Боро – из-за идеи Адама Смита. Вот почему хрен знает сколько поколений нашей семьи стоит в очередь в туалет без единого ночного горшка дома, и вот почему все наши знакомые нищие. Ответ – в течении под мостом у Дубильной улицы. Оттуда все пошло, там молола первая темная, сатанинская мельница.

Где-то слева пролаяла собака, в окрестностях улицы Марии, – один раз, потом три, потом тишина. Не в первый раз с тех пор, как он встал этим утром, Мик почувствовал надвижение атмосферы странности. Что-то происходило, что-то пугающе определенное, знакомое. Это уже было раньше? Не что-то похожее, а конкретно эта ситуация, когда его ягодицы немеют от холода каменного забора, проникающего через тонкие штаны. Сперва один гав, потом три, потом тишина. Еще что-то про Пикассо – или этого еще не было? Барахтаясь в дежавю, он вдруг подумал, что сейчас Альма скажет про стеклянный футбол.

– Уорри, серьезно, Иерусалим – он везде, где есть нищие и обездоленные. Если Эйнштейн прав, тогда пространство и время – это одно и то же: как, не знаю, большой стеклянный футбол, причем американский, с мячом от регби, где в одном конце – Большой взрыв, а в другом – Большой хлопок, или что там будет. А все мгновения посередине, мгновения наших жизней – они вечны. Ничто не движется. Ничто не меняется, как пленка фильма, где все кадры зафиксированы на своем месте и не шелохнутся, пока по ним не пробежит проекторный луч нашего сознания, и тогда Чарли Чаплин сорвет котелок и обнимет девушку. А когда наши фильмы, наши жизни – когда они подходят к концу, не представляю, что остается нашему сознанию, кроме как вернуться к началу. Все в бесконечном повторе. Каждый момент вечен, а если это правда, то каждый последний человек – бессмертен. Каждая зона сноса – вечный Золотой город. Знаешь, если бы я догадалась вставить все это в программку или брошюрку для выставки, то, пожалуй, больше народу догадалось бы, про что там было. Ну, что уж теперь. Уже поздно. Что сделано, то сделано, причем раз и навсегда, снова и снова.

Вступает пухлый депутат. Только эта мысль пришла в голову Мику, уже обалделому и поплывшему от повторений, как беловолосый и белобородый рождественский шарик прикатился обратно по Меловому переулку и снова оказался в их поле зрения. Судя по

возмущенному выражению и слабым виткам смога от обугленного папье-маше, тянущим за ним свои зловонные щупальца, стало очевидно, что он увидел эвакуированные ясли и, по всей видимости, решил ознакомиться со сгоревшей моделью Боро самолично. Откуда ни возьмись Мик вдруг до последнего слога знал, что произойдет дальше и какую роль сыграет Пабло Пикассо. Этот исторический анекдот, эту байку Альма рассказывала не меньше полудюжины раз – о том, как нацисты во времена оккупации пришли в парижскую студию художника и с отвращением подошли к «Гернике». Надутый депутат скажет ровно то же самое, что сказали в том случае немецкие офицеры, а сестра Мика бесстыдно апроприирует запальчивый и достопамятный ответ кубистского секс-гнома. А потом собака пролает опять, четыре раза. С волосами дыбом Мик приступил к очередному кругу на призрачном поезде.

Затушив незаконную папироску о камень, на котором сидела, Альма подняла чуть менее чем равнодушный серо-желтый взгляд как раз вовремя, чтобы впервые заметить тучного бывшего чиновника. Близкий к апоплексии, он поднял левую руку, дрожащим пальцем показывая на детсадовский центр, где еще слышалась пожарная сигнализация, и, сам того не зная, озвучил гестаповскую реплику о «Гернике».

– Это сделали вы?

Он просто напрашивался. Блаженно улыбаясь, сестра Мика предложила плагиаторский ответ.

– Нет. Вы.

Одурело моргая и не найдя что ответить, давешний глава управы утопал в сторону Лошадиной Ярмарки – беглый снежок, который становился меньше, пока скатывался с холма, а не больше. С улицы Святой Марии донесся предсказанный собачий возглас: гав, гав, гав, а потом короткая пауза. Гав.

Несмотря на жуть этого часового механизма, Мик вдруг обнаружил, что хохочет. Взбрыкнув каблуками рядом, к нему присоединилась Альма, никогда не стеснявшаяся смеяться над

собственными украденными шутками. Где-то выше по склону, точно по расписанию, по замершим улочкам разрушенного рая приближались сирены.

Благодарности

Где начать и где закончить?

Во-первых, я должен поблагодарить свою жену, художницу и писательницу Мелинду Гебби, с самого начала участвовавшую в создании книги почти так же плотно, как я. Кажется, я сделал ей предложение сразу перед началом проекта и с тех пор читал ей вслух почти каждую главу, хотела она того или нет. Именно ее технические советы помогли определиться с орудиями труда Эрнеста Верналла в первой главе и ремеслом Альмы Уоррен в других главах, но главным образом обрести выносливость и закончить мне помогли ее вера в то, что это важная работа, и ее согласие быть моей опорой почти десять лет. Спасибо большое, дорогая. Сомневаюсь, что без тебя вообще была бы книга, для которой пришлось бы писать благодарности.

Почти так же важно для меня передать глубочайшую благодарность Стиву Муру, хотя его больше нет с нами, чтобы ее услышать. Стив закончил бесценную начальную редактуру первой трети «Иерусалима» – включая незабвенную стилистическую критику на полях в виде «Фу-у-у» красной ручкой; к счастью, я позабыл, где именно, – и привнес свой блестящий интеллект во все формирующие дискуссии о взгляде на время, который, как мы узнали позже, когда уже оба давно причастились к этой доктрине, называется этернализм. Если центральная идея этой книги верна (а учитывая текущие исследования физика Фэй Доукер, эта идея как минимум фальсифицируема и верифицируема), то Стив ныне приближается ко второму рождению в лиственном дворике на Шутерс-Хилл в 1951 году. Еще раз спасибо, старина, и, если повезет, мы снова с тобой пересечемся примерно через девятнадцать лет по твоему времени.

Неожиданное решение Стива испытать нашу теорию на себе в марте 2014 года (бывают же люди – платишь им аванс за редактуру

гигантского романа, а потом больше никогда не видишь) привело к тому, что мне пришлось найти несколько других редакторов и корректоров, которые меня не боялись. В первую голову назову поэта, автора, редактора и комика Бонд, Донну Бонд. Донна правила всю книгу, несколько раз отчитывала за неправильное употребление слова *carreen* – оказывается, этот термин обозначает конкретно переворот корабля, чтобы соскрести моллюсков с корпуса, но кто бы мог подумать? – и даже каким-то образом выловила пару опечаток в дремучей мешанине двадцать пятой главы. Спасибо, Донна, за такую тщательную работу, на какую у меня самого не хватило бы смелости, усидчивости и знания малоизвестной мореходной терминологии. Следующими свои силы в редактуре пробовали мои друзья, писатели Джон Хиггс и Эли Фруиш. Джон заметил пару моментов, но главным образом оказался бесценным благодаря своей характерно поучительной реакции на книгу в целом и такому положительному отзыву на нее, что мне самому захотелось ее почитать. Эли между многочисленными пребываниями в тюрьме (он преподает там литературу, хотя мне нравится выставлять его серийным убийцей) не только дал мне несколько полезных советов по этикету наркоманов, но и в течение всей работы раскапывал самородки информации, благодаря которым и сложилась книга: это он уведомил меня о местном происхождении Джеймса Херви и предоставил последние и необходимые откровения об участии Газовой улицы в зарождении капитализма, свободного рынка и промышленной революции. Я в неоплатном долгу перед этими джентльменами, учеными и акробатами.

За оказание не менее великой помощи в создании этого левиафана я отдаю должное моему товарищу, бандиту и наемному головорезу, всемогущему Джо Брауну. Джо свел меня с Донной Бонд, выдавал пачки малоизвестных референсов по малейшей моей бредовой прихоти и, самое главное, убил месяц жизни на раскраску и придание внятности размазанному серому бедламу, который я называл своей иллюстрацией для обложки. А если вы поднесете ухо

поближе к странице, то узнаете, что он еще и написал музыку для песни, звучащей в завершающих сценах двадцать пятой главы.^[195] Джо, не знаю, что бы я без тебя делал, но я уверен, что делал бы это гораздо медленней и совершенно безграмотно. Попутно о производстве книги – я так же хотел бы поблагодарить Тони Беннетта из Knoskabout за его поддержку, за теплый энтузиазм и за те вынужденные периоды, когда ему приходилось работать укротителем оборотней, если мне приходилось заниматься чем-то слишком рано утром, – а также славных людей из Liveright Publishing за их как всегда безупречную полировку и внимательность к законченному произведению. За возведение «Иерусалима» отвечает множество людей, и я благодарен всем до единого.

Особый поклон моему приятелю, великому Джону Куларту, за его завораживающую многопериодную изоморфную карту Боро, за скрупулезные и полные любви изыскания и за то, что он оказался единственным человеком, с кем можно поговорить о пагубном для разума и зрения навязчивом безумии, которое грозит, если рисовать сотни крыш и дымоходов под эксцентричными углами. Спасибо, Джон, и я надеюсь, ты поправляешься в мире брызжущих красок, сотворенном из одних лишь органических форм и психоделических арабесок. За фотографии, предваряющие три части книги, я снова должен благодарить Джо Брауна и его навыки манипуляции изображениями при монтаже снимка Деструктора, нависающего над Бристольской улицей (четких и доступных изображений местной дымовой трубы не существовало, и нам пришлось скопировать идентичную модель из – вполне уместно – Блэкберна^[196]), а также моего коллегу с глазом-алмазом Митча Дженкинса за его фотографии архангела Михаила с кием для снукера (несколько современных антиголубиных шипов замазали согласно общей проголубиной позиции книги) и той самой двери на стене церкви Доддриджа с необъяснимым засовом снаружи. Твое подтверждение,

что не все здесь выдуманно от начала до конца, принято с благодарностью.

Также я должен отблагодарить Йена Синклера и Майкла Муркока за их многолетнюю дружбу, вдохновение и ободрение – или изоощренное зудение – при создании этого романа и в то же время извиниться перед ними и всеми остальными, кого призвал забыть о своей семье и читать – в том числе моего широко эрудированного, но физически хрупкого товарища Робина Инса, известившего меня о том, что они с его почтальоном неизлечимо надорвали спины. Я также обязан упомянуть о старом друге и сподвижнике Ричарде Формане, одном из соавторов превосходной публикации «На памяти живущих» (In Living Memory) от Northampton Arts Development, где я нашел экзотичные подробности жизни в Боро, которые меня угораздило упустить из виду при взрослении и без которых «Иерусалим» лишился бы лучших сюжетов и персонажей. Я срываю перед вами сомбреро, господа.

Засим, упомянув всех приложивших руку к этому роману (кажется), теперь я обязан обратиться к людям, чьи жизни и характеры разграбил и переврал ради его содержимого. И первым среди них идет, разумеется, мой младший – предположительно более красивый, но и гораздо, гораздо более поверхностный – брат Майк, настолько недалекий, что в двенадцать лет отписал мне свою душу за неудачной партией в «Монополию». Она до сих пор принадлежит мне. Я благодарю его за незабвенные промышленные несчастные случаи и околомертные опыты, из-за которых книга получилась такая веселая, а также благодарю за cameo в тексте мою невестку Кэрол и племянников Джейка и Джо (имя одного из них я изменил, а второго – нет, без всяких объяснимых причин). А также благодарю всех остальных моих разбросанных по свету членов семьи, живых и мертвых, – спасибо, что подарили мне такой богатый материал, а также за вклад в виде хромосом. Особенная благодарность – моей кузине Джеки Мэхаут (богемной любительнице искусств, вышедшей за французского коммуниста) за

самые поразительные фрагменты семейной истории, включенные в книгу, хотя даже она не представляет, откуда я взял безумную тетю Турсу.

Моя огромная признательность и, наверное, извинения – всем дискредитированным здесь (обычно без их разрешения или ведома) неродственникам, особенно тем, кого я представил в самом неверном свете, даже не позаботившись изменить имена. Наверное, венчает список актер Роберт Гудман, в реальной жизни прекрасный разумом, телом и душой, хотя Мелинда Гебби и Люси Лисовец тоже могут пожелать проконсультироваться с адвокатами. Та же теплота и те же пристыженные дисклеймеры предназначаются моим друзьям Дональду Дэвису; Норману Адамсу и Нилу; Доминику Алларду (и его покойной матери Одри); великому покойному Тому Холлу и всем, кто ходил с ним под одним парусом; Стивену «Фреду» Райану, который, я надеюсь, продержится до того, чтобы это прочесть, и его покойной матери Филлис Райан, в девичестве Дентон, которая угощала меня чаем и бисквитами и целиком подарила Филлис Пейнтер во всей красе – от боа из разлагающихся кроликов до марша Девчонок с Комптонской улицы. Все это замечательные люди, и любые кажущиеся изъяны в их характерах, представленных на ваш суд, – вина одного только автора.

Из неупомянутых в «Иерусалиме» людей за важную роль в мотивации для написания романа я бы хотел поблагодарить своих чудесных дочерей Леа и Эмбер (вместе с их равно чудесными партнерами, Джоном и Робо), а особенно моих изумительных внуков Эдди, Джеймса, Джозефа и Роузана. Ваша бабушка Мелинда назвала эту книгу «генетической мифологией», так что, к лучшему или худшему, это и ваша частичка. Хотя я не сомневаюсь, что будущее, на волноломы которого вы мчитесь, окажется не менее странным, чем любой из эпизодов книги, помните, что в чем-то вы вышли из этого занимательного ландшафта и что со всеми и всем, что вы любите, мы вместе навсегда в Иерусалиме.

Я благодарю глухие и немые камни, оставшиеся от Боро, за весь труд, что они исполнили за века, и за все, что они перенесли. Когда они наконец падут без сил в пыльный сон щебня, надеюсь, эта книга послужит им увлекательной и искупительной грезой.

И напоследок я благодарю Многозначительную Концепцию Смерти и Английский Роман за то, что безропотно выдержали всю книгу. Вы, ребята, самые лучшие.

Алан Мур



18+



АЛАН МУР
ИЕРУСАЛИМ



АСТ

Примечания

1

Терраса – распространенное англоязычное название блокированной застройки, при которой малоэтажные дома стоят стена к стене и занимают целую сторону улицы. (Здесь и далее прим. пер.)

[Вернуться](#)

2

Картина Джона Эверетта Милле, получившая в Англии известность благодаря тому, что ее задействовали в рекламе мыла Pears.

[Вернуться](#)

3

Фрит-Бор, или Frith-Borh, – староанглийское понятие раннего средневековья, предшествовавшее «круговой поруке» и обозначавшее как уклад для сохранения законности и порядка, так и тех, кто следил за его соблюдением и сбором дани. «Frith» – многоохватное понятие, которое переводится как «мир», «благополучие», «стабильность общества», а «Borh» – как «клятва», «приверженность».

[Вернуться](#)

4

Стихотворение Джона Мейсфилда «Грузы» (Cargoes, 1902).

[Вернуться](#)

5

Псалом Сесила Александра All things bright and beautiful, 1848.

[Вернуться](#)

6

Имеется в виду стихотворение Уильяма Блейка «Иерусалим» из предисловия к его поэме «Мильтон» (1804). Когда в 1916 году его положил на музыку композитор Хьюберт Пэрри, оно получило широкую известность как гимн «Иерусалим» и стало неофициальным гимном Англии.

[Вернуться](#)

7

Конкурс красоты мыла «Пирс».

[Вернуться](#)

8

Студия звуковых эффектов и музыки BBC Radiophonic Workshop (1958–1998), среди прочего работавшая над сериалом «Доктор Кто» в 50–60-х.

[Вернуться](#)

9

Журнал New Musical Express.

[Вернуться](#)

10

Модные бренды, которые стали символами прожигателей жизни – Burberry даже стал нарицательным понятием.

[Вернуться](#)

11

Имеется в виду исторический район Нортгемптона Сент-Джеймс-энд.

[Вернуться](#)

12

Клюни – монашеская конгрегация с центром в монастыре Клюни (в Верхней Бургундии), ответвление бенедиктинцев. Уничтожена в конце XVIII века.

[Вернуться](#)

13

Отсылка к уличной газете The Big Issue (игра слов: «Большая проблема» и «Большое издание»), которую выпускали в поддержку бездомных – они разносили ее и тем зарабатывали.

[Вернуться](#)

14

Герой британских газетных комикс-стрипов, печатавшихся с 1920 года, и многих экранизаций.

[Вернуться](#)

15

Артур Кёстлер (1905–1983) – британский писатель и журналист, автор книги «Корни совпадений», где исследовал понятие Юнга «синхроничность».

[Вернуться](#)

16

Мэри Джейн Сикол (1805–1881) – ямайская медсестра, добровольно отправившаяся в Крым во время войны на свои деньги. Автор одной из самых ранних автобиографий женщины смешанного происхождения.

[Вернуться](#)

17

Персонаж юмористической сказки Дж. Толкина.

[Вернуться](#)

18

Tipping the Velvet – роман-бестселлер Сары Уотерс и одноименный сериал 2002 года на его основе.

[Вернуться](#)

19

Продавцы закусками, в основном морепродуктами, до войны ходили от паба к пабу. Считаются приметой времени.

[Вернуться](#)

20

Натаниэль Бентли – торговец из XVIII века, который отказался мыться до конца жизни после смерти невесты. Считается прообразом мисс Хэвишем в «Великих надеждах» Диккенса.

[Вернуться](#)

21

Сотня – административная единица.

[Вернуться](#)

22

Здесь имеется в виду, что эта улица в будущем получила название улица Шерстяников – Woolmonger-street, однако далее в романе она не упоминается.

[Вернуться](#)

23

Ради популярной игры в каштаны, когда в них продевают нитки и колотят друг о друга, пока один не расколется.

[Вернуться](#)

24

Rainbow drops – разноцветная сладкая кукуруза.

[Вернуться](#)

25

«The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended», 1870, автор Джон Эллертон.

[Вернуться](#)

26

Искаженная песня Ариэля из «Бури» Шекспира: «Глубоко там отец лежит, кости стали как кораллы», пер. М. Кузмин.

[Вернуться](#)

27

Комедийное радишоу «The Clitheroe Kid», 1957–1972, где английский комик Джимми Клитеро, которому на начало сериала было уже 35 лет, играл тринадцатилетнего школьника, жившего со своей многочисленной семьей.

[Вернуться](#)

28

Журнал о сверхъестественном, букв. – «Фортовские вести», в честь Чарльза Форта – американского исследователя паранормального.

[Вернуться](#)

29

Детский сироп от кашля.

[Вернуться](#)

30

От слов *Mayor Hold* – «владения мэра». Также существует версия, что это название было преобразовано из более старого – *Mare Hole*,

«Лошадиный базар».

[Вернуться](#)

31

«*Очерки Боза*» – сборник коротких зарисовок о Лондоне и его жителях, публиковавшихся Чарльзом Диккенсом под псевдонимом в различных газетах.

[Вернуться](#)

32

Первая строчка одноименного стихотворения Дилана Томаса, пер. Н. Левитинов.

[Вернуться](#)

33

Элизабет Фрай (1780–1845) – социальная активистка, реформатор английской тюремной системы. Была изображена на пятифунтовых банкнотах выпуска 1975–1992 и 2002.

[Вернуться](#)

34

Fathers 4 Justice – движение активистов за права отцов, акции часто проходят в ярких маскарадных костюмах.

[Вернуться](#)

35

Сеть книжных магазинов.

[Вернуться](#)

36

Гилл – четверть пинты.

[Вернуться](#)

37

Пятая форма – предпоследний старший класс в английской средней школе.

[Вернуться](#)

38

Сленг основанного на рифмах диалекта кокни для слова «пианино», которое в оригинале рифмуется с именем Джоанна: piano – joanna.

[Вернуться](#)

39

Экзамены для 11–12-летних по окончании начальной школы для выбора следующего учебного заведения.

[Вернуться](#)

40

Ежегодный справочник о крикете, прозванный однажды «Библией крикета».

[Вернуться](#)

41

Британский герой послевоенных комиксов, пилот космического флота.

[Вернуться](#)

42

Ealing Studios – лондонская киностудия 1947–1957 годов, прославившаяся серией комедий.

[Вернуться](#)

43

Томас Чаттертон (1752 –1770) – поэт, покончил с собой.

[Вернуться](#)

44

«*Солнце над нок-реей*» – английское выражение для обозначения подходящего времени выпить: в северных широтах солнце оказывалось над нок-реей в районе полудня.

[Вернуться](#)

45

Строчка из песни «Ламбет-уок», впервые прозвучавшей в мюзикле 1937 года *Me and my girl* и породившей танец «ламбет-уок».

[Вернуться](#)

46

Полная цитата – Non angli, sed angeli, si christiani, то есть «Не англы, но ангелы, если христиане» (*лат.*)

[Вернуться](#)

47

Meat-safe – невысокий шкаф, где хранились продукты до широкого распространения ледников и холодильников.

[Вернуться](#)

48

Сленг кокни, основанный на рифмовке, обозначает «наверх в постель».

[Вернуться](#)

49

Фонд детской благотворительности.

[Вернуться](#)

50

Journey Into Space – научно-фантастическая радиопередача 50-х годов на BBC.

[Вернуться](#)

51

Смесь шлягера дансхоллов «Мой старик сказал «Следуй за старым фургоном» (*My old man said Follow the van, 1919*) и гимна XIX века «Вперед, Христово воинство» (*Onward, Christian soldiers, 1865*).

[Вернуться](#)

52

Выдавался солдату после окончания Второй мировой войны. Хотя одежда была хорошего качества, из-за малого количества людям часто доставались костюмы не того размера, из-за чего костюм стал предметом шуток и вошел в культуру Великобритании.

[Вернуться](#)

53

Принятое название американских солдат, произошедшее от слов *government issue* – «государственного образца».

[Вернуться](#)

54

Королевские военно-воздушные силы.

[Вернуться](#)

55

«Джонни» – сленговое название презервативов. When Johnny comes marching home – популярная американская песня Гражданской войны.

[Вернуться](#)

56

Шоу на радио BBC It's That Man Again, 1939–1949. «Dis iss Funf speaking» – фраза немецкого шпиона в исполнении Джека Трейна,

надолго стала популярным приветствием в телефонном разговоре. «Don't forget about diver» – фраза, с которой появлялся и уходил персонаж Глубоководного ныряльщика Дэна, с фразой «Mind my bike» в сопровождении звонка появлялся комик Джек Уорнер – обе фразы вошли в обиход.

[Вернуться](#)

57

Смесь песни «Не сиди под яблоней» (Don't sit under the apple tree, 1942) и гимна «Старый крест» (Old rugged cross, 1912).

[Вернуться](#)

58

По названию программного текста одного из рантеров Эбизера Коппа (Abiezer Coppe).

[Вернуться](#)

59

Имеется в виду сленговое выражение «to grass on somebody», настучать на кого-нибудь, которое произошло от названия песни «Whispering Grass».

[Вернуться](#)

60

Английская послевоенная идиома, отсылающая к тому, что солдатам часто приходилось коротать долгое время за бессмысленными играми.

[Вернуться](#)

61

Букв. «алый». *Капитан Скарлет* – персонаж британских комиксов и мультсериалов.

[Вернуться](#)

62

Персонажи сериала «Бонанца» (Bonanza, 1959–1973), самого долгоиграющего вестерна на американском телевидении.

[Вернуться](#)

63

Комедийный сериал «Bread» (1986–1991) о жизни бедной семьи в тэтчеровские времена.

[Вернуться](#)

64

Комедийный сериал «Are You Being Served?» (1972–1983) о работниках магазина одежды, находящегося в большом супермаркете.

[Вернуться](#)

65

Пер. Л. Подистова.

[Вернуться](#)

66

«Боврил» – марка супа.

[Вернуться](#)

67

«Здоровье и эффективность», ныне H&E, журнал для nudists.

[Вернуться](#)

68

Имеется в виду песня Delaware Перри Комо (1959).

[Вернуться](#)

69

Элси Таннер – персонаж мыльной оперы Coronation Street, длящейся с 1960 года. *Миссис Битон* (1836–1866) – британская домохозяйка, автор кулинарной книги.

[Вернуться](#)

70

Загадка Самсона: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое». Печаталась на этикетках Lyle's Golden Syrup.

[Вернуться](#)

71

Описания взяты из Ars Goetia – части «Малого Ключа Соломона», гримуара о христианской демонологии.

[Вернуться](#)

72

Keyhole Kate – персонаж комиксов *The Dandy* 1930-х годов.

[Вернуться](#)

73

Песня Элвиса Костелло *Oliver's Army*: «Армия Оливера в пути, и я бы отдал все, чтобы отсюда уйти».

[Вернуться](#)

74

DIF – энтероколит, *IMP* – митохондриальные заболевания.

[Вернуться](#)

75

Гимн Джона Баньяна, из второй части «Путешествия пилигрима».

[Вернуться](#)

76

«Пятен своих не стыдись, пусть каждый, кто их увидит, В них угадает следы мной проливаемых слез». Овидий, «Скорбные элегии».

[Вернуться](#)

77

Богач, который прожил всю жизнь один, однажды вышел на прогулку и постучался в случайный дом. Открыла женщина в халате. Богач раньше не видел женщин и попросил ее за деньги раздвинуть верх халата. «Что это?» – спросил он. «Мои колокольчики», – ответила женщина. Дальше он предложил деньги, чтобы она раздвинула середину халата. «Что это?» – спросил он, увидев пупок. «Моя кнопка». Дальше он попросил раздеться полностью. «А это что?» – «Моя щель». – «А если я положу монетку в щель и нажму на кнопку, колокольчики зазвенят?»

[Вернуться](#)

78

BUF – Британский союз фашистов, *NFC* – Национальная грузовая корпорация, просуществовавшая от 1950-х до 2000-х. *Джордж Дэвис* – вооруженный грабитель, ошибочно осужденный в 1974 году и освобожденный благодаря обширной кампании, но после освобождения совершивший еще два ограбления. (Прим. пер.)

[Вернуться](#)

79

Мьюз (букв. «конюшни») – изначально зародились в крупных английских городах в XVIII веке, представляли собой сплошные ряды конюшен и каретных сараев с жильем для конюхов на втором этаже, на задворках зажиточных особняков вдоль улиц. Теперь этот термин обозначает ряд малоэтажных коттеджей с гаражами, сохраняющих ощущение деревенской жизни при плотной городской застройке.

[Вернуться](#)

80

Герберт Глэдстоун (1854–1930) – министр внутренних дел Великобритании.

[Вернуться](#)

81

Сесил Битон (1904–1980) – английский фотограф.

[Вернуться](#)

82

Я артистка, автор (*фр.*).

[Вернуться](#)

83

Дети – символы британского бренда завтраков.

[Вернуться](#)

84

Колин Джордан (1923–2009) – ведущая фигура неонацизма Великобритании.

[Вернуться](#)

85

Отсылка к песне Eurythmics «There Must Be an Angel (Playing with My Heart)».

[Вернуться](#)

86

Карл Джайлс (1916–1995) – карикатурист газеты Daily Express, рисовавший на злобу дня.

[Вернуться](#)

87

9 пенсов.

[Вернуться](#)

88

Род Серлинг (1924–1975) – создатель телесериала «Сумеречная зона».

[Вернуться](#)

89

Возможно, здесь имеются в виду конфеты «Старберст» от компании Mars, Incorporated, упомянутые дальше. В Великобритании они назывались Opal Fruits, но при выходе на американский рынок сперва стали M&M's Fruit Chewies, а затем Starburst. После этого компания стандартизировала названия, ориентируясь на американский бренд.

[Вернуться](#)

90

Ведьма из детского телешоу 1991–1993 годов.

[Вернуться](#)

91

Слоган телефонной компании ВТ из 1990-х.

[Вернуться](#)

92

В 2015 году здание автовокзала, прозванное «Адская пасть» за уродливый вид, снесли.

[Вернуться](#)

93

Башня «Экспресс Лифтс», ныне Национальная башня лифтов, расположена в Конце Святого Джеймса, ранее была частью фабрики по производству лифтов (построена в 1982), затем рабочие помещения переделали в жилой район, а сама башня попала в список культурных памятников, но в частном владении до сих пор продолжает работу по тестированию как лифтов, так и других устройств, связанных с высотой (это самое высокое здание по испытанию водопроводных труб). Также несколько раз в году открыта для альпинизма.

[Вернуться](#)

94

Дина Вашингтон (1924–1963) – исполнительница джаза и блюза,
Букер Вашингтон (1856–1915) – просветитель афроамериканцев,
Джино Вашингтон (1943) – рэпер.

[Вернуться](#)

95

Статья против пропаганды гомосексуализма. Существует до сих пор и распространяется на Англию, Шотландию и Уэльс.

[Вернуться](#)

96

D-Notice – D происходит от Defence, «оборона». Запрет на разглашение для СМИ.

[Вернуться](#)

97

В 2007 году Кио был приговорен к 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 5 тысяч фунтов, О'Коннор – к 3 месяцам тюрьмы. В качестве отвлечения внимания от сути скандала власти передали BBC информацию, что на самом деле Кио обвиняется в разглашении совсем другой служебной записки (с противоречивыми заявлениями лидеров стран об атаке американских войск в Фаллудже), хотя позже правда вышла наружу, но никаких последствий для представителей власти не имела.

[Вернуться](#)

98

В оригинале: Influence, St. Craze, Har-Q, Illuzion.

[Вернуться](#)

99

Выставочное пространство на Рыбном рынке просуществовало с 2006-го по 2012 год, когда здание снесли для постройки нового автовокзала. Нортгемптонский Арт-коллектив, занимавший помещение, благодаря поддержке управы переехал недалеко, в культурный квартал города в центре – на Гилдхоллской дороге, по соседству с театром «Ройял и Дернгейт» на улице Крайние Ворота (они же Дернгейт).

[Вернуться](#)

100

Роберт Баден-Пауэлл (1857–1941) – основатель скаутского и гайдовского движений.

[Вернуться](#)

101

Пара известных английских убийц, орудовавших в 1963–1965 годах.

[Вернуться](#)

102

Персонажи множества кукольных телешоу, существующие с 60-х.

[Вернуться](#)

103

Английская монахиня-отшельница и историк-искусствовед (1930–2018).

[Вернуться](#)

104

Среди прочего создатель телесериалов «Черное зеркало», «Инспектор Клот».

[Вернуться](#)

105

Самое известное произведение Трейси Эмин – инсталляция «Моя кровать» (1998), представляющая неубранную кровать художницы с разбросанными среди прочего презервативами.

[Вернуться](#)

106

Babbo – итальянское ласкательное слово «папа»; Лючия, родившись в Триесте, в детстве общалась с отцом на итальянском, отсюда появление в тексте некоторых других слов на этом языке.

[Вернуться](#)

107

Здесь и далее упоминаются образы из книги Джона Баньяна «Путешествие пилигрима».

[Вернуться](#)

108

Здесь и далее упоминаются имена персонажей из произведений Джеймса Джойса.

[Вернуться](#)

109

Джордж (он же Джорджо, на итальянский манер) Джойс (1905–1976) – сын Джеймса Джойса. Кэрол Лоуб Шлосс (Carol Loeb Schloss), автор биографии Люции Джойс (*Lucia Joyce: To Dance in the Wake*, 2003), предполагает, что в детстве Джордж растлевал сестру, но это и многие другие прегрешения в будущем ему сходили с рук из-за симпатии (возможно, плотского свойства) матери Норы Барнакл. Впрочем, несмотря на задокументированную враждебность Джорджа к сестре и его постоянные требования передать ее в психиатрическую лечебницу, доказательств растления не существует.

В основном при написании главы Мур руководствовался именно книгой Шлосс.

[Вернуться](#)

110

Винсент Косгрейв, друг Джойса, послуживший прототипом для персонажа Линча в «Дублинцах» и «Улиссе» (где выступает в роли предателя, Иуды, и заслуживает за это наказание), ложно заявлял, что переспал с Норой Барнакл, женой Джойса.

[Вернуться](#)

111

HCE – Хемфри Чимпден Эрвиккер (а также его прозвище – расшифровка инициалов «here comes everybody», т. е. «сюда приходят все») – важный персонаж «Поминок по Финнегану», среди прочего символизировавший фигуры бога и отца.

[Вернуться](#)

112

«Восклицающий», на итальянский манер (Лючия говорила, что отец «всегда восклицает»).

[Вернуться](#)

113

Каламбур Люции Джойс: Паунд – букв. «фунт», «стерлина» – «стерлинг».

[Вернуться](#)

114

Стивен Джеймс Джойс (1932–2020), сын Джорджо Джойса, внучатый племянник Люции, – единственный наследник Джеймса Джойса и обладатель прав на его творчество. Поддерживал очень жесткую линию по сохранению репутации отца, возбуждал множество тяжб. В частности, уничтожил корреспонденцию Люции и требовал удаления упоминаний о ней из биографий писателя и членов семьи. В 2011 году творчество Джойса перешло в общественное достояние, что положительно отметили многие литературоведы. До этого в 2007 году его права по управлению наследием были несколько ограничены в результате судебного иска, направленного среди прочих Кэрол Лоуб Шлосс.

[Вернуться](#)

115

Филлип Суно (1897–1990) – французский поэт, один из основателей дадаизма. *Пегги Гуггенхайм* (1898–1997) – американская меценатка, славившаяся активной сексуальной жизнью.

[Вернуться](#)

116

Елена Кастор Флейшман (1894–1963) – жена Джорджо Джойса, богаче и старше его, которую он отправил до конца жизни во французскую психиатрическую лечебницу.

[Вернуться](#)

117

Кузины королевы Элизабет Боус-Лайон Нерисса и Катерина. Все встреченные Лючией исторические персонажи действительно в то или иное время находились в больнице Святого Андрея в Нортгемптоне.

[Вернуться](#)

118

Считается, что английское выражение «безумный как шляпник», которое использовал Льюис Кэрролл, появилось благодаря аскету и травнику Роджеру Крэбу из Чешема.

[Вернуться](#)

119

Альфред Коржибски (1879–1950) – основопологатель семантики.

[Вернуться](#)

120

Из букв складывается Lo – «вот», «внемлите».

[Вернуться](#)

121

Отсылка к первой строчке песни группы The Beatles «I am the Walrus».

[Вернуться](#)

122

Яуф – название для контейнера с катушкой фильма.

[Вернуться](#)

123

Кей Бойл (1902–1992) – американская писательница, среди прочего любовница Пегги Гуггенхайм.

[Вернуться](#)

124

Жорж Эбер (1875–1957) – теоретик физической культуры, организатор оздоровительных лагерей, один из первых идеологов паркура.

[Вернуться](#)

125

Раймонд Дункан (1874–1966) – американский танцор, артист и философ с увлечением Древней Грецией, брат Айседоры Дункан.

[Вернуться](#)

126

Шестерка Ритма и Цвета (фр.).

[Вернуться](#)

127

«Пять легких пьес», произведение Сергея Рахманинова.

[Вернуться](#)

128

Басби Беркли (1895–1976) – режиссер и хореограф, ставивший массовые танцевальные номера.

[Вернуться](#)

129

Библейский персонаж, обрушивший божьей силой храм на себя и на взявших его в плен филистимлян.

[Вернуться](#)

130

Описание встречи с женщиной – цитата из стихотворения Джерома К. Стивена «Мужчины и женщины» (Men and Women), которая также приводилась Муром в примечаниях к восьмой главе «Из ада». Место действия стихов – парк «Бекс» («Зады») у реки Кам.

[Вернуться](#)

131

Последние две строчки – цитата из стихотворения Дж. К. Стивена «Мысль» (A Thought):

Коль всё зло от женщин разом взять
И вместе сложить, в шар единый скатать,
То застонет земля,
Пропадут небеса
И солнцу его не согреть, осиять;
Вред масштабов таких
Чертей удивит,
Их делом займет, сколько миру стоять.

[Вернуться](#)

132

Версию о том, что маньяком или причиной убийств был принц Эдвард, выдвигали доктор Томас Стовалл и Стивен Найт.

[Вернуться](#)

133

Кембриджские Апостолы – тайное студенческое общество, где состоял Дж. К. Стивен.

[Вернуться](#)

134

После убийства Элизабет Страйд на стене дома была обнаружена надпись «The Juwes are the men that will not be blamed for nothing», которую сперва переводили как «Евреи не будут нести ответственности ни за что». Не было понятно, убийца ли оставил надпись и что она конкретно значит. Исследователь Стивен Найт предположил, что слово «Juwes» здесь надо читать как имена «Джубело, Джубела и Джубелум» – это три убийцы важного персонажа из масонской мифологии. Джон Мизен – полицейский,

первый прибывший на место преступления и обнаруживший надпись. В «Из ада» по версии Мура он сам принадлежал к масонам.

[Вернуться](#)

135

«Газолин-элли» (Gazoline Alley) – американский комикс-стрип, стартовавший в 1918 году и существующий до сих пор. Рассказывает о жителях одной улицы – по сути, в жанре семейной саги (главному герою, Уолту Уоллету, на данный момент больше ста лет). Лючия Джойс действительно читала эти комиксы. Первый их художник – Фрэнк Кинг; здесь говорится о его панорамных изображениях одной улицы, разбитых на множество панелей с отдельными сюжетами.

[Вернуться](#)

136

Начало песни Beatles «Lucy in the Sky With Diamonds».

[Вернуться](#)

137

Лючия Джойс действительно умерла от инфаркта, но не в 1981 году, как утверждает Мур (или сэр Малкольм, которому простительна неточность в данных обстоятельствах), а в 1982-м, 12 декабря.

[Вернуться](#)

138

Ричард Арнелл (1917–2009), Малкольм Уильямсон (1931–2003).

[Вернуться](#)

139

«У Гитлера только одно яйцо» – шутливая британская песня времен Второй мировой войны. Песня примечательна игрой слов на созвучиях. Исполняется на мотив «Полковник Боги Марч» – переложением которого занимался сэр Малкольм Арнольд, как указывалось в предыдущих главах.

[Вернуться](#)

140

Лючия Джойс по предложению отца занималась каллиграфией и среди прочего иллюстрировала первые буквы стихов, которые называла на французский манер *lettrines*, в его сборнике *Pomes Penyeach* («Пенни за штуку»).

[Вернуться](#)

141

Цитата из романа «Улисс» (написанного до сумасшествия Люции, в 1914–1921).

[Вернуться](#)

142

«Cet imbécile, qu'est ce qu'il fait sous la terre? Quand est ce qu'il se décide à sortir? Il vous regarde tout le temps». – «Ну и имбецил, что он делает под землей? Когда он захочет уйти? Он смотрит на вас все время» (по Carol Loeb Shloss).

[Вернуться](#)

143

Опыт Юнга (1803) – эксперимент с двумя прорезями, доказывающий волновую теорию света.

[Вернуться](#)

144

Вайолет Гибсон (1876–1956) – пыталась застрелить Бенито Муссолини в 1926 году (по версии историков, без политической подоплеки – на тот момент она уже была безумна). Разбив стекло его автомобиля в Риме, она сделала два выстрела, но только задела его нос. До конца жизни находилась в больнице Святого Андрея.

[Вернуться](#)

145

Отсылка к картине «Завтрак на траве» (Dejeuner sur L'herbe, 1863) Эдуарда Мане.

[Вернуться](#)

146

Pink Floyd, «See Emily Play», 1967.

[Вернуться](#)

147

Дасты Спрингфилд (1939–1999) – британская поп-певица, чья карьера охватила самые разные жанры с 50-х по 90-е, икона свингующих шестидесятых.

[Вернуться](#)

148

Мирсина Мошос – ассистентка Сильвии Бич, владелицы магазина Shakespeare and Company и одной из крупнейших литературных фигур Парижа, публиковавшей «Улисса» и сборник критики о «Поминках по Финнегану». Согласно Шлосс, Мирсина Мошос была любовницей Лючии.

[Вернуться](#)

149

Alan Price Set, «The House That Jack Built», 1968.

[Вернуться](#)

150

The Lana Sisters, «Seven Little Girls», 1959.

[Вернуться](#)

151

В 1960 году Дион О'Брайен взял псевдоним Том Спрингфилд и вместе с сестрой Дасти и другом Тимом Филдом собрал группу The Springfields. В 1963-м группа распалась, но Том продолжал успешную карьеру в качестве продюсера и автора песен других групп.

[Вернуться](#)

152

Мадлен Белл – британская черная исполнительница из группы «Голубая норка» (Blue Mink); подруга Дасти и, как намекает Мур, ее

любовница. Хотя Дасти всю жизнь была лесбиянкой и имела отношения с разными женщинами, в том числе артистками, о романе с Белл нигде не упоминается.

[Вернуться](#)

153

I Only Want To Be With You, Дасти Спрингфилд, 1964.

[Вернуться](#)

154

Manfred Mann, «My name is Jack», 1968.

[Вернуться](#)

155

Патрик Макгуэн (1928–2009) – автор и исполнитель главной роли в культовом сериале *The Prisoner* («Пленник», «Заключенный»), который в шестидесятых привнес сюрреализм и аллегорию в стандартный шпионский жанр (до *The Prisoner* главной ролью Макгуэна был агент Джон Дрейк в классическом шпионском сериале *The Danger Man*). *The Prisoner* рассказывает об агенте, который хотел отойти от дел, но начальство сослало его в изолированную таинственную Деревню, где доживают свои дни шпионы всех разведок (поэтому Мур проводит параллель с нортгемптонской психиатрической лечебницей). В Деревне вместо имен дают номера, и главный герой становится Шестым (главный в Деревне – Второй, а Первого никто никогда не видел). Из бесплодных попыток героя сбежать из Деревни состоит весь сюжет, а его концовка в свое время вызвала большую полемику. Главные стражи деревни – гигантские белые шары Роверы («Скитальцы», «Псы»). Одна из фирменных фраз

персонажей сериала – «Увидимся» (Be seeing you) в сопровождении характерного жеста.

Доподлинно неизвестно, Макгуэн лежал в нортгемптонской больнице или нет – возможно, Мур пользуется в качестве основы городской легендой.

[Вернуться](#)

156

Инициалы всех жертв Джека Потрошителя (Manac es sem jk – Мэри Энн Николс, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус, Мэри Джанет Келли). В таком виде представлены в книге о Потрошителе «White Chapell Scarlet Tracings» (1987) Иэна Синклера, друга и вдохновителя Мура, – эта же книга оказала огромное влияние на комикс «Из ада».

[Вернуться](#)

157

По легенде король Альфред, скрываясь от войск викингов, останавливался в обычном крестьянском доме, где женщина просила его присмотреть за пирогами в печи, но они все-таки сгорели, за что он получил выговор.

[Вернуться](#)

158

Прозвище короля – Этельред Неразумный.

[Вернуться](#)

159

Персонаж детского фэнтези-сериала (Catweazle, 1970–1971) об эксцентричном чумазом волшебнике из XI века, который попадает в современность.

[Вернуться](#)

160

Капитан Свинг – подпись под письмами от крестьян-бунтовщиков, которые рассылались во время свинговских бунтов властям (1830). *Капитан Нож* – Джордж Катеролл, нортгемптонский разбойник (казнен в 1826-м). *Капитан Кошель* – Джон Рейнольдс, предводитель Восстания в Центральной Англии (1607), также ставший мифическим и собирательным образом.

[Вернуться](#)

161

Агент Минфина США, арестовавший Аль Капоне за уклонение от налогов.

[Вернуться](#)

162

Американский проповедник и писатель, задокументировавший Салемский процесс против ведьм.

[Вернуться](#)

163

Боуи – фамилия не только исполнителя Дэвида Боуи, в честь которого называется банда, но и изобретателя одноименного большого ножа – Джеймса Боуи.

[Вернуться](#)

164

Випуон – созвучно с «баньян»: натоптыши.

[Вернуться](#)

165

Мэри Джойс (первая любовь Клэра, на которой в реальности он не был женат) погибла в пожаре за три года до побега Джона Клэра из лечебницы доктора Мэттью Аллена. Все иллюзии Клэра в этой главе взяты из его биографии. Врачи утверждали, что в разговоре Клэр не мог оставаться здравомыслящим и больше двух минут, тогда как в его стихах не было ни следа безумия.

[Вернуться](#)

166

Петр Успенский (1878–1947) – оккультист и философ, говорил о четвертом измерении. Вторую половину жизни провел в Великобритании.

[Вернуться](#)

167

От «Фимбулвинтер» – зима перед Рагнареком.

[Вернуться](#)

168

Политик-консерватор второй половины XX века, в знаменитой речи обратившийся к расовой проблеме и цитировавший Вергилия: «Стоит мне посмотреть вперед, и я наполняюсь предчувствием. Как римлянин, я вижу, как река Тибр наполняется кровью».

[Вернуться](#)

169

Прозвище бедных ирландцев, ведущих цыганский образ жизни.

[Вернуться](#)

170

На английском языке anchor – якорь, а wanker – оскорбительное выражение.

[Вернуться](#)

171

Член муниципального собрания.

[Вернуться](#)

172

Все это отсылки к фильму «Бандиты времени» (Time bandits, 1981), где играл Джон Гэвам.

[Вернуться](#)

173

Английская железнодорожная пассажирская сеть с поездами дальнего следования.

[Вернуться](#)

174

The Jazz Butcher, также в составах The Jazz Butcher Conspiracy и The Jazz Butcher And His Sikkorskis From Hell – группа Пэта Фиша; творчество часто отсылает к фантастике, например к Харлану Эллисону и Томасу Пинчону.

[Вернуться](#)

175

Британская организация жительниц сельской местности.

[Вернуться](#)

176

Череп Сведенборга неизвестные похитили из могилы, после чего на протяжении веков череп возникал в разных местах, стал заветной находкой для многих коллекционеров и обзавелся копиями. В итоге считающийся настоящим череп был продан на аукционе «Сотбис» в 1978 году Шведской королевской академии наук. Среди прочего упоминался в книге «Жар Лада» (Lud Heat) Йена Синклера.

[Вернуться](#)

177

Orchard – сад (англ.).

[Вернуться](#)

178

Джереми Торп – английский политик-либерал, связь которого с конюхом Норманом Скоттом привела к скандалу.

[Вернуться](#)

179

Альфред Рауз (1894–1931) инсценировал свою смерть – убил другого человека и сжег в своей машине рядом с Нортгемптоном.

Был осужден, но личность убитого осталась неизвестной. Случаю посвящена глава в первом романе Алана Мура «Глас огня» (1996).

[Вернуться](#)

180

Текс Эйвери (1908–1980) – американский мультипликатор, создатель таких известных персонажей, как Даффи Дак, Багз Банни, Друпи и др.

[Вернуться](#)

181

Джон Уодэм – известный британский кинокаскадер 60-70-х.

[Вернуться](#)

182

Английский город, на базу рядом с которым репатриировались погибшие в Ираке солдаты.

[Вернуться](#)

183

Улица, известная большим количеством практикующих гинекологов.

[Вернуться](#)

184

Барбара Картленд – писательница любовных романов.

[Вернуться](#)

185

На пресс-конференции журналист спросил пару: «Вы женитесь по любви?» – на что принцесса Диана со смехом ответила «Конечно», а муж – вышеупомянутую реплику.

[Вернуться](#)

186

Прозвище Сары Фергюссон, герцогини Йоркской (1959).

[Вернуться](#)

187

Принцесса Диана дала ему скандальное интервью, где призналась в том, что знала о романе мужа.

[Вернуться](#)

188

Исконное право на свет – по закону 1832 года в том случае, если свет проникает в здание через какой-либо проем на протяжении 20 лет, домовладелец имеет на этот свет неотъемлемое право.

[Вернуться](#)

189

Диалект кокни: «взглянуть» – «прийти к мяснику» (от рифмы «have a look» – «have a butcher's hook»).

[Вернуться](#)

190

Барри Хамфрис (1934) – австралийский актер, известный благодаря своему образу дамы Эдны Эвередж, домохозяйки из пригорода Мельбурна.

[Вернуться](#)

191

Имеется в виду тонкий тост Мельба с сыром или паштетом, который подается к супу или салату. Тост назван в честь певицы Мельбы (1861–1931), как и австралийский десерт – мороженое с персиком.

[Вернуться](#)

192

Английская детская считалочка и игра *Here We Go Round the Mulberry Bush* переводится как «Хороводим вокруг шелковицы», а в ее конце есть строчка «Холодным и морозным утром».

[Вернуться](#)

193

Мелвин Брэгг – английский ведущий, писатель и искусствовед (1939).

[Вернуться](#)

194

Бенджамин Джонсон (1572–1637) – английский поэт, драматург и актер.

[Вернуться](#)

195

Песня выходила на диске-приложении к журналу Алана Мура Dodgem Logic еще в 2009 году, за семь лет до выхода самой книги. Ее можно найти под названием You Are My Asylum в исполнении самого Мура (вокал) и Downtown Joe Brown & The Retro Spankees.

[Вернуться](#)

196

Букв. «Черное пожарище».

[Вернуться](#)